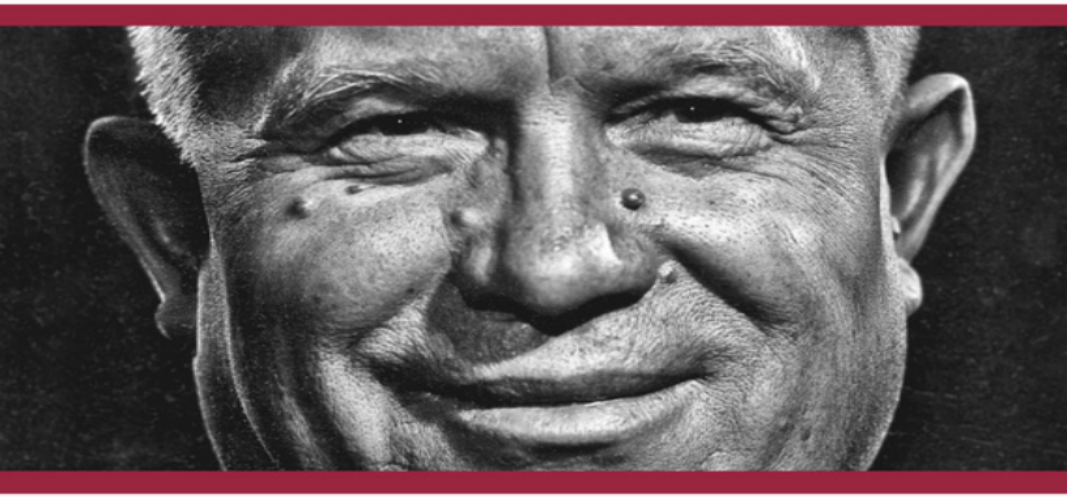


Сергей Хрущев

никита хрущев
РЕФОРМАТОР

ТРИЛОГИЯ ОБ ОТЦЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга «Реформатор» открывает трилогию об отце Сергея Хрущева — Никите Сергеевиче Хрущеве — выдающемся советском политическом и государственном деятеле. Год за годом автор представляет масштабное полотно жизни страны эпохи реформ. Радикальная перестройка экономики, перемены в культуре, науке, образовании, громкие победы и досадные просчеты, внутриполитическая борьба и начало разрушения «железного занавеса», возвращение из сталинских лагерей тысяч и тысяч безвинно сосланных — все это те хрущевские одиннадцать лет. Благодаря органичному сочетанию достоверной, но сухой информации из различных архивных источников с собственными воспоминаниями и впечатлениями Сергея Никитича перед читателем предстает живая картина истории нашего государства середины XX века.

- Сергей Никитич Хрущев
  - ○
  - ○ Как писалась трилогия об отце
  - ○
  - ○ Пролог
  - ○ Часть 1
    - ■ Начало начал
    - ■ В Москву
    - ■ Снова в Украине
    - ■ В Украине после войны
    - ■ Кто и как освобождал Киев?
    - ■ Послевоенные хлопоты
    - ■ Опять Москва
    - ■ За столом у Сталина
    - ■ Как прокормить москвичей?
    - ■ Кукуруза, самое начало
    - ■ Каковы силос и дурьян на вкус?
    - ■ Грань между городом и деревней
    - ■ Дома с заводского конвейера
  - ○ Часть 2
    - ■ 1953 год
      - ■ Сталин умер
      - ■ Как мы хоронили Сталина
      - ■ Друзья и соседи
      - ■ 114 дней Лаврентия Берии
      - ■ 114 дней Лаврентия Берии

- 60 лет спустя
- Никита Сергеевич и Георгий Максимилианович
- Новые назначения
- Хлебные хлопоты
- Сентябрьский пленум
- О реформах и реформаторах

- 1954 год
  - Целина
  - Еще о Целине
  - Арзамас, Бобруйск, Крым
  - «Богдан Хмельницкий»
  - Надо ли страшиться ядерной войны?
  - Наука кибернетика
  - С инспекцией на Целину
  - Дешевые буханки
  - Белое золото
  - Оттепель
  - Квартиризация всей страны
- 1955 год
  - Маршалл Макдаффи
  - Отставка Маленкова
  - Новый глава правительства
  - Паритет или необходимая достаточность?
  - Не хлебом единым и не картошкой…
  - «За спичками»
  - Министр культуры Н. А. михайлов
  - Последняя «Сталинская» пятилетка
  - Дорогой товарищ Тито
  - Мне двадцать лет
  - Стоит ли топить печь ассигнациями?
  - Московские перекрестки
  - Московская окружная
  - Крымский троллейбус
  - Незапатентованные изобретения
  - Сталинская Ливадия
  - Росуэлл Гарст — фермер из Америки
  - «Не нужно золота ему, когда простой продукт имеет…»
  - В гостях у Гарста
  - Пахнет сеном над лугами…
  - Строить больше, и без «излишеств»

- Часть 3
  - 1956 год

- Переосмысление
- Отчет ЦК
- Парад к съезду
- «Секретный» доклад
- Секрет Полишинеля
- Реабилитация
- «Верните нам Сталина»
- От Варшавы до Пекина
- Подвиг или просчет?
- Ложь должна быть чудовищна…
- «Синдром Петефи»
- Масло вместо пушек
- От «Сибири» до «Саратова»
- Атомная энергетика
- Академик Туполев и академик Курчатов
- Бюро ЦК по РСФСР
- Академик Лысенко
- Юбилейные излишества
- Смерть слуги «Образованного сатрапа»
- Вокруг Европы
- Целинный урожай
- Хлопок и хлопкоробы
- Хлеб. Людям или свиньям?
- Кукуруза продвигается на север
- «Не хлебом единым…»
- Юбилей Шостаковича
- Новые театры
- Итиро Хатояма и мирный договор с Японией
- Ленинские премии
- Кто кого «закопает»?
- Телевизионный дебют
- Генри Шапиро, Марвин Калб и все, все, все
- «Честная» пятилетка
- Четвертая золотая звезда Жукова
- Коридоры власти
- Шахиншах Иранский, Елизавета Английская и Елизавета Бельгийская
- Предварительный итог

- 1957 год
  - «Судьба человека»
  - Блиц-визит в Венгрию
  - Чеченцы, ингуши, калмыки…
  - От вертикали к горизонтали управления

- Безминистерская власть, люди и должности
- Немного истории
- Совнархозы обретают лицо
- Награды за урожай
- «Самоуправства» отца
- Золотая звезда за Целину
- Раскол
- Пикник в Семеновском
- Догоним США?
- Свидетельства и лжесвидетельства
- Свадьба
- Накануне
- Началось во вторник, 18 июня
- Все закончилось в субботу, 22 июня
- Маршал Жуков, или… генерал Бонапарт?
- Академик Лаврентьев, Академгородок и Совет по науке
- Нобель для Королева
- Летите голуби, летите…
- Снова о жилье
- Михаил Девятаев
- «Имени мене…»
- От шестой пятилетки к первой семилетке
- Академик Семенов и химизация всей страны
- Опять засуха
- Государство — это кто?…
- Кириченко, маршал Гречко и соломенная шляпа

- 1958 год
  - Тракторы и комбайны в руки крестьян
  - Перестановки во власти
  - Ферма или подворье?
  - «Культ личности»
  - Между царизмом и марксизмом
  - Кто не гений?
  - Ван Клиберн
  - «Комсомольский призыв»
  - Всемирная выставка
  - Поль Робсон и Сайрус Итон
  - Жилищные кооперативы
  - Всемирный конгресс архитекторов
  - Без излишеств и украшательства

- Всеобщая газификация
- Власть народу?!
- Школа и жизнь
- Рак, Спартак и Пастернак
- Саратовский комбайн
- Кириченко, Микоян, Игнатов и перемены в КГБ
- Уголовный кодекс
- Пленум ЦК или производственное совещание?
- Первое пятилетие Хрущева

○ Часть 4

- 1959 год
  - Возьмем бога за бороду!
  - Семилетка
  - Где же выход?
  - Народное правосудие
  - День рождения в Ливадии
  - Даг Хаммершельд и Борис Пастернак
  - Мыс Пицунда
  - О вредной практике поднесения подарков
  - Вечерние «Известия»
  - Редакционная группа
  - Телевидение из Останкино
  - Академия Наук
  - Анекдот от академика Гольданского
  - Несмеяновская икра
  - Привилегии
  - Выслуга лет и северные надбавки
  - Лева Хорам из «Дженерал Моторс»
  - Чешуекрылые, или попросту бабочки
  - Совет экономической взаимопомощи
  - Первый Московский кинофестиваль
  - За трудовую доблесть
  - Темиртау и «Броненосец Потемкин»
  - Национальная безопасность
- 1960 год
  - Все хорошо, но…
  - В гостях у Неру и Де Голля
  - Нефтепровод «Дружба»
  - Святослав Рихтер
  - Новый Арбат, ресторан «Прага» и не только они…
  - Фрол Романович и Анастас Иванович

- Охота на кабана
- От Кэмп-Дэвида до Челябинска
- Бюджет без налогов
- Первый советский социолог
- Цена + прибыль = реформа
- «Ракета» на Большой Волге
- Новое в сталеварении
- Изобретения и изобретатели
- На выставке у Рерихов и не только у них
- Еще одна встреча в Семеновском
- Волга — Каспий
- Что же у нас не так?
- Какой нам нужен Минсельхоз?
- Снова о тракторах и комбайнах

- 1961 год
  - Новый рубль
  - Недосмотришь сам…
  - Козлов «на хозяйстве»
  - Гриша Файбишенко и Петя Рокотов
  - Козлов «на хозяйстве»
  - «Наш Никита Сергеевич»
  - Коммунизм
  - Опять о Сталине
  - Каждому свой срок…
  - Козлов делает свою игру
  - Опасный тандем
  - «Урок» дипломатии
  - Канал из варяг в греки
  - Как жить дальше?

- Часть 5
  - 1962 год
    - Выступление в Минске
    - Как наполнить закрома?
    - Производственное управление взамен райкома партии
    - Заря микроэлектроники
    - От цен единого уровня к Новочеркасской трагедии
    - Кредит доверия
    - Ежедневная круговерть
    - Счет из Ашхабада
    - В отпуске с Захир Шахом
    - Либерман, Хрущев, Засядько
    - Еще больше власти регионам и ставка на

молодых
- Мосты сожжены
- Бремя сверхдержавы
- «Остров литературных сокровищ»
- Хрущевская конституция
- «Югославская модель»
- Кому как живется?
- Проблемы, проблемы, проблемы
- Хрущев, Суслов, Ильичев и скандал в Манеже

- 1963 год
  - 1963 год отец начал, как обычно
  - Математика в экономике
  - Свежие овощи к зимнему столу
  - Что удалось «нахимичить» за пять лет?
  - Закат эры «хрущевок»— пятиэтажек
  - «Вертикаль» против «горизонтали»
  - Что если бы?…
  - Пыльная буря
  - От химии к агрохимии
  - Орвилл Фримен и американская курятина
  - «Совхозы так и не стали снабжать своих рабочих мясом и молоком»
  - Ирригация и рисоводство
  - Помидоры и суперфосфат вместо гранатометов и фосгена
  - «Времена переменились»
  - Ветер с востока…[84]
  - Джон Гэлбрейт[86]
  - «То же самое, только в другой цвет выкрашено»
  - Туристы и ключ от границы
  - Осудить или наградить?
  - «Время решать»
- 1964 год
  - Последний новый год
  - Еще не сговор…
  - «Ракеты строят у нас специалисты, а картошку растят…»
  - Кому светят московские фонари?
  - Скандинавское «чудо»
  - «Мы разгоним к чертовой матери Академию наук», или «У кого наука, у того — будущее»[89]

- Школа-восьмилетка
- «Заец» вместо зайца
- «В общем занимаются все, а конкретно никто…»
- Пенсии, зарплата, два выходных
- «Сейчас нам надо не гайки закручивать…»
- Почему одна партия?
- Последняя «крамола» Хрущева
- Фатальная рокировка
- Всю власть директору!
- 24 июля 1964 года. Прикидка на завтра
- Прощание…
- Бараев с Наливайко продолжают спорить
- 19 августа 1964 года. Заседание Президиума ЦК КПСС
- Большая нефть Сибири
- Антонин Новотный и Александр Дубчек
- Рихард Зорге, Василий Порик, Фриц Шмеркель
- Какая армия нам нужна?
- Наболтали, а сами сделать не можем
- Мне позвонил Галюков…
- Отпуск в октябре
- Что к чему и почему?
- Развязка
- После Хрущева

Эпилог

- Итого

Список литературы

notes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58

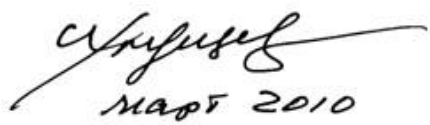
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94

Сергей Никитич Хрущев
НИКИТА ХРУЩЕВ
Реформатор

Будущее прорастает из прошлого, как дерево из семени.

Огромное спасибо
Алексею Вячеславовичу Мишукову
за поддержку при издании
"Трилогии об отце".

Счастья и успехов вам,
мои читатели.



Март 2010

Как писалась трилогия об отце

«Реформатор» — последняя книга в трилогии об отце. Логически она — первая, но хронологически, по мере написания, последняя. И в этом есть своя логика.

Первую книгу, «Пенсионер союзного значения», издательство АПН (Агентство печати «Новости») опубликовало в 1991 году. Она — чистой воды воспоминания, рассказ о последних семи годах жизни моего отца, Никиты Сергеевича Хрущева, о его политическом заточении, о работе над мемуарами, о смерти и похоронах. Мне тогда очень хотелось выговориться, рассказать о том, о чем еще совсем недавно и упоминать-то запрещалось.

Неожиданно для себя я обнаружил, что у меня получается. Раньше ничего, кроме научных отчетов и служебных записок, из-под моего пера не выходило, а тут — сразу книга, сразу успех. Книгу перевели на английский, китайский, немецкий, французский, японский, корейский, норвежский, голландский, чешский и венгерский языки. В некоторых странах она стала бестселлером.

Второе, дополненное издание «Пенсионера» вышло в 2001 году в издательстве «Вагриус» под иным, менее адекватным содержанию, названием «Хрущев».

Окрыленный успехом «Пенсионера», я засел за новую книгу, уже не только об отце и его деяниях, но и о себе, о моих коллегах-ракетчиках. Постепенно мемуары разрослись в рассказ о становлении Советского Союза в статусе сверхдержавы, о роли отца в этом процессе, о его концепции безопасности страны, о его взаимоотношениях с конструкторами и учеными, генералами и адмиралами, Западом и Востоком. Книга вышла объемистой, за семь сотен страниц, в ней сошлись половина на половину мемуары и исторические исследования. В процессе работы мне самому многое прояснялось в нашем прошлом, события обретали свою взаимозависимость, выстраивались логическими цепочками. Я все больше ощущал себя уже не просто любителем истории, а историком, историком Сверхдержавы.

Здесь уместен вопрос: что такое советская сверхдержавность?

Одни считают советскую сверхдержавность всего-навсего пропагандистским мифом. Другие относят оформление сверхдержавности к сталинскому правлению конца Второй мировой войны. С первыми спорить не о чем — если Советский Союз не сверхдержава, то история холодной войны теряет содержание. Со вторыми я попросту не согласен.

Победа над Гитлером в мае 1945 года заставила наших

союзников, в первую очередь США, считаться с СССР, со Сталиным, но в четко очерченных войной границах согласованного в Ялте и оккупированного советскими войсками географического пространства. За его пределами влияние Советского Союза сводилось на нет. Сталин пытался изменить раздражавшую его расстановку сил, но безуспешно, каждый раз получал по рукам. К примеру, сразу после окончания войны Сталин вознамерился присоединить к СССР иранский Азербайджан, уже несколько лет оккупированный советскими войсками, но не тут-то было, американцы надавили, и ему пришлось вывести свои дивизии.

Не удалось Сталину установить контроль и над приграничными, исторически армянскими и грузинскими, но после Первой мировой войны юридически турецкими территориями. Турки, сочувствовавшие и помогавшие Гитлеру, по существу смирились с неизбежностью потери, даже отвели свои войска от границы. Но вмешались американцы, и Сталин сдал назад.

Не повезло ему и на Западе. Сразу после окончания войны Западная Европа, колеблясь между Москвой и Вашингтоном, склонялась в сторону Москвы. Во Франции и особенно в Италии коммунисты оказались почти у власти, вошли в правительства, их победа на предстоящих выборах мало у кого вызывала сомнения. Американцам стоило немалого труда удержать у власти своих сторонников. Сталин воспрепятствовать не посмел.

На Балканах Сталин в те же годы не решился прийти на помощь повстанцам в Греции. Испугался американцев. Восстание подавили.

Сталин делал попытки вырваться за пределы очерченного союзниками круга. Вырваться с помощью военной силы. Видимо, он так и не осознал, что в новом ядерном мире попытка повысить свой статус такими методами столь же бессмысленна, как кавалерийская атака против танкового клина.

В 1948 году Сталин объявил блокаду оккупированных союзниками западных секторов Берлина. Ему казалось, что город, лишенный подвоза продовольствия, топлива, я уже не говорю обо всем остальном, не выдержит, капитулирует, как капитулировал в Сталинграде гитлеровский фельдмаршал Паулюс, окруженный советскими войсками. Сталин просчитался, американцы установили воздушный мост, наладили снабжение Берлина самолетами, и город выстоял. Вынужденный признать поражение, Сталин блокаду снял.

И наконец, провал затеянной с благословения Сталина Корейской войны.

Россия Сталина, как ни крути, — держава могущественная, но региональная, а не сверхдержава.

Отец действовал иначе. Войну как инструмент упрочения позиций СССР в мире он с самого начала отверг, приступил к наведению сожженных Сталиным мостов с Западом, но вместе с тем не позволял никому ущемлять интересы собственной страны. Государственный секретарь США Джон Фостер Даллес называл такое поведение политикой с позиций силы, политикой на грани войны. Как отец, так и Даллес отчетливо представляли себе, где проходит эта грань, сами ее не переступали, но и противника держали за гранью. Тут все зависело от адекватности реакции, твердости в переговорах, трезвой прагматичности при принятии решений. Как только США пытались навязать свою волю в сфере интересов Советского Союза, отец не медлил ни минуты с ответом. В результате разгорался очередной кризис: Суэц кий, Берлинский, Ближневосточный, Дальневосточный и, наконец, Карибский. Опасная стратегия, но единственно возможная в противостоянии конкурентов, претендующих на сверхдержавность. Чуть дашь слабину — и неизбежно окажешься на задворках. Кризисы грозили войной, но и учили лидеров обеих сторон взаимодействию, взаимотерпимости, правилам сосуществования в нарождающемся новом миропорядке. Шаг за шагом руководители СССР и США, а вслед за ними и других государств Запада и Востока притирались друг к другу. Не сразу, постепенно, мир привыкал к равноправному партнерству СССР и США.

Можно ли обозначить конкретный момент, когда Советский Союз стал сверхдержавой? На мой взгляд, можно. Советский Союз стал сверхдержавой в момент разрешения Карибского кризиса, в октябре 1962 года. Кризиса, впервые в истории продемонстрировавшего американцам не только чужую, но их собственную уязвимость, поставившего США, развяжи они войну, перед неотвратимостью возмездия. Первую половину XX века американцы, прикрывшись щитом двух океанов, Тихого и Атлантического, прожили в безопасности и, наподобие римлян, расположившихся на трибунах Колизея, наблюдали за битвами на полях Европы, выбирали момент, когда следует нанести по одному из противников решающий, смертельный удар. Даже в 1961 году, во время Берлинского кризиса, все оставалось без изменений. И вдруг, в октябре 1962 года, американцы осознали, что они больше не зрители, а потенциальные жертвы, наравне с другими участниками опасной игры. Эта новость так перепугала рядовых американцев, что после 1962 года они уже не смели, несмотря на все доклады ЦРУ о преимуществе США в ядерном

потенциале, считать Советский Союз неровней. Именно тогда общественное мнение США признало СССР Сверхдержавой. Оно же через три десятилетия, в 1992 году, лишило Россию этого титула.

Первая редакция новой книги вышла в издательстве АПН в 1994 году, к столетию со дня рождения отца, название оказалось не очень удачным — «Никита Хрущев. Кризисы и ракеты». У одних оно ассоциировалось с популяризацией ракетных технологий, у других — с единственно запомнившимся кризисом, Карибским. При повторном издании я переработал книгу и переименовал ее в «Рождение сверхдержавы». Вышла она в свет в издательстве «Время» в 2000 году, а в 2003-м то же издательство осуществило третье, дополненное издание. Книга кроме России опубликована в США, Китае и Германии.

Не могу не отметить, что в 2002 году архивисты-историки Александр Пыжиков и Александр Данилов позаимствовали у меня заглавие «Рождение сверхдержавы» для своей книги о послевоенных сталинских годах. Это не только неэтично, но и по существу, как я уже писал, неверно.

В 2000 году я засел за третью книгу об отце — «Реформатор». Собственно, замыслил я ее давно, да руки все не доходили. Начавшиеся в 1990-е годы преобразования в России заслонили тогда, даже в моем сознании, времена Хрущева. Постепенно туман рассеивался, «конструктивность» гайдаровских реформ все более обнажалась. Я потерял к ним интерес и вернулся к «своему» периоду в истории России.

До меня внутренней политикой Хрущева всерьез не занимался никто. На Западе, в Америке, где вышла большая часть книг об отце, его реформаторство мало кого интересует. Чужие реформы в чужой стране. Хрущев для американцев навсегда остался опасным соперником на международном поприще, а как он старался сделать советскую экономику более эффективной, преобразовать сельское хозяйство, накормить, обуть и расселить людей, их не занимало и не занимает. В СССР же на все, связанное с Хрущевым, даже на его имя, сначала наложил табу Брежнев. После советской власти россиянам, в том числе и историкам, стало не до истории, потом они увлеклись тем, что назвали «эпохой Сталина».

Российские публикации об отце немногочисленны, в лучшем случае анекдотично поверхностны, часто лживо тенденциозны. Их авторы «обсасывают» жареные, не имевшие места в действительности, «факты». К архивам такие «историки» обращаться не привыкли. В результате знание об эпохе Хрущева не выходит за рамки анекдотов.

Новая книга, как и предыдущие, содержит какой-то процент личных воспоминаний, но изначально я замыслил в ней реконструировать период 1953–1964 годов, базируясь не столько на собственной памяти, сколько на архивных изысканиях, на уже опубликованных документах, на воспоминаниях, причем чаще недоброжелателей отца — их дожило до наших дней больше, чем доброжелателей. Книга строится хронологически. Год за годом разворачивается повествование о попытках реструктуризировать экономику и саму власть, об отце и изобретателях панельного строительства, об аграрных реформах, о кукурузной эпопее — так, как она происходила на самом деле, об отце и его друзьях-ученых, академиках Лаврентьеве, Семенове и многих других, о борьбе за власть и об интригах вокруг власти. Маленков, Булганин, Брежнев, Суслов и многие другие для меня не символы и не портреты, а живые люди.

Так что же такое эпоха Хрущева? Ответ непрост. Достигнув в результате первой волны реформ 1953–1958 годов частичной децентрализации экономики, дробления ее на совнархозы, некоего пика в развитии, страна в 1959 году начала пробуксовывать. Три года (1959–1961) отец занимался поиском выхода, а с 1962 года он задумал новую, более радикальную реформацию. Зиждилась она на трех китах: освобождении производителя, предприятий промышленности и сельского хозяйства от мелочной опеки сверху; сведении их взаимоотношений с государством к отчислению ему части прибыли, другими словами — уплате налога; и в области государственного переустройства — к демократизации общества, перетеканию властных полномочий от партии к советам всех уровней. Осуществить замысел отцу не хватило времени, но реализация уже после его отставки в октябре 1964 года в так называемой Косыгинской реформе 1965 года даже малой толики замысленного показала, что путь он избрал верный.

Если просуммировать плюсы и минусы эпохи Хрущева, то при всех неизбежных в пору перемен издержках и неурядицах реформы отца дали ощутимый эффект.

Цифры как советской, так и антисоветской статистики свидетельствуют: в двадцатом веке лучше, чем в «хрущевское десятилетие», россияне не жили ни до, ни после. Не могу утверждать, что все жили тогда хорошо, но лучше им пожить не пришлось. Подтверждение тому и продолжительность человеческой жизни: в 1964–1965 годах она достигла своего пика, превысила американскую, а затем пошла на убыль. Таковы факты. Однако, несмотря на факты, реформаторство отца даже в ученом мире почему-то принято считать неудавшимся.

Через двадцать лет после отца, в начале 1980-х годов, Дэн Сяопин в Китае, по сути, реализует то, что отец не успел сделать в Советском Союзе, и реализует с оглушительным успехом. У нас же после недолгого переходного периода 1964–1968 годов все покатилось под откос. В чем тут причина? В своей книге я попытался отыскать ответ и на этот вопрос.

Деградация Советского Союза, экономическая и политическая, после пика 1954–1965 годов представляется мне исторически незапрограммированной, не неизбежной. Страна и дальше могла развиваться по восходящей, если бы… если бы лидеры, пришедшие на смену отцу, не остановили, а продолжили реформы, продвижение к нормальной децентрализованной (рыночной, если хотите), основанной на уважении закона экономике и к демократии. Но они предпочли «стабильность», впали в извечную российскую спячку, в застой, в проедание накоплений предыдущего поколения. Похмелье после пробуждения оказалось ужасным, общество требовало одномоментных перемен, немедленного разрушения всего построенного ранее. Конечно, все хотели как лучше, но… Который раз Россия натыкается на роковое «но»…

Циклы реформа — контрреформа (или застой) столетиями злым роком преследуют Россию. Последний из них, ему мы стали свидетелями во второй половине XX века, отличается от предыдущего второй половины XIX — начала XX века только деталями, в основном идеологического характера. Реформы императора Александра Второго сменились «стабильностью», застоем царей Александра Третьего и Николая Второго, за которым последовало пробуждение, всплеск недовольства и, как следствие, — революция, разрушение. Новый цикл реформа — контрреформа конца XX века привел к столь же катастрофическим для страны последствиям: контрреволюции 1991–1993 годов, упадку, разрухе.

Последнее время в угоду идеологии контрреволюцией принято называть события 1917 года, Октябрьскую революцию, а контрреволюцию 1991 года — революцией. Так приятнее для слуха людей, власть предержащих. По мне, так хрен редьки не слаще. Однако, если отвлечься от эмоций, революция меняет старый уклад на новый, что и произошло в 1917 году с отменой частной собственности, а контрреволюция восстанавливает старые, отмененные революцией принципы взаимоотношений в обществе.

С началом XXI века Россия входит в очередной цикл, выбирается из-под обломков контрреволюционных потрясений и примеривается к новой реформации, преобразованию

олигархической мародерской экономики в продуктивную, к внедрению принципов демократии в общественные отношения. Здесь крайне важно не наступить на те же грабли.

Разбираться в перипетиях десятилетия 1953–1964 годов мне оказалось непросто.

Я, историк-непрофессионал, вторгся на территорию, бдительно охраняемую дипломированными историками. Чужаков они не жалуют. Не миновала сия чаша и меня, я столкнулся не просто с недоброжелательностью, но и с намеками на необъективность, неправомочность заниматься деяниями собственного отца. Леонид Млечин в книге «КГБ. Председатели органов госбезопасности» даже обозвал меня родоначальником истории самооправданий. Сказано хлестко, но не очень объективно. Воспоминания детей и иных родственников государственных деятелей не менее ценны, чем любые другие источники, к тому же они уникальны своими деталями.

Даже грешащие чудовищными выдумками воспоминания Серго Берия («Мой отец — Лаврентий Берия») или более чем декларативная книжка Андрея Маленкова «О моем отце Георгии Маленкове» содержат, если приглядеться, немало полезной информации. Всякая история состоит из фактов и их интерпретации. Родственным чувствам изменить факты не под силу. Другое дело интерпретация, тут уж проявляется индивидуализм каждого, как писателя, так и читателя. Я часто задаю себе вопрос: насколько я объективен? Думаю, что не объективен, но и самый отстраненный историк имеет свои пристрастия. Только читателю дано судить, чьи логические построения доказательнее.

Что же касается обращения с фактами, то тут все зависит от человеческого характера. Кто-то не стесняется залезть в чужой карман, другому такое и в голову не придет. Так и с историей: одни, ничтоже сумняшеся, факты подтасовывают, другие относятся к ним с пиететом. Я себя отношу к последним.

И вообще, насколько историческая наука способна сохранять объективность? Ответить непросто. История испокон века сожительствовала с мифологией, нередко подменяла и подменяет реальные события фальшивками в угоду правителям. Вот только пара примеров. Тюдоры, завладев в XV веке английской короной, тут же переписали британскую историю, представили предшествовавшую им династию Йорков извергами, а их последнего короля Ричарда Третьего (1453–1485) кровавым выродком. Такими они и оставались все последующие столетия. Только недавно англичане с большим трудом начали докапываться до истины.

В России историю подправляли и переписывали неоднократно. В 1560-е годы Иван Грозный в составленной по его приказу «Степенной книге» полностью перекроил прошлое от Киевской до Владимирской Руси под себя, под Московию.

Не лучше поступили и Романовы с Рюриковичами. После вступления Михаила на российский престол в 1613 году они не только заново перелопатили историю, но и наложили запрет на доступ к ней «посторонних». История стала не источником знаний, а политическим орудием. Потому-то в России настоящих историков можно по пальцам пересчитать: Карамзин, Соловьев, Ключевский. Вплоть до второй половины XIX века высочайшим распоряжением запрещалось печатать исторические статьи в популярных, доступных людям журналах, дабы не смущать умы народа.

Товарищ Сталин с его «Кратким курсом истории ВКП(б)», по которому училось мое поколение, превзошел Тюдоров с Романовыми, он вообще не оставил камня на камне от исторических реалий и фактов первой половины XX века, лишил прошлого целое поколение.

И в наше время есть любители по своему разумению творить новые мифы. Однако с распространением информационных технологий целенаправленное мифотворчество ожидают не лучшие времена, и я льщу себя надеждой, что недалеко то время, когда история все же обретет в России статус настоящей науки.

Знание истинной истории очень важно, ибо наше будущее произрастает из прошлого. От «качества» нашей истории, от ее адекватности впрямую зависит «качество» нашего будущего. Исторические фигуры, наши отцы и деды, ушли в небытие, им уже безразлично, что о них пишут, как их судят. И мы, их ближайшие потомки, скоро последуем за родителями. Грядущее поколение — вот кто воистину заинтересован в неискаженной истории. Им жить, а как они будут жить, в немалой мере зависит от понимания прошлого. Постоянно переписывая историю, каждое новое поколение россиян, само того не желая, раз за разом обрубает исторические корни дерева собственной жизни и начинает все заново. Но какая жизнь без корней?

Я очень надеюсь, что мои книги кому-то помогут, кого-то уберегут хотя бы от малой толики ошибок.

Подготавливая трилогию к публикации, я старался убрать повторы, не все, так как каждая из трех книг не только часть целого, но и живет своей собственной жизнью. Написанные ранее «Рождение сверхдержавы» и «Пенсионер союзного значения» я дополнил информацией, не доступной мне, когда писались эти книги. С годами архивы все больше открывались, книги

дополнялись новым знанием, черпавшиеся ранее только из памяти факты уточнялись. Появилась возможность проверки хронологии. В памяти даты иногда причудливо перемешиваются, и только обращение к документам позволяет все расставить по годам, месяцам и дням. Описание некоторых событий тоже стало возможным уточнить. В «Пенсионере» некоторые из фактов брежневских времен, к примеру скандальное увольнение от должности Семичастного, я описал по слухам, тогда кругами расходившимися по Москве. Другие источники информации отсутствовали. Сейчас мы знаем, как все происходило, и я наравне со «старой» версией событий привожу их реальное описание. Любопытно, что разнятся они, в основном, в деталях. В каждом случае изменений и дополнений я оттеняю в тексте пассажи, которые отсутствовали в предыдущих изданиях. Так читателям легче разобраться в перипетиях моего сочинительства.

Хочу поблагодарить всех, кто помогли мне в написании этой книги. В первую очередь, мою жену Валентину Голенко. Она печатала и перепечатывала нескончаемые страницы текста, отыскивала огрехи и во многом способствовала тому, что книга получилась. Особо отмечу неоценимую поддержку моего сына Никиты Сергеевича Хрущева (младшего), снабжавшего меня материалами и взявшего на себя улаживание дел с московскими издателями. Отдельная благодарность академику Александру Александровичу Фурсенко, к сожалению, уже покойному, за ценные советы и содействие в сборе материалов в процессе написания книги. Большое спасибо моему другу Юре Панову, помогавшему всегда и во всем, особенно в делах компьютерных и поиске информации в безбрежных сетях интернета. Ничего бы у меня не вышло без неизменной доброжелательности всего коллектива издательства «Время», а особенно Аллы Михайловны Гладковой и Ларисы Владимировны Спиридоновой, последняя тщательно отредактировала текст, убрала огрехи, сделала его таким, каким он предстал перед читателями. Я очень признателен Эмилии Йотке из Института Томаса Уотсона и моей невестке Леночке, которые оцифровали фотографии к книге и существенно их почистили. Благодарю и всех не названных тут моих друзей за поддержку, долготерпение и благорасположение к автору и его труду.

Спасибо.

Культура страны определяется тем, насколько она знает свою историю.

П. Л. Капица

Победит строй, обеспечивший людям лучшую жизнь.

Н. С. Хрущев

Пролог

Тринадцатого октября 1964 года, во второй половине дня, турбовинтовой Ил-18 подрулил к правительственному павильону московского аэропорта Внуково-2. Стояло бабье лето, светило и еще пригревало не по-осеннему теплое солнце, легкий ветерок ласково перебирал поредевшие желто-зеленые листочки вплотную подступивших к летному полю березок и осин.

К самолету подкатили трап, в дверях появился отец, Пер вый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев, за ним следовал Анастас Иванович Микоян, друг и соратник отца, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, далее потянулись помощники, охранники и среди них я, автор этих строк.

У трапа прибывших встречали всего двое: Владимир Ефимович Семичастный, председатель КГБ СССР (активный участник заговора против отца), и секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Порфирьевич Георгадзе.

Семичастному вменялось без происшествий доставить отца и Микояна в Кремль, там их ожидали остальные члены Президиума ЦК. Сегодня они не теснились, как обычно, у трапа самолета, стремясь первыми пожать отцу руку, первыми доложить об очередных успехах, первыми получить согласие на что-то очень важное, первыми… Теперь они, наконец решившись избавиться от отца, нервно ожидали его в Кремле. Хотя, казалось бы, на вчерашнем заседании Президиума ЦК все предусмотрели до мелочей, распределили роли — кто что будет говорить, но на душе скребли кошки, по телу пробегали мурашки: чем все это обернется, с чем приедет Хрущев? Отправляя Семичастного в аэропорт, трусоватый Брежнев даже посоветовал ему положить в карман заряженный пистолет. Но пистолет не понадобился, отец, пожав Семичастному руку, лишь осведомился: «Где все?» и, получив ответ: «Ожидают вас в Кремле», с улыб кой, как будто ничего не случилось, бросил Микояну: «По ехали, Анастас!»

Захлопнулась дверь длинного черного ЗИЛа-111, машина тронулась. За ней — ЗИЛ охраны и впритык — «Чайка» Семичастного. Он доложил по радиотелефону Брежневу: «Встретил, все идет по плану, едем в Кремль».

Успокаивающее сообщение Семичастного почему-то толь ко добавило волнений. Больше других нервничал Брежнев, ему мерещилась бесславная отставка, а может, и что похуже. Одну за другой он прикуривал сигареты, затягивался, давил их в пепельнице и снова прикуривал.

Спокойнее других держался «вождь комсомольцев» Александр Шелепин, он уже ощущал себя стоящим во главе государства: Хрущева — свалим, а размазня Брежнев ему не помеха, в стране все схвачено. (Шелепин — один из самых могущественных людей в стране. На запланированном на ноябрь 1964 года Пленуме ЦК КПСС отец предполагал ввести Шелепина в состав Президиума ЦК КПСС. Отец рассматривал Шелепина как еще одного своего возможного преемника, в чем-то отдавал ему предпочтение в сравнении с Брежневым. Смену власти отец предполагал провести на XXIII съезде КПСС в 1965 году.)

Скрупулезно подсчитавшие шансы на успех Михаил Суслов и Алексей Косыгин не суетились, спокойно сидели на своих обычных местах у стола заседаний Президиума ЦК, устранение отца — дело решенное, и от этого они только выиграют.

Совсем недавние выдвиженцы отца, секретари, но еще не члены Президиума ЦК Леонид Ильичев, Владимир Поляков, Александр Рудаков, Владимир Титов лелеяли несбыточную надежду, что отец и на сей раз вывернется, — выходил же он победителем и не из таких передряг, и одновременно прикидывали, на кого ставить: на Леню или на Шурика, если Хрущев проиграет.

А вот два других «молодых» протеже отца — Юрий Андропов и Петр Демичев — не волновались, они сделали выбор, поставили на победителя, заручились поддержкой как Брежнева, так и Шелепина.

Остальные члены Президиума ЦК не сомневались в исходе заговора и изготовились предать анафеме еще вчера «нашего дорогого Никиту Сергеевича». Они уверены, что их усердие оценят, независимо от того, кто (Леня или Шурик) вознесется на вершину пирамиды власти. Так в волнении проползли полчаса ожидания. Наконец двери зала заседаний отворились, первым показался насупленный отец, за ним — понурый Микоян. Анастас Иванович Микоян в заговоре против отца не участвовал. Отношения у них с отцом сложились дружеские, они часто спорили по разным вопросам, но держались вместе.

Войдя в зал, отец огляделся, собравшиеся сидели за столом для заседаний, пустовало лишь кресло председателя. Его кресло. Отец в последний раз опустился в него и, помолчав, осведомился, ради какого такого срочного дела его сорвали из отпуска, вызвали из Пицунды?

Повисло напряженное молчание, хотя еще накануне распределили роли, согласовали последовательность выступлений. Начать поручили Брежневу, но у того перехватило горло. Наконец он решился и заговорил неуверенно, сбивчиво,

все время сверяясь с лежавшими перед ним листочками, вырванными из большого, так называемого цековского блокнота.

Судилище, изменившее навечно судьбу великой страны, началось. Присутствовали все члены и кандидаты Президиума, секретари ЦК КПСС, за исключением никак не приходившего в себя после инсульта Фрола Романовича Козлова.

Отец, обычно живо реагировавший на выступления, на сей раз сидел молча, сосредоточенно уставясь перед собой на пустой, без привычно загромождавших его справок, проектов постановлений и других приготовленных к заседанию бумаг, стол.

Постепенно смелея, Брежнев начал вываливать одно за другим припасенные заранее обвинения: зачем разделили обкомы на промышленные и сельские? В чем смысл перехода от пятилетнего планирования к восьмилетнему? Почему отец рассылает так много записок членам Президиума? В заключение он обвинил отца в некорректном обращении с товарищами по работе и замолк.

Отец встрепенулся, поднял голову, оглядел присутствующих и как бы через силу произнес: «Я вас всех считал и считаю друзьями-единомышленниками и сожалею, что порой допускал раздражительность». Отец не собирался бороться. Такое решение он принял заранее. О сговоре против него мне в середине сентября сообщил бывший начальник охраны Председателя Президиума Верховного Совета Российской Федерации Николая Игнатова Василий Иванович Галюков, и я тут же все пересказал отцу. (В заговоре против отца Игнатов взвалил на себя черновую и наиболее опасную работу, уговаривал секретарей обкомов перейти на сторону заговорщиков, сотрудничал как с Брежневым — Подгорным, так и с Шелепиным — Семичастным, рассчитывая в решительный момент перехватить инициативу и захватить власть.) После моей встречи с Галюковым, а она не осталась незамеченной, Брежнев запаниковал, провал заговора казался ему неминуемым. Но судьба распорядилась иначе.

С первых дней вхождения во власть Игнатов начал интриговать против отца. Отец поначалу не обращал внимания, считал, что все постепенно утрясется, но когда Игнатов стал почти в открытую претендовать на высшую власть в стране, — «принял меры». На очередном XXII съезде КПСС в 1961 году Игнатова ни в состав Президиума, ни в Секретариат не избрали. «Перебросили» на РСФСР.

Теперь Игнатов рассчитывал взять реванш. Все лето он колесил по стране, уговаривал секретарей обкомов, командующих военными округами, что время Хрущева закончилось. Николай

Григорьевич многим, если не всем, рисковал. В случае провала Брежнев с Шелепиным сделали бы его козлом отпущения. Игнатов, человек хитрый и изворотливый, все это понимал, но стремление вернуться на самый верх, в Президиум ЦК, пересиливало осторожность.

С Галюковым по просьбе отца переговорил и Микоян. У отца оставалось время, но он решил пустить события на самотек, шел не 1957 год. Тогда против него выступили сталинисты, а все кандидатуры в обновленный Президиум ЦК он подбирал сам. Отец не сомневался, что они так же, как и он, преданы делу и только делу. Начатые им реформы эти люди доведут до конца, сбудется его мечта — советские люди заживут лучше, богаче американцев. Жаль, конечно, что все это произойдет без него, но ему уже перевалило за семьдесят, пришло время уступить дорогу молодым. Именно поэтому, несмотря на информацию о сговоре, отец решил не менять своих планов и в последний день сентября уехал из Москвы, отправился отдыхать в Пицунду.

Где-то в глубине души отец, несмотря на опыт всей его жизни, надеялся, что сообщение Галюкова не подтвердится. Теперь ему оставалось одно: собраться, не показать слабость, не ввязаться в спор (последнее от отца требовало особых усилий), а там будь что будет!

Отец все-таки не удержался и начал отвечать на обвинения: «За разделение обкомов все проголосовали единодушно, только оно обеспечит более эффективное руководство все усложняющейся экономикой. В записках делился с товарищами своими мыслями о реформировании страны, ведь дела идут неблестяще, что-то надо предпринимать».

Тут отец осекся, изменил тон, признал некорректность общения с членами Президиума, заверил, что, насколько хватит его сил… и, не договорив, замолк.

Согласно сценарию, следующим выступал Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Ефимович Шелест, в заговоре он принимал активнейшее участие, но его держали на вторых ролях.

Впоследствии в своих воспоминаниях Шелест с большим сочувствием напишет об отце, но в тот октябрьский день он — «ястреб», обвинения отцу сыплет как из рога изобилия: «В 1957 году обещали догнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения и не догнали. Говорили о решении жилищной проблемы и не решили. Обещали в 1962 году повысить зарплату малоимущим и не повысили. Из прав и ответственности республик оставили им только ответственность».

Слова оратора звучали убийственно. Отец внимательно слушал Шелеста, размышлял: «Все правильно, за исключением

республик, прав у них сейчас поболее, чем раньше, здесь Шелест передернул. Вот только почему у нас во всем виноват один человек? Правда, одному ему приписывали и все победы. Так повелось исстари. За все отвечал царь-батюшка, после 1917 года царя не стало, но мышление не изменилось. И останется неизменным еще на многие десятилетия».

Особое недовольство Шелеста (как и всех остальных выступавших) вызвало разделение обкомов на сельские и промышленные и предполагавшаяся в разосланной в июле 1964 года записке реорганизация — профессионализация и одновременно «департизация» сельскохозяйственных производственных управлений. Эта тема кочевала из выступления в выступление. Наиболее четко изложил общее мнение Дмитрий Степанович Полянский, Заместитель председателя Сов мина СССР. Полянский в заговоре балансировал между Брежневым — Подгорным и Семичастным — Шелепиным, одновременно претендуя на особую роль в будущем, послехрущевском, руководстве. Ставил себя выше как Брежнева, так и Шелепина. Мы точно знаем его позицию. Полянский, в отличие от других участников октябрьского заседания, собирался выступать не только на Президиуме, но и на Пленуме ЦК, и все оформил согласно правилам: отпечатал текст и отослал его Брежневу на апробацию. Однако на Пленуме ему слова не дали и из секретариата Брежнева записку Полянского вернули автору, который и передал ее в архив.

«Главная цель этой реорганизации в том, чтобы свести к нулю роль парткомов производственных (сельскохозяйственных) управлений, превратить их в придаток хозяйственных органов, — пишет Полянский. — Как же иначе понять его (Хрущева. — *С. Х.*) слова, которые он недавно сказал на Президиуме ЦК “Что хорошо, так это то, что парткомы теперь на заднем плане, а мне при поездке (в августе 1964 года по сельскохозяйственным районам страны) выставляли начальников производственных управлений. Это очень хорошо. Значит, сделали вывод из моей записки (от 18 июля 1964 года)”. В этой поездке, — продолжает Полянский, — он не нашел времени для беседы хотя бы с одним из секретарей партийных организаций колхозов, совхозов и парткомов Производственных колхозно-совхозных управлений. Но разве пристало, товарищи… радоваться тому, что парткомы на заднем плане? Он (Хрущев. — *С. Х.*) даже предлагал ликвидировать производственные парткомы, иметь вместо них начальников политотделов в ранге заместителя начальника колхозно-совхозного управления. А недавно сказал, что, может быть, целесообразно вообще ликвидировать производственные

управления. Но это значит, что надо ликвидировать и партийные органы на селе. Вот до чего договорились!»

В чем тут дело? Ниже, в соответствующих разделах книги, я подробно опишу коллизии, связанные с реформированием управления сельским хозяйством. Сейчас же поясню вкратце: в 1962 году производственные управления пришли на смену сельским райкомам партии. По замыслу отца, они, как и разделенные по производственному признаку сельские и промышленные обкомы, должны были заменить «общее» руководство колхозами и совхозами, заводами и фабриками профессиональным менеджментом. Им вменялось не столько выколачивать план, сколько советовать, следить за внедрением в производство новейших технологий и агроприемов. Другими словами, отец вознамерился низвести роль партийного руководителя до уровня консультирования. Реорганизацию начали, но отношения, особенно на селе, не изменились. Теперь отец готовился к следующему шагу — передаче полноты власти директорам. Колхозам и совхозам он намеревался предоставить самостоятельность несравненно большую, чем дала реформа 1953 года: пусть сами решают, сколько сеять и как сеять, сколько и кому из своих работников платить, лишь бы вносили исправно оброк государству. Для проверки своего замысла он еще за два года до этого затеял эксперимент на целине. Тамошний экономист-бухгалтер Иван Худенко получил в свое распоряжение три совхоза и полную свободу. Худенко умело ею пользовался: урожаи в его совхозах возросли, зарплата увеличилась, количество работников сократилось. В эксперименте участвовали не только три совхоза Худенко, но и более сорока промышленных предприятий — от швейной фабрики «Большевичка» до крупных химических производств. И тоже очень успешно.

К исходу 1964 году отец уже не сомневался, что пора переходить от эксперимента к повсеместному внедрению новых взаимоотношений производителя и государства. Он понимал, что натолкнется на нешуточное сопротивление и в районах, и в областях, и здесь, в Москве. Всем придется приспосабливаться, в том числе и ему самому. Совсем недавно, по возвращении из поездки по целине, он зацепился с Полянским из-за чепухи: какую следует платить заработную плату чабанам. Дело дошло до откровенной перепалки. В новых же условиях и ему, и Полянскому, и секретарю обкома, и Производственному управлению вмешиваться в такие дела будет заказано, сами совхозники решат, кому сколько платить, сами и заплатят. Что и говорить, ломка предстояла потруднее совнархозной. Но иначе коммунизм не построить. Прошедшие годы показали, что по-

старому работать не получается, да и Ленин завещал, что людям следует доверять, надо не стоять у них над душой, не погонять, а советовать.

При таком раскладе производственные управления, как и райкомы партии, становились излишними, только путались под ногами. Отец предлагал подумать, не следует ли их укрупнить, а в небольших областях и вовсе упразднить. Об этом, и пока ни о чем большем, он советовался в сентябре со своими коллегами. В отличие от отца, его соратников существующая система взаимоотношений в экономике вполне устраивала, разве что следовало укрепить властную вертикаль, восстановить министерства, да и обкомам придать больше веса. Что же до отца, то он, по их мнению, окончательно утратил «чувство реальности». С ним пора кончать.

Однако вернусь к событиям, происходившим на заседании Президиума ЦК. За Шелестом слово взял Геннадий Иванович Воронов, Председатель Совмина РСФСР. С Вороновым отец познакомился в Чите осенью 1954 года, когда, возвращаясь из поездки в Пекин, он по пути останавливался во всех крупных городах дотоле неведомой ему Сибири. Воронов понравился отцу обстоятельностью, деловой хваткой. С отцом всегда держался ровно, свое мнение отстаивал до конца, не лебезил, от хвалебных речей воздерживался.

В августе 1964 года, пока Хрущев инспектировал уборку урожая на целине, на охоте в Завидово Брежнев уговаривал его целую ночь, демонстрировал списки членов ЦК, с «галочками» рядом с фамилиями уже склонившихся на его сторону. В конце концов Воронов согласился.

Воронов, как и все выступавшие до него, сетовал на отсутствие коллективного руководства, обижался, что за последние три с половиной года не смог ни разу высказать отцу своего мнения. (Не знаю, как в рабочее время, но по выходным, в охотничий сезон, и летний и зимний, Геннадий Иванович неизменно наезжал в Завидово, и говорили они там с отцом обо всем.) Обвинил Воронов отца и в возникновении культа его личности. Речи, фотографии отца заполняли первые, и не только первые, страницы газет и журналов. С другой стороны, отец постоянно разъезжал по стране, выступал на совещаниях колхозников, химиков, еще кого-то. Его выступления, как водится в таких случаях, помещались на первых страницах газет. Трудно понять, откуда бралась у него энергия, ведь отцу в 1964 году исполнилось семьдесят лет. Дела последние пару лет шли неблестяще, и все мысли отца крутились вокруг того, как выправить положение, он предлагал то одно новшество, то

другое. Все его предложения встречались на ура, в первую очередь «соратниками» по Президиуму ЦК. Отец воспринимал все эти словоизвержения коллег как одобрение своих мыслей и предложений. И вот сейчас «единомышленники» позволили себе сказать то, что они думали на самом деле. Далее Воронов припомнил отсутствовавшему на заседании Козлову,[1] как тот в свое время поучал его: «Не лезть в дела, которые ведет Хрущев». Затем Воронов пожаловался, что отец как-то назвал его «гибридом инженера с агрономом», что, по моему мнению, совсем не обидно: политический лидер в стране с государственной централизованной экономикой по своей сути не столько политик, сколько менеджер, а любой менеджер обязан разбираться во всем, с чем ему приходится сталкиваться, быть гибридом всего со всем.

Дальше шли стандартные сетования на реорганизации, как они всем надоели, на «покушение» отца на производственные сельскохозяйственные управления. Воронов в сердцах даже воскликнул: «Разве можно принижать райкомы?» Не нравилась Воронову и последняя записка отца, направленная коллегам по Президиуму. «В ваших рекомендациях не знаешь, что правильно!» — выкрикнул Воронов и явно перегнул палку.

По-моему, отец выражал свои мысли ясно, естественно для тех, кто желал его слушать. В подтверждение процитирую малую толику из стенограммы выступления отца на одном из последних заседаний, посвященном пятилетке 1966–1970 годов: «Надо смелее идти на развитие производства средств потребления. Надо провести анализ производства в зарубежных странах и у нас. Ни одна страна в мире не имеет такого технического уровня, как мы. Наши ученые еще семь лет будут догонять сегодняшний уровень Запада, а тот за это время уйдет еще дальше! Надо покупать лицензии — это единственный выход, нельзя жить в науке в условиях автаркии, игнорировать достижения заграницы. Надо ориентироваться на покупку технологий, заводов под ключ, тогда через два года получим новое качество, выйдем на новый уровень… Смотрите, японцы поднялись из руин, из первобытного состояния и сейчас бьют Америку, весь мир, и только через первоначальную покупку лицензий, а затем уже, отталкиваясь от мирового уровня, развивают свое производство».

Конкретно на этом заседании Воронов не присутствовал, но отец скорее всего повторил свои аргументы и 26 сентября на заседании Президиума ЦК и Совета Министров СССР, стенограмма которого пока не найдена.

Отец тогда говорил еще о многом, в частности предложил подумать, не лучше ли перейти в планировании на семи— или восьмилетки, они более соответствуют циклу ввода в действие

новых производств, от закладки первого камня до выпуска головной партии готового продукта. Не знаю, что тут Воронову не понравилось? Что он не понял?

«Отпустить на пенсию», — завершил свое выступление Воронов.

Следующим выступил Александр Николаевич Шелепин, протеже отца, молодой и амбициозный, «железный Шурик», как его называли близкие.

Когда заболел Козлов, отец серьезно подумывал о выдвижении Шелепина на вторые роли, помешал этому отказ Александра Николаевича (несколько лет тому назад) разменять секретарство в ЦК на руководство Ленинградским обкомом. Отец засомневался: сможет ли Шелепин справиться со страной без опыта практической работы. И правильно засомневался. Впоследствии «железный Шурик» проявил себя не только замшелым бюрократом, что позволило Брежневу без труда убрать его со своего пути, но и матерым ортодоксом-сталинистом.

Пока же Шелепин налево и направо рассыпал обвинения, но в отличие от Воронова, не конкретные. Он демагогически валил все в одну кучу: тут и «нетерпимая» обстановка в руководстве, и «сомнительные» люди в окружении отца, и культ личности, и падение годового роста национального дохода, и пристрастие отца к системам автоматического доения коров взамен ручного, и «отрыв» науки от производства. Особенно возмущало Шелепина намерение отца разобраться, что произошло в стране в период коллективизации. Отец собирался высказаться о ней на предстоящем ноябрьском Пленуме ЦК и совсем не так, как предписывалось тогдашними идеологическими установками.

— Материал по периоду коллективизации собирал! — Шелепин едва не сорвался на крик. — Сказал, что Октябрь скую революцию бабы совершили!

Разделение обкомов, профессионализацию управления экономикой Шелепин назвал не просто ошибкой, а теоретической ошибкой.

Не нравилась Шелепину и внешняя политика отца: «С империалистами мы должны быть строже, — поучал он, — лозунг: “Если СССР и США договорятся — все будет в порядке” — неправилен. Позиция в отношении Китая — правильная, но проводить линию надо гибче». Много, очень много претензий выложил перед отцом Шелепин. Записанные убористым почерком тезисы выступления Шелепина заняли почти две полные страницы. Наконец он иссяк, замолчал и сел, не сказав ничего о будущей судьбе отца. Шелепин уже попросту списал его со счетов.

Затем один за другим брали слово Андрей Павлович Кириленко, фактический руководитель Бюро ЦК по РСФСР (в заговоре он твердо держался Брежнева — Под горного, но в силу своего характера и привычки оставался в тени); Кирилл Трофимович Мазуров, секретарь ЦК Компартии Белоруссии; Леонид Николаевич Ефремов, первый заместитель Бюро ЦК по РСФСР в области сельского хозяйства; Василий Павлович Мжаванадзе, секретарь ЦК Компартии Грузии. Их обвинительные речи походили друг на друга, как близнецы: ликвидация райкомов, принижение роли партии и главное — довольно реформ.

Вслед за Мжаванадзе поднялся главный идеолог партии, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Он не говорил о реорганизациях и даже о ликвидации сельских райкомов, его волновало другое, хотя «Генеральная линия правильная… люди стали чаще вести разговоры, а это опасно, надо ввести в партийное русло», дальше Суслов повторил стандартный набор обвинений и заключил свое выступление словами: «Талантлив, но тороплив, много шума в печати, во внешней политике — апломб, в беседе с японскими специалистами наговорил много лишнего. (15 сентября 1964 года отец встречался с японской делегацией, говорили о перспективах торговли и бесперспективности передачи Японии островов Шикотан и Хабоман, пока та состоит в военном союзе с США. Что тут лишнего, не знаю.) Поднять роль Президиума и Пленума ЦК». О судьбе отца Суслов впрямую ничего не сказал, поосторожничал.

Председатель ВЦСПС Виктор Васильевич Гришин постарался подсластить пилюлю. Он работал с отцом еще со времени его возвращения в Москву в 1949 году. Гришина мучила совесть, но и пойти против остальных он не посмел. В заговоре против отца примыкал к группировке Брежнева — Подгорного, по его прикидкам более перспективной, чем шелепинская.

— Среди сидящих здесь у вас есть настоящие друзья, — начал Гришин. Брежнев встрепенулся, и докладчик тут же «выправился»: — И мы должны сказать прямо, так как ведется дело, дальше продолжаться не может. (Брежнев облегченно вздохнул.) — Он стремился к лучшему и многое сделал, но товарищи правильно говорили, все успехи как будто исходят от Хрущева.

Вначале Гришин не решил, как величать отца, по фамилии или имени и отчеству, но, наконец, выстроил дистанцию и назвал по фамилии.

— Есть личные отрицательные качества, — записывал Малин, — нежелание считаться с коллективом, диктаторство. Нет коллективного руководства… Интереса к профсоюзам не

проявлял…

После выступления Гришина решили прерваться до завтра, время уже позднее, а по такому вопросу обязаны высказаться все.

По возвращении домой отец долго гулял один по узкой асфальтированной дорожке, проложенной вдоль высокого забора, окружавшего правительственную резиденцию по Воробьевскому шоссе, 40. Чем-то эта «прогулка» напоминала кружение волка по периметру клетки в зоопарке, круг за кругом, круг за кругом. Вернувшись наконец в дом, отец поднял трубку «кремлевки» и набрал номер резиденции Микояна. Он жил неподалеку, через два дома.

— Анастас, скажи им, что я бороться не стану, пусть поступают, как знают, я подчинюсь любому решению, — произнес отец одним духом, потом помолчал немного и закончил. — С теми, со сталинистами (отец имел в виду Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова), мы разошлись по принципиальным позициям, а эти… — отец не нашел подходящего слова.

— Ты правильно поступаешь, Никита, — неуверенно-осторожно, подбирая слова, начал Анастас Иванович. Оба они не сомневались: Семичастный их сейчас слушает в оба уха. — Но я думаю, ты еще поработаешь, отыщется какой-то компромисс. Ведь столько вместе…

Отец не стал дальше слушать и положил трубку. Через несколько минут Семичастный позвонил Брежневу и доложил о решении отца сдаться без боя.

На следующий день, 14 октября, первым выпало говорить заместителю Председателя Совета Министров СССР Дмитрию Степановичу Полянскому. Я уже упоминал его. Шустрого, 32-летнего крымского агронома-организатора, секретаря Крымского обкома отец заприметил еще в конце сороковых и с тех пор направлял его карьеру. Сегодня Полянский с отцом не церемонился, в отличие от Гришина о старой дружбе не вспоминал.

«Линия съездов правильная, — читаем мы в записи Малина, — другое дело осуществление ее товарищем Хрущевым. Наше заседание — историческое… Другим Хрущев стал, в последнее время захотел возвыситься над партией. Сталина поносит до неприличия. В сельском хозяйстве в первые годы шло хорошо, затем застой и разочарование… 78 миллиардов рублей не хватило (в Совмине Полянский — заместитель отца — курировал сельское хозяйство, и поиск этих недостающих 78 миллиардов рублей относился к его компетенции), руководство через записки. Лысенко — Аракчеев в науке. О ценах — глупость

высказывали. Вы десять академиков Тимирязевки не принимаете два года, а капиталистов с ходу принимаете…»

Особенно досталось от бывшего крымского агронома ни в чем не повинной гидропонике, недавно пришедшему с Запада и активно пропагандируемому отцом способу выращивания тепличных овощей не в деревянных, сбитых ржавыми гвоздями ящиках с землей, а в пластиковых лотках на гравии, пропитанном насыщенными удобрениями растворами. Расчеты показывали, что новая технология экономичнее, с ее помощью наконец-то удастся наладить круглогодичную поставку свежих овощей и зелени к столу горожан.

— Он и этим намеревался заставить нас заниматься! — искренне возмущался Полянский.

Конечно, гидропоника сама по себе мало интересовала оратора, но отныне все, что шло от отца, предавалось анафеме.

— Тяжелый вы человек, уйти вам со всех постов в отставку, вы же не сдадитесь просто, — Полянский не знал о подслушанном Семичастным разговоре отца с Микояном.

Не успел Полянский закончить, как вмешался Шелепин: «Товарищ Микоян ведет себя неправильно, послушайте, что он говорит!»

Анастас Иванович справедливо заслужил репутацию крайне изворотливого политика и при этом ухитрялся всегда сохранять собственное суждение и при Сталине, и при Хрущеве. И сейчас он считал, что «критика отцу пойдет на пользу, следует разделить посты главы партии и правительства, на последний — назначить Косыгина, Хрущева следует разгрузить, и он должен оставаться у руководства партией». Микоян не мог не понимать, что он не просто в меньшинстве, а в одиночестве, что этого выступления ему не простят, но решил на старости лет не кривить душой. Микояну и не простили, в следующем году, по достижении семидесятилетия, его отправят в отставку.

За Микояном выступил Секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов.

Рашидов почти слово в слово повторил предыдущих ораторов. Зла он на отца не держал, привычно следовал заведенному издавна и не им порядку. Следом за Рашидовым слово взял первый заместитель Председателя Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин. Он выразил свое «удовлетворение ходом обсуждения. Линию они проводят правильную. Обстановка в ЦК и его Президиуме характеризуется единством. Пленум несомненно поддержит их во всем».

— Письма льстивые рассылаете, а критические — нет, — попенял Косыгин отцу.

Его слова расходятся со свидетельством Семичастного: отец, по его словам, требовал приносить и зачитывать ему самые злые анонимки, в том числе и те, где «Никиту» матом ругали.

Не будем судить Косыгина слишком строго, о заговоре его известили в последнюю минуту, и он, правая и доверенная рука отца, перестраивался на ходу.

— Кадры, — вы не радуетесь росту людей, — продолжал Алексей Николаевич, сам не очень понимая, что говорит (или очень хорошо понимая? Косыгин не мог не знать о планах отца обновить «кадры» на предстоящем Пленуме, двинуть вперед молодых). — Доклад т. Суслова (об идеологии) сначала хвалил, потом хаял, — продолжал набирать очки Косыгин, Брежнев одобрительно кивал головой. — Пленумы — все сам делает. Военные вопросы монополизировал. Отношение к братским социалистическим странам характеризуется словами: «Был бы хлеб — мешки найдутся!».

Косыгин говорил еще долго. Так долго, что Брежнев многозначительно постучал по циферблату часов у себя на запястье.

— Созвать Пленум, — заторопился Косыгин. — Разделить посты главы партии и главы правительства (он уже знал, что последний предназначается ему), ввести официальный пост второго секретаря ЦК КПСС. (Он предназначался Николаю Подгорному.) Вас (то есть отца) освободить от всех постов.

После Косыгина пришла очередь говорить Николаю Викторовичу Подгорному, секретарю ЦК. Николай Викторович Подгорный — один из инициаторов заговора против отца. В тандеме с Брежневым играл роль ведущего, пропустил Леонида Ильича вперед только в силу более высокого положения в сложившейся партийно-государственной иерархии. Отношение к отцу было подобострастное, я бы сказал, грубовато-подхалимское. Последние месяцы Подгорный «висел на волоске», отец считал его приглашение в Москву и возвышение своей ошибкой, Подгорный показал себя никудышным администратором, человеком туповатым, но с непомерными амбициями. Отец в Подгорном разочаровался и подумывал, как бы от него без скандала избавиться. Предстоящий ноябрьский Пленум наверняка завершил бы его карьеру. Подгорный, мастер интриги, это чувствовал, что и толкнуло его к превентивным действиям. Не будучи уверенным в своих возможностях в Москве, он вовлек в заговор Брежнева. Говорил Подгорный зло, безапелляционно, не стесняясь в выражениях. Приведу только некоторые из его пассажей: «Согласен с выступлениями всех, кроме Микояна. Колоссальные ошибки в реорганизации. Ссылки на Сталина — ни

к чему, сам все хуже делает. О разделении обкомов — глупость. Во взаимоотношениях с социалистическими странами разброд, и по вашей вине. С Хрущевым невозможно разговаривать. Разделить посты. Решить на Пленуме. Как отразится отставка Хрущева на международном и внутреннем положении? Отразится, но ничего не случится».

В этот момент дверь зала заседаний Президиума ЦК приоткрылась, в нее просунулась голова секретаря Брежнева, затем он, почему-то на цыпочках, подбежал к Брежневу и зашептал ему в ухо. Брежнев показал рукой Подгорному: достаточно, садись. Николай Викторович недовольно опустился на стул — не успели еще от одного избавиться, а уже другой ручкой помахивает.

Секретарь Брежнева так бесцеремонно нарушил правила (во время заседания Президиума ЦК в зал разрешалось входить только по вызову), потому что ему уже в который раз звонил Семичастный и умолял, требовал вытащить Брежнева к телефону. Леонид Ильич объявил перерыв на несколько минут и вышел из зала заседаний.

— Что случилось? — нервно схватив телефонную трубку, спросил Брежнев. Ответ Семичастного сводился к следующему: ему поручили собрать членов Президиума ЦК, не всех, а только тех, с кем о смене власти в Кремле заранее условились или на кого заговорщики, по их мнению, могли рассчитывать. Со вчерашнего дня все эти люди слонялись по кремлевским коридорам, обменивались слухами, гадали, что же происходит там, в Президиуме ЦК, и донимали Семичастного вопросами, когда же их наконец соберут в Свердловском зале и обо всем оповестят. К полудню 14 октября многие начали роптать, а особо строптивые грозить, что начнут заседание Пленума ЦК сами, без Президиума. В конце концов, по Уставу именно Пленум выбирает Президиум, а не наоборот. Произносились такие слова как бы в шутку, с ухмылкой, но они не на шутку испугали Семичастного. Во времена перемен любая шутка, да еще такая, опасна. Сегодня заговорщики на самом верху интригуют против Хрущева, так почему членам ЦК не поступить так же, не взять власть в свои руки, не ограничиться смещением отца, а переизбрать Президиум целиком? Вот Семичастный и решился поторопить Леонида Ильича. Он то ли попросил, то ли потребовал закругляться и, пока не поздно, перенести действо на заседание Пленума, его нужно провести сегодня же, завершить «операцию» до вечера.

— Вторую ночь я не выдержу, — заявил Семичастный Брежневу.

— Еще не все выступили, а надо, чтобы все до одного

прилюдно повязали себя, — настаивал Брежнев.

Леонид Ильич не решался сказать ни да, ни нет. Внутренне он страшился Пленума, но, когда Семичастный пригрозил, что в случае промедления он снимает с себя ответственность и более ни за что не ручается, Брежнев сдался. Попросил чуть повременить, ему надо посоветоваться со «своими».

— Через тридцать минут он мне перезвонил, — в 1988 году рассказывал Семичастный главному редактору еженедельника «Аргументы и факты» В. А. Старкову, — попросил всех успокоить, все идет по плану. Члены Президиума ЦК выступили — остались кое-кто из кандидатов и секретарей ЦК, им дадим по три-четыре минуты, чтобы они, не рассусоливая, определились, а в шесть часов вечера — Пленум.

— Меня это устраивает, — ответил Брежневу Семичастный. — Могу я объявить?

— Давай, объявляй! Мы своим службам уже скомандовали, распорядись и ты по своей линии, — закончил разговор Брежнев и положил трубку.

В своей книге В. Е. Семичастный описывает этот эпизод весьма скупо, он старается дистанцироваться от событий, свести свою роль к чисто служебной. Такую линию поведения в начале 1990-х годов они выбрали вместе с Шелепиным и придерживались ее до конца жизни. Их признания в ранних интервью более содержательны.

Вернувшись в зал заседаний Президиума, Леонид Ильич сам взял слово и поспешил подвести черту под обсуждением: «Согласен со всеми. Прошел с вами путь с 1938 года, с вами боролся с антипартийной группой в 1957 году, но не могу вступать в сделку со своей совестью. Освободить Хрущева от занимаемых постов (Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя правительства), разделить посты.

Тех, кому не удалось выступить, ограничили не тремя минутами, а буквально двумя словами:

Андропов — «предложение поддерживаю».

Пономарев — «поддерживаю».

Ильичев — «согласен».

Демичев — «согласен».

Рудаков — «согласен».

Поднял Брежнев и Микояна, вторично, но он и на сей раз ответил по-своему:

— Говорил, что думал, с большинством согласен. Хрущев сказал мне, что за посты бороться не намерен.

Далее Микоян коротко рассказал о ночном звонке отца. Брежнев на его слова не отреагировал, а остальные вздохнули с

облегчением. Они опасались, как бы отец не попытался изменить ситуацию в свою пользу на Пленуме. И, чем черт не шутит, с его энергией…

Последним высказался Шверник:

— Никита Сергеевич неправильно повел себя. Лишить постов.

Отец все это время сидел понурившись. Теперь пришла его пора говорить. Говорить в последний раз.

— С вами бороться не могу, — начал отец, голос его звучал глухо. — Вместе мы одолели антипартийную группу, мы — единомышленники. — Отец замолчал, подыскивая нужные слова. — Вашу честность ценю, — заговорил он снова. — В разные периоды времени я по-разному относился к здесь присутствующим, но всегда ценил вас. У товарища Полянского и у товарища Воронова за грубость прошу прощения. Не со зла это. Главная моя ошибка, что в 1958 году я пошел на поводу у вас и согласился совместить посты Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР, слабость проявил, не оказал сопротивления. Грубость по адресу Сахарова признаю, Келдыша — тоже. Зерно и кукуруза, Производственные управления, разделение или не разделение обкомов. Придется вам теперь всем этим заниматься.

Дальше отец говорил о своей позиции в международных вопросах: о Кубинском кризисе, о Берлине, о социалистическом лагере и закончил словами: «Все надо делать, чтобы трещины между нашими странами не возникло. Не прошу у вас милости, вопрос решен. Я еще вчера сказал (по телефону Микояну), что бороться не буду, ведь мы единомышленники. Зачем мне выискивать черные краски и мазать ими вас? — Отец снова замолчал, обида взяла верх, потом продолжил: — Правда, вы вот собрались вместе и мажете меня говном, а я и возразить не могу, — но он тут же спохватился и заговорил другим тоном, я бы сказал, приподнято: — Несмотря на все происходящее, я радуюсь: наконец-то партия настолько выросла, что стала способна контролировать любого своего члена, какое бы высокое положение он ни занимал. (Эти слова отец повторил и мне, когда заехал домой между заседанием Президиума и Пленумом ЦК, где предстояло его формальное отрешение от власти.) Я чувствовал последние годы, что не справлюсь со всем ворохом дел, — произнес отец в заключение, — но жизнь штука цепкая, все казалось еще годик, еще один, да и зазнался я, признаю. Обращаюсь к вам с просьбой об освобождении со всех постов, сами напишите заявление, я подпишу. Дальнейшую мою судьбу вам решать, как скажете, так я и поступлю, где скажете, там и стану жить. — Отец обвел всех присутствующих глазами, тяжело

вздохнул: — За совместную работу спасибо, спасибо и за критику, хотя и запоздалую».

Он сел на стул, тут же, как по мановению волшебной палочки, перед ним легло аккуратно отпечатанное заявление об отставке: «…в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». Отец внимательно прочитал короткий, всего в несколько строк текст, горько усмехнулся и вынул из кармана паркеровскую ручку. Сколько ею подписано документов, изменивших лик страны, международных соглашений, и вот последняя подпись. Отец снял колпачок, зачем-то внимательно оглядел чуть высовывавшийся наружу кончик золотого пера и расписался. В последнюю минуту рука предательски дрогнула, подпись получилась неуверенной, в чем-то стариковской.

Теперь оставалось последнее испытание — Пленум ЦК. Перед заседанием Пленума победители решили пообедать, как обычно, здесь же, в Кремле. Отец завел эту привычку собираться вместе на обед в Кремле — и время экономилось, и представлялась дополнительная, неформальная возможность обменяться мнениями. На сей раз отец в столовую не пошел, не о чем им теперь разговаривать. Поехал домой, на Ленинские (ныне Воробьевы) горы.

Я ожидал его в резиденции на Ленинских горах, томился предчувствием неминуемого. Около двух часов дня позвонил дежурный по приемной отца в Кремле и передал, что Никита Сергеевич выехал. Я встретил машину у ворот. Отец сунул мне в руки свой черный портфель и не сказал, а выдохнул: «Все… В отставке…» Немного помолчав, добавил: «Не стал с ними обедать».

Начинался новый этап жизни. Что будет впереди — не знал никто. Ясно было одно — от нас ничего не зависит, остается только ждать.

— Я сам написал заявление с просьбой освободить меня по состоянию здоровья.

Теперь остается оформить решение Пленума. Сказал, что подчиняюсь дисциплине и выполню все решения, которые примет Центральный Комитет. Еще сказал, что жить буду, где мне укажут: в Москве или в другом месте, — предварил отец мои вопросы.

После обеда отец вышел погулять. Все было необычно и непривычно в этот день — эта прогулка в рабочее время и цель ее, вернее, бесцельность. Раньше отец гулял час вечером после работы, чтобы сбросить с себя усталость, накопившуюся за день, и, немного отдохнув, приняться за последнюю почту. Час этот был строго отмерен, ни больше, ни меньше. В тот день бумаги —

материалы к очередному заседанию Президиума ЦК, перевод доктрины министра обороны Роберта Макнамары, сводки ТАСС — остались в портфеле. Там им было суждено пролежать нераскрытыми и забытыми до самой смерти отца. Он больше никогда не заглядывал в свой портфель.

Мы шли молча. Рядом лениво трусил Арбат, немецкая овчарка, собака Лены — моей сестры. Раньше он относился к отцу равнодушно, не выказывал к нему особого внимания. Подойдет, бывало, вильнет хвостом и идет по своим делам. Сегодня же не отходил ни на шаг. С этого дня Арбат постоянно следовал за отцом.

— А кого назначили? — не выдержал я молчания.

— Первым секретарем будет Брежнев, а Косыгин — Председателем Совмина. Косыгин — достойная кандидатура (привычка отца оценивать людей, примеряя их к тому или иному посту, по-прежнему брала свое), еще когда освобождали Булганина, я предлагал его на эту должность. Он хорошо знает народное хозяйство и справится с работой. Насчет Брежнева сказать труднее — характер у него пластилиновый, слишком он поддается чужому влиянию… Не знаю, хватит ли у него воли проводить правильную линию. Ну, меня это уже не касается, я теперь пенсионер, мое дело — сторона.

Больше мы к теме власти не возвращались ни в тот день, ни в последующие годы. Как отец после прогулки уезжал на заседание Пленума ЦК, как вернулся оттуда, у меня в памяти не отложилось.

Тем временем во время обеда в Кремле Брежнев еще не определился окончательно, как проводить Пленум? Под готовились два докладчика: Полянский и Суслов. Полянский рвался в бой, жаждал крови. Но Брежнев опасался, что изложенные в тексте его доклада обвинения можно отнести не к одному Хрущеву, а самого Полянского может «занести» и потом никто уже с Пленумом не совладает. Да и Семичастный перед обедом еще подлил масла в огонь.

— Вы дозаседаетесь, что или вас посадят, или Хрущева, — стращал Семичастный Брежнева. — Я за день наслушался и тех, и других. Одни переживают, хотят Хрущева спасать, другие призывают вас спасать. Третьи спрашивают, что же ты в ЧК сидишь, бездействуешь?

Брежнев решил: с докладом на Пленуме предоставить слово Суслову, он набил руку на подобных делах — выступал по делу антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова, разоблачал маршала Жукова. Сухой, немногословный Суслов совладает с нынешней ситуацией,

не даст разгуляться страстям. Члены Президиума не возражали. От прений предпочли вообще отказаться. Это явилось полной неожиданностью для членов ЦК, такого еще не случалось, ритуал требовал единодушного осуждения уже фактически осужденного.

«Я тоже не знал, что прений не будет… — вспоминал в 1988 году Семичастный. — Я думаю, они не без царя в голове это сделали. Не знали, куда покатится, как бы не задело и их. Там мог быть разговор… Я думаю, эти старики продумали все и, боясь за свои… кости, все сделали, чтобы не открывать прения на Пленуме. В Свердловском зале такая кутерьма началась. Я сидел, наблюдал. Самые рьяные подхалимы кричали: “Исключить из партии! Отдать под суд!” Те, кто поспокойнее, сидели молча. Так что разговора серьезного, критического, аналитического, такого, чтобы почувствовать власть ЦК, не было. Все за ЦК решил Президиум и решенное, готовое, жеваное-пережеваное выбросил: “Голосуйте!”».

Об отсутствии прений на Пленуме говорит другой участник заседания, тогдашний секретарь МГК, «шелепинец», Николай Григорьевич Егорычев: «Теперь, по прошествии стольких лет, ясно и то, что Брежнев не зря был против выступлений на Пленуме. Во время прений под горячую руку могло быть высказано много такого, что потом связало бы ему руки. А у Леонида Ильича в голове, очевидно, уже тогда были другие планы».

Отец выслушал доклад Суслова, не поднимая головы. Не поднял он ее и во время голосования. Когда объявили краткий перерыв, он вышел из зала и больше в него не вернулся, сел в машину и уехал домой. Брежнева и Косыгина назначили уже в его отсутствие. Собственно, и перерыв объявили с единственной целью, — удалить отца из зала заседаний Пленума.

Хочу отметить еще такой эпизод. Как рассказывала впоследствии секретарь ЦК Компартии Украины, сторонница отца Ольга Ильинична Иващенко, в начале октября она узнала о готовящихся событиях и попыталась по телефону правительственной связи «ВЧ» дозвониться Никите Сергеевичу. Соединиться ей не удалось. Хрущева надежно блокировали. На Пленум ее не допустили, как и другого прохрущевского члена ЦК, первого заместителя председателя КПК при ЦК КПСС Зиновия Тимофеевича Сердюка. Вскоре их обоих освободили от занимаемых постов, вывели из ЦК и отправили на пенсию.

В народе отставку отца восприняли с облегчением, большинство людей на улицах откровенно радовались, надеялись, что с уходом неугомонного Хрущева все устаканится, жизнь станет лучше. Функционеры всех уровней праздновали победу: с новациями покончено, их перестанут дергать, пересаживать с

места на место, требовать поднимать целину, строить панельные пятиэтажки, развивать химию, сажать кукурузу, наконец-то наступит стабильность.

Они оказались правы, с уходом отца период реформ завершился, страна вступила в эпоху спячки, застоя. А темпы роста в промышленности и сельском хозяйстве тем временем из года в год замедлялись, недвусмысленно сигнализируя: требуются перемены, без них наступит крах. Но в России на подобные сигналы редко обращают внимания, надеются на авось. Понадеялись и на этот раз. Но все это впереди.

Пока же одни праздновали победу, а отцу предстояло смириться с поражением. Вечером того же памятного дня, 14 октября, к отцу пришел Микоян. После Пленума состоялось заседание Президиума ЦК, и Микояна делегировали к нему проинформировать о принятых решениях.

Сели за стол в столовой, отец попросил принести чай. Он любил чай и пил его из тонкого прозрачного стакана с ручкой, наподобие той, что бывает у чашек. Этот стакан с ручкой он привез из Германской Демократической Республики. Необычный стакан ему очень нравился, и он постоянно им хвастался перед гостями, демонстрируя, как удобно из него пить горячий чай, не обжигая пальцев.

Подали чай.

— Меня просили передать тебе следующее, — начал Анастас Иванович нерешительно. — Нынешняя дача и городская квартира (резиденция на Ленинских горах) сохраняются за тобой пожизненно.

— Хорошо, — неопределенно отозвался отец.

Трудно было понять, что это — знак благодарности или просто подтверждение того, что он расслышал сказанное. Немного подумав, он повторил то, что уже говорил мне: «Я готов жить там, где мне прикажут».

— Охрана и обслуживающий персонал тоже останутся, но людей заменят. Отец понимающе хмыкнул.

— Будет установлена пенсия — 500 рублей в месяц и закреплена автомашина, — Микоян замялся. — Хотят сохранить за тобой должность члена Президиума Верховного Совета, правда, окончательного решения не приняли. Я еще предлагал учредить для тебя должность консультанта Президиума ЦК, но мое предложение отвергли.

— Это ты напрасно, на это они никогда не пойдут. Зачем я им после всего, что произошло? Мои советы и неизбежное вмешательство только связывали бы им руки. Да и встречаться со мной им не доставит удовольствия… — отец с напором раз за

разом произносил безликое «им». — Конечно, хорошо бы иметь какое-то дело. Не знаю, как я смогу жить пенсионером, ничего не делая. Но это ты напрасно предлагал. Тем не менее спасибо, приятно чувствовать, что рядом есть друг.

Отец как в воду глядел, уже через неделю все обещания показались Брежневу чрезмерными, из резиденции на Ленинских горах и дачи Горки-9 отца выселили, а уж о советничестве и речи не могло идти, само упоминание имени отца стало крамольным, до конца его дней никто из политиков по доброй воле с ним не встретился ни разу.

Разговор закончился. Отец вышел проводить Микояна на крыльцо перед домом. Все эти октябрьские дни стояла почти летняя погода. Вот и сейчас было тепло и солнечно. Анастас Иванович обнял и расцеловал отца. Тогда в руководстве еще не привыкли целоваться, и это прощание всех растрогало.

Микоян быстро пошел к воротам. Вот его невысокая фигура скрылась за поворотом. Отец смотрел ему вслед. Больше они не встречались.

Часть 1
Начало

Начало начал

Отец родился в деревне Калиновка Курской губернии в апреле, официально 17-го, а на деле 15 апреля 1894 года (при переходе со старого стиля на новый в его документах напутали). Имя Никита дали по святцам, 3 апреля (по старому стилю) день памяти святого Никиты-исповедника. С детства отец мечтал выучиться на инженера, но сначала просто выучиться. Нормальной школы в Калиновке, как и в большинстве российских деревень, не было. Отцу удалось научиться в двухлетней школе при местной церкви началам грамоты да еще Закону Божьему.

В 1908 году Сергей Никанорович, мой дед,[2] взял пятнадцатилетнего Никиту в Донбасс, в Юзовку,[3] где сам он подрабатывал зимами, плотничая на шахтах. Крестьянским трудом прокормить семью не имелось никакой возможности. Поначалу Никиту пристроили на шахту, принадлежавшую французам, держали на подхвате, но недолго. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, рассказывала бабушка Ксения Ивановна, Сергей Никанорович отвел его к Вагнеру, управляющему заводом Горнорудного машиностроения, принадлежащим бельгийцу Боссе. Освоившись, он вскоре стал зарабатывать больше своего отца. В шахтерскую среду отца ввел его новый знакомый, рабочий Иван Андреевич Писарев, он же приобщил и к общественной жизни, водил в кружки, где обсуждались насущные дела, в основном местного масштаба. Ни в партию большевиков, ни в какую-либо иную отец тогда не вступил — видимо, не играли тогда партии заметной роли в рабочей жизни. Членом коммунистической, тогда она еще называлась социал-демократической, партии, он стал уже во время Гражданской войны, в 1918 году. Думаю, что и без Писарева отец, с его энергичным характером и тягой ко всему новому, не миновал бы участия в рабочем движении. Но кто-то должен был помочь сделать первый шаг.

Роль семьи Писаревых в жизни отца оказалась более чем значительней. Первые годы самостоятельной рабочей жизни он снимал у них комнату. Там же столовался, стал почти членом семьи, а затем и породнился. Посватавшись по всем правилам, отец в 1914 году женился на одной из пяти дочерей Писаревых, Ефросинье. В 1916 году в них родилась дочь Юлия, а еще через год мальчик Леонид. На этом семейная жизнь закончилась — революция, Гражданская война, тиф. От тифа в 1918 году и умерла Ефросинья.

Много лет спустя, в 1990 году я проехал по отцовским

местам, говорил с его сверстниками. В их памяти он остался худым, быстрым, рукастым пареньком, быстро схватывавшим все новое, компанейским и одновременно тянущимся к старшим, дорожившим их знакомством и расположением.

Начав зарабатывать, отец купил себе велосипед и гармошку, колесил по окрестностям, по вечерам растягивал мехи, на музыку слеталась молодежь, начинались танцы. Самому ему потанцевать удавалось не всегда, он — музыкант. Вскоре отцу наскучило крутить педали, и он приладил к велосипеду моторчик, получился мопед. По нынешним годам — не велико дело, но в начале XX века такое казалось почти космическим достижением. Поднакопив денег, купил еще одну диковинку — фотоаппарат, затем приобрел карманные часы (наручных в те годы в Донбассе не знали). Часы тогда не столько измеряли время, сколько являлись знаком перехода на следующую ступень в заводской иерархии. Их носили мастера, инженеры-железнодорожники. Отец мечтал выучиться и стать с ними вровень. Но учиться снова не пришлось, помогал родителям, зарабатывал на жизнь, потом появилась собственная семья. Какая тут учеба? Да и школ в округе не было.

Что еще сказать об отце? Не чуравшийся вечеринок, отец не курил и не пил. Совсем не пил. В те годы в Российской империи набирала обороты первая в двадцатом веке антиалкогольная кампания. В 1910 году в Санкт-Петербурге собрался Всеимперский съезд по борьбе с пьянством. Отцу это начинание пришлось по душе, он одним из первых вступил в «Общество трезвости», вскоре его избрали председателем местного отделения. Не изменила его и Гражданская война.

Когда отец занял высшие посты в партии и государства, ему стали дарить подарки. Часто дарили спиртное, оно оседало в доме, мама складировала бутылки в подвале резиденции на Ленинских горах, где мы жили. Постепенно их там накопилось великое множество. После отставки отца, так и не раскупоренные, они разошлись по родственникам и знакомым.

Согласно правилам, перед тем как попасть в дом, каждая подаренная бутылка отправлялась в специальную лабораторию, где из них шприцем отсасывали часть содержимого на анализ, нет ли там чего недозволенного. Отец шутил, что в лаборатории понимают толк в вине, ординарные вина приходили оттуда почти нетронутыми, а коллекционные вина выходили из лаборатории ополовиненными, подвергались «более тщательным исследованиям». Отец ворчал, но мер никаких не принимал.

Хотя времена «Общества трезвости» и канули в лету, отец обильным возлияниям предпочитал застольную беседу, а уж под

совсем хорошее настроение подначивал гостей на песню. Сам запевать он стеснялся, но с удовольствием подтягивал. Пели, в зависимости от настроения, русскую «Калинку», советскую «Ой, Днипро, Днипро», украинские «Реве та стогне Дніпр широкий» или «Гей, на горі та й женці жнуть».

Из этой песни я запомнил пару куплетов:

Гей, на горі,
Там женци жнуть.
А попід горою,
яром, долиною,
Козаки йдуть.

Попереду, попереду
Дорошенко[4]
Веде свое військо,
військо Запорізьке
Хорошенько.

А позаду, а позаду
Сагайдачный,[5]
Що проміняв жінку
на тютюн та люльку,
Необачний.

Любовь к украинским песням, как и к украинской природе, к вышитым украинским рубашкам, не стесняющим горло тугим воротничкам, отец сохранил на весь остаток свой жизни.

Хорошее вино отец ценил, любил пробовать, отхлебывая из рюмки малюсенький глоток, почти каплю, гонял ее по языку и, наслаждаясь, причмокивал. В его коллекции хранилось несколько особо драгоценных бутылок старого вина, он говорил, сорокалетнего, откупоривали его лишь в особых случаях для дорогих гостей, правда, не всегда понимавших в винах. В таких случаях, когда гости расходились, отец сердился: как они смели «хлопать» сорокалетнее вино, как водку, рюмками, да еще капустой закусывать. Больше отец таким гостям «настоящих» вин не выставлял, ограничивался ординарными Цинандали и Хванчкарой. Водку отец не жаловал, а вот выдержанным коньякам отдавал должное, армянским предпочитал грузинские КВ. Для коньяка он держал специальную высокую узкую семиграммовую рюмочку (сейчас она хранится в Музее современной истории в Москве) и выпивал ее в три приема. С обычаем питья коньяка из специальных объемистых, усиливающих запах, бокалов, отец

познакомился весной 1960 года во время визита во Францию, гостил в резиденции Шарля де Голля в Рамбуйе. Он оказался способным учеником, долго грел шаровидный сосуд в ладонях, круговыми движениями разбалтывал содержимое по стенкам, подносил рюмку к носу и наслаждался вдыхаемым ароматом.

Мог отец и захмелеть, но такое случалось редко. Помню его навеселе на приеме в Кремле в честь полета первого человека в космос. Он произносил тост за тостом за Юрия Гагарина, за конструкторов, за испытателей и, в отличие от большинства приемов, требовал наливать ему настоящий коньяк, а не чай из коньячной бутылки, как это обычно практиковалось. Можно вспомнить еще несколько подобных эпизодов на других приемах, там, где он считал невозможным манкировать, к примеру во время визита в Югославию в 1955 году, или просто, когда окружали уж очень симпатичные ему люди. Дома без компании он спиртного практически не употреблял, врачи запретили. К тому же, отец страдал камнями в почках, после второй или третьей рюмки они начинали шевелиться, и эта ужасная боль кого угодно отохотит пить.

Отец не только никогда не курил, но и табачный дым на дух не переносил. Когда в 1924 году они с моей матерью, Ниной Петровной Кухарчук, решили жениться, отец поставил одно условие: «Бросай курить». И мама бросила, хотя курила уже несколько лет. Курение в те годы являлось одним из признаков эмансипации женщин. Пришлось ради любви эмансипацией пожертвовать.

После революции и Гражданской войны, в начале 1922 года, отец вернулся из армии на родную шахту и при первой возможности наконец-то пошел учиться на рабфак — рабочий факультет, школу для взрослых. Тогда учились и стар и млад, страна стремилась вырваться из неграмотности. Отцу уже шел двадцать девятый год — солидный возраст для школьника. Обучение велось ускоренным методом. Через три года, в 1925 году, отец закончил рабфак, мечта его жизни — Машиностроительный факультет в Харьковском политехе казалась близкой к осуществлению. А дальше вожделенная карьера инженера, изобретателя…

Но мечты, к сожалению, редко осуществляются. Жизнь повернулась иначе. Партии он оказался нужнее здесь, в Донбассе, наступил НЭП, требовалось восстанавливать шахты, налаживать сельское хозяйство, вконец разоренные в годы военного коммунизма, и отец подчинился. Вместо студента Политехнического института он стал секретарем партийного комитета Петрово-Марьинского уезда. Он шаг за шагом

поднимался по ступенькам партийной иерархии — в 1928 году переехал в тогдашнюю столицу Украины Харьков, а оттуда, с повышением — в Киев, в те годы считавшийся, в отличие от пролетарского Харькова, оплотом украинской интеллигенции и украинского национализма.

В Москву

Шли годы, но мечта об инженерной карьере не ослабевала, вот только ее осуществление отодвигалось год за годом. В 1929 году отец вплотную подошел к критическому рубежу, ему исполнялось 35 лет, по существовавшим тогда законам, старше этого возраста в высшие учебные заведения не принимали. Отец решил действовать. Он поехал в Харьков, пробился на прием к Первому секретарю ЦК Компартии Украины Станиславу Косиору, упросил его отпустить на учебу в Москву и, более того, рекомендовать в Промышленную академию.

В Москве, в Промышленной академии отца, несмотря на рекомендацию члена Политбюро ЦК, приняли более чем прохладно, сослались на недостаток «руководящего хозяйственного стажа» и порекомендовали вместо академии пойти на курсы марксизма-ленинизма при ЦК партии. «Вам туда, — сказали ему, вспоминает отец в своих мемуарах, — а здесь создано учебное заведение для управляющих, для директоров». В академию принимали хозяйственников, бывших рабочих, ставших после революции директорами заводов. Им требовалось во что бы то ни стало срочно набраться знаний, стать профессионалами. Отец же — партийный работник, мог и повременить. Но он уже принял решение, а характера ему уже тогда было не занимать. «Пришлось мне побеспокоить Лазаря Моисеевича Кагановича и попросить, чтобы ЦК поддержало меня. Каганович тогда занимал должность секретаря ЦК. (Каганович Л. М., родился 22 ноября 1893 года на Украине в селе Кабаны Чернобыльского уезда Киевской губернии, по профессии сапожник; отучился в четырехлетней сельской школе, далее занимался самообразованием. С отцом впервые они встретились в октябре 1915 года, тогда Каганович под именем Бориса Кошеровича, уроженца города Шауляй, выступал на шахтерских митингах в Юзовке.) Я добился своего, Каганович меня поддержал, и таким образом я стал слушателем Промышленной академии», — с гордостью констатирует отец.

Отец поступил в Промышленную академию, но рано торжествовал победу, его подвела его же натура — активность, страсть вмешиваться во все, стремление верховодить. Отец становится секретарем парткома академии, с головой окунается в борьбу с оппозицией Сталину. Какая тут учеба? Но он старался изо всех сил, а так как сил на все не хватало, отбрасывал второстепенное. Что считать второстепенным, отец решал сам, не колеблясь, отнес к не имеющим реальной ценности в жизни,

предметам и иностранный язык. Кому и когда он понадобится?

В апреле 1989 года, в девяностопятилетие со дня рождения отца, (оно пришлось на годы Горбачевской перестройки, когда после четверти века забвения, о нем стало безопасно упоминать), Дом кино организовал вечер памяти Хрущева. Устроители отыскивали живых свидетелей, среди них оказалась и Ада Александровна Федороль. Она преподавала в академии английский язык и, мягко говоря, осталась не в восторге от «успехов» отца. Рассказывала Ада Александровна о своих учениках с юмором. Отец едва удосужился выучить латинский алфавит, но двойку ему она поставить не решились, все-таки секретарь парткома академии. В ректорате нашли иной выход — вычеркнули английский из вкладыша к диплому.

По предметам, для отца важным, — математике, физике, черчению, он учился хорошо, даже отлично. Но доучиться отцу не дали, выдернули из академии и бросили на борьбу с оппонентами Сталина. В те годы член партии не распоряжался своей судьбой. Отец стал секретарем Бауманского, потом Краснопресненского райкомов Москвы.

Так ему пришлось распроститься с мечтой о дипломе инженера, предстояли иные университеты. Шагая по ступенькам партийной карьеры в Москве, от секретаря райкома до секретаря Московского комитета, он постоянно набирался знаний у людей, с которыми его сталкивала жизнь. В Бауманском районе она свела отца с тогда еще молодым авиаконструктором Андреем Николаевичем Туполевым. Общаться со строптивым ученым оказалось ох как трудно! От отца требовали обеспечить на предприятиях района производство бомбардировщиков. Он пошел в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), на улицу Радио, знакомиться с людьми. Туполев с порога огорошил его: «Я конструирую летательный аппарат, а что вы на него навесите: бабьи юбки, пулеметы или бомбы, не мое дело». Андрей Николаевич лукавил, испытывал отца. Тот выдержал испытание, нашел с Туполевым общий язык. Бомбардировщик, кажется, ТБ-3 сдали в срок. Дружеское взаимное расположение сохранилось у них на всю оставшуюся жизнь.

Потом пришла пора строительства московского метро. Отца, тогда уже второго секретаря Московского горкома партии, заместителя Кагановича, Сталин сделал ответственным за строительство, видимо как бывшего шахтера. Хотя слесарить в шахте и строить тоннели в московских плывунах далеко не одно и то же. Отец любил рассказывать, как он дневал и ночевал на стройке, через тоннель метро ежедневно утром шел пешком на работу в Московский комитет партии, вечером тем же путем

возвращался домой. Тогда всех мучила проблема эскалаторов. Это сейчас они часть обыденной жизни, а в начале 1930-х годов за них приходилось сражаться не на шутку. Многие маститые инженеры, в том числе начальник строительства Павел Павлович Роттерт, стояли за доставку пассажиров с поверхности земли на перроны лифтами, так же, как это происходило в лондонской подземке. Молодой и никому не известный инженер по фамилии Маковецкий считал затею с лифтами неразумной и предлагал заказать в Германии самодвижущиеся лестницы-эскалаторы. Они только начали появляться, а Роттерту казались вообще дикостью.

В обход Роттерта, Маковецкий обратился за поддержкой к отцу. Отец его принял, долго расспрашивал и, уверившись, встал на сторону Маковецкого. Роттерт вспылил: мальчишка-инженер вместе с этим «недоучкой» — ему не указ. Он нажаловался Кагановичу. Каганович растерялся: «Надо идти на Политбюро, к Сталину, (последний утверждал, что и как строить в московском метро), а Роттерт — против и Сталин может нас (Хрущева с Маковецким) не поддержать».

Отец настаивал на своем. Сталин принял их с Маковецким сторону. Если бы не интуиция отца, о предложении Маковецкого никто бы и не узнал, метро осталось бы без эскалаторов на долгие годы. Конечно, они бы в конце концов появились, но дорого яичко ко Христову дню.

«Пробил» отец и другую идею Маковецкого — перейти от строительства метро открытым, немецким, способом траншеями на подземную, как в Лондоне, прокладку тоннеля с помощью так называемых щитов, вращающихся буров-кротов многометрового диаметра. Они оставляли за собой почти готовую нору-тоннель, стены которого затем крепили чугунными секциями-тюбингами. Так теперь строят повсеместно, а тогда нововведение Маковецкого мало кто поддерживал. Пришлось отцу и за него повоевать.

Занимался отец не одним метро, город одолевало множество других проблем, крупных и мелких. В 1932 году, по словам отца: «…в Москве была голодуха, и я, как второй секретарь горкома, изыскивал возможности прокормить рабочий класс».

От безысходности занялись на заводах разведением кроликов, выращиванием шампиньонов. Заложили в заводских подвалах грибницы. Их, вспоминал отец, рабочие окрестили «гробницами». Но как бы то ни было, голод отступил. Маленькое дело, незначительное по нынешним временам, но тогда…

А городские туалеты?! Канализацию в Москве только начинали прокладывать, и о них даже не помышляли. Мелочи? Отец же считал, начало внедрения туалетов в быт москвичей

своим большим достижением. До того горожане справляли нужду исключительно в подворотнях и парадных, а теперь пожалуйте в специально отведенное для того место. Многие над отцом и сейчас посмеиваются, нашел, чем хвастаться. А я вспоминаю одно из первых своих публичных выступлений в США в 1991 году, в многомиллионном Сиэтле. Тогда Москвой заправлял демократ Гавриил Попов. Набирала силу кампания переименования улиц, подпирали и другие демократические новации. Я о них рассказывал с упоением. На моей лекции присутствовал мэр Сиэтла. Слушал он меня внимательно, а когда я иссяк, встал и бросил реплику: «Главная забота мэра большого города не лозунги, а канализация, случись что с ней — больше не переизберут!» Тогда я недовольно поежился, а теперь понимаю, насколько они с отцом правы.

Еще одна московская проблема тридцатых годов: мосты и набережные. Тогда-то и началось приобщение отца к новейшим строительным технологиям. Он прилежно учился. Учителями же его стали лучшие специалисты своего дела, московские, естественно. Он разговаривал с ними подолгу, расспрашивал о деталях, жадно впитывал новые знания. Успокаивался он, только когда чувствовал, что докопался до сути, не сравнялся с ними, но понял их правильно.

«Соответствующих знаний и опыта у меня не было. Приходилось брать усердием и старанием, затрачивая массу усилий», — напишет отец через тридцать с лишним лет в своих воспоминаниях.

Несмотря на карьерный взлет, до второй половины 1930-х годов отец воспринимал свои новые, все более высокие партийные должности, как временные, не расставался с сундучком со слесарным инструментом, вывезенным еще из Донбасса. Казалось, еще немного, еще чуть-чуть, и он вернется к настоящему делу. Да и зарабатывал отец до революции слесарем побольше, чем платили секретарю Московского горкома партии. Только в 1938 году, когда Сталин решил направить отца в Киев, назначить Первым секретарем ЦК Компартии Украины и одновременно избрать кандидатом в члены Политбюро ЦК, он окончательно отбросил мысли о возвращении к карьере слесаря.

Отцу не довелось стать инженером. Он стал управляющим, на современном жаргоне — менеджером. В централизованной государственной экономике политический лидер любого ранга занимается не столько политикой, сколько развитием экономики. Здесь талант не менее важен, чем образование. Менеджер никогда не добьется успеха без интуиции, без чувства нового, без умения организовать людей. Всем этим Бог наградил отца сполна. И он

преуспел.

Спустя много лет, в сентябре 1959 года, отец, признанный мировой лидер, во время официального визита в США посетил в Сан-Хосе в Калифорнии завод компьютеров фирмы IBM. Принимал его президент и сын основателя компании Томас Уотсон-младший. Еще через четверть века, в начале 1990-х годов мне довелось встретиться с ним, и мистер Уотсон поделился впечатлениями о той встрече. В 1959 году отношения между СССР и США только начинали оттаивать, речи не шло о сотрудничестве. О взаимной терпимости, отец называл ее мирным сосуществованием, только начали говорить. Тома Уотсона проинструктировали из Госдепартамента: «Держаться корректно, не выходить за рамки протокола, никаких улыбок, не говоря уже о большем». Последнее казалось излишним, какие симпатии могли возникнуть между крупнейшим миллиардером США и лидером страны, поставившей своей целью отобрать эти миллиарды у богатых и раздать людям?

— Когда мы встретились, — рассказывал мне мистер Уотсон, — выдержать официальный тон удалось только первые несколько минут. Потом ваш отец удачно пошутил, все заулыбались, установился контакт. Мы пошли по цехам. Ваш отец разговаривал с инженерами, рабочими и всегда находил нужное слово, нужную интонацию, хотя ни черта не понимал в компьютерах. Этим уникальным качеством, позволяющим управляться с людьми, обеспечивающим успех в деле, в бизнесе, из тех, кого я знал, обладал еще только один человек — мой отец. Он также легко овладевал любой аудиторией.

Из уст Тома Уотсона эти слова прозвучали не пустой похвалой. Его отец — Том Уотсон-старший, приобретя захудалую фабричку швейных машин и часов-ходиков, только благодаря своему таланту организатора, превратил ее в мирового лидера компьютерной премудрости. Он, как и отец, слабо разбирался в тонкостях вычислительной техники. Так что образование — лишь один из компонентов успеха государственного деятеля или крупного менеджера. В этом их судьба схожа с судьбой настоящих писателей, актеров, им тоже успех обеспечивается не красным дипломом литературного института или театральной академии.

Не доучившись в школе и Промышленной академии, отец черпал свои знания в общении с людьми творческими, неординарными, естественно, из тех областей знаний, которые его особенно интересовали. Он с удовольствием и подолгу беседовал с главными конструкторами самолетов и тракторов, ракет и сеялок, станков и телевизоров, но и тут при одном условии: собеседник должен знать и любить свое дело. Тех, кто

лишь занимал соответствующее кресло, отец раскусывал быстро, вежливо выслушивал, сердечно прощался и больше никогда не приглашал. Знакомством с людьми, досконально владеющими предметом, увлеченными своим делом, отец искренне гордился, часто наезжал к ним в исследовательские институты и конструкторские бюро.

Позволю себе немного отвлечься. В конце 1990-х годов я получил по почте увесистый том воспоминаний киевлянина Петра Палия. Палий пишет не об отце, он рассказывает о собственной жизни, о войне, о немецком плене, об армии генерала Власова и о своей службе в ней. Только в самом начале книги автор мельком вспоминает довоенный Киев. Там он, уже немолодой, отсидевший срок за «вредительство» технарь, оказался в должности главного инженера строительства ТЭЦ (теплоэлектроцентрали). Сооружали ее новым скоростным крупноблочным методом, и отец им сразу заинтересовался. Он приехал на строительную площадку, затем пригласил к себе в ЦК начальника строительства Трофима Миронова, начал расспрашивать его о технических деталях. «После двух таких докладов, — пишет Палий, — Хрущев сказал Миронову: “Ты Трофим, мало разбираешься, присылай с докладом своего главного инженера”», то есть Палия. Больше Миронов к Хрущеву не ездил. Это свидетельство совершенно случайного человека, от отца далекого и в чем-то ему даже враждебного.

Еще один источник знаний — отчеты о еще редких тогда командировках наших специалистов за границу, статьи о технических новинках в журналах и газетах, научно-популярные фильмы. Заинтересовавшись, он вызывал к себе авторов, подолгу беседовал и все запоминал. Памятью природа наделила отца феноменальной. Казалось, он не забывал ничего, в ней фиксировались цифры надоев молока и урожаев сои, дальности полетов самолетов и ракет, мощности турбин и еще многое, многое другое, что могло ему понадобиться… или не понадобиться. В результате, не только удовлетворял свое любопытство, но и держался на уровне последних достижений науки. Каждую услышанную или увиденную малость отец стремился обратить на пользу делу.

Человек, с дипломом или без него, учится всю жизнь, черпает в ней то, что важно для его профессии и отбрасывает «шелуху». Секрет успеха кроется в способности человека отделить зерна от плевел. Что же до формального образования?… Ординарному человеку — необходимо, выдающемуся оно лишь подспорье, облегчающее продвижение по жизненному пути. Чтобы добиться большего, нужен еще и талант. Если его нет, то никакое

образование не поможет. Как и где провести грань между «образованцами», как их метко назвал Александр Солженицын, прослушавшими все курсы, сдавшими все экзамены, получившими дипломы МГУ, Итона или Гарварда, и людьми, отмеченными талантом, в молодые годы определившимися со своим предназначением, самостоятельно или с помощью других, овладевшими глубинным знанием, неважно — в физике, музыке, сочинительстве, строительстве или менеджементе-управлении. Ответ совсем не лежит на поверхности.

Для человека воистину талантливого и целеустремленного большинство преподаваемых ему в учебном заведении дисциплин не нужно, экзамены только мешают изучению предметов, для него действительно важных. Для него, после овладения необходимым минимумом знаний, дальнейшее обучение в десятилетке, а затем в университете — время, в значительной степени растраченное неэффективно, в ущерб истинному знанию, черпаемому из книг, общению с умными людьми и просто размышлениям.

Другое дело «посредственность-образованец», диплом и отметки для него — все, все, чего он может достичь — *мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.*

Формальное образование позволяет посредственности обрести знания, обеспечивающие будущее, и рассчитано оно на посредственность, ибо подавляющее большинство из нас — посредственности. Для посредственности «корочки» — признак образованности, отличия от недипломированных неучей, в число которых зачисляются таланты и даже гении. Ведь судят, кто гений, а кто — нет, те же посредственности. Для них «не способный» или не желающий получить какой-либо аттестат, будь он даже семи пядей во лбу, не заслуживает внимания.

Формальное образование одного из самых блестящих советских военачальников — маршала Константина Константиновича Рокоссовского сводилось к четырем классам сельской школы до революции и ускоренным командирским курсам после нее. Ни выдающийся советский физик академик Николай Николаевич Боголюбов, ни основатель теории относительности Альберт Эйнштейн не удостоились университетских дипломов, а гениальный американский изобретатель Томас Алва Эдисон — вообще самоучка. До всего они дошли своим умом. Судьба Эйнштейна, Боголюбова или Эдисона — это история успеха. О множестве других талантов, сгинувших в безвестности с клеймом «неуча», тех, кто не смог пробиться сквозь формальные преграды, установленные посредственностью, мы просто не знаем ничего. Ибо

посредственность — это великая сила. Образованные посредственности, как все посредственности, непоколебимо уверены в собственной правоте и, получив возможность распоряжаться судьбами людей, могут наломать немало дров. В этом россияне убедились в 1990-е годы на собственном опыте, когда к власти в стране пришли «образованцы» — Гайдар и его команда. Они в считанные годы спустили народное достояние, наработанное по меньшей мере четырьмя-пятью предыдущими поколениями.

На это отступление от темы меня навели многочисленные публикации, муссирующие одну тему: орфография Хрущева оставляет желать лучшего. Особенно меня задела книга одного бывшего советского генерала, занявшегося жизнеописанием советских вождей, в том числе и отца. Бог с ней, с фамилией генерала, еще недавно она держалась у всех на слуху, а теперь ее стали подзабывать. Человек он неплохой, но, как и многие выходцы из армейских политорганов, прямолинейно-недалекий. Получив уникальный шанс знакомиться с любыми документами в Кремлевском архиве, он не проявил интереса к их исторической сущности, а по укоренившейся замполитовской привычке, занялся поиском «блох», якобы подтверждавших «правоту момента». Момента, заданного сверху и в который он в очередной раз уверовал. Таким манером десять и более лет ранее он разоблачал империализм Эйзенхауэра, Кеннеди, Рейгана или Черчилля с де Голлем. Теперь с тем же рвением он выискивал «родимые пятна» на теле коммунистического прошлого и его лидеров, в частности Хрущева. В очерке об отце автор не обсуждает всерьез ни внутреннюю, ни внешнюю политику, ни реформы армии, ни совнархозы, ни сельское хозяйство, не говорит ни слова об успехах и даже поражениях отца, но основное внимание сосредотачивает на орфографии нескольких (из сотен) резолюций. Как будто он не генерал-политик, а учитель пятых классов. Да, отец писал с ошибками, как писал с ошибками и нобелевский лауреат академик Николай Николаевич Семенов или академик Михаил Лаврентьев, которого из-за ошибок в правописании в свое время не приняли в гимназию… Все это правда, но не единственная правда об отце.

Снова в Украине

С февраля 1938 года отец переезжает в Киев, сменив на посту Первого секретаря ЦК Компартии Украины впавшего в немилость Станислава Косиора. Отец попытался отказаться, сказал, что Украиной должен управлять украинец, а он русский и по-украински объясняется через пень колоду. Но Сталин на него цыкнул, сказав, что русский Хрущев управится там не хуже поляка Косиора. Теперь отцу предстояло не только учить язык, но и с азов осваиваться в житнице Советского Союза, осваивать земледелие. С пятнадцатилетнего возраста он не прикасался к плугу, о сельском хозяйстве имел более чем приблизительное представление. Учился отец быстро. Вскоре уже начал понимать, в чем разница позиций профессора Прянишникова, ратовавшего за развитие промышленности химических удобрений, и любимца Сталина академика Василия Вильямса, проповедывавшего травопольную систему и обещавшего (почти как впоследствии другой академик, Трофим Лысенко) изобилие практически бесплатно, только за счет смены выращиваемых на поле растений.

Отец тяготел к Прянишникову, но внедрял официально одобренную Сталиным систему Вильямса. Правда, на Украине она не приносила обещанного эффекта, а «на юге вообще ничего не получалось».

Другой палочкой-выручалочкой в те годы считалась глубокая пахота, она тоже внедрялась директивно, решениями Политбюро. За неукоснительным исполнением решений следило НКВД. «Тогда велись буквально судебные процессы против буккера — орудия для поверхностной вспашки почвы. Сторонников пахоты буккером осуждали и ликвидировали», — вспоминал отец.

Все эти агротехнические тонкости знать отцу требовалось назубок. На засушливом юге люцерна и другие травы растут плохо, а именно они, по мысли Вильямса, должны были за три года восстанавливать плодородие почвы и подготавливать поля к новой посевной. Должны бы, но получалось далеко не всегда и не везде. Собственно, такова участь любой теории: где-то она применима, где-то нет.

С глубокой вспашкой — проще, она хороша в средней полосе, плуг переворачивает пласт земли, тем самым «хоронит» сорняки и перемешивает влажную от частых дождей почву. На юге дождей раз-два и обчелся. Вывернешь нижний, еще хранящий следы влаги слой земли, он быстро просохнет на ветерке да на солнышке, и прощай, будущий урожай. А если по весне еще заветрит, то не

избежать и пыльной «черной» бури. Поэтому там землю чуть рыхлили, «царапали», как говорил отец, не плугом, а скорее бороной, неглубоко прорезали, не переворачивая остатки прошлогодних посевов фрезами. Эта технология пришла из США, там, на Среднем Западе те же проблемы, и название осталось американским, «буккер». Что оно означает, никто уже и не помнил. Сталин посчитал, что крестьяне просто ленятся пахать по-настоящему, глубоко, и приказал «органам» проследить. К «буккеру» на протяжении этой книги мне еще придется возвращаться не раз. Так уж получилось, что он переплелся с жизнью отца.

Еще одной «головной болью» отца в те годы стала сахарная свекла, единственный источник сахара в стране. Сеяли ее рядками, вдоль них периодически рыхлили землю специальными ножами, установленными на тракторах, подрезали сорняки в междурядье, а вот прореживать свеклу и полоть сорняки в рядках приходилось руками. Рук требовалось множество, на свекле все лето трудились школьники, студенты и даже красноармейцы. Агрономы мечтали: как бы научиться высевать сахарную свеклу не рядками, а точечно, в шахматном порядке. Тогда и обрабатывать посевы машинами можно не только вдоль рядка, но и поперек, а во всей этой ораве мобилизованных надобность отпадет. Рассказывали, что американцы до такого уже додумались. Узнав об американских опытах, отец попросил разыскать всю доступную информацию, но воспользоваться ею не успел, грянула война.

С первого дня — он на фронте, отступал от Тернополя до Сталинграда, испытал горечь поражения под Киевом в 1941-м и под Харьковом в 1942 году, радость победы под Сталинградом и Курском в 1943-м. Дошел до Киева, похоронил в парке над Днепром своего друга, командующего 1-м Украинским фронтом генерала Николая Федоровича Ватутина, погибшего от пули украинских националистов, и вернулся к своим обязанностям секретаря ЦК Компартии Украины и Председателя правительства республики. Пришла пора восстанавливать разрушенное войной. Отступающие войска взрывали, сжигали все, что могли: в 1941 году — наши, в 1943-м — немцы.

С отцом я расстался 22 июня 1941 года, когда он, вместе с прилетевшим из Москвы начальником Генерального штаба генералом Георгием Константиновичем Жуковым, машиной уехал на фронт. Лететь поостереглись, в воздухе свирепствовали немцы, железнодорожные пути оказались разбомбленными. Мы же оставались в Киеве. В первые дни, не ощущая трагедии происходившего, продолжали жить на даче в Межигорье. Белое

здание загородной резиденции кое-как закрасили зеленой краской, натянули зеленые веревки с навешенной на них бахромой маскировки. В небе над нами днем, не таясь, гудели летевшие на восток вражеские бомбовозы. Нас не бомбили, бомбили Дарницу — железнодорожный узел за Днепром. Такая «идиллия» продолжалась с неделю. Мы, как и все остальные, не представляли, что творится на фронте, считали: враг далеко, его вот-вот остановят. В последние дни июня от отца с фронта передали команду: «Срочно уезжайте». Эвакуировались мы 3 июля, мне этот день запомнился, накануне был мой день рождения. В тот год о нем никто и не вспомнил, и я очень огорчился. На следующий день началась суета, бегство. Вещи с собой не брали, только самое необходимое, что влезло в разрешенные кем-то «наверху» пару чемоданов. Вскоре после нашего отъезда мышеловка захлопнулась, немцы окружили Киев, но мы уже были далеко, поезд увез нас в Куйбышев (ныне Самара). Там мы провели самые трудные военные годы, и только после победы в Сталинграде переехали в Москву.

В Украине после войны

За первые два года войны я видел отца лишь однажды. Мы уже переехали из Куйбышева в Москву, и он оказался в столице по каким-то своим, военным, делам. Встречей назвать это трудно, отец заехал на пару минут в подмосковный Новогорск, где мы жили на даче, и тут же заторопился назад.

А потом пришел победный 1944 год. Год десяти, как тогда говорили, сталинских ударов. Немцев окончательно разгромили, и в апреле 1944 года мы всей семьей поехали в Киев навестить отца, поздравить его с пятидесятилетием. Впервые на моей памяти он позволил себе отпраздновать день рождения.

В Киеве меня поразило яркое, не по-московски теплое апрельское солнце, зеленая трава, первые одуванчики. Разместился отец на окраине, на Куреневке. Довоенная резиденция в центре Киева, на улице Карла Либкнехта, которую все называли по-старому Левашовской, после немцев оказалась непригодной для жилья, частично сгорела.

Улица называлась Осиевской (потом ее переименовали в улицу Герцена, сейчас ее, наверное, снова переименовали), два одноэтажных дома, № 14 и № 16, один занимал отец, другой — охрана. До революции, как рассказывали киевские старожилы, это поместье принадлежало зажиточному аптекарю. Если дом на Левашовской обрамлялся тесным двориком, зажатым нависающими над ним многоэтажными зданиями, то новая резиденция утопала в обширном сиреневом саду. Сирень росла повсюду белая, розовая, темно-бордовая, фиолетовая, махровая и обыкновенная — сиреневая. От улицы сад отгораживал деревянный, тогда еще некрашеный, забор.

Все это великолепие в начале мая зацветало, и начиналось весеннее неистовство возрождавшейся жизни. Сирень влекла к себе мириады бабочек, простых коричневых с разводами крапивниц, почти черных со скорбной бело-желтой каймой по краям крыльев траурниц, притворяющихся шмелями шмелевидных бражников, настоящих шмелей, пчел, мух и к концу цветения — огромных, с желтыми, расчерченными черными полосами, хвостатыми крыльями, махаонов. Многоцветие весеннего праздника жизни жужжало, перепархивало с цветка на цветок, превращая сиреневые кусты в оживший калейдоскоп. Я уже тогда увлекался коллекционированием бабочек и мог часами слоняться вокруг сиреневых кустов с марлевым сачком в руках. Вокруг дома и вдоль забора до самого неба вытягивались каштаны с бело-розовыми пирамидами соцветий. Они привлекали

меньше насекомых, проигрывая тем самым в моих глазах в конкуренции с сиренью.

Теперь уже такого праздника жизни ни в Киеве, ни в Москве, ни в Америке, не увидите, бабочки почти вымерли, шмели и те стали редкостью, наступило царство мух.

16 апреля, в канун дня рождения отца немцы совершили очередной массированный налет на скопившиеся в Дарнице железнодорожные эшелоны. Теперь, в отличие от начала войны, они летали только ночью и их встречали ожесточенным огнем зениток. Поутру я насобирал целую кучу осколков, длинных зазубренных кусков металла. Тем авианалетом война для меня закончилась. Вскоре немцам стало не до Киева.

После дня рождения отца мама решила поехать на дачу, в загородную резиденцию Украинского правительства в Межигорье, откуда наша семья так поспешно бежала в 1941 году. Мы, дети — Рада, Лена и я, увязались за ней. Отец остался в Киеве. День стоял по-апрельски солнечный. Ехали мы по шоссе, так гордо называлась тогда мощенная булыжником узкая дорога, в отличие от обычных в те годы проселков, пыльных в жару, а после дождя непроезжих из-за грязи.

Дача стояла в запустении, стены исщерблены осколками снарядов, кое-где зияли дыры от прямых попаданий. Что мне, девятилетнему, особенно запомнилось? Оружие, масса бесхозного оружия! Земля была усыпана патронами, гильзами, минами, повсюду валялись винтовки. У пруда, задравши в небо стволы, застыли зенитные пушки. Возле дома, где мы жили до войны, то тут то там в беспорядке топорщились холмики солдатских могил с воткнутыми в них фанерными дощечками. На каждой — надпись, начинавшаяся словами: «Герой Советского Союза» и дальше звание от капитана до рядового… Весь личный состав передового батальона, форсировавшего Днепр, получил звания героев, и весь он полег здесь, в Межигорье. Вскоре их перезахоронили в киевском Парке славы над Днепром.

Покрутившись в саду, мы вернулись той же дорогой в Киев. Нам повезло; на шоссе в тот же день на противотанковой мине подорвался трактор, а когда саперы занялись дачей, на ее дорожках нашли множество противопехотных мин. Нас же Бог миловал. Вскоре мы вернулись в Москву, а в сентябре 1944 года переехали к отцу в Киев. Теперь уже насовсем.

Несколько слов о Межигорье. Расположено оно по Днепру чуть выше Киева, за Пущей-Водицей. Сейчас это почти пригород, а тогда казалось — дальней далью. Своим названием Межигорье обязано не горам. Примыкающей к правому обрывистому берегу Днепра небольшой плодородный пятачок земли наоборот

опустился ниже уровня окрестных полей, и тем самым схоронился от ветра, создался оазис, защищенный с трех сторон от продувных степных ветров. От соседнего села Валки вниз ведет узкое ущелье, скорее всего древняя промоина, по ней проложена дорога, еще в то время замощенная булыжником. Если смотреть сверху, то выглядело место как огромная яма, на ее дне — райский уголок, окруженный заросшими дубняком и соснами склонами — Межигорье.

Целебный климат Межигорья оценили еще наши далекие предки, основали там монастырь, в котором доживали отставленные от ратных дел запорожские казаки. Они построили обитель, посадили груши, яблони, абрикосы, черешню, вишню, возвели на пути стекающего сверху ручейка запруду. И получился вытянувшийся в длину на пару сотен метров пруд. В окружающих монастырь горах выкопали пещеры. В них монахи спасались от врагов и хранили свои сокровища. Говорили, что Межигорские пещеры соединяются подземным ходом со знаменитым пещерным монастырем Киево-Печерской лавры, а это более тридцати километров. Не знаю, по силам ли было предкам такое инженерное сооружение. Подземный ход, ведущий в Киев, искали многие, но я не слышал, чтобы нашли. А вот в Межигорские пещеры до войны пробраться не представляло труда: один вход на обрыве над Днепром, другой — прятался в лесу. Меня в пещеру, по малолетству, не пускали, а старшие, в том числе и охранники дачи, лазили туда неоднократно. Ходили слухи о захороненных в пещерах монастырских сокровищах, кое-кто утверждал, что даже видел там горы разного добра. Но, как водится в подобных историях, до клада никто не добрался, а потом дорогу к нему якобы завалило. Так до сих пор и неизвестно, что правда, что вымысел.

Во времена Екатерины II Запорожскую Сечь ликвидировали, часть казаков бежала за Дунай к туркам, остальные рассеялись по Украине. Монастырь захирел, казаки-монахи потихоньку поумирали. Как рассказывали знающие люди, Межигорье (тогда это место стали именовать Межигорка) отошло к дочери Екатерины II и князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. Там она жила со своим мужем, отставным херсонским губернатором И. Х. Калагергия. Кто владел этими благословенными местами после них, я не знаю.

В конце двадцатых годов, с началом нэпа, революционеры, решили налаживать свой быт. Тогда для Председателя Союзного правительства Алексея Ивановича Рыкова выстроили под Москвой резиденцию Горки-9, а украинские руководители облюбовали Межигорье. Старые постройки снесли, на их месте возвели три

каменных двухэтажных дома. Два дома стояли на самой круче над Днепром, а один — поглубже, в саду. Мне запомнились высоченные, метра в четыре потолки, а может быть, это так казалось с «высоты» моего пятилетнего роста. Сначала в Межигорье жили по нескольку семей в каждом доме, как в пансионате. Впоследствии остались три высших руководителя: партии, правительства и Президиума Верховного Совета Украины. Площадку между домами расчертили аккуратные заасфальтированные дорожки — небывалая роскошь в довоенные времена. На заросших высокой травой газонах, косили их два-три раза в году, росли старые яблони и груши. Особенно запомнились грушевые деревья сорта «Украинка» высотой с трехэтажный дом, усыпанные плодами на недостижимой вышине. Созревшие груши периодически шлепались об асфальт, один бок сплющивался, из него сочился сладкий, сказочно сладкий сок. Подбирать их следовало со сноровкой — первыми всегда прилетали суетливые осы и, чего мы, дети, особенно опасались, огромные темно-желтые, с черными полосами, ну, чисто тигры, басовитые шершни. Они быстро въедались в грушу снизу и начинали выгрызать ее изнутри. Если неосторожно поднять плод с такой «начинкой», то не миновать сразу нескольких укусов. А жало у шершня помощнее и поядовитее, чем у осы или пчелы. Поэтому мы сначала тыкали, в приглянувшуюся грушу, длинным прутиком и только убедившись, что опасности нет, брали ее в руки.

Вкус ее я не берусь передать, нам он казался просто божественным. Много позже я купил такие же груши на базаре в Киеве. Груши как груши, весьма средние, и не сладкие, и не ароматные. Никогда не следует в зрелые годы поддаваться очарованию детских воспоминаний.

Купание в Днепре, столь притягательное для малышей, выливалось в настоящую экспедицию. К воде можно было попасть, лишь спустившись со стометрового обрыва по многопролетной, оборудованной площадками с лавочками для отдыха, покрашенной в казенный зеленый цвет деревянной лестнице. Поэтому ходили мы на Днепр редко и только в сопровождении взрослых. Это неудобство компенсировалось уже упомянутым выше приткнувшимся в углу сада длинным, пахнущим тиной, населенным огромным количеством лягушек и карасей, прудом. В нем нам не возбранялось плескаться в любое время. За ноги цеплялись водоросли, молодые карасики, осмелев, начинали пощипывать ноги, собирая только им одним ведомый урожай. С берегов в воду то и дело плюхались испуганные нашим присутствием здоровенные зеленые лягушки.

Во время наступления на Киев осенью 1943 года один из

домов основательно разрушил огонь артиллерии. Его не стали восстанавливать. В том месте круча Днепра грозила оползнем. Два других дома пострадали меньше, проломы от снарядов в стенах быстро заделали, копоть от пожара замазали. После войны в них жил отец и, короткое время, Лазарь Моисеевич Каганович, присланный Сталиным в 1947 году навести на Украине порядок. Он заменил отца в качестве Первого секретаря Компартии Украины. Отцу оставили пост главы правительства республики.

Сейчас стало известно, что это решение «хозяина» грозило обернуться для отца смертным приговором. Именно так, безобидным на первый взгляд перемещением с партийного на чуть менее значительный государственный пост, начиналось нисхождение в энкавэдэшный ад его предшественника, украинского «наместника» Станислава Косиора и многих, многих других членов и не членов Политбюро. Но в то время я ничего не замечал.

По воскресеньям отец с Кагановичем, а следом за ними мама с женой Лазаря Моисеевича Марией Марковной парами гуляли по межигорским дорожкам, ходили друг к другу в гости, вместе обедали, смеялись, шутили. Моя старшая сестра Юля подружилась с дочерью Кагановича Майей. Его приемный сын Юра с нами, малышней, общался мало, он уже окончил школу, готовился стать военным.

Вскоре Кагановичи исчезли, видимо, намерения Сталина изменились, и Лазарь Моисеевич отбыл в Москву. Вместо них в дачу вселилась семья Леонида Романовича Корнийца, отцовского первого заместителя по Совмину. Люди простые, компанейские, приветливые и, в отличие от Кагановича, совсем не опасные. Рада теперь дружила с их дочерью Нелей. Они и до сих пор перезваниваются.

Сестра Рада выросла и, закончив киевскую школу № 13, уехала в Москву поступать в университет учиться на журналиста. Затем до меня докатился из Москвы слух, что Рада выходит замуж, жениха зовут Алешей, его мама в дружбе с самим Берией и летом, на каникулы, они приедут знакомиться в Киев.

Я с нетерпением ждал встречи: как это, у Рады — и вдруг жених? Алеша мне понравился с первого взгляда, симпатичный, приветливый. Ночевать его в Межигорье определили в «моей комнате», там пустовала дополнительная кровать.

Нужно сказать, что перед самой войной я заболел туберкулезом сумки бедра. Я и сейчас не очень понимаю, что это такое, но меня до пояса запеленали в гипс, уложили вместо матраса на лист толстой фанеры, накрытой для комфорта одним слоем тонкого байкового одеяла, и я пролежал на нем целый год.

В начале 1943 года туберкулез затих, мне укоротили гипсовую повязку до колена и разрешили вставать. Я учился ходить во время Сталинградской битвы. А время тогда отсчитывалось по сводкам с фронта. До конца 40-х годов я носил кожаный, прошитый стальными полосами, ограничивающий движение, правой, больной ноги, корсет-протез.

К моменту приезда жениха с невестой режим ослабел — мама уже каждый вечер не контролировала мой отход ко сну, и я все чаще укладывался не на свою фанеру, а на стоявшую рядом гостевую кровать с таким мягким пружинным матрасом. Приезд Алеши разрушал эту идиллию. Гостевая кровать по праву принадлежали ему. Вечером, после ужина мы с Радиным женихом отправились укладываться вдвоем, без сопровождения старших. Я придумал: гость не знает, что моя кровать с «сюрпризом» и, взяв инициативу в свои руки, «гостеприимно» уступил ему свое ложе. Сам же улегся на гостевое.

Что передумал Алеша за ту ночь? Может быть, посчитал, что в нашей семье так проверяют женихов? На следующее утро он ничего не сказал, я же почему-то не сомневался, что подвоха он не заметил.

Кто и как освобождал Киев? (Отступление первое)

Случилось так, что осенью 1943 года именно Межигорье послужило ключом к Киеву. После победы на Курской дуге в июле 1943 года следующим рубежом немецкой обороны стал Днепр, а следующей вожделенной целью наступавшей Советской Армии — Киев, на высоком правом берегу Днепра. Я подчеркиваю высоту правого берега. Текущие к югу речные воды влекутся силой Кориолиса вправо, подмывают и обрушивают склоны Днепровских приречных холмов. Таковы законы природы. С днепровских круч, с Владимирской горки и растянувшейся к югу от нее полосе парков открывается потрясающий вид на череду песчаных пляжей, на низинное Заднепровье, Оболонь и дальше до самого горизонта. В войну обрывы над Днепром превратили Киев в неприступную крепость, встретившую наступавших стеной. Взобраться на них не приходилось и мечтать, наверх вели только проделанные весенними потоками узкие промоины — настоящие западни для атакующих. К тому же с возвышенного правого берега немцы могли, как на макете, наблюдать все перемещения наступавших советских войск.

Отец, в то время первый член Военного совета 1-го Украинского фронта, член Политбюро, представитель Московской верховной власти в штабе фронта, в военные дела напрямую не вмешивался, командовать положено профессионалам. Не все представители Сталина на фронтах придерживались такой позиции. Кое-кто пытался прибрать власть к своим рукам. Если, конечно, командующий позволял такое самоуправство, не жаловался в Кремль, не просил или требовал отозвать слишком ретивого комиссара. Вмешательство в дела военных обычно заканчивалось печально, а иногда вело и к катастрофе, как случилось в Крыму весной 1942 года. Тогда, член Военного совета Лев Захарович Мехлис, человек весьма близкий к Сталину и к тому же психически не очень уравновешенный, полностью деморализовал слабовольного командующего войсками Дмитрия Тимофеевича Козлова и взял военную власть в свои руки. В результате войска попали в окружение, пал Севастополь, немцы захватили Крым.

Отец вел себя иначе. Он с первого дня налаживал дружеские отношения с генералами. Они видели в нем не надзирающего, а союзника, если понадобится, то и защитника от гнева Сталина. Человек активный, отец не мог оставаться сторонним

наблюдателем. С 1941 года, отступая и наступая вместе с войсками, он многому научился и ощущал себя в праве иногда советовать командующему, но, как правило, на своем не настаивал. Особенно теплые отношения сложились у отца с командующим 1-м Украинским фронтом генералом Ватутиным. В июле 1943-го они вместе выстояли на Курской дуге и теперь гнали немцев до самого Киева. И тут все уперлось в форсирование Днепра. Немцы считали его последней серьезной преградой на советской территории. После Днепра путь Красной Армии в Германию открыт.

Первый раз форсировать Днепр и взять Киев попытались еще в конце сентября, 23 числа. Две армии: общевойсковая генерала Кирилла Семеновича Москаленко и танковая генерала Павла Семеновича Рыбалко, километрах в восьмидесяти к югу от Киева, в районе Букрина овладели несколькими плацдармами. Но дело застопорилось, немцы навалились на них всеми своими резервами, приходилось не столько думать о наступлении, сколько об обороне. Через пару недель стало ясно: к Киеву отсюда не пробиться. Тогда решили ударить в шестидесяти километрах севернее Киева, в районе Козельца. Для операции выделили из резерва две армии, командовали ими очень хорошие генералы Николай Павлович Пухов и Иван Данилович Черняховский. И тут прорыва не получилось. Ставка приказала остановиться, а командованию фронтом поручили представить новый план форсирования Днепра.

Ватутин и неизменно находившийся рядом отец, наверное, в сотый раз разглядывали карту. Тонкие линии, обозначающие на карте высоту над уровнем моря, на берегу Днепра сливались в жирную черту почти отвесного многометрового перепада, обрыва, ставшего неодолимой крепостной стеной. В природе не существовало артиллерии, способной проделать в ее многометровой толще ведущие наверх проходы. Тут отца осенило, и он ткнул пальцем в малоприметную точку, обозначающую прибрежную деревню Новые Петровцы.

— Вот здесь, Николай Федорович (отец никогда не обращался по имени, даже к близким товарищам, только по имени и отчеству или фамилии), до войны я жил тут на даче. Сказочное место не только для отдыха, но для наступления. Посмотрите, вот эта круглая, как кастрюля, котловина, смыкающаяся с одной стороны с Днепровским пляжем, а с другой соединенная с единственной дорогой-ручкой с плато. За многие десятилетия речушка, скорее ручей, промыл плавный спуск к самому Днепру, образовав там песчаную косу, которую можно использовать для высадки передовых сил. Она заросла ивняком, в нем можно

укрыть не только пехоту, но и танки. По идущей вдоль ручья булыжной дороге, с косы легко подняться в котловину. Там мы закрепимся. Выбить нас немцам будет сложно. Тем временем построим переправу, накопим силы и, когда изготовимся, вывалимся из котловины на плато, как поспевшая каша из кастрюли. Оттуда до Киева 27 километров, я сам измерял по спидометру. Двинемся по равнине вдоль шоссе прямехонько на Подол.

Отец замолчал и вопросительно посмотрел на Ватутина. Николай Федорович никогда не соглашался и не возражал с ходу. Один из лучших штабистов того времени, он тщательно взвешивал «за» и «против», а уж потом выносил решение, окончательное решение.

— Думаю, мы должны серьезно просчитать этот вариант, Никита Сергеевич, — не изменил он своей привычке и на этот раз. — На первый взгляд, план сулит успех, но надо все обмозговать.

На этом разговор закончился, штаб получил указание разработать операцию. Форсировать Днепр у Межигорья предстояло 38-й армии генерала Чибисова.

Я не ставил себе целью писать о войне. Начал писать о Межигорье и запнулся на фамилии Чибисов. В истории войн, сражений, так же, как и в семейной жизни, одно и то же событие заинтересованные стороны описывают неодинаково, порой трудноузнаваемо. Генералы, как примадонны, не терпят соперников, особенно удачливых, нередко обливают друг друга грязью с ног до головы. В истории Второй мировой войны наиболее ярко такое взаимонеприятие обнаружилось в споре о том, кто правильнее штурмовал Берлин в мае 1945 года: Жуков, Конев или командующий подчиненной Жукову 8-й Гвардейской армии Василий Иванович Чуйков. Читаешь полемику уважаемых полководцев и диву даешься, как каждый норовит оттеснить соперника подальше от пьедестала, а то и вовсе сбросить его в ближайшую канаву.

Подобная коллизия, возникшая вокруг взятия Киева, собственно, и послужила причиной написания этой главы.

Я люблю писателя Георгия Владимова, то, как он пишет, даже если написанное меня порой коробит, как покоробил меня посвященный взятию Киева, прозрачно зашифрованному под Мырятин, роман «Генерал и его армия».

Также «зашифрованы» и фамилии действующих лиц, всех, за исключением Хрущева. Последнего автор откровенно не любит и столь же откровенно издевается над ним в самим же автором придуманных мелких житейских эпизодах. Тут ничего не

поделаешь — насильно мил не будешь. Спорить и доказывать что-либо бесполезно, такова его авторская воля.

Концепцию романа Владимов позаимствовал, он в войне не участвовал, а, как признается сам писатель, однажды встретился с генералом Чибисовым и тот излил ему свою душу. Рассказал, как его постоянно «обижали» Ватутин с Хрущевым, какие мерзавцы генералы Москаленко и Рыбалко. В результате написалась книга о герое Чибисове-Кобрисове, у которого интриганы несправедливо-мелочно из-под носа увели победу, не позволили ему освободить Киев-Мырятин. Вместо Чибисова-Кобрисова, заслуженного генерала, сделавшего самое трудное, пробившего брешь в неприступной немецкой обороне, когда враг уже побежал и оставалось сделать только последний рывок, командующим 38-й армией назначили выскочку Москаленко-Терещенко, единственное достоинство которого — украинская национальность. Согласно версии генерала Чибисова и автора книги, «с подачи Хрущева» наверху решили: пусть плоды русской победы пожнет украинец. Кстати, в многонациональной стране совсем немаловажно, кто освободил столицу Украины, русский или украинец.

Но вернемся к Чибисову-Кобрисову, сравним его жалобу-рассказ Владимову с объективной историей и воспоминаниями отца.

Напомню, что Хрущев предложил форсировать Днепр в районе Межигорья. После штабного анализа Ватутин согласился с отцом. Межигорье оказалось удобнейшей точкой для наступления. Через пару дней разработанный детально план доложили Сталину, получили одобрение на смену направления главного удара, стянули войска.

Наступление началось в последних числах октября 1943 года. Передовые отряды армии Чибисова-Кобрисова форсировали Днепр, захватили песчаную косу, а потом и сам пятачок Межигорья. Чибисов доложил отцу: «Заняли Вашу дачу».

«Ни у кого из нас личных дач не было, — пишет отец в своих воспоминаниях, — это государственные дачи. Мы с Ватутиным решили поехать в штаб 38-й армии, к Чибисову. Он находился на порядочном удалении от плацдарма, на противоположном, левом берегу Днепра. Мы ему приказали: “Перенесите свой штаб или в Старо-Петровцы, или в Ново-Петровцы (села расположены одно за другим на правом высоком, «немецком», берегу Днепра, в притык к Межигорью), при наступлении следует держаться ближе к войскам”. “Есть”, — ответил Чибисов.

После того как Ватутин положил трубку, я засомневался: “Николай Федорович, Вы уточните, где его новая квартира?”

Перезвонили. Уточнили. Оказывается, вместо того чтобы обосноваться на плацдарме на правом берегу, он расположил свой штаб на левом берегу Днепра. Николай Федорович аж позеленел и начал ругаться.

Почему я отнесся к словам Чибисова с недоверием? Это был у нас с ним не первый такой случай. Когда в июле 1943 года мы готовились наступать на Курской дуге и подошла очередь действовать 38-й армии, мы с Ватутиным так же решили поехать к Чибисову. Мы указали Чибисову точное место, где он должен разместить армейский штаб — село поблизости от переднего края.

За Чибисовым на фронте постоянно следовали жена и дочь. Он возил с собой в обозе козу или чуть ли не корову. Адъютантом у Чибисова служил его зять. Из-за семьи ему несподручно было прижиматься к переднему краю фронта.

Перед выездом в 38-ю армию я попросил Ватутина уточнить на новой ли “квартире” Чибисов?

— Да, на новой, как приказывали, — доложил Чибисов.

Мы поехали на эту новую “квартиру”. Прибыли. Село оказалось совершенно пустым. Посидели какое-то время. Смотрим, по дороге к селу едет генерал. Когда он приблизился, видим, Чибисов.

— Вы же доложили, что расположились на новой “квартире”? — набросился Ватутин на Чибисова.

— Никак нет, — не моргнув глазом, ответил тот.

Я об этом инциденте потом докладывал Сталину, но Сталин относился к Чибисову значительно терпимее, чем к другим генералам, которые и сотой доли такого не проделывали. Он знал Чибисова по обороне Царицына в 1918 году».

Возвращаюсь к Киевской наступательной операции.

«Приехали мы к Чибисову на хутор, — я продолжаю цитировать воспоминания отца, — и приказали ему организовать новую “квартиру” на правом берегу Днепра.

Когда начнется наступление, ему следовало находиться непосредственно в войсках. Невозможно успешно управлять войсками через Днепр».

У отца на сердце скребли кошки — а что, если Чибисов провалит операцию, не возьмет Киев? Он предложил Ватутину перебросить на 38-ю армию командарма — 40-й, генерала Москаленко. Доложили Сталину, тот утвердил решение командующего фронтом.

«Фронт продолжал подготовку к броску на Киев с Лютежского плацдарма (так теперь официально именовалось Межигорье), — вспоминает отец, — перебросили сюда с Букринского плацдарма

3-ю Гвардейскую танковую армию Рыбалко. Действовал на этом участке и 5-й Гвардейский танковый корпус генерала Андрея Григорьевича Кравченко. К тому времени мы уже выбрались из Межигорской котловины на прилегающую равнину и там, на четырехкилометровом участке главного удара сосредоточили более 1200 артстволов, включая минометы. Столь плотного сосредоточения огня мы не имели ни в Сталинграде, ни на Курской дуге. Дали, кажется, два часа на артиллерийскую подготовку с интенсивным огнем в центре. Мы хотели “прорубить окно” и ввести в него танковую армию Рыбалко. Танковый корпус Кравченко должен был, наступая на правом участке, выйти к речке Ирпень.

Итак, все готово. Командный пункт 38-й армии переместился на правый берег Днепра. Мы знали, что если командный пункт оборудует Москаленко, то он его выдвинет буквально под самый нос противнику.

Мне как-то Жуков рассказывал еще под Сталинградом: 40-я армия Москаленко находилась тогда севернее города, и Жуков поехал к нему посмотреть на подготовку к бою.

— Пришел я ночью на командный пункт по ходу сообщения. Ждем, когда на рассвете начнется наступление. — Это слова Жукова. — Рассвело. Глянул в бинокль, вижу каких-то людей. Кто это? Москаленко отвечает: “Немцы”. Я ему: “Что ж ты, такой-сякой, хочешь меня в плен немцам сдать?”

Жуков очень обеспокоился и отругал Командарма: нельзя располагать штаб армии буквально под носом врага. Да, с какой-то точки зрения это плохо. Но с другой стороны, такая близость командарма вселяла уверенность в бойцов. Войска чувствовали, что командующий у них непосредственно за спиной. А самое главное, что всем ходом артиллерийской подготовки и самим наступлением Москаленко управлял не по донесениям и телефонным сообщениям, а лично видел все происходившее на поле боя.

Холодным ноябрьским утром, на рассвете, мы с Ватутиным приехали к Москаленко на командный пункт 38-й армии. Нас встретил дежурный офицер и сказал, что ближе подъезжать к линии фронта нельзя, надо идти по ходу сообщения и следует пригнуться. Пришли на командный пункт. Ватутин посмотрел на часы и приказал адъютанту дать сигнал к открытию артиллерийского огня. Загудела земля, все дрожало. Это такая, знаете ли, военная симфония. Для нас она звучала радостно. Поднялась пехота. За пехотой двинулись танки. Сопротивление враг оказывал слабенькое. Все его укрепления оказались разрушенными. На главном направлении мы всё выкосили. На

третий день наступления немцев оттеснили далеко в лес, бои велись уже где-то под самим Киевом. Одновременно танки генерала Рыбалко вели наступление на Святошино, западный пригород Киева, чтобы не позволить противнику выскочить из города.

Помню, заходило солнце, стоял теплый осенний вечер. Мы с командармом вышли из землянки в бурках внакидку. Вдруг вдали раздался взрыв. В городе поднялся клуб дыма. Зная расположение Киева, я говорю: “Это немцы взрывают завод «Большевик» в западной части города, перед Святошино. Раз взрывают, значит бегут”.

Я обратился к командующему артиллерией фронта: “Товарищ Варенцов, прошу приказать артиллерии накрыть Киев беглым огнем”. Он недоуменно смотрит на меня. Знает, как я люблю этот город. Объясняю: “Если вы сейчас обстреляете город, это ускорит бегство немцев. Снаряды много не навредят. А если немцы задержатся, то они могут заложить фугасы и нанесут Киеву значительно больше вреда”.

Красная Армия вступила в Киев ночью с 5 на 6 ноября. Уже после занятия Киева, Москаленко рассказал мне, как он входил в город с войсками: “Ночью я шел впереди танков, освещал им фонарем шоссе и так привел их к Киеву”. Конечно, такое поведение Москаленко не вызывалось необходимостью: геройство на грани безрассудства. Но это ведь Москаленко!

Взятие Киева получилось особо торжественным, как раз накануне юбилея Октябрьской революции. Теперь говорят, что мы приурочили освобождение Киева к государственному празднику, и я ради хвастовства, мог бы и согласиться. Но, честно говоря, вовсе нет. Просто так сложились обстоятельства.

Рано утром 6 ноября я послал в Киев своего шофера Александра Георгиевича Журавлева, дядю Сашу, как его называли мои дети. Я с ним ездил много лет, вплоть до моей отставки, в общей сложности 32 или 33 года. Наши войска вошли в Киев по знакомой дороге, по ней до войны мы ездили на дачу. Он поехал, как бы с дачи в Киев, быстро вернулся и говорит, что Киев абсолютно свободен от противника, да и вообще там никого нет, пусто. Людей на улицах почти не видно.

Я с представителями украинской интеллигенции — поэтом Николаем Платоновичем Бажаном, кинорежиссером Александром Петровичем Довженко и другими поехали в город. Просто нет слов, чтобы выразить радость и волнение, которые охватили меня. Проехали Подол, пригород Киева, и вот мы уже на Крещатике.

Крещатик лежал в руинах. Когда мы приехали на площадь

Богдана Хмельницкого, то там ряд домов еще горел. Особенно я сожалел о разрушенном здании университета, сгорела его богатейшая библиотека. А вот памятник великому поэту Тарасу Шевченко сохранился.

Город производил жуткое впечатление. Некогда большой, шумный, веселый южный город, и вдруг — никого нет! Когда мы шли по Крещатику, то отчетливо слышали собственные шаги. В пустом городе каждое сказанное слово отдавалось эхом. А может быть, нам так казалось от сильного напряжения. С Крещатика мы свернули на улицу Ленина (старое название Фундуклеевская), начали подниматься в направлении Оперного театра. Постепенно стали появляться люди, возникали прямо из-под земли. Вдруг слышим истерический крик. Бежит к нам молодой человек. Он беспрестанно повторял: “Я единственный, оставшийся в живых еврей в Киеве”. Затем появился человек с седой бородой, уже немолодой. Он шел с рабочей кошелкой в руке. Когда я работал на заводе, то в такой же кошелке носил завтрак и обед. Он кинулся ко мне на шею, стал обнимать, целовать. Мы подошли к Оперному театру. Он тоже уцелел. Я вошел в здание, хотя меня и предупреждали, что театр, возможно, заминирован (противник делал нам такие подвохи). Театр оказался не заминирован.

Возвратившись в штаб фронта, я составил записку Сталину. Особо отметил артиллеристов. На меня тогда сильнейшее впечатление произвела артиллерийская подготовка, с начала войны самая мощная в моем присутствии. На следующий день взял в руки центральную газету и увидел, что моя записка полностью опубликована в “Правде”».

Теперь возвращусь к коллизии Чибисов-Кобрисов, Москаленко-Терещенко. Обиженных, в том числе несправедливо обиженных, командующих — множество. Взять хотя бы маршала Еременко. Отец вспоминал, как летом 1942 года, после поражения наших войск в Барвенково, под Харьковом, Сталин клещом впился в него: кто сможет остановить немцев? Кого назначить командовать фронтом, защищавшим Сталинград? Отец отговаривался незнанием высших командных кадров, он только еще осваивался в их среде. Сталин начал сам перебирать фамилии: Тимошенко Семен Константинович с его заместителем — генералом Гордовым Василием Николаевичем — это их фронт только что разгромили немцы, — не годятся. Герой обороны Москвы генерал Власов Андрей Андреевич — подходит, но его уже бросили на разблокирование окруженного врагом Ленинграда… И так далее. Наконец Сталин сделал свой выбор — выдернул из госпиталя долечивавшегося после ранения Андрея Ивановича Еременко и бросил его в самое пекло. В Сталинграде

Андрей Иванович ходил, опираясь на палку, у него нестерпимо болела нога. Еременко выстоял. Конечно, не один Еременко, но в самые страшные дни немецкого наступления именно он командовал фронтом, Сталинградским фронтом. Тогда никто в Москве не верил, что они выдюжат. Сталин звонил ему в октябре 1942 года, выспрашивал, удержатся ли они хотя бы еще пару дней? В отличие от москвичей, Еременко не сомневался — удержатся. И удержались.

Когда немцев под Сталинградом окружили и впереди замаячили лавры победителей, кому-то в Москве, Еременко не потрафил. Добивать окруженную в Сталинграде армию фельдмаршала Паулюса поручили не ему, а «соседу», командующему Донским фронтом генералу Константину Константиновичу Рокоссовскому. Еременко же послали отражать новое наступление, преградить дорогу немецкому генералу Манштейну, рвавшемуся на выручку к Паулюсу. Когда же он справился и с этим, его и вовсе отставили, отправили долечиваться от старой раны, полученной еще до Сталинграда. Эти издевательства происходили на глазах отца, от обиды боевой генерал чуть не плакал. Но приказ есть приказ!

Или еще такой пример. Уже после смерти отца, в 1972 году, я поселился на даче в генеральском поселке Трудовая Северная, что по Савеловской железной дороге.

Соседом моим оказался прославленный танкист, маршал Михаил Ефимович Катуков. Времена стояли брежневские, соседи-генералы со мной старались особенно не общаться, даже живший напротив «сталинградец» маршал Василий Иванович Чуйков, «крестный» моего отца, сухо поздоровавшись при встрече, спешил укрыться за металлической оградой своей дачи.

Я искренне удивился, когда Михаил Ефимович как-то зазвал меня к себе. Уселись мы, как полагается, на кухне. Из холодильника появилась бутылка водки, начался разговор о житье-бытье, который, естественно, свелся к прошлой войне, а затем к былым обидам.

Из рассказа маршала Катукова запомнился такой эпизод. Во время наступления на Берлин весной 1945 года его танковая армия, 1-я Гвардейская, едва ли не лучшая в Советской Армии, входила в состав 1-го Белорусского фронта. Командовал фронтом маршал Жуков, и шли они через Зееловские высоты в лоб на Берлин. Немцы оборонялись жестоко, наших солдат полегло там множество, а продвинулись с гулькин нос.

Слева, в обход Берлина, наступал 1-й Украинский фронт маршала Ивана Степановича Конева. Сталин знал, что оба военачальника люто, до ненависти, ревнуют друг друга. Вот

Сталин и устроил соревнование — Берлин поручил взять Жукову, но если Конев обойдет Жукова, то слава победителя достанется ему.

Все свои резервы Гитлер выставил против Жукова, на Конева у него сил уже не осталось. В результате 1-й Украинский фронт начал обгонять 1-й Белорусский.

— Вот тут-то Жуков и позвонил мне, — рассказывал Катуков. — Осведомился, знаю ли я, что Конев прямым ходом прет на Берлин?

— Знаю, — отвечал ему Катуков, — у него там сопротивления — тьфу, а у нас…

— Что у нас, я без тебя знаю, — оборвал его Жуков. — Попридержать бы его, а то ненароком Берлин не нам достанется.

— У меня душа ушла в пятки, — наливая очередную рюмку, продолжал Михаил Ефимович. — Что это он хочет? Мои танки повернуть во фланг Коневу? Как я еще могу его попридержать? Не секрет, что СМЕРШ все наши разговоры слушает, а тут такое… Я весь собрался и отвечаю: «Товарищ маршал, это дела уровня штаба фронта, а у меня всего лишь армия, не мне их решать». Жуков в ответ засопел, только выговорил: «Я тебе, Катуков этого не забуду» и трубку бросил.

Берлин, как известно, мы взяли, на радостях всех командующих армиями в звании повысили, а мне — шиш. Потом всех командующих армиями выбрали депутатами Верховного Совета СССР, а от нашей армии депутатом стал мой заместитель по тылу. Так что свою главную звездочку на погоны за Берлин я получил только уже при твоем отце. Да будет земля ему пухом! — Катуков выпил, глянул на опустевшую бутылку, я понял — пришла пора прощаться.

И такое случалось на войне и, к сожалению, с очень уважаемыми людьми. Поэтому, в отличие от Владимова, не берусь ни судить, ни миловать. Наверное, уравновешенный, осторожный Чибисов-Кобрисов заслужил свои награды, а жизнью своей, и жизнью подчиненных, возможно, дорожил более, чем взбалмошный, рисковый, не щадивший ни себя, ни других, Москаленко. И Киев бы Чибисов взял, может быть позже на неделю, но взял.

В книге генерал Кобрисов, не пережив отставки, самовольно возвращается на фронт и глупо гибнет. В жизни Чибисова никто не отставлял, его «перебросили» командовать 3-й Ударной, а затем 1-й Ударной армией. С 1944 года его назначили начальником Военной академии имени М. В. Фрунзе, пост по тем временам маршальский. Так что на судьбу ему грех жаловаться.

С другой стороны: и Киев — не Мырятин, и генерал Чибисов

— не Кобрисов, и Москаленко — не Терещенко, и Владимов — не летописец, а всего-навсего выдумщик-писатель. Какие тут еще претензии? Книга Владимова интересная и легко читается. Какая «история» автору больше по душе, кто ему симпатичнее, ему самому выбирать. Но, несмотря ни на какие выдумки, история остается историей и относиться к ней следует с соответствующим пиететом. С другой стороны, нет в ней и одной-единственной правды, окончательного вердикта. Не судите, да не судимы будете…

Послевоенные хлопоты

С начала 1944 года отец, продолжая числиться членом Военного совета 1-го Украинского фронта, которым после смертельного ранения украинскими националистами генерала Ватутина командовали сначала Жуков, потом Конев, занялся восстановлением лежавшей в руинах Украины. Пока шла война, промышленность уцелевшей части страны работала на нее и освобожденные районы, выкручивались как могли, все приходилось изобретать заново, по принципу «голь на выдумки хитра». Отец по всей республике выискивал умельцев, придумывавших, как обойтись подножными ресурсами: в строительстве, восстановлении домен и шахт, в сельском хозяйстве. И получалось. Конечно, не все, но получалось.

Потом пришла Победа. Я запомнил тот солнечный майский день, кусты цветущей сирени, пышные свечи каштанов, и отец в белом гражданском кителе и белой фуражке отправляется на Крещатик, на демонстрацию.

Летом 1946 года отец под псевдонимом генерала Петренко отправился в побежденные Германию и Австрию. Почему-то Сталин не разрешил ему в поездке пользоваться своей фамилией, хотя большинство генералов действующей армии знали отца в лицо, с одними он отступал, с другими — наступал. Поехал отец с меркантильной целью: пока остальные республики раскачиваются, постараться урвать из будущих репараций лучшие куски для Украины. И урвал. В Днепропетровске начали строительство автогиганта, туда перевозили из Германии завод, производивший шикарные «Хорхи» (в ходе строительства производство переориентировали с автомобилей на тракторы и ракеты). В Киеве на радиозаводе налаживали производство магнитофонов. Магнитофоны на нас как с неба свалились. Отец вспоминал, как в предвоенные годы немецкий посол граф Шулленбург, проходя вместе с Молотовым по коридорам Наркомата иностранных дел (НКИД, ныне — МИД), заглянул в отворенную дверь и увидел сидевших в наушниках девушек-операторов, записывавших радиосообщения.

— У вас разве?… — начал посол и осекся.

Молотов доложил о происшедшем Сталину. Долго ломали голову, что имел в виду Шулленбург. После войны стало ясно, немцы уже тогда использовали магнитофоны.

Магнитофон, вернее способ записи голоса на покрытую магнитным порошком бумажную ленту, сразу после Первой Мировой войны изобрел живший в Германии австрийский

инженер Фриц Майер. В 1920-е годы он продал свою идею фирме AEG, производившей различные электроприборы, которая в сотрудничестве с химическим концерном ИГ-Фабериндастриз и создала первый магнитофон с записью уже не на бумажную, а на пластиковую пленку. Этим он отличался от уже известных в то время устройств, где использовали не очень практичную стальную проволоку. В начале 1930-х годов чудо техники продемонстрировали на Берлинской радиовыставке, а с 1935 года наладили серийный выпуск магнитофонов. Правда, качество звучания годилось только для записи голоса. Устройство и использовали по такому назначению: диктовали приказы и распоряжения не стенографистке, а магнитофону, записывали радиосообщения и деловые переговоры. Вскоре магнитофоны стали незаменимым подспорьем немецкой бюрократической машины. Гитлер тоже записывал свои распоряжения на специально изготовленный для него магнитофон. В 1939 году магнитофон усовершенствовали настолько, что стало возможным записывать музыкальные произведения. После окончания Второй Мировой войны магнитофоны в числе иных трофеев попали в руки победителей. 16 мая 1946 года немецкий магнитофон продемонстрировали в США, он покорил американцев чистотой звучания, и там немедленно наладили его серийное производство.

И вот теперь это чудо техники решили производить в Киеве.

С магнитофонами мне не все ясно. Генерал Сергей Александрович Кондрашов, ветеран-разведчик, служивший в КГБ с 1944 года, когда я рассказал ему о случае с магнитофонами, ответил, что у них в службе магнитофоны использовались для записи радиосообщений агентов с 1939 года. Своих магнитофонов, правда, не имелось, покупали немецкие. Возможно, в НКВД магнитофоны имелись, но с соседями-дипломатами они не поделились.

В 1946-м или 1947 году появился первый украинский магнитофон «Днепр» — громадный, едва проходивший в дверь ящик, оклеенный коричневым дерматином. Демонстрировали его отцу почему-то не на заводе и не в ЦК, а во дворе резиденции на Осиевской. Светило весеннее солнце, в кустах сирени чирикали воробьи. Включили микрофон, завращались бобины размером с детские велосипедные колеса и, о чудо, звук записался! Когда включили воспроизведение, магнитофонные воробьиные «трели» произвели на отца особое впечатление. Он загорелся желанием записать на пленку пенье соловьев, благо наступало самое соловьиное время. В первый же выходной отец привез магнитофон в Межигорье — там, в заросшем кустами обрыве над

Днепром и ниже, в ивняке на песчаном берегу реки гнездились, соперничали друг с другом в пении сотни, тысячи соловьев. Весенняя ночь разрывалась от их трелей, щелчков, пересвистов. Периодически в концерт вписывался, и весьма органически, чавкающий звук землечерпалки и жалобно-призывный гудок парохода, очередной раз севшего на Днепровскую мель. В те годы Киевскую ГЭС еще не построили, напротив Межигорья даже мы, дети, вброд, играючи, перебирались по мелководью с нашего берега Днепра почти до противоположного левого берега. Там весеннее половодье каждый год намывало песчаный островок — гнездовье чаек. За островок мама ходить запрещала, в узкой протоке, отделявшей его от «того» берега, нам уже с головкой. По протоке шлепали плицами колес волочившие баржи буксиры, а дважды в день, утром и вечером, проходили колесные же пассажирские красавцы. Обозначенный бакенами извилистый и мелковатый фарватер из-за быстрого днепровского течения постоянно менялся. Стоило бакенщикам зазеваться, и очередной пароход зарывался в неизвестно откуда взявшуюся мель и потом часами, ночью и днем гудками призывал помощь.

Первый выходной, тогда отдыхали только в воскресенье, ушел у отца на подготовку операции. Он вместе с Василием Митрофановичем Божко, офицером охраны, служившим с ним еще со Сталинграда, кстати, мастером на все руки, подтягивали к обрыву провода, проверяли микрофон на дальность записи, примерялись, прилаживались. Место выбрали метрах в пятидесяти от дома на днепровской круче, в зарослях только что зазеленевших кустов. На следующей неделе началось действо: магнитофон долго примащивали на заранее отрытую, застеленную клеенкой ровную площадку наверху обрыва, затем подсоединили микрофон, протащили его в глубь кустов, насколько позволял провод, и накрепко прикрутили проволокой к ветке деревца.

Как только начало смеркаться, отец с Божко отправились в засаду, первую в жизни отца, страстного охотника, без ружья. В кустах на них набросились комары и серые весенние мошки. Две-три недели весной мошки тучами роились на склонах Днепра, спасались мы от них только на крыше дачи. В отличие от комаров, мошки высоко не залетали. Тут же, в кустах на обрыве они чувствовали себя полными хозяевами, залезали в рукава, за воротник, набивались в уши и нос. И жалили, жалили, жалили. Места укусов тут же опухали и страшно чесались. До начала записи от мошек еще удавалось кое-как отмахиваться сорванными с кустов ветками, смачно шлепая листьями по рукам, по спине, по лицу. Но вот защелкал поблизости первый соловей, отозвался

соперник, и началось, вся округа заполнилась птичьим перезвоном. Отец нажал кнопку записи и пальцем погрозил Божко: не шевелись. Мошки набросились на них, облепили руки, лицо. Теперь отец и его напарник только осторожно отирали их с оголенных участков тела, терпели. Пытка эта продолжалась около часа. Как только закончилась пленка, отец выключил аппаратуру, выдернул микрофонный шнур, Божко сгреб ящик в охапку, и они почти бегом бросились к дому.

Утром слушали запись: соловьи, как оперные певцы, брали высокие ноты, переливались стаккато. Их музыкальные коленца сопровождались погромыхиванием землечерпалки, пару раз слышались гудки пароходов, но на них никто не обращал внимания. Отец просто сиял от удовольствия. Он раз за разом перематывал пленку и слушал, слушал, слушал. Среди его любимых записей оперной и народной музыки соловьиный концерт занял почетное место. Отец сделал несколько «соловьиных» копий; одну, вместе с образцом нового киевского магнитофона, отослал в Москву Сталину. Магнитофонные бобины с соловьиными трелями отец хранил до самой смерти, с особым удовольствием «угощал» своими записями гостей. После его смерти, в день похорон, в числе других произвольно отобранных документов и магнитофонных лент, «Комиссия ЦК» во главе с заместителем заведующего Общим отделом ЦК Аветисяном якобы «для лучшей сохранности и в интересах истории» конфисковала и соловьиный концерт.

Из Германии отец привез еще одно чудо техники — электрическую бритву фирмы «Браун». Попробовав ее однажды, он навсегда отказался от мыла, помазка и бритвы. Брился отец сам, просить кого-то помочь в утреннем бритье ему и в голову не приходило, а времени на парикмахерскую попросту не было. Процедуру бритья отец терпеть не мог, его раздражала потеря времени, а чуть поторопишься — и тут же порежешься. Теперь же поводил три минуты жужжалкой по щекам, и все готово. Отец решил поделиться своими восторгами от новой бритвы со всеми мужчинами советской страны — экземпляр электробритвы для копирования отправили на завод в Харьков. Оттуда и пошли первые наши электробритвы «Харьков».

Помню, как отец принес домой первый, собранный из немецких деталей в Киеве, на заводе «Арсенал», выпускавшем ранее пушки, фотоаппарат «Контакс» со встроенным экспонометром. Фотоаппараты и раньше делали в Союзе, в Харькове, в бывшей колонии беспризорников с середины тридцатых годов выпускали ФЭДы, копию старой немецкой «Лейки». «Контакс» отличался от ФЭДа, как новейший

истребитель от старенького У-2. К тому же экспонометр сам определял нужную выдержку и диафрагму. Мы тогда о таком сервисе и понятия не имели, выбирали и то и другое на глазок. Вскоре «Контакс» переименовали в «Киев».

В молодости отец увлекался фотографированием, свой первый фотоаппарат заимел еще до революции, потом в тридцатые годы приобрел немецкую «Лейку». Поэтому новенький «Киев» он изучал с особенным интересом. Вот только времени на него у отца теперь совсем не оставалось. «Киевом» завладел я, фотографировал им до конца 1950-х годов.

Еще одно воспоминание детства. Как то в воскресенье, кажется, ранним летом 1946 года, после завтрака отец предложил, как он выразился, прокатиться на Подол,[6] на стройку, где у самой подошвы горы, за так называемым Крымским спуском, возводили экспериментальный жилой дом. Отец договорился встретиться там со строителями, они обещали рассказать, как можно дешевле и быстрее возводить дома. Украина после войны лежала в руинах, люди даже в городах жили в землянках.

Отец часто практиковал воскресные выезды: то в поле, то на завод, то на стройку. В выходной день можно без оглядки на распорядок дня и напоминания секретаря об очередном посетителе, ожидавшем в приемной, расспросить специалистов, вникнуть во все детали. Он любил докапываться до сути, никогда не принимал решения вслепую. Предложение отца о «прогулке» на Подол в то утро безответно повисло в воздухе. Посещение стройки не прельстило ни маму, ни сестер, один я выразил готовность сопровождать отца. Мне, одиннадцатилетнему, естественно, не было никакого дела до новых технологий, просто очень не хотелось расставаться с отцом. В рабочие дни он возвращался, когда меня уже отправляли спать, мама строго блюла режим. Оставалось только воскресенье, и я ценил каждую минуту общения. Отец уселся впереди, рядом с водителем дядей Сашей Журавлевым, возившим отца с довоенных московских времен. После переезда отца в Киев, Александр Григорьевич, дядя Саша, так его звали не только дети, но и взрослые, последовал за ним. Отец упомянул дядю Сашу в процитированных мною выше воспоминаниях об освобождении Киева, но я не могу удержаться и не помянуть его. Уж очень дядя Саша был приятный и душевный человек. Его любили все, и дети, и взрослые. А спроси за что? Я затруднюсь ответить, не возьмусь выделить конкретно «за что». Правильнее всего сказать: «За все». Случаются такие люди, говоря словами Гоголя, «приятные во всех отношениях». Лучше о дяде Саше не скажешь.

Вместе с отцом они колесили до войны по полям Украины. Отец предпочитал ездить в командировки на машине, так легче увидеть, что и как вспахали, как посеяли, что взошло, что убрали, а что оставили догнивать на полях на радость мышам и птицам. В войну они на эмке[7] откатывались с отступающими войсками от западной границы к Волге, к Сталинграду, а потом вместе, уже на американском джипе «виллисе», наступали от Сталинграда до Киева. Теперь, после Победы, снова пришла пора колесить по украинским шляхам, в ведро волочить за собой пыльный шлейф, а после дождя, чертыхаясь, вытаскивать открытый «паккард» из черной и вязкой грязи.

Сегодня нам ничего такое не грозило. Дорога от дачи до Киева шла по уже мною упомянутой ранее замощенной булыжником шоссейке. Машину на ней нещадно трясло, она стонала, потрескивала, но не буксовала. Кроме дяди Саши, отца и меня, в машине разместились еще двое пассажиров. На откидных стульчиках примостился один из «советчиков» отца по делам строительства Андрей Евгеньевич Страментов,[8] рядом с ним сел начальник охраны отца Иван Михайлович Столяров.

Они заняли откидушки, потому что Страментов по дороге собирался доложить отцу о своей поездке за рубеж, а Столярову по службе полагалось постоянно находиться начеку. В результате на заднем, представительском сиденье я оказался в одиночестве.

Отец познакомился со Страментовым еще в тридцатые годы в Москве. Тогда Страментов строил набережные на Москве-реке. Отцу он понравился своей хваткостью и умением вникать в суть дела. После войны он переманил Страментова в Киев, поручил ему разобраться с дорожным строительством. Дороги, вернее их отсутствие, в осеннюю распутицу превращали доставку урожая в хранилища в проблему, сравнимую по сложности со всей летней страдой. Об асфальте в первые послевоенные годы и не мечтали. Для строительства сотен километров дорог требовалась специальная техника, которой не было и в помине. Страментов только что вернулся из командировки в Западную Европу, и отцу не терпелось расспросить его. Разговор начался еще на даче, но не с дорог, а… с подсолнуха.

Там, в прихожей, в углу на столе стояла глиняная расписная украинская ваза. Входя в дом, Страментов взглянул на нее и, обращаясь к маме, сказал, что с вазой очень хорошо сочетался бы подсолнух. Мама поразилась — на Украине подсолнух за цветок не почитали, его место на огороде, а не в хате, да еще в вазе. Засмущавшись, гость пояснил, что такое он видел в Швеции, и ему понравилось: одинокий подсолнух в вазе смотрится элегантно. Мама недовольно хмыкнула, а потом еще не раз

неодобрительно поминала и подсолнух, и Страментова с его декадентским, «шведским» вкусом.

Мое мнение совпадало с маминым: какое из подсолнуха украшение, другое дело — огромные, как куст, букеты сирени вперемешку с тюльпанами. Размером и пышностью букета в те годы на Украине определялась степень уважения к гостю. Через много лет, уже поездив по миру, мама вспоминала, какой необъятный букет она вручила на вокзале Йованке Броз, жене президента Югославии Иосипа Броз Тито, в мае 1945 года, когда они, возвращаясь из Москвы домой, остановились на пару дней в Киеве. Сирень для букета наломали в саду резиденции на Осиевской, там же срезали и тюльпаны. Букет почти скрыл лицо гостьи, она не знала, что же с ним делать, и только подоспевший адъютант Тито разрядил обстановку, унес цветы подальше, в вагон.

— В мире принято дарить два-три цветочка, а не охапку, — сокрушалась мама, — мы же, от щедрого сердца, считали — чем больше, тем лучше.

Отца тема подсолнуха не заинтересовала, он вообще не обратил внимания на слова Страментова, пожал ему руку и сказал, что пора ехать. Так что к делу перешли только в машине, Страментов рассказал отцу, что за границей он видел набор дорожных американских машин, одни подвозят горячий асфальт со специальных передвижных заводов, другие разравнивают, третьи укатывают, и дорога готова. Отец загорелся: и нам бы такое! Он попросил Страментова пригласить к нему на следующей неделе представителя ЮНРРА[9] на Украине Маршалла Макдаффи. Поясню, кто он такой, чем занимался в Киеве.

Сразу после войны на Украину и в соседнюю Белоруссию приехали представители ЮНРРА. На Украине и в Белоруссии (с представительством в Киеве) миссию возглавлял американец Маршалл Макдаффи. Поначалу имя его Маршалл приняли за военное звание, но быстро разобрались, отец даже пошутил с гостем по этому поводу при первом знакомстве. Маршалл Макдаффи неоднократно посещал Хрущева официально, встречался с ним и в неофициальной обстановке. Он объяснил отцу, что на выделенную ООН сумму можно заказать или продовольствие, или строительные и сельскохозяйственные машины. Решать ему.

Отец отдавал предпочтение машинам. Он рассуждал просто: продовольствие съедят и ничего не останется, Америка нас вечно кормить не станет. Американских тракторов и комбайнов на всю Украину тоже не хватит, да мы и сами научились их делать. Надо

брать то, чего у нас нет. Первым делом он попросил поставить на Украину трубы для газопровода. В Карпатах, в Дашаве, добывали газ и использовали его в домашних газовых плитах. Отец хотел, чтобы, как в Западной Украине, и у киевлян появился в домах газ.

Макдаффи сказал, что трубы они поставят, и слово свое сдержал: Украина получила не только газовые трубы полуметрового диаметра, но и траншеекопатели, трубоукладчики и даже машину, заворачивающую трубу перед укладкой в землю в специальную промасленную бумажную ленту. О такой технологии в Советском Союзе и не слыхивали. На сооружавшемся по специальному приказу Сталина газопроводе Саратов — Москва, вступившем в строй 11 июня 1946 года, трубы вручную обмазывали горячим битумом. С поступивших на Украину американских машин сняли чертежи и еще много лет выпускали их копии на советских заводах.

Впечатленный упомянутым выше рассказом Страментова отец попросил Макдаффи помочь дорожными машинами. Американская техника не только обеспечила строительство настоящих, не проселочных дорог на Украине, но и послужила подспорьем при проектировании собственных моделей.

Я писал, как еще в тридцатые годы отец заинтересовался американской чудо-сеялкой-сажалкой, опускавшей в землю картошку или семена, какие хотите: кукурузы ли, сахарной свеклы или хлопчатника, строго по углам квадрата так, что можно их рыхлить-полоть трактором с прицепом не только вдоль поля по ходу сеялки, но и поперек.

Тогда помешала война, а теперь появилась реальная возможность заполучить заморскую диковинку в руки, испытать ее на поле, скопировать и запустить в производство.

Квадратно-гнездовая сеялка-сажалка сулила революцию в сельском хозяйстве. В отсутствие гербицидов и инсектицидов сорняки и вредители продолжали одолевать поля Украины.

Высадка растений по углам квадрата не избавляла от долгоносиков, но кардинально облегчала борьбу с сорняками. Внедрить «квадрат» на Украине уже однажды попытались своими силами. Начали с сахарной свеклы, вручную размечали поля бечевками, сделали специальные сажалки-хлопушки, за один хлоп отмерявшие нужную толику семян. Но много ли так насажаешь, когда счет идет на миллионы гектаров? Теперь отец и надеялся на американскую помощь, и не напрасно. Макдаффи не подвел, привез заокеанские квадратно-гнездовые сеялки. Приступили к их освоению в наших, советских сельскохозяйственных реалиях. Шло все очень непросто, я еще остановлюсь на том, как все происходило.

Кроме всего прочего, Макдаффи оказался первым американцем, с которым отцу довелось не просто познакомиться и пообщаться, но и заняться настоящими делами. Заокеанский гость отцу понравился, но знакомство продолжалось недолго, началась холодная война, представительство ЮНРРА в Киеве закрылось, и Макдаффи уехал за океан.

Однако пора вернуться к разговору отца со Страментовым по пути на Подол. Страментов покончил с дорогами и теперь с увлечением рассказывал, как на Западе, в основном в Америке, строят дома из монолитного бетона: строго по минутам машины, оборудованные специальными вращающимися емкостями, подвозят раствор, перегружают его в бадьи, краны поднимают бадьи на верхотуру и там заливают бетон в уже подготовленную опалубку. И так этаж за этажом, четко, как на заводском конвейере. Отец слушал внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, но без особого интереса.

— Любопытно, — протянул он по окончании рассказа, — вот только к нам абсолютно не применимо: бетона нет, его не хватает даже на восстановление домен и Днепрогэса, машин-бетоновозов тоже нет, замешивать его придется тут же на стройплощадке. И кранов у нас раз-два и обчелся, кирпич строители таскают на стены по-старому на закорках, на козе, как муравьи. Да и вообще весь этот хронометраж не для нас, то с одним запоздают, то другое потеряют.

Страментов согласился — пока американские чудеса звучат сказкой, но придет время…

— Когда оно еще настанет, — перебил его отец, — нам надо строить сейчас из того, что имеется под руками.

За разговорами проехали Пущу-Водицу. Со стороны Межигорья артиллерия во время наступления на Киев выбила сосновый лес почти начисто. Деревья сохранились только ближе к Вышгороду. Въехали в пригород, миновали Бабий Яр, и сразу за Крымским спуском свернули вправо, здесь у подошвы горы строили экспериментальный четырехэтажный жилой дом, по меркам тех лет — высотку. На стройке отца поджидали инженеры-изобретатели, тут же суетилось городское начальство. У самой стены дома, на расчищенной от мусора площадке, развернули импровизированную выставку. Я, конечно, запомнил далеко не все. Детская память избирательна. Один из изобретателей предлагал складывать куски стен из кирпичей на земле и поднимать наверх целыми блоками. Отец к кирпичным блокам отнесся довольно равнодушно, экономию сил и времени это предложение давало, как он выразился, «чепуховую», а доставлять блоки на этажи придется краном, которого пока нет.

Однако мысль уйти от кирпичей к чему-то более крупному в память ему, наверное, запала.

Другая новинка — листы сухой гипсовой штукатурки, ровные и белые, как ватманский лист бумаги. Настоящее чудо, избавлявшее строителей от изнурительного обляпывания стен раствором и затем бесконечного заглаживания бесконечных же выбоин и опупин. Гипсовая панель отцу очень понравилась, он дотошно расспрашивал автора, не раскрошится ли она при транспортировке и, главное, не напитается ли гипс влагой, «не растает ли»? Автор изобретения отвечал исчерпывающе, говорил по существу, кратко, не рассусоливая. Отец удовлетворенно хмыкал и наконец дал добро: «После окончания испытаний приступить к производству гипсовых панелей взамен штукатурки».

Рядом стоял еще один макет кирпичной стены, но не целиковый, как обычно, а весь в пустотах, заполненных печным угольным шлаком. Кирпичей на Украине катастрофически не хватало, их экономили, а заодно находили применение шлаку из многочисленных городских котельных. Новую технологию кирпичной кладки рискнули внедрить лишь на строительстве двух-трехэтажных домов, стены получались уж очень хлипкими.

Затем отца подвели к стенду керамического завода. Его заполняли светло-желтые, розовые, коричневые облицовочные плитки, гладкие и с рельефными узорами. Докладывал молодой человек, изобретатель нового метода облицовки домов, по фамилии Абрамович, имя и отчество его сейчас не припомню. Он увлеченно и уверенно рисовал картину, как его плитки избавят строителей от штукатурки фасадов, сэкономят труд, время и одновременно сделают дома во сто крат наряднее. Плитки Абрамовича решили испытать при облицовке домов, строившихся на Крещатике.

На дачу со строительной выставки мы вернулись только к вечеру. В машине отец продолжал обсуждать со Страментовым какие-то дела, я их уже не слушал, задремал.

Через некоторое время, летом или ранней осенью, отец, собираясь в очередной раз посмотреть, как продвигается восстановление Крещатика, позвал меня с собой. На сей раз день был будний, отец послал за мной машину домой, на Осиевскую, сам он, как всегда, работал, в нависающем над днепровской кручей сером полукруглом здании Совета Министров.

Я зашел к нему в кабинет, расположенный, наверное, этаже на шестом. Раньше там мне бывать не приходилось. Из окна открывался вид на Днепр, на заросший ивняком Труханов остров, а дальше до самого горизонта стелились поля равнинного

левобережья. Я с любопытством озирался по сторонам: большой, заваленный бумагами, письменный стол, на стене портрет Сталина в казенной коричневой деревянной рамке, сбоку у глухой стены — длинный затянутый стандартным зеленым сукном стол для заседаний. Рядом, в углу, целая выставка: там и уже знакомые мне облицовочные керамические плитки, и куски сухой штукатурки, и полые кирпичи, и многое другое. Отец любил похвалиться техническими достижениям украинских умельцев перед заезжими гостями и постоянно обновлял экспозицию. Долго осматриваться отец мне не дал, дочитал какой-то документ, встал из-за стола, и мы поехали на Крещатик.

Крещатик назван в честь крещения, здесь вдоль ручья, протекавшего по глубокой котловине, князь Владимир и его дружина гнали язычников-киевлян в Днепр обращать в новую, христианскую веру.

До войны Крещатик ничем не отличался от центральных улиц других российских губернских городов: мощеная булыгой узкая проезжая часть, вдоль нее двухэтажные, льнувшие друг к другу, дома и домишки, лишь кое-где среди них — «небоскребы» в пять-шесть этажей. В середине 1930-х годов Крещатик решили реконструировать, расширить и застроить современными зданиями, на манер улицы Горького (Тверской) в Москве. Из задуманного успели возвести только облицованный гранитом красавец-универмаг. Его открыли накануне войны, в июне 1941 года.

Теперь Крещатик лежал в руинах. Универмаг же чудом уцелел, сохранились и еще кое-какие здания, но улица как таковая перестала существовать. Даже проезжая часть стала непроезжей из-за наваленных груд мусора. Его к тому времени кое-как разгребли, пустили движение в один ряд и теперь раздумывали, как восстановить, вернее, отстроить новый Крещатик.

Кто взорвал или разрушил иным образом дома на Крещатике — загадка. Не смог разгадать ее и отец, несмотря на его высокое положение, открывавшее в послевоенное время доступ к любым архивам, несмотря на второе, после командующего, место в командной иерархии фронта, оборонявшего Киев, несмотря на то, что все нити партизанского движения на Украине стекались к нему.

«Я так и не смог разобраться, кто взрывал дома на Крещатике. Его разрушили еще в 1941 году, вскоре после прихода немцев. Они говорили жителям, что это проделки партизан. Я не знаю — мы таких заданий партизанам не давали. Думаю, все это проделки гестаповцев, их не волновал ни город, ни судьба людей,

в их интересах возбуждать гнев населения против партизан, склонять, тем самым людей к сотрудничеству. Но кто знает? Трудно сказать».

Так до сих пор никто и не знает. Партизанам взорвать дома вдоль целой улицы не по силам, для этого требуется незаметно пронести огромное количество, много тонн взрывчатки. Такого не случалось ни в одном из оккупированных немцами городов. Штаб, склад боеприпасов, железнодорожные пути — да, бывало, но целую улицу? И зачем?

Отступавшие советские войска тоже не успевали этого сделать. Сталин, несмотря на все мольбы командования Юго-Западного фронта и Генерального штаба оставить Киев и тем самым избежать окружения, приказал стоять насмерть.

Сталин запретил сдачу города, а значит, и уничтожение его объектов. Взорвать не успели даже завод «Большевик», не то что Крещатик.

Я помню, как рефреном «Киев — был, есть и будет советским!» — завершались все выпуски новостей и в газетах, и по радио, проводному, конечно. Так продолжалось до тех пор, пока в сентябре немцы не прорвались с фланга, захватили Киев и пленили более шестисот тысяч наших солдат. А уж сколько оборонявшихся перебили, одному Богу известно. Тогда погибли, в числе многих тысяч других, командующий фронтом генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос, заместитель отца по Украинскому ЦК Михаил Алексеевич Бурмистренко, а уцелевшие генералы, такие, как будущий герой взятия Киева и будущий маршал Москаленко или будущий предатель, а тогда герой обороны Киева генерал Власов, еще долго пробирались к линии фронта — кто с бойцами, кто в одиночку, переодевшись в крестьянские «свитки».

Я подумал, не взрывали ли Крещатик радиоуправляемыми минами легендарного Ильи Старинова? Известно, что с их помощью уничтожили несколько важных объектов в оккупированном немцами Харькове. Но это произошло уже много позднее, в октябре 1941 года, когда немцы захватили уже почти всю Украину. Тридцатью радиоминами предполагалось «оборудовать» штаб Харьковского военного округа, важнейшие заводы и другие значимые объекты. Обычными, не радио, минами собирались усеять подходы к Харькову, его пригороды, осуществить тем самым первую с советской стороны операцию по массированному минированию путей наступающих немецких дивизий. Жилые дома на центральной улице Харькова не минировали, военного значения они не имели, да и проживавших в них людей девать некуда.

Когда в соответствии с заведенным порядком, полковник Старинов представлялся первому члену Военного совета Юго-Западного фронта Хрущеву, доложил и о радиоминах, и об объектах, намеченных к минированию. Отец живо заинтересовался новинкой. Дальше я приведу рассказ Старинова.

— Давайте поставим радиомину и в доме, где я живу (№ 17 по улице Дзержинского, его построили когда-то для Косиора, секретаря ЦК КП (б) У), — предложил он. — Дом видный, наверняка и у немцев его облюбует какая-нибудь «шишка», вдруг сам командующий группой армий. Вот мы его и рванем.

— Никита Сергеевич, я сам эти радиомины только осваиваю, они еще не обкатаны, могут неожиданно рвануть без всякого радиосигнала, разнесут вас самого в клочья, — отговаривал Хрущева Старинов.

— На войне мы все под Богом ходим, товарищ полковник, и я, и вы, давайте рискнем, — Хрущев твердо стоял на своем.

Приказ есть приказ. Старинову оставалось только подчиниться. 12 октября 1941 года подчиненная ему группа саперов приступила к минированию. Сам радиофугас закопали глубоко под котельной, тщательно замаскировали, а сверху в куче угля для отвода глаз поставили тоже очень современную мину замедленного действия. Дальше все шло как по писаному: 24 октября немцы вошли в Харьков, 8 ноября их саперы обнаружили в подвале дома № 17 по улице Дзержинского мину-ловушку, через пару дней в него въехал, к сожалению, не командующий группой немецких армий, а «всего лишь» начальник Харьковского гарнизона генерал Георг фон Браун.

14 ноября в 3 часа 15 минут утра Старинов из соседнего с Харьковом Воронежа послал радиосигнал на подрыв своих фугасов. Мины сработали с большим эффектом, в том числе в доме № 17 по улице Дзержинского погиб генерал фон Браун. Когда Хрущеву доложили о результате операции, он остался очень доволен, особенно тем, что был уничтожен фон Браун.

Бывал ли Старинов в Киеве? Он пишет, что бывал. С 1 августа 1941 года, за месяц до захвата Киева немцами, Старинов и еще четыре инструктора-подрывника учили в Пуще-Водице будущих украинских партизан своим премудростям, а затем в середине августа, еще до того, как западня захлопнулась, отбыли в Белоруссию, и оттуда — в Орел.

Однако в августе радиомин в распоряжении у Старинова не имелось. Теоретически их могли привезти в Киев и без Старинова. Теоретически… Практически же сведения такие отсутствуют, и, повторяю, использовали драгоценные радиомины только для подрыва наиважнейших объектов, а их вместе с

Киевом сдали немцам невредимыми.

После обретения независимости на Украине стало модно во всех «грехах» винить «москалей». Ставят им в вину и разрушение Крещатика. Конечно, «москали» при отступлении с удовольствием бы его разрушили, обе воюющие стороны, и советская, и немецкая, исповедовали тактику выжженной земли, в том числе и собственной. Могли бы разрушить, но, как свидетельствуют доступные мне сведения, не смогли. Взорванный Крещатик, скорее всего, на совести немцев.

Однако кто бы ни уничтожил Крещатик, восстанавливать его выпало отцу. Отец же задался целью не воссоздавать старое, а несмотря на разруху, сделать центральный киевский проспект таким, чтобы не краснеть перед потомками. Руководили всеми работами по восстановлению Крещатика главный архитектор Киева Александр Васильевич Власов и старый знакомый отца, выдающийся строитель Николай Константинович Проскуряков.

В 1936 году отец, наслышанный о Проскурякове как о «мостовике», показавшем себя на строительстве Днепрогэса, пригласил его строить мосты в Москву. За два года в Москве построили два Каменных моста, Большой и Малый, оба Краснохолмских (над Москвой-рекой и водоотводным каналом), Крымский, Москворецкий, Чугунный, Устинский, реконструировали Новоспасский мост, построили два путепровода у Рижского вокзала. Работы завершились в 1938 году, уже после отъезда отца в Киев, но оценить хваткость и организационные таланты Проскурякова он имел достаточно времени.

Поэтому сразу после освобождения Киева он попросил Москву отозвать Проскурякова из армии и направить в Киев восстанавливать взорванные немцами мосты через Днепр. Годом позже отец взвалил на его плечи организационные хлопоты по возрождению Крещатика.

Улицу расширили, заасфальтировали, теперь автомобили могли не только обгонять друг друга, но и свободно двигаться в каждом направлении в два ряда. В годы, когда каждая проезжающая машина привлекали внимание, такое казалось ненужной роскошью. На переходах, на разделительной полосе поставили массивные гранитные тумбы с гранитными же шарами наверху, первые в советской практике островки безопасности для пешеходов. Над ними тоже немало потешались. Тумбы прозвали убийцами водителей. Страментов предложил вдоль всего Крещатика проложить, облицованный кирпичом подземный туннель — коллектор для городских коммуникаций. Тогда отпадет необходимость вскрывать мостовую, рыть ямы. При

дефиците кирпича, закапывание его в землю многим казалось транжирством, да и не строили никогда таких коллекторов в Советском Союзе. Киев стал первым и на несколько лет единственным примером рационального подхода к городскому хозяйству. Довоенные узкие тротуары с одной стороны Крещатика просто расширили, а с другой превратили в многорядную пешеходную зону с аллеями, обсаженными, по настоянию отца, киевскими каштанами и московскими рябинами. Дома-высотки в восемь-девять этажей с этой стороны убрали подальше от улицы, вынесли на обрамляющий Крещатик пригорок, их фасады щедро разукрасили керамикой Абрамовича с украинским мозаичным орнаментом. Этот проект архитектора Власова вызвал ожесточенную критику, особенно орнаментальная отделка домов. Их сравнивали с безвкусными кремовыми свадебными тортами, насмехались над автором-архитектором, а заодно над отцом. В те годы «передовые» умы отошли от модного до войны конструктивизма, домов-кубиков из бетона и стекла, следовали тяжеловесным канонам сталинского неоклассицизма. А тут цветочки-завиточки. Критика застройки Крещатика расстраивала отца, ему самому нравилось, но… Отец пошел со своими сомнениями к старому знакомому, корифею архитектуры, академику Алексею Викторовичу Щусеву. Тот сказал, что такое отношение к новострою бытовало всегда: «Современникам архитектор никогда не угодит, признание приходит после смерти. И вообще все это дело вкуса, одним нравится одно, другим — другое». Ему же самому Крещатик понравился. «Первые четверть века новое в архитектуре охаивают, через полвека — привыкают, а через сто лет — объявляют классикой», — добавил Щусев.

Его слова успокоили отца, но не до конца. Сомнения в выборе Власова и его собственном выборе оставались еще долго. Одно утешало: Крещатик больше не заштатная губернская улица.

Современный Крещатик мне чем-то напоминает парижские бульвары: каштаны разрослись и скрыли ощетинившиеся горизонтальными сетками-ловушками нижние этажи домов. Абрамовичевские плитки с годами демонстрировали все возрастающее коварство, под действием морозов и дождей то и дело отлетали от стен и падали на головы прохожих. Они стали настоящим бедствием, и впоследствии от них пришлось отказаться.

А вот еще одна поездка с отцом. Теперь на Ирпенскую пойму весной 1947 года. Ирпень — заболоченная речушка вверх по Днепру от Киева. Я вскользь упомянул его в рассказе о штурме Киева. Отец задумал наладить в пойме выращивание овощей для киевлян. Все последующие годы он в Киеве, а затем в Москве,

стремился переориентировать близлежащие села с выращивания зерновых культур на овощные, требовал создавать мощные специализированные пригородные овощеводческие хозяйства. Экономически овощной уклон очень выгоден, но и труда огурцы с помидорами требуют больше, чем овес с рожью. Благие инициативы отца натыкались на мягкое, но упорное сопротивление не заинтересованных в результатах своего труда производителей. И это при том, что на приусадебных участках крестьян огородничество процветало.

Вот и сейчас на Ирпень мы приехали солнечным, но еще прохладным воскресным апрельским утром. Снег сошел только недавно. Отец в своей любимой коричневой кожаной куртке, окруженный толпой агрономов, мелиораторов и просто местных начальников, выхаживал по бурой траве торфянистой поймы, отмерял что-то шагами, выспрашивал, где пройдут оросительные каналы, тут же в уме подсчитывал будущий урожай и соотносил его с потребностями Киева. Получалось, если взяться за дело с умом, то у горожан проблем с овощами вскоре не будет.

Я увязался за отцом по привычке и теперь уныло следовал за ним. Если на стройке я еще находил некоторый интерес, то в этой серой равнине меня не прельщало ничто. Разве что дымящаяся почва. По весне подсохшие торфяники регулярно загорались, их не тушили, ждали дождь, чтобы загасли сами. Меня предупредили не подходить близко, выгоревшая почва может провалиться и тогда… Испуганный, я жался к окружавшей отца толпе.

Наконец, договорившись обо всем, продрогший на весеннем сквозняке, отец направился к машине.

С ирпенской затеей получилось не очень складно. Пока отец оставался в Киеве, он ее подталкивал и все потихоньку делалось. Через пару лет, в 1949 году, он уехал в Москву. Ирпень не то что захирел, но и не стал той овощной кладовой Киева, которая виделась отцу. Так происходило не раз, только перестаешь продвигать, казалось бы, нужную всем идею, как она тут же заглохнет в бюрократических дебрях, как на неухоженном поле пропадает в зарослях сорняков кукуруза.

Так проявляется в нашей жизни основополагающий закон мироздания, второй закон термодинамики, объясняющий одну из сущностей природы: пока кто-то подкачивает извне энергию в физическую или иную систему, ее структура упорядочивается, устанавливается порядок. Стоит перестать качать энергию, и тут же нарастает энтропия, проще говоря, — беспорядок. Наступает хаос. Так происходит в мире молекул и атомов: стоит ослабить, удерживающие их вместе силы, и они разлетятся прочь. Так

разрушаются оставленные жителями на произвол судьбы древние города. Так зарастают бурьяном невозделываемые поля. И в человеческом сообществе, стоит пустить дело на самотек, и все идет в раздрай, пока не успокоится в хаосе абсолютной безынициативности.

Весенний сквозняк не прошел отцу даром, он простудился. Простуда перешла в воспаление легких, отец слег. Врачи предпринимали все, что могли, но ему становилось все хуже. Отец уже еле дышал, в ход пошли кислородные подушки. В доме стояла настороженная тишина. У постели, вместе с мамой, неотступно дежурил врач. Местные профессора и специально приехавшие из Москвы светила (мне запомнились профессора Губергриц, Вовси, Зеленин), выходя из спальни отца, сокрушенно покачивали головами. Мама ходила бледная, потерянная. Я старался при любой возможности пробраться к отцу, но удавалось мне это не всегда, мама не пускала меня дальше дверей, беспокоилась, чтобы еще и я не подхватил какой-либо микроб. Она, конечно, знала, что воспаление легких не заразно, но береженого Бог бережет. Я запомнил неподвижное серое лицо отца, хриплое с присвистом дыхание и неузнающий взгляд.

Беда не приходит одна. Той же весной Сталин обвинил отца в мягкотелости по отношению к крестьянам (я еще вернусь к этой истории) и в марте 1947 года направил в Киев «на усиление руководства» Кагановича. Приказал ему навести в республике порядок. Отца сместили с поста Первого секретаря ЦК Компартии Украины, его место занял Каганович. Отец пока оставался главой украинского Правительства. Пока… Каганович с первого дня начал устанавливать свои порядки, развернул борьбу с мелкой вспашкой, озимой пшеницей, украинскими националистами. Он часто появлялся на людях, ездил по области, выступал. Отец же как в воду канул. Поползли слухи, что он арестован или его вот-вот его арестуют.

К середине июня отец пришел в себя, но на работу не вышел, врачи настаивали на отпуске. Последний раз он отдыхал еще до войны, так давно, что и сам почти не помнил когда. От отпуска отец категорически отказался, дел невпроворот, да и чрезмерная активность Кагановича беспокоила его не на шутку. Дело дошло до Сталина, он позвонил в Киев и настоятельно порекомендовал отцу поправить здоровье. Заботливость Сталина отца не порадовала, он помнил, как последний в его присутствии в 1930-е годы звонил Павлу Петровичу Постышеву, тоже впавшему в опалу члену Политбюро, расспрашивал о самочувствии, советовал беречь себя. И, положив трубку, тут же распорядился об его аресте. Но со Сталиным не поспоришь, отцу пришлось

подчиниться. Мы всей семьей отправились на Рижское взморье, в Майори. Отец быстро окреп. В августе открылась утиная охота, и он зачастил с ружьем на соседние болота. Ему не сиделось на месте, и он решил слетать в Калининград. Отца туда настойчиво зазывали старые фронтовые друзья-генералы. С собой он взял меня и мою старшую сестру Раду. Мама с младшими дочерьми осталась на взморье, в самолете ее сильно укачивало. Кенигсберг, тогда к новому названию Калининград еще не привыкли, встретил нас моросящим холодным дождем и привычной по Украине послевоенной разрухой — коробками разбитых артиллерией кирпичных домов, улицами, ведущими из ниоткуда в никуда. Вот только разрушения выглядели помасштабнее киевских, советские войска штурмовали немецкий город-крепость не одну неделю.

На аэродроме нас встретили генералы (фамилий их я уже не помню), провезли по центру города, вернее, по тому, что от него осталось, а там не сохранилось ни одного несгоревшего здания, свозили к королевскому замку, на могилу Иммануила Канта и в янтарный карьер. Мне запомнился карьер. Такую огромную яму в земле я видел впервые. В глубине котлована водяные пушки струями воды размывали голубоватую глину, просеивали ее на специальных грохотах, вылавливали всплывавшие на поверхность золотистые кусочки застывшей смолы, янтарь с застывшими внутри мушками, комарами, веточками растений. В местном краеведческом музее, туда мы отправились после осмотра карьера, подобных диковин имелось в изобилии. Там же, в здании музея, для отца устроили выставку достижений немецких химиков, научившихся во время войны воспроизводить в своих лабораториях эрзацы ставших недоступными естественных продуктов: каучука, машинных масел, тканей и множества других нужных людям вещей. Янтарь отца не очень заинтересовал, а от продукции химиков он пришел в восторг.

Во время войны в Советском Союзе вдоволь наиздевались над немецкими эрзацами — ничего-то нет у них настоящего, одни заменители: эрзац-бензин, эрзац-валенки. Последние особенно пришлись по вкусу карикатуристам. Газеты пестрели рисунками «фрицев» с застывшей каплей на носу и огромных валенках из соломы. Тут же нам показали не эрзац, а фирменные чудеса. Из бурого угля, а в нашей стране его и за уголь не считали, получали какую-то прозрачную жидкость, и вот она уже превращается в тончайшую нить, а нить в кусок ткани, настоящей, ничуть не хуже хлопковой и даже шелковой.

Отцу подарили большой деревянный ящик, в нем в специальных гнездах лежали кусочки угля, пробирки с

жидкостью, образцы нитей и тканей, отражавшие все стадии преобразования невзрачных бурых комочков в разноцветье дамских нарядов. Именно в Кенигсберге, в 1947 году отец впервые воочию убедился в чудотворных возможностях химии. Он ничего не забывал, впитывал в себя новые сведения, затем хранил их, иногда годами, «до востребования». Я тоже получил подарок от химиков — две больших катушки крепчайшей и к тому же прозрачной, невидимой для рыбы, лески — несметное богатство по тем временам. Расходовал я ее настолько экономно, что кое-что у меня сохранилось до сих пор.

Прилетев в Ригу, отец засобирался домой, ему — время выходить на работу, а нам — в школу. В Киев мы вернулись в последние дни августа.

По возвращении домой отец продемонстрировал немецкие достижения местным ученым, но без особых последствий, время большой химии еще не наступило.

Опять Москва

В конце 1949 года жизнь наша резко переменилась, отец сообщил, что мы переезжаем в Москву. Для отца это решение Сталина оказалось еще неожиданней, чем для нас, и, несмотря на то что в 1947 году все обошлось, оно вселило в его душу новую тревогу. Тогда любые перемены в судьбах людей, особенно высокопоставленных, вселяли тревогу. Сталин разыскал отца во Львове, его вызвали к телефону во время выступления на собрании студентов местного Политехнического института. Передали записку с просьбой позвонить «самому». Ничего не объясняя, Сталин спросил, когда отец может прилететь в Москву?

— Если срочно, то завтра, — ответил отец.

— Хорошо, приезжайте, — Сталин положил трубку.

Сталин нередко так поступал перед расправой с очередной жертвой: неожиданный вызов в Москву, а там… Несколько успокоил отца разговор с Маленковым, он отзвонил ему сразу после разговора со Сталиным. Маленков заверил, что оснований для волнений нет.

Не знаю, успокоили ли его слова отца или еще более обеспокоили, время-то вновь наступало непредсказуемое. Набирало обороты «Ленинградское дело». 13 августа арестовали Алексея Александровича Кузнецова, а совсем недавно Сталин называл его своим преемником в качестве главы Коммунистической партии. 27 октября арестовали Председателя Госплана Николая Алексеевича Вознесенского, еще одного сталинского фаворита. Так что беспокоиться было о чем.

Во Львов отца привело убийство западноукраинского публициста и писателя Ярослава Галана, ратовавшего за объединение всех украинцев в Советской Украине и яростного противника националистического подполья — бандеровцев. Степан Бандера, сын священника, бывший студент Львовского политехнического института, боролся за украинскую независимость со всеми. Пока Западная Украина входила в состав Польши — с поляками, за что они его посадили в тюрьму. Откуда его выпустили советские войска, вошедшие в 1939 году во Львов. Он тут же начал воевать против своих освободителей, ради чего вступил в союз с Гитлером. К началу войны Бандера стал одним из организаторов Украинской дивизии СС «Нахтигаль» (соловей). Не получив обещанной немцами независимости, Бандера повернул оружие против них. В 1944 году, после освобождения Западной Украины от немцев, возобновил войну с Советской Армией, с новой украинской властью, с лояльными ей

украинцами, со всеми, кто не с ним. А с ним оставались многие, если не сказать большинство западно-украинского населения, и в селах, и в городах. Поначалу в прикарпатских лесах прятались целые вооруженные отряды. Когда их разгромили, тактика борьбы изменилась, бандеровцы разошлись по селам. Днем они мирно трудились на полях, а ночью доставали из схронов оружие и убивали «продавшихся москалям» соседей, советских солдат, местных администраторов, просто неосторожных путников. Потери с обеих сторон были огромны: до двадцати тысяч советских военнослужащих и пятьдесят тысяч гражданских лиц и примерно столько же со стороны бандеровцев. Настоящая война.

Теперь в центре Львова, в собственной квартире, убили Галана, его зарубил топором боевик подполья, представившийся студентом Лесотехнического института. Так же, как Роман Меркадер в 1940 году зарубил Льва Троцкого. Как и Меркадер, убийца завоевал доверие Галана, стал вхож в дом и, улучив момент, раскроил писателю череп.

Резонанс это убийство вызвало огромный, хотя в прессе, естественно, не появилось никаких деталей. Отец поехал во Львов разобраться. В этих условиях приказ Сталина не вселял оптимизма.

К счастью, все обошлось. Сталин встретил отца милостиво, предложил ему переехать в Москву, снова возглавить Московскую партийную организацию. «Ленинградское дело» не на шутку испугало дряхлеющего вождя. Он почти поверил, что и Кузнецов, и Вознесенский, и другие покушаются на его власть да и на него самого. Теперь, после получения анонимного доноса на секретаря Московского комитета партии Г. М. Попова, Сталин боялся появления новых врагов уже в Москве. Во главе столичной власти он хотел иметь доверенного человека. Выбор пал на отца, Сталин ему верил, по крайней мере больше, чем другим. В такой ситуации самое легкое и «естественное» понять намек, исполнить не высказанный прямо приказ поступить так, как до отца поступали другие. Но москвичам повезло, улучив момент, отец доложил «хозяину», что донос ложный. Сталин не настаивал и несостоявшееся «московское дело» сдали в архив.

Свое особое расположение к отцу он продемонстрировал буквально на следующий день после появления отца в Москве, 21 декабря 1949 года, в вечер празднования собственного семидесятилетия усадил его в президиуме торжественного собрания, проходившего в Большом театре от себя по правую руку. Слева от Сталина сидел Мао Цзэдун.

Пришла пора и нам прощаться с Межигорьем и с Осиевской. Переезд в Москву мама назначила на первую неделю января 1950

года, на школьные каникулы, так, чтобы дети не пропустили ни одного дня занятий.

Вновь я попал в Межигорье уже после смерти Сталина, в 1950-е годы. Отец поехал по делам в Киев и прихватил с собой меня. Тогда Украину возглавлял Николай Викторович Подгорный, соответственно он же занимал и бывшие отцовские резиденции. Мы проехали столь привычным и одновременно ставшим каким-то не таким путем. С Лукьяновки по Крымской горке спустились вниз на Подол, но не былым булыжным узким серпантином, а спрямленной заасфальтированной широкой дорогой. На Подоле свернули налево и бесшумно покатили по тоже заасфальтированной улице. Только трамвайные пути посередине да по правой руке школа из серо-желтого кирпича напомнили мне о детстве. Перед войной из-за нее мы ссорились с сестрой Радой до слез. Я, тогда еще неграмотный, гордо «читал» на ее фронтоне «Школа», а Рада, уже грамотная третьеклассница, поправляла меня «Шкла». Буква «о» свалилась, вот и осталось «Шкла». Я с ревом набрасывался на нее, требуя восстановить справедливость: школа есть школа, а не шкла какая-то.

Межигорье не оправдало моих ожиданий, все там как-то съежилось, потускнело. Но постепенно былое очарование восстанавливалось, те же цветочные грядки с «майорами» и эконизиями, на них я когда-то ловил бабочек-махаонов, те же дорожки, на дорожках те же лепешки разбитых груш, над ними жужжат те же осы и шершни, порхают все те же бабочки-адмиралы и павлиноглазки.

Последний раз я попытался проникнуть в Межигорье в 1991 году. Шла перестройка, набирала силу «борьба с привилегиями», новый украинский лидер Леонид Кравчук покинул резиденцию, там теперь никто не жил. В тот год я с американским профессором Вильямом Таубманом (он работал над биографией отца) путешествовал по отцовским местам, посетили Калиновку, Донбасс и вот наконец добрались до Киева.

Первым делом мы поехали на Осиевскую улицу. В резиденции теперь расположилась детская республиканская больница, сплошной некрашеный деревянный забор сменила металлическая решетка, за ней все тот же одноэтажный домик, где мы жили, на поле, где отец экспериментировал с персиками, приучал и приучил их расти в киевском климате, возвышалась серая башня больничного корпуса.

Казавшийся бездонным пруд, в нем бабушка пестовала гусей и уток, обмелел, превратился в какую-то лужу. Видимо, он и раньше был таким, это я изменился. Даже огромная ветла у пруда, в нее когда-то попала молния и проделала в коре дорожку

от верхушки до комля, больше не казалась великаном. Мы попросили у новых хозяев-медиков разрешения осмотреть дом, где жил отец. В его левом крыле, в бывшей столовой, шло заседание ученого совета. Справа, в спальне отца разместился кабинет директора.

С Осиевской мы поехали в Межигорье. Однако туда вопреки надеждам на перестройку и ликвидацию привилегий нас не пустили. Молодой охранник сквозь щелочку чуть приоткрытой калитки мельком глянул на документы, запер дверь и ушел совещаться с начальством. Дали от ворот поворот. Так я не попал в Межигорье в период горбачевской вольницы и, видимо, больше не попаду.

В Москве до отъезда в Киев наша семья жила в доме правительства на улице Серафимовича, дом 3, в 12-м подъезде, как мне представляется, на шестом этаже, в квартире 206. Квартиру я совершенно не помню, в моей памяти остались только окно и вид из окна. Мама меня ставила на подоконник. На противоположном берегу Москвы-реки вовсю строили Дворец Советов — выкопали огромный котлован, в нем огни электросварки и переплетение огромных стальных балок — каркас будущего здания. Уезжая в Киев, отец освободил квартиру — она принадлежала Управлению делами Совета народных комиссаров СССР, но бесквартирье продолжалось недолго. В 1939 году, сразу после избрания в Политбюро ЦК, ему предоставили новую, много большую, чем даже в доме правительства, семикомнатную дореволюционную купеческую квартиру № 95 на пятом этаже дома № 3 по улице Грановского (теперь ее переименовали в Романов переулок), рядом с Кремлем, позади «старого» Московского университета. Отец останавливался тут во время кратких наездов в Москву по сталинскому вызову или иным делам.

В этой квартире мы и поселились по возвращению в Москву. Напротив нас на той же лестничной площадке жил Николай Александрович Булганин, в тридцатые годы — председатель Моссовета, а теперь министр вооруженных сил. Этажом ниже, под нами, располагалась квартира Георгия Максимилиановича Маленкова. У отца с ним установились дружеские отношения еще с довоенных времен. Тогда Маленков заведовал кадрами, сначала в Московском комитете партии, потом в ЦК, без него не происходило ни одно мало-мальски серьезное назначение. Сейчас он продвинулся еще выше, стал правой рукой Сталина и одновременно его доверенным высокопоставленным «секретарем». Вроде Бормана при Гитлере. Под Булганиными — квартира героя Гражданской войны, командира легендарной

Первой конной армии Семена Михайловича Буденного. На третьем этаже жил маршал Семен Константинович Тимошенко, нарком обороны в предвоенные годы, а до того — командующий Киевским военным округом, тоже хороший знакомый отца. Кто еще жил в нашем центральном, выходящем в хилый московский дворик, подъезде, не помню.

Началась московская жизнь. Я пошел в новую школу № 110. В отличие от моей киевской школы № 24, здесь потребовалось осваивать латынь. Сталин к концу жизни почему-то решил вернуться к классическому образованию, и на нас тогда ставили эксперимент. В середине учебного года мне приходилось наверстывать упущенное, зубрить латинские слова, спрягать глаголы, осваивать еще много иных премудростей давно умершего языка. Отвечать у доски приходилось часто и никогда успешно. Наш латинист Иван Антонович, если не ошибаюсь, учитель с еще дореволюционным стажем, ставя очередную двойку, поучал меня дежурной притчей о быстроногом Ахиллесе, который никак не может догнать черепаху. Так я ее и не догнал.

Зато я стал первым по английскому языку. В Киеве, сразу после войны, мама решила сама выучить английский язык и нас, детей, к нему приохотить. Учительницу звали Мирра Абрамовна. После двух лет интенсивного обучения, а Мирра Абрамовна нам спуску не давала, знаний английского мне хватило на всю оставшуюся жизнь.

Дачу отцу предоставили в Огареве, так теперь называлось бывшее поместье великого князя Сергея Александровича, одного из московских генерал-губернаторов. Роскошный двухэтажный кирпичный дом, с оконными переплетами в виде крестов, огромным зимним садом с пальмами и даже бананами, правда не плодоносящими, с каменными львами у парадного входа.

Неподалеку, в Зубалове, жили Микояны. Я сдружился с младшим сыном Анастаса Ивановича, Серго, он старше меня на шесть лет, закончил Институт международных отношений и стал обладателем «шикарного» трофейного «мерседеса», еще довоенного, правда, простоявшего без движения в гараже на даче его дяди-авиаконструктора Артема Ивановича восемь послевоенных лет. В 1945 году Артем Иванович привез его из Германии, тогда оттуда тащили всё, что только можно. Но покататься на «мерседесе» Артему Ивановичу не пришлось, началась холодная война, а с ней и эра реактивной авиации. Артем Иванович дневал и ночевал в конструкторском бюро, сначала делали Миг-9, потом — знаменитый Миг-15. На работу его возили на служебной «Победе», а в редкие выходные он отсыпался. Тут не до катаний.

За разработку Мига-15 Артем Иванович получил в 1948 году Сталинскую премию, а к ней в придачу — «просто» премию в полмиллиона рублей (немыслимая сумма по тем временам) и личный подарок от Сталина — автомобиль ЗИМ.

В гараже на даче срочно потребовалось место для ЗИМа, да и две машины Артем Иванович считал ненужной роскошью, он и с одной не знал что делать. Тогда-то Серго стал обладателем дядиного «мерседеса», правда, почти недвижимого. За долгие годы стоянки в неотапливаемом сарае-гараже аккумулятор приказал долго жить, все резиновые трубки растрескались, в мотор набилась пыль и сор. Заводские механики, по просьбе Артема Ивановича вдохнули в автомобиль жизнь, привели его в относительный порядок, и передали его Серго с рук в руки. Однако руки оказались разными. В наших руках он то никак не желал заводиться, а если и заводился, то глох в самый неподходящий момент.

Подчинялся «мерседес», тоже без особой охоты, только старшему брату Серго, Ване, работавшему у дяди в КБ и, главное, умевшему делать все: не только конструировать самолеты, но и шить шторы, строить дома, мостить дороги и уж конечно заводить автомобили. Серьезно противиться ему автомобиль не смел, обиженно прочихавшись, начинал недовольно урчать. Серго гордо усаживался за руль, я устраивался рядом, и мы отправлялись в полуторакилометровое путешествие от микояновской дачи к нашей. Метров через триста «мерседес», убедившись, что Ваня остался дома, пару раз стрельнув мотором и выпустив из выхлопной трубы облако вонючего дыма, останавливался. На нас с Серго он никак не реагировал, хотя мы все делали, как учил Ваня: продували насосом карбюратор, отсоединяли и снова присоединяли трубки бензопроводов, осторожно пинали босыми ногами колеса. Ничего не помогало. Отчаявшись, мы отправлялись назад за Ваней. Он никогда не отказывал, брел с нами к месту, где «мерседес» заартачился, и через пару минут, поняв, что сопротивление бессмысленно, автомобиль в его руках заводился. Ваня отправлялся пешком назад, а мы продолжали путешествие. Расстояние между дачами мы обычно одолевали в три-четыре приема, и времени тратили побольше, чем на пешую прогулку, я уже не говорю о велосипедной. Но зато — за рулем собственного автомобиля!

За столом у Сталина

Отец постепенно осваивался с московскими порядками. После полновластья на Украине, где все приноравливались к его распорядку дня, его привычкам, ему теперь приходилось приспосабливаться к сталинскому укладу жизни. Полуночный просмотр очередного полюбившегося Сталину старого американского ковбойского фильма, затем бдение за «обеденным» столом, возвращение домой под утро, а утром — на работу. И так изо дня в день. В те годы я впервые увидел отца не совсем трезвым. Он вернулся от Сталина не под утро, как обычно, а ранним утром, когда я собирался в школу.

«Когда я вновь перешел работать в Москву, для меня, конечно, было большой честью работать непосредственно под руководством Сталина и напрямую общаться с ним. Я сказал бы, что это было полезно и для работы. Ведь от Сталина мы набирались и немало полезного, потому что он являлся крупным политическим деятелем. Особенно получалось хорошо, когда он находился в здравом уме и трезвом состоянии. Но страдать приходилось больше, чем на Украине, где я был на отшибе. Почти каждый вечер раздавался звонок: “Приезжайте, пообедаем”. То были страшные обеды. Возвращались мы домой к утру, а мне ведь нужно на работу выходить. Я старался поспевать к десяти часам, а в обеденный перерыв пытался поспать, потому что всегда висела угроза: не поспишь, а он вызовет, и будешь потом у него дремать. Для того, кто дремал у Сталина за столом, это кончалось плохо.

Меня могут спросить: “Что же, Сталин был пьяницей?” Можно ответить, что и был, и не был. В последние годы не обходилось без того, чтобы пить, пить, пить. С другой стороны, иногда он не накачивал себя так, как своих гостей, наливал себе в небольшой бокал и даже разбавлял его водой. Но, боже упаси, чтобы кто-либо другой сделал подобное: сейчас же следовал “штраф” за уклонение, за “обман общества”. Это была шутка, но пить-то надо было всерьез…»

«…После войны у меня заболели почки, и врачи категорически запретили мне пить спиртное, — продолжает вспоминать отец. — Я Сталину сказал об этом, и он какое-то время даже брал меня под защиту. Но это длилось очень непродолжительное время. Тут Берия сыграл свою роль, сказав, что у него тоже почки больные, но он пьет, и ничего. Я лишился защитной брони (пить нельзя, больные почки): все равно пей, пока ходишь, пока живешь!»

Раз речь зашла о сталинских обедах, то не могу не упомянуть

послеобеденные танцы. О них столько наговорено в последние годы. Досужие «историки» превратили их чуть ли не в причину десталинизации. Сталин-де регулярно унижал своих собутыльников, особенно Хрущева, вот и доунижался. На самом деле ничего зловеще-драматического в застольном времяпрепровождении компании давным-давно знавших друг друга, изрядно надоевших друг другу стареющих мужчин я не нахожу. Изо дня в день, вернее из ночи в ночь, месяц за месяцем, год за годом одни и те же люди собирались за одним и тем же столом, ели одни и те же блюда, вели одни и те же разговоры. Иногда им, как всем смертным, хотелось поразвлечься, попеть, потанцевать. Отец рассказывал, что заводилой часто выступал Жданов. Он, по выражению отца, «бренчал» на рояле, инструмент стоял тут же в столовой, и пел куплеты, которые — снова процитирую отца: «не то что в приличном обществе, не во всяком кабаке услышишь». Остальные сталинские гости слушали, а кое-кто и подпевал. Однажды я сам оказался невольным свидетелем подобного «концерта», правда, не у Сталина на даче в Волынском. В апреле 1956 года советская делегация во главе с Председателем Правительства Булганиным на крейсере «Орджоникидзе» направлялась с государственным визитом в Великобританию. Отец тоже входил в состав делегации. 17 апреля, в день рождения отца, накануне прихода в порт Портсмут, Николай Александрович, а он любил выпить, крепко перебрал. Мне пришлось препроводить его в каюту отсыпаться. Я тянул Булганина за руку, а он то шел, то останавливался и в который раз начинал распевать куплеты о кунавинских мужиках. Кунавино — район Нижнего Новгорода, где Булганин родился и вырос. Куплеты нанизывались один на один складно, но не совсем литературно. Наиболее безобидный начинался словами: «Сели девки под корову, а попали под быка…»

Наверное, что-то подобное пелось и у Сталина, а напевшись, присутствовавшие начинали танцевать. Вот как вспоминает о танцах отец: «Это уже, наверное, последний год его жизни. Мы собрались у Сталина встретить Новый год на “ближней”. Чего-либо особого в тот Новый год по сравнению с другими вечерами, которые мы у него проводили, не происходило. Тот же состав людей, внутреннее настроение, конечно, повышенное, Новый год! Обедали, закусывали, пили. Сталин был в хорошем настроении, сам пил много и других принуждал. Выпили изрядное количество вина. Затем он подошел к радиоле и начал ставить пластинки. Слушали оркестровую музыку, русские песни, грузинские. Мы пели и подпевали пластинкам, которые заводил Сталин.

Потом он поставил танцевальную музыку, и все начали

танцевать. У нас имелся “признанный” танцор Микоян, любые его танцы походили один на другой, что русские, что кавказские, все они брали начало с лезгинки. Потом Ворошилов подхватил танец, за ним и другие. Лично я никогда, как говорится, ног не передвигал: из меня танцор, как корова на льду. Но и я “танцевал”. Каганович, как и Маленков, — танцоры не более высокого класса, чем я. Булганин когда-то в молодости хорошо танцевал. Он вытаптывал в такт что-то русское. Я бы сказал, что общее настроение было хорошим. Только Молотова не хватало. Молотов слыл городским танцором. Он воспитывался в интеллигентной семье, потом был студентом, плясал на студенческих вечеринках, к тому же он любил классическую музыку и сам играл на скрипке, вообще был музыкальным человеком. В моих глазах слабого ценителя он был танцором первого класса. Сталин тоже передвигал ногами и размахивал руками».

Как видите, никаких унижений, просто незатейливое «холостяцкое» веселье.

Спустя почти десятилетие президент Индонезии Сукарно тоже попытался приобщить отца к танцам. Обстановка тому способствовала: государственный визит в Индонезию в феврале 1960 года проходил, как говорится, без сучка и задоринки, а президент, как пишет в воспоминаниях отец, «обожал танцевать. И любил, чтобы танцевали все присутствовавшие. Так он поступал в Богоре и так же продолжал вести себя на Бали, в президентской резиденции, где останавливалась советская делегация. Я (Хрущев. — *С. Х.*), человек абсолютно не танцующий, даже в молодости никогда не увлекался танцами, был очень стеснительным, хотя мне нравилось смотреть, как танцуют другие. В принципе я был бы не прочь принять участие в невинных развлечениях Сукарно, но, кроме группового танца, который прежде знали в Донбассе шахтеры и мастеровые, я не умел ничего другого. Там становились в круг, брались за руки и топтались, вроде как в болгарском коло. Это умели делать все. Примерно так же однообразно, но до упаду, танцевал и Сукарно. Обычно после ужина. Сначала устраивался концерт с исполнением национальных музыкальных произведений, проходили сольные выступления. Затем все танцевали. Так прошел первый вечер, разошлись очень поздно.

На второй вечер после ужина президент снова устроил то же самое. Когда перешли к танцам, я стал прощаться, сказав, что очень устал. “Как? — изумился Сукарно. — Это невозможно, девушки обидятся, сделай мне одолжение”. Он столь же обожал танцы, как и женщин. Порою просто не владел собою. Я все же

ушел, некоторые из наших остались. Тут танцором номер один стал Громыко. Утром мне рассказали, до которого часа длились танцы. К тому времени я уже выспался!»

Думаю, что в данном случае отец, как и в молодости, засмущался, никакого особого искусства, по его собственному свидетельству, танцы у Сукарно не требовали.

Я отлично понимаю отца. Как и он, я тоже стеснялся и тоже почти никогда не танцевал. Почти, потому что изредка, в своей компании, особенно на природе, друзьям удавалось меня расшевелить, втянуть в общий круг. Можно ли назвать мои телодвижения танцем, судить не берусь, но я бегал вокруг костра и прыгал без удержу.

Отец тоже иной раз поддавался на уговоры, тому есть документальные свидетельства. Кинокамеры фиксировали на каком-то празднике в Кремле лихо отплясывающего вприсядку молодого Буденного, чуть приседающего, еще весьма резвого Ворошилова, отца, стоящего рядом и притопывающего ногой в такт танцорам. В 1963 году его показали в кинохронике, «двигавшего ногами» в такт музыке на празднике в Абхазском селении, куда они с Фиделем Кастро завернули во время поездки кубинского гостя по стране. В паре с отцом «танцевал» местный старейшина, годившийся Хрущеву в отцы. Вместе они смотрелись весьма неплохо.

Во время одной из многочисленных встреч с писателями в загородной резиденции в Семеновском отца тоже видели танцующим, точнее он ходил по кругу, похлопывая в ладоши, а рядом с ним приплясывал Ворошилов. Последний любил потанцевать. Его жена Екатерина Давидовна вспоминает об относящихся к совсем иному, дохрущевскому периоду застольях: «…когда им приходилось запросто бывать на даче под Москвой у тов. Сталина.

Вспоминалось гостеприимство Сталина, песни, танцы. Да, да, танцы. Плясали все, кто как мог. Киров и Молотов плясали русскую с платочком со своими дамами. Микоян долго шаркал ногами перед Надеждой Сергеевной (Аллилуевой. — *С. Х.*), вызывая ее танцевать лезгинку. Танцевал он в исключительном темпе и азарте, при этом вытягивался и как будто становился выше и еще тоньше. А Надежда Сергеевна робко и застенчиво еле успевала ускользнуть от активного наступления Микояна. Ворошилов отплясывал гопака или же, пригласив партнершу для своего коронного номера — польки, танцевал с чувством, толком, расстановкой. Жданов пел под собственный аккомпанемент на рояле.

И Сталин пел. Были у него любимые пластинки с любимыми

ариями из опер и песнями. Пластинки Иосиф Виссарионович сам сменял и занимал гостей. Особенно ему нравилось смешное…

Какое это было замечательное время! Какие были простые, по-настоящему хорошие, товарищеские отношения».

И тут нет и намека на неудовольствие, я уже не говорю об «оскорблении достоинства» танцевавших, певших и пивших. От отца я тоже никогда не слышал нареканий на танцы у Сталина. Не говорил он и о каких-то сталинских вывертах, унижавших его собутыльников.

Хотя, вспоминая о некоторых обедах у Сталина, отец не оставлял без внимания эпизоды, оставившие у него горький осадок. «Просто невероятно, что Сталин порою выделывал. Когда мы приезжали к нему по военным делам, то после нашего доклада он обязательно приглашал к себе в убежище. Начинался обед, который часто заканчивался швырянием фруктов и овощей, иногда в потолок и стены, то руками, то ложками и вилками. Я лично видел, как он бросал в людей помидоры. Меня это возмущало: ”Как это вождь страны и умный человек может напиваться до такого состояния и позволять себе такое?”

Командующие фронтами, нынешние маршалы Советского Союза, почти все прошли сквозь такое испытание, видели это постыдное зрелище. Такое началось в 1943 г. и продолжалось позже, когда Сталин обрел прежнюю форму и уверовал, что мы победим. А раньше он ходил, как мокрая курица. Тогда я не помню, чтобы случались какие-то обеды с выпивкой. Он был настолько угнетен, что на него просто жалко было смотреть».

Отец рассказывал и об унижениях Молотова в период, когда последний уже впал в немилость. Когда после возлияний переходили к музыкальной части, Сталин пенял Молотову, что тот в молодости ради заработка играл на скрипке по кабакам, ублажал пьяных купцов, а те мазали ему губы горчицей и заставляли играть в столь неприглядном виде.

Но довольно о танцах.

Как прокормить москвичей?

В Москве отец получил в наследство от своих предшественников вконец разоренное сельское хозяйство. Те же проблемы, что в Киеве, и не совсем те: колхозы — маленькие, земли неплодородные, жилья нет не потому, что его разрушила война, оно просто отсутствовало. Возрождение Подмосковья, по мнению отца, следовало начинать со специализации, с избавления от сельскохозяйственных культур, требовавших просторных полей: пшеницы, овса, ржи, развивать овощеводство, сажать картошку, морковь, капусту, салат, лук, строить теплицы, выращивать в них круглый год огурцы, помидоры, зелень, ориентироваться на потребности Москвы. Этим он в Киеве, на Ирпенской пойме, завершал свою карьеру и с того же решил начать преобразование подмосковного аграрного сектора. Доставлять все эти деликатесы с юга в те года не получалось, о рефрижераторах еще только мечтали, а без них любой овощ за неделю превращался в сплошную гниль.

Москвичи страдали не только от отсутствия свежих овощей и фруктов. За молоком, сметаной, творогом, сыром, маслом и, конечно, мясом, когда эти продукты появлялись на магазинных полках, выстраивались длиннющие очереди. Чтобы все это произвести, скотину требовалось накормить, если не вдоволь, то хотя бы покормить, чтобы на кости хоть какое-то мясо наросло, а вымя, высохшее от голода, раздоилось. Но как этого добиться? В подмосковных худосочных колхозах числились одни старухи. Рассчитывать на них особенно не приходилось. Хуже того, рассчитывать было вообще не на что.

Село задавили непомерными налогами, им обложили каждую яблоню, корову, каждую курицу. Труд крестьян государство оценивало более чем символически, колхозникам за трудодень официально платили меньше рубля, а нередко просто отмечали еще один отработанный день в ведомости «палочкой». И дело с концом. Заготовительные цены тоже устанавливали соответствующие, к примеру, в начале 1950-х годов за килограмм картошки давали три копейки, те старые, неденоминированные 3 копейки. Довезти ее от поля до сдаточного пункта обходилось дороже. Налоги же Министерство финансов взимало исправно, не заплатишь, никто с тобой церемониться не станет, дело передадут в органы, оттуда — в прокуратуру с судом, и пойдешь мотать срок. Вот и приходилось все выращенное на собственных приусадебных участках на своем же горбу тащить в Москву на рынок, а вырученные деньги в виде налогов возвращать той же

Москве.

Такую политику Сталин проводил осмысленно. Он ненавидел крестьян и через ограбление деревни приумножал, как ему представлялось, богатство страны, черпал из казалось бы бездонной бочки ресурсы на строительство новых заводов, электростанций, вооружение новых и новых дивизий. Постоянно выдумывались все новые и новые налоги. Общая сумма налога с крестьянского двора возросла со 112 рублей в 1940 году до 419 — в 1949 году, это год переезда отца в Москву, и продолжала расти, достигнув 528 рублей в 1952 году.

Работать практически задаром никто не хотел нигде, но в глубинке деться некуда, а тут до Москвы рукой подать и работы там невпроворот, хочешь, иди улицы подметать, хочешь — осваивай профессию строителя или на завод нанимайся. Отсутствие у крестьян паспортов и необходимость получения у местных властей разрешения на отходный промысел мало кого смущало, вечно голодный на рабочие руки город как-то договаривался с областью. Нередко все решалось и того проще, секретарь сельсовета за бутылку самогона выправлял нужные бумаги, выдавал справку — и ищи вчерашнего колхозника в московских переулках.

Кардинально изменить положение отец и мечтать не смел, заикнись он перед Сталиным о непосильности налогового бремени и… В 1946 году он испытал на собственной шкуре, что следует за «и…» Тогда на Украину обрушилась страшная засуха, зерна собрали чуть ли не меньше, чем посеяли, в среднем по 4,6 центнера с гектара, и тем не менее государственные заготовители вымели и это «чуть ли» подчистую, и рожь, и пшеницу, и кукурузу, и горох, «заготовили» даже семенной фонд, на собственный прокорм не оставили крестьянам ни килограмма.[10] Украине грозил голод, возможно, не меньший голодомор, чем в начале тридцатых годов. Требовалось что-то предпринять, и немедленно. Отец понимал, в сложившихся условиях сданный хлеб Москва не вернет, он уже «расписан» на прокорм не только своих горожан, но и значительная часть украинского урожая, около 2,5 миллионов тонн зерна, ушла в Польшу, Чехословакию и Германию. Отец потом часто вспоминал, как в голодную зиму 1946/47 года, когда украинцы ели траву, крыс, дошли до людоедства, поляки с презрением отказывались от «советского» черного ржаного хлеба, требовали пшеничного. Этого им отец не простил.

Отец решил пойти на хитрость, попытаться договориться с Москвой в обход Сталина о получении для украинских крестьян нескольких миллионов карточек, дававших доступ к

централизованному государственному снабжению продовольствием. Их ввели еще в начале войны, но выдавали только горожанам. Крестьяне, считал Сталин, сидят на земле и сами себя прокормят. Осенью 1946 года Сталин отдыхал на Кавказе, за него на хозяйстве оставались Маленков с Берией. Они обещали посодействовать. Распределением карточек в Москве ведал Алексей Николаевич Косыгин, он тоже пообещал карточки выделить, попросил лишь прислать ему для проформы из Киева официальный запрос. Но что-то не сложилось. Или московские «друзья» повели свою игру. Так или иначе, но Берия, только он имел право поставить факсимиле Сталина, письмо за подписью отца направил не Косыгину на исполнение, а Сталину в Сочи.

У Сталина же осенью голодного 1946 года вызревали совсем другие планы. Он решил с 1947 года вообще отменить карточки и теперь копил резервы. А как их накопить, если в стране шаром покати? Сталин разрешил проблему по-своему, 26 сентября 1946 года он подписал секретное Постановление «Об экономии и расходовании хлеба», предписывавшее с 1 октября сократить ежемесячный «расход» зерна на выпечку хлеба почти на полмиллиона тонн, с 1 миллиона 676,7 тысяч тонн до 1 миллиона 190,8 тысяч тонн. И соответственно уменьшить отпуск хлеба по карточкам на 30 процентов, урезать «контингент», снабжаемый по карточкам хлебом с 87 миллионов до 60 миллионов человек. Из 27 миллионов человек, лишившихся гарантированного продовольственного пайка, 23 миллиона проживало в сельской местности. Оставшиеся 5 миллионов набирались за счет изъятия карточек у 70 % «иждивенцев». В иждивенцах числились все неработающие или работающие на менее важных, с точки зрения Сталина, участках, в том числе МТС, совхозах, местной промышленности. Оставшимся 30 процентам «иждивенцев» нормы выдачи срезали до 250–300 граммов, а детям с 400 до 300 граммов хлеба в день — столько выдавали в осажденном Ленинграде.

Когда отец писал свое письмо Сталину, он об этом Постановлении еще не знал и попал, как кур в ощип.

Никаких карточек Украина, естественно, не получила. Сталин разнес отца сначала письменно, а по возвращении с юга, 27 февраля 1947 года, вызвал его в столицу и устроил показательную выволочку, обвинил в мягкотелости, потворствовании мелкобуржуазной крестьянской стихии и еще бог знает в чем. Отец приготовился к худшему, к аресту, но обошлось. Сталин ограничился снятием его с секретарей Украинского ЦК и заменой на время Кагановичем. Опала продолжалась около года, 15 декабря 1947 года Кагановича с

Украины отозвали. Стоила она отцу многих лет жизни. Я уже упоминал об этом «эпизоде» в жизни отца.

Соваться снова к Сталину с предложением снизить налоговое бремя отец, естественно, не мог. Приходилось выкручиваться. Выход отец нашел в укрупнении слабосильных подмосковных колхозов, так удастся собрать вместе хоть сколько-то рабочих рук, создать «критическую массу», превратить хозяйства, только числящиеся колхозами в статистических отчетах, в нечто трудоспособное. К тому же тут и риск сводился к минимуму, отец двигался в фарватере Сталинской политики сокращения общего количества колхозов в стране. Только в 1950 году — с 252 тысяч до 121 тысячи, а в 1952-м уже — до 94 тысяч.

Отец начал перестраивать сельское хозяйство Подмосковья под потребности Москвы, пересматривали плановые задания, структуру посевов и заготовок. Ему пришлось сражаться с Госпланом, Совмином, вернее уговаривать, улещивать их, да так, чтобы Сталина не прогневить. Нельзя сказать, что все удалось сполна, но кое-что получилось. Но тут же возникли новые проблемы, выращивание овощей требовало дополнительных затрат труда. И картофель, и морковь, и свеклу недостаточно посадить или посеять, как овес, за ними надо все лето ухаживать, прореживать, пропалывать, рыхлить. И все это вручную. На приусадебных участках колхозники рыхлили и пололи в охотку, а на колхозных полях горбатиться на дядю не хотели, да стольких рук в колхозах просто не было. Даже после укрупнения они оставались малочисленными и слабосильными. Отец уповал на технический прогресс. С проблемой обработки пропашных, так называют культуры, требующие постоянной обработки в течение лета (клубники, картофеля, хлопка, кукурузы, сахарной свеклы), отец настрадался еще на Украине. Там же наметилось и решение проблемы: квадратно-гнездовой, шахматный сев. Отец попросил своего помощника по сельскому хозяйству Андрея Степановича Шевченко разыскать полученную после войны от американцев, от ЮНРРА, квадратно-гнездовую сажалку и, если новое украинское руководство позволит, привезти ее в Москву. Новое руководство не возражало. С отъездом отца эксперименты забросили. Раньше он подталкивал Минсельхоз, ездил на испытания, требовал отчета, другими словами, подкачивал энергию. И дело двигалось, энтропия уменьшалась, система упорядочивалась. Без него все пустили на самотек, энергия быстро улетучивалась, как воздух из дырявого баллона… Энтропия возросла до таких размеров, когда никому и ничего не нужно.

Сажалку украинцы отдали Шевченко с охотой и с облегчением. Передали они Шевченко и изготовленные еще при

Хрущеве собственные копии с американской сеялки. Все это добро свезли в подмосковные Люберцы, где располагался экспериментальный завод сельскохозяйственных машин и испытательная станция. Отец уже успел познакомиться с местными инженерами. Теперь им предстояло вместе приспосабливать американскую конструкцию к российской действительности.

На первый взгляд все выглядело до смешного просто: трактор с сеялкой следует вдоль натянутого по борозде проволочного шнура с завязанными на нем через равные промежутки узелками-метками. Сеялка связана с проволокой скользящим по ней простейшим датчиком. Наткнулся он на узелок, отклонился «флажок», открылась заслонка в бункере, и в лунку падает картофелина, зернышко кукурузы или сахарной свеклы, притом только одно, чтобы не прореживать.

Начали экспериментировать в одном из колхозов Раменского района. Отец его выбрал сам, тамошний председатель произвел на него впечатление человека инициативного. Поездки на поля в Раменское времени требовали немалого, и отец перенес испытания в колхоз деревни Усово. Рядом с ней, за каменным забором располагалась его загородная резиденция «Огарево». В нем селились первые секретари Московского Комитета Коммунистической партии: первым Александр Сергеевич Щербаков, затем Георгий Михайлович Попов, после него отец, а после отца — Николай Александрович Михайлов и так далее. Теперь отец наведывался к испытателям каждый выходной. Естественно, и мы, дети, увязывались следом. Все походы были похожи, отец вместе с испытателями резиновыми сапогами месил весеннюю грязь, наблюдал, как вдоль борозды долго натягивают стальную проволоку с завязанными через равные промежутки узлами. Потом заводили трактор, прицепляли картофелесажалку и приступали к действу. Трактор полз вдоль проволоки, очередной узелок отворял затворку в хоботе картофелесажалки, и картошка за картошкой скатывалась в борозду: щелк, щелк, щелк. Когда борозда заканчивалась, проволоку отцепляли от сажалки, вручную переставляли на следующую борозду, и так раз за разом. Отец вышагивал за трактором, проверял, сколько картошек свалилось в каждую лунку, измерял расстояние между лунками, о чем-то долго разговаривал с инженерами. Так продолжалось часами. Нам, детям, уже через четверть часа становилось невыносимо скучно, но мы терпели.

На следующий выходной все повторялось. Дела не очень ладились.

Многометровая проволока под напором трактора

вытягивалась, вместо квадратов получались разнокалиберные ромбы, особенно это становилось заметным, когда появлялись всходы. В продольном направлении рядки четко прослеживались, а в поперечном растения располагались хаотично, ни о какой механизации обработки посевов пока не приходилось и мечтать. От огорчения отец только покрякивал. Инженеры из Института сельскохозяйственного машиностроения дорабатывали сеялку. Следующей весной все повторялось сызнова. Нерастягивающуюся проволоку с узелками так и не изобрели, квадратно-гнездовые сеялки не пошли, их выпускали на заводах, но в очень ограниченных количествах.

В начале 1960-х годов в той же Америке появились химические средства борьбы с сорняками, яды-гербициды. Они и похоронили идею квадратно-гнездовой посадки, сначала в Америке, а затем и у нас.

Кукуруза, самое начало

В те же годы отец начинал свою кукурузную эпопею, пока в масштабах одной лишь Московской области.

Почему-то многие считают, что это отец привез кукурузу из США, из штата Айова, куда он заезжал во время государственного визита в сентябре 1959 года. Кукуруза действительно пришла к нам из Америки так же, как табак, помидоры и картошка, но задолго до Хрущева. Согласно историческим хроникам, начало возделывания кукурузы относится к XVII веку, на западе в Молдавии и на востоке в Грузии. Вот только в те далекие годы ни Грузия, ни Молдавия не входили в состав Российской империи. Восточная Грузия присоединилась к России в 1801 году, а Западная, поэтапно, в 1804–1864 годах. Левобережье реки Днестр завоевано в конце XVIII века, а вся Молдавия-Бессарабия — в 1812 году. Вместе с новыми территориями россияне получили кукурузу и умевших ее возделывать крестьян. Американский штат Айова тоже не остался в стороне, в самом начале XX века там разработали технологию проверки зерна на всхожесть перед высевом в землю. В 1907 или 1908 году, в Новороссии, конкретно в Бессарабии, по заданию Кишиневского земства американское ноу-хау продвигал айовец Луис Майкл, для большей убедительности украсивший себя значком с призывом по-русски: «Больше кукурузы для Бессарабии» и изображением початка. Постепенно кукуруза обжила весь российский юг, к середине 1930-х годов, когда отец по долгу службы начал осваивать сельскохозяйственные премудрости, ею уже засевали миллионы гектаров, раньше занятых менее урожайными культурами: овсом, пшеницей или рожью.

Кукуруза стала настолько привычной, что украинцам казалось, они сажали ее «всегда», сколько они себя помнят. К сожалению, кукуруза требует к себе еще больше внимания, чем картошка, которую окучил раз-другой и ладно, она прорастет и через сорняки. А кукуруза, если ее в течение сезона не прополоть, да не один раз, зачахнет.

Переехав в Москву, отец о кукурузе поначалу и не думал, культура южная, к местному климату непривычная. Вспомнить о ней заставило отсутствие на московских прилавках мяса, молока, масла. Требовалось резко, в разы увеличить поголовье коров и свиней. Все уперлось в корма. Выпасов-лугов на всех не хватало, да и пастись на них буренки могли лишь с мая по сентябрь, а чем их кормить в остальное время? Достаточно сена, традиционного российского коровьего корма, запасти с имевшихся в области

угодий не получалось, даже если выкашивать все подряд, луга, лесные поляны, придорожные канавы. Кормить скот зерном, как практиковалось в Европе, при хроническом недостатке хлеба в стране и в голову не приходило.

На прокорм скоту, в основном лошадям, крестьяне сеяли овес, но собирали его пять-шесть центнеров с гектара, да еще если повезет. Для одной семьи еще туда-сюда, а миллионный город овсом не прокормишь. Приходилось ломать голову: мясо с молоком нужно позарез, да где ж его взять? Чтобы прокормить себя, надо научиться кормить скотину вдоволь.

Отец объезжал один за другим московских сельскохозяйственные институты, выспрашивал профессоров, как проблема кормов решается в других странах? Ответы не вселяли оптимизма. В большинстве животноводческих стран: Аргентине, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии, Англии — тепло и влажно, скот содержится на подножном корме, практически круглый год гуляет по зеленым выпасам. В Америке дела обстояли иначе, там зимой, месяца два-три в году, скотину приходилось подкармливать. Для этого американцы измельчали зеленую массу кукурузы, гороха, сои, смешивали и заквашивали их в специальных ямах или башнях, получали силос. Им и кормили животных всю зиму, а там, где пасти коров негде или невыгодно, и летом тоже.

Ученые демонстрировали отцу сравнительные таблицы питательности разных видов растений. Эффективность каждой культуры оценивалась в кормовых единицах. Первое место с большим отрывом занимала кормовая кукуруза, измельченные стебли растений, листья и недозрелые початки. В Москве кукуруза, конечно, не вызревает, но это и не нужно, семена можно каждый год завозить из южных районов, а зеленую массу во влажной средней полосе растения наберут даже лучше, чем на засушливом юге, если, конечно, руки приложить. Следом за кукурузой шли горох с соей, а в самом низу: овес, сено и низкокалорийная солома. Конечно, и соломой можно брюхо набить, но прироста мяса или молока с нее не получишь.

Отец внимательно слушал профессионалов, память у него на то, что его интересовало, была цепкой. В последующие годы он сам оперировал кормовыми единицами на уровне профессионала. Разбуди его ночью, спроси, сколько их в центнере кукурузы, гороха или овса — и без запинки получишь ответ.

Вот и получалось, что кукуруза (в сочетании с горохом и соей, где погода благоприятствует их росту) оказалась той палочкой-выручалочкой, которая позволяла накрыть скатерть-самобранку для всех и каждого.

Сказано — сделано, отцу казалось, стоит растолковать крестьянам их собственную выгоду, и дело наладится. Какая наивность! Отец не вспомнил, каких усилий стоило Екатерине Великой внедрение картошки на Руси в XVIII веке. Приходилось не только уговаривать и разъяснять, но и власть употреблять, подавлять военной силой картофельные бунты. В чем только не обвиняли императрицу: вплоть до того, что она вознамерилась россиян отравить, извести российский люд на земле. «Упрямые» мужики несмотря ни на что отказывались есть «барские ягоды». Они не знали, что плоды — клубни картофеля скрыты в земле, а под угрозой наказания с отвращением поедали красненькие шарики — ядовитые плоды-семена картофеля. И травились… Что, естественно, не добавляло картошке популярности. Даже после Екатерины, в просвещенном XIX столетии, помещики и крестьяне еще долго относились к картофелю с большим подозрением. Только через полтора века картошку признают за свою, и она станет основной пищей бедного, да и не только бедного люда.

С кукурузой оказалось не намного легче. Колхозники и местные руководители в своем большинстве отторгли кукурузу. Примерно так же, как человеческий организм отторгает необходимый для его спасения трансплантированный чужеродный орган. И в том и в другом случае и человеческий, и социальный организм подсознательно противятся неизведанному. Правда, открыто бунтовать против кукурузы не решались, но и не ухаживали. У нас привыкли: овес весной высеял, прооброновал и забыл о нем до осени. Осенью скосил, обмолотил, сколько Бог послал, и жди новой весны. Так относились и к кукурузе, а при таком отношении от нее, естественно, проку меньше, чем от самого паршивого овса.

В связи с этим мне вспомнилась такая история. В июне 2000 года я побывал в Финляндии на открытии выставки посвященной дружбе и сотрудничеству президента Финляндии Урхо Калева Кекконена с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Встречал нас, меня, сестру Раду и моего сына Никиту, бывший министр иностранных дел Финляндии во времена отца, господин Виролайнен. Он рассказал нам забавную историю появления кукурузы в Финляндии.

Во время одного из визитов Хрущев прознал, что он, Виролайнен, не только министр иностранных дел, но и фермер, владелец стада дойных коров, и стал немедленно склонять его в свою, кукурузную веру, пообещал прислать семена, помочь начать новое дело. Вскоре на ферме Виролайнена появился помощник отца Шевченко с отборными гибридными семенами кукурузы и ручной сажалкой-хлопушкой. Новая культура понравилась

коровам, а значит и Виролайнену.

Со смехом Виролайнен рассказал, как после снятия отца он однажды встретился с Косыгиным и когда речь зашла о его ферме, кукурузе и Хрущеве, Косыгин на полном серьезе заявил ему, что тот может перестать заниматься кукурузой, так как теперь Хрущев не у власти.

— Я только посмеялся, — закончил свой рассказ Виролайнен, — сказал господину Косыгину, что это моя ферма и ни он, ни Хрущев мне не указ. А сажаю я кукурузу не потому, что мне кто-то приказывает, а потому, что она мне здесь, в Финляндии приносит выгоду.

Давно уже отошедший от политики, он выращивает ее на корм своим коровам до сих пор.

Одним из первых в Подмосковье начали экспериментировать с кукурузой в Усовском колхозе. Весной 1951 года придорожное поле под пристальным наблюдением отца засеяли квадратами. Летом кукуруза встала как джунгли. К осени построили силосную башню. Усовские коровы повеселели, в один год прибавили в весе больше, чем за предыдущую пятилетку, выросли удои, приплод не только почти удвоился, но телята рождались полновесными, здоровыми. Отец торжествовал, кукуруза на его глазах сотворила с колхозным стадом чудо. Но такие примеры единичны. Кукуруза же стала любимой темой анекдотов.

Каковы силос и дурьян на вкус?

Итак, осенью 1951 года усовские колхозники впервые заложили на зиму кукурузный силос, и он, согласно технологии, к ноябрю как следует забродил. Любознательный, порой до невозможности, отец решил попробовать, чем он так прельщает скотину, каков кукурузный силос на вкус. Наверное, это у нас в крови. Я тоже не могу удержаться и пробую все подряд. Не раз мой желудок расплачивался за неумеренное любопытство.

Отец попросил охранников выковырять из силосной массы пару початков кукурузы и принести ему на пробу. Приказ есть приказ, причуд за свою службу сотрудники Управления охраны навидались немало. Возвращаясь с добычей, они держали кукурузные початки на вытянутых руках подальше от носа, от них здорово несло кислятиной. Отец заколебался, но характер выдержал и односложно бросил: «Варите». Через полчаса по дому распространились неаппетитные запахи, но никто из домашних происходящее не комментировал. Сели за стол к обеду. Подавальщица принесла фарфоровый супник, плотно закрытый крышкой, и поставила перед отцом. Он приоткрыл крышку и непроизвольно поморщился от, мягко говоря, своеобразного аромата. Какое-то время отец разглядывал в супнике выглядевшие весьма аппетитно початки. Вот только запах… Он закрыл супник крышкой, попросил: «Уберите» и принялся за свою диетическую вареную рыбу с вареными же овощами.

Эта история напомнила мне другой эпизод, связанный с пробой чужих деликатесов, произошедший десятью годами позже. В феврале 1960 года отец собирался с официальным визитом в Индонезию. Мне посчастливилось в этой поездке сопровождать отца.

Чтобы сделать рассказ полней, начну издалека. Отец с детства привил мне любовь к природе. В Украине, в Межигорье я, затаив дыхание, следил за битвами жуков-оленей, охотился на бабочек, мечтал поймать самую главную из них — большую ночную павлиноглазку. По вечерам восхищался пируэтами охотившимися за мотыльками летучих мышей. Постепенно у меня собралась весьма приличная коллекция бабочек, в основном подмосковных.

За прошедшие со смерти Сталина годы в стране многое изменилось. Никто уже не утверждал, что все мало-мальски достойное имеет российские и только российские корни, что все изобретения происходят из России, что даже слоны родом из Сибири, потому что там когда-то бродили стада их

родственников-мамонтов. На прилавках магазинов появлялось все больше переводных книг. Я не пропускал ни одной публикации о природе, особенно тропической. Одна из них — описание путешествия английского натуралиста XIX века Альфреда Уоллеса по тропическим лесам Индонезии. Там Уоллес пришел к концепции изменчивости видов, эволюционного развития всего живого, но с публикацией чуть-чуть запоздал и уступил право первооткрывателя Чарльзу Дарвину. Прочитанная мною книга об Уоллесе изобиловала фантастическими деталями. Особенно меня поразило описание сказочного фрукта с экзотическим названием «дурьян». Дурьян — плод величиной с дыню, покрытый наподобие конского каштана, колючками, растет на дереве, и божественный вкус этого фрукта, напоминающий одновременно землянику и банан, несмотря на не очень аппетитный запах, по словам автора, сводит с ума всех обитателей джунглей. Тигры, заприметив дурьяновое дерево, дожидаются, когда созревший дурьян упадет и расколется, вступают в смертельную схватку за право полакомиться свалившимся с небес деликатесом.

Накануне отъезда в Индонезию я посоветовал отцу прочитать книгу Уоллеса.

С первого дня визита я из окон автомобиля, следовавшего в кортеже по улицам городов и селений, жадно вглядывался в горы незнакомых фруктов, которыми торговали на придорожных импровизированных базарчиках. Я мечтал увидеть дурьян. Возможно, я его и видел, но не узнавал, представление о нем из книги об Уоллесе я вынес весьма расплывчатое. В резиденции, где разместили отца, нас угощали различными неслыханными и невиданными фруктами, но не дурьяном. Я пару раз заикнулся о дурьяне, но хозяева только покачивали головами Я уже стал подозревать, что дурьян — это миф, выдуманная Уоллесом тропическая сказка. И вот однажды я увидел из окна машины сложенные на тротуаре горки больших желтоватых шишковатых плодов величиной с голову ребенка, чем-то напоминавших рисунок из моей книги. Взволнованно я стал тыкать в окно пальцем. Сидевший рядом индонезиец, равнодушно произнес: «Дурьян». Оказалось он существует, дурьян — не миф, не выдумка Уоллеса, а реальность и, наверное, сейчас в пору его созревания, где-то в джунглях тигры сходятся в поединке за право полакомиться его мякотью. Тем временем машина миновала придорожный базарчик, кортеж следовал по предписанному протоколом маршруту. Но главное, я убедился, что дурьян существует, его можно попробовать, надо только преодолеть непонятную индифферентность во всем другом столь гостеприимных хозяев. Вечером я рассказал отцу о своем

открытии. На следующий день уже отец расспрашивал Сукарно, правду ли пишут в книгах, что растет в джунглях плод дурьян, за право полакомиться которым дерутся даже тигры?

— Дурьян у нас действительно растет, индонезийцы его очень любят, хотя на европейский вкус… — тут Сукарно замешкался, подыскивая нужное слово, не нашел его и с улыбкой закончил: — Что касается автора книги, которую вы читали, то у него, видимо, очень богатое воображение. Если хотите попробовать дурьян, на Бали можно будет все устроить, но только под вашу ответственность.

Резиденция президента Сукарно на острове, точнее островке Бали, приткнувшемся с юга к большому столичному острову Ява, находилась в горах. Там не так допекает тропическое солнце. Несколько одноэтажных легких строений укрылись в тени огромных фикусов-баньянов. Между домами зеленел аккуратно подстриженный голландский газон — наследие колониальных времен.

Во второй день пребывания на Бали уже с утра члены делегации начали настороженно принюхиваться, в доме из всех щелей сочилось легкое зловоние, хорошо знакомый запах сероводорода, подгнившего мяса вкупе с подтухшими яйцами. С каждой минутой запах лез в нос все настойчивее, но приходилось терпеть. Кто знает, что у хозяев случилось? Один я догадывался, в чем дело. В книге об Уоллесе говорилось, что запах дурьяна слегка отдает тухлятиной. Запах тем временем крепчал, заполнил весь дом и даже на лужайке перед резиденцией довольно сильно попахивало. Энтузиазма у меня поубавилось.

Наконец настало время обеда. На открытой террасе за длинными столами расположилась делегация вперемешку с хозяевами. Рядом с отцом, как обычно, сидел Сукарно. Моим соседом оказался Адам Малик, в то время посол Индонезии в Советском Союзе. Он неплохо говорил по-русски. На первое подали черепаховый суп, но ели его мы с трудом. В горло лезла становящаяся почти невыносимой вонь. После супа принесли наперченную до невозможности жареную и тем не менее очень вкусную курицу. Запахло еще сильнее. Наконец подошло время десерта. Сукарно торжественно объявил, что по просьбе гостей нам подадут национальное индонезийское блюдо — дурьян, это фрукт, и как раз сейчас наступил его сезон.

Официанты разнесли тарелки, на каждой лежала четвертушка плода, кремовой мякоти дурьяна по консистенции напоминающей сильно подтаявшее мороженое. Ну а запах? О нем я уже все сказал. Я храбро вонзил ложку в мякоть и, задержав дыхание, поднес ее ко рту, предвкушая изысканный вкус: смесь

земляники, банана и еще чего-то божественного. Не тут-то было! Вкуса вообще я не ощутил, все забил запах тухлых яиц, а по консистенции мякоть дурьяна напомнила мне разваренную до кашеобразного состояния гнилую головку лука. Я сделал усилие и проглотил первую ложку. Склизкая консистенция провалилась в желудок, но привкус тухлого яйца во рту остался. Вот тебе и райский фрукт! Сидевший справа от меня Малик с аппетитом зачерпывал дурьяновую мякоть. Так же вели себя и остальные хозяева. Гости сидели в недоумении. Одни отставили тарелки с десертом от себя подальше, другие неуверенно ковырялись в дурьяне. Только отец, не поморщившись, отправлял в рот ложку за ложкой. В чужих краях он неукоснительно придерживался правила вежливости, предписывавшего не пренебрегать местными обычаями, чтобы ненароком не обидеть хозяев. Я решил следовать примеру отца, пересилил себя и приготовился к приему следующей порции. Ведь именно я заварил всю эту дурьяновую кашу. Но, видимо, я только себе казался молодцом. В момент, когда я зачерпнул дурьян во второй раз, Малик мельком глянул на меня и, участливо наклонившись к уху, прошептал, что ему кажется мне уже довольно десерта. Я не противился — действительно хватит.

Вскоре стол опустел. Официанты унесли почти нетронутые тарелки гостей и опустошенные тарелки хозяев. Весь вечер мы не могли избавиться от дурьянового запаха и привкуса во рту. Но на этом история с дурьяном не закончилась.

Ежедневно самолетом из Москвы доставляли почту, назад самолет летел практически порожним. Отец распорядился отправить в Москву членам Президиума ЦК по корзине местных экзотических фруктов, в том числе и дурьян, пусть полакомятся. Тогда мы его еще не распробовали. Заодно отец передал по гостинцу своим давним и хорошим знакомым: премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру (наш самолет по дороге в Индонезию останавливался в Индии) и королю Афганистана Мухаммеду Захир Шаху (отец намеревался навестить его в Кабуле на обратном пути).

По пути домой мы на день задержались в Дели. При встрече с отцом благовоспитанный Неру, поблагодарив за фрукты, о дурьяне даже не упомянул. Когда мы прилетели в Кабул, король посетовал, что нежные фрукты плохо перенесли перевозку, один даже вконец испортился. Отец не стал его разубеждать.

По возвращении в Москву все вместе всласть посмеялись над дурьяновой эпопеей, а Брежнев в сотый раз пересказал анекдот о Василии Ивановиче, который вот так же, как они, не разобравшись, красную икру принял за протухшую клюкву.

Рассказанные мною истории отдают анекдотом. Я было засомневался, стоит ли о них писать? Но все-таки написал.

Грань между городом и деревней

Одной из инициатив отца по возвращении в Москву стали так называемые агрогорода. Концепция вызревала у него давно, можно без преувеличений сказать, всю сознательную жизнь. Сам из крестьян, познавший все тяготы и лишения деревенской жизни, отец мечтал вырвать крестьян из «второсортности», сделать так, чтобы они зажили по-людски.

На глазах у отца происходила поистине коммунальная революция. В начале XX века, даже в Москве, что уж говорить о провинциальных городишках, практически отсутствовала канализация (за исключением центра города), вода подавалась не в дома, а в уличные водоразборные колонки, да и то не везде. Улицы оставались не мощеными, тротуары — деревянными, электричество, лампочки Ильича или Эдисона, вообще — экзотика. Все переменилось в полстолетия. У горожан в квартирах, пусть и коммунальных, появились удобства в конце коридора, но не во дворе. В деревне же мало что поменялось, разве что в пригородах электричество постепенно вытесняло керосиновые лампы. Остальное так и застряло на мертвой точке. Отцу очень хотелось, чтобы и крестьяне изведали городских удобств, не бегали в зимнюю стужу до ветра, чтобы в дома пришло централизованное отопление, а на кухни — газ, чтобы горело электричество и из кранов текла вода. Мечты отца лежали в русле широковещательных призывов тех лет: «Стереть разницу между городом и деревней». Собственно, отсюда и пошло название «агрогород», еще не город, но уже и не деревня. На самом деле агрогород не предполагал ничего иного, кроме создания для крестьян элементарных жизненных удобств, таких, какими пользуются уже много лет европейские и американские фермеры, — двух этажные четырехквартирные коттеджи, мощеные мостовые, освещенные улицы, водопровод, канализация, центральное отопление, если можно, еще и газ. Чтобы не нарушать компактности застройки, не тянуть лишние километры коммуникаций, предполагалось у дома оставить лишь 10–15 соток огородов, а сами приусадебные участки вынести за пределы поселка. Там их можно обрабатывать машинами, пахать землю тракторами, а не вскапывать лопатами. В общем, то или почти то, что отец видел, путешествуя в 1946 году под именем генерала Петренко по Германии, Австрии и Чехословакии.

В какой-то период речь зашла и о сельских пятиэтажках, даже построили парочку в подмосковных деревнях. Убедившись в их нерациональности, эксперимент прекратили, сосредоточившись

на коттеджах.

Казалось бы, логично, но крестьяне с прохладцей отнеслись к четырехквартирным коттеджам, предпочитали хибару, но без соседей, да и приусадебный участок, на то он и приусадебный, что при усадьбе, а не на выселках. Крестьянский дом испокон века окружали дворовые постройки: конюшня, коровник, свинарник, птичник, сарай для сена и все прочее. В много или малоквартирный дом их за собой не потащишь. Тут и извечный крестьянский консерватизм, и трезвый взгляд на реалии сегодняшнего дня: без собственного хозяйства не прокормишься.

«В Хомутовке у него (Хрущева. — *С. Х.*) была одинокая двоюродная сестра, — вспоминает помощник отца Шевченко. — Однажды она ему написала: помоги мне, брат, у меня валится дом. Хрущев меня вызывает, показывает это письмо. Зарплату от всю отдавал Нине Петровне, а депутатские сто рублей клал в сейф в кабинете. Вот он открывает этот сейф и говорит: я вам даю пятьсот рублей, помогите моей сестре хатенку построить. Я говорю: Никита Сергеевич, за пятьсот рублей хатенку не построишь, вы же знаете, что сколько стоит. Давайте я туда поеду, поинтересуюсь, а потом будем решать.

Приезжаю в Хомутовку, заехал по адресу. Дом действительно развалюха, потолок лежит на шкафу. На центральной усадьбе в Калиновке как раз строили многоквартирный дом для специалистов. Я говорю ей: а что если мы дадим вам, хотите, одну, хотите, две комнаты в этом доме? И не надо вам будет строиться? Она говорит: не пойду. Почему? А где же я буду сеять бурак, огурцы? Я говорю: в колхозе получите и бурак и огурцы. Так они же, говорит, еще не сеяли ни бурак, ни огурцы, а у меня в огороде уже растут. А где я, продолжает, буду поросенка держать? Ну, там будет у вас какой-то сарай. Да нет, не соглашается она, они скажут, что мой сарай воняет, и прогонят меня, а без поросенка, без курицы я жить не могу.

Возвращаюсь, говорю Никите Сергеевичу: вот предлагал ей, чтобы она переселилась в дом городского типа, но она не хочет. Он говорит: “Ну, а черта ей надо?” Я говорю: “Ей нужен огород, сарай — хозяйство, одним словом. В этом вся трагедия”. В ответ он и меня выругал, и ее выругал. Он любил сельское хозяйство, жалел своих односельчан».

Порой эта любовь перерастала в насилие. Отец старался перебороть крестьянскую, как он считал, отсталость, пытался для их же пользы надавить, однажды даже предложил «прекратить выдавать государственные кредиты на индивидуальное жилищное строительство».

Новации в благоустройстве деревень, как и любые новации,

встречали неоднозначно. Старики, привыкшие жить по старинке, сопротивлялись им, как могли, молодежь же тянулась к городской жизни, к недоступным на селе развлечениям и удобствам, чуть оперившись, попросту уезжала в город. Деревни обезлюдевали.

Благоустройство сельской жизни несомненно изменило бы многое, кое-кого заставило бы задуматься.

Но я несколько забежал вперед, из начала 1950-х годов перескочил в начало 1960-х. Возвращусь на исходные позиции.

К строительству агрогородов отец приступил еще в сороковые годы на Украине. Посмотреть на одну из новостроек он взял меня. Дома в селе, куда привез меня отец, строились одноэтажные, индивидуальные. Все там казалось каким-то не нашим: хаты не из самана (смеси глины с измельченной соломой с добавлением навоза), а из белого силикатного кирпича, крыши не соломенные, а железные, крашенные суриком. Прямо заграница.

В декабре 1949 года на семидесятилетии Сталина отец докладывал ему как о большом достижении о завершении строительства первого агрогорода в Черкасской области и реализации еще нескольких пилотных проектов в разных концах Украины. Тогда идея отца получила одобрение, в киножурналах показывали «деревню будущего».

И в Подмосковье отец продолжил строительство агрогородов. Задуманное Сталиным и оформленное Постановлением ЦК от 30 мая 1950 года укрупнение колхозов тому благоприятствовало, для переселяемых на новое место крестьян требовались новые жилища.

— Вот и давайте их строить не по-деревенски, а со всеми удобствами, с перспективой на будущее — призывал отец.

Закладывались фундаменты каменных домов, доставали дефицитное кровельное железо и котлы для отопления, конструировали не магистральную, а непривычную локальную, на несколько домов, канализацию, вкапывали электрические столбы. Ничто не предвещало беды. И тут, 18 января 1951 года на проводимом отцом совещании по строительству и благоустройству в колхозах Московской области появился корреспондент «Правды». Он внимательно слушал, как отец расписывал крестьянский быт недалекого будущего, все аккуратно законспектировал и через пару недель прислал отцу записку, предлагая оформить его выступление в виде подвала в «Правде», обстоятельной и, как правило, директивной статьи на треть газетного листа. Отец согласился. 4 марта 1951 года подвал опубликовали под столь же безобидным, как и само совещание,

заголовком «О строительстве и благоустройстве в колхозах». В статье отец, в частности, предрекал, что вскоре «вместо небольших деревень возникнут культурные, благоустроенные колхозные поселки со школами, банями, домами культуры, детскими яслями…» Ничего крамольного.

Сталин прочитал статью в тот же день. Сам он на нее набрел, листая газету, или кто «подсказал»? Как и в случае с продовольственными карточками для украинских крестьян в голодные 1946–1947 годы, обстоятельств этого дела мы не знаем. Но, как и в 1947 году, грянул гром. Редакции «Правды» указали на политическую недальновидность, приказали на первой странице, а не в конце номера, как обычно, опубликовать «разъяснение»: статья Хрущева на самом деле не директива, а так, материал для дискуссии. Редакция якобы по недосмотру накануне упустила это примечание. Подобное сталинское «разъяснение» предрекало опалу. Пришлось отцу срочно, в написанном уже 6 марта 1951 года, письме Сталину «признавать» совершенные им грубые ошибки, как и в 1947 году, изъявить готовность к немедленному публичному покаянию.

Однако Сталин покаяние не принял, он решил раскрутить «дело» отца по всем знакомым всем еще с 1937 года канонам. 2 апреля 1951 года Политбюро утвердило и разослало по всему Советскому Союзу написанное собственноручно Сталиным закрытое письмо «О задачах строительства в связи с укрупнением мелких колхозов». В нем анонимно осуждались «некоторые партийные работники» — тоже любимый сталинский прием — за «потребительский подход, извращение линии партии и серьезные ошибки в колхозном строительстве». Что же это за ошибки? Оказывается, эти «некоторые партийные работники» занялись «подменой главной, а именно производственной задачи в сельском хозяйстве, задачей немедленного переустройства быта колхозников, что отвлекает основные силы колхозов от решения важнейших производственных задач, должно привести к дезорганизации колхозной экономики и, следовательно, нанести вред всему делу социалистического строительства. ‹…› Ошибка этих товарищей состоит в том, что они забывают о главных, производственных задачах колхозов и выдвигают на первый план производные от них потребительские задачи, задачи бытового устройства в колхозах, жилищного строительства в деревне… Следует отметить, что аналогичные ошибки допущены также в известной статье т. Хрущева “О строительстве и благоустройстве в колхозах”…» Далее Сталин требует «покончить с неправильным, потребительским подходом к вопросам колхозного строительства», бороться за «дальнейшее повышение

урожайности сельскохозяйственных культур, всемерное развитие общественного животноводства и повышение его продуктивности… Капитальные вложения средств и труда колхозников необходимо направлять в первую очередь на развитие общественного хозяйства: строительство животноводческих помещений, раскорчевку земель от кустарников, сооружение каналов, насаждение полезащитных полос…» и еще на многое другое, но только не на благоустройство жизни людей.

Письмо получилось длинным, в нем, кроме всего прочего, Сталин справедливо отмечал, что «вынос большей части приусадебного участка за пределы деревни может испугать его владельцев, вдруг его и вовсе отберут».

Крестьяне с подозрением отнеслись к идее перемещения приусадебных участков за границы деревни. Пока участки рядом с постройками, как бы прячутся между домами, с ними трудно что-либо поделать, а там, в чистом поле… Несомненно, основания для подобных опасений имелись, и немалые. Многие еще помнили коллективизацию. Отец на приусадебные участки и не покушался. Сталин обрушился на отца не за них, а, как и в 1947 году, обвинил в мягкотелости по отношению к крестьянам — не улучшением их быта следует заниматься, а работать заставлять.

18 апреля 1951 года Сталин и Политбюро «по просьбам местных органов» постановило зачитать закрытое письмо об ошибках отца всем коммунистам, «запретив делать какие-либо записи». Если следовать сценарию1937 года, до ареста оставался всего один шаг. К счастью, отец остался на свободе, но нервы ему потрепали изрядно, а идею агрогородов, саму мысль о том, что крестьяне достойны лучшей жизни, предали анафеме.

Через год, 5 октября 1952 года, в отчетном докладе XIX съезду партии Маленков еще раз пнул отца, отметив в числе ошибок сельскохозяйственной политики «практику создания в колхозах и совхозах подсобных предприятий по производству кирпича, черепицы и других промышленных изделий… отвлекающих их от решения производства сельскохозяйственной продукции и тормозящих развитие сельского хозяйства». Комментарии, как говорится, излишни.

За что Сталин так ополчился на отца, на человека, которому он, казалось бы, благоволил? Дело в разном отношении к крестьянам. Сталин смотрел на крестьян как на навоз, на удобрение, на котором должна произрасти новая, современная индустриальная Россия. Для этого следует крестьян грабить, грабить и грабить. Вот основная сталинская установка. А тут агрогорода, их строительство в масштабах страны потребовало бы

немалых затрат. Сталин отца одернул: «погрязшее в мелкобуржуазной стихии крестьянство» не заслужило достойной жизни, отец со своими прожектами «забегает вперед». Только «одернул». Никаких иных планов он в отношении отца, видимо, не имел. Не только отцу, но и всей нашей семье повезло, мы остались живы.

Через год Сталин и вовсе вернул отцу свое расположение, поручил ему, наравне с Маленковым, сделать доклады XIX съезду партии. Маленкову — отчетный, а Хрущеву — об изменениях Устава. 27 октября 1952 года Сталин, в дополнение ко всем имеющимся у него обязанностям, сделал отца еще и членом Бюро Президиума Совета Министров СССР, а 10 ноября 1952 доверил ему, по очереди с Маленковым и Булганиным, председательствовать на заседаниях Президиума ЦК КПСС и его Бюро.

Дома с заводского конвейера

В Москве еще одной заботой отца стало строительства жилья. Голод москвичей на жилье, страшный неудовлетворимый голод, похуже, чем даже в разоренной войной Украине. С 1917 года строительству жилья все время что-то мешало, сначала Гражданская война, потом восстановление промышленности, затем индустриализация, за ней последовало германское вторжение и снова восстановление экономики. До жилья руки не доходили.

Конечно, и тогда кое-что строили, при заводах-новостройках рабочих «временно» размещали в одно-двухэтажных бараках; в столицах, в первую очередь в Москве, строили чуть побольше. В Москве до войны за год возводилось чуть более ста тысяч квадратных метров жилья. Если считать по минимуму тридцать-тридцать пять квадратных метров, не жилой, а так называемой общей площади, включая кухню, туалет и коридор на квартиру, то получается три тысячи квартир в год, девять-десять тысяч москвичей могли справить новоселье. На очереди же стояли, только в Москве, почти миллион, а по всей стране… Отец тогда за всю страну не отвечал. В 1949 году, ко времени возвращения отца в Москву, объем ввода жилья учетверился, то есть теперь не десять, а сорок тысяч москвичей имели шанс переселиться в новые квартиры. Но только теоретически, потому что новые квартиры тогда предназначались исключительно для начальства: генералов, министров, прославленных артистов и литераторов, а простой люд довольствовался комнатами в бараках и коммуналках.

За прошедшие десятилетия сформировалось два вида, две технологии жилого строительства: одна для начальства, другая для всех остальных.

В Москве, в центре, многоэтажные элитные дома возводили из кирпича. На улице Горького для их облицовки использовали вывезенный из Берлина полированный гранит. Гитлер заготовил его для сооружения помпезных зданий в честь своей победы, однако гранит в качестве репараций ушел в Москву. В облицованных немецким гранитом домах селились победители, но не немецкие, а советские.

Хорошие дома стояли и на Кутузовском проспекте, по которому Сталин ездил с дачи и на дачу. Тогда он назывался Можайской улицей. На Садовом кольце, между Смоленской площадью и нынешним американским посольством, мне запомнился многоэтажный дом с башенкой на углу, дом

академика Ивана Владимировича Жолтовского. Так его назвали по имени архитектора.

И конечно, высотные дома — московские тридцатиэтажные «небоскребы». Их после войны стали возводить по личному распоряжению Сталина. Он считал, что к нам зачастят иностранцы, а в Москве нет ни одного «небоскреба», непрестижно. Иностранцы не зачастили, но высотки заложили на Котельнической набережной и на площади Восстания под жилье, остальные оккупировали министерства и гостиницы для тех же мифических иностранных туристов. На Ленинских горах строили небоскреб МГУ. Достался он университету по чистой случайности. Из эстетических соображений архитекторы запланировали на обрыве над Москвой-рекой одно из высотных зданий. Оно красиво смотрелось со стороны Кремля, а с него еще лучше обозревалась раскинувшаяся внизу Москва.

Здание решили строить, но вот только под кого? Ленинские горы тогда и Москвой-то не очень считались — пригород, добираться до которого крайне неудобно, вкруговую через мост у Киевского вокзала, или еще того хуже — через мост у парка Горького. Дорога в один конец занимала более двух часов. Ни метро, ни трамвай, ни троллейбус туда не ходили. Ни министерство, ни гостиницу на выселки не отправишь, разве, что дом отдыха организовать?

Тогда же, в 1948 году, когда задумывалось строительство высоток, ректором Московского университета назначили академика Александра Николаевича Несмеянова. Он дружил с сыном Жданова, Юрием, заведующим Отделом науки ЦК. В одном из разговоров Несмеянов пожаловался Юре, что университет давно вырос из старого здания на Моховой, только под естественные факультеты требуются дополнительные полтора миллиона квадратных метров новых лабораторий, аудиторий, мастерских, не говоря об общежитиях. Студенты ютятся, где придется: счастливчики — в общежитии на Стромынке, остальных «разбросали» по подвалам и баракам. Юрий Жданов обещал помочь. Университет получил никому тогда не нужную высотку на Ленинских горах.

Все проекты высотных зданий утверждал лично Сталин. По дороге в Кремль и обратно на дачу из окна машины следил за их строительством. Иногда вносил коррективы. Рассказывали, как он поинтересовался, когда же начнут возводить шпиль на почти законченном здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Проектом никакого шпиля не предусматривалось. Я это хорошо помню, большие фотографии макетов высоток выставлялись в витринах многих магазинов по

улице Горького. Вскоре на здание МИДа приделали шпиль. На всякий случай «ошпилили» и остальные высотки.

За пределами Садового кольца, на тогдашних окраинах, строили совсем иначе, чем в центре, «возводили» одно-двухэтажные бараки из сырого леса, реже из неоштукатуренного кирпича. Москва чудовищным «пылесосом» всасывала в себя покидавших нищающие деревни, крестьян, рассовывала их по фабрикам, заводам, новостройкам. Новоприбывшим требовалась хоть какая-нибудь крыша над головой, исходя из чего и строили бараки: удобства во дворе или в конце коридора, а в комнатах столько жильцов, сколько физически удастся втиснуть. В окружении бараков, четырех— реже пятиэтажные дома, тоже из неоштукатуренного кирпича, смотрелись хоромами. На их строительство, а предназначались они для местной «аристократии» — директоров заводов, начальников цехов, уходило в среднем по два года. Пока кирпичами выложишь стены, смотришь, и лето проскочило, зимой, в мороз объявляли перерыв, дом «усаживался». В следующий сезон — вставляли окна, двери, устанавливали внутренние перегородки, штукатурили, проводили тепло. Все сохло уже после заселения — пол и двери коробились, штукатурка трескалась. Жильцы обреченно шутили, что капитальный ремонт квартире требуется уже в первый год. Но и такое жилье доставалось редким счастливчикам.

Перед отцом стояла та же дилемма, что и на Украине, — если по старинке складывать дома из кирпичиков, на удовлетворение минимальных потребностей москвичей уйдут столетия. Он продолжил начатые еще в Киеве поиски метода промышленного производства жилья по технологии двадцатого, а не девятнадцатого века. Чтобы хоть как-то облегчить положение москвичей, в Москве требовалось строить не четыреста тысяч квадратных метров в год, а два-три миллиона.

Отец начал собрать команду людей творческих, не «чего изволите», а самостоятельно и, главное, нестандартно мыслящих, способных подступиться к делу такого размаха.

Ядро ее составили, все те же старые-новые москвичи Садовский и Страментов. В 1938 году они последовали за отцом в Киев, и теперь возвратились в Москву. Я уже упоминал о Страментове. Федор Титович Садовский, по словам отца «очень квалифицированный инженер, прекрасно разбиравшийся в деле, любивший новые материалы, следивший за иностранной литературой и тесно связанный с учеными, работавшими по железобетону. Единственный его недостаток: как администратор он — неповоротлив. Однако он компенсировал это глубоким знанием своей отрасли и пониманием его задач. Инициатором

перехода на сборный железобетон был Садовский. Он предложил собирать дом так, как собирают автомобили».

Организацию строительства в Москве отец поручил другому своему киевскому соратнику Николаю Константиновичу Проскурякову. Он показал себя при восстановлении, разрушенного немцами, Киева, хотя проработал там всего два года. А дальше вот что случилось. Осенью 1947 году Сталин отдыхал в Ялте, в Ливадийском царском дворце. Дворец ему чем-то не понравился, и он решил переместиться на Кавказ, а заодно прокатиться по Черному морю на недавно полученной по репарациям яхте немецкого гросс-адмирала Деница. У нас ее назвали «Ангара».

Базировалась «Ангара» в Севастополе. Сталин туда отправился на машине, пригласив сопровождать его специально вызванного из Киева отца. Ранее Сталин возложил на отца в дополнение ко всем иным делам координацию работ по восстановлению Крыма. После депортации в мае 1944 года крымских татар, полуостров предстояло не только заново отстроить, но и заселить в основном украинцами из прилежащих украинских областей. Хотя формально Крым оставался под юрисдикцией России, по существу он отдавался на откуп Украине. Оно и понятно: географически, экономически, а теперь во многом и этнически, он больше тяготел к Киеву, чем к Москве. Отец докладывал лично Сталину, что сделано и что еще предстоит сделать на полуострове.

Разрушенный многомесячной осадой в 1941–1942 годах, Севастополь Сталина расстроил, восстанавливали его медленно: флот строил под себя, армия — под себя, городские власти с их мизерными ресурсами успели кое-как наладить водоснабжение с канализацией, пустить трамвай, и все. Отец предложил Сталину сконцентрировать ресурсы, сосредоточить все работы по возрождению Севастополя в одном месте, подчинить одному лицу и флотских строителей, и армейских, и гражданских, — только так удастся преодолеть разнобой и сдвинуть дело. Сталин согласился. На вопрос, кого поставить во главе, отец не без колебаний назвал Проскурякова. Очень уж не хотелось отпускать его из Киева. Создали единое Управление, но передали по подчинению союзному правительству. Несмотря на это, приглядывать за стройкой Сталин поручил отцу. Так что связи его с Проскуряковым не прервались. В 1948–1949 годах из всех областей Украины, и не только Украины, в Севастополь хлынул поток добровольцев-комсомольцев. Без них вряд ли что-либо удалось сделать, после выселения татар, Крым только заселялся, рабочих рук не хватало. До перевода в Москву отец раз в два-три

месяца наведывался к Проскурякову в Севастополь.

В Севастополе Николай Константинович не только собрал в кулак строителей, но и пустил в дело киевский задел — дома собирали из крупных блоков, бетонных или вырезанных в близлежащих карьерах из местного ракушечника, экспериментировали с плитами перекрытий, стен, перегородок. Именно в Севастополе Проскуряков накопил бесценный опыт, в котором так нуждался отец. Проскуряков с делом справился, отстроил Севастополь и в 1952 году перебрался в Москву.

Здесь отец, по примеру Севастополя, решил объединить разбросанные по столице многочисленные строительные организации, принадлежавшие министерствам, ведомствам, крупным предприятиям. Как и в Севастополе, они строили под себя, для себя, по своим проектам, планам и технологиям в зависимости от собственного разумения и размера своей мошны. Однако вытащить их из-под контроля центральных ведомств, очень влиятельных ведомств, было непросто.

Отец предложил Проскурякову заняться организацией единого строительного центра столицы. Впоследствии он получит название Главмосстроя. Тандем Садовский — Проскуряков или Проскуряков — Садовский, сочетавший новые научные и инженерные решения с новой организацией строительства, оказался удачным.

Теперь я позволю себе вернуться на десятилетие назад, углубиться в историю вопроса. Еще в тридцатые годы Хрущев с Булганиным попытались собрать на Большой Полянке, в Замоскворечье, из крупных бетонных блоков школу. То был первый опыт промышленного строительства в Советском Союзе. «Мы с этим делом не справились, — вспоминал отец. — Когда школу собрали, в стенах увидели щели. В те щели собака могла проскочить. Пришлось их заделывать. Такой сборки, как на машиностроительном или часовом заводе не получилось». Первый блин всегда — выходит комом. Чтобы довести новую технологию до ума, требуются знания и настойчивость, вера и везение, энергия и время, много времени. В 1938 году отца отправили на Украину, потом началась война. Мысль, что бетон, бетонные блоки, балки, панели позволят, если над ними поработать, вырваться из-под кирпичного засилья, покончить с кустарным строительством и перейти к промышленному, конвейерно-поточному возведению зданий, крепко засела у отца в голове. К ней он вернулся на освобожденной от врага Украине.

Начинали не с домов, первым делом восстанавливали добычу угля в Донбассе. Все уперлось в крепление проходов-штреков в шахтах, требовалось как-то поддержать кровлю, потолок, чтобы

порода не осыпалась, погребая в себе горняков. Обычно ее крепили деревянными или металлическими стойками. В безлесный Донбасс дерево везли издалека, к тому же непросушенное, сырое. Стойки за несколько месяцев сгнивали. Металла на такое дело Москва не выделяли. Вот и пришлось изобретать, как в отсутствие дефицитной стали сделать долговечные стойки-подпорки. Тут-то отец вспомнил о своем давнем, по Москве, знакомом профессоре Константине Васильевиче Михайлове, который еще до войны решал задачу упрочнения бетонных колонн с помощью внутреннего каркаса из туго натянутой металлической проволоки или стержней. Результаты обнадеживали, колонны Михайлова выдерживали нагрузку не хуже стальных колонн, при одновременном резком снижении расхода металла. Именно то, что требовалось украинским шахтерам. Потом такие конструкции назовут «напряженно-армированным железобетоном». Отец разыскал Михайлова и попросил его поэкспериментировать с шахтными подпорками, тут требовались не массивные колонны, а прочные и легкие двухметровые столбики, чтобы с ними могли управляться два человека. Михайлов разрешил проблему. Вскоре в шахтах появились железобетонные опоры. Московские «специалисты» из угольного министерства встретили изобретение Михайлова в штыки, они предпочитали крепежные стойки из металла. Соответствующий отдел Госплана даже отказался включать в план производство железобетонных стоек, но и металла шахтерам по-прежнему не выделял. Отцу пришлось отцу апеллировать к Сталину. Под его нажимом новое дело, пусть со скрипом, но пошло. (Справедливости ради отмечу, что стальные шахтные опоры лучше, легче и прочнее и деревянных, и железобетонных и отец это знал. Поэтому, когда со сталью полегчало, они вытеснили из шахтных штреков и дерево, и бетон.)

За железобетонными шахтными стойками последовали железнодорожные шпалы. Потребность в них исчислялась миллионами. Отступая, немцы прицепляли к последнему уходящему на запад паровозу огромный крюк и он, волочась между рельс, буквально разрывал деревянные шпалы на куски.

Привезенные издалека деревянные шпалы сушили, пропитывали битумом. На все это уходили долгие месяцы. Тут снова выручил профессор Михайлов и его железобетон. И снова пришлось преодолевать сопротивление «специалистов», доказывавших, что железобетонные шпалы слишком жесткие, при большой скорости могут привести к аварии поезда. Михайлов доказывал обратное. Дело с места не сдвигалось, железнодорожное полотно продолжали мостить деревом. Отец

успел переехать в Москву, а споры все продолжались. Теперь его волновали другие проблемы, но об изобретении профессора Михайлова отец не забыл. Как-то во время визита в Чехословакию — отец поехал туда поездом — он с удивлением отметил, что чехи «пользуются железобетонными шпалами, причем делают их значительно лучше, чем мы».

Бетонные шпалы достались чехам в наследство еще от Австро-Венгерский империи, где их применяли с 1896 года. Перед Второй мировой войной железобетонные шпалы широко распространились по всей Европе. Так что отец, вернее профессор Михайлов, изобретал «велосипед», а министерские чиновники с опозданием на полвека боролись с этим «велосипедом». Так же, как их предшественники, веком раньше боролись с первым паровозом на российской земле, стращали, что, завидев такое безобразие, коровы взбесятся.

Первые железобетонные панели пришли в советское жилищное строительство тоже с Запада. После Второй мировой войны самым уязвимым местом оказались деревянные перекрытия между этажами. Камнем преткновения и тут стало непросушенное дерево. Доски и балки требовалось выдерживать на солнышке два года, а уж затем пускать в дело. Или строить специальные сушильни с печками и вентиляторами.

После войны о сушилках и не мечтали, а человека, предложившего бы задержать стройку на пару лет для просушки дерева, сочли бы сумасшедшим или того хуже — вредителем. Деревянные перекрытия настилали, как говорится, с колес — срубили дерево, разрезали его на доски и тут же пустили в дело. Результаты спешки — а как не спешить, если города и села почти полностью разрушены войной, — проявлялись очень скоро. На сырой древесине поселялся грибок, за два-три года он превращал балки в труху, приходилось их менять. Проблема перекрытий быстро выросла в разряд государственных. Восстановление городов становилось бессмысленным: не успеешь дом построить, а ему уже требуется капитальный ремонт. И так без конца.

Как-то во Львове, — отец отправился туда в 1944 году, сразу после освобождения города от немцев, — проезжая мимо полуразрушенного дома, он сквозь дыры в стенах увидел необычные перекрытия между этажами, не деревянные — балочные, а сплошные из армированных керамических плит. Отец остановил машину и, невзирая на предупреждения сопровождавших его военных о минах, по битому кирпичу полез внутрь развалин, поднялся на второй этаж и долго разглядывал польскую диковинку. По возвращении в Киев, отец послал во Львов строителей с заданием скопировать новую технологию

производства перекрытий. Началась замена дерева на керамику, еще не бетон, но уже что-то.

Через пару лет, путешествуя по Германии в 1946 году, отец наткнулся на еще более удивительную конструкцию. Немцы перекрывали пролеты зданий относительно легкими длинными железобетонными плитами, с круглыми дырками по всей длине. Он глазам своим не поверил. Это сейчас такие плиты увидишь на любой стройке, а тогда отец ощутил себя Колумбом.

Он попросил наших военных разузнать, где производится этакое чудо. На следующий день разыскали завод по производству плит. В нем стояли готовые к работе станки, с уже натянутой арматурой каркаса, готового к заливке бетоном. Нашлись рабочие и инженеры, умевшие обращаться со станками. В присутствии отца они изготовили несколько плит; натянули на специальную станину толстую проволоку, уложили в рядок густо смазанные тавотом трубы, залили все бетоном, включили вибратор и через несколько часов, после «созревания» бетона, оставалось вынуть из пустот трубы и можно отправлять панель на стройку. Отец пришел в восторг: бетон — не керамика, он не колется от удара и нагрузку выдержит почти любую. Такие перекрытия можно ставить и в жилые дома, и в производственные здания.

Станки для производства панелей разобрали и отправили в Киев. Там их обмерили, вычертили чертежи и запустили в производство сначала на Украине, а следом и по всей стране. Проблема древесного грибка снялась с повестки дня.

После войны при восстановлении Киева появилось еще одно новшество: каркас дома из железобетонных столбов и балок, но стенные проемы внутри все еще заполнялись кирпичами. Нагрузка теперь приходилась на балки, и кирпичи стали делать большего размера, с круглыми дырками, а следовательно, легкими.

Итак, жилой дом постепенно обретал новую ипостась — опирался на колонны, этажи перекрывались бетонными плитами, но оставалась еще одна неразрешенная проблема — внутренние стены, обычные перегородки между комнатами и квартирами, весь дом расчерчен перегородками. Их выкладывали из кирпича или сбивали из досок, потом штукатурили, разравнивали, сушили, шпаклевали, белили. Огромный труд, а стены, как ни старайся, получались горбатыми, со временем покрывались трещинами. Сухая штукатурка, ее я упомянул выше, всей проблемы не решала, ее навешивали на стену-перегородку, а не устанавливали вместо нее.

Приезжая из Киева в Москву, отец обязательно шел на

строительную выставку. Уже в конце сороковых годов, перед самым отъездом с Украины, в одном из залов выставки он наткнулся на идеальную межкомнатную перегородку — плиту размером в полную стену, гладкую, без единой трещины. На ней висела табличка: «Перегородка внутренняя гипсовая. Автор: инженер Николай Яковлевич Козлов».

«Я ходил около его стены, поглаживал ее и любовался конструкцией, — пишет отец в своих мемуарах. — Потом постарался встретиться с Козловым, высказал ему много приятного, он нашел “жемчужину” для строительства».

Похвалами отец не ограничился. Панель-перегородка, конечно, замечательная, но… нельзя ли заменить деревянный каркас на железобетонный, избавиться от древесины, от грибка и гниения и, что еще важнее, — вместо гипса, легко впитывающего влагу из воздуха, требующего поддержания постоянной температуры (где такое видано на стройке!), в качестве материала перегородки использовать неприхотливый цемент. Козлов согласился попробовать, и вскоре на свет появилась новая цементная перегородка.

Так что, переехав в Москву, отец представлял себе в общих чертах, что нужно сделать, как перейти в Москве от штучного строительства к промышленно-заводскому производству домов. В Москве отец встретил единомышленников. И здесь группа энтузиастов экспериментировала с панельными домами. Еще в 1947–1948 годах один такой дом соорудили на Соколиной горе. Затем в 1948-м начали возведение целой «панельной улицы» на Хорошевском шоссе. Проектировал улицу 38-летний архитектор Михаил Васильевич Посохин. Бетонные панели конструировал еще более молодой инженер-строитель Виталий Павлович Лагутенко.

Вскоре они войдут в команду отца. Собрав вокруг себя киевлян и москвичей, профессионалов-единомышленников — и каких профессионалов, — отец не сомневался в успехе. Однако новое потому и новое, что рождается в муках. С первой преградой отец столкнулся на первом же шаге. Чтобы развернуть массовое строительство жилья на основе новой поточной технологии, требовалось одобрение Госстроя СССР, там утверждались нормы, без которых строитель не имеет права и шагу ступить. Производство строительных материалов, а значит, и железобетонных плит, регулировал тоже Госстрой. Отец не сомневался в успехе, ведь председатель Госстроя Константин Михайлович Соколов грамотный и разумный инженер, к тому же его знакомый еще с тридцатых годов. Тогда Соколов со своим напарником Д. И. Соколовским изобретали насос для

непрерывной подачи на строительную площадку вязкого бетонного раствора и, когда настала пора внедрения, пришли за помощью к Хрущеву. Молодые люди отцу понравились, и он уже не выпускал их из виду. После окончания первой очереди метро отец предложил Соколову, с повышением и весьма существенным, поучаствовать в реконструкции Москвы. В 1938 году они расстались. Отец уехал на Украину, а Соколов стал сначала членом Комитета по делам строительства при Совнаркоме СССР, а затем и его председателем.

Теперь уже отец обращался к своему старому приятелю Соколову за помощью, просил одобрить его план построить в Москве в качестве эксперимента два завода по производству панелей и других железобетонных деталей для сборки жилых домов. Соколов встретил предложение отца в штыки. Еще со времен строительства метро он примыкал к лагерю монолитчиков. Строители, такое нередко случается в технике, делились на кланы. Бетонщики враждовали с кирпичниками, вместе они воевали с чурочниками-деревянщиками, каждый отстаивал «неоспоримые преимущества» своего метода возведения домов и не находил ни одного доброго слова в адрес оппонентов-конкурентов. Бетонщики внутри клана тоже не ладили между собой. Монолитчики исповедовали отливку стен здания на месте, на стройплощадке, а сборщики считали, что легче и дешевле формовать панели из того же бетона на заводе, а сам дом собирать из готовых деталей. У каждого имелись веские доводы в свою пользу и отсутствовало желание выслушивать оппонентов.

Отец помнил, что Соколов — монолитчик, но уповал на его благоразумие государственного чиновника и инженерную, я бы сказал, порядочность. Уповал напрасно. Сколько отец не убеждал Соколова, ничего не помогало. В подтверждение своей позиции последний ссылался на США, он только что съездил туда и не видел в Америке сборного железобетона, везде монолитный. А тут какие-то Садовский с Лагутенко…

Действительно, в Америке до последнего времени из сборного железобетона дома не строили, там из бетона возводят небоскребы и подземные армейские бункеры, а это уникальные сооружения и по архитектуре, и по прочности. Сборные конструкции тут не применимы. Массовое строительство доступного жилья в США панельное, но дома там одно— двух— реже трехэтажные, и панели используются легкие, не бетонные, а сэндвичи-бутерброды из двух фанерных листов со стекловатой между ними для утепления.

Любопытная деталь: в 1995 году ко мне обратилась одна

американская строительная фирма. Они разработали, по их словам, невиданную ранее технологию изготовления на заводе бетонных коробочек-комнат, и из таких кубиков складывают теперь жилые дома. По их технологии в США построили несколько тюрем, но широкого распространения она не получила, фанерные панели легче, дешевле и привычнее. Фирма рассчитывала заинтересовать своим изобретением россиян, они, в отличие от американцев, строят многоэтажные многоквартирные дома и смогут оценить новинку по достоинству. Я им ответил, что они запоздали на полвека, в Советском Союзе подобным образом строят дома с начала пятидесятых годов. Мои собеседники не поверили и даже обиделись. Как это американцы оказались позади русских?

А вот в Англии сборный железобетон привился. Технологии панельного строительства жилых домов помогли англичанам отстроить после войны разрушенный немецкими бомбардировками Лондон. Им, как и россиянам, приходилось разрешать острейший жилищный кризис. Сходные проблемы и сходные технологии.

Так или иначе, но Соколов отказал отцу, не помогло даже членство в Политбюро. Госстрой в 1950-е годы курировал Берия, и за его спиной Соколов чувствовал себя абсолютно неприступным. Отец зашел с другой стороны, обратился за поддержкой к другому своему давнему знакомому, профессору Всеволоду Михайловичу Келдышу. Он слыл самым большим спецом по железобетону, участвовал в строительстве канала Москва — Волга, московского метро, и его мнение, теоретически, могло повлиять на позицию Госстроя. Но Келдыш — тоже монолитчик и специализировался на сооружении стволов шахт. Отец ушел от него несолоно хлебавши.

Остался последний шанс — апеллировать к Сталину. В то время разгоралась борьба с космополитизмом, низкопоклонством перед Западом. «Сталина раздражало, когда оппоненты возражали против новинок, доказывая, что за границей такого нет. Я знал эту черту Сталина и решил ее использовать, сделав упор на возражения Госстроя. Я попросил Садовского написать докладную на мое имя с полными инженерными расчетами, опровергавшими стародавние методы. Записка получилась убедительной. В ней обосновывалась расчетами необходимость строительства двух заводов сборного железобетона производительностью от восьмидесяти до ста двадцати тысяч кубометров (по тем временам баснословный объем. — *С. Х.*). Один завод предполагалось построить на Красной Пресне, близ Москвы реки, другой — в Люберцах.

Добавив от себя личное письмо, я отправил все Сталину. Я написал, что в Госстрое ссылаются на отсутствие за границей технологии сборного железобетона, поэтому и нам совать сюда свой нос не советуют.

— Товарищ Сталин, я вам послал записку, — напомнил я ему через некоторое время.

— Я вашу записку читал, — ответил он.

— А приложение к ней докладную Садовского. Прочли? — уточнил я.

— Я и ее полностью просмотрел, — голос Сталина звучал поощрительно.

— Каково же ваше мнение? — я настаивал.

— Очень интересная записка, расчеты я считаю правильными и вас поддерживаю, — заключил Сталин.

Мою записку Сталин переправил в Госплан, и мы приступили к строительству крупнейших в мире предприятий по производству сборного железобетона».

Теперь успех зависел от самого отца, от его соратников, от способности инженеров разрешить сонмище технических проблем. Во всяком новом деле, что ни шаг, то неурядица. Начали с оборудования и технологии поточного производства колонн, стен, перегородок — основных структурных элементов новых жилых домов. Ни того, ни другого в мире не производили, все приходилось изобретать самим. Строители умели класть кирпичи, крыть крыши, но изготавливать панели на заводах…

Отец не забывал о своей первой неудаче, когда собранный из блоков дом светился щелями. Новые детали домов требовалось производить не по строительному, не тяп-ляп, а с инженерной точностью, как делают станки. За помощью отец обратился к конструкторам Московского завода металлорежущих станков «Красный пролетарий», расположенного неподалеку от Ленинского проспекта.

Поначалу не очень ладилось, одно дело токарный или зуборезный станок, а тут им предложили сконструировать автомат, сваривающий из арматуры и проволоки стальной каркас многометровой колонны или стенной панели. Отец проводил на «Красном пролетарии» все свои выходные, выслушивал, скорее не доклады, а сомнения разработчиков, наблюдал, как вручную вяжут проволокой каркас, потом сваривают, тоже вручную. «На “Красном пролетарии” мне нравилось. Чистые светлые цеха, невиданные станки и нескончаемые обсуждения с заводчанами: как натягивать проволоку, как ее сваривать, чтобы при изменении температуры, из-за разности в коэффициентах расширения стали и бетона она не растрескалась».

Шаг за шагом начинала вырисовываться конструкция новой машины, и вот уже станок-автомат сам собирает скелет колонны, сам сваривает стыки арматуры, перед каждой новой операцией поворачивая ее вокруг оси и выдает, наконец, готовый продукт. Полдела сделано, есть скелет, но самой колонны еще нет. После заполнения каркасов колонн и плит бетоном, чтобы не оставалось пустот, для уплотнения заливки требовалось жидкий раствор подвергнуть вибрации. Следующая операция: пропаривание жидкой бетонной плиты, а после пропарочной, для созревания, плиту необходимо было выдержать в специальной камере при определенной температуре и влажности. Вибрационные столы, пропарочные камеры и все остальное еще только предстояло изобрести, а затем воплотить в металл и довести до рук.

А сколько встретилось на пути заводчан «мелочей», без которых не сдвинется с места никакое большое дело. Долго бились над специальными роликовыми конвейерами для перемещения еще жидких и полужидких бетонных заготовок. Конвейерами, которым не страшны ни песок, ни грязь. Другая «мелочь» — опалубка. Раньше ее сколачивали из досок, а по использовании доски выбрасывали. Конвейерное производство такого расточительства не приемлет. Перешли на сборно-разборные металлические формы, но бетон к стали прилипает намертво. Пришлось разработать специальные смазки. Всех проблем не перечесть, но постепенно они разрешились, технология изготовления деталей домов, если можно называть деталями многометровые колонны и плиты, становилась все больше похожей на заводскую.

Только научились «собирать» колонны, как Лагутенко предложил от них отказаться, доказал, что можно собирать дом без каркаса из одних стеновых панелей. Получалось и дешевле, и проще. Отец долго сомневался, как бы такой дом не рассыпался, как карточный домик, но Лагутенко стоял на своем и настоял.

Упомянутый выше инженер Козлов тем временем изобретал технологию изготовления очень легких ребристых стеновых панелей с утеплением из шлаковаты. Он же предложил конвейер железобетонного проката с вибрационной трамбовкой: с одного конца на него подавались сваренные на станках краснопролетарцев каркасы, затем заливался бетонный раствор, все это вибрировалось, уплотнялось, и, как положено, с другого конца конвейера ритмично сползали готовые плиты. Их подхватывали краны и переносили на склады для созревания.

«Козлова можно сравнить лишь с Михайловым, — вспоминал отец в беседе с узбекскими строителями 4 октября 1962 года. — Но Козлов обошел Михайлова, Михайлов застыл на виброштампе,

а Козлов придумал вибропрокат. Михайлов в качестве заполнителя применял, как принято у всех бетонщиков, — гравий, а Козлов вместо гравия использовал песок, что сделало бетон монолитнее. Я знаю Михайлова уже тридцать лет и отношусь к нему с уважением. Но ему не удалось сделать того, чего добился Козлов.

Михайлов предложил делать ребристую плиту — ребрами вверх — и трамбовать ее штампом. Но у бетона текучесть малая и трудно получить четкие ребра. Козлов поступил по-другому, он перевернул плиту и прорезал в ней щели. Получилось замечательно. Я видел, как он это делает».

Так три «кита» — Лагутенко, Козлов и Михайлов вступили в жесткую конкуренцию между собой. Отец же по воскресеньям зачастил то в Люберцы, то на Красную Пресню. Я повсюду таскался за ним. На домостроительных комбинатах мне нравилось меньше, чем на «Красном пролетарии». Откровенно сказать, совсем не нравилось. Я изнывал часами, слушая вполуха разговоры отца с изобретателями, тут же, около огромного квадратного, залитого бетонным раствором, формовочного стола. На нем вибрировали стенные проемы сборных, как из детских кубиков, домов. В соседнем цехе по привезенной отцом из Германии технологии производили межэтажные перекрытия. Там, в Люберцах я приобщался к творчеству, вместе с изобретателями новых технологий дышал цементной пылью, месил с отцом грязь на заводских дворах.

Чтобы монтировать громоздкие и тяжелые панели, поднимать их на высоту хотя бы пятого этажа, требовались краны. Много больше кранов, чем при возведении кирпичных зданий, когда за один-два подъема обеспечивали кирпичами целую бригаду и на полную смену. Пришлось налаживать серийное производство башенных кранов. Наладили и его.

Не обходилось и без накладок. Главным бичом продолжала оставаться точность сборки. Как ни старались строители, но высокой точности не могли добиться еще не один год. Недоставало производственной культуры. Между плитами, особенно по углам дома, постоянно образовывались щели. Их замазывали цементом, заливали специальной мастикой, но цемент отваливался, мастика летом на жаре плавилась. От жильцов пошли жалобы: их квартиры через щели заливало водой, продувало ветром, а зимой и вовсе вымораживало. Недостатки строители устраняли, но тут же возникали новые и в самых неожиданных местах. Такая «притирка» естественна в любом новом деле, и самолет братьев Райт далеко не сразу стал комфортабельным лайнером. Все это так, вот только новоселов,

получивших квартиры в дефектных домах, логика не утешала.

Постепенно дома становились лучше, с улицы больше не задувало, теперь грешили на звукоизоляцию. Происходившее в соседних квартирах, на соседних этажах, даже соседних подъездах, становилось достоянием всего дома. С этой напастью как только не боролись: пустоты в плитах заполняли поглощающей звук стекловатой, устанавливали специальные звукопоглощающие прокладки между плитами. Все как мертвому припарки.

Наверное, проблема звукоизоляции не имеет инженерного решения. По-своему кардинально расправились с ней американцы. В США каждая семья живет в отдельном панельном коттедже, в изолированном микрорайончике, где с восьми вечера до восьми утра запрещается шуметь, нарушать покой жителей. Внутри дома, в семье, проблема звукоизоляции решается полюбовно, телевизор можно слушать через наушники, а в общем застолье не участвует разве что покойник.

С введением в строй Люберецкого и Краснопресненского комбинатов в стране началась домостроительная техническая революция, родилась технология массового, доступного по цене производства квартир, появилась новая отрасль промышленности: сборное домостроение. Приведу несколько цифр: за 1945–1948 годы в Москве построили 522 тысячи квадратных метров жилья, в одном 1949-м — 405, в 1950-м — 535, в 1951-м — 735, а в 1952-м году ввели в строй 782 тысячи квадратных метров площадей.

Здесь мне приходит на ум сравнение с автомобилестроением. До Генри Форда карета с бензиновым мотором — так автомобиль выглядел в первые годы — не столько служил людям, сколько забавлял горстку людей богатых и падких на все новое. Собирали новое средство передвижения вручную, каждый умелец-изобретатель на свой лад. Генри Форд не изобрел автомобиль, изобрели до него, он придумал конвейер сборки автомобилей и в двадцатые годы двадцатого столетия пересадил в свой «Форд-Т» американцев, а затем и остальных жителей планеты. Форд сделал автомобиль доступным любому и тем самым изменил лицо мира.

Панельное домостроение, бетонное советское или фанерное американское, реализовало мечту простых людей о приличном жилье. Оно тоже навсегда изменило мир.

Конечно, и сегодня никто не запрещает за особую цену приобрести индивидуальный, ручной сборки роллс-ройс или размалевать и разукрасить собственный серийный автомобиль так, что родная мама, то есть завод-изготовитель, не узнает. Никто не возбраняет за свои деньги, если они конечно есть, возвести дворец или, если денег нет, своими руками построить по

собственному проекту «шалаш». Но эти исключения только подтверждают, что мы живем в эру массового стандартизованного производства.

Кого можно назвать создателем строительной индустрии? И профессора Михайлова, и инженера Козлова, и строителя Лагутенко, и архитектора Посохина, и Проскурякова с Садовским, и Хрущева конечно. Все они — отцы-основатели, вместе со многими другими, неназванными, и никто в отдельности. Создание новых, изменяющих лицо мира технологий не под силу индивидууму. Только коллектив изобретателей, менеджеров-организаторов, технологов, если к тому сложатся благоприятные условия, может добиться успеха.

Все течет, все изменяется. Как далеко в прошлое ушло время, когда первые сборные пятиэтажки без лифта, без мусоропровода, с квартирами без прихожих, площадью в 25 квадратных метров, с совмещенным санузлом, с потолком 2 метра 70 сантиметров, но без коммунальных соседей, представлялись новоселам раем, а если не раем, то несомненным достижением.

Теперь мало кто помнит, почему выбрали пять этажей, а не семь или, скажем, три. Тому предшествовали скрупулезные расчеты с целью сэкономить рубль, сотню, тысячу, миллион, чтобы на них выстроить еще одну квартиру, еще один этаж, дом или, даже квартал. Баталии, с участием самого Хрущева, предваряли решения о высоте потолков, размере кухни и совмещении «удобств». Пять этажей — это максимальная высота, на которую вода (и в водопроводе, и в отоплении) подается без подкачки, то есть без установки в подвалах дополнительных насосов. На пятый этаж под силу подняться по лестнице даже немолодому человеку, и можно сэкономить на лифтах. Мусор с пятого этажа можно вынести на помойку в ведре, что исключает затраты на мусоропровод. К тому же, пятиэтажки по тем меркам считались достаточно высокими (вспомним, что в предыдущие годы жилые дома-бараки строили одно-двухэтажными), сравнительно комфортабельными и максимально дешевыми. Срок службы им отводился 25 лет. За эти годы планировалось в достатке понастроить более комфортабельное жилье, а отслужившие свое пятиэтажки снести. На деле они подписали себе смертный приговор еще в начале 1960-х. Массовая застройка сместила критерии эффективности, теперь в них превалировали не затраты на возведение самого дома, а стоимость инфраструктуры: прокладки дорог, водопровода, тепловых магистралей, канализации, электричества. Пятиэтажки занимали все больше пространства, на них больше не удавалось экономить, и с 1962 года, отец тогда еще оставался у власти, начинают

строить девятиэтажные и более высокие дома. Но это уже другая история, и я о ней расскажу в свое время.

Пятиэтажки же, отслужив четверть века, давно выслужив свой срок, остались. Их презрительно называют «хрущобами», или чуть приятнее моему уху — «хрущевками». Мне кажется, они того не заслужили. Ведь и первый в мире народный автомобиль Форд-Т можно обозвать колымагой. Он, по современным меркам, и есть колымага. Вряд ли кто-либо, кроме коллекционеров, захочет на нем прокатиться.

Но дело сделано: как «Форд-Т» обрел свое место в экспозициях мировых музеев, так и сборные пятиэтажки, изменившие жизненный уклад миллионов людей, символ нового, народного домостроения, тоже заслуживают своего музея.

Часть 2
Первые шаги (1953–1955)

1953 год

Сталин умер

В 21 час 50 минут 5 марта 1953 года Сталина не стало, в стране началась новая эпоха. Собственно, она наступила даже несколько раньше, с 29 февраля, с первого дня его болезни, и врачи, и соратники понимали: Сталин больше не жилец, и начинали приноравливаться к жизни без него. Члены Бюро Президиума ЦК,[11] как вспоминал отец, попарно дежурили на Ближней даче в Волынском: Берия с Маленковым — днем, а по ночам Каганович с Первухиным, Ворошилов с Сабуровым, отец с Булганиным. Последние, в меру досаждая врачам вопросами, отсиживали свои часы у постели умирающего, а вот Берия времени попусту не терял. Он то и дело уводил Маленкова на пустовавший, когда-то построенный для вышедшей замуж дочери Сталина Светланы, второй этаж. Там, в затхлых, давно не проветривавшихся комнатах, решалась судьба страны. Главные определяющие — так отец охарактеризовал Берию и Маленкова.

Уже 3 марта, когда не осталось никаких сомнений, что Сталин фактически, пусть не физически, но политически мертв, Берия с Маленковым наконец-то собрали Бюро Президиума ЦК, предложили опубликовать сообщение о его болезни, начав тем самым готовить народ к неизбежному. Одновременно договорились созвать на следующий день Пленум ЦК и утвердить на нем новое распределение ролей, которое еще предстояло выработать.

К 3 марта в высшем руководстве определились две центральные фигуры: явная — Берия и потенциальная — Хрущев. Между ними — слабовольный Маленков, последние дни склонявшийся на сторону Берии. Основным, хотя и весьма относительным союзником отца можно назвать пассивного Булганина. Они сдружились еще в тридцатые годы, когда Булганин возглавлял Моссовет, а отец — Московские обком и горком партии.

Остальные члены Бюро Президиума ЦК, в том числе попавшие в сталинскую опалу, но пока еще не растерявшие ореола вождей: Ворошилов и Молотов с Микояном, довольствовались ролью статистов. Молотова Сталин записал в американские шпионы, Ворошилов числился в английских, чей шпион Микоян, вождь пока не решил.

Берия не сомневался, что Анастас Микоян, Лазарь Каганович,

Максим Сабуров и Михаил Первухин без колебаний поддержат победителей, первые два — по складу своего характера, остальные — в силу неустойчивости положения, они только обживались в высшем ареопаге страны. Ворошилова же в расчет не принимали уже давно.

Итак, получив от товарищей формальное «добро», Берия с Маленковым весь вечер 3-го и утро 4 марта на втором этаже сталинской дачи кроили и перекраивали состав нового руководства страны, нового Президиума ЦК, нового правительства. К ими же назначенному сроку они не успевали и под предлогом, что не все члены ЦК успеют добраться до Москвы, а Сталин еще дышит, перенесли заседание Пленума ЦК с 4 на 5 марта. Никто не возразил.

Днем 4 марта, во время своего дежурства, Маленков вызывал на дачу Сталина заведующего своим секретариатом А. М. Петраковского и продиктовал ему состав Президиума ЦК и Совета Министров. Отпечатанные в Кремле бумаги просмотрел Берия и додиктовал Маленкову последние изменения. Маленков аккуратно записал, как он привык записывать за Сталиным. Министр внутренних дел Н. П. Дудоров на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС сообщил, что при обыске сейфа бывшего помощника Маленкова Суханова, арестованного по уголовному делу о хищении облигаций выигрышного займа, в числе других бумаг они обнаружили, написанные от руки почерком помощника Маленкова, Петраковского, списки будущего руководства страны с собственноручными поправками Маленкова.

Думаю, что Берия неслучайно избрал сталинскую манеру диктовать Маленкову. Тем самым он расставлял акценты, определял, кто есть кто. Он уже ощущал себя властителем страны и одновременно понимал, что ему, человеку из органов, да еще кавказцу, сразу претендовать на высшие посты в государстве и партии не то чтобы опасно, но преждевременно. Всему свое время. Во главе правительства пока постоит Маленков. После того как Сталин поручил Маленкову сделать за себя отчетный доклад на XIX съезде партии, последний обрел статус наследника. Вот пусть и наследует, никто в Президиуме и на Пленуме ЦК против воли Сталина не пойдет. В том, что Георгий Максимилианович, «Егор», будет следовать за ним как нитка за иголкой, Берия не сомневался. Более удобного главы правительства и представить себе невозможно.

Итак, из двух сил, двух политических фигур — отца и Берии — Маленков выбрал ту, что ему казалась посильнее, хотя он понимал: один неверный шаг и Лаврентий Павлович сотрет его «в лагерную пыль».

Берия рассчитал все. Булганина они сделают министром Вооруженных сил, там он не навредит, да и маршалы его не уважают. Молотов, Микоян, Каганович останутся заместителями у Маленкова, на вторых, но почетных ролях. Сабурова с Первухиным Берия в расчет не брал, их имена у народа не на слуху. В общем, картина вырисовывалась стройная, если бы не Хрущев. Его следовало нейтрализовать. Отношения у отца с Берией внешне складывались дружеские, но только внешне. После смерти Сталина они неизбежно становились соперниками. Оба это хорошо понимали.

Открыто выступить против отца Берия пока опасался и решил предложить ему второй, оставшийся вакантным, высший пост секретаря ЦК КПСС. Правда, формулировку Берия сочинил с подвохом, отец и так числился секретарем ЦК. На XIX съезде Сталин упразднил в ЦК должность генерального, или первого секретаря, «демократично» заметив, что в секретариате все на равных. Но отец — не Сталин, и за лидерство ему еще предстояло побороться. До сегодняшнего дня он только числился секретарем ЦК, а работал в Московском комитете. Теперь отцу, согласно предложению Берии, предлагалось «сосредоточиться» на работе в ЦК, одновременно уйти из МК и МГК и тем самым «потерять» Москву. А в условиях нестабильности в высшем руководстве страной контроль над столицей ох как важен. Кто владеет Москвой, в конце концов подчинит себе и Россию. К тому же, своих людей у отца среди секретарей ЦК пока не имелось. Подбор Секретариата Берия с Маленковым оставили за собой. Более того, на заседаниях Президиума ЦК, по предложению Сталина, с недавнего времени председательствовал глава правительства. При таком раскладе влияние отца, по крайней мере на первых порах, не только не возрастало, а наоборот уменьшалось. Пока он обоснуется на новом месте, начнет прибирать к своим рукам людей, драгоценное время и утечет, а вместе с ним утечет и реальная власть.

Мне представляется, что в обстоятельствах неуверенности и спешки тех дней, невозможности коренных перемен, Берия рассчитал все идеально. Активность Берии очень беспокоила отца, но что он мог поделать? Берия его опередил, и опередил не сегодня. Свои отношения с Маленковым он выстраивал все последние годы. Тандем Берия-Маленков образовался еще полтора десятка лет назад, до войны.

Владимир Михайлович Шамберг, зять Маленкова, сын его ближайшего друга и заместителя в ЦК ВКП(б) Михаила Абрамовича Шамберга, внук Соломона Абрамовича Лозовского (С. А. Дризо), члена ЦК, начальника Совинформбюро,

заместителя министра иностранных дел, в 2004 году рассказывал мне, что Георгий Максимилианович и Лаврентий Павлович нашли друг друга в августе 1938 года сразу после перевода Берии в Москву заместителем наркома внутренних дел. Они окончательно «сдружились» 10 апреля 1939 года, когда вместе по приказу Сталина «брали» в кабинете Маленкова, вызванного «на разговор» в ЦК, еще недавнего прямого начальника и Берии, и Маленкова, секретаря ЦК и наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова. До 10 марта 1939 года в этом цековском кабинете сидел сам Ежов. Маленков в нем только начинал обживаться. В секретари ЦК его избрали вслед за освобождением Ежова от этой должности 22 марта. Сталин нервничал. Он всегда нервничал, когда арестовывали кого-либо, кто, пусть чисто теоретически, мог арестовать его самого.

Отец в тот день ужинал у Сталина. Он заметил, что хозяин дома то и дело поглядывал на телефон. Наконец раздался звонок, Сталин вышел из-за стола и взял трубку. Не перебивая, выслушал говорившего и с видимым облегчением произнес в ответ пару слов, что-то вроде: «Да, хорошо». Вернувшись к гостям, он подчеркнуто равнодушно проинформировал: «Звонил Берия. Все в порядке, Ежова арестовали, сейчас начнут допрос».

С того дня Сталин приблизил к себе Берию и Маленкова. Перед войной, по мнению Шамберга, они, не будучи даже членами Политбюро ЦК, стали по существу самыми влиятельными людьми в сталинском окружении. И тем не менее, по свидетельству Микояна: «Маленков очень боялся Сталина и, как говорится, готов был разбиться в лепешку, чтобы неукоснительно выполнить любые его указания…

Когда Сталин говорил что-то, он немедленно доставал из кармана френча записную книжку и быстро-быстро записывал указания товарища Сталина».

С началом войны Сталин ввел их обоих в состав Государственного Комитета Обороны, неконституционного властного органа, стоявшего над правительством и даже над Политбюро ЦК. Маленков цепко держался за Берию, а Берия, в свою очередь, поддерживал Маленкова и до войны, и в войну, и после нее.

Несколько слов о семье Шамбергов. Шамберг-старший вступил в партию в 1917 году пятнадцатилетним юношей. После Гражданской войны учился вместе с Маленковым в Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана, там они не просто дружили, но и сотрудничали в парткоме училища. В 1925 году, отучившись всего год, Шамберг вернулся к партийной работе сначала в Туле, а затем в Одессе. Маленков остался в

Москве. В 1930 году Каганович взял его в Московский Городской Комитет партии заведующим отделом, а уже в 1934 году Маленков возглавил «ежовский» отдел руководящих партийных органов в ЦК ВКП(б). В начале 1936 года он пригласил Михаила Абрамовича Шамберга к себе первым заместителем.

Летом 1945 года, еще студентом, тогда ему исполнилось 19 лет, Владимир Михайлович Шамберг женился на дочери Георгия Максимилиановича Воле. Воля Маленкова и Володя Шамберг знали друг друга с шестнадцати лет, и женитьба стала естественным завершением их совместного времяпрепровождения. Молодой Шамберг переехал к Маленковым, они жили с родителями жены в квартире на улице Грановского, выходные проводили на даче Маленкова.

В начале 1946 года над головой Георгия Максимилиановича сгустились тучи. В апреле 1946 года Сталин арестовал, а 10–11 мая Военная коллегия Верховного суда СССР осудила на значительные сроки Главнокомандующего военно-воздушных сил маршала Александра Александровича Новикова, министра Авиационной промышленности Алексея Ивановича Шахурина, а вместе с ними их заместителей и еще много других «виновных (как записал Сталин в решении Политбюро ЦК) в протаскивании на вооружение заведомо бракованных самолетов и моторов, крупными партиями, по прямому сговору между собой, что приводило к большому количеству аварий и катастроф, гибели летчиков».

Рикошетом «дело авиаторов» ударило по Маленкову. Во время войны в Государственном Комитете Обороны он надзирал за авиационной промышленностью. В апреле 1946 года его, всего месяц назад, 18 марта, избранного на Пленуме ЦК одновременно в Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК (такой чести в советском руководстве удостаивались еще только два человека — сам Сталин и его правая рука Андрей Александрович Жданов), убрали из секретарей ЦК и оставили вообще не у дел. 4–6 мая 1946 года Сталин подтверждает свое решение формальным опросом членов Центрального Комитета. Естественно, все проголосовали «за».

В начале мая обеспокоенный Лозовский позвал к себе внука и под большим секретом показал ему только что доставленное Постановление ЦК об отстранении Маленкова от должности Секретаря ЦК за потворство бракоделам-авиаторам. Сформулировано оно лично Сталиным в тонах, не суливших Маленкову ничего хорошего: «Установлено, что т. Маленков как шеф над авиационной промышленностью и по приемке самолетов — над военно-воздушными силами, морально отвечает за те

безобразия, которые вскрыты в работе этих ведомств (выпуск и приемка недоброкачественных самолетов), что он, зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них в ЦК ВКП(б)».

— Вы должны приготовиться, — посоветовал Шамбергу Соломон Абрамович.

К чему следует готовиться, Лозовский хорошо знал, а Володя, несмотря на свою молодость, догадывался.

— Маленков все последующие дни просидел на даче, — рассказывал мне Шамберг. — Я встречался с ним там ежедневно. Правительственную почту ему не доставляли, на работу Георгий Максимилианович не ездил. Видимо, ждал ареста.

По Москве тем временем поползли слухи: Маленкова сослали в Среднюю Азию. Дошли они и до работавшего на Украине отца. Он им поверил и даже повторил, правда, с оговоркой, в своих воспоминаниях. Да и как не поверить — в ЦК Маленкова нет, у Сталина на обедах он не появляется, имя его там стараются не упоминать.

Но Маленкова не арестовали и не сослали, на выручку ему пришел Берия. Сталин поручил ему руководство спецкомитетом по разработке ядерного оружия. Для Иосифа Виссарионовича не было тогда важнее дела в стране. Берия исподволь внушил Сталину, что, хотя Маленков и проштрафился, но вина его в прошлом, а сейчас он, его опыт, оказались бы полезными, ему стоит поручить координировать работы в родственном спецкомитете по радиолокации и ракетам. Сталин согласился.

Без работы Маленков просидел чуть больше месяца. Уже 13 мая 1946 года его назначили председателем Спецкомитета по реактивной технике, а 10 июля еще и председателем комиссии по радиолокации. Однако в Секретариат ЦК Маленков не вернулся. 2 августа 1946 года Сталин сделал его заместителем главы правительства, своим заместителем. Опала закончилась, и Маленков знал, благодаря кому.

В январе 1949 года наступила пора испытаний теперь уже для Соломона Абрамовича Лозовского. Сталин обвинил его в связях с американцами и сионистами. Разбираться с Лозовским Сталин поручил Маленкову.

— Когда я, — Владимир Шамберг продолжал рассказ, — уже не студент, а аспирант Института экономики Академии наук СССР, в начале января вернулся домой на улицу Грановского, горничная вручила мне запечатанный конверт.

Это оказалось письмо от Володиной жены Воли. Она писала, что они больше никогда не увидятся и должны расстаться. В квартире он не застал ни Воли, ни кого-либо еще из Маленковых (по словам Шамберга, она отсиживалась этажом выше, в квартире

Хрущевых, у свой подруги Рады). Володя не понимал, что же произошло, жили они мирно, без скандалов. Володя безропотно подчинился, положил в карман паспорт с партийным билетом и уехал к родителям. Оттуда попытался дозвониться до Воли, но разговора не получилось. Как ему помнилось, Воля почти истерически прокричала какие-то обидные слова и, не дожидаясь ответа, бросила трубку.

Володя рассказал о постигшем его горе родителям. Отец не удивился, ему уже звонил Маленков и, не приводя никаких разумных причин, упрашивал помочь развести детей. Так всем будет лучше.

— Зачем-то ему это нужно, а зачем, мы скоро узнаем, — заметил в задумчивости Михаил Абрамович и попросил Володю не сопротивляться, сделать все, что его просят. Иначе может обернуться намного хуже.

Тем временем раздался звонок в дверь — это охранники Маленкова привезли Володины вещи. Прихожую квартиры Шамбергов в цековском доме № 19 по Староконюшенному переулку, завалили книгами, а рядом поставили два чемодана с одеждой.

На следующий день, 12 января 1949 года, к Шамбергам заехал полковник Владимир Георгиевич Захаров, начальник охраны Маленкова, и отвез Володю в Московский городской суд, где его, в нарушение всех предусмотренных законом процедур, в отсутствие Воли, без судебного заседания, развели и тут же отобрали паспорт. Вскоре ему вручили новый, «чистый» паспорт, не только без записи о разводе с Волей, но без каких-либо следов заключения брака с ней.

Полковник Захаров попытался успокоить вконец расстроенного и растерянного Володю, посоветовал не расстраиваться, человек он образованный, молодой, а на Воле свет клином не сошелся. Все образуется. Володя согласно кивал головой, но так и не понял, откуда на него свалилась эта напасть.

Все прояснилось на следующий день. 13 января 1949 года Маленков вызвал в свой кабинет члена ЦК партии Лозовского, обвинил его в заговоре с целью создания в Крыму еврейской автономии, а также в шпионаже в пользу американцев. 18 января Лозовского исключили из партии. 26 января арестовали. Но теперь, после развода, уже никто не смел упрекнуть Маленкова в родстве с «врагом народа». Любопытное совпадение. Тогда же, в январе 1949 года, начало раскручиваться и так называемое «Ленинградское дело»: то ли Берия с Маленковым руками Сталина, то ли Сталин с их помощью избавлялись от секретаря ЦК Алексея Александровича Кузнецова и заместителя Сталина по

правительству Николая Алексеевича Вознесенского. Историки до сих пор спорят, кто же первым сказал «а». Документов почти не сохранилось, в таких делах ни Сталин, ни Берия с Маленковым не доверяли бумаге. Все важные распоряжения отдавали устно и так же устно докладывали Сталину об исполнении. И надо же такому случиться! На 15 февраля 1949 года назначили свадьбу сына Анастаса Ивановича Микояна Серго и дочери Кузнецова Аллы. Они, как и Воля с Володей, знали друг друга с детства, учились в одной школе, в одном классе, и теперь решили пожениться. Чем грозило родство с «бывшим членом ЦК, замешанном в антипартийные действия», Анастас Иванович понимал не хуже Георгия Максимилиановича, но противиться заключению брака своего сына с дочерью потенциального «врага народа» не стал. Более того, он позвонил Алексею Александровичу и настойчиво приглашал его приехать к нему на дачу, поучаствовать в торжестве. Кузнецов вежливо отказывался. Он тоже знал, чем все это может обернуться для Микояна.

13 августа 1949 года Кузнецова вместе с Родионовым и Попковым арестовали в кабинете Секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова.

Я привел только два эпизода. За двенадцать лет сотрудничества Берия и Маленков провели множество «совместных операций». Так что их тандем в марте 1953 года опирался на глубокие корни. Они действовали согласованно, напористо и без каких-либо сомнений в том, что власть в стране уже принадлежит им.

4 марта напряжение достигло своего апогея, стало окончательно ясно, что Берия с Маленковым вот-вот преподнесут остальным членам руководства готовое решение. Решение их судеб. Только тогда отец наконец-то осторожно поделился опасениями с Булганиным: если после смерти Сталина Берия подомнет под себя госбезопасность, мы все пропали. Булганин обреченно согласился. Отец попытался поговорить и с Маленковым. Естественно, по секрету от Берии. Все утро 4 марта старался улучить подходящий момент, но остаться наедине не удавалось, Берия не спускал глаз с Маленкова ни на минуту. Так ничего не добившись, уставший после ночного дежурства отец уехал домой, принял снотворное и заснул. Он отловил Маленкова только после обеда, когда вернулся в Волынское на очередное дежурство.

На предложение отца обсудить, как жить после смерти Сталина, Маленков отреагировал с необычной для его характера решимостью: «А что сейчас говорить? Съедутся все, и поговорим».

Отец поинтересовался, кто съедется, кто эти все. Маленков

пояснил, что пока тот отсутствовал, они с Берией договорились провести новое совещание Президиума ЦК. Время не терпит, Сталину становится все хуже, надо договориться, как быть дальше.

Собрались не в Волынском, а в Кремле, в кабинете Сталина. Маленков пригласил не избранный на XIX съезде «большой» Президиум и, даже не придуманное Сталиным «бюро», а «группу товарищей». Будущее страны предстояло решить Берии с Маленковым, отцу, Булганину, Молотову, Кагановичу, Ворошилову и Микояну. Не могу сказать, позвали ли Сабурова с Первухиным, а если не позвали, то почему? Почему не позвали «молодых» членов высшего руководства страны, понятно: на этом заседании Берия хотел определиться с будущей властью, двадцать пять человек, да еще не притершихся друг к другу, для такого дела многовато.

После краткой информации медиков о практически безнадежном положении Сталина инициативу взял в свои руки Берия. Он предложил возложить исполнение обязанностей главы правительства на Маленкова и, не дожидаясь реакции присутствовавших, проголосовал. Все послушно подняли руки «за». В таких делах крайне важен элемент внезапности: предложение внесено, возражать всегда сложнее, чем предлагать. К тому же, никто, кроме Берии с Маленковым, не имел ни согласованной кандидатуры, ни сценария поведения.

Сразу после голосования Маленков предложил Берию своим первым заместителем и одновременно министром объединенного Министерства внутренних дел и государственной безопасности. Присутствовавшие поддержали — Лаврентий Павлович столько лет стоял во главе органов.

Хрущеву предложили «сосредоточиться на работе в ЦК», взять в свои руки Секретариат и одновременно «освободиться от Москвы». Отец не возражал. Обговорили и другие назначения, каждый из присутствовавших получал свою долю властного пирога. Состав Президиума ЦК сократили, вернулись количественно и по составу к состоянию до XIX съезда партии.

С этим пакетом и вышли на открывшееся 5 марта в 8 часов 40 минут вечера совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Сталин еще дышал. На заседании отсутствовал единственный «потенциальный союзник» отца — Булганин, Берия попросил его остаться у постели умирающего на даче. Но это мало что меняло, отец знал: Булганин не борец, он без колебаний станет на сторону победителя, а победитель сегодня — Берия.

Председательствовал на заседании отец, но его

председательствование сводилось к предоставлению трибуны выступавшим. Именно в такой роли Берия хотел бы видеть его и в будущем. Отец считал, что председательский колокольчик — еще не власть, но ее символ, символ для всех присутствовавших в зале. На большее пока рассчитывать не приходилось.

Первым с информацией о здоровье, точнее о неминуемой, с минуты на минуту, кончине Сталина, выступил министр здравоохранения СССР Андрей Федорович Третьяков. Его назначили совсем недавно, 27 января 1953 года. До того он служил директором Центрального института курортологии. В министерском кресле Третьяков сменил Ефима Ивановича Смирнова, медика-генерала, прослужившего в армии двадцать лет, дослужившегося до начальника медслужбы Красной Армии. Смирнов к тому времени проработал министром около шести лет, проявил себя хорошим организатором, но Сталин ему больше не доверял. Набирало силу «дело врачей», и Сталин подбирал угодный ему контингент.

«Дело врачей» началось не в январе 1953 года, а за три года до того, с ареста 18 ноября 1950 года консультанта Лечсанупра Кремля, известного всей Москве профессора Якова Этингера. Но добиться от 63-летнего сердечника-профессора нужных показаний, несмотря на допросы с пристрастием, не удалось, в 1951 году он умер в тюрьме, чем сильно прогневал Сталина. Он взял «дело врачей» под личный и жесткий контроль. В октябре 1951 года, после очередного доклада министра госбезопасности С. Д. Игнатьева, Сталин обозвал расследователей «бездельниками», пригрозил, «если не вскроют среди врачей террористов — американских агентов, то Игнатьев окажется там же, где Абакумов…» Предшественник Игнатьева на этом посту, сталинский «выдвиженец» Виктор Семенович Абакумов с 12 июля 1951 года сидел в тюрьме.

«Я не проситель у МГБ, — возмущался Сталин. — Я могу и потребовать, и в морду дать, если вами не будут исполняться мои требования. Мы вас разгоним, как стадо баранов…»

В одно из августовских воскресений 1952 года Сталин вновь вспомнил о «врагах-вредителях», затребовал к себе в Волынское Игнатьева и снова остался недоволен, что «дело» зависло, матерно обругал министра, его подчиненных обозвал «бегемотами» и заявил: «Старым работникам МГБ я не доверяю», они «ожирели, разучились работать».

13 ноября 1952 года Сталин снимает с должности заместителя министра Госбезопасности Михаила Рюмина, который, по его мнению, не справился с «делом врачей» и они «все еще остаются не раскрытыми до конца». Почему «дело

врачей» так долго «не раскрывалось до конца» сказать трудно, Рюмин и не такие «дела» раскалывал как орех.

Так или иначе, но дело наконец «пошло». 15 ноября 1952 года Игнатьев докладывает Сталину, что к арестованным врачам «Егорову, начальнику Лечсанупра Кремля, личному терапевту Сталина академику Василию Никитичу Виноградову, профессору Василию Василенко, тоже терапевту Лечсанупра Кремля, применены меры физического воздействия».

Тогда же посадили и Моисея Соломоновича Вовси, генерал-лейтенанта, главного терапевта Советской Армии, личного друга министра здравоохранения Смирнова. Того Вовси, который в 1947 году выхаживал отца от воспаления легких. Отец очень переживал его арест, но сделать не мог ничего.

Однако профессора проявили стойкость. 29 ноября 1952 года Сергей Гоглидзе, заместитель Игнатьева, докладывал Сталину, что «до сих пор ни агентурным, ни следственным путем не вскрыто, чья злодейская рука направляла террористическую деятельность Егорова, Виноградова и других».

Сталин рассердился и 1 декабря 1952 года собрал заседание Президиума ЦК, событие по тем временам экстраординарное, текущие дела он решал за обеденным столом или передоверял их Берии с Маленковым. Там он заявил, что «любой еврей — националист, агент американской разведки. Среди врачей много евреев-националистов. Неблагополучно в органах. Притупилась бдительность».

Через неделю после заседания Президиума ЦК генерала Смирнова отставили от должности. Со дня на день он ожидал ареста. (Смирнов просидел безработным до апреля 1953 года, когда уже после закрытия «дела врачей» его назначили руководить Военно-медицинской академией в Ленинграде.)

С начала 1953 года Сталин уже не просто контролировал «расследование», он направлял его. 13 января 1953 года «Правда» поместила на первой странице сообщение ТАСС об «Аресте группы врачей-вредителей», «раскрытии террористической группы врачей, ставившей своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям СССР». Этот текст Сталин продиктовал Маленкову накануне вечером за обедом в Волынском.

В стране поднялась истерия, сопоставимая с печально памятным тридцать седьмым годом.

Особо бдительные граждане в своих письмах в ЦК и МГБ жаловались на неправильное лечение, доносили на своих участковых врачей, консультантов и даже просто аптекарей. В этом деле отличились и люди заметные, хорошо разбиравшиеся в

хитросплетениях власти. Так прославленный маршал Конев в письме Сталину расписывал, как его травили, сживали со света кремлевские и армейские врачи, в том числе, разоблаченный еврей-сионист (Конев употребил выражение погрубее) бывший профессор Вовси. Сам я письма, естественно, не видел, но отец об этой гнусности рассказывал неоднократно. Сталин попросил Маленкова зачитать письмо на очередном обеде в Волынском, внимательно слушал, в наиболее «сильных» местах похлопывал по белой скатерти стола ладонью. Когда прозвучала фамилия Вовси, он в сердцах стукнул по столу кулаком, да так, что посуда подпрыгнула.

В последующие годы при встречах с маршалом Коневым отцу каждый раз вспоминался уставленный посудой стол, Маленков, без выражения бубнящий текст письма, и Сталин, прихлопывающий ладошкой по столу.

В разыгрывавшемся Сталиным сценарии курортологу Третьякову отводилась важная роль разоблачителя «коварных методов сионистских убийц в белых халатах», покушавшихся на жизнь его, сталинских, соратников. И вот теперь министра Третьякова не могла не преследовать мысль: не спишут ли на него смерть Сталина. О том же беспокоились и врачи у постели больного, они, по свидетельству отца, боялись к нему даже притронуться.

В сообщении Пленуму ЦК Третьяков почти слово в слово повторил уже опубликованный в «Правде» бюллетень: температура, давление крови, дыхание Чейн-Стокса.

Дальше все пошло по составленному Берией сценарию. Отец предоставил слово Маленкову. Георгий Максимилианович произнес несколько общих фраз об ответственности перед страной в сложившейся обстановке, о необходимости консолидации власти.

Маленков покидает трибуну, и отец приглашает следующего оратора, Лаврентия Павловича Берию, предложившего временно назначить Главой правительства СССР вместо еще не умершего Сталина — Маленкова.

— Правильно! Утвердить, — привычно поддержали Берию присутствовавшие.

Им, людям опытным, все стало ясным: Берия — Маленков или Маленков — Берия и, скорее всего, Хрущев — вот на сегодняшний день ядро нового руководства страной. В противном случае и выступали бы другие люди, и в председательском кресле сидел иной человек.

В 8 часов 40 минут вечера 5 марта 1953 года, в зал вошел дежурный и что-то прошептал на ухо сидевшему рядом с отцом

Берии. Тот кивнул головой и в свою очередь зашептал на ухо отцу: «Сталин плох, надо поспешить в Волынское, через час-полтора уже будет поздно».

Хрущев, не объясняя причин, объявил перерыв на два часа, до одиннадцати ночи.

Члены нового, пока еще не избранного Пленумом, Президиума ЦК поехали на дачу Сталина. Они едва успели, в 9 часов 50 минут вечера по московскому времени Сталин испустил дух.

Отец вспоминал, что в тот момент он прослезился — каким бы Сталин ни был, но они столько лет проработали бок о бок. Влажно блестели под пенсне глаза у Молотова. Об остальных ничего сказать не могу, не знаю. Совсем иначе, несообразно скорбной минуте, повел себя Берия.

— Ну всё? — нетерпеливо он допытывался он у врачей. Услышав ответ «Всё», Берия бросил через плечо Маленкову:

— Поехали, — и, не оглядываясь на покойного, направился к двери. — Хрусталев,[12] машину, — на ходу ликующе прокричал он.

Дверца бронированного ЗИС-110 смачно чмокнув, захлопнулась. (Я процитировал воспоминания, присутствовавшей там дочери Сталина, Светланы Иосифовны.)

Поехал власть брать — показалось тем из присутствовавших, кто не знал, что власть Лаврентий Павлович взял уже около часа тому назад.

В Кремль все вернулись около одиннадцати часов, и заседание возобновилось. После информации Хрущева о фактической смерти Сталина переутвердили Маленкова уже в качестве постоянного главы правительства.

Дальше все пошло как по писаному: Маленков информирует, именно информирует, собравшихся о решениях, принятых накануне на втором этаже сталинской дачи и подтвержденных на послеобеденном собрании в кремлевском кабинете Сталина.

Он говорит о необходимости объединения министерств, сокращении их числа и назначении министрами людей авторитетных и в партии, и в народе. Тут же объявляет о своем первом заместителе — Лаврентии Павловиче Берии, который одновременно возглавит два объединенных министерства: внутренних дел и госбезопасности. Затем назначают еще трех первых заместителей главы правительства: Молотова, Булганина, Кагановича и трех просто заместителей: Микояна, Сабурова и Первухина. Министр иностранных дел — Молотов, министр Вооруженных сил — Булганин. Упразднили Бюро Президиума ЦК, а сам Президиум ужали до привычных одиннадцати человек со

старыми узнаваемыми фамилиями: Сталин, Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров, Первухин. Именно в таком порядке, а не по алфавиту перечислили тогда десять главных властителей страны. Стоявшего в списке первым Сталина Маленков, запнувшись на мгновенье, естественно, не назвал. Отец значился в середине, пятым, не только после Маленкова и Берии, но пропустил вперед недавних аутсайдеров: Молотова и Ворошилова. Так представлял себе новый расклад власти, составивший этот список Берия. Кандидатами в члены Президиума ЦК стали: Мир-Джафар Багиров (1-й Секретарь ЦК Компартии Азербайджана, человек Берии), Николай Шверник (глава ВЦСПС), Леонид Мельников (1-й Секретарь ЦК Компартии Украины), Николай Пономаренко (1-й Секретарь ЦК Компартии Белоруссии). Впрямую сторонником отца не мог считаться ни один из них, даже Мельников.

В 1949 году отец предложил Мельникова в качестве преемника, но потом разругался с ним по еврейскому вопросу. После XIX съезда партии, став членом расширенного Президиума ЦК, Мельников развернул на Украине антисемитскую кампанию. Он уволил многих близких к отцу евреев, в том числе и профессора Фрумину, которая в начале войны вылечила меня от туберкулеза сумки бедра. Фрумина написала отцу. Отец позвонил Мельникову, но тот ответил ему грубостью, да такой, что отец больше и слышать о нем не желал.

Обновили и секретариат ЦК. В дополнение к «старым» секретарям: Сталину, Хрущеву, Маленкову, Аверкию Аристову, Николаю Михайлову и Суслову, избрали Семена Игнатьева — вчерашнего министра госбезопасности (они недавно вместе с Маленковым по приказу Сталина оборудовали специальную, «партийную», тюрьму), Николая Шаталина — бывшего заместителя Маленкова по Управлению кадров ЦК и Петра Поспелова, одного из сочинителей краткой биографии Сталина. Ни «старые», ни «новые» секретари до этого с отцом тесно не соприкасались и по складу мышления в соратники к нему вряд ли подходили.

Одновременно из Секретариата ЦК убрали бывших секретарей обкомов-практиков: Леонида Брежнева, Николая Игнатова, Николая Пегова и Пантелеймона Пономаренко, людей, на которых отец теоретически мог рассчитывать.

Формирование нового, послесталинского руководства страной заняло около часа, вскоре после полуночи Пленум ЦК свою работу закончил.

Через десять дней, 14 марта, новый Пленум ЦК еще раз перетряхнет Секретариат ЦК, оставит в нем кроме отца одних

аппаратчиков-маленковцев: Игнатьева, Поспелова, Суслова и Шаталина.

Внешне казалось, что Берия учел все. Все, кроме того, что с уходом Сталина не просто поменялись таблички на дверях кремлевских кабинетов. Члены ЦК, казалось бы, покорно поддержали все «инициативы» Берии, но в душе они не желали более жить по установленным «хозяином» правилам, когда и секретарь обкома, и министр, и маршал (они составляли большинство в ЦК) трепетали перед любым майором из органов госбезопасности, а само его майорское звание приравнивалось к генеральскому. Перспектива по мановению руки Берии превратиться в «лагерную пыль» их тоже не устраивала. От них, от членов ЦК сейчас зависело по какому пути пойдет страна. Они подспудно ощущали свою силу, но одновременно на них давил страх. Сами они не решились бы на сопротивление, но с охотой поддержали бы того, кто попробовал бы восстать против всесилия органов и вседозволенности оперуполномоченных.

Вместе они составляли внушительную силу. Но в обществе, пронизанном нервными волокнами органов, в обществе, где жизнь каждого, включая и членов Президиума ЦК, контролировалась теми же органами, их силу не следовало и переоценивать. Весной 1953 года отдай Лаврентий Павлович приказ, и все они добровольно и безропотно проследовали бы в «приемный покой» Лубянки, переоделись в тюремные одежды, дали показания и отправились бы превращаться в «лагерную пыль».

В том, что все так и произойдет, мало кто сомневался. Вот только когда? И еще надеялись, что может, меня грешного минует чаша сия? Так они жили при Сталине. Так же, считали, будет и при Берии. Но Берия — пока еще не Сталин.

Как мы хоронили Сталина

Поздно вечером, скорее даже ночью с 5 на 6 марта донельзя усталый отец возвратился домой, в квартиру № 95 на пятом этаже дома № 3 по улице Грановского. Пока отец снимал пиджак, умывался, мы: мама, сестры, Радин муж Алеша и я молча ожидали в столовой. Наконец отец появился из двери, сел поглубже на покрытый серым холщовым чехлом диван и устало вытянул ноги.

— Сталин умер. Сегодня. Завтра объявят, — произнес отец после мучительно длинной паузы.

Отец прикрыл глаза. У меня комок подкатил к горлу, и я вышел в соседнюю комнату.

«Что же теперь будет?» — промелькнуло у меня в голове.

Переживал я искренне, но мое второе я как бы со стороны оценивало мое истинное состояние. Заглянув в себя поглубже, я ужаснулся: глубина горя никак не соответствовала трагизму момента. Я перестал всхлипывать и вернулся в столовую.

Отец, полуприкрыв глаза, продолжал сидеть на диване. Мама и сестры застыли на стульях вокруг стола.

— Где прощание? — спросил я.

— В Колонном зале, — как мне показалось, равнодушно и как-то отчужденно ответил отец и после паузы буднично добавил. — Очень устал за эти дни. Пойду посплю.

Отец тяжело поднялся и медленно направился в спальню. Я до сих пор хорошо помню каждое его движение, интонацию. Поведение отца поразило меня: как можно в такую минуту идти спать! И ни слова не сказать о НЕМ. Как будто ничего не случилось!

Наутро, как обычно, я отправился в институт. Я учился на первом курсе МЭИ — Московского энергетического института имени В. М. Молотова. Занятия начинались в 8 утра. Ехал на метро до станции «Бауманская», дальше к институту студентов вез 37-й трамвай. Когда я выходил из метро, на домах только развешивали траурные флаги. Через двадцать минут переполненный, как обычно, трамвай доставил нас на место. На парадных колоннах главного учебного здания МЭИ флаги уже висели.

Мой соученик-первокурсник Эдик Соловкин, он жил в общежитии, запомнил, что учебный день начался по расписанию общей для всего курса лекцией в огромной, на полторы сотни человек аудитории Г-201. Здание состояло из несколько корпусов-разветвлений, обозначавшихся буквами: А, Б, В, Г. В тот день мы занимались в «Г». Обычно лектор появлялся по звонку, минута в минуту, на сей раз прошла минута, пять, десять, и никого. Студенты сидели тихо, ожидание томило своей совершенно определенной неопределенностью. Мы отлично понимали, почему не начинаются занятия, почему отсутствует лектор, знали, что сейчас появится секретарь парткома факультета или комсомольский секретарь и произнесет подобающие случаю слова. И несмотря ни на что мы боялись этих слов. Однако никто не пришел, ожидание прервалось приглашением на траурный митинг в актовом зале института. Он располагался в том же здании и вмещал всю первую смену.

Наш поток пришел одними из первых, зал заполнялся долго, не менее сорока минут. Наконец все расселись. На сцене за длинным столом разместилось институтское начальство. За

спиной президиума стоял высоченный, до самых верхних кулис, портрет Сталина. Он был там всегда, сколько я себя, первокурсник, помнил. Сейчас его раму перевивала красно-черная лента.

С портретом меня связывала не очень для меня приятная история. В сентябре 1952 года, когда «новобранцев» грузили общественной работой, я стал фотографом в факультетской стенгазете. Снимал я неплохо, но главное — у меня был фотоаппарат «Киев-Контакс» с фотоэкспонометром и двумя сменными объективами, широкоугольником и телевиком. Невиданная роскошь в те времена. К поручению я отнесся со всей ответственностью, к тому же я любил фотографировать. Но моя карьера фотографа оборвалась сразу после Нового года. В газете поместили отчет о концерте самодеятельности в конференц-зале и мою фотографию студенток в национальных костюмах, танцующих украинский народный танец на фоне все того же портрета Сталина. Из-за громоздкости его со сцены не убирали никогда.

Фотография как фотография — весьма средненькая. Никто на нее внимания не обращал, и вдруг газета, не провисев и неделю, исчезла, а меня вызвали в комитет комсомола. Кто-то очень бдительный заметил, что танцоры у меня красуются в полный рост, а портрет Сталина получился только по плечи, без головы. С меня потребовали объяснений. Я наивно ответил, что снимал девочек-студенток, а на Сталина как-то внимания не обратил, голова просто не влезла в объектив. Мер ко мне не приняли, но от фотографирования отлучили. Пока я смотрел на портрет, начался траурный митинг.

Ораторы сменяли друг друга, звучали привычные, затертые фразы. Кто говорил, не помню, что говорилось, тоже не помню, но студенты сидели тихо, кое-кто даже всплакнул. Наконец речи закончились, всех попросили разойтись по аудиториям, занятия продолжались по расписанию. На обратном пути в аудиторию я отметил, что у дверей деканата, парткома, комитета ВЛКСМ и просто в торцах бесчисленных институтских коридоров появились обрамленные траурными лентами портреты Сталина.

Что происходило в оставшуюся часть дня, я не запомнил, в день, когда умер он, в голову не шли ни физические законы, ни математические формулы. Наконец подошла последняя пара, два часы слесарной практики, и меня осенило: всей группой надо немедленно идти в Колонный зал прощаться со Сталиным.

Моих товарищей-студентов долго уговаривать не пришлось. Сначала мы решили с занятий попросту удрать, потом благоразумие взяло верх, неорганизованных нас к Колонному

залу и близко не подпустят. Я пошел в комитет комсомола советоваться, вернее, рассказать о нашем намерении. Факультетский секретарь Гена Лисицын отреагировал на мои слова неуверенно, никаких распоряжений он еще не получал, но и отказать в такой инициативе, да еще Хрущеву, не посмел. Стал названивать в институтский партком. Там уже получили разнарядку на прощание, и нашу инициативу одобрили. Гена повеселел, но решил, что одной группой идти негоже, двинемся всем факультетом. Через какое-то время студенческая колонна шагала привычным маршрутом праздничных демонстраций из Лефортова, по тем временам дальней окраины, к центру города. Шли мы сначала вдоль линии 37-го трамвая — по Красноказарменной улице мимо желтых каменных зданий Бронетанковой академии, по мосту через Яузу, оставили слева Туполевское конструкторское бюро, справа, по улице Радио (теперь Гороховое поле) — к старому зданию Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Тут 37-й трамвай сворачивал на Бауманскую улицу, а мы пошли прямо, мимо Строительного института, Театра Транспорта (сейчас Театр имени Гоголя) и повернули направо — на Садовое кольцо, на улицу Чкалова (Земляной вал).

Стоял зябкий, противный, пробирающий до костей влажный мороз. Жизнь в городе замерла. Не только в Москве, но и по всей стране отменили концерты, театральные представления, собрания. Белели еще вчера пестревшие объявлениями афишные щиты и тумбы — ночью их оклеили огромными чистыми листами бумаги. Страна погрузилась в траур, не притворный, потому что так приказано, а всамделишный. Казалось, она не выйдет из него никогда.

Подуставшая студенческая колонна вразнобой шагала по тротуару, рассчитывая при первой возможности двинуться куда-нибудь влево, в центр города. Миновав пару блокированных военными грузовиками переулков, мы обнаружили, что идущая к Колонному залу улица Чернышевского (Покровка) свободна, и не просто свободна, но почти пуста. По Садовому кольцу транспорт еще двигался, а вот по улицам, ведущим к центру, уже не ходили ни троллейбусы, ни машины. Людей на Покровке тоже оказалось на удивление мало. Мы собрались на похороны Сталина одними из первых. О доступе к телу Сталина в Колонном зале Дома союзов по радио объявили часа в три, а мы пустились в путь чуть позже полудня. К тому же, от цели мы находились еще далеко.

Мы оказались одними из первых, но далеко не самыми первыми, как докладывал на следующий день Хрущеву, председателю Комиссии по организации похорон, Секретарь

Московского городского комитата партии Иван Васильевич Капитонов, наиболее расторопные пришли к Колонному залу еще утром, к восьми часам, когда у нас в МЭИ еще не начался траурный митинг, там растянулась живая лента людей, желавших в числе первых пройти у гроба, проститься с родным и любимым товарищем Сталиным.

Итак, мы свернули налево, по Покровке колонны двигались очень быстро, то и дело переходя на бег, но у Бульварного кольца путь нам преградила цепочка солдат. Стоявший впереди командир заворачивал всех направо, на Чистопрудный бульвар, повторяя как заведенный: «Проходите, проходите». Пошли направо. На бульваре выстроившиеся в шеренги солдаты разрезали толпу на два потока и прижимали ее к тротуарам. От проезжей части нас отделяли плотно приставленные друг к другу, бампер к бамперу, военные грузовики. Городские власти так предохраняли от увечий зеленые насаждения бульвара, не подумав, что теперь нам, идущим к Сталину, податься просто некуда. Двигавшиеся вольготно по Покровке сотни и тысячи людей превратились в две длинные ленты. Мы еще не напирали один на другого, но уже дышали друг другу в затылок.

Толпа тем временем начала волноваться. Чистопрудный бульвар привести нас к Колонному залу не мог, и все старались найти хотя бы щелочку, чтобы просочиться влево, к центру. Но не тут-то было: улицу справа от нас наглухо отгородили грузовики, уходящие налево переулки перегораживали цепи солдат, твердивших: «Проходите, проходите…» Людей на бульваре толпилось все больше. Мы уже не бежали, постепенно спрессовываясь в единую массу, медленно стекавшую по бульвару вниз. Миновали Кировскую (Мясницкую), пересекли Сретенку и вышли на Рождественский бульвар. Мы рассчитывали добраться бульварами до улицы Горького, она и выведет нас прямиком к Дому Союзов, к Колонному залу, где лежит Сталин.

Обстановка к тому времени накалилась не на шутку. Согласно уже упоминавшемуся мною докладу Капитонова, к двум часам дня людская толпа заполонила Пушкинскую улицу (Большую Дмитровку), Страстной и Петровский бульвары. Толпы людей проталкивались к центру города по улицам Горького (Тверской) и Чехова (Малая Дмитровка), по Цветному и Рождественскому бульварам. На Рождественском бульваре разрозненные колонны, в том числе и мэивская, единой массой покатилась под уклон к Трубной площади. На Трубной перед нами открылся ведущий налево к Колонному залу и никем не блокированный Неглинный бульвар. Толпа устремилась туда. Так в ливень широко разлившийся по асфальту поток воды,

завихряясь, с шумом всасывается в узкое горло колодца и, заполнив его, образует на поверхности водоворот, крутящий и сталкивающий оставшиеся на поверхности щепки, листья и иной мусор. На Неглинном бульваре оказалось еще теснее, чем на Рождественском, людей становилось все больше, ряды стоявших вдоль тротуаров военных грузовиков по-прежнему прижимали нас к стенам домов. А тут еще новая напасть: в конце бульвара, там, где Неглинный бульвар переходит в собственно улицу Неглинку, толпа уткнулась в борта очередного заслона из грузовиков. Вместо того чтобы двигаться вперед, людям снова предлагали свернуть направо, в сторону Петровки. Согласно милицейской диспозиции, как я теперь понимаю, все людские ручейки направлялись к Пушкинской улице (Большой Дмитровке), чтобы по ней общим потоком проследовать к Колонному залу. Вот только в милиции не рассчитали, что поднимется вся Москва, и не только Москва, переполнятся пригородные электрички и поезда, следующие к московским вокзалам. Наступало то, что принято называть столпотворением. Протолкнуть людей намеченными с утра маршрутами более не представлялось возможным. Людское море захлестывало Москву.

Чтобы не допускать в Москву иногородних и тем самым хоть как-то разрядить обстановку, отец попросил министра путей сообщения Бориса Павловича Бещева принять меры. Уже со второй половины дня 5 марта повсеместно прекратили продавать билеты на Москву, затем отменили все пригородные поезда. Но рвавшихся к Сталину людей уже не могло остановить ничто. В Орле, Туле, Рязани, не говоря уже о Подмосковье, толпы людей захватывали автобусы, грузовики, тракторные прицепы, грузились в редкие тогда легковушки, и вся эта армада двигалась к Москве. На узких однополосных шоссе скопились невиданные ранее очереди. К пяти часам дня 5 марта затор растянулся до Серпухова, а к вечеру автомобильный хвост дотянулся до самой Тулы. Не лучше обстояли дела и на других дорогах. Милиция получила распоряжение перекрыть въезды в Москву.

Тем временем людоворот на Трубной закрутил и нашу колонну, то притискивая одного к одному, то растаскивая по одиночке. Пока внутри толпы еще оставались щели, Гена Лисицын собрал остатки нашей группы, тех, что удержались вместе, и приказал ребятам взяться крепко под руки, образовать кольцо, двойное, тройное, как получится. Внутрь кольца он согнал всех девчонок. Мы упорно стремились пробиться к устью Неглинной улицы. Толпа порой помогала нам в этом, но когда казалось, что мы уже у цели, отбрасывала нас назад к Цветному бульвару. Становилось все очевиднее, что к Колонному залу нам

не пробраться. К сожалению, понимание пришло слишком поздно, когда толпа на Трубной уже превратилась в единый многоголовый организм. Сзади, с боков нас обволакивала упруго пружинящая людская масса. Порой она сжималась до такой степени, что становилось трудно дышать. Беспорядочное броуновское движение на Трубной продолжалось. Наконец нас подтащило к Неглинному бульвару и даже затянуло в него. Но никого это больше не радовало. Кружок наш давно разорвали на части, но мы пытались держаться вместе, ребята каждый на свой лад защищали оказавшихся поблизости девушек.

Стемнело. В свете фонарей отсвечивало сплошное поле человеческих голов с повисшим над ним беловатым облаком пара, выдыхаемым тысячами ртов. Толпа вжимала солдат в громады их военных грузовиков, и они один за другим ретировались в крытые брезентом кузова. Оттуда они наблюдали за толпой. Стоявшие внизу передавали из рук в руки наверх не державшихся на ногах стариков, пожилых женщин и, с особым удовольствием, симпатичных девушек. Скоро грузовики переполнились.

Толпа то замирала, то начинала двигаться вновь. Минуты сцеплялись в часы. Наступила ночь. Мысль о Колонном зале сменялась заботой о том, как бы отсюда выбраться. Однако выхода не находилось, толпа стала столь плотной, что попытка пробуравиться к краю улицы оборачивалась пустой тратой неимоверных усилий. Стало совсем холодно. Особенно мерзли ноги, но сдвинуться с места не представлялось возможным. Мы попали в ловушку. Жутко хотелось в туалет или хотя бы в ближайшее парадное, там потеплее, и сами понимаете… Но парадные теперь оказались столь же недостижимыми, как и Колонный зал. Людская толпа слилась в единый организм многометрового извивающегося червя. Как червяк от любого прикосновения начинает извиваться, так и мы, плотно прижатые друг к другу, то семенили по Неглинному бульвару, то подтягивались назад к Трубной. Периодически толпа сжималась, но, когда казалось уже совсем стало невмоготу, давление неожиданно спадало, «червяк» распадался на индивидуумы, каждый сам по себе пытался сдвинуться с места. Тут вдруг приходили в действие какие-то силы, снова все спрессовывались вместе и, увлекая друг друга, единой толпой колебались, несколько метров вперед, затем чуть-чуть назад. Амплитуда нарастала, затем энергия толпы иссякала, и все замирало вновь. Что служило источником движения, я не видел. Страха я не испытывал, возможность несчастного случая в голову не приходила, просто хотелось домой, в тепло, и родители

беспокоились. Так продолжалось до утра.

Об этой ночи на Трубной много понаписано: и новая «Ходынка», сотни и даже тысячи трупов, и люди, проваливавшиеся в открытые канализационные люки, «проходившие сквозь» — через витрины магазинов и выбивавшие двери парадных…

Моему сокурснику Эрику Соловкину как самое страшное на Неглинке запомнились фонарные столбы. Ведь если придавит к нему, то расплющит в лепешку, сломает ребра. Тренированный спортсмен, Соловкин делал все возможное, чтобы избежать контакта с ними. С другой стороны, он вспоминал, как «Сергея Хрущева, студента первой группы, прижало к злосчастному столбу. Он пытался оттолкнуться, но безуспешно. К счастью, толпа вдруг колыхнулась в сторону, его оторвало от столба и понесло дальше».

Я этого столба и вообще столбов абсолютно не запомнил. Не расплющивался я о них и не видел других расплющенных. У каждого из нас своя память и свои страхи.

Поэт Евгений Евтушенко, как и я, оказавшийся в ту ночь на Трубной, в книге «Волчий паспорт» тоже с ужасом вспоминает о столбе, но не фонарном, а светофорном, о раздавленной об него девчонке, о трупах, по которым ему приходилось шагать. Игорь Васильевич Бестужев-Лада, социолог-футуролог, в тот день тоже попал на Трубную, да еще вместе с женой, правда, ненадолго. Их «спас какой-то сержант, крикнувший, чтобы они на карачках пролезли наружу под огромными военными фургонами-грузовиками. Оказавшись на внешней стороне, они услышали дикий вой сотен людей, погибавших под грудой тел…» Такое впечатление, что мы «провожали» Сталина в разных местах. На самом деле это всего лишь услужливость подсознания, трансформирующего общепринятый стереотип в псевдо, а затем в просто «реальность». Такое случается со многими, особенно с людьми впечатлительными.

Я раздавленных людей в ночь с 5 на 6 марта на Трубной площади не видел. Но это тоже ни о чем не говорит.

Нет сомнений, люди в ту ночь гибли. Вот только сколько? Моя жена Валентина Николаевна Голенко, в марте 1953 года шестилетняя девочка, жила с родителями неподалеку от Рождественского бульвара в общежитии Авиационно-технологического института. Она помнит раненых людей, которых притащили студенты МАТИ с Трубной площади. Они лежали в вестибюле, потом их унесли куда-то. В здании неотлучно находился представитель районного МВД, он сидел у окна, наблюдал за происходившим на бульваре. При нем

обсуждать происходившее боялись. Пересуды моя жена услышала на следующий день, когда они с бабушкой отправилась на Сретенку в булочную. В очереди собрались постоянные покупатели-пенсионеры, они перечисляли не вернувшихся домой родственников и знакомых, говорили, что в моргах так много трупов, что своего найти очень трудно.

С годами и десятилетиями события той трагической ночи обрастали леденящими душу, подробностями. К примеру, отставной офицер КГБ А. Саркисов написал в 1993 году в «Московских новостях», что ту ночь он дежурил в Институте Склифосовского и видел около четырехсот трупов. Он утверждает, что всех погибших свозили к ним по указанию главы Московского горкома партии Екатерины Алексеевны Фурцевой.

В те же, девяностые годы прошлого века, Евгений Евтушенко снял фильм о стоянии на Трубной, в нем тысячи, многие тысячи погибших; дворники, на следующее утро сметавшие в огромные кучи оторванные пуговицы.

Можем ли мы доверять цифрам и фактам, приводящимся по памяти сорок лет спустя? Тут все зависит от нашего желания верить или не верить.

Теперь давайте заглянем в официальные сводки. Сохранилась докладная Московского горкома партии Хрущеву, сообщавшая, что к 8 часам вечера 6 марта во 2-ю клиническую больницу у Петровских ворот доставлено двадцать девять пострадавших, в том числе двадцать тяжелых: сдавленная грудная клетка, переломы ног. В другой справке говорится, что к десяти часам в шесть медпунктов, развернутых в районе Неглинной, доставлено тридцать пострадавших, почти половину из них препроводили в больницы. О погибших ничего не сообщается, видимо, их свозили в Склифосовского или в морги.

В марте 1956 года, выступая на VI Пленуме Польской объединенной рабочей партии, отец сказал, что в первую ночь прощания со Сталиным в Москве погибло от разных причин сто девять человек. 13 мая 1957 года, выступая на совещании в ЦК КПСС перед писателями, он повторил: «Во время похорон Сталина задушили более ста человек» и снова, уже в 1962 году, тоже в мае, 16 числа, в городе Варна в Болгарии: «Когда умер Сталин, в давке задушили 109 человек».

Для столь огромного города, как Москва, и в тех обстоятельствах, жертв могло быть гораздо больше. Конечно, тут же раздадутся возгласы, что это неправда! А что правда? Я верю отцу. Цифру погибших он, безусловно, знал и хорошо запомнил. Во всех трех приведенных выше случаях никто его за язык не тянул. И говорил он не по заранее написанному тексту, так что о

продуманной подтасовке не может быть и речи. К тому же, и называл он эту цифру (109 погибших) не в контексте малости потерь, а сожалея, какая пропасть народа принесла себя в жертву ради лицезрения останков Сталина.

Я простоял на Трубной до утра 6 марта. Светало, один за другим гасли фонари. Толпа поредела, за ночь многие дворами и подъездами просочились на волю. Замерзшие, помятые люди возвращались по домам. Разошлись и мы. Я пробирался через Пушкинскую, Тверскую и Моховую. Улицы перегораживали военные патрули, за военными — милиция, а дальше — синие фуражки войск МГБ. К счастью, у меня с собой оказался паспорт со штампом прописки на улице Грановского. Старший патруля, внимательно изучив странички документа, неизменно брал под козырек.

Наконец я дома. Казалось, я вернулся из долгого и далекого путешествия. Отец с матерью всю ночь не спали и, услышав звук открываемой двери, вышли в прихожую. Выглядели они неважно, особенно мама. Я не услышал ни слова упрека, мама только спросила, где я пропадал. Подробно рассказывать о ночных перипетиях сил не было. Я сказал, что из института мы всем факультетом пошли прощаться с товарищем Сталиным, но пробиться не смогли и ночь провели на улице. Только дома я ощутил, насколько промерз. Прошли в столовую. Отец сел за обеденный стол, а мы с мамой напротив. Мама поставила чай.

— Зачем ты это затеял? — как-то тускло проговорил отец. — Мы уже не знали, что и думать, звонили и в милицию, и в больницы, и в морги. Ты себе представить не можешь, что в городе делается. По правде говоря, не чаяли, что ты жив.

Позднее отец рассказывал, как той страшной ночью, они с Кагановичем пробрались в район Трубной, как уговаривали людей разойтись. Но все тщетно. Толпа никогда не поддается ничьим уговорам.

Мы попили чаю. Уже совсем рассвело. Отец засобирался на работу, наступавший день сулил новые хлопоты, но такого, как в ночь с 5 на 6 марта больше не повторилось, в город ввели дополнительные войска, в центр пропускали ровно столько, сколько за день могло пройти через Колонный зал. Людская цепочка растянулась на многие километры, в толпу ей не позволяли превратиться стоявшие через каждые два метра военнослужащие. Лишних отсеивали на дальних подступах к центру города.

— Хочешь посмотреть на Сталина, завтра, вернее сегодня, после того как поспишь, я возьму тебя с собой в Колонный зал, — предложил мне на прощание отец.

Слова отца резко диссонировали с моим настроем возвышенного страдания.

Такое прозаическое прощание с… Я не смог подобрать подходящее слово, любое казалось недостойным величия скорбного момента. Все это хождение по морозным улицам, стояние на площади оказалось ненужным, можно просто зайти в Колонный зал и посмотреть на покойника, как на мумию в музее или бегемота в зоопарке. Эти мысли мелькнули и исчезли. Сил возразить не осталось.

Часов в двенадцать дня я на присланной отцом машине поехал в Колонный зал. Охранник провел меня через специальный подъезд и предоставил самому себе. Так что я мог смотреть на покойного вождя, сколько мне заблагорассудится. И не просто смотреть! В небольшой комнатке, позади установленного на постаменте гроба, набирали добровольцев в почетный караул. Накануне в нем стояли отец с другими членами Президиума ЦК, члены правительства, министры и прочие важные люди. Сегодня постоять пару-тройку минут у гроба мог любой, любой из допущенных в зал и узнаваемый охраной. Охрана меня узнала и беспрекословно пропустила в комнату. Там выстроилась живая, как в гастрономе, очередь. Я стал в хвост. Очередь продвигалась медленно, без очереди проходили члены начавших прибывать иностранных делегаций. Но тем не менее, она двигалась. На выходе служители прикрепляли английскими булавками на правый рукав, чуть повыше локтя, широкую красную с черной каймой, повязку, формировали очередную партию в четыре группы каждая, кажется, по трое, инструктировали кому где находиться у гроба и пропускали в дверь. Рядом другие служители снимали траурные повязки с рукавов, уже отстоявших свою вахту. И так через каждые две-три минуты.

Наконец подошла наша очередь. Экипированный и проинструктированный, я встал у гроба Сталина в ряд с какими-то двумя незнакомыми дядьками. Никаких особых чувств в минуты, отведенные на стояние в почетном карауле, я не испытал. Боялся оступиться, упасть, перепутать шеренгу. Вчерашний надрыв постепенно проходил.

Минуло еще несколько дней. Сталина хоронили на Красной площади. Я стоял рядом с Мавзолеем, на гостевой левой, если стать лицом к ГУМу, трибуне. Было еще холоднее, чем в ночь на Трубной, но холод скрашивался разносимым по рядам горячим глинтвейном. Гости в ожидании траурной процессии переговаривались, делились новостями, но не шутили и анекдотов не рассказывали.

Траурный митинг вел отец, выступили Маленков, Берия и Молотов. После приличествовавших моменту речей Сталина поместили в Мавзолей, на котором за эти морозные дни сменили надпись: вместо «Ленин», теперь появились два имени:

Ленин

Сталин

Друзья и соседи

Жизнь постепенно входила в новую колею. В неполные восемнадцать лет я, первокурсник, далеко не все замечал, многое заслоняли волновавшие меня тогда и абсолютно позабытые сейчас события. Но кое-что все же запомнилось.

Мы продолжали дружить с Маленковыми. Вечерами старшие в сопровождении детей гуляли по близлежащим улицам, заходили в Александровский сад, обычно обходили Кремль снаружи, но порой заходили и вовнутрь, часовые у Кутафьей башни козыряли и, не спрашивая документов, пропускали. В Кремле мы пересекали Ивановскую площадь, шли мимо Царь-колокола, Царь-пушки. Они доступны сейчас любому туристу, а тогда я глядел на них как на невиданную диковину. Их фотографии не публиковались, как все внутри Кремля, Царь-пушка и Царь-колокол считались строго секретными объектами.

Затем мы спускались в Тайницкий сад и, нагулявшись там между цветущими яблонями, как раз наступила весна, возвращались тем же путем мимо тех же часовых домой.

Валерия Алексеевна Голубцова, жена Маленкова, в 1947–1951 годах — директор Энергетического института, патронировала меня, подробно расспрашивала об учебе. Прошло уже два года, как она покинула МЭИ, но немного ревности к новой дирекции у нее еще оставалось. Она с удовольствием выслушивала мои дифирамбы в свой адрес. Ее в институте помнили и любили, так что я ни чуточки не кривил душой. Валерия Алексеевна, собственно, и создала наш Энергетический институт, отстроила на Красноказарменной улице три огромных учебно-лабораторных корпуса, а позади них кирпичные параллелепипеды общежитий. Только в Энергетическом институте всем иногородним предоставлялось общежитие, и не где-то у черта на куличиках, как в университете, а в пяти минутах пешего хода от учебных аудиторий. В одном из учебных корпусов разместилось очень секретное конструкторское бюро будущего академика в области

радиотехники Владимира Александровича Котельникова. Нам, младшекурсникам, знать о его существовании не полагалось.

В 1951 году Валерия Алексеевна после тяжелой болезни оставила работу, из института ушла, но еще долго жила жизнью Института. Она, собственно, и уговорила меня пойти туда учиться, за год до окончания школы водила по лабораториям, рассказывала сама о каждой из них. Летом 1952 года я поступил на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения по специальности «Системы автоматического регулирования». Рада дружила со старшей дочкой Маленковых Волей, я — с младшими сыновьями Андреем и Егором. Где-то они сейчас? В выходные мы нередко заезжали на дачу к Маленковым, а если мы не гостили у них, то они у нас.

С Булганиными, хотя они и жили с нами на одной площадке, дверь в дверь, мы встречались реже. Мама, а особенно моя старшая сестра Юля, еще с до войны сдружились с женой Николая Александровича Еленой Михайловной, учительницей английского языка, в отличие от Валерии Алексеевны, женщиной без амбиций, но очень коммуникабельной и приятной в общении. Сейчас Булганин жил, не афишируя, с другой женщиной, и приударял за третьей и четвертой. Мама придерживалась строгих нравов, никого другого, кроме Елены Михайловны, не признавала. Какая тут дружба семьями! Лишь изредка вечерами Николай Александрович в домашних шлепанцах стучался в нашу дверь, они с отцом усаживались в столовой, о чем-то разговаривали, выпивали по рюмочке коньяку. Булганин очень уважал этот напиток. Его сын Лева, летчик, тоже любил коньяк. Порой, тихонько опорожнив бутылку грузинского КВ, он наполнял ее чаем и так оставлял в буфете, чем немало сердил отца. Николай Александрович нашел выход из положения, приладился хранить свой коньяк у нас на кухне.

Вспоминается только одна общая семейная встреча. Дочь Булганина, Вера, моя старшая подружка, выходила замуж за сына адмирала Николая Герасимовича Кузнецова. По этому случаю в квартире напротив собралась шумная компания, произносились бесчисленные тосты, веселились, как могли. Сосед снизу, маршал Семен Михайлович Буденный, весь вечер без устали играл на гармошке.

Весной 1953 года в нашем доме появился новый старый жилец — маршал Георгий Константинович Жуков. Они с отцом подружились еще до войны, когда Жуков командовал Киевским военным округом. Потом судьба не раз сводила их на дорогах войны. В марте 1953 года Жукова, по настоянию отца, вернули из Уральского военного округа в Москву и назначили заместителем

Булганина в Министерстве обороны. Благодаря авторитету Жукова в войсках, а также учитывая природную пассивность Николая Александровича, Г.К. быстро стал там полновластным хозяином.

Жуков заезжал на дачу к отцу нечасто, они вместе обедали, о чем-то говорили и разъезжались. У Жукова тоже появилась новая жена, но официальной супругой числилась Александра Диевна, так что и тут дружба семьями не складывалась.

Другое дело генерал госбезопасности Иван Александрович Серов. Они познакомились до войны, когда в сентябре 1935 его, артиллериста, выпускника Военной академии имени М. В. Фрунзе забрали в «органы», а в сентябре 1939 года назначили вместо арестованного Сталиным Успенского наркомом внутренних дел на Украине.

Отцу Серов нравился. В отличие от своего предшественника, он не подозревал всех и каждого, в частности поэтов и композиторов, в украинском национализме только за то, что они писали стихи на родном языке и использовали украинские мелодии в музыке. Вел себя, насколько это было возможно в тех условиях, по отношению к отцу корректно, не «ябедничал» на него поминутно в Москву, а это дорогого стоило. Тогда он, Первый секретарь ЦК Компартии Украины, зависел от наркома внутренних дел, а не наоборот. Один неверный шаг, и…

Все это, естественно, относительно. Так, 27 сентября 1939 года Серов доносит Берии о своем столкновении с Хрущевым по поводу использования им реквизированных в только что захваченном Львове автомашин. Серов любил с ветерком, сидя за рулем, прокатиться и знал толк в иномарках, а Хрущев приказал мощную машину из бывшего польского жандармского управления сдать и пересесть на отечественную эмку. В сердцах Серов пожаловался Берии, но в конце своего письма сбавил тон, пообещал принять все меры для установления делового контакта в работе.

Конечно, Серов на Украине занимался «своими» делами и вершил их «своими» методами, но отцу он не докучал.

Потом война надолго развела отца с Серовым. Отец воевал на юге, а Серова забрали на повышение в Москву. После войны он на Украину не вернулся, стал первым заместителем у Жукова в Германии. Вновь они повстречались с отцом только в 1950 году в Москве, и шапочно. Серов, первый заместитель министра внутренних дел, по делам службы с отцом не пересекался. Отношения восстановились, точнее, заново возникли, только после ареста Берии. Отец посчитал, что ему можно довериться, и не ошибся.

В быту Серов оказался человеком обаятельным, обходительным, а еще более — его жена Вера Ивановна и их дочь Светлана. Последняя очень скоро подружилась с моей младшей сестрой Леной, дневала и ночевала у нас, а Лена стала своей на даче у Серовых. Они жили неподалеку, в Архангельском, на дачах, построенных по приказу Сталина для командного состава расквартированной в Германии группы советских войск. Сам Иван Александрович на дружбу не набивался, на даче у нас бывал редко, только по приглашению и только по поводу. Встречались они с отцом главным образом в его кабинете в ЦК на Старой площади.

Упрочилась дружба с семьей Анастаса Ивановича Микояна. Его младший сын Серго когда-то учился в одном классе с Радой, а теперь подружился со мной. Жили Микояны совсем рядом с Огаревым, в бывшем имении бакинского нефтепромышленника Зубалова. В отличие от большинства государственных дач, их дачу окружал не стандартный деревянный зеленый забор, а многометровая, почти крепостная ограда из красного кирпича.

После смерти Сталина все теснее стали общаться и наши отцы. По выходным отец отправлялся на прогулку, мы, дети, тянулись за ним. Подходили к высоченным железным воротам микояновской дачи, отец стучал кулаком в калитку. Через несколько минут с улыбкой спешил ему навстречу вызванный охранником Анастас Иванович. Начинался ритуальный обход окрестностей. Сначала перелесками, к полям местного колхоза, где отец экспериментировал с посадками картофеля. Оттуда лесом — к Москве-реке. Путешествие занимало часа два, а то и три, достаточно времени, чтобы обсудить недоговоренное на последнем заседании Президиума ЦК. Они традиционно проходили по чертвергам. О чем разговаривали старшие, я тогда не прислушивался и очень об этом жалею, но говорили они непрестанно.

Хорошо я запомнил первое знакомство с Молотовым. Он тогда мне представлялся легендарным вождем, почти ровней Сталину. Однажды отец сказал, что собирается навестить Вячеслава Михайловича и, как всегда, готов взять с собой всех желающих. Желающими оказались все, набилась полная машина. От Огарева до дачи Молотова в Горках-9 пешком не дойти, а на автомобиле минут пять-семь.

У Молотовых меня поразило все: обширная, много больше виденных раньше, заросшая сосновым лесом территория дачи и длинный двухэтажный каменный дом с огромной цветочной клумбой перед входом, но более всего — сам хозяин. Он оказался совсем не вождем, а маленьким плешивеньким старичком.

Принял нас Молотов нас радушно, провел по дому, показал все закоулки, особенно хвалился библиотекой. Но мне запомнилась не она, у нас книг стояло в шкафах не меньше, а столовая — огромная полуторасветная, облицованная «сталинскими» темными деревянными панелями комната с портретами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в четырех широких, явно под них спроектированных, простенках. Расстались мы радушно, но знакомство в дружбу не вылилось, так и осталось знакомством.

Берию я почти не помню. Хотя они и «дружили» с отцом, но только до порога, в гости друг к другу не ходили. В одной машине подъезжали к нашему дому на Грановского, о чем-то договаривали, стоя у парадного, Берия уезжал к себе в особняк, а отец шел к лифту. Там, у парадного, во время одного из расставаний, я, возвращаясь апрельским вечером домой из института, единственный раз увидел Берию вблизи. Берия, отец и Маленков разговаривали, но завидев меня, замолчали. Я поздоровался. Берия сверкнул на меня пенсне. Запомнился серый огромный шарф, несмотря на весну, укутывающий шею по самые уши, глубоко надвинутая на лоб серая шляпа и неприятный, вызывающий озноб взгляд. Я поздоровался и пошел своей дорогой, а они продолжили разговор.

Да, тогда они «дружили». Вот только никто из них не знал, чем эта дружба закончится. Отец очень боялся Берии, понимал, что промедление смерти подобно. В буквальном смысле этого слова. Берия тоже опасался отца, но, видимо, не очень. Маленкова же постепенно начинали одолевать сомнения: на того ли он поставил? Берия могущественнее, сильнее отца, но он же и неизмеримо опаснее.

114 дней Лаврентия Берии

Тем временем Берия приступил к расчистке сталинских завалов под строительство фундамента новой, собственной власти. Сталина Берия ненавидел, как мингрел ненавидит осетина, как потенциальная жертва ненавидит палача, как всезнающий шеф полиции ненавидит сюзерена. Он ненавидел Сталина настолько, что не смог скрыть чувств даже у постели умирающего. В те дни в Берии смешались ненависть, страх и пресмыкательство. «Как только Сталин свалился, — пишет отец, — Берия в открытую стал пылать злобой против него. И ругал его, и издевался над ним. Просто невозможно было его слушать! Впрочем, как только Сталин, казалось бы, пришел в себя и дал понять, что может выздороветь, Берия бросился к нему, встал на колени, схватил руку и начал ее целовать. Как только

Сталин снова потерял сознание, закрыл глаза, Берия поднялся на ноги и плюнул на пол».

«Только один человек вел себя почти неприлично — это был Берия, — вторит отцу Светлана Аллилуева. — Он был возбужден до крайности, лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были: честолюбие, жестокость, хитрость, власть, власть… Он так старался в этот ответственный момент: как бы не перехитрить, как бы не недохитрить! Все это было написано на его лбу. Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо больного — отец иногда открывал глаза, — но, по-видимому, без сознания или в затуманенном сознании. Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза: он желал и тут быть “самым верным, самым преданным”…»

Изменения начались буквально с похорон Сталина. 9 марта, прямо в Мавзолее Берия преподнес в подарок Молотову на его день рождения его собственную жену Полину Семеновну Жемчужину. Ее осудили, давно отправили в лагерь, но в 1952 году вернули в Москву, снова допрашивали, готовили к повторному процессу.

Сталин, по всей видимости, решил устроить над врачами-отравителями, а вслед за ними над всеми евреями показательный процесс и пристегнуть к ним через жену-еврейку «американского шпиона» Молотова. Вот Полину Семеновну и готовили к новой роли.

«Каганович сказал мне, — вспоминал Микоян, — что ужасно себя чувствует: Сталин предложил ему, вместе с интеллигентами и специалистами еврейской национальности написать и опубликовать в газете групповое заявление с разоблачением сионизма. Это было за месяц или полтора до смерти Сталина — готовилось “добровольно-принудительное” выселение евреев из Москвы».

Это заявление написали и подписали почти все сколько бы значимые еврейские деятели. Его опубликованию, как и судебному процессу, помешала смерть Сталина.

Возможно, конечно, что возвращение Молотову жены — не спланированная акция, а просто по-кавказски широкий жест Берии: «Бери, дорогой!». Кто знает? Скорее и то, и другое.

На следующий день после похорон Маленков, явно по «совету» Берии, на заседании Президиума ЦК сделал замечание идеологам Суслову и Пономареву, а редактору «Правды» Шепилову, записал выговор за «излишнее выпячивание его, Маленкова, личности на страницах газет» и, даже — прямой подлог: «Правда» опубликовала сделанное в 1949 году фото,

Сталина и Мао Цзэдуна с вмонтированным между ними Маленковым.

— Это попахивает культом личности, — якобы заявил Маленков, — такую политику надо прекратить!

Берии было ни к чему «выпячивать» личность Маленкова. А вот другое воспоминание тех дней — кажется, апрельский, красочно-траурный, номер журнала «Советский Союз», весь заполненный фотографиями Сталина. Специальным решением Президиума ЦК его сняли с распространения. Перестарался и главный редактор «Литературной газеты» — сталинский лауреат и любимец, поэт Константин Симонов. Ему «указали» на излишнее рвение в оплакивании вождя.

К тому же, по Москве поползли слухи, что Маленков ни больше ни меньше как племянник Ленина. Дело в том, что фамилия матери Георгия Максимилиановича — Ульянова. К тем Ульяновым она не имела даже косвенного отношения. Ульяновых в России пруд пруди, но разговоры о «родстве» с вождем распространялись явно не случайно.

Не знаю, как Берия относился к культу личности вообще, но к культу личности Маленкова — явно отрицательно: фигура он переходная, и чем меньше примелькается его фотография на страницах газет, тем легче, когда истечет его время, отправить его в небытие. Но срок пока не истек.

С другой стороны, Берия не особенно доверял Маленкову, держал его на коротком поводке. Чиновничья Москва знала: ни одного сколько бы значимого решения Маленков без Берии не принимает. Они вместе часами сидели в кремлевском кабинете Маленкова, вместе принимали посетителей, вместе вершили дела. Все вместе, но и не совсем вместе. Если Маленков без Берии и шага сделать не смел, то Берия, напротив, считал удобным и выгодным для себя не только принимать единоличные решения, но распространять их не от имени Правительства или ЦК, а от своего Министерства внутренних дел и лично от себя.

Везде, где только возможно, подчеркивались: инициатива Берии, предложение Берии, записка Берии. Лаврентий Павлович знал, что делал, и делал все логично. Начал он свои сто четырнадцать дней с «кадрового вопроса». Уже 11 марта 1953 года Берия направляет Маленкову и Хрущеву записку о разгроме чекистских кадров, предлагает пересмотреть дела арестованных Сталиным работников госбезопасности и «принять решение об использовании их на работе в МГБ», в органах. Не дожидаясь формального согласия, он освобождает, но только «своих», чекистов.

С каждым Берия беседует лично, объясняет, кому они

обязаны свободой, раздает им из секретных фондов «материальную помощь», назначает их на ключевые должности в «своем» МВД.

Первым, еще 10 марта (за день до отсылки записки в Президиум ЦК), вышел на свободу бывший главный телохранитель Сталина, Сергей Федорович Кузьмичев и тут же был восстановлен в старой должности начальника Управления охраны, с которой его и отправили за решетку по приказу Сталина. После обстоятельного разговора Берия поручает ему охрану, а значит, вручает судьбу высшего руководства страны.

Вслед за Кузьмичевым с тюремных нар в кабинеты на Лубянке пересаживаются десятки бериевцев, людей, на которых он мог рассчитывать во всем. Чекисты же не бериевского круга оставались до поры до времени в тюрьме. С ними Лаврентий Павлович предполагал «разобраться» позже.

Следом за решением «кадровой проблемы» Берия занялся своим собственным, «мингрельским делом». Оно возникло в 1951 году, вслед за Ленинградским и несостоявшимся Московским делами. Тогда по обвинению в создании «мингрело-националистической группы» начали арестовывать близких к Берии грузинских руководителей. Берия по национальности мингрел. За расследованием Сталин следил лично. Когда ему докладывали о ходе дела, он не раз недвусмысленно «советовал» следователям: «Ищите Большого мингрела». Кто именно «Большой мингрел» догадаться нетрудно, но его так и не нашли. «Большого мингрела» следователи боялись даже больше, чем «Большого хозяина». И это несмотря на то, что после войны Берия формально отошел от прямого руководства карательными органами. Многие историки считают, что он вообще потерял контроль над ними. Согласно документам, назначенный в мае 1946 года новым руководителем госбезопасности генерал Виктор Семенович Абакумов докладывал лично Сталину и даже позволял себе интриговать против Берии. Формально все так и выглядит, Сталин всегда замыкал «органы» на себя и не допускал туда «посторонних» Но в конце 1940-х годов и Сталин уже был не тем, а Берия — отнюдь не вечно пьяный Ежов. К тому же, «отец народов» не вечен, а что случится после Сталина?… В органах не сомневались: после Сталина наступит власть Берии. Абакумов и его преемники лавировали, старались и Сталина ублажить, и Берию не прогневить.

«Сталин мог и не знать, но я убежден, что Абакумов не ставил ни одного вопроса перед Сталиным, не спросив у Берии, как доложить Сталину, — пишет отец в своих воспоминаниях о «Ленинградском деле», — Берия давал директивы, а потом

Абакумов докладывал, не ссылаясь на Берию и получал одобрение Сталина».

Свидетельство отца «сверху» подтверждается и «снизу».

«Абакумов перед Берией заискивал, тогда как с Сусловым и Пономаренко (секретарями ЦК) был груб», — вспоминает полковник госбезопасности Александр Петрович Волков, начальник секретариата при Абакумове.

В июле 1951 года Сталин убрал Абакумова. Комиссию по расследованию его деятельности возглавили Маленков с Берией. Абакумова допрашивали в подчинявшейся лично Маленкову Сухановской тюрьме. Сталин посадил на место Абакумова близкого к Маленкову партийного чиновника Семена Денисовича Игнатьева, сохранив за последним курирование кадров в ЦК. Берия тут же приставил к нему двух своих «профессионалов»: первым заместителем министра госбезопасности стал Сергей Арсентьевич Гоглидзе, а просто заместителем — Василий Степанович Рясной. Вот и получалось: Игнатьев по линии ЦК ходил под Маленковым, а Гоглидзе с Рясным зависели от Берии.

Естественно, происходило все совсем неоднозначно. Когда Сталин дал команду Игнатьеву и министру Госбезопасности Грузии Николаю Михайловичу Рухадзе отыскать в Грузии изменников и якобы даже заявил, что «этим мингрелам вообще нельзя доверять», он, повторяю, имел в виду Берию. 9 ноября 1951 года Политбюро ЦК приняло Постановление «О взяточничестве в Грузии и антипартийной группе т. Барамия» (второй секретарь Компартии Грузии). В Постановлении говорилось, что мингрельская националистическая группа т. Барамии не ограничивается покровительством взяточников. Она преследует другую цель — захватить в свои руки важнейшие посты в партийном и государственном аппарате Грузии и выдвинуть на них мингрельцев, что существует целая группа мингрельцев в Грузии, обслуживающих разведку Гегечкори. Шпионско-разведывательная организация Гегечкори состоит исключительно из мингрельцев. (Е. П. Гегечкори — дядя жены Берии Нины Гегечкори, меньшевик, проживал в Париже.)

Казалось, песенка Берии спета. Рухадзе бросился исполнять приказ Сталина, арестовывал направо и налево, в начале 1952 года посадил в тюрьму бывшего помощника Берии, грузинского академика-историка Петра Афанасиевича Шарию, Генерального прокурора республики Шонию, своего предшественника на посту министра внутренних дел республики Авксентия Рапаву, — все мингрелы.

Тем временем Маленков с Берией «принимали меры».

В начале 1952 года Берия перехитрил самого Сталина,

устроил так, что он сам «по его поручению» отправился в Тбилиси на поиски «Большого мингрела».

«И вот мингрельское дело, — пишет отец. — Я абсолютно убежден, что оно выдумано лично Сталиным в борьбе с Берией. Но так как он уже был болен, то оказался непоследовательным в проведении намеченных планов, и Берия вывернулся, откупился кровавой поездкой в Грузию».

Берия жесткой рукой «навел порядок» в Грузии, в апреле 1952 года на Пленуме Грузинского ЦК, именем Сталина уволил от должности Первого секретаря, мингрела К. Н. Чарквиани, заменил его на «чистокровного» грузина Мгеладзе, даже посадил в тюрьму своего племянника Теймураза Шавдию, тоже мингрела. В начале войны он попал в плен к немцам, записался в Грузинский легион СС, откуда дезертировал и ушел во французские партизаны. Арестовали многих и многих других.

Устранение наиболее опасного своего противника, Рухадзе, Берия, по всей видимости, возложил на генерала госбезопасности Павла Анатольевича Судоплатова. В 1952 году Берия взял его с собой в Грузию. Общеизвестно, что Лаврентий Павлович поручал Судоплатову исполнение поручений особого свойства.

Генерал Судоплатов пишет об этой миссии очень осторожно, как и подобает разведчику, но при внимательном прочтении суть уловить можно. По его версии, он поехал в Тбилиси не с Берией, а по просьбе Секретаря ЦК Мгеладзе и с одобрения Сталина для организации похищения в Париже Е. П. Гегечкори и других грузин-меньшевиков. Докладывал Судоплатов лично Игнатьеву, а через него — Сталину, но не о мифических «меньшевиках», а о вполне реальном антибериевце Рухадзе. Судоплатов сообщил в центр: агентам Рухадзе нельзя доверять, они даже отказались говорить с ним по-русски.

«Рухадзе стал союзником Абакумова, — поясняет он в мемуарах, — который еще в 1946 году пытался скомпрометировать сначала бывших подчиненных Берии по разведслужбе, а потом и его самого. Я поспешил вернуться в Москву, чтобы доложить обо всем Игнатьеву, но принимать какие-либо меры Игнатьев не решился, — Рухадзе лично переписывался со Сталиным на грузинском языке, судить об этом могли только в «инстанции», то есть в ЦК, другими словами, Маленков с Берией.

Маленкову доложили, в том числе, о «большом интересе Рухадзе к интригам в партийной и правительственной верхушке».

Как конкретно Маленков с Берией распорядились с докладной, Игнатьева — Судоплатова мы не узнаем никогда, но Лаврентию Павловичу она сослужила хорошую службу. «Большого мингрела» так и не отыскали. В середине 1952 года

слишком ретивый министр Рухадзе очутился в Лефортовской тюрьме.

Сразу же после смерти Сталина в марте 1953 года Берия лично освобождал из тюрьмы арестованных мингрелов и даже, со слов Шарии, пошутил: его-де посадил тот, кого академик всю свою жизнь славил, как «величайшего гения всех времен и народов».

Рухадзе же остался в тюрьме и после смерти Сталина.

Берии несказанно повезло, проживи Сталин еще годок-другой, Берии бы несдобровать. Раз уж Сталин за него взялся, то все его увертки могли задержать, но не удержать Сталина. В связи с этим некоторые «писатели», домысливая за историю, высказывают свою, альтернативную версию событий, происходивших на даче Сталина ночью 28 февраля 1953 года. Якобы тогда, чуя опасность, Берия умертвил Сталина. Благо уже арестовали верного Сталину начальника охраны Н. Власика, что тоже объясняется происками Берии, облегчившими ему устранение «хозяина».

Правда, те же «писатели», противореча самим себе, декларируют, что еще с 1945 года Берия утратил какое-либо влияние на госбезопасность и сам превратился из охотника в дичь. Как при этом он мог заниматься перестановками в «святая святых» — личной охране подозрительнейшего Сталина, остается без ответа. Концы с концами не сходятся.

Даже устранение Власика, а его арест инициировал сам Сталин, ничего не меняет. Ведь оставались многочисленные охранники-сталинисты, служившие ему душой и телом. Мы знаем об их настроениях по их собственным воспоминаниям. Заикнись кто-то, пусть сам Берия, о чем-то непотребном, они бы немедленно обо всем донесли Сталину.

Если отбросить в сторону сантименты, то сталинские телохранители, люди опытные, прекрасно понимали, что, убив Сталина, они подписывают и собственный смертный приговор. Таких свидетелей Берия в живых не оставит. Доложи они Сталину об измене его ближайшего соратника, и в тот же день, став героями, лейтенанты и капитаны превратятся в полковников и генералов. Берия понимал это лучше кого-либо другого.

Реже выдвигается уж вовсе детективная версия — не подсыпал ли Берия яд в бутылку с вином или, скажем, в харчо? Не подсыпал. Сталин раньше историков предусмотрел такую возможность и принял меры.

«За обедом на даче он никогда первым не прикасался к приглянувшемуся ему блюду, сначала потчевал кого-то из присутствовавших за столом, а себе в тарелку накладывал, лишь

убедившись, что с гостем ничего не случилось», — рассказывал отец. Ему вторит Микоян, которого вместе с Берией, как специалистов-кавказцев, Сталин назначил дегустаторами вина. Никто не имел права сделать и глотка, не услышав их заключения. Микоян говорил, что дело тут не в их талантах, просто они могли иметь теоретический доступ к сталинским бутылкам, он сам как ответственный за пищевую промышленность, а Берия как куратор госбезопасности. Вот Сталин и давал им понять, что в случае чего они отравятся первыми.

Нет, не убивал Берия Сталина. Он, как Ворошилов, Микоян или Молотов ожидал своей участи. Им просто повезло, Сталин умер, а они остались жить.

Освободив своих людей из заключения и расставив их на ответственные посты в «своем» министерстве внутренних дел, Берия предложил провести более широкую амнистию. В ней нет ничего необычного, всякая новая власть обозначает свой приход амнистией. Берия, собственно, повторил сталинский трюк, когда после смещения в 1939 году Ежова и воцарения в госбезопасности Берии из лагерей и колоний выпустили свыше 327 400 человек. Тогда страна вздохнула с облегчением, а Берия, вслед за Сталиным, обрел репутацию избавителя от темных сил «ежовщины». Мало кто знал, даже в высшем руководстве, что одновременно с освобождением арестованных, посадили 200 тысяч человек, и это не считая депортированных из Западной Украины и Белоруссии поляков и националистов.

Тогда же, телеграммой от 10 января 1939 года, Сталин подтвердил, что «применение физического воздействия, допущенного к практике НКВД в 1937 году с разрешения ЦК» никто не отменял, «ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь… как совершенно правильный и целесообразный метод».

И сейчас Лаврентий Павлович замыслил нечто подобное. Действовал он оперативно. 26 марта 1953 года Берия направляет в Президиум ЦК записку с приложением проекта Указа Президиума Верховного Совета «Об амнистии». Получив ее, Маленков, без обсуждения, поставит предложение Лаврентия Павловича на голосование, и уже 28 марта все газеты на первых страницах опубликуют подписанный Ворошиловым указ. На первый взгляд кажется, что Берия допустил промашку. В народе амнистию связали с Климентом Ефремовичем, а не с Лаврентием Павловичем, прозвали ее «Ворошиловской». Но амнистия дивидендов Ворошилову не принесла. Из общего количества заключенных 2 526 402 человека освободили 1 181 264, в

основном уголовников. В лагерях оставили досиживать 1 345 138 заключенных, в основном, политических — врагов народа. Амнистировали стариков, беременных женщин, крестьян, арестованных за «нелегальный» сбор в свой карман колосков на колхозных полях. Но и настоящих уголовников вышло на свободу немало. Страну захлестнула волна преступлений. В такой ситуации обыватель с радостью поддержит любые меры по «наведению порядка». А уж кого сажать, когда наступит подходящий момент, решать Берии. Так что Лаврентий Павлович все рассчитал правильно.

В результате амнистии лагеря заметно опустели, почувствовалась нехватка рабочих рук и пришлось приостановить некоторые сталинские «стройки», такие, как прокладка железных дорог Салехард — Игарка, Красноярск — Енисейск, Байкало-Амурская магистраль, туннель между островом Сахалин с материком под Татарским проливом, Волго-Балтийский канал, и некоторые другие.

Одновременно с амнистией Берия дал команду начать подготовку к строительству новых лагерей. Другими словами, он считал, что вновь прибывшие не только заполнят освободившиеся места, но потребуется еще больше «посадочных» площадей. А дальше все вернулось бы на круги своя. И снова бы перетирались человеческие жизни в «лагерную пыль».

Пока уголовники покидали лагеря, в самих лагерях нарастало напряжение, заволновались политические: как же так, тиран умер, на свободу выпускают грабителей и убийц, а они продолжают сидеть за колючей проволокой? К маю волнения переросли в открытое неповиновение. 26 мая 1953 года в Норильском Особом горном лагере МВД СССР политические восстали, взяли в свои руки власть. Берия действовал как обычно, жестко и цинично, без колебаний и без жалости приказал давить людей танками.

Спровоцированные амнистией волнения в северных лагерях продолжались около трех месяцев и, несомненно, приблизили начало послебериевской реабилитации «политических».

Отец рассказывал, что вслед за амнистией Берия в качестве зондажа предложил еще одно «послабление» — упразднить данное Сталиным ОСО право приговаривать к расстрелу, бессрочной ссылке, двадцати годам каторжных работ, а также по своему усмотрению продлевать срок отсидевшим свое политическим. Казалось бы, очень своевременная мера, вот только Лаврентий Павлович одновременно оставлял за собой никем не контролируемую возможность «применять меры наказания, не свыше 10 лет заключения в тюрьму, исправительно-

трудовые лагеря и ссылки». Однако Берию никто не поддержал. Отец предложил вообще отобрать у МВД права судить и миловать. В результате не приняли никакого решения и тем самым сохранили старые права Особого Совещания при МВД. Правда, ненадолго. Сразу «после Берии» Президиум ЦК упразднит само «Особое Совещание» со всеми его правами.

Активность Берии в первые месяцы после Сталина впечатляет. «Заполучив власть, он передает часть лагерей и их обитателей из Министерства внутренних дел в другие ведомства: лагеря «общего пользования», — в Министерство юстиции, «Дальспецстрой» на Колыме, «Енисейстрой», Главное управление горнометаллургической промышленности — в Министерство металлургии, Институт «Гидропроект» — в Министерство электростанций. Получили свою долю ГУЛАГа и Миннефтепром, и Министерство путей сообщения, и Министерство промышленности стройматериалов, и Министерство лесной и бумажной промышленности, и Министерство морского и речного флота, и другие.

«Себе» Лаврентий Павлович оставил лишь особые лагеря, тюрьмы для государственных преступников (троцкистов, эсеров и националистов). Напомню, что под эту категорию в сталинское время подводили любого неугодного. Сохранились за госбезопасностью и места заключения шпионов, диверсантов, террористов (тоже очень растяжимые понятия) и военных преступников из числа военнопленных немцев и японцев. Всего за МВД сохранилось 220 тысяч заключенных.

Расформирование ГУЛАГа абсолютно логично. Теперь, когда вся страна лежала у его ног, ему больше не требовалось ни «конкурировать» с производственными министерствами, ни демонстрировать вождю, как «трудовые коллективы» и «шарашки» в его ведомстве производят больше и лучше, чем все эти «бездельники» на воле. А такое «соревнование» стало настоящим бедствием перед войной и после нее. Арестовывали не за «что-то» и даже не «ни за что», а в связи с производственной необходимостью. Областным управлениям внутренних дел спускалась разнарядка на арест такого-то количества здоровых мужчин взамен «выбывших» с северного лесоповала или магаданских молибденовых шахт. Отдельно формировались «шарашки» — конструкторские и исследовательские организации за колючей проволокой, куда «набирались» специалисты по персональным спискам.

Андрей Николаевич Туполев рассказывал мне, как его сразу после ареста в 1938 году обязали начать проектирование нового бомбардировщика и поинтересовались, кто из бывших

сотрудников может оказаться в этом деле полезным. Туполев ответил не сразу, напрягал память вспоминая, кто из них уже арестован, и он сможет вызволить их с «общих работ», с лесоповала и одновременно ненароком не назвать кого-либо еще находившихся на воле. Одно неловкое слово, и их тут же доставят к нему, за решетку.

Тогда же Берия, в пику Минавиапрому, приказал Туполеву спроектировать четырехмоторный дальний пикирующий бомбардировщик, способный атаковать английские линкоры в их собственных водах. Туполеву потребовалась вся его изворотливость, весь ум и немало времени, чтобы доказать техническую несостоятельность «изобретения» Лаврентия Павловича. Только с началом Второй мировой войны ему разрешили отложить реализацию идей Берии и под патронажем органов в «шарашке» приступить к созданию своего собственного фронтового двухмоторного бомбардировщика Ту-2. Многие сейчас забыли о Ту-2, а он был одним из лучших самолетов Второй мировой войны.

После войны сотни заключенных, от инженера до академика, «работали» в Москве на Ленинградском шоссе. Одни в КБ-1 Серго Берии, сына Лаврентия Павловича, делали ракеты, другие напротив, в здании «Гидропроекта», разрабатывали планы «покорения сибирских рек».

Сам Берия тем временем занимался организацией работ по созданию атомной бомбы. Сталин поручил ему возглавить эту наиважнейшую для него проблему, зная, что для Берии все возможно, его телефонные звонки заставляют трепетать самых могущественных и строптивых министров, а любимая присказка наркома «сотру в лагерную пыль» действует на директоров заводов и начальников конструкторских бюро эффективнее любых посулов и обещаний. Плюс к тому, Берия располагал неисчерпаемыми резервами рабочей силы. Все атомные производства, лаборатории и полигоны построены подневольным трудом заключенных и военных строителей. Разница между ними была невелика: и те и другие работали из-под палки. Только ученые-атомщики сохраняли свободу. Правда, и им Берия пообещал, что в случае провала первых испытаний атомной бомбы он найдет им замену, у него уже подготовлена новая команда, ну а их…

Считается, что слова о параллельной команде физиков-теоретиков и практиков лишь пустая угроза. Откуда ей взяться, если все наличные мало-мальски пригодные физики уже задействованы в исследованиях, возглавляемых Игорем Васильевичем Курчатовым.

И тем не менее такая команда физиков нашлась, и не где-нибудь, а в Московском университете. Возглавил ее декан Физического факультета, профессор А. А. Соколов. Входили в нее именитые в то время ученые: А. Максимов, Э. Кольман, В. Миткевич, Н. Костерин, А. Тимирязев и немало других. Они истово отрицали теорию относительности, не могли представить искривленного пространства и замедления течения времени. А уж то, что электрон и не частица, и не волна, да еще может в один и тот же момент находиться и тут и там, вообще не укладывалось ни в какие рамки. Они, воспитанные на принципах классического Ньютоновского детерминизма, причинно-следственной логики, не воспринимали Эйнштейновской «теории относительности», считали ее идеалистической заумью.

Это понятно, выше собственной головы не прыгнешь.

История науки знает множество подобных, основанных на «добротной логике», заблуждений. В свое время французские академики декретом засвидетельствовали, что камни-метеориты с неба упасть не могут. В 1930-е годы два немецких физика-традиционалиста, нобелевские лауреаты Иоханес Штарк и Филипп Ленарт апеллировали к властям с требованиями законодательно запретить теорию относительности и квантовую механику. На наше счастье, власти их услышали. А то, не дай Бог, Вернер Гейзенбер, тоже Нобелевский лауреат, в своей лаборатории сделал бы атомную бомбу, Гитлер сбросил бы ее на нашу голову. Не все способны воспринимать «сумасшедшие идеи». Не воспринимали их и Соколов с окружением, а не восприняв, прилагали все усилия, чтобы разделаться с Эйнштейновой ересью. В 1945–1946 годах писали бесконечные письма в ЦК, ссылались на жесткую критику Лениным Маха и других «идеалистов». В ЦК к ним прислушались. По их жалобе в 1949 году поручили провести специальное собрание в Академии наук с целью осудить и «выкорчевать извращения в отечественной физике».

Курчатову с трудом удалось отстоял свою команду. Он объяснил Сталину, что американцы сделали и взорвали свою бомбу, опираясь на теорию Эйнштейна, на квантовую физику, а у Соколова за душой нет ничего. Аргументация Курчатова, а главное «опыт», произведенный в небе Хиросимы, на Сталина подействовали. Он запретил какую-либо самодеятельность в атомном проекте, приказал бомбу скопировать с украденных разведкой американских чертежей и сбрасывать ее с точной копии американской летающей сверхкрепости Б-29. 31 января 1949 года Секретариат ЦК постановил «отложить Всесоюзное совещание физиков» как недостаточно хорошо подготовленное.

Однако Сталин не был бы Сталиным, если бы он до конца поверил Курчатову. На всякий случай он переправил письма Соколова Берии. Тот их внимательно прочитал и вызвал к себе Соколова, но следуя своим принципам, пока ничего ему не обещал. Он Курчатову верил, но не доверял, Соколову он не доверял и не верил, но все же… Так что, говоря о запасной команде, Берия знал, о чем говорил и имел в виду не замену одного академика другим, а замещение физиков идеалистов-релятивистов на материалистов школы Соколова.

Отмена антиэнштейновского совещания не обескуражила Соколова и его сторонников. Они не унимались, писали в ЦК новые письма, теперь уже обвиняли в идеализме и прочих «грехах» руководство Академии наук, которое отказывалось встать на их сторону. И продолжали находить в некоторых инстанциях понимание.

В июле 1949 года их жалобу поддержал руководитель отдела Агитации и пропаганды ЦК Шепилов. Сохранилась записка, в которой он сообщил секретарю ЦК Суслову, что академик Вавилов, физик-оптик и президент Академии наук, «требует от своих подчиненных изучать иностранную физическую литературу, отвергает классическую физику, говорит о неприменимости понятий обыденной жизни в атомной физике. Получается, что в новой физике должны быть отброшены и такие неотъемлемые атрибуты материи, как пространство и время».

Время сработало против Соколова. Осенью 1949 года Курчатов взорвал свою бомбу, и Берия потерял к Соколову всякий интерес. Он остался во главе Физического факультета, но академическое совещание, несмотря на проведенные сорок два подготовительных заседания, решили окончательно отменить.

Тем не менее борьба Соколова с учеными-нетрадиционалистами в физике продолжалась еще не один год. Курчатов решил не связываться ни с Соколовым, ни с Московским университетом. Он просто организовал под себя и для себя Московский инженерно-физический институт (МИФИ), а о Соколове забыл.

Зато Соколов не забыл о Курчатове. Он продолжал бороться с Эйнштейном, с Курчатовым, с собственными профессорами и студентами до тех пор, пока не настроил против себя всех. В декабре 1953 года на имя Хрущева и Маленкова ушло письмо за подписями министра среднего машиностроения Вячеслава Александровича Малышева, министра культуры Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, президента Академии наук Александра Николаевича Несмеянова и академика-секретаря физико-математического отделения Мстислава Всеволодовича

Келдыша с просьбой помочь им совладать с Соколовым.

На письме сохранилась помета: «Тов. Хрущев ознакомился. 12 декабря 1953 года». В том же декабре 1953 года создали комиссию во главе с Малышевым, заклятым врагом Соколова, но Соколов сопротивлялся до августа 1954 года. Его освободили от должности за несколько дней до испытаний новой водородной бомбы. На факультет возвратились изгнанные Соколовым «физики-идеалисты» Лев Андреевич Арцимович, Михаил Александрович Леонтович, Исаак Кушелович Кикоин, Лев Давидович Ландау, Лукьянов (к сожалению, не знаю его имени и отчества), Александр Иосифович Шальников. Их сейчас знают все, а вот Соколова подзабыли.

Он не сдался и после 1954 года. Я читал теоретические опусы профессора Соколова, отпечатанные в типографии МГУ в шестидесятые и, кажется, в семидесятые годы. Потом он исчез и с моего горизонта.

Но возвратимся к событиям весны 1953 года. Через неделю после амнистии Президиум ЦК решает «реабилитировать и освободить из-под стражи врачей и членов их семей, арестованных по так называемому делу врачей-вредителей, 37 человек, и утвердить прилагаемый текст сообщения». Прилагаемый текст сообщения подготовил Берия, и не от имени Президиума ЦК, а от своего. В печать он пошел как информация Министерства внутренних дел.

В том, что дело врачей, как и все остальные антиеврейские эксцессы Сталина, не имеет под собой почвы, никто из нового руководства не сомневался. Просто Берия опередил других. Он все увереннее чувствовал себя «хозяином» и демонстрировал стране, что он, Берия, и его МВД восстанавливают справедливость. Такое не забывается.

Все увереннее ощущая себя новым «хозяином», Берия засыпав Президиум ЦК предложениями, записками, проектами, приступает к чистке союзных республиках, замене поставленных Сталиным руководителей на своих — бериевских. Посмотрим, как все это происходило.

Начну с воспоминаний Нуритдина Мухитдинова, в начале 1953 года он возглавлял правительство Узбекистана.

«В последние дни апреля 1953 года Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Амин Ирматович Ниязов, собрав секретарей и членов бюро ЦК, сообщил нам, что поступила записка Л. П. Берии. Характерно, что записка пришла, минуя ЦК, прямо из секретариата Берии в Министерство внутренних дел республики», — пишет Мухитдинов. В ней предлагалось, вернее предписывалось провести «узбекизацию» руководящих кадров

республики и почти поголовную их замену, и все это под патронажем Министерства внутренних дел.

Мухитдинову «записка» не понравилась, вызвав опасения, что такие действия приведут «к столкновению людей на почве национальной и территориальной принадлежности».

«Если записка спущена нам из Москвы, — возразили Мухитдинову присутствовавшие на заседании члены Бюро, — мы должны отнестись к ней со всей серьезностью». Наиболее рьяные хотели тут же составлять списки, готовить предложения о замене руководителей, вплоть до совхозных, русских, украинцев и всех прочих на узбеков.

«А что станет с товарищами, родившимися в Узбекистане, но не узбеками? — не унимался Мухитдинов. — И что ожидает узбеков, живущих и работающих в Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Казахстане? Они тоже станут там людьми второго сорта, бесправными».

Решение так и не приняли. На следующий день Мухитдинову последовал звонок из Москвы, его предупредили, что он будет разговаривать с Лаврентием Павловичем Берией.

— Ты почему выступил против моей «записки», — не поздоровавшись, грубо спросил Берия.

В ответ Мухитдинов изложил свою точку зрения. Берия, не дослушав, оскорбил его, обругал, пригрозил, что снимет с работы, «сотрет в порошок», и бросил трубку. 3 мая, сразу после майских праздников, Берия реализовал свою угрозу, позвонил Ниязову и потребовал гнать Мухитдинова из Совмина. Ниязов начал «тянуть», позвонил в Москву, в ЦК. Хрущев посоветовал ему не торопиться, поставил вопрос о Мухитдинове на Президиуме ЦК. Голоса на заседании разделились: Хрущев, Ворошилов, Молотов и Булганин сомневались в целесообразности смещения Мухитдинова с должности. Берию поддержали Маленков, Каганович и Микоян.

Вопрос завис. Должность Председателя правительства — номенклатура Президиума ЦК КПСС, и без его согласия уволить Мухитдинова не могли. Но Берия не привык, чтобы ему противоречили, не мог позволить кому-то ревизовать его решения. Иначе какая это власть? Он решил настоять на своем.

«События продолжали развиваться, — пишет Мухитдинов. — Вечером 7 мая Ниязову позвонил Хрущев. “Мы подумали, — голос его звучал несколько смущенно, — и чтобы не обострять, согласились с предложением Берии. Мухитдинов молодой, еще поработает на высоких постах”.

Указ о моем освобождении опубликовали 8 мая, утром.

После ареста Берии меня восстановили на прежнем месте

работы — вновь назначили Председателем Совета Министров республики».

8 мая Берия направляет записку о недостатках в работе органов госбезопасности Литвы, а 18 мая — аналогичную записку по Украине. 20 мая Президиум ЦК обсуждает предложения Берии и «поручает» ему подготовить проект постановления.

26 мая Президиум ЦК принимает, практически без обсуждения, под диктовку Берии, постановление о Литве и Украине. Упомяну его основные положения. Это назначение на руководящие посты республиканских представителей исключительно коренной нации, формирование национальных воинских подразделений, введение «республиканких» орденов, не говоря уже о переводе всего делопроизводства на национальные языки. Постановление подлежало немедленному и неукоснительному исполнению.

2 — 4 июня на Пленуме Украинского ЦК меняли руководство Республики. Из Первых секретарей ЦК убрали Леонида Георгиевича Мельникова как не украинца, на его место Берия собирался посадить драматурга Александра Евдокимовича Корнейчука, не только не политика, но человека трусливого, чьим кредо всегда являлось исполнение воли начальства.

Главой республики его все-таки не сделали. 26 мая 1953 года при обсуждении на Президиуме ЦК проекта Постановления по Украине отцу удалось вместо Корнейчука продвинуть кандидатуру Алексея Илларионовича Кириченко, как более опытного и знающего партийного работника. Берия решил открыто не конфликтовать с Хрущевым, пошел на компромисс. Он здраво рассудил, что пока сойдет и Кириченко, а потом… Потом будет видно…

Корнейчука оставили «на подхвате». В упомянутое выше «совершенно секретное» постановление Президиума ЦК КПСС «О политическом и хозяйственном состоянии западных областей Украинской ССР» следующим пунктом после «рекомендации» замены Мельникова на Кириченко записали: «Тов. Корнейчука А. Е. на пост первого заместителя Председателя Совета Министров Украинской ССР».

Одновременно его избрали в члены Президиума ЦК Компартии Украины. На Пленуме Корнейчук разразился славословиями в адрес Берии, нового, как полагал, «хозяина». Однако будем справедливы, в тот день не только Корнейчук, но и новоиспеченный Первый секретарь Кириченко вовсю превозносил мудрую политику партии в национальном вопросе и лично «нашего дорогого Лаврентия Павловича». Стенограммы этих выступлений сохранились.

До того времени отец не могу сказать дружил, но хорошо относился к Корнейчуку. Да иначе и быть не могло, Сталин открыто протежировал молодому драматургу, отражающему партийную линию в своих пьесах. В Киеве Корнейчук часто бывал у нас на даче, правда, не более часто, чем другие украинские писатели и поэты. Из них я запомнил Павла Тычину, Максима Рыльского. Корнейчук, Сашко, как его звали окружающие, мгновенно становился душой компании, улыбался, шутил, в меру лицедействовал.

Особенно отец сблизился с Александром Евдокимовичем и его женой Вандой Львов ной Василевской, во время войны. Они тогда по поручению Сталина колесили по фронтам, писали пьесы на злобу дня. Во всех театрах шли «Фронт» и «Радуга» — агитки, но в то время очень нужные. После войны приятельство переросло в настоящую дружбу, по крайней мере, отец верил, что они друзья. В 1949 году они первыми узнали о решении Сталина перевести его из Киева в Москву. Вот как он описывает их реакцию: «Когда я вернулся от Сталина, Василевская и Корнейчук, находившиеся в Москве, зашли ко мне. Я рассказал им о состоявшемся разговоре. Ванда Львовна расплакалась, буквально разрыдалась. Я никогда не видел ее в таком состоянии».

На выступление Корнейчука на Пленуме ЦК Компартии Украины отец отреагировал спокойно: «Корнейчук неправильно понял, почему его кандидатура была выдвинута, и начал говорить всякие словеса в пользу Берии. Не сообразил, ради чего он так старается». Внешне отец к нему не изменился, но в гости приглашать практически перестал.

8 июня Берия отсылает в ЦК новую записку, теперь уже «О неблагополучии в Белоруссии», без промедлений, 12 июня 1953 года Президиум ЦК принимает представленное Берией Постановление по белорусизации республики, «рекомендует» на пост первого секретаря республиканского ЦК взамен русского Николая Семеновича Патоличева белоруса Михаила Васильевича Зимянина.

Одновременно Берия, вопреки существовавшим тогда правилам, своим приказом (он же «хозяин») уволил белорусского министра внутренних дел и всех его заместителей. Формально назначение и увольнение министров входило в юрисдикцию Президиума ЦК КПСС, потом оно дублировалось Постановлением республиканского ЦК и реализовывалось в виде Указа Президиума Верховного Совета республики. Но это формально. На деле Сталин сначала решал, а затем уже все эти органы штамповали его решение. До июня Лаврентий Павлович форму

соблюдал, теперь почему-то решил, что может действовать без санкции Президиума. Может быть, просто посчитал, что пришла пора.

Министр белорусского МВД Михаил Иванович Баскаков, прослышав из кулуарных разговоров на Лубянке о подготовленном Берией увольнении, побежал к шефу, но не к Берии, а к Первому секретарю ЦК Компартии Белоруссии Патоличеву. Последний ничего не знал и поспешил на разведку в Москву. Его без промедления приняли и Хрущев, и Маленков, но ситуацию не прояснили. Патоличев позвонил Берии, но тот его проигнорировал. Николай Семенович вернулся в Минск ни с чем. В 20-х числах июня ему позвонил Хрущев и распорядился готовить Пленум ЦК Компартии Белоруссии, на нем его, Патоличева, планировали освободить от должности. Пленум назначили на 25 июня. Вопреки традиции, никто из высоких московских начальников в Минск не поехал, Патоличеву предстояло самому себя уволить.

25 июня на Пленуме Патоличева раскритиковали в пух и прах. Голосование перенесли на следующий день. Однако 26 июня Берию в Москве арестовали, необходимость «оздоровления» властных структур в Минске отпала.

Вслед за Белоруссией Берия готовил записку о Латвии. Как оказалось, последнюю. Кроме Берии ее подписал и Хрущев. Из каких соображений, сказать затрудняюсь, но судя по дате, скорее всего из тактических. В середине июня заговор против Берии начинал обретать очертания, и возможно, отец пошел к нему в соавторы, чтобы усыпить бдительность. Или Лаврентий Павлович тоже из тактических соображений попросил отца поставить подпись. Так или иначе, в Ригу ушло указание о переводе всего делопроизводства на латышский язык и отстранении от дел лиц не латышской национальности, в первую очередь, не владеющих латышским языком. Предварительный список на увольнение состоял из ста семи фамилий.

Но в Риге, как и в Минске, реализовать указания Москвы не успели, Берию арестовали, и все его распоряжения автоматически потеряли силу.

Не менее энергично Берия действовал в восточно-европейских странах. И здесь он начинал кадровую чистку. 12 июня Берия наорал на Матиаса Ракоши — руководителя Венгрии, он не пригрозил смешать его с лагерной пылью, но был к этому очень близок. На место Ракоши он собирался посадить Имре Надя, приказал сделать его главой Венгерского правительства и передать в его руки бразды правления. На вопрос Ракоши, что же останется за ним, главой правящей партии, Берия ответил:

«Кадры и пропаганда». Возразить Ракоши не посмел. Это потом Имре Надь проявит строптивость и даже возглавит оппозицию, тогда же он, завербованный органами еще в тридцатые годы агент НКВД «Володя», сотрудник Коминтерна, представлялся Берии своим человеком.

Слова Берии о роли правящей партии, ее руководства отцу весьма не понравились. Он сам стоял во главе правящей и единственной партии, Президиум которой осуществлял верховную власть в стране и не намеревался позволить кому-либо, даже Берии, менять сложившуюся структуру власти.

Еще более драматические события развернулись вокруг Германской Демократической Республики (ГДР). В 1952 году Сталин приказал приступить там к ускоренному строительству социализма. Строили по-сталински: насильно сгоняли бауэров в колхозы, разоряли кирхи. Реакция немцев на все эти безобразия мало отличалась от реакции российских крестьян в начале 1930-х годов. Разве что они не восставали открыто, а мирно перетекали на Запад, уходили в Западную Германию, благо строго охраняемой границы между двумя зонами оккупации, советской и американской, не существовало.

Берия полагал, что «продав» ГДР Западу, он завоюет их сердца. Однако сам выступать с таким предложением Лаврентий Павлович не счел правильным, в конце апреля «посоветовал» проявить инициативу министру иностранных дел Молотову. Тот взял под козырек и 3 мая направил на имя Председателя Правительства Маленкова предложения «отказаться от строительства социализма в ГДР ‹…› и, в соответствии с Потсдамскими соглашениями, Германскую политику СССР сосредоточить на реунификации всей Германии, на мирной и демократической основе», другими словами, на американских условиях и в американских интересах. Маленков разослал послание Берии, Хрущеву, Булганину, Кагановичу и Микояну. К тому времени Берия не только сам ощущал себя «первым», но и остальные члены высшего руководства один за другим признавали его лидерство. 5 мая на Президиуме ЦК обменялись мнениями, точка зрения Берии, казалось, возобладала. Но только казалось. Отец считал неправильным вот так за здорово живешь отдавать Германию американцам, но открыто возразить Берии поостерегся. Решил поговорить с Молотовым тет-а-тет после заседания. Он объяснил, почему считает такую политику ошибочной и выразил недоумение, зачем он, Молотов, выступил с этой инициативой. Внутренне Молотов с Берией тоже не соглашался, но противиться ему не смел. После разговора с отцом он воспрянул духом. 10 мая Молотов посылает Маленкову

записку диаметрально противоположного содержания, требует «укрепления политических и экономических позиций ГДР как части социалистического лагеря, надежного союзника Советского Союза».

Положение в ГДР 27 мая снова обсуждали на Президиуме ЦК, а потом к нему вернулись еще раз 2 июня. Берия и Маленков продолжали проталкивать пункт об отказе от социализма в ГДР и форсированном объединении Восточной Германии с Западной. Им возражал осмелевший Молотов, его поддерживал отец. Завязалась перепалка. В результате приняли компромиссное постановление «О мерах по оздоровлению политической обстановки в ГДР», но без спорного пункта «о социализме». В нем немцам предлагалось не торопиться с колхозами, не завышать плановые задания, а советская сторона обязывалась помочь ГДР продовольствием. Берию сопротивление коллег не обескуражило, в том, что они в конце концов подчинятся, он не сомневался. Без санкции Президиума он направил в Германию «своих людей» готовить почву к смене курса в Восточной Европе и налаживать связи на Западе. Обеспокоенное руководство ГДР бросилось в Москву за разъяснениями. 13–14 июня на встрече с восточными немцами Берия повторил свои тезисы. Ульбрихт, человек упертый и принципиальный, резко возразил Лаврентию Павловичу. Последний не стерпел и «наорал на товарища Ульбрихта и на других немецких товарищей, так, что стыдно было слушать», пригрозил выгнать Ульбрихта в чертовой матери, если тот не изменит своей позиции. Слухи распространяются быстро. Когда Ульбрихт возвратился в Берлин, там все уже знали и не сомневались — дни Вальтера сочтены.

Тем временем в Берлине заволновались рабочие-строители, возводившие на месте разрушенной бомбардировками союзников Унтер-ден-Линден помпезную Сталин-аллею. Брожение началось еще до поездки Ульбрихта в Москву, 11 июня, когда решением Правительства ГДР на 10 процентов увеличили нормы выработки. Дело неприятное, но не трагическое. Однако, как это часто получается, когда левая рука не знает, что делает правая, берлинский магистрат своей властью поднял нормы еще на 25 процентов. Мало того, желая как можно быстрее завершить строительство, местные власти припугнули, что не выполнивших новые нормы — еще и оштрафуют на 35 процентов от заработка. От такого произвола рабочие взвыли. 11 июня у здания больницы на Сталин-аллее они начали сидячую забастовку.

К вечеру 15 июня строители Сталин-аллеи уже требовали отмены всех несправедливых решений, пригрозив в противном случае всеобщей стачкой. Упрямый Ульбрихт стоял на своем:

никаких уступок. Надо отдать должное, по возвращении из Москвы Ульбрихт сам не очень представлял, что с ним случится завтра, но держался твердо, чего не скажешь о его ближайшем окружении. Неопределенность в период кризиса, особенно неопределенность в высшей власти очень опасна, а порой и смертельна.

В семь утра 17 июня строители Сталин-аллеи призвали берлинцев к забастовке. Улицы запрудили демонстранты, власти запаниковали, а заместитель премьер-министра ГДР, председатель Христианско-Демократического Союза Восточной Германии Отто Нушке то ли сам сбежал, то ли не особенно сопротивлялся, когда его увезли в Западный Берлин. Новый главнокомандующий советскими войсками в Германии генерал-полковник Андрей Антонович Гречко, он только десять дней тому назад сменил на этом посту героя Сталинграда генерала армии Василия Ивановича Чуйкова, тоже поначалу растерялся, однако, получив приказ из Москвы продемонстрировать силу, но без открытия огня, в 12.30 вывел на берлинские перекрестки и ведущие к городу дороги танки с расчехленными орудиями. Оккупационная армия — не шутка. После окончания войны прошло не так уж много времени, и немцы не воспринимались нами как друзья и союзники. В народной памяти они оставались, потерпевшими поражение врагами. Применение к ним в случае неповиновения оружия — в порядке вещей. Немцы тоже правильно оценивали свое положение, на рожон не лезли, силу и порядок они уважали. И тем не менее, без жертв не обошлось. В столкновениях демонстрантов с полицией с обеих сторон погибло, по одним сведениям, человек двадцать-тридцать, ранено около трехсот, по другим: убито — восемь, ранено — сто и задержано тысяча триста человек. Цифры разнятся в зависимости от симпатий и антипатий авторов.

Отец воспринял происходившее в Берлине очень болезненно: почему рабочие выступили против своей же, рабочей власти? Причину он видел не столько в глупости местных властей, неоправданно повысивших нормы выработки, сколько в непоследовательности нашей собственной политики в отношении Германии, особенно в области экономики.

Наши бывшие союзники не только отказались от своей доли репараций, предусмотренных актом капитуляции Германии, но и помогали своим новым западногерманским союзникам в рамках плана Маршалла. В западных зонах оккупации экономика быстро восстанавливалась, а мы тянули из ГДР все, что могли, нужное и ненужное. Неудивительно, что восточные немцы жили хуже западных. И главное, считал отец, мы должны твердо заявить о

поддержке ГДР, недопустимости ее слияния с Западной Германией. Неопределенность порождает неуверенность, неуверенность перерастает в недовольство, а тут еще перебои со снабжением, и в довершение всего — самодеятельность берлинских властей с нормами выработки. И конечно, западные спецслужбы сыграли свою роль.

Исправлять положение принялись незамедлительно. Уже в августе 1953 года подписали с ГДР протокол о прекращении с 1 января 1954 года взимания репараций с Восточной Германии. Казалось бы, кризис разрешился, все стало на свои места. Об уступке ГДР американцам больше не вспоминали.

Сейчас кое-кто считает такую позицию ошибочной. Им кажется, согласись Советский Союз на объединение Германии, и все проблемы с американцами отпали бы сами собой, в наших отношениях настала бы тишь и благодать. Я с ними согласиться не могу. Советский Союз тогда претендовал на роль мировой державы, добивался признания своего равенства с США. Потеря неоценимого с позиций геополитики плацдарма в центре Европы подрывала баланс сил в Европе и в мире, низводила СССР на уровень даже не регионального лидера, а просто страны обширной, но малозначительной. Германия — системообразующее государство на Европейском континенте, и она изначально не могла оставаться нейтральной. Это очень хорошо понимал тогдашний Государственный секретарь США Джон Фостер Даллес.

Именно поэтому Вашингтон на предложение Сталина от 10 марта 1952 года создать общегерманское правительство, провести общегерманские выборы и придать новой Германии нейтральный статус, ответил однозначно «нет». И как бы подтверждая свое негативное отношение к самой идее германского нейтралитета, американцы заключили 26 мая 1952 года Боннское, а 27 мая того же года Парижское соглашения, легализовавшие создание в ФРГ профессиональных, союзных Вооруженных сил, подчиняющихся НАТО.

Тем самым прагматичный и реалистичный политик Даллес обозначил четкую границу между двумя группировками, ту черту, переступив которую можно нарваться на серьезные неприятности. Даллес называл свою политику «политикой на грани войны», но он очень хорошо знал, где проходит эта грань, переступать ее он не позволял себе и не рекомендовал это делать другим. Отец ценил его определенность, считал мир, в котором стороны четко обозначили свои позиции, безопаснее непредсказуемой уступчивости, дезориентирующей оппонентов и в конце концов могущей привести к военному столкновению или капитуляции.

Уступки только возбуждают аппетит, противная сторона начинает требовать еще и еще. Мне трудно предположить, что Лаврентий Берия умышленно, как впоследствии Михаил Горбачев, вел дело к капитуляции, сдаче всех своих позиций в мире, когда дела пошли по известному нам теперь сценарию: слияние ГДР и ФРГ, вступление объединенной Германии в НАТО, но логика взаимоотношений на мировой арене неумолима. Вот только произошло бы это не в девяностые, а пятидесятые годы XX века, не после окончания холодной войны, а в ее разгаре.

Даллес от «подарка», естественно, не отказался бы; балансируя на грани войны, он одновременно провозглашал политику «откусывания» от Советского блока одного за другим союзников, до тех пор, пока не самоустранится с мировой арены геополитический соперник США — Советский Союз.

Если бы Советский Союз тогда не капитулировал, то конфронтация с Западом возобновилась бы, но в условиях, когда передовые рубежи НАТО приблизились бы к границам СССР на несколько сотен километров.

В объединенной Германии берлинские волнения 1953 года, по истечении полувека, переименовали в восстание, в котором принимало участие чуть ли не все население ГДР. Восстание 17 июня 1953 года стало таким же символом в Германии, как в Советском Союзе октябрьский, 1917 года, «залп Авроры» или июньский, 1945 года, парад Победы, когда немецкие знамена были повержены перед Мавзолеем. У каждого народа и времени свои символы. В пылу мифотворчества договорились до того, что военнослужащие советских оккупационных войск в своей массе сочувствовали немцам, а двадцать пять советских солдат, даже отказались стрелять по восставшим, за что командиры их расстреляли на месте и закопали у дороги. «Нашли» даже подходящие скелеты, правда, непонятно — 1953 или 1945 года захоронения.

Чушь невероятная! Я уже не говорю о том, что приказ советским войскам открывать огонь не отдавали, но положить в мирное время четверть взвода, без суда и следствия, без особистов, без военного прокурора, без трибунала? На такое не решился бы ни командир батальона, ни командир полка, ни командир дивизии. Сами бы пошли под трибунал. Откопанные же при расширении дороги скелеты скорее всего принадлежали жертвам боев 1945 года, немецким фауст-патронщикам или погибшим перед самой победой нашим солдатам.

Но это по форме, а по существу — в июне 1953 года в Германии служили 18 — 20-летние советские парни, дети войны, успевшие испытать на своей шкуре все «прелести» немецкой

оккупации, и вдруг они переходят на сторону немцев! Представить себе такое невозможно. Тогда в наших душах все немцы оставались извергами, преступниками, несмотря на противоположные утверждения политически корректной пропаганды. Я сам, человек того же возраста, 2 июля 1953 года мне исполнилось 18 лет, не испытывал к немцам никакого сочувствия. Если бы солдатам оккупационных войск не приказали, а просто разрешили стрелять, то они, в чьих сердцах еще не погас огонь отмщения, не колеблясь порешили бы половину населения ГДР, не задумавшись ни на минуту, что восточные немцы теперь нам союзники.

Если бы такую историю выдумали немцы, я бы на нее скорее всего внимания не обратил. Объединенная Германия создает мифы о своем прошлом, и в таких случаях герои лепятся из подручного материала, хотя бы из костей, случайно обнаруженных в придорожной канаве. Но эту выдумку на полном серьезе восприняли и в России, растиражировали по всей стране. Непонятно, почему германская мифология становится частью российской истории.

Давайте теперь вернемся на пару месяцев назад и посмотрим, как складывались отношения Берии с другими членами высшего руководства. К апрелю Берия уже чувствовал себя настолько «хозяином», что порой утрачивал бдительность или, если хотите, чувство меры в отношении пока еще равных ему коллег по Президиуму ЦК.

«В апреле 1953 года в поведении Берии я стал замечать перемены, — пишет генерал госбезопасности Судоплатов, — разговаривая в моем присутствии, а иногда и других офицеров, с Маленковым, Булганиным, Хрущевым, он открыто критиковал членов Президиума ЦК, обращался фамильярно…

Однажды, зайдя в кабинет Берии, я услышал, как он спорит с Хрущевым. Развязный тон Берии в разговоре с Хрущевым озадачил меня: раньше он никогда не позволял себе подобных вольностей, если рядом находились подчиненные».

К началу июня Берия начал открыто игнорировать Президиум ЦК и даже своего непосредственного «начальника» — Председателя Совета Министров. К примеру, единолично подписал распоряжение правительства об испытаниях в августе 1953 года водородной бомбы. Это решение не только не обсуждали, но Берия посчитал дело настолько секретным, что не проинформировал даже Маленкова.

Некоторые историки настаивают на праве Берии подписать решение об испытаниях, он в правительстве с 1945 года курировал атомные дела, ему и карты в руки. Логика весьма

сомнительная. Так и декларацию об объявлении войны можно отнести к чисто техническим документам. В любом государстве устанавливается иерархическая процедура принятия решений. Согласно установленным в то время правилам, разрешать или не разрешать испытания, запускать ли новый танк или самолет в производство — прерогатива Президиума ЦК. Бессмысленно обсуждать — правильно ли это, неправильно. Если неправильно, то закон надо изменить, но никак его не нарушать. Ставя свою подпись, Берия еще раз демонстрировал коллегам, кто «хозяин» в стране; он, как ранее Сталин тем самым указывал, куда им позволено «совать свой нос», а куда доступ заказан. Так что решение это не техническое, а очень даже политическое.

В первые недели и даже месяцы вал инициатив Берии задавил его «товарищей» по новому руководству страной, они еще не ощущали себя полновластными членами нового руководства и по привычке голосовали «за» без обсуждения. Тем более что председательствовавший на заседаниях Президиума ЦК Маленков и не приглашал их к дискуссии. Как только Берия заканчивал говорить, он торопливо восклицал: «Ставлю вопрос на голосование. Предлагаю поддержать. Кто “за”?» Все голосовали «за».

Не один Судоплатов, но и члены Президиума ЦК ощущали изменения в поведении Берии. К концу мая они стали настолько явными, что вольно или невольно возникало беспокойство за свое собственное будущее. Даже Маленков, человек неглупый и, главное, лучше других знавший Берию, при всей слабохарактерности все чаще начинал задумываться. Но сделать первый шаг никто не решался. Вот если бы… Тогда…

Инициативу проявил отец. В мае он сделал первый, очень осторожный шажок, поговорил с Маленковым. Не отколов его от Берии, рассчитывать на успех не приходилось. Хорошо зная и Маленкова, и Берию, ежедневно общаясь с ними, отец видел: Маленков уже не тот, что в марте, и тяготится зависимостью от Берии, и откровенно боится его. Боится, но ничего не предпринимает и ничего не предпримет. Его надо подтолкнуть. Но как? Поставь вопрос в лоб, он может из трусости донести «хозяину», а это конец.

Отец подошел издалека, поднял, казалось бы, абстрактно-процедурный вопрос ведения заседаний Президиума ЦК. Он предложил Маленкову не сразу голосовать, предложение, а, соблюдая демократию, дать коллегам по коллективному руководству высказаться, может быть, покритиковать выступившего. Фамилий отец не называл, но что речь идет о Берии, догадаться было нетрудно. Маленков не возразил. Тогда

отец уже напрямую заговорил о Берии и предложил: «Мы с тобой составляем повестку дня заседания Президиума. Давай поставим острые вопросы, которые, с нашей точки зрения, неправильно вносятся Берией, и станем возражать ему. Я убежден, что мы тем самым мобилизуем других членов Президиума». Маленков согласился, я был, честно говоря, и удивлен, и обрадован… На одном из заседаний мы аргументированно выступили против… Другие тоже нас поддержали, и идеи Берии не прошли. Так получилось подряд на несколько раз. После этого Маленков обрел надежду, что оказывается с Берией можно бороться… Мы увидели, что и Берия стал форсировать события».

Как понимать слова о форсировании Берией событий? Готовил ли Берия государственный переворот? В прямом смысле этого слова — навряд ли. И уж точно он не собирался арестовать весь состав Президиума ЦК 27 июня 1953 года в Большом театре на опере А. Шапорина «Декабристы». О такой возможности пишут некоторые историки, забывая, что и Сталин, и Берия арестовывали своих жертв поодиночке, по ночам, а не скопом в людном месте. И не к чему Берии устраивать классический переворот, если власть в стране и так в его руках? Он, естественно, планировал «смену состава» в Президиуме ЦК, но со временем и постепенно.

Не двигал Берия к Москве и дивизии МВД. Это тоже, на мой взгляд, выдумка историков. Какие еще дивизии, если в самой Москве дислоцировалась самая преданная дивизия имени Дзержинского?

К захвату власти Берия готовился исподволь, принимал свои меры. В недрах своего ведомства он, втайне от Президиума ЦК, создал 30 мая 1953 года особый, подчиненный непосредственно министру, то есть ему самому, 9-й разведывательно-диверсионный отдел, так называемое Бюро специальных заданий. Его начальником назначили генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, разведчика-террориста, начавшего свою карьеру в тридцатые годы убийством в Германии одного из лидеров украинских националистов Коновальца, а позднее устранившего самого Льва Давидовича Троцкого.

«Я должен был иметь в своем распоряжении бригаду спецвойск особого назначения, и получил возможность мобилизовать все силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций», — спустя десятилетия вспоминает генерал Судоплатов.

Берия, как это можно понять даже через полувековую завесу времени, доверял Судоплатову настолько, насколько он вообще доверял кому-либо. Судоплатов служил ему верой и правдой, еще

раз доказал свою преданность «хозяину» в 1952 году, по ходу мингрельского дела. Я уже писал о нем. «На случай чрезвычайных ситуаций» Берия не мог подобрать лучшей кандидатуры. Судоплатов срочно вызвал в Москву лучших профессионалов, «специалистов по разведке и партизанским операциям», показавших класс не на одной «ликвидации», в том числе Наума Эттингтона, одного из его соратников в ликвидации Троцкого.

В своих мемуарах генерал Судоплатов уверяет, что его спецотдел не имел ничего общего с планами Берии, да и планов Берия никаких не вынашивал, ориентировал спецотдел на диверсии в странах НАТО, и только в случае войны.

У меня нет оснований не верить генералу Судоплатову, так же, как и верить ему. Берия не посвящал его в свои политические планы, но Судоплатов так много и подробно пишет о подготовке в июне 1953 года нападений на натовские базы в Европе, что поневоле начинаешь сомневаться. Скорая война против НАТО в планы Берии не входила, иначе бы он не жертвовал Восточной Германией ради умиротворения Запада. Нет, в те дни Берию тревожили не натовские дела, а ближайшие соратники…

Одновременно с созданием спецподразделения ликвидаторов-убийц, Берия восстановил «Лабораторию Х». Ее когда-то создали по прямому решению правительства (то есть Сталина) и возложили на нее разработку ядов для устранения неугодных лиц. Возглавил лабораторию полковник медицинской службы Майрановский. В 1937–1947 годах и в 1950 году Сталин время от времени пускал в дело наработки лаборатории Майрановского. В 1951 году сверхподозрительный Сталин Майрановского арестовал. Судоплатов пишет, что после смерти вождя Берия решил освободить Майрановского, но не успел. Он так же утверждает, что его, Судоплатова, власть на «Лабораторию Х» не распространялась. Разумно, Берия предпочитал замыкать на себя как Майрановского с его ядами, так и Судоплатова с его ликвидаторами. Позднее, уже после ареста Берии, отец рассказывал: все они, члены Президиума ЦК, висели на волоске, а «ножницы Судоплатова» держал в своих руках Берия. Когда в Президиуме ЦК узнали о спецотделе, о «Лаборатории Х» и совершенных ими операциях, то «ликвидаторов» во главе с Судоплатовым изолировали.

В июне 1953 года отец, как и все остальные члены Президиума ЦК, ничего не знал о создании «нового структурного подразделения» МВД, но он интуитивно ощутил, что промедление смерти подобно и решил идти ва-банк, напрямую поговорить с Маленковым. О том, что пришла пора от Берии избавиться, они с Булганиным обсудили все раньше и пришли к

согласию. Вот только без Маленкова их согласие мало что значило. Начиная разговор с Маленковым, отец волновался, но тот легко согласился: «С Берией надо что-то делать». Так возникла инициативная «тройка» — Хрущев, Булганин, Маленков. После согласия Маленкова отец уже почти не сомневался в успехе, все остальные члены Президиума ЦК Берию ненавидели и боялись, сомнение вызывал только Микоян, никогда не знаешь, что у него на уме.

Отец договорился с Маленковым и Булганиным поодиночке прощупать членов Президиума. Как поступить с Берией, арестовывать его или нет, они не решили, но в душе понимали, что оставлять его на свободе смертельно опасно, правда, слово «арест» пока не произносили.

День за днем

Не могу сказать, что я догадывался о происходившем, все вершилось в глубокой тайне. К тому же в мои восемнадцать лет меня больше интересовали друзья и наступавшие каникулы. А что там происходит за кремлевскими стенами? Что надо, то и происходит. А происходило многое.

После смерти Сталина страна начала меняться, сначала еле заметно, а затем все быстрее. Сталина поминали часто, но без былого придыхания. В газетах печатали такое, о чем год назад и помыслить не могли. И не печатали то, чем еще несколько месяцев назад полностью были забиты их полосы. Практически перестали клеймить сионистов и безродных космополитов, а ведь еще в январе 1953 года ведомственная типография МВД отпечатала и распространила брошюру на тему: «Почему евреев следует переселить из городов в сельскую местность?»

На финишную прямую вышли буксовавшие последние месяцы переговоры о заключении мира в Корее, начался обмен пленных, гражданских и военных.

1 апреля объявили об очередном снижении цен. К нему привыкли и его ждали.

25 апреля «Правда» опубликовала полный текст недавнего выступления президента США Эйзенхауэра в Национальном пресс-клубе.

11 мая без купюр, напечатали выступление Черчилля в Палате общин Великобритании. Новое советское

руководство демонстрировало явное стремление начать диалог с Западом.

В первой декаде июня крейсер «Свердлов» прибыл в Великобританию для участия в параде в честь коронации Елизаветы II. Это первый такой визит после начала холодной войны.

25 июня объявили подписку на очередной Государственный заем развития народного хозяйства на сумму 15 миллиардов рублей. Добровольно-принудительно подписывались все, в том числе и мы, студенты, отдавали месячный заработок, порой два, иначе сумму в 15 миллиардов со скудных зарплат тех лет (в 400–500 рублей) не собрать. Займы ввели Постановлением Совнаркома 1 июля 1940 года. Считалось, что эти деньги помогут ускоренному росту экономики, страна станет богаче и без труда вернет заем. Сроки погашения установили в двадцать лет. Отечественная война смешала планы, деньги пошли не на развитие экономики, а на разгром врага, потом на восстановление разрушенного войной. Сумма займов год от года росла. Одновременно росла и сумма выплат за выигрыши, разыгрываемые несколько раз в году по облигациям займа. К 1953 году суммарные выплаты приблизились к сумме ежегодных заимствований. Государственный заем все больше походил на финансовую пирамиду.

В Москве достраивали высотки, и не только высотки. Газеты отрапортовали: за 1952 год жилья сдали почти в два раза больше, чем в 1949 году.

114 дней Лаврентия Берии (Окончание)

Антибериевский заговор вошел в заключительную фазу в период берлинских событий. Отец, Маленков, Булганин поодиночке переговорили со всеми членами Президиума ЦК, с «болотом». Все они, еще вчера и даже сегодня безоговорочно поддерживавшие Берию, с готовностью присоединились к отцу и его союзникам. Молотов пошел дальше всех, настаивал не просто на отстранении Берии от власти, но на его немедленном аресте. Собственно, арест напрашивался сам собой. Они ощущали себя заложниками Берии: стоит ему мигнуть, и их собственная охрана, подчинявшаяся непосредственно Берии, немедленно арестует своих охраняемых. Плюс в распоряжении Берии полк охраны Кремля, плюс дивизия имени Дзержинского, плюс, плюс, плюс…

Не допуская возможности покушения на собственную власть, Берия проглядел или не обратил внимания на подозрительную активность отца и иже с ним. В июне он продолжил чистку МВД в Москве и республиках, начали шерстить и зарубежную агентуру. Увольняли всех заподозренных в нелояльности новому «хозяину». В одной только ГДР из 2 800 сотрудников советской разведки и контрразведки заменили 1 700 человек.

Региональные управления МВД получили указание собирать информацию о деятельности местных администраций и по секретным каналам связи МВД пересылать ее Берии. Начальник 1-го спецотдела МВД Александр Семенович Кузнецов уже во время суда над Берией сообщил: «Берия приказал мне связаться со всеми начальниками управлений МВД и передать им его указание сдать на хранение в центр оперативно-агентурные материалы, собранные на руководящих работников, партийных и советских органов, в том числе на руководителей партии и государства. Такие материалы мы получили, составили опись, которую к 25 мая вместе с рапортом на имя Берии передали Заместителю министра Богдану Кабулову».

Однако не все начальники управлений «честно» выполнили приказ Берии. С мест те, кого еще не успели вычистить, звонили в ЦК, жаловались, предупреждали: что-то затевается. Одного такого не вычищенного Берией начальника управления внутренних дел Львовской области генерала Тимофея Амвросиевича Строкача отец упоминает в своих воспоминаниях. Получив по своей линии приказ собирать компрометирующие материалы на местных советских и партийных руководителей, он отказался его выполнять без санкции секретаря обкома. «Тогда Строкачу

позвонил Берия и сказал, что если он станет умничать, то превратится в лагерную пыль». Строкач угрозы не испугался и обо всем доложил секретарю обкома Зиновию Тимофеевичу Сердюку. Зиновий Тимофеевич немедленно позвонил Хрущеву.

Отец знал Сердюка с 1938 года. Тогда в обезлюдевшем после арестов 1937 года Киеве отцу пришлось одновременно возглавлять республиканский ЦК, правительство и Киевский обком партии. В обкоме ему приглянулся тридцатипятилетний смышленый, расторопный Сердюк. Он стал правой рукой отца, а на следующий год его избрали Секретарем Киевского обкома. С тех лет они дружили. «Сигнализировал» в Москву к тому времени уже уволенный Берией министр МВД Белоруссии Баскаков.

Какие-то историки не находят в приказе Берии особой крамолы, на то они и госбезопасность, чтобы собирать, накапливать в своих архивах различные сведения. При этом забывается или умалчивается, что тем самым Берия продолжал сталинскую методу руководить страной не в соответствии со сложившейся властной иерархией, а посредством «органов», когда глава местных органов госбезопасности, по существу, довлел и над партийной, и над советской властью. Здесь принципиальное расхождение Берии и Хрущева, который хотел сломать такую схему и в соответствии с Уставом партии и Конституцией страны вернуть утерянные полномочия обкомам, а через них и Советам.

Если во главе региона, республики, страны стоит полицейский — это полицейская диктатура. Если воинский начальник — это диктатура военная. Пусть и формальный переход власти к выборному, беспартийному или даже партийному органу, даже при тогдашней безальтернативности выборов, — это первый шаг к демократии. Еще не демократия, а только шаг к ней, но без него нечего и думать о преобразовании диктатуры в нечто цивилизованное.

Отец твердо намеревался такой шаг сделать и в этом кардинально расходился с Лаврентием Павловичем.

Стекавшаяся к отцу информация день ото дня становилась все тревожнее, убеждала, что необходимо действовать, и как можно скорее. В Президиуме ЦК он пришел к соглашению со всеми, кроме Микояна, но требовались еще хоть пара дней для последних приготовлений. Требовалась и особая осторожность, в «дело» вовлекалось все больше людей, отец опасался, как бы Берия чего-то не заподозрил.

Помогли волнения в Германии, Берия занялся наведением порядка в Берлине. Помнится, он даже летал туда. В 1953 году я не мог знать о планах Берии, и отец о его «командировке» в Берлин ничего не говорил. Однако слухи в то время или позднее

ходили. Поэт-сталинист Феликс Чуев в своих записях «застольных бесед» с Молотовым приводит слова Вячеслава Михайловича: «Может быть, перед этим Берия был в Берлине на подавлении восстания, — он молодец в таких случаях… Возможно, он вылетал туда, этого я не знаю, не помню…»

Вот и Молотову «кажется», но и он точно не помнит. Исключать вероятность поездки Берии в Берлин я не стал бы, но рассекреченные архивы свидетельствуют: Берия в Берлине не появлялся, послал туда специальную группу во главе со своим заместителем, главой военной контрразведки Сергеем Гоглизде. Можно предположить, что имя Берии запретили упоминать. Вот оно и не попало в документы. Не знаю. Предполагать можно все…

Так или иначе, к 26 июня приготовления подошли к концу. Берию решили арестовать в Кремле на рутинном заседании Президиума Совета Министров. Его обычно проводили по пятницам. На сей раз договорились, что сразу по открытии его объявят заседанием Президиума ЦК. Для этого в Кремль, под предлогом обсуждения относящихся к ним вопросов пригласили членов Президиума ЦК, обычно в заседаниях Совета Министров не участвовавших. Утром того дня Булганин в своей машине провез в Кремль, тайно, с оружием, так чтобы охрана ничего не заподозрила, группу верных им с отцом военачальников во главе с командующим ПВО Москвы генералом Москаленко, человеком исключительной, но не безрассудной храбрости, и заместителем министра обороны маршалом Жуковым (напомню, что после сталинской «высылки» сначала в Одесский, а затем и в Уральский военный округ Г. К. Жуков был возвращен в Москву и назначен первым заместителем министра обороны по инициативе Хрущева).

Москаленко, как и все генералы, органы не любил, всю войну провоевал с отцом. Отец посчитал, что ему можно довериться в таком деле. Жуков люто ненавидел Берию, считал его не только одним из инициаторов своей послевоенной опалы, но и палачом, по чьей вине погибали в тюрьмах до войны, во время войны и теперь, в мирное время, высокие военные чины, и не только генералы. Жуков с Москаленко прихватили с собой еще несколько преданных генералов и полковников. Всех с оружием. Казалось, предусмотрели все, но отец нервничал. Уезжая в то солнечное теплое июньское утро на заседание Президиума ЦК, он положил в карман пистолет. На всякий случай. Изменив своим привычкам, он также сменил обычный лимузин на бронированный. Тоже на всякий случай. От обычной утренней прогулки в тот день отец отказался и попросил ему не мешать.

Рано утром к нему приехал Микоян. Они более двух часов

уединенно просидели в саду на скамеечке, о чем-то оживленно разговаривали. Я их наблюдал с веранды дачи.

Отец намеренно отложил разговор с Микояном на последний момент, чтобы потом не выпустить его из-под контроля до самого заседания. Отец хорошо изучил Анастаса Ивановича, ценил его ум и принципиальность, причудливо сочетающиеся с необычайной изворотливостью. На кого ставит Микоян? Ответа не знал никто, кроме самого Микояна. Отец опасался, вдруг Анастас Иванович не согласится с арестом Берии. Вдруг он переметнется на его сторону, и тогда все пропало. Шанс такого развития событий невелик, но все же… Нельзя допустить даже малейшей возможности провала. Отец оказался прав, Микоян не возражал, но и не соглашался, считал, что «Берия действительно имеет отрицательные качества», но — он «не безнадежен, в составе коллектива может работать». Это была совершенно особая позиция, которую никто из нас не занимал, и она очень беспокоила отца, но «пора было кончать разговор, времени оставалось только на то, чтобы прибыть на заседание. Мы уселись вместе в машину и уехали в Кремль. Перед началом заседания Микоян зашел в свой кабинет…»

Анастасу Ивановичу разговор в саду на даче в Усово запомнился несколько иначе.

«Я слушал внимательно, — пишет Микоян, — удивленный таким поворотом дела и спросил: “А как Маленков?” Хрущев ответил, что Маленков на его стороне. Я с трудом ему поверил, — продолжает Анастас Иванович, — Маленков — игрушка в руках Берии, фактическая власть не у Маленкова, а у Берии, то как же Хрущев его переагитировал?»

Микоян согласился с освобождением Берии с поста руководителя госбезопасности, из заместителей главы правительства и поинтересовался: «Что вы хотите с ним делать дальше?» — «Назначим его министром нефтяной промышленности», — ответил Хрущев.

«Я одобрил это предложение, — продолжает развивать свою версию разговора Микоян, правда, добавил, в нефти он мало понимает, но организатор, как показала война и послевоенный период, хороший. В коллективном руководстве он сможет быть полезным. Что касается перевода Берии в нефтяную промышленность, то, скорее всего, Хрущев сказал мне это нарочно», — предполагает Анастас Иванович.

И правильно предполагает. Слова Микояна о полезности Берии в будущем коллективном руководстве отца просто перепугали. Но дело сделано, оставалось дожидаться начала заседания Президиума ЦК.

По приезде в Кремль Микоян один зашел к себе в кабинет, отец занервничал: а что если Микоян сейчас снимет трубку и позвонит Берии? Не позвонил.

Я не стану пересказывать, как арестовывали Берию, так же, как не пересказывал все перипетии разговоров отца с членами Президиума ЦК при подготовке акции. Я там не присутствовал, а о тех драматических днях и часах написано все, что возможно, как участниками событий, так и теми, кого там и близко не было. Мне добавить нечего. Наиболее достоверным я считаю рассказ отца, он повторял его многократно и единообразно, и, что особенно ценно, по горячим следам, когда все еще было свежо в памяти. Остальные свидетели и несвидетели описывали происходившее спустя почти полвека. За десятилетия в памяти многое искажается и одновременно подстраивается под современное, «правильное» толкование прошлого.

Скажу только, что все произошло на удивление спокойно и буднично. Никто за Берию не вступился. Его отвезли сначала в Московскую гарнизонную гауптвахту, а оттуда — в штабной бункер Москаленко, где соорудили нечто вроде временной тюрьмы. Москвичи среагировали на еще не объявленный официально арест Берии своеобразно, решили, что грядет грабительский обмен денег, как в 1947 году, десять к одному или того похуже. Началась паника.

«Ни к одной сберкассе нет доступа, — записал в дневнике писатель Корней Чуковский. — Хотел получить пенсию, не смог, на телеграфе в очереди к сберкассе пять тысяч человек. Закупают всё — ковры, хомуты, горшки. Исчезло серебро. В магазине роялей возмущаются: “Что за черт, не дают в одни руки три концертных рояля”. В метро и трамваях придерживают сдачу. Столица охвачена безумием, как перед концом света».

28 июня министр финансов Зверев в «Правде» увещевал читателей, что менять деньги никто не собирается. Ему, естественно, не поверили, но деньги остались прежними, и паника постепенно улеглась.

В июле 1953 года собрали Пленум ЦК. На нем присутствующие дали волю своим чувствам. Особенно честили Берию военные, и первый среди них — Жуков. Через полгода, в декабре, Берию и его ближайших подручных судили по Указу от 1934 года, принятому после убийства Сергея Мироновича Кирова и вводившему ускоренное и до предела упрощенное судопроизводство. Официальные обвинения тоже предъявили, следуя сталинско-бериевскому трафарету. Берии вменили в вину мыслимые и немыслимые грехи, вплоть до шпионажа в пользу Англии.

В признании Берии английским шпионом скрывается горькая ирония. В хорошем настроении Лаврентий Павлович любил рассказывать байку, как в августе 1941 года Сталин вдруг заинтересовался: «Где генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков?»[13]

— Сидит, — улыбнулся Берия. — Признался, что шпионил на Англию.

— Какой он шпион? — показушно возмутился Сталин. — Война идет, а он сидит. Мог бы фронтом командовать. Вызовите Мерецкова и поговорите с ним.

Измордованного и униженного Мерецкова привезли на Лубянку, привели в кабинет Берии. Берия любезно предложил генералу не стул для допросов, а кожаное кресло. Тот покорно сел и уставился в пол.

— Мерецков, какие глупости ты написал, — с садистской веселостью завел разговор Берия. — Какой ты шпион? Ты честный человек.

— Я все сказал, — не поднимая глаз отвечал генерал. — Я собственноручно написал: «Я английский шпион. Зачем вы меня снова допрашиваете?»

От этого разговора Мерецков не ожидал ничего хорошего, что-то у них тут поменялось, жди новых зуботычин и пыток. Он решил стоять на своем.

— Это не допрос, — потешался Берия. — Ты не шпион. Ступай в камеру, посиди, подумай, поспи. Я тебя еще вызову.

«На второй день я снова вызвал Мерецкова, — рассказывал Берия. — Спрашиваю его: “Ну как, подумал?” Он стал плакать, признался наконец, что он не английский шпион. Его выпустили, одели в генеральскую форму и отправили командовать фронтом в Ленинград».

И вот теперь Берию самого судили как английского шпиона. Приговорили его к смерти, конечно, не за шпионаж, а за то, о чем в тот 1953 год боялись даже заикнуться. В приговоре нет ни слова об арестах и пытках, о подозрениях в заговоре против существующей власти.

В осуждении Берии по Указу от 1934, с помощью которого он сам отправлял на смерть и страдания тысячи и тысячи людей, мне видится некая историческая закономерность и справедливость. После Берии его уже не применяли ни к кому.

Расстрел Берии — тоже последнее жертвоприношение сталинской эпохе, совершенное сталинскими же методами, но во имя очищения от сталинизма. Кровавая эпоха завершилась судом над кровавым палачом по правилам, установленным им же.

После оглашения приговора, как тогда рассказывал отец,

генералы даже поспорили за право привести его в исполнение немедленно.

Право расстрелять Берию предоставили генералу Павлу Батицкому, человеку богатырского сложения, своими ручищами он мог запросто задушить, разорвать недавнего вершителя человеческих судеб. «Присутствовали члены суда Николай Александрович Михайлов, первый секретарь Московского обкома партии; Николай Михайлович Шверник, Председатель ВЦСПС; Роман Андреевич Руденко, Генеральный прокурор СССР; генерал Москаленко с адъютантом, сам Батицкий, еще кто-то, — вспоминал через почти полвека комендант Московского округа ПВО майор Хижняк. — Врача не было. Стояли они метрах в шести-семи. Батицкий достал “парабеллум” и выстрелил Берии прямо в переносицу».

О содеянном генерал Батицкий никогда не сожалел.

Так закончилась эпоха Берии.

60 лет спустя

Некоторые современные историки представляют инициативы Берии началом реформ, поворотом от кровавой диктатуры к умеренно-демократическому управлению. На чем они основываются? В том-то и дело, что в обоснованиях они не нуждаются. Нереализованное будущее — благодатный материал в руках наделенных фантазией, историков, его можно лепить, как заблагорассудится. Доказывать что-либо бессмысленно. Фантазии — на то и фантазии, чтобы не требовать доказательств. Эти люди творят свою, альтернативную историю.

Я не могу себе представить Берию демократом. Антисталинистом? Безусловно, да. Сталина он ненавидел. Реформатором? Возможно, но очень своеобразным реформатором. А вот демократом — никогда. Естественно, что это всего лишь мое мнение, но мнение человека поколения, кое-что повидавшего, воспринимающего события тех лет изнутри как часть своей собственной судьбы.

Человек умный и хитрый, Берия понимал, что без временных послаблений ему власть не удержать. Да и опыт такой уже у Берии поднакопился. После низвержения Николая Ежова и воцарения в 1938 году на Лубянке Берии Сталин на время ослабил репрессии, дал стране глоток воздуха, чтобы потом с новой силой взяться за старое.

Да, Берия развенчал бы Сталина, попытался бы договориться с Западом, но он не занялся бы строительством пятиэтажек и вообще жилья, целиной, — судьба и жизнь людей его

интересовали, если они оказывались ему полезны. Как и Сталин, Берия относился к людям как к строительному материалу. Раньше или позже, а вернее, в точно рассчитанное время, он начал бы сгонять народ в новые концлагеря, превращать «человеческий материал в лагерную пыль».

Последнее время стало модным повторять, что все они там, наверху, одним миром мазаны, одинаково народной кровью запачканы. Это так и не так. Сталин старался повязать кровью всех своих соратников, заставлял всех «вкруговую» подписывать расстрельные списки. На заседании Политбюро Сталин расписывался первым и пускал лист с перечнем обреченных по кругу. Попробуй не подпиши! Не расписывались только те, кто по счастливой случайности в тот день отсутствовали. В этом смысле отцу повезло, в период работы в Москве он до Политбюро не дорос, а после переезда на Украину в большинстве заседаний не участвовал. В результате его подписи на расстрельных постановлениях нет.

Но подпись под приговором еще не главное, внутреннее содержание человека проявлялось не в коллективе, а когда он действовал в одиночку. Одни из соратников Сталина по мере возможностей не усердствовали, старались смягчить репрессии, к их числу принадлежал и отец. Другие, особенно Каганович и Молотов, услышав команду «Фас!», в угоду «хозяину» проливали море крови, даже много больше, чем от них требовали. Но только Берия наслаждался, лично пытая, избивая арестованных, особенно своих недавних друзей и знакомых. Таким был его образ жизни и его способ управления страной — через страх и пытки, пытки и страх. На этом он вырос и к этому не мог не вернуться. Дело тут, как мне представляется, не в политической целесообразности, а в патопсихологии.

Никита Сергеевич и Георгий Максимилианович

Итак, в день ареста Берии началась эра Хрущева. Главенство отца обозначилось сразу. Теперь при разъезде с различных мероприятий отцу подавали первому ЗИС, остальные члены Президиума ЦК толпились рядом, пожимали ему на прощание руку. Дверца лимузина захлопывалась, и только тогда разъезжались остальные. А вот в газетных публикациях тогда еще не перешли к упоминанию фамилий членов Президиума ЦК в алфавитном порядке, отец оставался на третьем месте, после главы правительства Маленкова и партийного старожила Молотова. По существу это ничего не значило. Только вводило в заблуждение зарубежных советологов, вычислявших расстановку

в советской иерархии по тому, кто рядом с кем стоит во время праздничных демонстраций на Мавзолее и в каком порядке перечисляют в газетах имена советских лидеров.

С исчезновением Берии Маленков буквально прилип к отцу. Продолжались наши совместные семейные прогулки, правда, теперь не по улицам Москвы. Их обоих начинали узнавать, набегала толпа, пожимали руки, передавали письма, что-то выкрикивали, что-то просили. Гуляли за городом. Если раньше мы заезжали к Маленкову, то теперь он сам все чаще приезжал в Огарево, вместе с отцом наблюдал за закладкой на зиму силоса в Усовском колхозе, присев на корточки и прищурив глаз, выверял параллельность рядков квадратно-гнездовой посадки картошки и кукурузы. Затем они прогуливались по окружавшим дачу заросшим березняком пригоркам, походя обсуждали происшедшие за день события, о чем-то договаривались, прикидывали, что обсудить на еженедельном, проводимом по четвергам, заседании Президиума ЦК. Маленков пока еще председательствовал, но повестку дня определял теперь отец. Конечно, не всю повестку. Она включала до семидесяти пунктов, в том числе вопрос назначения на не очень значительные должности, командировок за рубеж… Повестку дня в целом собирал воедино аппарат, докладывал Хрущеву и после его одобрения рассылал участникам заседания. Во время прогулок теперь больше говорил отец. Маленков внимательно слушал, периодически поддакивал. С каждым днем тон отца становился все более менторским, а Маленков все заметнее превращался из собеседника в слушателя. Происходившая метаморфоза, казалось, его абсолютно не тяготила, более того, устраивала. Наверное, так это и было, всю свою карьеру Георгий Максимилианович никогда ничем не руководил, всегда служил при ком-то: заведовал кадрами при Сталине, охотно записывал в блокнот произносимые вождем слова. Сначала они конкурировали с Молотовым, но Маленков постепенно оттеснял патриарха.

После XIX съезда партии на посиделках у Сталина он остался единственным «летописцем».

Я совсем не хочу представить Маленкова техническим секретарем. Человек умный и изворотливый, он интриговал, нередко побеждал в аппаратной борьбе. Достаточно вспомнить так называемое «Ленинградское дело». Тогда он и Берия, вернее Берия и он, ловко «устранили» из сталинского ближнего круга быстро набиравших силу Кузнецова и Вознесенского. Однако когда приходила пора принимать самостоятельные, особенно рискованные, решения, Маленков пасовал, инстинктивно искал выход в консенсусе, вычислял большинство и присоединялся к

нему. Большинство заменяло ему спину «хозяина». Консенсус хорош, когда в стране ничего менять не требуется. Поиск консенсуса в условиях перемен — смерти подобен. Лидер перестает лидировать, плетется в хвосте изменчивых настроений большинства и неизбежно терпит поражение.

Послесталинский Советский Союз нуждался же не просто в реформах — в перестройке экономики страны, государственного устройства и всего общества. В таких условиях от лидера требуется не просто понимание, что и как надо делать, но убежденность в правильности избранной стратегии, твердая воля в проведении ее в жизнь, способность быстро ориентироваться в меняющейся обстановке. Настоящий лидер не уповает на консенсус, а, уверенный в собственной правоте, увлекает людей за собой. Именно в этом главное отличие Хрущева и Маленкова. Маленков мог бы стать хорошим руководителем стабильной и благополучной страны, где от него требовалось бы одно: не навредить. В бурном море реформаторства такой кормчий неизбежно гибнет сам и увлекает в пучину доверившуюся ему страну. Все это россияне испытали на собственной шкуре во времена Горбачева: бесконечные метания, боязнь ответственности, страх перед принятием решений, утеря контроля над страной и, естественно, печальный конец.

По какому-то наваждению российская история XX века заплутала, каждый раз повторяет ранее совершенные ошибки. В двадцатом веке России «везло» на таких «вождей», начиная с председателя Временного правительства в 1917 году, честолюбивого юриста и краснобая Александра Федоровича Керенского. Отличный оратор, но в то же время никчемный руководитель, он постоянно искал консенсус с левыми, правыми, со своими генералами, с политиками Антанты и говорил, говорил, говорил. За что, переделав титул Главнокомандующего, его стали называть «Главноуговаривающим». Так Керенский договорился до полного развала власти, потери контроля над страной и армией и, как следствие, — потери самой страны.

Если приглядеться, то перестройка — это зеркальное отражение Февральской революции 1917 года, то есть когда левое становиться правым, а правое — левым. Как Керенского, так и Горбачева роднит их стремление к косметическому реформированию, тогда как «ведомый» ими народ жаждет не ремонта, а полного преобразования. Взаимонепонимание власти с обществом обрекает и власть, и общество на поражение. Так случилось в 1917-м и повторилось в 1991 году. Горбачев проиграл Ельцину точно так же, как Керенский проиграл Ленину, только потому, что не мог не проиграть. Он мог, конечно, проиграть и не

Ленину в октябре 1917-го, а генералу Лавру Корнилову еще раньше, в августе. Тогда бы история России пошла бы по иному руслу, но судьба самого Керенского не изменилась бы. Главнокомандующий, не способный к главнокомандованию — что может быть печальнее для страны?

В 1953-м чаша сия нас миновала во многом благодаря Маленкову. В отличие от Горбачева с Керенским, он интуитивно ощущал свою неспособность к лидерству, сторонился реальной власти. Именно поэтому он сначала примкнул к Берии, а почувствовав опасность, переметнулся к Хрущеву. И вот теперь он с готовностью во всем соглашался с отцом. Иногда во время наших прогулок или домашних посиделок Валерия Алексеевна, жена Георгия Максимилиановича, женщина решительная, властная и умная, затевала обсуждение какой-то проблемы, Георгий Максимилианович соглашался и с ней.

Стало модным рассуждать об альтернативном будущем, разыгрывая партию за проигравшую игру сторону. Фантазеры-историки, фантазеры-писатели придумывают, как бы мы жили при «реформаторе» Берии? Или при реформаторе Маленкове? Или при Жукове? Естественно, хочется, чтобы жили лучше, чем получилось, хочется чуда, сказки. Но если хоть чуть-чуть приглядеться к реалиям действительности, то при Берии мы бы жили в ГУЛАГе, при Жукове — в казарме или, не дай бог, в окопах. Жукова любят сравнивать с американским генералом-президентом Эйзенхауэром, но Эйзенхауэр был человеком мягким и дипломатичным. Жуков же, если искать ему американского двойника, скорее похож на генерала Дугласа Мак-Артура, а его прихода в Белый дом в США боялись пуще чумы, и к власти не допустили. Как бы жили при Маленкове, страна узнала по горбачевской перестройке. А при Хрущеве мы жили так, как прожили.

Тяга Маленкова к постоянному контакту с Хрущевым проявлялась даже в мелочах. Наши дачи располагались неподалеку, на машине — минут пять-десять, но Георгий Максимилианович стремился к еще большей близости. Вскоре после ареста Берии, во время одной из прогулок он завел разговор: насколько удобнее было бы, если бы обе дачи соседствовали забор в забор.

— Можно пройти друг к другу так, что никто и не узнает, — фантазировал Маленков, — постучался в калитку — и ни тебе шоферов, ни охранников.

В те дни над членами Президиума ЦК еще довлела тень Берии, пугала зависимость везде и во всем от органов. Избавиться от соглядатайства, конечно, невозможно, иначе пришлось бы

отказаться и от охраны. Маленков это понимал, но психологически поблизости от отца ощущал себя в большей безопасности.

Отец слушал Маленкова не перебивая: верный признак, что разговор его не заинтересовал.

— Твоя дача занимает большую территорию, — разглагольствовал Георгий Максимилианович, — можно отгородить дальний угол, сделать отдельный въезд, а между дачами, твоей и моей, поставить символический заборчик из штакетника. Возникнет необходимость посоветоваться, вышел из дома, никому ничего не говоря, откинул щеколду на калитке, постучал в дверь к соседу и обсуждай что хочешь и сколько хочешь.

— Конечно, Георгий, мысль хорошая, — равнодушно согласился отец и добавил какие-то еще ничего не значащие слова.

Мне затея Маленкова не понравилась. В дальнем углу не столько парка, сколько леса, он был настоящим парком, видимо, во времена, когда тут жил великий князь Сергей, росли грибы, в сентябре созревали орехи. Теперь орехи с грибами отходили к соседям.

Территорию дачи разгородили, сосны вырубили, провели дорогу и на обрыве над Москвой-рекой начали возводить дом в стиле помещичье-сталинского классицизма: фасад с колоннами, обширные террасы, стены внутренних помещений облицовывали деревом. В проектировании дачи активное участие принимали дочь Маленкова Воля и ее новый муж — оба архитекторы. Дачу, по аналогии с нашим «Огаревым» назвали «Новое Огарево».

Мечта Маленкова реализовалась не полностью — дачу построили, но к тому времени нужда в незаметных для посторонних глаз встречах отпала, сначала он потерял пост Председателя правительства, а затем, в 1957 году, и членство в Президиуме ЦК. Какое-то время дом пустовал. Затем ему нашли применение, там уединялись «авторские» группы работников ЦК, ученых, министров и их заместителей для написания особо важных бумаг, постановлений ЦК и правительства, отчетных докладов съездам партии и Пленумам ЦК. Калитка в штакетнике пригодилась. После работы отец нередко наведывался к «писателям», начиналось порой затягивавшееся допоздна обсуждение.

Кроме того, на даче принимали важных зарубежных гостей. Я запомнил приехавшего в июле 1959 года на открытие Американской выставки вице-президента США Ричарда Никсона. Два года спустя отец почти целый день просовещался в Ново-

Огареве с пресс-секретарем Белого дома Пьером Сэлинджером, другом президента Кеннеди и братом знаменитого американского писателя. Во время переговоров Сэлинджер непрерывно дымил сигарами, чем немало раздражал не переносившего табачный дым отца. Своих «куряк», он бы отправил отравлять воздух на балкон, но тут, соблюдая этикет, терпел.

Пришла пора прощаться, и отец вышел проводить гостя к машине.

— Одну минуту, — спохватившись, пробормотал он и, развернувшись, взбежав по ступенькам крыльца, скрылся в доме. Через пару минут отец возвратился, держа в руках узкую полированную деревянную коробку.

— Господин Сэлинджер, — хитро улыбнулся отец, — вы за день совершенно задымили меня своими сигарами.

Сэлинджер попытался оправдаться, но отец жестом остановил его.

— Вы — любитель сигар, и я слышал, что и господин Кеннеди ценит хорошие сигары. Я не курю, однако, сигары дарят и мне. Недавно мой друг Фидель Кастро прислал целую коробку. Вот я и подумал передарить их вам. У меня они пылятся без применения, а вы с президентом получите удовольствие.

Отец открыл крышку ящика. В нем аккуратными рядами лежали первоклассные кубинские сигары. На внутренней стороне крышки большие буквы выписывали по-испански: «Cuba libere».

У Сэлинджера загорелись глаза, из-за блокады острова уже больше года он не видел кубинских сигар. На надпись на крышке он не обратил внимания, подарок чисто личный.

Машина быстро домчала Сэлинджера до Внукова. В тот же день он приземлился в Вашингтоне. На аэродроме его ожидали, чтобы незамедлительно доставить в Белый дом. Через час Сэлинджер уже открывал дверь Овального кабинета.

Кеннеди попросил его подробно рассказать не только о содержании бесед с Хрущевым, но и о том, где встречались, как выглядел собеседник, улыбался ли или был настроен мрачно. Закончив доклад, Сэлинджер жестом фокусника достал из огромного портфеля коробку с сигарами и протянул ее Кеннеди со словами: «А вот, господин президент, нам с вами королевский подарок от Хрущева».

Кеннеди взял коробку, открыл плотно пригнанную деревянную крышку и побледнел. Затем оторопело перевел взгляд с надписи на внутренней стороне крышки на своего пресс-секретаря.

— Как вы пронесли *это* через таможню? — с ударением на «это» произнес Кеннеди.

— Вы шутите, господин президент, — улыбнулся тучный Сэлинджер. Я ваш пресс-секретарь. Какая таможня?

«Как он не понимает, — пронеслось в голове Кеннеди, — стоит прессе пронюхать об этих сигарах, и разразится грандиозный скандал. Мало того что президент США курит контрабандные сигары, полученные от премьера советского правительства, так еще эта надпись! Как он не понимает!..»

— Садитесь в машину, возвращайтесь в аэропорт, пройдите таможенный досмотр, как полагается по закону, — потребовал президент.

Двусмысленность ситуации Сэлинджер понимал не хуже президента, но сигары… Таких он не курил со времен Батисты. Кастро знал, что подарить Хрущеву. Выкурить их, и дело с концом.

— Господин пре… — начал было Сэлинджер, но взглянув на ставшего вдруг неприступным Кеннеди, осекся.

Сэлинджер вернулся в аэропорт, предъявил сигары таможеннику. Тот с любопытством заглянул в ящик и начал деловито оформлять конфискацию.

— Весь день я не мог забыть эти проклятые сигары, — рассказывал мне в 1994 году в США, в Брауновском университете, на конференции, посвященной 100-летию отца, постаревший, еще более располневший и так же дымящий сигарой Пьер Сэлинджер. — И на следующий день я думал о них. Наконец не выдержал, позвонил начальнику таможни, спросил, как они поступили с моими сигарами?

— Уничтожили согласно инструкции, — последовал стандартный ответ. Сэлинджеру ответ показался наглым.

— Конечно, уничтожили, не спеша, сначала одну, потом другую и так до последней, — при этом Сэлинджер, почти сладострастно задвигал губами, как бы попыхивая воображаемой сигарой.

Вскоре после ареста Берии Маленков предложил отцу переехать из квартир на улице Грановского в особняки. Он присмотрел два в переулках между Метростроевской и Кропоткинской улицами (ныне соответственно Остоженка и Пречистенка). Отец согласился. За переоборудованием особняков, как и за строительством Ново-Огарева, наблюдали Воля и ее муж. Через некоторое время мы поселились в Еропкинском переулке, а Маленковы — в Померанцевском. Оба участка, Маленковых и наш, сообщались через калитку в разделявшем их каменном заборе.

Затем неугомонный Маленков предложил новый переезд. Он задумал всех членов Президиума ЦК переселить в новые

двухэтажные особняки на Ленинских горах, напротив Мосфильма. Там и свободного места для прогулок больше, можно посадить деревья, проложить дорожки, да и на отшибе особняки будут меньше мозолить глаза москвичам. Воля с мужем традиционно приняли активное участие в проектировании резиденций. Каждый дом окружал миниатюрный парк. Со стороны улицы соорудили общую высокую каменную стену. Внутри участки разгораживались стандартными. выкрашенными в зеленый цвет деревянными заборами. В заборах прорезали калитки. Ох уж эти калитки. Теперь при желании могли общаться не только отец с Маленковым, но можно было собрать неофициальное заседание Президиума ЦК.

На Ленинские горы, в особняк номер 40, рядом с новым правительственным Домом приемов переселился Каганович. В следующем — обосновался Маленков. За ним — Хрущев, а дальше — Микоян и Булганин. Не все члены Президиума ЦК согласились покинуть центр города. Жившие в Кремле Климент Ефремович Ворошилов и Вячеслав Михайлович Молотов, оставшиеся бесквартирными после открытия в 1955 году территории Кремля для посетителей, переехали на улицу Грановского.

Правительственный поселок просуществовал около десяти лет, обитатели домов постоянно менялись, с потерей места в Президиуме ЦК приходилось освобождать государственную резиденцию. Москвичи иронически прозвали его «Колхозом “Путь к коммунизму”». После отставки отца Брежнев и его окружение покинули особняки, предпочли им квартиры во вновь построенных в центре Москвы элитных домах. Свое решение они объясняли скромностью и отказом от привилегий, но на деле ими двигали практические соображения. Квартиры, еще более шикарные, чем покидаемые особняки, в отличие от последних считались не государственной резиденцией, а навечно закрепленной жилплощадью.

Новые назначения

Вслед за арестом Берии начались перемены на всех этажах здания государственной власти. Новым министром внутренних дел назначили первого заместителя Сергея Никаноровича Круглова. Историки называют Круглова человеком Маленкова. Они действительно вместе немало работали, но я сомневаюсь, что Круглов, весьма сведущий в расстановке сил, всерьез ставил на Маленкова. С первого дня он начал искать подходы к отцу. Отец ему, видимо, не доверял. Кругловы жили на даче в Жуковке,

неподалеку от нас. У их дочери, кажется ее звали Лена, постоянно собиралась «золотая» и «позолоченная» молодежь. Затесался туда и я, хотя не принадлежал к их кругу. Дружба наша продолжалась совсем недолго, я не успел даже рассказать отцу о своем новом знакомстве.

В один летний вечер я в очередной раз отправился на велосипеде к Кругловым.

Не успел я отдышаться, как меня подозвали к «вертушке», звонил отец. Зачем я ему понадобился, сейчас не помню.

— Что ты там делаешь? — недовольно спросил отец.

— Ничего, — ответил я, недоумевая. Мы действительно ничего не делали.

— Раз ничего, то и нечего тебе там делать, немедленно возвращайся домой, — отрезал отец и бросил трубку.

Я не понял, почему он рассердился, а он явно был сердит. Извинившись, я подхватил свой старый, еще трофейный немецкий велосипед и покатил домой. По возвращении я немедленно предстал перед отцом. Он успокоился, однако подробно расспросил, как давно я стал бывать у Кругловых, что там мы делаем, как ведет себя хозяин дома?

— Больше туда не езди. Не надо, — сказал в заключение отец.

Больше я с Кругловыми не общался.

13 марта 1954 года большое МВД разделили на просто МВД, призванное заниматься охраной общественного порядка, и Комитет государственной безопасности, председателем которого назначили генерала Серова. Министром просто МВД еще пару лет оставался Круглов. 31 января 1956 года отец заменит его на своего старого знакомого, в недавнем прошлом заместителя председателя Моссовета, Николая Павловича Дудорова. Круглова же переведут заместителем министра строительства электростанций, видимо, с учетом его опыта. До последнего времени электростанции, особенно ГЭС, строили руками заключенных.

Сменили и Генерального прокурора, 30 июня 1953 года им назначили близкого к отцу по Украине Романа Андреевича Руденко. Произошли и другие изменения в руководстве страны, свидетельствовавшие, что реальная власть теперь перешла в руки отца.

Одновременно занялись и личным наследием Берии. После ареста его сейф опечатали. Разобраться поручили доверенному помощнику Маленкова Дмитрию Николаевичу Суханову, одновременно исполнявшему обязанности зав. канцелярией Президиума ЦК КПСС и тогда еще заместителю министра

внутренних дел Серову. Среди многого другого обнаружили заготовленные впрок папки «с провокационными и клеветническими данными на всех членов Президиума ЦК». Вряд ли в архиве Берии хранились какие-то страшные тайны, скорее всего, в папках «содержалась» смесь бытовых сплетен, записей подслушиваний и подглядываний. Тем не менее, посовещавшись, решили от греха подальше, чтобы ни сейчас, ни в будущем не сеять раздоры в руководстве, уничтожить их, не читая. В июле 1954 года бериевский архив сложили в одиннадцать мешков и сожгли, о чем составили соответствующий акт. При желании его можно отыскать в Кремлевском архиве. То, что бериевские папки никто не раскрывал, косвенно подтверждает и то, что слухов об их содержимом не возникало ни тогда, ни сейчас. Суханов дожил до ельцинских времен, охотно общался с историками и журналистами, комментировал события тех лет, но о папках Берии не проронил ни слова.

О других находках в кабинете и на квартире Берии Суханов докладывал Маленкову, тот пересказывал все отцу, а затем они вместе информировали остальных членов Президиума ЦК. Как выяснилось потом, Суханов некоторые «открытия» утаил. В частности, в одном из личных сейфов Берии он нашел кипы облигаций государственного займа — не того, на который ежегодно в обязательном порядке подписывали все взрослое население страны, а «золотого», трехпроцентного, чьи облигации свободно продавались и покупались, а три процента от вырученных сумм разыгрывались в виде призов, достигавших ста тысяч рублей. Немыслимо огромные деньги по тем временам. Суханов трехпроцентные облигации не внес в реестр изъятия, а потом и вовсе забрал домой. И надо же такому случиться, эти облигации оказались уворованными дважды. Трудно поверить, но Берия «заимствовал», по крайней мере часть из них, у своих коллег, его служба имела дубликаты ключей от всех правительственных сейфов, в частности от сейфа министра обороны Булганина. Преступление раскрылось случайно. Елена Михайловна, жена Булганина, женщина обстоятельная, до того как передать мужу на хранение в служебном сейфе купленные ею в сберкассе облигации, переписывала их номера. Так удобнее проверять выигрыши по публикуемой в газете таблице. Долгое время ей не везло, ничего ее облигации не выигрывали. И вот в начале 1956 года произошло невероятное событие: сверяясь с очередной таблицей выигрышей, Елена Михайловна обнаружила, что она выиграла, да не какие-то двести рублей, а сто тысяч. Даже для члена Президиума ЦК — сумма запредельная. Она немедленно позвонила мужу и попросила вечером принести

пачку облигаций домой. Николай Александрович полез в сейф и не обнаружил никаких облигаций. Куда они делись, он понятия не имел, но облигации пропали из сейфа в кабинете самого главы правительства. (Булганина назначили Председателем Совета Министров СССР в начале 1955 года.) Он немедленно позвонил отцу, затем — в КГБ Серову, началось расследование. Номер злополучной облигации сообщили во все сберегательные кассы страны.

Через несколько дней после публикации таблицы выигрышей облигация объявилась в одной из сберкасс, и не где-нибудь в глубинке, а в центре Москвы, на улице Горького. Предъявившая ее женщина держалась спокойно, не обеспокоило ее и сообщение, что деньги она получит через три дня, — облигация должна пройти проверку. Так всегда поступают при крупных выигрышах. Оставалось ждать. Через три дня женщина пришла за выигрышем. Ее задержали, проверили документы и ахнули, она работала в ЦК КПСС, в канцелярии Президиума, правда на незначительной должности. На вопрос, откуда у нее облигация, женщина сказала, что получить выигрыш ее попросил бывший сослуживец, ему самому в сберкассу идти неудобно. Имя сослуживца она не скрывала: товарищ Суханов, помощник Маленкова, а до 1955 года еще и заведующий канцелярией Президиума ЦК. Понятно, что такой человек сам по сберкассам ходить не станет. Милиционеры всполошились и доложили на самый верх. Оттуда последовала команда действовать по закону. Суханова арестовали. Он не отпирался. Состоялся суд. Приговор: «Тюрьма». Отсидев часть срока, Суханов в конце пятидесятых освободился по амнистии. В последующие годы где-то как-то работал, а в перестройку, и особенно после нее, стал охотно давать интервью, многозначительно намекая, что пострадал от Хрущева, сидел, конечно не уточняя, за что.

Вслед за Берией арестовали и некоторых его особо доверенных и, как тогда считали, опасных сотрудников. В их число попал и Судоплатов, человек с репутацией мастера покушений и убийств. Арестовали его превентивно, доказать участие Судоплатова в подготовке физического устранения соперников-соратников Берии по советскому руководству следствие не сумело. Оно и не удивительно, подобного рода поручения, не доверяются бумаге, их отдают устно с глазу на глаз, и только когда придет время. Мы не знаем и никогда не узнаем, получал ли Судоплатов команды от Берии или не успел. Тем не менее, его осудили на пятнадцать лет. Судоплатов отсидел свое от звонка до звонка, а освободившись, написал интересные мемуары, где, естественно, излагает свою версию происходившего

и, естественно, трактует прошлое в свою пользу.

Хлебные хлопоты

После смерти Сталина первейшей заботой отца стало сельское хозяйство, проблема, как накормить народ. Непомерные налоги на колхозы и индивидуальные подворья, неоправданно большие и одновременно почти бесплатные поставки государству (я уже писал о них), регламентирование всех и всяческих мелочей задавили колхозы и колхозников. Несмотря на оптимистическое заявление Маленкова XIX съезду партии в 1952 году, что зерновая проблема в стране решена (по его словам, зерна в том году произвели более 8 миллиардов пудов, но Маленков умолчал, что в плане стояло 9,2 миллиарда пудов, а статистический отчет зафиксировал валовой урожай в 5,6 миллиарда пудов), за хлебом, даже в Москве, с раннего утра выстраивались очереди. О российской глубинке и говорить нечего. Там в магазинах, кроме соли, спичек да, если повезет, водки вообще купить было нечего. Для страны, где голод обрушивался на ее граждан с завидной регулярностью, три-четыре раза в столетие, ситуация привычная. Вспомним страшный голод девяностых годов XIX столетия, еще при царе, голод двадцатых, тридцатых и сороковых годов, уже при советской власти.

Вся социально-политическая жизнь отца, начиная с секретарства в Петрово-Марьинском районе Донбасса в 1920-е годы до самых его последних дней пребывания у власти так или иначе вращалась вокруг проблемы продовольствия.

Согласно распределению обязанностей в новом, послесталинском Президиуме ЦК, отцу досталось сельское хозяйство. Собственно, для него качественно мало что изменилось, только увеличился груз проблем, давивший на плечи, теперь ему предстояло обеспечивать потребности необъятной страны, а не изолированной Московской области или Украины.

Чтобы разрядить обстановку, на первых порах пришлось позаимствовать 6,2 миллиона тонн зерна из неприкосновенного запаса. Иначе в стране мог начаться форменный голод.

Тут возникает неувязка в цифрах: по одним отчетам, государственный резерв зерна сократился на 5,7 миллионов тонн, а по другим — потребление зерна в стране превысило производство на 6,2 миллиона тонн: заготовили 31,1 миллион тонн, а израсходовали 37,3. На 1 июля 1953 года госрезерв составлял 17,8 миллионов тонн, а на 1 июля 1954 года — 13,1, то есть из него изъяли 5,7 миллионов тонн.

Откуда появились дополнительные полмиллиона тонн? Ответ в несовпадении методик подсчета госрезервом закупок и потребления зерна. Закупки зерна и урожай считают по осени. Часть этого зерна той же осенью поступает в госрезерв, но в отчете проставляется его наличие на 1 июля следующего, в нашем случае — 1954 года. Скорее всего, недостающие полмиллиона тонн позаимствовали из резерва и израсходовали до 1 июля 1954 года и в госрезерве не учли.

Испокон века бытует мнение, что статистика, особенно официальная, наука темная. «Ложь, большая ложь и затем статистика», — мрачно пошутил в 1852 году, отчаявшийся разобраться в сонмище цифр только что назначенный министром финансов Британской империи Бенжамин Дизраэли. С тех пор уже более полутора веков его афоризм к месту и не к месту повторяют все кому не лень. К статистическим данным сложилось предубеждение, а уж к советским — особое. Считается, что все они действительности не соответствуют и верить им нельзя.

Попытаемся разобраться, сравним отчет статистиков с абсолютно секретными данными из Особой папки Президиума ЦК. В ежегодно публиковавшихся статистических сборниках приводятся следующие цифры: в 1940 году валовой сбор зерна — 95,6 миллионов тонн, заготовки 36,4 миллиона тонн, в 1945-м соответственно — 47,3 и 20,0 миллионов тонн, в 1946-м — 39,6 и 17,5 миллионов тонн, 1950-м — 81,2 и 32,3 миллиона тонн, в 1953-м — 82,5 и 31,1 миллионов тонн.

А вот цифры заготовок зерна из строго секретных отчетов руководству страны: 1940 год — 36,4 миллиона тонн, 1945 год — 20,0 миллиона тонн, 1946-й — 17,5 миллиона тонн, 1950-й — 32,3 миллиона тонн и 1953-й — 31,1 миллиона тонн. Они один в один совпадают с публикациями ЦСУ СССР. Следовательно, мы можем доверять последним настолько, насколько можно вообще чему-либо верить.

Взятое в 1953 году из резерва зерно обеспечивало краткую передышку, в течение которой новому руководству предстояло решить, как жить дальше. Для этого отец предложил собрать специальный Пленум ЦК по сельскому хозяйству. Пленум наметили на май. К своему первому в новом качестве докладу отец готовился с присущей ему обстоятельностью. Предварительных заготовок, написанных помощниками-речеписцами (спичрайтерами), он не признавал.

Существуют разные методы работы политических лидеров над выступлениями: одни берут за основу кем-то написанную заготовку, иные поступают по-другому.

Тут нет ничего ни предосудительного, ни удивительного. Все

зависит от характера человека, от его привычек и жизненного стиля, но главное, от того, насколько он сам владеет материалом. Человеку, понимающему суть проблемы и ориентирующемуся в деталях, всегда хочется высказать собственное мнение, предложить собственные решения. Если лидер «плавает», как двоечник на экзамене, он предпочтет воспользоваться услугами спичрайтеров-помощников. Ведь самому-то ему сказать нечего.

В вопросах, серьезно интересовавших отца, в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, обороне он старался разбираться сам и разбираться досконально, не полагаясь на помощников. Для этого он подолгу беседовал, иногда спорил, с учеными, конструкторами, директорами заводов и совхозов, председателями колхозов. В следующий раз происходили новые консультации с новыми людьми. Так отец набирался знаний, учился и в конце концов начинал разбираться в вопросе не хуже профессионалов.

Тем, у кого мои слова вызовут недоверие, а таких найдется немало, ведь об эпохе отца судят главным образом по слухам и анекдотам, посоветую почитать хотя бы его восьмитомник, посвященный проблемам сельского хозяйства (*Н. С. Хрущев.* Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В 8 т. М. Госполитиздат, 1960–1964).

Отец умел при необходимости сложные проблемы упростить, сделать их понятными непрофессионалу. Обращаясь же к специалистам, он насыщал текст цифрами и терминами, понятными только читателям, владевшим предметом. Собственно, таковы все профессиональные статьи и выступления.

Недавно я обнаружил: президент США Франклин Рузвельт готовился к выступлениям по методе, очень схожей с методой отца.

«Когда он (Рузвельт. — *С. Х.*) готовил свои выступления, надиктовывал весь текст их с самого начала, так как считал, что другие не смогут сделать их достаточно доходчивыми. Франклин умел упрощать. Он часто сложные проблемы сводил к простым историям, понятным слушателям любого уровня», — пишет в книге «Я помню» Элеонора Рузвельт.

Эту книгу со своим автографом Элеонора Рузвельт подарила маме в сентябре 1959 года. Тогда они с отцом навестили ее в фамильном родовом поместье Рузвельтов, в Гайд-парке, под Нью-Йорком.

Работа над докладом началась еще до того, как разделались с Берией. Отец затребовал от отделов ЦК, министерств, ученых-аграриев, многих из которых он хорошо знал, справки о состоянии дел. ЦСУ готовило цифры, правда, порой

противоречивые. Как вспоминал Андрей Шевченко, помощник отца по сельскому хозяйству, председатель ЦСУ Владимир Николаевич Старовский менял свои цифры порой несколько раз в день.

Освоившись с материалом, отец надиктовывал стенографистке черновой вариант текста. Писать он не любил, и не потому, что находился в неладах с грамматикой, диктовалось легче и, главное — быстрее. Так поступает и большинство зарубежных политиков или руководителей крупных компаний. До появления портативных диктофонов профессия стенографистки считалась одной из самых востребованных. Расшифрованный текст попадал в руки помощников и привлеченных отцом экспертов. В 1953 году над материалами к Пленуму по сельскому хозяйству, кроме самого Шевченко, как ему помнилось, работали «правдисты» Василий Иванович Поляков и Дмитрий Трофимович Шепилов, наиболее доверенный помощник отца по общим вопросам Григорий Трофимович Шуйский (после отставки Хрущева Шуйского почему-то из ЦК не изгнали, он стал консультантом идеологического отдела по вопросам газет, журналов и издательств) и еще один академик ВАСХНИЛ (к сожалению, не знаю его фамилии). По мере необходимости привлекались и эксперты со стороны, но ядро сохранялось до окончательной шлифовки текста. Они правили стиль, начиняли доклад подходящими цитатами классиков марксизма (в отличие от Суслова, в цитатах отец ориентировался плохо), выверяли цифры, если считали необходимым, предлагали включить что-либо свое. Отец охотно обсуждал, спорил, возражал или соглашался. Удостоверившись в обоснованности или необоснованности предложений, принимал решение, а уж потом твердо стоял на своем (или на насоветованном). Изменить его позицию могло только мнение, исходящее от специалиста, которому он доверял. И то не всегда.

На суд отца, а он теперь становился последней инстанцией, нередко выносились очень разные, порой взаимоисключающие суждения. Отстаивали их очень и очень маститые ученые, приводившие в свою пользу звучавшие очень и очень обоснованно аргументы. Отцу приходилось решать, чью принять сторону. Могут сказать: не царское это дело встревать в научный спор, а тем более судить. Я не соглашусь, именно «царское», если только руководитель государства заинтересован в прогрессе собственной страны. В рыночных демократиях технический прогресс развивается по своим законам, мало зависимым от государства. В централизованной структуре, монархии, не говоря уже о централизованной советской экономике, от первого лица зависит

и финансирование, и строительство, другими словами зависит судьба и изобретения и изобретателя. Собственно «хозяин земли русской» выступает не столько в политической ипостаси, сколько в качестве главы огромной корпорации, контролирующей все аспекты жизни страны. Так обстояли дела при Петре I, мало что изменилось и после революции. Если раньше последнее слово оставалось за Сталиным, теперь — за отцом.

Если одобрение получала стоящая новация, считалось, и правильно считалось, что все идет своим чередом. Но если, не дай бог, поддержки добивался не обязательно проходимец, а человек ошибочных, но весьма привлекательных взглядов, делу наносился вред, иногда непоправимый. Классический пример тому — обещание Трофима Денисовича Лысенко совершить переворот в сельском хозяйстве с помощью яровизации и других «чудес», увеличить урожайность зерновых в разы, повысить качество и количество надоев молока. Лысенко оказался отличным, как теперь бы сказали, «пиарщиком». В 1930-е годы он добился поддержки у Сталина, а после его смерти склонил на свою сторону Сельскохозяйственный отдел ЦК, Министерство сельского хозяйства и даже помощника отца Шевченко. Все они дудели отцу в уши в одну дуду: «Наш Трофим Денисович все свои обещания выполняет и выполнит, его надо поддержать». Какое-то время отец относился к Лысенко если не настороженно, то не давал ему преимуществ по сравнению с другими аграриями. Но в конце концов он позволил себя убедить, поставил на Лысенко. На свою голову.

Уверовав в правильность собственной или заимствованной идеи, отец начинал «обкатывать» ее на собеседниках, в частности в 1953 году огорошивал гостей (я присутствовал только при разговорах на даче) потоком цифр, подтверждавших, насколько колхозы и сами крестьяне задавлены налогами. В сотый раз пересказывал историю своей жившей в Курской области в деревне Дубовице двоюродной сестры, из-за непомерных налогов вырубившей яблоневый сад. Возмущался общепринятой методой исчисления не засыпанного в закрома, а так называемого «биологического» урожая, когда городской инспектор произвольно выбирал на поле квадрат метр на метр, считал в нем колоски, потом — зерна пшеницы в колоске, подсчитывал гипотетический урожай с этого квадратного метра и дальше множил его на миллионы гектаров. Этот способ придумал Сталин, тем самым якобы «стимулируя» уборку, а на деле произвольно завышая урожай. Вслед за «урожаем» поднималась и планка обязательных поставок государству, у хозяйств изымалось все подчистую, порой даже семенное зерно. Все это безобразие

называлось первой заповедью колхозника: «Сначала отдай государству его долю, а уж из того, что останется засыпай семена». Остаток же от остатка шел крестьянам на прокорм. В результате даже при приличном урожае люди жили впроголодь, а сеяли не отборными, районированными под местные климатические условия семенами, а чем придется. И урожай соответственно получался какой придется. Работая на Украине, отец много лет бился с Москвой за отмену «первой заповеди». Противостоял ему нынешний друг Маленков, после войны Сталин поставил его надзирать за сельским хозяйством. Маленков стоял твердо, а за его спиной маячила тень Сталина. Отец, естественно, потерпел поражение. Теперь он намеревался взять реванш. Маленков отца в этом плане полностью и «искренне» поддерживал.

Не менее чем «первая заповедь» отца возмущала мелочная опека центра, диктовавшего крестьянину, что сеять, когда сеять, как сеять. После войны на эту тему он заспорил с самим Сталиным, обязывавшим на Украине, даже в южных районах, вместо более урожайной озимой, сеять яровую пшеницу. Откуда такая напасть взялась? В начале тридцатых годов Сталин в последний раз проехал по стране, побывал в Сибири. Там ему рассказывали, что озимая пшеница вымерзает, а яровая, высеянная весной по сходу обильных снегов, родит прекрасно. Сталин приказал распространить сибирский опыт по всей стране, яровые повелели сеять и в малоснежной Украине. За выполнением плана сева следили строго. Ослушаться означало получить клеймо «вредителя», со всеми вытекающими последствиями. Результаты не замедлили сказаться: вслед за голодом 1947 года весной 1948 года ударила засуха, яровые, не успев проклюнуться, сгорели. Украина вновь оказалась перед лицом катастрофы. Пришлось срочно искать выход из положения. Требовалось буквально дней за десять-двенадцать пересеять более миллиона гектаров. Но чем? Яровая пшеница не годилась, она требует, оставшейся от зимы, обильной влаги. Овес? Но какой с овса урожай? Крохи. По совету своего заместителя по правительству агронома Ивана Федоровича Старченко отец поставил на кукурузу. Засуху она переносит хорошо, урожай дает приличный, правда требует ухода, раза два-три за лето надо почву прорыхлить и сорняки прополоть. Решили рискнуть, высевали кукурузу вручную квадратами, чтобы прополку вести тракторами, а не руками горожан, студентов, школьников, солдат. Выгнали на поля всех, кого только могли, и за неделю засеяли кукурузой почти два миллиона гектаров. Урожай осенью получили по сорок центнеров с гектара. В результате не только

избежали голода, но и план госпоставок перевыполнили. Кукуруза спасла Украину. Эти истории я слышал от отца, наверное, миллион раз, выучил наизусть.

Я рассказал только о том, что сохранилось в моей, несельскохозяйственной, памяти. А сколько там оставалось еще «неразрешимых» вопросов, которые следовало разрешить, сказать сейчас трудно, вернее, невозможно. Проблема оказалась много сложнее, чем отец предполагал, приступая к подготовке доклада. Поняв, что к маю он не успевает, отец предложил перенести Пленум на осень. Члены Президиума ЦК не возражали.

Я уже говорил, что в первые послебериевские недели Маленков буквально не отлипал от отца. Отец делился с ним всеми деталями подготовки доклада к Пленуму. Во время кратковременного совместного отпуска в Крыму он свозил Маленкова в один из колхозов — пусть крестьяне сами расскажут ему о своих бедах. В колхозе высоким гостям показали пустошь, где еще недавно стоял персиковый сад. Весной его вырубили. Задавили налоги. Маленков оказался внимательным слушателем.

Первоначально предполагалось, что стоявшие перед страной проблемы сначала обсудит Пленум ЦК, а затем их вынесут на сессию Верховного Совета СССР. Теперь пленум и сессия поменялись местами, и Георгий Максимилианович то ли попытался перехватить инициативу, то ли просто такая получилась временная раскладка, но он включил основные мысли отца в свой собственный доклад на августовской сессии Верховного Совета СССР «О бюджете страны на 1954 год» — первый публичный доклад послесталинского председателя правительства.

По свидетельству все того же помощника Маленкова Суханова, сельскохозяйственный раздел доклада готовил министр сельского хозяйства и заготовок Алексей Иванович Козлов, старый знакомый Георгия Максимилиановича. Сразу после войны, разочаровавшись в Андрее Андреевиче Андрееве, Сталин, как я уже помянул, поручил Маленкову заниматься делами сельского хозяйства. Маленков села не знал, крестьянское дело не любил и переложил заботы на плечи заведующего отделом ЦК Козлова. Тот готовил за Маленкова справки, писал за него сельскохозяйственный раздел доклада XIX съезду партии, запомнившийся заявлением о «решении зерновой проблемы в стране». Неудивительно, что после смерти Сталина Маленков предложил Берии сделать Козлова министром сельского хозяйства. Неудивительно и то, что Козлов написал ему соответствующую часть доклада Верховному Совету.

Некоторые историки делают заключение, что тот же Козлов

писал и отцу доклад для сентябрьского Пленума ЦК КПСС, и потому основные положения двух докладов получились столь похожими.

Я с ними согласиться не могу. Отец никогда не испытывал приязни к Козлову и в группу, работавшую над докладом лиц, его не включил. Наверное, Козлов, наравне с другими, представил свои соображения, не мог же министр сельского хозяйства остаться в стороне. Но не более того. Перед открытием Пленума, 1 сентября 1953 года, Козлова, по инициативе отца, вообще освободили от занимаемой должности с формулировкой: «За плохую работу».

С другой стороны, неразумно обвинять Маленкова или Козлова в плагиате. Основной стержень аграрной политики Хрущева — облегчение положения крестьян — не его прихоть, эти идеи носились в воздухе. Государственный деятель становится реформатором, если ему удается уловить назревающие тенденции, обобщить их и доступно, в виде своей концепции, предложить обществу.

Сейчас, естественно, уже никто не помнит, о чем говорил Маленков 8 августа 1953 года. Конспективно изложу содержание его доклада.

Свое выступление Маленков начал с подтверждения собственного заявления на XIX съезде партии, что страна хлебом обеспечена. Признаться, что он тогда попросту соврал или в том, что его ввели в заблуждение, Георгий Максимилианович не посмел, изворачивался, объяснял, что зерна, если ориентироваться на биологический, еще не собранный, урожай выращивают достаточно, но в амбарах его недобор. То есть зерна вроде бы и вдоволь, но…

Дальше Маленков перешел к сути. Начал он с повышения заготовительных цен.

Они не только не соответствовали затратам, необходимым для производства продукции, но вообще ничему не соответствовали. Заготовители платили колхозникам три копейки за килограмм картофеля, тогда как одна доставка его на пункты сдачи обходилась дороже. Не легче обстояли дела и с продуктами животноводства. Денег за произведенную продукцию крестьянам платили все меньше, а налогов с них собирали все больше: в 1949 году — 8 миллиардов 845 миллионов рублей, в 1950-м — 8 миллиардов 809 миллионов, в 1951-м — 8 миллиардов 797 миллионов, в 1952-м — уже 9 миллиардов 996 миллионов. Сельское хозяйство не просто разорялось, оно гибло.

В конце 1952 года специальная комиссия ЦК, в нее входил и отец, подготовила меры по «дальнейшему развитию» вконец

задавленного непомерными поборами животноводства, предусмотрев, в частности, скромное повышение закупочных цен. Но товарищ Сталин с выводами комиссии не согласился, по его мнению, следовало не повышать цены на сельхозсырье, а увеличить налоги на крестьян, причем одномоментно, на 40 миллиардов рублей, то есть в четыре раза. И это при том, что в 1952 году вся «выручка» крестьян за сданную государству продукцию едва дотягивала до 26,3 миллиарда рублей.

Откуда взялась эта цифра 40 миллиардов — не стоит и гадать, оттуда же, откуда закупочная цена 3 копейки за килограмм картошки. К счастью, Сталина удалось уговорить повременить с повышением налогов. Как вспоминал Микоян, Хрущев «вышел из положения, сказав, что если и повышать налоги на крестьян, то в комиссию надо дополнительно включить Маленкова, Берию и министра финансов Арсения Григорьевича Зверева. Сталин согласился. Комиссия собралась в новом составе. Поручили Звереву подсчитать все, составить обоснование. Тянули, как могли».

Дотянули до смерти Сталина, а после нее ветер задул в ином направлении. Процитирую наиболее выигрышные пассажи из выступления Маленкова: «Правительство и Центральный комитет партии решили уже в текущем году повысить заготовительные цены на мясо, молоко, шерсть, картофель и овощи, сдаваемые колхозами и колхозниками государству в порядке обязательных поставок. Организовать закупку излишков сельскохозяйственных продуктов у колхозов и колхозников по повышенным ценам».

На сессии Верховного Совета попытались навести порядок с ценами, но масштабов трагедии тогда не понимал никто, даже отец. Для реанимации умиравшего сельского хозяйства требовались не просто фантастические бюджетные вливания, но пересмотр всей структуры цен от поля до прилавка. Если за картошку платить производителю столько, сколько она стоит, то и продавать ее придется по реальной, а значит, более высокой цене, что считалось политически недопустимым. Получался замкнутый круг, разорвать который оказалось очень непросто. Пока же изыскать необходимые средства поручили министру финансов и на том успокоились.

Повышением закупочных цен дело не ограничилось, заслушав доклад Маленкова, сессия постановила впредь взимать сельскохозяйственный налог не с урожая, тем самым наказывая наиболее трудолюбивых и успешных хозяев, а установить погектарное налогообложение. Отец считал его своим изобретением и краеугольным камнем реформирования сельского хозяйства. Неизменный на годы вперед налог позволит

крестьянам разумно распорядиться остающейся у них частью дохода, вкладывать средства в модернизацию, в строительство ферм и другие долгосрочные начинания, обеспечит хозяйствам стабильное развитие.

«Так мы восстановим справедливость, поощрим лучших, простимулируем отстающих», — говорил отец на прогулках Маленкову.

На самом деле это не они придумали столь «прогрессивное» налогообложение. Еще римский император Диоклетиан, упорядочивая податную систему, принял на основу меру площади югер (jugerum), которая при любых различиях качества труда, его производительности, доходности хозяйства и объема урожая, оставалась нормой в обложении земледельцев податью. Называлась она «jugatio». Подобной же системы придерживался и византийский император Юстиниан.

«…Правительство и Центральный Комитет партии сочли необходимым снизить обязательные поставки с личного подсобного хозяйства колхозников, решили, как об этом уже доложил министр финансов т. Зверев, снизить денежный налог в среднем примерно в два раза с каждого колхозного двора и списать полностью недоимку по сельскохозяйственному налогу прошлых лет». Эта фраза превратила Маленкова в народного героя и заступника.

С огородов кормились и крестьяне, и жители маленьких городков, поэтому послабление коснулось всех. В верхах к индивидуальных хозяйствам в те годы относились как к анахронизму, казалось, что они доживают свой век. Отец тогда занимал радикальную позицию, предлагал вообще освободить личные подворья от поставок натурой, перенести центр тяжести заготовок на колхозы и совхозы. Воспротивились снабженцы: страна останется без овощей и многих других продуктов, поставлявшихся, в значительной степени, «единоличниками». Отец уступил временно, до поры, пока колхозы не окрепнут. В будущем он настоит на своем, горожане-огородники перестанут платить сельхозналог, им позволят оставлять себе весь собранный урожай. Затем, в поисках баланса личного хозяйства с общественным, начнут закручивать гайки, с тем чтобы через некоторое время снова их отпустить. И так без конца. Это естественно. Во все времена экономическая политика государства менялась с изменением внешних условий.

Еще одна сенсация ожидала слушателей в разделе доклада, посвященном промышленности. «Индустриализация успешно завершается, и мы можем теперь больше уделить внимания производству предметов потребления», — продекларировал

Маленков. Впервые за всю нашу историю он призывал не затягивать пояса, а подрасслабить. На самом деле, приоритеты здесь призрачны, товары народного потребления не произведешь без машин, а машины — мертвы без людей. Это правильно в принципе, но все предшествующие годы страна отдавала приоритет стали, станкам, тракторам с танками. Машинам — все, а людям — что останется. Предложение Маленкова начать заботиться о людях наравне с машинами — еще одно очко в его пользу.

Справедливости ради отмечу, что отец, целиком погруженный в сельскохозяйственные проблемы, об изменениях промышленной политики в 1953 году пока не задумывался и на приоритет тяжелой промышленности пока не покушался. Инициатива тут целиком принадлежала семье Маленковых, но не Георгию Максимилиановичу, а Валерии Алексеевне. Именно она завела разговор на эту тему во время одной из прогулок. Отец тогда промолчал. Больше эта тема в моем присутствии не поднималась.

Как отец отнесся к выступлению Маленкова? Несомненно, внутренне он ревновал. По-человечески я его понимаю. Обидно, ты думал день и ночь, наконец в голове родился план, ты с облегчением вздыхаешь, и тут кто-то, пусть твой соратник, публично произносит в августе то, что ты собирался сказать в сентябре. В науке и искусстве такое называют «интеллектуальным пиратством», в политике же никак не называют. Внешне их отношения никак не изменились, они даже стали еще более неразлучны, отец во время прогулок продолжал делиться со своим другом мыслями, возникавшими во время подготовки доклада к предстоящему в сентябре Пленуму ЦК по сельскому хозяйству. Маленков согласно кивал головой. Мы, обе семьи, гурьбой держались чуть позади, то прислушиваясь к беседе отцов, то переходили к обсуждению своих, актуальных для нас, проблем.

Покончив с делами внутренними, Маленков перешел к международному разделу. И тут не обошлось без сенсации. Он намекнул, что США потеряли монополию не только на атомное, но и на термоядерное оружие. Имелось в виду предстоящее менее чем через неделю, 13 августа, испытание советской водородной бомбы. Прошло оно исключительно успешно. Благодаря революционным предложениям Андрея Дмитриевича Сахарова, тогда совсем молодого и никому не известного ученого, нам удалось опередить американцев.

Физик, журналист, писатель Станислав Пестов в своей книге «Бомба: три ада XX века» утверждает, что свои идеи Сахаров позаимствовал из американских открытых публикаций,

дополненных сведениями, полученными разведкой. Я не знаю, как все происходило на самом деле, но тогда отец не сомневался в авторстве и прозорливости Сахарова.

20 августа об испытании объявили в газетах, а 24 октября Сахарова вместе с его коллегами: Ю. Б. Харитоном, А. П. Александровым, Л. А. Арцимовичем, И. К. Кикоиным, И. Е. Таммом и другими «выбрали» в академики на вакансии, выделенные ЦК и правительством исключительно под них. Причем Сахарова, вопреки традициям, «через ступень», минуя стадию члена-корреспондента.

День за днем

18 апреля 1953 года Постановлением Совета Министров СССР (совершенно секретным, особая папка) утверждалось тактико-техническое задание «по опытному объекту № 627», так именовалась будущая советская атомная подводная лодка.

Летом оживились переговоры о государственном договоре с Австрией, предусматривавшем нейтралитет этой недавней союзницы Гитлера в обмен на вывод иностранных, в том числе советских войск.

12 августа 1953 года Президиум ЦК КПСС упразднил «Особое Совещание при МВД СССР». Его учредил Сталин 5 декабря 1934 года «с целью ускоренного рассмотрения дел контрреволюционеров, террористов» и прочих врагов народа.

1 сентября в здание МГУ на Ленинских горах вошли первые студенты.

В тот же день в стране начал действовать новый регламент работы государственных учреждений: начинать в девять утра без опозданий, уходить домой ровно в шесть вечера. Отец особо настаивал на неукоснительном соблюдении последнего. Ему осточертели сталинские ночные бдения, когда до глубокой ночи все, по нисходящей цепочке, сидели в кабинетах, ожидая, не позвонит ли «сам», не понадобится ли ему что-либо? Спать домой шли только под утро, а утром вразнобой, начальники поглавнее — попозже, мелюзга — пораньше возвращались на рабочие места. Одни приходили к десяти, другие — к двум, среди дня, в обед ухитрялись покемарить пару часов. Теперь за распорядок отвечал старший начальник. Ровно в шесть

министр или иной руководитель обязан был обойти помещения, проверить, пусты ли они, и лично запереть входную дверь.

Сам отец неукоснительно соблюдал им же установленные правила, появлялся в рабочем кабинета без чего-то девять, днем заезжал домой на часок пообедать, а вечером, не позже семи возвращался домой, правда, с толстенной папкой непрочитанной почты, «домашним заданием», как он говорил. После ужина он примащивался тут же, за обеденным столом читал, что-то подчеркивал, сгибал странички надвое. Завершалось чтение поздно вечером в спальне. Кабинетом с неизменным письменным столом он почему-то не пользовался.

Небольшое, казалось бы, дело: соблюдение распорядка дня, а какой резонанс оно вызвало. В Москве шутили, что отцы, в кои-то веки появившиеся в приличное время домой, не узнавали своих детей, за эти годы они выросли, повзрослели. Преувеличение, конечно, но не такое уж и большое.

Сентябрьский пленум

3 сентября 1953 года наконец-то открылся Пленум ЦК КПСС, целиком посвященный проблемам сельского хозяйства. Отец выступил с докладом. Им открывается первая книга из восьмитомного собрания, изданного в 1962–1964 годах и содержащих все, что отец говорил или писал о сельском хозяйстве. Доклад плотно пересыпан цифрами, сравнительными таблицами. Отец любил цифры и умел ими пользоваться. Порой в процессе выступления, стоя на трибуне, перемножал пуды на гектары или кормовые единицы на центнеры, делил, складывал, вычитал, с удовольствием произносил результат, подтверждавший его основную мысль.

В начале доклада отец поддержал Маленкова: успешная индустриализация создала предпосылки для ускоренного развития легкой промышленности. Затем он заговорил о проблемах: рост сельскохозяйственного производства последние десятилетия отставал от роста городского населения; другими словами, пищи на одного едока производилось все меньше, и главная причина этого — «нарушение принципа материальной заинтересованности».

Только материальной заинтересованностью производителя, через карман, удастся увеличить производство — этого принципа

отец придерживался всегда и насколько мог. Иногда все же срывался на окрик и, как бы в подтверждение собственной правоты, немедленно испытывал разочарование, дело не залаживалось. Он спохватывался и снова возвращался к разумному сбалансированию меры труда с мерой оплаты.

На этом Пленуме отец впервые публично сказал, что жизнь советских людей, по сравнению с условиями жизни на Западе, выглядит удручающе, и тут же привел соответствующие цифры. В 1952 году россияне в основном питались хлебом и картошкой, в год съедали 200 килограммов хлеба и 190 килограммов картофеля, тогда как в США потребляли этих продуктов соответственно 78 и 52,2 килограмма в год. Мяса на каждого американца в 1952 году пришлось 81,4 килограмма, а в Советском Союзе только 24 килограмма, около 70 граммов на день. Примерно также обстояло дело и с молоком — 345 килограммов и 159 килограммов, и с яйцами — 379 штук и 70 штук, и с овощами — 127 килограммов и 60 килограммов, и с фруктами — 90 и 16 килограммов, и со всеми остальными продуктами.

Члены Пленума ЦК слушали отца затаив дыхание, не то чтобы он открывал Америку — как живут и что едят советские люди, сидевшие в зале знали. Знали, но вслух об этом, даже между собой, не говорили. Вслух полагалось говорить о наших преимуществах перед капитализмом, а уж никак ни об отставании. Еще недавно за подобные речи могли обвинить в антисоветской пропаганде со всеми вытекающими последствиями. А тут крамола звучит с кремлевской трибуны! Отец считал, что только через правду осознания реалий жизни мы сможем начать выправлять положение, вылезать из ямы, в которую загнали страну.

Затем он привел рассчитанные учеными нормы питания на человека в год: хлеба — 121 кг, картошки — 114, овощей — 141, молока — 540, мяса — 65, яиц — 360 штук и так далее. «Надо поставить задачу достижения научно обоснованных норм питания…» — завершил отец рассказ о том, где сегодня находится страна и куда нам предстоит двигаться, чтобы подтвердить преимущества социалистического строя. Собственно, в этом состоит вся его программа на последующие годы.

Отец еще не говорит о соревновании с Америкой в производстве продуктов питания, но уже четко расставляет приоритеты. К «хлебно-картофельной диете», к дисбалансу в питании советских людей он постоянно возвращается и в разговорах дома со своими гостями.

А вот опубликовать приведенные в выступлении цифры отец

в 1953 году не решился, очень уж они не соответствовали общепринятым «истинам» преимущества социалистического образа жизни. Достоянием гласности они станут только через четыре года, когда отец в Ленинграде в открытую призовет всех попытаться догнать американцев в ассортименте повседневной еды.

В 1953 году на Пленуме отец говорил еще не о достижении цели, а о том, как сдвинуться с мертвой точки, в первую очередь о заготовительных ценах, ценах, которые не просто окупят затраты крестьян, но и заинтересуют их производить больше и лучше. Цены решили поднять в разы: на сдаваемое государству мясо-птицу — в 5,5 раз, на молоко и масло — в 2 раза, картофель — в 2,5 раза, на овощи — на 25–40 процентов. Отец предупредил, что это только первый шаг, увеличение цен впечатляет, но только по сравнению с мизерными ценами, установленными в прошлые годы. Просто к большему, к реальной оплате за вложенный крестьянами труд, страна пока не готова, у правительства нет таких ресурсов.

Отец потребовал, чтобы договора с колхозами на поставку их продукции заключались не в конце лета по «факту», в зависимости от урожая, а заранее, чтобы крестьянин знал, что у него не отберут все, а он, если постарается, разделавшись с поставками, сможет обеспечить и себя, и свою семью. Говоря о мерах по увеличению производства мяса, отец подчеркивал: без кормов голодный скот мяса не нагуляет. И тут он впервые на общесоюзном уровне произносит магическое слово «кукуруза», детально сравнивает ее кормовой потенциал с сеном, овсом и приходит к заключению: без кукурузы останемся и без мяса тоже.

Эффективность кормов наука измеряет в так называемых кормовых единицах — мере, определяющей привес животного в зависимости от вида корма. По мнению ученых, кукуруза, особенно в смеси с соей или горохом, в десятки раз превосходит по своей эффективности традиционный овес, не говоря уже о сене. Кукурузная эпопея началась не случайно, она — плод серьезного научного анализа и одна из основных компонент реформы российского сельского хозяйства. Отец ухватился за кукурузу, как за единственный шанс, позволявший разрешить, казалось бы, неразрешимую для нашей холодной страны задачу быстрого и многократного увеличения производства мяса, круглогодичного откорма бычков, свиней, птицы.

Возможно ли вообще в российских условиях решить поставленную отцом задачу самостоятельно накормить страну, или он увлекся несбыточными фантазиями?

Ведь Россия — не США. По климатическим условиям она

ближе к Канаде. Однако в Канаде живет не 300 и не 200 миллионов человек, а всего 38 миллионов. Урожая им хватает и на собственный прокорм, и на экспорт.

Ученые-аграрии и экономисты заверяли: расчеты подтверждают, если взяться за дело с умом, страна себя прокормит и даже сможет экспортировать продукцию сельского хозяйства. И это будет не «голодный экспорт» XIX или начала XX веков, когда народ недоедал, а крупные землевладельцы продавали зерно за границу, — а нормальная продажа излишков, того, что останется от собственного стола. Отец взялся за реализацию этой, казавшейся в 1953 году не очень реализуемой, программы.

«По сравнению с довоенным уровнем, поголовье коров в личной собственности сократилось на 6,5 миллионов голов, бескоровные колхозные подворья составляют 45 процентов, — сетует отец и требует до конца покончить с неправильной практикой ущемления интересов колхозника в отношении скота, находящегося в частной собственности». Далее отец говорит о недавно принятом законе, стимулирующем выращивание скота в индивидуальных хозяйствах, — при покупке коровы сразу вдвое снижался взимаемый с подворья налог.

Однако он не отвечает на главный вопрос: как и чем кормить этих «индивидуальных» коров? Специальные корма в магазинах не продаются, в колхозах и совхозах их тоже в обрез, на свой огород нечего и рассчитывать. Остается или воровать корма в том же колхозе, что подсудно, как и всякое воровство, или кормить скотину хлебом из магазина, благо, он дешев. Продав часть мяса, не только возместишь все расходы, но останешься с прибылью.

В 1953 году хлеба в магазинах продавалось настолько мало, что людям едва хватало, и такая угроза представлялась гипотетической. Но стоит поднять производство зерна, ликвидировать дефицит и… Отец или не понимал, какую мину замедленного действия подводит под собственную политику будущего изобилия, или посчитал, что будущее покажет, — не знаю. Но проблема скармливания скоту дешевых хлебных буханок преследовала его все последующие годы. Цены на хлеб он повысить не мог, дела с кукурузой шли через пень-колоду, кормов по-прежнему недоставало. Оставались административные меры, запреты, что в противодействие экономическим стимулам всегда неэффективно. За эти стимулы постоянно ратовал отец. Только в случае с хлебом, скармливаемом свиньям и коровам, эти стимулы обернулись против него.

Лейтмотив доклада: надо снижать налоги, увеличивать закупки по добровольно согласованным с крестьянином-

продавцом ценам и дать больше свободы колхозам, пусть они сами решают, что и как им выгоднее производить.

Перечитал написанное и удивился банальности всего вышесказанного, а тогда доклад прозвучал набатом. Сталин о жизни в деревне, а значит и стране, судил по чудесному «сказочному» кинофильму «Кубанские казаки» с песнями, танцами, столами, больше похожими на взлетные полосы аэродромов, ломящимися от всякой снеди. Конечно, сами полуголодные, горожане знали, что на деле крестьяне живут иначе. Но одно дело знать, а совсем другое в те годы сказать правду, да еще на Пленуме ЦК. А отец сказал, что крестьяне живут еще беднее и униженнее, чем горожане. Налогами из них давно высосали все соки, так жить они не хотят больше, не хотят работать задаром, только и норовят сбежать куда глаза глядят.

В 1930-е годы индустриализация страны финансировалась Сталиным за счет ограбления крестьян, деньги ниоткуда не появляются, их надо у кого-то отобрать. Отобрать у врага. В «мелкобуржуазности» крестьян усматривалась враждебность и даже опасность новой «Вандеи», Вандеи, когда-то погубившей Французскую революцию. Крестьян грабили осознанно, идеологически обоснованно. Сталин в своем деле преуспел, промышленность построил, но сельское хозяйство разорил. Пришла пора возвращать награбленное. Ох, как это не просто возвращать долги, особенно чужие. Собственно, это главное, что отец предложил на Пленуме ЦК: перестать грабить деревню, а если мы пока не в состоянии вернуть ей долги, то хотя бы надо снизить налоги, начать платить колхозам и колхозникам по труду, дать им чуть воли, чтобы люди почувствовали интерес к работе. Все так просто: хочешь иметь хлеб, не отнимай, лучше заплати. С этого в 1921 году начался переход от военного коммунизма к нэпу, с этого начинал и отец. Еще год назад за такие слова записали бы во «враги народа», а то и на Лубянку отправили. Я уже писал, чего стоили отцу «агрогорода», намерение хоть немного облегчить крестьянам условия жизни. Теперь же отец всерьез покусился на самые устои сталинского отношения к деревне. Его выступление на Пленуме вселило в крестьян надежду.

На пленуме, по предложению Маленкова, должность отца переименовали из просто Секретаря ЦК в Первого секретаря, проштамповали тем самым сложившуюся расстановку сил. Я не запомнил никаких обсуждений этого решения, оно считалось естественно рутинным, так же, как и то, что выступил с ним Маленков, формально первое, а по существу второе лицо в государстве, второе после Берии, а теперь после отца.

О реформах и реформаторах

От сентября 1953 года начинается отсчет реформаторства отца. Он теперь обладал достаточной властью. Однако до того как говорить о Хрущеве-реформаторе, следует задать себе вопрос: что же такое реформы в России и кто такие российские реформаторы? Чем реформы отличаются от других способов преобразования общества, к примеру, бескровных революций? Изменение фундаментальных основ общества, переход от частной к общественной или, если хотите, государственной собственности и наоборот — это реформа или нечто иное? Такой слом реформами не назовешь — это революция или контрреволюция, но никак не реформация. Реформы не ломают устои в одночасье, а постепенно преобразуют их на благо живущим. Так считает Владимир Иванович Даль, понимавший под реформой новизну, преобразование в порядках, устройстве. Ему вторит послереволюционный словарь иностранных слов, толкующий реформу как изменения, не затрагивающие основ существующего строя.

Наверное, это верно, как верно и то, что никакая реформа, в этом ее отличие от революции, не задается целью порушить все и вся. Реформа начинается с упорядочивания частностей, с конкретных преобразований в различных отраслях народного хозяйства, необходимых в данном месте и в данный момент, а уж потом, в силу логики реформирования, вовлекает в свою орбиту все новые аспекты жизни общества. Глубина преобразований зависит от решимости реформатора и готовности общества воспринять нововведения. Основная сложность всякой реформы, особенно успешной, заключается в том, что реформатор действует не по учебнику, а движется вперед вслепую, каждый раз оценивая содеянное и затем выбирая, каким должен стать следующий шаг. Здесь на первые роли выходит интуиция, чутье, способность ориентироваться в незнакомой обстановке, талант.

В некотором смысле реформатор сродни военачальнику, принимающему решение, от которого зависит исход сражения, когда как неверный шаг, так и промедление — смерти подобны. Научить отыскать единственно верное решение невозможно, ибо принимать его приходится в новых условиях, что исключает возможность опереться на опыт предшественников. Во всех военных академиях мира слушателей учат побеждать в прошлой войне, тогда как их выпускникам предстоит командовать в битвах будущей войны, и никто не знает, какие они преподнесут сюрпризы. Победители потому и становятся победителями, что в отличие от побежденных смогли, используя прошлый опыт и

одновременно дистанцируясь от него, сотворить будущее. Уже потом их победы начинают штудировать в академиях.

Позволю себе пояснить мысль примером. Осенью 1941 года сложилась критическая ситуация вокруг Москвы, немцы разбили и окружили советские армии. Защищать столицу оказалось практически некому. Командование фронтом впало в растерянность. В этот критический момент ответственность за оборону Москвы легла на плечи Георгия Константиновича Жукова. Однако в его распоряжении не оказалось боеспособных соединений. Подкрепления из Сибири ожидались, но еще не подошли, а немцы могли, должны были вот-вот ударить. Жуков принял, на первый взгляд, малообоснованное решение: сосредоточил все, что у него имелось, на трех ведущих к Москве дорогах, оставив остальной фронт открытым. Согласно правилам, приказ на передислокацию войск вместе с ним, командующим, подписывал первый член Военного совета фронта Николай Александрович Булганин. В случае неудачи, поражения, ему предстояло наравне с командующим испить до дна чашу ответственности.

Совсем недавно за разгром немцами советских войск в Белоруссии и в назидание другим расстреляли командующего Западным фронтом, члена Военного совета, начальника штаба. Так что Булганину было о чем беспокоиться. Перед тем как поставить подпись, он допытывался у Жукова, чем тот руководствуется, оголяя фронт и концентрируя все наличные силы на трех направлениях.

— Не знаю, — откровенно ответил Жуков, — но, если бы я командовал на той стороне, я бы наступал именно здесь, по этим трем дорогам.

Приказ подписали, войска передвинули. И вовремя. Немцы начали наступление именно по трем «жуковским» дорогам. Наткнувшись на сопротивление, наступление захлебнулось. Жуков выиграл время, а там и сибирские подкрепления подоспели.

Повторюсь: именно дар предвидения отличает победителя от побежденного, хорошего военачальника от плохого, успешного реформатора от неудачливого. Конечно, одной интуиции недостаточно. Для успеха реформ кроме интуиции необходимы и знания, и умение быстро учиться на своих и чужих ошибках, и инициатива. Только все это вместе взятое способно сдвинуть устоявшиеся годами и десятилетиями общественные устои, одолеть противников, повести за собой сторонников, заставить поверить в себя сомневающихся.

Энергия, способность увлечь людей своими идеями,

поддерживать в них настрой и не один день и, даже не один год, — еще одно необходимое качество реформатора.

Постоянная подкачка энергии для поддержания порядка, я уж не говорю для целенаправленного изменения существующего порядка, — один из основополагающих законов мироздания. Эта одна из сущностей природы, сформулированная во Втором законе термодинамики: если перестать подкачивать энергию, то в упорядоченной природной структуре начинает нарастать энтропия — беспорядок, хаос. Я уже упомянул об энтропии ранее и упомяну еще не раз. Энтропия правит миром, и мы, люди, человечество постоянно с ней боремся, но никогда не сможем победить ее. Мы способны лишь на время локально ей противодействовать. Энтропия господствует в мире молекул и атомов, и без удерживающей их вместе внешней силы частицы разлетаются. Энтропия разрушает оставленные на произвол судьбы древние города. Благодаря ей зарастают бурьяном невозделываемые поля. Так же и в человеческом сообществе: стоит пустить дела на самотек, и…

В децентрализованной рыночной экономике подкачка энергии, то есть проявление человеческим индивидуумом воли, происходит во множестве локальных точек: бизнесмены прилагают усилия, на свой лад упорядочивая дела и тем самым подкачивают энергию в общество, в экономику. Местные органы самоуправления наводят порядок в своих епархиях. Такие рассредоточенные системы обычно устойчивы, выпадение одного звена, неудача в одном или нескольких случаях не приводят к краху всей системы. На месте обанкротившихся из-за плохого управления предприятий, недостаточной или неверно ориентированной подкачки энергии возникают новые, со своими точками подкачки энергии, центрами упорядочивания. И так без конца. Государство, центральные власти не участвуют непосредственно в подкачке энергии, они устанавливают правила, помогающие подкачивать эту энергию более эффективно и в интересах всего общества.

Другое дело в централизованном сообществе, таком, как Россия или, если хотите Советский Союз, там, где все и вся зависит от доброй или недоброй воли первого лица: Государя всея Руси, Генерального секретаря Коммунистической партии или «всенародно избранного» Президента. От изменения названия сущность построения властной вертикали не меняется. В такой системе упорядочивание ее структуры: повышение эффективности (понимай — реформирование) всецело зависит от желания, воли, решимости, интуиции лидера и только лидера. Подкачка энергии идет из одного центра, с самого верха и

растекается, преодолевая большее или меньшее сопротивление, по управляющим каналам огромной, не склонной к изменениям, неповоротливой бюрократической машины. В условиях централизованной и монопольной экономики директора, в своей массе, не склонны рисковать своим положением, внедряя новшества (новшества — всегда риск). Местные руководители не заинтересованы в изменении привычного ритма жизни. Единственным лицом, заинтересованном в реформировании, оказывается он, сидящий на самой вершине властной пирамиды (и его команда, если она, конечно, имеется). Пока он обладает достаточной энергией, силой и волей — он издает законы, колесит по стране, теребит местных начальников, заменяет «ретроградов» на реформаторов (которые, заняв руководящее кресло, быстро становятся ретроградами), проталкивает технические новации, заимствованные в соседних, более динамичных структурах, или доморощенные, если изобретателям удастся получить высочайшее благословение. Согласно статистике, не более пяти процентов от всех регистрируемых изобретений имеют право на существование, приносят их авторам успех, а не разочарование и убытки. И только единицы из этих пяти процентов на самом деле заслуживают поддержки всего общества. Но как их распознать? Каждый изобретатель уверен в собственной гениальности, не сомневается в успехе, убеждает вложить в него ресурсы сегодня, в расчете на златые горы завтра.

Всегда находятся желающие рискнуть. В случае децентрализованной экономики рискнувший может потерять все, что обычно и происходит, не без заметных негативных последствий для общества. Возникший не на месте центр подкачки энергии исчезает без следа. Ему на смену приходит следующий, и так без конца, пока, наконец, к кому-то не приходит успех, изобретение оказывается стоящим, а еще реже — судьбоносным, не только для индивидуума, но и для всего общества. Так происходило всегда и со всеми изобретателями от Архимеда и Томаса Эдисона до братьев Райт и Билла Гейтса. Мы накрепко запоминаем их имена, но никогда не вспоминаем имена неудачников. Эволюция отбраковала их, и они канули в небытие.

Другое дело централизованная система — большинство изобретений, нужных и ненужных, погибают без поддержки, система функционирует по старинке без них и в них не нуждается. Если же кому-то удается пробиться на самый верх, то здесь мы сталкиваемся с той же лотереей: поддержку может получить стоящее изобретение или бросовое, или попросту жульническое. Лидер государства, если он в силу склада своего характера любознателен, может поддержать любого из них, того

кто вызывает больше доверия. Вот только распоряжается он куда большими ресурсами, и в случае неудачи риск возрастает несоизмеримо.

Централизованная структура, пока у лидера хватает сил на подкачку энергии в систему, худо-бедно функционирует. Конечно, и в централизованном государстве существуют локальные центры подкачки энергии, уменьшающие энтропию в каком-то конкретном месте, районе, заводе, колхозе. Они начинают менять, часто ломать, старое, насаждать новое, но все это пока энергия подкачивается с самого верха, пока там сидит деятельный властитель, которому не чужды интересы страны и народа. Стоит ему исчезнуть в силу естественных причин или быть низвергнутым, и все останавливается, стекающая с вершин бездеятельной власти нарастающая энтропия обволакивает общество, поглощает и переваривает без следа нововведения. Наступает «тишь и гладь, и Божья благодать». Общество впадает в спячку, что мы и называем застоем.

В истории России отыщется достаточно примеров властителей-реформаторов. Только за последние два века это и царь-реформатор Александр II, и председатель правительства при Николае II, граф Сергей Юльевич Витте, и его эпигон Петр Аркадьевич Столыпин, и В. И. Ленин (эпохи нэпа), и, наконец, Никита Сергеевич Хрущев, о реформах которого и пойдет речь в этой книге. Отец искренне верил, что коммунистическое общество обеспечит лучшую жизнь всем людям и в меру своих сил и своего понимания старался способствовать наступлению процветания. Он, не колеблясь, избрал путь реформаторства и прошел его до конца.

Д ень за днем

Вслед за августовской сессией Верховного Совета и Сентябрьским (1953) Пленумом ЦК горохом посыпались постановления правительства и ЦК партии: о снижении обязательных поставок индивидуальными хозяйствами, о производстве картофеля и овощей, о торговле, о расширении производства потребительских товаров и т. п., и т. д. Началось разукрупнение министерств. Созданные сразу после смерти Сталина административные монстры оказались неработоспособными. Из Министерства сельского хозяйства выделили Министерство заготовок, его министром стал Леонид Романович Корниец, довоенный

Председатель правительства на Украине, а после войны — заместитель отца в Украинском Совмине, наш сосед по даче в Межигорье, человек знающий и очень симпатичный, первый в московской власти человек Хрущева. Уволенный из Минсельхоза Козлов стал министром совхозов, а министром сельского хозяйства назначили Ивана Александровича Бенедиктова, занимавшего этот пост до смерти Сталина и 5 марта 1953 года смещенного с него Маленковым.

15 октября 1953 года в эфир вышла новая, не столь официозная радиостанция «Юность».

В «Комсомольской правде», там в те года работал Аджубей, появилась «смелая» статья о московской «золотой» молодежи, о пьянстве, разврате (разврат в то пуританское время понимали совсем не так, как сейчас), и все на примере сына академика, мостостроителя Григория Петровича Передерия. Газетный подвал редактор хлестко озаглавил: «Плесень». Слово тут же стало нарицательным, о «плесени» — детках начальников, еще вчера теме запретной, судачили на всех перекрестках.

15 декабря 1953 года газета «Известия» поместила некролог: умер академик Передерий, страна лишилась одного из лучших…

20 ноября 1953 года правительство постановило начать проектирование и постройку мощного атомного ледокола для северного морского пути, запланировав окончание его строительства и испытание в 1957 году. Для обеспечения секретности эти работы получили кодовое наименование «Проект № 92».

26 ноября 1953 года отменили сталинский закон от 15 февраля 1947 года, запрещавший браки с иностранцами. Сразу после войны в Москве и других крупных городах обосновались различные западные миссии: экономические, военные, гуманитарные. Западные газеты держали здесь своих корреспондентов. Естественно, завязывались романы, кто-то на ком-то женился, кто-то выходил за кого-то замуж. Прознав о «недостойном поведении советских граждан», товарищ Сталин враз прекратил все эти «безобразия», отныне браки с иностранцами запрещались, а уже заключенные в советских загсах признавались незаконными, как и дети от этих браков.

Под сталинский закон, среди многих, попал и

сотрудник американского посольства Роберт Такер, впоследствии известный советолог. Он полюбил русскую девушку Женю, женился, но брак их признали недействительным и, конечно, уехать ей с «бывшим мужем» в Америку не позволили. В отличие от множества других подобных трагедий и просто любовных историй, ни Роберт, ни Катя, он — в США, она — в СССР, друг о друге не забыли и после смерти Сталина вновь попытались соединить свои судьбы. Роберт начал писать во все известные ему советские адреса. Сначала писал в МИД, но Молотов, так же, как и Сталин, считал, что выходить замуж за иностранца, особенно за американца, аморально. Такеру отказали. Тогда он написал Маленкову, но ответа не получил. Он знал, что в Москве есть еще ЦК и власть его посильнее не только МИДа, но и Совета министров. Поначалу Такер в ЦК обращаться не хотел, в те годы за подобные «шалости» его могли выгнать со службы, особенно государственной, обвинив в антиамериканской деятельности. С сенатором Джозефом Маккарти «шутить» не рекомендовалось.

Отчаявшись, Роберт рискнул и написал письмо Хрущеву. Через какое-то время Жене дали персональное разрешение уехать к бывшему будущему мужу в США, а вскоре закон и вовсе отменили, хотя браки и просто контакты с иностранцами по-прежнему не приветствовали.

24 декабря 1953 года газеты сообщили о суде над Берией и его подельниками и о вынесенном им смертном приговоре.

31 декабря в канун Нового, 1954 года на Красной площади открылось для торговли здание ГУМа (Государственного универсального магазина), торговых рядов, построенных в конце XIX века и закрытых в тридцатые годы из опасений, что во время парада из их окон злоумышленник может покуситься на жизнь Сталина. В здании обосновались какие-то правительственные конторы, впускали в него по пропускам, их проверяли строгие солдаты с голубыми погонами госбезопасности. Теперь ГУМ вернулся к нормальной торговой жизни. Когда решали его судьбу, нашлись и противники, но отец только посмеялся над их страхами — кому мы нужны, кто станет нас убивать, а если за покушение возьмутся иностранные разведки, то

все равно не убережешься.

1954 год

Целина

Первый Новый год после Сталина встретили звоном бокалов на пышном приеме в Георгиевском зале Кремля. На следующий день там гремела музыка молодежного бала. В святая святых, куда еще год назад пропускали только по специально оформленным в управлении Охраны пропускам только самых проверенных и доверенных, москвичи шли косяками по приглашениям, полученным от своих профкомов. В залах Большого Кремлевского дворца пели, танцевали, дурачились на еще недавно пустынных кремлевских площадях, фотографировались рядом с Царь-пушкой.

А вот руководству страны было не до веселья. Решения сентябрьского Пленума ЦК так и не ответили на самый насущный вопрос, где взять хлеб, не в перспективе, а не позднее урожая 1954 года. Закупить его за границей и не мечтали, страна жила в экономической блокаде, Запад нам ничего не продавал и ничего у нас не покупал. Да и покупать было не на что, нефти не хватало на собственные нужды, а золото берегли на случай войны. О том, что американцы могут напасть в любой момент, тогда беспокоились всерьез. Свои планы атомных бомбардировок Советского Союза США особенно не скрывали. С 1945 года их разработали множество: Бройлер, Фролик, Хэрроу, Чариотир, Троуджен, Хафмун, Флитвуд, Даблстар. 27 января «1952 года американский президент Гарри Трумэн открыто заявил: «Мы уничтожим все порты или города, для того чтобы достичь наших мирных целей. Это означает всеобщую войну: Москва, Санкт-Петербург, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Дайрен, Одесса и Сталинград, все промышленные предприятия в Китае и Советском Союзе мы сотрем с лица земли. Это — последний шанс для советского правительства решить, заслуживает ли оно того, чтобы существовать или нет!»

О какой торговле можно говорить в таких условиях?

Поднять урожай на старых землях (в 1953 году там собрали 7,8 центнера зерна с гектара) возможности не было, удобрений практически не производилось и средств для строительства новых заводов не имелось. А если бы они и нашлись, то ввода предприятий в строй пришлось бы дожидаться не менее пяти лет, пока их спроектируют, пока построят, пока наладят. Оставалось одно — найти непаханую землю, много земли, которую можно

засеять уже весной, с тем чтобы осенью собрать первый урожай, выпечь первый хлеб.

Отцу вспомнились дни его молодости, и тогда на Руси маялись вопросом, где взять хлеб? Возглавлявший царское правительство в начале двадцатого века Сергей Юльевич Витте, а затем в 1906 году сменивший его на этом посту Петр Аркадьевич Столыпин, обратили свой взор на восток. В Центральной России крестьяне, получившие в 1861 году волю, ссорились из-за каждой десятины, а там, в Южной Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке — земель немерено, и каких земель — девственного чернозема!

Под нажимом сверху, со скрипом, неохотно крестьяне двинулись на восток. Сначала посылали разведчиков, а по их возвращении, посоветовавшись и посомневавшись, самые смелые семьями снимались с насиженных мест, продавали дома, складывали добро на телеги и уезжали… В никуда…

Потянулись в Сибирь, на целину и односельчане отца, уезжали из родной Калиновки и исчезали из вида навсегда. Отцу тогда исполнилось 14 лет, ему запомнилось, что «переселение шло болезненно. Выбирали ходоков, среди них оказался и муж сестры моей матери. Они заранее ездили, смотрели земли и условия, в которых предстояло жить переселенцам. Им понравилось — земли столько, сколько глаз видит, можно брать, сколько хочешь. Сколько осилишь. Мои родственники выехали в Сибирь в 1908 году. Помню, как семья сестры моей матери уезжала в чужие края. Поехало много крестьян-переселенцев и из других деревень Курской губернии».

Всего к 1910 году в поисках лучшей доли покинули насиженные места около миллиона трехсот тысяч человек.

Уезжали, осыпаемые проклятиями односельчан, считавших переселенцев изменниками, разрушавшими вековую сельскую общину, в которой один за всех и все за одного, всем миром платят подати царю, всем миром помогают попавшим в беду, всем миром радуются, но чаще — всем миром голодают. Отъезжавшие ослабляли общину, что не могло не вызвать у остающихся разочарования и гнева, порой доходившего до ненависти, до смертоубийства отступников.

Всеми силами противились переселению и помещики-землевладельцы. Вечно голодные малоземельные крестьяне, не способные прокормиться со своих наделов, поневоле шли к ним на поклон, за бесценок обрабатывали их поля, собирали их урожай, ссыпали в закрома зерно, уходившее за большие деньги на экспорт в Европу. Отец вспоминал, как он, еще подростком, батрачил сначала у одного помещика-генерала, затем у другого,

по фамилии Васильченко.

Теперь даровому, мало чем отличавшемуся от крепостного труду приходил конец. За счет отъезжающих наделы оставшихся увеличатся, на барские поля их не заманишь, разве что за «настоящую» оплату. Сверхприбылям от экспорта дешевого, почти бесплатного зерна придет конец.

Столыпина за целину возненавидели и крестьяне, и помещики, и сам государь. Еще бы! Он покусился на стабильность, на патриархальные российские устои. В результате 5 сентября 1911 года Столыпина убили террористы. До сих пор историки спорят, кто стоял за их спиной: левые, революционеры или правые, во главе с самим государем? На самом деле это не так важно, важно, что начавшееся переселение крестьян быстро прекратилось. Помещики сохранили рабочие руки, а зажиточное фермерство так и не сформировалось.

Затем грянула Первая мировая война, за ней — революция. На излете нэпа вновь начались трудности с хлебом, и вновь вспомнили о сибирской целине. В 1928 году подготовили Постановление об организации на непахотных восточных землях целинных совхозов. Однако дело не пошло. В 1929 году началась коллективизация, крестьянам стало не до новых земель. Совхозные поля на целине заросли сорняками, их вскоре забросили.

О целине забыли на долгие годы. В тридцатые годы переселение на восток миллионов крестьян возобновилось, «сталинское переселение», но не на сибирские черноземы, а в лагеря, за колючую проволоку, в вечную мезлоту.

В последующие годы, довоенные и послевоенные, «Сталин категорически возражал против распашки дополнительных земель, — пишет в своих воспоминаниях отец. — Он считал, что достаточно создать дефицит земли, и крестьяне начнут искать выход, создадут условия, при которых с той же земли будут получать больше сельскохозяйственных продуктов». Не получилось.

Теперь отец задумался о том же, над чем за полстолетия до него ломали голову Витте и Столыпин. Выход из хлебного кризиса он видел там же, где и они, — на востоке.

22 января 1954 года отец диктует первую в своем новом качестве записку в Президиум ЦК КПСС. Ее лейтмотив: хлеба катастрофически не хватает, и получить его в традиционных районах земледелия невозможно, урожайность в Центральной России низкая, удобрений нет и в ближайшее время не предвидится, тогда как городское население, а значит, и потребление хлеба, продолжает расти. Выход один — начать

экспансию на восток. Там, по подсчетам отца, нетронутыми лежат, как минимум, 13 миллионов гектаров, 6 миллионов в Казахстане и 7 миллионов в Южной Сибири. Если их распахать и получить с гектара по десять центнеров зерна, то прирост урожая составит 13 миллионов тонн. Он приводит данные средней урожайности по стране в 1952 году 8,6 центнера с гектара, в США — 17,3 центнеров, Канаде — 17,6 центнеров. В Сибири, в хорошие годы, устойчиво собирают 15. И делает вывод, что его предположения более чем реалистичны. Дальше отец скрупулезно высчитывает, сколько зерна из общего количества пойдет населению, сколько на прокорм скоту, сколько останется на семена, сколько на промышленную переработку, в основном в спирт, сколько заложить в госрезервы, сколько останется на помощь союзникам — восточным немцам, чехам, полякам и другим. Получалось, что сиюминутные потребности удовлетворятся с лихвой, и удовлетворятся хлебом более дешевым, чем мы собираем в обжитых европейских районах, расходы на распашку целины быстро окупятся, в бюджет потечет прибыль, и немалая. Все это позволит не только разрешить зерновой кризис, но и высвободит часть земель в Центральной России под расширение посевов льна, сахарной свеклы, кукурузы.

И самое важное, целинное зерно позволит снять часть груза с плеч колхозников в обжитых районах. Сегодня, чтобы удовлетворить потребности страны, им спускают нереализуемые планы сдачи зерна. Ежегодно образуется недоимка, она из года в год растет, и хлебозаготовки «приобретают характер продразверстки» времен военного коммунизма. Какая уж тут материальная заинтересованность? Целина не только даст прибавку зерна, собираемого в закрома, но и позволит сделать более эффективной, работающей всю структуру зернового хозяйства.

«Дополнительное, целинное зерно позволит списать колхозам недоимки, ликвидирует их неуверенность в завтрашнем дне, — пишет в записке отец, — заработает, наконец-то, погектарное налогообложение, труд крестьян станет осмысленным, у них появится стимул, а значит, возрастет и производительность труда».

Одновременно отец отдавал себе отчет, что целина не решает всех проблем, это только первый шаг «чтобы достичь американского уровня производства зерна в расчете на душу населения, потребуется не только освоить 13 миллионов гектаров целины, но поднять урожайность зерновых до 15 центнеров с гектара», то есть вдвое.

Предстоял долгий и трудный путь, целина же его начало.

Всегда приходится с чего-то начинать.

Работая над запиской, отец собрал всю доступную информацию о регионе, его климате, почвах, методах ее обработки. Подробные обоснования и разъяснения ему представили С. Демидов из Госплана, министры: сельского хозяйства — Бенедиктов, заготовок — Корниец, совхозов — Козлов, заместитель главы правительства РСФСР — П. П. Лобанов, отдельно — первый заместитель Козлова, В. В. Мацкевич (его мнением отец особенно дорожил), Т. А. Юркин из Министерства сельского хозяйства РСФСР и, наконец, ученые-агрономы: академик Т. Д. Лысенко, полевод Т. С. Мальцев, профессор М. Г. Чижевский. Так что отец подготовился основательно. Он понимал, что урожаи на значительной части целины, особенно в Казахстане, неустойчивы, зависят от очень капризной там погоды. Пройдут весенние дожди — соберешь отличный урожай, подует майский суховей, дай бог вернуть брошенные в землю семена. И такое там происходит через каждые два-три года. Ученые называют подобные районы зоной рискованного земледелия.

«Ничего не поделаешь, приходится рисковать, — повторял отец, — хороший урожай, даже не каждый год, все равно делает целину привлекательной. Канада тоже лежит в поясе риска и очень даже в нем процветает».

В связи с целиной отец перечитал все, что ему достали о зерновом хозяйстве канадского пшеничного пояса. Канадский пример служил ему серьезным аргументом в спорах с противниками целины.

Отец считал, правильнее сказать, так ему разъяснили московские ученые-аграрии, что без удобрений целина продержится лет пять-семь, потом почва истощится, урожаи упадут, и придется ее, так же, как и старопахотные земли в Европейской части страны, удобрять. Но — на пять-семь лет страна не только получит передышку, но и подсоберет ресурсы, нужные для производства удобрений.

Я запомнил аргументы отца очень хорошо, говорил он о целине не только в ЦК, но и дома, не с нами, а со своими гостями-собеседниками, но в нашем присутствии.

Взор отца устремился на восток сразу после сентябрьского Пленума. Он, пользуясь тем, что партийные руководители сибирских районов и Казахстана еще не разъехались из Москвы, решил с ними посоветоваться. Сколько там пустующих земель, отец точно не представлял, сам он в Сибири и Казахстане пока еще не побывал, а предоставленные ему московскими учеными цифры противоречили друг другу. Начал он с величественного

(по словам Наталии Сац) секретаря ЦК Казахстана Жумабая Шаяхметова. В кресло секретаря ЦК Шаяхметов пересел в 1938 году, до того он работал в ведомстве Ежова, в наркомате внутренних дел. Это и естественно, Казахстан тогда тифозной сыпью испестрили лагеря, между ними, там, где энкавэдэшники еще не успели нагородить колючую проволоку, местные пастухи-казахи гоняли по степи отары овец. И вот теперь, видевший все и всех Шаяхметов, сидел в кабинете отца на Старой площади и размышлял, как ему себя вести. Распахивать пастбища ему совсем не хотелось, на них паслись овечьи отары его предков, переселившиеся в Казахские степи с Алтайских гор еще в VIII веке. Он понимал, что сами казахи этим заниматься не станут — не умеют и не любят они копаться в земле. На их земли придут русские, украинцы и кого там еще решат в Кремле переселить в его Казахстан. Вековым кочевьям казахов наступит конец, а вместе с тем наступит конец и его власти, власти Жумабая Шаяхметова. Его кресло займет умеющий возделывать пшеницу русский или украинец. Сидя напротив Хрущева, Шаяхметов привычно хитрил, прикидывал, как бы изловчиться провести Хрущева и при этом не оступиться самому.

Отец начал разговор с того, что Казахстана он совсем не знает, надеется на помощь собеседника. Шаяхметов пошел ва-банк, объяснил, что, к сожалению, все, что возможно, в республике уже давно распахали, больше пригодных к земледелию площадей нет, одни солончаки. Шаяхметов понимал, что отец — не простачок и цифру в 6 миллионов гектаров взял не с потолка, и решил торговаться, как всегда торговались его предки с пришельцами из Европы. Он задумался, пожевал губами, как бы что-то прикидывая, уступил: можно, если постараться, наскрести два-три миллиона гектаров, но о шести и речи не может быть. Ответ Шаяхметова огорчил отца, но не обескуражил. Он уже понял, что гость хитрит и откровенного, государственного разговора не получится.

Отец зашел с другой стороны, начал вызывать поодиночке секретарей казахстанских обкомов, дотошно выспрашивать их о возможностях каждой области. Конечно, секретари прослышали о беседе отца с Шаяхметовым, знали и о его позиции, но решили, видимо, Жумабая «топить». Они без колебаний называли отцу сотни тысяч, даже миллионы гектаров земель, пригодных к распашке в их областях.

Рассчитанные московскими аграриями 6 миллионов гектаров набрались без труда. Одновременно определилась судьба Шаяхметова — с началом распашки целинных земель ему в секретарях ЦК больше не усидеть.

Проблема Шаяхметова разрешилась сравнительно легко, из первых секретарей ЦК Компартии Казахстана его в феврале 1954 года убрали, перевели секретарем Южно-Казахстанского обкома партии. Воспитанный в нравах сталинских чисток 1930-х годов, он ожидал расправы, не сомневался — новое назначение только ширма, за ним неумолимо последует арест. Так происходило на его памяти всегда.

Ареста не последовало, Шаяхметов, насколько я знаю, первым в послесталинские времена не поплатился жизнью за свои убеждения, за противопоставление своего мнения мнению Москвы. Его не объявили националистом, не приклеили еще какой-то привычный в те времена политический ярлык. Отец отозвался о нем критически, но ни в чем не обвинил, сказал, что «товарищ Шаяхметов, честный человек, но для такой большой республики, как Казахстан, слаб».

В 1955 году Шаяхметова отправят на пенсию. Он проживет еще одиннадцать лет и умрет своей смертью. На место Шаяхметова, как он и предполагал, прислали варяга. Первым секретарем стал белорус с украинской фамилией Пономаренко, а вторым «украинец» с русской фамилией — Брежнев.

Но я немного забежал вперед. 13 января 1954 года записку отца рассматривали на Президиуме ЦК. Присутствовавшие отнеслись по-разному. Маленков с готовностью высказался «за». А вот Молотов посчитал распашку земель на востоке страны ошибочной и идеологически неверной. По его мнению — это тупиковый, экстенсивный путь развития земледелия. Следует, как учил Сталин, повышать интенсивность сельского хозяйства, увеличивать урожайность на имеющихся площадях, поддержать Нечерноземье, российскую глубинку, а не шарахаться бог весть куда.

Вот только как повысить урожайность не в далеком будущем, а немедленно, Молотов не сказал. Он говорил об удобрениях, которых нет, и в скором будущем их появление не предвидится. Появятся они, в лучшем случае, через десять лет. И строительство заводов для их производства обойдется дороже распашки целинных земель. Одних удобрений тоже недостаточно, интенсивное сельское хозяйство требует более высокой культуры земледелия, постоянной обработки посевов, безостановочной борьбы с сорняками. В странах с интенсивным ведением сельского хозяйства кукуруза дает такие урожаи, что никого не приходится уговаривать ее возделывать, а у нас, сами понимаете, распахал, посеял, а дальше вся надежда на Бога. Но Молотова это мало интересовало — главное, Сталин был против, а он привык Сталину верить.

Остальных членов Президиума ЦК целина особенно не задевала, и они охотно поддержали отца.

Для распашки и освоения 13 миллионов гектаров требовались люди, очень много людей, которые бы согласились поехать в Сибирь не на сезон, а обосноваться на новых землях навсегда. Осваивать целину в 1954 году по Столыпину не получалось, в отличие от начала XX века, лишних рук в деревне не осталось. Приходилось искать трудовые ресурсы в других местах.

Отец предложил кликнуть клич, призвать на подвиг освоения целинных земель молодежь, солдат, демобилизующихся из армии — где начали сокращение личного состава. Одновременно решили бросить туда всю производимую технику.

Споры о целесообразности распашки целинных земель не утихли и спустя полвека. Снова и снова поднимается проблема обезлюдения деревень, особенно на северо-западе, с его малоурожайными, подзолистыми почвами. Правда, удобрений в XXI веке производится в избытке, но их оказалось недостаточно, чтобы остановить деградацию «неперспективных» сел. Кто только не говорит о горькой судьбе, о вымирании исконно российских деревень. Снова обсуждают, где взять громадные капиталовложения, необходимые для их «подъема», капиталовложения, которых нет, как их не было и пятьдесят лет тому назад.

Мне этот спор кажется беспочвенным. Перетекание сельского населения из малоплодородных районов в более плодородные так же естественно, как и необратимо. Вся история человечества — один огромный пример поиска людьми лучших земель, лучшей жизни. Все те полвека, что россияне спорили о путях спасения российской деревни (как будто Сибирь — не Россия), нас кормила заграница, в значительной мере США и Канада. Кормила за счет ими освоенных собственных целинных земель, канзасских и айовских, распаханных в середине XIX века западных прерий.

Американская цивилизация возникла в XV веке тоже на северо-востоке, в Новой Англии. Тогда фермеры бросили первые зерна в каменистую подзолистую почву — такие уж почвы в северных краях, как в Америке, так и в России, — собрали первый небогатый урожай. Весь шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый и начало девятнадцатого века они выхаживали эту землю, возделывали, удобряли, выбирали камни из пашни. За прошедшие столетия насобирали столько камней, что из них понастроили ограды между полями. Земля все три века платила им за заботы скромным урожаем, его хватало на прокорм самих фермеров, а потом и немногочисленных горожан.

В начале XIX века, после покупки у Наполеона за 30 миллионов долларов Французской Луизианы, американцы обнаружили на теперь принадлежавшем им Среднем Западе красноземные плодородные равнины. Фермеры бросили обжитые хозяйства на востоке страны, погрузили скарб в запряженные лошадьми или волами повозки и потянулись на свою, американскую, целину. В освоении новых земель они опередили отца на целое столетие. Никто их не призывал к сохранению исконно американской фермерской культуры на исторической родине — северо-востоке, как никто их и не призывал обживать Запад. Но никто и не удерживал. Над ними не довлели ни цари, ни крепостники-помещики, ни кто-либо персонально. Они всё решили сами: урожай следует собирать там, где земля лучше родит. На новом месте переселенцев ожидали нешуточные испытания: и пыльные бури, там ветры посильнее сибирских, и сносящие все на своем пути смерчи, и периодические жестокие засухи, и град размером с куриное яйцо. Все выдюжили и теперь на своих красноземах производят четверть мировой продукции зерна, кормят излишками от своих урожаев: и хлебом, и мясом, и молоком с маслом полмира.

Фермы на северо-востоке давно заросли кленовым, дубовым, вязовым лесом. О прошлом напоминают только неуместные в чащобе леса, сложенные из камней аккуратные старинные изгороди.

Представим себе российских крестьян, еще в XVI веке, вслед за Ермаком Тимофеевичем, освоивших российскую сибирскую целину. Возможно, сейчас Россия, так же, как и Америка, не знала бы, куда пристроить излишки хлеба и мяса.

Но сложилось иначе. Россияне российскую целину оставили нетронутой. В Российской империи свободных людей не числилось, только служивые по разным ведомствам, да полурабы-крепостные. Цари предпочитали держать бояр, а потом, унаследовавших их поместья дворян под рукой. В Сибири они быстро отобьются от рук, и кто знает, что им там в голову взбредет? Бояре с дворянами не менее цепко держались за своих крестьян, от них зависело их богатство. Отпустишь их в Сибирь, и пиши пропало, на тамошних просторах крепостных днем с огнем не сыщешь. Только после освобождения крестьян в 1861 году от крепостной зависимости началось какое-то движение. В поисках лучшей доли они потянулись на Сибирскую целину. За тридцать с лишним лет, с 1885 по 1917 год, в Сибирь переселились 5 миллионов человек. Примерно по 150 тысяч в год. Для такой территории — капля в море. После революции дело застопорилось, теперь крестьян не отпускал вновь закабаливший

их Сталин.

Неперспективные деревни, следуя исторической логике, именно потому неперспективны, что нет у них природных условий для конкуренции с перспективными алтайскими, кубанскими, сибирскими землями. Не поддерживать их надо, а наоборот помочь им поскорее обезлюдеть. Пусть молодежь уходит, кто в города, а склонные к земледелию — на плодородные сибирские просторы. Как только перестанут насиловать исконно лесной северо-запад, перестанут заставлять землю родить хлеб там, где она не может родить, начнется естественное самообновление. Никогда не дававшие приличного урожая поля, как и полагается в природе, сменит стоявший тут испокон века сосново-еловый бор. Реки станут полноводнее, в леса вернется зверье и птицы.

К сожалению, такой поворот не для россиян. Даже отец, реформатор, смотрел на освоение новых земель как на отдушину. Разживемся целинным зерном, разрешим сиюминутные проблемы, а уж тогда возьмемся за возрождение исконно российских подзолистых, песчаных, суглинистых и глинистых полей. Как возродим? Зачем возродим? Во сколько это возрождение обойдется? И вопросов таких никто не задает. Ведь эти подзолистые суглинки — исконно наши, а целину пусть оставят себе казахи или еще кто.

В конце XX века казахская целина стала чужой. Продажа зерна с бывших целинных полей — одна из статей казахского экспорта.

Еще о Целине

В каждом деле таится немало частностей, постороннему взгляду неприметных, но от этого не менее существенных. Целину решили распахать, и сразу возникла проблема: как ее пахать? Казалось бы, и думать нечего, прицепляй плуг к трактору и паши в свое удовольствие. Все не так просто. Ученые по-разному подходили к пахоте на целине, не соглашались друг с другом, спорили, доходили до взаимных оскорблений и, естественно, апеллировали к отцу.

Бич целинного края — весенняя засуха, да еще с ветром. В 1951 году Т. С. Мальцев, тогда еще не академик, а просто полевод колхоза «Заветы Ильича» Курганской области, предложил не переворачивать плугом пласт почвы, а только прорезать его, рыхлить, оставляя поверхность нетронутой, по научному выражаясь, «пахать без выворачивания почвы, без отвалов, на глубину заделки семян, обрабатывать почву, хотя и мелко, но

культурно…» При такой вспашке в почве сохранится столь необходимая растениям влага.

Вывернутый же наружу глубинный слой почвы, не скрепленный корнями растений, быстро превращается в пыль, и несет его ветер «черной бурей», в зависимости от его силы или к соседям, или вообще на край земли. Если же землю только слегка «поцарапать» сверху, то корни растений не позволят ветру хозяйничать, верхний плодородный слой почвы с поля не стронется.

В противовес этому академик Лысенко в своей записке отцу писал, что надо «пахать глубоко, на двадцать сантиметров, хорошо переворачивая пласт».

Лысенко, Мальцев, и иже с ними полемизировали не только в научных журналах, но и в «директивных» общесоюзных газетах «Правде» и «Известиях». Каждый навязывал отцу свой «единственно правильный» метод. Каждый из них приводил весомые аргументы, каждого поддерживали сторонники, на дух не принимавшие любое, исходившее с «той стороны» слово. Отец какое-то время колебался, склонялся то к одному, то к другому мнению. С одной стороны, признанный в сельскохозяйственных кругах еще со сталинских времен «авторитет» Лысенко, с другой — не очень уж и известный в стране Мальцев. Но зато он человек местный, южно-сибирские и казахские земли знает не понаслышке.

В нецентрализованной системе хозяйствования фермеры решение принимают каждый за себя, и отвечает каждый только за свое поле. Один — поверит Лысенко, другой — Мальцеву, кто-то выиграет, кто-то проиграет.

Отец же, практически один, отвечал за всю страну. Он не рискнул идти против «науки», встал на сторону Лысенко. Я могу его понять. Речь шла о поросшей травой, никогда не паханной целине. Поскребешь ее по поверхности культиватором на пару-тройку сантиметров, бросишь в месиво корней вековых трав семена, и что получится? Трава поднимется первой, задушит всходы пшеницы и останется, как до вспашки — целина целиной. Только пропахав землю на полную глубину, перевернув травяной пласт, оставив траву без света и воздуха, можно извести ее. Так всегда поступают огородники, вскапывая «целину» лопатой на собственном садовом участке. Наверное, так рассуждал и отец. Я или не слышал, или не запомнил разговоров на эту тему, его аргументов. Другое дело, что в засушливой степи, расправившись с травой, далее следовало обрабатывать землю по Мальцеву, не плугом пахать, а рыхлить ее лущильником-культиватором неглубоко, не разрушая структуру почвы, не выворачивая на

поверхность глубинный, пока еще влажный, слой земли. В засушливых казахских и сибирских степях влага — на вес золота.

С весенними засухами, с черными бурями отец намаялся на Украине, там тоже старались пахать поосторожнее. Я уже писал, как отец возмущался, когда Сталин до и сразу после войны «искоренял» буккер, по сути «Мальцевскую» мелкую вспашку на засушливых южно-украинских полях и в Поволжье.

Собственно, к «буккеру» и сводились рекомендации Мальцева. Однако в те годы в Мальцева, кроме отца, не верил практически никто. Да и отец верил в него не до конца и поддержал Лысенко. Мальцеву же он предложил продолжить эксперименты. Уральский полевод, доказывая свою правоту, выступал на совещаниях, публиковал советы в газетах. Местные хозяйства следовали его рекомендациям, другие, там где работали люди, приехавшие из Средней России, оттуда, где влагу не экономят, предпочитали более привычный им плуг.

В засушливом 1955 году, когда под палящими лучами солнца практически вся целина выгорела, на обработанных Мальцевым полях собрали урожай, пусть плохонький, но все-таки собрали. Мальцев доказал свою правоту. И так совпало, что к своему юбилею. Отец предложил отметить шестидесятилетие Мальцева не просто орденом, а высшей наградой страны. 9 ноября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Терентию Семеновичу Мальцеву звание Героя Социалистического труда. В следующем, 1956 году, Мальцева изберут в Сельскохозяйственную академию членом-корреспондентом. Но несмотря на все регалии, реальное признание к нему придет еще не скоро. Борьба с его «псевдопахотой» продолжится и на следующий год, и через два, и через три года. Противники Мальцева объединятся, перегруппируются, снова перетянут на свою сторону отца, перейдут в наступление и, казалось бы, победят.

И только катастрофа 1963 года, тогда в очень уж засушливую весну ураганный ветер унесет далеко на север перевернутый плугом, пересушенный солнцем самый плодородный слой почвы, окончательно убедит всех в правоте Терентия Мальцева, ему вторично присвоят звание Героя, его имя занесут в энциклопедию.

Сейчас, задним числом, отца справедливо ругают за ошибки. Реже снисходительно похваливают за правильные решения. Но это все происходит после, когда все карты открыты, и мы знаем ответ. Отца же обстоятельства вынуждали становиться на сторону того или иного эксперта, не сам же он придумывал агротехнические приемы, когда ответа еще не знал никто. Он

рисковал, рисковал и своей репутацией, и, что важнее, будущим урожаем. Репутация его пострадала больше урожая. Несмотря на все ошибки и засухи, зерна на целине с каждым годом собирали все больше. До сего времени кое-кто из его былых советчиков, продолжая стародавний спор, твердит, что если бы к ним прислушались, то все прошло бы без сучка и задоринки. Слава Богу, что хотя бы решение об освоении целины, и они не считают «ошибкой».

Спорить с такими людьми бессмысленно, они правы, но всегда правы задним числом. Как правы анализирующие битвы отставные генералы: если бы они не ошиблись вот тут и там, и еще вон там, а противник действовал бы, как действовал, то они бы, без сомнения, победили.

Пока Лысенко с Мальцевым спорили, как глубоко и чем следует пахать на целине, профессор М. Г. Чижевский, директор Почвенно-агротехнической станции имени В. Р. Вильямса, рекомендовал целинникам «с самого начала внедрять паровые севообороты, многолетние травы и тем самым уберечь земли от засорения сорняками».

Казалось бы, чисто профессиональный совет, никому, кроме аграриев, не интересный. Это так и одновременно не так. Не углубляясь в детали, отмечу главное: профессор Чижевский проповедовал теорию академика Василия Робертовича Вильямса, утверждавшую, что для увеличения плодородия почвы нет необходимости во вмешательстве извне, почва самовосстанавливается, следует только правильно чередовать выращиваемые на полях растения: после урожая пшеницы или ржи оставить поле отдохнуть на сезон распаханным, но не засеянным под черным паром, а еще через год засеять его люцерной или клевером. Они наберут из воздуха питательные вещества, образуют на корнях клубеньки азота, а это — лучшее удобрение. Дальше — все сначала: рожь — черный пар — люцерна с клевером. И так из года в год. Такую смену растений на полях называли трехпольной системой земледелия, в простонародье — «трехполкой». По сути, Вильямс ничего нового не придумал, в начале XX века он позаимствовал у крестьян схему, применявшуюся последние века полтора. О минеральных удобрениях тогда еще не задумывались, навоза у большинства крестьян набиралось только для огорода, вот и приходилось выкручиваться. Постепенно система травооборота на полях усложнялась, трехполку сменила пятиполка, затем семиполка, но существо осталось прежним.

Несколько слов об академике Вильямсе. Кто он такой? Откуда взялся? Отец академика, Роберт Вильямс — инженер-

путеец, в первой половине XIX века приехал в Россию из Америки. Он подрядился на стройку первой у нас Николаевской железной дороги, соединившей Петербург с Москвой. Приехал на время, а остался навсегда. Влюбился в крепостную девушку, выкупил ее у помещика, дал волю и женился на ней. Такая случилась романтическая история. От них пошел род Вильямсов-россиян. Их сын Василий пристрастился к земле, окончил в Москве Петровскую сельскохозяйственную академию, ее после революции переименовали в Тимирязевскую.

В 1901 году, через семь лет после окончания академии, Вильямс получает в заведование кафедру Общего земледелия и почвоведения. В 1920-е годы, когда начался исход ученых из России, Вильямсу предложили вернуться домой, в США. Он отказался, российская революция стала его революцией.

Главный оппонент Вильямса — Дмитрий Николаевич Прянишников, тоже академик и профессор, руководил в Тимирязевке кафедрой агрохимии, считал трехполку-травополку бесперспективной и вредной, ратовал за увеличение капиталовложений в сельское хозяйство, производство минеральных удобрений. Иначе агрономия так и замрет на первобытном уровне.

Разногласия между профессором Вильямсом и профессором Прянишниковым уходят своими корнями в самый конец XIX века и с особой силой разгораются в период Столыпинской реформы крестьянской общины. Тогда, в 1906–1911 годах, не менее остро, чем в 1954-м, спорили о будущем российского земледелия, оставаться ему патриархально-травопольным или, по примеру Германии, сориентироваться на агропромышленное развитие. Прянишников опередил свое время. В начале XX века химические удобрения почитали за немецкие фантазии, а проповедовавшего их профессора Прянишникова называли оторванным от реалий жизни мечтателем. Вильямс от времени отставал, его научные взгляды принадлежали к веку прошедшему, но не противоречили так называемому здравому смыслу.

Прянишников Вильямса демонстративно игнорировал. Вильямс же вел против него настоящую войну, при любой возможности старался уколоть, унизить, язвительно поучал студентов: «На первом этаже Тимирязевки (там размещалась кафедра Вильямса) учат, как “нужно” вести сельское хозяйство, а на втором (у Прянишникова) — как “можно” это делать. А это вещи разные».

После революции, в разруху, было не до минеральных удобрений, крестьянам приходилось рассчитывать только на себя, основой их хозяйствования оставалась извечная нехитрая

трехполка. Теория Вильямса Сталину понравилась сразу. Она отвечала его курсу на ограбление крестьян, не требовала от государства дополнительных капиталовложений в сельское хозяйство, пусть колхозники выкручиваются сами, как могут.

К концу 1930-х годов Вильямс постарел, одряхлел, перемещался по коридорам Тимирязевки в инвалидкой каталке, а его разногласия с Прянишниковым переросли в идеологическую вражду. Тут грянул 1937 год. Безобидную сельскохозяйственную «теорию» академика Вильямса так же, как «теорию» профессора Марра в языкознании, или «теорию» академика Лысенко Сталин возвел в идеологическую непререкаемую догму.

С травополием отец познакомился еще до войны, я уже упоминал об этом. В засушливые годы на Украине она приносила скорее вред, чем пользу. Вильямс же оказался пострашнее Лысенко, он убедил Сталина в своей непогрешимости, и «партия навалилась всем своим авторитетом на внедрение травопольной системы. Сколько я, — пишет отец, — произнес в ее адрес хвалебных речей… А она не дала должного эффекта. Мы несли большие потери».

Профессору Прянишникову повезло, в 1937-м его не расстреляли и даже не репрессировали, он умер уже после войны. Но от науки Вильямс его отставил навсегда.

Обретя в 1953 году власть, отец решил разобраться по существу с «теорией» академика Вильямса, «нашего, советского ученого». Тем самым он поставил себя между двух огней, оказался в эпицентре спора двух научных школ. Представители обеих школ апеллировали к нему и от него ожидали вердикта, естественно, в свою пользу. «Возможно ли огульное применение травопольной системы Вильямса во всех районах нашей необъятной страны? Сомнительно», — пытается разобраться в сути отец.

Со временем тон его становится все более решительным: «Мы сориентировались на Прянишникова. Он предлагал более конкретные методы увеличения урожая. Тут и навоз, и трава, и люцерна, и клевер, но в основе лежали минеральные удобрения. Без них двигаться дальше оказалось просто невозможно».

Вступив в борьбу с травополием, отец не только восстанавливал доброе имя профессора Прянишникова, не только внедрял в сельское хозяйство достижения мировой науки середины XX века, но и преследовал сугубо прагматические цели: в трехполке «простаивает», не приносит урожая две трети сельхозземель, а в семиполке — и того больше. Если эти «отдыхающие» поля удобрить и засевать из года в год пшеницей, то сбор зерна можно увеличить в несколько раз. Именно так

поступали американские фермеры. Они давно отказались от архаических севооборотов, сеяли пшеницу по пшенице, кукурузу по кукурузе и собирали хорошие урожаи.

Отец отдавал себе отчет — сразу воспользоваться американским опытом не получится. Минеральных удобрений в стране производится мало, и качество их такое, что и называть их удобрениями он стыдился. Но и дедовскими агроприемами страну не накормишь.

С профессором Чижевским отец тогда не согласился, но и травополье не отверг. В последующие годы он так и будет колебаться: то наступать на травополку, вытеснять с полей черный пар и травы, потом на время отступать и снова наступать.

Итак, как я уже писал, 22 января 1954 года отец отправил в Президиум ЦК обстоятельную, нашпигованную цифрами записку о необходимости освоения целинных земель на востоке страны. После одобрения 30 января 1953 года Президиумом ЦК плана освоения целины, он взялся за его воплощение, проводил бесчисленные совещания с министрами, секретарями обкомов, следил за графиком движения поездов, везущих в Казахстан и Сибирь палатки — в них поначалу расселятся первопроходцы, трактора, солярку, консервы, муку. Все надо доставить за два-три оставшихся до посевной месяца. Надо начать распахивать целину уже этой весной, опоздать, даже на пару недель — значит потерпеть поражение, почва в степи высохнет, зерно не проклюнется, об урожае придется забыть.

За зиму пятьдесят четвертого года отец публично выступает: 24 января на совещании работников машинно-тракторных станций, 5 февраля — на совещании работников совхозов, 15 февраля — на совещании передовиков сельского хозяйства РСФСР, 22 февраля — на митинге московской молодежи, отъезжающей осваивать целину и, наконец, 24 февраля — на Пленуме ЦК КПСС, посвященном сельскому хозяйству, а конкретно — целинным и залежным землям.

Его доклады и выступления насыщены, перенасыщены цифрами, отцу нравится убеждать слушателей конкретикой. На глазах аудитории, буквально с карандашом в руках, он вычисляет прирост будущего урожая после освоения новых земель, увеличение надоев молока в результате перехода на научно-обоснованное кормление коров и тут же переходит к содержанию кормовых единиц в кукурузном силосе, овсе, сене, соломе, и так без конца. Такая детализация, углубление в проблему на неподготовленных слушателей нередко оказывали противоположный эффект. Люди сначала скучали, затем переставали слушать и в конце концов засыпали. Детализация,

уместная в записках и Постановлениях Правительства, в публичных выступлениях не срабатывала. Одна-две цифры и громкий призыв воспринимались бы куда лучше. И выступать отцу следовало бы пореже. Но он стремился растолковать людям суть волновавшей его проблемы, не сомневался: поняв его, слушатели загорятся, как загорелся он сам, и тогда они вместе горы своротят.

Манера выступлений отца — не исконно российская, скорее западная, американская. Правители в России, как и в других восточных деспотиях, обязаны выступать по-царски редко и, главное, вещать не очень понятно. Как сказал Пушкин в «Борисе Годунове»: «…Не должен царский голос / На воздухе теряться попустому…»

Что конкретно они вещают, потом народу разъяснят толмачи-толкователи. Так выступали и писали свои рескрипты цари-самодержцы, так обращался к народу Сталин.

Отец же, по-американски «продавал» свои идеи слушателям, в деталях растолковывал все выгоды и преимущества и тем самым низводил себя с Олимпа, превращался в одного из нас. Его речи переставали слушать, переставали и читать его выступления, занимавшие первые, вторые, а порой и третьи страницы газет. Тогда появился обидный для отца анекдот: На вопрос: «Можно ли в газету завернуть слона?» — отвечали: «Да, можно, если в ней напечатано выступление Никиты Сергеевича».

В ежедневных сводках КГБ о настроениях в стране отец регулярно прочитывал анекдоты о себе, но не обижался, хотя сводки содержали не только и не столько безобидные анекдоты, но и куда более серьезный «негатив», в том числе угрозы и проклятия. С самого начала своей деятельности отец раз и навсегда распорядился славословиями его не грузить. Их он выслушивает довольно и на официальных мероприятиях. Критика же, пусть и несправедливая, приносит больше пользы.

Владимир Семичастный, возглавивший в 1962 году КГБ, вспоминал, как при сдаче дел его наставлял предшественник Шелепин: «Ты бери самые злые анонимки, где Никиту матом ругают, газетные портреты с выколотыми глазами и неси ему на доклад. Хрущев и меня просил приносить ему это добро и читать вслух».

Я, естественно, этих сводок не видел. Прочитав их отцу, Семичастный увозил все обратно на Лубянку.

Несмотря на анекдоты, отец манеру выступлений не менял и не поменяет. Он обращался не к «анекдотчикам», а своим потенциальным соратникам, последователям. Надеялся, что они извлекут из его выступлений рациональное зерно, и вместе они

сделают столь нужное советскому народу дело. И по-своему отец прав.

Чтобы заставить систему работать, требуется постоянно подкачивать энергию извне. Система же, особенно бюрократическая, сопротивляется изо всех сил, стремится растечься в безбрежное болото, погасить любые идущие извне импульсы.

По складу характера отец — не оракул. Он управляющий-менеджер, но не отдельным предприятием, а всей страной. Своими речами он, в меру своих возможностей, разгонял накопившуюся за последние годы сталинского правления энтропию, выстраивал министров, секретарей обкомов в шеренгу, направлял их на активные действия, а затем подгонял, будоражил многочисленными проверками, собственными наездами то в один, то в другой регион. Но одолеть энтропию ему удавалось только на время и только в каком-то конкретном случае. Стоило отпустить вожжи, и энтропия тут как тут, все снова погружалось в трясину.

Приведу пару примеров из бесконечной череды сражений отца с энтропией. В 1953 году он на совещании работников совхозов сетует: «Посевные площади под зерновые уменьшились на 30 процентов, под техническими культурами и того более, освободившиеся земли засеяли травами на корм скоту. А в конце года заготовили кормов меньше, чем в предыдущие годы. Куда трава подевалась, неизвестно: то ли коровы ее на корню съели, то ли нерадивые хозяйственники разленились?»

С одной стороны, выходит, что без погонялки никак не обойтись. С другой, отец убеждает и себя, и других, что надо дать больше свободы крестьянам, «предоставить право самим колхозам и совхозам планировать, сколько и где сеять пшеницы, ячменя и других культур. Скажем, Госплан определяет: такие-то районы должны сдать государству столько-то пшеницы, кукурузы, льна и т. д. А где, как и сколько сеять той или иной культуры, решают на местах. Им лучше знать, где и какая культура дает наибольший урожай».

Тут отец абсолютно прав, эффективно противостоять нарастанию энтропии возможно только на уровне хозяйства, когда хозяин сам решает, какой порядок его устраивает, а какой нет. Здесь многое, если не все, зависит от установленных верхами правил взаимоотношений с низами, с хозяевами, с колхозами. Отец это понимает. Говоря об эффективности колхозного хозяйства, он сравнивает их с частными поместьями, где все решает ответ на простой вопрос: «Какие вы мне обещаете доходы с моего хозяйства?»

Ответить на этот вопрос не так просто. Централизованное всевластное государство стремится урвать себе побольше. В результате хозяин вырабатывает стратегию с оглядкой на верха, приноравливается, что из произведенного придется отдать, а что государство позволит оставить себе. Все зависит от того, насколько сбалансированы интересы верхов и низов, государства и производителя. Если они не сбалансированы, успеха добиться практически невозможно.

Вот как он вспоминает встречу с председателем колхоза в Егорьевском районе в Подмосковье в 1951 году.

«— Ну, — спрашиваю, — какая из культур наиболее выгодная для вашего колхоза?

— Товарищ Хрущев, — отвечает председатель, — я много думал и считаю, что самая лучшая культура для нас овес.

— Почему овес, — спрашиваю, — может быть, он самый урожайный?

— Нет, — поясняет председатель, — но это самая нетрудоемкая культура. Овес легко сеять и легко убирать».

Ответ резонный. Если все равно все отберут, то какой смысл работать?

В самое сердце ранило отца увиденное весной 1954 года в Барабинской степи, в Сибири. Места обжитые, не целина, пшеницу там возделывали уже давно. По своей привычке отец задавал вопросы не высоким областным начальникам, а людям, непосредственно работавшим на земле. Большинство собеседников отвечало ему «как надо», но всегда находился правдолюб, рассказывавший «как есть на самом деле». Вот и тут отец уже в конце беседы вцепился в директора местного совхоза: «Что бы он сеял, если бы получил волю решать по-своему?»

— Могар,[14] — недолго раздумывая, ответил директор, — взамен пшеницы могар.

— А почему могар? — спрашивает отец.

— Могар государство не отберет, — объяснил директор.

«И это говорит директор крупного совхоза, коммунист», — возмущался отец с трибуны Пленума ЦК 23 июня 1954 года.

Не знаю, как долго этот «могар» икался директору совхоза, но отец его запомнил до конца своих дней. Вот и дай после таких ответов больше свободы выбора колхозам, они мигом страну до голода доведут. Парадокс. На самом деле никакого парадокса тут нет, следует только согласовать интересы, государства и производителя, сделать так, чтобы и общество не пострадало, и крестьянин внакладе не остался. Начнешь отбирать слишком много, поневоле на могар потянет.

Собственно, поисками баланса отец и занимался все свои

одиннадцать лет управления страной: то давал послабление селу, то увеличивал административный нажим, то вновь ослаблял. Только в последние пару лет он начал нащупывать правильный, как мне видится сейчас, ответ, но осуществить задуманное не успел, время его истекло.

Перечитывая стенограммы выступлений отца в 1954 году, убеждаешься, что многие из его будущих новаций произрастают из того времени.

Отец, пока еще походя, отмечает несообразности министерской вертикали: цемент для строек, запасные части к тракторам, металл поставляют заказчику не с соседних предприятий, а везут издалека, из-за тридевяти земель, так, чтобы, не дай бог, не пересечь ведомственные границы.

Другая волнующая его тема — продуктивность научных исследований. Институт сахарной свеклы расположился в Москве, где сахарную свеклу никогда не выращивали, а вот в США сельскохозяйственную науку делают прямо на фермерских полях, их агроуниверситеты строят не в Бостоне или Вашингтоне, а в штатах Канзас или Айова.

23 февраля на Пленуме ЦК отец призывает перестать руководить в общем всем.

Секретари райкомов и обкомов обязаны в деталях разбираться в хозяйственных вопросах, стать управляющими или уйти, освободить место молодым. Выводов он пока не делает. Так, зарубка на память.

На совещании передовиков сельского хозяйства РСФСР отец объясняет, что мяса, молока, масла, яиц в рационе людей не увеличить, если как следует не накормить коров, свиней и кур, а для этого надо во что бы то ни стало произвести дополнительно миллиард двести миллионов пудов (19,2 миллионов тонн), в основном, фуражного зерна. Вывод — без целины нам не обойтись.

В 1954 году целинная тема звучит повсюду: и в выступлениях перед отъезжающей молодежью, и на открывшемся 23 февраля Пленуме ЦК КПСС, целиком посвященном целине. На этом Пленуме отец похвалился: в сентябре прошлого года чуть ослабили налоговый пресс и за неполные полгода поголовье коров выросло почти на полтора миллиона голов, в том числе у частника, он особо это подчеркнул, более чем на шестьсот тысяч. Очень скоро эти шестьсот тысяч частных коров аукнутся, и еще как!

На целине работы — непочатый край, там источник нашего будущего благосостояния, убеждает отец своих слушателей, тринадцать миллионов гектаров — это только начало, в будущем

можно освоить до тридцати трех миллионов гектаров.

22 февраля отец, выступая перед московскими комсомольцами, призвал их ехать осваивать целину. Молодежь восприняла его слова на ура. Формировались комсомольские бригады, целые молодежные совхозы. Не обращая внимания на слезы и причитания родителей, молодые люди паковали вещи и ехали ради устройства лучшей жизни на земле в никуда, в степь. Я выбрал только несколько примеров. Интересующиеся происходившим тогда, на заре перемен, смогут найти в книгах отца еще много интересного. Вот только книги эти найти непросто, в брежневские времена их, изъяв из магазинов и библиотек, пустили под нож.

Наверное, это последний в советской истории искренний порыв. Последующие комсомольские стройки: и большая химия, и Байкало-Амурская железнодорожная магистраль постепенно превращались в бюрократическую рутину.

Молодежь рвалась к подвигу, а секретари обкомов, выслушав отца, привычно брали под козырек. Люди опытные, они поняли, что работу их оценят по количеству «освоенных» гектаров целины. В своих владениях они распашут все непаханые земли: пригодные для земледелия, полупригодные и вовсе непригодные, — главное отрапортовать об освоении, а там хоть трава, извините, пшеница, не расти.

Арзамас, Бобруйск, Крым

10 января 1954 года газеты опубликовали сообщение о разделении Горьковской области на две, собственно Горьковскую и Арзамасскую и учреждении еще четырех областей: Балашовской, Белгородской, Каменской и Липецкой. Административные изменения произошли и на Украине, там образовали Черкасскую область. Появились новые области, а с ними новые секретари обкомов, председатели облисполкомов и так далее. Считалось, что мелкие области более управляемы. Через несколько лет мнение поменяется. С целью повышения эффективности управления Арзамасскую область сольют с Горьковской, сократят лишнего секретаря обкома, предисполкома и так далее. События, на первый взгляд, не заслуживающие упоминания, если бы не еще одно территориальное преобразование.

25 января 1954 года Президиум ЦК одиннадцатым пунктом повестки дня рассмотрел вопрос об административном переподчинении Крыма. Дело решили за 15 минут, а соответствующие Указы Президиумов Верховных Советов

постановили обнародовать к празднику. Той зимой праздновалось 300-летие воссоединения (так тогда назвали присоединение) Украины с Россией. В 1654 году Казацкая Рада во главе с гетманом Богданом Хмельницким подписала союз левобережной (по отношению к Днепру) Украины с русским царем Алексеем Михайловичем. Правобережная Украина осталась под протекторатом Польши.

Юбилей отмечался пышно. Передачу Крыма из одной союзной республики в другую обставили как символ нерушимой дружбы российского и украинского народа. Нужно сказать, что в 1954 году переход Крыма из-под одной юрисдикции в другую никакого общественного резонанса не вызвал. Такие решения принимались и раньше, к ним привыкли. К примеру, в двадцатые годы Абхазия считалась самостоятельной республикой в составе Союза, а затем ее в качестве автономии подчинили Тбилиси. До 1940 года город Вильно и Виленская область принадлежали Белоруссии, а потом город переименовали в Вильнюс, и он стал столицей советской Литвы. Карельскую автономную республику в 1940 году возвели в ранг Карело-Финской союзной республики, а по истечении полутора десятилетий возвратили в прежнее качество. Это все крупные преобразования, передачи же районов и других территорий от области к области, от республики к республике происходили постоянно и никого, кроме местных руководителей, не интересовали. Подчинение Крыма Киеву в 1954 году произошло так же незаметно: поменяли дорожные указатели, переименовали Мисхор в Місхор, город Ялту в місто Ялту. Кого это волнует? Черное море осталось таким же ласковым, а крымские чебуреки — такими же сочными. Кстати, чебуреки не русское и не украинское изобретение, а татарское, как и сам Крым — татарский.

Крымская проблема возникла много позже, когда, не задумываясь о последствиях, в 1991 году совершилось то, что отцу и в кошмарном сне не могло присниться: Президент Российской Федерации Борис Ельцин, ослепленный ненавистью к Президенту СССР Михаилу Горбачеву ради устранения своего недруга из Кремля инициировал распад Союза, не раздумывая пожертвовал страной. Вот тогда-то и заговорили о территориальных потерях, в первую очередь о Крыме, там и Севастополь, и Ялта, и винные подвалы Массандры. Все это теперь заграница. Тут же вспомнили о светлейшем князе Потемкине-Таврическом, это он присоединил Крым к Российской империи, и отдать его украинцам — почти государственное преступление. Не стану возражать, но вот только во всем почему-то винят отца. Мне Крым тоже очень жалко, но ведь уплыл от

России не только Крым, но и Одесса, и Очаков, и Измаил, и Кинбурнская коса — и эти места когда-то Потемкин с Суворовым отвоевали у турок. Но, снявши голову, по волосам не плачут. Раньше следовало думать, а нынешние причитания сродни анекдоту: «Дед когда-то передвинул комод из одной комнаты своей квартиры в другую и забыл о нем. Через много лет непутевый внук спьяну продал первому встречному комнату вместе с комодом, а протрезвев, стал хаять деда: «Вот старый дурак, если бы он не двигал мебель, то мне хотя бы комод остался».

Действительно, передачу Крыма Украине инициировал отец, но не как подарок к юбилею, тут просто совпадение дат, он руководствовался чисто прагматическими соображениями. Если посмотреть на карту, то видно: Крым географически и экономически тяготеет к Украине, более того, полностью зависит от нее, даже нет узенького сухопутного коридора, соединяющего полуостров с Россией.

В конце войны, в 1944 году, Сталин повесил Крым на шею отцу. Татар выселили в Среднюю Азию, крымские земли обезлюдели, Сталин приказал заселять их соседями-украинцами и отчасти русскими. Ехать ни те, ни другие на новое место не хотели, приходилось уговаривать, а порой и принуждать. Кормить, обустраивать переселенцев пришлось еще не очухавшейся от войны Украинской ССР. Занимался всем этим отец. Как занимался он и восстановлением Севастополя. Я уже упоминал об этом специальном поручении Сталина. Отец отвечал за Севастополь, но даже Николай Проскуряков, начальник строительства и протеже отца, ему формально не подчинялся. Над ним стоял специальный севастопольский главк или трест в Москве. Так что отец любую малость решал через Москву, через Совет Министров РСФСР, а там у каждого — свой норов. Порой приходилось по пустякам апеллировать к Союзному правительству, а то к самому Сталину. Устав от бюрократических проволочек и амбиций, отец предложил Сталину разрубить все узлы, переподчинить Крым Украине. Сталин отказал. Почему? Не знаю. Отец мне никогда не рассказывал.

После переезда в Москву в 1949 году отец о Крыме забыл, даже в отпуск туда не ездил. В те годы он вообще не отдыхал, разве что однажды, по приглашению Сталина, гостил у него на даче в Сочи.

После смерти Сталина отцу пришлось заняться всей страной, в том числе и Украиной, и Крымом. Наиболее остро вопрос о Крыме возник при обсуждении строительства каскада ГЭС на Днепре. От водохранилища самой нижней из них, Каховской,

планировалось прокопать оросительные каналы Южно-Украинский в Донбасс и Северо-Крымский, естественно, в Крым. Строительство ГЭС и каналов ложилось на плечи украинцев. Вот тогда-то новый украинский партийный секретарь Кириченко и заговорил с отцом о Крыме, попросил передать его под управление Киева, иначе работа не сладится. Отец вспомнил о своих давних мытарствах с Москвой и поддержал Кириченко. Правда, Севастополь как военно-морскую базу не тронули, сохранили в подчинении Москвы. Но Севастополь украинцев ни в коей мере не задевал, дела закрытого города их не касались. А тут и юбилей подоспел, решили и делу помочь, и подарок к празднику поднести. 19 февраля 1954 года газеты опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», а на очередных сессиях Верховных Советов России и Украины, специально их по такой малости не собирали, проштамповали соответствующие республиканские законы: «Крым сдал. Крым принял».

«Богдан Хмельницкий» (Отступление второе)

Празднование юбилея воссоединения двух славянских народов сопровождалось гастролями российских театров в Украине и украинских в России. В мае в Москву приехал Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко. В числе других постановок привезли оперу композитора Константина Данькевича «Богдан Хмельницкий». Ее давали в Большом театре 10 мая 1954 года, и отец не мог отказать себе в удовольствии сходить на спектакль, тем более что одну из главных ролей в опере исполнял любимый отцом прославленный киевский бас Борис Романович Гмыря.

В конце войны отец спас Гмырю от тюрьмы. Певец оказался у немцев, то ли не смог летом 1941 года выбраться из окруженного немцами Киева, то ли остался по доброй воле. Как бы то ни было, но Гмыря пел в «немецкой» Киевской опере. В 1943 году, когда наступали советские войска, он снова не двинулся с места. После освобождения Украины Гмыря оказался в руках армейской контрразведки. Его решили судить как изменника. Отец попытался урезонить дознавателей: это не Гмыря перешел к немцам, а наша Красная Армия, отступая, оставила его вместе с миллионами других под немцами. Да, он пел в оккупированном Киеве, но не воевал против нас. Аргументы отца не помогли, и он пожаловался Сталину. Тот приказал оставить певца в покое. Гмыря вернулся в Киевскую оперу, получил звание народного

артиста.

В театры отец ходил обычно или с нами, с семьей, или официально, с другими членами Президиума ЦК, тогда появлялась информация в газетах. На сей раз члены Президиума сидели в левой боковой правительственной ложе, а мы разместились в партере.

Подчеркнуто официальное посещение оперы «Богдан Хмельницкий» высшим руководством страны имело и политическую окраску. Совсем недавно вокруг нее разразился скандал. В 1951 году в Москве с такой же помпой проходила декада украинского искусства, в театрах и концертных залах выступали лучшие киевские, и не только киевские, артисты. Кульминацией декады должна была стать эта злосчастная опера «Богдан Хмельницкий». Слушать ее в Большой театр приехал сам Сталин. Кульминации не получилось, опера Данькевича Сталину не понравилась, как не понравилась много раньше и опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». К тому же, в «Богдане Хмельницком» обнаружились «политические недосмотры». На следующий день «Правда» обвинила Данькевича в музыкальном формализме и политической беспринципности. Прочитав статью, я «подъехал» к отцу с расспросами, но он угрюмо промолчал. Я продолжал допытываться, что такое формализм. Отец не выдержал и буркнул: «Не мешай».

Либретто к опере Данькевича написали старые знакомые отца и любимцы Сталина украинские писатели Александр Корнейчук и его жена Ванда Василевская. По итогам декады они рассчитывали получить очередную Сталинскую премию, а тут такой конфуз. Корнейчук кинулся к отцу, но он «отшил» драматурга. Посчитал слишком опасным препираться со Сталиным из-за оперы. Оперу приказали переделать, Корнейчук с Василевской перекраивали либретто, Данькевич переписывал музыку. В 1954 году в Большой театр привезли исправленный вариант. Певцы пели прекрасно, но сама музыка на меня особого впечатления не произвела. Отец, правда, отозвался об опере с похвалой. Не знаю, искренне или по соображениям политическим.

Декада украинского искусства в Москве вскоре закончилась, а борьба вокруг оперы «Богдан Хмельницкий» только разворачивалась. И Данькевич, и Василевская с Корнейчуком мечтали о полной реабилитации, снятии всех претензий к первой редакции оперы, что означало признание неправоты самого Сталина.

До 1956 года они не предпринимали активных шагов. После XX съезда времена изменились, и они насели на отца, убеждая его, что пришло время исправить сталинские ошибки. Отец не

возражал, попросил подготовить все, что требуется. Пока готовились материалы, отцу стало не до «Богдана Хмельницкого», разгорелись бурные события в Польше, в Венгрии, в Египте.

В начале 1958 года Корнейчук с Василевской вновь обратились к отцу. Теперь все прошло гладко. Проект Постановления о реабилитации оперы «Богдан Хмельницкий» писали в Союзе композиторов и, конечно, пристегнули к Данькевичу других опальных композиторов. 28 мая 1958 года отец подписал Постановление реабилитировавшее раскритикованных в разное время — Д. Шостаковича за оперу «Леди Макбет Мценского уезда», грузинского композитора Вано Мурадели за неправильную оперу «Великая дружба», Г. Жуковского за оперу «От всего сердца», украинского композитора К. Данькевича за «Богдана Хмельницкого».

В газетах Постановление появилось 10 июня. В нем говорилось, что «в опере Вано Мурадели ”Великая дружба” имелись недостатки, но они не давали оснований объявить ее примером формализма в музыке. Талантливые композиторы товарищи Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и другие были огульно названы представителями антинародного формалистического искусства… Субъективный подход И. В. Сталина нашел свое отражение и в статьях “Правды” за 1951 год с односторонней и тенденциозной критикой К. Данькевича “Богдан Хмельницкий” и Г. Жуковского “От всего сердца”. Неверно обвинение Данькевича в беспринципности». Все происшедшее объяснялось субъективным подходом Сталина к оценке музыкальных произведений.

Сталин считал себя в музыке экспертом, и не из последних.

Помню, после смерти Сталина, отец взял всю семью на экскурсию на его ближнюю дачу, в Волынском, за Поклонной горой. (Там тогда собирались устроить музей Сталина. Потом передумали и на даче Сталина организовали поликлинику ЦК КПСС.) В числе других экспонатов будущего музея выставили патефонные пластинки. На одной из них, с записью хора Александрова, Сталин раздраженно написал: «На два такта шибче». Мне запомнилось это «шибче». Так и с Шостаковичем: Сталин посчитал, что он пишет «сумбур вместо музыки», что оркестр не звучит, а «крякает, ухает, пыхтит, задыхается» — и ничего не попишешь. (Редакционная, без подписи, статья «Сумбур вместо музыки. (Об опере «Леди Макбет Мценского уезда») была опубликована в газете «Правда» от 28 января 1936 г.)

Несмотря на подпись отца под Постановлением процесс реабилитации растянулся на годы. Больше всех досталось опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского узда». Еще целых пять лет

что-то «увязывали», что-то согласовывали. Наконец все утряслось, 8 января 1963 года, отец со всеми чадами пошел на премьеру оперы «Катерина Измайлова», так теперь называлась «Леди Макбет» в Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Стыдно сказать, но мне музыка показалась немелодично-шумной и в чем-то сумбурной.

Надо ли страшиться ядерной войны?

9 февраля 1954 года медалями «За отвагу» наградили оставшихся в живых моряков крейсера «Варяг». Пятьдесят лет тому назад, в 1904 году, «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» у входа в порт Чемульпо (потом его переименуют в Ичхон, в 1951 году здесь высадятся американцы, чтобы ударить во фланг наступающим северокорейским войскам) до последнего отбивались от японской крейсерной эскадры, препятствовавшей их уходу из корейских вод.

Все прошедшие годы о них старались не вспоминать; с одной стороны, герои-моряки, с другой — матросы и офицеры царского флота. Вот и сейчас пришли к отцу советоваться: награждать или отметить юбилей келейно. Отец не сомневался ни минуты — конечно, наградить, и не просто наградить, но и вручать медали в Москве.

После награждения отец пригласил ветеранов крейсера к себе, поздравил их, сфотографировался на память. Отцу очень хотелось взглянуть на этих людей, героев его детства. В 1904 году, когда они сражались с японцами, ему шел десятый год. О подвиге «Варяга» тогда трубили во всех газетах, а тут, через пятьдесят лет, представилась возможность увидеть их воочию.

Что-то менялось, а что-то катилось по накатанной дорожке. 5 марта, в годовщину смерти «отца народов», все газеты писали о Сталине — продолжателе дела Ленина.

В стране завершались приготовления к намеченным на март выборам в Верховный Совет СССР. Назначенные кандидатами в депутаты уже выступили перед своими избирателями. Последними выступали самые главные кандидаты — секретари ЦК, а за ними и члены Президиума. 5 марта отец выступил перед избирателями Калининского избирательного округа Москвы. Избирательные округа закреплялись за именитыми кандидатами «навечно», и выступали они перед «своими» избирателями каждые выборы.

12 марта перед избирателями Ленинградского избирательного округа в Москве выступил Маленков. Его речь вряд ли заслуживает упоминания, она мало отличалась от

многократно говоренного ранее, если бы не пассаж о возможности гибели человечества в случае возникновения ядерной войны. Об этих словах Маленкова за последние десятилетия столько говорено, что приведу их полностью.

«Неправда, что человечеству остается выбирать лишь между двумя возможностями: либо новая мировая бойня, либо так называемая холодная война, — говорил Георгий Максимилианович. — Народы кровно заинтересованы в прочном укреплении мира. Советское правительство стоит за дальнейшее ослабление международной напряженности, за прочный и длительный мир, решительно выступает против политики холодной войны, ибо эта политика есть политика подготовки новой мировой бойни, которая при *современных средствах ведения войны означает гибель мировой цивилизации*.

Наша позиция ясна. Любой спорный вопрос в современных международных взаимоотношениях, как бы он ни был труден, должен решаться мирным путем».

Вряд ли Маленков предполагал, какую бурю вызовут его слова о гибели мировой цивилизации. Если бы предполагал, то несомненно посоветовался бы с товарищами по Президиуму ЦК, учел их мнение и ничего такого не сказал бы. Не тот человек Георгий Максимилианович, чтобы рисковать карьерой ради сохранения человечества на Земле. Скорее всего, это просто удачно найденный им или его помощниками ораторский прием: империалистов, ведущих мир к ядерной войне, тогда клеймили все, и Маленков тоже обвинил именно их в возможной гибели цивилизации.

Большинство читателей газет «крамольные» слова Маленкова просто не заметили. Профессионалы-идеологи тут же отметили неточность — следовало сказать, что погибнет не мировая цивилизация, а мировая система империализма, но открыто возражать не стали, слова-то произнесены не рядовым кандидатом в депутаты, а Маленковым.

Наверное, все бы и прошло, не оставив следа, но на беду Георгия Максимилиановича его «ошибку» отметил Молотов, попенял ему, что не следует, не посоветовавшись, менять выработанную еще Сталиным формулу. Маленков спорить не стал, объяснил, что о смене нашей позиции он и не помышлял. Молотов удовлетворился и не стал раздувать скандал. А вот кто возмутился по-настоящему, так это маршал Жуков.

Назначенный первым заместителем Булганина, а фактически возглавивший Министерство обороны, Георгий Константинович всерьез взялся за подготовку армии к современной, в его понимании, ядерной войне. Вся ответственность легла на него, и

он не мог допустить, чтобы армия встретила новую войну так же, как и немецкое вторжение 22 июня 1941 года.

Прежде всего, войска следовало приучить к новому атомному оружию, заставить не бояться его. Сделать это можно только маневрами в условиях, максимально приближенных к боевым. Жуков задумал провести маневры с реальным взрывом атомной бомбы. Заявление Маленкова о гибели цивилизации шло вразрез со всем его планами, пагубно влияло на моральное состояние Вооруженных сил.

Жуков не стал выступать открыто, он всего лишь заместитель министра обороны, но нажаловался отцу. Отец согласился с Жуковым — такие слова не пойдут на пользу. Сам он вопросом еще в полной мере не владел, видел кинофильмы о страшной разрушительной силе атомной, затем и водородной бомбы, читал докладные военных. О возможности гибели всего живого на Земле в них не упоминалось.

Отец позвонил своему давнему знакомому, Вячеславу Александровичу Малышеву, бывшему наркому танковой, а затем судостроительной промышленности, ныне он занимался атомными делами. Малышев не подтвердил, но и не опроверг слова Маленкова, сказал, что ядерная война, конечно, разрушительна, но говорить о гибели цивилизации он бы поостерегся. В заключение Вячеслав Александрович предложил прислать отцу проект статьи академика Курчатова и других атомщиков, в которой они обсуждают как раз эту проблематику. Статью хотели опубликовать, но передумали, уж очень мрачная рисуется в ней картина.

Статью-записку Курчатова отец получил 4 апреля 1954 года и внимательно ее прочитал. Она произвела на него сильное впечатление, он даже пригласил к себе Курчатова, расспрашивал, не приукрасили ли они последствия ядерной войны с целью повлиять на западное общественное мнение. Ведь статья писалась в расчете на него. Курчатов твердо заявил: «Не приукрасили, наоборот кое-что смягчили. Они и сами пока не понимают всех отдаленных последствий ядерной войны, — одно дело взрыв, другое — десяток взрывов, а что случится, если атомные бомбы взрывать сотнями, сейчас не скажет никто».

Именно с этого разговора с Курчатовым началось осознание отцом пагубности ядерного оружия. Но только началось. Потребуется еще несколько лет, пока он не придет к убеждению о неприменимости ядерного оружия, о его исключительно политически-дипломатической сущности. Для этого отцу потребуется детально разобраться с военными делами.

Когда в 1954 году я, студент только что перешедший на

второй курс, прочитал заявление Маленкова, как всегда полез с вопросами к отцу, он отвечал мне необычно невнятно: с одной стороны, мы победим в любой войне, даже ядерной, с другой — атомное оружие очень опасно, надо добиваться его запрета, но это дело будущего.

Пока же отец посоветовал Маленкову учесть мнение Жукова. И он учел. 23 апреля 1954 года на первой сессии вновь избранного Верховного Совета Георгий Максимилианович уточнил: «Мы готовы дать отпор любому агрессору. Если агрессивные круги, уповая на атомное оружие, решились бы испытать силу и мощь Советского Союза, то можно не сомневаться, агрессор будет остановлен тем же оружием, а мировая капиталистическая система, в результате развязанной ею войны, распадется».

26 апреля, тоже выступая на сессии Верховного Совета, отец подтвердил слова Маленкова.

Маршал Жуков продолжил подготовку Вооруженных сил к современной войне, ознаменовал ее маневрами на Тоцком полигоне Южно-Уральского военного округа, в Оренбургской (Чкаловской) области. 14 сентября 1954 года, в 9 часов 34 минуты утра, там на высоте 350 метров над землей взорвали сорокакилотонную бомбу. Их запас тогда можно было по пальцам перечесть. В 1954 году в Советском Союзе накопили 150 ядерных зарядов всех видов, совсем ничего по сравнению с 2063 зарядами, имевшимися в США. Но Жуков считал «расточительность» оправданной: «Тяжело в ученье — легко в бою». Пехота, танки, артиллерия, глотая радиацию, «пошли в наступление» через еще не остывший эпицентр настоящего, не условного, ядерного взрыва. Военные тогда легкомысленно относились к последствиям ядерной атаки, как наши, так и американцы. В конце концов атомная бомба всего-навсего бомба, только очень мощная, надо учить подчиненных не бояться ее. Иначе победы не достигнешь. На войне как на войне.

В заключение отмечу, что мы и сейчас не знаем всех отдаленных последствий ядерного облучения, а в 1954 году о них только догадывались, и догадывались далеко не все.

В 1958 году, когда я уже работал в ракетном конструкторском бюро, на полигоне в Капустином Яру решили испытать зенитную ракету с ядерным зарядом. Испытывали ее не мы, а соседи, но о грядущем «представлении» знали все, ожидали его с нетерпением и без малейших опасений. В день подрыва ядерной боеголовки нам предстояло улетать в Москву, и всех волновало, не пропустим ли мы редкое зрелище. Нам «повезло», один из начальников по пути на аэродром попал в

автомобильную аварию, вылет задержался. Увидели мы, правда, мало, точнее, не увидели ничего, над аэродромом стояла низкая облачность. В какой-то момент над нами полыхнуло, затем пребольно ударило взрывом по ушам, и все закончилось. Из нашей компании только один, заведующий группой динамики полета, сорокапятилетний «старик» Александр Борисович Липшиц проявил благоразумие, стремясь поскорее улететь с полигона от греха подальше. Как мы тогда над ним потешались!

Ладно военные или мы, мальчишки-ракетчики, но сами ученые-ядерщики, они-то уж, кажется, знали все, но, бравируя, без всякой защиты раскатывали на своих газиках по остекленевшей от адской жары почве в самом эпицентре ядерного взрыва, произведенного всего несколько часов тому назад. Некоторые из них поплатились за свое удальство жизнью, умерли совсем молодыми. Министр Малышев не дожил и до 55 лет, его похоронили в 1957 году. Правда, другие дожили до глубокой старости, в частности конструктор множества ядерных зарядов и неизменный участник их испытаний академик Юлий Харитон. Он умер в 1996 году девяноста трех лет от роду.

Наука кибернетика

В 1954 году я заканчивал второй курс факультета электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ. После второго курса нам предстояло «специализироваться», и я выбрал системы автоматического управления. Мы, «автоматчики», тогда бредили кибернетикой. Ее уже не называли лженаукой, но еще и не легализовали. Помню, как наши профессора и мы, студенты, сочиняли коллективное письмо в правительство в поддержку кибернетики. Я взялся передать его отцу. Отец ничего не спросил, ничего не сказал, прервал мои объяснения коротким: «Я сам прочитаю». И, видимо, прочитал. В мае в центральных газетах напечатали статьи о пользе ЭВМ. В них впервые помянули и кибернетику не как лженауку, а как просто науку. Вскоре вышла в русском переводе книга «отца кибернетики» Норберта Винера. Я ее не то чтобы прочитал, внимательно проштудировал и разочаровался… Какая-то схоластика, неконкретность, скорее — философия от науки, чем наука, и уж точно — не инженерия. Неприятие книги я отнес на свой счет, значит, я недостаточно умен, чему очень расстроился.

Значительно позже, в 1960-е годы, когда кибернетика стала супермодной, я обнаружил, что не одинок в ее непонимании. Тогда каждая республиканская академия наук уже успела создать свой институт кибернетики. Только Москва довольствовалась

«допотопным» Институтом автоматики и телемеханики, во главе с академиком Вадимом Александровичем Трапезниковым. «Свой» институт, входивший в Отделение технических наук, переименовывать в «Кибернетический» он не торопился.

И тут подсуетились математики, предложили президенту Академии наук СССР Мстиславу Всеволодовичу Келдышу создать при их отделении Институт кибернетики во главе с академиком Андреем Алексеевичем Марковым. Келдыш не возразил, но попросил их сформулировать так, чтобы он понял, что такое кибернетика. Математики Келдыша больше не беспокоили.

Я тоже расстраивался недолго. По окончании Энергетического института пошел работать в конструкторское бюро, тогда еще не академика, Владимира Николаевича Челомея, занялся разработкой систем управления ракетами. «Общекибернетические» проблемы волновать меня перестали.

День за днем

В марте 1954 года газеты сообщили о ходе строительства гидроэлектростанций: Волжской под Куйбышевом (Самарой), Сталинградской (Волгоград), Горьковской (Нижний Новгород), Иркутской на Ангаре, Новосибирской на Оби, Камской, Дубоссарской на Днестре и еще нескольких. После войны Сталин приказал переориентировать энергетику страны на использование, как он считал, дармовой энергии рек. Энергетики взяли под козырек и теперь строили плотины, перегораживали реки, где только возможно.

1 апреля провели традиционное, «сталинское» снижение цен, куцее, но снижение.

17 апреля 1954 года отцу исполнилось 60 лет. Его юбилей члены Президиума ЦК решили отметить по-особому. 17 апреля отцу присвоили звание Героя Социалистического Труда, подчеркнув тем самым его лидерство. До того юбилеи членов Президиума отмечали не более чем орденами Ленина. В ноябре 1953 года шестидесятилетие справил Каганович — революционер с куда большим стажем, чем отец, его тогда наградили орденом Ленина.

На одной из пустовавших государственных дач, где-то в районе Барвихи, коллеги по Президиуму устроили отцу торжественный обед. Снег чуть-чуть подтаял, пахло весенней сыростью, но по вечерам морозец снова

подмораживал лужи. Стол, по теплой погоде, накрыли на втором этаже, на застекленной веранде. Из окон виделся окружающий дачу густой лес. Обед считался неофициальным, но из детей пригласили только нас, жены тоже пришли не все. Обед ничем не отличался от многих других застолий. Долго сидели за столом, произносили тосты, подшучивали друг над другом. Ворошилову норовили вместо водки налить в рюмку воду. Обнаружив подмену, Климент Ефремович неизменно сердился, что остальных столь же привычно веселило. Пили умеренно. Завершили обед традиционным в компаниях тех времен песнопением. Пели про рябину с дубом, про Днипро, что ревет могуч, про казаков, что идут полем на войну. Разошлись не поздно, часов в одиннадцать, на следующий день в девять утра всем требовалось быть на работе, а мне на лекциях в институте.

Из приятных событий весны и лета 1954 года вспоминаются апрельские гастроли старейшего, его основали при Людовике XIV, и знаменитейшего парижского государственного театра «Комеди Франсез». Его тогда называли французским МХАТом. В здании Малого театра они давали классику: «Мещанина во дворянстве» и «Тартюфа» Мольера, и «Сида» Корнеля. Отец, со всей семьей, дважды ходил посмотреть на парижское чудо. Артисты громко изъяснялись на французском, естественно, без перевода, ничего не понимавшая публика ревела от восторга. Французы же! Отец едва не заснул на спектакле, но после закрытия занавеса стоя аплодировал актерам.

Через много лет я прочитал в одной критической статье: актеры в тот год играли средне. Какое это имело значение? Мы восхищались не мастерством актеров, а млели от одной мысли, что после десятилетий изоляции у нас, в Москве, — самый настоящий Парижский театр.

7 мая 1954 года Президиум Верховного Совета СССР восстановил смертную казнь за убийство. Мало кто помнит, что Сталин из «гуманных побуждений» после войны запретил карать смертью. Запрет на деле распространялся только на уголовников. Хотя «политических» тоже к смерти больше не приговаривали, но «тройки» давали им «десять лет без права переписки», что означало немедленный расстрел. Кто о них посмеет вспомнить через десять лет?

Теперь Сталин умер, сталинские «тройки ускоренного судопроизводства» прекратили свое существование, и правоохранительные органы столкнулись с извечной проблемой, что делать с закоренелыми преступниками, убийцами-рецидивистами. Решили, что «горбатого только могила исправит» и приняли соответствующий закон. Люди его, как мне помнится, одобрили.

Сталинские «тройки» приговоры больше не выносили, но осужденные ими за мнимые преступления по политическим статьям продолжали отбывать свой срок в лагерях. После бериевской амнистии уголовникам прошел уже год. Надежда на скорое торжество справедливости сменялась отчаянием, отчаянье — озлобленной решимостью. А там недалеко и до беды. Беда не заставила себя долго ждать. 16 мая 1954 года восстали заключенные Степного лагеря (Степлага) в местечке Кенгир под Джезказганом в Казахстане. Они там добывали медную руду, вреднее и тяжелее работа только на урановых рудниках.

Восстание перекинулось на соседние лагеря, они там были буквально на каждом шагу. Вскоре в нем участвовало восемь тысяч человек. В переговоры с властями повстанцы вступать отказывались, требовали одного — свободы. Волнения продолжались сорок дней. Министр внутренних дел генерал-полковник Круглов «утихомирил» восставших в сталинских традициях, автоматами и танками. Сталинисты в Президиуме ЦК — Молотов, Ворошилов, Каганович — его решительность в наведении порядка одобрили, отцу же события в Степлаге еще раз напомнили, что, порывая со старым, невозможно сохранять старые порядки. Но открыто разделаться с ними он пока не решался, страшился покуситься на систему, воздвигнутую Сталиным. Ведь это означало — покуситься на самого Сталина и с совершенно непредсказуемыми последствиями.

Политических заключенных начали потихоньку освобождать сразу после ареста Берии, после событий в Джезказгане этот процесс ускорился, но на свободу выходили единицы. В лагерях оставались сотни тысяч политических. Тем не менее, система дала трещину, и в то немалый вклад внесли восставшие заключенные Степлага.

5 июня 1954 года напротив Кремля, в доме на

Набережной архитектора Иофана открылся Театр Эстрады под руководством еще дореволюционного мастера разговорного жанра Николая Смирнова-Сокольского.

6 июня напротив Моссовета (мэрии), на Советской площади (ныне Тверская площадь) открыли памятник основателю Москвы князю Юрию Долгорукому. Его заложили в 1947 году, когда праздновали 800-летие столицы, на месте обелиска Свободы скульптора Николая Андреева, установленного 17 июля 1919 года взамен конной статуи царского генерала Михаила Скобелева, прославившегося во времена Александра II в войне с турками. Чехарда с памятниками дело для России привычное.

10 июня открыли подписку на государственный заем, на очередные шестнадцать миллиардов рублей. Сумму займа рассчитали по минимуму. Заняли ровно столько денег, сколько требовалось на выплаты по займам предыдущих лет.

26 июня 1954 года в Обнинске, неподалеку от Москвы, заработала первая в мире атомная электростанция, небольшая, всего в пять тысяч киловатт, но первая. Мы снова обошли Америку и верили, что скоро она вообще останется позади. Так мы, студенты, восприняли эту новость.

30 июня 1954 года поголовно все москвичи, и не только они, закоптив стеклышки, наблюдали солнечное затмение.

С инспекцией на Целину

Во второй половине мая, отец решил своими глазами взглянуть на целину и заодно познакомиться с Сибирью. Он намеревался посмотреть, как прошел сев, оценить всходы. Отец со здоровым скепсисом относился к справкам, понимал, что в них пишут не как есть, а как надо. Такие поездки отец очень любил, общаясь с людьми, по выражению их лиц, вопросам, реакции на спонтанные выступления на сельских майданах, он составлял впечатление, чем дышит страна, как она живет. Знал он, что к его приезду все постараются прибрать, подкинуть в магазины продукты. Но он также знал, что за день, за неделю в корне ничего изменить нельзя. Даже знаменитые «Потемкинские деревни», якобы выстроенные всесильным фаворитом Екатерины II по пути следования матушки-государыни из Санкт-Петербурга в

Крым, если как следует покопаться в истории, на самом деле оказываются, возведенной на князя Потемкина, к тому времени уже впавшего в опалу, напраслиной. Внимательный глаз, сквозь наведенный внешний лоск, всегда разглядит истинное положение дел.

В своих привычках отец тут не одинок. Элеонора Рузвельт, жена американского президента Франклина Рузвельта, рассказывает в воспоминаниях, как муж учил ее оценивать жизнь американцев из окна вагона. Тогда в США еще ездили в поездах. «Он (Рузвельт. — *С. Х.*) обладал необыкновенным даром наблюдения и мог определять состояние дел в местностях, которые наблюдал из окна вагона или автомобиля. От него я научилась изучать жизнь страны сквозь окно вагона: как смотрятся поля, и какие виды на урожай, как одеты люди, как много машин попадается по пути и в каком они состоянии и даже какое белье сушится на веревках».

Я напросился поехать с отцом. Правда, в институте приближалась сессия, но «хвостов» у меня не было, а неделя, десять дней — не срок. Мне очень хотелось взглянуть на экзотические казахские степи, о них я много читал в книгах о Пржевальском и Семенове-Тян-Шанском.

Начали с Кустаная. Поездка мне показалась неинтересной. Пока отец совещался с местным начальством, я в одиночестве сидел в отведенной ему резиденции. Потом отправились в степь, заколесили по полям. Отец то и дело останавливал машину, выходил на пашню, брал горсть земли, долго мял ее, иногда даже нюхал, вглядывался в ярко-зеленый ежик всходов пшеницы, о чем-то говорил с сопровождавшими его хозяевами этой земли, расспрашивал, чаще хвалил, реже сердился. Я же откровенно скучал.

Запомнился мне разговор на краю бескрайнего поля о тракторах. Позже отец напишет, что на одном краю поля тракторист завтракает, а заканчивает борозду только к обеду. И не только из-за бескрайности местных просторов. По целине даже наш мощнейший восьмидесятисильный сталинградский трактор способен был переворачивать переплетенный корнями трав почвенный пласт, только двигаясь на первой передаче, со скоростью два километра в час. Тракторист, молодой парень из Подмосковья, горячась и потея, объяснял отцу, что нужны мощные трактора, иначе с целиной не совладать. Отец внимательно слушал, задавал вопросы. Стоявший рядом помощник Андрей Степанович Шевченко что-то записывал в свою необъятную и изрядно замусоленную тетрадь. Разговор не прошел бесследно. На выпускавшем тяжелые танки

ленинградском заводе им. Кирова начали проектировать двухсотпятидесятисильный, а затем и семисотсильный трактор «Кировец». Он стал основной тяговой силой на целине, прослужил верой и правдой более двух десятилетий, а в середине 1980-х годов «впал в немилость».

С наступлением перестройки журналисты, писатели и другие всезнайки поносили его за гигантизм и излишнюю мощность: и поле он портит, и в «цивилизованном» мире никто таких монстров не производит. Во время своих поездок в Европу, на тамошних полях они ничего подобного не видели. Под давлением «общественности» производство «Кировцев» остановили, завод лишился заказов, а уже бывшая целина — тракторов.

Писатели и журналисты с таким пафосом и убежденностью разносили в пух и прах мощные трактора, походя обвиняя отца в некомпетентности, что и я им поверил, переживал за него. Почему-то в России любой журналист-писатель считает себя экспертом по сельскому хозяйству. И, что еще хуже, их мнение вдруг становится решающим, со всеми вытекающими разрушительными последствиями.

В 1994 году жизнь занесла меня в штат Монтана — американский Казахстан, с такими же бескрайними полями, засеянными пшеницей и кукурузой, снежными пиками гор на горизонте, малолюдными фермерскими поселками. На местном празднике урожая фермеры пели, танцевали, закусывали (почти не пили), а рядом расположилась выставка сельскохозяйственной техники. Выкрашенные в красный цвет, больше похожие на пожарные, чем на сельскохозяйственные, машины: красные комбайны, сеялки, косилки, бороны и, конечно, трактора: маленькие, средние, большие и просто огромные. Меня поразил трактор с колесом выше человеческого роста и мощностью мотора под тысячу лошадиных сил. Под впечатлением от критики «Кировца» за его экономическую нерентабельность в условиях конкуренции, я поинтересовался: кому такой гигант нужен? Разве что для строительства дорог? Местные фермеры улыбнулись: при их просторах только таким трактором и пахать, меньший не экономичен, нужное количество плугов не тянет.

Целина отца поразила. «На меня, побывавшего первый раз в Казахстане, большое впечатление произвели невероятные просторы целинных земель — это сплошная равнина, без конца и края. Там, где мне пришлось побывать, земли, как правило, хорошие, в своем большинстве пригодные для обработки и возделывания многих сельскохозяйственных культур. Могу сказать — хороши украинские степи, но вы бы посмотрели на казахские и сибирские просторы. Раньше я полагал, что нигде нет

таких богатейших земель, как на Украине, а теперь в Казахстане увидел чистейший чернозем на полметра глубины, а кое-где побольше, — восхищается отец. — В большинстве колхозов и совхозов качество вспашки удовлетворительное, но в ряде мест пахота некачественная… Как старожилы, так и вновь прибывшие убеждены — в этих районах можно получать много хлеба, предпочтительнее яровой пшеницы… На вложенный в целину рубль получается большая отдача, зерно здесь много дешевле, чем в центральных областях страны. В высокой экономической эффективности начатого нами дела нет никаких сомнений… Здесь такие необъятные просторы, что нет никакого предела для развития животноводства, однако можно проехать много десятков километров и не встретить ни одного стада… Овцеводство здесь ведется по старинке и подвержено случайностям, на отгонных пастбищах нет страховых фондов кормов».

По результатам поездки отец написал записку-отчет в Президиум ЦК, потом, 23 июня 1954 года, выступил на Пленуме ЦК. Адресуясь к участникам Пленума ЦК он предлагает распахать дополнительно еще 15 миллионов гектаров новых земель.

«Есть разные мнения на этот счет, — продолжает отец, — одни товарищи говорят, нельзя ли подождать, так как мы еще и 13 миллионов гектаров не освоили».

Но зерно нужно сейчас, потребление в стране растет, у людей появляются дополнительные деньги. Только от сокращений суммы займа на руках останется 18 миллиардов рублей. В 1953 году подписали на 36 миллиардов, а в 1954-м только на половину от этой суммы. Эти средства люди хотят расходовать, и «мы должны выиграть время. Чтобы получить нужное количество хлеба в центральных областях страны, потребуется десять лет. Чтобы дать центральным областям минеральные удобрения, надо построить новые заводы, на это уйдут, как утверждают специалисты, те самые десять лет, придется затратить десятки миллиардов рублей», — повторяет отец уже знакомые слушателям аргументы. «В Казахстане и Сибири мы получим самый дешевый хлеб. Ни один район страны, кроме Кубани, такого дешевого хлеба не дает. Так почему мы должны от него отказываться?»

Отец убедил слушателей, решили к 1955 году, в дополнение к уже возделанным, распахать еще 15–18 миллионов гектаров, целины.

Отец говорил и о несделанном: дорог на целине нет, надо срочно строить узкоколейки, без них урожай пропадет. Кое-кто из «энтузиастов», получив подъемные и отметившись на целине, тут же исчезает. Нет домов, люди живут в палатках. Все это отец знал

и раньше. Прошлой зимой колебался, с чего начать: со строительства жилья и дорог или с распашки полей и сева. Остановился на последнем: хотя без дорог потери зерна увеличатся, но все равно останемся в выигрыше, хлеб нужен до зарезу сейчас. А там и остальное подоспеет.

1954 год страна прожила под знаком освоения целины. В начале июля отец вновь отправляется в Сибирь, 11 июля 1954 года проводит в Новосибирске большое совещание, посвященное и целине, и животноводству, и другим сельскохозяйственным делам. Напирает он на животноводство, оно «стало камнем преткновения».

«Маленькая Голландия, маленькая Дания, их на карте можно пальцем прикрыть, производят столько продуктов, что хватает и себе, и на продажу. Мы вынуждены покупать в этих странах мясо и масло. Разве не стыдно? Что стоит корова, дающая 11 тысяч литров молока в год. Она не молочница, а навозница. Но навозницы нам не нужны. У нас же считают коров по хвостам, а не по продуктивности.

Я тут, сидя в президиуме, подсчитал в уме, что новые 30 миллионов гектаров позволят получить корма, достаточные для откорма свиней, дающих 33,6 миллионов тонн мяса в год. Надо только взяться за дело с умом, и никакая Голландия с Данией за нами не угонится».

На совещании вновь завязался разговор, как пахать целину. Договорились собрать в хозяйстве у Терентия Мальцева семинар. 8 августа 1954 года в колхозе «Заветы Ильича» Курганской области 100 человек, съехавшихся со всей Сибири и Казахстана, «изучали методы полеводства, предложенные Мальцевым», — написала газета «Правда».

В первый же год целина не просто дала хороший результат, но, по большому счету, выручила страну. В 1954 году на европейский юг страны навалилась засуха, выгорели хлеба на Украине, в Поволжье, в Ставрополье. Оставалась одна надежда на целину. И целина не подвела, хотя из вспаханных в 1954 году более 17 миллионов гектаров засеяли всего одну пятую, 3,5 миллионов гектаров. Но с каждого гектара получили по 9,3 центнера (при среднем урожае по стране 7,7 центнера с гектара). Благодаря целине, несмотря на засуху, в 1954 году собрали зерна на 4,3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Не бог весть какое достижение, но если бы не целина, то стране бы не поздоровилось, госрезервов бы не хватило, пришлось бы ограничивать продажу хлеба, чего новому руководству никто и никогда бы не простил. Целинная прибавка позволяла пусть и кое-как, но удовлетворить спрос. А он, как и предполагал отец,

возрос с 37,3 миллионов тонн в 1953 году до 42,5 миллионов тонн в 1954-м. Пришлось, уже второй год, не увеличивать госрезерв, а, напротив, позаимствовать из него 6,8 миллионов тонн. В элеваторах оставалось всего 6,3 миллиона тонн.

Отец был откровенно счастлив, хотя и не уставал повторять: год на год не приходится, в зоне рискованного земледелия то густо, то пусто. Слава Богу, в 1954 году получилось «густо». Понимал он, что земля пока еще свеженькая, не родившая, постепенно она истощится. Но и это не беда, к тому времени появятся минеральные удобрения.

Дешевые буханки

В начале октября 1954 года Хрущев с Булганиным поехали в Китай на празднование 5-летия Китайской Народной Республики. Отец решил воспользоваться оказией и на обратном пути посмотреть, что делается на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По дороге домой они останавливались во всех крупных городах: Владивостоке, Чите, Хабаровске, Иркутске, заехали на Сахалин и в Находку.

По результатам поездки отец 29 ноября 1954 года направил записку в Президиум ЦК. В ней он подробно изложил свои впечатления, отметив, что «Дальний Восток — это очень богатый край. Земли здесь хорошие, климатические условия для развития сельского хозяйства — благоприятные. К сожалению, освоение земельных богатств идет неудовлетворительно, сельское хозяйство запущено. И что хуже всего, местные руководящие работники привыкли к этой запущенности и недостатки воспринимают как должное. На острове Русский и в порту Находка в магазинах нет ни овощей, ни картофеля. Не бывает здесь в продаже и молока».

«По дороге мы беседовали с рабочими и служащими, все они жаловались на очереди за хлебом, — продолжает отец. — Мы не понимали, в чем дело. Местные руководители заверяли нас, что выпечка хлеба не уменьшилась, а люди утверждают, что его не хватает. Вначале рабочие, поднимая вопрос о затруднениях с хлебом, не говорили нам о причинах. Мы стали их расспрашивать, и они признались: ”Хочется мясца покушать, а в магазинах мяса нет и фуража нет. Нам выгодно покупать хлеб на корм скоту. Осенью свиней зарежем, и все будет в порядке”». «Вопрос объясняется просто. Решение о поощрении животноводства и снятии налогов с владельцев коров и свиней стало большим стимулом для разведения коров и особенно свиней. Население покупает дешевый черный хлеб, скармливает

его свиньям, другим домашним животным и птицам. Увеличение расхода хлеба идет за счет скармливания его скоту.

Конечно, быстрое увеличение поголовья скота — отрадное явление, но в этом году мы, видимо, не сможем обеспечить производство фуража в нужном количестве», — заключает отец.

Что делать, он не знает, цены на хлеб не поднимешь, запретить содержание скота в личном пользовании рука не поднимается, и он предлагает «увеличить продажу белого хлеба за счет черного. Белый хлеб дороже, вряд ли кто станет откармливать им свиней. Мы должны расходовать хлеб экономно».

Вот только белого хлеба в России испокон века на всех не хватало. Все остается по-старому. Пока остается. Раньше или позже проблему дешевого черного хлеба, идущего на корм домашнему скоту, придется решать.

Тем временем вспашка целины продолжалась. Трактора работали без отдыха, создав отличный задел на следующий год. Отец считал, если не подведет погода, то страна будет с хлебом.

Белое золото

В ноябре 1954 года отец отправился в Ташкент «осваивать» хлопководство. Раньше о хлопке он знал только понаслышке. Поговорив со специалистами, он разобрался, как выращивают эту культуру: сеют хлопок рядками, обрабатывают мотыгами, осенью собирают вручную, в поле выгоняют всех от мала до велика. Так возделывали хлопок при Тамерлане, и с тех пор мало что изменилось. Отец затребовал справку: как обстоят дела в Америке? Там после отмены рабства еще несколько десятилетий, вплоть до первой половины двадцатого века, хлопок вручную убирали эмигранты, в большинстве нелегальные. Появившиеся в 1930-е годы первые неуклюжие хлопкоуборочные машины с практически даровым трудом конкурировать не могли. Однако с началом Второй мировой войны все переменилось. Все наличные ресурсы поглотило военное производство, хлопкопроизводители забили тревогу. Пришлось искать выход. В результате в 1942 году на поля вышел первый работоспособный хлопковый комбайн. К середине 1950-х годов фирма Джон Дир усовершенствовала уборочные машины, и они практически вытеснили с хлопковых полей ручных сборщиков. Теперь американцы все делали машинами, машины высевали хлопковые семена аккуратными квадратами, машинами удобряли и пропалывали сорняки, машинами собирали урожай, высасывали вату из раскрывшихся на концах стеблей «коробочек». Отец возмутился: они могут, а

почему нам это все не под силу?

20 ноября 1954 года в Ташкенте на совещании хлопкоробов отец попытался добиться ответа на свой, казалось бы, несложный, вопрос. Ответа не получил. Руководители среднеазиатских республик пообещали к следующему приезду отца (а когда он приедет, они не знали, но надеялись, не так уж скоро) изучить американский опыт, заслуживающие внимания агротехнические приемы перенести на свою почву и, главное, начать серийное производство хлопкоуборочных машин. На том они и расстались.

Оттепель (Отступление третье)

В 1954 году, вслед за целиной пришлось отцу браться за дела идеологические. Ранее в них он особенно не вникал, все эти *ИЗМЫ* его мало интересовали, шубы из них не сошьешь. Теперь он стал «Первым» и идеологи: Суслов, Поспелов, Шепилов ждали его указаний. Отец и сам понимал: отдать им на откуп идеологию опасно, таких дров наломают — потом не расхлебаешь. Расхлебывал он по-своему, по-хрущевски, его отношения с литераторами и прочими творческими людьми радикально отличались от сталинской манеры общения.

Сталин любил поиграть с писателями в кошки-мышки. За собой он, естественно, оставлял роль кошки: звонил им по ночам домой, вел двусмысленные, казалось бы, спонтанные, разговоры, на полуслове бросал трубку, а потом, читая сводки агентуры, наслаждался смесью страха с надеждой, в которую впадали его «мышки». До сей поры литераторы и литературоведы с придыханием вспоминают о нашумевшем звонке Сталина поэту Борису Пастернаку, когда вождь «пожурил» за то, что он не вступился за арестованного Осипа Мандельштама, написавшего удивительный по тем временам антисталинский стих, помните: «его пальцы, как черви»… Сталин попенял тогда, что поведение Пастернака трусливое, небольшевистское, и бросил трубку. Понимай как знаешь. А звонок Сталина самому Мандельштаму накануне ареста?!

А чего стоит телефонный разговор вождя с великим писателем и драматургом Михаилом Булгаковым? Как он «сопереживал, что не в силах помочь ему ни с работой, ни с выездом за границу, а потом неожиданный совет еще разок попытать счастья в Художественном театре». Что ни звонок, то новелла с круто закрученным сюжетом, то ли Достоевский, то ли Кафка.

К разговорам Сталин готовился тщательно, времени не

жалел, тратил часы, а порой дни на изучение крамольных произведений и сопутствующих им скандалов. Наносил удар точно, всегда в болевую точку, как оса-наездник жалит свою жертву. Только оса парализует своим жалом гусеницу или кузнечика, чтобы предоставить пищу потомству, а Сталин жалил своих «верноподданных» ради удовольствия, ему было приятно наблюдать за их мельтешением. Насладившись, вождь или приказывал «убрать» надоевшую ему жертву, или, что реже, отпускал на «волю», по-кошачьи разжимал когти, зная, что мышка никуда не денется.

Эта игра не только забавляла Иосифа Виссарионовича, но и приводила в благоговение перед ним, чего я никогда не мог понять, его жертв — писателей и поэтов. Пастернак писал проникновенные стихотворные панегирики Сталину не по принуждению к юбилею, а по зову сердца («Мне по душе строптивый норов…»). Булгаков взялся за сочинение пьесы «Батум» о молодом революционере Сталине, произведения, по всем меркам, более чем пресмыкательского. И писал он пьесу тоже не по заказу, а от души. Сталин же запретил к постановке, посчитав, что драматург, занявшись описанием его внутреннего мира, залез туда, куда посторонним соваться заказано.

Так уж установилось — они «его писатели», а он их единственный «настоящий» читатель и ценитель. Подобные отношения складывались в семнадцатом веке между великим драматургом Жаном Батистом Мольером и его повелителем — французским королем-солнцем Людовиком XIV. Так то происходило три столетия назад, а теперь на дворе век двадцатый.

Жизнь «творческой» интеллигенции неотделима от столкновения амбиций, открытого, а чаще — скрытого подсиживания в конкуренции за благосклонность властей, в стремлении заручиться их поддержкой в борьбе с собственными оппонентами. Сталин хорошо разбирался в их «творческой кухне», она мало чем отличалась от его «политической». Он сам любил состряпать блюда «с перчиком». В писательские склоки он встревал охотно и с удовольствием.

Отцу и в голову не приходило затевать какие-либо игры с доставшимися ему в наследство от Сталина «инженерами человеческих душ». Унижение человеческого достоинства, страх не только не доставляли ему удовольствия — это претило всей его природе. И время он предпочитал тратить на другое. В стране столько нерешенных проблем, народ не накормлен, разут, раздет… Тут не до игр. На взаимоотношения с писателями, художниками и всеми прочими гуманитариями отец смотрел

утилитарно-прагматично: мы делаем общее дело, служим народу, так давайте его делать сообща. Все же остальное: амбиции, гениальность, претензии… В эти дрязги отец старался не лезть, но не получалось. Писатели его манеру поведения восприняли настороженно. Своей открытостью, отсутствием «второго дна» отец представлялся «интеллектуалам» примитивным. Неумение и, главное, нежелание покруче «завернуть сюжет» тоже ему не прощали. Они говорили на разных языках.

Теперь, когда Сталина не стало, «творческие» интеллигенты по привычке обращались к отцу за поддержкой, ждали от него одобрения своих произведений и, как следствие, наград. Отец же на роль судьи тогда не претендовал, старался сохранять дистанцию. Не то что он не имел предпочтений — имел, как и все мы. Отец читал и классику, и литературные новинки, но только по мере возможности, урывками, когда выдавался свободный вечерок. А выдавался он не часто, время поглощали деловые бумаги, проекты постановлений, докладные министров, шифровки послов, донесения разведки, наши и зарубежные газетные публикации, статьи по агрономии, новым строительным технологиям, химическим и иным производствам. До литературных толстых журналов руки доходили в последнюю очередь. Таков удел всех занятых людей, политических деятелей, руководителей крупных корпораций, я не говорю уже об ученых. Все они стоят перед выбором: или дело, или все остальное. И у всех, по крайней мере, у преуспевающей части, дело на первом месте. Попадаются, естественно, исключения — физики, увлеченные поэзией, или математики — историей. Но эти увлечения даром не даются, что-то при этом теряется. Так уж мы все устроены.

Когда читаешь, как много времени Сталин уделял художественной литературе, проблемам языкознания, философии, то сразу зарождается вопрос — за счет чего?

Нельзя объять необъятное — либо то, либо другое. Так или иначе, Сталин любил читать художественную литературу и посвящал чтению немалую часть своего времени. Он следил за всеми новинками, а потому установил своеобразную практику формирования и пополнения собственной (а затем распространил ее и на всех членов Политбюро) «домашней библиотеки», издал распоряжение: присылать на дом по одному экземпляру *всех* выходивших в стране книг, от толстых романов и научных трактатов до ведомственных инструкций. Два раза в неделю фельдъегерь доставлял и сваливал у нас в прихожей упакованные в плотную коричневую бумагу пачки книг. На каждой — типографская этикетка: «Товарищу Н. С. Хрущеву». Не знаю, как

поступали Сталин, Молотов или Микоян, но отец распаковывал пачки, исследовал содержимое, отмечал книги по своему вкусу, а остальные отсылал назад. Чтобы вместить содержимое всех книжных пачек, потребовалось бы помещение, сравнимое с крупной библиотекой. Далее отобранные книги заполняли в резиденции нескончаемые ряды так называемых шведских шкафов, с откидывающимися наверх застекленными дверцами. В отличие от казенной мебели, книги считались собственностью их пользователя. Остатки отцовской библиотеки, то, что не разошлось по родственникам и друзьям, хранятся на моей подмосковной даче.

И тем не менее, несмотря на всю занятость, отец, по мере возможности, держался в курсе культурной жизни. Он регулярно, даже мне трудно сейчас поверить, не реже раза в неделю ходил в театры, отдавая предпочтение опере и драме перед балетом, посещал концерты, классические и фольклорные, не пропускал ни одной художественной выставки. Театральные режиссеры и авторы спектаклей в антрактах, художники и скульпторы на выставках делали все, чтобы обратить на себя внимание, добиться одобрения. Даже простой поощрительный кивок дорогого стоил. Отец отнекивался, старательно уходил от оценок, объяснял, что он всего лишь зритель. К сожалению, в его положении не всегда удавалось сохранить нейтралитет.

В тех случаях, когда прочитать или посмотреть новинку времени недоставало, отец полагался на мнение экспертов, на заключения отделов ЦК. Тем самым, подписывая заранее заготовленные резолюции, он становился заложником чужого и даже чуждого ему мнения. К примеру, 15 января 1954 года он согласился с редактором «Правды» Дмитрием Шепиловым, отказавшим писателю Михаилу Шолохову в просьбе опубликовать отрывки из второго тома романа «Поднятая целина» из-за «насыщенности натуралистическими сценами и даже явно эротическими моментами». Когда через пару лет, напросившись к отцу в гости, Шолохов прочитает ему эти отрывки, он придет в недоумение, что там Шепилову примерещилось?

А вот еще один пример. 3 мая 1954 года поэт Александр Твардовский прочитал на редколлегии возглавляемого им тогда журнала «Новый мир» свою новую поэму «Теркин на том свете». Собратьям-литераторам поэма не понравилась. Они дружно набросились на Твардовского, норовя куснуть его побольнее. В ЦК, к отцу посылались доносы. «Первой пожаловалась в ЦК Мариэтта Шагинян, — записал в своем дневнике Владимир Лакшин, свидетель происходившего, друг Твардовского и его заместитель по журналу. — Забегал Алексей Сурков — секретарь

Союза писателей. Поэму “Теркин на том свете” они представили как антисоветский выпад. Член редколлегии журнала Валентин Катаев испещрил поля верстки грозными вопросительными знаками и восклицаниями: “На что это намек?” И Катаев не одинок.

…Симонов сказал, что “загроббюро” — это явный намек на Политбюро. Твардовский ему горячо возразил: “Да ведь у меня разбирается персональное дело, а на Политбюро их не разбирают”. “Не лукавь, — настаивал Симонов, — ты знаешь, что имел в виду”».

Перепуганный Сурков побежал в ЦК к Поспелову… Началось разбирательство. Секретарю ЦК Поспелову стихи показались «пасквилем на советскую действительность». Так он и доложил отцу.

«Хрущева, — по мнению Лакшина, — испугала и возмутила строфа, где генерал говорит, что вот бы ему еще полчок солдат — потеснить царство мертвых… Это восприняли как угрозу». Кто воспринял, Лакшин не уточняет. Отец поэмы не читал. Твардовский прислать ее не догадался. Значит, речь шла о какой-то справке отдела ЦК.

Твардовский, в свою очередь, написал отцу, объяснил, что его поэма написана «в победительном, жизнеутверждающем духе осмеяния “всякой мертвячины”, уродливостей бюрократизма, формализма, казенщины и рутины, мешающих нам, затрудняющих наше продвижение вперед».

Отец любил стихи Твардовского, помнил наизусть целые куски из его поэмы о Василии Теркине. Он пригласил Твардовского в ЦК, они поговорили, кажется, друг друга поняли.

К тому времени «Дело Твардовского» уже набрало обороты, «в самую июльскую жару Союз писателей собрал обсуждение. Проработка шла по полной форме. Сурков, распаляясь, кричал: ”Я знаю, все это возрождение групповщины вокруг Твардовского!” Одна за другой в газетах появлялись статьи…»

В таких условиях отец не захотел из-за Твардовского ссориться ни с идеологами, ни с писателями, становиться на его сторону и тем самым противопоставлять себя писательскому «большинству». Он вынес заявление Суркова на заседание Секретариата ЦК. Пригласил туда и Твардовского. Но тот, по свидетельству Лакшина, «затосковал, занедужил (то есть запил. — *С. Х.*) и объявил, что на экзекуцию не пойдет». И не пошел, «рано утром выскользнул из дома и исчез». Заместитель Твардовского по журналу поэт Андрей Дементьев «потом уверял, что, если бы Твардовский присутствовал, дело могло повернуться иначе. Хрущев говорил о нем уважительно и примирительно».

«Рассказывают, что на Секретариате ЦК 23 июля 1954 года Хрущев сильно наподдал тем, кто жаждал крови, — продолжает Лакшин, — сказал, что с Твардовским нельзя так обращаться, как вы предлагаете, что другого такого у нас нет, что ним нужно возиться. И вообще, говорил за битого двух небитых дают!»

Тем не менее, поэму отставили. Ее опубликуют только в 1963 году, после того, как Твардовский сам прочитает ее вслух Хрущеву. Я еще напишу об этом подробно.

Несмотря на примирительную позицию, «писательское большинство» победило, «17 августа 1954 года публично объявили об уходе Твардовского из “Нового мира”. Журнал перешел в руки другого поэта, Константина Симонова. В портфеле редакции в наследство от Твардовского ему достался роман Владимира Дудинцева “Не хлебом единым”. Мечась и колеблясь, Симонов напечатал его… Потом ему этого не простили».

Тут Лакшин ошибается. Насколько я помню, главного редакторства в «Новом мире» Симонов лишился не из-за Дудинцева и не за свою радикальность, а совсем наоборот — из-за Сталина, из-за своего сталинизма. Симонова уволили, а в «Новый мир» вернулся Твардовский.

Общепризнано, что «хрущевский ренессанс» ознаменовался повестью Ильи Эренбурга «Оттепель», напечатанной в майском номере толстого журнала «Знамя», а в октябре 1954 года вышедшей тоненькой, 140-страничной, книжицей. С легкой руки Эренбурга «оттепелью» стали называть все десятилетие реформаторства Хрущева, период его нахождения у власти, с 1953 по 1964 год. Не могу сказать, знал ли сам Эренбург, человек эрудированный и начитанный, что своей «Оттепелью», он вторил поэту Федору Ивановичу Тютчеву, обратившемуся в XIX веке с тем же определением к другому реформатору, царю-освободителю Александру II. Вот только «оттепель» Тютчева не прижилась в истории, не выдержала заморозков царствования Александра III и Николая II, а «оттепель» Эренбурга в людской памяти укоренилась.

О чем пишет Эренбург в той повести, сейчас мало кто помнит, ее сюжет целиком растворился в заглавии. Я помню, или мне кажется, что помню, как в повести спорили все, и на каждой странице, что-то обсуждали, чем-то восхищались, кого-то ругали, но о чем конкретно шла речь, совершенно выпало из памяти. Наверное, потому, что содержательного в ней практически и не было. Скорее всего автор, мастер аллегорий, так и задумывал.

Написав эти слова, я решил заново перечитать «Оттепель». Ничего интересного, а тем более крамольного в ней не оказалось,

как и ничего запоминающегося. Обычная бытовая история тех лет: безымянный городок, завод, борьба за мир, неурядицы в личной жизни героев, то жена не ладит с мужем, то жених с невестой. Стоп. Подобные семейные «вольности» шли вразрез со сталинской философией бесконфликтности, допускавшей на страницы книг лишь противостояние «хорошего» с «лучшим» и никаких проблем, даже семейных. Так что Эренбург проявил тут некоторое, пусть бытовое, но вольнодумство. И еще через весь текст проходит тема холода, стылой недвижимости: «Дыхание, кажется, леденеет…», «Мороз снова крепкий…», «Снег, ничего, кроме снега…», «Ночью будет тридцать пять…». Только в конце над городком проносится сносящая все на своем пути буря, и «зима дрогнула, снег тает, потекли ручьи». Тут герой книги произносит главную фразу: «Вера, вот и оттепель…»

Воистину Эренбург не только литератор, но и отменный политик. Попал в самую точку, сказал слова, которых все ждали. Правда, хронологически оттепель в литературе началась не с майской, 1954 года «Оттепели» Эренбурга, первую проталину в декабрьскую стужу 1953 года протопила статья В. Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанная еще при Твардовском, в последнем, двенадцатом номере «Нового мира». Сейчас невозможно и вообразить, что всего лишь робкое суждение о том, что в нашем мире еще не все прекрасно, не все «розово», вызвало бурю эмоций. Что тогда началось! Особенно негодовали классики «сталинской» литературы, которых Померанцев обозвал «лакировщиками действительности». Они обвиняли автора статьи в идеологической и даже государственной измене. Их антиподы в литературе к «лакировщикам» себя не относившие, напротив, превозносили Померанцева до небес. Отца слово «лакировка» применительно к нашей действительности покоробило, и он присоединил свой, весьма весомый голос к хору критиков Померанцева.

В декабре 1954 года отец, впервые в качестве первого лица, встретился с писателями в ЦК. Собирался первый после почти двадцатилетнего перерыва, Второй съезд советских писателей, и Шепилов уговорил его выступить с «напутственной» речью. Потом отец выступал и на самом съезде. Своим выступлением он не потрафил ни «ортодоксам», ни «либералам». С позиций одних, он слишком отпускает вожжи, другие посчитали, что отец недостаточно решителен. И те, и другие правы. Отец искренне желал освобождения мысли, но как политик понимал, что один неверный шаг может превратить оттепель в наводнение, в поток, который сметет на своем пути и дурное, и хорошее, в нем захлебнутся и те, кто ратовал за перемены, и те, кто им

противился. Такова судьба всех реформаторов, вспомним хотя бы императора Александра II. Его винили в «преступных» намерениях разрушить вековой российский уклад, и одновременно — в нежелании преобразовывать Россию по поэтически-революционным лекалам либерально настроенной части общества. Против него ополчились левые и правые, разночинцы и помещики, революционеры и придворная знать, террористы и полиция. Чем все это закончилось? Мы хорошо знаем. «Поэт в России — больше, чем поэт», — скажет через несколько лет никому в 1954 году еще неведомый Евгений Евтушенко.

В российском авторитарно-подцензурном обществе поэт, будь то Александр Пушкин или Александр Твардовский, не столько поэт, сколько трибун, политик. Политик, ведомый зовом сердца, а не холодным расчетом разума. Это очень опасно, если от поэта, его настроения, его эмоций зависят судьбы народа и государства. Эмоции проходят, восторги сменяются разочарованием, но содеянного уже не вернешь. Поэт — существо безответственное, он пропоет свою песню и упорхнет. Политикам же не упорхнуть, они ответственны за будущее и обязаны повседневно ощущать эту ответственность.

Вот отец и разрывался между зовом сердца и ограничениями, определявшимися состоянием общества, общества, не знавшего свободы ни при царях, ни при генеральных секретарях. Он не раскачает лодку государственности, но и не успеет привести ее в гавань демократии. На первое у него хватит прагматичности политика, а на второе — не достанет времени. Такова его участь и, наверное, предназначение.

К рассказу об идеологических баталиях тех лет на высшем уровне добавлю кое-что из собственных, юношеских впечатлений. Помню, как еще школьником, году в пятидесятом или пятьдесят первом, я решил прочитать все особо значительные произведения литературы, классической и современной, благо библиотека отца насчитывала несколько тысяч томов. С классикой особых проблем не возникло, правда, я намучился с французским, щедро рассыпанным Львом Толстым по страницам «Войны и мира». Мне то и дело приходилось заглядывать в довольно неуклюжий перевод внизу каждой страницы. А вот на современной литературе меня застопорило. По сей день помню мучения, с которыми я продирался сквозь «Кавалера Золотой звезды» Семена Бабаевского и «Белую березу» Михаила Бубеннова. Страницы никак не хотели дочитываться, меня то клонило в сон, то мысли уводили в лес или на волейбольную площадку, лишь бы подальше от занудного текста. Мысли приходилось водворять на место, а

они снова норовили улизнуть. Книги я дочитал до конца, а потом долго корил себя ущербностью — авторы получили Сталинские премии, их произведения признаны лучшими, почти классическими, а я никак не могу дорасти до их понимания. После Сталина критика исключила «Кавалера» из «шедевров» литературы, и я чуть приободрился.

На склоне лет я снова оказался в положении нерадивого ученика. Никак не читался «зрелый» Василий Павлович Аксенов. В «Московской саге» я с трудом осилил страниц сто пятьдесят, потом промелькнула мысль, зачем я себя мучаю? С Василием Павловичем я уже лет двадцать как потерял контакт, моим мнением он не поинтересуется, и мне не придется кривить душой. Через какое-то время я взялся за «Скажи изюм» и с огорчением остановился в самом начале — не читалось, как не прочиталась и книжка его воспоминаний. На этом я решил больше себя не мучить, задвинул книги на полку и забыл о них.

Вновь задуматься о феномене Аксенова меня побудили критические статьи, причислявшие произведения Аксенова к шедеврам, а автора к классикам литературы. Снова, как в случае с Бабаевским, мои ощущения разошлись с оценкой специалистов.

Так в чем же дело? Проблема Аксенова (и не одного Аксенова), как мне видится, в том, что, начав с хороших книжек «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора», которые читаются с прежним интересом, автор переключился на «политику», из просто писателя, превратился в писателя-проповедника. Пишет он все правильно, но очень уж скучно. Сегодняшний Аксенов напоминает мне резонера времен моей молодости Всеволода Анисимовича Кочетова. Он тоже писал правильные по тем временам романы, учил нас, читателей, как, по его мнению, следует жить, предостерегал от ошибок. По его книгам снимались не менее правильные кинофильмы и телесериалы. Вот только книги Кочетова не читались, фильмы не смотрелись, а теперь о нем уже и вовсе забыли.

Все это закономерно: увлекшись проповедью, писатель незаметно теряет то, что можно назвать писательством. И дело тут не в личных качествах или талантах Кочетова и Аксенова. Вслед за Кочетовым ушли в небытие: Федор Гладков с его романом «Цемент», Александр Корнейчук с пьесой «Фронт» и немалое число иных «бессмертных» проповедников.

Мне по-читательски обидно за писателя Аксенова.

День за днем

4 июля члены Президиума ЦК посетили выставку товаров, производимых в ГДР. Отец обожал ходить на выставки, и публикации о таких посещениях появлялись в газетах регулярно. На сей раз удивило не само посещение, а порядок перечисления фамилий членов Президиума, они шли по алфавиту, отец замыкал список.

Тем вечером в Посольстве США в Москве давали прием в честь Дня независимости. Ни отец, ни другие руководители его ранга прием своим присутствием не почтили. Время пока не пришло.

Тогда же, 4 июля, газеты объявили конкурс на проект пантеона. Сооружать его собирались в трех с половиной километрах к югу от нового здания Московского университета. Туда намеревались перенести покойников из Кремлевской стены и с Красной площади, а в будущем — именно в пантеоне (на манер Парижа) хоронить достойных россиян. В ответ на мои дотошные расспросы, почему пантеон решили строить где-то на окраине, отец сказал, что с одной стороны, Москва постепенно перемещается к юго-западу, и окраина за университетом со временем станет почти центром, с другой… Он замолчал, как бы колеблясь: говорить — не говорить, но потом решился сказать: с другой, это секрет, в том месте уже некоторое время сооружается огромное бомбоубежище, где укроется правительство в случае ядерной войны. Оттуда оно будет управлять страной. Над этим убежищем и решили соорудить пантеон.

Я уж не знаю, кому пришла в голову мысль разместить оба объекта, правительственный бункер и пантеон, в одном месте. Или это черный юмор? На крайний случай и пантеон под рукой, то есть над головой. Или посчитали, что враги не сочтут подобное сооружение достойной целью для атаки, а что расположено под ним — не дознаются. Или просто органы безопасности сочли экономным совместить оба спецобъекта в одном месте? Не знаю.

Но пантеон так и не построили. Сейчас на том месте — новая библиотека МГУ, возводится элитный жилой комплекс. А подземный бункер не только выкопали, но и впоследствии соединили специальной веткой метро с Кремлем. В случае чего — спускаешься из своего кабинета на лифте, и через несколько минут…

18 июля объявили о восстановлении совместного

обучения в школах мальчиков и девочек. У юных граждан это решение вызвало всеобщее ликование. Даже мы, студенты, на которых былые ограничения раздельного обучения уже не распространялись, пришли в восторг. Еще пару лет тому назад мы могли посещать вечера в женских школах лишь под присмотром преподавателей и только по большим праздникам. Конечно, это все в теории, но и теория давила на психику.

С чего Сталину пришла идея раздельного обучения, я так и не дознался. Скорее всего, с возрастом его все больше тянуло к старине. Ввел же он мундиры для чиновников всех мастей, от дипломатов до делопроизводителей в министерствах.

Отец рассказывал, как за одним из обедов Сталин заговорил об учреждении советских дворянских титулов, но не получив поддержки даже от готового на все Кагановича, больше к этой идее не возвращался.

19 июля 1954 года газета «Известия» написала о полярных станциях, дрейфующих в Северном Ледовитом океане. Первую такую экспедицию высадили на льды вблизи Северного полюса еще в 1937 году. Ученые наблюдали за погодой, за движением льдов, за соленостью воды. О каждом дне жизни «отважных полярников» рассказывали газеты. Во время войны было не до полярных станций, а в послевоенные годы исследования Арктики строго засекретили. Сталин придумал строить на ледяных полях аэродромы и с них, в случае войны, бомбить Америку. Ученым предписали досконально исследовать ледовые массивы, отобрать те, где можно соорудить постоянные взлетные полосы и сопутствующие им сооружения. Теперь от бредовой сталинской затеи отказались, исследования Арктики вновь стали просто научными исследованиями, и о жизни на полярных станциях разрешили писать без грифа «Секретно».

18 сентября 1954 года дала первый ток Камская ГЭС.

1 декабря в Ленинграде на улице Пржевальского, дом 10 открылся первый в стране магазин самообслуживания.

Квартиризация всей страны

Вслед за целиной отец взялся за жилье. После пищи крыша

над головой — это то самое важное, от чего зависит жизнь человека. Весной 1954 года, еще до поездки на целину, он пишет записку в Президиум ЦК с планом перевода жилищного строительства по всей стране на современную, индустриальную базу.

К 1954 году основные технические проблемы сборного домостроения разрешились. В Москве два завода в три смены формовали на конвейерах стены домов, межэтажные перекрытия, внутренние перегородки. Грузовики-панелевозы единого общемосковского транспортного предприятия развозили их по стройкам. Монтажники единого Главмосстроя в ранее невиданно короткие сроки собирали жилые дома. Через пару-тройку месяцев после закладки фундамента обалдевшие от счастья новоселы радовались, осматривая новые жилища. Потом, оглядевшись, жаловались куда только можно на огрехи строителей. Отжаловавшись, своими руками приводили квартиры в надлежащий вид и, забыв о недавнем житье в общежитии или подвале, начинали костить начальство: и то не так, и это не эдак. Так уж жизнь устроена, человек не может и не должен быть доволен всем, если он, конечно, не покойник.

Все эти панельно-поточные новшевства пока ограничивались Москвой. Страна по старинке продолжала строить кирпичные двух-трехэтажные «хоромы» и одноэтажные дощатые бараки. Строительство дома из кирпича занимало несколько лет, таковы особенности технологии, я уже ее описывал, а потому отдавали предпочтение деревянным домушкам — их подводили под крышу за сезон. Повсеместно ведомства продолжали строить для себя и под себя, держали свои строительные тресты, свои автоколонны, заселяли в свои дома своих людей. Министерства и предприятия помощнее строили побольше, слабые — совсем мало, а мелюзга оставалась вообще ни с чем.

15 мая 1954 года Совет Министров СССР принял Постановление «О серьезных недостатках в жилищном и культурно-бытовом строительстве». 18 июля 1954 года Президиум ЦК разослал директивное «строительное» письмо всем секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов, заинтересованным министрам СССР и союзных республик. В приложении к письму полный текст записки Хрущева. Новое Постановление от 19 августа 1954 года, теперь уже совместное ЦК КПСС и Правительства СССР, конкретно предписывало: что, когда и где следует сделать. В частности, за три года построить 402 завода, производящих железобетонные детали домов, а в малых городах для тех же целей — 200 площадок полигонного типа.

1 декабря в Москве открылось Всесоюзное совещание строителей, на нем отец потребовал приступить к массовому жилищному строительству, уже не только в Москве, но и по всей стране. Как целина решала хлебную проблему, так сборным железобетонным панелям предстояло преобразовать страну коммуналок в страну пятиэтажек.

Свое выступление отец начал, как и полагается, рапортом о достижениях: за восемь послевоенных лет горожане получили двести миллионов квадратных метров жилья, селяне восстановили разрушенные немцами жилища и заново построили четыре с половиной миллиона домов, в среднем за год 25 миллионов квадратных метров и 600 тысяч домов. В истекавшем 1954 году советские люди получили 30 миллионов квадратных метров и 400 тысяч домов соответственно. Цифры огромные, но если раскинуть их на все население, на все 190 миллионов жителей СССР (примем площадь крестьянского дома за тридцать квадратных метров), то получается прибавка по 1,8 квадратных метра на человека плюс в 1954 году еще 0,2 квадратных метра. Для могилы достаточно, а для жилья — маловато.

Недавно я набрел на цифры общей обеспеченности горожан жильем, начиная с 1928 года. В 1928 году на одного городского жителя приходилось 5,8 квадратных метров, в 1932-м — 4,9, в 1937-м — 4,6, в 1940 году — 4,5. С каждым годом положение усугублялось, и это закономерно, крестьяне бросали свои дома, бежали в город, а нового жилья там не строили или почти не строили. В этом свете добавочные два квадратных метра на душу населения звучат весьма солидно, почти половина довоенного жилого фонда. Правда, от довоенного жилья мало что уцелело, начинать приходилось почти с нуля. Чтобы люди зажили по-людски, квадратных метров требовалось построить в несколько раз больше, чем имелось в стране, и не за десятилетия, а максимум — за две пятилетки.

Для этого отец предложил собрать строительную индустрию в один кулак, распространить опыт Москвы на всю страну: сотни министерских, и иных, строй— и транспортных контор объединить в одно, оснащенное новейшей техникой, строительно-монтажное ведомство. А внутри его все тоже специализировать, выстроить технологическую цепочку наподобие сборочного конвейера на заводе: одни кладут фундаменты, другие возводят стены, третьи ставят перегородки, четвертые монтируют лестницы, пятые устанавливают сантехнику. В результате качество строительства улучшится, сроки сократятся, да и расходы на один дом уменьшатся значительно.

Соглашались с отцом далеко не все. Министры, особенно

«богатые», не желали делиться своими квадратными метрами с бедняками, с «простыми» гражданами. Но дело не только в квадратных метрах, отец покусился на всевластие министров, распоряжавшихся в своих вотчинах всем и вся. Им совсем не улыбалось идти на поклон к главам городов и областей, наравне с другими выпрашивать жилье для своих работников. Министры глухо роптали. На их сторону встал Молотов. Тогда они с отцом впервые в открытую сцепились на заседании Президиума ЦК. Пока без последствий.

Отец настоял на своем. Семь с половиной тысяч разбросанных по стране строительных трестов, управлений, главков слили в несколько сотен крупных объединений. Не обошлось без компромиссов. Отец предложил все жилищное строительство передать регионам. Но министры встали на дыбы, пришлось сделать исключение для наиболее мощных министерств. Они внутри своих ведомств объединили строителей, обязались отдавать часть вновь построенных квартир местным властям. «Перетягивание каната» между министерствами и регионами продолжалось и в последующие годы, пока право распоряжаться экономикой не перешло к совнархозам.

Одновременно, и тоже по примеру Москвы, началась повсеместная централизация грузовых перевозок. Министры и тут ловчили, противились всеми способами, но скрепя сердце подчинились.

Переход на технологию сборных строительных конструкций проходил легче. Он всерьез не задевал интересы министров. Более того, в своем большинстве машиностроители приветствовали внедрение современных технологий.

В результате отцу, как перед решающим наступлением на фронте, удалось сосредоточить в местах «прорыва» имевшиеся в его распоряжении материальные ресурсы, проложить оптимальные пути подвоза, сделать все, что определяет успех наступления, успех большого дела.

Министры не противились переводу строительства на поток, но восстали архитекторы. В стандартизации городской застройки они усмотрели не просто покушение на свои привилегии, но и попытку вообще уничтожить архитектуру. Не могу с ними не согласиться. Архитектура, как и любая технология производства, при переходе от штучного к массовому производству претерпевает коренные изменения. Это естественно, как естественно и то, что старое изо всех сил противится новому. Так происходило в прошлом, и с тем же столкнулся отец. Вот как потомки оценят «баталии» тех лет: «К середине 1950-х годов

вновь возникает ситуация несовместимости архитектурного и инженерного аспектов индустриального домостроения. Художественная выразительность отдельных сооружений в этой связи зависела, в основном, от качества строительно-монтажных работ. Как и 20 лет назад (в 1920 — 1930-е годы. — *С. Х.*), творческие устремления архитекторов и инженеров были направлены на решение различных проблем формообразования. Но в противоположность конструктивизму тридцатых годов, когда архитектурная мысль обгоняла возможности строительных технологий, сейчас темпы инженерно-технического совершенствования опережали собственно архитектурно-художественные поиски».

Однако архитекторы считали иначе, с отцом они категорически не соглашались, их приверженность к старому, неприятие нового в последующие годы попортят немало крови отцу.

Говорили на совещании и о дорогах на селе, об их отсутствии. Этой осенью от бездорожья сильно пострадал урожай на целине. Зерно приходилось везти по проложенным в поле колеям, рассыпая его на ухабах на радость воробьям и воронам. В отличие от поточного производства жилья, в этой части отец ограничился общими призывами строить прочные дороги из бетона. Однако производимого в стране цемента и на дома, и на дороги не хватало. Приходилось выбирать. Выбрали дома. Обходилась же Россия без дорог сотни лет. Дороги, конечно, строили, но по-прежнему медленно и плохо.

1955 год

Маршалл Макдаффи

1955 год снова встречали в Кремле, в Георгиевском зале, за теми же столами, с теми же бесконечными тостами и концертом до поздней ночи. Отец держался хозяином, подшучивал над Маленковым, со смаком чокался с прорывавшимися к главному столу гостями, с удовольствием аплодировал артистам. Он наслаждался. Не все приглашенные разделяли его чувства. Многими кремлевский прием воспринимался как работа, обязаловка, они предпочли бы в эту ночь расслабиться с друзьями дома или в обществе артистов-писателей, например, в Доме литераторов, Доме композиторов или где-то еще. Там не звучали официальные тосты за мир и дружбу, а вовсю потешались на полулегальных капустниках.

Недовольные глухо ворчали, но высиживали до конца.

18 января было принято решение о переносе дня памяти Владимира Ильича Ленина с годовщины его смерти, 21 января, на день его рождения, 22 апреля. После смерти Ленина 21 января стало на какое-то время днем всеобщей скорби. С годами скорбь улетучилась, остался просто нерабочий день с формальным торжественно-траурным заседанием в Большом театре. День траура постепенно превращался в праздничный выходной, наподобие 1 Мая или 7 Ноября. В быту все чаще звучали слова о праздновании дня смерти Ленина. После войны власти одумались, 21 января сделали рабочим днем. Теперь же торжественно-траурное заседание заменялось на просто торжественное и проводилось 22 апреля. До субботников тогда еще не додумались, прагматичная мысль совместить день памяти вождя с очисткой городских улиц и дворов от накопившегося за зиму мусора придет кому-то в голову позднее.

В первый день февраля газеты сообщили о встрече отца с видным американским бизнесменом Маршаллом Макдаффи.[15] 2 февраля он дал интервью В. Р. Херсту-младшему, главе крупного американского газетного концерна, крайне реакционного и антисоветского, как писали наши газеты.

Газеты я читал внимательно, прочитанному верил и не понял, зачем отцу понадобилось с этим Херстом встречаться. Отец в ответ на мои расспросы только рассмеялся: Херст не лучше, но и не хуже других, а если мы хотим улучшать отношения с Америкой, то должны находить общий язык с американцами,

какие они есть. Я в душе не согласился, но промолчал.

Херста отец принимал как представителя враждебного лагеря, а к Макдаффи он питал почти дружеские чувства настолько, насколько это допустимо в отношении американца. Вероятно, потому, что Макдаффи в рамках деятельности ЮНРРА старался помочь разоренной войной Украине. Отец ценил его искренность и в виде ответной любезности постарался обставить путешествие своего «друга» по советской стране со всеми возможными в то нелегкое время удобствами. Дома отец с юмором пересказывал, какие мытарства пришлось испытать его гостю, как по дороге к нам, так и во время путешествия.

Не могу удержаться, чтобы не воспроизвести пару наиболее примечательных приключений. Вскоре после смерти Сталина уже ушедший с государственной службы, теперь просто американский бизнесмен, Макдаффи написал отцу письмо. Он сохранил самые приятные воспоминания о годах, проведенных на Украине и хотел бы приехать в СССР посмотреть, как страна оправилась после военной разрухи и, если возможно, повидаться со старым знакомцем — Никитой Хрущевым.

Макдаффи отправил письмо по почте в конверте с адресом: СССР, Москва, Кремль, Хрущеву — без особой надежды на ответ. В те годы советско-американские контакты не то что не поощрялись, они пресекались в зародыше обеими сторонами. Однако письмо дошло, и через пару месяцев в дверь нью-йоркской квартиры мистера Макдаффи позвонили два пожилых угрюмых человека в одинаковых темно-серых пальто и темно-серых шляпах. Они отрекомендовались консульскими работниками советского посольства в Вашингтоне и сказали, что приехали в Нью-Йорк специально, привезли мистеру Макдаффи советскую визу. Он пригласил их в квартиру, предложил выпить, завязался разговор. Слово за слово, освоившись, гости осторожно полюбопытствовали, кто он вообще такой. Они получили указание из Москвы доставить визу на дом, и это во времена, когда визы на въезд в СССР выдавались едва ли не десятку американцев за год, в основном, дипломатам.

Макдаффи, засмеявшись, пояснил, что они с Хрущевым старые приятели, он написал ему, что хотел бы повидаться, и теперь они доставили ответ. Ничего особенного — дело житейское. Дипломаты «дипломатично» улыбнулись и больше Макдаффи не расспрашивали.

Макдаффи, хоть он и находился в отставке, проинформировал о будущей поездке Госдепартамент. На следующий день в дверь квартиры Макдаффи уже звонил чиновник Госдепа. Он срочно приехал из Вашингтона прояснить,

как Макдаффи удалось получить советскую визу. Рассказанной ему истории он, видимо, не поверил и попросил показать паспорт. Макдаффи с готовностью открыл паспорт на странице с визой, и не сразу осознал, что произошло следом. Чиновник выхватил из кармана печать и припечатал на лист «Cancel» (Недействительно). Визу он не мог отменить, он просто «погасил» паспорт вместе с проставленной в нем визой. Возражений Макдаффи он слушать не пожелал и, не мешкая, отбыл восвояси.

В США в неспокойные времена борьбы Маккарти с антиамериканской «заразой» поездки в Советский Союз не поощрялись, и Макдаффи потребовалось немало времени, чтобы восстановить паспорт. Это несмотря на все его связи в Госдепартаменте, где он в свое время занимал немалый пост.

В Советском Союзе Макдаффи получил специальное рекомендательное письмо ко всем областным и прочим начальникам за подписью отца. В сопровождении гида-переводчика от «Интуриста» он объехал всю страну от Харькова, через Сибирь, до Ташкента и Самарканда, и повсюду ему задавали тот же вопрос: как он сюда попал? Для справки: в 1953 году СССР посетило 43 иностранных туриста, в 1956 году — около двух тысяч, в 1964-м — более двадцати тысяч.

Несмотря на высочайшее покровительство, Макдаффи вместе с его гидом не раз задерживала милиция за нарушения правил, которые уже через пару лет не вызывали ничего, кроме досадливой улыбки. К примеру, в Харькове он сфотографировал на торце новенького жилого дома огромное панно — рекламу грузинских вин, изображавшую дуб и на его фоне молодую пару потягивающих гурджаани или цинандали. Под рекламой на улице с лотка торговали дефицитными лимонами. За ними выстроилась очередь. Фотографировать очереди, как мосты, вокзалы и другие «объекты», воспрещалось. Макдаффи отвели в районное отделение милиции, где он торжествующе показал бумагу за подписью Хрущева, предписывающую всем-всем-всем оказывать ему всяческое содействие. Хотя лица у милиционеров вытянулись, но они бумаге не поверили. Стали названивать в Москву. Дозванивались несколько часов, наконец дозвонились, доложили. Ответ получили еще через несколько часов. Все это время Макдаффи просидел в отделении. Когда все выяснилось, дежурный вежливо откозырял и посоветовал больше не нарушать. Однако Макдаффи продолжал «нарушать», его книга, наряду с фотографиями памятников старины, театров, школ и других достопримечательностей, пестрит изображениями бедно одетых людей, обшарпанных улиц, очередей на колхозных рынках, есть в ней даже фото здания КГБ на Лубянке и «секретного» Крымского

моста.

В Москве, уже по пути домой, Макдаффи встретился с отцом. Они вспомнили прошлое, поговорили о будущем. Через год Макдаффи издал книгу с описанием своих приключений в послесталинской России. Он прислал отцу экземпляр с дарственной надписью: «Н. С. Хрущеву. Эта книга написана в духе дружбы. В предисловии я написал: “Надеюсь, что точно и беспристрастно описал то, что видел и слышал”. С огромной благодарностью за Ваше внимание. С совершеннейшим почтением. Маршалл Макдаффи».[16] Эта книга долгое время хранилась у меня, пока я ее не передал в 2005 году в Музей современной истории в Москве. Читается она с огромным интересом и удивлением: неужели это мы были такими в 1954 году? По историческим меркам — почти вчера.

Отставка Маленкова

25 января 1955 года собрался очередной Пленум ЦК, отец докладывал его членам план разрешения кризиса в животноводстве. К животноводству мы вернемся позднее, а главной сенсацией Пленума стало обсуждавшееся последним вопросом снятие Маленкова с поста Председателя правительства.

Внешне ничего не предвещало такого поворота событий. Маленков регулярно приезжал к нам на дачу. Они, как и прежде, подолгу гуляли с отцом, а мы, оба семейства, как и раньше, сопровождали их. Строительство усадьбы Маленкова в Ново-Огареве вступило в заключительную фазу. Правда, Маленков порой выглядел мрачновато, вернее, не сиял улыбкой, как обычно. Я не придавал этому особого значения, мало ли что может человека расстроить?

Конечно, какие-то признаки назревавших перемен витали в воздухе: в октябре 1954 года Маленкова не включили в состав делегации, направляющейся на празднование пятилетия КНР. Отец объяснил свое решение тем, что кому-то надо «оставаться на хозяйстве». К тому же, Китай — страна, строящая социализм, общение предстоит не столько по государственной, сколько по партийной линии. Место Маленкова в делегации занял Булганин и Микоян.

Постановление Пленума ЦК об освобождении Маленкова от должности для меня было как гром с ясного неба. Я ничего не понимал. Отец на мои расспросы отвечал без охоты, ограничился общими словами: «Маленков слаб, безынициативен, легко пасует перед иностранцами, что особенно опасно сейчас, когда мы собираемся налаживать контакты с Западом, с американцами». По

опыту я знал, если отец не хочет отвечать или не знает, как ответить, лучше к нему не приставать, толку все равно не добьешься. Я и не приставал. Там приняли решение — значит, так надо.

Опубликованное через много лет, секретное в 1954 году Постановление Пленума ЦК тоже не добавляет ясности. В нем все свалено в кучу, как это обычно делалось в подобных случаях, как до, так и после Маленкова. Его обвинили в грехах реальных, таких, как «Ленинградское дело», арест и казнь Кузнецова, Вознесенского и тысяч их «подельников», арест маршала артиллерии Яковлева и других генералов, учреждение специальной, подвластной только ему, секретарю ЦК КПСС, тюрьмы, так и виртуальных — развал сельского хозяйства, «противопоставление темпов развития тяжелой промышленности темпам развития легкой и пищевой промышленности, выдвижение лозунга форсированного развития легкой индустрии», особо подчеркивалось политически вредное утверждение о возможности «гибели мировой цивилизации в случае если империалисты развяжут третью мировую войну».

Все вместе трактовалось «как клевета на партию, отрыжка правого уклона, отрыжка враждебных ленинизму взглядов, которые в свое время проповедовали Рыков, Бухарин и иже с ними». И это говорил не какой-то заштатный пропагандист. Я процитировал выступление отца на Пленуме.

Не проясняют дело и ставшие ныне доступными записи, сделанные на заседаниях Президиума ЦК 21 и 31 января. В них повторяются аргументы, приведенные в Постановлении Пленума, вернее, Постановление Пленума писалось в русле высказываний участников этих заседаний. И отец, и остальные члены Президиума на своем совершенно секретном заседании говорили что думают, и нет никаких оснований подвергать сомнению запись их слов. Другое дело, что говорили они шаблонно, так, как полагается говорить в ситуации, когда один из них отрешается от власти. Шаблон стал частью естества этих людей, выросших и созревших внутри сталинского руководства. Ничего не меняется в одночасье, а особенно человеческое сознание. Нам кажется, что мы уже давно в будущем, а время по-прежнему отмеряем по часам прошлого. Перевести стрелки удается с трудом и мучениями, а кому и вовсе не удается. Последние так и живут в раздвоенном сознании одновременно и в настоящем, и в прошлом.

И тем не менее, наверное, у отца имелись какие-то внутренние, невысказанные, а возможно, и не до конца осознанные мотивы отставки Маленкова. Думаю, что отцом двигало опасение предательства. Он не сомневался, что при

первом же даже не кризисе, а просто столкновении Маленков его предаст, как он предал Берию, переметнется к тем, кого посчитает на тот момент сильнее и перспективнее. И станет служить новому хозяину, как раньше служил Сталину, Берии, как теперь служит Хрущеву. Плюс разговор у постели умирающего Сталина о будущем раскладе власти, вернее, отказ Маленкова говорить с ним запали отцу и в душу, и в память. Тогда они нашли общий язык с Булганиным, а Маленков… Отец не забыл и не простил. При всей своей природной, личной мягкости, отец, разуверившись в человеке, внутренне ему больше никогда не доверял. Разуверившись в Маленкове, он уже не мог ничего с собой поделать, дни последнего были сочтены, и январский Пленум ЦК просто подвел черту под давно решенным. Здесь, видимо, и скрывается истинный мотив произведенных изменений.

Очень серьезными и, в отличие от других претензий, не конъюнктурными, мне представляются опасения, что Маленкову не удалось бы отстоять интересы страны в международных делах. Предстояло знакомство с Западом, первая после Сталина, встреча глав четырех держав, первое серьезное испытание «на прочность». У отца крепко сидели в мозгу предсмертное предостережение Сталина: «Котята вы, не станет меня, и империалисты вас сомнут». Отец старался сделать все, чтобы пророчество Сталина не сбылось.

Особые опасения вызывал Черчилль. Возникает вопрос, при чем здесь Черчилль? Он потерял власть еще в 1945 году, когда британские консерваторы проиграли выборы лейбористам. Теперь они восстановили свои позиции, но премьер-министром стал не Черчилль, а Энтони Иден. Черчилль же жил в своем поместье, писал мемуары, рисовал картины и выкладывал из кирпичей бесконечный забор. Но и политики он из вида не упускал. Все знали, что именно он подталкивал правительства западных стран к встрече с советским руководством, считал, что следует, не теряя времени, познакомиться с новыми хозяевами Кремля, понять, чем они дышат, и, если получится, развернуть отношения Запад — Восток в выгодном для Британии направлении. Когда будущую встречу обсуждали в Президиуме ЦК, Молотов предположил, и отец с ним согласился, что Черчилль, если сам и не приедет на встречу, то наверняка станет из-за кулис направлять действия не только британской делегации, но всех западных представителей.

Силу и гипнотическое влияние Черчилля все они, кто лично, а кто заочно, испытали во время войны и теперь очень боялись ударить в грязь лицом. Маленков, по общему мнению, не мог противостоять не только тяжеловесу Черчиллю, но и «более

легковесному» президенту США Эйзенхауэру. Георгию Максимилиановичу, так же, как почти полвека спустя Горбачеву, донельзя нравилось нравиться собеседникам, особенно иностранным. Ради того, чтобы добиться их расположения, он внутренне был готов на многое. Эти страхи подтверждала недавняя поддержка Маленковым нелепой идеи, не просто отказаться от социализма в ГДР, но и за здорово живешь уступить врагу Восточную Германию, завоеванный кровью форпост в сердце Европы. Не нужно большого ума, говорил отец, чтобы растранжирить нажитое поколениями. Вернуть утерянное будет много сложнее.

Что же касается маленковской несамостоятельности, в этом его тоже обвиняли на Пленуме, очень даже устраивала отца. Не случайно он заменил Маленкова на столь же безынициативного и аполитичного, если дозволено так говорить о главе правительства, Булганина.

В профессиональной историографии общеприняты рассуждения о борьбе за власть между Хрущевым и Маленковым, которая завершилась победой отца. Побойтесь Бога. Какая борьба за власть? Маленков никогда не претендовал на реальную власть. Сразу после ареста Берии отец уверенно занял место лидера. Он председательствовал на еженедельных заседаниях Президиума ЦК. Постановления правительства по различным хозяйственным вопросам сначала стали Постановлениями Совета Министров СССР и ЦК КПСС, а с июля 1954 года на первом месте уже писался ЦК КПСС, а правительство — на втором, неоспоримый знак того, где сосредоточена реальная власть. Маленков воспринимал происходившее как должное, роль ведомого, «пристяжного», его устраивала, а если он и переживал, то никому свои переживания не показывал.

И после январского Пленума в отношении Маленкова к отцу внешне ничто не изменилось. Он, казалось, удовлетворился всем происшедшим и тем, что 9 февраля Верховный Совет СССР, освободив его от обязанностей главы правительства и назначив министром электроэнергетики СССР, сначала оставил за ним пост заместителя председателя Совета Министров, а уже через три недели, 1 марта, под предлогом реорганизации структуры правительства, по предложению Булганина, естественно, инициированному отцом, выставил из заместителей председателя. Теперь он стал просто министром, но в ранге члена Президиума ЦК КПСС. Маленков по-прежнему был частым гостем у нас на даче. Он, как ни в чем не бывало, гулял с отцом, с видимым увлечением рассказывал о своих новых, министерских делах, продолжал строительство своей новоогаревской дачи.

Внешне все, а возможно и внутренне — чужая душа потемки — не изменилось. Возможно, Георгий Максимилианович пока не видел на политическом горизонте реального очередного «хозяина».

Новый глава правительства

Когда 22 января 1955 года на заседании Президиума ЦК начали разговор о новом председателе Совета Министров, сидевший во главе стола отец первым взял слово, предложил Булганина и добавил: «Мою фамилию прошу не называть». Видимо, перед заседанием, в кулуарах, такую возможность рассматривали, и всерьез, но он воспротивился. После смерти Сталина они решили разделить посты главы правительства и главы партии и тем самым воспрепятствовать сосредоточению слишком большой власти в одних руках. Отец считал решение правильным, да и с ежедневной рутиной, сидя на двух стульях, одному не справиться.

И тем не менее, высказывавшийся по традиции первым после председательствующего Молотов упрямо произнес: «За кандидатуру Хрущева».

В последние годы жизни Сталин ставил себя, Председателя Советского Правительства, выше себя же — Генерального Секретаря ЦК Коммунистической партии. Но какой половине своей ипостаси в данный момент отдать предпочтение, касалось только лично его.

Молотов, человек по-своему принципиальный, считал, что раз Хрущев де-факто лидирует в руководстве, то и де-юре следует «по-сталински» сосредоточить в его руках всю полноту власти. Отец недовольно поморщился.

— Мою фамилию не называйте, — снова повторил он и перевел взгляд на Кагановича.

— За кандидатуру Булганина, — быстро сориентировался Лазарь Моисеевич, хотя еще менее часа назад он солидаризировался с Молотовым. Но тогда ему казалось, что, отказываясь, отец играет, так же, как любил играть Сталин, неоднократно предлагая свою отставку. Поняв, что ошибся, Каганович тут же сменил ориентацию.

А вот Ворошилов, как и Молотов, придерживавшийся традиционной постмонархической идеи сосредоточения всей полноты власти в одних руках, заколебался, но все же невнятно произнес: «Был бы за Булганина, но придется за Хрущева». Никто не понял, что же он хотел сказать, но и не старался понять, в Президиуме ЦК Ворошилова все уже давно, включая его самого, всерьез не воспринимали.

Дальше дело пошло гладко. Молотов остался в одиночестве, все высказались за Булганина. Однако Вячеслав Михайлович не сдался, в конце заседания еще раз попросил высказаться и слово в слово повторил свои доводы. Отец поставил на голосование кандидатуру Булганина и первым поднял руку «за». Остальные члены Президиума ЦК последовали его примеру. Все, кроме Молотова. Молотов воздержался.

Отец и Булганин стали неразлучной парой, Хрущев — ведущий, Булганин — ведомый. 1955 год, в отличие от предшествующего десятилетия, изобиловал государственными визитами, «нашими» туда и «тех» оттуда. В 1955 году в Москву приезжали австрийский канцлер Юлиус Рааб, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, премьер-министры Индии Джавахарлал Неру и ГДР — Отто Гротеволь, президент Финляндии Ю. К. Паасикиви. Отец вместе с Булганиным съездили в Югославию, затем на совещание четырех держав в Женеву, где познакомились с президентом США Эйзенхауэром, премьер-министром Великобритании Энтони Иденом и председателем правительства Франции Эдгаром Фором. В конце 1955 года они совершили, триумфальный, без всякой натяжки, визит в Индию, Бирму и Афганистан. С королем Афганистана Мухаммедом Захир Шахом у отца тогда сложились по-настоящему дружеские отношения.

Практически все международные инициативы исходили от отца, он диктовал послания руководителям зарубежных стран, но подписывал их, по занимаемой должности Председателя Правительства, Булганин. Отец задавал тон на переговорах, но главой делегации числился Булганин. Отец не хотел и не мог упускать инициативу, но формально он не занимал никакого практически значимого государственного поста, позволявшего бы ему в одиночку заниматься иностранными делами. Так они и путешествовали по миру на пару, Булганину отводились протокольные функции, в переговорах верховодил отец. Безынициативный от природы Булганин с готовностью уступил пальму первенства отцу. Сложившийся дуэт его устраивал. По крайней мере, пока устраивал.

Паритет или необходимая достаточность?

Назначение Булганина главой правительства вызвало перемещения в военном ведомстве. Министром обороны, по настоянию отца, стал Жуков, но он не считал себя креатурой отца, как и чей-либо еще. Человек властный и самодостаточный, по праву считавший себя победителем непобедимого немецкого вермахта, с обретением министерского портфеля и последующим

почти автоматическим избранием в высший политический ареопаг страны — Президиум ЦК КПСС, Жуков превращался из победоносного военачальника в самостоятельного, но пока тяготевшего к отцу, политика. Тут сказывалось и давнее довоенное и военное знакомство и то, что за эти годы они ни разу не «подставляли» друг друга, и то, что именно отец вернул его в Москву, извлек из политического небытия, да и вообще они тогда симпатизировали друг другу.

Став министром, Жуков взялся наводить порядок. Военное ведомство, по его мнению, подраспустилось при мягком, интеллигентном маршале Алексее Михайловиче Василевском и уж окончательно потеряло боевую форму при абсолютно штатском маршале Булганине. Чистку новый министр начал с головы. По его мнению, высший генералитет, командующие военными округами, а это, в основном, бывшие командующие фронтами времен войны, не столько устарели, сколько состарились (напомню, что многим из них только перевалило за пятьдесят), с годами не войска, а собственное здоровье становилось их главной заботой.

Командующие, таскающие за собой целую аптеку, мне не нужны, заявил Жуков отцу вскоре после своего назначения, стариков пора сменить на тех, кто помоложе.

Отец поддержал Жукова, он тоже всю жизнь ратовал за выдвижение во власть молодых, у них и энергии больше, и мозги поживее. Но и на нынешних «стариков» рука у него не поднималась. Отставка для них, выстрадавших победу, как ни подслащивай пилюлю, — обида, оскорбление, моральная травма. Жуков смотрел на все проще: отслужил свое — и на выбраковку. Суровая логика жизни взяла верх над сантиментами, стариков отправили на покой, правда, своеобразный. При Генеральном штабе для них создали специальную группу генеральных инспекторов, тут же прозванную «райской». Формально все они остались на действительной службе, и более того, отец настоял на повышении в звании тех, кого еще было куда повышать. Жуков поморщился, такая «благотворительность» не соответствовала его характеру, но спорить не стал.

Вскоре Жуков представил новые кандидатуры на освободившиеся должности (он заблаговременно обсудил их с отцом) с одновременным присвоением очередных воинских званий. 11 марта 1955 года газеты опубликовали список новых, послевоенных маршалов Советского Союза. Ими стали старые знакомые не только Жукова (он знал всех мало-мальски заметных военных), но и отца: Иван Христофорович Баграмян, Андрей Антонович Гречко, Василий Иванович Чуйков, Кирилл Семенович

Москаленко, Сергей Сергеевич Бирюзов. Замыкал список Андрей Иванович Еременко, на его кандидатуре, так же, как и на кандидатуре Чуйкова, особенно настаивал отец. Первый — командовал Сталинградским фронтом в самые тяжелые месяцы обороны города, а второй, вместе со своей 62-й армией, буквально вгрызся в сталинградскую землю, стоял насмерть не в переносном, а буквальном смысле слова.

Военные, в том числе и Жуков, относились и к Еременко, и к Чуйкову с прохладцей — за их безудержное, хотя и вполне заслуженное бахвальство, свойство, присущее многим военачальникам.

К тому же они, особенно Жуков, ревновали Еременко, ревновали к тому, что он выстоял под Сталинградом, не сдал город, когда уже никто, в том числе и Жуков, и Сталин, не верили в возможность его отстоять. Я еще вернусь к перипетиям отношений Еременко с Жуковым.

К Чуйкову у Жукова имелся особый счет. Генерал претендовал на его собственные лавры, утверждал, что это он и его 8-я Гвардейская армия взяли Берлин, к нему пришел сдаваться немецкий генерал Кребс. А Жуков?… Жуков просто командовал фронтом, к тому же не всегда удачно. Такие разбирательства между победителями не редки. Славу победы иной раз поделить очень непросто. Короче, Жуков ни Чуйкова, ни Еременко не любил, но аргументов против «маршальства» у него не нашлось.

В первые послесталинские годы обстановка в мире продолжала дышать войной. Сталин уверовал в ее неотвратимость еще в 1948 году. Все началось с блокады Западного Берлина, куда Сталин перекрыл все пути подвоза, все, кроме воздушного. Он попробовал таким образом поиграть со своими недавними западными союзниками «на равных», решил заставить считаться с собой, сделал «заявку» на переход Советского Союза с уровня региональной державы на мировой. Для СССР, страны, победившей во Второй мировой войне, стремление добиться статуса мировой державы, сверхдержавы в современной терминологии, естественно и логично. А вот почему Сталин начал с блокады Западного Берлина, остается только гадать. Возможно, руководствуясь собственным, а вернее, собственного народа опытом 900-дневной блокады Ленинграда во время войны, он посчитал, что ни немцы, ни тем более изнеженные американцы, не выдержат осадной берлинской зимы, настрадавшись от холода и голода, уберутся оттуда подобру-поздорову. Сталин просчитался в Берлине так же, как Гитлер просчитался в Ленинграде. Вот только ленинградцы выстояли

исключительно благодаря собственному мужеству, а берлинцам помогли американцы.

Сталин не допускал возможности организации снабжения по воздуху города, не уступавшему размерами Ленинграду. Как можно самолетами доставить все от продовольствия до угля? Ему такое оказалось не по силам, даже при наличии соединявшей Ленинград с «Большой землей» зимней трассы по льду Ладожского озера. И Гитлеру оказалось не по силам с помощью воздушного моста предотвратить капитуляцию 220-тысячной армии генерала Паулюса в Сталинграде. Сталин ошибся. Жизнеобеспечение Западного Берлина оказалось по плечу американцам с их колоссальным техническим потенциалом. У нас в войну, кроме Ли-2 — лицензионной копии старенького американского DC-3, транспортных самолетов практически не было. Немецкие «Юнкерсы-52» тоже не справились с поставленной задачей. Американцы же воздушные транспортники производили в избытке. И какие! Большие, вместительные, четырехмоторные. Блокада провалилась. Сталину пришлось отступить, разблокировать доступ союзников в Берлин, вернуться к подписанным им же самим, в июле 1945 года, Потсдамским соглашениям.

Поражение в «битве» за Западный Берлин Сталина напугало не на шутку. Американская авиация, особенно стратегическая, камня на камне не оставила от огромного немецкого промышленного потенциала, выжгла атомной бомбардировкой японские Хиросиму и Нагасаки, преимущество США склонило Сталина к мысли: американцы нападут на нас, и нападут очень скоро. По крайней мере, он сам при таких условиях напал бы не раздумывая. А раз так, надо срочно готовиться к войне, к третьей мировой. Весь остаток своей жизни Сталин посвятил подготовке к новой войне.

В 1948 году он остановил сокращение Вооруженных сил. К тому времени численность армии уменьшилась с приблизительно 10 миллионов человек в 1945 году до 2 миллионов 874 тысяч. Теперь снова наращивали призывные квоты, отменяли отсрочки, открывали новые военные училища и академии, переводили в них с последних курсов студентов гражданских вузов. Промышленные предприятия, только недавно освоившие выпуск мирной продукции, переводились на военные рельсы. Возобновилось массовое производство оружия и военной техники, как это обычно случается перед войной. Аналогичная команда ушла и к нашим новым союзникам, в Восточную Европу, в страны народной демократии. Так их тогда называли. Они немного поерепенились, но подчинились.

К 1953 году советские Вооруженные силы по сравнению с 1948 годом удвоились, под ружье встали 5 394 038 человек.

Одновременно Сталин приступил к созданию стратегической авиации. Ее у нас практически никогда не было. Командующий дальней (стратегической) авиацией маршал Александр Евгеньевич Голованов имелся, а авиации не было. Во время войны маршал распоряжался несколькими десятками четырехмоторных ТБ-7 (Пе-8).[17] Германию они почти не бомбили, в основном исполняли курьерские функции, время от времени доставляли в Лондон важных советских начальников.

Так, 2 июня 1942 года[18] над Германией по пути следования в Англию пролетел Молотов. Подобные перелеты свидетельствовали о героизме и мастерстве летчиков, но воздушные силы стратегическими так и не стали. Вины Голованова тут нет. В предвоенные и военные годы Сталин в стратегическую авиацию не верил, не считал ее способной нанести врагу ощутимый ущерб, а потому не разрешал «транжирить» драгоценные ресурсы, в первую очередь алюминий и моторы. Особенно моторы. Один мотор — один истребитель или штурмовик, два мотора — это уже фронтовой бомбардировщик. Для бомбардировщика дальнего действия требовалось целых четыре мотора. Новые ТБ выпускали поштучно и под личным контролем Сталина, а в 1942 году их производство вообще прекратили.

Привычка экономить моторы сохранилась у Сталина и после войны. Она сыграла злую шутку с конструктором Сергеем Владимировичем Ильюшиным, предложившим в 1946 году Аэрофлоту современный четырехмоторный пассажирский лайнер. Сталину показали первый опытный образец. Осмотрев самолет, Сталин буркнул: «Куда им (видимо, пассажирам) четыре мотора и двух за глаза достаточно». Самолет «зарубили», Ильюшину приказали срочно спроектировать двухмоторный Ил-12.

Все переменилось после атомной бомбардировки Японии, стратегическая авиация получила наивысший приоритет. Однако своим конструкторам Сталин верил, но не очень доверял. Как в первые пятилетки мы копировали американские тракторы и грузовики, так и сейчас Сталин приказал скопировать американскую летающую крепость Б-29. Благо во время войны на Дальнем Востоке, отбомбившись над Японией, три таких поврежденных самолета приземлились на нашей территории, а Советский Союз тогда с Японией не воевал. Сталин распорядился их интернировать. Теперь Б-29 передали Туполеву. В «новом» самолете изменили только название с Б-29 на Ту-4.

Пока Туполев возился с Б-29, Сталин, боясь опоздать к началу

войны, приказал развернуть массовое производство фронтового бомбардировщика Ил-28 с радиусом действия 1200 километров и начать строительство ледовых аэродромов в самом центре Северного Ледовитого океана. Иначе Ил-28 до Америки не долетал.

Приготовления к новой войне этим не ограничились. Движимый страхом перед американским десантов через Берингов пролив со стороны Аляски, Сталин отрядил на Чукотский полуостров стотысячную армию. Почему американцы решат высадиться на Чукотке, оттуда до единственной Транссибирской железнодорожной магистрали тысячи километров тундрой, тайгой, болотами, горами, и все без дорог, по сорокаградусному морозу зимой или по гнусу летом, Сталин не объяснял. Задавать ему вопросы генералы не решились, отправили солдат с палатками в вечную мерзлоту. Захотят жить — выживут.

Теперь, на второй год после смерти Сталина, пришла пора задуматься: двигаться ли прежним курсом или?… Отец после некоторых колебаний выбрал «или».

После июльской 1955 года встречи в Женеве и других контактов с западными лидерами, в первую очередь американцами, отец пришел к выводу: «Войны они, как и мы, не хотят, боятся ее, с ними можно иметь дело, но с позиций силы, чуть дашь слабину, уступишь, хоть в малом, и тебя тут же сомнут, обдерут как липку. Можно договориться даже с Эйзенхауэром, считал отец, но надо выглядеть сильным, а если сил недостает, то все равно выглядеть, держать марку. Но договориться, предотвратить всеразрушающую третью мировую войну, по его мнению, — это полдела.

Победит та общественная система, которая обеспечит лучшую жизнь людям, — не уставал повторять отец, не сомневаясь, что эта — система социалистическая. А потому нет никакого резона воевать ради лучшей жизни людей, населяющих чужие страны. Когда американцы убедятся, что жить при социализме выгоднее, они сами выберут себе соответствующего президента и добровольно присоединятся к нам. Звучит несколько наивно, но в своей основе правильно. Так и случилось, только в конце XX века не они присоединились к нам, а мы — к ним.

Одним из источников ресурсов, столь необходимых для улучшения жизни людей, отец видел, я бы сказал, не прямолинейное сокращение, а скорее — оптимизацию расходов на оборону. Другими словами, сосредоточение усилий на главном, решающем направлении. А вот что в оборонных делах главное, а что второстепенное, отцу еще предстояло разобраться. В послевоенные, сталинские времена он делами обороны не

занимался, знал о них понаслышке из разговоров во время застолий у Сталина на ближней даче в Волынском. Теперь весь этот груз свалился на его плечи.

Отец начал с самообразования, с разговоров с учеными, конструкторами различных видов вооружений, генералами и маршалами. Общая картина постепенно начинала вырисовываться, но для принятия кардинальных решений требовалось время.

Пока же не вызывало сомнений одно — наши Вооруженные силы для страны, не собирающейся ввязаться в войну уже завтра, непомерно раздуты. Жуков разделял точку зрения отца. В отличие от многих других высших армейских чинов, он понимал, что в новых условиях живой силой победы не завоюешь, многомиллионная неповоротливая человеческая армада — удобная мишень для нападающей стороны.

Череда сокращений, пока секретных, началась сразу после смерти Сталина. С марта 1953 по 1 января 1956 года, согласно документам, Вооруженные силы уменьшились примерно на один миллион сто тысяч человек. Одновременно приостановили, в связи с полной неясностью боевого использования, строительство заложенных в 1951 году трех тяжелых крейсеров типа «Сталинград».

12 августа 1955 года было принято и опубликовано в печати Постановление ЦК и СМ СССР об увольнении в запас, начиная с 1 января 1956 года, еще 640 тысяч человек. На публикации настоял отец. Страна сделала шажок от сталинской закрытости к нормальному обществу. Не следует переоценивать этот шажок, путь предстоял предлинный, но и недооценивать нельзя: первый шаг, «он трудный самый».

Сокращение Вооруженных сил, как и любая реформа, процесс непростой и болезненный: высвобождавшихся людей требовалось трудоустроить, переучить, переселить на новые места. С работой для увольняемых в запас офицеров проблем тогда не возникало, руки требовались везде. Везде, кроме канцелярий. Казалось бы, решили и вопрос жилья. Исполкомам спустили указание: демобилизованных благоустраивать в первую очередь. Правда, указание спустили, но от этого нового жилья не прибавилось, распихивали вновь прибывших, как могли, а могли в те времена совсем чуть-чуть.

Не все инициативы в реорганизации армии исходили от Хрущева. Жуков самостоятельно наводил порядок в своем ведомстве. Так, к примеру, он посчитал несправедливыми установленные Сталиным сверхвысокие пенсии выходящих в отставку полковников и генералов. Пенсии, особенно

генеральские, в пять-шесть раз превышали пенсии гражданские. На них не просто доживали, а жили весьма зажиточно. Жуков предложил сократить разрыв, существенно срезать пенсии выходящим в отставку военнослужащим, в первую очередь генералам и полковникам. Другими словами, большинству отставников (лейтенантами на пенсию выходят редко). Отец поддержал Жукова. Сокращение пенсий прокатилось по армейским штабам глухим ропотом недовольства.

Как бы в порядке компенсации за урезанные пенсии Жуков в июне 1955 года предлагает восстановить доплаты за боевые награды. Еще с довоенных времен орденоносцам выплачивали небольшие ежемесячные «наградные», но тогда их получателей можно было пересчитать по пальцам, а после войны каждый второй носил ордена и медали. Сталин посчитал «наградные» слишком большим бременем для бюджета, и 10 сентября 1947 года их отменили, чем кровно обидели вчерашних фронтовиков. Да и рубли эти, пусть и мизерные, в мизерном семейном бюджете тоже не казались лишними. Теперь Жуков направлял в Президиум ЦК одну за другой записки о восстановлении выплат за награды. Он предлагал платить за Героя Советского Союза — от двадцати до восьмидесяти рублей в месяц, за орден Славы — пять, а за медаль по трояку. Казалось бы, совсем немного, но за год набегало до двухсот миллионов рублей. Министерство финансов возразило: денег в бюджете в обрез. Отец предложил отложить рассмотрение до лучших времен, когда страна станет побогаче. Вопрос отложили навсегда.

Одновременно с восстановлением наградных Жуков предложил установить единообразие выплат солдатам и сержантам срочной и сверхсрочной службы вне зависимости от рода войск. Существовавшую с 1953 года систему, согласно которой солдату-сухопутчику платили 30 дореформенных (1961) рублей, матросу на корабле до 150 рублей, а в авиации — целых 500 рублей, он счел несправедливой. По новой схеме всех солдат и матросов приравняли к сухопутчикам. Отныне они получали 30–40 рублей. Унифицировались и выплаты сержантам со старшинами, тоже в основном в сторону сокращения, отменялись всевозможные надбавки. Жуковская реформа экономила казне 600 миллионов рублей в год. Упорядочение выплат особенно болезненно задело и сержантов-сверхсрочников. Их приравняли к сержантам-срочникам, сняли с них надбавки за квалификацию, за выслугу. В результате, как однажды посетовал в моем присутствии маршал Иван Степанович Конев: «старослужащие из армии поуходили, и следом упала державшаяся на них дисциплина».

Еще одно нововведение. Отец «продавливал» сокращение сроков (с 1 января 1956 г.) службы: на флоте с пяти лет до четырех, а в авиации и некоторых других войсках — с четырех до трех лет, в пехоте с артиллерией, с трех лет до двух. В рабочих руках остро нуждались и промышленность, и сельское хозяйство. Генералы и адмиралы встали на дыбы. Современную технику и за три года еле-еле удается освоить, сроки службы следует не сокращать, а продлевать. В ответ отец посоветовал ориентироваться на сверхсрочников, его поддержал Жуков. Официальные предложения Министерства обороны в начале августа 1955 года ушли в правительство. И тут со сверхсрочниками вышла заминка. Свое, отрезвляющее, слово сказало Министерство финансов: сверхсрочникам, в отличие от призывников, придется платить жалованье, а денег взять неоткуда. Отец уступил, сухопутные войска, наиболее многочисленные, пока не тронули, оставили служить три года. Отец не отступился, он решил действовать поэтапно. В 1956 году уменьшили продолжительность службы призывников в так называемых «особо тяжелых условиях», к ним причислялись районы Дальнего Востока, Крайнего Севера, а также склады и полигоны испытаний ядерного, химического и биологического оружия. Всего под новый Указ попали 286 тысяч сержантов и солдат.

Согласно бюрократическому этикету, все официальные бумаги: о сокращении армии, сроков службы, о наградных, об урезании Вооруженных сил, о военных пенсиях и о многом, многом другом, независимо от кого они исходили, подписывал министр обороны Жуков. В данном случае не только отдавалась дань форме, но и по существу Жуков был с отцом заодно.

Уже после Жукова, отец снова вернется к срокам действительной службы, сократит ее в сухопутных войск и авиации до двух лет, на флоте — до трех.

Задумался отец и о судьбе советских военных баз на чужих территориях. Их у нас оставалось две: Порт-Артур в Китае и Порккала-Удд — клочок земли поблизости от столицы Финляндии Хельсинки, запирающий вход в Финский залив. По мнению отца, эти базы в современных условиях утратили военное значение.

Он заехал в Порт-Артур во время официального визита в Китай осенью 1954 года. Бухта размером с озерцо, окруженная высокими сопками, со сгрудившимися в ней кораблями показалась ему не столько безопасным убежищем, сколько ловушкой для флота. В случае атомного удара в живых тут останутся единицы. К тому же, в царские времена, в 1898 году,

расположенный на полуострове Ляодун Порт-Артур и проложенная к нему железная дорога предваряли аннексию Маньчжурии. Поражение в Русско-Японской войне положило конец этим планам. В 1945 году восстановили теперь уже советский контроль и над военно-морской базой, и над железной дорогой. Однако в новых международных реалиях, когда даже Сталин не смел мечтать о Маньчжурии, дорога вела в никуда, а Порт-Артур служил ничему. После образования в 1949 году Китайской Народной Республики советская военно-морская база на ее территории вообще стала анахронизмом. Отец предложил передать ее китайцам. Моряки противились, но вяло. Жуков их не поддержал. В 1955 году Порт-Артур передали, вернее, вернули китайцам, вернулось к нему и его настоящее имя Люйшунь.

Что же касается Поркалла Удд, то установленная там дальнобойная артиллерия в сочетании с артиллерией, дислоцированной на советских островах в Финском заливе, надежно контролировала морские подходы к Ленинграду. Теперь же крылатые ракеты, запускавшиеся с нашей территории, с лихвой перекрывали узкий Финский залив. Военная база в Финляндии становилась бесполезной. Так считал отец, но моряки, в том числе главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Герасимович Кузнецов, заняли диаметрально противоположную позицию. Отдавать без боя и эту свою базу они не собирались. В таких условиях поддержка Жукова оказалась очень кстати.

«Я спросил Жукова, — вспоминал отец (разговор состоялся летом 1955 года), — слушай, Георгий, — у нас были дружеские отношения, — ты скажи, наша база в Финляндии представляет какую-то ценность?

Он сдвинул брови, сурово посмотрел на меня.

— Знаешь, правду говоря, никакой, — он даже развел руками.

Я и сам это понимал, но мне хотелось получить подтверждение из уст военного, особенно от Жукова. Я себя проверял, не хотел кривотолков, что вот, мол, при Сталине мы эту базу построили, а Сталин умер, и мы базу ликвидировали.

— Я согласен с тобой, — ответил я Жукову, — не следует ли эту базу закрыть? Политически это было бы для нас очень выгодно, а экономически тем более.

Тогда наш посол в Финляндии докладывал, что эта база буквально наваливалась на Хельсинки. Когда поезд из Хельсинки проходил по ее территории, то в вагонах окна закрывали шторами, выключали свет, предупреждали, чтобы никто не выходил из своих купе, в окна не выглядывали. Естественно, это вызывало страшное раздражение и негодование у финнов.

Как мы можем призывать американцев вывести свои войска с других территорий, если наша база расположена в Финляндии? Она выполняет ту же роль, что и американские базы, к примеру, в Турции и в других странах. Мне хотелось развязать руки нашей политике. Я считал, что не лучший способ завоевания доверия финского народа — держать у них под горлом ножик в виде военной базы.

— Ты напиши свои соображения, — сказал я тогда Жукову (я хотел, чтобы инициатива исходила от военных), — а я поставлю вопрос на Президиуме Центрального Комитета.

Так и сделали».

Ликвидируя военные базы, сокращая личный состав Вооруженных сил, отец постепенно разворачивал страну от подготовки к войне к тому, что вскоре получит название «мирного сосуществования», от войны к миру.

Хотя сокращение сроков службы и ликвидацию баз и даже уменьшение размеров Вооруженных сил никак нельзя назвать косметическими изменениями, но самой концепции обеспечения безопасности страны они не затрагивали. Она пока сохранялась «сталинской», базирующейся на критериях «доядерной» эры. Без ее адаптации к новым условиям военные расходы, ложившиеся серьезным бременем на бюджет страны, все больше становилось данью прошлому, а не ответом на вызовы будущего. Покуситься же на оборонную доктрину означало серьезный конфликт с генералитетом, людьми, заслужившими свои отличия в недавней войне, усвоившими ее уроки и не желавшими, а часто и не способными перестроиться. Отец понимал, что столкновения не избежать, как понимал и то, что они профессионалы, по крайней мере, считают себя таковыми, а он — новичок, к тому же штатский. Реформирование Вооруженных сил не шло ни в какое сравнение ни с целиной, ни с жилищным строительством, ни по масштабам, ни по опасностям, грозившим самому реформатору, но и оставить все по-старому, как хотелось бы генералам, отец не мог. Ведь он отвечал теперь за все. Час первых испытаний настал, когда в апреле 1955 года на заседание Президиума ЦК вынесли проект рассчитанной на 1955–1965 годы второй очереди программы военного кораблестроения. Моряки и судостроители просили ассигновать на нее сто тридцать миллиардов рублей. Деньги по тем временам запредельные. Отец, при его бережливости, не мог позволить потратить такую сумму, не разобравшись досконально, что же в результате получит народ. Флотом он раньше не занимался, дело усугублялось еще и тем, что все визы на проекте постановления имелись, программу уже более года обкатывали в Министерстве обороны, кроме

главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Кузнецова, ее подписали и Начальник Генштаба маршал Соколовский и бывший министр обороны, а ныне Председатель Правительства Булганин. Более того, часть кораблей, вошедших в первую очередь (1945–1955 годов) программы, подписанную еще Сталиным сразу после войны, уже строились. Казалось бы, что тут мудрствовать? Утвердить, тем более Кузнецов, наш «военно-морской» Жуков», все убедительно доложил. Убедительно для большинства присутствовавших, но не для отца.[19]

Он решил вникнуть, что дадут обороне страны эти дорогостоящие авианосцы и крейсера? Мы — сухопутная держава, не собираемся ни на кого нападать, а тем более завоевывать заокеанские колонии. Соперничать в океанах с США при экономике, едва достигающей трети от американской, нам тоже не под силу.[20] За десять лет, к 1965 году, они, если захотят, понастроят кораблей в три раза больше, чем мы. В результате мы, при всем нашем перенапряжении сил, окажемся еще дальше от паритета с США, чем сейчас. А эти деньги можно с пользой потратить на сельское хозяйство, строительство жилых домов и еще много на что.

Отец начал расспрашивать Кузнецова. Его вопросы адмиралу не понравились, они заспорили. Жуков поддержал отца. Он, недавний главком сухопутных войск и заместитель Булганина, к подготовке кораблестроительной программы отношения не имел и ее не подписывал.

После продолжительных препирательств рассмотрение программы отложили, вернули морякам на доработку. Вновь к кораблестроительной программе вернулись осенью, в октябре 1955 года. Собрались не в Москве, а в Севастополе, главной военной базе Черноморского флота. Вновь последовал бурный обмен мнениями. Кроме отца и Жукова выступили Булганин, Кириченко, Микоян и Ворошилов. Флотскую сторону представляли адмиралы Кузнецов, его заместитель Сергей Георгиевич Горшков, командующий Черноморским флотом Виктор Александрович Пархоменко, член Военного совета флота Николай Михайлович Кулаков и еще множество других адмиралов и старших офицеров рангом пониже. На этом заседании Кузнецов отстаивал свою позицию до последнего, но сражался он в одиночку, его недавние соратники-адмиралы один за другим покидали своего тонущего флагмана. (Существуют свидетельства, что адмирал Кузнецов в Севастополе не присутствовал, лечился в Кисловодске, однако в официальных документах фамилия Кузнецова значится как участника этого заключительного совещания. Приехать в Севастополь из

Кисловодска на пару дней труда не составляло и, по всем канонам, такое мероприятие он не мог пропустить.)

В результате обсуждения кораблестроительную программу отвергли, решили океанский надводный флот не строить, ограничиться малым: торпедными и, если получится, ракетными подводными лодками и кораблями береговой обороны.

Вечером 14 октября 1955 года, когда деловая часть закончилась, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов в ознаменование 100-летия героической обороны Севастополя от англо-франко-турецких (в войне 1854–1855 годов) захватчиков вручил городу орден Боевого Красного Знамени. Но настроения моряков награда не улучшила. Подавляющее большинство восприняло решение руководства страны как свое поражение, удар по флоту. Так думало и меньшинство, сохранившее верность адмиралу Кузнецову, и большинство, перешедшее на сторону отца. Самому отцу далось это все тоже очень нелегко. Шутка ли: порезать флот. Но интересы страны требовали от него непреклонности, бюджет страны не резиновый, ресурсы ограничены, необходимо выбирать. Либо крейсера, либо «купцы». Торговый флот до того у нас отсутствовал почти полностью. И то, и другое страна себе позволить не могла. Сталин выбрал крейсера, отец — рефрижераторы и рыболовецкие траулеры. На высвободившихся стапелях закладывали торговые суда. Теперь им предстояло осваивать далекие моря. Через пятьдесят лет решение отца назвали бы конверсией, а тогда не называли никак. Так уж повелось в мире, пушки вместо масла или масло вместо пушек. Третьего не дано. Отец твердо стоял за масло.

Лично к Кузнецову отец относился с заслуженным уважением, но они расходились в оценке будущего советского Военно-морского флота, его роли в обеспечении безопасности страны, а соответственно, и в отводимой ему доли государственных ресурсов. Главком ВМФ Кузнецов старался урвать для своего ведомства побольше, на то он и главком. Отец, отвечавший за всю страну, умеривал его аппетиты.

Другое дело Жуков. Как министр обороны он поддерживал отца, но в его отношении к Кузнецову было и много личного. Он откровенно не любил Кузнецова и не скрывал этого. Кузнецов, в свою очередь, не любил Жукова, и тоже в открытую.

Кузнецов не боялся гнева Сталина и не собирался пасовать перед Жуковым. Взаимная неприязнь стала притчей во языцех на флоте. Свое неприятие Кузнецова Жуков переносил на весь Военно-морской флот. Как только он занял министерское кресло, флотских офицеров лишили их традиционных привилегий! С

петровских времен они получали большее жалованье, чем пехотинцы, но ведь и служба в море, а особенно под водой, не чета армейской. Жуков же распорядился иначе: флот уравняли с армией, «сухопутных» офицеров с морскими, старшин и мичманов с армейскими сержантами. Флот взроптал: и денежных надбавок жалко, но еще больнее «нововведение» ударило по престижу флотской службы. Жуков отреагировал своеобразно: «Я вас всех в сапоги переобую». Большего оскорбления для морского офицера и не придумать.

Корни взаимной неприязни двух прославленных военачальников уходят в начало войны, в июнь 1941 года, когда Жуков, тогда молодой генерал армии, возглавлял Генеральный штаб, а еще более молодой адмирал Кузнецов командовал Военно-морским флотом. То, что вот-вот разразится война, в середине июня 1941 года ощущали все, и военные, и гражданские. Отец в те дни оказался в Москве. Вот как он описывает атмосферу в Кремле: «Перед самой Отечественной войной, за три-четыре дня до ее начала, я находился в Москве и буквально томился там. Сталин же все время предлагал мне: “Останьтесь еще”.

Я видел, что Сталин меня не отпускает, потому что боится одиночества, хочет, чтобы вокруг него было как можно больше людей. Наконец в пятницу 20 июня я обратился к нему:

— Товарищ Сталин, мне надо ехать. Война вот-вот начнется и может застать меня в Москве или в пути. (Я обращаю внимание “в пути”, а ехать-то из Москвы до Киева менее суток. — *С. Х.*)

Он говорит:

— Да, да, верно. Езжайте».

Если уж отец, человек в военные секреты не очень посвященный, не сомневался, что война у порога, то штабисты знали наверняка. К ним стекалась вся разведывательная информация. То, что Сталин тогда ничего не желал предпринимать, проблема психологическая, и даже психиатрическая, объясняющая, но вряд ли извиняющая бездействие генералитета. Несомненно, недавние судебные процессы и расстрелы военачальников, повальные аресты парализовали волю сталинских подчиненных, они знали, что на Лубянке расстреливают генералов и за меньшие грехи, чем неповиновение «хозяину».

Страх парализовал волю большинства, но не всех, в том числе адмирала Кузнецова. В июне 1941 года он действовал так, как его обязывали действовать Устав и складывающаяся обстановка.

Позволю себе процитировать слова самого адмирала из его письма отцу от 8 ноября 1957 года: «По вопросу начала войны

мне хотелось бы опровергнуть утверждения товарища Жукова, что нельзя было подготовить войска к обороне за несколько дней. Этому никто не мешал и, наоборот, в этом состоял его долг.

Флоты в течение предвоенного июня месяца постепенно перешли на соответствующие оперативные готовности, все военно-морские базы были затемнены и, когда накануне войны (около 9 часов вечера, 21 июня) меня вызвали к наркому обороны товарищу Тимошенко и он дал мне указание подготовиться к возможному нападению немцев, нам с начальником военно-морского штаба оказалось достаточным из кабинета Тимошенко позвонить по телефону на командный пункт ВМФ, приказать передать условный сигнал на флот, по которому все уже знали, что делать.

В результате, к 12.00 ночи (00 часов 00 минут, 22 июня 1941 года) я получил доклады с флотов о фактической боевой готовности. Налеты немецкой авиации на главные базы флота с задачей вывести из строя корабли оказались безуспешными. Выведенный из строя в первый момент флот уже не мог быть восстановлен во время войны».

Другими словами, адмирал Кузнецов обвиняет и обвинял раньше маршала Жукова в трусости, в неисполнении своего воинского долга, в том, что он не решился в предвоенные дни и недели, пусть и вопреки воле Сталина, привести военные округа в боевую готовность, а он, главнокомандующий Военно-морским флотом, пренебрег запретом и на рассвете 22 июня встретил врага во всеоружии, не потерял ни одного корабля.

Не разразись война, эта самодеятельность наверняка стоила бы ему головы, Кузнецов это понимал, но иначе поступить не мог. А Жуков, начальник Генерального штаба, знавший наверняка больше него, Кузнецова, не преодолел своего страха перед Сталиным, как считал адмирал, струсил. Такого обвинения не прощают. И Жуков Кузнецову не простил.

Через несколько дней после высокого собрания в Севастополе произошло несчастье. 28 октября линкор «Новороссийск» вернулся на базу встал на своем обычном месте. Часть команды отправилась в увольнение на берег, остальные занялись приборкой. Под утро 29 октября, в 2 часа 44 минуты, в районе носовых орудийных башен прогремел подводный взрыв. Предположительно, сдетонировала оставшаяся с войны и потревоженная якорем, немецкая мина. Их вплоть до начала XXI века, вылавливали в севастопольских бухтах. В образовавшуюся в корпусе корабля пробоину хлынула вода. Капитан попытался выбросить линкор на мель, но не успел, корабль перевернулся, унес в могилу почти половину экипажа. Как говорили тогда,

погибло 608 человек, сейчас называются и другие, но схожие цифры: 599 и 611 погибших. Не знаю, какая из них вернее, но все они для мирного времени огромны.

Как водится в таких случаях, назначили комиссию для выяснения причин катастрофы и определения виновных. Отчего произошел взрыв, комиссия, как я уже говорил, не определила, ограничилась предположениями. Конкретных виновных тоже не назвали, все командиры действовали по уставу. По традиции в подобной ситуации за все отвечает старший воинский начальник, в нашем случае — главнокомандующий ВМФ адмирал Кузнецов. И неважно, что в момент взрыва он отдыхал в Кисловодске, а обязанности его исполнял заместитель, адмирал Горшков. По той же традиции главкому следовало самому попросить об отставке, но адмирал Кузнецов такого прошения не подал.

6 ноября 1955 года на заседании Президиума ЦК обсуждали утвержденный Жуковым доклад правительственной комиссии и предложения Министерства обороны. Жуков предлагал отдать Кузнецова под суд Военного трибунала. Позиция — по-жуковски жесткая. Однако отец рассудил иначе, в своем выступлении он смягчил акценты: время сейчас не военное и, хотя «Кузнецов с Горшковым несут ответственность за случившееся, но и сам Жуков с другими маршалами тоже не сделали всего возможного». Отец предложил не устраивать суда над Кузнецовым, ограничиться его отставкой.

— С понижением в чине, — вставил свое слово присутствовавший на заседании, Жуков.

— С понижением, — согласился отец.

8 декабря 1955 года Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О гибели линейного корабля “Новороссийск” Черноморского флота» адмирала флота Н. Г. Кузнецова «За неудовлетворительное руководство Военно-морским флотом» сняли с должности первого заместителя министра обороны и главнокомандующего ВМФ.

Сам Кузнецов так описывал в письме отцу последовавшие за тем события: «15 февраля 1956 года меня вызвал министр обороны т. Жуков и в течение 5–7 минут в исключительно грубой форме объявил о решении понизить меня в воинском звании и уволить из армии без права на восстановление.

Министр обороны обвинил меня в низкой дисциплине на флоте и… якобы я «нагородил» много различных окладов сверхсрочникам».

В результате жестких решений по флоту, похоронивших честолюбивые мечты моряков держать флаг на всех морях и океанах, отец не просто поссорился с адмиралом Кузнецовым, он

испортил отношения со всем флотским офицерским корпусом. Его первая размолвка с военными тогда не повлияла на политические позиции отца. Флот в России традиционно не имел особого веса. В будущем отцу придется умерять аппетиты военных еще не раз, в том числе и могущественных сухопутчиков. А это уже посерьезнее: маршалы у нас — не чета адмиралам.

Я не хочу и не могу представлять отношения отца с Жуковым в те годы в розово-идиллическом цвете. Во многом их позиции совпадали, а кое в чем весьма серьезно расходились. Это естественно, так как понимание национальных интересов страны с ведомственных позиций министра обороны и руководителя государства — совпадают не всегда, и не могут всегда совпадать.

Министр обороны в первую очередь озабочен укреплением обороноспособности страны через наращивание боевых возможностей Вооруженных сил. У главы государства может вырисовываться несколько иное понимание безопасности государства, на первый план выходит то дипломатия, то вообще жилье или сельское хозяйство. Все всегда упирается в ресурсы, в их разумное распределение. Если война неминуема, военные расходы обретают безусловный приоритет, а если ее можно избежать, они становятся бременем, тормозящим развитие экономики.

Только один пример. Ознакомившись с делами в военном ведомстве, Жуков пришел в несвойственное ему уныние и на открывшемся 2 июля 1955 года Пленуме ЦК в открытую заявил, что состояние Вооруженных сил катастрофическое, разразись война сейчас, американцы передушат нас, как цыплят. Вывод напрашивался сам собой: чтобы выжить, необходимо немедленно сосредоточить ресурсы на производстве современных вооружения с тем, чтобы поскорее добиться, хоть какого-то паритета с американцами.

Отец рассудил иначе. Он пожурил Жукова: «Не следует пугать участников Пленума», но и отмахнуться от его слов он не имел права, маршал говорил правду. Перед отцом вставала почти неразрешимая задача: и страну противнику не сдать, и людей обуть, одеть, накормить. Капиталовложения в оборону, считал он, увеличивать не следует, ресурсов и так в стране в обрез, надо их перераспределить, сделать целевыми, точечными.

В споре с адмиралом Кузнецовым у отца постепенно выкристаллизовалась концепция безопасности страны: если сбалансировать Вооруженные силы с НАТО нам не по карману, следует сконцентрироваться на главном. Так, на фронте при подготовке наступления, не размазывают войска вдоль линии соприкосновения с противником, а собирают их в кулак и наносят

удар. Наша концепция безопасности должна отказаться от привычной симметричности, от паритета, стать асимметричной, обеспечивающей «необходимую достаточность» и не более того. Ресурсы следовало сконцентрировать на вооружениях, способных разрушить инфраструктуру не только европейских союзников США, но и самих американцев. Мы должны, считал отец, как можно скорее, обрести способность достать их за океаном, в собственной берлоге, показать им: нападете на нас — сами костей не соберете.

Отец предпочитал масло пушкам, но и о пушках не забывал. Однако их теперь предстояло превратить из дальнобойных «Больших Берт» в сверхдальнобойные, межконтинентальные с термоядерными зарядами.

Другими словами, требовалось найти надежные средства доставки разрушительных ядерных зарядов на территорию США. Остальные запросы военных можно и попридержать, исход ядерной войны решится не на полях танковых сражений и не в Мировом океане, а еще до того, как первый танк покинет свое укрытие, до того, как авианосцы успеют выйти в открытое море.

Постепенно, шаг за шагом, отец выстраивал свою концепцию безопасности страны. И далеко не всегда она совпадала с точкой зрения командующих родами войск. Они отвечали за вверенные им корабли, танки и самолеты, стремились заиметь их побольше и получше, чтобы в будущем столкновении с будущим противником одолеть его самолеты, танки, корабли, на суше, на море или в воздухе. Отцу же требовалось увязать противоречивые и часто взаимоисключающие запросы командующих воедино, а затем сбалансировать их аппетиты с возможностями экономики, встроить в государственные приоритеты.

Если в координации родов войск отец полагался на Жукова, то вторая часть задачи, наиболее сложная и ответственная, целиком ложилась на его плечи.

К тому времени в стране накопили двести ядерных зарядов, а вот со средствами доставки на межконтинентальную дальность пока ничего не получалось. Начав вникать в проблему, отец пригласил к себе конструкторов, в первую очередь, естественно, авиационных, «законодателей моды» в средствах доставки ядерного оружия на сверхдальние расстояния.

Туполева отец хорошо знал еще с довоенных времен, я писал об их первой встрече, с Ильюшиным и Артемом Микояном он познакомился недавно, а вот с Александром Сергеевичем Яковлевым и Владимиром Михайловичем Мясищевым ему еще только предстояло установить контакты.

Туполев обескуражил отца: «Америка слишком далеко.

Создавая самолет, способный перелететь через океан, придется экономить на всем, и на бомбовой нагрузке, и на скорости, и на высотности. Такой стратегический, с позволения сказать, бомбардировщик американцы без труда собьют. Если же сделать все как следует, то дальше Лондона или Мадрида на нем не долетишь». Туполев уже обсуждал эту проблему со Сталиным. Он и ему отказал в открытую, не побоялся, хотя и учен был жизнью, отсидел свое перед войной. А вот Владимир Михайлович Мясищев пообещал Сталину разрешить неразрешимую для Туполева проблему.

Теперь, после смерти Сталина, подводили итоги. Туполев сделал свой Ту-16, отличный стратегический бомбардировщик для европейского театра военных действий. Под нажимом сверху он запустил в работу и самолет межконтинентальной дальности. В 1955 году Туполев доложил отцу, что в воздух поднялся турбовинтовой бомбардировщик Ту-95, загляденье, а не машина: дальность — восемнадцать тысяч километров, можно слетать в Америку и обратно и еще горючее останется, и скорость у него фантастическая для такого типа двигателей, более девятисот километров в час. Однако сам Андрей Николаевич и приговорил свой самолет: при таких параметрах, как он и предупреждал ранее, к целям на территории США ему не прорваться.

Мясищев тоже сделал бомбардировщик, реактивный красавец М-4 (3М). До Америки он долетал, но только в одну сторону, на дорогу обратно, Туполев и тут оказался прав, керосина не оставалось. Тогда Мясищев убедил генералов из ВВС: «Отбомбившись на территории США, М-4 должен приземляться в Мексике, интернироваться». Если мексиканцы его, конечно, примут, не собьют. Но ничего другого Мясищеву в голову не приходило.

При встрече с отцом Мясищев заговорил о возможности дозаправки М-4 в воздухе, над океаном, но отцу его слова показались делом весьма отдаленного будущего. Да и говорил конструктор о дозаправке без уверенности, как бы в собственное оправдание. Оправдываться ему было в чем, 3М, столь эффективно глядевшийся на земле, не только не получился межконтинентальным, но и вообще летал кое-как, отказ следовал за отказом. Оно и понятно, Мясищев, по своей природе сверхноватор, перенасытил самолет всяческими, еще не отработанными и не испытанными новинками: двигателями, насосами, бустерами, электромоторами, приборами. Доведение до ума каждого из них в отдельности требовало и труда, и времени. Собранные вместе, они напоминали несыгранный оркестр, то один сфальшивит, то другой, то третий. В такой

какофонии дирижеру — главному конструктору — никак не удавалось овладеть ситуацией: только отыщется виновник сегодняшнего несчастья, как завтра возникает другая проблема в совсем ином месте. И так без конца.

В М-4 Мясищев нарушил золотое правило проектирования: в новой машине, самолете или ракете нельзя допускать избыточно много новинок, по крайней мере, половина компонентов должна быть отработана раньше, на других машинах. Иначе испытания затянутся до «морковкиного заговения». Не зря во время войны, когда время доведения самолета до боевых кондиций определяло все, действовал приказ по авиационной промышленности, запрещавший ставить новые моторы на новые самолеты, а только новый мотор — на уже испытанный самолет, а новый самолет — оснащать уже испытанным мотором. Мясищев же увлекся и вот теперь маялся с отказами, и маяться ему с ними предстояло еще очень долго.

В добавку ко всем прочим неприятностям, чтобы хотя бы долететь до Америки, Мясищев самолет перетяжелил, взлетал М-4 на предельном угле атаки. Это очень опасно, стоило ошибиться летчику на градус-полтора, чуть перетянуть на себя ручку, и самолет валился на крыло, а земля — она тут, под самым крылом. Сколько самолетов побилось! Сколько летчиков потеряли! И каких! В результате М-4 так и не удалось преодолеть все предусмотренные законом испытания. Военные его на вооружение официально не приняли, но на безрыбье и рак рыба, и недоработанный самолет запустили в производство, в порядке исключения допустили до боевой эксплуатации. Летавшие на нем теперь уже строевые летчики продолжали гибнуть.

Отец на деле убедился в правоте Туполева: ни его собственный Ту-95, ни мясищевский М-4 проблемы ответного удара по США не разрешат. Требовалось искать иной выход из положения. Но какой? И где? Министр оборонной промышленности Дмитрий Федорович Устинов и председатель Ракетного спецкомитета Василий Михайлович Рябиков докладывали отцу, что разрешить неразрешимую проблему сможет межконтинентальная баллистическая ракета. Еще в феврале 1953 года они выдали задание на ее разработку и присвоили ей индекс Р-7. Конструктор Сергей Павлович Королев, его КБ расположено в подмосковных Подлипках, уже приступил к проектированию. Ракета должна дострелить трехмегатонный термоядерный заряд в любую точку Америки, и никакая ПВО ей не помешают. Вот только существующие полигоны для испытаний Р-7 не годились. 12 февраля 1955 года отец с Булганиным подписали Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о сооружении

нового полигона в устье реки Сыр-Дарьи, рядом с железнодорожной станцией Тюратам.

Отец решил сам съездить к Королеву, посмотреть на его ракету своими глазами, но пока Р-7 — это журавль в небе. Единственная летающая ракета у Королева — Р-5 с дальностью 1200 километров, и заряд у нее не термоядерный, атомный, мощностью всего в 70 килотонн. Да и его только собирались испытать.

Не хлебом единым и не картошкой…

Международные дела, оборона страны отнимали у отца много времени, но не они, а сельское хозяйство и строительство жилья по-прежнему оставались в центре внимания. Пища и крыша над головой — что может быть важнее этого. Разобравшись с целиной — дела там налаживались, если погода не подведет, будем с хлебом — отец взялся за животноводство.

«Не хлебом единым сыт человек, к столу еще нужно подать и мясо, и масло, и сметана не помешает», — повторял он в своих выступлениях. На сентябрьском Пленуме ЦК в 1953 году отец заговорил о рационе советского человека, очень далеком от рассчитанных у нас же, научно обоснованных норм питания. С осени 1953 года дела сдвинулись, но коренного перелома не произошло. У советских людей царили на столе хлеб и картошка, тогда как на Западе отдавали предпочтение мясной продукции.

Выступая на открывшемся 25 января 1955 года, посвященном животноводству Пленуме ЦК, отец поставил задачу: к 1960 году, за пятилетку, увеличить производство мяса и молока в 2 раза, яиц — в 2,2 раза, шерсти — в 1,8 раза, что позволит нам приблизиться к приемлемым нормам потребления на душу населения.

В докладе отец, как обычно долго и подробно, с множеством цифр, объяснял, как, по его мнению, можно «мясо нарастить».

Тогда же отец обнародовал уточненную цифру потребного стране валового сбора зерна: 160 миллионов тонн — почти в два раза больше, чем собрали в 1954 году и на 32 миллиона тонн больше, чем Маленков назвал в октябре 1952 года в отчетном докладе XIX съезду КПСС, объявив, что зерновая проблема в СССР решена окончательно. Спустя три года после XIX съезда «зерновую проблему» приходилось решать заново.

В чем тут дело? Не только в том, что цифры Маленкова оказались дутыми, и изрядно. За прошедшие годы произошли немалые изменения в стране. Отец привел шесть объективных причин в обосновании 160-миллионнотонного урожая, среди них

— ежегодный прирост населения на три миллиона человек, и, главное, теперь мы начали учитывать потребление зерна не только людьми, но и на корм скоту. Раньше об этом не думали. Недостающее зерно отец предлагал получить за счет посевов кукурузы. В ее початках зерна несравненно больше, чем в пшеничном колосе, а питательность такая же. Конечно, кукурузный хлеб большинство населения есть не станет, россияне, в отличие от румын и португальцев, к нему непривычны, но кормовая добавка получится отменная. Правда, придется потрудиться, приучить земледельцев к новой культуре. Здесь, задолго до поездки в Америку, отец ссылался на опыт США: «Кукуруза не нами выдумана, в Америке кукурузное зерно составляет 55 процентов от урожая и почти все идет на корм скоту. У нас зерно в большинстве районов не дозревает, придется косить кукурузу на силос, косить ее столько, чтобы до весны буренкам хватило».

Он внимательно изучил опыт американцев, переговорил с большинством наших сельскохозяйственных академиков и не сомневался: основной упор надо сделать на силос из стеблей недозревшей кукурузы. Смешав их с зерном, гороховым и соевым сеном, мы получим столько кормов, что хватит и для колхозов с совхозами, и для всех иных владельцев сельскохозяйственной живности. Пока же кормов недоставало катастрофически и в колхозах с совхозами, но особенно у частников.

В прошлом году отец радовался: количество коров в индивидуальном подворье резко возросло. Но коровы хотят есть, а кормить их нечем. Колхозных сенокосов не хватало и для общественного скота, о силосе из кукурузы пока больше говорили. В магазинах ни силоса, ни сена не продавали, да и не существовало таких специальных магазинов. Если живущие в пригородах владельцы скота «решали» проблему кормов в булочных, то крестьяне обкашивали обочины дорог, прогалины и опушки лесов. То и дело возникали скандалы с дорожными мастерами и лесничими. Они тоже держали коров и считали эти укосы своими.

Всеобщим бедствием стали потравы полей, особенно ранней весной, в самую бескормицу. Коровы как бы случайно, без участия хозяев, забредали на поля и не столько съедали, сколько вытаптывали озимые посевы. А с вытоптанного поля какой урожай? Сторожа не могли за всем уследить, поля обширные, а коров стало куда больше, чем в еще недавнем прошлом. При Сталине за выпас скота на колхозных озимых давали срок. Теперь, когда государство дозволило своим гражданам иметь живность, оно же, если следовать логике, должно озаботиться о

кормах. Иначе откуда им взяться? В централизованной экономике все централизовано. Возникшее противоречие разрешалось извечным российским манером: чего нельзя купить, но можно утащить, надо тащить. И никакие меры, кроме драконовско-сталинских тут не помогут. Отец ограничился полумерами.

18 января 1955 года газеты опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за потраву посевов в колхозах и совхозах, выпас скота на озимых, вырубку лесонасаждений». Новое постановление устанавливало штрафы: за выпас на озимом поле коровы или верблюда брали по 50 рублей с головы, с овцы или козы — 25, за курицу — пятерку. Установили штраф и за проезд по посевам тракторов и грузовиков. Меры принимались как временные, как только кукурузе разрешится проблема кормов, их собирались отменить. Надеялись, что скоро. Отец понимал, что все его призывы к наращиванию сельскохозяйственного производства, так же, как и запреты, не сработают, если не нащупать схему, при которой крестьянский труд перестанет быть принудительным, из-под палки, за палочки трудодней. Отец об этом говорил уже второй год, но выстроить взаимоотношения, при которых и государство бы не пострадало, и крестьяне-колхозники ощутили бы заинтересованность в собственном труде, никак не получалось. Казалось бы, все яснее ясного: дать крестьянам свободу производить, что им выгодно. Выгода образуется от продажи плодов своего труда государству, ведь оно у них единственный покупатель.

Какие-то шаги в этом направлении отец уже сделал, вернее продекларировал, но реализация их наталкивалась, с одной стороны, на страх — вдруг крестьянин посеет не то и не так и оставит и так не очень сытые, города на бобах, а с другой, установленные государством сверхнизкие, разорительные для производителя закупочные цены делали смешными любые разговоры о доходности крестьянского труда. Цены подняли осенью 1953 года, но недостаточно. Крестьяне по-прежнему платили государству за технику, горючее, удобрения много больше, чем государство платило им за зерно, картошку с капустой и другие продукты. Против дальнейшего увеличения закупочных цен восставало Министерство финансов: свободных денег в стране нет. Здесь мы снова возвращаемся на круги своя. Чтобы заинтересовать крестьян, платить им за их труд столько, сколько он стоит, следовало поднять розничные цены на хлеб, мясо, молоко, масло, сбалансировать их с закупочными. На такую идеологически недопустимую меру отец не решался, искал дополнительные средства в бюджете, то за счет сокращения

военных расходов, то за счет удешевления строительства, за счет всего, чего только можно. Какие-то ресурсы находились, закупочные цены немного повышались, но недостаточно, все упиралось в неразрешимую несогласованность цен на противоположных концах цепочки производитель — потребитель.

В дополнение ко всему, новации вязли в трясине проволочек, чинимых боявшимися потерять власть мелких и не очень мелких начальников. Они постоянно пугали отца, что стоит дать чуть больше свободы колхознику, и все пойдет прахом. Игнорировать их слова отец не мог, действительно все могло так сложиться. Получался замкнутый круг: преобразования невозможно провести, минуя местное начальство, обкомы, райкомы и иже с ними. Им же главное — отчитаться. А отчитываться они умели. На Пленуме отец призвал оценивать стадо не по количеству голов, не по рогам, «не рога нам нужны, а мясо и молоко», но во главу угла поставить продуктивность. Местные начальники отчитываются по спущенным сверху показателям, к запланированной кем-то наверху дате: прикажут считать по рогам, будут считать по рогам, теперь предложили отчитываться живым весом скота и надоенным молоком — тоже не проблема. К новым требованиям приспособились быстро.

Итоги подводили к 15 октября, ни днем позже, ни днем раньше. К отчетной дате начали «придерживать» скот, подкармливать его, а после 15 октября — хоть трава не расти, хоть корова не доись. Отчитавшись по всей форме, через месяц на мясокомбинаты пригоняли дистрофиков.

8 который раз отец попытался отыскать магическую палочку-выручалочку, и все без толку. Сколько он их еще переберет… Слова сотрясали воздух, энтропия сопротивлялась изо всех сил, порядок не желал наводиться, чуть отпустишь вожжи, и все вновь затягивается трясиной. Отец не терял ни оптимизма, ни энергии, не получалось так, тут же начинал действовать иначе, ведь под лежачий камень вода не течет.

9 марта 1955 года газеты опубликовали Постановление ЦК КПСС и Правительства, устанавливающее новые правила планирования на селе. Отменялась ненужная детализация спускаемых из Министерства сельского хозяйства, планов, во главу угла ставился объем товарной продукции хозяйства. Совету Министров, министерствам предписывалось ограничить свою активность установлением заранее объемов государственных закупок, а колхозы и совхозы пусть по-своему решают, что и на каких площадях сеять, сколько и какого скота содержать. В конце года рассчитываются с государством, и все оставшееся — твое.

Тем же постановлением машинно-тракторные станции

(МТС) — государственные предприятия, пашущие землю колхозам и совхозам, убирающие им урожай (за его изрядную долю), переводились с бюджета на хозрасчет. Им предписывалось самим зарабатывать себе на жизнь, научиться считать не только расходы, но и доходы, сводить баланс. Иначе, считал отец, толку не добьешься. Каждый обязан жить по средствам, одни — лучше, другие — хуже, как поработают, так и заживут.

Хозрасчет — слово не новое, его употребляли со времен нэпа, и тогда употребляли со смыслом. Оно обесценилось в период сталинской абсолютной централизации экономики. Какой тут хозрасчет, если чуть отступишь от спущенных сверху инструкций, сделаешь шаг влево или шаг вправо, и ты уже «враг народа», даешь показания о своей «вредительской деятельности», а дальше… Что дальше — испытали на своей шкуре миллионы.

Теперь отец пытался вернуть хозрасчету реальное содержание. Разуверившись в сельских партийных районных секретарях, особенно в председателях колхозов, отец решил: новые идеи должны воплощать в жизнь новые люди. 25 марта 1955 года газеты опубликовали решение об отправке в колхозы «на укрепление» 35 тысяч «добровольцев» из горожан. Инженеры, учителя, просто люди с головой вольют, по мысли отца, свежую кровь в оскудевшие колхозные артерии. Люди образованные, фантазировал отец, наведут в колхозах порядок, поставят производство на современные рельсы. Слушая его рассуждения, я верил и не верил, точнее, хотел верить, но в глубине души сомневался. Отец же ссылался на опыт своей молодости. Тогда, в тридцатые годы, тоже отправили на село 30 тысяч горожан и, по мнению отца, не без пользы.

Сейчас тоже оказалось «не без пользы», но и не с особой пользой. Кое-кто из откомандированных пришелся ко двору и даже добился заметных успехов, прославился, о таких писали в газетах. Большинство же «покрутилось» в деревне, пока не спал запал, и вернулись по домам. Оно и естественно, крестьянская жизнь не всякому горожанину по нутру. Коренного переворота на селе новые 35-тысяч-ники не совершили.

Почти сразу после Пленума ЦК отец, по примеру прошлого года, отправился колесить по стране. Он призывает, накачивает, проверяет, возмущается, кое-где восхищается, другими словами, как может, борется с энтропией.

15 — 18 февраля 1955 года отец на Украине объезжает прилегающие к Киеву колхозы, а затем выступает на Пленуме Украинского ЦК. 17–18 марта он — в Саратове, выступает на совещании работников сельского хозяйства юго-восточных областей. 28 марта в Воронеже встречается с учеными местных

сельхозинститутов, 30 марта выступает на совещании аграриев Центрально-Черноземных областей, а на следующий день беседует с секретарями райкомов. 7 апреля отец проводит в Кремле совещание работников Центрального Нечерноземья, а 12 апреля в Ленинграде — аналогичное мероприятие с представителями Северо-Западного региона. 16 июля он уже в Риге, на совещании работников сельского хозяйства Прибалтики.

Отец увидел своими глазами, что сев прошел нормально, хозяйства готовятся к уборке. Оставалось дожидаться результатов. Называя в своем выступлении на Пленуме цифры пока только запланированного на 1955 года урожая, отец не зря оговорился: «Если погода не подведет…» В 1954 году она еще как подвела, засуха выжгла урожай на полях южной Украины и Поволжья. Тогда спасла целина, я уже писал об этом.

Погода снова подвела, на сей раз ударила по целине. Дождей там не выпадало все лето, хлеба горели не только в переносном, но и в прямом смысле, на полях бушевали пожары. В такую сушь их мог вызвать любой окурок. Задождило только к осени, в уборку, когда дождь не во благо. Гидрометеослужба прислала отцу справку за 65 лет наблюдений: с 1890 года, в тех районах засуха случалась десять раз, в среднем — каждые шесть-семь лет: в 1890, 1900, 1911, 1913, 1921, 1929, 1936, 1948, 1951, 1952 годах. Одиннадцатая выпала, как нарочно, на 1955 год. С засеянных 16 миллионов гектаров едва удалось собрать столько, сколько бросили в землю.

Настроение у отца упало, дома о целине он почти не упоминал, обычное осеннее уборочное турне отменил, не хотелось в тот год ехать на целину, смотреть на мертвые выжженные поля. А посетить благополучные регионы и не заехать на целину — еще хуже, это прямое признание поражения. Вот он и никуда не поехал. Только в самом конце года, в двадцатых числах декабря «заскочил» в Ташкент, послушал хлопкоробов и сам, непривычно коротко, выступил у них на совещании. Недоброжелатели воспрянули духом: «Мы же говорили, мы же предупреждали», — шептали по углам. Самый заметный из целинных оппонентов отца Молотов злорадно заявлял, что целина провалилась. Отец оборонялся, доказывал, что год на год не приходится, а годом раньше засуха ударила по районам традиционного земледелия, тогда целина всех выручила.

В 1955 году страну выручили Украина, Северный Кавказ и Поволжье. В результате зерна собрали даже больше, чем в 1954 году, 103,7 миллиона тонн (85,6 миллиона тонн в 1954-м). Из общего урожая закупили 36,9 миллиона тонн (в 1954 году 34,6 миллиона тонн). Средняя по стране урожайность тоже возросла:

8,4 центнера с гектара по сравнению с 7,7 центнерами в прошлом году.

Однако потребляла страна по-прежнему больше, чем производила: в 1955 году — 40,3 миллиона тонн зерна (в 1954 году — 42,5 миллиона тонн). В результате государственные резервы еще более сократились, с 6,3 миллионов тонн до 3,8 миллиона тонн. Сократились до чрезвычайно опасной отметки, составив менее десяти процентов от потребностей страны. Случись что, и голода не избежать.

Отец все это понимал, с горечью отметил на заседании Президиума ЦК, что «из ямы мы так и не вылезли», но и поделать он ничего не мог. Не карточки же вводить через десять лет после окончания войны. Снова заговорили о скармливаемом скоту хлебе. Хлебе, который приходится брать из скудного резерва. И снова никакого решения не приняли.

14 ноября 1955 года отец выступил на коллегии Министерства сельского хозяйства, куда пригласили и всех республиканских министров. Говорил об уроках уходящего года, но больше о годе наступающем. Упомянул он и о целине, в 1956 году там собирались засеять более тридцати миллионов гектаров и собрать, если погода не подведет, миллиард пудов зерна. Целинный миллиард!

«За спичками» (Отступление четвертое)

16 апреля 1955 года в Ленинграде вышел первый номер литературного журнала «Нева», что стало заметным событием культурной жизни. После знаменитого «ждановского постановления» 1946 года «ленинградцев» сторонились. С появлением нового журнала они восстанавливали статус. Правда, «главных героев» постановления 1946 года Анну Андреевну Ахматову и Михаила Михайловича Зощенко пока формально не реабилитировали, но поползли слухи, что скоро с них снимут запрет. Об Ахматовой и Зощенко заговорили даже те, кто не слышал о них раньше, не читал их произведений. Да и негде их было прочитать. Ахматову с Зощенко Сталин не расстрелял и не сослал, но лишил их права на творчество. Их не печатали, а значит, и гонораров не платили, лишь изредка добрые люди «подкармливали» переводами.

Так, Зощенко подрядили перевести серенький роман финского писателя Майю Ласилла «За спичками». После войны мы начали дружить с Финляндией, а дружба требовала публикаций произведений «братских писателей». В переводе

Ласилла стал намного лучше оригинала, обрел все оттенки зощенковского юмора. Отец прочитал роман с удовольствием, настойчиво рекомендовал его всем и не поставил книгу на полку, а оставил ее у себя в спальне, на прикроватной тумбочке, рядом с любимыми рассказами Лескова и «Войной и миром» Льва Толстого.

О том, что это перевод Зощенко, отец, видимо, не подозревал, читатель редко интересуется фамилией переводчика.

В 2000 году я побывал в Финляндии на открытии выставки «Кекконен — Хрущев», походя упомянул о книге Ласилла, никто из моих собеседников ее не только не читал, но даже о ней и не слыхивал.

Министр культуры Н. А. михайлов

22 марта 1955 года газеты опубликовали Указ о назначении новым министром культуры СССР вчерашнего посла в Польше, недавнего секретаря Московского комитета партии (МК), в прошлом секретаря ЦК ВЛКСМ Николая Александровича Михайлова. Михайлов руководил комсомолом с 1938 года, при нем комсомольских активистов уже не арестовывали, правда, активистов почти не осталось. Николай Александрович хорошо усвоил уроки, преподанные ему исчезнувшими в никуда предшественниками, и не высовывался. Шло время, родившийся еще в 1906 году, он давно перерос комсомольский возраст, уже его дети, Женя и Света, догуливали последние комсомольские деньки. После XIX съезда партии, в конце 1952 года, Сталин пересадил Михайлова в кресло секретаря ЦК КПСС и одновременно сделал заведующим Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС. Надвигалась новая «чистка» высшего руководства, после чего Михайлов мог вообще вознестись под самые небеса. Но Сталин умер, в новом раскладе Михайлову в ЦК места не нашлось, там срочно восстанавливали статус-кво. Зато образовалась вакансия в Московском комитете, требовалась замена переместившемуся в ЦК Хрущеву. Маленков предложил Михайлова: относительно молодой, проверенный, неамбициозный, и вообще его надо куда-то пристроить.

Михайловы поселились на даче в Огарево рядом с нами. В бывшем дворце бывшего московского генерал-губернатора традиционно жили первые московские партийные секретари. Но теперь, по праву старшинства, отец сохранил главный дом за собой, Михайловы довольствовались бывшим свитским корпусом, двухэтажным каменным строением, с огромным стеклянным «фонарем» в торце, с пригорка глядевшем на склон Москвы-реки.

До Михайловых там жила семья Александра Александровича Щербакова, сталинского любимца, в годы войны первого секретаря МК и одновременно главного пропагандиста страны. Он скоропостижно скончался в 1945 году, но дача за семьей сохранилась. Щербаковых только потеснили из главного дома, куда въехал возглавивший Московский комитет Георгий Михайлович Попов.

Я дружил с рассудительным не по годам сыном Щербакова Костей, с восхищением взирал на его старшего брата Сашу, военного летчика-испытателя. Был еще младший брат Ваня, но мы его особым вниманием не удостаивали. Теперь им предложили с дачи съехать. А каковы будут наши новые соседи?

Соседи оказались веселыми, компанейскими. С Женей и Светой я быстро сдружился. А вот наши родители скорее общались, чем дружили. Сказалась разница в возрасте. Николай Александрович, и особенно его жена Раиса Тимофеевна, принадлежали к постреволюционному светскому обществу, с его безобидной болтовней, сплетнями, легким флиртом. Отец же, а уж тем более мама, оставались до конца своих дней убежденными «строителями новой жизни», и вся эта светская шелуха их абсолютно не занимала.

Во время совместных прогулок сосед, в основном, «решал вопросы», отец же решать их в дачной обстановке не хотел, на то есть рабочие кабинеты в ЦК. Он, в свою очередь, начинал обсуждать с Михайловым севообороты, кукурузный силос, стеновые панели, гипсовые перегородки — все то, что занимало его в те годы. Николай Александрович, весь напрягшись, внимательно слушал, но постепенно его глаза стекленели, встряхнувшись, он, как мог, демонстрировал заинтересованность, и снова его одолевала дремота. Не встречая отклика, отец все больше терял интерес к собеседнику. Николай Александрович очень старался удержать внимание отца, но у него это получалось плохо. Они говорили на разных языках.

Мама с Раисой Тимофеевной на прогулках следовали за мужьями. Раиса Тимофеевна щебетала о подругах, о нарядах, о детях, обо всем на свете. Мама вымученно поддерживала разговор. В нарядах она не разбиралась и считала интерес к ним ниже своего достоинства, светскую жизнь она тоже не жаловала. После прогулки вместе обедали и с облегчением расходились. Проводив гостей гостеприимной улыбкой, мама ворчала, ее раздражало мещанство нынешних партийных руководителей.

Дела в МК у Михайлова не складывались. Он привык руководить комсомольским движением, а тут с утра до поздней ночи приходилось решать, что где строить, что где сеять,

«выбивать» план, «затыкать дыры».

Менеджером, хозяйственным руководителем надо родиться, тут необходим талант, у Николая Александровича его не оказалось. Страдал он, страдали окружающие, наконец отец не выдержал, в 1954 году «сосватал» своего соседа послом в Польшу, а «на Москву (в МК. — *С. Х.*) посадил» Ивана Васильевича Капитонова, человека, как ему казалось, скроенного по тем же меркам, что и он сам.

Секретарем Московского городского комитета (МГК), избрали Екатерину Алексеевну Фурцеву.[21] Отцу нравились ее хватка, напористость, а когда требовалось, она становилась сдержанной, порой даже ласковой. Правда, органы докладывали, что она не по-женски злоупотребляет шампанским, и не только им. И тем не менее, отец не ошибся в выборе, Фурцева оставила по себе добрую память.

В Польше у Николая Александровича тоже не заладилось, посол в соцстране, особенно такой непростой, как Польша, не столько дипломат, сколько хозяйственник. Он должен разбираться не только в протоколе, но и в межотраслевой кооперации социалистических стран. В Польшу назначили Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, бывшего секретаря ЦК Белоруссии, а Михайлову снова пришлось подыскивать подходящее его рангу место.

Тут и повод подвернулся. Сталинский философ, министр культуры Георгий Федорович Александров скомпрометировал себя. В Москве вовсю судачили о его «приключениях» с молодыми актрисами, в том числе с Аллой Ларионовой. В фильме «Анна на шее» она очаровала всех. А теперь она «на шее», но уже не в кино, у царского, а в жизни, у нашего, советского, министра. Срочно приняли меры. Александрова, как не справившегося с работой, освободили, отправили научным сотрудником в Институт философии, но не в московский, а минский. На его место и назначили Николая Александровича. Сочли, что культура, конкретных знаний не требует, он тут не оплошает.

На новом месте Михайлов быстро освоился. Ему очень нравилось общаться с писателями, художниками, режиссерами, по-отечески их поучать, а порой и одергивать. Раиса Тимофеевна просто блаженствовала: премьеры спектаклей, просмотры новых фильмов, вернисажи, знаменитости на каждом шагу.

Должность эта в правительстве самая неблагодарная. Занявший ее никогда и никому не угодит. Любой самый захудалый писатель, режиссер, актер считает себя, если не гением, то уж несомненно, на две головы выше своих коллег, а интеллект начальства отмеряет в зависимости от его согласия со

своим, «единственно правильным», мнением. А уж признанные таланты вообще не считаются ни с кем, кроме себя. Талант так устроен. А тут какой-то Михайлов, министр?!

Если же проявить объективность, вспомнить, что произошло за министерский период Михайлова, то картина получится иной. 3 марта 1955 года, вскоре после назначения Михайлова министром культуры, газеты опубликовали сообщение о возвращении в ГДР картин Дрезденской галереи. Инициатива, естественно, исходила от политического руководства. Тут Михайлову отводилась роль исполнителя. 2 мая картины выставили в Пушкинском музее. С первого до последнего дня очередь жаждавших взглянуть на них вытянулась во всю прилегающую к нему улицу.

Мне казалось неправильным отдавать картины немцам. Сколько они пожгли, пограбили у нас и ничего не вернули. Пошел со своими сомнениями к отцу. Он со мной согласился, но пояснил, что дружба с немцами ценнее любых картин. Это их, а не наши ценности. Воевал с нами Гитлер, а не Ульбрихт, он тогда у нас на фронте агитировал фашистов сдаваться в плен, правда, без особого успеха.

Картины вскоре уехали в Дрезден. Жалко, конечно, но, наверное, это правильно: все-таки собраны они руками и на деньги саксонцев.

В июне 1955 года родилась «Юность», журнал для молодежи, журнал, где могли печататься новые, никому еще не известные авторы. Валентин Петрович Катаев стал его главным редактором. Журнал «пробивали и пробили» через Михайлова. Казалось бы, невелика заслуга. Но состоялась бы «Юность», сиди в кресле министра другой человек?

13 июля 1955 года вышел в свет первый номер «Иностранной литературы». За последние сталинские десятилетия люди забыли, что когда-то, в 1930-е годы, такой журнал уже существовал. Потом его закрыли, печатать западных авторов, вообще говорить о Западе стало не модно и, даже опасно. Теперь советские люди, особенно молодежь, заново открывали для себя «потусторонний» мир.

Самые обыденные вещи приковывали всеобщее внимание, приводили нас в восторг. Мне особо запомнилась «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова — репортаж о поездке в конце 1920-х годов по Соединенным Штатам, о мотелях, закусочных, о жизни простых людей в далекой заокеанской стране. А какой восторг вызвали у меня размытые фотографии, сделанные Серго Микояном на Цейлоне! Уже после смерти Сталина он попал туда в составе какой-то делегации. Пальмы,

слоны — и все это он увидел живьем, а не в зоопарке или в пыльном томе «Жизни животных» Брема.

Конечно, открывал окно в мир не Михайлов, и не он решал судьбу «Иностранки», новые журналы начали появляться до него, но кто-то должен был внести конкретное предложение в верха. Или не внести. Или вообще написать отрицательное заключение на чужое предложение. Или положительное, а может, и восторженное. Все это зависело от министра культуры, и ох как зависело.

День за днем

7 марта 1955 года Советский Союз присоединился к Гаагским конвенциям 1899 и 1907 годов о статусе военнопленных, к конвенциям, которые Сталин не просто игнорировал, но, я бы сказал, ненавидел, что во время войны стоило неимоверных страданий миллионам наших солдат, попавшим в немецкий плен.

1 апреля читатели не обнаружили на первых страницах газет ожидаемого сообщения о снижении цен, которое практиковали с 1948 года. В конце 1947 года старые рубли, в соотношении десять к одному, обменяли на новые, отменили продуктовые и промтоварные карточки на товары, установили новые, запредельно высокие, цены. Со следующего года их начали понемногу снижать, выборочно, но регулярно, год за годом. Мероприятие пропагандистское, но эффектное. Помню, как все ждали очередного снижения, потом бежали в магазин, а там на ценниках перечеркнуты старые цены, а рядом, чуть пониже, красным поставлены новые. Через месяц появлялись новые-старые продукты, но с новыми названиями и новыми ценами. Они вытесняли прежний ассортимент, но и старые, дешевые продукты совсем не исчезали, просто переходили в разряд дефицита. Отец предложил людей больше не обманывать, у нас и по старым, не сниженным ценам, продуктов в обрез. Это была его, может быть, самая серьезная ошибка. Продуктов становилось больше, люди жили лучше, но в народной памяти осталось: «При Сталине цены снижали регулярно, а после…»

20 апреля 1955 года отец отправляется в Варшаву на празднование 10-летия подписания советско-польского договора о дружбе. В Польшу он едет без Булганина, там,

в отличие от капиталистических стран, отец не нуждается в «государственном прикрытии».

15 мая 1955 года традиционно объявили о подписке на очередной Государственный заем в 32 миллиарда рублей. К займам так же привыкли, как и к снижению цен, без радости, но покорно подписывались все. Заем превратился в некий дополнительный налог. Отец опять заговорил, что от этой практики пора отказываться, эти дополнительные, заемные деньги давно уже почти ничего не приносят в бюджет, все уходит на выплаты по предыдущим займам. Минфин возражал, если деньги не занимать, то нечем будет платить по выигрышам, гасить выходящие в тираж облигации. Получался замкнутый круг. Решили в 1955 году заем оставить, а как поступить в 1956 году — подумать.

12 июня 1955 года в Якутии открыли месторождения алмазов, знаменитую кимберлитовую трубку «Мир». До того алмазные россыпи считались только африканской принадлежностью, как, например, львы или носороги. Якутские алмазы стали настоящей сенсацией, но газеты об этом событии не сообщили, алмазы продукт стратегический, месторождение засекретили.

4 июля отец, а вместе с ним и все сколько-нибудь значительные члены Президиума ЦК впервые со времен войны пришли в Спасо-хауз на прием к американскому послу по случаю Дня независимости США, да и во время войны, приемы в посольствах посещал только Молотов, министр иностранных дел.

14 июля 1955 года, в День падения Бастилии члены Президиума ЦК побывали на приеме в посольстве Франции.

16 июля отец с Булганиным, Молотовым и Жуковым отправились в Женеву на совещание глав четырех держав-победительниц во Второй мировой войне. Они вместе не собирались с июля 1945 года.

20 июля 1955 года наконец-то открыли свободный доступ в Кремль, без пропусков или приглашений на Новогодний бал, иди кто хочет и когда хочет, как в любой другой музей. Решение об этом, по предложению отца, первый раз попытались принять еще в декабре 1953 года, но все никак не получалось. Сопротивлялось Управление охраны, «девятка». Возражал Ворошилов, с 1918 года он жил в Кремле, привык к утреннему и вечернему моциону по безлюдным дорожкам, а тут

посетители, экскурсанты, просто прохожие. Отец отшучивался: «Клим, не съедят они тебя, гуляй на здоровье». Климент Ефремович на шутки не реагировал, мрачнел, дулся. Отец поначалу его не торопил, открытие Кремля для публики не относилось к делам первостепенной важности. Так продолжалось почти полтора года. Наконец отцу препирательства надоели, комендатура Кремля получила указание открыть все входы и выходы. После этого Ворошилов с кремлевской квартиры съехал, гулял теперь на даче за надежным зеленым забором. Отцу же, напротив, полюбились прогулки в Кремле, хотя он там никогда не жил. Ему нравилось многолюдье, толпы он не боялся, окунался в нее, как в морскую волну, заговаривал со встречными, шутил.

В сентябре первая советская экспедиция на дизель-электроходе «Обь» отправилась в Антарктиду. Мы тогда слабо представляли, что за континент находится на Южном полюсе. И хотя бюджетных ресурсов в стране, как всегда, не хватало, но Советский Союз не пожелал оставаться в стороне, ведь тогда в Антарктиду как раз наладились американцы.

17 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР объявил об «амнистии граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

8 октября 1955 года новейшие советские крейсера «Свердлов» и «Александр Суворов» прибыл в Портсмут с визитом дружбы.

12 октября в Ленинграде бросил якорь британский авианосец «Триумф».

В 1955 году был основан Челябинск-70, ныне Снежинск, закрытый городок, где разрабатывали ядерное оружие, дублер и конкурент Арзамаса-16 (ныне Саров). Держать все «яйца» в одной корзине отец считал слишком опасным, американцы одним ударом могут лишить страну ядерного потенциала. И подставить Юлию Борисовичу Харитону конкурента он тоже считал не лишним, один ум хорошо, а два — лучше. Научным руководителем Челябинска-70 назначили будущего академика Кирилла Ивановича Щелкина.

Осенью 1955 года провел первую плавку Череповецкий металлургический комбинат.

Заем, снижение цен, новые журналы, полярная

станция в Антарктиде и даже коронация английской королевы не шли ни в какое сравнение с отменой запрета абортов, введенного Сталиным 27 июня 1936 года. Тогда, накануне репрессий, он предполагал таким образом восполнять запланированную им «убыль» населения, да и вообще пусть не ленятся, рожают побольше, стране нужны и солдаты, и рабочие. За аборт назначили суровое уголовное наказание, но аборты не искоренили. Аборты делали подпольно, с риском не просто для здоровья, но и самой жизни женщин. Мария Дмитриевна Ковригина, министр здравоохранения, и Нина Васильевна Попова, секретарь Объединения профсоюзов, две входившие во власть женщины в середине 1955 года подали в Президиум ЦК записку с просьбой разрешить аборты.

На Президиуме мнения разделились, Каганович, он в отсутствие отца, председательствовал в тот день, не просто высказывался против, а грубо обрушился на докладывавшую вопрос Ковригину, обвинил ее в искажении линии партии, направленной на ускорение прироста населения в стране. Ковригина стояла ни жива ни мертва. Она знала, что ждет «исказителей» партийной линии. За нее вступился Микоян, начал увещевать Лазаря Моисеевича, уговаривать сбавить тон, а то «люди перестанут выходить со своими предложениями». Каганович утихомирился, но, пользуясь правом председательствующего, отложил решение вопроса на неделю. Микоян пожаловался на Кагановича Хрущеву.

На следующем заседании Президиума председательствовал отец. Предложение Ковригиной — Поповой прошло практически без обсуждения. Даже Каганович промолчал. И вот теперь, 1 ноября 1955 года, аборты стали легальными.

1 декабря 1955 года Президиум ЦК рассмотрел вопрос «Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года “О направлении особо опасных государственных преступников, по отбытии наказания, в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР”». Сталин считал, что даже отсидевших свой срок политических не следует возвращать «на большую землю». Их, нежелательных свидетелей, лучше пожизненно изолировать ото всех и вся.

Сразу по подписанию в 1948 году сталинского указа, вновь арестовали и отправили на Север на поселение 25

тысяч человек, выпущенных из лагерей после войны. После 21 февраля 1948 года, освобождавшиеся из заключения автоматически препровождались в места, указанные Министерством внутренних дел. На 1 января 1955 года таких «поселенцев» насчитывалось 54 309 человек, в том числе: «украинских, белорусских, литовских, латышских, эстонских и других националистов — 23 160 человек». Они рвались домой, удерживать их в поселенческих поселках становилось все труднее, а главное — бессмысленно.

Генеральный прокурор СССР Руденко, вместе с другими, причастными к этому делу чиновниками, 22 января 1955 года запросил Президиум ЦК — как быть? Дело тянулось целый год, обрастало справками и заключениями, и наконец его рассмотрел Президиум ЦК. Указ Президиума Верховного Совета СССР, предоставлявший свободу ссыльнопоселенцам, подписали 13 февраля 1956 года, в канун открытия XX съезда КПСС.

Последняя «Сталинская» пятилетка

В промышленности, по сравнению с сельским хозяйством, дела обстояли получше, но и там дыры зияли повсюду. Последняя «сталинская» пятилетка 1951–1956 годов, не желала выполняться, хоть плачь. Собственно, она и не могла выполниться. Планируя ее, Сталин не рассчитывал на исполнение. Как рассказывал отец, он сознательно задавал завышенные рубежи, считал, что какую цифру не назови, реальную или нет, на деле запланированных объемов производства, все равно не достигнут. Исходя из своей логики, Сталин выдавал так называемые мобилизующие планы. «Подстегиваемые» нереализуемыми заданиями предприятия, по мысли Сталина, добьются большего, чем в случае нормально просчитанного плана. Такая вот философия.

Пагубность «сталинского» планирования не требует особых комментариев. Один сделает больше, другой — меньше, не поставит вовремя необходимые кому-то моторы или цемент. В результате какая-то произведенная сверх плана продукция окажется никому не нужной, отправится в утиль, а в другом месте «готовые», но безмоторные машины или самолеты застынут в цехах мертвым грузом, котлованы, вырытые под фундаменты домов и заводов, из-за недовыпуска бетона и арматуры так и останутся котлованами. Кто-то доложит о перевыполнении плана, кого-то накажут за недовыполнение, а в целом неизвестно, с кого

и что спрашивать. Все кивают друг на друга: все виноваты и никто не виноват. Согласно все той же «сталинской» методе, под занавес пятилетку «корректировали» по достигнутому. В результате скорректированный «план» перевыполнялся. О чем громогласно рапортовали в печати.

Отец предложил коллегам по Президиуму ЦК перестать врать самим себе, навести элементарный порядок. Он предупредил министров, чтобы на корректировки они более не рассчитывали. Теперь, по мере приближения к завершению, пятая пятилетка расползалась по швам. Проваливать первую послесталинскую пятилетку отец позволить себе не мог. Никому не интересно, как она изначально планировалась, а вот то, что при Сталине пятилетки перевыполнялись, а как его не стало, все пошло наперекос, начнут судачить на всех углах. Пятилетку скорректировали, и ее «выполнению» больше ничто не угрожало. Однако следующую, шестую пятилетку 1956–1960 годов, решили верстать по-честному, а по-честному у Госплана пока никак не сводились концы с концами.

Отца настораживали не столько количественные показатели, сколько то, что мы по-прежнему тащимся в хвосте мирового технического прогресса. Казалось бы, в тридцатые годы страна, закупив американские и немецкие лицензии, оборудование, построив с помощью иностранных инженеров заводы, производившие современные на те годы тракторы, автомобили, самолеты и многое другое, совершила рывок, вышла на современный уровень и семимильными шагами устремится вперед, обгонит своих учителей из Европы и Америки. На деле же мы через два десятилетия продолжали копировать западные изобретения, повторяли зады, уже давно пройденные капиталистами. Одной из причин топтания на месте отец считал сверхцентрализацию, забюрократизированность советской экономики. За каждой ерундой приходится обращаться в Москву, к тому же министерства отгораживаются друг от друга непреодолимыми барьерами. Он с возмущением рассказывал, как к угольным транспортерам, изготовляемым в Донбассе, резиновую ленту везли через всю страну из Владивостока. Там располагался соответствующий завод «своего» министерства, тогда как другое министерство делало точно такую же ленту за забором, в том же Донбассе. Но это другое министерство! За свою бытность на Украине он вдоволь насмотрелся подобных неурядиц. Он, тогда член Политбюро и глава республиканского правительства, не мог ничего поделать.

Теперь, став главой, отец задумался над путем одоления этих бюрократических несуразиц. Опыт регионального руководителя

подсказывал ему: предприятия следует переподчинить местной власти, тогда они быстрее поладят между собой. Он посоветовался с секретарями обкомов, те горячо поддержали идею регионализации управления народным хозяйством. Министры и госплановцы, напротив, резко и весьма аргументированно возразили: они считали, что перетекание экономической власти в регионы подорвет ее плановые начала. Им вторили нынешние члены Президиума ЦК, бывшие министры: Молотов, Каганович, Сабуров, Первухин, Микоян и другие. Отец колебался, он еще не созрел и решил обсудить эти проблемы с учеными и практиками. Чтобы разобраться, что же происходит у нас с «научно-техническим прогрессом» и с «внедрением новой техники в производство», почему страна плетется в хвосте у капиталистов, 15–16 апреля 1955 года в Кремль созвали конструкторов, технологов, главных инженеров и директоров заводов, руководителей научно-исследовательских институтов, пригласили заинтересованных академиков. В совещании приняли участие все члены Президиума ЦК, но сами они не выступали, слушали других. Предложений высказали множество, но к единому мнению прийти не удалось. Решили продолжить обсуждение, через месяц, 16–18 мая, провести в Кремле всесоюзное совещание работников промышленности.

Доклад готовил Булганин. Отец предложил Булганину своеобразное «разделение труда»: он сам сосредотачивается на сельском хозяйстве, а Николай Александрович берет на себя промышленность. Тем самым отец как бы балансировал власть. К тому же, последние месяцы он многажды выступал на Пленумах ЦК, различных совещаниях, а глава правительства как воды в рот набрал. Конечно, многое тут зависело от характера, если бы Булганин имел и хотел что-то сказать, никто его за полу не держал. Но свежие идеи обходили его стороной. Булганин честно отсиживал в Кремле положенные присутственные часы, председательствовал там, где ему полагалось, подписывал массу подготавливаемых на подпись аппаратом бумаг. Что же касается идей, то тут он целиком полагался на помощников. А с них какой спрос? На то он и помощник, чтобы помогать начальству, а не наоборот. Николай Александрович не очень обрадовался предложению отца выступить с докладом, но положение обязывало. Булганин, в отличие от отца, никогда сам не писал и не диктовал свои доклады, предпочитал зачитывать готовый текст, написанный и отшлифованный в недрах аппарата. Так и сейчас он приказал помощникам приступить к подготовке выступления и по пустякам его не беспокоить. Его и не беспокоили, все материалы стекались к начальнику канцелярии

Булганина генерал-майору Николаю Николаевичу Алексееву. Он сортировал их, приводил в божеский вид, превращал в полновесный доклад Председателя Правительства. Николай Александрович всецело доверял Алексееву, зачитывал его заготовки без изменений. Алексеев «сработался» с Булганиным еще со времен военного министерства. Человек умный и амбициозный, он стал «серым кардиналом» за спиной безынициативного Булганина. По существу, Николай Николаевич а не Николай Александрович вершил тогда дела в Совете Министров.

Когда в 1958 году отец сам возглавил правительство, Алексеев вместе со всей своей канцелярией достался ему в наследство, но отец сам диктовал свои записки и доклады, сам их правил, к тому же еще и импровизировал на трибуне. Алексеев, в качестве помощника, попытался прибрать к своим рукам дела Министерства обороны и Военно-промышленной комиссии, стать неким буфером между ними и отцом. Отец поначалу не возражал, но когда Алексеев, по старой привычке, начал раздавать указания от его имени, он вызвал к себе помощника и без обиняков заявил ему, что предпочитает сам, без посредников, общаться с министром обороны, начальником Генштаба, министрами оборонных отраслей, а Алексеев ему попросту не нужен. Отец твердо держался принципа, что помощник — это помощник, фигура чисто вспомогательная. Его дело помогать, а не подменять своего босса. Алексеева роль технического исполнителя, даже при главе правительства, не устраивала. В результате они с отцом, к обоюдному удовлетворению, расстались. Алексеева из Совета Министров откомандировали в распоряжение министра обороны. Там он дослужился до звания генерала армии, стал заместителем министра, но в глубине души так и остался неудовлетворенным.

16 мая 1955 года, в день открытия совещания, Булганин сделал добротный, скучный доклад. Затем по давно заведенной схеме начались выступления министров, директоров предприятий, передовиков производства. Они рапортовали о своих достижениях, осторожно критиковали министерства, каялись в собственных грехах.

Отец наслушался за свою жизнь подобных выступлений с избытком. Совещание его разочаровало. Он надеялся услышать предложения, как жить дальше, как сделать промышленность более эффективной, а тут — все та же набившая оскомину жвачка. Отец расстроился, рассчитывать на Булганина — только время терять. Они же договорились, что промышленность отходит в его «епархию», это его обязанность разобраться, почему она не

работает так, как следует, и предложить, как исправить дело.

Отец не выдержал и попросил слова. На подготовку выступления ему отводился только один вечер, но он успел. Надиктовал стенографистке текст, снабженный конкретными примерами как неурядиц, так и достижений, а затем перешел к рассуждениям о главном: как побороть абсолют властной вертикали, как преодолеть министерский эгоизм, разделяющий раскинувшиеся по всей необъятной территории Советского Союза фабрики и заводы на «свои» и «чужие», воспрещающий даже заглядывать за ведомственный забор?

На свой вопрос отец так и не ответил. Но даже сам разговор на эту тему пришелся не по нраву министрам, не поддержали отца и битые жизнью директора. Они не решались и не хотели противоречить своим министрам. Отец остался один на один со своими сомнениями. Разрешать их ему тоже придется самому, но до этого отцу еще предстояло дозреть.

Совещание приняло одно-единственное решение, поддержало предложение отца разделить планирование на текущее и перспективное. Госплану, считал он, не по силам одновременно заглядывать в будущее и расшивать сиюминутные неурядицы. Госплановские чиновники, чисто житейски, отдавали предпочтение делам текущим, за них накажут сегодня, а до перспективы еще дожить надо.

Без прогноза на две-три пятилетки, считал отец, мы движемся вперед вслепую, на ощупь, ориентируясь на сегодняшний день, сегодняшние технологии, тогда как следует привлечь ученых, хоть как-то представить себе, что ожидает нас в будущем. Решили разделить Госплан на два: оперативный, занимающийся годовыми планами, и перспективно-прогностический.

Соответствующий Указ опубликовали 25 мая 1955 года. Старый Госплан назвали Государственной экономической комиссией Совета Министров СССР по текущему планированию народного хозяйства. Тогда любили длинные наименования, сокращенно — Госэкономкомиссия. Во главе нее оставили старого председателя старого Госплана Максима Захаровича Сабурова в ранге первого заместителя главы правительства.

Новое ведомство назвали «Государственной комиссией Совета Министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства» со старой аббревиатурой «Госплан СССР». Руководить им, по замыслу отца, должен человек неординарный, не зашоренный, не погрязший в рутине. От того, как новый начальник нового Госплана поставит дело, зависело будущее страны. Выбор пал на сорокачетырехлетнего министра нефтяной промышленности Николая Константиновича Байбакова, человека,

не отягощенного госплановским «опытом» бесконечного балансирования и показавшего себя во время войны способным к нетривиальным поступкам.

Это он, Байбаков, заместитель наркома топливной промышленности, которому летом 1942 года едва исполнилось тридцать, взрывал в последние минуты перед приходом немцев нефтяные скважины на Северном Кавказе. Сталин тогда лично, в своей манере проинструктировал Байбакова:

«— Имейте в виду, товарищ Байбаков, если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем.[22]

Байбаков весь напрягся и уже открыл было рот, чтобы произнести соответствующие моменту слова, как Сталин продолжил свое напутствие:

— Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, а немец их не захватит, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем, — Сталин заулыбался, ему пришелся по душе собственный юмор.

— Но вы мне не оставляете выбора, товарищ Сталин, — растерянно пробормотал Байбаков.

— Выбор за вами, — отпарировал Сталин и легонько постучал Байбакова по виску, — соображайте сами».

Николай Константинович почему-то вспоминает о манере Сталина «шутить» с восторгом, но это уже дело вкуса. Байбаков задание выполнил — нефтепромыслы уничтожил.

В 1943–1944 годы, Байбаков осваивал в Поволжье нефтяные месторождения «второго Баку» и одновременно обеспечивал армию горючим из полуразрушенного вражескими бомбардировками первого, настоящего Баку. Без нефти войну бы мы не выиграли.

В 1944 году Байбакова сосватали в народные комиссары нефтяной промышленности. Сталин вызвал Байбакова в Кремль и сообщил ему о планируемом назначении.

«— Боюсь, что не справлюсь… — залепетал Байбаков.

— Товарищ Байбаков, мы знаем, кого и куда назначать, — прервал его Сталин не терпящим возражения тоном».

Отец познакомился с Байбаковым после войны, когда в Западной Украине восстанавливали старые, сохранившиеся еще с австро-венгерских времен нефтяные скважины. После смерти Сталина он узнал Байбакова поближе и теперь принял решение: чтобы без натяжек сверстать следующую пятилетку на 1956–1960 годы нужен именно такой человек.

Отец пригласил Байбакова на разговор в ЦК. Тот упорно отнекивался от нового назначения, просил время на размышление. Несмотря на уговоры, своего согласия он так и не

дал, но по возвращении со Старой площади в министерство получил красный, под сургучом, пакет с выпиской из датированного предыдущим днем решения Президиума ЦК о назначении на новую должность. Отец, оказывается, убеждал его задним числом, когда все уже решили и даже подписали.

Отец считал совещание руководителей промышленности только началом, но пока пришлось сделать перерыв, подпирали еще более неотложные дела. Буквально на следующий день после его закрытия отец с Булганиным отправились в двухнедельную поездку в Югославию, мириться с «кровавым палачом» Иосипом Броз Тито и «его кликой». Так сталинская пропаганда называла президента Социалистической Федеративной Республики Югославии после того, как он позволил себе проявить чуть-чуть самостоятельности. Визит прошел не без шероховатостей (я о нем рассказал в «Рождении сверхдержавы»), но главное — примирение состоялось.

По возвращении, 11 июня 1955 года, отпраздновали 60-летие Булганина. По случаю юбилея ему, как и годом раньше отцу, присвоили звание Героя Социалистического Труда.

С середины июня и Булганин, и отец начали готовиться к Пленуму ЦК, на нем собирались продолжить разговор о промышленности. 2 июля 1955 года открылся Пленум с повесткой дня из четырех вопросов: 1. О дальнейшем развитии промышленности. 2. Об итогах весеннего сева. 3. О визите в Югославию. 4. О созыве XX съезда КПСС. С докладом снова выступал Булганин. Ничего нового, по сравнению с майским совещанием, он не предлагал, да и не мог предложить, и времени прошло слишком мало, и готовил доклад все тот же Алексеев. Разве что, когда проект доклада разослали на одобрение членам Президиума ЦК, отец вписал в него несколько абзацев о переходе к сборному типовому строительству не только жилых домов, но и теплоэлектростанций, заводов, мостов, а также о дальнейшей реорганизации планирования, в первую очередь долгосрочного, о новой технике и еще кое-что. Булганин все предложения принимал без возражений, какая разница, кто впишет еще пару пунктов в доклад — Алексеев или Молотов с Хрущевым.

На Пленуме сделали еще один, пока робкий шаг к децентрализации экономики, записали пожелание о «передаче из министерств в республиканское подчинение предприятий, находящихся на их территории», а также «о переводе из Москвы поближе к производств, соответствующих трестов и исследовательских институтов».

Если первое вызвало лишь легкий ропот, то второе и трестовские бюрократы, и институтские ученые встретили в

штыки. Из Москвы на периферию ехать не хотели и, в большинстве своем, не поехали. Отец уговаривал, давил, приказывал, сердился — и все без результата. А после отставки, как только его ни честили за этот «дурацкий волюнтаризм». Хотя ничего «дурацкого» в том предложении не было, так устроена экономика во всем мире: автомобили в США проектируются в Детройте, а не Вашингтоне, так же, как и самолеты фирмы «Боинг» — в далеком от столицы государства Сиэтле. Но то в Америке…

Еще одну инициативу отца — о необходимости приоритетного развития восточных (зауральских) районов страны — поддержали. После войны там закрепилось множество эвакуированных с Запада производств.

Булганин в докладе особо отметил рост энергетики. Перечисление введенных в эксплуатацию за 1951–1955 годы мощностей, рутинное в те годы, в начале XXI века впечатляет: на Цимлянской ГЭС прирост выработки электроэнергии составил 164 тысячи киловатт, на Гюмушской ГЭС — 224 тысячи, на Верхне-Свирской — 160 тысяч, на Мингечаурской — 375 тысяч, на Камской ГЭС ввели в строй первые 160 тысяч киловатт из предусмотренных проектом 500 тысяч. Уже после Пленума, в октябре, заработал первый агрегат Каховской ГЭС на Днепре, а в декабре дала ток головная турбина Куйбышевской ГЭС на Волге.

Тепловые электростанции несколько отставали в своем развитии, я еще скажу почему, но и тут цифры говорят сами за себя: Мироновская ГРЭС — 400 тысяч киловатт, Славянская — 200 тысяч (обе на Украине), Южно-Кузбасская ГРЭС — 400 тысяч, 300 тысяч киловатт первой очереди Череповецкой ГРЭС (из запланированных 600 тысяч).

Еще одна «больная тема» — дефицит потребительских товаров. Им на Пленуме посвятили немало времени. Обсуждение шло не столько в официальных, тщательно отредактированных, выступлениях, сколько в перерывах, за чаем в комнате Президиума и в фойе, где курили рядовые члены ЦК.

К догматическому принципу, что сегодня предпочтительнее группа «А» или группа «Б» не возвращались. На предыдущем Пленуме в январе Маленкова за приоритетность группы «В» расчихвостили в хвост и в гриву. Так полагалось, его увольняли с должности и тут, каждое лыко в строку. Теперь с Маленковым покончили, но проблема снабжения населения оставалась. Спор, чему отдавать предпочтение: «А» или «Б», стал схоластичным, и само разделение экономики на «А» и «Б» практически утратило содержание. В 1930-е годы доминирование группы «А» — тяжелой промышленности, металлургии, машиностроения, означало, что

ради безопасности страны населению придется на время отказаться не просто от достойного существования, но и от костюма или пары туфель. Теперь так вопрос не стоял. Дело упиралось в разбалансированность реального производства. Когда в 1948 году Сталин всерьез начал готовиться к третьей мировой войне, возник перекос в сторону производства вооружения, и теперь дисбаланс камнем повис на экономике. Свернуть с избранного Сталиным пути оказалось нелегко. В этом отец убедился, когда столкнулся с адмиралом Кузнецовым, требовавшим затянуть пояса, но во что бы то ни стало построить океанский Военно-морской флот. А ведь Кузнецов — отдельный пример. Свою долю бюджета требовали и пехотинцы-сухопутчики, и танкисты с артиллеристами, и летчики. Их поддерживал и сам маршал Жуков. Все они исходили из необходимости обеспечения безопасности страны. Ни отец, ни кто-либо еще игнорировать их запросы не имели права.

В резолюцию Пленума записали: при преимущественном развитии группы «А» уделять пристальное внимание и группе «Б», то есть и вашим, и нашим.

В отношении предприятий, производивших вооружения, приняли соломоново решение: не перепрофилировать, но увеличить им задания по производству товаров для людей. Такая практика существовала и раньше: в мирное время оборудование, так называемые мобилизационные мощности, отдавались под выпуск потребительских товаров, а если наступит лихая пора, мирную продукцию с производства можно снять, и через короткое время весь завод заработает на войну. Так ракетный завод в Днепропетровске делал не только ракеты, но и тракторы, авиационные предприятия производили не только истребители, но и детские коляски, люстры, кухонные комбайны. К началу 1955 года, в силу отданного Сталиным приказа, доля потребительских товаров на военных предприятиях оказалась почти на нуле. Решили за год-полтора поднять ее до сорока-пятидесяти процентов. Военные поворчали, но, в отличие от адмирала Кузнецова, в открытый спор с отцом не вступали.

Обсуждение проблем экономики не прекратилось и после Пленума. Отец все настойчивее отдавал предпочтение ширпотребу, причем не только за счет оборонки, но и ценой замедления роста металлургии. О своих претензиях к Маленкову он больше не вспоминал, а Георгий Максимилианович ему благоразумно не напоминал.

Вот несколько примеров. При обсуждении 16 ноября 1955 года на заседании Президиума ЦК проекта пятилетки 1956–1960 годов отец потребовал резко увеличить прирост по группе «Б»,

перегруппировать капиталовложения, по черной металлургии сократить. Он поддерживает министра химической промышленности Сергея Михайловича Тихомирова: пора менять устаревшую технологию вискозного шелка на ацетатную. Предлагает новую технологию не изобретать и не копировать, пользуясь обрывками информации, добываемыми нелегально у капиталистов, а честно купить у них соответствующие патенты, если их, конечно, продадут. Насколько я знаю, тогда патенты не продали.

«По жилищному строительству нельзя ущемлять. По одежде и обуви — поднять. В субботу сократить рабочий день на 1–2 часа, а в 1960 году еще на 4 часа. Нужны детские сады, ясли, интернаты. Плохо у нас поставлена политехнизация школ. Госплану доработать: срок 3 недели».

24 декабря 1955 года отец, в связи с той же пятилеткой, сетует, скорее всего, в свой адрес: «Все государство по вертикали разбили, по горизонтали — нет увязки».

Как обычно, рассмотрели на июльском Пленуме и «организационные вопросы», избрали полноправными членами Президиума: первого секретаря Украинской компартии Алексея Илларионовича Кириченко и главного партийного идеолога Михаила Суслова. Секретарем ЦК и кандидатом в члены Президиума избрали конкурента Суслова, набиравшего силу, главного редактора «Правды» Дмитрия Степановича Шепилова. Он тоже претендовал на роль главного партийного идеолога.

Дорогой товарищ Тито

В заключение на Пленуме, как это следовало из повестки дня, обсудили поездку Булганина с Хрущева в Югославию. В Президиуме ЦК сформировались два полюса: на одном — отец, Булганин, Маленков, к ним примыкал Шепилов, считавшие, что Югославия — страна социалистическая, с ней следует дружить по всем линиям: и государственной, и партийной. Иного мнения держались сталинисты-традиционалисты, их позицию представлял Молотов: если с Югославией и дружить, то только как с буржуазным государством. Молотов не мог и не хотел перестраиваться: еще вчера мы клеймили «предателей» Тито — Ранковича, а сегодня они — единомышленники!

Чтобы хоть как-то пригасить скандал, отец предложил создать комиссию из академиков. Пусть они, мудрецы-оракулы, вынесут вердикт, что за страна Югославия — буржуазная или социалистическая. Так во времена средневековой схизмы ученые богословы выясняли истинную «святость» того или иного завета.

Ученые поддержали отца, 12 мая 1955 года представили заключение: Югославия по всем параметрам — страна социалистическая. Молотов с ними не согласился, стоял на своем.

А тем временем изменения в отношениях с Тито происходили с такой головокружительной скоростью, что региональные руководители порой не успевали подстроиться под новые веяния. Забегая вперед, вспомню забавную историю, произошедшую на пограничной железнодорожной станции, с которой 1 июня 1956 года начинался ответный визит президента Тито в Советский Союз. Вконец запутавшееся местное начальство вывесило на здании вокзала огромный транспарант: «Да здравствует товарищ Тито и его клика!» Не знаю, правда ли это, но в Москве о происшествии с незадачливыми провинциалами судачили на всех уровнях. Сами москвичи сориентировались быстрее, Аджубей с «выражением» декламировал отцу сочиненную якобы не им частушку:

Дорогой товарищ Тито,
Ты наш друг и брат,
Как сказал Хрущев Никита,
Ты ни в чем не виноват.

Но это все в будущем, а в 1955 году разногласия с Молотовым по Югославии достигли такого накала, что отец решил заручиться поддержкой Пленума. Молотов не сдался и на пленуме, но победил отец. Пленум дал оценку в «сталинских» традициях: «т. Молотов допустил политически ошибочные утверждения, извращающие понимание ленинских принципов в национальном вопросе, существа пролетарского интернационализма».

Еще недавно после подобного решения Пленума ЦК — одна дорога, во «враги народа». Но времена изменились, Молотов остался членом Президиума ЦК, продолжал упорствовать, его отношения с отцом все больше натягивались. Еще совсем недавно мы всей семьей ездили к Молотову на дачу в гости. Теперь «гости» закончились. Они не ходили к нам, мы — к ним.

Осуждением позиции Молотова на Пленуме ЦК в июле 1955 года споры вокруг Тито не прекратились. Через год маятник качнулся в противоположную сторону. Во время уже упомянутого визита Тито в СССР, 1 — 26 июня 1956 года, отец и Булганин как могли демонстрировали Тито дружеское расположение. Я это хорошо помню. Тито отвечал тем же, правда, в более сдержанной манере.

Отец с Тито не просто обменивались заверениями дружбы в речах и тостах, но и демонстративно держались все время вместе и не всегда следовали протоколу. В один из дней, окруженный мотоциклистами, кортеж следовал по запруженной людьми улице Горького (Тверской), и вдруг отец попросил остановиться неподалеку от памятника Пушкину. Он решил предложить Тито прогуляться пешком до Кремля.

Отец никогда не боялся толпы людей, к возможности покушения на него относился философски — от судьбы не уйдешь. Сама вероятность покушения в мирное время ему представлялась ничтожной по сравнения с возможностью погибнуть от немецкой (или своей) бомбежки во время войны. А их он тогда пережил множество. Тито с готовностью согласился, он, как и отец, любил ходить «в народ». День стоял жаркий, они вышли из открытого зиловского лимузина и смешались с толпой. Смешались в буквальном смысле этого слова. Прохожие с удивлением глазели на Тито и Хрущева, вот так, запросто, гулявших среди них. Отец подвел гостя к памятнику Пушкину, начал что-то рассказывать, но Тито остановил его. За годы жизни в Москве перед войной он хорошо изучил достопримечательности нашей столицы и не хуже отца знал, кто такой Пушкин. Потом они направились вниз по улице Горького к Красной площади и минут через десять добрались до популярного в те годы кафе-мороженого «Лира», что напротив Центрального телеграфа. Тем временем новость, что вот тут, рядом, по тротуару идут Хрущев с Тито, облетела весь центр. Поравнявшись с входом с кафе, лидеры стран оказались в плотно спрессованной толпе, с трудом сдерживаемой охранниками.

Обычно отца охраняли три человека. По случаю приезда Тито подбросили еще человек двадцать в штатском. Совершенно недостаточно для «обеспечения» пешей прогулки по центральной московской улице. Ответственный «за мероприятие» — начальник «девятки» полковник КГБ Николай Степанович Захаров быстро сообразил, что наличными силами с толпой не совладать, люди задавят и отца с Тито, и его самого.

Вход в кафе показался ему путем к спасению. Для его блокирования имевшихся людей достаточно. Захаров подошел к отцу и шепотом предложил укрыться в кафе, а заодно угостить гостя московским мороженым. К тому времени отец и сам понял, что дело принимает нешуточный оборот и не возражал. Тито уговаривать себя не заставил, толпа напирала все сильнее.

Отец с гостем нырнули в спасительную дверь, охранники ее тут же закрыли.

Толпа в ожидании, пока отец с гостем насладятся мороженым

и вновь появятся на улице, успокоилась.

Тем временем Захаров вызвал машины и усиленный наряд милиции в форме. Через полчаса он доложил, что можно следовать дальше. Отец начал было подниматься из-за стола, но вдруг, что-то вспомнив, осмотрелся по сторонам и позвал своего начальника охраны: «Столяров!»

Пока тот ковылял к отцу (во время войны Столяров был ранен в ногу), Захаров опередил его. Отец жестом попросил почти двухметрового Захарова наклониться и шепнул, надо расплатиться, а денег у него нет. Николай Степанович успокоил отца, он за все уже расплатился.

Милиция организовала живой коридор от двери кафе до лимузина. Люди толпились у них за спинами, не напирали. Отца с Тито встретили, а затем и проводили приветственными возгласами.

Вечером, по возвращении домой, отец рассказал о своем приключении, посмеялся над тем, как им пришлось укрываться в кафе, и попросил маму вернуть долг Захарову.

Однако дружба дружбой, но отец ни на минуту не забывал, что Молотов сотоварищи внимательно следят за каждым его словом, и в отношении Тито не допускал ничего «идеологически сомнительного». Булганин же, по наивности, 5 июня 1956 года на официальном завтраке в Кремле в честь президента Тито поднял бокал: «За друга, за ленинца, за нашего боевого товарища».

Молотов потребовал официального расследования, как это Булганин посмел назвать Тито «ленинцем», с последующим осуждением Булганина специальным решением ЦК. Отец вступился за своего друга, но Молотов настаивал, ссылался на принятое годом раньше решение ЦК о Югославии. В нем слово «ленинец» отсутствовало. Сошлись на компромиссе. 29 июня 1956 года Президиум ЦК рассмотрел «дело Булганина». В своем выступлении отец признал «заявление т. Булганина преждевременным», согласился с Молотовым, что «назвав Тито ленинцем, Булганин проявил неосторожность и об этом надо сказать», однако он уговорил коллег дело Булганина на Пленум ЦК не выносить, ограничиться упоминанием его «неосторожности» в информационном письме, рассылаемом китайской, итальянской, французской и другими компартиям.

И тем не менее, Николай Александрович на отца обиделся. Он себя виноватым не ощущал. Я тогда тоже не очень понимал, чем нагрешил бедный Николай Александрович. На мои расспросы отец отвечал невнятно, а затем и вовсе попросил к нему не приставать. Я и сейчас не понимаю существа спора: если Югославию признали страной социалистической, то почему Тито

не марксист-ленинец? Какая-то средневековая схоластика. Однако после того как отец не захотел или не смог удовлетворить мое любопытство, вопросов я больше не задавал. Уже четверокурсник, я начинал понимать, что на некоторые ответов просто нет.

Впервые я это ощутил на первом курсе, в 1952 году. Семинары по научному коммунизму в МЭИ считались неинтересными, но к посещению обязательными. Занятия, не отклоняясь ни на йоту от «Краткого курса истории ВКП(б)», вел доцент Василий Михайлович Москаленко. Большинство студентов слушали его вполуха, читали, играли в «морской бой». Он на студентов, в свою очередь, тоже не обращал особого внимания, привык. Я же, в числе немногих, Василия Михайловича, как и положено, прилежно конспектировал.

Москаленко начал рассказывать о грядущем коммунизме: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Я поднял руку: «А если у меня потребностей много, а способностей нет, то тогда как?» Москаленко что-то пробормотал в ответ, да так, что я слов его почти не разобрал и продолжал настойчиво тянуть руку. Москаленко недовольно буркнул: «Подойдите ко мне после лекции». В перерыве он затолкал меня в угол и прошипел: «Не думайте, если ваша фамилия Хрущев, вам дозволено задавать такие опасные вопросы. Очень опасные». Больше он ничего не сказал, уложил конспекты в портфель и ушел. Я тогда на него обиделся, а теперь думаю, что он искренне меня предостерегал. 1952 год не располагал к «вольностям». Я этого еще не понимал, а он отлично знал, где «удовлетворят» мое любопытство.

Не могу сказать, что проблема «коммунизма» в 1952 году меня особенно интересовала. Уже на следующей лекции по физике, ее блистательно читал тогда еще доцент, а в будущем академик Леон Михайлович Биберман, я выбросил их из головы, все эти, как мне казалось, «глупости». В 1956 году вопрос марксист ли ленинец Тито или не марксист-ленинец, меня тоже занимал очень недолго. После физики электрона я увлекся теорией автоматического регулирования.

Мне двадцать лет

Второго июля 1955 года мне исполнилось двадцать лет. Отпраздновали день рождения на даче, пригласили моих школьных и институтских друзей.

Погода стояла по-июльски жаркая, сначала купались в Москве-реке, дурачились, как и полагается двадцатилетним. Потом на террасе пили чай, в те годы ничего крепче чая мы еще не пили.

За столом отец расспрашивал о студенческой жизни, о том, чему учат в Энергетическом институте и как. Если в прошлом, 1954 году, нашим кумиром была кибернетика, то в 1955-м мы увлеклись «дырочной» теорией сверхмодных полупроводников, эдаких клопиков-пуговичек, каждая из которых заменяла электронную лампу, диод или даже триод. В отличие от громоздких и хрупких ламп, они почти не потребляли энергии, не разогревались до температуры утюга, не боялись ни тряски, ни ударов и работали не десятки (в лучшем случае, сотни) часов, а тысячи. Как устроены внутри полупроводниковые усилители и выпрямители, мы тогда представляли себе довольно смутно. Эти премудрости и профессора только-только постигали, а для студентов организовали факультативный курс. В первый день студентов в аудиторию набилось как сельдей в бочку, но лекция всех разочаровала, преподаватель напирал на формулы, а вот как и почему электроны внутри полупроводника движутся или не движутся, доходчиво растолковать не смог — верный признак, что он и сам далеко не все понял. Тем не менее, кое-что мы все-таки усвоили и теперь, как могли, делились новомодной премудростью с отцом. Несмотря на наши сбивчивые пояснения, главное он ухватил: полупроводники, если все рассказанное правда, совершат форменный переворот в электронике, особенно военной. На следующее утро, по горячим следам, он позвонил министру радиотехнической промышленности Валерию Дмитриевичу Калмыкову перепроверить наши застольные рассказы. Министр в этом деле разбирался получше нас, студентов, и подтвердил отцу, что за полупроводниками будущее. 19 января 1956 года на заседании Президиума ЦК отец поднял вопрос о полупроводниках, потребовал от соответствующих служб прозондировать возможность покупки их за границей. Вот каким причудливым образом информация порой достигает вершин власти.

Разговор за столом в тот вечер с полупроводников перекинулся на электростанции, электровозы и тепловозы.

Электровозы тоже изучали в нашем институте, но на другом факультете, а вот живой тепловоз из всех присутствовавших за столом видели лишь трое: я сам да мои друзья Серго Микоян и Слава Михайлов. Произошло это в 1953 году и тоже благодаря отцу.

Тогда, в середине лета, вскоре после ареста Берии, отец преподнес мне ко дню рождения роскошный подарок — предложил прокатиться на машине в Крым, останавливаясь по дороге в Харькове, Сталино, Запорожье, — там можно увидеть, как делают гидротурбины, танки и самолеты, побывать в угольных и соляных шахтах, на металлургических заводах и знаменитом Днепрогэсе, а также в заповеднике Аскания-Нова. Отец считал, что поездка послужит полезным подспорьем к знаниям, которые мы получаем в институте. Одно дело, в лаборатории сварить два куска металла или отлить никому не нужную болванку, а совсем другое — увидеть своими глазами, как люди делают настоящие вещи, собирают нужные всем машины, станки и многое, многое другое. Он уже договорился со своими старыми товарищами, Харьковским секретарем обкома Николаем Викторовичем Подгорным и Сталинским (Донецким) — Александром Ивановичем Струевым, попросил их показать, «что могут сотворить человеческие руки».

Сам отец обожал автомобильные путешествия. Машина — не поезд, остановишься, где хочешь, поговоришь с людьми, а с наступлением темноты в ней же и заночуешь. Так он колесил по Украине весной в посевную и летом во время жатвы на открытом паккарде или виллисе, осенью, когда холодало, пересаживался в закрытый ЗИС.

Для нашей поездки из кремлевского гаража выделили вместительный семиместный ЗИМ. Горьковский автозавод тогда носил имя Молотова, отсюда и ЗИМ — «Завод имени Молотова». Он выпускал не только народные «Победы», но и «чиновничьи» лимузины — ЗИМы, классом пониже, чем ЗИСы, на которых ездили только члены Президиума ЦК, министры, маршалы и академики.

Отец предложил мне пригласить с собой пару приятелей. Я долго не раздумывал, пригласил Серго Микояна (впоследствии доктор исторических наук, специалист по Латинской Америке) и своего сокурсника Славу Михайлова (после окончания института он работал в исследовательских подразделениях КГБ, специализировался на разработке «закрытых» средств связи, дослужился до генеральского звания). Отец на всякий случай попросил сопровождать нас одного из своих охранников, майора Ивана Харитоновича Короткова. Они знали друг друга еще со

Сталинграда, с 1942 года. Отец ему полностью доверял.

В середине июля 1953 года наша команда из пяти человек, включая водителя из кремлевского гаража, отправилась в путь. Поездка из Москвы в Крым в то время не имела ничего общего с современной автомобильной прогулкой, по пусть не очень гладкому, но асфальтированному шоссе. Скорее она походила на путешествие времен Екатерины II, разве что лошадей не меняли на многочисленных станциях. Мощеная дорога закончилась где-то за Серпуховом. Я говорю мощеная, потому что по гладкому асфальту мы доехали только до края Москвы. За Серпуховом же начались сплошные объезды.

В те годы в стране имелось единственное шоссе Москва — Минск, его построили еще до войны, и именно по нему немцы наступали на Москву в 1941 году.

После войны, кажется, в 1947 году, Сталин решил отдохнуть в Крыму, в Ливадии, в бывшем царском дворце, ставшем его госдачей. Летать он, как известно, боялся, поехал поездом. По возвращении в Москву он приказал проложить в Ливадию современную автомобильную дорогу. К 1953 году стройка развернулась по всей трассе, от Серпухова до Симферополя, старую, не везде мощеную, но все-таки приличную дорогу, разломали, на ее месте образовалась траншея, туда сыпали песок, сверху — гравий. Вдоль будущего шоссе, в чистом поле, а не в городах, как обычно, возводили автозаправки. Чудеса по тем временам. Но пока время чудес еще не наступило, путешествующим приходилось искать объездные пути. Я точно помню, что ехали мы проселками. Официально дорогу открыли в 1950 году, а потом снова закрыли для устранения недоделок. Вот мы и объезжали открыто-закрытую дорогу где как придется.

По грунтовым дорогам мы пылили до самого Харькова. Благо в конце июля стояла сушь. О том, каково тут после хорошего дождя, напоминали глубокие рытвины да колеи, из которых и самосвалу не выкарабкаться.

В Харькове несколько дней мы гостили у Подгорного. Каждое утро начиналось с объезда заводов, благо в Харькове их немало: на одном собирали МиГи, на другом — огромные турбины для электростанций, на третьем — танки, самые современные, наследники прославленных «тридцатьчетверок». Я чувствовал себя скованно — мы, мальчишки, отрываем от важных дел такое количество важных взрослых людей, поэтому задавать вопросы стеснялся, но смотрел во все глаза. Отец не ошибся: люди, творившие все эти чудеса, и сами «чудеса» запомнились на всю жизнь.

Из Харькова наш путь лежал в Сталино (ныне Донецк), в

Донбасс, чуть левее от строящейся трассы. Проселки — грейдеры теперь уже служили не объездами, иных дорог тут никогда не существовало.

В Сталино нас вновь водили по заводам, опустили в соляную шахту, где под землей, в огромном высоченном гроте, работал настоящий экскаватор, а потом для контраста показали угольную шахту. Там, чтобы добраться до выработки, приходилось передвигаться, согнувшись, а порой и вообще ползком.

Тогда-то то ли в Харькове, то ли в Донбассе, на одном из заводов нам показали тепловоз. От привычного паровоза он отличался, как реактивный бомбардировщик от дилижанса — плавные обводы, чистая кабина с обитыми дерматином креслами, панели приборов, огромное лобовое «самолетное» стекло. Я пришел в восторг. Сопровождавший нас начальник, вероятно, главный инженер завода, показав свое детище, с грустью заметил, что тепловоз они сконструировали уже не первый, а вот толку чуть, в серийное производство их не пускают.

По своей юношеской наивности я возмутился: как такое может происходить в нашей стране? Вразумительного ответа от него я не добился, серьезными собеседниками заводское начальство нас справедливо не считало.

Я не стану описывать наше дальнейшее путешествие, плотину Днепрогэс, ковыльно-чабрецовые степи Аскании-Новы, с ее «Островом в степи» — заповедником-садом, ласковое Черное море. Скажу только, что почему-то все оставшееся время красавец-тепловоз и его горькая судьба не шли у меня из головы.

По возвращении домой я рассказал о своих впечатлениях отцу. Он слушал внимательно, интересовался подробностями похода в шахту, а вот тепловозную историю он как бы пропустил мимо ушей. Я не успокоился, вернулся к тепловозной теме. Отец насупился и отмахнулся от меня: «Не приставай». Обсуждать тепловозы-паровозы он почему-то не захотел.

Теперь, спустя два года, на мое двадцатилетие снова заговорили о тепловозах. Уже не я, а Серго со Славой убеждали отца, насколько он лучше, экономичнее, не говоря уже — чище паровоза. Отец снова отмолчался. Вскоре мне стало ясно почему. В те годы вокруг тепловозов развернулась нешуточная полемика между отцом и отвечавшим в Президиуме ЦК за транспорт Кагановичем. Последний тепловозы на дух не переносил. Обсуждать в семье разногласия в высшем руководстве отец считал абсолютно недопустимым. Итак, по порядку.

Стоит ли топить печь ассигнациями?

Будет преувеличением сказать, что размежевания и слияния Госплана, преимущественное развитие группы «А» или группы «Б», централизация или децентрализация экономики в те годы были в центре моего внимания. Друзья, институтские дела интересовали меня куда больше. Но нельзя сказать, что я вообще оставался равнодушен к делам государственным. Вся наша жизнь вертелась вокруг отца, его интересов, вольно и невольно насыщая нас «его» информацией. Обычно после ужина и перед просмотром вечерней порции бумаг, он отправлялся на прогулку, и я с ним. Эти вечерние, а порой краткие утренние прогулки, еще с Киева вошли в привычку. Пока мы гуляли, я делился с отцом своими новостями, он слушал меня, что-то отвечал, а порой пропускал все мимо ушей, погруженный в какие-то свои, далекие от меня, проблемы. Тогда я замолкал, и мы молча шагали по дорожкам, окружавшего дачу парка, сначала вокруг дома, потом в лес, в направлении строящейся маленковской дачи, затем сворачивали направо и по круче над Москвой-рекой возвращались обратно.

Отец взбегал по ступенькам на веранду, садился к застеленному скатертью круглому столику, просил чаю с лимоном и погружался в чтение бумаг. Красные, серо-голубые, зеленые бумажные папки, расцвеченные в зависимости от принадлежности документов к тому или иному ведомству, перемещались с левой стопки, ложились перед отцом, прочитывались, покрывались пометками, чаще красным карандашом и завершали свой путь в правой стопке. Закончив чтение, на него обычно уходило часа два, отец запихивал бумаги в объемистую коричневую кожаную папку, так что она раздувалась и, казалось, никогда не закроется. Щелкала кнопка застежки, работа закончена, пора отходить ко сну. Отец поднимался по поскрипывающей лестнице на второй этаж, там располагалась его спальня. Если он не успевал дочитать содержимое папки до конца, то брал ее с собой. В противном случае, папка оставалась внизу на маленьком столике в прихожей, утром он заберет ее с собой на работу.

Если отец вечером возвращался не один, то во время прогулок обсуждались с гостями волновавшие их проблемы, я сопровождал их пассивно, без права голоса.

Темы разговоров менялись с изменением положения, занимаемого отцом. До смерти Сталина, в Киеве, говорили об Украине, потом — о Москве, теперь же речь шла о делах общегосударственных. Одни меня интересовали больше, другие меньше, кое-что вообще пролетало мимо ушей.

Нужно сказать, что я очень любил географию. Увлекся я ею, не помню точно, то ли в четвертом, то ли даже в третьем классе.

Мама повесила в коридоре нашей киевской резиденции большую географическую карту СССР, и я часами елозил по ней, почти физически ощущая высоты горных хребтов и низинную влагу болот, выискивал приземистые черные треугольнички, обозначавшие месторождения железной руды, или более стройные, походившие на нефтяные вышки — там, естественно, добывали нефть. Черные квадратики, щедро разбросанные по карте, — это уголь. И еще много других значков: калийная соль, просто соль, марганец, вольфрам. Богатство страны воодушевляло меня: скоро, очень скоро мы станем сильнее всех на свете, и никто не посмеет на нас напасть.

Я хорошо запомнил, как в 1946 году Сталин объявил всей стране: как только начнем добывать в год пятьсот миллионов тонн угля, шестьдесят миллионов тонн нефти, выплавлять пятьдесят миллионов тонн стали, мы станем непобедимы, не то что построим коммунизм — в своих обещаниях он избегал конкретики, но все заживут очень хорошо. На все это Сталин отвел три пятилетки. Позднее, уже переехав в Москву, я прилежно штудировал публиковавшиеся в газетах отчеты о выполнении годовых планов, высчитывал, насколько мы приблизились к заветной черте. К моему сожалению, газеты тогда не публиковали конкретных цифр производства, только проценты перевыполнения плана этого года и процент прироста по отношению к предыдущему году. А так как планы постоянно корректировались и пересматривались, то выудить что-либо из газетных сообщений не удавалось. И тем не менее, я искренне верил и радовался газетным сообщениям, почти повсеместно задания перевыполняли на 10–15 процентов, и только где-то внизу газетной колонки стыдливо жались «провалившие» план аутсайдеры — обычно деревообделочники, лесная и местная промышленность, не дотянувшие один-два пункта до стопроцентной отметки. Но на них мы не обращали особого внимания: главное — нефть, сталь, уголь, а остальное со временем подтянется. Особенно нефть, без нее мы не выиграли бы войны с Германией и вообще это ценнейшее сырье, из нее столько всего можно сделать уже сейчас, а в будущем… Со страниц школьного учебника химии бородатый Менделеев укорял потомков: «Топить печи нефтью — это все равно что топить их ассигнациями».

В то, что сжигать нефть в топках — расточительство, граничащее в преступлением, учили не только в школах, тоже самое проповедовал и Сталин. Нефть, бензин — стратегическое сырье копили на случай войны, на мирные нужды почти не расходовали.

Игра в проценты продолжилась и в первые годы после смерти Сталина. Только задним числом, через несколько лет из выступления отца я уяснил, что 60 миллионов тонн нефти в год добыли не через три пятилетки, в 1960 году, а раньше, всего через две, уже в 1955-м. Однако и этого оказалось для страны недостаточно. Сталин просчитался. Бензин, солярка и все другие продукты из нефти так и не вышли из разряда остродефицитных. Автомобили — государственные конечно, частных в пятидесятые годы практически не существовало — заправляли согласно установленному лимиту. Выбрал свою норму и жди следующего месяца, неважно, возишь ты начальника на легковушке или перевозишь зерно нового урожая на грузовике.

Нефть и нефтепродукты экономили, как могли, Сталин запрещал сжигать мазут на электростанциях, началось повсеместное возведение плотин на реках: Свири, Днепре, Каме, Волге. Гидроэнергия казалась Сталину даровой, вода сама течет вниз по руслу рек, крутит турбины, вырабатывая ток. То, что строительство гидроэлектростанций требует во много раз больше усилий и рабочих рук, чем сооружение тепловых станций, Сталина особенно не беспокоило, заключенных в стране достаточно. Сталинский план преобразования природы, включавший в себя, в первую очередь, запруживание Волги, Днепра, Камы и всех других наших европейских рек, а вслед за ними и рек сибирских, в школе мы заучивали наизусть. Тепловые электростанции строили очень ограниченно, только там, где нет воды, и почти исключительно на угле.

На железных дорогах доминировали паровозы. Поезда двигались медленно, со множеством остановок на дозаправку водой и углем, но о переходе на тепловозы запрещалось и думать. Они расходовали нефть, и на них Сталин наложил строжайшее табу. Каганович бдительно следил за его исполнением.

И вот теперь отец решился нарушить запрет.

Я сейчас не помню ни дня, ни месяца, но помню точно, что в тот вечер он вернулся возбужденным, под впечатлением от встречи с учеными-энергетиками. Они обсуждали, как ускорить строительство электростанций. Промышленность росла быстро, и электроэнергии катастрофически не хватало. По мнению собеседников отца — он не упомянул фамилий — следовало перенести центр тяжести с гидроэлектростанций на тепловые, разрешить сжигать нефть, и тогда сроки ввода генерирующих мощностей сократятся в два-три раза, а расходы на строительство — и того более. Отца просто распирало от этой, по нынешним временам, тривиальной истины. Я его теперь понимаю. Он прожил жизнь под сталинской сенью неприкосновенности

нефтяных резервов, а тут вдруг открылось очевидное. Считавшаяся неразрешимой проблема неожиданно просто разрешилась. Отец не мог и не хотел сдерживаться, начал рассказывать, какие перспективы открываются перед страной. Меня поразила крамольность его слов: как он может себе позволить жечь нефть? Мы же оставим потомков ни с чем! Отец мне не возразил, но, по его мнению, время важнее. Мы должны догнать и перегнать Запад, Америку, и в кратчайшие сроки. Без электричества об этом и мечтать нечего, а строительство гидростанций растягивается чуть ли не на десятилетие. Выход один — разрешить использовать нефть и, возможно, газ. «Это временное решение», — успокоил он меня.

Отцу я верил, но о сожженной нефти очень сожалел. В своей оппозиции отцовской новации я не пребывал в одиночестве. Меня, естественно, никто не спрашивал, а вот в правительстве сопротивление он испытал весьма серьезное. Там доминировали гидростроители — «гидрики», и сдавать свои позиции они не собирались.

Внутри любой государственной или технической структуры постоянно идет борьба направлений. Ничего противоестественного в этом нет, так происходил и происходит естественный отбор в живой природе, так же осуществляется и научно-технический прогресс. Все — естественно, если смотреть со стороны, а вот изнутри «естественный отбор» выглядит иначе, никому не хочется оказаться выбракованным, по крайней мере, без борьбы, жестокой борьбы. Это, отнюдь, не академическая джентльменская дискуссия, а сражение без правил, когда все средства хороши.

8 отцовском предложении разворота к тепловым электростанциям «гидрики», естественно, углядели угрозу своим, доминировавшим в отрасли позициям и пошли в контратаку. Они завалили ЦК записками, доказывающими, что смена приоритетов не просто обернется для страны неисчислимыми потерями, но вызовет форменную катастрофу. На открывшемся в день моего рождения, 2 июля, Пленуме ЦК отец попытался примирить враждующие партии, говорил о разумном сочетании гидро— и тепловых электростанций, о необходимости типизации проектов, о переходе к сборно-блочному строительству электростанций и еще о многом и многом другом.

Отец победил, и не только в силу своего положения. На его сторону встали авторитетные «хозяйственники»: плановики Сабуров, Байбаков и главный гидростроитель, восстанавливавший Днепрогэс, строивший Сталинградскую ГЭС, а с 1954 года министр строительства электростанций Федор Георгиевич

Логинов.

«Перекос» в сторону «гидриков» начал выправляться. Вскоре после Пленума две Московские ТЭЦ перевели на газ. Дальше — больше. К тепловым станциям в начале 1956 года, снова по предложению отца, решили добавить атомные, в них сжигали даже не нефть и газ, а еще более ценный уран.

«Тепловики» ощущали себя все увереннее, и уже через несколько лет, в 1958–1959 годах, попытались вообще разделаться с «гидриками». ГЭС строится, хотя и не десять, как раньше, но все равно лет пять-шесть, а тепловая станция — два-три года. По их логике получалось, что «гидрики» непроизводительно закапывают ресурсы в землю. К тому же, гидростанции затопляют огромные пространства продуктивных сельскохозяйственных земель, а уж о наносимом ими вреде рыболовству, особенно на Волге с ее осетрами, и говорить нечего. Отцу аргументы «тепловиков» показались весомыми, он даже публично поддержал их во время церемонии открытия Куйбышевской ГЭС.

9 августа 1958 года туда вместе с отцом приехала вся «верхушка»: члены Президиума ЦК Аверкий Борисович Аристов, Леонид Ильич Брежнев, Михаил Андреевич Суслов, Дмитрий Степанович Полянский. Выступая на митинге гидростроителей, воздав им хвалу за содеянное, отец высказал сомнение: тем ли мы делом занимаемся? Рационально ли распоряжаемся ресурсами страны? Он как бы рассуждал вслух, советовался со своими слушателями. Согласно представленным ему расчетам, следующая, уже строящаяся ГЭС Волжского каскада, Саратовская, мощностью в 1 миллион киловатт, обойдется в 4 миллиарда рублей, на ее сооружение уйдет четыре года. А вот если тут же, под Саратовом, на Саратовском газовом месторождении построить тепловую электростанцию в 1 миллион киловатт, то затраты составят всего 1 миллиард рублей, а строители уложатся в три года. Получалось, что, ориентируясь на тепловые станции, страна выигрывает и в сроках, и в средствах. Есть о чем задуматься.

— Гидроресурсы от нас никуда не уйдут, — закончил свое «приветствие» отец, — мы же обязаны ускорять отдачу на вкладываемые в энергетику средства.

«Тепловики» торжествовали, казалось, они одержали окончательную победу. Но не тут-то было. «Гидрики» приняли ответные меры, представили предложения по переходу на блочное строительство, что, по их расчетам, заметно сократит расходы и сроки строительства. Три года назад «гидрики», в отличие от тепловиков, не отреагировали на призыв отца,

прозвучавший на Пленуме ЦК, — ведь в их деле главное — плотина (где невозможно сооружение из блоков), на ее фоне здания — мелочи, не стоящие внимания. Теперь пришлось заняться «мелочами». Экономия получилась весьма заметная, многомиллионная. Началась работа и над сокращением затопляемых земель. Раньше «гидрики» гордились масштабностью «рукотворных морей», теперь стали приноравливаться к ландшафту, предусматривать в проектах защитные насыпные дамбы. Не обошлось и без интриги. «Гидрики» последовательно обходили высокие государственные кабинеты, осторожно сетовали, как бы «небрежение» гидроэнергетикой в перспективе не привело к негативным последствиям, нефть и газ рано или поздно иссякнут, а вода вечна. Не встретив сочувствия в одних кабинетах, они тут же перекочевывали в соседние. И не без результата. В правительстве мнения разделились.

Один из заместителей отца, Александр Федорович Засядько, покровительствовал «тепловикам», другой высокий чиновник — председатель Госплана РСФСР Владимир Николаевич Новиков — поддерживал «гидриков». Оба апеллировали к отцу. Он не сомневался ни в честности, ни в квалификации своих заместителей и поручил им обоим разобраться совместно. Создали комиссию, во главе поставили Засядько и Новикова и отправили их на Волгу, где возводился крупнейший по тем временам каскад гидростанций — Куйбышевская ГЭС уже вступила в строй, достраивалась Саратовская, начинали работы на Сталинградской, на очереди и другие станции. Вопрос серьезный, стоимостью в десятки миллиардов рублей. Спорили до хрипоты, но приняли соломоново решение: сохранить приоритет строительства тепловых станций, но пока работы на гидростанциях не сворачивать. Решение, естественно, не окончательное. Окончательных решений в жизни не бывает, жизнь течет, изменяются обстоятельства, меняются приоритеты, приходится принимать новые решения, порой сильно отличающиеся от вчерашних, не говоря уже о позавчерашних.

Спор «гидриков» с тепловиками не только не затих, но разгорелся с новой силой, и те, и другие находили новые технические решения, а следовательно, и аргументы в обосновании собственной правоты. Возникающие на пути препятствия стимулируют активность в их преодолении, и так без конца.

В октябре 1959 года, отец по пути из Китая заехал на Братскую ГЭС. Ангару перекрыли в июне, началось возведение плотины, и «гидрики» уговорили его взглянуть на их достижения.

Отец легко согласился, ему самому очень хотелось взглянуть на будущую крупнейшую гидроэлектростанцию в мире. «Гидрики» постарались показать товар лицом, уговаривали его, что будущее советской энергетики Сибири в водах ее рек, где скрыта гигантская энергия, и именно сюда следует вкладывать ресурсы.

Слова их звучали убедительно, отец не возражал, но и соглашаться не спешил, хотел выслушать другую сторону. Он предложил еще раз собраться сразу по возвращении в Москву и все детально обсудить в спокойной обстановке.

Встретились в конце октября, в ЦК. Обе стороны тщательно готовились. «Тепловики» развесили по стенам зала заседаний плакаты с параметрами уже строящихся турбоблоков в 200–300 тысяч киловатт, и проектируемых в 500–800 тысяч киловатт, проекты целиком собираемых из панелей, «облегченных» зданий электростанций «миллионной» мощности. В южных районах, по примеру американцев, предполагалось обходиться вообще без зданий.

«Гидрики» принесли проекты гигантских плотин на Енисее, Лене, Амуре, Ангаре и гидроэлектростанций поменьше (но во много раз крупнее легендарного Днепрогэса) в Средней Азии, и совсем небольших на еще не зарегулированных реках Европейской части страны. Строить их, не только здания, но кое-где даже плотины собирались из недавно разработанных оригинальных бетонных блоков. Блоки, по виду напоминающие огромные пустые ящики размером с комнату, изготавливали на заводе, а затем укрепляли в отведенном месте плотины и заполняли бетоном. Не требовалось никакой опалубки, рабочий цикл сокращался в несколько раз. Такие блоки, их прозвали «бычками», уже опробовали на строительстве Саратовской ГЭС и теперь намеревались начать внедрять повсеместно.

Вывод напрашивался сам собой: если предоставить им, «гидрикам», необходимые ресурсы, они «зальют» страну дешевой электроэнергией. Отец внимательно слушал докладчиков. Решение-то придется принимать ему, решение, определяющее будущее развитие страны на десятилетия.

Просидели два часа, достаточное время, чтобы убедиться, что с наскоку все громадье проблем не охватить, потребуется не два часа, а много больше. К тому же, несмотря на предупреждение не беспокоить, секретарь то и дело извинялся, просил взять трубку, стоявшей рядом с отцом «вертушки» — неотложные дела.

— Звонки никак не дают сосредоточиться, — посетовал отец, — суть ваших предложений я уловил, но одной сути недостаточно, я хочу разобраться досконально. Ведь то, что вы принесли, это второй план ГОЭЛРО: удвоение темпов развития

энергетики, создание единой энергетической системы страны, ее полная электрификация. Спешить не следует, я предлагаю еще раз собраться, и не в Москве. В следующем месяце я уезжаю в отпуск, давайте встретимся у меня на даче на Пицунде, в Абхазии, посидим день, два, три, сколько потребуется, а затем вынесем вопрос на заседание Президиума Совмина.

На том и порешили.

В Пицунду приглашенные прилетели 24 ноября. Министр строительства электростанций Игнатий Трофимович Новиков, его первый зам Петр Степанович Непорожний, а также начальник и главный инженер института «Гидроэнергопроект» Боровой, заместитель главного инженера института «Теплопроект» Жилин, главный инженер «Главэнергопроекта» Чупраков, главный конструктор Харьковского турбинного завода, создатель турбоблока мощностью 300 тысяч киловатт Шубин-Шубенко, еще один главный конструктор турбин Щеголев, главный инженер Ленинградского металлического завода Чернышев и другие. 25 ноября просидели, как предупреждал отец, полный рабочий день, восемь часов, наспорились вволю. Итог отец подвел уже по возвращении в Москву, в Доме Союзов, где утром 28 ноября он выступил на Всесоюзном совещании энергетиков: «Нет спора в том, что лучше. Хорошо и то, и другое. Гидроэлектростанции — лучше, если бы их строили быстрее. Можно было бы согласиться на преимущественное развитие гидроэлектростанций, если бы разрыв во времени, по сравнению с тепловыми, был не больше, положим, одного года. Но нельзя поступиться разрывом в сроках строительства в два-три раза. Что целесообразнее строить: гидростанции или тепловые станции? По-моему — это глупый спор. Все равно что спорить: как лучше кушать хлеб: с маслом или без масла? Если есть хлеб и есть масло, то лучше — с маслом».

Совещание в очередной раз «подвело черту» под спором «тепловиков» и «гидриков», каждый из них обживал свою нишу, и обживал весьма успешно. Вскоре к ним присоединятся еще и «атомщики».

В конце 1955 года, вслед за целиной, реорганизацией Военно-морского флота, пересмотром стратегии в области электроэнергетики, отец взялся за транспорт, вторгся в вотчину Кагановича. На первых порах осторожно. Специалисты-железнодорожники единодушно высказывались за тепловозы, паровозы давно себя исчерпали. По существу им никто не возражал, в нашей стране, как и во всем мире, тепловозы с электровозами проектировали и в сороковые годы, и в начале пятидесятых. Вот только в развитых странах, особенно в Америке,

тепловозы и электровозы к середине XX века практически вытеснили допотопные паровозы, а у нас их запускали в небольшие опытные серии, но дальше дело не шло. «Железный» сталинский нарком Каганович, который «сидел» на транспорте и до войны, и в войну, и после войны и слышать не желал ни о чем ином, кроме паровозов.

Оказалось, в тепловозо-паровозном споре и разбираться-то особенно не в чем, цифры говорили сами за себя: у паровоза коэффициент полезного действия 4–5, от силы 8 процентов, то есть более 90 процентов сжигаемого топлива выбрасывается на ветер, а у тепловоза — 30 и более процентов. О чем тут спорить?

Однако все уперлось в Кагановича. О наркоме Кагановиче ходили легенды. За свою долгую карьеру он успел поруководить не только транспортом, но и тяжелой промышленностью, добычей топлива и строительных материалов, материально-техническим снабжением, вопросами труда и заработной платы. Он брал горлом, нахрапом, отличался сталинской беспощадностью к людям, но обладал и дьявольским чутьем, позволявшим ему, в не столь далеком прошлом сапожнику, управляться и со сложной железнодорожной инфраструктурой, и с топливным балансом. Вместе с тем, уверовав во что-то, он стоял насмерть, своротить, переубедить его невозможно. Да и противоречить Кагановичу мало кто отваживался. А если кто и пытался, особенно в телефонном разговоре, то «доставалось» обычно трубке. В запале Каганович так швырял ее на письменный стол, что только осколки летели. И так несколько раз в день.

И если бы его жертвами оказывались только разбитые стекла и телефонные трубки… Проштрафившихся или просто не согласившихся с хозяином кабинета хозяйственников нередко прямиком отправляли на «перевоспитание» туда, откуда мало кто возвращался.

В 1955 году отец Кагановича не боялся, он занимал более высокую ступень в кремлевской иерархии. В таких обстоятельствах Каганович, в отличие от Молотова, никогда не спорил, соглашался, хотя сам и придерживался иного мнения. Но и отцу не хотелось с ним конфликтовать, слишком многое их связывало. Каганович привел отца в революцию, а потом, в 1930-е годы, — и во власть. Они столько проработали вместе. Но ставить личные симпатии выше интересов страны и дела он тоже не мог.

Отец решил действовать втайне от Кагановича, а потом поставить его перед фактом. В августе 1955 года он вызвал к себе Байбакова, недавно назначенного главой Госплана и поручил ему за месяц разработать программу реконструкции железнодорожного транспорта с переводом его в течение трех

пятилеток на тепловозную и электровозную тягу.

Байбаков прекрасно понимал, что паровозы — это прошлый век. Но Каганович?… Он прослужил у него в заместителях в Наркомате топливной промышленности не один год и хорошо изучил его характер. К тому же, в Президиуме ЦК и Совете Министров Каганович ведал топливом и транспортом. В позиции Кагановича Байбаков не сомневался. Не сомневался в ней и отец, и поэтому попросил, насколько удастся, скрыть от Кагановича подготовку программы, напрямую взаимодействовать с министром путей сообщения Борисом Павловичем Бещевым.

Вернувшись в Госплан, Байбаков, не теряя времени, пригласил к себе Бещева. Уговаривать его не пришлось, Бещев лучше кого-либо понимал, что паровозам давно пора на покой. Но Каганович?!

— Николай Константинович, а Никита Сергеевич говорил об этом с Лазарем Моисеевичем? — забеспокоился министр.

— В том то и штука, что нет, — отвечал Байбаков, — более того, он вообще просил держать всю затею в секрете от Кагановича.

— Но как провести разработку такого проекта втайне от Лазаря Моисеевича, если он в Совмине отвечает за весь транспорт? — Бещев перепугался не на шутку. — Нет, уволь меня, Николай Константинович, я за такое дело не возьмусь. Тебе-то ничего не будет, ты заместитель председателя правительства, а мне, когда Каганович узнает, несдобровать.

— Да не трусь ты, — уговаривал министра председатель Госплана, — ведь поручение исходит от самого Хрущева. Кроме того, дело-то большой государственной важности.

— Так-то оно так, — заколебался Бещев, но, видимо, представив себе разгневанного Кагановича, решительно закончил: — в таком деле я участвовать не стану.

Байбаков сочувствовал Бещеву. Он понимал, Каганович не просто заместитель Председателя Совета Министров, но и член Президиума ЦК, в отсутствие Хрущева он председательствует на заседаниях Президиума ЦК. Бещеву он «измены» не простит. Однако и не выполнить поручение Хрущева Байбаков не мог.

— Значит, дрейфишь? — пошел на компромисс Байбаков. — Тогда давай так договоримся: ты мне подготовишь все материалы, прикомандируешь к Госплану знающего надежного человека, а все остальное дело наших рук. Если Каганович узнает, притворишься, что ты ни при чем.

— Он что, дурак, Каганович? — возмутился Бещев. — Так он и поверит. Нет уж, уволь меня от такого дела. Считай, что мы не разговаривали, я вообще ничего не знаю, а вся эта затея —

инициатива Госплана.

— Ничего не поделаешь, — сдался Байбаков. — Ты только готовь для меня материалы, какие я попрошу, а остальное я возьму на себя.

Бещев кисло улыбнулся в ответ. Он очень неуютно чувствовал себя между двух жерновов: с одной стороны Хрущев, с его вполне своевременным и разумным поручением, с другой — Каганович…

Революцию на железных дорогах Советского Союза Госплан подготовил не за три, а за пять месяцев. С учетом всей сложности задачи, сроки рекордные. В начале 1956 года предстояло обсуждение программы на Президиуме ЦК. Каганович о готовящихся документах ничего не узнал. Бещев и его подчиненные молчаливо сочувствовали новому делу и совсем не горели желанием подводить Госплан, ну а госплановцы тем более не искали хлопот на свою голову. Секрет раскрылся только в январе 1956 года, когда Лазарь Моисеевич получил официальные документы к очередному заседанию Президиума ЦК. В кабинете Байбакова раздался звонок кремлевской «вертушки».

— Байбаков, ты представил в ЦК вредительский документ? — не поздоровавшись, заорал Каганович. — В случае войны противник первым делом уничтожит нефтепромыслы и электростанции, железные дороги остановятся, и мы погибнем.

Голос его звенел от негодования. Несколько лет тому назад Байбакову после такого разноса — одна дорога на Лубянку. Теперь уже Николай Константинович чувствовал себя в безопасности и даже попытался возражать.

— Лазарь Моисеевич, но ведь и паровозы нуждаются в топливе, а шахты можно разрушить так же, как и нефтепромыслы, — урезонивал он собеседника, — выгоды от перехода на новые виды тяги очевидные, развитые страны давно отказались от паровозов.

— Я был и буду категорически против этой затеи! Вы еще ответите! — не унимался Каганович, и тут же, чуть сбавив тон, поинтересовался. — А кто вообще поручил тебе такое?

— Первый секретарь, — ответил Байбаков, не назвав фамилии.

— Почему мне не доложил? — допытывался Каганович.

— Не хотел вас затруднять, — почти нагло ответил Байбаков.

— Все! Я буду против! — в телефонной трубке раздался громкий треск, и наступила полная тишина. Видимо, Каганович треснул трубкой об стол.

Часа через два Байбакову позвонил отец.

— Хороший документ вы представили, товарищ Байбаков, — в голосе отца проскальзывали смешинки, видимо, Каганович и

ему звонил. — Надеюсь, на завтрашнем Президиуме ЦК мы его утвердим. Только как следует подготовьтесь. Наверняка вам зададут немало вопросов.

Дальше отец начал интересоваться деталями. Перед тем как попрощаться, Байбаков рассказал о звонке Кагановича.

— Э-э, не обращайте внимания, — рассмеялся отец, — чего еще можно от него ожидать? Потому-то я просил все держать от него в секрете. Он развел бы склоку на всю Москву.

5 января 1956 года Президиум ЦК единогласно утвердил программу, Каганович не возражал, только посетовал, что его не привлекли к ее подготовке и вообще все до последнего дня держали от него в секрете. Но его причитания присутствовавшие пропустили мимо ушей, да и сам он в конце проголосовал «за». Лазарь Моисеевич всегда голосовал с теми, за кем сила.

Сейчас паровоз можно увидеть разве что в музее, да и то не во всяком. Их давно безжалостно пустили на металлолом.

Не только паровозная эпопея, но и другие инициативы отца сопровождались и жестким противостоянием и не менее занимательной интригой. К сожалению, многие детали происходившего в те годы остались за кадром. Свидетели событий почти не оставили воспоминаний. В архивах же сохранились сухие, до предела отжатые, параграфы Постановлений ЦК КПСС и СМ СССР да пояснительные записки к ним, вроде той, что в 1956 году писал Байбаков. Об остальном остается только гадать, а гадания в истории могут завести бог знает куда. Мы знаем только то, что знаем, и не более того.

Московские перекрестки

С улицы Грановского на дачу мы обычно ехали сначала по Арбату, потом по Бородинскому мосту на Большую Дорогомиловскую улицу, а дальше с Минского шоссе сворачивали направо на Рублевку. Дальше налево, на Успенское шоссе и по нему до деревни Усово. Вся дорога занимала полчаса — минут сорок. О кортежах с мигалками, машинами сопровождения, перекрытых магистралях тогда даже самые ретивые охранники и мечтать не смели. Предложи они подобное, отец бы только посмеялся. После Сталина мода на «террористов», якобы покушавшихся на советских вождей, прошла, сокращалась и охрана. Правда, не сразу и под нажимом.

Как-то летом по дороге на дачу отец обратил внимание на праздношатающихся вдоль шоссе молодых людей в одинаковых серых костюмчиках. С приближением машины, они поспешно укрывались в кустах. То, что это переодетые сотрудники КГБ,

охраняющие трассу, было очевидно самому неискушенному наблюдателю. Отец начал выговаривать Ивану Столярову: народные деньги следует экономить и не транжирить их почем зря. Столяров служил с отцом со времен Сталинграда. До Столярова у отца ходил в начальниках личной охраны другой офицер, человек с «проблемами». Регулярно, в каждый приезд с фронта в Москву, он имел обыкновение исчезать, попросту запивал. Когда приходила пора возвращаться, отец обзванивал его родных и знакомых, искал своего охранника по всему городу. Он даже шутил, что перестал понимать, кто кого охраняет. К осени 1942 года ему все это надоело. Отец попросил Власика, тот ведал охраной Сталина, а заодно приглядывал и за членами Политбюро, подобрать ему нового начальника охраны. Так рядом с отцом появился подполковник Иван Михайлович Столяров, человек тоже пьющий, но при этом цепкий, не отставивший от отца ни на шаг. Столяров прошагал за отцом всю войну, с небольшим перерывом на лечение в госпитале в 1943 году. Тогда, на Курской дуге неподалеку от них разорвалась сброшенная с юнкерса бомба. Отца судьба миловала, а плюхнувшийся рядом с ним в канаву Столяров получил осколок в ногу. С тех пор он хромал, быстро уставал, но службу не бросал.

Столяров передал по инстанции недовольство отца «праздношатающимися» вдоль трассы молодыми людьми, присовокупив от себя, что «сам» настроен решительно: или их следует убрать, или пусть хотя бы не мозолят глаза. Начальники выбрали второе, но «не мозолить глаза» оказалось непросто. Раций, из-за их громоздкости, в те годы на себе не носили, для поддержания оперативной связи вдоль шоссе понатыкали в кустах зеленые «столбики» с упрятанными в них телефонами. Дежурному из центра вменялось в обязанности предупреждать «топтунов», что охраняемый выехал. Но инструкция предписывала последним не торчать у телефона, а, «не привлекая внимания», фланировать вдоль «своего» участка шоссе. Столбики стояли не густо, один на два-три километра, пока до него добежишь, если вообще услышишь негромкий, в целях конспирации, звонок. «Конспирация» не сработала, и отец реализовал свою угрозу, приказал урезать финансирование КГБ и сократить штаты управления охраны.

«Мальчики» исчезли, а зеленые столбики с телефонами остались. Я тогда любил, в одиночку или с приятелями, прокатиться по «Успенке» на тяжелых, еще трофейных, немецких велосипедах. Машины встречались редко, шоссе обрамлял нетронутый, изобиловавший земляникой и грибами лес. Сделав привал, мы отправлялись по ягоды и, наткнувшись на зеленый

столбик, не раз пытались отковырнуть металлическую дверцу, но безрезультатно, замки не поддавались.

Столбики простояли без дела до 1964 года, до отставки отца. Затем, постепенно, на обочинах шоссе вновь появились «мальчики», сотрудники внешней охраны с портативными радиотелефонами на плече. Они не таились, получив сигнал, споро перекрывали движение, чтобы пропустить правительственный кортеж.

Правительственные кортежи — тоже нововведение. Отца сопровождала одна машина с тремя охранниками, а милиционеры на перекрестках переключали светофоры на зеленый свет, лишь заслышав характерные покрякивания «правительственных» спецсигналов. Их устанавливали не под капотом, а на бамперах, перед радиатором. Эти открывавшие зеленую улицу сигналы, предмет зависти немногочисленных в то время московских автолюбителей, прозвали «коками» — то ли за издаваемый квакающий звук, а может, за форму. Сидевший на массивном круглом хромированном «яйце» длинный, тоже хромированный раструб вызывал определенные ассоциации.

По московским улицам оснащенные «коками» машины перемещались без задержки, но на Рублевском шоссе там, где сейчас станция метро «Молодежная», перед шлагбаумом, перекрывавшим Минскую железную дорогу, даже «коки» оказывались бессильными. Поезда тогда ходили значительно реже, чем сейчас, но все равно достаточно часто, чтобы длинная автомобильная очередь не успевала рассосаться за время, пока железная труба шлагбаума смотрела в небо. Стоило мигнуть красному глазу фонаря, как дежурный выходил из будки, дудел в рожок и начинал крутить ручку механизма опускавшего шлагбаум. Не повезло — жди: неважно, лимузин ты с «коками» или просто грузовик. К длительным заторам все, включая отца, давно притерпелись.

Все изменилось в одно из летних воскресений 1955 года. Отец, как всегда проводил его на даче в Огарево. В тот день, расправившись с обычной порцией бумаг, он отправился в гости к своим былым сослуживцам по Московскому комитету, в дом отдыха в Ильинском, что у моста через Москву-реку. Потом там построили модный в шестидесятые и более поздние годы ресторан «Русская изба».

К «москвичам» отец наведывался регулярно. В хорошую погоду обычно приплывал на лодке. Сам он садился на весла, мама с сестрами размещались на скамейках «для пассажиров», я же «рулил» на корме. Сзади, на отдалении следовала лодка с охраной. Отец не любил, чтобы они «садились на хвост».

Причалив в Ильинском, отец по зеленой деревянной лестнице легко взбегал на обрывистый левый берег и призывно кричал: «Есть тут кто живой?» Кто-либо «живой» откликался. К визитам отца там давно привыкли. И вот уже по дорожкам Ильинского парка гуляет целая ватага. В середине отец, рядом Капитонов, Фурцева, Гришин, Третьякова, Волков и другие московские начальники с семьями и домочадцами.

Во время прогулки отец начинал обсуждение на тот момент волновавшей его проблемы, или, наоборот, москвичи спешили «подсунуть» ему свои. Так прогуливались час-полтора. Затем наступало обеденное время. Отец демонстративно доставал из брючного карманчика часы, произносил: «Пора и честь знать» и решительно направлялся к лодкам. В гостях он обедал редко, сидеть за столом придется долго, не только есть, но и выпивать, выслушивать многочисленные тосты. Все это, по его мнению, пустое времяпрепровождение.

В тот день отец вспомнил о заторах на переезде и заговорил о строительстве моста над железной дорогой. Мне его затея не понравилась: вот барин нашелся, не может, как все, постоять перед шлагбаумом. Отец, как бы прочитав мои мысли, стал рассуждать, сколько рабочих часов и дней в таких простоях тратят шоферы. Никто у нас этого не считает, а подсчитать бы стоило. «Москвичи» с ним соглашались, но как-то кисло, без энтузиазма.

Вскоре началось строительство двух первых в Советском Союзе путепроводов из сборного железобетона (за этим отец следил особо) на Открытом и на нашем, Рублевском шоссе. На время строительства заторы у переезда еще больше увеличились. Через два года над железнодорожными путями проложили мост и вскоре никто и представить себе не мог, что раньше все обстояло иначе.

Не припомню, в тот же раз или в какой другой, лодочные прогулки в Ильинское отец совершал довольно часто, и они слились в моей памяти воедино, отец заговорил, по моему тогдашнему мнению, на абсолютно нежизненную тему: движение на московских улицах год от года растет, автомобильные пробки на перекрестках, особенно через Садовое кольцо, становятся все длиннее, если не принять меры уже сегодня, то завтра они превратятся в серьезную проблему. Отец предложил под перекрестками прорыть автомобильные туннели, а в особо людных местах соорудить под проезжей частью подземные пешеходные переходы. Я слушал отца с изумлением — какие еще переходы с туннелями? Мне стало просто стыдно за него. «Москвичи» напряженно молчали, не возражали и не поддержали

отца. Ощутив холодок, отец не настаивал, сказал, что надо подумать, посчитать. При новой встрече он вспомнил о транспортных развязках, спросил, что «москвичи» насчитали. В ответ — молчание, они не восприняли слова отца всерьез, решили: сказал и забыл. Но он не забыл и теперь уже настойчиво потребовал представить ему расчеты. Расчеты представили, но дело не двигалось. Городские власти отцовскую затею с подземными переходами и туннелями посчитали «никчемной» и, как могли, ее саботировали. Отец настоял на своем. Первые пешеходные переходы под Кутузовским проспектом, улицей Горького и проспектом Мира начали проектировать, если мне не изменяет память, сразу после Московского международного молодежного фестиваля 1957 года, а сдали их в эксплуатацию в 1959 году, то ли к Майским, то ли к Октябрьским праздникам. Поначалу люди спускались под землю неохотно, норовили, не тратя времени зря, привычно перескочить улицу по верху. Потом привыкли.

Транспортные развязки, под и над московскими перекрестками, вошли в строй в 1964 году, уже после отца.

Пешеходов и автомобили отец загонял под землю, а вот метро, наоборот, решил вывести на поверхность. В новых, еще только проектируемых московских районах, где все пока в руках архитектора, он предложил прокладывать его не под землей, а по земле. Только на подходе к центру метропоезда ныряли бы под землю и так, без пересадки, доставляли пассажиров, куда им хочется, хоть к самому Кремлю. Получалось дешевле и проще. И эта задумка отца натолкнулась на глухое сопротивление городских властей: метро — транспорт современный, а тут какой-то полутрамвай получается.

Главный аргумент противников наземного метро — оно «съедает» слишком много, пусть пока и свободного, но дефицитного пространства. Отец с ними не спорил, посчитал, что «каждому овощу свое время». Пару десятилетий, а то и более, наземное метро послужит на окраинах. Со временем, если город разрастется, он считал, что рост Москвы следует сдерживать, а лучше и вовсе остановить, то будущие поколения, по мере возрастания плотности застройки, начнут убирать метро под землю, и оно вынырнет из-под нее уже где-то в дальнем Подмосковье.

Отец, наверное, удивился бы, узнав, что ничего нового он не придумал. Подземно-наземное метро начали строить в Лондоне еще в начале XX века, когда город бурно рос. Новая «комбинированная» подземка, по мнению английских историков, в считанные десятилетия изменила лицо города, сбила его в

единый организм мегаполиса. Сходные обстоятельства, сходные проблемы, вот и пути разрешения тоже сходны.

Возражали отцу и сторонники сталинской концепции метро-бомбоубежища. Сталин после войны старался загнать метро не просто под землю, а закопать его как можно глубже. Там в случае атомной атаки укроются москвичи. До конца своих дней Сталин не забывал, как он в начале войны, спасаясь от немецких бомбежек коротал дни и ночи под землей на сорокаметровой глубине, в построенном в 1934–1937 годах специальном бункере, по соседству со станцией метро «Кировская», на традиционных ежегодных торжественных заседаниях 6 ноября выступал не в Большом театре, а на станции метро «Маяковская». В последние годы своей жизни Сталин даже приказал с этой целью прокопать дублирующую, глубокую линию метро от центра к Киевскому вокзалу, с точки зрения транспорта — бесполезную.

Сталин думал о войне, отец — о мире. Он считал, что в случае ядерной атаки никакое метро не спасет, а в мирной жизни несколько лишних десятков километров путей москвичам совсем не лишние.

Метростроители поворчали и начали прокладывать наземные линии сначала в продолжение «старой» мелкой Киевской ветки, а затем и в других направлениях.

После отставки отца наземное метро, как многие другие его начинания, признали проявлением «волюнтаризма» и снова стали загонять метропоезда под землю.

Прошло еще полвека, и в начале XXI столетия московские власти, экономя ресурсы, выдвинули «лужковскую» концепцию «легкого метро», а по сути, реанимировали старую «хрущевскую» идею наземно-подземного городского транспорта. Правда, изобретатели «легкого метро» об отце не вспомнили.

Московская окружная

Примерно тогда же, в 1955 году, а возможно, и чуть раньше, зашла речь об окружной дороге вокруг Москвы. Транзитные грузовики загромождали, загазовывали улицы города, требовалось как-то решить эту проблему. К тому времени имелись две дальние окружные, специального назначения, предназначенные для обслуживания московской ПВО, новой ракетной противосамолетной системы «Беркут». Отец и Маленков недавно побывали на строящихся стартовых позициях. Дороги эти считали секретными, закрытыми для обычного транспорта, да и расположены они слишком далеко, даже первая в пятидесяти километрах от Москвы, объезд города по ней влетит

транспортникам в копеечку. Отец вспомнил, что еще до войны, в его первый московский период, они обсуждали возможность строительства кольцевой автодороги, даже начали какие-то изыскания, но потом он уехал в Киев, а в войну стало не до дороги.

Здесь уместно небольшое отступление. Когда я говорю о предложениях отца, это еще не означает, что он претендует на авторский приоритет. Он не изобретатель, а глава государства. Собственную находку он мог «подарить» кому угодно, так же, как с энтузиазмом проталкивать чужое «разумное» предложение. Я рассказываю об отце, о том, что знаю и слышал от него. Поэтому, если найдется кто-то, претендующий на приоритет, ко мне обращаться не по адресу. Тем более это касается окружной дороги, о ее необходимости говорили многие, но потребовался Хрущев, его воля и настойчивость, чтобы идея реализовалась.

Московскую окружную автодорогу строили шесть лет, с 1956 по 1962 год, сто девять километров бетонного, почти полуметровой толщины фундамента с асфальтовым покрытием шириной в две полосы в каждом направлении и четырехметровой разделительной зоной.

О таких дорогах в то время у нас и не мечтали. На привычных узеньких шоссейках, в том числе показательных Минском и Симферопольском шоссе, грузовики и легковушки выстраивались в бесконечную очередь. Из-под колес впереди идущих машин в лобовые стекла следовавших за ними летели ошметки грязи. Стеклоочистители не помогали, приходилось останавливаться, протирать стекло мокрой тряпкой, снова занимать место в очереди и постоянно ловить момент, когда удастся обогнать впереди идущий самосвал, и… оказаться позади точно такого же. И так без конца. А тут две полосы, обгоняй, когда хочешь и кого хочешь, а по обочинам — специальные ребристые «трещотки», наедешь колесом, не то что спящего, мертвого разбудят. Я однажды испытал их воздействие на себе. Уже после смерти отца, я поехал навестить маму, она тогда жила в поселке Жуковка под Москвой. Всю предыдущую ночь я провел за рулем, возвращался из отпуска с Украины. Проснулся я от того, что машину затрясло, не раздумывая, ударил по тормозам и только тогда понял: меня вынесло на обочину. Если бы не трещотка, не писать бы мне этих воспоминаний.

Летом 1962 года, незадолго до окончания строительства (кольцевая автодорога официально вступила в строй 6 ноября), отец в выходной поехал посмотреть, что же получилось. Я, естественно, увязался за ним. Ехали мы недалеко, к повороту с Рублевки на Успенское шоссе, благо дорога окружная, из любой

точки Подмосковья до нее рукой подать. Отец с удовлетворением разглядывал сплошное толстенное бетонное основание дороги, покрытое корочкой асфальта. Как она отличалась от привычных нам «дорог»: песчаная насыпь, по ней слой гравия и асфальт. Через год такая дорога покрывалась буграми, а через пять — приходилось все переделывать заново. Окружная дорога, казалось, сделана на века. Строители рассказывали отцу о примененных ими новшествах: струнно-бетонной подушке на песчаном основании и, что очень важно, без штырей в швах сжатия. В отличие от отца я не очень понял эти слова, но уловил их значимость. Опытом строительства Кольцевой дороги потом пользовались при прокладке скоростных магистралей по всей стране. Отец удовлетворенно кивал, он остался доволен и дорогой, и ее строителями.

Насыпь по краям окружной дороги не ограничивалась привычными обочинами. Ее сделали настолько широкой, что слева и справа казалось, можно проложить еще по такой же дороге. На обратном пути я поинтересовался: «К чему такое расточительство?» Отец пояснил: «Это он попросил строителей насыпать фундамент дороги с запасом, вышло чуть дороже, но когда-то в будущем дорогу придется расширять, а насыпь требует не только труда, но и времени, песок должен улежаться». Вот они и позаботились о будущем. Мне тогда показалась такая забота излишней. Когда еще понадобится расширять и без того широченную окружную дорогу? Понадобилось через тридцать лет, в 1990-е годы. С каждой стороны к окружной добавили по две полосы, ровно столько, сколько тогда заложили впрок. Об отце, естественно, и здесь, не вспомнили.

Крымский троллейбус

Еще одна «дорожная» затея отца: троллейбусы в Крыму — маршрут от Симферополя до Ялты, на Южный берег. До середины 50-х годов они соединялись проложенной еще при светлейшем князе Потемкине петляющей по расщелинам между горами дорогой. О впечатлениях от путешествий по ней можно прочитать у Льва Толстого или у Чехова. За полтора века изменилось немногое, ездили не на перекладных, а на автобусах, да еще дорогу залили гудроном, вязкой черной нефтяной смолой, перемешанной с гравием, мелкими камешками, вылетающими из-под колес грузовиков. В остальном — все то же самое: многочасовые мучения многочисленных курортников, добиравшихся от железнодорожного вокзала или аэропорта до своих санаториев, с теми же частыми остановками, укачиванием

и всеми остальными сопутствующими «прелестями». Правда, остановки теперь делались не для того, чтобы покормить выбившихся из сил за время подъема на перевал лошадей, шоферы остужали закипавшую в радиаторах воду.

После войны до Южного берега можно было проехать либо прямиком через гору Ай-Петри, либо в объезд по более пологой, но не менее извилистой дороге через Алушту, мимо памятника победителю Наполеона фельдмаршалу Кутузову — здесь неподалеку его ранили в бою с турками, и он потерял один глаз. До войны существовал еще и третий, самый длинный, самый красивый, правда, и самый опасный путь — через Севастополь и Байдарские Ворота, по кручам нависающих над морем Крымских гор. После войны эту дорогу для курортников закрыли. В Балаклаве, по приказу Сталина, вырубали в скале циклопическую пещеру, подземную стоянку для подводных лодок.

Дорога от Симферополя до Ялты занимала в среднем часов пять, а если попадался лихой водитель, чуть меньше. Но «лихость» большинству пассажиров обходилась дорого, на крутых горных поворотах, да при изрядной скорости, автобус «мотало», как рыбацкий бот в черноморский октябрьский шторм. Отец не раз проделывал это путешествие, правда, он, в отличие от меня, морской болезнью не страдал.

Однажды осенью, вернувшись из отпуска в Москву, не помню уже в каком году, отец предложил спрямить Алуштинское шоссе, да так, чтобы по нему смог ходить троллейбус от Симферополя, вдоль всех курортов до самой Ялты.

Мне его новая затея показалась еще более «барской» и нелепой, чем московские подземные переходы и развязки: троллейбусы предназначены для больших городов, а тут придется не просто тянуть провода вдоль почти стокилометровой горной трассы, но и вдоль всего пути устанавливать тяговые электрические подстанции. И все это ради отдыхающих? Так думал не я один. Противников у его затеи нашлось немало, и у каждого свои доводы. Я помню, как Полянский, в недавнем прошлом секретарь Крымского обкома (отец к нему благоволил и всячески его продвигал), на полном серьезе доказывал, что дорожные испытания идут отдыхающим на пользу: как приятно, преодолев горный серпантин, остановиться на перевале, вдохнуть свежий солоноватый воздух и полюбоваться на поблескивающее солнечными бликами море. Переубедить отца ему не удалось, он считал, что морем еще приятнее любоваться из окна плавно движущегося по шоссе троллейбуса.

Отец настоял на своем. Крымскую дорогу расширили, спрямили, в 1959 году пустили троллейбус. Прошли годы, и

теперь широкое и удобное шоссе стало обыденным, кажется, что оно тут со времен самого Потемкина Таврического. О былых неудобствах справедливо забыли — так же, как забыли и об отце.

Незапатентованные изобретения

Из моего рассказа может сложиться впечатление, что отец занимался делами походя, во время воскресных прогулок или на пляже. Разумеется, это не так. Делами он занимался, как это и положено, в своем цековском кабинете на Старой площади или в Кремле, вот только я там не присутствовал. До меня доходили лишь воскресные, «послеработные» отзвуки активности отца, отзвуки происходивших на кремлевских совещаниях обсуждений, порой споров. Если они задевали отца за живое — а все, что касалось интересов страны и людей, его задевало за живое, — он продолжал и дома подыскивать новые «неотразимые» аргументы, искал сопереживания у окружающих.

Иногда отцу приходили новые идеи и не по его, как он считал, «епархии», конечно, не отвлеченные, а в русле беспокоивших общегосударственных забот. Во второй половине 1950-х начали поступать на вооружение баллистические ракеты, сначала средней дальности конструкции Михаила Кузьмича Янгеля, а затем и межконтинентальные Сергея Павловича Королева. Они представляли собой грозное оружие, но уничтожить их самих особого труда не представляло. Взрыв, и не обязательно атомный, в районе стартовой позиции превращал их хрупкие корпуса в металлолом. Отцу пришло в голову упрятать баллистические ракеты под землю, засунуть их в вертикальные шахты. Своими мыслями он поделился с Королевым, Янгелем и разработчиком стартового хозяйства Василием Павловичем Барминым. Беседовали они летом в Крыму. Конструкторы отдыхали по соседству от госдачи отца в санатории «Нижняя Ореанда», и он пригласил их «позагорать» на нашем пляже. Идею отца конструкторы отвергли как нереализуемую, и он долго о ракетных шахтах не вспоминал, пока я не показал ему информацию об американских подземных защищенных укрытиях для ракет, точь-в-точь таких, какие он предлагал Королеву и Янгелю. После американцев «технически обоснованные возражения» отпали, подземные стартовые позиции стали в ракетных войсках общепринятыми. Сейчас даже неудобно упоминать, что первым у нас предложил их Хрущев, а главный конструктор стартовых комплексов Бармин выступил против.

Другой пример. В 1959 году при обсуждении флотских дел в Севастополе отцу пришла в голову идея «скрестить» подводную

лодку с ракетным катером на подводных крыльях. Он сможет долго скрытно караулить под водой врага у своих берегов, всплыть, сблизиться с противником на большой, катерной скорости и атаковать его крылатыми ракетами. Присутствовавшие на заседании тут же накидали возражений: подводная засада требовала прочного и тяжелого «лодочного» корпуса, а лихая катерная атака — наоборот его облегчения. И тем не менее, мой начальник, ракетчик Владимир Николаевич Челомей, его постоянный партнер конструктор подводных лодок Павел Петрович Пустынцев и разработчик «крылатых» катеров Ростислав Евгеньевич Алексеев вызвались проработать «изобретение» отца. Крылатая ракета получилась удачной, назвали ее П-25, а подводный катер не вытанцовывался.

Время шло. Береговые ракетные крылатые комплексы научились находить и топить корабли на расстоянии в сотни километров. Нужда в «подводных катерах», решавших ту же задачу, отпала. Работа над «изобретением» отца заглохла. В начале XXI века в одном из профессиональных журналов мне попалась статья, обсуждавшая перспективность гибрида ракетного катера и подводной лодки. Не знаю, что из этого получится на сей раз.

Сталинская Ливадия

В октябре 1955 года отец отдыхал в Крыму, неподалеку от Ялты, на недавно построенной у самой кромки пляжа государственной даче № 1. Над ней, на высокой горе, рядом с дорогой, стоял Ливадийский царский дворец. Это поместье царь Александр II купил у графа Потоцкого, кажется, в 1862 году. Его сын, Александр III, построил там дворец, в нем он и умер. Дворец отошел Николаю II. Он считался не имперско-российской, а личной собственностью Романовых. Дворец показался Николаю II недостаточно престижным. Как известно, Александр III тратиться на себя не любил, даже мундир носил штопаный-перештопаный. На месте старого дворца, по проекту архитектора Николая Краснова, в 1910–1911 годах построили новый белокаменный Большой Ливадийский дворец. После революции его объявили общенародным достоянием и устроили в нем санаторий. По окончании Второй мировой войны Сталин дворец «приватизировал», превратил его в свою дачу, а своих ближайших сподвижников одарил соседними крымскими имениями. Воронцовский дворец в Алупке отошел Молотову, Юсуповский, если не ошибаюсь, Кагановичу. Они получили статус госдач, но не анонимных, а именных.

После нашего переезда из Киева в Москву Сталин благоволил отцу. Благоволил демонстративно. Так, летом 1950 года он предложил ему отправить нас — маму с детьми, отдыхать на его, сталинскую, дачу в Крым, в Ливадию. Такого благорасположения ни до, ни после не были удостоены ни Маленковы, ни Молотовы, ни Берии. Отец тогда почему-то поехать в отпуск не мог.

Дело было, видимо, в июле, только что началась война в Корее, и я страстно болел за «наших», ежедневно, до самого отъезда приставал к отцу с расспросами. Удовлетворяя мое любопытство, он дал мне карту Кореи с нанесенной на ней красным карандашом линией фронта. Она окружала тесным кольцом порт Пусан, на самом южном кончике полуострова.

Черное море я увидел второй раз в жизни. До войны, году в сороковом или тридцать девятом, мы ездили с мамой в Сочи. Запомнилось от тех времен немного: как мы сидели на небольшой терраске санатория, ожидая, когда солнышко «пойдет купаться в море», сочившиеся сладким соком вкуснющие груши «Дюшес», их рвали в соседнем саду с низеньких деревцев, да еще поразивший мое воображение диковинный круглый зеленый, пупыристый плод, величиной с теннисный мяч, но несъедобный. Теперь же я, уже «взрослый», пятнадцатилетний, упивался южными прелестями: прозрачностью неба, вечерними запахами остывающих от дневного зноя гор и раскрывающихся на цветочных грядках звездочек душистого табака. Над ними деловито парили бабочки-бражники, вверху в вечернем закате метались летучие мыши. И, конечно, море, тысячу раз описанное, ласково-прозрачное море.

Приземистый белокаменный построенный из известняка бывший царский дворец предназначался только для самого «хозяина», всех остальных, как и при царе, селили по соседству, в облицованном гранитом трехэтажном квартирном доме, свитском корпусе. В одной из его квартир, по-свитски шикарной, разместили и нас.

Жилье мне не запомнилось. Стандартная «правительственная» квартира, обставленная стандартной мебелью, мало отличалась от той, в которой мы жили в Москве. Вся наша жизнь сосредоточилась вокруг расположившихся довольно далеко внизу моря и пляжа. Пешком по крутой, обрывистой тропке бежать минут двадцать, а назад взбираться добрый час. Нас возили на пляж на машине, американском джипе-виллисе. В гараже дачи скучали разные автомобили, вплоть до паккардов, но и «хозяин», который отдыхал здесь лишь однажды, на пляж предпочитал ездить на виллисе. Его «гостей», естественно, тоже возили на виллисах.

Пляж огромный, пустынный, отгороженный от окружающего мира рядами колючей проволоки. В отдалении, за разделительной полосой располагался общедоступный, «дикий», пляж. В первые дни стоял штиль, и меня поразило обилие беловато-прозрачных желеобразных медуз у кромки воды, вперемешку с очень похожими на них, тоже беловатыми, длинными баллончиками, — использованными презервативами. Неподалеку от сталинского пляжа в море выходила ялтинская канализационная труба, и при «благоприятном» ветре ее выбросы подолгу болтались у кромки пляжа. Тогда на это никто не обращал внимания: ни охрана, ни кремлевские медики, ни санэпидемстанция. Жизнь есть жизнь.

На площадке, чуть повыше пляжа, стоял небольшой дощатый окрашенный в голубой цвет душевой павильончик. С моря он выглядел абсолютно мирным и безобидным, в Ялте в них торговали всякой всячиной. Пляж с моря не охраняли, и веселые лодки с ничего не подозревавшими парочками нередко подплывали к берегу, рассчитывая найти в голубой будке продавца газированной воды или мороженого. «Охота» на отдыхающих стала любимым развлечением пребывающих в безделье офицеров охраны. По всем правилам игры они не обнаруживали себя раньше времени, и только когда облаченные в купальники и плавки жертвы, вытащив свои лодки на покрывавшую берег гальку, направлялись к павильончику, у них на пути возникал одетый по полной форме лейтенант и требовал документы. Документов не оказывалось, мало кто, отправляясь на пляж, берет с собой паспорт. Охранник тут же, по телефону, спрятанному в кустах в металлическом ящике, докладывал дежурному о «происшествии». Примерно через полчаса на виллисе приезжал старший по смене, обычно в майорском чине и в сопровождении пары помощников. Начиналось выяснение обстоятельств проникновения нарушителей на «объект». Причем, какой объект, естественно, им не говорили. Незадачливых любителей мороженого охватывал ужас, времена стояли «сталинские», и за проникновение на запретную территорию карали жестко. Наразвлекавшись, охранники грузили полуголых беспаспортных «нарушителей» в открытый виллис и в таком виде (тогда появление городе в купальнике считалось верхом неприличия) отвозили в ялтинскую милицию. На этом приключение заканчивалось, все затевалось ради этой поездки по городу. В милиции вновь требовали отсутствующие документы, за ними приходилось в плавках и купальнике идти через весь город, теперь уже в сопровождении милиционера, который выбирал улицы полюднее. Документы оказывались в порядке, и

«нарушителей» отпускали с миром. Теперь им предстояло путешествие снова через весь город уже без сопровождения на пляж за одеждой и выяснение отношений с лодочной станцией. Лодки с «объекта» возвращали не сразу, перевернутые вверх днищем, они подолгу лежали у душевого павильона.

Ливадийская дача после войны почти все время пустовала, Сталин предпочитал отдыхать в Сочи. Наше появление охранники восприняли тоже как развлечение и, как умели, проявляли гостеприимство. Когда я по неопытности перегрелся на солнце, комендант дачи своей властью перевел меня на несколько дней в сталинский дворец, там было прохладнее. Придя в себя, я бродил по царским покоям, сидел за столом, где проходила Ялтинская конференция четырех державсоюзников, болтал босыми пятками в мраморных фонтанчиках во внутреннем дворике. За этим занятием меня застал комендант и, заключив, что я уже поправился, отправил «домой», в свитский корпус.

Так случилось, что в то же лето Сталин отправил отдыхать в Ливадию и свою дочь Светлану с ее новым мужем Юрием Ждановым. Они, как и мы, жили в свитском корпусе, но в соседнем подъезде. С ними мы практически не общались, подойти первыми не решались, а Светлана с Юрой не проявляли к нам никакого интереса. На пляже нас тоже разместили на значительном отдалении друг от друга. Встречались мы только на волейбольной площадке. В волейбол на госдачах играли регулярно, все вместе: охраняемые вперемешку с охраной. Играли и в Ливадии. Светлана с Юрой приходили нечасто, а отыграв, тут же удалялись к себе. Так мы с ними и не познакомились.

Теперь Сталин умер. Отец провел решение Президиума ЦК о возвращении Ливадийского, Воронцовского и Юсуповского дворцов народу. В них снова попытались устроить дома отдыха, но ни планировка, но ни драгоценная деревянная облицовка стен, ни старинная мебель, ни парковые скульптуры не отвечали такому их предназначению. Профсоюзы, в чье распоряжение попали дворцы, просили избавить их от обузы. Дворцы-санатории преобразовали в музеи.

Взамен дворцов, внизу под Ливадийским дворцом, у самого пляжа, построили две совершенно одинаковые, весьма скромные как по царским, так и по нынешним меркам, двухэтажные, облицованные белым песчаником, госдачи № 1 и № 2.

В 1955 году отец с мамой и моей сестрой Радой заняли дачу № 1. Я, студент-третьекурсник, поехать с ними из-за занятий не мог. В соседнюю дачу № 2 вселился Микоян с женой Ашхен Лазаревной. Отец с Микояном ежедневно гуляли по так называемой царской тропе — пешеходной дорожке, проложенной

для Николая Второго его двоюродным дядей Александром Михайловичем по территории принадлежавшего ему имения Ай-Тодор, простиравшегося от Ливадии почти до Мисхора, а затем устраивались под полотняным грибком на пляже, читали документы, каждый из своей папки, о чем-то разговаривали. Они хорошо понимали друг друга и находили удовольствие в общении. Тон обычно задавал отец, Микоян поддакивал, изредка сомневался. В результате такой, как говорил отец «вольной» беседы, рождались записки, рассылавшиеся другим членам Президиума ЦК. Разделавшись с делами, они вместе обедали, после обеда вместе принимали посетителей, чаще всего чиновников, приезжавших из Москвы с пухлыми от бумаг чемоданами. Отпуск — любимое отцом время для обсуждения серьезных проблем, здесь не так заедает каждодневная рутина.

Росуэлл Гарст — фермер из Америки

6 октября отец с Микояном ожидали необычного гостя — Росуэлла Гарста, американского фермера-миллионера из штата Айова. В те годы иностранные визитеры еще не примелькались, отец с ними встречался с удовольствием, выпытывал, как жизнь устроена в их столь отличном от нашего мире.

История появления Гарста на советском горизонте заслуживает специального рас сказа.

Все началось в январе 1955 года с Пленума ЦК, где, как я уже говорил, шла речь о животноводстве, а следовательно, о кормах. В своем докладе отец не раз ставил в пример американцев: они ведут дела куда успешнее нас, а потому и за мясом у них очереди не выстраиваются.

Похвалы в свой адрес из уст главного советского коммуниста американцы никак не ожидали. 8 февраля изложение доклада отца напечатала «Нью-Йорк Таймс», самая влиятельная газета Америки. На следующий день публикация появилась в большинстве местных газет, в том числе и в «Де Мойн Режистер», выходившей в штате Айова. На этом бы все и закончилось, мало ли что пишут в газетах, если бы не главный редактор газеты Лоуренс Сотц. Еще через день, комментируя выступление отца в статье под заголовком: «Если русские хотят иметь больше мяса…», он не просто «разоблачал коммунистическую пропаганду», на что тоже никто бы внимания не обратил, а предложил, вместо того чтобы тратить миллиарды на гонку вооружений, посоревноваться на фермерских и колхозных полях, победитель докажет преимущество своей системы, мирно высевая в землю кукурузные и пшеничные зерна, а не корежа ее взрывами

сверхмощных бомб. Со своей стороны, редактор пригласил советских аграриев в гости в Айову, пообещал им теплый прием и заверил, что айовцы без утайки поделятся сельскохозяйственными секретами.

Такая статья в 1955 году, да еще опубликованная в американской консервативной глубинке, требовала от издателя немало мужества. В то время для большинства жителей США Советский Союз не только представлялся «империей зла», но подлежал уничтожению. Больше половины населения страны приветствовали бы немедленную ядерную атаку на СССР. Но мистер Сотц показал себя не только мужественным человеком, но и дальновидным политиком. Рассчитывал ли он, что его послание дойдет до Хрущева, или это был просто журналистский прием, сейчас сказать невозможно.

Отец прочитал перевод его статьи уже на следующий день. Служившие в советском посольстве разведчики выписывали все местные издания, вылавливали из них крупицы полезной информации. Наиболее интересный материал отсылали в Москву. Так же поступало и американское посольство в Советском Союзе. Правда, менее успешно. КГБ внимательно отслеживало их подписку на местную печать, особенно, на районные газеты, из которых легче всего почерпнуть столь ценимые профессионалами подробности.

Отец решил откликнуться на приглашение «Де Мойн Режистер». В июле 1955 года в Айову отбыла делегация советских ученых-аграриев во главе с исполняющим обязанности министра Владимиром Владимировичем Мацкевичем. По возвращении им предстояло детально доложить отцу, в чем секрет американских сельскохозяйственных успехов.

Жители Айовы встретили Мацкевича и его группу радушно, без устали возили по полям, показывали всё, снабдили целым ворохом литературы. Особое впечатление на Мацкевича произвела семейная ферма, расположенная неподалеку от городка Кун Рапидс. Хозяйствовал там немолодой кряжистый фермер Росуэлл Гарст, помогали ему сыновья, тоже, казалось бы, созданные для нелегкого труда на земле. Выращенной на ферме кукурузой они откармливали свиней и бычков. Кроме того, Гарсты вместе со своим компаньоном Джоном Кристаллом занимались селекцией кукурузы, торговали семенами по всей Айове.

По случайному ли совпадению, но весной 1955 года пришло аналогичное приглашение и от редактора английской газеты «Ньюс Кроникл» мистера Кэртиса. Отец пошутил тогда: вот что значит конкуренция, и предложил послать в Великобританию еще

одну сельскохозяйственную делегацию во главе с министром совхозов СССР Иваном Александровичем Бенедиктовым.

Англичане продемонстрировали свое не менее теплое английское гостеприимство. Бенедиктова принимал министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Д. Хиткот-Эмери. Все прошло по высшему разряду. Бенедиктов и его спутники посетили фермы, где выращивали привычные россиянам озимую пшеницу, ячмень, овес. В Шотландии им показали завод, где из отборного ячменя гнали знаменитое шотландское виски, подарили по бутылке своей продукции с фирменной маркой: двумя кошечками — белой и черной. Продемонстрировали им стада знаменитых джерсийских коров. Кукурузу английские фермеры не выращивали и коров в стойлах не держали, стада круглый год паслись без пастухов под присмотром шотландских овчарок на зеленых лугах, обогреваемых теплым атлантическим течением Гольфстримом. Посетила делегация знаменитые Ноттингемскую и Йоркширскую сельскохозяйственные выставки.

По возвращении домой обе делегации прислали отцу свои отчеты.

Делегация Бенедиктова — стандартно-сухой, страниц на пятьдесят. Отец его внимательно прочитал, но ничего неожиданного для себя не почерпнул. Да, у них урожай пшеницы с гектара 30,4 центнера, а у нас едва достигает 8 центнеров, и урожайность сахарной свеклы с картофелем у англичан в три раза выше нашей, и молоко у них коровы дают более высокой жирности, чем у нас, и многое другое у них лучше, но он не только читал об этом раньше, но и сам на недавнем Пленуме ЦК, как и двух предыдущих, приводил те же цифры. Да, англичане осеменяют коров искусственно и доят их не вручную, а с помощью вакуумных доильных аппаратов, у нас их прозвали «елочкой». Да, они не переращивают свиней, забивают их в шести-семимесячном возрасте, когда вес не превышает 90 килограммов, так экономически выгоднее, чем еще полгода «доводить» их до центнера с небольшим. Да, все это так, но нового — ничего. Может быть, и учиться нам нечему? Отец так не считал, учиться нам есть чему, и учиться многому. Правда, кое-что полезное для себя отец из «английского» отчета почерпнул. Он предложил переходить с гусеничных тракторов на колесные. Колесные легче, удобнее, их можно использовать не только на пахоте, но и круглый год с различными прицепными агрегатами от простой тележки до раздатчика кормов скоту. Англичане подтвердили его правоту: да, колесные выгоднее, у них из 400 тысяч тракторов, осталось только 24 тысячи гусеничных.

«Американский» отчет получился объемистее, почти в четыреста страниц. Американцы впечатлили отца: во-первых, на специальном заводе калибруют кукурузные зерна и высевают только отборные семена. Мало того, выращивают они специальные гибридные, сверхвысокоурожайные сорта. Рассказывая отцу о гибридах, Мацкевич замялся, гибридная кукуруза отдавала «вейсманизмом-морганизмом», противоречила «теориям» вновь набиравшего силу Трофима Лысенко. Отец пропустил ссылку на Лысенко мимо ушей, его интересовал результат. По словам ученых, кукуруза, особенно гибридная, давала уникальную возможность решить проблему производства мяса в нашей северной, более полугода занесенной снегом стране. В благодатных Ирландии или Новой Зеландии коров пасут на зеленых лугах десять месяцев, а то и круглый год, а у нас — всего три-четыре месяца, на юге — до полугода. Остальное время животные проводят в стойлах, и там требуется корм. Больше всего кормовых единиц содержится в смеси стеблей, листьев и молодых початков кукурузы, из них получается самый лучший силос, зимняя еда для сельскохозяйственной живности. Правда, чтобы вырастить кукурузу, требовалось приложить руки: дважды за сезон прорыхлить почву, прополоть сорняки, подкормить растения. В отличие от овса, кукуруза требовала к себе внимания весь сезон. Но другого способа избавиться от постоянной нехватки кормов отец не видел. Благодаря гибридной кукурузе, по словам ученых, удастся решить продовольственную проблему. Аграрии предложили, не мудрствуя лукаво, воспользоваться американским опытом. Отец согласился, американцы — люди практичные, а их результаты говорят сами за себя.

Американский отчет не один год пролежит на рабочем столе в кабинете отца. Пролежит — не совсем верно, готовясь к выступлениям, отец не раз перелистывал его.

Отец не ограничился прочтением отчетов. При первой возможности он пригласил обе делегации к себе в ЦК, с интересом выслушал рассказ о заграничных диковинках. Он посоветовал обеим делегациям опубликовать свои, американские и британские, впечатления в газетах. Мацкевич выбрал «Правду», Бенедиктову достались «Известия». Каждому по два подвала в августовских номерах газет.

В своем отчете Мацкевич упомянул и Гарста, отвел его ферме целый раздел, отметил, что Гарста и других американских фермеров пригласили посетить Советский Союз, ознакомиться с нашими достижениями. Бенедиктов передал такое же приглашение английскому министру.

Приглашение посетить СССР с ответным визитом фермеры из Айовы встретили без энтузиазма, далекая, холодная и враждебная Россия их не привлекала. К тому же, Государственный департамент по-прежнему запрещал торговать с Советским Союзом абсолютно всем. А вот Росуэлл Гарст решил ехать. И не просто ехать, а наладить с Россией бизнес, для начала продать Советам гибридные кукурузные семена, оборудование для калибровочного завода, а если дело пойдет, то, чем черт не шутит, установить с Советским Союзом долговременные деловые отношения. Американские власти против поездки не возражали, к 1955 году в Вашингтоне кое-что изменилось, а вот намерению торговать с Москвой воспротивились. Нарушать провозглашенное правительством эмбарго не позволено никому. Переписка, вернее, перебранка с Вашингтоном длилась долго. Гарст доказывал, что его семена и оборудование никак не будут способствовать укреплению военной мощи Советского Союза, а противодействие частной инициативе противоречит американским принципам свободного предпринимательства. Все напрасно. Тогда Гарст, как рассказал мне впоследствии его сын Дэвид, сам поехал в Вашингтон, добился встречи с госсекретарем Джоном Даллесом и устроил ему форменный скандал. Власти сдались. Из Госдепартамента пришло согласие: «Можете везти в Москву свою кукурузу». В ответ Гарст подал заявку на получение карт-бланш, экспортной лицензии на все, что ему в будущем удастся продать Советам. После встречи Гарста с Даллесом чиновники Госдепартамента не сопротивлялись и выдали ему искомый документ. Тем самым создался прецедент — в условиях экономической блокады мистер Гарст из Айовы получает разрешение торговать со страной, с которой торговать запрещено. В случае успеха этим прецедентом легко могли воспользоваться и другие. В Госдепартаменте это понимали, но не сомневались, что «ему в любом случае ничего не удастся продать этим грязным совкам» (я процитировал слова самого Гарста).

И вот Гарст с супругой в Советском Союзе. В Москве их ожидала теплая встреча, долгий разговор с Мацкевичем, который упомянул, что хотел бы на пробу купить гибридные семена кукурузы, не много, но сколько, он пока не знает. От Мацкевича поехали на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, затем на Ленинские горы в Московский университет. На следующий день отправились в поездку по стране. В общем, обычная программа приема зарубежной делегации. Посетили Киев, объехали приднепровские колхозы, совхозы, опытные станции. Смотреть особенно оказалось нечего, осень, уборка походила к концу, но хозяева старались изо всех сил. Гарст внимательно ко всему

приглядывался, от комментариев воздерживался. В заключение предусматривалось посещение Одесской селекционной станции, занимавшейся выведением гибридов кукурузы. Там во время осмотра переводчик отозвал Гарста в сторону и вполголоса сообщил, что его приглашают к Хрущеву, сегодня же им предстоит лететь в Крым. Туда же из Москвы прибудет Мацкевич.

Отец и Гарст понравились друг другу — оба души не чаяли в земле, могли часами обсуждать кукурузу, сою, бобы. Разговорившись, отец поинтересовался, что Гарст думает о нашем сельском хозяйстве. Гарст, отбросив дипломатию, выложил напрямую: «Дело в том, что советское сельское хозяйство лет на пятнадцать отстает от потребностей растущего населения СССР, в то время как американским фермерам удается опережать этот рост на те же пятнадцать лет. Отсюда и проблемы в обеих странах: дефицит в СССР и перепроизводство в США».

— И что же вы нам посоветуете? — поинтересовался отец.

— Покупайте наше зерно, и вам будет хорошо, и нам. Вы избавитесь от дефицита, мы — от излишков, — забросил удочку бизнесмен Гарст. — Кроме того, лично я могу продать вам двадцать тысяч свиней на мясо.

— Нет, это не то, что нам нужно, — покачал головой отец, — свой народ мы должны кормить сами.

— Если не хотите покупать мясо и зерно, — быстро переключился Гарст, — купите семена. Мои гибридные семена кукурузы сразу удвоят ваши урожаи, а это и зерно для людей, и силос для животноводства. Будете и с хлебом, и с мясом.

— А сколько вы можете нам продать и почем? — отец подготовился к конкретному разговору, точно знал, сколько он хочет закупить семян, но не торопился, зачем набивать цену.

— А сколько вы хотите? — Гарст знал, сколько семян его ферма способна поставить в СССР, но тоже карты не раскрывал.

Поторговавшись, сошлись для начала на пяти тысячах тонн, ими можно засеять примерно три процента от площадей, занятых у нас кукурузой, достаточно, чтобы познакомить колхозников с новыми гибридными семенами.

Гарст столь большого заказа не ожидал. У него просто не было такого количества семян. Почти все первосортные семена распределены по постоянным покупателям, и он решил схитрить, предложил отцу купить семена помельче, те, что вырастают не в середине, а на носике початка.

Еще в начале года отец бы с радостью согласился. Теперь же он знал, что в Америке семена калибруют по трем размерам, и ему попросту хотят всучить не первый сорт. Торг начался, правда, не очень серьезный, — Гарст понимал, что он единственный

продавец и деваться отцу некуда. Но, с другой стороны, настоящий бизнесмен живет не одним днем, не одной сделкой. Наконец договорились, что он продаст потребные пять тысяч тонн, но всех трех сортов, а в качестве премии — немного особо элитных семян. Из них на Одесской селекционной станции, где Гарст недавно побывал, начнут выращивать свои гибриды. Так оно и получилось. Закупленные в 1955 году американские семена не только дали отличный урожай, на их основе одесский селекционер Александр Самсонович Мусийко вывел свою кукурузу, ничуть не хуже гарстовской (гибридные сорта: Одесский-27МВ, Одесский-50М, Кремнистая скороспелая и другие).

Когда через несколько лет Гарст снова посетил Одессу, Мусийко показал ему кукурузный початок своего последнего сорта Одесская-10. «Гарст поцеловал его, — вспоминал отец, — а затем, при очередной встрече признался: ”Господин Хрущев, я считаю, что вы больше не нуждаетесь в покупке семян в Америке”». Отец от его слов просто расцвел.

Оправдала себя и покупка калибровочных заводов.

Я снова сошлюсь на воспоминания отца: «Раньше семеноводство у нас ”хромало”, каждый ”лапотник плел лапоть на свою ногу”». А в Америке уже были специализированные хозяйства, обеспечивавшие фермеров высококачественным семенным материалом. Без этого нельзя вести кукурузное хозяйство на высоком уровне. Мы переняли опыт американцев, сразу получили хорошие результаты и организовали свое гибридное семеноводческое хозяйство».

Итак, переговоры к взаимному удовлетворению завершились, но отец не спешил расстаться с гостями, он начал расспрашивать Гарста, как он ведет свое хозяйство, как и чем пашет, особенно интересовало отца, какие культуры он высевает после кукурузы, дает ли земле отдохнуть под «парами» и травой.

Гарст удивился: действительно, в XIX веке и в начале XX века в Америке вели сельское хозяйство именно по такой схеме, как говорит мистер Хрущев, но она оказалась очень нерациональной, земля не столько «отдыхает», сколько простаивает, и с развитием химии, появлением минеральных удобрений, а теперь и гербицидов с пестицидами, от «трехполки» с черными парами отказались.

— Я лично, — рассказывал Гарст, — уже который год подряд засеваю свои поля кукурузой и горя не знаю. Даже навоз перестал использовать, уж очень хлопотно его разбрасывать по пашне. Пользуемся поставляемыми с завода гранулами, засыпаем их в сеялку и вместе с семенами высеваем в почву.

Отец огорченно вздохнул и выразительно посмотрел на Мацкевича, тот отвернулся. Гранулированных удобрений в СССР не производили. И вообще удобрений выпускали очень мало.

— А почему у вас так мало знают о нашем сельском хозяйстве? — поинтересовался в свою очередь Гарст. — И вы, господин Хрущев, и вы, господин Мацкевич, как с луны свалились, все, о чем я вам рассказываю, регулярно публикуется в нашем сельскохозяйственном бюллетене и его можно без проблем купить или подписаться на него. Ваша разведка с легкостью раздобыла все наши атомные секреты, а их хранили за семью замками. А тут и делать-то ничего не требуется.

— В том-то и дело, мистер Гарст, — отец на минуту помрачнел, но тут же улыбнулся: — запретный плод всегда манит. Знаете, когда из Америки привезли во Францию картофель, король приказал своим подданным начать его выращивать. Но не тут-то было, крестьяне просто в упор не видели картофель. Никакие угрозы не помогали. Тогда кто-то предложил королю огородить делянки картофеля высоким забором и установить охрану. Картофель немедленно стали воровать, и картошка пошла гулять по всей Франции. То же самое и у нас: вы запираете атомные секреты, а мы их узнаем. А тут вы предлагаете сельскохозяйственные знания бесплатно. Кому они нужны — бесплатно?

Гарст рассмеялся в ответ, отец поддержал его, но глаза его не смеялись. Какой тут смех, Гарст прав, не знаем, что в мире делается.

Подошло время обеда. Отец пригласил гостей к столу. В столовой ожидали мама с Радой, при деловом разговоре они не присутствовали. За обедом отец хлебосольно предлагал гостям попробовать то грузинский шашлык, то крымскую копченую рыбку барабульку, то хачапури, то чебуреки. Не забывал он и о себе, отец любил вкусно поесть. Последние годы из-за камней в почках его посадили на диету, врачи предписали есть только отварное: рыбу, мясо. Диету отец ненавидел, но не нарушал, боль от камней в мочеточнике кого хочешь заставит подчиняться. Только изредка, вместе с гостями, позволял и себе что-либо повкуснее вареной рыбы. Но доставалось ему не очень много. Как подметил Гарст, мама внимательно следила за тарелкой отца, и стоило ему отвернуться, заменяла ее на новую, точно такую же, но с более подходящей для него пищей.

За столом много шутили, Микоян взял на себя роль тамады, произносил бесконечные тосты: за гостей, за дружбу и, конечно, за женщин. В перерывах между тостами они шутливо пикировались с отцом, Микоян утверждал, что грузинские вина

лучшие в мире, отец отбивался: «Украинские не хуже. А вот пройдет несколько лет, с ними вообще никто не сможет конкурировать».

В те годы отец усиленно продвигал виноград в Степной Крым и на юг Украины, ратовал за создание там винодельческих совхозов. В конце июля 1956 года выпустили специальное Постановление ЦК КПСС «Об увеличении производства и заготовок плодов, ягод и винограда». В Крыму рьяно взялись за его реализацию. Я несколько раз ездил с отцом смотреть на новые посадки. Дело продвигалось быстро, виноградные шпалеры тянулись почти до самого горизонта. В магазинах, не только местных, но и московских, появлялись все новые сорта украинских вин, в основном рислингов, иногда весьма приличные.

Вскоре грянула беда. В погоне за объемами посадок виноградные саженцы закупали, где придется и у кого придется. Вместе с ними в Крым и на юг Украины завезли филоксеру — малюсенького жучка, паразитирующего на виноградных корнях. У винограда нет врага страшнее филоксеры. Виноградники вырубают, корни выкорчевывают и сжигают. Но филоксера, личинки, в земле все равно остаются. В XIX веке она уничтожила почти все виноградники Франции. Французы восстановили виноградарство только благодаря американским сортам винограда. Их филоксера почему-то не трогает.

На Украине, в Крыму тоже пришлось вырубить зараженные виноградники. Часть земель снова засеяли пшеницей, оставшиеся — заново засаживали американской виноградной лозой. Ее перекупали у французов за золото. Дело продвигалось медленно, когда валюты в обрез, много не купишь. В 1980-е годы, во времена горбачевской борьбы с пьянством, вырубили и эти виноградники.

Обед завершился чаепитием с крымским кизиловым вареньем. За чаем отец поинтересовался размерами Гарстовой фермы. Оказалось, она размером со среднерусский колхоз, около тысячи гектаров.

— И сколько же людей обрабатывает землю? — продолжал свои расспросы отец. — Наверное, они влетают вам в копеечку?

— Нет, почему же, ферма у нас семейная, постоянно на ней тружусь я со своими сыновьями. Правда, во время уборки приходится на пару недель нанимать в помощь людей со стороны, но они обходятся недорого, — охотно объяснил Гарст.

— А сколько у вас сыновей? — удивился отец.

— Четверо. Здоровые парни, вроде меня, — ответил Гарст.

— Не может быть! — непроизвольно вырвалось у отца. — Вам

удается впятером справиться с такой прорвой дел? У нас бы и тридцати душ не хватило.

Гарст стал подробно рассказывать, как они используют разные навесные орудия к тракторам, другие машины, работают они от зари до зари, да еще и темного времени немного прихватывают. — Да, что я вам все это рассказываю, — спохватился Гарст и предложил отцу прислать к нему советских трактористов или кого сам сочтет нужным поучиться. Он им покажет, научит всему, что сам знает.

Вскоре в Айову отправились два самых умелых наших механизатора Александр Васильевич Гиталов из Кировоградской области на Украине и его напарник. Проучились они у Гарста целый сезон, а по возвращении домой побили все советские рекорды вспашки и косьбы. Их фотографии не сходили с первых страниц газет, пестривших призывами: «Равняйтесь на них!» К сожалению, отец написал в своих мемуарах, что призыв остался призывом. (А после отставки отца опыт с внедрением айовских технологий обработки земли и вовсе заглох.)

10 октября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР назначил В. В. Мацкевича министром сельского хозяйства СССР.

По возвращении домой Гарст с ехидцей проинформировал Госдепартамент: «Хрущев купил все, что я привез с собой, и заказал еще». Чиновники попытались задним числом воспрепятствовать сделке, но Гарст помахал у них перед носом ими же выданной бессрочной экспортной лицензией. Впоследствии он шутил, что, подписывая эту бумагу, госдеповцы не понимали, что «он получает “золотой ключик” от шкафа, полного конфетами» (это специфическое американское выражение) и теперь сможет предлагать своим русским покупателям любые «конфеты», какие они только пожелают. Своим «золотым ключиком» Гарст пользовался весьма широко и ко взаимной выгоде. По сути, эта экспортная лицензия без ограничения срока действия проделала первое серьезное отверстие в железном занавесе, окружавшем Советский Союз, открыла дорогу к установлению торговых отношений между СССР и США. Прецедент — великое дело, отказ в разрешении торговли с Советами, очередной проситель немедленно парировал: «Почему Гарсту можно, а нам нет? Это дискриминация». Обвинений в дискриминации Госдепартамент старался избегать и против собственной воли выдавал лицензию, одну, другую, третью, а там и счет потеряли.

Встреча в Ливадии положила начало и необычным для пятидесятых годов личным отношениям отца с американским предпринимателем — фермером Росуэллом Гарстом. Гарст еще

не раз наезжал в Москву, встречался с отцом, заключал сделки с Министерством сельского хозяйства. Отец все более проникался симпатией к американцу, ценил его хватку, внимательно выслушивал советы. Постепенно их отношения переросли в настоящую дружбу.

Во время одной из встреч отец попросил Гарста съездить в Казахстан на целину, свежим глазом глянуть на тамошние дела. По возвращении они провели вместе почти целый день в подмосковной загородной резиденции Горки-9. Гарсту целина понравилась, там почти так, как в его родной Айове, — бескрайний простор полей и бескрайний простор для приложения человеческой активности. Вот только почти треть урожая не доходит до элеваторов. Он посоветовал заняться дорогами, выровненные летом грейдерами проселки в осеннюю распутицу становятся непроезжими, урожай застревает на полях. Вскоре появилось постановление правительства о развитии дорожной сети на целинных землях. Кстати, уже не первое. Правда, дороги так и не успели построить. Отца отправили в отставку и о советах Гарста забыли.

Еще один случай. Путешествуя весной по полям Краснодарского края, Гарст остановился посмотреть, как колхозники сеют кукурузу. Он заметил, что удобрения так и остались лежать кучами по краю поля. Взбешенный бесхозяйственностью, американец не поленился отыскать колхозного бригадира и через переводчика стал ему втолковывать, что так делать нельзя, без удобрений они не доберут добрую половину будущего урожая. Бригадир никак не мог уразуметь, чего добивается этот иностранец. Рассердившись, он послал Гарста «куда подальше». Гарст еще более вскипел и пригрозил, что пожалуется Хрущеву. Угроза возымела действие, бригадир приказал остановить сев и послал помощника за разбрасывателем удобрений.

Когда Гарст рассказал о происшедшем отцу, тот посетовал: «Американский капиталист больше печется о нашем урожае, чем сами колхозники».

«Не нужно золота ему, когда простой продукт имеет…»

В 1955 году Гарсту за семена заплатили золотом. Тогда ничем иным страна расплатиться не могла. Советский Союз отгородили «железным занавесом» экономической блокады, у нас не покупали ничего, даже водку и крабы, и ничего нам не продавали, а следовательно, и валюта в казну не поступала.

Золото тоже не тратили. Сталин копил золото на случай близкой и неизбежной войны. В войну мы платили союзникам золотом за грузовики, самолеты, алюминий и бензин. В Мурманск и Архангельск англо-американские конвои доставляли товар, а назад британские крейсеры увозили слитки золота. Один «золотой» крейсер немцы потопили. Сокровища достали со дна моря только через полвека.

К моменту смерти Сталина золота в стране накопилось более двух тысяч тонн. И вот теперь отец посягнул на малую толику золотого запаса страны, решил заставить золото поработать на благо людям. Закупленные у Гарста гибридные семена обещали небывалую прибавку к урожаю.

О том, что отец запускает руку в золотые кладовые, я узнал вскоре по возвращении его из отпуска. Он, в моем присутствии, обсуждал с кем-то из коллег выгоды совершенной с Гарстом сделки. Я возмутился: как можно тратить золото на покупку каких-то, пусть самых элитных, семян? Тут золото, а там — кукуруза. Едва дождавшись ухода гостей, я набросился на отца с вопросами, которые звучали как претензии. Отец меня выслушал благодушно и ответил цитатой из Евгения Онегина:

> …Как государство богатеет, —
> И чем живет, и почему,
> Не нужно золота ему,
> Когда простой продукт имеет…

— Пойми, — перешел он на прозу, — войны, по всей вероятности, удастся избежать, а если мы с умом потратим небольшую часть, — последние два слова он произнес с напором, — небольшую часть нашего золота на новые технологии, машины, уникальные семена, а потом сами научимся всему этому, то наша страна так рванется вперед… Если, конечно, удастся избежать войны, — повторил он.

После встречи в июле этого, 1955 года, в Женеве с руководителями Запада: президентом США Эйзенхауэром, премьер-министром Великобритании Энтони Иденом и премьер-министром Франции Эдгаром Фором, отец вернулся домой ободренный — Сталин ошибался, наши противники так же, как и мы, не хотят войны. И боятся они нас так же, как мы боимся их. С ними не только можно иметь дело, но и договариваться. Конечно, в известных пределах, если мы продемонстрируем слабину, они ею воспользуются, попытаются Советский Союз подмять под себя. Поэтому надо не просто быть сильными, но и демонстрировать противнику свою силу, реальную или мнимую — не так важно.

Важно, чтобы они поверили в наше могущество. Каждым выигранным у войны годом мы воспользуемся для улучшения жизни советских людей. А там наберем такую силу, которая сделает войну против нас окончательно бессмысленной, даже для такого гиганта, как США.

— Золото может нам в этом очень помочь, капиталисты впереди нас не только в выращивании кукурузы. Мы обязаны воспользоваться их достижениям, научиться делать такие же машины, как производят они, а потом и лучше их. Для начала нам требуется закупить у них образцы, самые совершенные образцы, как гибридные семена кукурузы у Гарста. Для такого дела золота жалеть не следует, а капиталисты не устоят перед золотом, такова их натура, продадут за него даже душу, не то что… машины, — вернулся отец к изначальной теме. — Конечно, тратить его следует с умом, ни в коем случае не транжирить на заграничные тряпки и другую ерунду, на то, что завтра съешь, сносишь и следа не останется. Но и сидеть на золоте, «сидеть на сундуке и от живых сокровища хранить», как Скупой рыцарь, глупо, помрешь, как и он, безо всякой пользы.

Отец во второй раз процитировал Пушкина. Стихи он любил и помнил их множество. На первом месте у отца стоял Некрасов — истинно народный поэт. Его он любил, тогда как Пушкина уважал.

Собственно, на этой цитате из Пушкина разговор о золоте прекратился. Умом я с отцом согласился, Скупого рыцаря я не любил, но менять золото на какую-то кукурузу, пусть самую лучшую…

Золотом заплатили не только за семена кукурузы, вскоре купили патенты на производство ацетатного шелка, потом за золото приобрели полупроводники, оборудование для современного химического производства. Тратили его экономно и только с разрешения высшего руководства страны.

Лишь однажды, в 1963 году, некоторую часть золотого запаса истратили на закупку продовольствия — зерна. Страну в тот год поразила небывалая засуха, встал вопрос: продуктовые карточки или золото? Поступились золотом.

Мы — страна золотодобывающая, продажи золота постоянно восполняются его производством. В «хрущевское» одиннадцатилетие золотой запас колебался, но всегда оставался в пределах, обеспечивающих экономическую безопасность страны.

В гостях у Гарста

В сентябре 1959 года, когда по приглашению президента

Эйзенхауэра отец посетил Соединенные Штаты с официальным визитом, он специально попросил принимающую сторону предусмотреть в программе посещение фермы Росуэлла Гарста. Приезд отца произвел фурор. Визитеры подобного калибра обычно не посещают штат Айова. В одночасье фермер Гарст стал всеамериканской знаменитостью.

Гарсту очень хотелось показать отцу свои поля без помех, свозить на животноводческую ферму, на завод по калибровке кукурузы. Если следовать дипломатическому протоколу, то натыкаешься на сплошные ограничения, туда нельзя, сюда не ступи, к тому же стаи журналистов вокруг. Фермер предложил отцу сбежать и от протокола, и от журналистов. Он приедет за ним на своей машине на рассвете, пока свора сопровождающих еще спит, и они смогут осмотреть хозяйство.

Отец на секунду представил себе, какой переполох в обеих странах вызовет исчезновение, даже на непродолжительное время, Председателя Совета Министров СССР. Не скрою, его подмывало принять предложение, включиться в игру, но…

Выехали из гостиницы 23 сентября, в 9 утра, согласно расписанию. На своей ферме Гарст весь день боролся с вездесущими репортерами, отбивался от них кукурузными початками, швырял в них навозом и даже грозил спустить с цепи свирепого быка. Чем больше он распалялся, тем больше удовольствия доставлял журналистам, газетная информация расцвечивалась сочными фотографиями. Самая красочная появилась на обложке журнала «Лайф» от 5 октября 1959 года: смеющийся во весь рот отец с кукурузным початком в руке, рядом с ним счастливый Гарст, чуть позади — улыбающийся представитель Президента США Генри Кэбот Лодж, переводчик Госдепа Алекс Акаловский и, естественно, начальник охраны полковник Литовченко. На переднем плане чья-то рука сует отцу под нос микрофон. Внизу страницы скромно помечен тираж еженедельника — 6 миллионов 400 тысяч.

То, что Гарст подыгрывал журналистам — несомненно, такую рекламу удается сделать раз в жизни. Но не это неважно, главное — день прошел удачно, и Гарст, и отец остались довольны. Показ достижений удался Гарсту на славу, отец только покрякивал: «Вот бы нам так».

В конце дня, когда суета поутихла, журналисты разбежались писать репортажи, проявлять фотоснимки, отец с Гарстом смогли поговорить на досуге. Усевшись на террасе хозяйского дома, они, как и в 1955 году в Крыму, пили чай.

От Гарста отец, а следом за ним и все мы, сопровождавшие его лица, цугом направились в ближайший городишко Эймс, в

Государственный университет естественных и технических наук штата Айова. Лучше бы отец туда не ездил, не бередил душу.

В Америке множество университетов, одни профилируются на инженерии, другие во главу угла ставят медицину, третьи — гостиничное дело, четвертые — сельское хозяйство. К тому же, часто университеты располагаются в маленьких городках, двадцать тысяч студентов при общем населении в сорок тысяч человек. Вся жизнь здесь сосредоточена вокруг университета и зависит от университета. Естественно, что многие университеты на Среднем Западе США: в Айове, Канзасе, Миссури — специализируются на сельском хозяйстве, у студентов здесь все под руками: поля, теплицы, фермы и даже прерии. Учась и одновременно работая, они набираются не только знаний, но и опыта.

Отцу американский опыт очень понравился, из университетских стен выходят настоящие агрономы, не то что выпускники наших столичных ВУЗов, их в деревню палкой не загонишь. Поневоле на ум приходила знаменитая Тимирязевская сельскохозяйственная академия в Москве. Он уже порывался перевести ее поближе к земле, но натыкался на ожесточенное сопротивление профессоров, студентов, вообще общественности, к сельскому хозяйству никакого отношения не имевшей, — и отступался. Здесь, в Эймсе, отец убедился, что прав все-таки он, а не общественность и по возвращении домой с удвоенной энергией принялся за Тимирязевку.

Нужно сказать, что в 1865 году, в момент своего основания она, еще не Тимирязевская, а Петровская земледельческая и лесная академия, как и американские университеты, привольно раскинула свои учебные корпуса на подмосковных полях. К середине XX века Москва обволокла Тимирязевку новостройками, заасфальтировала большинство наделов, проложила по ее территории трамвайные рельсы. Отец попенял ученым американским опытом и в который раз попытался переселить Сельскохозяйственную академию сначала в подмосковный совхоз, потом на Курщину, в одно из богатейших дореволюционных поместий, кажется, Марьино, там размещался санаторий ЦК КПСС, а рядом совхоз «Вороново», но все как об стенку горох. В открытую отцу не противоречили, но ничего и не делали, между собой судачили о «противоречивших здравому смыслу затеях Хрущева». Понимая, что сельскохозяйственники, даже ближайшие помощники, тут ему не подмога, он попросил заняться переселением Академии «человека со стороны», своего заместителя в правительстве, «вооруженца», Владимира Николаевича Новикова. Но бюрократическая солидарность взяла

верх.

«Для меня вопрос стал ясным, — пишет Владимир Николаевич, — асфальт и тротуары — это выдумка. Профессора, академики из Москвы не поедут. Тянул я с этим вопросом довольно долго».

Наконец подвернулся, по мнению Новикова, подходящий момент. Как он вспоминал, «тогда (в 1963 году. — *С. Х.*) тяжело складывалось с финансами. (Новиков пошел к Хрущеву.) Никита Сергеевич слушал довольно рассеянно, но основные прорехи схватил сразу… К конце разговора я как бы между прочим сказал, что хотел бы посоветоваться о Тимирязевской академии.

— Ну и что?

— Видите ли, есть два предложения. Одни предлагают перевести ее под Курск (в Марьино, о котором я уже упомянул), другие — под Новосибирск, где активно создается Сибирское отделение Академии наук СССР.

— Ну и что же вы предлагаете?

— Я пока сам лично думаю, что предложение по Курску более допустимо. Ближе к средней полосе, строительные организации есть неплохие, но с членами комиссии окончательно не советовался, хотел хотя бы узнать вашу точку зрения. Дело в том, что ошибочное решение может вызвать бросовые затраты больших средств.

— А сколько будет стоить перевод Академии?

— Примерно четыре миллиона.

Хрущев усомнился: неужели эта затея обойдется в четыре миллиона? Я подтвердил, что если в сумме и будет ошибка, то небольшая, ведь дело надо поставить не хуже, а лучше, чем теперь.

Тогда Никита Сергеевич сказал: — Ну, ее к черту, эту академию, пускай пока остается на месте, а дальше видно будет. Можно предложение не вносить.

О разговоре я информировал членов комиссии, и все оказались рады такому исходу дела. Так прошло недели три. Я присутствовал на очередном заседании Президиума ЦК. Повестка дня заканчивалась, вдруг Хрущев, указав на меня пальцем, сказал: “Вот, посмотрите на этого товарища. Опять угробил вопрос с переводом Сельскохозяйственной академии из Москвы”».

В результате, у отца так ничего и не вышло. Новиков же гордится, считает, что «спас» сельскохозяйственную науку от Хрущева.

«Увы, не все может сделать человек, даже если наделен большой властью и влиянием, — с грустью констатировал на склоне лет отец. — Самый опасный вид сопротивления —

поддакивание. Такая тактика усвоена многими в Советском Союзе».

После отставки глухое ворчание сменилось бурей проклятий. Даже сейчас, через полстолетия Хрущеву поминают Тимирязевку как один из самых его больших грехов. Оно и понятно, не в Америке живем!

Тимирязевка и по сей день остается в Петровско-Разумовском, теперь новом, довольно привлекательном районе Москвы. Как научное и учебное сельскохозяйственное заведение, в условиях рынка она обречена, не сегодня завтра столица выдавит ее из своего чрева, теперь уже не потому, что земледельцам нечего делать на асфальте. Сохранившиеся обрезки ее угодий сегодня стоят огромных денег, продажей или сдачей их в аренду под строительство офисов можно сделать миллионы.

В Айове отца вспоминают тепло. В 1995 году я приехал в Де Мойн, прочитать лекцию в местном университете. Практически каждый, заслышав мою фамилию, начинал говорить со мной о визите отца. Мои хозяева из университета после лекции свозили меня на ферму Гарста. Хозяин уже ушел из жизни, принимала меня его вдова, она провела по дому, показала террасу, где Гарст с отцом пили чай, попросила расписаться в книге гостей, рядом с автографами моих родителей. Фермой заправлял сын Гарста, такой же большой и надежный, как и его отец. От Гарстов мы поехали в местный капитолий к губернатору штата. С отцом он не встречался, говорить нам особенно было не о чем. Пока готовились к фотосъемке, губернатор рассказал, что сидит в своем кресле уже восемнадцать лет, посетил многие страны мира и нигде никто не слыхивал об Айове. Недавно он побывал в России. Как только его представили, собеседники заулыбались: «Как же, Айова, Хрущев оттуда привез в Россию кукурузу».

— Ваш отец сделал наш штат знаменитым, — сказал на прощание губернатор. — Как и саму кукурузу. Ее у вас возделывали задолго до него. Но он превратил ее…

— В «королеву полей», — подсказал я, вспомнив давний советский мультик с таким названием.

— Вот-вот, совершенно правильно, в королеву, — засмеялся губернатор.

На том мы и распрощались.

В 2009 году Айова отметила пятидесятилетие визита Хрущева, в университете провели конференцию, в газетах напечатали статьи, в районном центре Кун Рэпидс прошел показ сельскохозяйственной техники, а на ферме Гарста устроили музей, особо упомянув, что ее посетил Хрущев.

Кукуруза, как и прежде, крепко сидит на айовском троне.

Тимирязевская академия по-прежнему держит оборону в центре Москвы. Каждому свое.

Пахнет сеном над лугами…

История взаимоотношений отца с Гарстом исподволь увела меня очень далеко. Вернусь в октябрь 1955 года.

Гарст уехал, а отец продолжил свой отдых на Южном берегу Крыма, весьма активный отдых. 11 октября он пол дня беседует с министром иностранных дел Канады Литером Боулсом Пирсоном. 13 октября отправляется в Севастополь по флотским делам, об этом совещании я уже рассказал. 15 октября целый день общается с генеральным секретарем Итальянской социалистической партии Пьеро Ненни. Неординарная встреча. Сталин ненавидел социалистов больше, чем фашистов. Отец тоже всю свою предыдущую жизнь иначе как социал-предателями (выражение Сталина) их не называл. Они оказались не предателями, отец нашел в Ненни умного собеседника и потенциального союзника. 17 октября отец принимает на даче заместителя премьер-министра Новой Зеландии Кейта Холиона, а 26 октября премьер-министра Бирманского Союза У Ну. На этом отдых закончился. Проводив У Ну, отец засобирался в Москву, не самолетом или поездом, а машиной. По пути он сможет полюбоваться убранными полями (или неубранными). Тогда он не преминет остановиться, выяснить у нерадивого местного начальства, что и почему.

Собрался он заехать и в свою родную Калиновку, село, где он родился и вырос, туда, где так сладко

Пахнет сеном и лугами…
В песне душу веселя,
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевеля…

Это стихотворение отец выучил еще в калиновской церковно-приходской школе, и теперь оно вновь ему вспомнилось.

В Калиновку отец заезжал регулярно, осматривал хозяйство, говорил с людьми, старался помочь односельчанам, но не столько деньгами или иными подвластными ему ресурсами, сколько добрым советом. В этот приезд отец с удовлетворением отметил, что колхозное стадо свиней увеличилось с двадцати пяти до трехсот голов, почти удвоились надои молока. Он посоветовал землякам построить не один коровник, а два, двести коров мало,

надо иметь еще хотя бы сотню. «Это вам по плечу, — убеждал отец. Его собеседники, местные жители, толпившиеся вокруг, согласно кивали.

— Неплохо и гусей завести, — продолжал отец, — можно по осени выгодно продать в городе, на вырученные деньги купить мяльную машину, не сдавать государству коноплю трестой (то есть сухой соломой. — *С. Х.*), а самим ее зимой намять и продать готовую пеньку, волокно. Сразу доходы возрастут процентов на шестьдесят, — продолжал развивать свои планы отец. — Сейчас от продажи конопли вы получаете 4 миллиона рублей, а тут к ним еще пара миллионов с лишним добавится. Куда вот только деньги денете?

— Найдем куда, — откликнулся один из слушателей, — у нас карманы широкие.

— Широкие-то широкие, вот только порой дырявые, — не принял отец шутки. — Довольно жить бескультурно, надо строить новые дома, не деревянные, леса у вас не достать, а кирпичные, но не красного кирпича, а белого, силикатного, он дешевле. Дома лучше возводить двухэтажные, внизу кухня со столовой, наверху две спальни. Еще я вам бы посоветовал построить хороший родильный дом, детские ясли, детский сад, дом для престарелых, и о бане не забудьте.

Именно таким отцу представлялся будущий агрогород: рядком чистые двухэтажные коттеджи вдоль улицы, на центральной площади все перечисленные общественные заведения.

— Хорошо бы, Никита Сергеевич, нам вальцовую мельницу построить. Пшеницы много, а булок мы не видим, — вмешался один из слушателей, Алюскин.

— Я — “за”, но не слабую, колхозную, а помощнее, районную мельницу надо строить, — вернулся к будничной прозе отец.

— Есть в Глухове такая мельница, но там ни размолоть, ни сменять свою пшеницу на муку не дождешься, неделю простоишь в очереди, — не унимался Алюскин.

— Это я смогу устроить. Попрошу облисполком организовать к праздникам, к 7 Ноября, обмен зерна на муку, — отозвался отец и тут же спохватился: — только не одним вам, но и хомутовцам, и жеденовцам, а то опять будут мне глаза колоть, скажут — приехал и помогает одним калиновцам».

Щепетильный отец старался не допускать фаворитизма, но все напрасно, о Калиновке пойдет по стране дутая, завистливая и совершенно несправедливая «слава».

Говорили еще долго, как повыгоднее распорядиться приусадебными участками, о строительстве столовой и

хлепопекарни, о кирпичном заводе и замене шифера, которого нигде не достать, на самодельную черепицу и еще много о чем. Столовую слушатели восприняли прохладно, а хлебопекарня всем пришлась по душе.

В Москве отец окунулся в привычно-рутинный водоворот событий: снова переговоры с У Ну, подведение, совместно с руководителями республик, итогов сельскохозяйственного года, переговоры с премьер-министром Норвегии Энаром Герхардсеном, затем в ноябре-декабре триумфальный визит в Индию, Бирму и Афганистан, ставший настоящим прорывом в страны третьего мира и многое, многое другое.

Строить больше, и без «излишеств»

В самом конце 1955 года, как и в конце 1954-го, снова подводили итоги делам строительным. На сей раз не на Всесоюзном совещании строителей, а на Всесоюзном съезде архитекторов. Он открылся в Москве 19 декабря. Отец с Булганиным в те дни путешествовали по странам Азии, но и в отсутствие отца съезд прошел как бы под его влиянием.

Серийное производство домов и зданий утвердилось окончательно, менялись технологии изготовления блоков, их форма и конструкция, этажность и внешний вид домов, неизменным оставалось одно — сборность, дешевизна, массовость. Утвердилось-то оно утвердилось, но большинство архитекторов эти «коробки» на дух не переносили. Одни возражали в открытую, другие молчали, но даже те, кто поддержал отца, в немалой степени кривили душой. Марать руки о сборные дома архитекторы не желали ни в какую, считали их профанацией. И тут нет ничего нового, так же художники классического направления на смене веков, девятнадцатого и двадцатого, возмущались «мазней» импрессионистов, а Гогена вообще почитали за кого угодно, но только не за художника. Вот только создание картин дело индивидуальное, один пишет, другой покупает или не покупает. А в домах жить всем: в красивых и удобных, спроектированных талантливыми профессионалами, или в чем придется.

Отец на архитекторов обижался, все они стремятся увековечить собственное имя, мечтают о славе Растрелли или Баженова, а думать надо о стоимости квадратного метра жилой площади и об очередях на новые квартиры. Когда отец занялся блочным строительством только в Москве, его, тогда всего лишь секретаря обкома, «всесоюзные» архитекторы игнорировали. Маститые марать руки о железобетонные панели не желали.

Московские строители собирали дома из деталей, выпускаемых двумя крупнейшими заводами по одному единственному проекту, сляпанному ими самими на уровне их рядового инженерного понимания.

К середине лета 1955 года отношения отца с архитекторами, даже с друзьями, в том числе им же назначенным главным архитектором Москвы Александром Васильевичем Власовым, напряглись до предела. Отец почувствовал, что пришло время рубить узел. 23 августа 1955 года учрежденную Сталиным в 1934 году Академию архитектуры СССР преобразовали в Академию строительства и архитектуры, поставив на первое место строительство. Практически одновременно заменили и главного архитектора столицы. Им стал Иосиф Игнатьевич Ловейко, автор проекта гостиницы «Советская» на Ленинградском шоссе, но, что важнее — один из немногих архитекторов, воспринявших новую технологию панельного строительства и взявшийся в своей мастерской за придание «инженерным коробкам» достойного вида. «Освобожденный» от общемосковских забот, Власов успешно завершит в 1956 году строительство стадиона в Лужниках, с подачи отца получит в 1959 году Ленинскую премию и через три года отойдет в мир иной.

6 сентября 1955 года учреждается новый праздник — День строителя. Отмечать его предстоит ежегодно, во второе воскресенье августа.

Отец понимал, что смена вывесок, замена архитектурных начальников, учреждение Дня строителя — это не победа, а всего лишь демонстрация намерений.

4 ноября 1955 года отец делает решительный шаг, газеты публикуют Постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Судя по стилю, он сам диктовал его и сам расставил очень жесткие акценты. После уже ставших привычными слов о портиках, колоннах, башенках на жилых домах, об «украшении фасадов вместо улучшения планировки квартир, пренебрежении удобством жильцов и требованиями экономики, после чего стоимость квадратного метра жилья достигает 3400 рублей, в два-три раза выше, чем в типовом жилье, не говоря уже о проблемах их эксплуатации», отец приводит, по его мнению, убийственные примеры: гостиница «Ленинградская» на Каланчевке с ее тремястами пятьюдесятью четырьмя номерами обошлась дороже «нормальной» гостиницы на тысячу номеров, ее эксплуатация на 22 процента дороже, самой престижной в то время гостиницы «Москва» на Манежной площади. То же самое происходит с ведомственными санаториями, вокзалами, — продолжает возмущаться отец, — а

Министерство энергетики даже ухитрилось ради пары трансформаторов на рядовой московской подстанции заказать распределительный щит из полированного гранита, соорудить у входа мраморную лестницу с двумя огромными гранитными шарами. И такие безобразия творятся не только в Москве, но и в Ленинграде, Тбилиси, Киеве, Воронеже, Баку, никто не считает денег, никто не хочет строить по типовым проектам. В 1954 году на типовые дома в московских новостройках пришлось только 18 процентов домов, а в Ленинграде и того хуже, из 353 — всего 14.

Терпение у отца лопнуло, от увещеваний он переходит к крутым мерам — Постановлением увольняются главные архитекторы Ленинграда и некоторых других городов-нарушителей, у архитекторов-украшателей отбираются Сталинские премии, полученные ими ранее за наиболее одиозные и дорогие проекты. Постановление предписывает объявить конкурс на лучшее архитектурное решение типового сборного дома. Победители получат значительные премии. Предписывается впредь учить студентов индустриальным методам строительства с упором на экономику.

Архитекторы поняли, что отец шутить не намерен, и в декабре начали каяться. Собственно, из этих покаяний в основном и состояли выступления на Всесоюзном съезде.

Съезд закончился, его участники разъехались по домам. Архитекторы проклинали Хрущева и все на свете, но проектировали типовые дома из типовых деталей, проектировали из-под палки, без души, как придется. Ситуация не новая. Когда-то во времена промышленной революции в Англии с появлением машин, делавших труд кустарей невостребованным, последние объединились, назвали себя луддитами и, не желая осваивать новые технологии, ломали ненавистные им машины. Так что по сравнению с луддитами архитекторы вели себя более цивилизованно.

Массовая застройка началась с Новопесчаных улиц в Москве, следом по всей стране покатилась эпидемия «Черемушек». Дома, улицы, кварталы возводились так быстро, что фантазия истощилась, возник дефицит названий, из города в город они повторялись: улицы Строителей, Новостройки… Даже с дверными замками вышла неувязка. Ее обыграл Эльдар Рязанов в фильме «С легким паром…» Это не выдумка режиссера, когда своим ключом легко открывают чужую дверь, а серьезная проблема. При таком огромном количестве дверей разнообразить профиль бородки ключа крайне затруднительно.

Появилась и психологическая проблема. По мере роста строительства и уменьшения дефицита жилья росло недовольство

новоселов. Пока живешь в подвале, счастлив переезду в малогабаритную квартиру в доме, смахивающем на коробку из-под ботинок. После переезда самоощущение меняется, хочется и квартиру побольше, и дом покраше. Такова уж людская природа.

В общем же, итог получился положительным: в Москве в 1955 году построили миллион квадратных метров жилья, на сто тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом, в Ленинграде — 382,6 тысячи квадратных метров, в Челябинске — 140,8 и так далее. Год, как это было принято тогда, строители завершили трудовыми рапортами: 5 ноября 1955 года в Ленинграде заработало метро, первые восемь станций от «Площади Восстания» до «Автово».

Часть 3
Подъем

1956 год

Переосмысление

Несомненно, главное событие 1956 года — открывшийся 14 февраля XX съезд КПСС. Этот первый съезд после смерти Сталина значил очень много. Новому руководству предстояло показать себя и определиться с самим Сталиным.

С одной стороны, как и прежде, в день его рождения и годовщину смерти на первых страницах всех газет появлялись огромные портреты Генералиссимуса, печатались статьи, славившие, пусть уже не «великого вождя и учителя всех времен и народов», но «продолжателя дела Ленина».

С другой стороны, возникало все больше вопросов, и главный среди них: аресты. Аресты в предвоенные годы и новая волна арестов совсем недавно, перед смертью Сталина. Хотелось верить, что «дело врачей», Мингрельское дело «сфабриковал» Абакумов. Его «разоблачил» Берия, потом разоблачили самого Берию. Но до Абакумова и Берии их предшественники Ягода с Ежовым творили то же самое. Их тоже в свое время разоблачили. Как ни хотелось верить, но никак не верилось, что виноваты они одни. То есть внутри себя, подспудно, было понятно, что и они всего лишь исполнители, а настоящий преступник… Имя его знали все, но не решался произнести никто.

Тут возникает естественный вопрос, что они знали, а чего не знали? Примитивно мыслящие наследники из XXI века, не задумываясь, отвечают: «Все они знали, а теперь прикидывались». И на самом деле, находясь на самом верху, они знали многое, не могли не знать, но знали ровно столько, сколько позволял им знать товарищ Сталин. Он стоял за репрессиями, он их организовывал, направлял, а когда считал нужным, приостанавливал. Зная многое, они догадывались об еще большем, но сложить отдельные эпизоды в общую картину не позволяли себе, и не только из чувства самосохранения — тогда пришлось бы и самих себя признать соучастниками в преступлениях против своих, если не товарищей, то коллег. Всем им хотелось верить, что они не знали того, что знал товарищ Сталин.

Человеческая сущность и даже совесть так устроены. Понимая, но не имея возможности вмешаться, человек даже самому себе не признается в этом понимании. Английский писатель Джордж Оруэлл еще за десять лет до XX съезда

прозорливо назвал такое состояние «двоемыслием». Теперь пришла пора от двоемыслия избавляться, а избавление никогда не происходит легко, без мучений.

Большинство вообще предпочитают обойтись без них, оставить все по-старому, если не в мире, то в своем собственном внутреннем мирке. Там они хозяева и очень легко «доказать» себе, что их божество — «хозяин» — не виноват, а виновны окружающие, особенно те, кто покусился на его «божественность». Меньшинство заставляет себя задуматься, разорвать путы «двоемыслия», взглянуть на окружающий мир и самих себя если не объективно, то хотя бы отстраненно. Таким людям приходится особенно тяжело, но именно они продвигают наш мир в будущее. Все они, члены высшего советского руководства, за исключением разве абсолютно циничного Берии, были больны, инфицированы Сталиным. И у отца с Микояном, и у Молотова с Кагановичем, и у всех остальных любой разговор, о чем бы они ни говорили, скатывался к Сталину. Теперь каждому из них волей-неволей приходилось многое переосмысливать.

Но болезнь у каждого протекала по-своему.

Отца с Микояном так же, как Булганина с Сабуровым, мучила совесть, одолевали сомнения. «Мы построим рай на земле», — повторял отец и однажды добавил: «Но что это за рай, окруженный колючей проволокой?» Колючую проволоку следовало убрать, и поскорее, тут отец не сомневался, но как быть со Сталиным?

У других, в частности у Молотова, Кагановича, Ворошилова совесть вела себя спокойно: при Сталине все делалось правильно и его преемникам необходимо держаться проторенной колеи.

Прозрение у отца, о его сотоварищах судить не берусь, наступало постепенно и очень болезненно. Из небытия возникали призраки прошлого: люди, друзья, казалось бы, навсегда канувшие в лету, вычеркнутые из жизни, одна случайно сохранившаяся фотография могла тогда стоить жизни.

Отец ворочался по ночам и вспоминал, вспоминал, как все начиналось.

В двадцатые годы Москва для него была чем-то нереально далеким, так же, как и революционные вожди, где-то там в Кремле ворочавшие судьбами страны, ссорившиеся между собой, мирившиеся и снова ссорившиеся. В начале двадцатых он, молодой революционер-романтик, увлекся столь же романтическими фантазиями Троцкого о перманентной мировой революции. Но вскоре суета донбасских будней сначала в уездном масштабе, потом областном не оставили от романтики и следа. Да и Троцкий быстро скатился с политического Олимпа.

В столичной политической кухне отец начал вариться с поступлением в Промышленную академию в 1929 году. Теперь он с симпатией относился к антиподу Троцкого — Николаю Бухарину, выделял, как и большинство партийцев, более им понятного Сталина. До второй половины тридцатых годов, до начала массовых репрессий отец безоговорочно стоит на стороне Сталина, борется с левой оппозицией, потом с правой, затем с лево-правой. Аресты оппонентов Сталина объяснялись и оправдывались логикой борьбы: или мы их, или они нас. Даже на пике репрессий в 1937-м отец еще не позволял себе задумываться (а позже — винил себя в слепоте). Но уже тогда он, видимо, начал прозревать.

У отца не шел из памяти его старый друг Гриша, Григорий Наумович Каминский. Они сошлись в Промышленной академии; Каминскому, ее ректору, и отцу, с мая 1930 года секретарю партийной организации, приходилось общаться почти ежедневно. В том же 1930 году Григория Наумовича перебросили в Московский партийный комитет, отец же в январе 1931 года стал секретарем одного из райкомов. В 1934 году Каминского сделали наркомом здравоохранения, сначала России, а потом всего Союза.

На Пленуме ЦК 23–29 июня 1937 года Сталин призвал очиститься от скверны, попросил всех по-большевистски, без утайки рассказать товарищам о собственных прегрешениях и не только собственных. Каминский, несмотря на свой дореволюционный стаж конспиратора, 26 июня вылез на трибуну и посетовал, что во время Гражданской войны ходили слухи, якобы первый секретарь Закавказского крайкома товарищ Берия в 1919 году, в период оккупации британской армией Азербайджана, служил в английской и муссаватистской контрразведке и хорошо бы Лаврентию Павловичу просветить Пленум на этот счет. После его выступления сразу объявили перерыв. На выходе из зала заседаний Пленума Каминского арестовали как «врага народа». На вечернем заседании Сталин предложил Пленуму вывести Каминского из кандидатов в члены ЦК и исключить из партии «как не заслуживающего доверия». Все дружно проголосовали «за». 8 февраля 1938 года Каминского расстреляли.

Отец заставлял себя и не мог заставить поверить, что Гриша — «враг народа, террорист, связанный с заграничными разведками». Не укладывалось такое в его голове. После смерти Сталина отец поинтересовался, в чем состояла вина Каминского? Через пару месяцев Генеральный прокурор Руденко ответил кратко: «Ни в чем».

5 марта 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала «Григория Наумовича Каминского за

отсутствием состава преступления».

Вслед за Каминским арестовали помощников отца Д. М. Рабиновича и И. Д. Финкеля. В их преданности советской власти он тоже не сомневался. Их тоже реабилитировали. И таких реабилитаций становилось все больше, на все запросы о вине исчезнувшего в сталинские времена того или иного известного ему человека, отец получал из прокуратуры неизменный ответ: «Состав преступления отсутствует, не виновен».

А чего стоили отцу подозрения Сталина в его собственной неверности. В себе-то отец точно не сомневался, но и он мог оказаться в числе «врагов», спасся только благодаря везению.

Разве мог он забыть, как Сталин неожиданно вызвал его в Кремль и, уставившись своими желтыми зрачками в карие глаза отца, произнес: «Вы не Хрущев, на самом деле вы…» — он назвал какую-то польскую фамилию, отец ее не запомнил. С войны 1920 года Сталин ненавидел поляков, преследовал их, как в Средние века инквизиторы преследовали еретиков, принадлежность к «лицам польской национальности» влекла за собой почти неотвратимый расстрел. Еще страшнее было бы услышать от Сталина: «Что это у вас глаза бегают?» Отец знал о такой манере Сталина проверять на благонадежность, он не запаниковал, глаз не отвел, начал оправдываться — какой он поляк, его в родной Калиновке каждая собака знает, все легко проверить.

— Наверное, это Ежов спьяну наплел, — как показалось отцу, с облегчением произнес Сталин и больше к его «польскому происхождению» не возвращался.

А чего стоила отцу перевыборная партийная конференция в Москве в разгар страшного 1937 года! Тогда перед самым голосованием в Бюро областного комитета партии отцу позвонил секретарь ЦК Ежов с требованием провалить только вчера согласованного в ЦК с ним же высокопоставленного чернобородого военного (отец не мог припомнить его фамилию[23]), Сталин в последний момент заподозрил его в измене. Следом за Ежовым позвонил его заместитель Маленков с аналогичным поручением от Сталина, но уже в отношении старожила партии Емельяна Ярославского. И так без конца. Каждый раз отцу приходилось выступать, изворачиваться, проводить в жизнь, проталкивать полученные сверху приказы, клеймить позором «отступников и террористов». Искренние или не очень, значения не имело, чуть сфальшивишь и тут же сам окажешься в их числе.

В 1938 году, когда отец возглавил ЦК Компартии Украины, ему пришлось лично познакомиться с механикой вынесения смертного приговора: члены Политбюро рассаживались вокруг

длинного стола, Сталин присаживался не в торце, а сбоку, на уголке, вынимал из кармана френча «расстрельный» список, демонстративно на нем расписывался и пускал по кругу. О том, чтобы не поставить свою подпись, и речи не было: Сталин внимательно следил, КАК каждый расписывается. Будучи только кандидатом, отец не обладал правом голоса. Его подпись на подобных документах отсутствует. Но он не мог бы ее не поставить, если бы Сталину она почему-то понадобилась.

В феврале 1938 года отец приехал на Украину достаточно «подготовленным». Его, казалось, уже ничем нельзя было поразить. Оказалось, можно. По республике, по его выражению, «как Мамай прошел», в обкомах и горкомах не осталось секретарей, иногда даже технических, в обл— и горисполкомах взяли председателей вместе с заместителями.

На Украине отец погрузился в трясину доносов, еще более вязкую, чем в Москве. Началось с недавно переведенного из Смоленска и назначенного Председателем Украинского правительства Демьяна Сергеевича Коротченко. Новый нарком внутренних дел Александр Иванович Успенский, тоже недавний москвич, объявил его украинским националистом и румынским шпионом. Сейчас все это кажется смешным, а тогда отец, смертельно рискуя, звонил Сталину и доказывал, что никакой Коротченко не националист, он на Украине «без году неделя» и по-украински еще говорить не выучился. Только стихло дело Коротченко, как Успенский потребовал завизировать приказ на арест украинского поэта Максима Рыльского, он-де тоже украинский националист, пишет свои стихи по-украински.

— А на каком же языке ему писать? — попытался разрядить атмосферу отец.

Нарком не ответил и насупился. Отец тогда на приказе не расписался, но понимал, что это лишь отсрочка. Он нашел выход из положения: позвонил Сталину и, изложив претензии наркома, «наивно» попросил совета: «Поэт Рыльский написал слова к песне о Сталине, ее поет вся Украина, арестовывать его или нет?» Сталин, выдержав паузу, ответил, что займется этим делом сам. Рыльский остался жить, а вот наркома Успенского вскоре арестовали.

Отец и на Украине продолжал истово славить вождя, не больше, но и не меньше всех остальных: партийных секретарей, доярок, поэтов, писателей… Насколько искренне? До последнего времени я считал, что тогда он еще верил в Сталина. Оказалось, что я ошибался. В 1991 году мы с женой Валей и нашим знакомым американским профессором Уильямом Таубманом, он тогда собирал материалы для своей книги о Хрущеве, поехали по

местам, где отец начинал свою жизнь. Естественно, завернули в Донецк, бывшую Юзовку. Там мы повстречались с Ольгой Ильиничной, дочерью друга юности отца, Ильи Косенко. Она хорошо помнила, как перед войной Никита Сергеевич дважды навещал их семью. Первый раз, сразу после назначения в Киев, в апреле 1938 года, он заехал к Косенкам не столько повидаться, сколько проверить, живы ли они. Жили Косенки бедно, в халупе. Все тогда так жили. Хозяева перепугались, когда перед их домом остановилась кавалькада черных лакированных лимузинов. Завидев вылезающего из машины отца, Косенко успокоился, но навстречу гостю не спешил, продолжал стоять возле калитки. Отец узнал Косенко, заулыбался, попытался его обнять. Тот объятиям не противился, но сам даже рук не поднял, так и стоял столбом. Отец отступил на шаг и, продолжая улыбаться, произнес дежурное: «Как ты тут живешь Илья? Сто лет мы с тобой не виделись».

— Жив, как видишь, — как-то безжизненно ответил Косенко и тут же поправился: — как видите.

Тем временем за спиной отца толпились приехавшие с ним областные и районные начальники. Чуть поодаль рассыпались охранники в штатском.

— Пойдемте в хату, — не очень уверенно предложил Косенко. — Вот только места у меня маловато.

Он вопросительно посмотрел на отца. Илья намекал, что предпочел бы говорить наедине, но отец, посчитав, что его друг стесняется, бодро произнес: «В тесноте, да не в обиде».

В небольшой горнице действительно оказалось тесновато. Косенко предложил отцу присесть к стоявшему в центре комнаты обеденному столу, сам сел рядом. Сопровождавшие остались стоять. Отец, не замечая неловкости, расспрашивал Косенко о жизни. Тот отвечал односложно, казенными словами. Восьмилетняя Ольга, его дочь, вцепившись в руку отца, с испугом озиралась на незваных гостей. Откровенного разговора со старым другом не получалось.

Наконец они на короткое время остались в хате одни. Сопровождавшие вышли на улицу покурить, Косенко строго предупредил — в хате не курят. Илья прошептал отцу в ухо: «Есть много что порассказать, но одному тебе, — он с напором произнес «тебе», — а так, ты уедешь, а я останусь…» Косенко неопределенно махнул рукой в сторону входной двери и, горько усмехнувшись, добавил: «Ты даже не узнаешь, что со мной сталось».

Ольга на всю жизнь запомнила его пронзительный шепот.

Заскрипела дверь, перекур на крыльце закончился. Отец стал

прощаться.

Вторично отец заехал к Косенко через пару лет, в 1940-м, теперь уже без сопровождавших. Они уединились в саду под вишнями. Единственный охранник остался сидеть в машине. Но им только казалось, что они одни: под вкопанным в землю столом, накрытым по случаю приезда гостя расшитой узорами, свешивающейся до земли скатертью, схоронилась Оля, все та же дочь Косенко. Ей очень хотелось узнать, зачем такой важный гость снова пожаловал к ее батьке, что отец в прошлый раз обещал ему рассказать.

Сидела Оля тихо как мышка, запоминала каждое слово. После расспросов о бывших общих соседях, о старых друзьях, их осталась в живых лишь горсточка, многие пропали в тридцатые годы, отец поинтересовался, в партии ли Илья? Если нет, то он даст ему рекомендацию, поможет перебраться в Киев устроиться на хорошую работу.

— Ольга школу окончит, в университет поступит, — отец считал, что его друг с радостью и благодарностью откликнется на столь заманчивые предложения, но вышло иначе.

— Нет, — с напором на «нет» ответил Косенко. — Не нужна мне ваша партия, которая *так*, — он снова подчеркнул «так», — с людьми обходится. Что вы, *ваша* партия, со страной сделала? Разрушили вы партию. В настоящей партии состояли Киров, Якир, Тухачевский. Где они теперь?

Воцарилось молчание. Отец не знал, как отреагировать на неслыханную крамолу. Ведь он не последний человек в этой партии, которая *так* обходится с людьми. Ольга затаила дыхание — если ее обнаружат, отец ей не спустит своеволия.

— Не партия это, Илья, — услышала она потерявший обычную звонкость хрипловатый голос Никиты Сергеевича, — не партия, а эта сука Мудашвили все натворил. Когда-нибудь мы ему всё припомним — и Кирова, и Якира, и Тухачевского, и не только их.

Ольга сидела ни жива ни мертва, она не поняла, кто такой Мудашвили, но ощутила, что речь зашла о чем-то страшном.

Что еще обсуждали старые друзья, она не запомнила, в голове стучало: «Сука Мудашвила».

Наконец, гость засобирался уезжать. Косенко пошел его проводить, а Ольга, выскочив из-под скатерти, никем не замеченная, скрылась в кустах смородины.

Через некоторое время она не выдержала, спросила у отца, о каком таком «Мудашвили» говорил гость и почему он «сука»?

— Ты все слышала? — не на шутку перепугался Косенко. — Ты должна молчать. Не говори никому о нашем разговоре, иначе

они расстреляют и меня, и тебя, и Хрущева.

Шли годы. Косенко умер. Оля стала Ольгой Ильиничной. Она сама стала, сначала мамой, потом бабушкой, но продолжала хранить свою тайну, даже тогда, когда, кто такой «Мудашвили», узнали все. Заговорила только к концу горбачевской перестройки. В конце 1990-х годов Ольга Ильинична умерла. Светлая ей память.

В 1941 году началась война. Отец с первого дня на фронте. В предвоенные годы вопросами обороны он почти не занимался, в его круг обязанностей входили сельское хозяйство, промышленность, но не оборонка. Отца потрясла неготовность страны к войне, уже в первую неделю Москва в ответ на просьбу прислать винтовки приказала ковать пики, вооружить этими пиками новобранцев и гнать их на немецкие танки.

Затем отец пережил в сентябре 1941 года сокрушительный разгром под Киевом, тогда в плен к немцам попало больше миллиона наших солдат. Разгром, вызванный исключительно упрямством Сталина, запретившим, вопреки логике, вопреки мнению Жукова и Генерального штаба, вопреки мольбам Командования Юго-Западного фронта пока не поздно вывести войска из-под неминуемого флангового удара со стороны, развалившегося в Белоруссии Западного фронта.

Через год, зимой 1942-го, под Харьковом, трагедия повторилась. В эйфории декабрьской (1941 года) победы под Москвой Сталин требовал наступать на всех направлениях: развивать успех в центре, на Западе послал 2-ю Ударную армию прорываться в блокадный Ленинград, Юго-Западному фронту предстояло освободить Харьков. Все эти планы рухнули, наткнувшись на железную оборону немцев. В центре наступление застопорилось, Вторая ударная завязла в болотах, попала в окружение, а ее командующий — сталинский выдвиженец генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов перешел на сторону немцев. Не повезло и на юго-западе, где фронтом командовал маршал Тимошенко, а отец состоял Первым членом Военного совета. Немцы тогда планировали свое наступление на Южном направлении, на Северный Кавказ, Баку, Иран, а если повезет — и Индию. Сталинский удар на Харьков пришелся им как нельзя кстати — позволял измотать силы Тимошенко, а потом, в избранный ими самими момент, разгромить остатки советских войск и беспрепятственно ринуться на юг.

Немцы направляли наступление Юго-Западного фронта с первого дня: отходили в центре, держали оборону на флангах, втягивали противника в узкую кишку, чтобы одним ударом окружить его и уничтожить. Тимошенко сначала поддался на

немецкую уловку, но через пару дней его начальник оперативного отдела генерал Иван Христофорович Баграмян разгадал, что затевают на той стороне. Стало ясно, что немцы заманивают наши войска в ловушку, как в Киеве, — вот-вот ударят с флангов, и произойдет непоправимое. Отец позвонил Сталину, рядом с ним стоял будущий маршал Баграмян, по его щекам текли слезы, и он, всхлипывая, приговаривал: «Уговорите Иосифа Виссарионовича, иначе все погибнет».

Не уговорили, Сталин даже не подошел к телефону, передал через Маленкова, чтобы Хрущев поменьше совался в военные дела. Это на фронте-то! Непоправимое произошло: немцы захватили четверть миллиона пленных.

В начале лета они, как и планировали, ударили тут же, из-под Харькова, и двинулись, почти не встречая сопротивления, к Волге, к Сталинграду и южнее — к Баку, к Закавказью. Командование фронтом знало о предстоящем наступлении, знало не только направление удара, но и день, час, минуту начала первой атаки немцев. Разведка у них работала хорошо, и в их руки попали оперативные карты одного из немецких корпусов. Они умоляли Сталина прислать им подкрепление. Сталин посмеялся над ними, сказал, что их немцы за нос водят, не дал ни танков, ни самолетов. Об ожидаемом наступлении немцев на юге Сталина предупреждал из Лондона и наш разведчик Ким Филби, он читал британские расшифровки сверхсекретных переговоров немецкого командования. Сталин и ему не поверил, он верил только себе. Все резервы сосредоточил вокруг Москвы, там по его, Сталина, логике произойдет решающее сражение.

Отец навсегда запомнил, как командующий фронтом маршал Тимошенко перед началом немецкого наступления обреченно предложил ему взобраться на высотку и оттуда наблюдать, «как нас бить будут». Такое не забывается. Ни победа под Сталинградом, ни разгром немцев на Курской дуге — отец участвовал в обоих сражениях — не заслонили в его памяти крови и страданий, причиной которых был Сталин.

Когда 5 июля 1943 года немцы начали наступление, стремясь «срезать» Курско-Орловский выступ, окружить наши войска, отец служил Первым членом Военного совета Воронежского фронта, которым командовал Николай Федорович Ватутин. Именно на Воронежский фронт обрушился основной удар немцев. Чего стоит одно только танковое сражение под Прохоровкой.

Историки потом подсчитают, что с обеих сторон в битве было задействовано около полутора тысяч боевых машин, из которых более семисот сгорели вместе с экипажами.

Немцы не прошли, их прорыв захлебнулся. В военном

отношении отец считал победу под Курском поважнее Сталинградской, там мы окружили уже вконец измотанного боями Паулюса, а здесь, впервые в истории Второй мировой войны, остановили немцев, самих выбравших место и момент наступления, да еще не зимой, а в разгар столь любимого ими лета.

Отец рассказывал, как через несколько дней после сражения он поехал на поле боя у Прохоровки. Его поразили не остовы сгоревших танков — он их повидал достаточно, и своих, и чужих, — сразил его стоявший в воздухе горелый трупный смрад. Этот запах горелого мяса преследовал отца всю оставшуюся жизнь.

Перед началом Курской битвы любимец Сталина украинский кинорежиссер Александр Довженко принес ему сценарий фильма «Украина в огне». Прочитать его отец не успел, ему было не до сценария. Правда, чтобы не обидеть Довженко, все же проглядел его по диагонали, ничего крамольного не обнаружил, более того, нашел его патриотическим. А вот Сталин тогда же, несмотря на накал боев, сценарий прочитал от корки до корки и счел его украински-националистическим. Страшнее обвинения в те времена и придумать трудно. В начале 1944 года, когда уже четко наметился перелом в войне и Сталин вновь взялся за старое, он вызвал к себе, как вспоминал отец, «украинских руководителей, а кроме них писателей Корнейчука, Бажана, Тычину и, кажется, Рыльского. Довженко, естественно, тоже там присутствовал. Сталин разнес Довженко в пух и прах, его будущее как деятеля искусств было буквально подвешено, грозило даже большее. Мне Сталин предложил на основе обмена мнениями подготовить резолюцию о неблагополучном положении на идеологическом фронте Украины».

Дальнейшая судьба Довженко всецело зависела от отца, он мог его погубить, а мог и попытаться спасти. Отец выполнил задание Сталина, но выполнил по-своему. Довженко раскритиковали, как и полагалось в духе того времени,12 февраля 1944 года Политбюро ЦК Компартии Украины отметило наличие «в произведениях Довженко грубых политических ошибок» и рекомендовало во Всеславянском комитете заменить А. П. Довженко на М. Ф. Рыльского, вывести А. П. Довженко из комитета по Сталинским премиям и из редакции журнала «Украина», освободить его от обязанностей художественного руководителя Киевской киностудии.

Таким образом, украинцы, то есть он, Хрущев, — «сами себя высекли, однако так, чтобы не было очень больно». На очередном обеде у Сталина отец доложил о принятых мерах. Он не знал, как

отреагирует Сталин, но на их общее с Довженко счастье, получил высочайшее одобрение: «Хорошо, вполне приемлемо, принять», — пробормотал Сталин и больше к вопросу о национализме Довженко не возвращался.

Вопрос закрыли. Довженко остался жить. Уже в сентябре он заканчивает работу над сценарием нового кинофильма «Сержант Орлюк». Хотя Довженко и выжил, но что-то внутри у него сломалось, оно и неудивительно, его «как бы посадили в холодный колодец, он попал к Сталину в опалу. Мне просто жалко было на него смотреть, писал отец, но я ничего не мог сделать, сам я подвергся еще большей критике Сталина, чем даже Довженко. Мне долго пришлось «кашлять» этим произведением Довженко. Так сохранялось до самой смерти Сталина, а потом мы возвысили Довженко по заслугам. После смерти Александра Петровича (в 1956 году) я порекомендовал украинцам: «Назовите Киевскую киностудию именем Довженко».

К счастью, с Довженко все окончилось «хорошо», а дай отец слабину, струсь, — его «дело» покатилось бы по «накатанной» колее, с ним случилось бы то, что произошло с Бабелем, Пильняком, Мандельштамом и многими другими. И с отцом, к счастью, тоже все окончилось «хорошо», а приди Сталину в голову, что он «покрывает» украинских националистов…

В 1958 году вдова Довженко Юлия Солнцева сделала в память о нем красочный широкоформатный фильм об Украине «Поэма о море», пригласила отца на просмотр на Мосфильм. Только там имелась соответствующая аппаратура. Отец от фильма пришел в восторг, долго благодарил Юлию Ипполитовну, говорил, что ей удалось воплотить в жизнь то, что Довженко замышлял еще в 1943 году. Я тоже там присутствовал, мне фильм с его так очаровавшими отца, вздымавшимися «до самого неба» днепровскими кручами, бесконечными наплывами на цветущие яблоневые сады показался скучноватым. Но о вкусах не спорят.

После войны критическое отношение к Сталину у отца продолжало накапливаться, я уже писал и о голоде на Украине в 1947 году, и о несостоявшемся «Московско-Поповском деле», и об агрогородах. Затем Сталин умер, настала пора переосмысления прошлого. Отец еще многого, очень многого не знал, пытался докопаться до истины и одновременно боялся этой истины.

Так уж получилось, что катализатором в процессе десталинизации послужил давний знакомый отца Алексей Владимирович Снегов. В 1920-е годы, в Донбассе, отец короткое время работал у него в подчинении. Снегов заведовал Организационным отделом то ли укома, то ли губкома,[24] отец ходил в заместителях. Потом отец пошел наверх, а Снегова в

конце тридцатых годов с поста секретаря одного из обкомов отправили в ГУЛАГ. Как раз тогда к власти в НКВД пришел Берия, а у них со Снеговым были старые счеты еще с двадцатых годов, когда оба они работали в Баку. Снегов к Берии относился крайне отрицательно и, в силу своего характера, никогда этого не скрывал. Берия, в свою очередь, опасался, что Снегов знает слишком много о его прошлом. И он решил принять меры. По крайней мере, так мне рассказывал сам Снегов.[25]

Осенью 1953 года, когда готовили судебный процесс по делу Берии, начали собирать свидетелей. Их осталось немного, в основном разбросанных по лагерям. Одним из первых разыскали Снегова. О нем вспомнил Генеральный прокурор СССР Руденко, знавший Снегова еще по Украине и в те далекие годы друживший с ним.

Снегова подкормили, приодели и привезли в Москву. Суд закончился, Берию осудили и расстреляли, а Снегова… вернули в тюрьму досиживать срок. На прощание его привезли к Руденко, тот поинтересовался, что он может сделать для своего друга, но тут же спохватился: «Освободить я тебя не в силах».

— Не в силах, так не в силах, — усмехнулся Снегов. — Если в силах, то сохрани мои записи, которые я написал в последние дни, здесь, в Москве.

Снегов протянул Руденко мелко исписанную тонкую тетрадь. Руденко тетрадь взял и, поколебавшись, запер ее в прокурорский сейф. Из Москвы Снегова отправили во Владимирский централ.

В тюрьме Снегов просидел недолго, его окончательно освободили уже в следующем году. Вернувшись в Москву, он тут же начал стучаться во все двери: делом его жизни стало восстановление справедливости, а восстановить ее невозможно без разоблачения главного преступника: Сталина.

Первым он достучался до Микояна, они тоже старые знакомые, когда-то вместе делали революцию в Баку. Выслушав Снегова, Микоян решил свести его с Хрущевым. Снегов предложил захватить с собой еще и Ольгу Шатуновскую, в 1930-е годы она работала с отцом в Москве. Так же, как Снегов, Шатуновская отсидела восемнадцать лет в лагерях. Так же, как и он, совсем недавно вырвалась на волю.

На тот момент из всего Президиума ЦК я бы только Микояна назвал единомышленником отца. Правда, Микоян ставит на первое место себя, утверждает, что именно он, Микоян, начал первым раскапывать преступления Сталина. Не берусь судить о хронологии, дело не в первости, а в совпадении взглядов, очень важно чувствовать рядом локоть соратника. Что же касается первости, оба они написали воспоминания, оба они ушли из

жизни, и нам теперь уже нечего добавить.

Члены Президиума ЦК: Маленков, Булганин, Шверник, Сабуров, Первухин и даже вновь избранные в высшее руководство: Суслов, протеже отца — Аристов с Кириченко и примыкавший к ним Шепилов, поддерживали отца, но не по велению сердца, а потому, что он сохранял лидерство. Они привыкли поддерживать сильнейшего. Менялся расклад, вместе с ним менялись и их пристрастия. Пока же отец оставался вне конкуренции. Исключение составляли Молотов, Каганович и Ворошилов, слишком многое их связывало со Сталиным, они помнили не только о своих подписях на расстрельных списках, но и о «от души» сделанных приписках: «Сволочи», «Мерзавцы», о прямых указаниях следователям: «Бить, бить, бить».[26]

Отец пригласил к себе в ЦК Снегова с Шатуновской. Их рассказ, в первую очередь, их убежденность, в том числе и в том, что за спиной Николаева, убившего 1 декабря 1934 года первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Мироновича Кирова, стоял сам Сталин, подтверждал самые страшные догадки отца. Он попросил их описать все сказанное в письме в Президиум ЦК. Его вслух зачитал Булганин на заседании 31 декабря 1955 года.

Когда дошло до убийства Кирова, Ворошилов, не выдержав, выкрикнул: «Ложь!» Однако присутствовавшие его не поддержали, и он затих. Булганин закончил чтение. Наступило молчание. Никто не хотел начинать первым.

— Если проследить, пахнет нехорошим, — первым, как всегда, пришлось говорить отцу, — надо проверить, вызвать оставшихся в живых свидетелей.

— Это ничего не даст, — перебил отца Молотов, — проверять надо документы.

Его поддержал Каганович. Оба они знали, что документы подтвердят сталинскую версию о причастности к убийству Кирова Зиновьева, и только его одного. Микоян встал на сторону отца.

Свидетелей допросили, тех немногих, кого удалось разыскать. Большинство из них распростились с жизнью сразу после окончания следствия по делу Кирова, за которым следил лично Сталин. Неоспоримых фактов причастности или непричастности Сталина к преступлению они привести не смогли.

На том, предновогоднем заседании отец предложил создать специальную комиссию, вменив ей в обязанность разобраться не только с убийством Кирова, но и копнуть поглубже. Особенно его интересовала судьба делегатов XVII съезда партии, «Съезда победителей», как назвал его Сталин. Большинство «победителей» и те, кого отец хорошо знал, и кого не очень — исчезли без следа.

Члены Президиума ЦК заспорили, кого включить в комиссию, дело уж больно щекотливое. Микоян предложил в комиссию из высшего руководства его самого, отца, Молотова, Ворошилова и в добавку к ним еще кое-кого рангом пониже. Отец предпочел роль арбитра и свое участие в комиссии отклонил. По мнению отца, работу следовало поручить историкам партии, а во главе поставить «главного историографа», одного из авторов «Красного курса истории ВКП(б)», Секретаря ЦК Петра Николаевича Поспелова. Он писал эту «историю», пусть сам же теперь ее и расхлебывает. В результате в комиссию включили функционеров второго партийного эшелона: Аверкия Борисовича Аристова от ЦК, Николая Михайловича Шверника от профсоюзов и Павла Тимофеевича Комарова от комиссии партийного контроля, а также Генерального прокурора Руденко и Председателя КГБ Серова. КГБ предписали предоставлять Комиссии любые, даже самые секретные документы.

И до встречи отца со Снеговым и Шатуновской, начиная с самого 1953 года, освобождали из лагерей политических, кого с реабилитацией, а кого просто так, по умолчанию. Но двигалось все медленно, они же потребовали настежь раскрыть двери лагерей, освободить практически всех и сразу. И без Снегова с Шатуновской процесс пошел бы тем же путем. Но так уж получилось, что судьба избрала своим орудием возмездия за содеянные Сталиным преступления именно их двоих.

Снегова отец назначил своим «комиссаром» в МВД к Круглову. Ему, недавнему «сидельцу», вменялось надзирать не только за реабилитацией, но и за соблюдением законности в Министерстве, где само слово «законность» давно забыли. Шатуновская выполняла схожую задачу в комиссии Партийного контроля. Снегов и Шатуновская стали первыми в российской истории уполномоченными высшей властью наблюдателями за соблюдением того, что сейчас называют «правами человека».

Забегая вперед, скажу, что оба они в МВД и КПК пришлись не ко двору, слишком настойчиво требовали освобождения заключенных, их реабилитации, постоянно совали нос в самые заповедные уголки еще вчера никому неподсудных «органов». При первой возможности от них постарались избавиться, сначала отобрали допуски к секретным материалам, а затем и вовсе отправили на «персональную» пенсию. Однако Снегов с Шатуновской и не думали сдаваться, до конца своих дней — а прожили они, закаленные в сталинских лагерях, долго — стучались во все двери, писали во все инстанции, разоблачали, разоблачали, разоблачали… Пока Хрущев оставался у власти, их вежливо выслушивали, но мало что предпринимали. Когда же

отца от власти отставили, их и слушать перестали.

Параллельно с работой комиссии Поспелова отец затеял собственное расследование. 1 февраля 1956 года на заседание Президиума ЦК из тюрьмы доставили важного свидетеля, к тому времени уже арестованного вслед за Берией одного из высших чинов госбезопасности, в тридцатые годы заместителя начальника следственной части по особо важным делам Бориса Вениаминовича Родоса. Это он «выбивал» показания из Косиора, Чубаря, Постышева и еще из многих и многих других. Это его подследственный маршал Василий Константинович Блюхер после восемнадцати дней непрерывных избиений умер в тюрьме, так и не дождавшись смертного приговора.

«На наше заседание пришел человек, еще не старый, — вспоминал впоследствии отец. — Я спросил его: “Вы вели дело Чубаря?” — “Да, я”. — “И как он сознался в своих преступлениях?” Тот говорит: “Мне дали директиву: бить его, пока не сознается. Вот я и бил его, он и сознался”.

Вот так просто! Осудили его за такое следствие, хотя этот следователь оказался слепым орудием, он верил партии, он верил Сталину».

На том заседании Президиума ЦК его члены вели себя по-разному. Относительно молодой Сабуров не выдержал, воскликнул: «Если факты верны, разве это коммунизм? За это нельзя простить».

— С ума можно сойти, — отозвался Микоян.

— Сталина как великого руководителя надо признать, — не согласился с ними Молотов и назидательно добавил: — неправильности надо соразмерить.

— Нельзя в такой обстановке решать, — поддержал его Каганович, — тридцать лет Сталин стоял во главе.

— Партия должна знать правду, но преподнести, как жизнью диктуется, — лавировал Ворошилов, — период диктовался обстоятельствами. Мерзости много, но надо подумать, чтобы с водой не выплеснуть ребенка.

— Правду восстановить, но правда и то, что под руководством Сталина победил социализм. Надо все соразмерить, — присоединился к Ворошилову Молотов.

— Сталин предан социализму, но… партию он уничтожил. Не марксист он. Все святое стер, что есть в человеке. Все своим капризам подчинял, — подвел итог Хрущев.

Так что ко времени окончания работы комиссии Поспелова члены Президиума ЦК уже кое-что знали, но не более, чем кое-что…

Комиссия представила материалы расследования Президиуму

ЦК 9 февраля 1956 года, примерно через месяц после начала работы и перед самым открытием назначенного на 14 февраля XX съезда партии. Председатель комиссии Поспелов зачитывал отчет вслух. Поправив на носу старомодные, с огромными диоптриями очки, он начал бубнить. Так же бесцветно Поспелов выступал и на партийных собраниях в ЦК, и на заседаниях Академии наук, где он числился «партийным» академиком-историком. «Ему было трудно читать, — вспоминал Микоян, — один раз он даже разрыдался».

Отец пришел в ужас. Он ожидал разоблачений, но такого… В 1935–1940 годах подверглись репрессиям две трети партийных и советских работников, занимавших хоть какие-то, даже незначительные должности. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде «победителей», арестовали 98, а из 1 966 самих «победителей» — делегатов съезда, арестовали 1 108 человек, расстреляли 848. Не миновала чаша сия и тех, кто не занимал никаких должностей. Только за 1937–1938 годы НКВД арестовало 1 548 366 человек и расстреляло почти половину из них — 681 692 узника. Полтора миллиона арестованных и почти три четверти миллиона казненных советских граждан! И это безо всякой войны, просто так, по наветам соседей или по разнарядке местного НКВД.

В докладе Поспелов ограничился всего двумя годами сталинских репрессий, но и двух лет оказалось достаточно… Какое-то время члены Президиума сидели как оцепеневшие.

— Что за вождь, если он всех уничтожает? — прервал тишину отец и замолк, подбирая нужные слова. Потом продолжил. — Надо проявить мужество, сказать правду. Съезду сказать. Кому сказать?

Снова повисла пауза.

— Может быть, товарищу Поспелову? — не очень уверенно произнес отец и оглядел присутствующих. Никто не отозвался и он продолжил:

— Когда сказать? Вопрос остался без ответа.

— На заключительном заседании, — подвел итог отец. Пришла пора высказываться и остальным, в таких обстоятельствах отмолчаться никто не мог себе позволить. Вот только говорить никому не хотелось.

— Надо сказать, — нарушил молчание Молотов, — но сказать не только это. Сталин — продолжатель дела Ленина. После Сталина мы вышли великой партией.

Он говорил несколько минут, в волнении заикался, запинался, подыскивал слова в пользу Сталина, но после сообщения Поспелова нужные слова находились с трудом.

Наконец Молотов иссяк.

Отец неопределенно хмыкнул, начал было что-то отвечать, но тут вмешался Каганович.

— Историю обманывать нельзя, — быстро сориентировался он. — Докладывать — товарищу Хрущеву. Мы несем ответственность, но такая тогда сложилась обстановка. Но мы были честны, борьба с троцкистами оправдана. Я согласен с товарищем Молотовым, все надо провести с умом. Как сказал товарищ Хрущев, как бы нам не развязать стихию.

Лазарь Моисеевич почувствовал, что он окончательно запутался и резко, на полуслове оборвал свое выступление.

Следующим выступил Булганин. Он полностью поддержал отца.

— Мы не в отпуску, — произнес Ворошилов. Что это значило, никто не понял. — Всякая промашка повлечет за собой последствия, — пытался определиться Климент Ефремович, но определиться у него не получалось. — Были враги? Были. Сталин осатанел. Тем не менее, в нем много человеческого, но были и звериные замашки.

— Не можем не сказать съезду, — квинтэссенция выступления Микояна.

— На съезде доложить, — вторил ему Первухин.

— Делегатам рассказать все, — сухо произнес Суслов.

— Съезду сказать, — это уже слова Маленкова. — Испытываю чувство радости от того, что оправдываем товарищей, но их не оправдать, не объяснив роли Сталина. «Вождь» действительно оказался «дорогой». Связать с культом личности. Не делать доклада о Сталине вообще.

Как «оправдать товарищей, объяснить роль Сталина» и одновременно «не делать доклад вообще» — Маленков не объяснил.

— ЦК не может молчать, — еле слышно произнес Шверник, — иначе улица заговорит. Кошмар…

— Молотов, Каганович, Ворошилов — фальшивят, — рубил сплеча Сабуров, — Каганович говорит о недостатках, когда они по сути — преступления. Мы много потеряли благодаря глупой политике и с проливами Босфор и Дарданеллы, не говоря уже о Финской войне, Корее, блокаде Берлина. Испортили отношения со всеми. Сказать правду о Сталине до конца.

«Старики» высказались все, настала очередь «молодых», со Сталиным в 1930-е годы не повязанных.

— Не согласен с прозвучавшим в выступлениях Молотова, Кагановича и Ворошилова: «Не надо говорить», — громко, чуть громче, чем требовалось в небольшом зале заседаний Президиума

ЦК, начал выступление секретарь ЦК Аверкий Борисович Аристов. — «Мы этого не знали» — недостойный аргумент. Годы были страшные, годы обмана народа.

— Правильно товарищ Хрущев предлагает, правду надо сказать, — присоединился к Аристову еще один «новичок», тоже Секретарь ЦК Николай Ильич Беляев. — Делаются оговорки, как бы не потерять величие Сталина, но в этом величии надо еще разобраться.

— Писали о Сталине от сердца, — вкрадчиво начал Шепилов. — Шевелились глубокие сомнения… Надо сказать партии, иначе нам не простят. Говорить правду, но продумать форму, чтобы не было вреда.

— Какой тут вред? — отпарировал Кириченко. — Не может быть вреда. Невозможно не сказать.

— На съезде ЦК должен высказаться, — последним говорил Пономаренко, — гибель миллионов оставляет неизгладимый след.

— Нет расхождений, съезду сказать, — подвел итоги обсуждению отец. — Развенчать до конца, но не смаковать, кто будет делать доклад — обдумать.

На этом заседание Президиума ЦК закончилось. Все расходились подавленными.

Отец вышел из зала вместе с Микояном, в приемной они столкнулись с Шатуновской, внутрь ее не пустили, она все это время просидела в «предбаннике», на случай, если понадобится какая-то справка. Завязался разговор. О чем? Остается только догадываться. Но догадаться не трудно. Она говорила, что комиссия копнула только первый слой и надо продолжить расследование. Микояну запомнились приведенные ею цифры: Поспелов сообщил, что за 1937–1938 годы арестовали полтора миллиона человек, а по данным КГБ СССР, предоставленным Шатуновской, за семь лет, с 1934 по 1941 год, репрессировали восемнадцать с половиной миллионов, более 15 % тогдашнего населения Советского Союза, из них расстреляли около миллиона. Разум нормального человека не способен вместить в себя преступления подобного масштаба.

Приведенные мною выше записи Малина документально подтверждают происшедшее в тот день: обсуждение состоялось, кто выступил и, очень кратко, кто что сказал. Переживания, тональность выступлений — все это осталось за кадром. А эмоции в тот день бушевали нешуточные. Воспоминания о том, как проходило обсуждение записки Поспелова, оставили два человека: отец и Микоян.

Начну с отца.

«Вот съезд кончится. Будет принята резолюция. Все это формально. А что дальше? На нашей совести останутся сотни тысяч расстрелянных людей, включая две трети состава Центрального Комитета, избранного на XVII партийном съезде. Редко, редко, кто удержался, а так весь партийный актив расстреляли или репрессировали. Редко кому повезло, и он остался жив. Что же дальше? Записка комиссии Поспелова сверлила мне мозг», — делится своими переживаниями отец.

Отец колебался. Рассказать обо всем? Промолчать? Попытаться выбраться из трясины беззакония и лжи, опираясь на новую ложь? О том, что выбираться придется, сомнений у него не возникало, он считал, что будущее общество должно строиться не на репрессиях, а на власти народа. Но как это сделать, не сказав тому же народу правду, не исключив навсегда возможность прихода к власти нового диктатора, прихода за дымовой завесой самых благих намерений поддержания порядка и достижения процветания.

Отца беспокоили и сиюминутные проблемы. Стоит ослабить репрессивный режим, и люди потребуют правды, правды о прошлом и, естественно, о настоящем. Как политик отец считал — сокрытие правды о чудовищности сталинского режима смерти подобно. Политической — безусловно. В таком случае, чтобы удержать власть, придется или творить такие же беззакония, запутываясь во все новых преступлениях, или ожидать, когда во всем разберутся, но уже без них. Первого отец не мог себе даже представить. Второе не отвечало его натуре, он привык, не ожидая ударов судьбы, упреждать их.

Как мы знаем, отец решил действовать. Вот как он описывает заседание Президиума ЦК, обсуждавшее записку Поспелова, то самое, с которым читатель уже познакомился в изложении Малина:

«Я собрался с силами и поставил вопрос: “Товарищи, а как же быть с запиской товарища Поспелова? Как быть с расстрелами, арестами? Кончится съезд, и мы разъедемся, не сказав своего слова. Ведь мы уже знаем, что люди, подвергшиеся репрессиям, были невиновны… Люди начнут возвращаться из ссылки, мы же держать их там теперь не будем”.

…Как только я закончил говорить, тут сразу на меня все набросились. Особенно Ворошилов: “Что ты? Как это можно? Разве можно все рассказать съезду? Как это отразится на авторитете нашей партии, на авторитете нашей страны? Это же в секрете не удержишь! И нам тогда предъявят претензии. Что мы можем сказать о нашей роли?”

Очень горячо возражал Каганович. Это было желание уйти от

ответственности. Если сделано преступление, то замять его, прикрыть.

Я говорю: “Это невозможно, даже если рассуждать с ваших позиций. Мы проводим первый съезд после смерти Сталина. На этом съезде мы должны чистосердечно рассказать делегатам всю правду о жизни и деятельности нашей партии. Мы отчитываемся сейчас за период после смерти Сталина, но мы, как члены Центрального комитета, должны рассказать и о сталинском периоде. Как же мы можем ничего не сказать делегатам съезда? Съезд закончится. Делегаты разъедутся. Вернутся бывшие заключенные и начнут их информировать по-своему. Тогда делегаты съезда, вся партия скажут: позвольте, как же это так? Был XX съезд — и там нам ничего не сказали. Вы что, не знали о том, что рассказывают люди, вернувшиеся из ссылок, из тюрем? Вы должны были знать!

Мы ничего не сможем ответить! Сказать, что мы ничего не знали — это будет ложью, есть записка товарища Поспелова, и мы теперь уже знаем обо всем. Знаем, что репрессии были ничем не обоснованы, что это был произвол Сталина”.

Ответом была опять очень бурная реакция. Ворошилов и Каганович повторяли в один голос: “Нас притянут к ответу”.

Я сказал: “Я готов как член Центрального комитета с XVII съезда и член Политбюро с XVIII съезда нести свою долю ответственности перед партией, если партия найдет нужным привлечь к ответственности тех, кто был в руководстве во времена Сталина, когда допускался этот произвол…Даже у людей, которые совершили преступление, раз в жизни бывает такой момент, когда они могут сознаться, и это принесет им, если не оправдание, так снисхождение. Это можно сделать только на XX съезде, на XXI съезде уже поздно будет…”

Сейчас не помню, кто после этого персонально поддержал меня. Думаю, что это были Булганин, Первухин и Сабуров. Не уверен, но думаю, что, возможно, Маленков тоже поддержал меня.

Тогда возник вопрос, кто должен делать доклад? Я предложил, чтобы доклад сделал товарищ Поспелов. Другие, я сейчас не помню, кто персонально, предложили, чтобы доклад сделал я… “Если сейчас не ты выступишь, то возникнет вопрос: почему Хрущев в отчетном докладе ничего не сказал. Не мог же Хрущев не знать. Следовательно, возможно, что есть разногласия в руководстве, и Поспелов выступил с собственным мнением”. Этот аргумент заслуживал внимания, и я согласился…»

Микоян в своих мемуарах с Хрущевым не соглашается, в его памяти дискуссия о докладчике запечатлелась иначе: «Когда речь

зашла о докладчике на съезде, я предложил сделать доклад не Хрущеву, а Поспелову как председателю комиссии ЦК партии. Хрущев мне ответил: “Это неправильно, потому что подумают, что Первый секретарь уходит от ответственности и вместо того, чтобы самому доложить о таком важном вопросе предоставляет возможность выступить докладчиком другому”. Хрущев настаивал, чтобы основным докладчиком был именно он. Я согласился, так как при таком варианте значение доклада только возрастало. Он оказался прав».

В приведенных выше записках Малина ничего подобного не зафиксировано, Анастас Иванович что-то напутал… или запутал. Не знаю.

«Мы утвердили все выводы комиссии Поспелова без изменений, — я возвращаюсь к воспоминаниям Микояна, — но она не внесла предложений по открытым процессам 1930-х годов, заявив, что не сумела разобраться, ей это оказалось не под силу. Тогда Хрущев предложил создать новую комиссию — специально по открытым судебным процессам, включив туда, кроме уже работавших членов, также Молотова, Кагановича и Фурцеву. Мою кандидатуру он почему-то даже не назвал.

Я не возражал против предложенного состава. Может быть, если бы это было предварительным обменом мнений, я бы и возразил. Ведь соображение об участии в сталинском руководстве уже отпало. Но почему только для Молотова и Кагановича? Возможно, было бы целесообразно мне быть там, чтобы противостоять в случае необходимости Молотову и Кагановичу. Я думал о роли Кагановича, а также о том, что Молотов тогда был вторым лицом в партии и государстве и во многом помогал Сталину в ходе репрессий. Стоило ли их включать в состав, где остальные участники были намного ниже по положению в партии?

Но в тот момент возражать и объяснять причины было неудобно, ибо предложение было одобрено без оговорок. Кроме того, я думал, что они уже поработали и в отношении судебных процессов и результат будет такой же, как и в отношении репрессий.

Но мы ошиблись. Через некоторое время новая комиссия представила предложения в том смысле, что, хоть в те годы не было оснований обвинить Зиновьева, Каменева и других в умышленной подготовке террора против Кирова, они все же вели идеологическую борьбу против партии и пр. Поэтому, делала вывод комиссия, не следует пересматривать эти открытые процессы».

Такая комиссия существовала, но, как свидетельствуют

документы, создали ее не до, а после XX съезда. Сначала ее возглавлял Молотов, а после него председателем комиссии стал Шверник. Работала она не спеша. Результаты появились ближе к 1964 году. Пришедшее к власти брежневское руководство отправило их в архив.

Вернемся теперь к событиям, последовавшим вслед за оглашением записки комиссии Поспелова. Почему ни на заседании Президиума ЦК 9 февраля 1956 года, ни после него даже не встал вопрос о включении раздела о Сталине в отчетный доклад ЦК съезду?

Во-первых, к тому времени отчетный доклад уже окончательно отшлифовали, все шероховатости убрали, Сталин не восхвалялся, но и не критиковался, а о репрессиях вообще не упоминалось. Писался он не один месяц, работавшие над ним люди вообще не имели понятия о комиссии Поспелова. Окончательный текст доклада утвердили на заседании Президиума ЦК 30 января 1956 года, и переделывать его теперь поздно, через пять дней — съезд. Да и страшно вот так, без подготовки бухнуть во все колокола. Произносимый с трибуны съезда отчетный доклад транслируется по радио на всю страну, а на следующий день Госполитиздат растиражирует его в миллионах экземпляров. В отчетном докладе принято подводить итоги, говорить об успехах, намечать вехи на будущее, критиковать недостатки. Недостатки, но разве в отчете комиссии Поспелова говорится о недостатках?

Во-вторых, и это главное, отчетный доклад по регламенту полагается обсудить, собственно съезд почти все свое время и посвящает его обсуждению, а вот обсуждения Президиум ЦК, все его члены, включая отца, хотели избежать. Они понимали, что начавшиеся дебаты могут выйти из-под контроля, зайти так далеко, что и костей не соберешь. А там еще выборы нового ЦК…

Вот и разделили доклады, решили рассказать правду о Сталине, но уже после того, как «занавес закроют», после прений и, главное, после выборов.

Утром 13 февраля 1956 года, через четыре дня после обсуждения записки Поспелова собралось предсъездовское заседание Президиума ЦК, решали организационные вопросы: регламент съезда, кого выбрать в Президиум, кого в Секретариат. «Женщин маловато», — посетовал Молотов. Микоян с Первухиным с ним согласились, предложили в Президиум съезда добавить двоих, работницу и колхозницу и соответственно поправить состав других органов. Затем слово взял Суслов.

— Пленум открыть товарищу Хрущеву, — записывал за ним Малин. — Сказать, что на съезде будет доклад о культе личности.

Сделает его товарищ Хрущев.

— На закрытом заседании, — уточнил отец. Никто не возражал. На том и порешили.

В тот же день вечером открылся Пленум ЦК. Как обычно председательствовал на нем Хрущев. Приведу выдержки из стенограммы.

— Президиум рассмотрел отчетный доклад ЦК съезду и одобрил. Будет ли Пленум заслушивать доклад? — задал он трафаретный вопрос.

— Одобрить. Завтра услышим! — столь же трафаретно ответил зал. Обычно на этой ноте и заканчивались предсъездовские Пленумы, но на этот раз отец медлил.

— Есть еще один вопрос, — он запнулся, но всего лишь на мгновенье. — Президиум Центрального Комитета после неоднократного обмена мнениями, изучения обстановки, материалов после смерти товарища Сталина чувствует и считает необходимым поставить на XX съезде партии, на закрытом заседании (видимо, это произойдет в то время, когда закончится обсуждение докладов и утверждение кандидатов в руководствующие органы Центрального Комитета, членов и кандидатов в члены ЦК, членов Ревизионной комиссии, а гости все разъедутся), доклад от имени ЦК о культе личности, — голос отца звучал уверенно, недавнее волнение само по себе ушло. — На Президиуме мы условились, что доклад поручается сделать мне, Первому секретарю ЦК. Не будет возражений?

— Нет, — пронеслось по залу, члены ЦК привычно согласились и не задали вопросов.

Вот так, даже не поинтересовавшись, что это за диковинный доклад, члены Пленума ЦК приняли одно из важнейших решений в своей жизни. На этом заседание закрылось. Завтра съезд.

Отчет ЦК

14 февраля 1956 года открылся XX съезд КПСС. На его первом заседании отец зачитал отчетный доклад. Именно зачитал, никаких отступлений, даже он, любитель импровизаций, тут себе позволить не мог. Доклад занял целый день. Домой отец вернулся смертельно усталый, но чрезвычайно довольный. Он просто сиял. Сделать отчет съезду — ничего более почетного просто невозможно себе вообразить.

По своей сути отчетный доклад — коллективное творчество. Писался он так: отец, как и до него Сталин, обозначал приоритеты, задавал тон. Затем разделы доклада: народное хозяйство, партийное строительство, вопросы теории,

международное положение начинали готовить в соответствующих отделах ЦК. Отец дирижировал процессом еженедельно, а к концу работы и чаще, обсуждал заготовки то с одним отделом, то с другим, критиковал, что-то выбрасывал, что-то менял, тут же сам надиктовывал десятки страниц. Затем материал уходил на доработку и вновь возвращался к отцу. Когда доклад обретал форму, его обсуждали, поднимаясь шаг за шагом по ступеням бюрократической иерархии: отделы ЦК, секретариат ЦК и, наконец, Президиум ЦК.

На этот раз страсти вокруг доклада разгорелись нешуточные, отец усомнился в истинности краеугольных идеологических догм: неизбежности революции и неотвратимости войны между странами социализма и капитализма. Тридцать лет назад его увлекла теория «перманентной революции» Троцкого, призывавшего разнести революцию по всем континентам, установить там силой новый, прогрессивный миропорядок. Теперь он рассуждал иначе.

— С какой стати нам воевать за лучшую жизнь для англичан, американцев или французов? Мало мы положили жизней в прошлой войне? Когда они увидят, что мы зажили лучше их, то они сами выберут себе приличного президента и присоединятся к нам, — вслух рассуждал отец. — Пока же они живут лучше нас. Надо перестать истощать себя, тратить ресурсы на подготовку к войне, пусть и самой справедливой, напротив, следует сокращать расходы на оборону, сосредоточиться на развитии экономики. Победит тот строй, который предоставит людям лучшие условия жизни.

В том, что будущее за социализмом и коммунизмом, отец не сомневался, если мы, конечно, не наделаем непоправимых ошибок.

Тезис о неотвратимости нового апокалипсиса, битвы социализма с капитализмом за установление справедливости и равноправия в мире, отец считал не только разрушительным для нашей экономики в стратегическом плане, но и вредным тактически. Тем самым мы сами себя представляем агрессорами, даем противнику неоспоримые пропагандистские преимущества.

— Мы собираем подписи под Стокгольмским воззванием за мир, убеждаем людей, что хотим жить в мире, призываем к разоружению, — развивал свою мысль отец, — а они открывают наши главные партийные документы и читают там, что мы, согласно этим документам, готовимся к решительной вооруженной схватке с империализмом. Как после этого они нам поверят? Мы противоречим сами себе.

Обсуждения, которым я стал свидетелем, происходили по

выходным во время прогулок на даче по дорожкам парка. Собеседниками отца оказывались или работники отделов ЦК, приехавшие доложить материалы к докладу, или просто гости, его коллеги по Президиуму. Я жадно ловил каждое слово. На лекциях по научному коммунизму нам втолковывали совсем другое. Я с трудом удерживался от искушения поделиться сногсшибательными новостями со своими друзьями-студентами. Но разговоры отца с коллегами не для чужих ушей.

Отцу возражали по-разному. Чиновники рангом пониже, работники отделов в открытую с отцом не спорили. Они не то чтобы возражали, а крайне осторожно выражали сомнения в точности формулировок, их соответствии ленинским постулатам. Из коллег по Президиуму по убеждению соглашался с отцом только Микоян, поддержали его и Маленков с Булганиным (они с отцом всегда соглашались), Молотов с Кагановичем высказывались резко против, остальные выжидали. Молотова с Кагановичем поддерживали идеологи-академики. Отказаться от привычных догм, взглянуть на мир по-новому бывает очень и очень трудно. Отец уважал теорию и теоретиков, но пока теория не расходилась со здравым смыслом. А сейчас она разошлась, и даже очень.

Окончательно расставили точки над «и» 30 января 1956 года, когда отец представил на одобрение Президиума ЦК сверстанный текст. Микоян предложил доклад «в основе одобрить, если есть замечания, передать их докладчику», то есть отцу, а он их учтет (или не учтет). Так поступали и перед XVIII съездом до войны, и перед XIX в 1952 году, но на сей раз Молотов с Кагановичем, соглашаясь, что «основа приемлема», тут же усомнились в приемлемости «еретических» положений, вписанных отцом.

— Стоит ли затрагивать программные вопросы: о парламентском, а не вооруженном пути захвата власти, о мирном, а не революционном развитии общества, о переходе от диктатуры пролетариата к всевластию народа, к демократии, — рассуждал Каганович, по сути, предлагая выхолостить доклад, свести его к бюрократическому отчету «о проделанной работе».

— Замечания кое-какие есть, — поддержал его Молотов, — полезно обменяться мнениями, а не просто принимать за основу.

— Есть ряд рискованных положений, сомнения есть, — почувствовав поддержку, осмелел Каганович, — в частности о неизбежности войны с империализмом. «Неизбежность» — принципиальный вопрос, мы не можем ревизовать объективные законы. На весь доклад только одна цитата из Ленина, и та переврана.

Отцу подобрали цитату в подтверждение его тезиса о мирной

уступке власти буржуазией, правда, у Ленина речь шла о малом государстве и при условии, что «большие» соседи пролетарскую власть уже установили. К сожалению, ничего более подходящего отыскать не удалось. Да и эту цитату пришлось оборвать, ибо после: «…возможна мирная уступка власти буржуазией, если она убедится в безнадежности сопротивления», — Ленин берет свои слова назад и заканчивает: «Гораздо вероятнее, что и в мелких государствах без гражданской войны социализм не осуществится и потому единственной программой интернациональной социал-демократии должно быть признание такой войны, хотя в нашем идеале нет мысли насилию над людьми».

— Не так цитируется Ленин, — продолжал напирать Каганович, — теперь о парламентской борьбе: рабочий класс может иметь большинство, а власть останется не рабочей. Возьмите хотя бы английских лейбористов. Не стесняясь надо сказать: мы за революцию, мы за диктатуру пролетариата.

— О войнах нечетко сформулировано, и почему бы тут не сослаться на Сталина? — подхватил эстафету Молотов. — О формах перехода к социализму. Социалисты у власти в Англии, Норвегии, Швеции, но это не путь к социализму. Вывод: «в прочный мир» без диктатуры — это упрощение.

Отец молчал, он заранее заручился поддержкой большинства.

— Мы отталкиваем массы, твердя: «Вот придем и начнем вас резать», — возразил Микоян. — Если не с социал-демократами, то с кем держать единый фронт? О не неизбежности войны правильно сказано.

— То, что Каганович говорил, у меня тоже отчеркнуто, — подал голос Ворошилов и тут же сменил тональность. — Держаться за старое нельзя. Положение доклада уживается с ленинскими мыслями.

— Мы можем предотвратить войну, — поддержал отца Маленков, он о том же самом говорил еще в 1954 году, — о парламентском переходе к социализму — правильно.

— Надо ли ставить эти вопросы? Они поставлены своевременно и правильно. — (Это уже слова Булганина.)

— Считаю постановку вопроса правильной, — вторит ему Сабуров.

— Существо доклада — правильно, не обязательно всем тыкать в лица «диктатурой пролетариата», — начал свое выступление Суслов. — И гражданская война не обязательна. Утверждать так, значит проявлять сектантство. Новая обстановка толкает нас к контактам с социалистами. Надо вносить новое.

— На старые формулы ссылаться нельзя, вопросы изложены правильно, — поддержал отца Первухин.

— Согласен с основными положениями доклада. Фатализм войны отвергаем. Товарищ Каганович не прав, — примкнул к отцу Шепилов.

— Легче всего повторять старое. Это духовное убожество, — рубил сплеча Кириченко.

— Постановка в докладе смелая и революционная. Ленин не случайно говорил о мирном пути развития революции, — подвел теоретическую базу Поспелов.

Аристов и Шверник тоже поддержали отца.

— Стремлюсь смягчить свои поправки, — сдал назад Каганович. — Но надо ли отменять марксистское положение о неизбежности войн? Нужно еще поработать над разделом о «революции» и «эволюции». Замечания учесть при работе над докладом и доложить. Все, что говорили, меня устраивает.

Молотов отмолчался.

Отец поставил доклад на голосование. Проголосовали единогласно «за».

Отец победил.

Съезд, вслед за отцом, выбрал *мир*, проголосовал, что мы более не считаем войну неизбежным способом разрешения противоречий между двумя системами — социализмом и капитализмом.

Отмена тезиса о неизбежности военного столкновения двух систем делала поворот к миру не только желанным, но и практически осязаемым.

Революция, вооруженное восстание как единственно возможный способ смены капиталистического строя социалистическим тоже переставала считаться единственно правомерной. На ее место приходили выборы в буржуазные парламенты, которые в недавнем прошлом приравнивали к предательству.

Высший форум партии своим авторитетом санкционировал новый подход к отношениям между двумя мирами, превратил ересь в «новое слово в развитии теории марксизма». Теперь и мирное сосуществование, и сокращение вооруженных сил, и переговоры на Западе и Востоке из области тактических уловок в борьбе с империализмом переходили в стратегическую линию политики Советского Союза. И как следствие, сразу после съезда, на Совещании представителей коммунистических партий — они съехались в Москву тоже по предложению отца — решили ликвидировать Коминформ, созданный Сталиным в 1947 году. Вместо него, бюрократически-полицейского, по словам отца, органа, учредили научно-теоретический журнал «Проблемы мира и социализма». Редакция журнала разместилась не в Москве, а в

Чехословакии, в Праге.

После отстранения отца от власти журнал превратится в последний оплот коммунистов-реформаторов.

Современному читателю происходившие в 1956 году баталии кажутся несколько наивными, но тогда слова отца прозвучали откровением и отозвались многоголосным эхом — одни вздохнули с облегчением, другие шептались по углам о его ревизионизме. Хуже обвинения в те ранние послесталинские годы и придумать невозможно. Еще недавно за ревизионизм судили, и судили безжалостно. Конечно, в открытую отца ревизионистом никто не называл, он же глава партии. По сути, отец и был ревизионистом, ревизия тормозящих развитие общества догм — это и есть реформа. В этом смысле ревизионист и реформатор — слова-синонимы.

Вот только в советском лексиконе они звучали антонимами.

Возведение в закон тезисов о мирном сосуществовании двух систем, о возможности предотвращения войн в современную эпоху, о мирном переходе к социализму, на мой взгляд, явление не менее значимое, чем разоблачение преступлений Сталина.

Парад к съезду

Мне открытие съезда запомнилось не только отчетным докладом отца, но и несостоявшимся в его честь военным парадом. Мой друг и одноклассник по московской 110-й школе Борис Агеев тогда учился в Авиационной инженерной академии имени Николая Егоровича Жуковского. Третьекурсники, заваленные лабораторными и курсовыми работами по физике, механике, химии, мы почти потеряли друг друга из вида, встречались урывками. В одну из редких встреч, в конце декабря, Борис похвастался: маршал Жуков приказал в честь открытия XX съезда устроить на Красной площади военный парад, и его назначили в парадный расчет Академии.

Борис чувствовал себя на седьмом небе, еще бы — первый в его жизни парад.

— Вот только ноги мерзнут на тренировках, — пожаловался Борис, — мы маршируем в легких ботиночках на Центральном аэродроме, а там ветрище, мороз. Теплые сапоги обещали выдать, но у интендантов руки не доходят.

Затея с парадом в честь съезда понравилась и мне. Я тем же вечером во время прогулки поделился новостью с отцом. Не забыл и о мерзнущих ногах. Он моего восторга не разделил, промычал в ответ, что партийный съезд и военный парад не очень-то сочетаются.

Через какое-то время, снова во время прогулки, отец невзначай заметил, что Жуков действительно задумал «парадное» приветствие съезду, «но мы его поправили», запомнил я слова отца.

— Скажи Борису, пусть не беспокоится, ноги больше мерзнуть не будут, — улыбнулся отец, увидев мою расстроенную физиономию.

Борис при встрече пожаловался, что кто-то отменил парад и тренировки прекратились. Я ему ничего не ответил.

«Секретный» доклад

Утром 15 февраля 1956 года начались прения по отчетному докладу. Они шли по давно заведенному порядку: ораторы повторяли и иллюстрировали примерами положения отчетного доклада, затем секретари обкомов рапортовали об успехах областей, министры — своих министерств, просто делегаты делились личными достижениями, и все они в меру говорили о недостатках, которые они же в скором времени и устранят. Только Микоян в паре абзацев своего выступления осторожно посомневался в обоснованности некоторых сталинских репрессий. Зная о предстоящем «секретном» докладе, он «проявил смелость», как говорится, отметился. Делегаты съезда, ничего еще не ведая об ожидавшем их «сюрпризе», Анастаса Ивановича не поддержали.

Всего несколько дней отделяло страну, всех нас от второго, «секретного» доклада отца, а самого доклада еще не существовало. Сначала отец намеревался просто зачитать с трибуны слегка отредактированную записку комиссии Поспелова. Эту версию доклада к 18 февраля подготовили Секретари ЦК Поспелов и Аристов. Доклад ограничивался 1930-ми годами, и речь в нем шла исключительно об уничтожении Сталиным партийных функционеров. Но после 9 февраля отец многое передумал, и такой паллиатив его больше не устраивал.

19 февраля он диктует стенографистке собственный текст. Оттолкнувшись от доклада комиссии Поспелова, отец пошел много дальше, он заговорил о поражениях в начале войны, о послевоенном «Ленинградском деле», о деле врачей. Он хотел сказать еще много о чем, но сдерживали временные рамки.

Секретарь ЦК КПСС Дмитрий Шепилов — в то время отец считал его своим единомышленником — помогал отредактировать новый текст. Так, по крайней мере, Шепилов пишет в своих воспоминаниях.

Работали несколько дней. Отец запрашивал из КГБ все новую

информацию, Серов присылал ее в запечатанных сургучными печатями красных пакетах. Прочитав их содержимое, отец снова вызывал стенографистку, снова диктовал. Разоблачения шли к отцу не только из КГБ. Узнав, что готовится доклад, ранее бессловесные члены ЦК один за другим делились с отцом своими претензиями к Сталину. Приведу сохранившиеся в архивах письменные свидетельства: 22 февраля бывший секретарь Ленинградского обкома Василий Андрианов прислал информацию о «Ленинградском деле» 1949 года, 24 февраля бывший командующий Сталинградским фронтом маршал Андрей Еременко предъявил свой счет Сталину. Кто и когда звонил отцу по телефону, а такие звонки раздавались ежедневно, мы теперь уже не узнаем. Помощники отца Шуйский и Лебедев вместе с Шепиловым редактировали и перередактировали постоянно разбухавший текст доклада. Промежуточные версии отец давал читать своим сторонникам в ЦК. Не все хотели оставлять свои следы на тексте доклада. Сохранились копии с пометками Микояна, Сабурова, Суслова, Аристова и еще чьи-то.

Вечером 23 февраля, за день до выступления, отец, как требовали правила, разослал все еще не окончательный текст доклада всем членам Президиума и Секретарям ЦК, в том числе и оппонентам. Замечаний отец не получил ни от кого.

В заключительный день работы съезда, 24 февраля, последний вариант рукописи, исчерканной разноцветными карандашами (ее так и не успели перепечатать), отец забрал с собой в Кремль. После внесения изменений «взрывная» сила доклада возросла во много раз, но одновременно отец нарушил хрупкое равновесие, достигнутое 9 февраля на заседании Президиума ЦК.

В перерыве между заседаниями съезда он предложил членам Президиума ЦК утвердить новый текст. Молотов, Каганович, Ворошилов, естественно, прочитали разосланный накануне документ и возмутились до глубины души. Они, как мы знаем, с трудом согласились на зачтение делегатам съезда записки комиссии Поспелова, а теперь от них требовали, по их мнению, санкцию на их собственное политическое самоубийство. Разразился грандиозный скандал. В официальных документах о споре в комнате отдыха Президиума съезда нет ни слова. Оно и понятно, разговоры там велись приватные, никто посторонний их не записывал и, скорее всего даже не слышал. Ни секретари, ни помощники, ни даже Малин с его карточками, туда не допускались. Молчаливые официанты из КГБ приносили стаканы с чаем, вазочки с печеньем, а потом, так же молча, убирали посуду. Так что полагаться можно только на память участников

дискуссии.

Впоследствии отец не раз и не два рассказывал о происходивших там баталиях, описывает он их и в своих воспоминаниях. Каганович и Микоян тоже оставили письменные свидетельства о столкновении в комнате отдыха Президиума съезда.

В мемуарах отец даже не заикается о заседании Президиума ЦК 9 февраля 1956 года и последовавшим за ним 13 февраля Пленуме, говорит о записке комиссии Поспелова и сразу перескакивает на спор в комнате отдыха Президиума съезда накануне чтения доклада. Предшествовавшие события наложились и растворились в воспоминаниях о куда более эмоциональном столкновении в комнате отдыха 24 февраля. Я попытался рассортировать воспоминания отца по датам, часть из них отнес к процитированному выше рассказу о заседании Президиума ЦК, остальное приведу чуть позднее. Каганович и Микоян в своих мемуарах хронологически и фактологически вторят отцу.

Цитирование я начну с Кагановича, наверное самого ярого оппонента отца.

«XX съезд подошел к концу, — пишет Каганович, — но вдруг устраивается перерыв. Члены Президиума созываются в задней комнате, предназначенной для отдыха.

Хрущев ставит вопрос о заслушивании на съезде его доклада о культе личности Сталина и его последствиях.

Заседание проходило в ненормальных условиях — в тесноте, кто сидел, кто стоял.

Трудно было за короткое время прочесть эту объемистую тетрадь и обдумать ее содержание, чтобы по нормам внутрипартийной демократии принять решение.

Все это за полчаса, ибо делегаты сидят в зале и ждут чего-то неизвестного для них, ведь порядок дня съезда был исчерпан».

Лазарь Моисеевич, наверное, запамятовал, он имел для ознакомления с докладом весь предыдущий день.

«Надо сказать, что еще до XX съезда Президиум ЦК рассматривал вопрос о незаконных репрессиях, о допущенных ошибках. Президиум ЦК образовал комиссию, (*после* обсуждения письма Шатуновской, но до рассмотрения дела Родоса и доклада комиссии Поспелова. — *С. Х.*), которой поручил рассмотреть дела репрессированных с выездом на места, сформулировать общие выводы и конкретные предложения. После обсуждения этого вопроса на Президиуме предполагалось собрать после XX съезда Пленум ЦК и заслушать доклад комиссии с соответствующими предложениями.

Именно об этом и говорили (24 февраля в комнате отдыха Президиума съезда. — *С. Х.*) товарищи, Молотов, Ворошилов и другие, высказывая свои возражения, — возмущается Лазарь Моисеевич. — Кроме того, товарищи говорили, что мы просто не в состоянии редактировать доклад и вносить нужные поправки, которые необходимы. Мы говорили, что даже беглое ознакомление показывает, что документ односторонен, ошибочен. Деятельность Сталина нельзя освещать только с этой стороны, необходимо более объемистое освещение всех его положительных дел, чтобы трудящиеся поняли и давали отпор спекуляции врагов нашей партии и страны на этом.

Обсуждение затянулось, делегаты волновались, и поэтому без какого-либо голосования, его свернули и пошли на съезд. Там объявили о дополнении к повестке дня, предложили заслушать доклад Хрущева о культе личности Сталина».

«К концу съезда мы решили, чтобы доклад был сделан на заключительном заседании, — Микоян подтверждает, сказанное Кагановичем. — Был небольшой спор по этому вопросу. Молотов, Каганович и Ворошилов сделали попытку, чтобы этого доклада вообще не делать. Хрущев и, больше всего я, активно выступили за то, чтобы этот доклад состоялся. Маленков молчал. Первухин, Булганин и Сабуров поддержали нас. Правда, Первухин и Сабуров не имели такого влияния, как все остальные члены Президиума.

Тогда Никита Сергеевич сделал очень хороший ход, который разоружил противников доклада. Он сказал: “Давайте спросим съезд на закрытом заседании, хочет ли он, чтобы доложили по этому делу или нет”. Это была такая постановка вопроса, что деваться оказалось некуда. Конечно, съезд бы потребовал доклада. Словом, выхода другого не было. Приняли решение, что в конце съезда, на закрытом заседании, после выборов в ЦК (что для Молотова и Кагановича казалось очень важным) такой доклад сделать».

«Согласия никакого не было, — пишет отец. — Я видел, что добиться решения от членов Президиума Центрального комитета не удается.

Тут я выдвинул предложение:

— Идет съезд партии, во время съезда внутренняя дисциплина, требующая единства руководства среди членов Центрального комитета и членов Президиума ЦК, уже не действует. Отчетный доклад сделан, каждый член Президиума и член ЦК имеет право выступить на съезде и изложить свою точку зрения, даже если она не совпадает с точкой зрения отчетного доклада.

Я не сказал, что выступлю с таким докладом, но те, которые

возражали, поняли, что я могу выступить и изложить свое мнение по арестам и расстрелам.

Я сейчас не помню, кто меня поддержал персонально. Я думаю, что это Булганин, Первухин и Сабуров. Я сейчас не уверен, но думаю, что, возможно, и Маленков поддержал меня. Сейчас я не могу точно сказать, ведь в 1930-е годы он был секретарем ЦК по кадрам, и его роль в этих вопросах была довольно активной. Он, собственно, помогал Сталину выдвигать кадры, а потом уничтожать их. Я не говорю, что он проявлял инициативу в репрессиях, вряд ли. Но в тех краях и областях, куда Сталин посылал Маленкова для наведения порядка, десятки и сотни людей были репрессированы и многие из них казнены». [27]

На этой предельно раздраженной ноте они и расстались.

Назавтра, 25 февраля 1956 года на закрытом заседании XX съезда КПСС отец произнес свой знаменитый «секретный» доклад.

Члены нашей семьи, как и остальные жители нашей страны, не подозревали, что отец решил покуситься на один из самых страшных и кровавых мифов нашего времени. Я слабо запомнил те дни. Внешне отец ничем не выдавал себя, по утрам, как обычно, мельком проглядывал газеты, наполненные причесанными под одну гребенку съездовскими материалами, и отправлялся в Кремль на очередное заседание.

Открытый, непосредственный и даже многоречивый в делах строительства или сельского хозяйства, он становился неразговорчивым и даже непреступным, когда дело касалось политики.

Вечером 24-го, приехав домой, он сразу поднялся на второй этаж к себе в спальню. Он не сказал о предстоящем даже маме. Да и зачем? Предупредить? Какой смысл? Отец понимал: все мосты сожжены, остается одно — идти вперед. Он не исключал, что загнанные в угол, боясь разоблачения, Молотов, Каганович и Ворошилов, могут решиться даже на его арест. Если им, конечно, представится такая возможность. Серову отец доверял, но чужая душа — потемки, разоблачение сталинских преступлений его, генерала КГБ, получившего орден Суворова за депортацию чеченцев в 1944 году, в последний момент могло толкнуть на союз с «молотовцами». Вероятность такого развития событий невелика, но…

Телефон, стоявший на прикроватной тумбочке, молчал. Сам отец тоже решил никому не звонить. Ночь закончилась без происшествий. Утром, как обычно, в начале девятого отец вышел к завтраку. Как обычно, вот только мама забеспокоилась, не заболел ли. Выглядел он уставшим, под глазами мешки. Отец

успокоил: все в порядке. Кончится съезд — отоспится. Как обычно, к девяти отец отправился на работу. Без опозданий.

Он почти не сомневался, что победил. Почти…

Как и вчера, высшие руководители страны встретились перед «секретным» заседанием в комнате отдыха. Оппоненты отца выглядели не лучше, видно, и они провели ночь без сна. О чем они думали? Что прикидывали? Этого мы не узнаем. Одно ясно — объединиться они не смогли или не посмели. Слишком мало они доверяли друг другу.

«Секретный» доклад отца XX съезду за прошедшие десятилетия оброс бородой слухов, таинственных псевдоподробностей. Например, почему-то считается, что заседание происходило ночью…

На самом деле никакой таинственности не было, делегаты собрались, как обычно, утром, вот только многочисленным гостям съезда в тот день предложили отдельную программу. Они разъехались по московским предприятиям выступать на специально организованных для них митингах.

С трибуны отец сказал значительно больше написанного. Он то и дело отступал от текста. Отца переполняли эмоции, лейтмотив его выступления — преступления не должны оставаться неразоблаченными, — это противоречит человеческой морали и человеческой совести.

«Съезд выслушал мой доклад молча. Как говорится, слышен был полет мухи. Все было настолько неожиданно, и нужно понять, как людей поразили зверства, совершенные над членами партии, заслуженными старыми большевиками, молодежью… Это была трагедия для партии.

В моем докладе на XX съезде ничего не было сказано об открытых процессах, на которых присутствовали представители братских коммунистических партий. Тогда судили Рыкова, Бухарина и других вождей народа…

В вопросе об открытых процессах тоже сказалась двойственность нашего поведения. Мы опять боялись договорить до конца. Не вызывало никаких сомнений, что эти люди невиновны, что они жертвы произвола.

Но на открытых процессах присутствовали руководители братских партий, которые потом свидетельствовали в своих странах справедливость приговоров, мы не хотели дискредитировать их и отложили реабилитацию Бухарина, Зиновьева, Рыкова и других на неопределенный срок.

Но, видимо, правильнее было бы договаривать до конца. Шила в мешке не утаишь…»

Свидетелей, присутствовавших на закрытом заседании XX

съезда, осталось мало, почти не осталось и свидетельств, политические мемуары в те годы не практиковались.

Микоян в мемуарах о «секретном» докладе не упоминает вовсе. Каганович ограничивается двумя строчками: «После доклада никаких прений не было, и съезд закончил свою работу. После XX съезда партия организованно провела партийные собрания».

Владимир Николаевич Новиков, в 1956 году он занимал высокое положение в оборонной промышленности, чувствовал себя подавленно: «Стыдно было за Сталина, с именем которого мы строили социализм и одержали победу в войне, и за себя».

Более подробны воспоминания Александра Николаевича Яковлева, тогда еще не «отца перестройки», а далеко не рядового партийного идеолога, инструктора Отдела школ ЦК КПСС:[28] «Мне повезло. Достался билет и на заключительное заседание съезда.

25 февраля 1956 года. Пришел в Кремль за полчаса до заседания. И сразу же бросилось в глаза, что публика какая-то другая — не очень разговорчивая, притихшая. Видимо, одни уже что-то знали, а других насторожило, что заседание объявлено закрытым и вне повестки дня. Никого из приглашенных на него не пустили, кроме работников аппарата ЦК. Да и с ними поначалу была задержка, но потом все прояснилось.

Председательствующий, я даже не помню, кто им был, открыл заседание и предоставил слово Хрущеву для доклада “О культе личности и его последствиях”.

Хрущев на трибуне. Видно было, как он волновался. Поначалу подкашливал, говорил не очень уверенно, а потом разошелся. Часто отходил от текста, причем импровизации были еще резче и определеннее, чем оценки в самом докладе.

Все казалось нереальным, даже то, что я здесь, в Кремле, и слова, которые перечеркивают почти все, чем я жил. Все разлеталось на мелкие кусочки, как осколочные снаряды на войне. В зале стояла гробовая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга — то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха, который, казалось, уже навечно поселился в советском человеке.

Я встречал утверждения, что доклад сопровождался аплодисментами. Не было их. А вот в стенограмме помощники Хрущева их обозначили в нужных местах, чтобы изобразить поддержку доклада съездом.

Особый смысл происходящего заключался в том, что в зале находилась высшая номенклатура партии и государства. А

Хрущев приводил факт за фактом, один страшнее другого. Уходили с заседания, низко наклонив головы. Шок был невообразимо глубоким. Особенно от того, что на этот раз официально сообщили о преступлениях “самого” Сталина — “гениального вождя всех времен и народов”. Так он именовался в то время.

Подавляющая часть чиновников аппарата ЦК доклад Хрущева встретила отрицательно, но открытых разговоров не было. Шушукались по углам: “Не разобрался Никита. Такой удар партия может и не пережить”. Под партией аппарат имел в виду себя. В практической работе он с ходу начал саботировать решения съезда. Точно так же аппарат повел себя и в период Перестройки».

Секрет Полишинеля

«Секретный» доклад буквально потряс страну, но секретным он оставался не более пары недель.

Насколько я знаю, отец и не собирался держать в тайне информацию о сталинских преступлениях. 9 февраля, когда зашла речь о докладе, говорили не о секретном докладе. Отец предлагал членам Президиума ЦК покаяться перед партией, перед людьми, как можно себе представить покаяние секретным?

Вопрос о секретности доклада всплыл только 13 февраля, сначала на Президиуме ЦК, а затем, в тот же день уже в виде решения Президиума: «Внести на Пленум ЦК КПСС предложение о том, что Президиум ЦК считает необходимым на закрытом заседании съезда сделать доклад и утвердить докладчиком Н. С.Хрущева».

Отец пошел на компромисс: Молотов с Кагановичем и иже с ними соглашаются на доклад, он же, в свою очередь, соглашается доклад засекретить. В тот момент для него главное — сделать доклад, произнести, казалось бы непроизносимые слова, а дальше «слово — не воробей, вылетит — не поймаешь».

Теперь, после съезда, пришла пора, считал отец, выпустить слово из клетки секретности. Как только редакционная группа привела текст доклада, вернее отступления отца от текста, в удобочитаемый вид, он предложил разослать его по партийным организациям, ознакомить с докладом всех членов партии. Аргументы отца звучали весомо: «Мы не можем, как прежде, отгораживаться от партии стеной».

Коллеги по Президиуму вынужденно согласились с отцом, а он тут же пошел дальше, настоял на необходимости прочитать доклад не только партийцам, но и комсомольцам: они идут на смену старой гвардии и имеют право знать правду о прошлом, пусть и о неприглядном прошлом. Тем самым отец делал секретный доклад достоянием около семи миллионов членов партии, плюс почти восемнадцать миллионов комсомольцев, плюс их друзья, чада и домочадцы.

5 марта 1956 года Президиум ЦК постановил:

«1. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик ознакомить с докладом Хрущева Н. С. “О культе личности и его последствиях” на XX съезде КПСС всех коммунистов и комсомольцев, а так же беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников.

2. Доклад тов. Хрущева разослать партийным организациям с грифом “Не для печати”, сняв с брошюры гриф ”Строго

секретно“».

Тем самым снялись последние ограничения: «беспартийный актив» включал в себя всех, кому захотелось бы узнать правду о Сталине. В типографии газеты «Правда» доклад отпечатали в виде ярко-красной брошюры многотысячным тиражом, поставили в правом верхнем углу гриф «Не для печати» и специальной почтой разослали по всей стране.

Но еще до рассылки доклада Москва наполнилась слухами. Мучимый любопытством, я полез к отцу с расспросами, вместо ответа он просто протянул тоненькую книжицу.

— На, читай. Потом верни мне, — произнес он, как мне показалось, слишком уж равнодушно.

Прочитанное привело меня в ужас, хотя я уже кое-что и знал. «Образование» началось с обвинительного заключения по делу Берии. Оно попало мне в руки в конце 1953 года. Тот промозглый осенний вечер запомнился мне в деталях. Отец вернулся домой с разбухшей больше обычного папкой. В столовой вытащил из нее увесистый том в стандартном «государственном» серо-голубом бумажном переплете и, оставив остальные бумаги, как обычно, на обеденном столе, направился с загадочной книгой в кабинет.

Я последовал за ним. Вечерами я старался не упустить ни минуты общения, ходил за отцом как привязанный. К тому же меня разбирало любопытство: столь объемистые документы отец домой не приносил, вечерами ограничивался текущей почтой.

Оставив том на письменном столе, отец ушел в спальню переодеться. Заглянуть в привлекшую мое внимание книгу я не посмел, даже не подошел к столу, издалека, старался разобрать набранное не особенно крупными буквами заглавие. Мне удалось прочитать первые два слова: «Обвинительное заключение…», когда вернулся отец, он так и застал меня с вытянутой шеей. Отец подошел к столу, постоял недолго, как бы примериваясь, а потом сунул том мне в руки. Это оказалось подготовленное прокуратурой обвинительное заключение по делу Берии и его ближайших помощников.

До суда оставалось несколько дней (я тогда об этом и не подозревал), и по сложившейся еще в тридцатые годы практике Генеральный прокурор направил результаты своего дознания на высочайшее утверждение. Серо-голубой «кирпич» разослали членам Президиума ЦК.

— Хочешь прочесть? — с оттенком сомнения произнес отец, казалось, он еще до конца не решил, стоит ли приобщать меня к столь неприятным секретам.

Меня же захлестнула жажда узнать, что такого ужасного совершил этот человек, чьи портреты еще недавно украшали по

праздникам фасады московских домов.

— Конечно, — заторопился я, испугавшись, что отец передумает.

— Хорошо, — отец, наконец, решился, — только имей в виду, я тебе доверяю государственную тайну, держи язык за зубами.

Я закивал головой. Свое слово я сдержал, впечатлениями о прочитанном я не смел поделиться ни с друзьями, ни даже с мамой.

Читал я, замирая от ужаса, всю ночь. Чего только не было в этом документе: связь с британской разведкой, сотрудничество с контрреволюцией, насилие над женщинами, моральное разложение, строительстве на чужое имя собственных домов.

Последнее обстоятельство особенно возмущало отца, считавшего проявление частнособственнических инстинктов самой страшной крамолой. Дом в собственности у коммуниста — в его глазах позорнее проступка не существовало.

Прочитанное у меня сомнений не вызвало. Берия предстал кровавым разбойником, способным на все.

Вскоре Берию и еще несколько особо приближенных к нему человек расстреляли. Всего несколько, а в преступлениях замешано многажды больше.

Меня волновало, какое наказание ждет остальных соучастников? Они обязаны понести наказание. Они не могут остаться среди нас. Какое-то время я мучился сомнениями, все не выдавалось удобного момента заговорить с отцом на страшную тему. Наконец я все ему выложил. Он довольно долго молчал.

— Понимаешь, — натужно заговорил отец, — ближайших сообщников Берии мы наказали, одних расстреляли, другие сидят в тюрьме. Но в этой мясорубке смешались миллионы. Миллионы жертв и миллионы палачей: следователей, доносчиков, конвоиров. Если начать наказывать всех, кто приложил к этому руку, произойдет кровопролитие не меньшее, чем тогда. А может, и большее…

Отец на полуслове замолчал. Меня сразил его ответ. Оставить палачей без возмездия?! Я было принялся возражать.

— Не надо об этом, — как мне показалось, обреченно произнес он, — я устал, давай помолчим.

Теперь к палачу Берии и его подручным добавился Сталин. Он оказался главным злодеем и автором всех преступлений, в том числе и бериевских. Круг «сообщников» еще более расширялся. Страна делилась на две практически равные части: жертвы и палачи, а между ними тонкая прослойка по воле случая оставшихся непричастными.

Отец проявил государственную мудрость — ненависть, война

всех против всех напрочь расколола бы общество. Если судить по совести, то судить пришлось бы не только расстрельщиков и допрашивателей, но и прославителей душегуба-тирана; всех, от партийных пропагандистов до писателей и поэтов, все они, от Михаила Суслова и Александра Яковлева до Бориса Пастернака и Александра Твардовского, каждый по-своему прославляли Сталина. И все они подлежали суду совести. Но одновременно отец заложил под общество мину замедленного действия, не искоренил возможности сталинистского реванша в будущем, пусть даже отдаленном. Как он мог бы это сделать, я, честно говоря, себе не представляю. Я считаю, для того времени он принял единственно правильное решение, сохранил спокойствие в стране, а будущее, тем более отдаленное, зависит от мудрости и совести будущих поколений политиков.

Итак, красная книжица «секретного» доклада разлетелась по всей стране. Доклад раздали и гостям съезда, представителям братских партий. С наступлением весны он начал гулять по миру. Сначала содержание «секретного» доклада в переложении журналистов опубликовали западные газеты. КГБ тут же вычислило, кто из имевших доступ к тексту доклада, читавших его или слушавших на съезде, вольно или невольно проболтался. Серов доложил отцу и получил указание «мер не принимать».

Через несколько месяцев в руки американцев попал и полный текст доклада. Следы вели в Варшаву. Все оказалось до смешного просто. Красная книжица лежала на столе в приемной первого секретаря Польской объединенной рабочей партии Эдварда Охаба. Его секретарша в те дни флиртовала с неким Виктором Граевским, польским журналистом, евреем. Последнее в нашей истории немаловажно. Охрана ЦК пропускала его в здание беспрепятственно, он им давно примелькался. То утро в самом конце марта или начале апреля ничем не отличалось от предыдущих. Как и прежде, Виктор преподнес даме сердца букетик весенних цветов. Она тоже, как обычно, поставила его в вазочку, стоявшую на краю стола. Рядом лежала бросающаяся в глаза красная брошюра.

— Что это? — без всякого интереса поинтересовался приятель.

— Доклад Хрущева, — равнодушно ответила подруга, и они перешли к обсуждению планов на выходной.

Прощаясь, приятель бросил еще один случайный взгляд на красную книжицу и, сам не зная зачем, попросил дать ее почитать. Подруга не возражала, только предупредила: никому не показывать и вернуть до четырех часов. В четыре она сдает документы в канцелярию. Граевский сунул брошюру в карман и,

покинув здание ЦК, несколько часов не вспоминал о ней. Только вернувшись домой, он принялся за чтение и после первых же страниц понял, что это тот доклад Хрущева, о котором столько судачат на всех углах и который никто в западном мире еще не держал в руках. Не дочитав до конца, журналист бросился в Израильское посольство в Варшаве. Он не сомневался — там по достоинству оценят его находку. Но в посольстве с Граевским разговаривать отказались. Как только явившийся с улицы незнакомец завел речь о секретном докладе Хрущева, дежурный, посчитав его за провокатора, бесцеремонно выставил за дверь.

Журналист вернулся через полчаса и попросил встречи с представителем израильской разведки. Разведчик оказался более гостеприимным, пригласил незнакомца к себе. Увидев брошюру, он чуть не упал в обморок. Американцы гоняются за ней целый месяц, а тут она сама пришла в руки. Брошюру перефотографировали, а оригинал вовремя вернулся в приемную Охаба. Копию дипломатической почтой отправили в Тель-Авив. 10 апреля она уже лежала на столе премьер-министра Израиля Бен Гуриона, который свободно читал по-русски. Он распорядился переслать ее в США. Братья Даллесы, Аллен — директор ЦРУ и Джон Фостер — Государственный секретарь США, передали «секретный» доклад в газету «Нью-Йорк Таймс». 4 июня 1956 года он разошелся по всему миру.

Аллен Даллес обещал заплатить тому, кто доставит ему копию доклада миллион долларов, но Граевский не получил ни цента. ЦРУ вряд ли зажилило деньги, скорее всего, они выплатили искомую сумму израильской разведке Моссад, а те никому и ничего не обещали.

Об этой истории с «похищением» «секретного» доклада стало известно только в самом конце XX века, уже после конца «Народной» Польши и после распада Советского Союза. Виктор Граевский к тому времени переехал в Израиль и охотно давал интервью о самом примечательном событии своей жизни. Не верить ему у меня нет никаких оснований. А вот его ли экземпляр доклада первым попал в ЦРУ — до конца не ясно.

В июле 1956 года на встрече с делегацией итальянских коммунистов отец рассказал, что по свидетельству побывавших в Польше французских товарищей, секрета из доклада там не делали. Французы «видели доклад Хрущева торчащим из карманов сопровождавших их поляков. Только в Краковском воеводстве недосчитались семнадцати экземпляров доклада».

Так что и без помощи Виктора Граевского заполучить копию доклада особого труда не составляло. Как на самом деле попал «секретный» доклад в ЦРУ мы, видимо, не узнаем. В разведке не

принято делиться секретами.

Уже в отставке отец шутил, что это единственный случай, когда интересы его и братьев Даллесов совпали. Вернее, братья Даллесы, сами того не зная, послужили его интересам.

Реабилитация

Еще до съезда, на заседании Президиума ЦК 30 января 1956 года отец предложил пересмотреть все «политические» приговоры и пересмотреть быстро, без волокиты. Ворошилов было засомневался, стоит ли торопиться? Но его не поддержал даже Молотов. Создали специальные комиссии по реабилитации, наделенные широчайшими полномочиями «от Президиума Верховного Совета СССР». Президиум ЦК постановил направить их в лагеря ГУЛАГа, чтобы на месте, без волокиты освобождать невинно осужденных. За их деятельностью надзирала Центральная комиссия Президиума ЦК.

Решение Президиума ЦК от 30 января 1956 года — это не первая попытка Хрущева освободить политических заключенных. 4 мая 1954 года Президиум ЦК КПСС уже создавал комиссии по реабилитации, и центральную, и местные, но дело шло медленно, а к 1956 году процесс реабилитации забуксовал в юридических проволочках, бесконечных дебатах: виновен — не виновен, освобождать — не освобождать. Когда Генеральный прокурор Руденко очередной раз доложил, как обстоят дела, отец возмутился: «Люди явно ни в чем не виновны, а мы еще над ними издеваемся». Сталин в свое время объяснял, что, если из десяти осужденных только один окажется «врагом», то органы не зря едят свой хлеб, «лес рубят — щепки летят». Отец считал, что, если среди «щепок» какая-то окажется и с гнильцой, то из-за нее невозможно удерживать в заточении всех остальных. После этого разговора с Руденко и появилось решение от 30 января 1956 года о «немедленном освобождении политических». Теперь отец во главе Центральной комиссии поставил Микояна. Членами комиссии утвердили Аристова с Кириченко, а также Генерального прокурора СССР Руденко и назначенного на том же заседании министром внутренних дел Николая Павловича Дудорова.

30 января 1956 года под грифом «Строго секретно» было принято Постановление Президиума ЦК КПСС «Об осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы»: «Принять предложение тов. Хрущева о создании партийных комиссий (троек) и командировании этих комиссий в лагеря, наделив их полномочиями от Президиума Верховного Совета СССР для рассмотрения дел лиц, отбывающих наказание за преступления

политического характера и должностные преступления, и решения на месте вопроса об их освобождении. Поручить тт. Микояну, Аристову, Кириченко, Руденко и Дудорову разработать порядок работы партийных комиссий (троек)».

«Я возглавил Комиссию по реабилитации, — вспоминает Микоян. — Мы послали, кажется, 83 комиссии в наиболее крупные поселения ГУЛАГа. Туда же привозили заключенных с мелких объектов этой структуры. Всю организационную работу в этом отношении провел для меня Снегов, который знал географию лагерей. Вызывали, например, всех, осужденных за вредительство, и объявляли им, что они реабилитированы, выдавали документы и освобождали, обеспечивали им транспортировку по домам. Или по статье за подготовку террористического акта против Сталина, либо кого-либо еще из правительства (в качестве казуса Снегов, работавший в самой крупной комиссии, рассказывал мне, что были там и такие, кто сидел за то, что покушался на жизнь Берии, расстрелянного за два с лишним года до того!). Так мы добились, что сотни тысяч людей были освобождены немедленно. Даже возникла необходимость в дополнительных пассажирских поездах.

12 марта 1956 года на Президиуме ЦК заслушали отчет комиссии и установили срок окончания пересмотра всех дел: 1 октября 1956 года. Одновременно расширили состав Центральной комиссии, чтобы она успела «обработать» всех реабилитированных в срок. Микояна, занятого множеством дел в Совете Министров, в качестве руководителя комиссии сменил Аристов, его обязали на ближайшие полгода ни на что иное не отвлекаться.

К концу 1956 года ГУЛАГ практически обезлюдел, по мере того как его основной контингент — политические — обретали свободу, один за другим закрывались лагеря, ставшая ненужной охрана тоже возвращалась на «большую землю», только пустые бараки, окруженные колючей проволокой, напоминали о «вчерашнем дне» нашей истории.

Сколько на совести Сталина загубленных жизней, точно не знает никто. Не знал этого и отец в 1956 году, не знают и потомки, для которых Сталин уже далекая история. Солидный ученый, известный советско-российский социолог Александр Шубин ссылается на данные КГБ СССР, согласно которым «в 1930–1934 годах репрессиям подверглись 3 миллиона 778 тысяч 234 человека, из них 786 тысяч 098 расстреляны, остальные отправлены в лагеря. В 1937–1938 годах за государственные преступления арестовали 1 миллион 344 тысячи 923 человека, из которых 681 тысяча 231 приговорены к смерти. В 1934–1953 году

в лагерях умерло еще более 1 миллиона 127 тысяч человек», — как считает автор, половина из них политические.

Одни историки считают даже эти представленные органами цифры завышенными, другие полагают, что они не отражают всего масштаба происходившей катастрофы. По мнению последних, за двадцать лет, прошедших от убийства Кирова в 1934 году до кончины самого Сталина в 1953-м, было вынесено 52 миллиона обвинительных приговоров по политическим мотивам, 6 миллионов человек выслано в весьма отдаленные места безо всяких приговоров и еще 2 миллиона расстреляно по решению «троек» или просто по личному указанию Сталина, так, как это произошло, к примеру, осенью 1941 года.

Другими словами, пострадало почти сорок процентов населения Советского Союза, без малого каждый второй. Цифра жуткая, но звучит она более реально, чем «щадящая» статистика КГБ. Люди моего возраста знают, что тогда репрессии коснулись всех, в каждой семье кого-то недосчитались — кого забрали, кого сослали, кого прибили. Я понимаю, найдутся желающие оспорить эти цифры, но оспаривать можно все, даже восход солнца. Имелась бы охота.

5 марта 1956 года, день смерти Сталина, впервые не отметили ни похвальными статьями в газетах, ни портретами на улицах городов.

«Верните нам Сталина»

«Верните нам Сталина!» — прорвалось в Грузии.

Грузины пострадали от сталинских репрессий не меньше других, но на доклад Хрущева они отреагировали как на личное оскорбление. Недовольство исподволь назревало все послесталинские годы: еще вчера они, грузины, руководили огромной страной, а теперь в Кремле — ни Сталина, ни Берии! И похоронили Сталина, по их мнению, поспешно, «вопреки грузинским традициям длительного оплакивания и прощания с покойным», распрощались с ним по-российски, всего за три дня. К тому же, гроб с телом установили в Колонном зале Дома союзов, унизив тем самым «солнце народов» до уровня обычного «выдающегося государственного деятеля». И еще, похоронили Сталина в понедельник, что грузинскими обычаями категорически запрещается. Берия мог бы об этом вспомнить, но не вспомнил. Остальные члены Президиума о таких тонкостях и не подозревали. «Хотя прошло уже три года со дня его смерти, многие в Грузии не могли постигнуть, что к самому великому божеству на нашей планете осмелились отнестись как к простому

смертному». Недовольство выплеснулось на улицы 4 марта 1956 года. Поводом послужило глухое молчание в канун дня смерти вождя. Первые цветы к монументу Сталина в Тбилиси понесли еще днем. Местное руководство неуклюже «отреагировало», запретив «в школах, вузах и учреждениях сбор денег на венки, ограничив продажу венков специализированными магазинами, что было воспринято резко отрицательно, особенно молодежью». Вечером 4 марта у памятника собралась толпа, по свидетельству милиции человек триста, весьма разношерстная и неорганизованная: «студенты, выпускники вузов, зацепившиеся в столице, не поехавшие на периферию по распределению, школьники, попадались люди постарше, в основном, случайные прохожие». Милицейский протокол выделяет некоего Н. И. Парастишвили из близлежащего к Тбилиси села Дидилило, члена партии, находившегося в подпитии: «Он забрался на пьедестал монумента, допил вино из горлышка бутылки, которую он все время держал в руке, разбил ее о гранитную плиту и закричал: “Пусть же погибнут враги Сталина, как эта бутылка”».

Толпа разошлась только к полуночи, чтобы на следующее утро пройти демонстрацией по проспекту Руставели, главной улице Тбилиси. Впереди шли студенты, человек сто пятьдесят, несли потрет Сталина, по бокам колонны — непонятно откуда взявшиеся «организаторы», как их характеризовали в последствии свидетели. Они держались уверенно, останавливали проезжавшие мимо машины и заставляли водителей сигналить, прохожим на тротуарах приказывали обнажать головы. Однако день 5 марта закончился без каких-либо эксцессов. Наверное, поэтому Первый секретарь ЦК Компартии Грузии Мжаванадзе Хрущеву не позвонил, информацию о демонстрации рутинно отослали в отделы ЦК и Союзное Министерство внутренних дел.

6 марта город продолжал бурлить. Масла в огонь подлили слухи о зачтение на заседании ЦК Компартии Грузии закрытого доклада Хрущева. Уличная толпа восприняла письмо, как надругательство над памятью своего «божества», но дальше недовольного ропота дело не шло. Руководство республики растерянно молчало, что воспринималось, как солидарность с недовольными. Я не сомневаюсь, что так оно и было, но прямые доказательства того отсутствуют.

Настоящие беспорядки начались 7 марта. Студенты снова заполонили улицы Тбилиси, к ним присоединились школьники, гудели автомашины, собравшаяся у монумента толпа в 25–30 тысяч человек скандировала: «Слава великому Сталину!»

Мжаванадзе растерялся, отрешенно выслушивал доклады подчиненных, уповая на то, что к вечеру люди устанут и все само

собой успокоится. Не успокоилось. Вечером митинговало уже более семидесяти тысяч человек. Демонстрации продолжились до глубокой ночи. Не встречая сопротивления, беспорядки постепенно набирали силу. Мжаванадзе, не на шутку перепугавшись, позвонил в Москву в отдел ЦК «куратору» Грузии Ивану Шикину. Не получив от Шикина вразумительного ответа, попросил телефонистку соединить его с Хрущевым.

Голос Мжаванадзе звучал панически, он больше не верил в способность справиться с толпой и в заключение разговора попросил приказать военным ввести в город танки. Отец отказал, посоветовал ему сохранять спокойствие, на следующее утро выступить перед митингующими, откровенно поговорить с ними, объясниться, рассказать об открывшихся недавно сталинских преступлениях. Не могут же они, образованные люди, солидаризоваться с преступником. Отец надеялся, что студенты «побузят и разойдутся».

Утром 8 марта у здания ЦК Грузии собралось около десяти тысяч человек. Они потребовали вывесить в городе государственные флаги и портреты Сталина, опубликовать в газетах соответствующие траурной дате статьи.

Мжаванадзе с десяти утра мотался по городу, по совету Хрущева пытался наладить контакт с людьми, сначала уговаривал разойтись митингующих у здания ЦК, затем «успокаивал» студентов Педагогического института. Как рассказывал впоследствии Председатель КГБ генерал Серов, говорил он неубедительно, голос его дрожал, о преступлениях Сталина он и не заикнулся. Столь явная неуверенность Мжаванадзе еще больше раззадорила толпу.

Днем 8 марта события в Тбилиси обсуждали на Президиуме ЦК. Отец отсутствовал. В середине февраля, к моменту открытия XX съезда, в Москве разгулялся тяжелейший грипп. Чихала и сморкалась добрая половина города, кто отлеживался дома, многие попадали в больницы, и не все из них выходили. Грипп прицепился и к отцу, но пока шел съезд, он держался. Болеть отец просто не имел времени, встречался с делегатами съезда, затем посетил конструкторское бюро Сергея Королева. 3 марта в Москву приехал премьер-министр Дании Хансен, вслед за ним прилетел французский политик Венсан Ориоль. С обоими отец считал необходимым встретиться. Отец чихал, кашлял, у него поднялась температура, но он «не сдавался», глотал таблетки, полоскал горло, «лечился» горячим чаем с медом.

7 марта вечером, вернувшись с обеда, который давал Молотов по случаю отъезда на родину югославского посла Видича (отношениям с Тито тогда придавали особое значение),

отец буквально свалился в постель. Следующим утром он уже не поднялся, все тело ломило, температура скакнула за тридцать девять. Приехал доктор Владимир Григорьевич Беззубик, личный врач отца, выслушал, выстукал, заглянул в горло и категорически запретил вставать. Отец посопротивлялся — его ждут на Президиуме ЦК, вечером в Большом театре торжественное заседание по случаю Женского дня. Владимир Григорьевич остался непреклонным — грипп в этом году непростой, следует вылежать, он даже припугнул отца: Болеслав Берут, глава польской делегации, простудившись во время съезда, вопреки советам врачей настоял, что он не может пропускать заседания, теперь лежит в Кремлевской больнице с тяжелейшей пневмонией. И еще неизвестно, чем все это закончится. Забегая вперед скажу, что через четыре дня, 12 марта, Берут скончался от воспаления легких.

То ли уговоры Беззубика подействовали на отца, то ли его окончательно оставили силы, но он сдался, 8 марта не пошел ни на Президиум ЦК, ни на торжественное заседание, вообще никуда не пошел. Всю следующую неделю не выходил из дома.

8 марта на заседании Президиума ЦК председательское место во главе стола занял Булганин. После того как генерал Серов доложил о трехдневных беспорядках в столице Грузии, началось обсуждение.

— Проспал Мжаванадзе, — бросил реплику Молотов.

— Опростоволосился, — поддержал его Каганович.

— Безобразие, Мжаванадзе попросту растерялся, — возмущался Ворошилов.

— Шикин повел себя не лучше, — отозвался избранный на XX съезде кандидатом в члены Президиума Жуков.

Микоян предложил «поднять рабочих».

— Послать в Грузию комиссию ЦК, — подвел итог Булганин, — кого поставить во главе — подумать.

«Покончив» с Грузией, перешли к следующему вопросу.

Тем временем в Тбилиси события развивались по собственному сценарию. В 12 часов дня 8 марта Мжаванадзе выступал перед толпой на центральной площади Тбилиси, площади Ленина. По свидетельству участницы митинга, уже упоминавшейся ранее Фаины Баазовой, Мжаванадзе говорил «долго и ласково, обещал их поддержать» и якобы даже пообещал «нашего дорогого Сталина в обиду не давать».

В последнее верится с большим трудом. Несмотря на все «ласковые слова», выступление Мжаванадзе толпу не успокоило. Собравшиеся потребовали встречи с китайским маршалом Чжу Дэ, гостем XX съезда. Накануне вечером он прилетел в Тбилиси

из Еревана. «Большая группа манифестантов собралась перед гостиницей «Интурист» и, скандируя слова «Мао Цзэдун — Чжу Дэ», требовали встречи с тов. Чжу Дэ».

Дело в том, что незадолго до выступления Мжаванадзе, на другом митинге, проходившем у монумента Сталину, один из выступавших заявил, что возмущенный Мао Цзэдун якобы потребовал выдачи ему тела Сталина, который китайские кудесники берутся оживить. Толпа встретила его слова одобрительным ревом. Этот слух быстро распространился по Тбилиси, и теперь, собравшиеся на площади Ленина люди хотели получить подтверждение из «первых уст». Стоявшие на трибуне грузинские официальные лица начали перешептываться, один из них подошел к микрофону и сказал, что Чжу Дэ сейчас в городе Рустави на металлургическом заводе и потому прибыть на площадь никак не может. Толпа, естественно, не поверила, кто-то предложил послать к Чжу Дэ делегацию. Ее сформировали тут же на площади. Все знали, что Чжу Дэ разместили на одной из государственных дач на окраине Тбилиси. Туда и направили ходоков. Их сопровождала пятитысячная толпа. Милиция попыталась их остановить, но «они, применив палки и другие предметы… прорвали заслоны, ворвались на территорию дачи, где вели себя необузданно дерзко».

На даче Чжу Дэ не оказалось, он действительно уехал в Рустави. «Ходоки», окруженные толпой добровольцев, остались дожидаться китайского маршала у ворот резиденции. Наконец появилась кавалькада лимузинов, толпа расступилась, пропустила китайских гостей внутрь и устремилась за ними следом, в еще остававшиеся приоткрытыми ворота. Пятеро студентов даже прорвались в дом, Чжу Дэ встретился с ними, призвал к спокойствию, но ехать в город отказался.

Маленькое отступление. По завершении съезда иностранные гости по традиции разъехались по стране, им показывали достижения Советской страны: заводы, колхозы, электростанции. Они в свою очередь выступали на митингах и собраниях. До Тбилиси Чжу Дэ побывал в Куйбышеве (Самаре), затем в Баку и Ереване, а приехав в Грузию, согласно расписанию, посетил металлургический завод в Рустави. 9 марта его ожидали в Ростове и к вечеру того же дня в Харькове. Выступать без одобрения Мао Цзэдуна на митинге в Тбилиси, к тому же несанкционированном, он не имел никакого желания.

К уговорам «ходоков» присоединился заместитель председателя грузинского правительства Михаил Порфирьевич Георгадзе. Он сопровождал маршала в поездке в Рустави, и теперь они вместе приехали на госдачу. Правда, цели они преследовали

противоположные: «ходоки» жаждали подтверждения намерение Мао Цзэдуна спасти и оживить Сталина, Георгадзе считал, что Чжу Дэ должен публично опровергнуть это намерение. В конце концов пришли к компромиссу. Вместо Чжу Дэ у памятника Сталину выступил один из китайцев, но не так, как ожидали собравшиеся. Он не потребовал выдачи сталинского праха, напротив, уговаривал митингующих разойтись. Его освистали. «Поздно вечером у монумента Сталина имели место отдельные выступления против руководителей партии и правительства», — доложил в ЦК осторожный Мжаванадзе.

Тем же вечером Мжаванадзе распорядился «в целях ослабления напряженности» опубликовать 9 марта в республиканских газетах передовую статью «Третья годовщина со дня смерти И. В. Сталина», на некоторых зданиях вывесить государственные флаги с траурными лентами, на предприятиях и в учреждениях провести митинги памяти Сталина». Не подействовало.

9 марта не встретившая сопротивления толпа выросла, по данным милиции, до восьмидесяти тысяч человек. (В своей записке Мжаванадзе «поскромничает», уменьшит количество митингующих до 35–40 тысяч человек.) Митинг у памятника Сталину, в отличие от вчерашнего, больше не казался стихийным, у присутствовавших (так они свидетельствовали позднее) возникло ощущение, что действия толпы организованы и теперь их координирует «некий штаб». Выступавшие требовали пересмотреть решения XX съезда, прекратить читать письмо «О культе личности». Некто Рубен Кипиани пошел еще дальше, предложил реабилитировать Берию, сместить с должностей Микояна, Булганина, Хрущева, а во главе страны поставить верного «сталинца» Молотова. Какие-то молодые люди с красно-черными траурными повязками на рукавах сновали на площади, раздавали листовки с требованием выхода Грузии из СССР. В толпе оказались не только «защитники» Сталина, но и люди, мыслившие иначе, но «едва они открывали рот, на них набрасывались с кулаками, а шофера грузовика, отказавшегося предоставить свой автомобиль в распоряжение организаторов протеста, попросту сбросили в Куру».

Мжаванадзе в своей записке назовет эти требования «ультиматумом». Сам он появиться перед митингующими не решился, послал туда кого-то, кого он назвал «руководящими работниками ЦК». Но было поздно. Ни они, ни пришедшие на подмогу «члены ЦК КП Грузии, министры, видные представители науки, литературы и искусства» ничего уже не могли поделать, толпа их «не допускала к монументу Сталина», а тех, кто туда все

же протискивался, «силой, угрозами заставляли покинуть монумент». Люди не расходились, настойчиво требовали ответа на «ультиматум».

Прозвучали призывы захвата почты, телеграфа, типографий. Уже стемнело, когда часть демонстрантов осадила редакцию газеты «Коммунист», другие, около пяти тысяч человек, чтобы передать свои призывы по радио, направилась к Дому связи, там размещался Республиканский радиоцентр. Радиостанцию охранял усиленный наряд КГБ. Когда из толпы полетели камни, а затем она пошла на приступ, раздались выстрелы. Штурм прекратился. Пятнадцать человек погибли, пятьдесят четыре — ранено. Имелись погибшие и среди солдат. В них тоже стреляли.

Около трех тысяч человек попытались захватить городское управление милиции. И там в ход пошли камни и палки, «выбивали стекла и двери, милиционеров избивали, но стрельбы не было». Еще одна группа митинговавших двинулась на железнодорожный вокзал. Они «забросали камнями отправлявшийся в Москву экспресс, разбили стекла в вагонах, выкрикивали: «Русские собаки! Бей армян!»

Митинги и демонстрации в поддержку Сталина прошли не только в Тбилиси, но и на его родине, в селении Гори, и даже в столице Абхазии Сухуми. И там не обошлось без мордобоя. После отправления из Тбилиси стекла в московском поезде били и в Гори, он там останавливается на пару минут. Разбили, как утверждает милицейский протокол, 105 стекол в десяти вагонах. Пытавшаяся проникнуть в вагоны толпа задержала отход поезда на 38 минут.

Вечером 9 марта отцу домой позвонил Серов, доложил о происшедших столкновениях. В ночь на десятое марта в Тбилиси ввели танки, за ними следовала мотопехота и конвойные войска Министерства внутренних дел.

Продолжавших митинговать у сталинского монумента с трех сторон окружили воинские подразделения. Они начали теснить толпу, при этом «с обеих сторон применялись меры физического воздействия» — удары палками, прикладами и другими предметами. Солдат забрасывали камнями, бутылками, палками, из толпы был произведен выстрел. Примерно 25 солдат, не имея на то команды, открыли беспорядочную стрельбу вверх, которую офицеры немедленно прекратили.

Митингующих у монумента удалось разогнать лишь к середине ночи. «После рассеяния толпы на прилегающей территории обнаружили четырех тяжелораненых граждан и одного солдата… Из раненых впоследствии двое скончались. Все они имели пулевые ранения. Установить где и конкретно кем они

были ранены, не представилось возможным». Как писал в своем донесении Серов, КГБ арестовало тридцать восемь наиболее активных зачинщиков беспорядка. Двадцать человек из них осудили: кого за хулиганство, кого за участие в массовых беспорядках, кого за разжигание межнациональной розни. Приговоры прозвучали не по-сталински мягко. Максимальный срок получил Кипиани: лишение свободы на 10 лет.

В материалах следствия мелькало имя Звиада Гамсахурдия. Теперь считается, это именно он написал листовки с призывами об отделении Грузии от СССР. В конце 1980-х годов Гамсахурдия, став президентом Грузинской ССР, добьется своего, объявит о выходе республики из Советского Союза.

В те дни я, естественно, никаких подробностей не знал, до меня доходили лишь отзвуки разыгравшейся трагедии. Когда отец начал поправляться от гриппа, я пристал к нему с расспросами, и он нехотя подтвердил: «Студенты в Тбилиси устроили волынку, напали на поезд, побили стекла», затем вытащил из папки, лежавшей на прикроватной тумбочке, присланные Серовым фотографии и показал их мне. Запомнились зияющие выбитые окна вагонов. Обсуждать происшедшее отец не захотел. В Грузии, он считал, со временем все придет в норму, надо проявить выдержку и стойкость. В этом он очень почему-то рассчитывал все на того же, только что продемонстрировавшего свою недееспособность, Василия Павловича Мжаванадзе — вчерашнего генерала-политработника. Отец его хорошо знал еще со времен работы на Украине. С 1947 года Мжаванадзе являлся членом Военного совета в Харьковском, а затем в Киевском Военном округах. В Киеве отец по долгу службы общался с ним особенно тесно, считал, что он заслуживает доверия и национализмом не заражен.

Мне Василий Павлович казался человеком скользковатым, хитрым и уж очень себе на уме. Но свое мнение я держал при себе, да и признаться, не очень ему доверял. Кто-то из нас двоих не разобрался, либо отец, либо я. Того, что отец может ошибаться в людях, в 1956 году я не допускал.

Тогда же отец решил потрафить грузинам, назначить на один из государственных постов, не решающий, но заметный, человека из Тбилиси, но не сразу, а чуть погодя, чтобы этот шаг Москвы не выглядел вырванной у нее уступкой. Выбор пал на Президиум Верховного Совета СССР, по Конституции, — высший государственный орган в стране, но по сути почти безвластный. 2 февраля 1957 года Секретарем Президиума назначили Михаила Порфирьевича Георгадзе, до того работавшего заместителем председателя правительства Грузии. Отец его запомнил. В разгаре

«волынки» в Тбилиси он не растерялся, не спрятался, 9 марта 1956 года, вместе с толпой разговаривал с Чжу Дэ, потом не отходил от китайского делегата, когда тот выступал у монумента Сталина.

«Волынка» в Грузии, бурные, едва не вышедшие из-под контроля споры вокруг «закрытого» письма в научных институтах лили воду на мельницу оппонентов отца. Они же предупреждали! Отец и сам понимал опасность разгула митинговой стихии. Он помнил о ней с февральских дней 1917 года. Тут самое страшное — упустить момент. Особенно в нашей стране, где демократия и анархия в народном сознании одно целое.

Отец решил не рисковать, сдать назад, отложил, а затем и вовсе отменил «антисталинский» Пленум ЦК, намеченный на июнь 1956 года. К нему готовились вовсю. Часть ораторов, среди них маршал Жуков, даже успели написать свои выступления. Одни, их было большинство, порадовались отмене Пленума, другие — огорчались, в том числе и Жуков, ему очень хотелось посчитаться со Сталиным, рассказать и о причинах наших поражений в начале войны, и о судьбе советских военнопленных, отправленных прямиком из немецких концлагерей в советские, и о многом другом. Не пришлось. Многостраничный проект выступления он сдал в архив.

Вместо Пленума поручили Комиссии во главе с Секретарем ЦК Брежневым подготовить письмо ЦК КПСС «Об итогах обсуждения решений XX съезда» и тем самым остудить накал страстей.

Мне кажется, что отец поступил правильно. Переход от авторитаризма, от его монархической разновидности, а именно она, несмотря на революцию, по-прежнему существовала в России, к демократии требовал крайней осмотрительности. Тут как при пересечении минного поля, стоит оступиться — и пиши пропало.

От Варшавы до Пекина

«Секретный» доклад привел в движение весь мир. На Западе он произвел сенсацию, в странах народной демократии разоблачение преступлений тирана значило не меньше, чем у нас. Там тоже прошли политические процессы по образцу московских тридцать седьмого года, в результате которых одни, как венгр Ласло Райк и словак Рудольф Сланский, погибли, другие, поляк Владислав Гомулка и венгр Янош Кадар, угодили в тюрьму. Их место заняли люди, отнюдь не заинтересованные в переменах. Наибольшую тревогу вызывали Польша и Венгрия, особенно

Польша. После смерти Берута там наступило безвластие.

Отношение поляков к России никогда не было дружеским. История помнит три раздела Польши: в 1772-м, 1793-м и в 1795 году между Российской империей, Австрией и Пруссией, восстания и следовавшие за ними кровавые расправы, ссылки в Сибирь тысяч повинных и неповинных. Немало горьких воспоминаний связывало поляков и со Сталиным. Это и подписанный в 1939 году пакт Риббентропа-Молотова, и разгром Польской коммунистической партии, руководители которой погибли в советских застенках, и могилы Катыни.

О Катыни я впервые услышал в те годы. Меня поразила чудовищность обвинений, и конечно, я в них не поверил… Катынь волновала в те дни всех. Аджубей, я уж не помню в связи с чем, спросил о ней генерала Серова. В присутствии отца генерал запретной темы не касался, но тут он куда-то ненадолго отлучился, а вопрос Алексея Ивановича звучал с подковыркой: «Как же это вы так оскандалились?» Иван Александрович не выдержал, начал с колкостей в адрес белорусских чекистов, допустивших непростительный, с его точки зрения, «прокол».

— С такой малостью справиться не смогли, — в сердцах проговорился Серов. — У меня на Украине поляков куда больше было. А комар носа не подточил, немец и следа не нашел…

Услышанное не укладывалось в моей голове. «Значит, это правда…» — стучало в висках.

В общем, поляки имели все основания не любить Россию, вне зависимости от идеологии и формы правления. После окончания Второй мировой войны, когда в Польше установилась народная власть, руководство обеих стран клялось в вечной дружбе, основанной на пролетарской солидарности. Рядовые и не очень рядовые поляки, казалось, смирились, но, как это случалось и раньше, стоило власти дать слабину и былые обиды выплывали наружу. Дальше все зависело от обстоятельств и способности властей совладать со стихией.

На сей раз «неприятности» в Польше начались сразу после окончания XX съезда, когда 13 марта 1956 года в московской больнице умер от воспаления легких первый секретарь ЦК ПОРП (Польская объединенная рабочая партия) Болеслав Берут. Я уже упоминал о его болезни. Нового лидера польские коммунисты выбирали в обстановке полного разброда. Отец приехал в Варшаву на похороны Берута и задержался там, ожидая, чем закончится Пленум ЦК ПОРП. В зале заседаний он не присутствовал, а сидел в соседнем помещении. После осуждения сталинской практики помыкания восточноевропейскими соседями он демонстративно не вмешивался, но и в стороне

оставаться не мог — Польша наш стратегический союзник, через ее территорию пролегают коммуникации с советской военной группировкой в Германии.

21 марта 1956 года первым секретарем ЦК ПОРП выбрали Эдварда Охаба — человека, «достойного доверия», как считал отец, но нерешительного, что называется «ни рыба ни мясо», польского Маленкова.

Тем временем вслед за советскими раскрывались двери и польских тюрем. Еще в 1955 году на свободу вышел арестованный Сталиным бывший первый секретарь ЦК партии Владислав Гомулка. Освободили и множество других известных, малоизвестных и совсем неизвестных поляков. Гомулку отец знал и высоко ценил. Впервые они повстречались в 1944 году, тогда Сталин послал отца в Варшаву помочь наладить городское хозяйство в разрушенном немцами до основания городе. Отец полагал, что Гомулка более сильный политик, чем Охаб, рано или поздно, скорее рано, потеснит Охаба с лидирующих позиций в стране. Он пытался восстановить с ним связи еще при Беруте. Берут, по своей природе человек мягкий, на вопрос отца, за что они посадили Гомулку под домашний арест, впрямую не ответил, пробормотал, что он и сам не знает. Этот разговор не остался без последствий. Вскоре Гомулку освободили, но до «политики» не допускали, из страны не выпускали. Охаб придерживался той же линии поведения, старался блокировать возможные контакты отца с Гомулкой.

А в Польше день ото дня нарастал разброд: и в ЦК, и в интеллигенции, и в народе. Одновременно росли и антисоветские, скорее даже антирусские настроения. Отец внимательно следил за происходившим в Польше, но пока не вмешивался, надеялся, что пролетарская солидарность возьмет верх.

За Польшей потянулась Венгрия… Там за власть боролись Матиас Ракоши и Имре Надь, оба старые коминтерновцы, оба — политики с неоднозначным прошлым. Ракоши в послевоенные годы запятнал свою репутацию многочисленными арестами и казнями, хотя, по свидетельству отца, до последнего противился давлению Сталина в деле «разоблачения врагов» в Венгрии. Но Сталин и его «органы» оказались сильнее. Соперник Ракоши — Имре Надь, с 1933 — агент НКВД по кличке «Володя», после смерти Сталина в июле 1953 года ставший Председателем Правительства Венгрии, тоже не вызывал сомнений в преданности Советскому Союзу.

Оказавшись во главе правительства Имре Надь, как и отец в Советском Союзе, добивался освобождения политических

заключенных. В их числе вышел на свободу и Янош Кадар, бывший заместитель Генерального Секретаря Венгерской компартии, политик сильный, умевший поставить задачу и добиться ее осуществления. Вслед за Хрущевым, за его сентябрьским Пленумом ЦК КПСС, Имре Надь выступил с инициативой проведения реформ в Венгрии, в первую очередь в сельском хозяйстве.

Некоторые историки, к примеру Рудольф Пихоя, называют его «венгерским Маленковым». Они, наверное, правы. Имре Надь показал себя политиком мечтаний, а не действий, покорно подчинявшемся сторонней, более сильной воле, плетущимся в хвосте событий, а не управлявшим ими. Керенский, Маленков, Охаб, Надь, Горбачев — все они поначалу очаровывали народ сладкими речами, а, столкнувшись с реалиями жизни, без борьбы сдавали позиции. Охабу и Надю противостояли остававшиеся пока в тени в Польше — Гомулка и Кадар в Венгрии, тоже реформаторы, но по своей натуре политики целеустремленные, решительные, я бы сказал, хрущевского толка.

В апреле 1955 года на Пленуме ЦК Венгерской партии трудящихся Имре Надь под давлением Ракоши сдал позиции. Ракоши обвинил его в популизме, в пренебрежении тяжелой промышленностью. Надя сняли со всех постов и исключили из партии с формулировкой «за расхождение с точкой зрения ЦК». Однако наступили новые времена, и арестовать его Ракоши не посмел. Отставленный от дел, Имре Надь из политики не ушел. Он писал многочисленные статьи, обвинял Ракоши в «проведении антисталинской политики» и одновременно настаивал на облегчении роли крестьян, призывал перестать их обирать, принося в жертву индустриализации.

Я не собираюсь детально описывать события, разворачивавшиеся в Польше и Венгрии летом и осенью 1956 года, я уделил им немало страниц в «Рождении сверхдержавы». Ограничусь лишь общими соображениями о происходившем.

К осени 1956 года оба наших ключевых союзника, Польша и Венгрия, оказались на грани взрыва. Возникла реальная угроза их перехода во враждебный Советскому Союзу военный лагерь. В те годы на Западе господствовала доктрина государственного секретаря США Джона Фостера Даллеса, предусматривавшая последовательное «обкусывание Советского блока», отрыва от него одного восточно-европейского союзника за другим. Предательства национальных интересов Советского Союза отец, естественно, допустить не мог, но он не хотел и грубо вмешиваться во внутренние дела союзников, особенно после того, как сам осудил Сталина за подобную практику. Все лето отец

наблюдал за происходившим в Польше и в Венгрии. Под разными предлогами невзначай встречался то с Охабом, когда тот по пути из Пекина в Варшаву на денек остановился в Москве, то на отдыхе в Крыму с Эрне Гере, в июле 1956 года сменившем Матиаса Ракоши на главном партийном посту. Встречался, разговаривал, осторожно давил, но не вмешивался.

В октябре «нарыв» прорвался почти одновременно и в Польше, и в Венгрии. Казалось, все покатилось под откос. Не секрет, что истинная сущность политиков проявляется в экстремальных ситуациях.

Когда в Варшаве объявили о решении собрать 19 октября Пленум ЦК, советский посол Пономаренко панически доложил в Москву: «К власти рвутся антисоветские (а значит антирусские) силы». Отец решил разобраться на месте, а если понадобится, то и принять меры. Он полетел в Варшаву незваным, без согласования с хозяевами.[29]

Они приземлились на варшавском аэродроме днем 19 октября. Открывшийся тем же утром Пленум уже успел поставить во главе ЦК Гомулку вместо Охаба. Отец не имел ничего против Гомулки, но после освобождения последнего из тюрьмы, им так и не довелось встретиться, а в заключении люди меняются.

Однако на восстановление знакомства и на разговоры не оставалось ни часа, ни минуты. Упустишь момент, не дай бог возобладает уличная стихия, и тогда крови не избежать. Большой крови… Позволить же Даллесу «откусить» Польшу отец не мог ни при каких обстоятельствах. Обстоятельства требовали решительности и одновременно взвешенности, умения принять в экстремальной ситуации единственно правильное решение. И отец принял его, обозначил действием ту грань, за которой начнется непоправимое, приказал Коневу двинуть по направлению к Варшаве расквартированные поблизости советские танковые дивизии. О пылящих по польским проселкам советских танках немедленно доложили Гомулке во время весьма бурной встречи двух делегаций. Гомулка попросил прервать заседание, оттащил отца в угол, чтобы объясниться наедине.

— Товарищ Хрущев, — начал Гомулка, — на Варшаву движется ваша танковая дивизия. Я вас прошу остановить движение, лучше, чтобы она не подходила к Варшаве. Я боюсь, совершится непоправимое.

Отец, так же, как и Гомулка, а может и больше, хотел предотвратить «непоправимое».

«Очень нервно Гомулка и просил, и требовал, — вспоминал отец. — Гомулка — экспансивный человек, у него пена на губах появилась. Выражения он употреблял очень резкие.

Завадский (председатель Госсовета Польши, друг отца. — *С. Х.*) нас предупредил, что идет антисоветская агитация среди рабочих Варшавы. Заводы вооружаются… Ситуация сложилась очень сложная.

— Товарищ Хрущев, вы думаете, что только вы нуждаетесь в дружбе с Польшей? — продолжал Гомулка. — Я, как поляк и коммунист, заявляю, что Польша больше нуждается в дружбе с русскими… Разве мы не понимаем, что без вас не можем существовать как независимое государство. Все будет в порядке, не допустите, чтобы ваши войска вошли в Варшаву. ‹…›

— Мы дали приказ Коневу остановить продвижение советских войск… (Отдавая его, отец испытал облегчение — *С. Х.*) Я считаю, что положение спас Гомулка… Остальное было второстепенным. Наше дальнейшее прибытие в Польше перестало быть необходимым».

В тот же день, 20 октября, советский «десант» возвратился в Москву, и уже вечером они докладывали на Президиуме ЦК о результатах своей миссии в Варшаве. И тут выяснилось, что не все одобряют поведение отца. Молотов с Кагановичем обвинили его в самоуправстве — волюнтаризме по-нынешнему. Команду на продвижение танков к Варшаве они приняли всей делегацией, «за» высказались Молотов, Микоян, Каганович и Хрущев, а вот остановил танки Хрущев самостоятельно. Отец объяснял, что в тот момент времени на дискуссии не оставалось, приходилось действовать как на фронте, а там главенствует единоначалие.

Молотов и Каганович стояли на своем: он не только превысил данную ему власть, но и, поверив Гомулке, совершил политическую ошибку. Для них Гомулка — вчерашний арестант и никакого доверия не заслуживал. По мнению Молотова, следовало довести до конца силовую операцию, ввести войска в Варшаву, привести к власти «своих» людей.

Отец считал, что поступил правильно, ликвидировал кризис и одновременно предотвратил кровопролитие. Что же касается до «своих» людей, то отец считал Гомулку честным коммунистом и честным поляком — этого достаточно, чтобы выстраивать равноправные, дружеские отношения между двумя странами. «Выход один — покончить с тем, что есть в Польше», — напирал Молотов. Единственно, на что он соглашался, так это на недолгую отсрочку: «Когда все немного успокоится, под видом маневров необходимо захватить Варшаву, свергнуть существующую власть, поставить вместо нее временный комитет».

Отец спорил до хрипоты, но Молотов не сдвинулся ни на йоту. Каганович ему поддакивал. Разошлись, так ни о чем не договорившись, отложили решение на завтра. Молотов уехал к

себе на улицу Грановского, остальные, отец с Булганиным и Маленковым в одной машине и Каганович с Микояном в другой, отправились на Ленинские горы, где располагались правительственные особняки.

Там они разделились. Отец с Маленковым, Булганиным и Кагановичем пошли на вечернюю прогулку. Микоян, сославшись на накопившуюся в поездке усталость, ушел к себе. Он решил принять горячую ванну и пораньше лечь спать.

Прогулка получилась не очень удачной, спор разгорелся с новой силой, когда Каганович стал рассуждать, кого надо поставить в Варшаве вместо Гомулки. Отец с ним категорически не соглашался, считал, что выбора у них нет: или Гомулка, или кровь. Маленков и Булганин не вмешивались, Гомулке они, как и Каганович, не верили, но и вступать в пререкания с Хрущевым желания не испытывали.

В какой-то момент отец решил вытащить из дома Микояна, он тоже летал в Варшаву и, как казалось отцу, должен его поддержать. За ним отправился начальник охраны отца полковник Столяров. Анастас Иванович только вылез из ванны, когда Столяров передал ему через жену, что его очень просят присоединиться к «гуляющим». Микоян догадывался, в чем дело, и «гулять» ему очень не хотелось. Но не откликнуться на просьбу Хрущева он тоже не мог.

Жена повязала ему теплый шарф, чтобы не простудился после ванны, поворчала, что нет им от Хрущева покоя ни днем, ни ночью, и Микоян в сопровождении Столярова пошел к калитке в деревянном заборе, отделявшем его резиденцию от нашей.

Эти бытовые эпизоды я почерпнул из книги Серго, младшего сына Анастаса Ивановича. Дальнейший его рассказ доверия у меня не вызывает. Из его слов следует, что Хрущев не спорил, а придерживался единого мнения с Кагановичем, а Микоян их всех переубедил и один предотвратил катастрофу. Правда, тогда становится неясным, зачем понадобилось отцу вытаскивать его из ванны, если они с Кагановичем пришли к согласию. Причем, Серго там не присутствовал, а пересказал слова своей матери, которая тоже рассталась с Микояном на пороге резиденции.

Я тоже не знаю, как долго продолжалась прогулка по Воробьевым горам, кто и какие приводил аргументы, но результат ее известен — отец, с помощью Микояна или без него, «доломал» Кагановича, а тот, видимо, в свою очередь, уговорил Молотова не настаивать.

Так или иначе, но на следующий день обстановка в Президиуме ЦК переменилась. В самом начале обсуждения польского вопроса отец твердо расставил все точки над «и»:

«Учитывая обстановку, следует отказаться от вооруженного вмешательства. Проявить терпимость».

«Все согласны» — записано в протоколе. «Все» — значит, и Молотов с Кагановичем.

Дальше перешли к обсуждению будущего советских советников в польских учреждениях, цен на польский уголь, отзыва советских генералов, служивших в польских вооруженных силах.

Однако Молотов окончательно не смирился. Он не сомневался — за Гомулкой во власть потянутся его «подельники», те, кого при Сталине держали не в ЦК, а в тюрьме. Он посчитал необходимым дать «оценку» событиям в Польше, предложил товарищам Микояну, Кагановичу, Молотову и Шепилову подготовить информацию для встречи с представителями братских партий. Какую «информацию» подготовят Молотов, Каганович вместе с Микояном и Шепиловым, догадаться не трудно — осудят, заклеймят, пригвоздят к позорному столбу.

«Товарищи Хрущев и Булганин высказываются за то, чтобы не писать такую информацию.

Товарищи Каганович и Молотов настаивают, что оценку положения надо дать. В политике польской партии произошли изменения», — записал Малин.

Снова заспорили, с одной стороны Молотов с Кагановичем, с другой — Хрущев с Булганиным. Остальные члены Президиума ЦК не вмешивались, в том числе и Микоян. Сошлись на том, что с оценкой смены власти в Польше следует повременить, дождаться опубликования решений Пленума ПОРП, завершавшегося в этот день, 21 октября, свою работу».

Итак, крови удалось избежать, избежать благодаря решительности и воле, как отца, так и Гомулки, у которого в Варшаве имелись свои горячие голову, свои «Молотовы с Кагановичами». Один четко указал границы приемлемого для Советского Союза, другой продемонстрировал понимание позиции соседа и, что важнее, способность контролировать ситуацию в Польше. С тех октябрьских дней отец и Гомулка стали не только союзниками, но и друзьями. Правда, некоторая дистанция сохранялась: отец звал Гомулку по имени, «Веслав», а Гомулка отца — «товарищ Хрущев».

Совсем иначе разворачивались дела в Венгрии. По каким-то своим соображениям отец туда не поехал, послал Микояна с Сусловым. То ли он не посчитал обстановку столь же критической, как в Польше, то ли после столкновения с Молотовым и Кагановичем возобладала концепция «коллективного» руководства. Не знаю. Ясно одно: довериви

разрешение кризиса не тем людям, отец совершил ошибку, которая дорого обошлась и венграм, и нам.

Микоян — блистательный переговорщик, способный «уговорить» любого «твердокаменного» партнера, выторговать все возможное и невозможное и затем еще кое-что в придачу. Но он — человек компромисса, всегда державший в запасе не одну запасную позицию, избегавший резких движений, боявшийся ультиматумов. Он бесконечно тасовал свои «карты», даже тогда, когда время разговоров прошло и от него требовалось решение. В силу своих качеств Микоян блестяще показал себя в переговорах с американцами, где позиции сторон устоялись, партнеры давно притерлись друг к другу и успех зависел от умения вести торг, от выдержки, если хотите, усидчивости. Из-за тех же качеств он провалил дело в Венгрии, не смог обозначить венгерским руководителям, неважно, Гере или Надю, границу, за которой, по словам Гомулки, «следовало непоправимое».

Кандидатура Суслова тоже оказалась неудачной. Михаил Андреевич всю жизнь пекся о сохранении в первозданной чистоте идеологических догм, подобно средневековым схоластам, реалии жизни выверял по цитатам из классиков марксизма-ленинизма. Если же не находил у них ответа, он терялся, начинал всплескивать руками, причитать по-бабьи. О возможности противостояния народа своей же «народной» власти классики не писали, и в Венгрии Суслов растерялся.

Все лето эта пара, Микоян с Сусловым, курсировала из Москвы в Будапешт, потом в Белград и снова в Будапешт. Они переговаривались сначала с Ракоши, потом, когда Микоян, по настоянию отца, вынудил его подать в отставку и уехать в Советский Союз, с преемником Ракоши — Эрвином Гере, человеком нерешительным и слабым. Тем временем события набирали обороты, в Венгрии, как и в Польше, нарастали не только антисталинские, но и антисоветские, антирусские настроения. Тон задавал «кружок Петефи» — неформальное собрание оппозиционеров-интеллектуалов, назвавшихся именем венгерского поэта-повстанца, погибшего 31 июля 1849 г. во время национально-освободительной революции.

В тот год венгры восстали, добиваясь освобождения из-под гнета австрийских императоров Габсбургов. На помощь Вене пришел Петербург, Николай I послал в Будапешт свои войска. Габсбурги-Романовы «навели в Будапеште порядок», пролив при этом реки крови. В Советском Союзе Шандора Петефи считали поэтом-революционером, нашим идеологическим союзником. У венгров же гибель Петефи вызывала совсем иные, антирусские ассоциации.

События в Будапеште развивались по польскому сценарию. Гере, как и Охаб, постепенно упускал из рук бразды правления, на первые роли выходил «обиженный» властями Имре Надь.

В октябре 1956 года Имре Надь возглавил венгерское правительство, однако, в отличие от Гомулки, быстро и необратимо утрачивал контроль над событиями, происходившими в столице. Через границу с Австрией в Венгрию хлынули эмигранты, в том числе союзники Гитлера в войне против СССР.

«Надь Имре. Этот человек шел за толпой, опирался главным образом на молодых мальчишек…» — такое мнение сложилось у отца.

По мере того как власть уходила из рук правительства, в Будапеште все большее влияние обретала уличная стихия. В ней зарождались свои центры власти. Неизвестно откуда взявшиеся молодые люди с повязками на рукавах творили на улицах самосуд, ловили коммунистов, тех, кого подозревали в связях с госбезопасностью и просто вызывавших подозрение прохожих, расстреливали на месте или, того хуже, вешали на фонарных столбах. Надь попросил ввести советские войска в Будапешт. Как только войска вошли в город, Надь, тут же под давлением толпы потребовал их вывести из Будапешта, а затем и вообще убрать советские войска из страны, заявил о выходе Венгрии из Варшавского договора.

Отпадали последние сомнения: если не принять немедленных мер, Венгрию мы потеряем, Имре Надь у власти долго не удержится, на смену ему придут люди куда более решительные, начнется кровавая баня. В результате в стране окажутся американцы. Советский Союз не мог позволить Даллесу откусить Венгрию от нашего общего «пирога».

В Москве мнения разделились. Молотов, Маленков, Первухин, Каганович, Жуков, Булганин, Суслов, Сабуров, Шепилов требовали принятия жестких мер. Микоян считал, что «без Надя не овладеть положением», следует повременить, не вмешиваться, вступить в переговоры, «не идти против воли народа».

Отец колебался, ему крайне не хотелось пускать в дело войска, проливать кровь. Тем самым он уподоблялся американцам, подавлявшим оружием освободительное движение в Гватемале и других центральноамериканских государствах или того хуже, — российскому императору Николаю I — жандарму Европы. Отец все надеялся, что «здоровые силы, рабочий класс» одумаются и сами наведут порядок. Накал страстей в Венгрии нарастал, правительство Имре Надя само уже висело на волоске.

К исходу октября стало ясно: не одумаются, или на Венгрию следует махнуть рукой, или действовать решительно. Микоян тем временем слал из Будапешта шифровки о переговорах с Имре Надем о прощупывании почвы для компромисса.

Отец не считал себя, вообще Советский Союз, вправе принимать решение в одиночку, без консультаций с союзниками. 24 октября в Москву прилетели немцы — Ульбрихт с Гротеволем, президент Чехословакии Новотный, Живков и Югов от Болгарии. Они согласились с советской позицией, которая, в свою очередь, менялась день ото дня. Отдельно от остальных вечером того же дня всем Президиумом встретились с эмиссаром Мао Цзэдуна Лю Шаоци. Результат тот же, вернее, пока никакого результата. Лю Шаоци остался в Москве, до Пекина, по тем временам, два дня лета, а руководители восточноевропейских стран разъехались по домам.

Всю следующую неделю Президиум ЦК собирался практически ежедневно, а то и по несколько раз на день. За изнурительными заседаниями Президиума следовали не менее изнурительные, часто ночные переговоры с китайцами. Изнурительными они стали не из-за какой-то особой китайской позиции — Мао Цзэдуна Венгрия не волновала: хотите подавить волнения силой, подавляйте, решите все пустить на самотек — пускайте. Отец изнурительно боролся сам с собой. А тут случилась новая напасть, 30 октября Израиль атаковал Египет, на следующий день его поддержали вооруженные силы Англии и Франции. Под шумок, в тени Венгерских событий, они решили восстановить контроль над Суэцким каналом. Прошедшим летом его национализировал свергнувший проанглийского короля Фарука новый президент нового Египта Гамаль Абдель Насер.

Отец наконец решился, бездеятельности нам история не простит. Утром 31 октября он предложил советскому руководству силовое вмешательство в Венгрии. Вызвали маршала Конева. Он доложил: для подготовки операции потребуется три дня, начинать можно в ночь на 4 ноября. Президиум ЦК проголосовал единогласно «за», правда, отсутствовал Микоян. Он еще не прилетел из Будапешта, его ожидали только к вечеру. Лю Шаоци согласился, без вооруженного вмешательства не обойтись. Больше не полагаясь на Микояна с Сусловым, отец взялся сам облететь союзников.

Отлет назначили на утро 1 ноября. Перед отъездом в аэропорт отца во дворе резиденции перехватил Микоян, он по-прежнему считал, что «силой сейчас ничего не сделать», предлагал еще пару недель выждать, авось все наладится. Отец уже не сомневался: не наладится, и с Микояном даже спорить не

стал, все решено, он через час улетает сначала в Брест на переговоры с Гомулкой, оттуда — в Бухарест за поддержкой остальных лидеров восточноевропейский стран, а из Бухареста — на Бриони к Тито, надо заручиться и его согласием на применение силы.

Микоян разнервничался, как вспоминал отец, пригрозил, что «не знает, что с собой сделает». Самому Анастасу Ивановичу помнится, что он лишь «обдумывал отставку из Политбюро (Президиума ЦК). В первый раз — в 1956 году из-за решения применить оружие в Будапеште, когда я уже договорился о мирном выходе из кризиса».

О чем он договорился, что означает «мирный выход из кризиса», Анастас Иванович не пояснил. И без пояснений ясно, мирным оставался единственный «выход из кризиса» — капитуляция.

Отец улетел, а Микоян отправился на заседание Президиума ЦК. Там, в отсутствие отца, он повторил свои аргументы: «Требование вывода советских войск стало всеобщим. Силой сейчас ничего не поможешь. Надо вступить в переговоры, выждать дней 10–15, поддержать это правительство. Если положение стабилизируется, тогда дело пойдет к лучшему. Венгрию упускать нельзя».

Говорил Микоян бессвязно и понимания у членов Президиума не нашел. Заседание продолжалось почти весь день с перерывом на обед и завершилось, как и началось, выступлением Микояна. Теперь Анастас Иванович считал, что «если Венгрия становится базой империализма, тогда нет разговора. Нельзя допускать школярский подход. Есть еще три дня подумать, посоветоваться с товарищами. Тактика: держать с ними контакт».

Об упомянутой в мемуарах договоренности с Имре Надем на Президиуме ЦК не прозвучало ни слова, и уж совсем неясно, когда Анастас Иванович подумывал об отставке? До заседания Президиума ЦК? Во время перерыва на обед? Но уж точно не после своих заключительных слов.

Президиум ЦК еще заседал в Москве, а отец уже прилетел в Брест. Поляки приехали из Варшавы на «мерседесе» председателя правительства Циранкевича. Он сам вел машину. Переговоры начались на приграничном военном аэродроме в здании штаба расквартированного там истребительного полка.

Гомулка юлил. После недавних событий в Варшаве он не мог открыто поддержать советскую вооруженную интервенцию, но как реальный политик понимал, что Венгрию терять никак нельзя.

— Мы считаем, что войска выводить не следует, но и пускать их в дело тоже не следует. Надо дать возможность правительству,

занимающему контрреволюционную позицию, разоблачить себя. Тогда венгерский рабочий класс сам восстанет и свергнет его, — большего отцу от Гомулки добиться не удалось. Однако он понял главное — Гомулка против силового разрешения кризиса протестовать не станет.

В Бухаресте все прошло гладко. Немцы, болгары и чехи высказались «за», а румыны даже предложили поучаствовать своими войсками. Отец от помощи отказался, советские войска находятся в Венгрии, как и в Германии, по праву победителей во Второй мировой войне.

Не следует забывать, венгры — верные союзники Гитлера — зверствовали на советской территории похлеще самих немцев, и Будапешт в конце войны мы не освобождали, а брали приступом. Солдаты получали медали за освобождение Софии и Праги, Белграда и Бухареста, но за взятие Берлина и Будапешта, Вены и Кенигсберга. Это не только наше право, но и обязанность — не допустить враждебные силы на территорию стратегически важного партнера. Принятое решение соответствовало национальным интересам СССР и интернациональным интересам социалистического или, если хотите, Восточноевропейского альянса. Таковы политические реалии, определявшие правила поведения держав-победительниц: СССР и США. Для сравнения вообразите себе реакцию американцев, если бы в Японии в 1956 году разъяренные толпы требовали пересмотра результатов Второй мировой войны: и Сан-Францисского мирного договора, и вывода войск США со своей территории, а также преследовали бы своих лояльных к оккупационной власти сограждан. Вообразили? То-то же!

Тито тоже поддержал применение силы. Утром 3 ноября отец вылетел из Югославии в Москву, куда добрался ближе к вечеру. По возвращении определились с Имре Надем. Члены его правительства Янош Кадар и Ференц Мюних полностью разделяли позицию Москвы: надо действовать, и немедленно, завтра будет поздно, к взятию власти они готовы. В отсутствие Кадара и Мюнниха начали обсуждать, кого поставить во главе нового венгерского руководства, и отец с Молотовым снова разошлись во мнениях. Молотов не доверял Кадару, он сидел в тюрьме. В душе Вячеслав Михайлович не сомневался — если Сталин его арестовал, то было за что, но вслух посетовал, что в заключении он мог озлобиться, и вообще лучше не рисковать. Он предпочитал Мюнниха.

К Мюнниху отец относился хорошо, знал его еще с 1930-х годов, они оба работали в Москве, где Мюнних подвизался в Венгерской секции Коминтерна, однажды даже оказались вместе

на военных сборах, но он считал его для такой роли абсолютно неподходящим, примитивно-прямолинейным, не способным маневрировать.

Отец высказался за Кадара, тюремное прошлое тоже говорило в его пользу, в современной обстановке — это плюс, а не минус. Молотов попытался возражать, но настаивать не стал. После своего поражения в «Польском вопросе» он решил воздержаться от открытых конфликтов с Хрущевым.

Теперь давайте посмотрим, что происходило на «той» стороне. Американцы исключали свое вооруженное вмешательство в венгерские дела, слишком опасно, да и по Потсдамскому соглашению Венгрия относилась к советской зоне оккупации. В Организации Объединенных Наций, в столицах европейских государств их «второстепенные» дипломаты, по «собственной инициативе» доверительно советовали «не затягивать операцию», подталкивали Советский Союз, естественно в собственных интересах, к силовому разрешению Венгерского кризиса.

В Париже советник американского посольства Либих «приватно», за обеденным столом, убеждал своего друга «советника по культуре» советского посольства Владимира Ивановича Ерофеева: «Постарайтесь не затягивать вашу операцию. Если вы осуществите ее за несколько дней, мы вмешиваться никак не будем». Ерофеев отмолчался и, естественно, тут же доложил обо всем в Москву. Либих не успокоился, напросился на еще одну встречу, уже перед самой англо-французско-израильской высадкой в зону Суэцкого канала. Во время разговора он почти в открытую дал понять, что руки у Советского Союза в Венгрии развязаны.

Это была хорошо продуманная политика госсекретаря США Даллеса. Американцы выигрывали при любом повороте событий. Если «Советы» проявят непростительную для великой державы нерешительность, откажутся от применения силы, то Венгрия сама, без каких-либо усилий со стороны, упадет к ним в руки. Людей, шедших на смену Надю, они хорошо знали. Правда, на то, что удастся «откусить» Венгрию от Восточного блока, Даллес всерьез не рассчитывал, он достаточно хорошо изучил отца и не сомневался, такой глупости тот не допустит. Более того, подстраховываясь, он поручил своим дипломатам намекнуть советским коллегам, что США в Венгрию не полезут, из-за нее мировую войну затевать не намериваются. Либих в Париже четко отслеживал инструкции, полученные из Вашингтона. Одновременно ЦРУ, Аллен Даллес, через свои радиостанции всячески подстрекали венгров к восстанию. По всем «голосам»

вещали: «Американские войска на подходе, стоит вам начать, и вас в беде не оставят…»

Дело тут не в несогласованности политики госдепартамента и ЦРУ, напротив, братья Даллесы все согласовали до деталей. Если Венгрия «откусится» — хорошо, но если прольется кровь, то чем больше ее прольется, тем лучше, тем сокрушительнее окажется их пропагандистская победа.

Утром 4 ноября операция «Вихрь» по восстановлению порядка в Венгрии началась. Серьезного сопротивления войска не встретили, все завершилось в течение двух дней, венгры потеряли 2 502 человека убитыми и еще 19 266 ранеными. С советской стороны погибло 720 военнослужащих и 1 540 человек получили ранения. Двести тысяч венгров бежали в соседнюю Австрию.

Собственно, и в Тбилиси, и в Варшаве, и в Будапеште события развивались сходно: сначала вздох облегчения, ощущение освобождения, сопровождаемые желанием как можно скорее очиститься от скверны, наказать виновных, затем спонтанные, спорадические проявление недовольства, относительно мирные стихийные митинги и шествия, растерянность, бездействие местных официальных лиц, первые попытки неповиновения властям, первые проявления насилия и одновременно кристаллизация центров сопротивления, возникновение параллельных оппозиционных властных структур. И так далее по нарастающей. Только заканчивалось все по-разному. В Варшаве — бескровно: отец и Гомулка спохватились вовремя, у них достало воли, не дожидаясь худшего, проявить решимость. В Тбилиси пришлось использовать силу, но дело не успело зайти слишком далеко, обошлось малой кровью. Имре Надь в силу слабости своей натуры спасовал, утратил способность влиять на происходившее в Будапеште, фактически потерял власть. В результате все закончилось трагически. Крови не удалось бы избежать, примени Советский Союз силу или нет, вне зависимости от того, какая из противоборствующих сторон взяла бы верх. Только в одном случае пролилась бы кровь наших сторонников, их в Венгрии насчитывалось немало, и счет пошел бы на многие тысячи, в другом — пострадали наши противники. К сожалению, развенчание кровавых диктаторов и диктатур в истории никогда еще не обходилось без крови.

С разных сторон одни и те же события видятся очень по-разному: борцы за свободу для одних, для других — они же кровавые террористы. События 1956 года в Тбилиси, Будапеште и Варшаве не исключение. Так уж устроена жизнь.

Аукнулся «секретный» доклад и на Востоке. Не вызывает сомнений, что именно он ускорил разрыв с Мао Цзэдуном. В

разоблачении преступлений Сталина Мао справедливо почувствовал прямую угрозу собственному всевластию. Сошлюсь на постоянно находившегося при Мао его личного врача Ли Чжисуя: «…Водоразделом в отношениях Китая с Советским Союзом стала речь Хрущева на XX съезде КПСС, в которой он осудил культ личности Сталина.

Мао почти обожествлял роль вождя и считал, что он и только он способен возродить и преобразовать Китай. Его называли китайским Сталиным… Одобрив нападки на Сталина, Мао развязал бы руки своим противникам, а этого он допустить не мог.

Он (Хрущев — *С. Х.*) восстал против человека, вознесшего его, Хрущева, на политический Олимп, а это, по мнению Мао, — величайшее преступление.

Речь Хрущева резко повлияла на внутреннюю политику, предложение Чжу Дэ, чтобы Китай поддержал осуждение культа личности Сталина, задело Мао за живое. Мао никогда не простил Хрущеву его нападок на Сталина. Шел 1956 год, и я замечал, как катастрофически портятся отношения Мао с ЦК своей компартии. Он считал, что большинство лидеров КПК в своих решениях угодливо и бездумно подражают Советам».

Мао не стал дожидаться, пока китайские почитатели XX съезда наберут силу. Он справедливо опасался, как бы советский пример не оказался заразителен, скорее — заразен, и Мао поспешил разделаться со своими потенциальными «Хрущевыми». И, чтобы другим неповадно было, самого Хрущева записал в «ревизионисты и правые уклонисты», а Советский Союз, задолго до Президента США Рональда Рейгана, объявил «империей зла». В исторической перспективе вряд ли существовала возможность избежать конфликта. Китай — Срединная Империя, центр мироздания, исторически не мог не претендовать на роль великой державы, хотя бы потенциально. А двум медведям в одной, даже социалистической, берлоге не ужиться. Чуть раньше или чуть позже Китай, его руководство, с Мао или без него, попытались бы потеснить Советский Союз с лидирующих позиций в социалистической части мира или на худой конец отрезать себе от него азиатско-африканский ломоть.

Что же до великой дружбы и социалистической интернациональной солидарности, в которую верил отец, то никакая идеологическая установка не в силах противостоять самоощущению нации. Напротив, менталитет нации легко подминает под себя любую теорию, переделывает по своему образу и подобию, подгоняет ее под свое историческое самосознание. Сколько стран строили социализм-коммунизм, но

приглядитесь, к примеру, так ли много общего между его российской и китайской версиями? С годами Советский Союз и Китайская Народная Республика все больше походили на российскую или китайскую империи, все дальше отходили от написанных не для нас и не про нас теоретических предначертаний германского философа. И Сталин, и Мао Цзэдун почти открыто отожествляли себя с царями и императорами, Сталин в качестве образца выбрал сначала Петра I, а затем Ивана Грозного. Для Мао идеалом стал вызывавший отвращение своей свирепостью и бессмысленной жестокостью император Чжоу из династии Шан, правивший Китаем в одиннадцатом веке. Мао считал, что Чжоу внес выдающийся вклад в историю Китая, расширил его границы, и за это можно простить ему все жестокости.

Даже отец, заглянув почти через полвека после Октябрьской революции в родную деревню Калиновку на Курщине и не сумев объяснить своей старой тетке, какой он пост занимает в Москве, что такое первый Секретарь ЦК КПСС, произнес: «Ну, это что-то вроде царя!» Старушка радостно закивала головой и стала гладить отца по руке.

Еще через полвека первый посткоммунистический всенародно избранный российский президент Борис Ельцин расплывался в самодовольной улыбке, когда окружающие величали его «царем Борисом».

Не только Россия и Китай, но малые страны переиначивали коммунистическую теорию под себя. Корейский социализм имеет очень мало общего с российским и китайским, но зато очень похож на южнокорейскую «демократию». Кубинский же повторяет все извивы центральноамериканских диктатур. Точно то же самое можно сказать и о европейских социализмах: от венгерского и чешского до шведского и датского. Так уж все устроено на земле.

Неудивительно, что геополитические реалии советско-китайских отношений взяли верх над интернационализмом и пролетарской солидарностью. Доклад Хрущева на XX съезде только ускорил этот процесс, придал ему личностную окраску столкновения не только двух «монархий», но и «монархов».

Подвиг или просчет?

Одни считают «секретный» доклад главным и чуть ли не единственным достижением Хрущева, подвигом, другие сомневаются, стоило ли вообще развенчивать Сталина? Пусть бы он оставался объектом поклонения для тех, кто пожелает ему поклоняться. Третьи искренне и истово оплакивают своего

хозяина, люто возненавидели Хрущева, посмевшего покуситься на их божество. К ним относится и множество людей, кого разоблачение тирана затронуло лично, и не просто лично, а еще и шкурно. «Свято место пусто не бывает», места арестованных и казненных Сталиным партийных функционеров, генералов, инженеров, писателей, композиторов, спортсменов заняли новые люди. Они составили сталинскую военную, бюрократическую, интеллигентскую элиту. И вот оказалось, что премии, награды, заслуженные и незаслуженные, они получили из рук не полубога, а ничтожества, а само их возвышение, пусть и не сопровождавшееся никакими личными подлостями, мягко говоря, сомнительно. Такие люди отвергают любые, даже самые очевидные преступления Сталина, выискивают, а когда не находят, выдумывают личные мотивы, якобы стоявшие за «секретным» докладом. При этом они учитывают психологию россиян, которые всегда жалеют «обиженных», даже если сам «обиженный» обидел всю страну.

На «секретный» доклад страна отреагировала крайне болезненно, общество раскололось. Семьи миллионов репрессированных искренне радовались, радовались, что скоро увидят своих близких, радовались, что они больше не члены семей, или просто знакомые «врагов народа», радовались тому, что «враги народа» теперь никакие не враги.

Откровенно в штыки встретил доклад аппарат бюрократический, репрессивный, партийный и всякий иной. Они сжились со Сталиным, он их карал, но он и миловал. В живых остались последние. Облачившись в «патриотические» одежды, они скорбели о былом величии России, «втоптанном Хрущевым в грязь».

Казалось бы, отец мог рассчитывать на тонкую мыслящую прослойку людей, способных выстроить причинно-следственную связь. Однако либеральное меньшинство: начинающие литераторы, молодые ученые, отчасти инженерия — люди, не замаранные прошлым, не желали ограничиваться Сталиным. Именно от них сразу после съезда Хрущеву досталось больше всего. Они обрушились на отца с обвинениями в непоследовательности, корили его за то, что он остановился на полпути, недоговорил всей правды. Бескомпромиссная интеллигентская молодежь требовала «крови». Их быстро и бескровно приструнили. Большинство, поворчав, — кто добровольно, а кто — подчинившись обстоятельствам, вписалось в новые условия «постсталинского» советского общества. Меньшинство ушло в «диссиденты», они стали советскими донкихотами.

Чем отличаются диссиденты от обычных критически мыслящих людей? По своей природе это люди одержимые, не сомневающиеся ни в собственной правоте, ни в собственном предназначении. Они живут идеей и постоянно готовы пострадать за идею. Самые истовые из них стремятся к самопожертвованию, обязательно публичному, с широким общественным резонансом и в результате становятся террористами, угонщиками самолетов, похитителями заложников.

Для самореализации диссидентам необходимо сопротивление, а еще лучше преследования властью. В зависимости от состояния общества, из диссидентов вырастают вожди или мученики. Последние, потерпев поражение, без колебаний и сожалений восходят на костер или помост виселицы. Обретя власть, вчерашние диссиденты, как и полагается «пророкам», без сострадания насаждают свое, «единственно верное мировоззрение». Жанна д'Арк и Мартин Лютер, а из более близкой нам истории Владимир Ленин или Александр Солженицын — типичные диссиденты. Диссиденты неприятны любому человеческому сообществу, но в зависимости от формы своей организации, общество реагирует на них по-разному. При авторитарном правлении — не важно, монархии, тирании или либеральной диктатуре — власти как огня боятся диссидентов и диссидентства, преследуют, превращают их сначала в героев, затем в реальную политическую силу, при удачно сложившихся обстоятельствах они становятся могильщиками отживающего строя.

В находящихся в устойчивой фазе «демократиях», диссидентов особым вниманием не балуют. Побунтовав в свое удовольствие, большинство со временем остепеняется, а непримиримое меньшинство становится маргиналами-изгоями. Если же демократическое общество вступает в пору перемен, какая-либо из ветвей власти, как правило, улавливает сигнал и, не дожидаясь революционных катаклизмов, подстраивает общественную структуру под изменившиеся условия. И в этом случае диссиденты, исполнив свое предназначение, исчезают без вреда для окружающих.

Диссиденты существовали, существуют и будут существовать всегда и везде. По своей сущности они «мутанты» человеческого сообщества.

XX съезд возродил исчезнувшее в России после революции политическое диссидентство, оно стало существенной составляющей всей постсъездовской политической жизни. К концу 1960-х годов диссидентство распространилось и на западный мир, обретя наиболее крайнюю форму в образе

«Красных бригад». В Советском Союзе политическое диссидентство в какой-то мере поспособствовало саморазрушению сверхдержавы, так и не обеспечившей для своих граждан достойного существования. На Западе, где большинство населения на жизнь не роптало, политическое бунтарство постепенно исчерпало себя, и в начале XXI века переключилось на защиту окружающей среды, борьбу с глобализацией экономики.

Отец считал поклонение Сталину, сталинизм проявлением рабской составляющей человеческой сущности. Выступая на XX съезде, он попытался снять пелену с людских глаз, но без особого успеха, пока люди внутренне ощущают себя рабами, их не вытянуть из рабства даже за уши. Победить рабство, «выдавить раба из себя» человек может только сам. Правда о множестве загубленных человеческих судеб тоже не помогает прозрению. В России, где испокон века «жизнь — копейка», уничтожение во имя великой, равно, как и низкой, цели нескольких миллионов или даже десятков миллионов сограждан никогда не воспринималось трагически. Особенно, если преступления совершались почитаемым народом тираном-властителем, во имя провозглашенных им великих целей, истинных или мнимых — не имеет значения. Народ не желает знать правды. Знание оскорбляет веру. Кому приятно оказаться одураченным? Разоблачение тирана, таким образом, оборачивается всенародным саморазоблачением, со всеми вытекающими отсюда для разоблачителя последствиями. Отец не уставал повторять, что героизация тирана и тирании — это рецидив рабства, а сталинизм — религия рабов. А раба никто не может избавить от рабства, пока он сам от него не избавится, пока не перестанет ощущать себя рабом.

Сталин и по сей день занимает почетное место в ряду «преобразователей» России. Чем он хуже Ивана Грозного, мечом и кровью объединившего страну под своей властью и одновременно уничтожившего в XVI веке почти половину людей на подвластных ему территориях, — при Грозном варили в огромных чанах не потрафивших царю бояр и поджаривали на двухметровых сковородах впавших в немилость воевод. Или Петра Великого, славного своими преобразованиями, которые привели к сокращению населения Российской империи более чем на треть? Петра, рубившего головы «диссидентам»-стрельцам и пытавшего в застенках собственного сына. Что же получается? Выступив в 1956 году с разоблачениями сталинских преступлений, отец совершил ошибку? Не правы ли китайцы, сохранившие культ Мао Цзэдуна, преступника покровавее Сталина? Его портрет до сих пор висит на площади Тяньаньмынь в Пекине, а тем временем

страна идет своим, совсем не маоистским путем. И память о Мао с каждым годом тускнеет.

Если отбросить эмоции, руководствоваться холодным расчетом, то китайцы, безусловно, правы. Но отец действовал не по логике, а по велению сердца. Он не мог поступить иначе. Не мог поступить, и не поступил и ценой собственной политической судьбы попытался развернуть Россию от деспотии к… К чему? По истечении десятилетий сказать не берусь. Ему тогда казалось, к чему-то цивилизованному. Случись всему повториться снова, отец, даже предвидя последствия, поступил бы так же.

Рассказав правду о Сталине, Хрущев изменил страну навсегда, но не смог искоренить ни сталинизм, ни сталинистов. Они затаились на время, а после октября 1964 года воспрянули и взялись за самого Хрущева. «Разоблачениями» отца занимались профессионалы, хорошо разбирающиеся в человеческой психологии, в психологии «толпы». Разоблачали все, разоблачали невзирая на цифры и факты и вопреки им, разоблачали принесшую миллиардную прибыль целину за ее неизвестно кем и когда рассчитанную «неэффективность», пятиэтажки за низкие потолки, совмещенные санузлы за отсутствие пятизвездочных удобств. Досталось отцу за жесткость полемики с Мао и за мягкость в отношениях с США. Припомнили Хрущеву даже ракеты и выход в космос, нанесшие ущерб флоту с авиацией. Сокращение Вооруженных сил тоже поставили ему в вину. В общем, досталось отцу по полной программе.

Ложь должна быть чудовищна…

Кампания началась сразу после отставки отца в октябре 1964 года. На Руси такое не новость, многие правители начинали царствование с втаптывания в грязь костей своего предшественника.

Фамилия «Хрущев» больше не упоминалась, публиковавшиеся в «Правде» директивные статьи анонимно осуждали «волюнтаризм и субъективизм», анонимно сетовали на возникновение нового «культа личности», рассуждали о реальных или мнимых «ошибках», которые новому руководству теперь приходится «исправлять».

Особенно активно действовали Шелепин с Семичастным. В начале 1965 года КГБ получило от Секретаря ЦК Шелепина задание заняться формированием «соответствующего» образа Хрущева. Операция, естественно, получила одобрение Брежнева. Разработку Хрущева поручили подразделению дезинформации КГБ.

В 1959 году его создал тогдашний председатель КГБ Шелепин. Тогда новый отдел назвали службой «Д» — дезинформация, другими словами: «фабрика слухов». Его существование Александр Николаевич обосновал необходимостью противодействия нарождающемуся в Западной Германии реваншизму. Вскоре отдел переименовали из «Д» в «А» — активные мероприятия.

Со времени ареста Берии в июне 1953 года специфические и не совсем законные подразделения КГБ во внутренней политической борьбе больше не использовались, даже вербовка агентуры во властных структурах, как в Советском Союзе, так и в социалистических странах попала под строгий запрет. Отец внимательно следил за соблюдением установленных им правил. Теперь правила переменились. Профессионалы взялись за дело. Собственно, все или почти все, что в конце XX — начале XXI века россияне знали о Хрущеве — творение их рук.

Разработанные отделом дезинформации легенды выстраивались по правилам психологической войны, реальные факты препарировались до неузнаваемости, но так, чтобы не вызвать отторжения у среднего человека. Дезинформация только тогда становится «информацией», когда у получателя не возникает сомнений в ее «истинности», он не догадывается, что им манипулируют. Ложь вбрасывалась дозированно, порциями через различные, «не связанные» друг с другом каналы, так что падкие до сенсаций журналисты и историки не сомневались: они

ее раздобыли только благодаря исключительному везению, личным связям, собственной настойчивости.

Первой жертвой развязанной Шелепиным — Семичастным кампании стал погибший на фронте мой старший брат Леонид, летчик, старший лейтенант.

Но давайте всё по порядку.

«Биография Леонида Никитича Хрущева, несмотря на высокий уже в предвоенные годы пост отца, обыкновенна, — так пишет в газете “Красная звезда” юрист и историк полковник Мороз. — После семилетки и фабрично-заводского обучения он работал сначала учеником на заводе № 1, а затем слесарем на рентгеновском заводе. Решением общего собрания коллектива предприятия и по путевке Краснопресненского райкома комсомола в декабре 1933 г. направлен в Балашовскую школу пилотов гражданского воздушного флота. После четырехлетнего обучения прошел дополнительную подготовку на курсах усовершенствования командного состава в Ульяновске. В 1939 году добровольно поступил в Красную Армию и был зачислен слушателем подготовительного курса командного факультета Военно-воздушной академии имени Жуковского. Однако продолжать учебу в академии не захотел: в Энгельсской военной авиашколе начал осваивать скоростной бомбардировщик СБ (АНТ-40) и его усовершенствованную модификацию Ар-2.

Учился Леонид Хрущев на совесть. В выпускной аттестации не упомянут ни один недостаток. Теория — отлично, матчасть самолета — отлично, техника пилотирования — отлично, в воздухе ориентируется хорошо, строевая выправка — отлично. Звания лейтенанта РККА достоин. В автобиографии, написанной днем раньше, сам Леонид, тем не менее, отмечает, что объявленный ему по комсомольской линии выговор за несвоевременную уплату взносов так и не снят. На войне лейтенант Л. Хрущев с ее первых дней».

Судя по документам, предвоенные годы мой брат прожил, как и большинство юношей его эпохи, не хуже, но и не лучше.

«Разоблачители» отца документами не пользуются, ссылаются на то, что в скомпонованном уже после войны личном деле Леонида сохранились не оригиналы, а сплошь копии, понимай — подделки.

Действительно, в том личном деле в подлиннике имеется только послужной список. Собственно, он и составляет «личное дело» обычного старшего лейтенанта. Остальные документы туда перенесены из других источников. Это действительно копии. Как того и требует делопроизводство, на каждой копии имеется ссылка на оригинал, хранящийся тут же в Центральном архиве

Министерства обороны, указание, откуда он взят и когда скопирован. У настоящих историков сомнения в достоверности личного дела не возникает. Но это у настоящих, а дезинформаторам годится любая зацепка.

Итак, в 1941 году мой брат Леонид служил в бомбардировочной авиации, летал на упомянутом выше скоростном бомбардировщике СБ. Вот только, к несчастью летчиков и Леонида в том числе, скоростным его назвали в момент рождения в 1936 году, а к 1941 году скорость полета СБ, едва достигавшая четырехсот километров в час, оказалась «черепашьей». В начале войны летать на таких бомбардировщиках — сродни самоубийству, истребители прикрытия отсутствовали, немецкие мессершмитты расстреливали самолеты в упор. По отзывам сослуживцев, Леонид воевал хорошо, за чужие спины не прятался, фамилией отца не прикрывался. Мастер-механик авиаполка Виктор Андреевич Фомин запомнил, что в конце июля Леонид разрушил мост через Западную Двину. До него его уже неоднократно бомбили, но безрезультатно. Немецкие истребители прикрывали мост плотно, прорваться не удалось никому. Леонид придумал маневр: еще над своей территорией набрал максимальную высоту, а при подлете к мосту спикировал, на скорости поднырнул под истребители и сбросил бомбы с бреющего полета, рассчитав так, чтобы его не задело взрывной волной. Леонид не только уничтожил мост, но попутно разбомбил еще и окопавшийся поблизости на берегу немецкий штаб. «За этот вылет Леониду дали орден Красного Знамени, наградили также штурмана и стрелка-радиста. По своим командирским данным, летному мастерству, бесстрашию летчик-работяга Л. Н. Хрущев напоминал мне Ивана Кожедуба, с которым я воевал с 1944 года, а затем по 8 августа 1991 года соучаствовал в ветеранских делах».

А вот как отзываются о Леониде его начальники: «Командир экипажа Леонид Никитич Хрущев… имеет 12 боевых вылетов. Все боевые задания выполняет отлично. Мужественный, бесстрашный летчик. В воздушном бою 6 июля 1941 года храбро дрался с истребителями противника вплоть до отражения атаки. Из боя Хрущев вышел с изрешеченной машиной. Инициативный…

…Неоднократно шел в бой, подменяя неподготовленный экипаж. Ходатайствую о награждении тов. Хрущева орденом Красного Знамени», — написал 16 июля 1941 года командир 46-й авиадивизии полковник Писарский.

Летать Леониду оставалось еще десять дней.

«27 июля остатки трех эскадрилий 134-го

бомбардировочного полка, — написано в боевом донесении, — шли бомбить аэродром в районе станции Изоча (или Изога, в разных источниках пишут по-разному. — *С. Х.*) артиллерию в районе Хикало. При возвращении незащищенные бомбардировщики были атакованы восемью немецкими истребителями «Мессершмитт-109». Потери составили: четыре машины из шести».

За этот вылет Леонида вторично представляют к ордену Красного Знамени: «Лейтенант Л. Н. Хрущев с 1.7 по 28.7.41 г. имеет 27 боевых вылетов. Летал в звене командира эскадрильи. Метким бомбометанием его самолет разбомбил танки и артиллерию противника в районе Великих Лук. 6.7.1941 г. бомбил две переправы противника в районе Десны. На обратном пути самолет Хрущева был обстрелян и имел 20 пробоин. Тов. Хрущев спас самолет и вернулся на свой аэродром.

Решительный, смелый, бесстрашный летчик… Командование части ходатайствует о представлении его к правительственной награде — ордену Боевого Красного Знамени.

Командир 134 СБП[30] *майор Ткачев.*

Военком 134 СБП ст. политрук Куликов».

Леонид получит орден Красного Знамени только в феврале 1942 года, и только один, хотя представляли его, судя по документам, дважды и за разные боевые эпизоды.

Самолет Леонида оказался в числе четырех записанных майором Ткачевым в безвозвратно утраченные. Он еле дотянул до линии фронта и, по слухам, сел с убранными шасси на нейтральной полосе. Одного из членов экипажа убили еще в воздухе, а Леонид при посадке самолета сломал ногу и серьезно повредил позвоночник. Экипаж подбитого самолета выручили красноармейцы.

Долгое время эти слухи оставались единственной информацией о последнем полете Леонида на бомбардировщике СБ. В своем письме, уже упомянутый выше, очевидец Фомин рассказывает об аварийной посадке Леонида иначе.

Как ему запомнилось, в последних числах июля 1941 года «в эскадрильях полка осталось, вместо положенных пятнадцати, шесть или девять самолетов. Тогда же командование распорядилось для вынужденных посадок использовать бывший аэроклубовский аэродромчик с короткой взлетной полосой,

пригодной только для учебных ПО-2. Он располагался у железнодорожной станции Андрополь, вплотную за спиной нашей линии обороны, в восьмидесяти километрах западнее от места базирования полка».

На него 27 июля 1941 года и садился Леонид.

Примерно в 2 часа дня дежуривший на аэродромчике Фомин увидел приближавшийся на малой высоте самолет с выпущенным правым колесом шасси, левое — только высунулось из фюзеляжа и, поврежденное в воздушном бою, застряло. Леонид заходил на посадку раз пять, и все неудачно. Фомин тогда подумал, что он, скорее всего, ранен. На шестой раз самолет коснулся земли, прокатился на одном колесе метров сто, затем стойка единственного колеса подломилась, СБ перевернулся, подняв большой столб пыли. Фомин с товарищами, несмотря на опасность взрыва, поспешили к самолету.

Подбежав к самолету, Фомин увидел зажатого в кабине висящего вниз головой израненного Леонида. Рядом с ним висел мертвый штурман. Сидевший сзади стрелок-радист истекал кровью. Фомин попытался подлезть под самолет, но тщетно. Тогда пришло в голову приподнять самолет с помощью полуторки. Вместе с еще двумя механиками они с огромным трудом и не с первой попытки занесли крыло самолета в открытый кузов грузовика. Полуторка сдала назад, и кабина чуть отошла от земли. Леонида вытащили. Сам он ходить не мог, то и дело терял сознание. Его уложили в кузов грузовика, рядом со стрелком-радистом и мертвым штурманом.

Фомин залез внутрь самолета, отвинтил самолетные часы, штурманские АВР и пилотские АЧХО,[31] огромную ценность по тем временам. Бросив на аэродромчике искореженный самолет, Фомин с ранеными поехал на полуторке на основной аэродром. Оттуда Леонида отправили в госпиталь. На прощание Фомин подарил ему часы АВР, а АЧХО № 334477, изготовления 1941 года, оставил себе.

Снова сошлюсь на официальный документ. В боевой характеристике лейтенанта Хрущева, составленной перед отправкой Хрущева в госпиталь, есть такие строки:

«В воздухе спокоен и расчетлив. Неутомим в бою… Были дни, когда он делал по 3–4 вылета и никогда не жаловался на усталость.

По выздоровлению желательно направить в 134-й полк».

«Часы мне служили, мне и Родине, верой и правдой до самого Берлина, так же, как и баян Леонида Хрущева. Часы у меня и сейчас, и я готов их передать как реликвию, как память о боевом летчике Хрущеве Леониде Никитиче его сыну Юрию Леонидовичу

Хрущеву».

Виктор Андреевич, как и обещал, передал часы АЧХО № 334477 Юрию Леонидовичу. (7 декабря 2003 года Юрия Леонидовича не стало.)

В полевом госпитале Леониду хотели отрезать ногу, но он, согласно легенде, угрожая пистолетом, не позволил. Нога очень плохо заживала. Леонид больше года лечился в тыловом госпитале в Куйбышеве (ныне Самара). Там я его видел последний раз, бледного, улыбающегося, с новеньким орденом на груди.

Когда нога срослась, Леонид стал рваться обратно на фронт, теперь уже в истребители. Использовав все доступные ему средства, брат добился перевода.

И тут случилось несчастье. О том, что произошло, мне, шестилетнему, естественно, никто не рассказывал. Но я слышал (или мне теперь кажется, что я слышал), как в доме шептались по углам, что Леонид по пьянке то ли убил человека, то ли произошло еще что-то очень нехорошее и теперь…

Так я писал в своих книгах. Действительно ли я запомнил разговоры о смертельном происшествии, или порой уж слишком услужливая память «припомнила» не то, что происходило на самом деле, а то, что в нее вложили впоследствии? Я тогда лечился от туберкулеза тазобедренного сустава, меня заковали в гипс, запретили не только ходить, но даже садиться. Неподвижный, я проводил дни в окружении тетушек, сплетничавших обо всем и обо всех, судачили они, естественно, и о Леониде.

Шепот по углам я запомнил, а вот «содержанием» его наполнил услышанный значительно позже рассказ приятеля Леонида — Степана Микояна, как оказалось, тоже основанный на слухах.

Степан воевал в авиации и лейтенантом прилетал в Куйбышев, где встречался с Леонидом, а потом улетел в Москву. «Однажды в компании оказался какой-то моряк с фронта, — рассказывает в своей книге Степан Микоян со слов некоего Петра, тоже приятеля Леонида. — Когда все были сильно “под градусом” в разговоре кто-то сказал, что Леонид очень меткий стрелок. На спор моряк предложил Леониду сбить бутылку с его головы. Леонид долго отказывался, но потом все-таки выстрелил и отбил у бутылки горлышко. Моряк счел это недостаточным, сказал, что надо попасть в саму бутылку. Леонид снова выстрелил и попал моряку в лоб…»

Сам Степан при этом не присутствовал.

Игра в «Вильгельма Телля» в среде военных в те годы была

весьма популярна, да и жизнью они не так уж дорожили. Юле, дочери Леонида, Степан Микоян изложил эту историю чуть иначе, якобы первым стрелял моряк, он сбил бутылку с головы Леонида, а уж потом наступила очередь Леонида. За убийство офицера Леонида якобы судили. Суд признал Леонида виновным, приговорил к семи годам. В то военное время за такие проступки в тюрьму не сажали, отправляли на фронт в штрафные батальоны. Леониду разрешили остаться в авиации.

«Он, получив разрешение переучиться на истребитель ЯК-7Б, уехал на фронт с еще не совсем зажившей раной. По дороге туда, в один из последних месяцев 1942 года, Леонид неожиданно появился в Москве. Мы с ним встретились. В Москве о происшествии в Куйбышеве он умолчал», — я продолжаю цитировать Степана Микояна.

История по тем временам заурядная, и я в нее поверил безоговорочно. Однако стоило копнуть глубже и все оказалось совсем не очевидно. Копать глубже начал московский историк Александр Николаевич Колесник, сотрудник Института военной истории. Причиной тому стал сценарий телефильма о Леониде, который ему заказал один из московских каналов.[32] Естественно, Колесник первым делом обратился к архивам. В архиве военной прокуратуры никаких материалов о стрельбе в Куйбышеве Колесник, как ни искал, не обнаружил. Тогда он обратился за разъяснениями к Степану Микояну. Кто такой Петр, откуда он взялся, Степан Анастасович запамятовал, но в пересказе истории теперь он ссылался еще и на Лизу Остроградскую, балерину Большого театра, тоже эвакуированную в Куйбышев.

В своей книге он упоминает вскользь, что во время его пребывания в Куйбышеве они с Леонидом флиртовали с двумя балеринами — Валей Петровой и Лизой Остроградской. Дело молодое, тем более что с женой Леонид тогда повздорил, и она уехала из Куйбышева. Училась где-то на курсах иностранных языков.

Степан вскоре вернулся в свой полк, а Леонид влюбился по-настоящему. Они с Лизой даже договорились пожениться. Лиза, женщина решительная, взялась за приготовление к свадьбе, всем и каждому рассказывала о предстоящем замужестве, а затем на какое-то время уехала в Москву. Леонид не на шутку перепугался. Перепугался предстоящего объяснения с мамой. Мама, человек суровый и со строгими понятиями о нравственности, не раз ему выговаривала за легкомысленное поведение, не одобряла его компанию, их непрекращающиеся застолья, а тут еще свадьба с балериной при живой жене и полуторагодовалой дочери. Леонид

не сомневался — заикнись он маме о Лизе и грандиозного скандала не миновать. Он струсил, вместо объяснения с мамой написал Лизе в Москву, что произошло несчастье, он убил человека, дальше следовала уже известная нам история с моряком. Получается, что он сам ее выдумал от начала до конца. В заключение Леонид просил его не искать, это бесполезно, его осудили и отправили отбывать наказание очень и очень далеко. Избежав таким образом объяснения с мамой, Леонид отбыл через Москву на фронт, к месту дальнейшего прохождения службы. Именно поэтому он и не рассказал ничего Степану Микояну при встрече в Москве. Не о чем было рассказывать. Зато Лиза, раззвонившая всем и всюду о своем грядущем замужестве, теперь охотно делилась со всеми известием о постигшем ее несчастье. Что же касается таинственного Петра, то оставим его на совести Степана.

За истекшие десятилетия байка обрела все права реальности, по крайней мере, до того, как в ней начали серьезно разбираться. Когда дочь Леонида, Юлия обратилась в военную прокуратуру с вопросом о стрельбе в Куйбышеве, ей ответили, что в их делах упоминание о подобном инциденте отсутствует, как и вообще имя Леонида Хрущева, он к ответственности не привлекался, никаких дел на него не заводилось.

В начале 1943 года, пройдя пятичасовую практику полетов на Як-7Б в третьем отдельном учебно-тренировочном смешанном авиаполку, Леонид снова оказался на передовой, в 18-м Гвардейском истребительном авиаполку 1-й Воздушной армии. Они базировались на аэродроме Хатенки в десяти километрах от Козельска, что в Калужской области. Командовал полком гвардии майор Анатолий Голубов. Там Леонид на Як-7Б, таком же, что и в учебном отряде, в двадцати восьми учебных полетах дополнительно налетал 13 часов 01 минуту и совершил шесть боевых вылетов (4 часа 26 минут). Там же, в истребительном полку, Леонида, приказом Народного Комиссара обороны И. В. Сталина № 02520 произвели в старшие лейтенанты. А во время седьмого вылета, 11 марта 1943 года, его сбили примерно в шести километрах от деревни Жиздра Калужской области, что неподалеку от Смоленска. Типичная судьба плохо облетанных, еще не освоивших хитрую механику воздушного боя молодых пилотов. Произошло все над территорией, занятой немцами, внизу простирались болота, в пылу боя соседи по строю и не заметили его исчезновения, только что был Леонид — и нет его. Но что-то о гибели Леонида требовалось написать в боевом донесении. О нем уже запрашивал командующий 1-й Воздушной армией генерал-лейтенант Худяков. Командир авиационного

полка Голубов сообщил наверх, что, выполняя боевое задание, группа из девяти наших Як-7Б атаковала восемь вражеских истребителей «Фокке-Вульф-190». Гвардии старший лейтенант Хрущев летел ведомым у весьма опытного, уже имевшего счет сбитым самолетам противника, летчика полка гвардии старшего лейтенанта Заморина. Когда Заморин вступил в бой с одним из «фоккевульфов», Хрущев, как и положено, прикрыл его. Сбив самолет противника, Заморин заметил, что еще один ФВ-190, ведя огонь издалека, заходит ведомому в хвост. Бросившись наперерез, он принудил немца уйти на юг.

«В момент, когда истребитель противника отвалил от Хрущева, — сообщали в отчете командир полка гвардии майор Голубов и начальник штаба гвардии подполковник Вышинский, — Хрущев с переворотом под углом 65–70 градусов пошел к земле, и когда Заморин возвратился, то Хрущева он не нашел и считает, что сбитым он быть не может, так как снаряды рвались далеко в хвосте, он перетянул ручку и сорвался в штопор».

Уже упоминавшийся мною Степан Микоян, летчик-истребитель времен войны, а затем известный испытатель боевых самолетов, налетавший немало часов на ЯК-7Б, однотипном тому, на котором погиб Леонид, скептически отнесся к версии Заморина: «Мне не верится, что это мог написать летчик, да еще командир полка (возможно, он пытался оправдаться за то, что не “уберег” сына Хрущева или вообще это писал кто-то другой). Дело в том, что снаряды авиационных пушек не имеют дистанционных взрывателей, а лишь ударные — они могут взрываться, только попав в преграду. Так что “рваться за хвостом” они не могли.

Теперь о штопоре. После сваливания в штопор самолет вращается, снижаясь вертикально, а не пикирует под крутым углом. На пикировании самолет в штопор не войдет».

В 1999 году, разбирая архив Дмитрия Федоровича Устинова, министра обороны СССР брежневских времен, обнаружили письмо летчика Заморина, полученное Устиновым уже после смерти Хрущева-старшего, то есть после 1971 года. В письме дается совершенно иная версия воздушного боя. Заморин кается в фальсификации событий того дня: «Командование моего полка было крайне заинтересовано в том, чтобы принять мою версию за чистую монету. Ведь оно напрямую разделяло суровую ответственность за гибель летчика — сына члена Политбюро! Я струсил и пошел на сделку с совестью, сфальсифицировав факты. Я в рапорте умолчал о том, что, когда Фокке-Вульф-190 рванулся на мою машину в атаку, зайдя мне снизу под правое крыло, Леня

Хрущев, чтобы спасти меня от смерти, бросил свой самолет наперерез огненному залпу “фоккера”… От бронебойного удара самолет Хрущева буквально рассыпался у меня на глазах!.. Вот почему на земле невозможно было найти какие-либо следы этой катастрофы. Тем более что искать начальство приказало не сразу — ведь наш бой происходил над территорией, оккупированной немцами».

Которое из свидетельств Заморина ближе к истине — судить не берусь. Главное, Леонида не стало. История для того времени самая что ни на есть заурядная, сколько народа тогда погибло.

А вот то, что произошло далее, для нашего рассказа примечательно. Весной 1943 года Сталин благоволил к отцу: Член Военного Совета Сталинградского фронта, он сначала вместе с командующим фронта Еременко и командующим армией Чуйковым под Мамаевым курганом, из «норы», как он характеризовал их укрытие, где располагался штаб Сталинградского фронта, организовывал оборону города, затем участвовал в планировании и самом окружении 6-й армии фельдмаршала Паулюса. Затем Сталин перебросил отца на Юго-Западный фронт к Малиновскому, на отражение наступления генерала Манштейна, пытавшегося своим казалось бы несокрушимым танковым кулаком пробить коридор, спасти окруженную армию Паулюса. Манштейн не прошел.

11 марта 1943 года об исчезновении Леонида доложили Сталину. Он приказал пока ничего не сообщать Хрущеву, поручил генералу НКВД Судоплатову, который координировал наши разведывательно-диверсионные операции в тылу немцев, все разузнать. «Однако поиски никаких результатов не дали, — констатирует Судоплатов. — Лично Сталин принял решение считать Леонида Хрущева погибшим при выполнении боевого задания, а не пропавшим без вести».

После этого Сталин решил сам известить отца о происшедшем несчастье. Как все происходило в апрельские дня 1943 года, мы теперь знаем благодаря «раскопкам» все того же историка Колесника. Сталин вызвал отца в Кремль с Воронежского фронта, туда его перебросили к генералу Ватутину тоже в качестве члена Военного совета. В кабинете Сталина кроме Сталина самого присутствовали члены Политбюро Молотов, Микоян и Щербаков.

— Держись, Никита, твой сын Леонид погиб как герой, — якобы произнес Иосиф Виссарионович.

Отец пошатнулся, ему стало нехорошо. Вызвали врача.

11 апреля 1943 года, сразу после разговора у Сталина, командующий 1-й Воздушной армией генерал-лейтенант авиации

Сергей Худяков отправил члену Военного совета Воронежского фронта генерал-лейтенанту Никите Хрущеву письмо следующего содержания:

«В течение месяца мы не теряли надежды на возвращение Вашего сына, но обстоятельства, при которых он не возвратился, и прошедший с того времени срок заставили нас сделать скорбный вывод, что Ваш сын — гвардии старший лейтенант Хрущев Леонид Никитич пал смертью храбрых в воздушном бою против немецких захватчиков».

В июле 1943 года Леонида наградили орденом Отечественной Войны 1-й степени. Наградили не посмертно, а за предыдущие боевые заслуги, потому что к ордену его представили еще за неделю до гибели. Приказ о награждении № 0254 от 12 июля 1943 г. по прямому указанию Сталина подписал командующий ВВС маршал авиации Александр Александрович Новиков. Как известно, при учреждении ордена Отечественной войны было установлено, что в случае гибели награжденного этот орден остается в семье как память. Орденский знак с номером 56428 вручили отцу. Награждая Леонида орденом, и еще столь значимым, Сталин как бы публично признавал его гибель. Пропавших без вести орденами не награждали, их ожидала совершенно иная участь.

Членом Военного совета Западного фронта, где погиб Леонид, служил давний приятель отца Николай Булганин. Его сын Лева тоже летчик и тоже летал на Як-7Б. Николай Александрович от всей души разделял горе отца и убедил командующего фронтом продолжить поиски Леонида. Они написали отцу, что собираются послать в предполагаемый район падения самолета не зависящую от НКВД и Судоплатова армейскую разведывательную группу, но отец отказался, поблагодарив за участие, попросил зря не рисковать другими жизнями.

Вскоре после гибели Леонида в Куйбышеве арестовали и сослали в Казахстан его вдову Любовь Илларионовну. К гибели Леонида ее арест отношения не имел. Обвинение против нее выдвигалось стандартное — работа на иностранную разведку, благо дипломатический корпус тогда тоже эвакуировали на Волгу. Чьей она числилась шпионкой, я сейчас уже не помню, то ли французской, то ли английской, то ли шведской. Люба вышла на свободу только в 1956 году, полной мерой хлебнула лиха в карагандинской ссылке.

Их годовалая дочка Юля воспитывалась вместе с нами и очень не любила свой, отличный от остальных детей, статус внучки. Мама первой заметила нарождающуюся проблему, и Юля

перешла в дочки.

После победы о Леониде вспоминали только в семье, да и то не часто, родители — чтобы не бередить свои раны, а мы, дети, его почти не помнили. Хотя отец почти не говорил о Леониде, он очень любил сына и никогда о нем не забывал, в 1960 году попытался разыскать его следы. Для начала он попросил Министра Обороны маршала Малиновского выяснить, сколько наших самолетов пропало в районе Жиздры. Через некоторое время маршал доложил: «Тридцать пять». Места падения самолетов нанесли на карту и начали раскапывать. До осени 1964 года нашли тридцать машин, опознали тридцать пилотов, но Леонида среди них не оказалось.

После отставки отца все тот же маршал Малиновский приказал работы свернуть. В конце 1980-х годов поиск погибших в болотах под Жиздрой советских пилотов возобновили местные следопыты-энтузиасты. В 1995 году я прочитал в российских газетах сообщение, что учитель местной школы отыскал останки советского истребителя. В пилотской кабине сохранился скелет летчика в истлевшей лейтенантской форме и меховом шлеме. По свидетельству остававшихся в живых однополчан, именно такой шлемофон носил Леонид, один во всем полку, и очень им гордился. Колесник не сомневался: этот 31-й истребитель Як-7Б, именно тот самолет, который так разыскивал отец. Он даже вышел на бывшего немецкого капрала, якобы осматривавшего самолет сразу после падения. Истребитель не загорелся, в кабине сидел летчик в плотно застегнутом реглане, на поясе у него висел немецкий парабеллум. Из-за этого парабеллума капрал заключил, что пилот — немец. Обе стороны использовали в боях чужие самолеты с чужими опознавательными знаками на крыльях. Он расстегнул реглан, увидел советскую военную форму, советские знаки различия и потерял интерес. Парабеллум он забрал себе, а самолет с летчиком остался гнить в болоте.

Уже упомянутые сослуживцы Леонида подтверждают, что в полку парабеллумом мог похвастать только один он. Сам самолет, их тогда делали из фанеры, сгнил, но на моторе и пулемете сохранились номера; чтобы окончательно удостовериться, кого нашел смоленский учитель, требуется сверить их с формуляром. Если формуляр в архиве сохранился, то одним пропавшим без вести станет меньше.

В 1965 году, просеивая сквозь сито всю прошлую жизнь отца, отбирая из нее эпизоды, пригодные для дальнейшей разработки, профессионалы-дезинформаторы наткнулись на историю пропавшего во время войны без вести Леонида. Она им подходила идеально: о судьбе пилота не известно ничего, а значит можно, не

боясь разоблачений, напридумывать все, что угодно. И они напридумывали. Говорили, что авторство этой «дезы» принадлежит Филиппу Бобкову, скромному подполковнику в отделе дезинформации, впоследствии начальнику печально знаменитого 5-го, антидиссидентского управления. «Озвучивание» собственной «версии истории» КГБ поручило заместителю начальника Главного управления кадров Министерства обороны СССР генерал-полковнику Ивану Александровичу Кузовлеву. От него по Москве расползлись слухи, что в Министерстве обороны обнаружены документы (их, естественно, никто не видел), из которых следует, что Леонид не погиб, а сдался немцам, начал с ними сотрудничать, предал Родину. То ли в конце войны, то ли после ее окончания диверсанты генерала Судоплатова выкрали его, доставили в Москву, он попал в руки советской контрразведки, сознался в совершенных преступлениях, и суд приговорил Леонида к смерти. Хрущев якобы на коленях молил Сталина пощадить сына, но Сталин отказал ему, произнеся следующую сентенцию: «И мой сын попал в плен, и хотя он вел себя как герой, я отказался обменять его на фельдмаршала Паулюса. А твой…»[33]

Я никогда не сомневался, что множившиеся с 1965 года «разоблачительные» слухи и слушки относительно отца — дело рук КГБ, но доказательств не имел и не надеялся их раздобыть. Помог мне случай.

В конце 1990-х годов американцы занялись поиском своих сограждан, военнослужащих, пропавших без вести во время Корейской и Вьетнамской войн, а также пилотов самолетов-разведчиков, сбитых над советской территорией. Ельцин распахнул перед ними все двери. Представителям из Министерства обороны США помогали специально приставленные к ним российские генералы и историки. Один из них уже упоминавшийся военный историк Александр Колесник.

В те годы американцев пускали туда, куда не ступала и не скоро ступит нога россиянина. На собеседования к ним вызывали таких людей, к которым в другое время не достучаться и не дозвониться. Среди заинтересовавших гостей, десятков военных и гражданских лиц, оказался и Владимир Семичастный, в 1962–1967 годах председатель КГБ. Теперь уже просто пенсионер, он подолгу высиживал в приемной предоставленного американцам кабинета.

Входивший в свиту американцев Колесник воспользовался случаем и постарался разговорить Семичастного. За время совместных сидений в приемной они пусть и не подружились, но Семичастный проникся к историку доверием. Этому в немалой

степени способствовало и то, что Колесник — свой, русский, и интересовали его не американские, а наши пилоты, пропавшие без вести еще во время войны. Среди всех прочих Колесника тогда интересовала и судьба моего старшего брата.

Как то ни удивительно, на осторожный вопрос Колесника о слухах в отношении Леонида Хрущева Семичастный неожиданно раскрылся, признался в том, в чем никому не признавался ни до ни после: история с «предательством» Леонида, как и многое другое, дело их рук. Тогда позарез требовалось найти иное, личное объяснение разоблачениям Хрущевым на XX съезде преступлений Сталина, вот они и изобрели «сына-предателя, казненного Сталиным», затем придумали сожженные Хрущевым архивы (о них я расскажу чуть позже) и еще многое другое.

— Ну, придумать вы придумали, — настаивал Колесник, — но как вы заставили других поверить вашей выдумке?

— Для того существуют специальные приемы и специальные люди, которых мы нашими «секретами» кормим, — пояснял Семичастный. — В случае с Хрущевым мы задействовали разные каналы от Министерства обороны (я уже упоминал генерала Кузовлева) до «прикормленных» нами диссидентствующих историков и корреспондентов респектабельных буржуазных газет. «Жареную» информацию о Хрущеве с нашей подачи первым удалось «заполучить» историкам Рою и Жоресу Медведевым. Они пошли трезвонить по всему свету, чему мы, естественно, не препятствовали. Затем «всучили» сенсацию итальянским журналистам из газеты «Република», использовали (я надеюсь, вслепую. — *С. Х.*) и Александра Солженицына, который в журнале «Литература Киргизстана» написал, что «старший лейтенант Хрущев не без причины погиб в штрафном батальоне».

Взаимоподтверждение «истинности» информации-дезинформации различными «источниками — один из приемов нашей работы. Такие действия мы на своем жаргоне называем «перекрестным опылением». А дальше пошло-поехало, байка сама начинает гулять по свету.

О беседах с Семичастным Колесник рассказал не только мне, вот, к примеру, фрагмент его выступления на круглом столе в Государственной думе:

«Я задал вопрос Семичастному: скажите, пожалуйста, почему вопрос сына привязали к Хрущеву? Он улыбнулся и ответил: Знаете, это такая тонкая операция. Так можно уничтожить человека через его отношение к собственному сыну. Если сын предатель, то о чем еще говорить? Кто такой его отец? Какой он глава государства?

Какой глава партии?… Он сам предатель!»

Кагэбэшные «творцы истории» задание выполнили, объяснили разоблачения преступлений Сталина личной и мелкой местью. Казалось бы, кто клюнет на столь примитивную ложь? Но профессионалы на то и профессионалы, они лучше кого-либо учитывают законы распространения слухов, слухов, падающих на благодатную почву, — Сталин, он и немцев победил, и страну из руин поднял, он и цены снижал, и евреям хвост прижал, а что касается арестов, лагерей, расстрелов, то «дыма без огня не бывает», наверное, имел к тому основания, врагов вокруг нас достаточно, а, впрочем: «лес рубят — щепки летят».

Поначалу инициатива КГБ пришлась Брежневу по душе, ему самому хотелось подреставрировать недавнего «вождя всего прогрессивного человечества». Теперь, когда он сам сидел в его кресле, в его кабинете в Кремле, приятнее чувствовать себя преемником «титана», а не тирана.

— Однако как следует развернуться нам не позволили (я продолжаю цитировать Семичастного в пересказе Колесника). Через год-два, во время очередного доклада Брежневу о ходе операции, тот неожиданно приказал свернуть работу по дискредитации Хрущева.

— А почему? — не утерпел Колесник. — Ведь Хрущева Леонид Ильич откровенно ненавидел.

— Не знаю, — протянул Семичастный, — наверное, пожалел старика. Мы бы его в такой грязи вываляли!

На этом разговор прервался, Семичастного пригласили на собеседование к американцам.

Я думаю, что Брежнев в тот момент думал не об отце, а заботился о себе. Дай волю этим «бандитам», они не сегодня-завтра и за него самого примутся. «Через год-два» — получается 1967 год, именно тогда Леонид Ильич выставил Семичастного из КГБ, а затем и Шелепина отстранил от реальной власти.

Операцию свернули, но клевета продолжала свое победное шествие. Байка обрастала все новыми подробностями, затем ее опубликовали в газетах, а журнал «Советский воин» даже напечатал на эту тему целую поэму. В начале 1990-х запущенная в 1965 году дезинформация «стала фактом», на который ссылаются в научной литературе. И все это без единого доказательства, без единого документа.

Теперь уже нам, наследникам, приходится отыскивать аргументы в оправдание, в опровержение клеветы. К счастью, они лежат на поверхности. Нет даже необходимости обращаться к архивам. Какое предательство мог совершить в немецком плену старший лейтенант? Что он знал? Ответ очевиден — ничего существенного. Единственно, чем он мог оказаться немцам

полезным, так это своей фамилией — призывами Хрущева к советским бойцам сдаваться в плен. Подобные листовки от имени сына Сталина Якова, настоящего или мнимого племянника Молотова, генерала Власова и многих других щедро разбрасывались с немецких самолетов над позициями советских войск. Не зарегистрировано ни одной листовки с обращением от имени Леонида Хрущева, не вспоминают о них и ветераны войны. В советских и российских архивах хранятся трофейные немецкие документы, в том числе расквартированной под Смоленском, где 11 марта 1943 года пропал Леонид, корпусной группы генерала фон Шееля и приданной ей 296-й пехотной дивизии. В отчете штаба корпуса группы за период с 22 февраля по 21 марта 1943 года говорится о пленении 63 советских офицеров и 1 674 красноармейцев. За это время сбито 93 советских самолета, в том числе один — огнем пехоты. Среди них, несомненно, и самолет Леонида, но о нем самом, о пленении сына видного политического деятеля СССР, члена Военного совета фронта, упоминания нет.

Немцы и не подозревали о существовании Леонида Хрущева. Брат безымянным погиб под Жиздрой.

Профессионалы-дезинформаторы предусмотрели всё, даже то, что кто-то когда-то доберется до недоступных пока архивов и попробует свести концы с концами. Не сведет, потому что в соответствии с разработанной ими же версией, архивы по приказу Хрущева якобы уничтожили, «почистили» дела, касающиеся не только Леонида, но и степени участия отца в сталинских репрессиях и всего прочего.

Опровергнуть клевету становится попросту невозможно. Нет подтверждения в архивах? Но архивы уничтожены. Нет актов изъятия документов из архивных папок? И тут имеется наготове ответ: «уничтожители» действовали настолько искусно, что не оставили ни малейших следов.

«Уничтожение архивов» — наиболее эффективная составляющая операции Шелепина — Семичастного по дискредитации отца. Эта выдумка полностью развязывала руки. Она позволила отделу дезинформации внедрять в сознание людей еще один миф об отце — он-де сам активнее всех, активнее самого Сталина и его самых жестоких приспешников арестовывал, казнил, мучил людей, а потом, придя к власти, свалил все «с больной головы на здоровую». Архивы ничего подобного не подтверждают! Ну и что? При отсутствии доверия к архивам, это обвинение опровергнуть еще труднее, чем напраслину, возведенную на моего брата. Во-первых, и сам отец никогда не отрицал, что ему приходилось визировать выписанные

в НКВД ордера на арест работавших с ним людей. Так в те годы была устроена жизнь. И попробовал бы кто-нибудь не завизировать арестную бумагу. Посещал отец и тюрьмы, встречался с арестованными. Другое дело, что одни из соратников Сталина, такие как Каганович, Ворошилов или Молотов, не говоря уже о Берии, услышав команду «хозяина»: «Фас!», старались, как могли, разливали море крови. Другие, в их число входил и отец, ретивости не проявляли, пытались по возможности уменьшить число жертв, смягчить их участь. Обо всем этом отец написал в своих воспоминаниях.

Во время XX съезда КПСС он прямо сказал, что в сталинских преступлениях замешаны все члены руководства страны, но в разной мере, и народу предстоит определить вину каждого. В конце своей жизни отец не раз повторял: «Вот умру я, и положат мои деяния на весы. На одну чашу злое, на другую — доброе, и, я надеюсь, доброе перевесит». Теперь, после его смерти, слуги дьявола стремятся подбросить на недобрую чашу весов свою, фальшивую, гирьку. И делают это так искусно, что даже я не то что поверил пущенному КГБ слуху, но допустил возможность «подправления» прошлого отцом. С трудом, через силу, но допустил. Тем более что мировая история нашпигована подобными примерами.

Подтасовка фактов всегда представлялась мне не соответствующей внутренней сущности отца, но человек слаб. И каждому из нас так хочется задним числом улучшить свой имидж. А тут такие возможности… Казалось бы, грех ими не воспользоваться. Казалось бы… Я, по правде говоря, смирился. Но тут вмешался Его Величество случай. В декабре 1994 года в США в Браунском университете на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева, звучали доклады, в которых шла речь о «чистке» архивов отцом. Таким термином ученые обозначили эти неприглядные деяния. Я решил докопаться до истоков. Обвинения касались двух периодов жизни отца: московского (до 1938 года) и киевского (после 1938 года). То есть, если «чистили», то только Московский и Украинский партийные архивы.

Я начал с Украины. Юрий Шаповал, историк, изучавший деятельность отца, на конференции в Браунском университете безапелляционно утверждал, что многие документы в украинском архиве отсутствуют, а следовательно, «вычищены». Я попросил его заглянуть в первоисточники. Шаповал заинтересовался. Он, человек относительно молодой, не зараженный неприязнью к отцу партийного аппарата, не простившего ему разоблачений сталинских преступлений. И что же оказалось на самом деле?

Действительно, в Украинском Государственном архиве недостает кое-чего, связанного с именем отца. Дело в том, что отец вел собственный архив. Он привез его с собой на Украину из Москвы в 1938 году. В него помощники отца складывали наиболее значительные, по их мнению, документы, порой забывая передавать их в официальный архив. Все эти папки, их насчитывалось более двухсот, отец, вернее его аппарат, забрал с собой из Киева в Москву в 1950 году. После отставки отца они осели в архиве Политбюро ЦК КПСС. Теперь архивисты независимой Украины спорят с работниками Кремлевского президентского архива, кому должны принадлежать эти документы. Следов уничтожения чего-либо в Киеве Юрий Шаповал не обнаружил.[34]

Ободренный результатами украинского расследования, я обратился к московскому периоду деятельности отца. Помочь в этом деле я попросил Владимира Павловича Наумова, автора одного из докладов, представленного на конференцию в Браунском университете, и одновременно секретаря комиссии Александра Яковлева, в середине 1990-х годов занимавшейся в России расследованием всего и вся, связанного с репрессиями сталинского, досталинского и послесталинско-го периодов. В силу своего уникального положения Наумов имел доступ во все без исключения архивы, в том числе и президентский. Правда, дело осложнялось тем, что сам Наумов — бывший работник Отдела науки ЦК КПСС, в отличие от Юрия Шаповала, как и все аппаратчики, даже демократического толка, не симпатизировал Хрущеву. В ответ на мое обращение Владимир Павлович долго молчал и только после многократных напоминаний прислал ответ. Во избежание кривотолков приведу его полностью: «Прошу извинить меня за то, что посылаю Вам материал с такой задержкой. Она вызвана тем, что я пытался выяснить обстоятельства чистки б. (бывшего — *С. Х.*) архива Московского горкома и обкома партии. Дело оказалось очень сложным. Есть разные версии. Все они в той или иной степени связаны с Н. С. Хрущевым. Но никто не мог подтвердить свою версию документами».

В переводе с бюрократического лексикона это означает, что и в Московском архиве ничего не пропадало. Такие дела бесследными не остаются, на уничтожение документов требуется указание, составляется акт или хотя бы письмо, предоставляющее его подателю свободу действий. Иначе вся ответственность ложится на хозяев архива, взять ее на себя без письменного распоряжения они не решились бы.

Точку в этой истории поставил историк Никита Петров,

переворошивший практически все архивы КГБ, изучивший сотни и сотни расстрельных списков, знающий в деталях кто, что и как подписывал. Он считает, что «Хрущев не входил в руководящую “пятерку”, и поэтому, в отличие от Молотова, Кагановича, Ворошилова,[35] его подписей нет на сталинских расстрельных списках». А следовательно, и искать нечего. «Уделом Хрущева было санкционирование арестов на уровне Москвы и области, а после 1938 года — на Украине. Но оба эти архива пострадали во время войны. В архивах КГБ Москвы и Московской области вообще не сохранилось довоенного секретного делопроизводства за период до 1941 года. При эвакуации баржа с документами попала под бомбежку и затонула». Что же касается довоенных украинских архивов, то в 1941 году Киев попал в окружение, документы могли либо достаться немцам, как им достался Смоленский архив, либо пропасть без вести…»

Что же касается чистки архивов госбезопасности, то она имела место. В разное время те или иные документы с санкции руководства уничтожались, не тайно, а с соблюдением всех бюрократических процедур. Так, в 1953 году, после ареста Берии члены Президиума ЦК единодушно решили сжечь, не читая, все обнаруженные в его личных сейфах бумаги, содержавшие, как они считали, компромат на все руководство страны. Об этом эпизоде отец пишет в своих мемуарах, подтверждается он и документально. В архиве хранятся бумаги о создании комиссии, которой поручили заняться архивом Берии. Ее члены составили соответствующий акт и другие сопроводительные документы на десяти страницах, согласно которым уничтожили путем сжигания одиннадцать мешков документов.

Что находилось в этих мешках, тоже известно: дело на болгарского коммуниста Георгия Димитрова, шесть папок компромата на Михаила Кагановича, брата члена Президиума ЦК, материалы на Суслова, Первухина, Сабурова, Булганина, 261 страниц «разной переписки» о Хрущеве, агентурные донесения на Ворошилова и другие дела.

Архивы КГБ чистили и в последующие годы. 21 ноября 1953 года, еще до образования КГБ, министр внутренних дел Круглов докладывал Маленкову и Хрущеву, что у них на оперативном учете состоят 26 миллионов человек, хранится 6 миллионов дел, следственных, агентурных, всевозможных проверок всевозможных лиц, и просил разрешения все утерявшее ценность пустить под нож. В начале 1956 года уже Серов доложил в ЦК: в КГБ уничтожено 6 миллионов «дел на 6 миллионов советских граждан», с них «снято пятно политического недоверия».

Позднее Шелепин, в бытность Председателем КГБ, посчитал

излишним хранить личные дела поляков, расстрелянных по приказу Сталина в 1940 году в Катыни, под Харьковом и других местах. Он тоже обратился за разрешением в Президиум ЦК и только получив его, уничтожил документы, составив о том акт по установленной форме. «Расчищались» как центральный, так и региональные архивы: «исключены из хранения» 375 тысяч дел оперативной разработки советских граждан, 900 тысяч дел на лиц, выезжавших за границу, 475 тысяч дел агентов и осведомителей, плюс еще 250 тысяч таких «осведомительских» дел только по Москве и области, где был завербован каждый десятый москвич, на все составлены соответствующие акты. В результате из многих и многих миллионов дел, в частности из 5,7 миллиона хранившихся только в центральном архиве, в регионах сохранились жалкие пара миллионов, а в центре и вовсе 600 тысяч. Если покопаться в архивах поглубже, то можно обнаружить еще немало подобных актов уничтожения, замещающих недостающие дела и даже отдельные страницы в них. В бюрократическом обществе ничего не исчезает бесследно.

И Семичастный, и Шелепин прекрасно знали, что искать в архивах бесполезно, «однако после смещения Хрущева дали задание разыскать документы, уличающие Хрущева». Когда компромата не нашли, его решили придумать.

Поэтому «доказательства» о якобы уничтоженных документах из архивов, касающихся лично Хрущева, выглядят так расплывчато, ни за один «кончик» не ухватишься, вроде есть факт, и одновременно нет его. К примеру, председатель КГБ Семичастный так пишет в своих мемуарах об архивах, «изобличающих Хрущева в причастности к репрессиям» «уничтоженных им на Украине и в центре»: архивисты КГБ ему показывали папки «с вытравленными на них текстами».

Какие папки, за какие годы, с какими текстами — Семичастный умалчивает. К тому же любой вытравленный текст восстановим. Если бы кто-то хотел что-то уничтожить, то папки просто бы списали по акту и официально сожгли.

Другой бывший Председатель КГБ Александр Шелепин тоже очень своеобразно «подтверждает» версию уничтожения архивов. В апреле 1988 года в беседе с историком Дмитрием Волкогоновым он доверительно сообщил ему, что «очень большую чистку сталинского архива провел генерал армии И. А. Серов по личному распоряжению Н. С. Хрущева.

— Свои указания Серову Первый секретарь отдавал в моем присутствии, — рассказывает Шелепин Волкогонову и далее приводит слова Хрущева: «Нужно просмотреть все бумаги с “расстрельными” списками, на которых стоял подписи не только

Сталина… Выявите и доложите мне». Так якобы инструктировал Серова отец.

«Хрущев явно хотел обезопасить себя от прямой ответственности за репрессии конца 1930-х годов, — утверждает со слов Шелепина Волкогонов. — Ведь как известно, к решению этих страшных дел были причастны почти все высшие руководители партии и страны. Через два-три месяца Серов передал Хрущеву несколько пухлых папок с документами.

— Где же они сейчас? — поинтересовался Волкогонов.

— Думаю, что теперь их просто не существует, — спокойно ответил Шелепин. И этот разговор Волкогонов считает заслуживающим внимания свидетельством?

Тут возникает множество вопросов. Если дело столь деликатное, то почему отец дал поручение Серову в присутствии свидетеля? У него что, времени другого не нашлось? Если такой разговор и состоялся, то скорее всего, речь шла о членах так называемой «антипартийной группы», выведенной из Президиума ЦК в июне 1957 года, — Молотове, Кагановиче и Маленкове. На собравшемся тогда Пленуме ЦК и Хрущев, и другие выступавшие говорили о весьма многочисленных сталинских расстрельных списках с резолюциями Молотова и Кагановича на них. Отец их видел, следовательно, кому-то пришлось разыскивать для него эти материалы в архивах. Затем, по словам Шелепина, через пару месяцев Серов передает отцу некие документы и снова в присутствии все того же свидетеля. Такое просто вообразить невозможно. Не вызывает сомнений, что Шелепин использовал Волкогонова втемную. Он не говорит, что за папки с документами якобы передал Хрущеву Серов, что в них содержалось. Шелепин также не утверждает, что кто-то эти папки уничтожил, он только «думает…» К нему не придерешься, он все рассчитал точно.

Позволю себе высказать собственное предположение. Разговор происходил не в 1957 году и не с председателем КГБ Серовым, а в 1961-м, накануне XXII съезда партии, с председателем КГБ Шелепиным. На съезде в октябре 1961 года, а не на Пленуме ЦК в июне 1957 года отец озвучил найденные в архивах расстрельные дела с резолюциями Молотова и иже с ним, например такие: «собаке собачья смерть»… Сообщил о том, как Молотов собственноручно перечеркнул на приговоре женам казненных маршалов слово «Ссылка» и написал «ВМ», то есть — высшая мера, расстрел. В этом случае розыском в архивах занимался уже не Серов, а сам Шелепин. Он получал от отца задания, он же передавал ему папки с документами. В разговоре с Волкогоновым Шелепин подменил себя Серовым, а остальное предоставил домыслить самому Волкогонову.

Из публикации в публикацию путешествуют и еще более невероятные «свидетельства» уничтожения архивов. Так, «по свидетельству» анонимных заключенных внутренней тюрьмы КГБ, огромные кипы бумаг сжигали во дворе здания на Лубянской площади. Поднимавшиеся над кострами клубы черного дыма заключенные «наблюдали» через зарешеченные окошки своих камер, которые, по существующим тогда правилам, закрывались «намордниками», да так, что сквозь них не то что дыма, клочка неба синего не увидишь. Я уже не говорю, что подлежавшую уничтожению «бумажную массу» сжигали в специальных печах или, за их отсутствием, в котельных, а не на кострах, где толком и не проконтролируешь, что сгорело, а что разлетелось по ветру.

Другие историки приводят другие «анонимные» свидетельства того, как из здания Московского комитета партии на Старой площади в Москве в середине 1950-х годов грузовиками вывозили какие-то бумаги. Какие грузовики и какие бумаги — никто не знает, но, по их мнению, так уничтожались архивы. Эта история настолько нелепа, что опровергать-то ее не хочется. Мало ли какой мусор ежедневно вывозится на свалки из учреждений. Не исключено, что эту «бумажную массу» вообще перевозили из здания в здание. Но находятся весьма серьезные люди, берущие на веру и такие, с позволения сказать, «факты».

«Уничтожение» архивов, «дело» Леонида, дезинформаторы из КГБ положили в основу кампании по дискредитации отца, но они не брезговали и «мелочами». К примеру, в 1965 году, «Волгу» из Кремлевского гаража, на ней теперь по решению Президиума ЦК ездил отставной Хрущев, вдруг сменил громоздкий семиместный черный ЗИМ с «частными» номерами. Единственный экземпляр ЗИМа с трудом разыскали где-то в Грузии и «специально для обслуживания отца» пригнали в Москву. В глазах москвичей он должен был символизировать «неправедно нажитое» отцом богатство. Шоферы ворчали, ЗИМ, произведенный еще в сороковые годы, постоянно ломался, а запасных частей не найдешь, машину давно сняли с производства. История с ЗИМом последствий не имела, на «частные» номера никто, кроме меня, внимания не обратил.

Примерно тогда же запустили «утку» о Хрущеве, отплясывающем по принуждению Сталина у него на даче гопака. Она оказалась живучей, а сопутствующее ей «разъяснение»: Хрущева Сталин держал за «шута», тот копил обиду и при первом же случае отомстил, как умел, — публика восприняла. Я уже описал выше, кто, как и что вытанцовывал на сталинской даче, и не считаю нужным повторяться.

К сожалению, и гопак на даче, и «шутовская маска» стали

частью «исторического портрета» отца, портрета нарисованного «художниками» школы Шелепина — Семичастного.

В 1967 году реабилитация Сталина провалилась, воспротивились наши западные друзья-коммунисты, они взмолились: такого их партии не вынесут. Брежнев нехотя пошел на попятный. Прошло еще три десятилетия, и Сталин начал возрождаться вновь. Восстановлением его «доброго имени» занимаются те же профессионалы, которые приложили столько усилий к предыдущему этапу «разоблачения» Хрущева, и сидят они в тех же кабинетах. Похоже, что на всю эту кампанию ассигнованы немалые суммы, а Сталин возвращается всерьез и надолго. Судя по результатам, деньги потрачены с умом. Россияне уже «простили» Сталину миллионы безвинно погибших соотечественников. С кем не бывает? «Зато он победил Гитлера и сделал нашу страну великой» — так звучит главный аргумент неосталинистов.

Я не хотел и не хочу вступать в полемику с многократно превосходящим меня противником, да и цель моя написать правдивую книгу об отце, а не растрачивать свои силы понапрасну. Однако не могу удержаться от того, чтобы не высказаться о тандеме Сталин — Гитлер или Гитлер — Сталин.

Начну с самого начала, с 1930-х годов. Тогда Сталин не столько противодействовал, сколько поспособствовал Гитлеру в приходе к власти. Если бы в 1932–1933 годах он не сопротивлялся изо всех сил политическому сближению немецких коммунистов с немецкими же социал-демократами, каждая из этих партий лишь чуть уступала в популярности национал-социалистам, и позволил бы им выступить единым фронтом на выборах, то партия Гитлера не получила бы большинства мест в Рейхстаге, Гитлер не стал бы канцлером и история XX века пошла бы по иному пути. Какому? Не стоит и гадать. XX век мы уже прожили.

Если бы Сталин в 1937 году не арестовал практически весь командный состав Красной Армии, то, даже захватив власть, Гитлер вряд ли рискнул бы напасть на Советский Союз. Немецкий генералитет, немецкая разведка хорошо знали сильные и слабые стороны Красной Армии, особенно сильные. Созданные в середине тридцатых годов крупные мобильные танковые соединения, в перспективе — армии, авиадесантные дивизии, все это наработки казненных Сталиным военачальников. И все это пошло коту под хвост.

После разоблачения «заговора красных маршалов» их нововведения признали вредительскими, в армии возобладали воззрения времен Первой мировой и Гражданской войн. Танковые

корпуса возродили перед самой войной, но реальной боевой силой они стали только в процессе боев. А вот Гитлер реализовал новации «врагов народа» и благодаря им громил своих противников в начале Второй мировой войны и на западе, и на востоке.

Теперь известны официальные цифры людских потерь Красной Армии накануне войны. В 1937–1941 годы Сталин уничтожил 42 тысячи средних и высших командиров. Вдумайтесь в эти цифры! За три-четыре года армия лишилась сорока двух тысяч командиров, на подготовку которых ушли предыдущие полтора десятилетия. Красная Армия осталась не только без маршалов, в живых Сталин оставил лишь Ворошилова с Буденным, оказались обезглавленными практически и вся командная вертикаль: взводы, роты, батальоны, полки, бригады, дивизии, корпуса, армии! Штабы остались без грамотных стратегов и тактиков. А без них они уже не штабы, а конторы. Не стало начальников связи, начальников разведки, начальников снабжения. На место майоров и полковников пришли лейтенанты с дипломами двухгодичных военных училищ. За год-полтора 93 процента офицеров, не умея ни командовать, ни воевать, выдвинулись из ниоткуда. К примеру, в 1940 году из 225 командиров полков ни один не учился, как это полагается, в военных академиях. Двадцать пять из них пришли из военных училищ, а остальные двести — прослушали курсы младших лейтенантов! 70 процентов командиров полков занимали эту должность менее года.

О чем еще можно говорить! При всем своем авантюризме Гитлер трезво оценивал боевые возможности противника. Он считал, что Красной Армии уже не оправиться от поражения, нанесенного ей Сталиным в 1937 году. Сталин своими репрессиями спровоцировал Гитлера на войну.

А чего стоило всем нам нежелание Сталина считаться с фактами, когда в начале 1941 года война стала неотвратимой? Вместо принятия необходимых мер он приказал отозвать в Москву разведчиков, от которых поступала раздражавшая его информация, и примерно их наказать.

Если бы в июне 1941 года, в самый канун войны Сталин даже не приказал, а просто позволил своим генералам, как полагалось по уставу, выдвинуть дивизии на рубежи отражения атаки, рассредоточить авиацию, сделать то, что в таких обстоятельствах делается всегда, то немцы, возможно, и прорвались бы, но не разгромили Красную Армию и мы не отступали бы до Москвы и Ленинграда.

Если бы в июле 1941 года Сталин послушался своих

генералов, командующего Юго-Западного фронта генерала Кирпоноса и начальника Генерального штаба Жукова, предупреждавших его о неизбежности флангового удара гитлеровцев из Белоруссии в тыл Киевской группировке наших войск, позволил загодя отвести армии на восток, то полмиллиона солдат не угодили бы в плен. Полмиллиона бойцов — это огромная сила, сила способная сдержать наступление врага на Москву.

Если бы весной следующего, 1942 года, Сталин поверил донесениям собственной разведки, как стратегической, так и фронтовой, считавшей, что летнее наступление немцев начнется из-под Харькова в направлении к Волге и Кавказу, а не на Москву, как думал он сам, сосредоточил бы там имевшиеся у него резервы, то врага бы остановили, не произошло бы ни кровавой Сталинградской битвы, ни битвы за Кавказ. Но Сталин не дал необходимых для отражения удара танков и самолетов, а на разведсводках написал, как он писал и в 1941 году, что «наивных» генералов враг водит за нос.

Уцелевшие от сталинского разгрома армейские командиры научились воевать только к концу 1942 года. Учение стоило дорого: миллионы в немецком плену, еще миллионы погибших. Пришлось заново создавать танковые армии, в процессе боев расформировывать ставшую обузой кавалерию.

Своей разведке и своим генералам Сталин поверил лишь в 1943 году, в преддверии наступления немцев на Курской дуге. Результат известен всем, мы победили. А если бы и тут Сталин положился на собственное «чутье»?

Читая современные восхваления Сталину, на каждом шагу, на каждой странице наталкиваешься на подтасовки. Приятно, конечно, что сталинисты не могут обойтись без лжи, что нет у них ни аргументов, ни фактов. Приятно… Да что толку? Гений пропаганды Йозеф Геббельс когда-то произнес: «Чтобы массы поверили, ложь должна быть чудовищной». Он знал, что говорил. С одной лишь поправкой — если народ в силу каких-то внутренних причин хочет этой лжи верить.

Расхожая истина, что народ достоин своих правителей, мне претит, я ведь тоже частичка своего народа, но где взять аргументы против?

«Синдром Петефи»

В заключение темы еще раз вернусь к Венгрии.

Восстание 1956 года оставило в российской истории след не меньший, чем в венгерской. Конечно, не само восстание.

Восстания — победоносные, свергнувшие «угнетателей», или неудачные, безжалостно подавленные «угнетателями» — явления в истории обыденные. История относится к ним с историческим равнодушием.

Я же имею в виду «Кружок Петефи», названный именем венгерского поэта-революционера XIX века, поначалу, казалось бы, безобидный дискуссионный клуб в меру диссидентствующих поэтов, писателей и иных интеллектуалов. Дискуссионный клуб, питаемый народной неудовлетворенностью и поощряемый непротивлением власти, быстро превратился в штаб вооруженного мятежа. Так случается в авторитарных обществах в переходный период, когда они уже не тирания, но и еще очень далеки от демократии. Он крайне опасен своей нестабильностью, тут малейший толчок может привести к обрушению, одна-единственная искра вызвать пожар. Здесь все зависит от искусства лидера-реформатора: пережмешь — и ты уже не реформатор, а диктатор, слишком отпустишь тормоза — и власть незаметно ускользнет из рук, перетечет к более радикальным, но, как правило, безответственным людям, наподобие «Кружка Петефи» и иже с ними, а там и костей не соберешь, не только своих, но и доверившихся тебе людей. «Кружок Петефи» послужил отцу и уроком, и грозным предупреждением: одно непродуманное движение, попытка опередить ход истории — и все полетит под откос, наступит хаос, и вместо демократизации страны можно остаться вообще без страны.

В 1956 году в советском руководстве возник и на десятилетия сохранился синдром «Кружка Петефи». Помнил о «Кружке Петефи» и пришедший к власти через двадцать лет после отца Юрий Андропов, в 1956 году посол в Будапеште, он не понаслышке знал, как все это получается. А вот Михаил Горбачев о «Кружке Петефи» уже позабыл. Что из этого получилось, не хочется и вспоминать.

Масло вместо пушек

На XX съезде маршала Жукова избрали кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. Так уж повелось, что руководители ключевых ведомств: военного, иностранных дел, государственной безопасности входили в состав высшего политического руководства.

Отцу такая практика казалась не просто неправильной, но и опасной для страны, если помнить о недавних проблемах в связи с устранением Берии. Возникает слишком много соблазнов, да и ведомственные интересы порой довлеют над общественными. Он

считал целесообразным разделить функции: политическое руководство принимает решения, а соответствующие министры — исполняют их. Но сломать устоявшуюся структуру оказалось непросто. Пока отцу удалось это только в отношении главы госбезопасности — преемника Берии генерала Ивана Александровича Серова. Его не только не допустили в политическое руководство, но сам статус органов Государственной Безопасности понизили с министерского ранга до Комитета при Совете Министров, формально что-то вроде Комитета по делам религий.

С Министерством обороны и Министерством иностранных дел отец справится только в 1957 году, когда появится решение Президиума ЦК, запрещающее совмещать министерские должности с членством в Президиуме ЦК. Богу — богово, а кесарю — кесарево.

Пока же Жуков уверенно набирал очки. Он доложил съезду, что принятое в августе 1955 года решение о сокращении Вооруженных сил на 640 тысяч человек выполнено досрочно, а военные расходы уменьшились на десять миллиардов рублей. Жуков даже несколько преуменьшил цифры. За послесталинский период, с 1 января 1953 года по 1 января 1956 года Вооруженные силы СССР сократились с 5.394.038 до 4.277.822 человек, то есть на 1 миллион 116 тысяч 216 военнослужащих.

«Масло вместо пушек» — жизненная концепция отца — обретала реальные очертания.

С Жуковым у отца принципиальных разногласий не возникало. Министр обороны соглашался, что силу армии теперь определяет не количество «штыков», а качество ее вооружения, особенно ядерного. Жуков не только не противился сокращению личного состава, но где-то подталкивал отца.

В мае 1956 года Президиум ЦК решил еще сократить Вооруженные силы, к маю 1957 года отправить на гражданку дополнительно 1 миллион 200 тысяч человек. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР предписывало расформировать шестьдесят три дивизии и отдельные бригады. Ликвидировались некоторые военные училища, отправлялись на консервацию 375 боевых кораблей. Отдельной строкой выделялось сокращение на 30 тысяч человек военной группировки в Германии, в том числе там расформировывались три авиационные дивизии.

Армия встретила свое сокращение со сдержанным ропотом, но альтернатив у отца не было, страна просто не могла и не имела права содержать не сбалансированную с экономикой военную машину. Угроза войны отодвинулась, можно перековывать «мечи на орала».

Последний пункт Постановления предписывал: «… Уволенным из состава Вооруженных Сил военнослужащим предоставить возможность устройства на работу в промышленности и в сельском хозяйстве».

Обустройство увольняемых в запас, как и в предыдущие годы, беспокойства не вызывало, рабочие руки везде в дефиците, а жилье… О специально выделяемом жилье под сокращаемых военнослужащих тогда и не мечтали, солдаты разъезжались по родительским домам, а вот офицеры требовали заботы. Городским и районным администрациям предписали предоставлять им площадь вне очереди, но из собственных, весьма ограниченных, ресурсов. Местные администрации это указание не то чтобы саботировали, но «свои» очередники: учителя, врачи, агрономы для них представляли большую ценность, чем пришлые офицеры, практически бесполезные в новой жизни. К тому же их не так много, они сами найдут себе пристанище. После войны, десять лет назад, демобилизовалось в несколько раз больше народу, никто о них специальной заботы не проявлял, но все как-то приспособились к мирной жизни. Так или примерно так считали в то время, а как получилось на деле, я, право, не знаю. Вернее, знаю очень мало.

Когда в марте 1958 года я поступил в ОКБ-52 Владимира Николаевича Челомея, в нашей лаборатории систем управления крылатыми ракетами в группе механиков работал отставной капитан, бывший командир авиационной эскадрильи. Фамилию его я, к сожалению, забыл. Симпатичный скромный человек, он прилежно выполнял все поручения руководителя группы Михаила Борисовича Корнеева. Поручались же ему задания попроще. Группа механиков работала непосредственно на шефа. Челомей тогда увлекся динамической стабилизацией маятников с помощью принудительных колебаний точки его подвеса. Другими словами, если завибрировать с определенной частотой и силой шарнир, на котором висит маятник, то в маятнике от вибрации набирается дополнительная сила, под действием которой он зависает, хоть вверх ногами, хоть под углом. Такое поведение маятника предопределялось системой уравнений, носящих романтическое имя «Матье», не имеющих ничего общего со знаменитой французской певицей Мирей Матье. Для подтверждения теории практикой механики мастерили маятники. Они послушно зависали в заданном вибрациями положении, а когда тряска кончалась, начинали размеренно раскачиваться, как и полагается маятникам.

Этими маятниками занимался и демобилизованный капитан. На жизнь он не жаловался, хотя платили ему меньше, чем в

армии, ютился в комнатушке в подмосковном Реутове, неподалеку от предприятия. О нормальном жилье ракетчики тогда только мечтали. В Москве уже вовсю строили пятиэтажки, но до расположенного в области конструкторского бюро очередь пока не доходила.

Весной 1959 года мы передали морякам для вооружения подводных лодок первую в истории флота крылатую ракету П-5. Стартовала она не с катапульты, как американский «Регулус», а из бочки-контейнера. Не вдаваясь в детали, скажу только, что американцев мы опережали лет на десять — пятнадцать. Разработчиков тогда щедро наградили, кого Ленинской премией, кого орденом и медалью, а «наиболее ценным» бесквартирным работникам нашего ОКБ (так написано в секретном Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 1959 года) выделили весьма скромное жилье, кому комнату, кому квартирку. В список на получение жилья попали и трое механиков из нашей лаборатории. Капитану квартиры не досталось, ему пришлось дожидаться сдачи на вооружение следующей ракеты. К тому времени он полностью адаптировался к гражданской жизни и на разлучившую его с армией судьбу не роптал.

Естественно, что у уволенных с военной службы офицеров судьбы складывались по-разному, одним везло больше, другим — меньше, а кому-то совсем не везло.

В своих выступлениях отец не раз вспоминал демобилизованного майора Ярослава Семеновича Чижа. После армии он, человек инициативный, вернулся домой в Золочевский район Львовской области, сразу подался в колхоз и вскоре начал заведовать свинофермой. Через пару лет свиновод Чиж прогремел на всю страну, получил звание Героя Социалистического труда. Однако в глазах большинства демобилизуемых офицеров героем он не стал. Майору, старшему офицеру возиться в хлеву, ходить за свиньями не пристало, такое с их понятием об офицерской чести не вязалось. Другое дело — начальник отдела кадров на заводе или делопроизводитель в домоуправлении, на худой конец преподаватель военного дела в школе. Должности хоть и не очень завидные, но офицера «достойные».

В США я встречал не майоров, а отставников генерал-майоров — фермеров, в том числе и свиноводов. Им и в голову не приходит, что их занятие зазорно. В 1959 году пятизвездочный генерал, по-нашему маршал, Президент США Эйзенхауэр с гордостью демонстрировал отцу выращенных на его семейной ферме бычков. И финский министр иностранных дел Виролайнен в свободное время в охотку работал на ферме в хлеву.

От «Сибири» до «Саратова»

К середине 1956 года набрала обороты кампания по привлечению оборонных предприятий к выпуску мирной продукции, еще одна после сокращения Вооруженных сил составляющая политики отца «масло вместо пушек».

Их технологический уровень и оборудование позволили приступить к производству того, что оказывалось не под силу «обычным» заводам, изначально ориентированным на товары широкого потребления. Все предыдущие десятилетия последних держали в черном теле: они получали станки, по своим параметрам не способные ни на что путное, на них работали инженеры и рабочие, которых больше не брали никуда. Естественно, что и изделия выходили соответствующие.

Теперь все переменилось. Заводы, производившие самолеты, танки и, даже ракеты, соревновались друг с другом в поиске заказчиков «на стороне». Кировский завод в Ленинграде перепрофилировали с танков на производство мощных тракторов для целины. Трактора меньшей мощности выходили из ворот «Южмаша», первого в СССР ракетного завода. В 1956 году на Омском авиационном заводе изготовили первые сто штук стиральных машин «Сибирь», первые не только для омичан, но вообще первые в России. Советские женщины и не представляли, что белье можно стирать не в корыте. Машину один в один скопировали с английской модели «Gouvermatic». Получилось не столь элегантно, но главное — машина стирала. В тот же год Ленинградский оборонный завод имени Свердлова освоил свою стиральную машину «Ока».

В 1956 году Горьковский авиационный завод, выпускавший реактивные истребители «МиГ», произвел первую партию детских велосипедов «Школьник», быстро ставших мечтой мальчишек и девчонок. Вслед за «Школьником» с конвейера пошли взрослые велосипеды «Кама». С горьковчанами вступили в конкуренцию латыши. Свои велосипеды, мужской «Рига-10» и женский «Рига-20», они сделали пофасонистей, оснастили их переключателями скоростей, зеркальцем заднего вида и даже фарой.

В магазинах электробытовых товаров появились пылесосы сразу двух моделей, «Москва» и «Чайка». Они тоже продукт конверсии, если пользоваться современным языком. В подмосковном Пушкино освоили электрический полотер. Напомню, что тогда полы во всех квартирах настилались паркетом и требовали регулярной натирки специальной мастикой. Паркетный лак изобретут еще лет через десять-

пятнадцать. Разбрызганную по полу мастику втирали в дерево надетой на ногу жесткой щеткой. Елозить ею приходилось не один час, так что электрополотер стал даже популярнее пылесоса.

Увеличился выпуск холодильников. Первый советский холодильник ХТЗ-120 произвели еще до войны, в 1940 году в Харькове на выпускавшем танки Харьковском тракторном заводе, поэтому и назвали его ХТЗ-120. Правда, серию так и не успели наладить. После войны, с 1949 года, холодильники делали на ЗИСе, Московском заводе имени Сталина, известном своими пятитонными грузовиками и менее известном бронетранспортерами. Через два года на Саратовском авиационном заводе наладили выпуск холодильника «Саратов». В 1956 году там, в дополнение к громоздкому напольному «Саратову-2», начали выпускать портативный холодильник «Морозко». Он легко устанавливался на столе и даже умещался в шкаф, что оказалось немаловажным в тесноте коммунальных квартир, где каждый квадратный сантиметр пола ценился на вес золота. В 1956 году саратовские авиационщики произвели 100 тысяч холодильников.

Произошла подвижка и в автомобилестроении. В 1956 году на смену «Победе» пришла комфортабельная «Волга», развивавшая «космическую» по тем временам скорость в 130 километров в час. Правда, только на испытательном треке, обычные ухабистые дороги быстрее сорока-шестидесяти километров в час двигаться не позволяли. «Волга» Горьковского автозавода и «Москвич» Московского составляли тогда весь легковой автомобильный парк страны, если не считать правительственных лимузинов ЗИС и ЗИМ. В 1956 году выпустили 97,8 тысяч машин, мало по сравнению с Америкой, но если отталкиваться от первых послевоенных лет, то очень много.

В 1956 году произошел переворот в советской моде, она начала встраиваться в русло европейской, по крайней мере в части женской одежды, где возобладал стиль «нью лук» — узкая талия, приподнятая грудь, покатая линия плеч и широкие бедра.

Новая мода установилась и на мебель. Громоздкие «бабушкины» диваны и буфеты ушли в историю. Их заменили многофункциональные, часто секционные, наборы, спроектированные для новых, пусть и малогабаритных, но отдельных квартир. Стоила эта мебель относительно недорого. При средней заработной плате в 800 рублей в месяц, обеденный стол обходился в 300 рублей, стул — в 55, кровать — в 250.(1 января 1961 года произойдет деноминация и восемьсот рублей превратятся в восемьдесят, триста — в тридцать, и т. д.)

Жилые пятиэтажки в 1956 году больше не вытягивали вдоль

улиц, как раньше, а компоновали в микрорайоны с обязательными: типовой школой на 880 учеников, типовым детским садом, яслями, универсальным магазином, комбинатом бытового обслуживания, недорогой столовой, иногда рестораном и кинотеатром. Последние обслуживали сразу несколько микрорайонов.

Конечно, всего перечисленного на всех не хватало, за автомобилями и холодильниками годами стояли в очереди, но лиха беда начало. Программа «масло вместо пушек» заработала, и перемены ощутили все.

Атомная энергетика

По завершении XX съезда отец начал готовиться к намеченной на конец апреля 1956 года поездке в Англию, первому своему официальному визиту в первостатейную западную капиталистическую страну. Формальным главой делегации считался Председатель правительства Булганин, отец числился всего лишь членом Президиума Верховного Совета, но в Лондоне прекрасно понимали, с кем на самом деле им предстоит иметь дело.

Месяцем ранее, 14 марта 1956 года, в Лондон откомандировали «осваивать целину» Маленкова. За прошедший год он, казалось бы, полностью сжился со своим новым положением министра энергетики, по-прежнему не реже раза в неделю заглядывал к отцу на дачу, по-соседски пообщаться, погулять, а потом попить чайку. Во время прогулок Маленков увлеченно рассказывал о новых для себя и для отца технических и иных особенностях производства электричества. Отец его внимательно слушал, расспрашивал о деталях. Складывалось впечатление, что Георгий Максимилианович не сожалеет ни об утерянном премьерстве, ни о кабинете в Кремле, и отношение его к отцу нисколько не переменилось.

Маленков поехал в Англию во главе делегации советских энергетиков. Он привлек к себе особое внимание, англичанам хотелось прощупать расклад, узнать чем дышит недавний глава советского правительства, как писали лондонские газеты «в жесткой схватке проигравший Хрущеву очередной раунд в кремлевской борьбе за власть». Того же, что на самом деле ни жесткой, ни мягкой борьбы с отцом Маленков не вел, с самого начала занял подчиненное положение и принял его главенство, в западную версию взаимоотношений в советском руководстве не укладывалось. Благословляя Маленкова на поездку в Лондон, отец демонстрировал Западу, что в Москве настали иные

времена, теперь отставных высших руководителей страны не отправляют на Лубянку, а в своем новом качестве они даже совершают заграничные вояжи.

Визит Маленкова прошел более чем успешно. С самого начала мажорный тон задал прилет делегации на сверхсовременном двухтурбинном реактивном лайнере Ту-104. В 1956 году в мире существовал еще только один реактивный пассажирский самолет: четырехмоторная английская «Комета». Она было приступила к коммерческим полетам, но неудачно, несколько «Комет», одна за другой, развалились в воздухе. Полеты приостановили. На этом фоне приземление Ту-104 в лондонском аэропорту выглядело особо впечатляющим. Газеты пестрили его фотографиями, специалисты восхищались мощью моторов самолета: два русских обеспечивают ту же тягу, что четыре английских. В первые два-три дня Ту-104 даже заслонил сам визит, но вскоре Маленков и перипетии кремлевской политики вернулись на первые страницы газет.

Георгия Максимилиановича с делегацией свозили в Центр ядерных исследований в Харуэлле, показали строящиеся атомные электростанции, не в пять киловатт, как наша Обнинская, запущенная в позапрошлом, 1954 году, а настоящие, промышленные.

В первый же вечер по возвращении в Москву Маленков поспешил к отцу поделиться впечатлениями от поездки. Обе семьи долго гуляли по дорожкам дачи, уже почти очистившимся от снега, потом вместе ужинали. Гость рассказывал и не мог остановиться: англичане — и руководство, и простые люди, настроены весьма дружелюбно, отца с Булганиным ждет теплый прием. Собственно, едва ли не самой важной задачей Маленкова была проверка настроений британцев — если его освищут, забросают тухлыми яйцами, то и Хрущеву с Булганиным придется несладко. Отец не исключал, что при таком повороте дел они вообще от визита откажутся, позориться им там не к чему. Обошлось. Не освистали, не забросали, а наоборот одарили улыбками и даже цветами.

Затем речь зашла об атомных электростанциях. Еще в прошлом году всем, и правительству, и ученым, казалось, что мы тут занимаем передовые позиции. Рассказ Маленкова удивил отца, и удивил неприятно. До того ему никто не докладывал об успехах англичан в этой области. Совсем недавно, 5 января 1956 года, о последних разработках атомного оружия им докладывал Министр среднего машиностроения Аврамий Павлович Завенягин, его заместитель генерал Павел Михайлович Зернов, академик Курчатов и главный конструктор ядерных зарядов

Юлий Борисович Харитон. Отец, поблагодарив их за работу, начал расспрашивать о перспективах мирного использования атома. Курчатов рассказал о своих работах по ядерному синтезу, отметил, что здесь они вырвались вперед и даже англичане, а они в западном мире в этой области — пионеры, отстают на несколько лет. А вот о том, что англичане далеко продвинулись вперед в области атомных электростанций, Курчатов промолчал.

С Курчатовым отец познакомился не очень давно, в августе 1953 года, сразу после испытаний первой советской водородной бомбы. Курчатов произвел на отца очень благоприятное впечатление: человек знающий, сдержанный, слов на ветер не бросает, если что сказал, перепроверять за ним не надо.

В ответ на вопрос отца о перспективах мирного атома, Курчатов предложил создать международный научный центр наподобие британского Харуэлла и пригласить туда ученых социалистических стран, подключить их к перспективным ядерным исследованиям, невоенным, конечно. Отцу идея Курчатова понравилась, он попросил его подготовить предложения. Курчатов времени не терял, 14 января 1956 года по его записке Президиум ЦК принял Постановление «Об организации Восточного института ядерных исследований» и поручил созвать в Москве совещание потенциальных участников будущего проекта. 26 марта 11 стран Европы и Азии подписали соглашение об учреждении Объединенного института ядерных исследований. К тому времени Курчатов и место ему подыскал: на Волге, в Дубне, там уже работали Институт ядерных проблем и Электрофизическая лаборатория Академии наук. 12 июля 1956 года в газетах опубликовали заявление Советского правительства «О европейском сотрудничестве в области атомной энергии», объявлявшем об учреждении Дубнинского ядерного центра.

В том первом разговоре 5 января 1956 года отец поручил Завенягину (они знали друг друга с 1920 года, тогда Аврамий Павлович секретарствовал в Юзовском уездном комитете, а отец ходил у него в заместителях) продумать возможность использования атомных реакторов для получения электроэнергии и главное просчитать, во сколько обойдется киловатт. Через пару месяцев ученые, атомщики и энергетики, доложили: атомные электростанции построить можно, но выработанное на них электричество дороже теплового, а уж тем более полученного на гидроэлектростанциях. Отец согласился лишь отчасти — по его мнению, мы уже построили и строим еще атомные реакторы для производства оружейного плутония, они охлаждаются водой, а затем этот водяной пар, разогретый энергией атома, охлаждается в градирнях и еще не остывшая вода сбрасывается без толку в

реки. Все происходит так же, как и на тепловых электростанциях, только там паром крутят турбины, а тут его выбрасывают. Если реакторный пар заставить работать, то выработанная электроэнергия получится как бы даровой.

Атомщики вскоре доложили, что такой вариант возможен, правда, в силу технологических особенностей давление реакторного пара получается низким, всего в одну и одну десятую атмосферы, но и этого достаточно, чтобы на плутониевых реакторах начать вырабатывать электроэнергию. Для настоящих электростанций придется спроектировать в будущем специальные, рассчитанные под их требования атомные установки. 1 марта 1956 года отец поставил на обсуждение Президиума ЦК вопрос о строительстве в 1956–1960 годах атомных электростанций. Скорее не план, а прикидка плана не столько промышленного, сколько экспериментального строительства. Он считал, что, даже не имея возможности конкурировать с гидро— и теплоэлектростанциями, атомные станции могут оказаться рентабельными в районах, куда уголь приходится издалека везти по железной дороге, особенно добываемый из глубоких шахт «дорогой» уголь, такой, как донбасский. Первую станцию предполагалось заложить в районе Куйбышева (Самары), теперь мы знаем эту точку как Балаковская АЭС. Дальнейший план развертывания атомной энергетики предстояло еще уточнить, в марте наметили перспективные регионы: Уральский, Московский, после некоторых колебаний — Ленинградский.

Этот план касался промышленных атомных электростанций, пока же в качестве эксперимента поручили приладить турбины и электрогенераторы к строящимся в Сибири оружейным реакторам и тем самым разрешить проблему электроснабжения «закрытых» городов и прилегающих к ним «открытых» районов.

По мнению Маленкова, англичане занялись атомной энергетикой не от хорошей жизни: «У них нет больших рек, нефть везут издалека, со Среднего Востока, свой уголь дорогой, вот они и ухватились за атомную энергию. У нас же рек в избытке, мы начинаем добывать в разрезах дешевый уголь, часть станций переходит на мазут, тоже свой». Аргументы Маленкова прозвучали убедительно, но, тем не менее, отец попросил его еще раз все тщательно просчитать. Экономисты-энергетики подтвердили свои выводы: при существующих технологиях «атомное» электричество обойдется дороже.

Рассказ Маленкова об атомных станциях меня очень заинтриговал, все, связанное с атомом, в те годы окружал сказочно-фантастический ореол, и его выводы о

нерентабельности атомной энергетики меня расстроили. В последующие месяцы при каждом удобном случае я приставал к отцу с расспросами о планах в этой области. С заключением экономистов я, без малейших к тому оснований, никак не соглашался. Оказывается, не согласился с ними и Курчатов. При очередной встрече с отцом он настаивал на продолжении работ. В отличие от меня, он приводил серьезные резоны: только так удастся отработать новую технологию и, по мере накопления новых знаний, удешевить производство «атомного» электричества.

1 августа 1956 года, а затем и 31-го отец вновь ставит вопрос атомной энергетики на обсуждение Президиума ЦК. Он повторяет аргументы Курчатова. Решают продолжить работы по четырем-пяти атомным станциям уже в текущей пятилетке, по тем, что определили 1 марта. Предложение атомщиков перенести головную станцию из Куйбышевской области в Москву, в Ховрино, «посадить» ее поблизости от их исследовательского центра, известного ныне как Курчатовский институт, отвергают. Курчатов и присоединившийся к нему на августовских заседаниях Анатолий Петрович Александров не согласились, настаивали на своем, так им удобнее работать, а ядерные реакторы для будущей атомной электростанции ничем принципиально не отличаются от уже функционирующих в их лабораториях.

Доводы прозвучали убедительно, и 31 августа на Президиуме ЦК принимают компромиссное решение: «Не писать Угличскую станцию, а о Московской (Ховринской) — подумать». Тем временем в Минэнерго продолжали сомневаться. В результате, к великому сожалению академика Александрова, Ховринскую АЭС так и не построили и вообще со строительством промышленных атомных станций договорились повременить, пусть ученые еще поработают. Для накопления опыта согласились соорудить только одну экспериментальную атомную электростанцию промышленных масштабов мощностью реакторов в 420 тысяч киловатт (420 мегаватт). В спорах атомщиков с энергетиками, пока Завенягин с Маленковым согласовали и увязали все вопросы, пролетел год. Постановление Правительства подписали только 15 июня 1957 года.

А вот подключение «плутониевых» оружейных реакторов к выработке электроэнергии развернулось без проволочек. За него отвечал один Завенягин и в увязке с Маленковым не нуждался. В самом начале 1957 года в Томске-7 (Северске), взяв за базу оружейный реактор И-1, приступили к сооружению оружейно-энергетического реактора ЭИ-1 с прилаженной к нему паровой турбиной низкого давления и электрогенератором на 100 тысяч

киловатт. 7 сентября 1958 года реактор в Томске дал ток в местную энергосистему и одновременно начал нарабатывать бомбовые плутониевые заряды. О первом событии возвестила «Правда» и другие центральные газеты, о втором — доложили отцу специальной шифровкой с грифом «Совершенно секретно. Особой важности». По завершении работ на первой экспериментальной атомной электростанции рассчитывали установить шесть таких установок с общей мощностью 600 тысяч киловатт.

В дальнейшем все плутониево-оружейные реакторы имели двойное назначение: выработки электричества и наработки атомной взрывчатки. Последний такой реактор запустили в Томске-7 26 июля 1965 года, а упомянутый выше первый окончательно загасили в 1992 году, вместе с распадом Советского Союза.

Тем временем работа над чисто энергетическими атомными установками набирала силу. Они тоже оказались двойного применения: одним предназначалось крутить турбины на атомных электростанциях, другие вращали турбоагрегаты атомных подводных лодок и ледоколов. Всеми этими работами теперь руководил академик Александров. Летом 1962 года первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» поднырнула под лед Северного полюса, и в том же 1962 году выработанная на атомных электростанциях электроэнергия стала экономически конкурентоспособной. «Атомное» электричество теперь стоило не дороже, чем «тепловое», — 10 копеек за киловатт, и к тому же атомные станции не отравляли атмосферу «угольным» сернистым газом, не губили округу сернокислотными дождями. Более того, начался обратный процесс. Пока атомный киловатт дешевел, на гидростанциях еще вчера «даровая» электроэнергия дорожала. В 1962 году за гидрокиловатт уже платили 15 копеек. Западнее Волги атомные электростанции становились все более выгодными. В европейской части Союза их начали строить повсеместно.

Репутация ядерной энергетики пошатнулась после Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года, взрыва атомного реактора на электростанции. На мой взгляд, напрасно. Если не следовать инструкциям, а ими в ночь катастрофы эксплуатационники пренебрегли, то и не такое можно натворить. И не только на атомной электростанции, но где угодно, на тепловой или на гидроэлектростанции, на транспорте, на любом производстве. У меня нет сомнений, опала ядерной энергетики — временна. По долговременным последствиям воздействия производства электричества на окружающую среду атомные

электростанции вне конкуренции. Более «чистой» технологии человечество пока не придумало.

Академик Туполев и академик Курчатов

Однако возвратимся в апрель 1956 года. Впечатленный рассказом Маленкова об эффекте, произведенном на англичан нашим Ту-104, и о его экскурсии по атомному центру в Харуэлле, отец решил включить в отправляющуюся в Лондон правительственную делегацию атомщика Игоря Васильевича Курчатова и авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, пусть они там расскажут о наших достижениях, утрут англичанам нос.

С Туполевым отец познакомился, как я уже упоминал, в начале 1930-х, потом, с отъездом отца на Украину, их пути разошлись. Знакомство возобновилось только после смерти Сталина, когда отец начал вникать в вопросы обороны и заехал к Андрею Николаевичу в конструкторское бюро послушать, какие новинки разрабатывает коллектив академика.

В Англию отец решил отправиться на современном крейсере «Орджоникидзе», обводами своего корпуса, формой винта он опережал самые лучшие аналогичные корабли зарубежных стран, в том числе и британские. Из Москвы до Калининграда, где предстояло пересесть на крейсер, добирались поездом. Путешествие заняло целый день. Отец сидел с Туполевым и Курчатовым за обеденным столом в салоне правительственного вагона и не спеша выспрашивал Андрея Николаевича о перспективах замены винтовых пассажирских самолетов на реактивные. Тогда многие сомневались в экономической эффективности последних. Они, безусловно, летают быстрее, но и горючего потребляют несравненно больше. Туполев тут же за столом, вытащив из кармана пиджака сложенные вдвое тетрадные странички, умножал, делил, демонстрируя на цифрах, что в расчете на одного пассажира с учетом скорости и вместимости самолета реактивный самолет становится даже экономичнее обычного винтового. Отец внимательно всматривался в цифры, что-то сам прикидывал в уме, при этом губы его шевелились. Реактивный Ту-104 ему очень нравился, но и транжирить деньги он не намеревался, а тут все так удачно сводилось воедино. Отец поинтересовался, насколько безопасно летать на двух турбинах, что произойдет, если один мотор откажет? Четырехтурбинный самолет представлялся ему более надежным. Андрей Николаевич заверил его, что авария исключается, но четыре двигателя для пассажирского самолета, конечно, иметь надежнее. Он обещал

подумать. Через несколько лет появится четырехтурбинный Ту-110, но в Аэрофлоте он не приживется, быстро сойдет со сцены.

Время пролетело незаметно, за окнами начало вечереть. Отец попросил принести чай с лимоном. Туполев тем временем перешел к рассказу о будущем: сейчас он переделывал стратегический бомбардировщик Ту-95 в самый большой и дальний в мире пассажирский самолет. Он пролетит без посадки от Москвы до Владивостока. Отец живо откликнулся, в 1954 году они с Булганиным на Ил-14 добирались до Пекина почти двое суток и со множеством посадок. Отец сказал, что он с удовольствием опробует новый самолет. Булганин, он сидел рядом с отцом, одобрительно заулыбался.

Разговор продолжался до позднего вечера, а на следующее утро мы погрузились на крейсер. Членов делегации расселили по офицерским каютам, отец занял «адмиральский» салон, Булганин — капитанский. Офицерам крейсера пришлось устраиваться как придется, и вряд ли они при этом поминали гостей добрым словом.

Я все время употребляю местоимение «мы», и следует пояснить, как я оказался в столь представительной компании. Я учился на четвертом курсе Энергетического института и не мечтал ни о какой Англии. За границу в те годы ездили только дипломаты, реже — иные важные чиновники и только на международные совещания или по другой государственной надобности. Можете себе представить мое удивление и восторг, когда однажды вечером, вернувшись из Кремля, отец осведомился, не хочу ли я поехать с ним в Лондон.

Что же произошло? За обедом — члены Президиума ЦК обычно обедали вместе и одновременно обсуждали разные дела — зашел разговор о визите в Англию. Главным экспертом по заграничному этикету среди них слыл Микоян, он еще в 1930-е годы немало поколесил по свету. Остальные коллеги отца, за исключением Молотова, за границей не бывали. Микоян начал рассказывать, что, в отличие от нас, на Западе главы делегаций путешествуют с женами, и если мы поступим так же, то облегчим себе контакты с хозяевами. Присутствовавшие согласились с Микояном, он знает, что говорит, один Булганин насупленно уткнулся в тарелку. Он давно не ладил со своей женой, но развестись не решался, разводы в те годы не одобрялись.

Микоян уловил настроение Булганина и, поняв свою ошибку, повернулся к отцу: «Может быть ты, Никита…» и осекся, получалось некрасиво, официальный глава делегации поедет один, а неофициальный — с женой.

— Есть иной вариант. Рузвельт везде путешествовал с сыном, — быстро нашелся Анастас Иванович.

Булганин громко засопел. Лева, его сын, летчик, крепко пил, и его кандидатуру тут же отставили. Тут Микоян вспомнил обо мне. Булганин закивал головой, заулыбался, отец тоже не возразил. Так я попал в делегацию.

Я описал наше путешествие в Великобританию в «Рождении сверхдержавы», отец тоже не оставил его без внимания в своих воспоминаниях. Так что я не стану повторяться.

Скажу только, что лекции Курчатова в Харуэлле о термоядерном синтезе имели оглушительный успех. Вот только его прогноз, предсказывавший скорое создание термоядерных электрогенераторов, оказался эфемерным.

Если во время поездки в Англию отец возобновил старое знакомство с Туполевым, то с Курчатовым они там впервые познакомились по-настоящему.

Встречаясь с Курчатовым, отец раз за разом проникался к нему все большей симпатией не только как ученому, но и как к мыслящему по-государственному человеку.

Я уже не раз повторял и, видимо, повторюсь еще, что отец обожал встречи с творческими людьми. Он напитывался от них новыми идеями, но в то же время отдавал себе отчет, что каждый из его собеседников пытается использовать его в собственных интересах. Это естественно, так уж жизнь устроена. Отец старался помочь продвижению нового, но он также понимал, что, «пробивая» свои идеи, собеседник одновременно делает все, чтобы опорочить, утопить конкурентов. Конкуренты соответственно платили той же монетой. Отец оказывался под перекрестным огнем, каждая из сторон опиралась на своих сторонников в министерствах, отделах ЦК, и все они стремились заполучить отца в свой лагерь. Все они требовали решения, естественно, в свою пользу. Отцу приходилось принимать решения, и часто — в условиях неопределенности, когда каждая из сторон сулила «златые горы», но только в будущем. Отец отдавал себе отчет, что он не состоянии разобраться и оценить сам все детали. Более чем когда-либо он нуждался в здравом и беспристрастном совете человека от науки, с широким кругозором. Отец понимал, что абсолютно беспристрастных людей не бывает, но Курчатов все больше представлялся ему наиболее подходящей кандидатурой. Отец приглядывался к нему еще несколько лет и наконец, в самом начале 1960 года предложил Курчатову, не бросая основной работы, взвалить на плечи дополнительную нагрузку советника главы правительства по научным делам. Курчатов согласился без колебаний. Он,

человек государственный, уже много лет возглавлявший советский атомный проект, не хуже отца понимал, насколько они необходимы друг другу, а главное — насколько их сотрудничество необходимо стране, ее руководству, и ее науке.

Отец в своих воспоминаниях пишет, что это не он, а сам Курчатов предложил себя на роль «советника по вопросам науки», а отец поддержал его, «понимая, что мне нужен именно такой человек, которому я бы абсолютно доверял. Он подходил идеально…»

Сейчас уже не так важно, кто первым сказал «а», главное, что они нашли друг друга и друг другу понравились. Договорились снова встретиться по возвращении Курчатова из отпуска и тогда дообсудить детали. Не встретились и не дообсудили. Во время отпуска, в воскресенье 7 февраля 1960 года, гуляя со своим другом, главным конструктором атомных зарядов Юлием Борисовичем Харитоном по дорожкам подмосковного санатория Барвиха, Курчатов почувствовал себя нехорошо, присел на ближайшую скамейку и больше не встал. Отказало сердце.

Тем временем слух о том, что отец ищет себе советника по науке, распространился по Москве. Желающих занять это место оказалось немало. Один из них — коллега Курчатова, металлург-атомщик, член-корреспондент Академии наук Василий Семенович Емельянов при встрече предложил отцу свою кандидатуру. Отец ушел от ответа, а дома вечером, рассказав о происшедшем, посетовал: «Мне нужен не просто советник, а советник калибра Курчатова. Емельянов же, к сожалению, далеко не Курчатов».

Нового «Курчатова» отец искал долго и безуспешно. В 1963 году он наконец создал из академиков различных специальностей Совет по науке при Председателе Совета Министров СССР, другими словами, коллективного «Курчатова». Возглавить Совет отец попросил академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, ученого курчатовского калибра. Я еще подробно расскажу о Лаврентьеве и о Совете по науке.

Бюро ЦК по РСФСР

По завершении XX съезда отец начал выстраивать под себя руководящие партийные структуры. 27 февраля новоизбранный Пленум ЦК учредил Бюро ЦК по РСФСР — самостоятельный орган из 12 человек, которому предстояло заниматься проблемами России, некий суррогат российского ЦК. Председателем Бюро стал отец, заместителем — сибиряк, недавний секретарь Алтайского крайкома, Николай Ильич Беляев. Я его почти не запомнил. На своем посту он просидел всего год, потом уехал Первым секретарем ЦК в Казахстан, оттуда, с понижением, в Ставрополь, и сгинул неведомо куда, в 57 лет его отправили на пенсию. Появлению Бюро ЦК по России предшествовала давняя и кровавая интрига. Россияне уже пытались встать наравне с другими союзными республиками, где имелись не только свой Верховный Совет и свое правительство, но и свой ЦК. Разговор о том, что Россия нуждается в отдельном, российском ЦК после войны первым затеял секретарь ЦК Андрей Александрович Жданов. Он тогда набрал силу, вошел у Сталина в фавор, считался его неофициальным преемником. Однажды Жданов даже заговорил на эту тему с отцом, в то время еще работавшим на Украине и к России, ее проблемам не имевшим даже косвенного отношения. Отец вспоминал, как он случайно пересекся с Ждановым и тот ни с того ни с сего начал изливать ему душу: «Все республики имеют свои ЦК… Российская Федерация же не имеет практически прямого выхода к своим областям, каждая варится в собственном соку… Я, — продолжал Жданов, — думаю, что надо создать Бюро по Российской Федерации».

Что двигало Ждановым, сказать не берусь. Второй человек в стране, вряд ли он нуждался в содействии отца, хотя нельзя исключить желания привлечь его, руководителя самой значимой после России республики, на свою сторону, включить в свою команду. А возможно ему просто захотелось выговориться.

«Считаю, что это было бы полезно, — согласился отец и тут же отыграл назад, — хотя и при Ленине не было ЦК партии отдельно РСФСР. Это и правильно, потому что, если бы у Российской Федерации имелся какой-то выборный центральный орган, то могло возникнуть противопоставление Союзному ЦК. Российская Федерация слишком мощная по количеству населения, промышленности, сельскому хозяйству. К тому же в Москве находилось бы два Центральных комитета… Ленин на это не пошел. Видимо, он не хотел создать два центра, стремился к

монолитности политического руководства. Так что для РСФСР (самостоятельный) ЦК не нужен, лучше иметь Бюро (в составе Всесоюзного ЦК).»

Жданов углубляться в проблему не стал, сказал, что собирается в отпуск, а по возвращении хотел бы поговорить с отцом поподробнее. Из отпуска Жданов не вернулся, 31 августа 1948 года он умер.

Идея появления в Москве еще одного ЦК Сталина пугала. Не Верховный Совет и Правительство, а ЦК олицетворял власть в стране, двоевластия же, даже иллюзорного, Сталин не допускал.

Именно боязнь двоевластия, потенциального обособления России раскрутила в начале 1949 года интригу так называемого «Ленинградского дела», закончившегося арестом и казнью наследников Жданова, сталинских любимцев и новых потенциальных преемников, председателя Госплана Николая Вознесенского и секретаря ЦК Алексея Кузнецова, а вместе с ними и тысяч других «заговорщиков». Тогда Маленков с Берией сочли смерть Жданова благоприятным моментом для устранения политических соперников, обвинив «ленинградцев» в «русском национализме», сепаратистских устремлениях. Сепаратизм — что можно придумать страшнее для многонационального государства, да еще под боком у Москвы, и не какой-нибудь иной, а свой, русский. Доложили Сталину, и машина закрутилась. Теперь Бюро ЦК по РСФСР все же создали, но под строгим присмотром, во главе его, по положению, должен стоять руководитель Союзного ЦК. Полномочия Бюро не простирались дальше рутинных российских дел.

Академик Лысенко

10 апреля 1956 года в «Правде», на второй странице в необычном для хроники правом верхнем углу я прочитал два коротких сообщения. В первом говорилось, что Президиум Верховного Совета СССР освободил от обязанностей заместителя Председателя Совета Министров СССР Павла Павловича Лобанова в связи с переходом на другую работу и назначил на его место Владимира Владимировича Мацкевича. Этот зампред ведал делами сельского хозяйства. Чуть ниже следовало другое сообщение. Его я приведу полностью: «Совет Министров СССР удовлетворил просьбу тов. Лысенко Трофима Денисовича об освобождении его от обязанностей президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. Президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина утвержден тов. Лобанов Павел Павлович».

И все. Никаких переходов на другую работу, ничего. В пятидесятые годы такая формулировка считалась полной потерей позиций.

Необычное место, выбранное для такого рода информации — вместо нижнего правого уголка — на последней странице, означало, что сообщению придают определенное значение.

В середине пятидесятых годов я знал о Лысенко и проблемах генетики лишь то, чему учили в школе, и что можно было прочитать в популярных книжках: Трофим Денисович разгромил вейсманистов-морганистов, лжеученых буржуазных идеалистов, которые вместо решения важнейших для нашего сельского хозяйства проблем «гоняли» каких-то мушек-дрозофил. Надо сказать, что стереотип «идеализм и буржуазность» в сознании отца, да и в моем, был в то время накрепко приклеен к слову «генетика». Для меня оно было попросту ругательным. Теперь же мы идем правильным, мичуринским путем. Вспоминается и лысенковская яровизация картофеля, резко поднимавшая урожайность, — о ней я прочитал в какой-то детской книжке про пионерский школьный кружок селекционеров. Все годы, сколько я себя помню, о Лысенко твердили как о великом продолжателе учения Мичурина, он стал чем-то вроде Сталина в биологии. Со смертью Сталина ничего не изменилось, по-прежнему газеты пестрели рекомендациями Лысенко по всем вопросам сельского хозяйства: «О почвенном питании растений и повышении урожайности сельскохозяйственных культур» и «О повышении урожайности озимых посевов за счет смешивания суперфосфата с навозом» и многое, многое другое. И на тебе — Лысенко сняли! Эта новость грянула как гром с ясного неба. Прямо какой-то XX съезд в миниатюре. Едва дождавшись возвращения отца с работы, я бросился к нему с расспросами. Детали разговора мне, естественно, не запомнились, но общий смысл ответа сводился к тому, что Лысенко был замешан в нехороших делах (слово «репрессии» пока не вошло в употребление), а биологи никак не найдут между собой согласия. Будет лучше, если их Академию возглавит человек, не принадлежащий ни к какому лагерю. Лысенко же пусть пока поработает в своем институте, покажет, на что он способен.

По всей вероятности, не последнюю роль в отставке Лысенко сыграл отчет делегации Мацкевича о поездке в США, его раздел о чудесах, которое сулит внедрение в сельское хозяйство гибридных сортов растений, особенно кукурузы. На гибридную кукурузу напирал и Гарст во время встречи с отцом в Ялте в прошлом году.

Лысенковцы забеспокоились. Ведь успех гибридной кукурузы

служил одним из аргументов в пользу их противников. Решили осторожно прощупать Хрущева.

— Теоретические споры оставьте при себе, — ответил отец, — в Америке гибридные семена дают хороший урожай. Послужат они и нам, а в теориях пусть разбираются ученые.

Так Лысенко проиграл свой первый бой. И вот теперь новое поражение, более крупное. Лысенко ушел в тень, но не сдался. Он выжидал, исподволь восстанавливал утерянные позиции, выискивал сторонников и в ЦК, и в Министерстве сельского хозяйства. Действовал он по-иезуитски хитро и расчетливо. К примеру, он продвинул помощника отца Шевченко в члены-корреспонденты Сельскохозяйственной академии, издавал его книги. В элементарный подкуп я не верю, не тот человек был Шевченко, да и без Лысенко он бы легко напечатал свои брошюры. Но то, что он попал под какое-то гипнотическое влияние Лысенко, тоже непреложная истина.

Шевченко, человек преданный отцу, преданный земле-кормилице и одновременно один из главных проводников «лысенковщины», доверенное лицо Трофима Денисовича — в ближайшем окружении отца.

Шевченко, сам агроном, уверовал в правоту Лысенко, а что касается генетики, то я просто не знаю, как далеко в ней простирались познания Андрея Степановича.

Вслед за Шевченко Лысенко «завербовал» и Василия Ивановича Полякова, тогда заведующего сельскохозяйственным отделом «Правды», а впоследствии секретаря ЦК. Они горой стояли за «нашего Трофима Денисовича», при каждом удобном случае нашептывали отцу, как его обижают, мешают работать. Я не раз задумывался: в чем тут дело?

Лысенко был непрост и неоднозначен. Он — агроном «от Бога», чувствовавший землю и болевший за нее. Его агрономические рекомендации, пока он не выходил за рамки «смешивания суперфосфата с навозом» или яровизации, работали, и крестьяне им охотно следовали. С другой стороны, он настойчиво добивался запрета атомных, да и всяких иных, взрывов, так как, по его мнению, живая природа отторгает радиоактивность как чуждое всему живому, естественной природе. Он верил, что «Земля — живая, от взрывов она потеряет способность родить, испугается навечно, и все живое погибнет».

Если бы Лысенко оставался только агрономом… Но он не просто агроном, он «блаженный», уверовавший в свое предназначение, в собственную непогрешимость, изгоняющий дьявола, гнездящегося в недоступной его разуму генетике, охранитель непознаваемой, я бы даже сказал, божественной

сущности жизни и природы от покушавшихся на нее «еретиков». Он и инквизитор, со всей по-инквизиторски непримиримой ненавистью к «отступникам от его истинной веры» формальным генетикам, с инквизиторской жестокостью расправ с ними. У него даже внешность соответствующая — аскет с горящими глазами. Лысенко представлялся сам себе чем-то вроде Жанны д'Арк в биологии.

Начиная с лета 1956 года Лысенко прилагал все усилия, чтобы вернуть утраченные позиции. Только восстановив их, он сможет продолжить «изгнание дьявола» из советской биологии. Лысенко хорошо знал отца, понимал, что его на мякине не проведешь, он поверит только тому, что можно пощупать собственными руками. И тут представился благоприятный случай.

Председатель Ленинградского областного Совета Николай Иванович Смирнов, кажется в 1957 году, точно не помню, вернулся из поездки в Австрию. Вскоре в газете «Правда» появился за его подписью подвал с описанием увиденных за границей «чудес». Сам аграрий, Смирнов особо отметил австрийские новации в сельском хозяйстве, в частности, упомянул, что они высаживают в грунт рассаду овощей не голыми корнями, а вместе с кубиком земли, смеси перегноя и торфа. Процесс легко механизировать, поднимается производительность труда, а главное — рассада не болеет, урожаи повышаются.

Отец внимательно прочитал статью Смирнова, заинтересовался, позвонил ему в Ленинград, расспрашивал о деталях и в заключение попросил написать записку в ЦК. По ней приняли специальное решение, и отец, со свойственным ему энтузиазмом, стал пропагандировать заграничное изобретение. Когда кампания набрала силу, к отцу пришел Шевченко. Дело было в выходной, на даче, отец его нередко приглашал взглянуть на свои новые посадки. Среди других обсуждавшихся на поле вопросов гость, как бы невзначай, посетовал на то, что, мол, совсем забыли нашего Трофима Денисовича. Вейсманисты-морганисты не дают ему голову поднять. Сами ничего предложить не могут, вот и вымещают злобу на настоящем ученом, дающем так много сельской практике. Своего не видят и видеть не хотят, признают только то, что приходит из-за границы. На днях приходил к нему Трофим Денисович, много интересного рассказывал. У него есть хорошие предложения и как поднять урожай, и как надои увеличить. Свежий пример — торфоперегнойные горшочки, с легкой руки Смирнова все их теперь нахваливают. Лысенко же, оказывается, еще несколько лет назад предлагал внедрить в практику овощеводов точно такие же.

Над ним только посмеялись. А пришла та же идея из-за границы — ее на руках носят. Не ценим мы своих ученых. Все стремимся пристроиться в хвост буржуазной науке. Опять все мухами занимаются, а о том, как урожаи поднять, народ накормить, у них голова не болит.

Гость достал из портфеля оттиск статьи Лысенко и передал ее отцу. Действительно, там речь шла о торфоперегнойных горшочках, на фотографии они выглядели точь-в-точь такими же, как австрийские. Отец недовольно пробурчал что-то о преклонении перед иностранщиной, о необходимости поддержки советских ученых и распорядился предоставить Лысенко все условия для творческой деятельности, оградить его от несправедливых нападок.

— Спорить — пусть спорят, — заключил он, — но условия для работы должны быть равными у всех.

С того дня дела Лысенко снова пошли в гору. Он писал в ЦК бесконечные записки, обещал поднять урожайность пшеницы, повысить жирность молока, все быстро и сравнительно недорого. Шевченко их исправно докладывал отцу. Лысенко снова стал штатным оратором на совещаниях. Если хоть что-то из обещанного Лысенко подтверждалось, отцу докладывали наперебой, если нет — то «Никиту Сергеевича предпочитали не беспокоить».

Следующий благоприятный для лысенковцев случай не заставил себя ждать. Происшествие казалось мелким, но оно наглядно показывало, какой психологический эффект может иметь любая мелочь, если ее хорошо приготовить и умело подать.

Два академика, Трофим Денисович Лысенко и Николай Васильевич Цицин, заспорили, чья пшеница урожайнее.

Цицин, директор Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, человек не менее пробивной, чем Лысенко, но без одержимости последнего, проталкивал тогда ветвистую пшеницу, обещал с ее помощью многократно увеличить урожаи. Ветвистой этот вид пшеницы назвали за то, что из зернышка вырастало не одно растение, а много, целый «ветвящийся» куст. Тем самым, считал Цицин, при одинаковом количестве высеваемых на поле семян, число колосков умножается, а следовательно, возрастет урожай. Логично, хотя и не очевидно, возражал ему Лысенко, каждому растению требуется пространство, одной травинке — меньше, пшеничному букету — в несколько раз больше. В результате выйдет так на так.

Я упоминал уже не раз интерес отца к селекционной работе. Он знал большинство селекционеров, авторов новых сортов пшеницы, подсолнечника, картофеля. Слышал он и о ветвистой

пшенице и с Цициным общался не раз и не два. Академики через Шевченко обратились к отцу с просьбой рассудить их. Речь шла не просто о научном приоритете, победитель получал право засевать своими семенами колхозные и совхозные поля. В случае удачи выигрывали все: и страна, и автор. Ошибка в выборе перспективного сорта грозила потерей урожая со всеми выходящими отсюда последствиями.

Отец пригласил академиков в выходной день на дачу. Они долго гуляли по дорожкам парка, потом сидели на террасе и говорили, говорили, говорили. Каждый приводил массу доводов в защиту своей позиции. Разобраться, кто прав, кто виноват отец так и не смог. Тогда он схитрил и предложил соревнование. Неподалеку от загородной резиденции отца (мы тогда жили в Огарево, что в деревне Усово), за Москвой-рекой, у Ильинского раскинулось пшеничное поле. Отец взялся договориться с председателем колхоза, чтобы тот, под его ответственность, на один сезон выделил его спорящим. Каждый засеет половину, будет вести агротехнику, как считает нужным, а урожай покажет, кто прав. На том и порешили. Вспахали, удобрили, засеяли.

По выходным дням мы размещались в лодке, отец садился на весла. От Усова до Ильинского путешествие занимало минут сорок. Наконец мы у цели, высаживаемся на левом берегу. На поле, как правило, отца ожидали Лысенко и Цицин. Неподалеку, на пригорке, размещался дом отдыха Московского комитета партии «Ильинское». Я уже о нем упоминал. «Москвичи», естественно, считали своим долгом присоединиться к отцу. Словом, посещение опытного поля получалось многолюдным.

Сначала по всем признакам побеждал Цицин — на его половине растения кустились мощнее, зеленее. Отец подзадоривал Лысенко: «У Цицина-то пшеница лучше». Лысенко молча ходил среди растений, сначала на своей половине, потом у соперника. Что-то тихо бормотал, на подначки отца не отвечал. Когда пшеница подросла и уже начинала колоситься, он во время очередной «инспекции» отца, вырвал с корнем несколько цицинских кустиков, долго всматривался в корешки и стебельки и заявил, что на его половине поля урожай соберут, какой он обещал, а у Цицина получится пшик, растения перекормлены, зелень получилась пышная, а зерна не будет. Осенью предсказание подтвердилось. Авторитет Лысенко в глазах отца вырос, и тут же еще громче зазвучали жалобы на зажим идеалистами-вейсманистами ученых. Аграрии-политики в окружении отца настойчиво подчеркивали успехи Лысенко и бесплодность буржуазной лженауки. Отец не остался равнодушным, встал на защиту «настоящих» ученых.

Должен сказать, что по мере укрепления отцовской веры в Лысенко, я, напротив, сомневался все больше. Джеймс Уотсон (James Watson) и Френсис Крик (Frensis Crik) только что открыли спираль ДНК, и в научно-популярных, не биологических и не сельскохозяйственных, журналах появлялись статьи с описанием основных постулатов теории наследственности. Гены-хромосомы постепенно из абстракции превращались в нечто осязаемое. В конце концов, ученые их даже разглядели в электронный микроскоп. Как после этого отрицать их существование? Как теория может считаться идеалистической, если она оперирует чисто материальными объектами?

Несколько раз я затевал разговор с отцом на эту тему. Но он тогда окончательно уверовал в Лысенко, и мои пересказы прочитанного пропускал мимо ушей. И не только мои. Его пытались убедить академики Курчатов, Лаврентьев, Семенов и другие. Все напрасно. «Специалисты сельского хозяйства» сплоченно стояли за Лысенко. Противостояли же им математики, физики, химики, по мнению отца, в сельском хозяйстве мало понимающие.

Через какое-то время мне попалась в руки книга биолога Жореса Медведева, описывавшая всю (сейчас хорошо известную) историю становления Лысенко и гибели биологической науки. Отпечатанный на машинке экземпляр и по сей день хранится на полке в моей библиотеке. Когда я прочитал ее, у меня волосы встали дыбом. Я решил во что бы то ни стало открыть глаза отцу, донести до него истину, спасти его от позора. Долго перебирал я аргументы, искал неотразимые доводы, выжидал подходящего момента. Несколько раз начинал разговор, казалось, бесспорной посылкой: «Зачем ты вмешиваешься? Пусть ученые разберутся сами, тем более что полученные результаты подтверждают существование физической наследственной субстанции, ее просто видели».

Но ничего не выходило. Отец мрачнел, сердился и отбривал меня: «Ты инженер, ничего в этом не смыслишь. Тебя подговорили, и ты, как попугай, повторяешь чужие слова. Специалисты, люди знающие, говорят обратное».

В его аргументации была своя логика. Разные люди время от времени просили меня передать отцу их жалобы и прошения. На сей раз меня никто ни о чем не просил. Я помимо отца с биологами практически не общался, и от этого становилось еще обиднее. Я не понимал отца. Он всегда поддерживал дух соревнования. Ракетчики, авиаконструкторы, разработчики панелей для сборных жилых домов, тоже не на жизнь, на смерть боролись между собой, но в глазах отца их правоту определял

только конечный результат.

Ради справедливости отмечу, что, вопреки возражениям Лысенко, отец в 1962 году подписал Постановление Правительства о создании в Пущино, под Москвой, Биологического центра Академии наук. Там собрались отнюдь не лысенковцы, и биологией там занимались такой, как и во всем остальном мире. Но уже в следующем году Трофим Денисович взял реванш. Его сторонники в ЦК в январе 1963 года подготовили прозванное учеными «лоскутным» Постановление Совета Министров «О положении в биологической науке». Отец подписал и его. Оно, раздав «всем сестрам по серьгам», в заключение декларировало государственную поддержку Лысенко. Критиковать его снова стало и бессмысленно и опасно.

Отец теперь занял непреклонную позицию. Непробиваемыми аргументами стали столь необычные для него, позаимствованные из сталинского лексикона обвинения генетики в идеализме, в протаскивании к нам буржуазной идеологии. Я же продолжал упорствовать. Чаще один, иногда вместе с сестрой Радой, биологом по образованию, пытался донести до отца правду. Последнее столкновение произошло летом 1964 года. Я его очень хорошо запомнил. Был теплый вечер. Мы на даче в Горках-9 сидели на террасе, выходившей на Москву-реку. На небольшом плетеном столике отец, разложив бумаги, читал вечернюю почту. Выглядел он устало. Вокруг (каждый со своим делом) разместились Рада, я и Алексей Иванович. Такое совместное сидение было делом обычным. Внезапно, оторвавшись от лежащей перед ним папки, отец, ни к кому особенно не обращаясь, произнес какую-то фразу о достижениях Лысенко и кознях антинаучных идеалистов «вейсманистов-морганистов». Мы толком не поняли, к чему он сказал это, но не ответить не могли. Рада, а следом и я стали в который раз объяснять, что генетика — такая же наука, как и другие, никакого идеализма в ней нет. Тезис же Лысенко, что гена никто не видел — абсурд. Атом тоже никто не видел, а атомная бомба есть. Это довод казался мне несокрушимым. Изредка вставлял слово Алексей Иванович.

Наши аргументы почему-то рассердили отца. Возможно, потому, что возразить по существу он не мог, а согласиться с нами не хотел. Хотя дома он никогда не кричал, сейчас же распалился и повторял в повышенных тонах свои старые доводы: нас-де используют нехорошие люди в своих целях, мы, не зная дела, повторяем чужие слова. Наконец отец окончательно вышел из себя и заявил, что не потерпит носителей чуждой идеологии в своем доме, а если мы будем упорствовать, то чтоб не смели попадаться ему на глаза. Словом, получился скандал. Вместо

ожидаемой после прочтения почты прогулки, рассерженные и расстроенные, мы разошлись по своим углам.

Что же произошло? Оказывается, перед самым отъездом с работы к отцу пришли «специалисты» по сельскому хозяйству. Они принесли очередной ворох жалоб на «идеалистов», не дающих жить и работать «настоящим» ученым, а особенно Трофиму Денисовичу. Не забыли упомянуть нас: мол, подпевают им Рада с Сергеем, не со зла, конечно, по недомыслию… Переутомленный отец их молча выслушал и расстроенный уехал домой. Весь вечер все это в нем копилось, кипело и в результате выплеснулось на нас. Утром о вечернем инциденте не вспоминали. Отец, видимо, стыдился своей несдержанности, но цели своей Трофим Денисович достиг. Надолго были перекрыты любые наши попытки втянуть отца в разговор о генетике, а после октября 1964 года, отставки отца, спор потерял практический смысл.

В период отставки я не заговаривал с отцом о Лысенко, не желал доставлять ему лишние неприятности. Иногда гости задавали ему этот неудобный вопрос, и он, правда без особого запала, не ругая уже «вейсманистов-морганистов», защищал Лысенко как практика, много сделавшего для нашего сельского хозяйства.

История с Лысенко — очень неприятный эпизод в жизни и деятельности отца, ошибка на фоне множества достижений и побед. Все мы не без греха. К сожалению, по истечении десятилетий победы потускнели, достижения позабылись, а о Лысенко помнят все. Очень мне это обидно, но ничего не поделаешь.

День за днем

1956 год нес все новые и новые перемены: отменялись старые Постановления, возвращались из небытия, казалось бы, навсегда забытые имена, принимались еще немыслимые вчера решения. За два года, прошедшие с момента отстранения Берии от власти и его ареста, новый Председатель КГБ генерал Серов ощутимо перешерстил свое ведомство, более шестнадцати тысяч человек из «органов» уволили, на их место пришли новые, не отягощенные грузом прошлого люди.

10 января в Москве оперой «Порги и Бесс» Джоржа Гершвина открылись гастроли американской труппы

«Эвери Мэн». Всего три года тому назад, 10 января 1953 года, такого и вообразить себе не мог никто. Теперь же они в Москве «открывали» нас, а мы их.

18 января 1956 года начались богослужения в Ленинградской соборной мечети, закрытой в 1940 году.

26 января 1956 года прекратила свое существование советская военная база Поркалла Удд вблизи Хельсинки.

2 февраля присвоили звание Героя Советского Союза татарскому поэту Мусе Джалилю. Во время войны он попал к немцам в плен и умер в Моабитской тюрьме в Берлине. После победы нашли тетрадь его тюремных стихов и запихнули ее в лубянский архив, по сталинским законам Джалиль считался предателем. Теперь стихи опубликовали, а Муса Джалиль стал героем.

9 февраля, в Колонном зале в Москве прошел вечер, посвященный 75-летию со дня смерти Федора Михайловича Достоевского, в газете «Известия» появилась статья о нем. В ней Достоевского назвали «Великим русским писателем». В мои школьные годы он считался реакционером, его романы не печатались, в школьных учебниках о нем не упоминалось даже в параграфах, набранных мелким шрифтом, где скопом перечисляли не очень значительных писателей, которых учить не обязательно. 10 февраля в Москве открылась музей-квартира Достоевского. О «возвращении» Достоевский судачила вся Москва.

7 марта 1956 года «Правда» опубликовала обширную «ревизионистскую» статью лидера испанских коммунистов Пальмиро Тольятти «О возможности парламентского пути перехода к социализму». В след за отцом он подводил черту под чисто революционной стратегией смены власти в современных условиях.

8 Марта, в Женский день, объявили о сокращении продолжительности рабочего дня в субботу с 8 до 6 часов. Одновременно началась подготовка к переходу с 1957 года на семичасовой рабочий день, а затем, с 1958 года — на пятидневную рабочую неделю. Так планировал отец, но министерства, Госплан и Госкомтруд сопротивлялись. По их мнению, сокращение рабочего времени пагубно отразится на пятилетке. Под давлением справок, докладных и других аргументов отец сдал позиции, нововведения пришлось отложить. В результате семичасовой рабочий день вместо 1956 года установили только в 1960 году, а пятидневку и вовсе

ввели уже после отца. В 1956 году ему удалось продавить только сокращенный шестичасовой рабочий день для подростков от шестнадцати до восемнадцати лет, «украденный» у них Сталиным в 1940 году.

26 марта Указом Президиума Верховного Совета продлили отпуск по беременности с 77 до 112 дней.

В марте 1956 года вышел первый номер литературно-политического журнала Союза писателей СССР «Наш современник».

28 марта 1956 года Президиум ЦК уже в который раз обсуждал, что делать с Дворцом Советов, 460-этажным небоскребом, венчаемым памятником Ленину огромных размеров. Решение о его сооружении еще в 1922 году принял Первый съезд Советов. Через десять лет знаменитый архитектор Борис Михайлович Иофан, автор построенного напротив Кремля дома правительства — «Дома на Набережной» — закончил проект Дворца Советов и предложил «посадить» его на место «бездарного» храма Христа Спасителя архитектора Константина Андреевича Тонна, возведенного в 1837–1883 годах. Сталину идея Иофана понравилась. В 1931 году храм взорвали, вырыли котлован, заложили фундамент, и тут грянула война. Строительство застопорилось. В 1956 году новая власть решала, что делать с затопленным водами Москвы-реки котлованом? К небоскребам в Москве отец относился однозначно отрицательно, их строительство чрезвычайно дорого, а земли у нас пока достаточно. Но отказаться от строительства он тоже не мог, ведь это памятник Ленину, освященный еще Ленинским съездом Советов. Вот и «волынил» он этот вопрос сколько мог. Предложил памятник Ленину и сам Дворец разделить, объявить новый конкурс. Ворошилов не согласился, призвал «не отказываться от проекта тов. Иофана». Договорились вернуться к этому вопросу в будущем.

Разрешили вопрос 28 декабря 1956 года, когда Совет Министров СССР постановил проект Иофана сдать в архив, объявить конкурсы на Дворец и на памятник Ленину отдельно. Памятнику отвели место напротив университета, над Москвой-рекой, где впоследствии соорудили лыжный трамплин, а Дворец решили разместить рядом с пантеоном, в трех километрах позади университета.

Со временем отказались и от пантеона, и от Дворца

Советов, памятник Ленину перенесли на площадь пересечения проспекта его имени и Садового кольца, а залитый водой котлован переоборудовали под бассейн «Москва». Отец пожалел «зарывать» в землю стоивший стольких трудов мощный фундамент Дворца Советов, решил его таким образом законсервировать до лучших времен. Он тогда говорил: «Пусть будущие поколения сами распорядятся, что возвести на его основе». Распорядились. Теперь на этом месте стоит точная копия «бездарного» проекта архитектора Тонна. Не знаю, как другим, но мне храм нравится.

8 апреле в Москву приехал из США Давид Бурлюк, перед революцией знаменитый поэт-футурист, скандалист, борец за свободу самовыражения в искусстве и вообще борец. В 1920 году он уехал из своей родной Одессы на Запад, обосновался в США. Его приезд обрадовал далеко не всех. Скульптор Евгений Вучетич даже написал в инстанции протест. В ЦК посчитали «опасения тов. Вучетича, что Бурлюк сможет оказать вредное влияние на нашу творческую молодежь, необоснованными» и отправили его письмо в архив.

26 апреля отменили сталинский закон, требовавший четырехмесячного тюремного заключения за опоздание на работу и шестимесячного за прогул без уважительных причин. Одновременно отменили «крепостное право» в промышленности — закон от 19 октября 1940 года, предоставлявший министерствам право переводить работников с предприятия на предприятие, переселять их в другие города, естественно, без предоставления жилья, не спрашивая на то согласия и запрещавший «крепостному» самовольно увольняться с работы. Было и такое.

29 апреля окончательно отменили принятое в 1934 году после убийства Кирова и «замороженное» в августе 1953 года сталинское законоположение «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов» и другие постановления, узаконивавшие специальные трибуналы, пресловутые «тройки» — основу творимого Сталиным произвола. Теперь для того, чтобы осудить человека, требовалось пройти через процедуру, пусть и весьма несовершенную, судопроизводства.

1 Мая впервые вся страна могла смотреть по телевизору военный парад и демонстрацию,

проходившие на Красной площади в Москве.

9 Мая, в день Победы, опубликовали для всеобщего обсуждения проект закона о пенсиях, предусматривающий их повышение с заработка до 350 рублей — 100 процентов, и далее с понижением. С тысячи и более рублей дохода пенсия составляла уже 50 процентов, но не свыше 1 200 рублей. За непрерывный стаж свыше 15 лет добавляли еще 10 процентов (после денежной реформы 1961 года соответственно 30 и 120) рублей в месяц. Этот проект обретет статус закона после утверждения на Сессии Верховного Совета в июле 1956 года.

Юбилейные излишества

10 мая ЦК КПСС и СМ СССР приняли Постановление «О порядке празднования юбилеев». В нем отмечалось, что в последнее время вновь распространилась практика юбилейных излишеств. От празднеств 50-летий в честь основания городов, учреждения различных обществ и строительства заводов перешли к 25-летним юбилеям, а затем к 10-летним, замаячили на горизонте и 5-летние «юбилеи». Отец терпел какое-то время, хотя и, обнаружив в газетах отчет об очередном праздновании, глухо ворчал. Наконец он не выдержал, отныне «юбилей организации можно было проводить только через пятидесятилетние сроки и только при наличии достижений в работе». Разрешения на юбилейные торжества выдавались со скрипом.

Тогда же резко урезали расходы на правительственные приемы: посольские, мидовские и даже кремлевские. С потеплением в мире в Москву потянулись зарубежные гости: главы государств и правительств, министры, множество иных визитеров рангом пониже. В сталинские времена иностранцы наведывались нечасто, и устроители приемов старались поразить гостей русским хлебосольством. Теперь гости пошли косяком, а стиль приемов сохранился старый. Отец и тут поначалу не вмешивался, молча следил из-за стола президиума, как гости, зарубежные и наши, словно саранча набрасываются на даровые яства: буженину, осетрину, икру, одну за другой осушают бутылки марочных вин и коньяков.

Теперь, когда не только советское руководство принимало гостей, они сами ходили на приемы в посольства, начали ездить за границу, он поневоле сравнивал. Тамошние весьма скромные приемы не шли ни в какое сравнение с нашими.

Отец взорвался, когда увидел на одном из кремлевских

приемов жену посла небольшого европейского государства, сгребавшую со стола в предусмотрительно прихваченную из дома объемистую сумку пирожные, конфеты, все, что попадалось под руку.

— Если бы вы на свою зарплату пиршества устраивали, — разносил отец кремлевских протоколистов, — то, наверное, не роскошествовали бы, а государственные деньги — несчитаные. С приема в иностранном посольстве уходишь полуголодным, и это правильно, не наедаться туда гости ходят, а разговоры разговаривать. У нас же чего съесть не могут, в мешки складывают, несут с собой не ридикюльчики, а сумки сродни хозяйственным.

Протоколу строго указали: приемы всех уровней устраивать скромно, расходы свести к минимуму. Чиновники ворчали, по началу следовали предписаниям, но при первом же послаблении норовили вернуться к старому. Окончательно победить их отцу так и не удалось.

После отставки отца все вернулось на круги своя. Брежнев любил повеселиться, хорошо поесть. Деньги он не считал, их в государственном кармане немерено.

Смерть слуги «Образованного сатрапа» (Отступление пятое)

В 1956 году продолжалось возвращение имен, казалось бы, навсегда канувших в небытие. Наиболее заметно этот процесс шел в литературе и искусстве, писатели, поэты, артисты — у всех на виду, их исчезновение не проходит бесследно, и далеко не все оказываются забытыми, даже если их произведения исчезают с книжных полок, а имена больше не упоминаются в театральных афишах. Певца Первой конной и автора одесских рассказов Исаака Бабеля, неистового театрального режиссера Всеволода Мейерхольда в лихое время арестовали, осудили «тройкой» и расстреляли. Теперь их реабилитировали. И таких, как они, в литературе и театре насчитывался не один десяток. В 1956 году издаются полузабытые Иван Бунин, Сергей Есенин, Илья Ильф и Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Александр Грин, Николай Заболоцкий. В сборнике «Литературная Москва» напечатали стихи полузапрещенной при Сталине Марины Цветаевой. В Ленинградском БДТ прошел вечер памяти Александра Блока.

Люди радовались торжеству справедливости, пусть и посмертному, но радовались не все. 13 мая 1956 года, не выдержав пресса шедших, а тем более грядущих реабилитаций, у себя на даче застрелился писатель и бывший председатель

сталинского Союза писателей Александр Фадеев, в последние полтора десятилетия он был доверенным лицом Сталина в литературе. В соответствии с заведенным Сталиным порядком, подпись Фадеева стояла на арестных списках членов Союза писателей, в том числе Бабеля, Пильняка и многих, многих других.

Он же готовил «хозяину» и списки к присуждению Сталинских премий. Правда, Сталин не очень полагался на литературный вкус Фадеева и возглавляемого им премиального комитета. Уже после многократных обсуждений кандидатур он мог прийти на заключительное заседание с парой затрепанных, многолетней давности журналов под мышкой и заявить, что вот эта повесть или роман ему пришлись по душе и заслуживают премии. Естественно, никому и в голову не приходило усомниться в качестве произведений, в конце концов, это его премии, и ему решать, кто их достоин, а кто нет. Так нежданно-негаданно получили Сталинские премии начинающие писатели Виктор Некрасов и Юрий Трифонов. В этих двух Сталин не ошибся, через годы они стали настоящими писателями. Большинство же назначенных им лауреатов канули в лету.

Порой случались накладки, авторы понравившихся Сталину опубликованных несколько лет тому назад произведений теперь отбывали срок. Дальнейшее зависело от настроения «хозяина», иногда он удивлялся произошедшей «ошибке» и заключенный номер такой-то неожиданно обретал волю, а к ней — статус Сталинского лауреата. Иногда Сталин, с показным сожалением, откладывал книжку или журнал в сторону, узник так никогда не узнавал, что от лауреатства и свободы его отделял «хозяйский» каприз.

В отношениях «отца народов» с писателями Фадееву отводилась роль надсмотрщика. Он с ней свыкся, и она ему нравилась. В этом качестве Фадеев имел привилегию доверительных бесед с «хозяином», естественно, когда его звали, затем столь же доверительно доводил слова «хозяина» до доверенных писателей. Сталин благоволил к Фадееву, прощал ему то, что не простил бы никому из своего ближайшего окружения, смотрел сквозь пальцы на его многонедельные запои. Один раз он даже поинтересовался, не может ли Фадеев в порядке социалистического обязательства сократить запойный период до четырех-пяти дней? Фадеев замялся, а Сталин усмехнулся и перевел разговор на другую тему. Такой Фадеев Сталина устраивал.

Фадеев, в свою очередь, боготворил Сталина, положение доверенного слуги льстило его самолюбию, эта доверительность

возвышала его над собратьями. Постепенно Фадеев растворил свое «я» в Сталине, он не мыслил себя без Сталина, служил Сталину, жил Сталиным. Что и говорить, Сталин умел заставить любить себя. Под его обаяние попадали многие выдающиеся писатели от Анри Барбюса и Лиона Фейхтвангера до Константина Симонова и Бориса Пастернака. Все они испытывали по отношению к Сталину… Я не берусь дать определение их чувствам. Вместо этого приведу несколько слов из письма Пастернака «дорогому Саше» (Фадееву), которое можно назвать одой на смерть Сталина: «Облегчение от чувств, теснящихся во мне последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе. Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мыслями и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего к гробу народа.

Каждый плакал теми безотчетными и неосознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе, увлажнило тебе лицо и пропитало собой твою душу…»

Лучше не выразить… Только прочитав это письмо, я ощутил, что они потеряли, чего они лишились, какие чувства их обуревали. Если Пастернак еще как-то мыслил себя без Сталина, то для Фадеева с его смертью вдруг все кончилось. Без Сталина и после Сталина Фадеев оказался не у дел. Писать он отвык. Последние годы в моменты просветления он по прямому указанию Сталина работал над романом «Черная металлургия», историей изобретателя нового метода плавки стали. Изобретатель и его метод имели реальных прототипов в жизни. Сталин их поддерживал. Фадеев много времени посвятил изучению технологических тонкостей предполагаемого изобретения. Собственно, их описаниям и посвящен роман. И тут, в 1956 году, разразилась катастрофа: на поверку оказалось, что практической ценности изобретение не имеет, а без него и роман терял какой-либо смысл.

На профессиональное фиаско наложились служебные неурядицы. Хрущева Фадеев не устраивал ни своим неприкрытым сталинизмом, ни своей чисто физической неспособностью заниматься делами Союза писателей. Как писатель он тоже не отвечал литературным вкусам отца, который не находил в его произведениях столь ценимых им красочных описаний природы,

не отличались они и сочностью языка. К тому же Хрущев как глава государства общался с другим типом людей, его волновали другие проблемы: эффективность экономики, производительность труда, урожайность, темпы строительства жилья. На их фоне писатели, их взаимные претензии, непрекращающаяся борьба друг с другом казались незначительными и неинтересными, и их «вождь» вдруг оказался невостребованным. Пару раз отец попытался поговорить с Фадеевым, но того, ушедшего в очередной запой, так и не смогли разыскать. Отец поставил на Фадееве крест, к себе его больше не приглашал. «…Положение отставного литературного маршала стало дня него (Фадеева. — *С. Х.*) лютым мучением», — записал в своем дневнике старинный друг Фадеева писатель Корней Чуковский. Фадеев этого не понимал, не хотел и не мог понять, а на него продолжали сыпаться «неприятности».

В 1954 году на II съезде писателей первым секретарем Союза избрали не «бессменного» Фадеева, а поэта Алексея Суркова. В следующем году он потерял пост вице-президента Всемирного совета мира, его место занял Илья Эренбург. Фадееву пришлось удовольствоваться рядовым членством в Бюро. И, наконец, главное — на XX съезде партии его не избрали в члены ЦК, перевели в кандидаты. Фадеев, не представлявший себе жизни вне власти, оказался в положении верного пса, со смертью хозяина отставленного от дома.

Фадеев сидел на даче, от отчаяния пил. Затем взял себя в руки и, если верить близкому другу Фадеева Эренбургу, «за последний, предсмертный месяц не выпил ни рюмки». Как и все алкоголики, резко выходящие из запоя, он впал в глубокую депрессию, на которую наложился «политический» стресс. Самоубийство в таком случае, по мнению психиатров, представляется больному единственным выходом, а у Фадеева к тому же, в отличие от рядовых советских алкоголиков, имелся револьвер. Находясь в состоянии похмельного синдрома, он пустил себе пулю в сердце. Так его и нашли — в одних трусах, полулежащим на пропитанной кровью кровати. Рядом на тумбочке стояла фотография Сталина, на полу валялся револьвер.

Другие, в основном друзья покойного, считают, что причиной самоубийства стал не алкоголь, а неизбывная тоска. Что ж, возможно, они и правы. Избавление от внутреннего рабства — процесс болезненный, Фадееву это оказалось не под силу.

В адресованном руководству страны письме он выплеснул все обиды, назвал их «самодовольными сатрапами, невеждами», в силу этого своего «невежества», отказавшим ему в общении, не идущими ни в какое сравнение с «образованным сатрапом-

хозяином Сталиным».

Когда отцу доложили о случившемся, он распорядился устроить приличествующие рангу Фадеева похороны, а посмертное письмо отправил в архив.

И снова возникает параллель с Пастернаком. Он тоже тосковал по «хозяину», на самоубийство близкого ему по духу Фадеева отреагировал психологически примечательным стихотворением «Культ личности забрызган грязью…»

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.

И культ злоречья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого снести.

Написанные Пастернаком строки попали в очередную справку КГБ о настроениях в стране. Отцу их представляли еженедельно. Платные и бесплатные информаторы, последних среди писателей было более чем достаточно, регулярно сообщали, кто, что и кому сказал. Два десятилетия назад Сталин, из такого же доклада, узнал о непочтительном стихотворении Осипа Мандельштама, посвященном «Кремлевскому горцу». Поэт заплатил за него жизнью. Отец на донос собратьев по перу Пастернака не отреагировал никак, вернул серо-голубую кагэбэшную папку без своих помет.

Слухи о самоубийстве Фадеева разошлись по Москве как круги по воде. «Мне сказали об этом в Доме творчества, — записывает по горячим следам Корней Чуковский. — Я сейчас же подумал об одной из его вдов, Маргарите Алигер, наиболее его любившей. Поехал к ней, не застал. Сказали: она у Либединских.

Там смятение и ужас, Либединский лежит в предынфарктном состоянии, на антресолях рыдает первая жена Фадеева Валерия Герасимовна, в боковушке сидит вся окаменевшая Алигер. Ее дети, в том числе и дочь Фадеева, в Москве, в Переделкино приехать не могут».

Я тоже бросился к отцу с расспросами, он, не вдаваясь в подробности, сказал, что подобный конец для запойных пьяниц скорее правило, чем исключение, самоубийство Фадеева — явление медицинское, а не общественное. Углубляться в подробности отец явно не хотел.

У Эренбурга я прочитал, что в сообщении о смерти Фадеева сначала хотели указать на алкоголизм как причину самоубийства, но писатели запротестовали. Маргарита Шагинян, женщина экзальтированная, якобы даже дозвонилась до отца и заявила, что в таком случае она тоже застрелится. Отец понимал, что все это пустяк, не тот она человек, чтобы стреляться, но и ссориться с ней не имело смысла. Слова об алкоголизме Фадеева из газетного сообщения исключили.

Фадеева жалко — и как человека, и как писателя — он тоже жертва Сталина, но конец его закономерен со всех точек зрения: гражданской, профессиональной и медицинской.

День за днем

15 мая 1956 года в СССР начались гастроли американского скрипача Игоря Стэрна.

6 июня 1956 года отменили введенную 3 октября 1940 года Сталиным плату за обучение в последних трех классах средней школы и в высших учебных заведениях. Ситуация парадоксальная — студент платил государству за свое обучение около трехсот рублей в год и, одновременно государство выплачивало ему стипендию, рублей 200–250 в месяц в зависимости от престижности учебного заведения. Почему Сталин так решил, не знаю, отец ничего об этом не говорил. Наверное, и сам не был в курсе дела. Отменить плату за обучение собирались еще годом раньше, но во время обсуждения вопроса на Президиуме ЦК отец в тот день почему-то отсутствовал, воспротивился Молотов — из бюджета тем самым изымался «лишний миллиард рублей». Создали комиссию во главе с Микояном. Тот пошел к отцу. Отец посоветовал ему мнением Молотова пренебречь. Молотов обиделся, но от открытой полемики с Хрущевым воздержался.

Вокруг Европы

В ночь на 6 июня 1956 года из Одессы в круизный рейс вокруг Европы отправился теплоход «Победа». Его 423 пассажирам в течение 25 дней предстояло посетить шесть стран, из них пять капиталистических, в Греции осмотреть Пирей с Афинами, в Италии — Неаполь, Рим, Сорренто, съездить на остров Капри, во Франции прогуляться по Гавру и Парижу, в Голландии осмотреть Роттердам, Гаагу и Амстердам и «на закуску» заехать в шведский Стокгольм. Оттуда «Победа» следовала в Ленинград, где ей предстояло загрузить новую порцию туристов и с ними плыть домой в Одессу. Произошло абсолютно немыслимое: заплатив деньги, замечу немалые, любой, кто хочет, если, конечно, получит заграничный паспорт, может вот так, запросто, не в командировку, а для своего удовольствия отправиться за границу. Слухи о круизе ходили по Москве давно, но мало кто верил. Возражал Минфин, там не считали целесообразным обмен с таким трудом заработанной валюты. Напомню, что нефтью тогда не торговали, а в свое время

«с целью укрепления престижа» Сталин установил обменный курс: один американский доллар на четыре наших старых дореформенных рубля. От этого не имевшего ничего общего с реальностью курса страдали в первую очередь дипломаты и заезжие иностранцы, но их страдания никого не интересовали. Теперь Минфину предстояло менять по тому же курсу не их доллары и франки на наши рубли, а рубли на фунты стерлингов и марки. К сетованиям финансистов отец отнесся серьезно, поручил подумать об установлении в будущем более реалистичного курса обмена валют, а пока приказал менять. Правда, обмен на валюту ограничили почти символической суммой, если не ошибаюсь, в тридцать пять рублей.

Возражала и госбезопасность, уследить за сотнями туристов, да еще за рубежом, по их мнению, не представлялось возможным. Генерал Серов вернулся от отца ни с чем, «секретоносителей» в круиз не пускали, а до остальных… Отец посоветовал ему не считать всех советских людей потенциальными шпионами и перебежчиками. Тем не менее за Комитетом зарезервировали какое-то количество билетов.

Наконец все утряслось, отец подписал «разрешительное» постановление, выбрали теплоход покомфортнее, установили приблизительную дату отплытия.

Несколько месяцев жаждавшие попасть в круиз люди, простые и не совсем простые, обивали пороги учреждений, оформляли документы. Более половины туристов составили передовики-рабочие, отобранные профсоюзами, в том числе целая группа с московского завода «Каучук». С ними все устроилось просто, они поездки не добивались, им ее предложили. А вот «непростым людям»: писателям, музыкантам, средней руки чиновникам пришлось приложить немалые усилия. Они суетились, звонили нужным людям, а те перезванивали еще более нужным. Наконец вожделенные билеты и, главное, разрешения на выезд получены. Не всеми, конечно.

В наши дни происходившее вокруг первого такого круиза представить себе почти невозможно. Выехать в Европу в 1956 году значило больше, чем в начале XXI века отправиться экскурсантом даже не на международную космическую станцию, а на Марс. Ехали в круиз не за барахлом, что купишь на разрешенную к обмену тридцатку? Хотелось хоть одним глазком взглянуть на тамошнюю жизнь.

От увиденного наступил шок. Оказалось, на Западе совсем не голодают, не стоят в очередях за благотворительным супом, как нас убеждали и убедили в сталинские времена, а живут совсем неплохо, по крайней мере, лучше, чем мы. Это открытие

воздействовало на общественное создание не слабее, чем секретный доклад на XX съезде. Восприятие Запада перевернулось на 180 градусов, мы уже не столько сочувствовали тамошним угнетенным массам, сколько завидовали им.

Константин Паустовский, тоже один из пассажиров «Победы», опубликовал в «Литературной газете» свой, на сегодняшний взгляд, довольно серенький путевой очерк. Но тогда его зачитывали до дыр, обсуждали домохозяйки на кухнях и алкаши в подворотнях. Удивлялись всему, но самое удивительное — что можно вот так запросто сесть на пароход и съездить в Париж, не говоря уже обо всех остальных «абсолютно недоступных» местах.

Не могу удержаться от сравнения 1956 года с веком XIX, тогдашней «оттепелью» во время правления императора Александра II Освободителя. Сейчас на «Победе» путешествовал писатель Паустовский, тогда, в 1862 году, на перекладных — российский драматург Александр Островский: «…вот где был простор посмотреть да посравнивать свое и чужое. Так ли уж правы были они, когда в молодые годы вместе с Аполлоном Григорьевым и другими юношами из “Москвитянина” заранее, наугад гордились тем, что мы “не чета Европе старой…” К началу 1860-х годов глухо запертые на Запад двери распахнулись. Выездной сбор с прежней фантастической цены в пятьсот рублей был снижен до пяти, и толпы русских, подхваченные либеральным ветром, хлынули за рубеж.

После долгих лет пребывания за частоколом николаевского острога русский человек ехал в Европу. Что искал он в ней, что находил?… Ехали в свадебные путешествия, partie de plaisir, насладиться видами Италии и Швейцарии, музеями и театрами Парижа, европейским комфортом… Русский человек, живший в царствование Николая и воспитанный этим временем, привык к тому, что все нельзя, на всё запреты, что надо скрывать и желания, и мысли, — и тут терялся поначалу, а потом испытывал особого рода легкость среди толпы свободно двигавшихся, непринужденно говоривших, державшихся с достоинством людей. Пусть впечатления эти внешни, поверхностны, но для короткого знакомства и их хватало».

Воистину, новое — это всего лишь позабытое старое. Я хорошо запомнил свои ощущения, но не от круиза, вокруг Европы я не ездил, такие деньги мне и не снились. Как я писал, отец взял меня с собой в 1956 году в Лондон. Удивляло все, но особенно поразили витрины, даже не обилием выставленных в них товаров, а своей неземной красотой. Я и сейчас помню, как сравнивал пыльное, даже грязное окно московского гастронома с одиноким серым муляжом свиного окорока с роскошью съестных припасов в

зеркальном блеске лондонских витрин. Я не голодал и не нуждался, кремлевская кухня не страдала от дефицита, наверное, я эти деликатесы пробовал и раньше, но никогда представленных таким образом их не видел.

Россия всегда отличалась своей закрытостью, здесь во всяком иностранце видели шпиона, а если и не шпиона, то персону не очень желательную. Каждый россиянин, отъезжавший за рубеж, вызывал подозрение и раздражение властей. Так было во все постмонгольские времена, когда пожестче, когда послабее. При Иване IV Грозном сношение с иностранцами грозило дыбой, затем наступило потепление, Петр I и его преемники не просто разрешали, заставляли своих подданных путешествовать, учиться у Европы. Нагляделись, научились, и взявшие Париж в 1814 году молодые офицеры-генералы попытались подогнать российские порядки под европейские. После подавления бунта декабристов не просто ударили заморозки, установились серьезные морозы. Чтобы совершить заграничный вояж, требовалось личное разрешение императора Николая I, и давалось оно далеко не всем. Александру Пушкину, к примеру, получить его не удалось. При царе-освободителе Александре II вновь наступило послабление, затем при его преемниках пришло новое похолодание, сменившееся сталинским режимом, скорее грозненским, чем николаевским.

Сталин, как и Грозный, понимал, что прочность его тирании зависит от того, насколько тщательно законопачены все границы, и он держал их, как тогда говорили «на замке». На замке не столько от иностранных шпионов, сколько от собственных граждан. Пока границы заперты и люди не знают, что делается в окружающем их мире, руки властителя развязаны, он может делать, что заблагорассудится, одновременно убеждая, что лучше его подданных никто в мире не живет. Большинство ему верит и, даже если сами они не очень счастливы, то убеждены, что у «них» дела обстоят еще хуже.

Открывая границу, страна вступает в соревнование с окружающим миром, политико-экономический строй должен доказать и показать свою эффективность. Отец постоянно повторял, что «та система победит, которая предоставит людям лучшую жизнь». Он не сомневался в победе и не боялся соревнования ни с Западом, ни с Востоком.

Осознавал ли отец до конца, что совершает, подписывая постановление, разрешавшее круизы, туристические поездки? Думаю — и да, и нет. Он осознавал, что жить в XX веке в наглухо законопаченной стране невозможно, тем более что скоро, очень скоро мы заживем лучше любой заграницы. Тогда не мы, а они

станут нам завидовать.

С другой стороны отец, как все его сограждане, не ощущал и не мог ощущать всех аспектов, реальных и чисто внешних, — различия между нашими мирами. Он владел цифрами, метрами жилья на душу населения у них и у нас, потреблением мяса, молока и масла и многого другого у нас и у них, радовался, что вот по такой-то позиции мы приблизились к ним. Но до самой макушки заваленный ворохом каждодневных бумаг, он не задумывался, что означает увидеть воочию.

Вслед за «Победой» вокруг Европы начали курсировать еще и «Россия» с «Грузией». В конце августа 1956 года в Ленинград с ответным визитов на трех судах, польском «Батории», норвежском «Метеоре» и финском «Боре-1», приехали туристы из Франции, Англии, Италии, Швеции, США и Норвегии. Больше всего, около четырехсот человек, среди них оказалось итальянцев. Пароходными экскурсиями дело не ограничилось, один за другим открывались европейские самолетные маршруты, обслуживавшиеся невиданными на Западе реактивными Ту-104. Я уже не говорю о поездах. Поездка в Европу перестала быть привилегией одних лишь чиновников. Отец подписав «разрешение на выезд» рядовому человеку, прорубил, уже не окно в Европу, а дверь, отпер ее и запирать не собирался.

День за днем

Так уж получилось, что вскоре после европейского вояжа «Победы» в июле 1956 года перестали глушить Би-би-си. Во время визита в Великобританию отец с Булганиным пообещали премьер-министру Энтони Идену сделать этот шаг доброй воли. Теперь больше не требовалось вслушиваться в прорывающиеся сквозь мощное гудение обрывки слов, перескакивать с волны на волну в надежде, что сегодня где-то глушат не столь прилежно. «Голос Америки» и «Свободную Европу» глушили по-прежнему, но они не пользовались у москвичей особым доверием. Считалось, что американские радиостанции сродни нашей собственной пропаганде.

В 1956 году Российская Федерация обрела право иметь собственную газету. 1 июля вышел первый номер «Советской России», органа недавно образованного Бюро ЦК по РСФСР и Правительства Российской Федерации. В 1949 году поводом для начала «Ленинградского дела»

послужила организованная в Ленинграде Всероссийская ярмарка. Сталин обвинил ленинградцев в противопоставлении России, Москве и Союзу. И… полетели головы. Теперь времена переменились. Российская Федерация начала обретать собственное лицо и обзаводиться необходимыми для этого атрибутами.

В сталинские времена каждый посетивший нашу страну мало-мальски значимый иностранец ценился на вес золота (я уже об этом писал), сейчас от них просто отбоя не было. Москва стала очень популярной в мире, особенно после XX съезда и сенсационного выступления на нем Хрущева. Каждому, будь то американский сенатор, французский бизнесмен или английский журналист, очень хотелось повстречаться с отцом. Отец, насколько позволяло время, старался не отказывать, иностранцы его интересовали не меньше, чем он интересовал их. Он не только делился с посетителями своими взглядами на мир, но сам набирался от них знаний о еще не очень ведомом ему «тамошнем» мире и его устройстве. Так уж получилось, что предпочтение отец отдавал «буржуазным» политикам, с ними ему было интереснее. Общение с руководителями зарубежных коммунистических партий все больше ложилось на плечи «профильного» Секретаря ЦК Михаила Суслова и руководителя Международного отдела Бориса Пономарева.

Молотов «однобокое» поведение отца посчитал идеологически неверным и на одном из заседаний Президиума ЦК попенял ему. По мнению Молотова, отец все больше вторгался в компетенции главы правительства, в чьи обязанности входит вести переговоры с капиталистами, а Секретарю ЦК, то есть отцу, следует обращать больше внимания на отношения с компартиями.

Критику отец учел. 28 и 30 июня он общается с французскими коммунистами, затем — 9, 10 и 11 июля принимает, одних за другими, представителей коммунистических партий Бельгии, Великобритании, Италии и одновременно ведет переговоры с шахиншахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви, Генеральным секретарем ООН Дагом Хаммершельдом, принимает своего давнего знакомого — американского инженера, участника строительства первой очереди московского

метро Генри Моргана, сенатора США Аллена Элландера и еще многих других интересных ему людей. Со временем отец, к неудовольствию Молотова, снова «спихнул» коммунистов на Суслова с Пономаревым. Не всех конечно — с Морисом Торезом и Пальмиро Тольятти он встречался каждый раз, когда они появлялись в Москве. Постепенно между ними установились личные, очень доверительные отношения.

На открывшейся 11 июля 1956 года Сессии Верховного Совета СССР депутаты преобразовали Карело-Финскую Советскую Союзную республику в автономную, понизили ее статус на одну ступень, разумеется, «по ее собственной просьбе». Отец рассказывал, как Сталин, в предвкушении «добровольного» присоединения Финляндии к России, в марте 1940 года, сразу после окончания Советско-финской, или Зимней войны, повысил статус Карельской Автономной республики до Карело-Финской Союзной. Почти полтора века назад Александр I после трех лет изнурительной войны 1806–1809 годов все-таки покорил финнов. Сталину повторить его затею не удалось. И Карело-Финская ССР вернулась в исходное «автономное» состояние.

15 июля 1956 года выходит первый номер нового журнала для детей «Костер».

31 июля 1956 года празднованием недавно учрежденного Дня строителя открыли по тем временам огромный стадион в Лужниках. Ему присвоили имя В. И. Ленина. Отец из правительственной ложи с удовольствием следил за выступлениями физкультурников, а затем, при всем своем равнодушии к спортивным играм, остался на футбольный матч. Стадион ему очень понравился, но еще больше нравилось то, что наконец-то привели в порядок вечно заброшенные заболоченные Лужники.

27 августа 1956 года Хрущев выступает на Президиуме ЦК «О студентах на сельскохозяйственных работах». Сезонность работ в деревне — извечная проблема, и не только в нашей стране, в посевную и на уборке рабочих рук не хватает, в остальное время и своих колхозников порой занять нечем.

В Америке фермеры в страду нанимают временных рабочих, мексиканцев или иных иностранцев, специально на это время въезжающих в страну. У нас же

в помощь колхозникам направлялись «шефы», в том числе и студенты со школьниками. Естественно, это время они не учились. Я тоже регулярно осенью из года в год отправлялся на сбор урожая в подшефный подмосковный колхоз. Отец подобную практику считал вредной, студенты должны учиться, а не картошку копать, но поделать ничего не мог. Других сезонных рабочих в СССР не существовало.

Вот и теперь он в который раз призвал «разобраться с посылкой студентов на сельхозработы», и, если нельзя без них обойтись, пусть «колхозы платят им за труд».

Президиум ЦК своим решением ограничил одним месяцем направление учащихся на сельхозработы. Но запрет просуществовал недолго, поначалу сроки продлевались «в порядке исключения», а потом уже безо всякого исключения.

Целинный урожай

Летом 1956 года отец отправился в ритуальный объезд сельскохозяйственных областей. Начал он с сибирской целины. В отличие от прошлого года погода там благоприятствовала, урожай секретари обкомов обещали хороший. Отец решил удостовериться.

20 июля он выступает перед аграриями в Свердловске (Екатеринбурге). 23 июля он уже в Новосибирске, на совещании работников сельского хозяйства Сибири. Оттуда переезжает в Казахстан, сначала 28 июля — в Алма-Ату, а 30 июля — в центр Целинного края, Кустанай.

Целина порадовала отца, на сей раз погода не подвела. В Казахстане засыпали в зернохранилища заветный миллиард пудов зерна и на этом не остановились.

Отец считал миллиардный урожай знаковым, подтверждавшим успешность и значимость целинной эпопеи. В 1956 году отрапортовали о сдаче одного миллиарда трехсот сорока миллионов пудов (21,4 миллиона тонн), в 15 раз больше, чем здесь заготавливали до 1954 года.

В дополнение к казахстанской сибирская целина дала еще 2 миллиарда 4 миллиона пудов зерна (чуть больше 32 миллионов тонн). Хлебная житница страны уверенно перемещалась на восток, обгоняя и Украину, и Поволжье, и Причерноморье.

«Это, товарищи, огромная победа, будут удовлетворены основные потребности в зерне, и притом в высококачественном зерне, — делился отец своей радостью по возвращении из

поездки по Сибири и Казахстану с москвичами. — Если пока еще есть нарекания, что к концу (1955) года в некоторых городах уменьшилась выпечка белого хлеба за счет увеличения выпечки темного и черного хлеба (как следствие неурожаев 1954 и 1955 годов), то урожай этого (1956) года обеспечит страну пшеницей. Любители белого хлеба могут радоваться».

Могли радоваться не только любители белого хлеба, вздохнуло с облегчением и правительство. Я уже писал, что в связи с неурожаем государственные резервы зерна в прошлом, 1955 году, снизились до опасной черты — 3,7 миллионов тонн. В три раза меньше, чем требовалось для прокорма страны в течение года в случае несчастья: войны, недорода, стихийных бедствий. Урожай 1956 года позволил вернуть государственные резервы к приемлемому уровню, они увеличились до 9,3 миллиона тонн.

В ознаменование победного урожая в октябре 1956 года учредили медаль «За освоение целины», награждали ею всех: и оседлых жителей, и студентов, приезжавших туда на пару месяцев на уборку. Отец с гордостью носил свою «Целинную» медаль, ценил ее наравне с боевыми орденами, полученными за Сталинград и Курскую битву.

В тот год отец расщедрился — Нечерноземье, российское, белорусское, прибалтийское, освободили от обязательных поставок зерна государству. Госплан подсчитал, что прибытку от их ржи и пшеницы чуть, и отец решил — пусть они выращивают то, что на их землях лучше получается: овощи, картошку, а главное — разводят коров и свиней. И им выгоднее, и стране. Решив, как он считал, зерновую проблему, отец следующей важнейшей задачей считал увеличение производства мяса, молока, масла, не уставал повторять: «Не хлебом единым жив человек».

Рачительный хозяин, отец, колеся по стране, вмешивался во все, пытался навести хотя бы относительный порядок, подталкивал местных руководителей, стремился еще хоть немного уменьшить энтропию. Порой его вмешательства приносили пользу, иной раз он рубил сплеча и наоборот наносил вред, но энтропия, снизившись за прошедшие два года, больше уменьшаться не желала. Среднее звено руководителей за это время адаптировалось к Хрущеву, перестало его бояться: он не Сталин, в лагерь их не заточит — и научилось обманывать. Они «отсиживали» срок на зональных совещаниях, когда следовало — аплодировали и разъезжались по своим «уделам». Не скажу, что зональные совещания-собрания не приносили пользы — приносили, но много меньше, чем рассчитывал отец.

Огромный целинный урожай обнажил новую, но вполне

предсказуемую проблему: зерно оказалось негде хранить. Не то что элеваторов, но и простых крытых зерноскладов не успели построить. А может быть, местные казахстанские начальники и не спешили их строить, выжидали, когда Москва угомонится и они смогут вернуться к своим баранам.

Зерно ссыпали холмами на утоптанные земляные площадки, накрывали его брезентом. Не мудрено, что с наступлением холодов значительная часть урожая погибла. Как и в урожайном на целине 1954 году, внесли свою лепту и дороги, вернее, их отсутствие. Зерно, с верхом насыпанное в открытые кузова грузовиков, везли с ветерком, его сдувало, рассыпало по обочинам, особенно когда машину подбрасывало на ухабах. Брезента же, чтобы укрывать зерно еще и в кузовах, недоставало, он весь ушел на временные «хранилища».

Отец знал, что происходит на целине. Знал и хорошее, и плохое.

Проблему дорог они обсуждали на Пленуме ЦК еще в 1954 году, но зерно стране требовалось немедленно, а на предварительное обустройство целины ушли бы годы. Он считал, даже если мы потеряем процентов сорок урожая, то шестьдесят-то останется, этого достаточно, чтобы закрыть сегодняшние прорехи, снять хлебный голод в стране. А там и элеваторы подоспеют, и дороги построим, и поселки возведем.

В 1956 году освоение целинных земель практически завершилось. Распахали все, что следовало распахать и даже то, что распашке не подлежало. В Казахстане за два года освоили 18 миллионов гектаров новых земель. В Сибири — 15 миллионов. Часть вновь «освоенных» территорий пришлась на солончаки, их немало в околопустынных районах Казахстана. Пахать их — впустую время терять, но новое казахстанское руководство во главе с Брежневым думало не о землях, а о докладах в центр. Москва же, в том числе и отец, в свою очередь подталкивали их «осваивать» все, что еще «не освоено». Теперь пришла расплата — началось засоление полей, на покрытых соляной сыпью землях не родилось ничего, и их приходилось исключать из оборота, возвращать в первозданное, «целинное», состояние.

Засоление — не уникальное казахское явление, на несколько десятилетий ранее с ним столкнулись и американские фермеры, осваивавшие целину у себя на Среднем Западе. В результате распашки верхнего слоя почвы скопившаяся в глубине соль по вновь открывшимся порам поднимается на поверхность. Борьба с засолением — дело дорогостоящее и не очень эффективное. Соль обычно смывают с поверхности поля водой, если, конечно, есть вода, но после каждой промывки ее еще больше выталкивается из

земли. Земля как бы потеет. Так происходит на «больных» землях, которые и трогать не следовало. Здоровые поля с незасоленной почвой, естественно, так и оставались здоровыми.

Но не только засоление полей грозило целине, «зоне рискованного земледелия» — так наравне с Канадой и Аргентиной в науке называют районы, где засухи регулярно и непредсказуемо чередуются с благоприятствующей урожаю погодой. Специфичность этих регионов требовала и своей специфической агротехники. Я уже писал о разных подходах к целине полевода Мальцева и академика Лысенко. Отец считал, что пришла пора всерьез заняться особенностями «рискованного земледелия». В 1956 году в Шортандинском районе Целиноградской области на 60,8 тысячах гектаров, в том числе 47 тысячах гектар пахоты, образуется научный центр, «ориентированный на создание системы земледелия для засушливых и эрозионных районов». Возглавил ее энтузиаст целины, будущий академик, а пока просто агроном — Александр Иванович Бараев. Отец познакомился с Бараевым недавно и относился к нему с уважением, иначе его не назначили бы на такой пост, но спорили они до изнеможения. Отец не раз под горячую руку порывался снять его с поста директора института, но не снял. Снова соглашался с ним и снова спорил. И так до самого конца своей карьеры.

Несмотря на создаваемые на востоке страны научные центры, появление новых громких имен в сельскохозяйственной науке, целина еще преподнесет немало сюрпризов. Только с годами, во многом повторив ошибки американского освоения прерий, целинники приноровятся к ее непростому характеру.

Хлопок и хлопкоробы

Не только целина порадовала отца в 1956 году, Узбекистан отрапортовал о заготовке более 2 миллионов 800 тонн хлопка, небывалая по тем временам цифра. Вот только, как и два года тому назад, собрали все эти миллионы тонн руками. На поля выгоняли поголовно всех: рабочих, студентов, школьников, ученых и не на пару недель, а на несколько месяцев. Уборка порой затягивалась до конца ноября. Отец не на шутку рассердился, со времени его посещения Ташкента в ноябре 1954 года дела с хлопкоуборочными комбайнами не сдвинулись ни на йоту, а ведь они ему обещали. Если в позапрошлом 1954 году отец знакомился с хлопководством, то в нынешнем он уже активно включился в дело. Он вызвал в Москву узбекских начальников. Их оправдания-объяснения, что машины у них есть,

но собирают они «грязное» волокно, отрывают его от растений вместе с коробочками, засоряют хлопок, он и слушать не хотел. У капиталистов машины хлопок не портят, а у нас портят. Почему? Капиталисты не дураки, негодные хлопкоуборочные машины они бы не использовали.

По настоянию отца закупили в Египте лучшие образцы американских хлопкоуборочных машин, создали специальное конструкторское бюро по их проектированию. Но ничего путного так и не получилось. Машины спроектировали, наладили производство, они исправно выходили на хлопковые поля, их показывали в кинохронике, местные руководители докладывали о достигнутых успехах. Вот только в отличие от зарубежных хлопкоуборочных комбайнов, наши почему-то собирали хлопок тяп-ляп, после них поля пестрели мозаикой белых, недоубранных техникой хлопковых заплаток. Приходилось по-прежнему выгонять тысячи горожан добирать недособранное.

С квадратно-гнездовой посадкой хлопка дела обстояли получше, но вскоре от нее отказались, появились гербициды, они расправлялись с сорняками эффективнее. Урожаи с их помощью быстро росли, нужда в громоздких сажалках отпала. Со временем выяснилось, что гербициды убивают не только сорняки, но и отравляют всю окружающую среду, но это уже совсем иная история.

Вслед за казахстанской и сибирской «хлебной» началось освоение узбекской «хлопковой» целины, — обводнение Голодной степи и других полупустынных районов. Воду черпали из Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи, Вахша, Заравшана. В результате обводнения пустыни и полупустыни заготовки узбекского, таджикского, туркменского и даже казахстанского хлопка выросли более чем вдвое, в хорошие годы достигали 6–8 миллионов тонн. Одновременно все меньше воды доходило до Аральского моря. О возможных последствиях пока не задумывались даже академики, водные ресурсы казались неисчерпаемыми, а море безбрежным, на то оно и море. С годами Аральское море начало необратимо мелеть. К концу XX века стало ясно, что воды и для хлопка, и для Аральского моря не хватает. Люди пожертвовали морем, выбрали хлопок.

Хлеб. Людям или свиньям?

Отец радовался, хлеба заготовили вдоволь, но вдоволь тогда означало «в обрез», зерно предназначалось только для пропитания людей. Более того, хотя карточки отменили еще в 1947 году, ограничения продажи — не более двух буханок хлеба в

одни руки — продолжали действовать. Правда, последние пару лет их особенно не придерживались.

Тем временем на освобожденных законом 1953 года от уплаты налогов личных подворьях поголовье скота росло, и росло очень быстро. За прошедшие три года количество коров в единоличных владениях одних только горожан увеличилось на миллион сто тысяч голов, в том числе молочных, на триста тысяч, свиней стало больше на шестьсот тысяч, овец и коз на миллион триста тысяч, а птицы (кур, уток, гусей) практически несчитано.

Отец радовался: люди зажили лучше, более того, многие не только в магазины за продуктами не ходят, но и сами снабжают страну молоком, маслом, мясом и мясопродуктами.

Однако радость омрачалась все нарастающей с ростом поголовья скота проблемой — всю эту живность в личных хозяйствах требовалось кормить. Кормов же даже совхозам с колхозами не хватало. Проблема кормов вырастала в проблемищу. Руководители хозяйств изворачивались как могли, когда совсем приходилось туго, обращались с просьбой о выделении дополнительных фондов из государственных резервов. Эти призывы о помощи обычно не оставались без ответа. А вот единоличники на государственные резервы не рассчитывали, они ориентировались на свой источник дешевых кормов — в магазинах скупали на корм скоту дешевые целинные буханки и крупы. Об этом отец писал в записке в Президиум ЦК еще осенью 1954 года, но с тех пор мало что изменилось.

«Черный хлеб стоит примерно рубль килограмм (10 копеек в пореформенных 1961 года ценах), — подсчитывает отец на глазах у слушателей во время одного из своих выступлений. — Пять килограммов хлеба стоят около пяти рублей, если скормить его свиньям, то можно получить один килограмм мяса. Свинина стоит 18 рублей килограмм в магазине, на рынке же за килограмм дают пятьдесят рублей».

Выгодно? Несомненно выгодно, считает отец, но только не государству и не обществу. Все дело в цене, но цена на хлеб установлена политическая. До сего времени хлеб остается основным источником существования большей части населения. Поднять цены на него — пострадают самые бедные, к тому же «при Сталине снижали цены, а при Хрущеве поднимают».

Что тут делать?

Собственно, эффективных решений имелось всего два: или, повысив налоги, сделать «личное» животноводство нерентабельным, убить его, или поднять цены на хлеб. Ни тот, ни другой путь отцу не подходил. Он надеялся вывернуться иным способом, а вот каким — и сам не знал. Все эти годы он попросту

тянул время, а тем временем потребление хлеба в стране росло столь резко, что то и дело приходилось залезать в государственные резервы.

Проблема «дешевых буханок» обсуждалась не только в ЦК, но и дома. Аджубей, тогда уже главный редактор «Комсомольской правды», по вечерам читал отцу возмущенные письма читателей. Они «сигнализировали» о разбазаривании хлеба, требовали принятия решительных мер, и немедленно. Владимир Павлович Мыларщиков, старый знакомый отца, член Бюро ЦК КПСС по РСФСР и одновременно заведующий Сельхозотделом ЦК, при каждом посещении его на даче, а он наведывался туда довольно часто, со свойственной ему грубоватой откровенностью настаивал на наведении порядка.

«Стоит только ввести налог и восстановить госпоставки с индивидуальных хозяйств, — бубнил он, — как все встанет на рельсы».

17 — 18 мая 1956 года в ЦК провели совещание, посвященное увеличению производства мяса. Съехавшиеся на совещание секретари обкомов в один голос твердили: «Пора принимать меры, еще немного и частники скупят весь дешевый черный хлеб, торговля рухнет, придется вводить карточки». Отец напора не выдержал, согласился на репрессивные меры, но не по отношению ко всем, а только к содержащим скотину жителям «столиц союзных республик, областных и краевых центров, столицах автономных республик (за исключением территорий, расположенных на Крайней Севере)». Свою капитуляцию он обставил «демократической» процедурой: 29 июня 1956 года проект Закона о хлебе и единоличной скотине опубликовали в газетах, выставили на всеобщее обсуждение.

Как его обсуждали, я запамятовал. 27 августа Постановление Правительства «О мерах борьбы с расходованием государственных фондов хлеба и других продовольственных продуктов на корм скоту» вступило в силу. В его преамбуле стыдливо объяснялось, что горожан не наказывают, а просто приравнивают к колхозникам, которые налог со своего подворья платят и в госпоставках участвуют, — другими словами, тем самым восстанавливается справедливость. Далее расписывались нормы взимаемого налога на скотину и размеры обязательных поставок: сколько молока и мяса теперь надлежит сдавать государству. Устанавливалась и «справедливость»: штраф 500 рублей за скармливание покупного хлеба животным, а если попадешься вторично — тысяча.

Произошедшее отец считал, заставлял себя считать, досадным проходным эпизодом — благосостояние народа

обеспечат не средневековые личные наделы, где главные сельскохозяйственные инструменты — лопата да грабли, а современные, механизированные не хуже американских, совхозы и колхозы. Он не сомневался, что время единоличников прошло; не выдержав конкуренции с дешевым колхозным мясом, частник сам не захочет возиться со скотиной, надобность давить его налогами отпадет, совхозы и колхозы решат «вопрос полного обеспечения населения страны мясом и мясными продуктами. Мы должны мобилизовать все усилия, чтобы производство сельскохозяйственных продуктов росло быстрее, чем потребности».

Этого постановления отцу не простят и не забудут те простые люди, о благе которых он так заботился.

Кукуруза продвигается на север

Без кормов производство мяса и всего остального не могло расти в колхозах с совхозами, и не только быстрее потребностей, но вообще хоть как-то расти. Тут все во многом упиралось еще в вековую российскую традицию кормить скотину отходами.

В годы моей молодости распевали частушку:

Мой миленок, как теленок,
Только разница одна,
Что теленок ест помои,
А миленок никогда.

Что с частушки взять? Но и высшее руководство страны долгое время считало, что скотину следует кормить отбросами с собственного стола или чем-то для человека несъедобным, вроде сена или соломы.

Отец рассказывал о своих разговорах на эту тему со Сталиным. Как-то еще до войны они на Украине выделили на откорм свиней часть заготовленного зерна и еще что-то. Узнав о «самоуправстве», Сталин возмутился, вызвал отца к себе в Сочи, где он тогда отдыхал. Разговор вышел неприятный и даже опасный: отец настаивал на своей правоте, Сталин его не понимал, не хотел понимать, начал сердиться.

— У нас на Кавказе, — объяснял Сталин отцу, — свиньи сами добывают себе пропитание. Они животные сообразительные. Их не только не кормят, а на шеи надевают специальный треугольный ошейник из деревяшек, чтобы они под заборы не подкапывались, не залезали в огороды. А вы им рестораны

устраиваете!

Разрешения использовать зерно для откорма скота отец тогда так и не добился.

Дело упиралось не только в Сталина. Так же, как и он, думало большинство россиян. Требовалось изменить их сознание, внедрить в него, что овес, сено, тем более солома — традиционный корм российских буренок — проблемы не решат, урожаи овса — мизерны, питательных веществ в сене мало, а в соломе почти нет, а значит, чтобы производить мясо в достатке, нужны горы сена, соломы, под них придется отнять у куда более питательных зерновых миллионы и миллионы гектаров. Свиньям тоже необходим калорийный корм, одними отрубями да помоями тут не обойтись.

И снова все сошлось на кукурузе. Я своими назойливыми возвращениями к кукурузной теме, наверное, надоел читателям не меньше, чем в свое время отец надоел своим слушателям. Но ничего не поделаешь, кукурузу из моего повествования не выкинуть, как не выкинуть ее из истории человеческой цивилизации.

Отец снова, уже в который раз, обсуждал проблему кормов с учеными-аграриями. Они снова представили ему сравнительные таблицы эффективности всех мыслимых и даже немыслимых кормов в расчете их расхода на килограмм мясного привеса. Верный помощник отца Шевченко подобрал всю доступную информацию, особенно зарубежную. Ничего нового обнаружить не удалось — свет клином сходился на кукурузе. Пшеница с рожью не уступали ей в эффективности, но сильно проигрывали в урожайности.

Ученые подтвердили сделанные в предыдущие годы выводы: на силос, на зеленый корм скоту кукурузу надо и можно сеять значительно севернее ее исторически сложившейся еще в Российской империи границы Киев — Сумы — Харьков — Ростов. Насколько севернее — подскажет опыт. Опыт же к тому времени накопился и за рубежом, и у нас в стране.

Я уже говорил о многообещающих кукурузных экспериментах отца в Подмосковье в начале 1950-х. В те же годы «баловался» кукурузой и Секретарь Читинского обкома КПСС Геннадий Иванович Воронов, и это несмотря на то, что Чита вплотную граничит с зоной вечной мерзлоты. В 1950 году его даже «пропесочили» за кукурузу на Оргбюро ЦК КПСС.[36] Комиссия Управления кадров ЦК проверила, как обстоят дела в области, и представила начальству весьма «кислое» заключение.

«Крамолой, обнаруженной комиссией, стала кукуруза, — вспоминал Воронов, — ее во многих наших колхозах и совхозах

сеяли на корм скоту, не получая при этом спелого зерна (семена завозили с Украины). Впрочем, на некоторых личных участках корейцы и китайцы, их среди местного населения было немало, сажали скороспелые сорта кукурузы и получали зерно полной спелости.

Последний по счету, но вовсе не по значению пункт обвинений комиссии: мы не ввели у себя травопольную систему. Хотя каждому здравомыслящему человеку было понятно, почему мы этого не сделали (ни клевер, ни люцерна в наших условиях не вызревали), и это лыко поставили нам в строку».

Слова Воронова малопонятны рядовому читателю, а они чрезвычайно важны. Противники кукурузы напирали на развитие сенокосов, они-де, а не заокеанская теплолюбивая кукуруза обеспечат процветание животноводства в России. Наиболее продуктивные травы — люцерна с клевером. Вот только, по мнению Воронова, все абсолютно наоборот.

На заседании Оргбюро Воронов не оправдывался, а попытался «просветить» слушателей. Возглавлявшего комиссию заместителя начальника управления кадров ЦК Г. В. Кузнецова «просветительство» Воронова вывело из себя. Он считал, что «читинцы» погрязли в «варварстве и средневековье, кукуруза — южная культура, все это авантюризм, Читинский обком неизвестно зачем тащит ее в суровые условия Забайкалья». Воронов не согласился, завязалась перепалка. На сторону Воронова встал отец. Он тоже входил в состав Оргбюро.

«Хрущев буквально взорвался, — пишет Воронов, — он так “отмолотил”, проверявшую нас комиссию, что ее председатель не знал, куда деваться. “Прочитал я записку комиссии, — сказал Никита Сергеевич, — и ничего не понял. А из доклада товарища Воронова мне стало ясно, что областная партийная организация работает неплохо и промышленность, и особенно сельское хозяйство, ведутся правильно”.

Уж не знаю, “царица” она полей или нет, — продолжает Воронов, — но кукурузой после этого заседания Оргбюро мы стали заниматься еще активнее, ведь результаты-то вот они: какой колхоз или совхоз, уделявший серьезное внимание кукурузе ни возьми — в каждом резко увеличились надои молока! И это, замечу, не только у нас, но и в Новосибирской области, Красноярском крае, в районах Сибири и Дальнего Востока.

Пишу я об этом вот для чего: кто хотел понимать, тот понимал значение кукурузы не только как зерновой, но и как по существу единственной силосной культуры. Я занимался ею и без нажима со стороны Н. С. Хрущева. Кто понимать не хотел,

сочинял анекдоты о том, как Никита Сергеевич “продвигал кукурузу на Северный полюс”. В равной мере сказанное относится и к кормовым бобам — культуре, которую тоже активно пропагандировал Хрущев. Что же до записных остроумцев — так не они ли сейчас льют слезы по поводу нехватки в магазинах мяса и молока?»

Я хорошо помню Воронова, он впоследствии станет главой Правительства РСФСР. В отличие от Брежнева или Полянского с Шелепиным, он не навязывался отцу в друзья, не лебезил, «задирался» по каждому несогласию, никогда не таился. Не думаю, что приведенное выше свидетельство Воронова переубедит недоброжелателей отца, но «доброе слово и кошке приятно».

Кукуруза на полях Читинской и Новосибирской областей — это наш, доморощенный опыт. За границей кукуруза, при внимательном рассмотрении, тоже давно перестала считаться южной культурой. На корм скоту ее выращивают даже в Канаде, а североамериканский континент климатически значительно прохладнее Евразии. Совпадение географических параллелей мало что значит: северная граница США проходит где-то по параллели Краснодарского края, а морозы там, к примеру в Миннесоте, — вологодские, и снега за зиму насыпает под три метра. Конечно, початки кукурузы в Миннесоте, как и у Воронова в Чите, не вызревают, но этого и не требуется, их вместе со стеблями перемалывают в зеленый кукурузный салат, я об этом уже писал, часть его консервируют на зиму в силосных башнях, остальное скармливают коровам и свиньям в свежем виде. Американцы и канадцы вообще отказались и от сена, и от вольного выпаса скота. По их расчетам, это экономически не оправдано. Живность держат, в зависимости от климата, в специальных помещениях или загонах, корма туда доставляют по расписанию, и только те, что предписаны рационом. Оно и понятно, чтобы прокормить такую страну, как США, требуются десятки и сотни миллионов голов рогатого скота, свиней и всего прочего. Тут никаких выпасов, я уже не говорю о «помоях для телят», не хватит.

В том, что кукуруза на силос растет на самом севере США, я видел своими глазами. Осенью 2000 года меня пригласили прочитать студентам лекцию в одном из университетов Верхнего Нью-Йорка. Так называется северная часть этого штата. От штата Род-Айленд, где мы живем с женой, это недалеко, на машине часов пять езды по хорошей дороге. В нашем регионе сельское хозяйство уже полтора века как забросили — почва здесь неплодородная. Поля бывших первопроходцев давно заросли

лесами. В штате Нью-Йорк ландшафт изменился, леса сменились полями: пшеничными, сахарной свеклы, но больше кукурузными. Ее как раз косили на силос.

В университете, после лекции, я поинтересовался у профессоров, там сильный сельскохозяйственный факультет, как они обходятся с кукурузой у себя на севере. Собеседники смотрели на меня с удивлением: кукуруза здесь давно прижилась, сев начинается в мае и, хотя первые заморозки случаются в конце сентября, а иногда и снежком порошит, трех месяцев с хвостиком кукурузе хватает. Если, конечно, не лениться.

Ничего удивительного, что заручившись поддержкой науки, отец начал продвигать посевы кукурузы на север. Сначала до Орла, потом до Москвы и далее вплоть до Ленинграда и Прибалтики. В одной из своих речей, желая подзадорить слушателей, он пообещал «в этом году обязательно вырастить кукурузу в Якутии, а может быть, и на Чукотке. Картофель там растет? Растет. Думается, что и кукуруза вырастет». Эти слова — чистой воды пропаганда, призыв. Сколько теплых дней требуется кукурузе для достижения кондиции, отец мог ответить, даже если его разбудить среди ночи. В Якутии их явно не хватало. Но слова его запомнили, поминают их и по сей день, всерьез приписывают отцу намерение выращивать кукурузу на Северном полюсе.

На север кукуруза продвигалась со скрипом. Крестьяне — народ консервативный. В первый год в Орловской области из полумиллиона гектаров пашни под кукурузу отвели всего двадцать гектаров. Посеяли и забыли о ней. Так она там в зарослях бурьяна и зачахла. Собственную нерадивость объяснили неприспособленностью кукурузы к «суровым» орловским условиям. Если под «суровыми условиями» понимать отсутствие ухода, то возразить тут нечего. В Подмосковье, где отец еще в 1950 году взялся за продвижение новой культуры на поля, дела обстояли получше. Но и тут он буквально заставил своего приятеля, директора совхоза «Горки-2», расположенного возле его дачи Горки-9, засеять кукурузой пару десятков гектар. Директор с отцом ссориться не хотел и не мог. В успех же он не верил.

Посевной руководил все тот же верный «Санчо Панса» отца Андрей Шевченко. Вечерами, по дороге с работы, отец заворачивал то на одно поле, то на другое, «инспектировал». Под его наблюдением тракторист во время рыхлил междурядья, подрезал культиватором сорняки. К июлю директор перешел в «кукурузную веру», а к концу августа, когда она вымахала аж под три метра, совхозный агроном верхом на лошади на фоне кукурузных «джунглей» позировал фотографу из «Огонька».

Не знаю, как на Орловщине, но в «Горках-2» кукурузу сеяли

при отце и после отца, до самого окончания XX века. Сеют ли ее сейчас, я просто не в курсе.

В пенсионные года отец любил рассказывать, как он продвинул кукурузу в ГДР, и не в государственные хозяйства, а фермерам-единоличникам. В Восточной Германии, как исторический анахронизм, сохранялась Христианско-демократическая партия. В Западной Германии христианские демократы процветали, а в ГДР их партию терпели, демонстрируя тем самым демократизм и веротерпимость. Во главе партии стоял фермер, звали его Отто Нушке. Я писал, как во время забастовок июня 1953 года он то ли сбежал на Запад, то ли его похитили. Когда все поутихло, он возвратился и продолжал руководить Христианско-демократической партией.

Во время одной из своих поездок в Германию отец разговорился с Нушке и, узнав, что на своей ферме он держит молочное стадо, стал настойчиво уговаривать попробовать кукурузный силос. Нушке с кукурузой до того не сталкивался и от прямого ответа увиливал. Отец буквально вырвал у него обещание засеять пять гектаров. По возвращении в Москву, разговор состоялся в марте, отец тогда ездил в ГДР на Лейпцигскую ярмарку, он велел Шевченко запастись семенами и собираться в путь. Приезду Шевченко Нушке отнюдь не обрадовался, пять гектаров под кукурузу пожалел, отделался половиной гектара самой бросовой земли, где все равно ничего не росло. Шевченко собственноручно засеял делянку, летом не раз наведывался к Нушке. Немцы лениться не приучены, у Нушке, как и в «Горках-2» под Москвой, кукуруза к концу лета достигла трехметровой высоты.

Осенью Нушке позвонил Шевченко и попросил прислать семян на следующий год, и побольше, его соседи тоже хотят сеять кукурузу.

Недавно, уже в начале XXI века, мне довелось из конца в конец пересечь объединенную Германию на поезде. В перерывах между чтением, скучая, глядел в окно: леса, перелески, пшеничные и овсовые поля и… нескончаемые, по самый горизонт, заросли кукурузы. В отличие от России, в Германии уроки отца усвоили. Кукуруза там — не тема для анекдотов, а основа благосостояния кормящихся своим трудом фермеров-бауэров, наследников Нушке, его соседей и соседей его соседей. На кукурузном силосе нагуливает мясо скотина. Ее мясом немцы набивают колбасу, которую, себе не в убыток, продают по всему миру.

В 2006 году обстоятельства привели меня в Голландию — страну тюльпанов. Я, как и Германию, проехал ее из конца в

конец сначала поездом, потом машиной. Тюльпановые плантации попадались не часто, а вот кукуруза там растет на каждом свободном участке земли. Голландцы, с помощью коров, перерабатывают кукурузу в свой знаменитый сыр.

Отец любил повторять: «Перемелется, мука будет. Поверят в кукурузу и у нас, не могут не поверить, и тогда мясом, молоком и маслом накормят и напоят россиян вдоволь».

Наверное, поверят. Россияне уверовали в картошку примерно век спустя после первого Екатерининского указа о ее принудительных посадках. В середине XIX века к картошке относились еще весьма подозрительно, а к началу XX без нее уже не мыслили обеда ни в богатом доме, ни в бедном. Так что остается ждать и, закусывая немецкой колбаской, выслушивать анекдоты о чудаке Хрущеве и его «чудеснице полей» — кукурузе.

«Не хлебом единым…» (Отступление шестое)

В августовском, 1956 года, номере «Нового мира» начали печатать «Не хлебом единым» Владимира Дмитриевича Дудинцева. В ней рассказывалось о нелегкой судьбе изобретателя, пробивавшего и не пробившего через бюрократов в сталинские времена, они прямо не обозначены, но легко угадываются, очень необходимое для страны изобретение. Я уже не помню, что это было такое — то ли новый огнетушитель, то ли еще что — неважно. Важно другое: в процессе борьбы у героя возникает роман с женой того человека, от кого зависит судьба изобретения, затем тайное становится явным, следует лживый донос обманутого мужа в органы, приговор, лагерь. И апофеоз: смерть Сталина, реабилитация. Но поздно, жизнь разбита, здоровье подорвано, изобретение не реализовано. В итоге — инфаркт и смерть. В общем, печальная история.

Повесть Дудинцева взорвалась бомбой. Как это у нас зло побеждает добро?

— В советской стране такое невозможно! — вопили одни. И верно. Еще три года назад в литературе царствовали «бесконфликтность», теория противопоставления хорошего совсем уж отличному, и нате вам…

— В советской стране и не такое происходит! — резонно возражали с другого фланга.

За что им сразу прикрепляли ярлык «очернителей».

Весьма посредственная книжка стала сенсацией, не литературной — политической, по своему общественному резонансу даже созвучной с «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына.

Сторонники и противники Дудинцева схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Противники оказались сильнее, они контролировали и идеологический аппарат, и прессу. Но и сторонники не сдавались, они рассчитывали на поддержку отца. Но тут грянули события в Венгрии, и отец оказался в стане противников. Ему казалось, что лодка нашей государственности раскачивается слишком сильно, если не принять меры, можно и опрокинуться.

Не скажу, что повесть отцу понравилась. Ему, поклоннику Льва Толстого и Николая Лескова, импонировали произведения иного стиля, но и у Дудинцева некоторые места показались ему очень сильными. В одно из воскресений, уже осенью, помнится, листья с деревьев почти облетели, они с Микояном, гуляя по окружавшим их соседствующие дачи перелескам, заговорили о Дудинцеве. Даже не столько о нем самом и его произведении, сколько о вызванном повестью «возбуждении умов в Москве». Отца оно настораживало. Микоян, ему повесть однозначно нравилась, успокаивал отца: «Он прямо тебя подслушал, Никита, вспомни, как он пишет о бюрократах, гробящих новаторов, и изобретателях».

— Верно, все верно, — соглашался отец, — написано правдиво и очень остро, но я критикую с целью устранения недостатков, указываю пути их преодоления, а Дудинцев те же недостатки смакует.

— Но ты же стоишь во главе государства, а он писатель, — возражал Микоян.

— Так-то оно так, — соглашался отец, и тут же возражал, — но сам, не желая того, он превращается в рупор наших врагов, в глазах реакционной заграничной прессы становится героем, борцом против Советского государства.

Дальше отец заговорил о «Кружке Петефи», события в Венгрии осенью 1956 года накладывали свой отпечаток на все происходившее у нас в стране. Микоян слушал отца, не возражая. Я, естественно, не вмешивался в разговор старших.

— Мы не можем, прикрываясь тем, что происходит демократизация нашей жизни, оставаться нейтральными, — продолжал отец. — Мы же не зрители, а руководители, и потому обязаны направлять процесс.

Микоян кивнул головой. К Дудинцеву они больше не возвращались, заговорили о каких-то на тот момент более важных делах.

Через несколько месяцев отец повторит свою оценку «Не хлебом единым» на встрече с писателями в ЦК КПСС. Повторит почти слово в слово. Наверное, он высказывался в подобном духе и ранее.

Почувствовав его поддержку, идеологи из ЦК приняли меры. Дудинцева поприжали, гайки подзакрутили, правда, ненадолго. Вскоре наступило новое «потепление», повесть Дудинцева напечатали стотысячным тиражом отдельной книгой. Такое «тянитолкайство» отражало суть происходившего в те годы. Отец реформировал страну, но так, чтобы ее не разрушить. Вот и приходилось маневрировать.

Юбилей Шостаковича

25 сентября 1956 года исполнилось пятьдесят лет Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, крупнейшему композитору современности, как написали о нем газеты. Рядом публиковался Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении композитора орденом Ленина, самой престижной по тем временам наградой, и у него далеко не первой. Сталин тоже не обходил композитора вниманием, верный своей манере общения с интеллигенцией, он то подвергал Шостаковича гонениям, то осыпал милостями. Вслед за опалой 1936 года, тогда ему не понравились ни его авангардная опера «Леди Макбет Мценского уезда», ни традиционный балет «Светлый ручей», в 1941 году Шостаковичу присуждают Сталинскую премию. В 1942 году — еще одну — за Ленинградскую симфонию. В третий раз Сталинским лауреатом Шостакович становится в 1946 году. В 1948 году снова опала, все за ту же, давнишнюю «Леди…», теперь уже в компании с композитором Вано Мурадели и другими достойными музыкантами.

Перестают исполнять музыку Шостаковича, его увольняют из Ленинградской и Московской консерваторий, но ненадолго. Композитор оправдывается музыкой к фильмам о Сталине «Падение Берлина» и «Незабываемый 1919-й», награды следуют незамедлительно — Сталинская премия в 1950 году и еще одна, пятая по общему счету, в 1952-м.

Взлеты и падения, падения, грозившие арестом, допросами, пытками. Сталинская любовь и следовавшая за ней новая опала вконец измотали Шостаковичу нервы. Смерть Сталина он воспринял с облегчением, жизнь его «наконец в безопасности».

В декабре 1953 года исполняется Десятая симфония Шостаковича. Музыкальные критики впоследствии назовут ее первым, еще до Эренбурга, произведением, возвестившим наступление «оттепели» после морозов сталинской «зимы».

В 1954 году Шостакович становится лауреатом Международной Сталинской премии мира, а в 1958 году еще и Ленинской премии.

В 1961 году Шостакович вступает в партию и становится Первым секретарем Союза композиторов Российской Федерации, а Вано Мурадели, его товарища по несчастью 1948 года, избирают главой московского Союза композиторов. Вся музыкальная жизнь России отныне в их руках.

В декабре 1962 года в Московской консерватории симфонический оркестр Евгения Мравинского впервые исполняет антисталинскую симфонию «Бабий Яр» на стихи поэта Евтушенко. В ней Шостакович проводит тему репрессий, сталинских и гитлеровских, напоминает, что «страхи всюду, как тени скользили, проникали во все этажи».

Отец к Шостаковичу относился с уважением, но ни в друзья не набивался, ни критикой его произведений не баловался. Они существовали как бы параллельно, отец — в заботах о государстве, Шостакович жил своей музыкой. Изредка встречаясь на приемах или премьерах, пожимали друг другу руки и расходились.

Одно последнее замечание. Сейчас принято считать, что Шостакович не вступил в партию, а туда его загнали насильно, чуть ли не угрозами. Такова дань времени, зеркальное отражение прошедшей эпохи с переменой знаков плюс на минус. Это неправда. Тогда действовали иные установки. Партия числилась рабочей, а стремилась в нее в основном интеллигенция: писатели, журналисты, инженеры. ЦК даже издало специальную директиву: рабочих принимать без ограничений, остальных же — в пределах спущенного лимита. Чтобы просто подать заявление о приеме в партию, композитору или ученому приходилось ожидать своей очереди годами. Об этом теперь вспоминать не принято, но что было, то было.

В свою очередь, отец считал членство в партии привилегией, а не обязаловкой. Он одинаково высоко ценил коммуниста Королева и беспартийного Туполева, и к последнему с партией не навязывался. Я тому свидетель. Он с восторгом отнесся к просьбе академика Евгения Оскаровича Патона о приеме в партию, но решение это принимал на исходе своей жизни сам Патон, а не Хрущев. Не думаю, что в отношении Шостаковича он вел себя иначе. Никто же иной на величину калибра Шостаковича давить бы просто не посмел, ни райком, ни горком. Они могли предложить ему стать членом партии, но заставить его, зная, что последует, если он пожалуется отцу, — такого я себе не представляю.

Новые театры

15 апреля 1956 года в помещении Московского Художественного театра состоялся первый спектакль театральной студии «Современник», а уже в октябре 1956 года состоялся первый сбор актеров нового молодежного театра «Современник», театра Олега Ефремова. До этого театры только закрывали — театр Мейерхольда, театр Таирова, перечислять закрытые театры можно долго. Свой первый спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые» ефремовцы представили публике со сцены МХАТа. Вскоре театр переехал в собственное здание на площади Маяковского (Триумфальной). Очередь за билетами в «Современник» выстраивалась с ночи.

Вслед за «Современником» в Москве появился еще один театр — «Кремлевский». Его создали внутри Кремля, в здании, где размещалось правительство, на базе шикарного клуба кремлевской обслуги. Отец попал туда однажды на какое-то собрание и возмутился: «Как это такой зал пустует?» И тут же распорядился: «Отдайте его москвичам».

Сетования, что работники Кремля лишатся места проведения досуга, он парировал советом посещать новый театр, спектакли там пойдут ежедневно, в клубе же они собираются от силы раз в неделю. Зашли с другой стороны, попытались припугнуть отца: театр располагается в том же помещении, что и Совет Министров, как бы чего не вышло. Отец, в отличие от Сталина, покушений не боялся и пропустил предостережения мимо ушей. Он не исключал такой возможности, страна большая, люди в ней разные, но, пройдя войну, не раз находясь на волосок от реальной, а не вымышленной угрозы смерти, к потенциальным покушениям относился фаталистически, как к сброшенной с немецкого юнкерса бомбе: даст Бог — минует. А не минует, значит, так на роду написано. За долгие годы пребывания отца у власти на его жизнь никто не покусился.

Вскоре Кремлевский театр открыли для публики. В нем выступали в основном приезжавшие в Москву гастролеры. Вечером 28 октября 1962 года вслед за разрешением Кубинского кризиса отец смотрел там спектакль «У Витоши»[37] Софийского драматического театра из Болгарии. Тем самым он продемонстрировал стране и миру: все в порядке, волноваться не стоит. Кремлевский театр просуществовал недолго. После отставки отца ему вернули статус закрытого Кремлевского клуба.

Итиро Хатояма и мирный договор с Японией

13 октября 1956 года в Москву прилетел премьер-министр Японии Итиро Хатояма. Тяжело больной, полупарализованный

Хатояма с трудом перенес перелет, но не приехать в Москву он себе позволить не мог. После того, как в сентябре прошлого 1955 года немецкий Канцлер Конрад Аденауэр уладил отношения с СССР — не только договорился о возвращении домой военнопленных, но и возобновил контакты в экономике и торговле, в Токио на премьер-министра давили со всех сторон.

14 октября в Кремле начались переговоры. По поручению не вставшего с постели Хатоямы их вел Ициро Коно, министр земледелия и рыбной промышленности. Они с отцом достаточно быстро нашли общий язык. Договорились о возвращении домой шестисот тысяч пленных японцев. Хрущев согласился амнистировать японских генералов, осужденных за военные преступления. Пока в принципе обсудили основные положения мирного договора, включая соглашение о границе. Согласно Ялтинским договоренностям между союзниками, подтвержденным в 1952 году Сан-Францисским мирным договором (Сталин его по каким-то своим соображениям подписать отказался) к Советскому Союзу, в числе других территориальных приобретений, отходила вся цепь Курильских островов от южной оконечности советского полуострова Камчатка до северного побережья японского острова Хоккайдо. С этим тогда никто не спорил, а вот теперь, что такое Курильские острова, стороны трактовали по-разному. Японцы делили их на просто Курильские острова и два южнокурильских острова Кунашир с Итурупом, которые, по их пониманию, СССР оккупировал незаконно. Они старались получить их обратно, а в придачу не входящий в Курильскую гряду островок Шикотан вместе со скальной грядой Хабомаи (на русских картах значатся как остров Полонского, Зеленый и еще как-то). Всякие переговоры — это торг, стороны запрашивают побольше, чтобы потом получить хоть что-нибудь.

Советские руководители Курилы на Северные и Южные не делили, считали все острова своими, так же, как и Шикотан с Хабомаи. После долгих препирательств японцы сняли свои претензии на Итуруп с Кунаширом, отец же пообещал после подписания мирного договора не вернуть, а в качестве жеста доброй воли передать Японии советские территории Шикотан и Хабомаи, и тем самым закрыть территориальный вопрос.

Отцу сделка представлялась выгодной, мирный договор открывал перспективы экономических связей с японцами, а они стоили двух малозначащих по понятиям тех лет клочков земли. Напомню, что в 1956 году не существовало такого понятия, как обширная, четырехсотмильная, морская экономическая зона вокруг любого принадлежащего стране, пусть и пустынного,

клочка земли. В те годы речь шла только о самих островах.

Премьер-министр Хатояма решением вопроса тоже остался очень доволен, он не только возвращал домой своих военнопленных, но еще и получал в подарок два, пусть и крошечных, островка.

Стороны расстались удовлетворенные друг другом. Хатояму встретили в Токио аплодисментами. Японский парламент без особых возражений ратифицировал договор.

Но тут в дело вмешались американцы. Джон Фостер Даллес пригрозил японцам: если они подпишут мирный договор с Советским Союзом, откажутся от претензий на Итуруп и Кунашир, то США заберут себе японскую Окинаву. Мирный договор не подписали. Вопрос завис.

Ленинские премии

6 ноября 1956 года, в канун празднования годовщины Октябрьской революции, учредили Ленинские премии за достижения в науке, технике, культуре, литературе. Собственно, их не учредили заново, а, как записано в решении Президиума ЦК, восстановили.

Дело в том, что Ленинские премии придумали еще в 1925 году, и присуждались они в последующие десять лет, вплоть до 1935 года. В 1935 году Сталин не вернул посланный ему на утверждение список очередных ленинских лауреатов. Напомнить ему никто не решился. На следующий год все повторилось.

Вскоре ситуация прояснилась, в декабре 1939 года, к своему 60-летию Иосиф Виссарионович решил установить Сталинские премии. Формальное решение Совет Народных Комиссаров принял 1 февраля 1940 года. Ленинские премии не отменили — о них как бы забыли. А теперь вот вспомнили. Впервые о них на заседании Президиума ЦК 5 ноября 1955 года заговорил Микоян: «Сталинские премии есть, а Ленинских нет. Никто не ставит вопроса, но надо подумать». Микояна поддержал Ворошилов. Но дело дальше не пошло, в преддверии XX съезда головы членов Президиума ЦК занимали другие проблемы. В марте 1956 года вновь заговорили о Ленинских премиях, уже по инициативе Хрущева. Решили подготовить соответствующее решение.

Помню, как отец тогда возмущался нескромностью Сталина, учредившего премии собственного имени и забывшего о Ленине. Много тогда говорили и о пагубности многократных присуждений Сталиным «своих» премий особенно полюбившимся ему писателям и композиторам, таким, как Симонов, Шостакович или Сергей Михалков. Почему-то это у всех вызывало раздражение, а возможно, и попросту зависть. Поветрие не миновало и отца. 5 июля 1956 года при обсуждении Президиумом ЦК положения о Ленинских премиях он предложил присуждать их не ежегодно, а раз в три года, и только однократно, за исключительно эпохальные достижения. Все согласились. Вот только не определили, как заранее отличить эпохальные достижения от не совсем эпохальных. В первые годы особых трудностей не возникало, правда, отца уговорили отказаться от трехлетнего цикла, очень уж многим, весьма достойным людям не терпелось получить новое звание. Премии стали присуждать ежегодно.

Вскоре выяснилось, что награжденные Ленинской премией однажды совершили еще нечто достойное вторичного награждения. Талантливые люди обычно не останавливаются на

достигнутом: конструкторы создают новые машины, художники — новые полотна, композиторы — новые оперы и симфонии. Однако отец пересматривать Положение о премиях отказался, и тут вспомнили о Сталинских премиях. Их тоже никто не отменял, но новые Сталинские премии не присуждались, а после XX съезда, несмотря на призыв отца «Носить заслуженно полученные награды с гордостью…», медали с ликом Сталина люди надевать стеснялись.

В 1961 году Сталинские премии переименовали в Государственные и возобновили их присуждение, и не однократное, а без ограничений, в том числе и ленинским лауреатам.

День за днем

1 сентября на дневных отделениях высших учебных заведений СССР приступили к занятиям 222 тысячи 400 первокурсников.

6 сентября в Ленинграде и 8 сентября в Москве выступает Бостонский симфонический оркестр из США. В программе Бетховен и Гайдн, а так же абсолютно неизвестные нам американские композиторы Пистон и Крестон. Дирижируют оркестром попеременно Чарльз Мюнш и Пьер Монте.

Вслед за Бостонским оркестром в Москву приезжает американский певец Жан Пирс.

Одновременно в заграничные турне отправляются советские музыканты: пианист Эмиль Гилельс, скрипач Давид Ойстрах, виолончелист Мстислав Ростропович.

8 сентября решили повысить минимальную зарплату до 300–500 рублей в месяц в зависимости от отрасли промышленности и одновременно увеличили, необлагаемый налогами минимальный доход с 250 до 370 рублей в месяц. Все это крохи, но больше не получалось. Тем же постановлением отменили и налог на малоимущих холостяков. Сталин ввел его 21 ноября 1941 года с целью стимулировать рождаемость. Он считал, что неженатые мужчины, бездетные женщины детородного возраста, семьи, где мало детей, как бы уклоняются от исполнения своих «производительных» обязанностей перед обществом и должны за это расплачиваться. Я сам, будучи студентом, платил «холостяцкий» налог со своей стипендии.

Повышение зарплаты, отмена налогов сокращали поступление в бюджет. Министерство финансов роптало. Отец понимал их проблемы, дело финансистов сводить расходы с доходами, радея за увеличение последних. Но и о людях не следует забывать, помнить, что бюджет — для людей, а не люди для бюджета. Вот и приходилось постоянно балансировать, скрупулезно выверять соотношение расходов и доходов. Не дай бог, если денежные выплаты «пустыми» необеспеченными рублями превысят объем выпуска потребительских товаров — того, что лежит на магазинных полках. «Лишние» деньги в одночасье опустошат прилавки, придется вводить карточки, как уже не раз случалось в прошлом. Отец делал все, чтобы прошлое не повторилось.

13 сентября 1956 года в Москве, в помещении Малого театра, пьесой Мольера «Дон Жуан» открываются гастроли Парижского Национального народного театра.

В сентябрьском номере журнала «Юность» напечатали первую повесть любимого мною писателя Анатолия Тихоновича Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского».

22 сентября в Московском Большом зале консерватории свой первый концерт дает Лондонский симфонический оркестр.

15 октября в Москве, а с 18 октября и в Ленинграде открывается фестиваль итальянского кино.

27 октября 1956 года в «Правде» появилось сообщение ТАСС: «В залах Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка произведений художника Пабло Пикассо, посвященная его 75-летию со дня рождения. На открытие ее собрались деятели культуры и искусства столицы…» Далее перечислялось, кто пришел, кто выступал.

По тем временам выставка Пикассо — событие неординарное. Еще в 1936 году Сталин приказал «изъять из экспозиций Третьяковской галереи и Русского музея (а значит, и всех остальных музеев), произведения формалистического и грубо натуралистического характера». В число нехороших художников попал даже Врубель, не говоря уже об импрессионистах и кубистах. Их картины на долгие годы сослали в запасники. После войны, в 1948 году, по предложению Ворошилова и с согласия Суслова, в рамках кампании борьбы с космополитизмом закрыли Государственный музей

нового западного искусства «как вредный и ненужный рассадник формалистических взглядов и низкопоклонства перед упаднической буржуазной культурой». Гонениям подверглось не только современное, но и за некоторым исключением вообще западное искусство.

В 1950 году Пушкинский музей превратили в постоянно действующую выставку подарков Сталину.

Возрождение началось с восстановления весной 1953 года нормальной экспозиции в Пушкинском музее, а во второй половине года в залах Академии художеств открылась первая за многие годы зарубежная экспозиция: «Выставка финского изобразительного искусства», за ней последовало «Искусство Индии». Через пять лет на них никто бы и внимания не обратил, а тогда люди выстраивались в очереди, чтобы глянуть на заграничные картины и скульптуры. Во избежание столпотворения посетителей пускали строго дозированными порциями.

Однако по-настоящему широко ворота перед западным, традиционным и авангардным искусством открылись в 1955 году. Вслед за демонстрацией сокровищ Дрезденской галереи 5 мая 1955 года прошла выставка французского искусства XV–XX веков из собраний музеев СССР. На ней представили работы импрессионистов и постимпрессионистов из фондов закрытого Ворошиловым музея Западного искусства.

В 1956 году, кроме выставки работ Пикассо, прошли: 26 марта — 8 мая «Выставка английского искусства» из 513 экспонатов, с 26 мая по 25 июля «Выставка произведений Рембрандта» (430 картин), 18 августа — 4 октября — «Французская живопись XIX века», 16 октября — 12 ноября — «Японское искусство», 24 октября — 12 ноября — «От Менье до Пермеке», выставка «Бельгийского искусства конца XIX–XX веков, в ноябре — «Офорты Фрэнка Бренгивина», в декабре «Западно-европейская гравюра XVI–XX веков», 10 декабря в Третьяковской галерее впервые за долгие годы открылась выставка картин Врубеля, приуроченная к столетию со дня его рождения.

Выставка Пикассо проработала в Москве до 12 ноября. Затем она переехала в Ленинградский Эрмитаж. Сам художник в СССР так и не приехал, хотя его и очень звали, но и без него необычное и непривычное искусство

автора, известного в СССР только своей «Голубкой мира», произвело фурор. Одни искренне восхищались, другие — столь же искренне возмущались, третьи — восхищались но только для вида, чтобы не казаться ретроградами, четвертые недоумевали.

Для примера приведу две записи из книги отзывов Эрмитажа. «После осмотра подобной выставки, ощущаешь себя туземцем, попавшим с необитаемого острова на материк…» — записал «аноним».

«Что можно здесь сказать? / Картины я смотрел, / Затем в изнеможении присел, / Почувствовал, что так опикассел, / Что и сейчас мне верится с трудом, / Что это Эрмитаж — не сумасшедший дом». И подпись: «Зритель».

Мнения разные, но главное — люди увидели своими глазами то, что хотели увидеть, то, что им до сего времени не показывали.

С 18 ноября в СССР проходит неделя финского кино.

27 ноября 1956 года газеты опубликовали некролог Александру Петровичу Довженко, великому кинорежиссеру.

15 декабря 1956 года в Москве открылась декада литературы и искусства Эстонской ССР.

Декады придумали еще до войны: разные республики как бы ездили в гости друг к другу, похвалялись, чем могли, даже если хвалиться было и особенно нечем. У меня от декад сохранилось двойственное воспоминание. Когда приезжали представители близких по духу культур, в первую очередь украинцы, я рвался на их концерты и театральные представления, декада пролетала в миг. Если же объявлялась декада культуры далекой и непонятной, то ничего, кроме досады она у зрителей не вызывала. Под концерты и представления отводились лучшие залы, артисты лезли из кожи, только вот зрителей оказывалось — раз-два и обчелся.

В год Эстонской декады я учился в институте и волей судеб стал членом правления клуба МЭИ с отменным зрительным залом. Как-то в разгар зачетной лихорадки, в клубе назначили концерт Эстонского народного хора. Напомню, пели они на эстонском языке. Правление клуба отвечало за явку зрителей. И в середине семестра, в пору спокойную, загнать студентов на такой концерт — задачка не из простых, а перед

экзаменами… В зале не набиралось и дюжины зрителей, и те из актива клуба, пришедшие лишь из сострадания к его правлению. Выручила армия, военные строители, работавшие на дооборудовании лабораторного корпуса. Один звонок командиру батальона, и через полчаса зал быстро заполнился, в воздухе повис запах щедро смазанных дегтем сапог. Артисты исполнили все, что требовалось, но без особого огонька, зал реагировал в соответствии с командами старшин, правильно реагировал. По окончании концерта артисты на автобусе отправились в гостиницу, зрителей повели строем домой, в казарму, а мы записали в клубном журнале: «Мероприятие прошло успешно, при полном зале». Во время декад солдаты становились настоящей палочкой-выручалочкой.

Несмотря на все накладки и глупости, я бы отнес декады к явлениям положительным, пусть из-под палки, но люди хоть как-то узнавали друг друга.

17 декабря 1956 года на гастроли в Москву приехал французский шансонье Ив Монтан. Он и его жена, актриса Симона Синьоре, стали сенсацией, концертные залы ломились от публики, симпатичного Монтана и красавицу Синьоре наперебой приглашали в гости. Режиссеру Московского театра кукол Сергею Образцову, завоевавшему право повсюду сопровождать гостей, люто завидовали, а писатель Владимир Поляков, основатель Московского театра миниатюр, даже сочинил по этому случаю поэму. Ею зачитывались, ее цитировали. Мне до сих пор помнится из нее пара строк: «И вместо он мерси боку (merci beaucoup) промолвил вдруг мерси, Тбилиси». Поясню: Образцов, якобы, запоминал «боку — (beaucoup) по созвучию с Баку, а потом перепутал его с Тбилиси.

Не устоял против всеобщей лихорадки и отец. 26 декабря они вместе с Микояном и Булганиным слушали французского шансонье в зале Чайковского, а затем Ива Монтана с супругой пригласили в Кремль на Новогодний прием, где он затмил самого Хрущева.

Монтану внимание публики льстило, на то он и артист, но далеко не все ему в Москве нравилось, а кое-что просто удивляло, в частности, дамское нижнее белье — сиреневые байковые подштанники, массивные белые полотняные бюстгальтеры. Он скупал в московских магазинах все эти диковины, а по возвращении в Париж устроил показ московской интимной моды, чем оскорбил

своих российских почитателей снизу доверху. Они его так… а он их…

Советская власть Ива Монтана через несколько лет простила, а вот титул «кумира московской публики» он утратил навсегда, особенно у женщин. С бюстгальтерами не шутят.

Как обычно, год завершался рапортами о сдаче в эксплуатацию новых объектов. Мне запомнилось сообщение от 24 ноября о вводе в строй Красноярского алюминиевого комбината. 24 декабря строители доложили о завершении сооружения газопровода из Ставрополя Куйбышевской области до Москвы.

Кто кого «закопает»?

С именем отца связано множество анекдотов. Никогда не лезший за словом в карман, живо реагировавший на происходившие вокруг него события, отец порой неловкой обмолвкой, а иногда и умышленно, вызывал водопад слухов, домыслов, спекуляции, а порой и провокаций. В холодной войне обе стороны стремились истолковать любую двусмысленность в свою пользу. На то она и война, хотя и холодная. Так что «кукуруза за полярным кругом», хотя она и преследовала отца всю оставшуюся жизнь и даже после смерти, по счету холодной войны — невинное зубоскальство.

Другое же приписываемое отцу выражение «Мы вас похороним» или, в иной интерпретации, «Мы вас закопаем» стало в этой войне серьезным психологическим оружием.

Кукурузную историю проследить не трудно, стоит только почитать выступления отца. А вот корни «похоронной» эпопеи долгое время оставались для меня загадкой. Ни в одном из опубликованных выступлений отца ничего подобного я не обнаружил, то есть он не раз обещал похоронить капитализм, империализм, колониализм, но к ним никак не подходят персонифицированные «мы» и «вас». С другой стороны, что-то такое явно имело место.

О том, что отец собирается похоронить американцев, и вообще Америку, я впервые услышал во время его визита в США в сентябре 1959 года. Я сопровождал отца и по протоколу не мог проигнорировать ни одной пресс-конференции, ни одного официального обмена приветствиями. Раз за разом, стоя в самых задних рядах, я выслушивал похожие как близнецы речи, ответы на повторяющиеся из раза в раз вопросы журналистов. Однажды я увильнул, отправился поглазеть на окрестные улицы. Мое

отсутствие тут же отметили, газеты объяснили мое отсутствие возможным несогласием с тем, что говорил отец. Он мне выговорил за самовольство. Больше я порядка не нарушал. Так вот, на первой же пресс-конференции по приезде в США отца спросили, почему и когда он собирается хоронить Америку?

— Никакую Америку я хоронить не намеревался, не намереваюсь и не собираюсь намереваться впредь, — без раздражения, как-то по-лекторски объяснял отец. — Живите себе на здоровье. Капитализм же действительно раньше или позже, скорее всего раньше, отдаст Богу душу, и мы все его с удовольствием похороним. Не смердеть же трупу, отравляя воздух на Земле. Американцы поймут нашу правоту, выберут коммуниста своим президентом, присоединятся к социалистическому лагерю в строительстве коммунизма. А не захотят присоединиться — их дело. Пусть топчутся на месте, мы же устремимся вперед и на прощание помашем им ручкой «Гуд бай».

«Гуд бай» всем понравился, раздались одобрительные смешки и даже аплодисменты. Пресс-конференция покатилась дальше, спрашивали о Германии, о разоружении, о других серьезных, на мой взгляд, вещах.

Газеты опубликовали ответы отца со всеми подробностями, включая «Гуд бай», тем самым, по его мнению, закрыли «похоронную» тему. Но не тут-то было. На очередной пресс-конференции ему снова задали тот же вопрос. Он ответил без раздражения, теми же, что и в предыдущий раз, словами. Никакого эффекта. На следующей пресс-конференции его ожидал все тот же вопрос. Он ответил, но уже короче и раздраженно. На десятый или пятнадцатый раз, в Лос-Анджелесе, он взорвался.

— Который раз вы задаете мне один и тот же вопрос? — сердился отец. — Мне остается предположить, что вы или не читаете собственных газет или провоцируете меня. Не выйдет! Не собираюсь я вас хоронить, у нас своих дел достаточно, сами помрете, сами себя и похороните.

С окончанием визита, казалось бы, умерла и похоронная тема. В Москве аккредитованные там иностранные корреспонденты, дорожа своей репутацией, подобных вопросов не задавали. В Америке же эту страшилку: отец, закапывающий в землю миллионы американцев, «черные» пропагандисты времен холодной войны раскрутили вовсю.

Один из моих американских приятелей рассказывал, как десятилетиями, изо дня в день, местное радио будило его фразой, произносимой хрипло-грубым голосом: «Мы вас похороним». Следует признаться, что в пропагандистском арсенале холодной

войны эта находка оказалась чрезвычайно эффектной. Отец невольно помог своим противникам. И как помог! Прекрасный урок — как дорого в дипломатии обходится всего лишь оговорка.

С окончанием холодной войны, придуманный на Западе, образ пустил корни в России. Фраза «Мы вас похороним» стала расхожей и у нас. Вот только откуда она взялась, не помнит никто. Даже дотошные историки не могли разыскать, где и когда отец произнес эти крамольные слова. И говорил ли он их вообще? Журналисты наобум привязывали «похороны» то к визиту отца в США в 1959-м, не к конкретному выступлению, а вообще к визиту, то абсолютно «конкретно» к выступлению отца на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу о деколонизации в 1960 году. Кое-кто договорился до полного абсурда, якобы, выступая в ООН, отец в раже снял с ноги ботинок и, колотя им по трибуне, кричал: «Мы вас похороним». Абсурд, но этому абсурду верят до сих пор.

Наконец неопределенность мне надоела, и я решил докопаться до истины.

Ни о визите в США в 1959 году, ни об ООН в 1960-м речи не велось. Что-то произошло, если вообще произошло, то до 1959 года. Я писал, что в 1959 году, во время визита в США, отца об этом уже спрашивали. В ООН фиксируется каждое слово, не только глав правительств, но и любых делегатов. В ее архивах ничего подобного не зафиксировано. Отец тогда пригрозил, что «народы скоро похоронят колониальную систему», но притянуть эту фразу к американцам, даже за уши, не удавалось.

Один мой знакомый американский советолог припоминал, что отец что-то подобное говорил в Москве, в польском посольстве, но что и когда, он не помнил.

Ответ пришел нежданно. В 2001 году американский радиожурналист Даниэл Шорр опубликовал воспоминания «Остаюсь настроенным на волну». И сразу все встало на свои места. Мой друг советолог оказался прав. Памятное событие произошло в конце 1956 года, в ноябре, во время визита в Москву польской правительственной делегации во главе с Гомулкой.

Отношения СССР и Запада тогда напряглись до предела: они нас поливали грязью за «подавление восстания в Венгрии», мы их обливали помоями за «агрессию Англии, Франции и Израиля против Египта». Ни та ни другая сторона не стеснялась в подборе выражений, чем хлестче, тем лучше.

Гомулку, нового польского лидера, принимали в Москве по высшему разряду, на аэродроме встречали делегацию всем Президиумом ЦК, с готовностью пересмотрели установленные Сталиным и, по польскому мнению, заниженные цены на силезский уголь, заключили выгодное полякам соглашение о

поставке по заниженным ценам советской железной руды и зерна. В общем, ублажали их как могли. Гомулка заверял нас в вечной дружбе.

Пришла пора прощаться. 17 ноября 1956 года в раззолоченном Георгиевском зале Кремля советское правительство давало полякам прощальный прием. Столы ломились от закусок, в торцах каждого из них выстроились шеренги бутылок с коньяком, водкой, грузинскими винами, нарзаном, боржоми. Отец на сей раз приказал кремлевским службам не скупиться. Отношения с Польшей того стоили.

Прием шел по накатанной колее: ели, пили, шутили, отец знакомил Гомулку с советскими знаменитостями: музыкантами, актерами, писателями. Начал его по-свойски звать Веслав. Обращение по имени для отца являлось не панибратством, а проявлением высшей степени доверия, обычно даже к ближайшим коллегам и помощникам он обращался по фамилии, реже по имени и отчеству.

Наступило время обмена заключительными тостами. Все с напряжением ждали, что скажет отец. После поражения мятежа в Венгрии он еще не выступал на публике и, естественно, не мог обойти ни Венгерских событий, ни войну в Египте. Всех интересовало и то, как на его слова отреагируют, присутствовавшие в зале западные послы. Их поведением дирижировал посол США Чарльз «Чип» Болен. Отец его не любил, особенно после прошлогоднего визита в Москву западногерманского канцлера Конрада Аденауэра. Они тогда договорились о нормализации отношений. Отец рассказывал, что когда переговоры подошли к завершению, канцлер отвел его в сторону и доверительно попросил подписать основные документы как можно скорее, пока о них не узнал Болен. «Он хочет все испортить», — почти шептал отцу в ухо Аденауэр, заинтересованный в соглашении поболее отца, ведь в нем, помимо всего прочего, имелся пункт о возвращении на родину немецких военнопленных.

Документы подписали, а Серов доложил отцу, как в приватной беседе Болен задним числом выговорил немецкому канцлеру «за просоветскую мягкость формулировок».

По протоколу, на приеме первым выступал Гомулка. Вслед за ним взял слово отец. Он, как полагается, начал с успехов Народной Польши, отметил укрепление позиций нового польского руководства. Отец говорил монотонно, не отрывая глаз от текста, сегодня он воздерживался от ставших уже привычными импровизаций. Слова отца о Венгрии прозвучали относительно нейтрально, он вскользь коснулся происшедших там событий и

заговорил о «нерушимой польско-советской дружбе». Болен слушал с каменным лицом. Послы Англии, Франции и Израиля то и дело бросали на него быстрые взгляды.

После слов отца: «Разбойничье нападение Англии, Франции и их марионетки Израиля на Египет является отчаянной попыткой колонизаторов возвратить утраченные позиции, запугать силой народы независимых стран. Но теперь уже не те времена, когда можно было захватывать слабые страны», Болен еле заметно повел головой и, не оглядываясь по сторонам, демонстративно направился к выходу. За ним потянулись послы Англии, Франции, Израиля, других западных стран.

То, что ушли послы стран, названных поименно агрессорами — естественно и соответствовало всем международным правилам, а вот поведение Болена противоречило заявлениям президента США Эйзенхауэра, осудившего агрессию против Египта.

Правда, отец не верил в искренность слов американского президента, считал его заявление политической «дымовой завесой», под прикрытием которой Англия и Франция завершат свое дело, а там с них и взятки гладки. Прекращение боевых действий в Египте он ставил в заслугу себе, приписывал нашей жесткой позиции, и не в последнюю очередь своей собственной устной угрозе, переданной 5 ноября через советских послов премьер-министру Великобритании Энтони Идену и главе правительства Франции Ги Молле: «Если все не прекратится в течение суток, мы вмешаемся и не остановимся перед любыми мерами, а то, что у нас есть ракеты с ядерными боеголовками, способные долететь до Лондона и Парижа, вы сами знаете». Через 24 часа после получения ультиматума боевые действия прекратились.

Пока в Георгиевском зале происходили неприятные перемещения, отец заканчивал читать текст. Он краем глаза следил за происходившим. Наконец он провозгласил тост за дружбу, все начали чокаться. Однако настроение и ему, и гостям Болен со своей командой подпортил изрядно.

На следующий день, 18 ноября, Гомулка давал в посольстве Польши ответный прием. Все шло размеренно, по протоколу, но присутствовавшие напряженно ждали заключительных тостов, то и дело поглядывали на стоявшего особняком Болена и кучковавшихся вокруг него послов трех стран — «героев» Суэцкой эпопеи.

Обмен речами начинался с Хрущева, в посольстве он — гость. Подойдя к микрофону, отец покопался в боковом кармане пиджака, вытащил оттуда сложенные вдвое маленькие, в

полстранички, белые листочки. Потом из другого кармана достал очешник, вынул из него очки в тонкой золоченой оправе, водрузил их на нос, развернул листочки и обвел взглядом зал. Слушатели прекратили стучать вилками, поставили тарелки и бокалы на столы. Можно начинать.

— Не может быть такого вопроса: «Нужно ли мирное сосуществование различных государств?» — размеренно, без особого выражения читал отец заранее заготовленный текст. — Сосуществование — это признанный факт того, что есть налицо. (Не могу удержаться, эта фраза не делает чести лучшим журналистским перьям страны, собранным в его пресс-группе.) Мы говорим представителям капиталистических стран: если хотите, можете ходить к нам в гости, не хотите, можете не ходить. Нас это особенно не огорчит. Но сосуществовать нам необходимо… Мы, ленинцы, убеждены, что наш общественный строй — социализм — в конечном счете победит капитализм. Такова логика исторического развития человечества. Когда представители буржуазного мира говорят о венгерских событиях, они употребляют различные слова: «о советской агрессии», «о вмешательстве во внутренние дела других стран» и тому подобное, — продолжал отец. — Но когда речь заходит об агрессии колонизаторов против Египта, то это, по их утверждениям, оказывается не война, а всего лишь невинные «полицейские мероприятия» с целью наведения «порядка» в этой стране. Но теперь все видят, что это за «мероприятия» и какие «порядки» там наводятся. Это мероприятия колонизаторов по наведению колониальных порядков в Египте… Теперь не те времена, когда колонизаторы могли навязывать свою волю народам.

Болен и стоявшие рядом послы «стран-колонизаторов» застыли с непроницаемыми лицами. Покинуть демонстративно зал в этот момент они не могли, отец не назвал ни одной из стран, и их уход означал бы, что они приняли слова отца на свой счет, как говорится «на воре шапка горит!». Такое в дипломатии недопустимо.

— Поскольку мы живем с капиталистическими государствами на одной планете, нам надо повседневно искать все новые способы развития мирного сосуществования, — продолжал отец. — Мы думаем, что руководители Англии, Франции и Израиля трезво взвесят все обстоятельства и выведут свои войска из Египта. Надо требовать и добиваться немедленного вывода войск агрессоров из Египта.

Болен встрепенулся, страны названы, пора… Он кивнул окружавшим его послам, выпрямился и твердыми шагами

направился к двери. Его «команда» последовала за ним.

Отец ожидал подобной реакции, но, тем не менее, она его и расстроила, и разозлила. Второй день подряд этот Болен устанавливает здесь свои порядки, а ведь он в «венгерском параграфе» не упомянул США, хотя и мог, они того заслуживали: подстрекали венгров к мятежу, обещали помощь и даже свое военное вмешательство.

На мгновение эмоции возобладали, отец зло бросил в спину Болену: «Не от вас зависит, существуем мы или нет. Если мы вам не нравимся, не принимайте наших приглашений и не приглашайте нас на приемы к себе в посольства. Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним».

Болен его слов не услышал, в этот момент он уже скрылся за дверью. Отец взял себя в руки и продолжил речь, заговорил о дружбе с Польшей, о единстве социалистического лагеря.

Вслед за отцом выступил Гомулка. Но журналисты их больше не слушали. Они получили более, чем даже ожидали. Болен с союзниками не только покинули прием, это уже стало рутиной, но и спровоцировали отца на такую сочную фразу вдогонку. Сочную фразу растиражировали все мировые агентства, а потом ее «препарировали» специалисты «черной пропаганды». Им и выдумывать почти ничего не пришлось. Отец сам подарил им отличную «страшилку» о самом себе. Специалисты только «почти незаметно» ее подправили — на место абстрактного «капитализма» поставили конкретных «американцев».

Отредактированное пресс-группой выступление отца поместили все советские газеты. «Мы вас похороним» в них отсутствовало. И отец, и его помощники из редакционной группы сочли эти слова недопустимо агрессивными, в чем-то вульгарными и попросту выбросили их из окончательного текста. Сравните пассаж, приведенный Даниэлем Шорром, с рассказом о «хождении в гости» в цитированном выше по газете «Известия» выступлении отца. Все там так, да немного не так — обычная редактура обычного выступления. Если бы отец предвидел или ему бы подсказали многоопытные газетчики, какие пропагандистские дивиденды можно извлечь из этих трех произнесенных в запале слов: «Мы вас похороним», наверное, можно было что-либо придумать. К примеру, оставили их в тексте, а дальше добавили бы что-то вроде «народы мира все вместе похоронят капитализм и его порождение — империализм». Не знаю, помогло бы такое редактирование? Не зря говорится: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Но они и не пытались его поймать, сделали вид, что «неудобные» слова никогда и не произносились. Профессионалам такое не

прощают, но отец простил. Никого не уволил и даже никому не выговорил.

Отец не уникален, подобные «ляпы» можно найти практически у любого мирового политика. В большей части они проходят бесследно, но если за них берутся профессионалы…

Телевизионный дебют

С Даниэлем Шорром связано еще одно примечательное событие: первое телевизионное интервью отца 31 мая 1957 года. Интервью западным журналистам отец давал охотно. Он считал, что так он доносит свое видение мира до их читателей, отгороженных от нас железным занавесом. Но одно дело интервью для газеты или журнала, когда интервьюеры, согласно этике политической журналистики, текст ответов передают ему на визу до опубликования, предоставляют тем самым возможность поправить огрехи. Не изменить содержание ответов, а именно исправить случайные оговорки, вроде «мы вас похороним». А тут телевидение… Записанное на пленке уже не изменишь. Но предложение телевизионного интервью отцу представлялось весьма заманчивым, оно давало возможность напрямую, без посредников, обратиться к американцам. В направленном отцу письме, Шорр объяснял, что его программу Си-би-эс «Лицом к нации» смотрит большинство жителей США. В ней с американцами уже «поговорили» почти все мировые лидеры. У отца отпали последние сомнения: «Чем я хуже других?» Он дал согласие.

Из Америки в Москву доставили почти полтонны аппаратуры. Под телевизионное действо определили зал для заседаний руководства страны, соседствовавший с кремлевским кабинетом отца. Его стены покрывали столь любимые Сталиным темные дубовые панели. После Сталина здесь почти ничего не изменилось, только на расставленных вдоль стен столиках добавились новые сувениры, миниатюрные копии пассажирских реактивных самолетов, комбайнов, грузовиков и других изделий советских заводов. Образцы своей продукции дарили отцу главные конструкторы, директора заводов, секретари обкомов. Их достижениями отец гордился не меньше авторов новых разработок, любовно коллекционировал преподнесенные ему модели, демонстрировал их западным визитерам.

Подготовка аппаратуры тогда отнимала несколько часов. Журналистов предупредили: «не курить», кабинет отца за стеной, а он не переносит дыма. Вместе с американцами суетились и советские телевизионщики. Рядом с каждой американской

телекамерой устанавливали советскую, интервью собирались показать и у нас, и одновременно отец так страховался от возможной фальсификации. Мало ли что там американцы намонтируют, а имея свою копию интервью, мы сможем прижать их к стенке.

Телевизионщики нервничали, это их первое интервью в Кремле. Нервничал в своем кабинете и отец, вышагивал по ковровой дорожке от письменного стола до двери и назад. Изредка на минуту останавливался у окна, бросал взгляд на окруженный со всех сторон зданием Совета Министров внутренний дворик и снова начинал ходить. Никаких особых подвохов отец от интервьюеров не ожидал. Журналистов предупредили, что с их помощью Хрущев «хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами». Даниэль Шорр от имени телекомпании заверил, что их вопросы преследуют ту же цель.

«Но чем черт не шутит?» — крутилось у отца в голове. Он никак не мог успокоиться. Не выдержав ожидания, он подошел к двери, соединявшей кабинет с залом заседаний, распахнул ее, остановился в проеме и молча уставился на журналистов. Они, в свою очередь, побросав свои кабели, недоуменно глядели на Хрущева. Так продолжалось с полминуты. Затем отец заговорил, постепенно повышая голос: знает де он этих пройдох-журналистов, им одно удовольствие «выискивать блох», высасывать из пальца провокации… Заключительные слова он почти кричал. Дойдя до нужного градуса накала, отец оборвал свою тираду на полуслове, еще раз обвел глазами всех присутствовавших в зале, сделал шаг назад и захлопнул дверь. Присутствовавшие, ошалев от слов Хрущева, недоуменно молчали.

Я, естественно, в Кремле не присутствовал. О происшедшем спектакле мне рассказал помощник отца по иностранным делам Олег Александрович Трояновский: «После “холодного душа” американские телевизионщики не то что “плохих” вопросов не задавали, спрашивали Никиту Сергеевича с большой опаской», — улыбнулся Трояновский.

Собственно, этого отец и добивался. Он знал, что слывет в мире «взрывным» и даже непредсказуемым политиком. Продуманно с прицелом на будущее, авось когда-то пригодится, он время от времени «запланированно, при подходящих обстоятельствах, взрывался», поддерживая, таким образом, свой образ. К сожалению, иногда он «взрывался» и незапланированно. Эмоциональности отцу было не занимать. Происходившее в стране и в мире он пропускал не только через голову, но и через сердце.

Насколько его «артиллерийская подготовка» была уместна на сей раз? Даниэль Шорр пишет, что вопросы они подготовили заранее и только «хорошие». Он еще отмечает, что отец наотрез отказался от грима, даже не дал припудрить, сияющую под светом софитов лысину. Гримируются, объяснял американцам отец, актеры, а он — политик.

Интервью прошло хорошо. По мнению Шорра, Хрущев провел его «великолепно, показал себя располагающим и одновременно неуловимым и строгим собеседником». Он кратко ответил на вопросы о Венгрии, о глушении передач «Голоса Америки», а основное время посвятил теме мира и улучшению отношений с Соединенными Штатами.

«Только однажды я загнал его в угол, — пишет Шорр, — спросив о разногласиях с китайцами». Отец, по словам Шорра, долго и нудно пытался объяснить, что между советскими и китайскими коммунистами нет фундаментальных противоречий. Думаю, что отец так тогда считал на самом деле, но Шорр ему не поверил.

И последнее. Говоря о квинтэссенции телевизионного дебюта Хрущева, Шорр нашел ответы отца «стандартными», «все это Хрущев говорил и раньше, в интервью не оказалось ничего сенсационного. Будучи слишком “внутри” происходившего, — поясняет Шорр, — я упустил главное: сенсацию, огромные газетные заголовки по всему миру сделало само появление Хрущева, живого, здорового и совсем нестрашного в американских домах на экранах телевизоров».

Между ним и Хрущевым, по мнению Шорра, установились «особые» отношения.

«На одном из приемов, — рассказывает дальше Шорр, — Первый секретарь (отец — *С. Х.*) вытащил меня из толпы, поставил рядом с собой и представил: “Это мой друг Шорр. Он ничего не изменил в моем интервью, провел его корректно и одновременно откровенно”. Тут он поднял свой бокал с шампанским, чокнулся со мной и провозгласил: — За правду!”».

Изложение тоста отца я оставлю на совести Шорра, стиль разговора — не отцовский, но смысл передан правильно.

Генри Шапиро, Марвин Калб и все, все, все

В отличие от большинства советских государственных деятелей, отец любил общаться с журналистами, своими и особенно с западными, считал необходимым установить с ними хорошие, даже дружеские отношения. От журналистов зависит, как они подадут тебя в своих газетах, благожелательно или

вымажут дегтем. Конечно, основные акценты расставляет политика, но и от человека пишущего зависит многое.

На пресс-конференциях отец обращался к представителям западных изданий напрямую, многих помнил по именам. Он не начинал интервью, не убедившись, что все его «друзья» на месте.

— Я не вижу господина Шапиро, — говорил он, вглядываясь со стационарного или импровизированного возвышения в толпу роящихся вокруг него корреспондентов.

Низкорослый, кругленький как шар, с неизменной трубкой в зубах, корреспондент «Юнайтэд Пресс» Генри Шапиро легко терялся в толпе рослых американцев. В ответ на призыв отца он становился на цыпочки, расплывался улыбкой из-под щеточки усов, размахивал руками, показывая, что он здесь. Отец ценил Шапиро за объективность и серьезность оценок, и Шапиро платил ему тем же, он не гнался за дешевыми сенсациями, особенно «с душком».

Убедившись, что Шапиро на месте, отец не успокаивался. А где «Петр Первый?» — снова обводил он глазами собравшихся. «Петром Первым» за его петровский рост он прозвал американского телевизионщика Марвина Калба. С Калбом проблем не возникало, он на голову возвышался над любой толпой. Перечислив имена еще нескольких своих «приятелей», отец заканчивал «перекличку» и переходил к делу.

Отец понятия не имел, что избранная им интуитивно манера общения с прессой один в один соответствует тщательно просчитанной «фривольной» линии поведения американских президентов на пресс-конференциях Белого дома. Там принято «знать» представителей ведущих информационных агентств в лицо, окликать их по именам. Только в отличие от отца, перед американским президентом кладут заранее заготовленную «рассадку», где указано, кто где сидит, кто кого представляет и, естественно, кого как зовут. Отец же в подсказках не нуждался, держал все в голове. И симпатизировал он журналистам по-человечески искренне, а не только по долгу службы.

Иногда доходило до курьезов. Все тот же Даниэль Шорр с удовольствием рассказывает историю, как он отпрашивался у Хрущева в отпуск. На одном из дипломатических приемов, улучив момент, когда толпа вокруг отца поредела, Шорр, напустив на себя унылый вид, подошел к Хрущеву и посетовал, что только он может ему помочь.

«— В чем же ваша проблема, господин Шорр? — поинтересовался Хрущев. (Здесь и дальше воспроизвожу слова Шорра. — *С. Х.*)

— Мои руководители в Нью-Йорке не позволяют мне уехать

из Москвы из-за слухов о предстоящем Пленуме Центрального Комитета, — пожаловался Шорр.

Хрущев кивнул головой в знак понимания.

— Когда точно вы собираетесь в отпуск? — спросил Хрущев доверительно.

— Завтра, — ответил я.

— На сколько? — поинтересовался Хрущев.

— На две недели, — уточнил я.

— И вы опасаетесь, что в эти две недели состоится Пленум ЦК? — снова спросил Хрущев.

— Именно, — повторил я. Диалог становился забавным.

— Можете идти в отпуск, — навалившись на меня животом, прошептал в мое ухо Хрущев.

— Вы обещаете, что Пленум не соберется? — перестраховался я.

— Если случится что-то неожиданное, мы соберемся без вас, а так отдыхайте спокойно, — Хрущев дружески ткнул мне пальцем под ребро», — заканчивает свое повествование Шорр.

Отец сдержал слово — пока корреспондент Си-би-эс в Москве Даниэл Шорр отдыхал, не только не собрали Пленум ЦК, но и вообще ничего интересного в столице не происходило.

«Честная» пятилетка

20 — 24 декабря 1956 года, под самый Новый год, собрался Пленум ЦК. Обсуждали шестую пятилетку 1956–1960 годов. Пятилетку, как и полагается, подготовили заранее, к концу 1955 года Госплан Байбакова вместе с Экономкомиссией Сабурова свели цифры воедино и представили руководству страны. Затем документ рассмотрели на Президиуме ЦК. 15 января 1956 года, опубликовали в газетах основные параметры роста экономики. В феврале 1956 года XX съезд партии, заслушав доклад Булганина, утвердил ориентиры (директивы) будущей, то есть уже начавшейся с 1 января, пятилетки.

Прочитав в «Правде» задания на следующие пять лет, я переполнился гордостью за нашу страну. Стали в 1960 году предписывалось выплавить 68,3 миллиона тонн, по сравнению с 45 миллионами тонн в 1955 году, угля добыть — 593 миллиона тонн, удвоить до 19,6 миллионов тонн производство минеральных удобрений, удвоить добычу нефти с 71 миллиона тонн в 1955 году до 135 миллионов тонн в 1960, удвоить производство электричества — в 1960 году выработать 320 миллиардов киловатт-часов, в шесть раз увеличить производство блочных жилых домов и так далее по каждой позиции,

конкретные и очень впечатляющие цифры.

В конце сороковых годов мы мечтали о добыче 60 миллионов тонн нефти как о чем-то сказочном, а теперь — 135 миллионов тонн! Скоро мы сравняемся с США по выплавке стали, а там и обгоним их, займем лидирующее место в мире. Гордость за свою Родину с большой буквы, за ее достижения просто распирала меня. И не меня одного, вся страна жила, я не побрезгую штампом, единым порывом. Слова из популярной песенки: «Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, / А также в области балета мы впереди планеты всей», — тогда не звучали пародией, а были точным слепком с эпохи.

Вместе со всеми и, наверное, больше всех шестая пятилетка радовала отца. Той зимой, во время наших вечерних и утренних прогулок он в ответ на мои расспросы подробно рассказывал, какие заводы собираются построить, какие новые технологии придумали ученые.

Однако радость отца оказалась недолгой. В предсъездовский период он сам не очень внимательно вчитался в представленный план, понадеялся на профессионализм Байбакова с Сабуровым. К тому же за пятилетку в Президиуме ЦК отвечал Булганин. В те дни и недели все внимание отца сосредотачивалось на «Сталинском» докладе и, естественно, отчете ЦК съезду. Вникать в детали представленной и уже озвученной Булганиным с трибуны съезда пятилетки он начал только весной, когда на сессии Верховного Совета потребовалось принять закон о пятилетке, закон, увязанный со всеми министерствами и завизированный всеми министрами. Однако получилась осечка, к сессии пятилетку подготовить не успевали. Министры, помня прошлогоднее предупреждение отца о недопустимости корректировки плана по факту, расписываться на последней странице разосланного им пухлого проекта не спешили. Жаловались Булганину друг на друга, а, не добившись у него правды, записывались на прием к Хрущеву. Отец звонил Сабурову, он отвечал за текущее планирование, тот обещал разобраться, но обещания так и оставались обещаниями.

Провозглашенная отцом в прошлом году «честная» пятилетка никак не увязывалась. Сабуров просто не знал, как «честно» свести концы с концами, никогда раньше с него, плановика старого закала, ничего подобного не требовали. Сабурову, тем не менее, удалось успокоить отца. Он поклялся, что осталось согласовать последние детали, пятилетку они обязательно представят к следующей сессии Верховного Совета. Не верить ему отец оснований не имел, но его все больше беспокоила недостаточная эффективность управления экономикой в целом.

Дело не в Сабурове и не в бунтующих против него министрах, причина лежала глубже — в несогласованности, как он повторял уже не раз, вертикали московской власти с горизонталью региональной, всевластия министерств и безвластия республиканских и иных местных руководителей, от которых и зависит выполнение или невыполнение планов. Они, а не московские министры — хозяева на подвластных им территориях, значит, и власть следует передать в их руки. Тогда и дело наладится.

За два прошедших года республикам переподчинили более одиннадцати тысяч различных предприятий, в основном небольших. Дела на них пошли лучше, но коренной перемены в стране не произошло. Отец то и дело возвращался к волнующей его теме, даже дома с гостями обговаривал «министерский кризис», но решение пока не нащупывалось.

Обсуждали эту проблему и в Кремле. Сразу после съезда, 1 марта 1956 года, на заседании Президиума ЦК поставили вопрос «О министерствах», но он и ограничился судьбой министерств: какие ликвидировать, какие оставить, и не затронул самого принципа управления экономикой. Договорились поручить «Хрущеву, Булганину — подумать, более конкретно разработать предложения и внести в ЦК.

Предложения внесли. Одни министерства ликвидировали, другие — реорганизовали, но, как заметил Каганович на очередном обсуждении этой проблемы 26 апреля 1956 года:

— Родилось не то, что хотелось.

— Пшик получается, — поддержал его Ворошилов.

— Многое делаем неправильно, — попытался сориентироваться Кириченко. Отец с Булганиным на заседании отсутствовали, находились с государственным визитов в Англии. Позицию отца наиболее четко сформулировал Шепилов:

— Максимум функций республикам.

— Нельзя терпеть в Москве такую ораву чиновников. Поручить комиссии… — присоединился к нему, председательствовавший на заседании Микоян.

— Комиссию не надо, — забеспокоился Сабуров.

— Продолжить обмен мнениями. Тов. Булганину рассмотреть, еще посмотреть. Предложения вносить по частям, — почему-то вместо Микояна подвел итог Суслов.

На том и порешили.

В мае наконец решили, какие из союзных министерств ликвидировать, какие переподчинить республикам. 30 мая 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление «О реорганизации министерств СССР в связи с передачей

предприятий ряда отраслей народного хозяйства в ведение союзных республик».

В их подчинение переходили заводы и фабрики, производившие товары народного потребления. Они получали права распоряжаться на своей территории транспортом (кроме стратегического железнодорожного), здравоохранением, торговлей. Отец праздновал победу. Далась она ему нелегко, однако останавливаться на этом он не собирался. Чтобы экономика заработала на полную силу, реальную власть следует сосредоточить у производителей, наделить ею руководителей регионов, за Москвой сохранить роль дирижера-координатора. С философией реформы отец, таким образом, определился, а вот, как ее реализовать, требовалось еще серьезно продумать. Но это дело будущего, сейчас же приходилось «спасать» пятилетку. Почти год страна жила без утвержденного пятилетнего плана. Отец забеспокоился всерьез. Я тоже недоумевал, что происходит и, естественно, обращался к отцу. На мои расспросы он отвечал неохотно, а потом и вовсе начал отмахиваться, как от назойливой мухи. Перемене в поведении отца я особого значения не придавал, списывал все на усталость.

С пятилеткой не разобрались до самой осени, а осенью 1956 года разразился скандал, Сабуров пришел к Хрущеву с корректировкой отчета о выполнении годового плана по факту. Отец напомнил ему, что они в июле прошлого года договорились планы задним числом не корректировать, для того и разделили старый Госплан на два: перспективный и оперативный, чтобы руководитель Экономкомиссии обеспечивал выполнение планов и если что и изменял, то с упреждением, с пользой для дела, а не «под отчет». Сабуров настаивал. К согласию они так и не пришли, разошлись недовольные друг другом. Естественно, одним разговором дело не ограничилось, в Кремле собрали представителей всех заинтересованных ведомств — министры единодушно поддержали Сабурова. Каганович и Молотов встали на их сторону — невыполнение плана подорвет «имидж» страны за рубежом и авторитет ее руководства внутри. Отец твердо стоял на своем.

Помню, как на одной из воскресных прогулок, Микоян убеждал отца не упрямиться, реальные достижения по итогам года — впечатляющие, а о том, что записывалось в январе в планы, все уже давно забыли, ни к чему ему, Хрущеву, позориться самому и позорить все послесталинское руководство. Но отец не сдался, заупрямился, ответил, что врать ему надоело, если план не выполнен, то надо честно признаться и не обманывать людей фальшивыми победными реляциями.

12 декабря 1956 года на Президиуме ЦК он высказал все, что думал о плане, о Сабурове, о его команде, об их проекте «честной» пятилетки: «Цифры оказались несостоятельными. Они все какие-то отвлеченные. Провал планирования». Дальше отец переходит в частностях, что где урезать, прибавить, изменить. Сабуров с Байбаковым понуро молчали. Промолчали и члены Президиума ЦК, только Жуков подал свой голос, предложил «сократить заработную плату высокопоставленным», кому конкретно, я так и не понял, «ликвидировать излишества в государственном и партийном аппарате, принять меры к оканчивающей вузы и нигде не работающей молодежи».

Отец чувствовал себя обманутым и одновременно обманщиком. С таким чувством он шел на очередной, как обычно приуроченный к концу года, «Декабрьский» Пленум ЦК.

«О завершении работ по составлению шестого пятилетнего плана и уточнении цифр на 1956–1960 годы и на 1957 год» доложил Байбаков. С содокладом выступил Сабуров. Отец на Пленуме не выступал, итоги подводил Булганин, он — председатель правительства, пятилетка — его епархия. Николай Александрович говорил о необходимости улучшения управления народным хозяйством СССР, о расширении прав министров и одновременно об избавлении от мелочной опеки центра. Ничего нового он не сказал. Повторил то, что он говорил на уже подзабытом к концу 1956 года Пленуме ЦК в июле предыдущего 1955 года, да еще как-то очень неопределенно, размазанно, явно что-то недоговаривая. Дома рассерженный отец не пожелал отвечать на мои расспросы.

В опубликованной в «Правде» резолюции Пленума констатировалось, что план 1956 года по углю, металлу, цементу, лесу и многим другим позициям провален.

Все прояснилось, раз уж в газетах написали не об успехах, а «об отдельных недочетах и неполадках», не оставалось сомнений, что дела сложились из рук вон плохо. Постановление Пленума предписывало: представить в первом полугодии 1957 года шестой пятилетний план. Уже пошел второй год пятилетки 1956–1960 годов, и все без плана.

Любопытная деталь. На предварявшем Пленум заседании Президиума ЦК 18 декабря 1956 года Булганин предлагал утвердить пятилетку на ближайшей, намеченной на начало февраля 1957 года Сессии Верховного Совета. Уже в ходе Пленума отец осознал, что в оставшиеся полтора месяца ничего не исправить, да и в Сабурове он окончательно разочаровался. В результате вместо февраля в резолюции Пленума появилось расплывчатое первое полугодие, а от министерств и ведомств

потребовали в кратчайший срок устранить «выявленные на Пленуме» недостатки.

Вскоре газеты опубликовали указ Президиума Верховного Совета СССР о смене Председателя Госэкономкомисии, на место Сабурова пришел Михаил Григорьевич Первухин. Байбаков устоял, хотя за пятилетнее планирование, он отвечал наравне с Сабуровым. Пятилетка лежала на стыке перспективного и краткосрочного планирования. Однако вину за ее неувязку, за то, что не удалось расписать по годам заявленный съезду рост экономики, списали на Сабурова. Он — и член Президиума ЦК, и Первый заместитель главы правительства, и в планировании не новичок, Председатель Госплана с 1941 года. Правда, в 1942–1949 годах в этом кресле сидел Вознесенский, но Сабуров и тогда оставался его правой рукой. Байбакову срыв пятилетнего плана простили, раньше он планированием не занимался, в госплановском кресле только начинает осваиваться. К тому же, отец не забыл, на этот пост Байбакова назначили насильно, вопреки его возражениям.

В результате Сабуров оказался Первым заместителем председателя Совета Министров без определенных обязанностей, как бы безработным, но оставаясь при этом членом высшего руководства — Президиума ЦК. Естественно, Сабуров на отца обиделся. Сталина он устраивал, а какой-то Хрущев… Сабуров пополнил ряды ближайших соратников отца, которые так или иначе оказались им ущемлены, справедливо или не очень справедливо — не важно.

На меня освобождение Сабурова особого впечатления не произвело, я его почти не знал. Конечно, я с ним встречался, но в гости к нам в отличие от Маленкова, Микояна, Булганина, Жукова, он не заезжал, по крайней мере, я такого не помню.

А вот опубликованный 28 декабря 1956 года Указ о назначении Ивана Федоровича Тевосяна послом в Японию прозвучал для меня как гром с ясного неба. Тевосян — легендарный металлург, нарком, министр, заместитель главы правительства и вдруг послом… Правда, послом в Японию. С японцами только недавно договорились об обмене посольствами, туда требовался посол особый, человек с именем. Но не Тевосян же… И на сей раз отец ничего мне определенного не ответил. «Тевосяну полезно переменить обстановку, заняться новым делом. Назначение в Токио — не ссылка, а ответственное поручение» — вот и все, что я услышал от отца. Ничего не поняв, я приставания прекратил, зная по опыту, если отец не захочет, то из него ничего и клещами не вытащишь. Только много позднее я узнал, что там, на Пленуме, пока в кулуарах обсуждалась идея

передачи экономической власти в регионы, мнения разделились: секретари обкомов высказывались «за», московские чиновники — «против».

Не поддержали регионализацию ни Байбаков, ни Сабуров, ни другие управленцы «сталинской» школы. Всем им казалось, если Москва ослабит контроль, то все в стране полетит под откос. Однако свои возражения они высказывали осторожно, с оглядкой на мнение отца. Тевосян же попер напролом, они схлестнулись с отцом, поговорили нелицеприятно. В результате Иван Федорович, так и не переубедив отца, уехал в Токио.

В своей книге «Так было» Микоян приводит иную версию причин опалы Тевосяна. Он вспоминает, как в 1939 году Тевосяна обвинили в шпионаже в пользу немцев, и Сталин поручил Молотову с Микояном разобраться, правда ли это. Они вместе допросили Тевосяна, и Микоян убедился, что обвинения «липовые». Молотов же, по словам Микояна, молчал, «лицо у него было, как маска. Он умеет это делать, когда хочет».

Когда Микоян докладывал Сталину о невиновности Тевосяна, Молотов с ним не согласился, пробурчал: «Здесь не все ясно».

«Возможно, он не мог простить, что Тевосяна поддержал Орджоникидзе, в то время, как Молотов добивался его ареста, — пишет Микоян. — Молотов скрытный человек, очень злопамятный». О его «злобе» свидетельствует то, что после того, как Сталина не стало, Молотов устроил в 1956 году на Тевосяна, тогда министра черной металлургии и заместителя председателя Совмина, нападение из засады. Будучи в то время министром Госконтроля, Молотов провел расследование и доложил, что у Тевосяна лежит на стройке и не используется, ожидая ввода предприятий в действие, различное оборудование. После этого в ЦК обсуждали этот вопрос, Тевосяна освободили от занимаемой должности и отправили послом в Японию.

Анастас Иванович лучше меня и даже лучше отца знал о происходившем в Москве в 1939 году, теснее и дольше отца общался с Молотовым. Вот только Молотов сел на Госконтроль в конце ноября 1956 года, а Тевосяна назначили послом через месяц, в конце декабря. Неужто за столь короткий срок он не только освоился в новой должности, но и успел накопать компромат на Тевосяна? Но Микояну виднее.

Итак, на Пленуме отец провел «разведку боем», она показала, что борьба за реформирование экономики предстоит серьезная. Москвичи — сторонники жесткой государственной пирамиды с вершиной в столице, так строилась российская монархия испокон века, не сомневались в своей правоте. Он же, много лет проработавший на Украине, на периферии власти, нутром

чувствовал, что без передачи права принимать экономические решения на местах, дело не сдвинется. Обе стороны готовились к предстоящим баталиям, подбирали аргументы. А тем временем число членов Президиума ЦК, так или иначе недовольных отцом, постепенно увеличивалось.

Четвертая золотая звезда Жукова

1 декабря 1956 года отпраздновали 60-летие Жукова.

По случаю юбилея Жуков стал первым четырежды Героем Советского Союза. Члены Президиума ЦК, естественно, в отсутствие самого будущего юбиляра долго дебатировали, этично ли давать ему четвертую звезду Героя? Молотов считал, что неэтично. Отец возражал: «Вполне этично и заслуженно». Ведь Жуков — это Жуков, а не кто-либо. Для победы он сделал поболее многих героев, вместе взятых. В конце концов награждение утвердили.

В декабре исполнилось шестьдесят лет и другому прославленному советскому маршалу, Константину Константиновичу Рокоссовскому. Они с Жуковым одногодки, и по своим военным талантам Рокоссовский не уступал Жукову, а кое-кто считал, что даже превосходил его. Вот только Жукову больше повезло, перед войной его назначили командовать Генеральным Штабом, а Рокоссовского отправили в тюрьму. Потом они сравнялись, а в 1942 году Рокоссовский даже вырвался вперед, ножевым ударом своего Донского фронта он обеспечил окружение армии Паулюса под Сталинградом, тогда как Жуков провалил Ржевскую наступательную операцию. Но Сталин верил Жукову и не доверял Рокоссовскому. Он послал Жукова брать Берлин, тогда как Рокоссовский обеспечивал его победу наступлением на северном фланге. В последующие годы Жуков стал министром обороны СССР, а Рокоссовского после октябрьских событий 1956 года выставили из Польши, где он возглавлял военное ведомство. Вот и теперь Жуков получил Золотую звезду, а Рокоссовскому достался орден Ленина, награда на ступень ниже.

Круглые даты членов Президиума ЦК отмечались семейными застольями на одной из пустовавших государственных дач. Сначала гуляли по парку, затем садились за стол. После обеда — импровизированный самодеятельный концерт. Пели хором как умели. Танцевали тоже как могли. В общем, все как у людей. Я запомнил дни рождения отца, потом Микояна с Булганиным, а вот теперь еще и Жукова.

В отличие от прежних юбилеев, Жуков пригласил маршалов и

кое-каких генералов, тоже конечно с семьями. Так что празднество получилось более многочисленным и более красочным. Погоны, ордена, геройские звезды: одна, реже две, у героя торжества — три. Четвертую Ворошилов вручит ему только 22 декабря.

Тогда как все остальные приглашенные веселились, Сабуров сидел за столом мрачный, на шутки откликался неохотно. Правда, и на предыдущих застольях Сабуров особого веселья не демонстрировал, характер у него был не из легких.

Коридоры власти

Смещая Сабурова с поста председателя Госэкономкомиссии, Хрущев руководствовался чисто деловыми соображениями: не справился, обанкротился — отойди в сторону, уступи место человеку более способному. Процесс абсолютно естественный и в живой природе, и в социуме. Называется он — естественный отбор. Естественный-то он естественный, но только не во власти.

Сабуров получил отставку от пятилетки, но остался полноправным членом Президиума ЦК — коллективного органа руководства страной, в котором все равны: и Хрущев, и он, Сабуров, и его преемник Первухин, и все остальные члены высшего руководства страны, избранные Пленумом ЦК.

Напомню, что Сабуров руководил Госпланом с начала 1941 года и свою отставку от пятилетки, несмотря на полный провал с ее планированием, воспринял, как смертельную обиду. Обиду, которую Сабуров прощать Хрущеву не намеревался. А ведь еще недавно он числился среди самых активных сторонников отца, поддерживал его в освоении Целины, в разоблачении преступлений Сталина и во многих других начинаниях.

Принимая решение об отстранении Сабурова от должности, пусть и совершенно справедливом, отец обязан был учесть политический расклад сил в Президиуме. Настоящий властитель в первую очередь думает о самой власти, а уже потом о деле, ради ее сохранения он, скорее всего, пожертвовал бы пятилеткой, а не Сабуровым. Отец же расставлял приоритеты в обратном порядке — на первом месте у него стояли интересы страны, а все остальное, включая и саму власть… Во власти отец вел себя весьма неосмотрительно, не сколачивал коалиции, как Сталин с Бухариным и Зиновьевым против Троцкого, потом — с Бухариным против Зиновьева, затем — с «молодыми» против Бухарина. Все эти «макиавеллиевы хитрости» претили натуре отца, он их не понимал и не принимал. Отец строил коммунизм, сытную, хорошую жизнь для хороших простых людей и считал, что и

окружавшие его люди всех рангов думают и поступают, как и он сам. А раз так, то, если ты способен принести пользу — приноси, исчерпал себя — отойди в сторону.

Наивно? Более чем наивно.

Я понимаю, что большинство историков, изучающих деятельность Хрущева, теперь уже из иной исторической эпохи, не согласятся со мной. Мои слова противоречат исторической логике. Человек, достигший таких вершин, прошедший через сталинскую школу цинизма и предательств, не может сохранять наивность. Нонсенс это.

Да он просто не выжил бы в том мире со своей наивной верой в торжество справедливости.

Я долго раздумывал над феноменом отца, не соглашался с самим собой, с тем, что я только что написал.

Не уживается политическая наивность с политической логикой. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. На самом деле может, и даже очень может быть. Стоило мне отбросить «политическую логику», и все встало на свои места. Ведь это я, а не «политические логики», знаю отца, знаю его, каким он был, а не каким они его «конструируют» по своим, ими же придуманным лекалам.

Человеческая натура, как и обстоятельства жизни, настолько разнообразны, что в них находится место всему, даже самому, казалось бы, алогичному и невероятному. Эта алогичность и помогает порой побеждать логически мыслящих соперников. Побеждать, только пока они не разберутся, что к чему, не поймут, что они терпят поражение не благодаря хитроумности, плетущихся против них интриг, а именно из-за отсутствия каких-либо интриг. Моим родственным рассуждениям трудно поверить. Я это понимаю, но кому как не мне в силу естественной генетической связи дано не просто понимать, но и внутренне ощущать мотивацию поведения отца.

Оглядываясь в прошедшее собственной жизни, я ощущаю эту генетическую связь поколений, некоторые мои собственные поступки ничем, кроме как «непростительной» наивностью, не объяснить. Во многих случаях именно благодаря этой противоречащей логике жизни наивности, а может и просто по везению, мне сходило с рук невероятное. Примеров много, самый яркий — моя работа с мемуарами отца, которые он диктовал после отставки, переправка их за границу. Оглядываюсь назад, оторопь берет: на какой узенькой жердочке, перекинутой над бездной, я балансировал: за спиной — КГБ, сбоку — КПК и над ними — всемогущее Политбюро. И все против меня. Следуй я тогда жизненной логике, а меня даже предупреждал знакомый

кагэбэшник, что я на волосок от ареста, я, наверное, сорвался бы. Но я не внял предупреждениям. Не скажу, что не понял. Что же тут не понять? Но не внял. Не внял и победил. Наивность порой творит чудеса.

Думаю, что при всей своей опытности и отец до конца дней сохранял спасительную наивность. Иначе бы и он не выдержал. И та же наивность подвела отца в 1964 году, когда соратники, его собственные выдвиженцы, одним щелчком сбросили его с политической сцены. Но об этом в конце книги.

Только политической наивностью я объясняю кадровые перемещения 1955–1956 годов в высшем эшелоне власти, в Президиуме ЦК. Отец сам создавал своих оппонентов, быстро превращавшихся во врагов.

Позволю себе припомнить события последних двух лет. Железный нарком Лазарь Каганович, специалист — не беру это слово в кавычки, хотя и хочется — в наведении порядка на транспорте как до, так и во время войны, организатор топливной промышленности и к тому же человек, проложивший отцу дорогу в большую политику. После столкновения в 1955 году вокруг тепловозов-паровозов, тепловых и гидроэлектростанций отец справедливо счел Кагановича ретроградом, отставил его от курирования транспорта и энергетики, фактически оставил в правительстве без обязанностей. Кагановича, в ранге Первого заместителя главы правительства, назначили председателем третьестепенного даже не министерства, а Комитета по труду и заработной плате. Теперь ему предстояло копаться в бумажках, которые он всю жизнь ненавидел и в которых он ничего не понимал. Отец подсластил пилюлю, поручил ему произнести 6 ноября 1955 года доклад от имени Президиума ЦК на торжественном заседании в Большом театре, посвященном очередной, 29-й (не круглой, рядовой), годовщине Октябрьской революции. Каганович воспринял это как подачку, но сделал вид, что польщен доверием.

Каганович ничего не понимал в трудовых нормативах, но его вулканический характер не давал ему покоя. Он и там попытался «взять быка за рога», хотя где найдешь быка с рогами в Комитете по труду? Отец забеспокоился, как бы Лазарь Моисеевич не наломал дров, структура зарплат — инструмент хрупкий. Стоит нарушить баланс между суммой выплат и объемом товаров в магазинах, и полки в них опустеют в мгновение ока. Пришлось Кагановичу подыскивать иную должность. Подыскали, 3 сентября 1956 года Лазаря Моисеевича освободили от Комитета по труду и назначили министром строительных материалов на место недавно умершего Павла Александровича Юдина. Титул Первого

заместителя Совета Министров за ним сохранился так же, как и очень даже властное членство в Президиуме ЦК КПСС.

С позиции исторической логики и политической целесообразности поддержка Кагановичем в Президиуме ЦК, а он поначалу энергично поддерживал отца, перевесила бы для настоящего властителя любые тепловозы. Но отец искренне верил, что интересы дела выше личных амбиций. Он уже тяготится Кагановичем, дни пребывания последнего в Президиуме сочтены, но отец пока ничего не предпринимает. Каганович, человек по натуре трусливый, да и Сталиным не раз битый, внешне ничем не проявляет своего недовольства, по всякому поводу демонстративно выражает свою приверженность отцу. Правда, накануне XX съезда, во время схватки вокруг доклада о преступлениях Сталина, он переступил через свою природную «осторожность», резко атаковал отца, но тут же отступил, спрятался в свою скорлупу. Против Хрущева Каганович не пойдет, но только до тех пор, пока не почувствует, что фортуна отца покинула. Тогда он, не задумываясь, присоединится к противному лагерю. Он ничего не простил Хрущеву и ничего не забыл.

Молотов тоже оказался в стане противников отца. В отличие от Кагановича, своих расхождений с Хрущевым он не скрывал. До устранения Берии отец и Молотов держались друг друга, общая опасность всегда сплачивает. Когда Берии не стало, их пути начали расходиться шаг за шагом. Консерватор по природе, Молотов не хотел ничего менять, может быть чуть-чуть подправить, а в основном следовать старым курсом. Отец же, напротив, жаждал коренных перемен, он душой восставал против уродств, доставшихся им от Сталина. Отцу с Молотовым оказалось не по пути. Молотов до хрипоты спорил с отцом о целине, навсегда остался противником ее освоения, однако подчинился партийной дисциплине, когда большинство Президиума ЦК проголосовало «за».

Они единодушны с отцом в том, что ГДР, политический и военный форпост в центре Европы, отдавать Западу ни в коем случае нельзя. Однако когда, как прагматик, отец стал настаивать на подписании мирного договора с Австрией, предусматривавшего ликвидацию в этой стране зон оккупации и вывод войск бывших союзников, Молотов встал на дыбы. Он обвинил отца в непоследовательности: ГДР мы сохраняем, а в Австрии свои позиции сдаем. Отец терпеливо объяснял, что Австрия — не Германия, мы контролируем там клочок земли, а говорить о социалистической Австрии несерьезно. Нейтральная же Австрия, а она, в отличие от Германии, в силу своей малости

действительно может и хочет стать нейтральной, послужит хорошим примером для других европейских стран. Подписав договор, мы политически только выиграем. Отец Молотова так и не переубедил. Их разговоры переросли в споры, порой на повышенных тонах. Однако, когда Президиум ЦК проголосовал за подписание мирного договора с Австрией, Молотов подчинился партийной дисциплине. Еще XI съезд партии сурово осудил любые проявления инакомыслия, фракционности. Идти против решений съездов Молотов не мог.

Еще болезненней, чем с Австрией, обернулась для Молотова история с Тито. Он искренне считал Тито ренегатом и предателем. Так говорил Сталин, а Сталин не мог ошибаться. Когда отец собрался мириться с Тито, более того, в мае 1955 года вознамерился ехать к нему на поклон в Югославию, Молотов взъярился. Дело едва не дошло до открытого разрыва с отцом. Но Президиум проголосовал за нормализацию отношений с Югославией, пока только на государственном уровне, это явная уступка Молотову, и он смирился. Партийная дисциплина — есть партийная дисциплина.

Замену в январе 1955 года Маленкова на Булганина в качестве главы правительства Молотов воспринял спокойно, оба они — отцовы друзья и оба не политики, так… администраторы-регистраторы. Более того, он считал, что сам Хрущев, а не его протеже, должен возглавить Совет Министров. Однако Президиум ЦК проголосовал иначе, и он присоединился к большинству. Теперь, когда решение принято, Молотова раздражало, что в совместных заграничных вояжах отец, будучи всего лишь членом делегации, подминает под себя главу делегации Булганина, Председателя правительства. Молотов расценивал такое поведение как неверное по существу и производящее неблагоприятное впечатление на иностранцев.

В гости к Тито Булганин с отцом отправились без министра иностранных дел. Булганин смирился, по крайней мере внешне, со своей, по сути дела, декоративной ролью. В моменты острых дискуссий он легко уступал пальму первенства отцу.

А вот в июле 1955 года в Женеву на встречу руководителей четырех держав-победительниц во Второй мировой войне: СССР, США, Англии и Франции отправились даже не втроем, а вчетвером — Булганин с отцом, с ними министры Молотов с Жуковым. В Женеве Молотов не упускал случая выговорить отцу, пока приватно, за каждое «отступление от протокола», вмешательство в прерогативы главы делегации, а они происходили почти ежедневно. Булганину тоже доставалось от Молотова уже за инфантильность.

Дело не сводилось к рутинным ответам на вопросы журналистов или доминированию в застольных беседах, однажды отец открыто дезавуировал слова главы своего правительства и главы советской делегации. Президент Эйзенхауэр тогда носился с планом «Открытого неба», облета территорий СССР и стран Варшавского договора разведывательными самолетами США так же, как и западноевропейских государств и США советскими самолетами. Тем самым, по мнению Эйзенхауэра, не останутся незамеченными чьи-либо возможные приготовления к войне. Эйзенхауэр ссылался на внезапную японскую атаку американской военно-морской базы Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Булганин не уловил в словах американского президента подвоха и пообещал подумать. Эйзенхауэр облегченно вздохнул, глава советской делегации заглотнул наживку. Но не тут-то было. Сидевший по левую руку от Булганина отец придерживался иного мнения: разведывательные облеты территорий могут предотвратить внезапное нападение, а могут содействовать такому нападению. Ведь силы СССР и США далеко не равны, но американцы пока не знают, насколько они сильнее нас. Они верят, что мы сильнее, чем есть на самом деле, и боятся нас. Их попытки выяснить реальное соотношение сил засылкой шпионов и самолетов-разведчиков к успеху не привели, шпионов — арестовывали, самолеты — сбивали. И вот теперь они добиваются согласия получать информацию о наших оборонительных возможностях легально. Стоит им облететь наши тылы, и они поймут, насколько Советский Союз слаб. А это уже очень опасно. Из донесений разведки и докладов посла отец знал так же, как знал и Булганин, что командующий американской стратегической авиацией Куртис Лемэй неоднократно предлагал американским президентам, сначала Трумэну, а потом Эйзенхауэру, разгромить Советский Союз. Разгромить, пока не поздно, пока он не набрал силы. Я упоминал об этих стратегических разработках нападения на Советский Союз. Американские президенты генеральские меморандумы отвергали, но если они убедятся в нашей слабости, то могут и согласиться. Облеты нашей территории могут не предотвратить, а спровоцировать войну. Рисковать тут нельзя никак.

Отец посчитал, что не может не вмешаться в разговор. Извинившись, что вынужден противоречить главе делегации, он твердо заявил о неприемлемости для Советского Союза «Открытого неба». «Наше небо останется закрытым для шпионажа», — заявил Хрущев.

По возвращении в резиденцию Молотов выговорил отцу за недипломатичность его поведения. Отец отпарировал: когда речь

идет о безопасности страны, не до дипломатии. В Москве отец надиктовал ответ Эйзенхауэру, разъясняющий, почему мы не соглашаемся на облеты территории Советского Союза. Подписал его, естественно, Булганин, глава правительства.

Инцидент в Женеве пока еще особого резонанса не вызывал. Считалось, что разногласия, обсуждения и даже споры — естественны для коллективного руководства. Вот только что это такое — коллективное руководство, никто не удосужился сформулировать. В демократии есть партия, стоящая у власти, и оппонирующая ей оппозиция. И та и другая стороны имеют задающего тон лидера. Все остальные или следуют за ним, или, если лидер их не устраивает, сменяют его. Провозглашенное после Сталина советское коллективное руководство отвергало чье-либо лидерство, квалифицировало его как культ личности. Но руководство без лидера и лидерства не бывает, такая власть называется анархией.

Лидерство отца, как я уже писал, определилось после ареста Берии. Теперь, в спорах с Молотовым, он только упрочивал свое положение.

Ни целина, ни мелкие стычки вокруг протокола государственных визитов пока не обнажали подспудного размежевания в Президиуме. Вопрос о Сталине, о совершенных им преступлениях — вот что столкнуло отца с Молотовым лоб в лоб.

Вячеслав Михайлович любил Сталина более кого-либо на свете, более своей жены Полины Семеновны, отправленной Сталиным на долгие годы в тюрьму, более своей единственной дочери Светланы. Эту любовь он пронес сквозь всю свою жизнь. Он стал тенью Сталина и гордился своей «теневой» ролью. При Сталине Молотов исполнял роль заместителя и одновременно особо доверенного секретаря. Сталин надиктовывал ему свои решения и на заседаниях Политбюро, и на совещаниях с военными во время войны, и на нескончаемых сталинских обедах. Молотов всегда держал наготове блокнот и карандаш. Авторучкам он не доверял: ненароком в кармане протекут или клякс наставят.

В конце своей жизни Сталин Молотова отставил, перестал приглашать на дачу, во всеуслышание объявил его американским шпионом. Молотов не сомневался, что конец его близок, но Сталина любить не перестал.

Разоблачение отцом преступлений Сталина на XX съезде — часть из них Молотов искренне считал ошибками, а главные просто не признавал, — он, наверное, единственный в Президиуме ЦК, воспринял как личную обиду, «напраслину»,

возведенную на любимого им человека. Против коллективного решения, одобрившего «секретный» доклад, Вячеслав Михайлович не пошел, но с этого момента отца попросту возненавидел. Он уже не переносил ни отца, ни то, что он предлагал и делал, ни что и как он говорил. Открыто неприязнь Молотова выплеснулась в мае 1956 года при обсуждении итогов визита в Англию.

Отец там, как и в Женеве, пару раз перехватывал инициативу, перебивал Булганина, главу делегации. Первый раз это произошло в Военно-Морском колледже в Портсмуте, где за обедом начали обсуждать роль надводного флота в ядерной войне. Не чувствуя себя до конца уверенным, Булганин сам подтолкнул Хрущева: «говори ты». Отца дважды просить не пришлось. Второй и последний раз отец вмешался, когда на встрече с лейбористами в Парламенте они передали Булганину список арестованных в восточноевропейских странах народной демократии еще при Сталине их собратьев по социал-демократическому движению и попросили освободить их. Булганин согласился и положил список в карман, повел себя так, как если бы речь шла о его собственной стране. Отец встрепенулся: мы только что заявили, что больше не будем вмешиваться во внутренние дела наших союзников и вот на тебе — Сталин приказал их арестовать, а теперь Булганин обязуется их освободить. А если поляки с болгарами придерживаются иного мнения, у них свои отношения внутри их стран. Отец вмешался в разговор, заявил, что лейбористы обратились не по адресу, если хотят, пусть свяжутся с правительствами интересующих их независимых, он подчеркнул, независимых, государств напрямую. Вышел конфуз, Булганину пришлось вернуть список. На мой взгляд, отец в обоих случаях действовал обоснованно. А вот Молотов считал иначе и затеял целое разбирательство. Отец отбивался, их перепалка взаимных симпатий не прибавила, к тому же произошла утечка. По Москве поползли слухи. Теперь уже и отец разобиделся на Молотова. За глаза повторял данное тому Сталиным прозвище «каменная задница». Молотову все, естественно, пересказывали в красках. Его неприязнь к отцу день ото дня возрастала. Вскоре наступила развязка. Воспользовавшись визитом президента Югославии в Советский Союз, отец в июне 1956 года убрал Молотова из Министерства иностранных дел.

Дело было не только и не столько в Тито. Он устал от непрекращающихся стычек с Молотовым по поводу отношений с Западом. Отец хотел договариваться, а Молотов занимал бескомпромиссную «сталинскую» позицию. И вот теперь он подыскал замену Молотову на министерском посту — уж очень тот одиозная фигура, а с Тито он вообще не то что договориться,

разговаривать не в состоянии. На место министра иностранных дел отец продвигал Шепилова. Он возлагал на Шепилова большие надежды как на единомышленника и союзника в налаживании отношений с Америкой, Европой, прокладывании пути в Африку, Азию, на Ближний Восток. Отец твердо вознамерился выводить Советский Союз на мировую арену. Хватит нам сидеть взаперти в своих границах, надо показать миру, и не на словах, а на деле, что мы — мировая держава. Внешне все выглядело невинной рокировкой, Вячеслав Михайлович, с его авторитетом и опытом, оставаясь первым заместителем Председателя Совета Министров и членом Президиума ЦК, своего влияния не потеряет. На деле же, и Молотов это отлично понимал, отец его задвигал, и задвигал навсегда. Молотов хорошо знал Шепилова по работе в ЦК. Тот всегда держал нос по ветру и, естественно, не только не станет на него ориентироваться, но сделает все, чтобы отставить его, Молотова, от международных дел. Президиум проголосовал «за», и Молотов не мог не подчиниться партийной дисциплине.

В результате, Молотов оказался как бы не у дел. К иностранным делам Шепилов его, как и ожидалось, не подпускал на пушечный выстрел. Вячеслав Михайлович не знал, чем себя занять, и в середине июля 1956 года надумал съездить в Донбасс. В 1920 году он секретарствовал в Донецком (тогда Донецк назывался городом Троцк) губернском партийном комитете, через год встал во главе всей Украины. Последний раз Молотов посетил Донбасс в мае 1933 года уже в качестве председателя правительства. И вот теперь, на досуге, столь понятная старикам ностальгия потянула его навестить места, где прошли молодые годы.

Поводом для поездки послужили очередные упущения в угольной отрасли. Вячеслав Михайлович написал записку в Президиум ЦК с обоснованием своей поездки. Без формального одобрения Президиумом его члены не то что в Донбасс, в отпуск не ездили. Послесталинское руководство помех таким поездкам не чинило, отец много разъезжал сам, считал, что «знакомство с жизнью» идет на пользу членам высшего руководства страны.

Но не на этот раз. Отец вообще ревниво относился к вмешательству кого-либо (помимо его самого) в дела «его» Украины. А тут Молотов. Что он понимает в угле, в шахтах, в Донбассе? На фоне уже почти нескрываемой взаимной неприязни желание Молотова прокатиться в Донбасс отец расценил как вызов. Возможно, даже как попытку прощупать местное партийное начальство, но я в это не особенно верю. Догматик Молотов не пошел бы против уже упомянутого мною решения XI съезда партии, запрещавшего какую-либо фракционную

деятельность. Любая критика центра в разговорах с секретарями обкомов воспринималась Сталиным, а значит и Молотовым, как нарушение партийной дисциплины и заслуживала сурового наказания. Молотов такого себе позволить не мог. Одно дело обсуждать, даже осуждать поведение Хрущева в своем кругу, в крайнем случае, поставить вопрос об отрешении его от должности, а затем вынести уже готовое решение на формальное утверждение Пленумом ЦК. И совсем другое — выносить сор из избы, по-троцкистски возбуждать «низы», затевать дискуссию, пусть и приватную. Нет, такого Вячеслав Михайлович и вообразить себе не мог.

Отец тоже навряд ли всерьез считал возможным заговор против себя, тем более в связи с поездкой Молотова в Донбасс. Он выступил против из ревности. Тут же, на заседании Президиума ЦК, вызвался сам съездить в Донбасс, затем объехать и другие угольные регионы Украины, профессионально разобраться во всех их проблемах, изложенных и не изложенных в записке Молотова.

Члены Президиума согласились с отцом, 3 августа 1955 года постановили: «Поехать в Донбасс тов. Хрущеву (а не тов. Молотову), числа 13 августа».

Молотову в порядке компенсации предложили на выбор посетить Баку или на Украине Кривой Рог, Никополь и Запорожье. Молотов разобиделся вконец, но все-таки по дороге в Крым, на свою любимую дачу в Мухалатке, 9 — 14 августа побывал и в Кривом Роге, и в Никополе, и в Запорожье. Принимали его там прохладно. Украинское республиканское руководство им вообще не заинтересовалось, они готовились к приезду Хрущева. Естественно, все это симпатии к отцу у Молотова не прибавило. Да и о какой симпатии можно было говорить в августе 1956 года?

13 августа, как и предписывалось решением Президиума ЦК, отец выехал в Донбасс. В тот же день он вместе с Первым секретарем ЦК Компартии Украины Кириченко осмотрел железобетонные крепления штреков на строительстве шахты «Ветка-Глубокая», неподалеку от столицы Донбасса Сталино (Донецка), затем переехал в Макеевку, город его юности, спустился в шахту 13-бис, осмотрел выставку горнопроходческого оборудования. 14 августа он снова в шахте, теперь уже № 1 имени Челюскинцев, а затем совещался с местным руководством, обсуждал проблемы угольщиков с директорами заводов и шахт, учеными и инженерами.

15 августа он переехал в соседнюю Ворошиловградскую (Луганскую) область, в поселок Красный Луг. Там с использованием новейших технологий прокладывали шахту Ново-

Павловскую. После осмотра шахты — еще одно совещание. Строительством шахты отец остался доволен, а вот условия жизни шахтеров его огорчили: теснота, скученность, отсутствие удобств. Он выговорил Кириченко, тот обещал принять меры, но тут же пожаловался на Москву — Госплан и министерства задерживают, а то и вовсе зажимают фонды. На переговоры с ними, уговоры даже у него, члена Президиума ЦК, уходят недели и месяцы. Отец прекрасно понимал Кириченко, в свое время он сам натерпелся от московской бюрократии.

16 августа отец возвратился в Сталино, собрал совещание с участием московских и украинских министров и по его окончании поехал в Исследовательский институт механизации угольных шахт еще раз поговорить с учеными.

17 августа он выступил на митинге в Сталино, где на центральную площадь собралось практически все население города и окрестных поселков, не столько послушать Первого секретаря ЦК КПСС, сколько поглядеть на своего знаменитого земляка.

18 августа отец уже в Днепропетровске разбирался с состоянием дел в черной металлургии Украины. Дальше путь его лежал на запад, в не столь знаменитый, как Донецкий, но тоже очень важный, Львовско-Волынский угольный бассейн.

20 августа он проводит в общении с шахтерами Нововолынска, 21-го и тут спустился в шахту, выступил на совещании и городском митинге в Червонограде Львовской области, а вечером проинспектировал окрестные колхозные поля. День получился насыщенным до предела.

22 августа отец возвратился в Москву. По возвращении разослал членам коллективного руководства подробную, изобилующую техническими тонкостями записку. 24 августа 1956 года Президиум ЦК заслушал отчет Хрущева о поездке: «Положение с углем плохое. Неслаженность в работе. От Госплана и Госэкономкомиссии идет полная неразбериха. За 1956 год из-за понижения производительности труда себестоимость тонны угля выросла более чем на 6 рублей».

Булганин, Сабуров, Первухин, Каганович, Маленков согласились с Хрущевым: «Госплан работает плохо». Находившийся в отпуске Молотов на заседании отсутствовал.

Далее отец говорил о деталях, но деталях очень важных — сравнивал наш технический уровень с последними западными достижениями: «Ленточные транспортеры — короткие, у англичан они много длиннее, а значит, производительнее. Шахтные подъемники у шведов более производительны». Правда, у нас «хороши железобетонные крепления».

«Главная проблема — нехватка жилья, — отметил отец и с горечью констатировал: — Всё растаскивают». Президиум постановил: «Проделанную работу одобрить. Выводы признать правильными. Записку Н. С. Хрущева разослать».

Поездкой отец, несмотря на коллизии с Молотовым, остался доволен. Не только на Президиуме ЦК, но и дома рассказывал, как он спускался в шахту, она теперь смотрится куда лучше, чем после войны, уголь крошат специальными машинами, о кайле там уже позабыли, и конечно, бетонные столбы, поддерживающие потолки тоннелей от обрушения, не идут ни в какое сравнение со старыми деревянными подпорками. Молотова отец дома не поминал, как и не вспомнил о нем и на Президиуме ЦК.

До конца года на заседаниях Президиума ЦК они еще не раз вернутся к обсуждению угольной отрасли, вернее проверке выполнения задач, изложенных в записке.

Из отпуска Вячеслав Михайлович возвратился в конце сентября, а 21 ноября 1956 года отец пристроил промаявшегося почти полгода без определенных обязанностей Молотова министром государственного контроля. Должность, считал отец, как раз по его характеру. При этом разобиженный Молотов, как и Каганович с Сабуровым, остался первым заместителем Председателя Совета Министров и полноправным членом Президиума ЦК.

Впоследствии Вячеслава Михайловича оппозиционеры представят в качестве альтернативы Хрущеву. Годился ли Молотов в руководители страны, судить не берусь. На мой взгляд, не годился, уж слишком долго он просидел в «секретарях» у Сталина. А вот знаменем оппозиции он вполне мог стать. Молотова в стране чтили.

О Маленкове я уже написал достаточно. Он по-прежнему демонстрировал отцу свою «искреннюю» дружбу. Не прекращались и наши семейные прогулки. Но все это до поры до времени. Я думаю, что Георгий Максимилианович в определенном смысле вел себя искренне. Однако появись у отца достаточно сильный конкурент, Маленков, без сомнения, немедленно переметнулся бы на его сторону.

Булганин, как и Маленков, признавал лидерство отца. Пребывание на вторых ролях его внутренне не задевало, они с отцом работали в таком тандеме еще с 1930-х годов: отец — секретарь Московского комитета, он — городской голова, председатель Моссовета. Однако постоянное педалирование Молотовым его «второсортности» давало свои плоды. Если раньше Николай Александрович без обиды воспринимал подшучивание над собой, смеялся вместе с отцом, то теперь, с

какого-то момента, оно его все больше раздражало. Булганин еще не созрел для открытой оппозиции отцу, но зрел. От отца зависело, дозреет ли он, чью сторону примет Булганин в случае конфликта в руководстве страны. Однако отец не замечал происходивших в Булганине перемен. Он продолжал вести себя с ним по-приятельски. Булганин же больше себя в приятелях отца не числил.

Ворошилов, Председатель Президиума Верховного Совета, к номинальной роли «президента» и члена Президиума ЦК давно привык. Если бы не история со Сталиным на XX съезде, он бы цепко держался за отца. Но Сталина он простить Хрущеву не мог и не хотел. Со Сталиным Ворошилова связывала вся его жизнь. Они вместе в Гражданскую войну создавали Первую Конную армию. Вместе воевали с белыми, и не только с белыми, но и с собственными возомнившими себя стратегами выскочками — Троцким с Тухачевским. Теперь же получалось, что Тухачевский — не раздавленный враг, а невинная жертва. И это только начало. Где гарантия, что завтра не реабилитируют самого Троцкого? Что тогда останется от него самого, от Ворошилова? Климент Ефремович пока не изменял отцу, но внутренне был готов изменить при первой возможности.

Шахиншах Иранский, Елизавета Английская и Елизавета Бельгийская

С Ворошиловым, быстро старевшим умом, но не телом, то и дело случались различные происшествия. Я бы назвал их комическими, если бы комизм в большой политике не сопровождался весьма неприятными для страны последствиями.

В субботу, 23 декабря 1955 года Климент Ефремович принимал посла Ирана Абдул Гуссейн Ансари по случаю вручения верительных грамот. Все шло в соответствии с протоколом. Процедура вручения верительных грамот сама по себе необременительная, расписанная до мелочей, казалось, не могла таить никаких подвохов. В соответствии с правилами, посол произнес короткую речь, в частности, как написано в газете «Известия» — официозе Верховного Совета СССР, отметил, что «предстоящее посещение его Величеством шахиншахом Советского Союза, весть о котором была встречена с таким сердечным одобрением со стороны советской общественности, укрепит более чем когда-либо дружбу и взаимопонимание между обеими странами и послужит делу мира».

Переговоры о визите велись давно, шах тянул с ответом и вот наконец передал через вновь назначенного посла свое согласие.

Отец этому визиту, свидетельствовавшему о начале процесса восстановления в Иране доверия к нашей стране, практически разрушенного Сталиным после войны, когда он намерился «поглотить» временно оккупированный советскими войсками Иранский Азербайджан, придавал немалое значение. Они смогут поговорить с глазу на глаз, он убедит шаха, что к старому возврата нет, опасаться Советского Союза нет никаких оснований.

Отвечая послу, Ворошилов читал по бумажке, что советское руководство и он лично приветствуют заявление посла о визите шахиншаха в Советский Союз, и пообещал, что советская сторона примет высокого гостя тепло и по-дружески. Закончив обмен официальными речами и чокнувшись бокалами с шампанским, Ворошилов и посол присели к стоявшему в углу зала круглому белому столу. Протокол предусматривал неофициальную краткую, минут на пять-десять, беседу.

Поблагодарив посла, осведомившегося о его здоровье, Ворошилов, которому запала в голову информация о предстоящем визите шаха в СССР или просто одно слово «шах», вдруг оживился.

— Что это вы у себя шаха все терпите? — неожиданно спросил он посла. — Мы своего царя Николашку давно скинули, и вам пора…

Ошеломленный дипломат пробормотал что-то невразумительное и спешно откланялся.

Из аппарата Президиума информация о происшествии, напоминавшем рассказы Йозефа Швейка о престарелом императоре Франце-Иосифе, наружу не просочилась. Там решили прикрыть шефа. Чиновники быстро привыкают к причудам начальства.

Хуже себя чувствовал посол. Он никак не мог решить, как расценивать отношение главы соседнего могущественного государства к своему монарху и написал в Тегеран обо всем, как было. Через некоторое время на стол отцу легла копия расшифрованного КГБ донесения посла шаху.

Он за голову схватился… Все усилия восстановить доверие шаха Ирана — коту под хвост. После таких слов главы Советского государства он может вообще отказаться от визита. И будет абсолютно прав. Расстроенный и рассерженный отец потребовал от Ворошилова объяснений и не приватно, а на заседании Президиума ЦК.

Ворошилов обиженно, несмотря на лежавший перед ним текст иранской шифровки, убеждал коллег, что он «такой глупости сказать не мог, потому что это не в моей натуре. Я, не хвастаясь, могу сказать, что в отношении деликатности и умения

вести себя среди этой братии я вполне владею… Как я мог говорить что-то недопустимое?»

Кто-то из присутствовавших усомнился в квалификации переводчика, возможно посол что-то недопонял, уж больно анекдотично звучало все происшедшее. Но из справки МИДа следовало, что посол перед революцией окончил Петербургский университет и в переводчике по существу не нуждался.

Припертый к стене Ворошилов вину свою признал, засокрушался: «Бес попутал…» Отец вспылил: «Да ты, Клим, так ненароком и войну объявить можешь…»

Эта история продолжения не получила. Шахиншах Ирана словам Ворошилова значения не придал, он грамотно оценивал расстановку сил в советском руководстве.

25 июня 1956 года отец с Ворошиловым встречали шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и шахиню Сорейю во Внуковском аэропорту. Визит прошел на редкость удачно. Отец остался доволен, но потом подтрунивал над Климентом Ефремовичем, как тот вознамеривался устроить в Иране революцию. Ворошилов кисло улыбался в ответ, но то, как отец выставил его на посмешище, пусть и перед своими, запомнил.

Внешне Ворошилов держался по отношению к отцу подчеркнуто дружески и, я бы сказал, подобострастно. Отец же позволял себе шутить над Ворошиловым, как ему казалось, совершенно безобидно.

Приведу пример, которому я оказался свидетелем. Во время отпусков отец считал уместным один раз собрать вместе отдыхавших в округе значительных лиц: руководителей социалистических стран и братских компартий, военачальников, министров — всех, естественно, с семьями. Прием начинался с утра и проходил в пустовавшем царском дворце, расположенном в горах над Массандрой. Гуляли, шутили, стреляли из ружей по тарелочкам и, конечно, беседовали. Ради бесед эти встречи и затевались. Часа в три садились за стол. В запомнившийся мне год стояла сильная жара, и отец предложил обойтись без алкоголя. Ворошилов стал шумно возражать. Отец пошептался с официантом, и перед Климентом Ефремовичем появилась бутылочка его любимой «Столичной». Он сам наполнил себе первую рюмку, остальные гости за неимением ничего более крепкого ограничились виноградным соком. Ворошилов встал и начал свой коронный тост за женщин. В течение последних лет он его произносил всегда и везде. Он говорил долго, цветисто и немного напыщенно. Наконец, провозгласив здравицу, он ловко, в один глоток, «хлопнул» рюмку. Отец пригубил свой сок и исподтишка поглядывал на Ворошилова. Тот глотнул

содержимое, поперхнулся, густо покраснел и начал недоуменно озираться. Никто, кроме отца, не понял, что произошло. Тот же по-детски радовался удавшейся шутке. По его просьбе бутылку заполнили ледяной кипяченой водой.

Наконец Ворошилов очухался и недоуменно произнес: «Вода?» Отец заразительно рассмеялся, его поддержали все остальные, сидевшие за столом. Все, кроме Ворошилова. Он разозлился, буркнул: «Так и отравить могут» и, насупившись, сел. Отец начал его успокаивать — все это лишь безобидный розыгрыш, но Климент Ефремович понять его не желал. Настроение у него испортилось на весь оставшийся день. Происшествие, конечно, незначительное, но лучше бы отцу не шутить так с членом Президиума ЦК.

В ноябре 1956 года произошел еще один трагикомический случай. Ворошилов спутал английскую королеву с бельгийской. Как известно, главы государств и правительств протокольно поздравляют друг друга с праздниками, если, конечно, в отношениях между странами не возникают шероховатости, когда взаимные любезности становятся неуместными. После нашего вмешательства в Венгрии, а Великобритании — в Египте, поздравлений по случаю очередной, 39-й годовщины Октябрьской революции от английской королевы не ожидали. Поэтому, когда Ворошилову доложили, что получена телеграмма за подписью королевы Елизаветы, он растрогался. Клим Ефремович слыл человеком сентиментальным, а тут после всего случившегося королева сочла возможным поздравить его с праздником.

В Лондон полетела не менее теплая телеграмма благодарности. Однако британское Министерство иностранных дел отправило телеграмму обратно с формальным разъяснением: «Наша королева никаких посланий Ворошилову не направляла». Стали разбираться, оказалось, поздравление от королевы Елизаветы действительно получили, но не английской, а бельгийской. Бельгия, в отличие от Англии, с Советским Союзом не ссорилась, а их королева, питавшая пристрастие к русской музыке, не раз неофициально приезжала в Москву, ходила в консерваторию и Большой театр. Более того, она вопреки, а возможно и в пику «атлантической» натовской солидарности, регулярно посещала конференции в защиту мира, выступала за ядерное и вообще всякое разоружение. Естественно, что по случаю государственных праздников королева Елизавета Бельгийская неизменно поздравляла Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Не изменила она традиции и на этот раз, несмотря на Венгрию, Суэц и все прочее. На то она и королева, чтобы не обращать внимания на политическую возню.

Почему Ворошилов решил, что телеграмма от английской королевы? Не знаю. Когда 22 ноября 1956 года на Президиуме ЦК разбирались с «посылкой ответа тов. Ворошилова английской королеве на телеграмму, полученную в адрес тов. Ворошилова от бельгийской королевы», всю вину свалили на аппарат, самому Ворошилову лишь попеняли на «недопустимую доверчивость, в результате чего произошла такая грубая ошибка и халатность».

Предварительный итог

Итак, простая арифметика: из избранных после XX съезда одиннадцати членов Президиума ЦК четверо — Молотов, Каганович, Сабуров, Маленков — понимали, что их пребывание в высшем руководстве страны подходит к концу, не могут же они оставаться там и одновременно занимать далеко не первостепенные министерские посты. Терять им нечего. Или они вернут утраченные позиции, или…

Четверо — Микоян, Суслов, Кириченко и отчасти Первухин, каждый по-своему — поддерживали отца. Пока поддерживали. Если добавить к ним самого отца, получалось пятеро. Пятеро против четверых.

Двое — Булганин и Ворошилов — колебались. Один небольшой толчок, и они присоединятся к еще не оформившейся оппозиции.

Арифметика простая: два плюс четыре равняется шести. Получалось шесть против пяти уже не в пользу отца.

Жуков, Брежнев, Мухитдинов, Шепилов, Фурцева, Шверник — кандидаты в члены Президиума составляли резерв отца, но всего лишь резерв. На заседаниях Президиума они голосовать права не имели.

Вот такой получался на конец года итог, но отец «бухгалтерией» не занимался. Все его помыслы сосредотачивались на реформе структуры управления экономикой. Он уже представлял себе в общих чертах, как он заставит ее работать. Но это уже задача следующего года.

1957 год

«Судьба человека» (Отступление седьмое)

1 января 1957 года целый разворот в «Правде» отдали под рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». «Солдатский» рассказ о войне, о плене, о крови и мучениях простых людей. До этого о такой войне не писали не только в «Правде», но вообще не писали. Войну с подачи Сталина изображали лубочно: авторы, хуже или лучше, в зависимости от таланта, выписывали наших богатырей и глуповатых фрицев. То, что война — это не только подвиг, но и тяжелый, грязный, даже отвратительный солдатский труд, что не только мы били фрицев, но и они колотили нас, писать не рекомендовалось, в том числе и Шолохову. Вот он и послал свой рассказ отцу с просьбой прочитать его и ответить, отчего ему, Шолохову, не позволяют писать так, как ему пишется?

На отца рассказ подействовал оглушительно, и не только своим языком и манерой написания. Отец хорошо знал и любил Шолохова. Он особенно ценил его «народность», наверное, это единственно правильное определение. Читая и перечитывая «Тихий Дон», отец, сам человек от земли, восхищался умением Шолохова проникнуть в нутро казацкого быта. Трагедию Григория Мелехова отец понимал лучше многих. В Гражданскую войну он воевал против таких Мелеховых в тех же местах. Они воевали по разные стороны фронта, но жили одной солдатской жизнью, воевали за лучшую долю, даже, если понимали они эту долю по-разному. Отец в этой войне вышел победителем, он из числа тех, кто на Таманском полуострове громил армии генерала Деникина, у которого воевал Мелехов, дошел до Новороссийска и Туапсе. Толпы казаков, покинутых своими командирами, не попавших на уходившие в Стамбул пароходы, для отца — не выдуманные литературные персонажи, а реальные люди, которых он видел собственными глазами.

В коллективизации отцу участвовать не довелось. Он тогда учился в Промышленной академии, потом работал в Московском райкоме партии. В «Поднятой целине» главный герой для него — дед Щукарь, а не Семен Давыдов с Макаром Нагульновым. Настоящий, списанный с жизни дед с вложенными в его уста писателем Шолоховым знакомыми с детства словечками, с его крестьянской ухваткой и хитростью.

И вот теперь — Андрей Соколов, его судьба, судьба человека,

прошедшего через все ужасы страшной войны. Отец не любил, вернее не мог читать книги о войне. Когда я однажды восхитился каким-то военным рассказом, кажется, Симонова, он мне выговорил: «Правды о войне не пишут и никогда не напишут. Война страшнее, грязнее и ужаснее всего того, что может вообразить писатель, даже такой, как Симонов, не раз посещавший фронт. Но только “посещавший”».

Отец не смог избавиться от наваждений войны до самой своей смерти. Он не смотрел кинофильмы о войне, даже комедии. Они тут же воскрешали в его памяти настоящую войну. И отец не мог заснуть, ворочался всю ночь.

Судьба рассказа Шолохова складывалась непросто. Он многим нравился, но напечатать его не решался никто. Уж больно тема щекотливая: бывших военнопленных уже перестали считать преступниками, но относились к ним настороженно. Шолохов без особой надежды послал рассказ Хрущеву. Прочитав «Судьбу человека», отец попросил соединить его с Шолоховым. Разыскали его не сразу. Связь со станицей Вешенской, где жил писатель, оставляла желать лучшего, а когда дозвонились, то оказалось, что к телефону Михаил Александрович подойти не может. На том конце провода ответили, что он на рыбалке, другими словами — запил. Наконец все утряслось, Шолохов дозвонился до отца сам. Оказалось, что он не на «рыбалке» и даже не в Вешенской, а в Москве, в гостинице «Москва». Отец восхищался рассказом. Шолохов, когда пришла его очередь говорить, попросил о встрече, если можно неофициальной, то есть напросился в гости. Отец охотно согласился, пригласил писателя с женой Марией Петровной в ближайшее воскресенье к себе на дачу.

Шолохов показался мне не по-казацки щупленьким, маленьким и на удивление застенчивым. На расспросы отца поначалу отвечала Мария Петровна, а Михаил Александрович только поддакивал. Постепенно неловкость прошла, он разговорился. Все вместе отправились гулять по обрамленным сугробами и оттого узковатым дорожкам парка. Отец с Шолоховым шли впереди, за ними Мария Петровна и Нина Петровна, следом попарно растянулись мы, дети. Нагулявшись и намерзшись, пошли в дом обедать, затем расселись кружком в гостиной, и Михаил Александрович, «с выражением», читал написанные еще начерно отрывки из второй части «Поднятой целины». Отец слушал внимательно и с удовольствием. После чтения Шолохов перешел к главному, к «Судьбе человека», начал жаловаться на Союз писателей, чинуш-издателей, но отец не дал ему договорить и тут же предложил опубликовать рассказ в «Правде». Ее читатели не только насладятся настоящей прозой,

но и со страниц самой главной газеты страны прозвучат слова уважения к узникам лагерей. Как бы отец не относился к литературному произведению, он в первую очередь оценивал, что автор говорит читателю, а уж затем, как он пишет.

Шолохов рассыпался в благодарностях, о подобной чести он и не мечтал. На самом деле публикация в «Правде» так же, как и приглашение в гости к отцу, служили ему индульгенцией на будущее, облегчали преодоление цензурных и иных рогаток.

Отец тут же, при Шолохове, позвонил Шепилову и попросил посодействовать в публикации рассказа Шолохова. Идеолог-чиновник сталинской школы, Шепилов умел и любил угождать: вот он и отвел под «Судьбу человека» праздничный номер газеты.

Шолохов отца расположил к себе сочувствием и пониманием крестьянской сущности, сопереживанием их бедам и заботам. Одновременно ему льстило знакомство с литературной знаменитостью. На прощание отец предложил Шолохову звонить ему без стеснений, как только возникнет нужда, пригласил его в будущем, когда он напишет что-нибудь новенькое, в гости.

Шолохов зазывал отца к себе в Вешенскую, соблазнял рыбалкой и охотой в Донских плавнях. Отец обещал приехать, вот только когда — не знает, все дни расписаны по минутам.

— Ловлю вас на слове, — настаивал Михаил Александрович, — к концу лета, к открытию охотничьего сезона, напомню.

На том они и расстались.

Естественно, посещение Шолоховым отца не осталось незамеченным. Михаил Александрович рассказывал всем желавшим его слушать, как он гулял с Хрущевым, чем угощали за обедом и главное, как внимательно он слушал «Поднятую целину». Друзья поддакивали, восхищались, завидовали.

Весной Шолохов уже сам позвонил отцу, теперь он ничего не просил, сообщил, что главы «Поднятой целины», прочитанные на даче в Огарево, он окончательно доработал, вскоре они появятся в «Правде». 13 и 14 апреля главная партийная газета отвела два подвала под описание новых злоключений деда Щукаря и его приятелей (обычно там размещались наиболее важные политические и хозяйственные статьи).

С того времени и повелась дружба отца с Шолоховым. Регулярно, практически ежегодно, Михаил Александрович с Марией Петровной наведывались к нам на дачу, сначала в Огарево, а затем в Горки-9. Михаил Александрович читал новые куски, сначала из «Поднятой целины», а затем из книги о войне «Они сражались за Родину». Вот только в Вешенскую отец так и не выбрался ни в 1957 году, ни в следующем, 1958-м. Он

собирался, намечал даты, но каждый раз вклинивались неотложные дела. Шолохов напоминал отцу о не сдержанном обещании, но без назойливости, отец извинялся, и охота на Дону откладывалась до лучших времен.

К Шолохову отец выбрался только в конце августа 1959 года. В то лето он готовился на пицундской даче к визиту в США, читал справки, беседовал с американистами, надиктовывал свое выступление в ООН. В конце «отпуска» отец позвонил Шолохову, осведомился, не отменил ли тот свое приглашение? Шолохов обрадовался, подтвердил, что приглашение в силе и на этот раз, и на все последующие. Отец предупредил, что времени у него в обрез, охоту с рыбалкой придется отложить, у Шолоховых он задержится только на день-два. В Москву отец возвращался поездом. По пути разговаривал с секретарями обкомов, приглашал их к себе в вагон на остановке при переезде из одной области в другую и расставался, покидая ее.

К приезду отца готовились всей станицей, варили, пекли, жарили, парили донские деликатесы. Нагрянувшая накануне охрана разочаровала и Шолохова, и односельчан: Хрущев на диете, кормить его будут они сами и из своих, проверенных в специальной лаборатории, продуктов.

Отца встретили хлебом-солью, казацкими песнями, а когда прошли в дом, Мария Петровна пожаловалась: они так старались, не подозревали, что гость на диете, да еще такой строгой.

Отец действительно соблюдал предписания врачей, но диетическую пищу не любил, не еда это — одни калории.

— А судак у вас есть? — спросил он Марию Петровну в ответ на ее сетования и хитро улыбнулся.

— А как же! И судак, и лещ, и сом, — начала перечислять хозяйка.

— Судак свежий или мороженый? — перебил ей отец.

— Не свежий — свежайший, — обиделась Мария Петровна, — сегодня утром еще в Дону плавал.

— Они меня на диете мороженым кормят, не судак, а кусок резины, — пожаловался отец и, оглядевшись, как бы по секрету закончил, — я в гостях, а в гости ходить со своей диетой неприлично.

Пировали на славу, только от водки отец отказался, зато нахваливал донские вина, особенно любимые им рислинги. Обычно отец, не желая стеснять хозяев, ночевать уезжал в свой вагон. Но Шолохов так настаивал, а Мария Петровна так искренне расстраивалась, что на сей раз, изменив обычаю, он остался у Шолоховых до утра.

На следующий день отец пригласил Шолохова сопровождать

его в начинавшейся через пару недель поездке по Соединенным Штатам Америки. Приглашение пришло ему на ум не экспромтом. Обсуждая с Громыко и другими людьми, отвечавшими за подготовку поездки, состав делегации, он упомянул Шолохова еще месяц назад. Ему возразили в один голос: Шолохов для столь ответственного визита категорически не подходит. Михаила Александровича последние годы за границу старались не выпускать, но не по политическим мотивам. Шолохов запойно пил. А запив, творил такое… Сладить с ним не мог никто. Приходилось ждать неделю, а то и больше, пока ситуация не разрешится сама собой. В ЦК опасались — в случае запоя где-то в капиталистической стране не только стыда не оберешься, но он вообще может пропасть без следа. Отец, естественно, об этом «грехе» Шолохова был наслышан. Он и в Вешенскую заехал, чтобы своими глазами посмотреть, насколько Шолохов контролирует себя за столом. Увиденным отец остался доволен, Шолохов пил не перепивая, говорил внятно и связно, вел себя как подобает вести нормальному мужику. В Америке он не запьет. Опасения чиновников продиктованы желанием перестраховаться.

По возвращении в Москву отец поручился за Шолохова перед Президиумом ЦК, шутливо заверил, что глаз с него не спустит. В США Шолохов не пил, точнее не запил. После Америки отношения отца с Шолоховым, я бы не называл их дружбой, еще более укрепились.

Через пару лет Шолохов снова засобирался за границу. Запои у него участились, и «инстанции» отказались выпустить его в Скандинавию. Он обратился к отцу за поддержкой, и тот за него «поручился» вторично, как выяснилось позже, напрасно. В Швеции Михаил Александрович не сдержал данного отцу слова, сорвался, половину срока провалялся в гостиничном номере. Посольство на Шолохова пожаловалось в Москву, и отдел ЦК предложил принять к писателю меры. Отец их не поддержал, не выговор же ему объявлять.

По возвращении Шолохов снова появился у нас на даче, несколько пришибленный, с виноватым выражением лица. Он привез отцу в подарок купленные в Швеции на развале резиновые зеленые сапоги. По его словам, охотничьи — в них хорошо по болоту бродить. Вот только сапоги отцу не годились. Шолохов взял самый ходовой 42-й размер, не подозревая, что у отца нога почти детская, он носил обувь 39-го размера. Сапоги достались мне. Хорошие сапоги. Каждую весну и осень я месил ими грязь сначала у отца, а затем у себя на даче. Порвались сапоги только в конце 1980-х годов, когда ни отца, ни Шолохова давно уже не

было на свете.

Дружба отца с Шолоховым вызвала в Москве массу толков. Собратья-писатели объясняли ее не талантом своего собрата, а придумали, что они с отцом — свояки. У отца жена — Нина Петровна, у Шолохова — Мария Петровна. Тут Петровна, там Петровна. Какие еще требуются доказательства? Шолохов слухи, несмотря на всю их абсурдность, не опровергал.

В конце июня 1964 года отец побывал с официальным визитом в Швеции. Там на одном из многочисленных приемов к отцу подошла дама (ее имени он не запомнил) и сказав, что она из Нобелевского комитета,[38] завела разговор о литературе. Затем, как бы невзначай, но отнюдь неслучайно, заметила, что Нобелевский комитет, Шведская академия раздумывает о Нобелевской премии для одного из русских писателей. Почти пятьдесят лет, со времени революции, им премии не присуждали. Она дипломатично умолчала о Пастернаке, да и об Иване Бунине, эмигрантском русском нобелевском лауреате 1933 года, тоже не вспомнила. Теперь академики настроились исправить несправедливость. У них уже есть два кандидата, она назвала фамилии. Новая знакомая отца поинтересовалась, кого из ныне живущих писателей своей страны он считает достойным Нобелевской премии? Что думает об их кандидатах? Дома отец рассказывал, что он заколебался, сначала вообще не хотел называть имен, кто знает, как истолкуют его слова? Потом решил не отмалчиваться, сказал, что по его читательскому мнению, предоставленные к рассмотрению писатели — люди достойные, талантливые (он никогда не раскрывал их имен), но далеко не самые лучшие. И тут отец произнес фамилию Шолохова, но с оговоркой, что сам он в литературе дилетант, пусть шведские академики решают сами. Женщина поблагодарила отца и заверила, что передаст его мнение Нобелевскому комитету.

После октября 1964 года Шолохов с горизонта отца исчез, в гости больше не напрашивался, не звонил. Отец переживал, но любить его как писателя не перестал.

Не прислал Шолохов и соболезнования маме по случаю смерти отца.

В 1965 году, спустя год после того разговора Шведская академия присудила Шолохову Нобелевскую премию. Такая вот человеческая судьба.

Блиц-визит в Венгрию

Новогодних торжеств отец почти не заметил. Не успев выспаться после банкета в Кремле, утром 1 января 1957 года он

вместе с Маленковым, который тогда представлял советское руководство в Венгрии, улетел в Будапешт. Туда отец пригласил болгар, румын и чехов со словаками, чтобы по-братски обсудить с хозяевами-венграми, как помочь им поскорее выкарабкаться из кризиса, порожденного прошлогодними беспорядками.

Совещание совещанием, но, кроме всего прочего, отец хотел собственными глазами взглянуть на Будапешт, удостовериться, настолько ли он разрушен, как пишут американские газеты. Ущерб, нанесенный городу боями, показался отцу, повидавшему на своем военном веку немало подобных картин, небольшим, только улицы очень замусорены. Все можно восстановить за несколько месяцев, от силы — за год.

Хотел отец пообщаться и с новым венгерским руководством, не только с Кадаром и его ближайшим окружением, уже не раз побывавшими в Москве, но и с теми, кто в Москву не ездил. Встречи его успокоили и ободрили — эти люди знают, чего хотят, и понимают, как добиться поставленной цели, умиротворить страну, улучшить жизнь простых венгров. Наверное, от тех разговоров протягивается ниточка к особой стратегии Яноша Кадара, которую на Западе прозвали «гуляш-коммунизмом» — децентрализованной экономике, предоставляющей в рамках существующей политической системы максимум свободы производителю. Формально «гуляш-коммунизм» оформился позднее, пока же отец рассказывал своему новому другу Яношу о собственных планах совнархозного преобразования Советской системы. Так или иначе, но именно тогда отец увидел в Кадаре единомышленника и не ошибся.

Пообщался отец и с советскими военными, руководившими военной операцией, своим старым знакомым со времен войны маршалом Коневым и генералом Михаилом Ильичем Казаковым, подробно расспрашивал о деталях операции, одобрительно отозвался о «сдержанности» войск в уличных боях, посоветовал военным не фланировать по улицам городов, не мозолить венграм глаза.

В Будапеште отец провел три дня, а тем временем в Москве поползли слухи, что Хрущева вот-вот уберут. В американской «Нью-Йорк Таймс» даже появилась статейка с прогнозом о скорой замене отца. Преемником называли Молотова. Однако слух не подтвердился и быстро затих. Затих на время.

Чеченцы, ингуши, калмыки…

В 1956–1957 годах, вслед за политическими заключенными, восстановили в правах и репрессированные Сталиным народы.

Балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, высланные Сталиным в Казахстан, Среднюю Азию, Сибирь начали возвращаться в родные места еще до XX съезда. Самые смелые по одиночке испытывали, изменилась ли власть? Такие попытки совершались и при Сталине, но тогда нарушителей ловили и отправляли уже не в места поселений, а в настоящие лагеря. Теперь власти не то чтобы бездействовали, но и не знали, как действовать. Отец на съезде назвал депортацию этих людей преступлением, а как с ними поступать не сказал.

Начали с самого простого — формальной отмены несправедливости.

27 марта 1956 года указом Президиума Верховного Совета освободили 22 тысячи греков, армян, болгар, высланных на спецпоселения из Крыма в 1944 году. Они не считали Крым своим и, получив свободу передвижения, выбирали себе места жительства по вкусу, не беспокоя власти и не предъявляя им никаких претензий.

28 апреля 1956 года восстановили в гражданских правах крымских татар и балканцев, а также сняли со спецучета курдов и хемшилов, бежавших в СССР после войны от преследования правительствами Турции и Ирана, всего 176 544 человека.

16 июля 1956 года Президиум Верховного Совета СССР снял ограничения «по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны», это еще 245 тысяч 390 перемещенных лиц. Гражданские права им вернули, а вот возвратиться на свои земли не предложили, как и более не требовали под страхом административного преследования оставаться в местах ссылки.

По мере ослабления ограничений, возвращения паспортов, отмены обязательной еженедельной регистрации в милиции самые нетерпеливые из бывших полуарестантов потянулись домой уже целыми семьями. Но куда? Где он, дом? Земли их давно поделили соседи. Часть чеченской территории Сталин передал Грузии, другие приграничные чеченские и ингушские районы отошли к сохранившим верность вождю дагестанцам и осетинам, оставшиеся вошли в Краснодарский край. В опустевшие дома калмыков и карачаевцев по разнарядке, почти насильно, заселяли русских из сопредельных областей. То же самое происходило и в Крыму. Из татарского он превращался в русско-украинский. Сталин приказал, чтоб и духа татарского на полуострове не осталось. Отец тогда работал на Украине и рассказывал, как Сталин звонил ему, требуя лично следить за переселением украинцев в бывшие степные татарские аулы. Украинцы в Крым ехали неохотно, климат там засушливый, вода

солоноватая, да и той не хватает, земли неплодородные, урожаи пшеницы и кукурузы не ахти какие. В общем, с Херсонщиной не сравнить. Тем не менее, кампанию заселения Крыма провели в срок, за десятилетия украинцы и россияне на новом месте обжились. И так везде. Новоселы давно перестали ощущать себя новоселами, чужие дома стали их домами, поля — их полями, горы — их горами. И вот, нежданно-негаданно являются какие-то незнакомцы и требуют вернуть якобы принадлежащее им имущество.

Проблемы у российского правительства с непокорными северокавказскими и крымскими народами начались давно, еще в XVIII веке, во времена Екатерины II, если не раньше. Российские самодержцы стремились на юг, в Персию, а путь туда пролегал через Кавказ. Заселявших северные склоны Кавказского хребта народы и племена стратегические устремления Российской короны не интересовали — пусть себе завоевывают хоть Персию, хоть Индию, но оставят их в покое. А если не оставят, то будут пенять на себя. Так началась продолжавшаяся более двух веков Кавказская война. Собственно, само завоевание Кавказа прошло быстро, регулярных армий местные правители не имели, воевать, казалось бы, не с кем. Но это только усложняло дело, племенные вожди слушали только себя, служили только своему народу и мириться с захватчиками не собирались. Победить их оказывалось почти невозможно, разбитые в одном месте, они через некоторое время возникали в другом, нападали на российские военные поселения и посты, уводили пленных. Если за них кто-то платил выкуп, пленных возвращали, если нет — сажали в глубокие ямы на цепь, обращали в рабов. Так здесь жили поколениями и свои обычаи изменять не собирались.

По прошествии десятилетий установилась некая закономерность. Крепкая центральная российская власть брала верх, замиряла горцев силой, самых непокорных выселяла, иногда целыми районами, в Сибирь, а чаще в Турцию. Тогда всех их считали турками, еще недавно эти земли принадлежали Оттоманской империи. Когда же центральная власть, погружаясь в свои столичные дрязги, ослабевала, непокорившиеся горцы доставали спрятанные до времени сабли, ружья и даже пушки, и все начиналось сызнова.

До революции царское правительство дважды ссылало практически всех чеченцев — они самые непокорные из горских народов, — и дважды они возвращались из ниоткуда, требовали свои дома назад и тут же начинали нескончаемую войну с захватчиками.

Во время революции 1917 года горские народы выступили на

стороне большевиков. Они надеялись, что новая власть даст им свободу, вернет им право самим распоряжаться в своих горах, но ошиблись. Чаяния о независимости вновь возродились с началом Второй мировой войны, и теперь для них символом свободы стал Гитлер. Горские народы с почетом встречали немецкие войска, вступившие на Северный Кавказ в 1942 году. В знак высшей признательности послали в дар фюреру белого скакуна, из добровольцев начали формировать чеченские, калмыцкие, карачаевские и иные батальоны для борьбы с «общим» врагом. В 1943 году, после сокрушительного поражения под Сталинградом, немцы отступили и с Северного Кавказа. Местные батальоны ушли с ними, а для остальных наступил час расплаты: Сталин, не мелочась, приказал очистить Северный Кавказ от «предателей».

Первыми в 1943 году выслали карачаевцев. За ними, 23 февраля 1944 года, в день Красной Армии, началась «чеченская операция». Руководил ею генерал Серов. Подготовился он хорошо. Буквально в несколько дней, несмотря на зиму, все, даже самые недоступные горные села окружили полки НКВД, прочесывали дом за домом, население согнали в сборные пункты, погрузили в железнодорожные составы и отправили на вечное поселение туда, куда указал Сталин: подальше на восток, в Казахстан, в Среднюю Азию.

По тому же сценарию проходили операции против других непокорившихся народов Кавказа, а когда в 1944 году освободили Крым, то выслали и татар.

Особняком среди сосланных народов стояли немцы. Когда-то Екатерина II пригласила их, вместе со шведами и евреями, осваивать тогдашнюю целину, селиться на вновь завоеванных землях Причерноморья и в Волжских пустошах. За два столетия переселенцы обжились, разбогатели, в Поволжье, рядом с Саратовом, в 1923 году создали процветающую Немецкую автономную республику со столицей в городе Энгельс.

Немцы, многие из них с сильной примесью еврейской крови, в отличие от чеченцев и татар, Гитлера освободителем не считали, сотнями и тысячами уходили на фронт воевать за Россию. Но Сталин распорядился иначе, в самом начале войны немецкую автономию упразднили, а всех немцев, в том числе сражавшихся на передовой, брали под стражу и отправляли на поселение в Казахстан, на Северный Урал и другие отдаленные места. Таковы законы войны. Американцы с проживавшими на западном побережье США японцами поступили аналогично. Всех их после нападения японского флота на Перл Харбор арестовали без предъявления обвинений и от греха подальше рассовали по лагерям. Правда, в Америке по окончании войны японцев

распустили по домам. Сталин же рассудил иначе: при Екатерине немцы освоили приволжские земли, пусть при нем осваивают казахские. Домой, на Волгу немцам вернуться не разрешили.

После формального восстановления в правах наступило временное затишье, московские власти предпочли бы на этом поставить точку, но депортированные народы считали иначе, они требовали вернуть им утраченные земли, могилы предков и государственность, пусть и урезанную до автономии. Решение предстояло принять Хрущеву, а ему осенью 1956 года было не до крымских татар и чеченцев с ингушами, все его внимание занимала сначала Польша, затем Венгрия и Египет. Только 26 ноября 1956 года, практически одновременно с отводом англо-франко-израильских войск из зоны Суэцкого канала, отец с Булганиным подписали Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О восстановлении национальной автономии чеченского и ингушского народов». 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заново образовал Чечено-Ингушскую Автономную Республику. 11 февраля того же года сессия Верховного Совета СССР принимает закон «О восстановлении национальной автономии Балкарского, Чеченского, Ингушского, Калмыцкого и Карачаевского народов». Теперь они все получили законное право на возвращение домой и могли требовать назад свои дома и земли. Тут же возникла проблема с прижившимися переселенцами, которые чеченцам, ингушам и прочим коренным жителям представлялись «захватчиками». «Захватчики» же не сомневались в своем праве на эти горы и поля. Власти пытались уладить конфликт, предлагали «возвращенцам» пустующие, нередко лучшие земли, но те и слушать не желали, жить по соседству они не хотели и не могли, родовые обычаи требовали селиться на землях предков, рядом с их могилами. Пусть пришельцы и осквернили их, уничтожили надгробия, но могилы-то остались. То и дело возникали драки, дело доходило до поножовщины.

Жившие на Северном Кавказе русские и иже с ними инициированного отцом закона, отменявшего сталинскую депортацию, не приняли, я уже не говорю что не одобрили. Они тоже считали эти земли своими, еще царем отвоеванными у непокорных аборигенов, а ссылку последних Сталиным в Казахстан — «справедливым» решением земельного и иных вопросов. Чеченцы и другие «возвращенцы» придерживались, естественно, диаметрально противоположного взгляда на «земельный вопрос». Соответственно, к отцу они относились с искренним почитанием.

Решение о возвращении депортированных народов породило

еще один Указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым у председателя КГБ Серова отобрали полученный им в 1944 году за операцию по их выселению высший военный орден Суворова. Правда, потерю ему компенсировали таким же орденом за наведение порядка в Венгрии.

Новый закон всерьез не затронул немцев, он снял с них «огульное обвинение в отношении немецкого населения, проживающего в районе Поволжья в пособничестве врагу» и на этом поставил точку. Крымские татары тоже остались в местах своей бывшей ссылки, как и немцы, на правах местных жителей, с паспортами. Всегда уважавшие порядок, закон и силу, немцы вели себя спокойно, а вот татары, не попав в Указ, заволновались, направляли в Москву петицию за петицией.

Мне такое отношение к татарам и немцам представлялось несправедливым, и на очередной вечерней прогулке я полез с вопросами к отцу.

— С татарами, крымскими татарами, — уточнил отец, о каких татарах идет речь, — не так просто. Крым — стратегический район, там у нас расположены военные базы, контролирующие Черное море до самого Стамбула, полуостров нашпигован радарами, кораблями, самолетами, крылатыми ракетами. Крымские татары исторически тяготеют к туркам. А Турция — член НАТО, наш враг. Возвратятся татары в Крым, начнут смотреть в сторону Турции. Конечно, ничего особенного они сделать не смогут… Но зачем нам дополнительная головная боль?

Такое объяснение меня полностью устроило. В исторической памяти россиян и украинцев, а во мне смешались обе крови, татары всегда олицетворяли зло, рабство. Они нападали на Русь, грабили, жгли, насильничали. Правда, и русские тоже нападали на них, грабили, но кто станет осуждать собственных воинов? И то, что Крым теперь наш, а не их, отвечало моему тогдашнему пониманию справедливости.

— Немцы же, — продолжал объяснять мне отец, — на нашей земле гости, их когда-то пригласили цари. К тому же никто не забыл, что немцы — наши вчерашние враги. До войны они жили гостями на российских землях в саратовских и украинских степях, теперь — обустроились такими же гостями на целине в Казахстане. Земли там не хуже. В Саратове местные власти стоят насмерть, свободных пространств у них не осталось. Начнешь возвращать немцев, обидишь русских. Немцы выгоняют их из собственных домов! Пусть не те немцы, но всё же немцы. И с оставляемыми переселенцами землями на целине тоже что-то придется делать, заселять их кем-то еще. Что же получается?

Переселять немцев из Казахстана под Саратов, а русских из-под Саратова в Казахстан? Пусть уж все остается как есть.

Какое-то время все и оставалось «как есть».

Поездив по Казахстану, отец познакомился со многими немецкими поселенцами. Их колхозы процветали, выгодно выделялись на общем фоне. В своих выступлениях он ставил немцев в пример соседям. Казахстанские немцы при встречах с Хрущевым время от времени без нажима напоминали о своей утерянной Саратовской «родине». Отец, как мог, уклонялся от прямого ответа. Так продолжалось до 1964 года. В тот год он особенно много ездил по целинным совхозам и колхозам, в том числе и немецким, самым богатым, самым процветающим. Как обычно, разговаривал с людьми, выступал на митингах, выслушивал их просьбы, рассовывал по карманам передаваемые ему из толпы письма и записки. Местных немцев казахстанский достаток не радовал, им было совсем не все равно, где жить, они стремились домой, на Волгу. И отец решился. Он никогда не чурался исправлять свои ошибки, к тому же целина к 1964 году стабилизировалась, обустроилась, «обросла жирком», она проживет и без немцев. 29 августа 1964 года Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий Указ. Но доделать задуманное отец уже не успел. После его отставки проблемами высланных немцев, реализацией Указа Брежнев заниматься не пожелал. «Волюнтаристское» решение Хрущева спустили на тормозах, немцы так и остались на долгие годы в Казахстане. В своих мемуарах Микоян утверждает, что это он первым начал поднимать вопрос о немцах Поволжья. Что это и его заслуга, охотно верю. Вот только останься отец у власти еще хотя бы год, судьбу немцев он бы устроил. А Микоян без Хрущева…

День за днем

С начала 1957 года шахтеров перевели с восьмичасового на шестичасовой рабочий день, естественно, с сохранением заработка, то есть фактически с повышением почасовой оплаты. Летом прошлого года отец обещал шахтерам Донбасса провести это Постановление и свое слово сдержал.

В первых числах января 1957 года в Кремле открылось совещание, посвященное общепиту, обсуждали, как сделать обеды в столовых не только съедобными, но и вкусными.

В январе 1957 года выходят отдельными книгами однотомники Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, а 5 февраля газеты поздравили с 60-летием писателя Валентина Катаева и награждением его орденом.

24 января маршал Жуков отправился с визитом в Индию. Встретили его там, правда, не с таким энтузиазмом, как в 1955 году приветствовали «первопроходцев» — отца с Булганиным, но тоже с огромной помпой: улицы были запружены ликующими толпами, на каждой остановке правительственного кортежа высокого гостя украшали гирляндами из живых цветов. Помню, как после возвращения отца из Индии в 1955 году, мама сетовала на «ядовитость» этих гирлянд. С отцовского костюма их следы не удалось ни отстирать, ни отпарить, ни отчистить.

7 марта 1957 года Юрия Владимировича Андропова освободили от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Венгерской Народной Республике и назначили заведующим отделом ЦК ЦПСС, отвечающим за отношения со странами народной демократии, нашими восточноевропейскими союзниками. В этот день Андропов сделал первый шаг в восхождении к вершинам власти.

23 марта 1957 года публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР «О понижении размера налогов с рабочих и служащих, получающих заработную плату до 450 рублей в месяц». Трудно поверить в такую мизерную зарплату. После деноминации рубля в 1961 году — это всего 45 рублей. И с этих 45 рублей еще требовалось уплатить налоги.

8 апреле газеты сообщили об успешных испытаниях судов на подводных крыльях, знаменитой «Ракеты» и их конструкторе Ростиславе Евгеньевиче Алексееве. Новость произвела сенсацию в мире. Это чисто советское изобретение, академики Келдыш и Лаврентьев еще в тридцатые годы разработали и опубликовали в научных журналах теорию «подводного крыла». Советские суда на подводных крыльях многие десятилетия оставались в мире вне конкуренции.

9 апреля 1957 года в Киеве, в Институте кибернетики, 33-летний математик Виктор Михайлович Глушков, будущий академик, представил Государственной комиссии свою первую электронно-вычислительную машину «Киев». Через тридцать лет, в

Институте кибернетики имени академика Глушкова Украинской Академии наук я защитил докторскую диссертацию.

12 апреля 1957 года газета «Правда» поместила обширную, пестрившую цифрами, статью директора Новочеркасского электровозостроительного завода, обосновывающую необходимость расширения прав руководителей предприятий.

Под Первомай, 30 апреля 1957 года, в Москве открыли линию метро от Крымской площади до нового стадиона в Лужниках. Отец выступал перед строителями, собравшимися у входа на станцию Фрунзенская, а затем вместе с Булганиным, Маленковым, Микояном, Первухиным, Сусловым и Фурцевой прокатился на метропоезде.

12 мая 1957 года газета «Известия» обсуждает перспективность атомных судов, ледоколов, сухогрузов, танкеров. Об уже строящемся атомоходе «Ленин» автор пока не упоминает, а уже в декабре его спустят на воду.

В 1957 году мама похоронила свою маму Екатерину Григорьевну Кухарчук. Екатерина Григорьевна, украинская крестьянка, почти всю свою жизнь прожила, как сама говорила, «под поляками», сначала в Царстве Польском в составе Российской империи, а потом в независимой Польше маршала Юзефа Пилсудского. С моей мамой, эвакуировавшейся из родного села в Россию в 1915 году вместе с отступавшей царской армией, бабушка встретилась только в 1939 году, когда Красная Армия всего на несколько дней заняла ее родное село Василев. Согласно договоренности, этот Холмский район относился к немецкой зоне оккупации.

С того времени бабушка жила с нами в положенных отцу по статусу резиденциях, но так и осталась до конца своих дней крестьянкой, ежегодно засаживала овощами огород, выращивала уток, кур, кроликов. На столе у нас всегда были свежие овощи: отдельно бабушкины, отдельно с отцовых экспериментальных грядок, отдельно с правительственной продуктовой базы. Бабушка научила меня собирать грибы, вот только называла она их по-польски. Уже взрослым я с удивлением обнаружил, что известные мне с детства «кобыльи варги», в переводе — «лошадиные губы», следует называть «чернушками». Первое название и по сей день кажется мне более правильным. Взгляните на гриб, и цветом, и формой —

вылитые лошадиные губы, если вы, конечно, знаете, как эти губы выглядят.

В начале 1950 года бабушка заболела легочным туберкулезом, ослабела, огород забросила. Жила она безвыездно на даче в Огарево, но теперь не в главном доме, мама переселила ее в отдельный флигелек. В семье у нас почти все переболели туберкулезом — моя старшая сестра Юля, мамин брат Иван Петрович, его дочь, мамина племянница, Нина Ивановна, я сам с туберкулезом ноги пролежал в гипсе более года. Мама панически боялась «палочки Коха», так она по-научному называла бациллы туберкулеза. Общаться с бабушкой детям запретили, но мы запрет не соблюдали, регулярно бегали к ней в гости.

Теперь бабушка умерла. Место для могилы на Новодевичьем кладбище мама выбрала, как она говорила, «уютное», рядом с высокой кирпичной стеной вдоль Лужнецкого проезда, установила серую надгробную плиту только с именем и годами рождения — смерти. Более представительное надгробие она посчитала нескромным. С годами к бабушке в могилу «подселились» мои сестры, сначала младшая Лена, потом старшая Юля.

25 мая 1957 года в Москве открылась высотная гостиница «Украина».

7 июня 1957 года объявили о создании Союза кинематографистов СССР. До того кино числилось в Министерстве культуры на правах производственного главка. Теперь киношников уравняли в правах с писателями, композиторами, художниками и архитекторами.

8 конце июня 1957 года после более чем двадцатилетнего молчания выстрел пушки с бастиона Петропавловской крепости возвестил, что в Ленинграде наступил полдень. Пушка перестала стрелять после убийства Кирова, 1 декабря 1934 года: опасались, как бы злоумышленники не заменили холостой заряд боевым. Такое однажды уже случилось до революции, по недосмотру. Теперь традицию, установленную еще Петром I, возродили.

От вертикали к горизонтали управления

Трудности с подготовкой «честной» пятилетки окончательно

убедили отца — министерская централизованная вертикальная структура себя исчерпала. Выход в регионализации экономики. Местные руководители, такие, как и он сам когда-то, лучше распорядятся ресурсами, им легче увязать производителей с потребителями. Самое же главное — в небольшом или не очень большом регионе легче составить план. Реальный, честный план. Госплану останется сложить вместе планы регионов, «сшить» их, заштопать прорехи, и пятилетка готова. Выиграет не только пятилетка, страна получит новый импульс в своем развитии.

Отец понимал, что идеального решения не существует. Перенос центра тяжести экономики на места таит свои опасности, грозит обособлением регионов, но он считал географический регионализм меньшим злом, чем министерский, ведомственный сепаратизм. Отец от него настрадался сам, нагляделся, как мучились другие и какой ущерб от него несло государство. Только один пример: после войны, впечатленные бомбардировками Лондона новым немецким «оружием возмездия», и американцы, и мы занялись баллистическими ракетами. Технология их проектирования и изготовления близка к авиационной. В США за баллистические ракеты взялись авиационные фирмы, выделили под них часть своих проектных подразделений и производств. Научную базу — аэродинамические трубы, барокамеры, центрифуги, прочностные стенды, специальное материаловедение, траекторные и иные расчеты сохранили для самолетов и ракет общими. Наука обходится особенно дорого. Объединение под общей крышей самолетов и ракет дало американцам существенную экономию.

В плановой советской экономике поступили иначе. Министерство авиационной промышленности, где перспективные разработки возглавлял в ранге заместителя министра сталинский любимец, известный авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев, всеми силами отбивалось и сумело отбиться от баллистических ракет. Они и без того перегружены: у них и реактивная авиация, и крылатые ракеты, и зенитные ракеты. Им не до «карандашей». Баллистику, «карандаши», приютили пушкари, Министерство вооружений. Их молодой и энергичный министр Дмитрий Федорович Устинов разглядел в ракетах будущее: сегодня пушка стреляет от силы на сорок километров, а завтра ракета улетит на тысячи. Баллистические ракеты попали к вооруженцам. Однако «наука» в министерстве Устинова хотя и умела рассверлить пушечный ствол, но понятия не имела об аэродинамике и других авиационных премудростях. Скоординировать работу двух отраслей не получилось. Устинов создавал свою науку в своем министерстве: свою аэродинамику,

свою прочность, свое материаловедение, все свое, и все заново. Затратили миллиарды государственных рублей, но, по мнению министра Устинова, они пошли на дело, на его, министерское, дело. Теперь он все держал в своем кулаке. Осуждать Устинова не за что, он играл по правилам министерской отраслевой экономики и по этим правилам играл правильно. На авиационного «дядю», у которого свой план, свои проблемы, которому на соседа начхать, Устинов не рассчитывал и рассчитывать не мог. Каждый министр отвечает за свой план.

Так, в Советском Союзе при всей его послевоенной нищете из-за непреодолимости межведомственных барьеров растратили миллиарды и миллиарды рублей. И это в отраслях, находившихся под пристальным вниманием высших руководителей государства. «Периферийные» министры чувствовали себя еще вольготнее.

Или, к примеру, университетская наука. Во всем мире профессора не только учат студентов, но и по заказу фирм ведут исследования. Сотрудничество выгодно обеим сторонам: университеты получают дополнительное финансирование, а заказчики — по сходной цене современнейшие машины и технологии. Одновременно профессора оттачивают свою квалификацию, а студенты не только читают учебники, но и участвуют в реальных исследованиях.

В Советском Союзе руководствовались ведомственной логикой: министерства подминали под себя научные исследования, плодили свои научно-исследовательские институты, заманивали к себе лучших ученых, формировали «ведомственную» науку. Свой институт сделает, что ему прикажут, а университет?… У университета — свой министр… Некоторые ведомства, побогаче, заказывали «своим» университетским кафедрам какие-то исследования, но не те, от которых зависел план. Их научные отчеты непрочитанными ложились на полку. Университетской науке платили не за результат, так «подкармливали своих профессоров», учивших для отрасли «своих студентов». В результате страдали все — министерства несли дополнительные и необязательные затраты на науку, переманивали к себе стоящих ученых, университеты, в свою очередь, ученых теряли, оставшиеся на кафедрах профессора учили студентов по книжкам и сами теряли квалификацию. Приходилось зазывать в университеты специалистов-практиков из министерских исследовательских институтов, чтобы они по совместительству, по вечерам рассказывали студентам о последних достижениях в областях, где им предстояло работать. Конечно, если поискать, найдутся примеры успешного сотрудничества университетов с отраслями,

но это исключение из правил.

Покушаясь на хорошо сцементированную министерскую твердыню, отец понимал, что сопротивляться ему будут отчаянно, до последнего. Чтобы облегчить прохождение реформы, он схитрил, предложения представил не своими, а, в традициях тех времен, призвал восстановить ленинские заветы, искаженные последующими сталинскими наслоениями. При Ленине в двадцатые годы экономикой России управляли региональные Советы народного хозяйства (совнархозы). Теперь отец предлагал к ним вернуться. 27 января 1957 года, вскоре после фиаско с шестой пятилеткой и перестановок в Госэкономкомиссии, он рассылает предложения «Об улучшении руководства промышленностью и строительством». В ее основу заложен переход от «жесткой вертикали в экономике» к «гибридной горизонтали». Уже на следующий день записку обсуждали на Президиуме ЦК. У только что назначенного вместо Сабурова Председателем Госэкономкомиссии Первухина (с 1939 года возглавлявшего Наркомат и Министерство электростанций и электропромышленности, а затем заместителя и первого заместителя Председателя Совета Министров) реформа централизованной министерской структуры восторгов не вызвала.

— Сомнения есть. Я не уяснил себе, — так высказался он на заседании Президиума ЦК. — Я сторонник крупных министерств. Их преимущества в концентрации, централизации, специализации. При территориальном управлении все плюсы потеряем.

Первухин говорил долго, непривычно эмоционально, и резко заключил:

— Ограничиться обменом мнениями. Иными словами, хода предложениям отца не давать.

— Предложения правильны и с политической, и с деловой точки зрения, — возразил Микоян.

— Речь идет о крупной реформе. Предложения правильны, — поддержал Микояна Булганин. — Не затягивать решение вопроса.

Затем слово взял Молотов. Записка отца ему не нравилась, но, не получая поддержки в Президиуме ЦК в своих, уже многочисленных, стычках с отцом, Молотов, в отличие от Первухина, не захотел атаковать в лоб. Опытный бюрократ, он избрал тактику забалтывания проекта в бесконечных комиссиях и подкомиссиях. На этот раз говорил он размеренно, не заикаясь (Молотов от природы заика). Осторожно подбирая слова, Вячеслав Михайлович высказал «сомнение» в правильности предложения:

— Обсудить надо этот вопрос, и не раз. Рано говорить о

ликвидации министерств. Можно уменьшить их роль в пользу местных органов руководства промышленностью, решать по этапам, а не чохом.

Следующим взял слово Брежнев, он считал, что «соображения, изложенные в записке, правильны. На местах выросли кадры. Надо только чуть доработать детали».

— У нас единое государство. Спасение не в раздроблении, — сомневается Ворошилов. — Не следует торопиться. Изучить хорошенько. Поручить высококвалифицированным практикам разработать вопрос. Без проверки ералаша не оберемся.

— Предложения очень серьезные. На собраниях в Москве ставят вопрос, что дальше будет? Согласна, вопрос серьезный, но предложения дадут многое, — плетет словесные кружева Екатерина Фурцева. Она пока не сориентировалась, чью сторону принять.

— Направление правильное, — поддержал отца Суслов.

— Вопрос не новый, но обобщен, и в этом смысле предложения новые, — Сабуров явно не хотел говорить по существу. Ссориться с Хрущевым после потери Госэкономкомиссии, ему представлялось опасным, но поддержать регионализацию он себя заставить не мог. — Вопросы централизации усилить. Предложения правильны, но не спешить, продумать вопрос.

Вы что-нибудь поняли? Я не понял, за исключением желания похоронить реформу в бюрократических проволочках. Тактика для Сабурова, опытного госплановца, не новая.

Беляев, недавно пришедший в секретари ЦК из Алтайского крайкома, целиком «за».

— Мы даже не представляем, какие экономические выгоды принесет эта перестройка, — солидарен с Беляевым Аверкий Аристов, тоже секретарь ЦК, в недавнем сибиряк, перебравшийся в Москву из Хабаровского крайкома.

— Вопрос в записке поставлен правильно, — поддерживает отца Шверник, но поддерживает не по убежденности, а по привычке держаться линии Первого секретаря. Так его приучила жизнь.

Отец прекрасно понимает замысел Молотова, Сабурова и им сочувствующих. Его задача «договориться в принципе», не увязнув в бюрократическом болоте. Против создания комиссии он не возражает, но предлагает разбавить в ней москвичей ленинградцами, киевлянами, свердловчанами. Они его союзники и его резерв, и, конечно, надо записать в комиссию основных противников: Молотова, Сабурова, Первухина, Байбакова, пусть они послушают людей с мест, поспорят с ними и обязательно

поставят свои подписи под рекомендациями.

27 января 1957 года — знаменательный, но всеми забытый день в российской истории. В этот день Хрущев сделал первый шаг в преобразовании централизованной, забюрократизированной экономики в более свободную. 2 февраля утвердили состав комиссии, а уже через пару дней провели первое заседание. Спорили до хрипоты. Члены комиссии — секретари обкомов, как и предполагал отец, поддержали «совнархонизацию» страны. Тем самым они получали в свои руки реальную власть, возможность хозяйствовать в своих областях. Они устали от того, что не имеют прав воздействовать на директоров «своих» предприятий, заставить их сотрудничать друг с другом на благо региона, а в случае оборонных предприятий местные органы порой вообще не знали, что они производят.

— В Ленинграде 1 380 предприятий разобщены, подчинены сотне московских министерств, — жалуется Фрол Романович Козлов, представлявший в комиссии Ленинград.

— В Москве министерства содержат 500 литейных цехов, тогда как по расчетам специалистов достаточно иметь не более трех, но крупных. Узкая ведомственность мешает специализации и кооперированию, — вторит ему Иван Васильевич Капитонов, член комиссии от столицы.

— Из двадцати двух миллиардов рублей республиканской экономики местные власти контролируют едва ли два миллиарда. Не можем использовать плановую экономику. Пять лет пытались составить единый план по труду, в энергетике и в других областях, не смогли, — горячится секретарь ЦК Компартии Узбекистана Нуритдин Мухитдинов.

Я не стану приводить цитаты из выступлений всех представителей с мест, они по сути сводились к одному: «Предложение правильное, его одобрят все парторганизации».

Но министры роптали. Специалисты, хорошие профессионалы, они выросли в «клетке» министерской экономики и не представляли себе жизни иной. Правда, роптали министры втихомолку, открыто несогласия не высказывали, пытались свести реформу к пересадкам внутри привычных государственных структур.

— Начать перестройку, но по отраслевым направлениям (то есть внутри министерств. — *С. Х.*), — лейтмотив выступления Алексея Николаевича Косыгина, первого заместителя Первухина, наиболее четко сформулировавшего в комиссии министерско-бюрократическую точку зрения.

Однако когда дошло до голосования, московские министры под напором представителей с мест согласились, что перенос

центра тяжести управления на места даст «больше эффекта».

Даже Байбаков, наиболее твердый сторонник вертикали в управлении экономикой, не решился открыто возразить, выдавил из себя:

— Вопросы, поставленные в записке, заслуживают серьезного внимания. Республики должны планировать от начала до конца, а сводный план составлять в Госплане.

В кулуарах он вел себя иначе, аттестовал новации Хрущева непродуманными, грозящими государству неисчислимыми бедами.

Заручившись одобрением комиссии, отец предложил не мешкая утвердить основные направления реформы на Пленуме ЦК, собрать его 10–11 февраля, накануне или по завершении уже объявленной сессии Верховного Совета СССР. Все члены Пленума ЦК — одновременно и депутаты, значит, им не придется приезжать в Москву дважды. После Пленума вынести реформу на всенародное обсуждение, а затем принять необходимые законы. Всенародное обсуждение — еще одно нововведение отца. Тем самым он стремился сделать процесс принятия решения демократичнее. К тому же, кто-то подметит огрехи, кто-то посоветует что-то дельное. Голосование на Президиуме ЦК прошло единогласно, только Молотов проскрипел:

— Предпочитал бы созвать Пленум ЦК позже, но не вношу предложения ввиду того, что большинство высказалось за его созыв.

И нехотя проголосовал «за».

13 февраля 1957 года отец докладывал Пленуму ЦК уже не предложения к плану, как в январе, а практически сверстанный план реформы, убеждал присутствовавших, что «в нынешних условиях необходимо перенести центр тяжести *оперативного* руководства промышленностью и строительством на места, ближе к предприятиям и стройкам… Следует перейти от управления через отраслевые министерства к новым формам управления по территориальному принципу».

14 февраля Пленум ЦК единогласно, включая Молотова, проголосовал за реформу. Хрущеву поручили переписать доклад в виде тезисов «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством», с тем чтобы после одобрения Президиумом ЦК их опубликовать в газетах. Месяц с небольшим отвели на обсуждение, поправки, дополнения. Сессию Верховного Совета СССР для принятия формального Закона решили созвать в начале мая. Так в общих чертах выглядел план отца. Через несколько дней он разослал членам Президиума ЦК тезисы, а 22 марта 1957 года их вынесли

на одобрение Президиума ЦК. Вопрос по существу не обсуждали и не могли обсуждать, после вынесения решения Пленумом возражения по существу трактовались бы как борьба против линии партии, фракционность, осужденная съездом еще в 1921 году. «Тезисы отвечают решениям Пленума» — эта фраза на разные лады повторялась от выступления к выступлению. Только Молотов не высказался ни за, ни против.

Не возражая по существу, сторонники сохранения централизованной власти зашли с другой стороны, предложили напрямую подчинить совнархозы Совету Министров СССР. «Реформаторы» с ними не соглашались. Договорились о двойном подчинении, а вот что означает «двойное подчинение», предстояло еще сформулировать.

Судя по скупым записям Малина, на заседании явно просматриваются две группы. Одна — Микоян, Булганин, Маленков, Аристов, Жуков, Брежнев, Шепилов, Гришин — твердо стоит на позиции отца. Другая — Молотов, Ворошилов, Каганович, Сабуров, Первухин, Байбаков — против не высказываются, но выражают сомнения.

— Не ясно насчет снабжения. Кто управляет отраслевым развитием? — не спеша нанизывает вопросы Молотов. — Будут ли отраслевые отделы в совнархозах?

— Мы уславливались представить схему реформы, а не план, — это уже Ворошилов.

— Можно принять за основу, но следует соблюсти баланс в цитатах, — осторожничает Каганович.

— Лимиты на прокатные станы выдавать из центра, — беспокоится Первухин. — Для сохранения специализации иметь в центре Госкомитеты.

— В Госплане сосредоточить и текущее планирование, — подает свой голос приглашенный на заседание Байбаков.

Договариваются для обсуждения проекта тезисов созвать 26 марта в 10 часов утра заседание Совета Министров СССР.

Казалось бы, ничего особенного, рутинный деловой разговор, одни предложения заслуживают внимания, другие — не очень, а иные и вовсе никчемные. Точно таким обещало стать и заседание правительства, состоящего из тех же людей, которые присутствовали на Президиуме ЦК. Обещало, но не стало.

Возмутителем спокойствия снова стал Молотов. Он долго крепился, но наконец не выдержал. Вячеслав Михайлович никак не мог принять регионализацию, смириться с перемещением рычагов управления экономикой на места. Лишение центра всей полноты власти, для него, человека, выросшего в диктатуре единовластия, отожествлялось с гибелью той системы, которую

он строил вместе со Сталиным, которой служил. Молотов понимал, что его вряд ли поддержат на заседании правительства, но и заставить себя промолчать не мог. Он считал, что смалодушничал на заседании Президиума ЦК 22 марта, и теперь решил излить душу в записке-предупреждении об опасности для России, таящейся в «децентрализации», другими словами в демократизации. Его уже не останавливало, что, подав такую записку, он сам становится «фракционером», ставит себя на одну доску с бухаринско-зиновьевскими оппозиционерами, осужденными и проклятыми за «борьбу против партии», в том числе им самим.

24 марта 1957 года фельдъегерь доставил отцу от Молотова записку с предписанием вручить лично. Отец удивился, ведь у них с Молотовым кабинеты в Кремле расположены по соседству, но ничего не сказал, молча расписался на квитанции.

Распечатав пакет, отец принялся за чтение. Ему сразу бросилась в глаза фраза: «Представленный проект явно недоработан… *однобоко* отражает решение февральского Пленума ЦК…» Другими словами, это не Молотов, а он, отец, пошел против Пленума, и Молотов посчитал себя обязанным его поправить, указать на неправомерность его пока еще не фракционности, но несомненной ошибочности предлагаемых шагов.

Если отбросить обвинение в «доведении децентрализации до недопустимой крайности», без указания, где эта «крайность» располагается, письмо сводилось к поправкам, не противоречащим существу реформы: «Учредить Экономический совет, подобный Совету Труда и Обороны»,[39] «уточнить отношения назначаемого из Москвы руководства совнархоза и местного Облисполкома», «не ясна организация снабжения предприятий, входящих в совнархоз».

Ничего нового, о том же некоторые из присутствовавших говорили на заседании Президиума ЦК, вопросы действительно существуют и требуют прояснения. Сами возражения Молотова отца не удивили, но он не ожидал, что Вячеслав Михайлович, промолчав при обсуждении существа реформы, заявит о своем несогласии, когда все уже решено, даже Пленум ЦК проголосовал «за» и осталось только доработать практические детали. Письмо Молотова можно было бы приобщить ко всем уже полученным и еще только ожидаемым замечаниям и предложениям, с тем чтобы, по возможности и целесообразности, учесть их в окончательном тексте будущего закона.

Можно было бы, если б не первая фраза «об однобокой трактовке решений Пленума». Отец не сомневался, письмо —

пробный шар, если его не отбить, Молотов перейдет в наступление по всему фронту, обвинит его в искажении решений Пленума, других мыслимых и немыслимых грехах. Дело тут не только и не столько в совнархозах, сколько в том, куда двигаться стране, вперед к постепенной демократизации или назад, к непререкаемой диктатуре центра. Другими словами — все дело во власти.

26 марта отец написал резкий ответ Молотову, отослал его не только адресату, но и всем членам Президиума ЦК. Основная мысль — Молотов ревизует уже *принятое* Президиумом и Пленумом ЦК решение, ставит себя в оппозицию руководящим органам власти.

Остальное неважно, суть не в конкретных разногласиях, часть из них отец принимает, часть опровергает, часть отвергает сейчас, но примет в будущем. К примеру, 26 марта отец считает учреждение предлагавшихся Молотовым государственных комитетов излишним, а через несколько месяцев сочтет их полезными. Такая притирка естественна при любых серьезных преобразованиях, что-то жизнь отторгнет, что-то примет.

На заседании Совета Министров возражения Молотова не выносили, он адресовал их не министрам, а Президиуму ЦК. И отец апеллировал не к правительству, а к высшему властному органу страны — Президиуму ЦК.

Совет Министров обговорил детали будущей реформы и одобрил «представленные тов. Хрущевым тезисы». А вот на следующий день, 27 марта, на Президиуме ЦК реформу обсуждали дважды. Сначала внесли последние поправки и по предложению Микояна постановили «Утвердить тезисы доклада тов. Хрущева. Опубликовать в субботу, 30 марта, сего года».

Потом, поговорив о Венгрии, перешли к семнадцатому вопросу повестки дня: «Записке тов. Молотова… и ответу тов. Хрущева». Все присутствовавшие, люди в политике искушенные, не хуже отца понимали: суть разногласий не в тактике проведения реформы, речь идет о принципах будущего устройства государства, о политике, о власти и… о явно обозначившемся в Президиуме ЦК противостоянии.

Еще до начала обсуждения никто не сомневался, что Молотов проиграл, на стороне Хрущева не только численный перевес, но и воспитанная Сталиным привычка держаться позиции «первого», сообща громить его оппонентов. Понимал это и Молотов, попытался свести свои возражения к деталям: «Записка точно формулирует мои предложения. Докладчик, то есть Хрущев, сначала склонялся к Госкомитетам, а теперь не допускает». И главное: «Неправильно мне приписывать несогласие с решением

Пленума. Если возникнет вопрос, я готов отозвать записку. Я не против перестройки, но первый проект сохранял однобокость».

Другими словами, Молотов сложил оружие и теперь не знает, как выйти из положения.

— Записка в нехорошем тоне, но не думаю, что Молотов хотел кого-то подкузьмить, — пытается разрядить обстановку Ворошилов и в заключение произносит главное: — Документ нужно изъять.

— Товарищ Молотов, написав записку, поступил неправильно, — осторожничает Маленков. — Будет ущерб, если создастся впечатление, что в партии разногласия. Неправильно это.

— Записка по своей резкости и обобщению звучит сомнительно, — это ошибка, но я не считаю ее платформой, — уточняет Каганович, — ибо «платформа» — это принципиальное политическое противостояние, а не технические разногласия. Согласен с сомнениями товарища Маленкова и предложением тов. Ворошилова не прикладывать документы к протоколу.

Большинство присутствовавших на заседании считает иначе: поведение Молотова не случайно и его следует осудить.

— Враги больше всего хотели поколебать единство руководства. В записке тов. Молотова консерватизм и желчность, — слова Шепилова звучат жестко, он явно не сочувствует Молотову.

— Молотов вроде бы не согласен, а голосовал «за». Записка послана с целью, составлена с расчетом на политические разногласия, для драки, — возмущается Микоян.

— Товарищ Молотов излагает цель записки как внесение поправок, но цель иная… — начинает свое выступление Жуков и заканчивает его требованием не только к Молотову: — Есть товарищи, которые должны пересмотреть свое поведение.

— Выступление Молотова не партийное, — считает Шверник.

— С какой целью записка написана? — риторически вопрошает Кириченко. — Не согласен с товарищами Кагановичем и Ворошиловым.

— Дать оценку документу, — считает Беляев.

— Не замалчивать записку перед членами ЦК, — высказывает мнение Брежнев.

— Записка неправильная, — солидаризируется с большинством Первухин, — товарищ Молотов не согласен с реорганизацией по существу.

Суслов, Фурцева, Козлов, Аристов, Поспелов высказываются в таком же духе.

— Молотов не верит в это дело, — подводит итог отец. — Он

не связан с жизнью, по целине — не согласен, во внешней политике — не согласен, с запиской — не согласен. На Пленуме не выступал, а сейчас предлагает создать новую комиссию, оттягивает решение. Не всегда Молотов проявлял медлительность: коллективизацию он подгонял, когда в 1937 году генералов репрессировали, он поторапливал.

27 марта, можно считать, произошел открытый разрыв Молотова с отцом. Отношения в Президиуме ЦК все более обострялись, нарыв не мог не прорваться. Вот только когда? Не раньше, чем он созреет, когда оппоненты отца почувствуют силу и рискнут объединиться на общей «платформе», если воспользоваться словами Кагановича.

Отец же проявлял неоправданную беспечность, казалось, и не задумывался о нависшей над ним опасности, всецело занялся подготовкой реформы, деталями ее реализации.

Началось всенародное обсуждение. Газеты пестрели статьями, одобрявшими децентрализацию экономики, предлагавшими те или иные практические усовершенствования. Противники совнархозов открыто не высказывались. В результате обсуждения выработали компромисс: из имевшихся пятидесяти двух министерств (двадцать три общесоюзных и двадцать девять союзно-республиканского подчинения) оставить горстку, в основном непромышленных. Сохранялись министерства обороны и иностранных дел. Не тронули системообразующие министерства: путей сообщения, транспортного строительства, морского флота, внешней торговли, электростанций (без электропромышленности) и химической промышленности. Они оставались в распоряжении центра. Министерство среднего машиностроения (атомное) реформировать просто не решились, да и секреты у них не совнархозовского уровня. Министерства внутренних дел, финансов, культуры, связи, сельского хозяйства, высшего образования, геологии и охраны недр, здравоохранения, торговли и хлебопродуктов реформа по существу не затрагивала, но изменяла их статус — из общесоюзных эти ведомства перевели в союзно-республиканские, подчеркнув тем самым возросшую роль республик в решении вопросов, еще вчера относившихся к исключительной юрисдикции Москвы. Остальные же министерства упразднили, их предприятия переходили под власть регионов. Правда, реализовывалась реформа в два этапа. На первом — оборонные отрасли, авиацию, судостроение и вооружение решили не трогать. Отец хотел сначала посмотреть, как пойдут дела на передаваемых совнархозам гражданских предприятиях. Убедившись, что все идет гладко и планы в совнархозах не только выполняются, но и перевыполняются, в

декабре 1957 года решили судьбу и этих министерств. Одновременно «с целью сохранения единой технической политики», на базе бывших оборонных министерств создали компактные государственные комитеты, передав в их ведение особо важные, общегосударственного уровня, проектные и научные организации. О тандеме совнархозы — госкомитеты, регионы — центр, разделении и одновременно балансе властей, местных и московских, много спорили с самого зарождения реформы. Молотов тоже упоминал госкомитеты в своей печально знаменитой записке. Отец колебался, сначала включил комитеты в исходный проект предложений, потом вычеркнул, посчитав, что таким образом противники преобразований попытаются де-факто сохранить министерскую структуру. Теперь, когда совнархозы состоялись, а министерства распались, угроза реставрации старой системы больше не существовала, он санкционировал создание госкомитетов. Такой симбиоз: производство в регионах, а техническая политика, наука, новые разработки в центре — разумно увязывал воедино региональные и общегосударственные интересы. К тому же, министры, не все, но самые влиятельные, назначались председателями комитетов, а значит, оставались в Москве, как и их заместители, начальники главков и так далее. Тем самым снималась их лично-шкурная, весьма существенная, составляющая сопротивления реформе.

Безминистерская власть, люди и должности

Формально реформа стартовала после того, как 7 мая сессия Верховного Совета приняла закон, ликвидировавший министерства и учреждавший совнархозы: в России — семьдесят, на Украине — одиннадцать, в Казахстане — девять, в Узбекистане — четыре, и по одному в остальных союзных республиках. Совнархозы подчинялись центральному правительству не напрямую, а опосредованно, через республиканские Советы Министров. Одновременно упразднили Госэкономкомиссию как не оправдавшую возлагавшихся на нее надежд. Ее председателя Первухина, он и проработал-то всего пять месяцев, назначили министром среднего (атомного) машиностроения. Это министерское кресло оставалось вакантным с прошлого года, когда умер Аврамий Павлович Завенягин, старый знакомый отца, еще с донбасских времен. До революции они работали по соседству, Аврамий Павлович под землей — шахтером, отец на поверхности — слесарем. В начале двадцатых годов Завенягин стал секретарем Юзовского окружкома, отец оказался одной ступенью пониже. Вместе они проработали недолго. В 1922 году

отец ушел учиться на рабфак, в 1923 году Завенягин стал студентом Московской горной академии. У отца сохранились самые теплые воспоминания о своем бывшем начальнике. В тридцатые годы Завенягин строил металлургический комбинат в Магнитогорске, на Урале, потом — Норильский никелевый комбинат, оттуда его выдернуло ведомство Берии и предложило заняться атомными делами.

Завенягин, непременный участник первых атомных испытаний, умер от облучения. В 1950-е годы о радиации задумывались мало, более того, считалось хорошим тоном сразу после взрыва «скатать» в эпицентр, своими глазами взглянуть на разрушенные постройки, искореженную технику, своими руками потрогать еще горячую почву. Вот Завенягин и доездился.

Назначение на министерский пост, пусть и один из самых престижных, Первухин расценил как явное понижение. Сохранивший за собой титул первого заместителя Председателя правительства и членство в Президиуме ЦК, он, еще вчера колеблющийся, пополнил ряды потенциальных оппонентов отца. Сам он предпринимать ничего не собирался, хотя децентрализация управления ему, воспитанному в сталинской школе, явно пришлась не по нутру. Одно дело бурчать, судачить с приятелями, другое — действовать. Действовать он не намеревался, вот если только кто-нибудь другой решится начать…

С ликвидацией Госэкономкомиссии все планы — и перспективные, и текущие, возвращались в лоно Госплана. Но уже иного Госплана, не всемогущего сталинского планового комитета, раздававшего задания и ресурсы министерствам и ведомствам, а нового, как его назвали в постановлении, «Научно-планово-экономического органа, координирующего региональное планирование», надзирающего за соблюдением единой экономической политики.

Теперь на совнархозы возлагалась обязанность составлять планы, «базирующиеся на твердом фундаменте знания жизни и реалистической оценке возможностей». Госплану же вменялось сводить воедино предложения регионов, следить за местными руководителями, чтобы тем было неповадно смухлевать или занизить показатели плана.

С Байбаковым отец решил тоже расстаться, за прошедшие полгода дела с пятилеткой не поправились, а только еще более запутались. К тому же Николай Константинович, мягко говоря, скептически отнесся к реформе, а отцу на столь важном посту Председателя Планового комитета требовался единомышленник, а не оппонент. Хотя доверие отца к Байбакову и ослабло, он не

избавлялся от зарекомендовавшего себя хозяйственника-управленца, 3 мая 1957 года перевел его ступенькой ниже, в Председатели Госплана РСФСР.

Председателем Союзного Госплана отец решил поставить человека не старой министерской закваски, все они не видели альтернативы отраслевой вертикали, не понимали необходимости реформы. Его выбор остановился на Иосифе Иосифовиче Кузьмине, заведующем Отделом машиностроения ЦК КПСС. Он с самого начала горячо и искренне поддержал идею совнархозов, весь год помогал отцу в составлении тезисов и докладов. Кузьмин показался отцу человеком исполнительным, инициативным и думающим. Так Кузьмин стал Председателем Госплана СССР. Заместителями к нему назначили вчерашних министров, самых деятельных, самых знающих: авиационщика Михаила Сергеевича Хруничева, автомобилиста Николая Ивановича Строкина, пищевика Василия Петровича Зотова. Основные отделы нового Госплана возглавили тоже недавние министры: угольщик Александр Федорович Засядько, строитель Ефим Степанович Новосельцев, сельскохозяйственник Григорий Сергеевич Хламов. Всем им сохранили министерский ранг, министерские оклады и другие блага. Остальных оставшихся не у дел министров раскидали по совнархозам.

Молотов резко возражал против замены Первухина Кузьминым. Первухин — член Президиума, а Кузьмин — даже не член ЦК. В подчинение к нему попадают бывшие министры, занимавшие в партийной иерархии более высокое место, кого избрали на последнем съезде в Центральный Комитет, кого в Ревизионную Комиссию. По мнению Молотова, Кузьмин не имел права командовать ими. Отец счел его возражения неделовыми, пусть Кузьмин испытает себя, если справится, то и в ЦК войдет, и Президиум ему не заказан. Отец остался при своем мнении, Молотов — при своем.

По замыслу отца, центр тяжести планирования перемещался в регионы, но, как только это произошло, совнархозы начали «тянуть одеяло на себя». Каждый старался урвать побольше за счет соседа. В новых условиях Госплану отводилась роль центростремительной силы, объединявшей совнархозы в единую экономику единого государства. В таких условиях председателю Госплана требовалось досконально разбираться в региональной и общесоюзной экономике, пресекать экономический сепаратизм и одновременно распознавать и поддерживать, подпитывать из общесоюзной копилки важнейшие производства, освоение технологий будущего, перспективных изобретений. Здесь необходимо техническое чутье и одновременно твердая рука.

Запустить же руку в общесоюзную копилку стремились все. Каждый считал свой проект, свой завод, свою стройку наиважнейшей, наинужнейшей, с пеной у рта доказывал свою правоту. Так вели себя министры при старой системе, новые председатели совнархозов ничем не отличались от них. Когда подходила пора делить ресурсы, дело порой едва не доходило до рукоприкладства. Вот как описывает все тот же Байбаков одно из совещаний в Госплане, правда, в еще военные годы. Пример, конечно, из другой эпохи, но бюрократические нравы с тех пор почти не изменились. Его, тогда министра нефтяной промышленности, вместе с угольным министром Василием Васильевичем Вахрушевым вызвали к председателю Планово-бюджетной комиссии Вознесенскому для очередной «накачки»: дефицит топлива в стране грозил обернуться катастрофой и на фронте, и в тылу. Доклад министров не удовлетворил Вознесенского, оба требовали дополнительных ресурсов: труб, стоек для крепления шахтных штреков, просто лопат.

— Нет у нас ничего, и ничего вам мы дать не можем, — отбивался от них Вознесенский, — изыщите собственные ресурсы, но увеличьте добычу нефти и угля.

Министры стояли на своем: «Если вы нам ничего не дадите, то ничего и не выйдет».

«Напряжение в кабинете возрастало, — пишет Байбаков, — и вдруг Вахрушев побледнел, вскочил со стула, схватил Вознесенского за лацканы пиджака и начал трясти его, выкрикивая свои доводы. Вознесенский тоже схватил “собеседника” за грудки, доказывая, что нет у него ничего, а уголь нужен позарез.

Нам с заместителем председателя Госплана Пановым с трудом удалось разнять спорщиков».

До того, чтобы в прямом смысле брать друг друга за грудки, дело в Госплане, естественно, доходило редко, а вот принимать решения жесткие, быстрые и бесповоротные Председателю Госплана требовалось ежедневно и ежечасно. Кузьмин к подобным баталиям не привык, он никогда не занимал командных должностей. С 1936 года он на партийной и спокойной хозяйственной работе: сначала — парторг ЦК на Московском прожекторном заводе, затем семь лет в Комиссии партийного контроля, потом еще пять лет в Бюро Совета Министров СССР по заготовкам и сельскому хозяйству и, наконец, заведующий отделом ЦК, надзирающим за работой группы машиностроительных министерств. Кузьмин всю свою сознательную жизнь проверял, помогал (или мешал) советами, но не решал, не отвечал лично за проведение принятых решений в

жизнь. А тут на него свалили Госплан, где требовалось не только досконально разбираться в стратегии и тактике экономического развития страны, но и наподобие командующего войсками в разгар битвы, решать, и решать без права на ошибку. Только его битва длилась не день и не два, а непрерывно — все 365 дней в году. Кузьмин поначалу растерялся, затем попытался покомандовать. Но попавшими под его начало прошедшими огонь и воду министрами так просто не покомандуешь. Для этого требовалось завоевать авторитет, показать, на что ты сам способен. Показывать Кузьмину оказалось нечего, и авторитет никак не завоевывался. В Госплане Кузьмин приживался плохо. Министры роптали, жаловались отцу. Кузьмин тоже кляузничал на министров, на то, что они его не слушаются. Отец некоторое время выжидал в надежде, что Кузьмин пообтрется, но в конце концов понял: с Кузьминым он ошибся. За свою жизнь он встречал немало таких умных, даже талантливых, исполнительных помощников, совершенно терявшихся, если они сами становились руководителями.

В связи с этим мне вспомнилась назидательная история, приключившаяся когда-то с отцом и его помощником, милым профессором-философом Павлом Никитичем Гапочкой. Я Павла Никитича помню с детства, с января 1938 года. Тогда в увозившем нас из родной Москвы в какой-то Киев поезде он весь день рассказывал мне сказки, страшные, заставлявшие обмирать от ужаса, и веселые, смешные, от которых все страхи испарялись без следа. Кроме сказок Павел Никитич увлекался фотографированием. Благодаря ему у нас хранится фронтовая фотолетопись отца. Гапочка прошел с отцом всю войну. За долгие годы работа помощника ему поднадоела, и в 1948-м он попросился в самостоятельное плавание — на должность секретаря в одном из украинских обкомов.

Помощником Гапочка был хорошим, ни одного дурного слова о нем я от отца не слышал, вот только порой он подтрунивал над профессорством Гапочки. Но это свидетельствовало о высшей степени его благорасположения. С людьми, ему чем-то неприятными, отец себе никаких шуток не позволял, держался официально-вежливо и при первой же возможности от них избавлялся. Отцу расставаться с Гапочкой не хотелось, но силой он никогда никого не удерживал. Отец только спросил Павла Никитича, хорошо ли он подумал, представляет ли себе, что его ожидает в обкоме.

— Конечно, Никита Сергеевич, я на этих секретарей за годы работы с вами насмотрелся. Не сомневайтесь, справлюсь! — с энтузиазмом отвечал Гапочка.

— Ну что ж, справитесь так справитесь, — с сомнением покачал головой отец, но разубеждать помощника не стал.

Гапочку назначили вторым секретарем во второстепенный обком, хотя он, видимо, рассчитывал на роль первого.

— Поработайте вторым, осмотритесь, если получится, то и бог в помощь, — напутствовал отец.

Гапочка стал вторым. Отец ему не мешал, в дела не вмешивался, в область не ездил, наблюдал со стороны. Через некоторое время Гапочка попросился к отцу на прием.

— Не пойму, Никита Сергеевич, — жаловался Павел Никитич, — почему-то не ходят ко мне люди. Если зову на совещание, придут, сидят, уйдут и не возвращаются. У первого же очередь в приемной. Чем я хуже его? Лучше, я думаю. Сколько раз вы его при мне песочили, требовали, чтобы шел учиться. Он все такой же неуч, а люди идут к нему, а не ко мне, хотя я уже почти доктор наук.

Гапочка сидел перед отцом растерянный, обиженный и недоумевающий. Он надеялся, что отец подскажет, как следует ему поступать, и все у него назавтра выправится. Отец же понимал, что ничего у Павла Никитича не выправится, советы тут бесполезны.

— Понимаете, Павел Никитич, — начал он по возможности мягко, — вы хорошо мне помогали, умно советовали, но решать не научились. От вас этого и не требовалось. Решал я, и за решения отвечал я. Вы и теперь, наверное, своим посетителям все больше советуете?

Отец замолчал и вопросительно посмотрел на Гапочку. Гапочка неопределенно покрутил головой.

— Вот видите, вы им советуете, а они от вас ожидают решения, — продолжал отец, — ответственного решения. Ваш совет к делу не приспособишь. Они уходят от вас в такой же неопределенности, с какой пришли. Вы, наверное, умнее и уж точно образованнее первого, но он решает. Ошибается, но решает и за свои ошибки отвечает. Люди приходят в обком за решением, а не советом, вы — высшая властная инстанция в области.

Гапочка сидел молча. Отцу его стало жалко, но помочь он ему не мог.

— Знаете что, Павел Никитич, — голос отца зазвучал обещающе, — бросайте вы обком. Командовать вы не научились и не научитесь, не тот у вас характер. Поезжайте в Москву, займитесь наукой.

Через какое-то время Гапочка подал заявление «по собственному желанию». В Москве он защитил докторскую диссертацию, успешно работал в академическом институте. Все у

него сложилось хорошо. А не послушайся он отца, останься в обкоме, наверняка пришлось бы уходить ему против своей воли и неизвестно куда.

С Кузьминым отец промучился до марта 1959 года. Кузьмин же не меньше намучился с Госпланом, его подчиненные и председатели совнархозов еще более натерпелись от него, настрадались от его нерешительности. Когда отец предложил Кузьмину возглавить Государственный научно-экономический совет СМ СССР, заняться изучением проблем, ожидающих нашу страну в будущем, пусть и не столь отдаленном, все вздохнули с облегчением. Не знаю, рассказал ли отец Кузьмину на прощание историю о Гапочке, но новое назначение последний принял с благодарностью. Правда, и тут у него не сложилось. Через год Кузьмин с удовольствием отправится послом в Швейцарию.

Место председателя Госплана отец предложил Косыгину, опытному и талантливому управленцу, однако с подозрением относившемуся к любым проявлениям свободы в управлении экономикой, с молодости воспитанного в духе жесткой сталинской вертикали власти. Совнархозы не вызывали у Косыгина симпатий, но как человек дисциплинированный он их терпел. С приходом Косыгина дела в Госплане наладились.

За соблюдением совнархозами государственной политики и общегосударственных интересов, кроме Госплана, надзирали Военно-промышленная комиссия СМ СССР (ВПК) и Государственный научно-технический комитет (ГНТК). Этим двум органам вменялось в обязанность поддерживать технический уровень в промышленности. Совместные действия Госплана, ВПК и ГНТК сверху и совнархозов снизу балансировали интересы регионов и государства в целом.

Оба комитета возникли не на пустом месте. Образованный в апреле 1955 года межотраслевой орган, занимавшийся оборонными отраслями, тогда назывался Спецкомитетом Совмина СССР. Он координировал работу «своих» министров, курировал новые разработки и исследования, увязывал кооперацию. Не дай бог какому-либо министру заартачиться. Немедленно следовал вызов на «ковер» к Председателю комиссии Василию Михайловичу Рябикову. В годы войны он был заместителем наркома вооружений, а затем одним из руководителей атомного проекта.

В 1955 году я с Рябиковым не встречался, но слышал, что у него с отцом установились хорошие, деловые отношения. Много позже, когда я работал у Челомея, а Рябиков стал первым заместителем председателя Госплана, где он вел всю оборонку, мне довелось присутствовать на обширных совещаниях в

кабинете у Рябикова на Моховой и более узких — у нас, в Реутово. Запомнилось улыбчивое, располагающее, какое-то «ненаркомовское» лицо, мягкость, с которой он вел совещания, не мягкотелость, а именно мягкость, интеллигентность. Возможно, эта интеллигентность его и подвела. 14 декабря 1957 года Спецкомитет преобразовали в Военно-промышленную комиссию, но ее председателем назначили не Рябикова, а «пушкаря» Дмитрия Федоровича Устинова, наркома вооружений во времена войны. Тогда Рябиков работал у него в заместителях и теперь снова оказался у Устинова в замах.

Почему отец отдал предпочтение Устинову? Скорее всего, из-за ракет. Межконтинентальные ракеты оставались единственной возможностью ответного удара по территории США, если американский президент вдруг решит атаковать нашу страну. Я уже писал, что именно Устинов первым оценил значение баллистических ракет. И не просто оценил, но и перепрофилировал без особого шума свое «пушечное» министерство в ракетное. Отец ценил его за инициативность и ответственность.

Устинов слыл жестким, но справедливым и безусловно знающим руководителем. Согласования постановлений правительства о новых разработках, требовавшие увязок сотен загруженных донельзя организаций, в ВПК происходили не в пример другим отраслям оперативнее и успешнее. За свою жизнь мне пришлось не раз участвовать в подобных спектаклях.

Все начиналось с «обкатки» нового, уже в принципе одобренного на самом верху предложения — на уровне конструкторских бюро и заводов, будущих соисполнителей работ или поставщиков оборудования, к примеру, Королева, Челомея или Янгеля. На первых порах главные конструкторы договаривались или не договаривались между собой, затем утрясали или не утрясали оставшиеся разногласия на уровне главков, далее в дело вступали министры — председатели соответствующих госкомитетов и руководители совнархозов. Если и там не удавалось прийти к согласию, Устинов приглашал всех к себе, в Кремль, где сразу за Спасской башней размещалась его комиссия. Приходили вооруженные увесистыми папками разногласий, обоснований невыполнимости новых заданий и длинными перечнями «сена-соломы», так на министерском жаргоне именовали заявки на дополнительное финансирование, всевозможные блага и, в случае успеха — на внеочередные награждения. Устинов знал, сам недавно сидел в министерском кресле, что их запросы с запасом, а реальные условия выполнения Постановления давно скрупулезно высчитаны и в госкомитетах, и

в совнархозах. Сейчас же они кочевряжатся в надежде выторговать себе побольше благ. Если, конечно, наряды на станки, приборы, строительство новых цехов и нового жилья для работающих в них, можно считать благами.

Когда многочасовой торг, больше напоминавший восточный базар, чем собрание государственных мужей, достигал своей кульминации и грозил перерасти в скандал, Устинов вставал со словами: «Вы тут еще пообсуждайте, а я вернусь, когда договоритесь». Покидая свой огромный Кремлевский кабинет с окнами, выходившими на кирпичную стену, разделявшую Кремль и Красную площадь, он демонстративно запирал дверь снаружи. Это означало, что Дмитрий Федорович все понял, разумные претензии готов удовлетворить, капризам же потакать тут не будут, и уступать он больше не намерен. Обычно прием срабатывал — через пару часов министры расписывались на документе, а оставленный наблюдать за порядком заместитель председателя, звонил «дяде Диме», так его прозвали подчиненные (что, наверное, важнее всех официальных титулов), сообщал о завершении торга, и участники совещания разъезжались по своим комитетам, возвращались в свои совнархозы.

Выпестованная Устиновым система работала успешно. Его авторитет в глазах отца рос из года в год. Стремительный карьерный взлет Устинова начался перед самой войной, а пик его карьеры пришелся на время отца, связан с отцом, с реформами, с совнархозами. Отец считал Устинова своим надежным соратником и единомышленником, шаг за шагом продвигал его вверх по иерархической лестнице. Вот только Устинов себя соратником отца не считал. 9 июня 1941 года Сталин его, тридцатитрехлетнего директора Ленинградского завода «Большевик» произвел во всесоюзные наркомы вооружения, поставил на место арестованного накануне Бориса Львовича Ванникова. Устинов тогда присягнул Сталину и не изменит своей присяге ни при Хрущеве, ни при Брежневе. Он навсегда останется проводником жесткой, даже жестокой централизованной управленческой вертикали, твердокаменным сталинистом, ненавидящим Хрущева и за XX съезд, и за децентрализацию-демократизацию. Все эти совнархозы он считал блажью, до поры до времени дисциплинированно подчинялся, но не более. Так нередко случается в жизни.

Теперь несколько слов о Научно-техническом комитете, его истории и его председателях. Начну с 25 мая 1955 года, тогда для координации общегражданских отраслей промышленности образовали Государственный комитет по новой технике. Его председателем и одновременно, для придания дополнительного

веса, заместителем председателя Госэкономкомиссии и заместителем Председателя Совета Министров СССР назначили Вячеслава Андреевича Малышева, во время войны он был наркомом танковой промышленности, а после войны стал одним из организаторов атомного проекта, министром среднего (атомного) машиностроения. Казалось бы, ему и карты в руки, но в отличие от Устинова, дело у Малышева не заладилось. То ли отраслей под его началом оказалось много больше, чем у оборонцев? То ли внимания им уделяли несравненно меньше? То ли «устиновского» таланта у Малышева не обнаружилось. Скорее всего, во всем виновата болезнь. Занимаясь атомными делами, он, как и Завенягин, сильно облучился и теперь постоянно испытывал недомогание. 20 февраля 1957 года, в самый разгар реформы, Малышев скончался. После его смерти Госкомитет по новой технике переименовали в Государственный научно-технический комитет (не знаю, кто тут руку приложил), но новое название звучало солиднее и, я бы сказал, более властно. Да не в названии дело. Председателем комитета назначили Юрия Евгеньевича Максарева, до войны директора танкового завода в Харькове, одного из создателей легендарного Т-34, а после того весьма успешно поработавшего на самых высоких должностях в министерствах тяжелого и транспортного машиностроения, судостроения, в Бюро Совета Министров по машиностроению.

Отец поддержал назначение Максарева, он помнил его еще по Харькову, а его аттестация за последующие годы вселяла надежды, что теперь Научно-технический комитет оправдает ожидания. К сожалению, не оправдал. Оказалось, что Максарев, человек интеллигентный, мягкий и без особых амбиций, не любил ни во что вмешиваться, конфликтовать с министрами, предпочитал соглашаться с любыми их доводами. В общем, полная противоположность Устинову. При Максареве ГНТК деградировал, постепенно из координирующего органа превращался в подобие центра научно-технической информации и тем самым дискредитировал как замысел отца, так и самого себя. Вскоре Максарев, оставаясь председателем комитета, лишился не только титула заместителя Председателя Правительства, но и ранга министра. Такое падение с «неба» обернулось бы трагедией для Устинова, но Максарева оно, казалось, даже устраивало, жить стало спокойнее и спрос с него меньше.

Отец какое-то время терпел Максарева, и то лишь по старой памяти, все надеялся, что он выправится. Наконец терпение его лопнуло, в декабре 1959 года Максарева перевели из председателей комитета в заместители. На его место посадили

Константина Дмитриевича Петухова, тоже, как и Малышев с Максаревым, танкостроителя. При Петухове мало что изменилось. Научно-техническому комитету с танкистами явно не везло. Весной 1961 года Петухова уволили, а ГНТК вновь переименовали, теперь в Государственный комитет по координации научно-исследовательских разработок. Его председателем стал Михаил Васильевич Хруничев, бывший министр авиационной промышленности, по своему складу человек не менее энергичный и хваткий, чем Устинов. Отец очень рассчитывал, что Хруничев наконец сдвинет воз с места, добьется того, чего добился Устинов в оборонке. Хруничеву в виде аванса даже восстановили утраченный его предшественниками ранг заместителя Председателя Совета Министров СССР.

Возможно, так бы и произошло, но судьба распорядилась иначе. 8 апреля 1961 года Хруничева назначили на должность, а в июне, практически не приступив к работе, он умер. Не знаю от чего, но с 1953 по 1955 год ему тоже довелось поработать в средмаше, поездить на испытания, получить свою долю облучения. Именем Хруничева назвали авиационный завод № 23 в Филях, теперь всемирно известный ракетно-космический научный центр.

Комитет по координации снова остался без руководителя. 10 июня 1961 года, по рекомендации Устинова, его новым председателем стал ракетчик Николай Константинович Руднев. Руднев много лет проработал у Устинова заместителем министра, хорошим заместителем, а после ухода Устинова стал министром, затем председателем Комитета по оборонной технике. Однако быть заместителем у Устинова совсем не означает, что человек станет самим «Устиновым». Более того, чаще случается обратное, энергичный министр подавляет своих заместителей, лишает их инициативы, обрекает на вечное «заместительство». Руднев новым «Устиновым» не стал. Комитет и при нем продолжал плестись в хвосте независимо от него происходивших событий.

Немного истории

Россия со времен Ивана Грозного — страна централизованная, не одной только властью, но и всей жизнью. Утверждение абсолютного всевластия свойственно всем средневековым монархам так же, как и желание сокрушить соперников — удельных князьков. Процесс этот, при формировании государственности естественен. Однако в Западной Европе установился определенный баланс, монархам не удалось, как им бы хотелось, подмять под себя интересы всех

сословий. Знать сохранила за собой и земли, и привилегии, и определенную власть. А вот российским царям «повезло» больше. После того, как Иван Грозный спалил Новгород, перебил, утопил в реке, сжег на кострах большинство его населения, термин «провинция» в России стал означать захолустье. С богатствами Санкт-Петербурга и отчасти Москвы, с их дворцами, оранжереями, роскошными ресторанами соседствовали губернские города, уездные городишки и просто деревеньки, где люди продолжали жить так, как жили их предки и прапрапредки.

В XVIII–XIX веках с развитием промышленности в западном мире в местностях, прилегающих к месторождениям полезных ископаемых и источникам энергии, стали формироваться промышленные центры, возникали и росли новые городские поселения. И как следствие, туда пришло процветание, богатство, лоск. Такой же процесс, но с опозданием на век-полтора, начался и в России, Донбасс двадцатого века мало отличался от Рура и Кардиффа девятнадцатого.

После революции, выстраивания сталинской, доведенной до абсурда, централизованной экономики, пропасть между Москвой-столицей и провинциями-регионами еще более углубилась, стала почти бездонной. Политическая, идеологическая и экономическая власть полностью сосредоточились в Москве. В Европе, и особенно в США, различие между центром и провинцией стиралось, уровень жизни выравнивался, возрастала престижность корпоративных центров, человек чувствовал себя одинаково комфортно (или дискомфортно) в центре и на периферии, покупал одинаковые товары, жил в мало различающихся домах, не говоря уже о работе. А в России, в Советском Союзе, отъехав от столицы на пару сотен километров, человек попадал в иной мир. Все там иное: жилье, даже «высшей категории», не сравнимо со столичным, товары в магазинах — тоже, о дорогах и говорить не приходится. Правда, работу можно получить интереснее московской.

В России все всегда стремились в центр, а перевод на работу из столицы — что в Сибирь, что в Торжок — приравнивался к ссылке. С началом реформы и ликвидацией министерских постов многим из столичных министров предстояло разъехаться по совнархозам. Такая перспектива не улыбалась не только им самим, но и их семьям. У министров к «заботе о государстве» добавлялась и озабоченность собственной судьбой. Вот и получалось, что затевая «совнархозолизацию» всей страны отец, вольно или невольно, замахивался не просто на министерскую вертикаль «управления экономикой, промышленностью и строительством», как он писал в своих тезисах, но и на весь

бюрократический уклад российский жизни, на вековые традиции российских служилых людей.

Неудивительно, что, казалось бы, частная задача видоизменения структуры управления хозяйствующими субъектами натолкнулась на столь яростное сопротивление чиновников.

Совнархозы обретают лицо

Совнархозы показали себя хорошо. Этого никто не мог отрицать. С первого года общая экономическая активность в стране возросла. Местные руководители наводили порядок в ставшем теперь их, не «дядином», хозяйстве. Сотни автомобилей, простаивавших в десятках ведомственных гаражей, объединялись в общие для всех современные транспортные предприятия. Расходы на перевозку, тонно-километры, резко пошли вниз. Организовывались общие литейные, штамповочные и другие предприятия — одно-два на совхоз, но большие, механизированные и автоматизированные. Качество продукции повышалось, а себестоимость изделий падала.

Гравий, глина, песок и другое общеупотребительное сырье «неожиданно» обнаруживалось в изобилии под боком. За ним больше не приходилось «гонять» самосвалы за тридевять земель. Предприятия все больше кооперировались. И так во всем.

Как во всяком новом деле, не обошлось и без накладок. Происходила притирка региональных и центральных структур, а это процесс не простой, другими словами, государственный оркестр настраивался на игру по новой партитуре. Основной проблемой стала тенденция регионализации, совхозы начали городить свои заборы, теперь не ведомственные, а территориальные. Этим особенно отличались мелкие совнархозы. Даже оказавшиеся на их территории общесоюзные исследовательские институты совнархозное начальство старалось пристегнуть к местным нуждам, одновременно отделываясь от тематики общесоюзного значения. Опасность таких тенденций обсуждалась еще до принятия закона, о ней говорили и сторонники совнархозолизации, и ее противники, в частности Первухин и Байбаков.

С наукой разобрались без труда, к концу 1957 года ее вернули под крыло центра, подчинили отраслевым Госкомитетам. Не всю конечно, а исследовательские центры общесоюзного значения. Совнархозы тоже не обидели, в их распоряжении оставались многочисленные лаборатории на предприятиях и в высших учебных заведениях, опытные станции и даже собственные научно-исследовательские институты.

Проблема регионализации, желание совнархоза обособиться, заниматься исключительно собственными делами и в собственных интересах, без оглядки на соседа — та же «министерская» болезнь, но в территориальном преломлении оказалась орешком покрепче. Причина тому — половинчатость

принятого решения. В мире апробированы две относительно устойчивые структуры. Децентрализованная — когда предприятие предоставлено само себе и самостоятельно ведет все дела в своих интересах, а директор решает, чего и сколько производить, кому повыгоднее продать и как поступить с прибылью, оставшейся после уплаты налогов. Если взаимоотношения сбалансированы, то и государству удается наполнить бюджет, и экономика развивается устойчиво. В централизованной системе все решается наверху — в Госплане, министерствах, Совете Министров, а директору предоставляется лишь одно право — брать под козырек. Здесь взаимоотношения государства с производителем запутываются в паутине бюрократии, становится невозможным понять, на какие сигналы и как реагирует директор, для которого, естественно, приоритетны собственные заводские интересы. В результате рост экономики замедляется, эффективность падает.

Учреждая совнархозы, Хрущев стремился побороть именно это зло, однако, начав реорганизацию экономики, отец не решился дать вольную предприятиям, он сделал первый шаг, даже полшага. В совнархозной регионализации в миниатюре воспроизводилась все та же централизованная система управления народным хозяйством, только чуть более эффективная, чем общегосударственная. Одному человеку, стоявшему во главе совнархоза, еще под силу управиться с регионом, пока он, естественно, невелик. При всех своих достоинствах совнархозы по своей природе — система неустойчивая, они всего лишь переходная стадия. С совнархозного полустанка можно двинуться к более глубокой децентрализации, которая в дальнейшем раскрепостит предприятия, установив между ними рыночные отношения. Или сдать назад, вводить якобы защищающие общегосударственные интересы, новые бюрократические структуры, восстанавливая тем самым, в новом обличье, старую пирамиду экономического самовластья, ту самую вертикаль управления, на которую посягнул отец.

Решиться на полное высвобождение предприятий отец в 1957 году не мог, даже не из-за легко предсказуемого сопротивления хозяйственников и идеологов. Ведь тогда пришлось бы оперировать таким понятием, как прибыль предприятия, иначе не разделить затраты и доходы, не вычислить положенную государству долю. Само это слово «прибыль» в те годы звучало исключительно негативно, отдавало откровенной реставрацией капитализма. Такое отцу и в голову не приходило, и не только ему. Страна развивалась темпами, во много раз превосходящими

американские. Экономисты не сомневались, что через пару-тройку десятилетий мы обойдем США по всем показателям — и по производству валового продукта, и по уровню жизни. ЦРУ в своих совершенно секретных статистических обзорах предупреждало Белый дом: если ничего не предпринять, то к концу XX столетия валовой продукт в СССР втрое превзойдет американский.

Отец не собирался возвращаться в прошлое, на пути в будущее искал наиболее эффективную форму приложения людского потенциала, энергии, таланта. Дальше совнархозов он пока шагнуть не решался, просто не додумался. Додумается еще, как мы увидим.

Пока же с регионализацией боролись подручными средствами: мелкие совнархозы укрупняли, объединяли в суперсовнархозы, учреждали различные, вплоть до всесоюзных, надсовнархозные координирующие структуры. К такому способу развязывания региональных неувязок тяготели и соратники, и противники нововведений. Они просто не умели действовать по-иному. Исходя из исторической логики, рецидив болезни централизованной экономики неизбежен и для обретения окончательного иммунитета даже необходим. Только убедившись, что совнархозная централизация ничем не лучше отраслевой, убедившись в тупиковости этого пути, отец задумается о следующем этапе реформирования. Совнархозы породили еще одну, поначалу неприметную, тенденцию. В регионах параллельно партийной зарождалась новая власть — экономическая. По положению секретари обкомов не входили в руководство совнархозов. В крупных областях и республиках, где имелся только один совнархоз, они по иерархической лестнице стояли на пару ступенек выше его председателя. Если же совнархоз накрывал своими структурами несколько областей, то секретари мелких обкомов не могли ни надзирать за ним, ни заседать в его структурах. В этом смысле председатели совнархозов в качестве альтернативы секретарям обкомов пусть и полуинтуитивный, но все-таки шаг к разделению властей и, в конечной степени, к демократии.

Председатели совнархозов постепенно прибирали к своим рукам реальную власть, становились не мнимой, как советы, а действенной альтернативой обкомам. Другими словами, власть из общеруководящей становилась профессиональной. До серьезных конфликтов пока не доходило. И обкомы, и совнархозы ходили под единым московским ЦК. Но это пока.

Сейчас осталось не так много живых свидетельств из того времени. В брежневские годы о совнархозах и их председателях

постарались забыть, вычеркнули их из истории и из памяти — почти всё, но не всё. После Брежнева кое-что выплыло на поверхность. Насколько я знаю, из людей, занимавших значительные совнархозные посты, оставил воспоминания только Владимир Николаевич Новиков, оборонщик, госплановец, тертый министерский калач. Новиков скорее оппонент отца, чем его сторонник, но при всей своей критичности он правдив, по крайней мере, в житейских деталях. А они-то — самое ценное.

С 1941 года Новиков работал заместителем Устинова в Министерстве вооружений. В 1957 году он стал председателем Ленинградского совнархоза, объединившего Ленинградскую и Псковскую области, с двумя обкомами и двумя секретарями.

О том, как все это происходило, лучше всего расскажет сам Новиков. Предоставим ему слово.

— Встретились мы с Никитой Сергеевичем один на один, — вспоминает Новиков.

— Как вы относитесь к совнархозам? — спросил он меня в лоб.

— Дело интересное, — отвечал я, как думал, — надо полагать, что работа пойдет активнее.

— Есть намерение назначить вас председателем Ленинградского совнархоза, — произнес Хрущев, внимательно всматриваясь в мое лицо и тут же, глядя на меня в упор, спросил: — Ну как?

Новиков для приличия поотказывался. Хрущев, тоже для приличия, пообещал подумать. Оба они понимали, что решение принято, но, в соответствии с ритуалом тех лет, назначаемому на новую, более высокую должность следовало проявить скромность, а назначавший, соответственно, проявлял внимание. К вечеру того же дня Новиков стал председателем Ленинградского совнархоза.

— Скажу лишь, получилось все хорошо, — продолжает Владимир Николаевич. — Я начал работать свободно, уверенно, контактировал напрямую с секретарем Ленинградского обкома Козловым, избранным в том же году членом Президиума ЦК, и ни от кого больше не зависел. Горком партии, райкомы пробовали вмешаться в деятельность совнархоза, но все вопросы решались так, как было лучше для совнархоза, что я считал одновременно благом и для Ленинграда, и для страны в целом.

Вскоре Козлов пересел в кресло Председателя Правительства Российской Федерации, а секретарем Ленинградского обкома стал Иван Васильевич Спиридонов. Новиков к тому времени уже набрал силу и позволял себе игнорировать Спиридонова. Тот, в свою очередь, вместе с председателем Ленинградского исполкома

Николаем Ивановичем Смирновым — «по образованию и наклонностям работником сельского хозяйства, человеком большой культуры и приятным в общении» (так характеризует его сам Новиков) — попытались призвать его к порядку.

— При организации совнархозов, — продолжает вспоминать Новиков, — в правительственном решении записали пункт: итоги работы совнархоза за месяц, квартал, год, кроме Госплана РСФСР, передаются еще и облисполкому, чтобы там могли составить целостную картину всех показателей экономики. Меня смущала передача в облисполком номенклатуры военной техники. Я решил сообщать им только объем выполняемых работ. Николай Иванович нажимал на меня, его поддерживал Спиридонов. Дело обострилось.

Тогда я направился в Совет Министров РСФСР, к Козлову. Фрол Романович при мне позвонил в Госплан СССР Кузьмину. Тот посоветовался, видимо, с Хрущевым и одобрил мою позицию.

Козлов вызвал Смирнова и, будучи человеком грубоватым, заявил ему: «Николай Иванович, ты занимайся куриным навозом, а с вопросами военной техники к Новикову не лезь. Ясно?»

— Но есть же решение правительства, — растерянно возразил Смирнов.

— Я тебе ясно сказал, чем заниматься облисполкому, — рассвирепел Козлов.

— Ясно, Фрол Романович, — пролепетал Смирнов.

— Какой еще тебе горком с обкомом? — при очередной встрече наставлял Новикова Козлов. — Тебе что, делать нечего? У тебя девятьсот заводов и фабрик, а ты будешь таскаться по горкомам, да еще придумаешь ходить в райком или в облисполком? Никуда не ходи…

— Иван Васильевич, — Козлов обратился к присутствовавшему при разговоре Спиридонову, — Новикова не вызывать! Понятно?

Спиридонов все понял, Новиков теперь оказался вне его власти, в чем-то сравнялся с ним, вчера всесильным секретарем Ленинградкого обкома.

— Нельзя, чтобы меня, — продолжает свои воспоминания Новиков, — при руководстве таким огромным совнархозом без конца таскали и проверяли все власти. Я считаю, что совнархозы существенно помогли советской промышленности.

И так происходило практически повсюду.

Награды за урожай

По итогам рекордно урожайного 1956 года «пролился

золотой дождь», отец предложил наградить орденами и медалями наиболее отличившиеся области и республики, более десятка регионов. Вручать ордена решили как можно торжественнее. Указы шли чередой, по мере их опубликования члены Президиума ЦК один за другим разъезжались по стране.

12 января 1957 года отец вместе с Ворошиловым на реактивном Ту-104 вылетел в Ташкент. Самолет недавно закончил испытания, 15 сентября 1956 года получил сертификат, и отцу не терпелось самому его опробовать. Он пригласил с собой Ворошилова, который направлялся в Алма-Ату. Отец пришел в восторг от самолета. Его восхищало все: скорость, размеры гигантского по тем временам салона, относительная тишина и «мягкость» полета: самолет не трясло, он не проваливался в воздушные ямы.

Не могу не упомянуть, что передаче Ту-104 в эксплуатацию Управлению гражданского воздушного флота, так тогда назывался Аэрофлот, сопутствовали во истину драматические обстоятельства. Начальник управления, главный маршал авиации Семен Федорович Жаворонков, герой войны, с 1939 года командовавший авиацией флота (это его ПЕ-8 в 1941 году летали на Берлин), всеми силами открещивался от реактивного Ту: и аэродромы для него малы, и инфраструктуры нет, и не хватает дефицитного, необходимого в первую очередь истребителям и бомбардировщикам авиационного керосина. Маршала устраивали поршневые двадцатиместные Ил-14 — по его мнению, ничего иного не требовалось и немногочисленным авиапассажирам. Весной 1956 года Жаворонков написал в Президиум ЦК письмо с отказом от принятия Ту-104 в эксплуатацию независимо от исхода испытаний, он самолет не заказывал — это личная инициатива Туполева и министра авиационной промышленности Дементьева. Пусть они теперь и думают, куда пристроить реактивный пассажирский самолет. Маршала не смущало, что Ту-104 энергично поддерживал отец, он стоял на своем — такой самолет гражданской авиации не нужен. Жаворонкова поддержал личный пилот отца генерал, Цыбин. На Ту-104 он летать не мог, возраст уже не тот, и вообще он всей душой стоял за Ильюшина, давнего туполевского конкурента.

Отец придерживался противоположного мнения. Весной 1956 года, по пути в Англию, он подробно расспрашивал Туполева о преимуществах и недостатках реактивных и поршневых пассажирских самолетов и убедился: будущее за реактивниками. Это только с виду они прожорливы, а если подсчитать, то перевозка одного пассажира или килограмма груза на них обходится дешевле, не говоря уже о комфорте. Но Жаворонков

стоял на своем: пока он в гражданской авиации начальник, Ту-104 там не бывать. Отзвуки этой яростной борьбы нашли свое отражение и в отчетах о работе Президиума ЦК.

Проблема разрешилась, только когда в 1957 году Жаворонкова спровадили на пенсию, а вместо него назначили Павла Федоровича Жигарева, главного маршала авиации, командовавшего во время войны ВВС Красной Армии.

Насколько я помню, Жигарев тоже не очень уж склонялся к реактивным пассажирским самолетам, и по тем же соображениям. Он, как и Жаворонков, видел в них конкурентов военной авиации, в его понимании более важной и более нужной. Но, в отличие от Жаворонкова, Жигарев с Хрущевым не задирался, взял под козырек и со свойственным ему профессионализмом занялся внедрением Ту-104. И тут же столкнулся с отсутствием в гражданских аэропортах взлетно-посадочных полос нужной протяженности. Они имелись только на военных аэродромах, приспособленных под стратегический бомбардировщик Ту-16. Жигарев доложил отцу, что на переоборудование «его» аэродромов под Ту-104 уйдет несколько лет и потребуются серьезные средства. Отец предложил выход из положения: передать гражданской авиации расположенные неподалеку от больших городов военные аэродромы. Жигарев ужаснулся, на его памяти военные забирали гражданские аэродромы, а вот чтобы наоборот!.. Решение приняли, и теперь никто и не помнит, что Новосибирский, Киевский, Сухумский и многие другие аэропорты ведут свою родословную от баз стратегической бомбардировочной авиации.

Во время перелета Москва — Ташкент, отец еще раз на собственном опыте убедился, что в споре с Жаворонковым прав оказался он, а не прославленный авиационный маршал.

В ташкентском аэропорту Хрущев расстался с Ворошиловым. Отец, в сопровождении местного начальства, уехал в город, а Климент Ефремович улетел на Ил-14 в Алма-Ату, где ему предстояло вручить орден Ленина Казахской республике.

Мероприятия в Ташкенте начались следующим утром. На торжественном заседании в оперном театре имени Алишера Навои Хрущев прикрепил орден Ленина на знамя Узбекистана.

По завершении официальной церемонии отец перешел к делам, утром провел совещание в республиканском ЦК, а вечером в том же оперном театре, где накануне вручались ордена, принимал участие в многолюдном совещании работников сельского хозяйства. Затем он посетил текстильный комбинат, обошел цеха, выступил на митинге и на следующий день на Ил-14 вылетел в столицу Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек). Местный

аэропорт пока Ту-104 не принимал.

Там отец повторил процедуру вручения ордена Ленина республике, поздравил киргизов с наградой, пожелал им новых успехов. На следующее утро провел рабочее совещание с аграриями, а 16 января, после полудня, возвратился в Ташкент. Сразу после прилета отец вручил награды наиболее отличившимся хлопкоробам. Среди них третью звезду Героя Социалистического Труда получил председатель колхоза Хамракул Турсункулов, дородный, со свисающими на подбородок усами узбекский «академик» по части выращивания хлопка, как называл его отец. Турсункулов стал четвертым трижды героем, после Жукова и прославленных летчиков Александра Ивановича Покрышкина и Ивана Никитича Кожедуба. Сахарову, Харитону и другим атомщикам еще только предстояло удостоиться своих третьих звезд.

Рано утром 17 января отец на Ту-104 вылетел в Москву, а вечером, по прилете, еще успел выступить в Посольстве Китая на приеме в честь гостившего в СССР Чжоу Эньлая.

Ворошилов возвращаться не торопился, после завершения наградных дел в Алма-Ате он отправился осматривать целину. В январе там мало что можно было увидеть: занесенные снегом бескрайние степи, под сугробами не различишь, распаханы они или нет, редкие домики только еще возводившихся поселков — вот и вся целина. Но Климент Ефремович, привыкший угождать Сталину, хотел сделать приятное отцу.

Тем временем Молотов вручал награды в Воронеже, Брежнев — в Омске, Аристов — в Челябинске, Суслов — в Саратове, Микоян — в Туркмении, Булганин — в Таджикистане. Череда награждений завершилась 2 февраля 1957 года вручением в Кремле ордена Ленина Московской области. В сельском хозяйстве она ничем особо не отличилась, отметили ее за столичность.

В марте отец отправился в ставший уже традиционным предпосевной инспекционный объезд регионов. Перемещаясь вслед за весной с юга на север, он проводил региональные совещания, заслушивал своих «генералов» о готовности к предстоящей битве за урожай, инспектировал колхозные и совхозные поля. 8 марта отец в Краснодаре, 12-го — в Ростове-на-Дону. 30 марта в Кремле собираются руководители нечерноземных областей, 2–4 апреля в Воронеже — черноземных, а 5–8 апреля отец уже в Горьком (Нижнем Новгороде).

«Самоуправства» отца

Совещания в областях проходили по накатанному сценарию,

без неожиданностей. В Горьком же разразился скандал. Не скандал — скандальчик. При других обстоятельствах, скорее всего, вообще никто бы не обратил на происшедшее никакого внимания. Сейчас же, после состоявшегося 22 и 27 марта непростого обсуждения экономической реформы, казалось бы, закончившегося полной победой отца, неудовлетворенность его противников, недовольство отцом бродило и только ожидало повода, чтобы прорваться наружу. 8 апреля в Горьком отец такой повод им представил.

Так что же там произошло такого, о чем заговорила «вся» Москва?

8 апреля 1957 года в городе Горьком на совещании по вопросам сельского хозяйства отец до начала выступления принялся отвечать на вопросы и записки из зала, так же, как он это делал и в Краснодаре, и в Ростове, и в Воронеже. Кто-то поинтересовался: «Созовут ли Всесоюзный съезд колхозников?»

— Мы обменивались мнениями в ЦК и правительстве, считаем, что съезд созвать следует, но сначала давайте поднимем колхозную экономику, — ответил отец.

Присутствовавшие в зале зааплодировали.

— Как оценивать работу колхоза? По надоям молока с коровы или в расчете на 100 гектаров пашни? — спросил председатель колхоза «Искра» Павел Михайлович Демин.

Вопрос неслучайный. В прошлом году в его колхозе надои на одну корову оказались меньше, чем у соседей в колхозе «Крестьянин». Первое место по области присудили «Крестьянину». Но если считать погектарно, то «Искровцы» опередили «Крестьянина». Павел Михайлович обиделся, решил искать справедливости у отца и не ошибся.

— Отвечаю, — начал отец, — конечно, надой, как и производство других продуктов, следует относить к ста гектарам пашни.

Дальше он стал на цифрах доказывать, почему такая оценка эффективности работы хозяйства предпочтительнее и государству, и самому колхозу. Демин, победно улыбаясь, оглядывался на соседей.

Один из присутствовавших интересовался, не пора ли объединить Горьковскую и Арзамасскую области, тогда границы совнархоза и области совпадут, тут и управлять легче, и бюрократия сократится. Вопрос возник не спонтанно, его уже задавал отцу секретарь Горьковского обкома Николай Григорьевич Игнатов, привел логические аргументы за объединение.

— Интересно, кто написал эту записку, горьковчане или

арзамасцы? — поинтересовался отец.

— Арзамасцы, — дружно отозвался зал.

— Товарищи арзамасцы, как считаете, полезно такое объединение? — обратился отец к залу.

— Полезно, — вновь прогремело из зала.

— А горьковчане, как считают? — уточнял отец.

— Полезно, — откликнулись горьковчане.

— Видимо, мысль о слиянии этих двух областей созрела, и она правильна, — подвел отец итог импровизированного опроса и перешел к более важным делам.

Объединение и разъединение областей — дело в государственной жизни незначительное и рутинное. И губернии, а позже — области в России кроили и перекраивали постоянно. В январе 1954 года Арзамасскую область выделили из Горьковской, теперь возвращали обратно.

Однако Молотов возмутился, как это отец посмел предложить такое решение и, более того, объявить о нем всенародно до официального вердикта Президиума ЦК. Он потребовал специального разбирательства. Отец попытался отмахнуться, дело-то выеденного яйца не стоит, да и не объявлял он ничего, сказал только, что «видимо, вопрос созрел». Но Молотов и слушать не желал. Арзамасская область стала предметом бурного объяснения в Президиуме ЦК и тем самым вошла в историю. Конечно, не сама она интересовала Молотова, просто он не смог сдержать эмоций.

В Горьком произошел еще один казус. Отец заявил, что хорошо бы, начиная с 1958 года, прекратить распространение государственных займов среди населения, снять с людей оброк ежегодной добровольно-принудительной выплаты государству одной-двух, а то и более месячных зарплат. И тут он приводил подробные выкладки: за прошедшие годы государство, занимая ежегодно по 30–35 миллиардов, задолжало населению 260 миллиардов рублей. После смерти Сталина, в 1953 и 1954 годах, руководство страны попыталось урезать эту сумму вдвое, но Министерство финансов встало на дыбы. В результате, в 1955 году сумму займа вновь повысили до 32 миллиардов, а в 1956 до 34 миллиардов рублей.

(Одновременно росли и выплаты по займам: в 1957 году — 16 миллиардов, в 1958 году выплаты поднялись до 18 миллиардов, а к 1967 году до 25 миллиардов рублей.)

Если раньше займами финансировали развитие народного хозяйства, то теперь они постепенно теряли смысл, в один карман государство кладет деньги от займов, а из другого кармана такую же сумму возвращает.

— Руководство страны неоднократно обсуждало, что делать с займами, — продолжал отец, — мы склоняемся к мысли занять в этом году последние 12 миллиардов рублей и отказаться от них.

Одновременно с прекращением заимствования отец считал разумным заморозить на двадцать — двадцать пять лет выплаты по займам. Людей перестанут подписываться на новые займы, но и деньги от погашения предыдущих займов и выигрыши они тоже недополучат — другими словами, население останется при своих. «Мы решение еще не приняли, хотели посоветоваться с рабочими, колхозниками и интеллигенцией, — говорил отец. — Если они поддержат, тогда можно принять соответствующее постановление».

В принципе об отказе от займов, по предложению отца, договорились на Президиуме ЦК еще 19 марта, тогда поручили Министерству финансов уточнить детали. Затем, перед принятием окончательного решения, члены руководства страны должны были выступить на заводах с разъяснениями. 4 апреля 1957 года в отсутствие отца, он в тот день находился в Воронеже, на Президиуме ЦК еще раз обсудили предложенный Минфином документ, главным образом размер заключительного займа: 9 или 12 миллиардов. Решили еще поработать.

Отец же, не дожидаясь окончательной редакции документа, позволил себе в Горьком «посоветоваться» с народом, сначала на митинге в «Красном Сормове», потом на автозаводе и вот теперь на совещании аграриев. Казалось бы, не бог весть какие прегрешения, но Молотов, прочитав в газете выступление Хрущева, просто неистовствовал: «Хрущев не имел права говорить о займе без санкции Президиума ЦК». Каганович, Маленков, Сабуров промолчали. 19 апреля 1957 года приняли решение о последнем займе в этом году, как и предлагал Минфин, установили его в размере 12 миллиардов рублей. На этом ставили точку — займы, как и выплаты по ним, замораживались на двадцать лет, до 1977 года.

Народ, рабочие, колхозники, интеллигенция еще долго «поминали отца недобрым словом». Подписываться на займы, естественно, никому не хотелось, но пусть бы их отменили, а продолжали исправно выплачивать выигрыши и погашения по займам прошлых лет. Иначе — это грабеж. Баланс заимствований и выплат, расчеты отца ни на кого никакого впечатления не произвели. В памяти у всех осталось: государство очередной раз обмануло людей, отказалось возвращать долги.

Золотая звезда за Целину

9 апреля 1957 года первые страницы всех газет запестрели указами: колхозников награждали за прошлогодний рекордный урожай, в том числе целинный. Звания Героев Социалистического Труда получили более сотни человек, ордена и медали — около десяти тысяч. В списке награжденных я нашел и отца. Награда им вполне заслуженная, уж он-то в целину вложил всю свою душу, но меня его награда не порадовала. И не меня одного. Выходило, что он как бы наградил сам себя, это раздражало. Задать беспокоившие меня вопросы самому отцу я не мог, он в тот день еще не вернулся из Горького. Указы о награждении утверждались на заседании Президиума ЦК 6 апреля 1957 года, тоже в отсутствие отца. Председательствовал Булганин. Предваряя голосование, он предложил включить в список Героев Социалистического Труда товарища Хрущева. Я уверен, что с отцом он предстоящее награждение не обсуждал. Более того, зная характер Николая Александровича, не сомневаюсь, он держал свое предложение в тайне, хотел преподнести отцу сюрприз, подарок к приближающемуся дню рождения. Это косвенно свидетельствует и о том, что 6 апреля Булганин об «измене» не помышлял.

Ниже я привожу запись обсуждения на Президиуме ЦК.

Булганин: «Логика требует награждения». (Ему как председателю полагалось говорить первым.)

К Булганину тут же присоединился Суслов: «Надо поддержать».

Кириченко: «Наградить».

Сабуров: «Надо наградить.

Жуков: «Награждение будет полезно».

Молотов: «Вопроса в повестку дня не вношу. Товарищ Хрущев заслуживает награды, но думаю, надо подумать. Он недавно (в 1954 году. — *С. Х.*) награждался. Требуется обсудить политически».

Первухин: «Нет сомнений, он инициативу проявил о целинных землях. Не ставился раньше вопрос. Важное дело. Нас не должно смущать, что через два года (на самом деле три — *С. Х.*) наградим его еще раз».

Каганович: «Хрущев имеет заслуги в этом деле. Награда заслуженная, но тут есть вопрос. Мы награждаем Первого секретаря ЦК. Правильно ли, что мы награждаем только за одну отрасль? У нас нет культа личности, и не надо давать повода. Надо спросить у товарища Хрущева. Надо политически обсудить вопрос».

Маленков: «Личные заслуги большие. Предлагаю ограничиться сейчас обменом мнениями, поговорить еще, может

быть, вне заседания.

Поспелов: «Целинные земли не частный вопрос. Товарищ Хрущев заслуживает награды».

Вопрос вне заседания не обсуждался. За включение отца в списки награжденных с булганинской формулировкой: «За выдающиеся заслуги Н. С. Хрущева в разработке и осуществлении мероприятий по освоению целинных и залежных земель» проголосовали все, включая Молотова.

Однако подпись свою Молотов ставил с кислой миной на лице. Каганович расписывался тоже с явной неохотой. У некоторых историков я читал, что Маленков сразу по окончании заседания якобы позвонил отцу в Горький, сообщил о принятом решении, поздравил его и пообещал выпить за его здоровье полный бокал коньяка. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В тот и последующие дни у отца от поздравлений отбоя не было.

Психологически такое поведение Георгия Максимилиановича удивления не вызывает: сначала поддержать Молотова, потом поздравить отца — что называется, «и нашим, и вашим».

Обсуждением награждений за целину заседание Президиума ЦК в тот день не ограничилось, предстояло утвердить еще список наград работникам угольной промышленности и шахтного строительства. Просматривая его в ходе заседания, Каганович демонстративно удивился:

— Засядько предлагают на Героя, а Задемидко — на орден.

— Замечание правильное, — поддержал его Молотов.

Казалось бы, отрывочные фразы к Хрущеву никак не относящиеся. А если заглянуть поглубже? Отец всемерно поддерживал и продвигал Засядько, считал его человеком творческим, нестандартно мыслящим, отличным организатором. Мнение о нем отец составил еще в свою бытность на Украине. Тогда Засядько в ранге заместителя министра, а с 1947 года министра угольной промышленности СССР восстанавливал взорванные немцами, затопленные шахты Донбасса. Дело трудное, многие считали его почти безнадежным. Засядько справился. Особенно впечатлило отца бурение вертикальных шахтных стволов в один проход, наподобие туннелей метро, но только не горизонтально, а сверху вниз, что очень затрудняло выемку породы. В нашей стране такую технологию применили впервые.

Засядько позаимствовал такой способ проходки у англичан, выбил разрешение закупить специальные машины в счет военных поставок. В невиданно короткие сроки он выкопал в поселке Мушкетово, под Сталино, новую шахту и пригласил отца на ее

открытие.

Работал Засядько неровно, часто срывался, пил, но Сталин пьянство серьезным грехом не считал. После Сталина отцу постоянно жаловались, что он пьяным появляется на работе. Отец таких «вольностей» не прощал. Засядько наказали, в 1955 году его перевели из министров в заместители. Александр Федорович поклялся отцу, что бросит пить. И слово свое сдержал. Не то чтобы совсем сдержал, но какое-то время держал. Отец навел справки. Ему доложили, что Засядько уже больше года спиртного в рот не берет. Тогда дела в Донбассе шли скверно, и отец бросил Засядько затыкать прорыв. Накануне поездки Хрущева в Донбасс, 8 августа 1956 года, его сделали министром угольной промышленности УССР. С заданием Засядько справился на «отлично». И вот теперь отец предложил присвоить ему звание Героя, чем нарушил неписаную субординацию. Союзному министру угольной промышленности Александру Николаевичу Задемидко предназначался всего лишь орден Ленина.

Отец ничего не имел против Задемидко. И его он хорошо знал по работе на Украине, где тот в качестве министра строительства топливных предприятий СССР наравне с Засядько восстанавливал угольную отрасль, с работой справлялся, но не более того. Впоследствии он тоже ничем особенно себя не проявил, по мнению отца, ответственность за печальное состояние дел в Донбассе в 1950-е годы лежала на совести Задемидко. Отец считал, что он не то что на Героя, на орден не тянет. Но при столь массовом награждении работников отрасли оставить министра неотмеченным посчиталось бы выражением ему недоверия, приглашением к отставке. Вот и остановились на стандартном для министров ордене Ленина.

Каганович, недоумевая по поводу коллизии Засядько — Задемидко, метил в отца. Присутствовавшие на заседании его прекрасно поняли, и все, за исключением Молотова, промолчали.

— Мельникова не включили, — не унимался Каганович.

Упоминание Леонида Георгиевича Мельникова тоже неслучайно. Он одновременно и креатура отца, и его недоброжелатель, и в какой-то степени жертва. Тоже угольщик, много лет проработавший секретарем обкома в Донецке, в момент неожиданно поспешного перевода отца в Москву в 1949 году он, наиболее важный человек в республике после отца — второй секретарь Всеукраинского ЦК.

Когда Сталин задал отцу вопрос о преемнике, тот, не раздумывая, назвал Мельникова и вскоре горько пожалел. Перейдя из вторых в первые, Мельников переменился, не только не продолжил там дело отца, но «из принципа» поступал

наперекор, а когда отец начинал по привычке поправлять его, жаловался на него Сталину. К тому же, Мельников проявился как отъявленный антисемит. За все это отец Мельникова невзлюбил. В июне 1953 года Мельникова с Украины сняли, правда, по инициативе не отца, а Берии, и отправили послом в Румынию.

В 1955 году отец, именно потому что он Мельникова не любил, не желая проявлять предвзятости, вернул Мельникова в Москву, где его назначили министром строительства предприятий угольной промышленности СССР. Сотрудники Ворошилова в аппарате Президиума Верховного Совета СССР в списки на награждение Мельникова не включили, что и дало повод ворчанию Кагановича. Однако дальше ворчания дело пока не шло. Члены Президиума ЦК проголосовали за представленный им список. Засядько получил Героя, Задемидко — орден, а Мельников остался ни с чем.

Продолжая продвигать Засядько, в недалеком будущем отец назначит его заместителем председателя правительства, поручит разработку стратегии дальнейшей децентрализации экономики, углубления реформы. Задемидко после организации совнархозов возглавит один из угольных регионов — Кемеровский. Затем перейдет на более спокойную работу в Совет Экономической Взаимопомощи. Так и не проявив себя в чем-то значительном, в 1987 году он уйдет на пенсию.

Раскол

К маю 1957 года трения между Молотовым и Хрущевым достигли точки кипения. Столкновения между ними происходили по любому поводу. Молотов не воспринимал ничего, исходящего от отца. Отец платил Молотову той же монетой. О претензиях Молотова к отцу я уже написал достаточно и напишу еще.

А вот как отец относился к Вячеславу Михайловичу? 18 апреля 1957 года Молотов в качестве министра государственного контроля вносит на рассмотрение Президиума ЦК предложения своего министерства «Об устранении серьезных недостатков в работе по повышению ресурса и улучшению экономичности авиационных двигателей». Проблема известная и застарелая, советские реактивные двигатели работали без переборки менее сотни часов, а английские — пятьсот и даже тысячу часов, керосина наши моторы сжигали гораздо больше американских. Все упиралось в технические нюансы. Президиум уже поручал авиационщикам разобраться в проблеме. Они все еще разбирались, и вмешательство на этой стадии лиц, ничего не смыслящих по существу дела, занятых поиском виновных

контролеров, помочь не могло. Молотов считал иначе, по его мнению, причина в людях, их следует приструнить, и все наладится. Отец удивился, зачем Госконтроль берется за такие, не свойственные ему, чисто технические проблемы? Он предложил «снять» вопрос.

— Не могу согласиться с мнением товарища Хрущева, предлагаю обсудить записку на Совете обороны, — стоит на своем Молотов.

Остальные присутствовавшие на заседании в пикировку отца с Молотовым не вмешивались. В итоге записку Молотова отправили в архив.

27 апреля 1957 года Президиум ЦК отверг внесенный Молотовым проект Положения о Госконтроле как неприемлемый, ставящий Молотова и его министерство над всеми другими органами власти. Проект возвратили на доработку, а 4 мая 1957 года по предложению Булганина, отец на сей раз держится в стороне, не разрешили Вячеславу Михайловичу до рассмотрения Положения опубликовать в «Правде» статью о Госконтроле. Молотов обиженно подчинился.

Забегая вперед, скажу, что 31 мая 1957 года вновь заворачивают переработанное Положение о Госконтроле. По мнению отца, оно по-прежнему неприемлемо, особенно в части инспекции совнархозов.

В первой половине мая становится очевидно: конфликт между Молотовым и Хрущевым перезрел, раньше или позже выльется в открытое столкновение, в результате которого одному из них придется уйти. В Президиуме ЦК образовались две фракции: реформаторы во главе с отцом и догматики-сталинисты Молотов, Каганович и, отчасти, Ворошилов. Между ними балансировали Булганин, Маленков, Сабуров, Первухин.

В подтверждение своих слов сошлюсь на Жукова.

«Я не помню ни одного заседания Президиума ЦК, — рассказывал он в 1963 или 1964 году, — на котором не было бы схватки и ругани между Хрущевым и Кагановичем, между Хрущевым и Молотовым. Молотов держался особняком. У Кагановича с Хрущевым имелись старые счеты, давали себя знать неприязненные взаимоотношения, возникшие еще при совместной работе в Московском комитете партии (в 1930-е годы) и на Украине (1946–1947 годы), где Каганович был партийным руководителем, а Хрущев его подчиненным. Каганович считался более грамотным марксистом-ленинцем, а Хрущев считал Кагановича неисправимым догматиком-сталинистом.

Ворошилов, можно сказать, не играл никакой роли. Я не помню ни одного случая, чтобы Ворошилов внес какое-то деловое

предложение. Рассылаемых материалов он не читал и к заседаниям почти не готовился.

Булганин, как всегда, был на высоте подхалимства и приспособленчества: то подойдет к одному, то к другому. Одному слащаво улыбнется, другому крепко жмет руку. Булганин вначале безропотно и во всех начинаниях поддерживал Хрущева, но постепенно он стал все больше склоняться на сторону Молотова и Кагановича. Булганин плохо знал народное хозяйство страны, особенно сельское хозяйство. Ни разу по линии Совета Министров не поставил какого-либо вопроса на Президиуме ЦК.

Булганин, понимая, что он плохо выполняет роль Председателя Совета Министров, что везде и во всем его опережает Хрущев, видимо, внутренне вполне созрел для присоединения к антихрущевской группировке и, как только пронюхал, что против Хрущева сколотилась группировка большинства членов Президиума ЦК, он немедленно присоединился к ней.

Лично я считал линию Хрущева более правильной, чем линию Кагановича и Молотова, которые цепко держались за старые догмы и не хотели перестраиваться в духе веления времени. Мне казалось, что Хрущев все время думает и ищет прогрессивные методы, способы и формы в деле строительства социализма, в области развития экономики и всей жизни страны. Хрущева я хорошо узнал на Украине в 1940 году, в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Я его считал хорошим человеком, постоянно доброжелательным и, безусловно, оптимистом.

Сталин хорошо относился к Хрущеву, но я видел, что он иногда был несправедлив к нему, отдавая во всем пальму первенства Молотову, Берии, Маленкову и Кагановичу. Учитывая все это, я твердо поддерживал Хрущева в спорах между ним, Кагановичем и Молотовым.

Нам, молодым членам Президиума, казались странными такие недружелюбные взаимоотношения между старыми членами Президиума, часть которых долгое время работала вместе со Сталиным и даже с Лениным. Такое нелояльное их отношение друг к другу не могло не сказаться на деле. Мы пытались было посоветовать им прекратить ругань, но где там, разве наш голос был для них авторитетным».

Итак, в середине мая 1957 года Молотов в случае столкновения с Хрущевым мог твердо рассчитывать на поддержку Кагановича.

Маленков держался осторожно, до последнего момента взвешивал, подсчитывал шансы как Молотова, так и отца. Всегда

чутко улавливающий расстановку сил, Георгий Максимилианович, как видно из опубликованных документов, в апреле-мае 1957 года начинает потихоньку, исподволь, все чаще перечить отцу. Ему представляется, что пришла пора смены лидера, и тут главное — не опоздать. С отцом он расставался без сожалений, так же, как он расставался со Сталиным, а потом и с Берией. Отец для него отныне становился уже отыгравшей свое картой.

Ворошилов тоже постепенно отстранялся от Хрущева. С Молотовым и Кагановичем его в первую очередь роднил Сталин. С другой стороны, в кресле Председателя Президиума Верховного Совета он чувствовал себя неуютно и неуверенно, стоит Хрущеву пальцем шевельнуть… Опытный царедворец, Климент Ефремович, как и Маленков, всегда поддерживал победителя, но только в последний момент. В майских перипетиях он не участвовал, путешествовал по странам Азии. Домой его ожидали к концу месяца.

Всех их — Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова роднило одно: они — политики из прошлого, ныне практически утратившие реальную власть. У них оставался последний шанс, свергнуть Хрущева и вернуть себе все.

Сторону отца держали Микоян, Суслов, Кириченко, с ними Жуков и другие кандидаты в члены Президиума, так же, как и вновь избранные секретари ЦК, люди реально управлявшие страной и не собиравшиеся никому уступать свою власть.

Если считать голосующих членов Президиума ЦК, то с некоторой натяжкой на Маленкова с Ворошиловым получалось четыре на четыре. Исход противостояния, как это часто случается в истории, зависел от колеблющихся — Булганина, Первухина и Сабурова.

На Первухина отец больше рассчитывать не мог, но и к «молотовцам» тот присоединяться не спешил. С одной стороны, затеянная отцом реформа экономики для него как кость в горле, с другой… С другой, пост министра одного из важнейших в стране министерств — средмаша — в сочетании со званием первого заместителя Председателя Правительства, если и не очень устраивал, то и рисковать им он смысла пока не видел. Кроме того, от природы человек мягкий, Первухин старался по возможности избегать конфликтов.

Не определился до конца и Сабуров. В противоположность Первухину — решительный и даже грубый администратор, он конфликтов не боялся, но обиженный на отца за несправедливую, по его мнению, отставку от Госплана, Сабуров, в душе антисталинист, не симпатизировал и сталинистам, Молотову с

Кагановичем. Его раздирали внутренние противоречия.

Отец считал, что он может твердо полагаться на Булганина с Шепиловым. Все последние годы они с Булганиным держались вместе: и в момент смерти Сталина, и при подготовке ареста Берии. Казалось, он мог доверять Булганину во всем. Перебирая варианты, обдумывая кандидатуры, подходящие для замены Маленкова на посту Председателя Совета Министров, отец неслучайно остановился на Булганине. А теперь Булганина в лагерь недоброжелателей подталкивал он сам. Напомню, как во время визитов в Женеву и Великобританию отец, в силу своего характера, оттеснял Булганина, перехватывал инициативу. То же самое продолжалось и в Москве. Сначала Булганин не обращал внимания, совсем недавно, в апреле, настоял на присвоении отцу Героя Социалистического труда, затем начал обижаться. Коллеги по Президиуму ЦК подливали масла в огонь, кто сочувственно, кто язвительно нашептывал: «Никита тебя ни в грош не ставит. Стоит только избавиться от его опеки, и ты, Булганин, станешь…» Кем станет Булганин, оставалось неясным, но с некоторых пор он начал обращать все больше внимания на эти слова.

Шепилов, как видно из доступных нам документов, твердо, пока твердо, на стороне Хрущева. Отец быстро продвигал его, и Шепилов связывал свое будущее с Хрущевым, по крайней мере, до тех пор, пока у самого Хрущева имелось это самое будущее.

Отец не ощущал изменений в своем ближайшем окружении или не обращал на них внимания. По-прежнему гулял вечерами с Маленковым, продолжал по дружбе «подкалывать» Булганина, сражался с Молотовым. Мы дома тоже ничего не чувствовали, я готовился к свадьбе. Дочь Маленкова Воля с мужем, архитекторы, гостили у моей старшей сестры Юли, в Киеве. Они выиграли там какой-то конкурс и сейчас готовились к воплощению своего проекта в камень. Жили не в гостинице или правительственной резиденции, а у Юли на квартире, по выходным выезжали к ней на дачу.

Итак, в середине мая 1957 года расслоение в Президиуме ЦК стало реальностью, недоставало последней капли. А тут отец, как нарочно, сам подлил масла в огонь. Во время одного из совместных обедов в Кремле он заговорил о необходимости омолодить Президиум ЦК, «влить в него свежую кровь».

— Мы все уже перешагнули за предел жизни наших людей, — рассуждал отец, — мне пошел 64-й год, остальным чуть больше или чуть меньше, Ворошилову так вообще 76 лет. Совесть надо иметь, пропустить вперед молодых. Вот кое-кто ворчит, что председателем Госплана назначили слишком молодого неопытного Кузьмина. А ему 46 лет, разве это молодость, если,

конечно, не смотреть с позиций 76-летнего.

Отец считал сорок лет наиболее плодотворным возрастом для прихода во власть: уже поднакопился опыт и еще в полной мере сохраняется энергия, желание работать, стремление достичь чего-то.

— Поверьте, придут к руководству партией, страной свежие молодые люди, они управятся не хуже нас, — убеждал он членов Президиума.

В данном случае отец, без сомнения, намеревался не только омолодить, но и разбавить становившийся все более оппозиционным ему Президиум своими сторонниками. Просто так убрать «стариков» он не мог, они сидят в руководстве страны много дольше его самого и составляют большинство Президиума.

Тогда же, в мае, отец зашел с другой стороны, предложил расширить состав Президиума до пятнадцати человек, но наткнулся на глухую стену. По привычке согласился только один Булганин, но и он после «разъяснений» Молотова назвал предложение Хрущева «разжижением».

Как обновление, так и расширение Президиума ЦК не только не устраивало коллег отца, но и смертельно их испугало. Если Хрущев вынесет вопрос Президиума на очередной Пленум ЦК, то наверняка получит поддержку. В результате их, пусть и гипотетическое большинство превратится в явное меньшинство. Отец сам толкал оппозицию к активным действиям.

Пикник в Семеновском (Отступление восьмое)

В середине мая отец предложил организовать «дружескую» встречу-пикник руководства страны с творческой интеллигенцией: писателями, поэтами, композиторами. Отец настроился на откровенный разговор. Он не сомневался, они делают одно дело, им одинаково близки трагедия сталинских времен и сегодняшние проблемы страны.

К сожалению, они не всегда понимали друг друга. Позволю себе повториться: отец, отвечавший за страну, заботился о ее будущем, разоблачая преступления недавнего прошлого, шел вперед и не собирался сходить с выбранного пути, но он одновременно не мог себе позволить утратить контроль над страной и обществом. Это привело бы к безвластию, хаосу и, в конечном счете, к катастрофе.

«Передовые» писатели и вся остальная «прогрессивная» публика, ощутив первое дуновение свободы, требовали для себя

свободу без границ. Они не несли и не чувствовали никакой ответственности не только перед страной, но и перед самими собой, из самых лучших побуждений бросились разоблачать все и вся, немедленно и без каких-либо ограничений. Вот тут-то и возникало противоречие между ответственностью власти и безответственностью интеллигенции, никогда не жившей в условиях свободы ни при Сталине, ни при царях, отождествлявших ее со вседозволенностью, с анархией.

В свою очередь, тяготевшие к прошлому «реакционные» писатели, если пользоваться терминологией тех лет, тосковали по «хозяину». Еще вчера они были «его» писателями, сегодня стали «ничьими», не знали, для кого и как писать. Они жаждали возврата твердой руки, которая и защитит их, и премией одарит, а если потребуется — накажет. Они всей своей душой ненавидели своих «передовых» собратьев, которые платили им той же монетой. Обе группировки постоянно грызлись между собой, в каждой из них имелись свои вожди, свои экстремисты. И те и другие старались перетянуть отца на свою сторону. Одни призывали его снять все ограничения. Их оппоненты требовали, пока не поздно, закрутить гайки. На все это накладывались и личные, корыстные интересы. Вожди «первых» на волне перемен стремились захватить власть в творческих Союзах, «реакционеры» не желали ею делиться. По долгу службы и в силу давних российских традиций, отец не мог отмахнуться от их дрязг, ведь «поэт в России больше, чем поэт». Ему поневоле приходилось то и дело вмешиваться в перепалку сторон, лавировать в море писательских страстей, пытаясь нащупать верный путь, отступать и тут же выслушивать обвинения в возврате к сталинизму, а, сделав шаг вперед, наталкиваться на ожесточенное сопротивление со стороны «консерваторов». Такой способ продвижения вперед называется методом проб и ошибок. Отцу приходилось нелегко, ведь именно он принимал решения и отвечал за них, но он сам, разоблачив преступления прошлого, избрал этот путь.

Напомню, что происходило в писательской среде той весной. В начале марта 1957 года на пленуме Московского отделения Союза писателей «С вредной речью выступил Дудинцев (я цитирую жалобу отцу, поступившую от партийного идеолога Шепилова. — *С. Х.*). Он все больше превращается в героя, но в героя борьбы с советской властью. Этого так оставлять нельзя. Одновременно идет шельмование писателей, стоящих на партийных позициях: Николая Грибачева, Семена Бабаевского, Александра Суркова, Леонида Соболева, пусть не самых талантливых, но людей, преданных партии и стране, патриотов.

Им даже придумали обидное прозвище “лакировщики”».

Шепилов считал, что обстановка складывается взрывоопасная. Заколебались даже Федор Панферов и Александр Твардовский, следует принять немедленные жесткие меры. 11 мая 1957 года он переслал отцу еще одну записку, составленную по его поручению Отделом культуры ЦК, просил ознакомиться с ней до намеченной на 13 мая встречи «с виднейшими литераторами, членами правления Союза писателей СССР». 14 мая открывался пленум Правления Союза писателей, и «виднейшие литераторы» хотели сориентироваться, получить партийное напутствие.

Авторы записки предупреждали, что Дудинцев в своих «подрывных действиях против Советской власти не одинок, в ряде произведений, включенных в выпущенный в начале 1957 года второй сборник “Литературной Москвы” (члены редколлегии Эммануил Казакевич, Маргарита Алигер, Вениамин Каверин и другие), отражено стремление к односторонне-обличительному изображению жизни. В рассказе Александра Яшина “Рычаги” все коммунисты сельской партийной организации — люди бесчестные и лицемерные. Сюда же следует отнести рассказы Юрия Нагибина “Свет в окне” и Николая Жданова “Поездка на родину”, критиканско-фрондерскую статью драматурга Александра Крона, пьесу Александра Штейна “Гостиница Астория”, а в романе Галины Николаевой “Битва в пути” крикливо и истерично описывается история несправедливых арестов честных людей в 1949 году».

И так из строки в строку, с перечислением десятков фамилий. Вывод тот же: пока еще обстановка контролируема, следует принимать меры.

«Виднейших писателей» пригласили в ЦК в понедельник 13 мая после полудня, а утром того же дня отец принял главного редактора «Литературной газеты» писателя Всеволода Кочетова. Он прислал в ЦК письмо, в котором умолял отца о личной встрече. Шепилов настойчиво советовал поговорить с Кочетовым, он поможет Хрущеву сориентироваться в настроениях, царящих в писательской среде. Что сказал Хрущеву Кочетов, мы знаем в его собственном изложении.

— За последние годы положение в литературе складывается просто, я бы сказал, трагически. Это волнует нас, писателей-коммунистов, — Кочетов пошел в атаку с места в карьер и дальше жаловался на Дудинцева, на Алигер, на всех и вся. — Ходят слухи по поводу позиции в отношении к литературе. Якобы не надо ЦК вмешиваться в писательские дела. Они деморализуют и тормозят работу писателей. Подавляющее большинство писателей стоит на правильных позициях. Только какая-то кучка, до крайности

активная, создает видимость массовости протеста против партийности литературы и умелыми, объединяющими действиями создает угрожающее положение в писательской организации. Она за размагничивание нашей литературы, — так сам Кочетов сформулировал суть своих претензий.

Отец слушал Кочетова внимательно. После венгерских событий, деструктивной роли «Кружка Петефи» он не мог себе позволить отмахнуться от настойчивых предостережений Шепилова, его Отдела культуры, главного редактора «Литературной газеты», но и с «мерами» не торопился.

Совещание с писателями в ЦК вел Шепилов, отец сидел молча, вопреки своей манере, ораторов не перебивал, внимательно слушал. Дмитрий Трофимович нервничал. Готовясь к встрече, он рассчитывал на другое поведение Хрущева. В заключение Шепилов попросил выступить Хрущева.

Отец встал, оглядел собравшихся, улыбнулся и начал говорить совсем не так, как советовали Шепилов с Кочетовым.

— Эту бумагу я для вида взял, — он показал аудитории подготовленную Шепиловым справку и отложил ее в сторону. — Я разрешу себе выступить без подготовки, без предварительно написанного текста и даже без конспекта, — продолжал отец, тем самым приглашая присутствовавших к откровенному разговору. Насколько он получился откровенным, не берусь судить, но, судя по стенограмме, писатели, не стесняясь, перебивали отца своими репликами, порой ставили его в затруднительное положение.

Отец поступил опрометчиво. Ему бы следовало по-сталински скупо обронить несколько слов, ни в коем случае не допускать панибратства ни в вопросах, ни в дискуссии, одним словом, держать дистанцию. Но отец — не Сталин, да и не хотел им быть. Он, не разыгрывая из себя небожителя, строил разговор по-хрущевски откровенно и на равных. Иначе он не умел и не хотел.

Писатели повели себя, как и ожидалось, в соответствии со своей групповой принадлежностью и в зависимости от совпадения произносимого отцом с их собственной позицией, «единственно правильной». Отец остался доволен встречей, он считал, что они поговорили по душам, он понял их, а они — его. Какое впечатление осталось у писателей, я не знаю, но на состоявшемся 14 мая пленуме Союза писателей недоразумений не возникло. По мнению Шепилова, он прошел успешно.

Тогда-то отцу и пришла в голову мысль пригласить весь писательский актив, а не одних функционеров, погулять на свежем воздухе, «пообедать» вместе, а заодно и поговорить, посоветоваться, как дальше жить.

В ближайшее воскресенье, 19 мая, собрались на «дальней»

даче Сталина в Семеновском, примерно в ста километрах от Москвы, неподалеку от Бородино. Отец отправился туда с мамой, они взяли с собой Раду с Алексеем Ивановичем, звали и меня, но я отказался: на носу окончание преддипломного семестра, все выходные я не отрывался от учебников. Сессии я привык сдавать на пятерки, возможность связанных с фамилией поблажек мне и в голову не приходила. И правильно. Профессора Энергетического института, во избежание кривотолков, «за фамилию» спрашивали построже. Так что собственных впечатлений от воскресенья в Семеновском у меня не сохранилось, зато попавшие туда литераторы все описали профессионально.

Приглашенных, вместе с семьями, набралось человек триста-четыреста. Сначала, разбившись на группки, гуляли по обширному поместью, желающие даже могли поудить рыбу в пруду. Обсуждали самые разные темы, от учреждения самостоятельного писательского Союза в Российской Федерации до личных гаражных проблем писателя Соболева. В обоих случаях отец пообещал посодействовать и посодействовал: уже в августе собрался оргкомитет Союза писателей РСФСР, тогда же и Леонид Соболев получил для своей «Победы» вожделенный гараж.

Этот гараж дорого обошелся Соболеву — на следующую пару лет стал притчей во языцех. Безгаражные писатели ему люто завидовали, завидовали, что именно он осмелился обратиться с гаражной просьбой к Хрущеву. А уж когда Соболева поставили во главе российских писателей, каких только собак на него не вешали — обвиняли его и в творческой импотенции, и в пресмыкательстве перед властью (как будто они сами не пресмыкались перед той же властью). Что же касается творчества, то судья тут читатель, а не собрат-писатель. Мне, как и многим другим, морские рассказы Соболева нравились. Отец их тоже читал с удовольствием. Жизнь моряков автор знал не понаслышке и описывал ее сочным «настоящим» языком. Читал же отец с разбором, и далеко не всякий писатель мог угодить его вкусу.

Не обошлось и без песен, запевалой выступал украинский композитор Константин Данькевич. Отец и еще пара десятков человек, собравшись в кружок, подтягивали, как могли. Напевшись, перешли к танцам. Образовался круг, наиболее смелые, в основном из артистов, начали приплясывать и притопывать, зазывая присоединиться к ним остальных. Они даже отца втянули в круг, но ненадолго, прихлопывая в такт в ладоши, отец потопал немного и незаметно отступил в сторону.

Нагулявшись, обедали. Столы расставили на лужайке под натянутыми от солнца полотняными тентами. Произносились серьезные политические тосты, чокались, правда, в бокалы

наливали сок — по случаю жаркой погоды отец распорядился спиртного не подавать. Тосты перемежались шутками, то и дело завязывались дискуссии. Отец выступал четыре раза, его засыпали вопросами, он, как мог, отвечал — порой, на мой взгляд, не очень удачно.

Обстановка, как и планировал отец, сложилась неформальная, но совсем не такая, как он надеялся. Писатели — не агрономы, не строители и не ракетчики, и такие массовые сборища творческой публики ничего хорошего организаторам не сулили. Каждый из приглашенных, естественно, почитал себя не ровней остальным, а уж о так называемом «президиуме» и говорить нечего. Выступления писатели выслушивали внимательно, главным образом ловя «ляпы», чтобы потом в деталях пересказать друзьям при очередном застолье в Доме литераторов или ресторане «Прага». Позднее, когда цензура поослабла, эти застольные анекдоты перекочевали в книги мемуаров.

От застолья в памяти писателей сохранилась неприятная стычка отца с поэтессой Маргаритой Алигер. Алигер отец не знал и стихи ее вряд ли читал, но почему-то ее невзлюбил Шепилов, нажаловался отцу, что она якобы организует у нас что-то наподобие «Кружка Петефи». Отец поверил Шепилову и попытался приструнить поэтессу. Вышло коряво, на следующей неделе ему пришлось извиняться.

Еще запомнилась писателям старая большевичка, глуховатая писательница Мариэтта Шагинян. Пробившись в разгар произнесения речей к руководству, расположившемуся за отдельным столом, лицом ко всем остальным, она перебила отца на полуслове, ткнула ему под нос свой слуховой рожок и, как все глухие, закричала: «Скажите мне, почему в Армении нет масла?»

Отец с удивлением уставился на Шагинян, он лучше нее знал, что в стране с маслом туго, на следующей неделе собирался говорить о мясо-молочной проблеме в Ленинграде на зональном совещании аграрников, но как конкретно обстоят дела с маслом в Армении, он понятия не имел. Отшутиться не получилось, Шагинян его или не слышала, или не слушала, совала свой рожок под самый нос и твердила: «Почему в Армении, как я туда ни приеду, нет масла?»[40] Отец попытался переадресовать ее к Микояну, но безуспешно. Получилось глупо и неприятно. Вот, собственно, и все, что я знаю о пикнике в Семеновском.

В общем, ничего хорошего не получилось. Отец и сам это ощущал. Когда Шепилов (в середине мая он еще твердо ставил на отца) предложил скомпоновать из его выступлений на совещании в ЦК и в Семеновском отдельную брошюру и издать ее массовым

тиражом, отец отказался.

— Не думаю, — протянул отец, — разговор шел сумбурно, и вряд ли публикация принесет пользу.

Шепилов настаивал, но отец на уговоры не поддался.

«Пикник» в Семеновском не заслуживал бы особого упоминания, если бы речь велась только о писателях, куда более важно, что эта встреча окончательно сплотила противников отца в Президиуме ЦК, подтолкнула их к действиям. Сами писатели Молотова и иже с ним мало интересовали, а вот антисталинские высказывания отца в компании людей, по их мнению не очень благонадежных, казались им абсолютно недопустимыми.

«Прежде всего Хрущев пытался “разжевать” для художников, писателей и артистов многое из того, что он говорил о культе личности Сталина на XX съезде партии… — пишет Каганович. — Надо сказать, что “жареные” места некоторая часть аудитории восприняла как приятное блюдо, за которое они готовы были выдать ему даже звание “лауреата по изящной словесности”. Когда Хрущев подчеркнул виновность руководителей ЦК, а именно Молотова в зажиме русской литературы и искусства, писатель Соболев совсем вышел из берегов и как моряк дошел чуть ли не до “морского загиба”. Нападение Хрущева на члена Президиума ЦК Молотова в среде беспартийной интеллигенции было из ряда вон выходящим фактом… У большинства это вызвало не только замешательство, но и недовольство, не говоря уже о присутствовавших руководящих партийных кадрах».

Последние слова Кагановича требуют пояснения. Взаимная антипатия Молотова и отца к тому времени стала притчей во языцех. Кто-то из писателей не удержался, задал вопрос, отец в свою очередь не сдержался, ответил, как думал. Молотов, а с ним и все его союзники, возмутились, о разногласиях в высшем руководстве страны тогда не говорили, сама возможность таких разногласий считалась крамолой. Даже в своей среде ограничивались иносказаниями, намеками, а тут отец выдал все открытым текстом — и кому? Каким-то писателям и композиторам! Молотов с Кагановичем просто кипели от возмущения.

Оппозиционеры там же, в Семеновском, договорились на следующий день собраться у Булганина в Кремле. 20 мая в кабинет Председателя Совета Министров СССР пришли Молотов, Каганович, Маленков и ранее державшийся особняком Первухин. Он наконец поддался на уговоры, в случае победы ему пообещали вернуть его председательское кресло в Госплане. Сабурова к Булганину не позвали. На встречу с писателями он тоже не приехал, отговорился тем, что накануне вечером вернулся из

Праги с переговоров об экономическом сотрудничестве с Чехословакией и все воскресенье отсыпался. Решили обойтись без Сабурова, тем более что, несмотря на неопределенность своего положения, открытых столкновений с отцом он избегал, в их препирательствах с Молотовым подчеркнуто держал нейтралитет. Ворошилов тоже отсутствовал, он продолжал свое азиатское турне, только что переехал из Китая в Индонезию.

20 мая оппозиция Хрущеву начала принимать организованную форму. Молотов, Каганович, Маленков, Булганин и Первухин в принципе пришли к согласию, что пора избавиться от отца. Его собирались передвинуть в министры сельского хозяйства. Распихал же он всех их по третьеразрядным министерствам, теперь пришел его черед. Тогда же вчерне договорились о перераспределении ролей. Вместо Хрущева в первые секретари ЦК прочили Молотова. Суслова решили назначить министром культуры, а во главе КГБ, вместо Серова, поставить Булганина, по совместительству. Ворошилов оставался при своих — Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Что получали Каганович с Маленковым — неизвестно, но они обязательно что-то получали. Итак, баланс сил в Президиуме ЦК перераспределился не в пользу отца. Перечисленные выше пять его полноправных членов плюс Ворошилов составляли оппозицию, они не сомневались, что Климент Ефремович примет их сторону, особенно когда узнает, на чью сторону склоняется большинство. Получалось шесть из одиннадцати. Чуть позже к инициативной группе присоединился и Сабуров. С ним поручили переговорить Первухину. Долго уговаривать Сабурова не пришлось. Узнав о раскладе сил в Президиуме, он присоединился к потенциальным победителям (покривив душой, Первухин сказал Сабурову, что Ворошилов уже дал согласие). В успехе они больше не сомневались, шесть, а с Ворошиловым — семь, семь против четверых. С кандидатами в члены Президиума Жуковым, Шепиловым, Брежневым, Мухитдиновым и Шверником в мае не говорили, в их прохрущевской ориентации никто не сомневался, но и особого значения ей не придавали, ведь все они без права голоса.

Оставалось выбрать подходящий момент.

В повседневных хлопотах отец и не заметил, что новый кризис, один из серьезнейших за его карьеру, стоит на пороге.

Меня же занимали свои заботы, я готовился к свадьбе. Ее назначили на первые дни июня, сразу после экзаменов в институте. С моей будущей женой мы учились в одной группе. После свадьбы нам предстояло уехать, правда, не в путешествие, а на практику на один из приборостроительных заводов в

Загорске (теперь Сергиев Посад).

Догоним США?

Вечером 19 мая, сразу по возвращении из Семеновского, отец поездом уехал в Ленинград на совещание работников сельского хозяйства Северо-Запада. Он не догадывался, что в тот день кто-то в Москве решает его судьбу.

20 мая, когда Молотов и его сторонники сговаривались в Кремле, отец вместе с ленинградским партийным секретарем Фролом Козловым осматривали на Кировском заводе производство мощных тракторов для целины, потом вместе выступали на митинге заводчан. Оттуда на метро поехали в центр города. Отец еще не видел ленинградской подземки. Потом они объехали поля близлежащих колхозов.

На следующий день отец посетил знаменитую на всю страну обувную фабрику «Скороход». В ее туфлях, ботинках, сандалиях и тапочках щеголяло 17 миллионов советских людей. Со «Скорохода» он прямиком отправился на совещание в Таврический дворец.

Отца в те дни тревожили не разногласия с Молотовым, а как после совнархозной реформы подтолкнуть народное хозяйство вперед. Собственно, эти мысли не покидали его никогда. Даже 13 мая, на встрече с писателями, отец, выступая перед этой весьма далекой от его интересов аудиторией, незаметно для самого себя сполз с «писательской» темы, заговорил об экономике, в первую очередь об экономике села, о том, что его интересовало на самом деле. Этот раздел выступления вышел у него наиболее удачным. Оно и понятно, без текста, без конспекта он говорил о том, о чем думал, в чем досконально разбирался, что считал важным, чем занимался в охотку, тогда как писательские проблемы и склоки…

Я намеренно перенес экономическую часть выступления отца из «писательской» главы в следующую. Он говорил об очень важных для нашего повествования вещах, и в тот контекст они никак не вписывались. Начал он с совнархозов, заявив, что теперь вместо единственной властной вертикали появится «100 каналов, по числу совнархозов, для решения возникающих вопросов». Затем отец с удовольствием отметил, что с ростом производительности труда страна избавляется от мучившего ее последние десятилетия дефицита рабочей силы. И вот результат: промышленность начинает переходить на сокращенный, семичасовой рабочий день, естественно, без уменьшения оплаты.

Отец всегда считал и не уставал повторять, что социализм, не наполненный реальным содержанием, — пустой звук, сотрясение

воздуха.

— Люди пошли за Лениным ради лучшей жизни, — говорил отец. — В чем выражается лучшая жизнь? Кормить людей надо, одевать надо, создавать рабочие места, строить жилье, развивать культуру.

— Когда жилье в Конституцию впишем? — перебил с места писатель Катаев.

Но отец не ответил, он заговорил о том, что его занимало последние месяцы: как перевести советских людей с картошки и хлеба на научно сбалансированный рацион питания. Это невозможно без подъема животноводства. Тут отец оседлал своего любимого конька и начал сыпать цифрами, как горохом из мешка.

— В 1913 году дореволюционная Россия имела 31,1 килограмма мяса на душу населения, а США — 86,4. В 1940 году производство мяса в СССР упало до 24,5 килограммов, но и в Америке, вследствие Великой депрессии 1930-х годов, оно тоже чуть уменьшилось, до 85,6. Дальше начался рост, в 1950 году Советский Союз имел 26,8 килограммов, а Соединенные Штаты — 89,7, в 1952 году соответственно — 27,5 и 92,9;[41] в 1953-м, году смерти Сталина и поворота в сельскохозяйственной политике — 30,5 килограммов и 94,8. В 1955 году СССР наконец превысил показатель 1913 года, в тот год у нас произвели на каждого едока 32 килограмма мяса, а в Америке вплотную приблизились к центнеру… В прошлом, 1956 году — 32,3 и 102,3 килограмма.

Со сливочным маслом дела обстояли получше, если в 1913 году Россия производила 700 граммов на одного своего жителя, а США 3,6 кг, то в 1956 году соотношение составило: в СССР — 2,8 кг, в США — 3,8 кг. Счет не в нашу пользу, но не такой «разгромный», как по мясу. Так же обстояли дела и с молоком, его в 1956 году произвели в Советском Союзе 245 литров на человека, в Америке 343 литра.

Отец не сказал, а скорее всего не знал, что в США все больше входил в моду маргарин, его считали более полезным. У нас тоже производили маргарин, но его относили к третьесортным продуктам, для бедных. Если о ком-то говорили, что он жарит пищу на маргарине, то добавлять уже ничего не требовалось. Считалось, что с появлением в достатке настоящего коровьего масла маргарин отомрет. Точно так же оценивали и успехи животноводства, в зависимости от жирности молока: три, четыре, пять процентов. Шесть процентов — это уже даже не рекорд, а мечта. Американцы же начинали молоко обезжиривать, так им казалось здоровее.

Отец до конца своих дней считал, чем жирнее молоко, тем

оно лучше. В этом проявляется разница в мышлении, в оценке достатка богатыми и бедными нациями. Россияне всю свою историю жили впроголодь. В фольклоре их столь же небогатых братьев-украинцев даже сложился своеобразный образ богатея: он ест бутерброд не из хлеба с салом, а из сала с салом, но это к слову.

Сравнивая наши достижения с американскими, отец тем самым устанавливал для себя самого и страны планку, цель, к которой следует стремиться. При Сталине сравнения с США избегали и вообще не называли абсолютных цифр, уж очень удручающе они выглядели, приводили только сравнительные показатели, в процентах к предшествующему году. В первые послесталинские годы отец тоже следовал этой традиции, а если когда и проговаривался, как это произошло в 1953 году, то из газетных публикаций «крамольные» данные изымались. Сейчас отец не сдержался, выговорился обо всем, что наболело. Ситуацию он не считал безнадежной. Отнюдь нет.

Заметив, что писатели слушают его вполуха, отец не стал продолжать, сообщил, что обо всем подробно расскажет в Ленинграде на совещании аграриев. И вот теперь, в Таврическом дворце, отец сначала внимательно выслушал выступавших на совещании работников сельского хозяйства, а затем выступил сам.

Сельскохозяйственные дела вселяли оптимизм. Начала показывать себя целина. Теперь она обеспечивала до половины всего собираемого в стране зерна. По сравнению с 1953 годом, зерна заготовили больше на 1,4 миллиарда пудов (22,4 миллиона тонн), картофеля — на 2,9 миллиона тонн, овощей — на 1,4 миллиона тонн. Особо порадовало отца животноводство: за четыре года заготовки молока выросли на 6,7 миллиона тонн, а мяса — на 664 тысячи тонн. Только за последнюю зиму удои по стране выросли на 65 процентов, а на Украине — удвоились. Никто не верил, что такое возможно. До 1953 года за прирост удоев на десяток литров в год животноводов награждали орденами, а сейчас в счет пошли центнеры.

«Такого роста мы не имели за все годы советской власти, — радовался отец. — Вспоминается 1954 год. У нас были споры (с Молотовым. — *С. Х.*), когда мы намечали увеличить производство молока за шесть лет (к 1960 году) на 600 с лишним литров от коровы. Меня некоторые люди (Молотов) предупреждали по дружбе, как докладчика: “600 — это много, можно сесть в лужу, лучше взять обязательства поменьше. Во все предшествующие годы прибавки к надою не получали”. Кто сел в лужу? Они сели в лужу».

Действительно, прав оказался Хрущев, в 1954 году от одной коровы надаивали 1 072 литра молока, а в 1956-м — 1 611 литр, почти на 600 литров больше.

Естественно, эти пассажи симпатии Молотова к отцу не прибавили.

Покончив с успехами, отец заговорил о задачах на будущее.

«Не хлебом единым жив человек, — повторил он уже в который раз. — Ему требуется и молоко, и мясо, и масло, а всего этого в стране производится недостаточно, рацион питания перекошен в сторону переедания хлеба и картошки».

Чтобы догнать американцев по качеству жизни требовалось увеличить производство одного только мяса в 3,15 раза. На 100 гектаров пашни в США производили 3 300 килограммов мяса в год, а у нас — 1 300, молока они надаивали 11 100 литров, а мы — 10 100, и это при том, что распаханной земли на одного человека у них тоже больше, чем у нас. Чтобы сравняться с США, нам требовалось работать даже не наравне с американцами, лучше них — производить на 100 гектарах в год 4 200 килограммов мяса и надаивать 14 100 литров молока.

Еще в начале весны отец попросил экономистов-аграриев прикинуть, сколько потребуется времени, чтобы обеспечить советским людям «человеческое» питание. В представленной ему в начале мая справке приводились расчеты: если существующие, столь радовавшие его, тенденции роста в сельском хозяйстве сохранятся, то мы достигнем желаемого научно сбалансированного питания, догоним США, где-то к 1975 году, через восемнадцать лет.

Отца расчеты не очень убедили, а прогноз так и вовсе не устроил. Построены они на умозрительных предположениях, на «если бы да кабы». Те же специалисты так же скептически прогнозировали в 1953 году рост удоев молока. А что получилось? Да и как людям в глаза смотреть, обещая, что сытыми станут только их дети. Если еще станут?

Готовясь к выступлению в Ленинграде, отец решил увлечь людей не восемнадцатилетней, а более близкий перспективой лучшей жизни. Он считал цель достижимой, следует только подналечь на корма, на кукурузу, без нее в нашем климате и через 18 лет ничего не получится.

Отец отталкивался от тех же цифр увеличения сельскохозяйственного производства, что и составители справки, только выстроил их в своей манере. Выступая в Ленинграде, он сравнивал рост производства за четыре первые месяца 1957 года с предыдущим 1956 годом. Получалось убедительно: мяса в этом году заготовили 689 тысяч тонн, по сравнению с 466 тысячами

тонн прошлого года, то есть на 223 тысячи тонн больше.

И молока заготовили больше на 791 тысячу тонн (3 967 тысяч тонн и 3 176 тысяч тонн). Соответственно выросло производство масла, его же из молока сбивают. Потом отец посетовал на горе-экономистов с их 1975 годом. Присутствовавшие над ними в охотку посмеялись. В заключение отец призвал всех постараться достичь заветной цели поскорее: «Думаю, что нам сейчас не стоит называть год, когда мы должны решить эту задачу… Мы имеем все материальные средства для достижения поставленной цели. Надо только умело эти средства использовать, умело организовать людей, и мы эту задачу решим».

Все зааплодировали.

Я уже говорил и повторю еще раз. На самом деле речь шла не о буквальном соревновании с американцами, кто чего больше съест, а о переходе на научно рассчитанный сбалансированный рацион питания. «Догнать Америку» — это понятный всем лозунг, как бы спортивный призыв, способный, по мнению отца, всколыхнуть народ, и не более того. Не призовешь же к «достижению научно обоснованных норм питания». Засмеют. Правда, и соревнование с Америкой вскоре стало темой для насмешек. Помню, тогда автоинспекция, взывая к соблюдению правил уличного движения, размещала на задних бортах грузовиков призывы. Один из них: «Не уверен, не обгоняй!» Шутники дописывали: «Америку». Кстати, тоже символ освобождения от сталинского режима, попробовали бы они так шутить с Иосифом Виссарионовичем.

Обсуждать, а тем более заранее утвердить на Президиуме ЦК лозунг соревнования с Америкой отец счел излишним. Это же не план с расписанными по регионам и годам обязательствами, а всего лишь призыв. Что тут обсуждать? Отец ошибался. В напряженной атмосфере тех дней его недоброжелатели ставили ему всякое лыко в строку. Расскажи отец на очередном заседании Президиума о своих намерениях, то, несмотря на бурчание Молотова, он получил бы одобрение большинства. Не сделав этого, он сам себя подставил — не только становился единолично ответственным за инициативу, но и выставлял себя нарушителем партийной дисциплины. Он как бы пренебрегал «коллективностью» послесталинского руководства. Но что сделано, то сделано.

По истечении десятилетий можно поразмышлять, в чем и насколько ошибался отец. 1975 год тогда отстоял от года 1957-го так далеко, что и не значил почти ничего ни для отца, ни для людей. Ради 1975 года нечего и стараться. Отец же решил зажечь, увлечь за собой наиболее активную, творческую часть населения.

Тут он противоречил сам себе. Весь прошлый и текущий год отец воевал с Госпланом за четвертую пятилетку без так называемых «мобилизующих» заданий, а теперь вольно или невольно воспользовался сталинским «призывным» планированием, устанавливающим невыполнимые задания в надежде, что реальные результаты пусть и не достигнут поставленных целей, но то, что получится, окажется повыше. Повыше чего? Не называя срока, отец загнал себя в «сталинскую» ловушку «планируемой неопределенности». Он не сомневался, Америку догнать можно не через восемнадцать лет, а раньше. Когда? Через восемь лет? Или через пять? Или десять? Волевая цифра на то она и волевая, что можно выбрать любую. Реальный срок определится сам, по ходу дела.

Теперь мы знаем, что даже к спрогнозированному экономистами научно обоснованному 1975 году Советский Союз не только не догнал США, но окончательно и безнадежно отстал. После 1964 года, после отставки отца, никто уже не толкал страну вперед, не призывал, не будоражил, и все затягивалось ряской равнодушия. Энтропия, всеобщий беспорядок, хаос постепенно нарастали, и никого это уже не беспокоило.

В чем же ошибся отец? Самый легкий и очевидный ответ: во всем. Но очевидное далеко не всегда правильно, оно лишь отражает установившиеся в данное время в обществе стереотипы. Очевидное сегодня отнюдь не очевидно завтра и даже вчера. Мне представляется, что в своих призывах отец не так уж и не прав.

Что же касается их реализации, он напрасно понадеялся на своих «генералов» — руководителей областей, переоценил их способности, желание «взяться за дело как следует». В обкомах сидели люди, жившие одним днем, для них главное — сегодня отчитаться о выполнении спущенных из центра приказов, а что произойдет завтра… Не назвав даты, когда он рассчитывает догнать США, отец подложил под себя мину не очень уж замедленного действия. Поощряемые им особо рьяные секретари обкомов вознамерились на самом деле догнать Америку за год — за два.

Но за год производство мяса не удвоишь, а за два не утроишь, сколько ни старайся, столько телят, поросят и даже цыплят в природе родиться не может. Трудно объяснить, почему отец не прикинул заранее, сколько молодняка может прибавиться за год-два, за три. Ведь он всегда все скрупулезно подсчитывал. Тогда бы он мог назвать срок, пусть очень приблизительный, волюнтаристский, но хотя бы оправданный биологически.

Нельзя сказать, что отец не знал, с кем имеет дело, не ориентировался в кадровой проблеме. Иначе он не затронул бы в

своем ленинградском выступлении темы профессионализма партийных работников. «Для того чтобы квалифицированно руководить, секретарям райкомов самим надо много знать, уметь до тонкости разбираться в том или ином вопросе. Тогда вы не попадете впросак. Если не знаешь чего — изучи, и тогда не придется краснеть перед людьми, — сказал он. — *Реорганизуем управление промышленностью, а затем и этим вопросом займемся (*курсив мой. — *С. Х.)*. Нельзя браться за все сразу».

До Ленинграда отец поднимал эту тему в Горьком. Но речь пока шла только о профессионализме. В 1962 году отец сделает попытку превращения секретарей райкомов в профессионалов-управляющих, то есть в менеджеров, но встретит ожесточенное сопротивление и райкомов, и обкомов, и ЦК. Только тогда он додумается наконец, что следует поменять всю структуру производства, дать как можно больше свободы производителю. В 1962–1964 годах отец попытается затеять новые перемены, но будет уже поздно, «поезд уйдет».

В Ленинграде отец выступил с еще одной инициативой, на сей раз уже обсуждавшейся Президиумом ЦК, «порадовал» слушателей новостью, что с первого дня следующего, 1958 года, они собираются «отказаться от поставок, которые получает страна с личного хозяйства колхозников». В 1953 году этот натуральный налог снизили вдвое, теперь отец хотел ликвидировать его совсем. По его подсчетам, поставки личных хозяйств колхозников государству составляют около 10–15 процентов от общего объема заготовок.

— Продуктов мы получаем с колхозных подворий мало, — говорил отец, — а возни много. Мы держим огромное количество заготовителей, расходуем на них средства. Одним словом, овчинка выделки не стоит. Отказ от поставок с колхозных дворов принесет выгоду: мы сократим аппарат, бюрократическую переписку.

Думаю, что не пропадут и продукты, которые производят в хозяйствах колхозников. Колхозник сам продаст их. Продукция все равно придет на рынок, и таким образом будут удовлетворены потребности нашего общества, наших людей. Видимо, решение надо опубликовать в июне, а ввести его в действие с 1 января 1958 года.

Что и говорить, слова отца деревня встретила на ура. Уменьшение налогов приветствуется в любой стране.

4 июля 1957 года ЦК КПСС и СМ СССР примут официальное постановление «Об отмене с 1 января 1958 года обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих». Она касалась

людей, живших на земле или вблизи от земли, «колхозников, совхозников, членов артелей всех видов, рабочих и служащих, проживающих в сельской местности, городской местности и дачных поселках», но не затронуло «злостных скармливателей хлеба скотине» из столичных и региональных центров. Они, как и прежде, согласно постановлению Совмина от 27 августа 1956 года, обязывались платить налоги на имеющуюся у них живность и поставлять государству часть своей продукции.

Узнав о выступлении отца, Молотов просто взорвался, по его мнению, Хрущев «просто ноги на стол положил», абсолютно не считается со своими коллегами по Президиуму ЦК, а призыв «догнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения» — это чистой воды «авантюризм в хозяйственной политике и правый уклон», игнорирующий приоритет промышленности, в первую очередь тяжелой. Молотова поддерживал не только Каганович, но, как это ни странно, Маленков, которого в январе 1955 года тот же Молотов обвинял в тех же грехах. Но сейчас новоявленные союзники о старом не вспоминали.

Кагановича возмутило еще и то, что Хрущев «раскрыл секрет отмены налогов по мясу на индивидуальные хозяйства. Решения еще не приняли. Нельзя, чтобы такое благодетельство исходило от одного Первого секретаря». (Этот разговор произошел в отсутствие отца.)

Булганин мнения не высказывал, только одобрительно хмыкал. Четвертый участник сговора 20 мая, Первухин, в обсуждении участия не принимал, он уехал по среднемашевским делам на Урал и в Сибирь.

По возвращении в Москву отец в ответ на упомянутые выше претензии Молотова, предъявленные во время общего обеда в Кремле, попытался объясниться, сказал, что соревнование с США — это чистой воды призыв и его личная инициатива, которую пока не следует превращать в обязательное для исполнение решение руководства. Он высказывал эту мысль и раньше, в частности, выступая недавно перед писателями. Что же касается «разглашения тайны о снятии налогов с колхозников», то это просто смешно. Они же в Президиуме ЦК уже договорились обо всем, а в данном случае он говорил не от себя одного, а озвучил мнение «коллективного руководства». Аргументы отца повисли в воздухе. Молотов упорствовал: отец не имел права что-либо говорить без формального разрешения «коллективного руководства», а он такого разрешения не только не получал, но даже не запрашивал. Каганович осторожно поддержал Молотова, остальные члены Президиума промолчали. Разошлись крайне

недовольные друг другом.

30 мая из полуторамесячных странствий по странам Азии возвратился Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов. Он посетил Китай, Индонезию, Вьетнам, а по пути домой — еще раз Китай. В Индонезии и Вьетнаме все прошло гладко, по дипломатическому протоколу. В Китае Ворошилову протокольными мероприятиями отделаться не удалось, китайцы настроились на серьезные переговоры. Переговоров не получилось ни серьезных, ни несерьезных — никаких. Китайцы обиделись, нажаловались послу. Тот обо всем доложил в Москву.

Ворошилов тогда уже совсем одряхлел, отошел от реальных дел, жил в своем, оторванном от внешних реалий мире. Более всего он заботился о здоровье, гулял, заимел шагомер, ходил пешком по четыре-пять часов ежедневно. Так он поддерживал свою физическую форму, и весьма успешно. Заехав как-то к отцу на дачу, Климент Ефремович и ему советовал гулять побольше.

— Так тебе, Клим, делать нечего, — не очень удачно отшутился отец, — а мне не до гуляний.

Отец показал на стоявший в углу террасы маленький столик с лежащей на нем пухлой папкой. И дернуло же его за язык… Ворошилов обиженно засопел, посидел еще минут пятнадцать и засобирался домой. Пустяк, конечно, но вся наша жизнь состоит из пустяков. Ворошилов обижался, но до поры обиды не показывал. Сталин приучил его к терпеливости.

Неувязка в Китае получилась не только с переговорами. По донесениям посольства, китайцы возмутились, когда на официальном обеде в Кантоне Ворошилов, обнаружив, что ему подали жаркое из собачатины и, плюс к тому, предлагают блюдо из змей, раскричался, что такую гадость он есть отказывается. Хозяева на «гадость» смертельно обиделись. Когда, по возвращении в Москву, отец попытался выговорить Ворошилову, тот буквально взорвался.

— Ты что же, заставляешь меня собак есть? — кричал он фальцетом.

— Но я же ел, когда меня в 1954 году угощали в Кантоне, такие у них порядки, — увещевал его отец. — Ты туда не на свадьбу поехал, а с дипломатической миссией.

Ворошилов не успокаивался, дипломатия дипломатией, но собак он есть не станет ни при каких обстоятельствах. Слово за слово, они с отцом разругались.

Обиженный Ворошилов занял не ключевое, но почетное место в стане противников отца. После присоединения Сабурова они теперь составляли большинство в Президиуме ЦК, а Ворошилов

всегда ставил на победителя. Любопытная психологическая деталь: для Сабурова решающим фактором оказалось участие в заговоре Ворошилова, шестого, гипотетического, обеспечивавшего перевес «игрока». Для самого Ворошилова этим шестым оказался уже реально присоединившийся к заговорщикам Сабуров.

Таким образом, в последний день мая расклад сил определился окончательно: Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров против Микояна, Суслова, Кириченко и самого Хрущева. Семеро против четверых, явное большинство на стороне Молотова.

Свидетельства и лжесвидетельства

За прошедшие десятилетия участники событий тех дней: Хрущев, Каганович, Микоян, Мухитдинов, Жуков опубликовали воспоминания. Одни подробно рассказывают о «расколе» 1957 года, другие — совсем чуть-чуть. К Хрущеву они тоже относятся очень по-разному, но все они «варились в одном котле», конфликтовали, объединялись, разъединялись, превращались в непримиримых врагов, таково их видение прошлого и тем оно ценно для нас, потомков.

К упомянутым выше воспоминаниям особняком примыкают мемуары Шепилова. Почему особняком? И почему примыкают? Так я их ощущаю. Мне они представляются не столько информативными, сколько дезинформирующими. Мне могут возразить: Шепилов, мягко говоря, нелестно отзывается о Хрущеве, вот я и отказываю ему в доверии. Но и в воспоминаниях Кагановича глава о 1957 годе целиком посвящена разоблачению «ошибочной» позиции отца в тот период и разоблачению отца в целом. Но это позиция Кагановича. Ее можно разделять или не разделять, автор имеет на это право, это его оценка, и на нее он нанизывает реальные факты, детали, которые больше нигде не найти. У Кагановича факты, на мой взгляд, соответствуют истине. По крайней мере, не противоречат тому, что я помню сам. Это очень важный критерий доверия или недоверия к автору.

Сравнивая «воспоминания» Шепилова с тем, чему я сам оказался свидетелем, я нахожу множество подтасовок и откровенной лжи. Я говорю не о политике, а о бытовых деталях. Но если он врет «здесь», то и его другие описания происходившего доверия не вызывают. Факты, приводимые в воспоминаниях Шепилова, сомнительны, но и их заслоняют эмоции и обиды. Естественно, проигравшему отцу Шепилову, как и его старшим соратникам, есть на что обижаться. Но врать-то зачем? Вот только один маленький пример. В доказательство

своей тесной дружбы с отцом он пишет о частых посещениях нашей дачи. Хоть убей, я Шепилова не запомнил. Бывали у нас Микоян, Маленков, реже Булганин с Кагановичем, Жуков, Серов, даже Молотов. Запомнились мне заведующий отделом сельского хозяйства Бюро ЦК РСФСР Мыларщиков, авиаконструктор Туполев, маршалы Гречко и Малиновский, Брежнев, Игнатов, Фурцева, Гришин, перечисление можно продолжать, отец любил гостей, но не было среди них Шепилова. Не исключено, что раз или два, после заседаний Президиума ЦК, вкупе со всеми другими, часто весьма многочисленными участниками этих собраний, он по дороге домой и заезжал к нам на несколько минут, но не более того. И мы к Шепилову в гости не ездили, только однажды заехали на новоселье, уж очень он настаивал.

О служебных отношениях отца и Шепилова говорить не стану, я на их встречах в ЦК не присутствовал. Несомненно, что отец тянул Шепилова наверх, а тот изо всех сил тянулся за отцом, ставил на него, и так продолжалось до последнего момента. Но служба службой, а дружба дружбой. Вот дружбы у отца с Шепиловым не возникло, хотя последний, это следует из его мемуаров, набивался в друзья, как только мог.

Нет у меня веры и другим рассказам Шепилова, не касающимся Хрущева. В подтверждение приведу шепиловский пассаж о его военных годах. Дмитрий Трофимович ушел на фронт добровольцем, воевал рядовым пехотинцем. За это ему честь и хвала. Но чего стоит одна только история о том, как в декабре 1941 года командующий Западным фронтом генерал Жуков советовался с попавшимся ему на пути красноармейцем Шепиловым. Своей «эпичностью» она превосходит даже «Малую землю» Леонида Брежнева. А военные эпизоды описывающие, как Шепилов, замполит корпуса, а потом армии, брал Вену, и не одну только Вену! Отец, прослужив всю войну первым членом Военного совета фронта, никогда не приписывал себе побед ни в Сталинграде, ни на Курской дуге. Он справедливо не считал себя ни военачальником, ни вообще военным, хотя и подписывал все приказы наравне с командующим фронтом и отвечал тоже наравне с ним за все неудачи. Раскройте мемуары отца, там проведена четкая грань между ним — политработником и генералами-командирами. Сталинград обороняли Еременко с Чуйковым, а Хрущев, в меру своих сил, помогал им. И Киев брал не Хрущев, а Ватутин с Москаленко.

Я написал все это в пояснение, почему в реконструкции событий мая — июня 1957 года я использую все доступные мне источники информации, кроме воспоминаний Шепилова, на мой взгляд, недостоверных.

Свадьба

На мою, назначенную на воскресенье 2 июня 1957 году, свадьбу с сокурсницей Галей отец кроме наших друзей и родственников неожиданно напригласил массу людей. Человек общительный, он не мог удержаться от того, чтобы в разговоре не сообщить: сын женится. После этого ничего не оставалось, как просить собеседника по русскому обычаю почтить торжество своим присутствием. Среди приглашенных оказались Булганин, Маленков, Кириченко, Каганович, Молотов. Затем отец позвал Жукова и Серова.

Мама молча подсчитывала все увеличивающееся количество гостей, прикидывала, как рассадить такую ораву. Торжество решили устроить на даче, там огромная столовая, но и она всех уже не вмещала. Дополнительные столы поставили на примыкавшей к столовой веранде.

Накануне свадьбы отец, вернувшись вечером домой, виновато сообщил, что он пригласил еще Туполева и Антонова.

— Я их сегодня принимал, разговорились, зашла речь о детях. Я и сказал, что сын женится. Пришлось пригласить… Неудобно… — немного по-детски, запинаясь, оправдывался он перед мамой. Она только обреченно вздохнула: куда приткнуть еще и этих, словно с неба свалившихся гостей? А отец, крикнув мне: «Пошли погуляем», от греха подальше отправился бродить по дорожкам парка. В начале июня вечереет поздно. Солнце еще только склонялось к горизонту. На даче не приходилось кружить вдоль забора, как в резиденции на Воробьевых горах, можно по широкой аллее уйти в лес.

В воскресенье утром мы, молодые, отправились в ЗАГС, а отец уехал открывать всесоюзную Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Официальные речи, разрезание ленточки назначили на полдень, отец же приехал на выставку к десяти утра, его интересовали экспонаты, те достижения, ради которых выставку и затевали. Вместе с ним туда приехали и все находящиеся в Москве члены Президиума ЦК. Последнее время на официальные мероприятия коллективное руководство ездило всем составом.

С утра небо хмурилось, временами дождило. Но какое это имело значение? К приезду отца набежала изрядная толпа. В ее сопровождении отец и все прибывшие руководители обошли павильоны России, Узбекистана, хлопковой, легкой промышленности, станкостроения. Выбор павильонов неслучаен, в центре внимания отца — товары народного потребления, в

первую очередь производство одежды, а для этого необходимы и хлопок, и специализированные станки. Отец внимательно слушает пояснения, задает вопросы, порой каверзные. Остальные члены Президиума толпятся рядом и откровенно скучают.

Наконец после завершения осмотра все поднялись на мокрую от непрекращающегося дождя трибуну. Зазвучали речи, в заключение слово предоставили Хрущеву. Тут снова закапал дождь. Отец стоял с непокрытой головой, лысина блестела.

— Ну вот, и снова дождь пошел, — начал отец и заговорил дальше об ожидаемом урожае зерна, о картошке, виноградниках, молоке и мясе, о том, как нам догонять США. Закончил он словами о крепнущем содружестве социалистических стран.

Я недавно перечитал опубликованное в «Правде» выступление отца, рядовое, «проходное» выступление. Что еще можно ожидать от подобной речи на открытии чего-то либо?

Правда, в какой-то момент отец не удержался, заговорил о молодняке, о том, что более половины общего поголовья скота и птицы в стране содержится на индивидуальных подворьях, а 24 процента прироста производства продуктов питания за последние четыре года — главным образом их заслуга. После снижения в 1953 году налогов частники быстро нарастили производство, а доля колхозов с совхозами едва перешагнула трехпроцентную отметку. Говорил отец о том, что после прошлогодних указов, направленных против скармливания хлеба скоту в индивидуальных хозяйствах, проблема молодняка встала остро.

— Кормов не хватает, — продолжал отец, — вот частники и пустили телят под нож. В стране забили пять миллионов не доживших и до года бычков. (Телятина на рынках в 1957 году продавалась задешево.) Если бы этих телят дорастить, дать время бычкам превратиться в быков, то…

Однако все, как и прежде, упиралось в корма, а точнее в их отсутствие. Спасение ему виделось все в той же кукурузе.

Чем-то эти пассажи не понравились Молотову. Он слушает отца и вполголоса, не обращаясь ни к кому конкретно, ворчит: «Хрущев опять самовольничает, не представил текст выступления на утверждение Президиуму ЦК». Вячеслав Михайлович больше не в силах сдерживать свое раздражение отцом. Следуя логике Молотова, отец не имел права и шага ступить, не испросив на то разрешения Президиума.

Стоявший чуть позади отца, рядом с Молотовым, Каганович запомнил «неблагополучные» цифры, в недалеком будущем он попеняет ими отцу.

Митинг окончен. Когда отец садился в машину, на даче уже начали собираться гости.

Свадьба, как и полагается, прошла весело. Гости разделились на две компании — молодежь и стариков — и друг другу не мешали. Пили умеренно, отец не любил пьяных. Многое позабылось, вспоминаются только отдельные эпизоды.

Маленковы, немного запоздав, пришли запросто, по-соседски. Обычно приветливо улыбчивый, Георгий Максимилианович глядел сумрачно. И вот еще несообразность, отмеченная моей женой на следующий день, когда она рассматривала свадебные подарки. Одни были побогаче, другие — попроще, в зависимости от возможностей дарящего. Одни — казенные, другие — с душой, в зависимости от отношения к нам, молодоженам.

— А это что? — удивилась Галя.

Она держала в руках потрепанную замшевую дамскую сумочку темно-зеленого, его еще почему-то называют болотным, цвета. Я с трудом вспомнил, что мне ее сунула в руки Валерия Алексеевна, жена Маленкова. Они тогда, особенно не задерживаясь с поздравлениями, поспешили в столовую, к старикам. В сумочке оказался дешевый будильник со слоником, ими в то время были забиты все магазины. На вид тоже не новый, как будто походя взятый с тумбочки. Я бы не запомнил этого эпизода, подаркам я не придавал особого значения, а тем более не приценивался, что дороже, что дешевле. Меня удивило психологическое несоответствие дара сложившемуся в моем сознании образу этой семьи. Маленковы очень любили делать подарки, часто без всякого повода, и всегда старались выбрать что-либо особенное. Этим они отличались от большинства наших знакомых. Когда я поступил в институт, они меня одарили фаберовской готовальней в деревянной полированной коробке. Гляделась она настоящей драгоценностью, и за всю свою жизнь я не рискнул использовать ее по назначению. Совсем без повода я получил набор увеличительных стекол, тоже очень красивых. А сейчас…

Эта мысль промелькнула, а может быть, даже не промелькнула в тот день, так, задержалась в подсознании. Лишь после я понял, что для Маленкова в тот день все уже казалось решенным, фигуры на доске встали по-новому, отцу в предстоящей партии места не отводилось.

Смутно припоминается мне и размолвка за столом. К тому времени компания старших замкнулась в своих интересах, о молодых почти забыли. Я уже упоминал, что пьяных не было, но это не значит, что за столом не пили. Чуть подвыпил Булганин, его соратники только пригубливали, держались настороженно.

Отец пребывал в отличном праздничном настроении, шутил, задирался. Когда Булганин начал очередной тост, он отпустил

беззлобную шутку. Булганин среагировал бурно, просто взорвался. Стал кричать, что не позволит затыкать ему рот, помыкать им, скоро все это кончится… Отец оправдывался, уговаривал своего друга: он и в мыслях не держал его обидеть. Неприятную вспышку погасили — чего не бывает на свадьбе…

Так в тот момент показалось мне, трения в Президиуме ЦК интересовали меня меньше всего. И вообще, все происходившее на даче виделось в самом что ни на есть розовом цвете. А вот со стороны произошедшее на свадьбе представлялось совсем иначе.

Вот что запомнилось сидевшему за столом неподалеку от отца Жукову: «Весной 1957 года сын Хрущева Сергей женился. По этому случаю на даче Хрущева была устроена свадьба. На свадьбе, как полагается, крепко выпили, а выпив, произносили речи. С речью выступил Хрущев. Говорил он, как всегда, хорошо. Рассказал о своей родословной. Тепло вспомнил свою маму, которая, по его словам, очень любила много говорить, а затем как-то вскользь уколол Булганина. В другое время Булганин промолчал бы, а тут он неузнаваемо вскипел и попросил Хрущева подбирать выражения.

Все мы поняли, что Булганин тоже озлоблен против Хрущева. Догадки подтвердились. Как только кончился обед, Молотов, Маленков, Каганович, Булганин демонстративно покинули свадьбу и уехали к Маленкову на дачу.

Хрущев понял, что отныне Булганин переметнулся в стан его противников, и он был явно озабочен.

После того как с дачи Хрущева демонстративно ушли Булганин, Маленков, Молотов и Каганович, ко мне подошел Кириченко и завел такой разговор: “Георгий Константинович! Ты понимаешь, куда дело клонится, а? Эта компания неслучайно демонстративно ушла со свадьбы. Я думаю, что нам нужно держать ухо востро, а в случае чего, надо ко всему быть готовым. Мы на тебя надеемся. Ты в армии пользуешься громадным авторитетом, одно твое слово, и армия сделает все, что нужно”.

Я видел, что Кириченко пьян, но сразу же насторожился.

— О чем ты, Алексей Илларионович, болтаешь? Я тебя не понимаю. Куда ты клонишь свою речь? Почему ты заговорил о моем авторитете в армии и о том, что стоит только мне сказать свое слово, и она сделает все, что нужно?

Кириченко в ответ:

— А ты что, не видишь, как злобно они сегодня разговаривали с Хрущевым. Булганин, Молотов, Каганович и Маленков решительные и озлобленные люди. Я думаю, что дело может дойти до серьезного.

Мне показалось, что Кириченко завел такой разговор не

случайно, не от своего ума.

И это предположение тут же подтвердилось следующими его словами: “В случае чего — мы не дадим в обиду Никиту Сергеевича”».

К сожалению, Кириченко воспоминаний не оставил, и о его разговоре с Жуковым мы можем судить только с одной стороны. Я вообще запамятовал Кириченко, а вот Жукова с Серовым запомнил хорошо. Они все время о чем-то шептались, а как только закончились официальные тосты и немного распогодилось, вышли в сад и долго вместе гуляли. Можно ли это связать с последующими событиями — не знаю. Возможно, до того им просто не представлялось случая побеседовать в спокойной обстановке.

О чем вечером в воскресенье совещалась уехавшая на дачу Маленкова четверка, я не знаю, да и никто не знает. Однако нетрудно предположить, что обсуждали они все ту же тему, как и когда избавиться от отца.

На следующее утро перед отъездом отца на работу я, как обычно, сопровождал его на прогулке по саду. Яркое солнце, зеленая трава, пение птиц — ничто не предвещало бури.

Накануне

Понедельник отец провел в ЦК, принимал посетителей, а главное, готовился к визиту в Финляндию, очень важному для него визиту. Эту маленькую соседнюю капиталистическую страну, в 1940 году смертельно обиженную Сталиным, затем вместе с Гитлером, воевавшую против нас, отец, по примеру Австрии, хотел сделать не просто нейтральной, но и дружеской, превратить ее в партнера, сориентировать финскую экономику на Советский Союз. Отцу нравился финский президент Урхо Калева Кекконен. Они, казалось, нашли общий язык, оба прагматически смотрели в будущее: соседей не выбирают и по-соседски надо устраивать жизнь к обоюдной выгоде. Вот сейчас отец и занимался этой обоюдной выгодой, обсуждал с Павлом Николаевичем Кумыкиным, заместителем министра внешней торговли, он тоже ехал в Финляндию, что мы можем предложить финнам, и что нам следует закупать у них.

Отношения только начинали складываться. Кумыкин доложил: в 1957 году товарооборот не достигает и пары сотен миллионов инвалютных рублей. Разоренные войной финны брали у нас всего понемногу: машины, станки, металл, а продавали финские щитовые домики, оконные рамы, двери, другую столярку, да еще вкуснейший сыр «Виола». Не густо. Отец

поморщился, — мало, да и ассортимент простоват. Но надо же с чего-то начать, а при нашем размахе строительства финская, более качественная столярка совсем нелишняя. Он попросил Кумыкина подумать, как в 1958 году к взаимной выгоде увеличить товарообмен, во время визита обсудить с финнами номенклатуру будущих взаимных поставок. Если получится, то они прямо там, в Хельсинки, смогут подписать соответствующие соглашения.

Утром во вторник 4 июня отец отправился в «Детский мир», что на Лубянской площади (в то время площадь Дзержинского). Там отца поджидали остальные члены коллективного руководства, и те, что в воскресенье «веселились» у меня на свадьбе, и те, кого туда не пригласили. Отсутствовал один Жуков. Почему? Сейчас я уже не могу припомнить, но наверняка на то имелись серьезные причины. После избрания кандидатом в члены Президиума ЦК Георгий Константинович старался не пропускать таких коллективных «выходов в свет».

«Детский мир» строили по специальному распоряжению отца. КГБ возражало против появления поблизости от их штаб-квартиры объекта, привлекающего к себе массу людей. Среди них могут затесаться и вражеские агенты, в толпе же за ними не уследишь. Соответствующую бумагу направили Хрущеву, но он придерживался иного мнения и на предостережение органов внимания не обратил. Новостройка эта была у всех на слуху. В послевоенные годы в СССР таких больших магазинов не возводили, и по элементарной причине — просто недоставало товаров. Обходились оставшимися еще с дореволюционных времен ЦУМом, что по соседству с Большим и Малым театрами, когда-то его звали Мюр-Мюрилиз, Пассажем на Петровке (бывшими Торговыми рядами), ГУМом да еще несколькими универмагами. Новые торговые помещения обычно размещали на первых этажах новостроек. Теперь товаров становилось больше, много больше, хотя и не настолько, чтобы ликвидировать очереди. Вслед за «Детским миром» началось сооружение крупных многоэтажных торговых центров и в Москве, и в других крупных городах. Отец следил за ходом работ не только из окна автомашины, утром по дороге в ЦК и вечером, когда возвращался домой, но и пару раз без предупреждения останавливался на стройке, просто просил шофера притормозить, поднимался на этажи, придирчиво проверял качество работ. И вот теперь открытие! Магазин производил впечатление и своими размерами, и прилавками, полными всего, чего только можно пожелать, от одежды и специальной детской мебели до игрушек на любой возраст. Москвичи постарались, отдали в «Детский мир» все свои

запасы.

4 июня 2007 года «Детский мир» справил свое пятидесятилетие. Об отце не вспоминали, никто уже не помнил, в каких муках рождался универмаг, через полстолетия представлялось, что он построился сам собой. Что ж, людям свойственна забывчивость, но главное, что многие годы «Детский мир» радовал малышню, которая и понятия не имела о каком-то Хрущеве.

Во вторник вечером все коллективное руководство, включая и Жукова, в Большом театре на заключительном концерте Декады татарского искусства и литературы в Москве.

5 июня они всем коллективом на Ленинградском вокзале провожают отца с Булганиным в Финляндию. Не думаю, что к тому времени уже сложился конкретный план отстранения отца от власти, что, где, когда.

Итак, отец отправился в Финляндию.

Через пару дней после его отъезда пришла пора нашей преддипломной производственной практики, и мы с женой на месяц уехали в Загорск, на «Скобянку», секретный «Скобяной завод», осваивавший производство компьютеров, главным образом, для военных целей. Рабочую неделю мы находились в Загорске, жили там в общежитии, в Москву ездили только в выходные. Поэтому последующие события отложились в моей памяти редким пунктиром.

В Финляндии отца с Булганиным встречали тепло, я бы сказал дружески. Финский президент Кекконен как мог демонстрировал гостеприимство. Он даже пригласил высоких гостей в свою личную президентскую баню. Большего, по финским меркам, и представить невозможно. Отец приглашение принял, а Булганин отказался, проворчал, что уже сегодня принял ванну у себя в гостевой резиденции. Кекконен на Булганина обиделся. С отцом же с той поры у них начали устанавливаться не просто хорошие, но даже дружеские отношения. И все началось с посещения бани.

В 1960 году Урхо Кекконен выскажет пожелание подарить Никите Сергеевичу настоящую финскую сауну, пришлет своих строителей, они соберут ее там, где укажет отец. Последнее обстоятельство вызвало нервную реакцию КГБ. Допускать иностранцев на дачу Хрущева, на «объект»!

Финны привезли с собой в Москву бревна, доски, шайки, все до последнего гвоздя. Дальше дело застопорилось, на дачу их не пустили. Пришлось Кекконену звонить отцу. Отец вспылил, вызвал к себе тогдашнего председателя КГБ Шелепина и потребовал не ставить палки в колеса, не мешать его дружбе с

президентом Финляндии.

Но вернемся в 1957 год. В целом визит прошел очень удачно. Вот только с новым экономическим соглашением, о котором накануне визита отец совещался с Кумыкиным, вышла заминка. Для его подписания требовалось одобрение Москвы.

11 июня, в понедельник, Президиум ЦК собрался на экстренное заседание. На рассмотрении один вопрос: телеграмма из Финляндии с просьбой срочно утвердить увеличение объемов торговли с этой страной. Договор планировалось подписать в Хельсинки уже завтра. Финны предлагали увеличить взаимные поставки на 50 миллионов рублей, отец считал возможным поднять планку на 100 миллионов. Кумыкин ждал ответа. В своей шифровке он сообщил, что изменения согласованы и с Хрущевым, и с Булганиным.

Председательствовавший на заседании Микоян проинформировал, что увеличение объемов торгового оборота рассмотрено и завизировано Госпланом, и поставил вопрос на голосование. В подобных случаях, когда все со всеми увязано, решение принимали без задержек, но не на этот раз.

— Что мы покупаем у финнов? Оконные рамы, двери, барахло одно. Вот бы только ублажить капиталистов. Мы и так слишком много покупаем у финнов и слишком много продаем им, — раскричался Молотов. — Это все твои штучки, Анастас. Ты Хрущеву потакаешь во всем, он там с Кекконеном в бане водку пьет и по пьянке обещает с три короба, а ты ему потакаешь.

И так далее, в том же духе. Молотова поддержал Каганович, ему поддакивал Ворошилов. Микоян расстроился, сник, но тут Молотов одумался, решил, видимо, что отказ насторожит отца и предложил ответить на телеграмму положительно: утвердить запрашиваемые в ней дополнительные 100 миллионов инвалютных рублей.

Соответствующая шифровка ушла в Хельсинки, а отец так и не узнал о разразившемся в Москве скандале.

Утром в пятницу, 14 июня, отец с Булганиным поездом возвратились в Москву. На Ленинградском вокзале их встречали члены правительства плюс огромная толпа на привокзальной площади. По случаю возвращения запланировали митинг. После митинга отец с вместе Булганиным на одной машине, без заезда домой, отправились в Кремль пообедать.

За обедом собрались все члены Президиума ЦК. Отец с увлечением делился впечатлениями от поездки, отвечал на вопросы. Словом, этот обед ничем не отличался от множества предыдущих. Только Молотов угрюмо отмалчивался, но к его неудовлетворенности отец притерпелся.

На следующий день, в субботу, отец председательствовал на очередном рутинном заседании Президиума ЦК. Никаких спорных вопросов не предвиделось. По каждому пункту повестки дня перед заседавшими лежали обоснования, справки, заранее подготовленные и всеми завизированные проекты постановлений. Все шло по давно отработанной схеме: краткая информация заинтересованного ведомства, голосование, переход к следующему пункту.

Запнулись на 9-м пункте. Заместитель министра внешней торговли С. А. Борисов докладывал «О размещении в странах народной демократии заказов на поставку оборудования и машин в 1958 году». План подготовили тщательно, с самого начала года цифры согласовывали и пересогласовывали. Казалось бы, какие могут возникнуть придирки? Но при желании придирки всегда найдутся. Молотов «выразил сомнение насчет того, как это все увязано, насколько мы обоснованно планируем».

— Важно, *что* мы заказываем, — закончил он свое выступление.

Но Борисов именно об этом и докладывал. Казалось, Молотов не слышал докладчика. На самом деле Молотов слышал все, просто таким образом он выражал свое неудовольствие.

— О качественности поставляемого нам оборудования следует все выверить досконально, — неожиданно для отца поддержал Молотова Маленков.

— Баланса нет. Зачем у них станки заказываем? — вмешался Каганович и предложил вернуть документ на доработку, отложить на неопределенное время его подписание с представителями стран.

— Что значит оттянуть? — возмутился отец. — Не подписать соглашение вовремя — значит отказаться от заказов. Им же необходимо заранее знать, что мы купим, а что нет. Не купим оборудование, они к нам же придут за кредитами.

— Неужели мы должны принимать все на веру? — непривычно горячо возразил обычно флегматичный Первухин.

— В Совете Министров дополнительно рассмотреть, — вставил свое слово Ворошилов и предложил отложить решение вопроса на неделю, до следующего заседания Президиума ЦК.

Отец не понял, что изменится за неделю, стал объяснять, что ГДР и так уже нам должна почти 400 миллионов рублей. Примем план, они отдадут долг товарами. Не примем — не получим ничего. Мы уже решили, что в понедельник в Польшу должен вылететь Сабуров. Его там ждут, а без утвержденного плана ему делать там нечего. И вообще, если мы хотим сохранить социалистическое содружество восточно-европейских стран, то

должны проводить политику, устраивающую всех. Иначе кому нужен такой социалистический лагерь?

Однако на его призыв никто не откликнулся.

— Если вы «против», то давайте голосовать, я с радостью останусь в меньшинстве. Большинству же придется отвечать за последствия безответственного решения, — рассердился отец, и тут его перебил Булганин, заявив, что не позволит говорить с собой в таком тоне, план явно сырой и принимать его нельзя.

Отец какое-то время внимательно смотрел на своего старого друга и неожиданно согласился отложить вопрос на время, все прояснить, а потом вернуться к его обсуждению.

Заседали еще около часа, все это время Булганин нервничал, вертелся на стуле, а после заседания обернулся к уже взявшемуся за ручку двери отцу, выкрикнул, что он не позволит…

Отец начал понимать, что дело не в балансе торговли с Восточной Германией или Польшей, но он еще не осознал, как далеко зашли «молотовцы». А зашли они очень далеко, сговорившись обо всем, ощущая, что за ними большинство в Президиуме ЦК, они чувствовали себя победителями, вот и дали волю своим эмоциям.

А он еще не знал, что произошло 10 июня, в воскресенье. В тот день, пока отец с Булганиным путешествовали по Финляндии, на заседании Президиума ЦК под председательством Микояна обсуждали проект торгового договора с Австрией. Микоян в апреле 1957 года ездил в Вену и вернулся с неутешительной информацией, в балансе австрийской внешней торговли доля СССР не превышает полутора процента — крайне мало по сравнению с 30 процентами, падающими на Западную Германию, поставлявшую австрийцам железную руду и уголь. Другими словами, те же товары, которые есть и у нас. Такой баланс не в нашу пользу, по мнению Микояна, мог поставить под вопрос австрийский нейтралитет. Во время визита правительство Австрии предложило Анастасу Ивановичу очень выгодные условия: в обмен на 500 тысяч тонн угля и 200 тысяч тонн железной руды продать нам уже в следующем году речные буксиры, сотню или даже более маневровых тепловозов, 240 тысяч тонн дефицитнейшей листовой стали, на 22 миллиона рублей обновить устаревшее советское оборудование целлюлозных комбинатов.

В случае одобрения советской стороной австрийцы обещали условия торгового соглашения пролонгировать и на последующие годы. Казалось бы, за такое предложение следует ухватиться обеими руками, но… Молотову одно напоминание об Австрии, о договоре, подписанном с ней в 1955 году его рукой, но вопреки

собственной воле, по настоянию отца, вызывало прилив злобы. Он не сдержался, заикаясь, кричал, что, по сведениям Госконтроля, у нас собственное бумагоделательное оборудование валяется на складах, нам самим не хватает ни угля, ни железной руды, а тут «насовываем заказы на какие-то австрийские буксиры, паровозы», и все это ради неясной никому политической выгоды.

И это при том, что маневровых тепловозов при потребности в 3 100 единиц у нас вообще пока не производили. На 1958 год запланировали выпуск опытных десять штук.

Молотова поддержал Первухин: «К оборудованию для производства целлюлозы на 22 миллиона подойти критически. По железной руде у нас тяжело. Получается, давай, что придется».

Кагановичу не понравилась покупка маневровых тепловозов, они никому не нужны, как не нужны тепловозы вообще. Он еще не остыл от «тепловозных» баталий с отцом. С заместителем министра путей сообщения Н. А. Гундобиным, предоставившим цифры Микояну, он пообещал разобраться особо.

— Внешторг навязывает, — бушевал он, имея в виду Микояна, курировавшего в правительстве торговлю. — Не принимать решения, вернуться позже.

— Поручить Комиссии по внешнеэкономическим вопросам доработать. План нужен, — закричал Ворошилов.

Вконец расстроенный Микоян снял «свой» вопрос с обсуждения.

В субботу, 15 июня 1957 года, вечером мы с женой приехали на электричке из Загорска. Воскресенье вся семья провела на даче. Этот день ничем не отличался от множества выходных, гуляли с отцом, купались в Москве-реке, вместе обедали. Отец рассказывал о Финляндии, посмеялся, вспомнив, как Кекконен парил его веником в бане. К бане отец подходил утилитарно. На рудниках в Донбассе и потом в Киеве за отсутствием в квартире ванны, как все, ходил в баню мыться, не париться. После обзаведения ванной с баней покончил навсегда. Баня для отца оставалась символом бедности и неустроенности.

Вечером в воскресенье мы с женой уехали в Загорск, так как смена на заводе начиналась рано, где-то около 8 утра.

Понедельник отец провел в привычных заботах, принимал посетителей, отвечал на телефонные звонки, сам кому-то звонил. Днем все вместе обедали в Кремле. О столкновении в субботу не вспоминали. А вечером, тоже всем «коллективным руководством», отправились в посольство Народной Республики Болгарии на прием в честь 75-летия основателя Народной Болгарии Георгия Димитрова. На приеме пили, ели, разговаривали — все как обычно. Потом произносили речи. От советских гостей выступил

отец. В заключение — концерт болгарских артистов. По домам разъехались не поздно.

День закончился, как обычно.

Началось во вторник, 18 июня

Вторник для заседания Президиума ЦК день необычный. По заведенному распорядку, заседания проходили по четвергам или субботам. Видимо, «молотовцы» рассчитывали завершить дело к воскресенью.

Окончательно сложившийся расклад сил, казалось бы, не сулил отцу ничего хорошего. Против него объединились Молотов, Каганович, Ворошилов. На их сторону перешли Маленков, Булганин, Первухин и Сабуров, семь голосующих членов Президиума ЦК, причем трое из них — старейшие. С другой стороны — сам Хрущев, с ним Микоян и новички Суслов и Кириченко. Кандидаты в члены Президиума, избранные в последние годы: Жуков, Шепилов, Козлов, Брежнев, Шверник, Мухитдинов и Фурцева — поддерживали отца, но они не имели права голоса.

18 июня утром Маленков решил заранее поговорить с Жуковым. Особой надежды на успех он не питал, но попробовать заполучить на свою сторону министра обороны тоже не мешало. В любом случае они ничего не проигрывали, предупредить отца Жуков уже не успевал. А даже если предупредит, то тоже ничего не изменится, до заседания оставались считанные часы.

«В тот день, когда группа Маленкова — Молотова решила поставить на Президиуме ЦК вопрос о снятии Хрущева с поста Первого секретаря ЦК, утром мне позвонил Маленков и просил заехать к нему по неотложному делу, — рассказывает Жуков. — Считая, что Маленков выполняет какую-то работу по заданию Президиума, я немедленно поехал к нему. Маленков встретил меня очень любезно и сказал, что давно собирался поговорить со мной по душам о Хрущеве. Он коротко изложил свое мнение о якобы неправильной практике руководства со стороны Первого секретаря ЦК Хрущева, указав при этом, что Хрущев перестал считаться с Президиумом ЦК, выступает на местах без предварительного рассмотрения вопросов на Президиуме. Хрущев стал грубить старейшим членам Президиума, в частности Молотову, Кагановичу, Ворошилову, Булганину и другим. В заключение он спросил, как лично я оцениваю создавшееся положение в Президиуме ЦК. Я спросил Маленкова:

— Маленков, вы от своего имени со мной говорите, или вам кем-то поручено со мной переговорить?

Маленков сказал мне:

— Я говорю с тобой как со старым членом партии, которого я ценю и уважаю. Твое мнение для меня очень ценно.

Я понял, что за спиной Маленкова действуют более опытные и сильные личности. Маленков явно фальшивит и не раскрывает настоящей цели разговора со мной. Я сказал Маленкову:

— Поскольку у вас возникли претензии к Хрущеву, я советую вам пойти к Хрущеву и переговорить с ним по-товарищески. Я уверен, он вас поймет.

Маленков:

— Ты ошибаешься. Не таков Хрущев, чтобы признать свои действия неправильными и тем более исправить их.

Я ему ответил, что думаю, что вопрос постепенно утрясется. На этом мы и распрощались. Через несколько часов меня срочно вызвали на заседание Президиума ЦК. В коридоре Президиума я встретил А. И. Микояна и Е. А. Фурцеву. Они были в возбужденном состоянии. Микоян сказал:

— В Президиуме образовалась группа недовольных Хрущевым, и она потребовала сегодня же рассмотреть вопрос о Хрущеве на Президиуме. В эту группу входят Молотов, Каганович, Ворошилов, Булганин, Маленков и Первухин.

Я ему рассказал о состоявшемся разговоре с Маленковым. Микоян сообщил, что они час тому назад и с ним разговаривали».

(Восстанавливая как последовательность, так и сущность событий 18–22 июня 1957 года, я воспользовался рассказами отца, а также опубликованными в разное время документами и воспоминаниями участников заседаний Президиума и Пленума ЦК. Естественно, все они субъективны, но, соединенные вместе, позволяют сложить фрагменты в единую картину.)

После утреннего разговора с Маленковым Жуков с отцом не связывался и уехал по своим военным делам в подмосковный Солнечногорск. О планируемом на вторую половину дня заседании Президиума ЦК Маленков ему не сказал. Видимо, поняв, что Жуков не с ними, Маленков решил поставить его перед фактом: они собрались, быстренько проголосовали судьбу отца. Что после драки кулаками махать?

Слишком примитивно? Но почему мы должны все усложнять? За последние двадцать пять лет решения высшего партийного органа не оспаривал никто. Даже Ягода с Ежовым, не сомневавшиеся, что их перемещения из Госбезопасности на менее важные посты — лишь прелюдия к смертному приговору. Знали, но ничего не предпринимали. Так почему Жуков поступит иначе, вступится за Хрущева? Да и кто ему этот Хрущев?

Так или иначе, но к началу заседания Президиума ЦК Жукова в Кремле не было.

О том, чем отец занимался 18 июня, он сам через несколько дней подробно рассказал послу Югославии в Москве Велько

Мичуновичу, а тот, как и полагается послу, немедленно записал все услышанное и отправил доклад Тито. Копию этого послания он привел в своей книге.

Хочу пояснить, почему отец так откровенничал с Мичуновичем, представителем другого, пусть и дружественного государства. Не следует забывать, что одной из инициатив отца, вызвавшей серьезные столкновения с Молотовым, явилось его стремление к восстановлению взаимопонимания с Тито. Но у него не все получалось так, как хотелось. Тито держал дистанцию, постоянно и подчеркнуто демонстрировал свою приверженность политике неприсоединения. Отец не терял надежды уговорить югославов и для этого использовал любую возможность. Письмами многого не добиться, считал отец, он отдавал предпочтение живой беседе. Его собеседником стал югославский посол, человек из близкого окружения Тито, что, естественно, очень важно. Но еще важнее, что Велько Мичунович, человек умный и контактный, отцу нравился. У них установились очень доверительные отношения. На дипломатических приемах отец часами один на один где-то в углу зала беседовал с Мичуновичем. Однажды, не наговорившись, даже предложил подвезти посла на своей машине в его резиденцию в Хлебном переулке. Доехали быстро, а вот «договаривали», сидя в лимузине на десятиградусном морозе, далеко за полночь. В конце концов жена посла не выдержала и пригласила их в дом отогреться за чашкой чая.

Мичунович оказался единственным человеком, которому отец рассказал в деталях о происшедшем.

Хрущев, как пишет Мичунович, почувствовал что-то неладное еще во время их совместного с Булганиным пребывания в Финляндии, но не придал этому особого значения.

18 июня, от часа до двух дня, отец обедал дома. От стола его оторвал телефонный звонок Булганина.

— Никита, приезжай сюда, в Кремль, проведем заседание Президиума ЦК, — с ходу заявил он отцу.

Говорил Булганин необычно кратко и сухо, словно боялся чего-то.

— Николай, что за срочность? — удивился отец.

— Надо обсудить выступления в Ленинграде на 250-летнем юбилее со дня основания города, — ответил Булганин.

— Ну, это мы успеем сделать в четверг. В Ленинград нам ехать только в пятницу, к тому же в прошлую субботу мы уже обо всем условились, кто где выступает, даже сколько времени. О чем нам еще говорить? Я только что освободился от интервью с японцем,[42] ты, наверное, помнишь, главным редактором «Асахи

Симбун», а сразу после обеда, в три часа, у меня встреча с делегацией венгерских журналистов, — сопротивлялся отец.

— М-да, действительно, время еще есть, можно все и завтра обсудить, — Булганин явно не знал, что ему сказать еще.

— Вот и хорошо, Николай, я тебе после венгров позвоню, и мы все окончательно проясним. А сейчас извини, у меня суп остывает, — поспешил отец закончить разговор.

Не успел он положить трубку и вернуться к прерванному обеду, как вновь зазвонила кремлевская «вертушка». Отец раздраженно бросил на стол салфетку, поднялся из-за стола и прошел в гостиную к столику с телефонами. Снова звонил Булганин.

— Ну что там еще случилось? — недовольно спросил отец. — Мы же уже, кажется, обо всем договорились.

— Понимаешь, Никита, — в голосе Булганина перемежались привычная неуверенность в себе с несвойственной ему настойчивостью, — тут мы собрались, обедаем в Кремле, все считают необходимым немедленно начать заседание Президиума ЦК.

— Кто это мы? — спросил отец.

— Все, кто здесь обедает, — ответил Булганин.

— Но обедающие в Кремле и Президиум ЦК — это не одно и тоже, — начинал сердиться отец.

— Одну минутку, — торопливо произнес Булганин, и голос его в телефонной трубке замолк на время, пока Булганин транслировал «всем собравшимся в Кремлевской столовой» полученный ответ.

Отец уже понял, что затевается нечто более серьезное, чем обсуждение хода предстоящего празднования в Ленинграде, а следовательно, надо срочно ехать в Кремль, разбираться в обстановке.

— Никита, очень тебя прошу, приезжай, — снова зазвучал в трубке голос Булганина, — все тебя ждут.

Отец сделал вид, что сдается, сказал, что он сейчас дообедает и приедет. В Кремле он застал практически весь наличный состав Президиума ЦК. Импровизированное заседание началось буквально за обеденным столом. Из-за внезапности на нем в тот день присутствовало только восемь членов: Молотов, Маленков, Булганин, Каганович, Ворошилов, Первухин, Микоян, отец и три кандидата в члены Президиума ЦК секретари ЦК: Брежнев, Фурцева и Шепилов. Отсутствовали члены Президиума: Первый секретарь компартии Украины Кириченко, секретарь ЦК Суслов, заместитель председателя Совета Министров Сабуров и кандидаты: Шверник (Председатель Комиссии партийного

контроля), Мухитдинов (Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана), Козлов (секретарь Ленинградского обкома), Жуков (министр обороны).

По сложившейся практике, на рутинные заседания Президиума ЦК собирались только те его участники, кто в тот день находился в Москве. Остальным документы рассылались для ознакомления, а если требовалось, то для заочного голосования «опросом».

18 июня в Киеве Кириченко на Пленуме Украинского ЦК докладывал по вопросам сельского хозяйства. Сабуров возглавлял советскую делегацию на заседании Исполкома СЭВ в Варшаве. Суслов, еще в конце мая ушел в отпуск. Шверник представлял Москву на праздновании 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Жуков уехал в Солнечногорск. Козлов по уши увяз в организации мероприятий по случаю 250-летнего юбилея Ленинграда. На самом деле 250 лет исполнилось в 1953 году, но в год смерти Сталина было не до юбилейных торжеств. Козлов предложил отметить задним числом, празднество наметили на 22 июня, ожидали приезда на них чуть ли не всего Президиума ЦК.

Секретарей ЦК, не членов и не кандидатов в члены Президиума — Аристова, Беляева и Поспелова на заседание вообще не позвали. Их и раньше туда без конкретной надобности не приглашали.

Не успел отец сесть на свое обычное место за обеденным столом, как Молотов набросился на него с упреками. Его «возмутило», что Президиум ЦК не рассматривал и не утверждал тезисы-призывы по случаю юбилея Ленинграда.

— Все-таки здорово вы запрятали ленинградские тезисы, — упрекнул он отца.

Это «вы» резануло слух. Они с отцом уже три года, как перешли на ты и, несмотря на все столкновения и разногласия, не изменяли формы обращения друг к другу.

— Что это ты, Вячеслав, вдруг на вы перешел? — не удержался отец.

Оказалось, что Молотов обвиняет в «сокрытии» тезисов не одного отца, но и его «сообщника» Микояна.

— Но ведь мы никогда не утверждали подобные документы, ни при Сталине к 800-летию Москвы, ни недавние, посвященные 400-летию Башкирии, — удивился отец, — это дело обкомов. И вообще, ленинградские тезисы газеты опубликовали еще в апреле, а сейчас июнь на дворе.

Не отвечая отцу, Молотов сыпал новые претензии, требовал рассмотреть на Президиуме тексты предстоящих выступлений в

Ленинграде и затем придерживаться их слово в слово, буква в букву.

— А то получится, как у писателей, — почти выкрикнул Каганович, — или на выставке.

Услышав слово «выставка», Молотов тут же переключился с Ленинграда на недавнее выступление отца на открытии ВДНХ, тоже самовольное, не рассмотренное Президиумом ЦК. Молотова особенно возмутили признания, что половину всего скота содержат единоличники, что у них же отмечен наибольший рост продуктивности, что из-за отсутствия кормов молодняк пускают под нож. Говорить обо всем этом с трибуны он считал преступлением, раньше за такое… Тут Молотов запнулся, не зная, чем закончить фразу.

— Недопустимо, — пришел на помощь Вячеславу Михайловичу Каганович.

— Что недопустимо? — возмутился в свою очередь отец. — Правду народу говорить недопустимо?

К отцу присоединился Микоян. Сторону Молотова держали все остальные. Говорили перебивая, не слушая друг друга, потом перешли на крик. Молотов требовал немедленного официального открытия заседания Президиума ЦК. Отец не возражал, но сослался на предстоящую встречу с венгерскими журналистами в три часа дня. Переносить ее уже поздно, да и ненужные слухи поползут по Москве.

— Почему ты один встречаешься с журналистами? — возмутились обедавшие. — Это противоречит принципам коллективного руководства.

— Но мы все заранее обговорили на Президиуме, есть соответствующее решение, — парировал отец. — И не получится ли смешным, если мы всем Президиумом ЦК пойдем давать интервью журналистам?

Упоминание отцом решения Президиума ЦК возымело действие, открытие заседания отложили, но к журналистам, несмотря ни на что, решили идти всем скопом.

Оказавшись в этой суете рядом с Фурцевой, Микоян прошептал ей на ухо: «Надо срочно вызвать Жукова, Сабурова, Аристова, сообщить Серову, здесь затевается что-то нехорошее и очень опасное». Екатерина Алексеевна выскользнула из столовой, заскочила в ближайший свободный кремлевский кабинет и позвонила в Министерство обороны. Дежурный доложил ей, что маршал в Солнечногорске. Когда Фурцева дозвонилась туда, ей ответили, что Жукову уже звонил Маленков, и он срочно отбыл в Москву.

Видимо, после утреннего разговора у Георгия

Максимилиановича сложилось впечатление, что Жуков, если и не на их стороне, то в какой-то степени разделяет их позицию. Судя по всему, Маленков звонил Жукову примерно в то же время, когда Булганин вызывал из дома отца.

Так что Фурцева опоздала, в момент ее разговора с Солнечногорском Жуков, согласно его собственным словам, уже несся в Москву «со скоростью 120 километров в час, но он опоздал на целый час». На целый час по отношению к чему? Видимо, к началу обеда, потому что в три часа на встречу с венграми кроме отца отправились Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Микоян, Молотов, Первухин, Жуков, Брежнев, Шепилов, Фурцева — все наличные восемь членов и четыре кандидата в члены Президиума.

В выступлении на Пленуме ЦК Шепилов утверждал, что это он, обнаружив отсутствие Жукова на заседании Президиума ЦК, бросился его разыскивать, позвонил в Министерство обороны адъютанту, потом в секретариат Президиума ЦК Чернухе. Одновременно Шепилов признался, что на обеде в Кремле, где все начиналось, он не присутствовал. Концы с концами не сходятся.

Итак, в 3 часа началась встреча с венгерскими журналистами, но не с Хрущевым, как предполагалось, а с двенадцатью членами и кандидатами в члены Президиума ЦК. Такое ничем не объяснимое «нашествие» членов высшего руководства изумило венгров.

Долго рассаживались, мест интервьюируемым не хватило, пришлось принести стулья из соседних кабинетов. Первый вопрос задали о росте сельскохозяйственной продукции. Отец держал все цифры в голове, но не торопился отвечать, предоставил слово Булганину. Отца столько раз обвиняли, что он не дает Булганину рта открыть, вот пусть и поговорит. Булганин стал озираться, ожидая, что отец (или кто-нибудь другой) придет ему на помощь. Помощь не пришла.

— В результате принятых нами мер мы ожидаем существенное продвижение вперед, — промямлил он и, посмотрев на отца, вдруг произнес, — об остальном нам расскажет товарищ Хрущев.

Отец удовлетворенно обвел взглядом членов Президиума. И начал сыпать цифрами, приводить примеры. Журналисты, уткнувшись в блокноты, строчили перьями. Члены Президиума сидели молча, скучали. С самого края, у двери устроились «новички» Брежнев и Фурцева. Фурцева шепотом передала Брежневу просьбу Микояна связаться с Сабуровым, Кириченко, Серовым и еще с кем удастся из сторонников отца. Леонид Ильич

кивнул головой и, приоткрыв дверь, выскользнул в коридор. Тут Брежнев, по собственным словам, «припустил» к ближайшему свободному кабинету с телефоном.

Брежнев обожал «висеть» на телефоне, так он ощущал себя в центре событий. Не теряя времени, Брежнев заказал по спецсвязи Варшаву, вызвал Сабурова с совещания Исполкома Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), сказал: «С Хрущевым беда, бросай все и возвращайся в Москву». Леонид Ильич звонил не тому и не туда, он не знал, что Сабуров уже не с ними, а с «молотовцами».

Сабуров, вопреки ожиданиям Брежнева, выслушал его спокойно, на эмоциональный призыв «спасать Хрущева», никак не отреагировал, коротко поблагодарив за информацию, сказал, что немедленно вылетает в Москву. Максим Захарович торопился, если Хрущева снимут уже сегодня, он может опоздать к переделу власти. Своему заместителю по делегации, Косыгину, Сабуров сказал, что летит домой по семейным делам, что-то там случилось. Косыгину Сабуров не доверял, считал, что тот встанет на сторону Хрущева.

Затем Брежнев позвонил Кириченко. Последний в этот момент выступал на Пленуме ЦК Компартии Украины и подойти к телефону никак не мог. Брежнев настоял, чтобы Кириченко передали записку, пусть объявит перерыв, дело не терпит отлагательства.

— Чего тебе? — не здороваясь, пробурчал в трубку Кириченко, Брежнева он недолюбливал, считал вертопрахом.

— Алексей, тут такое началось, не могу тебе объяснить по телефону, — заторопился Брежнев, — бросай все и вылетай немедленно, а то поздно будет.

— Ничего не понимаю, — рассердился Кириченко.

— И понимать нечего, вылетай, а то поздно будет, — настаивал Брежнев.

— Ладно, буду, — согласился наконец Кириченко. Не столько слова, сколько панические интонации в голосе Брежнева подсказали ему, что следует торопиться.

«Я вылетел через час-полтора после звонка», — рассказывал впоследствии Кириченко.

Оставались Аристов и Серов. Аверкий Борисович пообещал приехать в Кремль, но посетовал, что на заседание Президиума его могут просто не пустить, не положено, но он постарается держаться поблизости. Генерал Серов в ответ на взволнованное сообщение Брежнева только хмыкнул. Он не сомневался: что-то подобное вот-вот должно случиться. Мухитдинову Брежнев не позвонил, скорее всего, просто забыл. Они друг друга почти не

знали. Беляеву с Поспеловым он тоже звонить не стал, с одной стороны — толку от них немного, а с другой — еще неизвестно, какую позицию они займут.

Покончив со звонками, Брежнев, как ему казалось, незаметно протиснулся в комнату, где уже заканчивалась встреча с журналистами.

Но это только ему казалось, что незаметно. В четыре часа, распрощавшись с венграми, все направились в зал заседаний Президиума. В коридоре Каганович легонько взял под руку Брежнева и с любезной подозрительностью в голосе осведомился:

— Куда это вы, товарищ Брежнев выскакивали? Где мотались?

Внезапное исчезновение Брежнева, всегда стремившегося не пропустить ни одного сколько-нибудь важного события, его насторожило.

— Извините, Лазарь Моисеевич, живот схватило, жуткое расстройство, целый час просидел в туалете, — соврал Брежнев.

Каганович недоверчиво покачал головой, демонстративно втянул ноздрями воздух и недобро хохотнул:

— Медвежья болезнь.

У Брежнева засосало под ложечкой и на самом деле резко и неожиданно прихватило живот. Не обращая больше внимания на Лазаря Моисеевича, он припустил по коридору в сторону кремлевского туалета. Каганович недоверчиво следил за ним, пока Леонид Ильич не скрылся за белой, крашенной масляной краской, дверью.

Если верить Леониду Ильичу, не один Каганович заметил его отсутствие, Молотов и Первухин тоже попытались выяснить, где он пропадал во время встречи венграми.

— Я ответил им на это должным образом, сказал, что у меня внезапное расстройство, и я все это время просидел в уборной, — через несколько дней рассказывал Леонид Ильич.

На самом деле Кагановича Брежнев не особенно беспокоил. Бог с ним, кому-то наверняка звонил, все это не важно, твердое большинство на их стороне. По мнению Кагановича, плохо другое: с этими журналистами потеряли целый час, а дело надо решить, как и уговаривались, сегодня до шести часов вечера, по крайней мере, до половины седьмого. В семь они идут на прием к египтянам. Оставалось два часа. Для соблюдения процедуры все члены Президиума должны выступить, иначе нельзя, какое же это тогда коллективное руководство? Они все так скрупулезно рассчитали: оперативно обсудить и проголосовать смещение Хрущева, заменить его Молотовым, одновременно в КГБ сменить Серова на Булганина. В течение последующих дней основательно

«почистить» кадры в Москве и через пару недель на Пленуме ЦК утвердить все изменения. И вот с первого же момента план забуксовал на венграх. Они впустую растратили время, потеряли темп.

Когда после группового интервью члены и кандидаты в члены Президиума ЦК переместились в зал заседаний, отец, как обычно, занял председательское место.

— О чем будем говорить? — властно произнес он. Такая расстановка в планы оппозиции не входила.

— Я выступаю по поручению группы товарищей, членов Президиума, — первым, как они условились заранее, начал говорить Маленков. — Мы предлагаем до разговора о поездке в Ленинград обсудить вопрос о товарище Хрущеве, и, поскольку речь идет лично о Хрущеве, я предлагаю, чтобы на этом заседании Президиума ЦК председательствовал не Хрущев, а Булганин.

— Правильно, правильно, — загалдели Молотов, Каганович, Булганин, Ворошилов и Первухин.

Микоян, Жуков, Фурцева и другие сторонники отца возражали, согласно протоколу председательствовать — обязанность Первого секретаря ЦК, то есть Хрущева, но их не слушали.

«Молотовцы» предложили голосовать. Так они тоже заранее условились. Проголосовали: шесть «молотовцев» — «за», двое, отец с Микояном — «против».

Отец молча пересел с кресла председательствующего на одно из свободных мест. На председательское кресло сел Булганин, выглядел он не очень уверенно: медлил, озирался по сторонам. Его замешательством воспользовался отец, сказав, что негоже обсуждать его, Первого секретаря ЦК, при неполном кворуме Президиума и в отсутствие других секретарей. Снова заспорили.

— Кворум есть: восемь членов Президиума плюс четыре кандидата. Что еще требуется? Текущие вопросы можно решать и в таком составе, — горячился Каганович.

Он лучше кого бы то ни было понимал, какую опасность таит в себе любое промедление.

— Ничего себе текущий вопрос, — возмутился отец. Его поддержал Микоян. Они настаивали: обсуждение, касающееся Первого секретаря ЦК, первого лица в государстве, требует не просто кворума, а присутствия абсолютно всех членов высшего руководства. Препирались почти два часа, время подходило к шести, а в семь надо быть на приеме. Кагановичу стало ясно, что сегодня судьбу отца уже не решить, а как дела сложатся завтра, одному Богу ведомо.

— Если вы отказываетесь вызывать остальных, мы вообще откажемся принимать участие в заседании, попросту уйдем отсюда, — вмешался в спор молчавший до того Жуков. «Молотовцы» могли проголосовать и без Жукова, к тому же, согласно уставу, он вообще не имел права голоса, и, тем не менее, его угроза, пустая по своей сути, возымела действие. Булганин дрогнул, повисла пауза, и ею немедленно воспользовался отец. Он повторил, что заседание необходимо перенести на следующий день, Президиум «далеко не в сборе, не все его члены присутствуют при обсуждении столь важных дел», а судя по постановке вопроса, придется принимать решения, голосовать. Отца поддержали его сторонники, вновь возникла словесная перепалка, все пошло по второму кругу.

— Кандидаты в члены Президиума пусть голосуют за отсутствующих членов, — цеплялся за соломинку Каганович.

Он твердо считал, надо проголосовать сегодня, и в этом варианте на их стороне большинство. Все четыре кандидата: Брежнев, Жуков, Фурцева и Шепилов стояли за отца, но голосов они могли отдать только три, взамен Кириченко, Сабурова и Суслова. Получалось пять против шести. «Молотовцы» выигрывали вчистую. Слова Кагановича потонули в шуме протеста, говорили, вернее, кричали, все разом, сторонники Хрущева требовали переноса совещания на следующий день и никакого голосования сегодня.

— Напоминаю, сегодня в семь вечера утвержденное Президиумом ЦК, — воспользовавшись паузой, вмешался в перепалку отец, сделав акцент на слове «утвержденное», — посещение приема в египетском посольстве по случаю Дня независимости. Президиум предписал, — отец снова подчеркнул «предписал», — появиться там мне, Булганину, Микояну и Шепилову. Наше отсутствие на приеме вызовет ненужные кривотолки. Час начала приема определен: 7 часов вечера.

— На сегодня назначено торжественное заседание, посвященное 75-летию Георгия Димитрова, — поддержала отца Фурцева.

Уже было объявлено, что она его откроет и останется в Президиуме.

«Молотовцы» заколебались, сор из кремлевской избы им выносить не хотелось, к тому же время позднее, а выступить должны все. Булганин, человек на их несчастье мягкий и нерешительный, казалось, с облегчением воспринял идею отодвинуть все неприятности на завтра, объявил перерыв в заседании Президиума ЦК до полудня 19 июня. Каганович попытался возразить, но, взглянув на часы, только махнул рукой.

Поручили Общему отделу ЦК вызвать на завтра отсутствовавших членов и кандидатов в члены Президиума, а также пригласить секретарей ЦК. До двенадцати они все должны успеть добраться до Москвы.

«Молотовцы» ничем не рисковали, Сабуров на их стороне, с его появлением их преимущество только укрепится, счет станет семь против четырех. Для удобства арифметических подсчетов напомню: на 18 июля 1957 года кандидатами в члены Президиума ЦК являлись секретари ЦК КПСС Брежнев, Фурцева, Шепилов, министр обороны Жуков, секретарь ЦК Компартии Узбекистана Мухитдинов и Председатель КПК Шверник. Секретарей ЦК, не членов и не кандидатов в члены Президиума насчитывалось всего три: заядлый рыболов Аверкий Борисович Аристов, «сельскохозяйственник» Николай Ильич Беляев и один из соавторов Сталина по «Краткому курсу истории ВКП(б)» и одновременно составитель записки о преступлениях Сталина академик-идеолог Петр Николаевич Поспелов. На Президиуме никто из них не голосует, а их присутствие, по мнению «молотовцев», придаст заседанию больше веса.

Около шести часов вечера Кремль опустел. Отец с Булганиным, в сопровождении Микояна и Шепилова, отправились в Египетское посольство на прием, Фурцева — в Большой театр, остальные… Что делали остальные, собрались ли обговорить стратегию поведения на завтра или попросту поехали на дачи ужинать, я не знаю. Скорее, первое.

А тем временем в Москву начали прибывать участники завтрашнего заседания. Первым из Киева прилетел Кириченко.

«18 июня идет Пленум Центрального Комитета Компартии Украины. Вдруг тревожный звонок: немедленно в Москву. Через час — максимум полтора, вылетаю. Прилетаю в Москву, еду в ЦК к товарищу Хрущеву, — делится своими воспоминаниями Алексей Илларионович. — Он на каком-то приеме. Я — в Секретариат. Все секретари ЦК в сборе.

— В чем дело, товарищи? — спрашиваю. Они мне все рассказывают о заседании: Хрущев не председательствовал и прочую “технологию”. Говорят, что Хрущева хотят отстранить, Серова — освободить.

У меня волосы дыбом. Снова звоню Хрущеву. Нет его ни дома, ни на даче. Звоню Булганину, знаю, что он друг товарища Хрущева, они всегда обнимаются: “Никита”, “Коля”.

— Николай Александрович, в чем дело? — спрашиваю его. — Говорят, Хрущев не председательствовал на Президиуме?

— Не председательствовал, — отвечает Булганин, — потому, что мы его обсуждаем. Завтра все узнаете. На завтрашнем

заседании все решим.

Вот такая ситуация».

Сабуров прилетел из Варшавы поздно ночью, около двух часов, и сразу поехал домой. Звонить он никому не стал. Его разыскал Микоян. Анастас Иванович не знал, что Михаил Захарович свой выбор уже сделал, и рассчитывал склонить Сабурова на сторону «хрущевцев». Договорились встретиться следующим утром. Они встретились в кабинете Микояна в Кремле, но разговора не получилось. Сабуров отвечал Микояну уклончиво: он против изменения состава Президиума, но в то же время…

Выйдя от Микояна, Сабуров бросился к Первухину разузнать, что происходило вчера и какова последняя расстановка сил, ему он доверял больше других. Благо кабинеты Микояна и Первухина располагались по соседству. Но Первухина на месте не оказалось, секретарь сказал, что он с раннего утра сидит у Булганина. Сабуров пошел к Булганину, но его на месте не нашел. Николай Александрович совещался с товарищами в «ореховой комнате», предбаннике зала заседаний Президиума ЦК. Там Сабуров обнаружил кроме Первухина еще Молотова с Маленковым и Кагановича.

Разговор шел о предстоящем заседании Президиума ЦК.

— Максим, если мы не уберем их сейчас… — без обиняков обратился Маленков к Сабурову.

Сабуров отметил, что он впервые за все эти годы назвал его Максимом, как бы подчеркивая наступившее между ними равенство. А то все: «Товарищ Сабуров, товарищ Сабуров». Он быстро сориентировался, на чьей стороне большинство и без колебаний подтвердил свою позицию: он с ними. От Хрущева следует избавиться.

В этот момент в «ореховую комнату» заглянул Микоян. Он перепутал время начала заседания Президиума, посчитал, что все должны собраться не к двенадцати, а в одиннадцать. Сейчас же уже 11.15.

Появление Анастаса Ивановича застало собравшихся врасплох. Булганин занервничал, спросил: «Откуда ты узнал, что мы здесь? Тебе Серов сказал?» Микоян в свою очередь ничего не понял и поинтересовался, не опоздал ли он. Продолжать разговор при Микояне «молотовцы» не сочли возможным, и Булганин предложил перейти в зал Президиума ЦК.

— Это было как раз в 11.30 утра. Мы все пошли на заседание, — спустя несколько дней Сабуров рассказывал Пленуму ЦК.

Мне непонятно, почему отец рассчитывал на поддержку

Сабурова. Даже не зная о его договоренности с «молотовцами», после провала плана 6-й пятилетки и освобождения Сабурова от должности председателя Госэкономкомиссии, он к тому не имел серьезных оснований. Скорее всего, отец слишком понадеялся на антисталинизм Сабурова. Но властные амбиции оказались сильнее, сталинисты-«молотовцы» обещали Михаилу Захаровичу возвращение в реальную власть, а Хрущев… Сабуров выбрал власть.

Суслов прилетел из Крыма рано утром, чуть ли не на рассвете. Поспать ему удалось всего часа два-три, в девять он уже появился в ЦК, как обычно собранный, сухой, неулыбчивый и сразу прошел в кабинет к отцу. Разговаривали они недолго, Суслов прекрасно разбирался в обстановке в Президиуме ЦК. Он с порога заверил отца, что тот может на него всецело рассчитывать, он не подведет. Собственно, выбора Суслову судьба не предоставила, в случае поражения отца его тоже прочили в министры, но не сельского хозяйства, а культуры. И тоже на первых порах, а там…

Утром 19 июня на «Красной стреле» из Ленинграда приехал Козлов. Чуть позже возвратился из Уфы Шверник.

А вот как Нуритдин Акрамович Мухитдинов описывает обстоятельства своего прибытия в Москву. «18 июня на рассвете позвонил Малин, заведующий Общим отделом ЦК, и передал поручение: срочно, сегодня же, прилететь в Москву, спецсамолет из правительственного отряда уже должен быть в Ташкенте. Помощник выяснил в аэропорту — действительно, самолет готов. Думая, что речь идет о торжествах в Ленинграде, я поручил управделами погрузить в самолет подарки».

Нуритдин Акрамович ошибся на один день. 18 июня, да еще на рассвете, с учетом того, что ташкентское время на три часа впереди московского, звонить ему никто не мог. В Москве тогда еще все спали, и ни отец, ни «молотовцы» не знали, что произойдет через несколько часов в кремлевской столовой. Такие ошибки естественны, в памяти сохраняются более или менее четко события, а уж даты приходится восстанавливать по архивным источникам. По себе знаю, насколько это кропотливое и трудное занятие. «Точно помнится», а начинаешь проверять… Так что ошибка в один день простительна.

Мухитдинову звонили из Москвы 18 июня, но поздно вечером или ночью, с учетом трех часов сдвига, в Ташкенте уже вполне мог забрезжить рассвет следующего дня. Перелет на Ил-14 из Ташкента в Москву занимал часов шесть-восемь.

В тот вторник я ничего не подозревал. В шестидесяти километрах от Москвы, в Загорске, жизнь текла как обычно —

наспех позавтракали стаканом кефира с хлебом и поспешили на завод. Там нас, практикантов, старались распихать по цехам так, чтобы мы своими паяльниками ничему не навредили, позволяли практиковаться на уже испорченных другими блоках. Вечером пообедали в привокзальном ресторане с нересторанными, божескими ценами.

19 июня 1957 года в 11.30 утра, с опережением на полчаса против объявленного вчера срока, теперь уже все участники действа собрались в зале заседаний Президиума ЦК, и все началось сначала. В качестве «разминки» снова заспорили, кому председательствовать.

«Булганин и другие товарищи пришли на заседание, но ни товарищ Хрущев, ни товарищ Булганин не садятся в кресло председателя. Маленков предлагает поручить ведение заседания Булганину, так как обсуждать предстоит Хрущева. Секретари ЦК кричат: “Почему Булганину? Почему обсуждать Хрущева? Давайте поговорим о Молотове”. Тут поднимается товарищ Молотов, он привык свысока смотреть на «молодых» и выговаривает Аристову: “Вы, товарищ Аристов, — не член Президиума. Президиуму решать, кого обсуждать, а кого нет”.

— Нам решать, — поддержал Молотова Сабуров, — ваше дело руки по швам и выполнять.

Скандал грозил разразиться не на шутку. Булганин стоял растерянный, явно не знал, как угомонить страсти.

— Голосуй, Николай, — пришел ему на помощь Каганович.

Проголосовали. Хрущев, как и вчера, оказался в меньшинстве. Булганин сел в торце стола».

Так как обсуждали персональный вопрос, постановили никаких записей не делать. На заседания Президиума ЦК стенографисток никогда не пускали, так повелось еще со Сталина, мало ли о чем зайдет речь в высшем ареопаге страны. Роль секретарей у Сталина по очереди выполняли Молотов или Маленков, в зависимости от того, кто в данный момент пользовался бо́льшим расположением. Они по знаку Сталина записывали то, что он считал возможным и необходимым доверить бумаге. После смерти Сталина заметки по ходу заседания Президиума ЦК на маленьких, похожих на библиотечные, бумажных карточках, делал так, как он сам считал нужным, Владимир Малин, заведующий Общим отделом ЦК КПСС, хранилища самых главных государственных и партийных секретов. На сей раз Малин по болезни в зале заседания отсутствовал.

Наконец Булганин официально объявил заседание Президиума ЦК открытым. Аристов тут же выбросил вверх руку и

почти крикнул: «Прошу слова». Вслед за ним подняли руки и другие сторонники отца, так они рассчитывали перехватить инициативу. Рассчитывали напрасно, Булганин в их сторону даже не глянул и, как еще до заседания договорились в «ореховой комнате», глухо произнес: «Слово предоставляется товарищу Маленкову, — чуть помедлил и зачем-то добавил: Прошу». Чувствуя за своей спиной большинство, Маленков, как это присуще слабохарактерным людям, повел себя более чем агрессивно, обвинил отца во всех смертных грехах, сопровождал слова энергичными жестами и даже несколько раз стукнул кулаком по столу. Одним из «грехов» Хрущева Маленков считал то, что тот не согласовал заранее с Президиумом ЦК свои ответы Даниэлю Шорру в телевизионном интервью 28 мая. (Но как можно согласовать ответы на не согласованные заранее вопросы?) Обвинения строились по принципу: чем больше, тем лучше. Разбираться будем после. Более всего Маленкову не понравилось, что отец позволил себе заявить, что мир на планете зависит от договоренности между СССР и США. Это, по мнению Маленкова, противоречило марксистской установке о росте противоречий между капиталистическими странами в эпоху империализма. В полемическом задоре Маленков немного ошибся, отец действительно так считал и сказал нечто подобное, но не 28 мая Шорру, а 10 мая главному редактору «Нью-Йорк Таймс» Тернеру Кэтлиджу. В мае же они успели поцапаться по этому вопросу с Молотовым. Маленков тогда промолчал, но суть разговора сохранилась у него в памяти. А вот когда, кому и какие отец давал интервью, он подзабыл. Отец тогда давал по два-три интервью в месяц. Не мудрено и запутаться.

Где-то в это время, около полудня, в Москву прилетел Мухитдинов. Напомню, Мухитдинов считал, что летит на празднование 250-летия Ленинграда. Приземлился самолет на Центральном аэродроме, расположенном напротив Путевого Петровского дворца на Ленинградском шоссе. Там тогда базировался правительственный авиаотряд. У трапа самолета Мухитдинову передали, что его ждут в Кремле, ехать надо незамедлительно.

«Это было не совсем понятно, — с восточной вежливостью отмечает Мухитдинов, — но я решил не уточнять, только попросил подарки для Ленинграда отвезти в Управление делами ЦК. В Кремле захожу в зал заседаний Президиума. За столом председательствующего — не Хрущев, а Булганин. Никита Сергеевич сидит в общем ряду, справа. На мое приветствие не ответили, сел на свободное место за длинным столом. Огляделся вокруг: кроме членов Президиума, кандидатов в члены

Президиума и секретарей ЦК в комнате никого нет.

Когда я вошел, говорил Маленков, он обвинял в разных грехах персонально Хрущева: он-де извращает и дискредитирует политику партии, игнорирует правительство».

Затем Маленков обвинил Хрущева в том, что он разгласил перед беспартийными писателями «секрет» о своих разногласиях с Молотовым, что призвав «догнать и перегнать США по производству молока и мяса на душу населения… Он вступил в противоречие с линией партии на преимущественное развитие тяжелой промышленности». Последнее из уст Маленкова прозвучало пикантно, всего года тому назад, в январе 1955 года, освобождая Георгия Максимилиановича от поста Председателя Совета Министров СССР, ему предъявляли эти же претензии. Дальше Маленков обвинил отца, что он-де «подавляет своей энергией других членов Президиума ЦК и у нас уже нет коллективного руководства.

— Если бы дело обстояло так, то сегодня мы не собрались бы, и ты бы ничего, как было при Сталине, не говорил, — перебил Маленкова Хрущев.

Георгий Максимилианович ему не ответил и продолжил перечислять прегрешения по заранее заготовленной бумажке: он слишком много разъезжает по регионам, слишком часто выступает, газеты переполнены его речами и, тем самым, по мнению Маленкова, Хрущев насаждает свой собственный культ и так далее, и тому подобное».

«В заключение, — как вспоминал Жуков, — Маленков потребовал освободить Хрущева, от обязанностей Первого секретаря ЦК…

После Маленкова взял слово Каганович. Речь его пылала злобой… Он сказал: “Ну какой это Первый секретарь ЦК? Он в прошлом троцкист, боролся против Ленина, политически малограмотен. На одном из недавних заседаний Президиума Хрущев заявил: «Надо еще разобраться с делами Зиновьева — Каменева и других, «то есть, троцкистов. Сделанное Хрущевым заявление — рецидив”».

Каганович говорил, вернее, читал, свое выступление по заранее заготовленному тексту и обвинял отца в троцкизме не в полемическом задоре, а на полном серьезе и не без формальных оснований. В 1923–1924 годах, еще работая на руднике, Хрущев, как и другие молодые романтики, поддерживал идеи перманентной революции Троцкого.

Маленков с места поддакнул Кагановичу, заявил, что Хрущев «сбивается на зиновьевское отожествление диктатуры пролетариата и диктатуры партии», неправильно понимает

взаимоотношения партии и государства. Сабуров выразил сомнение: «Кто может подтвердить “троцкизм” Хрущева?» Каганович сделал вид, что слов Сабурова не расслышал.

Смысл обвинений Кагановича и Маленкова прозрачен: Хрущев ставит вопрос о правомочности судебных процессов 1930-х годов, а на самом деле он сам не без греха. Согласно их логике, надо не Зиновьева с Троцким реабилитировать, а осудить, или еще лучше, судить Хрущева. Собственно, к этому они и вели дело.

Отец, по словам Кагановича — я снова обращаюсь к записям Жукова, — «запутал дело сельского хозяйства». В качестве обоснования Лазарь Моисеевич привел уже упоминавшиеся мною факты из выступления отца на открытии ВДНХ, причем цифры Кагановичу запомнились, а вот, что он их цитирует «по Хрущеву», Лазарь Моисеевич забыл. Иначе вряд ли решился бы их произнести.

«Не знает Хрущев и дело промышленности, вносит путаницу в его организацию. На месте ему не сидится, все мотается по стране», — сыпал обвинения Каганович.

Правда, последнего им бы с Маленковым лучше не говорить, — секретарям обкомов, главам республик нравилось, что Хрущев их не забывает.

Следуя за выступавшими, и мне приходится повторяться: все три дня, пока шло заседание, они говорили, за редкими исключениями, одно и то же.

В своих воспоминаниях Каганович посвятил целую главу спорам на июньском заседании Президиума ЦК. Он подробно излагает, кто и что говорил, конечно, так, как ему все это представлялось. Зная Кагановича, считаю, что и в 1957 году он мыслил примерно так же, как в момент написания мемуаров, и эмоции им владели такие же. Отца он к тому моменту уже почти ненавидел.

«Шапка на нем встала торчком, — язвит Каганович в начале своей речи, — я знал Хрущева как человека скромного, упорно учившегося, он рос и вырос в способного руководящего деятеля в республиканском, областном и союзном масштабе…

После его избрания Первым секретарем все больше стали проявляться его отрицательные черты… субъективистский, волюнтаристский подход… Он неоправданно вмешивается в работу Правительства, командует через голову Совета Министров, неэтично ведет себя».

И дальше все в таком же духе. Каганович в своих записках употребляет формулировки осуждения отца: субъективизм, волюнтаризм, позаимствованные из брежневских времен. В документах тех лет, я имею в виду главным образом стенограмму

июньского, 1957 года, Пленума ЦК, такие термины отсутствуют.

«Обвинив Хрущева в тщеславии, — вспоминает Жуков, — Каганович присоединился к Маленкову в требовании освободить Хрущева от обязанностей Первого секретаря и назначить его на другую работу». Тогда-то впервые прозвучало: министром сельского хозяйства. Каганович особо подчеркнул: «Президиум ЦК сегодня в сборе, и мы решим вопрос о Хрущеве сегодня». Первым секретарем ЦК Каганович предложил избрать Молотова.

Каганович также потребовал немедленно, прямо сейчас, на этом заседании, решить вопрос и о Председателе КГБ, заменить Серова на Булганина, по совместительству. О том же говорил Маленков, но не очень внятно. Каганович же считал вопрос о Серове чуть не наиболее важным».

Отец яростно оборонялся. Его противники, со своей стороны, старались не позволить ему завладеть инициативой, постоянно перебивали, не давали говорить, но без особого успеха. Ни одного из принципиальных обвинений отец не признавал, свою концепцию реформирования страны считал правильной. Соглашался с мелочами, и то не со всеми. Троцкистские заблуждения отец не отрицал, но напомнил Кагановичу, что еще в тридцатые годы он сам рассказал ему обо всем. Каганович тогда посоветовал промолчать, но отец все же пошел к Сталину, и тот, в 1937-м, в разгар репрессий, не счел эту историю заслуживающей внимания.

После выступления Кагановича в ход пошла тяжелая артиллерия — эстафету принял Молотов. Мухитдинов отметил, что говорил Молотов «в присущей ему четкой, лаконичной манере». Ничего нового к словам Маленкова и Кагановича он не добавил и добавить не мог. Для начала Молотов обвинил отца в некомпетентности во внешней политике, «безответственных» высказываниях, ему особенно досталось за уже упоминавшееся майское интервью «Нью-Йорк Таймс».

Чтобы лучше понять, о чем разгорелся сыр-бор, процитирую отца дословно: «Если говорить более определенно о международной напряженности, то дело, очевидно, сводится, в конечном счете, к отношениям между двумя странами — Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Если Советский Союз договорится с Соединенными Штатами, то нетрудно будет договориться с Англией, Францией и другими странами».

Маленков упомянул об этом интервью походя, в ряду других претензий, а вот Молотов подошел к нему обстоятельно, он считал заявление отца ошибочным и по существу, и по тактике, не соответствующим одобренной в 1921 году X съездом партии,

политике в международных делах. Санкции на произнесение крамольных слов от Президиума ЦК отец не получал, что тоже шло вразрез с резолюцией X съезда.

«Бороться с империализмом и побеждать его мы можем только используя противоречия в лагере империализма, а не воображая, что можно договориться с Соединенными Штатами», — произнося эти слова Молотов даже задохнулся от возмущения.

Особенно резко Молотов прошелся по целине и совнархозам, сказал, что тем самым Хрущев «раздает республикам российские богатства». Мухитдинова слова Молотова резанули по самому сердцу, как будто они, республики, чужие.

Призыв догнать США по производству мяса Молотов, вслед за Маленковым, объявил правым уклоном, «бухаринщиной», игнорирующей преимущественную роль тяжелой промышленности. Обвинения в «правом уклоне» прозвучали зловеще. Их Сталин приклеивал к любому, с кем намеривался расправиться. Так, в 1952 году на первом же Пленуме ЦК после XIX съезда партии он приписал «правый уклон» самому Молотову «за предложение, сделанное в 1946 году, повысить заготовительные цены на зерно до уровня закупочных, то есть вместо 10 копеек платить 15 копеек».

Отец попытался возразить Молотову, но на него набросились Каганович с Маленковым, им поддакивал Ворошилов. Завязалась свара. «Маленков… Я сидел рядом с ним, — вспоминает Жуков, — в крайне нервном состоянии так стучал кулаком по столу, что стоявший передо мной графин с водой подпрыгивал и чуть не перевернулся». По словам Мухитдинова, у выступавших логики особой не просматривалось, «скорее перепалка, взаимная ругань», напомнившая ему восточный базар.

Наконец все угомонились, и Молотов закончил выступление, поддержав предложение Кагановича о разжаловании отца в министры сельского хозяйства. Он также посчитал необходимым избрать секретарями ЦК Маленкова или Кагановича.

После Молотова выступал Ворошилов. Говорил он минут сорок, но о чем, впоследствии не смог вспомнить никто. Естественно, Климент Ефремович, как они условились заранее, присоединился к требованию сместить отца, заменить его Молотовым.

Затем Булганин предоставил слово самому себе. Что запомнилось из его выступления, так это обвинение отца в том, что во время их визита в Финляндию он с президентского приема отправился с Урхо Кекконеном в сауну и тем самым уронил достоинство советского руководителя.

— Это ты серьезно, Николай? — удивился отец. — Вы что думаете, я ради удовольствия жарился в этой душегубке в Финляндии? Я же не мыться туда ходил, а вел доверительные переговоры с президентом Финляндии, с руководителем соседней, пусть маленькой, но очень важной для нас страны.

— На трезвую голову с главой буржуазного государства, да еще ночью, в баню не пойдешь, — зло выкрикнул Молотов.

Говоря о других прегрешениях отца в международных делах, Булганин попенял ему за обращение к королю Афганистана «Ваше Величество», чем он якобы уронил свое достоинство и достоинство нашей страны.

— А как же мне к нему обращаться? Товарищ король? — не выдержал отец.

— Такое обращение из уст Первого секретаря Коммунистической партии звучит более чем неприемлемо, — и тут не утерпел Молотов.

Закончил Николай Александрович без неожиданностей: Хрущева — в министры, на его место посадить Молотова.

Первухин с Сабуровым от выступлений отказались. И так все ясно, что зря языком молоть, голосовать надо. Сторонники отца возмущенно шумели, требовали слова. Поколебавшись, Булганин остановил свой выбор на Жукове.

Жуков хорошо знал, кто чего стоит. Нагляделся на них за годы войны, особенно в 1941-м. И не только в Кремле. С Ворошиловым они сталкивались в сентябре в Ленинграде, куда Жукова отправили в пожарном порядке спасать разваленный «первым маршалом» фронт. Он вообще не уважал Ворошилова, предвоенного наркома обороны, преуспевшего лишь в одном — в разгроме в 1930-е годы собственных Вооруженных сил. Не забыл Жуков и октябрьских встреч с Молотовым и Ворошиловым под Москвой. Посланные Сталиным разобраться в причинах наших новых поражений, они истерично обвиняли командующего фронтом генерала Конева в измене, грозили ему судом.

А чего стоили звонки Молотова в штаб фронта после того, как он, Жуков, вступил в командование защищавшими Москву войсками. В самые тяжелые дни московской обороны у Молотова не нашлось других слов, кроме как угрожать расстрелом.

Булганин в те дни был у него членом Военного совета фронта. Ничего плохого за ним не замечалось, но и хорошего сказать было нечего: ни рыба ни мясо. Потом они вместе работали в Министерстве обороны. И тоже не сблизились, не стали ни друзьями, ни единомышленниками.

Остальных Жуков знал меньше, но связывать свою судьбу с ними не намеревался. Свой выбор Жуков сделал сознательно, о

чем сказал отцу еще накануне, и решил стоять до конца. Не раз он попадал в, казалось бы, безвыходное положение и всегда выходил победителем.

Жуков завершил свое выступление словами: «Армия не поддержит смещения Хрущева, изменений в руководстве ЦК».

«Все переглянулись, — отмечает Мухитдинов, — его слова прозвучали угрозой».

После Жукова говорил Шверник. У себя в КПК он привык давать определения всевозможным деяниям и, не колеблясь, назвал «молотовцев» «антипартийной группой». Булганин глянул на него с испугом, в 1930-е годы за подобным обвинением следовали весьма предсказуемые последствия. В тот момент он впервые пожалел, что связался с Молотовым, мог бы в свое удовольствие сосуществовать с Хрущевым, да вот бес попутал. Но отступать теперь поздно, да и незачем отступать, у них абсолютное большинство.

Молотов зло зыркнул из-под пенсне на Шверника, хотел было подать реплику, но сдержался. Николай Михайлович, казалось, не заметил, какую реакцию вызвали его слова. Не повышая голоса, без эмоций он закончил говорить и опустился на свой стул.

Булганин объявил перерыв, пора обедать. В кремлевскую столовую отправились все вместе — противники не хотели терять друг друга из виду. В коридоре Молотов догнал Шверника и, заикаясь от волнения и злобы, пообещал, что «антипартийная группа» ему дорого обойдется. Николай Михайлович попросил ему не угрожать, он в партии состоит подольше Молотова и может говорить то, что считает правильным.

— Ну, это мы еще посмотрим, — прошипел Молотов и отошел к Кагановичу, который энергично втолковывал Булганину, что заседание следует вести жестче, не рассусоливать, не позволять говорить кому не следует. Николай Александрович согласно кивал, но ссылался на внутрипартийную демократию, выступить обязаны все желающие. После обеда Первухин, на правах старого знакомого, пригласил Мухитдинова к себе в кабинет, располагавшийся поблизости, в том же коридоре. Они подружились в период строительства в Ташкенте Института ядерных исследований, которым из Москвы руководил Первухин.

Разговор, естественно, зашел о Хрущеве, Первухин склонял Мухитдинова на свою сторону, но Мухитдинов уже принял решение и ответил твердо: «Нет».

— Встретимся на Президиуме, — от приветливости Первухина не осталось и следа.

Первухин беседовал с Мухитдиновым, а Булганин предложил зайти к нему в кабинет Жукову. По дороге в столовую

«молотовцы» договорились попытаться после обеда склонить на свою сторону «молодежь», то есть избранных на XX съезде кандидатов в члены Президиума ЦК. В кабинете Булганина уже сидели Молотов и Маленков. Как складывался разговор, его участники впоследствии трактовали различно. Жуков утверждал, что он уговаривал их одуматься, не настаивать на смещении Хрущева, ограничиться обсуждением. Молотов, Булганин и Маленков, в свою очередь, заявляли, и Жуков их не опровергал и даже предложил обдумать возможность низведения роли Первого секретаря ЦК до чисто технической, переименовать ее в «Секретаря ЦК по общим вопросам» с весьма расплывчатыми полномочиями. «Молотовцы» истолковали позицию Жукова в свою пользу, а сам Жуков не объяснил, что он имел в виду. На Пленуме ЦК 22 июня 1957 года, отвечая Маленкову, он бросил реплику: «Подумать, а не отстранять…» и все. На что Маленков ему резонно ответил: «Мы сидели и обдумывали…»

После перерыва пришла очередь говорить Микояну. Начал он без особой охоты.

В разговоре с Мичуновичем отец посетовал, что в тот день, 19 июня, Микоян держался пассивно, демонстрировал нейтралитет. «Товарищ Микоян, верный своей тактике маневрирования, сказал, что верно, есть недостатки в работе Хрущева, но они исправимы, поэтому он считает, что не следует освобождать Хрущева», — пишет Каганович.

«В поддержку Хрущева выступили Микоян, Суслов, Кириченко», — вспоминает Мухитдинов.

А вот как говорит о собственной позиции сам Микоян: «В июне 1957 года я решительно встал на сторону Хрущева против всего остального состава Президиума ЦК, который фактически уже отстранил его от руководства работой Президиума. Хрущев висел на волоске. Почему я сделал все, что мог, чтобы сохранить его на месте Первого секретаря? Мне было ясно, что Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов недовольны разоблачением преступлений Сталина. Победа этих людей означала бы торможение процесса десталинизации партии и общества. Маленков и Булганин были против Хрущева не по принципиальным, а по личным соображениям. Маленков был слабовольным человеком, в случае их победы он подчинился бы Молотову, человеку очень стойкому в своих убеждениях. Булганина эти вопросы вообще мало волновали. Но он тоже стал бы членом команды Молотова. Результат был бы отрицательный для последующего развития нашей партии и государства. Нельзя было этого допустить.

Я понимал, что характер Хрущева для его коллег — не сахар,

но в политической борьбе это не должно становиться решающим фактором, если, конечно, речь не идет о сталинском методе сведения счетов со своими подлинными и воображаемыми оппонентами. К Хрущеву такого рода аналогии не относились. В период борьбы на XX съезде мы с ним сблизились, оказались соратниками и единомышленниками. Хотя трудности его характера уже чувствовались. Но я видел и его положительные качества. Это был настоящий самородок, который можно сравнить с неограненным, необработанным алмазом. При своем весьма ограниченном образовании он быстро схватывал, быстро учился. У него был характер лидера: настойчивость, упрямство в достижении цели, мужество и готовность идти против сложившихся стереотипов. Правда, был склонен к крайностям. Очень увлекался, перебарщивал в какой-то идее, проявлял упрямство и в своих ошибочных решениях или капризах. К тому же, навязывал их всему ЦК, а после того, как выдвинул своих людей, делал ошибочные решения как бы “коллективными”. Увлекаясь новой идеей, он не знал меры».

В своих книгах «Никита Хрущев: Кризисы и ракеты» и «Рождение сверхдержавы. Книга об отце» я писал: «Микоян занял глубоко продуманную, основательную позицию. Он, антисталинист по убеждению, и отца поддерживал по убеждению. Вернее, не поддерживал, они боролись за одну идею, и им оставалось или вместе победить, или вместе погибнуть». Я выдавал желаемое за действительное. Как представляется теперь, без особого основания. Но об этом чуть позже.

Что на самом деле говорил Микоян 19 июня 1957 года, мы уже не узнаем.

Затем, согласно воспоминаниям Мухитдинова, слово предоставили Брежневу. В 1952 году на XIX съезде его избрали в расширенный Президиум и Секретариат ЦК. Казалось, начался крутой взлет, но после смерти Сталина все радикально изменилось. Президиум и Секретариат резко сократились в объеме. Брежнев оказался не у дел. Его пристроили начальником Политуправления Военно-морского флота, там нашлась вакансия. Шло время, дела стали поправляться. Отец с симпатией относился к Брежневу. Хотя восковая податливость его характера, несамостоятельность — не лучшие рекомендации, но работником он слыл деятельным. К 1957 году Брежнев вернулся в ЦК, снова стал секретарем, пока еще не членом, а только кандидатом в члены Президиума ЦК.

Брежнев, совсем недавно работавший секретарем ЦК Компартии Казахстана, заговорил об освоении целины, положительных сдвигах в сельском хозяйстве, об улучшении

снабжения населения. Он не солидаризировался напрямую с Хрущевым, не встал открыто на его сторону, но и его оппонентов не поддержал.

Положительное упоминание Брежневым целины взъярило противников отца. Целина причислялась к его главным упущениям, а тут какой-то Брежнев. Страсти вновь разбушевались не на шутку, все разом, перебивая друг друга, закричали. Каганович грубо оборвал Леонида Ильича: «Разговорился, восхваляешь Хрущева, раздуваешь… Ты, вместе с ним дискредитируешь партию, мы тебя за Можай загоним, забыл, как в ПУРе[43] сидел? Живо вернем обратно».

Леонид Ильич покачнулся, стал хвататься руками за спинку кресла, медленно осел на пол. Охрана унесла потерявшего сознание незадачливого бойца в соседнюю комнату. Вызвали врача. Брежнева привели в чувство, и он уехал на дачу. На заседание Президиума он больше не приходил ни в тот день, ни в последующие.[44]

На людях Брежнев появился, когда все окончательно прояснилось, уже на Пленуме ЦК.

Активно, я бы сказал, агрессивно повел себя на заседании не так давно (в июле 1955 г.) избранный членом Президиума ЦК Кириченко. Секретаря Украинского ЦК «старики» не считали ровней. Алексей Илларионович придерживался иного мнения и сдаваться не намеревался. Кириченко грубо, наотмашь отбивал все обвинения, не особо утруждая себя подбором аргументов. Он знал, что терять ему нечего, без Хрущева нет будущего и у него.

Как и что говорил Суслов, я просто не знаю. Не запомнилось его выступление ни Мухитдинову, ни Кагановичу, ни Микояну.

Затем, со слов Аристова, в поддержку отца выступили: он сам, Беляев, Фурцева, Поспелов.

К концу послеобеденного заседания из имевших право голосовать членов Президиума ЦК выступили все, кроме Сабурова с Первухиным и самого Хрущева. «Молотовцы» договорились слова ему не давать, пока все не определятся. Они боялись, что отцу с его ораторскими способностями и силой убеждения удастся развернуть ход заседания в свою пользу. И вообще, они его боялись.

Первухин с Сабуровым рассчитывали отмолчаться, но тщетно. «Перед голосованием, намеченным на сегодняшний вечер, высказаться обязаны все, нечего по кустам отсиживаться», — категорически заявил Молотов.

«Они сильно на нас нажимали», — пожалуется впоследствии Первухин.

Первым из этих двоих говорил Сабуров. Отец, вопреки

логике, все еще продолжал надеяться, что Сабуров, если и не выступит на его стороне, то хотя бы останется нейтральным. Не поддержал же он Кагановича в его обвинениях отца в троцкизме. Но надеялся отец напрасно. Как вспоминал Мухитдинов, Сабуров в резких выражениях обвинил Хрущева в провалах «по линии планирования, финансирования народнохозяйственных дел», то есть в том самом, за что его самого, Сабурова, всего полгода назад отрешили от Госплана. Вел себя Сабуров агрессивно, агрессивнее других, может быть, за исключением Кагановича. Сабуров присоединился к предложению отрешить Хрущева от должности и назначить его министром сельского хозяйства.

Сабуров закончил говорить без чего-то шесть. Как и накануне, члены Президиума в тот вечер собирались на важное протокольное мероприятие. Югославский посол устраивал прием в честь гостившего в Советском Союзе госсекретаря по вопросам обороны, генерала армии Ивана Гошняка. Югославам заранее пообещали, что к ним, наряду с маршалом Жуковым, придут Хрущев, Булганин и еще кто-нибудь из членов Президиума ЦК. Вот и пришлось выступление Первухина отложить до утра. Противники отца перенесли окончание заседания на следующий день с легким сердцем, большинство уже определилось, победа сомнений не вызывала, проголосуем не сегодня, так завтра. Завтра даже лучше, к тому времени Маленков обещал подготовить соответствующую резолюцию. Отцу оттяжка в голосовании пришлась очень кстати, он понял, что на Президиуме каши не сваришь. И он решил действовать. «Молотовцы» и не подозревали, что дело не только не приближается к развязке, а самое интересное только начинается.

С решением, кому четвертым идти на прием к югославам, вышла небольшая заминка. Никто из «молотовцев» идти с Хрущевым на прием особого желания не выразил, и отец тоже не жаждал их компании. На выручку, как всегда, пришел Микоян. Вчетвером они отправились на прием.

«Молотовцы» решили собраться в Кремле у Булганина часов в восемь, как только он вернется с приема. Со слов Первухина, там, кроме него самого, присутствовали Булганин, Маленков, Молотов, Каганович, Сабуров. Ни Ворошилов, ни Шепилов не пришли. Ворошилова, скорее всего, просто не позвали, в его позиции никто не сомневался, а проку от него при обсуждении столь «горячего» вопроса никакого, он только внесет сумятицу. Шепилов же к тому моменту еще не определился.

Карьера Шепилова складывалась неровно: он пробивался почти на самый верх, и тут, по совершенно не зависящим от него причинам, успех оборачивался катастрофой. Сразу после войны

его заметил Жданов, в то время второй после Сталина человек в стране. 18 сентября 1947 года он сделал Шепилова заместителем начальника Управления пропаганды и агитации ЦК, заместителем Суслова. «Фактически вам придется вести все дело, Суслов сейчас занят другими делами (якобы говорил Шепилову Жданов. — *С. Х.*). Уберите с идеологического фронта мелкую буржуазию, привлеките людей из обкомов, из армейских политработников и дело пойдет наверняка… 18 сентября 1947 года началась новая полоса в моей жизни». Когда речь идет не об отце, Шепилову можно верить, с поправкой, конечно, на неимоверное самомнение автора.

Шепилов резко пошел в гору, но тут Жданов умер, следом грянуло «Ленинградское дело». В 1950 году Шепилова уволили со всех постов, он со дня на день ждал ареста. Ареста не последовало. Продержав Шепилова между жизнью и смертью примерно с год, Сталин вернул его в ЦК, но уже не начальником, а рядовым инспектором Агитпропа. Приходилось все начинать сначала. Шепилову снова повезло, Сталин занялся экономическими проблемами социализма, поручил ему, специалисту по политэкономии социализма, написать «правильный» учебник. Они даже несколько раз встречались. В результате на XIX съезде партии Шепилова избрали членом ЦК. В 1952 году Сталин назначает его главным редактором газеты «Правда» и тут же в дополнение к «Правде» делает Шепилова председателем Постоянной комиссии ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Кабинет ему отводят на пятом этаже здания ЦК, «который после реконструкции числился кабинетом Сталина, — с гордостью отмечает Шепилов, — но Сталин работал в Кремле, и свой пустовавший кабинет отдал Шепиловской комиссии». Воистину, скромностью Шепилов не страдал.

Отсюда, с самого привилегированного пятого этажа, — прямая дорога в Секретариат, а там и в Президиум ЦК. Но… «5 марта 1953 года, около 10 часов вечера зазвонил кремлевский телефон.

— Товарищ Шепилов? Говорит Суслов. Только что скончался товарищ Сталин».

В третий раз приходилось начинать сначала. Правда, Шепилов оставался главным редактором в «Правде», пока новое начальство не подберет туда кого-нибудь из своих. Следовательно, требовалось срочно стать своим. Но своим у кого? У Молотова? У Берии? У Маленкова? Шепилов поставил на Хрущева. С тех пор они тянули с одной упряжке. Отец все больше доверял ему, а Шепилов старался оправдать его доверие. И оправдывал. Шепилов искренне писал Сталину «правильный»

учебник политэкономии социализма. Теперь он также искренне помогал отцу писать доклад, разоблачавший преступления Сталина. Шепилов вновь шустро заскакал по ступенькам партийной иерархии: из главных редакторов «Правды» в секретари ЦК по культуре, пока под началом Суслова, но только пока. Вскоре Шепилов, уже вместо Молотова, становится министром иностранных дел. И снова с повышением переходит в секретари ЦК, уже в ранге кандидата в члены Президиума ЦК, уже не под Сусловым, а наравне с ним. Пока наравне… И вот на тебе! Так некстати вылезли эти Молотовы с Маленковыми с затеей сбросить Хрущева. Снова придется начинать сначала. Если, конечно, вовремя не сориентироваться. Хрущев силен, и если он победит, то его, Шепилова, будущее обеспечено. А если не победит? К концу второго дня заседаний Президиума ЦК Шепилову становилось все яснее: Хрущев проигрывает, большинство вот-вот проголосует за его отстранение, и тогда все пропало.

Впоследствии сторонники отца обвинили Шепилова в измене с первого дня, с самого начала. Сам Шепилов в своих воспоминаниях говорит то же самое, он не только с первого дня состоял в оппозиции, но являлся ее идеологом. Тем самым Шепилов подводит под свою измену принципиальную базу. Я не склонен доверять ни тем, ни другим.

Победителям изменник Шепилов представлялся изначально двурушником, и они не собирались копаться в извивах его побуждений. Самому ему не оставалось ничего иного, как записаться, несмотря на всю парадоксальность такого заявления, в принципиальные и давние оппоненты отца. Не мог же он публично признаться в примитивном карьеризме? Итак, вечером 19 июня, Шепилов в кабинете Булганина отсутствовал, сидя на даче, перебирал варианты, прикидывал, на кого ставить и когда.

Тем временем «молотовцы» в Кремле определили стратегию на следующий день.

Почувствовав, что замена отца Молотовым на посту Первого секретаря ЦК вызывает сомнения у их не очень стойких сторонников Сабурова и Первухина, хитрый Маленков предложил подкорректировать план: «вообще упразднить пост Первого секретаря ЦК КПСС, как это сделал Сталин после XIX съезда партии», и одновременно «укрепить Секретариат, как уже предлагалось Молотовым, Кагановичем и им самим», Хрущева из секретарей ЦК не выгонять, «оставить на первое время и одновременно сделать министром сельского хозяйства, а там посмотрим». (Я цитирую выступление Первухина на Пленуме ЦК). «На заседаниях Президиума ЦК председательствовать по очереди»

и настоять на снятии с КГБ генерала Серова. Последнее Маленков подчеркнул особо. Никто Маленкову по существу не возражал, только Каганович засомневался, как в ЦК примут Маленкова, уж очень худая у него там репутация, особенно в связи с «Ленинградским делом».

— Сейчас это не важно, — отмахнулся от него Маленков, — главное разрешить проблему в целом, а там посмотрим, ставить Маленкова в секретари ЦК, или ты один с Хрущевым справишься.

Каганович не возражал, с Хрущевым он справится. Затем около часа обсуждали детали завтрашнего заседания, кому, что, когда говорить. Один только Сабуров, предвидя незавидное будущее, уготованное Хрущеву, вдруг жалостливо произнес: «Необходимо, когда будем решать, не допустить мщения в отношении тех, кто думает по-другому». Ему никто не ответил. И Молотов, и Каганович, и Маленков представляли отчетливо: никакие сантименты здесь не уместны.

Затем, по свидетельству Сабурова, «зашла речь о решении Президиума ЦК. Маленкову и Кагановичу поручили составить резолюцию». Маленков заметил, что неплохо к написанию резолюции привлечь Шепилова, если, конечно, он согласится. Во время вечернего заседания он внимательно следил за Шепиловым, видел, как тот нервничает. Маленков хотел использовать предложение вместе поработать над резолюцией в виде наживки, посмотреть, клюнет ли Шепилов.

Идея Маленкова всем понравилась, но ее реализацию отложили на следующее утро. Обсуждать столь деликатное дело следует, глядя в глаза собеседнику, а Шепилов уже давно на даче. Ехать к нему Маленков считал ошибкой, еще спугнешь ненароком, а телефону такие дела не доверяют. Поговорить с Шепиловым вызвался все тот же Маленков, а тем временем они с Лазарем Моисеевичем набросают основные тезисы завтрашнего решения. Разговор занял около трех часов, примерно в одиннадцать вечера «молотовцы» разъехались из Кремля.

Отец тоже не дремал, он собрал своих сторонников в ЦК, естественно, тоже по возвращении с приема. Что происходило в кабинете отца и вокруг него подробно записал Мухитдинов.

По окончании заседания в кремлевском коридоре он столкнулся с Сусловым.

— Никита Сергеевич приглашает, — понизив голос, произнес Суслов. — Могли бы вы зайти к нему?

Мухитдинов — выдвиженец отца, и такое приглашение у него удивления не вызвало, он согласился.

«Я отправился в кабинет Хрущева в ЦК на Старой площади, — продолжает Мухитдинов. — Когда я вошел, там уже собрались

Суслов, Жуков, Фурцева».

Отсутствовали Микоян, Шепилов, Брежнев, которые тоже числились в сторонниках отца. Мы уже знаем, что Брежнев на даче сосал валидол, приходил в себя после стычки с Кагановичем. Или просто выжидая, отсиживался на даче.

Шепилов тоже остался на даче, как я уже написал, его раздирали сомнения. А вот почему отсутствовал Микоян? Они же вместе с отцом ходили на прием, вместе могли бы приехать в ЦК. Но не приехали. Каждый сел в свою машину. Отец отправился в ЦК, Анастас Иванович — на дачу.

Отец чувствовал себя неспокойно, не был уверен в истинном настроении собравшихся, да и пришли далеко не все, на кого он рассчитывал.

— Вот теперь я никто… — запустил отец пробный шар, голос его прозвучал необычно жалобно. — Не хотелось бы уходить с такими обвинениями.

Отец замолчал и внимательно оглядел присутствующих. Глаза его смотрели колко, контрастируя с минорностью только что произнесенных слов. Все молчали, никто не посочувствовал его якобы неизбежной отставке, а это уже добрый знак.

— Убежден, мы с вами на верном пути, — из голоса отца исчезли жалостливые нотки, проступила привычная слушателям жесткость. — Корни их обид, недовольства мною вам известны. Они так действуют из страха перед будущим.

Слушатели задвигались, закивали головами, зажурчали, демонстрируя согласие.

— Тогда давайте *сообща* решать, — отец пошел ва-банк, — уходить мне из ЦК? Или *мы* найдем выход?

Отец подчеркнул «сообща» и «мы».

— Вам не надо уходить из первых секретарей, — почти не раздумывая, откликнулся Жуков. — А этих я арестую. У меня все готово.

Отец с удивлением вскинул глаза на Жукова, последние слова, кажется, его не столько ободрили, сколько насторожили, но ни Жуков, ни остальные присутствовавшие его реакции не заметили, им было не до нюансов.

— Правильно, надо их убрать, — без тени колебаний поддержала Жукова Фурцева.

Отец знал ее решительный и властный характер и не удивился таким словам.

— Зачем арестовывать? — забеспокоился Суслов. — И в каких преступлениях можно их обвинить?

Осторожность Михаила Андреевича давно стала притчей во языцех и тоже не удивила отца.

— Правильно говорит Михаил Андреевич, — вступил Мухитдинов, силовое решение ему не импонировало. — Не надо их арестовывать. Все можно решить внутри Президиума или на Пленуме. Пленум вас поддержит, Никита Сергеевич.

Последние слова Мухитдинова прозвучали уверенно, и все согласились: Пленум поддержит. Хрущев, собственно, с самого начала считал, что разногласия следует разрубить на чрезвычайном Пленуме ЦК, потому он и пригласил их к себе. Тем не менее, слова Мухитдинова, уверенный тон, как бы развеяли последние сомнения.

— Спасибо вам за откровенные высказывания, за поддержку, — начал отец. — Надо перехватить инициативу, созвать Пленум. На Президиуме они в большинстве, а на Пленуме большинство станет нашим.

Затем Хрущев, по словам Мухитдинова, весьма нелестно отозвался о Брежневе, назвал его трусом, готовым переметнуться, присоединиться к победителям, вот только он еще не знает, кто победит, поэтому решил посимулировать, отсидеться на даче. Так ли говорил отец, не знаю, но с другой стороны, зачем Мухитдинову придумывать? Лично он с Брежневым практически не сталкивался, относился к нему с прохладным равнодушием.

— Пленум надо собрать поскорее, — отец перешел к практическим делам, — пока они сами на это не решились. Реально ли открыть его послезавтра?

Вопрос отца повис в воздухе, да он и не ожидал ответа, просто размышлял вслух.

— Уже завтра понадобится стянуть сюда членов и кандидатов в члены ЦК, — продолжал прикидывать отец.

Приводимые Мухитдиновым слова, построение фраз — чисто хрущевские, что внушает доверие к точности воспроизведения им событий тех дней, детали происходившего, интонации накрепко запечатлелись с его памяти.

— Вы, товарищ Жуков вместе с Серовым обеспечьте прибытие товарищей с периферии, — отец уже принял решение, голос его обрел властные нотки, он выстраивал диспозицию будущего сражения. — Товарищ Суслов, пригласите Чураева и Мыларщикова (В. М. Чураев, бывший секретарь Харьковского обкома, ныне возглавлял Орготдел Бюро ЦК по РСФСР; с В. П. Мыларщиковым отец в 1950-е годы работал в Москве, теперь Владимир Павлович стал членом Бюро ЦК по РСФСР. — *С. Х.*), оповестите всех, чтобы люди приготовились. Товарищ Фурцева, займитесь Москвой, проследите, чтобы все явились, и подумайте, в какой форме их правильно сориентировать. Вы, товарищ Мухитдинов, когда прибудут члены ЦК из азиатских республик, в

личном плане переговорите с ними.

Отец оглядел собравшихся, кажется всё, ничего не забыл.

— Пленум соберем послезавтра, в пятницу, в одиннадцать часов, — его голос звучал звонко, не слышалось ни тени сомнений.

Казалось бы, обо всем уже договорились, но тут Жукову пришла в голову идея попытаться отколоть Ворошилова от группы Маленкова — Молотова. «Взялся я за эти переговоры по той причине, что мы с ним все же в какой-то степени были родственниками (его внук был тогда женат на моей дочери). Но из переговоров ничего не получилось. Ворошилов остался на стороне Молотова — Маленкова и против Хрущева», — вспоминает Жуков.

Впоследствии Микоян утверждал, что это *они поручили* Жукову, кроме Ворошилова, поговорить еще с Булганиным и Сабуровым, а *САМ он*, Микоян, «два раза разговаривал с Булганиным, один раз безуспешно, второй раз — с некоторым успехом, тот стал кое-что понимать». После Булганина он якобы общался еще и с Сабуровым и Первухиным. Жуков о своих переговорах с Булганиным и Сабуровым не упоминает. К тому же, как мы знаем, на совещании у отца в тот вечер Микоян отсутствовал.

Расходились ближе к одиннадцати часам вечера, Мухитдинов запомнил, что на дворе уже стемнело.

Мухитдинов решил не дожидаться лифта, по лестнице начал спускаться с пятого этажа, где находился кабинет отца. Навстречу ему поднимался Серов, он спешил к отцу.

Серову отец доверял. Он сам выдвинул его на столь важный пост, в Москве Серов без отца и дня не продержался бы. О том, что Молотов и другие в открытую требуют его замены, Серов знал.

Я раньше считал, что тем вечером отец разговаривал с Серовым на даче, гуляя по аллеям парка подальше от чужих ушей. Теперь, благодаря воспоминаниям Мухитдинова, мы узнали, что встретились они в ЦК, в кабинете отца. Чужих ушей они не боялись, все «уши» в своем кулаке держал Серов.

Серов догадывался, зачем его позвали. О происходивших в Кремле баталиях он знал все. Он заверил отца в своей преданности, поклялся в верности линии XX съезда и заявил о готовности выполнить любые поручения Первого секретаря ЦК.

Разветвленная паутина, которой Комитет госбезопасности со сталинских времен опутывал всю страну, оказывалась очень кстати, но отец ставил себя в двусмысленное положение. Все последние годы он требовал исключить КГБ из политической

жизни страны, ограничить его функции борьбой с вражеской разведкой.

Вскоре он сформулирует принцип, согласно которому ни министр обороны, ни министр иностранных дел, ни председатель КГБ не должны входить в состав Президиума ЦК, чтобы ощущение стоящей за их спиной мощи не оказывало давления на высшее руководство страны. Их задача — реализовать решения Президиума ЦК.

До 1964 года ни министр обороны Малиновский, ни министр иностранных дел Громыко, ни сменявшие друг друга председатели КГБ Серов — Шелепин — Семичастный в Президиум ЦК не избирались. Завет отца нарушил Брежнев, при нем министр обороны Гречко, а затем пришедший ему на смену Устинов вошли в состав высшего политического органа страны — Политбюро ЦК. Так теперь именовали его бывший Президиум. Вслед за Гречко в Политбюро избрали министра иностранных дел Громыко и Председателя КГБ Андропова. К середине 1970-х годов эта троица вершила все дела в стране. Противостоять им не решался никто, реальная сила была в их руках. Они собирались втроем, договаривались, а затем утверждали свое решение на заседании Политбюро ЦК.

В июне 1957 года отец, в борьбе за власть, вынужден был обратиться к услугам этих структур, к Жукову и Серову. Выбора не оставалось. Отец успокаивал себя тем, что Серову поручаются чисто технические задачи. Но… коготок увяз — всей птичке пропасть. Кто может в таком деле знать, где кончаются технические функции и начинается большая политика. Да и вообще, крайне наивными оказались надежды, что одним росчерком пера можно исключить секретную службу из политики, отстранить ее от власти, лишить могущества.

Пока же отец попросил Серова по своим каналам связаться с членами ЦК, в первую очередь иногородними, разъяснить им ситуацию, посмотреть реакцию. Такое же поручение он дал Суслову, но, на всякий случай, решил подстраховаться. Серов все понял с полуслова, попросил разрешения уехать и приступить к выполнению задания. О результатах он доложит незамедлительно. Естественно, антихрущевское большинство Президиума ЦК об этой встрече не узнало. Сообщить им о ней, как и о других происходивших в стране событиях, мог либо Серов, контролировавший каждый шаг «большинства», либо секретари обкомов.

Если «молотовцев» всерьез беспокоил Серов, то на обкомы, чьи секретари составляли большинство Пленума ЦК, они внимания не обращали. За последние десятилетия они привыкли,

что Пленум безропотно голосует «за» любое предложение, исходившее от Сталина. По их представлениям, и после Сталина ничего не изменилось, тогда как на деле изменилось все. Секретарей обкомов более не удовлетворяла роль пешек. В отличие от «молотовцев», «постоянно мотавшийся по стране» отец установил тесные связи с обкомами, познакомился практически со всеми секретарями. Они же, в свою очередь, узнали его, и теперь, в схватке за власть, он мог на них всецело рассчитывать.

Проводив Серова, отец попросил зайти к себе Мыларщикова и Чураева. Он не сомневался, что Суслов передал его поручение, но захотел удостовериться, насколько оно правильно понято. Мыларщиков и Чураев поняли все правильно, доложили отцу, что уже начали обзванивать обкомы, секретари стоят на «правильных позициях».

Покончив с делами, отец уже за полночь отправился на дачу. Перед завтрашним днем следовало выспаться, как на фронте перед наступлением. Пришедшее в голову сравнение показалось ему точным — все как перед наступлением: приказы отданы, войска пришли в движение, от командующего уже ничего не требуется и не зависит, можно лечь спать.

Третий день бдений Президиума ЦК 20 июня открылся выступлением Первухина. Отец считал Первухина человеком способным, на практической работе полезным, а в политике — флюгером. Он сравнивал Первухина с кораблем, качающимся в зыбком море. 20 июня Первухин не колебался, в дополнение к уже ставшим стандартными обвинениями отца он добавил свое, госплановское: «Хрущев, видите ли, перекачивает из национального дохода средства на нужды сельского хозяйства в ущерб интересам промышленности, особенно тяжелой» — и присоединился к предыдущим ораторам: — от должности освободить».

«Товарищи Первухин и Сабуров оба заявили, что раньше хорошо относились к Хрущеву, так же, как Хрущев к ним. А теперь мы видим, что Хрущев зарвался, зазнался и затрудняет нам работу. Его надо освободить», — констатирует Каганович.

Затем пришла пора выступать кандидату в члены Президиума и секретарю ЦК Шепилову. Поздно вечером, после окончания совещания «молотовцев» у Булганина в Кремле, Шепилову позвонил сосед по даче Каганович, сказал, а зная Лазаря Моисеевича, можно предположить, что приказал засесть за резолюцию о Хрущеве. Шепилову вменялось приготовить теоретическое обоснование отрешения Хрущева от власти, обосновать пагубность совершенных им ошибок.

— Не мне вас учить, вы лучше других знаете, что требуется,

как подобные документы составляются. Мы рассчитываем на вас, — закончил свою тираду Каганович и, не дожидаясь ответа, повесил трубку.

Шепилов хотел было ему перезвонить, сказать, что… Что он скажет Кагановичу, Шепилов не знал. К тому же он Кагановича в глубине души побаивался. Кагановичу Шепилов не перезвонил, но и к резолюции не приступал. К утру Шепилов решился, положение Хрущева представлялось ему, аппаратчику до мозга костей, безнадежным, и он на переправе поменял коней, присоединился к «победителям». Ему бы чуть выждать, не паниковать. Вся бы жизнь сложилась по-иному, и числился бы он сейчас не в «примкнувших», а только бог знает, в какой ипостаси. Но не выдержал — как куропатка захлопал крыльями и взлетел под выстрел…

«Вначале он вроде бы поддержал Хрущева, но после выступления Молотова явно переметнулся», — кратко резюмирует Мухитдинов.

Во всей этой истории с попыткой отстранения отца от власти Шепилов стоит особняком, как от сторонников отца, так и от его противников. Ему никак не находили названия и наконец придумали такой же скользкий, как и он сам, термин «примкнувший». Термин мне не нравится, так же, как он не нравился и самому Шепилову. Он не примкнувший, он — изменник. Все противники отца — естественны, они вышли из прошлого. Сейчас они попытались реализовать свой последний шанс, а отец задвигал их назад в прошлое. Шепилов же шел в будущее вместе с Хрущевым. Отец уже видел в нем главного идеолога страны, и тут он в решительный момент струсил. А Суслов не струсил, твердо стоял на стороне отца.

Шепилов говорил долго, его выступление походило на лекцию. Отметил пагубность децентрализации экономики, введения совнархозов. Под эту «пагубность» Дмитрий Трофимович подвел теоретическую базу, по его мнению с ликвидацией министерств и, соответственно, министров, членов коллегии Совмина, рабочий класс лишается своих представителей в правительстве, что «нарушает ленинское положение о диктатуре рабочего класса. Союзному правительству отводится роль сборщика податей», то есть налогов.

— Смотрит в книгу, а видит фигу, простых вещей не понимает, а берется других учить. Демагогия, сплошная демагогия, — как бы про себя, но достаточно громко, чтобы услышали и остальные, сидевшие за столом, отреагировал на заявление Шепилова отец.

— Сталин внес огромный вклад в дело социализма, —

Шепилов перешел к тому, что называли тогда «извращениями линии партии», а говоря простыми словами, к преступлениям Сталина: арестам, пыткам, массовым репрессиям. — Ворошить прежние дела, привлекать к ответственности — это значит наносить партии вред.

— Вы предлагаете, — Шепилов уже напрямую обращался к Хрущеву, — чтобы мы сказали народу, что нами руководили убийцы, люди, заслуживающие скамьи подсудимых? Не в интересах нашей партии, мирового коммунистического движения ворошить теперь эти дела. Неслучайно китайские товарищи выработали в отношении Сталина свою формулу: 70 процентов положительного, 30 процентов отрицательного. Они с нами во многом не согласны. От Чжоу Эньлая, когда он приезжал к нам, мы услышали много горьких истин. Он считал, что односторонней постановкой вопроса о культе личности мы причиняем ущерб общему делу. Я уже предупреждал товарища Жукова, который и тут, на нашем заседании, продолжает дудеть в ту же дуду. Зачем это нам сейчас? Кому от этого польза?

И это говорил человек, помогавший отцу в написании «секретного доклада», своей рукой вписавший туда не один разоблачительный абзац. Но теперь времена менялись.

Затем Шепилов стал пересказывать, как Хрущев отзывался о Ворошилове, но что конкретно, сейчас уже не узнать. Здесь я остановлюсь, других свидетельств того, что говорил Шепилов на том заседании, мне разыскать не удалось.

Приведу в заключение некоторые отзывы на его выступление, естественно, прозвучавшие после заседания.

— Он оказался грязным склочником и интриганом! — возмущался отец. — Какую гнусную роль сыграл академик Шепилов! На Президиуме ЦК Шепилов начал пересказывать всякие гнусности и неприличные вещи о Ворошилове. Как может порядочный человек позволить себе то, о чем мы говорили доверительно, повторять в присутствии того, о ком говорили? Пусть бы Шепилов повторил то, что я действительно говорил о Ворошилове, это плохо, но допустимо. Шепилов же наговорил такое, чего я никогда не говорил, свои грязные сплетни он выдавал за мои слова. Как это мерзко и низко! Какой я дурак!

— Я знаю его по фронту. Этого человека уважать нельзя. Неизвестно, куда он прыгнет. Шепилов способен на нехорошие дела, — каялся Булганин.

Каганович, посетовав в своих воспоминаниях, что приглашенные на заседание Президиума секретари ЦК, кто более, кто менее активно защищали отца, с удовлетворением отмечает: «Секретарь ЦК Шепилов честно, правдиво и убедительно

рассказал Президиуму ЦК про недопустимую атмосферу дискредитации и проработки, созданную Хрущевым в Секретариате ЦК. В особенности Хрущев чернил Ворошилова, как “отжившего, консервативно-отсталого” деятеля. В то же время Хрущев лицемерно оказывал Ворошилову внешне любезность и “уважение”. Шепилов рассказал о ряде неправильных решений Секретариата за спиной Президиума ЦК. Фактически Хрущев превратил Секретариат ЦК в орган, действующий независимо от Президиума ЦК».

Пока в Кремле произносились длинные речи с перечислением реальных и мнимых грехов отца, Серов, Мыларщиков и Чураев звонили, объясняли, рассказывали, убеждали. Большинство периферийных членов ЦК, быстро схватив суть, спрашивали: что делать?

— Как можно скорее приезжать в Москву, собирать Пленум ЦК, — звучал короткий ответ.

Одни добирались самостоятельно, других, особенно из далеких регионов, доставляли на реактивных бомбардировщиках. Их обеспечивал Жуков. Сегодня трудно представить, сколь тяжела была в те годы дорога из Сибири в Москву. Гражданские самолеты летали редко и медленно. Тихоходы Ил-12 и Ил-14 перескакивали с аэродрома на аэродром, из города в город. На тысячекилометровых дистанциях они продвигались не намного быстрее поезда.

Члены ЦК начали появляться в Москве уже утром двадцатого. В основном, москвичи — недавние министры, теперь оставшиеся без министерств, руководящие работники Госплана и других центральных ведомств. В середине дня к ним присоединились представители ближайших к столице областей. Прибывающие прогуливались по коридорам ЦК, обменивались новостями. Мыларщиков, Чураев, Фурцева беседовали с ними, вводили в курс дела. Реагировали по-разному: представители московской бюрократии сочувственно поддакивали, но не более. Ожидать от них большего не приходилось, совнархозную реформу они приняли, но не одобряли, Хрущеву не прекословили, но только пока он сохранял командные позиции. Отец это понимал и даже побаивался, что пока суд да дело, Сабуров с Первухиным могут склонить их на свою сторону. Другое дело глубинка, она от совнархозов выигрывала, поворота вспять не только не приветствовала, но боялась, ее представители, не колеблясь, присоединялись к стану Хрущева. Но пока их еще можно было по пальцам перечесть, и отец не торопился, ждал прибытия основного корпуса членов ЦК. Но чтобы собрать в Москве более двухсот пятидесяти человек, одного дня явно недоставало.

Заседавшие, за исключением отца и его доверенных сторонников, о нараставшей за кремлевскими стенами активности пока не подозревали. После выступления Шепилова Булганин объявил перерыв на обед. Отец не пошел со всеми членами Президиума в кремлевскую столовую, уехал в ЦК. Пусть они там, если хотят, сговариваются за его спиной, у него есть дела поважнее. В ЦК отца дожидался Серов.

После обеда выступал Мухитдинов. Он пишет, что брал слово дважды и твердо поддерживал Хрущева. Мухитдинов попенял Кагановичу за его упрек Хрущеву в том, что тот «мотается по стране». Он воспринимал это «мотание» как интерес к делу, внимание к конкретным людям, проявление уважения.

— Лазарь Моисеевич, — говорил Мухитдинов, — в первые годы Советской власти вы приезжали в Узбекистан, работали в Ташкенте, старые большевики помнят вас. Но с того времени появляетесь у нас раз в пять-семь лет, и только за тем, чтобы вас избрали от Узбекистана депутатом Верховного Совета СССР или делегатом на съезд партии. Приезжая, формально посещаете лишь запланированные предприятия. Люди, слушая ваши выступления и реплики, не улавливают вашего интереса к нуждам и жизни республики. В результате — падение вашего авторитета на местах. Вы обвиняете Никиту Сергеевича, что он раздает заводы, фабрики республикам, ослабляя этим государство. А мы считаем это одной из крупных реформ, которая с удовлетворением воспринята в республиках. Ведь по новому закону наши предприятия раздаются не иностранцам, а советским республикам, и благодаря этому повышается ответственность республик за дела. Неужели не ясно, что чем сильнее, крепче республики, тем могущественнее наше Советское государство в целом? Надо не тормозить, а расширять эту работу, доводить ее до конца.

Третий день непрерывных бдений клонился к вечеру.

«Начиная с конца второго (третьего, если считать вечер 18 июня) дня заседания, то есть 20 июня, был заметен некоторый упадок боевитости членов группы Молотова — Маленкова, тогда как активность сторонников Хрущева все больше и больше возрастала, да и контробвинения становились все более угрожающими», — отмечает в своих воспоминаниях Жуков.

К тому моменту выступили члены, кандидаты в члены Президиума и секретари ЦК, многие не по одному разу. Все, что хотели сказать, уже давно высказали, но решения не принимали. Сторонники отца умышленно тянули время, их противники, казалось, боялись остановиться и говорили, говорили, говорили. Все изрядно подустали.

— Давайте решать, — взмолился председательствовавший Булганин. — Какие будут предложения?

— Уже предлагали! — без промедления откликнулся Каганович. — Освободить от поста Первого секретаря.

— И как же? — как бы в никуда, протянул Булганин.

— Правильно, поддерживаем, — загалдели «молотовцы», — голосовать надо.

— Что ж, давайте определяться, — уже увереннее произнес Булганин. — Кто за это предложение?

«Проголосовали, — вспоминает Мухитдинов, — кто выкриком, кто рукой. Трое — Суслов, Микоян, Кириченко рук не поднимали, активно не возражали, свое несогласие выразили молчанием».

Итак, получалось семь против трех, если не учитывать самого Хрущева. Казалось бы, наконец решились и решили, но как оказалось, события только начинали разворачиваться.

— Не имеете права ничего такого решать, — отец грохнул кулаком по столу, маленькие карие глаза не смотрели, кололи взглядом.

В зале наступила тишина, проголосовавшие «за» — большинство — недоуменно переглядывались. Отец того и добивался: огорошить, деморализовать противника, а там переходить в наступление. Так они действовали и в Сталинграде, и на Курской дуге.

— Не вы меня избрали, а Пленум, не вам меня и освобождать, — отец шел напролом. — Я категорически против и не признаю вашего решения!

Снова повисла пауза, «большинство» окончательно растерялось — они же проголосовали, Хрущеву сейчас полагалось каяться, признавать ошибки, он же… Что еще можно предпринять, «молотовцы» себе не представляли. Не милицию же вызывать? Да и как поведет себя милиция, еще вопрос.

— Да, избран Пленумом, — осторожно попытался вырулить первым пришедший в себя Маленков, — но он (Пленум. — *С. Х.*), образовав данный Президиум поручил ему руководить всеми делами партии. Принятое сейчас решение, конечно, вынесем на Пленум.

Тут Маленков иссяк и смущенно замолчал. Чутко улавливающий нюансы Каганович, еще утром настроенный столь агрессивно, сейчас, набычившись, глядел в угол. Молотов сделал попытку что-то сказать, но не преодолел заикания.

— Конечно, Хрущев не останется без работы, — не очень уверенно произнес Булганин. Ему, председательствующему, теперь приходилось спасать положение, отдуваться за тех, кто

втянул его в это дело. — Предлагаю рекомендовать его в министры сельского хозяйства.

Полувопрос Булганина повис в воздухе. Все молчали. Отец протестующе засопел.

— Участок знакомый, — монотонно продолжал Булганин, — он знает и любит это дело.

Отец всем своим видом демонстрировал, что, возможно, он и «любит это дело», но в министры переходить не собирается.

— Ну, как дальше поступим? — растерянно произнес председательствующий.

— Я требую, чтобы меня, для начала, выслушали здесь, на Президиуме! Вы все уже второй день говорите, а ответить мне возможности не дали, — воспользовавшись замешательством отец развивал наступление.

Сникшие после голосования сторонники отца оживились.

— Надо послушать Никиту Сергеевича, — первым откликнулся Кириченко.

— Очень полезно выслушать его, — Мухитдинов поддержал Кириченко.

— Принятое сегодня решение вынуждает меня напрямую, через вашу голову, минуя не только вас, сидящих здесь, но и, если понадобится, подвластные вам армейские и местные партийные организации, обратиться к народу, к армии, рассказать ей правду о том, что здесь происходит, как обстоят дела на самом деле, — с не свойственной ему запальчивостью включился в спор Жуков.

По крайней мере, так воспроизвел его слова Мухитдинов в своей книге.

Подобного поворота событий не ожидал никто, в том числе и отец. Он с любопытством смотрел на Жукова, не на знакомого ему со времен войны генерала Жукова, а на Жукова-политика. Само собой в голову пришло сравнение с иным боевым и удачливым генералом, генералом Бонапартом. Так он, наверное, полтора века тому назад, перед тем как стать императором Наполеоном, разговаривал с французским Конвентом.

Булганин взглядом молил своих союзников о помощи, но тщетно.

— Тогда давайте подготовим развернутый проект постановления, — Булганин нащупывал выход из положения, — запишем в него всё, что говорили, и завтра еще раз обсудим.

Никто не возражал. Для написания решения, а также обращения к народу по случаю перемены власти, избрали комиссию: Маленкова, Кагановича, Шепилова. Последний, человек пишущий, все успеет сочинить к завтрашнему утру.

Маленков передал ему свои заметки, в течение последнего заседания он успел набросать в общих чертах резолюцию. Каганович, напутствуя Шепилова, приказал проявить твердость, не рассусоливать.

В восемь вечера Шепилов засел за работу в своем цековском кабинете, вызвал стенографисток, заказал крепкий кофе. К утру он успеет закончить оба документа: резолюцию и обращение к народу. Их можно будет представить сначала Президиуму, а затем Пленуму ЦК.

Отца такое решение тоже более чем устраивало, тем самым дезавуировались результаты недавнего голосования, завтра все начнется сначала. Начнется-то начнется, а вот чем закончится? Завтра, самое позднее — послезавтра большинство членов ЦК уже прибудут в Москву, и верховная власть перейдет в их руки.

Вечером 20 июня дипломатических приемов не предусматривалось. Из Кремля отец заскочил в ЦК, а оттуда поехал на дачу. Там, прогуливаясь по дорожкам парка, под начинавшими зацветать высоченными старыми липами, его поджидали Мыларщиков и секретарь Горьковского обкома Игнатов. Напомню, Мыларщиков наравне с Чураевым «отвечал» за прибывавших из глубинки членов ЦК. Игнатов же рвался в бой, и он хотел, чтобы отец об этом не только знал, но и «благословил» его. Вот Игнатов и упросил Мыларщикова взять его с собой к отцу на дачу.

Игнатов, как и Шепилов, волей Сталина вознесся на вершину власти после XIX съезда КПСС, вошел в расширенный Президиум ЦК. После смерти вождя из Президиума он вылетел, оказался секретарем обкома в Горьком. Теперь Игнатов так же, как Шепилов, стремился восстановить утраченные позиции. В отличие от Шепилова, Игнатов, трезво оценивая реалии политической жизни 1957 года, твердо поставил на отца и не ошибся.

Услышав стук открывающихся ворот, гости заспешили к площадке позади дома, куда уже подъехал отец. Выйдя из машины, он, широко улыбаясь, шел им навстречу. Выглядел он бодро, совсем не так следовало выглядеть только что снятому с работы человеку. Поздоровавшись и осведомившись, не голодны ли они, и получив ответ, что сыты, отец первым делом, пока не стемнело, повел гостей осматривать посевы. Они располагались между заброшенными прудами, вырытыми цепочкой еще дореволюционным хозяином этого места московским генерал-губернатором, князем Сергеем Александровичем, и забором, отделяющим территорию дачи от доступного всем берега Москвы-реки. Отец каждую весну высевал на даче новую культуру, то

чумизу, то просо, — экспериментировал. Теперь все свободное место заняла кукуруза. Возня с посевами доставляла ему откровенное удовольствие, на огороде он отдыхал после напряженного дня.

Сегодня гостей посевы интересовали мало. Как впоследствии рассказывал Игнатов, бегло осмотрев грядки, он попросил Мыларщикова оставить их наедине с отцом для серьезного разговора. Такая трактовка событий в духе Игнатова, но у меня она доверия не вызывает. Мыларщиков — полноправный член Бюро ЦК по РСФСР, отвечал за всю Россию, а Игнатов — всего лишь один из российских секретарей обкомов. Это потом роли поменяются, когда Игнатов станет членом Президиума ЦК и постарается оттереть Мыларщикова. Скорее всего, отец пригласил их обоих вернуться в дом, там они за столом поговорят и чаю попьют.

Расположились на открытой террасе с видом на Москву-реку. Им принесли чай.

Мыларщиков кратко доложил, кто из вызванных накануне членов ЦК приехал в Москву, кого ожидают этой ночью и кто доберется до столицы завтра или даже послезавтра. Получалось, что 21 июня, в день, на который отец накануне вечером назначил открытие Пленума, наберется достаточно людей для формального кворума, но все еще мало для обсуждения столь важного вопроса, как судьба Первого секретаря ЦК. Мыларщиков проинформировал отца: они побеседовали со всеми наличными членами ЦК, абсолютное большинство на стороне Хрущева, некоторые, речь шла о союзных министрах, месяц назад «сосланных» в совнархозы, колеблются, но открытое сочувствие «молотовцам» высказывать опасаются, выжидают. Опасаться их нечего, увидев, что большинство ЦК за Хрущева, они тут же сориентируются.

Отец удовлетворенно кивнул, он не сомневался в поддержке, со многими, кому предстояло в ближайшие дни решать его судьбу, отец был хорошо знаком не только по сидению в президиумах — с одними воевал, с другими встречался во время поездок по стране на многочисленных совещаниях, при посещении заводов и колхозов. Он понимал их, а им он тоже представлялся своим и понятным. Отец отдавал себе отчет и в том, что ни секретарям обкомов, ни другим аппаратчикам различных рангов и званий, составлявшим большинство ЦК, совсем не улыбалось возвращение сталинских порядков. Главное, им надоело находиться на положении слуг, они сами стремились занять хозяйские кресла. Хрущев им представлялся способным понять и защитить их интересы. Однако одно дело не сомневаться, а совсем другое — услышать слова подтверждения.

Игнатов с трудом дождался, пока Мыларщиков закончит докладывать и, в свою очередь, заверил отца, что секретари обкомов на его стороне, а он, Игнатов, активно с ними работает и, хотя пока переговорил еще с немногими, не сомневается в их поддержке. Игнатов всеми силами демонстрировал, что он находится в эпицентре борьбы. И это правда. За истекший день он получил информацию у Серова и вместе с Мыларщиковым встречал прибывающих членов ЦК. Благодаря своей напористости, даже нахрапистости, он переигрывал Мыларщикова, для многих становился центром притяжения.

Отец слушал Мыларщикова и Игнатова с удовлетворением, он не ошибается, ЦК встанет на его сторону. Он посоветовал Игнатову оформить инициативную группу, как бы альтернативный Президиум, добивающийся немедленного открытия заседания внеочередного Пленума ЦК. Игнатов ответил, что такая группа уже создалась сама собой, а начать заседание Пленума они смогут прямо завтра, в пятницу, 21 июня, скорее всего, после обеда.

На самом деле новости, принесенные Мыларщиковым с Игнатовым, не были для отца такими уж новостями. После разговора по телефону с Серовым он был полностью в курсе дела. Однако отец не показал гостям своей осведомленности — каждому приятно доложить первым. Отец согласился с Игнатовым, что медлить нельзя, просто опасно, но еще опаснее начать действовать раньше, чем соберется подавляющее большинство членов ЦК. Договорились, что завтра в середине дня инициативная группа — чем больше народу, тем лучше — придет в Кремль и потребует объяснений происходящего на заседании Президиума ЦК. Беспрепятственный проход в Кремль им обеспечит Серов. Естественно, без скандала не обойдется, пока поспорят, пообсуждают, в Москву успеют приехать члены ЦК из самых отдаленных районов. Пленум ЦК они смогут открыть, в случае крайней необходимости, поздно вечером в пятницу, но лучше действовать без спешки, дождаться субботы, 22 июня.

Пришла пора расходиться, солнце уже село, на террасе загудели комары. Гости уехали, отец проводил их до ворот и, вернувшись в дом, поднялся на второй этаж дачи в свою спальню.

21 июня — четвертый день бдений Президиума ЦК открылся, как и договорились накануне, выступлением Хрущева. Председательствовал по-прежнему Булганин, но от былой его уверенности не осталось и следа. За ночь он многое передумал, но отступать некуда, все мосты сожжены. Отец держался спокойно, пока еще не обвинителем, но уже и не обвиняемым. Он повторил, что вчерашнее решение Президиума о его отрешении

от должности незаконно, не они его выбирали, не им и освобождать. Его слова вызвали вполне ожидаемую ответную реакцию, противники отца, перебивая друг друга, начали возражать; его сторонники, в свою очередь, тоже за словом в карман не лезли — «восточный базар», да и только. Отец в перепалку не втягивался, ждал, когда спадет накал страстей. Происходившее напомнило ему юность, двадцатые годы, Донбасс, жаркие дебаты «сталинистов» с «троцкистами». Тут главное — выдержка, не позволить себе раствориться в споре, дождаться, пока оппоненты выдохнутся.

Наконец обстановка разрядилась, и отец продолжил выступление. Выступал он уверенно, даже агрессивно, чувствуя за собой силу. Каяться, как в январе 1955 года каялся Маленков, а именно этого от него ожидало «большинство», не собирался.

Повторив всем известные аргументы в обоснование необходимости освоения целинных земель, децентрализации экономики, мирного сосуществования с Западом, он перешел к самому больному: к Сталину, к решениям XX съезда. Отец говорил, что всем надоело жить в постоянном страхе, вздрагивать от каждого стука на лестнице, люди нуждаются в уверенности в завтрашнем дне, в том, что вчерашний день не вернется. Наконец он замолчал, оглядел в последний раз присутствовавших и сел на свое новое место справа от председателя.

С возражениями немедленно выступил Молотов, он почти слово в слово повторил обвинения, озвученные им еще во вторник. За ним начал говорить Маленков, следом — Первухин. Им, в свою очередь, возражали Фурцева и Поспелов, тоже пересказывая свои старые аргументы в поддержку отца. Булганин не вмешивался, по мнению Кагановича, он «демократически вел заседание, не ограничивал ораторам время, давая иногда повторные выступления и секретарям ЦК». Тем временем происходившее все больше теряло смысл. «Молотовское» большинство в Президиуме ЦК оказалось не в состоянии реализовать свое вчерашнее решение об освобождении Хрущева. Отец же продолжал тянуть время. Наступила пора обеда. Булганин с явным облегчением объявил перерыв. Ни до голосования, ни до написанных прошлой ночью Шепиловым резолюции и обращения к народу руки так и не дошли.

После перерыва все пошло по проторенной колее — отцу предъявлялись обвинения, он и его сторонники отбивались.

К этому времени инициативная группа членов ЦК, это о ней отец вчера говорил с Игнатовым, уже насчитывала около двадцати человек. Кроме Игнатова в нее вошли: маршал Конев, секретарь ЦК Комсомола А. Н. Шелепин, заместитель министра

иностранных дел Н. С. Патоличев, секретарь Краснодарского крайкома Г. А. Денисов, секретарь Московского обкома И. В. Капитонов и другие. Они взяли на себя функции по решению организационных вопросов по открытию Пленума. Впервые за многие годы Пленум собирался не по указанию Президиума, а по собственной инициативе. В историю они войдут под именем «двадцатки».

Действия «двадцатки» направлял отдел партийных органов Бюро ЦК по РСФСР. Его заведующий Чураев, я о нем уже упоминал ранее, после обеда позвонил в общий отдел ЦК, ведавший делами Президиума ЦК, и попросил помочь товарищам связаться с членами Президиума. Заведующего отделом Малина на работе не оказалось, он все еще болел, и «двадцаткой» занялся заведующий сектором Н. А. Романов. Он сопроводил членов ЦК к дверям зала заседаний Президиума ЦК.

«Где-то около пяти вечера снова выступал Шепилов, раз от разу все более агрессивно, — вспоминает Мухитдинов. — Теперь он обвинил Хрущева в игнорировании Министерства иностранных дел, там-де готовят ему документы, а Хрущев на переговорах ведет свою линию, говорит от себя, ставя тем самым чиновников перед свершившимся фактом. Вслед за Шепиловым я взял во второй раз слово. Не успел закончить, как вошел секретарь и взволнованно доложил: “В приемной находится группа членов ЦК, хотят войти”».

— Кто позволил? — взорвался Булганин. — Нельзя!

— Как это нельзя? — немедленно вмешался Хрущев. — Они же члены ЦК! Растерянный секретарь переминался в двери с ноги на ногу, теребил в руках какую-то бумажку.

— Ну что еще? — зыркнул на него Булганин.

— Вот, товарищ Романов просил вам передать, — робко проговорил секретарь.

— Какой еще Романов? — взревел Булганин. Напутствуемый трехэтажным матом, секретарь вылетел за дверь.

— Не принимает… — жалобно проговорил он и попытался отдать записку Игнатову.

Но не на того напал. Игнатов выразил свои эмоции еще покруче Булганина. Секретарь снова сунулся в дверь. Результат тот же. Такое «перетягивание каната» продолжалось около получаса. Когда секретарь в третий раз попытался вручить послание Булганину, вмешался молчавший до того отец.

— Председатель ведет себя недемократично и просто неприлично, — начал он.

Воспользовавшись моментом, секретарь положил на стол перед Булганиным листок с отпечатанным на нем коротким

текстом и с явным облегчением юркнул за дверь.

Булганин начал читать вслух: «В Президиум Центрального Комитета. Нам, членам ЦК КПСС, стало известно, что Президиум ЦК непрерывно заседает. Нам также известно, что вами обсуждается вопрос о руководстве Центральным комитетом и руководстве Секретариатом. Нельзя скрывать от членов ЦК такие важные для всей партии вопросы.

В связи с этим мы, члены ЦК КПСС, просим срочно созвать Пленум ЦК и вынести этот вопрос на обсуждение Пленума.

Мы, члены ЦК, не можем стоять в стороне от вопросов руководства нашей партией». Внизу подписи, всего сорок восемь человек.

(В пятницу члены ЦК пошли в Москву, как говорится, косяком, сориентировавшись, они присоединялись к «двадцатке», одни искренне, другие — понимая, что сила не ее стороне.

К тому моменту, когда записка с третьей попытки оказалась в руках Булганина, в дополнение к изначальным двадцати добавилось еще двадцать восемь. А члены ЦК все прибывали. Вслед за первой запиской появилась вторая за двадцатью восемью подписями, затем — еще одна от украинцев, ее подписали шесть человек; на последних трех записках стояло по одной подписи.)

Булганин закончил чтение. Члены Президиума не знали, как реагировать. Впервые за последние два десятилетия, если не больше, они столкнулись с оппозицией. И где? Внутри собственного ЦК, с которым уже давно никто не считался. Тугодум Молотов не мог даже представить, что подобное вообще возможно.

— Я возмутился, — делится своими впечатлениями Первухин, — на меня это произвело ошеломляющее впечатление. На заседание не допустили даже технического секретаря. Я думал, что никто не знает ни о нашем заседании, ни об обсуждаемом вопросе.

«Время шло. Президиум молчал. “Двадцатка” больше не желала ждать, — пишет Мухитдинов. — Двери распахнулись, в зал вошли человек пятнадцать-двадцать. Я бросил на них взгляд, узнал лица некоторых ответственных сотрудников ЦК, работников КГБ и МВД. Впереди — Серов».[45]

— Кто тут у вас во главе? — набросился на Серова Булганин.

«В зале поднялся крик, раздались возгласы: “Раскольники, фракционеры! Это неслыханно!” Больше других возмущались Молотов, Ворошилов, Сабуров, Первухин и Шепилов. Маленков с Кагановичем не вмешивались».

Изворотливый Каганович все понял, надеяться оставалось только на чудо. Он даст свою оценку происходившему, правда,

спустя много лет, когда отца уже не будет в живых и события 1957 года станут историей: «Хрущевский Секретариат ЦК организовал через ГПУ (то есть КГБ) и органы Министерства обороны тайно от Президиума вызов членов ЦК в Москву. Сделали это, не дожидаясь какого-либо решения Президиума по обсуждаемому вопросу. Настоящий фракционный акт, ловкий, но троцкистский».

Серов не обратил на устроенную ему обструкцию ни малейшего внимания.

«Третьи сутки происходит что-то непонятное, — приводит Мухитдинов слова Серова. — Президиум непрерывно заседает, и мы, члены ЦК, хотим знать, что вы здесь обсуждаете. Мы, члены ЦК, оказали вам доверие, избрали в Президиум, а вы закрылись от всех и неизвестно о чем говорите. Москва полнится слухами, начинается резонанс за рубежом. Требуем объяснить, что происходит. Ни один вопрос, входящий в компетенцию Пленума, не должен решаться за спиной членов ЦК. Мы не уйдем, не получив ясного ответа!» — ультиматум Серов хорошо продумал и, похоже, отрепетировал.

Правда, без санкции Президиума «двадцатка» пока тоже не решалась самостоятельно открыть заседание Пленума.

— Как вы смеете? — прорычал Булганин, стуча кулаком по столу. Такой прыти от него никто не ожидал. — Нам ясно, кто собрал вашу группу. Сейчас же расходитесь, не мешайте работать! Все, что надо, объясним не вам, а Пленуму.

Его смахивающая на истерику тирада не произвела на вошедших ожидаемого впечатления.

— Мы — члены ЦК и хотим знать правду, — маршал Конев вышел из толпы и встал рядом с Серовым.

— Повторяю: расходитесь, — не унимался Булганин. — Приходите после шести, когда заседание закроется. Тогда и поговорим, сейчас вы нам просто мешаете работать.

— Это Хрущев все устроил! Никита, я тебе верил, а ты вот как поступаешь! Сейчас они пришли! А там нас танками окружат, — сорвался на крик вконец перепугавшийся Сабуров.

— Сейчас они нас начнут арестовывать, — истерически выкрикнул Шепилов.

— Что вы выдумываете! — отпарировал отец.

— Под Москвой появились танки, — Сабуров уже не владел собой.

— Какие танки? — вмешался в разговор Жуков. — Что вы болтаете, Сабуров? Танки не могут подойти к Москве без приказа министра, а такого приказа я не отдавал.[46]

Отец внимательно посмотрел на Жукова. Ответил он хорошо,

но что-то в словах министра обороны настораживало. Сабуров умолк. Маленков понял первым: ситуация с каждой минутой становилась все глупее и, что хуже, — опаснее.

— Не надо обострять, — начал он вкрадчиво. Что-что, а уговаривать Маленков умел. — Давайте поручим Ворошилову выйти вместе с товарищами в приемную и объяснить им, что обсуждает Президиум.

Выбор оказался неудачным, даром убеждения Ворошилов не обладал. Видимо, Маленков понадеялся на «магию» титулов, а главное, ни он, ни его союзники, не осознали до конца, что происходит. Казалось, стоит прикрикнуть, и все вернется на свои места. Непростительная ошибка, свойственная властителям в период всех революций, больших и маленьких. Они не замечают мгновения, когда власть ускользает из их рук, оставляя после себя лишь пустую хрупкую оболочку.

— Верно, давай, Клим, выходи и объясни товарищам, — Булганину явно понравился подсказанный Маленковым выход из положения.

Ворошилов уже у дверей начал честить «двадцатку» отборной бранью. Он напоминал помещика-крепостника, вышедшего усовестить взбунтовавшихся холопов. Соображал он явно медленнее Маленкова и даже Булганина.

— Я тоже выйду и расскажу товарищам всю правду, — поднимаясь с места, почти миролюбиво произнес Хрущев. — Пусть они знают, кто и чем здесь занимается. Партия должна все знать. Вы сидите, продолжайте.

Дверь за отцом затворилась.

Мухитдинов характеризует состояние отца по-иному, он пишет, что «от волнения Хрущев покраснел, дрожал, даже пошатывался».

Скорее, его ощущения следует отнести не к третьему, а к первому дню заседания, когда Мухитдинов только приехал, и когда еще ничего не определилось, и у них, как пишет Жуков, «имелись опасения, что группа Молотова — Маленкова может всех нас арестовать, к чему имелись некоторые основания. К примеру, количество офицеров охраны у Булганина, Молотова, Маленкова и Кагановича в первый же день резко увеличилось. Возникает вопрос, для чего это делалось?»

Страхи маршала я не разделяю. Как «молотовцы» могли предпринять что-то подобное, если Председатель КГБ Серов с первой минуты стоял на стороне отца? Хотя опасности ареста и не существовало, но в первый день от неожиданности отец мог и разнервничаться. Но теперь… Отец знал, что «двадцатка» придет сегодня и именно после обеда. С чего ему нервничать?

Мухитдинов явно напутал.

Тем временем из приемной доносились громкие голоса. Судя по всему, пришедшие наседали на Ворошилова, тот — то ли отбивался, то ли оправдывался. Страсти разгорелись не на шутку. Делегаты требовали от Ворошилова немедленного созыва Пленума.

— Через две недели, — брякнул в ответ Климент Ефремович, — нам нужно время, чтобы во всем как следует разобраться. Президиум имеет право заседать, сколько считает нужным, хоть четыре, хоть двадцать два дня. Какое вам до этого дело?

Откуда взялись эти двадцать два дня, Ворошилов, когда его начали расспрашивать на Пленуме, объяснить не сумел. Видимо, просто сорвались с языка.

— Какие две недели? — ответ Ворошилова вызвал еще большее негодование. — Собирайте Пленум немедленно, или мы соберем его без вас!

— Вы что себе позволяете? — Ворошилов окончательно вышел из себя. — Ведете себя, как зиновьевцы или, хуже того, троцкисты, сколачиваете фракцию. Да кто вы такие? Скоро дело дойдет до того, что, по примеру Троцкого, кто-то где-то на заводе соберет 500–600 коммунистов и приведет их к нам. Безобразие.

Последние слова вызвали настоящий взрыв. Ворошилова атаковали с разных сторон. Отец стоял поодаль, наблюдал, в свалке не участвовал, «двадцатка» прекрасно обходилась без него. Тем временем оставшиеся внутри зала заседаний его противники и сторонники гадали, что происходит снаружи.

— Давайте прекратим дискуссию. Все можно решить миром. Не надо никого делать жертвой. Пусть Никита Сергеевич и дальше работает, — так передает Мухитдинов слова откровенно струсившего Маленкова.

— Верно, — Каганович с готовностью поддержал Маленкова, — давайте заканчивать это дело.

— Я видел, как изменились лица у Маленкова, Кагановича и Шепилова. Произошло быстрое превращение этих товарищей из львов в кроликов, — иронизирует Аристов. — Молотов, опытный политик, сохранял холодный взгляд.

Булганин сидел на председательском месте отрешенно, упершись глазами в столешницу. О чем он думал? О чем сожалел? И сожалел ли о чем-либо?

К «двадцатке» же продолжало прибывать подкрепление. Дверь в приемную то и дело открывалась, к секретарям обкомов присоединились министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, Заместитель председателя Совмина Дмитрий

Федорович Устинов, министр авиационной промышленности Петр Васильевич Дементьев, а вслед за ними еще человек десять-пятнадцать. Ни Устинова, ни Дементьева, ни даже Громыко к сторонникам отца я бы не отнес, все они сделали карьеру при Сталине, на костях репрессированных предшественников. Их появление означало, что московская бюрократия оценила расстановку сил и спешила присоединиться к победителям. Так продолжалось примерно полчаса. Становилось все более очевидным, что в стоячку дело не решить. Отец предложил Игнатову зайти в зал заседаний, договориться о процедуре дальнейшего ведения переговоров. Собравшаяся в приемной толпа одобрительно загудела. Игнатов, а вслед за ним Ворошилов с отцом вернулись к ожидавшим их членам Президиума. Кто-то предложил открыть Пленум незамедлительно, пусть Хрущев сделает на нем сообщение о происходящем в Президиуме. Снова поднялся невероятный шум. Улучив момент, Микоян выступил с компромиссом: Президиум ЦК выделит представителей, к примеру, четверых, и они постараются уладить дело с членами ЦК. Дверь в приемную поминутно открывалась, в нее заглядывали любопытные головы и одновременно проникал угрожающе нарастающий шум. Наконец договорились выделить по два человека от каждой из противоборствующих сторон: Булганина с Ворошиловым и Хрущева с Микояном. На время переговоров Президиум ЦК переместился в соседнюю комнату, поменьше. Зал заседаний оккупировали члены ЦК. Их количество все возрастало, кворум давно набрался, впору Пленум открывать.

«Мы сидели в соседней комнате, не шевелясь, не глядя друг на друга. Так продолжалось не менее часа, — пишет Мухитдинов. — Наконец Ворошилов, Хрущев и другие переговорщики вернулись».

— Мы сказали им всю правду, — начал с порога Хрущев. — Клименту Ефремовичу пришлось оправдываться перед членами ЦК. Все происшедшее не вписывается в рамки Устава партии. На Пленуме разберутся.

— Правильно, — поддержали Хрущева его сторонники, — давайте созывать Пленум.

Хрущев сказал, что договорились открыть Пленум завтра, в 2 часа дня. Молотов не согласился, он считал, что Президиум обязан представить Пленуму свое мнение, и его следует изложить на бумаге. Молотова никто не поддержал, даже председательствовавший Булганин никак не реагировал на его слова.

«Булганин сидел молча, — отмечает Мухитдинов, — инициатива перешла в руки Хрущева».

— Пошли, Клим, выйдем и расскажем, о чем мы тут договорились. Пленум соберем завтра, — обратился отец к Ворошилову.

Члены Президиума, кто совсем тихо, кто чуть погромче, выразили свое согласие.

Тем временем собравшаяся в зале заседаний Президиума «двадцатка» выросла до ста человек, настроение у них становилось все решительнее. Вскоре в комнате, где теснились члены Президиума ЦК, появился Игнатов. Вслед за ним вошли Хрущев с Ворошиловым.

— Или Президиум собирает Пленум немедленно, или Пленум открывает свое заседание самостоятельно и приглашает членов Президиума с отчетом в Свердловский зал Кремля, — проинформировал Игнатов. Ему очень нравилось демонстрировать свою власть и решительность.

Заседание Президиума ЦК продолжилось в боковой комнате уже в его присутствии и при его участии. К тому моменту Булганин освободил председательское кресло. Отец привычно занял свое место.

— О чем будем говорить? — отец с усмешкой смотрел на своих оппонентов.

В зале повисло молчание. Молотов попытался вернуться ко много раз повторенным обвинениям Хрущева, но уже без былого задора, по инерции, и, не получив поддержки, смешался, начал заикаться и умолк.

Шепилов сидел нахохлившись, с посеревшим лицом: еще бы, это надо так опростоволоситься.

— Несмотря ни на что мы обязаны продемонстрировать единство, — осторожно начал Маленков. — Это важно не только для нашей партии, но и всего мирового коммунистического движения. Мы откровенно поговорили, поспорили, порой очень резко, теперь давайте согласованно, единой позицией всего Президиума, без ненужной групповщины выйдем на Пленум ЦК.

Маленков сделал паузу, ожидая реакции, но ее не последовало.

— И еще, партия основана на критике и самокритике, — продолжил Маленков, — за нее нельзя преследовать, такова наша принципиальная позиция, давайте обойдемся без мести.

— Без мести, — поддержал Маленкова Шепилов, — посмотрите на китайских товарищей, они своих товарищей за совершенные ими ошибки, за их недостатки не только не исключают из партии, но и из руководящих органов не выводят.

— Что же, ваша позиция ясна, — выдержав паузу, произнес отец. — Наверное, и решение уже подготовили? Не зря же вчера

вас троих в комиссию выбирали.

В его тоне сквозила явная издевка.

— Не писали никакого решения, Никита Сергеевич, — вопреки логике и здравому смыслу, неуверенно, я бы даже сказал жалобно, отозвался за всех Маленков. Он впервые назвал отца по имени и отчеству. Знакомые уже более двадцати лет, с середины 1930-х годов, они звали друг друга по имени: Никита, Георгий. Обращение по имени-отчеству прозвучало как сигнал безоговорочной капитуляции и одновременно как мольба о пощаде.

— Как это не писали? — возмутился сидевший рядом с Игнатовым Мыларщиков. — Шепилов вчера в восемь вечера забаррикадировался на пятом этаже ЦК, оккупировал всех стенографисток, парализовал всю остальную работу.

— Клевета. Дикая фантазия, — взвизгнул Шепилов. — После возвращения из Финляндии Никита Сергеевич поручил мне сделать доклад, выступить на совещании руководящих кадров общественных наук.

Действительно, такое совещание состоялось, и на нем с вступительным словом выступал кандидат в члены Президиума и секретарь ЦК Шепилов, но не 21 июня, а 14–16 июня 1957 года.

— Я должен был выступать на совещании… — голос Шепилова дрожал, — никаких стенографисток не вызывал. Это можно проверить. Я работал на даче и по телефону продиктовал текст выступления по вопросам теории. Это же все неверно. У девушек-стенографисток можно все проверить.

— Они с Маленковым готовили резолюцию, — вставил свое слово Суслов. — Маленков начал писать ее на заседании.

— Это абсолютный вздор. Я писал совсем не то, — забеспокоился Маленков.

— Как не то? Я тебе тогда же говорил, зря ты резолюцию пишешь, — перебил его Микоян.

— Я выступления товарищей на Президиуме записывал, кто что сказал, — оправдывался Маленков.

— Для чего записывал? — спросил кто-то. Маленков не ответил.

— Резолюцию вы, товарищ Шепилов, писали или нет? — воспользовавшись паузой продолжил допытываться Суслов, понимавший, что ему представился уникальный шанс уничтожить своего конкурента, набиравшего силу на ниве пропаганды.

— Не давал мне лично никто такого поручения, — окончательно сник Шепилов и обреченно добавил: — не привлекался и не писал.

— Я — Первый секретарь ЦК и буду докладывать на Пленуме

обо всем, что здесь произошло, — отец сделал вид или на самом деле не обратил внимания на перепалку о резолюции. — Вы все тоже изложите свою позицию. Товарищи заслушают нас и примут решение.

«То есть вместо вопроса “О неудовлетворительном руководстве Первого секретаря ЦК Хрущева” на Пленуме ЦК поставили абсолютно противоположный, надуманный вопрос “Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова”», — задним числом возмущается Каганович.

— Давайте голосовать, — жестко произнес отец.

Проголосовали единогласно и всем Президиумом перешли из боковой комнаты в зал заседаний. Там их уже заждались.

— Для волнений нет ни малейших оснований, — успокоил отец делегатов. — Пленум открывается завтра, 22 июня в 2 часа дня, по внутрипартийному вопросу.

Зал заседаний Президиума опустел. За столом оставались только участники уже закончившихся многодневных дебатов, но чем заняться теперь, они себе не представляли. Отец же закрывать заседание не спешил. Молчание, ставшее мучительным, снова прервал секретарь, он передал отцу какую-то записку.

«Хрущев надел очки, — Мухитдинов описывает происходящее до мельчайших деталей, — прочитал… “Это от Брежнева, — произнес Хрущев, — вот что он пишет… ” — и начал читать записку.

В записке говорилось (Мухитдинов воспроизводит ее по памяти. — *С. Х.*), что Леонид Ильич глубоко сожалеет, что заболел. Он полностью поддерживает Никиту Сергеевича, считает, что последний должен оставаться Первым секретарем, осуждает поведение заговорщиков, предлагает вывести их из состава Президиума и строго наказать.

Никто не сказал ни слова, но думаю, все будто заново увидели истинное лицо автора. Поразила его осведомленность о происходящем, вплоть до последних часов. Эта весьма своевременная поддержка опять изменила мнение Хрущева о Брежневе и опять перед ним открылась дорога наверх».

Очень интересное свидетельство Мухитдинова. Мне же Брежнев всегда представлялся стойким и последовательным сторонником отца, по крайней мере, до 1964 года. Оказывается, я ошибался.

В шесть часов вечера, как и в предыдущие дни, председатель, теперь уже не Булганин, а Хрущев, объявил заседание закрытым. Отец предложил встретиться завтра прямо на Пленуме в два часа дня в Свердловском зале Кремля.

Никаких протокольных мероприятий на вечер 21 июня не планировалось, и из Кремля отец отправился в ЦК. За ним потянулись его сторонники. Им следовало условиться насчет завтра, к тому же у отца за два вынужденных дня «простоя» поднакопились неотложные дела.

Оппонентам отца тоже надо было определяться с завтрашним днем. Они привычно собрались в Кремле, в кабинете Булганина.

Завершив дела и распрощавшись с посетителями, отец решил позвонить из ЦК Булганину. Ему очень не хотелось терять старого друга, они вместе уже двадцать с лишним лет. Тогда Николай директорствовал на Московском электрозаводе, а его, Хрущева, сделали секретарем райкома. Так они и шли по жизни, отец чуть впереди, Булганин — за ним в кильватере. И тут такое… Что же касается обид… За свои неудачные шуточки отец готов извиниться. Он набрал номер кремлевского кабинета Булганина.

Николай Александрович откликнулся после первого гудка, но, узнав голос отца, сник. Он не один, сообразил отец. Кто может в такой час сидеть у Булганина в Кремле, особой загадки не составляло, но отец решил прояснить все до конца.

— Николай, это я, Хрущев, хотелось бы поговорить, — бодряческим голосом начал отец.

Булганин засопел в трубку.

— Ты один? — ставил точки над «и» отец.

— Нет, — Булганин еще сильнее засопел и выдавил, — у меня Молотов, Маленков, Каганович.

— И чем же вы занимаетесь? — желание договариваться со старым другом у него пропало.

— А-а-а, — протянул неуверенно Булганин, — мы собрались, собрались… Отец, не попрощавшись, положил трубку. Примирения не получилось.

Все закончилось в субботу, 22 июня

Открывшийся в субботу, 22 июня, Пленум ЦК подвел итог четырехдневным баталиям. Из 130 членов ЦК присутствовало 121, из 117 кандидатов — 94 и из 62 членов Ревизионной комиссии — 51. Вполне достаточно для принятия любого решения.

В момент открытия произошла курьезная сцена, если ее можно назвать курьезной. После формальностей открытия первого заседания председательствовавший Хрущев перешел к рассмотрению повестки дня и следующее заседание назначил на понедельник 24 июня на 10 часов утра. Тут Молотов заволновался, начал допытываться, зачем устраивать однодневный перерыв между заседаниями? Беспокоился он не без причины. В недавнем прошлом они со Сталиным использовали такие безобидные с виду антракты для ареста неугодных. На следующем заседании Пленума ЦК или сессии Верховного Совета те просто не появлялись. Никто тогда не интересовался почему. Отец понял опасения Молотова, но вида не подал. Предложил Молотову, если тот не согласен, внести альтернативное предложение, он его проголосует. Молотов стушевался, пробормотал, что не возражает.

Вопреки вчерашнему обещанию отца все лично рассказать Пленуму, докладывал Суслов. Так они решили вчера вечером в ЦК. С нелегкой руки Суслова «молотовцев» стали официально именовать антипартийной группой. Текст выступления Суслов подготовил всего на нескольких страничках, но на трибуне простоял долго. Из зала задавали вопросы, сыпались реплики. Затем говорили Жуков и министр внутренних дел Дудоров. Следом с покаянием выступил Маленков, он от всего открещивался и одновременно выражал готовность «нести за все ответственность», но вины за собой не признавал. За ним взахлеб каялся Каганович.

В шесть часов вечера, как и предусматривалось регламентом, Пленум свою работу приостановил до понедельника.

Заранее запланированное на воскресенье, 23 июня, празднование 250-летия Ленинграда прошло более чем скромно, а для непосвященных — непонятно. В Ленинграде отсутствовал даже собственный секретарь обкома Козлов, всеми делами заправлял, докладывал, возлагал венки председатель облисполкома Смирнов. Москву представлял Андрей Андреевич Андреев, старый член партии и Политбюро, к тому времени уже давно сошедший с политической сцены.

В понедельник, 24 июня, на утреннем заседании Пленума первым на трибуну вызвали Булганина. Он выглядел непрезентабельно, явно растерялся, говорил сумбурно. Следом за ним «признавали ошибки» Сабуров с Первухиным, просили учесть их «молодость» и искренность раскаяния. Затем с изложением своей позиции выступил Молотов. В отличие от «единомышленников», он остался тверд. Отец впоследствии не раз с уважением говорил об этом. После Молотова очень путано говорил Шепилов. Казалось, он не осознал до конца, что проиграл теперь уже окончательно и на всю оставшуюся жизнь. Ему все казалось, что произойдет чудо, ему поверят, простят. Не поверили и не простили.

Члены ЦК выступали крайне резко. Каждый стремился вылить свой ушат грязи на головы оппозицинеров. Заседания продолжились целую неделю, до 29 июня. Из двухсот пятнадцати записавшихся выступили шестьдесят, на этом прения прекратили. Еще сто шестьдесят четыре участника Пленума, понимая, что до трибуны им не добраться, прислали письменные заявления.

Сейчас все выступления опубликованы, и нет никакого смысла их пересказывать, желающие могут ознакомиться с ними сами.

А вот как запомнился Пленум его основным «игрокам» — членам и кандидатам в члены Президиума ЦК.

Начну с Жукова: «Н. С. Хрущев, получив крепкую поддержку и заверения от некоторых прибывших в Москву членов ЦК о желании серьезно расправиться с группой Молотова-Маленкова, вновь почувствовал прилив энергии и стал прежним Хрущевым-оптимистом. И он не ошибся. Пленум единодушно его поддержал.

Состоявшийся июньский Пленум ЦК резко обвинил группу Маленкова — Молотова в антипартийных действиях. Надо сказать, что если на Президиуме ЦК шла речь только вокруг деятельности Хрущева, с тем чтобы снять его с поста Первого секретаря ЦК, то на Пленуме вопросы были значительно расширены, и группе Маленкова — Молотова были предъявлены тяжелые обвинения по ряду принципиальных вопросов, в том числе документальное обвинение Молотову, Кагановичу, Ворошилову в истреблении, вместе со Сталиным, многих и многих честных партийных, военных и советских деятелей.

Как же вела себя группа противников Хрущева?

С первых же часов заседания Пленума ЦК в антипартийной группе начался разброд и шатания.

Первухин, Сабуров и Шепилов начали каяться в своих заблуждениях и просили учесть их раскаяние. Булганин растерялся, петлял, как трусливый заяц, плел всякие

невразумительные оправдания. Выглядел он крайне неавторитетно. Молотов и Маленков с начала и до конца держали себя твердо и отстаивали свои убеждения. Каганович, как всегда, был очень многословен, но его многословие плохо воспринималось членами ЦК КПСС. Ворошилов вначале пытался солидаризироваться с Молотовым, а затем растерялся, стал оправдываться тем, что он не понял истинных целей и намерений группы Маленкова — Молотова. В этом сказался весь Ворошилов, каким он был при Сталине.

После Пленума ЦК был избран новый состав Президиума ЦК КПСС. Я был избран членом Президиума ЦК. Работа постепенно вошла в нормальную колею».

Напомню, что написан текст в 1963–1964 годах, когда Хрущев еще находился у власти.

Теперь я процитирую воспоминания Кагановича, обнародованные спустя много лет после смерти отца. Ему Пленум, естественно, представляется иначе: «По-фракционному, за спиной Президиума ЦК организовавший это собрание, сбросивший свою маску смущения, ободренный Хрущев рядом с Жуковым и Серовым шествовал в Свердловский зал. Доклада о заседании Президиума ЦК и обсуждавшихся им вопросах фактически не сделали, зато нанизали целый комплекс политических обвинений в адрес выдуманной антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним кандидата в Президиум Шепилова.

Итог известен: приняли предложенный проект постановления, опубликованный в “Правде”, “Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.”. Могут сказать: ловок все-таки Хрущев. Да, но ловкость эта — троцкистская».

Но это все потом, тогда же Каганович не находил себе места, гадал, что его ожидает. Основываясь на своем богатом опыте в подобного рода делах, он предполагал самое худшее.

Еще один мемуарист — Мухитдинов в воспоминаниях, датируемых 1995 годом, путается в последовательности выступавших, что простительно, столько лет прошло, но он твердо запомнил, кто и что говорил.

«Утром открылся Пленум, — пишет он, — Хрущев (на самом деле Суслов. — *С. Х.*) сделал доклад о положении в партии и подробно рассказал о трехдневном заседании Президиума ЦК: о чем шла там речь, кто и как себя вел, какое решение хотели принять и как был дан отпор. После него слово дали Молотову. Он кратко изложил позицию “семерки”.

Затем пошло обсуждение. Все мы, участники заседания,

поддержавшие Хрущева, высказали свое мнение. С той стороны выступили Ворошилов, Сабуров, Булганин, Первухин. Изложив свою вчерашнюю позицию, сегодня они признали ее ошибочной. Члены ЦК, один за другим — по существу почти все, — выступая, называли их заговорщиками, карьеристами, пытавшимися произвести переворот. Позже других выступил Маленков, тоже с самокритикой.

29 июня на утреннем заседании Пленум дал оценку действиям “семерки” и принял решение. Зачитал его Суслов. За его принятие голосовали все участники Пленума, включая шестерых из семи членов “группы”. Только один Молотов воздержался от голосования.

Что же записали в решение?

В преамбуле было сказано, что Маленков, Каганович, Молотов создали антипартийную группу, изложили суть их позиции. Из Президиума и ЦК вывели Молотова, Маленкова, Кагановича и Шепилова. Сабуров был выведен из состава Президиума, но остался членом ЦК и на своем посту. Первухина перевели из членов Президиума в кандидаты. На Пленуме договорились воздержаться от упоминания в “группе” Ворошилова, Булганина и других, принимая во внимание, что Ворошилов являлся Председателем Президиума Верховного Совета, а Булганин — Председателем Совета Министров страны.

На этом Пленум закончился, но потребовалось еще четыре дня, чтобы окончательно отредактировать постановление, опубликованное потом в печати. Мы разъехались».

Пленум завершил свою работу вечером в субботу, 29 июня 1957 года.

5 — 6 июля, когда ситуация в Москве успокоилась, провели повторное празднование 250-летия Ленинграда. И провели по первому разряду, с участием не только Козлова, но и Хрущева, Булганина, Ворошилова, Фурцевой и только что избранного в Президиум ЦК представителя старой гвардии Отто Вильмовича Куусинена.

На митинге в Ленинграде отец отвел душу, сказал о своих, теперь уже бывших оппонентах все, что думал.

Напомню, что все описанные выше баталии прошли мимо моего сознания. Когда я субботним вечером 22 июня приехал из Загорска на выходные, все уже встало на свои места. В воскресенье отец вел себя, как обычно: гулял, затем сел на весла и катался по Москве-реке, после обеда читал бумаги.

Моя практика окончилась 29 июня одновременно с завершением Пленума ЦК. Домой я вернулся, все еще пребывая в полном неведении. Никаких официальных сообщений о Пленуме

пока не публиковалось. Отец мне тоже ничего не рассказал. О происшедшем узнал я только в среду, 3 июля, из газет. Почему-то мне запомнилось солнечное летнее утро. Только что на дачу привезли почту: разноцветные пакеты, скрепленные сургучными печатями, и газеты. Отец расписался на квитанциях фельдъегерской связи и, сложив бумаги стопками на круглом плетеном столике, сначала принялся за прессу. Я сел рядом и через плечо увидел на первой странице «Правды» официальное сообщение о состоявшемся Пленуме. В конце текста обычно сообщалось, кого избрали, кого убрали. На сей раз перечень фамилий занял целый абзац. Среди исключенных я увидел такие имена… Вожди! К тому же друзья… Не поверил своим глазам. Совсем недавно все сидели за одним столом на моей свадьбе, и вот тебе на! Когда отец работал, его не отрывали. Такой порядок завели давно, и он свято соблюдался. Сегодня я не мог терпеть, засыпал его вопросами. Он в подробности вдаваться не стал, сказал только, что бывшие соратники заняли неправильную позицию, вот Пленуму и пришлось их поправить.

— Они осознали свою неправоту и сами проголосовали за свое осуждение, — в голосе отца проскользнула презрительная нотка. — Один Молотов воздержался.

Единственное, что я узнал от него в то утро: против отца выступили не только четверо упомянутых в газете членов «антипартийной группы»: Маленков, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шепилов, но еще некоторые другие члены Президиума ЦК, в том числе Булганин и Ворошилов.

— Мы решили не называть их фамилий. На Пленуме они покаялись. Происшедшее послужит им хорошим уроком. Да и для внешнего мира так лучше, — закончил отец и погрузился в свои бумаги.

Постепенно противники отца, не названные в официальном сообщении, один за другим покидали Президиум. Одни, как Сабуров и Первухин, раньше, другие задержались чуть подольше.

Июньский Пленум расширил состав Президиума ЦК. Членов стало пятнадцать, а кандидатов — девять. Список формировал отец, естественно, из своих сторонников. Игнатов тоже вошел в состав Президиума.

Участники «антипартийной группы» обреченно и смиренно ждали решения своей судьбы. Не выдержал лишь Каганович, он позвонил отцу.

Об этом телефонном звонке отец вспомнил через несколько лет, на XXII съезде партии. Приведу их диалог по стенограмме, хотя, судя по рассказам отца, разговаривали они проще, без пафоса и напыщенности.

— Товарищ Хрущев! Я тебя знаю много лет. Прошу не допустить, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине… — взывал к отцу Каганович.

— Товарищ Каганович! Твои слова еще раз подтверждают, какими методами вы собирались действовать для достижения своих гнусных целей. Вы хотели вернуть страну к порядкам, которые существовали при культе личности, вы хотели учинить расправу над людьми. Вы и других меряете на свою мерку. Но вы ошибаетесь. Мы твердо придерживаемся и будем придерживаться ленинских принципов. Вы получите работу, сможете спокойно жить и работать, если будете честно трудиться, как трудятся все советские люди, — парировал отец.

Оставлять своих противников в Москве отец не хотел. У них тут связи, отыщутся если не сторонники, то сочувствующие. Всегда существует опасность, что они начнут плести новую паутину. Правила политической борьбы неумолимы: проигравшего следует изолировать тем или иным образом.

Когда я поинтересовался судьбой членов «антипартийной группы», отец ответил, что им подыскивают работу, но подальше от столицы.

Нужно сказать, что решение отца рассматривалось в те годы всеми как весьма прогрессивное и гуманное. Никого не расстреляли, никого не посадили. Более того, каждого определили с учетом склонностей и, если позволительно сказать, специальности.

Каганович слыл энергичным руководителем широкого профиля, никакой конкретной профессией, кроме сапожной, он не владел. Его отправили на Урал директором Соликамского калийного комбината. Должность немалая.

Маленкова, как бывшего министра энергетики, назначили директором крупной Усть-Каменогорской ГЭС на Иртыше.

Примкнувшего к ним Шепилова определили директором Института экономики Академии наук Киргизии.

Наибольшие трудности возникли с Молотовым. Его решили назначить послом.

Почему-то до сих пор столь важная для укрепления взаимопонимания должность используется если не как ссылка, то как способ без помех избавиться от неугодного высокопоставленного чиновника. Выбрали подходящее государство не из первого десятка, такое, с которым особых дел у нас не предвиделось. Запросили согласие на аккредитацию и получили отказ. Пришлось искать новое место. Опять ничего не получилось: не просто не дали согласия, а попеняли за неуважение — как можно назначить послом человека, которому

его собственное правительство не доверяет?

Министр иностранных дел Громыко пришел к отцу за инструкциями. Отец вначале даже рассмеялся: «Так-таки и отказывают?» Сложившаяся ситуация, казалось, его забавляла. Но он тут же посерьезнел.

— Они правильно рассуждают, — выговорил он то ли себе, то ли Громыко, — следовало предвидеть реакцию. На самом деле обидно получить послом человека, о котором заранее известно, что он не только не пользуется в своей стране уважением, но и вообще вряд ли сможет связаться с руководством.

Отец сказал, что подумает. Конечно, не о том, чтобы оставить Молотова в Москве. Он решил попытаться уговорить принять послом Молотова кого-нибудь из руководителей социалистических стран.

Первым делом отец позвонил Новотному в Прагу, ему казалось, что тот согласится. Недавнее сооружение на холме над Влтавой огромного монумента Сталину свидетельствовало об определенных симпатиях в чехословацком руководстве. Однако Новотный категорически отказал. Пришлось стучать в иные двери. И все без результата. В конце концов с трудом удалось уговорить Юмжагийна Цэдэнбала, и только в виде личного одолжения. Вскоре пришел агреман на аккредитацию нового советского посла, и Молотов отправился в Улан-Батор.

В новых политических условиях члены «антипартийной группы» миновали обычное прибежище оппозиционеров — тюрьму и ссылку, но в остальном по отношению к ним действовали по старым привычным канонам. Молотов многие годы состоял в почетных членах Академии наук. Никто не знал, за какие заслуги, но никто и не спрашивал. Сейчас решили его лишить, как вдруг выяснилось, несправедливо полученного высокого звания. Когда доложили отцу, он не возражал.

— Какой он ученый, это все Сталин навыдумывал, — бурчал отец вечером.

Сказано — сделано. Следом за Молотовым изгнали из членов-корреспондентов и Шепилова.

Отец чрезвычайно гордился тем, что впервые в российской истории за политическим сражением не последовало репрессий. А такие предложения раздавались. Он демонстрировал своим противникам и сторонникам новые реалии XX съезда, против которых восстали «молотовцы». «Царствовать должен только закон», — повторял отец.

Гордился отец совершено заслуженно. В 1957 году он создал прецедент, поломал многовековую российскую традицию, согласно которой проигравший в борьбе за власть обречен на

гибель. Так поступал Иван Грозный, так поступали цари до и после него. Припомним казненного Петром царевича Алексея, несчастного младенца Иоанна Антоновича, императора Петра III, его сына императора Павла. К проигравшим можно причислить и «декабристов», героев и жертв неудавшегося восстания 1825 года, и последнего российского царя Николая II со всем семейством. Все они, так или иначе, проиграли власть, а вместе с ней и жизнь.

Сталин не только избавлялся от реальных конкурентов, вроде Троцкого, но уничтожал без разбора всех, кто только казался ему опасным. Следуя той же традиции, в 1953 году избавились от Берии.

Мне запомнилось, как сын Маленкова Андрей уже в постсоветские времена на вопрос журналиста, как бы его отец и другие «молотовцы» поступили с Хрущевым, без колебаний заявил: «Мы бы их всех на Красной площади за яйца повесили». Ответ прозвучал эмоционально, но он отразил настроения старшего Маленкова, не выходившие за рамки общепринятого в России поведения.

А вот отец отважился поступить иначе, и после 1957 года российская история изменила свой курс, изменилась и сама власть. В 1964 году Брежневу несомненно хотелось физически избавиться от Хрущева, а вместе с ним и от своих, связанных с планируемым переворотом, страхов, но у него ничего не вышло. Председатель КГБ Семичастный, судя по его воспоминаниям, попросту отказался, а Брежнев не решился настоять.

После государственного переворота осенью 1993 года Борису Ельцину, вопреки собственному естеству, пришлось смириться с решением Генерального прокурора, освободившего из-под ареста ненавистных ему вице-президента Александра Руцкого и спикера палаты Руслана Хасбулатова.

О более позднем времени я и не говорю. Возврат к старому стал невозможен, и все благодаря прецеденту 1957 года!

Итак, в июне 1957 года отец, казалось бы, одержал окончательную победу. В Президиуме ЦК, в руководстве страной у него не осталось ни противников, ни соперников. Казалось бы…

На самом деле в июне 1957 года сложилось совершенно новое соотношение сил. Впервые за многие годы аппарат, а именно из его представителей всегда комплектовался Центральный комитет, из статиста превратился в активное действующее лицо. Теперь он определял расстановку сил, в том числе на самом верху, в Президиуме ЦК. Без сомнения, и раньше никто, включая Сталина, не мог действовать, не учитывая интересов этой могущественной прослойки. Но тогда над ЦК и всей страной довлело таинство власти. Сейчас все упростилось.

Окутанные до сего часа ореолом недостижимости члены Президиума ЦК спустились в зал, оказались обычными людьми. Их можно поддержать, а можно им и отказать. Так проявился, возможно, один из существенных уроков XX съезда. Постепенно аппарат набирал силу, реальная власть все больше перетекала в среднее звено.

Мне запомнился один очень характерный разговор с Игнатовым. Как-то осенью, наверное, в 1958-м, на дачу к нам заехала большая компания. В Кремле что-то недообсудили… Отправились на прогулку. Впереди шел отец. Я замыкал процессию.

Почему-то рядом со мной оказался Игнатов. Он только обживался в Москве, и я его едва знал. Некоторое время шли молча. Потом Игнатов стал что-то говорить о том, что они отца в обиду не дадут, волноваться нечего, а «этим» они показали…

Я сначала не очень разобрался, о чем идет речь. Разговор я не поддержал, просто не знал, что ответить. Игнатов произнес еще несколько фраз и двинулся вперед к основной группе. Я, наверное, не запомнил бы этих слов, если бы не поразивший меня покровительственный тон по отношению к отцу.

Воистину начиналась эпоха аппарата. Из 1957 года она протянулась к октябрю 1964-го и дальше — в эпоху расцвета аппаратного правления, которую мы справедливо называем застоем. Справедливо, потому что с воцарением аппарата наступила пора безудержного роста энтропии, хаоса. Никто не пытался его сдерживать, наводить порядок, каждый тянул в свою сторону, каждый преследовал свои, сначала ведомственные, затем и просто личные интересы. Власть постепенно распадалась и, в какой-то момент центр ее окончательно утратил силу. Хаос возобладал, энтропия одержала победу над организацией, над порядком. Но в 1957 году так далеко никто не заглядывал.

Маршал Жуков, или… генерал Бонапарт?

На июньском Пленуме Жуков вместе с другими державшимися отца кандидатами в члены Президиума ЦК: Козловым, Фурцевой, Шверников, Брежневым, а также просто секретарями ЦК Беляевым, Аристовым, новичками Игнатовым и Куусиненом становится полноправным членом Президиума ЦК. Тем летом он несколько раз появляется у нас на подмосковной даче. Внешне отношения между ним и отцом выглядели безоблачными. Они подолгу гуляли по дорожкам парка, что-то обсуждали, смеялись.

Потом мы с отцом некоторое время не виделись. Мы с женой

и нашими институтскими друзьями уехали на «Победе» путешествовать по Кавказу. Отца задержали дела, и он смог выбраться в отпуск только в самом конце августа. По пути в Москву мы, переправившись на пароме через Керченский пролив, на пару дней заскочили к родителям, отдыхавшим на госдаче в Ливадии. Там они принимали многочисленных гостей, в том числе и Жукова. В отличие от остальных, отдыхавших семейными парами, маршал приезжал к отцу один; как я уже упоминал, с женой Александрой Диевной он давно расстался, по слухам, на своей даче он жил с некой Галиной, по специальности врачом. В гости он Галину не брал. В один из дней всей компанией отправились в горы, в заповедник, не охотиться, а погулять, пострелять из ружей по тарелочкам, полакомиться шашлыками. Там, в Крымских горах, я видел маршала Жукова в последний раз. Он стоял под дубом в клетчатой ковбойской рубашке и о чем-то оживленно беседовал с отцом. На следующий день мы с женой продолжили свое автомобильное путешествие, спешили в Москву к 1 сентября, в институте наступала дипломная пора. Отец с Жуковым оставались в Ялте до конца сентября. Затем они разъехались. Жуков улетел в Москву готовиться к намеченному на начало октября официальному визиту в Югославию, а отец, приняв вдову американского президента Франклина Рузвельта — Элеонору, уехал в Киев на маневры сухопутных сил.

В Югославию Жуков отбыл, как и подобает министру обороны: из Севастополя, на тяжелом крейсере «Куйбышев». Его командир вспоминал через много лет, что маршал пребывал в хорошем настроении, шутил, в разговорах тепло отзывался об отце, однажды за обедом произнес тост за его здоровье. Визит проходил успешно. Не забывавшие недавней войны югославы подчеркнуто демонстрировали свое уважение человеку, к чьим ногам пал Берлин. За Югославией потянулась Албания, и ей хотелось принять высокого гостя.

И тут как гром среди ясного неба: 27 октября, в воскресенье, на последней странице газеты «Правда» в рубрике хроники появилось сообщение, что Президиум Верховного Совета СССР назначил маршала Советского Союза Малиновского Родиона Яковлевича министром обороны СССР. Чуть ниже мелким шрифтом была набрана информация об освобождении маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича от этой должности. И никаких комментариев! Ни на последней, ни на первой странице.

Выходной день вся семья, как обычно, проводила на даче, и я попытался расспросить отца. Он только буркнул в ответ, что в силу различных обстоятельств товарищи сочли такое решение

своевременным.

— Так будет лучше, — неопределенно сказал он.

Я ничего не понял, но тон и поведение отца ясно демонстрировали: дальнейшие вопросы ни к чему не приведут.

В тот день я случайно оказался свидетелем их, видимо, последнего разговора.

Я входил в дом, когда раздался телефонный звонок. По звуку я определил: кремлевка и рванулся побыстрее снять трубку, но отец уже направился к телефону, махнул мне рукой: мол, не надо, сам подойду. Замешкавшись, я ненароком подслушал разговор.

— Здравствуй, Георгий, — глухо ответил отец на приветствие.

Я навострил уши и уже намеренно задержался в прихожей. Так, по имени, отец называл только двух людей: Маленкова и Жукова. Первый в октябре 1957 года звонить не мог, значит, Жуков. Он спешно вернулся в Москву. После приветствия наступила пауза. Согласно воспоминаниям Жукова, он сказал отцу: «Ты теряешь друга».

— А так, как ты, друзья разве поступают? — недовольно возразил отец. Опять растянулось молчание. Дольше топтаться в прихожей стало неудобно, могло попасть от отца за подслушивание. Я прошел в столовую. К завтраку постепенно собиралась вся семья. Через несколько минут вернулся отец. Невольно я вскинул голову с немым вопросом.

— Жуков звонил, — сказал отец, ни к кому не обращаясь.[47]

Сейчас, по истечении десятилетий, слова Жукова: «Ты теряешь друга», приобретают пророческий смысл. Хотя дружба в политике и между политиками понятие весьма относительное.

И тем не менее, позволю себе пофантазировать. Кто знает, если бы отец не избавился от Жукова, а затем и от Серова, то и его судьба могла сложиться иначе. Возможно, не произошло бы сговора членов Президиума ЦК, поддержанного новыми, более сговорчивыми министром обороны Малиновским и председателем КГБ Семичастным, приведшего к отставке отца семью годами позднее, в октябре 1964 года. Возможно… А возможно, что отца бы сняли не в 1964, а в 1958-м или даже, том же 1957-м. И не Брежнев с Шелепиным, а Жуков с Серовым. Правда, Жуков Серова невзлюбил еще с конца войны, тогда Жукова назначили командовать оккупационными войсками в Германии, а Серова Сталин приставил к нему соглядатаем, сделал его первым заместителем командующего группой советских войск.

Ну и что из того? Политика порой сводит вместе людей из самых разных лагерей. Свела же она откровенно презиравших

друг друга Брежнева с Шелепиным, почему бы ей не свести вместе Жукова с Серовым? Все возможно.

3 ноября «Правда», как впрочем, и все остальные газеты, сообщила, что в октябре, дата не называлась, состоялся Пленум Центрального комитета, который обсудил вопрос об улучшении партийно-политической работы в Советской армии и Военно-морском флоте.[48]

Последний абзац гласил: «Пленум вывел из состава членов Президиума ЦК и из членов ЦК товарища Жукова Г. К.». Никаких вразумительных комментариев ни тогда, ни впоследствии не было. Не добавило ясности и опубликование в печати постановление Пленума. В партийных организациях, особенно в Вооруженных силах, его проработали, единодушно одобрили, провели партийно-воспитательную работу. Вопросы задавать в те годы еще не привыкли: начальство само знает, о чем можно, а о чем нельзя говорить.

Когда отец уже сам оказался на пенсии и мы занялись работой над его мемуарами, я несколько раз задавал ему вопрос о причинах увольнения Жукова. Отец рассказывал без особой охоты. Видно было, что эти воспоминания ему удовольствия не доставляли.

Отец умер уже почти полвека тому назад. И со времени отставки Жукова прошло более полувека. Жуков стал национальным героем, и заслуженно. О нем написано множество мемуаров, книг и статей, учрежден орден Жукова, в Москве установили его конную статую. Статую победителю в великой и кровавой войне. Естественно, на таком фоне отставка Жукова рассматривается как шаг, отнюдь не украшающий отца, оно представляется как предательство и завистливая неблагодарность.

Выставлять оценки государственным деятелям, а отец и Жуков, без сомнения в их числе, дело неблагодарное. Попытаюсь лишь восстановить логику событий июля — октября 1957 года.

Итак, 22 июня 1957 года Пленум ЦК встал на сторону отца, «антипартийная» группа разгромлена. Но вопросы оставались. У отца не шли из памяти слова Жукова, вырвавшиеся у него вечером 19 июня на совещании в его кабинете в ЦК, на второй день противостояния. Как решительно он тогда произнес: «Их я арестую. У меня все готово».

«Что готово? Почему готово уже в первые дни? — отец и так и эдак осмысливал и переосмысливал сказанное Жуковым. — Для того чтобы быть готовым, надо готовиться. Значит, он готовился? К чему готовился?»

И еще это: «Если понадобится, я обращусь через вашу голову,

через голову, подвластных вам армейских и местных партийных организаций, к народу, к армии!» Слова Жукова тогда здорово перепугали оппонентов, но и у отца не могли не вызвать неосознанной тревоги. Значит, он уже думал об обращении к народу, к армии — своем обращении к *своему народу, своей армии*.

На собраниях, проходивших после июньского Пленума в Москве и вне ее, Жуков не раз повторял это свое заявление, смаковал. Получалось, что настоящий победитель — это он, Жуков, а не Хрущев. А если завтра он, Жуков, недовольный Хрущевым, обратится к народу и армии через его голову? Обращаться или не обращаться — теперь выходит, решает он сам, а не правительство, не Президиум ЦК. И тут же припомнились не раз озвученные Молотовым, Маленковым, Булганиным на Пленуме предложения о том, чтобы низвести роль первого секретаря до технического уровня, по сути, лишить его, Хрущева, власти. Жуков ни слова не возразил им в ответ. Нечего было возразить?

Как понимать, что с одной стороны Жуков предлагал ему арестовать «молотовцев», с другой — обсуждал с ними, как фактически отстранить его самого от власти, — раздумывал отец. Тут и раздумывать не требовалось, ответ напрашивался сам собой: в результате выигрывал сам Жуков. Что он выигрывал? Очевидно — власть.

Вскоре тревожные мысли отца стали получать одно за другим подтверждения. В новый проект положения о Министерстве обороны Жуков своей рукой вписывает, что он, министр, а не глава государства отныне является Верховным Главнокомандующим. Настаивал Жуков и на упразднении в округах должности члена Военного совета — представителя партийных армейских органов, этим, мол, ставится под сомнение авторитет командующего, нарушается единоначалие.

Не так уж он был и неправ, во время войны такие сверхдеятельные «члены», как Лев Мехлис, вмешивались в принятие чисто военных решений, порой сами начинали командовать, чем нанесли немало вреда, погубили немало жизней. Но ЦК не допускало и мысли о переуступке кому-либо, пусть и члену собственного Президиума, контроля над армией, установлении в ней единоначалия министра обороны.

Положение поправили, но не без труда. Кириченко и Брежнев, теперь в ЦК они отвечали за оборонные дела, еле уломали Жукова.

Затем в Оборонном отделе ЦК заметили, что уже в июле 1957 года перестали приходить рутинные отчеты о проведенных в

военных округах партийных собраниях. На них обсуждали итоги июньского Пленума ЦК и осуждали «антипартийную» группу. Упоминалась, естественно, и жесткая позиция, занятая маршалом Жуковым. Поступил лишь один отчет из группы советских войск в Германии за подписью старого приятеля отца маршала Гречко. Дело, конечно, пустяковое, но цековские чиновники нажаловались отцу. Он пока не спешил поднимать скандал, позвонил Гречко.

— Ой и попало мне от министра, Никита Сергеевич за тот клятый отчет, — запричитал Гречко.

— За что попало? — не понял отец.

— Да за отчет этот в ЦК, будь он неладен. Я подписал, не спросив разрешения министра. Так я же никогда по таким пустякам его не спрашивал, — жаловался Гречко. — А тут он так разошелся, выгнать из армии пригрозил.

— Ну, из армии без ЦК он вас не выгонит, не прибедняйтесь, — не поддержал Андрея Антоновича отец.

Они еще немного поговорили о предстоящей поездке отца в ГДР и закончили разговор, довольные друг другом.

Отец Жукову звонить не стал, не такое уж это важное дело, поручил Суслову уладить все с армейским Политуправлением. На одной из встреч с военными, отец проводил их регулярно, он, невзначай столкнувшись с маршалом Семеном Константиновичем Тимошенко, рассказал ему об истории с отчетами. Они хорошо знали друг друга. До войны Тимошенко командовал Киевским военным округом, а потом Юго-Западным фронтом, вместе они отступали от западной границы почти до самого Сталинграда.

— Как это можно? — пожаловался отец. — Пишут их не дяде на деревню, а в ЦК.

— Попробуй, напиши, — насупился Тимошенко, он явно не желал развивать затронутую отцом тему.

— Почему так? — заинтересовался отец.

— А субординация? — неопределенно ответил маршал.

— Какая субординация? — отец вцепился в него всерьез.

— ЦК далеко, а министр, да еще такой министр, под боком, — недовольный, что его прижали к стенке, буркнул Тимошенко и отошел.

Отцу вспомнилась очень похожая прошлогодняя история. В августе 1956 года, вслед за пролетом над Москвой на высоте более 20 километров американского самолета-разведчика У-2, отец распорядился ежемесячно докладывать ему о состоянии дел в войсках ПВО, о разработке новых высотных зенитных ракет и самолетов-перехватчиков. Первый доклад в ЦК подписали: от промышленности — заместитель Председателя Совета Министров

Хруничев, а от военных — заместитель министра обороны, главком ПВО маршал Сергей Сергеевич Бирюзов. Копии, как полагается, послали министру обороны Жукову и его первому заместителю маршалу Коневу.

До отца дошли слухи, что Жуков устроил Бирюзову страшный разнос, заявил, что у того нет права напрямую обращаться в ЦК, и он, Жуков, у себя таких заместителей не потерпит. И не потерпел, 21 ноября 1956 года Жуков предложил упразднить одну из должностей заместителя министра обороны, ту, которую занимал Бирюзов. Тогда отец на это снова не обратил внимания, ЦК с подачи министров постоянно упразднял одни вакансии или учреждал другие. Теперь же старая история представилась в ином свете.

А тут еще детская, на первый взгляд, история со встречами и проводами. Испокон века, куда бы ни приезжало высшее руководство, хоть император во времена империи или первый секретарь ЦК в советские времена, все местные чины выходили его встречать, в том числе и военные. К этому все привыкли, каждый знал, где стоять, когда руку пожимать. Во время недавней поездки в Прибалтику, при переезде из Эстонии в Ленинградскую область, среди встречавших отца не оказалось командующего округом генерала Матвея Захарова, человека отцу тоже не постороннего. Они познакомились в 1943 году, когда Захаров заступил на должность начальника штаба Степного, а затем 2-го Украинского фронта. Отец удивился, но тут же забыл: возможно, приболел генерал. Грузный, запыхавшийся Захаров появился, когда уже рассаживались по машинам и на вопрос, почему он припозднился, ответил уклончиво. Такая его реакция возбудила любопытство отца. Если плохо себя чувствовал или с машиной что случилось, то он бы прямо ответил, а тут почему-то заюлил. Допытываться отец счел тогда неудобным, да и повод пустяковый. Позднее, уже в Ленинграде, Захаров сам подошел к нему и признался, что имел неприятный разговор с Жуковым. Тот не одобрил его выезд на встречу Хрущева, а когда узнал, что генерал все-таки поехал, устроил ему нахлобучку. Захаров искренне недоумевал, что же он натворил?

После разговора с Захаровым отцу припомнилось, как в мае прошлого, 1956 года, когда они вместе с Тито ездили в Сталинград, он пригласил туда бывшего командующего фронтом, а ныне — Северо-Кавказским военным округом маршала Еременко приехать и рассказать высокому гостю о происходивших осенью 1942 года боях. Еременко в Сталинград прибыл немедленно, но пожаловался, что поступил так вопреки воле министра. Жуков даже специально вызывал его в Москву,

«драил» более двух часов, а в заключение просто нагрубил: «Нечего тебе там делать. Выслуживаешься?»

— Я же командующий округом, в который входит Сталинград. Встретить вас с товарищем Тито — моя прямая обязанность. При чем тут выслуживаешься? — плакался отцу Еременко.

Тогда отец на слова Еременко внимания не обратил. Он хорошо знал характер Еременко, во время боев под Сталинградом они с командующим фронтом жили в землянке бок о бок не одну неделю. Еременко всегда на всех жаловался. К тому же Еременко не любил Жукова, а Жуков не любил Еременко. Каждый из них доказывал, что ему первому пришла мысль окружить Паулюса в 1942 году, и он первым доложил ее Сталину.

Но это то, что лежит на поверхности. На самом деле Жуков не мог «простить» ни Еременко, ни Рокоссовскому их побед в Сталинграде. Сейчас мы учим в школе, что Сталинградская битва — поворотный момент в Великой Отечественной войне. А осенью 1942 года обстановка складывалась иначе. Когда ценой огромных усилий и жертв удалось остановить немецкое наступление на юге и начали думать об ответном ударе, для него, вернее для них, избрали не одно, как мы привыкли думать, а два направления: первое — под Сталинградом, другое — под Ржевом, по мнению современных историков, вспомогательное. Но почему-то этим «вспомогательным» Ржевским наступлением Сталин поручил заниматься не кому-либо, а Жукову, Сталинградским же — генералу Василевскому. Дело в том, что Сталин продолжал считать московское направление основным и самым опасным, а Ржев находился именно на московском направлении.

Давайте взглянем на расстановку сил. У Жукова под Ржевом на трех фронтах сосредоточили в общей сложности почти два миллиона человек, 31 процент общих людских ресурсов, 24 тысячи орудий и минометов, то есть 32 процента всей артиллерии, 3 300 танков (почти 50 процентов от имевшихся в наличии) и 1 100 самолетов. В общей сложности 35 процентов всех войск.

А трем фронтам, участвовавшим в Сталинградской операции, выделили чуть более миллиона солдат, 15 тысяч орудий и минометов, 1 400 танков и 900 с небольшим самолетов.

Концы с концами не очень сходятся. На направлении «главного удара» сил вдвое меньше, чем на второстепенном, отвлекающем.

Дальше — больше. Наступление под Сталинградом началось 19 ноября, а удар под Ржевом в направлении на Смоленск запланировали на 25 ноября, когда обеспокоенные немцы начнут

снимать дивизии с западного направления и перебрасывать подкрепление на юг, к Сталинграду. В случае нанесения отвлекающего удара обычно наступают наоборот. Вот и получается, что осенью 1942 года Сталинградское направление считалось если не отвлекающим, то вспомогательным.

Однако в жизни все получилось иначе: Рокоссовский и Еременко (от Центра их действия координировал начальник Генштаба Василевский) собрали в кулак на главном направлении все имевшиеся у них силы, ударили разом, прорвали оборону немцев, окружили армию Паулюса и победили. Тогда как «представитель Ставки Верховного командования Жуков в операции под Ржевом распылил силы, — я цитирую российского военного историка А. В. Исаева, — вместо двух-трех сильных создал тринадцать слабых ударных группировок, каждая в три-четыре дивизии с одним танковым корпусом в придачу. В результате множественность ударов, из которых более половины были сковывающими, привела к распылению средств и не позволила сломить сопротивление немцев».

Бои под Ржевом продолжались до конца декабря 1942 года, стоили более миллиона жизней и закончились полным провалом.

Тогда-то Сталин и приказал считать удар под Ржевом отвлекающим, вроде все так изначально и задумывалось. Но Жуков-то знал правду и знал, что Еременко с Рокоссовским ее знают тоже. Теперь, когда война ушла в прошлое, маршалы продолжали сводить старые счеты. Одна мелочь наслаивалась на другую, тоже, казалось бы, не достойную внимания, а вместе они выстраивались в систему и заставляли задуматься. Получалось, что это не ревность и не случайность, а некая выстраиваемая Жуковым политика. Другими словами, Жуков старался целенаправленно изолировать политическое руководство страны от высшего армейского командования.

Вскоре отец убедился, что его опасения небеспочвенны. 7 августа 1957 года Хрущев вместе с Микояном и Громыко отправились в ГДР с официальным визитом. Отец взял меня с собой. В Берлине на аэродроме все шло по заведенному ритуалу: немецкие руководители, пионеры с цветами, командование нашими оккупационными войсками. Пожимали руки, шутили, улыбались. Когда очередь дошла до Гречко, вечно готовый побалагурить маршал стоял мрачнее тучи.

— Не заболел ли? — поинтересовался отец.

— Никак нет, — уставно ответил Гречко. И, переломив свой почти двухметровый рост, наклонился к уху отца и доверительно попросил принять его.

В резиденции Гречко пожаловался, что в течение месяца ему

дважды нагорело от Жукова. И все из-за Хрущева. Сначала с этим несчастным партийным отчетом получилась неувязка, а сейчас со встречей.

— Мы с Рокоссовским тут неподалеку занимались штабными учениями, как и положено, собрались ехать на аэродром вас встречать, — рассказывал Гречко. — Но я уже битый, предложил Рокоссовскому, он среди нас двух главнее, позвонить министру, отметиться. Тот позвонил и получил по зубам. «Нечего вам там делать», — отрезал Жуков и бросил трубку. Мы с Рокоссовским не знали, как поступить, наконец я сказал, что поеду, мне терять нечего. Он же, заместитель министра, вспомнил, что случилось с Бирюзовым, и решил не рисковать.

— Не знаю, что теперь со мной будет? — Гречко уже улыбался. — Может быть, вы защитите, Никита Сергеевич?

Тут отец заметил, что я, уткнувшись в газету, сижу в кресле в углу комнаты и предложил Гречко выйти прогуляться по прилегающему к резиденции парку. Меня он с собой не позвал, и о чем они договаривали, я не слышал.

В Москве же отца ожидали новые сюрпризы. В ЦК на столе у него лежал приказ Жукова № 0090 «О состоянии воинской дисциплины в армии».

Сопровождавшая документ записка свидетельствовала, что попал он к отцу не из Министерства обороны, а пришел от Суслова. И не на согласование, Жуков Приказ уже подписал. Начальник политуправления Вооруженных сил, заместитель Жукова генерал-полковник Алексей Сергеевич Желтов нажаловался на приказ Суслову. Суслов пожаловался отцу. Отец начал читать приказ и не поверил собственным глазам. Перечитал снова, теперь уже впиваясь в каждое слово. Нет, все верно, Жуков за своей подписью запрещал в армии и флоте на партийных собраниях и конференциях какие-либо обсуждения, а тем более критику командиров всех уровней. Ослушникам грозило привлечение к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнений из Вооруженных сил.

В сопроводительной записке Суслов сообщал о других приказах Жукова, ликвидировавших политорганы в военных округах, массовом увольнении из армии политработников.

Отец отложил приказ на угол стола и задумался. Мало того что Жуков не счел нужным поговорить с ним заранее, его действия полностью противоречили принятой практике, ведь ЦК КПСС — не просто партийный орган, а высшая руководящая структура в стране, а он, Первый секретарь ЦК, не просто глава партии, но и Верховный Главнокомандующий. Издавая приказ, министр обороны превысил свои полномочия и явно сделал это

осознанно, как бы испытывая волю Верховного. Он решил серьезно поговорить с Жуковым.

Не только отец намеревался объясниться с Жуковым, но и Жуков хотел поговорить с Хрущевым — и не о политработе войсках, и не о политработниках. В августе 1957 года Жуков подготовил проект реорганизации Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел. С ним он и пришел к Хрущеву. Для начала маршал предлагал вывести пограничные войска из КГБ, сделать их еще одним родом войск. Он уже поручил Генеральному штабу подготовить развернутые предложения. Более того, Жуков считал, что раз в МВД и КГБ служат люди в погонах, то посему они вообще должны стать подчиненными Министерству обороны. В МВД Жуков хотел заменить гражданского министра Дудорова, протеже отца, на военного. В разговоре с отцом сказал, что для такого дела не пожалеет и маршала Конева, своего первого заместителя.

Дудорова отец знал с 1950 года, сначала как заведующего отделом МГК. Потом он назначил Дудорова, профессионального строителя, заместителем председателя Моссовета и наконец в 1954 году перевел в ЦК заведующим Отделом строительства. В январе 1956 года отец поставил Дудорова на МВД, чтобы иметь там доверенного человека и одновременно профессионала. Министерство и после ликвидации ГУЛАГа продолжало строительство гидроэлектростанций и других объектов.

Теперь же Жуков предложил вместо Дудорова Конева. В строительстве маршал ничего не смыслил, а уж положиться на него, по мнению отца, было абсолютно невозможно, предаст при первой возможности. О Коневе после затеянного Сталиным «дела врачей-убийц», как я уже писал, у отца сложилось очень негативное мнение.

Как только «Правда» опубликовала разоблачительное письмо Лидии Тимашук, Конев тут же написал Сталину длинное письмо, расписал в нем, как и его самого травили в кремлевской больнице. Уже после смерти Сталина отец имел с Коневым неприятный разговор. Маршал ничего не отрицал, со всем соглашался, упершись взглядом в пол, повторял: «Виноват».

Формально Жуков прав в одном: в составе Министерства внутренних дел числится несколько дивизий, а Дудоров — человек гражданский. Но дивизиями командует не он, а его заместитель — генерал С. И. Переверткин. Его туда назначили сразу после ареста Берии. С Переверткиным отец не сталкивался, в войну он служил на западных фронтах, потом у Жукова в группе войск в Германии. Жуков хорошо знал Переверкина и в свое время порекомендовал его отцу.

Конечно, Конев Жукову не друг, они друг друга не переносят, отец хорошо помнил это еще по войне, но он дисциплинированный военный, получит приказ — исполнит.

Во главе КГБ Жуков хотел вместо Серова, тоже близкого отцу человека, поставить военного строевика. Называл ли он отцу какие-либо фамилии, история не сохранила. Отдавать команды председателю КГБ пришлось бы через Жукова. А это уже не безобидная возня с генеральскими встречами и проводами.

Отец ушел от обсуждения, сказал, что следует подумать, посоветоваться, такие дела сгоряча не решают. Затеянный Жуковым разговор его откровенно испугал, это уже не звоночек звенел, а колокол забухал. На памятном заседании Президиума ЦК в июне Молотов тоже напирал на замену Серова, предлагал Булганина, а теперь Жуков…

Отец не мог согласиться ни на замену Дудорова, ни на замену Серова. Но и спорить с Жуковым поостерегся, в августе 1957 года он ощущал в нем уже не союзника, а соперника, опасного соперника. Отец сказал, что подумает, в конце месяца он собирается в отпуск в Крым, слышал, что и Жуков едет туда же. Вот на бережку они все и обмозгуют.

Говорили ли они в Крыму на эту тему, я не знаю. А вот что не договорились — это не вызывает сомнения. И Серов, и Дудоров остались на своих местах.

Тем временем в Крыму в самом конце августа или начале сентября 1957 года возник новый конфликт, теперь уже практически на ровном месте.

Предоставлю слово Жукову, уж он-то не станет против себя свидетельствовать.

«Разговор возник, когда мы с Хрущевым и отдыхающим поблизости Брежневым прогуливались по дорожкам дачи, где отдыхал Хрущев, — вспоминает Жуков. — О чем-то перекидывались словами, шутили.

— Никита Сергеевич, мне звонил на днях Янош Кадар, — заговорил о делах Брежнев, — очень просил оставить в Венгрии нашего командующего тамошней группой войск генерала Михаила Ильича Казакова, он прослужил всего год, с конца 1956 года, но они хорошо сработались. Товарищ Жуков хочет перевести Казакова на Дальний Восток, но я считаю, надо посчитаться с мнением Кадара. Для Дальнего Востока можно подобрать другого командующего».

Жуков такого, по его мнению, наглого, вмешательства в его епархию стерпеть не мог и резко возразил:

— В интересах обороны страны генерала Казакова надо направить на должность командующего Дальневосточным

округом, а для Венгрии мы найдем другого хорошего командующего.

— Но надо же считаться и с просьбой товарища Кадара, — просительно произнес Брежнев.

— Надо считаться и с моим мнением. Вы не горячитесь, я такой же член Президиума, как и вы, товарищ Брежнев.

Хрущев молчал, — заканчивает вспоминать Жуков, — но я понял, что он не доволен моим резким ответом».

И как отец мог остаться довольным? Хорошие отношения советского командующего войсками в Венгрии с Кадаром, да еще через год после подавления вооруженного восстания для него значили куда больше, чем командование любым военным округом. Отец не сомневался, что и Жуков это понимает, но Кадар обратился не к нему, а к Брежневу. И теперь Жуков считает необходимым продемонстрировать свою власть, указать Брежневу, а заодно и отцу, чтобы не совались в его епархию.

Отец все больше приходил к заключению, что с Жуковым, как это ни прискорбно, придется расстаться. Когда Жуков решит, что для него пришла пора расстаться с Хрущевым, будет уже поздно.

После того как недовольный Жуков уехал к себе на дачу, Брежнев напомнил отцу о спорах вокруг положения о Министерстве обороны, и о претензиях Жукова на главнокомандование, и об исключении из командной структуры округов должности члена Военного совета. Отец молча выслушал Брежнева, поблагодарил и, ничего не сказав, распрощался и ушел в дом. Он хотел обдумать все, попытаться сложить накопившиеся за последние два месяца отдельные факты в единую картину. Картина получалась тревожная.

На следующий день позвонил из Москвы Суслов, сказал, что Жуков прислал на утверждение в Президиум ЦК официальную бумагу о переводе Казакова из Венгрии на Дальний Восток. Суслов уже прослышал от Брежнева о разногласиях вокруг Казакова и не решался, не спросившись отца, как обычно, «проштамповать» на очередном заседании Президиума предложение министра обороны. Отец посоветовал Суслову повременить. Не оставалось сомнений, записка Жукова — ответ, если не выразиться сильнее, не столько Брежневу, сколько ему самому. Вернее, демонстрация силы. На силу отец привык отвечать силой. Как ни неприятно, но придется действовать.

Тут еще вспомнился давний разговор с Малиновским, командующим Дальневосточным военным округом, в октябре 1954 года отец, вместе с Булганиным и Микояном, по дороге домой из Китая тогда заехали к нему в Хабаровск. Отец ценил Малиновского. В 1943 году отстоял его перед Сталиным. Тогда в

армии у Малиновского застрелился член Военного совета Ларин, перед смертью отправивший Сталину какое-то письмо. Его содержания отец не знал, но Сталин разгневался и хотел не только сместить Малиновского с командования армией, но и учинить расследование. Отец, понимая, что рискует головой, поручился перед Сталиным за Малиновского. Сталин смилостивился, но приказал отцу неотлучно находиться при нем, стать его тенью. Пришлось ему на несколько месяцев переселиться из штаб-квартиры командования фронтом в армию Малиновского. Там-то они и сдружились.

Вечером по завершению дел отец с Булганиным зашли к Малиновскому в гости. Микоян остался в резиденции отдохнуть. Помянули боевых товарищей, переговорили обо всем, и тогда Малиновский доверительно посоветовал отцу остерегаться Жукова.

— Почему? — удивился отец.

— Опасный он человек, — повторил несколько раз Малиновский, — еще помянете мои слова. «Наполеон Бонапарт!».

— Мы это знаем, — поддержал Малиновского Булганин.

Отец не хотел развивать тему Жукова с его же подчиненным и от дальнейшего разговора ушел, а вскоре и вовсе позабыл о том разговоре. Теперь вспомнил и призадумался. Все факты выстраивались в логически стройную цепочку, в конце ее явственно вырисовывался невысокий, крепко сбитый генерал в треуголке на голове — генерал Бонапарт.

До того как принять окончательное решение, отец счел необходимым посоветоваться, «пошептаться», как он выражался, с генералами, конечно, без Жукова. Он знал, что все маршалы и большинство генералов Жукова, мягко говоря, недолюбливают, кто за его жесткость и безапелляционность, кто завидует его удачливости в военных операциях, кто просто завидует, а кто и откровенно его боится. Но одно дело недолюбливать своего министра, а другое — открыто выступить против него. Они же — военные, прикажи им Жуков, и генералы возьмут под козырек.

Удобный случай представился сам собой. В первых числах октября под Киевом Малиновский, теперь уже маршал и главнокомандующий сухопутными войсками, проводил показательные учения. Впервые в нашей армии специально оборудованным танкам предстояло, пройдя своим ходом по дну реки, форсировать Днепр. На учения вызвали всех командующих округами, посмотреть и поучиться. В войну все они намучались: форсирование и малых, и особенно больших рек стоило большой крови. Теперь же… Завел танки, и через полчаса ты на той стороне. Как в сказке!

Жуков на учения не собирался. 8 октября его ожидали с официальным визитом в Югославии. Новые танки он уже видел, а с организацией учений Малиновский и сам справится. В конце сентября Жуков уехал из Крыма в Москву, следовало подготовиться к поездке. Перед отъездом позвонил отцу попрощаться. Отец пожелал маршалу семь футов воды под килем, успешных переговоров с Тито и невзначай сказал, что собрался в Киев поохотиться на уток, а заодно заскочит к Малиновскому на учения, полюбуется, как танки своим ходом проползают по дну реки.

Отец действительно намеревался поохотиться. Еще работая в Киеве, он неподалеку от районного городка Яготин открыл для себя прекрасное, заросшее камышом озеро. Там гнездилось множество уток, лысух, нырков и иной живности. Отец ездил в Яготин каждый сезон, а когда я подрос, он начал брать с собой и меня.

«Царская охота» в те времена отличалась от нынешней. На берегу озера — небольшой щитовой домик, удобства на два очка во дворе, освещение — керосиновое. Приезжал отец с товарищами в субботу поздно вечером, сразу ложились спать, человека по два-три в комнате, только отец имел собственную спальню площадью в пять-шесть квадратных метров. Вставали до рассвета. В Украине в августе, когда открывалась утиная охота, светает часов в пять. Наскоро умывались и рассаживались по крестьянским лодкам-плоскодонкам. Их с вечера пригоняли жители соседнего села, так они подрабатывали. Работа возчикам, возиям по-украински, предстояла нелегкая — несколько часов, орудуя шестом, проталкивать тяжелую лодку сквозь камышовые заросли. Утки, естественно, предпочитали места понедоступнее.

Отца возил местный милиционер, работник «органов». Остальные «возии» возникали и исчезали в зависимости от настроения и потребности в приработке. За услуги охотники расплачивались из своего кармана. Отец за этим следил.

В 1957 году в домик на берегу озера провели электричество. На самом озере неугомонный отец заставил местное начальство организовать утиную ферму, чтобы выращивать там для стола киевлян птицу по новейшей западногерманской технологии. Охоте ферма, естественно, мешала, но охота — баловство, а ферма — дело.

Отец позвонил из Крыма в Москву и предложил мне присоединиться к нему в Киеве. Я с радостью согласился. Он сказал, что меня может захватить с собой Брежнев. Он и еще несколько членов Президиума ЦК тоже собираются в Яготин. Об учениях отец не сказал ничего.

Судя по воспоминаниям Жукова и Мухитдинова, в Киев, кроме Козлова и Брежнева, из Москвы приехал Аристов, а из Ташкента — Мухитдинов. На аэродроме на правах хозяина всех встречал Кириченко, первый секретарь ЦК Компартии Украины, член Президиума ЦК. Охота прошла, как обычно, успешно.

По возвращении в Киев отец поселился в представительском Мариинском дворце рядом со зданием Украинской Верховной Рады. Оттуда, с днепровской кручи открывался замечательный вид на низинное левобережье, тогда еще почти не застроенное домами. Остальные гости разместились в гостиницах.

О том, что отец собирается в Киев, Жуков знал. Он знал и то, что отец пригласил туда кое-кого из членов Президиума. Их участие в маневрах не выходило за общепринятые рамки. Последние годы отец настаивал: партийное и государственное руководство должно знать, чем вооружена, чем дышит армия. Руководители республик, секретари обкомов зачастили на учебные стрельбы, полевые сборы, штабные учения.

Вечером 3 октября Жуков попросил соединить его с командовавшим Киевским военным округом маршалом Чуйковым. Вопросов к Чуйкову он не имел, но министр должен следить, что происходит в округах, особенно во время учений. Окончив стандартный доклад, Чуйков вместо привычного: «Разрешите быть свободным?» — замялся.

— Что у тебя еще? — недовольно спросил Жуков. Чуйкова он недолюбливал еще с войны, больно тот заносчив. — С маневрами и сборами справишься, не маленький.

— Так точно, товарищ маршал, — отчеканил Чуйков, помолчал и затем промямлил: — Так-то оно так, товарищ маршал, но все же лучше бы вам прибыть сюда самому.

Почему самому, Чуйков не сказал, но Жуков почувствовал, что слова эти он произнес неспроста. Чуйков не любил присутствия у себя на ученьях проверяющих и наблюдающих. Жуков решил позвонить Хрущеву, спросить, нет ли в нем нужды в Киеве. Он может на три дня отложить отъезд. Морской переход из Севастополя в Адриатическое море занимал как раз три дня. Заедет в Киев, а оттуда самолетом полетит в Белград. У Тито будет вовремя, 8 октября.

— Ни в коем случае, мы здесь сообща и без тебя справимся, — успокоил Жукова отец. — Когда вернешься из Югославии, тогда и поговорим.

Утром 4 октября Жуков вылетел в Севастополь.

Тем же утром все участники отправились в штаб учений, в район Канева. Погода испортилась, моросил, а временами откровенно поливал дождь. На сей раз к подъезду дворца отцу

подали не обычный ЗИС-110 и даже не газик-вездеход, а зеленую, но не тускло-темного, военного цвета, а нарядного салатового оттенка «Победу». Горьковский завод освоил производство «Побед» — вездеходов с четырьмя ведущими колесами, и отцу не терпелось самому испытать новинку. Он тогда активно продвигал идею, что все легковые автомобили должны иметь вседорожную модификацию, — страна у нас бездорожная, крестьянская, дороги весной и осенью, а порой и летом растекаются грязью. Без четырех ведущих колес на них делать нечего.

«Победа» у парадного подъезда дворца выглядела нелепо. Отец с трудом втиснулся на переднее сиденье, дверца захлопнулась, и машина тронулась. Так они проехали по киевским улицам: впереди салатовая «Победа», за ней три охранника на газике, а следом — представительские лимузины с гостями рангом пониже.

Меня отец с собой не взял. Теперь я понимаю почему. Они собирались говорить не столько о новых танках, сколько о переменах в высшей власти. Что происходило на ученьях и вокруг них, я узнал только недавно из опубликованных документов и воспоминаний участников маневров. Весь день я слонялся по опустевшему дворцу, на улицу не выйдешь, вовсю поливает дождь. Сначала я зашел к помощникам отца, они разбирали почту и всем своим видом демонстрировали, что я им мешаю. Потом сходил на кухню, там тоже меня не ждали. Наконец устроился на диване в гостиной с книгой.

Между тем на учениях с рассветом 4 октября танки выдвинулись на исходные позиции, чуть позднее гости-генералы рассредоточились по штабам и наблюдательным пунктам, штатских гостей постарались пристроить попочетнее, но так, чтобы особенно не мешали. Отец вместе с Малиновским обосновались на главном командном пункте.

«Я оказался в машине с двумя генералами, — вспоминает Мухитдинов, — один из которых командовал наступающей дивизией. Лил проливной дождь, и нам выдали теплые генеральские формы (без погон) и плащ-палатки. Поскольку я с первого и до последнего дня находился на фронте, меня не поразило ничего из того, что я увидел. Все-таки учения есть учения, и как бы ни старались войска, здесь мало что напоминает настоящее поле боя».

Днепр форсировали без помех. Танки с привинченными на броню высокими трубами для забора воздуха в двигатели потихоньку сползали в воду. Вот уже над поверхностью видны только головки труб, потом трубы поползли вверх, танки выбрались на противоположный берег, стряхнули с себя

дыхательные трубы и, попыхивая холостыми выстрелами, поползли на позиции «противника». Отец пришел в восторг: вот им бы такие танки в октябре 1943-го. Сколько тогда намучились, пока форсировали Днепр на баржах и плотах, сколько людей потеряли…

На следующее утро в Киеве последовал разбор учений.

«Итоги подвел Малиновский, за ним выступил Хрущев. Поначалу он ударился в военные воспоминания, радовался, что его помнят еще с военных времен. Покончив с прошлым, Хрущев перешел к задачам сегодняшнего дня. Потом выступали генералы, “участники боевых действий”, — читаем мы у Мухитдинова. — Хрущев попросил их подробно рассказать о недостатках боевой подготовки, и разговор вошел в новое, по-деловому критическое русло».

Объявили перерыв до вечера, но Малиновский попросил задержаться некоторых генералов, он перечислил их пофамильно, и всех командующих округами. Кроме членов Президиума ЦК один Малиновский знал заранее, о чем пойдет разговор. С ними отец поговорил накануне. Родион Яковлевич согласился, что поведение Жукова внушает опасения, и как ни прискорбно, но от него следует избавляться.

Командующие округами, узнав, в чем дело, тоже поддержали Хрущева. Жуков им порядком поднадоел. В ЦК давно шли жалобы на Жукова от генералов и маршалов. В первую очередь его обвиняли в нетерпимости и грубости, и то тут, то там проскальзывало страшное слово «бонапартизм». Предложенная Хрущевым кандидатура Малиновского в качестве министра их устраивала, он не мнит себя небожителем, как Жуков, а свой, понятный, хотя и требовательный. Без этого нельзя. В конце разговора отец посетовал, что кто-то сообщил Жукову о происходящем в Киеве. Он грешил на генерала армии Штеменко: штабиста Штеменко отец, как и многие фронтовые генералы, не любил еще с войны. В Генеральном штабе он имел репутацию доносчика, «человека из органов», плюс считался отъявленным интриганом, любителем стравливать сослуживцев и, что много опаснее, настраивать Сталина против тех, кто ему в чем-то не угодил. После ареста Берии выяснилось, что опасения небеспочвенны, Штеменко не просто сотрудничал с Лубянкой, но почти единственный, кто в антибериевском Министерстве обороны до последнего момента поддерживал тесные контакты с Лаврентием Павловичем, информировал его о настроениях высшего генералитета. После ареста Берии генерала армии Штеменко понизили в звании и отправили подальше от Москвы, в штаб Сибирского военного округа. Жуков Штеменко

протежировал, но и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Хрущева вернуть Штеменко в Москву, восстановить в звании, а потом, в 1956 году, назначить на один из самых ответственных постов в Генеральном штабе — начальником Главного разведывательного управления.

То, что информация исходила от Чуйкова, отец и вообразить себе не мог. Он считал Жукова и Чуйкова несовместимыми антиподами. Оба жесткие, где-то жестокие, упрямые, так и не поделившие славу, споривших до хрипоты, кто из них на самом деле принял от немецкого генерала Крепса капитуляцию Берлина, командующий армией Чуйков или командующий фронтом Жуков. Допытываться, кто сообщил Жукову о «перешептывании» с генералами, отец не стал, теперь это не имело практического значения.

После деловой части, как это было принято, последовал банкет. «Штатских раскидали среди военных, — пишет Мухитдинов, — столы накрыли щедро, пили, ели досыта, языки развязались, разговоры становились все оживленнее и откровеннее. Командующие округами и генералы рангом пониже наперебой говорили о промахах в руководстве войсками, низком уровне боевой подготовки, забвении политико-воспитательной работы. Не забывали славить ЦК и сидевшего во главе стола Хрущева. В конце ужина Никита Сергеевич очень тепло попрощался с военными, и они пожелали ему здоровья, успехов. Все, начиная с Малиновского, заверили, что армия будет твердо поддерживать мудрый политический курс руководства партии.

После банкета мы, члены Президиума ЦК, пошли к себе.

— Ну, кажется, все ясно, — сказал Хрущев, — армия с нами, не подведет. Пойду спать».

6 октября все возвратились в Москву.

Крейсер «Куйбышев», с министром обороны СССР маршалом Жуковым на борту, в этот день проследовал через проливы Босфор и Дарданеллы и взял курс на Адриатику.

В Москве отца ожидал сюрприз, и очень неприятный. В ЦК лежало письмо от первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба, «правой руки» Штеменко, генерал-полковника Хаджи-Умар Джафаровича Мамсурова.

Еще во время гражданской войны в Испании он начал заниматься организацией диверсий. Его даже упомянул писатель Эрнст Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол». Нападение Германии на СССР Мамсуров встретил в должности начальника Специального отдела «Диверсии и ликвидации», тогда еще не «Главного», а просто разведывательного управления. Там

занимались такими же операциями за рубежом, в том числе и ликвидацией, что и Судоплатов в Госбезопасности. В 1941 году его, так же как и Судоплатова, «бросили» на организацию партизанских отрядов.

Судоплатову поручили юго-западное направление и одновременно общую координацию дел, а Мамсурова 8 августа 1941 года в качестве «Уполномоченного по руководству партизанским движением» послали в Ленинград. Затем он командовал дивизией, снова вернулся в разведку.

После войны он опять на командной должности, в 1956 году командовал армией в Венгрии. Оттуда он перешел в Генеральный штаб уже в новом качестве — заместителя главы военной разведки. Совсем недавно, летом 1957 года, Жуков своим приказом назначил Мамсурова по совместительству начальником только что созданной под Тамбовом школы армейских диверсантов. Тем самым подчеркивалось особое положение школы, ее значимость в глазах министра обороны. Диверсанты и разведчики в армии существовали всегда, и Мамсуров такого рода делами занимался большую часть своей жизни, но генерала удивило и насторожило предупреждение Жукова: никому о новом назначении ни слова. О школе знают только три человека: он, начальник ГРУ Штеменко и сам Мамсуров. Во врученном Мамсурову приказе об образовании школы с более чем двумя тысячами военнослужащих — чуть побольше полка он не обнаружил ссылок на Постановление ЦК и Совета Министров СССР, только приказ министра обороны и только его подпись. Такого он не припоминал за всю свою долгую службу. По правилам того времени, не то что школу диверсантов, пехотный полк не допускалось формировать без санкции, по крайней мере, соответствующего отдела ЦК, а чаще требовалось отдельное решение Президиума. После некоторых колебаний Мамсуров написал обо всем Хрущеву.

Отец пригласил Мамсурова к себе. Мамсуров подробно рассказал о школе, о ее структуре, не забыл упомянуть, что непосредственно подготовкой будущих диверсантов занимается бывший начальник разведки 1-го Белорусского фронта, им в конце войны командовал Жуков, а ныне еще один заместитель и доверенное лицо Штеменко, генерал Трусов. Тот самый Трусов, который, как пишет историограф маршала Жукова, писатель Владимир Карпов, «весной 1945 года, после окончания боев… по приказу Сталина и Жукова арестовал правительство адмирала Деница — преемника Гитлера. Причем провел эту головокружительную операцию в городе Фленсбурге, находившемся в английской зоне оккупации».

Карпов, в прошлом фронтовой разведчик, Герой Советского Союза, тоже оказался втянутым в это дело. С ним встретился Трусов и предложил пойти работать в школу, по словам Карпова, заместителем начальника. Трусов объяснил, что организация школы служит прелюдией к формированию целой дивизии специального назначения. В военных округах в поддержку ей создаются особые бригады. Перед Карповым открывались блестящие перспективы. В августе 1991 года он писал в «Правде, что: «сформированные (в 1989–1990 годах) в составе МВД подразделения ОМОН являются микроскопическими по сравнению с хорошо организованными тогда силами для специальных операций». От заманчивого предложения Карпов отказался и что происходило дальше, не знал.

После разговора с генералом Мамсуровым у отца отпали последние сомнения. То, что вся эта самодеятельность происходит под крылом у Штеменко, выглядело особенно зловеще. Отец решил немедленно разобраться во всем сам. Первым делом он позвонил исполнявшему на время отсутствия Жукова обязанности министра обороны маршалу Коневу, спросил, слышал ли он о такой школе?

— Понятия не имею, — ответил маршал и попытался в свою очередь расспросить отца.

Отец только крякнул, пообещал Ивану Степановичу поговорить поподробнее позднее, сейчас он очень занят, и набрал номер телефона начальника Генерального штаба маршала Василия Даниловича Соколовского. Тот тоже оказался неосведомленным о школе диверсантов, а разведка структурно входила в Генштаб, и Штеменко числился его заместителем. Некоторую ясность внес командующий сухопутными войсками маршал Малиновский, у него в округах образованы диверсионные роты спецназначения, по одной-две на округ, всего семнадцать. Но о школе диверсантов и он понятия не имел.

Создавалась пикантная ситуация, формировались не просто новые армейские подразделения, а совершенно новая боевая функциональная структура, а об ее предназначении, задачах, месте, занимаемом в войсках, вообще о ее существовании никто ничего не знал, даже самое высокое военное командование. Как маршалы смогут планировать использование в боевых операциях подразделений организацию, которую от них держат в секрете? Или у школы диверсантов совсем иные цели? Поневоле отцу на ум приходили самые зловещие мысли. Отец считал, что им очень повезло: Жуков в отъезде, до его возвращения в Москву оставалось еще более недели. После Югославии с 17 октября начинался визит в Албанию.

Забегая вперед, скажу, что в своем выступлении на состоявшемся в конце октября Пленуме ЦК отец не скрывал опасений. «Относительно школы диверсантов, — говорил он, — об организации этой школы знали только Жуков и Штеменко. Думаю, что неслучайно Жуков опять возвратил Штеменко в разведывательное управление. Очевидно, Штеменко нужен был ему еще для темных дел… Неизвестно, зачем было собирать этих диверсантов без ведома ЦК. Разве это мыслимое дело? И это делает министр обороны, с его характером. Ведь у Берии тоже была диверсионная группа, и перед тем, как его арестовали, Берия вызвал группу головорезов, они уже были в Москве, и если бы его не разоблачили, то неизвестно, чьи головы полетели бы». Оставлю на совести отца упоминание о Берии. Мне в связи с Жуковым оно режет слух. Но отцу виднее. Известно, что в критические моменты маршал, если того требовало дело, его дело, чужими жизнями жертвовал не задумываясь. Правда, тогда шла война. Но характер не переделаешь.

Не добившись ничего от маршалов, отец вызвал генерала Штеменко. Мгновенно оценив обстановку, тот решил все валить на Жукова.

— Виноват, — стоя перед Хрущевым в цековском кабинете, оправдывался генерал армии, — это не моя инициатива. Мне маршал Жуков приказал, а он не только министр обороны, но и член Президиума ЦК. Я думал, что он все утряс в верхах и обычного постановления об организации школы не требуется.

После разговора со Штеменко отец отбросил последние сомнения, если они у него еще оставались: Жукова надо снимать, и сделать это оперативно, до его появления в Москве.

Штеменко тоже понял, что Хрущев знает все. А раз так, то ему следует, пока он еще начальник ГРУ, предпринять все доступные ему меры и, в первую очередь, предупредить Жукова.

Выйдя из кабинета отца, Штеменко поспешил на неподконтрольный никому, кроме его самого, узел связи ГРУ. Оттуда он послал Жукову сообщение о развертывающихся в Москве событиях. Штеменко шел на риск, но на риск оправданный. Если маршал успеет принять меры, какие и как, он не знал, то его, Штеменко, будущее… Сомнений не возникало, он взлетит высоко. Очень высоко. Если же ничего не получится, то, судя по разговору с Хрущевым, его, так или иначе, освободят от должности, в ГРУ ему больше не служить. Осторожный Штеменко сформулировал шифровку Жукову с расчетом на любой поворот в будущем. Он лично проследил за тем, как с узла связи передали сообщение и, не заходя в кабинет, уехал домой.

17 октября 1957 года, на следующий день после упомянутых

выше разговоров, собрали Президиум ЦК, он освободил генерала Штеменко от должности начальника ГРУ Генерального штаба и возвратил командование ГРУ в руки генерала Михаила Алексеевича Шалина, который возглавлял разведку до Штеменко, в 1953–1956 годах. Первым заместителем у Шалина остался генерал-полковник Мамсуров.

Но главным на Президиуме в тот день стал не вопрос о Штеменко, его решили походя, говорили о самом Жукове. По пункту 2 «О состоянии политической работы в Советской Армии» докладывал начальник Политического управления генерал-полковник Желтов. Из военачальников в зале заседаний, кроме него, присутствовали: командующий сухопутными войсками маршал Малиновский и Главнокомандующий войсками Варшавского Договора маршал Конев. В виду секретности и деликатности поставленного на обсуждение вопроса, больше никого от Министерства обороны не пригласили. Говорили о политико-воспитательной работе, но все понимали — речь идет о судьбе Жукова.

С первого дня своего воцарения в Министерстве обороны в 1953 году Жуков откровенно третировал Желтова, сам ему не звонил, на совещания не приглашал, делал вид, что его просто не существует. В феврале 1956 года уговорил отца не избирать Желтова ни в ЦК, ни в Ревизионную комиссию под предлогом, что ему уже подыскивают замену. Желтов все это знал и, в свою очередь, возненавидел Жукова. Ненавидел его молча, он же не просто министр обороны, но и член ЦК. По положению Желтов не подчинялся Жукову — министру, выходил на ЦК, то есть на того же Жукова — члена Президиума.

Докладывая, Желтов старался сохранять видимость объективности, но ему это плохо удавалось.

— Политическая работа в армии принижена, — жаловался он. — Мне, начальнику Политического управления, запрещено выезжать в войска без разрешения. Министр, товарищ Жуков, относится ко мне неприязненно. Из-за чего? Он считает, что я в 1955 году возражал против его назначения министром обороны!

Последнее — явная нелепица. Никому и в голову не приходило спрашивать какого-то Желтова, назначать или не назначать Жукова. Возможно, Желтов выражал недовольство таким решением, а Жуков об этом прознал.

Желтов припомнил Жукову все: и угрозы заставить политработников научиться командовать войсками, а то они привыкли только языком молоть. «Сорок лет болтают, потеряли всякий нюх, как старые коты», и это он говорит о политических работниках, — возмущался Желтов. В зале захихикали, но

генерал невозмутимо продолжал:

— В другом месте Жуков заявляет: «Им, политработникам, только наклеить рыжие бороды и дать кинжалы, они перерезали бы всех командиров».

После Желтова попросили высказаться маршалов. Выступление Желтова их обидело.

— Складывается впечатление, что одному Желтову близки политорганы, а нам они чужды. Это неверно, — начал без пяти минут министр обороны маршал Малиновский. — Другое дело, не сложились отношения у начальника Политического управления с министром, есть натянутость. Надо все излагать объективно. Больно слышать, что наши маршалы зазнались, они такого упрека не заслужили. Положение в войсках товарищ Желтов изложил необъективно. Низовые работники на товарища Желтова обижаются, попасть к нему на прием невозможно.

— Не могу согласиться с оценкой товарищем Желтовым состояния политработы в армии, — маршал Конев вторит маршалу Малиновскому. — Нельзя противопоставлять политработника командиру. Кадры армии преданы партии. Не соответствует истине, что военачальник, что хочет, то и делает. А вот личные отношения между министром и начальником Политического управления ненормальные.

Ни Малиновский, ни Конев и словом не обмолвились о Жукове, его судьба предрешена, они об этом знали и такое решение одобряли. Они вступились за честь Вооруженных сил, в которых служили до Жукова и будут служить после него. Выступления Желтову, по их мнению, необъективного, они не простили и не собирались прощать. Забегая вперед, скажу, что новый министр обороны маршал Малиновский, в 1958 году, через несколько месяцев после описываемых событий, выживет генерал-полковника из армии и последнего без шума переведут на работу в ЦК.

После Конева пришла пора высказываться членам Президиума ЦК, не столько о политработе в войсках, сколько решать судьбу своего коллеги по Президиуму товарища Жукова.

— Морально-политическое состояние армии высокое, — заговорил первым Суслов. — А роль политорганов ослаблена. Виноват в этом Жуков.

За ним выступили все до единого присутствовавшие на заседании члены и не члены Президиума ЦК.

Я не стану утомлять читателей даже кратким изложением того, что они говорили. Все на разные лады повторяли: «Виноват Жуков, с политработой в армии неблагополучно, Малиновский с Коневым обязаны не Желтова атаковать, а помочь ЦК наводить

порядок в Вооруженных силах».

— Доклад Желтова вопиет о недостатках в армии, — подвел итог отец, — реакция товарищей Малиновского и Конева тоже однобока. Нельзя позволять Жукову сидеть у нас на шее. Придется объезжать. Для выработки предложений создать комиссию в составе: Суслова, Кириченко, Беляева, Игнатова, Козлова, Кириленко, Фурцевой, Малиновского, Конева, Желтова, Мжаванадзе, Мухитдинова и Калнберзина.

Назначенные Президиумом ЦК комиссары уже через день, 19 октября 1957 года, представили проект постановления «Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском флоте».

В числе других мероприятий они предлагали обновить руководство Министерства обороны, другими словами, сместить Жукова. Таким образом, судьба Жукова решилась 17–19 октября. После этого отец решил еще раз поговорить с военными, но уже в более широком кругу. 23 октября 1957 года он выступил на офицерском собрании в Москве. Подобные мероприятия с участием членов Президиума ЦК прошли и в других военных округах. О снятии Жукова с должности прямо не говорили, но в том, что она не за горами, сомнения ни у кого не возникало.

Жукову ничего не сообщили, дожидались его возвращения в Москву. Связь с находившейся в Албании делегацией взял под жесткий контроль ЦК, но они опоздали, после шифровки Штеменко Жуков если и не знал о происходящем в Москве, то догадывался.

Жуков, как и положено, регулярно информировал Москву о своих встречах и разговорах сначала в Югославии с Тито, затем с лидером Албании Энвером Ходжей. Постепенно в шифровках Жукова нарастало раздражение: в Югославии его встречают восторженно, а вот освещение визита в советской прессе маршалу откровенно не нравилось. «Все югославские газеты полностью опубликовали тексты моих речей, — писал он 12 октября в строго секретной телеграмме, адресованной лично Хрущеву, — а наша “Правда” ограничилась лишь скороговоркой, что министр обороны СССР Г. К. Жуков и его югославский партнер Иван Гошняк “обменялись речами”».

Жуков чувствовал, что все это неслучайно, нервничал, сердился, но на расстоянии поделать ничего не мог. Он не ошибался, необычно скромное освещение его визита делалось с санкции Секретариата ЦК. Чтобы успокоить Жукова, ему ответили, текст телеграммы утвердили 14 октября на заседании Президиума ЦК, что тут замешана высокая политика: одновременно с его поездкой, в Китай поехала делегация

Верховного Совета, а не секрет, что Мао не переносит Тито и вообще югославских «ревизионистов». Вот и решили не раздражать китайцев. Жуков объяснений не принял. Сухость сообщений в «Правде» окончательно вывела маршала из себя. На фронте он под горячую руку мог расстрелять первого попавшегося «виноватого», сейчас же Георгий Константинович излил свое раздражение на ни в чем не повинного корреспондента «Правды» в Югославии Ткаченко. «Маршал Жуков в личной беседе со мной выразил резкое неудовольствие тем, что московские газеты дают сухие материалы о его пребывание в Югославии, — 19 октября, уже из Албании, корреспондент Ткаченко докладывал в Москву своему главному редактору Павлу Сатюкову. — О пребывании тов. Жукова в Албании мы передаем подробные репортажи и отчеты». Оправдывался он напрасно, его репортажи «подсушивали до нужной кондиции» в Москве.

Несмотря на все свое раздражение, Жуков тогда даже не намекнул на полученную от Штеменко информацию и только после отстранения от должности позволил себе высказаться.

«Находясь в Албании, я получил сведения о том, что Президиумом ЦК до моего возвращения в Москву созван партактив военных работников, и мне из Москвы не могут передать, по каким вопросам проходит партактив, на котором присутствует весь руководящий состав Армии и Флота и в полном составе Президиум ЦК партии», — пишет в своих воспоминаниях маршал.

Уже не Штеменко, несколько дней находившийся не у дел, а кто-то другой информировал Жукова о происходивших в Москве событиях. Кто? На этот вопрос Жуков отвечает сам: «Вполне естественно, меня не могло не насторожить и не взволновать то обстоятельство, что актив собран почему-то в мое отсутствие. Я запросил своего первого заместителя Конева. Он ответил через мой секретариат. Настроение было испорчено. Через пару дней мы вылетели из Албании в Москву».

Конев очень рассчитывал занять место Жукова. Он считал себя военачальником посильнее Жукова, просто ему меньше повезло в жизни. Это он, а не Жуков, в мае 1945-го мог бы взять Берлин, если бы его не попридержали из Москвы. В общем, кресло министра обороны он считал своим по праву. Когда выяснилось, что Хрущев остановил свой выбор на Малиновском, Конев смертельно обиделся на него, на всю оставшуюся жизнь возненавидел Малиновского, а к Жукову тут же проникся симпатией как к несправедливо обиженному. Вот он и счел себя обязанным проинформировать Георгия Константиновича о творимых за его спиной «безобразиях».

Заседание Президиума ЦК, на котором решили официально объявить об отстранении Жукова, приурочили к посадке, возвращавшегося из Тираны Ту-104 с военной делегацией на борту. Они приземлились во Внуково 26 октября во второй половине дня. Предоставлю самому Жукову возможность описать дальнейшие события.

«Приземлились мы в аэропорту Внуково. В окно самолета я увидел встречающих меня всех маршалов Советского Союза и главнокомандующих всеми видами Вооруженных сил, среди которых был Чернуха — технический работник при Президиуме ЦК.

После того как мы все поздоровались, ко мне подошел Чернуха и сказал, что меня сейчас же приглашают на Президиум ЦК. Там, говорит Чернуха, все в сборе. Я сказал, что заеду домой, переоденусь и сейчас же приеду.

Явившись в Президиум, я увидел за общим столом всех членов и кандидатов Президиума, а также всех тех маршалов, кто встречал меня на аэродроме. Мне предложили коротко доложить о поездке в Югославию и Албанию. Я доложил основное.

Хрущев предложил утвердить отчет. Затем он сказал:

— За время вашего отсутствия Президиум ЦК провел партполитактив Министерства обороны. По этому вопросу доложит Суслов.

Вопрос, по которому предстояло доложить Суслову в повестке дня заседания Президиума ЦК, за номером десять “О состоянии партийно-политической работы в Советской Армии и состоянии руководства Министерства обороны”.

— На партактиве установлено, — начал Суслов, — что министр обороны маршал Жуков в своей деятельности проводит неправильную политическую линию, игнорируя политических работников, игнорируя Главное политическое управление, а политработников считает бездельниками. Маршал Жуков груб во взаимоотношениях с подчиненными и поощряет тех, кто выставляет его как выдающегося полководца».

Последние слова требуют пояснения. В те дни, как на упомянутом выше заседании Президиума ЦК от 17 октября, так и на многочисленных активах, говорили о помпезном полотне, на котором Жуков изображен на белом коне в позе Георгия Победоносца, о документальных кинофильмах, сценарии которых правились лично Жуковым и лично под Жукова, и о многих других подобных «проявлениях нарастающего культа личности».

После Суслова предоставили слово Жукову. В воспоминаниях он о своем выступлении не сказал ни слова, придется довольствоваться отрывочными записями Малина.

«Готов признать критику и поправить ошибку, — начал Жуков, надеясь, что все еще, возможно, и обойдется. — Не считаю правильным, что без меня собирали совещание военачальников, где обсуждали вопрос обо мне. Вывод, что я стремился отгородить Вооруженные силы от партии, считаю диким. Отметаю обвинения, что я кому-то запрещал информировать ЦК. Прошу расследовать заявление о принижении партийно-политической работы в армии. Я этого не признаю. Желтова же считал и считаю слабым руководителем. О культе личности: ляпсусы, видимо, есть, но слава мне не нужна.

Тут Жуков явно покривил душой — военные, как и артисты, обожают славу, почет, ордена, аксельбанты, кокарды. Жуков в этом ничем не отличался от своих коллег, разве что оснований к тому у него имелось побольше, чем у других.

— Прошу назначить комиссию для расследования, — произнес в заключение Жуков и сел. Он еще не осознавал, что никаких комиссий не требуется, решение уже принято без него, и сейчас присутствовавшие на заседании занимаются его оформлением.

Следом за Жуковым выступал Булганин.

— Линия на отгораживание от партии была, — Николай Александрович не имел никакого желания щадить давно ему антипатичного Георгия Константиновича. — В руководстве Министерства обороны Жуков попросту опасен. Много на себя берет.

Дальше Булганин говорил об уже известной нам школе диверсантов. Жуков попытался отбиваться, сказал, что в имеющихся в армии семнадцати ротах спецназа подготовка неудовлетворительная, вот он и решил… Однако на его слова никто не обратил внимания. Отец предоставил слово Микояну.

— Неприятно разбирать этот вопрос, — нащупывал нужный тон дипломатичный Анастас Иванович, — но интересы партии требуют одернуть Жукова. Отношение армии к партии вызывают тревогу.

Он начал приводить факты, я о них уже писал выше. В заключение Микоян припомнил Жукову его угрозу «молотовцам» в июне этого года обратиться через их голову и через голову партийных организаций к народу. Микояна настораживало даже не столько само заявление, в пылу борьбы оно звучало не так неуместно, а то, как позднее подавал свои слова Жуков, выступая по итогам июньского Пленума на партийном собрании Московского военного округа, а затем на разборе военных учений в городе Борисове в Белоруссии. И тут и там Жуков с напором повторял, что если группа не прекратит борьбу, то он обратится к

армии и народу и *его* поддержат. Получалось, эти слова неслучайно вырвались в пылу спора, а…

Жуков слушал Микояна угрюмо уставившись в стол. Он наконец понял: судьба его решена.

«Затем выступил Брежнев (из всех выступавших Жуков, кроме Микояна, запомнил только его. — *С. Х.*). — Он наговорил, что было и чего никогда не было. Что я зазнался, что я игнорирую Хрущева и Президиум ЦК, что я пытаюсь навязать свою линию ЦК, что я недооцениваю роль военных советов…»

Игнатов и Беляев, получив слово после Леонида Ильича, ничего нового не сказали, присоединились к мнению, что Жукова надо из власти убрать.

Следующим выступил Мухитдинов. Он утверждает, что он Жукова не осуждал, а только критиковал, что вызвало недовольство Хрущева. Но написал он это, когда Жуков вновь (и заслуженно) стал героем…

А вот как звучат слова Мухитдинова в изложении Малина:

«Проводимая товарищем Жуковым линия вызывает тревогу. Оторвалась Армия от ЦК. Военные не информируют ЦК о своих действиях. Развивается подхалимство. Началось избиение кадров».

Я не стану цитировать остальных выступавших, все они говорили в унисон, только Ворошилов позволил себе позлорадствовать.

«Как ты, товарищ Жуков, мог произнести: “Я обращусь к народу и партии?” — звучал возмущенный тенорок Климента Ефремовича, не забывшего, что угрозу Жуков адресовал ему и его соратникам, а не Хрущеву. — Как ты позволил себе создать школу диверсантов без решения ЦК? Все это крайне подозрительно. Ты, товарищ Жуков, человек малопартийный».

Ворошилов замыкал череду выступающих. Хрущев объявил короткий перерыв.

Рассказывают, я сам от отца этой истории не слышал, что он спросил тогда Жукова, кого тот считает достойным себе преемником на посту министра обороны? Георгий Константинович якобы назвал Конева. Кроме Штеменко только он один сохранил ему верность, предупредил о надвигающихся событиях. Разыгрывая «коневскую карту», Георгий Константинович не знал, что Иван Степанович за истекшую пару дней снова сменил ориентиры.

Хрущев, согласно пересказываемой мною версии, якобы сказал, что Конев — фигура достойная, но они остановили свой выбор на Малиновском.

После перерыва с заключением выступил отец: «Есть мнение

освободить товарища Жукова от должности министра обороны и вместо него назначить маршала Малиновского, — я передаю его слова в изложении Жукова. — Есть также предложение послезавтра провести Пленум ЦК, где рассмотреть деятельность товарища Жукова».

Предложение приняли единогласно.

— Если мне не доверяют, то министром обороны я быть не смогу, — отозвался Жуков.

В тот же день вечером о решении Президиума ЦК сообщило московское радио.

Я уже описывал, как случайно подслушал телефонный разговора отца с Жуковым в субботу, сразу после заседания Президиума ЦК. А вот как воспроизводит тот же разговор Жуков, правда, уже в 1964 году: «Возвратясь на квартиру с Президиума ЦК, я решил позвонить Хрущеву, чтобы выяснить лично у него истинные причины, вызвавшие столь срочное освобождение меня от должности и постановку обо мне вопроса на созванном Пленуме ЦК КПСС. Я спросил: “Никита Сергеевич! Я не понимаю, что произошло за мое отсутствие, если так срочно меня освободили от должности министра, и тут же ставится вопрос обо мне на специально созванном Пленуме ЦК?”

Хрущев молчал.

Я продолжил: “Перед моим отъездом в Югославию и Албанию со стороны Президиума ЦК ко мне не было никаких претензий, и вдруг целая куча претензий. В чем дело? Я не понимаю, почему так со мною решено поступить?”

Хрущев ответил сухо: “Ну вот, будешь на Пленуме, там все и узнаешь”.

Я сказал: “Я считал, что наши прежние дружеские отношения дают мне право спросить лично у вас о причинах столь недружелюбного ко мне отношения”.

Хрущев: “Не волнуйся, мы еще с тобой поработаем”.

На этом, собственно говоря, и закончился наш разговор».

В понедельник, 28 октября 1957 года, в 11 утра, в Свердловском зале Кремля открылся Пленум ЦК КПСС. Докладывал Суслов. Думаю, что отец не смог пересилить себя и перепоручил эту неприятную миссию «главному идеологу». Ведь формально собрались обсудить состояние политработы в войсках.

«Недавно Президиум ЦК узнал, что товарищ Жуков без ведома ЦК принял решение организовать школу диверсантов в две с лишним тысячи слушателей… — говорил Суслов. — Товарищ Жуков даже не счел нужным информировать ЦК об этой школе. О ее организации должны были знать только три человека: Жуков, Штеменко и генерал Мамсуров, который был

назначен начальником этой школы. Но генерал Мамсуров как коммунист счел своим долгом информировать ЦК об этом незаконном действии министра». Затем Суслов повторил эффектно прозвучавшие на Президиуме ЦК слова Жукова о старых котах, потерявших нюх, армейских политработниках, которым дай кинжалы и наклей рыжие бороды, так они всех командиров перережут. Слова Суслова произвели ожидаемый эффект. Присутствующие в зале захохотали, но, спохватившись, быстро смолкли. Кто-то наиболее активный даже выкрикнул: «Позор!»

Не стану подробно пересказывать ход Пленума, его стенограмма опубликована и доступна всем интересующимся.

Оттеню лишь некоторые детали. Дождавшийся своего часа Желтов, он выступал с содокладом, отыгрался в нем за все годы унижений. Брежнев выступал на Пленуме напористо, за сердце не хватался, как это случилось с ним в июне в стычке с Кагановичем. Теперь сомнений, кто победитель, не возникало.

«Откровенно говоря, мы боимся Жукова», — проговорился в своем выступлении Микоян.

«Из партийных и советских работников на Пленуме почти никто не выступал, но зато выступили единым фронтом большинство маршалов, которые при мне занимали должности заместителей министра обороны, и начальник Главного политического управления Желтов, — вспоминает Жуков. (Это и естественно, речь шла о министре обороны, и отец хотел заручиться поддержкой генералитета, а не секретарей обкомов и председателей совнархозов. — *С. Х.*) Чувствовалось, что они подготовились к тому, чтобы всячески принизить и очернить мою деятельность. Особенно в этом направлении старались Малиновский, Соколовский, Еременко, Бирюзов, Конев и Горшков.

Выступавшие сводили дело к тому, что я якобы игнорирую партполитработу в армии, пытаюсь оторвать армию от ЦК и прочее… В своих выступлениях они старались наперебой дискредитировать мою деятельность, всячески принижали мои заслуги в годы Великой Отечественной войны, договариваясь при этом до явного абсурда и фальсификации.

Даже Хрущев и тот вынужден был одернуть маршала А. И. Еременко, который в пылу своей крикливой речи сказал: “А что Жуков? Говорят, он осуществил личное руководство Сталинградской битвы, а его там и не было”.

Хрущев: “Ну, Андрей Иванович, ты это зря. Жукова как полководца мы знаем хорошо. У кого не выходило на фронте, у Жукова всегда выходило и выходило хорошо”».

Отец не раз повторял, что военные сродни писателям, — никак не могут разделить славу, при первой возможности начинают обливать друг друга грязью.

Что же до планирования Сталинградской операции, то, согласно документам Генерального Штаба, координировал ее подготовку и проведение генерал Василевский. Он занимался ею в Москве, он же выезжал в расположение оборонявшегося из последних сил, а теперь подготавливающего контрудар Сталинградского фронта его командующему Еременко и нависавшему сверху уступом над немецкими порядками Донского фронта генералу Рокоссовскому. Там тоже готовились к прорыву немецких позиций. Жуков появлялся в Сталинграде эпизодически, наездами, он, как я уже писал, в это время организовывал наступление под Ржевом. Вспоминать о нем Георгий Константинович не любил и не вспоминал. О своих поражениях военачальники обычно стараются не говорить.

В ответ на реплику Хрущева, к Сталинграду впрямую не относившуюся, присутствовавшие на Пленуме военачальники начали вспоминать, приезжал ли Жуков в Сталинград, а если да, то когда и сколько раз?

Отец, находившийся на Сталинградском фронте до окончания операции, активно включился в это импровизированное расследование. Сошлись на том, что Жуков точно появился на Сталинградском направлении летом, когда город как раз начали бомбить.

«Страшное дело, — вспоминал отец, — весь город в огне». Жуков попытался организовать контрудар с севера, но неудачно. Войска понесли большие потери, но немцев не только не отбросили от Волги, но даже не остановили. Жуков доложил Сталину, что город не удержать, и уехал.

Кому-то припомнилось, что перед наступлением он появился в расположении войск Еременко, а затем Рокоссовского. Другие стали возражать. Хрущев стал на сторону первых. Правда, Жуков тогда у них останавливался ненадолго, спешил на Западный фронт, объявил, что именно там, под Ржевом, на Московском направлении, он одержит решительную победу, погонит немцев на запад. Сталинград же ему поможет, наступление на Волге лишит противника маневренности, не позволит перебросить подкрепления под Ржев.

После поражения под Ржевом и окружения армии Паулюса под Сталинградом Жуков снова приехал к ним, злой, донельзя расстроенный своей неудачей и, видимо, завидовавший более удачливому генералу Еременко. Отец тогда в одном из разговоров посетовал, что войск у них маловато, кольцо окружения

получилось жиденьким, если Паулюс решит прорываться, он легко сомнет наши части и уйдет.

— Надо бы, Георгий, танков подбросить, — попросил он у Жукова подкреплений, — уйдет шельмец, жалко.

— Пусть катится к…, — Жуков отпустил смачное выражение, неформальную лексику он любил и охотно ею пользовался. — Пусть катится, держать его не станем.

Отец понял, что подкреплений они не получат.

Спор о том, что, где и когда говорил Жуков в 1942 году, постепенно сошел на нет. Слово предоставили маршалу Коневу.

«Конев поразил меня своей беспринципностью, — продолжает возмущаться Жуков. — Как известно, Конев был моим первым заместителем. Ему минимум три месяца в году приходилось замещать меня по должности министра обороны, следовательно, очень часто приходилось проводить в жизнь все основные задачи, которые стояли перед Министерством обороны, повседневно контактируя и с ЦК, и с правительством. И я не знаю случая, когда он имел бы особую от меня точку зрения по всем принципиальным вопросам. Он часто хвалился тем, что у нас в течение долгих лет совместной работы выработалась общая точка зрения по всем основным вопросам строительства и подготовки вооруженных сил.

Как старого политработника, я ценил Конева и прислушивался к его советам по вопросам воспитания личного состава и практическим вопросам партийно-политической работы.[49]

Конев часто уверял меня в своей неизменной дружбе. И каково же было мое удивление, когда он на Пленуме заявил, что он, Конев, никогда не был мне другом, что он всегда считал, что я явно недооценивал его работу, что я его игнорировал, и что он, Конев, по ряду вопросов не был согласен со мной, но что он опасался ставить вопросы о разногласии перед Президиумом ЦК, считая, что Жуков проводит вопросы, согласовав с Президиумом».

Согласно стенограмме, Жуков выступил на Пленуме дважды, все предъявленные ему обвинения, естественно, отрицал, но почему и зачем он организовал школу диверсантов без санкции Президиума ЦК и втайне от начальника Генштаба, вразумительно не объяснил. Сказал только, «что эти ошибки — не следствие отклонения от линии партии, а просто человеческие ошибки, от которых никто не застрахован…

Как я воспринимаю освобождение меня от должности? — продолжал Жуков. Я покривил бы душой, если бы выразил восторг. Я любил свою работу, отдавал ей все свои силы и, считаю, не без пользы. Но считаю, чтобы поправить крупные

недостатки в партийно-политической работе в Вооруженных силах, решение об освобождении меня от должности и назначении товарища Малиновского, безусловно, правильное, и у меня не вызывает и не вызовет никакой обиды. Я это заявляю честно… Критику по своему адресу, прозвучавшую здесь, на Пленуме, я в основном признаю, считаю правильной, рассматриваю ее как товарищескую партийную помощь лично мне и другим военным работникам… Меня уже выводили один раз из ЦК, при жизни Сталина, в 1946 году… Тогда, товарищи, я не мог признать и не признал правильным вывод меня из Центрального Комитета, не признал правильными предъявленные мне обвинения. Сейчас другое дело. Я признаю свои ошибки и даю слово ЦК полностью устранить имеющиеся у меня недостатки. В этом я заверяю через наш Центральный Комитет, всю нашу партию».

Выступая, Жуков очень волновался, «голос у него сорвался, видимо, он проглотил подступившие слезы», — отмечает Мухитдинов.

Отец, когда его отрешили от должности в октябре 1964 года, тоже не смог сдержать слез.

Пленум ЦК утвердил решение Президиума освободить Жукова от руководства Министерства обороны и вывел его из состава Президиума ЦК.

Жукова удивил не один Конев. Отец рассказывал, что уже после Пленума, когда, как водится, началась проработка его решений, на одном из собраний в Министерстве обороны в присутствии самого Жукова, с критикой бывшего министра особо рьяно выступал маршал Москаленко, командующий противовоздушной обороной страны, в недавнем прошлом человек, близкий к Жукову. Его холерический характер военные хорошо знали, на протяжении получаса он мог облить человека грязью, потом расцеловать и снова начать поносить.

На сей раз Москаленко с пафосом изобличал, обнажал и клеймил ошибки Жукова. Тот терпел, терпел, потом не выдержал и ехидно поинтересовался, как понимать сегодняшнее выступление, если еще недавно Москаленко с той же убежденностью советовал ему брать власть. Москаленко смешался. О происшедшем немедленно донесли отцу.

Насколько обоснованно действовал отец? Насколько с позиций сегодняшнего дня представляются оправданными его опасения?

Отец нанес упреждающий удар.

Тем самым он взял на себя всю ответственность.

В воспоминаниях отец не раз возвращается к Жукову и не

подвергает сомнению истинность полученной информации, правильность сделанных из нее выводов. Не скрою, я бы предпочел, чтобы в данном случае отец оказался неправ. Уж очень велико у меня уважение к Жукову.

Жуков до конца своих дней отрицал какие-либо бонапартистские намерения, исключал саму такую возможность. Наверное, тщательное изучение архивов позволит в будущем узнать истину. А может быть, и нет. Слишком уж все расплывчато. Пресловутые школы могли создаваться для нужд армии, а Жуков счел возможным самостоятельно распорядиться в своем хозяйстве, не спрашивая разрешения ни у ЦК, ни у отца. Это вполне в его характере.

А могла сложиться и обратная картина: у такого человека, как Жуков, невольно возникает желание навести порядок в доме. Мало ли мы и сейчас слышим, и наверняка услышим в будущем, ностальгических речей о железной руке, якобы способной решить одним махом все проблемы страны. В те годы такая рука была. Рука Жукова.

С позиций исторической логики: Жуков шел, не мог не идти к захвату власти, единовластию, оно — стержень его натуры. Жуков не менее, даже более сильная и властолюбивая личность, чем Берия. Но здесь сходство кончается. В отличие от Берии, Жуков не может трактоваться, как отрицательная фигура.

Можно услышать: «Ну и возглавил бы страну Жуков, что здесь плохого?» Возможно, ничего плохого. А возможно, и ничего хорошего.

Стало модным выстраивать параллель между маршалом Жуковым и американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром. Стал же последний президентом США, восемь лет весьма успешно правил страной, без какого-либо ущемления демократии. Если даже отбросить, что США — страна с прочнейшими демократическими традициями, а Советский Союз и предшествовавшая ему Российская империя о демократии имели весьма своеобразное понятие, то нельзя забывать: Жуков — не Эйзенхауэр. Жуков по своей натуре — полевой командующий, окопный маршал.

Американские «Жуковы» — генералы Дуглас МакАртур и Джорж Паттон, вояки решительные и жесткие. Их в США к политике на пушечный выстрел не подпускали, а Паттона за разговорчики убрали даже из армии, и это несмотря на все его неисчислимые военные заслуги.

Эйзенхауэр большую часть своей жизни провел в штабах, в том числе в штабе генерала МакАртура, стал профессионалом и одновременно обучился гибкости. Советский «Эйзенхауэр» — это,

скорее, маршал Алексей Михайлович Василевский человек политичный, может быть, даже демократичный, склонный к компромиссам.

Не заходя слишком далеко в своих предположениях, попробую вычислить первые шаги Жукова — главы государства. Он, естественно, попытался бы навести порядок, установить дисциплину. Такое правление называется диктатурой.

В экономике, особенно в области сельского хозяйства, Жуков явно проигрывал отцу, с этими проблемами он в своей жизни не сталкивался. Зато он ясно видел, что в военном отношении мы много слабее Америки. В случае вооруженного столкновения нас попросту разобьют. Он не раз говорил об этом с отцом. Считал, что армию следует укреплять куда как энергичнее, тратить на нее сколько нужно, а не сколько можно.

Отец считал, что соревнование с США выиграет не тот, кто больше потратит на вооружения, а тот, кто обеспечит людям лучшую жизнь. Что же касается вооружения, то следует ограничиться необходимым минимумом. И надо постараться ввести в заблуждение противника. Представиться сильнее, чем мы есть на самом деле. В этом отец преуспел. Первый спутник, запуск на орбиту Гагарина, дальнейшие успехи в космосе по своему воздействию на умы американцев стоили десятка оснащенных современным вооружением армий. Жуков же, уже отставленный от дел, глухо ворчал: «В космическое пространство вылетают миллиарды. На полет Гагарина…» Дальше он называл фантастические суммы, не имевшие ничего общего с реальными затратами на полет первого человека в космос. И не мог Жуков знать этих цифр. Как и и все пенсионеры, он жил слухами. По его мнению, космос — это баловство, лучше произвести пару сотен ракет или несколько сот танков. Другими словами, Жуков ратовал за многократное увеличение военных расходов, как и произошло при Брежневе. Чем все это кончилось, мы теперь хорошо знаем. Его трудно винить, он военный профессионал и привык мыслить по-военному.

И снова мы возвращаемся к вопросу: намеревался ли Жуков захватить власть? Выводы каждому предстоит сделать самостоятельно. Я уже говорил, что предпочел бы ответить: «Нет», но все, ставшие нам известными, факты вынуждают ответить: «Да». На мой вопрос, верил ли он до конца доносам, отец ответил, что и у него оставались определенные сомнения, но… на карте стояло слишком многое.

Случившееся, а вернее, неслучившееся еще раз подтвердило: министр обороны не должен входить в высшее руководство. Его дело — исполнять принимаемые политиками решения.

Это мои умозаключения, а вот выводы писателя-разведчика Карпова, основывающиеся на тех же фактах, оказываются диаметрально противоположными. Ничего здесь удивительного нет, история с Жуковым навсегда останется в ряду «загадок истории».

Заглянуть в альтернативную ветвь истории нам не дано. Мировая история соткана из государственных переворотов, амбициозные политики и генералы свергают незадачливых правителей, или все происходит наоборот:

> Мятеж не может кончиться удачей,
> В противном случае его зовут иначе.

Эти две строки монолога Эдгара из «Короля Лира» Шекспира полностью исчерпывают тему. Мне к ним добавить нечего.

Судьба Жукова легла в русло все той же исторической логики, военачальник его масштаба в мирное время или приходит к власти, или удаляется от дел. Вспомните для примера судьбу Александра Суворова. Его возвратила из небытия только лишь новая военная угроза — Наполеон. К счастью для нас, Жуков остался невостребованным. В неполные шестьдесят один год маршала Жукова отправили в отставку. В нашей стране жизнь опального отставника ох как нелегка. Только и остается утешать себя: во времена Сталина обошлись бы с ним несравненно круче. Слабое утешение. Несладко жилось Жукову при Хрущеве, как несладко Хрущеву при Брежневе. Из современной жизни Жуков выпал. О Жукове старались не вспоминать, его не приглашали на официальные и прочие мероприятия, толпившихся вокруг него «почитателей» как ветром сдуло, остались только друзья. А настоящих друзей всегда немного. Он жил на даче, жил прошлым и в прошлом.

Тем временем генералы, бывшие во время войны в подчинении у Жукова, сводили с ним старые счеты. А он теперь не мог их одернуть и даже не мог ответить — кто решится без высочайшего разрешения опубликовать писания опального маршала.

Однажды летом на даче я стал случайным свидетелем разговора руководителя КГБ Владимира Ефимовича Семичастного с отцом. Семичастный тогда приехал с Брежневым, и мы привычно обходили территорию дачи по лесной дорожке, проложенной вдоль забора. Речь зашла о Жукове. Служба не спускала глаз с маршала. Семичастный рассказывал, что Жуков начал делать записи, видно, пишет мемуары. Отец, молча шагая по дорожке, слушал. Пауза затянулась, а Семичастному

требовались указания. Он не выдержал и задал прямой вопрос: «Как быть? — И тут же подсказал: Мы можем негласно изъять материалы…» Отец неожиданно взорвался. Начал он со своего обычного в таких случаях риторического вопроса: может быть, их службе нечего вообще делать? Наконец, выговорившись, закончил: «Не вмешивайтесь. Жуков в отставке, а что делать отставнику, как не писать воспоминания? Ему есть что вспомнить».

Реакция для Семичастного оказалась явно неожиданной, но возражать он не посмел.

Приступил ли тогда маршал к работе над своей книгой или речь шла о чем-то ином, не знаю. При мне больше подобных разговоров не случалось.

Сейчас опубликована направленная отцу в понедельник 27 мая 1963 года совершенно секретная «Записка В. Е. Семичастного в ЦК КПСС о настроениях Г. К. Жукова (№ 1447-с)». В ней приводятся различные критические, обидные, даже очень обидные, на мой взгляд, эмоционально-несправедливые (но не мне судить) замечания маршала в адрес отца, в том числе уже упоминавшиеся ранее обвинения в неоправданных расходах на космические исследования в ущерб нуждам военных.

Но больше всего Жукова волнует неправильное, по его мнению, освещение истории Второй мировой войны нашими историками и нашими генералами: «…Лакированная эта история. Я считаю, что в этом отношении описание истории, хотя тоже извращенное, но все-таки более честное у немецких генералов, они — правдивее пишут…

Я пишу все, как было, я никого не щажу. Я уже около тысячи страниц отмахал. У меня так рассчитано: тысячи три-четыре страниц напишу, а потом можно отредактировать…»

Так что воспоминания писались, я не ошибся.

В заключение Семичастный предлагает план действий: «По имеющимся у нас данным, Жуков собирается, вместе с семьей осенью выехать на юг. В это время нами будут приняты меры к ознакомлению с написанной им частью воспоминаний».

Имеется протокольная запись заседания Президиума ЦК от 27 июня 1963 года, на котором выступили: Хрущев, Брежнев, Косыгин, Суслов и Устинов. Жуков на юг еще не уезжал, и Семичастный не имел физической возможности добраться до его записей, а значит, и члены Президиума не знали, что он пишет и о ком пишет, могли только догадываться. И тем не менее, поручили Брежневу, Швернику и председателю КПК Зиновию Тимофеевичу Сердюку «Вызвать в ЦК Жукова Г. К. и предупредить, если не поймет, тогда исключить из партии и

арестовать». Для моего уха звучит дико и полностью противоречит тому, что я запомнил. Объяснить это противоречие не берусь. Скорее всего, разговор на даче происходил позже, после беседы с Жуковым, который, как известно, все понял правильно. Отец же к тому времени подостыл, одумался. Верить мне или нет — личное дело читателей, но, зная отца, я считаю такой ход событий наиболее вероятным.

К зиме 1964 года Жуков не выдержал, решил написать письмо отцу, но зачем-то присовокупил в адресаты еще и Микояна. Приведу выдержки из письма:

> «Секретно 27 февраля 1964 г.
>
> Первому секретарю ЦК КПСС товарищу Н. С. ХРУЩЕВУ
>
> Члену Президиума ЦК КПСС товарищу А. И. МИКОЯНУ
>
> Я обращаюсь к Вам по поводу систематических клеветнических выпадов против меня и умышленного извращения фактов моей деятельности.
>
> В газете “Красная звезда” от 11 февраля 1964 г. в статье, посвященной 20-летию Корсунь-Шевченковской операции “Канны на Днепре”, маршал М. В. Захаров пишет: “…Создалась довольно напряженная обстановка. В этих условиях координировавший действия 1-го и 2-го Украинских фронтов Маршал Советского Союза Г. К. Жуков не сумел организовать достаточно четкого взаимодействия войск, отражавших натиск врага, и был отозван ставкой в Москву. Вся ответственность за разгром окруженного противника была возложена на маршала Конева”.
>
> Вы, Никита Сергеевич, в это время были членом Военного Совета 1-го Украинского фронта и хорошо знаете события тех дней, и мне нет надобности их расписывать».

После освобождения Киева 6 ноября 1943 года отца отозвали с фронта, и он в старой должности первого секретаря ЦК Компартии Украины занимался восстановлением народного хозяйства республики. Членом Военного Совета 1-го Украинского фронта он продолжал числиться, но лишь формально, на фронт не выезжал и в Корсунь-Шевченковской операции не участвовал. Вокруг нее по сей день много неясного, часть историков считает, что лавры победителя присуждены

Коневу несправедливо, разгромил немцев не он, а его предшественник на посту командующего 1-м Украинским фронтом генерал Ватутин, трагически погибший от рук украинских националистов-бандеровцев. Но это уже совсем другая история, и не мне в ней разбираться.

Далее Жуков «расписывает», как все происходило в его интерпретации и завершает: «В Москву Ставка меня не отзывала, а, как Вам известно, я продолжал помогать войскам фронта отражать наступление противника в районе Корсунь-Шевченковской и одновременно готовить наступление фронта на Чертков и Черновцы.

1-го марта, в связи с ранением Н. Ф. Ватутина, мне пришлось вступить в командование 1-м Украинским фронтом. С 3-го марта, как известно, я проводил Проскуровско-Черновицкую операцию. Операция закончилась успешно, 10 апреля я был награжден орденом “Победа”. Следовательно, то, что пишет Захаров в отношении меня, является его досужей выдумкой».

Жуков искал у отца управу на генералов, еще вчера лебезивших перед ним, а теперь беспардонно охаивающих его в мемуарах, в статьях, в выступлениях на разных собраниях и юбилеях и, в свою очередь, до небес превозносивших отца.

Чуть более чем через полгода те же генералы начнут охаивать отца и превозносить Брежнева. И уже совсем через много лет, оставшиеся в живых снова станут прославлять Жукова.

«Мне даже не дают возможности посещать собрания, посвященные юбилеям Советской Армии, а также и парады на Красной площади, — жалуется в письме Жуков. — На мои обращения по этому вопросу в МК партии в ГлавПУР мне отвечает: “Вас нет в списках”».

После октября 1964 года отец окажется в точно таком же положении. Вот только взывать к Брежневу он сочтет ниже своего достоинства.

По получении письма отец позвонил Жукову. О чем они говорили и как говорили, мы, конечно, не узнаем, но Жуков вскоре, 18 апреля 1964 года, посылает отцу новое письмо, которое начинает уже не нейтрально, а обращением:

«Дорогой Никита Сергеевич!

В телефонном разговоре со мною 29.III — с. г. Вы осудили тех, кто на страницах печати порочит мою

деятельность в годы Великой Отечественной войны.

После разговора с Вами я прочел в журнале «Октябрь» № 3 и 4 страницы воспоминаний В. И. Чуйкова. Вместо аргументированного анализа исторической неизбежности полного провала войны, затеянной германским фашизмом против Советского Союза, В. И. Чуйков построил свои воспоминания так, чтобы прежде всего прославить себя и опорочить мою деятельность как представителя Ставки ВГК и командующего 1-м Белорусским фронтом в период проведения Висло-Одерской и Берлинской операций».

Дальше идут подробные объяснения, в чем не прав Чуйков и в чем прав он, Жуков. Этот спор между двумя маршалами вокруг Берлина не закончится до самой их смерти.

«Недавно я прочитал мемуары Н. Н. Воронова, — продолжает Жуков. — Чего-чего только он не наплел в своих воспоминаниях. Описывая события в 1939 г. в районе Халхин-Гола, до того заврался, даже рискнул написать то, что он — Воронов — разработал план операции по разгрому японской армии, тогда как этот план был разработан и осуществлен лично мною со штабом армейской группы, а он всего лишь помог артиллеристам разработать план артиллерийского обеспечения.

И далее Воронов излагает события так, как будто он в минувшей войне играл особо выдающуюся роль, тогда как многое из того, что он пишет, было далеко не так…

Прошу Вас принять меры, которые Вы сочтете необходимыми, чтобы прекратить опорочивание моей деятельности.

Желаю Вам, Никита Сергеевич, крепкого здоровья!

Маршал Советского Союза Г. Жуков»

На письме имеются пометки помощника отца Григория Трофимовича Шуйского: «Тов. Хрущеву доложено. 7 мая 1964 г.» И самого отца: «Напомнить. Приму».

Видимо, после этого письма отец вторично позвонил Жукову. Об этом новом разговоре маршал упоминает в письме, отправленном Брежневу в марте 1965 года.

«Летом 1964 года мне звонил Хрущев, — пишет Жуков. — В процессе разговора об октябрьском пленуме 1957 года он сказал:

— Знаешь, мне тогда трудно было разобраться, что у тебя

было в голове, ко мне приходили, говорили: “Жуков — опасный человек, он игнорирует тебя, в любой момент он может сделать все, что захочет. Слишком велик его авторитет в армии, видимо «корона Эйзенхауэра» не дает ему покоя”.

Я ответил:

— Как же можно было решать судьбу человека на основании таких домыслов? Хрущев сказал:

— Сейчас я крепко занят. Вернусь с отдыха, встретимся и по-дружески поговорим».

В книге журналиста Светлишина «Крутые ступени судьбы: жизнь и ратные подвиги маршала Г. К. Жукова» (Хабаровск, 1992) этот же эпизод со слов Жукова записан более развернуто: «В конце августа 1964 года на дачу мне позвонил Хрущев. Справившись о моем здоровье и настроении, он затем спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что пишу воспоминания.

— Ну и как далеко продвинулось дело? — поинтересовался Хрущев.

Я сказал, что в принципе работа идет к концу, уже готова рукопись в тысячу страниц, но она нуждается в тщательном редактировании.

— Это очень интересно, — с оживлением заметил Хрущев и добавил:

— У тебя есть, о чем поведать людям, важно только рассказать всю правду о минувшей войне.

После небольшой паузы он заявил буквально следующее:

— Досадно, но должен со всей откровенностью признать, что в октябре 1957 года по отношению к тебе была допущена большая несправедливость, и в том, что тогда произошло, я тоже виноват. Оговорили тебя, а я поверил. Теперь мне ясно, что эту ошибку надо исправлять. На днях я еду на юг отдыхать. Как только вернусь в Москву, то сразу займусь этим делом и, надеюсь, все поправим…»

Что на самом деле думал отец, зачем позвонил, что говорил, что хотел поправить, остается гадать. Да и сам разговор дается в интерпретации одной заинтересованной стороны. Однако факт разговора несомненен. Не думаю, что отец изменил свое мнение о былом «бонапартизме» Жукова. Скорее всего, ему хотелось по-человечески объясниться с теперь уже не опасным политическим соперником, а старым фронтовым товарищем.

Телефонный звонок продолжения не получил. По возвращении из отпуска, в октябре 1964 года, отца сняли со всех занимаемых постов.

Личные отношения этих двух незаурядных людей так и остались испорченными навсегда.

В книге «Воспоминания и размышления» Жуков почти не упоминает об отце. А там, где без этого не обойтись, пишет о нем, мягко говоря, без симпатии. Что ж, его можно понять.

Отец читать книгу Жукова не стал. На мое предложение принести ее раздраженно отозвался, что ему пересказали ее содержание, но не сказал кто. Он считал, что многое, особенно в отношении роли Сталина в руководстве войной, там преподано в таком виде, в каком Жуков никогда бы сам не написал. Так он и велел передать Жукову, когда тот окольными путями, через родных, поинтересовался мнением отца о своих воспоминаниях.

Что тут скажешь?…

Отец вслед за Жуковым тоже сел за мемуары. «С большой душевной болью пришлось нам, особенно мне, расстаться с Жуковым, — продиктовал он на магнитофон, — но этого требовали интересы страны, интересы партии».

Академик Лаврентьев, Академгородок и Совет по науке

18 мая 1957 года ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР». Напрямую с переходом к совнархозам оно не увязывалось, но перекликалось с ним. Так уж веками сложилось на Руси, что серьезная наука сосредотачивалась сначала в столичном Санкт-Петербурге, а с 1930-х годов — в столичной Москве. Кое-какие исследования велись и в Ленинграде, и столицах союзных республик, но чем меньше республика, тем незначительней становился ее научный потенциал. Такая централизация представлялась отцу не только неестественной, но и опасной. Мало того что за каждой, даже ерундовой, научной надобностью, как в петровские времена, приходится обращаться в столицу, но случись война, от науки, вместе с Москвой, камня на камне не останется. Погибнут не только лаборатории и институты, но и ученые. Страна вмиг станет «безмозглой». Отец полагал, что науку следует рассредоточить по стране: конструкторские бюро и исследовательские институты разбросать по промышленным центрам, сельскохозяйственные академии переместить поближе к земле. Соответствующее решение, как я уже упоминал, приняли на Пленуме ЦК еще летом 1955 года. Дело двигалось, но двигалось медленно.

В промышленности, особенно оборонной, переезды прошли, не скажу чтобы гладко, но прошли. На Урале, в Сибири при крупных заводах возникали новые научные центры, поначалу на правах филиалов столичных институтов, но вскоре они обретали самостоятельность. Передислоцировались и военные разработки. Морские и зенитные ракеты прописались на Урале, метеорологические, связные и иные спутники — в Красноярске. Сейчас уже никто и не помнит, с какой опаской люди снимались с обжитых мест. Ехали без охоты, но и без особого принуждения, особенно молодые, неостепененные. Там, в глубинке, столичный начальник отдела, если он с головой, за несколько лет вырастал в главного конструктора, становился вровень с московскими светилами и даже избирался в академики. Прославленные ракетчики-академики, главный конструктор межконтинентальных ракет днепропетровец Михаил Кузмич Янгель, корабельных баллистических ракет миасовец Виктор Петрович Макеев, еще один ракетчик красноярец Михаил Федорович Решетнев начинали примерно одинаково и примерно в одно время.

С сельскохозяйственниками отцу везло меньше, вернее,

совсем не везло. Те, кто жил и работал в глубинке: на Украине, в Ставрополье, в Казахстане, в Сибири — «пшеничники» академик Василий Яковлевич Юрьев, Василий Николаевич Ремесло, Федор Григорьевич Кириченко, «кукурузник» Борис Павлович Соколов, «подсолнечник» Василий Степанович Пустовойт, почвоведы-академики Александр Иванович Бараев с Терентием Семеновичем Мальцевым — творили науку, выращивали новые сорта на своих опытных станциях, с годами становились знаменитыми, получали все мыслимые ученые звания. В Москву они не стремились. А вот «выкурить» москвичей «с заасфальтированных полей» в пределах Садового кольца не удавалось.

Так что отец немало удивился, когда столичные, увенчанные лаврами академики пришли к нему с предложением добровольно уехать далеко от Москвы. Не все, а трое: математики Михаил Алексеевич Лаврентьев, Сергей Алексеевич Христианович и Сергей Львович Соболев. Лаврентьева отец хорошо знал еще по Киеву.

Он, ровесник XX века, после окончания в 1922 году Московского университета преподавал в МВТУ им. Н. Э. Баумана, стажировался в Париже, затем вернулся в МГУ профессором (по совместительству), работал в ЦАГИ (Центральном аэродинамическом институте), в Математическом институте. В 35 лет Лаврентьев — доктор наук, профессор, заведующий отделом одного из самых престижных московских академических институтов. Однако он жаждет большего, но тут происходит осечка. Выдвинувшись в Москве в 1939 году в члены-корреспонденты сразу по двум отделениям — математики и механики, погнавшись за двумя зайцами, Лаврентьев провалился и в том же году перебрался на Украину. В Киеве, кроме интересной работы, ему пообещали членство в Украинской Академии наук. Не оставляя своих многочисленных обязанностей в Москве, Лаврентьев начинает профессорствовать в Киевском государственном университете и одновременно становится директором Института математики Академии наук Украины. В результате выиграли и Лаврентьев, и Украина. Он стал сразу академиком, пусть и местного значения, а республика приобрела неординарного ученого. Отец познакомился с Лаврентьевым вскоре после переезда последнего на Украину. В Киеве, как и в Москве, отец при любой возможности старался установить связи с местными учеными. Общаясь с ними, он не только из первых уст узнавал о последних достижениях в мире, что требовалось ему, руководителю республики по должности. Одновременно он учился, набирался недополученных в юности знаний. Я уже упоминал об этом и не премину упомянуть еще не раз. Учеником

отец был благодарным, все схватывал на лету, и одновременно полезным для своих учителей. Примеров можно привести множество.

Остановлюсь лишь на одном, с академиком Лаврентьевым не связанном. Там же, в Украинской Академии наук, трудился Евгений Оскарович Патон, профессор Политехнического института с 1905 года, ученый старой школы и старой выучки и одновременно новатор — зачинатель сварки металлических конструкций.

«Я только приехал на Украину, — вспоминал отец, — как мне позвонил академик Патон, крупнейший машиностроитель, увлекавшийся сваркой мостовых конструкций. Я его принял.

В кабинет вошел плотный человек, уже в летах, седой, коренастый, с львиным лицом, колючими глазами. Поздоровавшись, он вытащил из кармана кусок металла толщиной около сантиметра и положил на стол.

— Это полосовое железо, — сказал Патон, — и я его свариваю. Это сварка под флюсом.

Шов выглядел идеально, гладкий, как литой. Слово “флюс” я услышал впервые. Я был буквально очарован встречей и беседой с Патоном».

Патон убедил отца, что его сварка под «флюсом» произведет революцию в промышленности, даст возможность сваривать мосты, перекрытия зданий, корабли, броню танков. Всего не перечислить.

Он стал помогать Патону. При первой возможности рассказал о Патоне Сталину. И очень вовремя. В 1938 году Патон, не скрывавший своего отвращения к пустословию, а им он считал все не относящееся к сварке металлов, выглядел на общем фоне того времени не просто анахронизмом, но вполне мог считаться одним из вероятных кандидатов на отстрел. На Патона нажаловался заведующий Отделом пропаганды Украинского ЦК. Вызванный к нему на совещание академик, не просидев и десяти минут, встал и молча вышел.

— Если Патон ушел, то нужно разобраться, в чем дело, — встал на сторону ученого отец. — По какому вопросу вы проводили совещание?

— По вопросам идеологической работы, — прозвучал ответ.

— А зачем вы пригласили академика Патона? Он не имеет к этому никакого отношения. Он взял и ушел, проголосовал, как говорится, ногами. Вы должны сделать вывод своими мозгами и в будущем не позволять подобного не только в отношении Патона.

Больше к Патону в ЦК Компартии Украины не придирались.

Отец особо гордился своим участием в продвижении в жизнь

патоновской технологии сварки танковой брони. Во время войны она многократно ускорила производство танков, повысила их боевую устойчивость. Построенный в Киеве после войны по технологии Патона новый мост через Днепр по настоянию отца назвали именем ученого.

Но это Патон — человек дела! А что общего у отца с математиком, разрабатывавшим теорию функций комплексного переменного, теорию конформных и квазиконформных отображений, новые методы вариационного исчисления? Отец и слов-то таких не знал. И тем не менее, они не только познакомились, но, сойдясь характерами, время от времени встречались. Когда грянула война, их пути разошлись, Лаврентьев уехал в эвакуацию в Уфу, отец отправился на фронт. Снова они встретились только после победы.

Летом 1945 года Лаврентьев вместе с президентом Украинской Академии наук Александром Александровичем Богомольцем, пришли к отцу за содействием в приложении к жизни еще одной математической разработки Михаила Алексеевича — теории кумулятивного заряда. Что это такое?

В так называемых кумулятивных снарядах в носке делается специальной формы выемка, покрытая изнутри металлом. Благодаря ей снаряд как бы присасывается на мгновенье к броне танка или любой другой преграде, а образовавшаяся в момент подрыва раскаленная газовая струя продырявливает, прожигает броню. Успех зависел от формы выемки, которая фокусирует выделяемую при подрыве энергию в одной точке, обеспечивает пробивание брони. Эту форму и рассчитывал Лаврентьев.

Теорией кумулятивного подрыва Лаврентьев увлекся еще до войны. Поначалу приходилось работать в одиночку. Как академик Патон сам мастерил первые сварочные автоматы, так и математик Лаврентьев формовал дома взрывчатку с выемками различной формы, для чего разогревал ее до вязкого состояния на кухне на электроплитке, а в качестве пресса использовал ножку кровати. Заряды он испытывал в соседнем овраге. К сожалению, в отличие от Патона, который первым в мире начал сваривать танки, Лаврентьев немцев не опередил. Они научились производить кумулятивные противотанковые снаряды задолго до нападения на Советский Союз.

Я прочитал в книжке А. А. Помогайло «Оружие победы и НКВД. Советские конструкторы в тисках репрессий» (правда, по архивным данным не проверил), что еще в 1936 году, во время гражданской войны в Испании, немцы использовали кумулятивные снаряды против воевавших на стороне республиканцев советских танков Т-26.

Заметим, без особой необходимости, тонкую 15-ти миллиметровую броню Т-26 пробивали не то что пушки, но и обычные противотанковые ружья. В Испании немцы обкатывали новую научную разработку. Там-то они, скорее всего, и выяснили, что для выпущенного из нарезной пушки вращающегося вокруг продольной оси снаряда кумулятивный заряд мало подходит. Он не успевает «присосаться» к броне, сформировать всепрожигающую огненную струю. Для нового заряда требовалась иная, гладкоствольная артиллерия, а еще лучше портативные ракеты. Ничего подобного в Германии не производили. Тогда немецкие инженеры и военные нашли кумулятивным зарядам иное применение. В 1940 году во время наступления через Бельгию на Францию немецкие десантники-саперы с их помощью уничтожали укрепления у мостов через канал Альберта, бронированные и бетонные капониры. Заряды подтаскивались к ДОТам (долговременным огневым точкам) на себе, вручную навешивались на броню и подрывались. Эффект оказался ошеломляющим, одного заряда хватало, чтобы вывести из строя целое сооружение, на постройку которого ушли годы. Однако в 1940 году немецкое наступление на западе развивалось столь стремительно, что подробности штурма укреплений у канала Альберта не привлекли внимания специалистов. По крайней мере, советских.

Хотя кумулятивный заряд для стандартной противотанковой пушки оказался менее бронебойным, чем ожидалось, броню он все же пробивал лучше снаряда обычного, со стальным сердечником. Поэтому немцы работали в обоих направлениях: разрабатывали способы доставки к цели невращающегося реактивного заряда и усовершенствовали уже испытанный в Испании снаряд для стоявшей на вооружении противотанковой пушки. С началом войны обнаружилось, что броня новых советских танков Т-34 и особенно КВ слабо поддается обычному бронебойному снаряду, кумулятивными зарядами занялись вплотную. Уже в первые месяцы 1942 года, а возможно и в 1941 году немцы сконструировали кумулятивный заряд, который, несмотря на вращение снаряда вокруг продольной оси, прожигал броню советского Т-34.

На войне секреты долго не удерживаются. Немецкая новинка попала в наши руки. В 1943 году начали производить советский противотанковый снаряд с кумулятивной выемкой. В Курской битве, вспоминал отец, только эти кумулятивные снаряды (их то ли по ошибке, то ли для засекречивания, называли «термитными») помогали хоть как-то справляться с «тиграми».

Немцы тем временем сделали следующий шаг,

сконструировали гладкоствольную реактивную противотанковую систему. Первые ракеты-фаустпатроны с кумулятивной головной частью появились в вермахте в середине войны. С их помощью 45-ти миллиметровая броня советских танков Т-34 прожигалась, как жесть. Не могла им противостоять и казавшаяся абсолютно непробиваемой броня тяжелых танков КВ и ИС. К 1945 году фаустпатронами вооружили практически поголовно всех немецких солдат, оборонявших Берлин.

Они сожгли несчетное количество советских танков, и после Берлина в эффективности кумулятивного принципа не сомневался никто. Теперь кумулятивным зарядом занимались все, но рассчитать оптимальную формулу заряда не умел никто. За исключением Лаврентьева. Теория Лаврентьева объясняла, почему кумулятивный заряд эффективнее обычного бронебойного снаряда, а отлитые по его формулам начинки снарядов доказывали правильность его выводов. Но с Лаврентьевым соглашались далеко не все его коллеги и заказчики-военные. Вот он и обратился к Хрущеву за поддержкой, пригласил его на испытания.

«Я покажу вам заряд из взрывчатки определенной формы, положу его на лист железа, мы его подорвем, и он буквально пронзит этот лист, — так запомнил отец объяснения Лаврентьева. — Этот заряд не пробивает, а прожигает броню.

Все так и произошло. Огромное дело он сделал на пользу страны».

В наше время кумулятивными зарядами никого не удивишь, как не удивишь никого полетами в космос. Тогда же все только начиналось, позиция отца значила много, и не только для Лаврентьева.

Интересы академика и главы республики пересеклись не только в военной сфере. После войны Лаврентьев увлекался не одними кумулятивными зарядами, но занялся теорией направленных взрывов самой разнообразной конфигурации.

Отец в те годы пытался осушить пойму речушки Ирпень над Киевом, что по течению Днепра чуть выше города. Чтобы отвести воду, требовалось прокопать десятки и даже сотни километров каналов, канальчиков, канав, канавок. Копали их вручную, только кое-где американскими экскаваторами, которых на всю Украину насчитывалось штук пятьдесят.

В 1947 году, во время одной из встреч с Лаврентьевым, отец рассказал ему о работах на пойме. Лаврентьев откликнулся предложением не копать, а проделывать канавы подрывом шнуровых зарядов из мокрого пороха. Для неспециалиста мокрый порох звучит дико, все знают, что порох надо держать сухим.

Однако, как оказалось, в определенных условиях мокрый порох взрывается не хуже сухого.

Предложение Лаврентьева по тем временам прозвучало более чем необычно, но отец любил необычных людей с их идеями. Решили попробовать.

«В течение трех дней провели опыты со шнурами разных диаметров, — вспоминал Лаврентьев, — и внесли предложение в Совет Министров УССР. Ирпенскую пойму осушили в несколько раз быстрее и во много раз дешевле, чем ручным способом.

Так родился новый вид взрывных работ — шнуровые заряды».

В том же 1947 году показал Лаврентьев отцу свое новое увлечение — первую в СССР вычислительную машину. Ею занимался коллега Лаврентьева, тогда еще никому не известный украинский математик Сергей Алексеевич Лебедев. Отец поверил Лаврентьеву на слово, что дело это чрезвычайно важное, обещал всяческую поддержку и сдержал свое слово.

В 1949 году отец переехал в Москву. Вслед за ним, в 1950 году, вернулся в столицу и Лаврентьев. Там он занялся делами, далекими от круга обязанностей отца: участвовал в проектировании вычислительных машин, а с 12 января 1953 года — еще и атомных боеприпасов для дальнобойных пушек.

Не забросил он и киевское увлечение взрывами, в том числе взрывами под водой. В этом случае Лаврентьева интересовали не столько сами взрывы, сколько их воздействие на окружающую среду. Он старался понять, почему при одном методе подрыва образуется фонтан воды, а при другом — волна. Атомщики построили ему в 30 километрах от Москвы экспериментальный бассейн, поспособствовали переезду из Киева всей его «взрывной» команды. Благодаря подводным взрывам и возобновилось знакомство с отцом, и вот при каких обстоятельствах. В конце 1952 года на Дальнем Востоке произошло несчастье: в пять утра 5 ноября жители Курильских островов ощутили затяжной подземный толчок. Вскоре пришла волна высотой с пятиэтажный дом. Цунами смыла почти все, в том числе с острова Парамушир, расположенного у самой оконечности Камчатки, городок Северо-Курильск. На его месте образовался гладкий песчаный пляж. Стоявшие в гавани суда оказались далеко на суше, волна разбросала их по теснившимся в глубине острова сопкам.

В прибрежных камнях засел и один из крейсеров Тихоокеанского флота. Я сейчас точно не упомню, занесло ли его туда цунами или он напоролся на каменную гряду самостоятельно, когда спешил на помощь островитянам. Моряки перепробовали все традиционные способы стаскивания кораблей с мели — всё тщетно. Работы продолжались весь 1953 год. После

смерти Сталина, в своей новой ипостаси Первого секретаря ЦК КПСС, отец принимал в них непосредственное участие. Во время очередного, весьма пессимистического доклада о ходе спасательной операции, он вспомнил, как в Киеве Лаврентьев с помощью своих зарядов поднимал на озере приличную волну, и посоветовал морякам обратиться к Михаилу Алексеевичу за помощью. Вскоре, воспользовавшись случаем, Лаврентьев сам позвонил отцу и сказал, что постарается, но успеха не гарантирует, уж больно прочно и глубоко засел в камнях крейсер.

Под водой долго взрывали специально рассчитанные для такого случая заряды. Пытаясь поднять волну повыше, как бы повторить цунами в миниатюре, перепробовали разные глубины. Все тщетно. Как мне помнится, крейсер так и остался ржаветь на Курильских скалах.

И вот теперь, в 1957 году, новая встреча, и снова интересы академика и отца совпали. Лаврентьев хотел построить свой, лаврентьевский академический центр под Новосибирском, а Хрущев искал союзников в деле рассредоточения науки.

Начиналось же все так: Лаврентьеву к тому времени порядком наскучила размеренная московская жизнь, у него руки чесались заняться «настоящим» делом. По началу, как вспоминала его жена Вера Евгеньевна, он рвался на Сахалин. Мысль о создании академического городка в Сибири пришла в голову соседу Лаврентьева по даче Сергею Алексеевичу Христиановичу, занимавшему должность научного руководителя ЦАГИ. Он не поладил с директором. Разгорелся скандал. Министр принял соломоново решение: уволил обоих — и директора, и научного руководителя. Христианович устроился в Институт химической физики к академику Николаю Николаевичу Семенову, но и там не ужился. Так у Христиановича появилось свободное время, и, задумавшись о судьбах советской науки, он пришел к тому же заключению, что и отец: в атомный век слишком опасно сосредотачивать практически все научные учреждения в одном месте.

Лаврентьеву мысль Христиановича понравилась, и он взялся за ее реализацию. Они стали обдумывать записку Хрущеву. В процессе подготовки предложений к Лаврентьеву и Христиановичу присоединился Сергей Львович Соболев, еще один математик и академик, бывший директор Математического института имени В. А. Стеклова. Он, человек с характером, как и Христианович, не поладил с начальством, с президентом Академии наук академиком Александром Николаевичем Несмеяновым, и тот его просто выгнал с работы. Соболев ушел к Курчатову в Институт атомной энергии, но и с Курчатовым они

разругались.

В начале 1957 года Лаврентьев посчитал подготовку материалов законченной и позвонил Хрущеву. Отец обрадовался старому знакомому, они не виделись уже более семи лет, и назначил встречу. Лаврентьев не мог найти более удачного времени для представления своего предложения. Отец все раздумывал, никак не находил кандидата, который взялся бы за «расселение» московской науки, и тут появляется доброволец — Лаврентьев, а с ним еще два маститых академика.

В записке Лаврентьев замахнулся создать в Сибири не просто Академический научный центр, а самостоятельную Российскую республиканскую академию наук. Все союзные республики, кроме России, имеют национальные академии. С этим он и пришел к отцу. Отец усомнился в целесообразности такой затеи и стал его отговаривать. Сохранилась запись их разговора.

— Во-первых, звание союзного академика много привлекательнее республиканского, даже российского, — начал приводить свои аргументы Хрущев.

Он понимал, что лаврентьевская крамола вызовет в Президиуме Академии бурю и ее президент Несмеянов сделает все возможное, чтобы не допустить появления соперника на российской земле. Начнутся протесты, а если Лаврентьев, с его, Хрущева, помощью все-таки настоит на своем, то многоопытный Несмеянов найдет способы если не «замотать» вопрос, то всемерно замедлить реализацию столь важного для страны предложения. Всех этих соображений отец Лаврентьеву не высказал, только спросил:

— Кому отойдут существующие московские и не только московские академические научные институты и центры? И что станется с самой Союзной академией?

Лаврентьев замялся.

— Если все по-прежнему останется под президентом Всесоюзной академии, у Несмеянова, то кому нужна такая Российская академия? — продолжал Хрущев.

Сказать «мне» язык у Лаврентьева не повернулся, и он согласился ограничиться Сибирским отделением, в составе уже существующей Всесоюзной академии наук СССР. На том и порешили.

Когда, казалось бы, уже обо всем договорились, у Хрущева возникли новые сомнения, как Лаврентьеву удастся сагитировать достаточную для начала исследований группу крупных ученых. Новосибирск, по московским меркам, заштатная глушь, кто туда поедет?

— Поедут, — успокоил Лаврентьев, — надо только

заинтересовать людей, выделить специальные, сибирские вакансии при выборах в Академию наук. Когда же построим новые институты, проблема вообще отпадет, от талантливой молодежи отбоя не будет.

Лаврентьев исходил из собственного опыта, в Киев в 1939 году его привела перспектива избраться в украинские академики и возглавить местный институт математики. По сибирским же вакансиям выбирать станут не в республиканскую академию, а в главную, общесоюзную. Тут мало кто устоит.

Отец одобрительно заулыбался, к встрече с ним академики подготовились обстоятельно, предусмотрели все мелочи. Одобрив в принципе идею создания Сибирского академического центра, отец сказал, что необходимо специальное решение ЦК и правительства. Средства на строительство научного центра в Сибири потребуются немалые.

Подготовку всех необходимых документов отец поручил Шепилову, он все больше полагался на него в делах, связанных не только с идеологией, но и наукой. Но, несмотря на его прямые указания, дело застопорилось. Шепилов натолкнулся на резкое неприятие затеи Лаврентьева и со стороны президента академии Несмеянова, и со стороны министра высшего образования Владимира Петровича Елютина. С последним требовалось согласовать учреждение в Сибири параллельно с научным центром еще и университета.

Несмеянов считал, что Лаврентьев грубо нарушил субординацию: пошел к Хрущеву без согласования с Президиумом Академии, а своеволия Александр Николаевич не допускал. К тому же, Несмеянов, по специальности химик, считал куда более важным недавно начатое строительство биохимического научного центра в Пущино, под Москвой. Он опасался, что Сибирская «блажь» Лаврентьева оттянет выделенные на Пущино средства. Так и получилось. Пущино вскоре отошло на второй план, и работы там возобновились в полном объеме только в 1963 году, когда строительство Академгородка в Сибири подходило к завершению.

И главное, как Несмеянов, так и Елютин считали, что в Сибирь стоящих ученых не заманить. Все это выброшенные деньги. Сибирский научный центр обречен на серый провинциализм.

— Никто туда не поедет, — так и заявил Несмеянов Лаврентьеву, когда последний заявился к нему за визой на проект постановления правительства.

Лаврентьев в ответ стал перечислять фамилии академиков-добровольцев: одного, другого… третьего.

— Что вы говорите? А я считал его умным человеком, — услышав фамилию пятого по счету академика, в сердцах воскликнул Несмеянов. Поставить свою подпись на документе Александр Николаевич отказался.

Из Президиума Академии Лаврентьев направился в Министерство высшего образования.

— Ничего у вас из этого не выйдет, — увещевал его Елютин. Линию поведения они с Несмеяновым согласовали заранее. — Поверьте, у меня большой опыт по переводу некоторых высших учебных заведений из Москвы на периферию. После выхода решения о переводе шесть месяцев они готовятся к переезду. За это время практически все, особенно хорошие, профессора и доценты устраиваются в другие вузы Москвы. Разбегаются и студенты. В намеченный срок на новое место едут директор и секретарь партбюро. Они берут с собой вывеску вуза и некоторое количество оборудования, на новом месте получают помещение, прибивают у входа вывеску, преподавателей и студентов набирают из средних школ и заводов. Больше неоткуда. Считая задание правительства выполненным, директор и парторг возвращаются в Москву, где устраиваются как хорошо проявившие себя организаторы.

Однако эта возня не только не поколебала Лаврентьева, но еще больше раззадорила его.

— Когда Мише не с кем сражаться, он ходит как больной, — вспоминала Вера Евгеньевна.

Поняв, что от Шепилова толку мало, Лаврентьев нажаловался Хрущеву. Отец возмутился и поручил своему заместителю по Бюро ЦК по РСФСР Аристову незамедлительно решить вопрос. 4 мая 1957 года на заседании Бюро, в отсутствие отца, вызвали московских начальников, секретарей сибирских и дальневосточных обкомов, всего человек сто. После краткого обсуждения постановили: «Сибирскому научному центру Академии наук СССР — быть».

18 мая 1957 года Хрущев с Булганиным подписали постановление ЦК и Совета Министров, место под новый научный центр поручили выбирать на свой вкус Лаврентьеву. Вкус он проявил отменный. «Золотая долина» на берегу Оби под Новосибирском. Кто ее сейчас не знает? Лаврентьев продемонстрировал не только вкус, но и административную хватку, все хозяйственные заботы взял на себя. Конечно, его серьезно выручала поддержка отца. В трудную минуту он мог снять телефонную трубку и обратиться за помощью. Но прибегал он к этой мере редко, когда становилось уж совсем невмоготу.

Местные начальники не почитали за грех попользоваться

выделяемыми Лаврентьеву благами, пустить их на «настоящие» дела. То состав цемента переадресуют на стройку Обской ГЭС под Новосибирском, то разнарядку по металлоконструкции прикарманят. Исчезли и выделенные Академгородку четыре машины «скорой помощи». При очередном посещении Новосибирска Лаврентьев заприметил, что обкомовское начальство разъезжает на необычных персоналках. Не поленился, поехал в гараж. Оказывается, обком присвоил его машины, их перекрасили, замазали красные кресты, заменили носилки на мягкие сиденья. Тут уж Лаврентьев не выдержал, прямо из кабинета первого секретаря Новосибирского обкома Кобелева позвонил Хрущеву. Выслушав Лаврентьева, отец попросил передать трубку Кобелеву. Разговор возымел действие, после него местное начальство не только не ставило Лаврентьеву палки в колеса, но придало высший приоритет строительству Академгородка.

Хрущев посещал Академгородок дважды: в октябре 1959 года и в марте 1961 года. В октябре 1959 года, возвращаясь из Китая с празднования 10-летия КНР, отец сначала остановился в Красноярске. Там, в районе Железногорска, велось грандиозное подземное строительство. В гранитных скалах сооружали ракетный сборочный завод и ядерный центр. Все это вместе называлось «Красноярск-26» (ныне Железногорск). Строительство начали еще при Сталине. После войны он прослышал, что Гитлер прятал от американских бомбардировок сборку ракет в подземные штольни, и последовал его примеру. Сама по себе мысль тривиальная. Во время одной из встреч во время войны отец и сам предлагал Сталину использовать заброшенные шахты для производства вооружения. Сталин отреагировал скептически, а отец не настаивал, тогда его больше волновали свои, фронтовые проблемы. К тому же, угольные шахты не так просто приспособить к делу, их постоянно заливает водой, в штреках накапливается грозящий разрушительным взрывом метан. Потом боевые действия переместились на запад, угроза немецких бомбежек миновала, необходимость в подземных укрытиях отпала.

Послевоенное подземное строительство требовало немало денег. По смете все строительство оценили в шесть миллиардов рублей. К 1959 году «освоили» половину, три миллиарда. Теперь отец как рачительный хозяин решил разобраться, куда «закапывают» государственные ресурсы.

Заводские помещения располагались глубоко в гранитном монолите. Пока шли узкими штольнями, отец слушал рассказ начальника строительства. Половина строящегося предприятия

отводилась под сборку ракет, вторая половина предназначалась под реакторы, производящие плутоний. Рядом предполагалось собирать ядерные боеголовки. Сначала на стройке работали заключенные. После смерти Сталина и закрытия лагерей пришлось вербовать вольнонаемных. Когда пришли на место, отец восхитился и ужаснулся одновременно. Восхитился колоссальностью размеров зала, сотворенного человеческими руками. Он видел разные шахты: узкие норы донбасских угольных, где передвигаться можно только на четвереньках, и огромные купола солевых выработок в Карпатах. Там свободно умещался экскаватор. Но и соляные купола казались каморками по сравнению с открывшейся перед глазами отца картиной: в гранитной скале вырубили даже не зал — цилиндрическую пещеру, в которую легко упрятывался пятнадцатиэтажный дом. Тут планировалось разместить плутониевые реакторы. Поневоле напрашивалось сравнение с египетскими пирамидами, только упрятанными под землю. Прочие помещения казались замухрышками, хотя своими размерами они не уступали нормальным заводским корпусам.

Весь этот титанический труд представлялся отцу сизифовым. Огромные ресурсы закапывались в землю без всякой пользы для страны. Затраты на сооружение подземного завода не только никогда не окупятся, но и в военном отношении окажутся бросовыми. Ведь и ракеты, и боеголовки собирают из деталей. Их производят по всей стране, везут к месту сборки поездами. Если враг разрушит предприятия, изготавливающие отдельные узлы, то собирать под землей окажется нечего. Можно, конечно, накопить какие-то запасы, проектом предусматривались склады, но все это крохи. Опыт прошедшей войны свидетельствовал о том же: Гитлера подземные заводы не спасли. Бомбардировки, разрушив основные промышленные центры Германии, остановили и подземные заводы. Сталин не мог этого не знать, и все же отдал приказ зарываться в землю. Чем он мотивировал свое решение, теперь уже не помнит никто, и тогда его вряд ли спрашивали. Взяли под козырек, навезли заключенных и приказали долбить гранит.

С выводами отец не спешил. Он не хотел обижать строителей, они столько вложили в эти пещеры, к тому же первые впечатления — это только первые впечатления. Отец осторожно, в форме вопроса, высказал свои сомнения, сопровождавшему его среднемашевскому заместителю министра Борису Львовичу Ванникову, который курировал проект. Он ожидал, что Ванников начнет возражать, доказывать разумность и необходимость стройки. Но Ванников только пожал плечами, «глянул хитровато»,

отец уловил в его глазах улыбку, и согласился.

— Так зачем же… — опешил отец.

— Мы, — отвечал Ванников, — не лезли в это дело, то была идея Сталина. По возвращении отца в Москву планы строительства пересмотрели, чтобы не пропали даром затраченные средства, решили завершить недоделанное, а от новых подземных заводов, их по сталинскому приказу проектировали и в других труднодоступных местах, отказались. После отставки отца сталинскую стройку разморозили. В 2001 году я видел телевизионную передачу о Железногорском подземном монстре. В ней его назвали «гордостью советского народа». Как можно гордиться собственной расточительностью? Хотя гордятся же египтяне своими пирамидами.

Если в Красноярске отец испытал разочарование, то Новосибирская «Золотая долина» его порадовала. Деньги здесь вкладывались в будущее, и вкладывались с умом. Сильное впечатление на отца произвела и организация дела. Лаврентьев четко отвечал на вопросы, знал, что где строится, кому чего не хватает, кто просит лишку.

«Не забуду, как, когда строили в Сибири академические сооружения, этот большой ученый жил в палатке и ходил в кирзовых сапогах, — восторгался Лаврентьевым отец. — Но главное не в том, как человек одет и что он носит — сапоги или цилиндр. Трезвость ума и пробивная сила Лаврентьева — вот что подкупило меня.

Требовалось очень много денег, особенно строительным организациям, чтобы в короткий срок создать хотя бы основу филиала, — продолжает отец. — Научное строительство — непрерывный процесс, как и развитие самой науки. Душой нового дела стал сам Лаврентьев. Я, когда бывал в Сибири, несколько раз посещал Академгородок, смотрел, как идет строительство.

Лаврентьев привез туда семью, жил очень скромно в типовом финском домике, это я увидел, побывав у него на обеде». (На самом деле он жил в избе лесника, построенной тут еще в доакадемические времена.)

Несмотря на искреннее восхищение отца Лаврентьевым, их отношения нельзя назвать безоблачными. В октябре 1959 года они крепко поцапались из-за Лысенко, «злого гения» страны, науки, Хрущева и, отчасти, Лаврентьева.

Проблемы с Лысенко у Лаврентьева возникли чуть ли ни со дня основания Сибирского отделения. Михаил Алексеевич пригласил заведовать Институтом цитологии и генетики Николая Петровича Дубинина, одного из немногих профессоров-генетиков, чудом уцелевшего во время сталинско-лысенковского

«выпалывания с научного поля вейсманистско-морганистских сорняков».

Ему повезло, он укрывался в средмаше, там тогда всерьез занялись изучением влияния радиации на живой организм. В средмаш с его драконовской системой специальных допусков даже всесильный Лысенко пробраться не смог. Да и не интересовало его то, чем занимались атомщики. Другое дело — академический институт в самом центре Сибири. Лысенко понимал, что с Лаврентьевым ему не сговориться, они хорошо знали друг друга еще по Украине. Трофим Денисович пошел к Христиановичу, предложил ему сотрудничество и свою поддержку, пообещал прислать настоящих ученых, но с одним условием — никакого Дубинина. Когда Христианович рассказал Лаврентьеву о своей встрече с Лысенко, тот вспылил: Лысенко в Сибирское отделение вход заказан.

В ответ Лысенко показал зубы: в ЦК пошли письма «колхозников», они жаловались на понаехавших в Сибирь «морганистов», которые вместо пшеницы заполоняют поля сорняками якобы для научных целей, а нам такой науки не надо. К Лаврентьеву в «Золотую долину» нагрянула «авторитетная» комиссия во главе с Ольшанским, лысенковцем, президентом Сельскохозяйственной академии. Действовала она по трафарету 1940-х годов: «проверив» работу Института генетики, потребовала его закрытия как бесполезного. И это при том, что сибиряки занимались не только «чистой» наукой. Они вплотную подошли к внедрению на поля так называемой триплоидной сахарной свеклы — сорта, обеспечивающего повышение выработки сахара на 15 процентов. Свекла Ольшанского не заинтересовала. Он снова по указанию Лысенко предложил Лаврентьеву взамен Дубининского создать «Мичуринский институт». Сельскохозяйственная академия при таком раскладе поддержит его и деньгами, и людьми. Лаврентьев лавировал, говорил о соревновательности в науке, но уходить под крыло Лысенко категорически отказался.

Тогда Лысенко пустил в ход «тяжелую артиллерию». Он подговорил то ли Шевченко, то ли Полякова нажаловаться отцу на творимые в Сибирском отделении его любимцем Лаврентьевым безобразия, который-де не только пускает государственные деньги на ветер, но при этом прикрывается его, хрущевским, именем. Прием сработал. Отец вспылил, в сердцах пообещал Сибирское отделение разогнать, Лаврентьева уволить, публично заявил о поддержке Лысенко: «Замечательное дело делает академик Лаврентьев, создает новый научный центр. Я хорошо знаю академика Лаврентьева, он хороший ученый. Нам

надо проявить заботу, чтобы в новые научные центры подбирались люди, способные двигать науку вперед. Это не всегда учитывается. Например, в Новосибирске строится Институт цитологии и генетики, директором которого назначен биолог Дубинин, противник мичуринской теории. Работы этого ученого принесли мало пользы науке и практике. Где выдающиеся труды биолога Дубинина, который является одним из организаторов борьбы против мичуринских взглядов Лысенко? Если работая в Москве, он не принес существенной пользы, то вряд ли принесет ее в Новосибирске».

Лысенко не сомневался — дело сделано. Шевченко доверительно сообщил ему, что Хрущев на пути из Китая в Москву в октябре 1959 года собирается остановиться в Новосибирске. Там он «разберется с вейсманистами-морганистами». Лысенковцы еще раз посоветовали Лаврентьеву пока не поздно, покаяться, отказаться от «ереси».

Лаврентьев решил действовать на опережение. Он добился своего включения в делегацию, ехавшую с Хрущевым в Китай. В Пекине Михаил Алексеевич под предлогом, что по пути домой им обоим предстоит лететь в Новосибирск, напросился в самолет к отцу. В самолете отец расспрашивал Лаврентьева об Академгородке, их научных планах и результатах, о тамошнем житье-бытье. Пока Михаил Алексеевич рассказывал о геологах, о своих любимых подводных и надводных взрывах, о получении сверхчистых материалов для электроники, отец слушал его благосклонно, если что-то не улавливал, переспрашивал. Однако при первом же упоминании Института цитологии и генетики он вспылил. Его хорошо «подготовили» в Москве, и слушать объяснения Лаврентьева отец не желал. Он начал выговаривать Лаврентьеву: он де математик, а не биолог, всякие лжеученые-проходимцы, «вейсманисты-морганисты» его водят за нос. Отец проявил осведомленность в деталях, попенял Лаврентьеву: ему-де хотели помочь, предлагали оздоровить институт, влить в него настоящих ученых-практиков, а он отказался.

Лаврентьев не дрогнул, ответил, что не его, а Хрущева водят за нос. Он-то отлично понимает, что делает. В общем, поговорили. Отец насупился — аргументов, опровергавших слова Лаврентьева, у него не находилось. Он демонстративно отсел от академика и вызвал Ильичева с бумагами.

Ил-18 отца состоял из двух салонов: его личного, с приставленными к креслам двумя столами для работы и диванчиком напротив для сна и отдыха, и второго, обычного, такого, как в стандартном самолете. В нем размещались помощники, журналисты и все иные сопровождающие лица.

Отец с Ильичевым занялись рутинными делами. Лаврентьеву же ничего не оставалось, как ретироваться во второй салон. «Опала» продлилась недолго. Отец слишком дорожил мнением Лаврентьева, чтобы просто от него отмахнуться. Покончив с бумагами, он одумался и пошел во второй салон мириться, посетовал, что, пока они спорили, все, кроме них двоих, пообедали. Отец пригласил Лаврентьева пообедать с ним.

— Как пожелает начальство, — демонстративно-отстраненно ответил Лаврентьев.

Отец поежился, но виду не подал. Он понимал, что обидел академика, обидел незаслуженно, и теперь не знал, как загладить свою вину.

Ели молча. Отец вновь попытался разрядить обстановку, предложил выпить по рюмочке коньяку за процветание науки в Сибири.

— Как начальство… — Лаврентьев явно не собирался сдаваться. Постепенно накал спадал, настроение улучшалось, вновь завязался разговор.

Лаврентьев напомнил отцу, как они шнуровыми зарядами копали канал на Ирпенской пойме. Отец с готовностью откликнулся. Начались воспоминания.

— А вы помните Николая Сытого, изобретателя шнуровых копательных зарядов? — как бы невзначай спросил Лаврентьев.

— Конечно, помню! — с готовностью откликнулся отец. — Я его даже прозвал «дорогим Сытым». Поначалу каналы получались «золотыми», но он молодец, придумал, как удешевить технологию, сделать ее рентабельной. Молодец!

— А вы знаете, Никита Сергеевич, что мы выдвинули Сытого на Сталинскую премию, но он ее не получил, — продолжал Лаврентьев.

— Понятия не имею, — забеспокоился отец, он начал понимать, что Сытого собеседник припомнил неспроста. — А почему?

— Лысенко выступил «против» на комитете, — Лаврентьев пошел ва-банк, — завалил Сытого, сказал, что взрывные работы вообще проводить нельзя, «земля — живая, пугается и перестает родить».

(В главе о Лысенко я уже упоминал о его мистически-религиозном неприятии человеческой активности, нарушавшей установившийся на Земле баланс, способной «обидеть» Землю, вызвать ее ответную негативную реакцию. Взрывы любого вида и масштаба он считал наиболее опасными и провокационными действиями.)

Отец не знал, что ответить, так и застыл с вилкой в руке.

Лаврентьеву только это и надо было, он высказал все, что думал:

— Не возражаю, я в сельском хозяйстве и генетике профан, но, что Лысенко мракобес и гад, я уверен.

На сей раз отец не сопротивлялся. Вместо того чтобы защищать Лысенко, он сам стал на него жаловаться. Вспомнил, что когда в 1947 году из-за неурожая на Украине он попал в опалу к Сталину, Лысенко тут же нажаловался вождю: посевы погибли, потому что Хрущев не прислушивался к его, Лысенко, советам.

— Можете себе представить, — возмущался отец, — послушайся я Лысенко — и засухи бы не случилось! — тут отец осекся. Внимательно посмотрел на Лаврентьева и положил вилку в тарелку. — Я спросил потом Лысенко, — продолжил отец уже иным тоном, — как он мог так поступить? Он ответил: «Я выполнял задание Сталина».

В дальнейшем разговоре собеседники опасных тем не касались. Лаврентьев остался доволен, он не выиграл, но и не проиграл. Отец приедет в Новосибирск не таким, как рассчитывал Лысенко с его командой.

По мнению Лаврентьева, визит Хрущева в Академгородок прошел хорошо. Все направления работ Сибирского отделения, включая и биологические, получили одобрение. Правда, на прощание отец все же порекомендовал ему избавиться от Дубинина. Порекомендовал, а не приказал. Лаврентьев ответил, что подумает, пока равноценной замены Дубинину он не видит.

В Москве лысенковская команда продолжала нажимать. Отца просто умоляли защитить Трофима Денисовича от «вейсманистов-морганистов», иначе сельское хозяйство ожидает неминуемая катастрофа. Отец постепенно поддавался. Тем временем у него за спиной Москва продолжала давить на Новосибирск. В январе 1960 года наступила развязка. Лаврентьев сообщил Дубинину, что защищать его больше не в силах. Дубинин вернулся в Москву. Все эти годы он предусмотрительно сохранял свои позиции в средмаше. Директором Института генетики Лаврентьев назначил такого же «вейсманиста-морганиста» Дмитрия Константиновича Беляева. Большего лысенковцы, как ни старались, своего добиться не смогли, но крови Лаврентьеву они попортили изрядно.

В главе о Лысенко я уже писал о своей собственной войне с ним. Прослышав о споре Лаврентьева с отцом, я тут же записался в его союзники и объявил об этом при первом же удобном случае. На одном из приемов в Кремле в толпе гостей я оказался каким-то образом рядом с академиком. Я, что называется, рвался в бой. Чтобы завести разговор с Лаврентьевым, с которым был едва

знаком, я произнес общие фразы об истинности формальной генетики и ошибочности позиции Лысенко. Реакция оказалась неожиданной, Лаврентьев посмотрел на меня, как на провокатора, пробурчал: «Я этим больше не интересуюсь». И отошел.

В 1961 году отец вновь посетил Академгородок.

— А где же ваши «вейсманисты-морганисты»? — шутливо поддел он Лаврентьева, демонстрировавшего ему на импровизированной выставке достижения сибирских ученых.

— Я же математик, и кто их разберет, который вейсманист, а который морганист, — в тон отцу отшутился Лаврентьев.

— Был такой случай, — отец воспринял шутливый тон Лаврентьева. — По Военно-Грузинской дороге шел хохол, а навстречу ему попались спорившие между собой грузин и осетин. Они потребовали от него: «Рассуди нас, что светит на небе месяц или луна?». Хохол видит, что у обоих у них на поясе по кинжалу и отвечает: «Я не тутошний…»

Отец первым начал смеяться, к нему присоединились все присутствовавшие. В тот раз он неудобной темы больше не касался. Не касался ее и Лаврентьев.

Можно сказать, что все закончилось относительно благополучно, но поведение отца, его агрессивность в защите Лысенко я не могу, ни оправдать, ни объяснить. Во множестве иных случаев он исповедовал рационализм, соревновательность школ и идей, призывал все оценивать по результатам. А здесь уперся…

Не сошлись Лаврентьев с отцом и в споре вокруг строительства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Отец поддерживал стройку, стране нужны дешевые целлюлоза и бумага. Об экологии в то время серьезно не задумывались, считали, что природа справится с любыми отходами. То, что природа не всесильна и даже смертна, в стране отдавали себе отчет единицы, в том числе и Лаврентьев. Он пошел к Хрущеву, но понимания не встретил. На столе у отца лежало заключение авторитетнейшей комиссии, в нем академики не менее маститые, чем Лаврентьев, писали, что комбинат строить нужно, ничего с Байкалом не случится. Одним из решающих аргументов служил пример соседей: «В Японии, в США строят. Значит, и нам можно».

В Америке к заключению, что природа не всемогуща, пришли примерно в то время, когда у нас начинали проектировать этот проклятый комбинат. Великие американские озера начали умирать, в реках и озерах северо-востока США исчезла рыба, леса погибали из-за кислотных дождей. Они забеспокоились, мы же жили по устаревшим меркам, считали, что природа все стерпит.

Мог ли отец тогда согласиться с Лаврентьевым? Хочется ответить: «Да, мог». Но это не будет правдой. Он верил в неисчерпаемость и всемогущество природы. Как мы, песчинки, можем навредить ей? Заключения многочисленных комиссий подкрепляли его веру. Когда приходилось решать, тратить ли миллионы и миллиарды на охрану окружающей среды от нас самих или употребить эти ресурсы на производство чего-то нужного людям, отец всегда поддерживал сторонников второй точки зрения. В этом он оставался продуктом своего времени, а Лаврентьев обогнал свое время. Разминувшимся во времени к согласию прийти невозможно.

Реальное положение дел с загрязнением окружающей среды в Советском Союзе осознали только в 1980-е годы. Видимо, закономерно, что к проблемам экологии мы пришли на тридцать лет позже Америки. Примерно настолько Советский Союз отставал от США в своем общеэкономическом развитии. А на чужих ошибках не учится никто.

А вот в другом начинании Лаврентьева, заглядывавшем далеко в будущее, отец его без колебаний поддержал. В 1950-е годы, во время операции по съему крейсера с камней Лаврентьев впервые познакомился с Камчаткой. По возвращении в Москву он пригласил в столицу Камчатских вулканологов, доложивших о возможности создания на полуострове и Курилах совершенно новой отрасли энергетики, использующей термальные воды. Лаврентьев решил сам выехать на место, лично убедиться в возможности построения теплоэлектростанции, работающей на даровой горячей воде. Из экспедиции на Камчатку академик вернулся убежденным, что энергетическое будущее полуострова, и не только его одного, сокрыто в недрах, в кипящей воде гейзеров и горячих источников. Не надо тратиться на доставку на Камчатку морем мазута и угля, стоит только пробурить в нужном месте на нужную глубину скважину — и мы получаем пар для электростанций, кипяток для обогрева домов.

«После поездки на Камчатку я позвонил Н. С. Хрущеву, — вспоминал Лаврентьев. — Мы встретились. Он внимательно выслушал рассказ о богатствах Дальнего Востока, его энергетических термальных ресурсах.

— Что нужно сделать, чтобы эти воды включить в работу? — спросил Хрущев.

— Решение Госплана СССР о бурении опытных скважин, — на сей раз моя просьба была короткой.

Никита Сергеевич при мне позвонил в Госплан. Там начали сомневаться.

— Ученые просят — значит, у них есть основания. Надо

помочь создать экспериментальные установки, провести исследования, — подытожил Хрущев.

Через несколько дней состоялось решение Госплана о бурении опытных скважин, выделении оборудования и проектировании первой в Союзе Паужетской термальной электростанции.

В 1963 году я еще раз побывал на Камчатке. На Паужетке близилось к завершению строительство электростанции на подземном паре, по соседству в Паратунке на подземном тепле работали теплицы, обеспечивали овощами ближайший санаторий».

Сотрудничество отца с Лаврентьевым продолжалось до последнего дня его пребывания у власти. С каждым днем оно становилось плодотворнее, теснее. Наиболее многообещающим, на мой взгляд, явилось создание Совета по науке при Главе Правительства, то есть при Хрущеве.

Как я уже писал, отец давно испытывал потребность иметь рядом с собой энциклопедически образованного, мыслящего по-государственному ученого, к которому он бы мог обратиться за советом, какое из научных направлений поддержать, а какое можно и попридержать. При этом ученый-советник, как представлялось отцу, должен стоять выше академических дрязг, подсиживаний, но знать все о подспудных процессах, происходящих в научной среде. В общем, фигура получалась нереально идеальной.

Отец остановил свой выбор на академике Курчатове, они успели обо всем вчерне договориться, но ничего предпринять не успели, Курчатов скоропостижно умер.

Отец долго искал ему равноценную замену, но не нашел и решил создать при председателе Совета Министров СССР коллективного Курчатова — Совет по науке. Отец направил соответствующую записку в Президиум ЦК, а 9 января 1963 года на его заседании предложил в дополнение к Госкомитету по координации научно-исследовательских работ СССР, органу бюрократически неповоротливому, учредить «карманный» Научный совет при главе правительства, собрать туда ученых, которые бы «обсуждали назревшие вопросы» развития промышленности и сельского хозяйства «и давали бы свои рекомендации непосредственно Совету Министров».

«Сейчас мы постоянно запаздываем, — рассуждал отец, — проводим совещания, пленумы и только тогда начинаем выяснять истинное положение вещей. Все мы, министры, работники совнархозов загружены повседневностью, не можем головы поднять. В результате, действуем по старинке, по инерции, идем

по старой дорожке, как это произошло с химией.

На будущее мы попросим Совет по науке предварительно обсудить в Научных институтах составляемые Госпланом планы, проверить насколько они соответствуют уровню развития науки в мире».

Отец позвонил Лаврентьеву и предложил ему возглавить Совет. Мне кажется, что к тому времени по авторитетности, объективности суждений Лаврентьев в глазах отца сравнялся с Курчатовым. Возможно, этому поспособствовал и инцидент с генетиками. Людей, возражавших ему, отец уважал больше, чем поддакивавших. Хотя все мы грешны, подхалимы тоже нередко находили путь к его сердцу.

Постановлением от 7 февраля 1963 года Правительство образовало при Совете Министров СССР Совет по науке.

По общему согласию Хрущева и Лаврентьева, в Совет предполагалось назначить компетентных, известных ученых, не занимавших особых административных постов, людей от власти, насколько это вообще возможно, независимых.

Состав Совета Лаврентьев подбирал из самых авторитетных академиков, и не просто академиков, а людей активных, бойцов. В него, кроме самого Лаврентьева, вошли Анушаван Агафонович Арзуманян — экономист, академик, основные труды по мировой экономике и экономике социализма; Мстислав Всеволодович Келдыш — президент Академии наук, математик, механик, теоретик космонавтики, основные труды в теории функции комплексного переменного, аэрогидродинамике, теории колебаний, вычислительных процессов, лауреат Ленинской и Государственных премий, трижды Герой Социалистического Труда; Владимир Алексеевич Кириллин — теплотехник, изобретатель и заведующий Отделом науки, вузов и школ ЦК КПСС, академик, основные труды по теплофизике, термодинамическим свойствам твердых веществ при высоких температурах, лауреат Ленинской и Государственных премий; Борис Павлович Константинов — физик, астрофизик, акустик, специалист по разделению изотопов, академик, основные труды по теоретической и прикладной акустике, астрофизике, разделению изотопов и диагностике плазмы, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда; Николай Николаевич Семенов — химик, физик, лауреат Нобелевской премии, один из конфидентов отца в развитии химии, академик, основатель химической физики, создал теорию цепных реакций, разработал теорию теплового взрыва газовых смесей, дважды Герой Социалистического Труда; Анатолий Петрович Александров — атомщик, «отец» атомных

электростанций, атомных ледоколов и подводных лодок, академик, труды по диэлектрикам, электрическим и механическим свойствам полимеров, атомным реакторам, лауреат Ленинской и Государственных премий, трижды Герой Социалистического Труда; Николай Николаевич Боголюбов — гений-математик, физик, инженер, академик, основатель научной школы по нелинейной механике и теоретической физике, труды по статистической физике, микроскопической теории сверхтекучести и сверхпроводимости, квантовой теории поля, дисперсионным взаимоотношениям, лауреат Ленинской и Государственных премий, дважды Герой Социалистического Труда; Александр Павлович Виноградов — геобиокосмохимик, занимавшийся эволюцией формирования очень глубоких земных недр и эволюцией нашей планеты, академик, основные труды по теории зонного плавления и формирования земных оболочек, химической эволюции Земли, геохимии изотопов, лауреат Ленинских и Государственных премий, дважды Герой Социалистического Труда; Анатолий Алексеевич Дородницын — механик, математик, геофизик, аэродинамик, человек живой мысли и немыслимо хваткий, академик с 1953 года, основные труды по динамической метеорологии, аэродинамике, численным методам решения дифференциальных уравнений, лауреат Ленинской и Государственных премий, Герой Социалистического Труда; Валерий Алексеевич Каргин — полимерщик, знавший о полимерах, если не все, то более кого-либо в мире, академик, основные труды в области механических и термомеханических свойств полимеров, методов модификации структуры полимеров, лауреат Ленинской и Государственных премий, Герой Социалистического Труда; Владимир Александрович Котельников — радист, изобретатель, человек, имеющий исключительный нюх на новое, академик, основные труды по методам радиоприема, теории помехоустойчивости, радиолокации Марса, Венеры, Меркурия, лауреат Ленинской и Государственных премий, дважды Герой Социалистического Труда; Борис Евгеньевич Патон — сварщик, достойный продолжатель дела своего отца Е. О. Патона, президент Украинской Академии наук, академик, основные работы в области физики металлов и электросварки, лауреат Ленинской и Государственной премий, дважды Герой Социалистического Труда; Вадим Александрович Трапезников — автоматчик, кибернетик, один из зачинателей экономической кибернетики в Советском Союзе, академик, основные труды по автоматическому регулированию, электрическим машинам, экономике научно-технического прогресса, лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда;

Александр Иванович Целиков — металлург, разработчик теории проката металлов, ученый и практик в одном лице, академик, основные труды по теории проката металлов и обработки металлов давлением, лауреат Ленинской и Государственных, премий, дважды Герой Социалистического Труда; Александр Николаевич Щукин — один из корифеев радиодела в СССР, ученый и администратор, академик, основные труды по теории распространения радиоволн и метода расчета дальней коротковолновой радиосвязи, лауреат Ленинской и Государственной премий, дважды Герой Социалистического Труда; Гурий Иванович Марчук — ученый секретарь Совета, математик-вычислитель, но главное — правая рука Лаврентьева, будущий Председатель Сибирского отделения, академик, основные труды по вычислительной и прикладной математике, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда.

Совет не наделили никакими административными правами, за исключением права прямого доступа к Хрущеву. А это, согласитесь со мной, не так мало и вполне достаточно, чтобы вызвать ревность и даже ненависть бюрократии. Местонахождение Совета определил отец, выделил им две комнаты в Кремле, поблизости от своего кабинета. Отец получал удовлетворение от работы со «своим» Советом, то и дело обращался к нему за справками, посылал на экспертизу бумаги.

После назначения на новую должность Лаврентьев засобирался в Москву. Осенью 1963 — зимой 1964 года об отъезде «деда» судачили в Академгородке в открытую. Называли даже его преемника — Александра Даниловича Александрова, ректора Ленинградского университета, математика, геометра, философа естествознания.

После того как Лаврентьев пообещал ему избрание в академики по квоте Сибири, он в начале 1964 года перебрался в Новосибирск. В академики Александрова в 1964 году избрали, но преемником Лаврентьева ему стать не довелось.

Но все по порядку. В те годы о деятельности Совета я почти ничего не знал. Над нами, ракетчиками, царствовала Военно-Промышленная комиссия Устинова. Расскажу о том немногом, что мне удалось разузнать впоследствии.

За чуть более чем годичный срок своего существования Совет провел в жизнь всего три-четыре идеи, но они повлияли на будущее развитие страны.

Начал Лаврентьев с наведения элементарного порядка в планировании от «достигнутого», что означало: план будущего года устанавливается чуть больше, процентов на три-пять, от

выполненного в текущем году. Система создавала массу нелепостей. Так, имея возможность при удачно сложившихся обстоятельствах прирастить за год производство продукции (самолетов или тапочек), скажем, на 30 процентов, «умный» директор растягивал процесс на всю пятилетку, искусственно дозируя рост по пять процентов в год. Такое поведение диктовали правила игры, вернее тогдашней экономической жизни. Увеличь он производство на все 30 процентов за год, израсходуй все ресурсы, и от достигнутого ему на следующий год добавят еще 5 процентов роста. А он, выложившись до конца, их уже не осилит, оставит и завод, и самого себя без премии. Еще и выговор «заработает».

То же самое происходило с добычей минерального сырья. «Рачительный хозяин» никогда не отправит потребителю все полученное им из земли, отложит часть про запас, вдруг в следующем квартале что-то случится, выработка упадет, — вот полулегальный резерв и обеспечит выполнение плана.

С увесистой папкой материалов Лаврентьев пошел к Хрущеву. Первый раз в новом качестве его научного советника. Отец, не перебивая, выслушал Лаврентьева. Обо всех этих ухищрениях он отлично знал, не знал только, как их побороть. Более того, он, в свою очередь, рассказал академику о том, как в тридцатые годы нарком Госконтроля, недавний помощник Сталина, человек сумасшедшего характера Лев Мехлис «вора поймал»: уличил директора одного из украинских заводов в воровстве самолетных моторов и уже завел на него дело. В те годы, попав в такую передрягу, директор выговором не отделался бы, «в лучшем случае» загремел бы в лагерь, а в худшем…

На его счастье Мехлис поделился предварительными результатами расследования с Хрущевым, и тот усомнился: «У нас воруют все, что угодно, но авиационный мотор? Съесть его нельзя, продать нельзя, какой смысл в краже?»

Дело раскрылось просто: производство моторов учитывалось не помесячно, а посуточно. Сверхплановые моторы (их-то Мехлис и обнаружил) директор завода в отчет включать не спешил, использовал свой резерв на случай провала плана.

Отец пообещал Лаврентьеву подумать, в свою очередь попросил подумать и Лаврентьева. Вскоре отец придет к заключению, что выход в еще более глубокой децентрализации экономики.

Совет Лаврентьева, так окрестили его в кремлевских кабинетах, занимался широчайшим спектром проблем. К примеру, Михаил Алексеевич создал и сам возглавил комиссию, занявшуюся спецификой работы машин на Крайнем Севере

зимой. Не полагаясь ни на кого, Лаврентьев с Марчуком в самые жгучие морозы проехали полторы тысячи километров по печально знаменитому Колымскому тракту, общались с золотодобытчиками, шоферами, охотниками, местными властями. Они своими глазами увидели, как при экстремально низких температурах лопаются стальные конструкции, металлические детали становятся хрупкими, как стекло, резина крошится, как сухари, пластмасса растрескивается, смазка, ничего не смазывая, превращается в камень. Они подсчитали, что зимой на Севере поломок происходит почти в десять раз больше, чем в Центральной России. Они же отыскали и решение проблемы. По просьбе Лаврентьева, член совета Борис Евгеньевич Патон, человек хваткий и пробивной, разработал методы сварки специальных хладостойких марок стали. Химики занялись производством хладостойкой резины, пластмасс, смазок. Совет подготовил специальное постановление правительства. Дело пошло.

Лаврентьев же, в связи со строительством гигантской сибирской Нижне-Обской ГЭС, переключился на экологию. Газеты расписывали на все лады ее сказочную мощность в 10 миллионов киловатт, безбрежность будущего рукотворного моря размером с Каспий. Заместитель отца Алексей Николаевич Косыгин, один из энтузиастов будущей стройки, своим решением выделил два миллиона рублей на изыскание подходящего для плотины места. Энергетики облюбовали створ в районе Сургута.

У Лаврентьева затопление почти трети Западной Сибири вызывало не восторг, а серьезные опасения. Он поделился ими с отцом, и тот поручил Совету разобраться. Организованная Лаврентьевым комиссия объехала обреченные на затопление районы. В результате строительства плотины под воду уходили сельскохозяйственные угодья, леса. Посетила комиссия и район Березова, места ссылки князя Александра Даниловича Меншикова, сподвижника Петра I. Геологи разведали там богатые месторождения нефти. В случае строительства ГЭС на нефти пришлось бы поставить крест. Гидроэнергетиков нефть не интересовала. Совет по науке признал строительство Нижне-Обской ГЭС экономически нецелесообразным и даже вредным. Вопреки возражениям энергетиков, протестам Косыгина, отец поддержал Лаврентьева. Специальным решением Совета Министров проектирование Нижне-Обской ГЭС остановили.

Я упомянул о крупных проблемах, но Совет и его председатель занимались и делами мелкими, даже личными. К примеру, однажды отец попросил Лаврентьева помочь ему разобраться в коллизии в связи с академиком Петром

Леонидовичем Капицей. Отец и сам хорошо знал маститого академика, несколько раз встречался с ним, но тут возникло щекотливое дело. Петр Леонидович собрался за границу, в Англию, Данию еще куда-то и подал соответствующие бумаги. Но получил отказ. Он пожаловался Хрущеву. Отец попал в затруднительное положение. КГБ выступал категорически «против», Министерство среднего машиностроения тоже. От Хрущева требовалось решение по тем временам непростое.

Чтобы объяснить суть происходившего, позволю себе углубиться в историю вопроса. Петр Леонидович Капица, тогда еще молодой, но уже знаменитый ученый, долгое время, с 1921 по 1934 год, работал в Англии. Там он сделал свои главные открытия в области сжижения газов — кислорода и гелия. В 1934 году Капица, как и в предыдущие годы, приехал в Советский Союз почитать студентам лекции, пообщаться с коллегами. Но в Англию уже не вернулся, и не по своей воле. В 1930-е годы Сталин предпринимал шаги для возвращения в страну уехавших в послереволюционное время писателей, художников, композиторов, ученых. Одни, как Алексей Толстой, Прокофьев, Марина Цветаева, вернулись, но многие поостереглись.

К примеру, рассказывали, что уговаривать знаменитого художника Илью Репина Сталин послал его дореволюционного друга, писателя Корнея Чуковского. Вернувшись через пару недель, Чуковский развел руками, — он сделал все, что мог, но старик заупрямился. В 1940 году, в результате советско-финской войны, Териоки, местечко, где жил и работал Репин, отошло к СССР. Репин уже умер. Финны ни его картинами, ни тем более его бумагами не интересовались, все осталось в доме нетронутым. В том числе дневник. В нем на одной из страниц Репин записал: «Приезжал Корней. Говорили о возвращении в Россию. Не советовал». Случалось и такое.

У Капицы же в 1934 году просто отобрали паспорт и предложили продолжить работы в Москве. Оборудование его лаборатории советское правительство выкупило у англичан. Новая жизнь складывалась сложно, Капица заступался за арестованных в самые страшные 1930-е годы вызволил из тюрьмы будущих академиков Льва Ландау и Игоря Тамма, после войны, во время кратковременного участия в атомном проекте фрондировал перед Берией. И регулярно писал Сталину. Сталин ему благосклонно отвечал, но затем, в письме от 25 ноября 1945 года, Капица перегнул палку, нажаловался вождю на Берию, обвинил человека, курирующего всю атомную отрасль в безграмотности, сравнил его с дирижером, который управляет оркестром, ничего не смысля в партитуре. Сталин Берию не

уволил, Берия уволил Капицу. Сначала академика отстранили от работ, связанных с кислородной промышленностью, а он ни больше ни меньше возглавлял «кислородный» главк, затем признали его методику сжижения газов вообще несостоятельной. Затем Капицу выгнали из его собственного, «привезенного из Англии», Института физических проблем. И наконец, уволили из университета, где он еще какое-то время читал лекции. Спасибо что не посадили.

Летом 1953 года, после смерти Сталина и, конечно, ареста Берии, Капица попытался вернуть себе Институт, написал письмо Маленкову. Но не тут-то было, Берии уже не стало, однако люди, заправлявшие при нем атомными делами, оставались на своих местах. Отдавать какому-то Капице теперь уже свой институт они не желали. В ответ на запрос Маленкова все атомщики: член Президиума ЦК Первухин, министр Ванников, его заместитель Завенягин, категорически высказались против. Маленков привычно присоединился к мнению «большинства».

Поняв, что с Маленковым у него ничего не сладится, Капица попросился на прием к Хрущеву. Они встретились в середине февраля 1954 года. Я уже говорил, что отец любил общаться с учеными. А тут Капица… Человек-легенда! Однако Петр Леонидович разочаровал отца. В первую очередь, своим внешним, как говорил отец, затрапезным, неакадемическим видом и даже тем, что у него постоянно текло из носа, а носовым платком академик почему-то не пользовался. Но все это мелочи, гении — они люди своеобразные. Отец стал расспрашивать Капицу о его работе, поинтересовался, не вернется ли он теперь, когда не стало Берии, к атомным разработкам? Капица категорически ответил: «Нет».

— Ученые подобны артистам, — пояснял он отцу, — любят, чтобы об их работах говорили, писали, показывали их в кино, а военная тематика секретна. Связаться с ней — означает похоронить себя в стенах института.

Отец Капицу не понял и не мог понять: над страной висит угроза американской атомной атаки, а он ему рассказывает о кино.

Затем Капица пожаловался, что работать ему приходится на даче, Институт у него Берия со Сталиным отобрали. Отец пообещал разобраться. 28 января 1955 года Капица вновь занял кресло директора Института физических проблем.

Теперь Капица стал писать письма отцу, как раньше писал их Сталину. В них он убеждал адресата в важности фундаментальной науки, жаловался на цензуру, задерживающую пересылаемые ему из-за границы иностранные журналы и книги.

Отец рассылал его письма членам Президиума ЦК, просил помощников напомнить о них. С цензурой все разрешилось просто, а вот с фундаментальной наукой разбираться приходилось долго и мучительно. Но об этом позже.

Еще раз они встретились весной 1958 года. Капица рассказал отцу, что он работает над концентрацией электромагнитной энергии в луче, чем-то вроде гиперболоида инженера Гарина. Капица предвосхитил идею лазера, но сам лазера не изобрел.

На всякий случай отец решил проконсультироваться с Курчатовым. Последний отца «особенно не обнадежил, пояснил, что работа Капицы не является самой острой с точки зрения государственных интересов».

Потом Капица написал отцу, что он разгадал тайну шаровой молнии, научился создавать искусственные сгустки энергии, внутри которых, по его мнению, происходит термоядерная реакция. Снова просился на прием. Они не встретились. Отец потерял к Капице интерес.

И вот теперь, в очередном письме Капица просил Хрущева вмешаться, разрешить ему выехать за границу. Подобные проблемы тогда возникали на каждом шагу, командировка в капиталистические страны считалась чем-то из ряда вон выходящим. Требовалось «поручиться» за выезжающего — что он вернется, что не наговорит лишнего, не уронит там ничего, чего ронять не следовало. Особо щекотливые выездные дела доходили до отца, и он брал ответственность на себя. Так он «поручился» за балерину Майю Плисецкую, пианиста Святослава Рихтера, но в случае с Капицей он засомневался. Не в том, что Капица не вернется, конечно, вернется, а вот не расхвастается ли там перед «благодарными» слушателями, не раскроет ли ненароком какие-то научные секреты? Ведь он сам говорил отцу, что по складу характера — он артист, а артисты — ой как болтливы.

Вот отец и решил заручиться мнением Лаврентьева. О Капице Лаврентьев высказался в самых превосходных тонах, а по поводу командировки за границу ответил кратко: «Что тут плохого? Нужно отпустить». Однако отец продолжил расспрашивать Лаврентьева, насколько Капица знает наши секретные разработки, даже те, в которых сам не участвует? «Все мы обсуждаем научные проблемы между собой, — Михаил Алексеевич не стал кривить душой. — К тому же, Капица — ученый огромного масштаба, секретов для него не существует».

Капица за границу тогда так и не поехал.

«С сожалением, но пришлось отказать ему, — констатировал уже в отставке отец и тут же добавил: — Впоследствии (в 1966 году. — *С. Х.*) он побывал за границей, съездил с большим шумом

в Англию. Я радуюсь за него и испытываю некоторую ревность, что не я решил этот вопрос. Однако то, чего мы опасались в былые времена, перестало сейчас служить препятствием. Мы стали признанной ядерной державой.

Не было ли в моей осторожности “отрыжки” сталинских времен? Возможно, возможно. Не сразу освобождаешься от моральных наслоений, даже тех, которые сам осуждаешь».

В 1963 году Совет обсуждал, как реформировать образование и чему учить в школах и высших учебных заведениях. Главные споры разгорелись вокруг реформы среднего образования. Министры среднего и высшего образования Всеволод Николаевич Столетов и Вячеслав Петрович Елютин настаивали на переходе от десятилетки к одиннадцатилетке.

— Школа не успевает подготовить всесторонне развитого человека, — убеждал слушателей Столетов.

— Всесторонне развитый человек — есть человек всесторонне недоразвитый, — парировал академик Дородницын. — Каждый человек, если он человек, имеет свой стержень жизни. Здесь он должен знать все досконально, а остальное лишь вспомогательное, обеспечивающее этот стержень. Только так достигается гармония, остальное лишь бесплодные мечтания.

Дородницына, человека жестких принципов, как и Лаврентьева, окружающие побаивались. Вот и сейчас министры не нашлись, что ему возразить.

Паузой воспользовался Лаврентьев, он считал, что школьные программы перегружены преподаванием русского языка.

— Вот мы, ученые, не знаем его в совершенстве, но это не мешает нам общаться, доказывать теоремы и развивать теории, — привел он более чем спорный довод. — Николай Николаевич, вы хорошо знаете русский язык? — не дав присутствующим опомниться, обратился он к академику Семенову.

— Пожалуй, нет, — после легкого раздумья ответил Семенов.

— А как вы обходитесь с бумагами? — продолжал настаивать Лаврентьев.

— Пишу неразборчиво, а секретарша поправляет все, как надо, — недовольно пробурчал Семенов.

Дискуссия явно заходила не туда, и тут слово взял Келдыш.

— Не надо передергивать, — в своей мягкой манере начал он. — Об изучении русского языка следует говорить осмысленно. Всякий культурный человек, а ученый тем более, должен быть высокограмотным человеком. Русский язык — основа нашей культуры и нашего собственного миросозерцания.

Келдыша поддержал академик Кириллин, постепенно к ним присоединились и остальные члены Совета. Лаврентьев и

Семенов остались в меньшинстве. Единогласно все высказались за сохранение десятилетки. Идею перехода на одиннадцатилетнее образование похоронили надолго.

Другая «интересная» тема — надбавки к окладам за научные степени, докторские и кандидатские. Многие считали их не только бесполезными, но и вредными, побуждающими к защите диссертаций не ради знаний, а с целью улучшения своего материального положения. Предполагалось лишить ученых «незаслуженных» привилегий. Доброхоты регулярно снабжали отца нелепыми темами диссертаций, благо объявления о защитах, согласно закону, ежедневно публиковались в «Вечерней Москве». Отец нередко использовал эти курьезы в своих выступлениях, но с принятием решения не спешил, хотел посоветоваться с кем-то лучше знающим предмет, чем окружавшие его сотрудники ЦК и журналисты. К тому же, сам не имевший возможности как следует выучиться, он испытывал внутреннее благоговение перед наукой и учеными. Настоящими, конечно, делающими дело, а не болтунами. Он отослал проект решения о надбавках на отзыв Лаврентьеву.

«Большинство ученых не склонны к сколько-нибудь существенной ломке системы присуждения ученых степеней и званий. Ее нужно усовершенствовать, но ни в коем случае не ломать», — возражал Ларентьев в своем ответе. Он считал, что льготы для «остепененных» не так уж обременительны бюджету. Большинство диссертантов — добросовестные ученые, и их труд следует так же материально стимулировать, как он, Хрущев, требует стимулировать труд рабочих и колхозников. Ничего зазорного в этом нет, что же касается «научных пустоцветов», то их меньшинство, надо бороться с ними, а не с диссертациями.

Прочитав записку, отец пригласил Лаврентьева к себе. Подробностей разговора я не знаю, но, вернувшись домой, отец со смехом вспоминал один из аргументов Лаврентьева: «Лишать кандидатов и докторов наук их привилегий — все равно что свинью стричь: визгу много, а толку чуть».

Шутки шутками, но кремлевская встреча с Лаврентьевым изменила настрой отца. Подготовленный проект решения он не подписал.

В октябре 1964 года отца отстранили от власти. Буквально на следующий день ликвидировали Совет. Лаврентьев в Москву переехать так и не успел.

Преемники отца рассматривали Совет по науке как организацию исключительно личностную, связанную с Хрущевым, а значит, подлежащую уничтожению. Собственно, таковой она и была. Отец испытывал внутреннюю потребность в общении с

учеными, нуждался в их знаниях, нуждался в дискуссиях с ними, порой непростых и взаимно не очень приятных, нуждался в их советах, независимых суждениях. С их помощью он старался уловить тенденции развития окружающего нас мира, обеспечить стране ускоренное развитие, выход на передовые рубежи в конкуренции с Западом, с Америкой.

В непрекращающейся борьбе с энтропией, с засасывающим все и вся хаосом Совет становился очень важным и действенным инструментом. Преемники Хрущева, провозгласив принцип стабильности, стабильности в интересах государственного и партийного аппарата, сами стали органической частицей нарастающего хаоса, энтропии. Возглавивший правительство Косыгин искренне верил в действенность бюрократической иерархии. При наличии Госплана, Госкомитета по науке и технике, Академии наук, к чему ему еще и собственный Совет по науке? Он представлялся капризом Хрущева, проявлением волюнтаризма, вот его и ликвидировали за ненадобностью.

Сыграла роль и личностная составляющая. Косыгин, заместивший отца в кресле главы правительства, не простил Лаврентьеву его негативной позиции при обсуждении проекта Нижне-Обской ГЭС.

Сохранилось свидетельство академика Гурия Ивановича Марчука о последних днях существования Совета. Председатель Совета Лаврентьев, секретарь Совета Марчук и иже с ними в те годы разрывались между Академгородком, Сибирским отделением Академии наук и Советом по науке, постоянно сновали из Новосибирска в Москву и обратно. Неудобство такой жизни им компенсировалось определенными московскими удобствами: персональной «Волгой» из совминовского гаража по вызову, если кому понадобится — хорошей гостиницей. По воспоминаниям Марчука: «В октябре 1964 года, 14 числа, через 4 часа после проводов представительной французской делегации, меня пригласил М. А. Лаврентьев в кабинет и сказал: “Гурий Иванович, в Москве что-то случилось, мне как члену ЦК надлежит немедленно прибыть на Пленум. Вы поедете со мной, дело может коснуться и нашего Совета по науке”.

Я немедленно собрался, мы направились в аэропорт. К удивлению французов, наших гостей, мы летели в Москву с ними в одном самолете. В Москве Лаврентьев сразу же поехал в Кремль, а я отправился к себе на квартиру. У Лаврентьева с Марчуком в Москве сохранялись их старые квартиры. На следующее утро позвонил в диспетчерскую гаража Совмина с просьбой прислать мне машину, но получил ответ, что с сегодняшнего дня машина меня не обслуживает. О происшедшем

я узнал из газет: накануне (14 октября. — *С. Х.*) Пленум ЦК КПСС отстранил Хрущева от должности Первого секретаря ЦК КПСС, на его место избрали Брежнева. Я поспешил в Кремль. Происходившее в Кремле меня поразило. Большая группа хозяйственных служащих и рабочих ходили по кабинетам Кремля и, если в них висели портреты Хрущева, срывали их граблями и складывали в тележку. Смотреть на это было просто противно. На следующий день А. Н. Косыгин — новый председатель Совета Министров СССР вел заседание Президиума Совмина. На нем приняли в числе первых постановление о ликвидации Совета по науке при Совете Министров СССР. А зря! Дело было недорогое для государства, но нужное. Больше Совет никогда не возникал».

Нобель для Королева

9 июня 1957 года некто А. Г. Карпентков, не знаю, фамилия ли это реального человека или за ней скрывался кто-то из «секретных» ракетчиков, поместил в газете «Известия» статью под заголовком «Первый шаг в космос». В ней он писал, что не за горами то время, когда в небо запустят искусственную Луну, это трудно, «вот почему только две страны, наша и США, взялись за решение проблемы», но вполне реально.

Примерно в то же время в журнале «Радио» появилась заметка, сообщающая частоты будущего космического передатчика. После запуска первого советского спутника выяснится, что они абсолютно точно совпали с реальными.

В мире на эти публикации внимания не обратили.

1 июля 1957 года начался Международный геофизический год, условные двенадцать месяцев, в течение которых ученые всего мира намеревались впервые совместно обследовать Землю и ее ближайшие окрестности. Американцы объявили, что по такому случаю с помощью специально разработанной ракеты «Авангард» они запустят искусственный спутник Земли — сателлит. Решение о запуске советского спутника правительство приняло в январе 1956 года, но официально объявлять о нем не стали. В прессе то тут, то там проскальзывали статьи, наподобие приведенных выше, но звучали они глухо и неконкретно.

Так начиналась пока еще не объявленная космическая гонка, страна-победитель получала лавры самой передовой технологической державы, создателю такого чуда гарантировалось престижное место в мировой истории.

Советскую «команду» возглавлял Главный конструктор Сергей Павлович Королев. Он предпринимал все, чтобы обойти американцев, но дела у него поначалу не ладились, его

межконтинентальная ракета то взрывалась в полете, а то и вовсе не отрывалась от стартового стола. Обычное дело в начале испытаний. Миновал май 1957 года, наступил июнь, за ним июль, Королев нервничал, если так пойдет и дальше, то американцы, не дай бог, окажутся первыми. Масла в огонь подлила опубликованная 23 июля в советских газетах коротенькая заметка, сообщавшая, что в США успешно провели испытания армейской ракеты средней дальности «Юпитер». У Королева упало сердце: опоздал, следующим пуском они забросят спутник на орбиту. Он сам именно так и планировал: один-два успешных запуска по баллистической траектории — и в космос. То, что американцы предназначали для спутника-сателлита специальную ракету «Авангард», Королев всерьез не принимал. Если у них появился летающий «Юпитер», какой смысл возиться с каким-то «Авангардом». Не дураки же там сидят!

На полигоне в Тюратаме (Байконуре) королевцы работали день и ночь, со дня на день ожидая сообщения о появлении американского спутника на орбите. Но газеты молчали — американцы не торопились. Они и не подозревали, что участвуют в одной из самых престижных гонок XX столетия с каким-то никому не ведомым Королевым из подмосковных Подлипок.

Королев соревновался не только с американцами. Дмитрий Федорович Устинов, министр, у которого работал Королев, подстраховался и дал задание другому своему главному конструктору — днепропетровцу Михаилу Кузьмичу Янгелю проработать запуск спутника ракетой средней дальности Р-12, аналогичной «Юпитеру». С Приволжского полигона в Капустином Яру она впервые стартовала 22 июня 1957 года и, в отличие от королевской Р-7, долетела до цели. Несмотря на успех, Янгель Королева особенно не беспокоил. Под запуск спутника Р-12 следовало доработать, добавить еще одну, разгонную ступень, а это требовало времени, и немалого.

И вот наконец к Королеву пришла удача. 21 августа его баллистическая ракета Р-7 долетела до цели на Камчатке, а 7 сентября — вторая. Теперь — спутник! И как можно скорее!

В начале октября в Вашингтоне намечалась конференция, посвященная итогам первых четырех месяцев Международного геофизического года. На 6 октября американцы поставили свой доклад, озаглавленный «Сателлит над планетой». Так совпало, что, согласно графику, королёвский спутник планировалось запустить именно в этот день. В день, когда, по предположению Королева, американцы доложат о своем запуске, происшедшем на день или два раньше. Такого Королев допустить не мог. График ужали, проверочные операции совместили, работали

круглосуточно в три смены. Но все равно раньше позднего вечера 4-го на стартовую готовность не выходили. Правда, поздний вечер в Тюратаме — это раннее утро на мысе Канаверал во Флориде, откуда американцы пускали свои ракеты. Так что еще оставалась надежда опередить конкурентов хотя бы на часы или даже на минуты. Королев нервничал. Он не знал, что никто с ним не соревнуется и никакого запуска сателлита в США на начало октября не планировалось.

Королевцы запустили спутник первыми, 4 октября 1957 года в 10 часов 28 минут 34 секунды вечера по московскому времени.

В тот день отец (и я с ним) находился в Киеве. Вечером 4 октября в обширном обеденном зале Мариинского дворца, где остановился отец, отобедав заранее у военных, за чаем собралось украинское руководство во главе с Первым секретарем ЦК Украины Кириченко, также присутствовали секретари ЦК, приехавшие на маневры московские гости, в том числе занимавшийся оборонными вопросами, Секретарь ЦК КПСС Брежнев и первый заместитель министра обороны, командующий сухопутными войсками Малиновский. Разговор за столом шел самый обычный. Говорили об урожае и капиталовложениях, о новых заводах и устаревшем оборудовании. Хозяева стремились «выбить» из центра дополнительные ресурсы, а именитые гости прикидывали — пойти навстречу или отказать. Отец хорошо понимал своих собеседников и в чем-то им сочувствовал. Совсем недавно он находился в их положении, так же, как и они, стремился «выдоить» из Москвы что-либо полезное для республики.

Разговор затянулся. Время приближалось к полуночи, когда в зал вошел помощник и что-то прошептал на ухо отцу. Тот кивнул и со словами: «Я сейчас вернусь» — ушел в соседнюю комнату к телефону. О предполагаемом запуске спутника Земли отец сказал мне еще накануне, и сейчас я весь напрягся: «Как там? Удача или снова авария? Из пяти попыток пуска ракеты только две последние закончились благополучно». Отец отсутствовал недолго. Когда через несколько минут он, широко улыбающийся, появился в дверях, у меня отлегло от сердца.

Отец молча прошел на свое место, сел, но не спешил продолжить разговор. Он не торопясь обвел присутствующих взглядом, лицо его сияло.

— Могу сообщить очень приятную и важную новость, — начал он. — Только что звонил Королев (тут он сделал таинственное лицо). Он — конструктор наших ракет. Имейте в виду, его фамилию не надо упоминать, это секрет. Так вот, Королев доложил, что сегодня вечером, только что, запущен

искусственный спутник Земли.

Отец обвел присутствующих торжествующим взглядом. Все вежливо заулыбались.

Забыв о теме предыдущего разговора, отец переключился на ракеты. Он стал рассказывать о коренном изменении соотношения сил в мире с появлением баллистической ракеты. Присутствовавшие слушали внимательно. Но лица их оставались равнодушными, они привыкли внимать отцу, независимо от того, что он говорил. О ракетах киевляне услышали впервые и не очень представляли, что это такое. Но раз Хрущев говорит, что дело важное, значит, так оно и есть.

О спутнике отец отозвался как об очень важном и престижном, но производном от межконтинентальной ракеты, достижении. И подчеркнул, что здесь нам удалось обогнать Америку, на деле продемонстрировать преимущества социализма!

— Американцы на весь мир растрезвонили, что они готовятся запустить спутник Земли. Он всего-то величиной с апельсин, — заводился отец. — Мы молчали, а теперь наш спутник, не малютка, а восемьдесят килограммов, крутится вокруг планеты.

Пока отец рассказывал о ракетах, снова вернулся помощник и сообщил, что сейчас по радио передадут сигналы со спутника. Включили стоявший в углу радиоприемник. Все с любопытством вслушивались в прерывистый писк первого сеанса космической связи. Часы показывали половину второго ночи.

На следующий день, 5 октября, в субботу, на первой странице «Правды» в правом, верхнем углу, появилось заранее заготовленное Сообщение ТАСС: «В течение ряда лет в Советском Союзе ведутся работы по созданию искусственных спутников Земли. Как уже сообщалось в печати, они проводятся в связи с программой Международного геофизического года. 4 октября произведен запуск первого спутника.

В России еще в XIX веке трудами выдающегося ученого К. Э. Циолковского была впервые обоснована возможность космических полетов. В течение Международного геофизического года Советский Союз предполагает запустить еще несколько спутников».

Две газетных колонки, всего пятьдесят строк, столько же, сколько «Правда» отвела на той же странице, но в более престижном месте, информации об отъезде маршала Жукова с визитом в Югославию.

Запуск спутника произвел в мире невиданный фурор, перевернул представление о Советском Союзе. Все зарубежные газеты сообщали о нем на самом читаемом месте под

эффектными заголовками, набранными самым крупным шрифтом.

Наша сдержанность имеет логическое объяснение. Мы не сомневались в своих возможностях, в том, что скоро, очень скоро, догоним и перегоним американцев. И спутник еще одно тому подтверждение. Сообщение ТАСС составлено в этом духе, духе сдержанной уверенности в себе, в том, что будущее за нами.

Американцы же и представить не могли, что какие-то русские посягнут на первенство в мире. Спутник породил истерию страха, вмиг разрушилось ощущение безопасности и вседозволенности, Америку больше не прикрывают бескрайние пространства двух океанов, она досягаема для советских ракет так же, как Советский Союз — для американских. А раз так, то Советы запустят свои ракеты, вернее, свою единственную ракету. Никому и дела не было до логики, никто не задавался вопросом, зачем и как СССР атакуют США, никто не вспомнил о многократном атомном превосходстве Америки.

Президент Эйзенхауэр попытался успокоить своих сограждан: «США по-прежнему самая мощная мировая держава, и никто на нее не нападет». Но его голос не услышали, у страха глаза велики. В Белом доме не испугались, но чувствовали себя уязвленными, а потому, как только прошел первый шок, заговорили о технологическом отставании, о необходимости принятия срочных мер. Для начала резко повысили финансирование образования, благодаря чему тысячи американцев за государственный счет закончили университеты. Была создана сеть исследовательских центров, поручили координацию работ специальному ведомству — НАСА. К слову, Интернет, всемирная компьютерная паутина, появилась тоже благодаря спутнику и последовавшей за ним инициативе президента Эйзенхауэра. Научные ракетные и неракетные центры нуждались в общении, шаг за шагом начал налаживаться компьютерный обмен, создавались первые линии связи, писались первые протоколы общения.

Узнав о шумной реакции на Западе, в Москве спохватились, и в воскресенье, 6 октября, «Правду» открыла «шапка» во всю страницу: «Первый в мире искусственный спутник Земли создан в Советском Союзе!». Лучше поздно, чем никогда. Далее следовали отклики — свои и иностранные, обширное интервью с папанинцем, членом-корреспондентом Академии наук, геофизиком Евгением Федоровым, к делу отношения не имеющим и о запуске узнавшим вместе со всеми из газет, сообщение о том, где и как можно увидеть в небе «звездочку» спутника, сколько километров он уже успел налетать в космосе.

12 октября в «Правде» появился «Черный квадрат»: снимок ночного неба над Мельбурном в Австралии, прочерченный еле заметной светлой линией — видимым невооруженным взглядом отражением от пролетавшим над ним ракетоносителем. Чтобы разглядеть миниатюрный спутник, требовался, по крайней мере, бинокль. И так продолжалось изо дня в день в течение почти двух недель.

Королев вмиг обрел мировую славу, правда, анонимную, фамилию его хранили в секрете. В газетах писали о главном конструкторе. Такая секретность в ранние послесталинские времена казалась естественной. При Сталине секретили вообще всё: абсолютные цифры в годовых статистических отчетах, расположение заводов, производивших безобидные детские игрушки, урожаи картошки и свеклы. Туристические карты не засекречивали, на то они и туристические, но так их искажали, что попасть в нужное место оказывалось затруднительным не только шпионам, но и отпускникам. Правда, шпионы снабжались своими, куда более точными картами. Недаром во время войны нашими офицерами особо ценились немецкие карты нашей территории, по ним ориентироваться оказывалось куда легче.

Завеса секретности постепенно спадала, но не до такой степени, чтобы открыто назвать фамилию главного конструктора. Правда, не все удавалось удержать в секрете. Мне как-то попался в руки заграничный журнал с картой, на которой достаточно точно указывались некоторые советские ракетные заводы и все испытательные полигоны. Соответствующие службы, видимо, не зная, как поступить, на журнал тоже (в соответствие с инструкцией) шлепнули печать «Совершенно секретно».

Кстати, такая практика засекречивания сохранялась до самого конца XX века. В начале 1990-х годов я попросил у бывших коллег по челомеевскому бюро для моей книги фотографию к тому времени уже порядком устаревшей межконтинентальной баллистической ракеты УР-100.

— К сожалению, дать не можем, — ответили мне. — Она секретная.

Я настаивал, но тщетно. Согласно инструкции, требовалось специальное разрешение правительства.

— Мы его недавно получили, но только на передачу фотографии ракеты американцам, — обмолвился мой собеседник.

От удивления у меня широко раскрылись глаза. Справедливости ради отмечу, что фотографию УР-100 вскоре рассекретили, а вот Королев оставался анонимом до самой своей смерти.

— Кому нужна такая секретность, если американцы и так все

знают? — спросил я председателя КГБ Серова и сослался на упомянутый выше американский журнал.

— Знают, но не все, — ответил мне Иван Александрович. — А в том, что знают, тоже не уверены. К тому же, чтобы узнать всю эту ерунду, затрачиваются разведывательные ресурсы. Если мы рассекретим названия предприятий, их расположение, имена конструкторов, то облегчим им жизнь, позволим сосредоточиться на главном, на том, что секретно по-настоящему.

Что ж, резон в таком ответе имелся, хотя что секретно по-настоящему, каждый понимал по-своему. О том, чтобы поместить в журнале фотографию завалящей ракеты, не шло и речи, а вот опубликовать в академическом журнале статью о поведении «гибкого тонкостенного цилиндра, частично заполненного жидкостью» особого труда не представляло. Хотя поведение этакого цилиндра, иными словами, баллистической ракеты, и представляло реальный интерес для специалистов.

В конце 1957 года в Москву в Президиум Академии наук СССР пришел запрос из Стокгольма из Нобелевского комитета с предложением выдвинуть на Нобелевскую премию главного конструктора, запустившего на орбиту искусственный спутник Земли. Не анонимного, естественно, а с именем, отчеством, фамилией и всеми биографическими данными. Предложение формулировалось в сослагательном наклонении: если советские академики сочтут возможным выдвинуть кандидатуру создателя спутника, то, получив такое обращение, Нобелевский комитет, скорее всего, отнесется к нему положительно. Министр Устинов и президент Академии наук Несмеянов пришли к отцу советоваться.

— Кого же вы предлагаете назвать? — поинтересовался он.

— Королева, естественно, только придется его рассекретить, — считали министр и академик.

— Дело тут не в секретности, и Королев, естественно, заслуживает награды, но что же делать с остальными членами Совета главных конструкторов? — засомневался отец.

— Нобелевские премии не присуждаются большим группам ученых, один-два, максимум три автора, — пояснил Несмеянов.

— Вот видите! — оживился отец. — Они хотят за нас выбирать, кого награждать, а кого нет. Естественно, исходя из собственных политических интересов, как и мы исходим из своих, присуждая Международные Ленинские Премии мира (тогда эта премия называлась Сталинской. — *С. Х.*).

Мы наградили всех поровну (отец имел в виду главных конструкторов, членов Совета), стоит выделить кого-то одного, как они перессорятся между собой и работа встанет.

Тогда все мало-мальски важные участники спутниковой эпопеи получили высшие государственные награды, им присудили Ленинские премии, никого не обидели. Самые главные «главные конструкторы» — члены Совета главных конструкторов вдобавок к орденам и премиям получили от правительства в подарок еще и по даче, двухэтажному каменному особняку. Их выстроили по единому проекту на Успенском шоссе, близ поселка Жуковка. Вот только Сергей Павлович отказался жить рядом с коллегами «в коммуналке», попросил построить дом поближе к «фирме», по соседству с ВДНХ. Эту улицу потом назвали именем Королева.

Отец предложил поблагодарить Нобелевский комитет за лестное предложение, но разъяснить им, что в запуске спутника принимали участие большие коллективы, весь советский народ, выделить из них одного-двух просто невозможно.

Так, не начавшись, закончилась нобелевская эпопея Королева.

Королев на отца смертельно обиделся. Его можно понять. Но можно понять и отца. Королев, руководитель головной организации, Председатель Совета главных конструкторов своей волей, энергией, гением, если хотите, объединил воедино десятки различных организаций, сотни личностных амбиций, тысячи людей. То, что его называли в газетах Главным Конструктором с большой буквы, так же, как Келдыша — Главным Теоретиком, все принимали как должное, оба — они и есть Главные. Главные, но не единственные.

Великий с большой буквы конструктор Валентин Петрович Глушко и без Нобелевской премии Королеву не раз повторял: «Мои двигатели любую жестянку в космос вынесут. Пусть Сергей (Королев) попробует обойтись без них».

— И без моей системы управления и стабилизации, — возмутился бы Николай Алексеевич Пилюгин.

— Все вы ничего не стоите без моих гироскопов, — вторил бы ему Виктор Иванович Кузнецов.

— Попробуйте обойтись без радиокоррекции и вообще без связи, — задал бы чисто риторический вопрос главный радист Михаил Сергеевич Рязанский.

— Сергей думает, что старт построить проще, чем его ракету, — не выдержал бы обычно не склонный к конфликтам Василий Павлович Бармин.

И так без конца. Трения могли возникнуть и внутри самой королевской фирмы. Замысел ракетного пакета «выносил» не Королев, его предложил ему Михаил Клавдиевич Тихонравов. Королев же организовал работу, воплотил инженерную находку в реальную ракету Р-7. Без Королева Тихонравов не довел бы Р-7 до

ума, у него одного она вряд ли бы полетела. Но придумал-то пакет он, а Нобелевскую премию — Королеву только за воплощение в жизнь его, Тихонравова, идеи?

Казалось бы, очевидный ответ, что Королев, и только он достоин Нобеля, при внимательном рассмотрении становился совсем не очевидным. Выходило, что отец в своем ответе Нобелевскому комитету оказался скорее прав, чем не прав.

В отсутствие документов вокруг всей этой истории нагорожено множество домыслов, одни утверждают, что предложение о присуждении Нобелевской премии поступало, но не после первого спутника, а в связи с полетом Юрия Гагарина, другие вообще отвергают саму такую возможность, так как «самая почетная в мире награда присуждается за достижения в фундаментальных исследованиях, а “инженерного” подкомитета, по которому мог бы проходить спутник, в Нобелевском комитете просто не существует» и все это не более чем легенда.

Что ж, все возможно. Вот только премию предлагали не за конструкцию ракеты Р-7 и не за простейший спутник ПС, а за прорыв человечества в космос, это не инженерный успех Королева, а глобальное достижение человечества. Оформить его, при желании, естественно, могли бы по секции «физика». Отметили же вклад британского премьер-министра Уинстона Черчилля в победу над Гитлером Нобелевской премией по литературе. А вот полет Гагарина, при всей его триумфальности с точки зрения науки, — всего лишь демонстрация технологических возможностей советского ракетостроения.

До последнего времени я не придавал особого значения разговорам о Нобеле для Королева и не упомянул о нем в своих предыдущих книгах. Сам я в этих делах не участвовал, и отец мне о них ничего не говорил. Теперь я изменил свое мнение и решил рассказать, что знаю, вернее, что слышал.

«Легенду», а может быть, и не легенду о Нобеле для Королева, рассказал во время посиделок в Кремле, в Военно-Промышленной Комиссии (ВПК), академик-радист Александр Николаевич Щукин, один из заместителей ее председателя (Устинова), Председатель Научно-Технического Совета, и не мне, но в моем присутствии, генеральному конструктору КБ-1 тоже академику-радисту Александру Расплетину. Мы, ОКБ Челомея, тогда вместе с ними разрабатывали спутник радио локационной разведки (УС — управляемый спутник) и противоспутник (ИС — истребитель спутников). ВПК утрясало соответствующее постановление. В одном из перерывов между заседаниями Щукин и вспомнил о Нобелевской премии.

И последнее замечание. Дотошным историкам навряд ли

стоит искать в архивах официальное обращение Нобелевского комитета. В таких деликатных делах все сначала согласовывается устно, а к бумаге обращаются только после получения положительного ответа. Хотя кое-какие следы «нобелевской эпопеи» могли сохраниться в дипломатической переписке, отчетах о «частных» разговорах за коктейлем кого-то из наших с кем-то из них.

Летите голуби, летите…

28 июля 1957 года открылся Фестиваль демократической молодежи и студентов. Впервые за всю советскую историю Москва принимала не десятки, а сотни и тысячи иностранцев. Впервые москвичи общались с ними без особой опаски. Впервые, потому что, несмотря на принятые чрезвычайные меры, КГБ чисто технически не смог бы проследить за всеми приезжими. Фестиваль, особенно его открытие на недавно отстроенном стадионе в Лужниках, вызвал настоящий взрыв энтузиазма. Начало церемонии несколько раз откладывали, зарубежные гости никак не могли туда добраться. Их везли по запруженному толпой Садовому кольцу в открытых кузовах разноцветных грузовиков — розовых, голубых, светло-зеленых. Необходимого количества автобусов в Москве просто не нашлось. В кузова грузовиков поставили рядами скамейки из свежеоструганных досок, на них расселись иностранные делегаты. Грузовики ползком продвигались по московским улицам, а вокруг волновалась толпа: улыбки, цветы, рукопожатия.

Зрители на трибунах стадиона, отец и другие руководители страны в правительственной ложе терпеливо ожидали прибытия гостей. Церемонию открытия с опозданием более чем на два часа начали уже в сумерках.

С грузовиками при подготовке фестиваля тогда вышла типичная для раннего послесталинского периода незадача. Все они, колхозные и работавшие в промышленности, числились в мобилизационном резерве армии. В любой момент грузовой транспорт могли призвать на военную службу, а потому красили машины в защитный зеленый цвет. Организаторы фестиваля сочли такое цветовое однообразие не очень подходящим, попросили раскрасить грузовики в веселые тона. Не тут-то было. Зеленая краска предписывалась утвержденной правительством директивой Генштаба, и только он мог ее изменить. Написали письмо начальнику Генштаба маршалу Соколовскому. Он вроде бы и не возражал, но задал вопрос: кто и за чей счет после фестиваля перекрасит «транспортные средства» в нормальный

зеленый цвет? Фестивальщики ответить не смогли, а без этого маршал своего согласия не давал. Руководители комсомола обратились к Хрущеву, иной управы на военных в стране не было. Вопрос решился одномоментно и не на время фестиваля, а навсегда. Эра зеленых, постоянно готовых к бою, грузовиков закончилась. После 1957 года цвета окраски грузовиков больше не диктовались мобилизационным предписанием.

Сенсацией фестиваля стали гости из Африки и Южной Азии. Сейчас прибытие инопланетян на Землю, наверное, не вызвало бы такого фурора. Большинство из нас никогда не видело людей с иным цветом кожи, иным разрезом глаз, в иных, не похожих на привычные, одеяниях. На них смотрели с восхищенным удивлением и жалостливым сочувствием; еще бы, они — представители народов, угнетенных западными колонизаторами, вчерашние рабы, умиравшие на хлопковых плантациях американского Юга. Особое сочувствие к угнетенным американским рабам привило нам не столько провозглашение всеобщего коммунистического равенства и справедливости, сколько чтение книги «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу и, еще больше, «Том Сойер» Марка Твена. Все мальчишки и девчонки знали и любили их героев, как только в детстве любят книжных героев.

Правда, разноцветные гости Москвы не выглядели столь уж угнетенными, держали себя свободно и даже развязно, но москвичи их все равно жалели. Весной следующего года в родильных домах появилось на свет немало черненьких младенцев. Их прозвали «детьми фестиваля».

Вслед за открытием интерес к фестивалю начал постепенно спадать. Выступления артистов оставляли желать лучшего, ни в какое сравнение не шли даже с надоевшими всем декадами национального искусства союзных и автономных республик. Спортивные состязания не дотягивали даже до республиканского уровня. И сами иностранцы на поверку оказались такими же, как и мы. Закрытие фестиваля 11 августа прошло торжественно, но уже безо всяких накладок. Грузовики с гостями продвигались по улицам без задержек.

Кроме черных и иных младенцев в Москве в наследство от фестиваля остались еще и голуби. До того их на улицах столицы не видели. Москва не страдала отсутствием птиц. По газонам и тротуарам сновали шустрые воробьи. В парках и на окраинах, где еще сохранились сады и полисадники, гнездились скворцы. Центр, особенно Кремль, насеяли вороны и галки. Но не голуби…

Накануне фестиваля кто-то из его организаторов, уже успевший побывать в Париже и Риме, предложил развести

голубей и в Москве. Ведь голубь, голубка Пикассо — символ мира. Первые голуби на площади перед Моссоветом выглядели такой же диковинкой, как африканские негры или мексиканская румба. За их покоем и неприкосновенностью бдительно следили московские милиционеры.

Еще за пару лет до фестиваля никакая милиция голубей не уберегла бы. Их тут же бы переловили. Для голодного человека голубь — не символ мира, а мясо для супа. Голуби в те несытые годы почитались деликатесом наравне с курами, гусями и утками. Кто же позволит «деликатесу» беспризорно разгуливать по улицам? Конечно, голубей держали для забавы, любители-голубятники наслаждались их полетом, пируэтами, кувырками в воздухе, но содержали их в особых вольерах, под особым присмотром. Чуть недоглядишь, тут же их и утащат. Кое-кто растил голубей на прокорм, для кухни. И у тетушки моей жены в южноукраинском селе, и у нас на государственной даче в Усово суп из голубей, голубиное жаркое считались лакомым блюдом.

В 1957 году жизнь стала посытнее, и голуби на московских площадях символизировали не только миролюбие, но то, что наступали иные времена. Почувствовав себя в безопасности, птицы быстро расплодились и наравне с галками и воронами превратились в городское бедствие.

Снова о жилье

31 июля 1957 года полный разворот первых страниц всех центральных газет заняло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства», предписывающее в 1956–1960 годах построить 215 миллионов квадратных метров общей площади жилья. Слова «общая площадь» требуют пояснения. Так как большинство населения тогда еще жило в комнатах, в коммуналках, то жилой площадью считались только сами комнаты, а кухня, ванная комната, туалет, коридор в жилую площадь не засчитывались, делились на всех обитателей и назывались «местами общего пользования».

С началом строительства серийных панельных домов коммуналки постепенно сдавали свои позиции, счет пошел на односемейные квартиры, а значит, и вся площадь, общая и жилая, становились единой. Их разделение теряло смысл.

Квартиры тогда строились небольшими, 25–50 квадратных метров, и предоставляли их жильцам строго по нормам, в зависимости от размера семьи. Нормы от года к году, по мере застройки, увеличивались, но и семьи росли, дети вырастали, женились, обзаводились своими детьми. Еще вчера относительно

просторная отдельная квартира снова становилась сродни коммунальной. Темпы строительства жилья ускорялись, но проблема оставалась еще далекой от разрешения. В очереди на получение нового жилища приходилось выстаивать долгие годы.

Однако появилась надежда, точнее предоощущение, что старой жизни приходит конец — конец общим кухням, длинным утренним очередям в туалет, скандалам и специфическому коммунальному единению. Еще немного, и все разбредутся по своим норкам, обретут собственные квартиры.

В течение пятилетия, 1956–1960 годов, около тридцати миллионов человек, почти 15 процентов населения страны получили новое отдельное жилье. Воистину началось «переселение народов».

Михаил Девятаев

15 августа 1957 года вышел Указ о присвоении звания Героя Советского Союза летчику Михаилу Петровичу Девятаеву. 13 июля 1944 года его самолет сбили немцы, Девятаев попал в плен. К концу войны специалистов в люфтваффе не хватало, и его отправили не в рядовой концлагерь, а на остров Узем в Балтийском море, в расположение секретнейшей военной лаборатории Пенемюнде, где проектировалось и испытывалось немецкое «чудо-оружие» — баллистические и крылатые ракеты. Там, на местном аэродроме, Девятаев с другими военнопленными обслуживал самолеты. 8 февраля 1945 года Михаилу Петровичу несказанно повезло: он, улучив момент, не только угнал, приготовленный к полету Хенкель-111, но и невредимым перелетел линию фронта, добрался до своих. На этом полоса везения закончилась.

Сталин военнопленных не жаловал, даже таких, как Девятаев. После приземления его тут же арестовали, допросили и отправили в лагерь, уже советский, отсиживать срок за измену Родине. После смерти Сталина бывших военнопленных освободили, но по заслугам Девятаеву воздалось только теперь, через двенадцать лет после Победы, и только потому, что историю его побега раскопали газетчики, написали очерк о его фантастической судьбе, а отец очерк прочитал и тут же позвонил Малиновскому. Министр обороны о Девятаеве и не слыхивал, да и газеты он внимательно не читал.

Отец попросил Родиона Яковлевича разузнать о судьбе Девятаева поподробнее и, если все обстоит так, как написано, представить его к геройской награде. Так вчерашний «изменник Родины» стал Героем Советского Союза.

«Имени мене…»

11 сентября 1957 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам и организациям». Столь длинное название со скрупулезным перечислением всего, чему может возникнуть позыв присвоить собственное имя, по мысли отца, перекрывало все возможные лазейки.

Зуд переименований сопровождал и сопровождает перемены во власти во все времена. И не только в России. Оно и понятно,

легче поменять вывеску или дорожный указатель, чем сделать что-либо по существу. Перемена названий и снос памятников — один из признаков революции, а не эволюции. Революционеры в первую очередь меняют декор, переименовывают города, сбрасывают старые памятники, на их пьедесталы водружают новые, заменяют старую религию новой или вовсе ее отменяют и приспосабливают старые храмы к своим новым нуждам. Так происходило и во времена утверждения христианства, и в нашем недавнем прошлом, после революции 1917 года, и после контрреволюции 1991 года.

Начиная с первых дней 1918 года в названиях городов, площадей и улиц царские и иные неподходящие имена стали заменять именами революционеров, прогрессивных, в понимании переименователей, мыслителей и просто хороших людей — от Спартака и Марата до Маркса и Бакунина. Дальше — больше, перешли к увековечиванию живых героев революции. Как грибы после дождя, росли города и поселки Ленински, Троцки, Сталински, Калинины, Молотовы и Молотовски, Кировы и Кировски. Отец рассказывал, как в руководстве страны возник ажиотаж, кому удастся отхватить «себе» больше областей, городов, заводов, совхозов или колхозов.

Количество и «качество» наименований на карте страны с 1920-х годов отражало влиятельность политического деятеля, соответствовало его положению во властной иерархии. Дело присвоения имен постепенно обюрократилось: кто-то где-то в соответствии с чем-то определял, чье имя присваивается инвалидной артели, чье — хлебозаводу, чье — колхозу, а чье — областному центру. Когда начался процесс передела власти, вслед за исчезнувшими со сцены политиками «принадлежавшие им» объекты переходили, как бы по наследству, к их более удачливым преемникам. Города, носившие имя Троцкого, Сталин обычно забирал себе. В результате Юзовка в Донбассе, получившая свое имя от построившего там металлургический завод англичанина Хьюза, сначала стала Троцком, а затем превратилась в Сталино.

Когда отец достиг в советской иерархии «достойного наименований» положения, тут же начали появляться совхозы и колхозы его имени. По мере продвижения наверх «именные» объекты становились все значимее. Отцу вся эта вакханалия наименований и переименований, как он нам говорил, удовольствия не доставляла, но изменить ее он тоже не мог. Только иногда исподволь подправлял. Так, после войны, в ответ на предложение назвать построенный киевский мост через Днепр его именем, отец «переподарил» его академику Е. О. Патону,

сказав, что его, академика, вклад в строительство несравненно больше — варили конструкции моста по его, Патона, технологии. Так и стоит по сей день в Киеве мост Патона. Назови его именем Хрущева, то пришлось бы мост переименовывать. А вот Центральному киевскому стадиону имя отца дали и собирались его торжественно открыть 22 июня 1941 года, но в тот день стало не до стадиона, грянула война. После войны стадион восстановили и вторично открыли, но назвали его иначе.

В Одессе перед войной появилась Сельскохозяйственная опытная станция имени Т. Д. Лысенко, Глазная клиника имени Владимира Петровича Филатова, на самом деле знаменитого врача, академика. Местную консерваторию назвали именем Людвига Ван Бетховена, а музыкальной школе при ней присвоили имя скрипача-профессора Петра Соломоновича Столярского, по одесским меркам тоже весьма знаменитого. Он преподавал в этой школе с 1923 года, со дня ее основания, выучил много хороших музыкантов, в том числе и Давида Ойстраха. Столярский к этому относился с юмором, и на вопрос, куда он направляется, отвечал: «В школу имени мине». Кое-кому такие ответы показались оскорбительными, времена стояли непростые, на Столярского донесли, каким-то образом о доносе узнал отец. Он за него вступился, и Столярского не тронули. В 1944 году Петр Соломонович умер, имя его начало забываться, а «имени мине» стало популярной одесской хохмой.

Толчком к «национализации», я привожу выражение отца, географических названий послужило удаление в июне 1957 года из состава высшего руководства страны Молотова, Кагановича и других участников, как их называли, «антипартийной группы». Следом, как и полагалось, началась волна переименований. Областному центру Молотову вернули старое название Пермь, а недавно построенному Молотовску дали имя Северодвинск. Вот тогда-то отец и предложил пойти дальше и вообще запретить называть что-либо именем людей живущих. Он считал, что такое следует делать только после смерти, и не сразу, а лет через десять, когда все отстоится, успокоится. Никто отцу не возразил, недовольно ворчал лишь Ворошилов. Его фамилия пестрила на карте: Ворошиловград, Ворошилов-Уссурийский, Ворошиловск, всех я не помню. Но на Ворошилова, с его репутацией, подмоченной союзом с антипартийной группой, внимания не обратили.

Постановление приняли единогласно, и началась кампания «возвращения к исторически сложившимся наименованиям». Не первая и не последняя в нашей истории. Управились быстро. Правда, в Москве остались Хрущевский переулок и платформа

Маленковская, но так их назвали не сейчас и в память не о том Хрущеве и не о том Маленкове.

Однако не обошлось без рецидивов. Через пять лет после принятия запретительного решения, в 1962 году, украинские лидеры Подгорный с Щербицким в порыве лизоблюдства попытались назвать именем отца город, построенный на Днепре рядом с Кременчугской ГЭС. Но продержалось имя «Хрущов», так оно пишется по-украински, на географической карте недолго. 29 июля 1962 года по дороге в отпуск в Крым новостройку посетил отец. Я тоже увязался за ним.

Ехали проселком. Впереди Хрущев с Подгорным и руководителями республики, за ними пылил — целый «хвост». День, помню, выдался солнечный, жаркий. Подъехали к утопавшему в зелени городу. Вдруг я поразился: на придорожном указателе надпись по-украински «Місто Хрущов».

Машины остановились у здания горкома. Я пробился поближе, по реакции окружающих вижу — отец промолчал. Напрягшиеся было лица местного начальства расплылись в улыбках.

С момента въезда в город меня преследовало чувство неловкости. Неловкости за отца. А он вел себя как будто и не видел надписи на злосчастном дорожном указателе. Осмотрели город, съездили на плотину, провели торжественный митинг открытия новой Кременчугской ГЭС. После митинга в горкоме собралось совещание, решали, какие еще гидростанции строить на Днепре. Строительство Киевской и Каневской ГЭС признали первоочередными, а с Нижне-Днепровской в самом горле реки у моря решили погодить, разобраться. Уж слишком много земли уйдет под воду. Разобравшись, стройку вообще отставили. Через несколько месяцев вышло специальное постановление правительства «О строительстве Днепровского каскада ГЭС», закреплявшее достигнутые в Кременчуге договоренности.

Наконец приехали на пристань, дальше предстояло плыть на пароходе до Днепропетровска. Отчалили. Все собрались в салоне, расположились за длинным столом. Предстоял обед, а вместе с ним и тосты. Первым говорил отец. Он начал с благодарности, ему очень приятно, что город назвали его именем, поблагодарил за честь. Все закивали, наперебой стали говорить о заслугах отца, как много он делает для страны, для народа, как все его любят.

Я ожидал, что отец запротестует, и такое начало меня обескуражило. Но это было только начало.

— Вы что не читаете постановления или не считаете обязательным их выполнение?! — продолжил отец. — Я настоял на запрещении присваивать городам имена руководителей. А тут

моя фамилия! В какое положение вы меня ставите? Кто поверит, что вы самовольничаете, а не действуете с моего согласия? Вам что, постановления не указ?

Дальше последовал разнос.

Подгорный неуверенно оправдывался, но отец его не стал слушать, поковырял вилкой в тарелке, извинился перед присутствовавшими и, сославшись на дела, ушел в свою каюту.

8 газетах на следующий день давалась информация о посещении первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым города Кременчуг и Кременчугской ГЭС.

16 ноября 1962 года «Вестник Верховного Совета СССР» опубликовал Указ о переименовании «міста Хрущов в «місто КремГЭС».

День за днем

9 августа 1957 года в Северодвинске спущена на воду первая в Советском Союзе атомная подводная лодка «Ленинский комсомол».

25 сентября 1957 года, как в мае на встрече в Семеновском пообещал отец, открылся пленум организационного комитета Союза писателей Российской Федерации. Такие союзы под эгидой Общесоюзного писательского объединения давно существовали во всех республиках.

Председателем оргкомитета стал уже знакомый нам писатель-маринист Леонид Соболев. До войны он писал о моряках, о военно-морском флоте, дореволюционном и послереволюционном, и писал неплохо. В послевоенные годы разбирательств с Анной Ахматовой, Михаилом Зощенко, жестких выступлений Андрея Жданова Соболев затаился. Главный его роман «Капитальный ремонт» так и остался недописанным.

То, что на встрече в Семеновском Соболев активно и искренне поддержал антисталинское выступление отца, в значительной степени определило его назначение главой писательского Союза. Обошлось оно Соболеву очень дорого, вызвало массу нареканий и справа, и слева. Правые, так тогда определяли позицию сталинистов, возненавидели Соболева за его солидарность с Хрущевым в разоблачении преступлений недавнего прошлого. Левые, так тогда именовались осторожно фрондирующие будущие «демократы»,

ополчились на Соболева тоже за его солидарность с Хрущевым, Хрущевым — взвешенным реформатором, а не радикалом-разрушителем, как им бы хотелось.

28 сентября 1957 года к отцу на Ливадийскую дачу в Крыму во второй раз приехала Элеонора Рузвельт, вдова самого популярного в нашей стране американского президента. Она уже побывала здесь в прошлом году. О чем они говорили с отцом, не знаю, я на беседе не присутствовал, но сами встречи свидетельствовали об ускоряющихся переменах в отношениях между двумя странами. Гостья надписала отцу два тома своих воспоминаний. Отец их не прочел, английским он не владел. Их внимательно с карандашом в руке проштудировала мама. Читала она обстоятельно, делала выписки наиболее понравившихся абзацев и фраз. Воспоминания Элеоноры Рузвельт сохранились. Спустя много лет, уже после смерти отца с матерью, прочитал воспоминания Рузвельт и я. Мне они показались не просто интересными, но и весьма поучительными. Сейчас эти книги находятся в Музее современной истории в Москве.

Книг с дарственными автографами знаменитостей, хороших и плохих писателей, в библиотеке отца накопилось великое множество. После отставки, при многократных переездах с места на место интересные книги и книги с автографами интересных людей разошлись по чьим-то рукам, сохранились лишь тома никому не известных авторов никем не читаемых произведений.

24 октября в Москве отец принял своего старого знакомого, украинского канадца, Василия Ивановича Свистуна, Председателя Канадского общества культурных связей.

6 июня 1954 года Свистун, уже тогда возглавлявший сообщество тяготевших к своей прародине украинцев, впервые встретился с отцом. С тех пор завязалась я бы не сказал дружба, теплые контакты отца с украинскими канадцами. Украинцы, в основном выходцы с западных, австро-венгерских и польских земель, обосновались в Канаде с конца XIX века, затем их диаспора пополнилась послевоенными невозвращенцами 1940-х годов.

Как и большинство эмигрантских сообществ, они чтят память о своей покинутой родине, вот только связи с Украиной, затеплившиеся было в военные годы, после

войны начисто оборвались.

17 апреля 1954 года канадские украинцы прислали отцу на 60-летие подарок — пейзажик с позолоченными осенью канадскими кленами и теплой надписью. Эта дорогая своей искренностью картина (никто не обязывал канадцев поздравлять Хрущева с днем рождения) и по сей день висит у меня дома.

К 40-летию Октябрьской революции в распложенном по соседству с Кремлем Манеже открыли самый большой в стране выставочный зал.

Предназначенное для проведения парадов, смотров и просто зимних тренировок кавалерии здание Манежа построили в 1817 году по проекту архитектора Осипа Бове. С 1831 года в Манеже начали устраивать выставки, концерты, народные гулянья. После революции и переезда правительства из Петрограда в Москву в нем оборудовали кремлевский гараж.

Отец посчитал такое использование одного из красивейших московских зданий, да еще в центре города, варварством и поручил КГБ совместно с Моссоветом подыскать ему более достойное применение. Тут и вспомнили о дореволюционном прошлом Манежа. Доложили отцу.

И вот теперь новый московский выставочный зал принимал первых посетителей.

6 ноября 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в Советском Союзе вечный огонь в память о жертвах войн и революций.

В начале ноября Ту-114, сверхдальний по тем временам лайнер, совершил свой первый полет. По его приземлении Андрей Николаевич Туполев с аэродрома в Жуковском позвонил Хрущеву, поспешил поделиться с ним радостью, пригласил его заехать полюбоваться на красавец-самолет.

Отец согласился, пообещал заехать.

Другие авиационные конструкторы, услышав о приглашении Туполева, заволновались — хитрый старик уже который раз оттирает их на второй план. А у них тоже есть чем похвалиться. Пришлось министру Дементьеву звонить Хрущеву. Они условились перенести демонстрацию с туполевской площадки в Жуковском в нейтральное Внуково и собрать там всех конструкторов и все их последние разработки.

17 ноября Туполев продемонстрировал «гвоздь

программы» — межконтинентальный Ту-114 и модернизированный Ту-104 А. Его постоянный соперник Сергей Ильюшин показал свой пассажирский турбовинтовой Ил-18, тогда его называли «Москва». Олег Антонов привез из Киева пассажирский вариант своего АНа, «Украину». Туда же прилетел и крупнейший в мире вертолет МИ-6 Михаила Леонтьевича Миля. Правда, для пассажирских перевозок он пока не предназначался, летать на нем считалось делом рискованным.

Отец увиденным остался доволен, у нас появился современный Гражданский воздушный флот. А всего два года назад отец, прилетев в Женеву на Ил-14, сгорал от стыда. Наш двухмоторный самолет смотрелся замухрышкой в сравнении с американскими и английскими четырехмоторными лайнерами. Теперь же мы показали, на что способны, не просто догнали, но кое в чем обогнали Запад.

25 ноября 1957 года отец выступил в Кремле на традиционном приеме в честь выпуска военных академий, говорил о новых задачах, новой компактной армии в новый ракетно-ядерный век. Выпускники искренне аплодировали Хрущеву, присутствовавшие на приеме генералы морщились — сокращение Вооруженных сил они не одобряли, к ракетам относились с недоверием.

7 декабря 1957 года отец повел весь Президиум ЦК на первую художественную выставку, открывшуюся в обновленном Манеже. В том году она посвящалась 40-летию Советской страны. Он с удовольствием осматривал картины и скульптуры, внимательно выслушивал пояснения авторов, а заодно полюбовался отреставрированным зданием Манежа. Хозяева и гости расстались удовлетворенные друг другом.

8 тот же день, 7 декабря 1957 года, газеты сообщили о спуске на воду в Ленинграде атомного ледокола «Ленин» немалого по тем временам водоизмещения в 16 тысяч тонн.

18 декабря 1957 года Сессия Верховного Совета СССР вчистую отменила, «сталинский» закон от 21 ноября 1941 года «О взимании налога с холостяков и малосемейных граждан, а также одиноких женщин, не имеющих детей». Налог, по замыслу его автора, должен был стимулировать рождаемость. Но не стимулировал, особо рождаемость так и не возросла.

21 декабря 1957 года отец сделал доклад «О внешней политике» на Сессии Верховного Совета СССР и в тот же вечер уехал в Киев на празднование 40-летия Советской Украины. Там он выступил на юбилейной Сессии Верховного Совета Республики, простояв почти целый морозный день на возведенной на Крещатике трибуне, приветствуя военный парад и праздничную демонстрацию.

27 декабря он вручает Киеву орден Ленина, объявляет об окончании строительства второй очереди газопровода Дашава — Киев. Последнее отцу особенно приятно, ведь это он когда-то «пробивал» строительство первого на Украине газопровода.

В тот же вечер отец возвратился в Москву.

От шестой пятилетки к первой семилетке

25 сентября 1957 года в газетах появилось постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О разработке перспективного плана развития народного хозяйства на 1959–1965 годы». Привычная всем пятилетка заменялась какой-то непонятной семилеткой. Тем самым окончательно признавалось, что с шестой пятилеткой покончено. «Собрать» пятилетку не на бумаге, а реально не получилось ни у Сабурова с Байбаковым, ни у Первухина, пришедшего на смену Сабурову.

Теперь, когда не стало ни отраслевых министерств, ни сводивших их предложения воедино Госэкономсовета со старым Госпланом, ни лиц, не справившихся с задачей, приходилось все начинать практически с нуля.

Совнархозы сменили, как тогда казалось, ушедшие навсегда в историю министерства, отраслевая экономика преобразовалась в региональную. Теперь ключевая роль отводилась региональным республиканским властям. Они на местах верстали свои планы, имели свое видение будущего, не всегда и не во всем соответствовавшего вчерашним, министерским представлениям о путях развития того или иного региона. Конечно, не в главном, но в очень существенных деталях. План же и состоит на девяносто процентов из этих деталей. Вот и приходилось новому Госплану все верстать заново.

Это так, но при чем тут семилетка? Отказ от привычной пятилетки, уже объявленной партийным съездом, попахивал скандалом. Такого в нашей истории еще не бывало. В тексте опубликованного постановления необходимость замены пятилетки семилеткой объяснялась, как мне тогда показалось,

довольно неуклюже — открытием новых нефтяных месторождений в Сибири, необходимостью приоритетного развития не столько металлургии, сколько химии, ускорением экономического развития Зауралья, восточных и дальневосточных регионов, созданием новых промышленных центров. На все это требовалось больше пяти лет, а от шестой пятилетки, после всех задержек и проволочек с ее официальным утверждением, оставалось всего три года.

Срок окончания составления семилетки определили: 1 июля 1958 года, с тем чтобы с 1959 года начать новую жизнь.

Со своими недоумениями я пошел, как обычно, к отцу, но он к опубликованному в газетах ничего существенного не добавил: новые сложные технологии со своим циклом внедрения в пятилетку не вписываются. Начало работ приходится на один плановый период, под него закладываются соответствующие ресурсы, а конец повисает в следующей пятилетке, разработка которой и не начиналась. При такой неопределенности трудно рассчитывать на успех. Семилетка больше соответствует сложившимся в экономике новым реалиям.

Слова отца звучали вроде правильно, но не очень убедительно. Почему семилетка, а не, скажем, восьмилетка? Некоторые проекты вообще ни в семь, ни в восемь лет не укладываются. Допытываться я не стал, понял, что большего не добьюсь.

Академик Семенов и химизация всей страны

Я тогда не уловил основного, дело не в пятилетке-семилетке, к концу 1957 года отец пришел к выводу, что в плане шестой пятилетки неправильно выбраны приоритеты, она ориентируется на прошлое, а не заглядывает в будущее. В тот день он не стал в деталях развивать свою мысль, а я пропустил главное мимо ушей. И напрасно. Это — поворотная точка в стратегии развития экономики Советского Союза, поворотная от привычных технологий конца XIX — начала XX веков к новым и даже новейшим, уходящим в своей перспективе в век XXI, поворотная от металлургии к химии, от стали и чугуна — к пластмассам и полимерам.

Испокон веку нас учили, что для страны нет ничего важнее чугуна и стали, они — мерило экономической мощи не только у нас, но и во всем мире. К этому привыкли все, в том числе и плановики, сидевшие в Госплане. До недавнего времени отец не сомневался в истинности этой концепции, она подтверждалась не просто выкладками Госплана, но и докладами ученых и, наконец,

историей — канцлер Бисмарк привел Германию к могуществу «железом и кровью». Советский Союз следовал той же дорогой.

За последнее пятилетие мир переменился. Химия, полимеры, пластмассы вытесняли металл из многих производств. Они оказывались легче, крепче, эластичнее. Синтетические волокна повсеместно заменяли хлопок, от производства автопокрышек до рубашек. То, что во время войны презрительно называли «эрзацем», вынужденной заменой «настоящего» продукта, теперь становилось лучше настоящего.

Академик Николай Николаевич Семенов, директор Института химической физики, решил поговорить обо всем этом с отцом. Он считал, что госплановская бюрократия не только слабо представляет, что делается в мире, но и эгоистично следуя своим, ведомственно-отраслевым интересам, дезориентирует руководство страны.

Согласно семейным преданиям академика Семенова, специалиста по ветвящимся взрывным химическим реакциям, заняться весьма далекими от его профиля делами подвигнул его приятель-полимерщик академик Валентин Алексеевич Каргин. Сам он заниматься организационными делами не хотел и не любил, но и молчать научная порядочность ему не позволяла. Каргин убедил Семенова, что полимерная химия выходит на основную магистраль технического процесса, правительство же продолжает дудеть в старую, металлургическую дуду. Семенов «зажегся», решил действовать и немедленно.

До того Семенов встречался с Хрущевым на совещаниях, его приглашали на приемы в Кремль, но лично они знакомы не были. Семенов, конечно, мог снять трубку «кремлевки», набрать номер Хрущева и попросить о приеме. Так обычно поступали Королев, Янгель, Курчатов, Туполев и многие другие его коллеги по Академии. Но с ними отец не просто общался, а дружил, он же — человек малознакомый. Семенов не желал рисковать и за советом обратился к своей старой приятельнице Фурцевой. На XX съезде ее избрали секретарем ЦК, но одновременно она продолжала возглавлять партийную организацию Москвы. Фурцева, человек энергичный, контактный, склонный к новациям, не раз посещала институт Семенова.

О том, что ему очень нужно поговорить с Хрущевым, Семенов сказал Фурцевой в начале 1957 года. Естественно, он объяснил, зачем добивается встречи. Екатерина Алексеевна пообещала составить протекцию. Отца не пришлось уговаривать, о Семенове он был наслышан. Рассказ Фурцевой напомнил отцу о его поездке в сороковых в Кенигсберг-Калининград, немецких «эрзац»-волокнах и тканях, созданных из бурого угля, о том, как он

попытался внедрить тогда экзотические технологии на Украине, но они не привились, зачахли. Отец пообещал, что Семенова он примет непременно. Они встретились, скорее всего, ранней весной 1957 года, точной даты я не обнаружил.

Судя по отрывочным воспоминаниям как самого Семенова, так и отца, они «хорошо» поговорили. Отцу академик понравился, к делу он подходил по-государственному. Они быстро нашли общий язык. То, что рассказал Семенов, повергло отца в шок: оказывается, черная металлургия, «королева» индустрии, утрачивала свои позиции и свою привлекательность. «Мы продолжаем вкладывать в нее гигантские средства, смотрим на нее как на мерило нашего развития, нашей цивилизованности, — объяснял Семенов, — а мир тем временем разворачивается в ином, химико-полимерном направлении. Начиная с 1953 года мы приращиваем добычу железной руды в среднем за год на 9 процентов (в абсолютных цифрах — на 6,1 миллиона тонн), а американцы ее сокращают на 3,2 процента (3 миллиона тонн), мы увеличиваем производство чугуна на 7,8 процента в год (на 2 миллиона тонн), а американцы едва на 1,1 процента (0,8 миллиона тонн). То же самое и со сталью — 7,6 процента (3,2 миллиона тонн) прироста у нас и всего 0,2 процента (0,3 миллиона тонн) в США, и с углем — 9,7 процента (30,6 миллионов тонн) у нас и 1,3 процента (5,7 миллионов тонн) у них. Госплан рапортует о темпах роста как о достижении, мы вот-вот догоним США, а оказывается, мы никого не догоняем, они попросту сменили приоритеты, движутся в ином направлении.

В последние годы темпы роста выпуска пластмасс и полимеров опережают прирост производства стали в 7–8 раз. В пяти крупных капиталистических странах — США, Англии, Франции, Германии, Японии — производство синтетических материалов с 1940 по 1956 год увеличилось в 9 раз, у нас оно топчется около нуля. Мир переходит на синтетику и в текстильном производстве, там рост вообще фантастический — в 10 раз. В прошлом, 1956 году, американцы произвели искусственного волокна 709 тысяч тонн, японцы — 411, немцы — 243, — Семенов приводил эти «убийственные» цифры, не заглядывая в лежавший перед ним блокнот, — англичане — 229, даже итальянцы — 152 тысячи тонн. Мы же еле-еле наскребли 129 тысяч тонн вискозы и других не очень современных искусственных волокон. И это, когда весь мир перешел на нейлон и движется дальше.

Семенов разволновался не на шутку, вытащил из кармана сигареты, он курил пролетарский «Прибой», повертел головой, пепельницы не обнаружил и начал нерешительно засовывать

пачку в карман пиджака. Отец нажал кнопку звонка и попросил вошедшего секретаря принести пепельницу. Тот взглянул на отца с удивлением, неприятие им табачного дыма в ЦК хорошо знали, исключения он не делал даже для самых именитых иностранных гостей. Через минуту на длинном столе для заседаний появилась тяжелая хрустальная пепельница. Семенов с наслаждением закурил, дым защекотал у отца в носу, но он не поморщился. Сегодня Семенову позволено все.

Затянувшись, Семенов попросил разрешения на минуту выйти, исчез в приемной и тут же вернулся с легким элегантным полушубком (мы теперь называем его дубленкой) в руках. Подумав, что это подарок, отец попытался отказаться, но Семенов не дал ему произнести ни слова.

— Пощупайте, Никита Сергеевич, — начал он от дверей и сунул отцу под руку распахнутую полу, покрытую шелковистым мехом.

Отец пощупал, мех приятно щекотал пальцы.

— Ни к чему все это, — произнес отец, но гость и тут не позволил ему продолжить.

— Что это за мех, Никита Сергеевич? — с торжествующей ноткой в голосе спросил Семенов.

— Не знаю, — смутился отец, — не овца, но и не лисица. Не знаю.

— И никогда не догадаетесь, — продолжал торжествовать Семенов. — Мех синтетический.

Семенов хотел поразить Хрущева возможностями химии, но он сразил его наповал. Отец буквально набросился на полушубок, мял его, трогал, гладил. Мех казался и мягче, и теплее настоящего. Теперь уже отец был готов попросить полушубок в подарок, но сдержался, а Семенов и не собирался его дарить. В нем, недавно купленном в заграничной командировке, он попросту пришел в Кремль. О полушубке он вспомнил в процессе разговора и тут же использовал его как аргумент в пользу химии полимеров. Аргумент оказался весомым, убеждал получше всяческих цифр.

Вскоре отец сам подобным же образом будет склонять своих посетителей в сторону химизации. Кто-то из химиков-волоконщиков, скорее всего Каргин, подарит ему зимнюю шапку-пирожок из искусственного меха. Отец и раньше носил такую же, но из настоящего. Новая, из синтетического каракуля, станет его любимой игрушкой. Отец, как и Семенов, начнет интриговать посетителей, предлагая угадать, что это за мех. Естественный ответ «каракуль» неизменно вызывал восторг. Насладившись, отец приступал к рассказу о чудесах, приносимых людям химией.

Теперь отец носил шапку исключительно из «химического каракуля». Другие члены Президиума ЦК немедленно переняли его моду, сменили каракулевые шапки на искусственные. После отставки отца они вернулись к шапкам из шкуры настоящего барашка.

Визитом к отцу Семенов остался доволен, он не просто добился результата, а одержал полную победу. Отец попросил Семенова в разумный период времени, но не затягивая, подготовить аргументированную записку в Президиум ЦК.

Записку Семенов представил где-то к началу лета. Кроме него самого и Каргина в ее составлении участвовали еще полдюжины академиков-химиков вместе с их исследовательскими институтами.

Отцу записка понравилась своей государственностью и обстоятельностью. Он разослал ее членам Президиума ЦК и предложил обсудить проблемы химии на одном из следующих заседаний Президиума. Докладывал Семенов, потом начались вопросы, много и самых разных. Всех взяло за живое. Шутка ли, предлагалось развернуть всю махину советской экономики в новом направлении.

Семенов на вопросы отвечал исчерпывающе, не терялся и не мямлил, всем своим видом демонстрировал, что предметом владеет и в выводах своих уверен. Постепенно его уверенность растопила лед сомнений, закончилось заседание благожелательно, решили поручить Госплану учесть предложения Семенова в новом-старом плане шестой пятилетки.

Отдел химии в Госплане не занимал ведущих позиций, и отец беспокоился, что записку Семенова там забюрократят, напишут массу замечаний, выхолостят суть и настоящего прорыва не получится. В Госплане исторически заправляли металлурги, им эта химия — кость в горле. Текстильщики подпоют металлургам, они привыкли к хлопку, льну, шерсти, новомодная синтетика им в обузу. Отец искал, кому поручить новое дело, ему требовался человек неординарный, свежий, инициативный, широко мыслящий, к тому же не повязанный по рукам и ногам госплановской рутиной. Эдакий сказочный добрый молодец.

В мае 1957 года, после совнархозной реформы, в Госплан на правах министров-заместителей председателя пришли многие отраслевики. Отец попросил заняться запиской Семенова «нейтрального шахтера», вчерашнего министра угольной промышленности Александра Федоровича Засядько. Он, сохранив свой министерский титул, теперь заведовал «угольным» отделом, но для отца официальная должность не имела первостепенного значения.

Засядько импонировал отцу своей хваткой, чутьем на новое, исполнительностью при полном отсутствии бюрократического чванства. Он вызвал Засядько в ЦК, они проговорили несколько часов. Отец хотел, чтобы Засядько понял: речь идет не об очередном мероприятии, а не исключено — о смене приоритетов в развитии промышленности, и сопротивление предстоит выдержать отчаянное. Он пообещал Засядько свою полную поддержку.

«В работе у Хрущева была напористость, — вспоминал один из его заместителей Владимир Николаевич Новиков. — Он не входил в подробности дела, выдвигал и контролировал наиболее крупные народно-хозяйственные вопросы, в основном те, которые шли как новые. Своих заместителей он не дергал, но всяческих особых заданий давал им много».

Задание, выданное Засядько, входило в разряд «особых». Александр Федорович обещал не подвести, только спросил разрешения, если уж очень подопрет, ссылаться на Хрущева. Отец согласился, но только если уж «очень подопрет». Засядько закивал головой: «Только в самом крайнем случае», но отец знал, что заручившись его согласием, он будет использовать его имя как таран.

«И пусть использует, — подумал отец, — лишь бы на пользу дела».

К июлю 1957 года Засядько исполнил поручение. Усадив Семенова вместе с его командой и своими производственниками-экономистами, преобразовал академически-абстрактные предложения о химизации страны в параграфы плановых заданий с перечислением — где, что и когда следует построить, какие новые технологии внедрить, какие исследования развернуть и, главное: сколько миллиардов рублей потратить и откуда их взять.

К Хрущеву Засядько пошел один, Семенов считал, что свою миссию он исполнил. А скорее всего, Засядько его и не звал. Выслушав краткие пояснения, отец взял в руки увесистый документ, вместе с приложениями он тянул почти на килограмм, и попросил его оставить. Он его внимательно прочитает, а потом они вместе с Засядько наметят следующий шаг.

Запиской отец остался доволен, теперь требовалось сбалансировать план, согласовать его не только в Госплане, но и с главами республик и совнархозов. Отец понимал, что увязка пойдет туго, как говорится «с кровью». Засядько предлагал отнять у черной металлургии часть капиталовложений, запланированных на эту, так и не сверстанную пятилетку, уменьшить почти на пять миллиардов рублей ассигнования, предназначенные хлопкоробам, овцеводам и шелководам.

Александр Федорович предупредил, что шум поднимется на всю страну, ведь эти суммы «ограбляемые» считают своими. Они тоже не с неба упали, а «выбиты» ими с трудом, подкреплены «неопровержимыми» расчетами и «непробиваемыми», подписанными им, Хрущевым, постановлениями. Они тоже пекутся не о себе, а об интересах страны. Вот здесь-то ему и придется «козырять» именем Хрущева, без его прямой поддержки ничего не получится. Отец все это знал, еще раз подтвердил разрешение использовать его имя и подписал записку, теперь уже Засядько — Семенова, к рассылке.

Вот как вспоминает об этом тяжелом согласовании Нуритдин Акрамович Мухитдинов, в то время Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана: «Занесли мне красный пакет. В нем лежал материал, подготовленный Засядько “О серьезном отставании и неотложных мерах по ускоренному развитию химической промышленности”. В записке поднимались вопросы исключительно общегосударственного значения.

Был приложен расчет по годам и объемам. В разделе, где речь шла об источниках денежных и материальных ресурсов, Засядько предлагал сократить на 2 миллиарда рублей затраты на расширение поливных земель под хлопок, предусмотренные постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 6 августа 1956 года, плюс к этому, из выделенных недавно сумм на повышение закупочных цен на хлопок, шелк, каракуль забрать еще 1–1,5 миллиарда рублей. Я позвонил Засядько в Москву, похвалив его за инициативу в разработке предложений по развитию химии, упрекнул за покушение на орошение и хлопководство, назвал его предложения в этой части вредными, наносящими прямой ущерб государству и народу».

— Откуда же взять деньги? — спросил Засядько.

— Для того ты и сидишь в Москве, чтобы думать и находить. Разве не можешь поискать реальные и разумные источники? Посмотри, куда уходят из бюджета миллиарды, — отпарировал Мухитдинов.

— Ты член Президиума ЦК. Вы обсудите там все. Как решите, так и будет, — Засядько не шел на обострение.

— Ты, наверное, уже настроил всех? — забеспокоился Мухитдинов.

— Не скрою, многие со мной согласны, — подтвердил его опасения Засядько.

— Александр Федорович, скажу тебе пока по-дружески, эту (финансовую) часть твоих предложений я квалифицирую как дело антигосударственное, — член Президиума ЦК перешел на язык угроз.

— Что ты мне шьешь? — Засядько никогда легко в угол не загонялся, а тут у него за спиной стоял Хрущев. — Скажу тебе доверительно, я только исполнял поручение, сам понимаешь чье.

— Ты приводишь интересные примеры по производству искусственных волокон. А знаешь ли, как мы отстаем по натуральным волокнам, по хлопку? — Мухитдинов все понял, сбавил тон, но сдаваться не собирался.

— Это не моя специальность, — ушел от ответа Засядько. Он все прекрасно знал, но знал и то, что денег никто без боя не отдаст. Пока все шло так, как он и предполагал.

— А зачем лезешь не в свою сферу? Не только вредно, но и опасно противопоставлять эти направления. Ты знаешь, что в США хлопка-сырца на душу населения производят 17,2 килограмма, а у нас всего 7,5, хлопчатобумажных тканей, соответственно 36,1 метра и 21,3 метра. На производство одной тонны хлопка-сырца американцы тратят 4–5 часов живого человеческого труда, а у нас 30–35 часов. В каких условиях живут наши хлопкоробы, я уже и не говорю. Как у тебя рука поднимается отнимать у людей последнее, — кипятился Мухитдинов.

Засядько молчал, иной реакции он не ожидал, главное — на какой ноте закончится разговор.

— В целом записку твою поддерживаю, а по хлопку и орошению буду возражать категорически, — шел на мировую Мухитдинов.

— Ну, давай подумаем вместе, — охотно согласился Засядько. Он добился своего, начинался торг. В конце концов они сторговались. Так же торговался Засядько с металлургами и со всеми остальными. К сожалению, живых свидетелей тех баталий уже нет.

10 октября 1957 года страсти выплеснулись на заседании Президиума ЦК, обсуждавшего вопрос «Об основных направлениях в разработке пяти-семилетнего плана развития народного хозяйства СССР». От Госплана докладывал его Председатель Кузьмин, интересы химиков представляли начальник Отдела химии, министр СССР Сергей Михайлович Тихомиров и академик Николай Николаевич Семенов. Засядько Кузьмин не пригласил — «мавр сделал свое дело». На присутствии Засядько в противовес официальному главе химического направления Тихомирову отец тоже не настаивал, он действительно дело сделал.

Из присутствовавших на заседании членов Президиума кроме Хрущева выступили Микоян, Булганин, Беляев, Мжаванадзе, Игнатов, Мазуров, Фурцева, Кириленко. Малин законспектировал

только то, что говорил отец: «Развить химическое производство, увеличить выпуск искусственного волокна, кожи. Затраты отнесли за счет тех производств, которые замещаются химией. В Госплане спланировали безграмотно. Надо развивать производство труб, увеличивать добычу нефти и газа, при относительном сокращении угледобычи. Взять имеющиеся заводы и перепрофилировать их на производство продуктов химии, искусственного волокна и тканей, но не увлекаться, не нарушать баланс.

В семилетке необходимо ликвидировать недостатки в планировании производства товаров широкого потребления. Наказать тех, кто сдерживает производство детской одежды и обуви».

Остальные выступавшие, видимо, отцу не противоречили, в противном случае и их мнение нашло бы отражение в протокольных записях.

— Одобрить в целом предложения, — в позитивном тоне заключил обсуждение отец, — Госплану разработать наметки семилетки.

В решении Президиума ЦК записали: «Одобрить предложения Н. С. Хрущева об ускорении развития отраслей производства, связанных непосредственно с народным потреблением, с тем чтобы за этот семилетний период решить в полной мере задачу удовлетворения потребностей населения в товарах широкого потребления, особенно в одежде и обуви.

Для решения этой задачи в пяти-семилетнем плане сделать особый упор на развитие химической промышленности, производство пластмасс-полимеров, искусственного волокна и искусственной кожи.

Поручить комиссии в составе тт. Хрущева, Кириченко, Фурцевой, Козлова, Кириленко, Кузьмина, Тихомирова, Кучеренко, Несмеянова, Семенова, Топчиева, Мустафаева, Нуриева, Строкина, Рудакова и Гришманова разработать мероприятия по развитию химической промышленности в целом, особенно производство пластических масс, искусственного волокна для тканей, искусственной кожи для обуви, синтетических смол и каучука, полупроводников и сырья для них. Свои предложения внести в ЦК КПСС».

Часть упомянутых в постановлении фамилий читателю неизвестны и требуют пояснений: Кучеренко Владимир Алексеевич — председатель Государственного комитета СМ СССР по делам строительства, Топчиев Александр Васильевич химик, академик-секретарь Академии Наук СССР, Мустафаев Имам Дашдемир оглы — Первый секретарь ЦК КП Азербайджана,

Нуриев Зия Нуриевич — Первый секретарь Башкирского обкома КПСС, Строкин Николай Иванович — заместитель председателя Госплана СССР, министр СССР, Рудаков Александр Петрович — заведующий отделом Тяжелой промышленности ЦК КПСС, Гришманов Иван Александрович — заведующий отделом Строительства ЦК КПСС. «Химические» баталии на этом не закончились. Столкновения продолжались, оппоненты Хрущева-Семенова-Засядько и не собирались складывать оружие.

«В конце концов, — вспоминает Мухитдинов, — создали большую комиссию Президиума ЦК (куда включили и меня) для всестороннего изучения и подготовки конкретных предложений для обсуждения на Пленуме ЦК».

7 мая 1958 года, после доклада Хрущева и недолгого обсуждения Пленум ЦК принял постановление «Об ускорении развития химической промышленности и ускоренного производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства». В нем отмечалось, что новейшие химические технологии позволяют получать изделия, превосходящие все то, что, используя натуральное сырье, мы имели ранее, и предписывалось к концу 1965 года увеличить по сравнению с 1957 годом производство синтетических волокон в 4,6 раза, синтетических масс в 8 раз, синтетического каучука в 3,4 раза, столь полюбившегося отцу синтетического каракуля в 14 раз, обуви на микропорке в 40 раз и так далее, и тому подобное.

«При этом полностью учли нашу позицию: материально-техническое обеспечение орошаемого земледелия и хлопководства не уменьшалось ни на рубль, — Мухитдинов с удовлетворением подводит итог своим спорам с Засядько. — Наоборот, в преамбуле и тексте самого постановления четко оговорили необходимость сочетания производства искусственных и натуральных волокон».

Началось повсеместное строительство химических заводов и комбинатов, до 1965 года построили 257 новых предприятий. Новомодные мужские рубашки и женские платья из нейлона вскоре потеснили лен и хлопок.

Однако шла химизация далеко не гладко. Металлурги из отделов Госплана не собирались мириться с поражением. С помощью хитроумных бюрократических уловок они шаг за шагом возвращали утерянные было позиции, через постановления отщипывали потихоньку у химиков отобранные у них ресурсы. Конечно, они не могли повернуть события вспять, на стороне химиков стоял сам Хрущев, но движение вперед замедляли, и замедляли существенно. Поступали они так не из зловредности, а

из самых лучших, патриотических побуждений, но преломляемых через призму бюрократических интересов своего департамента. Так проявлял себя закон роста энтропии. Система, как могла, сопротивлялась упорядочиванию. Только давление сверху, постоянная «подкачка энергии» (отец приказал ежемесячно докладывать, куда «сажают» заводы, какое оборудование монтируется) позволяли удерживать энтропию в разумно допустимых границах.

8 1963 году Хрущев, вместе с академиком Семеновым, протолкнет еще одно постановление, как бы закрепляющее необратимость начатых изменений. И они, несмотря ни на что, стали необратимыми.

С выходом «химических» постановлений установилась личная связь между отцом и академиком Семеновым. Ему теперь, в случае необходимости, не требовалось прибегать к услугам посредников вроде Фурцевой. Семенов, как и Лаврентьев, мог просто набрать номер кремлевского телефона отца. Правда, этой привилегией он не злоупотреблял.

Отец тоже не забыл Семенова. Он нуждался в нестандартно мыслящих людях. Осенью 1961 года при очередных выборах ЦК на XXII съезде КПСС предложил избрать его кандидатом в члены ЦК. Семенов в ЦК не просто числился, он работал, как мог способствовал «химизации» экономики. Молва приписывает Семенову дополнение к известному ленинскому лозунгу: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны». Николай Николаевич его осовременил, теперь он звучал: «Электрификация и химизация», без химии, как и без света, у страны нет будущего.

В 1963 году Семенов вошел в руководящее бюро, созданного отцом при Председателе Правительства «лаврентьевского» Совета по науке. Как часто отец встречался с Семеновым, я не знаю. Наверняка по мере необходимости, без помпы, а потому и в памяти они не сохранились, как не сохраняются дела обыденные. Очень хорошо, когда такие встречи и обсуждения становятся обыденными. Вслед за отставкой отца вскоре отодвинут от государственных дел и Семенова. Брежнев в нем не нуждался, так же, как Косыгин не нуждался в Лаврентьеве. На очередном, послехрущевском XXIII съезде, Семенова в ЦК не изберут.

Уже в отставке, огородничая, отец, как множество других пенсионеров и непенсионеров, по весне «доставал» дефицитную тогда полиэтиленовую пленку для теплиц. Но, в отличие от всех иных пенсионеров, отец радовался не только и не столько приобретению, но самому существованию такой пленки. Каждый раз начинал вспоминать, рассказывал о технологии производства

полиэтилена то ли высокого, то ли низкого давления. Сейчас я уже позабыл, который из них идет на выработку пленки, но точно помню, что высокого давления лучше, чем низкого.

Общение с Семеновым, другими химиками-учеными и производственниками не прошло даром. Отец теперь разбирался в химических делах почти профессионально, не хуже, чем в сельском хозяйстве и строительстве, держал в голове множество фактов и цифр, не говоря уже о терминологии. В отставке ему они уже не могли пригодиться, оставалось радоваться, что его (вместе с академиком Семеновым) начинания дали ощутимые результаты.

Опять засуха

6 ноября 1957 года отец на торжественном заседании в Большом театре сделал доклад по случаю 40-летия Октябрьской революции. Доклад даже более чем обычно строился в мажорных тонах, на показе достижений. Оно и понятно — круглый юбилей, к тому же в зале расположились, занимая почти половину мест в партере, приехавшие на торжество иностранные делегации, в том числе весьма именитые. И тем не менее, не желавший врать отец не обошел проблемы с урожаем. Засуха снова обрушилась на Казахстан, на Пред— и Зауралье, Поволжье. В этом году страну выручали Украина и Северный Кавказ. Если 1956-м на Казахской и Сибирской целине заготовили 3 миллиарда 340 миллионов пудов зерна (около 53 миллионов тонн), то сейчас удалось наскрести менее трети от прошлогоднего, всего 1 миллиард 21 миллион пудов (16,3 миллиона тонн). Отец оправдывался, доказывал, что и эта цифра много больше доцелинного времени. По моему мнению, старался он зря. Противников целины никакие цифры не убеждали, они продолжали стоять на своем, требовали возрождать исконно российские деревни, вкладывать средства в никогда не родившие и не способные родить глины, суглинки, пески и супеси.

На самом деле, целина оказалась спасительной не только благодаря прибавке трех десятков миллионов дополнительной пахотной земли (на фоне общей пахотной площади в 193,2 миллиона гектаров, она не казалась столь уж значительной), но главным образом благодаря своему географическому положению. Все наши сельскохозяйственные районы, как традиционные: Поволжье, Северный Кавказ, отчасти Украина, так и новые — Казахстан с Южной Сибирью находятся в зоне рискованного земледелия, где все зависит от Бога, от погоды: прольются весенние дожди — и получается год с хлебом, в другой год

ударит ранняя сушь, задует суховей — и год пропал. Зона рискованного земледелия — это чисто научное, климатическое определение. Отец шел на освоение целины с открытыми глазами, не раз повторял: «Ничего не поделаешь, мы имеем, что имеем. Надо приспосабливаться».

В «хорошем» 1954 году на целине собрали 9,3 центнера зерна с гектара (в среднем по стране — 7,7 центнера), в провальном 1955 году целинная «урожайность» упала до 2,8 центнера с гектара, а средняя при этом даже возросла (до 8,4 центнера) за счет хорошей погоды на Украине, в Поволжье и на Северном Кавказе. В отличном 1956-м целина дала 11,4 центнера с гектара и тем самым подняла среднюю цифру до 9,9 центнеров. В 1957-м урожайность на целине оказалась всего 4,3 центнера с гектара, но средняя, благодаря Украине и Северному Кавказу, сохранилась на уровне 8,4 центнера.

В отличие от старых, имперских времен, когда засуха в Поволжье или Северном Кавказе означала неотвратимый голод, целина вывела на поле нового игрока — производителей зерна в районах с погодной раскладкой, не совпадающей с европейской. Теперь неурожай в западных областях, как правило, балансировался хорошим урожаем на востоке и наоборот. Изобилия не получалось, но голод стране больше не грозил. Несмотря на засуху 1957 года, потребление зерна в 1958 году не сократилось, оно даже увеличилось на 6,2 миллиона тонн, в основном за счет роста животноводства. Правда, прирост потребления произошел за счет сокращения государственных резервов на те же 6 миллионов тонн, с 9,5 миллионов до 3,7 миллионов тонн. Они опустились до опасного уровня 1955 года. Ничего удивительного: что в одном месте прибавится, то в другом — убудет.

То, что скотину начали кормить полноценной пищей, а не одними помоями, чуть сдобренными сеном с сенажом, давало результат: «В октябре 1956 года поголовье скота превысило дореформенный 1953 год — на 7,4 миллионов голов».

В ноябре 1957 года отец еще не имел итоговых цифр, вот он и оперировал прошлогодней статистикой, но в целом не ошибался: в 1957 году поголовье скота, по сравнению с 1956 годом, еще выросло на 2,7 миллиона голов, с 63,6 миллионов до 67,3 миллиона, производство мяса увеличилось с 6,6 миллионов тонн до 7,4, молока — с 49,1 миллиона тонн до 54,7, яиц — с 19,5 миллиардов штук до 22,3 и так далее.

Отец твердо веровал, что своего добьется: и США мы обгоним, и наши люди заживут лучше американцев. Надо только постараться.

Государство — это кто?…

Завершился 1957 год традиционно итоговым Пленумом ЦК КПСС. На нем возник не предусмотренный регламентом вопрос о государстве. «Проклятый» вопрос строительства коммунизма. Согласно теории, по мере продвижения вперед государственные структуры обречены на отмирание, они должны замениться неким аморфным самоуправлением масс. Как это реализовать на практике, «основоположники» не объяснили. Сразу после 1917 года, следуя букве теории, государство попытались упразднить, но ничего не получилось, возник хаос, а тут еще разгорелась Гражданская война. Ликвидацию государства отложили до лучших времен, до окончания строительства социализма.

Теперь идеологи напомнили отцу, что следует ответить на вопрос, как на деле начнет «отмирать» государство. Пока дальше общих разговоров дело не заходило, почему-то считалось, что по мере «отмирания» его функции сами собой перейдут к общественным организациям. Чем общественная бюрократия лучше государственной, никто объяснить и не пытался, в эту трясину ступишь и не выберешься.

На Пленуме шла речь о пенсиях, о других аспектах социального обеспечения, и тут недавно выдвинутый «на профсоюзы» Виктор Васильевич Гришин выступил с предложением передать все социально— государственные функции его ведомству, ведь «Профсоюзы — школа коммунизма». Министр социального обеспечения Нонна Александровна Муравьева активно возражала Гришину — ни министру, ни ее министерству «отмирать» не хотелось. Ее поддержали секретари обкомов, в первую очередь Ленинградского. Отец отмолчался, только в заключительном слове отметил: «Вопрос, стоящий на Пленуме, заслуживает большого внимания. Думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что сейчас мы, видимо, не подготовлены, не можем принять исчерпывающего решения… Надо наметить общую линию, чтобы не связывать себе руки решением конкретных вопросов».

Теория отмирания государства не числилась среди приоритетных, но отмахнуться от заветов основоположников отец тоже не мог.

Кириченко, маршал Гречко и соломенная шляпа

К концу 1957 года на московском Олимпе утвердились новые политические фигуры. 17 декабря Пленум ЦК избрал секретарем ЦК и полноправным членом Президиума узбека Нуриддина

Мухитдинова. Одновременно с ним секретарями ЦК КПСС стали уже избранные ранее в Президиум украинец Алексей Кириченко и горьковский секретарь обкома Николай Игнатов. 19 декабря еще одного нового члена Президиума ЦК, 49-летнего Фрола Козлова, назначили Председателем правительства Российской Федерации. По тем временам пост не ахти какой, но удобный, как трамплин для прыжка в высшую власть. Козлов — человек неулыбчивый, жесткий, даже жестокий, властный, четкий. Отец ему доверял, на него рассчитывал, но они не подружились, хотя и ходили в гости друг к другу довольно часто.

Почти одновременно, 26 декабря, из Москвы в Казахстан отбыл на поправку дел после нынешнего неурожая секретарь ЦК КПСС Николай Беляев. Там его избрали Первым секретарем республиканского ЦК, но для придания большего веса из секретариата московского ЦК не исключили, правда только формально. Теперь на Старой площади заниматься сельским хозяйством поручили Игнатову.

Об Игнатове я уже писал. Добавлю лишь, что его самомнение о собственных способностях и возможностях никак не совпадало с мнением окружающих, но он этим не интересовался. Человек напористый, хитрый, склонный к интриге, Игнатов не сомневался в своем предназначении, на первое место пока не замахивался, но видел себя «серым кардиналом», реальным вершителем дел в стране. Но это пока лишь в мечтах. В кабинете второго, после отца, секретаря ЦК КПСС обосновался Кириченко.

Так, после бурных июньских событий и тихого устранения Жукова, завершилось формирование нового состава власти. Прошли не просто пересадки: аморфное «коллективное» руководство, признававшее лидерство отца и одновременно на него постоянно покушавшееся, сменилось привычной российской властной пирамидой. На ее вершине располагался Хрущев, чуть ниже разместились «ближние бояре», а далее, по убывающей — остальные структуры и облеченные властью лица.

На первенствующее положение отца на этом этапе никто не покушался, борьба в московской иерархии развернулась за второе место. Второе, которое позволяло рассчитывать со временем и при некоторой удаче выйти в первые. Соревновались трое: Кириченко, Игнатов и чуть отставший от них Козлов. Кириченко с самого начала получил «фору».

Формально такого понятия, как второй секретарь ЦК КПСС в 1957 году и последующие годы не существовало, но на деле среди всех равных секретарей выбирался один, кому поручалось в отсутствие Хрущева председательствовать на заседаниях Президиума, на постоянной основе вести Секретариаты ЦК и

заниматься всей «черновой» оргработой. В его руках сосредотачивалась каждодневная связь с обкомами, совнархозами, государственными комитетами и даже вооруженными силами — другими словами, реальные рычаги власти. Изо всех так или иначе оказавшихся на московском политическом Олимпе, отец знал Кириченко лучше других, дольше других, доверял ему больше, чем остальным.

Отец знал, что Кириченко человек расторопный, энергичный и в меру преданный. Познакомились они на Украине еще до войны, когда в 1938–1939 годах сильно разреженные Сталиным партийные кадры стали восполняться быстро растущей молодой порослью. Тогда на обкомовский уровень выплыл директор металлургического техникума Брежнев, тогда же появился во власти и Кириченко. Во время войны Кириченко стал, как и отец, членом Военного совета фронта, но не первым, а ступенью пониже. Брежнев в армейско-партийной иерархии оказался еще ниже, его назначили заместителем начальника Политического управления фронта, на две ступени ниже Кириченко. Звезд с неба Кириченко не хватал, но и командующим командовать не мешал, занимался своим делом политвоспитания. Отца уже тогда раздражало его фанфаронство, стремление нарядиться в генеральский мундир со всеми регалиями: золотыми погонами и пуговицами на серо-голубой парадной шинели, папахой, лампасами на брюках. Во время одного из посещений армии, куда Кириченко перевели из фронтового штаба Первым членом Военного совета, отец наткнулся на Алексея Илларионовича, «разряженного (по его словам) как петух».

— Ну что вы выставляете себя генералом? — выговаривал он Кириченко. Военные вас все равно за такового не почитают. Какой вы генерал? Держитесь скромнее.

Кириченко не возражал, но привычек своих не изменил. Только, заслышав о приезде отца, быстро переодевался в одежонку попроще.

Отец даже на фронте положенной ему военной формы стеснялся, считал присвоенное ему генеральское звание уступкой обстоятельствам. Он, как правило, одевался летом в защитного цвета комбинезон без погон, а зимой в такой же полушубок, тоже без погон. Это не означает, что он вообще игнорировал форму, когда следовало и куда следовало он являлся одетым по армейскому уставу.

В деловой обстановке с Кириченко мне сталкиваться не пришлось. Какие дела между студентом, а потом рядовым инженером КБ и Секретарем ЦК? Судачили, что он груб, заносчив и не всегда распорядителен. В домашней обстановке Кириченко

запомнился мне шумливым, жадноватым, но бесхитростным украинским дядькой.

Кириченко, как и отец, увлекался охотой. Они охотились вместе с другими товарищами отца по службе, одни составляли компанию в охотку, другие — в угождение. Среди охотников без кавычек кроме Кириченко назову маршалов Гречко и Чуйкова.

С Гречко отец познакомился еще в 1941-м, во время отступления. Чуйков пришел к ним на Сталинградский фронт позднее, осенью 1942 года, из Китая, где он служил советником у Чан Кайши. Самые тяжелые месяцы обороны города Чуйков с отцом просидели в одном подземном командном пункте на берегу Волги, «в норе», как называл его отец. В ней, на последнем, оставшемся за нами пятачке, бок о бок размещалось и командование Сталинградским фронтом, и командование «Чуйковской» 62-й армией.

Теперь, в 1957 году, Гречко командовал Сухопутными войсками, а Чуйков — Киевским военным округом. Как часто они встречались с отцом по делам, не знаю, а вот на охоту в выходные, а особенно во время отпуска сопровождали его регулярно.

Чуйков запомнился мне своей нелюдимостью, в компании он больше молчал. Гречко же — полная ему противоположность. Любой, даже серьезный разговор, он разбавлял остротой, заразительно смеялся, любил пошутить над другими, не отказывался посмеяться и над собой. Такие характеры редко встречаются среди генералов, а уж тем более — маршалов.

Именитые охотники после удачной или неудачной охоты, как и все охотники, любили похвастаться, а порой и обменяться ружьями. Одна разница — у именитых их было поболее и подороже, чем у обычного стрелка: тут и отечественные «тулки-ижевки», и заграничные-трофейные, разукрашенные насечкой немецкие «Зауэры», бельгийские «Маузеры», английские «Голанд-Голанд». У некоторых иногда попадались почти недостижимые, даже для именитых, ружья британской фирмы «Джеймс Перде с сыновьями» (James Purday and Sons). Понимающим эта марка говорит сама за себя. У отца таких ружей имелось целых два — предмет молчаливой зависти его товарищей-охотников.

Отец с удовольствием участвовал в ритуальных демонстрациях ружей и не чурался их обмена. Он любил ружья, но еще больше ему нравилось наблюдать за эмоциями охотников, следить, как загорались глаза при виде особо замечательного ружья.

Чуйков меняться не любил. Он молча отодвигал свои ружья в сторону: чужого ему не надо, но своего он не уступит. Гречко,

напротив, немедленно устраивал базар, хватал ружья, выискивал в них дефекты, чаще мнимые, хаял их как мог и тут же нахваливал свой товар, балагурил. Процесс торга доставлял ему истинное удовольствие. Отец ему охотно подыгрывал, уличал в мелком жульничестве и тоже смеялся от души.

Кириченко всеми силами старался поддержать компанию, но при этом норовил, под смешок, выменять ружьишко с выгодой. Эту его черту все отлично знали. Гречко потешался над Кириченко как мог. Они недавно породнились, сын Кириченко Юра женился на одной из дочерей Гречко. Кириченко шуткам над собой не противился, ему лишь бы остаться с прибытком. Помню, как он «выменял» у отца его Перде, отдав за него завалящее немецкое ружьишко. Получив желаемое, еще не веря своему счастью, он схватил ружье и тут же унес его к себе в комнату. Откровенное «надувательство» расстроило всех участников «представления», Кириченко сыграл против правил.

— Ну что же вы так, Никита Сергеевич? — Воспользовавшись отсутствием Кириченко, без привычного смехачества проговорил Гречко. — У вас же «ружье», а у него…

Маршал искренне стремился разоблачить обман и «восстановить справедливость».

— Да бросьте вы, Андрей Антонович, — улыбнулся в ответ отец, — конечно, товар негодящий, но вы заметили, как у него глаза горели? Уж очень ему хотелось заполучить Перде. Пусть радуется. У меня еще одно такое ружье есть.

Гречко всем своим видом продемонстрировал несогласие с отцом, но хозяин — барин…

Вспоминается еще одно происшествие с участием тех же лиц. Гречко тогда командовал советскими оккупационными войсками в ГДР (до октября 1957 года) и в отпуск приезжал с карманами, набитыми всякими занятными заграничными безделушками: брелоками, зажигалками и другой подобной мелочью. Всякая заграничная вещица в те годы была в диковинку, страну окружала плотная завеса экономической блокады, с нами не торговали — никто и ничем. Конечно, если ты находишься на самом верху, найдется возможность что-либо как-либо купить для себя. Но при Хрущеве такое и в голову не приходило, а если бы и пришло кому-нибудь, то узнай отец о нарушении писаных и неписаных моральных законов-принципов, виноватому головы не сносить, в переносном, конечно, смысле. «Изобилие» спецмагазинов и спецбаз наступит при Брежневе.

Помню, как однажды на отдыхе в Крыму Гречко целый день изводил своего свата секретаря ЦК Кириченко невиданной в те годы газовой зажигалкой. Они оба пришли в гости к отцу. Андрей

Антонович чиркал ею под носом у Кириченко, тут же гасил, прятал в карман. Кириченко ходил за ним как привязанный, попытался даже «по-родственному» выхватить зажигалку из рук Гречко. Но не тут-то было, двухметровый Гречко задирал руку под потолок: «Ну-ка отними!» — и при этом безудержно хохотал. К концу дня, выжав из зажигалки все возможное удовольствие, выжегши почти весь газ, он наконец смилостивился, вручил «сокровище» Алексею Илларионовичу. Оба разошлись довольные друг другом.

Где-то через неделю оба, Кириченко и Гречко, снова пожаловали к отцу. На сей раз Гречко заявился в потрясающе дырчатой летней шляпе из соломки.

— По случаю достал, — с порога заинтриговал он Кириченко.

Тот «завелся» с пол-оборота. Повторилась история с зажигалкой: Кириченко отнимал шляпу у Гречко, тот убегал, прятал, закидывал шляпу повыше на дерево. Всё, естественно, со смехом, с прибауточками, но смех смехом, а заполучить шляпу Кириченко хотелось донельзя. Под занавес Гречко со словами: «Дарю, носи на здоровье», торжественно вручил шляпу Алексею Илларионовичу. Тот расцвел в довольной улыбке и тут же заглянул внутрь, отыскивая этикетку с фирменной маркой. Гречко заговорщески подмигнул отцу. Кириченко глухим голосом прочитал: «Одесская шляпочная фабрика имени…» кого — не помню. Его лицо налилось обидой, он еле сдержался. Гречко же пришел в неописуемый восторг, шутка его удалась на славу. Отец смеялся до слез. Кириченко тоже вымучено заулыбался.

Зачем я все это написал, не знаю сам. Мелкие, порой досадные слабости и страстишки присущи каждому. Но что было, то было. Что же касается Кириченко, то он не оправдал ожиданий отца. В делах оказался человеком столь же мелочным, за считанные годы настроил против себя и москвичей, и руководителей регионов.

1958 год

Тракторы и комбайны в руки крестьян

На традиционном правительственном новогоднем приеме в Георгиевском зале Кремля отец провозгласил тост в честь победителей во Второй мировой войне и впервые в советской послевоенной истории особо обозначил вклад тогдашнего главнокомандующего союзными силами на Западе, а ныне американского президента, генерала Дуайта Эйзенхауэра. Присутствовавшие на приеме дипломаты не оставили этот его шаг без внимания, как и заявление о том, что победителей, случись война, не будет.

7 января Советское правительство объявило об увольнении из армии трехсот тысяч военнослужащих, в дополнение к уже проведенному в 1955–1956 годах сокращению Вооруженных сил на 1 миллион 840 тысяч человек. На большее военные не соглашались, а отец пока не настаивал — в этом году 300 тысяч, а там посмотрим.

Одновременно выводили 55-тысячный армейский контингент из Германии и Венгрии. Содержание за границей войск обходилось в копеечку, приходилось платить и за землю, и за воду, и за пищу, и все по весьма высоким ценам. Так что общая экономия получалась существенной.

Высвободившиеся ресурсы направлялись в сельское хозяйство и строительство жилья. Но все это — капля в море. Чтобы добиться поставленных целей, достичь эффективности народного хозяйства не ниже американской, требовалось заставить систему работать, работать эффективнее, как только можно и где только можно. И в этом году сельское хозяйство оставалось приоритетом отца. В феврале он предпринял очередную попытку сделать труд крестьян производительнее. 25–26 февраля 1958 года в Москве прошел Пленум ЦК КПСС, посвященный дальнейшему развитию колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций (МТС).

Поясню, почему это так важно. По прошествии лет обсуждавшийся на Пленуме вопрос, казалось бы, вообще не заслуживает упоминания: были МТС — не стало МТС, не велика забота. Неверно. Изменение отношения к МТС знаменует смену приоритетов в истории не только российского крестьянства, но и страны в целом.

Все началось вскоре после революции, когда в 1921 году

Ленин, убедившись в неэффективности военного коммунизма и пагубности рекомендаций марксистской теории об отмирании государства, ликвидации денежного обращения и прочего, прочего, прочего объявил о «переходе «всерьез и надолго» к новой экономической политике — нэпу. Другими словами, к возврату к более понятным и привычным денежно-рыночным отношениям, конечно, под присмотром государства и там, где они не вступали в противоречие с государственными интересами и провозглашенной индустриализацией. Кое-кто сейчас посетует на сохранявшуюся неполную свободу рыночных отношений, несоответствие нэпа догме Адама Смита, но свободные от всякого вмешательства сверху отношения производителей и потребителей, продавцов и покупателей такая же надуманная химера, как и рекомендованный марксистами-идеалистами прямой плановый продуктообмен. Истина — где-то посередине. За поиск этой золотой середины и взялся Ленин. По крайней мере, мне так представляется.

8 промышленности, в городах особых проблем не возникло, поменяли законы, и жизнь преобразилась буквально на глазах: голод военного коммунизма, реквизиций и продразверсток ушел в прошлое. Полки как бы ниоткуда возникших магазинов заполнились тоже взявшимися ниоткуда товарами, конкурировавшими и теснившими государственную торговлю. Отец, тогда руководитель районного звена в Донбассе, старался подвигнуть подчиненные ему магазины на соперничество с частником-лавочником, но без особого результата. Лавочник оказывался и ловчее и динамичнее. В общем, дело в городах налаживалось.

А вот с крестьянством все обстояло сложнее. Чтобы сделать сельское хозяйство эффективным, требовалось не просто позволить им возделывать поля без помех, но работать не по старинке, не сохой и косой, а трактором и комбайном. Но откуда рядовому крестьянину взять деньги на трактор, и где он разыщет сам трактор? В России их начнут производить только в середине 1930-х. Заказать в Америке? Мало кто из крестьян вообще слышал о существовании Америки. Согласно плану Ленина, заботу о механизации, об осовременивании крестьянского труда брало на себя государство. Закупили первые машины. Теперь предстояло решить, как ими распорядиться. Продать крестьянам? На всех не хватит, да мало кто сможет купить. Решили создать государственные машинно-тракторные станции (назывались они в разное время по-разному), которые за плату обязывались обрабатывать индивидуальные крестьянские наделы. Одновременно решалась проблема обучения трактористов и

ремонтников. Неграмотных в своей массе крестьян новая техника пугала, а в МТС создавались зародыши технологической цивилизации. Так и поступили. Ленин тогда назвал цифру: 100 тысяч тракторов преобразуют российскую деревню под стать американским фермам. Что произойдет дальше, сохранятся МТС на селе или нет, он не загадывал. Сохранились. Ленин умер 22 января 1924 года, и Сталин, воспользовавшись идеями Троцкого, распорядился страной по-своему: во второй половине 1920-х годов прикрыл нэп. Затем, уже без Троцкого, провел коллективизацию, вернул деревню в архаическое общинное, почти дореформенное (1861 года) состояние.

В сталинской аграрной стратегии МТС отводилась иная роль, из проводников новых технологий они превратились в опричников, «око государево», надзирающее за крестьянством, сначала единоличным, а затем колхозным. Без МТС колхозам и шага не ступить, без машины не вспашешь, не посеешь, не пожнешь. Иметь собственную технику колхозам возбранялось. МТС за свою работу взимали с колхозов часть урожая в оплату, по установленным правительством по своему разумению расценкам.

Таким образом, крестьянин по существу обкладывался двойным налогом: определяемыми государством обязательными поставками доли урожая и оплатой услуг МТС по ценам, определяемым государством. Вырваться из этого заколдованного круга без доброй воли все того же государства крестьянину не представлялось возможным.

С годами система МТС разрасталась, бюрократизировалась. Машин в их распоряжении становилось все больше, а эффективность использования техники снижалась. Энтропия, как это свойственно самоусложняющейся бюрократической структуре, неуклонно возрастала. Каким образом это происходило на деле? Очень просто. Как и всякое государственное «сидевшее на бюджете» предприятие, МТС всеми силами выбивали фонды на закупку машин — чем больше выбьешь, тем престижнее. Возникал замкнутый круг: МТС «осваивали» все больше средств, заказывали все больше техники, промышленные министерства по их заказам производили все больше машин и механизмов, техника частично использовалась по назначению, остальное ржавело на складах и по истечении записанного в регламент срока, списывалось в утиль. Затем выбивались новые фонды, «закупались» новые машины. И так без конца.

Отец, выросший в колхозно-эмтээсной системе, поначалу относился к ней как к естественной. Изнутри многое до поры до времени кажется естественным. В 1956 году в отчетном докладе XX съезду партии он говорил о возрастающей роли МТС, о том,

как с их помощью, переходить к комплексной механизации сельского хозяйства. Говорил о деталях, не осмысляя пока сути отношений между колхозами и МТС.

Задумался он уже после съезда. Подтолкнул его к тому, по свидетельству помощника отца по сельскохозяйственным делам Андрея Степановича Шевченко, академик, экономист Алексей Матвеевич Румянцев, в те годы редактировавший главный партийный теоретический журнал «Коммунист». Еще до съезда, зимой 1956 года, он прислал Хрущеву записку с «крамольным» предложением оставить на селе одного хозяина — колхоз, а МТС упразднить. Тем самым, по его мнению, устранится двоевластие, дела пойдут лучше, ведь недаром говорят, что у семи мамок дитя без глаза. Отец, со слов Шевченко, внимательно прочитал записку, но ничего не предпринял и даже ничего не сказал. Ему требовалось все как следует обдумать, созреть. Созревал отец более года. Шевченко решил, что «крамола», заброшенная Румянцевым, и вовсе позабыта. Он ошибался. Отец ничего не забыл, он думал, вчитывался в затребованные справки, снова раздумывал и запрашивал новые документы и статистические отчеты. Оказалось, что в сравнении с имевшими в своем распоряжении технику совхозами колхозная продукция: зерно, сахарная свекла, хлопок, виноград, чай — получаются в два, а то и в два с половиной раза дороже. Отец поначалу предположил, что колхозы на этом зарабатывают. Они, пусть и формально, не государственные, а кооперативные предприятия. Отец попросил представить ему развернутую информацию о структуре колхозных доходов. Оказалось, что колхозы ничего не зарабатывают, а только теряют. Причина — нерациональное использование техники.

К осени 1957 года отец дозрел. 28 ноября он вынес вопрос об МТС на заседание Президиума ЦК. Пока речь шла не о ликвидации, а о переводе МТС на хозрасчет, чтобы жили они не на бюджетные средства, а на то, что заработают. Отца беспокоила неопределенность собственного предложения, ведь «доходы» МТС определяются ценой предоставленных ими услуг. А цены эти диктуются, пусть и не произвольно, но сверху. Положение же колхозов остается бесправным — ни техники у них нет, ни альтернативной МТС. Какую бы с них плату не запросили, придется платить. Отец заикнулся было: «Может быть, кое-где МТС ликвидировать, превратить их в государственные ремонтные мастерские?» Его вопрос повис без ответа, уж очень он звучал непривычно. Как можно обойтись без МТС? Отец не настаивал. Решили создать комиссию для подготовки «перевода МТС на хозрасчет».

Комиссия начала работать, а тем временем отца продолжали одолевать сомнения, хозрасчет все меньше и меньше представлялся ему рациональным выходом из положения. И он решил, не дожидаясь выводов комиссии, сформулировать свои предложения.

«Если проанализировать вопрос получения продуктов от колхоза за работу МТС, то выявится неприглядная картина. Получаем зерно, по меньшей мере, в два раза дороже совхозного… Удорожание происходит за счет нерационального использования техники… — рассуждал отец. — Когда и земля, и техника будут находиться в руках одного хозяина, тогда машины будут производительнее использоваться. Этим мы еще больше развяжем инициативу колхозников». Впервые он обнародовал свою позицию 26 декабря 1957 года в Киеве на праздновании 40-летия установления Советской власти на Украине.

Слова отца прозвучали вызывающе, он покусился на главную догму марксистской теории, посчитал возможным передать технику из структур государственной формы собственности во второсортную, кооперативно-колхозную. Теперь эти изыски кажутся смешными, но тогда ликвидация МТС отдавала ревизионизмом. И не в одном ревизионизме дело. Новация с МТС затрагивала судьбы множества людей и, что еще важнее, устоявшихся бюрократических структур. В стране насчитывалось без малого 8 тысяч МТС с 1 миллионом 700 тысячами тракторов, не говоря уже о других машинах, в них работало около двух миллионов человек. Все они получали, пусть небольшую, но гарантированную зарплату, а в колхозах их ожидал трудодень, натуральная оплата и все прочие «прелести».

Даже самые близкие к отцу люди старались его переубедить.

«Я говорю, — вспоминает Шевченко, — Никита Сергеевич, нельзя МТС ликвидировать сразу во всех местах. Там, где колхозы еще бедные, следует оставить, иначе потеряем кадры трактористов, потеряем технический контроль. Он говорит: “Это частный вопрос”. Мы знаем, что МТС — это государственная собственность, а колхоз — кооперативная, — говорю я тогда, — впереди идет государственная, за ней кооперативная. Вы разрушаете государственную, укрепляя кооперативную, а это противоречит тому-то и тому-то! Он молчит. (По всей вероятности, разговор происходил в Киеве, после процитированного выше выступления отца.)

Приехали в Москву. Он приглашает одного главного редактора и одного академика и говорит: “Вот мне Шевченко подбросил «ежика», что я разрушаю государственное, укрепляю кооперативное. Вы мне помогите выйти из этого

положения…”»[50]

Апелляции к теории на отца не действовали, на него больше влияли аргументы прагматично-рациональные, чем абстрактные «цитатные». Когда же он убеждался в целесообразности задуманного, то цитаты подбирались так, чтобы служить делу, а не дело слепо следовало за книжными догмами.

Свои записки, речи, предложения, как я уже упоминал, отец писал сам, а «псаломщики» — ученые-теоретики уже после подыскивали в обоснование необходимые цитаты. Для них труды классиков марксизма-ленинизма были сродни Библии для церковных реформаторов: если как следует в них порыться, всегда отыщется подходящая цитатка.

И в случае с МТС, «один главный редактор и один академик (Шевченко по чему-то не захотел раскрыть их имен, но, скорее всего, один из них — академик Румянцев. — *С. Х.*) посидели два дня — приходят. Никита Сергеевич, ничего страшного нет, говорят, собственность не будет ни государственной, ни кооперативной, а будет одна общенародная…»

Итак, Хрущев решился, произнес очередную речь на очередном Пленуме ЦК, члены ЦК в очередной раз дружно поддержали инициативу, создали авторитетную комиссию для выработки детального плана реформы МТС и представили проект на всенародное обсуждение. После обсуждения и голосования на сессии Верховного Совета СССР, предстояло придать нововведениям статус закона. Отец теперь не предпринимал никаких серьезных решений, не посоветовавшись с народом. Разумеется, против никто открыто не высказывался, до этого тогдашняя демократия еще не доросла, но поправки, дополнения сыпались как из рога изобилия. Многие из них нашли свое место в окончательном тексте проекта закона. Так что «всенародное обсуждение» перед голосованием стало первым, пусть и не широким, шагом в направлении демократии.

31 марта 1958 года Верховный Совет СССР единогласно проголосовал за новый закон. МТС уходили в историю. Но оставалась одна существенная закавыка: как распорядиться с той частью урожая, которую раньше колхозы выплачивали МТС?

Сначала отец подумывал, не оставить ли ее колхозам, но Министерство финансов и заготовители возразили: нельзя, возникнут проблемы со снабжением городов. Они предлагали попросту увеличить обязательные государственные поставки, фактически конфисковать высвобождавшуюся часть урожая. Таким образом, реформа МТС становилась бессмысленной: колхозники не выигрывали, а проигрывали, им предстояло бы выкупать за счет своих «доходов» технику и одновременно

продолжать выплачивать аренду.

Отец с финансистами не согласился и вместо этого предложил шагнуть дальше. Заседавший 16–17 июня 1958 года очередной Пленум ЦК, по настоянию отца, вообще отказался от обязательных государственных сельскохозяйственных поставок. С 1 июля 1958 года государству предписывалось закупать у крестьян их продукцию, правда, по установленным самим же государством ценам. То, что останется, колхозам позволялось продавать кому угодно, а на деле тому же государству, но уже по договорным ценам.

Слово «закупать» прозвучало тогда непривычно-подозрительно, просто нэп какой-то, но Хрущеву перечить не решились, и члены ЦК дружно проголосовали «за». Одновременно с переходом к закупкам простили крестьянам недоимки. Жизнь начиналась с чистого листа. Без груза старых долгов колхозы смогут наконец-то стать процветающими.

Отец продолжал раздумывать над взаимоотношениями государства с крестьянами-колхозниками и после принятия закона. Приведу несколько цитат из его выступлений.

«Могут сказать, мы идем к коммунизму и в то же время развертываем товарные отношения, не противоречит ли это одно другому? Нет, не противоречит.

Устанавливаемые в настоящее время цены должны быть одновременно и стабильными и подвижными, — рассуждал он. — Они будут стабильными в том смысле, что при нормальной, средней урожайности цены не должны меняться. Но бывают резкие отклонения в ту или другую сторону, бывают исключительно благоприятные и исключительно неблагоприятные для урожая годы. Если этого не учитывать, то тогда в благоприятный год колхоз получит больший доход при тех же затратах, которые он имеет при среднем урожае. Это для государства накладно. С другой стороны, при засухе собирается низкий урожай и, следовательно, он не оправдывает издержек. Колхоз может серьезно пострадать, если государство не окажет ему помощь в виде повышения закупочных цен, или прямой ссуды семян, или даже обеспечения продовольствием. Необходимы не только стабильность, но и подвижность цен на сельскохозяйственные продукты».

«Сейчас мы покупаем зерно во всех колхозах, — отец развивает ту же тему в другом выступлении. — Видимо, скоро настанет время, когда государство начнет покупать хлеб в тех колхозах, которые продадут его по более низкой цене. Те колхозы, которые будут выращивать дорогой хлеб, окажутся перед серьезными трудностями в сбыте зерна. Государство

дорогой хлеб не купит, вряд ли на него найдется спрос на рынке. Отсюда задача снижения себестоимости продукции встает как одна из наиболее важных».

«На смену налогу приходит свободная продажа и покупка продуктов по ценам, отражающим уровень производства и производительности труда», — говорил отец в выступлении на Пленуме ЦК 15 декабря 1958 года и пошел дальше, заявив, что принцип свободной продажи продуктов постепенно распространится на все отрасли хозяйства.

Слово «конкуренция» не произнесено, но оно читается между строк. В этих заявлениях при желании можно разглядеть намек на рыночное колебание цен, определяемое спросом и предложением. Все зависит, как смотреть и что пытаться рассмотреть. Важно, что такая мысль возникла, она логически вытекала из всех предыдущих поисков отцом той ниточки, дернув за которую, он сможет развязать весь узел противоречий советской экономики. И теперь ему казалось, что эту ниточку он нащупал.

По сути, отец попытался изменить структуру взаимоотношений в советском обществе, вместо продвижения к предписанному теорией прямому продуктообмену без всякого участия денег — бартеру, он разворачивался к рынку, когда покупатель стремится купить товар подешевле, а продавец продать его повыгоднее. Робкий, но все-таки шаг. На переход к закупкам сельскохозяйственной продукции отец возлагал большие надежды. По существу, он провозгласил то, что через двадцать лет, в 1978 году, повторит Дэн Сяопин, но не просто повторит, а проведет этот принцип в жизнь, сделает его стержнем реформирования китайской экономики.

Отцу же, к сожалению, преодолеть инерцию системы не удалось. Замена обязательных поставок продажей сельскохозяйственных продуктов дала некоторую передышку крестьянам, но совсем небольшую и недолгую. Платили теперь за не сдаваемый, а продаваемый государству хлеб по-прежнему мало, столько, сколько Министерство финансов считало возможным заплатить. А финансисты — люди скупые. Других же покупателей, как и предсказывал отец, на «рынке» не находилось. Оставалось одно — сокращать издержки, повышать эффективность производства, как и советовал колхозам отец.

Но и тут получалось не все ладно. Согласно новому закону, колхозникам предстояло выкупить у МТС технику по сниженным ценам в течении двух-трех, но не более пяти лет. При этом слабые колхозы могли машины и не покупать, их продолжали бы обслуживать МТС. Однако денег в бюджете, как водится, не хватало и финансисты решили, что хорошо бы все свернуть за

год, причем обязать «покупателей» расплатиться не в рассрочку, а за все разом и сполна.

Как удалось уговорить отца, ума не приложу, ведь, выступая в марте 1958 года на сессии Верховного Совета СССР, он приводил цифры, доказывающие, что такое просто невозможно, «неделимые фонды колхозов в 1958 году составляли примерно 25 миллиардов рублей, а стоимость передаваемых им машин, с учетом износа, оценивалась в 18–20 миллиардов рублей».

Сам сказал, и вот на тебе. Так и хочется найти спасательную лазейку, объяснить, что бюрократы действовали за его спиной, обманывали. Может быть, и обманывали, но первое лицо несет ответственность за все и за всех независимо ни от чего. Да и не знал он, увлекся, сам призывал не раз следовать примеру «маяков», досрочно забиравших технику и расплачивающихся за нее, конечно, добровольно. Но он, в свою очередь, знал и цену «добровольности», если Москва и ЦК к чему-либо призвали, то уж обкомы и райкомы выколотят это «добровольно» с не меньшим усердием, чем раньше НКВД выколачивало из «врагов народа чистосердечные признания». Негативные последствия не заставили себя долго ждать. Если в конце 1957 года насчитывалось 7 903 МТС, то к концу 1958 года их осталось 346, а в 1960 году — всего 29. На покупку машин колхозы потратили 18 миллиардов рублей.

В результате инвестиционный потенциал колхозов сошел к нулю. На новые преобразования: строительство, улучшение агротехники — средств практически не осталось.

В дополнение ко всему, не знаю уж каким образом, вопреки требованиям отца «изменить практику неимоверного завышения цен на сельскохозяйственные машины, горючее и другие изделия для колхозов», им повысили цены на запасные части к передаваемой технике, горючее, а потом и на новые машины. Причем цены выросли не на 5 — 10 процентов, а в два и более раз.

Тогда же, основываясь на предположении, что после передачи техники колхозам, «эффективные новые собственники» распорядятся ей куда рациональнее, чем МТС, обойдутся меньшим количеством машин, решили сократить производство сельхозтехники. Сказано — сделано. Планы производства урезали. Запорожский комбайновый завод «Коммунар» вообще перепрофилировали на производство автомашин, горбатых «Запорожцев», скопированных с итальянских малолитражек «Фиат-600».

Как это часто случается, реалии жизни оказались далеки от ожиданий. В колхозах механизаторы не стали работать лучше,

зарплата у них не только не возросла, но даже упала, в результате кое-кто вообще ушел в город. Потребность в технике не понизилась, а, начиная с 1960 года, повысилась, пришлось принимать меры по увеличению производства сельхозмашин. Следом устранили и финансовые «перекосы», в 1961 году колхозам списали остававшиеся долги за переданную технику, снизили цены на сельскохозяйственные машины, запасные части к ним, горючее и смазочные материалы. Жизнь постепенно вошла в свое русло.

Большинство специалистов, отдавая должное прогрессивности задумок Хрущева, оценивают эту его реформу как неудачную.

Но можно взглянуть на реформу МТС под иным углом. Отец всерьез задумывается о необходимости изменения самой системы, впервые в обиход вводились понятия пусть еще дорыночной, но конкуренции. В этом смысле реформа МТС — очередной после совнархозов логический шаг в направлении децентрализации сверхцентрализованной экономики.

Перестановки во власти

На той же, мартовской 1958 года сессии Верховного Совета СССР Булганина освободили от обязанностей главы правительства. На его пост назначили Хрущева.

Судьбу Булганина предопределил провал попытки разделаться с Хрущевым в июне 1957 года. Однако с принятием окончательного решения отец тянул. Он не считал своего теперь уже бывшего друга ни опасным противником, ни серьезным соперником, полагал, что в «антипартийную» заварушку его втянули Маленков с Молотовым, но и от предателя рядом с собой отца с души воротило. С другой стороны, отец полагал, что массовые одномоментные отставки в высшем руководстве на окружающий мир произведут неблагоприятное впечатление. Поэтому, разделавшись с ядром заговора, отправив подальше от Москвы Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним Шепилова», он не спешил решать судьбу остальных заговорщиков.

Ворошилов с Булганиным, несмотря ни на что, надеялись, что все обойдется. Первый уповал на свое прошлое: герой Гражданской войны, «первый», пусть и весьма неудачливый, советский маршал. Булганин рассчитывал на многолетнюю дружбу с отцом. Оставались еще Первухин с Сабуровым, тоже давние знакомые отца, но никак не друзья. Особых иллюзий они не питали, но и особенно за свое будущее не опасались. Если уж с

Молотовым и Маленковым обошлись не по-сталински, не только оставили в живых, но и предоставили работу, то и им подыщут что-нибудь по специальности. Неприятно, конечно, но ничего не поделаешь.

Но недавнее «антипартийное» прошлое Булганина — это только наиболее видимая часть проблемы. Отца тяготила безынициативность Булганина, его почти нескрываемое равнодушие, если не сказать, отвращение к работе. Он отсиживал в своем кабинете положенные часы, но по-настоящему оживлялся, только покидая Кремль.

Приятное общество, красивые женщины, актрисы (одно время он настойчиво ухаживал за Галиной Вишневской), застолье влекли его куда больше, чем отчеты о выполнении и невыполнении планов, проекты постановлений правительства о новостройках или предложения разного рода визитеров, ученых-изобретателей, проталкивающих свои, якобы сулившие стране неисчислимые блага открытия.

Отца такое отношение Булганина к делам просто бесило: тот оказался даже хуже Маленкова. Еще прошлой осенью отец твердо решил, что Булганина следует заменить, но сделают они это аккуратно-конституционно весной 1958 года, когда после очередных выборов в Верховный Совет СССР старое правительство подаст в отставку. С Булганиным отец определился, а вот кого поставить на его место? Требовался грамотный, инициативный управленец, проводник его планов. В этом смысле наилучшей кандидатурой отцу представлялся Алексей Николаевич Косыгин, организованный, исполнительный, инициативный, человек-компьютер, человек-система. Правда, бюрократ до мозга костей, но с этим приходилось мириться.

В ноябре 1957 года на празднование 40-летия Октябрьской революции в Москву съехались руководители всех дружественных государств. Китайскую делегацию возглавил Председатель КНР Мао Цзэдун. После завершения торжеств решили провести совещания представителей коммунистических и рабочих партий, благо все они уже и так собрались вместе. В перерыве одного из заседаний отец рассказал Мао о зреющих изменениях в советском руководстве. Дружбу нашу тогда еще ничто не омрачало, и он считал своим долгом держать стратегического союзника и партнера в курсе советской политической кухни. Как наиболее вероятного преемника Булганина отец назвал фамилию Косыгина. Мао попросил представить ему Косыгина. Отец отыскал Алексея Николаевича в фойе, и они, уже втроем, продолжили разговор с Мао Цзэдуном. Вскоре прозвенел звонок, и все потянулись в зал заседаний. Косыгин отошел, отец с Мао

снова остались вдвоем. В качестве ответной любезности Мао Цзэдун показал отцу пальцем на пробивавшемуся к своему месту низкорослого китайца.

— У этого малыша большое будущее, — произнес Мао, — запомните его, он еще себя покажет.

Речь шла о Дэн Сяопине.

Отец поблагодарил собеседника за откровенность. Больше они к кадровым делам не возвращались. На совещании возникли шероховатости, все оставшееся время ушло на взаимные притирки.

К марту 1958 года, к моменту открытия первой сессии Верховного Совета СССР нового созыва, ничего не переменилось, отец по-прежнему держал курс на Косыгина. Но когда пришла пора решать, на заседании Президиума ЦК «молодые»: Кириченко, Игнатов, Козлов, Брежнев, Аристов, упредив отца, в унисон твердили:

«Только вы, и никто иной».

— Мне лучше оставаться секретарем ЦК, — возражал отец.

К тому у него имелись веские основания. Во-первых, после смерти Сталина они приняли специальное решение, не рекомендовавшее совмещение высших государственных постов. Во-вторых, ему хватало власти Первого секретаря ЦК. Ведь именно в ЦК принимались все судьбоносные и не судьбоносные решения, только оформлявшиеся совместными постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Эта «совместность» никого не вводила в заблуждение, Совет Министров вносил свои предложения в ЦК, а не наоборот. Утверждались же они тоже решением Президиума ЦК, а не Постановлением Президиума Совета Министров. Иерархия установилась четкая: глава правительства исполнял решения Президиума ЦК, на заседаниях которого председательствовал Хрущев. Никакой реальной необходимости занимать еще один пост, чтобы проводить в жизнь собственные решения, у него не было. Однако подавляющее большинство участников заседания с отцом не соглашались.

Выступления ничем не отличались одно от другого, все на разные лады повторяли мысль Кириченко, что, назначая отца главой правительства, они «зафиксируют фактически сложившееся положение». Разве что Брежнев выразился поцветистее, высокопарнее: «Приход товарища Хрущева на пост Председателя Совета Министров неизмеримо повысит авторитет самого Совета Министров. И во внешнюю политику Никита Сергеевич вносит свою гениальность». Однозначно «за» Хрущева высказался и Косыгин, а что творилось у него на душе, знал он один.

Только Микоян, как всегда, вначале осторожно засомневался: «…Я был другого мнения, чтобы товарищ Хрущев оставался Первым секретарем ЦК, а председателем правительства поставить другого, — и тут же присоединившись к большинству, неразборчиво, с сильным армянским акцентом, забормотал: — Пойти на выдвижение на пост Председателя Совета Министров товарища Хрущева, оставив его Первым секретарем ЦК. Минусов меньше, а плюсов будет больше».

— До последнего момента сомневался, — поддержал Микояна Ворошилов. — Но товарищи говорят убедительно. Авторитет партии поднят на громадную высоту. Товарищ Хрущев много этому отдал сил. Спасибо ему.

Почувствовав, что начал запутываться, Ворошилов дальше продолжать не стал.

— Я бы согласился с мнением товарища Хрущева. По Совету Министров большая загрузка, — неожиданным диссонансом прозвучали слова кандидата в члены Президиума, секретаря Грузинского ЦК Мжаванадзе, но на них никто и внимания не обратил.

Все дружно и напористо убеждали отца, что совмещение секретарского и председательского постов пойдет на пользу делу, позволит решать вопросы быстрее, эффективнее, без лишних споров, без лишней волокиты.

Насколько они были искренни, не берусь судить. Однако очевидно, иметь над собой в дополнение к отцу еще и Косыгина улыбалось далеко не всем. Но более всего они старались потрафить отцу.

— Не должны упрощать. Компартии будут упрекать. Мы советовали им перестраиваться. Солидная часть партии неодобрительно отнесется. К тому же возраст, не следует жадничать, надо растить людей, — не очень уверенно отбивался отец.

Но члены Президиума ЦК просто навалились на него. В конце концов отец позволил себя уговорить.

По моему мнению, решающим фактом тут стало не единодушие соратников, а все более активное вовлечение нашей страны в международные дела, в отношения с Западом, с Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Францией и отчасти с Германией.

Если во внутренних делах отец чувствовал себя хозяином, то в отношениях с этими странами он, глава партии, не занимавший никаких значительных государственных постов, постоянно ощущал свою ущербность. Ни в Белом доме в Вашингтоне, ни на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, ни в Елисейском дворце в Париже

не желали иметь формальных отношений со Старой площадью в Москве. В протокольных департаментах этих стран Первый секретарь ЦК КПСС вообще не значился в списке руководителей страны, ему не направляли официальных посланий, не поздравляли с праздниками, не приглашали нанести визит. Для них Хрущева просто не существовало. Формально, конечно. Западные лидеры отлично разбирались во властных структурах в СССР, при любой возможности стремились встретиться и поговорить с отцом, а возможно, и договориться, но все это в частном, приватном порядке, на худой конец — как с членом Президиума Верховного Совета СССР. Только этот декоративно-почетный титул связывал отца с властными государственными структурами.

Когда в мире случались кризисы, то нашу позицию вырабатывал отец, он составлял послания американскому президенту, главам других правительств, правил дипломатические ноты, но подписывал послания Председатель Совета Министров СССР или министр иностранных дел. В мире говорили о мирных инициативах Маленкова или успехах дипломатии Булганина, к примеру, в разрешении Суэцкого кризиса 1956 года. Тогда объединенные силы Англии, Франции и Израиля попытались отвоевать недавно национализированный Египтом Суэцкий канал, и только выдвинутая отцом, но подписанная Булганиным угроза Москвы применить все имеющиеся у нас средства, в том числе и ракетно-ядерные, заставила нападающую сторону в 24 часа прекратить боевые действия, а потом и вовсе ретироваться.[51]

На совещание четырех держав в Женеву в 1955 году и во время государственного визита в Великобританию лидеры западных стран вели переговоры, в основном, с отцом, а итоговые документы, согласно протоколу, подписывал Председатель Совета Министров Булганин. И в соседней Финляндии, где отец по-человечески сдружился с ее президентом Кекконеном, заключительное коммюнике подписал все тот же Булганин. Таким образом, в историю вошли договоренности Булганина — Кекконена, а не Хрущева — Кекконена. Отец никогда открыто не обсуждал своих «протокольных унижений», но даже я видел, насколько это его задевает.

Так или иначе, но отец согласился, правда, с оговоркой, что спустя некоторое время следует вернуться к вопросу о главе правительства.

Вернулись 13 октября 1964 года, когда те же самые люди взахлеб упрекали отца за совмещение постов в ЦК и Совмине.

— Но вы же сами так настаивали, — напомнил он, но его

никто не услышал.

Но до 1964 года еще предстояло прожить долгие шесть лет. Пока же сессия Верховного Совета, по предложению Ворошилова, единогласно утвердила Хрущева главой Советского правительства. Булганина переместили на пост председателя Государственного банка СССР и оставили членом Президиума ЦК. Ненадолго. В начале сентября 1958 года его выведут из Президиума ЦК, снимут с Госбанка и отправят с глаз долой на Ставрополье, председателем совнархоза. В 1960 году, благо Булганину уже перевалило за пенсионные шестьдесят лет, он, уйдя на «заслуженный отдых», вернется в Москву, получит двухкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной, где и проживет немалый остаток жизни.

В преддверии своего последнего, 1964 года отец вспомнит о давнем друге, пригласит Булганина на встречу Нового года в Кремль. За банкетным столом они прослезятся, чокнутся бокалами с шампанским, о чем-то пошепчутся и разойдутся. Теперь уже навсегда.

Пенсионера союзного значения Николая Александровича Булганина в феврале 1975 года, без каких-либо государственных почестей, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Перестановки во власти не ограничились одним Хрущевым. Энергичный, куда менее забюрократизированный, Козлов без особого труда оттер Косыгина, сделал свой первый шаг к восхождению к вершинам власти. 31 марта 1958 года решением все той же, 1-й сессии Верховного Совета СССР нового созыва, что поставила отца во главе правительства, Фрол Романович Козлов стал первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. Косыгин, в ранге просто заместителя главы правительства, отошел на второй план. Почему? Не знаю.

С Косыгиным у отца установились ровные, я бы сказал, теплые отношения. Если такое вообще возможно сказать в адрес Косыгина, тщательно высчитывавшего каждый шаг, выверяющего расчетами любую эмоцию. И в работе Косыгин верил в магическую силу вычерченных им структур-квадратиков иерархической управленческой вертикали. Косыгин не поддерживал отцовской «самодеятельности» с совнархозами. Она нарушала «стройность» государственной иерархии, претила ему «вседозволенностью», передачей властных полномочий на места, ограничением центральной власти.

И тем не менее, в июне 1957 года Косыгин не поддержал Маленкова с Молотовым, хотя в душе и соглашался с их оценкой совнархозной реформы. К тому имелись личные причины. Он не просто боялся возврата к старому, но это старое отожествлялось

для него с личностью Маленкова, истребившего в 1949 году всех его друзей-ленинградцев. Тогда расправились с Вознесенским, Кузнецовым и только его почему-то не тронули.

Косыгин никогда не рисковал, но тут, несмотря ни на что, поставил на Хрущева. И выиграл. В октябре 1964 года он сменит Хрущева на посту главы правительства. Отец сочтет его кандидатуру достойной.

Вместо Козлова председателем правительства РСФСР стал сорокалетний Дмитрий Степанович Полянский. Отец с ним познакомился в Крыму, где Полянский с 1949 года «сидел» в обкоме. Отцу он понравился своей деловой хваткой, и он больше не выпускал Полянского из вида. Предложив Полянского на «Россию», отец положил начало омоложению верховных кадров. Он считал недопустимым, что руководство страны сосредоточено в руках пятидесятилетних «стариков». Пора уступать дорогу молодым энергичным людям, жадным до нового и до самой жизни. Полянский, по мнению отца, как раз из таких. В октябре 1964 года Дмитрий Степанович подготовит настолько пропитанный ядом доклад против уже фактически потерявшего власть отца, что даже Брежнев с Сусловым не сочтут возможным выпустить его на трибуну.

Почти одновременно с потерей Булганиным поста главы правительства покинули Москву еще два «антипартийца» — Первухин с Сабуровым. Первый в марте 1958 года отправился послом в ГДР, где и прослужил до 1963 года. Он активно общался по службе с отцом, принимал его в Берлине во время государственных визитов. Оба они делали вид, что прошлое забыто. В 1963 году отец предложил Первухину работу в Москве во вновь созданном, самом главном Всесоюзном совнархозе. Имел ли он на Первухина какие-то виды (отец высоко отзывался о профессионализме Первухина), не знаю. После отставки отца Первухин так и засох на уровне начальника отдела, сначала в Совнархозе, а после его ликвидации — в Госплане.

Сабурову повезло меньше. Отец не простил ему провала с пятилеткой. В мае 1958 года Сабурова отправили в Сызрань. Там он и руководил то одним, то другим заводом до 1967 года, до пенсии.

Ворошилова не тронули. Он оставался Председателем Президиума Верховного Совета до 1960 года, так же лебезил перед отцом, как он когда-то лебезил перед Сталиным, с готовностью и радостью всей семьей навещал отца на даче. Если его приглашали, конечно. Отец относился к Ворошилову снисходительно-покровительственно, но считал его бездельником, что, скорее всего, соответствовало

действительности. Ворошилов умер уже при Брежневе. Похоронили его почти по высшему разряду, на Красной площади, в Кремлевской стене.

Ферма или подворье?

13 февраля 1958 года все центральные московские, а затем и региональные газеты опубликовали решение ЦК компартии Украины «Об ошибке при закупке коров у колхозников в Запорожской области». Речь шла даже не обо всей области, а о двух ее районах: Приморском и Мелитопольском. Что же такого там случилось, что шум подняли на всю страну?

Все началось два года назад, летом 1956 года. Возвращаясь после отпуска из Крыма, отец остановился в своей родной Калиновке, благо от шоссе Симферополь — Москва она находилась рукой подать. Отец, как и в предыдущие годы, пообщался с колхозниками, зашел в пару хат к своим старым приятелям, поговорил с председателем в правлении, а потом выступил на центральной площади. Говорил он, как обычно в таких непротокольных случаях, без бумажки, без заготовленного текста и даже без плана. Он рассуждал, делился со слушателями своими мыслями. Его слова привели слушателей в замешательство. Отец предложил передать коров из личных хозяйств колхозников в колхозные фермы. Крупные, механизированные, они обеспечат коровам лучшую жизнь, удои поднимутся, а колхозники избавятся от непроизводительного труда по обслуживанию одной-двух буренок, у них отпадет необходимость в ручной дойке. Доить коров на фермах станут по-современному, «елочкой».

Так называлась еще одна позаимствованная в США технология. Там уже много лет не доили коров вручную, а надевали им на соски специальные наконечники, соединенные трубочками с приемной молочной цистерной. Хитроумно сконструированная вакуумная система то, разрежая воздух, то увеличивая давление, массировала вымя получше рук опытной доярки и одновременно отсасывала по стерильным трубочкам молоко в стерильный же бак. «Елочкой» систему прозвали за геометрию стойла, куда загоняли коров на дойку. Коров ставили под острым углом головой к центральному стволу молокопровода, вот и получалась «елочка». Система оказалась простой, удобной, высвобождалась сразу целая армия доярок, да и разбавлять молоко водой становилось труднее. Раньше плеснешь в неполный подойник из ковшика — и выполнил план по удою, а тут в переплетение трубок и не подлезешь.

Прочитав о механической дойке, отец стал ее горячим сторонником, пропагандировал «елочку» в своих выступлениях, газеты отводили «елочке» целые развороты. И теперь, выступая перед односельчанами, он не преминул вновь помянуть «елочку».

Слушатели знали «елочку», ее недавно установили на местной ферме. Система работала, но крестьянам казалось, что доились коровы не совсем так, как вручную. Дома буренку, если заартачится, и по вымени погладишь, и похлопаешь, и за соски потянешь нежно. А с машины, что взять? Выдаивает не до конца, приходится добирать вручную. Однако отцу они не перечили, коров в «елочку» загоняли исправно. А затем и доярки, и коровы привыкли, — «елочка» прижилась. Казалось, так доили всегда.

Закончив рассказ о преимуществах «елочки», отец вернулся к исходной мысли, разъяснил, что, передав коров на общественную ферму, молоко, масло, сметану, творог крестьяне смогут купить в колхозном магазине, притом затратят на продукты меньше, чем выходит сегодня.

Собственно, отец и тут ничего нового не открывал. В той же Америке фермы давно специализировались: одни на зерне, другие на мясе, третьи на молоке. В первой половине XX века хозяйство стало товарным, времени на собственный огород у фермера не оставалось, свой товар продавали, а чужой покупали. Цифры производительности труда, себестоимости, товарной эффективности, их отец мог повторить без запинки, свидетельствовали о несомненных экономических преимуществах крупных специализированных хозяйств.

К сожалению, неоспоримые в Америке истины на российском подворье выглядели иначе. Крестьяне цепко держались за свои приусадебные участки, за домашний скот. Кто его знает, что там власти надумают, за что заплатят, за что и не заплатят, а личное подворье не подведет.

Рассуждения отца представлялись оторванными от реалий крестьянской жизни не только для калиновцев. По мнению экономистов-аграриев, без своего подворья колхозники просто не выжили бы. Согласно справке Центрального статистического управления, которые отец регулярно читал, в 1958 году доходы крестьянской семьи от личного хозяйства составляли 42,0 процента, в колхозе они зарабатывали чуть меньше: 41,3 процента, то есть делились практически поровну. Если их сложить, получится 83,3 процента. Остающиеся 16,7 процента автор отнес на счет доходов «от государственных и кооперативных организаций», не расшифровав, что же это такое. В нашем случае это не так уж важно.

Статистика предыдущих и последующих практически такая

же. В валовой продукции животноводства доля личных хозяйств никогда не опускалась ниже 45–50 процентов, а по яйцу — ниже 75 процентов.

Все это отец знал и, тем не менее, попытался с наскока, одними благими пожеланиями сразу в корне изменить структуру сельскохозяйственного производства и взаимоотношений в деревне. Разумного объяснения я найти не могу. Противники отца сошлются на его дилетантство. Это освобождает их от необходимости думать и копаться в поисках истины. Я не могу с ними согласиться, не потому что я сын, а просто отец никогда дилетантом не был, сельское хозяйство знал на уровне хорошего специалиста-практика, да и теорией владел не хуже кандидата сельскохозяйственных наук. Другое дело, что порой он ошибался, в спорах иной раз занимал, как мы теперь понимаем, неверную позицию. Но это теперь, а тогда он считал, что придерживается одного из многообещающих направлений сельскохозяйственной науки.

Концентрируя свое внимание на ошибках отца, особенно на поддержке им Лысенко, критики не замечают множества других, положительных, примеров. Если сложить плюсы и минусы, то в результате получится плюс, подтверждаемый цифрами. До того, как оспорить мои слова, посоветую открыть соответствующие статистические ежегодники. И предмет спора отпадет сам собой. Так что обвинение в дилетантизме не подходит и ничего не разъясняет.

Попробуем разобраться. Сама идея перехода от мелких, личных хозяйств к крупным товарным возражения не вызывает. Другое дело: как переходить? Как мог отец без должных оснований посчитать российскую деревню похожей на цивилизованную американскую, когда она и в XXI веке еще топчется в своем, отгороженном от остального сельскохозяйственного мира подворье? К сожалению, он слишком доверился экономической целесообразности, полагался на логику, тогда как речь шла о психологии выживания в противостоянии крестьянского подворья давлению государства, основанной на опыте, и последних, сталинских лет, и предшествующих столетий. В дополнение ко всему, к сожалению для отца, для крестьян, для государства в целом, претворение в жизнь разумного в своей основе проекта покатилось по накатанной российской бюрократической колее. Совет Хрущева, растиражированный газетами по всей стране, местные начальники восприняли как директиву и постарались немедленно провести в жизнь, отчитаться о выполнении и перевыполнении. В целом, в 1956 году ничего хорошего из благого начинания отца

не получилось, но и ничего страшного не произошло.

Беда наступила после нового призыва отца весной 1957 года, поставившего задачу догнать и перегнать США в кратчайшие сроки по производству мяса, молока и масла на душу населения. С молоком и маслом особых коллизий не возникло. Если молока мало, надо постараться раздоить корову или завести еще одну телочку. А вот мясо получают из уже зарезанных быков, свиней или баранов. Вторично с их костей мяса не срезать. Увеличение заготовок мяса лимитируется естественными ограничениями прироста поголовья, я уже писал об этом. Дело это и трудоемкое, и долгое, а местным руководителям хотелось, и как можно скорее, желательно досрочно, отрапортовать о выполнении и перевыполнении заданий. И Москва их к тому побуждала. Отсюда желание отыскать то, что на чиновничьем языке называется скрытыми резервами, а по-простому соблазн пустить под нож сегодня все, что попадется под руку и отчитаться перед начальством победной реляцией. А завтра? Завтра — не сегодня, там видно будет.

В результате коров, как и рекомендовал отец, с крестьянских подворий начали перегонять в колхозные стойла. Не добровольно, конечно, кто же их добровольно отдаст? Но оформляли передачу как добровольную. Затем обобществленных коров сдавали прямиком на мясокомбинат и тем самым избавляли себя от лишних забот об их пропитании и одновременно догоняли США по производству мяса. Первым такая схема пришла в голову украинцам.

Моя жена Валентина Николаевна, в 1957 году десятилетняя девочка, со своей младшей сестрой Любой, как обычно, проводили каникулы у тетки в селе Бело-церковка, расположенном в благодатном южном украинском крае, о котором шла речь выше в упомянутом постановлении.

В Белоцерковке жили зажиточно, в каждом дворе корова, а то и две. Молока надаивали вдоволь, излишки сдавали на свой же колхозный молокозавод. На личном подворье коровы давали 3 500 — 4 000 литров молока в год, при жирности 3–5 процентов (в колхозе — 1 200 — 1 500 литров, 1,5 — 2-процентное).

Кстати, для меня так и осталось загадкой, как отец, выступая в Калиновке, мог поменять местами показатели надоев в личных хозяйствах с колхозными. Обманывать он своих слушателей не собирался, да и как обманешь, если это их коровы в хлеву и их коровы на ферме. Не понимаю. Мистика какая-то!

Всегда очень ценились коровы, дающие жирное молоко. За теленком от такой коровы соседи заранее выстраивались в очередь. Так постепенно единоличное стадо становилось

элитным.

Колхозное стадо тоже улучшали, покупали хороших производителей. Жирность молока росла, но угнаться за показателями единоличных коров не могла.

В тот, 1957 год, Валя приехала в Белоцерковку к самому началу «борьбы за заготовку мяса». Она запомнила, как приказали всем поголовно отдать коров на ферму и получить за них деньги по сдаточной цене, такой, какую платили на мясокомбинатах. Других прейскурантов просто не существовало. Непокорным пригрозили всяческими неприятностями, и люди подчинились. Коровы же оказались менее «сознательными», уходить со двора отказывались, приходилось их выталкивать силой, в том числе и корову Валиной тетки Пани. Вытолкали, коров согнали на ферму, а оттуда прямиком отправили на скотобойню. Поначалу забрали не всех коров, оставили по одной на десять дворов. Молоко сразу стало дефицитным и счастливчики-хозяева с соседями делились неохотно. Потом и последних коров забрали. В сельском магазинчике молоко продавали, а вернее отпускали строго по регламенту, сначала местной верхушке: учителям, врачам, заведующему клубом и еще кому-то, они своих коров не держали и раньше молоко покупали, а потом уже всем остальным, кому повезет. Везло немногим, почти никому не везло, практически все колхозное молоко свозили на молокозавод. В тот год Валя с Любой остались без молока.

В верха полетели жалобы. Жаловались и в Запорожье, и в Киев, и в Москву. Одно из писем дошло до отца. Он возмутился, позвонил недавно избранному Первым секретарем ЦК Украинской компартии Николаю Викторовичу Подгорному и выговорил ему. Выговорил за излишне ретивое исполнение его собственного призыва. Как следствие этого разговора и появилось Постановление, которым я начал рассказ. В нем заклеймили «секретарей Приморского и Мелитопольского райкомов партии, которые дали указание проводить массовую закупку коров, не засчитывали отказникам трудодни и применяли другие меры, принуждающие продавать коров». В Постановлении разъясняли, что «дело это исключительно добровольное. Покупка коров у колхозников и передача их на колхозные фермы (о забое коров вообще не упоминалось) может производиться лишь в виде опыта в отдельных передовых колхозах, где колхозники сами пришли к такому убеждению и уже в настоящее время созданы хорошие условия для содержания колхозного стада, где за счет общественного животноводства одновременно с выполнением государственных планов заготовок можно полностью

удовлетворить потребности всех колхозников в молоке и молочных продуктах».

25 апреля 1958 года отец снова выступал на Курщине, теперь по случаю вручения области ордена Ленина. В парадной речи он счел уместным упомянуть и о кампании по передаче коров на колхозные фермы. Повторив, что «продажа коров колхозу в условиях Калиновки оказалась весьма выгодной и государству, и колхозникам», он предостерег слушателей: «…в большинстве колхозов для этого не созрели условия, и было бы неразумно такое мероприятие проводить повсюду».

Не знаю, приходило ли такое сравнение в голову отцу, по мне все это напомнило сталинское письмо «Головокружение от успехов», написанное в тридцатые годы на пике коллективизации. В нем автор осудил «перегибы» на местах. Люди вздохнули чуть свободнее, но выдохнуть не успели. Вскоре все вернулось на круги своя. Сходство усиливалось публикацией в «Правде» 27 августа, через полгода после осуждения «секретарей Приморского и Мелитопольского райкомов партии», статьи под заголовком «Победа нового. Добрый совет». В ней автор, ссылаясь все на выступление отца в Калиновке летом 1956 года, а не весной 1958-го в Курске, настойчиво советовал крестьянам отдать своих коров, конечно, добровольно, ведь «у колхозников они неухоженные, а в колхозе сытые, довольные и молока дают больше».

Тети-Паниной корове повезло, по каким-то нам неизвестным причинам ее не зарезали, оставили на колхозной ферме. Наверное, надои молока у нее были больше и жирнее. После выхода Постановления всех оставшихся коров вернули прежним хозяевам. Но в каком виде? Корова тети Пани запомнилась Вале исхудавшей, изголодавшейся и практически без молока. Помаялась тетя Паня с коровой, попыталась ее снова раздоить, но неудачно, и продала. Теперь уже не колхозу, а просто на колхозном рынке. Семья просуществовала без молока год, а потом тетя Паня купила козочку. Благо коз не трогали, они в соревновании с США не участвовали. На следующее лето козочка выросла в козу, доилась, бодалась, нещадно объедала огород, как собственный, так и соседские. Заборов между подворьями на селе тогда не городили. Молока, конечно, коза давала меньше коровы, не тот калибр, но себе хватало, а вот на молокозавод оно из крестьянских хозяйств больше не поступало.

«Культ личности»

Никто тогда не усомнился ни в правоте отца, ни в своевременности его «коровьей» инициативы, наоборот, она

«получила всеобщую поддержку». Газеты 1958 года пока еще в открытую не славословили отца, но в ближнем кругу соратников вовсю звучал столь привычный в России хор сладкоголосых восхвалителей-подхалимов. Отец все больше становился объектом того, что он сам недавно применительно к Сталину осудил как культ личности. После отставки отца Брежнев и иже с ним обвинят Хрущева в возведении собственного «культа личности» и тут же начнут выстраивать свой.

Я не знаю, кто придумал термин «культ личности». Применительно к политику и политике «культ личности» — термин неудачный, не объясняющий, откуда и как возникла сталинская деспотия. Культ верховного правителя, вернее, его восхваление — ее следствие, а отнюдь не причина. Другое дело культ певца, балерины, поэта. Можно говорить о культе личности оперного баса Федора Шаляпина, лирических теноров Сергея Лемешева, Ивана Козловского, кумиров эстрады Аллы Пугачевой или Майкла Джексона. Тут и неистовое восхищение талантом, и купленные на последние рубли шикарные букеты цветов, и стояние под окнами. Это — настоящий культ личности, культ таланта, возведенного толпой на пьедестал.

Славословие в адрес правителя, им самим или его окружением инициированное, отрепетированное, преследующее абсолютно конкретные «земные» цели вряд ли правомочно называть «культом». Какой это «культ», если на многолюдных митингах и демонстрациях призывы, звучащие из мощных динамиков, сопровождаются громом не спонтанных, а заранее записанных на пленку аплодисментов. Стоящим на площади людям остается только сопроводить их своими, никем не услышанными хлопками в ладоши и выкриками. Во время торжественных заседаний специально рассаженные в зале натренированные хлопальщики и кричальщики побуждают присутствующих к аплодисментам, вставанию и другим выражениям восторга. Когда надо и сколько надо.

Могут возразить, что и театральные кумиры пользуются подобными приемами, а политические лидеры и сами по себе привлекают к себе толпы людей, жаждущих хоть глазком взглянуть на президента или премьера. Все это так, но «некультовому» певцу или актеру никакие заранее оплаченные «хлопальщики» не помогут, отхлопают они свое, и дело с концом. Президенты, собирающие толпы на пути следования своих кортежей — скорее объект любопытства, а не восторга.

Естественно, попадаются и среди политиков объекты, вызывающие культовое поклонение толпы. Кадры кинохроники запечатлели толпы немцев и итальянцев на площадях Берлина и

Рима, заходившихся в иступленной любви к Адольфу Гитлеру или Бенито Муссолини. Их невозможно заподозрить в неискренности. В определенной степени к таким же лидерам относится и Сталин. В определенной степени потому, что, в отличие от Муссолини и Гитлера, Сталин не рисковал, особенно в последние годы, появляться перед большими скоплениями «не проверенных заранее» людей, перед толпой. По своей природе человек трусливый, он толпы боялся. И тем не менее, в народном поклонении Сталину отказать нельзя.

Все они, и Гитлер, и Муссолини, и Сталин — талантливые актеры, тщательно репетировавшие свою роль, свое появление на «публике». Они выверяли каждое слово, каждый жест, каждую паузу, заботясь о том, как «зрители» воспримут их, подчинятся их актерскому таланту. Полюбопытствуйте, сколько времени тратил Сталин, многократно правя перед публикацией в «Правде» свои самые ординарные тосты на банкетах. Можно насчитать до десятка вариантов.

Я уже не говорю о серьезных выступлениях, тут составлялись полновесные сценарии явления вождя народу. Политические лидеры такого типа своими повадками и приемами не отличаются от кумиров сцены. Не отличаются и, одновременно, очень даже отличаются. В отличие от обычных актеров, актеры-властители не полагаются на переменчивую симпатию толпы, они тщательно следят за своими зрителями, «выпалывают» из их рядов не только недовольных, но и не проявляющих надлежащего энтузиазма. Их «культ личности» зиждется не только на поклонении, но и на страхе, который со временем преобразуется в еще более истовое рабское преклонение. Только по достижении гармонии «винтика и мастера с отверткой в руке», раба с хозяином, когда рабство более не тяжелая ноша, а хозяин олицетворяет собой «божество», можно говорить о «культе личности» политика.

Говорить же о культе личности политика, превозносимого его собственным «ближним» окружением, восхваляемого его собственной печатью и одновременно героя сочиняемых народом анекдотов, — несерьезно. Анекдот, не влекущий за собой неотвратимого и жестокого наказания, делает культ такой личности невозможным. Анекдот без наказания — это первый шаг к освобождению, если хотите, к демократии. А демократия и культ личности несовместимы, как несовместимы гений и злодейство.

Так что в Советском Союзе XX съезд партии на самом деле покончил с культом личности. С культом-то покончили, но режим оставался по своей сути старым: авторитарно-монархическим с

присущим ему ритуальным восхвалением и власти, и властителя.

Между царизмом и марксизмом

Подобострастное отношение к правителю в российском авторитаризме выстраивалось веками. Царь, император, самодержец величал себя Божьим помазанником, говоря современным языком, поддерживал культ собственной личности до тех пор, пока Россия не разуверилась в его «непогрешимости». Тут и грянула революция, положила конец и «божественности», и «непогрешимости». Отторгнув конкретных носителей тогдашней абсолютной власти, династию Романовых, революция не изменила ни саму абсолютную власть, ни восприятие ее россиянами. Сидевший в Московском Кремле человек подсознательно ощущал себя царем, помазанником, теперь уже не Божьим, а народным. Так же воспринимался он и большинством своих подданных, скинувших никчемного Николашку и усадивших на его трон настоящего, пролетарского царя Владимира Ленина. И похоронили его «по-царски», даже более того, «по-фараонски». Сталин пошел дальше, он сознательно равнялся то на царя Ивана Грозного, то на Петра Великого. На вопрос своей престарелой матери: «Кто же ты теперь, Иосиф?» Сталин без колебаний ответил: «Царь». И отец унаследовал этот «титул». Односельчане его тоже величали «царем». Но сам он себя, если и ощущал царем, то царем-освободителем, царем-реформатором.

Тут естественен вопрос: «Какой царь? Какая монархия? И отец, и Сталин, и Ленин, при всех их различиях — революционеры, исповедовавшие марксистскую теорию, по ее лекалам кроившие будущее страны. Разве правомочно выстраивать в один ряд марксизм и монархию?» Так-то оно так и одновременно не так.

Теория, пусть самая правильная, самая марксистская или самая демократическая, не способна в одночасье изменить образ мышления, менталитет народа. Не марксистская идеология преобразовала Россию, она сама смутировала, адаптировалась к российскому самосознанию, своими корнями нисходящему к еще византийским имперским традициям обожествления цезаря-кесаря-царя. Восточная деспотия Сталина, либеральный авторитаризм реформатора-Хрущева, ленивая бездеятельность брежневского застоя, если поскрести их, то обнаружится, что они опираются все на тот же, казалось бы, давно разрушенный византийско-российский монархический фундамент, а не на теоретические заветы марксизма-ленинизма.

И это не только российский феномен. Народный Китай перетолковал марксистскую теорию на своей, конфуциано-китайско-имперский манер. Северокорейский «марксизм», они и назвали его по-своему «чучхе», отражение чисто корейского самосознания, одинаково далекого, как от «истинного» марксизма, так и от его российской интерпретации. У кубинцев сквозь марксистские лозунги проглядывают черты привычной им центральноамериканской диктатуры.

Испокон веков в Византии, а потом в России, слово государя оставалось несоизмеримо весомей любого закона. Оно и понятно, — законы издавались, изменялись, отзывались, применялись, или не применялись по воле государя. И правители, и подданные привыкли: «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Народ полагается на «добрую волю» правителя, а не на писанный неизвестно кем и когда закон.

— Все законы в России плохи, — сожалел в XIX веке Салтыков-Щедрин. — Одно хорошо, внимания на них никто не обращает.

Так было, и так, к сожалению, осталось. Воля государя, как бы мы его ни именовали, главенствовала и главенствует в России над любым писаным законом, в том числе и воля, требующая уважения этого самого закона, Конституции. Пока есть на то воля государева, будут уважать, но только пока она есть. В этом основное отличие от демократии, где Конституция, Закон — всему голова, и даже самые благие намерения государя, если они нарушают закон, пусть и устаревший, априори преступны. Сначала измени закон, не единолично, а проведя его через парламент, а уже потом твори добро.

Россия уже давно не монархия византийского образца, в стране формально главенствует Конституция, президента выбирают всеобщим голосованием, парламент принимает законы, за их исполнением следят суды всех уровней, включая Конституционный, не говоря уже о телевидении и прессе. О каком всевластии Государя можно вести речь? Действительно, все атрибуты демократии на лицо, но именно атрибуты. Пока в парламенте главенствует партия власти, партия государя, полностью от него зависящая, вместе с ним возникающая на политической сцене и вместе с ним сходящая с нее, следует говорить лишь об имитации демократии, имитации демократических процедур, тогда как истинная власть остается в руках государя. Вспомните, как, начиная с самой первой конституции, каждый новый российский властитель считал обязательным принятие собственной. Не государь жил по конституции, а конституция приспосабливалась к норову

государя. Только от государя зависело и зависит, пожелает ли он править бессменно или ограничит себя какими-то рамками. Только от государя зависит, «получит ли» он большинство голосов на выборах или позволит победить оппоненту. Другими словами, только от его, государевой, воли зависит будущее страны, подчинится ли он по доброй воле главенству Закона, только от него одного зависит, пойдет страна к демократии или повернет вспять к монархии.

Консервативное по своей сути большинство народа охотнее поддержит возврат к привычному, старому, чем перемены к новому. Народное самосознание меняется, но меняется медленно, в течение десятилетий, и не само по себе, а вслед за изменением структуры власти, под ее целеустремленным давлением.

Россия в этом не уникальна. На заре американской демократии будущее Соединенных Штатов тоже зависело от воли единственного человека. Америка предложила генералу Джорджу Вашингтону королевскую корону, однако он нашел в себе силы от нее отказаться и тем самым выбрал судьбу свой страны. Как мы теперь знаем, завидную судьбу. Этот выбор, дав свободу народной инициативе во всех сферах — политической, экономической, технической, предопределил мировое лидерство США. Если бы Джордж Вашингтон тогда не пошел наперекор традиции, в мире появилось бы еще одно захудалое королевство. И не более того.

Так что и будущее России всецело зависит от воли государя. Сохраняющаяся в своей первозданности единоличная власть, как ее ни назови, предопределяет атмосферу сладкоголосого восхваления первого лица. Благоденствие «свиты», ближнего круга, зависит только от благорасположения «государя». Каждое его слово сопровождается искренним или не очень искренним одобрением. В результате «государь» остается наедине с собой — сам себе прокурор, сам себе судья, сам себе «сдержка и противовес», что противоречит природе вообще и человеческой природе в частности. Человек сам не способен ни раскритиковать, ни отвергнуть рожденные им самим в долгих раздумьях и сомнениях новации. Противоестественно в ответ на «единодушное» одобрение соратников, воскликнуть: «Очнитесь! Меня, кажется, занесло не туда».

Дело еще более усугубляется и тем, что в условиях единовластия любые разногласия неизбежно переводят критика из соратников в оппоненты, а затем и в его противники. Дальнейшее зависит от личных качеств «государя»: один ограничится увольнением от должности, другому и тюремной камеры покажется недостаточно. Противоядие — демократическое разделение властей, когда «государь» уже и не

государь, а временный управитель, чье пребывание на Олимпе ограничено, а сам он окружен равными ему и от него на деле, а не на бумаге независимыми структурами: парламентом, судом, прессой. Оппозиция внимательно отслеживает каждый шаг правящего «государя», замечает и раздувает каждую ошибку, каждую оплошность, что не позволяет государственной системе пойти вразнос. Мудрый правитель учтет предупреждения, вовремя подправит свою политику, а неразумного упрямца попросту не переизберут в предусмотренный законом срок, сменят на оппонента, и он тут же сам превратится в оппонента новой власти. И так без конца…

Кто не гений?
(Отступление девятое)

8 февраля 1958 года в Кремле собрали интеллигенцию, и в отличие от мая прошлого года, не только «творческую». Наравне с драматургами, актерам, писателями, поэтами и композиторами, в Георгиевский зал пригласили ученых, конструкторов, инженеров-изобретателей. Сидели за длинными столами, выпивали, закусывали, выступали: Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Константин Скрябин, Константин Юон, Сергей Королев, Дмитрий Шостакович, Игорь Курчатов, Михаил Царёв и многие другие. От руководства страны, кроме отца, получили слово Булганин, Микоян, Ворошилов, Суслов.

Все прошло чинно. Технари цену себе знали. С правительством ладили. Занимались общим делом на благо страны. Физик-ядерщик академик Лев Андреевич Арцимович как-то пошутил: «Научные исследования — это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет». В результате прирастали мощью и благосостоянием и государство, и граждане, а ученые получали заслуженные награды и продолжали удовлетворять свое любопытство. На выступления Курчатова с Королевым присутствовавшие внимания не обратили. Мало кто знал, чем занимаются этот бородач и приземистый крепыш. Да и говорили они обтекаемо. В силу секретности ни Курчатов, ни Королев о своих занятиях не упомянули, ограничились набором расхожих выражений.

Справедливости ради отмечу, что выступления представителей творческой интеллигенции, как и выступление Хрущева, тоже не привлекли особого внимания. Разве что в перерыве между тостами кто-то дежурно прошелся по поводу «украинизмов» в речи отца да посмеялся над его приверженностью к кукурузе и панельным пятиэтажкам. Но это в

порядке вещей.

Обижаться на «творческих» интеллигентов бессмысленно, в отличие от технарей они — индивидуалисты, сосредоточенные на самих себе. Они не сомневаются в собственной гениальности и очень избирательно соотносятся с внешним миром. Они живут собой, в своем замкнутом, только им интересном мире, в истовой борьбе с «завистливыми и бездарными» собратьями, с «ничего не смыслящими в творчестве» руководителями их собственных союзов, с тупыми чинушами в государственных кабинетах и одновременно стремящимися оккупировать какой-либо кабинет. Исчезнет ощущение собственной исключительности — и пропадает весь кураж.

Я не говорю о людях действительно талантливых. В силу своего таланта они держатся в стороне от стаи, по современному — тусовки, на борьбу у них времени не остается. К слову, с властью эти люди обычно не конфликтуют, занимаются своим делом, предоставляя властям заниматься своим. Но среди «творческих» интеллигентов их меньшинство, и отношение к ним среди собратьев далеко «не однозначное». Одни считают их соглашателями-коллаборационистами, другие сомневаются, действительно ли они авторы собственных произведений. И все вместе их искренне не любят.

Неудивительно, что все усилия отца в наведении мостов с творческой интеллигенцией были обречены на неудачу.

Расходились из Кремля каждый при своем мнении: о самих себе, о начальстве, о коллегах.

День за днем

3 января 1958 года отец уходит в короткий отпуск, отправляется в Польшу «поохотиться» и побеседовать в дружеской обстановке с Гомулкой и Циранкевичем. Такая «охота», совместные прогулки или «отдых» на пляже — весьма успешная составляющая новой личной дипломатии отца, столь отличной от застегнутой на все пуговицы практики общения Молотова. В те годы подобное общение, позднее его окрестят «без галстуков», приживалось не без труда. В Министерстве иностранных дел ворчали: как можно вести переговоры с иностранцами без протокола, тем более на пляже? Отец в ответ только посмеивался, он знал, что делает.

По возвращении из Польши отец провел в Минске совещание с работниками сельского хозяйства

Белоруссии. Говорили о посевной, о мелиорации, об осушении болот, о новых сортах картофеля.

Тем временем в Москве гостила американская кинозвезда Элизабет Тэйлор. В Дом кино, он тогда занимал помещение нынешнего ресторана «Яр», поглазеть на знаменитость стремилась вся Москва. Те, кому билетика не досталось, толпились у дверей, охраняемых милиционерами. Однако газеты об Элизабет Тэйлор писали скупо, в те годы это считалось «нескромным».

9 января 1958 года в «Известия» опубликовали обширную статью Дмитрия Шостаковича «Ближе к народу. Размышление о творчестве».

11 февраля 1958 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, отменявший награждение военнослужащих орденами и медалями за выслугу лет. После десяти лет службы автоматически выдавали медаль «За боевые заслуги», за пятнадцать лет — орден «Красной Звезды», за двадцать — «Красного знамени» и, наконец, за двадцать пять лет — высшую награду — «Орден Ленина». Ветераны войны ворчали: «Мы боевые награды заслужили, а тут их раздают, кому попало». Слухи эти докатились и до отца, и он распорядился: «Отменить». Отменили, справедливость восстановили, но поднялся ропот среди кадровых военных. Они требовали вознаграждения за свою честную и нелегкую жизнь. Паллиатив нашелся: за выслугу лет стали награждать специальным орденом «За заслуги». Тем же указом отменили автоматическое награждение колхозников за собранные пуды урожая. Отчитался за стопудовый (16 центнеров с гектара) урожай ржи или пшеницы — и получай Звезду Героя, и далее по нисходящей. Так установил после войны лично Сталин, ему казалось, что соотнося заранее установленные цифры урожая с наградами, он стимулирует труд. На самом деле стимулировались приписки или сосредоточение всех ресурсов на одном поле в ущерб остальным. Награды раздавались исправно, а средняя урожайность топталась на месте. Теперь старую практику признали порочной, решили награждать только самых достойных и по представлению коллективов. Количество «героев» на время сократилось, но ненадолго. Вскоре первые страницы газет вновь запестрели указами с длинными списками героических доярок, свекловодом,

комбайнеров. Наверное, самых достойных.

В марте и я получил свой диплом инженера-электромеханика, кстати, с отличием, и восьмого числа, в Международный женский день, его тогда еще не сделали выходным, вышел на работу в ОКБ-52 Владимира Николаевича Челомея.

11 марта 1958 года в Москве в Большом театре состоялась премьера балета Арама Хачатуряна «Спартак».

17 марта 1958 года отец встретился с американцами, приехавшими в СССР понаблюдать за процедурой выборов в Верховный Совет. Отец пообещал, что американцам посодействуют, они смогут убедиться, что выборы у нас соответствуют общепринятым в мире процедурам. И они увидели все, что захотели: избиратели дружно проголосовали, бюллетени оперативно подсчитали, выборы прошли без нарушений.

18 марта 1958 года газета «Известия» сообщила о сокращении смертности в СССР, в первую очередь детской. Если в 1913 году, до революции, на 1 000 новорожденных приходилось 273 смерти, то в 1940 году — уже 184, а в 1957 году — 45 смертей.

24 марта 1958 года отец — в Большом театре. В тот день давали балет Алексея Мачавариани «Отелло» в постановке Тбилисского театра оперы и балета.

1 апреля 1958 года газеты опубликовали Постановление ЦК КПСС, правительства и профсоюзов, вводившее в действие прошлогоднее решение о переходе на семичасовой, а в особо тяжелых цехах на шестичасовой рабочий день. Пока только в металлургии, химии и некоторых других отраслях промышленности. Через полгода, 4 ноября, новым Постановлением к ним присоединят и всех, кто занят на вредном производстве.

Постановление также предписывало уменьшать разрыв между высоко— и низкооплачиваемыми работниками, повышая тарифы последним. Согласно марксистской теории, следовало всех, по возможности, в оплате уравнять, в коммунизме все должны жить одинаково зажиточно и одинаково счастливо. Одновременно декларировался переход от повременной оплаты к сдельщине, с повышением ее доли до 75 процентов. Тут возникало противоречие: сдельщина, стимулирующая труд, предопределяла большую оплату за лучший результат и тем самым противоречила

коммунистической догме. Сердцем отец исповедовал идею всеобщего равенства. Однако в реальной жизни люди за лучшую работу требовали более высокую оплату. И отец в своих выступлениях тоже ратовал за усиление материальной заинтересованности. Объединить принцип всеобщего равенства с эффективным трудом не получалось.

В тот же день, 1 апреля 1958 года, Президиум ЦК отменил Постановление и письмо ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1951 года об «ошибках» Хрущева в области сельского хозяйства, осуждавшее идею агрогородов, строительство которых, как считал Сталин, отвлекло бы крестьян от их основной обязанности — работы на полях и снабжения страны продуктами питания.

Отец тогда покаялся, признал свои «ошибки». При жизни Сталина агрогорода больше не поминали, и считалось, что отец еще легко отделался. После его кончины отец практически не касался «больной» темы, но старое Постановление продолжало саднить его сердце. Теперь с ним покончили. Правда, не навсегда. И по сей день находятся недобросовестные люди, пытающиеся приписать отцу чужие, сталинские, антикрестьянские идеи. Делается это умышленно, и объясняться с ними бесполезно. Бог им судья.

Ван Клиберн

18 марта 1958 года открылся Первый Международный конкурс музыкантов имени Чайковского. Еще пять лет назад такая возможность никому и в голову не приходила. Да никто бы к нам и не поехал. Теперь «их» пригласили — «они» приехали, и ничего не случилось. Вернее случилось: на конкурсе лучшим исполнителем Первого концерта Чайковского стал молодой вихрастый 23-летний техасец Харви Ван Клиберн. Он выделился сразу, с первого подхода к роялю.

11 апреля в третьем туре Ван Клиберн играл первым. Переполненный Большой зал консерватории устроил бурную овацию, длившуюся несколько минут. Зал скандировал: «Первая премия, первая премия». В нарушение правил, жюри конкурса, все его члены, стоя аплодировали исполнителю. В Министерстве культуры забеспокоились. «Вокруг выступления Вана Клиберна создается ажиотаж, неверное настроение среди некоторой части музыкальной общественности о якобы возможной необъективности оценки его творчества», — докладывал в ЦК

заместитель министра С. В.Кафтанов. В ЦК возникла идея разделить первую премию между Ван Клиберном и его советским конкурентом, тоже отличным пианистом Львом Власенко. В свою очередь, Кафтанов осторожно предупредил, что ничего, кроме вреда и позора, эта затея не принесет, авторитет Московского конкурса будет похоронен навсегда.

12 апреля 1958 года о назревающем скандале доложили секретарю ЦК Фурцевой. Недавно, 24 января, Московская партийная конференция благословила ее на полный переход в ЦК, и там она теперь, несколько потеснив Суслова, занималась культурой. Екатерине Алексеевне предстояло решить, станет ли Ван Клиберн единственным победителем конкурса или разделит победу с Власенко. Идеологи, в том числе и Суслов, считали победу американца своим идеологическим, поражением. Они даже попытались прощупать почву, неофициально побеседовали с советскими членами жюри — пианистом Эмилем Гилельсом и композитором Дмитрием Кабалевским, но наткнулись на решительный отказ. Кабалевский, вслед за Кафтановым, заявил, что такое решение — смертный приговор конкурсу, и он без письменного указания ЦК за него голосовать отказывается.

Суслов побежал к Хрущеву, но Фурцева его опередила, ей не хотелось брать на себя ответственность за окончательное решение, и она тоже пошла советоваться. Когда Суслов вошел в кабинет, отец читал справку Кафтанова, Фурцева расположилась рядом. Суслов присел напротив нее по другую сторону стола. Фурцеву он не любил, к тому же ее переход в ЦК рассматривал как подкоп под собственные позиции. Закончив чтение, отец вопросительно посмотрел на Суслова.

— Жюри настаивает на Клиберне, но… — начал Михаил Андреевич.

— Кафтанов прав, если мы попытаемся нажать на жюри, произойдет катастрофа, его иностранные члены просто развернутся и уедут из Москвы, — перебила его Фурцева.

— Он же американец! — не сдавался Суслов.

— Но школа игры у него наша, российская, Клиберн учился в США у профессора Левиной, а она, в свою очередь, выходец из школы Сафонова, — вновь вмешалась Фурцева. Она хорошо подготовилась к разговору.

Суслов попытался продолжить, но отец уже принял решение.

— Раз жюри настаивает, то не надо нам вмешиваться. Они профессионалы. А то, что победил американец, даже хорошо, покажем миру нашу непредвзятость, — подвел итог отец и улыбнулся.

Суслов подавленно молчал.

— У вас все? — сухо осведомился отец. Посетители откланялись. На следующий день, 13 апреля, огласили результаты. Победил Ван Клиберн.

В США, особенно в Техасе, это известие вызвало восторг, но еще большее впечатление оно произвело в Москве. Ван Клиберн в одночасье стал кумиром всей Москвы.

Вечером 14 апреля призеры давали заключительный концерт в Большом зале консерватории. Клиберн играл отлично, отец слушал, умиротворенно склонив голову на бок, почти упираясь подбородком в руки, лежавшие на барьере ложи. У меня сохранились фотографии: Клиберн у рояля и слушающий его, затаив дыхание, отец. Рядом с ним сидит королева Бельгии Елизавета, та самая, с которой так неудачно переписывался Ворошилов. Она специально приехала на конкурс.

На самое последнее из нескончаемых бисирований Клиберн сыграл «Подмосковные вечера». Зал, сдержанный зал Московской консерватории, ревел. Наконец, все успокоились, потянулись к выходу, а отец пошел за кулисы знакомиться с «американским чудом». «Чудом» оказался тощий, улыбчивый, почти на две головы выше отца юноша. Отец обнял Клиберна и, улыбаясь, задрал голову. Сверху, в ответ, улыбался Клиберн.

— Дрожжами вас там, что ли, кормят в Техасе? — пошутил отец.

Клиберн не понял перевода, при чем тут «дрожжи»? Улыбка его стала недоуменной. Пришлось объяснить.

Через четыре года, в 1962 году, Клиберн вновь приехал в Москву, теперь уже почетным гостем Конкурса имени Чайковского. Москва ждала его с замиранием. После завершения конкурса Ван Клиберн почти два месяца концертировал в разных городах и в середине июня вернулся в Москву.

В субботу, 16 июня, Клиберн вновь играл в Большом зале консерватории. Отец, как и в 1958 году, снова был на его концерте. После концерта он пригласил пианиста на дачу в Горки-9, где они провели вместе целое воскресенье, гуляли над Москвой-рекой, потом прокатились на катере, пообедали. Но это совсем другая история.

В 1999 году я выступал с лекцией в Техасе, в Далласе, за ней последовал благотворительный обед, собирали деньги на городской музей-мемориал президента Джона Кеннеди. На обеде мне довелось после 37-летнего перерыва повстречаться с Клиберном, погрузневшим и постаревшим, но с такой же обаятельной улыбкой. Мы обнялись, я назвал его правильно — Клайберном, он в притворном ужасе замахал руками: «Нет, нет, я — Клиберн, для русских я всегда Клиберн». Он подошел к роялю

и заиграл «Подмосковные вечера».

Потом устроители обеда рассказали мне, что пианист недавно похоронил мать, которую очень любил, живет отшельником, никого не принимает, никуда не выезжает. На обед его выманили только фамилией «Хрущев».

«Комсомольский призыв»

15 апреля 1958 года открылся XXIII съезд комсомола. Съезд как съезд, ничего особенно примечательного. Разве что в своем протокольном выступлении-напутствии молодежи отец снова вернулся к взаимоотношениям общества и государства.

«Мы говорим, что при коммунизме государство отомрет. Какие же органы сохранятся? Общественные! Будут ли они называться комсомолом, профсоюзами или как-то по-другому, но это будут общественные организации, через которые общество будет регулировать свои отношения. Надо сейчас расчищать пути к этому, приучать людей»…

Сказанное не удовлетворило в первую очередь самого отца: заменить-то они заменят, но как? И в чем разница? Последние месяцы он все чаще возвращался к этой, затронутой Гришиным на прошлогоднем Пленуме ЦК, проблеме. Если государство по мере приближения к коммунизму должно отмирать, то кто же тогда озаботится выполнением производственных планов? И кто вообще составит эти планы? Кто проследит за порядком в стране? Кто займется уборкой улиц, наконец? И как быть с преступниками? Основоположники говорят, с ростом сознательности преступность пойдет на убыль… Но пока она не исчезнет, кто-то обязан ловить жуликов?

Человека, склонного к прикладной деятельности, отца не удовлетворяли философские сентенции: по мере продвижения вперед все образуется само собой, «незримая рука» коммунистической сознательности все поставит на место. Отец пытался себе представить будущее без государства, но у него не очень получалось. Конечно, можно заменить названия, но суть-то останется прежней. Так он ничего и не придумал.

Летом 1958 года отец пригласил на дачу Пономарева. Борис Николаевич, тертый калач, крайне осторожный, юлил, уходил от прямого ответа, сыпал цитатами из Маркса и Ленина и запутал отца вконец. Получалось, что процесс отмирания государства, постепенный и поначалу незаметный, уже начался. Профсоюзы уже берут на себя какие-то государственные функции, заботятся об отдыхе граждан, совместно с комсомолом занимаются воспитанием детей и многим другим. По сути дела, он повторил

аргументы Гришина, прозвучавшие на декабрьском (1957 года) Пленуме ЦК, но в наукообразном виде.

Пономарев отца не то что убедил, но за неимением лучшего… Отец вскоре попытается осуществить его слова на практике, начнет перекладывать часть функций государства на плечи общественности. Но об этом чуть позже.

На Пленуме произошло еще одно, казалось бы, неприметное событие. Ставшего уже староватым для комсомола, сорокалетнего Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Николаевича Шелепина сменил тридцатичетырехлетний Владимир Ефимович Семичастный.

Шелепин ушел в ЦК КПСС заведовать отделом партийных и всех иных руководящих кадров. Это одна из самых важных и престижных должностей в высшей иерархии тогдашней власти. Традиционно заведующим кадрового отдела ЦК становился человек, пользующийся полным доверием «Первого». Оно и понятно: министры, секретари обкомов, командующие военными округами, армиями, флотами и не только они, подбирались, просеивались через сито его аппарата. Заведующий отделом во многом определял будущий расклад во власти.

Шелепина нельзя назвать человеком отца, скорее наоборот. Он рос и воспитывался в рядах сталинской бюрократии. Но иных тогда просто не существовало, а у Шелепина, считал отец, имелось одно неоспоримое преимущество: молодость. Поработает в ЦК, «оботрется», а там придет время испытать его и на практических делах, обкатать в обкоме или республике. А дальше?… Дальше видно будет. В общем, отец рассчитывал на Шелепина. Зря рассчитывал. Как показало будущее, Шелепин оказался одновременно бюрократом без живого управленческого чутья и твердолобым сталинистом. Недаром его прозвали «железным Шуриком».

С Шелепина начался «комсомольский призыв» во власть, омоложение-обновление партийного и государственного аппарата. Шелепину же представилась уникальная возможность расставить своих людей на важнейшие государственные посты.

Всемирная выставка

Весной 1958 года многочисленные делегации и, еще не очень многочисленные, советские туристы потянулись в Бельгию, в Брюссель, на открывшуюся там 17 апреля Всемирную выставку «Человек и прогресс». Туристы, как подобает туристам, ехали, чтобы поглазеть на заграничные диковины. Делегатам же от госкомитетов и совнархозов вменялось все разглядеть, разузнать

обо всех полезных для нас новинках, составить подробные отчеты. Некоторые из них, самые интересные, ложились отцу на стол. По прочтении он вызывал кое-кого из «экскурсантов» в Кремль порасспросить о заинтересовавших его деталях. Все это напоминало вояжи в Европу времен Петра I. И тогда царь посылал своих ближних бояр и дьяков набираться ума-разума в Голландию, а сам с гусиным пером в руках читал их реляции о тамошних чудесах и стремился прививать их на древо нашей российской жизни.

Побывали в Брюсселе и журналисты, и писатели, в том числе Корнейчук с Василевской. Они взахлеб рассказывали отцу об увиденных чудесах, о павильонах, о толпах, не только праздношатающихся, но и деловых людей, заключавших на выставке сделки. Отцу очень хотелось самому хоть одним глазком взглянуть на выставленные в Бельгии новинки, но в те времена такое абсолютно исключалось. Не то чтобы его в Бельгию не пустили бы. Пустили бы, и с удовольствием. Он сам не мог решиться поехать туда без приглашения, по-простому. Ни наше, ни западное общественное сознание до такого еще не доросло.

В процессе этих встреч как-то сама собой родилась мысль, что неплохо бы и нам устроить в Москве Всемирную выставку. Кажется, Аджубей подсказал, что сейчас как раз принимают заявки на 1967 год. Отец заинтересовался. Всемирная выставка представлялась ему как нечто подобное нашей Сельскохозяйственной выставке, только пограндиознее. Затея казалась стоящей и полезной. Можно обменяться опытом не во всесоюзном, а уже в мировом масштабе. Вскоре он от имени Советского правительства подписал заявку, и через положенное время, после прохождения процедуры многоступенчатых конкурсов, в начале 1960 года пришел положительный ответ. 10 июля Президиум ЦК принял окончательное решение, и после утряски всех бюрократических деталей 28 октября 1960 года газеты опубликовали Постановление Правительства «О проведении в Москве с 20 мая по 20 ноября 1967 года очередной Всемирной выставки». Разместить ее предполагалось на юго-западе, в районе новостроек.

Генеральным комиссаром выставки назначили Николая Павловича Дудорова. Напомню, что с января 1956-го по январь 1960 года Дудоров, профессиональный строитель, в прошлом заместитель председателя Моссовета, возглавлял Министерство внутренних дел. Подведомственные ему заключенные лагерей работали на многочисленных стройках, и Дудоров в МВД был на своем месте. Однако после XX съезда лагеря опустели, особо грандиозные стройки, такие, как туннель под Татарским

проливом с материка на Сахалин, закрывались одна за другой, а менее трудоемкие переходили в подчинение обычным, не лагерным, строительным министерствам.

В начале 1960 года МВД СССР вообще упразднили. Решили, что охраной общественного порядка удобнее заниматься на республиканском уровне, и возглавлять такое министерство следует милиционеру, а если и не милиционеру, то никак не строителю. Так Дудоров попал в устроители Всемирной выставки.

На проектирование, составление сметы, привязку участка ушло полтора года. Смета получилась впечатляющей. Требовалось благоустроить отведенный под выставку участок земли, проложить новые дороги и даже линию метро, возвести гостиницы, рестораны, павильоны должны построить страны-участницы. По самым скромным подсчетам подготовка к Всемирной Выставке обходилась не меньше миллиарда рублей. Летом 1962 года Дудоров пошел к отцу советоваться.

Проговорили они долго. Отец внимательно рассматривал чертежи, планы размещения павильонов. Все ему чрезвычайно нравилось. Однако когда Дудоров доложил о предполагаемых затратах, отец помрачнел. Он по опыту знал, если строитель говорит о миллиарде, то на самом деле получится три, если не все пять. Отец обескураженно посмотрел на Дудорова. Дудоров сердцем чувствовал, что не даст он столько денег на какую-то выставку, которой и жить-то всего полгода. Средства страны вкладывались в сельское хозяйство, в строительство жилья, в химизацию, в развитие Сибири. На пять миллиардов можно построить не один завод.

Отец принялся рассуждать.

— Москва — не Брюссель, а Советский Союз — не Бельгия. Они получают прибыль от выставки не на входных билетах, а на торговле и всевозможных развлечениях. У нас ничего подобного нет и не предвидится. К тому же, куда мы денем всех этих туристов? Не в студенческие же общежития их расселять? Люди не того калибра и не тех запросов. Придется строить гостиницы для иностранных туристов. А что с ними делать после выставки? На туристов из капиталистических стран пока рассчитывать не приходится, своих командировочных за государственный счет в такие гостиницы селить накладно.

Дудоров слушал отца молча, изредка кивал головой.

— Вот и получается, что окажемся мы со Всемирной выставкой в одном убытке, — заключил отец. — Как ни жаль, как ни неприятно, но придется отказываться. Пишите письмо устроителям, придумайте какую-то причину повесомее.

— Но, Никита Сергеевич, — попытался возразить Дудоров, —

придется заплатить неустойку, и уже мы кое-что потратили…

— Нет, нет, пока нас еще не засосало глубоко, надо отказываться. Потом хуже будет. Жаль, но пишите отказ, — подвел итог разговору отец.

Дудоров отправил соответствующее письмо. В Международном выставочном комитете удивились, такого еще в их истории не случалось. Замена Москве нашлась быстро. Всемирную выставку 1967 года принимала, кажется, Канада.

Поль Робсон и Сайрус Итон

Летом 1958 года в Москву приехал великий американский певец Поль Робсон. Иностранные визитеры еще только открывали для себя Россию, «страну для них совсем чужую», вот и Робсон, один из немногих почитателей нашей страны в США, решил посмотреть, каков же Советский Союз на самом деле. 29 августа отец пригласил его на Ливадийскую дачу, где он проводил свой отпуск. Они посидели под тентом на пляже, а потом вместе отправились в пионерский лагерь «Артек». Там произошло настоящее братание. Огромный черный человек для отдыхавших детишек олицетворял угнетенную Африку. Они окружили плотным кольцом Робсона и отца. Певцу пожимали руку, стремились его потрогать. На отца внимания почти не обращали. Потом дети пели Робсону, а Робсон — детям.

В тот год Поль Робсон стал кумиром не только артековцев, но и всей страны и как певец, и как человек. До конца своей жизни, он умер в 1976 году, Робсон тепло относился к нашей стране. У нас образ его постепенно тускнел, а к концу XX века отношение к Полю Робсону стало сначала пренебрежительным, а потом и откровенно враждебным. Помнившая Робсона интеллигенция невзлюбили его именно за то, что он любил Россию и их в том числе. Таковы парадоксы российского самосознания.

Вслед за Робсоном в Москву приехал еще один североамериканец: худощавый лощеный металлургический магнат, один из руководителей Кливлендской группы, миллиардер-диссидент Сайрус Итон. Искренне обеспокоенный будущим мира, он объединил под своими знаменами борьбы против ядерной войны ее противников — ученых, таких как Альберт Эйнштейн, Фредерик Жолио-Кюри, Бертран Рассел и многих других. Впоследствии это движение по месту первого собрания 7 — 11 июля 1957 года двадцати двух ученых из десяти стран в переоборудованной церкви деревни Пагоуш на Восточном побережье Канады, где у Итонов было имение, назовут Пагоушским. В 1995 году Пагоушское движение стало лауреатом

Нобелевской премии мира «За большие достижения, направленные на снижение роли ядерного оружия в мировой политике и за многолетние усилия по запрещению этого оружия».

1 сентября 1958 года Итон встретился с отцом в Кремле. Они сразу нашли общий язык. Отцу, как и Итону, претила война, разрушение.

В Вашингтоне Итона не привечали, но и отмахнуться от него не могли. Его просто старались не замечать. Как-то раз, я уже не помню в связи с чем, президент Эйзенхауэр в сердцах публично посоветовал не обращать на активность Итона внимания — он-де не пользуется в США никаким влиянием. Итона слова президента не на шутку задели. Об этой истории он рассказывал в моем присутствии отцу в 1959 году в Вашингтоне, где они снова встретились во время визита советской делегации в США.

— Представляете, господин Хрущев, Эйзенхауэр на весь свет объявил, что я — ничто, — обычно невозмутимый Итон на сей раз выглядел взволнованным. — Такого я спустить не мог, решил его как следует проучить. Тут подвернулся удобный случай. Президент представил Конгрессу на утверждение нового главу Энергетического ведомства, не последнего лица в администрации, он заправляет всеми атомными делами. Вот я и решил провалить его утверждение. Разослал сенаторам и конгрессменам, избранным от штатов, где располагаются мои заводы, просьбу голосовать против. Что тут началось! Ослушаться меня они не смели, но и ссориться с президентом боялись. Накануне голосования убежали из Вашингтона, попрятались по щелям, как тараканы. Думали, все обойдется. Я же зафрахтовал и разослал за ними по их штатам специальные самолеты и предупредил: кто не приедет или проголосует «за», пусть пеняет на себя. Прилетели в Вашингтон как миленькие, проголосовали как надо, президентскую кандидатуру провалили с треском. На следующий день я послал Эйзенхауэру телеграмму.

Итон не сказал, что он в ней написал.

— Белый дом мне не ответил, — закончил рассказ довольный собой и тем, как он утер нос президенту, Итон.

Меня рассказ Итона привел в восторг, такого от капиталиста я не ожидал. Отец же дипломатично перевел разговор на борьбу за мир. Обсуждать с Итоном его распри с Эйзенхауэром он не хотел, ведь он тут, в США, гость президента.

Осенью следующего, 1960 года, после скандала с американским самолетом-шпионом У-2, сбитым в районе Свердловска (Екатеринбурга), беспардонного вранья Госдепартамента, их отказа извиниться, отец демонстративно отправился в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН

уже не гостем американского президента, а его врагом. Но не допустить отца на свою территорию возможности не имел даже президент США.

Что и говорить, встречали отца в нью-йоркской гавани без красных ковровых дорожек, без официальных американских представителей. На причале толпились агрессивно настроенные журналисты, а среди них невозмутимо возвышался, как всегда подтянутый, Сайрус Итон. Он прилетел специально, чтобы встретить Хрущева.

День за днем

2 — 10 апреля 1958 года отец с официальным визитом в Венгрии. Прошло около полутора лет после подавления восстания в Будапеште, но, вопреки опасениям, встретили их дружески, отец постоянно норовил «пойти в народ», смешаться с толпой, пожимал руки, улыбался, шутил.

25 апреля он уже в Курске, объехал поля, вручил области орден Ленина и вечером улетел с аналогичной миссией в Киев.

30 апреля 1958 года отец на ВДНХ осматривает экспозицию мелиоративной техники. В те годы началось осушение болот, в первую очередь белорусских и полесских. Считалось, что на торфяниках особенно хорошо растет картошка и вообще овощи. Примерно в те же годы американцы осушили болота в штате Флорида, приспособили их под выращивание помидоров. Прошли годы, и тенденции поменялись, оказалось, что болота отнюдь не бесполезны, и через полвека американское государство выкупило у фермеров флоридские помидорные плантации, возвратило их в исходное состояние. Теперь в тех местах учрежден биосферный заповедник.

12 мая 1958 года отец выступает в Кремле на совещании по автоматизации промышленности, а я с подмосковного аэродрома Чкаловский улетаю в свою первую в жизни длительную командировку на ракетный полигон в Капустин Яр под Сталинградом.

30 мая 1958 года в первый коммерческий рейс отправилась «Ракета», спроектированное Ростиславом Алексеевым в Горьком единственное в мире судно на подводных крыльях. Вскоре они появятся не только на

наших реках и озерах, но и в Греции на Средиземном море и даже в Америке. Горьковское КБ удержит мировое первенство до 1990-х годов.

31 мая отец улетает в Софию на съезд Болгарской Коммунистической партии. В Москву он вернется только 9 июня.

10 июня утром отец разбирается с накопившимися за время его отсутствия делами, затем принимает делегацию общественных деятелей Великобритании, а вечером отправляется в Большой театр на спектакль парижской Гранд-Опера. Они привезли в Москву неизвестные нам современные одноактные балеты: «Наутеос» и «Сюиту в белом» Жака Леле и «Идиллию» Франсуа Серрета.

29 июня торжественно открыли шоссе Москва — Ленинград — Хельсинки, третью, после Минского и Симферопольского, современную автомобильную магистраль.

30 июня 1958 года на заседании Президиума ЦК отец предлагает запретить чиновникам разъезжать по стране в служебных салон-вагонах (о спецсамолетах тогда еще и не мечтали, использовать их «только в особых случаях), а в обычных поездках покупать билеты, как и все остальные граждане.

4 июля, в День независимости Соединенных штатов, посол Лоуэллин Томпсон выступил по московскому телевидению. Американцы считали это выступление своей пропагандистской победой, а отец — своей, на основе взаимности администрация США теперь обязана была предоставить эфир нашему послу.

На приеме в посольстве США отец в тот вечер отсутствовал, накануне вместе с президентом Чехословакии Антонином Новотным отправился в Ленинград. Там они посетили крейсер «Киров», а во второй половине дня, 4 июля отец выступил на Кировском заводе, призвал бороться с пьянством, советовал переходить с водки и бормотухи на сухие вина, благо производили их вдоволь, весь Крым, юг Украины, Молдавию засадили виноградом. Газеты, как водится, подхватили и растиражировали инициативу отца, но народ к его увещеваниям оказался глух. Культура «винопития» в России не прививалась.

6 июля отец возвратился в Москву, а 8-го утром улетел в Берлин, там его ожидали на съезде СЕПГ.

18 июля на Президиуме ЦК зашел вопрос о гимне, в последнее время из-за упоминания в тексте имени Сталина гимн исполняли «без слов», но бесконечно так продолжаться не могло. Отец поинтересовался: «Нельзя ли взять за основу нового гимна песню Исаака Дунаевского “Широка страна моя родная”»? Секретариату ЦК поручили организовать обсуждение, отобрать лучшее, опубликовать слова и ноты в «Правде».

В октябре-декабре 1958 года поручение выполнили, опубликовали, но дальше дело не шло. Слова сочиняли лучшие поэты, в том числе и Твардовский, музыку писали практически все значимые композиторы, включая Шостаковича, но гимна не получилось. Вопрос отложили на неопределенное время.

29 июля в Москве на Триумфальной площади (в те годы — площадь Маяковского) открыли памятник великому поэту XX столетия Владимиру Маяковскому, почти сразу ставший центром притяжения разбуженной оттепелью мятущейся молодежи, талантливых молодых поэтов — новых властителей дум новой эпохи.

Поэтические чтения у памятника Маяковскому доставят немало головной боли московским властям. Они попытаются «принять меры», но разогнать читающих и слушающих стихи без санкции отца не решатся. Памятник Маяковскому вскоре станет символом духовного освобождения. К сожалению, ненадолго. После 1964 года несанкционированные выступления на площади Маяковского запретят.

В августе в Тихий океан отправилось исследовательское судно Академии наук СССР «Витязь». Корабль небольшой и невзрачный, но первый. Вскоре в Советском Союзе построят целую научно-исследовательскую флотилию, по значимости вторую после США.

Жилищные кооперативы

26 июня 1958 года отец, прихватив с собой Козлова с Полянским, без предупреждения заезжает на постоянную Строительную выставку, что на Фрунзенской набережной. Визит внеплановый, и на выставке не оказалось никакого другого начальства, кроме директора. Он и давал пояснения, показывал макеты малогабаритных квартир, последние модификации деталей панельно-сборных домов. Ничего принципиально нового для себя отец среди экспонатов не обнаружил. Панельное домостроение стало рутиной, такой же, как сборка автомобилей на конвейере. Технология производства стен, лестничных пролетов, перегородок устоялась, а как сделать дома привлекательными для глаза и жизнь в них удобнее — забота архитекторов и дизайнеров.

Отец задержался у диаграммы роста объемов вводимой в эксплуатацию жилой площади, количества предоставляемых людям новых квартир. Картина впечатляющая, кривая резко уходила вверх. Слушая рассказ директора выставки, отец удовлетворенно кивал и тут же, обращаясь, главным образом, к своим спутникам, заметил, что всего этого недостаточно. При таких темпах, даже при существующих нормах, перспектива разрешения жилищной проблемы растворяется в далеком будущем, уходит за 1980 год. И это без учета ежегодного прироста населения, а оно и сейчас не маленькое, три с лишним миллиона в год, а в будущем еще увеличится. Нового прорыва в технологии сборки домов, считал отец, ожидать не приходится, конструкторы достигли своего потолка, собирают из деталей дома, как в детском конструкторе. Единственный выход — ввод в действие новых домостроительных комбинатов, другими словами — привлечение новых капиталовложений и, естественно, экономия на всем, сосредоточение всех ресурсов на главном направлении.

Тут отец вспомнил о кооперативах. Собственно, вспомнил он о них еще год назад, по его инициативе 26 мая 1957 года Президиум ЦК поручил Правительству представить предложения о возрождении забытой практики жилищно-кооперативного строительства. Первые кооперативы появились в нашей стране в 1924 году. Имевшие средства граждане получали возможность обзавестись жильем за собственный, а не государственный счет. Кооперативы просуществовали, и весьма успешно, до 1937 года, когда Сталин посчитал их анахронизмом, ненужным наростом на теле социализма. Он провозгласил тогда полную победу

социализма в Советской стране, победу общенародной формы собственности. Кооперативы формально не запретили, перестали выделять на их строительство лимиты, материалы, а на самих кооператоров смотрели как на потенциальных жуликов. Откуда у советского человека могут взяться такие деньги? В результате в 1947–1952 годах в общем мизерном объеме жилищного строительства кооперативное составляло чуть больше процента, один-два дома в год на всю страну.

Люди со связями в кооперативы и не стремились, они их использовали для получения вне очереди и в порядке исключения государственного жилья. В свою московскую бытность, в 1950–1952 годах, отец не раз подписывал такие прошения, то известному кинорежиссеру, то прославленному конструктору, то знаменитому артисту. Почти все они, по его мнению, могли поднапрячься и построить квартиру на свои. И вот теперь, ради дополнительных квадратных метров жилья, экономя на всем, на высоте потолков, размерах кухонь и туалетов, отец подбирал по крохам все доступные ему резервы. Он не считал, что кооперативы дадут существенный прирост в строительстве нового жилья, особых средств у населения не имелось, но уменьшат конкуренцию за жилье людей сравнительно имущих с совсем неимущими. А это тоже чего-то стоит.

23 декабря 1957 года проект Постановления о возрождении жилищно-строительных кооперативов лег отцу на стол, а уже 30 декабря, под самый Новый год, он поставил его на обсуждение Президиума. В своем выступлении он предложил добавить к квартирным еще и дачные кооперативы.

20 марта 1958 года Совет Министров СССР принял Постановление «О жилищно-строительной и дачно-строительной кооперации». Принял, но почему-то не опубликовал. Его текст разослали заинтересованным ведомствам, совсем не заинтересованным взваливать на свои плечи дополнительную, кооперативную, обузу.

В тот день, 26 июня, на выставке, отец попросил Козлова проследить, чтобы Постановление о кооперативах стало известно всем. 4 июля 1958 года краткую информацию неброским шрифтом опубликовала «Правда» на второй странице, в левом верхнем углу. Сейчас значение этого Постановления трудно оценить, а тогда разрешение практически любому сообществу граждан, но не менее чем из десяти человек, строить для себя жилые дома или дачные поселки, впоследствии переходившие в их собственность, правда, без права перепродажи (она сохранялась за кооперативом) прозвучало диссонансом, отдавало нэпом. Идеологи поморщились, но промолчали.

Кооперативное движение, изначально рассчитанное на узкий круг участников, быстро набрало обороты. Квартиры на собранные по крохам сбережения строили не только и не столько знаменитости — они по-прежнему предпочитали использовать связи, — в них вкладывали все свои накопления люди попроще. Тем более что Постановление разрешало недостающие до нужной суммы средства отработать на стройке своего дома. Тем самым, в какой-то малой мере, разрешалась проблема рабочих рук, их на стройках всегда не хватало, а небогатые люди получали дополнительный шанс обрести жилье. Кооперативы вскоре стали ощутимой составляющей в строительстве жилья, а в больших городах — Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Тбилиси — даже доминирующей. Они оттягивали на себя все больше дефицитных цемента, кранов, бульдозеров, квалифицированных рабочих. В результате на строительство кооперативов наложили ограничения, что противоречило первоначальной задумке отца и экономической логике максимального привлечения средств со стороны, инвестиций.

В строительстве дачных кооперативов государство никак не участвовало, выделяло через предприятие двенадцать соток и предоставляло «счастливчика» самому себе.

Местные власти берегли хорошую землю для колхозов и совхозов. На дачников смотрели как на обузу, выделяли им участки на самых что ни на есть бросовых землях: оврагах, болотах, заросших подлеском пустошах. Поступали они так не без задней мысли, самим культивировать неудобины недоставало ни сил, ни желания, а дачники, как муравьи, натащат земли, засыплют топи, ямы, буераки, все приведут в порядок, и на вчерашних пустырях зацветут сады.

В зависимости от достатка на участках возводили кирпичные или деревянные дома, домишки, сарайчики. Государство внимательно следило, чтобы размеры строений не превышали установленных когда-то и кем-то размеров ни по высоте, ни по площади да скупо отпускало через редкие строительные магазины необходимые материалы: цемент, шифер, доски, брус, гвозди, краску. Все по лимиту и качеством пониже, то, что не годилось для «настоящих» строек. Счастливчики отоваривались в магазинах, а кому не повезло, тащили, что могли и откуда удавалось, или покупали «левый товар» — украденный другими дефицит. Милиция лениво преследовала нарушителей закона, но всерьез обрушивалась лишь на тех, кто превышал негласно установленные пределы узаконенного воровства: брать только себе и понемногу. Тех, кто разворачивался всерьез, ловили и наказывали тоже всерьез.

Несмотря на все проблемы, дачный бум быстро создал дефицит земли, особенно вблизи крупных городов. Пришлось сократить размер участка вдвое, с двенадцати до шести соток, а затем и эти сотки начали нарезать за сто и более километров от Москвы и областных центров, в местах отдаленных не только от железных и шоссейных дорог, но и от поселков местного значения. Но дачники преодолевали все преграды. За право обрести садовый участок, все равно где и все равно какой, выстаивали в очереди годами.

Несмотря на все трудности и шероховатости кооперативный план помог миллионам получить жилье, зажить по-человечески. Кооперативы, строительные и дачные, оказались не подспорьем, а стали в значительной степени символом происходивших в стране перемен.

Всемирный конгресс архитекторов

В июле 1958 года в Москве собрался 5-й Всемирный конгресс Международного союза архитекторов. Руководители Союза попросили отца о встрече. Он с готовностью согласился. Архитекторы воспринимали отца как «своего», он определял градостроительную стратегию на одной шестой части земного шара. Пусть не всегда так, как им хотелось, но определял, и теперь представилась возможность откровенного разговора о перспективах жилищного и иного строительства. Отца, в свою очередь, интересовало, что думают приехавшие «оттуда» архитекторы, как они воспринимают индустриальную революцию в строительстве, насколько их мнения расходятся или совпадают с нашими или, точнее сказать, его мнением.

25 июля 1958 года кремлевский кабинет Хрущева заполнился гостями. Не считая своих, пришли двадцать человек, представлявшие девятнадцать стран. Каждой делегации позволили отобрать одного представителя, только для Франции сделали исключение. В дополнение к Полю Ваго, Генеральному секретарю Союза, добавили еще одного, рядового члена делегации.

«Я думаю, что самая приятная для человека работа, самая созидательная, самая благородная и интересная, — это работа архитекторов и строителей. Они делают жилье для человека, создают удобства, которые служат поколениям. После потребностей человека в пище и одежде, третья его нужда, и самая острая, — жилье» — этими словами отец открыл встречу и тут же предложил перейти к дискуссии.

Разговор получился занимательным. Отец напирал на

экономическую целесообразность, окупаемость, конкурентоспособность, недопущение «коммерчески убыточных» сооружений. «Квартиры, дом, — это же не картинки, которые на стену вешают, в них живут, — говорил он. — Надо прежде всего думать о человеке, которому жить в доме, о его удобствах. Надо стремиться к выгоде, к наиболее экономичным решениям. Вас к тому побуждает конкуренция, и нашим архитекторам надо у вас поучиться. У нас люди живут в подвалах. Если снизить высоту потолков с трех с половиной метров до двух с половиной, мы чуть потеряем в удобствах, но в год построим на 10 процентов жилья больше, обеспечим людей квартирами, скажем, не за десять, а за девять лет».

— Проблемы архитектуры во всем мире схожи, — отвечал отцу голландец А. Ж. Ван Ден Брок, — в области жилья мы строим индивидуальные дома в один-два этажа, четырехэтажные квартирные дома и башни этажей в двенадцать. Но одновременно следует создавать силуэт городу, тут приходится жертвовать экономикой, убытки финансируют муниципальные власти.

— Я считаю, в капиталистическом государстве коммерчески убыточные сооружения исключены, — не согласился с голландцем отец. — Если, к примеру, подарить нашему архитектору Леониду Михайловичу Полякову спроектированную им на Садовом кольце у трех вокзалов гостиницу «Ленинградская» и заставить его жить на доходы от нее, то он умрет голодной смертью.

— За идеи надо платить, — не согласился Ван Ден Брок.

Но отец платить за голые идеи отказывался, считал целесообразным лишь тот проект, который окупается, сулит выгоду. Иначе собственник, в нашем случае государство, прогорит, окажется банкротом.

Ван Ден Брок стоял на своем. И это естественно. Отец принадлежал к тем, кто из своего, пусть и государственного, кармана оплачивает расходы, а Ван Ден Брок к тем, кому за проект платят, и чем больше, тем лучше.

В заключение поговорили немного о силуэте Москвы. Отец посетовал на проблемы радиально-кольцевой структуры Москвы, для транспорта очень неудобной.

— Другое дело Одесса, там квадрат. Проект этого города разработал француз Ришелье, ему там и памятник поставлен. Хороший город, — подвел итог отец.

Гости выразили сомнение по поводу строительства гостиницы («Россия». — *С. Х.*) рядом с Кремлем и поинтересовались судьбой Дворца Советов.

Отец пояснил, что гостиницу построят на существующем

фундаменте сталинской высотки, она с Кремлем сочеталась бы еще меньше. Но не пропадать же фундаменту.

— Где предполагалось строить Дворец Советов, в фундамент закопали, наверное, миллионов триста, — продолжал он сетовать, — теперь там будет бассейн («Москва». — *С. Х.*), дорогое удовольствие, но другого выхода пока не придумали. Так фундамент сохранится, и в будущем на нем, возможно, построят силуэтное здание.

Пришла пора прощаться, гости вечером уезжали в Ленинград.

Без излишеств и украшательства

Не знаю, разговор ли с архитекторами или какие иные причины побудили отца в том году вновь, уже в который раз, вернуться к проблеме «излишеств» в строительстве, принять еще более строгие меры. Все увещевания, приказы строить только дешевое, народное жилье и ничего кроме жилья, не действовали. Местные власти старались незаметно урвать в свою пользу что только возможно: там возводили новое здание обкома или райкома, тут строили не панельный, а кирпичный дом для себя и для своих.

Разъезжая по стране, отец, завидев «нелегальные» постройки, уговаривал, выговаривал, устраивал разносы, а в следующий раз в уже ином регионе все повторялось. Хозяева старались проложить маршруты посещений так, чтобы самовольные новостройки, не попались отцу на глаза, но он неожиданно приказывал свернуть в сторону и выезжал как раз туда, «куда не следовало». Все объяснялось просто: местные жители писали в ЦК всё и обо всем, в том числе и о начальственном строительстве «под себя». Перед отъездом в регион отцу давали подборку писем с мест, так что он точно знал, куда его не повезут и куда ему следует ехать.

Наконец терпение у него лопнуло. 5 октября 1958 года вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об упорядочивании расходов денежных средств и материальных ресурсов на строительство административных, спортивных и других общественных зданий и сооружений». В нем подробно перечислялись «прегрешения» властей, возводящих административные и другие дорогостоящие сооружения, а также факты превышения размеров кабинетов, закупки для них дорогостоящей мебели, ковров, телевизоров и прочего. Постановление предупреждало: замеченных в подобном расточительстве ждет серьезное наказание.

Далее предписывалось «исключить из перечня сооружений, разрешенных к строительству, объекты, без которых пока можно

обойтись: административные здания, дворцы спорта, дворцы культуры, театры, цирки, клубы, стадионы, плавательные бассейны, выставочные павильоны, ведомственные дачи и другие здания не первоочередной необходимости, а высвободившиеся средства направить на строительство жилых домов, школ, больниц и детских учреждений».

Отец сам проверил полноту перечня, знал, чуть недоглядишь, и твоим недоглядом тут же воспользуются, а когда поймаешь, то «наивно» пояснят, что конкретно этот объект в запретительном списке не упомянут.

Об элитных домах для начальства после выхода Постановления больше и не заикались, положишь партбилет на стол, и это еще не самое страшное наказание. А партбилет тогда стоил дорого. Вновь назначаемых в Москву, даже самых высоких, руководителей, пристраивали за выездом старых жильцов в «сталинские» цековские дома постройки 1930-х годов. Начальников рангом помельче селили в панельные пятиэтажки. Подобная «демократичность» популярности отцу в их среде не прибавляла.

Недостроенные здания обкомов и райкомов переоборудовали под школы, больницы, детские сады. Пока голод на жилье не удовлетворится, строительство объектов культуры и других нежилых сооружений могли вести только с разрешения советов министров союзных республик. Отец понимал, что он перегибает палку, но знал, что любой строжайший запрет все равно попытаются обойти. И обходили.

Совет Министров РСФСР сам себе выдал разрешение на строительство на набережной Москвы реки, напротив гостиницы «Украина» здания «под себя». Проектировал его старый «знакомый» отца Дмитрий Николаевич Чечулин, в 1945–1950 годах главный архитектор Москвы, автор «сталинской» высотки на Котельнической набережной.

Стоило фундаменту показаться из-под земли, как по дороге с дачи на работу отец заметил неизвестную ему новостройку и попросил шофера завернуть туда на минутку. По приезде в Кремль он вызвал Полянского и учинил ему грандиозный разнос.

— Вы что, не понимаете, с Москвы вся страна берет пример, — выговаривал главе Российского правительства отец. — За вами потянутся и другие, начнут возводить свои дворцы в областях, и пошло-поехало.

Стройку заморозили. В «Белый дом» Российское правительство въехало только в 1981 году. Такая же участь постигла и строительство нового цирка на Ленинских горах. Его ухитрились разрешить Постановлением Союзного Правительства,

подписанного самим отцом, в последний момент внесли еще один пунктик в надежде, что он не заметит. Он и не заметил. В ту часть Москвы отец заезжал не часто, и возможно, цирк бы благополучно достроили, но тут «Правда» опубликовала на первой странице заметку и фотографию новостройки. Развернув утром газету, отец рассвирепел и тут же позвонил в обком. На свой гневный вопрос: «Кто позволил?», получил ответ: «Вы, Никита Сергеевич» — и рассердился еще больше. Строительство остановили в тот же день.

Вернувшаяся из сталинской ссылки Наталья Сац (отец ее хорошо знал и уважал) долго и безуспешно уговаривала его сделать исключение для детской оперы. Не сделал. «Коготок увяз, всей птичке пропасть», — повторял он.

До самой отставки отца простояли недостроенными коробки заложенных до войны театральных зданий, тех, где теперь размещается театр Сергея Образцова и МХАТ имени Горького.

Уже в конце своей карьеры он устроил скандал украинцам за строительство в Киеве республиканского Дворца съездов.

Прав или не прав был отец в своем усердии? Сколько людей — столько мнений. Люди обеспеченные, с квартирами и дачами, в один голос твердили, что Хрущев не прав, и очень. Бесквартирные отца поддерживали, но только до тех пор, пока сами не получали квартиры.

Наверное, в чем-то отец перебирал. Без театров, стадионов, выставок и бассейнов жизнь становится ущербной, неполной. Но вспоминая начавшуюся после него вакханалию административного, элитного и иного строительства, на долгие десятилетия оставившую миллионы людей без жилья, думаю, что в тех обстоятельствах он поступал правильно.

Всеобщая газификация

30 августа 1958 года вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О дальнейшем развитии газовой промышленности Советского Союза». Напомню, что в первые послевоенные годы добывалось всего около 5 миллиардов кубометров газа в год.

А геологи находили все новые и новые газовые месторождения: в Средней Азии, в Куйбышевской области, поговаривали и о Сибири. Появилась возможность газификации не только столиц, но и всей страны. Постановление предписывало: увеличить за 15 лет, к 1974 году, добычу газа в пятнадцать раз, довести ее до 320 миллиардов кубометров в год, построить газопроводы из Газли в Средней Азии, в Центральную Россию, из Ставрополя (Куйбышевское месторождение), на запад,

в Москву и прилегающие к ней районы и на восток, к Уралу. Карпатским газом обеспечить не только Украину, но и Белоруссию.

Конечно, тогдашние объемы добычи газа не сравнить с нынешними. В 1957 году добыли чуть больше 20 миллиардов кубометров газа, и весь он сжигался на кухнях, газификация промышленности началась позднее, после освоения сибирских месторождений. В 1990 году добыча газа составила 850 миллиардов кубометров.

Но началось все с Постановления 1958 года.

Власть народу?!

9 июля 1958 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление о производственных совещаниях на предприятиях. Вслед за ним Президиум Верховного Совета СССР 15 июля утвердил «Положение о правах фабричного, заводского местного комитета профсоюза» — пробный шаг к передаче власти в руки общественности. Следуя теории, предполагали в будущем передать управление предприятий триумвирату: технические решения вместе с директором станет принимать выборное Производственное совещание, а остальную ответственность директор разделит с профсоюзом. Примерно об этом говорил Гришин в декабре 1957 года на Пленуме ЦК, а затем отец — на съезде комсомола. Получилось не очень, формально решения принимали совместно, но их осуществлением фактически занимался единолично директор, с него же спрашивали и по государственной, и по партийной линии. А раз спрашивали с него, то и вся реальная власть оставалась в его руках. А Производственное совещание так и осталось только совещанием, пусть и с большой буквы.

Однако какую-то пользу нововведения принесли. Члены совещания, хотя и не решали, но знали, что на их предприятии делается и что собираются предпринять.

Абсолютно бесправные в недавнем прошлом профсоюзы получили возможность хоть как-то контролировать администрацию. До забастовок дело не доходило, они по-прежнему считались явлением чисто политическим, антисоветским и, следовательно, незаконным. Но и без забастовок, при известной настойчивости, находилась управа на зарвавшегося директора. Пусть маленький, но все же шажок к демократии.

Школа и жизнь

В июле отец разослал членам Президиума ЦК записку «Об укреплении связи школы с жизнью», получив одобрение, передал ее на всенародное обсуждение. О том, что в советской школе учеников учат не так, выпускников готовят к чему угодно, но только не к ожидающим их за порогом школы реалиям жизни, заговорили сразу после смерти Сталина.

Советская школа, пройдя в тридцатые годы череду бесконечных новаций и реформаций, после войны, с подачи Сталина, отказалась от политехнизации и взяла за пример классическую дореволюционную гимназию. Попытались реанимировать даже преподавание латыни. Но в гимназии раньше принимали учеников с большим отбором и только из определенных сословий. Выпускники гимназий шли прямиком в университеты учиться на адвокатов, врачей, филологов и прочим гуманитарным профессиям.

К поступлению в инженерные учебные заведения, до революции их называли высшими техническими, готовили реальные училища. Туда попадали дети из семей попроще, но тоже далеко не все. Остальные же ограничивались в лучшем случае, как и мой отец, церковно-приходской школой, а в худшем — оставались неграмотными.

Теперь вся страна училась в «гимназиях», а не поступившие в вуз выпускники оказывались не у дел. Конечно, оставались еще ПТУ и ФЗУ (производственно-технические и фабрично-заводские училища), там юношей и девушек обучали рабочим профессиям, но ПТУ и ФЗУ считались заведениями второразрядными, предназначенными исключительно для неудачников. С реальными училищами ПТУ не имели ничего общего. В инженеры их выпускники выбивались редко, шли прямиком к станку.

Отца завалили тревожными письмами, записками, докладами. Писали учителя, писали академики. Все послания заканчивались одним: надо что-то предпринять. И он решил действовать. В 1957 году в пятидесяти школах в разных регионах Советского Союза, в порядке эксперимента, без потерь для «гимназических» дисциплин, начали прививать детям трудовые в жизни навыки. Чтобы не перегружать и так уже перегруженных школьников, сроки обучения продлили, где на год, а где и на два.

Теперь, согласно опубликованному в газетах проекту реформы, если не вдаваться в детали, предполагалось «советскую гимназию» преобразовать в нечто схожее с американской средней школой, сделать обучение не просто прикладным, а конкретно прикладным. Отец предлагал отказаться от обязательной десятилетки, ограничиться семи-восьмилетним образованием, а в оставшиеся два-три года обучения совместить с трудом: в городах

— на заводах, в деревнях — на полях и фермах, что должно помочь выпускнику выбрать будущую специальность. А не поступившая в вуз молодежь, освоив рабоче-крестьянские профессии, тоже окажется при деле.

Предложения отца звучали логично, но для большинства как школьников, так и их родителей, — неприемлемо. Никто не хотел вместо университета идти вкалывать на завод. Проведенные на производственной практике год, а то и два считали безвозвратно потерянными. Посылать своих отпрысков работать на заводы или стройки московский бомонд категорически отказывался, аргументируя свою позицию тем, что за два «потерянных» года даже прилежные ученики всё перезабудут, а юноши, достигнув призывного возраста, загремят в армию.

В глубинке реформу встретили без неприятия. В сельских школах ни «гимназический» стиль не прививали, ни «летнюю практику» на колхозных полях и собственных подворьях не отменяли. Армия «сельских детей» тоже не страшила, в армию в России всегда набирали из крестьян — и при Петре Первом, и при Николае Втором, и при Сталине, и при Хрущеве.

Всенародное обсуждение продолжалось более года, газеты публиковали замечания, предложения, поправки, часть из них принималась, какие-то отвергались, но саму реформу никто под сомнение не ставил. Но это официально. В московских кулуарах школьную реформу единодушно почли за блажь и на чем свет стоит честили отца. Благо теперь за это не сажали.

В декабре 1958 года Верховный Совет СССР принял закон «О реформе образования». Но Россия — не Америка, законы тут умеют обходить все. «Общество» реформу заволынило. Школа «не реформировалась», а чуть-чуть перекрасилась на бумаге. Выпускники столичных школ отсиживались по разным конторам, набирали необходимый «рабочий» стаж и собирали справки, позволявшие уклониться от призыва на военную службу, а набрав и насобирав, правдами и неправдами проскальзывали в высшие учебные заведения. После отставки отца все вернулось на круги своя.

Рак, Спартак и Пастернак (Отступление десятое)

О Пастернаке я тогда мало что слышал, вернее, не знал ничего, что не делает мне, естественно, чести, но и особенно не огорчает. По своему складу я человек к поэзии равнодушный. Как и все, я почитал Пушкина с Лермонтовым, любил Есенина, учил в школе Маяковского, знал Симонова, Маршака и Твардовского, а о

Пастернаке помню только, как передавали из уст в уста, что впервые за много лет выходит книжка его стихов в «Библиотеке поэта» и надо ее обязательно купить. Но купить — еще не значило прочитать.

В 1958 году меня занимали дела от поэзии далекие и, на мой взгляд, более важные. То лето и осень я провел на ракетном полигоне в Капустином Яру, неподалеку от тогда еще Сталинграда. Для меня невозможно сравнить огненную феерию старта ракеты со стихом, даже самым лучшим.

Трагическая история Бориса Пастернака и происходившее вокруг него описано многократно и многокрасочно. Еще бы! Главные ее участники, с самого начала до самого конца, писатели, а кому же писать, если не им, особенно о себе, да еще когда так хочется оправдаться, а оправдываться есть в чем.

Добавить к уже написанному о «Докторе Живаго» мне почти нечего, с мая по конец декабря 1958 года в Москву я приезжал раз или два и на совсем короткое время. О копошении вокруг «Доктора Живаго» я что-то слышал, но урывками, и никакого значения услышанному не придавал. Но не писать я тоже не могу. История и для отца, и для всех нас вышла уж очень неприглядная. Я не хочу оправдывать отца, хотя многое прозвучит именно оправданием.

Дальнейшее изложение фактов базируется почти исключительно на чужих свидетельствах и чужих мнениях.

Что знал отец, а чего не знал? По большому счету это не так уж важно. Первое лицо в государстве, независимо ни от чего, отвечает за все.

Итак, по порядку. Как известно, Борис Леонидович Пастернак закончил «Доктора Живаго» в 1955 году. Над рукописью он работал более десяти лет и, судя по воспоминаниям знакомых, она ему надоела. 10 мая он пожаловался Чуковскому: «Роман выходит банальный, плохой — да, да, — но надо же кончить… Кончу роман и примусь за книгу стихов, свой однотомник». Чуковский отметил, что «…роман довел его до изнеможения… Долго Пастернак сохранял юношеский, студенческий вид, а теперь это седой старичок, присыпанный пеплом».

Скорее всего, Пастернак играл, желая таким образом подвести собеседника к разговору о романе. Не исключено, что он на самом деле устал. Ни Чуковский, ни сам Пастернак тогда и не подозревали, что этот роман принесет автору мировую славу.

Пока же Пастернак отнес один экземпляр рукописи в «Новый мир» Симонову, так как в еще 1946 году, только приступив к «Доктору», он заключил договор с журналом и получил аванс, другой отправил в издательство «Художественная литература».

Близко знавшая Симонова актриса Татьяна Окуневская свидетельствует, что Симонов Пастернака откровенно не любил. Пастернак платил ему той же монетой. Он ревновал Симонова к его оглушительной, шедшей от сердца народного, славе. Все повторяли наизусть симоновское «Жди меня», а «гениальные» строки Пастернака знала, и то нетвердо, кучка эстетов. Вот он и «выделял неприязнью» Симонова из всех прочих советских поэтов.

Неудивительно, что Симонов рукопись отверг. Конечно, по оценкам того времени «Доктор Живаго» казался непроходным, но не боялся Симонов непроходных произведений, напечатал же он в 1956 году «Не хлебом единым» Дудинцева. Он же протолкнул в 1968 году абсолютно непроходной роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Нравившиеся ему произведения Симонов пробивал, несмотря на все выставлявшиеся цензурой препоны.

Пожелай Симонов, и у Пастернака все могло бы сложиться по-иному. Он мог поставить роман в очередной номер своего «Нового мира» и дальше действовать по обстоятельствам. Он мог попытаться «решить вопрос» в отделах ЦК — там его знали и к нему прислушивались. Он мог, наконец, попроситься на прием к Хрущеву, и тот бы его, безусловно, принял. Он мог, сопроводив своим письмом и своими оценками литературных достоинств, передать рукопись романа помощнику отца Владимиру Лебедеву. Так смогли напечатать «Ивана Денисовича» Александра Солженицына.

Симонов просто не захотел публиковать в своем журнале Бориса Пастернака, вернул рукопись «Доктора Живаго» автору и больше о ней не вспоминал. «Худлит» тоже молчал. Дела там продвигались куда медленнее, чем в журналах. И абсолютно «проходные» авторы, не то что «сомнительный» Пастернак, порой выстаивали в очереди годами.

Как-то много позже, уже после отставки отца, я принес ему изданный за границей томик «Доктора Живаго». Отец читал его долго, с натугой, до конца не дочитал.

Книга ему показалась скучноватой, язык чересчур вычурным, но особой крамолы он в романе не нашел.

— Жаль, что я не прочитал книгу тогда, — сказал мне отец, — не за что ее запрещать. Напрасно такую бучу подняли.

«Нельзя полицейскими методами выносить приговоры творческим людям, — записал он в воспоминаниях. — Что особенного произошло бы, если бы “Доктора Живаго” опубликовали тогда же? Да ничего, я уверен! Мне возразят: “Поздно ты спохватился”. Да, поздно, но лучше, поздно, чем никогда. Не надо было мне поддерживать в таких вопросах Суслова. Пусть признание автора зависит от читателя. А

получилось по-другому: автор трудился, его признали во всем мире, а в СССР административными мерами запрещают…»

Поэт Константин Ваншенкин тоже прочитал роман Пастернака уже задним числом, по его мнению, «опубликуй “Новый мир” роман тогда, большинство подписчиков не дочитали бы его до конца. Помимо прекрасных стихов, подаренных автором своему герою, глубоко запали, запомнились не сюжетные линии, а картины Москвы, уральского имения, остановившегося на перегоне поезда, звуки дальней стрельбы, ощущение смутной, нарастающей тревоги».

Конечно, что ни человек, то и мнение, но, повторяю, обратись тогда Симонов к отцу…

Не дожидаясь ответа издателей, Пастернак читал отрывки из «Доктора Живаго» друзьям и знакомым. Так поступали и поступают все писатели. Одним роман нравился, другим не очень. «Я люблю некоторые его стихотворения, но не люблю иных его переводов, и не люблю его романа “Доктор Живаго”, — записал в дневнике Корней Чуковский. Роман показался ему «посторонним, сбивчивым, далеким от бытия, и слишком многое не вызывало во мне никакого участия».

А Константин Федин называл роман гениальным. В своих дневниках Корней Иванович Чуковский приводит его слова о «Докторе Живаго»: «Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и, в тоже время, насквозь книжный — автобиография писателя Пастернака». «Федин говорил о романе вдохновенно, ходя по комнате, размахивая руками — очень тонко и проницательно — я залюбовался им, сколько в нем душевного жара», — вспоминает Корней Иванович.

В мае 1956 года по московскому радио прошла передача о скором издании «Доктора Живаго», правда на итальянском языке. Без санкции властей ничего подобного в те годы не происходило. Несколькими днями ранее на одном из чтений романа в Переделкино оказался итальянский коммунист и сотрудник радиовещания Министерства культуры СССР Серджио Д'Анджело. По совместительству он подвизался в качестве литературного агента тоже коммуниста и коммунистического издателя из Милана Джованни Фельтринелли. Гости наперебой хвалили автора, кто искренне, а кто потому, что так принято. В конце концов, по свидетельству жены Пастернака Зинаиды Николаевны, «все перепились и начали клясться друг другу в любви», и вот тут-то Серджио заполучил рукопись.

Тем временем «дело» доктора Живаго кочевало по инстанциям. В «Худлите» его ни принять, ни отвергнуть не

отважились, решили «посоветоваться» со своим литературным начальством. Те перекинули вопрос ступенью выше, оттуда — еще выше, и наконец он оказался в Отделе культуры ЦК.

В «крамольности» романа не сомневались ни ортодоксы-идеологи из ЦК, ни мыслящие в ними в унисон писатели-сталинисты. Из ЦК запросили мнение Союза писателей. Пространный ответ, в котором был охаян «Доктор Живаго», подписал председатель СП Константин Федин, друг и соратник Пастернака по литературному объединению времен революции «Серапионовы братья». «Советской власти не убудет от злобных нападок Пастернака, — говорится в письме. — Главное, что роман слаб художественно. За границей за него ухватились для разжигания холодной войны».

Что двигало Фединым, ещё недавно отзывавшимся о романе с восторгом? Зависть? А возможно, они к тому времени рассорились. Скорее всего, Федин струсил и написал то, что, как он считал, от него ожидали.

Поведи Федин себя честнее, прояви настойчивость, все могло повернуться иначе для всех: Пастернака, отца, Советской власти и России.

Отец о романе тогда вообще ничего не знал. Рассказать ему о нем оказалось некому, «Новый мир» рукопись автору вернул, Симонов там уже не работал, переселился в Ташкент. У нового главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского хватало своих забот, он заканчивал и никак не мог закончить поэму «За далью даль», да и Пастернак к нему не обращался. Сам Твардовский, судя по тому, что я читал, Пастернака недолюбливал.

После получения заключения Союза писателей «вопрос Пастернака» докладывался секретарям ЦК Шепилову, Суслову, Поспелову, Фурцевой и почему-то занимавшемуся оборонными делами Брежневу. Первым на «Доктора Живого» отреагировал Шепилов. Основываясь на заключении Федина и мнении иных писателей, 31 августа 1956 года он направляет в Президиум ЦК записку, в которой пишет, что «роман Б. Пастернака — злобный пасквиль на СССР. Отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными компартиями (его курировал Шепилов) принимает меры, чтобы предотвратить издание этой антисоветской книги за рубежом».

К записке приложена справка Отдела культуры о романе. В ней подтверждалось, что «роман изобилует злобными выпадами против революции как идеи, и против революционера как человека… Все активные деятели революции — люди духовно надломленные, не вполне нормальные, жалкие авантюристы… Роман Б. Пастернака является злостной клеветой на нашу

революцию и на всю нашу жизнь. Это не только идейно порочное, но и антисоветское произведение, которое, безусловно, не может быть допущено к печати».

Не знаю, прочитал ли Шепилов «Доктора Живаго», но именно это его заключение сформировало отношение верхов к роману. С него начинается отсчет всех бед, обрушившихся на голову Пастернака. Формулировки Шепилова, став стереотипом, будут кочевать из справки в справку.

Сейчас принято изображать Пастернака смельчаком, эдаким героем-подпольщиком. Но Борис Леонидович и раньше с верхами не конфликтовал, наравне с остальными писал восхваляющие Сталина стихи. Насколько он писал их искренне, не мне судить. А чего стоит его знаменитый телефонный разговор со Сталиным! И теперь Пастернак старался держаться от властей подальше, хотя Хрущева, в отличие от Сталина, поругивал. Время наступило другое, за это уже не сажали. Передав рукопись Фельтринелли, он надеялся, что все утрясется, издадут роман у нас, собираются же напечатать в Москве его стихи. А следом и итальянцы подоспеют.

Возможно, так бы оно и случилось, если бы после доклада о Сталине на XX съезде не произошли октябрьские волнения в Польше, если бы не началось восстание в Венгрии. Бурные события конца 1956 года прервали естественно-спокойное развитие событий, при котором «Доктора Живаго» могли бы опубликовать после некоторых притирок. Теперь же везде искали крамолу. Худшего времени для Бориса Пастернака и Юрия Живаго и придумать трудно.

Начиная с декабря 1956 года, и без того жесткий, «шепиловский» тон становится еще жестче. К примеру, 1 декабря 1956 года в записке Отдела культуры ЦК КПСС «О некоторых вопросах современной литературы и фактах неправильных настроений среди части писателей» подтверждается, что «Доктор Живаго», по их мнению, «проникнут ненавистью к советскому строю», а его автор, не дав прочесть рукопись итальянским друзьям-коммунистам, «переправил ее в итальянское издательство».

Власти теперь всеми силами старались предотвратить выход «Доктора Живаго» в Италии. Но тщетно. На письма издательства «Художественная литература» Фельтринелли не реагировал, как не отреагировали на просьбу самого Пастернака вернуть рукопись. Игнорировал он и увещевания членов ЦК Итальянской компартии.

Сейчас принято считать, что Пастернак хитрил, отзывать свой роман не хотел, а в договоре, заключенном с итальянским издателем еще в июне 1956 года, предусмотрительно записал,

чтобы, «действительными считались только письма, написанные на французском языке».

Свои же протесты он писал по-русски. Вот и не сработало. Думаю, «Доктора Живаго» издали бы с его разрешения, или без его согласия, или даже вопреки его воле. Формальной управы на Фельтринелли не имелось, так как СССР в конвенции по охране авторских прав не участвовал. Возможно, что чисто по-человечески Борису Леонидовичу не раз хотелось прекратить всю эту нервотрепку, вернуться в май 1956-го, когда он мог в свое удовольствие читать роман, обсуждать его под коньячок с друзьями и, надеясь на лучшее, ожидать ответа из «Худлита».

Итак, в августе 1956 года записку Шепилова без рассмотрения приняли к сведению и забыли о ней. Судя по документам, на Президиуме ЦК вопрос о Пастернаке более не обсуждался.

Все варилось в Отделе культуры ЦК, и дело «Доктора Живаго» не поднималось выше уровня Шепилова с Сусловым.

Гром грянул 15 ноября 1957 года, когда в Италии наконец-то издали роман. Только тут о «скандале» доложили Хрущеву, сопроводив доклад избранными отрывками и фразами из романа и бранными комментариями к ним. Прочитать роман отцу и в голову не пришло, его занимали дела поважнее, чем какой-то «антисоветский» роман.

«Докладывал мне о нем Суслов, шефствовавший над нашей агитацией и пропагандой. (К тому времени Шепилова, примкнувшего в июне 1957 года к «антипартийной группе Молотова — Маленкова», исключили из Президиума ЦК, и Суслов восстановил свое всевластие в идеологической сфере. — *С. Х.*) Без Суслова в таких вопросах не могло обойтись, — много лет спустя написал отец. — Он сообщил, что данное произведение плохое, не выдержано в советском духе. В деталях его аргументы не помню, а выдумывать не хочу».

Публикация на Западе сделала «Доктора Живаго» знаменитым. У нас это издание вряд ли кто читал, даже коллеги-писатели. Тогда из-за границы литературу еще не возили. К тому же, на итальянском не очень-то и почитаешь. А вот говорили о Пастернаке все, в том числе и те, кто еще вчера и не подозревал о его существовании. Он, по собственной воле или вопреки ей, оказался первым, кто передал не разрешенную цензурой рукопись за рубеж. Раньше о таком не помышляли. Кому охота самому себе подписывать приговор? Теперь же времена изменились, но никто не понимал насколько. После смерти Сталина прошло всего четыре года. Союз писателей — друзья и недруги Пастернака — затаив дыхание ждали, что же произойдет? Арестуют? Сошлют?

Или обойдется?

Поначалу, казалось бы, обошлось. На доклад Суслова о романе отец не отреагировал никак, а сам «принимать меры» Михаил Андреевич не решился. Дело спустили на тормозах, 29 ноября заведующий Отделом культуры ЦК Поликарпов даже «посчитал целесообразным организовать встречу иностранных корреспондентов с Пастернаком, но при этом дать ему понять, чтобы при беседах с иностранцами он придерживался той позиции, которую излагал в своих последних письмах, адресованных Фельтринелли». Непосредственный начальник Поликарпова — секретарь ЦК Поспелов с ним согласился. Другими словами, Пастернаку не возбранялось общение с представителями иностранной прессы, его только просили соблюсти достигнутую с ЦК договоренность. Деликатную миссию посредника между Пастернаком и западной прессой поручили Рюрикову, бывшему заместителю заведующего Отделом культуры ЦК, а теперь члену редколлегии издававшегося в Праге международного журнала «Проблемы мира и социализма». 8 января 1958 года Рюриков отрапортовал, что «беседа Б. Пастернака с иностранными корреспондентами проведена», и, судя по всему, проведена «успешно», Борис Леонидович повел себя как надо и говорил, что следовало говорить.

На том «дело Пастернака» заглохло. До осени 1958 года его имя в официальных документах Отдела культуры ЦК почти не упоминается, хотя за этот период «Доктора Живаго» издали в Англии и начали готовить к печати во Франции. Отдел культуры ЦК смирился с тем, что роман ушел на Запад, и в феврале 1958 года даже посчитал «целесообразным прекратить попытки предотвратить издание во Франции книги Б. Пастернака “Доктор Живаго”, так как они не воспрепятствуют изданию книги, а лишь используются издательством и реакционной печатью в целях рекламы». Г. В. Дьяконов, заведующий Секретариатом Отдела культуры ЦК, 22 мая 1958 года написал на документе: «Всякие акции по предотвращению издания книги Пастернака во Франции прекращены».

Формально дело прикрыли, но скандал вокруг Пастернака не только не утих, но все больше разрастался. Судачили не только писатели, но и вообще «вся Москва». Одни произносили фамилию Пастернака с придыханием, другие — с завистью, третьи — недоброжелательно. О чем и как написана книга, по-прежнему мало кого не интересовало.

О происходившем в Москве мы в Капустином Яру и не подозревали. У нас — свои проблемы, дела тем летом не заладились, подряд три ракеты «не пошли», военные

приостановили испытания, отправили всех домой, в Реутово, разбираться.

В июле я вернулся в Москву. В памяти об истории с Пастернаком почти ничего не удержалось, голова моя была занята другим. Припоминается только, как однажды в жаркий летний день, вернувшись из Лужников с футбольного матча, Аджубей рассказал свежий анекдот: «В Москве сейчас три напасти: рак, Спартак и Пастернак». Отец на эти слова никак не отреагировал, анекдотов он не любил, сам не рассказывал и слушал их без удовольствия. Ни за «Спартак», ни за «Торпедо», ни за Ботвинника, ни за Смыслова он тоже не болел.

Околоспортивные страсти отец считал пустым времяпрепровождением, обворовыванием самого себя. Увлечения футболом или хоккеем он не понимал, но и не противодействовал, только изредка подтрунивал над «болельщиками», тратившими драгоценные часы на переживания, кто кому зафутболит в ворота кожаный мяч или резиновую шайбу, когда вокруг, даже если не считать работы, столько возможностей: театр, книги, природа.

В молодости в Донбассе отец поигрывал во входивший тогда в моду футбол и в традиционные городки. В зрелом возрасте он мог выйти на волейбольную площадку или поиграть в бадминтон, но делал это не в охотку, а за компанию, в силу обстоятельств. К спорту он относился как к физкультурному упражнению, которое врач прописал.

Я тоже остался равнодушным к стадионным баталиям, в шестом классе год «поболел» за киевское «Динамо», мы тогда жили в Киеве и вся школа за него «болела».

Единственным в нашей семье «болельщиком» оказался Алексей Иванович, да и он не столько «болел», сколько ходил на стадион, где в привилегированном секторе трибун регулярно собирался «комсомольский актив» — «стальная когорта» недавно перешедшего в большое ЦК, железного Шурика: кроме самого Шелепина, В. Е. Семичастный, Н. Н. Месяцев — оба из комсомольского ЦК, Г. Т. Григорян, последовавший за Шелепиным в ЦК КПСС, генеральный директор ТАСС Д. П. Горюнов и конечно сам Аджубей — преемник Горюнова на посту главного редактора «Комсомолки». За игрой они следили не очень внимательно, вершили свои комсомольские дела, обменивались новостями, травили анекдоты.

И Аджубей с Семичастным, а уж несомненно Шелепин, могли бы, если захотели, прочитать «Доктора Живаго» и рассказать о книге отцу. В отличие от меня, они были наслышаны и о романе. Могли, но не захотели. Я их особенно не виню, летом 1958 года

«Доктор Живаго» их интересы не затрагивал. Романом занимался Отдел культуры ЦК, Союз писателей, а вклад «комсомольцев» ограничился анекдотом.

Дела у нас в конструкторском бюро начали выправляться, мы разобрались в причинах аварий, и в начале августа 1958 года я вновь уехал на полигон. Предстояли не просто очередные испытания, на 8 — 10 сентября в Капустином Яру назначили демонстрацию ракетной и авиационной техники высокому начальству, включая самое высокое, во главе с Хрущевым. Всем нам хотелось показать себя с лучшей стороны, превзойти конкурентов. Подготовка к «показу», так назвали это мероприятие, поглотила меня целиком.

Демонстрация прошла удачно, наша крылатая ракета П-5 понравилась всем, что и неудивительно, мы тогда на десятилетия обогнали американцев. Только в 1970-е годы их «Томагавку» удастся повторить то, чего мы добились в 1958 году. После смотра продолжилась рутинная работа: пуски, разбор полетов, протоколы, замечания и новые пуски. К зиме, казалось бы, все наладилось, и тут ракета в который уже раз раскапризничалась. Мы нервничали, писательские проблемы занимали нас не больше, чем Союз писателей — наши. В Москву я вернулся только под самый Новый год, не только пропустив разразившийся вокруг Пастернака скандал, но и вообще напрочь забыв о его существовании.

Тем временем драма «Доктора Живаго» вступила в новую фазу. После выхода английского издания заговорили о присуждении Пастернаку Нобелевской премии по литературе. Слухи о «Нобеле» не только побудили власти к действиям, но и возбудили собратьев-писателей. В ЦК, КГБ и другие инстанции посыпались доносы, анонимные и подписанные весьма значимыми фамилиями. Их авторы требовали призвать Пастернака к ответу, принять меры, обуздать, — мало того что он безнаказанно публикуется за границей, а тут еще «Нобель»!

Далеко не все доносы ложились на стол отцу, но он читал ежедневные сводки «органов» о настроениях в стране, в том числе в среде писателей. В том, что писатели, стараясь привлечь власти на свою сторону, поносят друг друга, нет ничего нового. Еще в XIX веке Фаддей Булгарин, русский журналист и писатель, строчил доносы Третьему отделению на Александра Пушкина. За истекший век ничего не изменилось. Отец не рассказывал о тех, кто именно и как «стучал» на Пастернака, скорее всего, он не знал их имен, но в контексте сталинских репрессий порой вспоминал, как в его бытность на Украине киевские литераторы так же провоцировали какие-то разговоры, а потом «доносили на

своих собеседников-писателей».

Ни шатко ни валко протянулось до осени. До последнего Отдел культуры ЦК и Союз писателей надеялись, что все как-нибудь обойдется. Даже накануне вынесения решения Нобелевским комитетом они полагали, не имея к тому никаких серьезных оснований, что премию, если и дадут, то не одному Пастернаку, а на пару с Шолоховым. Правда, готовились и к «худшему»: в случае присуждения премии одному Пастернаку предлагалось побудить его от нее отказаться мирно, без скандала. Поручили уладить это дело соседям поэта по Переделкино, писателям Константину Федину и Всеволоду Иванову.

Надежды не оправдались. Нобелевский комитет проголосовал, и 23 октября 1958 года Борис Пастернак стал Нобелевским лауреатом.

В тот день в Кремле заседал Президиум ЦК КПСС, обсуждали тезисы доклада на XXI съезде КПСС «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 годы». По всей видимости, после этого вопроса, интересовавшего присутствовавших куда больше Пастернака, Суслов проинформировал членов Президиума ЦК о Нобелевской премии за «Доктора Живаго». Судя по косвенным свидетельствам, Михаил Андреевич предлагал постараться склонить Пастернака к отказу от премии, а если не получится, то только тогда принимать более решительные меры: опубликовать в «Правде» фельетон, побудить писателей обсудить «личное дело» Пастернака, в крайнем случае — исключить его из Союза писателей. Особого интереса слова Суслова не вызвали, никто его не поддержал, но никто и не возразил. На фоне увязки будущей пятилетки этот вопрос обсуждения не заслуживал. К тому же, отец устал, последние дни он выверял с Госпланом все до последней цифры, так, чтобы семилетка получилась без натяжек. После повисшей паузы Михаил Андреевич зачитал набросанный впопыхах проект решения. Брать на себя формальную ответственность он не хотел. Проголосовали дружно и, доверив Суслову самому заниматься деталями, пошли дальше по повестке дня. В литературе о Пастернаке приводится текст предложенного Сусловым постановления, признававшего роман «Доктор Живаго» клеветническим, а присуждение ему Нобелевской премии «враждебным к нашей стране актом и орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны».

Тем временем Переделкино гудело, вокруг дачи Пастернака сгрудились иномарки с ненашими номерами, за ними толпились любопытные, как писатели, так и неписатели. Пастернак сиял, как сияют все новоиспеченные лауреаты, однако на вопросы

отвечал осторожно: «Я очень рад полученному известию и ожидаю, что мою радость разделят власть и общественность, нечасто член советского общества удостаивается столь высокой чести». Поколебавшись, Борис Леонидович добавил: «Не исключаю и того, что меня ждут неприятности».

Неприятности начались уже на следующий день. На дачу к Пастернаку «по-соседски» заглянул Константин Федин и озвучил как бы от своего имени спущенное ему из аппарата Суслова предложение. Пастернак разволновался, сказал, что посоветуется с другим своим соседом и старым приятелем Всеволодом Ивановым. Только тогда он примет решение. Напомню, что Всеволод Иванов, наравне с Фединым, был задействован «в операции». Договорились встретиться ближе к вечеру. В ЦК не сомневались в успехе — Федин с Ивановым не подведут. Однако подвели. В установленное время Пастернак не пришел. Доложили Суслову. Он распорядился действовать.

26 октября в «Правде» появилась статья Дмитрия Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Заславского все хорошо знали, он не писал, а излагал спущенные ему сверху, тезисы.

Так дело «Доктора Живаго» из ординарного перешло в категорию экстраординарного. Содержание романа уже окончательно перестало кого-либо интересовать. Решение о присуждении премии автору расценивалось как мотивированное идеологически, а не литературно.

К сожалению, таковы были в то время правила поведения по обе стороны железного занавеса. Мы давали свои Международные Ленинские премии настроенным в нашу пользу общественным деятелям и писателям из стана наших противников, они свои, Нобелевские, тем, кого они у нас считали «не совсем нашими». Пастернак оказался жертвой, «зернышком», если воспользоваться образом Александра Солженицына, между жерновами Востока и Запада. Формулировка Постановления Нобелевского комитета, поясняющая, что премия присуждена не за одного «Доктора Живаго», а и за лирические стихи прошлых лет никого не переубеждала ни у нас, ни у них. Пастернака-лирика знали профессионалы. Автор же «Доктора Живаго» оказался на слуху у всех, читавших роман и не читавших.

Особенно неистовствовали сами писатели. Всякая премия, полученная кем-то другим, возбуждает, а уж Нобелевская!.. И дело не в одной Нобелевской премии. Собратья-писатели не любили Пастернака не только из-за его таланта и его манеры писать, но и за его неуживчивый характер, становившийся с возрастом и вовсе нетерпимым. Пастернак позволял себе, по их

мнению, непозволительное. «Он пренебрежительно упоминал Антокольского, Тихонова, Асеева, находил ”невинное” удовольствие в сознательном перевирании фамилии поэта-фронтовика Михаила Луконина, называл его то Лутохиным, то Лукошкиным. Поэта Алексея Суркова обозвал “советским чертом, который родился с барабаном на пупке”», и так далее, и тому подобное.

Естественно, значительная часть писателей тоже не испытывала к Пастернаку теплых чувств, и теперь они почувствовали, что настало их время.

27 октября 1958 года собрали расширенное заседание Президиума Правления Союза писателей СССР, совместно с оргкомитетом еще только формировавшегося Союза писателей России и руководством Московской писательской организации. Пригласили и Пастернака, но он прийти отказался.

О писательских разбирательствах я прочитал практически все. Заслуживающими наибольшего доверия мне показались воспоминания поэта Ваншенкина и литературоведа Лазаря Лазарева. В силу обстоятельств они в тех событиях не участвовали, наблюдали происходившее со стороны.

«Почти всю вторую половину октября пятьдесят восьмого года я провел за городом, — пишет Ваншенкин, — вернулся, помню, вечером, и только вошел, как раздался телефонный звонок. Говорил Константин Воронков, секретарь по оргвопросам Союза писателей СССР.

— Константин Яковлевич, завтра в десять утра срочное заседание Правления. — И после короткой паузы: — По поводу Пастернака. (Он сделал ударение на последнем слоге.)

Вестибюль старинного здания так называемого “большого Союза” гудел от голосов, как всегда бывает перед пленумами или съездами. Писателей собрали сюда буквально по тревоге. Съехались и слетелись из разных концов… Говорили обо всем, кроме главного.

На заседании, кроме членов Президиума (тогда это так называлось) Правления Союза писателей, присутствовал заведующий Отделом культуры ЦК КПСС Дмитрий Поликарпов.

Началось обсуждение. Нужно сказать, что в последние годы Пастернак опять стал печататься — в “Знамени”, в альманахах “День поэзии”, “Литературная Москва”. А до этого был большой перерыв. В 1946 году, после известных документов по поводу журналов “Звезда” и “Ленинград”, зацепили и Пастернака.

Итак, обсуждение. Мне было странно, что его называют декадентом. Для меня этот термин всегда связан с невероятно далекой, дореволюционной порой. Звучали такие слова, как

“провокация”, “возня”, “клевета”, “ненависть”.

Самое же удивительное — но тогда почти никому это удивительным не казалось, — что большинство присутствующих не читали роман… Некоторые вообще не могли уяснить смысл происходившего. Один седовласый аксакал воскликнул: “Слушаю, слушаю и никак не могу понять — при чем здесь Швеция?!” Но ведь выступали, осуждали… Объявили короткий перерыв, снова заседание однообразно продолжилось. Вдруг я увидел, что Твардовский поднялся и стал боком протискиваться к выходу. Через минуту-другую следом двинулся поэт Николай Рыленков. Проходя мимо, он легонько потянул меня за руку. Я тоже стал пробираться к дверям. В вестибюле было пустынно и прохладно. Мы закурили, кого-то поджидая. Тут появился из зала Сергей Смирнов. Они явно условились заранее…

Твардовский был мрачен, раздражен. Я сказал, что незнаком с Пастернаком, а Твардовский ответил веско: “Не много потеряли”. Твардовский еще сказал: Мы не против самой Нобелевской премии. Если бы ее получил Самуил Яковлевич Маршак, мы бы не возражали…

Минут через двадцать мы вернулись на заседание. Оно тянулось чуть не весь день. Я, понятно, слышал не все выступления. Но двое из тех, кого я услышал, были против исключения. Твардовский напоминал, что есть мудрая русская пословица по поводу того, сколько раз нужно отмерять и сколько отрезать. А Николай Грибачев, тоже поэт, без обиняков заявил, что исключение Пастернака повредит нам в международном плане…»

Напомню, что Грибачев на сто процентов «партийный» писатель, и если он так говорит, то никаких определенных указаний сверху не поступало.

«Дверь из зала отворилась, и появился главный редактор “Знамени” Вадим Кожевников. Засунув руки в брючные карманы, он с независимым видом сделал круг по вестибюлю и остановился против нас, вернее, против Твардовского.

— Что же ты, Саша, — сказал он своим высоким, как бы дурашливым голосом, — роман-то этот хотел напечатать?

Твардовский ответил почти брезгливо: “Это было до меня, но и прежняя редколлегия не хотела. Ты знаешь”.

— Хотел, хотел.

— А вот ты, коли на то пошло, стихи его напечатал.

— Стихи? — переспросил тот. — Ерунда, пейзажики.

И вдруг из зала вышел Поликарпов. Вид у него был хмурый, озабоченный. Он повернул было направо, вглубь здания, но, увидев нас, подошел и решительно попросил пройти с ним вместе

— на несколько минут.

Он пошел впереди нас по узкому коридору, прямо в кабинет, который все еще называли “фадеевским”. Мы вошли, и он тут же, не приглашая садиться, спросил у Твардовского:

— Так нужно исключать или нет?

— Я уже сказал, — ответил Твардовский.

— Вы? — к Сергею Сергеевичу.

— Я того же мнения.

— Вы? — к Рыленкову.

— Дмитрий Алексеевич, он такой лирик! — завосхищался тот…

Я тоже сказал, что против исключения. Твардовский много времени спустя объяснил мне как-то, что Поликарпов приехал в Союз контролировать исключение. Однако, как человек опытный, в какой-то момент засомневался в целесообразности этого акта. Сам он, разумеется, не мог хотя бы приостановить события и отправился звонить Суслову, пославшему его, а по дороге для большей уверенности поинтересовался мнением еще нескольких писателей. Суслова на месте не оказалось, и Поликарпов вернулся в зал, где дело шло к концу».

На этом заседании «отщепенец Пастернак» (так сказано в постановлении) был исключен из членов Союза писателей, а знаменитая в те времена писательница Галина Николаева пошла еще дальше, заявив, что «этот человек не должен жить на советской земле».

Подобного поворота событий, спущенные из ЦК инструкции не предусматривали, и Поликарпов на слова Николаевой особого внимания не обратил, не понял, что скандал вокруг Пастернака начинает выходить из-под контроля.

Отец тем временем занимался своими делами. 24 декабря долго беседовал с американским обозревателем Уолтером Липманном, затем разговаривал о будущей пятилетке с руководителем Украины Подгорным и главой Свердловской области Кириленко.

25 октября в Москву приехала делегация Польши во главе с Владиславом Гомулкой. Начались непростые переговоры, тоже связанные с будущей пятилеткой и увязкой с ней экономических отношений двух стран. На деловые переговоры наслаивались неизбежные в таких случаях протокольные мероприятия: обед у них, обед у нас в Кремле, посещение Большого театра. И самое главное, отец готовился к назначенному на 12 ноября Пленуму ЦК, ему там предстояло докладывать о будущей семилетке, утверждать тезисы к XXI съезду партии. Так что дел невпроворот. Сам он о Пастернаке не вспоминал, в выступлениях отца о нем

нет ни слова. А выступал он неоднократно. Говорил о социалистическом лагере, о молодежи, о выращивании свеклы, но только не о Пастернаке. Возможно, Липманн задал ему вопрос о новом Нобелевском лауреате, но записи их беседы я не нашел. Возможно, что и Липманн о Пастернаке не спрашивал, не желая портить серьезный разговор о серьезных международных делах.

Суслов, человек осторожный, впрямую в «деле Пастернака» пока не светился, все варилось на уровне Отдела культуры ЦК. После заседания в правлении Союза писателей «план Суслова» сработал. Как ни жалко было Пастернаку Нобелевской премии, а кто бы о ней не пожалел, он предпочел с властями не связываться, как он не связывался с ними ранее. 29 октября Борис Леонидович отправил в Стокгольм телеграмму: «Ввиду того значения, которое приобрела присужденная мне награда в обществе, я вынужден от нее отказаться. Не примите в обиду мой добровольный отказ». Пастернак выполнил предъявленные к нему требования и рассчитывал, что теперь его оставят в покое. Наверное, так бы и получилось, если бы его «дело» замыкалось напрямую на отца. По мнению же Отдела культуры ЦК, требовалось заручиться осуждением Пастернака не только руководством Союза писателей, но и всеми писателями.

Общее собрание писателей назначили на 31 октября 1958 года. Дубовый зал ЦДЛ всех вместить не мог — большой зал еще только проектировали, — и решили арендовать зал Дома кино, благо он тогда размещался рядом, на противоположной стороне улицы Воровского, сейчас Поварской.

Напомню, что в конце октября я сидел на полигоне, газеты доходили до нас с опозданием на пару дней. Во время подготовки ракеты к старту свободное время — понятие умозрительное, мы дневали и ночевали в ангаре, часто спали тут же, на сваленном в углу брезенте, укрывавшем ракету от посторонних глаз во время ее транспортировки от железнодорожной платформы до боевой площадки. Газеты и журналы хранились в офицерской «кают-компании», так называли на нашей площадке кабинет политпросветработы. Офицерам свежую прессу вменялось читать обязательно, а мы, штатские, проглядывали газеты нерегулярно. В начале ноября кто-то обратил мое внимание на короткую заметку на третьей странице «Правды» за 29 октября 1958 года. В ней, за подписью академика Курчатова и еще пары академиков, сообщалось о присуждении Нобелевской премии за открытие в 1934 году и последующее толкование «эффекта Черенкова» трем нашим ученым: самому Павлу Алексеевичу Черенкову, Игорю Евгеньевичу Тамму и Илье Михайловичу Франку. Поясню, что «эффект Черенкова» — это свечение «чистых» жидкостей под

воздействием гамма-излучения, позволившее разработать методы регистрации элементарных частиц, в том числе антипротонов. Демонстративно скромное место, отведенное сообщению, подчеркивало, что Нобель для нас не такая уж и награда, у нас имеются свои, куда более значительные Ленинские премии. Не знаю, как сами лауреаты, но мы в Капустином Яру это мнение разделяли. В том же номере газеты, в сопровождении соответствующих комментариев, сообщалось и о присуждении Нобелевской премии Б. Л. Пастернаку. Тогда я на эту заметку не обратил внимания, ее напечатали на последней странице мелким шрифтом. Обнаружил ее я уже много позже, когда, работая над этой книгой, перелистывал старые подшивки «Правды».

Тем временем в Москве готовились к завершению «дела Пастернака», писателям рассылались повестки с припиской внизу, что «явка обязательна». Впрочем, об обязательности явки писали всегда. Писатели, которые действительно не захотели идти, не пришли, их по-серьезному не принуждали, разве что самым значительным из них звонил уже упоминавшийся оргсекретарь Союза писателей Воронков, выслушивал объяснения, и дело с концом.

Заведующий Отделом культуры ЦК Поликарпов скандала не планировал, он исходил из предположения, что послушное большинство, как всегда, последует указаниям свыше, и без специального нажима сверху «рвать Пастернака на части» не захотят, он же такого нажима не предусматривал, а потому писатели дежурно отсидят положенное время, дежурно проголосуют за подготовленную в недрах его отдела резолюцию и мирно разойдутся.

Еще не отвыкший от «сталинской» дисциплины, Поликарпов не учел ни того, что времена изменились, ни того, что слишком многие из приглашенных жаждали посчитаться с Пастернаком, одни — из давней лично-литературной неприязни, другие — из зависти, пусть к несостоявшемуся, но Нобелевскому лауреату, третьи — чтобы выслужиться. Как водится, выступавших намечали заранее. От желающих «бросить камень в Пастернака» отбоя не было.

Поликарпов бы справился с рвавшимися в бой «своими», но все карты спутали ретивые «комсомольцы». В тот же «роковой» день, 29 октября 1958 года, на юбилейном пленуме молодежной организации, посвященном 40-летию комсомола, ее первый секретарь Семичастный неожиданно для всех обрушился с резкой бранью на Пастернака, сравнил его со свиньей и заявил, что «Пастернак — это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом. Я уверен, что и общественность,

и правительство никаких препятствий бы ему не чинили…» Доклад Семичастного на следующий день напечатала «Правда», и его слова прозвучали директивой к действию.

Зачем и почему Семичастный потребовал высылки Пастернака за границу, когда скандал пошел на спад и уже после отказа последнего от премии, судить не берусь. О лишении Пастернака гражданства в руководстве страны не заикался даже Суслов. О выступлении Николаевой с таким же требованием Семичастный вряд ли знал, да и не указ она ему. Скорее всего, эта идея в его, комсомольских кругах, как говорится, витала в воздухе, вот он ее, не мудрствуя лукаво, и озвучил.

Впоследствии, в 1989 году, в интервью журналу «Огонек» Семичастный оправдывался, что это не его слова, а их ему продиктовал Хрущев. Вызвал к себе в кабинет и продиктовал. И Семичастный, и его старший товарищ Шелепин, продуманно избрали такой способ защиты: «Моя хата с краю, и я ничего не знаю». Спрашивайте с Хрущева, с Брежнева, а мы лишь исполнители. Валить все на мертвых — тактика не новая, но она часто срабатывает. Сработала она и на этот раз. Версия Семичастного пошла гулять по свету, и никто не попытался ее проверить. Конечно, узнать о чем говорили Хрущев с Семичастным, невозможно, а вот говорили ли они вообще — проверить можно. Опубликован «Журнал учета лиц, принятых Председателем Совета Министров СССР тов. Хрущевым Н. С.», в который секретари скрупулезно заносили всех переступавших порог кабинета отца: его заместителей, его помощников, иностранных гостей и всех прочих. С 20 октября в журнале зафиксированы: вице-президент Египта Амер, американский журналист Липманн с женой, Кириленко с Подгорным, министр финансов Арсений Зверев, наш посол в Китае Павел Юдин, посол Камбоджи у нас Нхиек Тьюлонг и многие другие, а вот Семичастного там нет.

Не встречался отец с Семичастным, а значит, и не говорил ему ничего о Пастернаке, он тогда о нем вообще не думал. А если бы думал, то сказал бы все, что хотел, сам. Возможностей высказаться у него имелось предостаточно, отец выступал на уже упомянутом юбилейном Пленуме ЦК Комсомола, говорил о чем угодно, но только не о Пастернаке. Мы знаем, когда Хрущева что-либо интересовало, он не затруднялся отступить от лежавшего перед ним текста.

По моему мнению, а я знал Владимира Ефимовича достаточно хорошо, он сказал, что думал, его мысли не диссонировали с антипастернаковскими настроениями в его комсомольском кругу, а в детали сусловско-поликарповской

политики он не вникал. Семичастный и позже отличался «решительностью» и в суждениях, и в действиях. В 1967 году, к примеру, по поводу относительно безобидного кинофильма Андрея Кончаловского про Асю Клячину он заявил, что «такое кино мог сделать только агент ЦРУ».

Призыв Семичастного на Пленуме ЦК ВЛКСМ вслед за Первым секретарем подхватили и другие выступавшие. На Поликарпова они впечатления не произвели, за свою жизнь он наслушался и не такого. Он действовал в рамках полученных от Суслова указаний: «Одобрить исключение Пастернака из Союза писателей, желательно единогласно, и тем ограничиться». Поликарпов, как водится, заранее заготовил Постановление будущего собрания писателей и даже отослал его текст в «Литературную газету». Собрание могло затянуться, а газете выходить на следующий день утром.

Однако писатели-недоброжелатели Пастернака восприняли слова Семичастного как сигнал к началу открытой травли образца 1930-х годов. Они жаждали крови.

Итак, 31 октября 1958 года московские писатели собрались на улице Воровского. Стенограмма этого заседания, насколько мне известно, опубликована дважды, в 9-м номере журнала «Горизонт» за 1988 год, а затем в книге «С разных точек зрения. “Доктор Живаго” Бориса Пастернака» (М., Советский писатель, 1990).

Дорого бы дали многие наши литераторы за то, чтобы эта стенограмма исчезла, растворилась, сгорела. Что бы тогда можно было о себе порассказать… Но стенограмма не сгорела. Цитировать я ее не хочу, не моя это задача. Меня же по-прежнему интересует, как выглядело происходившее со стороны, впечатления людей причастных, но не участвовавших, а потому и не нуждавшихся в оправдании.

На Ваншенкина, после происшедшего на заседании Президиума, собрание особого впечатления не произвело. «Через три дня состоялось общее собрание писателей города Москвы на ту же тему, — пишет Ваншенкин. — Председательствовал С. С. Смирнов, руководивший тогда московской писательской организацией. Он вел собрание спокойно, внимательно, порой увлеченно.

Народу пришло — уйма. Те, что присутствовали на предыдущем заседании, были уже сыты этим, болтались по фойе. Дело, по сути, было сделано».

А вот как описывает это, «большое», собрание литературный критик Лазарь Лазарев: «Я не был членом Союза писателей и попал на собрание по долгу службы в “Литературной газете”.

Меня вызвал заместитель главного редактора Валерий Алексеевич Косолапов, практически он вел тогда газету, Всеволод Кочетов то ли болел, то ли был в творческом отпуске, и велел мне поехать на собрание. “Скорее всего, — сказал он, — мы ничего, кроме официальной информации, которая будет изготовлена в Союзе писателей и, может быть, даже пойдет через ТАСС, давать не будем”. Но он хотел, чтобы я внимательно выслушал все выступления и рассказал потом ему, как все было».

Лазарев честно выполнил указание, слушал и все записывал: «Тон задал в пространной вступительной речи председательствовавший на собрании Сергей Сергеевич Смирнов. Главным, многократно повторенным словом в речи Смирнова было «предательство», в обличительном раже он даже пустил в ход кровавую формулу «враг народа», после XX съезда как будто бы изъятую из политического лексикона. А дальше пошло-поехало.

Самым омерзительным, самым гнусным, самым политически опасным было выступление Корнелия Зелинского. Он требовал расправы уже не только с Пастернаком, но и с теми, кто высоко оценивал его талант, кто хвалил его, он доносил на филолога Вячеслава Иванова (это тот самый Вячеслав Иванов, которому в самом начале поручили уговорить Пастернака отказаться от премии. — *С. Х.*) призывал: “Этот лжеакадемик должен быть развеян”».

Как и у Ваншенкина, у Лазарева «сложилось впечатление, что большая часть выступающих “Доктора Живаго” не читали, поэт и драматург Софронов так прямо и сказал, но это не играло никакой роли, ничего не значило — достаточно было того, что роман напечатан за рубежом и получил Нобелевскую премию».

«Но страшнее выступающих был зал — улюлюкающий, истерически-агрессивный, — делится своими ощущениями Лазарев. — Ремарки в стенограмме: шум, смех, реплики — совершенно не передают накала ненависти, жажды расправы, желания растоптать, уничтожить. О собраниях тридцать седьмого года у меня прежде было умозрительное, книжное представление — это было от меня далеко, почувствовать себя внутри того мира я не мог. Здесь я, словно это было со мной, проникся всем ужасом происходившего тогда.

Видимо, на фоне этого шабаша (как иначе это назвать?!) выступление Слуцкого (я о нем скажу ниже) не произвело на меня того впечатления, какое возникло у тех, кто не был на этом собрании. Оно, как и выступление поэта Леонида Мартынова, было осуждающим. Рассказывали, что Евгений Евтушенко (в перерыве) публично вручил ему (Слуцкому), этому

приспособленцу, этому иуде, две пятнашки — “тридцать сребреников”».

Добавлю от себя, что последствий для Евтушенко, если он, конечно, так поступил, его театральный жест не имел никаких.

Сейчас, задним числом, многим стыдно, участники тех событий оправдываясь, как и Семичастный, перекладывают ответственность со своих на чьи-либо плечи. Писатели клянутся: у них просто не оставалось иного выхода, на них давили, угрожали из ЦК. Тут начинаются нюансы, ЦК требовало осудить Пастернака, а вот как и в каких выражениях, зависело от самих выступавших. На кого-то, естественно, давили, но не с самого верху, не из ЦК и даже не из райкома партии, тут старались функционеры Союза писателей. С одними получалось, с другими — нет. Так, поэт-фронтовик уже упомянутый майор Борис Слуцкий заявил, что полученная Пастернаком премия — это «премия против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле!» Потом он оправдывал свои слова страхом быть исключенным из партии.

Между двумя этими заявлениями пролегло несколько десятилетий. Где он искренен, а где хитрит? Смею допустить, что он в обоих случаях говорил, что думал, просто времена изменились.

А вот совсем другая история. Тоже поэт, 26-летний Евгений Евтушенко, поклонник таланта Пастернака, в тот же день и в тех же условиях повел себя иначе. Когда секретарь парткома Организации московских писателей Виктор Сытин предложил ему выступить с осуждающей речью от имени молодежи, он, не раздумывая, отказался. Сытин потащил Евтушенко к секретарю Московского комитета комсомола Мосину. Тот выслушал обе стороны и подвел итог: «Товарищ Евтушенко изложил свою точку зрения. Вопрос закрыт».

Получается, Евтушенко не захотел выступить на собрании и не выступал. «От имени молодежи» осудил Пастернака кто-то еще. Слуцкий с Мартыновым приняли иное решение. Такой разнобой мог произойти только при отсутствии четкой команды из ЦК КПСС. Если бы сверху спустили жесткое указание, то товарищ Мосин не посмел бы самостоятельно «закрыть вопрос». Повторю, после телеграммы Пастернака в Стокгольм верха успокоились, а низы организовывали «проработку» по своему собственному разумению. Писатели в какой-то мере действовали и говорили, соизмеряясь со своей позицией. И позиции эти порой отличались диаметрально.

Приведу еще один характерный пример. Партбюро Литературного института жалуется в ЦК на Союз писателей, что

те «не дали возможности студенческой делегации выступить 27 октября на заседании президиума правления Союза писателей, где исключали Пастернака, и огласить текст письма осуждавшего его предательские действия». Одновременно они исключили из института, «по требованию общественности», Беллу Ахмадулину, Юнну Мориц и еще нескольких человек, кто «поддерживал связь с Пастернаком, разделял его взгляды».

Правда, для исключенных история закончилась благополучно, по решению Секретариата Союза писателей СССР их восстановили. Партбюро снова нажаловалось Фурцевой, которая поручила «разобраться и дать предложения». Разобрались и рекомендовали партбюро Литературного института и секретарям Союза писателей к студентам не придираться, «улучшить работу и взаимодействие института и союза».

Начинаешь докапываться, как все происходило на самом деле, и получается, что далеко не все выстраивались по ранжиру.

Однако вернусь к собранию Московских писателей. «Прения» только разгорались, на собрании выступило четырнадцать человек, еще тринадцать ожидали своей очереди, но Поликарпов со Смирновым посчитали, что пора закругляться. Смирнов зачитал полученный из ЦК проект решения и предложил его проголосовать. Но не тут-то было! Текст залу показался недостаточно сильным.

«Наиболее показательным было то, что происходило в конце, во время принятия резолюции, — продолжает делиться своими впечатлениями Лазарев. — В стенограмме эта процедура занимает не так много места, тогда же казалось, что этому не будет конца. Кто-то из дам (больше всего вопили почему-то именно они), кажется, Раиса Азарх, потребовала, чтобы в резолюцию было внесено обращение к Советскому правительству с просьбой лишить Пастернака гражданства».

Критик Лазарев в «Записках пожилого человека» отмечает сам факт, а поэт Ваншенкин воспроизводит этот эпизод в деталях и очень показательных. Вот что он запомнил: «Известная поэтесса, возможно, Раиса Азарх, старенькая, но еще вполне бодрая, востроносенькая, с белыми кудельками, вносила поправку из зала. Смирнов не слышал, переспрашивал.

Она повышала голос: “Там говорится, пускай он будет изгнанником. Но слово «изгнанник» звучит слишком жалостливо, сочувственно. Нужно жестче: пусть он будет изгоем…”».

Оба автора сомневаются, была ли это Азарх. Дмитрий Быков пишет, что высылки Пастернака потребовала не Азарх, а Вера Инбер, тоже поэтесса. Не важно, кто проявил инициативу, важно, что такое требование прозвучало и его поддержало большинство.

Смирнов растерялся.

«Этот пункт не был запланирован заранее (я возвращаюсь к тексту Лазарева) Смирнов пытался отстоять первоначальный проект, говоря, что там достаточно ясно выражено отношение к содеянному Пастернаком. Зал, однако, настаивал на своем, ревел, требовал голосования. Несколько раз Смирнов, повернувшись спиной к залу, консультировался с дирижером всего этого действа заведующим Отделом культуры ЦК Поликарповым. Тот, видимо, говорил ему, что не надо этого вносить — из каких соображений, не знаю, может быть, проект резолюции уже одобрили на более высоком уровне. Смирнов опять и опять пытался уговорить зал не настаивать на поправке о высылке, зал же требовал, добивался, вопил. И снова Смирнов вел переговоры с Поликарповым. Продолжалось это бесконечно долго. В конце концов вопящие добились своего, поправку проголосовали и приняли.

— Кто за? Кто против? Кто воздержался? — задавал рутинные вопросы председательствовавший.

За «за» взметнулся лес рук, «против» — осталось без ответа, воздержавшихся тоже не оказалось.

— Принято единогласно, — с облегчением констатировал Смирнов. — Собрание окончено. Прошу расходиться».

Ваншенкину запомнилось, что когда Смирнов произнес «единогласно», «какая-то пожилая женщина закричала из зала: “Неправильно! Не единогласно. Я голосовала против…”

Сергей Сергеевич сначала сделал вид, что не слышит, но она приблизилась к сцене, и он вынужденно спустился к ней. Она горячо ему что-то втолковывала. Он нагибался к ней, оправдывался.

— Кто это? — спрашивали кругом.

— Аллилуева.

— Писательница?

— Да, реабилитированная. Из той семьи…»

Это была Анна Сергеевна Аллилуева, сестра Надежды Сергеевны. Свояченица Сталина. После тюрьмы, Анна Сергеевна опубликовала книжку воспоминаний, и ее приняли в Союз писателей. Не знаю, учел ли Смирнов ее голос «против» или в протоколе собрания так и осталось «единогласно».

Собрание закончилось, на улице вечерело, и Лазарев поспешил в редакцию. Косолапова больше всего интересовала резолюция.

«Как я понял, проект резолюции уже был в газете, — пишет Лазарев, — его набрали, он стоял в номере, и Косолапову надо было решить, в каком виде резолюцию печатать — ведь высокое

начальство было против поправки, может быть, не следует ее воспроизводить, не успели, мол, номер уже был подписан, печатался. То ли размышляя вслух, то ли советуясь со мной, он произнес: “Как же поступить?” Мне вдруг пришло в голову: “Позвоните Фурцевой, она же руководит культурой”. Что он и сделал. Разговор был короткий. Положив трубку, Валерий Алексеевич сказал: “Надо давать с поправкой. «Голоса» уже передали”».

Парадоксально, но факт, если бы не «голоса», то…

С другой стороны, резолюция писательского собрания особого веса не имела, высылать Пастернака за границу никто и не собирался.

Еще пару слов о позиции наиболее известных участников тех событий. Александр Трифонович Твардовский, великий поэт и гражданин, в своих рабочих тетрадях обошел расправу с Пастернаком молчанием.

Его верный соратник Владимир Лакшин в написанных позднее «попутных» добавочках к собственному дневнику отметит, что Александр Трифонович в последствие сокрушался: «Меня Поликарпов обманул», — говорил он не однажды, однако Лакшин «так и не понял, в чем заключался “обман” Поликарпова».

Скорее всего, ни в чем, просто Твардовскому, как и Слуцкому, хотелось отвести вину от себя. И детям председателя собрания Сергея Сергеевича Смирнова — кинодраматургу Андрею и журналисту Константину тоже очень хотелось, чтобы злосчастная стенограмма заседания Московской писательской организации вообще куда-нибудь пропала. И мне бы хотелось, чтобы отец оказался ни при чем. Очень хотелось бы. Но, к сожалению, историю не перепишешь. А может быть — к счастью, ибо на ней учатся, правда, только те, кто способен к этому.

Прошли десятилетия, казалось, страна покончила с прошлым, переменились названия не только улиц, новое название и у самой страны. К власти пришли новые люди, те, кто, как они говорят, десятилетиями самоутверждался в борьбе с прошлым. И вдруг все вернулось на круги своя. Наверное, не все помнят собрание представителей «либеральной творческой интеллигенции» 1993 года в Бетховенском зале Большого театра. Говорили о политике. Выступавшие истово выкрикивали: «Канделябрами их, канделябрами»… Кого канделябрами? Своих же собратьев-интеллигентов, но мысливших иначе, несогласных с «генеральной линией». Они, вчерашние «вольнодумцы», с гордостью, причислявшие себя к «совести нации», едва попав в фавор к власти, забыли о своих зрителях, слушателях, читателях и

почитателях и в один миг из гонимых превратились в гонителей.

Неужели мы ничему не научились? Получается, князь тьмы Воланд прав: времена меняются, а люди остаются все теми же. Но это так, к слову.

Вернемся к событиям осени 1958 года. Узнав о требованиях собратьев-писателей, Пастернак не на шутку перепугался, уезжать из страны он не хотел. На следующий день после собрания, 1 ноября, в письме Хрущеву он написал: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры».

Пастернак ищет у Хрущева защиты. А «комсомольцы» с писателями продолжают требовать, и с каждым днем все более агрессивно, выдворения Пастернака. Борис Леонидович в отчаянии, ответа на его обращение все нет, ему кажется, что все потеряно, Хрущев — тоже заодно с ними, с Семичастным, с ненавистными ему писателями.

На самом деле письмо просто еще не дошло до адресата. Отправленное в пятницу, 1 ноября, оно сначала попало в канцелярию, оттуда, не ранее 3-го, его переслали на 5-й этаж помощникам отца. В этот день отец вместе с главой польской делегации Гомулкой уехал в Ленинград. Там они продолжали переговоры, выступали на заводах, затем на митинге на Дворцовой площади. В столь плотном графике докладывались только сверхсрочные и сверхважные документы. Письмо Пастернака к таковым не относили. Оно, скорее всего, вообще оставалось в Москве.

Время идет, Пастернак мечется. Не зная, что еще предпринять, он пишет второе, уже открытое письмо в «Правду». Тем временем отец возвращается в Москву. В папке с почтой находит письмо Пастернака и звонит Суслову. Собственно, это первое личное вмешательство Хрущева в «дело Пастернака». Официальная кампания немедленно затихает, а вот неофициальная…

У Пастернака, как мы уже видели, оказалось достаточно врагов среди его собратьев по профессии и утихомириваться они не желали. Пастернак, по его собственным словам, «напрасно ожидал проявления великодушия и снисхождения… и переступил порог этого с самоубийственным настроением и гневом».

Правда, у поэта достаточно и поклонников, восторженных почитателей его таланта. Но пока дело не «прояснилось», издательства не торопятся с новыми публикациями, а это бьет и по карману, и по себялюбию. Проходит месяц, за ним другой, настроение меняется. Если в 1957 году Пастернак написал «Смягчается времен суровость», то на переломе 1958-го и 1959

года звучит безысходное:

Я пропал, как зверь в загоне,
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне на волю хода нет…
‹…›
Что ж посмел я намаракать,
Пастернак я и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Все тесней кольцо облавы,
И другому я виной —
Нет руки со мною правой —
Друга сердца нет со мной.
Я б хотел с петлей у горла,
В час, когда так смерть близка,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука…

По одной версии, Пастернак «по неосторожности» подарил копию этого стихотворения с автографом английскому журналисту Энтони Брауну, по другой — не подарил, а попросил его передать своей почитательнице во Франции Жаклин де Пруайяр. В новом варианте он заменил две последние, обращенные к его давней подруге Ивинской, очень личные строфы о «руке, которая утерла бы поэту слезы», которыми завершалось стихотворение, четверостишьем, имевшим иное, политическое, звучание:

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

Браун письмо взял, но вместо того чтобы отдать стихотворение адресату, распорядился полученной копией по-своему.

Версий много, но результат один — стихотворение ушло из рук автора. 11 февраля 1959 года его под «политическим», и я бы сказал, провокационным заголовком «Нобелевская премия», опубликовала консервативная лондонская газета «Дейли мейл». Совсем было сошедший на нет скандал в начале 1959 года

разгорелся с новой силой, на сей раз уже с участием отца. В одном из своих выступлений он даже назвал Пастернака «паршивой овцой», заведшейся в советском здоровом стаде. 27 февраля 1959 года на Президиуме ЦК Суслов докладывал «О Пастернаке Б. Л.» Председательствовал отец. Кроме Суслова выступили Микоян, Хрущев, Фурцева, Шелепин и специально приглашенный на заседание Генеральный прокурор СССР Руденко. Ему поручили сделать Пастернаку «предупреждение от прокурора…», пострашать его, чтобы прекратил «враждебную работу».

Руденко не спешил, вызвал к себе Пастернака только 14 марта, тот повинился в неосторожности и «осудил эти свои действия».

В отчете о беседе Руденко отметил, что «на допросе Пастернак вел себя трусливо. Мне кажется, что он сделает необходимые выводы…»

Ничего удивительного и ничего предосудительного в таком поведении я не нахожу. Пастернак — поэт, а не борец с режимом, к тому же человек по натуре ранимый.

На этом дело Пастернака окончательно закрыли.

Летом 1960 года поэт Борис Леонидович Пастернак умер от рака легких. 1 июля его похоронили на кладбище подмосковного писательского поселка Переделкино.

Хоронила его вся фрондирующая литературная Москва. Его «Доктор Живаго» стал политическим символом эпохи, наряду с «секретным докладом» Хрущева и «Архипелагом ГУЛАГ» Александра Солженицына.

Саратовский комбайн

Когда в середине XIX века американцы изобрели комбайн, моторов к нему еще не придумали, и его тащили по полю восьмеркой лошадей. Затем лошадей сменил трактор-фордзон. Такие комбайны попали и в Россию. Комбайн и трактор скопировали и наладили собственное производство.

В XX веке там же, в Америке, начали выпускать самоходные комбайны, они и удобнее, и производительнее. Приступили к работе над самоходным комбайном и у нас, но когда доложили Сталину, он отнесся к американской новации неодобрительно. Ставить мотор и на трактор, и на комбайн он посчитал расточительностью. Весной трактор тащит за собой плуг, пашет, осенью на уборке тот же трактор буксирует комбайн. Один мотор работает круглый год, не простаивает. Может быть, в тридцатые годы такая экономия и имела смысл. Теперь же времена изменились, моторы производились в избытке, но старый запрет продолжал действовать. На полях трактор, волочивший за собой комбайн, разворачивался с трудом и выглядел анахронизмом. К тому же тракторы постоянно требовались для работ то на ферме, то на стройке, а выпрячь их в уборочную страду из комбайна и думать не смей.

В стране в то время насчитывалось около ста тысяч прицепных комбайнов. Если их все переоборудовать в самоходные, выгода получалась огромной. Идея носилась в воздухе. Ее подхватили саратовские комбайностроители, приладили на прицепной комбайн мотор и трансмиссию от трактора, соединили их шкивами с комбайновой косилкой-молотилкой, и самоделка заработала. Саратовский «самоходный комбайн», не один, а пара десятков, проработали всю уборку и показали себя много лучше прицепных. В день убирали зерно с большей площади и горючего расходовали меньше. Ведь теперь мотор тянул не трактор с комбайном, а один комбайн.

В сентябре или октябре на совещании у Хрущева, докладывая о ходе уборки, саратовцы рассказали о своем нововведении. Отцу саратовская самоделка понравилась. На вопрос, можно ли их опыт распространить на всю страну, секретарь обкома Алексей Иванович Шибаев ответил, что все у них сделано профессионально, выпущены чертежи, проведены испытания. У отца не было никаких оснований ему не верить, да и Шибаев не врал, на уровне самоделки они все сделали добротно.

16 октября 1958 года газеты опубликовали информацию об инициативе саратовцев. Секретарь ЦК Николай Григорьевич

Игнатов, он в те дни замещал отца, который после короткого отпуска на юге, инспектировал поля в Краснодарском крае, провел специальное совещание, посвященное переделке всех ста тысяч наличных прицепных комбайнов С-6 в самоходные, и поручил, присутствовавшему там заведующему Сельскохозяйственным отделом Бюро ЦК по РСФСР Мыларщикову договориться с Госпланом об организации работ. Тот позвонил Владимиру Николаевичу Новикову, председателю Госплана Российской Федерации. Что произошло дальше, я произвожу по воспоминаниям Новикова.

По профессии вооруженец-пушкарь, Новиков невоенные отрасли промышленности не жаловал, а уж сельскохозяйственное машиностроение вообще за машиностроение не считал. А тут какие-то, пусть и поддержанные Хрущевым, периферийные рационализаторы. Переделка ста тысяч комбайнов — не шутка, требовалось подключать заводы, выпускать серийно пригодные чертежи, проводить новые испытания. А главное, с таким трудом сверстанные годовые планы летели в тартарары. Новиков встал на дыбы и «отбрил» Мыларщикова. Мыларщиков пригрозил Новикову, что нажалуется Хрущеву. Новиков поостыл, и они договорились: к весне 1959 года переделать пару тысяч комбайнов в самоходные, летом их испытать, посмотреть, что получится.

Задание на переделку комбайна Новиков спустил не Саратовскому, а Ростовскому заводу. Он знал, что делал. Ростовчане не имели ни малейшего желания реализовывать навязанную им сверху «чужую» разработку. В то время они спроектировали и запускали в производство свой собственный самоходный комбайн. Они работали без охоты, из-под палки. Узнав, что дела у ростовчан обстоят не ахти как, Мыларщиков потребовал подключить к эксперименту другие заводы, чтобы посмотреть, у кого лучше получится.

Работы завершились в два с небольшим месяца, и уже концу декабря 1958 года экспериментальные образцы комбайнов, переделанных из прицепных в самоходные, привезли в Москву на ВДНХ. Мыларщиков хотел показать их Никите Сергеевичу. Новиков, в свою очередь, приказал доставить туда же опытные образцы других самоходных комбайнов.

24 декабря Хрущев вместе с Игнатовым, Мыларщиковым, Новиковым, министрами и всеми остальными заинтересованными лицами осмотрел четырнадцать вариантов переделки прицепных комбайнов в самоходные, а также самоходные комбайны Ростовского и Таганрогского заводов. Отцу понравились самоходные комбайны, но и с прицепными тоже требовалось что-

то делать. Договорились дождаться результатов испытаний. От комбайнов перешли к осмотру расположенной по соседству экспозиции колесных тракторов Минского, Липецкого, Харьковского и Владимирского заводов. Вокруг них тоже велись нешуточные баталии. Сейчас уже мало кто помнит сталинскую концепцию гусеничных тракторов: считалось, что только они подходят нашему бездорожью. Но гусеничный трактор недолговечен, прогон гусеницы между ремонтами составлял около сотни километров, и гусеничные машины требовали много больше дефицитного горючего, чем колесные.

После войны в Америке появились высокопроходимые, не вязнувшие даже в весенней пахоте, колеса. Отец узнал о новинке и попросил разработать наш колесный трактор. «Гусеничники» встали на дыбы. Отец обратился за поддержкой к Сталину. Тот согласился с его аргументами, и Минскому тракторному заводу разрешили спроектировать колесный трактор. Результат превзошел все ожидания, трактор не только проходил, но и пахал, разве что не по болоту, расход горючего сократился почти вдвое. Тогда отец и поверил в колесные трактора.

Борьба между «гусеничниками» и «колесниками» продолжалась еще несколько лет, на сторону «колесников» переходили все новые силы, и последние победили. Осмотр экспозиции колесных тракторов — один из эпизодов этой эпопеи.

Попутно отец осмотрел и другие новые сельскохозяйственные машины: ходовой агрегат со сменными навесными приспособлениями, свеклоуборочный комбайн.

Сравнительные испытания комбайнов начались весной 1959 года на опытной площадке Ростовского завода. Ростовчане доказывали и показывали, что разработка Саратовского завода по всем статьям уступает подготовленному к запуску в производство их собственному самоходному комбайну. Саратовцы спорили до хрипоты. Представители других заводов, получивших задание на переделку комбайнов, держали нейтралитет, это дело им навязали.

Победили ростовчане, все подписали акт о нецелесообразности переделок прицепных комбайнов. Саратовцы приписали особое мнение, но его проигнорировали.

Акт отправили по инстанции в Госплан России Новикову. Тот, отослав копию Мыларщикову, попросился на прием к Хрущеву. Прочитав акт испытаний, отец расстроился, однако, настаивать на своем не стал, аргументы «независимой» ростовской комиссии звучали убедительно. Саратовская инициатива так и осталась не реализованной. Вскоре ростовчане, а вслед за ними и другие заводы, начали выпускать самоходные комбайны, а старые

прицепные один за другим сдавали в утиль.

День за днем

31 июля 1958 года отец улетел в Пекин. На встрече с Мао Цзэдуном рассчитывал сгладить шероховатости, возникшие, как он считал, из-за бюрократии с обеих сторон, а на самом деле отражавшие его коренное расхождение с Мао в отношении к Сталину, сталинизму, точнее — к тирании и тиранам.

В Пекине он провел полтора дня, без протокола беседовал с Мао у плавательного бассейна. Внутренне отец начинал ощущать, что с Мао все не очень ладно, но расстались они внешне союзниками. В результате встречи Китай получил лицензию на производство реактивного бомбардировщика Ту-16, пару ракетных зенитных комплексов С-75. Через год они собьют над Пекином, на 20 километровой высоте, американский разведчик РБ-57Д, а еще через полгода такая же ракета собьет над Уралом еще один высотный разведчик У-2, пилотируемый Гарри Пауэрсом. Передавалось китайцам и другое вооружение.

По пути домой, отец выговорил министру обороны маршалу Малиновскому за то, что военные политорганы слишком увлекаются «изучением» военных трудов Мао Цзэду-на, издали его книги массовым тиражом, обязывают офицеров их конспектировать, как будто это Мао выиграл Вторую мировую войну, а не мы.

5 августа, по возвращении в Москву, отец встречается с лидером американских демократов Эдлаем Стивенсоном. Тогда у нас считалось, что он, а не Кеннеди станет в 1960 году кандидатом на президентских выборах. Со Стивенсоном приехал Роберт Такер, тот самый, которому отец посодействовал в женитьбе на русской.

8 августа отец отбывает в Куйбышев, там 9 августа торжественно пускают Куйбышескую ГЭС. Отец выступает на митинге, осматривает станцию и проводит совещание энергетиков. И о нем я уже писал.

В Москву он возвращается на теплоходе, это первая поездка отца по Волге.

На следующий день после прибытия в Москву, 13 августа, он на машине уезжает в Смоленск, в тот же день

вручает области орден Ленина, объезжает поля. Отец недоволен. 15 августа 1958 года, информируя своих коллег о поездке, он жалуется, что «болтают много, а дела не видно» и предлагает Секретариату ЦК и Бюро ЦК по РСФСР «подумать, провести серию совещаний к будущему сельскохозяйственному году». В Смоленск к его приезду «нагнали много милиционеров», отец тут же дает поручение: «Пересмотреть штаты милиции, сократить», а заодно перешерстить и охрану КГБ, навести порядок с почетными караулами, которыми местные начальники встречают теперь не только глав иностранных государств, что предусмотрено дипломатическим протоколом, но кого заблагорассудится.

Удручающее впечатление произвела на отца и смоленская гостиница. Немедленно следует поручение о «строительстве гостиниц в областных центрах».

Слова отца возымели действие, штат охраны сократили, почетный караул больше не выставляли, машина его двигалась по улицам в общем потоке, послушно останавливаясь на красный свет светофора.

А вот хороших гостиниц в областных центрах так и не построили. То есть построить построили, но ненамного лучше старых.

В 1958 году на экраны выходит знаменитый новый-старый фильм, вторая серия «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна, запрещенная Сталиным после войны. Сталину тогда не понравилось, что Иван недостаточно грозный, «какой-то безвольный Гамлет», а его опричники выглядят «последними паршивцами, дегенератами, вроде американского Ку-клукс-клана».

— Не фильм, а какой-то кошмар! Омерзительнейшая штука! — заявил Сталин Эйзенштейну после просмотра в Кремле и приказал переделать фильм.

Но режиссер выполнить приказ не успел, не пережив потрясения, меньше чем через год в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года скончался от инфаркта.

Еще до выхода на большой экран «Ивана Грозного» показали на даче. Отец посмотрел фильм, но после просмотра ничего не сказал. Вскоре вторую серию «Ивана Грозного» увидели все. Особого резонанса у обычных зрителей, в том числе у меня, она не вызвала.

В феврале 1958 года крестьяне начали выходить из «крепостной зависимости», им возвращали паспорта,

отобранные Постановлением ЦИК от 27 декабря 1932 года. Тогда крестьяне бежали от коллективизации куда глаза глядят, село обезлюдело, и Сталин «решил вопрос» в своей манере, закрепостил их. По сталинскому приказу, крестьянину позволялось покидать свою деревню только с разрешения сельсовета, который выдавал ему соответствующую бумажку-справку. Собственно, он не придумал ничего нового, точно так же Иван Грозный боролся с «текучестью» землепашцев, упраздняя «Юрьев день», в который им испокон веку позволялось переходить от одних хозяев к другим, от одного землевладельца к другому.

Теперь крестьяне повторно после 1861 года получали волю, право на паспорт, право на гражданство. Правда, как и в 1861 году, не обошлось без оговорок. В Постановлении о «паспортизации крестьян» записали, что паспорта эти временные и дают их только «отходникам», выезжающим в другие области, к примеру, на уборку на целину, в город на работу, на учебу или еще по какой надобности. Только закрепившись там, появлялась возможность обменять «крестьянский» паспорт на более надежный городской. Процесс паспортизации завершится 28 августа 1974 года, когда выйдет закон, предоставляющий право на паспорт всем и навсегда — но август 1974 года начинался в феврале 1958-го.

29 сентября к отцу снова приезжает Элеонора Рузвельт. У них сложились теплые, если не сказать дружеские, отношения.

6 октября у отца гостит еще один американец, президент Национальной ассоциации кинопромышленников США Эрик Джонстон. Он заинтересован в «проталкивании» американских фильмов на советский экран. Отец не возражает, но на условиях взаимности: в ответ в США должно появиться советское кино. Джонстон мнется, такое решение вне его компетенции, тут завязаны и интересы кинопроката, и надо еще получить разрешение Госдепартамента.

Тем не менее, они расстаются довольные друг другом. В следующем году Джонстон навестит отца во время его визита в США, подарит ему пару миниатюрных беленьких собачек, неизвестной у нас тогда мексиканской породы чихуа-хуа, которые проживут у моей сестры Рады много лет. Я слышал от собаководов,

что от них ведут свою родословную российские чихуахуа.

В октябре, возвращаясь на машине из отпуска, отец по пути осматривал поля, инспектировал уборку урожая, проводил в областных центрах совещания. 14 октября он — в Ставропольском крае, 15-го — в Краснодарском. От туда 16-го переезжает в Ростовскую область. 18-го — уже в Курске, по пути заскакивает в свою родную Калиновку. 19 октября отец в Москве. 31 октября он проводит совещание свекловодов. 12 ноября докладывает Пленуму ЦК о плане семилетки 1959–1965 годов и в тот же день принимает знаменитого английского физика Джона Кокрофта, лауреата Нобелевской премии, создателя первого английского ускорителя протонов, во время войны руководителя разработки английских радаров. С 1946 года Кокрофт директор Центра по атомной энергии в Харуэлле. Там они познакомились во время поездки отца в Великобританию в 1956 году.

14 ноября отец выступает на приеме в Кремле в честь выпуска военных академий.

15 ноября газеты сообщают об окончании работы Пленума ЦК. На своем последнем заседании члены ЦК, как обычно, решали организационные вопросы, освободили товарища Н. И. Беляева от обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с «необходимостью сосредоточиться на проблемах Казахстана». На самом деле Игнатов добился своего, выжил конкурента-сельскохозяйственника со Старой площади. Позиции его усилились, что не устраивало ни Козлова, ни Кириченко, ни Микояна.

4 декабря 1958 года на Балтийском заводе, где раньше строили крейсера, спущен на воду крупнейший в стране танкер «Пекин» водоизмещением 40 тысяч тонн.

7 декабря отец на открытии I съезда писателей Российской Федерации.

18 декабря принимает делегацию муниципалитета Парижа.

20 декабря присутствует на открытии памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.

Кириченко, Микоян, Игнатов и перемены в КГБ

Конец года, казалось, не предвещал неожиданностей, и тут гром среди ясного неба: по радио объявили, что 8 декабря 1958

года генерал армии Серов освобожден от должности председателя в КГБ в связи с переходом на другую работу. Серова сняли! За что? Почему? Серов — был человеком близким отцу. Я тогда сидел на полигоне и не мог прибежать к отцу с вопросами. Через пару дней, тоже из сообщения по радио мы узнали, что председателем КГБ назначили Шелепина, недавнего комсомольца, с апреля этого года заведующего Отделом партийных органов в ЦК. Я удивился ещё больше: органы ловят шпионов, засылают к врагам разведчиков, там нужны люди особой квалификации, а Шелепин, в моем понимании, для подобных дел не подходил. Я его знал относительно хорошо. Они дружили с Аджубеем и моей сестрой Радой. Меня Шелепин не впечатлил, но и не оттолкнул, человек как человек. Только очень прилипчивый. «Железным», как его прозвали, он мне отнюдь не показался. Перед Аджубеем он лебезил, а вскоре после знакомства начал названивать и мне, поздравлял с днем рождения. Его звонки заставляли меня как-то поеживаться: с чего это он мне звонит? С другой стороны, они мне отчасти льстили, я, мальчишка-инженер, а он — член ЦК. Из людей такого ранга мне до того никто не звонил, тем более с поздравлениями. Однако дальше этих звонков наши отношения не пошли. Я дружил со своими сверстниками, коллегами по работе. Шелепин в нашу компанию явно не вписывался.

Естественно, что, возвратившись в Москву, я сразу бросился к отцу с вопросами. Несмотря на табу, наложенное на обсуждение скользких кадровых тем, тут я не выдержал, речь шла не просто о Председателе КГБ Серове, а о Иване Александровиче, Светланином отце, нашем хорошем знакомом. Отец от разговора не уклонился, не шуганул меня привычным в таких случаях: «не приставай», но и на вопросы отвечал без охоты, односложно. Он объяснил, что они в Президиуме ЦК решили усилить партийный контроль над КГБ, омолодить кадры, убрать скомпрометировавших себя «стариков сталинского призыва», замешанных в нарушениях закона. Он не употребил слово — в преступлениях.

Серова они без обиды, так сказал отец, и без понижения статуса перевели в Генеральный штаб, назначили начальником Главного разведывательного управления (ГРУ).

— Он ведь военный, артиллерист, — как бы оправдываясь, произнес отец, — в НКВД попал случайно, в Генштабе ему самое место.

Шелепин же очень подходящая фигура, человек молодой, комсомолец, успел уже поработать в ЦК. А что касается шпионов, то в КГБ хватает профессионалов, они ими как занимались, так и

будут заниматься.

— Председатель за ними по дворам не бегает, — пошутил отец, — его дело проводить политику партии.

Объяснения я принял, но в глубине души сомнения остались. Я их списал на свое недопонимание и успокоился.

В начале 1959 года из Киева приехал Виктор Петрович Гонтарь, муж моей сестры Юли-старшей. (Так ее называли, чтобы отличать от Юлии-младшей, дочери погибшего на войне моего брата Леонида.) Директор тамошней оперы, неисправимый сплетник, знавший все обо всех и рассказывающий всем обо всех. При этом он, в силу своей незлобивости, благорасположенности тоже ко всем, сохранял со всеми наилучшие отношения.

Остановился он не у нас в резиденции на Ленинских горах, а у Ирины Сергеевны, сестры отца. К нам забегал на минутку, и только когда отца дома не было. Однако и за эту минутку он успевал порассказать столько…

Почему Виктор Петрович перестал останавливаться у нас, хотя раньше дневал и ночевал в резиденции, — это отдельная история. Весьма терпимый к человеческим слабостям, отец с трудом переносил своего зятя. Виктор Петрович изводил его нескончаемыми разглагольствованиями на все мыслимые темы, от мировой политики до погоды и сплетен. Кто, когда, с кем, у него в Киевской опере, в Большом театре, и вообще в Киеве с Москвой. Мы знали, что отец не переносит подобной болтовни, знал это и Виктор Петрович, но удержаться не мог. Так продолжалось многие годы, еще с довоенных времен. Отец мирился, пропускал слова зятя мимо ушей, изредка, из вежливости, кивал. Признаюсь, в отличие от отца мне рассказы Виктора Петровича казались очень интересными, и слушал я их, развесив уши.

И вдруг Гонтарь перестал появляться в доме. Вскоре все прояснилось. Во время очередной прогулки отец без улыбки предупредил меня, чтобы я в присутствии Гонтаря не болтал лишнего, особенно о своей работе, о ракетах. Есть подозрение, что он общается с иностранными разведчиками. У меня даже дух перехватило: Виктор Петрович — шпион. С того дня я стал его сторониться. Конечно, Гонтарь никогда не был шпионом, но он обожал иностранцев, с удовольствием принимал от них сувениры и болтал, болтал без удержу. Естественно, такой «источник информации» представлял интерес и для журналистов, и для дипломатов, и для разведчиков. Последние обычно хорошо известны контрразведке, но их до поры до времени не трогают. Почему?

«Мы их знаем, а, следовательно, контролируем, — объяснил

мне как-то Серов, — следим, с кем они общаются, от кого получают информацию, и какую информацию. Арестуй мы их, пришлют новых, нам неизвестных, и начинай все сначала».

Так что уличить Виктора Петровича в нежелательных контактах для КГБ труда не представляло. Вопрос только — зачем? Скорее всего, Серов никаких своих целей не преследовал — по долгу службы показал отцу досье «приятелей» Виктора Петровича. С другой стороны, Серов Виктора Петровича недолюбливал. Тот без конца ему звонил, за кого-то хлопотал, что-то выпрашивал, даже требовал, вмешивался в дела, как считал Серов, далеко выходящие за рамки деятельности не только директора Киевской оперы, но и хрущевского зятя.

Одно из «столкновений» у них произошло из-за Майи Плисецкой. Ее, лучшую балерину Большого театра, упорно не выпускали за границу, кто-то из собратьев-артистов «настучал», да так «настучал», что дело дошло до Серова, и все попытки заступиться за нее не помогали. Даже министр культуры Михайлов оказался бессилен.

Естественно, Виктор Петрович знал все о перипетиях Майи Михайловны. Однажды она со слезами на глазах попросила его помочь, и он с готовностью откликнулся. Виктор Петрович не сомневался, уж ему-то «Иван» не откажет. Они уговорились встретиться в Министерстве культуры, оттуда, из пустующего кабинета, можно по кремлевскому телефону дозвониться до кого угодно.

Отец всегда сам снимал трубку «кремлевки» и бывал очень недоволен, если на его звонок отвечал секретарь. Все поневоле следовали его примеру.

Пустой кабинет с нужным телефоном Виктор Петрович и Майя Михайловна отыскали быстро. Приятель Виктора Петровича, заместитель министра Владимир Тимофеевич Степанов, где-то совещался. Секретарь отлично знала Гонтаря, тот не раз, дожидаясь ее «хозяина», коротал время в кабинете Степанова, названивая по его вертушке. Виктор Петрович набрал номер Серова и, не дождавшись ответа, передал трубку Плисецкой. Однако разговора не получилось, Серов не только отказал, но, разозлившись, приказал выяснить, по чьей «кремлевке» звонила ему балерина. Инструкция строго запрещает допускать к аппарату спецсвязи посторонних. Однако все прояснилось без всякого расследования. Расстроенная Плисецкая ушла, а Виктор Петрович снова набрал Серова, сказал ему, что это он, вместе с Майей Михайловной, звонил ему из кабинета Степанова и выговорил Ивану Александровичу за его неправильное, с точки зрения Гонтаря, поведение. Что ответил

Серов, что между ними произошло, не знаю, но на следующий день у Степанова «кремлевку» отключили, неслыханный позор для заместителя министра.

Я пересказал историю со слов Виктора Петровича. Майя Михайловна в своей книге «Я, Майя Плисецкая» несколько иначе описывает это происшествие.

Неудача с Гонтарем Плисецкую не обескуражила, она продолжала борьбу и в конце концов достучалась до отца. Ее письмо обсуждали на Президиуме ЦК, КГБ стояло на своем, и вслед за ним кое-кто из членов высшего руководства страной засомневался, стоит ли рисковать? Отец считал иначе, разразился тирадой о необходимости доверять людям и демонстративно «поручился» за Плисецкую. Так она стала «выездной». 18 марта 1959 года великая балерина Майя Плисецкая впервые в составе труппы Большого театра выехала за границу на гастроли в Нью-Йорк.

Когда Шелепин занял кабинет Председателя КГБ, отец попросил его проверить, на самом ли деле Гонтарь связан с иностранной разведкой. «Проверка была произведена самая тщательная, — так в 1991 году Шелепин рассказывал корреспонденту газеты «Труд». — В результате было доказано, что зять его невиновен. Когда я рассказал Хрущеву об этом, он сердечно поблагодарил».

Итак, возвращаюсь к интриге вокруг замены председателя КГБ. В январский, 1959 года, приезд все разговоры Виктора Петровича крутились вокруг «Ивана», так он по-панибратски продолжал звать Серова, хотя, как вы понимаете, в последнее время они друг друга крепко не любили. Виктор Петрович под «страшным секретом» рассказал, что в свое время, когда «Иван» работал заместителем Жукова в Германии, он столько «нахапал», даже присвоил бельгийскую корону. Теперь Ивана выведут на чистую воду. Виктор Петрович торжествовал. На меня его рассказ особого впечатления не произвел. Об этой короне он давно прожужжал всем уши.

Что у Серова дома находится какая-то корона, знали многие, он никогда этого не скрывал. Даже показал ее Виктору Петровичу, не сейчас, а когда они еще не рассорились.

Корону Бельгийского короля немцы конфисковали в начале войны, и она осела в сокровищнице то ли Геринга, то ли еще у кого-то из немецких бонз. После победы, когда в советской зоне оккупации Германии Жуков с Серовым полновластно распоряжались всем и вся, она стала «трофеем» Ивана Александровича.

Тогда из Германии без утайки, открыто все тащили всё, что

под руку попадет: генералы — вагонами, полковники — машинами, а кто чином пониже — чемоданами и рюкзаками. Все всё знали, и все молчали, такую практику негласно санкционировал сам Сталин.

Московские генеральские квартиры и дачи обставлялись немецкой резной мебелью, выложенные немецким паркетом полы устилались немецкими коврами, на стенах красовались немецкие картины. Как правило, генералы не представляли истинной цены своих благоприобретений, они просто приказывали адъютантам прихватить понравившуюся им «вот эту штучку». Потом генералы отбирали из всего этого лично для себя, а остальное доставалось адъютантам с интендантами.

Припугнуть вывезенным из Германии трофейным добром Сталин решил лишь однажды, в 1948 году, когда «задвигал» подальше ставшего неудобным Жукова. Маршалу «шили» уголовное дело. По приказу Сталина у Жукова обыскали квартиру и дачу, нашли чемодан часов, отрезы бархата, картины, ковры, гобелены. На допросах близких к Жукову генералов речь шла и о чьей-то короне. Считалось, она принадлежала немецким кайзерам. Жуков от всего открещивался, но его оправдания, что он ничего не знал о хранившихся у него дома ценностях, звучали анекдотично. Попугав маршала в свое удовольствие, Сталин решил уголовного дела не затевать, отослал его служить на Урал.

Теперь тот же сценарий разыграли в отношении Серова. Серов не устраивал в Президиуме ЦК многих, в первую очередь Кириченко, Микояна и Козлова. Они попросту боялись Серова. Он все знал о них, о каждом их шаге, а их самих и в грош не ставил. «Неуправляемость» председателя КГБ представлялась им нешуточно опасной, и они жаждали избавиться от Серова любой ценой. Державшийся особняком Игнатов, если верить Микояну, действовал иначе, он старался «приручить» Серова, склонить его на свою сторону.

В то время Кириченко, Игнатов, Козлов почти в открытую боролись за второе по значимости кресло в советской иерархии. Оно могло, в зависимости от обстоятельств, именоваться «Вторым Секретарем ЦК КПСС» или «Первым Заместителем Председателя Совета Министров СССР». Микоян не светился, держался за кулисами. Впоследствии он объяснял свое участие в кампании против Серова тем, что последний был замешан в сталинских преступлениях и вообще нечистоплотностью в делах. С другой стороны, Серов мог знать о самом Микояне, о его прошлом нечто такое, что побуждало Анастаса Ивановича попытаться убрать Ивана Александровича подальше, лишить его доверия отца и контактов с ним.

Полагаю, кто-то из этой четверки придумал и запустил комбинацию, но предварительный сговор между ними я исключаю. Остальные присоединились. Против Серова задействовали Шверника, председателя КПК, «совесть» партии, человека, по словам Микояна, «честного, но, правда, немного наивного. Он об интригах ничего не знал.(Анастас Иванович не уточняет, о чьих и каких интригах). Шверник предоставил ему (Хрущеву) документы, что Серов награбил в Германии имущества чуть ли не на два миллиона марок, точно не помню. Потом я узнал, что их раскопала Шатуновская», — пишет Микоян в воспоминаниях.

Ранее Анастас Иванович не раз упоминал о своих тесных отношениях с Шатуновской. И Ольга Григорьевна могла ему первому все рассказать о своих находках, пришла посоветоваться с ним до того, как идти к своему непосредственному начальнику — Швернику. С другой стороны, Микоян отлично знал, что на «трофейный» крючок можно «подсечь» любого генерала или маршала. И о короне он, несомненно, был наслышан. Так что, возможно, это он «посоветовал» Шатуновской заняться Серовым, указал, что и где «искать».

В воспоминаниях Микоян сетует, что убрать Серова «было очень трудно, Хрущев упрямился. — “Нельзя, говорит, устраивать шум, многие генералы в этом грешны”. — “Хорошо, не устраивай шум, — говорю я ему. — Но хотя бы надо снять его с этой работы!” Но Хрущев не уступал».

Не помогла и бельгийская корона. А уж на нее, казалось, отец не мог не клюнуть. Ведь этой весной он сидел рядом с Бельгийской королевой на заключительном концерте победителей конкурса Чайковского, слушал Вана Клиберна, потом принимал ее в Кремле. В свою очередь, королева регулярно приглашала к себе во дворец советских музыкантов, после выступлений долго с ними беседовала, а затем направляла благодарственные письма Ворошилову. Отец очень ценил эти контакты, связи с Западом тогда только налаживались.

Естественно, королеве очень хотелось заполучить назад свою корону, она ее разыскивала повсюду, не зная, что корона лежит у Серова на даче.

Но отец на корону не клюнул, просто приказал Серову ее вернуть законной владелице. В архивных документах и серьезных публикациях о Серове я вообще не нашел упоминаний о короне Бельгийского короля. Но это не означает, что она была или ее не было. Я описал историю, как ее очень хорошо запомнил сам.

«Кириченко помог убрать Серова, — рассказывает Микоян о развитии интриги. — Но и Игнатов, поддерживая Серова против

меня, сыграл свою роль. Кириченко, хоть и не очень одаренный, но порядочный человек, однажды (на заседании Президиума ЦК. — *С. Х.*) при Игнатове выразил удивление, что тот часто общается с Серовым, хотя по работе у них точек соприкосновения практически нет. Председатель КГБ выходил прямо на Хрущева. Серов же часто в рабочее время приезжает к Игнатову в кабинет. “Конечно, это не криминал, — заметил Кириченко. — Просто непонятно, несколько раз искал Серова по телефону и находил его у тебя”. (У Игнатова. — *С. Х.*) Игнатов отбивался: “Ничего подобного не было, с Серовым он не общается”. В тот раз все прошло без последствий, хотя само такое яростное отрицание такого очевидного факта обычно выглядит хуже самого факта».

Лобовая атака не сработала, но Микояну удалось зародить у отца сомнения. Интриганство Игнатова знали все, и, действительно, «точек соприкосновения с Серовым у него не было».

Микоян умело направил мысли отца в нужном ему направлении. Сидя на вершине авторитарной пирамиды власти, невозможно не думать о вероятности заговора. Приходится все время держаться настороже. А когда к «подозрительным» контактам Серова с Игнатовым добавилась еще и бельгийская корона, то дело о необходимости оздоровления, очищения «органов» не могло не выгореть. И оно и «выгорело». Правда, не сразу.

Первый раз вопрос о Серове на Президиуме ЦК, в присутствии самого Серова, поставили 20 ноября 1958 года. Из записок Малина мало что понятно, но говорили о перемещении Серова в ГРУ и перебирали кандидатуры на место Председателя КГБ. Отец назвал генералов Лунева и Ивашутина, но не настаивал. И тут вдруг Серов назвал Шелепина, сказал, что в нынешней ситуации больше подошел бы политработник.

Расстались, так ничего и не решив. На следующем заседании, 24 ноября, отец снова заговорил о Серове, он засомневался, правильно ли они поступают, ведь он «ведет себя преданно». Его поддержал Аристов, который перечислил положительные стороны Серова. Игнатов тоже подчеркнул преданность Серова. Фурцева, она в то время тесно контактировала с Игнатовым, напомнила о твердой позиции Серова в деле реабилитации жертв открытых сталинских политических процессов. В комиссии, созданной 13 апреля 1956 года под председательством Молотова, он, несмотря на давление со стороны Молотова, твердо проводил линию Хрущева.

— Прямой человек, дело знает, выдержанный, хорошо показал себя в июньские дни (во время столкновения с

молотовцами. — *С. Х.*), — твердо встал на защиту Серова Полянский.

— Серова только враги ругают, — откликнулся Поспелов.

В результате, приняли резолюцию: «Оставить». Микоян с Кириченко на этом заседании присутствовали, но, судя по записям, сидели тихо, не высказывались. Однако и не смирились.

«Кириченко не успокоился, — пишет Микоян, оставляя себя за скобками, — и через некоторое время вернулся к этому вопросу: “Как же ты говоришь, что не общаешься с Серовым?” — спрашивает он Игнатова (в присутствии Хрущева). — Я его сегодня искал, ответили, что он в ЦК. Стали искать в Отделе административных органов — не нашли. В конечном счете, оказалось, он опять сидит у тебя в кабинете”. — “Не было его у меня”, — отпирался Игнатов. Тогда Кириченко назвал фамилию человека, который по его поручению искал Серова и обнаружил его выходившим из кабинета Игнатова. Хрущев искоса посмотрел на Игнатова, промолчал. Но все стало ясно».

После этого происшествия мнения переменились, все настроились против Серова, вновь заговорили о его замене. На заседании Президиума ЦК 3 декабря 1958 года Кириченко, расписывая, как он искал Серова, в подтверждение своих слов сослался, что «при этом деле был Малиновский».

Припертый к стене Игнатов заюлил, начал оправдываться, что он «ничего не скрывал», но слова его звучали крайне неубедительно, Игнатов это и сам понял и в отчаянии сдал Серова.

— Удивляет товарищ Игнатов, — тут же воспользовался его замешательством Козлов. — Если ошибся — скажи, но такое поведение… Нечестное поведение. Сделать вывод надо…

— О Серове: надо заменить, — твердо, почти безапелляционно припечатал Козлов.

Отец молчал, и его молчание означало, что аргументы возымели действие.

— Надо решать теперь вопрос о Серове, — твердо поддержал Козлова обычно нерешительный Микоян.

— Товарищ Серов вел себя в отношении товарища Хрущева во всех трех случаях хорошо, — пытался было встать на его защиту Аристов, но его никто не поддержал.[52]

— Все понял. Вопрос исчерпан, — подавленно откликнулся Игнатов.

В тот день решения не приняли, но и отец больше Серова не отстаивал. 10 декабря 1958 года его отправили служить начальником ГРУ. Но и там недоброжелатели о нем не забывали. После ареста в 1962 году американского шпиона, полковника

военной разведки Олега Пеньковского, Козлов буквально вынудил отца разжаловать Серова из генерала армии в генерал-майоры и отправить дослуживать до пенсии в далекий Туркестан. (Подробно об этом можно прочитать в моей книге «Рождение сверхдержавы».)

Замена Серова на Шелепина подтвердила: отца мастером интриги никак не назовешь. Он принципиально отвергал всякого рода «личные канцелярии», параллельные центры власти и другие столь любимые Сталиным «макиавелливские» выкрутасы. И сейчас он посчитал, что Шелепин, комсомольцы, с незапятнанной репутацией, не развращенные вседозволенностью и всемогуществом «сталинских органов», придя в КГБ, изменят сущность организации, будут руководствоваться не личными, а общими интересами, интересами страны. Отставляя Серова, отец считал, что приобретает новое качество и «выигрывает партию».

Он ошибся. Пожертвовав Серовым, он не приобрел, а потерял качество, взамен профессионала-служаки получил Шелепина и его команду — закоренелых бюрократов-сталинистов, «младотурок», как назвал их цековский «либерал» Федор Бурлацкий. «Шелепин с Семичастным наводнили КГБ лихими и беспардонными комсомольцами из ЦК ВЛКСМ», — вторит ему цековский долгожитель А. М. Александров-Агентов.

И тем не менее, за десятилетие, с 1954 по 1964 год, КГБ сильно изменился, его численность сократилась на 110 тысяч человек, оставшихся сотрудников тщательно пересортировали, кого-то отправили в отставку, а еще 46 тысяч человек просто уволили. На их места пришли выпускники высших учебных заведений, бывшие комсомольские работники, инженеры с производства. К 1963 году на 90 процентов штата составляли новые, никак не связанные с кровавым прошлым, люди.

Особенно «досталось» подразделениям, приглядывавшим за собственными гражданами. «После создания КГБ при СМ СССР в марте 1954 года… в контрразведке работало 25 375 сотрудников, а стало всего 14 263, — 25 июня 1967 года жаловался в своей записке Андропов Брежневу. — На 3 300 имеющихся в стране районов, отделы КГБ остались только в 734», в местах, представлявших интерес для иностранных разведок. Юрий Владимирович только что перешел в кресло председателя КГБ и теперь приступал к восстановлению утраченных при Хрущеве структур. Брежнев инициативу Андропова поддержал, в том же году образовали дополнительно две тысячи райотделов КГБ с соответствующей численностью.

Другое дело, насколько изменения связаны с приходом в органы Шелепина? Все началось еще при Серове — и сокращения,

и замены. Из 46 тысяч упомянутых выше новых назначений 23 тысячи произошли до Шелепина. И сокращения начались задолго до его появления на Лубянке. КГБ реформировал не Шелепин с Серовым, а Хрущев. Это он в феврале 1960 года он приказал упразднить 4-е Управление КГБ, официально занимавшееся «антисоветчиками», а на деле шпионившее за писателями, художниками и другими «сомнительными» элементами. В 1967 году Брежнев это Управление воссоздаст, но уже под номером пять.

Как всегда, все зависело от первого лица. Пока отец находился у власти, и при Серове все развивалось бы в том же направлении, но более профессионально, чем при Шелепине.

Теперь же на место генерала Серова, то ли на самом деле заигрывавшего с Игнатовым, то ли павшего жертвой разыгранной Микояном интриги, пришел политик, который, как и Сталин, видел в «органах» инструмент достижения собственной власти.

Уголовный кодекс

Так уж совпало, практически одновременно с переменами в КГБ, 22 декабря 1958 года, Сессия Верховного Совета СССР утвердила новые «Основы уголовного законодательства Союза СССР». Взамен действовавших с 31 октября 1924 года и основательно «отредактированных» Сталиным в 1930-е годы за два последних года подготовили новые «Основы». Советское законодательство становилось более цивилизованным, «чрезмерную суровость наказаний», продиктованную сталинским тезисом «ужесточения классовой борьбы по мере продвижения к коммунизму» заменяли общепринятыми в мире нормами, дали больше свободы союзным республикам в деле поддержания законности на их территории.

Приведу только некоторые, по тому времени «революционные» изменения законодательства. Запрещалось использовать столь удобное для обвинения понятие «врага народа, врага трудящихся». Для осуждения теперь требовались более веские, а главное — конкретно доказуемые обвинения. Уходило в прошлое наказание за «намерение». Еще недавно «тройки» автоматом штамповали «25 лет лагерей» за «попытку к намерению совершения террористического акта». Даже не за намерение, а за попытку к нему! Повысили возраст наступления уголовной ответственности с 14 до 16 лет, отменили «поражение в политических правах», запретили высылку из страны как меру наказания, провозгласили гласность судебного разбирательства и независимость судей. Предлагалось допустить адвокатов к делу

еще на стадии предварительного расследования, содержание подследственных в тюрьме ограничить конкретными сроками и даже освобождать из-под стражи на время следствия до суда арестованных, не представлявших опасности для общества.

Что тут началось! Генеральный прокурор, председатель КГБ, министр внутренних дел встали на дыбы. Не забывайте, что «адвокат» большинству людей представлялся личностью подозрительной, а его занятие весьма непристойным. Он защищал «заведомых» преступников, арестованных и изобличенных следователем. Порядочный человек помогать преступникам не станет. Теперь же этим «не заслуживающим доверия личностям» позволят копаться в сведениях, с таким трудом добытых нашими героями-чекистами. О какой тайне следствия можно после этого говорить?!

Освобождение из-под стражи арестованных до суда, по мнению правоохранительных структур, вообще ни в какие ворота не лезло, они считали, что тем самым в законодательство протаскивалось недоверие к «органам». Как будто «там» не знают, кого арестовывают. Как и в случае с адвокатурой, большинство населения разделяло их точку зрения. Ни разоблачения чудовищных политических преступлений, ни появившиеся на экранах кинофильмы, намекавшие на возможность следственных ошибок, не смогли поколебать вколоченной с детства веры в непогрешимость «органов». Веру вообще поколебать крайне трудно, доводам разума она не подвластна.

Не все удалось провести в жизнь, многое из Кодекса осталось на бумаге, но первый шаг сделали. Первый шаг из сталинского «средневековья» в цивилизованный мир.

Пленум ЦК или производственное совещание?

15 декабря 1958 года собрался ставший традиционным, подводящий итоги года Пленум ЦК. Даже не Пленум, а собрание специалистов, потому что приглашенных на его заседания в Кремль оказалось много больше, чем самих членов ЦК. Количество участников лимитировалось только размерами зала. Нововведение нравилось далеко не всем, а в центральном аппарате не нравилось никому. Чиновники ворчали: Хрущев превращает заседание высшего органа власти в стране в «профсоюзное» собрание, на Пленуме выступают не его, облеченные доверием партии, члены, а «кто ни попадя, люди с улицы»: академики, директора заводов и совхозов, а то и простые колхозники. В принципе, они ничего не имели против передовиков производства, селекционеров и ученых, но каждый

должен знать свое место. Одно дело межрайонное производственное совещание, а другое — Пленум ЦК! Отец же считал, что присутствие специалистов на Пленуме позволяет лучше разобраться в сути дела. Он знал в лицо почти всех приглашенных, быстро «переводил» выступления по бумажке в живой разговор, обращался к ним по имени-отчеству, вспоминал о прошлых успехах или провалах, выспрашивал, что произошло с их последней встречи. Отец доходил даже до совершенно «недопустимого»: голосовали по резолюции все присутствовавшие. На ропот он внимания не обращал, а возможно, и не знал о недовольстве в недрах ЦК. После отстранения отца от власти манеру собирать «расширенные» Пленумы ЦК ему поставят в укор, объявят волюнтаризмом. Пока же он руководил страной на свой лад.

Весь этот год отец колесил по стране. В январе — провел совещание в Белоруссии, в апреле — в Курске и в Киеве, в августе — в Смоленске, в октябре — в Ставрополье, Краснодаре и Ростове. Отец набирал в поездках информацию, рассылал по их итогам подробные «записки». Москвичи-аппаратчики смотрели на его «самодеятельность» несколько свысока, считали, что получаемые ими по бюрократическим каналам отчеты с мест дают куда лучшее представление о состоянии дел, чем «общение с народом».

Однако кое-кого в высшем руководстве частые отлучки отца очень даже устраивали. Так, Козлов, недавно ставший первым заместителем председателя союзного правительства, пошутил в узком совминовском кругу: «Пусть ездит, мы же, пока его нет, страной поуправляем». Козлову вторил Игнатов, он тоже рассчитывал «порулить» страной в отсутствие отца. Даже несмотря на то, что в формальной партийной иерархии он стоял на ступеньку ниже Кириченко. Как он считал — пока.

Собственно, здесь столкнулись два подхода, две управленческие философии: центростремительная, втискивающая жизнь в бюрократические параграфы уложений и центробежно-прагматичная, приспосабливающая уложения к меняющимся реалиям жизни. Эти два подхода постоянно конфликтуют между собой, но ни один из них самостоятельно не может привести к успеху. В период реформ, когда обстановка меняется еженедельно, если не ежечасно, более эффективен второй подход. Если обществу удается достичь баланса интересов, то частая смена правил игры становится контрпродуктивной, тут требуется не переписывать законы, а строго их придерживаться. Наступает затишье, период «стабильности». И так до следующей реформы.

В эпоху перемен отец олицетворял собой реформаторство, а

его аппарат тяготел к стабильности. Они постоянно вступали в противоречия, нередко доходило до схватки, но они дополняли друг друга, вместе продвигали общество по пути реформ.

Два эти принципа друг без друга продуктивно существовать не могут. Так устроен окружающий нас мир, таков фундаментальный закон живой природы. Виды, прыгнувшие в своей мутации слишком далеко вперед или в сторону, погибают, как погибают и те, что в процессе эволюции застыли в своем развитии.

Природа выработала такую стратегию миллионами лет эволюции. То же самое мы наблюдаем и в обществе. Безоглядное «реформаторство» ведет страну к катастрофе, как это случилось в конце 80-х годов XX столетия при Горбачеве. Абсолютизация власти бюрократических схем — вспомним правление Александра III, Николая II, Брежневскую «стабильность», — ведет к застою, к гибели общества от удушья, подготавливает неизбежный взрыв, революцию или контрреволюцию.

В конце 1958 года оба начала пока еще действовали совместно, не очень согласованно, но достаточно результативно.

Первое пятилетие Хрущева

Этой осенью отец подводил итог личной пятилетки реформ 1953–1958 годов. Результаты обнадеживали, страна постепенно разворачивалась к лучшей, пусть пока не изобильной, но уже не голодной жизни. Промышленность прирастала ежегодно на 8 — 10 процентов. Как бы мы критически не относились к советской статистике (я бы сказал, к любой статистике), но и самые заядлые пессимисты подтверждали весьма заметный рост экономики. Даже в донесениях ЦРУ президенту США Эйзенхауэру аналитики прогнозировали, что если в будущем СССР продолжит политику реформ, то к концу XX века советская экономика втрое превзойдет американскую, и уже им придется догонять Советский Союз. Сейчас об этом документе предпочитают не вспоминать ни в США, ни в постсоветской России.

Можно бесконечно рассуждать о соответствии цифр в статистических отчетах действительности.

Например, по мнению Белкина, совпадающему с постсоветскими выводами НИИ Госкомитета Российской Федерации, рост промышленной продукции СССР за 1960–1980 годы тогда завысили в два раза. (См. «Вестник статистики», 1992, № 4.) А вот другое мнение: начальник российских статистиков Б. Кириченко в ельцинские времена писал о шестикратном завышении темпов роста. У еще более лихих критиков советской

системы оно выходило даже тринадцатикратным. («Вестник статистики», 1992, № 4 и «Экономика и математические методы», 1990, № 5.) Последние цифры, без сомнения, политически мотивированы, тогда стало модно ругать все советское. Но это все схоластические рассуждения, а в природе, в том числе и человеческой, имеется единственный неоспоримый критерий качества жизни — это сама жизнь. Об улучшении жизни свидетельствует прирост населения и увеличение продолжительности жизни. При среднем приросте населения СССР за 1950–1965 годы в 3,3 миллиона человек, в 1958 году зафиксирован скачок до 3,9 миллиона.

Продолжительность жизни увеличилась до 69 лет, по сравнению с 47 годами в 1938 году и 67 годами в 1956 году.

Правда, шестая пятилетка так и не сложилась, на нее пришлось махнуть рукой, заменить семилеткой. Но отец не особенно огорчался, за прошедшие годы многое переоценено, возникли новые приоритеты, в первую очередь — химия. Так что нет худа без добра.

Переход к совнархозам заметно оживил экономику, но и породил новые проблемы. Не успели демонтировать ведомственные барьеры, как на их руинах начали возводиться барьеры региональные. Совнархоз норовил отгородиться стеной от соседей, брать, что только можно, а свое, если удастся, попридержать. Отец называл такое поведение антипартийным. Он уповал на Госплан, его дело следить за соблюдением общего — государственных интересов.

1958 год на селе закончился неплохо. За 1953–1958 годы посевные площади, включая целину, возросли на 17 процентов, валовый урожай зерна увеличился на 69 процентов. В 1958 году собрали более восьми с половиной миллиардов пудов зерна (134,7 миллиона тонн). Именно эту цифру назвал осенью 1952 года на XIX съезде Маленков, утверждая, что таким образом зерновая проблема решена. Но тогда речь шла о «биологическом», гипотетическом урожае (я уже писал об этой методике подсчета колосков на одной делянке в метр на метр и затем пересчете результата на миллионы гектаров.) Сейчас же засчитывалось зерно, заложенное в элеваторы. Отец очень гордился тем, что ему удалось перевести урожай из «биологического» в «амбарное исчисление». В результате заготовки в среднем выросли на 84 процента. В 1958 году они достигли 3 миллиардов 495 миллионов пудов (56,6 миллионов тонн) и наконец-то превысили годовой расход зерна в 50 миллионов тонн на все нужды: выпечку хлеба, корм скоту, подкормку союзников, производство спирта.

В 1958 году в госрезерв заложили 11,2 миллиона тонн зерна,

почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

58 процентов прироста заготовок зерна обеспечила целина. За истекшие четыре года она полностью себя окупила и начала давать прибыль. Итог получился с плюсом в 18 миллиардов рублей.

Целинным хлебом отец гордился особо, той особой гордостью расчетливого дельца, рискнувшего своими капиталами и выигравшего. Свои расчеты отец сначала привел в докладе Пленуму, а затем рассказывал о целинном триумфе всем желавшим слушать: гостям за воскресным обеденным столом, нам, детям, во время очередной прогулки на даче. Отцу так хотелось, чтобы все разделили его радость. И мы искренне радовались.

В последующие годы я слышал и обратное: эмоциональные, без конкретных цифр, рассуждения об убыточности, провале целины. Не берусь судить, но думаю, окажись целина убыточной, она давно бы не кормила нынешнюю, рыночную, капиталистическую Россию, а капиталистический Казахстан не торговал бы пшеницей по всему миру.

В докладе на Пленуме отец отметил и рост урожайности, правда, небольшой, 11,1 центнера зерна с гектара (7,8 центнера — в 1953 году). Однако без удобрений урожайность целиком определялась погодой, скакала год от года на полтора-два центнера.

В 1958 году отец заговорил о смене ориентиров, заявил на Пленуме, что «борьба» за целину теперь уже наше прошлое, экстенсивное сельское хозяйство тоже уходит в историю, надо поднимать культуру производства, интенсифицировать его, «в течение ближайших двух-трех лет… ввести правильные севообороты с необходимым количеством черных паров, имеющих важное значение в засушливой зоне… Пора подумать про удобрения под зерновые… заиметь больше скота. Будет больше скота, будет больше навоза, будет выше урожайность».

Сегодня такой способ ведения сельского хозяйства мы называем экологически чистым. С каждым годом он обретает все больше сторонников. В 1958 году подобных слов не слыхивали, химические, нормальные по нашим понятиям, удобрения считались дефицитом, вот корова и выручала. Отец шутил, что корова не только молочница, но и навозница, навоз позволит продержаться ближайшие годы, пока страна не разбогатеет и не понастроит заводов химических удобрений, азотных, фосфорных и всяких других. Отец в них разбирался не хуже профессионала-агронома, объяснял мне, чем нитрофоска предпочтительнее нитрата аммония (я до сих пор не понял, а может, и названия

перепутал). Однако пока приходилось обходиться и без нитрофоски, и без нитрата аммония. Пока…

Далее отец перешел к животноводству. Шестилетний план увеличения надоя молока выполнили за три года, в 1958 году молока в среднем по стране надоили на 58 процентов больше, чем в 1953 году, а по колхозам и совхозам в 2,3 раза больше. Заготовки молока увеличились более чем два раза, мяса — на 62 процента, яиц — на 76 процентов, шерсти — на 60 процентов. Колхозы с совхозами и тут впереди. Они сдали государству 84 процента мяса, 89 процентов молока, 57 процентов яиц и 90 процентов шерсти. Оно и понятно, от участия в госпоставках частников постепенно освобождали, свою продукцию они реализовывали на рынках сами, по свободным ценам. В отчетность госпоставок «рыночные» продукты не включались, они, как бы выпадали из общей статистики, тогда как, по мнению некоторых аграриев на их долю приходилась львиная доля реального производства овощей, мяса, молока, яиц. Трудно сказать, чьи цифры ближе к истине.

Затем отец привычно сравнил наши достижения с тем, что происходило в США. Американские показатели оставались для него эталоном, по которому он настраивал советское сельское хозяйство. За пять лет мы увеличивали производство мяса на 6,2 процента в год, а они всего на 1,3 процента, по яйцу мы росли на 7,9 процента в год, а они практически стояли на месте.

Возможно, им больше и не требовалось, они уже свои потребности удовлетворили, но на такие мелочи тогда никто внимания не обращал, все пребывали в победной эйфории. Казалось, стоит чуть поднажать и США останутся позади. Так-то оно так, но и не совсем так, отец отдавал себе отчет, что работаем мы неэффективно, наши затраты на производство одной тонны зерна в 7,3 раза выше, чем в США, а по расходу кормов на привес одного килограмма мяса коров и свиней мы их «обгоняем», соответственно, в 14,2 и в 16,3 раза. «Без интенсификации труда нечего и мечтать сравняться с Америкой», — заключает он.

Отец полагал, что американские технологии, такие, как уже упоминавшаяся, доильная «елочка», позволят совершить прорыв. Он уповал на закупку машин, рецептур кормов, технологий их производства. До сего времени мы копировали, попадавшие в наши руки образцы, но «американских» или «немецких» результатов добиться не удавалось. Только в начале 1960-х годов, когда от «копирования» рецептуры перешли к закупке лицензий, удалось сократить отставание от Запада в эффективности животноводства с пятнадцати до двух-трех раз. Но догнать их, я уже не говорю обогнать, так и не получилось.

В докладе отец, уже в который раз, возвращается к судьбе личных хозяйств и личного скота. В страду, посевную и уборочную, колхозники и совхозники разрываются между своим личным подворьем и общественным, колхозным полем. К тому же продолжают откармливать свой скот магазинным хлебом.

«Вместо того чтобы кормить людей, мы кормим свиней! — восклицает отец. — Можно, конечно, поднять цены на хлеб, так чтобы сделать его скармливание животным невыгодным, но поднимать цены политически неверно, это затронет интересы трудящихся. Однако нельзя и оставаться равнодушным». Отец задавал себе этот вопрос и в 1954 году, и в 1955-м, и в 1956-м, но так и не смог отыскать ответа.

Крестьяне не чувствовали, что колхозное поле их прокормит, а молоко с мясом выгоднее покупать в магазине. А именно на это рассчитывал отец, когда призывал сосредоточиться на профильном для данного хозяйства производстве, сделать его максимально выгодным, в том числе и крестьянам, труд которых оплачивался бы так, чтобы им не приходилось бы заботиться о пропитании с собственного подворья. Крестьяне не то чтобы с ним не соглашались, но не видели подтверждения его слов в реалиях собственной жизни. Раз так, то все слова, даже самые благие, уходили на ветер. Требовалось или претворение слов в реальность, или «принимать меры». Иначе «хлебная проблема» не разрешится никогда. Принимать меры отец не «созрел». Он надеялся, что все постепенно образуется. Определенные основания к тому у него имелись. Жизнь крестьян за последние пять лет заметно улучшилась, в колхозах стали платить за трудодни.

Денежные доходы крестьян, в сравнении с 1953 годом, возросли в 2,8 раза, они потребляли теперь за год в два раза больше мяса, в 4,4 раза больше сахара, в 3 раза больше рыбы, в 2,5 раза покупали больше одежды и обуви, в 10 раз больше книг и мотоциклов.

Все это правда, но правда недостаточная, чтобы крестьянин поверил, ведь рост в процентах отсчитывался практически с нуля. В 1953 году за трудодень платили доли старой копейки, а чаще ограничивались проставлением «палочек» в ведомости выхода на работу. Люди жили впроголодь, книги покупали разве что учитель, да фельдшер, а мотоцикл считался недостижимой роскошью. Отец говорил об этом в сентябре 1953 года и сейчас не забыл. Не забыл, но рост в «разы» для него как бальзам на душу, и так хотелось верить, что «еще немного, еще чуть-чуть…» Пока же действительно получалось «чуть-чуть». Внушительный прирост производства зерна, молока, мяса, масла тут же и потреблялся

растущим населением. Росла покупательная способность населения, и чем больше производилось, тем сильнее ощущался «голод на всё» и на селе, и в городах.

В 1958 году достигла своего пика кампания преобразования колхозов в совхозы. Началась она давно и имела под собой как идеологическую, так и чисто практическую подоплеку. В полном соответствии с марксистской теорией кооперативная собственность повышалась в разряде до общегосударственной. Сейчас эта казуистика звучит странновато, а тогда даже я, ракетчик, такому «прогрессивному процессу» искренне радовался.

Колхозники «осовхозниванию» не противились, но не из идеологических, а из абсолютно прагматических соображений. «Совхозникам» платили зарплату независимо от успехов или провалов самого совхоза, а доходы колхозников напрямую зависели от эффективности их собственного труда, от трезвости и других личных качеств председателя и от погоды. По трудодням распределяли только то, что оставалось после обязательных поставок государству, возвращения банковских ссуд и долгов. Доходы колхозников еле дотягивали до половины того, что получали «совхозники».

Когда «идеологически правильное преобразование видов собственности» стало массовым, финансисты забили тревогу: денег на всех не хватит. Процесс «осовхозивания» начали подтормаживать и вскоре совсем остановили. Теоретики разъяснили, что, хотя «совхозы и высшая форма социалистического сельского хозяйства, но имеются положительные стороны и в колхозной организации хозяйства». В результате те, кто не успел «преобразоваться», так и остались в колхозах.

В 1953–1954 годах приоритет отдавался производству зерна. Теперь, когда в городах очереди за хлебом рассосались, в магазинах появилось молоко и другие продукты, на первый план вышла овощная проблема. Привозить издалека помидоры, огурцы и другие деликатесные дары природы тогда не умели. Автомобильные и железнодорожные вагоны-рефрижераторы только проектировались, а в раскаленных летним солнцем кузовах грузовиков овощи быстро превращались в несъедобное месиво. Выход отцу виделся один: создание вокруг городов собственного овощеводства. Этим он занимался после войны в Киеве, а затем в начале пятидесятых в Москве. В 1958 году выращиванию овощей придали общегосударственное значение, однако в обществе продолжала доминировать установка голодных сталинских десятилетий, овощи, кроме картошки, считались деликатесом, обузой для основного производства. Колхозам и

совхозам, в том числе пригородным, по-прежнему спускалась разнарядка на сдачу зерна: ржи, ячменя, овса. Теперь ставилась задача создания условий для нормального потребления, производства необходимых не только для выживания продуктов, а всего того, что требуется для достойного существования человека.

С этой целью отец предложил освободить от поставок зерна малорентабельные и совсем нерентабельные в этом смысле хозяйства Нечерноземья. Им предоставили свободу выбора. Теперь они сами решали, что возделывать. По логике нормального хозяйствования, как считал отец, колхозники используют земли под что-либо более доходное. А что может быть доходнее овощей, если город под боком? Не занялись. Забросили земли, забыли о них, и они заросли бурьяном. Еще вчера аккуратно расчерченные на квадраты поля, в полном согласии с законом природы о нарастании энтропии, превращались в кочковатые заросли кустарника и неудобья.

Пришлось вмешиваться, выпустили правительственное постановление, предписывавшее создавать вблизи больших городов специализированные совхозы по выращиванию овощей и картофеля. В постановлении разъяснялось, что дело это очень выгодное, потребитель под боком, деньги в совхозные и колхозные бюджеты рекой потекут, и на Западе все так делают. Дело чуть оживилось, на городских лотках появились овощи, но по-настоящему проблема не разрешилась. Победить энтропию не удалось, она только чуть-чуть отступила в ожидании, когда эффект от вмешательства извне сойдет на нет.

А вот еще один пример торжества энтропии. На Пленуме, в заключительном слове, отец сетовал, что в регионах к кукурузе относятся как к капризу, навязанной сверху обязаловке. Ее не возделывают, а только формально отчитываются.

«В текущем году в нашей стране посеяно 19,7 миллионов гектаров кукурузы… На так называемый зеленый корм использовали 5,7 миллиона гектаров посевов кукурузы, или 29 процентов. Что такое этот «зеленый корм?» Это погибшая кукуруза. Ее посеяли, не обработали, кукуруза заросла лебедой и чертополохом. Неудобно сказать, что посевы погубили, вот и отчитываются, что она пошла на скармливание из-под копыт, то есть скот съел ее на корню до образования початков, по существу на сено пустили еще 5,9 миллиона гектаров, или 30 процентов посевов кукурузы. Если убирать кукурузу до образования початков, то вы получите много воды и мало питательных веществ. Это бесхозяйственное отношение, если не сказать больше», — возмущался отец. Слушатели охотно соглашались, что так поступать нехорошо, но поступали по-своему.

Отец надеялся, что общество, освободившееся от сталинской деспотии, изменится. И оно действительно изменилось, только не так, как он ожидал. Местные начальники, те, кого отец видел своими союзниками, осознали, что они в безопасности, никто их больше не расстреляет и не посадит, и приспособились. На призывы они обращали все меньше внимания, хотя на пленумах и совещаниях исправно аплодировали, регулярно отчитывались в выполнении заданий и планов. Отец взывал к здравому смыслу, к сознательности. Не срабатывало. Справляться с ними становилось все труднее. Отвергнув «страх», державший до того времени их в узде, отец должен был отыскать иной способ обуздания энтропии. Совнархозная реформа дала некоторые положительные сдвиги, но для продвижения вперед, развития успеха требовалось нечто большее. Что — отец пока не знал и сам.

В 1958 году на декабрьском Пленуме отец продолжает поиск, он вновь, но уже более настойчиво говорит о конкуренции, пригрозил, что те, кто не научатся работать с прибылью, в недалеком будущем просто не выживут. Как он на практике собирался внедрять в централизованную экономику подобные взаимоотношения и что делать с теми, кто не научится, отец пока ответить не мог. Однако важно уже то, что такие мысли появились, и отец их обнародовал. Выступлением на декабрьском (1958 года) Пленуме ЦК КПСС, отец как бы подвел итог преобразованиям в экономике, сельском хозяйстве, промышленности, первому и, как ему тогда представлялось, основному этапу реформ. Конечно, еще многое требовалось доделать и переделать, особенно в сфере законодательства. Реформы вообще никогда не заканчиваются, общество изменяется, непрерывно приспосабливаясь к новым условиям существования. Иначе оно обрекает себя на погибель.

Часть 4
Перегруппировка (1959–1961)

1959 год

Возьмем бога за бороду!

9 января 1959 год все газеты на первых полосах опубликовали обязательства рязанцев за год увеличить производство мяса в два раза. Фантастика да и только. Но тогда я над тем, откуда берется мясо, не задумывался и обязательствами не интересовался. А вот что произошло тогда с отцом, я и по сей день не понимаю. Разумеется, ему очень хотелось чуда. Он мог рассчитывать, что мы догоним Америку не в 1970-е годы, как прогнозировали экономисты, а намного раньше. Не в два-три года — этот свой призыв он считал «мобилизующим», но где-то в середине шестидесятых. Но не за один же год!

Я уже повторял и еще раз повторю: народить столько телят в один год никому не под силу. Тогда в ответ на спускаемые начальством нереальные сроки выполнения работ бытовала присказка: «Если собрать вместе девять беременных женщин, младенец не появится через месяц». Отец тоже повторял эту присказку. И блокнот, и ручку он всегда держал под рукой, вечно что-то подсчитывал. Чего стоило проверить, пересчитать самому обязательства рязанцев? Не проверил! Не пересчитал!

Возможно, он догадывался, что обязательства взяты неподъемные, но и как свой лозунг «догнать Америку», счел и их «мобилизующими». Рязанцы поднапрягутся и, даже не выполнив всего, сделают максимум возможного. Все это мои предположения. Я хочу понять его. Не оправдать, а именно понять. И не понимаю.

Представить себе, что вся областная партийная организация и секретарь обкома его обманывают, отец не мог. Это выходило за пределы его представлений об общественной и партийной морали. Мораль же тем временем претерпевала серьезную трансформацию. Секретарь Рязанского обкома Алексей Николаевич Ларионов, будучи по натуре игроком, — в новых, послесталинских отношениях районных властей с Москвой и с ЦК — уже не боялся расправы и считал, что стоит рискнуть и, если повезет, сорвать куш.

Ларионов во власти не новичок, секретарем Рязанского обкома стал в 1948 году. До того, в войну, он возглавлял Ярославский обком, а Юрий Андропов стал при нем главным областным комсомольцем. Из Ярославля Ларионова забрали в ЦК, в Управление по проверке кадров, а уже оттуда перебросили на

«укрепление» в Рязань.

В Рязани новый секретарь пришелся ко двору, отличался сильным характером и умением разговаривать с людьми, сам увлекался новыми идеями и увлекал за собой других. При Ларионове провинциальная Рязань с ее четырьмя заводишками и захламленными улицами превратилась в современный промышленный и культурный центр. В городе построили крупный нефтеперерабатывающий завод, получили развитие станко— и приборостроение, открыли радиотехнический институт, обновили драмтеатр, заложили лесопарк, благоустроили скверы, отреставрировали старинный кремль, начали строить набережные, проводить газ.

Немудрено, что отец приметил энергичного и сравнительно молодого (моложе его самого на тринадцать лет) секретаря обкома. Приметил, не зная, что ради славы Ларионов готов втереть начальству очки. Все началось еще в 1954 году — тогда он отрапортовал о перевыполнении плана сдачи молока, получил сам и раздал другим государственные награды, а последующая проверка выявила обман.

Однако Ларионов выкрутился. Кто-то наверху его «прикрыл». И дальше Ларионов действовал по той же схеме, делал все для достижения реальных результатов, но если представлялась возможность сорвать банк, блефовал. Игрок — во всем игрок. Как всякого игрока его пьянил успех.

В 1958 году область перевыполнила планы сдачи молока в три раза, отец упомянул рязанцев в докладе Пленуму ЦК, пусть и в ряду других областей. Главное — заметили и наградили Рязань орденом Ленина. В 1959 году Ларионов решил побить рекорд по сдаче государству мяса. На состоявшейся 30 декабря 1958 года областной партийной конференции он предложил в 1959 году сдать мяса в полтора раза больше против утвержденного плана, 75 тысяч тонн. Ничего нереального в обязательствах не было, выполнимость их просчитали заранее: они позволяли и прославиться, и заложить основу будущих успехов.

Как пишет рязанский историк Александр Агарев, Ларионов позвонил Хрущеву и пообещал 1959 год сделать «мясным».

— Молодцы, рязанцы, — отозвался Хрущев. — Вы хорошо сработали по молоку, уверен, что и по мясу сработаете не хуже.

Хрущев и не думал подталкивать Ларионова к увеличению обязательств: полтора плана — куда уж больше. Ларионов о большем пока и не задумывался, иначе и партийную конференцию он бы провел иначе.

На его беду сразу после Нового года в Рязань наведался заведующий сельскохозяйственным отделом Бюро ЦК и РСФСР

Мыларщиков, как и Ларионов, человек деловой, но на их общую беду, тоже игрок. Вечером, 2 января, за хорошим ужином они договорились повысить ставки вдвое, сделать не полтора, а три плана. Естественно, без всяких расчетов. Какие расчеты между тостами? На следующее утро Мыларщиков, для больше солидности сославшись на Хрущева и Президиум ЦК, предложил бюро обкома поддержать их с Ларионовым «инициативу». «Инициативу» Ларионов с Мыларщиковым продавили с большим трудом и непонятно зачем. Зато понятно почему — «игроки», кураж.

Когда поздно вечером проголосовали «за», Мыларщиков стал звонить Хрущеву в Минск, где тот проводил совещание и попутно вручал Белоруссии орден Ленина. Хрущева на месте не оказалось, он уехал в театр. Настырный Мыларщиков дозвонился и туда. В ответ на сообщение об удвоении уже без того полуторного плана Хрущев спросил: «А хорошо просчитали?» «Игроки» заверили, что все просчитано, что «у них есть полная уверенность…»

— Ну, тогда давайте, — согласился Хрущев. Закончив разговор с отцом, Мыларщиков перезвонил Сатюкову в «Правду» и, со ссылкой на Хрущева, потребовал, чтобы сообщение об обязательствах рязанцев уже следующим утром появились на первой полосе… На следующий день вся страна узнала, что в Рязани пообещали прирастить за год производство мяса не вдвое, а в 3,8 раза, поставки государству увеличить в 3 раза.

Газеты, радио и телевидение раструбили о грядущих неслыханных успехах рязанцев на всю страну. Секретари обкомов один за другим брали на себя повышенные обязательства по сдаче государству мяса. Большинство — добровольно, кое-кто — потому, что не хотел отстать от передовиков, прагматичное меньшинство — после звонков Мыларщикова и соответствующего «воспитательного» разговора.

13 февраля 1959 года Хрущев прикрепил орден к областному знамени, прославив на всю страну «молочный подвиг» рязанцев 1958 года. Правда, выступая, отец говорил не только об успехах, он предупреждал, что, наряду с «разами», надо помнить об основном показателе эффективности, производстве продукции на 100 гектаров пашни. А он у рязанцев весьма скромен: в 1953 году общее поголовье коров в колхозах составляло 50 тысяч, сейчас имеются 100 с лишним тысяч коров. «Это хорошо, но если рассчитывать на 100 гектаров земли, то в 1953 году на них паслись 2 коровы, а в 1958 году — 4,2. Это мало. Надо иметь хотя бы 15 коров, а потом 25–30. Это вам по плечу», — наставлял рязанцев Хрущев.

Казалось бы, он разобрался в состоянии дел в Рязани, но не

одернул Ларионова, а сам Ларионов на предупреждение никак не отреагировал. Он уповал на удачу, а победителей не судят.

Семилетка

Внеочередной XXI съезд КПСС торжественно открылся в Кремле 27 января 1959 года. Говорили о достигнутых успехах, отец отметил в докладе, что с появлением совнархозов экономика заработала эффективнее, за это время почти в полтора раза сократилось количество предприятий, не выполнявших план, повысилась производительность труда, прирост производства продукции за 1958 год, первый пореформенный год, по сравнению с предыдущим, составил 17 миллиардов рублей, а сверхплановая экономия от снижения себестоимости дала еще 10 миллиардов. Говоря о ближайшем будущем, отец сделал упор на развитие Сибири и Дальнего Востока, туда, в «промышленную целину», направляли львиную долю капиталовложений.

Всех обрадовало обещание отца уже в этой семилетке перестать взимать налоги с населения. По его мнению, налоги дают всего 7,8 процента доходов бюджету, и с ростом экономики от них можно отказаться. Постепенно, конечно, без спешки, «после всестороннего изучения и надлежащей подготовки».

Упоминались, естественно, и недостатки, но на фоне грандиозных успехов они казались легко преодолимыми помехами.

Съезд одобрил основные параметры семилетнего плана. Цифры я перечислять не стану, они сейчас интересны разве что историкам-статистикам. Отец учел опыт неудавшейся шестой пятилетки. На сей раз все было досконально обсчитано Госпланом, оговорено с совнархозами и госкомитетами. Реальность плана ни у кого сомнений не вызывала. На ближайшей Сессии Верховного Совета СССР директивы съезда облачились в форму закона.

Естественно, все понимали, и в первую очередь отец, что выполнение семилетки будет сложным, но на то и проблемы, чтобы их преодолевать. Отец смотрел в будущее с оптимизмом. Он и не подозревал, что в 1965 году подводить итоги семилетки «товарищи» будут уже без него.

Пока же все говорили об успехах, предрекали еще большие успехи, хвалились сами и до небес превозносили и неуемно цитировали отца. Так у нас повелось исстари, без славословия какая же это власть?

Восхваления отца резали мне слух, я решил поговорить с ним, но не успел. В один из выходных, на обеде с «товарищами»,

у нас на даче за столом собралось человек пятнадцать-двадцать, отец сам затронул «больную» для меня тему.

— Мы только что осудили культ личности Сталина, — сказал он, — и теперь возвращаемся к тому же. Негоже это, нас не поймут. Надо работать, а не нахваливать друг друга.

Отец говорил долго, как всегда, приводя конкретные примеры, а к концу речи вообще рассердился. Что тут началось! Стоило отцу замолчать, как «товарищи» наперебой стали восхищаться его скромностью, уверять, что они лишь фиксируют данность, а с данностью ничего поделать нельзя.

— Культ личности — это незаслуженное восхваление, — убеждал отца Суслов, — мы же констатируем достижения и ваш вклад в них. Наши успехи не отрицают даже наши враги.

«Товарищи» дружно поддержали Михаила Андреевича, а Брежнев тут же провозгласил тост «за скромность». Отец стушевался, не мог же он отрицать успехи, о которых недавно докладывал делегатам съезда. И сам он делал все, что мог, выкладывался до последнего, чтобы обеспечить эти успехи. Не скажешь же: «Нет, я тут ни при чем». Очень даже при чем!

Отец, уже не очень уверенно, пробормотал, что несмотря на успехи, хвалить друг друга надо поменьше, а его — в особенности. Слова потонули в буре протеста. Аргументы «товарищей» показались мне логичными, отец действительно старается изо всех сил, но чувство внутреннего неудобства не исчезло. Не исчезнет оно и в будущем, но и говорить с отцом о «культе личности» охота у меня пропала.

Замечу, что с утратой власти «личностью», восхваление, как это тоже водится в России, в мгновение ока переходит в еще более «искреннее» поношение.

Новый ЦК на XXI съезде не выбирали, он собрался вне расписания, и старые полномочия еще не истекли. В результате на съезде отсутствовала главная интрига, когда и потенциальные кандидаты, и их болельщики, и просто наблюдатели вроде меня гадают, кого включат в списки, а кого нет. Без выборов XXI съезд показался публике скучноватым.

Где же выход?

Успехи успехами, но над планами отца дамокловым мечом нависали проблемы: хлеб, скормленный скотине; колхозники и совхозники, предпочитавшие свои приусадебные клочки бескрайним общественным полям. Проблема казалась неразрешимой, но требующей решения. И принимать решение приходилось отцу, больше некому.

Историческая бесперспективность приусадебных хозяйств сомнения не вызывала и не вызывает. Они исчезли во всех странах, считающих себя развитыми. В высокоразвитой Америке доходит до абсурда: кое-кто ради удовольствия, по старинке, выращивает возле дома помидоры, перцы, баклажаны, даже капусту, но плоды своего труда не собирает никто. Их покупают в супермаркете, а овощи на подворье служат украшением наравне с цветами. Хозяева, использующие приусадебное хозяйство по прямому назначению, как правило, приезжие: русские, китайцы, вьетнамцы или мексиканцы.

Так было не всегда. В первой половине XIX века американцы держали огороды, с них и кормились. И было там все почти как у нас: грядки, яблони, и траву косили косой, и отхожее место — во дворе, на три очка: два для взрослых и одно детское. Отмирание огородов и всего прочего происходило по мере возрастания производительности труда, специализации, ведь все необходимое для жизни можно в любой момент купить в ближайшем магазине.

Отец понимал, что за этим будущее, и всеми силами старался его приблизить. Но и старался не насильничать; ему казалось, что он вот-вот уговорит крестьян, убедит их, на цифрах и примерах докажет выгоду работы на общественном поле, а не копания в своем огороде, преимущество современной механизированной животноводческой фермы перед отжившим свое хлевом на заднем дворе. Он руководствовался логикой, а крестьяне хорошо знали реалии своей жизни, помнили недавние голодные времена. Могу однозначно засвидетельствовать, что он понимал и этот естественный крестьянский консерватизм, повторял украинскую поговорку: «Мы люди темни, нам абы гроши», но надеялся, что сможет переубедить упрямцев.

На XXI съезде отец, в который раз заговорив о наболевшем, обратился к делегатам с извечным вопросом: «Что делать?» Секретари обкомов знали ответ: крестьян уговаривать бесполезно, надо их заставить обобществить скот, запретить, пока не переделаны все дела в совхозе или колхозе, работать на своей делянке. Они считали, что время разговоров прошло, пора действовать и действовать решительно.

Но если с огородами еще оставалась определенная свобода маневра, то проблема личного скота, которого кормят общим хлебом, приобрела катастрофические масштабы. Я уже писал об украинской инициативе — принудительной продаже скота. Тогда, после окрика из Москвы, власти на местах замерли в недоумении: с них требовали «догнать Америку», резко увеличить общее стадо. Сам Хрущев публично уговаривал своих земляков, калиновцев, добровольно продать коров колхозу. Всем известно, что граница

между доброй волей и принуждением в России размыта. Для дела невредно и чуть надавить… Вот и надавили.

5 марта 1959 года «Правда» снова предупредила: «Не заставляйте крестьян продавать коров!» Но уже к лету 1959 года потребление хлеба подскочило до опасного предела, снабженцы забили тревогу: если не принять решительных мер, расплодившиеся в личном владении коровы, свиньи, козы съедят все запасы, у дверей булочных выстроятся очереди, придется регулировать потребление, другими словами — вводить карточки. Страшное слово «карточки» перевесило все доводы. Варианты разрешения кризиса по-прежнему сводились или к резкому повышению цены, или… Отец убеждается, или его убеждают (разница тут только в словах), что без принуждения не обойтись.

24 июня 1959 года открылся очередной Пленум ЦК. Обсуждали дела в промышленности. Первым докладывал Константин Георгиевич Петухов, председатель Московского совнархоза, в недавнем прошлом министр тяжелого машиностроения. За ним следовали председатели совнархозов: Ленинградского, Сталинского, Свердловского и Днепропетровского. Завершил череду докладов председатель Госкомитета по химии Федоров и председатель Госплана Косыгин.

В будущем отец все чаще начнет передоверять доклады на Пленумах ЦК специалистам, «рангом пониже и шагом поближе» к обсуждаемой проблеме: министрам, председателям совнархозов, главам правительств союзных республик. Так он не только боролся с «культом собственной личности», но и воспитывал кадры, приучал к самостоятельности, к принятию на себя ответственности за страну. Не за горами время, считал отец, когда бразды правления страной перейдут в их более молодые руки. Вот и натаскивал своих преемников. Насколько успешно — покажет будущее.

Отец вступил в прения. Перед тем как заговорить по теме Пленума, он заявил, что пришло время определиться с коровами у горожан и с приусадебными участками у работников совхозов. Вопрос больной и мне неприятный, поэтому ограничусь цитатой: «В свое время (29 июня 1956 года. — *С. Х.*) мы приняли закон, ограничивающий возможности индивидуальных владельцев содержать скот в городах, — отец начал с истории вопроса. — Когда позже (с 1 января 1958 года. — *С. Х.*) мы освободили личные хозяйства колхозников, рабочих и служащих совхозов от обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству, тогда, по существу, открылись каналы для

скармливания огромного количества хлеба скоту. Цены на хлеб нами установлены довольно низкие, а цены на мясо — сравнительно высокие. Становится выгодным покупать хлеб и откармливать им скот, что многие горожане и делают. Мы не может поднять цены на хлеб, это политически неправильно, оно затронет интересы миллионов трудящихся. Снизить цены на мясо мы также не можем, его производство обходится пока еще дорого. Но нельзя оставаться равнодушным к тому, что продовольствие, предназначенное для снабжения трудящихся, истребляется скотом. Не следует ли подумать над тем, чтобы принять закон, запрещающий горожанам содержать коров, коз, свиней и другой скот. А козы — к тому же враги городских парков». Из зала раздались выкрики: «Правильно!»

«Скот рабочих совхозов, как известно, содержится за счет нелегального скармливания ему совхозных кормов, чем наносится ущерб интересам государства и всего народа, — отец перешел к другой, не менее «больной», теме. — С точки зрения обеспечения потребителей государства в мясе и молоке, скот рабочих и служащих не имеет существенного значения. У нас есть возможность обеспечить полное удовлетворение потребностей государства за счет колхозов и совхозов.

На декабрьском 1958 года Пленуме ЦК КПСС приняли решение о том, чтобы в течение двух-трех лет совхозы купили скот у своих рабочих и служащих. Сейчас этот процесс идет, нет необходимости его форсировать, но нельзя и ослаблять внимание к этому важному делу. Надо обязательно добиться, чтобы рабочие совхозов имели возможность *полностью удовлетворить свои потребности в мясе и молоке* за счет общественного производства совхозов на основе торговли».

Отец повторил, что он приветствует и колхозников, которые пожелают последовать примеру «совхозников», но тут же предупредил, что дело это добровольное, «нужно создать условия, чтобы колхозница *попросила* купить у нее корову. А это она сделает тогда, когда увидит, что за счет общественного производства в колхозе будет иметь нужные продукты животноводства, что молоко у ее семьи будет.

Однако «в ряде районов некоторые товарищи начали допускать перегибы, не создав необходимых условий, они требуют, чтобы колхозники продали своих коров колхозам. Если кто и дальше будет злоупотреблять, проявлять администрирование, то придется строго наказать виновных и опубликовать об этом в печати».

Таким образом, проблема разделилась на три части: предлагалось горожанам скотоводческую активность запретить;

работников совхозов убедить, что содержание скота им невыгодно; а колхозников пока не трогать, перегибов не допускать, но и добровольной передаче живности в колхоз не препятствовать. Что касается угрозы наказания за перегибы, то их, по мнению опытных начальников, допускали одни дураки, умные обходились без перегибов. К примеру, вместо того чтобы приказать владельцу продать корову, его можно спросить: «А где ты ее станешь пасти летом и чем кормить зимой?» Он все поймет и «добровольно» продаст ее по дешевке.

Участники Пленума приняли заявление отца на ура: наконец-то семафор открыт, можно действовать. С 30 июля по 15 августа 1959 года в союзных республиках были приняты законы, запрещавшие горожанам держать скот в личной собственности.

А вот пострадавшие от запретов владельцы скота — крестьяне и прочие — единодушно проклинали отца. Из множества его деяний, успешных и не очень, в их памяти осталось это одно. Так что, если говорить о политической репутации, то этим своим решением отец ее, в глазах не только горожан, державших скот, но и значительной части крестьян, не просто подорвал, а вконец испортил.

С другой стороны, большая часть горожан, не имевших скота, отца поддержала. Они постоянно жаловались, что спозаранку в магазинах оптом скупается весь хлеб на корм скоту и те, кто приходят за своей половиной буханки попозже, видят пустые полки.

Я тоже считал решение отца единственно верным, но мое мнение мало что значило, лишений я не испытывал, мясо, масло и молоко на столе у нас, естественно, не переводилось.

Мог ли отец принять иное решение? Имелась ли у него свобода маневра? Однозначно — нет. Повышение цен на хлеб, а следом и на картошку (ею тоже кормили скотину) — основу рациона беднейшей и самой многочисленной части населения, не только вызвало бы еще более негативную реакцию, но и стало бы политическим самоубийством.

Теоретически следовало продавать скотовладельцам дешевые корма, силос, и таким образом снять хлебную проблему. Но где их взять? Кормов катастрофически не хватало, выйти из кризиса могла помочь кукуруза, но внедрялась она туго, ее не столько выращивали, сколько вышучивали.

Предоставить приоритет индивидуальным буренкам по сравнению с совхозно-колхозным стадом отец тоже не мог. Об организации крупных ферм в частных руках и речи тогда не могло идти. Отец говорил о прибыли, но только применительно к совхозам и колхозам. Конечно, «логика прибыли» неуклонно вела

в направлении, скажем осторожно, децентрализации, но отец находился в самом начале этого пути. Всему свое время!

В 1980–1990 годы общепринятым стало мнение, что решения 1959 года начисто разрушили личное крестьянское подворье. Я, как и подавляющее большинство моих сограждан, поверил. Оказывается, ничего подобного. Крестьяне приспособились, как они и ранее приспосабливались к любым поворотам российской истории. Обратимся к цифрам: до запрета 1959 года личное стадо колхозников насчитывало 12 миллионов 706 тысяч коров, у рабочих и служащих совхозов — еще 5 миллионов 776 тысяч. После всех запретов, к 1961 году, поголовье уменьшилось, но незначительно. У колхозников насчитывалось 10 миллионов 379 тысяч коров, а у рабочих и служащих совхозов — 5 миллионов 938 тысяч. По поголовью свиней, коз и овец та же картина.

Радоваться нечему, но и катастрофы не произошло. А вот в городах живность держать стало практически невозможно. Хорошо ли это? Одни ответят: «да», другие — «нет». Содержание скота в городах постоянный источник конфликтов и с властями, и с соседями. Становясь горожанином, приходится со многим расставаться, в том числе и с буренками.

В заключение процитирую И. Е. Зеленина, уважаемого ученого экономиста-агрария: «На протяжении хрущевского периода приусадебные хозяйства колхозников являлись основными производителями картофеля, овощей и яиц, давали около половины молочной и мясной продукции, которая частично реализовывалась на рынках. Продукция подсобных хозяйств горожан и работников совхозов почти целиком шла на собственное потребление, благодаря чему значительно улучшился рацион их питания, чему способствовало освобождение их от налогов.

В поставках товарной продукции государству доминировало общественное производство.

В 1960–1963 годах в среднем по СССР четвертая часть годового рабочего времени трудоспособных колхозников использовалась в подсобном хозяйстве. Сохранялось соотношение двух источников доходов семей колхозников — личных и общественных».

Народное правосудие

На XXI съезде отец заговорил о взаимоотношениях общества и государства, реализации его правоохранительных функций. В стране росло число заключенных, не политических, а бытовиков, мелких уголовников. Их осуждали за украденную бутылку водки,

за пьяные драки, просто за пьянку без драки или за драку без пьянки, за самогоноварение, за оскорбление личности с рукоприкладством или без него… Продолжать можно до бесконечности.

Не хватало милиционеров, чтобы ловить всю эту шантрапу, судей с народными (присяжными) заседателями, чтобы разбираться во всем этом полукриминальном и криминальном месиве, не хватало мест в тюрьмах. Замаячила перспектива расширения и усиления органов, или требовалось придумать что-либо иное. Отец однозначно высказался за иное — на пути к коммунизму не карательные структуры, а само общество обязано позаботиться о собственном спокойствии.

2 марта 1959 года он подписал Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка», предусматривавшее организацию товарищеских судов и передачу в их ведение рассмотрение мелких, в основном бытовых правонарушений. Принимая решение, исходили из посылки, что свои товарищи судьи лучше и справедливее любого профессионала юриста разберутся с собственными соседями-скандалистами. Одновременно придавался официальный статус добровольным народным дружинам. Дружинникам вменялось следить за порядком на улицах городов и в городских парках, в кинотеатрах и банях, под присмотром участковых заниматься тем, чем раньше занимались патрульные милиционеры. В дружины набирали ребят, а иногда и женщин, по месту работы, реже по месту жительства. Если все пойдет, как задумано, надеялся отец, то милицию, быть может, удастся сократить.

Вскоре народные дружины стали реальной силой — в них записалось более двух с половиной миллионов человек, чуть меньше, чем служило в Советской Армии.

Выходя на вечерние улицы, дружинники исполняли свое предназначение: быстро и эффективно прекращали драки, отлавливали мелких жуликов, отправляли пьяниц в вытрезвители. И многим из новоявленных стражей порядка вскоре понравилось властвовать на улицах. Они в какой-то степени устанавливали свою власть, порой учиняли настоящую расправу: насильно выстригали плеши длинноволосым стилягам, придирались к слишком узким, по их меркам, брюкам-дудочкам, а потом, когда мода переменилась, к широченным клешам. Но это мелочи.

По большому счету, дружины сослужили добрую службу. Хулиганы и иная преступная мелочь боялась молодых людей с красными повязками больше милиционеров в форме. Все они, и дружинники, и их «клиенты», работали или жили в одних

районах, знали друг друга в лицо, спрятаться, убежать от них оказывалось ох как непросто. Надобность в расширении органов внутренних дел отпала.

Товарищеские суды тоже показали себя достаточно эффективными. На общих собраниях по месту жительства в них выбирали судей с народными заседателями, и те вершили правосудие не хуже, а порой — там, где не требовалось разбираться в юридических тонкостях, даже справедливее судей профессиональных. В их компетенцию входили драчуны, которых задерживали дружинники, пьяницы, самогонщики, семейные склочники, разбирались и имущественные споры, но не дороже 300 рублей. К тюрьме товарищеские суды приговаривать права не имели, их компетенция ограничивалась мерами общественного воздействия. Согласно закону, товарищеский суд мог и штраф наложить, но не более чем в 100 рублей или заставить возместить ущерб, но только до 300 рублей.

Дела все не очень видные, но в жизни составляют большинство, и именно они, в основном, портят жизнь. За исполнением приговоров товарищеских судов следили те же дружинники и следили внимательно.

Войдя во вкус, общественники предлагали позволить товарищеским судам разбираться с людьми, живущими не по средствам или занимающими слишком большие квартиры. При этом у каждого имелось свое мнение, что по средствам, а что нет, что слишком, а что не слишком. Таких писем в ЦК получали множество, но хода им, естественно, не давали.

Еще одно новшество: преступников, осужденных а народном суде, но не очень опасных, теперь не всех сажали в тюрьму, а по просьбе «коллектива» отдавали на поруки их же товарищам. Считалось, что товарищи и соседи лучше тюремных надзирателей «перевоспитают» осужденного. Если же не справятся, двери тюрьмы в течение всего срока осуждения оставались открытыми. Процедуру поручительства упростили до предела: требовалось на собрании принять решение, написать в суд ходатайство, а затем суд решал: передавать — не передавать. Обычно решал «передавать». Поручителей оказалось много, в России всегда жалели осужденных, даже незнакомых, а уж о своих нечего и говорить. Нередко ручались за тех, за кого ручаться никак не следовало. Судьи тоже проявляли либерализм, иногда излишний, отдавали на поруки не мелких нарушителей, как задумывалось наверху, а грабителей, насильников и даже убийц. Порой не отдавали, а навязывали их «поручителям».[53]

Но это издержки. В целом поручительство работало, переданные на поруки правонарушители обычно в «тюремные

университеты» не возвращались, многие из них «завязывали».

В числе поручителей однажды оказался и отец. Отдыхал он осенью, не помню уж какого года, в Сочи, на государственной даче в «Бочаровом ручье». В тот день он сидел на пляже, читал очередную порцию бумаг, как вдруг услышал вверху, на склоне горы, шуршание — вниз посыпались мелкие камешки, а вслед за ними буквально свалился неряшливо одетый мужчина. Отец с удивлением уставился на гостя, тот — на отца.

Охранников поблизости не оказалось. Во время отдыха отец настрого запрещал им крутиться в пределах видимости. Начальник охраны Литовченко находился в служебном корпусе, «выездная» группа отдыхала, а посты были разбросаны по территории. Забор практически не охранялся, местные жители знали, что за ним правительственная дача, если полезешь, то поймают и отправят в милицию для выяснения личности. Этот незваный гость полез не по ошибке. Он знал, что где-то за забором отдыхает Хрущев, и хотел пожаловаться ему на свою горькую судьбу, даже заранее написал письмо.

Взаимное оцепенение продолжалось меньше минуты.

— Вы кто такой? — первым заговорил отец.

Незнакомец (не помню, как его звали) узнал Хрущева и, захлебываясь, начал рассказывать, что он освободился из заключения, вернулся домой, а его нигде не прописывают, а без прописки на работу не берут. Хоть снова иди воруй. «Гость» объяснил, что он вор-профессионал, в тюрьме сидел уже четыре раза, но теперь решил «завязать», начать честную жизнь, но никак не получается. Отчаявшись, он решил искать правду у самого Хрущева. Тирада вора продолжалась минут пять-семь.

На склоне вновь раздался шорох, снова посыпались камешки, на пляж спустился один охранник, другой подбежал со стороны дома.

«Гость» перепугался, но отец, заинтересовавшись, предложил ему сесть, охранникам же сказал, что ничего страшного не произошло, они тут попросту беседуют. Около часа отец расспрашивал своего гостя (теперь уже без кавычек) за что он сел, как жил в лагере, что собирается делать на свободе? Потом пригласил его пообедать. После обеда отец вызвал начальника охраны, попросил у него взаймы сто рублей.

Вместе с гостем на машине они отправились в Сочи, там прошлись по набережной, а затем отец отвел своего нового знакомого в отделение милиции к перепуганному и ничего не понимающему дежурному и попросил помочь бывшему заключенному устроиться на хорошую работу. Он за него ручается. Эту историю растиражировали все газеты. Вчерашний

вор стал героем дня.

Что с ним стало потом, не знаю. Одни рассказывали, что все завершилось удачно, он работает, хочет учиться. Другие злословили, что отцову сотню он пропил, что-то украл и теперь опять сидит в тюрьме. Мне больше по душе первый вариант.

День рождения в Ливадии

17 апреля 1959 году отцу исполнилось 65 лет. Дата не круглая и отмечалась не то чтобы семейно, но относительно приватно. Отец в те дни отдыхал в Крыму, в «Ливадии-1». На открытой, выходящей на море веранде дачи, накрыли стол. Собрались гости: отдыхавшие на соседних дачах поляк Гомулка с женой, Микоян, Суслов, командующий Черноморским флотом адмирал Касатонов, украинцы — секретари республиканского ЦК Подгорный и Ольга Ильинична Иващенко. Как водится, произносили тосты: Микоян по-кавказски витиевато; Суслов посуше, даже ввернул какую-то цитату; Гомулка, слегка заикаясь, как всегда, мешал русские слова с польскими. Разошлись засветло. Проводив гостей, отец отправился на прогулку по «Царской тропе», сегодня он нарушил диету и решил немного растрястись. Я пошел с ним.

Я тогда увлекся любительским кино. В Киеве начали выпускать 8-миллиметровые кинокамеры, я купил одну из первых и теперь снимал все подряд. Снял и крымское застолье. Сейчас этот любительский фильм (без звука) смотрится с интересом.

В связи с днем рождения отцу устроили сюрприз — присудили Международную Ленинскую премию за укрепление мира, так она, по-моему, называлась. Коллеги по Президиуму ЦК заранее его о своих намерениях не известили, до самого опубликования все держали в тайне. Награда отцу польстила, но и несколько покоробила. По возвращении в Москву он попенял инициаторам награждения, что есть много других кандидатов на премию, в первую очередь — иностранцев, а тут он, лидер страны-учредителя, как бы присуждает ее сам себе. Получается неудобно. Коллеги дружно протестовали: отец, как никто другой, заслужил премию, он столько сделал для поворота от войны к мирному существованию. К тому же премию присуждает не советское правительство, а международный комитет, они подбирают кандидатов, и они же выносят решение. Так что претензии отца — не по адресу. Отец позволил себя убедить — аргументы «товарищей» звучали логично, и сделал он для мира действительно немало.

Золотую медаль с профилем Ленина отец носил с гордостью,

не снимая ни в праздники, ни в будни. Крепилась медаль то и дело отстегивающейся, булавочкой. Осенью 1959 года, во время визита в США, отец ее едва не потерял. По Калифорнии он путешествовал поездом, останавливался на всех станциях, и везде отца ожидала весьма благожелательная толпа любопытных. Люди теснились у вагона, улыбались, размахивали американскими флажками. Отец выходил на перрон, пожимал руки, расписывался в чьих-то блокнотах, альбомах. На одной из остановок медаль отстегнулась и осталась лежать на асфальте. Кто-то ее подобрал и передал американской охране, те принесли находку отцу. Он потом долгие годы вспоминал честность американцев: могли взять медаль себе, все-таки не простой сувенир. По возвращении из США отец для постоянного ношения заказал дубликат медали, а оригинал положил в сейф.

День за днем

Едва отпраздновав Новый год, отец едет в Минск. В субботу, 3 января, выступает на вручении Белоруссии ордена Ленина, в воскресенье выбирается на охоту, в понедельник проводит совещание с местными руководителями и на следующее утро поездом возвращается в Москву.

20 января 1959 года отец выступает на церемонии вручения дипломов на физфаке Московского университета. Кто его туда пригласил? Кто-то из вхожих к нему академиков? Возможно, и сами студенты прислали письмо, помощник доложил и легкий на подъем отец снялся и поехал. Выступать отец не собирался, но его уговорили, просто заставили.

— Пятьдесят человек сегодня получают дипломы, — отец нащупывал тему. — Поздравляю вас со вступлением в творческую деятельность, но не обижайтесь, творческая удача не обеспечивается красным университетским дипломом, успех приходит к тому, кто упорно трудится. Люди, отличившиеся в жизни, даже гении, не всегда получали отличные отметки. Не гнушайтесь черновой работы, она есть в каждом деле. Важно в жизни все, от конструирования ракет до содержания улиц в порядке, чтобы в гололедицу пешеходы себе ноги не переломали.

Сказал отец и о реформе образования, теперь, по его мнению, в университеты без трудового стажа, по «папиному звонку» не попадешь. Молодые люди сначала

«пооботрутся» в жизни, а затем выберут себе специальность осознанно, следовательно, и «брак» среди выпускников уменьшится. Тут отец вспомнил обо мне, рассказал, как радовался моему красному диплому, но повторил, что главный, трудовой экзамен у меня впереди. Затем он помянул свою племянницу, Нину Кухарчук, пожаловался, что она недавно защитила кандидатскую по истории, но до сих пор уверена, что Максим, герой фильма «Юность Максима» — это Максим Горький.

— Когда она такое сказала, меня, как ломиком по голове огрели, — как-то обиженно произнес отец и тут же поинтересовался: — В вашем университете таких нет?

— Нет! — дружно загремело из зала.

— Дай бог, чтобы не было. Приглядитесь, может быть, найдете, и не обижайтесь, что Хрущев вам шишки подбрасывает. На этом, пожалуй, остановлюсь, я по старости лет занялся нравоучением, а молодежь не особенно любит слушать стариковские советы.

Зал зааплодировал. Все встали. На этом торжественная часть закончилась, молодежь отправилась танцевать, пытались затащить туда и отца, но он, сославшись на возраст, уехал домой.

20 января 1959 года ЦК КПСС обратил внимание подведомственных ему обкомов, горкомов и райкомов на необходимость «Упорядочивания представления к награждению орденами и медалями и присвоению почетных званий СССР». В списки награжденных, говорилось в письме, включают людей случайных, а порой вообще преступников, придумываются юбилеи, несуществующие памятные даты, лишь бы получить орден или медаль. ЦК рекомендовал «обсудить настоящее письмо и сделать выводы».

22 января 1959 года отец в Ленинграде встречается с президентом Финляндии Кекконеном. После переговоров, довольные друг другом, они вместе посмотрели балет Прокофьева «Каменный цветок» в Кировском (Мариинском) театре.

10 февраля 1959 года отец, вместе с другими членами Президиума ЦК, на выставке ГДР «Пластмассы в промышленности». Ему было интересно, чего добились наши друзья. Отец констатирует: немцы нас обогнали, и существенно.

Вечером 14 февраля 1959 года, сразу по

возвращении из Рязани, о поездке туда я уже писал, отец в Большом театре слушает оперу «Диром» в постановке Ташкентского театра имени Садриддина Айни.

17 февраля он уже в Туле, вручает тулякам орден Ленина, весь следующий день на Сталиногорском химическом комбинате постигает премудрости химического производства.

4 марта 1959 года отец улетает на Лейпцигскую ярмарку, там его интересуют химические технологии. Из Лейпцига он переезжает в Берлин, где неофициально встречается с оппозиционными Конраду Аденауэру и его правящей партии, лидерами западногерманских социал-демократов. Социал-демократов у нас, с нелегкой сталинской руки, тогда принято было считать прислужниками империалистов, общаться предпочитали с хозяевами — консерваторами, а не со слугами. Отец же устанавливал отношения и с теми, и с другими.

14 марта 1959 года первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана становится Шараф Рашидов. Изворотливый и умный политик, он просидит в этом кресле двадцать четыре года, до самой своей смерти в 1983 году. Рашидова похоронят со всеми почестями. Во времена горбачевской перестройки его обвинят в коррупции и иных смертных грехах, смешают с грязью. После распада СССР историки независимого Узбекистана назовут Рашидова выдающимся государственным деятелем, всего на ступеньку ниже «Хромого Тимура».

Даг Хаммершельд и Борис Пастернак

27 марта 1959 года отец принял Генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда. Они уже присмотрелись друг к другу, встречались в 1956 и в 1958 годах. Хаммершельд у нас считался проамериканским политиком, в отношениях Запад — Восток не отступавшим от продиктованных Государственным департаментом США приоритетов. В этом он ничем не отличался от большинства собеседников отца из того мира. Но нам выпало жить на одной планете, считал отец, значит надо приноравливаться друг к другу.

Эта встреча, наверное, не заслуживала бы упоминания, так как ничем особо не выделялась в бесконечной череде разговоров и переговоров с западными деятелями из разных стран, если бы не Пастернак. Начав рассказывать о роли отца в этой неприятной истории, я считаю себя обязанным поставить точку.

В марте того года он отдыхал на недавно построенной государственной даче на мысе Пицунда в Абхазии. На соседней даче жил Анастас Микоян. Хаммершельда они принимали вместе, полуофициально, почти по-домашнему, что отнюдь не упростило переговоры. Их темы, как и позиции сторон, не менялись все последние годы: Германия, разоружение, ядерные испытания, и собеседники заранее знали, какой ответ прозвучит.

Некоторое оживление внес обед. Стол накрыли на втором этаже — там из огромных окон столовой открывался вид на море. Во время обеда, в числе других тем, заговорили и о Нобеле за «Доктора Живаго». Хаммершельд, член Нобелевского комитета, голосовал за присуждение премии и теперь попытался объяснить отцу, что решение они принимали, оценивая исключительно литературные достоинства, безо всякой политической подоплеки. Отец, естественно, считал иначе и с ехидцей поинтересовался, читал ли гость роман, а если читал, то на каком языке. Хаммершельд замялся, роман он читал, но на не родном ему английском. Это все равно что прочесть справку о романе, содержание понятно, а вот судить о языке, стиле и иных, чисто литературных особенностях художественного произведения по переводу на чужой язык, вряд ли возможно. Отец сказал, что он роман не читал, но ознакомился со справой о нем, весьма негативной. Затем он, без нажима, попенял Хаммершельду, что его голосование в Нобелевском комитете не вяжется со статусом Генерального Секретаря ООН. По положению ему следовало бы держаться над схваткой, воздержаться при рассмотрении вопроса однобоко мотивированного политически и идеологически.

Хаммершельд убедительных аргументов в защиту своей позиции не нашел, но и сдаваться не собирался. Под видом разговора о литературе они заговорили о политике, а уж тут общего мнения у них быть не могло. Расстались мирно, но недовольные друг другом.

Отец посчитал, что все темы исчерпаны, на следующий день разговаривать им по существу более не о чем, но и продолжать ссориться тоже нет никакого резона. Он придумал маленькую дипломатическую хитрость — предложил Хаммершельду вместо протокольной беседы за столом прокатиться по морю, благо был штиль, на прогулочной шлюпке. Отец сел на весла, Хаммершельд уселся на корме. Места для переводчика не нашлось. Катались они больше часа, обменивались улыбками, любовались игрой волн. Отец впоследствии шутил, что эти «переговоры» у них с Хаммершельдом прошли на редкость удачно. Хаммершельд не обиделся, обещал, при случае, прокатить Хрущева на своей лодке, но тогда уже он займет место на веслах.

С Хаммершельдом отец встречался еще не раз, порой дружески беседовали, порой разговаривали на повышенных тонах, но темы Пастернака больше не касались. И для отца, и для Хаммершельда, этот незначительный эпизод холодной войны отошел в прошлое и интереса не представлял.

На следующий день, 28 марта 1959 года, отец с Микояном принимали старого приятеля, фермера Гарста с женой. Тут стороны с полуслова понимали друг друга, говорили не только о любезном и Гарсту, и отцу сельском хозяйстве, но шутили, вместе гуляли и тоже катались на лодке, опять без переводчика.

Мыс Пицунда

Мыс Пицунда расположен между городами Сочи и Гагры, в двадцати двух километрах южнее Гагры. Небольшая заросшая реликтовыми соснами равнина, втиснувшаяся между склонами Кавказских гор и уходящая резко вниз к глубинам Черного моря. Первыми это место облюбовали еще древние греки, построили в устье реки Мюссеры порт Питиунт. От него и пошло название Пицунда. В 1950-е годы Пицунда находилась в запустении, курортники ее своим вниманием не баловали, разве что немногочисленные туристы-дикари устраивались на побережье в палатках, покупали у местных жителей кур, рыбу, баранину да самодельное молодое вино «Лыхны».

После передачи в общенародное пользование сталинских дач (бывших царских дворцов) решили построить пять новых правительственных резиденций, две в Крыму, там место им выбрал сам отец, а остальные три еще где-нибудь. Мжаванадзе, грузинский партийный секретарь, предложил Пицунду. А когда отец отдыхал в Сочи, Мжаванадзе свозил его на Пицунду. Место отцу понравилось: ровное, удобное для прогулок, пустынное, стройка не доставит отдыхающим неудобства.

Строительство поручили Главному архитектору Москвы Михаилу Васильевичу Посохину. Девственные заросли прорезали, не трогая деревьев, прогулочными дорожками, ближе к пляжу «возвели» три двухэтажные элегантные дачи, у самой воды устроили крытый бассейн.

В 1957 году, если я не ошибаюсь, Посохин пригласил отца осмотреть уже почти готовые сооружения, оставалось только постелить паркет и закончить внутреннюю отделку. Отцу понравилось все, но особенно длинная прямая дорожка вдоль пляжа. С нее открывался вид не только на море, но и на пустынные галечные отмели, тянувшиеся далеко, чуть ли не до самого горизонта.

Отец предложил Посохину подумать, не расположить ли вдоль берега пансионаты, гостиницы, дома отдыха. Такое дивное место должно дарить радость всем людям, а не только членам правительства. Посохин подумал и через пару месяцев принес отцу наброски будущего Пицундского курорта.

В 1958 году отец впервые поехал отдыхать в Пицунду, а уже в 1959 году, сразу за окружавшим «государственную территорию» бетонным забором, на самом берегу моря встали в ряд многоэтажные писательские, актерские и профсоюзные пансионаты.

Пицунда превращалась в модное место отдыха. Становившиеся все более многочисленными отдыхающие роптали на забор, поругивали отца за то, что лучший кусок леса он отгородил себе. В народной молве дача слыла хрущевской. То, что без отца никаких пансионатов там вообще бы не появилось, естественно, никого не интересовало. Экологи, в свою очередь, винили отдыхающих в уничтожении, буквально вытаптывании уникального уголка природы, по их мнению, в первозданном виде ландшафт сохранился только за бетонным забором.

День за днем

18 апреля 1959 года Шелепин направил в Президиум ЦК записку с отчетом о ходе «Наступления на религиозные пережитки», в которой упомянул об участии в церковной жизни некоторых ученых, артистов, профессоров университетов и предложил принять к ним «соответствующие меры воздействия».

Отец верил, что религия не имеет будущего. При нем закрыли не одну церковь, но «принимать соответствующие меры к некоторым артистам и ученым», как и ко всем остальным, он не разрешал, говорил, что это дело личное, со временем люди поумнеют, и все образуется само собой.

20 апреля 1959 года Аэрофлот получил новый турбовинтовой лайнер Ил-18. Первые самолеты поставили на линии Москва — Адлер и Москва — Алма-Ата. Ил-18 на долгие годы, вплоть до начала 1980-х, станет в СССР самым массовым пассажирским самолетом.

29 апреля 1959 года, по возвращении в Москву, отец долго беседует с британским фельдмаршалом Бернардом «Монти» — Монтгомери оф Аламейн, переигравшим в

Северной Африке «лиса пустыни», немецкого генерала-фельдмаршала Эрвина Роммеля. За год до того он покинул пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе, вышел в отставку и в Москву приехал уже простым туристом. Отец рассказывал Монтгомери о Сталинграде, гость говорил о превратностях войны в пустыне. Обе битвы происходили в одно время. Когда на Волге особенно припекло, Гитлер настолько спешно перебросил туда роммелевские танки, что их не успели даже перекрасить, и они сохранили свои пустынные маскировочные расцветки. В этой связи отец не преминул заметить, что в победах Монтгомери в Африке есть вклад и их с Еременко Сталинградского фронта. Монтгомери не ответил. Современные темы он старательно обходил, фельдмаршал уже принадлежал истории.

4 мая 1959 года, сразу после майских праздников, отец принимал американского посла США Томпсона. Зашел разговор об открывавшейся в Москве через два с половиной месяца американской выставке, первой за всю российскую историю.

Посол Томпсон рассказал, что они начали монтировать главный купол. Отец знал об этой необычайной шатровой конструкции, собираемой из алюминиевых сот — сегментов. Такого он еще не видел. Посол предложил вместе съездить на стройплощадку в Сокольники: пока каркас не «задрапирован» отделкой, он сможет разглядеть все детали. Отец согласился и тут же вызвал машину.

Они провели на стройке около сорока минут, несмотря на весеннюю грязь отец облазил все закоулки, забрался и на купол, правда, не очень высоко. Купол ему понравился. На очередном, июньском, Пленуме ЦК отец поделился своими впечатлениями: «Купол они делают из однотипных деталей, монтируемых в разных положениях наподобие пчелиных сот. Скрепляют между собой детали не клепкой, а пневматическим запрессовыванием болтов из алюминия с резьбой. Получается крепкое и легкое сооружение — алюминий крепится алюминием. Их опыт следовало бы изучить».

Изучить-то изучить, но у нас алюминий шел только на самолеты, в строительстве его пока не применяли.

Вечером того же дня отец позвал нас во Дворец спорта в Лужниках, там выступала американская труппа

«Холидей он Айс», балет на льду. Фигурным катанием наши спортсмены тогда уже занимались, правда, до последнего времени только зимой. Искусственный лед по тем временам был неслыханной роскошью. Один из первых таких круглогодичных катков соорудили во Дворце спорта, но там, в основном, играли в хоккей. Я поехал с отцом без особого удовольствия, фигурное катание тех лет представлялось мне чем-то вроде производственной гимнастики — череда заученных движений, выполняемых, в зависимости от квалификации, кем лучше, а кем хуже. В обеденное время «физзарядку» транслировали по радио, считалось, что сознательные граждане следуют за инструктором, укрепляют свое здоровье. Не знаю, как сознательные граждане, но я эту передачу за ее монотонность терпеть не мог. Во Дворец спорта пошел просто потому, что хотел провести вечер с отцом.

Выступление американских артистов, среди них несколько чемпионов Олимпийских игр, ввело нас в феерический мир зимней сказки: грациозный танец на льду, прыжки, вращения и, конечно, костюмы. Девушки-лебеди в белоснежных нарядах из страусовых перьев… Наверное, они делали то, что умели делать и наши фигуристы, но наши выполняли спортивные упражнения, а эти своими танцами очаровывали зрителей. После спектакля отец пригласил исполнителей в правительственную ложу. Они пришли, не успев переодеться, только сняли коньки.

Мне недавно прислали фотографии: улыбающийся отец чокается шампанским с улыбающимися американками, держит на руках самого маленького, наверное, восьмилетнего фигуриста, которому достались самые громкие аплодисменты. Рядом с отцом сдержанно улыбается Фрол Романович Козлов.

Гастроли американского балета в Москве прошли не менее успешно, чем в те же дни выступления Большого театра в Нью-Йорке. Представления «Холидей он Айс» за восемь недель посмотрело более миллиона человек. Собственно, это ледовое шоу и подтолкнуло к развитию нового жанра искусства — танцевальных представлений на льду, или ледовых шоу.

После спектакля, когда гости ушли к себе в гримерные, отец не улыбался, выглядел немного расстроенным — почему у нас нет ничего подобного?

Министр культуры Михайлов, он по долгу службы тоже находился в ложе, обещал подумать.

Прошло несколько лет, и уже наши Белоусов и Протопопова, за ними последовали и многие другие, пленяли зрителей своим искусством, а когда фигурное катание показывали по телевидению, «весь Советский Союз» нельзя было оторвать от экранов.

«Холидей он Айс» еще несколько раз приезжал в Советский Союз, выступал всегда с аншлагами, но без такого оглушительного успеха, какой имел весной и летом 1959 года. В декабре 2008 года они снова побывали в Москве. Прошло уже пятьдесят лет, не раз и не два сменились составы исполнителей и зрители уже другие, более искушенные и более критичные. И тем не менее, на премьеру «Красавицы и чудовища» (у нас эта сказка называется куда поэтичнее «Аленький цветочек») билеты были распроданы, как и в 1959 году, за много дней вперед.

9 мая 1959 года отец принимает в Кремле американских ветеранов Второй мировой войны и после обеда улетает в Киев, где в кругу старых друзей отмечает День Победы. Затем следует традиционная поездка по колхозным полям. 11 мая он вручает Украине орден Ленина и следует дальше в Молдавию. 14 мая в Кишиневе участвует в торжествах по случаю награждениях республики.

22 мая отец выступил на III съезде писателей, впервые после истории с Пастернаком, и постарался сгладить возникшие шероховатости. Оторвавшись от текста, он цитировал запомнившихся ему с детства, поэтов: любимого Николая Алексеевича Некрасова, Ивана Саввича Никитина и в заключение практически никому не известного дореволюционного донбассца Пантелея Махиню.

Люблю я книгою правдивой
Огни эмоций зажигать, —

нараспев продекламировал отец и попросил аудиторию не судить автора строго, поэт немного успел, в Гражданскую его убили петлюровцы.

Писатели просьбе отца не вняли, поэты-профессионалы долго насмехались над примитивностью его вкуса, невзыскательностью выбора. Хотя вопрос

выбора в поэзии — тема весьма деликатная. Одному нравится одно, другому — иное, а судья — это тот, у кого в данный момент в руках власть, не обязательно административная. Зачастую в творческой среде признают только себя и своих соратников по литературному направлению, отвергая всех иных. Так, молодой Маяковский призывал выкинуть на свалку Пушкина, а затем писатель Фадеев с критиком Ермиловым, взяв верх в писательском сообществе, едва не выкинули из литературы и самого Маяковского.

Поэзия воспринимается сердцем, и профессионализм здесь очень условен. Естественно, профессионалы поэзии и других искусств со мной не согласятся, но это их дело.

Затем отец вернулся к истории с Дудинцевым, назвал его книгу «Не хлебом единым» проходной однодневкой, хотя в ней «некоторые страницы и заслуживают внимания» и посетовал, что все собирался побеседовать с автором, но дела заели.

Отец говорил, что недостатки надо высвечивать, но в «основу следует брать положительные явления, пафос труда», одернул, предостерег от излишнего усердия, выискивающих крамолу, особо рьяных «охранителей» генеральной линии, и тут же взял под свою защиту, назвал их по-фронтовому «автоматчиками» партии. В общем, призвал всех жить дружно, в согласии.

Согласия, естественно, не получилось, писатели не в состоянии жить в согласии, каждый из них отстаивает свою «правду» и напрочь отвергает «правду» соседа. Но какое-то затишье, тем не менее, наступило, благодаря чему отметили семидесятилетие охаянной сначала Фадеевым с Ермиловым, а позднее Сталиным со Ждановым великой, по мнению многих, поэтессы Анны Ахматовой. Еще в 1958 году, впервые после долгих лет запрета, опубликовали книгу ее стихов, но только теперь она удостоилась благосклонных рецензий. Антиахматовцы тут же приняли меры. В результате стороны достигли компромисса, пышных чествований решили не устраивать, ограничились приватным торжеством и столь же приватными поздравлениями.

С 25 мая по 4 июня 1959 года отец с государственным визитом в Албании. Принимают его с помпой, как лучшего друга. Но дружба продлится недолго. Энвер Ходжа, как и Мао Цзэдун, видит в

разоблачении тирании Сталина, в начинавшихся в СССР реформах угрозу собственной власти и уже в этом году сменит ориентацию с советской на китайскую, наравне с «титовским» заклеймит и «хрущевский» ревизионизм.

4 и 5 июня, по дороге домой, отец останавливается в Венгрии, здесь, в отличие от Албании, прием сдержанный, но более искренний, с Яношем Кадаром они единомышленники, оба настроены на реформирование общества в интересах простых людей.

10 — 12 июня 1959 года отец сопровождает Вальтера Ульбрихта, главу делегации ГДР, в поездке по Прибалтике. Попутно в Риге он разбирается в споре между «централистами» и «националистами», в частности о государственном языке. Не хочу углубляться в детали, они сложны, запутаны и сегодня мало кому интересны. Скажу только, что, по мнению отца, в Латвии государственным языком должен быть латышский, на Украине — украинский и т. д. «Когда на митинге Первый секретарь ЦК латышской компартии Калиберзин выступил на русском, я его внутренне осудил, следовало говорить на латышском языке», — делился он впечатлениями о поездке на заседании Президиума ЦК.

25 мая вышло постановление правительства о развитии школ-интернатов для сирот и детей из «проблемных» семей, а также о «продленке» в обычных школах. В ряде случаев, там, где школьных зданий построили достаточно, от вторых и третьих смен, обычных в послевоенные годы, удалось отказаться, и появилась возможность оставлять учеников в классах после уроков. Пока родители работали, школьники под присмотром учителей выполняли домашнее задание, играли. С годами «продленка» стала практиковаться в большинстве школ.

11 июля правительство предоставило дополнительные льготы студентам-заочникам и вечерникам. Постановление правительства предписывало предприятиям в период их отсутствия на работе (во время сдачи экзаменов) выплачивать им полную зарплату и предоставлять десятимесячный оплачиваемый отпуск для подготовки диплома.

Летом 1959 года газеты объявили о новом виде услуг: продаже в кредит мотоциклов, велосипедов, мотороллеров, швейных машин, лодочных моторов, охотничьих ружей, часов, шерстяной и шелковой

одежды. Рассрочка — признак избытка товаров на полках, пусть не первой необходимости, но все же… Одновременно, 4 июня 1959 года, снизили, в среднем на 11–20 процентов, цены на вина, часы, велосипеды, радиолы, фотоаппараты, капроновые чулки, игрушки. Принятое решение свидетельствует не только о наполнении, но и начале переполнения рынка по отдельным видам товаров.

О вредной практике поднесения подарков

28 мая 1958 года ЦК КПСС разослал «закрытое письмо» «О вредной практике поднесения подарков» ответственным работникам к юбилейным и праздничным датам, различным событиям из личной жизни руководителей, проведению декад искусства и литературы, спортивных состязаний и прочее, и прочее… Порой подношения делают под видом «ознакомления» руководителей с образцами новой продукции. И все это за счет государственных и общественных средств. Инициаторами «дарения» обычно выступают те, кто сам не прочь запустить руку в государственный карман.

Письмо предписывало «обсудить его и сделать необходимые выводы».

Обсудили. 3 марта 1959 года на заседании Президиума ЦК каялся Полянский. Он от имени Бюро ЦК по РСФСР одарил ружьями секретарей сталинградского и саратовского обкомов. За «возрождение непартийных явлений, порочащих звание члена партии», его осудили и посчитали вопрос исчерпанным.

Постановление возымело действие. Поток подарков отцу поиссяк, но только на время. Насчет его коллег сказать ничего не могу, не знаю. После 1964 года одаривание друг друга за государственный счет расцвело пышным цветом. Больше этому никто не препятствовал.

Вечерние «Известия»

В июне 1959 года газета «Известия», орган Президиума Верховного Совета СССР, начала выходить по вечерам. В мае ее главным редактором стал 35-летний Алексей Аджубей, муж моей сестры Рады. Человек амбициозно-энергичный, он решил посоперничать с самой «Правдой». Конечно, даже он не мог ни на секунду представить, что можно встать выше «Правды», но попытаться стать другой газетой, более оперативной, более интересной Алексей Иванович позволить себе мог.

Ходили слухи, что когда-то до войны, при Бухарине, «Известия» читались с интересом, славились своими очерками и фельетонами. Но те времена давно прошли, Бухарина арестовали, имя его упоминалось только как врага народа, а «Известия» за славой больше не гнались, не претендовали вообще ни на что: публиковали, согласно закону, повторявшиеся на всех языках союзных республик длинные и нудные отчеты о сессиях Верховного Совета, постановления правительства, безликие сообщения о событиях в стране и мире. «Известия» стали бледной копией «Правды», главной партийной газеты, тоже не блиставшей интересными материалами. Шутили, что в «Правде» нет известий, а в «Известиях» — правды.

Тогда газеты вообще походили друг на друга как близнецы. Конечно, армейская «Красная звезда» тематическими статьями отличалась от «Учительской газеты» или «Сельской жизни», но только в пределах специализации. В остальном же, прочитав одну газету, браться за другую смысла не имело. И все они выходили одновременно по утрам, кроме, разве городских сплетниц: «Вечерней Москвы», «Вечернего Киева» или «Вечернего Ленинграда».

Аджубей задумал выпускать «Известия» вечером, чтобы тем самым перехватить у завтрашних утренних газет, в том числе и у «Правды», главные новости. В ЦК не возражали, Суслов поморщился, он не терпел «самодеятельности», но решение подписал.

Вечерней газета «Известия» стала только в Москве, за ее пределами осталась «завтрашне-утренней». Но Аджубея интересовала именно Москва, ее читатели, и в первую очередь главный и самый прилежный читатель — отец. Так издревле повелось на Руси: имеют значение царь, двор, столица, остальное — неважно и неинтересно. После революции в этом плане мало что переменилось.

Журналистом Аджубей оказался талантливым, с его приходом газета преобразилась, стала самой интересной, самой читаемой, тираж ее вырос многократно. В киосках за «Известиями» выстраивалась очередь. Накопив журналистский опыт, Аджубей начал брать интервью у сильных мира сего, вплоть до президента США Джона Кеннеди. Иногда ему поручалось «прозондировать» возможность установления контактов, к примеру, с папой римским или западногерманским канцлером. Такая практика существует в мире — с журналиста, даже зятя первого лица государства, взятки гладки, он — лицо официально никем не уполномоченное. В случае благожелательной реакции с той стороны эстафета переходит к дипломатам, а если нет — то

нет.

Естественно, Алексей Иванович имел возможность и пользовался своими родственными привилегиями, отчет о своих контактах не только представлял в ЦК, но и дома рассказывал отцу о происходившем, подробно, в лицах, присовокупив свое, не оговоренное с МИДом, мнение. Все это придавало Аджубею ореол «теневого министра иностранных дел», что начинало нервировать настоящего министра Андрея Громыко и весь его аппарат. Нужно сказать, что Аджубей не только не опровергал множащиеся слухи, но сам их раздувал. Алексей Иванович не собирался ограничиваться журналистикой, его влекла политика, власть, ему хотелось стать министром, а если повезет, то и… Не повезло.

Редакционная группа

Постепенно, благодаря своей энергии и талантам, Аджубей стал играть все более заметную, роль в «редакционной» группе при Хрущеве.

Редакционная группа не сочиняла за отца речи и выступления. «Речеписцев» отец при себе не держал. Он сам диктовал доклады, сам расставлял акценты, сам делал выводы и заключения. Редакционной группе оставалось, в меру своих литературных талантов, «пригладить» надиктованный текст да рассыпать по нему цитаты из классиков марксизма-ленинизма. Сам писал выступления не только отец. Его предшественники и современники, все серьезные политики первой половины и середины XX века, как правило, авторы своих выступлений. С тех пор многое переменилось, в новые времена даже весьма уважаемые мировые лидеры выступают «под фонограмму». К спичрайтерам давно привыкли.

Конечно, речь тут не идет о протокольных выступлениях, их под наблюдением мидовских чиновников писали прикомандированные журналисты. Отец и относился к ним соответственно. Выступая за рубежом, он, экономя свое и чужое, время, произносил первые фразы заготовленного текста, затем переводчик зачитывал на иностранном языке речь целиком. В заключение отец благодарил аудиторию за внимание.

А вот отчетные доклады съездам партии писались коллективно. Сначала отделы ЦК и Совета Министров, Госплан, при необходимости и другие ведомства представляли справки, писали заготовки отдельных разделов. Отец их внимательно изучал, запрашивал дополнительные цифры, надиктовывал свои соображения, сводил все воедино. В результате появлялся черновой вариант доклада. Его отправляли на апробацию в

отделы ЦК, рассылали секретарям и членам Президиума ЦК. Их замечания отец принимал, или не принимал, диктовал и передиктовывал вставки и целые разделы. Вторую и третью редакцию текста последовательно рассылали по тем же адресам, получали и учитывали новые замечания. Потом следовало утверждение текста, сначала на Президиуме, а затем на Пленуме ЦК. Утвержденный текст отчетного доклада ЦК отец зачитывал на съезде. Чтение занимало много часов, физически изматывало отца. Но такова традиция. Отец однажды попытался ее поломать, предложил раздать делегатам заранее отпечатанный текст отчетного доклада XXII съезду партии, сэкономить таким образом их время и собственные силы, но, не встретив поддержки, традицию нарушать не стал.

В написании заготовок для докладов съезду, подготовке справок, наравне с другими участвовал и молодой сотрудник Международного отдела ЦК Федор Бурлацкий. Впоследствии, безо всяких на то оснований, он начал называть себя «спичрайтером» и даже помощником отца. Я совсем не хочу обидеть Федора Михайловича, он человек небесталанный, но, по-видимому, склонный выдавать свои фантазии за реальность. Бурлацкий по своим качествам, наверное, мог стать помощником. Мог, но не стал. Отец о его существовании вряд ли подозревал. В кабинет отца он вхож не был, пару раз в поездках находился при Андропове, в свою очередь сопровождавшем Хрущева. В работе редакционной группы Бурлацкий выполнял отдельные поручения: отредактировать второстепенный документ, написать протокольно-формальную вставку и т. п.

Возвращаясь к редакционной группе, скажу, что ее роль не следует преувеличивать, но нельзя и преуменьшать. Ее члены постоянно общались с отцом, высказывали ему свои мнения, их предложения принимались или отвергались, отец к ним прислушивался. К ним стекались предложения и замечания от отделов ЦК и даже от членов Президиума. Они их сортировали, обобщали, а затем докладывали отцу. Так что влиять на отца в какой-то степени могли, но теневым кабинетом редакционная группа не стала, хотя в то время ее так называли многие. Отец не нуждался в параллельной неформальной структуре власти. Его вполне устраивал Совет Министров. Отец справедливо считал, что теневые властные структуры приводят к склокам, не помогают, а только усложняют управление.

Отец держал минимум помощников: старшего, ответственного за самые важные бумаги, «боярина» Григория Трофимовича Шуйского, так отец прозвал его за созвучность фамилии, либерала-идеолога Владимира Семеновича Лебедева,

агронома-практика, преданного одновременно и отцу, и Лысенко Андрея Степановича Шевченко и, наконец, свободно говорящего по-английски, знатока международных хитростей и дипломатических уловок, всегда невозмутимо-благожелательного Олега Александровича Трояновского. Своим помощникам отец не позволял выходить за должностные рамки, да они и не претендовали на роль советников, хотя, конечно, высказывали свои суждения, возражали отцу, если он, по их разумению, поступал как-то не так. Однако сама приближенность к первому лицу делала их весьма и весьма влиятельными.

Готовить особо ответственные документы или важные выступления отец предпочитал подальше от московской суеты, уезжал дней на десять в Крым или в Пицунду. С собой он забирал не только помощников, но и редакционную группу, стенографисток, машинисток, весь штат. По мере надобности и в зависимости от специфики вопроса, из Москвы вызывали специалистов: дипломатов, или аграриев, или энергетиков. С утра отец обычно диктовал, потом, пока шла расшифровка, распечатка, редактирование, занимался рутинными делами, читал почту, если возникала необходимость — перезванивал в Москву. После обеда обсуждали наработанное утром. Отец выслушивал замечания, вносил изменения, заново диктовал. К тому времени из Москвы фельдъегери доставляли свежую почту, газеты. Их разбору отец посвящал вечерние часы и, разделавшись с бумагами, уходил на прогулку перед сном.

Телевидение из Останкино

К середине 1950-х годов стало ясно, что старая, построенная еще до войны, Шуховская радио-, а затем переделанная в телевизионную, башня не справляется — и высота мала, и аппаратные тесны. Однако принятие решения задерживалось из-за того, что никак не могли согласовать, какую выбрать новую передающую антенну и где ее разместить. Отец порекомендовал Черемушки, оттуда, с возвышения, вся Москва как на ладони, не потребуется возводить сверхвысокую конструкцию и удастся сэкономить немалые средства. Моссовет даже успел место подыскать, но когда копнули поглубже, копнули в самом прямом значении этого слова, оказалось, что там башню строить нельзя: грунт не выдержит, сооружение сползет в Москва-реку. Отодвигать телебашню вглубь тоже не имело смысла: крутой склон над излучиной в районе Лужников затенял практически весь центр города.

Строители предложили уйти в низину. Так надежнее, хотя,

чтобы охватить всю Москву с Подмосковьем, необходимая высота башни существенно возрастет, почти до полукилометра. Отец согласился.

Подыскали две подходящие площадки, обе на северо-западе: одну в Екатерининском парке, тогда парке имени Дзержинского, другую — на территории Останкинского питомника зеленых насаждений. Отец пожалел парк и высказался за второй вариант.

Так московская телевизионная «игла» стала Останкинской башней, вернее не стала, а только собиралась стать. Пока же строители спорили: делать башню стальной, наподобие Эйфелевой, или железобетонной. Большинство выступало за сталь, так и привычнее, и надежнее. Они сомневались, выдержит ли бетон, даже напряженный, столь огромную нагрузку. 573 метра — не шутка, даже американцы на такое не замахивались. Проектировщики доказывали, что выдержит и к тому же в эксплуатации окажется удобнее. Стальную башню придется периодически отскребать от ржавчины и красить. Эйфелеву башню чистят и перекрашивают непрерывно, пока бригада доберется до верха, внизу начинает проступать ржавчина. И так без конца. Бетон же в покраске не нуждается, в отличие от стали, он — материал вечный.

Договориться стороны не смогли, и Посохин апеллировал к отцу. Собрали совещание. Первыми докладывали «металлисты», затем слово предоставили «бетонщикам». И у тех, и у других аргументы звучали весомо. «Металлисты» повторили свои доводы, главный из которых — никто еще таких высоких башен из бетона не строил, призывали не рисковать. «Бетонщики» настаивали, что риск оправдан, вернее — его почти нет, а экономия будет весьма ощутимой, и вообще в недалеком будущем весь мир перейдет на бетон. Или они последуют нашему примеру, или мы, как обычно, поплетемся у них в хвосте. В общем, столкнулись две школы, два технических направления, которые никогда и ни в чем не приходят к согласию, В зависимости от уровня развития технологий и других обстоятельств верх берут то одни, то другие.

Отец к тому времени и сам неплохо разбирался в плюсах и минусах конструкций из стали и напряженного железобетона. Аргументы и расчеты бетонщиков его убедили. Он сделал выбор. Останкинскую башню решили строить из напряженного железобетона.

Отец рисковал. В случае успеха никто о его выборе и не вспомнит. А вот если «металлисты» окажутся правы: башня треснет, покосится или, не дай бог, рухнет, то виноватым окажется он. Отец пошел на риск сознательно, с ним всегда

сопряжено новое, но не на безумный риск ради риска. Он хорошо знал высокую квалификацию московских ученых-бетонщиков, верил им и их расчетам.

Приступили к работе. Фундаментом и другими конструктивными решениями занимался инженер Николай Никитин, автор фундаментов всех московских высоток. Саму башню, напоминающую одним перевернутый цветок, а другим рюмку, проектировали архитекторы Л. Баталов и заместитель Посохина, Дмитрий Бурдин.

В 1960 году начали рыть котлован. Через год работы застопорились, снова засомневались в прочности московских грунтов, не «поплывут» ли они, не покосится ли опирающаяся на них башня, как Пизанская. Сомневались почти два года. Окончательный проект утвердили только 22 марта 1963 года, и работы возобновились.

Отец несколько раз ездил на стройку, обычно в выходной. Однажды и я увязался за ним. Отец почти час ходил по загроможденной строительной техникой площадке, присматривался, дотошно расспрашивал Никитина. Наверное, и его грызли сомнения, ведь нагрузки фантастические, вес всей конструкции к тому времени достиг 55 тысяч тонн. Расчеты расчетами, но ведь строим мы первыми. Никитин заверил отца, что грунт и бетон выдержат. И бетон выдержал. Он оказался прав, а риск оправданным. После Останкинской по всему миру начали строить железобетонные телебашни.

Закончили строительство Останкинской башни к сорокалетию Советской власти, уже после отца. Ленточку перерезали в ноябре 1967 года. Выступавшие на митинге о Хрущеве, разумеется, не вспоминали.

Года через два после открытия отец с обретенным уже после отставки другом, профессором-эндокринологом Михаилом Александровичем Жуковским, съездил «полюбоваться» на башню. Предусмотрительный Михаил Александрович загодя позвонил в телецентр, предупредил о визите. Московские политические начальники с отцом общаться не рисковали, но и оставить его без присмотра боялись. Встречать отца отрядили директора телецентра Дмитрия Квока. Для лучшего обозрения отец прихватил подаренный ему когда-то немецким канцлером Конрадом Аденауэром восьмикратный бинокль. А вот фотоаппарат пришлось оставить дома, Жуковский предупредил: фотографировать Москву с башни строго запрещено.

Квок вспоминал впоследствии, как Никита Сергеевич выспрашивал его: помнят ли они, что именно он, Хрущев, взял на себя риск, поддержав бетонщиков? Квок, покривив душой,

заверил отца, что не забыли.

Обойдя башню вокруг, они втроем поднялись наверх, посидели в ресторане «Седьмое небо», выпили «Боржоми», после недавнего приступа панкреатита отец в рот не брал спиртного. Полюбовавшись на сверкавшую огнями Москву, гости попрощались с хозяином. Отец вернулся в Петрово-Дальнее, где ему отвели после отставки госдачу, довольный и одновременно немного грустный.

Академия Наук

24 июня 1959 года на Пленуме ЦК обсуждали «технический прогресс». В выступлении на Пленуме отец остановился на проблемах животноводства и кормовой базы, но основное время он посвятил инновациям в промышленности — говорил о точном литье, о прессах высокого давления, о новых технологиях производства крепежных изделий, затем покритиковал заводы за выпуск устаревших станков и машин, а совнархозы — за нарождающееся местничество.

Мое внимание привлек пассаж относительно АН СССР. Коснулся он этой темы тоже вскользь, в ответ на выступление президента Академии Александра Николаевича Несмеянова, директора Института элементоорганических соединений и одновременно президента Академии, «хорошего коммуниста и хорошего ученого», как отозвался о нем отец.

Хрущев затронул болезненный вопрос эффективности Академии. Он считал, что, имея в своем ведении множество различных организаций и учреждений, она стала забюрократизированной и неуправляемой, а ее президент не может везде успеть, со всем справиться.

Проблема Академии зрела давно. Созданная по примеру французской и немецкой академий как сообщество ученых, престижный клуб «бессмертных», со временем она забюрократизировалась, превратилась в министерство науки, а ее президент из «бессмертнейшего» — в чиновника, правда, очень ученого.

Отец считал, что Академия «пробуксовывает», необходимо сделать ее структуру прозрачной и понятной, но подступаться к ней он не спешил. Все ее члены — люди уважаемые, ссориться с ними отец не имел ни малейшего желания. Кроме того, как человек, не получивший систематического образования, он благоговел перед наукой и учеными.

В книгах по истории науки можно прочесть, что Хрущев, якобы не разобравшись, чуть ли не разогнал Академию. Военные историки в тех же выражениях вменяют ему в вину революционные преобразования структуры Вооруженных сил, сокращение ассигнований на Военно-морской флот, авиацию, выпячивание ракетных войск стратегического назначения. Отец действительно покусился и на Вооруженные силы, и на Академию наук, но только с тем, чтобы приспособить их структуру к потребностям и возможностям страны.

Тут уместно задаться вопросом, что же такое Академия наук?

Каково ее место в обществе? И что у нее общего с Вооруженными силами? Науку и армию роднит многое: ни одна уважающая себя страна не обходится ни без ученых, ни без военных. Но и наука, и армия живут как бы в долг: наука обещает возместить затраты на нее будущими открытиями, военные обязуются защитить страну от возможного нападения.

А что следует изучать ученым? Какие направления исследований наиболее перспективны? Традиционная наука базируется на уже сделанных открытиях, развивает и объясняет их. Ученые порой инстинктивно отторгают непривычные толкования привычных явлений. А именно в постижении неизвестного предназначение фундаментальной науки, которой обязана служить Академия. Обязана, но…

Похоже дела обстоят и в армии. Как лучше защититься от врага? Какому вооружению дать приоритет, а какое признать устаревшим? Практические знания военных тоже ограничиваются прошлым, прошедшей войной. На их основе строятся предположения о войне будущей, но предположения, пока их не проверят на практике, так и остаются предположениями, противоречивыми и сильно разнящимися между собой.

В силу неопределенности наука и армия стремятся охватить как можно большее направлений, получить максимум ресурсов. Каждый ученый абсолютно искренне считает свои исследования наиболее перспективными, как командующий — свой род войск наиважнейшим. Если науку с армией оставить без присмотра, они, как черные дыры в космосе, поглотят без остатка все, что окажется в сфере их притяжения, из самых благих побуждений разорят страну.

Правительству приходится соизмерять аппетиты ученых и военных с возможностями страны, решать, что заслуживает финансирования, что подождет, а что можно вообще отставить. Вот отцу и приходилось примериваться, как распределить расходы на науку и армию таким образом, чтобы не просчитаться.

Военной реформе посвящена отдельная книга «Рождение сверхдержавы». Ниже речь пойдет исключительно об Академии наук.

Проблему Академии, какова она на самом деле и какой ей следует быть, в 1954 году затронул в разговоре с отцом академик Капица. Отец расспрашивал Капицу, что происходит в нашей «большой» науке. Ответы его не радовали: и в большинстве серьезных направлений мы отстаем, а там, где не отстаем, как в ядерной физике, это тоже заслуга не Академии, а Министерства среднего машиностроения. Капица никогда не стеснялся в выражении своего личного мнения.

Капица, как рассказывал позднее отец, сетовал на чрезмерное увлечение Академии прикладными разработками в ущерб поиску новых научных направлений. Дело в том, что начиная с 1930-х годов эффективность академических исследований оценивали не цитируемостью авторов в мировой научной печати, а эффективностью внедрения. По словам тогдашнего президента Академии Несмеянова: «передовицы “Правды” нас ориентировали не на большую науку».

Капица предлагал освободить Академию наук от рутины, развязать ученым руки, пусть они думают об открытиях, а не конструируют то, что может сделать любой грамотный инженер. Не занимается же Академия разработкой атомных зарядов, самолетов или танков. И прочие инженерные заботы следует отдать промышленности, а с ними и большинство прикладных академических институтов. А следовательно, станет труднее прятаться за «народнохозяйственную значимость» вчерашних и позавчерашних разработок и расчистится поле деятельности для настоящих ученых.[54]

Капица посоветовал отцу вывести академическую науку из-под промышленности, ориентирующейся на давно открытое.

— К примеру, — убеждал Капица отца, — пока не существовало цветной фотографии, то и требований к ней со стороны промышленности не возникало. У нас никто ею и не занимался, пока она не появилась за границей. Только тогда мы во все тяжкие бросились догонять капиталистов. И так во всем.

Отец внимательно выслушал академика, но не торопился принимать решения. Мнение Капицы все-таки мнение всего лишь одного академика, пусть и всемирно знаменитого.

Отец попросил Булганина, только что сменившего Маленкова на посту главы правительства, поподробнее разобраться в академических делах. Булганин «спустил» поручение Малышеву, председателю Госкомитета по новой технике. Тот поручил «проработать вопрос» президенту Академии наук Несмеянову и министру высшего образования Елютину. Проработали. В Академии составили объемистый перечень «Важнейших задач развития науки в шестой пятилетке», выполнение которых выводило бы Советский Союз на передовой уровень в мире; о разделении прикладных, отраслевых и фундаментальных исследований решили не упоминать. Булганина эта отписка удовлетворила. Отец тоже не напоминал о разговоре с Капицей, его внимание занимали целина, жилье, совнархозы, сокращение армии, — не до реорганизации Академии. Казалось, обошлось…

Тем временем Академия разрасталась. С 1951 по 1956 год число занятых в ее структурах различными разработками, по-

прежнему в основном прикладными, почти удвоилось. В выступлении на XX съезде партии президент Академии наук Несмеянов наряду с другими достижениями отметил «разработку конструкции автоматических дверей для московского ресторана “Прага” и новых видов стали для перьевых ручек». Правда, он посетовал, что такая приземленность мешает развитию фундаментальных исследований, но, как мы знаем, сетовал он на словах. Составленный им уже упомянутый перечень «Важнейших задач…» более чем наполовину состоял из таких же чисто прикладных задач. Их приоритет диктовался прагматическими соображениями. За автоматические двери ресторана «Прага» заказчик платил солидные деньги, академический статус давал ощутимые преимущества разработчикам: более высокие оклады, чем в промышленности, особенно остепененным кандидатам и докторам наук, полутора— и двухмесячные отпуска. И это в сочетании с более чем ненапряженными планами, а порой и вообще их отсутствием. Расставаться с вольготной академической жизнью не хотелось никому.

Характерно, что люди по-настоящему творческие, увлеченные делом, переходили в промышленность без сопротивления, отпуск они практически не использовали, работали днями и вечерами, прихватывали и выходные. Сопротивлялись «служащие от науки», звезд с неба не хватавшие, но до привилегий охочие. К тому же, бюрократические структуры оценивают свою значимость по численности штата, и академик Несмеянов сокращать свой штат, а следовательно и фонд заработной платы, количество зданий, гаражей, домов отдыха и прочего не желал.

Тем временем академики, в первую очередь физики и математики, начали «бунтовать». Капица при каждом удобном случае требовал пересмотра приоритетов в пользу фундаментальных исследований. Ему вторил академик Тамм.

Последний, разочаровавшись в творческих способностях Президиума Академии, ратовал за передачу полномочий отделениям. Несмеянову все труднее становилось удерживать Академию в узде.

С проблемами Академии отец вновь столкнулся в конце 1956 года, когда академики Лаврентьев, Христианович и Соболев пришли с предложением организации Сибирского отделения. Правда, они лишь вскользь коснулись разгоравшихся в научной среде дебатов. Их интересовала Сибирь, образование там крупного научного центра, а не московская свара.

Однако антипартийная группа, история с Жуковым, неурожай на целине опять отодвинули проблемы фундаментальной науки на задний план.

В третий раз о неблагополучии в Академии Хрущеву в конце 1957 года напомнил Николай Николаевич Семенов, тоже походя, говорили они в основном о развитии химической промышленности, но, в отличие от Лаврентьева, Семенов порекомендовал отцу вмешаться, Академия все больше погружается в рутину малозначимых работ, настоящей наукой там почти не занимаются, отставание от Запада нарастает, грозит стать необратимым.

Отец забеспокоился и поручил секретарю ЦК Мухитдинову, курировавшему науку, подготовить «академический» вопрос к рассмотрению на Президиуме ЦК. Он предупредил Нуритдина Акрамовича не замыкаться на Президиуме Академии, выслушать обе конфликтующие стороны, посоветоваться не только с Несмеяновым, но с Капицей, Семеновым и Лаврентьевым.

Подготовка тянулась более года, сначала вопрос дебатировали на Президиуме Академии наук, затем «полировали» в Отделе науки ЦК у Кириллина, потом обговаривали на совещаниях у Мухитдинова и наконец в мае 1959 года вынесли на заседание Президиума ЦК.

До того как рассказать об этом заседании, несколько слов о личных взаимоотношениях Хрущева и Несмеянова. Александр Николаевич сетует в воспоминаниях, что Никита Сергеевич его не понимал, как не понимал он и академических проблем, а потому и решения принимал с его, Несмеянова, точки зрения неверные.

Действительно, отношения между ними не сложились. Кто тут больше приложил руку, судить не берусь, но попытаюсь разобраться. Любопытная получается картина. С академическими проблемами к отцу приходят Нобелевские лауреаты Капица и Семенов, выдающиеся математики Лаврентьев и Соболев, а президент Академии наук оказывается как бы в стороне. Не то чтобы отец с Несмеяновым не встречался. Естественно, они виделись, и не раз. Но в памяти отца эти встречи не запечатлелись. Это примечательно. Все, что заинтересовывало отца, он запоминал намертво. А Несмеянову запомнились две встречи. Какие же вопросы задавал академик руководителю государства? Александр Николаевич припоминает, но не очень отчетливо, что, по всей вероятности, в 1956 году, он вместе с Курчатовым пошел к Хрущеву говорить о генетике.

Инициативу разговора захватил Курчатов, говоря о выгодах, которые США получаю от гибридных сортов кукурузы, а у нас таковых нет из-за предвзятого отношения к современной генетике.

Напомню, что к тому времени отец уже получил отчет делегации Мацкевича о поездке в США, уже повстречался с

Гарстом, закупил у него партию гибридных семян и поручил нашим селекционерам заняться гибридизацией вплотную. И профессор Александр Самсонович Мусийко в одесском Селекционно-генетическом институте вскоре создал кукурузный гибрид Одесская-10. Так что к моменту визита, если отец и не знал о гибридной кукурузе все до тонкости, то наверняка разбирался в вопросе лучше атомщика Курчатова или химика Несмеянова.

Несмеянов справедливо пишет, что Курчатов напрасно начал игру на чужом поле, Хрущев дорожил его мнением, но не в области кукурузоводства. В ответ на тираду Курчатова он показал ему лежавший на углу стола почти полуметровый сухой кукурузный початок.

— Не надо о сельском хозяйстве, — перебил Курчатова отец, — ваше дело физика и химия, а не кукуруза.

Курчатов перестроился и заговорил о теоретических ошибках Лысенко, здесь Хрущев окончательно заскучал.

«Смысл его вялых реплик, — пишет Несмеянов, — сводился к одному: вы ученые и ваше дело решать вопросы теории, наше же дело — практика… Я, сколько мог, поддакивал Курчатову», — так Несмеянов оценил свое участие в разговоре.

На вопрос Несмеянова, можно ли переводить и издавать книги по современной биологии последовал ответ: «Да кто же вам мешает?»

На этом аудиенция закончилась, правда, на прощание отец, со слов Несмеянова, предупредил их: «Лысенко не трогайте».

Несмеянов из-за своей пассивности на отца никакого впечатления не произвел.

Следующий раз, скорее всего это конец 1957 года или начало 1958-го, Несмеянов пошел к Хрущеву один. Тогда, после встречи Хрущева с академиком Семеновым, готовилось постановление «О химизации». Естественно, отец ожидал, что президент Академии заговорит о перспективах развития науки, в частности химической, в конце концов, он, как и Семенов, химик. Но Несмеянов снова разочаровал отца, просить о встрече с главой правительства его побудил «слух», что готовится сокращение двухмесячного отпуска академическим научным сотрудникам, а также отмена выплаты ежемесячной «надбавки за звание» — академикам 500 (5 000 рублей до реформы 1961 года), а членам-корреспондентам 250 (2 500) сверх зарплаты, независимо от выполненной работы.[55] Действительно, в 1958 году готовились решения о сокращении, а кое-где и полной отмене, как тогда считали, необоснованных привилегий чиновникам, генералам от науки и просто генералам. Соответствующие постановления

приняли в 1959 году. Я о них еще расскажу.

Несмеянов уговаривал Хрущева академиков не трогать, объяснял, «что ученому сплошь и рядом приходится идти на смертельный риск и, потом, им необходима уверенность в прочном материальном положении…

«Мои доводы убедили Хрущева, — с удовольствием отмечает Александр Николаевич, — он выразил согласие с ними, благодарил меня. Вопрос о сокращении отпуска был похоронен, не возникал и вопрос об оплате «за звание академика».

Несомненно, труд академика требует соответствующей оплаты, но меня доводы Несмеянова не убеждают. Найдется еще немало профессий, где приходится рисковать и побольше, чем в академической лаборатории. С другой стороны, я понимаю Александра Николаевича, никому не хочется терять ни удлиненный отпуск, ни доплаты за академический титул. Будучи кандидатом, а затем доктором наук, я очень болезненно воспринимал разговоры о возможности лишения нас, пусть и не академических, но тоже весьма приятных привилегий. Такие разговоры периодически возникали вплоть до самого конца советской власти.

Отец все больше разочаровывался в Несмеянове. Он по-прежнему уважал его как ученого, но уважал абстрактно. В отличие от академиков, известных ему конкретными делами, о Несмеянове отец говорил в общих словах. Так он и остался для него расплывчатым «хорошим коммунистом и хорошим ученым». Отец не мог понять, почему «рядовые» академики Капица, Курчатов, Семенов, Лаврентьев, Христианович идут к нему с вопросами общегосударственного значения, болеют за дело, а глава Академии…

Тому имелись свои причины. С упомянутыми академиками Несмеянов не ладил. Он вообще не жаловал «нарушителей спокойствия», а Лаврентьева и Семенова откровенно не любил именно за то, что они постоянно лезли «не в свое дело», да еще через его голову. Лаврентьев без его ведома «пробил» создание Сибирского отделения. Семенов, вопреки воле Несмеянова, организовал в подмосковной Черноголовке испытательный центр, где занимался теорией взрыва. За счет личных связей и своей энергии он привел в Черноголовку со стороны военных строителей, ежегодно неведомым для президента Академии образом «осваивал» львиную долю выделяемых АН СССР ресурсов. В результате Черноголовка существенно обгоняла Пущино, где Несмеянов создавал свой собственный научный центр, куст химических и биохимических институтов.

Отношения в Академии складывались очень непростые, и

симпатии отца оказывались на стороне людей динамичных, инициативных. Несмеянов обижался, но выводов не делал, он более всего чтил спокойствие.

В такой обстановке в мае 1959 года проходило заседание Президиума ЦК, положившее начало реформированию Академии. Докладывал, по всей видимости, Мухитдинов. Потом выступил Несмеянов, после него — Косыгин и Брежнев, заключал обсуждение отец. Все согласились, что Академия наук разбухла, погрязла в несвойственных ей разработках, стала трудно управляемой.

Решать с ходу ничего не стали, реорганизация науки дело неспешное и деликатное, поручили Несмеянову и ученому секретарю Академии Александру Васильевичу Топчиеву подготовить предложения.

Александр Николаевич поначалу рассчитывал, как и в 1955–1956 годах, «спустить дело на тормозах», отделаться малой кровью, предложил пожертвовать лабораторией двигателей академика Стечкина, она по направлению прикладная, и передать в совнархозы, расположенные на их территории, филиалы кое-каких институтов.[56]

С этими предложениями Несмеянов выступил в июне 1959 года на уже упомянутом Пленуме ЦК. Отвечая ему, Хрущев продолжил дискуссию, начатую на майском заседании Президиума ЦК, напомнил, что основные достижения академика Ивана Павловича Бардина относятся к периоду, когда он работал на Кузнецком металлургическом комбинате в Сибири. «Примерно то же получилось с крупным специалистом по углю академиком Львом Дмитриевичем Шевяковым, — я его хорошо знаю, он читал нам лекции на рабфаке в Юзовке, потом работал в Днепропетровске, а теперь осел в Москве. Что же, товарищи, разве наука хуже может развиваться в Свердловске, Сталино или Днепропетровске, чем в Москве? Там, где жизнь, там и наука!»

Однако и тут обострять вопрос отец не стал, миролюбиво отметил, что «переселение — это как перенос старого дома, что нередко трудно сделать. Кроме того, опыт показывает: переселение ученых связано с разного рода проблемами. Лучше создавать новые лаборатории при заводах, научные институты — при совнархозах, куда наряду с опытными известными учеными выдвигать больше молодежи. Подумайте, товарищи, и вносите предложения».

Ничего угрожающего не прозвучало, более того, вместо передачи в совнархозы уже существующих филиалов академических институтов, с чем смирился Несмеянов, Хрущев предложил создавать на стыке практики с теорией новые

исследовательские организации так, чтобы они бы не порывали связи с большой московской наукой и одновременно увязывали бы эту большую науку с интересами производства. Идея ученым понравилась. Московские институты один за другим учреждали свои филиалы в промышленных центрах. Со временем они набирали сил, отпочковывались, превращались в самостоятельные научные центры. Предложенная отцом стратегия оказалась жизнеспособной и намного пережила его самого.

— Со мной отдельные ученые могут не согласиться, но неразумно включать в Академию наук вопросы металлургии или угольной промышленности, — продолжал отец.

И теперь требовалось или его опровергнуть, или согласиться. Согласиться Несмеянов не мог, в этом случае Академия лишалась доброй половины институтов, работавших в сфере прикладных исследований, но и серьезных доводов «против» — не находил.

И тут, не ко времени, в самой Академии снова «забузили» Семенов с Капицей, к ним присоединились и другие весьма авторитетные академики, физики Алиханов и Тамм, химики Кабачник и Шемякин, за «очищение» Академии высказался математик, «теоретик космонавтики» академик Келдыш.

Несмеянов растерялся и попросился к Хрущеву на разговор. Отец принял Александра Николаевича без задержки, буквально на следующее утро, 3 июля 1959 года. И на сей раз Несмеянов не решился идти один, позвал с собой Топчиева.

Беседовали они около получаса, говорил и отвечал на вопросы Хрущева главным образом Топчиев. Несмеянов изредка уточнял детали. Топчиев сетовал на сложность управления наукой, чуть ли не каждый год в самых различных областях возникают новые направления исследований, а все нужно держать в одном кулаке. Отец поинтересовался у Топчиева, не разумнее ли в таких условиях разделить Академию по интересам, учредить несколько специализированных академий. Времена поменялись, а мы продолжаем жить по старинке, как в петровские времена. Тогда в Россию пригласили с Запада первых ученых, они создали свое сообщество, Академию наук, где занимались всем: и физикой, и химией, и стихи сочиняли.

— Теперь же каждый ученый разрабатывает свою тему, а что делает сосед, его не интересует. Более того, они уже не очень-то и понимают друг друга, рассуждал отец. — Есть же у нас медицинская академия, педагогическая, сельскохозяйственная и даже артиллерийская? Почему бы не разделить естественников и гуманитариев? Выделить экономистов? Тогда и управлять ими станет легче, и сами исследования выстроятся в логическую

цепочку. Тем более, — напомнил отец, — такие специализированные академии-клубы уже существуют во Франции и в других странах.

— Разобщение ученых несет непоправимый вред науке, — запротестовал Несмеянов. — Гуманитарные науки составляют единое целое со всем научным фронтом, и мы никоим образом не можем выделить ни философию, ни экономику, ни историю.

Хрущев не настаивал, в ответ на жалобу Топчиева он просто размышлял вслух. Не хотят и не надо, к тому же учреждения новых академий ведет к разрастанию бюрократии. Больше вопрос о дроблении Академии наук не поднимался.

Что же до передачи прикладной науки в промышленность, то тут отец подтвердил, что отступать он не намерен, заволокитить дело не удастся. К 16 октября 1959 года Несмеянов, как и решили на майском Президиуме ЦК, обязан представить конкретные предложения.

В течение остававшихся двух месяцев лета Несмеянов ничего не предпринял — и члены Президиума, и другие ученые отгуливали свои двухмесячные отпуска.

На самом деле далеко не все академики время разъехались по отпускам. Внутри Академии, ее Президиума, развернулась нешуточная подковерная борьба.

Поначалу побеждала «партия» Несмеянова. И тогда негласный предводитель «оппозиции» академик Семенов решил дать открытый бой, 8 августа 1959 года в газете «Известия» он опубликовал статью на целый разворот под заголовком «Наука сегодня и завтра». В ней Семенов провозгласил свое кредо: «задачи академических исследований — поиск новых свойств материи, проникновение в неизведанные тайны природы», а конструировать на базе этих открытий машины и установки — дело промышленности. Далее Семенов изложил свое представление о новой, реформированной Академии наук, описал ее примерную организационную структуру, остановился на главных, по его мнению, направлениях научных исследований, призвал «избавиться от балласта, передать в промышленность все лишнее, все институты, научным поиском не занимающиеся».

Несмеянов возмутился, потребовал обсуждения «манифеста Семенова», так его теперь называли, на Президиуме Академии, призвал своих сторонников дать отпор «ренегату». 28 августа 1959 года в тех же «Известиях» появилась статья академика Бардина. Иван Павлович сидел на двух стульях, имел институт в Академии и одновременно директорствовал в отраслевом Научно-исследовательском институте черной металлургии профильного министерства. Ни тот ни другой терять он не намеревался.

Бардин поддержал Несмеянова, но осторожно, конфликтовать открыто ни с диссидентствующими коллегами-академиками, ни с Хрущевым ему не хотелось. «Как корабли, так и институты Академии наук требуют время от времени очистки своих корпусов от ракушек, мешающих скорости хода», — витийствовал Бардин. Другими словами, очищаться надо, а вот от чего и как, автор от ответа ушел, отметил в заключение, что промышленность в академических институтах не особенно и нуждается, там давно создана собственная наука, по классу ниже академической, к примеру, ЦАГИ у авиаторов или Институт имени академика Крылова у судостроителей. Статья получилась и нашим и вашим.

Несмеянов на Бардина обиделся и решил ударить по Семенову наотмашь. 6 сентября 1959 года «Известия» под заголовком «Изучать и переделывать мир» поместили коллективную статью-протест академиков-прикладников: заведующего отделом теории машин Института механики Ивана Ивановича Артоболевского, артиллериста-баллистика Анатолия Александровича Благонравова, радиста Александра Львовича Минца, директора лаборатории двигателей Бориса Сергеевича Стечкина, управленца-автоматчика Бориса Николаевича Петрова. Ученые самого разного толка, часто несовместимые, но их всех объединило нежелание перехода в промышленность.

Серьезных аргументов у них не нашлось, придрались к тому, что Семенов ничего не сказал об общественных науках, раскритиковали его с идеологических позиций, сославшись на цитату из Карла Маркса: «Наука не только изучает, но и переделывает мир», а последним и занимаются прикладники. Семенов, по их словам, об усовершенствовании мира не задумывается, что советскому ученому не к лицу. В 1949 году от таких обвинений Николаю Николаевичу пришлось бы туго. В 1959 году в ЦК на донос не обратили внимания.

Вслед за публикацией этой статьи, 9 сентября 1959 года Несмеянов собрал Президиум Академии, проинформировал о неотвратимости реформ, предупредил, что «нельзя делать какие-то предложения, которые бы только приукрашивали, ремонтировали фасад», они должны «наметить наиболее правильные пути реорганизации, но не тронув каких-то важных позиций».

«Конечно, кое-какими институтами придется пожертвовать, — продолжал Несмеянов, — не основными, за исключением шевяковкого Института горного дела и стечкинской лаборатории двигателей». По мнению Несмеянова, они «засветились» и «спасти» их нет никакой возможности.

В этой связи Несмеянов предложил переименовать

бардинский Институт металлургии в Институт физики и химии металлов и перевести из Технического отделения в Химическое, а Институт механики Артоболевского передать в Отделение физико-математическое. Само Техническое отделение надо, следуя веяньям времени, переименовать в Отделение автоматики, радиотехники и электроники и этим ограничиться.

Несмеянову резко возражал академик Семенов. Он повторил свои доводы о необходимости сосредоточить академические исследования на основных, перспективных направлениях науки и так изменить структуру Академии, чтобы каждое отделение разрабатывало одно из них, закладывало фундамент производства, технологий завтрашнего дня. Семенов предлагал вообще упразднить Техническое отделение, все его институты перевести в промышленность. Никакого ущерба репутации их директорам-академикам такое переподчинение не нанесет, в промышленности работает немало членов Академии, таких как Туполев и другие.

Несмеянов не только слушать Семенова не желал, но и не слышал его. Они говорили на разных языках. Существовавшая структура Академии Александра Николаевича устраивала, и он не желал никаких, всегда связанных с лишними хлопотами, пертурбаций. Из членов Президиума Академии только вице-президент Келдыш высказался за реформы по Семенову. Остальные члены Президиума либо поддержали Президента, либо промолчали. Это тут же отразилось на тоне дискуссии в прессе, «несмеяновцы»— академики и не академики, дружно осуждали «прожектерство ренегата» Семенова. Диссонансом в общем хоре прозвучала статья уже известных нам академиков-диссидентов, Алиханова, Тамма М. И. и М. М. Шемякина «Время — времени рознь» («Известия», 21 октября 1959). Авторы считали реорганизацию академии по Семенову необходимой и неизбежной, в том числе и перевод «технарей» в промышленность.

Несмеянов на них внимания решил не обращать, отправил в ЦК Мухитдинову письмо, отражавшее его мнение, поддержанное большинством Президиума.

8 данном случае не академик Несмеянов защищал интересы науки, а суперминистр воевал за неприкосновенность своей вотчины. Так же, как до него другие министры, выступая против совнархозов, боролись за неприкосновенность собственных уделов.

В ЦК с мнением Несмеянова не согласились, завернули его отписку. Несмеянову ничего не оставалось, как снова проситься на прием к Хрущеву. Встретились они, согласно записи в журнале

посещений, 12 января 1960 года и говорили в течение часа, с 16.00 до 17.00. Как и раньше, Александр Николаевич взял с собой Топчиева. Несмеянов о содержании разговора ничего конкретно не пишет, в своих мемуарах он упоминает «неприятные ситуации, которые возникали все чаще». Говорит о «репликах-поручениях со стороны Хрущева вроде того, что нужно провести перестройку структуры академии, чтобы улучшить ее работу».

Судя по тону его записи, общего языка с Хрущевым они не нашли и расстались неудовлетворенными друг другом. Однако и никаких конкретных последствий эта встреча не имела. Отец к академическим делам какое-то время не возвращался и Мухитдинова не подталкивал. Его занимала подготовка назначенного на май совещания глав четырех держав в Париже. Без подталкивания со стороны отца все шло очень медленно, а затем, когда в мае 1960 года в ЦК прошла реорганизация Секретариата, и Мухитдинов наукой заниматься перестал, дело и вовсе застопорилось. Публичная дискуссия о роли Академии наук, эффективности фундаментальных исследований тоже заглохла. Дело реформирования Академии казалось надежно похороненным.

Только осенью 1960 года академические дела вновь обсуждаются в верхах.

9 сентября Президиум ЦК, по предложению Хрущева, так, по крайней мере, утверждает Несмеянов, решает учредить «единый научный центр, который бы занимался общей координацией науки в стране».

— Сейчас я не в состоянии вспомнить, какие предложения мы внесли наверх. Можно ручаться, что никаких серьезных реформ не предлагалось, — так через пятнадцать лет Несмеянов обобщил свои впечатления об этом заседании.

Не оставалось никаких сомнений, что тогда как «академическая оппозиция» настаивала на реформах, подталкивала руководство страны к их проведению, призывы о реформировании саботировались ее президентом. Однако Несмеянов в своих воспоминаниях сводит дискуссию к частностям, обсуждение кардинальных вопросов организации науки переводит в разряд мелкой склоки, что в данном случае для него очень удобно. Но других свидетельств, кроме воспоминаний Несмеянова, о разговоре на Президиуме ЦК нет.

«В процессе дискуссии, — вспоминает Несмеянов, — Хрущев упрекнул меня в каких-то недостатках в работе Академии, в частности в том, что Академия, мол, занимается исследованием каких-то мушек».

Мушки, несчастные дрозофилы, на них с середины 1930-х

годов генетики отрабатывали свои теории, с легкой руки Сталина стали расхожим символом схоластической никчемности, непродуктивности, оторванности ученых от практики. Сталин противопоставлял им дарвинистов-мичуринцев, не чуравшихся, надев крестьянские сапоги, выйти со своими экспериментами на поля.

Упомянул ли Хрущев дрозофил, а если да, то применительно к биологии или абстрактно, выразив тем самым свое неудовлетворение состоянием дел с организацией науки, мы теперь не узнаем. Несмеянов пишет о своей реакции, и, естественно, в благоприятном для себя виде.

— Несомненно, есть возможность сменить президента, найти более подходящего для этой цели академика. Я уверен, например, что Мстислав Всеволодович Келдыш лучше справился бы с этими обязанностями, — обиделся Несмеянов.

— Я тоже так думаю, — бросил Хрущев. Заседание продолжалось.

У меня версия Несмеянова вызывает серьезное недоверие. На осеннем заседании обсуждали не сельское хозяйство, не генетику и биологию, а организацию науки, инициировали вопрос физики и химики, а отнюдь не одиозный Лысенко. При чем тут мухи-дрозофилы — непонятно. Да и фамилия Келдыша, который Лысенко на дух не переносил, в контекст несмеяновской версии никак не укладывается. С другой стороны, Несмеянову явно престижнее увязать свою отставку с отстаиванием неких научных принципов, а не с собственными организационными провалами, объяснить ее конфликтом с «мракобесом» Лысенко, а не со всемирно признанными Нобелевскими лауреатами и перешедшим на их позиции вице-президентом академии Келдышем. Расхожие и справедливые обвинения отца в неоправданной поддержке Лысенко у всех давно в зубах навязли. Не покривил ли душой в своих мемуарах академик Несмеянов? Может, и покривил, теперь у него уже не спросишь.

Отставка Несмеянова явно назрела. Отец окончательно разочаровался в нем как в президенте Академии наук. Они друг другу не соответствовали — консервативно-медлительный Несмеянов и динамичный Хрущев. Однако с его заменой отец не спешил. По своему опыту он знал, насколько негативно академики относятся к кандидатам извне.

В 1946 году на Украине после смерти президента Украинской Академии наук А. А. Богомольца подбирали ему замену, и отец предложил Евгения Оскаровича Патона, механика, основоположника науки о сварке металлов, ученого дореволюционной закалки, к тому же хорошего организатора.

Казалось бы, идеальная кандидатура, но — спущенная сверху. Что тут началось! До открытого неповиновения не дошло, времена-то были сталинские, но академики по всем углам ворчали, что Хрущев-де навязывает им своего протеже, и в конце концов вынудили отца отступиться. Вместо Патона президентом избрали собственного кандидата, биохимика Александра Владимировича Палладина. Выбор оказался неудачным. Палладин, едва заняв президентский кабинет, развел интриги, начал преследовать неугодных. Многим ученым, с трудом собранным на Украине его предшественником Богомольцем, таким, как основоположник советской вычислительной техники Сергей Алексеевич Лебедев или всемирно признанный физик-теоретик Николай Николаевич Боголюбов, пришлось попросту бежать из Киева. Но это уже совсем иная история.

Академик Келдыш в качестве президента Академии наук отца вполне устраивал. Более чем устраивал. Они познакомились сравнительно недавно, но отец успел оценить хватку Келдыша как администратора. О достоинствах Келдыша-математика он, естественно, судить не мог, но результаты его работ говорили сами за себя. Келдыш много работал для промышленности, в авиации решил ряд «неразрешимых» проблем, достаточно назвать «флаттер» — разрушительные аэродинамические вибрации самолетов, или «шимми» — смертельные «пляски» шасси в момент посадки; в последнее время занялся атомными и космическими делами, стал «теоретиком космонавтики». В академии Келдыша уважали и теоретики, и прикладники. Такое не часто случается.

И вот теперь Несмеянов первым произнес фамилию Келдыша, и произнес ее, судя по его собственным словам, осознанно.

«Я вернулся домой, — вспоминает Александр Николаевич, — чувствуя себя подавшим в отставку, и обдумывал, не следует ли мне и письменно сделать этот шаг. Но при здравом размышлении решил, что так не принято. Пусть Хрущев решает, как теперь быть, а я буду ждать. На другой день я рассказал об инциденте А. В. Топчиеву и М. В. Келдышу. Последний выразил мне упрек и свое неудовольствие. Я объяснил ему, что хотя повод, заставивший меня говорить, был делом случая, но совсем неслучайным было мое предложение. Я уже давно пришел к убеждению, что в лице М. В. Келдыша Академия наук имеет наилучшего кандидата в президенты».

Казалось бы, они расставались по-хорошему, но на самом деле Несмеянов на Хрущева смертельно обиделся. Обиделся и за отставку, и за реформу. По его мнению, менять в Академии ничего не надо, «тут трудно было предположить новое»,

структура, утвержденная еще Сталиным, «не требовала изменений». Недоволен был он и Келдышем, которого только что назвал своим «наилучшим» преемником, но который, по мнению Несмеянова, вел себя неправильно, «убежденно защищал изменения, осуществленные им впоследствии, а именно — увеличение числа отделений, каждое ответственное за большую научную проблему».

Я лично Несмеянова не встречал, а вот с Келдышем сталкивался неоднократно. На мой взгляд, президентом Академии наук он оказался почти идеальным. Почти, если считать, что идеальных президентов не существует в природе.

16 октября 1960 года академик Капица отправляет Хрущеву очередное письмо с жалобой на то, что «наука у нас развивается медленнее и хуже, чем это могло бы быть. Постановление Совета Министров, касающееся нам очень нужной реформы Академии наук… вот уже год переживает муки рождения и до сих пор не родилось. Это постановление нам очень нужно». Отец поручает Алексею Николаевичу Косыгину, теперь он отвечал за науку, доложить о состоянии дел. Косыгин подтвердил: за год не сделано ничего. Организуется «комиссия Косыгина, которая должна разработать конкретные предложения в этой области».

Итак, отставка Несмеянова стала реальностью, и отец поручил Косыгину уладить с ним формальности. Косыгин встретился с Александром Николаевичем в январе 1961 года. Договорились не спешить, дождаться, когда в мае 1961 года истечет второй президентский срок Несмеянова, тогда и провести перевыборы. К тому же моменту комиссия Косыгина приурочила и реформу Академии, разгрузку ее от несвойственных задач, перевод «технарей» в промышленность. От Президиума Академии в комиссии по-прежнему формально числились Несмеянов и Топчиев, но работали Топчиев и Келдыш. Несмеянов комиссию игнорировал, на заседания не приезжал.

Слухи о грядущем переподчинении академических институтов промышленности вызвали настоящую панику. Шутка ли, все, к чему привыкли, полетит в тартарары, — прощай беззаботная академическая жизнь. Директора правдами и неправдами пытались переписать свой Институт из списков «отъезжающих» в список «остающихся». Несмеянов пока еще числился президентом Академии наук и, как мог, подливал масла в огонь. Обстановка создалась неприятная, Келдыш разнервничался и пошел советоваться к Хрущеву. Видимо, они встречались в ЦК, так как в Кремлевском журнале посещений фамилия Келдыша не присутствует. Договорились записать в Постановление еще один пункт: всем «отъезжающим» сохранить

продолжительный отпуск, и оклады, и все остальные привилегии. Шум сразу приутих.

3 апреля 1961 года Президиум ЦК обсудил предложение комиссии Косыгина и наконец-то принял решение об Академии наук. Координация научных исследований в стране передавалась от Академии более нейтральному Научно-техническому комитету Совета Министров СССР, по этому случаю его переименовали в Государственный комитет Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ. Во главе Комитета в ранге заместителя главы правительства поставили бывшего министра авиационной промышленности Михаила Васильевича Хруничева. Отец знал Хруничева как человека строгого, хваткого, но и чувствующего науку, как говорится.

Одновременно, по Семенову, если хотите по Капице или по Келдышу, реформировали и саму Академию, основными направлениями ее деятельности декларировались фундаментальные исследования в физике, математике, химии, биологии, науке о Земле и Вселенной, экономике и гуманитарных областях. Соответственно выстраивались и академические отделения. 19 мая 1961 года общее собрание Академии наук избрало своим президентом Келдыша.

Не вписывавшихся в «новую» Академию технарей, всего около двадцати тысяч человек, передавали кого куда: Институт Бардина, правда, уже без самого Бардина, Иван Павлович умер 7 января 1960 года, — металлургам, Институт Шевякова — угольщикам, близкие мне по профилю Институт автоматики, впоследствии Институт проблем управления академика Вадима Александровича Трапезникова и Институт электронных управляющих машин (в нем я проработал около тридцати лет с 1968 по 1995 год) члена-корреспондента академии Исаака Семеновича Брука — приборостроителям, Институт точной механики и вычислительной техники академика Сергея Алексеевича Лебедева — электронщикам, и так далее.

Страхи постепенно улеглись. Работать в промышленности оказалось не столь вольготно, как в Академии, но не так уж и страшно. Конечно, теперь приходилось ежедневно, а не только в дни зарплаты ходить на работу, выполнять планы, соблюдать сроки внедрения разработок в производство, сопровождать серию. Но появилось и незнакомое ранее удовлетворение, «свои» заводы принимали разработки «своих» институтов куда охотнее, чем чужих, академических. Что может быть приятнее, чем увидеть свое детище «в железе»? В данном случае я сужу по себе.

Привилегии вновь приобщенных к промышленности «академиков», особенно длинные отпуска, исподволь

распространялись и на аборигенов. В правительственные постановления о выполнении сверхвлажных и сверхсрочных работ «свой» чиновник где-то в конце вписывал малозаметный пункт: «Распространить на организацию имярек действие параграфа такого-то, такого-то постановления от такого-то числа».

Пункт этот не возлагал на соисполнителей дополнительных заданий, поэтому в Госкомитетах и совнархозах его охотно визировали. Не возникало возражений и у Госплана, сроки окончания разработки не нарушались. Согласованный всеми документ утверждало правительство и дело с концом. Первыми такую «аферу» провернули королёвцы, за ними последовали янгелевцы, челомеевцы и не знаю кто еще.

Справедливости ради отмечу, что удовлетворение от приравнивания к «академикам» получалось чисто моральное, не то что дополнительные, свои законные отпуска обычно копились годами, а затем приплюсовывались… к пенсии.

Реформа Академии наук вызвала множество пересудов, но серьезного влияния ни на промышленность, ни на эффективность фундаментальных исследований не оказала. Конечно, двадцать тысяч дополнительных и не пустых голов кое-что значили, без них новые компьютеры, приборы, станки, машины появились бы на несколько лет позднее, но все равно появились бы. В этом несомненный плюс, но скорее количественный, не качественный.

В самой же облегченной Академии с фундаментальными исследованиями не стало ни лучше, ни хуже. Кто, по своим способностям и таланту, мог ими заниматься, так и продолжал свои занятия, а «просто ученые» по-прежнему искали «инженерные» заказы на стороне.

Талант человека проявляется спонтанно и в неожиданном месте, как мы знаем из истории науки, фундаментальные открытия делались в гаражах, подвалах, сараях, которые потом преобразовывались в научные центры, и куда реже в забюрократизированных учреждениях. Пробиться там новой идее, не укладывающейся в общепринятые научные каноны, много труднее, чем где бы то ни было. Новая мысль обычно озаряет никому не известную голову, часто противоречит «здравому смыслу», а на включение ее в план работы в институте требуется одобрение «здравомыслящих» начальников всех ступеней. Даже если руководитель не ретроград, а настоящий ученый, то ожидать от него поддержки чужой, «сумасшедшей» идеи, тогда как на разработку собственного научного направления сил не хватает, не приходится. Академия в таких делах тоже не помощник, а скорее помеха, тормоз. Она, как и всякое бюрократическое учреждение, заинтересована в стабильности, базирующейся на существующем

знании, а как распознать никому еще не понятное, никем не признанное, противоречащее привычному пониманию бытия гениальное открытие — никто не знает и, наверное, не узнает.

Отец еще вернется к проблеме эффективности науки. Но об этом мы поговорим позднее. Пока же академическая Москва обсуждала отставку Несмеянова, полнилась самыми невероятными слухами.

Анекдот от академика Гольданского

Итак, решение о реформе Академии и ее новом президенте принято. «Семеновцы» победили. Но неисповедимы пути Господни. Вся Москва говорит не о противостоянии Несмеянова и академических реформаторов, а о Несмеянове, павшем в борьбе с «лысенковцами», Несмеянове-жертве. Такую версию своей отставки Александр Николаевич распространил сам. В архивах Академии нет свидетельств прямых столкновений Несмеянова и Лысенко. Они друг друга не любили, но не более того. Физики Тамм и Арцимович, как вспоминал сам Несмеянов, толкали Александра Николаевича занять более четкую позицию, но тот от решительных действий уклонялся.

На правительственном уровне в присутствии Несмеянова тема генетики поднималась единственный раз, и говорил тогда в основном академик Курчатов.

В своих воспоминаниях Александр Николаевич много говорит о «генетических» претензиях Хрущева, но они адресовались Академии вообще, как при Несмеянове, так и при Келдыше. Однако людская молва зиждется на эмоциях, симпатиях и антипатиях, логикой и фактами не руководствуясь. Никто не любил Лысенко, и все знали, что отец за него горой стоит. Несмеянов с легкостью представил себя жертвой произвола. Ему поверили даже реформаторы «семеновцы», они охотно пересказывали несмеяновскую версию событий и даже расцвечивали ее «жареными» деталями собственного производства.

Вот, к примеру, байка, рассказанная любимым учеником академика Семенова — академиком Виталием Иосифовичем Гольданским, чудесным человеком, настоящим ученым, естественно, реформатором и непревзойденным мастером розыгрыша.

Итак, анекдот: «Дело было так. 1961 год. Москва. Ресторан “Прага”. Прием в честь Нильса Бора. Александр Николаевич (Несмеянов) уже знал о близкой отставке. Из уст в уста передавался слух о недавнем разговоре Александра Николаевича

с Никитой Сергеевичем Хрущевым о том, что недовольный Академией наук Хрущев якобы объявил о намерении ее распустить и что Александр Николаевич (наотрез отказавшийся поддерживать Т. Д. Лысенко) ответил: “Ну что же, Петр Великий открыл Академию, а вы ее закроете!” Не знаю, верен ли этот слух, но, как говорил Нильс Бор “хорошая история не обязательно должна быть истинной…”».

Как видите, сам Виталий Иосифович предупреждает, что это всего лишь «хорошая история», другими словами, ни на что не претендующий анекдот, пусть и академический. Но не тут-то было, со временем рассказанная академиком Гольданским под водочку в хорошей компании байка неведомым образом превращается в научный факт. Серьезные историки в серьезном историческом журнале цитируют анекдот Гольданского со ссылкой на сборник «А. Н. Несмеянов. Ученый и человек», но, в отличие от меня, уже без упоминания самого Гольданского и всех сопутствующих тому обстоятельств. Таким образом, выдернутые из анекдота «слова Хрущева» вводятся в научный оборот, пользуясь современной лексикой — «отмываются» и в дальнейшем цитируются, уже опираясь на авторитет солидного академического ежемесячника.

Такая вот история.

Несмеяновская икра

Анекдот академика Гольданского напомнил мне еще об одной истории такого рода. Теперь уже от самого академика Несмеянова.

Но сначала о серьезном. Александр Николаевич Несмеянов, несомненно выдающийся ученый, основатель научной школы химии электроорганических соединений, зачинатель металлоорганики, по отзывам его сотрудников — чудесный человек. Неслучайно сразу после отставки Несмеянова в 1962 году Академия наук присудила ему свою высшую награду — медаль Ломоносова. О Несмеянове ученом и человеке отец тоже всегда отзывался положительно и уважительно. Я уже об этом писал. Он вообще оставил после себя добрую память. Кроме чисто научных достижений при Несмеянове построили Московский университет, он заложил научный центр в Пущино. Другое дело, что президентство Несмеянову оказалось не по плечу…

Ну а теперь обещанная история. Я, человек от проблем химии очень далекий и об академике Несмеянове получил очень своеобразное представление. После войны Александр Николаевич увлекся проблемой искусственной пищи, занялся синтезом

протеинов. Только так, казалось ему, удастся спасти от голода и вымирания быстрорастущее население Земли. Все это очень серьезно и благородно. Первым его практическим результатом почему-то стало создание искусственной икры. В 1960-е годы о ней трубили газеты, научно-популярные журналы посвящали ей обстоятельные статьи. Как мне объясняли понимающие в химии приятели, в отсутствие полимеров и полимерной промышленности, получение тонюсенькой, к тому же съедобной, оболочки икринок, квалифицировалось как серьезное научное достижение. Научное, но не гастрономическое. В магазинах я тогда несмеяновскую икру не встречал, там торговали натуральной осетровой по рубль девяносто (новых) за сто граммов.

Мне довелось попробовать искусственную икру по рецепту академика Несмеянова только в 1987 году. В таллинской гостинице «Выру» собралось представительное международное совещание по вопросам вычислительной техники. Утром и днем мы заседали, обсуждали технические проблемы, спорили, а по вечерам отдыхали. Времена наступили перестроечные, еще не совсем голодные, но с закуской стало туговато, а с выпивкой, под прессом горбачевской борьбы с алкоголизмом, вообще никак. Правда, в Таллине удавалось купить дешевый кубинский ром, по три рубля за бутылку, наполненную содержимым, крепко отдававшим керосином. Ром везли с Кубы в танкерах, доставлявших туда самолетное горючее. Танкеры, перед заполнением ромом, конечно, тщательно промывали, но попробуйте налить ром в бутылку из-под керосина, и вы сами поймете, что мы пили в Таллине.

В гостиничном буфете неожиданно оказались баночки от настоящей икры, голубые, с осетром на этикетке, но заполненные икрой искусственной. Икра смотрелась аппетитно, крупная, блестящая, икринка к икринке, вкус тоже — натурально-икряной. И ценой всего рубль за 50 граммов. Брали нарасхват. Вот только губы от икры быстро чернели, а оболочки икринок не прожевывались, рвались и миниатюрными пакетиками, напоминавшими полиэтиленовые, налипали на зубах. Но мы быстро приспособились, высасывали содержимое, а остальное выплевывали. Не знаю, как другим, а мне икра понравилась, под ром она шла хорошо.

Еще лет через двадцать в воспоминаниях об академике Несмеянове Леонида Вернского, внука академика Тамма, я наткнулся на еще одно любопытное воспоминание о несмеяновской икре.

Леня познакомился с Несмеяновым в 1956 году и как-то

попал к нему домой на обед. Среди всего прочего гостей за столом потчевали икрой.

«Когда я поднес ко рту бутерброд с его “рукотворной” икрой, — вспоминает Леня, — Александр Николаевич воскликнул: “Леня, не пробуйте… Я ее сам пожую и, не глотая, выплюну — она ведь отдушена натуральной…”».

Так что икра мне понравилась заслуженно, начинка у нее оказалась не химической, а настоящей, осетровой, а только оболочка искусственной. Но ее мы, как и сам Несмеянов, выплевывали.

Давал ли Несмеянов пробовать свою «рукотворную» икру отцу, не знаю, но если бы предложил, он бы не отказался. Отец, как вы уже знаете из моих рассказов, любил пробовать неизведанные блюда.

Я, наверное, слишком подробно расписываю академические дела, но что поделаешь, они мне более близки и знакомы. Как кому-то близки дела литературные или театральные. Истории организации театра «Современник», журнала «Юность», учреждения Российского Союза писателей или Союза кинематографистов в своих деталях несомненно столь же драматичны и увлекательны, порой вовлекали в свой круговорот отца, а порой и нет. Вот только те дела прошли для меня стороной.

Привилегии

27 июля 1959 года вышло Постановление правительства № 876. В нем речь шла о военных пенсиях, главным образом генеральских и полковничьих. Постановление предписывало снизить генеральские пенсии с какой уже не помню «заоблачной» суммы до пяти тысяч рублей (старых, конечно) в месяц. Это уже второе, после жуковского 1955 года, урезания военных привилегий, покушение на особый статус военнослужащих. Напомню, что штатские пенсии (при полном стаже) в то время устанавливались от около трехсот пятидесяти до тысячи двухсот рублей. Одновременно определялся предельный возраст выхода офицеров в отставку — для майора с сорока лет, и далее по возрастающей, в зависимости от звания. Это решение вызвало в армии множество пересудов. Хрущев отнимал то, что Сталин в свое время дал. Отца проклинали, Сталина поминали добрым словом.

«Восстановление справедливости» коснулось не только военных пенсионеров, отец ликвидировал и «пакеты», установленные Сталиным «тайные» доплаты чиновникам всех

рангов. Толщина пакета зависела от заработной платы, но содержавшаяся в нем сумма обычно в два-три раза превышала официальный оклад. «Пакет», как и любая другая нелегальная выплата, как теперь говорят «черный нал», не облагался налогами, с него не взимались партийные взносы. Все «пакетчики», естественно, числились в партии. И тут та же логика: «Сталин — дал, Хрущев — отнял». Отнял уже не у отставников, а у людей, стоявших при власти. Еще не оправившиеся от внушенного им Сталиным страха за жизнь, более сильного, чем страх за собственный карман, аппаратчики-чиновники вслух не протестовали. Молчали даже их жены. Но что творилось у них на душе?! Отец рассказывал, что, проходя коридорами ЦК или Совмина, он чувствовал, как его «расстреливают» взглядами в спину. Чувствовал, но с выбранного пути не сворачивал.

«Пакетами» отец не ограничился. Вслед за ними покусился на персональные лимузины с шоферами. Отец считал, что ЗИЛы и «Чайки» ручной сборки, производившиеся тогда исключительно для высшего эшелона власти, непозволительная роскошь. Почему министру обязательно ездить на «Чайке», когда и серийная «Волга» не хуже. Соответственно начальникам пониже, в таком случае, пришлось бы пересесть на «Москвичи». И с персональными шоферами им предлагалось распрощаться: или самим пересесть за руль, или, если по здоровью кто-то управлять машиной не может, то пусть по предварительной заявке вызывает автомобиль из общего гаража.

Для проработки «лимузинного» вопроса создали специальную комиссию во главе с Кириченко. 22 июня 1959 года он доложил на Президиуме ЦК и представил проект Постановление ЦК и Правительства «О порядке использования легковых автомобилей». 15 июля 1959 года решение вступило в силу.

Министрам, а особенно их женам «Волги» с непривычки казались тесными, неудобными и абсолютно непрестижными. Начальники, у которых вообще отобрали «персоналки», ворчали, что теперь они работать не могут, вызывают на срочное заседание, а ты вовремя заявку на авто не подал, приходится ждать очереди, ни в метро же ехать. Что и говорить, лишение лимузинов популярности отцу в глазах чиновников не прибавило.

Восстановление «справедливости» не обошло и академиков. Доплату им Сталин выдавал не в «пакетах», каждому академику с момента избрания устанавливал государственную «дотацию» в 10 тысяч старых рублей в месяц. За государственный счет им строили и передавали в собственность дачу, в дополнение к служебному дарили самый престижный в стране семиместный

лимузин ЗИС-110 с шофером. И все это отец вознамерился отнять.

Борьба за сохранение академических привилегий велась упорная. Несмеянов по этому поводу ходил сначала к Булганину, потом к Хрущеву. Создали специальную комиссию под председательством Микояна, заместителя главы правительства, дав поручение разобраться во всех деталях. Комиссия разобралась, блага академикам сохранили, но существенно обкорнали: «дотацию» сократили вдвое. У «старых» академиков машины и дачи не отобрали, а вновь избранным приходилось пользоваться служебной машиной из академического гаража, а дачи строить за свои. Академики, естественно, от нововведений удовольствия не испытывали.

Срезая, по его мнению, неправедно установленные Сталиным доплаты меньшинству и одновременно, пусть медленно, по крохам, повышая беднейшему большинству оклады и пенсии, отец стремился к установлению социальной справедливости.

Однако понимание справедливости у каждого свое. Боевой генерал считает повышенную пенсию справедливо заслуженной, и он ее действительно заслужил так же, как заслужил привилегии ученый-академик. Когда ими одаривают, получатели благодарят дающего, а вот когда отнимают…

«Доплаты» отец срезал, но за их счет существенно бюджет не пополнился, прибавки в зарплатах большинству получались мизерными. В результате большинство обижалось, что «недодают», а меньшинство возмущалось, что «отобрали». Отнять привилегию в XX веке не менее сложно и опасно, чем в XIX веке у крепостника — его вотчину. Тогда помещики считали царя-освободителя почти преступником, разрушающим основы государства. Да и крестьяне обижались, что им при освобождении чего-то недодали. Если бы не бомба, брошенная левыми радикалами, то весьма вероятно, Александра II устранили бы «хранители государственных устоев».

Отец хорошо знал историю, но судьба предшественника его не насторожила.

Выслуга лет и северные надбавки

Тогда же в разряд привилегий каким-то образом попали доплаты за выслугу лет и северные надбавки. Отменили и их. Скорее всего, по представлению Министерства финансов — чтобы облегчить сбалансирование бюджета.

Выслуга лет плюс северные в год составляли миллиардные суммы, но они мало подходили под категорию привилегий. Людям доплачивали за непрерывную работу на одном

предприятии, что шло во благо самому предприятию. Работники держались за место, набирались квалификации, не приходилось тратиться на обучение новичков. И вдруг все пошло прахом. Людей не просто обманули, но и лишили стимула. Квалифицированные рабочие в погоне за длинным рублем кочевали с предприятия на предприятие, нигде надолго не задерживались. Мнимая экономия обернулась ощутимыми потерями, и со временем выслугу лет восстановили.

С северными надбавками получилось еще хуже. В зависимости от природной зоны устанавливался коэффициент: чем холоднее, чем дальше от цивилизации, тем больше приплачивали к зарплате. Так привлекали людей работать туда, где жизнь отнюдь не сладка, в тундру, в вечную мерзлоту, в районы, где «десять месяцев зима, остальное — лето». Но именно за Полярным кругом, в Сибири сосредоточены основные природные богатства страны. Надбавки соблазняли южан, молодежь ехала подзаработать, накопить деньжат и затем вернуться домой, в тепло. Но в два-три раза более высокие, чем дома оклады, «развращали», работать за меньшие деньги желание пропадало, а к северной природе привыкали быстро. Вырывались раз в два-три года в «длинный», совокупный отпуск на юг, в Сочи, в Ялту, прогуливали свои тысячи и, удовлетворенные, возвращались в Магадан, Игарку, Норильск.

Отменили «северные» и вскоре там, где только начали осваивать огромные запасы нефти, газа, алмазов, ощутили кадровый голод. Спохватились. Надбавки возвратили. В этом случае «борьба с привилегиями» обернулась одним из серьезных просчетов отца, навредила и экономике, и его репутации.

Лева Хорам из «Дженерал Моторс»

В июле 1959 года отец осматривал в Севастополе новые образцы морского вооружения, наблюдал стрельбы крылатых ракет. В Черном море на полную дальность они развернуться не могли, слишком тесно, их пускали по укороченному стокилометровому маршруту, начинавшемуся в районе Балаклавы и оканчивавшемся на мысе Тарханкут. Контрразведчики потом рассказывали, что кроме отца за полетом ракет наблюдал еще какой-то неизвестный, по их мнению, американский шпион. На своей весельной лодке он расположился как раз на траектории полета. Там они его и сцапали. Возможно, в лодке сидел и не шпион вовсе, просто какому-то отдыхающему крупно не повезло, он оказался не там и не вовремя.

12 июля отец уже в Москве принимает у себя на даче

императора Эфиопии Хайле Селассие I, 14-го отправляется с официальным визитом в Польшу. В Москву он возвращается 22 июля, а 23-го выступает с отчетом о поездке на многотысячном митинге во Дворце спорта в Лужниках.

24 июля отец вместе с вице-президентом США Ричардом Никсоном открывает Американскую выставку в Сокольниках. О самой выставке и сопутствовавших ей «приключениях» мистера Никсона в Москве я подробно рассказываю в «Рождении сверхдержавы», сейчас же коснусь ее мимоходом.

Самыми популярными экспонатами, особенно среди мужчин, стали автомобили. У стенда постоянно толпился народ, не обошел своим вниманием автомобилестроителей и отец.

Фирму «Дженерал Моторс» на выставке представлял хорошо говоривший по-русски мистер Лева Хорам. Его родители в начале XX века бежали от еврейских погромов то ли из Украины, то ли из Белоруссии и осели в штате Мичиган.

Мы с Левой встретились в 1999 году. Я выступал в Детройте, рассказывал американцам о новой России. Мистер Хорам подошел ко мне после лекции, представился, рассказал, что продолжает работать в «Дженерал Моторс», но к России отношения не имеет. Его «перебросили» на Австралию. Основным событием его жизни, даже спустя сорок лет, осталась встреча с Хрущевым в Москве. Они тогда говорили минут двадцать. Отец дотошно выспрашивал у Левы, как у них на фирме делают машины? Как организована работа конвейера? И главное, к чему каждому американцу автомобиль?

Лева отвечал обстоятельно, доказывал, что XX век без автомобиля все равно что XIX век без лошадиной упряжки. Иной жизни люди себе не представляют не только в США, но, судя по его московским впечатлениям, и в Советском Союзе тоже. Машина нужна всем и каждому, без нее и до работы не добраться, и в отпуск не поехать, и вообще без машины как без рук, вернее, без ног.

Отец с ним не соглашался, он считал массовое пользование автомобилем — расточительством. Сколько всего уходит на производство одной машины, которой от силы пользуется пара человек, а если еще учесть строительство городских и иных магистралей и особенно расход нефтепродуктов, бензина. Неужто всему этому добру не найдется лучшего применения? В городе отец выступал за общественный транспорт, подземный и наземный. Если избежать засилья автомобилей на улицах, то городская застройка становится компактней, воздух чище и времени у людей на поездки уходит меньше. К тому же, общественный транспорт уравнивает пассажиров в правах, в нем

нет ни богатых, ни бедных. Все равны. Лева возражал отцу, приводил в пример Америку, но безуспешно, в свою веру он отца не обратил.

Отец не выступал вообще против авто. Без них, естественно, не обойтись. Через неделю после открытия американской выставки, 31 июля 1959 года, с конвейера недавно переоборудованного завода по производству комбайнов сходит первый советский народный автомобиль, «горбатый» «Запорожец», копия итальянского «народного» «Фиата 600». Подход к пользованию машиной отец хотел рационализировать. В городе личная машина — источник трудно разрешимых и чрезвычайно дорогостоящих проблем. Другое дело, если захочется поехать в отпуск, по грибы, на рыбалку или просто отдохнуть. Но и тут будущее, по мысли отца, принадлежало не собственному авто, а прокату. Взял машину, когда нужно, съездил, куда захотел, и пусть ею попользуется другой. В результате машин потребуется меньше, ресурсы сберегаются и дороги не загромождаются. С логикой отца спорить трудно. Рассуждал он рационально. Его автомобильная концепция не поменялась и с уходом из власти. Даже самые большие города строились в расчете на троллейбусы и автобусы, с неширокими улицами, основной пассажирский поток направляли в метро, под землю.

Все правильно, но только если не учитывать иррациональность человеческой сущности. И во времена отца, и после него каждый, и я в том числе, всеми силами старались заполучить собственный автомобиль, и не в черед с другими, а самому разъезжать на нем, когда вздумается. Так что, несмотря на всю разумность и логичность безавтомобильных градостроительных концепций, они продержались ровно столько, сколько государство удерживало своих граждан в узде. Пришел рынок, и автомобили заполонили улицы, заткнули их наглухо пробками.

Однако в 1999 году Лева Хорам уже не высказывался столь категорично, как в 1959-м, за всеобщую автомобилизацию. Он склонялся к мысли, что пройдя через все мытарства автомобилизации, сопровождающие владение собственным автомобилем, в будущем люди, возможно, предпочтут безавтомобильные города автомобильным. Поживем — увидим.

День за днем

27 июля, по завершении церемонии открытия

Американской выставки, Никсон, в сопровождении Фрола Романовича Козлова улетел в Ленинград. Оттуда, уже без Козлова, ему предстояло посетить Новосибирск и Свердловск.

28 и 29 июля отец тоже уезжает из Москвы в Днепропетровск. Там его интересуют новые баллистические ракеты, производство которых разворачивается на заводе № 586 (позднее его назовут «Южмаш») у Михаила Янгеля и технологии производства труб для нефте— и газопроводов.

1 августа они оба возвращаются в Москву, отец открывает в парке Горького выставку Чехословацкого стекла, быстро пройдя по павильонам, уезжает во Внуково. Там он вместе с Туполевым осматривает вице-президентский реактивный Боинг-707. Отца интересовало, чем Боинг отличается от нашего Ту. Туполева он пригласил с собой не просто по дружбе, но и с тем, чтобы тот смог «подглядеть» у американцев что-либо полезное для себя.

Никсон отца не сопровождал, в резиденции посла он готовился к назначенному на вечер того же дня первому в советской истории выступлению по телевидению в прямом эфире, других тогда не практиковали. Задачка непростая. С одной стороны, чтобы удовлетворить американских избирателей, а он твердо решил в 1960 году побороться за президентское кресло, требовалось проявить твердость и даже агрессивность, с другой — не обидеть советских слушателей. Тем более что он первый столь высокопоставленный визитер в Москве. (Вслед за вице-президентом в Советский Союз собирался приехать с визитом и президент США Дуайт Эйзенхауэр.)

Выступление прошло удачно, по крайней мере не вызвало раздражения с советской стороны. 2 августа Никсон продолжил путешествие по Восточной Европе. Отец тоже отбыл из Москвы.

5 августа на пресс-конференции в Кремле он ответил на вопросы журналистов о предстоящем визите в США и улетел на юг, сначала в Ялту, а оттуда в Пицунду готовиться к этому визиту, тоже первому в российской истории.

Он возвращается в Москву только 1 сентября вечером, заехав по дороге на пару дней в станицу Вешенскую к Шолохову.

11 августа 1959 года, в 9 часов 45 минут утра в

аэропорту Шереметьево приземлился первый пассажирский самолет Ту-104А, прибывший рейсом из Ленинграда. Так в Москве, после Внуково и Быково, открылся третий, и самый современный, аэропорт.

Строили его для «правительственной» дивизии особого назначения, обслуживавшей высшее руководство страны. Когда построили, генерал Николай Иванович Цыбин, командир дивизии и личный пилот отца, летавший с ним с 1941 года, на свою голову пригласил его полюбоваться новым аэродромом. Отец «полюбовался» и тут же предложил отобрать его у военных и передать гражданской авиации. Москва получит отличный аэропорт, им смогут каждый день пользоваться тысячи пассажиров, а не горстка начальников, которые и летают-то не чаще раза в месяц.

Так появился аэропорт Шереметьево-1. На месте современного Шереметьево-2 еще какое-то время базировалась дивизия Цыбина, пока ее не расформировали. И тоже передали гражданской авиации. Вслед за Шереметьево под пассажирские аэропорты переоборудовали авиабазу стратегической авиации в Броварах под Киевом, военный аэродром в Кольцово неподалеку от Новосибирска, Сухумский аэропорт противовоздушной обороны и еще некоторые военные объекты.

Получив все это богатство, Аэрофлот в одночасье превратился из «золушки» в современного авиаперевозчика с реактивными лайнерами и рекордной длины взлетными полосами.

3 сентября 1959 года отец выступает в Кремле на ставшем традиционным приеме в честь выпускников военных академий.

4 сентября 1959 года он открывает в парке Горького Польскую промышленную выставку, а 15 сентября во главе представительной делегации улетает на Ту-114, первом в мире межконтинентальном пассажирском лайнере, с официальным визитом в США.

О той поездке я уже писал и в «Рождении сверхдержавы», и в этой книге. Сейчас мне почему-то захотелось рассказать, как я ловил бабочек в Америке, и не только там.

Чешуекрылые, или попросту бабочки

Речь в этой главе пойдет насекомых, шестиногих и четырехкрылых. В мое время они летали повсюду и во множестве. Коллекционирование бабочек — их умерщвление с последующим накалыванием на булавки считалось важным развитием у детей любви к природе. Такая вот любовь. В послевоенные годы в Советском Союзе стал распространяться журнал «Америка», большого формата, глянцевый, с неправдоподобно красивыми картинками. Издавало его, в соответствии со специальным соглашением, американское правительство. Точно так же, как в США советским правительством издавался журнал «Советский Союз». Тоже большого формата, не такой глянцевый, но тоже с многочисленными красочными фотографиями. На «Америку» подписывали во всех отделениях «Союзпечати», но только в пределах согласованного между странами тиража. Его без ограничений продавали в розницу в киосках, но тоже в пределах тиража. Каждая из стран тираж противоположной стороны старались ограничить, а свой увеличить. В результате такого компромисса подписаться или просто купить «Америку» удавалось не каждому.

Отец, наравне с множеством других отечественных литературных, общественных и специальных журналов, выписывал и «Америку». Журналы валялись кучами на столах, как в городской резиденции, так и на даче. Валялись не без пользы, в свободное время, их читал отец, читали и мы, домочадцы. «Америку» я не очень любил, интересного в ней печатали мало, одна пропаганда, но зато фотографии! Вот фотографии я и разглядывал. В одном из номеров (тогда о поездке в США и еще речи не было) я увидел невообразимо красивых бабочек, у одних крылья голубые с металлическим отливом, у других — ярко-зеленые, у третьих — желтовато-зеленоватые со сказочно длинными хвостами-шпорами. О существовании на свете столь дивных созданий я и не подозревал. Рядом с фотографиями примостилась маленькая заметка, сообщающая, что эта чудо-коллекция принадлежит некоему мистеру Гланцу, проживающему в Бруклине, пригороде Нью-Йорка. О Бруклине я понятия не имел, но знал, вернее кое-что читал о Нью-Йорке. Журнал я из общей кучи утащил и припрятал у себя в письменном столе.

Бабочками я увлекся с детства. Началось все с того, что перед самой войной в шестилетнем возрасте я заболел туберкулезом сумки бедра. Антибиотики тогда еще не открыли, доктора прописали мне полный покой, свежий воздух и как можно больше

витамина С. Привозимые с Кавказа лимоны считались деликатесом, их нарезали тонкими ломтиками и клали в чай. Вскоре началась война, и лимоны исчезли вовсе. Вместо лимонного меня поили капустным соком. В нем тоже много витаминов. По три стакана в день. Жуткая дрянь.

Со свежим воздухом проблем не возникало, меня, независимо от времени года и погоды, рано утром вывозили в городе на улицу, на даче — в сад и держали там до позднего вечера. Покой тоже обеспечили полный: запаковали в гипсовую форму, отлитую прямо по мне от пояса до ступней ног, примотали к ней бинтами, уложили на лист толстой фанеры и пожелали выздоровления. «Погулять» меня отпускали раз в день на пятнадцать минут: отвязывали, переворачивали на живот, протирали от пролежней спиртом, внимательно следя, чтобы я, не дай бог, не шевелился.

Когда началась война, из Киева, где мы тогда жили, 2 июля 1941 года, перед самым его окружением немцами, меня на носилках погрузили в поезд и вместе со всей семьей увезли в эвакуацию в Куйбышев (Самару). Там нас вместе с семьями других высоких московских начальников разместили в корпусах военного санатория, на самом берегу Волги. На нашей жизни в Куйбышеве я останавливаться не стану, да и какая жизнь у мальчишки день и ночь примотанного бинтами к фанерной доске? Почти такая, как у бабочки в коллекции.

Итак, о бабочках. Бабочки возникли весной 1942 года, в мою первую весну в эвакуации. Рядом с двухэтажной деревянной, еще дореволюционной постройки, дачей — мы в ней занимали первый этаж, а на втором жили Маленковы — росли огромные кусты сирени. Под этими кустами я «гулял», по-прежнему пришпиленный к фанере и водруженный на больничную каталку на колесиках. Дети со мной, естественно, не играли. Да и как со мною играть? Подойдут на пару секунд, посмотрят и убегают по своим делам. Стараясь хоть как-то скрасить мою неподвижность, мама мне читала книжки, их у нас в эвакуации оказалось три. Первая и самая актуальная, Корнея Чуковского «Солнечная» — о таких же, как я, несчастных туберкулезных малышах, лечившихся от недуга крымским солнышком. Книжку я прослушал бесконечное количество раз. Ее герои декламировали «собственного сочинения» стишок:

Я завидую здоровым —
Поросятам и коровам.

Эти строчки — квинтэссенция нашей «больной» жизни — запомнились мне навсегда. Прикованные к кровати в буквальном

смысле этого слова, мы завидовали всем, способным бегать, прыгать, летать.

Чуковский написал свою книжку в 1931 году, тогда его Мурочка, младшая и любимейшая дочка, подхватила костный туберкулез и выхаживали ее в этом «солнечном» крымском санатории. Не выходили. Мурочка умерла. Мне повезло больше.

Другая книга о юных натуралистах, по методу академика Лысенко яровизировавших под Одессой картошку, и третья, моя самая любимая «Остров в степи» — о Фальц-Фейнах, их фамилию я помню до сих пор, и устроенном ими в своем имении в южноукраинской степи, под Каховкой, зоопарке-заповеднике Аскания-Нова с редкими животными и их гибридами. Но бесконечно читать книжки и даже слушать их, невозможно. Основную массу времени я проводил, предоставленный сам себе, лежал под сиренью, по цветам которой порхали самые разные бабочки. Всех я не запомнил, меня поразили «огромные» желто-полосатые хвостатые махаоны. Взрослые иногда ловили их, и давали мне подержать, я вглядывался в рисунок на крыльях, а потом бездумно и безжалостно стирал пальцами пыльцу. Наверное, по детской жестокости, я еще и убивал свои жертвы, но смертоубийство мне не запомнилось. Запомнилось, как я выпускал махаонов. Очень сильные, мускулистые, стоило чуть разжать пальцы, они одним ударом крыльев вырывались на свободу, но далеко не улетали, снова садились на грозди сирени, где их совсем недавно поймали. Мне безумно хотелось самому половить махаонов.

Притягательная краса махаонов поразила в детстве не одного меня. Писатель Сергей Тимофеевич Аксаков в «Семейной хронике» описывает, как в конце 1790-х годов они путешествовали по России и как его, восьмилетнего мальчика, восхитил махаон, сидевший на цветке придорожного чертополоха.

Владимира Владимировича Набокова примерно в том же возрасте, но веком позже, приворожил такой же махаон, порхавший над кустами сирени в их дореволюционном имении.

В 1943 году я начал выздоравливать, вновь учился ходить, сначала на костылях, потом без них, и наконец забегал. В мире оказалось столько интересного, что о махаонах я позабыл. Вернее, мне казалось, что позабыл. Вновь интерес, я бы сказал страсть, к махаонам и иным бабочкам у меня проснулась уже после войны, в Киеве. Лето мы проводили на госдаче в Межигорье. Там, рядом с соседним домом (в 1947 году в нем жили Кагановичи), я обнаружил засаженную «майорами», по-научному цинниями, грядку. Яркие цветы привлекали бабочек со всей округи:

хвостатых махаонов, бело-красных адмиралов, коричнево-розовых чертополохниц и их ближайших родственниц, темно-коричневых скромниц с белым «С», каллиграфически выведенным природой на буроватой обратной стороне крыльев. Над грядкой порхало и множество других бабочек: больших и средних белянок, желтушек и совсем маленьких голубеньких голубянок. На фоне всей этой пестроты и богатства красок королями оставались махаоны, в начале лета, такие же, как в Куйбышеве, желто-полосатые, а ближе к осени появлялись южане — подалирии, с рисунком крыльев построже, не ярко-желтым, а скорее белесоватым, тоже с черными поперечными полосами и остренькими, длинненькими шпорами-хвостами. Под Киевом я их увидел впервые. В то лето я наловился бабочек вволю. Безжалостно накалывал их на мамины булавки, а кое-как распластанные крылья придавливал к крышкам картонных конфетных и папиросных коробок кусочками расплющенной свинцовой оплетки проводов. При этом половина пыльцы с них стиралась. Как правильно препарировать бабочек я тогда не знал, все постигал своим умом. Высушенные бабочки я хранил в коробках со стеклянными крышками. Мама в них складывала вилки с ложками. Дно коробок жесткое, деревянное, сверху затянутое белой плюшевой тканью, плохо поддавалось, и чаще не острие булавки входило в фанеру, а головка булавки протыкала мой палец. Пальцы вечно были исколоты, но я не обращал на это внимания.

К концу четвертого класса, первым школьным экзаменам, подводящим итог начальному обучению, я, посчитав себя взрослым, коллекцию забросил. Сухих бабочек в неплотно закрытых коробках постепенно поедала моль, и от махаонов или бражников оставался один прах.

В третий раз, в относительно зрелом возрасте, любовь к чешуекрылым пробудили у меня не красавцы-махаоны, а ночные бабочки-павлиноглазки, или сатурнии. Больше махаонов, с круглыми пятнами-глазами на серо-коричневых крыльях, так, по мнению ученых, бабочки отпугивают птиц и других намеревающихся их съесть хищников. Не знаю, правда ли это, мне узор казался не пугающим, а привлекательным. Но я же не птичка. Перед войной павлиноглазки, большие и поменьше, по вечерам во множестве обитали в Межигорье, в предвечерье слетались на свет, залетали в окна дачи, порхали вокруг ламп, а к утру устраивались по углам, где потемнее, прятались за шторами. В послевоенное время большие павлиноглазки появлялись крайне редко. Они исчезали на глазах, не выдержав напора цивилизации.

Летом 1956 года мы с моей невестой оказались под Киевом, в Валках, в правительственном дачном комплексе рядом с

Межигорьем. В главных, больших корпусах обитали Коротченки, глава семейства, Демьян Сергеевич тогда возглавлял Украинский Верховный Совет. Поодаль от основного дома, на спускающейся к Днепру круче, в выделенном ей украинцами «финском» домике проводила лето моя старшая сестра Юля. Она единственная из нашей семьи не последовала за отцом в Москву.

Все дни мы с невестой проводили на песчаной косе, под откосом высокого правого берега Днепра, и ни о каких бабочках, ни дневных, ни ночных, не помышляли. От дома к пляжу в тени деревьев по крутому склону петляла тропинка. Утром мы спускались к воде, а к вечеру, проголодавшись, возвращались домой. Хотя о бабочках я не думал, но взгляд мой в поисках чего-то любопытного привычно шарил по окружавшей зелени. Под Киевом тогда в изобилии встречались жуки-олени, жуки-носороги и всякая иная теперь уже ставшая «экзотикой» живность. Мое внимание привлекло рыжеватое треугольное пятно на листве, нависавшей над обрывом ветки граба. Оно напоминало силуэт бабочки-павлиноглазки. Чтобы разглядеть диковинку поближе, я полез на кручу. На шероховатом листе, вцепившись в него всеми шестью лапками, сидела огромная, ни разу не виданная мною роскошная светло-бежевая павлиноглазка. Я глядел на нее и не мог оторваться. Согласно логике жизни, мне, относительно взрослому собравшемуся жениться студенту-старшекурснику, следовало не торчать на обрыве, а идти своим путем на пляж. Но повторяю, оторваться я не мог. Павлиноглазка околдовала меня. Осторожно, чтобы не повредить пыльцу на крыльях, я оторвал ее от листа, она не очень сопротивлялась, ночные бабочки днем беспомощны. Эта же вообще казалась одурманенной или не очень здоровой, не трепыхалась и безропотно уцепилась за мой палец.

До пляжа мы в то утро не дошли, вернулись домой, где я, вспомнив свой прежний опыт, кое-как умертвил, насадил на швейную иголку и расправил бабочку. Местных бабочек я знал хорошо, особенно больших, откуда такая красавица могла здесь взяться — не понятно. Юля в то время работала в какой-то в связанной с медициной лаборатории Украинской Академии наук. Там она разузнала, что киевские ученые-энтомологи занялись акклиматизацией китайского шелкопряда, так некстати, а скорее кстати, попавшего мне на глаза.

Китайские шелкопряды из семейства сатурний-павлиноглазок, как и все другие шелкопряды, заматывают свои куколки в нитяной кокон. Из коконов, к слову, тоже завезенного из Китая тутового шелкопряда, издревле получают шелк. У китайского шелкопряда нить более грубая, она идет на выработку чесучи. В Китае, конечно.

Украинцы решили выращивать павлиноглазок у себя и самим научиться ткать из их нитей чесучу. Насколько я знаю, чесучовая затея провалилась. Время шелкопрядов ушло. В век нейлона и других чудес химии павлиноглазковая чесуча оказалась неконкурентоспособной.

После встречи с китайским шелкопрядом любовь к бабочкам вновь захватила меня и не отпускала многие-многие годы.

Вернувшись в Москву, я отыскал в кладовке почему-то не выброшенную коробку с останками моих давнишних махаонов, тщательно вычистил ее и водрузил павлиноглазку в левый верхний угол. Затем смастерил себе марлевый сачок и, стесняясь окружающих и самого себя, начал охоту на бабочек. Ловил я их в основном на даче, но по мере того как мое стеснение проходило, начал появляться с сачком и в более людных местах. Друзья и жена принимали это мое увлечение как данность и даже порой сами брали сачок и гонялись за какими-либо капустницами или крапивницами. Естественно, охоту за ценными экземплярами я никому не доверял.

В букинистических магазинах я разыскивал старинные книги о бабочках. Мне попался изданный в 1899 году том Гофмана (не сказочника) — переведенный на русский язык определитель бабочек с краткими описаниями приемов их ловли, разведения в неволе и сохранения коллекции. Из этой книги я узнал, что мое пристрастие к бабочкам — не извращение, не признак духовной или умственной ущербности, к тому же вовсе не уникальное, таких, как я, в мире немало. К примеру, коллекционировал бабочек один из Ротшильдов, крупнейший в мире банкир и известнейший в XIX веке энтомолог. В его честь названы десятки новых видов бабочек.

Согласно вычитанным у Гофмана инструкциям, я покрыл дно застекленных ящиков пробкой, булавки в нее легко вкалывались, соорудил специальные расправилки крыльев бабочек и, о чудо, обнаружил в зоомагазине на Кузнецком мосту изящные длинные черные специальные энтомологические булавки: потолще для крупных насекомых и тоненькие для всякой мелюзги.

Вслед за Гофманом я нашел, тоже изданные до революции, определитель Ламперта для профессионалов и еще какие-то совсем примитивные книжки для детей. Затем узнал о существовании немецкого более чем сорокатомного определителя бабочек мира под редакцией Зейтца. Его начали издавать в Германии при кайзере, последующие тома вышли во времена Веймарской республики и продолжали выходить при Гитлере. Приостановилось издание в 1944 году. Мне удалось приобрести несколько томов, огромных, в твердых зеленых переплетах с

тисненными на них золотом контурами бабочек. Каждый том из двух книг: в одном описание, в другом — рисунки. Тысячи разнообразных бабочек: дневных, ночных, европейских, азиатских, американских.

Так что к моменту отъезда в США я чувствовал себя почти профессиональным энтомологом. К поездке приготовился основательно: упаковал в чемодан журнал «Америка» с весьма приблизительным адресом мистера Глантца, уложил стандартный полевой набор энтомолога: раскладной сачок, баночки-морилки с притертыми пробками и приколотыми к ним пакетиками с цианистым калием, конвертики для упаковки умерщвленных бабочек.

Где я собирался ловить бабочек во время государственного визита? Никаких планов заранее не составлял и не очень рассчитывал, что такая возможность представится.

Вылетели мы 14 сентября 1959 года до рассвета, на Ту-114, способном долететь из Москвы до Вашингтона без посадки. Отец очень гордился, что у нас есть такой самолет, а у американцев — нет.

Столь ранний вылет определялся протоколом встречи — приземление на военно-воздушной базе Эндрюс запланировали на полдень, чтобы после короткого отдыха включиться в череду официальных встреч, речей, ланчей и обедов. Летели мы на запад целую вечность, часов одиннадцать-двенадцать, если не больше. Прилетели невыспавшиеся, уставшие, но, не желая упустить ничего из диковинок Нового Света, спать не намеревались.

Нас разместили в Блэйр-Хаузе, гостевом особняке почти напротив Белого дома. Отец уединился с Громыко и нашим послом Михаилом Алексеевичем Меньшиковым, чтобы обсудить планы на вечер. Я же отыскал кого-то из посольских, показал мой журнал и спросил, как я смогу разыскать мистера Глантца. Из Вашингтона планировался отъезд поездом в Нью-Йорк, и я не мог и не хотел терять времени. Первый секретарь посольства, кажется по фамилии Андреев, посмотрел на меня как на сумасшедшего. Я настаивал. Тогда он объяснил, что в Бруклин наших не пускают, там закрытая зона. Лицо у меня вытянулось. Посольский равнодушно отвернулся, а стоявший рядом лысоватый американец оказался любезнее. Звали его мистер Алекс Акаловский, и он свободно, правда с акцентом, говорил по-русски. Мельком глянув на страницу журнала с бабочками, он вежливо напомнил мистеру Андрееву, что на время визита Председателя Хрущева все обычно закрытые для советских людей зоны открываются, можно ехать и идти куда угодно. Андреев на слова Акаловского не отреагировал, зато я вцепился в них обоих:

— Значит, я смогу попасть к мистеру Глантцу и полюбоваться его бабочками?

— Естественно. Я попрошу разузнать его адрес и договориться о встрече, — широко улыбнулся мистер Акаловский.

В тот день мы так и не спали, а к семи часам вечера отправились в Белый дом на официальный президентский обед. Замечу, для нас, вставших вчера около четырех утра по московскому времени, «семь часов вечера» — это уже завтрашнее утро. Выглядели мы соответственно, только отец держался молодцом.

Мне, абсолютно сонному, от того вечера запомнились: застывшие у всех дверей морские пехотинцы, столы, накрытые в полутемном, а не так, как у нас сверкающем всеми огнями, зале и горящие свечи на столах. Зачем нужны свечи в век электричества, я не понял, но смотрелись они красиво. Поразили мое воображение разложенные рядом с тарелками многочисленные и разнообразные золотые ножи, вилки, ложки. Такого я не только никогда не видел, но и вообразить себе не мог. Одно дело золотые сережки, но золотые вилки с ложками?!

Кормили вкусно, но чем, спросонья не запомнилось, за исключением бифштекса-стейка. Он поражал не только искусством приготовления, но и гигантскими размерами. Доели его до последнего кусочка, а отец, в обычные дни сидевший на рыбно-отварной диете, даже попросил добавку. Такие стейки «выращивали» на родине канзасца-президента, и отец потом оправдывался, что вторую порцию попросил исключительно из дипломатических соображений, но мама ему не очень поверила. Мы все видели, как он ел, никакой дипломатией там и не пахло.

После сладкого и обмена протокольными речами, казалось, пришло время поспать. Но не тут-то было. Нас еще ожидал концерт. Очень хороший концерт. В Белый дом пригласили лучших музыкантов. Что они исполняли, я не запомнил, запомнилась лишь борьба со сном: голова валится то влево, то вправо, короткие пробуждения и провалы памяти. Члены делегации чувствовали себя не лучше, кое-кто откровенно похрапывал, а вот сидевший в первом ряду рядом с президентом Эйзенхауэром отец казался совсем свежим. Только потом он признался, что концерт высидел с трудом. Разошлись около полуночи, по московскому времени — к восьми утра.

Через пару дней мы оказались в Нью-Йорке. В Манхэттене подивились, как водится, небоскребам. Отец переезжал с одного протокольного мероприятия на другое, а все мы, сопровождавшие его, следовали за ним повсюду как привязанные. А я все думал, как бы отыскать в расписании щелочку и смотаться к мистеру

Глантцу. Наконец повезло. Отец отправлялся на встречу с губернатором штата Нью-Йорк Рокфеллером, а остальным предоставлялась недолгая свобода. Я попросил свозить меня в Бруклин. Товарищ Андреев ехать со мной отказался, объяснил, что американцы хитрят, только говорят, что открыли Бруклин, а сунешь туда нос, там тебя и сцапают.

— Что вы! — возразил вертевшийся рядом Акаловский, они ходили с Андреевым, как привязанные друг к другу. — Ничего подобного. Вы можете ехать куда пожелаете.

Я воспрянул духом.

— Я узнал адрес мистера Глантца. У него небольшой магазинчик по торговле бабочками. — Теперь мистер Акаловский обратился напрямую ко мне: — Если хотите, наши люди сопроводят вас. И вас, — повернулся он к Андрееву.

Андреев ехать в Бруклин отказался. Меня поездка без «своих» нервировала, кто-то знает, что на уме у этих американцев?… И почему Андреев так упорно отказывается? Наверное, он, местный долгожитель, что-то знает. К тому же, слова Акаловского о торговле бабочками меня несколько озадачили. Кому они нужны? Кто их купит? Наверное, он что-то напутал. Колебался я недолго. Желание взглянуть на коллекцию взяло верх над подозрительной осторожностью. Акаловский приставил ко мне сопровождающего из охраны Белого дома, они повсюду следовали за нами, и своего переводчика. Я кое-как объяснялся по-английски, но очень стеснялся своего произношения. До последнего момента я надеялся, что Андреев все-таки поедет с нами — не бросит же он меня на судьбы! Но бросил.

В Бруклин мы отправились в сопровождении полицейских на мотоциклах. Попетляли между небоскребами, проехали по мосту и… «Америка» закончилась. Дальше мы пробирались по обшарпанным улицам с выстроившимися вдоль тротуаров, одно— двухэтажными невзрачными домиками, по виду что-то вроде подмосковных Мытищ или Подлипок, но это же не Мытищи — а Нью-Йорк! Я немного забеспокоился, куда это меня везут? Но вида не подал. Через полчаса мы остановились у такого же, как и все, домика. В маленькой витринке выставлены коробки с бабочками, сачки и другая энтомологическая снасть. Акаловский не ошибся — это магазинчик, а не обиталище американского Паганеля.

Я продолжал недоумевать: торговля бабочками — такая же глупость, как торговля лунным светом. У входа в домик нас ожидал несколько растерянный мистер Глантц, впервые в жизни к нему прибыли посетители в сопровождении полицейского эскорта. Тут же набежала небольшая толпа, в основном

мальчишки, защелкали вспышки фотоаппаратов. Хотя мистер Глантц загодя оповестил прессу, их собралось немного — по большей части дежурные репортеры городской хроники.

После короткого замешательства перед дверью, мы вошли, как мне показалось, в энтомологическую «пещеру Аладдина». На небольшом прилавке лежало все, о чем мог только мечтать коллекционер: булавки всех размеров и видов, морилки, расправилки, пинцеты, сачки… По стенам — стеллажи с бесчисленными ящиками и ящичками с бабочками, и такими, каких я не видел даже на картинках: от отливающих голубым кобальтом дневных морфид до сочно-коричневых ночных, размером с тарелку павлиноглазок. Меня обуяла жадность коллекционера, я хотел бы заполучить их все и лихорадочно прикидывал свои финансовые возможности: это магазин, бабочки, как ни удивительно, товар, а за товар следует платить. Однако я не имел ни малейшего представления, сколько может стоить этот «товар», а все мои ресурсы ограничивались чем-то около пятидесяти или даже тридцати долларов.

Отец, как я уже отметил, транжирства государственных средств не допускал, считал, что сопровождавшим его лицам выдавать драгоценную валюту, доллары, нет никакой необходимости: туда и обратно всех бесплатно доставит Ту-114, в США делегация переходит на содержание принимающей стороны — они и накормят, и напоят, и в гостинице спать уложат. Зачем еще доллары, которых в стране в обрез? «Сопровождавшие лица» его государственных соображений не разделяли.

К поездке отец готовился на даче в Крыму, потом на Пицунде, в окружении помощников, мидовцев и прочих экспертов. После двух дней совещаний к нему отрядили ходоков: Аджубея с Громыко. Алексей Иванович, краснобай, способный заболтать кого угодно, Громыко — эксперт-американист, человек, знающий Америку не понаслышке. Разговор они затеяли во время утренней прогулки до завтрака в моем присутствии. Завел разговор Алексей Иванович, что в США поверх официальной оплаты принято совать доллары всем, от швейцара до управляющего гостиницы, кому доллар, а кому и десятку, даже в туалет там за так не зайдешь. А если приспичит? Без карманных денег мы только дискредитируем советских людей. Громыко кивал головой и басовито поддакивал. Разговор возымел действие, и отец распорядился раскошелиться, но только «на туалет».

Вот эти, «туалетные» деньги я и хотел растранжирить на бабочек. Мистер Глантц показывал мне бабочек из Южной Америки, Африки, Азии и даже Австралии и каждый раз спрашивал: «Нравится?» Совершенно подавленный представшим

передо мной великолепием, я только кивал в ответ, и он откладывал отобранный экземпляр. Я смотрел на них и пытался представить себе, сколько может стоить одна бабочка? Двадцать центов? Пятьдесят? Или целый доллар? По моим финансам, доллар — серьезная сумма.

— Конечно, не доллар, — успокаивал я себя. — Как бабочка, даже такая красивая, может стоить целый доллар?

Кучка аккуратных треугольных бумажных пакетиков с бабочками внутри тем временем росла, а я еще не увидел наяву главного — поразившей меня в журнале «Америка», роскошной зеленовато-желтоватой павлиноглазки-сатурнии с пятнадцатисантиметровыми хвостами-шпорами на задних крыльях. Проявив инициативу, я ткнул пальцем в картинку (журнал я прихватил с собой), мистер Глантц, чуть замешкавшись, сказал, что у него более миллиона бабочек и поиск порой занимает много времени. Я, чувствуя себя состоятельным покупателем, ответил, что готов подождать.

Мистер Глантц вздохнул и скрылся за дверью. Ждать не пришлось, через минуту он вернулся с бабочкой, она оказалась родом с Мадагаскара. Моему восторгу не было границ, за такую павлиноглазку я, не колеблясь, выложил бы даже пять долларов. Тут у меня мелькнула тревожная мысль: «А вдруг денег не хватит? Позора не оберешься».

— Спасибо, — наконец произнес я сдавленно. — Сколько с меня? Мистер Глантц объяснил, что платить не надо, всю кучку «моих» бабочек он дарит мне в знак дружбы. Я поупрямился, но не очень, для вежливости, и согласился. Тут стало понятно нежелание хозяина разыскивать мадагаскарскую красавицу, она стоила дорого. Сколько? Я и по сей день не знаю.

Настала пора уезжать. Тем временем толпа ожидавших нас за дверью журналистов заметно увеличилась. Пока мы прощались, многочисленные фото-, кино-и телекамеры снимали нас с мистером Глантцем в различных ракурсах. О подобной рекламе мистер Глантц и не мечтал. Фотографии его магазина на следующий день появились во всех телевизионных выпусках новостей и в газетах, даже в «Нью-Йорк Таймс».

Расставались мы друзьями, договорились поддерживать связь. Мистера Глантца интересовали эндемики Крыма, Кавказа, Прибалтики, пусть порой и невзрачные, но уникальные.

По возвращении в Москву я отправил в Бруклин первую коробочку с крымскими бабочками. Доверить ее столь ценное, а главное, хрупкое содержимое почте я не решился. На таможнях, нашей и американской, все изломают, сухие бабочки превратятся в труху. Выручил меня Громыко, он не только взялся переслать

все диппочтой, но и поручил кому-то в Нью-Йорке передать моих бабочек мистеру Глантцу из рук в руки.

Тут возникли затруднения. После отъезда отца Бруклин вновь закрыли для советских людей. Консульству пришлось запрашивать у Государственного департамента специальное разрешение. Разрешение дали на один раз. О посылке «из Кремля» мистеру Глантцу сообщили газеты. Благодаря нашим контактам он становился знаменитым. В ответ я получил по почте еще один ящичек с тропическими бабочками. На углу каждого конвертика стояла цена — не выше полудоллара. По тем временам, когда машина стоила около тысячи, приличные деньги.

Так же, через Громыко, я отправил Глантцу еще несколько посылок. Каждый раз, чтобы доставить их на место в Бруклин, требовалось разовое разрешение Госдепа. Американцам это надоело, и они открыли этот район Бруклина для посещений, но тут же закрыли какой-то другой. Дело было не в секретах, а в дипломатической взаимности. В Москве американцев не пускали, скажем, на шоссе Энтузиастов с секретными институтами и заводами по обеим сторонам, а от нас закрывали Бруклин и Бронкс, иногда тоже секретный район, а порой просто из принципа.

К моему сожалению, через пару лет наш обмен сошел на нет. «Посылки из Кремля» американскую прессу занимали все меньше, а вместе с ней терял ко мне интерес и мистер Глантц. Наша связь прекратилась.

И вдруг, в самом конце 1990-х годов, я получил письмо от сына мистера Глантца. Его отец уже умер, «бабочковый бизнес» они продали, но нашу встречу в сентябре 1959 года вспоминали еще долго не только они, но и вся их улица. На этом наша связь вновь прервалась, теперь видимо навсегда.

Но продолжу рассказ о моих американских недоразумениях в ту поездку. Не растраченные на бабочек доллары я решил употребить на подарок жене. Однако вырваться в магазин из бесполезной для меня протокольной суеты официального визита долго не удавалось. Такая возможность представилась только в Сан-Франциско. Неожиданно выдался свободный вечер, отец еще засветло уехал на встречу с местными профсоюзниками и задержался. Стороны никак не могли доспорить, кто же лучше заботится о трудящихся, страсти накалились так, что забыли о времени. Пришлось даже отменить посещение, кажется, концерта.

Я коротал время в гостинице, читал, слонялся в холле. Там меня заприметил один из обеспечивавших визит полицейских и предложил показать город. Гуляли мы часа два, сначала в напряженном молчании, потом разговорились. Я краем глаза

поглядывал на витрины магазинов, но не подавал вида, что хотел бы зайти в зазывающе открытые двери. На одной из витрин я углядел симпатичную, стоившую всего пятерку, женскую сумочку, кажется из крокодиловой кожи, и еще складной зонтик за полтора доллара. Как раз то, что надо. Я уже почти не слушал моего полицейского, раздумывая, как бы улизнуть от него в магазин. Тем временем полицейский постепенно освоился, потерял всю свою официальность и, когда мы шли мимо порта, даже стал меня зазывать в ближайший бар: его-де там все знают, выпивка бесплатная, а какие там девочки… Я на «провокацию» не поддался и как можно небрежнее сказал, что хотел бы приобрести сувениры для жены. Полицейский пришел в восторг и, выяснив, что мне хочется купить, потащил меня не в тот магазинчик, что я приметил, а в огромное, сияющее здание. Я не сопротивлялся, исходя из моего московского опыта, полагал, что на зонтики и сумочки цена везде одинакова.

У заваленного всякой всячиной прилавка, он подробно объяснил продавщицам кто я и что мне требуется. Через минуту я уже выбрал из дюжины сумочек — лучшую, и из горки зонтиков — самый лучший. Выбрал, о цене не спрашивая, я ее и так знал, а ценников на этом прилавке не оказалось.

— Вот эти, — небрежно произнес я.

Цены меня ужаснули. Они в разы превышала те, что я видел в витрине «того» магазинчика, и хотя не выходили за пределы моих финансовых резервов, но на будущее оставляла возможность разве что посетить туалет. Кстати, в Америке они оказались бесплатными.

Отказаться от покупки мне представлялось недостойным советского человека, и я, как мне казалось, невозмутимо расплатился.

На следующее утро, развернув газету, я на пятой или шестой странице обнаружил свою фотографию у прилавка магазина. Кто меня щелкнул, не знаю. Скорее всего «мой» полицейский. Подпись под фотографией ехидно сообщала, как сын Хрущева выбирал покупки в магазине французской роскоши и, узнав цену, переменился в лице. А я-то считал, что вида не подал. Подал, да еще как! В делегации никто моего «позора», казалось, не заметил, я же решил больше в американские магазины не ходить. Благо и денег у меня не осталось.

По возвращении в Вашингтон президент Эйзенхауэр с отцом отправились на переговоры в Кэмп-Дэвид, в загородную резиденцию. У остальных образовалось «окно». Члены делегации разбежались за покупками. Я же попытался реализовать свою мечту половить бабочек и за содействием обратился к

сопровождавшему нас президентскому охраннику. Он ничуть не удивился, за свою службу они повидали всякое, но его и особенно меня смущали дежурившие вокруг Блэйр-Хауза журналисты. Охранник пообещал все уладить и куда-то исчез. Вернувшись через час, он сообщил, что можно ехать.

К тому времени я уже приготовил привезенные из Москвы сачки, морилки, конвертики для бабочек и все упаковал в сумку так, чтобы никто не догадался о содержимом. У дверей Блэйр-Хауза, как всегда, толпились репортеры. Как только мы появились на пороге, защелкали затворы фотоаппаратов. Охранник распахнул дверцу машины. Мы тронулись, за нами увязалась машина прессы. В отсутствие первых лиц они охотились за всеми подряд. Я расстроился.

— Все в порядке, — улыбнулся охранник.

Пока я недоумевал, что же в порядке, машина развернулась и въехала в ворота территории Белого дома. Блэйр-Хауз расположен напротив Белого дома, на противоположной стороне улицы. Журналисты остались за оградой. Я забеспокоился, не задумали ли они представить меня бегающим с сачком по лужайке перед Белым домом на потеху публике и репортерам. От американцев всего можно ожидать! Додумать я не успел, машина остановилась у парадного входа, и охранник пригласил меня пройти внутрь. В уже знакомой мне по официальному обеду обширной прихожей, мы направились в дальний угол. Там оказалась неприметная, без наличников, окрашенная в цвет стен, дверка. Охранник открыл ее и пропустил меня вперед. Я ступил на ведущую вниз бетонную лестницу. Спустившись, мы оказались в узком туннеле. Низкий потолок рукой можно достать, вдоль серых крашеных стен проложены какие-то кабели, на потолке уходящая вдаль череда забранных металлическими решетками, матовых плафонов освещения.

Шли мы по коридору довольно долго, или мне показалось, что долго, и уткнулись в дверь, такую же, как та, через которую мы вошли в туннель. Охранник поколдовал с замком, открыл дверь и вышел, я последовал за ним, а он аккуратно запер дверь. Мы оказались в еще одном подземелье, но значительно более просторном, со стенами, отделанными какой-то плиткой. Мимо нас сновали люди. Множество людей. Одни поднимались по лестнице и исчезали наверху в солнечном свете, другие спускались к нам. Сооружение очень походило на подземный переход под улицей, такие недавно начали строить в Москве, или на вход в метро. Так оно и оказалось: подземный переход. Мы смешались с толпой, поднялись по лестнице на поверхность и оказались на перекрестке каких-то улиц, как мне представлялось,

далеко от Белого дома.

У тротуара стояли две машины, не черные представительские, а желтые, похожие на такси. Рядом с ними прохаживались рослые, крепко сбитые, стриженные под бобрик водители. Один из них приветственно помахал нам рукой, мой спутник ответил ему тем же.

— Видите, никакой прессы, мы их немного надули, — улыбнулся мой сопровождающий.

Я растерянно кивнул в ответ, не очень понимая, хорошо это или плохо. Загадочность нашего побега от журналистов меня несколько обескуражила. Мы разместились в машинах и запетляли по вашингтонским улицам. Я успокоился. Наверное, у них в Америке туннель, уводящий из Белого дома к отдаленному перекрестку, в порядке вещей. Возможно, им пользуются американские президенты, чтобы подобно Гаруну Аль Рашиду из сказок Шехерезады неузнанными побродить по Вашингтону, посмотреть на жизнь подданных? Или этим туннелем пользуются тайные осведомители и шпионы? Или он служит для свиданий с возлюбленными? Или?…

Мое воображение разгулялось. Я не заметил, что Вашингтон остался позади и мы едем по дороге, обрамленной, лужайками, скорее лужками, огороженными деревянными заборчиками. Трава уже пожелтела, цветов я не увидел — осень, сентябрь. Не лучшее время для охоты за бабочками. К тому же солнце уже давно перевалило зенит. Но ничего не поделаешь. Я успокоился.

— Здесь подойдет? — спросил тот, с кем мы пробирались по туннелю, и ткнул пальцев в ближайший лужок.

Я кивнул: какая разница, тут или там — все лужайки одинаковы.

В Америке я рта без крайней необходимости не раскрывал, стеснялся своего английского.

Машины остановились. Я быстро распаковал свой скарб, свинтил сачок и, перебравшись через невысокую изгородь, приступил к охоте.

Меня ожидало вполне предсказуемое разочарование, бабочки попадались невзрачные, летало их совсем немного, но зато все американские. Добычу я аккуратно упаковывал и складывал в заранее заготовленную жестяную коробку из-под печенья. (В Москве я их приведу в надлежащий вид, насажу на булавки, определюсь с названиями. И сейчас в моей коллекции есть бабочки с надписью на этикетках: «Поймано в Вашингтоне, США, в сентябре 1959 года». Я ими очень горжусь.)

Со стороны наша компания смотрелась, наверное, занятно. Один взрослый дядя, размахивая сачком, носится в загородке, по

всей вероятности предназначенной для выпаса телят. Трое других стоят поодаль и невозмутимо наблюдают за его не всегда изящными, пируэтами. Прошло около часа, старший сопровождающий дал знак: пора собираться. Я безропотно подчинился, да и солнце уже садилось, в такое время бабочки устраиваются на покой. Неважно, как я выглядел со стороны, но сам я за этот час испытал истинное удовольствие, может быть, наибольшее за всю поездку.

В Блэйр-Хауз мы вернулись, минуя туннель, протиснулись к двери через поредевшую к вечеру толпу встрепенувшихся и тут же потерявших к нам интерес журналистов, протиснулись к двери и распрощались. Приключение закончилось.

Тем временем отец в Кэмп-Дэвиде занимался серьезными разговорами, но и ему удалось краешком глаза взглянуть на американскую природу. Президент США Эйзенхауэр и Председатель Совета Министров СССР Хрущев, оба выросли в глубинке, один в канзасской, а другой в курской, оба знали, что такое труд на земле, ценили и любили его. Эйзенхауэр получал от выращенных на его личной ферме в Геттисберге, в штате Мэриленд, бычков такое же удовольствие, как и отец от своих посевов кукурузы, чумизы или гороха на подмосковной госдаче Горки-9. Отец первым делом тащил гостей посмотреть на его огород, и Эйзенхауэр, когда выдалось окно в переговорах, пригласил отца слетать на вертолете на ферму, отвлечься, без сопровождающих лиц погулять по полям, полюбоваться его стадом. Там дедушку Эйзенхауэра ожидали внуки: одиннадцатилетний Дэвид (это в его честь назвали Кэмп Дэвид), восьмилетняя Сьюзен, их сестры Барбара, Мэри и, конечно, их родители. Все дедушки одинаковы. Отец также не упускал случая похвалиться своими внуками, внуки всегда на первом месте.

Спустя три десятилетия я познакомился и даже подружился с внуками президента Сьюзен и Дэвидом. Они рассказывали, как их умывали и причесывали перед прибытием важного и «страшного» советского гостя, наставляли не шалить, а он оказался совсем не страшным, улыбчивым и лысым, чем-то похожим на их собственного деда Айка. Сьюзен вспоминала, как Хрущев подарил им елочные гирлянды, она до сих пор сберегла одну из них. Из подарков у них в семье больше ничего не осталось, все они, в том числе и копия первого в истории человечества лунника, согласно американскому закону, хранятся в Президентской библиотеке в Канзасе.

После знакомства с внуками Эйзенхауэр пригласил отца посмотреть его хозяйство и первым делом неубранное просяное поле, куда по осени во множестве слетаются перепела, он тут на

них охотится. Отец, сам охотник, хозяина не одобрил. Все размечено, где охотник, где дичь, заранее известно, когда и откуда вылетит обреченный перепел. Не охота, а тир, стрельба по живым тарелочкам, нет в ней ни азарта, ни волнения.

Конечно, ничего этого отец Эйзенхауэру не сказал, только позднее, описывая посещение президентской фермы, позволил себе высказаться как охотнику. Он считал, что для знакомства с настоящей охотой следует прочитать «Войну и мир» Льва Толстого. «Я перечитывал соответствующие главы много раз, и всякий раз у меня поднималась температура, так красочно и рельефно показана охота, так она зажигает, особенно когда человек имеет к ней страсть», — написал отец в книге воспоминаний.

Прогулявшись по полям, подошли к стойлам, в них президент содержал бычков породы Блэк Ангус.

«Скот мясной, очень плотный, на коротких ногах, упитанный, — деловито запишет в своих мемуарах отец. — Выход говядины высокий, около шестидесяти или шестидесяти пяти процентов, почти как у свиней. Свинина, насколько я помню, имеет товарный выход семьдесят процентов».

Эйзенхауэр подарил отцу бычка и телку. Отец ему — саженцы русских березок. Президент еще раньше упоминал, что они ему очень нравятся.

Как рассказал мне Дэвид, березки прижились в Геттисберге, растут там по сей день. Бычка с телкой отец отдал подмосковным животноводам с пожеланием и нам развести таких. До 1964 года их, естественно, холили, а что случилось дальше, я не знаю. Возможно, списав по акту, пустили на мясо, как списали и большинство других «не представлявших ценности» подарков, преподнесенных отцу.

Однако вернемся к теме бабочек. Теперь, если отец брал меня в зарубежные поездки, я непременно тащил с собой сачок и все к нему прилагающееся.

Уже через год мне представился случай половить настоящих тропических бабочек. Президент Индонезии Ахмед Сукарно все последние годы настойчиво зазывал отца в гости. Наконец отец решил: надо ехать. Индонезия — быстро развивающаяся страна, потенциальный лидер региона, и для нас дружить с ней, установить близкие отношения, если не жизненно важно, то весьма желательно. Визит назначили на февраль 1960 года. Я ходил сам не свой. Уже упоминавшийся выше Альфред Уоллес описал в свое книге, как, путешествуя по острову Ява, он наблюдал полет фантастически красивых ярко-зеленых огромных бабочек, прицекрылок-орнитоптер. Не только наблюдал, но и

ловил. Столица Индонезии Джакарта находится на Яве, и отец летит именно туда.

Вот только возьмет ли он меня с собой? Ведь я только что съездил с ним в Америку. Обычно я не просился у отца, предложит — хорошо, нет — значит, так надо, но тут я отбросил все приличия. Отец согласился неожиданно легко. Он тоже читал книгу Уоллеса, его тоже очаровало описание экзотической природы Явы. Одним словом, он меня понимал.

Джакарта меня разочаровала. Огромный грязноватый город, на улицах пованивает, в ванных комнатах президентского дворца по полу носятся огромные, длиной в человеческую ладонь тараканы, к тому же еще и летающие. С большим трудом я изловил парочку, в подарок моему приятелю, собирателю жуков Николаю Николаевичу Филиппову.

Джунглей на Яве мы не увидели. Вместо них по склонам холмов поднимались уступами, похожими на ступени лестницы, рисовые чеки. Орнитоптеры исчезли вместе с джунглями. Однако бабочек попроще оказалось множество. Попроще — из тропических видов, а в сравнении с обитательницами подмосковных лесов, нечто невообразимо красочное. С раннего утра многоцветные красавицы порхали над цветущими кустами под окнами предоставленной отцу резиденции. С приходом темноты дневные бабочки исчезали, их сменяли вьющиеся вокруг светильников ночные. Налетавшись, они садились отдыхать, «заляпывая» темными пятнышками и пятнами белые стены открытой террасы.

Охоту я начал с первого дня. Сначала смущался окружающих, сопровождавшие нас индонезийцы следили за мной, мягко говоря, с удивлением. Потом привыкли, и я привык, повсюду таскал с собой сачок. В глубине души еще надеялся на встречу с орнитоптерой. Через пару дней у меня появились добровольные помощники, правда, абсолютно бестолковые. Ловля бабочек требует навыка и сноровки. Из членов делегации охотой за бабочками увлекся Леонид Федорович Ильичев, ответственный за идеологию секретарь ЦК, очень живой и контактный человек. Низкорослый, коренастый, подвижный Леонид Федорович охотился с азартом, по-тигриному припадая к земле, подкрадывался к сидевшей на цветке бабочке, из засады бросался на нее, хлопая с силой сачком, калечил цветок, а бабочка успевала улететь. И все начиналось сначала. В какой восторг он пришел, поймав наконец-то свою первую бабочку! Леонид Федорович «заболел» бабочками, почти как я высматривал их, где только возможно, и не только днем, но и после наступления темноты. Вечером, перед ужином все собирались на террасе

дворца. Однажды Леонид Федорович заметил неподвижно сидевшую на стене обалдевшую от света огромную, хвостатую, серую уранию. Обычно прилетевших на свет ночниц собирают руками, но он прихлопнул ее сачком и основательно помял. В коллекцию бабочка не годилась, крылья изломаны, пыльца потерта, но глаза Леонида Федоровича светились таким восторгом…

Другие члены делегации тоже иногда брали сачок в руки, но своего достоинства не роняли, неуклюже помахивая им, как правило, возвращали пустым.

Примерно к середине визита к моей «охоте» подключилась и многочисленная индонезийская охрана. Тогда на Яве не утихала партизанская война, и нас сопровождал батальон охраны. Молодые парни с автоматами, в касках следовали на джипах впереди и позади кортежа, на остановках окружали нас плотным кольцом, стоя спиной к гостям, внимательно всматривались, в зависимости от обстановки, в городскую толпу или заросли бананов. Никто на нас так и не напал, и им вскоре все наскучило. Сначала солдаты следили за моей беготней с сачком, переговаривались, комментируя мои удачи и неудачи и наконец решили мне сделать приятное. По своему разумению, естественно. Один притащил мне огромную жабу, другой — черного, величиной с ладонь скорпиона, а третий — летучую лисицу (питающуюся фруктами летучую мышь, величиной с орла). Жабу с лисицей я выпустил на волю, а скорпиона засушил на память. Он и по сей день хранится у меня в застекленной коробке.

«Бабочковая лихорадка» не миновала даже отца. Сачок он, правда, в руки не взял, но вместе со мной пошел в Богорский зоологический музей, находившийся по соседству с одной из загородных резиденций Сукарно, где нас разместили. В музее его сфотографировали на фоне коллекции бабочек.

Последним в охоту на бабочек включился президент Сукарно. Отец рассказывал, уже по возвращении в Москву, как вечером в президентском дворце Мердека в Джакарте во время их заключительной беседы он в какой-то момент заметил, что Сукарно отвечает невпопад, шарит взглядом по потолку. Оказалось, в окно на свет влетела ночная урания, такая же, какую поймал Ильичев. Ее порхание вокруг люстры отвлекло президента от обсуждения наверное важных межгосударственных дел. Наконец Сукарно не выдержал, схватил свой тропический «колониальный» шлем, с ним он никогда не расставался, вскочил на стул и, пытаясь изловить бабочку, начал им размахивать. Без какого-либо успеха, разумеется.

Так завершилась моя бабочковая эпопея в Индонезии. Орнитоптеры я не увидел, улов мой никаких редкостей, как и следовало ожидать, не содержал, но зато какая осталась память! И еще сохранился любительский кинофильм, запечатлевший размахивающих сачком и меня, и Ильичева, и Аджубея, и еще кого-то.

Однако несколько орнитоптер в моей коллекции все-таки появилось. Мне их нежданно-негаданно подарил президент Франции Шарль де Голль. В начале шестидесятых они с отцом нащупывали пути сближения двух стран. Вот президент и решил доставить через меня удовольствие отцу. Среди подаренных орнитоптер оказалась особенно изящная, названная ее первооткрывателем «парадизеа», передние крылья желтовато-зеленые, с металлическим отливом, задние — заостренные книзу желтые с зеленым ободком, оканчивающиеся шнурками черных шпор. Водятся такие красавицы или водились когда-то только на одном из островов в Тихом океане, недавней французской колонии. Эти орнитоптеры, в том числе и парадизеа, по сей день висят на стене моей спальни. Просыпаясь утром, я вспоминаю и Уоллеса, и президента Сукарно, и чопорного де Голля.

Совет экономической взаимопомощи

Совет Экономической Взаимопомощи Советского Союза и восточноевропейских стран (СЭВ) учредили 25 января 1949 года в составе СССР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии и Румынии, чуть позднее к ним присоединились Албания и ГДР. Мне он представлялся аморфной политико-пропагандистской структурой, призванной, с одной стороны, демонстрировать единство социалистического содружества, с другой же — формализовать предоставление Советским Союзом своим союзникам всевозможных товаров, от зерна и руды до самосвалов и паровозов, за более чем символическую плату. Так оно в начале и происходило, хотя уже тогда поток товаров шел в обоих направлениях. У поляков мы брали уголь, у чехов — урановую руду, трамваи, станки и другие машины. Румыны с болгарами предлагали свои вина и фрукты. Но такой товарооборот не носил черты структурного, рассчитанного на долгие годы взаимодействия.

В последние годы отец пытался развернуть СЭВ от взаимопомощи к кооперации, создать единое экономическое пространство, связывающее нас и союзные нам восточноевропейские страны в единый экономический организм.

После Сталина, который устанавливал советский диктат

везде и во всем, в совместных предприятиях, учрежденных на территории союзных стран, советская составляющая довлела, а то вовсе подавляла хозяев страны, действовать приходилось с особой осторожностью, так, чтобы не задеть национальные чувства, не поддаться соблазну подчинить интересы партнеров экономическим запросам Советского Союза. Дела продвигались со скрипом, с необходимостью кооперации соглашались все, но каждый тянул одеяло на себя.

Летом 1959 года, а возможно и годом ранее, я точно не запомнил, отец пригласил отдыхавших в Крыму по соседству с его резиденцией Вальтера Ульбрихта с женой Лотой, чету Кадаров, Гомулок, Циранкевича с молодой женой, а также и других немцев и поляков (всех имен я уже не помню). Как обычно, гуляли, купались, вместе обедали. После обеда уселись в беседке на уходящем в море мысочке, и потек неспешный разговор. Гости, за исключением Ульбрихта, говорили с акцентом, но без переводчиков. Каждый заранее приготовил список, чего и сколько хотелось бы получить из советских «кладовых». Одни нуждались в дополнительных поставках нефти, другие — железной руды и кокса. Гомулка просил выделить ему из резервов, сверх уже согласованной квоты, больше зерна. Поляки откармливали свиней на бекон, продавали его на Запад, и, чтобы развернуться как следует, им требовалось дополнительное зерно.

К подобным разговорам отец привык, заранее знал, кто что попросит, на что он может согласиться, а где придется отказать. На сей раз он не стал отвечать Гомулке, предложил лучше подумать, не как бы урвать побольше от советского пирога, а как всем вместе жить в будущем. Отец заговорил о координации планов, предлагал договориться, кто и что станет производить для всех, «в общий котел» и что сам сможет черпать из этого котла. Он сослался на капиталистов Западной Европы. Они в условиях частной собственности, конкуренции — и договариваются между собой, координируют свои действия. Начав с конкретного соглашения по углю и стали в 1951 году, теперь шаг за шагом продвигаются вперед, а у нас, при плановом хозяйстве, каждый сидит в своей вотчине и носа не кажет. Был ли этот разговор на тему о кооперации первым или нет, не знаю. Скорее всего, для наших гостей не первым. Казалось бы, присутствовавшие должны с энтузиазмом поддержать отца, дело-то общее, все от него должны выиграть, но они с ответом не спешили. Наконец Гомулка не очень уверенно произнес, что все очень интересно, но надо подумать. Остальные гости поддержали: подумать никогда не вредно. На том и разошлись.

Отец не сдался. При нем не только построят на Калининском

проспекте (Новом Арбате) рядом с Белым домом многоэтажное здание СЭВ, но ему удастся и сам СЭВ преобразовать в единый эффективный экономический организм. По части кооперации к 1964 году СЭВ обгонит Западную Европу, но потом процесс забуксует. Без подкачки извне энергии энтропия начнет нарастать, связи одна за другой будут ослабевать, а взаимные претензии, наоборот, обострятся, и в конце 1980-х годов этот, казалось бы, неразрушимый экономический монолит рассыплется в прах.

Первый Московский кинофестиваль

В те годы в Москве то и дело что-то происходило в первый раз. 3 августа 1959 года открылся 1-й Московский кинофестиваль. Что творилось в тот день, сейчас и представить себе трудно. Весь город вышел на улицы, москвичи толпились у кинотеатров, где счастливцы могли посмотреть диковинные иностранные фильмы.

Ажиотаж объясним легко. Своих фильмов все еще производили мало. Кинопромышленность оживала, но еще не ожила. Сталин лично утверждал каждый сценарий, лично принимал или не принимал каждый фильм, лично раздавал свои, Сталинские премии. В год на экраны выходило пять-шесть картин, не больше, и практически все — революционные, о Сталине или биографические, об ученых или композиторах. В кинотеатрах крутили трофейные немецкие и американские фильмы вроде «Тарзана» и тому подобной чепухи, тоже объявленные трофейными, чтобы не платить за них хозяевам. Поначалу они всем нравились, но еще в сороковые годы их пересмотрели по нескольку раз и теперь жаждали чего-нибудь новенького.

В условиях еще неутоленного киноголода от кинофестиваля ожидали чего-то необыкновенного. Но фестивальные фильмы разочаровывали. Не то чтобы они оказывались действительно плохими, показывали добротную среднюю или чуть выше среднего продукцию, тогда как зрители настраивались на что-то невиданное. Разочарование мало кто показывал, выходя из кинотеатра, «счастливчики» восхищенно закатывали глаза, неопределенно хмыкали и нудно пересказывали незатейливый сюжет затаившим дыхание слушателям. Я пересмотрел если не все, то наверняка большинство фестивальных фильмов, и конкурсных, и просто привезенных на просмотр, но что показывали, хоть убей не помню. Вспоминается ощущение праздника, всеобщей приподнятости — и только. Я перелистал в библиотеке старые газеты. Оказывается, главный приз в 1959 году

получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» по рассказу Шолохова. Хороший фильм, но у меня в памяти сохранился лишь начальный эпизод, когда главный герой фильма шофер грузовика (сам Бондарчук) начинает рассказывать своему пассажиру-мальчику Ване о жизни, о войне, о плене. Очень живая сцена, остальное же расплывается словно в дымке.

И все же кинофестиваль 1959 года удался. Его успех уже не повторит ни один из последующих кинопоказов, ставших традиционными, повторявшихся каждые два года. И это несмотря на то, что фильмы на них показывали очень знаменитые: «Балладу о солдате», «Вестсайдскую историю», «Космическую одиссею» и конечно «Восемь с половиной» Федерико Феллини. В 1963 году вокруг последнего разгорелся грандиозный скандал. Но это отдельная история и расскажу о ней ниже.

День за днем

Сразу по возвращении из США, не передохнув ни дня, отец вместе с Сусловым улетают в Китай. Там 1 октября праздновали десятилетие Китайской Народной Республики и отсутствие отца сочли бы знаком неуважения, особенно когда отношения «вечной дружбы» все быстрее катились под откос.

Пекинский визит, в отличие от американского, получился неприятным. Антисталинисту Хрущеву договориться с Мао, «китайским Сталиным», естественно, не удалось. Расстались они холодно, хотя и с соблюдением приличий.

В Москву отец возвращался, как и в 1954 году, со множеством остановок. Сначала заехал во Владивосток. Оттуда 7 октября перебрался в Иркутск, из Иркутска в мало кому известный поселок Братск. Там строили Братскую ГЭС. 18–19 июня 1959 года, в рекордные 19 часов перекрыли Ангару, завалили бетонными блоками и породой русло реки. В те годы на сибирских реках одну за другой возводили гидростанции, рядом открывали предприятия с энергоемким производством, в основном алюминиевые заводы. Отца приглашали на перекрытие Ангары, но летом выбраться ему не удалось. Сейчас он не мог отказать себе в удовольствии взглянуть пусть уже и на перекрытую Ангару. Отец остался доволен. У меня сохранилась смешная фотография: отец в черном демисезонном пальто, в надвинутой на уши черной

шляпе, стоит на плотине окруженный дюжиной мужчин. И все они в черных одинаковых пальто и в черных шляпах.

По возвращении в Москву отец взахлеб рассказывал о творящихся в Братске чудесах. Вскоре Братскую ГЭС узнала вся страна. Евгений Евтушенко написал о ней поэму, о Братской пели песни. На стройку устремились молодые романтики. Конечно, романтики в бетонных работах — никакой, но ведь романтики того не знают и знать не хотят.

Из Братска отец летит в Красноярск, там, наряду с другими объектами, осматривает подземный ракетный завод и завод по производству плутония.

10 октября отец в Новосибирске, заезжает в Академгородок и оттуда возвращается в Москву.

16 августа газета «Советская Россия» поместила на первой странице рапорт рязанцев. За полгода они выполнили годовой план, продали государству 51,2 тысячи тонн мяса, почти в три раза больше, чем за тот же период в предыдущем, 1958 году. Ларионов обещал до 15 октября сдать еще столько же мяса, а к концу года «сделать» и третий план. И сделали, 12 октября Ларионов доложил о сдаче 100 тысяч тонн мяса.

Ему бы на этом остановиться, тем более что, принимая 16 октября 1959 года в Кремле делегацию из Рязани, отец предупредил Ларионова: «Если у вас не хватит ресурсов на выполнение третьего плана, то лучше в этом признайтесь, никто вас не осудит».

Сказал он это неслучайно. До отца уже начали доходить письма с жалобами на Ларионова, их авторы сообщали в ЦК, что с третьим планом не все благополучно. Вот он и решил дать ему шанс выйти из положения.

Ларионов заверил, что третий план у них в кармане и по возвращении домой, на митинге в Рязани подтвердил: «Рязанцы своих позиций не сдадут… Всех нытиков и маловеров мы разоблачим, не допустим, чтобы они сеяли в наших рядах сомнения. Пусть не мешают нам в битве за 150 тысяч тонн мяса. Пусть уходят. Отдадим всю свою силу, здоровье на достижение нашей великой цели».

Это слова уже даже не игрока, а настоящего безумца. Третий план Ларионов выбивал любыми способами, не думая о последствиях, из остававшихся 50 тысяч тонн

мяса 31 тысячу тонн зачислил на бумаге, как сданные государству в счет будущих обязательств. Министерство сельского хозяйства РСФСР тут же направило жалобу в Совет Министров с разъяснением, что обязательства рязанцам выполнять больше нечем. Нет у них мяса.

Все это многоопытный Ларионов не мог не понимать, но и остановиться он не хотел. Трудно сказать, рассчитывал ли он выиграть? Скорее всего, он просто заигрался.

К тому же Ларионов лишился поддержки Владимира Мыларщикова, с которым они начинали игру в три плана и который до поры до времени прикрывал его в Москве. В июне 1959 года Мыларщикова за совсем другие игры убрали из ЦК, отправили заведовать Спецтрестом картофелеовощеводческих совхозов Московской области.

21 октября 1959 года, почти через три года после XX съезда КПСС, Отдел идеологии ЦК распорядился изъять из продажи сталинский и просталинский «Краткий курс истории ВКП(б)», ставивший всю послереволюционную историю страны с ног на голову, приписывавший Сталину все наши победы и достижения, объявлявший всех несогласных со Сталиным «врагами народа».

27 октября 1959 года сессия Верховного Совета СССР «расширила права союзных республик», передала из центра под их юрисдикцию дополнительные властные полномочия, они получали больше свободы в формировании своих бюджетов. Одновременно приняли закон «О порядке отзыва депутатов» всех уровней. До того депутатов избирали, а дальнейшая их судьба зависела только от Сталина и его карательных органов. Теперь закон расписывал процедуру отстранения депутатов от власти, определял, кто и как может инициировать отзыв. Пусть и маленький, но еще один шажок к установлению в стране демократии.

1 ноября 1959 года отец осмотрел прилетевший в Кремль и приземлившийся на Ивановской площади пассажирский вариант вертолета Ми-4.

В США отец с удивлением обнаружил, что вертолеты там уже несколько лет используются как обычное транспортное средство, наравне с автомобилями и поездами. Даже президент летает в Кэмп-Дэвид на вертолете. По возвращении домой он попросил Михаила Леонтьевича Миля проработать вариант пассажирского вертолета. Вскоре первая вертолетная линия начала

обслуживать курортников в Крыму, возить отдыхающих из Симферопольского аэропорта на Южный берег, в Ялту.

В тот же день, 1 ноября 1959 года, в Ленинграде на набережной Красного флота открылся первый в стране Дворец бракосочетания, в отличие от районных загсов там браки регистрировали в торжественной обстановке под музыку и с шампанским.

12 — 14 ноября 1959 года в Кремле прошел I съезд журналистов, учредивший свой творческий союз. Союз журналистов органично вписался в ряд всех иных союзов: писателей, композиторов, архитекторов, кинематографистов. Проталкивал организацию союза журналистов Аджубей. Журналисты ему за это благодарны и по сей день. Те, кто помнит, конечно.

Весь год со страниц газет не сходила тема совнархозов. Я приведу только две статьи. 20 июня 1959 года глава Компартии Таджикистана Турсунбай Ульджабаев пишет в «Правде» о переходе на хозрасчет, выстраивании взаимоотношений с центром и соседями по товарному принципу: центр дает ресурсы на инвестиции в производство, на местах их «осваивают», получают прибыль и часть ее возвращают в виде налога в общесоюзный бюджет. Схема тривиальная, но тогда к слову «прибыль» относились подозрительно, и предложение Ульджабаева звучало революционно.

14 ноября 1959 года А. Жусупов из Казахстана, председатель Комиссии советского контроля республики, в статье «Совнархоз — не удельное княжество» возмущается, что совнархозы: Гурьевский, Южно-Казахстанский, Восточно-Казахстанский, Алма-Атинский не желают учитывать интересы соседей, саботируют поставки казахского цемента узбекам и туркменам, а Петропавловский комбинат вообще недопоставил 1 700 тонн мяса в общегосударственный фонд. Жусупов призывает не замыкаться в себе, помнить о кооперации, блюсти государственные интересы.

Помнить-то все обо всем помнили, но своя рубашка ближе к телу. Противники реформы воспрянули духом, по их мнению, отцу следовало признать ошибки, повернуть назад к строгой централизации, к министерствам. Отец пути назад не видел, считал, что проблема местничества в совнархозах порождалась не излишней, а недостаточной децентрализацией. Если

директорам дать больше свободы, то местничество растворится само в себе, завод, преследуя свои интересы, обеспечивая выполнение своих заданий, добиваясь получения наибольшей прибыли, окажется заинтересованным в производстве качественной, конкурентоспособной (тоже новое слово в те времена) продукции и сбыте не только внутри своего совнархоза, а любому потребителю. Следовательно, интересы отдельного производителя и страны совпадут.

Добавлю от себя, что таким образом борьба с энтропией становилась более эффективной.

23 — 27 ноября 1995 года отец проводит в Пицунде совещание о перспективах развития тепловой, атомной и гидроэнергетики и прямо оттуда, 29 ноября, улетает во главе делегации КПСС в Венгрию на 7-й съезд Венгерской Социалистической Рабочей партии, выступает, ведет переговоры и 8 декабря отбывает домой на поезде. 8 декабря он останавливается в Закарпатье, 9 декабря — во Львове, на следующий день объезжает поля и предприятия Львовской и Тернопольской областей. 11–13 декабря отец проводит в Киеве, 13-го вечером он уже в Москве.

30 декабря газеты сообщили: «Пошла железная руда с разрезов Курской магнитной аномалии». Событие, уводящее мою память в детство. Я тогда зачитывался рассказами о всяких чудесах: о скрещивании в Аскании-Нова кобыл с зебрами, о диковинных рыбках гамбузиях, пожиравших личинки малярийных комаров и спасавших человечество от страшной болезни, о кладах в пещерах Киево-Печерской лавры… В одной детской книжке я вычитал, как в 1931 году кто-то из геодезистов, размечавших поля в сугубо сельскохозяйственном районе, случайно обратил внимание на то, как заплясала магнитная стрелка его компаса, а затем вообще уткнулась куда-то в землю. Согласно научным обоснованиям того времени, возможность залегания полезных ископаемых в этих равнинных районах исключались, поведение компаса списали на необъяснимую аномалию. Так и назвали явление: «Курская магнитная аномалия». Но нашлись геологи, допускающие, что под черноземом, вопреки устоявшимся понятиям, находятся несметные залежи железной руды. Им не верили, над ними смеялись, но они доказали свою правоту.

И вот теперь руда пошла.

За трудовую доблесть

22 декабря 1959 года в Москве собрался итоговый Пленум ЦК КПСС. Отец снова отказался от произнесения главного доклада, поручил его сделать Председателю Правительства РСФСР Дмитрию Степановичу Полянскому. Отец возлагал на него определенные надежды, собирал в Москву «молодежь», как он надеялся, сколачивал команду, которая придет на смену «старикам», не только политикам сталинского набора, вроде его самого или Микояна, но и разменявшим пятый десяток Брежневу, Подгорному, Косыгину. Доклад Полянского мне не запомнился. Текст правильный, сбалансированный, но без «искры».

Итоги 1959 года скорее радовали, чем настораживали. Промышленность развивалась стабильно, национальный валовый продукт вырос на 7,5 процента, производительность труда — на 7,4. Правда, меньше, чем в прошлом году, когда экономический рост составил 12,4 процента.

Выступил на Пленуме и отец, говорил он об успехах в животноводстве, за 1958–1959 годы поголовье скота выросло с 73,1 миллионов голов до 78 миллионов, производство мяса за год увеличилось с 7,7 до 8,9 миллиона тонн, молока — 58,7 до 61,7 миллиона тонн, яиц с 23,0 до 25,6 миллиардов и так далее.

Отец похвастался, что в этом году в США, по оценкам американского Департамента сельского хозяйства, масла произведено 3,7 килограмма на душу населения, а мы получили 4 килограмма. «Таким образом, по производству животного масла на душу населения Советский Союз в 1959 году превзошел Соединенные Штаты Америки».

Слова отца потонули в шквале аплодисментов. На его лице светилась счастливая улыбка, наконец-то мы опередили этих американцев. Я искренне радовался вместе с отцом. Не за горами время, когда они вообще окажутся позади.

Отец с наслаждением перечислял хорошо ему знакомые имена передовиков — это агроном-сибиряк Терентий Семенович Мальцев, председатель украинского колхоза Макар Анисимович Посмитный, бригадир-хлопкороб, узбек Хамракул Турсункулов и множество других. В заключение отец посетовал, что все эти люди, лучшие из лучших, уже получили все мыслимые награды, давно стали дважды и трижды Героями Социалистического Труда, и он себе просто не представляет, как отметить их новые успехи. А отметить необходимо. Отец предложил наградить всех медалью «За трудовую доблесть», наградой, скажем, не из первого разряда,

и добавил: «Мы в Президиуме ЦК КПСС посоветовались и пришли к единодушному выводу, что нужно поднять значение медали “За трудовую доблесть”. Что значит получить такую медаль? Это значит получить общественное и государственное признание своего труда. Почетно для любого гражданина заслужить медаль “За трудовую доблесть”».

25 декабря 1959 года Президиум Верховного Совета СССР вместе с передовиками наградил теперь уже «очень престижной» медалью всех участников Пленума ЦК, в том числе и отца.

Отец месяца два с гордостью носил медаль на лацкане пиджака, демонстрируя тем самым ее значимость. Потом снял и положил в шкатулку, где хранились все его награды.

На Пленуме отец снова привел в пример рязанцев, выполнивших свои обязательства и утроивших заготовки мяса.

25 декабря 1959 года Ларионову, первому среди секретарей обкомов, присвоили звание Героя Социалистического труда. 8 января 1960 года, наградили еще 3 481 победителей из Рязани.

«До сих пор хожу, как в угаре. Первым в стране за сорок два года Советской власти я, секретарь обкома, получил Героя, — пишет Ларионов сыну Валерию. — Не знаю, хватит ли сил или нет, но все отдам Родине, народу, Ленинской партии, до последней капли крови, до последнего вздоха».

Какая страсть! Страсть игрока, ухватившего за хвост фортуну и не способного остановиться, игрока, уверовавшего в свой успех.

По настоянию Ларионова рязанцы принимают новое обязательство: в 1960 году сделать уже не три, а четыре плана по мясу. Он знает, что скота в области почти не осталось, но… остановиться уже не может. Между тем поток жалоб к отцу нарастал, но он не мог допустить, что его обманывают, да еще так нагло. Правда, комиссию в Рязань после Пленума все-таки послали.

В 1959 году снова получилась заминка с хлебом. На сей раз не только из-за капризов погоды, хотя в Поволжье и Приуралье дала себя знать засуха, но из-за нерасторопности местных властей, особенно на целине, где «на больших площадях землю прошлой осенью не вспахали под зябь. Пришлось пахать весной и тут же сеять, — я цитирую выступление отца. — Недопустимо затянулось строительство зерноскладов. Огромное количество зерна, буквально миллионы пудов, гибнут из-за плохого хранения».

Более того, целинники провалили зимний ремонт техники, оставили неотремонтированными восемнадцать тысяч (!) тракторов, «а сколько тракторов только числятся введенными в строй?! — возмущался отец. — Колхозы и совхозы растянули сев.

Когда следовало готовиться к уборке, в Казахстане еще только заканчивали сев. Хлеба не созрели, а те, что созрели, полностью не убрали. В колхозах и совхозах республики не участвовали в жатве из-за технической неисправности 30 тысяч комбайнов и 11 тысяч жаток. На 1 ноября в республике остались нескошенными миллион шестьсот восемнадцать тысяч гектаров. Урожай ушел под снег. Республика не только не выполнила принятых на себя повышенных обязательств, но и провалила государственный план закупок зерна».

Из-за всех неувязок в 1959 году валовой сбор зерна в стране не только не увеличился, но по сравнению с предыдущим, 1958 годом, упал с 134,7 до 119,5 миллионов тонн, государственные закупки уменьшились с 56,6 до 46,6 миллионов тонн. Неприятные последствия несколько смягчились одновременным сокращением продажи хлеба и хлебобулочных изделий. Заработал запрет на содержание скота в поселках городского типа и спрос на буханки там сразу упал. Так что, хотя госрезерв пополнить не удалось, но и сократился он ненамного, с 11,8 до 10,2 миллионов тонн. Не катастрофа, но и радоваться нечему.

Темиртау и «Броненосец Потемкин»

За нераспорядительность отец попенял на Пленуме республиканскому секретарю Николаю Ильичу Беляеву, досталось и главе правительства Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву, но этим ограничился. Однако тучи над головой Николая Беляева сгущались не только в связи с неурожаем на целине. В первых числах августа в казахском предгорном городишке Темиртау, на строительстве Карагандинского металлургического комбината произошла массовая драка, закончившаяся разграблением магазина и близлежащего колхозного рынка, разгромом отделения милиции и даже перестрелкой. Пришлось вызывать войска. В результате погибло 11 человек, ранили 141 человека, из них 109 человек военнослужащих. В пик волнений, 2–3 августа, на работы не вышло 25 тысяч человек.

Политической подоплеки волнения не имели. По мнению разбиравшейся в произошедшем комиссии Прокуратуры СССР, причиной всему послужили дезорганизованность и «преступно-пренебрежительное отношение властей к бытовым нуждам рабочих, необеспечение их жильем, доброкачественным питанием, плохой организацией труда, неудовлетворение самых насущных нужд строителей…»

Но именно с «преступно-пренебрежительного отношения властей» и начинались революции от Великой Французской и

далее по списку.

Генерал МВД Чистяков, проводивший независимую проверку, уточняет: «В мае-июле 1959 года на строительство прибыло большое количество молодежи, преимущественно в возрасте 17–20 лет. Руководство строительства к их приему оказалось не готово, расселило приехавших в палатках, многие из которых протекали, попросту оказались рваными… Фронт работ не подготовили, люди по две-три недели к работе не приступали, а если и работали, то по два-три часа в день. Заработная плата, соответственно, оказалась ниже прожиточного минимума… Питание организовано отвратительно, не хватало вилок, ножей, ложек, продукты испорчены, мясо стухло, рабочие обнаруживали в пище червей.

Начальство претензии выслушивать не желало».

В общем, «Броненосец Потемкин», да и только. Фильм о восстании на корабле в 1905 году, поводом к которому послужило червивое мясо, как назло накануне крутила кинопередвижка.[57]

К счастью, на сей раз обошлось без революции, строители «выпустили пар» и этим ограничились. Президиум ЦК трижды рассматривал «дело Темиртау», 25 сентября и 2 октября, в отсутствие отца, во время его зарубежных визитов, сначала в США, а потом в Китай, и еще раз с его участием — 17 октября. Кунаев жаловался Хрущеву и на Беляева, и на то, что члены Президиума ЦК не смогли во всем разобраться. За собой ответственности за происшедшее он не чувствовал. По-восточному хитрый Кунаев решил воспользоваться случаем, чтобы выдворить москвича из республики.

После дополнительного разбирательства сменили руководство, от комбината до совнархоза и Карагандинского обкома, но самого Беляева пока не тронули. Кунаев не успокоился, продолжил «копать» под Беляева, теперь уже не только в связи с Темиртау, но и по более широкому фронту, обвинил его в некомпетентности, грубости, ущемлении местных кадров, во всем том, что в сталинские времена редко не заканчивалось арестом.

В Казахстан послали комиссию во главе с Брежневым. Он встал на сторону Кунаева. Они сдружились, когда сам Брежнев стоял во главе Казахстанского ЦК. «От Беляева необходимо избавляться» — вот главная мысль доклада Брежнева на заседании Президиума ЦК 7 января 1960 года. Присутствовавший тут же Беляев не сопротивлялся, свои ошибки признал, согласился, что «видимо, не дорос до деятеля большого плана», каялся, «просил бы верить ему, что он старался».

— Товарищу Беляеву подсказывали, но он не прислушивался, — наступал Кунаев. — Товарищ Беляев по радио руководил. Проявлял трусость в работе.

«Местные товарищи», все казахи, Кунаева активно поддержали. Они не сомневались в том, что Беляев уходит и на смену ему придет Кунаев. Одни говорили о «тяжелом характере товарища Беляева, о его высокомерии», другие — что он «оторвался от масс», третьи о его «негодном стиле работы, текучке, отсутствии планов». Другими словами, говорили все то, что следует говорить, когда все всем ясно.

Только алма-атинский областной партийный секретарь М. Б. Бейсембаев проявил «самодеятельность»: присоединившись к общему мнению, что товарищ Беляев сухой человек, необщителен, не располагает к себе, не знает многих работников, не «обошел вниманием» и Кунаева, который, по его мнению, «много обещает, но не выполняет».

— Товарища Беляева переоценили, — подвел итог обсуждения отец. — Напрасно на него надеялись. Он оказался недостаточно подготовленным, грубым. Нужен человек погибче.

И тут отец начал перебирать возможные кандидатуры на его замену: Брежнева, Игнатова, первых секретарей Воронежского обкома Алексея Михайловича Школьникова и Оренбургского Геннадия Ивановича Воронова. Обоих их отец хорошо знал. Всплывала и фамилия Кунаева, но только в числе прочих.

Брежнев с Игнатовым от Казахстана открещивались как черт от ладана. Себя они не видели нигде, кроме Москвы. В России существует единственный путь наверх с периферии в столицу, и они его проделали. Перемещение в обратном направлении… Перед глазами стоял пример самого Беляева, два года назад он, член Президиума, секретарь ЦК, легкомысленно согласился пойти «на Казахстан» и теперь оказался ни с чем. Игнатов вообще расстроился донельзя, он метил в кресло Первого секретаря ЦК, а тут какая-то Алма-Ата. Исчерпав все аргументы, он даже сослался на слабое здоровье.

Отец не настаивал и, воспользовавшись моментом, Брежнев осторожно предложил поискать кандидатуру на месте. Так снова выплыла кандидатура Кунаева. По мнению Леонида Ильича, он республику знает и инициативен. Отец согласился.

19 января 1960 года Пленум ЦК Компартии Казахстана освободил товарища Беляева и избрал Первым секретарем ЦК Кунаева.

Горбачев отправит Кунаева на пенсию в 1986 году.

По всем меркам Беляев легко отделался. Раньше за подобные грехи… Теперь же не сталинские времена, к «кадрам» относились

«бережно».

«Бережно» обошлись не с одним Беляевым. На июньском 1959 года Пленуме отец впрямую обвинил руководителей Новосибирской области «в обмане государства при проведении закупок хлеба». И что же? Провинившихся «наградили» выговорами, кое-кого сняли с работы, но тут же назначили в другие области или республики, некоторых даже без понижения.

«Кадры» тем временем, перестав трепетать перед центральной властью, ведь не сталинские же времена, все меньше обращали на нее внимание. Страх ушел, «партийная сознательность» еще раньше растворилась в бюрократической «соляной кислоте». Для того чтобы система функционировала, следовало предложить что-то взамен.

По мнению отца, вместо сталинской дубинки должна прийти материальная заинтересованность, когда каждый, от колхозника на поле и рабочего у станка до самого высокого руководителя, твердо знает, зачем он работает и что за свою работу получит.

С отцом все привычно соглашались, но дело двигалось медленно, а заинтересованность оказывалась какой-то уродливой. У районных и областных начальников она выражалась в том, чтобы вовремя подхватить «почин» и отчитаться, скажем, о севе, а там хоть трава, то есть кукуруза, не расти. Отец пытался подойти к решению проблемы с разных сторон. Чтобы установить хоть какой-то порядок, договорились определять эффективность сельскохозяйственных предприятий по выходу продукции со ста гектаров пашни. И тут все согласились, и так же быстро приспособились. Нельзя сказать, чтобы эффективность производства не возрастала, она росла и даже весьма заметно, но энтропия росла быстрее. Регионы, один за другим, «заболевали» местничеством, стремились выскользнуть из узды центра, даже руководители помельче, вроде директора строительства в Темиртау, отбились от рук.

Все это сигналы приближающегося системного кризиса. Одолеть его можно, только так выстроив отношения производителя с центром, чтобы самому производителю стало выгодно наводить порядок, бороться с энтропией. Материальная заинтересованность, тут отец совершенно прав, позволяла увязать верха и низы в единое целое, заставить работать всех на себя и одновременно каждого на всех.

Отец отчетливо представлял, чего он хочет добиться, но пока не мог понять как. Он выслушивал советы имевших к нему доступ экономистов, пробовал то одно, то другое, и все без особой пользы. Он постепенно убеждался, что от этих доставшихся ему в наследство от Сталина экономистов толку не добиться. Но других

пока не было.

Национальная безопасность

25 декабря 1959 года Пленум принял решение по докладу Полянского. Многочисленные приглашенные, украсив грудь медалью «За трудовую доблесть», разъехались по домам, но участники Пленума задержались на один день. 26 декабря им предстояло обсудить еще один, секретный, вопрос: концепцию национальной безопасности страны, изложенную в записке Хрущева. Отец работал над ней весь этот год, а раздумывал — пять лет, с 1954 года. Теперь он свел воедино выработанные в результате общения с военными и учеными предложения по обеспечению безопасности страны без чрезмерного, опасного для той же национальной безопасности, перенапряжения экономики.

Отец считал, что к 1959 году ситуация в мире серьезно изменилась в нашу пользу. Страна испытала межконтинентальную ракету и в случае нападения США стала способна дать сдачи. Неважно, что королёвская «Семерка», наша первая межконтинентальная ракета, так и не стала боевой, но она подтвердила техническую возможность создания всеразрушающего сверхдальнего оружия. Его спроектируют, и весьма скоро, Янгель, Челомей, Надирадзе, Макееев.[58] Война для американцев могла обернуть совсем не безнаказанным предприятием.

В ракетный век отец считал «неразумным, имея атомные и водородные бомбы, ракеты, в то же время держать большую армию», тем более что «наступать на другие страны, завоевывать их мы не собираемся».

Он предложил пересмотреть структуру Вооруженных сил, сделать упор на стратегическую ракетно-ядерную группировку, а традиционные рода войск — пехоту, артиллерию, танки и даже авиацию существенно сократить. Таким образом, считал он, мы решим главную задачу — предотвратим нападение США на нас, а никакие другие, особенно неядерные страны, сунуться к нам не посмеют.

Его концепция заключалась в следующем: сохраняя в неприкосновенности сложившееся во время Второй мировой войны соотношение между родами войск, мы полагаемся на опыт прошлого, так же, как перед Великой Отечественной войной полагались на опыт Гражданской с ее кавалерийскими атаками и легендарными тачанками, оказавшимися бесполезными в век танков и бронетранспортеров. И теперь в случае ядерного столкновения все эти механизированные и немеханизированные

дивизии и корпуса — не более чем пушечное мясо, которое обходится стране неимоверно дорого.

Отец считал, что одновременно с пересмотром приоритетов в построении Вооруженных сил можно без ущерба для безопасности страны сократить численность личного состава еще на полтора миллиона. «Еще» — потому даже после сокращений 1955 и 1956 годов армия оставалась разбухшей, укомплектованной по требованиям пусть и не военного, но предвоенного времени.

Новое сокращение Вооруженных сил отец считал возможным «даже без соглашения о взаимности со стороны других государств», у нас своя голова на плечах.

Он объяснял, что, сокращая армию, уменьшая расходы на оборону, мы на самом деле не снижаем, а повышаем безопасность, ибо эти расходы истощают экономику страны. Уменьшив военные расходы, мы сможем вложить больше средств в производство товаров народного потребления, в строительство жилья, в сельское хозяйство, в улучшение жизни людей и тем самым докажем капиталистам «преимущества нашей системы».

В этом залог нашей победы в холодной войне, считал отец. Напомню, говоря о соревновании с Западом, с США, отец утверждал: «Та общественная система победит в мире, которая предоставит лучшую жизнь людям».

Военачальники придерживались иных взглядов, по их мнению, безопасность страны определялась не экономикой, а превосходством над вооруженными силами противника, превосходством в каждом роде войск отдельно и во всех вместе взятых. Так они считали в 1954 году, не изменилась их позиция и в 1959-м. Со своей, генеральско-адмиральской колокольни, они были правы, но не зря Козьма Прутков утверждал, что «специалист подобен флюсу». По большому счету, не их это дело беспокоиться, кто и как заплатит за всю эту прорву вооружения. Стоит пойти на поводу у генералов, повторял отец, и они страну без штанов оставят. От такой разоренной страны откажутся сами советские люди. Генералам и адмиралам с их оружием некого будет защищать. Нас победят без всякой войны.

В дополнение к сокращению численности традиционных Вооруженных сил отец предложил подумать о будущей структуре их ядра — сухопутных войсках. Ему представлялось, что в новых условиях наиболее рационален территориальный принцип формирования, когда в «полки и дивизии призовут служить граждан без отрыва от производства, москвичи в Московской дивизии, псковичи в Псковской и так далее». Отец и тут исходил из экономики, молодые люди в самом расцвете сил будут не

просто обучаться военному ремеслу, но и часть времени работать на производстве, то есть укреплять экономику страны.

Мысль сама по себе не новая, территориальный принцип лежал в основе построения Красной Армии после окончания Гражданской войны. Военнослужащие Национальной гвардии США, имеющей в своем составе даже стратегические бомбардировщики, в мирное время и работают, и служат, а в случае необходимости отправляются «куда родина прикажет», воюют наравне с регулярными войсками.

Но это в Америке, советские военачальники к территориальным войсковым формированиям относились с подозрением: они лишат армию маневренности. Что же, в случае надобности передислоцировать, скажем, Татарский корпус в Магадан придется запрашивать согласие секретаря обкома или председателя совнархоза? Ведь военнослужащие работают на его предприятиях. Отец считал все их сомнения разрешимыми, всякое новое дело уже своей новизной отталкивает людей, привыкших мыслить по отработанным шаблонам. Какой быть армии будущего, отец обсуждал с военными не месяц и не год. За прошедшие пять лет они обговорили множество вариантов, спорили, соглашались и снова спорили. Сейчас пришла пора принимать решение, определиться с этапами военной реформы. На немедленной реорганизации Вооруженных сил отец не настаивал, территориальная армия — дело будущего. Сначала надо создать стратегические ракетные войска, поднакопить ракет, на это уйдет лет семь-восемь, а тогда уже браться за реорганизацию сухопутных войск. За это время многое прояснится. О территориальной структуре они в принципе договорились, а вот против очередного сокращения личного состава генералы продолжали возражать. Особенно противился начальник Генерального штаба Василий Данилович Соколовский. Новое сокращение в его понимании ассоциировалось с разрушением оборонительного потенциала, чем-то граничащим с предательством. Он опирался на собственный опыт прошлой войны, когда путь к победе устилали ковром из трупов. К примеру, маршал Рокоссовский заплатил за освобождение Польши шестьюстами тысячами жизней, маршалы Жуков и Конев при взятии Берлина потеряли более миллиона.

В конце концов отец и его генералы все же достигли компромисса: вместо полуторамиллионного сокращения сошлись на миллионе двухстах.

К исходу ноября 1959 года отец, казалось бы, утряс с военными последние детали, убрал из текста записки последние шероховатости и 8 декабря, перепечатав набело, отправил ее на

рассмотрение в Президиум ЦК. Обсуждение назначили на 14 декабря. В связи с чрезвычайной важностью и специфичностью вопроса на заседание пригласили наиболее авторитетных военных: министра обороны маршала Малиновского, начальника Генштаба маршала Соколовского, командующего Вооруженными силами стран Варшавского договора маршала Конева, командующего сухопутными войсками маршала Гречко, командующего войсками Московского военного округа маршала Москаленко, главного ракетчика — маршала Неделина, ответственного за военно-промышленный комплекс заместителя председателя Совета Министров Устинова и министра иностранных дел Громыко.

Ни споров, ни разногласий на заседании не возникло.

— В Генеральном штабе все посчитали, армию можно сократить на миллион двести человек, — как полагается по субординации, первым от Вооруженных сил сказал свое слово министр обороны, сразу за себя и за председателя Генерального штаба.

— Можно сократить на миллион двести, — поддержал своего министра Конев. — Создание территориальной структуры армии тоже правильное предложение, ущерба обороноспособности не нанесет.

Малиновский нахмурился. Он вопрос о территориальных формированиях осторожно обошел стороной.

— Ракеты пошли в войска. Сухопутчиков можно сократить на 500–600 тысяч человек и одновременно провести реорганизацию, перейти на территориальное комплектование дивизии и армии, — подал свой голос Гречко.

— Пусть Генеральный штаб все скрупулезно подсчитает: и сокращение, и переход на территориальный принцип формирования, — осторожно высказался Москаленко и закончил на мажорной ноте: — Товарищ Хрущев вопрос ставит мужественно и ответственно и перед народом, и перед историей.

— Предложение товарища Хрущева не просто нужное, но и созревшее. Над нами довлеет 1941 год, — маршал Неделин не сомневался в целесообразности военной реформы. — Однозначно, надо решать.

— К 15 января мы предоставим сведения об устаревших вооружениях, — доложил Устинов, — сокращение численности не уменьшит, а усилит дееспособность войск.

— С точки зрения внешней политики, ваше предложение, Никита Сергеевич, имеет огромное значение, — подал свой голос Громыко.

На заседании затронули и вопрос о сроках военной службы.

Их уже сократили, но отец считал, что резервы остались, продолжительность службы: в пехоте — три года, на флоте и авиации — четыре, можно уменьшить, соответственно, до двух и трех лет. Экономике требовались рабочие руки, а миллионы этих рук и ног непроизводительно вышагивали на плацах, отсиживали годы в казармах. В период предварительного обсуждения он немало поспорил на эту тему с генералами, многие из них полагали и старые сроки службы необоснованно короткими, едва выучишь солдата или матроса обращаться со все усложняющейся техникой, как подходит демобилизация. О профессиональной армии тогда не задумывались не только у нас, но и в куда более богатой Америке.

На заседании Президиума ЦК отец ничего конкретно о сроках службы не сказал, осторожно предложил «подумать, может быть, стоит их подсократить». Из военных его открыто поддержал один Неделин, сказав, что, по его мнению, для призывника два года вполне достаточно, основную пехотную премудрость он освоить успеет, а сложную технику, особенно ракеты, должны обслуживать офицеры и сержанты-сверхсрочники. Срочников без специальной подготовки, которую дают только училища, к ней подпускать не следует, ни двухлеток, ни трехлеток, ни, даже четырехлеток. Решение по этому вопросу тогда так и не приняли, его примут позже, и именно такое, какое предлагал Хрущев.

Президиум ЦК постановил обсудить сокращение Вооруженных сил на Совете обороны с участием командующих родами войск, командующих военными округами, их начальниками штабов и членами военных советов.

Тогда же решили выделить ракетные войска стратегического назначения в отдельный род войск, наравне с военно-воздушными силами или военно-морским флотом. Командовать новым родом войск поставили маршала Неделина.

После принципиального решения Президиума ЦК все покатилось по наезженной бюрократической колее. 18 декабря 1959 года записку одобрил Совет обороны.

26 декабря Пленум ЦК постановил передать проект соответствующего закона на рассмотрение сессии Верховного Совета СССР. 15 января 1960 года депутаты приняли закон «О новом значительном сокращении Вооруженных сил СССР», с трех миллионов шестисот двадцати трех тысяч до двух миллионов четырехсот двадцати трех тысяч человек. Для мирного времени — сила немалая.

Увольнение предполагалось проводить в течение полутора-двух лет, так, чтобы, как писал отец в своей записке «благоустроить всех офицеров и военных чиновников (солдат

устроить легче), с тем, чтобы они оказались и обеспечены, и устроены».

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26 января 1960 года «О трудоустройстве и материально-бытовом обеспечении военнослужащих, увольняемых из Вооруженных сил в соответствии с Законом о новом значительном сокращении Вооруженных сил СССР» детально расписывало, что, где и как получат оказавшиеся «на гражданке» военные. Всем увольняемым из армии, независимо от звания, обеспечивался бесплатный проезд к месту будущей работы, плюс на обустройство выдавалось пособие в 300–600 рублей, а офицерам дополнительно выплачивали от одного до трех окладов. Местные советы обязывались обеспечить бывших офицеров жильем вне всякой очереди. Тем же, кто пожелает строиться сам, государство предоставляло безвозвратные ссуды. Министерству высшего образования предписали принимать уволенных из армии в университеты и институты без экзаменов, а тем, кто не захочет тратить еще пять лет на учебу, государство обещало бесплатную помощь при переквалификации в любую гражданскую профессию. В дополнение к конкретно оговоренным мерам, от органов местной власти требовали оказывать демобилизованным всяческое содействие. И они его оказывали. За неисполнение постановления с них строго спрашивали.

С сокращением численности и пересмотром структуры Вооруженных сил уменьшалась потребность в военной технике, а заводы оказывались недозагруженными. Полностью перепрофилировать их под выпуск мирной продукции отец посчитал нецелесообразным, мало ли что может случиться, страна не может себе позволить остаться безоружной. Пошли по уже проторенному пути увеличения в планах производства военных заводов доли товаров народного потребления. После решений, принятых в 1955 году, выпуск мирной продукция там достигал пятидесяти процентов. Теперь планку подняли еще выше.

Произошли и кадровые перестановки в Министерстве обороны. Маршалу Соколовскому предложили подать в отставку с поста начальника Генерального штаба, он один из немногих высших военачальников так и не принял военную реформу. Отец сожалел о потере Соколовского, но ничего не поделаешь, логика жизни неумолима. Невозможно проводить реформу руками человека не только ее не поддерживающего, но просто отвергающего. Предлог подыскали благопристойный: шестидесятитрехлетний маршал последние годы часто болел и в 1960 году его перевели в «райскую группу» генеральных

инспекторов. Вместо Соколовского в Генштаб назначили маршала Захарова Матвея Васильевича, до того главнокомандующего Группой советских войск в Германии, штабиста с опытом, в войну он возглавлял штабы армии, а затем Калининского, Степного, 2-го Украинского и Забайкальского фронтов.

Маршала Конева на посту командующего войсками стран Варшавского договора сменил маршал Гречко. До последнего времени я считал, что Конева перевели в «райскую группу», как и Соколовского, из-за разногласий с отцом по военной реформе. Прочитав в записях Малина о реальной позиции Конева, я понял, что ошибался. Конева в 1960 году «ушли» одновременно с Соколовским, но, видимо, совсем по другим причинам, скорее всего за неуживчивый характер.

На следующий год, когда вокруг Западного Берлина разгорелись нешуточные страсти и президент США Кеннеди демонстративно направил туда генерала Лусиуса Клея, американского командующего первых послевоенных лет, отец вспомнил о Коневе и в качестве адекватного ответа на акцию американского президента попросил его формально возглавить группу Советских войск в Германии. Формально, так как реальная власть принятия решений оставалась в руках маршала Ивана Игнатьевича Якубовского. Конев прослужил в должности «свадебного» главнокомандующего до 1962 года, а затем возвратился дослуживать в «райскую группу» генеральных инспекторов.

Военная реформа больно ударила по репутации Хрущева, и не только в Вооруженных силах. Сокращение расходов на оборону для большинства людей — понятие абстрактное, а расформирование дивизий, списание в металлолом столь радующих глаз на парадах и ученьях самолетов, танков, пушек и других военных игрушек очень конкретно, как и увольнение тысяч и тысяч офицеров. А сколько все это «удовольствие» стоит и кто за него платит, люди не задумываются. Военные популярны в любом обществе, а в российском особо, и то, что Хрущев их «обидел», оно восприняло как свою обиду.

1960 год

Все хорошо, но…

1960 год начался, как обычно: новогодний прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, интервью отца одному из иностранных агентств, затем посещение вместе с важным зарубежным гостем новогодней елки в Кремле.

Казалось бы, наступивший год — год затишья во внутренних делах, все, что требовалось, сделано: совнархозы заменили министерства, народное хозяйство развивается по восходящей, с ежегодным приростом около десяти процентов. Целина распахана, мы догоняем Америку по производству мяса, молока и масла, по всей стране строится жилье, в магазинах исчезли очереди, пока, правда, за самым необходимым. Жизнь налаживается. Чтобы она на самом деле наладилась, требуется время.

И тем не менее, в последнее время у отца нарастало беспокойство. Он поступал, как привык — колесил по стране, дотошно вникал в проблемы на местах, общался с секретарями обкомов и райкомов, директорами заводов и совхозов, с колхозными бригадирами и начальниками цехов, с простыми людьми, расспрашивал их о жизни, делился своим пониманием происходящего и планами на будущее, советовался, убеждал, уговаривал, спорил, порой ругал. Так он жил и работал и на Украине, и в Москве — и на все его хватало, все получалось. Теперь же случались сбои то в одном, то в другом месте. В прошлом году в Казахстане и Сибири из-за элементарной нерасторопности сгноили урожай. В Темиртау нераспорядительность властей оплатили человеческими жизнями. Что это, единичный просчет? Ошибка в подборе кадров? Уволили Беляева с товарищами, и все наладится? Или он проглядел нечто значительное? Отец не хотел пороть горячку, оглядывался, выжидал. Если в этом году все пройдет гладко, значит, волновался напрасно, если нет, придется задуматься всерьез.

В гостях у Неру и Де Голля

После весьма удачной поездки в США отец продолжил «наступление» на дипломатическом фронте, назначил дату, ранее несколько раз откладывавшейся поездки в Индию, Бирму,

Индонезию и Афганистан и принял ожидаемое и желанное приглашение Шарля де Голля посетить Францию с официальным визитом.

Накануне отъезда, 6 января 1960 года, отец принял индийского поэта, философа и киносценариста Ходжу Ахмада Аббаса и поэта Али Сардара Джафри. В Советском Союзе Аббас прославился своим чисто индийским по духу фильмом «Бродяга» и менее удачным полуроссийским «Хождением за три моря» об Афанасии Никитине. Говорили о мире и мирном сосуществовании, о капитализме и социализме, о власти денег и роли семьи. В этой связи отец упомянул повесть украинской писательницы Кобылянской о том, как за землю брат на брата пошел, и беседа перешла на литературу. Поговорили о Льве Толстом, Горьком, отец сказал, что ему по душе Чехов, а из современников он отдает предпочтение Шолохову.

Сардар поинтересовался, а кому из поэтов отдает предпочтение господин Хрущев.

— Лучше Некрасова никто не отразил дум крестьянина, — отозвался отец и добавил: — Пушкин — признан всеми. Из старых поэтов мне нравятся Кольцов с Никитиным, — отец продолжал перебирать знакомые имена. — Из современников — Твардовский. Маяковского слушаю с удовольствием, но читать его стихи не умею. Люблю украинскую лирику Владимира Сосюры, Максима Рыльского, Павла Тычины, Андрея Малышко. Всех сразу не упомнишь.

В заключение пофилософствовали о том, что же такое счастье, как оно понимается в Советском Союзе и Индии. Отец сказал, что у каждого человека оно свое и каждый народ сам решает, как ему жить. Впоследствии гости написали книгу о своей поездке по Советскому Союзу и о встрече с отцом.[59]

11 февраля 1960 года отец во главе многочисленной делегации на турбовинтовом лайнере Ил-18 отправился в Индию. С премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру у отца установились очень теплые, я бы сказал дружеские отношения. СССР помогал Индии отстраивать постколониальную экономику, в том числе сооружал в Бхилаи металлургический комбинат. Сейчас подошла пора сдачи его первой очереди. Отцу с Неру предстояло разлить первый ковш стали.

Помимо официальных лиц отец взял с собой в поездку Раду, обеих Юль, старшую и младшую, и меня. Я чувствовал себя на седьмом небе, сказочная Индия влекла меня даже больше Америки. Из холодной февральской Москвы мы прилетели воистину в рай. По одной из гипотез, библейский рай находился приблизительно на той же широте, что и Дели, но не в Индии, а

на территории современного Ирана.

Ограничусь сугубо личными впечатлениями. По выходе из самолета на шеи нам надели венки, сплетенные из резко пахнущих и пачкающих костюмы липким соком и желтой пыльцой цветов. Мне Индия запомнилась не металлургическим комбинатом, а экзотическими пальмами, заклинателями змей и всякой прочей экзотикой. По улицам бродили коровы, на обочинах попрошайничали мартышки и нищие. В раю нищие не предполагались, но кто обратит внимание на такие детали?

Поразила меня и экзотика Британо-Индийского протокола. В Дели нас разместили в самом престижном Президентском дворце, бывшей резиденции английского вице-короля. Вокруг благоухал неведомыми «райскими» цветами обширный парк в английском стиле, с перепархивающими с пальмы на пальму «райскими» птицами.

Мне отвели огромную спальню с кроватью под деревянным резным балдахином, занавешенной противомоскитной сеткой. С потолка свисал огромный вентилятор. Спал я крепко, а ни свет ни заря, часов в шесть утра, меня разбудил стук в дверь. Я что-то невнятное прокричал в ответ. Дверь отворилась, и в комнату восшествовал двухметровый смуглокожий служитель в ливрее, расшитой золотыми позументами и с огромным подносом в руках. Ни слова не говоря, он припечатал меня к кровати столиком на низеньких ножках и установил на него поднос с незнакомой едой: парой бананов, тоже экзотика по московским меркам того времени, тостами с вареньем и огромной чашкой очень горячего кофе. Затем он раздвинул занавески на окнах и осведомился, по-английски конечно, нет ли у гостя каких-либо пожеланий. В тот момент больше всего мне хотелось в туалет. Но как построить столь сложную фразу, я не знал, да и постеснялся обсуждать столь интимную тему. Словами и жестами я обозначил отсутствие каких-либо просьб, и служитель величественно удалился, бесшумно прикрыв за собой дверь, а я остался один на один с завтраком. Из-под столика выбраться мне не удалось, снимать его с себя я не решился, не знал, куда его девать, да и стеснялся, вдруг тот великан в ливрее вновь появится на пороге… Но раз уж тут так полагается, решил завтракать. Банан, оказался зеленым и невкусным, а огненно-горячий кофе обжигал рот и никак не глотался. Мне же безумно хотелось в туалет и почему-то казалось, что как только я разделаюсь с кофе, дорога в ванную комнату откроется. Попутно в голову лезли мысли о том, что нормальные люди сначала умываются, не говоря уже обо всем остальном, а уже потом садятся за стол, а здесь… Наконец я кое-как проглотил кофе, а столик по-прежнему прижимал меня к

кровати и выбраться из-под него я не решался. Вдруг появится раззолоченный служитель, а я предстану перед ним в синих семейных трусах! Я решил еще немного потерпеть, но желание росло и становилось нестерпимым. Наконец, когда мне уже стало почти все равно, снова раздался легкий стук в дверь, вновь появился служитель, неторопливо снял с меня столик и вновь осведомился о моих пожеланиях. Мне же хотелось одного, чтобы он немедленно исчез. Я замычал, замотал головой, демонстрируя полное отсутствие каких-либо пожеланий. Наконец он закрыл за собой дверь, я спрыгнул с кровати — и через минуту наступило блаженство.

Мы провели во дворце еще две ночи, а значит, и два утра. Теперь я спал плохо. Мне очень хотелось успеть до завтрака в постели умыться и все прочее, но когда явится человек в ливрее, я себе не представлял. Но… утром раздавался стук в дверь, и все повторялось по уже знакомому кошмарному сценарию.

С тех пор прошло много лет. Из кино и книг я узнал, что подаваемый в постель завтрак — признак комфорта. Джентльмены в такой ситуации наверняка получают удовольствие. Но я, видимо, не джентльмен.

Еще запомнился устроенный индийским правительством официальный обед. Гостей рассадили, как полагается, в разбивку с индусами. Напротив меня оказался посол Индии в Москве Кришна Менон,[60] у него по левую руку — моя сестра Рада, а по правую — госпожа Таирова, Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджана.

Все шло на таких приемах, как заведено, вкусное блюдо сменялось еще более вкусным. Только наперчили их не по-нашему, да и тарелки казались не очень промытыми. Гости и хозяева усердно работали вилками, один Менон сидел неподвижно.

В перерыве между очередными блюдами Рада спросила у посла по-английски, почему он не притрагивается к еде?

— Госпожа Таирова съела все мои овощи, — обреченно ответил Менон.

Он оказался вегетарианцем и перед ним, вернее между ним и Таировой, ставили специальную тарелку с зеленью. Таирова, посчитав, что это гарнир к мясу, тут же пододвигала «салат» к себе и быстро с ним расправлялась. Так остался бы посол Менон без обеда, если бы Рада не разъяснила Таировой что к чему.

Застольная экзотика на этом не закончилась. После парадного обеда к моей сестре подошел Алеша, молодой человек, следивший за вещами и питанием отца, и, сделав огромные глаза, стал убеждать ее больше ничего тут не есть.

— Я зашел на кухню, — говорил Алеша, — вы бы видели, как они готовят! А в чем они моют тарелки! Лично я перехожу на консервы.

Алеша действительно все оставшееся время питался исключительно прихваченной из Москвы тушенкой. Алеша настойчиво уговаривал и отца не рисковать, поберечь здоровье, предлагал проследить, чтобы Никите Сергеевичу подавали блюда, приготовленные только из «проверенных» продуктов. Отец, в ответ посмеиваясь, отвечал, он себе такого позволить не может.

— Профессия главы государства сопряжена с риском, — шутил отец, — есть приходится, что дают, иначе хозяева обидятся. Да и подстрелить могут. Тут уж ничего не поделаешь, и лучше обо всех этих глупостях не думать, положиться на судьбу.

Позже, в Индонезии, президент Сукарно, заметив, что отец с опаской пережевывает переперченную, обжигающую рот курятину, посоветовал не пренебрегать местной кухней.

— Перец убивает микробов, дезинфицирует, — пояснил Сукарно. — Во время войны японцы кормили пленных американцев на выбор: местной пищей или более им привычной, европейской. Те, кто выбрал местную провизию, почти все остались живы, остальные умерли от кишечных болезней.

Отец засмеялся и сказал, что ко всему привычен. Индонезийские блюда он ел с удовольствием. Мне тоже цыплята в перечном соусе показались исключительно вкусными. Президент Сукарно оказался прав: у всех, кто не пренебрегал местными блюдами, живот не болел.

Конечно, отец обсуждал с Сукарно не только кухню. Президент Индонезии, наряду с Неру, возглавлял Движение неприсоединения, третий мир, как говорят теперь, и хорошие отношения с ним сулили нашей стране большие политические дивиденды. Скажу одно: отец своего добился — и Индия, и Индонезия, и Афганистан стали нашими добрыми друзьями.

И еще один штрих. На первый взгляд кажется, что государственные деятели при встречах обмениваются глубокомысленными заявлениями да зачитывают по бумажке политические декларации. Это верно, но только если глава государства немощен и не владеет материалом. Таких «переговорщиков» любят помощники и речеписцы, тут они сами пытаются творить политику, а глава лишь озвучивает их заготовки. Просто театр марионеток какой-то!

Для самостоятельного, досконально разбирающегося в проблеме политика переговоры — словесный турнир со всеми неожиданностями, выпадами и контрвыпадами. А потому и разговор строится с подходцем. Собеседники поначалу могут

говорить о погоде, об архитектуре и искусстве, о спорте — на любую тему, позволяющую установить контакт. А главную тему вроде и не обозначают, но в подходящий момент ее коснутся, как бы невзначай, — и снова возврат к ничего не значащему разговору.

На моей памяти немало таких политиков. И отец, и Джон Кеннеди, и британские премьер-министры Энтони Иден и Гарольд Макмиллан, и Шарль де Голль, и Джавахарлал Неру, и Сукарно сами творили свою политику, сами задавали тон, самостоятельно вели тему, быстро ориентировались в меняющейся обстановке. Правительственная бюрократия таких руководителей не жалует, их называют волюнтаристами, ворчат, что в переговорах все напутано, нарушен заранее подготовленный сценарий и даже, если удается добиться большего, чем ожидалось, то все равно «не так, как следовало».

К переговорщикам «по бумажке» можно отнести не только немощных Леонида Брежнева и Бориса Ельцина, но вполне крепких Дуайта Эйзенхауэра и Владимира Путина. Тут дело не в форме, а в содержании.

При «живом» общении исключительно важна точность перевода. Одно дело от сих до сих прочитать заранее выверенный перевод домашней заготовки и совсем другое — не упустить в разговоре постоянно ускользающие, но очень важные нюансы, быстро подобрать в чужом языке точное соответствие неожиданно произнесенной фразы. Любая ошибка, даже просто заминка, может сорвать всю игру. Такие переводчики-дипломаты, как Олег Трояновский или Виктор Суходрев, ценятся на вес золота. Им всегда удавалось дать точный по смыслу перевод красочного, сдобренного идиомами языка отца. Приведу позаимствованную у Виктора Суходрева рассуждение о коллизиях, связанных с переводом живой речи.

Во время визита в США отец, естественно, расхваливал преимущества советского строя, но, не желая обидеть хозяев, в одном из выступлений добавил «пусть время нас рассудит, и не будем обижаться, всяк кулик свое болото хвалит».

Суходрев растерялся. «Я, конечно, знал, что существует такая птица, но никогда ее не видел и, как она называется по-английски, не знал, — вспоминает Виктор Михайлович, — но надо выходить из положения, и я перевел: “Всякая утка свое озеро хвалит”. Присутствовавший там переводчик американской телекомпании знал, что такое кулик и перевел правильно. Зрители услышали с экрана сразу два перевода. В утренней газете появилась третья версия: «Каждая змея свою трясину хвалит».

Кулик, утка или змея в данном контексте нет разницы, а если

бы речь шла не о болоте? Казалось бы, незаметная смена акцентов меняет весь смысл. Тут уместно припомнить и кузькину мать. Отец любил ее поминать, когда к месту, а порой из «хулиганства», чтобы посмотреть, как справляется переводчик. Иностранцы переводили в лоб: «Мать Кузьмы», наши — в соответствии со словарем, как грубую угрозу. Суходрев, исходя из общения с отцом, сделал вывод, что у него «показать кузькину мать» — означает продемонстрировать лихость, силу. Он поделился своей догадкой с Хрущевым.

— Очень просто, — согласился с ним отец, — это значит показать то, что они еще никогда не видели.

А вот какой курьезный случай произошел в Индонезии. Переводчиков с индонезийского у нас тогда было раз-два и обчелся, не говоря уже о профессиональных дипломатах-переводчиках. Отцу подыскали лучшего, в совершенстве владевшего языком симпатичного молодого человека, но не обкатанного на двусторонних переговорах один на один. Скажу сразу, что справился он со своей миссией успешно, но не без накладок.

Президент Сукарно в знак особого уважения сопровождал отца в течение всей десятидневной поездки по стране. Переговоры и разговоры они вели постоянно: в самолете, в машине, на прогулках, перескакивали с темы на тему, с буддистских ритуалов на проблемы мировой политики, с техники народных рисовальщиков на ядерное сдерживание. В самом начале поездки Сукарно с отцом как-то утром сидели на террасе загородной президентской резиденции в Богоре на острове Ява. Президент расспрашивал о московской зиме, морозах, снеге и иной экзотике.

Переводчик по неопытности постеснялся беспокоить Хрущева такими мелочами и начал отвечать сам. Сукарно спрашивал еще и еще, переводчик вновь «не беспокоил» отца. Между Сукарно и переводчиком завязался оживленный светский разговор. Отец сидел рядом, недоуменно вслушиваясь в звуки незнакомой речи. Так продолжалось несколько минут. Наконец он не выдержал и в паузе язвительно спросил переводчика: «Кто, собственно, здесь ведет переговоры? Вы или я?»

— Но, Никита Сергеевич, он же о погоде… — пролепетал переводчик.

— О погоде, не о погоде, ваше дело переводить дословно, — выговорил ему отец.

Разговор вошел в нормальное русло. Больше подобных казусов не возникало.

Завершилось азиатское турне трехдневным, со 2 по 5 марта,

посещением Кабула. После буйства зелени тропиков Афганистан показался мне серым, погода промозглой. Там только начиналась весна, на деревьях едва набухли почки. Отец осмотрел построенные с нашей помощью и за наш счет хлебозавод, госпиталь, домостроительный комбинат; долго беседовал с королем Мухаммедом Захир Шахом и его дядей — премьер-министром Сардар Мухаммедом Даур-Ханом.[61]

Я скучал. Запомнился только разговор на одном из приемов в королевском дворце. Речь зашла о патриотизме, и один из высокопоставленных афганцев похвастался, что по инициативе короля, чтобы поддержать экономику, чиновники поголовно отказываются от жалованья.

— На что же они живут? — удивленно воскликнул один из наших.

— На взятки, естественно, — благодушно пояснил афганец, — на жизнь с лихвой хватает, а еще и государство обирать — непатриотично.

Вот такой патриотизм.

5 марта отец вернулся в Москву, а через десять дней ему предстояла очень ответственная поездка во Францию. Меня тоже включили в делегацию. Однако не все получается, как задумано. Вернувшись из тропиков в промозгло-морозную Москву, отец подхватил простуду. Намеченный на 15 марта вылет в Париж пришлось отложить. Мировая пресса, французские политики забеспокоились, что у отца за болезнь? «Дипломатическая» или просто грипп? Оказалось, просто грипп. 23 марта выздоровевший отец прибыл в аэропорт Орли.

Случайно я узнал, что в Париже проживает знаменитый на всю Францию коллекционер бабочек и вообще насекомых Ле Мульт. С первого дня я только и думал, как мне взглянуть на его сокровища. Закрытых зон в Париже не существовало, но график визита оказался плотным, по нескольку мероприятий на день. Естественно, отцу отводилась главная роль, я же, стоя в задних рядах свиты, раз за разом выслушивал похожие друг на друга речи — в ратуше, в Доме инвалидов, в мемориальной квартире, где когда-то жил Ленин, на могиле неизвестного солдата… Наконец мне удалось улизнуть.

Ле Мульт жил в многоэтажном доме, почти под крышей, квартира его, как и у всякого коллекционера, оказалась заставленной, заваленной ящиками и коробками с бабочками, жуками, клопами и другими насекомыми. Седой благообразный хозяин принял меня радушно, показал множество тропических диковин. Он их начал собирать совсем молодым в Южной Америке, где во Французской Гвиане служил надзирателем в

тюрьме. По возвращении во Францию Ле Мульт открыл дело, агенты снабжали его редкими экземплярами со всего мира. В числе его покупателей — самые знаменитые европейские коллекционеры. Годовой оборот достигал миллиона единиц насекомых, во франках сумма исчислялась десятками миллионов. Я надеялся, что он, как мистер Глантц из Бруклина, подарит мне что-нибудь интересное. Но не дождался. Хозяин ограничился стеклянным прессом для бумаг со встроенной в него небольшой зеленой бабочкой уранией с Мадагаскара и своей книгой. Тоже немало. Ле Мульт поинтересовался, не захотят ли издать его книгу в Москве. Я обещал узнать.

Мое отсутствие на официальном мероприятии заметили, и какой-то журналист в отчете написал, что отсутствие сына Хрущева в рядах «сопровождающих лиц» объясняется политическими расхождениями с отцом. На следующее утро отец мне выговорил, сказал, что раз уж он взял меня с собой, то вести себя следует соответственно протоколу, стоять, где поставили, а не бегать по Парижу за «бабочками». Накануне я ему рассказал о своем визите к Ле Мульту. Больше я из рядов делегации не дезертировал, «стоял, где поставили».

О книге Ле Мульта вспомнил только в Москве, наткнулся на нее, разбирая французские сувениры. Сам я тогда книг не писал, и процесс их издания представлял туманно. Но раз обещал, то… Помощник отца Владимир Лебедев, занимавшийся культурой, в ответ на мой вопрос, как связаться с каким-либо издательством, пообещал посодействовать. Забрал книгу и, как выяснилось потом, отдал ее в «Детгиз». Полученная от помощника Хрущева книга уже сама по себе событие, требующее внимания, а тут еще на заглавном листе дарственная надпись адресованная «Монсеньору Хрущеву», без имени. В издательстве, естественно, посчитали, что это подарок отцу, о моем существовании они и не подозревали.

Спустя пару лет работавшая в издательстве жена сына Микояна Эля рассказала мне, какой там поднялся переполох из-за этой книги. Создали специальную бригаду переводчиков, выделили лучшую бумагу и самые современные печатные машины. Через полгода на полках книжных магазинов появилась необычайно красивая, в обложке светло-зеленых тонов «Моя охота за бабочками» Эжена Ле Мульта. Я, естественно, отправил ему экземпляр. В своем ответе он справился о гонораре. Я понятия не имел, что советские издательства иностранцам ничего не платят, и пообещал разузнать. У кого? Естественно, у того же Лебедева. Владимир Семенович поморщился и сказал, что попытается. Не знаю, попытался он или нет, но Ле Мульту ничего

не заплатили. Он писал мне письмо за письмом, я, чувствуя себя обязанным, теребил Лебедева. Он обещал, и все начиналось сначала.

Лебедев Ле Мульту так и не помог. Знающие люди потом разъяснили мне, что выплатив гонорар одному автору, мы создали бы прецедент, и тогда пришлось бы платить всем. А платить мы не хотели и в международном соглашении по охране авторских прав не состояли. Издавали, кого хотели, как хотели и совершенно бесплатно.

Ле Мульт писал мне до самой отставки отца. Я ему что-то отвечал, изворачивался. После 1964 года наша переписка заглохла.

Визитом отец остался доволен. Вернулись он в Москву, когда уже совсем потеплело, 3 апреля.

Нефтепровод «Дружба»

9 января 1960 года газеты сообщили о подписании международного соглашения о строительстве нефтепровода. Назвали его «Дружбой». Границу с Чехословакией ему предстояло пересечь где-то в Карпатах. Отпадала необходимость возить нефть в восточноевропейские страны по железной дороге в цистернах. По нынешним временам — ничего примечательного, но «Дружба» — первый советский трубопровод такой протяженности. Не единожды модернизированный, он поставляет нефть и по сей день.

И до «Дружбы» в СССР строили нефтепроводы, но коротенькие, местного значения. Трубы для них, диаметром сантиметров сорок-пятьдесят, делали на Украине. Однажды отец взял меня с собой на завод, где сваривали трубы, кажется, для газопровода Дашава — Киев. Стальной лист по спирали свивался в бесконечную трубочку, по шву ползла шустренькая сварочная машинка, изобретение академика Патона. Собственно, ради этой машинки отец и поехал на завод. Тогда увиденное казалось сказкой. Спустя десятилетие та технология годилась разве что для музея.

Многотысячекилометровый нефтепровод требовал трубы почти полутораметрового диаметра. В узкой трубе сопротивление жидкости возрастает, насосные станции приходится ставить слишком часто, получается — неэкономично. Производить такие трубы пока у нас не получалось. Я уже не помню почему, кажется, требовался особо прочный стальной лист большой ширины. Чтобы его прокатать, нужен был другой, более совершенный прокатный стан, новые сорта стали. Как всего этого добиться,

инженеры имели представление, но от замысла до работающей машины — дистанция огромная. К выпуску труб диаметра 1 400 миллиметров они могли приступить лет через десять, если очень подналечь — через пять, а трубы требовались сегодня.

Специалисты доложили отцу, что в Европе такие трубы делают только западные немцы. За трубы им пришлось бы платить золотом, но даже золото не решало проблемы. Требовалось уговорить немцев пойти против воли американцев, нарушить установленную ими промышленно-экономическую блокаду нашей страны. Уговорили. С трудом, но уговорили. Поставка труб началась, но велась через пень-колоду. Правительство США давило на правительство ФРГ. Правительство ФРГ давило на компании, заключившие неугодный американцам контракт. Время от времени, в период очередных международных обострений, на поставки труб налагался прямой запрет. Снова велись изнурительные переговоры, находили очередной компромисс, поставки возобновлялись, а с ними и прокладка нефтепровода. И так до очередного политического катаклизма.

Нефтепровод, тем не менее, построили, а затем на Украине, на Харцызском заводе, научились делать трубы диаметром 1 400 миллиметров.

День за днем

13 января 1960 года ликвидировали Министерство внутренних дел. Очередной, по мнению отца, шаг к переходу контроля над обществом к самому обществу. МВД — всесоюзный держатель лагерей и куратор «великих строек» свое отжил. На смену ему должны прийти структуры поддержания порядка и борьбы с криминалитетом. Новое ведомство, Министерство охраны общественного порядка, низводилось на республиканско-муниципальный уровень, из лагерного надзирателя-строителя превращалось в участкового, а возможно, и дружинника. Исправительные лагеря и стройки из-под его контроля изымались. Расследованием особо опасных, «общесоюзных», преступлений теперь предписывалось заниматься Генеральной прокуратуре СССР.

Бывшего союзного министра Дудорова отправили заниматься организацией Всемирной выставки в Москве, его сменил «комсомолец» Вадим Тикунов, выдвиженец Шелепина. До того он «прослужил» пару лет первым

заместителем Шелепина в КГБ и в милицию идти не хотел. Но Александр Николаевич настоял, он боялся, что на охрану общественного порядка отец может поставить генерала Серова. Шелепин же предпочитал видеть там своего человека. Он убедил отца, что Тикунов сможет демократизировать переданное в его руки ведомство. Перемены в милиции начались до Тикунова, еще в 1956 году Дудоров подписал приказ о поэтапном свертывании агентурной работы, отказе от услуг доносчиков. Одновременно сокращал свою сеть секретных сотрудников — «сексотов» и КГБ. При Тикунове сделали упор на дружинников, а профессиональную милицию опять сократили.

Как только избавились от отца, Тикунов тут же, в 1965 году, предложил увеличить свои штаты на двадцать тысяч человек. Он добился для них права бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте, ввел в практику использование резиновых дубинок и наручников, при нем начали использовать слезоточивый газ.

В том же 1960 году вышло послабление иностранным туристам. Им разрешили передвигаться по стране не только группами, но и в одиночку и без какого-либо официального сопровождения.

Звучит сегодня дико, а тогда такая вольность в отношении неизменно подозрительных иностранцев казалась из ряда вон выходящей. Последние три десятилетия их всех считали шпионами. А теперь ходи куда хочешь, фотографируй кого хочешь, встречайся с кем пожелаешь. Абсолютно бесконтрольно, но в рамках дозволенного, конечно.

15 января 1960 года отцу вручили почетно-памятную медаль Всемирного совета мира.

21 января 1960 года в правительстве обсуждался вопрос об автоматизации оросительных каналов, в первую очередь строящегося северо-крымского и уже построенного южно-украинского. Первый подавал воду страдающим от засухи крымским виноградникам, ставшим к тому времени стержнем сельского хозяйства полуострова. Южноукраинский канал, прорезая и орошая украинские черноземы, доставлял воду в почти обезвоженный Донбасс.

Драгоценную воду выливали на поля по старинке, на глазок, считали: чем больше, тем лучше и от незнания

часто давали чрезмерный полив. В результате получалось не лучше, а хуже. «Лишняя» вода уходила в глубины земли, растворяла залегающие там соли, со временем грунтовые воды выносили соль на поверхность, происходило засоление почв, и поля превращались в безжизненные солончаки. Теперь полив начинали регулировать автоматы-дозиметры.

29 января отец в Большом театре на торжественном заседании в честь 100-летия Антона Павловича Чехова.

8 февраля принимает своего американского приятеля Генри Кэбота Лоджа. Осенью 1959 года, в США, он, будучи в то время представителем США в ООН, сопровождал отца во время его визита. Теперь Лодж, потенциальный кандидат в вице-президенты при потенциальном Президенте США Никсоне, приехал к отцу прощупать позицию СССР в преддверии будущих выборов. Они поговорили, вспомнили прошлое, но поддержки отец не обещал. Обещал подумать.

На следующий день, 9 февраля, на Красной площади участвует в похоронах выдающегося ученого академика Игоря Васильевича Курчатова.

19 февраля 1960 года вышло Постановление Совета Министров СССР о дальнейшем развитии торгового флота. После войны у нас транспортных кораблей практически не осталось. Основу торгового флота составляли несколько десятков сухогрузов типа «Либерти», переданных по лендлизу американцами, да дюжина танкеров водоизмещением, едва переваливающим за тысячу тонн, и еще кое-что по мелочи. Американцы потребовали свои «Либерти» вернуть, они их не дарили, а лишь давали взаймы. Сталин суда возвращать отказался, призывы американцев к торговой порядочности его не волновали. Отец же занялся наведением мостов с Западом, говорил о мирном сосуществовании и скрепя сердце решил суда законным хозяевам вернуть. Вернули. Отец вспоминал, как американцы отбуксировали «Либерти» за пределы советских территориальных вод и демонстративно их затопили.

Еще в 1955 году отец настоял на сворачивании обременительной для бюджета военно-морской программы, и судоверфи начали постепенно перепрофилировать под торговые суда. К 1960 году появились первые «десятитысячники», танкеры и

сухогрузы, они тогда казались огромными. Запроектировали корабли водоизмещением в двадцать тысяч тонн, гиганты, выходившие за пределы нашего воображения. Советский торговый флот постепенно осваивал мировой океан.

Святослав Рихтер

В конце февраля 1960 года великий советский пианист Святослав Теофилович Рихтер отправился в гастрольную поездку по Финляндии. Этому событию предшествовала многолетняя, сопровождавшаяся драматическими поворотами борьба.

Я употребил это слово, хотя скорее подошло бы «возня». Дело в том, что «органы» зачислили Рихтера в невыездные, сочли, что стоит ему пересечь границу и назад он уже не вернется. Понять их можно, у Святослава Теофиловича имелись к тому все основания. Рихтеры из обрусевших немцев, приехавших в Россию в незапамятные времена, скорее всего еще при Екатерине II. Чем занимались родители пианиста, я не знаю, но отца музыканта арестовали в 1937 году и осенью 1941 года расстреляли. Мать Святослава Теофиловича, русская, во время войны оказалась в оккупированной Одессе. Когда наши войска освобождали Одессу, она, опасаясь преследования со стороны органов, ушла с немцами и осталась в Западной Германии.

Сам Рихтер с момента ареста отца все отношения с родителями прекратил, но это ему не очень помогло. Он концертировал в Советском Союзе, в 1950 году даже удостоился Сталинской премии, выезжал в Чехословакию, Польшу, Болгарию, Румынию, но далее на Запад путь ему был заказан. В 1956 году министр культуры Михайлов предложил послать Рихтера в ГДР на торжества, посвященные 100-летию Роберта Шумана. Его поддержал Отдел культуры ЦК, Брежнев, тогда секретарь ЦК, наложил резолюцию «Согласен», но… после возвращения документов Рихтера из КГБ и звонка Серова «вопрос с обсуждения сняли». В органах опасались, что в ГДР за Рихтером не уследить, проход из Восточного в Западный Берлин открыт. В общем, в поездке Рихтеру отказали.

В 1958 году все тот же Михайлов делает еще один заход, просит разрешить Рихтеру гастроли сначала в США, потом в Англии, затем в Италии, Франции, Западной Германии. Но все снова уперлось в генерала Серова. В конце 1958 года Серова в КГБ сменил Шелепин, и Михайлов делает очередную попытку, пишет в ЦК слезное письмо, объясняет, что «Святослав Рихтер является одним из выдающихся советских музыкантов-исполнителей… что

из-за ограничения (восточноевропейскими странами. — *С. Х.*) его выездов за рубеж он в последнее время находится в подавленном моральном состоянии. Являясь свидетелем широкой зарубежной деятельности своих коллег, в том числе и менее известных музыкантов, С. Рихтер чувствует себя человеком, которому отказано в доверии… С. Рихтер, будучи в тяжелом состоянии, иногда без особых на то причин отменяет запланированные концерты. В то же время, выезжая в страны народной демократии, С. Рихтер всегда держится с достоинством и проявляет себя как скромный советский человек…» и далее в том же духе на нескольких листах.

В заключение Михайлов отмечает, что за Рихтера ходатайствует не только он, но и коллеги-музыканты: пианист Э. Гилельс, виолончелист и дирижер М. Ростропович, скрипач Л. Коган, дирижер К. Кондрашин, пианист Е. Малинин.

Он умоляет «направить С. Рихтера в одну из капиталистических стран — США или Англию». Его, как и раньше, поддерживает Отдел культуры ЦК, Фурцева. Фурцева, курирующая в Секретариате ЦК культуру, постановляет «согласиться» и переправляет документы на заключение в КГБ «лично Шелепину». На сопроводительной записке сохранились пометы: «Тов. Шелепину доложено. Начальник секретариата КГБ» и дальше: «В архив».

Отчаявшись, Рихтер пишет письмо Хрущеву, просит выпустить его хоть на неделю уже не в США, а в соседнюю Финляндию, откуда недавно пришло очередное приглашение. Рихтер умоляет поверить ему, он обязательно вернется. Отец выносит вопрос на заседание Президиума ЦК, объясняет сущность сомнений Шелепина, считает их обоснованными, но недостаточными. По его мнению, доверие к человеку важнее, он ручается за Рихтера. И Святослава Теофиловича, под поручительство самого Хрущева, наконец-то в мае 1960 года выпускают в Финляндию.

В октябре он с оглушительным успехом выступает в Карнеги Холл в Нью-Йорке, в Америке, затем следуют — Англия, Франция, Италия, скандинавские страны и далее гастроли по всему миру, поездки в Западную Германию к матери, награды, премии и многое, многое другое.

День за днем

8 марта отец принимает в Кремле еще одного своего американского «друга», мэра города Сан-Франциско

Джорджа Кристофера. Об истории их знакомства я рассказал в «Рождении сверхдержавы».

4 апреля 1960 года состоялся Съезд композиторов России, учредивший свой республиканский Союз. В обширной справке Отдела культуры ЦК дотошно разложены по полочкам все «достижения и недостатки» российской музыкальной жизни, особо отмечается «Одиннадцатая симфония» Шостаковича, за которую автор получил Ленинскую премию 1959 года и «Патетическая оратория» Георгия Свиридова. Записка информирует высокое начальство о появлении талантливой молодежи, в том числе «Родиона Щедрина, Андрея Петрова, Андрея Эшпая, Александры Пахмутовой, Бориса Чайковского, Эдисона Денисова», отмечает, что «в оратории “Нагасаки” аспиранта Московской консерватории Альфреда Шнитке натуралистически изображается хаос атомного взрыва».

Выступая 6 апреля на приеме в Кремле, отец поздравил композиторов РСФСР с «обретением автономии».

Журнал «Октябрь» в апрельском номере публикует повесть Эммануила Казакевича «Синяя тетрадь». Публикация стала возможной только после обращения автора к отцу. Дело в том, что Казакевич взялся за «скользкую» тему совместного пребывания в Разливе, после неудавшейся июльской попытки взять власть в Петрограде, вождей революции Ленина и Зиновьева. В повести Ленин обращается к Зиновьеву «товарищ». Цензура потребовала не только снять обращение «товарищ», но и вообще исключить из текста Зиновьева. Казакевич воспротивился, разгорелся скандал. Когда дело дошло до отца, он попросил от Отдела культуры ЦК объяснений. Приведу некоторые из них: «Автор подходит к оценке Зиновьева не с классовых позиций, а с общечеловеческих, подчеркивая его образованность, якобы субъективную честность и преданность революции» и дальше все в том же духе. «Отдел культуры считает нецелесообразным публикацию повести, в которой на первом плане, наряду с великим Лениным, изображается, как близкий к нему человек, Зиновьев, и не раскрывается последующая роль Зиновьева как идейного врага большевизма, ренегата революции, защитника реставрации капитализма».

И это пишется через четыре года после XX съезда

людьми, прекрасно осведомленными о работе комиссии Шверника, не оставлявшей сомнений в том, что все обвинения, представленные на «открытых» процессах, высосаны из пальца.

Суслов встал на сторону отдела, отец — нет. Он вынес вопрос на заседание Президиума ЦК. В своем выступлении отец возмущался: «Как же прикажете Ленину называть Зиновьева, если не товарищ? “Будущий враг народа”?» Суслов промолчал, не стал связываться с Хрущевым, и повесть пошла в набор.

12 — 13 апреля 1960 года отец, находясь в отпуске на государственной даче в Ливадии, проводит совещание о развитии ракетной техники и освоении космоса. Участвуют министр обороны маршал Малиновский, другие заинтересованные министры, ученые, конструкторы. Решают привлечь к работам по ракетно-космической тематике предприятия авиационной промышленности, занятые проектированием и производством стратегических бомбардировщиков. Соревнование с практически несбиваемым ракетами они проигрывают, и ресурсы сосредотачивают на главном направлении.

18 апреля 1960 года американская труппа представляет в Москве мюзикл «Моя прекрасная леди».

Из Крыма отец перебирается на Кавказ. 20 апреля он принимает в Пицунде премьер-министра Новой Зеландии Уолтера Нэша.

24 апреля переезжает в Баку, выступает на торжествах по случаю 40-летия Советского Азербайджана, осматривает буровой поселок Нефтяные Камни, вынесенные далеко в море вышки, качающие нефть со дна Каспия. Это сейчас нефтяными платформами никого не удивишь, а тогда…

29 апреля, по дороге в Москву, отец заезжает в Харьков, проводит совещание в совнархозе, потом едет на турбинный завод, там запустили в производство новую мощную турбину для гидроэлектростанций.

29 апреля и 1 мая 1960 года «Правда», с подачи отца, напечатала заключительную главу поэмы Твардовского «За далью — даль». В ней говорится о коллективизации, о Сталине и даже о кулацком прошлом поэта, воспеваются трудовые подвиги советского народа в нынешние времена и их главный символ — перекрытие Ангары у створа будущей Братской ГЭС. Эта публикация

ставит точку в трениях между отцом и Твардовским.

К 1 Мая отец возвращается в Москву, приветствует с трибуны Мавзолея первомайский парад и демонстрацию.

3 мая он, вместе с президентом ЧССР Новотным, открывает в парке Горького Чехословацкую выставку.

9 мая 1960 года к пятнадцатилетию Победы в Отечественной войне в Ленинграде открыли Пискаревское мемориальное кладбище, на нем упокоилось более 470 тысяч жертв 901-дневной немецкой блокады. На кладбище зажгли вечный огонь, насколько мне помнится, первый в нашей стране.

Новый Арбат, ресторан «Прага» и не только они…

Ранней весной 1960 года отца вовлекли в жаркие баталии, не утихавшие последние пару лет вокруг московского центра. С запада въехать в город или выехать из него по единственной улице — неширокому Арбату — становилось все труднее. Еще немного, и она вообще заткнется непроходимой пробкой. Транспортную проблему начали решать сразу после войны. Согласно генеральному плану развития Москвы, петлявшую между бараками Дорогомиловскую улицу расширили, застроили добротными многоэтажными «сталинскими» домами и переименовали в Кутузовский проспект, начали сооружать широкий Новоарбатский мост через Москву-реку. К слову, отец и тут оставил свой след, по его инициативе мост сделали не традиционно стальным, а железобетонным. Мост открыли в 1957 году, к 40-летию Советской власти, но вел он в никуда. Новый широкий проспект доходил до Садового кольца и на его противоположной стороне растворялся в хитросплетении арбатских улочек и переулков. Прорубиться сквозь них, даже при наличии генерального плана, главный архитектор Москвы Посохин не решался. Тут что ни дом, то история, и у каждого свой защитник. Спорили, ссорились почти три года, но так и не договорились. Основные баталии развернулись вокруг Собачьей площадки: Новый Арбат сметал ее с лица земли. Под угрозой оказался ресторан «Прага», из-за него не получалась нормальная транспортная развязка с Бульварным кольцом. Посохин пошел к отцу с просьбой разрубить эти узлы. Условились пригласить всех заинтересованных на строительную выставку на Фрунзенской набережной, где имелся подробный макет застройки центра Москвы, и там выслушать все «за» и «против». Съехалось все руководство Москвы и почти весь Президиум ЦК. Только что вернувшийся из тропической Индонезии, отец успел

простудиться, вышел из машины с замотанным шарфом горлом. Чтобы не заражать присутствующих, он поздоровался с встречающими не за руку, поклонился, сложив руки лодочкой.

— Это так в Индии здороваются, — улыбнулся отец.

Гурьбой прошли в помещение, разделись и плотным кольцом окружили макет. Докладывал главный архитектор Москвы, автор проекта Посохин. Вопрос резать или не резать новым транспортным лучом один из старейших московских районов уже не стоял, все понимали — придется: Собачья площадка и другие дорогие сердцу москвичей места, оказавшиеся на пути тогда еще безымянного проспекта, шли под слом. Немного посудачили о многоэтажных жилых домах, по московским меркам тех лет — почти небоскребах, «посаженных» Посохиным по обе стороны проспекта. Дома, похожие полураскрытые книги, он «позаимствовал» у набережной в Гаване. Присутствующие высказываться не спешили, знали, как отец трясется над каждой копейкой, требует обосновать каждый запроектированный квадратный метр, и ожидали его реакции. Но отец спорить не стал, тут дело особое, новый проспект — лицо города. Он только поинтересовался у докладчика, — все ли согласны с предложенным им архитектурным решением? Посохин замялся. Дома-книжки вызывали у коллег немало нареканий. Поколебавшись немного, Посохин нетвердо произнес: «Большинство».

Вдаваться в детали отец не стал, он помнил дебаты, бушевавшие вокруг восстановления после войны киевского Крещатика: что ни архитектор, то и мнение, — и кивнул головой.

А Посохин стал рассказывать о перепланировке Арбатской площади.

Еще до отъезда в Индонезию отец попросил прислать план ее реконструкции со всеми обоснованиями. Аргументы дорожников звучали весомо: или «Прага», или нормальное, без заторов, движение транспорта в центре города. Я тогда не вдавался в детали, но, как все москвичи, о проекте реконструкции был наслышан. В силу своей молодости, вместе с большинством людей моего поколения я придерживался радикально-прогрессивной позиции: все отжившее свой век — на слом. И не только «Прагу», но и казавшиеся ужасно старомодными московские особнячки, позорившие, по моему мнению, новый Кутузовский проспект, и деревянные, с резными наличниками и иными узорами деревянные избы вдоль тротуаров. Все это, как считала тогда прогрессивно мыслящая молодежь, подлежало замене на современные, строгих форм дома из стекла и бетона, такие, как в Америке. Мы их видели на картинках в журнале

«Америка», и смотрелись они очень привлекательно. Так что о «Праге» я не сожалел, тем более что в рестораны почти не ходил и очарования «Праги» на себе не испытал.

В тот вечер отец дома рассматривал разложенные на обеденном столе чертежи, я, естественно, сунул в них свой нос. Отец не любил, чтобы ему мешали, и я молча вглядывался в квадратики, обозначающие будущие дома, параллели будущих улиц, пытался представить, как это получится на самом деле. Наконец отец оторвался от листа, неопределенно хмыкнув, начал сворачивать ватманы в трубку.

— Ну и что? — начал я разговор.

— Что — что? — пробурчал отец. — «Прагу» придется сносить, хотя и жаль. Иначе не выходит, ты сам видел.

Голос отца звучал неуверенно. Не могу сказать, чтобы я разобрался в увиденном на чертеже, но на всякий случай согласно кивнул головой.

«Прагу» отец жалел. Арбат долгие годы был «правительственной» трассой, и при Сталине бдительным охранникам, а возможно и самому «хозяину» вдруг вздумалось, что с веранды на крыше ресторана злоумышленник может бросить в машину вождя гранату или открыть стрельбу. Ресторан закрыли, а в его помещении разместили какую-то контору. После смерти Сталина потребовалось вмешательство отца, чтобы в 1954 году возродить ресторан к жизни. И вот теперь над ним снова нависла угроза разрушения, уже окончательного. Отец колебался, а тем временем за «Прагу» вступился Микоян, ресторан, как и вся торговля, относился к его «епархии». Отец в душе с ним соглашался, но логика дорожников требовала иного…

Итак, Посохин продолжал докладывать, тыча указкой в намеченные к сносу объекты. Наконец он дошел до треугольника, где сходились старый Арбат и Новый. Заштрихованые «под снос» кубики «Праги» и примыкающего к ресторану старейшего в Москве родильного дома им. Грауэрмана прилепились на самом носике.

— По генеральному плану эти здания подлежат сносу, но… — Посохин замялся и посмотрел на Микояна.

— Что же вам мешает действовать по плану? — отозвался отец и тоже смотрел на Микояна.

Анастас Иванович заерзал, зачмокал губами, так у него проявлялось волнение и… промолчал.

Посохин продолжил доклад, но отец его почти не слушал.

— Товарищ Посохин, — прервал он докладчика, — давайте уступим Микояну, а дорожники пусть поищут компромиссное решение.

То ли отец на самом деле уступил Микояну, то ли прикрыл им и свое мнение, но судьба ресторана «Прага» решилась. Вместе с «Прагой» сохранился и родильный дом. Широченный тротуар Новоарбатского проспекта тут сужается до минимума.

По истечении десятилетий отношение к старине изменилось. Теперь бы, наверное, никто, даже отец, не проложил бы Новый Арбат сквозь староарбатскую застройку. И я изменился. Для меня теперь «Прага» дороже транспортной развязки, а старые дома, даже обшарпанные, выглядят приятнее современных стеклобетонных коробок. Но что сделано, то сделано, Новый Арбат продолжают поругивать, наверное, потребуется с полвека, пока он перейдет в разряд архитектурной классики.

Если за Новый Арбат костерят Михаила Васильевича Посохина, то за Кремлевский дворец съездов достается в основном отцу. На первых порах отец склонялся построить новое здание для проведения главных мероприятий страны на юго-западе Москвы, в районе любезных его сердцу Ленинских гор. Но потом передумал, негоже такое здание возводить на отшибе. Тогда-то Посохин и предложил Кремль, и отец его поддержал, но запротестовали коллеги-архитекторы. После бурных дебатов возобладали сторонники строительства Дворца съездов, так решили назвать новое сооружение, на кремлевском пятачке. За эту непростую задачу взялся архитектор Евгений Николаевич Стамо. Дворец построили в 1961 году и сразу прозвали «стиляга в толпе бояр». Тогда же его начали поругивать ревнители старины, правда, пока отец оставался у власти, не очень громко. По мнению экспертов, современное здание Кремлевского дворца съездов разрушило целостность старинного архитектурного ансамбля, безвозвратно утрачены стоявшие на его месте казармы. И вообще, все теперь не так, как раньше. Возможно, они и правы, не следовало изменять сложившийся облик Кремля.

С другой стороны, Кремль перестраивали бесконечно. В XX веке снесли Чудов монастырь, где при Борисе Годунове якобы молился Гришка Отрепьев. Снесли, и теперь без открывшейся на его месте площади мы себе Кремль и представить не можем. В XIX веке на месте старого дворца русских царей построили Большой Кремлевский дворец. Тогда тоже говорили о нарушении исторического архитектурного ансамбля и неприемлемом для Кремля «модернизме». Какой Кремль лучше? Времен Ивана Калиты? Бориса Годунова? Александра III? Или Никиты Хрущева? Не берусь судить, и никто не возьмется.

Лично мне Кремлевский дворец съездов нравится: и место выбрано удачно, и противоречивое сочетание старины-новизны играет. Недалеко то время, когда Государственный Кремлевским

дворец, как и Большой Кремлевский дворец, превратится в архитектурную реликвию. Оговорюсь, это мнение неспециалиста.

Заметным событием для строителей стало совещание по градостроительству, открывшееся 6 июня 1960 года в Москве. Обсуждали все тот же больной вопрос: как поскорее расселить граждан из коммунальных в отдельные квартиры. С основным докладом выступил председатель Госстроя СССР Владимир Алексеевич Кучеренко, он похвалился, что если за предыдущую пятилетку в новое жилье переехали 38,4 миллиона человек, то в 1957–1961 годах уже 57,5 миллионов россиян улучшат свои условия жизни. К 1965 году Кучеренко пообещал построить еще 15 миллионов квартир. Невероятно огромные по тем временам цифры. Но и они не позволяли считать кризис преодоленным. Слишком уж много «долгов» накопилось за предыдущие десятилетия.

Отец бросал на жилищное строительство все имеющиеся в его распоряжении резервы, подбирал последние крохи. В Москве приостановили строительство Музея Дарвина, заложили фундамент, и всё заморозили до лучших времен. Средства передали на строительство жилья.

28 апреля 1960 года Президиум ЦК обсуждает сокращение ассигнований на строительство убежищ. Случись ядерный конфликт, они вряд ли спасут. И эти средства решают потратить на жилье. Экономили на всем, до хрипоты спорили, какой быть квартире: с прихожей или без, с коридором или проходными комнатами, совмещенным или раздельным санузлом, с ванной или душем, паркетом или линолеумом на полу, на сколько еще сантиметров можно снизить высоту потолков. Увеличение на десять сантиметров высоты потолка, лишняя стенка в ванной комнате, дополнительные квадратные метры на кухне — это тысячи, десятки тысяч тысяч несостоявшихся новоселий.

Страна разделилась на уже получивших новое жилье и потому считавших, что оно могло бы быть лучше и комфортнее, и тех, кто о квартире только еще мечтал, о любой квартире, но лишь бы своей. Отец твердо стоял на стороне последних.

На его веку квартирный голод удовлетворить так и не удалось, и время «излишеств» не настало.

В начале июля в Москве снесли знаменитую Таганскую тюрьму. На ее месте разбили сквер, вокруг заложили жилые дома. Для москвичей снос тюрьмы стал символом прощания с прошлым: и с царизмом, и со сталинизмом. Никто не думал, что раз стало на одну тюрьму меньше, камеры в других еще более переполнятся. Все, в том числе и прагматик-отец, не сомневались, что вот-вот преступность сойдет на нет, исчезнет, а тюрьмы

станут анахронизмом. Поэтому, в отличие от жилья, новые тюрьмы в Советском Союзе не строили.

18 июля отец привозит весь Президиум ЦК в подмосковную деревню Усово, там по его просьбе инженер-строитель Розенталь и изобретатель бетонных вибропрокатных панелей Николай Яковлевич Козлов соорудили типовой двухэтажный крестьянский дом-коттедж. По дороге на дачу отец не раз останавливался, интересовался ходом строительства и вот теперь привез своих соратников полюбоваться на готовый дом. В недалеком будущем ему виделись наши села, застроенные вот такими коттеджами, со всеми городскими удобствами.

На следующий день, 19 июля, отец инспектирует строительство Московской кольцевой дороги. Еще зимой, 28 января, на заседании Президиума ЦК он дотошно выяснял у московского начальства, почему стройка затягивается. Без кольцевой дороги столица буквально задыхалась. Договорились работы ускорить, подготовить еще одно постановление правительства. Теперь отец решил посмотреть, возымели ли его слова действие: строители зашевелились, обещали уже в следующем году открыть движение, правда, не везде, конечно, на первых ее участках.

На январском заседании Президиума ЦК говорили не только об кольцевой дороге, в городе недостаточно прачечных, нет хороших химчисток, снег на улицах не убирают неделями. Поручили Госплану выделить необходимые средства. Тогда же договорились соорудить развязку на Калужской улице (Ленинском проспекте) там, где сейчас стоит памятник Гагарину.

25 июля отец заезжает на пару дней в Астрахань. Открывался сезон охоты, и он не смог отказать себе в удовольствии пострелять уток. Отец сам скрупулезно соблюдал закон и за другими следил, чтобы стреляли дичь только в разрешенные сроки. Нарушения, допускаемые некоторыми высокопоставленными охотниками, он считал глубоко аморальными.

До того отец в Астраханской дельте не бывал, поохотился он на славу, но и на отдыхе его внимание занимала не одна только дичь. По возвращении с охоты отец делится впечатлениями в записке, отправленной 5 августа 1960 года в Президиум ЦК: «В условиях, когда люди ощущают острую нужду в жилье, расточительство — преступление, — пишет отец. — Строительство в Астрахани ведется без продуманного плана, хаотично. Преобладает малоэтажное строительство, в основном двухэтажные дома, трех-четырехэтажных очень мало. Секретарь обкома товарищ Ганенко ранее не раз говорил со мной о планах

строительства жилья с использованием камыша.

Я не увидел ни одного строящегося многоэтажного дома по такой технологии. Дом с каркасом из железобетона и стенами из цементно-камышовых плит может простоять столетия. В личных беседах и письмах, которые мне тут передают, жалуются на плохие жилищные условия, просят оказать помощь». В использовании камыша отец видел еще один источник экономии, а значит, можно построить дополнительно еще несколько тысяч квадратных метров жилья.

По возвращении из отпуска, 18 августа 1960 года, отец рассматривает в Моссовете проект новых городских границ. Договорились, что Москва перестанет расползаться по Подмосковью и ограничится пределами Кольцевой дороги. Там же пришли к заключению, что век пятиэтажек заканчивается, объемы строительства выросли, площади под новостройками расширяются, а их освоение: прокладка коммуникаций, строительство дорог, то есть развитие инфраструктуры, обходится все дороже. Пора переходить к строительству восьмиэтажных домов и еще большей этажности домов-башен. Еще одна строительная новинка.

В конце 1960 года на юго-западе Москвы, в Черемушках, построили две экспериментальные «американские» фабрики. До тех пор заводские корпуса у нас возводили по старинке, чтобы свет падал в помещение с обеих сторон здания, через огромные, во всю стену, окна. Так повелось еще со старых времен, когда на предприятиях другим освещением, кроме естественного, дневного, не пользовались. Делегация строителей, вернувшаяся из США, рассказала отцу о заморском новшестве: там промышленные здания больше не тянут вверх, они расползаются вширь, и не выше пары этажей. Так удобнее, отпадает необходимость перетаскивать станки и прочие тяжести с этажа на этаж. Цеха там без окон, освещение только искусственное, электрическое, вентиляция — принудительная. Такой завод куда дешевле нашего. Как это водится, большинство отечественных промышленников сочли американскую технологию для нас неприемлемой и даже вредной. Как можно работать весь день без солнечного света и свежего воздуха? Меньшинство высказалось за «американцев». Естественно, без спора не обошлось. Меньшинство апеллировало к отцу, и он их поддержал. Он предложил, в порядке эксперимента, построить одно-два подобных зданий. В Москве заложили две приземистые коробочки, две фабрики-близнеца, текстильную и секретную, по производству ракетной электроники. Отец несколько раз ездил на стройку. Теперь, когда работы подошли к концу, отец заглянул туда в выходной,

посмотреть что же получилось, я увязался с ним.

Огромные цеха, заполненные станками, мертвящий свет люминесцентных ламп, а по периметру — бытовки. Мне, уже пообтершемуся на производстве, все казалось непривычным и чем-то неприятным. Отцу же новая фабричная компоновка понравилась: всё под одной крышей, не надо детали возить из здания в здание, к тому же строительство завода обошлось почти вдвое дешевле. К остальному же люди со временем попривыкнут, вот только свет надо сделать поестественнее. Американская промышленная архитектура у нас привилась. Сейчас уже мало кто помнит, с чего все началось.

Фрол Романович и Анастас Иванович

На состоявшемся 4 мая 1960 года Пленуме ЦК произошли заметные кадровые изменения. Они как бы подвели промежуточный итог непрекращавшемуся соперничеству за второе место в советской иерархии. На авторитет отца тогда еще не покушались. Борьба шла за Секретариат ЦК КПСС, кому его вести, кому готовить вопросы. «Кто ведет Секретариат, у того больше власти», — я процитировал слова Первого секретаря Компартии Украины Подгорного.

Последние годы Секретариат вел Кириченко. С конца 1957 года, после переезда в Москву, он набрал силу, постепенно прибрал к рукам кадры, все больше вмешивался в дела военных, не пропускал мимо себя ни одного награждения. Отец ему доверял, старался не замечать его фанфаронство и неоправданную грубость.

Позиции Кириченко казались бы непоколебимыми, если бы не Игнатов и все больше склонявшиеся на его сторону Аристов с Фурцевой. Подковерная борьба между Кириченко и Игнатовым не утихала ни на минуту. Как бы со стороны, но так, чтобы успеть вмешаться в подходящий момент, за ней наблюдали Козлов с Микояном. Отец до поры до времени держался над схваткой и, думаю, не знал о всех деталях происходившего за его спиной.

После отставки в конце 1958 года Серова позиции Игнатова пошатнулись. Постоянные перешептывания, реальные или мнимые, занимавшегося сельским хозяйством секретаря ЦК и председателя КГБ не могли не возбудить подозрений. 24 марта 1959 года Президиум ЦК решил «поднять престиж» Российской Федерации и предложил избрать Игнатова Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР, сохранив за ним пост секретаря ЦК. Кто «готовил» предложение, я не знаю, думаю, что Микоян с Козловым подкинули идею Кириченко, а уж он пошел с

ней к Хрущеву. Отец его поддержал. С одной стороны, он действительно считал необходимым «поднимать Федерацию», с другой — предлагаемая кадровая перестановка разряжала накалявшуюся атмосферу в Секретариате ЦК. На заседании отец охарактеризовал Игнатова как человека умного, с характером и по возрасту подходящим.

«Правильное предложение», — немедленно «поддержал» отца Козлов. К Козлову присоединился Полянский, остальные — промолчали.

Игнатову оставалось только поблагодарить за оказанное доверие.

16 апреля 1959 года сессия Верховного Совета РСФСР единогласно избрала Игнатова председателем своего Президиума. На июньском Пленуме 1959 года в проект резолюции по последнему, кадровому вопросу Кириченко, уже по собственной инициативе, вписал строчку «об освобождении товарища Н. Г. Игнатова от обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с переходом на другую работу». Но не такой был человек Николай Григорьевич, чтобы смириться. В последний момент, накануне открытия Пленума, по его просьбе Фурцева с Аристовым пошли к Хрущеву и убедили его, что пострадает реноме Игнатова — Председателя Президиума Верховного Совета Российской Федерации, такое решение все воспримут как понижение, тогда как в апреле они решили его авторитет поднять. Отец снял с повестки дня вопрос об Игнатове.

В роли полуофициального второго секретаря ЦК Кириченко явно не тянул, народное хозяйство знал поверхностно, отсутствовала у него широта взглядов, способность охватить проблему во всесоюзном, а тем более мировом масштабе. Он так и не смог подняться выше уровня послевоенного секретаря обкома. Отец все чаще высказывал недовольство своим протеже. К тому же, избавившись от Игнатова, Кириченко повел себя в Секретариате ЦК хозяином, грубил, настроил против себя всех других секретарей, даже тех, кто еще недавно его поддерживал. Естественно, все они при удобном случае жаловались Хрущеву, и не без оснований.

К осени 1959 года вопрос назрел. Сразу после Октябрьских праздников отец поставил на Президиуме ЦК вопрос о работе Секретариата, по сути — персональное дело Кириченко.

— Работа в коллективе не сложилась. Признания вторым лицом в руководстве нет ни у кого. И не надо, а то он начинает проводить собственную линию в подборе кадров, — сказал он во вступительном слове. — Все секретари имеют равные права и впредь пусть председательствуют по очереди, надо сохранить

демократичность, кадровые вопросы решать на заседании Секретариата коллективно. При их решении условия у всех равны. Курирование Отдела партийных органов ни за кем закреплять не надо.

Слова отца означали конец власти Кириченко и в какой-то степени реванш Игнатова, хотя сам он на том заседании держался скромно, высказывался сдержанно:

— Товарищ Хрущев правильно ставит вопрос. Речь идет об укреплении коллективного руководства, его демократизации.

Затем начались прения. На Кириченко навалились все скопом, особенно ему досталось за монополизацию кадровых назначений.

— Не закреплять кадры, не делать их чьей-то вотчиной. Нельзя монополизировать и представления к награждениям, — начал атаку Суслов.

Его тут же поддержал Брежнев, пожаловался, что аппарат начинает ориентироваться на «определенное» лицо, что сказывается на периферии. Брежнев никогда не любил Кириченко, завидовал ему: его, такого же секретаря обкома, как и Кириченко, и на фронте званием обделили, и затем первым на Украине назначили не его, а Кириченко, и в Москве Хрущев отдал предпочтение Кириченко, а не ему.[62]

Кириченко платил Брежневу той же монетой, при случае мог на него и прикрикнуть. Брежнев терпел и теперь дал себе волю.

На заседании выступили практически все, и говорили об одном — о монополизации кадровых назначений, о грубости Кириченко, его необъективности, злопамятности. Слова произносили разные, но все они звучали в унисон. Я остановлюсь на трех выступлениях. Начну с Фурцевой, напомнив, что она все теснее ассоциировала себя с Игнатовым.

— Вопрос решается важный, — осторожно начала Екатерина Алексеевна и перешла к перечислению грехов Кириченко: — Никто Кириченко не поручал курировать военные кадры, он такое право узурпировал. То же самое происходит с кадрами Госбезопасности и вообще с кадрами. Только от него и слышишь: «Я его не знаю. Я с ним не встречался». С аппаратом надо работать. Кириченко по характеру — честолюбец и властолюбец.

Фурцева высказала все, что накипело на душе, и не столько у нее, сколько у Игнатова. Но если бы из уст Игнатова подобные обвинения прозвучали бы сомнительно, то у Фурцевой они казались искренним криком души, произвели необходимое впечатление на всех и на отца.

— Большое и принципиальное значение имеют предложения товарища Хрущева, — Козлов говорил, взвешивая каждое

слово. — Нельзя кадры пропускать сквозь руки одного человека, и награждения — нельзя.

По существу он ничего не сказал, но говорил уверенно, с чувством собственного достоинства и как бы немного отстраненно, что произвело выгодное впечатление.

Микоян поддержал отца, сказал, что высказанные им предложения «важные и правильные» и по Секретариату, и по военным, а вот в кадрах он профан, не знал, что происходит. Утерю Кириченко позиций Микоян воспринимал как собственное поражение, понимал, что теперь поднимутся акции не одного Козлова, но и, возможно, Игнатова. К тому же, оба они и умнее, и изворотливее простака Кириченко.

— Такой бани я еще не испытывал, — начал свое последнее слово Кириченко и, уже напрямую обращаясь к отцу, воскликнул: — Самое тяжелое, создается впечатление, что я к вам хуже отношусь. Это не так, мне что-то хотят пришить.

Кириченко еще не понял: всё, что хотели, ему уже «пришили».

— Вы, товарищ Кириченко, просто зазнались и все переводите на персоналии, — холодно отреагировал отец и перешел к делу. — Надо сделать шаг вперед в системе нашего руководства, поменять стиль. Секретариатом впредь руководить по очереди, помесячно, по алфавиту.

26 ноября 1959 года единогласно было принято решение: «На заседании Секретариата секретари ЦК председательствуют поочередно (помесячно)… Предложения об утверждениях и перемещениях наиболее ответственных работников отделов ЦК должны докладываться непосредственно Секретариату ЦК КПСС как органу коллективного руководства». На него же возлагалось коллективное «наблюдение за работой Отдела партийных органов и Отдела административных органов ЦК КПСС».

По существу, очень правильное и демократичное решение, но технически нереализуемое. На Секретариате невозможно коллективно изучить десяток досье кандидатов на замещение вакансии секретаря обкома, командующего армией или посла. Председательствовать на Секретариате можно по очереди, но готовить заседание все равно кому-то придется, и не помесячно, а постоянно. Иначе наступит хаос, каждый месяц все придется начинать сначала. А кто готовит вопросы, тот, независимо как называть его пост, и будет реально влиять на решение. Вот только кто? Теперь явно не Кириченко. На власть открыто претендовали Козлов и Игнатов и, как всегда, неявно, Микоян. Они и начали разыгрывать партию политических шахмат.

26 ноября 1959 года сессия Верховного Совета РСФСР освободила товарища Н. Г. Игнатова от обязанностей

Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, так как «ЦК КПСС признал необходимым, чтобы Н. Г. Игнатов находился на основной работе секретарем ЦК КПСС». Таким образом, фигуры на политической шахматной доске вернулись в исходное положение. Все, за исключением «ферзя», Кириченко. Отец решил с ним распрощаться и поручил подыскать ему какую-либо должность, но только не в Москве. 7 января 1960 года Кириченко окончательно выбыл из игры. На заседании Президиума ЦК предложения доложил Брежнев: «Секретарем Ростовского обкома КПСС или послом в Чехословакию, на выбор».

Кириченко «поблагодарил за доверие и согласился пойти на любую, меньшую хотя бы в десять раз, работу, чем предлагают». Поразмыслив, выбрал Чехословакию, но от него уже ничего не зависело, Секретариат ЦК отправил его в Ростов.

Игнатов чувствовал себя на коне. А тут еще отец отсутствовал, почти весь февраль 1960 года путешествовал по Юго-Восточной Азии, в конце марта уехал на две недели во Францию. Кириченко формально сохранял все свои регалии, но с ним уже никто не считался. В Кремле возник вакуум власти, и Игнатов без колебаний решил заполнить его собой. Хотя в отсутствие отца на заседаниях Президиума ЦК председательствовали по очереди, Игнатов считал себя «вторым», а в доверительных беседах всем желающим слушать сообщал, что он на деле «первый», ну почти «первый» — пока Хрущев разъезжает по миру, кому-то приходится руководить страной, и этот кто-то — он, Игнатов. И вообще, Хрущев без него шагу ступить не может. К тому же он, Игнатов, сыграл главную роль в июньском кризисе 1957 года, он организовал «двадцатку», он «спас» Хрущева, и тот ему обязан по гроб жизни.

Фурцева с Аристовым вели себя осторожнее, но постепенно все больше начинали верить в восходящую звезду Игнатова и с каждым днем смелели. Остальные члены Президиума ЦК молча наблюдали за происходившим. С Игнатовым, человеком властным и злопамятным, отношений не портили. Козлов с Микояном демонстрировали дружбу Николаю Григорьевичу. Анастас Иванович, по его собственным словам, к Игнатову «хорошо относился: выходец из рабочих, ловкий и активный в работе», рассчитывал, что они сработаются, Игнатова ему удастся «приручить», но потом понял: нет, не сработаются, тот себе на уме и в Микояне не нуждается. И сразу выяснилось, что «он (Игнатов. — *С. Х.*) оказался неисправимым интриганом с непомерными амбициями».

Микоян объединился с Козловым, и теперь они все «художества» Игнатова в красках расписывали отцу. Первый заход

они сделали по возвращении отца из Индонезии, но тот никак не отреагировал. После французской поездки, по свидетельству Микояна, «Козлов рассказал Хрущеву, что есть такая группа: Игнатов, Аристов, Фурцева. Я его поддержал, хотя мне жаль было Фурцеву. Но невозможно было ее отделить, она была целиком с ними. Аристов был неподходящий человек, с большими претензиями. Между прочим, он почему-то скрывал, что не русский, а татарин».

Я не понял, при чем тут национальность и почему это важно для Микояна, но бог с ним.

Отец тогда промолчал, но выводы для себя сделал. В воспоминаниях Анастас Иванович не упомянул о своих приватных разговорах с Хрущевым, а их не могло не быть, они неформально общались, если не ежедневно, то через день, после работы вместе прогуливались по Ленинским горам, потом вместе пили чай. Аппаратные игры продолжались четыре месяца, до мая.

В мае выяснилось, что проиграли оба: и Кириченко, и Игнатов. 4 мая Кириченко формально лишили постов члена Президиума и секретаря ЦК, а на его место секретарем ЦК Пленум избрал Фрола Романовича Козлова. Одновременно с Кириченко вывели из Секретариата ЦК Игнатова, его назначили заместителем Председателя Совета Министров СССР, но не первым, поручили заниматься заготовкой сельскохозяйственных продуктов. Вслед за ним «ушли» из секретарей ЦК двоих наиболее явных «игнатовцев» — Аристова и Фурцеву. Екатерину Алексеевну определили в министры культуры вместо уехавшего послом в Индонезию Михайлова, а Аверкия Борисовича «попросили сосредоточиться» на работе в Бюро ЦК по РСФСР. О Фурцевой отец дома ничего не говорил, мне кажется, что он ее по-человечески жалел. Но политика жалости не приемлет. А вот об Аристове он отзывался с досадой: «С ним начинаешь говорить о деле, а он все переводит на рыбалку».

Много позже, уже на пенсии, отец рассказал мне, что, рассадив всех по разным углам, он надеялся свести на нет игнатовское интриганство. По каким-то причинам он недооценил характер Игнатова, не принял в расчет, что тот не успокоится, не оставит мечты о высшей власти. И просчитался…

Я иногда задумываюсь, оставил бы он как есть эту троицу: Игнатов, Кириченко, Козлов, да плюс еще Микоян, — и грызлись бы они между собой, а он спокойно, без всякой угрозы для собственной власти, наблюдал за ними, изредка вмешивался, поддерживая то одного, то другого. Наверное, так было бы правильнее, но при одном условии: если бы отец не заботился в первую голову о деле. Власть для него всегда оставалась лишь

инструментом. Так что со своих позиций он действовал логично.

На майском Пленуме произошли еще кое-какие изменения. Идеолога академика Петра Николаевича Поспелова обвинили в догматизме, приверженности к старым сталинским стереотипам в мышлении, и вслед за Аристовым «переместили» в Бюро ЦК по РСФСР, а затем и вовсе отправили заведовать Институтом марксизма-ленинизма.

Николай Ильич Беляев, который, как и Кириченко, с января уже фактически не работал, но еще формально состоял в высшем органе власти, теперь перестал наконец «числиться» в Президиуме ЦК.

Поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР лишился Климент Ефремович Ворошилов, последний из членов «антипартийной группы». После июня 1957 года он всеми способами демонстрировал верность отцу, однако возраст брал свое, и держать Ворошилова на столь высокой должности стало нецелесообразно. Жаловались на старика давно, но отец все медлил. Наконец решился. На место Ворошилова предложили избрать Брежнева, молодого, энергичного, проверенного и, как считал отец, абсолютно ему преданного. При этом Брежнев еще пару месяцев, до очередного, июльского, Пленума ЦК, продолжал оставаться секретарем ЦК.

Леонид Ильич быстро освоился в кремлевском кабинете Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Он пришелся ему по душе куда больше цековского на Старой площади. Там — бесконечные заботы, дрязги между совнархозами, заводами, своенравными генеральными и главными конструкторами. В ЦК Брежнев, в числе других обязанностей, курировал оборонку. Приходилось непрерывно что-то решать, с кем-то конфликтовать, кого-то обижать. И не ровен час Королев, Янгель, Макеев или Туполев нажалуются Хрущеву.

Ныне же все переменилось: приемы верительных грамот у иностранных послов, формальные, ни к чему не обязывающие речи, рукопожатия, шампанское, легкая беседа. Еще приятнее вручение орденов и иных наград: счастливые улыбки, объятия, обмен поцелуями, групповое фото на память и снова шампанское. Но даже все это не шло ни в какое сравнение с государственными визитами: красная ковровая дорожка на аэродроме, вышколенный почетный караул, встречи, приемы, беседы. Собеседники-иностранцы знали, что новая должность Брежнева чисто представительская, и серьезных, тем более неприятных вопросов не поднимали, держались в рамках протокола.

Такая жизнь без особых хлопот и обязанностей в мишуре показного почета более чем соответствовала характеру Брежнева,

человека легкого, компанейского, любителя застолий, дорогого коньяка (в меру) и хорошеньких женщин. Отец его в шутку называл «человек-праздник». Брежнев не обижался, и собственно, на что тут обижаться. С цековским кабинетом Леонид Ильич расстался без сожаления.

В Президиум ЦК вместо выбывших Кириченко, Беляева и Ворошилова, правда последнего формально уберут только в июле, доизбрали трех новых членов: первого заместителя отца в Совете Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, Николая Викторовича Подгорного из Киева и Дмитрия Степановича Полянского, Председателя Правительства России.

Кадровые решения приняли на заседании Президиума ЦК в последний момент, накануне открытия Пленума. Их единогласно поддержали все, в том числе и сами увольняемые.

— Предложенная расстановка будет содействовать улучшению работы, — первым из уходящих высказался Игнатов.

Аристов и Кириченко повторили эту формулировку слово в слово.

— Я считаю предложения правильными, что же касается меня, то я согласна работать на любом участке, — Фурцева была чуть многословней.

— Согласен со всеми предложениями, — это слова Беляева.

— Предложения Никиты Сергеевича носят глубоко продуманный характер, — Поспелов не обошелся без реверанса.

Один только Ворошилов промолчал.

Итак, в результате майских перестановок во власти отцу удалось мирно разрешить назревавший было кризис. Разрешить, естественно, на время, пока не появятся новые «претенденты», с новыми властными амбициями, и не сформируют вокруг себя новые группировки, чем «победители» немедленно и занялись. Алексея Илларионовича и Николая Григорьевича сменили Фрол Романович и Анастас Иванович, два первых заместителя отца, Козлов — в ЦК КПСС, Микоян — в Совете Министров. И все началось сначала, вернее продолжилось, ибо борьба за власть не заканчивается никогда.

Отцу Козлов нравился все больше. На фоне коллег он выделялся умением быстро ухватить суть дела, да и опыт работы, партийной и хозяйственной, у него накопился немалый. Для хлопотной должности «второго», как его ни называй, лица в партии, а следовательно, и в государстве — это немало.

Политические взгляды Козлова не отличались радикальностью, но в тот момент он полностью, даже в мелочах, шаг в шаг следовал линии отца. Да и о каких разногласиях в момент избрания могла идти речь?

С приходом Козлова период «вольницы» в Секретариате закончился, 2 июня 1960 года Президиум ЦК «Возложил на товарища Козлова Ф. Р. председательствование на заседаниях Секретариата ЦК КПСС, а так же рассмотрение материалов и подготовку вопросов к заседаниям».

Перемещение Козлова в ЦК, пусть и с повышением, поначалу устраивало Микояна, теперь он оставался единственным «настоящим» первым заместителем отца в правительстве. Правда, первым заместителем Председателя Совета Министров назначили еще и Косыгина, но Анастас Иванович не считал его ровней. Микоян предпочел бы, чтобы в ЦК оставался Кириченко, но и с Козловым он рассчитывал управиться. Не управился. Козлов Микояну оказался не по зубам.

«Вначале, когда мы работали в Совете Министров, Козлов старался заручиться моей поддержкой, дружить со мной, — пишет Микоян. — Вскоре… роль Козлова стала возрастать… Зная его, я представлял, насколько он опасен. Он мог попытаться действовать сталинскими приемами… и принес бы много бед в любом случае… Это Козлов помешал опубликованию материалов, доказывающих неправильность открытых процессов 1936–1938 годов, воспрепятствовал реабилитации Бухарина и других… Когда Игнатов перестал представлять опасность для Козлова, он стал бороться против меня. Я оставался последним, кто еще мог влиять на Хрущева».

Что думал Козлов о Микояне, мы не знаем: человек скрытный, он не оставил ни письменных, ни устных свидетельств.

Охота на кабана

В промежутке между современностью и историей, когда реальные события видятся уже не столь отчетливо, настоящих свидетелей почти не осталось, но еще многим кажется, что они тоже свидетели, появляется на свет немало исторических небылиц. Порой это выдумки, преследующие цель очернить или приукрасить политическую личность; иногда это просто выдумки ради выдумки, когда занимательные, когда не очень. В одной из книг очень плодовитого историка Николая Зеньковича я прочитал политически-охотничью байку, воспроизведенную со слов Шелепина, якобы (так пишет Зенькович) считавшего Козлова неумным, очень ограниченным человеком.

«Помню случай на охоте в Беловежской пуще, — передает Зенькович рассказ Шелепина. — Поставили нас по местам, и оказалось, что Козлов стоит на номере рядом с Хрущевым. Кабана, конечно, на них погнали. Выстрел — кабан лежит. Тут

Фрол расхвастался: “Хорошего кабана я завалил”. “Нет, это я”, — возразил Хрущев. — “Нет, я”. Стали спорить, а Хрущев был самолюбив, упрям. Достает свои пули: “Вот мои пули, — вот его, режьте кабана!” Ну и оказалось, что пуля Хрущева. Тот приказал ее вымыть и с тех пор всегда носил с собой. На заседаниях вынет ее, играет ею, постукивает по столу. Фрол мертвел при виде пули. С тех пор и заболел. Вскоре после этого случая у Козлова произошел инсульт, после которого возвратиться к работе уже не смог. От бывшего здоровяка осталась тень. Хрущев, по-видимому, из гуманных соображений сохранил за Фролом Романовичем место члена Президиума ЦК КПСС».

У Шелепина, казалось бы, не было никакого резона не любить Хрущева, тот его постоянно продвигал. Но реальная жизнь не всегда подчиняется законам логики. Шелепин возненавидел отца за то, что на закате жизни был вынужден постоянно оправдывать свое предательство, активное участие в 1964 году в заговоре против Хрущева. Нередко пытаются найти самооправдание через очернение жертвы. Вот и выдумывал он всякие гаденькие «свидетельства». Зенькович, партийный работник из Белоруссии времен Брежнева, отца не знал, лично к нему никаких чувств не питал и не питает, но ему полагалось не любить Хрущева по должности, осуждать его «волюнтаризм и субъективизм».

Я бы не останавливался на этом незначительном эпизоде, если бы высосанная из пальца история с пулей и кабаном не напомнила мне реальное происшествие, имевшее место в Завидово.

В Беловежье отец действительно охотился, но только находясь в отпуске, и компанию ему составляли не москвичи, а местные руководители, из них мне запомнился только Мазуров. Иногда наезжали соседи-поляки Гомулка с Циранкевичем, реже — украинец Подгорный. Еще одно замечание. Я с отцом охотился регулярно, но ни Шелепина, ни Семичастного отец на охоту не приглашал.

Итак, Завидово, начало января 1960 года. Егеря, как обычно расставляют стрелков в цепь, загонщики рассыпаются с противоположной стороны лесной делянки, чтобы гнать на них зверя. Кириченко, тогда уже фактически отставлен от власти, но не от охоты. Егерь по привычке указал ему место слева от отца, дальше расположились Брежнев, Малиновский, Гречко, Чуйков, Козлов, Москаленко, Полянский. Все они — давнишние охотничьи компаньоны Никиты Сергеевича. Мне отвели позицию справа от отца. Убедившись, что на линии огня никого нет, старший егерь дал команду к началу загона. Портативные радиопереговорные устройства появились позже, охотничьего

рога у него не имелось, и он мастерски дудел в ствол своего ружья. Вдали раздались крики, звуки горнов и трещоток.

Рассказывают массу баек о «царской охоте» советских руководителей, о прирученных косулях, заранее спрятанных в клетках кабанах, которых в нужный момент выпускали на охотников. Возможно, впоследствии так и происходило, но во времена Хрущева гнали дикого зверя, если он оказывался в избранном участке леса. Чаще не зверь не обнаруживался, и большинство загонов проходило впустую. Поднять за охотничий день одного-двух кабанов и пару зайцев считалось большой удачей.

В тот загон на отца выскочил кабан. Он бежал наискосок, в направлении Кириченко, подставляя отцу под пулю левый бок. Более удобную охотничью позицию трудно вообразить. Отец вскинул ружье, я тоже, но от меня зверь оказался слишком далеко. Отец прицелился и выстрелил жаканом, заряжаемой в гладкоствольное ружье свинцовой пулей. Кабан на мгновенье присел, стоявший рядом с отцом Литовченко, его телохранитель, вполголоса воскликнул: «Готов!» Но кабан не упал, а, шатаясь, продолжал бежать. И тут по нему выпалил Кириченко. Кабан свалился замертво.

— Мой! — раздался возглас Кириченко.

— Тише, — прошипел отец.

Больше в тот загон дичи не подняли. Когда все закончилось, охотники сгрудились у кабана.

— Мой, — настаивал Кириченко.

— Позвольте, — возразил отец, — я стрелял первым и точно попал. Вы же уже стреляли по практически убитому зверю.

— Но упал-то он после моего выстрела, — горячился Кириченко. — Вы, скорее всего, промазали.

Я уже рассказывал о «ноздревском» характере Кириченко — стремлении во что бы то ни стало объегорить партнера, неважно, будь то мена ружьями или шляпами, или спор из-за кабана. Отец стрелял отлично, гордился своей меткостью, и обидное слово «промазал» задело его за живое.

— Как это промазал? — возмутился отец. — Давайте назначим экспертизу.

«Судьей» выбрали маршала Гречко, он любил такие представления и охотно согласился. Отец шутливо запротестовал — сын Кириченко женат на дочери Гречко, они родственники, и объективности от Гречко не дождешься. Но маршал поклялся судить беспристрастно.

Еще несколько загонов прошло безрезультатно. Начало вечереть, и охотники направились в гостиницу, обедать. Егеря

тем временем, в присутствии Гречко, снимали с кабана шкуру. В зверя попали две пули, но из туши достали только одну, другая прошла навылет. Судье предстояло определить, чья пуля оказалась смертельной. Отец стрелял в кабана сбоку, а Кириченко — почти в лоб. Боковой выстрел поразил кабана в ухо и вышел в глаз. В таких случаях смерть наступает практически мгновенно. Жакан не нашли. Лобовой жакан прошел между передних лопаток и, не задев сердца, застрял в теле. Выстрел тоже смертельный, но, после него кабан мог бы пробежать еще не один километр.

Вернувшись к обедавшим, Гречко с заговорщицким видом вытащил из кармана расплющенный кусочек свинца, поднял его над головой и торжественно провозгласил: «Он принадлежит Олексе!», то есть Кириченко.

— Что я говорил? — заулыбался Кириченко и, повернувшись к отцу, добавил: — Я же говорил, вы промазали.

Отец насупился и уставился в тарелку. Гречко, не садясь за стол, держал паузу. Насладившись произведенным эффектом, он закончил фразу: «Но убил кабана другой жакан. Смерть наступила от выстрела Никиты Сергеевича, и он, согласно обычаю, награждается еловой веточкой».

Гречко протянул отцу награду. Еловую веточку обычно втыкали удачливому охотнику в шапку. За столом к лысой голове отца ее пристроить не удалось, и Гречко положил веточку сбоку от его тарелки. Теперь уже победно улыбался отец, а Кириченко обиженно засопел.

— Пошли вы все к дьяволу, подхалимы проклятые, — вдруг закричал он, выскочил из-за стола и ринулся к двери.

— Олекса, — обескураженный Гречко попытался его остановить.

— Товарищ Кириченко, это всего лишь охота, — вторил ему отец. Но Кириченко их уже не слышал, он сорвал с вешалки пальто и, хлопнув дверью, не попрощавшись, уехал в Москву.

— Это всего лишь охота, — расстроенно повторил отец. Присутствовавшие подавленно молчали. Гречко попытался пошутить, но безрезультатно. Настроение у компании испортилось.

На следующий день Кириченко извинился перед отцом и Гречко, посетовал, такой уж у него характер. Вот, собственно, и вся история.

Подобные происшествия на охоте не редкость, я был свидетелем не одного разбирательства, а однажды и участником. Мы тогда не поделили с отцом утку. Я тоже заспорил было с отцом о приоритете на охотничий трофей и — проиграл. Дело было так. Я расположился на болоте в камышах в паре сотен

метров от отца. Охота шла так себе, и тут над ним пролетела утиная стая. Выстрел. Птицы встрепенулись, но продолжали полет, правда, одна шла как-то неуверенно, с натугой. Поблизости от меня утка начала круто планировать — верный признак смертельного ранения, но я, в охотничьем запале, не обратил на это внимания, выпалил их обоих стволов, и утка упала замертво. Только успел я ее подобрать и засунуть в ягдташ, как из зарослей появился отец с егерем, внимательно осматривающим поверхность воды.

— Ты тут утку не видел? — спросил меня отец.

— Твою нет, а вот эту я только что убил, — я вытащил из ягдташа свою добычу.

Вспоминая предсмертный утиный полет, я все яснее понимал, что правда не на моей стороне.

— Но упала только одна утка, ваша, Никита Сергеевич, — вмешался егерь.

— Но это мой сын, — не очень логично отвечал отец. Ему явно не хотелось портить мне настроение.

Но настроение уже испортилось, к тому моменту все происходившее прокрутилось в моей голове, и последние сомнения отпали, я стрелял в уже убитую утку и, судя по ощущениям, промазал. Я вытащил утку из ягташа и молча протянул ее отцу.

— То-то же, а вы говорите — сын, — проворчал егерь.

Мне стало стыдно, и я покраснел.

— Ничего, ничего, такое с каждым случается. Ведь стреляли мы оба, — разрядил обстановку отец.

Мы разошлись, каждый своей дорогой, но охота меня больше не радовала, стрелял я кое-как и домой вернулся почти без добычи.

Так что на охоте всякое случается.

Другое дело — с Козловым вообще ничего подобного не происходило, и сувенирной пули отец в кармане не носил. Возможно, что Шелепин услышал о «кабаньей» истории с Кириченко от отца или от Гречко, они оба в хорошей компании любили порассказать о своих охотничьих приключениях. А потом вспомнил про тот случай и счел политически выгодным все переиначить. А может быть, за треть века, прошедшие между охотой и его собственными воспоминаниями, просто позабыл детали происшествия, свидетелем которого он не был. И блестящая пуля тут совсем не к месту. Шелепин не был охотником, иначе бы он знал, что во время охоты загоном, пулями из нарезного оружия не стреляют, они летят далеко и могут наделать бед. Охотятся с гладкоствольными ружьями, их

заряжают или картечью, свинцовыми дробинами полсантиметра в диаметре, или единственной, более крупной, свинцовой картечиной, называемой жаканом. Он летит метров на семьдесят, в пределах видимости, а потому относительно безопасен. Попав в цель, свинец деформируется до неузнаваемости, жакан превращается в бесформенную лепешку. Автор же, не знаю кто, Шелепин или Зенькович, вообразил себе винтовочную пулю в блестящей твердой, никелевой оболочке, действительно годящуюся на сувенир.

Так некоторые историки превращают охотничьи байки в «историю».

От Кэмп-Дэвида до Челябинска

Здесь я стараюсь, по возможности, не касаться международных проблем. Это отдельная тема, и ей я посвятил отдельную книгу «Рождение сверхдержавы». Но совсем их игнорировать невозможно и неразумно.

После сентябрьского, 1959 года, визита в США отцу казалось, что во взаимоотношениях двух гигантов наступает перелом, перелом к лучшему. Эйзенхауэр, похоже, искренне стремился к мирному разрешению накопившихся за последние годы проблем, с учетом собственных интересов, конечно. Ни о Германии, ни о разоружении, ни о запрете ядерных испытаний они пока не договорились, но отец ощутил: президент США хочет договариваться. 1960 год начался в том же, позитивном ключе. Более чем дружественный прием в Индии и Индонезии, Бирме и Афганистане, затем конструктивные беседы с президентом Франции де Голлем. Казалось бы, отношения с Западом переходят от конфронтации к соперничеству, отец называл его мирным сосуществованием, когда стороны не столько запугивают друг друга, сколько, «демонстрируя товар лицом», завлекают колеблющихся на свою сторону. Шероховатостей, естественно, не избежать, считал отец, но если спокойно искать точки соприкосновения, то их удастся сгладить, а со временем и совсем убрать. «Вода камень точит, — любил повторять отец. — Мы не торопимся. Можем и подождать, будущее за нами».

Предстоящие встречи глав четырех держав: СССР, США, Англии и Франции в мае в Париже, затем, в июне, визит президента США в Советский Союз порождали надежду на то, что удастся не только лучше понять друг друга, но и, возможно, начать договариваться всерьез. И тут все рухнуло.

1 Мая 1960 года советские ПВО сбили над Челябинском американский самолет-шпион У-2. Разгорелся немыслимый

скандал. Масла в огонь подлил Госдепартамент США, заявивший, что их самолеты как летали над советской территорией, так и продолжат свои полеты до тех пор, пока сами американцы не сочтут, что нарушать советские границы больше не в их интересах. В дипломатическом лексиконе такие выражения сродни непечатным. Уважающий себя и свою страну государственный лидер после подобного оскорбления за стол переговоров не сядет. В Вашингтоне это, естественно, понимали и, по моему мнению, на это и рассчитывали. Совещание в Париже, так и не начавшись, провалилось с треском.

Весь мир облетели фотографии отца в гневе. В справедливом гневе он отстаивал достоинство своей страны, которую попытались унизить и которую он не позволял унижать никому. Из оттепели «в духе Кэмп-Дэвида» мы вновь окунулись в омут «холодной войны», еще более холодной, чем до Кэмп-Дэвида.

Запад списал провал совещания на счет отца. По мнению некоторых советологов, он якобы осознал, что в Париже добиться от Запада серьезных уступок ни по всеобщему разоружению, ни по Германии не удастся, вот и решил устроить скандал. На деле прагматик-отец никогда не рассчитывал на быструю договоренность по этим вопросам.

О всеобщем разоружении в Париже стороны договариваться вообще не могли, уж очень расплывчатой оставалась вся концепция. Обсудить ее, лучше понять друг друга — и это уже было бы большим достижением. Мне кажется, не могли они договориться и по Германии. Позиции США и Советского Союза не стыковались в принципе, каждая из сторон соглашалась на объединение Германии только на собственных условиях. К тому же, за каждым шагом Эйзенхауэра внимательно следил канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. За отцом столь же внимательно наблюдал председатель Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт.

Европейские страны, особенно Франция с Англией, в свою очередь, как могли, саботировали объединение Германии. Никому из них не хотелось получить столь могущественного «союзника» в центре Европы. Де Голль открыто сказал отцу на переговорах в Рамбуйе в марте 1960 года, что Франция не желала бы граничить с единой Германией, ее устраивает статус-кво. Такой же позиции придерживался и Лондон.

Отец хорошо представлял расстановку сил в мире и заранее настроился на длительные многоступенчатые переговоры. Он не имел ни малейшего резона взрывать Парижский саммит. Английский историк Китти Ньюмен, проанализировав документы того периода, подтверждает это заключение. Тем не менее, по мнению Ньюмен, советская позиция настолько сблизилась с

позицией Запада, что в Париже стороны могли сделать первый шаг, достичь взаимоприемлемого, пусть и промежуточного решения, по крайней мере, в отношении Западного Берлина.

Другие «аналитики» объясняют парижский провал расхождениями в советском руководстве, давлением на отца справа. «Ястребы» его совсем заклевали, вот ему, якобы, и не оставалось ничего другого, как сорвать Парижское совещание. Наиболее беспардонные из них называют даже день, когда «уломали» Хрущева — 7 апреля 1960 года, накануне отъезда отца на отдых в Крым. Правда, никто из свидетелей этого рода доступа в Кремль не имел, а уж тем более, не присутствовал при разговорах членов Президиума ЦК — ни приватных, ни официальных. 7 апреля Президиум ЦК действительно собирался, и в советском руководстве действительно имелись свои «ястребы», люди, которые к курсу на улучшение отношений с Соединенными Штатами относились, мягко говоря, с прохладцей. Все это правда. Как правда и то, что держали они свое мнение при себе, а отец полностью контролировал положение, определял линию поведения во внешней и внутренней политике.

На заседании 7 апреля предстоящую встречу в Париже не обсуждали, подводили итоги визита отца во Францию. Постановили их «одобрить».

Я позволю себе дать собственную интерпретацию парижского фиаско. Для этого и попробуем ответить на некоторые вопросы. Почему накануне встречи в верхах в ЦРУ вдруг решили снова послать самолеты-разведчики У-2 пофотографировать советские секретные военные объекты? У-2 летали над Советским Союзом с 1956 года на недостижимой в то время для перехватчиков двадцатикилометровой высоте. В 1959 году наметилось некоторое потепление во взаимоотношениях между двумя державами: Никсон открывал Американскую выставку в Москве, Козлов советскую — в Нью-Йорке, отец нанес официальный визит президенту США. На время полеты прекратились. К тому же, американская разведка знала, обязана была знать, что к 1960 году у советских ПВО появились достигавшие двадцатикилометровой высоты истребители-перехватчики Су-9 (Т-3) и противосамолетные ракеты С-75. Когда в июне 1959 года Никсон летал в Свердловск, разведчики из его свиты даже сфотографировали развернутые в окрестностях города батареи С-75.

Так зачем же было возобновлять полеты накануне столь важной международной встречи? Даже если самолет-разведчик и не собьют, то полет его зафиксируют, и настроение у Хрущева неотвратимо испортится, доверие к Эйзенхауэру — партнеру

рассыплется в прах. В серьезной политике в преддверии серьезных переговоров так не поступают. А тут они как с цепи сорвались, с ноября 1959 года по 1 мая 1960-го советское воздушное пространство нарушалось не менее пяти раз, пока наконец-то ракета не поразила самолет Гарри Пауэрса. У меня складывается впечатление, что кому-то очень хотелось, чтобы американский самолет сбили, и кто-то прилагал к тому все усилия.

Всем этим событиям уже давно даны «правильные» объяснения. Мемуаристы из ЦРУ сетуют, что потепление во взаимоотношениях двух стран заметно поубавило возможности для воздушного шпионажа, президент то и дело накладывал вето на разведывательные полеты. По мнению разведчиков, запреты серьезно вредили национальной безопасности США. К примеру, они знали, что в Плесецке, под Архангельском строится база для четырех межконтинентальных ракет Р-7, но не знали состояния ее готовности на 1960 год. Они не раз фотографировали советские полигоны, атомный в Семипалатинске, ракетный в Тюратаме (Байконуре) и противовоздушный в Сары-Шагане на озере Балхаш, ядерные закрытые города на Урале, но снимки не обновлялись уже почти пять месяцев. Такую неосведомленность в ЦРУ посчитали недопустимой и решили накануне Парижской встречи «поправить дела». Я их понимаю, разведка создана именно для сбора информации. Но политики мыслят иными категориями: если хочешь добиться соглашения, можно пожертвовать, хотя бы временно, десятком сделанных «сквозь замочную скважину» фотографий.

И тем не менее, самолеты У-2 один за другим посылали в разведывательные полеты. 9 апреля один из них облетел базу советских бомбардировщиков в Казахстане, упомянутые полигоны в Тюратаме, Семипалатинске и Сары-Шагане. Самолет-шпион дважды атаковали наши Су-9, но неудачно. У-2 невредимым вернулся на свою базу, сфотографировал не только космические старты и шахты для подземных ядерных испытаний, но и позиции зенитных ракет. Их почему-то в тот раз не задействовали, но возросшие возможности советских ПВО не вызывали сомнений. Как и то, что после такого облета их приведут в наивысшую готовность.

И тем не менее, выждав всего пару недель, У-2, пилотируемый Гарри Пауэрсом, отправился к воздушному пространству СССР с новым, еще более опасным заданием. Маршрут проложили через всю нашу страну с юга на север, над уже «отснятым» Тюратамом и новыми объектами Челябинском-Кыштымом, Плесецком, Северодвинском, Североморском, а

оттуда на базу НАТО в Буде, в Норвегии. Трудно найти более тщательно охраняемые объекты общенационального значения. Если мыслить логически, охранять их должны самые совершенные средства ПВО и, следовательно, там скорее всего и смогут сбить несбиваемый У-2. Особенно после недавнего, как бы предупредительного, полета. Ну а если опять не собьют, то все равно национальная гордость претендующего на «сверждержавность» Советского Союза уязвится донельзя.

Теперь зададим другой вопрос: чем встреча в Париже и последующий визит Эйзенхауэра в СССР так испугали американских «ястребов»? О чем отец и американский президент потенциально могли договориться? «Ни о чем», — утверждают влиятельные американские и современные российские историки. Эта безысходность, по их мнению, и побудила отца взорвать совещание изнутри. Любопытная, но уязвимая позиция. Подумаем, где их позиции максимально сближались.

И президент Эйзенхауэр, и отец искренне стремились остановить ядерные испытания. О войне оба они судили не понаслышке. Отец, переживший окружение немцами Киева в 1941-м, поражение под Харьковом в 1942-м, прошедший сквозь огонь Сталинграда и Курской битвы в 1943 году, не хотел, не мог допустить повторения еще большей беды. Он считал, что наши страны уже имеют технические возможности навсегда уничтожить человечество. А что будет завтра? Инженерная мысль неисчерпаемо-созидательна, в том числе и в своем разрушительном векторе. Если сегодня не положить конец этому кошмару, цивилизация скорее всего погибнет.

Отец уже пытался сделать первый шаг. Преодолевая сопротивление военных, он дважды объявлял односторонние моратории на ядерные испытания. К сожалению, американцы его призыву не последовали, а свои давили на него изо всех сил. В результате в 1958 году пришлось возобновить испытания, но второй, провозглашенный в 1960 году мораторий продолжал действовать. Теперь появилась возможность напрямую, без посредников, обсудить все с президентом США и, чем черт не шутит, может быть, даже договориться.

Я не берусь столь категорически, как об отце, судить о об Эйзенхауэре, но то, что я о нем знаю, свидетельствует: войны он не хотел и понимал, что с ядерной вой ной шутки плохи. К тому же, в 1960 году заканчивался его второй президентский срок. Америке предстояло избрать нового президента. Договор с СССР о запрещении ядерных испытаний просто идеально подходил для исторически значимого заключительного аккорда президентства Эйзенхауэра.

Встречи в Кэмп-Дэвиде показали, что оба лидера куда легче находят общий язык в приватных беседах, чем за столом переговоров. Вдвоем они позволяли себе посудачить и об обуздании аппетитов военных обеих стран, а однажды отец даже предложил обменяться списками шпионов. Эйзенхауэр от удивления рот раскрыл.

— Чтобы не платить им дважды, — довольный произведенным эффектом, улыбнулся отец.

Эйзенхауэр рассмеялся в ответ. Оба они по опыту знали, как изощренна контрразведка и как ненадежны агентурные донесения. Списками агентов они так и не обменялись.

В Париже, в антрактах официальных переговоров, оба лидера вполне могли бы один на один договориться, что с испытаниями пора кончать, а потом, во время намеченного на июнь 1960 года визита Эйзенхауэра в Советский Союз, подписать формальный договор. На этом документе, судя по тому, что мы теперь знаем, свою подпись охотно поставил бы и глава британского правительства Гарольд Макмиллан.

И американские, и советские «ястребы» наверняка стремились в интересах национальной безопасности, как они ее трактовали сами, не допустить «опасного» развития событий. В таком контексте полеты разведывательных самолетов, потеря одного из них, жестко-бескомпромиссные заявления Госдепа выглядят абсолютно логично и оправданно. В Париже отец с Эйзенхауэром не только не договорились, они вообще не обменялись ни словом.

Последовавшие за инцидентом с У-2 события развивались в согласии с логикой моего «ястребиного» сценария. Отец, уязвленный донельзя отказом американской дипломатии в признании советского суверенитета над собственным воздушным пространством, отплатил Соединенным Штатам отказом вести переговоры с американцами в Париже, демонстративно отозвал приглашение президенту США посетить СССР и, в пику Эйзенхауэру, не поинтересовавшись мнением хозяев, пригласил глав государств мира собраться на американской территории, в ООН, обсудить декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Никто не посмел ни отказаться, ни уклониться. В октябре 1960 года в Нью-Йорк приехали все: руководители социалистических стран, и третьего мира, и европейцы, главы стран НАТО и сам Эйзенхауэр. «Дух Кэмп-Дэвида» к тому времени улетучился окончательно. Ни отец, ни Эйзенхауэр не то что не разговаривали, видеть друг друга не могли. Чиновникам из Госдепартамента стоило немалых трудов выстроить маршруты их передвижения по зданию ООН так, чтобы

они не столкнулись, даже в коридоре. У меня нет никаких документальных подтверждений моим предположениям, как нет их и у авторов иных версий, но логика на моей стороне.

1960 год стоил отцу и нервов, и здоровья. Беда не приходит одна, в середине 1960 года «похолодало» не только на Западе, но и на Востоке, к «американским» проблемам добавились быстро нараставшие трения с «братским» Китаем. Мао Цзэдун больше не колебался: курс на десталинизацию грозил ему демаоизацией. Собственные оппоненты-либералы Пын Дехуэй, Лю Шаоци и Дэн Сяопин и другие подозрительно зашевелились. Если их не придушить сегодня, завтра они свергнут тебя самого. Но сначала следовало покончить с «нерушимой дружбой с Великим Северным Соседом».

В 1959 году, во время визита отца в Пекин на празднование 10-летия КНР, Мао принял его не просто холодно, а оскорбительно пренебрежительно. В 1960 году он решил окончательно оформить разрыв. Отец же еще надеялся, что удастся сгладить разногласия, объясниться, полагая, что мы всё еще единомышленники, союзники и соратники. Нарыв вскрылся в июне 1960 года в Бухаресте, куда на съезд Румынской рабочей партии съехались высокопоставленные представители всех «братских» партий. Делегацию советских коммунистов возглавил отец. Он, воспользовавшись съездом, задумал снять разногласия с китайцами, восстановить пролетарскую солидарность. Не получилось, все уперлось в Сталина, точнее в Мао Цзэдуна. Когда речь зашла о преступлениях Сталина, политических и уголовных, китайцы попытались их объяснить политической целесообразностью, другими словами, оправдать. В ответ Хрущев отрезал: «Черного кобеля не отмоешь добела!» Кто этот «черный кобель» отец не уточнил, но после его слов обсуждать что-либо китайцы отказались. Отец переживал разрыв с Китаем болезненно, очень лично, еще недавно он искренне почитал Мао за друга и союзника. Советский Союз помогал китайцам, чем мог, предоставил огромный, миллиардный кредит, передал тысячи технологических разработок, помог в строительстве около трех тысяч новых заводов, оснастил китайскую армию современным вооружением, решил поделиться с ними ядерными и ракетными секретами. И после всего этого Китай из союзника превращался в соперника, а возможно, и того хуже — во врага.

Бюджет без налогов

Пленум ЦК 4 мая 1960 года и открывшаяся вслед за ним 7 мая сессия Верховного Совета знаменательны не только

переменами во власти. Отец объявил на них о грядущей отмене взимаемых с советских граждан налогов. Свое предложение он обосновал быстрым, десятипроцентным ростом народного хозяйства. В бюджете 1960 года доходы от налогов составляли всего 9,1 процента. Так неужто ради каких-то девяти процентов нам следует обременять население ежемесячными поборами и к тому же содержать целое налоговое ведомство? Отменим их, и люди получат ощутимую реальную прибавку к заработку, а эти 9 процентов за год или даже чуть меньше года покроет прирост реальной экономики.

Мне запомнилось, как у отца загорались глаза, когда он начинал рассуждать об отмене налогов, я тоже подсчитывал, сколько прибавится к моему инженерному окладу.

Родители считали, что я, взрослый женатый человек, должен жить на свою зарплату. Денег они нам не давали, а вообще помогали, и даже очень. Мы, взрослые дети со своими семьями, жили вместе с ними в государственной резиденции, вместе питались, естественно, за их счет, вместе ездили отдыхать. Но денег нам все равно не хватало.

В бюджете доходы с расходами тоже увязывались с трудом. Налоги планировалось отменять постепенно, по мере роста экономики, шаг за шагом, вплоть до 1965 года.

Начали с самых низкооплачиваемых, и на них же все застопорилось. Каждый год этих девяти процентов бюджету ох как недоставало. Отмена взимания налогов откладывалась сначала на год, потом на два, а там и до лучших времен. Средства уходили то на строительство заводов химических удобрений, то на расширение строительства жилья, то случился неурожай 1963 года, то еще что-то…

Первый советский социолог

10 — 14 мая 1960 года Борис Андреевич Грушин, молодой и претенциозный философ-методолог, как он себя называл (о социологии в Советском Союзе тогда едва слышали), под патронажем газеты «Комсомольская правда» впервые в стране провел опрос общественного мнения. 19 мая «Комсомолка» представила читателям образованный при ней Институт общественного мнения, с помощью которого «газета намерена изучать и рассказывать об отношении советских людей к наиболее актуальным вопросам внутренней и внешней политики. Такое изучение даст возможность учитывать самые различные мнения».

Событие, с позиции сегодняшнего дня, незначительное, но еще недавно «учитывать самые различные мнения» мог решиться разве что самоубийца. В 1960 году, через четыре года после XX съезда, дело тоже двигалось со скрипом, но двигалось.

Главное, «Комсомольскую правду» никто не одернул. Затеяли новый проект они на свой страх и риск. Возглавлял редакцию «Комсомолки» тридцатилетний Юрий Петрович Воронов, будущий «партийный диссидент» брежневских времен, первым заместителем у него был двадцатисемилетний Борис Панкин, тоже будущий «партийный вольнодумец». С Хрущевым свою инициативу Воронов не согласовывал, хотя мог посоветоваться со своим предшественником на этом посту Аджубеем, а тот мог бы невзначай рассказать о ней тестю.

Спустя сорок лет, в 2001 году, известный социолог академик Грушин в объемистой книге «Четыре жизни России» опубликовал результаты своих давних исследований.

Как же видели себя в зеркале социологии люди 1960 года? Приведу всего несколько цитат.

«Ответы на вопросы анкеты показали “высокое единодушие людей”… в плане оценки общего хода и состояния дел в обществе, причем как в масштабах всего государства, так и собственной деятельности, собственного бытия.

…Существовавшая в то время в стране власть пользовалась в высшей степени активной поддержкой народа.

…Проявилась заслуживающая внимания характеристика сознания масс: отождествление власти с ее лидером. Говорящие как бы сбиваются, переходят от общих понятий к имени Н. С. Хрущева. Налицо явная персонификация власти.

…В конкретном случае с Хрущевым этот феномен сопровождается заметным усилением позитивного отношения

масс к власти как таковой.

…Забегу вперед, — пишет Грушин. — Следует сказать, что через пару-тройку лет образ “главного строителя коммунизма” будет существенно подменен. Но в мае 1960 года у Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева полный успех и полное доверие.

…Ощущение улучшения условий жизни на период данного опроса является не только господствующим по сравнению со всеми другими ощущениями (нестабильности или ухудшений этих условий), но и всеобщим, повсеместным. Хорошее самочувствие людей в подавляющем большинстве случаев основательно устойчиво, не сиюминутно, поскольку оно не голословно и не плод психологической обработки масс властью, с ее рефреном “жить стало лучше, жизнь стала веселее!”, а базируется на серьезных и реальных изменениях, происшедших в сфере материального благосостояния народа.

…Разумеется, исследование выявило и те сегменты общества, которые на фоне всеобщего благополучия остались “обделенными”, ответы (на вопрос о жизненном уровне. — *С. Х.*) — “Остался без изменения”, или вовсе “обиженными”, ответы: “Понизился”. Но и в этих группах не демонстрировалось ни надрыва, ни тем более отчаяния». Далее Грушин приводит типичные образчики такого рода:

«“При общем повышении жизненного уровня, моей семьи это не коснулось, так как мы заняты индивидуальным строительством” (К-ов, помощник мастера, г. Клинцы, Брянская область). “Понижение своего жизненного уровня объясняю уходом с прежнего места работы в связи с реорганизацией управления промышленностью” (совнархозы, 1957 год), а также “отменой платы за выслугу лет в 1959 году” (без подписи, служащий, г. Москва). “Понизилась пенсия семьям военнослужащих, что вызвано необходимостью приблизить ее к пенсиям гражданского населения” (Ю. К., пенсионерка, без адреса). “Нельзя же сразу сделать так, чтобы всем стало очень хорошо. Пройдет время, и все люди, и я в том числе, будут жить еще лучше”. (Ю. Ив-в, техник-конструктор, г. Москва)».

Цитировать слова Грушина мне приятно, но главное, социолог, в отличие от меня, человека пристрастного, дает объективный срез самоощущения общества. Это особенно важно сейчас, когда мы позабыли или просто не знаем своей истории.

Цена + прибыль = реформа

На собравшемся 13–16 июля 1960 года Пленуме ЦК

обсуждали «Ход выполнения решений XXI съезда КПСС и развитие промышленности, транспорта, внедрение достижений науки». Докладывал не отец и даже не Косыгин, а Председатель Госплана РСФСР Константин Михайлович Герасимов. С содокладами выступили госплановцы из союзных республик.

Докладчики напирали на успехи, повторяли с разными вариациями, что выпуск промышленной продукции, при плане в 8,1 процента, за истекшие полгода вырос до 10–11 процента, заверяли, что в будущем рост еще ускорится, и в заключение отмечали отдельные недостатки. По большому счету, ничего интересного, незаслуживающая упоминания бюрократическая рутина. Однако на самом деле этот Пленум весьма примечателен, но не докладом Герасимова, а казавшимся тогда рядовым поручением Госэкономсовету СССР «разработать методические основы установления новых оптовых цен на орудия и средства производства», их еще называли «ценами единого уровня». Для рядовых читателей эти слова звучат бюрократической абракадаброй, а для «посвященных» — это сигнал о начале нового этапа реформы экономики. «Цены единого уровня» — инструмент, позволявший превратить ее из командной в саморегулирующуюся. Озвученные на Пленуме предложения разработала Комиссия Академии наук СССР «По исчислению стоимости в социалистическом хозяйстве» под председательством академика Василия Сергеевича Немчинова. В последующих главах я подробно расскажу его историю, пока же кратко поясню, в чем тут дело.

Все знают, что цены — это сколько мы платим и сколько способны заплатить за все, от хлебного батона до прокатного стана. Но бирка на товаре — отражает результат, а сам процесс ценообразования, из чего и как они формируются, во многом определяет здоровье экономики и способность ее к саморазвитию.

В рыночных условиях цены складываются, балансируются сами собой, в результате торга покупателя с изготовителем, сколько первый готов заплатить за товар, а второй — насколько это предложение ему выгодно. Государство только следит, чтобы из-за сговора компаний и по некоторым другим причинам цены не зашкаливали за естественные пределы.

В советской централизованной экономике, где государству принадлежало все, оно же по своему разумению, в соответствие со своими предпочтениями, устанавливало цены. С конца 1920-х годов главным приоритетом в стране стала индустриализация — создание «тяжелой» промышленности: металлургии, машиностроения и прочего. Средства на индустриализацию, как я уже писал, получали за счет ограбления крестьянства. Грабили

его в том числе с помощью «ценовых ножниц», когда машины и все остальное продавали втридорога, а за сельскохозяйственную продукцию платили гроши. Отец последние годы, собственно, занимался возвращением долгов «ограбленным» крестьянам. Но грабили не только их, «ограблению» посредством установления волевых цен на потребительские товары подвергалось и все остальное население. Они нередко устанавливались много выше издержек производства, а полученная сверхприбыль уходила «тяжеловесам». Только с 1929 по 1940 год цены на товары народного потребления повысились в 6,5 раз, тогда как в тяжелой промышленности их рост не превысил 140 процентов. То есть искусственно высокая инфляция в секторе товаров народного потребления позволяла так же искусственно занижать ее в сфере производства средств производства.

В результате за прошедшие десятилетия в ценах сложилась целенаправленная неразбериха, непрозрачность, когда никто не знал, кто кому платит и за что. Отношения хозяйствующих субъектов все больше запутывались, они оказались в обстановке все нарастающего экономического хаоса.

Если в 1930-е годы перекос в сторону тяжелой промышленности еще объяснялся какой-то, пусть и людоедской, логикой, то сейчас, когда индустриализация завершилась, тяжелая и легкая промышленность ставились в равное положение, выстроить прозрачную цепочку производитель-потребитель, когда последний платит за товар столько, сколько он стоит, а первого эта реальная цена стимулирует — заставляет улучшать организацию работ, совершенствовать технологию, снижать затраты, стремиться к получению реальной прибыли, стало жизненно необходимо. Казалось бы, все очень просто, но не в условиях, когда экономические отношения запутаны в клубок. Действуя напролом, можно легко сломать старую систему, но это не значит, что ей на смену сами собой выстроятся более эффективные отношения между предприятиями и целыми отраслями. Требовалось сформулировать критерии оценки работы хозяйствующих субъектов. Задача оказалась не из простых. Недостаточно установить единые принципы исчисления цен во всей промышленности без каких-либо послаблений кому-либо. Следовало учитывать не только себестоимость производства продукции, а она сама зависит от уровня технологии и эффективности менеджмента, но и множество других факторов и критериев, в том числе переосмыслить понимание прибыли, которая в новых условиях становилась основной оценкой «здоровья» предприятия.

Вот этим отец поручил заняться Госэкономсовету[63] и его

новому председателю, заместителю главы правительства Засядько.

Его назначили на этот пост совсем недавно, 22 апреля 1960 года, и Александр Федорович сразу взял быка за рога, осенью 1960 года, во исполнение решений июльского Пленума ЦК, создал под своим председательством Комиссию по определению основ определения принципов исчисления единых для всей промышленности цен, выработки критериев эффективности и рентабельности работы предприятий. Засядько затребовал из ЦСУ только что составленный там впервые в советской истории межотраслевой баланс производства и распределения продукции. Без него невозможно понять, кто кому что поставил и по какой цене. Провели расчеты и получили вполне ожидаемые результаты. От отрасли к отрасли цены разнились в разы. После этого приступили к составлению принципов исчисления цен, как их назвали авторы, «единого уровня». Здесь тон задавала упомянутая выше комиссия Немчинова.

Что тут началось! Первым восстал Госплан, его отраслевики, теперь бы сказали, «лоббисты» тяжелой промышленности, которая не желала лишаться ценовых привилегий. Они нажаловались на заместителя председателя Совета Министров Засядько первому заместителю главы правительства — Косыгину. Косыгин их «понял» и поддержал. Дело застопорилось надолго.

Но Засядько не смирился, он в обход Косыгина поручил в 1962 году ЦСУ пересчитать цены производства на основе составленных статистиками в 1960 году межотраслевых балансов продукции с учетом стоимости основных производственных фондов и материальных оборотных средств. Другими словами, сделать так, чтобы всем стало ясно, что, как и почему. ЦСУ задание выполнило, но…

К тому времени отношения Засядько с Косыгиным переросли в настоящую вой ну. В ней победил Косыгин. 24 ноября 1962 года Госэкономсовет ликвидировали, а следом, 5 сентября 1963 года, умер и сам Засядько. О реформе цен, казалось бы, забыли. Косыгин и косыгинцы надеялись, что навсегда, но неугомонные авторы концепции «цен единого уровня» считали иначе. В самом начале 1964 года Белкин, по совету ответственного сотрудника ЦСУ Малышева, последний сам «высовываться» не решался, нажаловался Хрущеву. Соображения Белкина показались отцу интересными и очень ко времени. Недоумевая, кто и почему им противится, он 3 февраля 1964 года поручил Косыгину вместе с другими своими заместителями Микояном и Устиновым, новым председателем Госплана Петром Фадеевичем Ломако и министром финансов Василием Федоровичем Гарбузовым

«разобраться и доложить».

Разобрались, 27–29 мая 1964 года на совещании в Госплане Ломако, недавний министр цветной металлургии, квалифицировал «цены единого уровня» как вредные. Косыгин же, во исполнении поручения, в свою очередь пообещал пригласить к себе «ученых-изобретателей новой системы ценообразования», но, как узнал Белкин, с одной целью — «поблагодарить за инициативу и растолковать нереалистичность их предложений».

Однако встреча не состоялась, в октябре 1964 года надобность в разговоре отпала, Хрущева отрешили от должности, и Косыгину, новому главе правительства, стало некому докладывать об исполнении поручения. Вместо этого члена-корреспондента Академии наук Исаака Семеновича Брука, директора исследовательского института, откуда формально исходило письмо Белкина Хрущеву, отрешили от должности. Такая вот печальная история. А ведь тогда, летом 1960 года, казалось, что «еще немного, еще чуть-чуть» и…

«Ракета» на Большой Волге

15 июля 1960 года отец в сопровождении других членов Президиума ЦК, председателя Госкомитета по судостроению Бориса Евстахиевича Бутомы и еще каких-то важных лиц отправился на Большую Волгу в район Калинина посмотреть на «Ракету», сверхбыстроходный речной трамвайчик на подводных крыльях. «Ракету» придумал и довел до ума Ростислав Евгеньевич Алексеев, молодой конструктор Горьковского судостроительного завода «Красное Сормово». За границей ничего подобного не делали.

Меня отец тоже взял с собой. Погода стояла солнечная, теплая, безветренная. До пристани на берегу Волги доехали на машинах, а там разместились на палубе теплохода и вышли на фарватер. Представление началось. «Ракеты», почти не касаясь воды, пролетали перед зрителями, затем замедляли ход, плюхались в реку и снова разгонялись, выходили на крылья. Вслед за «Ракетами», совсем рядом с теплоходом пронесся огромный «Метеор», экспериментальный, уже не речной, а морской корабль.

Пояснения давал стоявший рядом с отцом подтянутый, худощавый, с головой, увенчанной богатой шевелюрой, Алексеев. Ему едва минуло сорок лет. Отец пришел в восторг и от кораблей, и от их конструктора. Особенно от конструктора. Он пообещал Алексееву свою полную поддержку, просил звонить напрямую, если конечно возникнет такая надобность. Тут отец ткнул

пальцем в живот стоявшего рядом, «алексеевского» министра Бутому. Отец его хорошо знал и уважал. Он, Бутома, и «открыл» Алексеева, поддержал его на первых, самых трудных порах, а теперь познакомил с отцом. Бутома расплылся в улыбке и согласно закивал головой, как бы заверяя, что надобности у Алексеева звонить Хрущеву не возникнет. Ее действительно не возникало, Борис Евстахиевич свое дело знал и любил.

«Ракеты» шли в серии с 1958 года, за ними последовали «Метеоры». Корабли на крыльях перестали кого-либо удивлять, стали будничной частью нашей жизни, вроде троллейбусов или трамваев. И не только нашей жизни. В XXI веке «Метеоры» все еще продолжают исправно возить пассажиров в греческом Средиземноморье, и не только там.

Алексеев же продолжал изобретать. В 1963 году, уже под самый конец пребывания отца у власти, он попросился к нему на прием. Отец принял Алексеева в Кремле. Тот рассказал, что задумал с помощью крыльев не просто приподнимать корабль над поверхностью воды, а вовсе оторваться от нее. Свое новое изобретение Ростислав Евгеньевич назвал экранопланом. За счет особой конфигурации теперь не подводных, а почти нормальных, воздушных крыльев между ними и землей (водой) создается подпор воздуха. На нем, как на подушке, и держится корабль-самолет. Двигаться он может почти с самолетной скоростью, несколько сотен километров в час, а груза набирать по-корабельному много. Правда, высота полета, вернее скольжения над ровной поверхностью, не превышала трех-пяти метров, иначе эффект подпора исчезал. Холмы, холмики, овраги, буераки экраноплан преодолевать не умел. По мысли Алексеева, предназначение экраноплана: прибрежные морские или речные сообщения и еще он давал возможность двигаться над болотами и равнинами тундры. Быстрый, вместительный, экономичный, он, в отличие от гусеничных машин, не разрушал заросший полярным ягелем верхний слой почвы. В общем, не транспорт, а чудо.

Отец загорелся новой идеей, вновь обещал свою полную поддержку. Но оказать ее не успел. Отца сменил Брежнев.

Экраноплан — уже не корабль, но еще не самолет, завис в межведомственном пространстве. Речники его от себя выталкивали, Аэрофлот принимать отказывался. К экраноплану он интереса не выказал. Алексеев попытался достучаться до Косыгина, но тот через помощника ответил, чтобы он обращался к своему министру. Совладать с смежниками-министрами Бутома не мог, пришлось им с Алексеевым «запродаться» военным. Конструктор переделал почти готовый экраноплан в десантный корабль, пообещал на его базе спроектировать крылатый ударный

ракетоносец. Свое слово он сдержал. На свет появился гигантский тысячетонный с восемью реактивными двигателями то ли самолет, то ли корабль. В его фюзеляже могло разместиться до роты десантников в полном вооружении. В ударном варианте в нем монтировали контейнеры с челомеевскими крылатыми ракетами. Экраноплан испытывали на Каспии. Американцы его сфотографировали со спутника, окрестили «Монстром Каспийского моря» и никак не могли догадаться, что это за чудо-юдо.

«Монстр» на самом деле оказался монстром, высосал все соки из конструкторского бюро и завода, но так толком и не залетал. Вскоре Алексеев умер, а вслед за его смертью захирел и экраноплан. Сейчас пара экспериментальных «монстров» догнивает где-то у пирсов провинциального Каспийска, а болотистую тундру рвут гусеницы грузовых и пассажирских вездеходов. Говорят, что там, где однажды проползет такая машина, растительно-почвенный покров восстанавливается только через пятьдесят-сто лет. Или вовсе не восстанавливается, земля протаивает, вечномерзлая твердь превращается в болото.

Новое в сталеварении

30 июня 1960 года отец отправился в государственным визитом в Австрию. Встречали его там восторженно. Еще бы! Пять лет тому назад он «дал им волю», настоял на подписании Государственного договора, «вывел» из Австрии не только советские, но и западные войска.

С австрийским канцлером Юлиусом Раабом у отца установились почти приятельские отношения. Отец все меньше обращал внимания на идеологические табу, а без Молотова «поставить ему на вид» за его «прегрешения» никто не осмеливался. Рааба отец шутливо называл своим «другом-капиталистом». Канцлер в ответ улыбался и, сводя указательный и большой пальцы правой руки, уточнял: «кляйне капиталист», маленький капиталист.

4 июля делегация посетила металлургический комбинат компании «Фест» в окрестностях Линца. Отец специально попросил об этом Рааба. Еще в 1956 году он прочитал в «Известиях» статью академика Бардина об австрийском изобретении, позволявшем получать сталь в продуваемых кислородом бочках-конверторах за сорок минут вместо шести-восьми часов, необходимых для мартеновской плавки. Восемь часов и сорок минут — конвертор увеличивал производительность в двенадцать раз.

Отец тогда же решил разобраться в этом крайне важном для страны деле и поехал к Бардину в его Институт черной металлургии. Они проговорили более двух часов.

Австрийское изобретение «Линц-Донавицкий» — процесс переработки чугуна в сталь, названный в честь расположенного на берегу Дуная, неподалеку от Линца, местечка Донавиц, где его запантетовали в 1949 году. «На самом деле ученые-металлурги комбината “Фест” не придумали ничего принципиально нового, а лишь кардинально усовершенствовали давно известный способ, — Бардин начал свой рассказ издалека. — Англичанин Генри Бессемер еще в 1856 году предложил выжигать лишний углерод из расплавленного чугуна, залитого в специальную бочку-конвертор, продувая ее со дна сжатым воздухом. Частицы углерода “выгорали” как бы сами по себе, за счет содержавшегося в воздухе кислорода. Однако качество конверторной стали оставляло желать лучшего. Конвертор Бессемера доминировал в мировой металлургии недолго. В 1847 году братья Карл и Фредерик Сименсы, будущие основатели крупнейшего германского электротехнического концерна, занялись разработкой принципиально нового метода получения стали не в конверторе, а в печи, разогреваемой сгорающим в ней углем. В 1861 году Карл получил патент на свою технологию и в 1869 году основал сталелитейную компанию, но неудачно, в 1880-е годы она обанкротилась. Больше Сименсы металлургией не занимались, переключились на электротелеграф и другие электрические устройства.

Французу Пьеру Мартену повезло больше. Он запатентовал в 1862 году очень похожий на сименсовский способ получения стали. Но по ходу плавки в расплавленный чугун стали вводить добавки, убиравшие вредные примеси, в том числе серу с фосфором. Печи потом так и назвали мартеновскими. Процесс по сравнению с конверторным получился длительным, но зато сталь получалась заданного качества. К началу Первой мировой войны Мартен победил, его печи повсеместно вытеснили конверторы. Правда, к тому времени обоих изобретателей уже не было в живых, Бессемер умер в 1896 году, а Мартен — в 1915-м».

Историю металлургии отец знал, изучал еще на рабфаке, а потом в Промышленной академии, но ожидая, когда же академик доберется до сути, слушал не перебивая.

«Австрийцы, казалось бы, сделали самую малость, — Бардин наконец заговорил о том, ради чего отец и приехал в его институт. — В своем конверторе они продувают расплав чугуна не воздухом, а кислородом и впрыскивают внутрь добавки, выводящие серу, фосфор и другие вредные примеси. Бессемер о

таком и мечтать не смел, чистый кислород в необходимых для металлургии количествах только недавно научился получать академик Капица. Он, кроме всего прочего, возглавлял в правительстве самостоятельный Кислородный Главк. Однако после того как 17 августа 1946 года Сталин, с подачи Берии, отстранил Капицу от работы, дело застопорилось. Вот и получилось, что технология получения кислорода наша, а сталь Линц-Донавицкая».

Отец пообещал Бардину поддержку и всем своим весом принялся проталкивать сулившую многомиллионную экономию австрийскую новинку. Но даже у него не очень получалось. Никто ему впрямую не возражал, более того, все высказывались «за», но то Госплан не находил денег на модернизацию заводов, то ученые старой, мартеновской, школы сомневались: удастся ли получать в конвертере сталь нужного качества.

Готовясь к поездке в Австрию, отец вспомнил о конвертере и попросил включить посещение Донавица и расположенного там комбината «Фест» в программу визита. Он решил сам разобраться, кто прав, а кто попросту мутит воду. Почему австрийская технология распространяется по миру, а нам она, видите ли, не годится?

И вот теперь отец в Линце, на его глазах в многотонную реторту конвертора заливают расплавленный чугун, снизу вдувают кислород, сверху рассыпается каскад искр догорающего углерода и через сорок минут готовая сталь разливается по формам-изложницам. Отец дотошно расспрашивал инженеров «Феста», какого качества получается сталь из конверторов, в Москве его уверяли, что за столь короткое время плавки марганец, хром, другие добавки, придающие ей нужные качества, просто не успевают раствориться. Австрийцы удивились, вежливо пояснили, что процесс плавки «Линц-Донавиц» позволяет выпускать все общеупотребительные марки стали. Возможно, специальные броневые стали для танков и крейсеров потребовали бы каких-то усовершенствований, но Австрия — страна нейтральная и броневая сталь у них не имеет сбыта.

Все, что рассказывал ему Бардин, оказалось правдой. Вот только Бардин уже умер.

Отец поинтересовался у руководства завода, не продадут ли они лицензию? Инженеры замялись, торговля — не их дело. Отец поручил присутствовавшему тут же Косыгину заняться конвертором вплотную. Занимался им Косыгин долго. Он переправил всю документацию на заключение в Госплан и Академию наук. Сначала академики подвергли сомнению состоятельность конвертора в принципе, затем, прочитав

доставленные с австрийского комбината описания, заявили, что они сделают свой конвертор получше фестовского. И Госплан конвертор не жаловал, мартены строились по давно установившейся схеме, в сложившейся кооперации, а конвертор — журавль в небе. Что-то не заладится, и вся пятилетка окажется под угрозой. Косыгину, видимо, тоже не хотелось рисковать. Переговоры с австрийцами затянулись. Тянулись они до конца 1964 года. Став Председателем Совета Министров, Косыгин больше такой «ерундой» не занимался.

В 1987 году я прочитал в газете «Известия» статью, призывавшую переходить от мартеновской к более прогрессивной, конверторной технологии выплавке стали.

Изобретения и изобретатели

3 июля 1960 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР установили новый порядок «стимулирования внедрения новой техники и автоматизации», разрешавший предприятиям полученную в результате освоения в производстве изобретений и других новаций прибыль не перечислять в бюджет, а оставлять себе. Таким образом, по мысли отца, директора окажутся материально заинтересованными в обновлении продукции, внедрении на своих заводах новых машин и технологий. Образно говоря, он хотел повесить перед их носом «морковку».

«Морковка», однако, оказалась малодейственной. В чем же тут дело? Всякая серьезная новация таит в себе немалый риск. Изобретатель — обычно человек одержимый, убежденный, что его идея гениальна, он осчастливит человечество, обогатится сам и обогатит всех, кто его поддержит. Настойчивость его не знает пределов. Ответ же, прав он или нет, таится в будущем, а оно нам неведомо. Новые идеи всегда кажутся сумасшедшими. Большинство их на поверку действительно оказываются сумасшедшими, неосуществимыми, невнедряемыми и бесполезными. Но объяснить этого изобретателю невозможно, он всегда найдет «неоспоримые», по крайней мере для него самого, доводы в свою пользу. Девяносто процентов изобретений, я говорю о новациях, а не усовершенствованиях уже известного, принадлежит именно к такой нереализуемой категории. Из оставшихся десяти процентов лишь малая толика принесет прибыль, и только единицы способны «перевернуть мир». Изобретатель же предлагает советскому директору или западному предпринимателю поставить на кон все: репутацию, деньги, ресурсы, и все ради того, чего никогда никто не делал. Прошлый опыт и логика тут плохие помощники. Никто и никогда не ездил

на самодвижущихся повозках. Никто и никогда не летал на аппаратах тяжелее воздуха. Никто и никогда не доверял расчет своих доходов и расходов электронному ящику. Никто… Никогда… Здравый смысл всеми способами препятствует, сопротивляется, доказывает, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Так в свое время французские академики, основываясь на логике и предыдущем опыте, постановили, что камни с неба падать не могут, и сообщения о подобных глупостях они принимать к рассмотрению отказываются. Речь тогда шла о метеоритах. В такой ситуации остается только довериться интуиции. А она может и подвести.

Отец, как я уже писал, по складу характера и природной любознательности скорее поддерживал новые идеи, чем отвергал. И хотя он старался проявлять осторожность, всю равно не раз попадался на удочку «одержимых изобретателей». Чего стоил один Лысенко! Он истово верил в свое предназначение, в свое толкование природы, в то, что он принесет процветание и стране, и людям. Не знаю, уж какой он обладал гипнотической силой, но вопреки логике он сумел обратить в свою веру и сверхподозрительного Сталина, и отца. Оба они поверили Лысенко, поставили на него и потерпели сокрушительное поражение, растратив при этом громадные ресурсы.

Отцу еще везло, Лысенко — исключение, большинство его протеже: ракетчики Королев, Янгель, Челомей, строитель-инженер Козлов, селекционеры Пустовойт или Лукьяненко, корабельщик Ростислав Алексеев, перечисление можно продолжить, оказались не пустоцветами.

К сожалению, отрицательных примеров изобретательства-прожектерства в истории накопилось больше, чем положительных, от мага Калиостро до средневековых алхимиков. Все они, как и Лысенко, истово верили в свою правоту, обладали даром убеждения, все они впустую растрачивали свои и не свои богатства. Именно потому, что наперед почти невозможно отличить реальное изобретение от нереализуемой пустышки, руководители крупных компаний, директора преуспевающих предприятий к «изобретателям» испытывают предубеждение, на риск идут крайне неохотно. Особенно в советских условиях, когда выпускаемый их заводами продукт и так распродается без остатка. От добра добра не ищут. Так рассуждали советские директора-монополисты, так рассуждали и рассуждают капиталисты, президенты крупнейших мировых компаний. На худой конец, права на потенциальное изобретение, чтобы им не завладели конкуренты, покупают впрок и отправляют его в долгий ящик.

Чтобы не казаться голословным, приведу пример. Зависть и восхищение вызывает успешность на мировых рынках компьютерной компании IBM. Во время Второй мировой войны она, благодаря эффективности менеджмента и интуиции ее основателя Томаса Уотсона, не столько захватила, сколько создала рынок калькуляторов-табуляторов и прочно обосновалась на нем. Устойчивый сбыт, огромные прибыли не побуждали к инновационному риску. Хотя IBM и обладала лучшими в мире исследовательскими лабораториями, но они улучшали уже изобретенное, закрепляли уже завоеванные позиции.

Пришедший на смену отцу Томас Уотсон-младший в книге воспоминаний не скрывает, что IBM проглядела транзисторы, прозевала микросхемы.

Спохватывались только тогда, когда конкуренты, первыми освоившие «сомнительные» новшества, начинали их обходить. Хваткому менеджменту IBM обычно удавалось восстановить лидерство на рынке. Подчеркну — восстановить. Рисковать успешная компания резона не имела. Том Уотсон-младший, мне с ним удалось познакомиться, любил рассказывать поучительную историю из собственной жизни. На заре постиндустриальной революции, а может быть, еще до нее, никому не известный изобретатель новой копировальной технологии, того, что мы сейчас называем «ксерокс», настойчиво стучался в двери IBM. Томас Уотсон-младший, тогда президент компании, его принял, внимательно выслушал и дал от ворот поворот, уж слишком сомнительным показалось ему изобретение. Зачем рисковать, если дела и без него идут успешно?

В конце концов изобретатель нашел поддержку в другом месте. Прошло не так уж много времени, и производители копировальных машин по мощи сравнялись с «самой» IBM. На этом месте Том Уотсон-младший всегда делал театральную паузу и завершал: «Поступи я в тот день иначе, и сегодня IBM с “Ксероксом” работали бы под одной крышей».

Совершил ли Том Уотсон ошибку? Личную — безусловно, да. Но корпоративную — нет. Он следовал логике руководителя успешного предприятия. Риск без необходимости — уже не риск, а безрассудство. Это правильно, как правильно и то, что новое само пробивает себе дорогу, если ее, конечно, удается пробить.

Заглянем чуть глубже в историю, вспомним, как великий американский изобретатель Томас Альва Эдисон увещевал молодого Генри Форда бросить возиться в сарае с «керосинкой» — будущим автомобилем марки «Форд», заняться серьезным делом, не бензиновым мотором, а электродвигателем в его, Эдисона, компании «Дженерал Электрик». Тогда она называлась

иначе. А несколько десятилетий до этого самого Эдисона серьезные люди его времени держали за городского сумасшедшего. Пока он самостоятельно не выбился в люди и не основал свою компанию. «Самостоятельно» — это ключевое слово коммерческого успеха большинства новых технологий. Научно-технический прогресс тут следует по проторенной тропе биологической эволюции, бесчисленно количество мутаций живых организмов, но выживают, дают потомство — единицы. Вот этим единицам покоряется будущее.

Десятки, сотни тысяч сумасшедших, полусумасшедших и вполне нормальных изобретателей на собственный страх и риск или, на худой конец, с помощью верных друзей и доверчивых инвесторов пытаются протолкнуть свои идеи. Согласно законам эволюции, подавляющее большинство из них, не добившись ничего, сходят с дистанции. Только единицы настоящих изобретателей становятся знаменитыми и богатыми. И в свою очередь, они теперь начинают отбиваться от осаждающих их изобретателей. И первый, «яблочный», компьютер произвели на свет не в оборудованной лаборатории, а в гараже. И король программного компьютерного обеспечения Билл Гейтс выбился в люди сам. Можно вспомнить и Тэда Тернера с его Си-эн-эн, или еще множество других, кого мы уже знаем и кого нам еще только предстоит узнать.

Таков естественный путь технического прогресса, столь же естественный, как и появление новых видов организмов в живой природе. Ни то ни другое невозможно ввести в бюрократическое русло, подчинить написанным где-то какими-то умными людьми инструкциям, поставить в зависимость от заключений других умных людей. На самом деле революционная новая идея потому считается сумасшедшей, что ни один уважающий себя профессионал не рискнет ради нее своей репутацией разумного человека.

Так что «благое» Постановление, стимулировавшее директоров за внедрение новой техники, мало что могло изменить. Тут требовалось менять систему так, чтобы заложенное самой природой стремление выбиться, завоевать себе место под солнцем, возвыситься, реализовывалось бы естественным путем, а не через поддержку сверху. Другими словами, для обеспечения научно-технического прогресса следовало обеспечить свободу… Свободу чего? Предпринимательства? Наверняка нет. Скорее всего, свободу равных возможностей. Интуитивно отец выбирал именно этот путь. Вводя принципы материальной заинтересованности, он двигался в направлении освобождения производителя, а с ним и изобретателя от терний

централизованной бюрократии, но пока только еще только нащупывал путь.

О новых радикальных переменах серьезно он еще не думал. Региональное управление, совнархозы его устраивали. Пока устраивали.

На выставке у Рерихов и не только у них

1 июня 1960 года отец ведет своих коллег по Президиуму ЦК, не всех, а выразивших хоть какой-то интерес, в Манеж на ежегодную выставку произведений художников РСФСР. Оттуда они перемещаются в Музей Изобразительных искусств, там выставлены картины Николая и Святослава Рерихов.

Святослав Николаевич встретил отца как старого знакомого. Они познакомились в 1955 году во время визита советской делегации в Индию, снова повстречались этой зимой в Дели. Тогда-то отец и пригласил Святослава Николаевича с женой посетить Москву. Без проволочек оформили официальные бумаги, договорились о выставке, и вот теперь Рерих на правах хозяина показывал Хрущеву картины отца и, естественно, свои. Никите Сергеевичу экспозиция нравилась, хотя он видел эти полотна не первый раз. В 1955 году Святослав Николаевич уже демонстрировал ему кое-что из своего собрания, подарил тогда небольшие сине-голубые Гималаи работы отца.

Сейчас Рерих подвел отца к отдельно стоящей на подставке большой картине: шоколадные гибкие южные женщины на фоне пальм занимались каким-то сельскохозяйственным трудом. По стилю, вернее своими мотивами, полотно напоминало Поля Гогена. Отец похвалил художника, его впечатлила тропическая яркость красок, переливы цвета, да и тема подходящая.

— Это я привез вам в дар, — несколько торжественно произнес Святослав Николаевич.

Отец смутился, вроде он напросился на подарок, но Рерих, заметив это, поспешил добавить: «Я так решил еще в Индии. Видите, и стоит полотно отдельно, и в каталог выставки я его не включил. Прошу принять».

Называлась картина «Труд», Святослав Николаевич написал ее в 1944 году. Отец повесил ее на стену в резиденции, затем она кочевала вслед за ним, в пору отставки висела в столовой в Петрово-Дальнем, а после смерти отца перешла ко мне. Я ее очень люблю.

Расстались отец с Рерихом по-дружески, обнялись. В последующие годы во время приездов Рерихов в Москву им довелось встретиться еще пару раз.

2 июня отец осматривает экспонаты на Британской выставке «Пластические массы в промышленности», договаривается с хозяевами о возможных продажах еще не известных нам технологий, дает распоряжение толпящимся рядом с ним внешторговцам и госплановцам начать переговоры.

7 июня 1960 годы отец выступает на совещании по градостроительству, я уже писал о нем, и на следующий день улетает в Пицунду, там готовится к поездке в Румынию на съезд Рабочей партии, а главное — к предстоящим непростым переговорам с китайцами. Они тоже готовятся и направляют в Бухарест более чем представительную делегацию.

11 июня, оторвавшись от бумаг, отец осматривает новые пансионаты Пицундского туристического комплекса, возводимого рядом с госдачами, разговаривает с отдыхающими, фотографируется. Отец доволен, работы идут быстро, новые многоэтажные корпуса выглядят привлекательно внешне и достаточно комфортабельны внутри.

В Москву он возвращается 18 июня. Во Внуковском аэропорту его поджидает киевский авиаконструктор Олег Константинович Антонов и приглашает осмотреть его последний самолет Ан-24. На местных авиалиниях он заменит «Аннушку», старенький, тоже Антоновский, Ан-2.

18 июня 1960 года, едва успев разобраться с делами в Москве, отец улетает в Бухарест. Возвращается он только через 10 дней, 27 июня.

24 июня 1960 года, в его отсутствие, состоялся учредительный съезд Союза художников Российской Федерации. Вслед за писателями и музыкантами российские художники образовали свое творческое объединение.

26 июня 1960 года вышло Постановление ЦК КПСС и Правительства «О передаче предприятий промысловой кооперации в систему совнархозов», по сути, предопределявшее преобразование кооперативных предприятий и артелей в государственные. Решение «толкали» не хозяйственники, а идеологи, доказывавшие, что, согласно теории, более «низкая», кооперативная, форма собственности обязана преобразовываться в более

«высокую» — государственно-общественную.

Чушь, конечно, но тогда к подобным заклинаниям относились серьезно. С точки зрения дела, огосударствление артелей ничего, кроме вреда и дополнительной головной боли для руководства совнархозов не несло. Централизованная экономика наиболее эффективна в приложении к крупным задачам: создание новых отраслей промышленности, освоение целины, прокладывание каналов. До мелочей ни у министерств, ни у их преемников — совнархозов руки не доходили. «Мелочами» занималась промышленная кооперация, вобравшая в себя полугосударственных-получастных умельцев-кустарей. Они чинили обувь, лудили кастрюли, склеивали фарфор, занимались еще массой дел, неприметных, но в каждодневной жизни незаменимых. В общую «копилку» кооперация нарабатывала 4,1 процента от общего выпуска продукции, работало там 800 тысяч человек. И вот теперь Госплан с подачи идеологов подготовил постановление. Отец судьбой кооперации, к сожалению, не заинтересовался, после скандала с американским самолетом-шпионом, демонстративным разрывом с президентом Эйзенхауэром его поглотила организация в ООН, в Нью-Йорке, встречи глав государств мира. Он чуть ли не еженедельно выступал на эту тему, обменивался посланиями с премьер-министрами и президентами. Во всей этой горячке «рядовое» постановление о кооперации его внимания не привлекло. Осведомившись, все ли завизировали проект, отец, не вникая в суть, подписал его и за ЦК, и за Совмин.

Совнархозы «кооперативному подарку» не очень обрадовались, от «артельщиков» — одна головная боль. Их подчинили второстепенным главкам и забыли о них. Главкам возиться с артелями вскоре надоело и их, одну за другой, позакрывали. Умельцы разбрелись кто куда. Не стало кооперации, и из нашего быта исчезли столь важные для человека мелочи.

30 июня отец — в Австрии, я уже написал о его визите в эту страну. Он продолжается по 8 июля. Сразу по возвращении, 9 июля, он выступает на съезде учителей.

Еще одна встреча в Семеновском

(Отступление одиннадцатое)

В воскресенье, 17 июля 1960 года, состоялась очередная встреча руководства страны с интеллигенцией, той, что зовет себя творческой, как и в мае 1957 года, — на природе, на бывшей даче Сталина в Семеновском. Руководство прибыло в новом составе, без Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова, их место в ближайшем окружении отца заняли Козлов, Микоян, отчасти Брежнев плюс наступавший им на пятки Полянский. В преддверии встречи, 15 июля, председатель КГБ Шелепин направил отцу совершенно секретную записку «О настроениях советской интеллигенции».

По мнению Шелепина, писатели и иные деятели культуры, «которые еще в недавнем прошлом отличались своим недоверием к проводимым мероприятиям», сейчас мыслят более позитивно. Дальше следуют отзывы на публикацию в апреле поэмы Твардовского «За далью — даль» как благоприятные — кинорежиссера Романа Кармена, поэта Семена Кирсанова и еще кое-кого, так и отрицательные — у писателя Евгения Поповского поэма «вызывает отвращение», потому что «по Твардовскому получается, что будто бы все дело в некоторых личных чертах и особенностях характера Сталина, а не в системе, которая допускает возможность ничем не ограничивать произвол в обращении с народом». Своим «иезуитством» не понравилась поэма и писателю Константину Паустовскому. Дальше Шелепин докладывает о разоблачении КГБ «нигде не работающего, занимающегося подделкой документов Александра Гинзбурга, собирателя произведений художников-абстракционистов и вынашивавшего намерение создать молодежный клуб по образцу ревизионистских клубов Варшавы 1956 года».

Сигнал, свидетельствующий о естественном, но опасном расслоении в обществе на реформаторов, сторонников постепенных мирных изменений, и революционеров, призывающих к смене всего и немедленно, не задумывающихся: что потом?

Такое же расслоение наблюдалось в России и перед 1905 годом, и перед 1917-м. Тогда верховная власть отвергла реформы и получила революцию. Отец выбрал путь реформ, но они возможны только при стабильности в стране. Перемены и стабильность — два понятия, казалось бы несовместимые, но их необходимо совместить, поддерживая своих, одновременно противодействуя откату назад, но и не допуская потери контроля над страной и последующего развала. Для успешного продвижения вперед одинаково опасны консерваторы, в нашем

случае — сталинисты, и революционеры-экстремисты, все те же Сцилла и Харибда, которых не обойти, и только проскользнув между ними, можно выйти на «океанский» простор.

Пока предупреждение Шелепина особой тревоги у отца не вызвало. Баламуты в обществе существовали всегда. Дальше Шелепин доносил о неутихающей склоке среди драматургов: Арбузов, Штейн и другие схлестнулись с Корнейчуком, Погодиным и еще кое с кем о собраниях единомышленников на квартире у «художника-абстракциониста Рабина, посещении его иностранцами и такими известными советскими литераторами, как Эренбург, Слуцкий, Мартынов», о возникшем в обществе «чувстве боязни предстоящей денежной реформы», деноминации рубля, о жалобах писателей Федина и Привалова на засилье и взяточничество редакторов, о том, что, по словам кинорежиссера Чухрая, «делать посредственные фильмы-экранизации при существующей премиальной системе проще и выгоднее: так, кинорежиссеру Хейфицу за его экранизацию чеховского рассказа “Дама с собачкой” выплатили тройной гонорар, больше, чем ему, Чухраю, за создание современного фильма “Баллада о солдате”, получившего высокую оценку общественности и отмеченного на кинофестивале в Каннах», и так далее.

В общем, ничего настораживающего. Прочитав записку, отец расписал ее Суслову и забыл о ней.

Встреча 17 июля обошлась без эксцессов. Гуляли по дорожкам парка, разговаривали, шутили, пели. Запевал известный в те годы украинский композитор Майборода. В окружении подбадривавших ритмичными хлопками в ладоши зрителей танцевали Ворошилов с Микояном. Ворошилов — «русскую», а Микоян, под ту же музыку — «лезгинку», но никого такой разнобой не смущал.

Под столетними липами расставили заставленные разносолами столы, между блюдами частоколом стояли аппетитно запотевшие на солнышке графинчики… с водой.

Когда все расселись, взял слово отец. Он предупредил гостей: «Застолье устраивается без алкоголя, жарко, да и напиваться необязательно». По столам прокатился ропот, но тут же стих. С хозяином не поспоришь.

Обедали долго, один за другим звучали тосты-речи, скорее просто речи, так как запивали их водой. Выступали писатели Константин Федин, Александр Корнейчук, Илья Эренбург, затем Михаил Суслов с Леонидом Брежневым. За ними взял слово президент Академии наук Несмеянов, его сменил Фрол Козлов и снова писатель Леонид Соболев, за ним Анастас Микоян, Екатерина Фурцева, Хрущев, кинорежиссер Бондарчук,

украинский поэт Максим Рыльский, член Президиума ЦК Аверкий Аристов, композитор Дмитрий Шостакович, и так без конца. Я не перечислил и половины выступавших. Каждый говорил о своем и ни о чем, стороны рассыпались во взаимных комплиментах и клялись во взаимной, не скажу любви, но симпатии. Думаю, что искренне.

Обед заключил длинной речью отец, он говорил, как всегда, «без бумажки», от души, что думал, обращался, как он считал, к своим единомышленникам, таким же, как и он, «строителям коммунизма».

Отец остался встречей доволен, ему казалось что наконец они нашли общий язык. Но, если прочитать ехидный рассказ одного из участников того застолья, писателя Сергея Наровчатова «На островах коммунизма», то картина вырисовывается иная.

Возможно, оба правы: и отец, и Наровчатов. У каждого свой взгляд, и смотрят они по-разному: кто в упор, кто исподлобья.

День за днем

В понедельник, 18 июля 1960 года, отец вместе с Брежневым осматривает в Кремле новый малолитражный автомобиль «Запорожец».

20 — 21 июля 1960 года он на ракетном полигоне Капустин Яр, неподалеку от Сталинграда. Там руководителям государства и генералитету демонстрируют последние образцы ракетного и авиационного оружия, затем все вместе обсуждают пути развития Вооруженных сил. Подтверждают прошлогоднее решение сконцентрироваться на ракетах с ядерными боеголовками при одновременном сокращении военных расходов.

21 июля вечером отец переезжает из Капустина Яра в Сталинград, посещает строительство ГЭС, объезжает поля.

25 — 27 июля он в Астрахани, осматривает с вертолета дельту Волги, охотится, пишет записку в Президиум ЦК, о ней я уже упоминал, и улетает в Киев. С 25 числа отец официально числится в отпуске.

Из Киева он 5 августа наконец-то перебирается в Крым и, уже настоящим отпускником, обосновывается на государственной даче № 1, находящейся неподалеку, вниз от Ливадийского дворца.

27 августа, по дороге в Москву, отец

останавливается на один день в своей родной Калиновке.

30 августа 1960 года он вместе с прибывшим в Москву Яношем Кадаром открывает в Парке имени Горького Венгерскую выставку и в тот же день в сопровождении почти всех членов Президиума едет в Сокольники на открытие Японской выставки. Он там подолгу стоял у каждого стенда, расспрашивал японцев об отличиях заинтересовавшего его экспоната от аналогичных американских изделий, иногда поворачивался к Косыгину и просил того разобраться поподробнее, если удастся закупить образцы. Косыгин аккуратно записывал поручения отца в маленький блокнотик.

2 сентября отец в столице Финляндии Хельсинки поздравляет президента Кекконена с шестидесятилетием, а 19 сентября отбывает в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В Москву отец возвратится только 14 октября.

23 октября 1960 года он во Дворце спорта в Лужниках на выступлении американской балетной труппы Лючии Чейз и Оливера Смита.

8 ноября 1960 года в Москве открывается очень непростое совещание представителей коммунистических и рабочих партий. Вся интрига закручивается вокруг взаимоотношений с Китаем. По существу, они уже испорчены, но внешние приличия пока соблюдаются. На совещании Китай представляют Лю Шаоци, Дэн Сяопин и Пын Чжень.

Они то соглашаются подписать заключительный документ, то отказываются. Отец их уговаривает. 30 ноября китайцы в конце концов ставят свою подпись.

12 ноября 1959 года отец, уставший от споров с китайцами, идет в Большой театр послушать новую оперу Георгия Майбороды «Арсенал».

17 ноября 1960 года он выступает на открытии Университета дружбы народов. Этой осенью туда уже прошел первый набор студентов из вчерашних колоний, молодых стран Азии и Африки.

29 ноября 1960 года отец идет в Манеж, там открывалась выставка украинских художников.

2 декабря 1960 года он в Большом театре на балете Лео Делиба «Коппелия» в исполнении кубинских артистов.

Волга — Каспий

К 1960 году споры в электроэнергетике между «тепловиками и гидриками» утихли. Планы сбалансировали, строили и ТЭЦ, и ГЭС, а теперь уже и атомные электростанции, в зависимости от района и экономической целесообразности.

Готовилась к вступлению в строй Белоярская атомная. Заработали последние турбины Сталинградской гидроэлектростанции. Начался монтаж турбин на Братской ГЭС, на Ангаре. Приступили к сооружению мощнейшей Нурекской ГЭС на реке Вахш, в Пулисангинском ущелье в Таджикистане. Вслед за ней на Вахше планировалась грандиозная Рогунская гидроэлектростанция и еще несколько станций поменьше. В Конакове под Калининым строилась гигантская по тем временам, равная нескольким Днепрогэсам Конаковская тепловая электростанция. В Казахстане на угольном разрезе в Экибастузе запроектировали сразу три тепловых станции, каждая еще мощнее Конаковской. Подошло к завершению и строительство гидростанций Волжского каскада.

Так сложилось, что в 1960-е годы заложили основы электроэнергетики до конца XX столетия и даже заглянули дальше.

После долгих дебатов отказались от запроектированной ГЭС в районе Астрахани, в самом низовье Волги. Она получалась невыгодной, заливались огромные площади, исчезала дельта Волги, а электричества в общий баланс добавлялось чуть. Вместо гидроэлектростанции и затопления прикаспийских засушливых, но плодородных земель, решили заняться их орошением. Поливка позволит выращивать там не только традиционные арбузы и помидоры, но и рис. Однако возникала проблема с водой, ее катастрофически не хватало. Каспийское море от года к году отчаянно мелело, спад воды исчислялся в метрах. На географических картах приходилось постоянно менять очертания Каспия, еще десятилетие назад голубой, морской цвет закрашивать зеленым, земным. Казалось, не ровен час, море вообще высохнет до дна. Ученые во всем винили изменение климата, он стал засушливее: в Каспий поступает меньше воды, а ту по пути ее закачивают в городские водопроводы, если еще и на поливных делянках начать рис выращивать!.. Для спасения Каспийского моря предлагалось построить дамбы, воды северных рек через Печору и Вычегду, Каму и Волгу развернуть в Каспийское море.

В результате не просто «спасали» Каспий, но и появлялась возможность перебросить «лишнюю» воду в засушливое

Приуралье, построить канал Волга — Урал, оросить не только Астраханские степи, но поля Сталинградской и Куйбышевской областей. Отец в принципе высказался «за».

Всерьез разворотом северных рек в Каспий занялись уже после отца, но тут в «небесной канцелярии» что-то переключилось и уровень воды в Каспийском море сам по себе начал год от года повышаться. Обезвоживание ему более не грозило, приходилось спасать понастроенные на его берегах причалы, рыбоперерабатывающие заводики, просто дома и домики.

Что же у нас не так?

В октябре на Пленуме ЦК подводили итоги 1960 года.

Только за один год национальный доход вырос на 7,7 процента, производительность труда — на 5,4.

За последние два года промышленное производство увеличилось на 23 процента, построено более двух тысяч новых предприятий, выпуск товаров для населения возрос на 19,6 процента. С 1956 по 1960 год годовой фонд зарплаты увеличился на 171 миллиард рублей, а налоги снизились на 8,7 миллиарда. Население больше *не* подписывали на ежегодный заем в десятки миллиардов рублей, как делали при Сталине и сразу после его смерти, пенсии увеличились на 40 миллиардов рублей. Страна не просто развивалась, она развивалась хорошо.

«Итого, — подбивает баланс отец, — наши люди стали богаче на 242 миллиарда рублей, соответственно выросло и потребление. Вслед за ростом потребления возникли сегодняшние проблемы. Проблемы роста, и их надо решать, никто нам поблажки не дает! Люди хотят жить лучше, люди должны жить лучше, они имеют на это право. К тому же с 1956 года население страны приросло 18 миллионами человек, из них городское — 17 миллионами, их тоже надо кормить, поить, одевать. Поэтому нынешний уровень закупок мяса, молока, хотя он в два-два с половиной раза больше, чем в 1953 году, не удовлетворяет потребности страны. Люди хотят и должны жить не просто лучше, а жить достойно».

Отец обращает взор на Запад. Там переходят от выращивания мяса по старинке на крестьянских фермах к промышленному производству в крупных специализированных, механизированных и автоматизированных комплексах. Начали с птицы, цыплят и уток, за ними последовали поросята, а теперь на очереди бычки с телятами.

В этих комплексах подопечных кормят не как у нас «чем бог послал» и уж, конечно, не магазинными буханками, а по строго

рассчитанному рациону, добиваясь тем самым фантастического привеса — одного килограмма мяса на три, а порой и на два килограмма кормов. Отец встречался с фирмачами, и немецкими, и американскими, они подробно рассказывали ему о своих достижениях. В отличие от обычных куриных ферм-сараев, в которых птицы только ночевали, а день проводили на воле в поисках пропитания, заграничные технологии никаких вольностей не допускали, кур постоянно держали в специально оборудованных помещениях, корм давали им под клюв, и не какой придется, а составленный по специальным рецептам. В результате и «нагул» оказывался сказочным: килограмм курятины на полтора-два килограмма корма. Бизнесмены обещали, что если мы будем строго следовать научным предписаниям и разработанной ими технологии, то вскоре тоже забудем о «проблеме мяса».

25 октября 1959 года отец подписал Постановление правительства «Об увеличении производства мяса птицы», предусматривавшее выделение средств для закупки за границей таких комплексов «под ключ»: оборудования, технологии, рецептуры. Приобретенное в Германии утиное хозяйство разместили на озере Яготин, под Киевом. Купленные в Америке куриные комплексы построили в Крыму.

Правда, даже и на закупленных «под ключ» птицефабриках дела шли совсем не так, как гарантировали продавцы. Расход кормов на килограмм привеса превышал нормативы в разы. И дело не только в том, что корма воровали, хотя их и воровали, просто в голову крестьянина не укладывалось, что каких-то курей надо кормить, как «панночек», строго следуя заморскому меню. Если чего-то, предусмотренного инструкцией, под рукой не оказывалось, недостающий ингредиент без колебаний заменялся тем, что имелось. Естественно, и результат получался не тот, что ожидали.

Тем не менее, отец не теряет надежды догнать США по производству мяса и молока на душу населения, просто задача оказалась труднее, чем он прикидывал в 1957 году. «В отличие от США, у нас большое количество малопродуктивных лугов и пастбищ, крайне незначительны посевы сои. Хорошая обеспеченность кормами позволяет американцам иметь больше скота», — как бы оправдывается отец и дальше приводит подробнейшие выкладки. Вот лишь несколько цифр: крупного рогатого скота у нас 75,6 миллионов голов, у них — 101,5, из них коров у нас 34,9 миллионов, у них — 44,1; мы производим молока — 61,7 миллиона тонн (на душу населения — 293 л), а США — 56,4 миллиона тонн (на душу — 319 л), масла мы — 834

тысячи тонн (на душу — 4 кг), они — 653 тысячи тонн (на душу — 3,7 кг) и самая «больная» позиция — мясо: в СССР — 8,9 миллионов тонн (на душу — 42 кг), США — 17,4 миллиона тонн (на душу 98 кг). В США производят в два раза больше свинины, в два с половиной раза больше говядины и в четыре раза больше мяса птицы. Чтобы догнать американцев, мы должны производить: говядины — 6,6 миллионов тонн, свинины — 8,9 миллионов тонн, баранины — 1,9 миллиона тонн, птицы — 2,6 миллиона тонн, то есть суммарно 20 миллионов тонн мяса в год, и дальше он подробно расписывает по республикам, областям — кому, когда, сколько.

«Если бы прирост производства мяса шел такими же темпами, как в 1957 году, то сегодня, в 1960 году, мы бы имели мяса не 8,7, а около 10,5 миллионов тонн, — сетует он. — Рост поголовья коров идет не столько за счет приращения колхозного и совхозного скота, сколько за счет покупок у населения. Колхозы и совхозы Украины в 1959 году доложили об увеличении поголовья коров на 606 тысяч, купив в то же время 635 тысяч. То же самое произошло и в 1960 году, прирост поголовья коров в республике составил 427 тысяч, из них куплено — 359 тысяч».

И так почти всюду.

«Почему же за последние два года многие республики не увеличивают поголовье коров? — возмущается отец. — Кормов у нас не меньше, чем раньше. Лучше стали животноводческие помещения. Имелась возможность из молодняка вырастить не менее 3 миллионов коров год. Получили же пшик, в Российской Федерации из возможных 3 миллионов 587 тысяч голов до коровьей взрослости довели только 1 миллион 42 тысячи, в Грузии из 76 тысяч — 15 тысяч. Дело в том, что во многих колхозах хищнически забивается молодняк, необоснованно выбраковывается и сдается на мясо большое количество молочных коров».

Далее отец приводит убийственные, в первую очередь для самого себя, цифры: в 1960 году поголовье коров увеличилось всего на 900 тысяч, тогда как в 1957 году прирост составил 2,4 миллиона. Напомню, что именно в мае 1957 года начали догонять США по производству мяса. Коров стало меньше, и тут же поползли вниз удои: «если в 1957 году в Российской Федерации надоили на 2 миллиона 278 тысяч тонн молока, то в 1960 году по сравнению с 1959 годом больше только на 843 тысячи тонн, на Украине они вообще уменьшились на 145 тысяч». Но что особенно опасно, считает отец, — не просто сократились заготовки молока, но и упали удои от одной коровы. А это сигнал, что система дает сбои. Отец силился понять, где и что

сбоит.

При этом отец отмечает еще одну неприятную для себя тенденцию: «Поголовье коров у индивидуальных владельцев растет во много раз быстрее, чем в колхозах и совхозах. В Азербайджане частники прирастили свое стадо на 84 процента, а колхозы с совхозами — на 3 процента, в Грузии соответственно — 36 процентов и 13 процентов».

Правда, в Оренбуржье обратная картина: при общем приросте стада в 55 процентов, колхозы и совхозы увеличили его на 91 процент, в Ленинградской области из 39 процентов роста поголовья скота — 89 процентов приходится на общественный сектор. Секретаря Оренбургского обкома Геннадия Ивановича Воронова отец вскоре заберет в Москву. В Бюро ЦК по РСФСР он займется сельским хозяйством, и займется успешно.

Неприятности одними коровами не ограничились. В 1960 году остановился рост производства свинины. С овцами и козами вообще приключилось несчастье, в 1960 году «из-за бесхозяйственности и халатности в колхозах и совхозах Российской Федерации пало 5 миллионов 218 тысяч овец и коз, в Казахстане — 3 миллиона 306 тысяч, в Киргизии — 609 тысяч, в Грузии — 201 тысяча голов, и так по всем республикам.

Ничем не оправдано и снижение прироста производства мяса птицы в совхозах и колхозах. В 1959 году прирост мяса птицы составил 81 тысячу тонн, а в 1960 году — только 36 тысяч тонн».

Было от чего за голову схватиться.

Несмотря на все провалы, заготовки в 1960 году все же свели с положительным сальдо, мяса, по сравнению с 1959 годом, заготовили больше на 372 тысячи тонн, молока — на 1 миллион 382 тысячи тонн, яиц — на 828 миллионов штук.

Отец в своем выступлении привел итоговые цифры, но сам в них не очень верил. Отчитываться в выполнении и перевыполнении планов обкомы умели. За последние годы напридумывали множество лазеек. К примеру, Совет Министров РСФСР, то ли еще при Козлове, то ли уже при Полянском принял, на первый взгляд, чисто техническое решение «О передержке скота в совхозах и колхозах».

Согласно этому документу, заготовительным органам разрешалось выписывать квитанции о приемке скота, одновременно оставляя его в хозяйствах «на передержку, на доращивание». Проще говоря, я оформлял своего теленка весом в 50 килограммов как бы сданным государству, получал квитанцию и деньги за как бы сданные 50 килограммов мяса, но фактически оставлял его у себя. Дорастил я теленка до коровьего веса в 100 килограммов — получал еще одну квитанцию и сумму денег за

дополнительные 50 килограммов мяса. А вот если я обещал дорастить его, скажем, до 300 килограммов, а он дотянул до 150 — и сдох? В результате квитанция на сданные 50 кг мяса есть, деньги есть, нет пустяка — мяса», — раскрывает механизм популярного в те годы жульничества хорошо осведомленный во всех тонкостях секретарь Оренбургского обкома Воронов.

И это только один из известных секретарям обкомов способов водить Москву за нос. Центр требовал обязательств, и в ответ он получал обязательства о будущем перевыполнении плана на 50 процентов, в два, а то и в три раза. Местные руководители купались в славе, расписывали свои, еще не достигнутые, успехи, а когда подходила пора отчета, мухлевали, кто как мог.

Особенно больно ударила по самолюбию и репутации отца информация, поступавшая из Рязани. Приходившие оттуда в ЦК письма приобрели душераздирающие оттенки. «Очковтирательство, обман государства. Оформляют сдачу скота на приемных пунктах мясокомбината, фактически не сдают, а дают доверенности в получении тех же животных на передержку, и вот четвертый квартал 1959 года “выполнен”. Так звучит в отчете, а на деле мясо поступило только в первом квартале 1960 года. Дальше — больше, под нож пошли и дойные коровы, и телята рождения 1959 года. Иначе не выполнить четырехкратный план сдачи мяса в 1960 году. Кому нужно такое выполнение плана? Бумага — не мясо! Это похабщина! Народ смеется!» — читал отец в одном из полученных из Рязани сообщений.

«Рязанская область совершенно не имеет скота, если не считать некоторого количества свиней. Поэтому продолжается скупка скота. Скот закупается по рыночным ценам во Владимирской, Липецкой, Воронежской, Московской областях. Можно себе представить, во что обойдутся колхозам и государству такие “заготовки”, что останется на текущих счетах колхозов в Госбанке, и самое главное, мяса в стране не прибавится. Одновременно используется старый, испытанный конек — приписки к отчетности», — пишет отцу В. С. Виноградов, работник Главного управления заготовок Министерства сельского хозяйства РСФСР.

Направленная в Рязань московская комиссия подтвердила: изложенное в письмах — правда. Для отчета о тройном в 1959-м и четырехкратном перевыполнении плана 1960 года по сдаче мяса в Рязани использовали весь набор жульнических приемов: и скупку скота, и «передержку-доращивание», и откровенные приписки. На поверку Ларионов оказался не героем, а махровым «шулером». Поняв, что в Москве всё знают, игра окончена, он попросился к Хрущеву на прием.

Отец ему в просьбе отказал, говорить им не о чем. Ларионов понял, что проиграл и запил, на работу не ходил.

В начале сентября 1960 года, перед отъездом отца в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, Ларионова решили с обкома снять. Отец попросил Козлова подобрать кандидатуру на его место. Пока отец пересекал Атлантику на дизельэлектроходе «Балтика», в Москве и Рязани искали выход из положения. Так продолжалось почти две недели. Перед самым прибытием отца в США Козлов поды скал Ларионову преемника — секретаря Владимирского обкома Константина Николаевича Гришина. На 23 сентября назначили перевыборный пленум обкома, но снимать оказалось некого, 22 сентября около десяти часов вечера Ларионова не стало.

В опубликованном в газетах некрологе сообщалось, что Алексей Николаевич Ларионов умер 22 сентября 1960 года. Подчеркивалось, что он «был верным сыном Коммунистической партии, талантливым организатором и энергичным руководителем, активным и стойким борцом за великое дело коммунизма». Однако никто из высоких руководителей и коллег не поставил, как это принято, свою подпись под эпитафией, ограничились анонимной «группой товарищей». О причине смерти в некрологе стандартно сослались на «тяжелую болезнь». Написанному в газетах не поверили ни в Москве, ни в Рязани, судачили, что Ларионов застрелился, — погнался за славой, обманул всех и вся, получил героя, а когда в ЦК докопались до истины, понял, что проиграл и пустил себе пулю в сердце.

Молва приписала игроку Ларионову и соответствующую его образу смерть. Посмертно он стал героем, вернее антигероем, но все равно «прославился». Все забыли украинцев или туляков, тоже баловавшихся закупками коров на стороне, передержкой-доращиванием, приписками. А Ларионова запомнили, и запомнили надолго.

На самом деле Алексей Николаевич Ларионов умер не от пули. Его пистолет оставался в обкоме в служебном сейфе, откуда его на следующий день официально изъял начальник областного управления КГБ. Детали происшедшего стали известны благодаря Василию Поликарповичу Зенину, тоже секретарю Рязанского обкома, естественно, не первому; всю свою жизнь он вел дневник. Жили они с Ларионовым по соседству. В те тяжелые для Ларионова дни Зенин его не бросил, поддерживал, как мог.

«Вечером 22 сентября я встретился с Ларионовым, — пишет Зенин. — Сказал ему, что предстоящий пленум пройдет хорошо. Нервничать не следует. Освобождение мотивируют личной просьбой в связи с болезнью.

В тот день Ларионов ездил в Москву, там у него сохранилась дача, по возвращении сидел, задумавшись, с сыном на лавочке во дворе. Моя дочь Лариса ласково его о чем-то расспрашивала, он ее очень любил…

22 сентября в 9 часов 50 минут Ларионов умер… С плачем постучала к нам в дверь его жена Александра Васильевна… Я поднялся на третий этаж, вошел в квартиру и увидел мертвого Алексея Николаевича на диване в его кабинете. Срочно вызвал врачей во главе с заведующим здравотделом Симоновым. Долго они с ним “работали”, но безуспешно. В 12.00 ночи увезли на вскрытие».

Далее Зенин пишет, что, насколько он знает, «смерть наступила вследствие отравления большой дозой снотворного. Из желудка извлекли еще даже не растворившиеся таблетки. Он принял тайком снотворное, поиграл с внуком, а потом захрапел и затих. Жена не усмотрела ничего подозрительного, не раз проходила мимо спальни, но то, что произошло несчастье, обнаружила слишком поздно, он уже посинел».

То, что Ларионов принял большую дозу снотворного, скорее всего, миф. В Рязанском архиве лежит заключение врачей: «22 сентября, в 21 час 05 минут внезапно наступила смерть при явлениях острой сердечно-сосудистой недостаточности. Патологоанатомическое вскрытие показало наличие распространенного атеросклероза сосудов, множественные рубцы стенки левого желудочка сердца, отек мозга, отек легких, цианоз внутренних органов. Причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность». И дальше подписи: Е. В. Литвина, заместитель заведующего облздравотделом; П. С. Бельский, главный врач больницы № 2; Н. А. Троицкий, профессор; И. Е. Мацуев, профессор; П. З. Котлярчук, областной патологоанатом, кандидат медицинских наук.

Так что все объясняется просто — сердце не выдержало, а снотворное Ларионов выпил около 9 часов вечера, чтобы заснуть после разволновавшего его разговора с Зениным о назначенном на следующий день пленуме обкома. И не горсть, а пару таблеток, как рекомендовали врачи. Вскоре, естественно, лег в постель, а через несколько минут его не стало. Вот снотворное и не успело раствориться в желудке.

После смерти Ларионова назначили официальную комиссию во главе с Аристовым, заместителем Хрущева в Бюро ЦК по РСФСР. Она доложила, что из оформленного на передержку скота всего 31,4 тысячи тонн возвращено государству 27 тысяч, не возвращено с передержки 4 тысячи тонн, не подтверждена документами сдача 16,8 тысяч тонн мяса. Таким образом, сдано

всего 129 тысяч тонн, вместо взятых по обязательствам150 тысяч тонн.

Сколько коров рязанцы закупили у соседей, комиссии установить не удалось.

Проверки выявили аналогичные нарушения в Тульской, Кировской, Винницкой и некоторых других областях.

То есть нарушения, и очень серьезные, имели место, но отнюдь не столь катастрофические, как их расписывала людская молва. Но это факты. Ларионов же стал символом нараставшего неблагополучия. Точнее, сигналом, что страна развивается не так успешно, как ожидалось и планировалось.

Весьма примечательно, что первым о махинациях Ларионова заговорил отец, выставил их на всеобщее обозрение. А он мог бы ничего не афишировать, спустить дело на тормозах, положить отчет комиссии в «совершенно секретный» архив, принять меры, но тоже «совершенно секретные». На Пленуме ЦК могли ограничиться общими словами. Ведь основные докладчики: председатель правительства РСФСР Полянский, от Украины Подгорный, от Белоруссии Мазуров, а также партийные секретари других союзных республик ни словом не обмолвились о творящихся в их вотчинах безобразиях. В России и не такие «потемкинские пузыри» вздувались и потом исчезали без следа. В том-то и дело, что не мог отец так поступить. Вот он и вынес сор из избы, чтобы другим впредь неповадно было.

Вслед за «упущениями» в животноводстве он берется за «зерновиков». Ничего экстраординарного в 1960 году в стране не произошло: ни сильной засухи, ни пыльных бурь. Отец рассчитывал пусть не на рекордный сбор зерна, но и никак не меньший по сравнению с 1958 годом, составивший около 135 миллионов тонн. Но собрали 125,5 миллионов тонн, чуть больше неудачного 1959 года, тогда он составил 119,5 миллиона тонн. Урожайность в этом году оказалась тоже не намного выше прошлогодней — 10,9 против 10,4 центнера с гектара. В результате в 1960 году государство смогло закупить всего 46,7 миллионов тонн, чуть превысив уровень 1959 года с его 46,6 миллионами тонн. Столь низкие закупки объяснялись желанием оставить крестьянам зерно на откорм скота, а главное — на семена.

Конечно, по сравнению с 31,1 миллиона тонн 1953 года — большой скачок. Но и потребление в стране увеличилось. Люди больше не голодали, не давились в очередях за хлебом, больше не считали пакет муки на прилавке даром небес, но все произведенное все еще целиком проедали.

Поэтому и государственные запасы не росли или росли очень

медленно. Отсутствие резервов очень беспокоило отца, случись что и… «Нужно иметь, по меньшей мере, годовой запас зерна на случай непредвиденностей: засухи, наводнений, войны, в конце концов. У американцев, — отец снова ссылался на пример США, — государственные резервы — двухлетние».

У нас же в этом году они составили всего 7,5 миллионов тонн, и это при ежегодном потреблении зерна в 50 миллионов тонн. Получился даже не годовой запас, а меньше двухмесячного.

«Это даже не позорно, а чрезвычайно опасно. По расчетам Госплана в ближайшие годы на прокорм людей и животных потребуется 67,2 миллиона тонн в год плюс дополнительные миллионы тонн для государственного резерва. По сравнению с урожаем 1960 года недостает 25–30 миллионов тонн, — делится своими опасениями отец… — Организация, вернее дезорганизованность подвела: к примеру, прославленная житница страны — Украина сдала государству всего 358 миллионов пудов зерна (5,5 миллионов тонн), меньше, чем за все последние годы. Меньше этого Украина продавала государству хлеба только в 1946 году. Но вы знаете, каким был 1946 год — первый год после войны, хозяйство совершенно разрушено, в колхозах пахали на коровах, почти все полевые работы выполнялись вручную. На поля тогда обрушились черные бури, а засуха добила разрушенное войной хозяйство».

Столь же неприглядно обстояли дела и в Российской Федерации, и не только в этом, но и в прошедшем году. «Россияне 17 декабря прошлого, 1959 года, отрапортовали о выполнении плана заготовок и закупок продуктов сельского хозяйства, полной обеспеченности колхозов и совхозов семенами, а через пару месяцев стали просить сданное зерно обратно, на фураж скота. Поставив государству 26,3 миллиона тонн зерна, республика взяла назад 4,6 миллиона тонн, или 20 процентов. Подобную практику освоили не одни россияне, грешат ею и руководители других республик, это преступный путь, путь жульничества, путь обмана государства», — возмущается отец.

Но это — эмоции, он все яснее осознает, что одними эмоциями делу не поможешь. Система явно пробуксовывала. Стоило ослабить давление сверху, как она тут же сбоила. Провозглашенный отцом принцип материальной заинтересованности тоже отказывался «заинтересовывать» производителя. К примеру, отец подсчитал, что, освоив целинные земли, примерно такие же площади, 30 миллионов гектаров, в совсем неурожайном Нечерноземье можно освободить от сдачи зерна государству. Зерна они, по сравнению с «черноземными» соседями, производят немного, но у них отличные условия для

развития животноводства. Отец полагал, что, получив волю, регионы перепрофилируются, остающееся в их распоряжении зерно пустят на откорм скота, на освободившихся землях займутся овощеводством. Не тут-то было! Местные начальники действовали по принципу: сверху не требуют, так и нам оно ни к чему. Зерноводство забросили, поля начали зарастать бурьяном и кустарником. В результате ни зерна, ни мяса, ни овощей.

«К примеру, десятилетие тому назад, в 1950 году, белорусы отдали государству 480 тысяч тонн зерна. В 1960 году они сдали в общие закрома всего 176 тысяч тонн, то есть даже по сравнению с 1950 годом в их распоряжении дополнительно осталось 304 тысячи тонн, казалось бы, хватало на прокорм и людям, и скотине. Однако они просят Москву выделить им из госрезерва в виде помощи 448 тысяч тонн, и это при том, что поголовье скота у них в 1960 году почти не возросло, — продолжает самобичевание отец. — "Отличилась" и Московская область. Сдававшая раньше по 160 тысяч тонн зерна ежегодно, а теперь полностью освобожденная от поставок, она, при общем сокращении стада коров только в 1960 году на 13 тысяч голов, запросила у центра 464 тысяч тонн фуража».

Посевы высокодоходной, не требующей особого труда гречихи, в Российской Федерации по сравнению с 1956 годом снизились в два раза, а заготовки — в три раза. Нет ее в плане, и никто не захотел с ней возиться. «Допущено серьезное застаивание в производстве бобовых культур: гороха, фасоли, чечевицы, сои, — констатировал в докладе отец. — Это ничем не оправдано, эти культуры дают высокий доход».

Высокая доходность почему-то не стимулировала производство. Стимул оставался один — давление сверху, чуть отпустишь — и все идет вразнос.

Отец раз за разом перебирает причины замедления роста производства, пытается нащупать тот рычаг, который бы наконец помог ему сдвинуть с места этот неподъемный воз. Причин много, одна из них — кадровая, с нынешними руководителями областей, секретарями обкомов и крайкомов старой закалки, привыкшими руководить — «руками водить», не вникающими в суть дела и не способными в нее вникнуть, каши не сварить. Все прошедшие годы он сновал по регионам, убеждал их цифрами, они согласно кивали головами, соглашались. Он понадеялся, что дело сдвинулось, но стоило на год отвлечься, оставить их наедине с собой…

Отец все больше разочаровывался в областных и ниже партийных руководителях, руководивших всем и вообще без каких-либо профессиональных знаний и навыков. На заседании

Президиума ЦК 13 декабря 1960 года он ссылается, в общем-то, на рядовую историю, когда секретарь райкома своей властью приказал вместо уборки комбайном, скосить низкорослый хлеб. Урожай пропал. Отец потребовал «оградить сельское хозяйство от профанов».

Поясню, в чем тут дело. Все привыкли к уборке зерна комбайном: он идет по полю, срезает злаки, обмолачивает колосья, с одной стороны ссыпает пшеничные зерна в кузов грузовика, с другой — вываливает на поле пустую солому. Но если комбайнов не хватает, пшеница в ожидании уборки перестаивает, созревшие зерна просто осыпаются на землю. Вот и придумали в таких случаях пускать на помощь комбайнам простые жатки, скашивать чуть-чуть недозревшие хлеба, а когда они, уже срезанные, постепенно дойдут до кондиции, подбирать их с земли освободившимися к тому времени комбайнами, молотить и так далее. Иногда для скашивания использовали и сами комбайны. Без молочения они двигались по полям быстрее, в первый проход «валили» хлеб, а через неделю возвращались для обмолота. Этот способ сбора урожая, получивший название раздельной уборки, сокращал потери зерна процентов на тридцать. Отец его горячо поддерживал и пропагандировал, вот только применять новый метод, как все новации, требовалось с умом, что не всем дано.

Секретарь вышеупомянутого райкома действовал по привычной схеме — неуклонно проводил в жизнь указания начальства. Вот он, следуя веяниям времени, и приказал без разбора косить хлеба раздельно. Однако без разбора не получалось. Если у пшеницы высокие стебли, после срезки они ложатся ковром на стерню и подбирать их удобно, низкорослые растения на поверхности стерни не удерживаются, проваливаются до самой земли и там сгнивают. Такие хлеба косить раздельно никак нельзя, что знают все профессионалы, а вот секретарь райкома не знал и знать не хотел. Чаша терпения отца переполнилась, и он дал волю своим эмоциям.

Что нужно менять людей, отец не сомневался, он и так тасовал их нещадно. В 1959 году Казахстан упустил хлеба под снег. Сняли первого секретаря ЦК Беляева. И что же? Кардинальных перемен не произошло. В этом, 1960 году, отличился Ларионов. И не он один, украинские и грузинские руководители, туляки и москвичи сработали под стать Ларионову. Все они заслуживали наказания, и многих он наказал. Однако становилось все яснее: простой кадровой перестановкой дела не поправить, на смену «руководителям широкого профиля» должны прийти специалисты. В сельскохозяйственных районах —

сельхозники, в угольных — угольщики, в текстильных — текстильщики. Сломать систему подбора кадров неимоверно трудно, но иначе ничего не получится.

Одновременно надо заставить работать принцип материальной заинтересованности, как сказали бы сейчас, сделать систему саморегулирующейся, чтобы с нарастанием энтропии боролся не только руководитель, наверху, но и каждый делал все, чтобы навести порядок в своем уделе. О материальной заинтересованности отец твердил все эти годы, но дальше разговоров не шло. Требовалось выстроить схему, в которой общий и личный интерес совпадали бы на деле, а не только в призывах. Отец все больше осознавал: если он хочет заставить по-настоящему заработать принцип материальной заинтересованности, надо сделать так, чтобы производитель, колхозник, совхозник могли производить то, что им самим выгодно, а государство, соблюдая свой интерес, подправляло бы их ценами и другими экономическими рычагами, сочетая таким образом свою выгоду с выгодой производителя. Первый шаг в нужном направлении уже сделали, решили навести порядок в ценах, но этого мало.

В докладе отец не жалеет ни других, ни себя; только сказав правду, проди-агностировав причину недуга, удастся отыскать действенное лекарство. Предстояло придумать, как сделать так, чтобы получивший волю регион без палочки-погонялочки занимался самым что ни на есть естественным делом: производил то, что производить выгодно, продавал бы произведенное потребителю, а на вырученные деньги улучшал бы свое житье-бытье. Он ищет и пока не находит ответа на вопрос: «Что же у нас не так?»

Не созрев для обобщений, отец попытался реорганизовать, хотя бы одно ведомство — Министерство сельского хозяйства. И тут он позаимствовал опыт Запада, попытался отнять у Минсельхоза директивные функции, превратить его в научного консультанта.

Какой нам нужен Минсельхоз?

В сентябре 1959 года во время государственного визита в США отец посетил Министерство сельского хозяйства и его научно-исследовательский центр в Белтвилле, под Вашингтоном. Пояснения давал секретарь, по-нашему министр, господин Э. Бенсон. Он рассказал, что осуществляет общее руководство сельским хозяйством отсюда, из Белтвилля. Министерство вырабатывает и рассылает фермерам рекомендации, проводит

семинары, всего в США в исследовательских организациях его ведомства работает 13 тысяч человек. Их задача — поддержание современного уровня земледелия. А производство — удел хозяйствующих субъектов, в понимании отца — совхозов и колхозов. На месте им виднее, что и когда пахать, сеять и убирать.

Отцу такая схема управления сельским хозяйством представлялась куда разумнее нашей, когда центр рассылает директивы в регионы, даже не побеспокоившись узнать, какая там стоит погода на дворе. Работая на Украине, он намучился с московскими инспекторами, безграмотными инструкциями, регламентировавшими все и вся. А отступить от них не смей. Вот и получили, что заслужили, отбили на местах всякую инициативу. Теперь он настроился реформировать Минсельхоз по американскому образцу.

В результате «американизации» наше Министерство сельского хозяйства, потеряв властные полномочия, обретало бы «цивильное» лицо. «Раньше Министерство сельского хозяйства, — говорил отец в своем выступлении на Пленуме ЦК, — занималось разработкой планов развития сельского хозяйства, обеспечением колхозов техникой, удобрениями и другими необходимыми материалами, распределяло между республиками материальные средства». Отец предложил планы оставить за Госпланом, а технику, машины, удобрения передать в ведение специализированной организации «Сельхозтехника». Заготовками сельхозпродукции пусть занимается особый Госкомитет. Министерство сельского хозяйства, освободившись от рутины, сможет сосредоточиться «на руководстве научными учреждениями, развитии науки и внедрении передового опыта. В ведение министерства отходило районирование пород скота, племенное дело, ветеринарная и карантинная службы, издание специальной литературы, производство тематических фильмов. Одна из главных функций министерства — организация селекционной работы, поддержание строгого порядка в семеноводстве. Каждое хозяйство должно сеять семенами лучших районированных сортов. Хотел бы особенно подчеркнуть ответственность министерства за руководство научными учреждениями…»

Передавать оперативное руководство сельским хозяйством от министерства обкомам с райкомами отцу не очень хотелось. Он посчитал, что совнархозы для этой роли подходят больше кого-либо другого и решил подчинить им Агропром. Своими мыслями отец поделился с журналистами, членами редакционной группы. Те его горячо поддержали и, не дожидаясь окончательного

решения, растиражировали новацию. 12 декабря 1960 года газета «Сельская жизнь» «посоветовала» совнархозам брать под свое крыло сельское хозяйство. Произошла, как теперь говорят, утечка информации. Члены Президиума ЦК, в первую очередь Козлов, высказались категорически против, сначала у обкомов отобрали промышленность, теперь отбирают сельское хозяйство. Если так пойдет дальше, то могущественный председатель совнархоза вскоре окончательно подомнет под себя обком, партия утратит руководящую роль на местах. Отец не настаивал, до окончательного решения он пока еще не дозрел.

20 февраля 1961 года вышло официальное Постановление о реорганизации Минсельхоза. 25 февраля 1961 года учредили Комитет заготовок, его председателем назначили оставшегося не у дел бывшего секретаря ЦК Николая Игнатова.

Новым министром сельского хозяйства назначили академика Михаила Александровича Ольшанского. Справиться с министерством, переориентировать его на разработку научно обоснованных рекомендаций он не смог. Чиновники-бюрократы привыкли не советовать, а требовать беспрекословного подчинения своим приказам. Однако сменить весь персонал министерства оказалось отцу не под силу. В результате «в новые мехи влили старое вино», и все осталось без изменений. А тут еще, поставив перед министерством новые задачи, отец, памятуя пример американцев, предложил, этому ведомству с асфальта Садового кольца перебраться поближе к земле. Чиновники встали насмерть. Но отец настоял на своем, 10 октября 1961 года министерство выехало из Москвы в ближнее Подмосковье, на территорию совхоза «Яхромский». В помощь персоналу министерства туда же перевели из Москвы пару сельскохозяйственных научных институтов. Там, на двадцати тысячах гектаров пашни решили организовать научно-исследовательский центр.

Из московских квартир до своих кабинетов сотрудники Минсельхоза теперь добирались на перекладных: сначала на метро, а дальше на служебных автобусах. Но, переехав «поближе к земле» чиновники так и остались чиновниками, по-прежнему писали директивы, пытались командовать и вовсю костерили отца за все, в первую очередь за слом привычного жизненного уклада. К земле они не приросли, не знали, чем им заняться на совхозных полях, считали свой переезд временным, вроде ссылки, рвались назад в свое здание на Садовом кольце, дожидались, когда пройдет «государева блажь» или сменят «государя».

На самом деле они были не так уж не правы. Отец изменил функции министерства, сохранив саму систему. Ни колхозники,

ни совхозники воли пока не получили, продолжали работать по приказам сверху. Только верх вместо министерского стал региональным. Но и регионы требовалось кому-то держать в узде. Госплан в одиночку с этим не справлялся, то и дело обращался за «помощью» к министерству. Чиновники охотно рассылали директивы, составляли отчеты, занимались привычной и, по их понятиям, «нужной» работой, которая совсем не требовала их пребывания в совхозном далеке. Пройдет еще не менее двух лет, пока отец задумает реорганизацию всей системы сельскохозяйственного производства, при которой бы и новый Минсельхоз оказался бы при деле. Но реализовать свои планы он не успеет.

«Американская» затея отца на русской почве не прижилась. С отстранением отца от власти все вернулось на круги своя, чиновники возвратились в московские кабинеты. Отцу же досталось на орехи. Кто только после 1964 года не прохаживался на счет его «дурацкого самодурства-волюнтаризма».

Оно и верно: Россия — не Америка.

Снова о тракторах и комбайнах

В докладе Пленуму ЦК отец повторил, что экстенсивный этап в развитии сельского хозяйства закончился, пора переходить к интенсивному землепользованию, поднимать урожайность, а следовательно, еще больше увеличить капиталовложения в сельское хозяйство.

«А что же происходит у нас? — задает он риторический вопрос. — Стоило чуть зазеваться, и плановики на 13 миллиардов рублей сократили расходы на ирригацию и производство сельскохозяйственной техники. В результате капиталовложения, в расчете на 100 гектаров пашни, уменьшились с 7 700 рублей в 1956 году до 6 200 рублей в 1959 году. Начиная с 1957 года финансовое давление на сельскохозяйственного производителя начало увеличиваться, что не позволяет колхозам внедрять современные технологии, закупать машины, строить фермы. С них только требуют: “Давай! Давай!”

Нужно выделять больше средств на развитие сельского хозяйства, прежде всего на орошение земель, на увеличение производства сельскохозяйственных машин, минеральных удобрений, строительных материалов, строительство производственных помещений, жилищ, школ, детских яслей, — расставляет приоритеты отец. — Без достаточных оснований часть заводов сельскохозяйственного машиностроения переключили на производство другой продукции: завод

“Коммунар” в Запорожье, комбайно-уборочный — в Омске, комбайновый завод в Кременчуге, строящийся комбайновый завод в Павлодаре».

Меры начали принимать еще за полгода до Пленума, в мае 1960 года ЦК и Совет Министров приняли решение об увеличении в семилетке 1959–1965 годов производства сельскохозмашин по сравнению с запланированным ранее, соответственно: тракторов — на 370 тысяч (до 1 миллион 610 тысяч) штук, комбайнов — на 140 тысяч, силосоуборочных машин — на 34 тысячи, бульдозеров — на 13 тысяч, экскаваторов — на 22,7 тысячи, тракторных прицепов — на 150 тысяч.

Предписывалось в 1960–1963 годах разработать и начать производить 435 новых типов сельскохозяйственных машин, но при этом не ударяться в другую крайность, когда каждый совнархоз и даже завод стремится обзавестись собственной маркой производимой им машины. За прошедшие с начала реформы три года постоянно росло разнообразие тракторов, сеялок, комбайнов, а при том, что каждая машина не похожа на соседскую, требовались и свои запчасти, и техобслуживание на свой лад.

Таким образом, отец исправлял допущенный им же в 1958 году, при ликвидации МТС, перекос. Тогда реформаторы предполагали, что после передачи техники новым собственникам-колхозам, они начнут ее использовать эффективнее, машин потребуется меньше, планы производства сельхозтехники сократили. Однако благие ожидания не оправдались. Собственники-колхозники работали не рачительнее государственных МТС, машины часто ломались, и очень скоро возник дефицит. Пришлось отрабатывать назад.

На Пленуме отец окончательно расставил все точки над «и», Госплан переписал планы, сельскохозмашин стали производить столько, сколько требовалось. Почему меня так заинтересовали эти засохшие от времени цифры и цитаты? Обратимся к истории вопроса. На первом, после отстранения Хрущева от власти, Пленуме ЦК в марте 1965 года на отца валили без разбора все грехи. Что было, а больше, чего и не было. Среди прочего обвинили его в «непродуманном сокращении выпуска столь нужной крестьянам техники, повлекшем за собой…» Почему-то считается, что производство восстановили только при Брежневе. Такой точки зрения придерживаются современные историки, в том числе и серьезные, к примеру, И. Е. Зеленин из Института Российской истории. Все они поверили членам ЦК на слово. На деле же оказывается, что отец сам исправил собственную ошибку еще в 1960 году. Мое «открытие» незначительно, но тем не менее,

я счел уместным упомянуть о нем.

На декабрьском Пленуме ЦК 1960 года отец объявил, что с 1 февраля 1961 года для колхозов установят отсрочки платежей за выкупаемую колхозами в МТС технику, вдвое удешевят предоставляемые им на это кредиты (в недалеком будущем их долги вообще спишут), кроме того, решили снизить на сорок процентов изрядно возросшие с 1958 года цены на бензин, солярку и запчасти. Одновременно колхозников освобождали от восьмидесяти процентов налогов, выплачиваемых ими при реализации мяса. Я кратко упоминал об этом решении раньше. Предполагалось, что высвобожденные средства хозяйства пустят на расширение производства.

1961 год

Новый рубль

1 января в стране появились новые деньги. Еще 5 мая 1960 года газеты объявили о предстоящей с будущего года деноминации рубля один к десяти с соответствующим уменьшением цен также в 10 раз, при этом меняли любые суммы без ограничения. В сталинскую денежную реформу 1947 года, проводимую якобы тоже с целью замены образца дензнаков, меняли один к одному лишь очень незначительную сумму; затем, кажется, до трех тысяч рублей — один к трем, остальное — и вовсе один к десяти, а цены в магазинах остались дореформенными. Таким образом, та денежная реформа носила чисто конфискационный характер, из оборота изымались ничем необеспеченные, напечатанные во время войны, рубли.

Излишки денежной массы объясняли нашествием напечатанных в Германии фальшивых купюр. Однако истинной причиной инфляции и последующей денежной реформы 1947 года стал наш собственный запущенный на полный ход денежный печатный станок.

Реформу 1947 года готовили в строжайшей тайне, справедливо опасаясь, что узнав о ней, люди бросятся в магазины и, избавляясь от «старых» денег, сметут с полок всё до последнего. Сейчас же об обмене банкнот объявили заранее, постарались убедить население: эта акция не навредит никому, обмену подлежит любая предъявленная сумма без указания источника ее происхождения. Сверхкрупные суммы, естественно, не прошли бы незамеченными, поменять-то их поменяют, но «богачи» тут же оказались бы на крючке у милиции и прокуратуры. За полугодовой период от публикации до начала обмена держатели крупных накоплений смогли подыскать «друзей», которые обменивали им деньги мелкими порциями, кто «не в службу, а в дружбу», а кто за комиссионные. Несмотря на безобидность объявленной правительством акции, обмен денег вызвал массу толков. Люди недоумевали: если ничего не меняется, то зачем затевать всю историю — значит, государство темнит. Никто не сомневался, что их обманут, но в чем и как? Пересудам не было конца. Естественно, и я пристал к отцу: «Зачем затеян обмен рублей?» Он пояснил, что причина чисто техническая, задумал обмен курировавший финансы новый первый заместитель отца в правительстве Алексей Николаевич

Косыгин. Он любил, я бы сказал, боготворил, порядок, «Бюрократию» с большой буквы, где все разложено по полочкам. Дешевые «старые» рубли его раздражали, бюджету приходилось оперировать сотнями миллиардов, а вскоре дошло бы и до триллионов. Сводить дебет с кредитом становилось все хлопотнее. Компьютеры финансистам тогда и не снились, они щелкали на счетах и крутили ручки арифмометров. Двенадцать нулей для такой техники оказывались почти непосильными. Пришлось бы переделывать арифмометры или, что практичнее, округлять и так уже округленные огромные суммы, а это могло породить не только неоправданные потери, но и злоупотребления. В этой механической бухгалтерии лишний ноль значил много, и Косыгин решил его убрать. Всего один ноль, больше тоже нельзя, убери два — и полетят цены на хлеб и основные продукты. Их придется исчислять в долях копеек, давно забытых «грошиках». «Один ноль» представлялся Косыгину идеальным выходом из положения, финансистам работать станет легче, а граждане замены старых банкнот на новые практически не заметят. Более того, они от нее выиграют. Старые огромные, оттопыривающие карманы бумажные рубли, пятерки, тридцатки и сотни заменялись на новые, миниатюрные. Их легко уместить в любой бумажник. На уменьшении размеров банкнот выиграет и государство, Гознаку потребуется меньше дорогостоящей особой бумаги.

В качестве примера Косыгин приводил Францию. Он сопровождал отца во время государственного визита в марте 1960 года и подробно побеседовал с местными финансистами, с 1 января 1960 года увеличившими «вес» нового франка в сто раз. Тоже чисто «по техническим» соображениям и еще немножко из-за престижа.

Пример Франции окончательно убедил отца, что деноминация рубля нам ничем не грозит, капиталисты ничего не затевают себе во вред. Он дал «добро» началу реформы. 1 января 1961 года у сберегательных касс выстроились очереди, но очень быстро они рассосались. Одновременно магазины обзавелись новыми ценниками с низкими до смешного ценами. Иллюзия дешевизны продолжалась до первой зарплаты, она тоже оказалась до смешного мизерной, былая тысяча обернулась сотней. Приходилось привыкать считать не рубли, а гривенники.

Еще одна любопытная деталь. Первоначальным планом предусматривалось заменить не только все «бумажки», но и перечеканить монеты. Рачительный Косыгин предложил сэкономить на медяках. Копейки, как и двушки с трешками, до реформы почти ничего не стоили, за оброненной на улице

монетой не нагибались. Решили одну-, двух— и трехкопеечные монеты сохранить, но заранее официально о том не объявлять. Секрет долго не удержался. Мелкая монета мгновенно исчезла из оборота. Вчерашняя никчемная копейка теперь становилась гривенником, тянула на коробок спичек, а двушка заменила пятиалтынный в уличных таксофонах.

Когда отцу доложили об исчезновении мелочи, он воспринял информацию спокойно: бюджету это что слону дробина, расходы на штамповку новых копеечек все равно превысили бы потери от их временного изъятия из оборота. Неправедных миллионов на копейке тоже не сделаешь. Всё оставили без изменений, после обмена старых денег на новые копеечки вновь появились в кассах магазинов.

Не знаю, как во Франции, на которую ссылался Косыгин, но у нас обмен денег один к десяти не прошел незамеченным. И дело не только в том, что государство смухлевало на мелочи, воспользовавшись реформой, доли копеек в «хвостах» ценников округлило в свою пользу. Неподвластный государству «рыночный» сектор экономики на реформу не отреагировал, бабушки, как продавали пучок петрушки за десять копеек, так и продолжали продавать за те же десять копеек, то есть в десять раз дороже. «Рыночный» фактор Косыгин не учел, он его просто не принимал во внимание как не делающий погоды в общегосударственном денежном обороте. Со своей, «бюрократической», колокольни он все оценивал правильно, вот только в личных бюджетах граждан «рыночная» составляющая играла значительную роль. В магазине пучок петрушки по государственной цене за копейку не купишь, она там вообще исчезла. А с бабушкой на рынке не поспоришь, хочешь — бери, не хочешь — оставайся ни с чем. Косыгин считал, что государство должно контролировать цены не только в магазинах, но и на рынках. Однако к каждому продавцу на рынке милиционера не приставишь. На то он и рынок.

Уже после выхода отца на пенсию случайные собеседники донимали его претензиями, что обмен денег 1961 года открыл ворота инфляции. Он искренне недоумевал — госторговлю обязали следовать установленным государством правилам. Что же касается «базаров-рынков», то тут, оправдывался отец, недоглядели. Но одно дело копеечный пучок петрушки, а другое — рублевые цены на мясо или фрукты.

Они и на рынках, вслед за магазинными, снизились, правда, не в десять раз, а как продавцы посчитали для себя удобным. То есть цены все-таки выросли, но, по мнению отца, они росли и до 1961 года.

«Сменят окраску или сделают какое-то незначительное изменение и поднимают цены, — поясняет отец своим особо настойчивым собеседникам в книге воспоминаний. — В мое время мы на этом многих ловили, особенно местную промышленность. Они стремились так увеличить наполнение местных бюджетов. За это мы наказывали руководителей. Это злоупотребление, это дискредитация советской власти. Такое повышение цен никак не связано с деноминацией рубля».

Собеседники с отцом не соглашались, не соглашаются с ним и авторы, пишущие об экономике. Они отсчитывают рост скрытой инфляции от 1 января 1961 года. И отец, и его оппоненты по-своему правы. К тому же, винили отца не столько в его собственных, сколько в грехах его преемников, пик скрытой инфляции пришелся на период уже после его отставки, совпал с ростом военных расходов. Тогда высшее руководство перестало квалифицировать «шалости» с ценниками как «злоупотребление и дискредитацию советской власти». Так-то оно так, но деноминацию рубля провел отец, ему и «лыко в строку».

И последнее замечание. Большой денежной реформе предшествовала мини-реформа, 15 ноября 1960 года изменили соотношение рубля к доллару. От четырех к одному перешли к паритету: один рубль — один доллар, если быть совсем точным, то 90 копеек за доллар. Для большинства населения мини-реформа практического значения не имела, доллары на рубли и обратно советские люди не меняли.

Как рассчитали реальную весомость разных валют в отсутствие их свободного обмена, для меня — загадка. Мой знакомый, профессор Белкин, считает, что это возможно, если «воспользоваться методом Джильберта — Крэвиса, оперирующим паритетом валют, исчисленным по структуре валового национального продукта СССР и США». После денежной реформы 1947 года Белкин с товарищами в соответствии со своей теорией насчитали 14 рублей за доллар. Такой расчет и представили Сталину, но со слов возившего документы в Кремль начальника ЦСУ В. Н. Старовского (его ведомство проводило эту работу), тот взял синий карандаш и перечеркнул единицу. Получилось четыре рубля за один доллар. Вот и вся наука. В марте 1950 года курс 4:1 объявили официальным.

Иностранные дипломаты возроптали, кроме них, по этому курсу доллары на рубли практически никто не менял. В Министерстве иностранных дел над ними только посмеивались: так им, капиталистам и надо! На мизерной внешней торговле этот «сталинский» обменный курс никак не сказывался, там за все рассчитывались не рублями, а золотом, и не по курсу, а на вес.

Когда начались осторожные поездки в обе стороны, соотношение рубль-доллар приблизили к реалиям жизни, в 1957 году ввели специальный обменный курс для «нетоварных» операций, то есть для туристов и дипломатов, десять рублей за доллар. Тоже в какой-то степени от лукавого, сделать рубль еще дешевле сочли политически неверным. Теперь его механически «привели в соответствие», а уж почему вместо одного к одному получилось 90 копеек, хоть убей — не пойму.

Недосмотришь сам…

Как только миновала новогодняя суета, отец вновь заколесил по стране. Опыт последних двух лет убедил его: стоит перестать будоражить обкомы, подталкивать заготовителей, подхлестывать московских чиновников, как все тут же опускают руки, урожай собирают, как бог на душу положит, а начальники всех рангов успокаивают центр отписками. Другими словами, энтропия нарастает неудержимо. Отец вряд ли задумывался об энтропии и вообще этого слова, скорее всего, не знал, но твердо усвоил: недосмотришь сам — все пойдет наперекосяк.

Продолжились и кадровые перемены. 20 января Аверкий Аристов, заместитель отца в Бюро ЦК по РСФСР, секретарь ЦК, проглядевший прошлогодние безобразия в Рязани, Туле и других подопечных ему регионах, лишился своих постов. По мнению отца, для работы в ЦК «Аристов оказался человеком слишком спокойным, вольным казаком. Скажет речь — и доволен. Он честный, хороший человек, но слабый работник». Аристова отправили послом в Польшу.

В Бюро ЦК по РСФСР на его место перевели Оренбургского секретаря Воронова, человека энергичного, знающего и требовательного. По итогам 1960 года его область оказалась в передовых.

24 января отец в Киеве. Проводит совещание сельхозактива, корит их за прошлогодние упущения. В ответ Подгорный, секретарь ЦК Украины, клянется, что положение исправит, в 1961 году Украина не подведет.

Затем отец осматривает киевское метро. Его первую линию открыли под самый Новый год. Все знают, отец неравнодушен к Киеву, но строительству киевского метро он противился более кого-либо иного: метро стоит дорого, на эти деньги можно построить тысячи квартир, а улицы города не особенно загружены. В конце концов украинцы уломали отца: город растет, пройдет еще десяток лет и наземный транспорт не справится. В подтверждение предоставили соответствующие расчеты. Теперь

отец в окружении местных руководителей и толпы любопытных, — отец запрещал охране «расчищать объект» к его приезду, — перепрыгивая с поезда на поезд (в каждом составе один вагон резервировали только для высоких гостей), осматривал пока еще немногочисленные подземные станции. Увиденным отец остался доволен: станции просторные, светлые, без «излишеств».

Отец не понаслышке знал, во что обошлись стране в голодные тридцатые годы московские подземные дворцы. Тогда он по поручению Сталина вплотную занимался строительством первой очереди московского метро. Через него шли заказы на мрамор для отделки станций: для «Красных ворот» — кроваво-красный, с месторождения Шроша, для других — сероватый, добывавшийся в местечке Уфалей.[64] Из сверхдефицитной бронзы отливали скульптуры для станции «Площадь революции». Сколько людей за эти деньги можно было бы переселить из бараков! Теперь, придя к власти, отец требовал и от архитекторов, и от строителей думать не о собственном бессмертии, а считать народные деньги. Станции киевского метро получились достойными и не особенно дорогими.

1 февраля он в Ростове инспектирует готовность Северокавказского региона к весеннему севу, не удовлетворившись отчетами, объезжает окрестные поля, чтобы все увидеть своими глазами. Если не все, то сколько получится. Такие «неожиданные» инспекции подтягивают и соседей, даже если в тот раз Хрущев к ним не нагрянул, но мог и нагрянуть. 2 февраля он осматривает новые сельскохозяйственные машины. В Ростове находится один из лучших в стране заводов по производству комбайнов.

4 февраля отец — в Тбилиси. Снова совещание, объезд хозяйств и посещение выставки техники, разработанной для обслуживания виноградников и чайных плантаций. Из Тбилиси отец поездом, чтобы побольше увидеть из окна вагона, переезжает в Воронеж. Там 11 февраля собирает совещание аграриев не только черноземных областей, но представителей Поволжья. Говорят о севе, о новых закупаемых у капиталистов животноводческих и птицеводческих комплексах, о кормовых единицах, сбалансированности кормов и их эффективности в пересчете на привес скота.

Степан Дмитриевич Хитров, недавно избранный секретарем Воронежского обкома, к приезду отца «подготовился особенно тщательно». Наверное, слишком «тщательно». На совещании отец зачитал письмо домохозяйки с рассказом о том, как город спешно прихорашивали к его приезду, в магазины завезли вдоволь

молока, мяса, появилась дешевая колбаса. «Но слышишь разговоры, — пенял отец, — что после отъезда товарища Хрущева все пропадет и опять придется стоять в очередях, не зная, принесешь домой, что надо, или вернешься ни с чем».

Подобные письма отец получал регулярно и так же регулярно наедине и прилюдно «совестил» секретарей обкомов, отлично понимая тщетность своих увещеваний, потому что только изобилие покончит с тягой начальников к «потемкинским деревням».

А вот другое полученное в день отъезда из Тбилиси письмо его не на шутку разозлило и расстроило.

«Перед Вашим приездом в Воронеж, — писали ему анонимы, — директор птицезавода Новоусмановского района т. Зевин и управляющий отделением совхоза т. Крошка взяли у товарища Хренова, путевого дорожного мастера станции Боево Юго-Восточной железной дороги, рельс длиной 25 метров, приспособили его тросами к трактору и стали пригибать к земле кукурузу, не убранную вовремя с площади в 300 гектаров. Их примеру следовали и другие руководители. Много в нашей области пропало урожая. Мы, рабочие станции Боево, считаем, что Вы, Никита Сергеевич, накажете их за очковтирательство… 8 февраля 1961 года».

Через то злосчастное поле пролегала дорога к строящейся Воронежской атомной станции. Местные начальники не сомневались — Хрущев не удержится, поедет взглянуть на значимую стройку, вот и навели «порядок».

Письмо отцу прочитали уже в поезде. Он верил и не хотел верить. Попросил сопровождавшего его редактора «Правды» Сатюкова поручить своему воронежскому корреспонденту потихоньку разведать, правду ли написали в письме. Как только на ближайшей остановке вагон отца подключили к связи, Сатюков дозвонился до Воронежа. Однако «потихоньку» не получилось, о корреспонденте, вынюхивающем что-то на кукурузном поле, тут же доложили в обком. По возвращении в город его перехватила милиция и доставила к Хитрову. Устроить выволочку корреспонденту главной партийной газеты он не решился, попытался выведать, с чего это его понесло на кукурузное поле. Корреспондент, проинструктированный Сатюковым, правды не выдал, объяснил, что ехал на атомную станцию, но машина забарахлила и, пока шофер ее чинил, он прогуливался по округе. Хитров ему, естественно, не поверил, но и поделать ничего не мог.

По приезде в Воронеж отец потребовал от Хитрова объяснений.

«И что же, — возмущался он с трибуны совещания, — Хитров не запирался. Трактор действительно таскал рельс, но дело, якобы, обстоит не так, как написали. Директор совхоза вовремя обломал все початки на кукурузе, а чтобы убрать стебли попросил у железнодорожников рельс. Это что-то новое в сельскохозяйственной технике».

Отца не столько возмутил сам факт — в стране каждый год уходили под снег неубранными поля пшеницы, кукурузы, картошки с морковью, где из-за ранней зимы, где из-за нераспорядительности. Отца потрясла наглая ложь секретаря обкома. Ложь прямо в глаза. И кому? Ему, первому лицу в государстве. Однако отец сдержался, скандала не устроил. Что толку скандалить? Не в хитроумном Хитрове дело, не работает сама обкомовская система. С ней и надо разбираться.

Хитров уцелел, в кресле секретаря Воронежского обкома пересидел самого Хрущева. Потом, в 1967 году, после косыгинской реформы и восстановления министерств стал министром сельского строительства. В 1982 году вышел на пенсию.

12 февраля отец возвращается из Воронежа в Москву. 16 февраля 1961 года на заседании Президиума ЦК он, по горячим следам, делится впечатлениями. Начинает с успехов, но очень быстро скатывается к тому, что его по-настоящему волнует: к управлению регионами, к обкомам, к их первым секретарям. От них зависит будущий успех или неуспех. Впечатления у отца нерадужные. Пересказывая историю с рельсом, отец бросает упрек Полянскому — это он протолкнул Хитрова на обком.

— Просто гоголевские времена! — восклицает отец.

Действительно, за прошедшие сто лет в российской глубинке мало что изменилось. Рассыпалась в прах монархия, прогремела революция. И что же? Место городничего занял секретарь обкома. Начальник милиции вместо полицмейстера выслеживает «бумагомараку» — столичного журналиста, чтобы тот не «разнес по всему свету историю». Вот только ревизор — отец, на сей раз оказался настоящий. И таков не один Хитров.

— Очень слабое произвел на меня впечатление ростовский секретарь Басов, — продолжает делиться впечатлениями отец. — По-моему, он недостаточно хорошо знает дело, фразер. Выступал по бумажке. Что ему написали, то и прочел. У Петра I был указ, запрещавший боярам выступать по писанным речам, дабы глупость оного видна была. Правда, у меня о нем очень «беглое представление», — отец как бы извиняется.

И зря, представление у него сложилось самое правильное. Через год, в июне 1962 года в Новочеркасске, Басов покажет, чего

он стоит.

— Мне жаловались на Кубани, что там обманули рабочих совхозов, что у них коров отобрали, а молоко не продают, — не может успокоиться отец. — Надо привлечь к ответственности партийного секретаря Краснодарского крайисполкома Матюшкина, он 100 тысяч коров отобрал у рабочих совхозов и всех зарезал, план по сдаче мяса перевыполнял. Теперь его послали секретарствовать в Калугу.[65] Что, он там лучше станет? Человек провалился, и опять его шлют на партийную работу. А вообще-то, куда его пошлешь? Так он хоть языком болтать будет, а иначе ни на что он не годен.

— Пензенский секретарь обкома Бутусов тоже примитивен, — продолжает отец. — Прямо в зале отобрал у свинаря билет на совещание за то, что он мне передал письмо.

Отец это заметил, стал стыдить Бутусова, тот оправдывался, что «случайно сунул чужой билет в карман» и, уже после вмешательства отца, столь же случайно «обнаружил этот билет у себя в кармане».

— А вот Тамбовский секретарь обкома Золотухин все просил, чтобы его выпороли, сняли штаны — и выпороли (в понимании отца он — еще один гоголевский персонаж, вроде «унтер-офицерской вдовы»). Все виноватым себя признавал и приговаривал: «Да, товарищ Хрущев, надо штаны снять и выпороть». Он это три раза повторил.

Я не утерпел и ответил: «Что вы все штаны норовите снять и зад нам показать? И это секретарь обкома?!»

Правда, не все такие, как Хитров с Золотухиным. На отца лучшее впечатление произвел Орловский секретарь Николай Федорович Игнатов и Белгородский Александр Власович Коваленко, последний — «человек понимающий, уверенный в своих силах, вызывающий доверие». Горьковский секретарь Леонид Николаевич Ефремов — «человек энергичный, беспокойный». Хорошее впечатление осталось и от Дагестанского секретаря обкома Абдурахмана Данияловича Даниялова, Кабардино-Балкарского — Тимбора Кубатиевича Мальбахова, первых секретарей Азербайджанского ЦК — Вели Юслуфовича Ахундова и Армянского ЦК — Якова Никитича Заробяна. В Адыгейской автономной республике тоже, по мнению отца, «дела идут неплохо».

Но общее впечатление у него мрачное, секретари обкомов «постарели, одряхлели, истрепались. Не здоровьем истрепались, а языком. Дали ему вотчину, а он там и правит, пока не провалится. Тогда надо просто сказать: мы банкроты. Какой это коммунизм, когда жрать нечего? Надо менять людей, другого

выхода нет. Другой выход — это провал».

Внутренне отец понимает, что «смена людей» — не более чем полумера, но ничего иного он пока предложить не может. В 1960 и 1961 годах из ста одного секретаря обкомов заменят пятьдесят семь, но и после смены руководства дела в регионах кардинально не улучшатся. Новые оказались не лучше старых. Заменить обкомы совнархозами, а секретарей обкомов — их председателями? Отец было заикнулся о подобном варианте, но наткнулся на сопротивление всех своих ближайших коллег; обкомы — становой хребет власти, не только партийной, а всей системы власти государства. Следовательно, надо подойти с другого конца — профессионализировать обкомы. Легко сказать, а как сделать? Да и вообще, это только часть задачи, требуется не только реорганизовать верхи, но и сделать так, чтобы низы, колхозы и совхозы, работали без погонялки. Эти вопросы неотступно преследовали отца, пока вопросы без ответов.

Тем временем, 23 февраля 1961 года отец проводит в Кремле предпосевное совещание представителей Нечерноземья и улетает на восток. 1 марта он в Свердловске, 4 — в Кургане, 8 — в Новосибирске, 14 марта — в Акмолинске (в Казахстане). Везде проводит совещания, внимательно выслушивает доклады и выступления, вникает, разбирается в местной специфике.

В Акмолинске, отец предложил переименовать этот город, к примеру, в Целиноград. Акмолинск» по-казахски означает «Белая могила», что, наверное, соответствовало месту в давние времена кочевников-овцеводов, аргументировал отец, но теперь это столица богатейшей житницы и название ей надо дать соответствующее.

Одновременно он порекомендовал казахам перенести столицу республики из Алма-Аты сюда, в гущу жизни, в центр Целинного края.

Акмолинск уже 20 марта переименован в Целиноград, а вот переезжать из райских предгорий Алатау в степь с ее нестерпимым летним жаром и лютыми морозами казахи не торопились. Отец не настаивал.

В конце XX века Целиноград, переименованный в Астану, стал столицей независимой Республики Казахстан.

Из Целинограда отец перелетел в Алма-Ату, там он занимался проблемами хлопка, ирригацией Ферганской долины и Голодной степи.

24 марта, после почти двухмесячной поездки, отец возвратился в Москву.

31 марта 1961 года он отправляет в Президиум ЦК сорокастраничную записку со своими впечатлениями. И тут он

начинает с кадров, сравнивает выступления участников совещаний, проходивших несколько лет тому назад, с нынешними. «Видишь, как выросли люди в колхозах и совхозах»… и одновременно «…не перевелись среди первых секретарей обкомов партии такие, кто плохо знает сельскохозяйственное производство, не взялись по-настоящему за изучение экономики…» Кадры — головная боль отца, но далеко идущих выводов он в этой записке не делает.

Отец отмечает, что после распашки целины в Казахстане остается до 90 (девяноста) миллионов гектаров пастбищ, есть где развивать животноводство.

Беспокоит его отставание со строительством жилья на целине. За прошедшие два года недодали 7,7 миллионов квадратных метров, и, что хуже всего, недостача идет по нарастающей: в 1959 году — 1,9 миллиона, а в 1960-м уже 5,8 миллионов. Виной тому сокращение капиталовложений, игнорирование современных индустриальных строительных технологий.

«Мы не можем рассчитывать на энтузиазм людей, — пишет отец. — Дома имеют плохой вид, мало современных зданий, построенных с применением новых материалов. Много бараков. Строительство школ, детских садов, яслей ведется с нарушениями типовых проектов. Заводские поселки производят неприятное впечатление, постройки одноэтажные, растянуты на несколько километров. Вношу предложение принять Постановление об организации строительства в целинных районах».

Постановление приняли, дела немного поправились. В общем, как говорится, — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Отец заключает записку экономикой, говорит о комплексных бригадах на хозрасчете. Ему они представляются некими почти независимыми ячейками, самостоятельно производящими продукцию и имеющими заработанные средства в своем распоряжении. Однако с выводами он и тут не спешит, предлагает «ученым экономистам серьезно проанализировать новые явления, сделать научные выводы и рекомендации о наиболее эффективном, рациональном ведении хозяйства».

В записке отец много места уделяет деталям, пишет о заинтересовавших его конкретных новшествах, делится впечатлениями о встречах.

На этом отец закончил подготовку к посевной, но в Москве ему не сиделось.

1961 год — юбилейный. 5 мая 1961 года начались торжества по случаю сорокалетия установления советской власти в

Армении. Хрущев там почетный гость, выступает с поздравлениями, а по завершении официальной церемонии едет в самую знаменитую в те годы Бюроканскую обсерваторию посмотреть на звезды, поговорить с ее основателем, не менее знаменитым астрофизиком академиком Виктором Амазасповичем Амбарцумяном, специалистом по нестационарным звездам и газовым туманностям, первым обнаружившим новый астрономический феномен — звездные ассоциации. Отец провел у Амбарцумяна почти целый день, разрезал красную ленточку и осмотрел новый, только что смонтированный ленинградцами телескоп, прослушал лекцию о последних достижениях науки о звездах, попил с астрономами чаю.

На следующий день отец не мог отказать себе в удовольствии проехаться по полям и, не заезжая в Ереван, прямиком отправился в Тбилиси. Грузины, вслед за армянами, праздновали свое 40-летие. Отец уже посетил Грузию в феврале, но побывать в Ереване и не заехать в Тбилиси! Снова юбилейные речи, а после них посещение электровозостроительного завода, в те времена самого современного в стране, и чайных плантаций Кахетии.

15 мая отец возвращается в Москву, а уже 28-го, поездом, отправляется в Вену на встречу с Президентом США Джоном Кеннеди. Два дня проводит в Киеве, встречается с украинскими руководителями, затем посещает могилу поэта Тараса Шевченко в Каневе. 31 мая отец останавливается в столице Словакии Братиславе.

3 и 4 июня в Вене идут непростые переговоры, лидеры двух стран не договариваются почти ни до чего, но происходит главное: они знакомятся.

5 июня отец возвращается самолетом в Москву, там его уже поджидают Президент Индонезии Сукарно, премьер-министр Лаоса принц Суванна Фума и лаосский принц Суфанувонг. Отцу есть чем их порадовать, единственное достигнутое в Вене соглашение напрямую касается Лаоса. Кеннеди пообещал не проводить политику военного вмешательства в их дела.

6 июня отец поздравляет Сукарно с шестидесятилетием, и они вместе уезжают на два дня в Ленинград.

24 — 25 июня отец снова в Алма-Ате, на праздновании 40-летия образования Казахстана. На самом деле, 20 августа 1920 года образовалась Киргизская Автономная республика в составе Российской Федерации, а в июне 1921 года, в новой автономии прошла первая партийная конференция. К этой дате и пристегнули торжества. Казахстан, как и Киргизия, получил статус союзной республики только 5 декабря 1936 года. Так что праздновать следовало не 40-летие, а 25-летие, и не одним

казахам, но киргизам тоже. Но казахское руководство делиться праздником с соседями не захотело, и даже во всех документах задним числом переименовали Киргизскую Автономную республику в Казахскую. Отцу обо всех этих хитростях хозяева не сказали, а киргизы дипломатично промолчали. Куда им после распашки целины тягаться с Казахстаном? Празднества прошли по высшему разряду, снова речи, поздравления, затем поездка по хлопковым полям.

27 июня отец в Москве принимает премьер-министра Вьетнама Фам Ван Донга.

Козлов «на хозяйстве»

В отсутствие отца дела государства вершил Козлов. Он, естественно, регулярно звонил Хрущеву, советовался по наиболее важным, по его разумению и выбору, вопросам. Отец ежедневно получал почту, подписывал решения и постановления, но московская кухня варилась без него и, в некоторой степени, помимо его.

В этом — противоречие не только авторитарного, но и демократического правления: сидя в столице, не узнаешь правды о жизни в стране, а долгое отсутствие в центре грозит потерей власти. Универсального рецепта на этот счет нет, каждый действует по собственному разумению: те, кому дороже власть, держатся за свое кресло в столице, кто печется о стране — всегда в разъездах.

К Козлову отец относился с полным доверием, более того, вскоре стал его полуофициально представлять иностранным гостям как своего преемника. Козлов и действовал соответственно, постепенно забирал членов Президиума в свои руки. Одни сопротивлялись, другие с готовностью подлаживались. Особенно переживал возвышение Козлова Микоян, один из двух первых заместителей отца по правительству. Он — патриарх революции, человек мудрый, сам претендовал на ведущую роль. А тут какой-то Козлов. Но Микоян на лидера не тянул. Отец ценил и уважал Микояна, относился к нему с искренней симпатией, считал его своим другом, но передоверять ему власть опасался. Он понимал, что Микоян, изворотливый переговорщик, сделает все, чтобы в трудный момент избежать принятия решения, сам себя заговорит. А когда спохватится, окажется поздно. Так он своими бессчетными компромиссами, довел в 1956 году Венгрию до кровопролития.

Микоян держался по отношению к Козлову ровно, даже дружески, как и Козлов по отношению к Микояну, но все

окружающие понимали, что это лишь видимость. Анастас Иванович ревновал. Когда они оставались наедине, пытался настроить отца против Козлова: он-де и сталинист, и подхалим, и на руку нечист. Отец понимал, что движет Микояном, и на его слова не реагировал. А когда тот стал особенно настойчив, даже бросил в сердцах: «Не делайте из Козлова козла отпущения».

Став вторым лицом в государстве, а в отсутствие отца исполняя обязанности первого, Козлов начал жесткой рукой «наводить порядок». Там, где отец сомневался, а Микоян уходил в сторону, Козлов шел напролом как танк. По сути дела, он тоже занимался реформаторством, но на свой манер. С приходом Козлова в ЦК запретительные, ужесточающие, наказывающие указы посыпались как горох из прорвавшегося мешка. Естественно, он не принимал их единолично, но инициировал, уговаривал отца, проталкивал голосование на Президиуме ЦК. Каждый из законопроектов, казалось, устанавливал чуть больше необходимого порядка в каком-то одном конкретном аспекте. Но, собравшись вместе, они выстраивали не в хрущевскую, а скорее сталинскую, репрессивную вертикаль власти. Вот только несколько примеров.

4 мая 1961 года, в годовщину победы Козлова над Кириченко и Игнатовым, выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями, за которые допускается применение смертной казни, в том числе за хищение государственного имущества в особо крупных размерах».

Освободившись от «сталинского» страха, когда даже за взятую с поля горсть колосков отправляли на многие годы в лагеря, советские граждане все активнее воровали друг у друга, а в первую очередь у государства. Ведь государственное — оно ничье, общее. Обкрадывали предприятия, магазины, колхозы, кооперативы. Рядовые тащили по мелочам, а начальники, не все, но многие, брали по-крупному. В 1960 году кражи и хищения составили 44,5 процента от общего количества правонарушений.

Пресечь нарастающий процесс, по мнению Козлова, могли только жесточайшие меры, такие, от которых от одной мысли о воровстве мороз по коже продирает. В народе новый Указ встретили с одобрением.

Еще один Указ, принятый в тот же день, 4 мая 1961 года, но уже Президиумом Верховного Совета РСФСР, «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» вменял в обязанность милиции, дружинникам, товарищеским и народным судам предупреждать, перевоспитывать и даже выселять на срок от двух до пяти лет

тунеядцев и всех, кого милиция и общественность сочтут подлежащим перевоспитанию. Желающих перевоспитывать, а главное, власть показать сразу нашлось без счета. Они буквально терроризировали людей, по той или иной причине не имевших постоянной работы или соответствующей справки. За один только 1961 год выселили на перевоспитание около двухсот тысяч человек, и не только алкоголиков и прочих отлынивающих от труда. В тунеядцы в то числе автоматически попадали художники, артисты, писатели и другие представители творческих профессий, если у них не имелось справки от «своего» союза. Именно под этот Указ попал Иосиф Бродский, поэт и будущий Нобелевский лауреат.

Как и опричнина времен Ивана Грозного, Указ наделал в стране немало бед.

24 мая 1961 года — новый Указ «Об ответственности за приписки и другие искажения отчетности в выполнении планов». Тут и пояснять нечего: «соврешь — в тюрьму загремишь».

7 июля 1961 года принимается нашумевший Указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях». Его связывают с именами предшественников «новых русских», первых или почти первых советских валютчиков Петра Рокотова и Григория Файбишенко. Тоже знамение перемен. До того валюты не имели ни государство, ни его граждане. Туристы к нам не ездили и заморские деньги, соответственно, не меняли. Теперь же интуристские гостиницы заполнились, иностранцам с недавних пор позволили гулять по Москве и другим городам самостоятельно, без присматривающих. Они быстро сообразили, что менять доллары по смешному курсу 90 копеек за доллар, при том, что снующие вокруг них ловкие и симпатичные молодые люди предлагают за него не меньше четырех рублей, просто глупо.

По существовавшим тогда законам за нелегальный обмен валюты нарушитель наказывался лишением свободы. Однако валютчики в считанные месяцы наживали такие суммы, что несколько лет отсидки их не пугали. Выходившую из-под контроля ситуацию требовалось, пока еще не поздно, переломить, да так, чтобы неповадно было. Тут и подвернулись Петр Рокотов и Григорий Файбишенко, два недавно арестованных удачливых валютчика. Их, по действовавшим на тот день законам, осудили к 15 годам тюрьмы. 16 июня 1961 года приговор опубликовали в газетах. Граждане сочли приговор слишком мягким, и в ЦК посыпались письма. Отец о приговоре узнал утром 16 июня тоже из газет. Он тоже возмутился, но его возмущение весило поболее

негодования рядовых читателей. На следующий день отец поднял этот вопрос на заседании Президиума ЦК.

Сохранилась стенограмма этого заседания. Отец говорил о недовольстве людей мягкими приговорами убийцам, грабителям, насильникам. В этом ряду, по его мнению, стоят и Рокотов с Файбишенко. Они столько лет «грабили рабочих и крестьян», а теперь отсидят, с учетом зачета за хорошее поведение, лет пять, выйдут на свободу и снова возьмутся за старое. В подтверждение своих слов отец приводил многочисленные письма с мест.

Присутствовавшие одобрили усиление ответственности за разбой и тяжкие экономические преступления, вплоть до расстрела.

Вскоре Президиум Верховного Совета принял соответствующие дополнения к законам. В связи с новым указом суд пересмотрел дело валютчиков, и Рокотова с Файбишенко расстреляли.

Как мне помнится, в той среде, где я вращался, возмездие сочли справедливым. У меня приговор тоже не вызвал отторжения, да и сейчас не вызывает.

8 отличие от меня, по прошествии полувека находится достаточно людей, сочувствующих тем до поры удачливым и где-то симпатичным предпринимателям и осуждающих власть за «излишне» суровый приговор. Что ж, о симпатиях спорить бесполезно.

Однако точку в разговоре на эту тему, оказывается, ставить рано. Фарцовка и валюта в жизни и смерти Рокотова с Файбишенко оказались совсем не главным. Но главного мы тогда не знали.

Гриша Файбишенко и Петя Рокотов

Сейчас выясняется, что Рокотов с Файбишенко занимались не столько фарцовкой и обменом валюты иностранным туристам, сколько куда более крупными делами. То есть фарцевать они, конечно, фарцевали, но только в самом начале своей карьеры, а потом… Что случилось потом, рассказала Нина Воронель в исключительно интересных воспоминаниях «Без прикрас».

Нина, жена диссидента Александра Воронеля, пишет о себе, о своей жизни, многочисленных друзьях и знакомых, в том числе о Пете Рокотове и Грише Файбишенко. Оказывается, в 1961 году предпочли умолчать об основной предпринимательской деятельности Пети и Гриши. Ни от кого иного я раньше этой истории не слышал, но и не верить Н. Воронель не имею никаких оснований.

Рассматривая семейный альбом, Воронель обнаружила старую, 1928 года, фотографию подружки своей свекрови — темноволосой востроглазой Туси. Она по любви вышла замуж за очень красивого еврейского парня Гришу Файбишенко.

«Лихой Тусин муж Гриша, — пишет Воронель, — являлся одним из компаньонов многомиллионного трикотажного дела. Предприятие возглавлял гениальный предприниматель по имени Петя Рокотов. Этот бизнес был придуман поразительно просто. Многочисленные агенты огромной, хорошо продуманной организации разъезжали по деревням и скупали у крестьян настриженную с их собственных овец шерсть. Тюки шерсти свозили в несколько специально подряженных для этой цели психбольниц, в которых больные в виде трудотерапии занимались пряжей. Спряженная шерсть перевозилась на государственные трикотажные фабрики. Там машины не выключались после окончания рабочего дня, их предоставляли неофициальной смене трикотажников и трикотажниц. Готовый товар поступал в те же ларьки и магазины, что и государственный».

На Рокотова из ревности донесла собственная жена. Что произошло дальше, мы уже знаем: подельников расстреляли. Правда, если верить Воронель, не всех.

«После ареста Гриши в дом Туси ворвались какие-то люди и стали простукивать стены и вынимать планки паркета из гнезд, — я продолжаю цитировать Воронель. — К Тусе на пригородную дачу приехала специальная команда с миноискателем, которая методично перерыла весь просторный лесной участок в поисках спрятанного золота. Но не такой дурак был лихач Гриша, чтобы держать золото у себя дома, он хранил его в тайнике в доме Тусиного брата Изи…

Гриша просидел девять лет из пятнадцати, после чего был актирован по состоянию здоровья и выпущен на свободу. Скоро Гриша умер от инфаркта.

Вся семья, оставшиеся в живых братья и сестры с чадами и супругами, слетелась в родное гнездо в провинциальном городе М. Родственники принялись за поиски спрятанного сокровища. Таясь от соседей, они целый месяц неустанно снимали и клали обратно паркет и перекапывали садовый участок, но так ничего не нашли».

Такая вот история, хотя мне помнится, что расстреляли не одного Рокотова, а Рокотова и Файбишенко. Но я мог запамятовать, они мне — чужие, а Воронелям — близкие люди.

Козлов «на хозяйстве» (Продолжение)

После дела Рокотова — Файбишенко наступило короткое затишье, Козлов ушел в отпуск, потом готовился к докладу на XXII съезде партии, затем в октябре 1961 года — сам съезд.

После съезда,11 ноября 1961 года, отец вновь отправляется в поездку по стране, инспектирует уборку урожая.

Указы, постановление, уложения, устанавливающие наказания за различные прегрешения, регламентирующие все стороны жизни, снова сыплются как из рога изобилия.

29 ноября 1961 года новый закон устанавливает «уголовную ответственность за небрежное использование и хранение сельскохозяйственной техники». Последовавших за ним законов, указов и распоряжений такое множество, что я ограничусь простым перечислением: «Об организации продажи леса из колхозных лесов», «О нормах содержания скота рабочими государственных сельскохозяйственных предприятий, а также гражданами, проживающими на территории этих предприятий», «О нормах приусадебных и огородных земельных участков работников государственных сельскохозяйственных предприятий и других граждан, проживающих на территории этих предприятий», «О запрещении содержания лошадей и волов в личной собственности граждан», «О мерах улучшения комиссионной торговли в РСФСР», «О мерах улучшения комиссионной и колхозной торговли сельскохозяйственными продуктами», «Об упорядочивании продажи продуктов сельского хозяйства, строительных и кровельных материалов частным лицам», «О мерах усиления борьбы с хищениями социалистической собственности и злоупотреблениями в торговле», «О единовременном учете трудоспособного населения, уклоняющегося от общественного труда и живущего за счет нетрудовых доходов». И это только за остаток 1961 года. В 1962 году следуют новые указы. 2 февраля, «Об усилении ответственности за посягательство на жизнь и здоровье работников милиции и народных дружинников». 20 февраля — «Об усилении уголовной ответственности за взятничество», 4 апреля — «О применении мер воздействия за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работников милиции или народных дружинников». И это далеко не всё, я просто устал перечислять указы, олицетворявшие реформирование по Козлову. Последний из той серии указов «Об усилении уголовной ответственности за самовольную, без надобности, остановку поезда» от 21 октября 1963 года. Он вышел уже «после Козлова», но наполнен его «духом».

Поток запретительных указов возник с приближением Козлова к вершинам власти в мае 1960 года и начал иссякать

после 11 апреля 1963 года, когда тяжелейший инсульт лишил его трудоспособности. Так Козлов понимал свое служение отечеству.

День за днем

В январе 1961 года газеты, радио, телевидение раструбили новость — «Депо Москва-Сортировочная» решило стать предприятием Коммунистического труда. Что это такое, я сейчас не очень помню. Да вряд ли и тогда этот термин имел четкое определение. Иначе следовало бы столь же четко определить, что же такое коммунизм. Все, кто писал и кто читал, знали о коммунизме одно: он — наше светлое будущее.

Тем не менее, все понимали или делали вид, что понимают: на предприятии коммунистического труда работают лучше, чем на некоммунистическом, и без погонялки. К тому же не пьют, не хулиганят, в чем-то участвуют, что-то посещают… На них все должны равняться. Все и равнялись, вступали в соревнование за звание бригад Коммунистического труда. Когда кто-то где-то решал, что цель достигнута, победителям выдавали знамя с соответствующей, удостоверяющей «достижение» надписью, а особо отличившимся — значки, тоже удостоверяющие, что они отличники Коммунистического труда. Дальше требовалось бороться за сохранение почетного звания, иначе позора не оберешься.

Если отбросить сарказм, то действительно на таком предприятии люди работали дружнее, в цехах поддерживали чистоту, помогали друг другу. Всегда, во все времена, в любом обществе необходима какая-то цель, к которой следует стремиться. Так уж устроен человек.

22 января 1961 года в подмосковных Кузьминках собрали первый жилой дом не из панелей, а из объемных элементов. Другими словами, теперь вместо установки одной за другой стен-панелей привозили с завода и водружали на место готовую комнату, только без потолка. На стройплощадке комнаты-кубики ставили в рядок, потом над ними — еще рядок. В результате вырастал дом.

Кто все это изобрел, я сейчас не помню, но в своей области объемная сборка — великое достижение.

Качество строительства повышалось, не нужно было заделывать щели между панелями, и одновременно сокращались сроки строительства, а значит, и домов, получали больше и больше людей вселялось в новые квартиры.

23 января — отец посетил выставку новых текстильных товаров.

24 января 1961 года газеты рассказали о советском ученом Юрии Кнорозове, ему впервые в истории удалось прочитать тексты майя. Причем он дошел до всего своим умом, в отличие от француза Жан Франсуа Шампольона, расшифровавшего египетские письмена по подсказке «Розетского камня», имевшего идентичные записи на двух языках, древнеегипетском и греческом.

30 января 1961 года «Известия» оповестили о феноменальном, более чем двухметровом прыжке в высоту Валерия Брумеля. Меня он просто потряс. На занятиях физкультуры в Энергетическом институте мы тоже прыгали в высоту, и я никак не мог перепрыгнуть планку в полтора метра, а тут прыжок почти до потолка комнаты в пятиэтажке. Уже после отставки отца мы с Брумелем познакомились, он жил в одном доме с моим приятелем Юрой Дятловым, парторгом челомеевской фирмы. Человеком он оказался симпатичным и простым.

2 февраля 1961 года завершилась прокладка газопровода Горький — Иваново — Ярославль. Вовсю развернулась газификация Подмосковья. Раньше газ был столичной привилегией. Что он значит для людей, легко почувствовать, отключив газ в квартире хотя бы на неделю.

21 февраля 1961 года дата рождения АПН — Агентства печати «Новости», формально не зависевшего от государства. Его на паях учредили Союз журналистов, Общество культурных связей с зарубежными странами и просветительское общество «Знание». До того новости монопольно контролировал ТАСС — Телеграфное Агентство Советского Союза, которое время от времени сообщало, что оно «уполномочено заявить» что-то такое, что правительство от своего имени заявлять не хотело, а также снабжало все без исключения газеты единообразной информацией о жизни внутри страны и за рубежом, оперативно, день в день, поставляло отцу и другим руководителям переводы публикаций из иностранных газет.

Теперь ТАСС создали альтернативу, пусть АПН «по-человечески» рассказывает о жизни людей у нас и у них, да и конкуренция не повредит. Заведовать АПН назначили редактора печатного органа ВЦСПС «Труд» Бориса Сергеевича Буркова, неплохого журналиста и честного человека.

По окончании МГУ в АПН пойдет работать Юля, дочь моего брата Леонида, погибшего в войну. Позднее к Буркову устроят и непутевую Галю Брежневу.

23 февраля 1961 года выходит Постановление правительства «Об электрификации сельского хозяйства в 1961–1965 годах», обязывающее к 1965 году провести электричество во все, даже самые отдаленные села и поселки.

10 марта 1961 года в «Известиях» появилась статья «Вы не из нашего совнархоза». Зараза местничества становилась все зримее, каждый совнархоз тащил в свою норку все, что мог, от кооперации с соседями отбивался из всех сил. Получали все с удовольствием, а отдавали — со скрипом. Следовало пока не поздно что-то предпринимать. Совнархозы работали неплохо, планы выполняли, но в будущем, чтобы не упустить, их придется реформировать. Вот только как? Усилить контроль сверху или высвободить инициативу снизу, передать директорам предприятий большую свободу? Последнее время в Москве все упорнее судачили о югославском опыте, об их рабочих советах на предприятиях, «самостоятельно» вершивших, и весьма успешно, свои дела. О югославах отцу прожужжали уши. За внедрение их метода управления народным хозяйством у нас ратовали молодые экономисты-реформаторы. Мне тоже рабочие советы казались очень привлекательными. При каждом удобном случае я заговаривал о них с отцом. Он слушал, но действовать не спешил. В отличие от меня, сущность этих «советов» ему оставалась неясной. Он попытался поподробнее расспросить посла Югославии Велько Мичуновича, у них за последние годы установились почти дружеские отношения, но тоже ясности не добился. Отец решил пощупать «советы» своими руками, поглядеть своими глазами, для чего специально съездить в Югославию. Но не сейчас. Пока время терпит.

А на отца давили и с противоположной стороны. Давили весьма энергично и аргументированно. Бывшие

министры беспокоились, что совнархозы-де совсем забросили новые разработки, их не волнуют ни завтрашний день, ни интересы страны. Выход один — более жесткий контроль над регионами, они должны почувствовать руку центра. Министры не требовали немедленного восстановления своих министерств, понимали, что для отца это неприемлемо, и в качестве первого шага предлагали совнархозы укрупнить, слить воедино, выстроить по ранжиру. Так будет легче за ними приглядывать из Москвы. И Козлов, и Косыгин, и председатель Госплана Владимир Новиков, и глава Военно-промышленной комиссии Дмитрий Устинов, во всем остальном люди весьма различные, в этом вопросе держались сообща. 28 мая «Экономическая газета» озвучила замысел сторонников восстановления жесткой вертикали управления, стремившихся набросить узду на своевольничающие совнархозы, предложила из более сотни существующих оставить семнадцать.

Отец внимательно прочитал статью, на мои расспросы (тогда местничество совнархозов было у всех на устах) ответил, что все не так просто, нужно обдумать. И повторил: «Пока время терпит».

В 1961 году все отчетливее оформляются два подхода к дальнейшему преобразованию экономики: традиционалисты, сторонники централизации и новаторы, которые видят выход в децентрализации. Отец склонялся к последним, но пока держал нейтралитет.

13 марта 1961 года в 9.30 утра случилось несчастье. В Киеве, в Бабьем Яру, в месте расстрела немцами во время войны более ста тысяч киевлян, прорвало дамбу.

Бабий Яр — овраг, спускающийся с киевских холмов к Днепровской пойме, городские власти решили выровнять, одни говорят, чтобы построить монумент и увековечить память погибших, другие — чтобы поскорее забыть о трагедии. Возвели земляную подпорную стенку, стали намывать грунт, а тут зарядили дожди. Не выдержав напора более трех миллионов тонн жидкой грязи, дамба рухнула, и вязкая жижа разлилась по Подолу, низинному району Киева, затопила дома, погибло 145 человек, в больницы попало 143 раненых.

В те времена о трагедиях, в том числе стихийных бедствиях, не сообщали. До понимания, что лучше сказать, чем умолчать, и обществу, и отцу еще предстояло дорасти. Промолчали и на этот раз. Однако

слухи распространяются и без содействия ТАСС или АПН. Через неделю о произошедшем говорила вся Москва. Кто-то возмущался, подозревая в умолчании скрытый антисемитизм, кто-то ничего не подозревал, но тоже возмущался.

Надо же такому совпадению случиться, что ко времени второй трагедии Бабьего Яра Евгений Евтушенко закончил поэму «Бабий Яр» о первой трагедии, расстреле киевлян во время войны. В совпадении бдительные идеологи углядели идеологическую провокацию, на то им и дана бдительность. Зашевелились и подпольные антисемиты, их в России во все времена хоть отбавляй. Хотя немцы расстреливали в Бабьем Яру не только евреев, но в большинстве евреев, говорить об этом почему-то считалось зазорным. Так или иначе, но как только 19 сентября 1961 года «Литературная газета» опубликовала поэму «Бабий Яр», вокруг нее разразился скандал. Одни поносили Евтушенко, другие превозносили. Среди поносителей оказались и официальные идеологи из ЦК, так что в глазах людей Евтушенко стал героем, страдальцем за правду. Слава его вознеслась до небес. История эта интересна, но я в нее углубляться не стану. Желающих отошлю к книгам самого Евтушенко, он пишет обо всем подробно и со вкусом.

20 марта 1961 года произошло «судьбоносное» событие — отменили цензуру. Не вообще цензуру, а на сообщения иностранных корреспондентов в свои агентства и газеты. В сталинские времена ввели такую практику: цензор на Центральном телеграфе перед отсылкой корреспонденции ее внимательно прочитывал, вычеркивал «запрещенное» красным карандашом и ставил свой личный штамп. Ничего, кроме неудобств для корреспондентов и испорченной репутации для нашей страны из этого не получалось. Корреспонденты переправляли статьи безо всякой цензуры диппочтой или уезжали через Ленинград в Хельсинки и отправляли сообщения оттуда. Правда, в случае «особо злостной клеветы» их могли не впустить обратно, но после смерти Сталина такое происходило все реже. И тем не менее цензуру сохраняли. На одном из приемов кто-то из иностранных журналистов нажаловался отцу. Тот приказал: «Отменить». Отменили. На первых порах корреспонденты не верили своему счастью, однако

вскоре привыкли. К хорошему быстро привыкаешь. Отец же при случае «подкалывал» идеологов: «Отменили цензуру, и ничего не произошло, страна не рухнула». Идеологи мрачно отмалчивались, с отцом они не соглашались, но и противиться ему не осмеливались.

30 марта 1961 года Русская Православная церковь вступила во Всемирный совет церквей. Шаг немаловажный, при Сталине и после него церковь жила в полной изоляции. Теперь внешние связи стали постепенно налаживаться.

В отличие от католицизма, православие никогда не стояло над государством. Если патриархи проявляли строптивость, цари их ссылали в монастырь, а царь Петр I вообще упразднил патриаршество, сделал главу церкви одним из своих министров. С тех времен российские государи своей властью назначали, своей властью низвергали церковных иерархов.

Возродилась Российская патриархия только после Октябрьской революции, когда церковь отделили от государства, возродилась — и была низвергнута в пучину. Всякая революция отвергает религию, служившую бывшей власти. Так поступили французы в конце XVIII века, заменив католического Бога своим, революционным божеством, неким Высшим Разумом. Так поступили и большевики. Церковное имущество конфисковали, в разоренных церквах устроили где клуб где кинотеатр, а где и просто склад. Бога постепенно замещали Карлом Марксом, а потом и Лениным. Новая религия приживалась туго. Хотя в «красных углах» и заменяли иконы на портреты вождей, люди продолжали молиться привычному, прежнему Богу. Вот только молиться стало негде, да и священников почти не осталось. Их, оставшихся без церквей, но не без паствы, Сталин в тридцатые годы прошлого века отправил в лагеря. Во время войны он, испугавшись немецкого нашествия, отыграл назад, призвал к единению народа перед лицом врага, вернул оставшихся в живых священников, разрешил им в сохранившихся церквах молить Бога даровать победу российскому оружию, а ему, Сталину, многая лета.

Отец, как и мама, всю жизнь исповедовали атеизм, в Бога не верили. Правда, это не мешало отцу то и дело в выступлениях и просто в разговорах поминать Бога, не забывать, что грамоте в церковно-приходской школе-

двухлетке его обучил их деревенский батюшка. Как, впрочем, не мешало достаточно самонадеянно утверждать, что он еще успеет пожать руку, попрощаться с последним попом на нашей советской земле. Не успел, не попрощался.

Заявление отца о «последнем рукопожатии» породило новую волну гонений на церковь. Священников в лагеря не ссылали, но церкви, где только можно, под благовидными предлогами закрывали, в основном по причине «отсутствия паствы». Отец новоявленных «воинствующих атеистов» не подталкивал, я никогда не слышал таких его высказываний, но не сдерживал их. Он считал, что религия умирает самопроизвольно, а они всего лишь ее могильщики. Тем не менее, первое лицо — за все в ответе. За те закрытые в его время храмы, верующие по сей день поминают отца ох каким недобрым словом.

5 апреля 1961 года отец в Останкино, на ВДНХ осматривает проекты будущих мощных тепловых электростанций, их собираются строить на сибирских угольных разрезах, в первую очередь в Экибастузе.

Затем он едет в Музей архитектуры, там выставлен макет будущей, но так и не открывшейся Московской Всемирной выставки 1961 года. Из Музея архитектуры он отправляется в мастерскую скульптора Льва Ефимовича Кербеля взглянуть на модель памятника Карлу Марксу. Его предполагают установить этой осенью на Театральной площади напротив Большого театра.

19 мая 1961 года отец в Сокольниках открывает и осматривает Торгово-промышленную выставку Великобритании.

20 мая 1961 года иностранные журналисты раструбили на весь свет, что Хрущев более не считает тяжелую индустрию приоритетом, требует уделять больше внимания потребительским товарам. Тогда соотношению тяжелой и легкой промышленности придавалось политическое значение и слова отца воспринимались как весьма смелый шаг в сторону либерализма. О приоритете тяжелой индустрии, «священной корове» сталинской версии марксизма, я упоминал на страницах этой книги не раз. Спор, на мой взгляд, схоластический, одно без другого существовать не может, а пропорции и приоритеты выбираются по обстоятельствам.

1 июля 1961 года Сергей Бондарчук приступил к экранизации «Войны и мира» Льва Толстого, фильму, сделавшему его великим.

2 июля 1961 года отец в Большом театре на премьере Королевского балета Великобритании.

4 июля 1961 года отец, в сопровождении других высших руководителей страны, пришел в резиденцию американского посла в Спасо-Наливковском переулке на прием по случаю Дня независимости США. Эти посещения стали регулярными и уже никого не удивляли. Все отметили другое: на приеме отец не пригубил даже шампанского, ссылаясь на здоровье. Так он отреагировал на спекуляции в западной прессе о его злоупотреблении алкоголем. Отец не пил, я уже писал об этом, а теперь решил в присутствии чужих не пить демонстративно.

6 июля 1961 года «Известия» начинают дискуссию: какие дома нам нужны? Из-за все дорожающей инфраструктуры предлагалось переориентировать строительство с пятиэтажек на многоэтажные дома. Однако очевидное решение оказалось совсем не очевидным. Ресурсов не хватало, особенно стальных конструкций, план ввода жилья выполнялся с огромным напряжением. Увеличение этажности вело к увеличению потребления металла, а планы металлургов были давно сверстаны и взять дополнительный металл неоткуда. А значит, начав тянуться в высь, потеряешь в квадратных метрах, недосчитаешься тысяч квартир, тысячи потенциальных новоселов останутся с носом. Соответствующую справку направил Хрущеву Отдел строительства ЦК, и отец созвал у себя экономистов. После обстоятельного разговора с ними он, уже совсем было собравшись объявить на 3-м Всесоюзном съезде архитекторов об окончании эры пятиэтажек, от выступления отказался. Вместо этого включил вопрос экономики строительства жилья в повестку дня заседания Президиума ЦК 17 июня 1961 года.

Мнения разделились. Начальник Госстроя Кучеренко соглашался, что увеличение этажности, необходимость использования лифтов поднимет стоимость строительства, но незначительно, процентов на восемь. По его мнению, при сохранении приоритета строительства пятиэтажек мы потеряем много больше на коммуникациях и инфраструктуре.

— Один новый километр метрополитена стоит более миллиарда рублей, — поддержала его Фурцева, — и, если учесть транспортные потери, то для москвичей увеличение высотности оправдано.

— Москвичи требуют увеличения высотности, а за исключением крупных городов повсеместно продолжают строить двухэтажные дома. Это просто преступно, растранжириваются огромные ресурсы, — вступил в разговор отец. — Если поднять этажность строительства по всей стране, то снизится стоимость квадратного метра и вырастет объем сдаваемого в эксплуатацию жилья.

— В пятиэтажках квадратный метр обходится на 49 процентов дешевле по сравнению с двухэтажными домами, — дал справку Кучеренко.

Еще один источник экономии нашли в индивидуальном строительстве. Против него, естественно, никто не возражал, но только если застройщик строит за свои.

— А вот если кредитует государство, то разумнее эти ресурсы, не распыляя, вкладывать в кооперативные многоэтажки, — высказался отец.

В результате так ни к какому решению не пришли, договорились послушать еще раз москвичей, ленинградцев, киевлян, может быть потом собрать общесоюзное совещание по городскому строительству.

— Надо все хорошенько проанализировать, — подвел итог обсуждению отец. — Мы хотим строить больше жилья. Главное — выискивать к тому любые возможности, но только создающие хорошие условия для жильцов, а не ухудшающие их.

Аджубей, естественно, знал о разговоре на Президиуме ЦК и решил включиться в обсуждение, где и какие дома строить, развернул на страницах «Известий» дискуссию, попросил высказаться читателей.

3 августа отец встречается с энергетиками, речь идет о развитии отрасли в ближайшей и более отдаленной перспективе, с ежегодным вводом не менее 10 миллионов киловатт в год. В процессе подготовки постановления выяснилось, что «наметки Госплана не обеспечивают требуемого объема ввода мощностей. Н. С. Хрущев внимательно выслушал сообщение, рассмотрел представленное ему письмо о разногласиях и обязал Госплан СССР принять предложения министерства и закончить подготовку постановления до конца августа».

8 августа 1961 года Лысенко возвращает себе титул Президента Всесоюзной Сельскохозяйственной академии.

10 августа 1961 года отец осматривает почти совсем готовое здание Дворца съездов в Кремле. В нем в середине октября предстоит открыться съезду партии. Отец доволен. Здание своей легкостью и белизной контрастирует с краснокирпичностью стен Кремля, но одновременно и не отторгается. Дворец съездов как бы дополняет Большой Кремлевский дворец и функционально, и архитектурно становится символом постоянного обновления Кремля.

18 августа 1961 года отменили сталинский закон об обязательной регистрации гражданами в милиции радиоприемников. Одновременно отменили и плату за пользование ими.

23 августа 1961 года во всех средствах массовой информации тиражируется Постановление ЦК «О неправильной практике изготовления памятных подарков к XXII съезду КПСС». Так повелось еще с 1930-х годов, а возможно и раньше. Тысячи заводов, шахт, фабрик, колхозов рапортовали очередному съезду партии о своих успехах и подтверждали их отсылаемыми в Москву многочисленными моделями машин, кораблей, доменных печей и всего прочего, изготовленными, естественно, за государственный счет и в рабочее время. Отец попытался пресечь эту вакханалию дарения. Постановление предписывало: «вместо ненужной растраты ресурсов на подарки выполнять планы производства, это и есть — лучший подарок съезду».

9 сентября 1961 года газеты опубликовали сообщение о создании Института советско-американских отношений, предтечи будущего Института США и Канады.

10 сентября 1961 года отец, несмотря на приближающийся съезд партии, где ему предстояло делать доклад, едет на Волгу на пуск Сталинградской ГЭС. Уж очень ему хотелось своими глазами посмотреть на еще одно «чудо, сотворенное руками человеческими».

Весной и летом 1961 года происходило еще много других очень важных и примечательных событий, которые остаются за рамками моей книги. Это и запуск человека, Юрия Гагарина, на космическую орбиту, и вторжение американцев на Кубу в Заливе Свиней и их

позорное поражение, и встреча отца с новым Президентом США Джоном Кеннеди в Вене, и Берлинская стена. Все эти важнейшие события — обширная тема, и я ей посвятил отдельную книгу «Рождение сверхдержавы. Книга об отце». Там я подробно пишу о ракетах, о космосе, об ядерных испытаниях, об отце с Кеннеди.

«Наш Никита Сергеевич»

В начале июня 1961 года на экраны вышел документальный фильм Василия Захарченко «Наш Никита Сергеевич», а 17 июня отец стал трижды Героем Социалистического труда. Наградили тогда более пяти тысяч ракетчиков и ракетостроителей, от рабочих до главного конструктора Сергея Королева, от лейтенантов до командующего ракетными войсками маршала Митрофана Неделина. Героями Социалистического Труда стали две, а то и три сотни человек, из высокого начальства Фрол Козлов и Леонид Брежнев, они отвечали в ЦК за оборонное производство, заместитель Председателя Совета Министров оборонщик Дмитрий Устинов, министры Константин Руднев и Валерий Калмыков, президент Академии наук, «теоретик космонавтики» Мстислав Келдыш. Так что награждение отца: за космос, за ракеты, за выбор стратегии наиболее рационального и экономически оправданного обеспечения безопасности страны в этом контексте представлялось вполне логичным и заслуженным. Но общественное мнение руководствуется не логикой, а эмоциями и третью Звезду Героя отца за шесть лет восприняло крайне негативно.

Ему бы следовало отказаться, но не отказался… Теперь, когда многие документы рассекречены, в протоколах заседаний Президиума ЦК можно прочитать, что на самом деле отец отказывался. В ответ на предложение Козлова о включении его в списки на награждение говорил, «что вряд ли это надо делать. Думаю, что этого делать не следует». Но «товарищи» настаивают, и он «сдается».

К главе государства особый счет. Уж на что я лицо заинтересованное: и сын, и сам ракетчик, и знал, сколько отец сделал, — и то испытал в связи с этим награждением чувство неудобства. Однако отцу ничего не сказал, посчитал, не моего ума дело.

А тут еще этот фильм, тоже честно отражавший происходившее в последние годы: целина, новое жилье, поездки отца по стране и за рубеж, встреча Гагарина, выступления, пресс-

конференции. Диву даешься, как в его возрасте он все это выдюжил. Но никто не задумывался о том, что показывали на экране, всех раздражало, что в кадре постоянно мелькает Хрущев. Фильм «Наш Никита Сергеевич» не просто раздражал, он настраивал зрителей против отца. Столь же «провокационными» оказывались и его фотографии, и тексты выступлений, не сходившие с первых страниц газет. Никого не интересовало, что он говорил, постоянное присутствие в прессе воспринималось не как свидетельство активности работавшего на износ лидера страны, а как возрождение собственного культа на руинах им же поверженного культа личности Сталина.

У меня сохранилась копия того злосчастного фильма. Сегодня он производит совсем другое впечатление. Сделан он интересно, пафосно, державно. И отец в нем теперь видится иным, чем-то напоминает западных политиков, снует по стране, не сторонится ни людей, ни кинокамер, старается во все вникнуть, все понять. В общем, нормальный лидер, не чурающийся рекламы, но без какого-либо культа. Но чтобы так воспринимать прошлое, следовало прожить полвека, а тогда награждение и фильм навредили отцу больше всех его врагов вместе взятых.

8 октября 1961 года умерла моя тетя Ирина Сергеевна. Я ее почему-то звал теткой. А мои старшие сестры, как и все остальные, — фамильярно Аришей.

Она родилась 26 апреля 1897 года. Младшая сестра и брат сильно разнились: он — целеустремленный, напористый, сосредоточенный, она — мягкая, певучая, хотя и без голоса, с раннего возраста эдакая «бабушка». Отец сестру любил, но ни о чем серьезном с ней не разговаривал, они мыслили по-разному, обретались в разных измерениях. Отец — человек государственный, а Ирина Сергеевна жила своим домом, семьей, соседями, их проблемами.

Переехав из Калиновки в Москву, она вышла замуж за Авраама Мироновича Кобяка, крепкого и душой, и телом белоруса. Я и сейчас помню его крепкое рукопожатие. Он был старше тетки на одиннадцать лет, родился 2 апреля 1886 года и пережил ее на три года, умер 18 декабря 1964 года. Нажили они двух дочерей — умненькую и несчастную Ирму, в детстве она переболела менингитом, после чего последовала глухота, и бесталанную, с признаками фанаберии, Рону. Рона выросла здоровой, сильной, безапелляционной, стала учительницей английского языка, чем чрезвычайно гордилась, вышла замуж за военного, со временем дослужившегося до генерала.

Сколько я себя помню, Ирина Сергеевна проводила у нас на

квартире или на даче большинство выходных, часто задерживалась на неделю и дольше, постоянно рассказывала что-то назидательное нам, детям, а затем и внукам, давала советы маме, а та безропотно выслушивала ее наставления. Помню, как Ирина Сергеевна настойчиво отговаривала меня от поступления в Энергетический институт: стоящего образования там-де не получишь, сын ее соседей окончил этот институт, а когда она его попросила помочь повесить люстру, все провода скрутил неправильно, свет погас, пробки вышибло, и пришлось вызывать «настоящего» электрика. Воспитанные мамой в уважении к старшим, мы безропотно внимали теткиным разглагольствованиям, но всерьез ее назидания не воспринимали — что она, с ее двухклассным образованием, может посоветовать. Ирина Сергеевна, как и ее старший брат, училась в деревенской церковно-приходской школе, единственной на всю округу, но, в отличие от брата, после революции продолжить образование и не пыталась.

И мы, и мама поступали по своему разумению. Тетка не обижалась, ей нравилось советовать, а исполнение — дело десятое. Так десятилетиями наши семьи жили в согласии, но каждая — в своем мире.

Одинокая Ирма приезжала с матерью к нам регулярно, мы научились общаться с ней, привыкли к ее резкому, отрывисто-каркающему, как у всех плохо слышащих голосу, она же легко читала речь по движению наших губ. Рона жила своей жизнью. Подруги, наряды, танцы, тут не до старого дядьки, пусть он и глава государства.

После отставки отца Ирма продолжала время от времени навещать отца на даче, а Рону как отрезало. Она посчитала, что теперь ставшие «сомнительными» родственники помешают карьере мужа, да и ее, преподавательницу вуза, скомпрометируют. Со временем даже до нее дошло, что на самом деле ее компрометирует собственное поведение. У такого типа людей самоуспокоение совести происходит необыкновенно быстро. Рона придумала, что всему причиной якобы плохие отношения между моими родителями и Аришей. Насколько она верила своим словам, судить ей самой, но другим она жаловалась беспрестанно. Близкие знакомые посмеивались в ответ, а посторонние сочувственно кивали, подобные размолвки в семьях нередки.

Авраам Миронович заезжал к нам изредка. Он работал заместителем директора по хозяйственным делам на одном из московских авиационных заводов, вечно по голову в делах, а по воскресеньям вкалывал на садовом участке, строил дачку. Денег

постоянно не хватало, и отец ссужал им без отдачи когда рублей двести, а когда и пятьсот. Больше они не просили, а сам он считал, что полтысячи — огромная сумма. Авраам Миронович любил поговорить с отцом. Они обычно усаживались, летом на дачной веранде с видом на Москву-реку, зимой — в столовой у негорящего камина (охрана, опасаясь пожара, зажигать его настойчиво не рекомендовала), и Авраам Миронович начинал расспрашивать отца о политике, о текущих делах. Отец обстоятельно отвечал, расставались они неизменно удовлетворенные друг другом.

Ирина Сергеевна умерла на даче в Горках-9, в столовой. Она долгие годы страдала диабетом. В тот день она сидела в уголке дивана, как обычно, разговаривала с мамой, которая занималась каким-то своим делом и слушала Аришу вполуха. Я там же, в столовой, сидя за обеденным столом, читал газету и не слушал их вовсе. Рядом расположился отец со своими бумагами. Вдруг тетка, не договорив фразы, резко замолкла. Я оторвался от чтения, поднял голову и увидел, что она сползает по спинке дивана, на сиденье. Она впала в кому, и пока ехала неотложка, все кончилось.

Тогда на даче у главы государства врачи не дежурили и специальные реанимационные автомобили за ним не следовали. Врач сопровождал его лишь в поездках за границу, а когда отец ездил по стране, врача в свите не было, считалось, что на местах, при необходимости, помогут местные медики.

Меня смерть Ирины Сергеевны напугала насмерть, и через какое-то время я завел разговор, что находись доктор поблизости… Я боялся за отца, опасался, что и с ним может произойти подобное несчастье. Человек он уже в возрасте. Я не сказал напрямую, что следует установить на даче постоянное дежурство врача, но отец меня понял и продолжать не позволил, ответил, что Ирине Сергеевне никакой врач бы не помог, держать же докторов под боком у здорового человека — глупость, Москва не за горами, Барвиха, правительственный санаторий вообще рядом, случись что, приедут через полчаса. Я с ним не согласился, но моего согласия и не спрашивали. Позже я еще раз попытался заговорить на «медицинскую» тему и снова безрезультатно, отец необычно резко оборвал меня, посоветовав заниматься своими делами. Я склонял на свою сторону начальника охраны Литовченко, но он только руками разводил — все зависит от «охраняемого», без его приказа никто и пальцем не пошевелит. Правда, какой-то эффект мои слова все же возымели, через некоторое время в дальних поездках по стране отца начал сопровождать его лечащий врач, доктор Владимир Григорьевич

Беззубик.

Коммунизм

7 октября 1961 года строители сдали Государственной комиссии Кремлевский дворец съездов, а уже 17 октября в его пятитысячном зале открылся XXII съезд Коммунистической партии. На нем отцу предстояло доложить об очередной программе партии, программе построения коммунизма, построения общества всеобщего изобилия, рая на земле, где все получат по потребностям, а работать станут по ими самими определяемым возможностям. Коммунизм, как и рай, представлялся каждому по-своему, и весьма расплывчато, но пожить в нем хотелось всем.

Исполнением этой программы Коммунистическая партия свое предназначение, по всей видимости, исчерпывала, ибо о необходимости партии в посткоммунистическом обществе основоположники не упоминали.

Начну с истории. Первая программа партии, тогда еще РСДРП, звала к революции. В 1917 году революция победила, и большевики приняли вторую программу — строительства социализма. К концу 1930-х годов ее выполнили, социализм, в том виде, как его понимали они сами, в основном построили.

8 1939 году на XVIII съезде партии Сталин заговорил о новой, третьей программе партии, определявшей путь к коммунизму. Создали комиссию во главе с ним самим. Но тут грянула война, стало не до коммунизма. Сразу после победы, в 1946 году, комиссия по подготовке построения коммунизма возобновила работу, но теперь уже во главе с Андреем Александровичем Ждановым, он тогда ходил у Сталина в фаворитах. Одновременно Госплан верстал план развития экономики до 1965 года, решавший «практическую задачу преобразования социализма в коммунизм». К 1948 году комиссия кое-что наработала, на строительство коммунизма отводилось двадцать лет. Его пришествие наметили на 1965 год.

Однако «прославиться» Жданову не довелось, помешала холодная война, все средства бросили на разработку атомной бомбы. Затем Сталин увлекся борьбой с «безродным космополитизмом», и ему вновь стало не до коммунизма. В 1949 году испытали первую бомбу, следом вторую, третью и на XIX съезде партии вернулись к перспективам построения коммунизма. Снова создали комиссию, но она так и не приступила к работе. Сталин вскоре умер, и строительство коммунизма уже в который раз отложили до очередного XX съезда партии, а тот, в свою очередь, постановил «подготовить

новую программу партии» к следующему, XXI съезду. Снова создали комиссию, теперь ее возглавил отец, раздали задания академикам, но серьезно за работу не принялись. В верхах разгорелись споры. Отец и Молотов не только на будущее, но и на настоящее смотрели уж очень по-разному. Молотов считал, что сооружена только основа, фундамент социализма, отец утверждал, что социализм подведен про крышу, в основном построен.

Академики смогли сориентироваться только в 1957 году, после ухода со сцены «антипартийной группы» молотовцев. Станислав Густавович Струмилин и Евгений Самсонович Варга, в те годы непререкаемые авторитеты в области экономики, в 1958 году выработали два основополагающих документа, озаглавленные: «Общий курс капитализма» и «На путях построения коммунизма». В них они предрекли наступление общества будущего, то есть коммунизма, уже через 10–15 лет, к 1964 году обещали обогнать США по общему объему промышленного выпуска, а к 1971 году и на душу населения. Эту программу авторы предлагали рассмотреть и утвердить на XXI съезде КПСС.

Прочитав труды академиков, отец остался неудовлетворенным: с одной стороны, конкретные сроки, а с другой — полная неопределенность, что и как к этим срокам следует сделать. Представлять «академические фантазии» съезду партии он не посчитал возможным. И предложил подвести под программу серьезный фундамент, досконально просчитать, что и сколько получит к моменту построения коммунизма каждый советский гражданин. «Коммунизм требует создания экономических предпосылок. Если попытаться установить коммунизм, пока не развиты производительные силы, получится не коммунизм, а нищета, — объясняет отец американскому издателю Г. Коулсу. — Коммунизм — это изобилие. Если объявить коммунизм, когда, скажем, имеются лишь одни штаны на десять человек, и разделить эти штаны поровну, то все они окажутся без штанов. Мы отрицает такой “бесштанный” коммунизм». «Идею в суп не положишь», — повторяет отец при каждом удобном случае. Поручить же расчеты следует не безответственным академикам, с них взятки гладки, а солидным государственным органам.

19 июля 1958 года (об этом есть в архиве соответствующая запись) он указал своему заместителю по программной комиссии академику и одновременно заведующему Международным отделом ЦК Борису Николаевичу Пономареву на расплывчивость представленного документа и обозначил задачу: «программа

должна стать ясным, четким, вдохновляющим документом, но в то же время реальной, жизненной, с широкой перспективой… не просто собранием хороших положений из Маркса и Ленина, а народ должен почувствовать, что каждый получит в результате ее выполнения». Эти высказывания приводит в своей книге «Коммунистические иллюзии Хрущева» кандидат исторических наук Николай Барсуков.[66]

25 июля 1959 года Президиум ЦК расставляет акценты: теорией займутся академики, практические подсчеты — сколько, когда и где произведет наша промышленность и сельское хозяйство, должны предоставить Госплан и Госэкономкомиссия, с весны 1960 года их возглавляли не переносившие друг друга заместители отца В. Н. Новиков и А. Ф. Засядько. Несколько слов об этих руководителях.

Новиков Владимир Николаевич, в 1928 году начав работать техником по нормированию на оборонном заводе в Ижевске, к 1939 году дорастает до главного инженера предприятия, а с июля 1941 года становится заместителем наркома вооружений Дмитрия Устинова. С тех пор их судьбы неразрывны — оба талантливые, крепкие хозяйственники, сторонники жесткой централизации власти. В 1958 году он уже заместитель главы Правительства РСФСР, а с мая 1960 года — заместитель Председателя Совета Министров СССР и одновременно председатель Госплана СССР. К реформаторству Хрущева относился настороженно, его идеал — сталинская вертикаль управления промышленностью, но как человек дисциплинированный, свои обязанности выполнял беспрекословно.

Засядько Александр Федорович в молодые годы работал слесарем на Луганском вагоно-паровозостроительном заводе, затем на угольной шахте. С 1935 года, после окончания Донецкий горного института, инженер на угольных шахтах, а с 1939-го — заместитель начальника Главугля. В 1942 году — назначен заместителем наркома угольной промышленности, а в январе 1947-го уже министр. В марте 1958 года Засядько становится заместителем Председателя Совета Министров СССР и почти одновременно, с апреля 1960 года, — председателем Государственного научно-экономического совета СМ СССР. Человек энергичный, по натуре реформатор, постоянно ищет новые, более эффективные методы управления экономикой. Умеет и любит работать с учеными-новаторами. Твердо поддерживает линию Хрущева на децентрализацию промышленности и экономики в целом.

14 декабря 1959 года Президиум ЦК обсуждает первые

наметки проекта «Программы построения коммунизма». Тон задает отец.

— Это конкретная задача, за основу надо взять экономическую разработку развития страны на 15–20 лет и все как следует просчитать по пятилеткам, — говорит он. — В программе надо обратить внимание на электрификацию всей страны, этот ленинский завет мы еще не исполнили.

Необходимо идти этапами: сначала взять детей и стариков на государственное обеспечение, затем, через одну-две пятилетки, обеспечить практически бесплатное питание всего населения. В капиталистических странах есть рестораны, где, заплатив что-то, можешь затем кушать что тебе угодно. Почему же при коммунистическом обществе не устроить нечто похожее?

— И при коммунизме необходим порядок, иначе получится стадо людей, а не общество, — отец переходит к изложению своего понимания будущего коммунистического устройства. — Одновременно надо подумать о демократизации нашего строя. Возьмем, к примеру, руководство страны, Президиум ЦК. Мы не ограничены ни во времени, ни во власти. Нас выбрали, и мы самые гениальные? А за нами люди совершенно недостойные? Буржуазные конституции построены более демократично, чем наша, в США президенту больше двух сроков не отводится. У нас же смена лиц в высшем руководстве определяется естественной смертью. Только тогда на место выбывшего выбирают нового кандидата. Можем собраться в «артель», люди спаяются и сольются, как это произошло при Сталине. Это неправильно. Мы обязаны обеспечить постоянное обновление, к примеру на одну треть, состава Президиума ЦК после каждого съезда и далее вниз на всех уровнях, в том числе и депутатском. Если выбирать будут на один-два срока, исчезнет кастовость, уменьшится бюрократия. Вот, товарищи, мой вклад, — закончил свое выступление отец.

— Настолько хорошо сказано… — первым поспешил отреагировать Микоян. Его поддержал Аристов.

— До сих пор у нас господствовало абстрактное, схоластическое, начетническое суждение о программе, — внес свою лепту Суслов. — Без 15 — 20-летнего плана, без станового хребта она так и оставалась бы набором скучных рассуждений, а теперь… — тут Михаил Андреевич запутался и забормотал не очень внятно: — Такой становой хребет, все обтекает очень хорошо, и программа не будет абстрактным документом, а зовущим вперед и воплощающим в жизнь…

Настороженно озираясь, Суслов сел на место, но на его оплошность никто внимания не обратил.

Остальные присутствовавшие в зале один за другим

поддержали отца, только Пономарев начал задавать вопросы: «Как дальше развивать сельское хозяйство: через коммуны или через укрепление колхозов и дальше, минуя коммуны, путем слияния с государственной собственностью в виде совхозов? Как определить нацию?»

Его вопросы пропустили мимо ушей, недоразумения поручили прояснить созданной на заседании комиссии во главе с Сусловым. На все про все им отвели двадцать дней.

С 1960 года в новой редакции Программы, под приглядом отца, варили сборную солянку из «теоретических фантазий» сусловско-пономаревских академиков и составлявшегося в Госплане «Генерального 20-летнего перспективного плана развития народного хозяйства СССР». Из этого-то плана, вернее из составленного на его базе «Доклада по общим экономическим проблемам и развитию экономической науки в генеральной перспективе» (ну и мудреное же название) и вырисовывается 1980 год как год построения чего-то такого, что назвали фундаментом коммунизма.

Как я уже писал, рост экономики не столько планировали, сколько прогнозировали независимо друг от друга Госплан Новикова и Госэкономсовет Засядько.

Госплан «осторожничал», предлагал записать на 1961–1970 годы ежегодный прирост промышленности 9,6 процента, а в целом на двадцатилетие 1961–1980 годы — 9,4 процента, или в четыре — четыре с половиной раза за весь период. В 1961–1980 годах намечалось построить 180 гидроэлектростанций, 200 ТЭЦ, 2 800 новых заводов, добыть 1 180 — 1 200 миллионов тонн угля, произвести 250 миллионов тонн стали, 125–135 миллионов тонн минеральных удобрений, 233–235 миллионов тонн цемента. Сельское хозяйство предполагалось приращивать в год на 5,7–6,5 процентов, к 1980 году увеличить производство зерна, мяса, молока и всего остального в три с половиной раза, производительность труда повысить в два с половиной раза. При этом перераспределялись приоритеты, резкий крен делался в сторону увеличения производства предметов потребления, так называемой группы «Б». К 1980 году она возрастала в 13 раз, тогда как группа «А», тяжелая промышленность, всего в 6 раз. Засядько предлагал «не скаредничать», ориентироваться на более высокие годовые приросты.

Как определили эти цифры? И Госплан, и Госэкономсовет экстраполировали прошлое в будущее. И те и другие предполагали, что, как и в предыдущие годы, американская промышленность будет возрастать не более, чем на 2,5–3 процента в год, а сельское хозяйство и того меньше: на 1,7–2

процента. При этом Госплан исходил из того, что в 1960 году промышленная продукция СССР достигала 60 процентов от американской, а сельскохозяйственная — 80 процентов.

Здесь, как и по другим экономическим показателям, разные экономисты приводят весьма разнящиеся цифры. К примеру, в 1987 году, по данным Госкомстата, соотношение национального дохода СССР и США, рассчитанное по официальному курсу валют, составляло 41 процент, а по покупательной способности — 67. По методике В. Д. Белкина — всего 20 процентов. Показатели валового национального продукта, включающего в себя не только промышленность с сельским хозяйством, но и сервис со всем остальным, Госкомстат в те годы не публиковал. По данным ЦРУ, в 1987 году ВНП СССР составлял 55 процентов от ВНП США, а тот же Белкин насчитал всего 14 процентов.[67] Кто прав, кто нет, судить не берусь, да и никто не возьмется.

Следуя той же логике наложения прошлого на будущее, они взяли за исходные цифры роста промышленности за десятилетие с 1951 по 1961 год — 11,8 процента, а сельского хозяйства за 1956–1960 годы — 6,2 процента. Из расчетов следовало, что американцев мы не только догоняем, а к 1980 году и перегоняем. По тем временам это утверждение совсем не отдавало фантазией. В прогнозе ЦРУ, составленном в конце 1950-х годов, делались аналогичные выводы. Напомню, американцы не исключали, что к исходу XX века советский национальный продукт в три раза превысит американский.

Но при чем тут коммунизм? В 1961 году коммунизм для всех, в том числе для отца, означал зажиточную жизнь. Жизнь лучше, чем у кого-либо в мире, в первую очередь лучше, чем Америке, которая, следуя этой странной логике, уже тогда жила в коммунизме. Но я, кажется, зашел слишком далеко.

Данные Госплана и Госэкономсовета сводил воедино первый заместитель отца Косыгин, человек осторожный. Он встал на сторону Госплана. Отец присоединился к его мнению.

— Товарищ Засядько разослал материал, и вы все читали его, — обращается он к коллегам на заседании Президиума ЦК 17 июня 1961 года. — Он показывает, что у нас появятся лучшие возможности, чем уже записано в программе, и цифры следует скорректировать. Я внимательно прочел все, беседовал с товарищами. Мы согласились, что коррективы вносить не следует… К тому же надо иметь в виду, что это прогноз, а не конкретные планы.

В результате в Программу партии записали параметры, представленные Госпланом и подписанные Новиковым.

Таковы документально зафиксированные факты.

Но до нас доходят не только факты, но и эмоциональные отголоски давно забытых бюрократических баталий.

Засядько умер рано и мемуаров написать не успел. Другое дело Новиков, основной сочинитель экономического раздела Программы, а с 1980 года — пенсионер союзного значения. Он все знает, все помнит, но в своих воспоминаниях, задним числом, когда коммунизм так и не построили, все валит на давно покойного Засядько, а заодно и на Хрущева. «Готовил экономическую часть программы Госэкономсовет под руководством Засядько и его заместителя Н. А. Тихонова, — пишет Новиков. — Ее содержание: через двадцать лет у нас будет почти коммунизм! Чего там только не было написано… Собрался Совет Министров в полном составе. Пришел Никита Сергеевич. Не садясь за стол, положил руку на текст Программы и сказал: “Я внимательно все изучил. Предложения хорошие, их надо принимать. Мы заранее разослали текст членам Совета Министров, видимо, все ознакомились. Думаю, дискуссировать нет смысла. Нет возражений?” Все молчат. Хрущев заключил: “Считаем принятым”. Как известно, экономическая часть этой Программы не была реализована».

Новиков осознанно вводит читателей в заблуждение: и Программу якобы не он писал, и не обсуждал он ее многократно и с Косыгиным, и с отцом, и замечания на нее не писали все кому не лень, всего в ЦК поступило 170 801 предложение, из них опубликовано в газетах 40 733, учли, конечно, далеко не все.

Так что сверстанный документ, читаный-перечитаный и в деталях обговоренный на Президиуме ЦК, возможно, и утвердили на Совмине формально. Но впечатление-то Новиков намеренно создает совсем иное.

Другой мемуарист, Федор Михайлович Бурлацкий, тоже наводит тень на плетень, но без какого-либо злого умысла, для красного словца. Вот как в его изложении появились в Программе партии цифры плана развития экономики на двадцать лет: «С этим предложением на одно из заседаний (рабочей редакционной группы) приехал крупный хозяйственник А. Ф. Засядько… Выкладки о темпах развития нашей экономики и экономики США фактически были взяты с потолка…»

С Бурлацкого, в общем-то, взятки гладки, он амбициозный, но всего лишь клерк из аппарата, даже не Пономарева, а другого, андроповского, департамента. В составлении плана развития он не участвовал, что-то где-то случайно прослышал, без начала и без конца. Как видно из цитаты, в памяти у Бурлацкого почти ничего содержательного не осталось. К сожалению, Бурлацкого цитируют в серьезных книгах и слова его принимают за истину:

приехал какой-то Засядько, что-то наболтал, а члены рабочей группы всё записали в Программу партии. Легкость в мыслях необыкновенная!

У меня тоже остались воспоминания, связанные с подготовкой Программы, правда, только об одном, частном эпизоде.

Накануне Пленума ЦК прогнозисты-экономисты во главе с Косыгиным и Пономаревым воскресным солнечным июньским днем 1961 года на даче в Горках-9 не докладывали, а скорее, рассказывали отцу о своих наработках. Отец часто практиковал такие воскресные посиделки. На даче, под соснами можно всласть наговориться, пообсуждать без регламента, без телефонных звонков, без ожидающих в приемной посетителей. Все расселись в кружок в плетеных летних креслах, на травке, отец в легкой вышитой украинской рубашке, остальные кто в галстуках, кто без, но все без пиджаков, было жарко. Говорили по очереди, не вставая с места. Я пристроился позади группы, рядом с помощником отца Шуйским.

Услышанное произвело на меня двойственное впечатление: цифры, конечно, грандиозны, но это только цифры. А где же коммунизм? И где гарантия, что *мы* обставим американцев, а не они нас?

Тут объявили перекур, отец табачного дыма не переносил, и рядом с ним не курили, даже на свежем воздухе. Я увидел, что Пономарев стоит в отдалении один, решил порасспросить его поподробнее. Борис Николаевич объяснил, что экономика США себя исчерпала, кризис капитализма неотвратим, а мы продолжим движение вперед. Его слова меня не очень убедили, но тут всех позвали назад и что такое коммунизм, он мне рассказать не успел. И в то, что мы обгоним американцев, мне пришлось поверить секретарю ЦК и академику на слово. Я и поверил.

Но достаточно самооправданий и обращенных в прошлое обвинений. Обвинять, собственно, некого и не за что. Ведь речь шла, как мы знаем, даже не о плане, а плане-прогнозе. У прогнозистов же нет возможности заглянуть в будущее, они основываются на опыте прошлого и не в состоянии предвидеть ни грядущие технические, ни иные революции, ни кризисы, ни катаклизмы. Именно поэтому прогнозы редко сбываются. Вспомните наивные романы Жюля Верна, к слову, одного из лучших прогнозистов XIX века, или «провидческие» рассказы ведущих ученых того времени о том, что будет через двадцать-тридцать лет. Их впору помещать на странички юмора. А фантазии-предвидения Айзека Азимова и других пионеров

компьютерной эры: гигантские, больше самого большого небоскреба, ламповые электронные мозги, перфокарты и перфоленты…

К чести отца скажу, что он старался, насколько это возможно, заглянуть за горизонт. К примеру, он настоял, я уже подробно писал об этом, на замораживании темпов прироста производства стали в пользу химии. Но это не предвидение, а трезвая оценка настоящего, уже начавшейся технической революции в конструкционных материалах. Отца вскоре «поправили», после 1964 года производство стали вновь стало приоритетным.

Так что не стоит обвинять в авантюризме, некомпетентности и других грехах ни Госплан, ни Госэкономсовет, составивших план-прогноз, а также Косыгина и отца, принявших на веру их заключения. Мы так же «некомпетентны» в своем будущем, как наши предшественники — в своем. И мы не знаем, что же на самом деле произойдет через двадцать-тридцать лет, как не знали они. Именно неведение стимулирует нас на свершения во имя будущего. Знай мы правду…

Вернусь к Программе. Каким же всем нам, в том числе и отцу, представлялся коммунизм?

В первую очередь — всеобщий достаток. Собственно, Программа строительства коммунизма — это очередная попытка одолеть нищету, обеспечить людям жизнь, достойную человека. Она выстраивается в один ряд с освоением целины, строительством дешевого и доступного жилья, но только теперь, за двадцатилетие, надеялся отец, удастся разрешить все оставшиеся проблемы разом.

Плюс — всеобщее равенство. Тут возникало противоречие с провозглашенным отцом принципом материальной заинтересованности, отвергавшим уравниловку, ставившим во главу угла принцип: работаешь лучше — живешь богаче. Не могу сказать, что отец не задумывался о противоречиях в самом подходе к коммунизму. Еще как задумывался. А вот ответы на свои вопросы находил далеко не всегда.

Одно из таких противоречий — роль и место государства в нашем будущем. Согласно теоретикам, и отец с ними полностью соглашался, по мере приближения к коммунизму государство как инструмент насилия обрекалось на отмирание, обществу предстояло брать на себя заботу о человеке, обо всех и каждом, от рождения до смерти, заботу о жилье, о пище, о бытовом обслуживании, о воспитании детей и содержании пенсионеров. Такое представление о будущем логично вытекало из настоящего. Уже в 1960 году государство платило пенсии и бесплатно лечило 20 миллионов пенсионеров, построило ясли для 6 миллионов

малышей и пионерские лагеря для 6 миллионов школьников. В школах, техникумах, институтах и университетах училось 42 миллиона человек и не просто бесплатно, а большинству из них, примерно 36 миллионам, еще и стипендии платили. Все 62 миллиона трудящихся получали оплачиваемые не менее чем трехнедельные отпуска. Всех страждущих бесплатно лечили, как умели, два миллиона докторов, фельдшеров, медицинских сестер и нянечек. 3 миллиона человек бесплатно, или почти бесплатно, ездили отдыхать в санатории и дома отдыха. Но в экономике ничего не получается из ничего. На все эти «бесплатные» удовольствия уходила значительная доля государственных доходов. Считалось, что к 1980 году доходы советских людей на 75 процентов превзойдут доходы американцев в 1960 году, но деньги, в основном, пойдут в общий котел, «общественные фонды потребления в 1980 году составят примерно половину всей суммы доходов населения».

Почему сравнение делается с 1960 годом? Других цифр просто не существовало, в США прогноз развития экономики не производили, а наши экономисты, как я уже отметил, считали, что с 1960 года у них начался застой, расти они больше не в состоянии.

Согласно теории, с приближением к коммунизму роль государства возрастала, государственная собственность доминировала в экономике, но в то же время ему предписывалось отмереть. Противоречие, которое в практическом плане оказалось неразрешимым. Решение отложили до лучших времен.

Пока же из Программы убрали тезис «диктатуры пролетариата». Теоретики считали, что диктатура отомрет лишь вместе с самим государством. Отец с ними не согласился. Жизнь страны без правительства он себе не очень представлял, а вот без диктатуры, считал, можно обойтись. Государству предстояло стать общенародным, без подавления кого-либо кем-нибудь, и демократическим, когда свободные люди смогут выбирать правительство, какое захотят. Одновременно с отменой «диктатуры» отец вписал в Программу и требование преобразования советов всех уровней из декоративных во властные органы и наделения их реальным правом принимать, а не просто штамповать законы, и главное, проверять их исполнение. К сожалению, до реального воплощения провозглашенных принципов отцу дожить не удалось.

По мере всенародного обсуждения Программы зуд к обобществлению всего в стране возрастал. Рядовые граждане требовали немедленно и кардинально «разобраться» с частной собственностью, не только передать обществу личные дома, дачи,

машины, но и обобществить превышающие «допустимый» (и весьма скромный) уровень вклады в сберкассы, переселить людей из квартир в «комфортабельные» общежития, чтобы избавить их от «хлама» и вернуть им дух коллективизма.

И это еще не самые радикальные из идей идеалистов-экстремистов.

Отец всеобщего обобществления не одобрял, но тоже считал, что в будущем под дачи для всех земли не хватит. В результате был найден компромисс: вместо индивидуальных домиков предполагалось строить на природе многоэтажные кооперативные комплексы с квартирками, передаваемыми в собственность одной семьи или нескольких поочередных владельцев — то, что теперь называют «тайм-шеринг».

Автомобилистов пока оставили в покое, хотя и отметили, что будущее за городским общественным транспортом, метро или троллейбусом, а если кому-то при коммунизме захочется прокатиться на машине, они смогут воспользоваться услугами проката.

Сдерживать приходилось не только и не столько рядовых «хлопотунов» о всеобщем будущем благоденствии, но и уважаемых ученых. Так, академики в своих наметках предлагали провозгласить «добровольность труда» при коммунизме.

Барсуков сохранил для нас некоторые из замечаний отца: «Представьте себе, что половина общества не захочет трудиться добровольно, — сомневался отец. — Формула добровольности устарела. Может быть, классики, создавая теорию, чтобы привлечь внимание, и провозглашали: хочешь — работай, хочешь — не работай, а кушай, сколько влезет… Это неправильно. Нужно сказать “необходимый труд”». «Добровольность труда» из текста Программы исчезла.

А вот правка помельче. В пункте, обещавшем «увеличить оплачиваемые отпуска в ближайшие года с трех недель до месяца», отец «ближайшие годы» вычеркивает, неизвестно, как еще дела сложатся.

В ответе на «предвидение» академиков, что «во втором десятилетии (то есть в 1970-е годы) жилье станет бесплатным», отец сомневается: «Может быть, в 1970 году у нас такой возможности не окажется. Надо как-то эластичнее сказать». Переписали эластичнее.

Не стану более утомлять примерами, их множество. Отец правил почти каждый абзац отредактированного в аппарате ЦК текста Программы.

Готовый проект Программы обкатали 17 июня 1961 года на заседании Президиума, затем на собравшемся 19 июня Пленуме

ЦК, а в октябре, после окончательной доработки и полировки, за нее проголосовали делегаты XXII съезда коммунистов.

Съезд завершился на патетической ноте словами отца: «Наши цели ясны. Наши задачи определены. За работу, товарищи!» Присутствовавшие в зале долго аплодировали стоя. После съезда призыв растиражируют в миллионах плакатов.

Самые доступные из коммунистических новаций начали реализовываться уже в 1962 году: в столовых появились хлебницы с бесплатным хлебом: ешь сколько влезет. В городском транспорте, трамваях, троллейбусах и автобусах исчезли кондукторы, взимавшие плату за проезд: теперь сознательные пассажиры бросают монету в ящик, несознательные — едут так. Со временем число бесплатных услуг населению должно было увеличиваться.

При всех провалах, ошибках, издержках статистики записанные в Программе построения коммунизма абсолютные цифры объемов производства не так уж и отличаются от достигнутых советской экономикой к концу XX века. За два десятилетия 1961–1981 годов валовой объем промышленной продукции увеличился в четыре, а не в шесть раз, как записали в Программе. Производительность труда возросла не в 4–4,5 раза, а в 2,6 раза. Правда, сельское хозяйство увеличило объемы производства всего на 54 процента, а зерно на корм скоту пришлось закупать на нефтедоллары за границей. И это при том, что страна все эти годы стыла в застое, а расходы на вооруженные силы многократно выросли. Остается только гадать, что случилось бы, не остановись в 1964 году реформирование страны…

Массовое сознание не интересуется статистическими отчетами, оно руководствуется самоощущениями. А самоощущение по мере приближения к заветному 1980 году становилось все поганее, каждый следующий «застойный» год оказывался хуже предыдущего. Колбаса исчезла сначала в Поволжье, почему-то голод в России всегда начинается оттуда, потом из ближних и дальних пригородов «колбасные» электрички потянулись в пока еще благополучную Москву. Но и в Москве самые простые продукты стали переходить в разряд продаваемых только своим и только через черный ход. Тем временем Америка, Запад продолжали оставаться для советских людей источником самого дефицитного дефицита. Какой тут, к черту, коммунизм!..

Большинство людей до сих пор воспринимает коммунизм как Царство Божие на земле, что-то столь же прекрасное, сколь и недостижимое. Построить такой коммунизм не под силу никому, его можно только пообещать. Будь отец похитрее, поциничнее,

записали бы в Программу неуклонный рост благосостояния без цифр, убрали бы сроки, а построение коммунистического «рая» и еще что-нибудь, столь же заумное, сколь и неопределенное, обозначили бы «в обозримом будущем» (кто знает, как далеко они зрят) — и все прошло бы гладко. Официальные лица при случае на собраниях поминали бы Программу, а рядовые граждане — одни бы верили, другие — не верили…

Со своей приверженностью к конкретике, цифрам и срокам отец, сам того не ведая, с Третьей программой партии попал в историю в прямом и переносном смысле. Кто только не потешается над его словами, что «уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме». И поделом ему. Это все равно что если бы библейские пророки записали в своих скрижалях конкретные сроки Конца Света, Страшного суда и Второго пришествия. Хороши бы они были, когда время подошло бы. Отец оказался непредусмотрительным «пророком». За все несбывшиеся ожидания приходится отвечать ему. Посмертно…

Опять о Сталине

В секретариате отца мне дали гостевой билет на съезд, на балкон, на самую галерку. Я регулярно посещал заседания. Пропуск на съезд по тем временам — высшая честь, а я там отчаянно скучал. Ораторы выступали по писаному, монотонно-убаюкивающе. Я то и дело дремал. И не я один. Зал оживлялся только к концу заседания, ряды начинали шевелиться, делегаты сначала по одному, потом группками пробирались к выходу, выскальзывали за дверь, чтобы заранее занять очередь в гардероб, в туалет или буфет, в зависимости от обстоятельств. Я это видел своими глазами, так как сидел около самой двери, и меня удивляло — солидные люди, руководят страной, а ведут себя как школьники-мальчишки.

На этом съезде отец о Сталине говорить не собирался, но заставить себя молчать не смог. Он отчаянно боялся возможности пришествия нового Сталина, считал, что еще одной тирании страна не выдержит, и пытался сделать все от него зависящее, чтобы избежать «второго пришествия».

Люди его поколения все болели Сталиным, стремились избавиться от него и не могли. В частных разговорах, на застольях, в выступлениях на различных мероприятиях, раньше или позже, даже против собственной воли, но возвращались к нему. Просто напасть какая-то! Так вел себя не только любивший порассказать о былом отец, но и менее многословные Микоян, Молотов, Каганович. С одной лишь разницей: отец с Микояном

Сталина осуждали, а Молотов с Кагановичем — восхваляли.

Постоянно думавший о потенциальной «сталинской» опасности и склонный к незапланированным импровизациям, отступлениям от написанного текста отец не удержался и заговорил на съезде о преступлениях Сталина, о тирании, о недопущении ничего подобного в будущем. Заговорил и не смог остановиться. На сей раз проблему Сталина и сталинизма он обсуждал не на секретном заседании, а со всем миром делился наболевшим, поминал своих друзей Якира и Корытного, помощника Финкеля и множество других, сгинувших бесследно.

Теперь отец сказал куда больше, чем на XX съезде, выговорил все, что копилось в те страшные годы. Большинство присутствовавших, а среди делегатов съезда преобладали сталинисты, посчитало, что отец напрасно ворошит грязное белье. Что было — то было, и быльем поросло. Но плотина молчания прорвалась. Следуя сталинскому же порядку выстраиваться в затылок лидеру, записавшиеся в прения спешно переделывали свои выступления. У председателя КГБ Шелепина телефон звонил не замолкая, члены Президиума просили его пошуровать в архивах, подбросить им «жареного». Сталинисты в душе, они проявляли особое рвение. Если почитать стенограмму съезда, то обнаружится, что наиболее «нейтрально» выступали открытые «антисталинисты» Микоян и Куусинен, а самыми ярыми «разоблачителями» оказались «твердокаменные» Шелепин с Полянским.

После всего произнесенного на съезде возник резонный вопрос: что же делать со Сталиным, с его телом, в Мавзолее лежащим бок о бок с Лениным, с названными его именем бесчисленными городами, поселками, заводами, фабриками, колхозами? После XX съезда ничего не тронули, ведь тогда его преступления разоблачали формально секретно.

Не планируя заранее новой антисталинской кампании, отец сам оказался на распутье. Правда, ненадолго. «Поклоняться Сталину, обожествлять тирана — удел рабов», — повторял он, одновременно понимая, что рабское самосознание — сила страшная. И тем не менее, он решился на поступок. Незадолго до окончания съезда предложил его президиуму проголосовать решение о выносе тела Сталина из Мавзолея. Президиум съезда привычно согласился. Напомню, речь идет не об одиннадцати членах Президиума ЦК, а о президиуме съезда, насчитывающем несколько десятков весьма разных людей. Объединяло их одно — они все панически боялись Сталина: раньше боялись живого, теперь — мертвого. Боялись и те, кто продолжал его боготворить в душе, боялись и те, кто его проклинал от всей души. Боялись

все и ничего не могли с собой поделать. После того как президиум согласился с отцом, наступало самое страшное: одному из них предстояло выйти на трибуну и перед съездом, перед страной, перед всем миром проклясть и окончательно низвергнуть вчерашнее божество. Одно дело — в коллективе: все «за» и я — один из них. Совсем другое — принять ответственность на себя. Такое по плечу далеко не каждому.

О том, что творилось в президиуме съезда, какие драмы там разворачивались, мы не знаем почти ничего, свидетельств не осталось. Почти не осталось. Только у Мухитдинова да у заместителя председателя КГБ генерала Николая Захарова я отыскал несколько весьма любопытных страничек.

«Вечером, после очередного заседания съезда, мне передали, чтобы я зашел к Хрущеву, — вспоминает Мухитдинов. — Захожу и вижу: у него сидят Подгорный, Микоян, Суслов, председатель КГБ Шелепин и еще кто-то.

— Давайте уберем тело Сталина из Мавзолея и похороним его на Новодевичьем кладбище, где лежат его жена, родные, — говорит Никита Сергеевич.

Общее молчание.

— Никита Сергеевич, его поместили в Мавзолей по решению ЦК, Президиума Верховного Совета и Совета Министров, — осмелился я (Мухитдинов. — *С. Х.*) заговорить первым.

— Всем это известно, зачем повторять? — перебил меня Козлов.

— Вряд ли народ хорошо воспримет, если мы так отнесемся к останкам покойного. У нас на Востоке, у мусульман, это большой грех — тревожить тело умершего, — продолжал я.

— Не навязывай нам на съезде свои мусульманские обычаи, — оборвал меня Микоян.

— Переносить останки Сталина на Новодевичье кладбище рискованно. Не исключено, что кто-то попробует их украсть. Вряд ли удастся предотвратить это. Получится скандал, и это в то время, когда так хорошо проходит съезд, — после некоторого молчания заговорил Шелепин.

— Ну давайте предложим съезду убрать его из Мавзолея. Ему не место рядом с Лениным. Быть может, похоронить его за Мавзолеем, в ряду известных деятелей? — подумав, произнес Хрущев.

Все согласились.

— Ты, Николай Викторович (Подгорному. — *С. Х.*) внесешь проект Постановления. Анастас займется перезахоронением. Товарищ Суслов подготовит проект решения, а товарищ Козлов продумает, кому выступать. Желательно, чтобы руководители

крупных республик и регионов высказались в поддержку этого решения, — продолжил Никита Сергеевич.

На этом мы все разошлись. На следующий день после вечернего заседания звонит мне в кабинет Козлов и спрашивает, закончил ли я свои дела. Ответил, что заканчиваю.

— Давай поедем вместе в моей машине. Выходи к подъезду, — предложил он. По дороге Козлов жаловался на усталость.

— Пропустим по рюмочке, а хозяйка что-нибудь приготовит, — предложил он заехать к нему в резиденцию на Ленинских горах. Там мы перекусили.

— С участием некоторых товарищей, знакомых с вопросом о Сталине, договорились обсудить его 30 октября на утреннем заседании, как бы спонтанно, в ходе обсуждения проекта Устава, без включения в повестку дня, — рассказывал, пока мы сидели за столом, Козлов. — Председательствовать будет Шверник. В начале выступит первый секретарь Ленинградского обкома Спиридонов. Он расскажет о злоупотреблении властью, беззакониях, массовых арестах, от которых пострадали многие ленинградцы и, ссылаясь на старых большевиков, внесет предложение о выносе тела Сталина из Мавзолея Ленина и перезахоронении в другом месте. Условились, что от партийных организаций народов Закавказья выступит Мжаванадзе.

— Тебе, — продолжал Козлов, — признано целесообразным выступить и поддержать предложение от своего имени, сказать о репрессиях в Средней Азии, и в частности у тебя на родине, в Узбекистане. От Московской организации выступит Демичев, а затем от делегатов Украины и других республик проект постановления предложит Подгорный.

— Насколько мне удобно выступать от всех республик Средней Азии и Казахстана? И это при том, что я уже почти полчаса говорил с трибуны съезда. К тому же, я давно уже не представляю Узбекистан, работаю рядом с вами в Москве. На съезде присутствуют первые секретари коммунистических партий всех республик. Им нужно собраться и договориться, кто выступит от имени региона — Кунаев, Рашидов или другой.

— Не ломай договоренность. Поручается выступить тебе, — возразил Козлов.

— Но кто меня уполномочил на это? Тем более из секретарей ЦК КПСС больше никто по этому поводу не выступает.

— Имей в виду, “хозяин” сильно обидится, — предупредил меня Козлов».

Козлов демонстративно величал отца «хозяином», так, как когда-то приучил называть себя Сталин.

«30 октября перед утренним заседанием съезда произошел казус, — я вновь цитирую воспоминания Мухитдинова. — Вместо первого секретаря ЦК Компартии Грузии Василия Павловича Мжаванадзе пришлось срочно готовить к выступлению председателя Совета Министров республики Гиви Дмитриевича Джавахишвили. Мжаванадзе после разговора с ним Козлова пришел утром на заседание съезда с завязанным горлом и шепотом сказал, что у него начался воспалительный процесс, он охрип и говорить не может. Остановились на Джавахишвили, который, правда, сопротивлялся, но ему навязали это выступление».

Мжаванадзе выступать не хотелось куда больше, чем Мухитдинову: тот останется в Москве, а ему возвращаться в Грузию.

Тем же утром отец вызвал генерала Захарова и коменданта Кремля генерала Андрея Яковлевича Веденина и поручил им произвести перезахоронение Сталина, естественно, после принятия съездом соответствующего решения.

— Место обозначено. Комендант Кремля знает, где рыть могилу, — так, согласно воспоминаниям Захарова, наставлял генералов отец. — Необходимо произвести все без шума и работу завершить сегодня же вечером. Конкретные инструкции получите у товарища Шверника.

Еще только открывалось заседание съезда, а работа по выполнению его предстоящего решения уже началась.

«Командиру Отдельного (Кремлевского) полка специального назначения Комендатуры Московского Кремля генералу Коневу приказали в столярной мастерской сделать из хорошей сухой древесины гроб. Древесину обтянули черным и красным крепом, так что выглядел он очень неплохо и даже богато. Начальнику Хозяйственного отдела 9-го управления КГБ полковнику Тарасову поручили закрыть фанерой правую и левую стороны сзади Мавзолея, чтобы место работы не просматривалось. От Комендатуры Кремля к 18 часам выделили шесть солдат для рытья могилы и восемь офицеров для выноса саркофага из Мавзолея, — детально описывает происходившее в тот день генерал Захаров. — Всех отобранных тщательно проинструктировали и предупредили о неразглашении поручаемой им работы.

В мастерской Арсенала художник Савинов изготовил широкую белую ленту с одним словом: “Ленин”. Ею решили закрыть на Мавзолее надпись “Ленин — Сталин”.

Председателю Моссовета Дыгаю поручили подготовить десять бетонных плит для укрепления стен могилы. Последняя,

одиннадцатая, мраморная плита с надписью “Сталин Иосиф Виссарионович 1879–1953” предназначалась в качестве надгробия».

В предусмотренное регламентом время съезд продолжил свою работу.

«От республик Средней Азии и Казахстана никто не выступал, — констатирует Мухитдинов. — Таким образом, в поддержку предложения Спиридонова выступили первый секретарь Московского горкома партии Демичев, Джавахишвили, Дора Лазуркина, член КПСС с 1902 года. В заключение выступил Подгорный, который от имени ленинградской и московской делегаций, делегаций Компартии Украины и Грузии внес на рассмотрение проект постановления XXII съезда КПСС:

1. Мавзолей на Красной площади у Кремлевской стены, созданный для увековечивания памяти Владимира Ильича Ленина — бессмертного основателя Коммунистической партии Советского государства, вождя и учителя трудящихся всего мира, именовать впредь: “Мавзолей Владимира Ильича Ленина”.

2. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина».

В моей памяти деталей «сталинского» заседания съезда не сохранилось. Я даже не помню, присутствовал ли я на нем или нет. В отличие шока от «секретного» доклада на XX съезде, на сей раз я был спокоен, так как заранее знал, что произойдет, и происходившее в зале не казалось мне таким уж драматическим.

«Я присутствовал в зале съезда, когда 1-й секретарь Ленинградского обкома партии Спиридонов внес предложение о выносе тела Сталина из Мавзолея, — вспоминает генерал Захаров. — Председательствовал Хрущев».

— Вопрос серьезный, следует проголосовать. Нет возражений? — спрашивает Никита Сергеевич.

— Нет, — раздаются голоса.

— Тогда ставлю на голосование. Кто за предложение, внесенное товарищем Спиридоновым, прошу поднять руки. Хорошо. Кто против? Нет! Кто воздержался? Тоже нет. Предложение принято единогласно.

«В зале съезда установилась тишина, как будто делегаты ждали еще чего-то», — пишет Захаров. Ждали, что грянет гром, разверзнется земля или, хуже того, вдруг откроется неприметная дверь позади Президиума и в кремлевский зал войдет Сталин.

Однако ничего не происходило.

«Хрущев оборвал затянувшуюся паузу, сказал несколько слов о перезахоронении, объявил заседание оконченным. Единодушие делегатов оказалось призрачным, — пишет генерал Захаров. Сразу после голосования член комиссии Мжаванадзе поспешно улетел в Грузию и участия в перезахоронении не принимал».

Тем временем по ту сторону Кремлевской стены заканчивались последние приготовления. «В 18.00 проходы на Красную площадь закрыли, после чего солдаты принялись рыть могилу… — по-военному четко рассказывает Захаров. — Подвезли бетонные плиты, ими обложили яму, а затем обшили ее изнутри фанерой.

Шверник меня предупредил, что комиссия приедет к 21.00. Шелепин и Демичев появились заранее, интересовались ходом работ. Когда все члены комиссии прибыли в Мавзолей, восемь офицеров взяли саркофаг и понесли его вниз, в подвал под Мавзолеем, где размещается лаборатория, я отметил, что даже на бальзамированном лице Сталина прорисовывались оспинки…

Никто не приказывал Сталина раздевать. Не только мундир генералиссимуса, но и вообще никакой одежды на нем не трогали. Шверник распорядился снять с мундира Золотую Звезду Героя Социалистического Труда и заменить золотые пуговицы мундира на латунные. Все это выполнил комендант Мавзолея Машков. Снятую награду и пуговицы он передал в специальную комнату, где хранились награды всех захороненных у Кремлевской стены.

Когда гроб с телом Сталина накрывали крышкой, Шверник и Джавахишвили зарыдали. Потом гроб подняли, и все двинулись к выходу. Расчувствовавшегося Шверника поддерживал телохранитель, за ним шел Джавахишвили. Плакали только двое.

Офицеры осторожно опустили гроб в обитую фанерой могилу. Кто-то бросил горсть земли. Могилу зарыли. Сверху положили плиту из белого мрамора. Потом она еще долго накрывала могилу, пока не поставили бюст.

Захоронив Сталина, мы всей комиссией вернулись в Кремль, где Шверник дал подписать акт о перезахоронении Сталина.

Тем временем у Кремлевской стены демонтировали маскировочный экран из фанеры, ограждавший Мавзолей по сторонам, произвели уборку. К утру было такое ощущение, что ночью ничего не произошло, а Сталин всегда покоился у Кремлевской стены» рядом с его верными соратниками. Где могилы его противников и тех соратников, которые показались Сталину не очень верными, мы уже никогда не узнаем…

Для делегатов съезда в тот вечер давали оперу», — этими

словами генерал Захаров завершает свои воспоминания.

Как докладывал отцу Шелепин, «заметной реакции в обществе на перезахоронение Сталина не последовало».

2 декабря 1961 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О признании утратившими силу законодательные акты СССР о присвоении имени И. В. Сталина…» — и дальше — длинный список. Следом начиналось повальное переименование населенных пунктов, носивших имя Сталина. Одним возвращали старые имена, другим придумывали новые, нейтральные, вроде Донецка, до революции он назывался Юзовкой, в честь англичанина Хьюза, основателя и владельца первых металлургических заводов в Донбассе, а потом, короткое время — Троцком. Оба имени явно не годились. Сталинград стал Волгоградом, старое имя — Царицын — показалось идеологически неблагозвучным, хотя и происходило от протекавшей поблизости речки Царица. Почему ее назвали так, уже никто и не помнит.

Одновременно сносили сталинские монументы, расставленные по всей нашей земле, исключение сделали только для Грузии. В Гори, на родине Сталина, памятник ему не тронули.

Замена изваяний при смене правителей — дело не новое, истории хорошо известное. Вот только древние подходили к делу более рационально. Римляне, к примеру, изготовляли статуи со съемной головой. Ушел из жизни цезарь или император, тут же вытесывали под нового властителя новую голову, а остальное: торс в тоге, руки, ноги оставляли старыми.

Каждому свой срок…

Программа партии, принятая на съезде, продекларировала, что нас ожидает в будущем, но сегодняшнюю жизнь определяла не Программа, а новый Устав партии. Его обновляли регулярно от съезда к съезду, но лишь косметически. На сей раз отец предложил внести в Устав изменения принципиальные, меняющие самые основы построения внутрипартийной иерархии.

Сталин в свое время сравнил партию с орденом меченосцев, стержнем ее провозгласил беспрекословное подчинение низов верхам, чья власть не ограничивалась ни в пространстве, ни во времени и по своей сути не отличалась от монархической, отвергнутой народом в 1917 году, но возродившейся в новом обличье.

Отец давно, практически с момента его вхождения в высшую иерархию, считал необходимым цивилизовать эту власть. Он

всерьез опасался возможности прихода нового Сталина и хотел поставить на пути возникновения тирании как можно больше рогаток. При существовавших в стране порядках занявшего пост начальника сковырнуть становилось практически невозможно. То есть его можно снять с работы повелением свыше, но с самыми высшими руководителями уже никто, кроме Господа Бога, справиться не мог. А тут возникла еще одна, не менее серьезная проблема. Члены Президиума ЦК, секретари обкомов, министры, сидя десятилетиями в своих кабинетах, дряхлели. С возрастом силы уходили, терялась острота восприятия. Какие из них работники? Отец, как мог, продвигал молодых, но без особого успеха, старики цепко держались за свои кресла. Достаточно сказать, что за последние годы в РСФСР ему удалось протолкнуть в руководство обкомами всего 2,9 процента секретарей моложе 35 лет — это человека три-четыре. В других республиках дела обстояли еще печальнее.

Сейчас, после ухода с политической арены «молотовцев» и устранения Жукова, он получил достаточно власти, чтобы эту самую власть ограничить. В выступлении на Президиуме ЦК 14 декабря 1959 года, процитированном мною в предыдущей главе, отец назвал такую власть «спаявшейся артелью», предложил демократизировать ее, отказаться от «артельно-монархической» формы правления.

То, что отец произнес крамольные слова в конце 1959 года, сразу по возвращении из США, неслучайно. Последней каплей стал разговор отца с американским президентом в сентябре 1959 года в Кэмп-Дэвиде. В следующем, 1960 году, у Эйзенхауэра заканчивался второй срок и ему, несмотря на популярность, предстояло покинуть Белый дом, дольше находиться у власти конституция США не разрешала. Отец решил в частной беседе с Эйзенхауэром детально поговорить на эту тему. Но думал отец не столько о президенте США, сколько о планах в отношении собственной страны, пока еще достаточно расплывчатых.

Вопрос отца: «Не подумывает ли президент о третьем сроке?» Эйзенхауэра попросту удивил.

— Конституция не велит, — лаконично ответил он.

— Я понимаю, — не унимался отец, — но вас любят в стране. Я сам в том убедился за время визита. Вы делаете много полезного, и у вас обширные, еще нереализованные планы. Жалко, если преемник все загубит. А конституция? Конституцию можно и подправить. Думаю, Конгресс встанет на вашу сторону.

— Нет. Конституцию менять нельзя, — Эйзенхауэр недоумевал, как это его собеседник не понимает такие простые вещи. — Начнешь без конца «подправлять» основной закон, и от

страны скоро ничего не останется. Потому он и основной, что неизменный.

Отец завелся, долго еще пытал Эйзенхауэра и так, и эдак и наконец, удовлетворенный, отстал. Только подумал: «Вот бы и нам такую неприкосновенную Конституцию заиметь».

К началу 1961 года расплывчатые рассуждения о сменности руководства приобретали четкие очертания. Отец предлагал ограничить пребывание на выборных партийных постах, в том числе и в Президиуме ЦК, тремя пятилетними сроками, то есть на каждом, собираемом раз в пять лет, съезде обновлять руководящие органы партии на одну треть.

О новом Уставе на съезде предстояло докладывать Козлову, и он же оказался самым упорным оппонентом нововведения. Еще бы! Он рассчитывал со временем стать преемником Хрущева. С принятием этой нормы Устава все рушилось: или ему самому придется уйти одновременно с Хрущевым, или, в самом благоприятном случае, власть ему достанется всего на пятилетие. Козлова поддерживали и другие члены Президиума, разве за исключением стариков — Микояна и Куусинена. Открыто с отцом не спорили, выдвигали аргументы необходимости сохранения преемственности, накопленного опыта, а за его спиной ворчали: «Он старик, ему и двух сроков за глаза хватит, помрет, а что делать нам, пятидесятилетним?»

Отец находился в зените власти и настоял на своем. В новый Устав партии вписали обязательную ротацию руководителей всех уровней, от Президиума ЦК до низовой партийной ячейки. Правда, одну уступку Козлов выторговал, если «за» члена ЦК проголосуют более двух третей делегатов съезда, то он может «в порядке исключения» остаться и на дополнительный срок. То же самое и для членов Президиума, если им «окажут доверие» более двух третей состава ЦК. Тогда все голосовали еще по-сталински, единогласно. На это Козлов и рассчитывал. Отец же считал, что обновляемый на каждом съезде Центральный Комитет наберет авторитет, и исключительные обстоятельства станут на самом деле «исключительными».

Одновременно в новом Уставе рекомендовалось, формального запрета не имелось и раньше, на выборах партийных органов всех уровней не подводить черту, ограничивающую число предложенных сверху кандидатов по числу имеющихся вакансий, а позволить присутствующим делегатам выдвинуть и кого-то «снизу». Другими словами, ломался основополагающий сталинский принцип: на одно место только один, заранее оговоренный претендент. Шаг — вправо, шаг — влево… Предложение не ограничивалось партийными

рамками. По традиции того времени партийные правила немедленно становились и правилами государственными.

Съезд принял Устав без дискуссий по существу, ограничился формальным «обсуждением». Перевыборные новшества в первую очередь затронули низовые, первичные организации. Там секретарство традиционно считалось обузой. Уговорить кого-либо, особенно человека достойного, и значит занятого, стать членом партбюро, я уже не говорю о секретаре, было не просто. Лишних хлопот на свою голову никто не хотел, потенциальные кандидаты отбивались от предлагаемой им «чести», как могли, ссылались, кто на производственные обязанности, кто на слабое здоровье, кто на трудности в семье. Правда, после избрания некоторые вживались в роль, для таких секретарство становилось профессией.

Теперь профессионалам-секретарям предстояло распрощаться с «профессией», а директорам предприятий добавилось хлопот, подыскивать «под себя» новых кандидатов. Секретарь партбюро или парткома, если найдешь толкового, становился помощником, правой рукой директора, а ошибешься, поставишь жалобщика-кляузника — наживешь головную боль. В отличие от директора, рядовых участников партийных собраний не очень волновало, кого избрать секретарем. Главное, чтобы жребий не пал на тебя самого. Так что демократизацию партийной жизни рядовые партийцы встретили с прохладцей.

Множественность выдвижения кандидатов на «низовых» выборах тоже обрадовала далеко не всех. Пока число кандидатов равнялось числу вакансий, процесс голосования не затягивался, проголосовал и, заранее зная результат, который только назавтра объявят, идешь домой. Хотя голосование и тайное, но «заголосовывали» только кого уж особенно невзлюбят или кого слишком настойчиво навязывали сверху. Согласно новым правилам, кандидатов становилось непредсказуемо много, симпатии разделялись, а для избрания требовалось набрать положенный минимум голосов. Если кто недоберет, начинай все сначала, обсуждай, переголосовывай, время теряй. Поэтому всегда находился кто-то, требовавший после оглашения предложенного «верхами» списка подвести черту, и тут же поднимался лес рук, голосовавших за прекращение выдвижения «ничьих» кандидатов.

В верхних эшелонах партийной власти новшества прививались еще тяжелее. Здесь очень боялись потерять контроль над выборами, а потому делали все, чтобы свести «демократические» процедуры к пустой формальности. Выдвижение как «основных», так и «альтернативных» кандидатов

проходило «организованно». Я не припомню случая, чтобы в секретари обкомов попал кто-то непредусмотренный разнарядкой отдела партийных органов ЦК. Обкомы столь же жестко отслеживали выборы на районном уровне. Но там всё же возникали сбои, появлялись и даже избирались на руководящие должности люди «со стороны».

Все эти трудности естественны. В обществе, основанном на монархических традициях, где никто не сомневался, ни в верхах, ни в низах, что на властные посты назначают по велению сверху, а выборы проводятся для проформы, демократия прививается туго. И отношение складывалось соответственное. Чтобы люди поверили в то, что они действительно кого-то выбирают, необходимо время, но требовалось с чего-то начинать. Вот отец и начал. Демократия, пусть и с трудом, пробивала себе путь.

Правда, недолго, вскоре вольностям положили конец. Следующий, XXIII съезд партии проходил уже без Хрущева. Его делегаты, по предложению Президиума ЦК, ликвидировали «волюнтаристские» глупости, исключили из Устава партии все ограничения по срокам пребывания во власти, вернули и старую безальтернативную процедуру выборов.

Козлов делает свою игру

Хотя Козлов и не одобрял нововведения в Устав партии, о которых он сам и доложил съезду, но, как опытный бюрократ, при первой возможности использовал их в своих интересах.

По предложению отца выборы нового ЦК проводили в соответствии с новым Уставом, то есть с ротацией трети его состава, одновременно обновлялся и состав Президиума ЦК. Кого избрали и не избрали в Центральный Комитет, сейчас абсолютно не интересно, а вот Президиум покинула группа Игнатова: он сам, Фурцева и Аристов. Предложения по персональному составу, естественно, вносил Хрущев, с кем он предварительно обсуждал список, мы не знаем, но в выигрыше оказался Козлов. Теперь он избавился от последних серьезных соперников. Микояна с Косыгиным Козлов таковыми не считал, да и пока поделать с ними ничего не мог.

Неожиданно за бортом оказался и Мухитдинов. Он тоже последние годы не ладил с Козловым, даже просил отца перевести его из секретарей ЦК в Совет Министров, подальше от Фрола Романовича. Отец обещал подумать, но и тут вмешался Козлов. На Мухитдинова последнее время жаловалась жена: он сильно пьет, а напившись, колотит и ее, и детей, ведет себя не как подобает коммунисту и члену Президиума ЦК, а как

распоясавшийся средневековой бай. О пьянстве Мухитдинова доносило и КГБ, добавляя информацию о моральном разложении: он-де проходу не дает женщинам из обслуживающего персонала в резиденции, чуть что — распускает руки. Все эти жалобы и доносы Козлов до поры до времени копил у себя в сейфе. Теперь он вывалил их на стол отцу, убедил его, что такому аморальному человеку не место в Президиуме ЦК. Мухитдинова засунули в заместители председателя Центросоюза, организации далеко не престижной. Он едва удержался в рядовых членах ЦК.

И Фурцева, и Игнатов, и Аристов догадывались, что в Президиум ЦК они не попадут из-за уровня занимаемых должностей (соответственно: министр культуры, председатель комитета заготовок и посол в Польше), но всё же они на что-то надеялись, наверное, на чудо. А вот Мухитдинов в результатах перевыборов не сомневался.

Предупредить, что фамилии аутсайдеров не включат в список для голосования отец перепоручил Козлову. Ему хотелось избежать неприятных объяснений, а в случае с Фурцевой — и ее слез, но получилось только хуже. Козлов то ли замотался в съездовской суете, то ли решил нанести удар исподтишка, чтобы они не имели никакой возможности пробиться к Хрущеву, но о своей судьбе «неудачники» узнавали только по мере зачитывания фамилий кандидатов для внесения в избирательный бюллетень. Невключение в состав Президиума ЦК, даже если оно и ожидаемо, для функционера все равно страшный удар, конец карьеры, первый шаг вниз по лестнице, еще вчера приведшей их на самый верх. Не все способны перенести его, сохранить достоинство. Игнатов с Аристовым сумели совладать с собой, а Фурцева с Мухитдиновым сорвались и даже не появились на заключительном заседании съезда. Отец забеспокоился и попросил помощников узнать, что случилось. Оказалось, что Мухитдинов с вечера сильно перебрал, буянил и еще не пришел в себя. С Фурцевой же ночью вообще случилось несчастье, тоже сильно подвыпив с горя (Екатерина Алексеевна злоупотребляла алкоголем), она попыталась вскрыть себе вены, но рука дрогнула и самоубийство не удалось. Возможно, она и не собиралась расставаться с жизнью, а просто по-женски пыталась таким образом привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, но ее поступок произвел противоположный эффект.

Отец расценил их отсутствие на заключительном заседании как демонстративное неуважение к съезду. Козлов немедленно предложил их всех, не мешкая, вывести и из членов ЦК. Отец согласился, но переголосовывать результаты выборов в день закрытия съезда счел неудобным, отложил исполнение приговора

до очередного Пленума ЦК, уже намеченного на март 1962 года. К тому времени отец остыл, экзекуций он не любил, а Фурцеву, к тому же, попросту жалел: дура-баба. На Пленуме ограничились обсуждением и осуждением поведения провинившихся, но без каких-либо оргвыводов.

Опасный тандем

На съезде произошло одно на первый взгляд малозаметное, но повлекшее за собой серьезные последствия событие: Шелепина забрали из КГБ и избрали секретарем ЦК, поручив ему кадры: партийные, военные и все прочие. Вообще-то на кадрах, как второй секретарь, «сидел» Козлов, но под ним полагался еще один секретарь-кадровик. Подчиняясь формально второму, он регулярно выходил на Первого и даже, как бы надзирал за вторым. Со времен Сталина назначение на этот пост свидетельствовало об особом доверии со стороны Первого. При нем главными партийными кадровиками становились: Николай Ежов, потом Георгий Маленков, затем Алексей Кузнецов.

Человек тут требовался абсолютно преданный. Отец считал таким Шелепина и одновременно видел в нем руководителя новой формации, преданного не ему лично, как Ежов с Маленковым Сталину, а их общему делу. Вот и передвинул его из председателей Комитета Госбезопасности в ЦК КПСС, на еще более престижный пост.

Вместо Шелепина председателем КГБ с его подачи выдвинули тоже комсомольца, Владимира Семичастного. Отец доверял Семичастному даже больше, чем Шелепину, считал, что это он его вырастил, дал путевку в большую политику. Так оно и происходило на самом деле.

В 1944 году отец забрал двадцатилетнего Володю Семичастного из Донбасса в Киев, а в 1947 году сделал его секретарем Украинского комсомола. Отец уже тогда верил Семичастному и верил в него. Верил настолько, что встал на его защиту, когда, как пишет сам Семичастный, он оказался «в казалось бы, безнадежном деле». Его старший брат Борис в самом начале войны попал в окружение, а затем в немецкий плен. Выжил и после победы, вместе с миллионами других «изменников» загремел на 25 лет в сибирские лагеря, отбывал наказание на рудниках Хабаровского края. Когда Владимира Ефимовича перевели в Киев, госбезопасность проинформировала Украинский ЦК о неподходящем родстве нового комсомольского секретаря. Началось расследование, и перепуганный до смерти Семичастный бросился к Хрущеву. Отец его выслушал и вошел в

положение.

Что происходило в начале войны, он прекрасно знал, как знал и об отношении Сталина к «изменникам-военнопленным» и их родным. Тем не менее, отец вступился за Семичастного, закончил разговор успокаивающе: «Иди. Не тревожься и спокойно работай». Через много лет Семичастный прочитал вложенное в его личное дело письмо Хрущева Сталину: «Я прошу за нашего Первого комсомольского секретаря, брата которого перед войной призвали в армию… Он не несет за него ответственности… Я лично ручаюсь за его преданность нашему делу…» Излишне говорить, что отец рисковал.

С тех пор Семичастный неотрывно следовал за Хрущевым. Отец переехал в Москву в декабре 1949 года, а уже в январе 1950-го Семичастный тоже в столице, становится секретарем, а затем Первым секретарем Всесоюзного комсомола.

В марте 1959 года его назначили заведующим Отделом партийных органов в ЦК — это знак очень высокого доверия. Отец очень рассчитывал на Семичастного, готовил его к еще более значительным государственным постам. Для этого, по пониманию отца, требовалось уметь не только перекладывать бумажки в кадровых картотеках, но и поднатореть в делах промышленности и сельского хозяйства. Одним словом, пройти школу реальных дел и желательно подальше от центра, там, где тебе не особенно мешают и не особенно за тобой присматривают. Тут подвернулась вакансия второго секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Формально должность не шла ни в какое сравнение с должностью в ЦК, но, с позиций отца, очень важная для дальнейшего продвижения.

Семичастный поначалу ехать в Баку отказался. Отец его еле уговорил. Ему бы повнимательнее приглядеться, что это Семичастный так держится за Москву? Однако отец на его фанаберию не обратил внимания, списал на молодость. С августа 1959 года Семичастный работал в Азербайджане.

И вот теперь отец решил, что стажировка окончена, Семичастный готов к возвращению в столицу, уже в новом качестве. 13 ноября 1961 года тридцатисемилетнего Владимира Ефимовича Семичастного назначили председателем КГБ при Совете Министров СССР — на один из ключевых постов в нашей стране.

Таким образом отец своими руками смешал гремучую смесь: Шелепин и Семичастный, два не очень далеких, но исключительно амбициозных политика через разветвленную официальную и неофициальную сеть информаторов и оперуполномоченных теперь не только контролировали местных

руководителей, но и в определенной степени процеживали поступавшую к главе государства информацию. Информацию, на основании которой он принимал решения.

Отец все это знал и понимал, но считал, что со стороны Шелепина с Семичастным ему ожидать подвоха не приходится. И просчитался. Шелепин с Семичастным не оказались преданными ни отцу, ни их «общему» делу, вообще ничему и никому, кроме самих себя, своей карьеры.

День за днем

29 октября 1961 года отец выступил на церемонии открытия памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве.

В ночь с 27 на 28 октября на Братской гидроэлектростанции пустили первый агрегат в 228 тысяч киловатт. В ночь с 1 на 2 ноября дал ток второй такой же агрегат. Почему все происходит ночью? Так удобнее, люди спят, большинство предприятий работает вполсилы, потребление электричества, а главное перепады в нем минимальны. Если что случится, то не заработавший почему-то генератор легко заменить одним из выведенных в резерв. На Братской ГЭС все прошло гладко.

30 октября 1961 года на Украине вступила в строй первая очередь мощностью 1,2 миллиона киловатт Приднепровской тепловой угольной электростанции.

3 ноября 1961 года отец в Большом театре на концерте китайских артистов.

Через неделю после выноса тела Сталина из Мавзолея, в канун празднования очередной годовщины Октябрьской революции, в эфир вышел первый КВН, «Клуб веселых и находчивых», еще вчера немыслимая по своей раскованности юмористическая передача. Ее участники, в основном «легкомысленные» студенты Физико-технического института, изощрялись в остроумии, и не только на бытовые темы. Телевизионные власти морщились, но терпели. Наступили новые времена. В 1972 году брежневские чиновники КВН прикроют как идеологически не выдержанный.

После съезда партии отец, вторично в этом году, объезжает регионы, подбивает итоги, подгоняет, будоражит местных руководителей, — весна следующего

года не за горами. Одним словом, разгоняет энтропию.

Первая остановка, 11 ноября 1961 года, в Ташкенте, узбеки только заканчивают сбор хлопка, и отец начинает с них. Он снова говорит о необходимости перехода от ручной к машинной уборке. Первый секретарь Узбекского ЦК интеллигентный Шараф Рашидов не спорит, но хлопок до самого конца советской власти и смерти самого Рашидова убирать будут по-прежнему руками. Так сподручнее и аккуратнее, а «свободные» руки всегда найдутся. До Нового года, год из года в год всех студентов и школьников Узбекистана посылали на уборку. Учиться начинали лишь с января, за полгода «усваивая» годовую программу.

Из Ташкента отец отправляется в Голодную степь, где заканчивали работы по ее орошению. Теперь она «Голодная» только по названию, а на деле — один из самых плодородных районов Узбекистана. Отец от всей души поздравляет Рашидова.

23 ноября 1961 года отец уже в Целинограде, выступает перед целинниками, потом едет в Шортанды, в Институт зернового хозяйства, долго разговаривает с его директором и своим давним знакомцем Александром Ивановичем Бараевым, старается понять, какие агрономические приемы наиболее эффективны в Сибирско-Казахстанском крае. На целине развернулась нешуточная борьба между двумя школами земледелия: традиционной, ведущей свою историю из XIX века, согласно которой восстановление почвы после вмешательства человека следует предоставить самой природе: дать ей годик отдохнуть и потом пару лет перестоять под травами, и новомодной американской, отдающей дело поддержания плодородия в руки самого земледельца, в хозяйстве которого имеются машины, удобрения, гербициды и другие чудеса XX века. Я уже писал о споре двух корифеев, академиков Прянишникова и Вильямса. Сейчас перепалка вспыхнула с новой силой. Бараев и его Институт зернового хозяйства придерживались традиционных взглядов, ему противостоял Г. А. Наливайко, директор Алтайского научно-исследовательского института, исповедовавший технократический подход к земледелию.

Наливайко доказывал, что чистые пары, поля, вспаханные и в течение года ничем не засеянные, заросшие сорняками, — это не отдых пашни между

двумя урожаями, а безобразие, бесхозяйственность. Засевать пустующие земли-пары многолетними травами тоже нецелесообразно, они не накапливают, а иссушают и так страдающую от недостатка влаги землю. На следующий год хорошего урожая при такой агрономии не получится. Следует внедрять севообороты пшеница-кукуруза-бобы, возможно, сахарная свекла, а с сорняками бороться гербицидами. Именно так поступают американцы. Бараев стоял на своем: без чистых паров целинная земля вскоре потеряет плодородие.

Каждый из споривших стремился привлечь Хрущева на свою сторону, заручиться его поддержкой. Отец старается оставаться нейтральным, но это ему удается недолго. Он постепенно втягивается в дискуссию, берет сторону Наливайко, правда, осторожно, с оговоркой: «Система, которую рекомендует Алтайский институт, более действенная, более эффективная, дает в 2,5 раза больше зерна, чем система Института зернового хозяйства, руководимого товарищем Бараевым. Я уже, наверное, четыре раза слушал выступления товарища Наливайко, его аргументацию. Отдавая предпочтение системе земледелия Алтайского института, мы вовсе не присягаем ей. Ученые и специалисты должны все хорошо изучить, поспорить».

«Урок» дипломатии

Из Целинограда отец переезжает в Новосибирск, где 22–24 ноября встречается с президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном. За эти годы они прониклись взаимным расположением друг к другу, я бы даже сказал, подружились, если слово «дружба» применимо к взаимоотношениям политиков. Прошлой осенью отец ездил в Хельсинки поздравить Кекконена с шестидесятилетием, расхваливал ему красоты Сибири, рассказывал какое «дивное диво» творит академик Лаврентьев в Академгородке, приглашал приехать, увидеть все своими глазами.

Однако осенью 1961 года Кекконен меньше всего думал о сибирских пейзажах, приближались выборы, президентские и парламентские, а уверенности в победе у него не было.

Его партия, Аграрный Союз, пришла к власти в конце войны. В 1946 году Юхо Паасикиви, до этого премьер-министра Финляндии, избрали президентом республики на первые шесть лет, а затем переизбрали на второй срок. В 1956 году Паасикиви

умер, и, согласно Конституции, президентство перешло к его ближайшему соратнику, премьер-министру Кекконену.

К 1961 году Аграрный Союз, находившийся уже полтора десятка лет у власти, избирателям изрядно поднадоел, а противостоявшие аграриям социал-демократы во главе с Вяйне Таннером набирали очки. Их победа прорисовывалась все реальнее, тем более что сам Таннер, подмочивший репутацию во время войны, благоразумно не светился, от его партии в президенты баллотировался член ее исполкома и формальный председатель Рафаэль Паасио.

Ни Таннер, ни таннеровец во главе соседней Финляндии Советский Союз решительно не устраивал. Тут и горькие воспоминания о «зимней» войне 1940 года, и просто политическая целесообразность. В то время в активную стадию вступило вооружение Западной Германии, и немцы, обратив свои взоры на Балтийское море, намеревались организовать под своей эгидой объединенное командование на Балтике с участием Дании, а в перспективе, если получится, и Норвегии с Финляндией. Советский Союз, естественно, всеми силами противодействовал разворачиванию натовского зонтика над Балтикой. Кекконен стойко стоял за дружбу с СССР. А вот как поведет себя Паасио и стоящий за его спиной Таннер? Отец решил подыграть Кекконену.

30 октября 1961 года МИД СССР направил Министерству иностранных дел Финляндии жесткую ноту. В ней не только выражалось опасение за безопасность СССР, но и говорилось, что Советское правительство считает своевременным начать «подготовку к отражению возможного нападения германских милитаристов со стороны Балтийского моря через территорию и воздушное пространство Финляндии».

В заключение финнам предлагалось, точнее предписывалось, «провести военные консультации, как это предусмотрено Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1948 года», что означало ни больше ни меньше, как ввод на территорию Финляндии советских войск для совместного противостояния агрессору.

Нота взорвалась бомбой, в 1961 году финны еще хорошо помнили, что произошло в 1940 году, и пуще огня боялись повторения чего-либо подобного. Кекконен срочно запросил Москву о возможности личной встречи с Хрущевым. История умалчивает, предупредил ли его отец о своем замысле, но, будучи искушенным политиком, Кекконен (так же, как и Таннер) и без того все отлично понимал.

Отец выдержал паузу, а затем пригласил президента

Финляндии, но не в Москву, а в Новосибирск, где он находился в тот момент. 23 ноября вместе с Кекконеном прилетел министр иностранных дел Карьялайнен, тоже старый приятель отца. Советский МИД представлял заместитель министра А. А. Соболев. Все прошло как по писаному. Во второй половине дня отец ожидал Кекконена в резиденции, специально подготовленной к этому случаю. Там они провели то, что дипломаты называют консультациями, а затем вместе отобедали. Стороны «поняли» друг друга и разрешили «кризис» еще до десерта.

Как сообщили в прессе, президент Финляндии признал, что «аргументы о возможности войны в Европе основательны, но проведение консультации в соответствии с договором 1948 года может вызвать нежелательное беспокойство и военный психоз во всей Скандинавии». В заключение Кекконен предложил, «чтобы СССР не настаивал на военных консультациях и тем самым успокоил общественное мнение». В свою очередь, Хрущев, отдав должное политическому опыту Кекконена, подчеркнул, что он «верит в его добрую волю и способность поддерживать и укреплять нынешнюю внешнеполитическую линию Паасикиви — Кекконена, направленную на соблюдение Финляндией нейтралитета» и потому «считает возможным отложить военные консультации».

На следующий день, 24 ноября, на официальном завтраке в честь президента Финляндии отец окончательно расставил все точки над «и». Заверив присутствовавших, что «мы не вмешиваемся и не хотим вмешиваться во внутренние дела Финляндии», он тут же без обиняков обозначил наши предпочтения: «Внешнюю политику определяют люди, стоящие у власти, и для нас небезразлично, кто стоит у власти. Правые группы, таннеровцы, поведут дело к подрыву нейтралитета, к подрыву линии Паасикиви — Кекконена. Это вызывает у нас озабоченность…

…Мы рады, что в Вашем лице, господин президент, мы находим государственного деятеля, который искренне разделяет наше стремление к дружбе».

Кекконен ответил соответствующими моменту словами, и на этом официальная часть визита завершилась.

В Новосибирске они провели вместе целый день: съездили на Обь, осмотрели гидроэлектростанцию, посетили в Академгородок, сходили в театр. Затем отец распрощался с гостем и занялся делами сельского хозяйства. 25 ноября открывалось совещание аграриев Сибири.

28 ноября он уже на Братской ГЭС обсуждает с энергетиками планы дальнейшего освоения сибирских рек.

29 ноября 1961 года отец в Красноярске выслушивает доклады о подготовке к весне, выступает сам. Из Красноярска он в тот день возвращается в Москву.

Политическую поддержку, оказанную Кекконену в Новосибирске, подкрепили материально. Еще 25 октября 1961 года в Москве подписали протокол об экономическом сотрудничестве на 1962 год, который предусматривал «поставку в СССР из Финляндии: судов различного назначения, машин для производства целлюлозы и бумаги, самой целлюлозы, бумаги, а также картона, мебели, кабеля и знаменитого финского сыра «Виола». Обе стороны выразили понимание, что договор реально заработает только в случае продолжения «линии Паасикиви — Кекконена».

Чтобы давление на Финляндию не выглядело откровенно предвыборным, 12 декабря 1961 года советский МИД высказал озабоченность активностью западных немцев на Балтике планами создания объединенного военного командования в районе Балтийского моря в ноте Датскому правительству.

Справедливости ради отмечу, что возня НАТО вокруг Балтики и на самом деле очень беспокоила отца, он делал все, чтобы свести усилия Запада, особенно западных немцев, к минимуму.

Что же касается выборов в Финляндии, то грех было не воспользоваться… Финны поняли адресованный им сигнал правильно. В выборах 4–5 февраля 1962 года участвовали 81,3 процента избирателей, и большинство проголосовало за Кекконена. В Финляндии, как и в США, президентские выборы двухступенчатые, сначала выбирают выборщиков, а уж выборщики, согласно высказанным избирателями предпочтениям, голосуют за президента. 15 февраля 1962 года Кекконен получил 199 голосов выборщиков из трехсот, а социал-демократ, «таннеровец» Паасио оказался на третьем месте, с 37 голосами. Такой вот урок дипломатии.

Канал из варяг в греки

В декабре 1961 года и в Госплане, и в прессе (еще один признак перемен) заговорили о целесообразности прорыть канал из Балтики в Черное море, проложить его по старому Варяжскому пути, сначала по Западной Двине, затем через водораздел, до Днепра и дальше по Днепру в Черное море. Название канала «Балтика — Черное море» завораживало, проект казался сверхграндиозным, но на самом деле, по масштабам того времени, земляных работ требовалось произвести не очень много: углубить Двину да перекопать перешеек между ней и Днепром —

бывший варяжский волок. Днепр после строительства плотин уже стал судоходен по всей длине, оставалось только модернизировать под большегрузные суда шлюзы. Выгода же, по прикидкам Госплана, получалась немалая, канал сокращал, и намного, затраты на перевозку грузов из наших балтийских портов в наши же черноморские, они составляли тогда основной грузооборот. Торговля с заграницей еще только зарождалась, блокада Советского Союза слабела, но далеко еще не ослабла. К тому же, с прокладкой канала отпадала необходимость заходить в порты Западной Европы для дозаправки, тратить там дефицитную валюту. В качестве одного из аргументов сторонники строительства ссылались на войну. Она «запрёт» наши корабли в обоих, Черном и Балтийском, морях. Так уже не раз случалось в прошлом. Вот тут канал и пригодится. В общем, масса выгод.

Однако у канала нашлись и противники. Активно возражали железнодорожники. Они считали, что затраты на строительство канала не окупятся, грузы удобнее и дешевле перевозить по рельсам, а средства целесообразнее отдать им на модернизацию. Спор разгорелся нешуточный. Отец пока не вмешивался, хотя обе стороны к нему настойчиво апеллировали. Аргументы и радетелей за канал, и железнодорожников звучали основательно, и он колебался. Решение не приняли ни в 1962 году, ни в 1964-м, хотя сторонники строительства канала наседали все настойчивее. На представительном совещании, происходившем в двадцатых числах марта 1964 года на Пицунде, долго спорили, но договорились до одного — продолжить расчеты, плотнее заняться экономикой, свести приход с расходом и в конце года доложить правительству. Однако в конце 1964 года отчета новый председатель Совета Министров Косыгин не спросил.

Как жить дальше?

1961 год заканчивался, как и начался — ни шатко ни валко. Промышленность работала стабильно, Госплан и совнархозы с делами справлялись. По их данным, в 1961 году производство приросло на 10,1 процента против планировавшихся 8,3 процента, а за последние три года на 33 процента в сравнении с 27 процентами, утвержденными в семилетнем плане.

Цифры, как всегда, разнятся. Другой статистический сборник сообщает о росте валового национального продукта в 1961 году на 6,8 процента и производительности труда на 4,4 процента (в 1960 году 7,7 процента и 5,4 соответственно). Но это данные брежневской поры, в годы отца цифры за уши тянули вверх, потом их же поджимали.

ЦРУ предоставило Белому дому свою оценку среднего ежегодного роста валового национального продукта в СССР за 1958–1961 — 5,8 процента.

Как бы ни колебались цифры, они свидетельствовали, что экономика Советского Союза росла быстрее экономики США, но медленнее, чем записали в Программу КПСС.

Даже в опубликованной в 1987 году во 2-м номере «Нового мира» экономистами Василием Селюниным и Григорием Ханиным «разоблачительной» статье «Лукавые цифры», не оставившей камня на камне от советской государственной статистики, они, тем не менее, написали: «По-настоящему быстро народное хозяйство развивалось в пятидесятые годы. Этот период, по нашим оценкам, выглядит самым успешным для экономики. Темп роста превзошел тогда прежние достижения. Но суть не в одних темпах. Всего важнее то обстоятельство, что впервые рост был достигнут не только за счет увеличения ресурсов, но и благодаря лучшему их использованию. Производительность труда поднялась на 62 процента (это почти 4 процента в год), фондоотдача на 17, материалоемкость снизилась на 5 процентов. Достаточно гармонично развивались все отрасли — не одна тяжелая промышленность, но и производство потребительских товаров, сельское хозяйство, жилищное строительство. Впечатляющие успехи в кредитно-денежной сфере. Была обеспечена товарно-денежная сбалансированность, казавшаяся дотоле недостижимой. Если с 1928 по 1950 год розничные и оптовые цены выросли примерно в 12 раз, то в 1951–1955 годах розничные цены снизились, а оптовые стабилизировались. Во второй половине пятидесятых произошел лишь небольшой рост цен». Вот такая длинная и корявая цитата, но я решил привести ее полностью.

Так что отцу в этом году достались не одни шишки, энтропия отступила, советская экономика хоть немного упорядочилась и стала эффективнее. Единственное, что всерьез настораживало отца в промышленности, — это растущий сепаратизм, самоуправство совнархозов, и он решил укрупнить их, объединить в кусты, завязанные на общие задачи, и тем самым заставить их больше думать о кооперации с соседями. На XXII съезде отец заговорил о скором создании семнадцати конгломератов, взаимно увязанных согласованными планами, поставками по кооперации и многим другим. Я уже писал об этом предложении сторонников централизма. Оставалось утрясти последние детали и подписать постановление.

С позиции сегодняшнего знания, укрепление совнархозов — это шаг назад, назад к централизованной экономике, с точки

зрения «наведения бюрократического порядка» — мера логичная. Отец колебался, выбирал куда двигаться: к децентрализованному саморегулирующемуся народному хозяйству или продолжать удерживать все бразды правления в одних руках? От правильности выбора зависело будущее страны, и, пока не приняв решения, отец делал шаг то в одном направлении, то в другом. В науке это называется методом проб и ошибок. Здесь главное не зависнуть, не переборщить с количеством проб и после допустимого количества ошибок выбрать окончательное направление.

Однако вернемся к итогам 1961 года. С жильем дела обстояли неплохо. В 1961 году в Москве построили 3,7 миллиона квадратных метров, в Ленинграде — 1,2 миллиона. Наметившееся было отставание в глубинных районах страны начало выправляться.

А вот сельское хозяйство лихорадило. Помотавшись несколько месяцев по стране, отец тут только чуть разогнал энтропию, расшевелил обкомы, но перелома не добился. Еще в августе ему казалось, что урожай соберем небывалый. «Мы ехали (по Украине. — *С. Х.*) и, пока не стемнело, смотрели на поля, — писал отец 20 июля 1961 года в очередной записке в Президиум ЦК. — Хлеба уже поспели и радовали глаз. Полным ходом шла косовица, в прекрасном состоянии кукуруза, подсолнечник и другие культуры».

Хорошо дела обстояли и в Воронежской области, «которая в прошлом году показала “новинки” уборки кукурузы рельсом».

Обнадеживала и целина. Правда, в Ставрополье весенние суховеи похоронили надежды на приличный урожай, но «в такой большой стране, как наша, — любил повторять отец, — всегда где-то зальет, а где-то засушит».

Надежды не оправдались, в 1961 году зерна собрали чуть-чуть больше, чем в 1960-м, 130,8 миллионов тонн по сравнению со 125,6 миллионами, что значительно меньше, чем запланировано в семилетке (150 миллионов тонн).

Напомню, что в 1960 году с урожаем тоже вышла неувязка, в основном из-за нераспорядительности. Полетели головы, в обкомы пришли новые люди, и что же? По сути ничего не изменилось. Отец успокаивал себя и других: с 1953 года сбор зерна увеличился на 67 процента, но на сердце кошки скребли.

Население страны увеличивается более чем на 3 миллиона человек в год, доходы людей только за последние три года возросли на 16,8 миллиарда рублей, естественно, растет и потребление. В 1961 году израсходовали 54,2 миллиона тонн зерна по сравнению с 50 миллионами тонн в 1960 году и 42,5

миллионами тонн в 1953-м. И тем не менее производство продуктов питания отставало, отец опасался: вот-вот образуются «ножницы», разрыв между покупательной способностью населения и возможностями продавца-государства. Недопроизводство или, если хотите, «сверхпотребление» пока компенсировали из государственных резервов. В 1961 году они сократились на 1,2 миллиона тонн и составили 6,3 миллиона тонн.

«Нам нужен не акробатический подбор цифр в решении зерновой проблемы, — убеждает отец членов итогового 1961 года Пленума ЦК, — а изменение фактического положения дел, обеспечения страны продовольственным и фуражным зерном сполна.[68]

Если мы этой задачи не решим, то поставим страну перед большими трудностями». Дальше отец, как обычно, приводит подробные расчеты по годам.

Беспокоит отца и животноводство, мяса «в магазинах мало, как и масла. Авторы писем в ЦК считают, что это перебои в торговле. Это не так. Мяса у нас просто не хватает, так же, как и масла с молоком. Продажи их с 1953 года увеличились, мяса с 1,8 миллиона тонн до 4-х миллионов тонн в 1961 году, молока с 2-х миллионов тонн до 9 миллионов тонн, масла с 330 тысяч тонн до 632 тысяч тонн, сахара с 2,4 миллионов тонн до 4,6 миллионов тонн, яиц с 2-х миллиардов штук до 5,9 миллиардов соответственно. Но население интересуют не цифры, а прилавки. Тут же дела обстоят неважно, темпы развития сельского хозяйства замедлились, особенно животноводства, мяса в 1961 году произвели на 3 миллиона тонн меньше запланированного (11,8 и 8,8 миллионов тонн), молока на 16 миллионов тонн меньше (78,4 и 62,5 миллионов тонн). При этом в личных подсобных хозяйствах населения производилось в 1961 году 46 процентов мяса, столько же молока, 78 процентов яиц. Мы должны коллективно обсудить меры, которые помогут выправить положение», — взывал к участникам Пленума отец.[69]

Отец понимал, что коллективно они всё обсудят и меры примут, но только те, что придумает и предложит им он сам. На опыте прошедшего года он окончательно убедился, что одними разъездами, совещаниями, словами дела не сдвинешь, только перестаешь погонять, и энтропия, бездеятельность вновь заволакивает все, как заволакивает ряска поверхность пруда, как только прекращаешь баламутить воду.

Доставшаяся ему в наследство система, которую все эти годы он старался сделать эффективной, самодостаточной и саморазвивающейся, сопротивлялась изо всех сил. Таков закон

природы — чем сильнее удается подавить энтропию, чем более упорядочивается система, тем энергичнее энтропия стремится вырваться на свободу, разорвать наброшенные на нее путы, просочиться в любую щель. Чем больше отцу удавалось их законопатить, тем больше обнаруживалось новых, и в самых неожиданных местах. Ничего удивительного, систему изначально проектировали под беспрекословное подчинение центру и стать другой она не могла. Чтобы сделать систему саморазвивающейся, ее следовало перестроить в самой основе. Иначе нарастания энтропии, хаоса не одолеть. Энтропия — объективная закономерность, и мы только пытаемся сдерживать ее. В старой, централизованной системе противостояние нарастанию энтропии зиждилось на страхе и еще на вере в светлое будущее. Но страх все больше исчезал, да и идеализма с каждым годом становилось все меньше.

Структура же, в которой стержнем становилась провозглашенная отцом материальная заинтересованность, другими словами работа ради личной выгоды, пока не нащупывалась. Реальным стимулом оставался мотив услужения начальству, выполнения его приказов и прихотей, и любой ценой, неважно — во благо или во вред делу. Все, от секретарей обкомов до председателей колхозов, стремились поскорее отчитаться в выполнении и перевыполнении спущенных сверху директив, а там хоть трава, извините, кукуруза не расти.

Сделанного оказалось недостаточно, чтобы заставить экономику, особенно сельское хозяйство, заработать без погонялки, без подкачки энергии сверху. Значит, необходимо продолжить реформирование, и теперь отцу предстояло решить — как? Чтобы сохранить контроль, у власти имеются две возможности: увеличивать, сколько хватит сил, давление сверху или преобразовать систему так, чтобы ее упорядочивание поддерживалось не из одного центра, а из многих, децентрализовать ее, перевести борьбу с энтропией на уровень производителя. Прошу извинения у читателя за повтор.

Как и в 1953 году, отец примеривался провести изменения сразу в обоих направлениях, еще раз попытался реорганизовать государственную структуру управления экономикой, контроль сверху сделать более профессиональным и одновременно дать до сего времени невиданные права директорам управлять вверенными им государством предприятиями. Вот только как это сделать?

Отец думает сам, внимательно читает присылаемые в ЦК письма, одна голова — хорошо, а много — лучше, возможно, совместно и придумают что-то путное. Одно письмо привлекло

особое внимание отца, писал бухгалтер Управления совхозов из Целинограда Иван Никифорович Худенко. Он предлагал упростить хозяйственные отношения до минимума: совхоз или колхоз выполняют заданный им «урок», сдают в закрома государства продукцию в соответствии с установленным на пятилетку неизменным планом, а остальное оставляют себе: на развитие, зарплату, премии и мало ли что еще понадобится в будущем. По Худенко следовало дать волю совхозам и колхозам — пусть они сеют то, что посчитают выгодным, конечно, в соответствии со специализацией, когда они посчитают выгодным, сами устанавливают свою управленческую структуру, имеют столько специалистов и рабочих, сколько им нужно, а не сколько предписано сверху. Отцу его предложения понравились, они совпадали с его собственным пониманием отношений производителя и государства. Он увидел в Худенко своего союзника. Отец приказал выделить в его распоряжение пару целинных совхозов, пусть делает там что считает нужным, а крайком в его эксперименты не вмешивается.

В ноябре 1961 года, выступая в Целинограде, отец напомнил присутствующим, что «по решению Совета Министров, чтобы проверить на практике предложения товарища Худенко, ему выделили совхозы. В рассуждениях и предложениях товарища Худенко заложено здоровое начало. Следует в пределах рационального упростить учет, облегчить работу директорам совхозов, сократить излишний счетный аппарат, устранить непроизводительное расходование средств… Надо дать Худенко закончить эксперимент и сделать выводы».

Отец и дальше будет внимательно следить за его экспериментом. Вскоре подобный подход, тоже в качестве эксперимента, применят к фабрикам, заводам и даже металлургическому комбинату.

Поиску ответу на вопрос: «Как жить дальше?» посвящены последние годы пребывания отца у власти.

Остаток 1961 года отец проводит вне Москвы. 14 декабря в Кремле проводит последнее в этом году совещание работников сельского хозяйства Нечерноземья, а уже 19 декабря отправляется в столь милый его сердцу Киев. И там — совещание, выступление, затем беседа с приглашенными им на пару дней на Украину югославскими руководителями Иосипом Броз Тито и Александром Ранковичем. В отличие от Кекконена, друзьями он их не считает, Тито всегда себе на уме. Отношения у отца с ним приятельские, насколько допускает политика.

Распрощавшись с гостями, отец позволяет себе пару дней отдохнуть, поохотиться. В Москву он возвращается под самый

Новый год, когда точно не помню, но 24 декабря он еще охотился под Киевом, добыл двух зайцев и лису.

Тем временем, в отсутствие отца, в понедельник 25 декабря в Кремле открылось Совещание идеологических работников. Докладывал недавно избранный секретарем ЦК по идеологии Леонид Федорович Ильичев, второе лицо после Суслова. Идеолог сталинской школы, любитель соленой шутки, собиратель современной живописи и одновременно ее гонитель, человек легко и без угрызений совести адаптирующийся к любой системе. Докладывал он правильно, грамотно, говорил с напором, с одной стороны обличал «культистов», с другой — грозил пальчиком: свобода свободой, но о руководящей роли партии забывать не советую.

Часть 5
Поворот к трансформации (1962–1964)

1962 год

Выступление в Минске

В этот раз Новогодний прием организовали в огромном банкетном зале Кремлевского Дворца съездов, гостей туда пригласили больше обычного, благо помещение позволяло. Но само празднество прошло непривычно вяло, отец плохо себя чувствовал, сопливился, с тостами не выступал и ушел почти сразу после полуночи. Вслед за ним «рассосались» и остальные.

Из-за болезни он отложил намеченную на самое начало января поездку в Белоруссию. В Минск он выбрался только 10-го. Там он сходил на приуроченную к его приезду выставку разнообразной техники республиканского производства, провел совещание в узком кругу в ЦК, затем выступил на многолюдном собрании сельхозактива Северо-Запада.

Выставкой отец остался доволен, особенно ему понравились 27-тонные карьерные самосвалы и 12,5-тонные полуприцепы для перевозки зерна, а вот все остальное…

«Назову некоторые цифры, — начал он свое выступление, — Белоруссия по плану 1961 года обязалась произвести 3,3 миллиона тонн зерна, а получила всего 2,2 миллиона тонн. Производство льна вместо запланированных 179 тысяч тонн составило 86,7 тысяч тонн. Обещали собрать 14,7 миллионов тонн картофеля, а фактически вышло 10,8 миллионов тонн. Нет продвижения и в животноводстве. Правда, если сравнить с 1953 годом, то есть определенный рост. Но мы живем, товарищи, не в 1953 году. Сейчас 1962 год. В стране выросло население, вырос спрос на продукты…» и так далее. Отец говорил о Белоруссии, но похоже, не лучше обстояли дела и во многих других регионах.

Той зимой, кроме Белоруссии, отец больше никуда не поехал, отказался от ставшего уже привычным и ему, и местному начальству предпосевного инспекционного объезда страны. Его визит в Минск скорее относился к «недоимкам» 1961 года, чем «обязательствам» 1962-го. Прошлый год отца многому научил. Он провел почти четыре месяца в разъездах на машине, в поезде, в самолете, собирал совещания, рассказывал о новых технологиях, увещевал, ругал, стращал, смертельно устал, а толку — чуть. Конечно, секретарей обкомов он подраскачал, энтропию немного подразогнал, но перелома не произошло. Отец окончательно пришел к убеждению: реформы 1953 года выработались, исчерпали себя так же, как и целина. Без решительных перемен

ни Америку не догонишь, ни людей не накормишь. В общем, новый год начинался с того, чем закончился предыдущий.

План преобразований у отца еще не выстроился. Ему нравились предложения Худенко, но довериться ему отец пока не решался — рано, пусть попробует, поэкспериментирует, а там посмотрим. Пока же отец решил собрать Пленум, послушать людей знающих, поспорить, сообща подумать, попытаться нащупать ту точку опоры, которая позволит развернуть экономику, в том числе сельское хозяйство в правильном направлении. Вот только бы знать, какое направление правильное. Отец интуитивно понимал, что требуется выделить один-два параметра, манипулируя которыми государство сможет управлять всей экономикой. Опыт последних лет еще раз подтвердил: из центра, из Москвы, за всем не уследить, бить, если позволено употребить такое слово, следует кулаком, а не растопыренной пятерней. Только что такое в нашем случае этот кулак?

Как наполнить закрома?

В докладе открывшемуся 5 марта 1962 года в Кремле привычно многолюдному, со множеством приглашенных, Пленуму ЦК отец подводит итоги 1961 года, но больше говорит о будущем.

Сиюминутный резерв, позволяющий увеличить заготовки сельскохозяйственной продукции, он видит в чистых парах, в незасеянных полях, отдыхающих от прошлогоднего урожая. Согласно теории, их следовало занять люцерной, ее корни набирают азот из воздуха и так восстанавливают плодородие, но на деле пары зарастали бурьяном. Отец подсчитал: под парами и травами ежегодно «простаивает» 52 миллиона гектаров, на 20 миллионов гектаров больше, чем распахали на целине. Дальше он подробно цитирует академиков Прянишникова и Тулайкова, ссылается на опыт Запада, где «урожаи подняты до высоты 28 центнеров с гектара без участия травополья». Отец предлагал сохранить травяной севооборот, с обязательной люцерной и клевером только в засушливых и иных проблемных районах на 5 — 10 миллионах гектаров, где без чистых и прочих паров не обойтись, а остальные 40 миллионов использовать для приращения урожая, распахать, засеять кукурузой, бобовыми, сахарной свеклой. Начать необходимо без раскачки. Уже в этом, 1962 году, «освоить» первые 22 миллиона гектаров. Семена он найдет. При урожайности в 10 центнеров с гектара получалась прибавка к урожаю в 50 миллионов тонн, столько, сколько зерна

заготавливается в среднем по стране за год. В результате удастся не только удовлетворить возрастающие потребности все увеличивающегося населения страны, пополнить оскудевшие государственные резервы, но и наконец-то разрешить «неразрешимую» проблему кормов для животноводства. Однако за расставание с травопольем придется заплатить. В новых условиях приличные урожаи могли обеспечить только минеральные удобрения, а их в 1962 году, произвели всего 22 миллиона тонн, не более 300–400 килограммов на гектар пашни, в несколько раз меньше, чем в США, не говоря уже о Европе. Отец сказал, что они в Президиуме ЦК уже договорились собрать специальный Пленум и принять план быстрейшего увеличения производства удобрений.

Возможно, и следовало повременить с отказом от травополья, дождаться пока выстроят новые химические заводы, а уж тогда… Такая последовательность формально логична, но ни один реформатор не следовал формальной логике. А тот, кто следовал, никогда не становился реформатором. Не следовал, да и не мог следовать ей и отец. Времени на ожидание у него не оставалось, дополнительное зерно, хлеб, корма требовались немедленно.

С весны 1962 года началось повсеместно наступление на травополье. Сопровождалось оно бесконечными сражениями, и с той и с другой стороны выступали ученые с громкими именами, я уже называл Наливайко с Бараевым. Как всегда в России, не обошлось и без перегибов. В одних регионах ретивые местные начальники распахивали любую заросшую травой пустошь. В других — активные сторонники традиционно-травопольного землепользования откровенно саботировали указания центра, ожидая, когда в Москве пошумят и успокоятся.

Отец одергивал слишком ретивых, подталкивал ретроградов, в общем, с головой погрузился в новую кампанию, обещавшую, как ему казалось, скорый успех.

Отказ от травополья — лишь эпизод в реформировании сельского хозяйства. Прав ли был отец или его оппоненты-традиционалисты, не берусь судить, я не специалист. Среди критиков отца тоже преобладают не агрономы-специалисты, а люди далекие от земли. Кто только не высказывался в пользу травяного севооборота, у всех, от поэтов до дипломатов, на этот счет имеется свое суждение. Я же могу только повторить: отец, приняв сторону одной из школ, как и прежде, отталкивался от опыта европейских и американских фермеров, давно покончивших с черным переделом. Он считал: что хорошо для Германии и Америки, принесет успех и Советскому Союзу. Вот только с удобрениями не следует затягивать.

Производственное управление взамен райкома партии

Но настоящей сенсацией мартовского (1962 года) Пленума ЦК стала не шумная антитравопольная кампания, а начало преобразования властных структур на селе, передача полномочий от райкомов партии, руководящих, по словам отца, «всем и вообще», профессионалам-менеджерам, межрайонным производственным колхозно-совхозные управлениям. К производственным управлениям отходили не только планирование производства и контроль исполнения, но и подбор кадров, пропаганда передового опыта, другими словами — вся реальная власть. Заработную плату работников управлений отец предлагает сделать скользящей, поставить в зависимость от успешности их работы, от реальных урожаев, привесов мяса и удоев молока. И подчинить их, минуя обкомы, напрямую республиканскому руководству, создать там специальную структуру во главе с секретарем местного ЦК, а ежедневные заботы возложить на одного из заместителей главы союзной или автономной республики. В будущем, считал отец, с райкомами можно будет вообще распрощаться, административное деление страны перекроить под новые производственные управления. Размещать их отец предложил не в райцентрах (они же «межрайонные»), а в селениях, не занятых существующими властными структурами. Он не скрывал своих опасений: «Секретари райкомов — люди хваткие, попытаются превратить эти органы в бюрократическую надстройку, вернее, пристройку к райкому». Он предостерегал от «двоевластия в управлении сельским хозяйством», в межрайонном управлении секретарю райкома партии отводилась подчиненная роль. Он лишался права командовать, теперь его удел — помогать главе управления, менеджеру, и заниматься агитационно-массовой работой.

Производственное управление, если проводить аналогию с промышленностью, становилось своего рода сельским совнархозом. Они займутся «не поборами, выметая подчистую из крестьянских амбаров выращенный урожай, а организуют производство продуктов сельского хозяйства на основе заказов, контрактации. Тогда и производитель, и государство будут заранее знать, каким количеством продуктов и в каком ассортименте они распорядятся на год или на годы вперед», — объяснял суть своего плана отец.

— Управления не должны, — продолжает он, — определять, сколько и каких культур сеять, кого рекомендовать председателем колхоза.

Тут приходит на ум записка Худенко. Напомню читателям ее

суть: колхоз или совхоз распоряжается своей землей, а государству отдает неизменную на годы вперед долю своей прибыли, другими словами, налог-оброк. Мысли отца работают в том же направлении.

Пленум привычно аплодировал отцу и также привычно проголосовал «за», но, как много позже писал неплохой журналист Анатолий Стреляный: «Бюрократия не простила этого Хрущеву и выдавала вполне невинные опыты чуть ли не за покушение на устои».

Но это и было покушением на устои! Сельским райкомам предлагалось уступить власть Управлениям. А еще пять лет тому назад совнархозы начали оттеснять обкомы от управления промышленностью. Профессионалы-менеджеры постепенно заменяли партийных руководителей. Из категории вождей они переходили в категорию помощников. Смириться с этим секретари обкомов и райкомов не могли и не хотели.

Собственно, на этом мартовском Пленуме ЦК и обозначилась трещина между отцом-реформатором и стремившейся к «стабильности» партийной бюрократией. Отец призывал к обновлению страны, они же мечтали о возврате к патриархальному партийному единовластию.

Сейчас очевидно, что первый блин вышел у отца комом, многое из провозглашенного им так и оставалось на бумаге, многое еще предстояло домыслить. Обкомы и райкомы не собирались сдавать позиции. А реальная власть, и не только на местах, сосредотачивалась в их руках. Пленум ЦК тоже контролировали секретари обкомов. В решительный момент они определят и судьбу страны, и судьбу Хрущева.

Отец все это осознавал, но считал, что делают они одно дело, что они — единомышленники и интересы страны для них превыше всего остального, даже личной власти. К столкновению с собственной бюрократией он оказался не готов. В марте 1962 года ткнул палкой в «осиное гнездо», внес в ряды бюрократии раздражение и, что важнее, настороженность.

День за днем

С начала 1962 года Советский Союз — член Интервидения, международного соглашения об обмене телевизионными программами, пока в ограниченных рамках: мы принимаем политически нейтральные передачи от «них», и сами отсылаем «им» то, что «они» сочтут идеологически приемлемым.

В январе 1962 года вышел в свет роман Юрия Бондарева «Тишина». Произведение об эпохе сталинизма, куда более острое, чем запомнившаяся всем повесть Дудинцева «Не хлебом единым». Но времена всего за шесть лет переменились почти до неузнаваемости: то, что тогда считалось крамолой, сейчас встречалось всеобщим одобрением.

В январе 1962 года объявили о снижении цен на часы.

Снижение заранее поднятых на запредельную высоту цен — гениальное сталинское изобретение. Однажды установленные высокие цены людьми не воспринимаются как бедствие, а вот их ежегодное снижение, пусть и на малую толику, — благодеяние властителя. Неслучайно снижением цен, а не делом врачей, нарастающим антисемитизмом и угрозой новой волны всеобщих репрессий запомнился большинству современников сталинский период 1947–1953 годов.

Отец совершенно напрасно пренебрегал этим эффектным пропагандистским приемом, считал, что дело говорит само за себя, магазины наполняются товарами, рассасываются очереди, люди переезжают в новые квартиры. Все это очень быстро забывалось, запоминалось, что цены чаще росли, чем падали. Так уж устроена реальная экономика, деньги со временем дешевеют, цены подрастают, а за ними подтягивается и заработная плата. Такой процесс наука называет инфляцией.

В исторической памяти отложилась «хрущевская» инфляция реальных цен и, в противовес ей, «сталинское» снижение пусть и первоначально взятых с потолка, но отчетливо прописанных в ценниках цен.

Цены на часы снизили не из пропагандистских соображений, а по требованию экономики. Их в стране производилось много, очень много, слишком много. Из предмета относительной, бедняцкой роскоши, они превратились просто в прибор, показывающий время. Цены же еще держались на старом уровне, вот их и понизили. Общественного значения эта акция не имела, большинство населения цены на часы интересовали мало.

14 января вступил в строй нефтепровод «Дружба». Труба большого диаметра пересекла Карпаты и достигла Братиславы. Отсюда она разветвлялась, одна нитка шла

в Германию и Польшу, другая — в Венгрию.

19 января 1962 года в Москве впервые исполняется Четвертая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

10 февраля 1962 года в Берлине обменяли пилота американского шпионского самолета У-2 Гарри Пауэрса на арестованного в Нью-Йорке полковника советской разведки Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера).

В феврале 1962 года отец отдыхает на мысе Пицунда в Абхазии, если можно назвать отдыхом целую серию совещаний по ключевым вопросам, определившим нашу стратегию на будущее в ракетных делах, космосе, давшим «добро» лунной программе. Я тогда работал у наиболее успешного и плодовитого, по моему мнению, нашего ракетчика Владимира Николаевича Челомея и там тоже поприсутствовал. Происходившее на совещании я подробно описал в своей книге «Рождение сверхдержавы».

Отдохнув и отсовещавшись, отец в конце февраля возвращается в Москву, по дороге завернув на пару дней в Курск, в Калиновку.

5 марта 1962 года на экраны выходит кинофильм Михаила Рома «Девять дней одного года» о физиках и лириках, о подвиге — и всё вместе о по-настоящему хорошем человеке. В отличие от «сталинского» «правильного» человека без пятнышек и недостатков, теперешний «хороший» человек — просто человек, и ничто человеческое ему не чуждо.

16 марта 1962 года отец подписал Постановление ЦК и Совета Министров о строительстве Биологического центра на Оке. Его замыслили еще в середине1950-х. Сначала академик Несмеянов, президент Академии наук, хотел разместить вновь создаваемые биологические академические институты на Ленинском проспекте в Москве, но городские власти воспротивились, Москва и так перенаселена научными заведениями. Отец поддержал москвичей. И тут возникло на горизонте Пущино. Но в 1957 году Несмеянову «перебежал» дорогу Лаврентьев, перехватил у него финансирование, оттянул средства на строительство «своего», Сибирского отделения Академии наук.

Тем временем Несмеянова сменил Келдыш, и еще какое-то время ушло на вникание нового президента-математика, в общем-то, в далекую от него проблему.

Вник, дело закрутилось, и теперь Пущино получило официальное свидетельство о своем рождении.

21 марта 1962 года газеты оповестили об еще одном экономическом эксперименте. В Сумской области образовали межколхозный кооператив для строительства крупных «промышленных» птицефабрик. Оснащались они американским и немецким оборудованием, лицензионной технологией и рецептурой кормов. Дело оказалось дороговатое, и сумчане решили скинуться, объединить ресурсы нескольких колхозов. Сумская инициатива отца порадовала, он взял их, наравне с Худенко и другими экспериментаторами, на заметку.

Вечером 25 марта отец в Кремлевском дворце съездов на концерте оркестра Венской филармонии.

30 марта 1962 года отец заехал в КБ Николая Яковлевича Козлова «Прокатдеталь». Козлов еще месяц назад звонил ему, похвастался, что усовершенствовал свой метод изготовления железобетонных ребристых плит, теперь с экспериментального вибростана выходят сверхбольшие плиты. Кроме того, ему удалось сделать силовые ребра панелей много тоньше, и при этом они не осыпаются, не смазываются, держат углы, как стальные. В результате расход бетона значительно сократился, вес плит уменьшился, а значит, из тех же материалов можно произвести больше деталей домов и работать с ними теперь станет значительно удобнее и быстрее. Для строителей — огромное достижение, вот отец и решил посмотреть своими глазами на новое «козловское чудо».

От Козлова отец отправился на ВДНХ. Там для него и для других профессионалов развернули выставку строительной техники, а по соседству расставили последние модели грузовых автомобилей, автобусов, новый легковой «Москвич». Осмотрел отец и новый одноквартирный типовой дом для села или для агрогорода, кому какое название больше нравится.

26 марта отец сидит в президиуме 3-го Всесоюзного съезда композиторов, а 31 марта выступает там с никому не запомнившейся речью. Музыку он любил, но речь свою читал по писаному, тонкости творчества композиторов не входили в сферу его интересов. 31 марта отец в Кремле на приеме в честь композиторов, разговаривает, шутит, потом произносит тост. На приеме Шостакович приглашает отца вместе сходить 2 апреля на посвященный съезду итоговый концерт. Отец

приглашение с готовностью принимает.

1 апреля отец присутствует на открытии 2-го Международного конкурса музыкантов имени П. И. Чайковского.

6 апреля 1962 года Лысенко покидает пост президента Всесоюзной сельскохозяйственной Академии. На сей раз его не освобождают, а он сам уходит. Его позиции укрепились настолько, что нет необходимости занимать официальный пост, все и так схвачено.

7 апреля 1962 года по телевидению показывают первый «Голубой огонек», «западническую» музыкально-развлекательную программу, ставшую одной из самых популярных на последующие сорок лет.

13 апреля 1962 года советское правительство по финансовым соображениям отказалось от проведения в Москве Всемирной выставки 1967 года.

21 апреля отец едет на московский завод «Калибр» посмотреть, как запускают в работу новый и первый в мире вибропрокатный стан непрерывного изготовления стеновых панелей. По заключению специалистов, изобретение Козлова много лучше аналогичного стана французской фирмы.

29 апреля 1962 года отец вместе с Косыгиным посещает комбинат химического волокна в подмосковном Клину. «Это буквально выставка из истории текстильного производства, начиная с 1930-х годов, когда построили комбинат, и до наших дней, — возмущается отец по возвращении в Москву. — Там стоят шесть старых станков, которые можно заменить одним современным. Каждый капиталист так поступает, периодически проводит перевооружение производства. Это дает огромную экономию. Но наш Госплан не только не способствует, а противодействует остановке предприятий на модернизацию. Заставляет их “гнать план” по старинке. В Госплан люди устраиваются по знакомству, в тепленькое столичное местечко с хорошей зарплатой, сидят там десятилетия, буквально с рождения. Что от них ожидать? Следует усилить партийный и государственный контроль», — делает неожиданный вывод отец.

7 мая отец в Большом зале Консерватории на заключительном концерте победителей и призеров 2-го Международного конкурса имени Чайковского. В зале находится Ван Клиберн, победивший в предыдущем

конкурсе. На сей раз первое место присуждают советскому пианисту Владимиру Ашкенази. В марте 1963 года, во время гастролей в Лондоне, он влюбится в англичанку и решит не возвращаться в Советский Союз. Так нам рассказывал отец. На самом деле в 1961 году Ашкенази женился на студентке Московской консерватории, гражданке Исландии Торун Тригвассон, чьи родители жили в Лондоне. Вскоре у молодоженов родился ребенок. В Лондон они поехали всей семьей. Там жена уговорила Ашкенази задержаться в Англии на неопределенный срок. В апреле Ашкенази попросил советского посла продлить его семье визу. Посольство запросило Москву. Любой невозвращенец, с «легкой» руки Сталина, становился предателем и, естественно, шпионом, со всеми вытекающими из этого последствиями. Такая же судьба ожидала и Ашкенази, но отец в зародыше погасил разгоравшийся скандал, распорядился выдать «молодому человеку» заграничный паспорт с бессрочной визой, пусть поживет за границей, а надумает вернуться домой — милости просим. Решение отца вызвало настоящий шок, но ослушаться его не посмели.

8 мая отец на приеме в честь участников конкурса шутит, чокается шампанским, раздает автографы, приглашает Вана Клиберна в выходной заехать к нему на дачу в Горки-9.

8 воскресенье, 27 мая, солнечно и тепло. Отец показывал гостю сад, свои посевы. Клиберн застенчиво улыбался. Покончив с сельским хозяйством, отправились кататься на катере по Москве-реке. Затем отец учит Клиберна стрелять на стенде из ружья по «тарелочкам». У Клиберна не получается, и они оба заразительно смеются. День заканчивается домашним обедом на террасе резиденции: окрошка, отварной судак, клюквенный морс и квас. Гость заинтересовался окрошкой, попробовал и стал расспрашивать, как ее готовят. Отец ударился в пояснения, заминка произошла в первый же момент. Американец никак не мог понять, как делают квас. Пришлось углубиться в подробности. Что себе вообразил Клиберн, остается загадкой, но тарелку с экзотическим блюдом он вежливо отодвинул, и весь обед старательно отводил взгляд от стоявшего посередине стола кувшина с квасом. После обеда настроение гостя выправилось. Прощались они с отцом

тепло, по-дружески. Отец шутливо осведомился: не хочет ли гость на дорожку стакан кваса?

Клиберн выкинул вперед руки, как бы отталкиваясь. — Квас — никогда, — произнес он. Оба расхохотались.

9 мая, в День Победы, на экраны выходит фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», о войне, какой она видится ребенку, фильм пронзительный и сердечный. С него и начался Андрей Тарковский.

День Победы тогда считался праздничным, но рабочим днем, и отец в сопровождении других членов Президиума ЦК едет на Рижский вокзал, на выставку железнодорожной техники. Паровозы еще не ушли, но уходили в прошлое, и мало кто вспоминал не столь уж давние стычки отца с Кагановичем на паровозо-тепловозную тему. На выставке заспорили, что эффективнее: тепловозы или электровозы. Отец не вмешивался, оба направления прогрессивны, пусть разбираются специалисты.

А вот за деревянные шпалы он железнодорожников изругал, весь мир уже три десятилетия пользуется шпалами из бетона, они долговечнее и дешевле. Мы же денег не считаем, строим дороги, как царь строил. Министр путей сообщения Борис Павлович Бещев пообещал исправиться. Бещев обещал легко. Он сидел в министерском кресле с 1948 года и к указаниям сверху относился философски. Но отец и его дожал. На бетонные шпалы железнодорожники со скрипом, но все-таки перешли.

26 мая 1962 года отец едет в Моссовет послушать архитекторов о планах застройки Москвы: первоочередном, до 1965 года и генеральном, уходящем в 1980-е годы. На макетах представлены: будущие Новый Арбат, Волхонка, Нагатино, проекты эстакад, школ, детских садов, комбинатов бытового обслуживания, магазинов. Снова заходит речь об этажности жилого строительства. Мнений много, но все, и отец в том числе, снова сходятся в одном — по крайней мере, для Москвы время безлифтовых пятиэтажек заканчивается. Следует готовиться к высокоэтажному строительству, просчитать, что выгоднее: девяти— или двенадцатиэтажные дома. Квартиры тоже начнут делать комфортнее, хорошо бы оборудовать их встроенной мебелью, а со временем отказаться от вызывающих

столько нареканий совмещенных санузлов.

28 мая отец вместе с послом Карло Альберто Странео открывает в Сокольниках итальянскую выставку, обходит стенды, надолго останавливается у металлообрабатывающих станков и машин для выделки текстиля. Деловые отношения с Италией развиваются хорошо, в 1961 году товарооборот достиг 250 миллионов долларов. Это большие деньги, особенно если вспомнить, что еще пять лет тому назад торговля застыла на нуле.

30 мая отец с мамой идут на концерт американца Бенни Гудмана. Джаз не их музыка, но любопытство берет верх, вся Москва говорит об американской знаменитости. После концерта отец пожимает руку Гудману, благодарит за чудесное исполнение. Его мнения о джазе не переменилось, но политика есть политика.

4 июля на приеме в Американском посольстве в честь Дня независимости США, куда отец нагрянул нежданно-негаданно, не предупредив ни американцев, ни собственный протокол, он вновь пересекся с Бенни Гудманом. После того, как отец, столь же стремительно, как появился, покинет прием, Гудман расскажет американским журналистам, что они говорили о Моцарте, не о джазе.

В тот год вслед за Бенни Гудманом в СССР приехала американская балетная труппа, созданная и прославленная Джорджем Баланчиным-Баланчивадзе, бывшим солистом Мариинского театра, сыном композитора Мелитона Баланчивадзе, заложившего основы грузинской классической музыки. Баланчин — уехал из России в 1924 году, сначала работал в Париже, затем в Нью-Йорке. В Советский Союз на гастроли приехал впервые.

Заря микроэлектроники

В начале мая отец проводит несколько дней в Ленинграде. 3 мая совещается в обкоме, представляет нового областного секретаря на место Спиридонова, перешедшего на работу в Верховный Совет. Изменения не ахти какие: в «первые» выдвинули «второго» — Владимира Сергеевича Толстикова.

Утром 4 мая отец на Балтийском заводе, там спускали огромный, по масштабам того времени, танкер «Улан-Батор»

водоизмещением в 40 тысяч тонн, шестой из серии танкеров типа «София». Отец доволен, на судоверфи вместо бесполезных крейсеров строят торговые суда, вскоре сдадут еще один танкер, «Бухарест», за ним последуют лесовоз «Умбалес», рефрижератор «Чуркин». Затем отец едет на металлопрокатный завод, крупнейший и современнейший в стране производитель стальных заготовок для самых разнообразных производств.

Во второй половине дня отец в КБ-2 Комитета радиоэлектроники Валерия Дмитриевича Калмыкова. Это секретная организация, занимавшаяся разработкой систем управления для самолетных крылатых ракет и другой военной электроникой. В КБ его, кроме Калмыкова, ожидали председатель Военно-промышленной комиссии Устинов, главком Военно-Морского флота адмирал Горшков и Александр Иванович Шокин, председатель образованного год назад Государственного комитета по электронной технике. Задача последнего — разрабатывать и внедрять в производство то, что сегодня мы называем чипами и микрочипами. О них и пойдет дальше речь.

К посещению отцом КБ-2 в какой-то степени оказался причастен и я. Работал я в КБ Челомея, в отделе систем управления крылатыми и баллистическими ракетами, спутниками и космическими станциями — в общем, всего того, что летает и управляется волчками-гироскопами и хитроумной электроникой. Мы уже несколько лет делали крылатые ракеты для вооружения подводных лодок и надводных кораблей. Неугомонному Челомею этого казалось мало, и он решил покуситься на вотчину Артема Ивановича Микояна, крылатые ракеты, запускавшиеся с самолетов. Микояну это, естественно, не нравилось, а вот Андрей Николаевич Туполев (именно с его бомбардировщиков стартовали все крылатые ракеты) пообещал Челомею порисовать, прикинуть размещение его крылаток на Ту-95 и Ту-16. Не знаю, серьезно ли он заинтересовался нашими разработками или хотел таким образом приструнить Микояна, до того времени монополиста в этой области. Андрей Николаевич всегда был себе на уме.

Госкомитет по авиационной технике отнесся к затее Челомея прохладно, но открыто не возразил, написал письмо Калмыкову с просьбой ознакомить нас с наработками в области систем управления для авиационного ракетного вооружения.

Так я зимой 1962 года в составе представительной делегации нашего ОКБ-52, во главе с заместителем Челомея Михаилом Ильичем Лифшицем, попал в КБ-2. Принимали нас радушно — как-никак потенциальные заказчики, показали всё без утайки. На прощание завели в лабораторию, где занимались

сверхминиатюрными транзисторными блоками памяти для какой-то вычислительной машины и, что меня особенно поразило, сверхминиатюрными же, размером с папиросную и даже спичечную коробку, усилителями и иными модулями систем управления ракет. Собирали их тут же. Сначала лаборанты сдирали с заводских транзисторов-пуговок корпуса. Нам объяснили, что серийные полупроводники непомерно велики для этих целей. Затем «голые» транзисторы упаковывали в кубики, называвшиеся микросборками. Для нашей противокорабельной ракеты П-6 электронику делали тоже ленинградцы. В НИИ-49 ее нутро набивали пышущими жаром малонадежными сундуками со «сверхминиатюрными пальчиковыми» радиолампами. «Пальчиковая» сверхминиатюрность в сравнении с увиденным мною в КБ-2 ни в какие ворота не лезла. Я страшно расстроился, под боком такое делается, а мы живем в прошлом веке.

Заведовал микрочудесами человек со странной фамилией Старос. Я уже немного слышал о нем. В середине 1950-х отец вскользь упомянул, что он то ли получил письмо, то ли встречался с замечательным инженером, чехом по фамилии Старос, работавшим над вычислительной машиной для управления самолетами.

— Чех, а фамилия Старос, — удивился я.

— Он грек, но живет в Чехословакии, — замялся отец, он явно не говорил всей правды. — Недавно бежал туда из Канады, а теперь переехал в Советский Союз. Только никому о нем не говори, он приехал к нам нелегально.

Собственно, отец мне ничего не рассказал. Фамилию Старос я запомнил из-за ее непривычного для моего уха звучания. Только через много-много лет я узнал, что Филипп Старос вовсе не Старос и не Филипп, и он не из Канады. Старос оказался Альфредом Сарантом, американским коммунистом, инженером, работавшим на циклотроне Корнельского университета и сотрудником советской разведки.

Когда в июне 1950 года в США начались аресты, взяли его друга Юлиуса Розенберга, тоже нашего разведчика, Сарант решил, пока не поздно, бежать. И очень вовремя. В ФБР уже кое-что о нем знали, но с арестом не спешили, выясняли его связи. И довыяснялись. 4 августа 1950 года Сарант с семьей на автомобиле умотал в Мексику. Контрразведка на короткое время потеряла его из виду. В Мексике он осторожничал и вместо советского посольства пошел к полякам. Они, убедившись, что Сарант наш человек, оперативно переправили его с семьей в Гватемалу, оттуда — на пароходе в Марокко, а дальше — из Касабланки в Испанию, из Испании — в Варшаву. Из Варшавы Саранта, уже без

семьи, доставили в Москву. Там он встретился со своим давним другом Джоэлем Барром, тоже электронщиком, коммунистом и советским агентом, работавшим в лаборатории связи армии США, а затем на фирме Сперри Гироскоп, выполнявшей заказы американского министерства обороны.

Барр, как и Сарант, обоснованно опасался ареста и предусмотрительно, когда в 1947 году ему не возобновили допуск к секретным работам и уволили из Сперри, уехал в Европу. К моменту начала шпионского скандала он жил в Париже. Пока в ФБР разбирались, кого из взятых на заметку коммунистов арестовывать немедленно, а с кем погодить, Барр собрал вещички, взял свою скрипку (он увлекался музыкой) и, предупредив резидента советской разведки, сел на поезд Париж — Цюрих. Его пока никто не искал, и границу он пересек без проблем. В Цюрихе Барра уже ждали. Он получил чешскую визу, купил железнодорожный билет в Вену, а из Вены переехал в Чехословакию. 22 июня 1950 года Барру в Праге выдали новые документы на имя родившегося в Южной Африке Йозефа Берга, еврея, выходца из России.

Последнее — соответствовало действительности. Отец нашего героя, Беня Барр (наверное, он носил более сложную фамилию, но бесхитростные американские иммиграционные чиновники записывали вновь прибывших, как им слышалось, благо никто не протестовал), в 1905 году сбежал из России в Америку от еврейских погромов. И вот теперь круг замкнулся. Его сын Джоэль вернулся в Советский Союз.

В Москве с Бергом и Старосом поговорили и отправили, с глаз долой, на жительство в Чехословакию. Для разведки они больше интереса не представляли, а их инженерные познания к находящемуся на площади Дзержинского ведомству отношения не имели. По просьбе Москвы чешские контрразведчики устроили американских друзей на работу по специальности. Они занялись вычислителями для самолетов и системами наведения ракет противовоздушной обороны, но дело еле теплилось, собственной авиационной промышленности страна не имела, ракетной — тем более, а заказы из Советского Союза приходили редко. Другими словами, Старос и Берг работали в мусорную корзинку. Человек амбициозный и энергичный, Старос написал письмо Хрущеву, описал, как с помощью их приборов можно увеличить точность попадания ракет, пожаловался на никчемность прозябания в Праге, попросился на работу в СССР, где они с Бергом принесут больше пользы. Отец поручил председателю Комитета по авиационной технике Дементьеву разобраться, действительно ли «чехам» удалось добиться столь впечатляющих результатов, как

написал ему Старос. Дементьев слетал в Прагу, все внимательно осмотрел и подтвердил: Старос ничего не преувеличил. Староса с Бергом перевезли в Советский Союз и, после краткой остановки в Москве, переправили в Ленинград подальше от любопытных глаз американских разведчиков, не ровен час, один из них на улице столкнется с кем-либо из посольства, — ФБР разослало их фотографии во все дипломатические представительства.

Так в январе 1956 года Старос и Берг начали работать в КБ-2. (На самом деле организация поначалу называлась иначе, но я не хочу вдаваться в малозначительные детали.) Особо секретных работ им не поручали, все-таки американцы, хоть и наши. Лаборатории Староса (он там сразу стал главным) позволили заняться тем, что он сам посчитает нужным. Вот он и приступил к разработке того, что позднее стало называться микроэлектроникой. Этот термин впервые в мире ввел в обиход Филипп Георгиевич Старос. В 1958 году появились первые транзисторные микросборки (название тоже придумал Старос), а через год заработала первая бортовая микровычислительная машина УМ-1 для туполевских бомбардировщиков. О достигнутых результатах Старос регулярно докладывал на коллегии сначала Авиапрома, а затем Радиопрома, куда перевели КБ-2 после реорганизации министерств, но этим все и ограничивалось. «Нашим» не очень хотелось запускать «чужую» разработку в серию. Староса и Берга умело притормаживали и, по возможности, обворовывали. Идеи Староса и Берга пробивали себе дорогу, но под «отечественными» фамилиями.

По возвращении из Ленинграда в Москву, как только мы с отцом остались вдвоем, дело-то секретное, я рассказал ему о чудесах, увиденных в лаборатории Староса. Берг мне не запомнился.

— Микросборки Староса, — уговаривал я отца, — революция в электронике, равнозначная переходу от электронных ламп к транзисторам. Мы сейчас отстаем от США на пять-семь лет, а Старос дает шанс не просто сравняться с американцами, но и обойти их.

Отца я убедил. Собираясь в Ленинград, он решил заехать в КБ-2, послушать Староса. Не могу сказать, что упоминание отцом Староса обрадовало начальство. У них имелись свои планы, что показать главе правительства, на что его сориентировать, о чем попросить. А тут нежданно-негаданно вклинился Старос. Но отец настроился на Староса. Из двух часов, отведенных на посещение всего КБ-2, в лаборатории микроэлектроники он провел больше часа, выслушал подробный доклад о перспективах внедрения микросборок не только в ракетную и иную военную технику, но и

в народное хозяйство, внимательно разглядывал УМ-2, новую модель авиационного вычислителя и его народнохозяйственную версию УМ-НХ.

Тогда же Старос подарил отцу миниатюрный микроприемничек. Его, наподобие слухового аппарата, можно засунуть прямо в ухо и слушать, правда, всего одну, ближайшую, радиостанцию. Чудо Староса не только ограничивалось приемом одной станции, но и постоянно похрипывало и потрескивало. Но это только начало! Отец оценил подарок по достоинству, нацепил его на ухо и не снимал, пока не покинул лабораторию, тем самым демонстрируя министрам Шокину и Калмыковым и секретарю Ленинградского обкома Толстикову полную поддержку Староса. Отец привез приемничек в Москву, с гордостью позволял гостям его примерить, но на прогулках слушал свой, более привычный и более габаритный японский транзистор. Приемничек Староса в серо-голубой картонной коробке с эмблемой КБ-2 на крышке сохранился у меня по сей день.

Но дело, конечно, не в приемничке и не в вычислительной машине с претенциозным названием «УМ», под которую отец распорядился подыскать хороший завод-производитель. Отец быстро ухватил идеи Староса, речь шла о новом направлении в развитии техники. Для его реализации требовалась соответствующая материальная база. Старос говорил о необходимости организации специального центра микроэлектроники, в котором бы под одной крышей сочетались исследования, конструкторские разработки и производство. Отец его поддержал и попросил Староса вместе с Калмыковым, Шокиным, строителями и теми, кто еще им понадобится, подготовить все необходимые материалы.

Через три месяца, в начале осени 1962 года, Хрущев подписал Постановление ЦК и Правительства о строительстве Центра микроэлектроники на северо-западе от Москвы, возле деревни Крюково. Ей предстояло преобразоваться в город-спутник Зеленоград. Города-спутники, разгружавшие столицу от перенаселения, — еще одна поддерживаемая отцом свежая идея. Каждому из них подбирали соответствующую специализацию. Зеленограду предстояло стать советской «силиконовой долиной».

Постановление предопределяло строительство целого комплекса, от сугубо теоретического Института физических проблем, через цепочку НИИ материалов, микроэлектроники и так далее до конструкторского бюро, опытного производства и даже серийного завода. При центре запланировали и учебное заведение — МИЭТ (Московский институт электронной техники). Центру микроэлектроники придавались филиалы в пяти крупных

городах: в Киеве, Минске, Риге и еще где-то. Староса, прочили на должность руководителя Центра, а Берга — в главные инженеры. Подчинили все это хозяйство Государственному комитету по электронной технике, Шокину.

В самом комитете предпочли бы иметь во главе Центра кого-либо из «своих», но соваться с таким предложением к отцу никто не решился. Отец же справедливо считал, что возглавить новое дело должен автор всего замысла, ученый, а не чиновник-бюрократ, пусть и более искушенный в премудростях советских коридоров власти. На заседании Президиума ЦК 5 ноября 1962 года он, говоря о будущем Центре микроэлектроники, особо подчеркнул, что «надо сломить бурелом и расчистить дорогу новому, только тогда мы займем ведущие позиции в этом вопросе. Пока же есть “среднее звено”, которое ставит палки в колеса». Чтобы меньше ставили палки в колеса, отец предложил Старосу, как и другим, в кого он верил: Королеву, Челомею, Пустовойту, Янгелю, Семенову, Лукьяненко, Туполеву, Лаврентьеву, всех не перечислишь, если возникнет надобность, звонить напрямую. Он обязательно найдет время встретиться. Право «звонка» в обход бюрократической иерархии держало в узде чиновников и позволяло «хорошим людям» творить чудеса. Не сам звонок, а одна возможность звонка делала бюрократов очень осмотрительными, облегчала разрешение в обычных условиях неразрешимых проблем. Ну а если проблемы на самом деле становились неразрешимыми, то тогда — звонок, следом встреча с Хрущевым один на один, совещание в Совете Министров и какое-то, не обязательно положительное, решение.

В тех редких случаях, когда отец ошибался в выборе кандидата, как произошло с Лысенко, «прямая» схема оборачивалась крошащей все напропалую дубиной. Но я уже достаточно писал о Лысенко. Слава богу, что он оказался исключением в общем списке.

Я не назвал никого из «атомных» конструкторов — ни Харитона, ни Забабахина. Я не только ничего не знал о деталях их взаимоотношений с отцом, но тогда даже не слышал их фамилий. Уж очень они оказались засекреченными. Из ядерщиков у нас появлялся Курчатов и еще Анатолий Петрович Александров. Оба не в связи с бомбами: Курчатов рассказывал о проектах извлечения энергии с помощью термоядерной энергии, а Александров говорил об атомных котлах для кораблей и электростанций. Наверняка они обсуждали с отцом и бомбы, но не при мне.

Но вернемся к нашей истории. Уже в процессе подготовки постановления правительства об организации центра между

Шокиным и Старосом начались трения. Шокин имел свое представление о будущем Зеленограда, Старос — свое, и проталкивал его без особой оглядки на Шокина, ведь у него за спиной Хрущев. Целеустремленностью в науке, несговорчивостью и неуживчивостью Старос напоминал мне Челомея: так же уперт, если считал нужным, лез на рожон, обещал, казалось, несбыточное, но обещания выполнял, от чиновников требовал невмешательства в свои дела и одновременно полного обеспечения работ. Таких людей не любят, терпят через силу и, при первой возможности, выживают.

Чиновники невзлюбили Староса с Бергом за их небрежение бюрократическими процедурами, за обращения через их голову на самый верх. Сослуживцы-ученые видели в Старосе и Берге удачливых конкурентов, прибиравших к своим рукам «их» ресурсы. Ко всему прочему, они еще и иностранцы. В общем, обстановка сложилась неприятная. Когда подошло время делить портфели, Шокин предложил на пост директора Зеленоградского центра не Староса, а Федора Лукина, в то время он возглавлял Московкое КБ-1, организацию, занимавшуюся разработкой систем противоракетной, противокосмической, противовоздушной обороны, космической разведкой, системами управления для самолетных крылатых ракет. Лукин руководил этим научным монстром, а исследованиями-разработками у него занимались академики Александр Расплетин и Григорий Кисунько, тогда еще не академик, Анатолий Савин и множество других ученых.

Аргументы Шокин подобрал убедительные: Лукин возьмет на себя организацию, а Старос с Бергом сосредоточатся на делах творческих. Их талант надо поберечь. Отец согласился. В феврале 1963 года Лукина назначили директором Зеленоградского центра, Старос стал его заместителем по науке, а Берг решил не покидать Ленинград, продолжая формально числиться в КБ-2, он одновременно проводил исследования в новом Научном центре, выполнял роль связующего звена между двумя организациями. В отличие от Староса, Берг за должностями не гнался.

Старос обиделся и пошел объясняться к Шохину. Тот встретил его приветливо, успокоил: в его полном распоряжении 20 тысяч ученых, инженеров, техников, экспериментаторов — таково штатное расписание будущего Центра. Чего ему еще надо? Что, разве он жаждет заниматься стройкой, выбиванием фондов, рытьем котлованов, своевременной доставкой бетона? Старос заниматься этим не желал и смирился. Лукин относился к Старосу, как он раньше относился к Кисунько или Расплетину, он, директор, создает условия для работы, обеспечивает их, в пределах выделенных лимитов, оборудованием, контролирует

выполнение планов. Но со Старосом так не получилось. Он, игнорируя субординацию, требовал от Лукина полного себе подчинения и немедленного удовлетворения всего и вся. Ведь от этого зависит будущее микроэлектроники. Естественно, то и дело возникали проблемы, и не с одним Лукиным, но и с начальством из Госкомитета. Старос апеллировал в ЦК. Заведующий Оборонным отделом Иван Дмитриевич Сербин скрупулезно отслеживал линию отца, который при всех пообещал Старосу поддержку, к тому же он не любил и ревновал Устинова и с наслаждением ставил «на место» его министров. Но и Сербин не всегда и не во всем мог и хотел помогать Старосу. К тому же, Госкомитет часто оказывался не так уж и неправ. К примеру, его обязали начать производство электронных микрокалькуляторов, скопировав их с западных образцов. Чиновники, естественно, переадресовали задание в Зеленоград. Дело тут не в их зловредности, на Госкомитет эти калькуляторы тоже свалились как снег на голову. Старос пришел в ярость, копировать старье он не желал, протестовал, ссылался на Хрущева, а ему объясняли, что микрокалькуляторы тоже поручение Хрущева. Старос нажаловался отцу, скандал как-то утрясли, но его отношения с непосредственным начальством, Шокиным и Лукиным, становились все напряженней. А каждодневные дела приходилось решать с ними, к Хрущеву с каждым чихом не набегаешься.

Так в непрекращающейся нервотрепке и интригах строился, прирастал институтами Зеленоградский центр. Бюрократическая возня вокруг него мало отличалась от интриг, сопровождавших бурный рост других подобных организаций — королёвского КБ в Подлипках, или янгелевского — в Днепропетровске, или Сибирского научного центра на Оби. Увлеченный делом творец неизбежно кому-то наступает на мозоль. У нового дела всегда найдутся недоброжелатели, и, что хуже, порой влиятельные.

Прошло полтора года. Последний раз Старос звонил Хрущеву в первых числах октября 1964 года. Отца на месте не оказалось, секретарь ответил, что он в отпуске в Пицунде. Тогда Старос с Бергом написали обстоятельное письмо. О чем? Сейчас это абсолютно неважно. Передали его в секретариат Председателя Совета Министров, но прочитал его уже не отец, а Косыгин, к тому времени ставший новым главой советского правительства. Косыгин не терпел обращений через головы непосредственных начальников, считал таких «жалобщиков» склочниками, мешающими работать и ему, и его аппарату. Просмотрев письмо Староса, Косыгин отчеркнул его Леониду Васильевичу Смирнову, своему заместителю по военно-промышленным вопросам и одному из недоброжелателей Староса. Тот перепихнул его

Шокину. Шокин вызвал Староса и от души его отчитал.

Через короткое время с неудобным Старосом окончательно разделались, из Зеленограда его попросту уволили. Разобиженный Старос переехал во Владивосток, в Дальневосточном академическом научном центре начал разрабатывать казавшуюся тогда почти фантастической проблему искусственного интеллекта, получил обнадеживающие результаты, но и там не ужился, вконец испортил отношения с академическим начальством. Продолжая доказывать свою значимость, он попытался выбраться в академию. Естественно, безуспешно, в Академии наук, как и в любой другой бюрократической организации, не любят бунтарей. После очередного, третьего по счету, неизбрания в членкоры Академии наук СССР и связанных с этим треволнений, Старос в марте 1979 года умер.

Умеющий уживаться Берг продолжал жить и работать в Ленинграде. В отличие от Староса, он ни на что не претендовал, ни с кем не боролся, совершенствовал изобретенную им «камерную» технологию производства микрочипов, а в нерабочее время перестраивал квартиру, сломал перегородки между комнатами, соорудил шикарную ванну-бассейн сконструировал, располагавшее к раздумьям комфортабельное кресло-унитаз. Умер он тоже мирно — в 1998 году, в возрасте восьмидесяти двух лет.[70]

От цен единого уровня к Новочеркасской трагедии

В мае 1962 года торжественно отметили 40-летие детской пионерской организации, советского аналога западных скаутов, а 1 июня 1962 года отца пригласили на приуроченное к торжественной дате открытие нового шикарного Дома пионеров в Москве на Ленинских горах. Праздник удался на славу. Выступали танцоры, певцы, спортсмены, все пионерского возраста, ну а взрослые говорили речи. Выступил и отец. Очень коротко. В это же время в далеком Новочеркасске забастовали рабочие электровозостроительного завода. Отец о происходящем еще ничего не знал. Собственно, в тот момент там еще и не произошло ничего такого, о чем следовало докладывать главе правительства.

Так что же случилось в Новочеркасске 1 июня?

Начну с предыстории. Напомню, что летом 1960 года Пленум ЦК постановил разработать и внедрить в практику «цены единого уровня», то есть такие, когда произведенная продукция оплачивается потребителем напрямую, а не за счет перекрестной

системы доплат, дотаций и других финансовых ухищрений.

При Сталине индустриализация проводилась за счет ограбления крестьян, принуждаемых работать за трудодни-палочки, когда на приемных пунктах за килограмм зерна платили меньше, чем стоила одна лишь его доставка. С другой стороны, промышленные товары, от тракторов до трусов, продавались втридорога. Установленная государством система цен, так называемые «ножницы» «выстригали» из труда крестьян сверхприбыли, которые и вкладывались туда, куда Сталин в то время считал их нужным вложить. Неповиновение, один лишь намек на неповиновение, карался жестоко, чтобы другим неповадно было. Так крестьяне и работали из-под палки, но рабский труд непроизводителен, хлеба, не говоря уже о чем-либо ином, в стране хронически не хватало.

Отец считал, что без материальной заинтересованности производителя в своем труде воз советской экономики с места не сдвинуть. Только прозрачная система цен позволяла установить такие отношения между продавцом и покупателем, которые базируются на заинтересованности производителя в результатах своего труда, заинтересованности сделать производство эффективным и менее затратным, а значит, и более прибыльным. Одновременно покупателю предоставляется возможность выбрать товар по своему вкусу, и оплата товара сполна должна стимулировать производителя.

В 1953 году отец отменил наиболее одиозные налоги и одновременно увеличил закупочные цены. Все с той же целью, ибо эффективен только мотивированный труд. Отец называл эти естественные взаимоотношения производителя и потребителя — материальным стимулированием. В народе выражались проще: «как потопаешь, так и полопаешь». Выражения разные, но суть неизменна.

Собственно, к восстановлению мотивации труда на селе (в промышленности дела обстояли получше) и направлял отец в последние годы все свои усилия: снижал налоги, повышал закупочные цены, пытался установить фиксированный, на несколько лет вперед, оброк со ста гектаров пашни. За труд следует платить столько, чтобы человеку хотелось работать и удавалось заработать. «Какой дурак, извините меня за грубость, — повторял отец из совещания в совещание, — станет увеличивать производство мяса, если чем больше он его производит, тем больше хозяйство — совхоз или колхоз — терпит убыток».

Однако сделать отношения производителя-крестьянина и потребителя-горожанина естественными, когда потребитель

платит производителю цену, способную всерьез заинтересовать его, никак не получалось. Все упиралось в крайне низкие розничные, магазинные цены на продукты питания. Их еще называли политическими или социально-ориентированными.

Государство увеличивало закупочные цены, оставляя розничные неизменно низкими. Отец понимал, если товар: зерно, мясо, молоко закупаются по более высокой цене, то и продаваться они должны не задешево, но поделать ничего не мог. Повысь он цену на хлеб… Вот и приходилось вводить до крайности раздражавшие людей запреты.

Но государственный карман — из него доплачивалась разница между растущими закупочными и неизменными розничными ценами на хлеб, на мясо, на молоко — не бездонный. Собственно, в стратегии цен мало что изменилось. Если при Сталине грабили крестьян в интересах металлургов и машиностроителей, то теперь пытались отдать долги за счет ограбления кого-то еще и в другом месте, например, завышая цены на одежду или мебель. Деньги из ниоткуда не берутся. Что в одном месте прибавится, то в другом — убудет. Получался тришкин кафтан. Страна погружалась в экономический сюрреализм, ведущий ее к банкротству. Вырваться из него, сделать труд крестьян мотивированным, прибыльным, этот «капиталистический» термин отец употреблял все чаще, можно только нарушив догму «неповышения цен при социализме». Эту очевидную истину провозглашали и собранные Засядько в Госэкономсовете ученые-экономисты. Их выводы подтверждались реалиями жизни, сельскохозяйственное производство последние два года отказывалось расти, хоть плачь.

В марте на Пленуме ЦК отец говорил, что из продуктов питания у нас нет перебоев только с хлебом. Мясо и молоко можно купить далеко не всегда и не везде. Всё, как и прежде, упиралось в недостаток кормов, кукуруза приживалась плохо, она требовала труда, а без соответствующей оплаты, без заинтересованности никто не хотел заниматься тщательной обработкой полей, рыхлением, прополкой. Вот она и хирела, едва проклюнувшись из земли.

С зерном, пшеницей, рожью, ячменем, овсом дело обстояло лучше, но зерна едва хватало на обеспечение людей, скармливать его коровам и свиньям рука не поднималась. Чтобы избавиться от извечно российского страха перед недородом, голодом, нужно, считал отец, увеличить сбор зерна втрое. И правильно считал. Но как?

На Пленуме отец признал, так как возврат к старому, к принуждению невозможен и неэффективен, остается только одно:

открытое, не дотационное сбалансирование закупочных и розничных цен. Иначе страна очень скоро вылетит в «черную дыру» бюджетных доплат и переплат.

Сейчас такое решение называют «непопулярным», тогда оно отдавало «самоубийством», хорошо если только политическим. Но отец все же решился. Иначе пришлось бы отказаться от реформирования не только сельского хозяйства, но всей экономики.

Сразу после Пленума, в марте, отец распорядился готовить соответствующие документы. 17 мая 1962 года Совет Министров принимает решение повысить закупочные (сдаточные) цены на крупный рогатый скот, свиней, птицу, масло животное и сливки, и весьма существенно, по некоторым категориям чуть ли не вдвое. Одновременно увеличивали розничные цены на мясо и мясопродукты на тридцать процентов, а на масло животное — на двадцать пять процентов.

1 июня 1962 года газеты опубликовали оба Постановления: «О повышении закупочных цен» и «О повышении розничных цен». На первое никто внимания не обратил, рядовых горожан, стоящих в очереди к прилавку магазина, оно не касалось, а вот второе вызвало бурю негодования. Винили, естественно, отца, и тут же поминали «благодетеля» Сталина — при нем цены шли не вверх, а вниз.

Отец решил выступить по телевидению с разъяснениями. Его помощник по международным делам, осторожный и дипломатичный Олег Трояновский попытался было отговорить отца, посоветовал поберечь репутацию, поручить неприятную миссию Микояну или Косыгину.

— Я первое лицо в государстве, и негоже мне прятаться за чьи-то спины. Я отвечаю за все и к людям обязан обратиться только я, — резко возразил отец.

Трояновский промолчал, но остался при своем мнении.

Доводы отца понимания в народе не встретили. Люди глухо роптали. Когда вечером 1 июня я попытался пересказать отцу, о чем судачат в Москве, он только грустно отмахнулся: «Я все знаю. Да и не могло быть иначе». Вот только он мне не сказал, что на юге России, в Новочеркасске и еще кое-где, где конкретно я, за давностью лет, уже не припомню, дело в тот день не ограничилось роптанием. В ранних публикациях я упоминал в этой связи Муром и Темиртау. После проверки выяснилось, что меня подвела память, беспорядки там происходили, но в другое время и по другому поводу.

В большинстве мест все закончилось миром. В Новочеркасске же ситуация сложилась иначе. Там на электровозном заводе в

феврале повысили нормы выработки, что привело к падению зарплаты рабочих. У некоторых — до тридцати процентов, а тут 1 июня навалилось еще и повышение цен. Совпадение оказалось трагическим. Люди возмутились не на шутку. Утром 1 июня рабочие литейного цеха, по началу человек двадцать-двадцать пять, забастовали, потребовали директора. Директор завода Борис Курочкин повел себя в высшей степени по-хамски. В ответ на жалобу, что теперь рабочим мяса купить не на что, он нагло бросил: «Нет денег на мясо, покупайте пирожки с ливером». Возбужденные его словами люди двинулись к заводоуправлению. По пути к ним присоединились рабочие других цехов. Количество бастующих быстро выросло до трех тысяч человек. Появились плакаты: «Мяса, масла, повысьте зарплату!». Рядом водрузили большой портрет Ленина. Толпа запрудила заводскую площадь, перегородила железнодорожные пути, остановила поезд… Перепуганное городское и областное начальство вместо того чтобы попытаться самим уладить дело, обратилось за помощью к военным.

2 июня отец вернулся домой хмурый. На мой вопрос: «Что случилось?» — ответил: «В Новочеркасске рабочие устроили бузу, дошло дело до стрельбы». «Буза» в терминологии отца означала отказ рабочих от работы. Он не раз вспоминал, как сам перед революцией «бузил» на заводе Боссе в Донбассе. Буза, при умелом обращении с людьми, не сулила серьезных неприятностей. В том, как все обернулось в Новочеркасске, отец винил не рабочих, а местное партийное начальство, потерявшее, как он говорил, всякую связь с народом.

Теперь же, когда пламя разгорелось, пришлось вмешаться центру. Отец сказал, что на место вылетели Андрей Павлович Кириленко и Александр Николаевич Шелепин, но с поручением они не справились, струсили. Побоялись даже выйти к людям, отсиживаются в обкоме, в Ростове. Следом отец отправил другой десант: Фрола Романовича Козлова, Анастаса Ивановича Микояна и партийного пропагандиста Леонида Федоровича Ильичева. Особую надежду отец возлагал на Микояна, на его умение договариваться, как шутил отец, даже с чертом. Договориться не удалось, конфликт «разрешили» с применением военной силы, погибли люди. Наиболее активных демонстрантов арестовали, как докладывал, выехавший на место, первый заместитель председателя КГБ генерал-полковник Петр Иванович Ивашутин, «за попытку вооруженного мятежа и хулиганские действия, приведшие к серьезным разрушениям в городе». В подтверждение своих слов он прислал отцу толстый альбом фотографий: здания с выбитыми окнами, комнаты с переломанной мебелью, толпы

людей на улицах…

Отец принес фотографии домой, сунул их мне: «Если хочешь, посмотри, что там творится». Отвечать на вопросы не стал, только отмахнулся: «Не приставай».

О том, что случилось в те дни, я узнал из разрозненных обмолвок причастных к трагедии лиц. Постепенно, как из мозаики, складывалась некая картина, естественно, далеко не полная. Председатель КГБ Владимир Семичастный в моем присутствии рассказывал, что зачинщиков беспорядков судили, наиболее злостных расстреляли. От его слов повеяло могильным холодом 1930-х годов.

Потом сын Микояна Серго объяснил мне, почему Анастасу Ивановичу не удалась его миссия. По его словам, Козлов полностью отстранил Микояна от дел. Жесткий Козлов рвался применить силу, напрочь отвергал предложения Микояна вступить с толпой митингующих в переговоры. Козлов без обиняков напомнил Микояну, что тот уже напереговаривался до крови в 1956 году в Венгрии, допереговаривается и здесь. Беспорядки следует пресечь в зародыше, пока они не расползлись за пределы города, пока их еще можно пресечь и, по возможности, избежав худшего.

В исторической ретроспективе прав оказался Козлов, переговоры ни к чему бы не привели. Стихийный протест не дает такой возможности, а в Новочеркасске властям противостояла неорганизованная, возбужденная толпа. Разговаривать было не с кем, толпу никто не вел. А какие переговоры со стихией?! Так и получилось, пока москвичи совещались, спорили, не могли договориться, что предпринять, время безвозвратно ушло, обстановка раскалилась докрасна, и все окончилось кровопролитием, которого, действуй они изначально решительно, по Козлову, можно было бы избежать. Так что за пролитие крови основную ответственность несет, как это ни парадоксально, умиротворитель Микоян.

Когда все закончилось, Козлов не только потребовал строго наказать участников демонстрации, но распорядился депортировать в Сибирь тех, кого не за что было арестовывать. Микоян возражал, пригрозил, что пожалуется Хрущеву. В ответ Козлов запретил соединять Микояна с Москвой и одновременно приказал подогнать к Новочеркасску вагоны, в которые предстояло погрузить депортируемых. Только после скандала, устроенного Микояном, ему позволили дозвониться до отца. Отец возмутился самоуправством Козлова, депортация не состоялась. С тех пор Козлов и Микоян еще более возненавидели друг друга. Вот, собственно, и все, что мне удалось узнать по горячим следам.

Долгое время я не подвергал сомнению версию о намерении Козлова сослать все население Новочеркасска. Вернее, просто о ней не задумывался. А потом задумался, и «вагонная» история стала казаться мне подозрительной. Мы знаем о ней со слов Микояна, и рассказал он ее уже после инсульта Козлова, когда последний чисто физически не мог ничего возразить.

Козлов подобными полномочиями не обладал и не мог обладать. Да и никто бы без согласия отца и формального решения Президиума ЦК и слушать его не стал. Подогнал вагоны! Депортировать целый город! Куда депортировать? Где этих людей размещать? В 1962 году такое самоуправство наверняка стоило бы Козлову карьеры, да и слухи о нем разошлись бы по Москве широкими кругами. Однако дыма без огня не бывает, что произошло тогда на самом деле, я расскажу чуть ниже.

Более или менее достоверная картина происходившего в те дни в Новочеркасске раскрылась лишь в конце 1980-х годов, когда по решению I съезда народных депутатов СССР военная прокуратура провела подробное расследование. Конечно, и эти результаты не до конца объективны. Военные пытались обелить себя, свалить вину за кровопролитие на КГБ, но факты были собраны исчерпывающие.

Материалы дела свидетельствуют о следующем. Партийное начальство во главе с первым секретарем Ростовского обкома Басовым приехало в Новочеркасск только во второй половине дня 1 июня, когда митинг уже набрал силу. Это тот самый Басов, который в 1961 году произвел слабое впечатление на отца. Он его тогда охарактеризовал «фразером», собрался заменить, но не успел. Басов вышел на балкон заводоуправления. Толпа притихла. Люди ждали, что он заговорит о наболевшем, о тарифах, о заводских проблемах. Басов же, не найдя нужных слов, стал зачитывать опубликованное в газетах «Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР о повышении цен». Толпа враждебно загудела, кто-то бросил в Басова бутылкой. Обкомовцы ретировались в здание и приказали милиции очистить площадь. Но милиции, даже при поддержке вызванных к тому времени внутренних войск, выполнить приказ не удалось. Более того, балконом завладели забастовщики, сорвали висевший на фасаде дома портрет Хрущева, виновника, по их мнению, всех несчастий в стране, и под одобрительные выкрики толпы сбросили его вниз. Кто-то снизу выкрикнул: «Долой правительство Хрущева! На мясо его! Давай сюда Маленкова и Шепилова!» Уже потому «хороших», что их изгнал ставший «плохим» Хрущев, что типично для стихийного протеста.

Затем забастовщики попытались выступать сами,

воспользовались оставшимся от Басова мегафоном. Но он не действовал. Находившиеся на балконе люди, рассерженные неудачей, выбили ближайшие окна, залезли внутрь, чуть пограбили, но вглубь здания не пошли, пыл их быстро охладел. Митинг тем временем переместился к соседнему переходу над железной дорогой, теперь его, а не балкон заводоуправления, использовали как трибуну. Кто-то забирался наверх, что-то кричал, галдящая сама по себе толпа его не слушала и не слышала.

Все еще остававшийся в помещении заводоуправления Басов обратился за помощью к армии. Министр обороны маршал Малиновский телефонограммой, ссылаясь на распоряжение Хрущева, приказал командующему округом генералу армии Иссе Плиеву поднять по тревоге воинские подразделения и сосредоточить их в районе Новочеркасска. Однако Плиева в штабе не оказалось, он уехал в войска и вообще еще ничего не знал о происходящем. Его разыскивали, но не разыскали, пока он не вернулся в свой кабинет в Ростове, а Басов все сидел, забаррикадировавшись в заводоуправлении. Митингующие, не зная, что дальше предпринять, столпились на железнодорожных путях. Только в четыре часа дня начальник штаба округа доложил Плиеву о поступившей команде. Генерал решил не спешить, сначала самому разобраться в обстановке и, не отдав никаких распоряжений, уехал в Новочеркасск.

Тем временем в Ростов приехали «москвичи»: член Президиума ЦК, заместитель отца по Бюро ЦК по РСФСР Андрей Павлович Кириленко и секретарь ЦК Александр Николаевич Шелепин в сопровождении двух заместителей председателя КГБ Ивашутина и Захарова.

Как позже свидетельствовал перед работниками прокуратуры Шелепин, Хрущев, напутствуя его и Кириленко, приказал действовать только мирными средствами.

Когда в 5 часов вечера генерал Плиев прибыл на место, он получил от Кириленко, взявшего в свои руки власть, распоряжение вызволить Басова, заблокированного в здании заводоуправления. Инструктируя подчиненных, Плиев особо подчеркнул: «Во время операции силу и оружие не применять». Более того, солдатам вообще не выдали патронов к автоматам. Разведывательно-десантная рота 18-й дивизии черным ходом вывела областное начальство из здания заводоуправления и доставила к Кириленко. Надо сказать, что военные входили в здание открыто, хотя толпа и была настроена нервозно. Люди перевернули два грузовика, хватали офицеров за рукава, спрашивали: «Вы за кого?» Но вслед за военными в здание

бастующие не пошли.

К этому времени к площади подошли вызванные Кириленко танки. Митинговавшие встретили их куда более враждебно, чем десантников, в гусеницу головной машины пытались засунуть металлические прутья, разбили фары и перископ, а в довершение всего накрыли танк брезентом. Заметив танки, заместитель Плиева генерал Шапошников приказал немедленно их с площади убрать. Он не знал, что они здесь по распоряжению Кириленко.

Спустя десятилетия после событий в прессе сообщалось о генерале, отказавшемся, вопреки приказу, ввести танки в город. В материалах следствия о подобных действиях не говорится ничего. На самом деле, когда, еще до приезда Кириленко в Новочеркасск и до приказа Малиновского, Басов позвонил командиру 18-й танковой дивизии полковнику Шаргородскому и попросил навести на заводе порядок, тот ответил отказом. Обкому он не подчиняется. Так же отреагировали на звонок Басова и в штабе округа. Без приказа командующего округом Плиева они решили ничего не предпринимать. Генерал Плиев одобрил действия, вернее, бездействие своих офицеров. Войска вмешались, только получив распоряжение министра обороны маршала Малиновского. Случаев неисполнения приказов по команде не наблюдалось. Но нет дыма без огня. Генерал-лейтенанта танковых войск Матвея Кузьмича Шапошникова, в 1962 году первого заместителя Плиева, в 1966 году отправили в отставку из-за постоянных разногласий с командующим. В 1967 году, при Брежневе, его судили «за изготовление и хранение анонимного письма-воззвания антисоветского содержания». К написанию письма его подтолкнули «репрессии и издевательства со стороны Плиева». Так генерал свидетельствовал на собственном судебном процессе в октябре 1967 года. О суде над ним, как и о процессе над участниками волнений в Новочеркасске, в прессе, естественно, не сообщалось. Вот людская молва и свела 1962 и 1967 годы воедино.

В семь вечера в штаб военного округа позвонил из Москвы Малиновский и лично распорядился: «Передайте Плиеву. Дивизию поднять. Танки не выводить. Навести порядок. Доложить». Ближе к вечеру из Москвы прилетели Козлов с Микояном и взяли командование в свои руки. Новоприбывшие разместились в расположении танковой дивизии. Настроен Козлов был решительно. На первом же совещании он заявил: «Надо применять оружие, а тысячу человек посадить в железнодорожные теплушки и вывезти из города». Об этом разговоре, наверное, и вспоминал Микоян. Тысячу человек, но не все население города, и как далеко их везти Козлов тоже не

уточнил, но люди склонны к преувеличениям. Имели ли Козлов с Микояном соответствующие полномочия от Хрущева, комиссия не выяснила, но отметила, что за заявлением Козлова никаких действий не последовало.

С наступлением темноты бастующие разошлись по домам.

Утром 2 июня рабочие вновь собрались на площади перед заводоуправлением. Решали, что делать дальше. Наконец построились колонной и двинулись по мосту через реку Тузлов к зданию горкома партии. Колонна получилась внушительная, над толпой колыхались красные флаги, портреты Ленина, Маркса, Энгельса. На мосту через реку Тузлов демонстрантов встретили посланные Козловым танки и шеренга курсантов Ростовского военного училища. Все без оружия. Люди не полезли на рожон, переправились через реку вброд. Их никто не задерживал. К 10.30 утра колонна вышла на площадь Ленина, к зданию, где находились Новочеркасский горком и горисполком. К бастующим никто не вышел, местные руководители в панике разбежались. Вход в здание преграждала шеренга народных дружинников и солдат. Рассерженные люди легко смели оцепление, взломали двери и растеклись по этажам. На балконе появились первые ораторы из демонстрантов. Они уже прослышали, что из Москвы прилетели Микоян и Козлов, и стали требовать, я бы сказал, просить Микояна выступить, разъяснить действия властей и покарать местных самодуров-начальников. Вскоре тема Микояна стала навязчивой, к ней возвращался каждый второй выступавший, толпа скандировала: «Микояна, Микояна…». Но Микоян на балконе так и не появился.

Настроение толпы постепенно накалялось, кто-то призвал идти к милиции освобождать демонстрантов, задержанных накануне. У помещения милиции и КГБ (оба ведомства размещались в одном здании в соседних комнатах) собралось человек триста. Несколько человек попытались перебраться через кирпичный забор во внутренний двор. В ответ раздались выстрелы солдат 505-го полка внутренних войск. Стреляли вверх, над головами, по забору, но не по людям. Демонстранты прекратили попытки проникнуть во двор, спрыгнули с забора назад на улицу. Однако выстрелы не испугали атакующих. Они выломали выходившие на улицу двери, проникли внутрь отделения милиции, но арестованных там не нашли. Их ночью увезли из города. В углу дежурной комнаты обнаружили кучку солдат. Стали их бить. У рядового Репкина отняли автомат. Кроме автомата, иного оружия, ни до, ни после, в руках у демонстрантов не было. Другой рядовой, Азизов закричал: «Наших бьют!» — и стал стрелять в воздух. К нему

присоединились его товарищи, толпа рванулась к ближайшей двери. Она вела во двор, где сгрудились солдаты, перепуганные предыдущим нападением. Они открыли огонь. Подоспевший на выстрелы командир полка Петр Малютин с трудом прекратил стрельбу. Результат — пятеро убитых, еще двое умерли от ран позже. Раненых не считали.

Пока толпа штурмовала отделение милиции в Новочеркасске, Микоян и Козлов переместились из Ростова в военный городок танковой дивизии. Там уже находились и Кириленко с Шелепиным.

Тем временем митингующие у горкома, убедившись, что Микоян к ним не идет, решили послать к нему делегацию. Вызвались девять добровольцев, среди них две или три девушки, остальные мужчины, один изрядно пьяный. Так запомнилось свидетелю, которого отыскали уже в конце 1980-х.

Инициативу переговоров с ходоками взял на себя Козлов. Микоян сидел тут же, но не проронил ни слова. Разговора не получилось. «Представители» по сути никого не представляли и власти над толпой никакой не имели. Они требовали, чтобы «не прижимали рабочий класс», один из них повторял: «Мы — рабочий класс, нас много», ударяя при этом кулаком о кулак и матерясь через слово. Другой пожаловался, что «у нас хорошо живется лишь Гагарину Юрке да буфетчице Нюрке». В общем, говорили каждый свое и выговорились от души.

Когда посланцы «выдохлись», Козлов попрощался с ними словами: «Идите к людям, успокойте их, призовите прекратить беспорядки».

Еще до окончания переговоров Козлов, поняв, что его собеседники никого не представляют, кроме самих себя, отослал Кириленко с Шелепиным в Новочеркасск с приказом начальнику гарнизона генералу Олешко: «Очистить здание горкома от ворвавшихся туда погромщиков. В случае необходимости произвести предупредительную стрельбу в воздух». К 12 часам к площади Ленина подошли танки и бронетранспортеры 18-й дивизии, курсанты Школы артиллерийских мастеров, другие воинские части. Они охватили митингующих на площади полукольцом. Здание горкома очистили без труда. Там и было-то всего человек тридцать-сорок, которые и не думали сопротивляться. Генерал Олешко вышел на балкон и через мегафон потребовал разойтись, иначе войска применят оружие. «Пугают, стрелять не будут», — раздалось в ответ из толпы.

— Военнослужащие, выйти из толпы, отойти к стене, — приказал Олешко и чуть позже: — Залпом, вверх, огонь!

Застрекотали автоматы, но толпа не двинулась с места.[71]

— Не бойтесь, стреляют холостыми! — раздался чей-то голос.

По толпе пробежал смешок. И тут солдаты произвели второй залп. Как утверждают военные следователи, без команды. Охнув, толпа качнулась и стала рассыпаться. Давя друг друга, люди заметались по площади, бросились на соседние улицы. И тут солдаты прекратили огонь. Площадь бугрилась телами лежащих людей. Убитых оказалось немного, стреляли не прицельно.

Кто стрелял по толпе, осталось невыясненным. Одни свидетели утверждают, что стреляли солдаты, которые «постепенно опускали автоматы вниз». Сами военнослужащие клянутся, что стреляли только в воздух. Другие «очевидцы» свидетельствуют, что стреляли с крыш какие-то штатские, в том числе и из пулеметов. В подтверждение своих слов приводят факты ранения на улицах, удаленных от площади Ленина. Стреляя с земли, туда попасть невозможно, а с крыши легче легкого. Однако виновных прокуроры не нашли. Кто отдавал приказ на открытие огня на поражение, и отдавал ли вообще, тоже осталось неизвестным. Документов того времени, связанных с кровопролитием на площади Ленина, следствие не обнаружило. Установили, однако, что Хрущев разрешения стрелять не давал. Вот что написано в документе: «Материалы следствия позволяют сделать вывод о том, что принятое на месте членами Президиума ЦК КПСС решение применить оружие с Хрущевым предварительно не согласовывалось. Вначале, как уже отмечалось, тот был противником крайних мер. Потом, по мере обострения обстановки, стал требовать наведения порядка любыми средствами, вплоть до применения оружия. Последнее, впрочем, с оговоркой: в случае захвата госучреждений». Мне, конечно, утешительно, что отец в кровопролитии непосредственно не замешан, но это слабое утешение. Пролилась кровь, и человек, стоящий во главе страны, ответственен за все независимо от того, какую позицию он занимал. Сам отец никогда не снимал с себя ответственности.

Так что же на самом деле произошло 2 августа 1962 года на площади Ленина в Новочеркасске? Раз нет документов, то и предполагать можно все, что угодно. Я позволю высказать мое собственное, основанное на логике и психологии, объяснение происшедшего. Я не допускаю, что офицеры могли отдать приказ об открытии огня на поражение без четкого, я считаю, письменного, так принято во всех армиях мира, предписания свыше. Люди они дисциплинированные, понимающие, что за пролитую в мирное время кровь придется отвечать. Следствие же установило: приказа применить оружие не отдавали: ни Москва, ни Микоян с Козловым, ни генерал Плиев. Версия о таинственных

«в штатском», стрелявших с крыш прилегающих к площади зданий, еще менее убедительна. Сотрудники КГБ — тоже офицеры, и они тоже без приказа стрелять не начнут. А приказ Семичастному могли дать Хрущев или его заместители, Козлов с Микояном. И копия такого приказа сохранилась бы. Никто из них, кроме Семичастного, до допроса в кабинете военного следователя не дожил. Имей хоть малейшее основание свалить все на покойников, особенно на отца, Семичастный бы это сделал. Он же промолчал, понимая, что подобные обвинения следователь потребует обосновать документально. Стрельба с крыш не укладывается ни в какую логику, кроме стремления военных переложить вину с себя на другое ведомство.

Итак, все факты и свидетели говорят одно: приказа стрелять не было. И агенты КГБ, наверное, на крышах не отсиживались. Нечего им там было делать. Скорее всего, они сновали в толпе, фотографировали, фиксировали имена участников беспорядков.

Дело, по-видимому, обстояло так: разгоряченная, уверенная, что патроны у солдат холостые, толпа все более агрессивно напирала на цепочку солдат. В них летели камни и палки. Возможно, самые «смелые» хватались за стволы автоматов, тянули на себя. Вот тут у кого-то нервы не выдержали и этот «кто-то» полоснул из автомата перед собой в никуда. Соседи по цепочке, взвинченные до крайности, услышав выстрелы, тоже нажали на спусковые крючки. Теперь уже начали стрелять все. К счастью, командиры, не растерялись, быстро навели порядок, иначе людей положили бы сотни, а то и тысячи, ведь стреляли в упор.

В 1962 году дело замяли, командование, как армейское, так и КГБ, на жестком расследовании, наверное, не настаивало. Дашь ход делу и в два счета сам окажешься виноватым. Верха тоже удовлетворились полученными разъяснениями. Вот и спустили все на тормозах.

Повторю, это всего лишь моя реконструкция событий.

Активная фаза новочеркасских волнений завершилась стрельбой на площади Ленина. Поняв, что власти не шутят, большинство митингующих разошлись по домам, однако часть молодежи продолжала до самого вечера толпиться у зданий горкома и милиции. Прошел слух, что Микоян все-таки выступит, толпа притихла, кое-кто полез на расставленные по площади танки. Им хотелось получше разглядеть «вождя». Никто не препятствовал. Танки стояли с задраенными люками, милиция взирала на происходившее с тротуаров из-под деревьев. На сей раз ожидания оправдались, на площади зазвучал голос Микояна. Почему выступал Микоян, а не Козлов? По старшинству говорить

с народом следовало ему. Наверное, потому, что в народе Микояна знали лучше Козлова, и толпа требовала Микояна. К тому же противостояние Микояна с Козловым достигло апогея, вот Козлов и предоставил ему возможность объясниться с народом и тем самым принять основную долю ответственности на себя.

Как рассказывал следователю один из участников событий И. В. Белин, инженер отдела технического контроля завода: «забравшись на танк, он Микояна не увидел, выступление передавали по радио. Репродукторы установили неудачно, и они заглушали друг друга. К тому же толпа, “аккомпанируя” речи Микояна, ругала военных и требовала снижения цен. Ничего не поняв из сказанного Микояном, Белин начал просить военных дозвониться до штаба, пусть повторят трансляцию, а еще лучше, если Микоян сам приедет сюда и все внятно объяснит народу». Микоян не приехал, а Белина за его инициативу потом допрашивали в прокуратуре, благодаря чему до нас и дошло его свидетельство.

Я думаю, Белин не прав, он не разобрал, что говорил Микоян не из-за плохих репродукторов и шума толпы, а попросту потому, неподготовленному, нетренированному человеку вообще трудно понять речь Микояна из-за его невнятной дикции и сильного армянского акцента; да еще если Анастас Иванович волновался…

На следующий день, 3 июня, в 15 часов по радио выступил Козлов. Его речь стала «переломным моментом в настроении людей», — отметил генерал Ивашутин в рапорте Хрущеву. Козлов успокоил горожан, власти не планируют массовых репрессий, беспорядки затеяли «хулиганы», с ними и будут разбираться, остальные могут спать спокойно. Не обошел он и главного, повышения цен, твердо заявил, что правительство своего решения не изменит. Собственно, этим выступлением Козлов подвел черту под беспорядками в Новочеркасске.

Всего по данным следствия во время Новочеркасских событий 1–2 июня 1962 года погибло двадцать пять человек. Свыше пятидесяти получили огнестрельные ранения. Более двадцати — ушибы и травмы. Девять из восьмидесяти шести пострадавших в столкновениях военнослужащих госпитализировали.

После новочеркасской трагедии работа над ценами единого уровня застопорилась. На приведение их в соответствие с реалиями экономики отец больше не «покушался». В магазинах за продукты продолжали платить столько, сколько было привычно для покупателя, а не столько, сколько они стоили на самом деле.

Кредит доверия

Могли ли власти обойтись в Новочеркасске без кровопролития?

Если бы не упустили момент в первый день, безусловно, да. Ведь удалось же в других районах относительно мирно разрядить обстановку. Если бы не дурак директор, не дурак и трус секретарь обкома, если бы в первый день они нашли нужные слова, толпа не разъярилась бы, не начала все крушить на своем пути, рабочие помитинговали бы и разошлись. Тем более, если бы им пообещали пересмотреть в их пользу столь по-глупому и не ко времени увеличенные нормы выработки. Если бы… Если бы. Ах, эти если бы… Все мы крепки задним умом.

На следующий день, когда неорганизованная толпа уверовала и отчасти убедилась в безнаказанности своих действий, в том, что власть оружия не применит, остановить ее уже могла только сила. Только она могла охладить горячие головы. С толпой, где нет главарей-организаторов, вести переговоры бессмысленно, просто не с кем, да никто бы из «своих» на стихию бы воздействовать и не мог, противостоять стихии практически невозможно.

Случаи, подобные новочеркасскому, в истории нередки. К примеру, в 1992 году в США в Лос-Анджелесе в ответ, на показанное по телевидению грубое обращение полиции с чернокожим водителем, толпа заполонила на улицы, почему-то обрушила свой гнев против ни в чем не замешанных лавочников-корейцев, разгромила и сожгла целые кварталы. Порядок навели только вовремя вошедшие в город и применившие силу национальные гвардейцы. Здесь ключевое слово — «вовремя». Запоздай они на пару дней, прояви нерешительность, и за порядок пришлось бы заплатить десятками, а то и сотнями жизней.

Так случилось в 1989 году в Китае на площади Тяньаньмынь. Пока власти несколько дней колебались, решали, что делать с захватившими площадь студентами, молодежью, требовавшими безграничной свободы во всем и немедленно, они потеряли контроль над ситуацией, а толпа лишилась страха и разума. Масла в огонь подлил и не ко времени появившийся в Пекине «непротивленец злу насилием» Горбачев. Митинговавшие считали, что в его присутствии власти силу не применят.

Правительство Китая оказалось перед драматическим выбором: или, бездействуя, поставить под удар будущее страны, ее единство, реформы, всё, или… Китайцы предпочли действовать в интересах большинства. Но время ушло, никакие увещевания на толпу, уверовавшую, что они «не посмеют», не действовали. На площадь пришли танки, пролилась кровь, погибли сотни людей.

Весь мир содрогнулся и зашелся в протесте. К общему хору присоединил свой голос и тогдашний советский лидер Михаил Горбачев.

Что же получилось на деле?

Китайцы, проявив государственное мышление и твердость, удержали страну, уберегли народ от подступавшего хаоса. Уберегли, по китайским меркам — малой кровью, сотни погибших охладили горячие головы, и тем самым сохранили жизнь тысячам, если не больше. Горбачев за «непротивление злу насилием» расплатился доверенной ему страной, спасовав перед сотнями протестующих, принес в жертву многие десятки тысяч погибших во всевозможных конфликтах, разгоревшихся из-за его неспособности действовать решительно, вовремя применить силу.

Конечно, у каждого свое понятие о гуманизме…

— Другого выхода у нас не было, — на заседании Президиума ЦК подвел итог событиям в Новочеркасске отец.

Другого выхода действительно не было, но пролитой крови отцу не простили. Конечно, каждый народ в каждый исторический период сам выбирает свою судьбу и сам ответственен за свою судьбу. Здоровая нация, здоровый человек предпочтет «кровопускание» гибели, больная же выберет ничегонеделание, пусть даже ведущее к гибели.

Новочеркасская трагедия крайне негативно сказалась на реформаторском будущем отца, продемонстрировала, что люди, народ потеряли веру и больше ни на какие жертвы даже ради самого светлого будущего не пойдут. Но дело не только в Новочеркасске.

Отказав в 1955 году адмиралам в сотне миллиардов рублей на строительство престижного и одновременно абсолютно бесполезного для страны (геополитически и стратегически) океанского надводного флота, а затем летчикам, уже не в одной сотне миллиардов рублей на столь же бесполезную и еще более обременительную для бюджета армаду стратегических бомбардировщиков, сократив вооруженные силы сначала на 600 000 человек, потом на 1 200 000, потом еще раз на 1 200 000, снизив донельзя военные расходы (только в мае 1962 года оборонный бюджет сверхплана «усох» на 2,4 миллиарда рублей) и предупредив, что это не предел, Хрущев лишил себя благорасположения еще недавно дружески настроенных к нему военных от маршалов до майоров.

Запретив горожанам содержать откармливаемую на магазинном хлебе скотину, а теперь еще и подняв цены на мясо и масло, отец потерял и их симпатии. Крестьяне не жаловали отца за постоянно висевшую над ними угрозу сокращения

приусадебных участков и «добровольного» обобществления их коров-кормилиц.

Без всеобщей поддержки производить серьезные изменения в стране не по силам никому. А отец эту поддержку ощущал все меньше. Благоприятный для реформирования период неотвратимо заканчивался.

Ежедневная круговерть

Сейчас трудно представить, какой насыщенной жизнью жил отец эти годы. Просматривая старые газеты, читая короткие официальные сообщения о встречах, переговорах, визитах, я вновь окунулся в почти совсем забытую политическую круговерть тех дней. Перечислю для примера только международные встречи, и только за первую половину 1962 года.

В конце января, по возвращении из Белоруссии, отец принимал экономическую делегацию Бирманского Союза; в феврале — представителя Бразилии Ассумпсао де Араужо, начальника штаба ВВС Индонезии генерала Умара Дани, министра торговли Гвинеи Н'Фамара Кейта; два дня провел в переговорах с немецким руководителем Вальтером Ульбрихтом. В марте у отца: министр обороны и просвещения Сирии Рашид Бармада, посол Японии Х. Ямада, представители компартии Дании; в апреле — секретарь ЦК ПОРП Зенон Клишко, румынский посол Н. Гуинэ, американский издатель Г. Коулс, председатель Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников Т. Такасаки, кубинцы Османи Сьенфуэнгос и Хоакина Ордоки; встречается он и с королевой Бельгии Елизаветой. В мае отец беседует с послом Кубы Фауре Чомона Медиавилья, министром земледелия и лесоводства Японии Итиро Коно, индонезийской правительственной делегацией, помощником президента США Пьером Сэлинджером, на него отец потратил целый день.

С 14 по 20 мая отец с официальным визитом в Болгарии. Зарубежные корреспонденты отмечают его усталый вид. В Болгарии отец приходит к выводу, что уберечь революционную Кубу от американского вторжения может только что-то экстраординарное, и это — установка на ее территории ракет с ядерными боеголовками, способными поразить цели на территории Соединенных Штатов. Но это отдельная история, и я вернусь к ней позже.

21 мая в Москву приезжает президент африканской республики Мали Модибо Кейта. Он считается прогрессивным политиком, и отцу хотелось склонить Кейта на нашу сторону. Они беседуют наедине, потом совещаются в составе делегаций, а

23 мая отец приглашает Кейта в Большой театр на одноактные балеты «Паганини» Сергея Рахманинова, «Шопениана» на музыку Шопена в обработке Александра Глазунова, «Ночной город» Белы Бартока. Не знаю, понравились ли африканскому гостю постановки, но отец наслаждался: он хорошо знал эти спектакли и видел их уже не в первый раз. 29 и 30 мая 1962 года отец продолжает переговоры с Модибо Кейта, выступает на приемах и митингах в его честь.

2 июня 1962 года отец выступает на митинге советско-кубинской молодежи в Кремле. Кубинцы очень нуждаются в советской поддержке.

С 5 по 15 июня 1962 года отец принимает Мамаду Диа, главу правительства Сенегала. Снова выступает, ведет переговоры, налаживает отношения.

В июне он принимает военную делегацию из Лаоса, председателя Госсовета ГДР Вальтера Ульбрихта, делегацию Национального собрания Чехословакии, вице-президента Дагомеи Суру-Миган Апити, первого секретаря ПОРП Владислава Гомулку, президента Чехословакии Антонина Новотного, председателя правительства Монголии Юмжагийна Цеденбала, министра внешней торговли Италии Л. Прети, посла Бразилии В. Т. Лейтао да Кумью, президента итальянского концерна «Фиат» В. Валлетту, президента Международного Олимпийского комитета Э. Брендеджа, делегацию Польского Сейма, руководителей компартии Италии.

18 — 25 июня 1962 года отец отправляется с государственным визитом в Румынию. Журналисты в своих репортажах снова подчеркивают: Хрущев бледен, лицо у него уставшее. Отец разъезжает по стране, выступает, выступает, выступает. Выступает на протокольных мероприятиях в Бухаресте и на непротокольных: на митинге на заводе «Красная Гривица», на митинге трудящихся промышленного комплекса Онешти — Борзешти, на митинге металлургов Хунедоары, перед горняками долины Жиу, на митинге в Бухаресте. Как тут не устать?

С 28 июня по 5 июля 1962 года отец занят с новым визитером, канцлером Австрийской республики А. Горбахом. Отношения с нейтральной Австрией для нас чрезвычайно важны.

5 июля 1962 года отец выступает перед выпускниками военных академий в Кремле. 10 июля 1962 года держит речь на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир. 16 июля 1962 года отец в Петрозаводске, в Карелии. 18 июля — в Мурманске, оттуда он переезжает в Североморск, главную базу Северного флота, присутствует на учениях с применением новейшего ракетного оружия, вручает золотую звезду Героя

Советского Союза капитану второго ранга Льву Михайловичу Жильцову, командиру атомной подводной лодки «Ленинский комсомол», только что вернувшейся из-подо льдов Северного полюса. Члены команды получают ордена и медали.

Из Мурманска, на крейсере «Адмирал Ушаков», отец отправляется в Архангельск, наблюдает по пути за «атаками» подводных лодок, охотой на них противолодочных кораблей и новыми ракетными стрельбами. В Архангельске он задерживается недолго, переезжает на завод подводных лодок в Северодвинск. Там академик Александров рассказывает о подводном флоте будущего, атомном подводном флоте. В Москву отец возвращается 24 июля.

Кроме всего вышеперечисленного, в июле отец встречается с делегацией Скупщины (парламента) Югославии, с министром вооруженных сил Кубы Раулем Кастро, главой югославской экономической делегации М. Тодоровичем, американским каноником Л. Джоном Коллинзом, с американскими журналистами, послом Италии К. Странео, послом США Лоуллином Томпсоном, приглашает его провести воскресенье у себя на даче, вторично беседует с руководителем Монголии Цеденбалом, принимает посла Марокко Башир Бен Аббеса и посла Сирии Рафика Аша.

Вы не устали от перечисления? Я устал. Отец же не просто встречался с иностранными посетителями для бессодержательной протокольной беседы, он занимался делом, а значит, каждая встреча стоила ему изрядных сил. И так по нарастающей изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год как заведенный. По мере улучшения отношений с окружающим миром, укрепления наших позиций, очередь желавших поговорить с Хрущевым неуклонно увеличивалась. И я перечислил только официальные встречи с иностранцами, упомянутые в газетах. Основная же нагрузка падала на своих: встречи с министрами, председателями совнархозов, учеными, конструкторами, писателями. Чтение и внимательное рассмотрение бесконечных проектов постановлений, записок, писем и иных важных государственных бумаг.

Счет из Ашхабада

26 сентября отец отправился в Среднюю Азию, решил, как он сказал мне, познакомиться поподробнее. Там, по его представлению, он по существу не бывал, ездил по случаю в Ташкент, Алма-Ату, Голодную степь и еще кое-какие места и местечки. За менее чем десяток лет он успел объехать в Средней

Азии столько, сколько за всю историю не удосужился до него ни один советский, я уже не говорю царский сановник. Но отцу этого казалось недостаточным, он считал, что еще не вник в местную специфику, не разобрался во всех деталях. Такой уж у него был характер.

Начал отец с Туркмении. 26 сентября вечером он прилетел в столицу республики Ашхабад. На следующий день провел совещание в местном ЦК и затем отправился в глубинку. 28 сентября он в Мары. Посещает совхозы на поливных землях, орошаемые водами Кара-Кумского канала. Его строительство начали еще перед войной, потом надолго заморозили и вот только недавно закончили третью очередь. «Аму-Дарья потечет в Каспий», — с восторгом сообщали газеты. И никто почему-то не задумался, что если она потечет в Каспий, то перестанет течь в Арал. Журналистам такое невежество простительно, а вот ученым и Госплану — нет. Тем более все так просто: что в одном месте прибудет, то в другом месте убавится. Эта нехитрая истина справедлива везде: и в экономике, и в водопользовании.

К сожалению, даже большие ученые в то время не сомневались в «неисчерпаемости» природы. Предупреждений редких инакомыслящих экологов не слышали, не слушали и слушать не желали, никто, в том числе и отец. Он видел, что вода оросила до того бесплодную землю, гордился, что на ней теперь растет хлопок, закладывают сады и виноградники, а откуда эта вода берется, сколько ее и надолго ли хватит, в голову как-то не приходило. Ни Лаврентьев, ни Капица, ни другие его ученые друзья и корреспонденты ему об этом не подсказали. И задумывались ли о том они сами?

29 сентября отец в промышленном Небит-Даге, осматривает нефтяные вышки и химические предприятия. 1 октября он в Ашхабаде делится своими впечатлениями с местным активом, по свежим следам диктует записку в Президиум ЦК.

В Ашхабаде произошла трагикомическая история. Недавнее, 1961 года, Постановление ЦК строго запрещало местным руководителям подносить начальству и друг другу ценные подарки, устраивать за государственный счет банкеты. Нарушителям грозили всяческими карами, вплоть до исключения!.. Однако восточное гостеприимство немыслимо без подношений и пышных застолий.

Каждый выкручивался, как мог. Казахи и узбеки, с ними отец общался чаще других, переломили себя, приспосабливались к новым веяниям, и всякий раз дарили отцу традиционный халат. Их у него скопилось множество. И еще сухофрукты: кишмиш с курагой и жареные в золе орешки. А больше — ни-ни.

Однажды в Ташкенте чабаны подарили отцу барашка, вручили прямо в президиуме совещания. Отец попозировал фотографам с барашком на руках, сейчас эти кадры кинохроники очень популярны, а после заседания вернул его чабанам со словами: «Пусть он у вас пасется, тут ему привольнее, но помните, это мой барашек».

В Ашхабаде местные руководители впервые на своей земле столкнулись с отцом, и хотя они, конечно, читали постановление о подарках, через обычаи перешагнуть не смогли, преподнесли ему ахалтекинского жеребца и ковер местной работы с портретом Н. С. Хрущева. Отец за подарки поблагодарил и попросил оформить их в соответствии с законом: жеребца отправить на подмосковный конный завод, а ковер передать в какой-нибудь музей (он сейчас хранится в Историческом музее в Москве).

Туркмены не очень поняли, что означает «предусмотренное законом оформление»? Каким законом? Никакого такого закона тогда не существовало, как не существует и по сей день. Решили не рисковать, скакуна отправили на конный завод, благо адрес его известен, а ковер — в ЦК, пусть они сами с музеем разбираются. Счет за подарки оформили и тоже послали в Москву. Они не сомневались, до отца он не дойдет, его формально оплатит бухгалтерия ЦК, а потому приплюсовали туда и некоторые другие свои траты.

В начале января 1963 года заведующий Общим отделом Владимир Никифорович Малин положил на стол отцу полученный из Ашхабада счет. Как с ним поступить, он не знал. В бюджете ЦК соответствующих статей расходов не предусмотрено. Отец рассердился. 9 января 1963 года, на ближайшем заседании Президиума ЦК он рассказал о полученном из Туркмении послании. «Они (туркмены. — *С. Х.*) пишут в счете, что подарили мне тужурку, и тут же цену указывают. Я тужурку в глаза не видел, — с возмущением говорил отец. — Затем в счете стоит ковер с портретом Хрущева и его цена, конь и расходы на его транспортировку. Расходы на питание тоже указаны отдельной строкой, и в таких количествах, что за год не съешь и еще на сотню рублей медикаментов! Я же там и не думал болеть и никаких таблеток не принимал.

Обед с парламентской делегацией Индии тоже включили в мой счет, хотя я с индусами не обедал. Они их без меня угощали.

Все подписано Балыш Овезовым (секретарем ЦК Туркмении. — *С. Х.*), оформлено чин по чину. Такая скрупулезность мне нравится, но если вас на обед пригласят, везите еду с собой, дешевле обойдется. А то и вам потом, как мне, придется отрабатывать за несъеденное и невыпитое. Я теперь,

куда приеду, предупрежу, что обедаю один и за отдельный счет».

Тут отец вспомнил, как представитель Ставки на Сталинградском фронте генерал Василевский жаловался ему в 1943 году, что местное интендантство списало на его счет несколько ящиков водки и коньяка, а он и не пьет вовсе. «А уже после войны Михаил Сергеевич Гречуха, глава украинского Верховного Совета, после поездки в Черновцы обнаружил в своей бухгалтерии счет за “выпитые им” три бочки пива, — продолжал отец. — Вот только он страдал язвой желудка, и не то что пива, но воду мог пить не всякую».

Шутки шутками, но отец испытывал удовлетворение, после выхода постановления даже в Средней Азии руководители остерегаются раздавать подарки за ничей, то есть за государственный счет.

1 октября 1962 года отец летит из Ашхабада в Душанбе, столицу Таджикистана, встречается там с химиками и энергетиками. Последние рассказывают ему о перспективах Пянджского каскада гидроэлектростанций. Зажатая в горной долине река Пяндж — идеальна для этих целей. Гидроэлектростанции не только дадут дешевую энергию, позволят организовать поблизости производство алюминия, развить химию, но их плотины накопят запасы воды для орошения всего Средне-Азиатского региона. Отец их поддерживает, отправляет соответствующую записку в Президиум ЦК.

В полдень 3 октября отец уже в Узбекистане, в Ташкенте, проводит вторую половину дня в Институте хлопководства. На следующее утро он осматривает оросительные системы в Голодной степи. Выращиваемый на вновь освоенных землях хлопок, столь необходимый текстильной и пороховой промышленности, позволит наконец отказаться от его импорта из Египта.

5 октября отец возвращается в Ташкент, днем выступает на совещании руководящих работников Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и Армении, а вечером диктует записку в Президиум ЦК о будущем «освоении природных богатств республик Средней Азии».

6 октября он переезжает в город Алмалык, нарождающийся в Средней Азии центр цветной металлургии, оттуда назад в Ташкент на выставку сельхозтехники, производимой на местных заводах и для местных нужд.

После посещения выставки отец едет на авиазавод, который в начале войны был эвакуирован сюда из Воронежа. Теперь тут производили не только сельскохозяйственные бипланы Ан-2, но и

антоновские военные транспортники.

Эта гонка со временем, бесконечные переезды, встречи, беседы, каждая из которых требовала от него принятия решения, если не сейчас, так в недалеком будущем, вконец изматывали отца. На все это накладывались бесконечные звонки из Москвы, там тоже шага не хотели ступить без его одобрения.

10 октября 1962 года, переполненный впечатлениями, отец возвращается в Москву, Средняя Азия не идет у него из головы. Он диктует записку за запиской: 15, 16 и 17 октября. Вообще, 1962 год урожайный на записки, отец направил в Президиум ЦК девять развернутых многостраничных посланий. В них он говорил о вещах принципиальных и о мелочах, замеченных во время объезда «владений своих». Позволю себе использовать этот не совсем политически корректный образ.

В записках он пишет о необходимости разворачивания нефтедобычи в море (тогда о буровых платформах только начинали говорить), о преимуществах электрического бура перед турбобуром, снова о птицефабриках, о новой машине для уборки фасоли, он недавно вычитал о ней в американском журнале, о доильных установках «карусель» взамен «елочки» и многих других «мелочах», в каждом конкретном случае очень важных «мелочах».

Беспокоят отца и вновь созданные сельхозуправления, как бы они не скатились на «райкомовские» рельсы понукания: «Следует умерить пыл администраторов, работающих в производственных управлениях, в обкомах и облисполкомах, не допускать, чтобы специалистами командовали. Надо с уважением относиться и поддерживать то, что открыто наукой и апробировано практикой. Необходимо при решении практических задач проявлять терпение, не допускать административного зуда. Надо прежде самим учиться, а не подменять научные учреждения и поучать других. Если мы будем поучать, командовать агротехникой с Луны, тогда нам не нужны ученые, достаточно администраторов. Но такой, с позволения сказать, “метод” руководства высмеян еще до нашего рождения знаменитым русским писателем Салтыковым-Щедриным».

И тут же отец возвращается к «проблеме» чистых паров, его недавнюю поддержку позиции Наливайко в споре с Бараевым особо ретивые начальники восприняли как руководство к действию и начали их искоренение. Отец начальников одергивает, рекомендует не изводить чистые пары, где они полезны — пусть останутся, а чтобы начальников не занесло в противоположном направлении, добавляет: «но этого не следует узаконивать». Другими словами, в каждом хозяйстве надо решать

проблему в зависимости от местных условий.

В другом месте отец предлагает не возить молоко в города, а перерабатывать его в колхозах. По тем временам — идеологическая крамола. Экономисты-традиционалисты не считали правильным укреплять «отживающую свой век» кооперативную форму собственности крестьянина-колхозника, так как будущее за собственностью общенародной, государственной. Но отца в первую очередь интересовала не идеология, а эффективность.

Отец предлагает поменять стратегию снабжения овощами больших городов. Поставлять, не как сейчас, из пригородных хозяйств, они не везде хорошо растут, а везти оттуда, где собирают высокие урожаи. Сейчас у нас появляются такие возможности, есть транспорт, начинают производить холодильники на колесах.

В одной из записок отец предлагает наладить выпуск счетных машин для совхозов и колхозов. Они им потребуются, чтобы сводить баланс и главное, считать прибыль. «Прибыль» — слово еще несколько лет тому назад о почти неприличное, мелькает все чаще.

Делится он и своим личным печальным опытом применения модных, только входящих в практику, еще не очень освоенных гербицидов. Их тогда считали панацеей от всех бед. Отец в то лето увлекся горохом, по мнению ученых, дающим, после кукурузы, лучший силос. Засеял им лужок на даче в Горках-9. На беду горох зарос сорняками. Отец решил побороть их новомодным симазином. И поборол… вместе с горохом. На поле не осталось ни сорняков, ни посевов. Одни пожухлые желтые стебли. В расстройстве отец позвонил своему помощнику Шевченко. Приехав на дачу, Андрей Степанович посочувствовал отцу и объяснил, что все правильно. Симазин создан американцами для защиты кукурузы и других злаков, и только их, остальные растения, в том числе и горох, для него «сорняки», их гербицид уничтожает без остатка. Ожегшись на симазине, отец предупреждал всех остальных: «Проявите осторожность, первым делом прочитайте инструкцию».

Тут же он задается вопросом: «Что же дало повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, насколько выросли доходы и как используются эти средства?»

И уж совсем неожиданное: «Партийным и советским работникам надо проявлять сдержанность, не декларировать, не давать указаний, по какому рецепту лечить ту или иную болезнь, как это делают некоторые писатели, вступившие в спор с учеными-медиками, с медицинской наукой, — предостерегает

отец. — Кроме вреда это ничего не принесет. «Речь идет о дискуссии в Литературной газете “О лечении рака”». Писатели выступили в поддержку знахарей, обещавших сотворить чудо. Традиционная медицина возмутилась, завязалась полемика медиков с литераторами.

Но главное, что занимало отца в тот год, — как дальше реформировать экономику. Иначе народное хозяйство с мертвой точки не сдвинуть.

В отпуске с Захир Шахом

В конце июля отец берет меня с собой и отправляется на машине в отпуск, в Крым. Первая остановка в Туле, затем в Орле. Там он съезжает с шоссе, осматривает посевы на полях и следует в Курск. Здесь отца интересует город Железногорск, где только что заработал железорудный разрез, началась эксплуатация Курской магнитной аномалии. Затем еще одна остановка в его родной Калиновке. Из Калиновки путь лежит в Кременчуг, там уже собрались энергетики и украинское начальство на открытие Кременчугской ГЭС.

В Кременчуге отец пересел на пароход и в сопровождении украинских руководителей спускается по Днепру вниз в Днепропетровск. Там он совещается с металлургами, заезжает на ракетный завод к Михаилу Кузьмичу Янгелю, осматривает его межконтинентальную ракету Р-16. В Днепропетровске отца дожидается открытый ЗИЛ. Весь следующий день, 31 июля, он проводит на полях Херсонской области, затем на стройке Северо-Крымского канала.

Только 1 августа мы наконец добираемся до крымской государственной резиденции на берегу Черного моря в Ливадии.

В Крыму отцу предстояло провести часть отпуска вместе с королем Афганистана Мухамедом Захир Шахом. Отец его давно «обхаживал». И не просто так. Нейтрально-дружественный Афганистан сулил Советскому Союзу немалую экономию: не придется тратиться на укрепление среднеазиатских границ, на строительство авиационных и ракетных баз, на содержание дислоцированных в тех местах войск. Эти средства можно использовать с большей пользой там же, в Средней Азии, на ирригацию, хлопок и рис. Монархия или не монархия в Афганистане, и что за монархия — отца особенно не беспокоило.

В 1955 году, когда они с Булганиным впервые посетили Кабул, отец приглашал короля приехать отдохнуть в Союз, нахваливал крымские пляжи, а особенно охоту в Крымских горах (король слыл заядлым охотником). Захир Шах слушал отца,

улыбался, но лето проводил на своей вилле в Италии. К Советскому Союзу он относился настороженно, экономическую помощь принимал неохотно, даже на предложение построить бесплатно в Кабуле хлебозавод ответил отказом.

После повторного визита отца зимой 1960 года король чуть оттаял, принял в дар хлебозавод, а вот теперь согласился приехать в Крым поохотиться. Да не один, а с наследником, принцем Мирваиз Шахом.

6 августа отец встречал короля на пороге своей резиденции. Все четыре дня, отведенные на «охоту», они почти не расставались. Отец ублажал короля, как мог, ездил с ним в горы над Ялтой, правда, там стреляли не столько по оленям, сколько на стенде по тарелочкам, но настроение от этого не ухудшалось. Отец возил короля осматривать достопримечательности Крымского побережья, затем они катались на катерах, но основное время проводили сидя на пляже под тентом, беседовали.

Пока главы беседовали, мы, молодежь, развлекались на свой лад. Я тогда увлекся водными лыжами. Каждый приход катера к даче, мне вызывать его не полагалось, использовал, чтобы прокатиться хоть разок. По случаю визита короля катер торчал у соседнего пирса целый день, и я уговорил принца встать на лыжи. Кататься он не умел, но с разрешения короля — он же наследник, согласился попробовать. Мы с Мирваизом часа полтора барахтались в воде, принц то не мог вырваться из воды, то вставал на лыжи, но через минуту падал. Обычная история, знакомая каждому новичку, осваивавшему воднолыжное развлечение.

Король на берегу тем временем отвечал отцу невпопад, напрягаясь, внимательно следил в бинокль за нашими кувырканиями в море. Наконец он не выдержал, дипломатично пояснил отцу, что ему хочется вблизи посмотреть, как его сыну удается обуздать водные лыжи, и они направились ко второму катеру, пришвартованному у пирса. Во время поездок отца с королем вдоль побережья его использовала охрана. Наконец Мирваизу удалось продержаться целый круг, и король знаками показал: «Хватит». Принц попытался протестовать, лыжи ему понравились, но воля монарха — закон. Отец с Захир Шахом вернулись к своим шезлонгам, снова стали что-то обсуждать.

10 августа король уехал «догуливать отпуск» в Италии.

11 августа на орбиту запустили космонавта Андриана Николаева, а на следующий день Павла Поповича. Отец разговаривал с ними по космическому радиотелефону, а 18 числа улетел в Москву на встречу: сначала объятия во Внуково, затем

митинг на Красной площади, тосты на приеме в Кремле. 22 августа он, по возвращении в Ливадию, принимает делегацию бизнесменов из Японии. Утром 28 августа к отцу приезжает Вальтер Ульбрихт поторговаться о цене на советские рыболовецкие суда, строящиеся на верфях Восточной Германии. Советский Союз заказал однотипные суда в Восточной и Западной Германии, и цену на них согласовал одинаковую. Оказалось, однако, что себестоимость производства на Востоке выше, чем на Западе, вот друг Вальтер и пытался уговорить отца, в порядке социалистической солидарности, накинуть им цену. Отец не согласился, напомнил Вальтеру, что тот настаивал на возведении стены в Берлине, чтобы остановить отток квалифицированных рабочих и инженеров и тогда. Теперь же он как бы расписывается в собственном банкротстве, признаёт, что в соревновании с Западом они проигрывают. Стоило ли тогда весь огород городить? Переплачивать восточным немцам ради солидарности отец отказался, на прощание они с Вальтером дружески обнялись, но улыбка у Ульбрихта получилась кислее кислой.

Вечером того же дня отец принимает Генерального секретаря ООН У Тана.

30 августа 1962 года к отцу в Ливадию приезжают кубинцы Эрнесто Че Гевара и Эмилио Наварро, они утрясают последние детали установки советских ракет на Кубе.

Распрощавшись с гостями, отец и сам засобирался из Крыма в Абхазию, в резиденцию на мысе Пицунда. Поехал он на машине, по пути останавливался на полях, расспрашивал крестьян об урожае, уборка уже шла вовсю. Из Керчи отец перебрался паромом на Таманский полуостров. Проехаль по полям Кубани, естественно, с остановками, и 4 сентября прибыл в Пицунду.

7 сентября отец принимает американского поэта Роберта Фроста, они проводят вместе почти целый день, гуляют, беседуют, купаются в уже прохладном море, обедают. 11 сентября у отца гостит посол ФРГ Кролль, а 12 сентября — министр из Саудовской Аравии Ахмед Шукейри. «Отпуск» заканчивается, отец улетает в Москву, где 17 сентября намечена встреча с вице-канцлером Австрии Бруно Питтерманом.

Либерман, Хрущев, Засядько

10 сентября 1962 года отец отправляет в Президиум ЦК записку «О перестройке партийного руководства промышленностью и сельским хозяйством». В ней он снова пишет о необходимости «профессионализма» в управлении экономикой, обсуждает проявившиеся с марта нынешнего года плюсы и минусы производственных сельскохозяйственных управлений, впервые упоминает о целесообразности ввести специализацию на уровне обкомов. Тем самым он подводит предварительный итог развернувшейся с начала года дискуссии о том, как дальше жить, как работать.

К тому времени в стране образовались как бы две продвигающиеся навстречу друг к другу группы реформаторов. Сверху отец настойчиво пытался перекроить власть по лекалам эффективной экономики, но он еще не представлял себе отчетливо, как это реализовать на деле. Снизу подпирали нетрадиционные молодые экономисты, рассуждавшие о норме прибыли, ценах единого уровня и других не очень марксистских премудростях. Чтобы новые идеи обрели силу, им требовалась поддержка сверху. Отец же нуждался в подпитке свежими идеями, я бы сказал, в подсказке. Местом, где верха пересеклись с низами, стал Государственный научно-экономический совет при Совете Министров СССР. Я уже кратко писал о нем, теперь пришла пора поговорить подробнее. Отец с самого начала вхождения во власть пытался создать на базе совета некую структуру, обеспечивающую поступление свежих, плодотворных идей наверх, но без особого успеха. По-настоящему Госэкономсовет заработал только после того, как весной 1960 года отец предложил Засядько стать его председателем.

Я уже упоминал на страницах этой книги об Александре Федоровиче Засядько — положительном герое в истории нашей страны, сделавшем немало, но способном на большее, фигуре, по большому счету, трагической. Засядько, наверное, единственный искренний единомышленник отца в высшем руководстве страны, так же, как и он, считавший, что экономика страны нуждается в серьезных «усовершенствованиях». Рискуя повториться, напомню: Засядько познакомился с Хрущевым до войны, но близко они пересеклись в 1947 году, когда Засядько, в ранге союзного министра, дневал и ночевал в Донбассе, восстанавливая взорванные немцами и залитые водой шахты.

И в сталинские времена Засядько отличался несмотря ни на что независимостью суждений, и этим он импонировал отцу.

При Засядько Госэкономсовет обрел свое лицо, стал претендовать на роль ведущего в выработке стратегии научно-технического развития страны. Что, естественно, сразу вызвало ревность Госплана. С тех пор председатель Госплана Владимир Новиков и Засядько не переносили друг друга на дух, скрытая и открытая борьба двух ведомств не стихала ни на минуту.

Совершенно неудивительно, что отец привлек Засядько и его совет к поиску ответа на вопрос, как сделать советскую экономику более эффективной. Засядько собрал у себя в начале 1962 года совещание, как шутили его участники «ста ведущих экономистов», и призвал их помочь Госэкономсовету «в совершенствовании планирования и ценообразования», — вспоминает один из этой сотни, завотделом экономики Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) и мой добрый знакомый Виктор Данилович Белкин.

Познакомились мы в июле 1968 года, когда меня, в наказание за помощь отцу в работе над воспоминаниями и в качестве предупреждения ему, по приказу Брежнева с Андроповым убрали из ОКБ Челомея, занимавшегося ракетами, и пересадили в ИНЭУМ, где разрабатывали компьютерную информационную систему для КГБ. Считалось, что таким образом я окажусь под должным присмотром.

Основатель института, ученый-энциклопедист Исаак Семенович Брук интересовался всем и сумел «наследить» в самых различных областях знаний: в энергетике, в компьютерах и даже в экономике, вернее, в приложении математики к решению ее проблем. Экономиста-ценовика Белкина в ИНЭУМ в конце 1950-х пригласил тоже Брук.

Мы с Белкиным несколько лет просидели бок о бок в «витрине» магазина «Рыба», что на Ленинском проспекте, дом 18. Оттуда, с оттяпанного у магазина «аквариума», и начался ИНЭУМ Брука. Там он спаял свою первую и вторую в Союзе, после МСМ академика Лебедева, электронную вычислительную машину. Там Белкин на этой ЭВМ, компьютером ее тогда еще не называли, начал экспериментировать с увязкой межотраслевых балансов по американской методике Нобелевского лауреата Василия Леонтьева. По результатам этих расчетов Брук с Белкиным направили наверх «революционное» предложение: верстать планы, отталкиваясь не от ресурсов и возможностей производителей, а исходя из запросов потребителей. По нынешним временам вещь тривиальная, а по тем — крамольная. Запиской Брука — Белкина заинтересовались в Госэкономсовете. Так экономический диссидент Белкин попал в реформаторскую сотню Засядько.

Меня перевели в ИНЭУМ в пору увядания, Брука из директоров уже «ушли», экономика никого ни в институте, ни выше всерьез не интересовала. Белкин сидел на чемоданах и вскоре перешел в академический Институт экономики.

В начале же 1962 года все горели энтузиазмом, дым стоял коромыслом, каждый предлагал свой проект усовершенствования социализма. Предложения, порой весьма спорные, ложились на стол Засядько, а он время от времени пересказывал их отцу. Экономическая мысль тех лет вращалась вокруг магического единого параметра оценки эффективности работы предприятий и отраслей, параметра, с помощью которого, как волшебной палочкой, станет возможным управлять экономикой. Один параметр, а не сто и не тысяча, как сейчас, позволит расчистить госплановские завалы и наслоения, сделает экономику прозрачной. Требовалось определить этот единственно правильный параметр: самоокупаемость, прибыль, себестоимость, качество продукции? Вокруг этого и кипели «страсти».

Отец внимательно, но пока несколько отстраненно следил за дебатами. Он и верил, и не верил, но очень хотел поверить в магию единого показателя, сам постоянно придумывал что-то подобное, вроде оценки работы колхозов и совхозов продукцией в пересчете на сто гектаров пашни. Но единого показателя у него пока так и не получилось. Пашня-то, она везде разная. Отец понадеялся, что засядьковские молодцы-экономисты, они, в отличие от него, люди ученые, отыщут этот «могучий» параметр-рычаг, с помощью которого он перевернет мир.

Первым выкрикнул: «Эврика!» не москвич, а харьковский профессор-экономист Евсей Григорьевич Либерман. Правда, тоже не новичок в московских кругах.

Биографию Либермана я знаю слабо. В Академию его, несмотря на славу, не избрали, а следовательно, в академические и иные справочники он не включен. Если верить писателю Василию Катаняну, Евсей Григорьевич был женат на Сильве Горовиц, сестре знаменитого американского пианиста. Горовиц, бывший советский гражданин, остался за границей во время гастролей в 1925 году, а сестра его, они гастролировали вместе, за братом не последовала, вернулась к мужу Либерману и дочери в Харьков. После смерти Сталина Горовиц приезжал в Москву, концертировал, встречался и с Либерманами, но это совсем другая история.

В 1950-х кандидат экономических наук Либерман публиковался в «Коммунисте», главном научном журнале ЦК КПСС, в одной из статей написал о порочности планирования от достигнутого.

Сейчас мало кто помнит, из-за чего тогда ломались копья. Я уже писал об этом, но напомню, о чем шла речь. «Планирование от достигнутого» означало, что задание на следующий год устанавливалось на пару процентов больше предыдущего. В результате директор не только не становился заинтересованным в усовершенствованиях производства, дававших серьезную прибавку в выпуске продукции, но делал все для сокрытия своих возможностей. Ведь что получалось: перевыполнишь план в этом году, скажем, на тридцать процентов, тебе на следующий год «от достигнутого» запишут тридцать плюс привычные два. А ты уже все свои ресурсы исчерпал. Другое дело, если иметь «заначку», всех своих возможностей не показывать, год от года добавлять по паре-тройке процентов от достигнутого. «Умный» директор, растягивая свой тридцатипроцентный резерв на пятилетку, а то и более, обеспечивал годовыми премиями и коллектив, и себя, а если повезет, еще и ордена получал. Вот только государству и потребителю от такого планирования одни убытки.

Либерман предложил ввести «нормативы длительного действия», то есть заранее обговоренные и неизменные на несколько лет условия взаимоотношений заказчика и производителя. По тем временам мысль неординарная, в «Коммунисте» статью напечатали только по протекции главного редактора-либерала экономиста Алексея Матвеевича Румянцева, тоже харьковчанина, в 1949–1950 годах заведовавшего кафедрой в Харьковском политехническом институте, где теперь преподавал Либерман.

В 1956 году статья Либермана прошла незамеченной, в том числе и Хрущевым. И это несмотря на то, что «Коммунист» отец прочитывал внимательно.

Узнав о дебатах в Экономсовете, Либерман написал новую статью. И послал ее в «Известия» Аджубею, что по его разумению означало — Хрущеву. Либерман предложил оценивать работу коллектива, а следовательно, и исчислять получаемую премию по рентабельности и прибыли, поделенных на стоимость основных фондов. Другими словами, в числителе показатель того, что наработано и заработано, в знаменателе стоимость оборудования, зданий и всего прочего. Чем эффективнее используются эти основные фонды, тем больше числитель при неизменном знаменателе, а значит, тем выше заработная плата и все остальные блага. В формуле Либермана начисто отсутствовал «вал», один из краеугольных камней, от которого отталкивался Госплан в своих расчетах. Поясню, что же такое «вал». Планы предприятий и отчеты об их выполнении в те годы оценивались в зависимости от «валового выпуска продукции», включавшего в

себя то, все, что произвели они сами сейчас, и все, что получили от поставщиков: агрегаты, детали, материалы. В свое время об их изготовлении уже отчитались те, кто их произвел. Таким образом «вал» автоматически учитывал в отчетах, дважды, трижды, четырежды, давно сделанное и давно оплаченное. Планы надувались до небес, выполнялись и перевыполнялись, а сколько на самом деле произведено, оставалось только гадать. Все об этом знали, все с «валом» боролись, но планировать по-другому не умели.

Магическая либермановская формула: прибыль, деленная на основные фонды, исключала не только вал, но и планирование от достигнутого. Такое планирование становилось невыгодным, в новых условиях премии исчислялись не по выполнению плана, а в зависимости от прибыли, чем больше, тем лучше. Предприятия теряли интерес к занижению планов, и отпадала необходимость навязывать их сверху, они сами спланируют себе все по максимуму, разумному максимуму.

Статья Либермана легла на стол Аджубею в числе других потенциально интересных материалов с мест и показалась ему очень подходящей моменту, к тому же Алексей Иванович любил «жареные» публикации, позволявшие «вставить перо» своим более осторожным, идеологически выдержанным собратьям-газетчикам, в первую очередь «Правде». «Жарил» их Аджубей тоже не вслепую, а только как бы мимоходом, посоветовавшись дома с тестем. Вот и на этот раз он отложил Либермана до воскресенья, чтобы предварительно прочитать его статью вслух на даче.

Отца заинтересовала простота предложений Либермана. Как раньше никто до такого не додумался? Простота одновременно настораживала: не таится ли в ней не распознанный им подвох? Отец не поспешил поднимать Либермана на щит, решил организовать дискуссию в прессе. Пусть экономисты поспорят, а он их статьи внимательно почитает. Чтобы «академики» не заклевали Либермана, опубликовать его статью (в порядке обсуждения), по его мнению, следовало не в «Известиях», а в самой главной газете, в «Правде». Там, в отличие от «Известий», острым материалом не увлекались и с бухты-барахты ничего не печатали. Испокон века приглашение к дискуссии в «Правде» означало, что верха ее темой заинтересованы и по ее результатам собираются принять решение.

Отец поблагодарил Аджубея, сказал, что он и сам не представляет, какое доброе дело сделал, и… попросил переслать статью Либермана Сатюкову. Отец ему сам позвонит. Алексей Иванович расстроился донельзя, получилось — он «вставил перо» сам себе. Поражений он не переносил, а уступка «забойной»

статьи главному конкуренту — это не просто поражение, а унижение. Даже спустя десятилетия Либерман для Алексея Ивановича оставался как кость в горле. В первом издании воспоминаний он о нем пишет без подробностей, как бы мимоходом, а из переизданной и вышедшей под названием «Крушение иллюзий» книги (М., Интербук, 1991) пассаж о Либермане Аджубей вообще исключил.

Статью Либермана «Правда» опубликовала 9 сентября 1962 года. 9 сентября — дата не случайная, 10 сентября отец разослал записку о новом этапе реформы управления экономикой. Редакция предварила статью Либермана многозначительной, для тех, кто понимал язык бюрократии, ремаркой, что в ней «подняты принципиальные и важные вопросы», то есть, что ее прочитали наверху, и пригласили всех желающих высказаться. В газету посыпались отклики, но писали в основном практики с мест, работники совнархозов, преподаватели университетов и институтов, научные сотрудники, экономисты заводов и сельхозуправлений. Они спорили, какими правами наделять директоров предприятий. Какой из критериев эффективности работы принять за основной: прибыль, себестоимость, качество или еще что? Большинство высказывалось за прибыль.

А вот из весомых ученых Либермана поддержал только экономист-аграрий, академик Василий Сергеевич Немчинов, председатель Научного совета при АН СССР по комплексной проблеме «Научные основы планирования и организации общественного производства», зачинатель в нашей стране применения математики в экономике. Отец его хорошо знал и уважал. Другие крупные экономисты хранили неблагожелательное молчание. Разделать Либермана «под орех» они не решались, прекрасно знали, с чьей подачи «Правда» открыла необычную дискуссию. Поддержать его, поставить во главу угла прибыль вместо вала означало перечеркнуть все написанное ими самими в предыдущие десятилетия.

Собственно, этим роль Либермана и исчерпалась. Он, как говорится, в нужное время оказался в нужном месте. Его письмо вовремя попалось на глаза отцу, запустило давно зревшую в его мыслях дискуссию, и дальше события развивались без Либермана. Но главное — начать. Либерман по праву считается родоначальником второго этапа хрущевского реформирования экономики.

Дискуссия в «Правде» завершилась 19 октября. Ее итог подвел обозреватель, никому дотоле неизвестный инженер В. Черняховский. Он от имени редакции высказался в пользу Либермана и его последователей.

Другие газеты: «Известия», «Советская Россия», «Экономическая газета» и даже «Литературка» продолжали спорить. Аджубей не мог себе простить, что «упустил» Либермана. Дернула же его «нелегкая» бежать советоваться с тестем. Направь он письмо Либермана «в номер» своей властью — и «Известия», а не «Правда» хороводили бы обсуждением привлекшей такое внимание темы. Алексей Иванович пытался найти замену Либерману — экономиста, который бы смог поднять в его газете не менее актуальную тему. В результате в «Известиях» начал публиковаться молодой и пока неизвестный экономист Игорь Бирман, как и Белкин, работавший у Брука в ИНЭУМ. Его первая статья о математике в экономике вызвала широкий отклик, но на «Либермана» Бирман явно не потянул. «Своего Либермана» Аджубей так и не нашел, вместо этого 29 октября 1962 года в «Известиях» в статье «Цена и прибыль» Бирман, в соавторстве с Белкиным, предложили усовершенствовать Либермана, ограничив отчисления (взимание налога) с каждого рубля основных фондов (зданий, оборудования), а оставшиеся средства оставлять в распоряжении директора.

«Цены должны отражать не только сиюминутные затраты, но и капитальные вложения, — развивали свою мысль авторы, — тогда сразу станет видна целесообразность замены металла пластмассой, целесообразность развития химии и сдерживания металлургии. В современных же ценах, где капитальные затраты не учитываются, создается абсурдная иллюзия, что металл, металлургия выгоднее химии.

Если в энергетике исчислять цены в расчете на производство одной калории, то сразу проявится реальная выгода, где-то это будет тепловая электростанция, где-то — гидро.

Если принять предложения, разработанные комиссией Госэкономсовета, то исчезнут “нерентабельные” отрасли, рентабельность станет реальной, а не эфемерной, как в нынешней системе цен».

Оба они, и Бирман, и Белкин, активно сотрудничали с Госэкономсоветом и популяризовали в «Известиях» собственные идеи и наработки своих единомышленников.

Их статью отец выделил из множества прочитанных им публикаций, распорядился Госплану и Госэкономсовету вместе взяться за сведение цен и реальных затрат на производство продукта воедино, напомнил о поручении Пленума привести цены к единому уровню, прошло уже более двух лет, а воз и ныне там. В ноябре, выступая на Пленуме ЦК, отец высказал свое отношение к прибыли как показателю качества работы предприятия: «Некоторые экономисты не учитывают, что

прибыль, применительно к социалистической системе хозяйства, имеет две стороны. Наша промышленность в целом выпускает продукцию не ради прибыли, а потому что она необходима обществу. Другое дело предприятие. Для него прибыль приобретает важное значение как экономический показатель его деятельности».

Яснее не скажешь. Но Госплан с реализацией указаний главы правительства не спешил. Позволю себе напомнить читателю, что председатель Госплана Новиков, мягко говоря, не любил Засядько. Их отношения окончательно испортились годом раньше, когда Госэкономсовет вторгся в епархию Госплана со своими «авантюристическими» коррекциями, разработанного «новиковцами» двадцатилетнего плана-прогноза развития экономики. Теперь Засядько снова перебежал Новикову дорожку, втягивал Госплан в очередную «авантюру», инициированную «безответственными» экономистами, никому неизвестными Либерманами-Белкиными-Бирманами. Новиков как мог тормозил дело, пытался пригасить засядьковские инициативы и при любой возможности жаловался на него отцу. Засядько, в свою очередь, жаловался на Новикова.

Силы оказались неравными, за спиной Новикова стоял не только Устинов и весь его военно-промышленный комплекс, но и Косыгин, все — сторонники жестко-централизованной экономики. Засядько же мог рассчитывать только на Хрущева, что тоже немало, но только пока отец ему безоговорочно доверял. Тем временем противники Засядько прилагали все усилия к компрометации его в глазах отца. Они наушничали отцу и по принципиальным вопросам, и по мелочи. К примеру, Александр Федорович не оглядывался на чины, постоянно резал правду-матку в глаза, как отцу, так и его заместителям. В ответ Новиков и другие обвиняли его в… подхалимстве перед отцом. Отцу надоело постоянно мирить Засядько с Новиковым, и в июле 1962 года он заменил Новикова своим старым приятелем Вениамином Эммануиловичем Дымшицем. После войны Дымшиц восстанавливал украинскую металлургию, потом, в 1957 году, возглавил строительство домен и мартенов в Бхилаи, в Индии, и с блеском обошел конкурентов, западных немцев, запустил свое производство первым. Отец очень рассчитывал, что Вениамин Эммануилович разрядит обстановку, ведь они с Засядько старые приятели, проработали на Украине бок о бок не один год. Но надежды не оправдались. Дымщиц хорошо ориентировался в хитросплетениях московской бюрократии и ради «либерманов» не собирался ссориться ни к кланом Устинова, ни с косыгинцами, тем более что к последнему вдруг присоединился и Микоян.

Почему, я и по сей день не очень понимаю, к совнархозам Микоян относился терпимо. Скорее всего, Анастас Иванович опасался, как бы Засядько вслед за Козловым не возвысился, не стал бы еще одним первым заместителем Хрущева в правительстве, оттеснив тем самым их с Косыгиным на вторые роли. Нельзя сбрасывать со счетов и его дальнее родство с Косыгиным.

В результате все заместители отца ополчились на Засядько. В чем только его не обвиняли. Всего сейчас не упомнишь. Мне запомнились разошедшиеся кругами по Москве слухи о том, как Микоян накляузничал в Президиум ЦК, что на одном из рабочих совещаний Засядько сравнил колхозы с исправительными колониями, а колхозников с заключенными. Отец спустил жалобу Микояна на тормозах, на заседании Президиума ЦК, где разбиралось «дело Засядько», посетовал, что Александр Федорович, конечно, виноват, но, положа руку на сердце, и мы должны признать, что в чем-то он прав. Атака на Засядько провалилась, но его недруги и не думали успокаиваться.

Отец рассказывал, как осенью 1962 года Косыгин жаловался на Засядько. Последний принимал у себя в кабинете какого-то важного английского лорда. Слово за слово, и выяснилось, что английский лорд, как и Засядько, не дурак выпить. Засядько предложил попробовать армянский коньяк. Его, по слухам, предпочитал всем другим коньякам английский премьер-министр Уинстон Черчилль. Лорд с готовностью согласился. Начали пробовать и так напробовались, что вошедший в кабинет Засядько с очередной бутылкой официант в испуге застыл у двери. Заместитель главы советского правительства, зажав нос главы английской делегации пальцами, водил того по кабинету, ласково приговаривая: «Ах ты, лордишка». Лордишка не протестовал, покорно следовал за Засядько, так как был еще пьянее.

О происшествии охрана доложила Косыгину. Косыгин пересказал все отцу и сухо и бесстрастно попросил указаний, как поступить, — не просто нарушен этикет, но может разгореться международный скандал.

— Это лорд вам пожаловался? — спросил отец.

— Нет, лорд молчит, служба доложила, — ответил Косыгин.

— Ну ладно, я с Засядько сам поговорю, — поставил точку отец. Не знаю, о чем он говорил с Александром Федоровичем, но пить последний не перестал. Ни в рабочее, ни в свободное время.

О склонности Засядько к алкоголю знали все. Он не просто любил выпить, но мог и запить. За эти запои его не раз отстраняли от должности и при Сталине, и при Хрущеве. В начале 1950-х Засядько отправили на лечение, но оно не очень помогло. Перед назначением на пост председателя Экономсовета он дал

отцу слово не пить и слово свое, надо сказать, держал. Держал до последнего времени. И вот теперь сорвался. Постоянные склоки с Госпланом, враждебность коллег по Совету Министров, их непрекращающиеся доносы Хрущеву выбили Засядько из колеи. В общем, его противники добились своего, в таком виде оставлять Засядько на столь высоких постах не было никакой возможности. Косыгину удалось убедить отца не просто уволить Засядько, но и в процессе «большой» реорганизации правительственных структур вообще ликвидировать Госэкономсовет, вернее, влить его в Госплан. Председателем нового «большого» Госплана 24 ноября 1962 года назначили человека со стороны, Петра Фадеевича Ломако, до этого всю жизнь работавшего в цветной металлургии. Начав в 1930-е годы с заведующего сектором в Ленинградском «Гипроалюминии», он в 1950 году становится министром цветной металлургии, затем в 1957–1961 годы — председателем крупнейшего Красноярского совнархоза. С 1961 года Ломако заместитель председателя (Хрущева. — *С. Х.*) в Бюро ЦК по РСФСР. В общем, человек по всем статьям подходящий, вот только, в отличие от Засядько, без новаторской жилки.

В результате операции по «нейтрализации» Засядько без портфеля остался не только сам Засядько, но и его оппоненты Новиков с Дымшицем.

И Новиков, и Дымшиц восприняли перемены судьбы спокойно, они давно привыкли к переменам, тем более что никакой трагедии не произошло, Новиков в ранге министра ушел председателем в СЭВ, а Дымшиц, став главой вновь созданного Совета народного хозяйства СССР, Всесоюзного совнархоза, по сути, пошел на повышение.

А вот с Засядько стряслась беда. Человек впечатлительный, он, получив известие о ликвидации Госэкономсовета, запил по-черному и не просыхал до марта 1963 года. Его пытались лечить, но все оказалось бесполезным, на сей раз желание выйти из запоя у Засядько отсутствовало. В таких обстоятельствах медицина бессильна. Заключение консилиума доложили отцу. Александра Федоровича отправили на пенсию. 5 сентября 1963 года Засядько умер. Отец лишился своего наиболее активного и, наверное, единственного, если говорить о децентрализации экономики, единомышленника.

С уходом Засядько наработка экономических новаций хотя и не остановилась совсем, но замедлилась. Ломако проявил себя управленцем косыгинского склада и немедленно принялся за «наведение порядка» в доставшемся ему в наследство от Засядько хозяйстве. «Неудобных» экономистов там больше не привечали, одного за другим переадресовывали по принадлежности, они же

ученые, в Госкомитет по координации научно-исследовательских работ СССР. Его председатель Константин Николаевич Руднев, вчерашний министр оборонной промышленности, человек Устинова, к экономике относился прохладно. Экономистов он не преследовал, но и их делами не интересовался. Теперь они «замыкались» не на председателя комитета и даже не на его заместителя, экономистов спустили на уровень начальника отдела, естественно, не имевшего доступа к Хрущеву. Там, в отделе они и варились «в собственном соку», периодически собирались, спорили, ссорились, мирились, время от времени посылали предложения на самый верх. До отца они доходили не всегда, но их статьи регулярно появлялись в «Известиях», в «Экономической газете», реже в «Правде». Отец их внимательно прочитывал, так что с уходом Засядько его связь с «либерманами» не прервалась, а вот обратная связь увязла в бюрократическом болоте.

Из сказанного выше может создаться впечатление, что реформаторские предложения отец черпал из единственного, засядьковского канала. Это так и не совсем так. Засядько и его экономисты — важное, но далеко не единственное звено в формировании политики новых реформ, углублении децентрализации экономики. Отец не ограничивал себя рамками теоретических рассуждений о прибыли, самоокупаемости и тому подобных премудростях, он экспериментировал, проверял на практике, чего стоят те или иные предложения.

Напомню о целиноградском экономисте Худенко. Уже второй год отец внимательно следил за его деятельностью. К концу 1962 года обозначились первые результаты. Худенко в предоставленных в его полное распоряжение экспериментальных совхозах свел отношения с государством к очень простой схеме: они отчитывались конечным продуктом, сдавали на элеватор оговоренное на несколько лет вперед неизменное количество зерна, и всё. Другими словами, государству они платили налог натурой, а оставшуюся прибыль употребляли на зарплату, развитие хозяйства и иные нужды. Все просто и прозрачно, и очень похоже на идеи Либермана и Белкина.

В совхозные дела государство пообещало не вмешиваться и не вмешивалось, свои внутренние проблемы они решали сами. Худенко сократил совхозную администрацию до минимума, из начальства оставил директора, экономиста и в помощь им еще пару человек. Всю власть передал в работавшие на полях звенья. Они решали, как и когда сеять, сколько и каких машин для того им требуется. Но самое главное, Худенко позволил им самим составлять штатное расписание, самим выбирать: делить им фонд

зарплаты между множеством работающих с прохладцей или заплатить как следует тем, кто трудится с полной отдачей, а от лодырей избавиться.

Уже в первый год эксперимента в совхозе «Илийском», одном из трех, отданных Худенко на откуп, сбор зерна увеличился в 2,3 раза, а число работавших в полеводстве сократилось с 863 до 85 человек. И это несмотря на неблагоприятную погоду. Производительность труда выросла по сравнению с соседними совхозами в 6 раз, прибыль на одного работающего — в 7 раз, а заработок увеличился в 3–4 раза. Соответственно в 4 раза снизилась себестоимость зерна. Если в среднем по Казахстану один центнер зерна обходился в 6 рублей 38 копеек, то Худенко тратил на центнер за 1 рубль 66 копеек. Прибыль на один центнер зерна в среднем на вновь распаханных в 1954 годах землях составила 206 рублей, что позволило уже за первые четыре года окупить все расходы на освоение целины. Но эта прибыль, которой отец так гордился, не шла ни в какое сравнение с прибылью в худенковских совхозах. Она, в пересчете на центнер пшеницы, подскочила в восемь раз, до 1 тысячи 577 рублей, а зарплата его работников увеличилась с 88 рублей в месяц до 360 рублей. Столько в те годы получал директор среднего по размерам завода.

«Чудеса, да и только», — восхитился отец, когда его помощник Шевченко доложил ему об итогах второго года в отпущенных на «свободу» совхозах.[72]

Достижения Худенко напомнили отцу о его давней затее с Мосавтотрансом. В середине 1950-х, несмотря на противодействие Молотова и молотовцев, ему удалось объединить крошечные ведомственные автобазы в общемосковское транспортное предприятие. Предоставив последнему невиданные доселе права: после отчисления в бюджет 40 процентов прибыли остальное расходовать на себя. И там произошло «чудо», если раньше транспорта, особенно грузового, не хватало, продукция, в том числе и товары в магазины, и панели на стройки никогда не доставлялись вовремя, то теперь дела с транспортом в Москве сами собой наладились.

Мосавтотранс, оглушительный успех Худенко на целине! Теоретические писания Либермана и иже с ним обосновывали неслучайность успеха экспериментаторов, а примеры Мосавтотранса и Худенко подтверждали целесообразность предложений экономистов-реформаторов. Но отец не спешил с принятием решения, два результата — конечно хорошо, но недостаточно. Он решил продолжить эксперимент, пусть по-новому поработает не пара-тройка, а несколько десятков

предприятий и в различных отраслях промышленности, а там посмотрим.

Осмотрительность давалась ему нелегко, ведь если совнархозы, реализовав данное им в 1957 году право распоряжаться своими ресурсами, увеличили прирост национального дохода страны с 7,0 процентов в 1957 году до 12,4 процентов в 1958-м, то какой рывок может получиться, если предоставить волю директорам?

Однако воля волей, но и власть директора нельзя делать бесконтрольной, беспокоился отец. Одно дело умница Худенко, а другое — директор на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Какая из-за его неразумных распоряжений по нормам выработки заварилась буча! Отец придумал директоров предприятий «подкрепить» созданием советов рабочих, в чем-то схожими с югославскими. Им будет подотчетна администрация предприятия вместе с бухгалтерией и финансовым отделом. Советы получат право сначала заслушивать, а затем и выбирать начальников цехов и даже директоров. Примерно так отец рассуждал на Президиуме ЦК 5 ноября 1962 года.

Но и всевластие советов на предприятиях не давало ответа на все вопросы, отец продолжает раздумывать, прикидывает так и эдак и на Пленуме ЦК 19 ноября 1962 года разъясняет: «Такие комитеты (советы рабочих) должны участвовать в обсуждении планов, контроле за их выполнением, в нормировании труда (явный отзвук Новочеркасских событий), в расстановке кадров. Директора при этом будут отчитываться о работе своих предприятий, советоваться с комитетами по важнейшим вопросам производства. Однако директор должен принимать решения самостоятельно и полностью отвечать перед государством.

Производственный комитет — орган совещательный. Главный смысл здесь — вовлечь, втянуть в управление предприятиями широкий круг работающих. Такие общественные органы должны быть выборными». В общем, есть о чем еще подумать.

Однако если реформа предприятий дело будущего (экспериментировать отец предполагал еще года два-три), то дальнейшая «профессионализация» регионального управления (по всей вертикали власти) и разделение по специализации на промышленные и сельскохозяйственные — вопрос дня сегодняшнего.

Впервые я услышал о разделении обкомов на сельские и промышленные на пляже в Крыму, в Ливадии, в августе 1962 года. Отец только что проводил короля Афганистана, и у него выдалась пара деньков до отлета в Москву на встречу

космонавтов. На пляже собрались Брежнев, Подгорный и, кажется, Полянский. Они заехали по-соседски, «на огонек», как говаривал отец. Расположились в плетеных креслах у самой воды. Вели неспешный разговор о видах на урожай и других делах. Потом пошли купаться. Отец никогда не скрывал, что пловец он никудышный, соорудил себе сам по собственному проекту надувной круг из красной резины, наподобие старинных велосипедных камер. С ним он не расставался. Разговор об обкомах начался еще в воде, пока все четверо плескались неподалеку от берега, и, выйдя на берег, отец продолжил свою мысль: «Нельзя, чтобы партийная власть руководила хозяйством без знания предмета. Порой такой руководитель не знает дела, а изображает из себя специалиста, дает указания, и притом конкретные. А конкретные указания без знаний добра не принесут. Поэтому надо разделить партийные организации по производственному принципу, а не географическому, как у нас сейчас устроено. Тогда легче подобрать специалистов. Скажут, что раньше мы имели административное деление без учета производственного принципа. Но раньше — было раньше, пока советская власть не победила, теперь все решает подъем экономики, подъем жизненного уровня».

Разумеется, я сейчас не смог бы дословно воспроизвести слова отца, произнесенные на пляже, пока он обтирался полотенцем, и процитировал воспоминания, надиктованные им уже в отставке. Суть от этого не изменилась.

Как только отец замолчал, вся троица в один голос бурно, с энтузиазмом его поддержала.

«Прекрасная идея, надо ее немедленно реализовать», — запомнились мне слова Полянского.

Не менее воодушевленно высказался Подгорный.

Мне план отца почему-то пришелся не по душе. К единым обкомам, олицетворяющим единую и всеобъемлющую власть, все давно привыкли, а тут… Я вообще по складу характера консерватор, к новациям отношусь настороженно. Естественно, тогда, на пляже я промолчал. По давно заведенному правилу в разговоры «старших» мы, младшее поколение, не вмешивались. Не задал я отцу вопросов и после ухода гостей. Реформа обкомов тогда меня, ракетчика, не затрагивала, и я о ней мгновенно забыл.

Я, естественно, тогда не знал, что 26 июля, накануне его отъезда в отпуск, предложение отца уже обсуждалось на Президиуме ЦК. Заседание вылилось в дискуссию, я бы не сказал бурную, но длительную, высказались все, и не по одному разу. Мнения разделились. Козлов, Подгорный, Полянский, Шелепин и

Кириленко безоговорочно поддержали отца, Микоян с Вороновым считали, что спешить не стоит, следует еще раз как следует обдумать, ведь обкомы — это становой хребет власти. В заключение все дружно проголосовали «за».

20 августа 1962 года, в дни, когда отец, прервав отпуск, прилетал на недельку в Москву встретить космонавтов, реформу управления еще раз, теперь уже кратко, обговорили на Президиуме ЦК. И решили «в конце октября — начале декабря созвать Пленум ЦК.

10 сентября 1962 года, отец отправил в Президиум ЦК записку, уже упомянутую в начале главы.

«После заседания Президиума я много думал над совершенствованием структуры партийного и советского аппарата, — писал в ней отец, — старался найти пути для резкого подъема уровня партийного руководства экономикой страны.

В промышленности созданы совнархозы, мы решительно приблизили хозяйственное руководство к производству и добились более эффективной работы нашей промышленности.

В сельском хозяйстве найдена такая организационная форма в виде территориальных производственных управлений.

Партийное же руководство носит компанейский характер. Когда ЦК, как в 1953 году, заостряет внимание на вопросах сельского хозяйства, все партийное руководство: областное, краевое, республиканское сосредотачивается на нем и упускает из вида промышленность. Потом, в 1957 году мы переключились на промышленность, и все ослабили внимание к сельскому хозяйству. Последние два года мы сосредоточились на производстве зерна и, конечно, обкомы, крайкомы партии меньше стали заниматься промышленностью».

Выход отец видел в «профилировании» областного и иного регионального руководства. Два обкома, сельский и промышленный, — вот, по мысли отца, выход из положения на сегодня. При этом он подчеркивал: «Мы делим не территорию области на промышленную и сельскохозяйственную, разделяем руководство производством на единой территории».

Далее отец подробно рассказывает, как ему представляются эти два профессионализированных обкома и какая получится выгода.

Отец предложил не спешить с принятием решения, разослать его записку в регионы, устроить открытое обсуждение, а уж потом собирать Пленум ЦК. В результате почти трехмесячного всеобщего обсуждения, в ЦК получили сотни замечаний и предложений.

«Поступила записка т. Хрущева по вопросу перестройки

партийных органов по производственному принципу, — записал в своем личном дневнике Петр Ефимович Шелест, второй секретарь ЦК Украинской компартии. — Делаем схему, штаты в целом по республике и в центре. Много трудностей и неясностей, трудно сказать, во что все это может вылиться, есть положительное, но много отрицательного».

Как в душе отреагировали на записку другие местные начальники, следов не сохранилось, официально все ее единодушно поддержали.

19 ноября 1962 года отец доложил Пленуму ЦК свои радикально-неоднозначные предложения реформирования как самой партии, так и ее властных взаимоотношений с управляемой ею уже сорок пять лет страной. «Необходимо положить в основу построения партийных органов сверху донизу производственный принцип, — убеждал он членов Пленума ЦК, — и тем самым обеспечить более конкретное руководство промышленностью, строительством и сельским хозяйством. В настоящее время производственный принцип построения партийных организаций у нас выдержан только в первичных организациях… Производственное направление главное. В производственные управления предлагается включить партийный комитет вместо прежнего райкома партии. Численность работников партийных комитетов по сравнению с нынешними райкомами должна быть значительна сокращена…Подчеркиваю, промышленно-производственные управления, а не районные, то есть построенные не по территориальному, а производственному принципу».

Дальше отец углубляется в детали: что и как конкретно реорганизовывать в правительстве, какие госкомитеты упразднить, какие — напротив, учредить. Исходя из опыта последних лет, он предлагает пойти навстречу предложениям с мест, межрайонные сельскохозяйственные производственные управления разукрупнить, существующее 961 управление преобразовать в примерно полторы тысячи, а совнархозы, напротив, укрупнить. В России из действующих шестидесяти семи совнархозов образовать двадцать два — двадцать четыре, на Украине из четырнадцати — семь. А Среднюю Азию отдать под крыло единого, межреспубликанского совнархоза.

Секретари обкомов легко разгадали замысел отца: пока каждая область имела свой совнархоз, его председатель стоял ниже секретаря обкома. Теперь же, с учетом разделения обкомов по производственному принципу, их роль низводилась даже не до заместителя председателя совнархоза. Однако, не то что протестовать, открыто выразить тень сомнения никто не решился.

Далее отец «прошелся» по всей вертикали планирования и управления. Начал с Госплана, припомнил ему, что изготавливаемые во все большем количестве грузовики часто стоят, так как нет покрышек. «Говорят — средств нет! Да если так, то уменьшите средства на металл, меньше сделайте грузовиков, но снабдите их шинами. Перекиньте средства с металла на химию. Сделать это, говорят, невозможно, в Госплане каждый следит за своей строчкой, год от года увеличивает на несколько процентов задание “своей” отрасли и спокоен. Наука родила новые открытия, появились материалы выгоднее прежних, но такому человеку до этого дела нет», — возмущается отец. Он считает, что систему надо заставить работать, а если не получится, пустить на слом и заменить новой. Зал встретил его слова молчанием. «Если капиталист будет сидеть на бронзе и свинце, не заменит их вовремя синтетикой, то он утонет в буквальном и переносном смысле слова. Выплывет, победит его конкурент. Бронза со свинцом — частные примеры, вопрос стоит шире».

Все последние годы отец старался понять, почему капиталисты постоянно оказываются впереди, первыми изобретают новые машины, первыми внедряют новые технологии, а мы год за годом «воруем» у них на выставках образцы, копируем. Пока копируем, осваиваем производство, капиталисты придумывают что-то новое и снова оказываются впереди, а мы снова копируем. Так продолжается уже пятое десятилетие. Замкнутый круг получается. Разорвать его возможно, если организовать конкуренцию между социалистическими предприятиями. Только отсутствием конкуренции мы отличаемся от капиталистов, все остальное — машины, станки, технологии у нас одинаковые, почти одинаковые. Но как организовать конкуренцию между предприятиями, принадлежащими одному владельцу — государству, продающими свою продукцию по единым, спущенным сверху ценам?

Ответа отец пока не находит, но продолжает его искать. Конкуренция мотивируется борьбой капиталиста за прибыль. У нас же директору важен «вал», выполнение плана, а там и трава не расти. Все тот же пресловутый «вал». «Валовая продукция не отражает действительное положение дел в хозяйстве, предприятиям становится невыгодным выпускать дешевые или сложные изделия. Ненормальное положение сложилось и с установлением цен… — отец повторяет на Пленуме аргументы Либермана и Белкина. — В связи с этим возникает вопрос о прибыли как показателе качества продукции.

Конкуренция, прибыль и одновременно строительство

коммунизма — общества всеобщей гармонии, без денег, без материальной заинтересованности, вообще без какой-либо мотивации к труду, кроме «естественной» к тому потребности? Как это все увязать? «Мы идем к коммунизму и в то же время развертываем товарные отношения. Не противоречит ли это одно другому? Нет, не противоречит», — эти слова отец произнес еще в 1958 году.

Тогда, произнеся крамолу, отец этим и ограничился, теперь, в сочетании с замышляемыми им экспериментами на предприятиях, становится все яснее, что он собирается довести дело до логического завершения.

Еще больше власти регионам и ставка на молодых

Однако до этого еще предстояло дожить, пока же отец занимается сиюминутной реорганизацией власти, предлагает передать под юрисдикцию совнархозов и республиканских правительств ежегодное планирование и реализацию ими же сверстанных планов. Увязку планов поручили еще раз реорганизованному и поглотившему Госэкономсовет Госплану. Следить на общесоюзном уровне за выполнением планов обязали Совет Народного Хозяйства СССР — по сути, всесоюзный совнархоз. К нему переходили из Совета Министров многие властные функции, в первую очередь оперативные.

В ЦК тоже перемены, и там организуют бюро и комиссии по направлениям: сельскому хозяйству, промышленности и транспорту, организационно-партийным вопросам, социалистических стран, идеологии, отдельно по химии. Во главе встанут вновь избранные секретари ЦК, почти все из молодых: Василий Иванович Поляков, Александр Петрович Рудаков, Юрий Владимирович Андропов, Петр Нилович Демичев, Леонид Федорович Ильичев, Виталий Николаевич Титов. Кажется, никого не забыл. После «обкатки» испытательного срока тех, кто его выдержит, отец рассчитывал продвигать выше, на смену «старикам».

На Пленуме создали и наделенный обширными полномочиями партийно-государственный гибрид — Комитет партийно-государственного контроля ЦК КПСС и СМ СССР. Возглавил его в ранге секретаря ЦК и одновременно заместителя главы правительства сорокачетырехлетний Александр Николаевич Шелепин. Отец на него возлагал особые надежды и наделил его особыми полномочиями. Шелепин контролировал всех и вся: обкомы, совнархозы, производственные управления, директоров, он становится «недремлющим оком государевым»,

чем-то вроде Генерального прокурора Сената Павла Ивановича Ягужинского при Петре Великом. От его докладов зависели все, перед ним заискивали. Отец Шелепину полностью доверял. Сам же Шелепин очень скоро уверился, что достоин большего, положение «ока государева» его больше не устраивало. Он метил в «государи», но на пути у него стоял не только сам отец, но и жесткий, цепкий Козлов, который числился в полуофициальных преемниках и не спускал с Шелепина глаз. Еще один представитель «молодежи», сорокапятилетний Дмитрий Степанович Полянский, повторяя путь Козлова во власть, переместился из председателей Совета Министров РСФСР в заместители главы Союзного правительства. Перед ним, как и перед Шелепиным, открывалась перспектива быстрого продвижения, и он также примеривался к большему.

Мосты сожжены

По сути дела на Пленуме ЦК в 1962 году отец, если не сжег, то поджег мосты, связывавшие его с прошлым. Он все меньше полагался на партийных секретарей. Председатели совнархозов даже начали «покрикивать» на них. Теперь же решение Пленума о разделении обкомов превращало секретарей, еще вчера всевластных хозяев в своих вотчинах, в исполнителей воли, «приводные ремни» председателей совнархозов. Кому такое придется по душе? Как крепостники-помещики ненавидели реформатора Александра II и его реформы, так и нынешние «хозяева жизни» возненавидели отца. В октябре 1964 года именно это решение поставят Хрущеву в упрек, и первым — его протеже «профессионал» Полянский.

Для царя-реформатора его политика обернулась бомбой террориста, а для России — отказом от каких-либо реформ, когда само слово Конституция для новых императоров Александра III и Николая II звучало хуже площадной брани. Последовал тридцатилетний застой, приведший к полной дискредитации власти, возбудивший всеобщее недовольство, завершившийся революцией. А ведь все могло сложиться иначе. Если бы преемники пошли по пути, намеченному царем-освободителем, вся история России…

Но «короля играет свита», а свита считала, что Александр II заходит слишком далеко, своими реформами не спасает, а губит Россию. Напротив, «максималистам-либералам» он представлялся ретроградом, цепляющимся за обломки обветшавшего прошлого. В результате к концу своего царствования Александр II оказался в изоляции, фактически в одиночестве, не понятый и не

поддерживаемый ни теми, ни другими. Печальная, но вполне предсказуемая участь.

Отец зависел от секретарей обкомов в не меньшей мере, а то и в большей степени, чем Александр II от своего окружения. Царь, в отличие от избираемого секретаря ЦК, пусть и Первого, почитался «помазанником Божьим». В июне 1957 года секретари обкомов поддержали отца в его столкновении с Молотовым, Маленковым и иже с ними, поддержали, потому что знали, чем им грозит возврат в прошлое, и рассчитывали на будущее. Совнархозовская регионализация, казалось бы, передавала власть в стране в их руки. Но отец обманул ожидания.

На ноябрьском Пленуме ЦК секретари обкомов, а именно они доминировали в ЦК, проголосовали «за», но для отца эта победа оказалась «пирровой». А тут еще он стал обращать на них все меньше внимания, не только перестал звонить, советоваться, но отзывался о секретарях обкомов пренебрежительно. Пусть только на заседаниях Президиума ЦК, но они-то узнавали о словах отца буквально на следующий день. В результате партийные секретари отвернулись от отца, они оказались в разных лагерях.

Уже после отставки отец с горечью вспомнит, как ему советовал умудренный аппаратным опытом Каганович: не жалеть времени, встречаться каждую неделю с двумя-тремя секретарями обкомов, а он не послушался, пренебрег советом…

Я считаю, что никакие звонки отцу не помогли бы. Его политика реформирования противоречила устремлениям региональных партийных секретарей. Изменить реформам отец не мог, тогда терялся весь смысл его жизни, а без отказа от реформ о восстановлении взаимопонимания с обкомами не приходилось и думать.

Придя к власти в 1964 году, Брежнев и Косыгин первым делом ликвидируют совнархозы, восстановят министерства, поставят крест на реформах и заживут душа в душу с секретарями обкомов и с министерскими чиновниками. Закончится у них все так же, как и у Александра III с Николаем II, — революцией, если быть терминологически точным — контрреволюцией. У истории своя логика, и обмануть ее еще не удалось никому.

Бремя сверхдержавы

Подготовка к Пленуму нарушилась международным кризисом, точнее взорвалась одним из самых суровых испытаний за годы холодной войны. Мы его называли Карибским, американцы — Кубинским.

Карибский кризис — пример того, какие неожиданные

извивы порой претерпевает мировая история. Я подробно расписал все, что знал о кризисе в «Рождении сверхдержавы», здесь же позволю себе высказать лишь общие соображения о самом кризисе и сопутствовавших ему обстоятельствах.

Что россияне знали о Кубе, когда 27-летний Фидель Кастро с горсткой сторонников в июле 1953 года штурмовал полицейские казармы и тем самым возвестил о начале своей революции? Ничего. Почти ничего. Мои познания о будущем «Острове Свободы» исчерпывались «Островом сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона, одноногим и одноглазым пиратом Билли Бонсом, охотящимся в далеких теплых морях за сокровищами какого-то капитана Кидда, и его попугаем, периодически орущим: «Пиастры!».

Куба настолько не интересовала Советский Союз, что при наличии «полномасштабных» дипломатических отношений и посольства в Гаване его здание последнее десятилетие стояло пустым, без посла, без штата и даже без дворника. На дверях посольства висел отнюдь не символический замок. Наверное, в КГБ не теряли Кубу из вида, но верха не запрашивали информацию о происходившем на острове. Возможно, кубинские коммунисты делились своими соображениями с инструкторами Международного отдела ЦК, но те не делали большой разницы между Кастро и правившим на острове диктатором Батистой, оба они — ставленники капитала и американские слуги.

Когда в январе 1959 года Кастро и его повстанцы захватили Гавану, мнение о них не изменилось: «Наймиты американского капитала и, наверное, агенты ЦРУ».

На мой взгляд, отношения Кубы и США очень напоминали отношения Польши и России. Маленькая, гордая и самолюбивая нация, попираемая нависающим над ней могучим соседом, не беспокоящимся, как его действия воспринимаются копошащейся у его границ «мелкотой». У уязвленного соседа, будь то Куба или Польша, доминирует стремление доказать невозможное: свое с ним «равенство». Этот комплекс со временем становится доминирующим в национальном самосознании.

Здесь очень многое зависит от поведения сверхдержавы, от мудрости ее руководства. После того как осенью 1959 года президент США Эйзенхауэр отказался ради приехавшего в Вашингтон Фиделя прервать партию в гольф и перепоручил переговоры с ним вице-президенту Ричарду Никсону, чем уязвил Кастро в самое сердце, между Гаваной и Вашингтоном пробежала черная кошка. Куба стала все заметнее отворачиваться от США, искать поддержку на стороне. В геополитических реалиях холодной войны никто никогда не отказывал в помощи тому, кто

хотел насолить твоему врагу. Этого нехитрого правила придерживались обе стороны: и Советский Союз, и США. Поэтому мы, Советский Союз, тут же предложили кубинцам свое оружие, оставшиеся от войны, танки Т-44 и еще кое-что.

Дальше — больше. Куба из случайно встретившегося на мировом перекрестке попутчика постепенно превращалась в приятеля. Еще не друга, но уже и не чужака. Кастро стал идолом советской молодежи — молодой, бородатый, бросивший вызов мировому злу. Однако серьезные политики сомневались, судьба Кубы висит на волоске, американцы не потерпят своеволия, прихлопнут Фиделя как муху. Я очень переживал за Кастро и кубинцев и как-то спросил отца: «Почему бы нам не пригласить кубинцев в Варшавский пакт, тогда американцы поостерегутся напасть на них».

— Куба далеко, — как бы раздумывая, начал отец, — коммуникации слабые, их контролирует американский флот. Если США атакуют остров, мы не сможем их защитить своими танками, как, скажем, Чехословакию или Венгрию. Сразу придется пускать в ход ядерное оружие, а это приведет к страшным разрушениям для нашей собственной страны. Рисковать судьбой советских людей ради Кастро, который, мы даже не знаем, как поведет себя в таких условиях, неразумно и даже преступно.

Я очень расстроился. Мы отдавали Кастро его и его бородатых героев на растерзание американцам. Однако умом я понимал: отец прав, логика геополитики на его стороне.

Так продолжалось до 17 апреля 1961 года, когда американцы высадили на Кубе бригаду кубинцев-антикастровцев. Им предписывалось захватить ближайший аэродром, объявить себя правительством «свободной» Кубы и призвать на помощь регулярные войска США. Однако случилась осечка, нападавшие завязли в болоте, народ, на которой они без каких-либо на то оснований рассчитывали, выступил против них, вторжение провалилось.

И вот тогда Кастро сделал шаг, в корне изменивший всю геополитическую ситуацию. Он заявил, что не просто поддерживает Советский Союз, а считает себя членом мировой социалистической семьи, нашим союзником наравне с Польшей и Болгарией. Отец попал в затруднительное положение. Страна, претендующая на звание мирового лидера, сверхдержавы, обязана защищать и защитить своих союзников, друзей, клиентов, где бы они ни находились, чего бы это ей ни стоило. Таково простое геополитическое правило, ему неукоснительно следовали президенты США, не мог его игнорировать и Хрущев.

После апреля 1961 года Куба для Советского Союза становилась аналогом Западного Берлина для США. Если отвлечься от симпатий и эмоций — абсолютно бесполезный экономически и стратегически, клочок земли внутри полностью контролируемой противником территории. Удержать его без риска ядерного столкновения невозможно, так же, как невозможно уступить. Союзники, друзья, клиенты тут же утратят к тебе всякое доверие. Сдав одного, ты при случае сдашь и остальных. А потерявшая «лицо» сверхдержава больше не сверхдержава. Потому-то американские президенты без колебаний подтверждали директиву — в случае атаки Берлина Советской Армией без промедления нанести ядерный удар по ее тылам.

Столь ли необходимо государству «лицо»? Может ли оно существовать без «лица»? Может, «безликих» стран в мире множество. Однако эти страны без претензий на великодержавность. Россия же, еще со времен побед над Наполеоном, иначе чем великодержавной страной себя не мыслила.

В начале XX века мировыми лидерами считались Британская империя с Французской Республикой, а набиравшая мощь Германия оспаривала у них этот титул. Все закончилось мировой войной, так и не выявившей окончательного победителя. Спор продолжился и привел ко Второй мировой войне с теми же участниками, вот только наряду с Германией о своих амбициях заявила еще и Япония. Естественен дилетантский вопрос: «А где же Россия — Советский Союз и Соединенные Штаты?» Ведь именно они оказались истинными победителями. После войны — да, а вот перед войной на сверхдержавность они не претендовали. США — вследствие своей традиционной политики изоляционизма, а Сталину хватало своих внутренних противников, от Троцкого до Тухачевского.

В результате Второй мировой войны расклад сил резко поменялся, из борьбы выпали не только побежденные Германия с Японией, но и ослабевшие победители Великобритания и Франция. В мире осталось два лидера — США и СССР, и теперь они делили этот мир. Борьба шла не столько между коммунизмом или капитализмом, как мы привыкли считать, сколько между двумя геополитическими соперниками. Раньше такое соперничество не обходилось без определявших победителя войн. Но ядерное оружие, настолько разрушительное, что любая победа обернулась бы поражением, сделало войну бессмысленной. Никто и никогда не начинал войну, заранее зная, что он потеряет больше, чем приобретет. На смену войнам пришли кризисы, а

сама война стала называться холодной, войной без войны. Очень удачное, на мой взгляд, определение.

Две державы претендовали на мировое лидерство, вот только экономика США тогда раза в три превосходила экономику СССР. Американцы отказывали нам в признании равенства на мировой арене. Как в таких случаях поступают мальчишки на школьном дворе или лоси на лесной опушке в период осеннего гона. Соперники демонстрируют серьезность претензий на лидерство, готовность сразиться, но ограничиваются демонстрацией силы и предпочитают разойтись миром. Правда, миром получается не всегда, единственная ошибка может стоить жизни кому-то одному, а то и обоим. Соперничество в холодной войне мало чем отличалось от баталий, происходящих в школьных коридорах и на лесных полянах. Только в отличие от лосей, сверхдержавы рисковали не ветвистыми рогами, а судьбами человечества.

США проводили собственную и в своих интересах политику: не признавали существования просоветской Германской Демократической Республики, с помощью морских пехотинцев устанавливали свой порядок в Ливане и Ираке и в Юго-Восточной Азии. Советский Союз в ответ на силовые акции США немедленно и демонстративно задействовал свою военную машину. В обеих странах газеты заполнялись статьями с агрессивной риторикой, американцы призывали на службу резервистов, Советский Союз начинал военные маневры у самых границ и на территории своих союзников. Иногда американцы отступали, как это случилось в 1958 году в Ираке, иногда стороны находили иной компромисс. Но СССР не удавалось добиться главного: признания Соединенными Штатами своего равенства.

Политика кризисов развивалась по нарастающей, раз от раза противостояние становилось все опасней. Конечно, можно не рисковать и отступить в сторону. Собственно, так и поступают проигравшие в схватке, уходят в тень, зализывают раны и предвкушают реванш или, потеряв лицо, навсегда растворяются в небытии. Найдется немало людей, считающих, что жизнь в небытии и спокойнее, и привольнее. О вкусах не спорят.

Геополитика остается геополитикой при любой идеологии и при Александре I — императоре, и при Никите Хрущеве — секретаре ЦК КПСС. Отец, как и российские императоры, не сомневался: Российская, Советская сверхдержава своих союзников не сдает! Вот только защитить Кубу от американцев в середине XX века — задача потруднее, чем освобождение болгар от турок в последней четверти XIX. Болгария располагалась под боком, за Дунаем, а до Кубы — 11 тысяч километров. И все морем-океаном.

По мере того как рассеивались последние сомнения в

решимости американцев устранить Кастро «хирургическим» путем, отец все сильнее мучился раздумьями, как нам уберечь кубинцев от гибели и самим не споткнуться, не погибнуть в ядерном столкновении сверхдержав.

— Если американцы решатся на атаку Кубы, то на наши протесты в Совете Безопасности ООН они и внимания не обратят, — разъяснял мне отец. — Помочь кубинцам войсками мы тоже не в состоянии, американцы перережут коммуникации, а те наши соединения, которые мы сможем заранее доставить на остров, пропадут вместе с Фиделем. Без подвоза снарядов, горючего и всего прочего им долго не продержаться. Надо сделать что-то такое, что привело бы американцев в шок, показало бы: сунетесь на Кубу — пожалеете.

Так, в мае 1962 года возник план установки ядерных ракет (стратегических и тактических) на Кубе, как сигнал Белому дому, что мы готовы защищать эту страну от них не менее решительно, чем они — Западный Берлин от нас. Собственно, никакого иного выбора у отца и не было.

В Президиуме ЦК его поддержали, 27 мая 1962 года все дружно проголосовали «за». В советском руководстве понимали, поджать хвост, сдаться — означает не только потерю Кубы, но всех позиций в мире, завоеванных за прошедшие годы. Засомневался только Микоян, риск ему представлялся излишним, а если без риска позиции не отстоять, то бог с ними, с позициями. Однако настаивать на своем Анастас Иванович традиционно не захотел, оставшись в одиночестве, расписался «за».

Операция «Анадырь» — установка на Кубе баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14, размещение сопутствующего им 50-тысячного контингента сухопутных сил, усиленного тактическими ядерными ракетными установками — началась в июле 1962 года и прошла чрезвычайно успешно. Три месяца, до середины октября, ЦРУ, несмотря на все старания, не удавалось ничего разнюхать. Да и в октябре, когда баллистические ракеты уже практически обрели боеготовность, американский самолет-разведчик У-2 раскрыл секрет лишь из-за разгильдяйства какого-то лейтенанта, не замаскировавшего установщик и заправщик ракет.

В понедельник 22 октября 1962 года с обращения президента Кеннеди к американскому народу начался Карибский кризис — самый опасный международный кризис XX века.

Смертельно опасная кульминация в длительном противостоянии сверхдержав могла произойти где угодно, по какому угодно поводу: вокруг Берлина, на Ближнем Востоке или в Юго-Восточном регионе, но не могла не произойти. То же, что это

произошло в девяноста милях от американской Флориды, — географическая случайность и гримаса судьбы, а то, что мы все едва не сгорели в ядерной перестрелке — результат смертельного испуга, паники американцев. Ни отец, ни остальные члены советского руководства такого и представить себе не могли. Они рассуждали исходя из собственного, европейского исторического опыта и проистекающей из него логики: американцы превосходят нас в ядерном потенциале примерно в девять раз, а по носителям и того больше. У них от полутора до двух с половиной тысяч стратегических бомбардировщиков. И 154 (по другим источника — 163) межконтинентальные ракеты, около двухсот ракет средней дальности в Европе на базах в Англии, Италии и Турции против пары десятков янгелевских Р-16 и шести королёвских Р-7. Конечно, и три десятка ракет могли разрушить три десятка городов, но прибавка к ним еще сорока стартов, двадцати четырех — Р-12 и шестнадцати — Р-14 (столько собирались установить на Кубе) не могла изменить баланса сил. Поэтому, считал отец, ничего страшного не произойдет; узнав о ракетах, американцы пошумят, побузят, обидно все-таки, что Куба стала теперь неприступной, а Кастро «в угол» не поставишь. Пройдет пара месяцев, и обе стороны вернутся к по-настоящему важным делам: запрещению ядерных испытаний, Европейскому урегулированию, решению проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, всему остальному.

Так рассуждал отец. Так рассуждал бы на месте отца и любой другой европейский политик. Политики, как все остальные люди, опираются на исторический опыт своих, а не чужих стран. Россия на протяжении веков жила в соседстве с врагами на своих границах. Печенегов сменили монголы, монголов — литовцы, поляки и шведы. С юга грозили татары с турками. Потом появились немцы, англичане, французы с Наполеоном и без него. И снова немцы, сначала кайзер, затем Гитлер. После Второй мировой войны место немцев заняли американцы. Они разместили свои военные базы вдоль наших границ, чем доставляли советскому руководству и советскому Генштабу массу хлопот, их боялись и старались по возможности нейтрализовать, но никто не паниковал: враги на границах — часть каждодневного бытия. Таковы реалии жизни. Они, безусловно, представляют опасность, и следует делать все, чтобы противник на нас не напал. Это и есть главное предназначение внешней политики и главная забота политиков. Народ же, привыкший, что враг всегда «у ворот», особого беспокойства не высказывал, люди жили своими, сегодняшними проблемами.

Свое видение окружающего мира отец проецировал на

американцев, нацию с совершенно иной историей, иным менталитетом, нацию, отгороженную от серьезных врагов барьером Атлантического и Тихого океанов. Американцы впадали в панику от одних слухов о появлении во время Второй мировой войны немецких подводных лодок неподалеку от восточного побережья США и всерьез опасались высадки японцев с воздушных шаров на западном. Они придерживались ничего не имеющей с реальной политикой догмы: если у кого-то есть оружие, способное поразить их, то этот некто его обязательно применит, нажмет кнопку, независимо от политической, стратегической и иной целесообразности.

В отсутствии всякой логики присутствует своя логика, порой недоступная окружающим. Следуя этой своей логике, американцы до смерти перепугались запуска советского спутника в октябре 1957 года. Они на полном серьезе верили, что вслед за запуском спутника русские стрельнут по ним своей пока единственной ракетой. Зачем? Почему? Специфическая логика не только не требовала ответа на эти вопросы, но и не предусматривала самих вопросов. Вот и теперь, услышав от своего президента, что враг у ворот, советские ракеты стоят на Кубе, американцы пришли в страшное волнение, как мыши потащили в отрытые под домами щели и убежища припасы: воду, домашний скарб. Нация зашлась в пароксизме страха. А тут еще пресса поддавала жару, рисовала красочные картинки «конца света», одну ужаснее другой. Карибский кризис — это на сто процентов психологический кризис, кризис американского самосознания, пораженного открытием, что теперь они стали уязвимы, как и все остальное население земного шара, что и на их головы могут посыпаться бомбы, как они сыпались на головы лондонцев и ленинградцев, что и они могут погибнуть. Психологический кризис иррационален по своей природе. Американцы любой ценой, даже ценой своего собственного существования, стремились избавиться от советских ракет на Кубе, но никто не заикался о межконтинентальных ракетах, базировавшихся на советской территории. Подлетное время ракет с кубинских и советских пусковых установок различалось всего минут на двадцать. Рассуждая логически, они представляли для американцев одинаковую опасность, независимо от места размещения — в районе Сан-Кристобаля или Твери. Но все дело в том, что паника и логика понятия несовместимые. Как невозможно логическими доводами остановить несущуюся на вас толпу, так и в Карибском кризисе логические доводы не работали.

К такому развитию событий, а именно к нелегким переговорам под давлением обезумевшей нации оказались не

готовыми ни Белый дом, ни Кремль. Миру повезло, что оба лидера, и Кеннеди, и Хрущев показали себя людьми ответственными. И, я скажу, мудрыми, они не позволили стихии увлечь себя, закрутить в водовороте эмоций, откуда имелся только один выход — на тот свет. Они проявили стойкость и трезвость мышления, поторговавшись, сошлись на компромиссе, достигли соглашения. Карибский кризис разрешился к взаимному удовлетворению: США обязались никогда не покушаться на Кубу, а Хрущев, после того как они исполнили свое предназначение, забрал ракеты домой в Россию. Обе стороны могли считать себя победителями, но на самом деле выиграл весь мир, все мы. Мы остались живы.

Чем отличается Карибский кризис от всех предшествовавших ему кризисов? Почему он превратился в главное событие холодной войны? Да все потому же. Потому что, я позволю себе повториться, это американский кризис, в котором граждане США впервые ощутили себя не зрителями, а участниками событий. Берлинские и все иные кризисы происходили где-то там, в неосязаемом далеке. Даже если ядерная война вспыхнула бы в Европе, русские и немцы поубивали бы друг друга, заодно уничтожили бы французов с англичанами, чужие жизни по заокеанским понятиям невелика потеря, американцы, как и раньше, наблюдали бы за драчкой со стороны, в крайнем случае поучаствовали бы в ней своими экспедиционными силами. Теперь же впервые в истории они оказались в эпицентре кризиса. Есть от чего сойти с ума, и они сошли с ума. Именно американцы с перепуга довели Карибский кризис до высшей стадии кипения, подвели его к грани ядерной войны, и именно для них он стал главным событием века.

Одновременно Карибский кризис — последний в противостоянии двух сверхдержав и только потому, что стороны поняли: они на самом деле стали столь могущественны, что способны уничтожить и самих себя, и все человечество. В процессе разрешения Карибского кризиса, несмотря на то что Советский Союз вывел ракеты с острова, страна наконец-то добилась признания Америкой равенства в мире, пусть пока только в разрушительной мощи. И добился этого не Хрущев, на него работала вся американская пресса. Телевидение, газеты так запугали американцев, что после Карибского кризиса они уже не воспринимали никаких доводов об американском военном превосходстве. Им повсюду, вопреки логике, мерещились советские ракеты. Хотя, конечно, логика логике — рознь. Согласно арифметической логике, ей обычно следуют генералы, США превосходили СССР по количеству ядерных зарядов до

самого конца 1960-х годов, следовательно, выходили из гипотетической войны победителями. Слава богу, в те годы политики руководствовались иными критериями, рассчитанную Комитетом Начальников Штабов плату за «победу» тридцатью-сорока миллионами жизней своих сограждан американский президент Кеннеди, так же, как и его предшественник Эйзенхауэр, считал неприемлемой. Того же мнения придерживался и отец. В результате стороны «сбалансировались». Генералы не соглашались, но их мнение тогда во внимание не приняли.

Итак, кризис завершился и, как случается с любым знаковым историческим событием, со временем начал обрастать мифами. Историческая мифологизация так же естественна, как и сама история. Она отражает состояние здоровья нации. Величие Америки, сила духа американской нации в том, что любое важное для них событие автоматически обретает мировое звучание. Мировое лидерство Америки зиждется на способности превратить свои ценности в мировые, неважно, в политике ли, в искусстве, не навязать, а именно превратить. И естественно, что в наиболее драматичном эпизоде холодной войны — Карибском кризисе американская нация не могла и не хотела уступить лавры победы или даже разделить их с кем-либо. Чтобы добиться необходимого результата, крайне важно «правильно» подобрать факты, соответствующим образом расставить акценты. У американцев получилось. Их интерпретация Карибского кризиса стала общепринятой.

Мифологизация Карибского кризиса особенно активно начинается с 1968 года, когда Роберт Кеннеди вступил в гонку за Белый дом и ему потребовался имидж жесткого и бескомпромиссного политика. Помощник президента Джона Кеннеди и один из руководителей избирательного штаба кандидата в президенты Роберта Кеннеди Теодор Сорренсен рассказывал, как он лепил этот имидж. Началось с книги воспоминаний Роберта «13 дней» о бессонных октябрьских ночах в Белом доме. Роберт Кеннеди, видимо, описал происходившее там слишком правдиво, а для избирательной кампании требовался совсем иной Кеннеди. Сорренсен счел мемуары Кеннеди наивно-мягкими, недостойными кандидата в президенты.

За «такого» американцы не проголосуют. В отредактированной им версии «воспоминаний» переговоры, торг и договоренность двух мировых лидеров, Никиты Хрущева и Джона Кеннеди, подменялись «ультиматумом». Выдвинутым кем? Естественно, Робертом Кеннеди. Достигнутый компромисс заменен «поражением и трусливым отступлением СССР под

давлением американского превосходства» и так далее. В современной американской исторической литературе эти, и не только эти, несуразности нашли свое отражение, но уже после того, как в сознании нации сложился стереотип. Да и мало кто читает все эти ученые книжки.

Каковы же основные контуры американского мифа о Карибском кризисе? Недалекий советский лидер Хрущев, посчитав на переговорах в Вене американского президента Джона Кеннеди слабаком, которым можно манипулировать, решил изменить в свою пользу баланс ядерных сил. Поэтому-то он и установил свои ракеты на Кубе. Но не на того нарвался, президент Кеннеди пригрозил ему «железным американским кулаком», Хрущев струсил, капитулировал, убрал свои ракеты с острова, и за это его сняли с работы, уволили в отставку. Беспроигрышный, многократно апробированный голливудский сценарий о супермене, который поначалу во всем уступает многократно превосходящему его отрицательному персонажу, а затем вдруг преображается… Ну а дальше все понятно. Если нет — сходите в ближайший кинотеатр.

Я очень далек от обвинений американских историков в искажении фактов и хронологии. Они соответствуют происходившему во всех деталях, разве что кое-где наведен легкий макияж, подправлены мотивы постановки ракет на острове, а мотивы каждый волен толковать по-своему.

Так в чем же мифотворцы наводят тень на плетень?

После встречи в Вене в 1961 году отец отметил, что новый американский президент по сравнению с Эйзенхауэром не столь опытен, не всегда ориентируется в хитросплетениях мировой политики. Оно и естественно, Кеннеди только заступил на президентство. Ничего большего отец в свои слова не вкладывал. Другое дело, что изощренные в лести московские «царедворцы» наперебой доказывали, что Кеннеди и в подметки не годится Хрущеву, наш лидер и умнее, и краше американского. Американцы чуть подретушировали в своих интересах славословие советских чиновников, и получилась нужная им завязка Карибского кризиса. Подходящая для мифотворчества, но абсолютно неприемлемая в том, что называется реалистичной политикой. Ни один реалистичный политик в мире не может даже предположить возможность заставить американского президента, неважно, как его зовут, Кеннеди, Эйзенхауэр, Трумэн или Клинтон, плясать под свою дудку. Тут дело не в личности, просто он президент сверхдержавы, и этим все сказано. Реалисту-отцу такое, естественно, и в голову не приходило. Другое дело, что мы имели такое же международное право разместить свои

ракеты на Кубе, как американцы свои — в Турции, Италии и Англии.

Другой блок вопросов касается мотивов. Хрущев, как и его коллеги по Президиуму ЦК, утверждали, что цель посылки ракет на Кубу — предотвращение американского вторжения, защита Кастро. Историки-мифотворцы утверждают, что на самом деле советские лидеры попытались таким образом изменить в свою пользу ядерный мировой баланс. Отец, естественно, знал, сколько у американцев стратегических бомбардировщиков и ракет и сколько у нас. Так что о достижении арифметического паритета пока речи не могло вестись.

Подмена мотива постановки ракет на Кубе с защиты острова от агрессии с континента на гипотетический ядерный баланс — важнейший компонент мифотворчества. Без него вся конструкция разваливается. Ведь, если Хрущев забрал свои ракеты с Кубы в ответ на обязательство США оставить Кастро в покое, то он пусть и не победил, но своего добился. Другое дело, если речь идет о ракетном «паритете», тут Советы «проигрывали» вчистую. Вот такая нехитрая механика.

Не стану больше дискутировать о деталях. Подробно историю кризиса я изложил в «Рождении сверхдержавы».

Не пытаюсь оспорить и право американцев на миф. Это невозможно, ибо миф, как я уже писал, отражение духовного состояния нации. Здоровое самоощущение требует безусловной победы над недругами уже потому, что здоровая нация, в ее собственном понимании, несет в мир правду и справедливость. В этом лейтмотив всех американских фильмов, а он тоже отражение здорового духа здоровой нации. Таков закон общественной природы.

В период расцвета Россия, так же, как и Америка, не позволяла себе усомниться в собственном предназначении. Вспомним хотя бы 1812 год, Бородино. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром?…» Я, школьник, учил это стихотворение наизусть и вслед за корнетом Михаилом Лермонтовым не мог понять, в чем заключается победа в Бородинском сражении? Российские потери там больше французских, русские войска отступили в Москву, потом и вовсе сдали ее Наполеону. Наполеон обосновался в Кремле. Да, в итоге войну мы выиграли, Наполеон позорно бежал, русские казаки в 1814 году прогарцевали по Елисейским полям в Париже. Но при чем тут Бородино? Только с возрастом я осознал: Бородинская битва — единственное крупное сражение в русском походе Наполеона. До того мы проиграли Аустерлиц и множество других битв. Не могли же мы проиграть и тут, к тому же на собственной территории! Здоровый дух нации требовал победы.

Так возник в российской истории миф о победе в 1812 году при Бородино. Так же возник и американский миф о победе в 1962 году в Карибском кризисе, главном событии американской версии истории холодной войны.

Советской же «мифической» версии Карибского кризиса не возникло по двум причинам. В 1964 году Брежнев запретил упоминать о Хрущеве, и положительно, и отрицательно, его исключили из российской истории вместе с самой историей. Как можно говорить о Карибском кризисе без Хрущева? И о кризисе тоже «забыли». Это первое. Второе: начавшееся с 1970-х ослабление российского национального духа в первую очередь проявилось в поведении лидеров дряхлеющей сверхдержавы, они теперь не требовали, они просили. Началось все с Брежнева. Знакомые дипломаты мне рассказывали, как на встрече во Владивостоке Леонид Ильич спросил президента США Джеральда Форда, считает ли тот СССР равным США? Форд кратко и без раздумий ответил: «Нет». Говорят, Брежнев страшно расстроился. Хрущеву бы и в голову не пришло задавать такой вопрос ни Эйзенхауэру, ни Кеннеди, так же, как не стали бы спрашивать Петр Великий шведского короля Карла Двенадцатого или Александр Первый — Наполеона. Силу признают реальной силой, только ощутив ее на себе или представив, каковы эти ощущения. Наверное, со встречи с Фордом и началось скольжение Советского Союза от сверхдержавности к ординарности.

О Карибском кризисе в Советском Союзе вспомнили лишь во времена Горбачева, и не мы сами, а по инициативе американцев. С середины 1970-х годов в США уже выписали основные контуры Карибского кризиса и приступили к детализации, выяснению всех его перипетий, буквально по минутам. Но как сделать это без участия россиян и кубинцев? На конференцию в США командировали к кризису абсолютно непричастных цековских пропагандистов-международников: Георгия Шахназарова, Федора Бурлацкого и историка-латиноамериканиста Серго Микояна, летавшего с отцом в ноябре 1962 года на несколько дней на Кубу. Они легко адаптировались к американской мифологии, и с их легкой руки она сегодня стала доминирующей и в России.

Военные и кое-кто из дипломатов, но особенно ветераны-участники операции «Анадырь», пытаются растолковать российскому обществу, что мы не проигравшая сторона. Бесполезно. Их никто не слушает и не желает слушать. Нации на определенном этапе своего развития испытывают мазохистское «наслаждение» от собственных унижений, реальных или, как в случае Карибского кризиса, мнимых.

Правда остается невостребованной. И останется

невостребованной, если самосознание нации не переменится. Что же касается американского мифа, то его опровергать бесполезно, а главное, не нужно, в здоровом теле — здоровый дух. Дай-то бог и российской нации выздороветь.

«Остров литературных сокровищ»

В тот, 1962 год, а возможно и несколько ранее, сейчас уже точной даты не припомнить, я открыл для себя «Остров литературных сокровищ», узнал, что в издательстве «Иностранной литературы», 1963 году его переименуют в «Прогресс», печатают не только продающиеся в магазинах книги, но и такие, которые не купить нигде. В одинаково желтовато-беловатых бумажных обложках, с номером на каждом экземпляре, они рассылались «читателям» по специальным спискам. Началась такая практика давно, еще при Сталине, сохранилась она и при Хрущеве. Получал спецкниги, естественно, и отец, но раньше не привозил их домой, держал в своем кабинете в ЦК. Теперь он почему-то начал оставлять номерные книги на обеденном столе в столовой для семейного ознакомления. Я, сгорая от любопытства, старался первым завладеть ими. Правда, особой конкуренции я не испытывал, Аджубей получал в «Известиях» свой экземпляр, а сестры к книгам оставались равнодушными.

«Списочная» литература публиковалась обильно, но по большей части книги казались мне скучными — экономические и военные трактаты, справочники. Но кое-что я запомнил. Поразила меня книга одного из югославских руководителей, к тому времени уже бывшего, Милована Джиласа «Встречи со Сталиным». Такого Сталина, как его описывал Джилас, даже не отрицательного, но неприятно недальновидного, я и в 1962 году воспринимал через силу. Но самым интересным оказался двухтомник «Истории компартии Советского Союза» профессора Лондонской школы экономики Леонарда Шапиро. Мы все еще жили прошлым, измышленным Сталиным в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Конечно, существовали и другие издания, возможно менее лживые, но учили и помнили мы «Краткий курс». Шапиро рассказывал о Плеханове и Ленине, о меньшевиках и большевиках, о Троцком и Сталине, о столкновениях идей и амбиций, не только победах, но и поражениях. История наша оказалась захватывающе интересной. Я перечитал книгу несколько раз и попросил у отца разрешения оставить ее себе. Он разрешил. Потом книга пропала, кто-то из моих друзей ее «зачитал».

Изданные еще в 1954 году мемуары Черчилля поразили меня

не содержанием, а тяжеловесностью томов и нечитабельностью языка. По крайней мере, в переводе на русский. Я и половины не осилил. Бросил. Через четыре десятилетия снова попытался и снова бросил. За что только ему дали Нобелевскую премию по литературе?

Прочитал я тогда и «номерной» роман Эрнста Хемингуэя «По ком звонит колокол?» Его собирались напечатать у нас открыто, но стеной встали испанские коммунисты во главе с Долорес Ибаррури. Что-то им у автора не нравилось. Издатели схитрили, выпустили книгу «секретно» в надежде, что Хрущев ее прочитает и даст добро. Но отец отложил ее в сторону. Мне роман не то что не понравился, но впечатление произвел несравненно меньшее, чем «Старик и море» или «В снегах Килиманджаро». Не понял я, из-за чего вокруг него ломаются политические копья? Что в нем запретного? Наверное, ничего, потому что роман в скором времени издали и без вмешательства отца.

Хрущевская конституция

Реформа власти в стране не ограничилась введением производственных управлений вместо райкомов, разделением обкомов. Отец плотно занялся составлением новой Конституции. Она продолжала линию утвержденного XXII съездом партии Устава партии. В новой Конституции отец хотел законодательно закрепить введенные партийным Уставом новшества: ограничить сроки пребывания на высших должностях в правительстве, сделать выборы по-настоящему выборными, Советы Народных депутатов наделить не виртуальной, а реальной властью. Отец отдавал себе отчет, что здесь он наткнется на сопротивление еще большее, чем при обсуждении Устава, но иного пути продвижения для страны и себя он не видел.

Основные положения новой Конституции отец начал прикидывать еще в 1961 году. В середине января 1962 года он сформировал из ученых-правоведов рабочую группу, которой предстояло писать текст Конституции. Во главе группы отец поставил только что избранного секретарем ЦК Леонида Ильичева. Теперь в своей работе он, минуя Суслова, замыкался прямо на отца.

24 апреля 1962 года отец выступает на сессии Верховного Совета с докладом об основных принципах построения общенародного государства, идущего на смену диктатуре пролетариата, классовой борьбе и иным атрибутам уходившей в прошлое сталинской власти. 25 апреля 1962 года сессия своим решением учредила Конституционную комиссию. Возглавил ее

отец, а сводную редакционную, самую главную подкомиссию отдали все тому же Ильичеву. Суслову поручили подкомиссию по вопросам науки, культуры, народного образования и здравоохранения, то есть поставили его под Ильичева.

Какой отец видел новую Конституцию? Об этом он говорил в выступлении перед членами комиссии 15 июня 1962 года. Я остановлюсь только на самых, на мой взгляд, значительных положениях. Самое главное — она должна исключать возможность возникновение новой тирании, диктатуры типа сталинской. Основным гарантом этого отец считал законодательное закрепление сменности высшего руководства страны, ограничение пребывания на руководящих постах двумя пятилетними сроками. Как и аналогичная запись в Уставе партии, эта инициатива вызывала недовольство. Но отец на него особого внимания не обращал, раз прошло на съезде, пройдет и тут. Важнейшее место в новой Конституции отводилось распределению властных полномочий. Программа партии провозгласила переход от диктатуры пролетариата к общенародному, а значит, демократическому государству. Следовательно, и власти предстояло перетечь от Центрального Комитета партии, его Президиума, к общенародно избранным советам, а в отдаленной перспективе — к общественным форумам.

Для того чтобы новая власть стала истинно народной властью, а не ее видимостью, как сейчас, следовало избирать ее общенародно. Безальтернативность выборов — краеугольный камень сталинской тирании. Отец покусился на этот установившийся порядок и предложил вносить в бюллетень для голосования фамилию не одного уже отобранного где-то кем-то кандидата, а нескольких. Пусть избиратели сами решают, кто им подходит, а кто нет.

Об альтернативных выборах отец к тому времени заговаривал не раз, приводил в пример писательницу Ванду Львовну Василевскую. После войны благоволивший к ней Сталин, решил избрать Василевскую в Верховный Совет СССР, и раз она жила в Киеве, естественно, где-то на Украине. Сказано — сделано. Василевская стала депутатом Верховного Совета, поблагодарила за доверие своих избирателей и о своем депутатстве забыла. Депутаты тогда власти имели мало, скорее совсем не имели, но они ездили в свои округа, принимали посетителей, выслушивали их жалобы, отвечали на письма, в меру возможностей и своей совестливости старались помочь людям в решении их житейских проблем. Ванда Львовна в свой избирательный округ не ездила, жителей не принимала, на письма не отвечала. Жалобы на нее

сыпались и в Киев, и в Москву. Тем временем срок ее депутатства истекал, предстояли перевыборы. Не выдвигать Василевскую в депутаты нельзя, Сталин уже свой выбор сделал, а выдвинешь в том же округе вторично — неприятностей не оберешься. Не избрать единственного кандидата тогда технически было невозможно, но даже 5 процентов «против» считалось недопустимой недоработкой местных властей.

«Вот и приходилось перекидывать Василевскую на каждых выборах из избирательного округа, где ее знали, в округ, где ее еще не узнали, желательно подальше от предыдущего. На кой ляд нам такие депутаты?» — возмущался отец.

Однако изменение порядка выборов оказалось совсем не простым.

«Если кандидат на выборах не единственный, кто выдвинет альтернативного? — задал “крамольный” вопрос на совещании в ЦК один из участников дискуссии Д. И. Денисов. — Тогда партия должна отказаться от руководства выборами. Сейчас кандидатов выдвигает обком партии. Он ведь не может двух кандидатов предложить на одно место?»

Вопрос показался настолько бессмысленным и настолько опасным, что тогда, не углубляясь в детали, записали: «Предложение неприемлемо, поскольку не отвечает интересам делового обсуждения кандидатов в депутаты, представляющих единый блок коммунистов и беспартийных».

И сам отец на сакраментальный вопрос «Кто?» ответить пока не мог. Он предложил: пусть помимо партии выдвигают кандидатов на выборах общественные организации. Крамола, конечно, но в жизни отца не первая и не последняя. Однако и в этом случае не очень получалось. Стоило отцу озвучить свою идею, как посыпались вопросы: как общественные организации смогут себе такое позволить без одобрения партии? Не значит ли, что они пойдут против партии?

— Не против, а вместе, — не очень уверенно возражал им отец.

Как долго они продержатся вместе, ведь кандидатов выдвигают альтернативных, то есть борющихся между собой, отец не уточнял. Он понимал, что альтернативность подорвет единовластие партии, но ведь государство-то у нас станет общенародным.

Будущая Конституция продолжала линию передачи властных полномочий от центра на места, в республиканские и иные советы, которые переименовались из «Советов депутатов трудящихся» в «Советы народных депутатов». Разница сегодня неощутимая, а тогда — принципиальная. Тем самым

законодательно отменялась диктатура, все граждане уравнивались в правах. Советы, что очень важно, при каждых выборах предполагалось обновлять на треть, и никакой, даже самый заслуженный депутат не мог претендовать на избрание на четвертый срок. В заключение своего выступления перед членами Конституционной комиссии отец предположил процедуру ее принятия: отшлифованный проект Конституции вынести на всенародное обсуждение, а утверждать ее не на сессии Верховного Совета, как предлагали комиссары, а на всенародном голосовании (референдуме).

Подрывая всей своей сутью партийное единовластие, тем не менее, новая Конституция обозначала Коммунистическую партию руководящей и направляющей силой в советском обществе и государстве. Но это — декларативно. Не партия, а ее Центральный Комитет, обкомы и райкомы контролировали власть. С введением альтернативных выборов они эту власть фактически утрачивали.

Ведь теперь в государственные органы становилось возможным избрать кого угодно. Партийные чиновники это понимали и, не рискуя вступать в прямую конфронтацию с отцом, работу над Конституцией, как могли, затягивали. А могли они многое.

6 июня 1962 года в Москве прошло совещание руководителей стран-членов СЭВ. Председательствовал Хрущев. Обсуждали текущие проблемы: поставки, их оплату и предоплату. Отец настаивал на главном: мы должны переходить от симбиоза национальных экономик к единому экономическому организму. Это пойдет на пользу всем, снимет множество проблем, возникающих из-за несогласованности планирования, недоучета взаимных потребностей.

Партнеры не возражали, все высказались «за», но на встречах один на один с Хрущевым руководители дружеских стран пеклись не об общем интересе, а стремились урвать у СССР что удастся. Ульбрихт и Новотный просили увеличить поставки дешевой советской нефти, Гомулка хлопотал о зерне. И то и другое — товары дефицитные. Сибирскую нефть еще не добывали, и с зерном в 1962 году, как и раньше, вырисовывались проблемы. Насколько большие — покажет только осень. И тем не менее отец пообещал попросить Госплан еще раз пересчитать наши возможности. Чем можем — поможем.

12 июня 1962 года отец подписывает Постановление ЦК и Совета Министров СССР «О мерах по усилению научных исследований в ряде областей биологии». Представленное министром высшего и среднего образования Елютиным, президентом Академии наук Келдышем, заведующим Отделом науки ЦК Кириллиным, оно направлено, как написано в сопроводительной записке, «на усиление научных исследований и подготовки кадров в области биохимии, биофизики, вирусологии, цитологии, некоторых разделах генетики, микробиологии и физиологии».

По сути дела — это легализация формальной генетики, с которой последние тридцать лет так успешно боролся академик Лысенко. Ему казалось, что генетику навсегда удалось загнать в подполье, и вот теперь она вновь выбирается на свет божий.

«Исследования нуклеиновых кислот представляют собой наиболее бурно развивающуюся область современной химии и биофизики», — констатируется в

записке, а в самом Постановлении предписывается: «Должны быть широко развернуты исследования молекулярных основ жизненных явлений, клетки и клеточных структур… Особое значение имеет изучение структуры белка и нуклеиновых кислот, биосинтеза белков, биологической функции нуклеиновых кислот, фотосинтеза, фотохимических основ наследственности»… и так далее.

Представляя Постановление, Отдел науки ЦК приложил справку с фамилиями ученых, которые могли бы заняться этими исследованиями. Открывается она фамилией академика Шмальгаузена Ивана Ивановича, 1884 года рождения, который до разгромной лысенковской сессии Академии сельскохозяйственных наук 14 августа 1948 года работал директором Института эволюционной морфологии, а после тех событий был разжалован в старшие научные сотрудники Зоологического института. Далее следуют еще одиннадцать ученых-генетиков с мировым именем, после той печально знаменитой сессии низвергнутых в никуда. Теперь они получали возможность вернуться к своим исследованиям.

Лысенко потерпел поражение, но он верил в себя и в свою правоту и тут же начал готовить контрнаступление. Через некоторое время отец подпишет другое Постановление, теперь уже в его пользу.

В июне 1962 года вышел на экраны сатирический киножурнал «Фитиль» Сергея Михалкова. Сейчас не понять, почему я упомянул это, в общем-то, малозначимое событие. В том-то и дело, что тогда оно прозвучало очень знаково, в объявленном Сталиным обществе без противоречий и конфликтов вдруг обнаружились недостатки, и о них теперь стало можно говорить. Недостатки, естественно, отбирались для «Фитиля» пустяшные, но не в этом суть. Сам факт дозволенности их обсуждения — шаг к гласности.

Тогда же, в июне 1962 года газеты сообщили, что ставропольский газ пришел в Грузию. Началась газификация Тбилиси, а за ним и всего Закавказья. Сейчас трудно представить, как люди ухитрялись жить без газа?

11 июля 1962 года отец едет в подмосковную Немчиновку, осматривает в Горках Ленинских экспериментальную базу НИИ сельского хозяйства.

12 июля 1962 года ЦК КПСС и Правительство приняли Постановление о «шефской» помощи горожан селу, отправке на сельскохозяйственные работы военнослужащих, школьников, студентов, рабочих, инженеров, ученых. Отец скептически относился к «шефству», считал, что государству и обществу оно обходится накладно. Еще в 1956 году он говорил на заседании Президиума ЦК, что это не помощь, а иллюзия помощи, по сути разбазаривание ресурсов. Никто не считает, сколько на этом теряют заводы и фабрики и что приобретают колхозы. Если свести баланс, то окажемся в убытке, и немалом. Нужно не горожан посылать в поле, они там не столько наработают, сколько натопчут, а дать селу технику, машины, простимулировать их, и тогда им никакие «шефы» не понадобятся.

Однако не получилось, и не по злому умыслу. Во всем мире на уборку урожая фермеры нанимают сезонных рабочих, поденщиков. В американской Калифорнии — это мексиканцы, а в Айове — безработные. У нас безработных не было, вот и выискивали, где придется, «свободные» рабочие руки. Тогда договорились временно, до лучших времен, пока не механизируют сельское хозяйство, разрешить посылку горожан в колхозы, особенно на целину. Однако «лучшие времена» так и не наступили.

14 июля 1962 года отец вместе с Микояном в цирке на Цветном бульваре на представлении Гуандунской цирковой труппы из Китая. Отец пошел туда отчасти из политических соображений, отношения с Китаем ухудшались, и посещением он демонстрировал соседям доброе расположение. Но и без всякой политики китайские циркачи ему очень понравились.

16 июля 1962 года в прессе сообщили, что крестьяне колхоза «Заря коммунизма», расположенного на 59-м километре Каширского шоссе, переехали из своих домов в благоустроенные, с центральным отоплением, водопроводом, канализацией и даже газом, трех— и пятиэтажные здания. Они экономичнее одноэтажек, и в них новоселы заживут как горожане. Отец недавно осматривал «типовой поселок будущего» в подмосковном Усово, затем инспектировал типовой крестьянский дом на строительной выставке, а вот теперь еще один вариант застройки села в «Заре коммунизма».

Отец экспериментировал, прикидывал, какой из

проектов окажется наиболее подходящим. Опыт «Зари коммунизма» признали неудачным. Колхозники с неохотой шли в многоэтажки, не хотели отрываться от своего подворья: сараев, огородов и палисадников. В конце концов, договорились: в селах целесообразнее строить двухэтажные коттеджи на две семьи, каждой — полдома на обоих этажах, При доме сохранялись хозяйственные постройки.

8 августа 1962 года вышло новое Постановление «О дальнейшем развитии кооперативного строительства». «Только совместно кооперативные и государственные жилищные программы позволят разрешить в обозримом будущем “жилищный вопрос”», — декларировалось в Постановлении и затем детально расписывалось как.

На следующий день, 9 августа 1962 года, Пленум Верховного суда с беспокойством отметил рост взятничества в стране. Еще один знак, как ни странно это звучит, ухода от тирании, чиновники больше не опасались за свою жизнь, не боялись, что за взятку их отправят на лесоповал. Взятки брали еще далеко не все, и с большой опаской, но уже начинали брать. Верховному суду предстояло выработать противоядие от этого побочного эффекта демократизации советского общества.

25 августа 1962 года «Известия» сообщили, что в Москве, на Ленинском проспекте, в доме № 72 открылась первая автоматическая прачечная. По примеру американцев, там установили четыре десятка стиральных машин, приходишь, загружаешь грязное белье, опускаешь жетон, и через час все аккуратно выстирано.

Поначалу в прачечную установилась очередь, не столько постирать, сколько поглядеть. Затем очередь рассосалась, а вскоре прачечную-автомат закрыли. Американский опыт на российской земле не привился. Москвичи предпочитали стирать сами или привычно сдавать белье приемщице в обычной прачечной и получать его уже отглаженным, пусть и стоила такая услуга дороже. Да и стиральные машины в «американской» прачечной не успевали ремонтировать, посетители их безжалостно корежили, кто по незнанию, а больше для забавы. По той же причине не прижился у нас и прокат автомобилей. Возвращали их в таком состоянии, что хоть сразу в утиль отправляй. Постепенно

их все туда и отправили, а автопрокатные конторы позакрывали.

17 сентября 1962 года нефтепровод «Дружба» дотянули до Венгрии. А вот совсем другая новость. 21 сентября 1962 года в Москву приехал знаменитый американский, но по происхождению русский композитор Игорь Стравинский, автор «Петрушки», «Жар-птицы» и еще многих выдающихся произведений. Из России он эмигрировал еще в 1914 году и теперь захотел посмотреть, как идут дела у большевиков. Встречали его тепло, но без особой помпы, о Стравинском у нас большинство и не слышало. 11 октября отец принимает Стравинского в своем кремлевском кабинете. Вместе с композитором приходят его жена, американский дирижер Роберт Крафт и секретарь правления Союза композиторов Тихон Хренников.

25 сентября 1962 года советских трудящихся ожидало пренеприятнейшее известие. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ, замораживавший (до особого распоряжения) исполнение закона от 7 мая 1960 года об отмене взимания налогов с граждан. Самые малоимущие, те, кто освободился от налогов до сентября 1962 года, оказывались в выигрыше, остальные считали, что правительство попросту их надуло, и глухо ворчали.

Напомню, отец тогда посчитал, что при стабильном росте экономики бюджет легко обойдется без налогов. Не получилось. Новое строительство, в том числе жилищное, требовало все больше средств, сельское хозяйство тоже оказалось много прожорливее, чем рассчитывали. Стоило перестать грабить крестьян, начать возвращать «долги», как выяснилось, что расплатиться сполна ох как трудно! Пришлось выбирать: сократить инвестиции, попридержать экономику или временно, до лучших времен, поступиться своим словом. Отец выбрал второе, понадеялся, что люди его поймут, ведь экономика работает на всех. Он ошибся. Люди не прощают тех, кто отнимает обещанное. Грядущее освобождение от налогов все уже вписали в свой доход, и вот на тебе! Решение о приостановлении отмены налогов очень чувствительно ударило по популярности Хрущева.

12 октября отец приглашает своих коллег в Кремлевский театр на спектакль Витебского

драматического театра «Лявониха».

13 октября он осматривает новые станции Калужского радиуса метро.

15 октября встречается с Президентом Финляндии Кекконеном, они долго разговаривают. Переговоры продолжаются и следующие два дня. Собеседники друг другом довольны. Вечером отец вместе с гостем в театре Станиславского и Немировича-Данченко на балете Адана «Корсар», а 16 октября они вместе слушают «Евгения Онегина» в Большом.

18 октября 1962 года отец в Кремлевском дворце съездов, там торжественно отмечали 150-летие Отечественной войны 1812 года.

24 октября отец долго беседует с президентом американской компании «Вестингауз электрик» Вильямом Ноксом. Говорили не столько о торговле, сколько о Карибском кризисе, опасности столкновения сверхдержав, о необходимости уживаться друг с другом, о мирном сосуществовании.

6 ноября 1962 года, в канун Октябрьских праздников, открылось движение на Московской кольцевой автодороге. Отец выступил на митинге, затем с удовольствием прокатился от Ленинградского шоссе до Минского.

22 ноября 1962 года, до того совершенно невыездной, знаменитый детский писатель Корней Чуковский впервые после 1903 года летит в Лондон. Там, в Тринити колледже ему присуждают почетную степень доктора литературы.

9 декабря 1962 года посол Швеции в Москве вручил Нобелевскую премию Льву Давидовичу Ландау, физику-теоретику, по отзывам коллег — гениальному ученому. Поехать в Стокгольм Ландау не смог, уже который год после нелепой автомобильной катастрофы он оставался практически неподвижен. Зимой в гололед они с приятелем, на его «Волге», торопились на лекцию в Дубну и столкнулись с грузовиком. Врачи ничего хорошего не обещали. Нобелевская премия подвела итог жизни Ландау.

«Югославская модель»

18 декабря отец уезжает в Киев. Как и в прошлом году, в Москве с середины декабря гостил Президент Югославии Иосип

Броз Тито. Отношения с ним у отца складывались непросто, их взгляды на мировую политику особенно не расходились, но Тито продолжал претендовать на большее, чем просто союзничество с Москвой. Он требовал признать себя ровней, лидером неприсоединившихся стран, проводивших свою политику. Другими словами, он вел себя по отношению к Москве примерно так же, как отец выстраивал свою американскую политику. Отсюда постоянно возникали шероховатости, порой дело доходило до резкостей. Затем все снова успокаивалось. Отец относился к Тито с уважением, считал его личностью, с его мнением считался и беседовал с ним не по необходимости, а с удовольствием. Вот только времени в Москве для обстоятельного разговора не находилось. Отец свозил Тито на охоту в Завидово. Тито понимал толк в этом деле. После охоты, когда завечерело, они заговорили о политике и вскоре перешли к экономике. Отец выспрашивал гостя об особенностях взаимоотношений югославских производителей с государством. Тито объяснял, что их директора предприятий несравненно свободнее советских, сами решают, что производить, что, где и за сколько продавать, причем не только внутри страны, но и за границу. Не оставили они в стороне и рабочие советы. В рассказе Тито звучала не просто гордость, но и проскальзывала нотка снисходительности. Получалось, что эти советы не только очень эффективный экономический механизм, но и новое слово в теории. И сказали его они, югославы, он, Тито. Отец заинтересовался рассказом Тито и предложил гостю вместе прокатиться в Киев. Там они еще поохотятся вдвоем и наговорятся без помех. Тито легко согласился. В Киеве он бывал не раз, город ему нравился, да и Хрущеву, как он понимал, эта поездка доставит удовольствие.

В Киеве они провели вместе два дня, не в самом городе, а в «лесной избушке» — загородной государственной резиденции «Залесье». Там, перед камином, продолжился разговор о правах директоров, о рабочих советах, об особенностях управления экономикой в Советском Союзе и Югославии. Тито на все лады расхваливал «югославскую» модель. Отец его внимательно слушал, кивал, но сути новизны и эффективности югославского изобретения до конца не ухватывал. Договорились, что в следующем году он приедет в отпуск в Югославию, погостит у Тито на острове Бриони, попутешествует по стране, посмотрит своими глазами, пощупает своими руками.

Проводив Тито домой 20 декабря, отец занялся делами. Сначала побеседовал в узком кругу с украинскими руководителями, а затем 24 декабря провел в Украинском ЦК широкое совещание о реорганизации управленческой структуры,

разделении обкомов, о том, чего и как он рассчитывает добиться.

25 декабря отец с Подгорным посетили в Киевский Институт сверхтвердых материалов, там свершилось чудо: украинские ученые синтезировали алмазы. Их отцу действительно показали: махонькие песчинки, невзрачные на вид, но по-алмазному крепкие. Для украшений они не годились, но хороши для сверхпрочного неизнашивающегося инструмента. Увиденным отец остался очень доволен.

29 декабря в Киев к отцу приезжают его друзья-поляки Веслав Гомулка и Юзеф Циранкевич.

Пока отец гостил в Киеве, Фрол Романович Козлов улетел в Среднюю Азию.

28 декабря 1962 года в Ташкенте он представил первым секретарям ЦК союзных среднеазиатских республик тридцатичетырехлетнего Владимира Григорьевича Ломоносова, вчерашнего второго секретаря Калининского райкома Москвы, а теперь их нового начальника, председателя только что созданного Среднеазиатского Бюро ЦК КПСС. Ломоносову вменялось в обязанности координировать работу республик, а значит, и республиканских ЦК. За восточным сладкоголосием, которым среднеазиатские руководители встретили посланца центра, скрывается жесткое неприятие. Республиканские первые секретари привыкли сами распоряжаться в своих вотчинах-республиках и не желали иметь над собой кого-либо еще, кроме далекого московского «хозяина». А тут прислали мальчишку, секретаря райкома, к тому же не первого, а второго! У них таких десятки на побегушках.

Отец давно присматривался к Ломоносову, он ему нравился своей организованностью, распорядительностью, умением схватывать новые идеи. Отец прочил ему большое будущее и решил обкатать его на конкретных делах в глубинке. Так же, как он отправил столь же «юного» Семичастного на обкатку в Азербайджан вторым секретарем в ЦК. Но Семичастный попал в Азербайджан «вторым», а Ломоносова отец поставил в Ташкенте выше «первых». Ломоносов с местными начальниками не сработался и с ними не справился. В 1964 году, сразу после отставки отца, Средазбюро ликвидируют, среднеазиатские секретари ЦК вернут себе былые права, а Ломоносова отзовут в Москву, назначат в ЦК инспектором Отдела партийной работы, где он и «зачахнет».

Кому как живется?

20 декабря 1962 года отец запросил результаты

статистического обследования бюджетов советских семей. Среди всего остального, его интересовало, как июньское повышение цен на мясо и молоко отразилось на жизни людей.

За 1961–1962 год денежные доходы у рабочих промышленности увеличились на 2–6 процентов и составили 1 600 — 1 700 рублей в год (133–141 рублей в месяц). У рабочих совхозов они выросли на 10 процентов, но получалось всего 1 300 рублей за год (110 рублей в месяц). Самый большой рост в процентах у колхозников — на 13 процентов обеспечил годовой доход в 700 рублей (51 рубль в месяц). Другими словами, сталинское ограбление села времен индустриализации пока компенсировать не удалось, и вряд ли скоро удастся. В село предстояло еще вкладывать и вкладывать.

«В результате повышения цен в семьях горожан потребление продуктов животноводства снизилось на 5 процентов, одновременно поступление мяса в магазины увеличилось тоже на 5 процентов, запасы его выросли на 56 процентов, запасы масла — на 80 процентов, — свидетельствует статистика. — Расходы на покупку непродовольственных товаров у горожан не изменились, а у сельчан с ростом доходов тоже возросли. От повышения розничных и закупочных цен на мясо и масло выиграли, в первую очередь, колхозники, их доходы от торговли на колхозных рынках увеличились на 17 процентов».

При этом на приусадебных участках колхозники и совхозники производят 44 процента мяса, 45 процентов молока, 76 процентов яиц, 82 процента шерсти, заготавливаемых в стране.

Отец по-прежнему не сомневается, что приусадебное хозяйство свой век отжило, будущее за крупными механизированными комплексами. Но это произойдет, когда общественное хозяйство начнет сполна удовлетворять все потребности колхозников. Тогда у них пропадет интерес к своим грядкам. Нельзя забегать вперед! «Мы будем строго наказывать тех, кто проявляет ретивость в ликвидации этих участков», — предостерегает он от поспешности и своих подчиненных, и самого себя.

Проблемы, проблемы, проблемы

1962 год уходил буднично, особенно не радовал, но и не расстроил. Рост экономики составил 5,7 процента, на 1 процент меньше, чем в предыдущем, но в общем неплохо. Зато производительность труда выросла на 5,5 процента по сравнению с 4,4 процента в 1961 году.

С начала семилетки (1959–1962 годы) прирост продукции составил 45 процентов при плане в 39 процентов, сооружено 3 700 крупных промышленных предприятий, в городах построено около 9 миллионов квартир общей площадью 325 миллионов квадратных метров и еще 2 миллиона 40 тысяч домов в сельской местности; 50 миллионов человек (25 процентов населения страны) улучшили жилищные условия.

Вот новости из области энергетики. 30 ноября плотина Днепродзержинской ГЭС перекрыла Днепр, а 10 декабря заработал третий агрегат Назаровской тепловой электростанции под Красноярском. Подготавливалось строительство сверхмощных гидроэлектростанций на реке Вахш в Средней Азии.

Существенную отдачу давало Постановление 1958 года о развитии химической промышленности. 10 октября 1962 года Новокуйбышевский завод начал выпускать синтетический спирт из газа, экономя тем самым пищевые продукты — зерно и картофель. 23 октября получили первую продукцию на Омском заводе синтетического каучука. 15 декабря вступает в строй Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

9 октября на Салаватовском нефтехимическом комбинате синтезировали первый полиэтилен. Отец возлагал особые надежды на это производство — пленка заменит стекло в теплицах, из полиэтиленовой массы можно штамповать уйму бытовых вещей: ведра, тазы, ванночки, водопроводные и канализационные трубы, все это тогда делали из стали и чугуна. В Курске начали производить лавсан, лавсановую пряжу, лавсановую ткань, шить из нее модную одежду. Появились первые образцы стеклопластиков, за границей из него клеили массу конструктивных деталей, которые до того штамповали из металла, в том числе крылья автомобилей, детали речных судов.

Однако отец считает, что этого мало. Химизация промышленности в нашей стране отстает и от потребностей, и от Запада. «Мы купили химические заводы в Германии, Италии, Японии, во Франции, и сейчас эти заводы вступают в строй. Еще недавно мы производили три тысячи тонн полиэтилена в год, а теперь вышли на 60 тысяч тонн. Но эти цифры радуют только

ораторов, которые ни черта не понимают в экономике. Мы — как крестьянин, который имел копейку, потом заимеет пятак и радуется. А нам нужен рубль, — говорит он на заседании Президиума ЦК 5 ноября 1962 года. — Пока мы выходили на производство 60 тысяч тонн полиэтилена в год, американцы увеличили свое производство с 500 тысяч тонн до 800! Сколько стоит тонна полиэтилена и сколько тратится на производство тонны стали?! Мы оказались в плену старых схем, капитализм нас обогнал, они шагают вперед, зарабатывают, а мы по старинке планируем капиталовложения в металлургию, вместо того чтобы направить их на производство пластмасс.

Мы перевыполняем планы по производству стали и недовыполняем по текстилю. Мы недозагружаем текстильную промышленность. Текстиль — это одновременно удовлетворение запросов людей и накопления. Такой перекос в политике ведет к истощению экономики. Догоняя Америку, нельзя забывать о сегодняшних нуждах людей, иначе это как забота о загробной жизни.

Куда надо вкладывать средства? Туда, где выгоднее. Так поступают капиталисты. Для социализма — те же законы! Только у них это называется прибылью, а у нас — рентабельностью. Вывод — экономикой надо управлять иначе, планы разрабатывать на местах, а в центре иметь маленький, квалифицированный Госплан, который “сшивал” бы все воедино».

Из заседания в заседание Президиума ЦК, на ноябрьском Пленуме отец твердит о недостаточной унификации и типизации, об отсутствии единой технической политики. Был у нас один трактор ДТ-54, а теперь стало три: ДТ-54 Волгоградский, ДТ-54 Харьковский, ДТ-54 Алтайский, и у каждого свои мелкие отличия, и каждому нужны свои уникальные запчасти.

«Капиталисты и тут нас опередили, — сетует отец, — у них специализация, поток, штамповка, кооперирование. Капиталисты создают “Общий рынок” в Европе. В Италии фирма “Оливетти” производит универсальную канцелярскую утварь для всей страны. Это капиталисты делают, а мы работаем по старинке, каждый для себя. Как раньше крестьянин ободья колесные гнул, так и мы трактор делаем».

В выступлениях отец касается и ничем не оправданной затяжки с внедрением разработанной в Советском Союзе технологии непрерывной разливки стали, проблемы замены мартенов на конверторы, производства на Кировском заводе в Ленинграде 220-сильного трактора для целины и сетует на совнархозное местничество.

Когда главный «контролер» страны Шелепин доложил

Президиуме ЦК, что «у нас на складах залежалось швейных изделий на три миллиарда рублей, никто их не покупает, фасоны устарели, а обувные фабрики отчитываются по весу, чем ботинок тяжелее, тем им выгоднее», — отец попросту взорвался: «Вы говорите о ботинках, а я вам назову тысячу еще предметов. В старое доброе время частник, и сейчас так поступают капиталисты, объявлял весной распродажу остатков зимних товаров, продавал со скидкой, иначе омертвляется капитал. А наши бюрократы этим не интересуются, кончился сезон, валенки — на склад, пусть их там моль бьет».

Снова, в который раз, он заводит речь о взаимоотношениях центра с периферией, бюрократов с директорами предприятий. Но при всех проблемах, постоянной необходимости все проталкивать, всех подталкивать, промышленность, тем не менее, работала удовлетворительно, а после новой реформы, надеялся отец, заработает еще эффективнее.

А вот сельское хозяйство вызывало серьезные опасения. В Сибири и Казахстане — засуха. «Алтайский край при плане 267 миллионов пудов (3,6 миллиона тонн) дал только 76 миллионов (1,2 миллиона тонн), Омская область вместо запланированных 101 миллионов пудов (1,6 миллиона тонн) — 40 миллионов (640 тысяч тонн). В Целинном крае летом пшеница стояла стеной, ожидали получить 15–16 центнеров с гектара (при средней урожайности около 11 центнеров), но ударила сорокаградусная жара, и весь колос высох. Казахстан продал государству всего 500 миллионов пудов (8 миллионов тонн), половину от того, на что рассчитывали. Сибирские районы тоже недодали 450 миллионов пудов», — сокрушается отец в разговоре с туркменскими дехканами 28 сентября 1962 года, а затем повторяет свои слова на заседании Президиума ЦК 5 ноября 1962 года.

Засуха охватила и районы юга Украины, те, где традиционно возделываются озимая пшеница и кукуруза на зерно. Украинцы сдали всего 650 миллионов пудов (10,4 миллиона тонн) зерна против запланированного миллиарда (16 миллионов тонн). В центре России, Белоруссии и Прибалтике, наоборот, посевы и урожай вымокли от дождей. Выручили Северный Кавказ, Поволжье, Оренбургская область. Там собрали сказочный урожай, что позволило РСФСР в целом получить зерна много больше, чем в 1961 году.

Суммарно 1962 год оказался лучше предыдущего, но не настолько, как хотелось. В 1962 году собрали 140,2 миллиона тонн зерна (в 1961 году — 130,8), продали государству 56,6 миллионов тонн — по сравнению с 52,1 миллиона в предыдущем году, и средняя урожайность с гектара, несмотря на засуху, тоже

чуть повысилась: 10,9 центнера против 10,7.

Однако подскочило и потребление зерна, другими словами, продажа хлеба населению. Тут сработало июньское повышение цен на мясо. Поднялись цены на мясо на рынках, и сразу появился дополнительный стимул откармливания коров и свиней все теми же дешевыми буханками. Ситуация складывалась критическая, если не принять немедленные меры, то свиньи опустошат и без того мизерные государственные резервы зерна.

В ведомстве Шелепина разыскали давнее, но никем не отмененное Постановление Правительства от 26 ноября 1947 года, ограничивавшее продажу «хлебобулочных изделий в одни руки двумя с половиной килограммами». Госконтроль разослал по стране циркуляр, предписывавший строго придерживаться «установленных законом» ограничений. Во всех булочных и сельмагах появились предупредительные плакатики, контролеры на местах «строго» следили за продавцами. Теперь, чтобы прокормить корову, в магазин придется приходить не раз и не два, и не набегаешься, да и примелькаешься, «шелепинцы» сразу возьмут нарушителя на заметку. Так рассчитывал Шелепин, но он строил свои планы на бумаге, оторванно от реалий жизни.

Норм продажи хлеба придерживались, в основном, в Москве и других крупных городах, где контролеров побольше, да и скотину почти никто не держал. В целом же по стране обойти постановление труда не представляло. Договориться с продавщицей хлеба в городках и поселках, где все знают друг друга, легче легкого. За небольшую взятку, а чаще просто из сочувствия она отвалит столько буханок, сколько требуется.

Инициатива Шелепина не столько сократила продажу хлеба, сколько вызвала у всех раздражение. Сам факт введения ограничений, тогда как недавний съезд партии пообещал скорое процветание, а Хрущев заявил, что уже нынешнее поколение людей «будет жить при коммунизме», ничем другим, как грубейшей политической ошибкой назвать нельзя. ЦК завалили гневными письмами.

Убедившись, что предложенная им мера не сработала, Шелепин не отступился, от природы человек жестокий, он, подтверждая свое прозвище «железного Шурика», предложил ввести драконовские меры, обложить горожан, содержащих скот, разорительным налогом, как при Сталине. Отец отверг инициативу Шелепина, его стратегия неизменна: кризис разрешится только через изобилие, увеличение производства, в том числе и зерна. Чтобы избавиться от зерновых проблем, подсчитал отец, необходимо утроить заготовки зерна. Как? Поднять урожайность на существующих площадях, собирать с

гектара не десять центнеров, а по примеру Европы — двадцать-тридцать. Отец удовлетворился бы двадцатью, но без удобрений и это сплошная маниловщина, а они завтра не появятся, пока изыщутся в бюджете средства, пока построят заводы, наладят технологию, пройдет три-четыре года.

Об удобрениях, строительстве заводов для их производства отец буквально теми же словами говорил еще в начале года, на мартовском Пленуме ЦК, но в 1962 году дополнительных средств «под удобрения» не нашлось. Госплан с Минфином встали стеной, бюджет сверстан и уже трещит по всем швам.

Пока же, не от хорошей жизни, оставался единственный выход из положения — распашка «отдыхавшей» под травами земли.

В 1962 году из простаивавших 52 миллионов гектаров земельных угодий уже распахали 15 миллионов. Отец предлагает в следующем году задействовать еще 20 миллионов. При средней урожайности в 10 центнеров с гектара прибавка составит 20 миллионов тонн зерна. «Прежде чем назвать эти цифры, я много думал, рассчитывал и пришел к убеждению, что они посильны», — пишет отец в Президиум ЦК 10 ноября 1962 года.

Тем временем спор Бараева с Наливайко разгорелся с новой силой. Наливайко не устает повторять: пары и травы — анахронизм. Бараев возражает ему: «На целине особые условия, травы предохраняют почву от эрозии, тут необходима осторожность». На стороне Наливайко — пример американских фермеров, он, собственно, предлагает следовать их рецептам. Бараевым руководит крестьянская осторожность и накопленный за годы жизни в казахской степи опыт.

В сложившихся условиях предложения Наливайко оказываются привлекательнее, сулят передышку, столь необходимую, пока подоспеют удобрения, и Хрущев переходит на его позиции, правда, с оговоркой: «Часть трав следует сохранить, люцерна и клевер колхозам и совхозам нужны».

На ноябрьском Пленуме ЦК он выговаривает казахам за пренебрежение особенностями целинного земледелия, за игнорирование голоса передовой науки и практики, за то, что «запустили земли». Но эти его слова местные руководители пропускают мимо ушей, сказаны они мимоходом, с них спросят не за люцерну с клевером, а за нераспаханные гектары.

Поставив на Наливайко, отец рискует: в случае весенней засухи и сильного ветра может случиться черная буря, уносящая с полей и семена, и почву, и надежды хоть на какой-либо урожай. Но такое случается в природе крайне редко. Отец надеется, что до перехода к интенсивному способу земледелия несчастья не

произойдет. А там появится возможность часть площадей использовать как ветрозащитные полосы, в США они продемонстрировали свою эффективность. Надеется… Пока же травы пускают под плуг.

Если в зерновом секторе сельскохозяйственного производства перелома добиться не удалось, то в животноводстве отец с удовлетворением отмечает некоторое улучшение. Вслед за майским решением о повышении закупочных цен на мясо, молоко и масло поголовье скота поползло вверх, за истекший год увеличилось с 90,7 миллионов голов до 95,4 миллионов, закупки мяса возросли с 8,7 миллионов тонн до 9,5 миллионов, молока с 62,6 миллионов тонн до 63,9 миллионов. Отец позволяет себе похвалиться: в 1953 году, когда он пришел к власти, заготавливали мяса всего 5,8 миллионов тонн, а молока только 36,5 миллионов тонн. Так что прогресс налицо, хотя для радости оснований мало, планы год от года не выполняются, намечали за три года семилетки рост продукции сельского хозяйства на 25 процентов, а получили 6,2 процента. Причина отцу ясна — хроническое недофинансирование. В сельском хозяйстве основных фондов в расчете на одного работающего в 2,8 раза меньше, чем в промышленности, а энерговооруженность в 2,4 раза ниже. Водоснабжение ферм механизировано только на 33 процента, на механическое доение (сколько отец с ним бился!) переведено всего 10 процентов поголовья коров. В полеводстве уборка кукурузы механизирована на 33 процента, ее не скашивают комбайнами, а рубят топорами. Картофелекопалки собирают 24 процента урожая, остальное по старинке копают лопатами. Электричества в сельском хозяйстве расходуется всего 3 процента от общей выработки.

Не дало ожидаемого эффекта и преобразование колхозов в совхозы. Предсказания экономистов-аграриев, что с переходом от кооперативной к общественной собственности в сельском хозяйстве заработают эффективнее, так и остались на бумаге. На деле колхозно-совхозная затея принесла одни убытки. Оно и понятно, в совхозы преобразовывались беднейшие, бросовые колхозы и новоявленные совхозники работать лучше не стали, но теперь их труд оплачивали не палочками-трудоднями, с окончательным расчетом тем, что останется после сбора урожая и выполнения обязательств перед государством, а гарантированной ежемесячной зарплатой. В результате преобразований деревенские жители немного выиграли, а государство и общество в целом — проиграли.

Отец с сожалением констатировал, что «предварительный заезд» в соревновании с США оказался неудачным. Следует

перегруппироваться, навести порядок в собственном хозяйстве, иначе на успех рассчитывать не приходится. Мы же теряем время, год за годом, а «год — срок большой. Это 365 дней, одна двадцатая времени, отпущенного Программой партии на построение коммунизма в нашей стране», — говорил отец на заседании Президиума ЦК.

Выход один — увеличить инвестиции, дать крестьянам больше машин, навалиться на производство удобрений и главное — реформировать производственные отношения. Вот только как? Он все больше склоняется, что по Худенко и Либерману.

Заканчивая 1962 год, отец в ближайшей перспективе очень надеялся на урожай 1963 года, природа всегда перемежает сушь с дождем, урожайные годы с неурожайными. После стольких лет засухи должно же, в конце концов, повезти. Хороший урожай требовался отцу позарез, без него задуманная реформа страны забуксует, придется не о будущем думать, а сиюминутные прорехи латать.

Хрущев, Суслов, Ильичев и скандал в Манеже (Отступление двенадцатое и последнее)

Теперь я перейду к описанию далеко не самого значительного, но изрядно нашумевшего события 1962 года, того, что впоследствии назовут «Скандалом в Манеже». Неудивительно, как и в случае с Пастернаком, все участники событий — люди амбициозные, пишущие, естественно, свое и о себе.

Посещение отцом новой экспозиции художественной выставки 1 декабря 1962 года внешне событие рутинное. Он ходил на выставки регулярно, вместе с ним таскались и другие члены Президиума ЦК. Не спеша осматривал залы, останавливался у одних полотен, бросал взгляд мельком на другие, на прощание расписывался в книге отзывов и благодарил устроителей за доставленное удовольствие. В марте отец уже побывал в Манеже, теперь экспозицию поменяли и ждали его со дня на день.

В 1962 году литераторы и художники, как и в предыдущие годы, продолжали бороться между собой за место под солнцем, причем молодые «либералы-модернисты» набирали очки. Василий Аксенов и Анатолий Гладилин, Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко теснили стариков. Их книги раскупались мгновенно, тогда как тома «маститых» писателей пылились на магазинных полках. «Маститые» сдавать позиции не собирались ни в искусстве, ни во власти над искусством. Каждый из противоборствующих станов, как всегда, тащил отца на свою сторону.

Все чаще печатали произведения запрещенных в тридцатые и сороковые годы «неправильных» писателей от Зощенко до Бабеля. Вернули читателям и Анну Ахматову. «Непроходные» книжки с трудом, но пробивалась.

И наконец, мемуары тех, кому и о том, что вспоминать еще недавно не рекомендовалось, за которые могли и срок дать. И здесь первопроходцем стал неугомонный Илья Эренбург. Во второй половине 1960 года «Новый мир» печатает первую книгу его воспоминаний «Люди. Годы. Жизнь», в апреле-июне 1962 года там же публикуют вторую порцию мемуаров. В них писатель вспоминал о людях, о существовании которых, казалось, забыли навсегда. Страницы о Николае Бухарине, расстрелянном Сталиным и все еще не реабилитированном политике и друге юности Эренбурга, как и упоминание еще об одной сталинской жертве Антонове-Овсеенко цензура вымарала, потребовала убрать неканоническое описание поведения членов сталинского

Политбюро на даче у Максима Горького, но очень многое осталось. Одни этому радовались, другие негодовали на автора и на тех, кто ему «потворствует».

7 июля 1962 года отец приехал в мастерскую корифея-скульптора академика Николая Васильевича Томского и «зарубил», казалось, бесспорный проект памятника Ленину. Зарубил, несмотря на позицию Союза архитекторов и поддержку Суслова. Поручил объявить конкурс, привлечь молодежь, пусть посоревнуются со стариками.

Тем же летом, вопреки всем — идеологам из ЦК, цензуре, «маститым» писателям, отец поддержал «либерала», поэта и редактора «Нового мира» Александра Твардовского, просившего разрешения опубликовать повесть никому не известного провинциала по фамилии Солженицын на более чем острую лагерную тему.

Все началось 3 июля 1962 года, когда Твардовский передал рукопись помощнику отца Владимиру Семеновичу Лебедеву. В число многих его обязанностей входил и надзор за литературой. Лебедев пообещал Твардовскому улучить момент, доложить Хрущеву. В положительной реакции он не сомневался, нужно только все правильно рассчитать. Помощники, по возможности, избегают докладывать «провальные» вещи. Каждая неудача — это удар по их репутации.

Подходящий момент выдался только в сентябре, когда отец отправился в Пицунду, догуливать отпуск, прерванный полетом космонавтов Николаева и Поповича. В ту осень отец отдыхал только с мамой, я и сестры оставались в Москве. Так что я рассказываю о происходившем в Пицунде с чужих слов. Наиболее достоверное свидетельство — дневники самого Твардовского. Он пишет, как было дело, по горячим следам, без последующих наслоений и политических оценок. Заранее прошу читателей простить меня за обильное цитирование уже опубликованного, но, возможно, не всеми прочитанного.

8 один из вечеров на вопрос: «Ну, что там у вас еще?» — Лебедев ответил, что Твардовский принес ему повесть автора, прошедшего сталинские лагеря, и просит совета. Лебедев пояснил, что Александр Трифонович в превосходной степени характеризует литературные достоинства произведения, но тема уж очень сложная, необходима политическая оценка.

— Ну что ж, давайте почитаем, — благодушно отозвался отец.

Лебедев начал читать вслух. Отец любил такие слушания, они позволяли расслабиться, дать отдых натруженным глазам. Если повествование оказывалось нудным, он позволял себе и

вздремнуть. На этот раз отец слушал со все возрастающим вниманием. Возможно, он впервые ощутил, как же все происходило в те страшные годы на самом деле. Именно ощутил. Одно дело читать справки о сталинских жертвах, в них цифры, фамилии погибших звучат абстрактно, конкретные судьбы не проглядываются. Что такое цифры? Подставишь нолик — станет в десять раз больше. Чего больше? Пудов урожая? Или людей, закопанных вповалку во рвах? И совсем другое — прочувствовать изнутри, через страдания героя литературного произведения, если оно, конечно, талантливое. Это все равно что прочитать «Нашествие Наполеона» Тарле или «Войну и мир» Льва Толстого.

«Иван Денисович» высветил весь ужас лагерной нечеловеческой жизни, нечеловеческой судьбы. Владимир Семенович рассказывал мне потом, что у отца не возникло ни малейших сомнений — печатать повесть необходимо, нужно рассказать правду о лагерях.

«16 сентября 1962 года, Москва, — записал Александр Трифонович в дневнике. — Счастье, что эту новую тетрадь я начинаю с факта, знаменательного не только для моей каждодневной жизни и не только имеющего, как мне кажется, значение в ней поворотного момента, но обещающего серьезные последствия в общем ходе литературных, следовательно, и не литературных дел: Солженицын («Один день») одобрен Н[икитой] С[ергеевичем].

Вчера (отец вернулся из отпуска в Москву 14 сентября, вместе с ним прилетел и Лебедев. — *С. Х.*) после телефонного разговора с Лебедевым, который был ясен прислушивающейся к нему М. И. (жена Твардовского Мария Илларионовна. — *С. Х.*), я даже кинулся обнять ее и поцеловать и заплакал от радости, хотя, может быть, от последнего мог бы удержаться, — но мне и эта способность расплакаться в трезвом виде в данном случае была приятна самому.

В ближайшие дни я должен быть на месте — Н[икита] С[ергееевич] пригласит меня — завтра или в какой-нибудь другой день, словом, Лебедев просил меня не отлучаться, даже в См[олен]ск, — все это я, конечно, понял как обеспечение моей “формы” (то есть трезвого состояния. — *С. Х.*) на случай вызова, но бог с вами!

“Он вам сам все расскажет, он под свежим впечатлением…” Но понемногу Лебедев мне уже все рассказал, предупредив, что это только между нами. Н[икита] С[ергеевич] “прочел”, ему читал Лебедев — это даже трогательно, что старик любит, чтобы ему читали вслух, — настолько он отвык быть один на один с чем бы то ни было. Но так или иначе — прочел. Прочел и, по всему,

был не на шутку взволнован. “Первую половину мы читали в часы отдыха, а потом уж он отодвинул с утра все бумаги: давай, читай до конца. Потом пригласил Микояна и Ворошилова. Начал им вычитывать отдельные места, напр[имер], про ковры…”

Видимо, так было, что он спросил Лебедева, в чем, собственно, дело — это хорошо, но чего Твард[овский] хочет. Лебедев ему — так и так, ведь “Дали” Твардовского, если б не ваше, Никита Сергеевич, вмешательство, не увидели бы света в окончательном виде. Не может этого быть, говорит тот. Как же, Н[икита] С[ергеевич], не может, когда вы сами тогда звонили Суслову по этому случаю. — А, помню, помню…

Я уже держу в уме слова телеграммы, которую пошлю ему (Солженицыну. — *С. Х.*) после встречи с Н[икитой] С[ергеевичем]: “Поздравляю победой выезжай Москву”. И сам переживаю эти слова так, как будто они обращены ко мне самому. Счастье».

После XXII съезда партии, выноса тела Сталина из Мавзолея отец настроился решительно, но тем не менее, давать в одиночку окончательное заключение не хотел. Отношение к повести Солженицына надлежало высказать коллективному руководству.

Возвращаюсь к дневнику Твардовского, к записи от 21 сентября 1962 г.

«Вчерашний звонок Поликарпова. (Поликарпов Дмитрий Алексеевич, в 1955–1962 годах заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС. — *С. Х.*).

— Изготовь двадцать (не более и не менее) экземпляров этого твоего “Ивана, как его, Парфеныча?”

— Денисовича.

— Ну, Денисовича. Не более и не менее.

— А ты в курсе насчет…

— В курсе. Позвонил Лебедеву: я, мол, не для проверки, но так как помню ваши слова, что не набирать до поры…»

Лебедев подтвердил указание Поликарпова. Рукопись срочно размножили и отослали Поликарпову. В ЦК пришлепнули на первую страницу красную печать, запрещающую делать копии, выносить, передавать и обязывающую вернуть материал по истечении надобности в Общий отдел ЦК.

Пока рукопись размножали, возили с места на место, рассылали адресатам, отец улетел в Ашхабад.

Между тем идеологическая интрига разворачивалась не только вокруг «Ивана Денисовича». Летом, уже ставший именитым, тридцатилетний поэт Евгений Евтушенко сочинил стихотворение, от одного названия которого — «Наследники Сталина» у пропагандистов в ЦК мороз пробирал по коже.

Публикация его представлялась столь же немыслимой, как и повести Солженицына, и Евтушенко тоже решил обратиться за помощью к Хрущеву. Евтушенко с ни силой, ни весом Твардовского не обладал, но телефон Лебедева у него имелся. Владимир Семенович предложил Евтушенко передать ему текст стихотворения. О реакции он сообщит. Поэт запечатал стихотворение в конверт, отнес ЦК и сдал в окошко. Через некоторое время Лебедев пригласил Евтушенко к себе, сделал какие-то незначительные замечания и пообещал при случае показать «Наследников» Хрущеву. Евтушенко дожидаться «случая» не стал и улетел на Кубу, там по его сценарию снимался фильм «Куба — любовь моя». Лебедев свое слово сдержал, на Пицунде прочитал Хрущеву не одного «Ивана Денисовича», но и «Наследников Сталина».

Отец возвратился в Москву только 10 октября. Пока он путешествовал по Средней Азии, китайские войска пересекли в Гималаях границу с Индией, которую они и границей не считали. Разгоралась нешуточная война между нашим «братом» по социалистическому лагерю и дружественной нам Индией. Отец всеми силами старался погасить конфликт и в то же время не испортить отношений ни с одной из конфликтующих сторон. После приезда отца Президиум ЦК собирался два дня подряд, 11 и 12 октября. 12 октября отец, сверх программы, включил в повестку дня вопрос о «Иване Денисовиче» и «Наследниках Сталина».

Повесть Солженицына к тому времени осилили еще далеко не все. Члены Президиума не предполагали, что отец спросит их мнение сразу после возвращения, как будто нет дел поважнее. Решение по ней отложили до следующего раза, а вот «Наследников Сталина» отец предложил прочитать вслух тут же, на заседании. По окончании чтения в зале повисла тишина. Поданная в таком виде тема Сталина большинству присутствовавших не пришлась по вкусу, кое-кому даже показалось, что речь идет о них самих, но возразить никто не решился, одобрять стихотворение первым тоже никому не хотелось.

— Ну как? — прервал отец тягостное молчание.

Никто не откликнулся, и он заговорил сам. По его мнению, автор «выступает с принципиальных позиций, говорит о культе личности». Отец предложил товарищам стихотворение опубликовать. Товарищи согласились и проголосовали «за».

«Наследники Сталина» уже вовсю ходили по рукам. До отъезда на Кубу Евтушенко раздавал машинописные копии стихотворения всем желающим. Неудивительно, что одна из них

оказалась в руках Аджубея, случайно или он ее получил от самого Евгения Александровича, сейчас сказать не берусь. Естественно, Алексей Иванович, газетчик до мозга костей, загорелся опубликовать стихотворение первым у себя в «Известиях». Однако сделать это он мог только с благословения Хрущева, не к Суслову же идти. Отец находился в отъезде. Пришлось ждать. Мы все ждали отца. 14 октября, первое за последние недели воскресенье, когда мы смогли собраться на даче в Горках-9, вместе погулять, наговориться, отобедать.

Утро 14 октября выдалось холодным, по-настоящему осенним, даже предзимним. По окончании завтрака отец, как обычно, сидел за уже очищенным от посуды огромным, человек на двадцать, застеленным белой скатертью обеденным столом, перелистывал «утреннюю порцию» бумаг. Всерьез отец погружался в чтение только после обеда, сейчас же он выбирал самые срочные, неотложные документы.

За высокими, во всю стену окнами неспешно сыпался первый снежок. День начинался серенький. В столовой его серость усугублялась темными, зашитыми под потолок, дубовыми «сталинскими» панелями. До нас дачу занимал Молотов, он до мелочей старался выдерживать стиль «хозяина». Когда мы переехали на дачу, на противоположной окнам глухой стене в нишах висели четыре черно-белых «официальных» фотопортрета: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Отец распорядился Сталина убрать. О прошлом напоминала ниша с торчащим в ее центре металлическим крюком. В остальном отец ничего менять не стал — дача государственная, он здесь не первый и не последний постоялец.

В самом конце 1990-х годов по телевизору показывали российского президента Бориса Ельцина в домашней обстановке. Теперь он обитал в Горках-9. Съемка шла в соседствующей со столовой парадной гостиной, комнате со светлой мебелью в стиле ампир, обставленной еще в тысяча девятьсот тридцатые годы по вкусу Полины Семеновны, жены Молотова. Мне показалось, что Ельцин сидит все в том же, «молотовском» кресле, в котором до него сиживал и сам Вячеслав Михайлович, и отец, и глава горбачевского правительства Николай Иванович Рыжков. Меняются правительства и политических эпохи, а мебель на «объектах» остается все той же. Но я отвлекся. Вернемся в столовую.

Я сидел за столом с противоположной стороны от отца, дожидался, когда он разберется с почтой и мы все отправимся на традиционную прогулку. Алексей Иванович вертелся поблизости, то отходил к двери, ведущей в гостиную, то возвращался к столу.

В руках он держал свернутый вчетверо листок бумаги. Он явно выжидал, когда отец оторвется от чтения.

Закончив перекладывать разноцветные бумажные папочки, отец упрятал их в объемистую кожаную коричневую папку, застегнул ее на кнопку тоже кожаного «язычка» и вопросительно взглянул на Аджубея: «Что там у вас?»

Алексей Иванович метнул на меня быстрый взгляд, он явно хотел остаться с отцом наедине. Я его отлично понял, но не двинулся с места. Аджубей, чуть помешкав, начал разглагольствовать, какой замечательный поэт Евтушенко, он написал политически актуальное стихотворение о Сталине и сталинистах, но требуется благословение отца. Знал ли он об уже состоявшемся решении Президиума ЦК? Скорее всего, не знал, заседали всего пару дней назад, и вопрос о Евтушенко не выделялся из множества других. А если бы и знал, то оно бы только подстегнуло Алексея Ивановича, ведь публикацию разрешили, но пока безадресно.

— Читайте, — прервал зятя отец. Он уже понял, что за листочек у него в руках, а вот пойдет ли речь об уже известных ему «Наследниках Сталина» или это что-то новенькое, он, естественно, не знал.

Алексей Иванович декламировал профессионально, он когда-то закончил актерскую студию и во время войны даже снимался в фильмах «Беспокойное хозяйство» и «Близнецы», правда, в ролях эпизодических. Стихотворение звучало пафосно. Мне запомнились слова:

…Хотел он запомнить всех тех, кто его выносил… —

«Написано под Маяковского», — мелькнуло у меня в голове.

…удвоить, утроить у этой стены караул,
чтоб Сталин не встал и со Сталиным — прошлое… —

продолжал Аджубей. Мне представилось, что больше других Сталин хотел бы запомнить именно отца, и еще, что за подобные слова Сталин в свое время упек другого поэта, Осипа Мандельштама в лагерь. Я совсем недавно впервые прочитал его, все еще подпольное, стихотворение о «Вожде». И этого бы упек!

Отец поднял и вновь опустил глаза, он слушал, но одновременно одним глазом поглядывал в раскрытую «Правду». За просмотром бумаг обычно следовал просмотр газет. Отец всегда начинал с «Правды». Алексей Иванович вклинился в этот

промежуток, и отец, не отвлекаясь, механически перелистывал газету. Вдруг он остановился, что-то его заинтересовало. Я последовал за взглядом отца; надо же такому случиться, в левом верхнем углу газеты высвечивало название другого стихотворения, тоже Евтушенко, и тоже актуального — «Кубинская мать». В те годы Сатюков еженедельно, по воскресеньям, в одном и том же, левом верхнем углу четвертой страницы помещал хорошие, по его мнению, и одновременно политически актуальные стихи. Стихотворение «Кубинская мать» Евтушенко написал на Кубе и передал текст в Москву с оказией. Стихотворение тут же пошло в набор.

Нет, Сталин не сдался.
Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли из Мавзолея его.
Но как из наследников Сталина Сталина вынести?

Алексей Иванович, на мгновенье оторвавшись от текста, поднял голову. Отец больше не подглядывал в «Правду», он слушал внимательно, как будто в первый раз. Я и предположить не мог, что стихотворение отцу уже известно. Ничего удивительного, хорошие стихи, сколько их ни читай, даже очень знакомые, воздействуют на слушателя раз от раза сильнее.

Иные и Сталина даже ругают с трибун,
а сами ночами тоскуют о времени старом, —

продолжил декламировать Алексей Иванович.

…Покуда наследники Сталина живы еще на земле,
мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее.

Закончив, Аджубей перевел дух и вопросительно посмотрел на отца. Отец молчал, но молчал одобрительно, стихотворение ему явно нравилось.

— Очень своевременное стихотворение, — начал Алексей Иванович, — мы бы хотели его опубликовать в «Известиях», если конечно…

Алексею Ивановичу очень хотелось «вставить перо» «Правде», взять реванш за статью Либермана.

— Но опубликуем мы его в «Правде», — в тон ему продолжил отец и, заметив обиженное выражение лица Аджубея, закончил:

— Вы уж не расстраивайтесь.

Алексей Иванович очень расстроился, снова он «вставил перо» сам себе. Вслух же сказал, что обижаться и не думает, «Правда» — орган ЦК, стихотворение Евтушенко, напечатанное на ее страницах, обретет истинно политическое звучание.

— Ну вот и хорошо, — примирительно пробурчал, вставая со стула, отец. Он прошел в соседнюю гостиную, я о ней только что упомянул, там на столике у двери стояла стандартная батарея телефонов, и набрал номер своей приемной.

— Передайте, пожалуйста, Сатюкову, чтобы он позвонил мне на дачу, — попросил он дежурного секретаря.

Сатюков отзвонил буквально через минуту.

— Алексей Иванович передаст вам стихотворение Евтушенко. Его надо напечатать в «Правде», и поскорее, — после краткого обмена приветствиями распорядился отец.

О решении Президиума ЦК он не упомянул. Сатюков пообещал поместить стихотворение в следующий воскресный номер «Правды».

— Теперь пошли гулять, — положив трубку, позвал нас отец.

Все гурьбой отправились на прогулку, сначала по дорожкам парка, а затем на берег Москвы-реки, один только Алексей Иванович остался дома, он диктовал Сатюкову текст стихотворения.

Через неделю, в воскресенье, 21 октября, «Правда» опубликовали «Наследников Сталина». Поверх «Наследников» осторожный Сатюков поместил стихотворение таджикского поэта Мирсанда Миршакара в переводе Михаила Державина «Программа нашей партии ясна». Тем самым как бы «сбалансировал» его, а снизу «подкрепил» «Винтиком» Ярослава Смелякова, начинающегося строфой «Угрюмый вождь, вчерашний гений…» Стихотворения, да еще в «Правде», произвели ожидаемое отцом впечатление, политическое, конечно. Одни — ободрились, другие — затаились. На время.

Твардовский к концу октября совершенно измаялся. Он дожидался аудиенции с середины сентября, а после возвращения отца из Средней Азии буквально не отходил от телефона. Телефон молчал.

«Главное за этот период, кроме дважды возникавших “вспышек” (запоев. — *С. Х.*), — ожидание, ожидание, ожидание, — записывает 19 октября 1962 года Александр Трифонович в дневнике. — Последние дни оно усилено еще и тем, что уже не только Н[икита] С[ергеевич], но и Президиум принял решение об опубликовании “Ивана Денисовича”. Вопрос об этом обсуждался в ряду с примерами “сопротивления аппарата

решениям XXII съезда” (“нельзя делать вид, что ничего не случилось”) в связи с некоторыми письмами (Евтушенко. — *С. Х.*) и случаями вроде “прохождения” “Синей тетради” покойного (Эммануила Казакевича. Он в том году скончался от рака. Об истории с его повестью “Синяя тетрадь” я уже писал, а что за письма Евтушенко, не знаю. — *С. Х.*)

И совсем новое: вопрос о “Теркине на том свете”. Будто бы даже произнесены (Хрущевым. — *С. Х.*) такие слова: “Мы тогда критиковали Тв[ардовско]го, в том числе и я, а надо было печатать”. С понедельника (15 октября. — *С. Х.*), когда я (еще несвежий после запоя) был у Лебедева, только это занимает меня всего. С сегодняшнего утра (сегодня или завтра ОН примет меня) особо напряженное ожидание. Пожалуй, трудно представить в моей жизни более напряженное сближение таких мощных воздействий на нервы двух сторон — подавленности сознанием своей “слабости” и сознания такого значительного успеха, победы в полном смысле, требующей, однако, сил и выдержки».

Между тем события в мире развивались своим чередом, конфликт в Гималаях не то что утих, но потерял остроту. В субботу, 20 октября, отец встретился с Твардовским, скорее всего в ЦК. В журнале посещений его Кремлевского кабинета приход Твардовского не зафиксирован, в нем вообще в тот день не сделано никаких записей. Позволю себе повториться, здесь это мне представляется уместным, что отец любил Твардовского как поэта. Его стихи своей крестьянской напевностью будили воспоминания детства, уводил далеко-далеко, на Курщину, в родную Калиновку. Восхищал отца и «Теркин» — истинно народная баллада о солдате-стратотерпце и солдате-победителе. А вот с Твардовским-редактором отношения складывались, как я тоже писал, неровно, то отец всецело поддерживал его, то с подачи Суслова, Шепилова и иже с ними, обрушивал на «Новый мир» и его редактора громы и молнии идеологических обвинений.

На сей раз встреча прошла на дружеской ноте. «Меня встретили с такой благосклонностью, как никогда раньше. Я понял, что произошла какая-то общая подвижка льдов», — рассказывал Твардовский по возвращении из ЦК своим единомышленникам.

21 октября Александр Трифонович подробно описал в дневнике, что происходило накануне: «Вчера наконец состоялась встреча с Н[икитой] С[ергеевичем], которая последние 1–1 1/2 м[еся]ца составляла главную мою заботу, напряжение, а в последние дни просто-таки мучительное нетерпение. Лишь накануне мне пришла простая догадка о том, что Н[икита]

С[ергеевич] знать не знает о том, что я знаю о его намерении встретиться со мной. Поэтому-то никакими обязательствами обещания, назначенности дня — как если бы я сам просил о приеме или он уведомил меня о своем желании видеть меня, — ничего этого у него не могло быть. И я не мог даже посетовать на него, — так уж все это сложилось. В четверг мне Лебедев сказал, что “либо завтра, либо послезавтра (т. е. в пятницу, 19 октября, либо в субботу, 20 октября. — *С. Х.*)”. Пятница прошла — ни звука. Утром вчера Лебедев посоветовал: “Позвоните”.

— Поехать на вертушку?

— Зачем, по городскому.

— Соединят ли?

— Я там договорился с т. Серегиным. (Серегин — офицер КГБ, один из дежурных в приемной Хрущева. — *С. Х.*).

Звоню:

— Товарищ Серегин?

— Да, товарищ Серегин, — отвечает тов. Серегин.

— Нельзя ли просить…

— Нет, по этому телефону он не может. Я доложу и позвоню вам. Не менее чем через час: “Приезжайте к нам”.

Хрущев встал навстречу, приветливо поздоровался, несколько слов насчет здоровья, возраста, Роберта Фроста. К чему? (Отец встречался с Фростом в Пицунде 7 сентября 1962 г. — *С. Х.*)

— Не знаю, первый поэт Америки — не показался он мне. Может, он был когда-то таковым.

— Ну так вот, насчет “Ивана Денисовича” (это в устах Хрущева было и имя героя, и как бы имя автора). Я начал читать, признаюсь, с некоторым предубеждением и прочел не сразу, поначалу как-то не особенно забирало. Правда, я вообще лишен возможности читать запоем. А потом пошло и пошло. Вторую половину мы уж вместе с Микояном читали. Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный — не вдруг пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжелого, хотя там много горечи. Я считаю, эта вещь жизнеутверждающая (это слово было в моем (Твардовского. — *С. Х.*) рукописном предисловии, а в отпечатанном (20 экземпляров. — *С. Х.*) уже не было — меня уговорил и Дементьев (заместитель Твардовского в “Новом мире”. — *С. Х.*), и другие опустить это слово, хотя я, право же, не считал его вынужденным, но, верно, оно и банальное, и в сочетании с “материалом” звучит несколько фальшиво.

— Вещь жизнеутверждающая, — повторил Хрущев. — И написана, я считаю, с партийных позиций. Надо сказать, не все и не сразу так приняли вещь. Я тут дал ее почитать членам

Президиума.

— Ну как? — спрашиваю, когда мы собрались снова. Как же, если мы говорили на XXII съезде то, чему люди должны были поверить, — поверили, как же мы им самим не будем давать говорить то же самое, хотя по-своему, другими словами? Подумайте.

На следующем Президиуме мнения сошлись на том, что вещь нужно публиковать», — Твардовский слово в слово записал, что ему говорил Хрущев.

Теперь давайте освежим хронологию. Поликарпов потребовал от Твардовского двадцать экземпляров «Ивана Денисовича» 20 сентября. В тот день прошло заседание Президиума ЦК, на котором отец, по всей видимости, рассказал о прочитанной им повести и посоветовал коллегам с ней ознакомиться. В записках Малина нет упоминаний об обсуждении «Ивана Денисовича» на Президиуме ЦК, оно и не удивительно, большинство его членов повесть еще в глаза не видели. До 26 сентября, дня отъезда отца в Среднюю Азию, Президиум ЦК, видимо, не собирался, по крайней мере, записи на сей счет отсутствуют. Следующее заседание с участием Хрущева — только 12 октября, тогда речь зашла о Евтушенко и Солженицыне. Согласно записям Твардовского, решение о публикации «Ивана Денисовича» отложили. Приняли его 14 октября, в воскресенье, на внеурочном заседании, посвященном индо-китайскому конфликту. С одной стороны сомнительно, не до «Ивана Денисовича» было в тот день, с другой — весьма возможно. Отец под впечатлением прослушанных утром стихов Евтушенко мог вспомнить о повести и попросить членов Президиума дать добро на ее публикацию. Все — «за». «Правда, некоторые говорили, что напечатать можно, но желательно было бы смягчить обрисовку лагерной администрации, чтобы не очернять работников НКВД», — вспоминает Твардовский беседу с Хрущевым. На что отец возразил: «…что же, думаете, что там не было этого. Было, и люди такие подбирались, и весь порядок к тому вел. Это — не дом отдыха». Другими словами «за» «товарищи» голосовали вынужденно, с отцом спорить не хотели, а в душе…

Дальше разговор зашел на более общую тему Сталина и сталинизма. Вот как Твардовский пересказал, что говорил ему отец: «У нас работает специальная комиссия, уже есть вот таких три тома, где все документально и подробно изложено про этот период. Этого публиковать сейчас нельзя, но пусть все будет сохранено для тех, кто придет нам на смену. Пусть знают, как все было. Мы вообще не судьи сами себе, особенно люди, стоящие у власти. Только после нас люди будут судить о нас: какое

наследие мы получили, как себя вели (при Сталине и после него), как преодолевали последствия того периода.

Мне многие пишут, что аппарат у нас сталинский, все сталинисты по инерции, что надо бы этот аппарат перешерстить. Да, в аппарате у нас сталинисты, — отвечает он (Хрущев. — *С. Х.*) сам себе, — и мы все сталинисты, и те, что пишут, — сталинисты, может быть, в наибольшей степени. Потому разгоном всех и вся вопрос не решается. Мы все оттуда вышли и несем на себе груз прошлого. Дело в преодолении навыков, навыков самого мышления, в уяснении себе сути (исторической), а не в том, чтобы разогнать (или пересажать)».

Твардовский дожидался, пока Хрущев закончит свою тираду, чтобы перейти к теме, волновавшей его не меньше разрешения опубликовать «Ивана Денисовича», к теме цензуры. Наконец такая возможность ему представилась.

— Я обратился к вам, Никита Сергеевич, с этой рукописью потому, что, говоря откровенно, мой редакторский опыт с непреложностью говорил мне, что если я не обращусь к вам, эту талантливую вещь зарежут, — произнес Твардовский заранее продуманную фразу.

— Зарежут, — с готовностью подтвердил Хрущев. Тут Твардовский напомнил Хрущеву, что заключительные главы его поэмы.

«За далью — даль» тоже запрещали.

«— Кто это мог, как это могло случиться? — Хрущев повторил те свои слова, которые я (Твардовский. — *С. Х.*) уже слышал от Лебедева».

Напомню читателям, о чем шла речь. Законченную в 1953 году поэму «За далью — даль» долго держали в цензуре, подозревали автора в сочувствии кулакам, так как родители Твардовского подверглись раскулачиванию и были отправлены в ссылку. Понадобилось вмешательство отца, чтобы весной 1960 года поэму наконец-то напечатали, и не где-нибудь, а в «Правде», и не когда-либо, а на Первомай, 29 апреля и 1 мая. В 1961 году, тоже при прямой поддержке отца, Твардовский получил за нее Ленинскую премию. Так что «удивленные» возгласы, как отца, так и Лебедева можно считать чисто риторическими. Они все отлично помнили. Однако «забывчивость» Хрущева позволила Твардовскому впрямую заговорить о цензуре.

И снова цитирую записи из дневника Твардовского: «”Современник”» Некрасова и правительство Николая I и Александра II — два разных, враждебных друг другу лагеря. Это там цензура — дело естественное и само собой разумеющееся. А например, «Новый мир» и советское правительство — один

лагерь. Я, редактор, назначен ЦК. Зачем же надо мной поставлен еще редактор-цензор, которого, по его некомпетентности, ЦК заведомо никогда бы не назначил редактором журнала, а он вправе изъять любую статью, потребовать таких-то купюр и т. п. Это редактор над редактором.

И главное, хотя функции этих органов (цензуры-Главлита) ограничены обеспечением соблюдения государственной и военной тайны, они решительно вмешиваются в область собственно литературную (“почему такой грустный пейзаж” и т. п.) и часто берут на себя как бы осуществление литературной политики партии, опираясь, например, на постановление ЦК о “Звезде” и “Ленинграде” (в частности в отношении Зощенко), которое, в сущности, уже изжито, снято самим ЦК, который давно уже не только разрешил издавать Зощенко и Ахматову, но всем духом и стилем руководства литературой отошел от диктата этого постановления.

Хрущев, как бы размышляя вслух, произнес в ответ: “Это надо обдумать. Может быть, вы правы. В самом деле, год назад отменили цензуру на сообщения из Москвы иностранных корреспондентов, и что вы думаете? Стали меньше лгать и клеветать”».

Друг и заместитель Твардовского по журналу Владимир Лакшин развивает дневниковую запись: «Хрущев согласился со мной, — рассказывал Александр Трифонович (своим соратникам по «Новому миру». — *С. Х.*), — что то или иное мнение руководящего лица о произведениях искусства зависит часто от причин случайных, даже от дурного пищеварения».

Твардовский убеждал Хрущева, что литература лучше поможет советской власти, если ей дадут возможность свободнее критиковать темные стороны жизни.

«Советская власть не такая мимозно-хрустальная, чтобы рассыпаться от критики, — говорил Александр Трифонович, — знайте, Никита Сергеевич, — все лучшее в нашей литературе поддержит вас в борьбе с культом личности».

«— Вот мне прислал письмо и свои запрещенные к печати стихи, этого, как его? — Хрущев на секунду забыл фамилию, но тут же вспомнил и продолжал: — Евтушенко, — пишет Твардовский в дневнике. — Я (Хрущев. — *С. Х.*) прочел: ничего там нет против советской власти или против партии.

…Мне чудится,
будто поставлен в гробу телефон.
Кому-то опять сообщает свои указания Сталин.
Куда еще тянется провод из гроба того?

И опять Хрущев начал вспоминать о прошлом».

Вернусь к записям Лакшина.

«Еще одна просьба, личная, — сказал Твардовский, когда беседа подходила к концу. Никита Сергеевич весь сразу сник, потух, видно, решил, что попросит квартиру или дачу. Все оживление его погасло. — Нельзя ли отложить мою поездку в Америку? Я хочу закончить поэму, так сказать, на своем приусадебном участке поработать.

Твардовский пояснил, что он со своей поэмой, “как баба на сносях”…»

Речь шла о «Теркине на том свете», его история тоже уходила в далекий 1954 год. Идеологи выискивали в ней, и находили, множество аллегорий, намеков и, вообще, они не понимали, при чем тут «тот свет». Что, Твардовскому «этого света» не хватает? Хрущева тоже втянули в возню вокруг «Теркина на том свете». С тех пор прошло уже почти восемь лет, отец не забыл той истории, но детали не очень уж помнились.

И снова из дневника Твардовского.

— А-а… Конечно, помню, — отозвался Хрущев на просьбу Твардовского.

— Она тогда страдала рядом несовершенств, — дипломатично продолжил Александр Трифонович.

— Нет, она и тогда была очень талантлива… — перебил его отец. — Только отдельные места…

Отец никак не мог припомнить, что же ставилось в вину автору.

— Ах, боже мой, там и места этого давно нет, — пришел ему на помощь Твардовский. — Однако я прямо скажу, что моя доработка вещи не идет по линии сглаживания ее остроты, наоборот, она будет острее.

«— Конечно, конечно, — поощрительно откликнулся Хрущев. — Нет, вам сейчас ехать не нужно. У нас сейчас с ними (с американцами. — *С. Х.*) отношения вот такие (показал жестом бодание. — *С. Х.*), потом это пройдет.

На просьбу отложить мою поездку в Америку до весны Никита Сергеевич отозвался так, точно ему это даже понравилось».

20 октября отец еще не знал, что американцы уже сфотографировали наши ракеты на Кубе и кризис разразится в ближайший понедельник, но не сомневался, что после того как они о них узнают, по его задумке, в ноябре, и от него самого, Твардовскому в США придется ох как не сладко.

— Спасибо, — Твардовский благодарит Хрущева за согласие на непоездку в Америку. — И еще одна, последняя просьба. Когда я поставлю точку, разрешите показать вам «Теркина на том свете».

— Буду рад прочесть, — вежливо отозвался Хрущев. И на прощание добавил: — Будьте только здоровы, а все остальное — слава и все другое у вас есть и останется навсегда.

«На другой день Александр Трифонович собрал всех в редакции и кратко, во избежание лишних слухов, проинформировал сотрудников. Говорил, что Хрущев произвел на него очень хорошее впечатление нежеланием грубо вмешиваться в литературные дела. “Кажется, он досадует, что у него нет своего Луначарского”», — цитирует Лакшин своего друга и главного редактора.

Карибский кризис прогремел и отгремел.

Ко дню открытия ноябрьского Пленума ЦК вышел одиннадцатый номер «Нового мира» с «Иваном Денисовичем». Твардовский его специально подогнал к «красной» дате. Он и сам, кандидат в члены ЦК, спешил в Кремль, в Свердловский зал, к началу первого заседания, но по пути забежал в редакцию, там его ждал Солженицын. Они накануне уже встречались, но наговориться не успели.

«Утро. Иду на Пленум. Вчера — Солженицын. Часа четыре, — записывает в дневнике Твардовский. — Труден кое в чем до колотья в печени. Но молодец. Однако взвинченно-озабочен, тороплив, рвется бежать, хотя, говорю, вот сейчас, через три минуты подойдет машина.

Первый день Пленума — доклад Никиты Сергеевича. Как всегда, длинновато, необязательно для Пленума ЦК по техническим подробностям и т. п., как всегда, главный интерес не в “тексте”, а в том, когда он отрывается, так сказать, от текста, как то к ленинской записке о “партии, стоящей у власти, защищающей своих мерзавцев”.

После вечернего заседания вышел из зала — ух ты: почти у всех в руках вместе с красной обложкой только что розданного текста доклада Хрущева — синяя “Нового мира”. Подвезли, кажется, 2 000 экземпляров. Спустился вниз, где всякая культторговля — очереди, и не одна, к стопкам “Нового мира”. Это не та покупка, когда высматривают, выбирают, а когда давай, давай — останется ли…

Вечером поделился с Заксом, (еще один заместитель Твардовского в “Новом мире”), а он говорит, что весь день в редакции бог весть что — звонки, паломничество. В городских киосках составляют списки на 11-й номер, а его еще там нет, но

сегодня, должно быть, будет.

Нужно же мне, чтобы я, кроме привычных и изнурительных самобичеваний, мог быть немного доволен собой, доведением дела до конца, преодолением всего того, что всем без исключением вокруг меня представлялось просто невероятным».

Не все писатели разделяли восторги Твардовского. «Я встретил Катаева, — записывает 24 ноября 1962 года в дневник Чуковский, — он возмущен повестью “Один день”. К моему изумлению сказал: “Повесть фальшивая, в ней не показан протест”. — “Какой протест?!” — “Протест крестьянина, сидящего в лагере… Как он смел не протестовать, хотя бы под одеялом?” А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал рабьи гимны, как все. Теперь я вижу, как невыгодна черносотенцам антисталинская политика, проводимая Хрущевым».

Я думаю, что Чуковский немного перебрал, Катаев — не черносотенец, он просто завидовал Солженицыну.

Немыслимые ранее подвижки происходили не только в литературе, но и в изобразительном искусстве.

4 апреля 1962 года в Доме кино прошла выставка художников нетрадиционного направления, входившей в моду студии Элигия Белютина.

Элигий (для своих Элий или Элик) Белютин — художник и коллекционер, профессор графики Полиграфического института, руководитель художественной студии в Москве, ценитель классики и одновременно отрицатель ее, наставник молодежи. Его отец, итальянец по имени Микеле, сын известного оперного дирижера Паоло Стефано Беллучи, по зову революции приехал в Москву строить новую жизнь и тут в 1921 году женился на москвичке, наследнице князей Курбатовых и художника Московской конторы Императорских театров Ивана Григорьевича Гринева. Обе семьи, как со стороны итальянского мужа, так и русской жены, — страстные коллекционеры и знатоки живописи. Микеле Беллучи, ставший Михаилом Белютиным, после революции приумножил доставшуюся ему в наследство коллекцию, скупал, где мог, конфискованные во дворцах картины, в том числе кисти Веронезе и Тициана, благо в деньгах он недостатка не испытывал. Его подпитывал итальянский папа, дирижер, подаривший ему по случаю рождения сына Элигия, «на зубок», полотно «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» кисти Джованни Батисты. В 1927 году Михаила Белютина расстреляли, но картины почему-то не конфисковали.

Элигий (это имя святого, покровителя ремесленников и художников) воевал в Отечественную войну, несмотря на

простреляннное легкое и гангрену левой руки, остался жив и после победы стал художником. Вокруг него собрались «молодые», тоже недавние фронтовики, те, кто рисовал и лепил не так, как предписывали общепринятые тогда каноны.[73]

Газеты о выставке не писали, но у Белютина перебывала вся Москва. Надо сказать, что «неформальные» выставки проходили и ранее. В январе 1960 года Московский Союз художников в своем зале на Кузнецком Мосту организовал показ работ художника, известного портретиста Роберта Фалька, скульптора Эрнста Неизвестного (впоследствии — автор надгробия Н. С. Хрущеву на Новодевичьем кладбище), живописца «сурового стиля» Николая Андронова, а также Николая Пономарева, Мордвинова и многих других художников, не вписывавшихся в рамки официального искусства. Чуть раньше, в 1957 году, в Московском доме художника, а следом в парке Горького отдельно выставлялся «легендарный» Роберт Фальк, входивший в запрещенные в 1930-е годы к упоминанию группировки «Бубновый валет» (1910–1916) и «Мир искусств» (1898–1924). При Сталине он попал в опалу и вот теперь снова выплыл на поверхность. В 1958 году Фальк умер, но оставил после себя множество последователей и главное — почитателей. Не столько своего искусства, оно нравилось далеко не всем, сколько давно забытой «новизны», от которой посетители московских художественных галерей совсем отвыкли.

В декабре 1959 года, тоже в Московском Центральном доме художников состоялась посмертная выставка «крайнего формалиста» Д. П. Штернберга.

В ответ министр культуры Михайлов «просил ЦК КПСС дать необходимые указания, как Московскому Союзу художников, так и оргкомитету Союза художников РСФСР о решительном изменении характера выставочной деятельности Московской организации Союза художников (МОСХ)», как будто сам он такими правами не обладал. Просто не хотел вмешиваться. ЦК никаких «мер» не предпринял.

Фурцева, ставшая министром культуры в мае 1960 года, на модернистов не только не жаловалась, но патронировала их. Естественно, в определенных границах, стараясь не раздражать «академиков».

Такова предыстория, а теперь вернемся в осень 1962 года. В ноябре 1962 года студийцы Белютина устроили еще одну выставку в небольшом выставочном зале в районе Таганской площади в Москве, и тоже с согласия властей. Она вызвала еще больший резонанс, чем весенний показ в Доме кино. В западных газетах появились сообщения московских корреспондентов об успехе советских авангардистов, отходе от жестких канонов

соцреализма.

В партийно-идеологическом ареопаге тоже происходили не очень заметные постороннему глазу, но хорошо различимые изнутри подвижки. Председатель образованной в ноябре 1962 года Идеологической комиссии при ЦК КПСС, секретарь ЦК Леонид Федорович Ильичев набирал силы. У Суслова, впервые после 1957 года, когда сошел со сцены Шепилов, появился конкурент. Пока скорее потенциальный, чем реальный, но…

Ильичев — маленький, кругленький, быстрый, как ртутный шарик, цепкий и инициативный, к тому же, в отличие от партийцев сусловского типа, он собирал живопись. На стенах его квартиры висели полотна не только в стиле соцреализма, но и картины, исполненные в куда более свободной манере, вплоть до откровенных абстракций. Такие вольности сусловцы расценивали как отступничество, западничество и даже обуржуазивание. Леонид Федорович все это знал, но не обращал особого внимания. Он вообще часто позволял увлечь себя настроению, даже если его поступки, как правило, безобидные, и противоречили образу, второго по значимости, охранителя идеологических и моральных устоев. Я уже писал, как, однажды, в Индонезии, Леонид Федорович пытался поймать какого-то мотылька. Вы можете себе представить Суслова с сачком, даже не на публике в чужой стране, а за забором собственной дачи?

Во время той же поездки, когда по пути из Бирмы (с 1989 года — Мьянма) в Индонезию наш самолет пересекал экватор, Ильичев придумал и организовал праздник Нептуна. Он нацепил фальшивую бороду из швабры, на голову надел бумажную корону с блестками, на палку водрузил трезубец, и в таком виде предстал перед Хрущевым. В свиту Нептуна Леонид Федорович включил не только, с удовольствием ему подыгрывавших Сатюкова, Аджубея и Харламова, но и самого Андрея Андреевича Громыко. Последний даже нацепил на себя ярко красный спасательный жилет, но чувствовал себя в нем неудобно, натянуто улыбался, как бы извиняясь за такие непотребности. А вот Ильичев всем этим действом наслаждался. Отец тоже охотно включился в игру, подписывал шутовские удостоверения, поднес Нептуну стакан томатного сока и попросил разрешения лететь дальше. Нептун разрешил.

Отец благоволил Ильичеву, ему импонировала его живость, а еще больше — его энергия. Ильичев, царедворец до мозга костей, постоянно держался поблизости от отца. В отличие от Суслова, сидевшего взаперти в своем кабинете, он не гнушался никакой работы, в том числе в редакционной группе, которая, как я уже писал, не только редактировала речи и выступления отца, но и,

контактируя с ним, участвовала в выработке политических решений. В течение последнего года Ильичев существенно приблизился к отцу, тогда как Суслов оставался в отдалении. Неудивительно, что Суслов к Ильичеву относился с настороженностью, а теперь уже и со все нарастающей враждебностью, как к реальному и опасному конкуренту. Аджубей утверждал, что еще в 1961 году, сразу после XXII съезда, отец попытался избавиться от Суслова-идеолога, перевести его из секретарей ЦК на формальную должность председателя Президиума Верховного Совета, а Брежнева, тогдашнего председателя, вернуть к активной работе в ЦК. «Хрущев советовался на этот счет с Микояном, Косыгиным, Брежневым. Разговор они вели в воскресный день на даче, не стесняясь моего (Аджубея. — *С. Х.*) присутствия. Попросили Брежнева поговорить с Сусловым. Брежнев позвонил Суслову прямо с дачи и, вернувшись, сказал, что Суслов впал в истерику, умолял его не трогать».

Я такого никогда не слышал, но я не интересовался идеологическими интригами. Алексей Иванович же, напротив, очень интересовался.

Тем временем Леонид Федорович формировал свою собственную команду. К Ильичеву тяготел Павел Алексеевич Сатюков, главный редактор «Правды». Человек от природы осторожный, он никогда не противоречил Суслову, но в душе предпочитал Ильичева. К тому же Сатюков, как и Леонид Федорович, любил живопись и собирал картины. Примыкал к Ильичеву и Аджубей, главный редактор «Известий», человек способный и, в силу своих родственных связей, независимый. Он при удобном случае любил исподтишка «вставить перо» Суслову и его команде, опубликовать, не спросившись у них, но, естественно, посоветовавшись с отцом, что-нибудь идеологически сомнительное, вроде отрывков из мемуаров Чарли Чаплина или очерка о Мэрилин Монро. Суслов, со своей стороны, от всей души ненавидел Алексея Ивановича. В живописи, искусстве Аджубей понимал мало, скорее ничего не понимал, но, подстраиваясь под Ильичева, тоже начал коллекционировать картины.

В окружение Ильичева перебегали из сусловского лагеря и другие «бойцы идеологического фронта», в том числе заведующий Отделом печати Министерства иностранных дел Харламов, председатель правления АПН Бурков. Поездив по заграницам, походив по тамошним музеям, узнав о существовании западного «нового» искусства, услышав о Кандинском и Шагале, «партийная молодежь» исподволь, негласно начинала покровительствовать и нашим модернистам.

После ноябрьского Пленума ЦК 1962 года еще одним секретарем ЦК стал Юрий Владимирович Андропов, не чистый «идеолог», но в силу своего служебного положения «связного» с социалистическими странами, человек к идеологам близкий. Он, как и Ильичев, ценил живопись, разбирался в ней на уровне дилетанта, не чурался модернизма и даже сам пописывал стихи. В противоположность эмоциональному Ильичеву, Андропов всегда просчитывал свои политические ходы далеко вперед. Поддерживать ниспровергателей традиционного искусства Андропов не спешил. В 1956 году он работал послом в Венгрии, и на его глазах «Кружок Петефи» из безобидного литературного объединения быстро превратился в центр не только идеологического, но и вооруженного противостояния власти. Повторения венгерского опыта в нашей стране Андропов, естественно, не желал, к молодым и самоуверенным провозвестникам модернизма относился с осторожностью: давить их не стоит, но и воли давать им тоже ни в коем случае нельзя. К Суслову он относился без симпатий, насмотрелся на него еще в 1956 году в Венгрии, но и в споры с ним никогда не вступал, даже когда последний слишком уж вмешивался в дела его, «андроповских», стран социалистического лагеря.

К осени 1962 года творческая Москва достаточно четко разделилась на два лагеря. «Модернисты» и в живописи, и в скульптуре, и в литературе, и в музыке кучковались вокруг цековской «молодежи», рассчитывали под их прикрытием прибрать к своим рукам творческие союзы, покончить с отжившим, давно омертвевшим, по их собственному и потому «неоспоримому» мнению, классически-традиционным искусством, заменить «бездарные» произведения «традиционалистов» на свои собственные «гениальные» творения.

Ничего нового тут нет, подобная борьба происходила всегда и везде, и в Древней Греции, и в Европе, от Ренессанса до импрессионизма. Вспомним хотя бы ситуацию в России начала XX века: тогда футуристы братья Бурлюки, Бенедикт Лифшиц, молодой Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и им подобные — талантливые и бездарные, самоуверенные и нахальные, отслеживая приходящие «оттуда» новации, подражая Пабло Пикассо и Гийому Аполлинеру, бросились ниспровергать тогдашних «традиционалистов», от Ильи Репина до Александра Пушкина.

В 1930-е годы «новые традиционалисты», социалистические реалисты, с помощью товарища Сталина взяли верх. К сожалению, несогласных по-сталински кроваво не просто отлучали от искусства, многих отлучили и от жизни.

Теперь все повторялось заново. Модернисты набирали силу и популярность. Ильичев в «модернизме» не видел никакой угрозы политической власти, ему кое-кто из них просто нравился, Аджубей, человек увлекающийся, просто «догонял» Запад, но не как отец, по производству мяса строительству квартир, а в живописи и музыке. Осторожный Сатюков держался где-то посередине. Цековская «молодежь», следуя моде, поддерживала «модернистов», но никто ни на кого из них не ставил, и ставить среди них было не на кого. Захват власти в искусстве «модернистами» им не сулил никаких политических дивидендов, так же, как они не теряли ничего и от победы «традиционалистов».

«Традиционалисты» не собирались сдавать позиции без боя. Они полагались на пока еще главного идеолога страны Суслова. И тем и другим было что терять. В руках «традиционалистов» находилась вся власть в искусстве, они возглавляли союзы: писательский, музыкальный, художественный, киношный, а это и заказы, и тиражи с гонорарами, и премии. В своей правоте они не сомневались ни на минуту — вся эта «модернистская блажь» не искусство, а эпатаж. Их поведение ничем не отличалось от поведения предшественников — традиционалистов французских, немецких и российских начала XX века. С одной лишь разницей — тогда успех, в том числе и материальный, зависел от публики, она могла прийти или не прийти на выставку, купить или не купить картину, скульптуру, книгу. Теперь же, в условиях централизованного государства, практически единственного располагавшего настоящими средствами покупателя и издателя, от него зависело, у кого купить картину, а кому отказать, кого издавать, а кого попридержать. Руководители союзов выступали в роли представителей покупателя-государства, его агентов — литературных, художественных, музыкальных и всех прочих. Они, по сути, вершили все дела: писали заключения, отбирали произведения для выставок, составляли каталоги, определяли тиражи, естественно, не забывая о себе. Государственные чиновники следовали их рекомендациям, подписывали счета в пределах отпущенной на «творческие дела» сметы.

Оппоненты из «молодежи» обвиняли государство в лице Хрущева, Суслова, Ильичева и руководителей союзов в косности, отсутствии вкуса, тупости, настаивали, чтобы их произведения немедленно купили, опубликовали, выставили, показали в театрах и кинозалах.

Представители творческой интеллигенции, неважно «традиционалисты» или «модернисты», не просто отстаивали свое понимание искусства, не просто боролись за власть, они

стремились наложить лапу на финансы, деньги, по тем временам весьма немалые.

И «старики», и «молодые» вели себя как пауки в банке. Проще всего разрядить противоречие так: открыть банку, выпустить всех пауков на вольные хлеба и забыть о них. Пусть сами пишут, сами публикуют и дерутся между собой в свое удовольствие. Но «поэт в России — больше, чем поэт», в этом не сомневались ни сами поэты, ни государственные чиновники. Государство опасалось поэтов, поэты побаивались государства, но жить друг без друга не могли ни те ни другие. Государство заталкивало пауков назад в банку, призывало их жить там дружно, по возможности не кусаться, а уж особенно, не кусать «руку дающую». За инакомыслие уже не сажали, но единственный покупатель — государство, естественно, подлаживал поставщиков под свои вкусы. Те же противились, как могли и сколько могли.

И «молодые», и «старики» то и дело апеллировали к отцу, первые шли за поддержкой, вторые призывали защитить моральные устои. Игнорировать борения страстей отец не мог, не имел такого права, — «поэт в России — больше, чем поэт». Поэт-политик или политик-художник, сам того не желая и не замечая, становится в первую очередь политиком, начинает играть на «чужом» поле. Волей-неволей отцу то и дело приходилось отрываться от важных для него экономических и всяких иных дел и вмешиваться в чуждые ему склоки. В предыдущих главах-отступлениях я уже обращался к теме «судейства», описывал и встречи с писателями на природе, и совещания с «творческой интеллигенцией» в ЦК. Проходили они с переменным успехом для обеих сторон. Политика в искусстве не должна строиться на собственных пристрастиях. С другой стороны, все мы люди…

Условия жизни, в которых формировалась личность отца, его вкус, тяготели к «традиционалистам». Его не затронуло новаторство 1920-х и начала 1930-х годов, он помнил желтую кофту Маяковского, футуристов и других ниспровергателей, но в его душе их творчество с искусством не ассоциировалось. Отцу нравились полотна художников-реалистов от Рембрандта до Репина, он любил стихи Некрасова и Твардовского, с удовольствием читал прозу Лескова и Шолохова, слушал музыку Моцарта и украинские народные напевы. Новомодные «штучки» вызывали у него неприятие. Ни джаз, ни абстрактную живопись со скульптурой он не воспринимал и не понимал. «Новаторские изыскания» оставались для него чуждыми извращениями, наравне со всеми иными извращениями человеческой природы.

Такое восприятие искусства — естественно для большинства людей, нам нравится то, к чему мы привыкли с детства, с младых

ногтей. Только это для нас «настоящее». Я, теперь тоже человек отнюдь не молодой, тоже не жалую «новомодные» для меня течения в искусстве, не слушаю, попросту игнорирую, ни рэп, ни тяжелый рок, ни даже Битлов. Для меня они не существуют. Меня вполне устраивают Бах и Вивальди, Моцарт и Бетховен, Чайковский и Рахманинов. А в живописи предпочитаю реалиста А. И. Лактионова символисту П. Н. Филонову. В те давние годы я, как и большинство «технарей», чуть фрондировал, пытался убедить себя в необходимости понять и полюбить новомодные течения в искусстве, но не понял и не полюбил. Я почитал Пикассо — коммуниста, но не воспринимал человеческие и иные фигуры, изломанные до неузнаваемости воображением художника. Мне они казались безобразными, такую картину я бы у себя ни за что не повесил. В книжках я вычитал, что согласно медицинским исследованиям, дело тут не во вкусах и пристрастиях, а в психофизиологии, многим из известных художников нетрадиционной ориентации, как-то Гогену или Пикассо, в силу отклонений сознания внешний вид представлялся именно таким, каким они его рисовали. Но тут я забираюсь в дебри, откуда мне не выбраться. «Черный квадрат» Казимира Малевича (мы только что узнали о его существовании) в моем понимании олицетворял собой умышленное издевательство над так называемым художественным вкусом. Невольно припоминается «Сказка о голом короле» Андерсена.

Я очень страдал от своего «невежества», но ничего не мог с собой поделать. Своими вкусами и пристрастиями я мало чем отличался от отца. Но, в отличие от отца, я не политик. Он не мог переключить свой «радиоприемник» на иную волну, отключиться от реалий окружавшего его мира. Одни просили помочь протолкнуть «непроходные» произведения, другие призывали оградить наше искусство от тлетворного инакомыслия, и все спрашивали его мнение, мнение о последнем романе, кинофильме, симфонии. Так уж их приучили, мнение первого лица государства перевешивало все остальные мнения вместе взятые. Так было при императоре, тех же порядков придерживался и Сталин. Теперь им унаследовал Хрущев. Все требовали его суда, и отец судил, не мог не судить, выносил приговоры, но руководствуясь одним, выбранным им самим, критерием политической целесообразности. От всего остального он, по возможности, открещивался. Именно исходя из политических, а не художественных мотивов отец поддержал «Синюю тетрадь» Казакевича, и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, и «Наследников Сталина» Евтушенко. В остальном пусть разбираются сами. Помню, как барственный «царедворец»

актер и режиссер Николай Охлопков, когда отец приходил к нему в театр имени Маяковского, допытывался в антрактах, что ему понравилось в спектакле, а что нет. Отец отшучивался, уходя от прямого ответа, отделывался обиходными любезностями.

До поры до времени, пока дело шло о распрях в творческих Союзах и не затрагивало интересы надзиравших над ними партийных органов, интересы самого Суслова и его ближайшего окружения, его тактика, хотя и не без осечек, срабатывала. К 1962 году обстановка переменилась, опасность ощутили не только руководители союзов и иже с ними, но и Суслов со своими единомышленниками. И исходила она от «молодежи», «молодежи» в искусстве и «молодежи» в политике. К отражению «атаки» готовились сообща и со всей тщательностью, «молодые» — противник серьезный. Инициатива и замысел «операции», по всей видимости, принадлежали Суслову и его ближайшему окружению. Конечно, никто Суслова за руку не поймал и не поймает, профессионалы в таких делах следов не оставляют. Но попробуем восстановить логику событий.

Солженицын, Евтушенко, вызвавшая общемосковский ажиотаж выставка абстракционистов-«белютинцев», разговор Хрущева с Твардовским, неминуемая отмена цензуры, а значит и их контроля над всем и вся, не просто положительные, но откровенно хвалебные радиопередачи и статьи о «модернистах» в «Известиях», в «Советской культуре», в журнале «Советский Союз». Все это с явного одобрения цековской «молодежи» и лично Ильичева!

Власть еще не ускользнула, но уже ускользала из их рук, из рук Суслова — политическая и идеологическая, вся иная — из рук руководителей творческих союзов. Чтобы ее удержать, следовало действовать, и немедленно — но осторожно. Прямая апелляция к Хрущеву, Суслов понимал обстановку в ЦК лучше других, ни к чему не приведет. Эти Ильичевы, Сатюковы, Аджубеи тут же всё растолкуют в таком свете, что его реакция может оказаться очень далекой от ожидаемой. Действовать надо так, чтобы ни Хрущев, ни его окружение ни о чем не догадались, действовать руками Хрущева, но так, чтобы он не ощутил, что им манипулируют.

Интригу закручивали вокруг сталинских репрессий и их жертв — темы, постоянно волновавшей и беспокоившей отца. Разоблачая преступления Сталина, освобождая политических заключенных и высвобождая мысль из прокрустова ложа сталинизма, он постоянно опасался, как бы не утратить контроль, как бы оттепель «не превратилась в половодье, которое захлестнет нас, с которым не справиться».

Скорее всего — это изобретение самого Суслова. Не только в

силу иезуитской изощренности ума, но вряд ли у кого-либо рангом пониже достало смелости играть в такие игры с Хрущевым.

Весь 1962 год идеологи из ЦК и творческих Союзов методично бомбардировали отца записками, разъяснявшими, что «модернизм» — совсем не так безобиден, как представляется на первый взгляд, как его преподносят потакающие ревизионистам, неопытные, не прошедшие школы настоящей борьбы, молодые идеологические работники, вчерашние мальчишки. На самом деле — это не борьба направлений в искусстве, а тщательно спланированная за рубежом политическая акция против нашего строя, против нашего государства. Не зря западные журналисты и дипломаты так и вьются вокруг «модернистов». В последнем несомненно есть доля правды. Не только Ильичев поддерживал «модернистов», но и ЦРУ имело на них виды, все-таки мир жил в условиях холодной войны. В одной из последних записок разъяснялось, что деятельность «модернистов» мотивирована не искусством, а их ненавистью к советской власти. Их родители, другие близкие пострадали при Сталине, попали в заключение, многие погибли, вот они и перенесли свою боль и обиду с тирана на весь советский строй, на всю советскую страну. Дальше следовал внушительный список по алфавиту: набиравший популярность писатель Василий Аксенов: отец расстрелян, мать провела полжизни в лагерях; отец Евтушенко тоже расстрелян; о Солженицыне и говорить нечего. И так фамилия за фамилией. Получилось и внушительно, и убедительно. Суслов и его единомышленники понимали, одного списка недостаточно, но с чего-то надо начинать.

Отец прочитал донос и отложил его в сторону. Сколько таких и еще похлеще, бумажонок он перечитал за свою жизнь. Бессчетные тома. В каждой семье найдется кто-то, если не отец, то дядя или тетя, племянник или сын, пострадавший от Сталина. Если мы всех их запишем во враги советской власти?… Но и проигнорировать предупреждение он тоже не решался. Как и Андропов, отец помнил — в Венгрии все начиналось с внешне безобидного «кружка Петефи». К тому же не имелось ни малейшего основания не верить авторам докладной. Они тоже пекутся о процветании нашего государства. Возможно, на свой лад, но всех под одну гребенку не причешешь. Докладная, хотя он и отложил ее подальше, на угол стола, отложилась в памяти отца.

На это авторы и рассчитывали. Вслед за этой запиской на отца из различных источников посыпалась бьющая в точку информация о «неправильном» поведении поэтов, писателей, художников. Докладывали о все нарастающей активности

западных журналистов, о настоящей вакханалии западных дипломатов и прочих деятелей различного толка вокруг ничем не примечательной, кроме ее нетрадиционности (художественной или политической?), выставки белютинцев на Таганке. Тут, как нельзя кстати, подвернулась открывшаяся осенью в Манеже художественная, не полуподпольная, а вполне респектабельная официальная выставка, посвященная 30-летию МОСХа, организации московских художников. На выставку, с молчаливого одобрения Ильичева и Фурцевой, «пробрались» неформалы. Наравне с другими там развесили работы уже упоминавшегося мною Фалька и еще некоторых других, казалось бы, давно забытых возмутителей художественного спокойствия. Более того, в «Неделе», приложении к «Известиям», как и в самой газете, напечатали несколько позитивных рецензий на выставку. В них авторы тепло отзывались о полотнах «модернистов». Отец эти статьи не прочел, а вот Ильичеву они понравились, о чем он не преминул сообщить по телефону Аджубею. Руководители Союза художников заволновались. МОСХ прислал приглашение отцу, они надеялись продемонстрировать Хрущеву все эти «модернистские безобразия», раскрыть глаза и заполучить его себе в союзники. Он не отреагировал, так как был очень занят: Пленум, перестройка управления, да и Кубинский кризис еще не до конца улажен, в общем, не до картин. Тогда «группа художников», предварительно посоветовавшись с Поликарповым, а тот в свою очередь утряс вопрос с Сусловым, направила в адрес отца возмущенное письмо, и по форме, и по содержанию, — типичный донос в стиле тридцатых годов. Поликарпов слыл докой в таких делах, Сталин «посадил его на творческую интеллигенцию» еще в 1939 году, и он пересидел на своем посту, правда с перерывами, и Жданова, и Шепилова; надеялся пересидеть и Суслова. В ЦК получили письмо в дни заседаний Пленума, когда Твардовский наслаждался оглушительным успехом «Ивана Денисовича».

Авторы письма предупреждали об угрозе «проникновения буржуазной идеологии в наше общество… оживления сил, стремившихся разложить на протяжении ряда лет нашу идеологию изнутри через кино, телевидение, литературу, музыку, живопись, туризм и др.»

«Др.» тут совершенно излишне, они перечислили все, что мыслимо и немыслимо.

«Эти силы перешли сейчас в открытое наступление, совершенно снимают вопрос революционных русских традиций (ну и корявая же фраза. — *С. Х.*), проповедь формализма сочетают с нигилизмом, огрублением формы и аскетизмом, и все это

направлено против красоты и жизненной правды в искусстве.

Глашатаи формализма используют параграф (из Программы КПСС. — *С. Х.*) о “Свободе почерков” в целях утверждения гегемонии одного почерка, утверждая самоцель формы, говоря, что форма в “высоком” состоянии становится содержанием».

Обвинив устроителей выставки в Манеже в потворстве проникновению буржуазной идеологии и разложении советской морали через экспонирование полотен Фалька, а «Неделю» в благорасположении уже к устроителям, авторы взывали ЦК к защите наших моральных устоев, к отлучению формалистов от советского искусства.

В конце они ссылались на высказывания Ленина и решения партии в поддержку реалистического искусства и патетически «просили сказать, что же устарело в этих решениях. Если же они не устарели, то подобные, направленные против них, выступления в печати, по радио и телевидению необходимо рассматривать как ревизионистские, способствующие проникновению чуждой нам идеологии». Под письмом стояло более сорока подписей.

Как и договорились, письмо попало к Поликарпову, от него к Суслову, а уж он побежал к Хрущеву «советоваться». Михаил Андреевич высказал очень серьезные опасения, не забыл упомянуть о «кружке Петефи» и настоял на обсуждении письма «сорока» на ближайшем, намеченном на 29 ноября Президиуме ЦК, посвященном ничего не имевшему с «проникновением буржуазной идеологии» вопросу «реализации решений Ноябрьского Пленума ЦК КПСС» о реорганизации структуры управления народным хозяйством. Жалобу художников включили дополнительным пунктом в уже сверстанную повестку дня многочасового заседания. Когда подошло время рассмотрения жалобы, отец устал. Доложил Суслов. Хрущев согласился: «Проникновение формализма в живопись недопустимо, а “Известия” и “Неделя” допустили крупные ошибки в освещении этих вопросов», — произнес резкие слова в адрес вызванного на заседание Аджубея и «похвалил т. Суслова». Повторю, что опубликованных в «Неделе» и «Известиях» статей отец не видел, этот раздел он обычно не читал, а небрежно пролистывал. Другие выступавшие, их набралось по опубликованному списку девять человек, вторили Суслову, вернее, теперь уже поддержавшему его Хрущеву. Решили: «с выставками разобраться», а если потребуется, то принять меры пожестче. Запись обсуждения уложилась в очень важные для Суслова тринадцать неполных строк.

После письма, по мнению «заговорщиков», я сомневался,

называть их так или нет, и решил назвать, Хрущев «дозрел», оставалось только подтолкнуть его в нужном направлении. Посещение выставки в Манеже могло дать столь нужный им толчок, работы модернистов отцу наверняка не понравятся, а уж остальное — дело техники. Они даже осторожно довели до сведения отца, что дело тут не только в различии художественного видения, модернисты страдают чисто физиологическими отклонениями от нормы, в частности все они, почти поголовно, гомосексуалисты, что могло быть то ли правдой, то ли неполной правдой, то ли измышлением. Это сейчас однополой любовью никого не удивишь, а тогда она не только делала человека изгоем, вспомним хотя бы трагедию композитора Петра Ильича Чайковского, но и влекла за собой уголовное наказание. При Сталине за нее расстреливали, при Хрущеве сажали на десять лет в тюрьму. Информация на отца произвела нужное впечатление, становилось понятно, в чем тут дело, формализм в искусстве — симптом физического нездоровья.

Теперь оставалось завлечь Хрущева на выставку, а он все тянул и тянул. Несклонный к посещению выставок Суслов, обычно его приходилось тащить на аркане на подобные мероприятия, на сей раз настойчиво-вкрадчиво советовал не обижать «москвичей», уделить им вечерок. Отец соглашался: на выставку надо сходить, вот только когда? Все дни расписаны до минуты.

30 ноября 1962 года отец побывал в Большом театре, там гастролировал Киевский оперный театр, давали оперу украинского композитора, основоположника национальной школы по композиции Миколы Лысенко «Тарас Бульба». Товарищ его юности, а ныне заместитель председателя Украинского правительства Иван Семенович Сенин уговорил, да и голоса в Киевской опере отменные. Как обычно, отец пригласил с собой «всех желающих». Кроме гостей-украинцев, Брежнева, Подгорного, Полянского, как и отец, любивших малороссийские напевы, на спектакль пошел и Суслов. Там он вновь попенял отцу: для Киевской оперы время нашлось, а вот московские художники… Отец смутился и ответил, что готов идти в Манеж хоть завтра.

В тот же вечер, 30 ноября 1962 года, в Лужниках, в единственном в Москве крытом хоккейном ледяном стадионе и одновременно самом большом концертном зале, выступали молодые поэты: Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский, Вознесенский.

Обычно они читали свои стихи в большом зале

Политехнического музея, но он не мог вместить всех желающих. Даже здесь, на стадионе, не хватило мест. Люди сидели на ступеньках, толпились в проходах. Поэтов встречали и провожали валом аплодисментов, громкими выкриками.

В Пушкинском музее, освобожденном от подарков Сталину, в эти дни заканчивались приготовления к открытию выставки французского художника-коммуниста, но отнюдь не «традиционалиста» Фернана Леже. Картины в Москву по приглашению Фурцевой привезла его вдова Надя.

В Манеже готовились к приему отца. Если классикам революционного авангардного искусства, как уже упомянутый мною Фальк и иже с ним в экспозиции выставки предоставили место, иначе какое без них пятидесятилетие МОСХа, то современными «модернистами» в Манеже и не пахло. Заправлявшие в Союзе художников «традиционалисты» их близко не подпускали к престижным выставочным залам. Сейчас же срочно, а вдруг отец действительно придет на следующий день, их работы потребовали привезти и той же ночью расставить, развесить, да так, чтобы они произвели ожидаемое впечатление, вызвали нужную устроителям реакцию, в идеальном случае — скандал.

На следующее утро на стол отцу легли биографические справки на неформалов, вернее очередной донос. Отец проглядел его не вчитываясь, но основное запомнилось: идеологически эти художники не с нами, точнее, они против нас.

В Манеже в тот «знаменательный» день я, естественно, не присутствовал, как обычно сидел на работе, занимался своими каждодневными ракетными делами. Для восстановления внутренней логики событий я использовал опубликованную стенографическую запись всего там происходившего и непосредственные впечатления участников.

О Манеже и последовавших за ним разбирательствах кто только не писал, но все больше информация из «третьих рук». Из всего мною прочитанного и слышанного только рассказы скульптора Эрнста Неизвестного, художника Элигия Белютина, поэта Андрея Вознесенского и кинорежиссера Михаила Ромма относятся к реальным свидетельствам людей, присутствовавших там и изложивших свои впечатления более-менее связно. Но даже тут следует проявить осторожность. Впечатления впечатлениям рознь. Люди творческие обладают богатым воображением, склонностью подменять реалии своими фантазиями, в которые они вскоре начинают и сами верить. Так уж они устроены, иначе они бы ничего путного в искусстве не сотворили.

Так что при попытке реконструкции реальной истории

«творческие» свидетельства часто наводят тень на плетень. По «творческим» соображениям я сразу исключил из «очевидцев» Эрнста Неизвестного. С ним я хорошо знаком. Неизвестный — автор черно-белого надгробия на могиле отца, и за время работы над памятником и треволнений вокруг его установки я наслушался скульптора вдоволь. Парадокс Неизвестного заключается в том, что он не рассказывает о событиях, а «сочиняет» их. И эти его сочинения превращаются в реальность сначала для него самого, а затем и для окружающих. Чего стоят его устные, а затем и напечатанные рассказы о создании очень знаменитым московским художником, кем — я теперь забыл, погрудного портрета монгольского маршала Чойбалсана или история приготовления во Владивостоке — главной базе Тихоокеанского флота к визиту того же Чойбалсана. Смешно, захватывающе, однако отделить правду от вымысла абсолютно невозможно. Я ни в малой степени не обвиняю Эрнста во лжи, но и к реальности эти истории отношения не имеют.

К примеру, Эрнст Иосифович убеждает слушателей (и, наверное, убежден сам), что после отставки Хрущева они встречались на даче последнего в Петрово-Дальнем, хорошо поговорили, взаимно извинились, и Никита Сергеевич завещал ему возвести надгробие над своей могилой. Хорошая история. Мне она нравится, вот только ничего такого не происходило, и в Петрово-Дальнее Неизвестный не приезжал, и с Хрущевым не беседовал, и завещания о будущем надгробии не существовало.

В очень интересной книге воспоминаний писателя и врача Юлия Крелина я прочитал, как Неизвестный, рассказывая за столом в ресторане Дома литераторов о нашей с ним первой встрече (я тогда к нему пришел с Серго Микояном поговорить, не возьмется ли он за надгробие отцу), Эрнст вдруг ляпнул: «Столько антисоветчины (как от меня с Серго. — *С. Х.*) я еще ни от кого не слышал!»

В его устах это, несомненно, похвала, но истине она не соответствует ни на йоту. Во-первых, я ни тогда не придерживался, ни сейчас не придерживаюсь антисоветских взглядов. Я — человек советский, хотя, естественно, не всё и не всегда вызывало мое одобрение. Насколько я знаю, Серго, по крайней мере в то время, воззрениями от меня не отличался. Во-вторых, мы пришли по делу к человеку, которого видели в первый раз в жизни, пусть авангардистскому художнику, но, по слухам, не чуравшегося органов. И вдруг, вместо разговора по существу начинаем честить советскую власть? Глупость! Однако Неизвестному в результате флуктуации собственного подсознания все представилось именно так. Если бы речь шла не

обо мне, и я бы не усомнился в его словах.

Другая история. В 1973–1974 годах, пока мы добивались разрешения на установку надгробия отцу, брежневское руководство всласть покуражилось над нами. Наконец все позади, в 1975 году, солнечным сентябрьским днем, привстав на деревянном ящике, Эрнст водрузил бронзовую, под золото, голову отца на отведенное ей место. Я передал Неизвестному обусловленный гонорар. Отметить событие он предложил в «Национале». Мы погрузились в мои «Жигули» и покатили к центру.

Внутренне считая себя не вправе брать деньги за надгробие Хрущеву, Неизвестный якобы приоткрыл в машине ветровик и, вынимая из пачки десятку за десяткой, выпускал их наружу, как бы раздавая «бедным». Рассказ Неизвестного логичен, в меру благороден и мне, в общем-то, приятен. Одна беда — реальности он не соответствует. Воспоминания Эрнста Иосифовича — это скорее художественная литература. Положиться на них я никак не могу.

Рассказы поэта Андрея Андреевича Вознесенского тоже не вызывают у меня полного доверия. Но тут совсем иная история. Андрей Андреевич, по стечению обстоятельств, попал в самый эпицентр политической бури, что, естественно, не могло не сказаться на впечатлительной психике поэта, он больше говорит о собственном ощущении происходившего, чем о фактах.

Перебрав все доступные мне свидетельства, я выбрал в «экскурсоводы» по Манежу и по последовавшими за ним событиями художника Элигия Белютина, руководителя студии, где кучковались и набирались мастерства модернисты всех мастей, и кинорежиссера Михаила Ромма, прекрасного и ироничного рассказчика.

Естественно, я не ограничусь только ими, время от времени буду обращаться и к собственной памяти, так как присутствовал на одном, а возможно и двух разбирательствах, происходивших в Доме приемов на Воробьевых горах, а также к стенограмме высказываний на выставке МОСХа в Манеже 1 декабря 1962 года, к записям выступлений отца и его мемуарам, к воспоминаниям Бориса Жутовского, одного из героев того дня в Манеже, к эпизодическим свидетельствам других участников тех трагикомических событий.

Итак, в Большом театре, 30 ноября 1962 года, отец принял приглашение Суслова посетить художественную выставку в Манеже, но день и час не уточнил, неопределенно произнес: «Хоть завтра». Машина завертелась, Суслов приказал изготовиться к 1 декабря 1962 года.

«Вечером 30 ноября я снял трубку зазвонившего телефона, — рассказывает Белютин, — голос Поликарпова, заведующего Отделом культуры ЦК партии и члена ЦК, был просителен, он говорил об одолжении и взывал к моей любезности.

— Элий Михайлович, я пришлю вам товарищей, они вам помогут, — убеждал телефон.

— Собрать картины за несколько часов нельзя, — отвечал я.

— Хотелось бы, чтобы вы вместе со всеми показали в Манеже ваши работы, — настаивал телефон.

— А какие именно? — спросил я.

— Те же, которые выставлялись на Таганской выставке, — пояснил телефон. И добавил: — Наверное, их будут смотреть руководители партии и правительства.

Снова зазвонил телефон, и голос скульптора Э. Неизвестного, “самого левого среди правых”, как его называли в Москве, человека предельно осторожного (“Да поймите же, у меня ребенок!”), испуганно спросил, что ему делать.

— Это либо провокация, либо признание, — сказал я. — В последнее верить трудно, но отказать невозможно, поэтому, на мой взгляд, имеет смысл взять работы более спокойные.

Еще утром, развернув газету “Правда”, я прочел, что состоялось первое заседание Идеологической комиссии, а через своих учеников узнал, что разговор там шел о нас. И разговор положительный.

Ночью, когда мы развешивали картины, приехала министр культуры Фурцева и, протянув мне руку, сказала: “Какой вы славный, Белютин”. Ведь она еще не знала, как все обернется. Все было впереди».

Напомню, в Идеологической комиссии председательствовал Секретарь ЦК Ильичев. Первое заседание после Пленума ЦК — очень важное, установочное, задающее тон на будущее. И тон этот уловил не только Белютин, проинформировали о происшедшем и Суслова.

1 декабря отцу на выставку идти не хотелось, давило все: усталость, папки бумаг, скопившиеся на столе, необходимость искать нужный тон с взбрыкнувшим Фиделем Кастро, китайцы с их крикливыми обвинениями в ревизионизме и капитулянтстве перед США, сведения из регионов — урожай снова собрали далеко не тот, что ожидали. Какие тут развлечения? Какая выставка? Даже вчерашняя опера не доставила удовольствия.

Но давил и Суслов. Давил с самого утра, вкрадчиво: «Вы же обещали. Художники вас ждут. Неудобно». Отец отнекивался, но ко второй половине дня сдался. Он действительно почувствовал неудобство, он же пообещал.

— Ладно, раз обещали, надо слово держать, — ответил отец Лебедеву, напомнившему, что Суслов ждет решения, — обзвоните всех, у кого есть время и охота, и пригласите на выставку.

Время и охота нашлись у всех членов Президиума ЦК. На выставку кроме отца поехали Суслов, Кириленко, Косыгин, Полянский, Ильичев. Микоян отсутствовал, он еще не вернулся с Кубы, а Брежнев и Козлов гостили на съездах зарубежных компартий, кажется, в Чехословакии и Италии. К старикам присоединилась «молодежь»: Леонид Николаевич Ефремов, на последнем Пленуме избранный кандидатом в члены Президиума ЦК и только что ставшие секретарями ЦК Поляков, Рудаков и Шелепин.

Перед отъездом Суслов зашел к отцу в кабинет и сообщил «новость»: московские художники решили показать работы «модернистов».

— Зачем это? — отец вопросительно взглянул на Суслова. — Что они еще затеяли?

— Вы помните, Никита Сергеевич, письмо художников, которое мы обсуждали недавно, и Отдел культуры докладывал, — заюлил Суслов, — молодые люди, обиженные на Советскую власть, их родителей репрессировали, попали под влияние западной пропаганды, группируются вокруг некоего Белютина, к слову, выходца из Италии. Они отрицают всё и вся. Свою мазню выдают за авангардистское искусство, смущают молодежь. Обстановка складывается крайне неприятная. К тому же, — Суслов замялся, — они, сами знаете… Вам тоже докладывали… Надо вам посмотреть на их «художества» своими глазами и дать партийную оценку.

Отец нахмурился, он собрался на выставку, а ему подсовывают… Однако все уже оповещены. Отец с недовольной миной на лице открыл дверь кабинета и пошел к лифту. Суслов следовал за ним.

У входа в Манеж высокое начальство встречал первый секретарь правления Союза художников Владимир Александрович Серов, человек лично близкий Суслову, рядом выстроились Поликарпов, Сатюков, Аджубей и другие начальники среднего ранга. Чуть поодаль цепочка милиционеров сдерживала небольшую толпу, доступ в Манеж перекрыли еще днем. Отсутствовала министр культуры Фурцева, хотя Манеж относился к ее ведомству. Лебедев ей не звонил, потому что отец ему поручил оповестить цековское начальство, членов Президиума и секретарей ЦК. Суслов с Поликарповым не предупредили ее умышленно. По их раскладу, она входила во враждебный лагерь, вопреки им пробила выставку сомнительного француза Леже. И

здесь «беспардонная» Екатерина Алексеевна могла вмешаться некстати, выступить в поддержку модернистов, перетянуть Хрущева на свою сторону. О посещении Манежа ей, конечно, сообщат, но с запозданием, когда все уже пройдут внутрь, пока она вызовет машину…

— Ну что ж, показывайте свое богатство, — покончив с рукопожатиями, обернулся к Серову Хрущев.

Серов повел всех по залам Манежа. В каждом «закутке» высоких гостей ожидали авторы. Отец знал их в лица по предыдущим выставкам, узнавал и их картины, кочевавшие с выставки на выставку. Все шло как обычно.

Ильичев о затее Суслова ничего не знал. О том, что на втором этаже Манежа собрали произведения художников-модернистов, ему сказали только в Манеже. Предпринять что-либо он уже не мог. Даже подойти к отцу перемолвиться парой слов не получалось, вокруг бурлила толпа, художники, один сменяя другого, взахлеб нахваливали свои произведения. В одном из последних закутков оказалось неожиданно пустынно, авторы у картин не стояли и картины казались очень уж непривычными. Здесь представлялись работы художников-авангардистов революционной и ранней постреволюционной поры. Серов подвел Хрущева к картине Роберта Фалька, судя по названию, изображавшей обнаженную женщину. Отец внимательно всматривался в полотно, стараясь понять, что там нарисовано, но так и не понял. По его мнению, картину можно было назвать как угодно, лучше и понятнее она бы от этого не стала. Отец не сдержался и отпустил в адрес автора пару нелестных замечаний. Фальку они уже были безразличны, он умер три года тому назад.

В этот момент в закутке появилась запыхавшаяся Фурцева. Позже она говорила, что опоздала на полчаса, но, скорее всего, поболее, осмотр работ «традиционалистов» занял около часа. Любопытно, что стенографическая запись того, что говорилось в Манеже, тоже начинается с картин Фалька.

Интересно, кто вообще организовал стенографирование в Манеже? При посещении выставок стенографистки отца не сопровождали, записи того, что им казалось интересным, делали участники показа: журналисты и чиновники ведомств, представлявших экспонаты.

Вызвать личную стенографистку Хрущева, кроме него самого, могли только Суслов или Лебедев. Скорее всего, это сделал Михаил Андреевич. Он же указал момент, с которого следовало начинать записывать. Суслову требовался документ, подтверждавший поддержку Хрущевым его позиции. Документ, позволявший ему поставить на место всех этих Ильичевых-

Аджубеев. В случае, конечно, если все пойдет, как задумывалось. Если же «операция» сорвется, то стенограмма ляжет на полку в Отделе культуры, и дело с концом. Приведенные дальше высказывания участников обсуждения я привожу по этой, сохранившейся в архиве, стенограмме.

— Это извращение, это ненормально. Я хотел бы спросить, с женой живут авторы этих произведений или нет? — возмущался отец, глядя на полотно Фалька.

Суслов заулыбался, информация о сексуальной извращенности художников-модернистов Хрущеву запомнилась, и, что важнее, этим он объяснял себе их «ненормальную» манеру письма.

— Я, как Председатель Совета Министров, ни копейки не заплачу за этот хлам, а если кто ослушается, того накажем, — произнес отец с угрозой.

Кто еще, кроме государства, государственных музеев мог купить произведения художников? Частные коллекционеры? Но их в Москве раз-два и обчелся. Так что художники полностью зависели от государства, и угроза звучала очень серьезно.

— Между прочим, — продолжал отец, — группа художников написала мне письмо, и я на него бурно отреагировал (на заседании Президиума ЦК. — *С. Х.*). Говорили, что «Неделя» поместила какие-то репродукции. Я их посмотрел (после заседания. — *С. Х.*) и не нашел ничего страшного. У меня свое мнение есть, своего горючего достаточно и подбавлять его мне не стоит.

Последние слова Суслов принял на свой счет и улыбаться перестал.

— Я бы сказал тем людям, которые не рисуют, а мажут свои картины, что мы, господа, видимо не доросли до понимания вашего искусства, — отец сделал упор на слове «господа» неслучайно. — Если такие «художники» пожелают уехать к своим идейным собратьям, в тот же день получат паспорта и пусть там хоть на головах ходят. Мы на такое искусство ни копейки государственных средств не дадим.

Дальше отец вспомнил о каких-то модернистских картинах, увиденных им в Америке, и заметил, что не понимает Пикассо, и хоть он и коммунист, но солидарен в этом непонимании с английским консерватором Энтони Иденом.

— Сколько есть еще педерастов, так это же отклонение от нормы. Эти же художники — педерасты в искусстве, — вернулся он к засевшему у него в голове физиологическому объяснению корней модернизма. И примирительно добавил: — Пусть история оценит.

Суслов расстроился, последние слова Хрущева в его сценарий не укладывались. Тем временем отец двинулся дальше. Остановившись у картины П. Никонова «Геологи», долго и пристально в нее вглядывался.

— Что они пьют и что делают, не поймешь, — наконец произнес отец. — Нельзя так, товарищи. Картина должна вдохновлять человека, возвышать его. А это что? Что это за картина? Кто за нее заплатит? Я не буду платить. Пусть пишут и продают, но не за государственный счет.

— Что сейчас плохо, — прозвучал чей-то обиженный голос, — эти вещи невозможно даже критиковать.

В ответ, как записано в стенограмме, раздался свист и шум.

— Правительство не имеет права быть аморфным. Нельзя играть в нейтралитет, — не обращая внимания на шум, продолжал отец. — Товарищ Ильичев, это плохая работа ЦК, плохая работа идеологической комиссии, плохая работа Министерства культуры. Нельзя играть в нейтралитет. Капля дегтя может испортить бочку меда.

Настроение отца резко переменилось, теперь голос его звучал резко, непримиримо. Именно на это и рассчитывал Суслов. Помрачневший Ильичев что-то записывал в блокнот, Фурцева выглядела растерянно. Однако отец быстро успокоился, снова заулыбался и двинулся дальше. Ильичев с Фурцевой приободрились, на лице Суслова проглянуло беспокойство.

Наконец обошли все закутки первого этажа, и отец двинулся к выходу.

— Никита Сергеевич, еще не все, — Суслов буквально схватил отца за рукав. — На втором этаже «эти», я вам о них говорил.

Отец нехотя направился к лестнице.

«Сопровождаемый свитой, Хрущев поднимался на второй этаж. Там, в наскоро переоборудованном под выставку помещении буфета, собрали “модернистов”, — пишет Белютин.

— Будем аплодировать Никите Сергеевичу? — спросил кто-то.

— Обязательно, — сказал я.

Было тихо. Мы стояли группой, тринадцать мужчин и одна женщина. Возраст — от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Многие с бородами, длинными волосами, мрачные и молчаливые.

На последнем марше мы стали аплодировать. Хрущев прошел несколько ступенек.

— Ну, где у вас тут грешники и праведники, показывайте! — почти весело произнес Хрущев. — Спасибо за приветствие. Где тут главный, где господин Белютин?

Головы Косыгина, Полянского, Кириленко, Суслова, Шелепина, Ильичева, Аджубея повернулись в мою сторону».

Уже само обращение к Белютину «господин» выстраивало стенку между «нами товарищами» и «ими господами». Несомненно, отец задал свой вопрос под влиянием сусловских справок-объективок, убеждавших и почти убедивших его, что здесь, наверху, речь идет не об искусстве и даже не о физиологических извращениях, а о политике. Напомню, Суслов заранее передал ему список «неблагонадежных» художников, в нем особо отмечались «жаждавшие отмщения» дети репрессированных родителей.

«Я стоял в дальнем углу большой комнаты, которая служила до того буфетной залой, — вспоминает Белютин. — В другом ее конце находился Хрущев, члены правительства, несколько руководителей Союза художников, журналисты. Кругом стояли люди, которых я привык видеть на портретах. Их лица, равнодушные и скучающие, смотрели на меня. Наверное, мои длинные, еще не успевшие войти в моду волосы и мое безразличие к происходившему задевали их.

— Вы помните своего отца? — спросил Хрущев.

— Нет, — кратко ответил я (Белютин. — *С. Х.*).

— Как можно не помнить своего отца? — спросил Хрущев.

— Он умер, когда мне исполнилось два года, — сказал я.

Я смотрел на беспокойные зрачки Хрущева, в чересчур белые белки. Морщины, которые, появились у него на лбу, ничего хорошего не предвещали. Он злился.

— Кем он был? — спросил Хрущев.

Я подумал: не все ли равно? И ответил:

— Политработником.

Вопросы обижали. При чем здесь отцы? (Напомню, отец Белютина приехал в СССР после революции из Италии помогать советской власти строить новую жизнь. В 1927 году его арестовали и расстреляли. — *С. Х.)*

— Куда? — коротко спросил Хрущев.

Я вышел вперед и рукой показал на наш зал.

— Спасибо, — снова сказал Хрущев. — Вот они, он махнул рукой за спину, говорят, что у вас там мазня. Я еще не видел, но им верю. (Судя по стенограмме, отец сказал: «Я им верю, потому что уже видел сам такого типа картины на первом этаже». — *С. Х.*)

Я пожал плечами и открыл дверь нашей Голгофы. Свита Хрущева задержалась в дверях. Надо всеми возвышалась худая зловещая голова Суслова, — продолжает Белютин. — Электрический свет заливал стены, на них — яркие пейзажи,

портреты, экспрессивные по цвету и рисунку картины. Поначалу Хрущев довольно спокойно рассматривал нашу экспозицию. Картины чем-то ему, наверное, нравились, и это задержало его. Он явно не мог приступить к чему-то намеченному и начинал злиться. Менялся на глазах, мрачнел, бледнел. Эта эмоциональность была удивительна для руководителя государства.

Абстракции висели только в углах и в другой комнате. Он, может быть, и не обратил бы на них внимания, если бы не услужливая подсказка Серова: «Разве это живопись? Вы только посмотрите, Никита Сергеевич, как намазано!» Суслов начал развивать тему «мазни», «уродов», которых нарочно рисуют художники, то, что не нужно советскому народу. Называл цифры, затраченные Министерством культуры, Третьяковской, другими художественными галереями и музеями на закупку всего этого «возмутительного, так называемого искусства». (Стенографистка высказываний Суслова не записала. Он, видимо, заранее обговорил, что стенографировать надо только отца и ответы на его прямые вопросы.) Сергей Герасимов, один из секретарей Союза художников СССР; Борис Иогансон, президент Академии художеств; Мочальский, руководитель МОСХа, упорно молчали.

Ильичев и Фурцева подавленно молчали. Леонид Федорович, человек многоопытный, понимал, что художники — только повод, атака Суслова направлена против него, и лихорадочно соображал, как ему выкрутиться из щекотливого положения. Фурцева тоже раскусила замысел Суслова и теперь по-женски переживала и за себя, и за художников, и за отца, за то, что он позволил заманить себя в эту западню. Несмотря на свое изгнание из Президиума ЦК, она к Хрущеву относилась сердечно.

«Очевидно, посещение нашей экспозиции вообще было необязательным, но существовал какой-то сценарий», — высказывает догадку Белютин.

Между тем приступили к осмотру. «Начали с портрета девушки А. Россаля», — большего в памяти Белютина не отложилось.

На самом деле значительная часть «обсуждения» происходила именно у этого портрета. Поэтому я на время отставлю Белютина и далее буду следовать беспристрастным записям стенографистки.

— Это наркотическая девушка, загубленная жизнью, — возмущался отец. — Мы вас не понимаем, не поддерживаем и не поддержим. Эти аморальные вещи не светят и не мобилизуют людей. Это наше знамя? С этим мы пойдем в коммунизм?

Он снова предупредил, что за такие полотна платить

отказывается и за отсутствием покупателя предложил автору «выехать в свободный мир, там его поймут».

— Вы педерасты или нормальные люди? — прозвучал уже знакомый вопрос. Отец, казалось, искал разумное для себя объяснение увиденному.

От злополучной девушки Россаля толпа перетекла к «Тольке» кисти тогда еще никому не известного Бориса Жутовского. Рядом с картиной переминался с ноги на ногу худой вихрастый паренек.

— Что это такое? — возмутился отец. — Где автор? Дайте его сюда.

Жутовский по виду совсем не художник, и на него никто внимания не обратил. Наконец кто-то представил Жутовского Хрущеву.

— Вот какой красивый! — неожиданно произнес отец. Казалось, он не ожидал, что автор такой живописи может выглядеть нормальным человеком. Отец уставился на Жутовского.

— Если бы портрет, хоть чуть походил на вас, я бы посчитал вас стоящим художником, — миролюбиво начал отец и тут же сменил тон: — Зачем вы так пишете? Для чего? Какой это брат? Вам не стыдно? Штаны с вас спустить надо.

Отвлекаясь, скажу, в 1970-е годы я видел много портретов работы Жутовского, в том числе людей близких: моей сестры Юлии, отца, показывал он мне и свой автопортрет. Хороший человек Жутовский и художник, говорят талантливый, но мое восприятие его портретов мало отличалось от отцовского. Правда, я промолчал и даже похмыкал одобрительно.

Во время всей этой тирады отца Жутовский смущенно молчал.

— Вы нормальный физически человек или вы педераст? — оседлал отец уже ставшую привычной тему.

Умница и придумщик Жутовский потом переиначит «педераст» в «педерас» и многократно обыграет это слово, сделает его настоящим хитом Манежа.

— В живописи вы педераст. Это юродство, а он говорит: брат? — продолжал отец и, как бы недоумевая, обращался к своим спутникам за поддержкой.

— В стране две тысячи шестьсот человек таких типов, большинство нигде не работает, — встрял в разговор главный контролер Шелепин.

Не знаю, действительно ли он так подготовился к посещению выставки, что и цифрами обзавелся? Не думаю. Суслов с ним не дружил и наверняка в свой замысел не посвящал. Скорее всего, Шелепин, желая высветиться, эти две тысячи шестьсот придумал

на ходу.

— Вы дайте списки, и мы вам дадим дорогу за границу, — поддержал отец, но обращался он не к Шелепину, а к окончательно растерявшемуся Жутовскому, — мы вас бесплатно довезем. Пройдете школу капитализма, узнаете, что такое жизнь и чего стоит кусок хлеба и, возможно, станете когда-нибудь приносить пользу.

Концовка прозвучала для всех неожиданно, особенно для Суслова. Что он, собирается их туда на стажировку отправлять?

— Товарищ Ильичев, я возмущен работой вашего отдела, так же, как и работой Министерства культуры, — тем временем продолжил отец, и у Суслова отлегло от сердца.

Жутовский во время всей этой экзекуции так и не промолвил ни слова, но, человек неглупый, он о многом догадывался. По его мнению, «всю эту кашу заварила одна команда живописцев, находившаяся у власти, которая решила свести счеты с другой командой, которая подошла к этой власти слишком близко, и, чтобы убивать наверняка, придумала, как воспользоваться обстоятельствами и сделать это руками первого человека в государстве».

Правда, догадывался Жутовский не обо всем, «команда живописцев» играла важную, но служебную роль исполнителей, позволяя главному игроку, Суслову практически не засвечиваться. Но эти политические игры художника Жутовского, по большому счету, не интересовали.

От Жутовского и злополучного портрета его брата Хрущев стремительно направился к большой композиции Грибкова «1917 год».

— Что это такое? — спросил Хрущев.

— 1917 год, — подсказал чей-то голос.

— Что это за безобразие, что за уроды! Где автор?

Люциан Грибков вышел вперед.

— Вы помните своего отца? — начал Хрущев.

Снова вопрос об отце в контексте с 1917 годом, с революцией, алогичный для художника и всех присутствовавших, кроме Суслова.

— Очень плохо, — ответил Грибков.

— Почему?

— Его арестовали в 37-м, а мне было мало лет.

Наступила пауза.

— Ну ладно, это неважно, — обращается Хрущев к автору. — Но как вы могли так представить революцию? Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует.

Последнее «доказательство» на Хрущева, по словам

Белютина, так подействовало, что он побежал дальше, почти не глядя на картины. Потом вдруг остановился около большой композиции Владимира Шорца.

— А это что такое?

Далее последовал традиционный вопрос об отце — как ни странно, почти ни у кого из студийцев не было отцов, — и требование ответа: уважаете вы его или нет.

Белютин недоумевал напрасно, скорее всего «модернистов» для участия в выставке в Манеже подбирали в том числе по анкетным данным, «подтверждавшим» докладные.

«Хрущев в окружении плотной толпы бросился в обход вдоль стен. Раз за разом раздавались его выкрики: «дерьмо», «говно», «мазня». Он ругался почти у всех картин. К голосу Первого присоединились угодливые всхлипы: «правильно», «безобразие», «всех их за Можай». Причем это говорили, естественно, не члены правительства, а те, кто составлял их окружение — референты, журналисты, особенно рьяно члены правления Союза художников. Хрущев распалялся: «Кто им разрешил так писать?», «Всех на лесоповал, пусть отработают деньги, которые на них затратило государство. Безобразие, что это, осел хвостом писал или что?» В общем, весь набор интеллигентских, с точки зрения Хрущева, порицаний был налицо. Однако настоящего мата не было.

«Все время стоя в стороне от табуна облепивших его людей, я (Белютин. — *С. Х.*) начинал понимать театральное действие, которое “наш родной Никита Сергеевич” устраивает для своих, в общем, немногочисленных зрителей. Ему явно живопись чем-то нравилась, за исключением нескольких картин, и он никак не мог подвести ее под тот разнос, на который толкал его Суслов. Потом Хрущев сделал третий круг и остановился у картины Л. Мечникова, изображавшей Голгофу.

— Что это такое? — Хрущев опять повысил голос. — Вы что — мужики? Или педерасты проклятые? Как вы можете так писать? Есть у вас совесть? Кто автор?

Леонид Мечников, капитан-лейтенант Военно-морского флота в отставке, был более спокоен, чем рядовые пехотинцы Люциан Грибков и Владимир Шорц. На вопрос об отце Мечников ответил, что его помнит и что тот еще жив.

— И вы его уважаете?

— Естественно, — ответил Мечников.

— Ну а как ваш отец относится к тому, что вы так пишете?

— А ему это нравится, — сказал Леонид.

Хрущев несколько остолбенело посмотрел на красивое лицо морского офицера, а в это время другой Леонид — Рабичев, обращаясь к Хрущеву, сказал:

— Никита Сергеевич, мы все художники — ведь очень разные люди и по-разному видим мир. И мы много работаем в издательствах, а Элий Михайлович нам очень помогает это свое восприятие перевести в картину, и мы ему очень благодарны.

Хрущев спокойно выслушал его слова и, посмотрев несколько секунд в лицо Рабичева, направился дальше. Всем стало очевидно, что перелом какой-то произошел, и Хрущеву теперь будет трудно взвинтить себя до недавней ругани. Здесь вдруг появился еще один наш студиец (уже упоминавшийся. — *С. Х.*) Борис Жутовский, который явно не раздражал Хрущева, может быть, благодаря тому, что внешне кого-то напоминал, но "коммунист номер один земного шара" слушал его внимательно и не перебивал.

Казалось, та театральная мистерия, которую пробовал разыграть Хрущев, пошла на убыль.

— Ну ладно, — сказал Хрущев, — а теперь рассказывайте, в чем тут дело. Я увидел, как по-разному насторожились Суслов, Шелепин, Аджубей».

Белютину не откажешь в проницательности, ведь он и понятия не имел, что каждый из этой троицы выстраивает свою игру, независимо от остальных и вопреки им.

«Эти художники, работы которых вы видите, — начал я, (Белютин. — *С. Х.*), решив не называть его (Хрущева. — *С. Х.*) по имени-отчеству, — много ездят по стране, любят ее и стремятся ее передать не только по зрительным впечатлениям, но и сердцем.

— Где сердце, там и глаза, — сказал Хрущев.

— Поэтому их картины передают не копию природы, а ее преображенный их чувствами и отношением образ, — продолжал я, не реагируя на хрущевскую реплику. — Вот взять, например, эту картину "Спасские Ворота". Их легко узнать. А цветовое решение усиливает к тому же ощущение величия и мощи.

Хрущев слушал молча, наклонив голову. Он, похоже, успокаивался. Никто нас не прерывал, и чувствовалось, пройдет еще пять-десять минут, и вся история кончится. Но этих минут не случилось. Посередине моего достаточно долгого объяснения сухая шея Суслова наклонилась к Хрущеву, он что-то нашептывал ему в ухо, и тот неожиданно взорвался:

— Да что вы говорите, какой это Кремль! Это издевательство! Где тут зубцы на стенах — почему их не видно? — Тут же ему стало не по себе, и он вежливо добавил: — Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю!

Ему опять стало не по себе. Лицо его менялось, а маленькие глазки забегали по окружающим лицам.

— Но и вы, Серов, тоже не умеете хорошо писать, — сказал Хрущев, обращаясь к этому художнику-сталинисту, который все время его накручивал. — Вот я помню, мы посетили Дрезденскую галерею. Нам показали картину — вот там так были написаны руки, что даже в лупу мазков не различишь. А вы тоже так не умеете!

Хрущев был против всего сталинского. Он только что летом этого, 1962 года, отверг проекты монументов Ленину, создателей культа в искусстве Николая Васильевича Томского и Евгения Викторовича Вучетича, а год назад здесь же в Манеже заявил: “Я ничего в живописи не понимаю. Разбираться в этом — дело самих художников и специалистов. Сами решайте свои дела”.

Наступившая пауза действовала на всех, а то, что я, не выдержав, после слов “это не нужно советскому народу” повернулся к Хрущеву спиной, еще больше накалило обстановку. Суслов, откровенно заинтересованный в дальнейшем ее обострении, решил снова сыграть на мне.

— Вы не могли бы продолжить объяснения? — его голос был мягок и хрипловат.

— Пожалуйста, — сказал я, глядя в его умные холодные глаза, загоревшиеся, как у прирожденного игрока. — Наша группа считает, что эмоциональная приподнятость цветового решения картины усиливает образ и тем самым создает возможность для более активного воздействия искусства на зрителя.

— Ну а как насчет правдивости изображения? — спросил Суслов.

— А разве исторические картины Сурикова, полные неточностей, образно не правдивы? — возразил я.

Возникала дискуссия, где недостаточные знания ставили Суслова в слишком неудачное положение ученика, и он круто повернулся.

— А что это изображает? — спросил он, указывая на жутковатый пейзаж Вольска Виктора Миронова.

— Вольск, — сказал я, — город цементных заводов, где все затянуто тонкой серой пылью и где люди умеют работать, будто не замечая этого.

Хрущев стоял рядом, переводя взгляд с одного на другого, словно слова теннисные мячи, и он следит за силой ударов.

— Как вы можете говорить о пыли! Да вы были когда-нибудь в Вольске? — почему-то почти закричал Суслов. В голосе его прозвучала неожиданная страстность, и я даже подумал, не был ли он там когда-нибудь первым секретарем городского комитета

партии.

— Это не фантазия, а пейзаж с натуры, — сказал я. — Вы можете проверить.

— Да там все в белых халатах работают! Вот какая там чистота! — продолжал кричать Суслов.

На цементном заводе белые халаты… Я вспомнил этот город, серый, с чахлыми деревцами. Пыль, которая видна за много километров.

— Да что это за завод? — добивался конкретности Суслов.

— Тут изображен “Красный пролетарий”,[74] — Миронов вмешался в нашу перепалку.

— Так почему же у него столько труб? У него их только четыре, — не унимался Суслов. Его уже явно наигранное возмущение должно было показать, что “мазня” компрометирует советскую промышленность.

— При чем здесь трубы? Художник, создавая образ города, имел право для усиления впечатления написать несколько лишних труб, — не сдавался я.

— Это вы так думаете, а мы думаем, что он не имел права так писать, — продолжал напирать Суслов.

Хрущев, которому, вероятно, надоел неубедительный диалог Суслова, повернулся, чтобы пройти в соседнюю комнату, где стояли скульптуры Неизвестного. Я поискал Неизвестного глазами и вдруг увидел его, стоящего около Шелепина и еще какого-то незнакомого мне человека. Этот высокий человек что-то поспешно говорил ему, и Неизвестный с побелевшими щеками кивал ему в знак согласия.

Все начали выходить, и я остался один в пустом зале. Один с ощущением того, что, может быть, еще не все потеряно и, если дальше все пойдет так же, как и здесь, мы еще кое-что сможем отыграть. Только бы Неизвестный был благоразумен.

Когда я думал, кого из скульпторов пригласить на нашу Таганскую выставку и в конце концов выбрал Неизвестного, я знал, что вместе с Ильей Глазуновым ему разрешено бывать в пресс-клубе иностранных журналистов. Как говорили в Москве, “хотели бы мы посмотреть на того, кто по собственной инициативе придет в этот клуб (впрочем, никого туда и так не впустят) и куда он выйдет!”

В своей тогдашней мастерской у Сретенских Ворот Неизвестный вел необыкновенно активную «светскую» жизнь. Однажды я его посетил и видел, как на разбросанных, на полу матрасах сидели члены партбюро института имени Курчатова и рассуждали о свободе творчества. Мне не понравился разговор этих людей с безликими лицами.

Тем более странным показалось поведение Неизвестного во время Таганской выставки. При всем своем болезненном тщеславии он старался держаться в тени, отказывался давать интервью, не хотел участвовать в пресс-конференции.

Но Манеж поразил меня еще больше. Находясь все время за плечом Хрущева, Неизвестный буквально испарился, когда тот, обойдя трижды с ругательствами наш зал, поинтересовался его именем. Его не оказалось не только рядом, но даже в зале.

А сорока минутами раньше, отозвав меня в сторону, Неизвестный заявил: “Мне сейчас передали дружеский совет П. Сатюкова и просили тебе сказать, что если Никита будет зол, не вступать с ним ни в какую дискуссию, а только отвечать покороче на вопросы. Тогда все обойдется”».

Павел Алексеевич Сатюков, главный редактор «Правды», собиратель и любитель живописи, держался Ильичева и искренне желал, чтобы все обошлось. Одновременно он, на случай, если не обойдется, демонстрировал лояльность Суслову.

«Теперь, стоя в пустом зале и слыша только шум голосов, я смотрел на хорошую живопись, висевшую на стенах, и думал, сумеет ли и захочет ли по тем или иным соображениям Неизвестный последовать собственному совету, которого я строго придерживался. Для меня было очевидно, что во второй раз подобного опыта я не сделаю и никогда больше не доверю половины дела человеку, которого до этого видел всего два раза. Правда, сам факт приглашения им иностранных корреспондентов на Таганскую выставку говорил о том, кто есть кто, и такого рода человек должен знать, как себя держать. И он действительно знал. Не прошло и десяти минут, как готовый решиться хотя бы частично в нашу пользу визит обернулся крушением всех надежд», — подводит итог своим рассуждениям Белютин.

Белютин обвиняет Неизвестного чуть ли не в умышленной провокации. Думаю, что он преувеличивает. Неизвестный действительно имел какие-то дела с КГБ, потому и позволял себе то, что другим не разрешено. Но в КГБ заправляли сначала Шелепин, а потом Семичастный, люди от Суслова далекие. В 1962 году на сговор с ним за спиной отца они бы никогда не пошли, скорее «продали» бы Суслова отцу. Суслов с ними тоже не контактировал.

Неизвестный имел хорошие отношения с ЦК, время от времени выполнял деликатные поручения людей Андропова, перезванивался он с Лебедевым и Ильичевым, отнюдь не союзниками Суслова. И тут его не в чем заподозрить.

«Тем временем, уверенность в нашей победе или, точнее, полупобеде имела двойное основание, — продолжает Белютин. —

Прежде всего, сам факт приезда Хрущева на нашу выставку и то, что, несмотря на все усилия Суслова и сусловских помощников, Хрущев вышел из нашего зала достаточно успокоенный».

Что же происходило в зале работ Неизвестного? Как мы знаем, Белютин туда не пошел. Эрнст Иосифович рассказывал, что отец с порога набросился на него с нецензурной бранью, да такой изощренной, что Неизвестный даже опешил.

Сам матерщинник-виртуоз, Эрнст Иосифович не представляет иного серьезного объяснения между серьезными людьми. И тут он лепит образ отца по своему подобию. В принципе, я ничего не имею против мата, он — часть российской народной культуры. Просто повторяю в который раз, ругаться в общепринятом русском понимании этого слова отец, как ни удивительно, не умел. Отвращение к мату у него привилось с детства, с Донбасса. Среди квалифицированных слесарей-металлистов подобные выражения считались дурным тоном, хотя вокруг матерились все. И потом, работая в подчинении у мастера сквернословия Кагановича и не чуравшегося крепкого словца Сталина, он мата сторонился. Сказывался выработавшийся в юности «иммунитет». Главное его бранное слово «турок», применявшееся в различных интонациях в зависимости от обстановки: от ласкательно-поощрительного до зловеще-угрожающего. Еще запомнилось «бездельник» — выражение высшей степени презрения. Я тоже не матерюсь, отец не научил, а теперь учиться поздно.

В варианте Неизвестного, он, в ответ на оскорбления, такое выдал, «что все толпящиеся за спиной Хрущева, члены и не члены Президиума ЦК, отпрянули. Сам же Хрущев Неизвестного зауважал, ощутил в нем силу, равную своей». Эта версия событий столь же мало соответствует действительности, как и домыслы Белютина о Неизвестном как провокаторе Суслова.

Судя по стенограмме, разговор в зале скульптуры велся и не по Белютину, и не по Неизвестному.

— У меня много добрых слов для вас, но я боюсь, что вы меня сочтете подхалимом. Разрешите показать вам свои работы, — начал Неизвестный, подводя отца к стоявшим в зале скульптурам.

Отец, все еще не остывший от выставленных в предыдущем зале «Спасских ворот», «Панорамы Вольска», многотрубного «Красного пролетария», отреагировал не очень дружелюбно.

— Похвала от таких господ — это не похвала, а оскорбление, — отмахнулся он.

Кстати сказать, это самые грубые слова, зафиксированные стенографисткой за время общения с Неизвестным. Стенограмма — неправленая, а стенографистка, как позднее диктотофон, фиксировала буквально все, до последнего междометия.

Наконец, со второй попытки, Неизвестный подвел Хрущева к своим работам, не ассоциирующимся ни с чем реальным, бронзовым растопыркам. Этикетки поясняли: что одна из них «Разрушенная классика», другая — «Рак», третья — «Атомный взрыв».

— Эти работы олицетворяют конструкцию и пространство, — начал Эрнст Иосифович объяснять необъяснимое.

Конструкция и пространство отца не интересовали, и он спросил, откуда автор берет сверхдефицитную бронзу для своих отливок. Напомню, в те годы бронза считалась стратегическим материалом, ее отпускали исключительно по решению правительства и очень скупо. Использование ее для отлива скульптур считалось роскошью, а в данном случае, по словам отца, «растратой государственных резервов».

Неизвестный смутился, пробормотал, что покупает бронзу в художественном фонде за наличный расчет, на свалках собирает металлолом, поломанные краны, прохудившиеся тазы.

— Надо расследовать, — распорядился Хрущев.

(Как рассказывал мне позднее Эрнст Иосифович, следствие курировал лично Шелепин, но никакого криминала не обнаружили и дело закрыли.)

— Что это выражает? — отец ткнул пальцем в «Разрушенную классику».

— Ничего не выражает, — более неудачного ответа Неизвестный придумать не мог.

— Советую, уезжайте за границу. Возможно, станете там капиталистом, — почти равнодушно, без запала произнес отец.

— Я не хочу уезжать, — растерянно отозвался Неизвестный и тут же перешел к следующей работе, расколотой надвое человеческой голове. — Это атомный взрыв. Я не знаю, как еще показать страшность атомного взрыва.

— Хорошо, что вы это откровенно говорите, — голос Хрущева звучал миролюбиво. — Некоторые ваши замыслы неплохи, даже хороши, но все зависит от выражения замыслов, надо, чтобы их воплощение доходило до сознания простых людей. Весь вопрос, как выразить. С тем, как вы трактуете его (атомный взрыв. — *С. Х.*) в этом произведении, мы согласиться не можем.

— Когда приглашали на выставку, меня заверили, что «убийства» не будет, состоится откровенный разговор, — как бы полуоправдывался Неизвестный. — Я открыто выставил все и вижу, что вы не ругаетесь… (Тут стенографистка сделала ремарку: веселое оживление.) — Я хотел бы сказать пару слов в защиту моих новых друзей-художников. Я с ними знаком всего десять дней. Они искренни, — продолжил Неизвестный.

Мне не верится, что скульптор Неизвестный не встречался ранее со своими собратьями по творческому цеху, не участвовал в совместных выставках, да и Белютин свидетельствует об обратном, но так записано в стенограмме. Отец в ответ заговорил об искренности и честности, о том, что искренность искренности — рознь, привел в пример рассказ Горького «Челкаш», историю, как честный крестьянин искренне хотел убить бродягу, чтобы, завладев его деньгами, купить коровенку. Затем привел в пример академика Патона, искреннего противника советской власти, прозревшего во время войны и попросившегося в партию.

— Если бы у вас была размолвка со мной, то и никакой трагедии не было бы. У вас размолвка с народом. Вы скажете — народ невежествен. Возможно, вы правы. Я считаю, что у любого человека, образованного и необразованного, чувство красивого пробуждается с пробуждением сознания. Искусство не должно отталкивать и пугать. Одно дело, нарисовав страшное — вызвать гнев, другое — вызвать страх. Страх ведет к капитуляции, в том числе и перед атомом, — изложил Хрущев свое кредо в отношении искусства и закончил тираду вопросом: — Что вы преследуете?

— Ко мне очень хорошо относятся западные коммунисты, крупные художники. Они мне пишут письма, я им отвечаю. Наши товарищи это знают, — невпопад начал отвечать Неизвестный. — Это очень сложный вопрос…

— Коммунистов объединяет общая идея, — перебил Неизвестного отец и продолжил объяснять свое видение прекрасного. — Джаз я терпеть не могу, я люблю мелодичные звуки. И живопись я люблю мелодичную, на которую смотреть приятно. В Киеве, в Мариинском дворце, там сейчас резиденция для высокопоставленных приезжих, висит картина, я не помню фамилии художника (видимо, Николай Петрович Глущенко. — *С. Х.*) — весна, залитое молоком цветения дерево, ветви спускаются до земли, усеянный цветами луг. Под деревом молодая пара, отец держит ребенка на руках, и ребенок, как бы сливается с этими цветами. Рядом мамаша любуется цветением, мужем, ребенком… — произносимые отцом слова звучали задушевно, чувствовалось, что он видит эту картину, внутренне любуется ей. — Разве можно увлечь уродством? — в его голосе вновь появились металлические нотки. — Кого потянет вторично смотреть на уродство? Почему вы нас считаете испорченными людьми? Мы хотим жить, радоваться. Вот ведь написал Солженицын об ужасных вещах, но с позиций, зовущих к жизни… Вы говорите, что видите в своем произведении море, воздух, но это видите только вы. Этого недостаточно. Надо, чтобы и другие

увидели море, а я вижу черта вместо моря. У нас разные понятия. Мы такое направление в искусстве отвергаем. Если бы вы были Председателем Совета Министров, вы бы, наверное, всех своих противников давно в котле сварили, — отец с хитринкой глянул на Неизвестного. За время короткого разговора он успел распознать его жесткость и нетерпимость к инакомыслящим. — Мы вас в котле варить не станем, но и поддерживать не будем.

— Я извиняюсь, что задержал вас… — начал Неизвестный, но отец его перебил, когда тот еще не закончил свою мысль.

— Вы интересный человек, мне видится в вас раздвоенное сознание. (Отец не знал, что сам Неизвестный лейтмотивом своего творчества избрал образ кентавра: дуализм природы и бытия, противостояние живого и неживого, созидания и разрушения, человека — животного. Как отец уловил это, я не понимаю, по сей день.) В вас одновременно сидит и черт, и ангел. И они борются между собой. Я желаю победы ангелу, а если победит черт, мы поможем вам его душить.

— Чтобы жить, нужно душить черта в себе, как раба, — повторил его слова Неизвестный и почему-то добавил: — Я дружу с кибернетикой. Мои основные друзья ученые — Ландау, Капица. Они считают искусство предтечей науки, арки Кремля сложены интуитивно, но оптимальны с позиций сопромата, которого строители тогда не знали.

Отец не поддержал разговор, он уже высказал все, устал, да и время, «ассигнованное», как он сказал, на них, художников, истекало.

— До свидания, желаю, чтобы в вас победил ангел. Это от вас зависит, — произнес он и, протянув на прощание руку, направился к выходу.

Здесь я на время оторвусь от беспристрастной стенограммы и воспроизведу, как этот же эпизод отобразился в памяти свидетеля.

«Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! — вдруг издалека раздался истерический крик Хрущева. Его голос был визгливым и удивительно пронзительным. — Так описывает Белютин завершающие сцены драмы в Манеже. — Я подошел к дверям нашего зала. Хрущев уже спускался по лестнице, размахивая руками, весь в красных пятнах. Рядом с ним шли, не скрывая торжества, Суслов и явно обеспокоенный Косыгин. У всех, даже у фотокорреспондентов, на лицах застыло изумление. И вдруг в полутьме комнаты, соединяющей верхние залы, раздался ликующий голос Серова: “Случилось невероятное, понимаете, невероятное: мы выиграли!” Он почти кричал, потный, толстый, в свои пятьдесят лет готовый

скакать, прыгать от восторга. Он кричал, обращаясь к скульптору и одному из руководителей официального Союза художников скульптору Екатерине Белашовой.

Эти слова рухнувшие, как потолок на голову, ответили на вопрос, что же успел сделать Неизвестный. Все кончено. Комедия обернулась трагедией».

А вот что зафиксировала стенограмма: После ремарки «При уходе с выставки» — следуют, подводившие итог посещению, слова Хрущева. «Надо предоставить возможность бороться самим художникам и скульпторам. Мы поможем тем, кого считаем к нам близкими, кто сотрудничает в строительстве коммунизма. Других, насколько возможно, будем “душить”».

В первую очередь он обращался к Суслову и Ильичеву.

— Надо, чтобы пресса помогла, — подал голос шедший рядом Серов.

Отец громко, так чтобы слышали Сатюков и Аджубей, заверил его, что пресса поможет.

— Что передать московским художникам? — кто-то выкрикнул из толпы уже на самом выходе.

— Как на всякой выставке, есть тут и хорошее, и плохое, и среднее. Так и передайте! — отозвался отец и после паузы добавил: — Ни на одной выставке все не может быть хорошим. Так не бывает. Кроме того, я же все-таки не художественный критик. Мне следует высказываться осторожно, могу похвалить работу, а критик ее разругает. Возможно, он действительно лучше меня видит.

Выйдя на Манежную площадь, все задержались на пару минут возле машин.

— Надо пройтись по учебным заведениям, почистить грязь. Это не угроза, — говорил отец сгрудившимся вокруг него членам Президиума ЦК. — Мы, правительство и партия, отвечаем за народ, за страну. Из цемента должны делаться дома, на бумаге печататься произведения за коммунизм, а не против. Вся эта мазня наносит только вред. Я уже говорил о художественной лотерее,[75] надо предоставить им лучшие произведения, чтобы выигравший не клял себя всю жизнь за улыбнувшуюся ему «удачу».

Помедлив, отец произнес:

— Надо строгость проявить.

— Надо всех их заставить работать. 2 600 человек бездельников в одной только Москве, — подал голос Шелепин.

Эти 2 600 человек, непонятно каких и откуда взявшихся, явно не давали ему покоя.

— Назовите, кого вы имеете в виду, чем они занимаются, —

рассердился на шелепинскую назойливость отец. — Мы им предоставим работу, а не захотят работать, пусть уезжают на Запад и там культуру «обогащают».

Сделав общий поклон, отец пошел к машине, остановился у открытой охранником двери и пробормотал: «Другой раз надо блоху под рубаху запускать. Для бодрости духа. Бороться надо. Без борьбы жизнь скучна». Затем, как бы очнувшись, поднял голову и обвел взглядом публику, успевшую набежать к входу в выставочный зал.

— До свиданья, — Хрущев помахал рукой собравшейся толпе.

— Большое спасибо за посещение, — раздалось в ответ и затем еще один не очень понятный возглас:

— Вы нам протерли очки!

Наверное, кричавший имел в виду «глаза».

Отец рассмеялся, сел в ЗИЛ и укатил в Кремль. Там его ожидали еще не оконченные дела.

На этом заканчивается стенографическая запись высказываний, сделанных во время посещения руководителями партии и правительства художественной выставки, посвященной тридцатилетию МОСХ.

Через десятилетия у многих в памяти совместятся Манеж, суббота 1 декабря 1962 года, и так называемая «Бульдозерная выставка», в воскресенье 15 сентября 1974 года. Тогда двадцать четыре авангардиста-художника в ответ на отказ в предоставлении им государственного выставочного помещения расставили свои картины в Беляево, в то время на одном из московских пустырей. Власти, не придумав ничего лучшего, объявили, что в тот день на площадке ведется подготовка к закладке фундамента будущего дома и попросили художников убраться. Те отказались, и бульдозеры начали «выравнивать» грунт, заодно уничтожили и повредили несколько полотен. Остальные картины пришлось унести. Это безобразие засняли западные корреспонденты. Разразился скандал. Власти притворились, что они ни при чем, все это инициатива строителей, сдали назад и разрешили выставляться неофициальным художникам в Измайловском парке. Первая такая выставка-продажа на поляне прошла 29 сентября 1974 года и затем — регулярно, в зависимости от погоды.

15 сентября 1974 года, мы сидели в мастерской Неизвестного, он в Беляево не поехал. Поздно вечером появился кто-то оттуда, весь перемазанный глиной, взахлеб рассказывал, как на них стеной шли бульдозеры. На самом деле их там было один или два. Эрнст скептически слушал и в заключение вынес вердикт:

— Я же говорил, что все вы дураки.

Однако вернемся к событиям 1 декабря 1962 года.

Белютинцы покинули здание Манежа почти последними. Вечерело. «Огромная площадь была пуста. Лежал раздавленный правительственными машинами снег, — пишет Белютин. — Кругом стояли равнодушные милиционеры. На углу под большими круглыми часами мы остановились. Все молчали.

— До свидания, — сказал Неизвестный.

Кое-кто махнул, глядя в сторону, головой. Я сказал: “Пошли ко мне”. Когда мы, замерзшие, вошли в квартиру, — продолжает Белютин, — попугай, висевший вниз головой в клетке, словно подождав, пока все соберутся, неожиданно произнес: «Ну и жизнь, я вам скажу!»

— Шеф, у меня есть знакомые, может быть, с ними посоветоваться, что нам делать? — спросил Жутовский.

— А что именно? — поинтересовался я.

— Может быть, выступить — заметил он.

— С чем?

— Ну, я не знаю. Они, в ЦК, сами нам подскажут.

— Хорошо, — сказал я.

Жутовский ушел и вернулся удивительно быстро. Он достал из кармана листок с машинописным текстом. Я не помню его точно. Там говорилось о людях, березах, которые мы стремимся передать со всей страстностью, присущей советскому человеку, и все кончалось тем, что мы ищем и будем искать так же активно новые средства выражения своего видения действительности. Текст звучал достаточно гордо и вполне уважительно к нашему делу.

Было ясно, что кто-то наверху хочет вывести студию из-под удара, но вывести так, чтобы наше признание не кануло в вечность, а было просто несколько отодвинуто во времени».

С кем советовался Жутовский? С Лебедевым? С Сатюковым? Точно не с Аджубеем. Он — человек робкого десятка, и тогда сильно перетрусил. Может быть, с самим Ильичевым? Жутовский мог иметь на него выход по линии коллекционирования, помогая ему в покупке картин. Однако это все стало несущественным. Важно, что Суслов победил, в какой-то степени на какое-то время привязал к себе и даже подчинил отца. Одержанной победой Суслов воспользовался незамедлительно: в газеты ушла написанная его людьми информация о посещении Художественной выставки в Манеже. Обычно она укладывалась в три-четыре строки: пришел, осмотрел, поблагодарил. На этот раз в ней подробно излагались данные ими, вернее отцом, (фамилия «Хрущев» там пестрила через строчку), оценки выставленных

произведений.

Внешне казалось, баланс полностью соблюдался, назывались, если не все, то большинство представленных в Манеже художников, вперемешку «чистые» и «нечистые», «хорошие и плохие». Затем упоминалось о спорах, вызванных полотнами Александра Дейнеки и Аркадия Пластова, манерой письма Александра Лактионова.

Далее перечислялись формалисты: покойный Р. Фальк, А. Древина, Ю. Васнецов, П. Никонов, А. Пологова, И. Голицын, Г. Захаров (запомним эту фамилию), «малюющих свои холсты хвостом осла», говорилось о негативной оценке их творчества, как собратьями-художниками, так и самим Хрущевым.

Информация о Манеже появилась на следующий день в «Правде». «Известия» отмолчались. Аджубей сколько-то времени тому назад выхлопотал поблажку не упоминать в газете о не слишком важных официально-протокольных мероприятиях, вроде приема послов, иностранных гостей не первого ранга и прочее. Они скучны и только раздражают читателей. Отец согласился, Суслов не возразил. Так, к примеру, «Известия» не сообщили о посещении отцом 30 ноября спектакля Киевской оперы. Осмотр выставки в Манеже Алексей Иванович попытался отнести к той же категории. Но не тут-то было! Не найдя на первой странице газеты нужной информации, Суслов резко выговорил Алексею Ивановичу. В результате «Известия» сообщили о событии, которому судьба уготовила стать «эпохальным», последними, во вторник 4 декабря 1962 года.

Нужно отдать должное Белютину, он уже тогда хорошо понимал политическую подоплеку происшедшего в Манеже. «Но надо было знать этого человека, — пишет Белютин о Суслове, — чтобы питать смешную иллюзию, будто он спокойно будет ждать своего конца. Манеж явился для него шансом, попыткой реванша. Поэтому он мобилизовал не только реакционных художников, но и собственный аппарат, своего рода тайную полицию, даже поступавшая к иностранным корреспондентам информация о событиях в Манеже ими старательно редактировалась. В сусловской версии все превращалось в бунт одиночек, а не проявлением того широкого движения среди художественной интеллигенции, которое поддерживалось партийным аппаратом и рядом самых высоких партийных руководителей и против которых выступил спровоцированный на взрыв Хрущев.

За считанные часы в редакциях рассыпали набор, сбивали клише, на радио и телевидении изымались тексты о нашей экспозиции. Номер журнала “Советский Союз” для Америки, полностью оформленный работами моих учеников, где шла давно подготовленная мною статья, изъяли из типографии и уничтожили».

Хороший тактик Суслов постарался немедля закрепить достигнутый успех. На стол отцу легла новая докладная о том, что неладно не только у художников, не лучше обстоят дела и в литературе, и в кино, и в театре, и в музыке. И туда пробрались люди озлобленные. Отец же чувствовал себя не в своей тарелке. Внутренне он стыдился учиненного в Манеже скандала и одновременно, стремясь оправдаться перед самим собой, убеждал самого себя в собственной правоте. Иначе он, руководитель государства, отвечающий за спокойствие в стране, поступить не имел права. Записка Суслова оказала действие, отец согласился,

что останавливаться на Манеже нельзя, следует вразумить и всех остальных. Так начался этот, наверное самый несчастливый, период в жизни отца.

Суслов предложил собрать Пленум по идеологии с установочным докладом самого Хрущева. Отец не возражал, но Пленуму предпочел разговор по душам. Суслов посоветовал «поговорить по душам» с интеллигенцией в ЦК, на худой конец в Кремле, там сами стены будут на них давить. Отцу больше импонировало нейтральное место, вроде подмосковного Семеновского, где они уже дважды откровенно и, как он считал, продуктивно беседовали о наболевшем с писателями и другими творческими деятелями. Но в Семеновском в декабре неуютно, и он остановился на Доме приемов на Ленинских горах. Там имелся кинозал, его можно использовать для совещания. Перед обсуждением, считал отец, следует разрядить напряжение обедом, продемонстрировать, что собрались для дружеского разговора, а не для «накачки». Обед-совещание назначили на 17 декабря 1962 года. Заглавный доклад по настоянию Суслова поручили Ильичеву, как председателю Идеологической комиссии. Ход Михаил Андреевич рассчитал с иезуитской точностью: от доклада Леониду Федоровичу не отвертеться, пусть этот поклонник «модерна» замарается как следует. Отец не возражал. Паутины, которой его опутывал Суслов, он не замечал.

Сам я на том совещании не присутствовал. В печати опубликовали только доклад Ильичева, без выступлений других участников. Сейчас полная стенограмма происходившего в Доме приемов доступна всем желающим, но она длинна и скучна, я предпочту ей саркастические комментарии одного из участников, кинорежиссера Михаила Ромма: «Приехал. Машины, машины, цепочка людей тянется. Правительственная раздевалка. На втором этаже анфилады комнат, увешанные полотнами праведными и неправедными».

Отец рассчитывал, что «нормальные» художники и не художники разделят его неприятие к «извращенному» отображению природы, человека и всей нашей действительности. Вот он и попросил развесить в фойе Дома приемов с одной стороны, картины Юрия Непринцева, Александра Лактионова, Сергея Герасимова, Владимира Серова, а с другой — расставить скульптуры Неизвестного и творения других абстракционистов.

Результат получился обратный, многие из приглашенных становились на сторону абстракционистов-модернистов. Одним, как Илья Эренбург, их работы нравились, другие, в том числе и Михаил Ромм, просто сочувствовали гонимым властями. В России они всегда вызывают сострадание, неважно, нищие, арестанты

или нетрадиционные художники.

«Толпится народ, человек триста, а то, может быть, и больше, — пишет Ромм. — Все тут: кинематографисты, поэты, писатели, живописцы и скульпторы, журналисты. В двери, которая ведет в главную комнату, видны накрытые столы: белые скатерти, посуда и яства. Черт возьми! Банкет, очевидно, предстоит! Что же это, смягчение, что ли?

Смотрю, тут и абстракционисты. Рядом с Неизвестным мелькают и другие художники, которых я знал и которых ожидало, как казалось, неминуемое наказание. А тут вдруг банкет.

И вот среди этого гула, всевозможных взаимных приветствий и вопросительных всяких взоров появляется руководство, толпа устремляется к Хрущеву, защелкали камеры. Разумеется, тут же выросла фигура Михалкова: откуда ни щелкнет репортер, непременно рядом с Хрущевым Михалков, ну еще тут же Шолохов, Грибачев и какой-то человек с подергивающимся лицом — не знал я, кто это. Спросил. Оказывается — скульптор Вучетич, у него нечто вроде тика.

Ну ладно. Хрущев беседует как-то на ходу, направляется в эту самую главную комнату, все текут за ним. Образуется в дверях такой водоворот из людей.

Расселись все. С одного конца раздался такой звоночек, что ли. Встал Хрущев и сказал, что мы пригласили вас поговорить, мол-де, но так, чтобы разговор был позадушевнее, получше, пооткровеннее, решили вот — сначала давайте закусим.

Да, еще Хрущев извинился, что нет вина и водки, и объяснил, что не надо пить, потому что разговор будет, так сказать, вполне откровенный. Понятно…

Ну, примерно час ели и пили. Наконец подали кофе, мороженое. Стали отваливаться. Хрущев встал, все встали, зашумели, загремели стульями, повалил народ в анфилады. Перерыв».

После перерыва начался разговор. В кинозале, перед экраном, прикрытым занавесом, разместился президиум: Хрущев, другие члены Президиума ЦК. С коротким докладом выступил Ильичев. Леонид Федорович отлично понимал, что Суслов его подставляет, но не подставиться не мог. Не уходить же ему из-за каких то художников из секретарей ЦК? И вообще из политики? Человек умный и изворотливый, он попытался выкрутиться. Критику свел к перечислению уже «обсуждавшихся» в Манеже работ: «Обнаженная» Фалька, «Толька» Жутовского, «Разрушенная классика» Неизвестного и иже с ними. От себя не добавил практически ничего. Правда, упомянул недавно вышедший в Нью-

Йорке сборник стихов «Весенний лист» тогда еще никому неизвестного диссидента-математика А. Есенина-Вольпина, писавшего: «Что тираны их — мать и отец, / И убить их пора бы давно…», и еще: «Ничего не хочу от зверей, / Населяющих злую Москву». Строки, на мой взгляд, не столько поэтические, сколько политические, но автору виднее.

Затем Ильичев рассказал о новом письме Хрущеву от группы деятелей культуры, писавших о свободе выражения мнений, ставшей возможной после XX и XXII съездов партии, и одновременно опасавшихся «появления нового Сталина» и заверил, что такого не случится.

— У нас полная свобода борьбы за коммунизм, — провозгласил в заключение Леонид Федорович.

Хлопали ему дружно, но не очень громко.

Ромм Ильичева не запомнил, поэтому я для комментариев предоставлю слово Белютину, он тоже присутствовал на обеде: «Леонид Ильичев, толстый невысокий человек в сверкающих очках мало напоминал того “растерянного студента”, которому Хрущев в Манеже сделал выговор. Он (Ильичев. — *С. Х.*), столько сделавший для того, чтобы произошло культурное обновление страны, в котором студия (Белютина. — *С. Х.*) играла, по всей вероятности, роль символа, теперь, как рядовой партийный паникер, готов был отправить на плаху всех близких, лишь бы сохранить самого себя».

Белютин раскусил замысел Суслова, именно так он задумал представить нового «либерального» идеолога его «пастве». Пусть их от него с души воротит. И воротило. Еще как воротило. В полном соответствии с сусловским сценарием.

После доклада, как водится, начались выступления. Так уж получилось, что воспоминания о происходившем оставили молодые, только пробивавшиеся наверх «левые» писатели и иные деятели искусства или их покровители, вроде Ромма и Белютина. Поэтому рассказы об этом и последовавших за ним совещаниях выглядят очень прямолинейно и однобоко, свидетели представляют их как столкновение «левых» с Хрущевым или Хрущева с «левыми», и оставляют за кадром все остальное. Естественно — «у кого что болит, тот о том и говорит». На самом же деле обсуждению «левых» на этих собраниях отводилось совсем немного времени, на девяносто процентов обсуждение заполнялось выступлениями писателей, художников, режиссеров, уже «сделавших» свою судьбу. Существующие власть и идеология их устраивали, и они устраивали власть. Речь вели о мелочах, кому-то хотелось расширить издательские планы, да не хватало денег, кто-то просил построить консерваторию или Дом

творчества.

Собственно, в Доме приемов на Ленинских горах судачили, главным образом, о деньгах. Стороны, в том числе и «левые» формалисты-неформалы, добивались благосклонности государства так же, как в XVIII веке поэт Гаврила Державин стремился обрести благосклонность императрицы Екатерины Великой, ибо в России, и не только в России, благосклонность властей означала милости, достаток, славу. А потому боролись за нее они отчаянно.

Читая «Устные рассказы» Ромма, нельзя забывать и то, что он принадлежал к «своей» группировке, своей стае, видел окружающий мир ее глазами. С другой стороны, именно тем он нам и интересен. Итак, Ромм: «Запомнилось несколько выступлений. И прежде всего, разумеется, выступление Грибачева, потому что оно относилось ко мне. Он назвал меня провокатором, политическим недоумком, клеветником и поклялся своими еврейскими друзьями, что он не антисемит. Ну а заодно разносил Щипачева.

Запомнилось наглое какое-то, отвратительно грязное поведение Вучетича. Запомнилась фигура Ильичева, который все время кивал на каждую реплику Хрущева, потому что все эти выступления перемежались отдельными выступлениями самого Хрущева, его длинными, развернутыми репликами. А реплики Хрущева были крутыми, в особенности когда выступали Эренбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо».

О чем говорил Эренбург, Ромм не запомнил, но запомнил Белютин: «Эренбург говорил не о своих профессиональных делах, а о живописи. Он сказал, что Фальк великий художник. Он сказал, что живопись — великое искусство, сложными путями воздействующее на людей, и что ее нельзя трактовать как раскрашенную фотографию, и что Белютин создал школу, противостоящую антиживописи, и запрещать ее неразумно».

Поэтому и запомнил — Эренбург выступил в защиту его «стаи».

Затем, по словам Белютина, Эренбург сделал реверанс в сторону Хрущева: «Впервые, Никита Сергеевич, весь народ увидел, что в Кремле сидит живой человек, и это колоссально».

А вот каким запомнился отец Ромму: «Фигура Хрущева оказалась совсем новой для меня. Началось с того, что он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия. Такой, что ли, лесопромышленник или тамада большого стола — вот угощаю вас, кушайте, пейте. Мы тут поговорим по-доброму, по-хорошему.

И так это он мило говорил — круглый, бритый. И движения

круглые. Ну, так сказать, все началось благостно. И первые реплики его были благостные. Он рассказывал про то, как он “Ивана Денисовича” выпустил. И во время этой реплики Твардовский сказал: “А ведь Солженицын-то здесь”. Хрущев говорит: “Вот, любопытно познакомиться”. Встал высокий худой человек в потертом дешевеньком костюмчике, с мрачным и совсем невеселым, болезненным лицом. Неловко как-то поклонился, сел. Странное впечатление он произвел».

Солженицын не принадлежал к «стае» Ромма, вообще к какой-либо «стае». Он сам по себе. Типичный «медведь-шатун».

«Так вот, сначала был такой благостный хозяин, — продолжает Ромм, — а потом постепенно как-то взвинчивался, взвинчивался… И обрушился он раньше всего на Эрнста Неизвестного. Трудно было ему необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он говорил, что такое художник, который “стремится к коммунизму”, и художник, который “не помогает коммунизму”… И вот какой Эрнст Неизвестный плохой. Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И наконец нашел, нашел и очень обрадовался этому, говорит: “Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство — ему не хватает доски от стульчака, с круглой прорезью, вот чего не хватает. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите!” Говорит он это под хохот и под одобрения интеллигенции творческой, постарше которая, — художников, скульпторов да писателей».

Отец потом «раскаивался относительно формы критики Неизвестного», но только формы, так как «по существу, — писал он в своих воспоминаниях, — я остаюсь противником абстракционистов. Просто не понимаю их».

Парадоксально, что в творчестве Неизвестного часто встречается образ великана, сидящего в характерной позе и испражняющегося «человеками», один за другим выпадающими из его задницы. Отец, естественно, этих произведений не видел.

Ромму, как и до последнего времени мне, Неизвестный представляется глыбой, о которую разбиваются претензии властей и всех иных его недоброжелателей.

А вот Белютин видит его совсем иначе: «Для более убедительного доказательства того “безобразия”, до которого дошла наша студия, Хрущев потребовал, чтобы прямо к столам вынесли неугодные ему картины и скульптуры Неизвестного.

— Смотрите, вот это называется женщиной. Это же испорченный водопроводный кран! — слова эти, сопровождаемые хохотом, гиканьем присутствовавших, относились к маленьким скульптурам Неизвестного, которые поднимались вверх услужливыми руками.

Не знаю, как можно было такое выдержать, тем более подавать вежливые реплики, улыбаться, извиняться, обещать исправиться, как то делал Неизвестный. Схватив за рукав Хрущева, он не давал ему несколько минут сказать ни слова, отчаянно расхваливая свои работы и вызвав тем самым ответный истерический взрыв».

На этот раз отец, видимо, на самом деле не совладал с собой, наговорил Эрнсту Иосифовичу лишнего. На следующий день он остыл и попросил Лебедева позвонить Неизвестному, сгладить шероховатости.

Неизвестный написал отцу в ответ:

> «Дорогой Никита Сергеевич, благодарю Вас за отеческую критику. Она помогла мне. Да, действительно, пора кончать с чисто формальными поисками и перейти к работе над содержательными монументальными произведениями, стараясь их делать так, чтобы они были понятны и любимы народом. Сегодня товарищ Лебедев передал мне Ваши добрые слова, Никита Сергеевич. Я боюсь показаться нескромным, но я преклоняюсь перед Вашей человечностью, и мне много хочется писать Вам самых теплых и нежных слов. Но что мои слова, дело — в делах.
>
> Никита Сергеевич, клянусь Вам и в Вашем лице партии, что буду трудиться не покладая рук, чтобы внести свой посильный вклад в общее дело на благо народа.
>
> *С глубоким уважением, Э. Неизвестный*
>
> *21 декабря 1962 года».*

Прочитав письмо, отец разослал его членам Президиума ЦК. Для себя он счел инцидент исчерпанным. Но Суслов и Шелепин продолжали, каждый по-своему, растравлять инициированный в Манеже скандал. Шелепин занялся расследованием, откуда Неизвестный достает бронзу, а вот Михаила Андреевича больше беспокоил Ильичев. Ему удалось выскользнуть из ловушки в Доме приемов почти без потерь.

Однако вернемся в Дом приемов. После обмена

«любезностями» с Неизвестным разгоряченный перебранкой отец взялся за Эренбурга. Он и кто-то еще написали отцу письмо, предлагая установить в искусстве «мирное сосуществование» различных направлений и школ, формалистов с реалистами, Грибачева с Евтушенко, Серова с Белютиным, другими словами, примирить всех пауков в банке.

Об этом письме говорил в своем вступительном слове и Ильичев, но не назвал ни одной фамилии, потому, что, по его мнению, они «одумались» и попросили свое письмо обратно. Отец о письме не забыл и имена основных «подписантов» запомнил.

Идея Эренбурга ему не понравилась, он интуитивно ощущал, что от такого «мирного сосуществования» костей не соберешь, от страны камня на камне не останется.

«Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии, — вспоминает Ромм слова Хрущева.

— Да ведь это была остро́та! Никита Сергеевич, это в письме такой, ну, что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было! — отозвался с места Эренбург.

— Нет, товарищ Эренбург, это не остро́та. Мирного сосуществование в вопросах идеологии не будет. Не будет, товарищи! И это я предупреждаю всех, кто подписал это письмо, — поставил точку Хрущев».

Время открыть банку и вытрясти оттуда «пауков» пока не пришло, да и сами «пауки» покидать банку не собирались. Какое тут мирное сосуществование?! Белютин мечтал удавить Серова, Серов — Белютина, Евтушенко ненавидел Грибачева, а Грибачев — Евтушенко. И те и другие яростно душили, кого только могли и где только могли. Так и жили.

«С одной стороны, Эренбург, Евтушенко и Щипачев говорили очень хорошо, — подводит свой итог Ромм, а вот Михалков, тот же Шолохов, Грибачев и Вучетич с подергивающейся мордой, удивительно отвратительные личности».

На совещании, согласно официальной стенограмме, выступали еще художники Дейнека и Серов и кинорежиссер Сергей Герасимов. Ромм их не запомнил или счел недостойными своих воспоминаний. А вот помянутые им недобрым словом Михалков, Шолохов и Вучетич в тот день, судя по стенограмме, не выступали, хотя в зале и присутствовали. Просто они Ромму не симпатичны, как и Ромм не симпатичен им. И ничего тут не поделаешь. Но это так, для справки.

После «обеда» в Доме приемов отец посчитал свою миссию выполненной, о чем и заявил Суслову, — пусть дальше он разбирается сам, это входит в служебные обязанности главного идеолога. Как я уже писал, на следующий день, 18 декабря 1962

года, отец вместе с президентом Югославии уехал в Киев. Суслов же, напротив, считал, что все только начинается. Он поручил Ильичеву на следующей неделе собрать в ЦК расширенное заседание Идеологической комиссии и, теперь уже без Хрущева, как следует отчихвостить всех вольнодумцев. Ильичеву не оставалось ничего иного, как взять под козырек.

Заседание назначили на 24 декабря в здании ЦК, на Старой площади. Ромма туда не позвали, а вот Белютина пригласили.

«Первыми выступали поэты. В окнах светился холодный московский день, а поэты били себя в грудь, и каждый по-своему доказывал свою истовую веру и верность партии, что бы она ни делала. Изредка среди этих пустых трафаретных слов поэты и писатели, вроде Аксенова, лягали друг друга. Сидя в самом дальнем углу, я смотрел на силуэты вздрагивающих, припадающих к микрофону, вздымающих вверх руки и думал: откуда столько страха, чем их, молодых, успели запугать, чтобы можно было говорить что-нибудь подобное?

Не могли не запомниться Рождественский и Евтушенко.

Рождественский: “Мое поколение скоро встанет у штурвалов и во главе министерств, мое поколение верно заветам отцов, для нас идеи партии самые родные, мы счастливы, что живем и думаем под ее руководством”.

Евтушенко: “Если кто-нибудь на моем поэтическом вечере скажет что-нибудь антисоветское, я сам своими руками его отведу в органы госбезопасности. Пусть партия знает, что самый близкий и родной человек станет для меня в таком случае врагом”.

И это не был испуг, угроза тюрьмы. Кто-то хлопал, кто-то напряженно молчал. Враг бардов Владимир Фирсов выступил против того, что их (бардов. — *С. Х.*) вместе с Вознесенским слишком много печатают. Художник Андронов говорил о недопустимости вмешательства в профессиональные дела художников. Через четверть часа выступил Никонов, и все свое выступление обратил против меня, против “белютинцев”, потребовал их наказания и полной изоляции. Я послал записку в президиум с просьбой дать мне слово. Было ясно, что слова мне не дадут. Через полчаса все закончилось. На улице было холодно.

На следующее утро, 25 декабря, я (Белютин. — *С. Х.*) еще не проснулся, когда раздался звонок и в трубке зазвучал голос заведующего Отделом культуры Поликарпова, который вчера сидел в президиуме совещания рядом с Ильичевым. Он дружески, как будто ничего не произошло, спросил, не мог бы я заехать к нему на Старую площадь сейчас же. Продолжение совещания назначили на шестнадцать часов, и я понял, что все это имеет отношение к моему выступлению».[76]

Разговор с Поликарповым Белютина обнадежил, и в таком настроении он направился на второе заседание Идеологической комиссии.

«…Пройдя сквозь ряды офицеров госбезопасности, я с удивлением увидел, что Неизвестный оживленно разговаривает с секретарем Союза художников Владимиром Серовым, всячески стараясь не замечать меня, — пишет Белютин. — Я услышал, что мне предоставляется слово еще в дверях зала заседаний.

В выступлении я сказал о глубоком сожалении, что то, что делаешь, не получает понимания и что в десяти книгах, которые я написал, я стремился обосновать историческую органичность движения русского искусства к новым дорогам. Но, сказал я, еще рано говорить о полном открытии, надо идти дальше.

И тут голос из президиума прервал меня: “А не расскажете ли вы, как оказались на вашей Таганской выставке корреспонденты?” Спрашивал Сатюков, едва ли не самый умный из сидевших там людей. Через несколько дней Неизвестный придет ко мне и скажет, что он очень переживал этот момент, считая, что я его выдам.

Я ответил: “Думаю, что органы госбезопасности легко установят, что ни я, и никто из моих учеников иностранных корреспондентов не приглашал”. Было нелепо пререкаться — пусть мяч летит обратно.

Вскоре слово взял Ильичев.[77] Гладко играя словами, он стал выговаривать, как добрый учитель школьникам: кто вам сказал, товарищи молодые деятели культуры, что партия отменила решения, принятые при Жданове? Откуда вы взяли, что можете делать, что хотите? Почему вы решили, что партия перестала контролировать вас? И так далее.

Стекла его очков сверкали. Гладко и без бумажки он говорил долго, очень долго. Через несколько дней, когда в газетах появилось его выступление, я был очень удивлен: большая часть из того, что он говорил, там не присутствовала. Только в конце стояло, что три главаря этого “бунта” — Евтушенко, Белютин и Неизвестный — еще создадут достойные своего народа произведения. Если Евтушенко и Неизвестному дали в дальнейшем печататься и лепить, то меня и нашу студию замуровали. И ощущение это не оставляло меня, пока я спускался по лестнице в гардероб, где Неизвестный по-прежнему не замечал меня и не оставлял Серова. Надевая пальто, я услышал обрывок их разговора: “И перевоспитывайте меня, перевоспитывайте — я весь в вашем распоряжении”. Я прошел мимо охраны и вышел в снег».

Этими словами художник Белютин заканчивает свои

воспоминания. Теперь я позволю себе обратиться к документам. Стенограмма совещания занимает 85 страниц, она скучна, и подробно ее цитировать не имеет смысла. Все двадцать четыре выступавших вначале единообразно и единодушно заверяли присутствовавших в поддержке линии партии, а затем каждый тянул одеяло на себя. Художник Илья Глазунов беспокоился о сохранности памятников старины, поэт Фирсов возмущался формализмом, «презрением к человеку» в работах Неизвестного, другой поэт — Исаев, цитировал Николая Рериха, композитор Родион Щедрин рассказал о молодом музыкальном даровании Котике Орбеляне, поэт Евтушенко заклеймил позором диссидента Александра Гинзбурга и его «Синтаксис», прошелся по уже известному нам из выступления Ильичева в Доме приемов другому диссиденту Есенину-Вольпину и рассказал о себе, о своих выступлениях в Политехническом музее и у памятника Маяковскому.

Поэтесса Ахмадулина говорила о годах учебы в Литературном институте, где «им совершенно не давали жить». Поэт Котов обрушился на недавно вышедший сборник стихов поэта Вознесенского под претенциозным названием «Треугольная груша», название его, главным образом, и рассердило. Прозаик Аксенов рассказал о Японии, откуда он только что прилетел и понятия не имел, что происходит в Москве. «Напрасны попытки некоторых недобросовестных критиков представить нас как нигилистов и стиляг, — говорил он с пафосом. — Я благодарен партии и Никите Сергеевичу Хрущеву за то, что я могу с ним разговаривать, с ним советоваться. Мы хотим сказать, что у нас чистые руки».

Можно еще долго цитировать говоривших, отыскивая в каждом из выступлений что-то интересное, но я заставлю себя остановиться. Добавлю только, что Белютин ошибся, Ильичев в заключительном слове Жданова не поминал, прошелся чохом по всем получившим слово, но никого особенно не ругал, а о самом Белютине сказал, что его «сегодняшнее выступление заслуживает внимания».

— Позвольте поблагодарить всех и призвать вас сделать необходимые правильные раздумья из всего того, что было на нашем совещании, — этими словами Ильичев подвел итог обсуждению.

В докладной Хрущеву Леонид Федорович написал, что на заседание 24 и 26 декабря пригласили «молодых писателей, художников, композиторов, творческих работников театра и кино, всего 140 человек…Молодые творческие работники, в общем, правильно понимают и разделяют партийную критику…

Благоприятное впечатление произвели выступления художника И. Глазунова, поэтов Е. Исаева и В. Котова, литературных критиков Д. Старикова и Ю. Суровцева, писателя В. Чивилихина, композиторов Р. Щедрина и А. Хачатуряна. Осмысленнее выступал Е. А. Евтушенко.

О своем одобрении мероприятий партии говорили писатель В. Аксенов, поэтесса Р. Казакова, поэт Р. Рождественский.

…Скульптор Э. Неизвестный, художники Э. Белютин и Б. Жутовский выступили с самокритическими заявлениями, заверив, что они делом ответят на строгую, но справедливую партийную критику их ошибок. Вместе с тем, художники П. Никонов, и особенно Н. Андронов, продолжают упорствовать в своих заблуждениях, за что и были осуждены И. Глазуновым и Э. Неизвестным.

Поэтесса Б. Ахмадулина, поэт Б. Окуджава стремились представить, что нет никаких идеологических извращений, а идет борьба бездарных людей против талантливых. Высказывались опасения, что… на местах могут учинить “расправу” над инакомыслящими.

Состоявшийся обмен мнениями будет способствовать сплочению творческой молодежи… Л. Ильичев».

Вот, собственно, и все существенное о совещании в ЦК.

Ильичев, как мог, старался смягчить формулировки и тем самым выскользнуть из-под Суслова, но ему становилось все яснее, что Михаил Андреевич одержал верх, по крайней мере пока.

Времена на дворе стояли не сталинские, происходившее на идеологических совещаниях немедленно становилось известным западным корреспондентам, они дружили и привечали «модернистов», и те отвечали им взаимностью. В американских и европейских газетах напечатали заявление Неизвестного об осознании своей ответственности перед обществом, перед властью. Неизвестный мне говорил, что несмотря ни на что Шелепин продолжал выяснять, не ворует ли он бронзу из стратегических резервов. Эрнст Иосифович обратился к Лебедеву, и тот посоветовал Александру Николаевичу «остудить» его людей. Расследование «бронзового» дела приостановили, а сам Шелепин помягчел, через помощника пообещал Неизвестному помощь.

Разговор Неизвестного с Владимиром Серовым в гардеробе ЦК тоже получил продолжение. Эрнсту Иосифовичу предоставили возможность доказать свой профессионализм. И он его продемонстрировал, слепил за две недели, так он мне рассказывал, абсолютно реалистическую фигуру сталевара. Ее, по словам Эрнста Иосифовича, растиражировали во множестве

копий, расставили по всему Советскому Союзу, ему же заплатили баснословный гонорар, больше, чем когда-либо какому-либо другому скульптору.

Тем временем отец возвратился из Киева, и вскоре отпраздновали Новый год.

Как мне рассказал в 2005 году Евтушенко, отец через Лебедева пригласил его на Новогодний прием в Кремле. Евгений Александрович, впервые попав в столь «высокое» собрание, впитывал все детали. После первых тостов, когда гости немного расслабились, Хрущев позвал его к столу президиума, чокнулся шампанским, познакомил с другими членами советского руководства.

И это несмотря на то, что 17 декабря в Доме приемов Евтушенко не испугался в самый разгар спора заявить, что ему, в отличие от Хрущева, работы Неизвестного нравятся. А возможно, не «несмотря на это», а именно потому отец проникся к поэту симпатией.

Теперь Хрущев демонстрировал свое желание поставить крест на происшедшем. Покончив с представлениями за столом президиума, отец начал ритуальный обход столов, пожимал руки послам, министрам, академикам и всем им представлял своего спутника — Евтушенко, как будто он не мальчишка-поэт, а президент дружеского государства.

После завершения официальной части, началась часть неофициальная, в том числе тосты. Евгению Александровичу запомнилось, что в одном из них Хрущев вдруг заговорил, что в партию, в расчете на привилегии, рвется столько людей, что он, Хрущев, не знает, что и делать. Тут он сделал паузу и заявил, что знает, как разрешить проблему, — предложил подумать, не принять ли в партию все население СССР. Затем поинтересовался у дуайена дипломатического корпуса, посла Швеции Ральфа Сульмана, когда он подаст заявление в коммунисты? Он столько лет живет в Москве, сжился с нами. Сульман обещал подумать. Расставались отец с Евтушенко почти друзьями.

Казалось, все постепенно успокаивалось. Но только казалось. Михаил Андреевич считал иначе. Он задумал новое «обсуждение», на сей раз киношников. По воле случая мне там довелось поприсутствовать. Точной даты я не помню, но дело происходило зимой, лежал снег, видимо, в феврале 1963 года.

В свободные от мероприятий дни, отец использовал Дом приемов как домашний кинотеатр. Там имелся широкий экран со стереозвуком. Резиденция, где мы жили, размещалась рядом, за забором, в доме 40 по Воробьевскому шоссе. Там тоже имелся кинозал, по традиции для правительственных особняков

объединенный с бильярдной. Биллиардного кия отец в руки не брал, а мама с возрастом стала все громче похрапывать, и он переоборудовал бильярдную-кинозал в свою личную спальню. Кино по выходным мы теперь смотрели в Доме приемов, сами или с соседями — жившими в соседних резиденциях другими членами Президиума ЦК.

В одно из воскресений, как обычно, давали два фильма: первый немецкий, гэдээровский, дублированный, а второй наш — «Заставу Ильича» Марлена Хуциева. В зале, кроме нашей семьи, сидели Косыгины, Сусловы и еще кто-то, но из киношников — никого. Просмотры эти носили семейный характер.

В первом фильме показывали, как империалисты НАТО задумали на нас напасть. Бомбардировщики легли курсом на Берлин, но сознательные летчики после предусмотренных сценарием колебаний разворачивали самолеты назад. Провокация провалилась. Свои впечатления от фильмов отец обычно не высказывал, не нравилось — уходил в соседнюю комнату или домой читать бумаги, нравилось — досиживал до конца. На сей раз он досидел до конца, но когда зажегся свет, бросил: «Фильм политически вредный. Подобное кино нам показывали перед войной, а что получилось в действительности?»

Головы повернули в его сторону, но он не стал углубляться в эту тему и попросил продолжить показ.

«Застава Ильича» мне понравилась не то чтобы очень, но понравилась. Фильм — молодежный, ребята стайкой ходят по улицам, танцуют, вечерами собираются у кого-то дома, романтично, при свечах едят картошку в мундире и рассуждают о жизни.

Фильм закончился, но «старшие» не спешили расходиться, они явно ждали еще чего-то. Теперь-то я понимаю, что смотрели «Заставу Ильича» не случайно, даже Суслов с Косыгиным, в то время не жившие на Ленинских горах, в кино приехали.

Тишину разорвал блеющий высокий голос Суслова. Он говорил, что фильм идеологически направлен не туда, показывает не ту молодежь и не так. Естественно, я всего не помню, но меня особенно поразила его придирка к самому названию фильма. Все знают, что это площадь в Москве, от нее отходит шоссе Энтузиастов, герои фильма там жили, там болтались по улицам. Михаил же Андреевич стал разглагольствовать, что «Застава» это по-русски «сторожевой отряд», и получается, что он обороняет нас от «Ильича». Мы все знаем, от какого «Ильича».

«Что за идиот! — я подумал тогда. — Как можно нести такую чушь?»

Но Суслов не унимался, ему не нравилось все: как юноши по вечерам шатаются по улицам, что они едят неочищенную картошку, да еще при свечах.

— Что у нас другой еды или электричества нет? — риторически вопрошал Михаил Андреевич.

Я просто онемел от всего услышанного. Дальше — больше! Михаил Андреевич зацепился за эпизод, когда образ убитого на войне отца главного героя появляется перед его мысленным взором. Молодой человек спрашивает его, как ему жить дальше? «Сам не маленький, ты теперь старше меня», — отвечает отец-призрак и растворяется в полумраке. Подразумевалось: я тогда знал, что делать, пошел на фронт, погиб за Родину, и ты свой путь найдешь, не ошибешься. Так я истолковал слова отца героя фильма. Очень правильный и патриотичный эпизод.

Я рассказал, что запомнил, чуть ниже воспроизведено в деталях, что и как показывали на экране, — еще правильнее и патриотичнее. Суслов же все перевернул с ног на голову: тут и не свойственная нашему искусству мистика, и почему это отец не отвечает на вопрос прямо, а затем исчезает, как тень отца Гамлета? Я уже ничего не понимал и недоуменно смотрел на отца и его коллег.

Противостояние поколений — извечная тема отцов и детей, не сусловское изобретение, но он ею умело воспользовался, представил борьбой идеологий, чуть ли не предвестником антигосударственного мятежа.

Началось все не в кинозале на Ленинских горах, первые, пока осторожные, обвинения прозвучали в Манеже, на совещании в ЦК «дети», как могли, оправдывались, заверяли, что они ничего такого и в мыслях не имели. Но отец там не присутствовал и, хотя в своей докладной Ильичев о проблеме поколений и словом не обмолвился, Михаил Андреевич развернул процесс в нужную сторону. В его интерпретации получалось, что не скульптор Неизвестный соперничал со скульптором Вучетичем за право ставить мемориал на Мамаевом кургане, не художник Андронов спорил с художником Серовым о манере письма, а вся эта «ватага вольнодумцев» покушалась на завоевания революции. Как под этот каток попал Марлен Хуциев? Не знаю и не узнаю. Отец на неприятную для себя тему говорить отказывался, тогда от раздражения, а потом — совестился.

В таких делах опыт Суслов накопил немалый опыт и возможностями обладал обширными. Скорее всего, он действовал по трафарету: разослал заключения «ученых-экспертов» на кинофильм, соответствующие «объективки» на его авторов. Ему удалось убедить отца, что в фильме спрятан политический

подтекст, в общем, тот же «Кружок Петефи». Так что Суслов выступал после фильма не спонтанно и реакцию слушателей заранее подготовил.

Но тогда я ничего не понял и очень удивился, когда, выслушав сусловские сентенции, отец предложил пригласить авторов фильма и с ними поговорить.

— Надо, надо, — с готовностью отозвался Михаил Андреевич. Остальные из старшего поколения одобрительно гудели.

«Что тут происходит? — недоумевал про себя я. — Ну ладно Суслов, но как отец может себя так вести?»

Тем временем все стали расходиться. Мы с отцом, помнится, пошли провожать к воротам нашей резиденции Косыгина с женой Клавдией Андреевной, полной крашеной блондинкой, внутренне симпатичной, но на мой взгляд, примитивной женщиной. Пока шли, Косыгин поругивал фильм, Клавдия Андреевна ему поддакивала и чем-то возмущалась. Отец слушал его с благосклонным согласием. Я же чуть не закипел: как они, разумные люди, руководители государства, не понимают столь очевидных вещей?

Проводив Косыгиных, мы повернули к дому, отца еще ожидала вечерняя почта. Мне не терпелось объяснить ему, что они чего-то недопоняли, неправы, так нельзя!

— А мне фильм понравился! — начал я.

Отец не отозвался, и я, торопясь, от ворот до двери всего-то идти минут пять, сказал ему все, что думал.

— Ничего ты не понимаешь, — только и отозвался отец. Он взялся за ручку двери, явно не собираясь продолжать разговор.

Дома отец отправился в столовую, на обеденном столе привычно разложил свои папки, а я обиженно, — сам он ничего не понимает, — ушел в свою комнату.

На следующий вечер, я только что вернулся с работы, отец позвал меня с собой в Дом приемов на встречу с «киношниками». Таким образом он надеялся переубедить меня и одновременно убедиться самому. Возможно, он чувствовал себя не в своей тарелке после вчерашнего. Не знаю.

Когда мы пришли в Дом приемов, в кинозале уже собралось много народу — знакомые, коллеги отца по ЦК и Правительству, но еще больше незнакомых. Я юркнул в полупустой задний ряд, а отец прошел к столу президиума, установленному рядом с экраном. Снова первым говорил Суслов, повторил вчерашние «дурацкие» обвинения. Сегодня для меня они звучали еще фальшивее. Потом встал отец.

— Нелегко мне приходится, — вдруг пожаловался он.

Зал насторожился.

— Даже в семье со мной не соглашаются, — продолжил отец. — Вчера мой сын Сережа целый вечер объяснял мне, что я заблуждаюсь. Верно? — Отец глянул в зал. — Он тут где-то сидит.

Все завертели головами, а я, донельзя смутившись, встал и достаточно громко пискнул: «Все равно фильм хороший». И сел. Зал загудел. (Я совсем забыл об этом эпизоде, но в 1999 году на презентации четырехтомника мемуаров отца в бывшем Институте марксизма-ленинизма Марлен Хуциев напомнил мне, что я единственный, кто пропищал слова в его защиту. И тут я все отчетливо вспомнил, все до деталей.)

— Вот видите? — почему-то радостно воскликнул отец и дальше «понес» (извините, другого слова я не нашел) такую же чушь, повторяя Суслова слово в слово.

Я поразился, обычно отец говорил, не очень заботясь о построении фраз, от себя, а тут как урок заученный повторял. Я и сейчас не могу найти разумного объяснения. Единственное, что приходит в голову: душой, печенкой он не принял произносимые им самим слова, а потому и собственных аргументов у него не находилось, он повторял то, что вычитал в справках. В такой же бездоказательной манере, раздражаясь при возражениях, он защищал Лысенко от «нападок» «вейсманистов-морганистов». И на сей раз отец поверил Суслову, как он поверил Лысенко и как заведенный дудел в дуду Михаила Андреевича.

В книге Станислава Рассадина «Самоубийцы» я вычитал, что неприятности у Хуциева начались, когда, еще до выхода фильма, не очень любимый идеологами писатель Виктор Платонович Некрасов в очерках о зарубежье мельком похвалил эпизод с отцом-призраком за то, что «режиссер не стал вытягивать на экран за седые усы старика-рабочего с его нравоучениями». В контексте того времени «похвала» звучала не просто раздражающе, но провокационно. Безобидные слова героев фильма обретали идеологизированный подтекст, о котором режиссер и не подозревал. Эти «седые усы рабочего» стали сущей находкой для сусловских идеологов. Отсутствовавший в фильме «усатый рабочий» символизировал неблагонамеренность и неблагонадежность авторов фильма и кочевал тогда из справки в справку. Таким он представляется и современным писателям-либералам.

Я решил добраться до первоисточника, не поленился, пошел в нашу университетскую библиотеку, где без труда отыскал на полках переплетенные в тома «новомировские» серо-голубые книжки за 1962 год. В 11 и 12-м номерах Некрасов опубликовал очерки о поездке в Италию и США на литературно-киношные фестивали и симпозиумы. Писал он в основном о западных

писателях и кинорежиссерах, сравнивал их с нашими, походя упомянул фильм Хуциева «Застава Ильича». Позволю себе привести без купюр пассаж Некрасова о злополучных «усах»: «Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран всепонимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами, — и картина погибла бы. Хуциев и Шпаликов пошли по другому пути, более сложному… Комната вдруг превращается в блиндаж, и спят вповалку солдаты, и коптит на столе артиллерийская гильза, и отец с сыном пьют друг за друга. И сын говорит отцу:

— Я хотел бы быть с тобой в той атаке, что тебя убили.

— Нет, — говорит отец, — зачем? Ты должен жить.

— А как? — тогда спрашивает сын.

— Тебе сколько лет? — в свою очередь спрашивает отец.

— Двадцать три.

— А мне двадцать один.

От этих слов мурашки бегут по спине… Отец не дал ответа, он уходит, его ждут товарищи. И они идут, три солдата, три товарища, в плащ-палатках, с автоматами на груди по утренней сегодняшней Москве. Мимо проносится машина, а они идут, идут. Идут, как шли в начале картины три других солдата, солдата революции, по улицам другой Москвы. Москвы семнадцатого года… И шаг их размеренный, гулкий, сменяется другим шагом… Красная площадь. Смена караула. Мавзолей. И надпись: “Ленин”. Все линии (картины. — *С. Х.*), все узлы, столкновения и сложности сводятся к одному: как дальше? А ответ один: так же, как и сейчас, в неустанных поисках ответа, поисках правильного пути, поисках правды. Пока ты ищешь, пока задаешь вопрос себе, друзьям, отцу, на Красной площади, ты жив. Кончатся вопросы — кончишься и ты. Сытое благополучие, безмятежное и безвопросное существование — это не жизнь».

Не правда ли, большая разница между «докладной» (если таковая была) и очень «партийными» словами Некрасова. Приведи их «доносчик» полностью… Но Суслову и его людям, «валившим» Ильичева, требовался скандал, и они привычно манипулировали цитатами. Так же, как они в свое время поступили с «Доктором Живаго» Пастернака. Но тут появляется существенное отличие, книгу Пастернака отец не читал, а фильм Хуциева посмотрел. Но навязанного ему мнения не изменил. Не знаю почему. Заранее настроившись или будучи настроенным, он его по существу не увидел. Везде ему мерещились «усы», за которые Хуциев со Шпаликовым якобы волокут на экран его седого собрата-рабочего.

Я попытался понять, почему отец верил справке больше, чем собственным глазам? Все дело вновь упирается в доносы. Ох уж эти российские доносы! Некрасов жил в Киеве, по свидетельству современников, пил, почти не просыхая, пил в ресторанах, в гостях, на собственной кухне, и везде после второй рюмки честил всех без разбора: собратьев писателей и их Союз, власти вообще и Хрущева в частности. Среди собутыльников всегда находились профессионалы-информаторы или просто «доброхоты», доносившие «куда надо» о том, что было и о том, чего не было. Из-за этих доносов органы с идеологами и взялись за «Путевые заметки» прославленного автора книги «В окопах Сталинграда», затем вышли на фильм Хуциева и тут-то «усы рабочего» зазвучали совсем по-иному. Такая вот выстраивается логика, однако расследования увели нас слишком далеко от кинозала в Доме приемов, где происходило обсуждение «Заставы Ильича».

Остальные выступавшие, я абсолютно не запомнил кто, все зациклились на «усах», на разные лады перепевали сказанное Сусловым и вслед за ним повторенное отцом. Наконец иссякли даже самые говорливые. Авторам порекомендовали фильм доработать. В 1965 году он вышел на экран, на мой непрофессиональный, зрительский взгляд, таким же, как и раньше. Только название поменяли с «Заставы Ильича» на «Мне двадцать лет». И эпизод с появлением призрака-отца пересняли, теперь перед исчезновением он произносил монолог-поучение.

Пишу я все это, и неудобно становится и за государственных солидных мужей, и за себя, и за все происходившее. Неужели все так было на самом деле? К сожалению, именно так. Анна Ахматова когда-то отметила, что люди счастливы в своем неведении, из какого сора рождаются стихи. Так и в политике — случайное стечение обстоятельств, чей-то донос, плохое настроение или пищеварение могут вызвать цепь событий с очень далеко идущими последствиями. Если бы не насморк Наполеона во время Бородинского сражения, в какой стране мы жили бы? Не знаю, но наверняка в иной. Если бы не маниакальное недоверие Сталина всем и всему, от писем Черчилля до донесений собственной разведки, то война бы повернулась по-другому или вообще не случилась.

Если бы… Если бы… Если бы…

Если бы отец нашел время, имел желание разобраться сам, а не с подачи Суслова, все бы развернулось иначе. Но не развернулось…

Совсем было пригасший после совещания в ЦК скандал разгорался с новой силой. Разговор в кинозале инициировал новое разбирательство 7–8 марта, теперь уже в Кремле. Напомню,

что и предыдущую проработку пишущей, рисующей и снимающей братии Суслов тоже предлагал устроить в Кремле, чтобы громче прозвучало на весь мир, но отец тогда воспротивился и свел все к упомянутому обеду-разговору на Воробьевых горах. Михаил Андреевич сделал вывод, в список приглашенных включили более шестисот человек, такое количество участников совещания Дом приемов вместить не мог, и мероприятие перенесли в Свердловский зал в Кремле. Основным докладчиком и на этот раз назначили Ильичева.

Отец привык обсуждать темы ему знакомые, вникал в детали, перебрасывался замечаниями с сидевшими в зале легко узнаваемыми и давно знакомыми учеными, главными конструкторами, директорами заводов и совхозов, секретарями обкомов и райкомов. Будь это конструкторы самолетов и ракет Туполев или Глушко, селекционеры Ремесло или Лукьяненко, первые секретари ЦК компартий союзных республик Ульджабаев или Шелест, он помнил, чего каждый из них добился в прошлом или позапрошлом году, что обещал, что выполнил и чего не выполнил, знал, кому можно верить, а кого стоит поостеречься. Совещания превращались в диалоги, нарушавшие строгий, заранее утвержденный сценарий, но разговор велся по существу, с цифрами и фактами.

Отца, как и в предшествующих случаях, предусмотрительно снабдили списком и краткими характеристиками «нехороших» писателей. Но он их не запомнил. Он держал в памяти кое-какие имена молодых, к примеру, Евтушенко, но все остальные Аксеновы с Вознесенскими никак не корреспондировались со зрительными образами.

В Свердловском зале не оказалось ни одного знакомого лица, за исключением стариков: Твардовского, Эренбурга, Корнейчука и Василевской. Настроение отца испортилось заранее, он не чувствовал себя внутренне готовым к предстоящему разговору. Какой может получиться разговор, если не узнаешь в лицо того, с кем разговариваешь, и с большинством произведений, о которых пойдет речь, знаком только по справкам. Прочитать все отец просто физически не имел времени, как нет его ни у одного, по-настоящему занятого своим, важным делом, человека, неважно, политика, руководителя корпорации или генерала.

Тем временем приглашенные стекались в Кремль. «Последний акт заканчивался в круглом зале бывшего казаковского Сената в Кремле, — пишет Белютин. Двери хлопали. Я опоздал к началу, потому что приглашение получил в последнюю минуту. Здесь тоже проверяли пропуска и сверяли их с паспортами, но только менее театрально и более буднично.

Какие-то записки передавались в президиум. Я узнал своего ученика Бориса Жутовского, принесшего нам черновик письма Хрущеву, он сидел в первом ряду. Маленькие глазки Хрущева бегали по рядам и следили за всеми одновременно. У него, безусловно, был талант проводить совещания и собрания».

«Пришел я в Кремль, в Свердловский зал, — вспоминает Ромм, — те же люди, только вдвое больше народу. Зал идет амфитеатром, скамьи. А напротив, на специальном возвышении, места для президиума, трибуна для выступающего. Аккуратный, красивый, холодный зал.

Расселись все. Ясно было, что идет продолжение. Посидели-посидели — вышел Президиум ЦК. Хрущев, за ним остальные. Козлов, аккуратно завитой, седоватый, холодный. И Ильичев. Встали все, ну, поаплодировали друг другу. Сели. Тишина. Настороженная тишина. Ждем.

Встает Хрущев и начинает: “Вот решили мы еще раз встретиться с вами, вы уж простите, на этот раз без накрытых столов, без закусок и питья. Мы было хотели снова собраться на Ленинских горах, но там места мало, больше трехсот человек не помещается. Мы решили на этот раз внимательно поговорить, чтобы побольше народу послушать, так что пришлось собраться здесь. Но в перерывах тут будет буфет — пожалуйста, покушайте”.

Опять начинает как благодушный хозяин. “Погода, — говорит, — сейчас, к сожалению, плохая. Зима, промозгло так, не способствует она сердечности атмосферы. Ну, ничего, поговорим зато серьезнее. Но вот следующую встречу мы намечаем провести в мае или июне, солнышко будет, деревья распустятся, травка — тогда уж мы встретимся по-сердечному, тогда разговор будет веселее. Но сейчас приходится по-зимнему”».

Отец имел в виду, намеченный на май, Пленум ЦК по идеологии, где он собирался сделать основной доклад и окончательно расставить точки над «и».

«Помолчал. — Я снова возвращаюсь к воспоминаниям Ромма. — Потом вдруг, без всякого перехода:

— Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал. Молчание. Все переглядываются, ничего не понимают: какие осведомители?

— Я повторяю: добровольные осведомители иностранных агентств, выйдите отсюда.

Молчим.

— Поясняю, — говорит Хрущев. — Прошлый раз после нашей встречи на Ленинских горах, назавтра же зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты. Значит, были осведомители, холуи

буржуазной прессы! Нам холуев не нужно. Так вот, я в третий раз предупреждаю: добровольные осведомители иностранных агентств, уйдите. Я понимаю: вам неудобно так сразу встать и объявиться, так вы во время перерыва, пока все мы тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?»

Согласно стенограмме, зал отреагировал «бурными аплодисментами».

Сталинские времена уходили в прошлое, общение с западными журналистами перестало квалифицироваться как преступление и шпионаж, за которым следовал арест, и писатели, особенно молодые, художники, в первую очередь модернисты, охотно давали интервью. Всем им хотелось известности в мире. «Органы» этим контактам не препятствовали, но скрупулезно их фиксировали. Появлявшиеся в западных изданиях сообщения переводились и попадали на стол отцу с комментариями Суслова. В них и необходимости особой не возникало, корреспонденты западных изданий сами подавали все с идеологизированных позиций; по их мнению, произведения «модернистов-художников» — это политический протест против не просто социалистического реализма, а против социализма вообще, попытка подкопа под государственные устои Советского Союза. Информацию о совещаниях в Доме приемов и в ЦК подавали под тем же соусом — как противостояние критиков и сторонников социалистического строя, а не как столкновение приверженцев различных направлений в искусстве. О большем подарке от своих противников Суслов и мечтать не мог.

В данном случае я на стороне отца, он говорил с ними как с единомышленниками, пытался их понять и надеялся, что они его понимают, не сомневался, что они — одна команда. И на тебе, кто-то тут же побежал на него жаловаться! И кому? Американцам!

«Ильичев произнес трафаретные вступительные слова, мало отличавшиеся от его докладов в Доме приемов и на идеологической комиссии в ЦК в прошлом декабре, — продолжает Ромм. — Следом началось обсуждение. Ну а потом пошло, пошло — то же, что на Ленинских горах, но, пожалуй, хуже. Щипачеву слова не дали. Мальцев попробовал было что-то вякать про партком Союза писателей, на который особенно нападали, но его стали прерывать и просто выгнали, не дали говорить. Эренбург молчал, остальные молчали, а говорили только вот те — грибачевы, софроновы, васильевы[78] и иже с ними. Говорили, благодарили партию и за помощь. Благодарили за то, что в искусстве наконец наводится порядок и что со всеми этими бандитами (иначе их уже не называли абстракционистов и

молодых поэтов), со всеми этими бандитами наконец-то расправляются».

Согласно стенограмме, на совещании в Кремле не выступали ни Эренбург, ни Щипачев, ни Грибачев, ни Софронов, ни Васильев. Под этими фамилиями Ромм, по-видимому, подразумевает не конкретных лиц, они олицетворяют противоборствующие группировки, уходящие своими корнями в начало Серебряного века. И тогда они смертельно враждовали между собой. В 1930 годы вражду «утихомирил» Сталин, одних приветил, других сослал, и все сразу приутихли. Сейчас она разгоралась с новой силой. Об истоках этой вражды отец не знал почти ничего. Литературными и иными течениями Серебряного века он, как и большинство населения страны, не интересовался. И вот теперь ему, первому лицу государства, предстояло по наитию выруливать в бурном море чужих страстей и амбиций. Ощущая свою беспомощность, отец все более мрачнел и раздражался. Тем временем совещание катилось по заранее проложенным Сусловым рельсам.

«Где бы мы в Европе ни бывали, всюду находили следы поездок этих молодых людей, которые утюжат весь мир. Утюжат и всюду болтают невесть что и наносят нам вред, — сказал кто-то из этих», — под этими Ромм имеет в виду писателей из противостоящей группировки.

«Молодые люди» действительно не вылезали из зарубежных поездок, их, в отличие от «стариков», охотно приглашали и в Европу, и в Америку, и в Японию, они легко сходились с аудиторией, бойко отвечали на вопросы журналистов, всё больше печатались на Западе, что, естественно, вызывало зависть, как профессиональную, так и просто человеческую. Я уже писал, что на декабрьское совещание в ЦК молодой писатель Аксенов прилетел прямиком из Токио.

Евтушенко в начале 1963 года на короткое время заскочил в Москву по пути из Гаваны в Европу. Там, как он пишет сам: «Наши пути пересеклись с Катаевым в Париже. Я тогда купался в неосторожной славе после выхода во французском еженедельнике “Экспресс” моей “Автобиографии”…К моему восторгу я оказался в Париже знаменитее и богаче Катаева».

Евтушенко заплатили гонорар наличными, Катаев же существовал в Париже на скромные советские «суточные». Любивший пустить пыль в глаза, Евтушенко устроил своему старшему собрату-писателю в Париже настоящий «кутеж», продемонстрировав на деле, кто есть кто теперь. Евтушенко пробыл в Париже три недели. До того он провел месяц в Западной Германии.

«Общей темой было, что нет у нас противопоставления поколений, дружно у нас работают оба поколения и мерзавец тот, кто заявляет, что есть два поколения, — свидетельствует Ромм. — И говорили это всё, главным образом, старцы, и при этом рубали на котлеты более молодых. Вот так шло это заседание.

Шолохов вышел, помолчал, маленький такой, чуть полнеющий, но ладно скроенный, со злым своим, незначительным лицом.

— Я согласен, говорить нечего, я приветствую, — коротко сказал он, повернулся и сел.

Так прошел этот первый день на одной ноте, контрапункта не было. Не было такого, что выступает Грибачев, а ему отвечает Щипачев. Выступает такой-то, а ему отвечает Эренбург. Все в одну трубу.

Запомнил я лицо Козлова. Сидел он, не двигаясь, не мигая. Прозрачные глаза, завитые волосы, холеное лицо и ледяной взгляд, которым он медленно обводил зал, как будто бы все время пережевывал этим взглядом собравшихся. Так холодно глядел. А Хрущев все время кипел, все время вскидывался, и Ильичев ему поддакивал, а остальные сидели неподвижно.

Пришлось в этот первый день выступать и мне. И опять выяснилась на этом выступлении какая-то удивительная сторона Хрущева. От меня ждали покаянного выступления. Поэтому едва я записался, мне тут же дали слово. Я даже не ожидал, — моментально.

Я вышел и с первых слов говорю: “Вероятно, вы ждете, что я буду говорить о себе. Я прежде всего хочу поговорить о кинофильме Хуциева”».

Дальше Ромм подробно пересказывает, уже известную нам историю о призраке отца-солдата и его разговоре с сыном. Пытается объяснить в чем там смысл. Хрущев с Роммом не соглашается.

«Стали мы спорить. Я слово, он — два, я слово — он два, — продолжает Ромм свой рассказ.

— Никита Сергеевич, ну пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить. Дайте я закончу, мне же нужно высказаться! — наконец я ему говорю.

— Что я, не человек, свое мнение не могу высказать? — обижается он.

— Вы — человек, и притом первый секретарь ЦК, у вас будет заключительное слово, вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать. Мне и так трудно, — я ему в ответ.

— Ну вот, и перебить не дают, — стал сопеть обиженно».

В заключение своего выступления Ромм описывает, как он отстаивал независимость Союза кинематографистов и Комитета по кинематографии. Энергичная и властная Фурцева, став министром культуры, попыталась подмять под себя, забрать в свое министерство не только кинематографистов, но и все остальные творческие союзы. Суслов ее поддержал. Так ему легче их контролировать. Отец им не «не сочувствовал», но и вопроса «не чувствовал», колебался.

«После меня, — продолжает Ромм, — выступил Чухрай, он хорошо уловил необходимый тон. Начал он с того, как рубал абстракционистов в Югославии, как держался, а закончил так же: что нужно сохранить Союз кинематографистов».

Ромм с Чухраем добились своего, творческие союзы и Комитет по кинематографии выжили. Суслов с Фурцевой уже подготовили все бумаги, оставалось только подписать у Хрущева. После мартовского совещания он их подписывать отказался.

Кроме упомянутых Роммом ораторов, в первый день еще выступили: критик Владимир Ермилов, поэты Сергей Михалков, Александр Прокофьев, Андрей Малышко, Петрусь Бровка, Екатерина Шевелева, Роберт Рождественский, писатель Леонид Соболев, композитор Тихон Хренников, художники Аркадий Пластов и Борис Иогансон, скульптор Эрнст Неизвестный, всего пятнадцать человек.

«Первый день показался не очень страшным, — пишет Ромм. — И вот наступил день второй. Пришли мы в тот же зал, те же люди сели на прежние места. Вошел президиум, вышел добрый, веселый, полный жизненных сил Хрущев, за ним все остальные. Постояли, поаплодировали, сели. Козлов уставился своими ледяными глазами в зал, приготовился жевать его взглядом.

Хрущев начал очень весело: “Ну что же, товарищи, должен сказать вчерашнее предупреждение подействовало. Ничего не просочилось. Вчера были приемы в некоторых посольствах, так просто из осторожности, очевидно, не явился почти никто. Ну-с, давайте продолжать”.

Ну, начали продолжать. Все та же жвачка, родство поколений, спасибо Никите Сергеевичу, искусство питается соками народа, — все остальное так и пошло, шло, шло…»

Стенограмма не подтверждает впечатления Ромма, первый день прошел рутинно, а во второй… Но давайте по порядку.

Первой предоставили слово писательнице Ванде Василевской. Ромму она не нравится, а ее выступление он назвал «элегантным доносом. Ей польские партийные товарищи с возмущением сообщили, что Вознесенский вместе с группой

молодых поэтов в Польше давал интервью, и ему задали вопрос, как он относится к старшему поколению? И он-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали; для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский — современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам, он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. Ну, и из-за этого разгорелся грандиозный скандал».

На самом деле польских «партийных товарищей» Ахмадулина с Пастернаком не интересовали, у них своих проблем хватало, и нажаловались они на Вознесенского, а заодно и на Евтушенко с Аксеновым за то, что, не зная обстановки, они вмешиваются во внутренние дела страны. Думаю, что так оно и было, только молодые литераторы «вмешивались» без злого умысла, говорили не о политике, а о себе самих и своих польских друзьях, которые, естественно, не чурались своих, внутрипольских, политических разбирательств.

Теперь о доносе. Выступление Ванды Василевской — донос только в понимании Ромма и его группы, она же занимала принципиальную, в ее понимании, позицию. С тех же позиций она писала свои книжки в Польше, за которые в 1930-е годы Юзеф Пилсудский посадил ее в тюрьму. Уж очень она ему досадила, если он решился на такое в отношении собственной крестницы, дочери ближайшего соратника и друга пана Василевского. Из тюрьмы Ванда бежала, перебралась нелегально в Советский Союз, поселилась в Киеве, вышла замуж за Александра Корнейчука, любимца Сталина, в те годы, наверное, самого популярного драматурга, автора пьес «Гибель эскадры», «В степях Украины» и «Платон Кречет». Их ставили во всех театрах Советского Союза.

В Киеве отец сдружился с Василевской и Корнейчуком. Во время войны они встречались в Сталинграде, в Москве. Корнейчук тогда по поручению Сталина писал пьесу «Фронт» о плохих «устаревших» и хороших «молодых» командующих фронтами. Василевская тоже опубликовала пронзительную повесть «Радуга» о немецких зверствах на оккупированной земле.

Ванда Львовна — женщина-кремень, ростом под два метра, худая, угловатая, носатая, с вечно дымящей папиросой, говорила отрывистым командирским голосом с сильнейшим польским акцентом. Она никогда никому ни на кого не доносила, ни Пилсудскому, ни Сталину, ни Хрущеву. Говорила, что думала и как думала, тоже не оглядываясь на слушателя, кто бы то ни был. Сталин ее просто не успел посадить, она пришла к нам в 1939 году, когда на время репрессии затухли, и жила в Киеве под пусть иллюзорной, но хоть какой-то защитой отца.

Для отца, в отличие от Ромма, выступление Василевской совсем не выглядело доносом, а отражало ее принципиальную позицию, которую он ценил и к которой прислушивался. Зря она болтать не станет.

Что же касается сравнения Беллы Ахмадулиной, тогда еще девчонки, с Пушкиным — то этот чистейшей воды эпатаж. Сам Вознесенский вспоминал, что не только Ванда Львовна поминала его недобрым словом. «Особенно усердствовал против меня поэт Андрей Малышко, под гогот предложивший мне самому свои треугольные груши…[79] околачивать, согласно соленой присказке. Александр Прокофьев обличал мою непартийность: “Я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может!” Этими воплями они заводили Хрущева. Тот делал вид, что дремлет», — пишет Вознесенский.

«Заранее объявлено было, что после Василевской выступает скульптор Налбандян,[80] — я снова возвращаюсь к записям Ромма. — Однако едва Мадам — так Ромм неприязненно именует Василевскую, — закончила свою высокоидейную речь, как встал Хрущев и говорит: “Что же, товарищи, тут вот должен выступить Налбандян, но, может быть, мы попросим у него извинения, немножко отложим его слово, а послушаем сейчас товарища Вознесенского, а?”».

Итак, поэта Вознесенского неожиданно пригласили на трибуну объясняться.

«Чем Хрущев отличался от Сталина? Не политически, а эстетически, — описывает Андрей Андреевич свои ощущения. — Сталин — сакральный шоумейкер эры печати и радио. Он не являлся публике. Хрущев же — шоумен эпохи ТВ, визуальной эры. Один башмак в ООН чего стоит! Не ведая сам, он был учеником сюрреалистов, их хеппенингов. Хрущев восхищает меня как стилист. И когда глава державы сделал вид, что вдруг проснулся и странным высоким толстяковским голосом потребовал меня на трибуну, я бодро взял микрофон. Повторяю, он был еще нашей надеждой тогда, и я шел рассказать ему как на духу о положении в литературе, надеясь, что он все поймет».

Однако Хрущев Вознесенского понимать не захотел. По его мнению, поэт явно заслуживал выволочки. О том свидетельствовали и сусловская справка о негожем поведении за границей, и слова весьма авторитетной для отца Ванды Львовны. Но, как отметил сам Вознесенский, Хрущев — не Сталин. Последний бы позвонил поэту накануне вечером домой, вкрадчиво поинтересовался бы, чем его Советская страна не устраивает, посетовал бы, что товарищи жаждут его,

Вознесенского, крови, а он, Сталин, колеблется. Могу себе представить выступление Вознесенского после такого собеседования.

Отец же, чуждый иезуитства, не штудировавший, как Сталин, Макиавелли, под влиянием минуты решил «по-отцовски» выговорить «несмышленышу» Вознесенскому. Но сорвался, очень уж подействовали на него слова Василевской. Сорвался и вместо поучений устроил скандал.

«Я даже затрудняюсь как-то рассказать, что тут произошло, — недоумевает Ромм. — Вознесенский сразу почувствовал, что дело будет плохо, и поэтому начал робко, как-то неуверенно».

— Как и мой учитель, Владимир Маяковский, я не член Коммунистической партии… — согласно стенограмме, только эти слова и успел произнести Вознесенский, как отец взорвался.

— Почему вы афишируете?… «Я не член партии!» Вызов бросает! Сотрем всех, кто стоит против Коммунистической партии. Бороться, так бороться! У нас есть порох! — выкрикивал он под аплодисменты и шум в зале.

«Трудно даже как-то и вспомнить весь этот крик, потому что я не ожидал этого взрыва, да и никто не ожидал, — так это произошло внезапно. Мне даже показалось, что это как-то несерьезно, что Хрущев сам себя накачивает, взвинчивает», — пишет Ромм.

Отец обрушился не на поэта Вознесенского, он спорил с Вознесенским-политиком. Сердитое лицо, выброшенная вперед рука, сжатый кулак, — все это приемы революционных ораторов домикрофонной эры. Таким его запечатлели в тот момент кино— и фотохроника. Такой образ Хрущева и стал расхожим. Далеко не лучший и абсолютно не соответствующий истинной сущности отца. Я, как и Ромм, не понимаю причин столь бурно-эмоциональной реакции. Вернее, мы не знаем и не узнаем истинных причин. Но явно дело не в словах, произнесенных самим Вознесенским и даже не в выступление Василевской. Кто-то подготовил отца, настроил его, что речь идет не о поэзии и даже не о болтовне фрондирующей молодежи, а о чем-то более значительном. О чем, остается только гадать, как и о том, кто это все подстроил. Хотя последнее нам доподлинно и неведомо, но угадать автора особого труда не представляет.

Вознесенский растерялся, он явно не ожидал ничего подобного, а Хрущев тем временем продолжал наседать на него.

— Вы представляете наш народ или вы позорите наш народ? — вопрошал он из президиума.

— Никита Сергеевич, простите меня, — пытался вставить слово поэт.

— Мы никогда не дадим врагам воли, никогда! — перебил его отец и, немного остывая, добавил: — Ишь, какой — «Я не член партии!» Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, здесь либерализму места нет, господин Вознесенский.

То, что его назвали «господином», Вознесенского окончательно перепугало, вдруг его действительно вышлют за границу, и он пролепетал: «Я здесь хочу жить!»

Теперь я оторвусь от стенограммы и вернусь к воспоминаниям Ромма и самого Вознесенского.

«А если вы здесь хотите жить, так чего ж вы клевещете?! Что это за точка зрения из сортира на советскую власть! — такими запомнились Ромму слова Хрущева.

— Я честный, я за Советскую власть, я не хочу никуда уезжать, — продолжал говорить Вознесенский.

— Слова все это, чепуха, — машет рукой Хрущев.

— Я вам, разрешите, прочту свою поэму “Ленин”, — невпопад отвечает поэт».

Здесь Ромм явно путает. Согласно стенограмме, Вознесенский начал декламировать поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Собственную поэму о Ленине он напишет только через полгода.

«Стал читать он поэму “Ленин”. Читает, но не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу двигает. Рядом с ним холодный Козлов, Ильичев, который что-то на ухо Хрущеву шепчет, — описывает происходившее Ромм. — Вознесенский что уж он там пробормотал, не знаю, не помню, и Хрущев заканчивает так:

— Вот что я вам посоветую. Знаете, как бывает в армии, когда поступает новобранец негодный, не умеющий, неспособный? Прикрепляют к нему дядьку, в былое время из унтер-офицеров, а сейчас из старослужащих солдат. Так вот, я вам посоветую такого дядьку. Возьмите-ка в дядьки к себе Грибачева. Он верный солдат партии, он вас научит писать стихи, научит уму-разуму. Товарищ Грибачев, возьметесь обучить Вознесенского?

— Возьмусь! — выкрикивает с места Грибачев».

Я уже писал, Николай Грибачев, поэт и главный редактор журнала «Советский Союз» располагался на самом крайнем фланге группировки, противостоявшей группировке, в которую входил Вознесенский. Но угроза отца никогда не реализовалась. Грибачев остался в своем стане, а Вознесенский — в своем.

Зал, по словам Вознесенского, в эти минуты скандировал: «Позор! Долой!».

«Метнувшись взглядом по президиуму, я (Вознесенский. — *С. Х.*) столкнулся с пустым ледяным взором Козлова. И он, и все

остальные члены президиума глядели как бы сквозь меня. И тут, бранясь, Хрущев, видимо, назло залу или машинально назвал вдруг меня “товарищ Вознесенский”. А может быть, за несколько минут чтения поэмы он вынужден был помолчать и понял, что перебрал? Взмокший вождь с досадой нацепил свою маску и процедил: “Работайте”».

Вспотевший Вознесенский покинул трибуну, не оправдавшись и не защитившись. Конечно, отец понял, что перебрал, очень на себя рассердился, но остановиться не смог и в пылу затеянного им же скандала обрушил гнев на голову «сообщника» Вознесенского — Василия Аксенова, тоже фигурировавшего в справке Суслова. Ориентируясь по лежавшей перед ним «рассадке» людей в зале, он представлял, где приблизительно должен сидеть Аксенов, но в лицо его, естественно, не знал. Поэтому, взглянув в подсказанном направлении, он остановил взгляд на чем-то ему знакомом молодом человеке, как потом оказалось графике Илларионе Голицыне, «сидевшем на виду президиума в красной рубашке и недовольно шептавшемся с соседями», — так написал о завязке этого эпизода Белютин.

Голицын мелькал в Манеже, затем в Доме приемов и примелькался, но кто он и откуда, отец так и не понял. Сейчас же непоседливость Голицына его снова взорвала.

— А вы что скалите зубы? Вы, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке! Вы что зубы скалите? Подождите, мы еще вас выслушаем, дойдет и до вас очередь! Кто это? — такими запомнились Ромму слова Хрущева.

— Аксенов, — ему кричат.

— Ах, Аксенов? Ладно, послушаем Аксенова, пожалуйте сюда.

— Я? — встает какой-то человек в задних рядах.

— Да нет, рядом.

— Я? — встает другой.

— Вы, вы, вы!

Идет по проходу человек в очках, в красной рубашке под пиджаком, без галстука. Незнакомый никому, худенький такой человек.

Ну, тут всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление Лев Толстой здорово описал в «Войне и мире», там Ростопчин призывал убить купеческого сына, и толпа, сначала не решалась, а потом, друг друга заражая жестокостью, стала делать дело.

Идет этот человек по проходу, а на него кричат: «Негодяй! Красную рубашку в ЦК надел!», «Пришли в Кремль разодетые, как индюки!» — эти выкрики запомнил Ромм, они же зафиксированы в стенограмме.

«У меня нет другой», — согласно Ромму, пробормотал человек в очках.

— Иди, иди, отвечай за свои дела!

Со всех сторон вскакивают какие-то смирновы, какие-то васильевы, какие-то рожи.

Выходит он.

— Вы — Аксенов? — Хрущев спрашивает.

— Нет, я не Аксенов, — отвечает.

— Как не Аксенов? Кто вы? — Недоумевает Хрущев.

— Я… я — Голицын!

— Что, князь Голицын?

— Да нет, я не князь, я… я — художник Голицын, я… художник-график… я реалист, Никита Сергеевич, хотите, у меня вот тут есть с собой работы, я могу показать…

— Не надо! Ну, говорите, — осекся Хрущев.

— А что говорить? — не понимает тот.

— Как — что? Вы же вышли, так и говорите! — теперь уже удивился Хрущев.

— Я не знаю, что говорить… я… не собирался говорить, — мнется Голицын.

— Но раз вышли, так говорите, — не знает, как выбраться из неудобного положения Хрущев.

Голицын молчит.

— Но вы понимаете, почему вас вызвали?

— Да… нет, я не понимаю… — говорит Голицын.

— Как не понимаете? Подумайте.

— Может быть, потому, что я стихотворению товарища Рождественского аплодировал или Вознесенского?

— Нет.

— Не знаю.

— Подумайте и поймете.

Голицын молчит.

— Ну, говорите.

— Может быть, я стихи почитаю? — спрашивает Голицын.

— Какие стихи? — удивился Хрущев.

— Маяковского, — говорит тот.

И тут в зале раздался истерический смех. Сцена эта делалась уже какой-то сюрреалистической, это что-то невероятное: этот художник-график, который не знает, что говорить, и Хрущев, который «споткнулся», думая, что это Аксенов».

Действительно, представление почти в драмах абсурда Эжена Ионеско, даже абсурдней. Если, конечно, на время забыть, что все происходило в Кремле и всем, особенно, стоявшим на трибуне, было совсем не до шуток.

«Когда Голицын сказал “Маяковского”, Хрущев (судя по воспоминаниям Ромма. — *С. Х.*) отреагировал: “Не надо, идите”.

Голицын пошел на место и вдруг обернувшись, спросил:

— Работать можно?

— Можно, — отвечает Хрущев. Ушел Голицын.

— Вы извините, товарищ Налбандян, мы отложим ваше выступление. Давайте сюда товарища Аксенова, — говорит Хрущев.

Дело в том, что Голицын-то сидел рядом с Аксеновым, вот из-за чего недоразумение-то произошло. Вышел Василий Аксенов.

— Вам что, не нравится Советская власть? — с места в карьер на него обрушился Хрущев.

— Да нет, я стараюсь писать правду, то, что думаю, — отвечает.

— Ваш отец был репрессирован? — говорит Хрущев.

— Мой отец посмертно реабилитирован, — отвечает Аксенов.

— Это он научил вас ненавидеть Советскую власть и клеветать на нее?

— Я ничего дурного от отца не слышал. Мой отец был членом партии, верным коммунистом».

Я вынужден поправить Ромма. Отец Аксенова выжил и после реабилитации в 1956 году вернулся к нормальной жизни. Вот как сам Василий Павлович воспроизводит свой ответ в полухудожественной-полумемуарной книге «Таинственная страсть»: «Мои родители в 1937 году были приговорены к большим срокам лагерей и ссылки…» Дальше автор высказывает догадку, на мой взгляд совершенно верную, что его отца «вообще-то приговорили к смертной казни без права обжалования, однако спустя три месяца в камере смертников этот приговор заменили на пятнадцать лет лагерей и три года ссылки. В ЦК при подготовке материалов по Аксенову использовали только список казней».

…— Через восемнадцать лет их реабилитировали, и они вернулись. Восстановление нашей семьи мы связываем именно с вашим именем, Никита Сергеевич, — произнеся эти слова, Аксенов повернулся к Хрущеву.[81]

После этих слов отец, согласно стенограмме, заговорил в совершенно ином, примирительном тоне и, наконец, отпустил его с трибуны.

Вообще-то в своей книге Аксенов многое понавыдумывал и не скрывает этого, поэтому он и назвал ее романом, а не мемуарами. Но в этом пассаже, мне кажется, верить ему можно.

«Выступление Налбандяна все откладывалось, — продолжает Ромм. — Вы что, захотели клуба Петефи? Не будет этого! Знаете,

как в Венгрии началось? Все началось с Союза писателей. Там организовался клуб Петефи, а потом началось восстание. Так вот, не будет вам клуба Петефи, не допустим», — запомнилась Ромму реплика Хрущева.

В шестидесятые годы тень «клуба Петефи» незримо витала над головами и политиков, и писателей.

Все ожидали, что теперь на трибуну вызовут Евтушенко, но отец промолчал, и после Аксенова совещание постепенно входило в рутинную колею. Выступил секретарь парткома Московского отделения Союза писателей Е. Ю. Мальцев, затем писатель-почвенник В. А. Смирнов и композитор А. Г. Арутюнян.

Затем слово дали писателю Кочетову, в то время одно его имя вызывало гнев у прогрессивных, без кавычек, интеллигентов, особенно молодых, он им отвечал тем же. Ему очень хотелось вновь раскалить обстановку, руками отца уничтожить своих врагов, от Евтушенко до Эренбурга.

— Нашу литературу на Западе никто не знает. Знают имена Евтушенко и Вознесенского, стихов их не знают, знают только, что вокруг них происходит. У них надежда, не сокрушат ли они советскую власть, — согласно стенограмме возмущался Кочетов, краем глаза следя за реакцией отца. Это ему плохо удавалось. Трибуна стояла впереди президиума, а откровенно вертеть головой он не решался.

Затем он пожаловался, что «там» его постоянно одолевают вопросами о Пастернаке. Но отца будто подменили, на слова Кочетова он не отреагировал, не завелся, а по поводу Пастернака бросил реплику:

— Если бы мы издали «Доктора Живаго», то никакой Нобелевской премии он бы не получил.

Кочетов разочарованно пожал плечами, но не сдавался.

— Вот посмотрите, в «Новом мире» напечатана «замечательная штука» под названием «Вологодская свадьба». Когда ее читаешь, просто жуть берет, там одни пьянки, дураки, идиотизм… «Смельчаки» пишут, «смельчаки» печатают, — он, редактор журнала «Октябрь», жаловался на своего давнего неприятеля, редактора «Нового мира» поэта Твардовского.

Хрущев и эти его слова пропустил мимо ушей. Кочетов окончательно расстроился, скомкал конец выступления и покинул трибуну.

После Кочетова выступил скульптор Азгур. О чем он говорил, никто не запомнил.

Дальше Ромм пишет, что «наконец-то, слово представили Налбандяну. Он отложил очередной эскиз и вышел на трибуну. Выступление его было простейшее. Дело в том, что он просто

хотел поблагодарить Никиту Сергеевича за то, что с него сняли «оковы». А оковы заключались в том, что он изображал Сталина и поэтому чувствовал себя все время виноватым. А вот сейчас эти оковы наконец сняты, он себя виноватым больше не чувствует. Спасибо.

Ну а в подтверждение того, что он себя виноватым не чувствует и что оковы с него, так сказать сняты, он все время, пока его речь откладывалась, рисовал наброски с президиума, отдельно Хрущева, и выступающих, выступающих. Очевидно, готовил большое новое полотно: встреча интеллигенции с партией и правительством. Но как-то, очевидно, не успел закончить это полотно, так как Хрущев был преждевременно снят».

Налбандян Ромму явно несимпатичен, а мне так очень. Налбандян прекрасный художник-профессионал. У меня на стене висит его миниатюра «Ленин в Разливе», он ее когда-то подарил отцу, а от него она перешла ко мне. И дело тут не в том, кто нарисован, а как. Все в ней на месте и свет, и тени, и сам человеческий образ. Написал Налбандян и портрет отца, наверное, единственный его хороший портрет. Сейчас, насколько я знаю, он хранится в музее Современной истории в Москве.

«После перерыва последовало заключительное слово Хрущева. Начал он, помнится, с того, что стал извиняться, что погорячился, покричал, ну, мол, не обессудьте, дело важное, и погорячиться можно, — это цитата из Ромма. — Потом стал объяснять нам, что такое хорошее искусство, на образных примерах. Вот такое…

— Вот идешь зимой ночью по лесу. Лунная ночь. Снег лежит голубой, сосны, ели в снегу, глядишь — какая ж красота! И думаешь: вот это бы кто-нибудь нарисовал. Так ведь не нарисуют же, а если нарисуют, так не поверят, скажут: так не бывает! А ведь бывает в жизни эта красота. Зачем же ходить в сортир за вдохновением?

Потом перекочевал на тему об антисемитизме и об Эренбурге.

— Здесь товарищ Эренбург?

Но товарищ Эренбург уже ушел. На нем уже верхом проскакал и Ермилов, и другие, и столько его поминали, что старик не выдержал.

— Нет Эренбурга? М-да».

Уход Эренбурга отца расстроил, он его ценил, хотя и спорил с ним, и не раз нападал на него. То, что Эренбург вот так взял и ушел, он расценил как дурной знак.

Здесь я на время расстанусь с Роммом и предоставлю слово

Белютину: «Свое заключительное слово, длившееся более двух часов, Хрущев начал, повторяя то, что говорил в перерыве, расхаживая по фойе: “Вот вы говорите, что сейчас плохо, но вот вы выступаете и не соглашаетесь с секретарем ЦК Л. Ильичевым, и вам ничего. А попробовали бы так при Сталине!”

Его речь повторяла объявление войны всяким новым поискам художников, объявляла Лактионова, Вучетича и им подобным фотографов образцами соцреализма (термин, которым за несколько лет до Манежа отец почти перестал пользоваться. — *С. Х.*). Шишкин, Айвазовский, оптические художники XIX века также ставились в пример экспериментаторам, “модернистам и абстракционистам”, под которыми подразумевались мы».

Хрущев, по-видимому, чувствовал недовольство аудитории. Он всячески старался показать, что и он живой человек, более того, его при Сталине едва не осудили, и вот теперь он самый первый коммунист на земном шаре. Тут Хрущев взглянул на часы, вспомнил, что сегодня 8 Марта, Женский день, скоро в Большом театре открывается торжественное заседание, и им, президиуму, полагается на нем присутствовать».

Отец поздравил присутствовавших в зале женщин с праздником, и все разошлись — одни домой договаривать, доспоривать, другие — в Большой театр.

8 марта 1963 года Суслов, его «наследники Сталина», руководители союзов, как им казалось, окончательно победили, молодые более не смели покуситься на их власть: ни «ильичевцы» на партийную, «ни «белютинцы» с «евтушенками» — на творческую. Об отмене цензуры уже никто и не заикался. Намеченному на лето Пленуму ЦК, по их замыслу, предстояло победу закрепить в обязательной для исполнения резолюции.

Я, как вы помните, не принадлежал ни к одной из «стай», жил в своем инженерно-ракетном измерении, но симпатии наши принадлежали Ромму — Белютину — Евтушенко. Нам они казались правильнее. Не художественно правильнее, а просто правильнее. И поныне мы смотрим в прошлое однобоко, глазами их «стаи». Так уж получилось.

Не следует преувеличивать значение совещания 7–8 марта 1963 года. Для его участников, от Ромма до Кочетова, — это событие знаковое, для отца — одно из рутинных. Уже 12 марта, тоже в Кремле, он заслушивает руководителей территориальных сельскохозяйственных управлений, выступает сам. Затем отправляется с инспекцией по вводимым в строй предприятиям химической промышленности. Ну и, естественно, ежедневные приемы делегаций, встречи с иностранцами, рабочие совещания со своими, интервью.

«Конфуз» в Свердловском зале Кремля отходил в прошлое, забывался и одновременно постоянно напоминал о себе. Отец начинал осознавать, что он с подачи Суслова вляпался. Он еще не понял, что его подставили и кто его подставил, но на настойчивые призывы Михаила Андреевича решительно покончить с крамолой реагировал вяло. Принимать какие-либо «меры» в отношении «молодежи» категорически отказался. Более того, практически сразу после совещания в Кремле Евтушенко собрались отправить в заграничное турне, сначала в Италию, а оттуда, по приглашению Принстонского университета, — в Америку. После «проработки» на самом высоком уровне — неслыханное по меркам того времени решение, более того, поощрительное решение, и готовил его Ильичев. Другое дело, что у него не получилось сделать, как он намеревался. Секретариат правления Союза писателей посчитал эту командировку нецелесообразной, нажаловался Суслову, и Леониду Федоровичу не оставалось ничего иного, как «согласиться».

А вот Аксенов, как ни в чем не бывало, улетел в Аргентину: в Буэнос-Айресе демонстрировался советский кинофильм, снятый по мотивам его повести «Коллеги».

Скандал явно шел на убыль, но совсем не затух. Последний, зафиксированный документально, отзвук мартовского обсуждения в Кремле прозвучал на заседании Президиума ЦК 25 апреля 1963 года. В тот день обсуждали детали соглашения о контроле ядерных испытаний, ответ на послания американского президента Кеннеди и британского премьер-министра Макмиллана, но разговор вдруг перекинулся на кино, потом на вызвавшие в Москве массу толков постановки «Ревизора» в Малом театре и «Марии Стюарт» во МХАТе. Помянули и роман «Лес» Леонида Леонова. Отцу он показался нуднейшим. «Когда я читал, то чтобы не заснуть, весь исщипал себя до синяков и то только первый том осилил, — пожаловался он. — Взял вторую часть, и никак не идет».

Затем отец вспомнил недавно опубликованную в «Известиях» статью Константина Паустовского. В ней писатель сетовал, что на берегу Оки, поблизости от Тарусы, где он жил на даче, начали добывать гравий и карьер никак не вписывается в Приокский ландшафт. Паустовский предлагал брать гравий где-то поодаль, он даже место указал и заметил, что там он всего на 2 копейки дороже. Отец не согласился. «Что такое 2 копейки в миллионах кубометров? — возмущался он в свою очередь. — На сколько меньше квартир народ получит?»

Заговорив об экономии и растранжиривании средств — эта тема отцу не давала покоя, — он от писателя Паустовского и

карьера по добыче гравия перекинул мостик вообще к писателям и писательству, посетовал, что «мы сейчас всё печатаем, а не такие мы богатые, чтобы печатать всё, что выдумывают. Надо навести порядок. Союз писателей, Литфонд, — это кормушка, это разврат, это даровые деньги, это безответственность. Принимают человека в Союз писателей, и тут же ему подавай квартиру в Москве. Я за поддержку писателей, но поддержку моральную. Если крестьянин пишет книги, то пусть крестьянский труд не бросает, если он учитель, как Солженицын, то пусть им и остается».

Отец вспомнил украинского писателя Михаила Коцюбинского: «…он до революции много хороших книг написал, но продолжал работать в Статистическом бюро Черниговской губернии. У нас же — это страшное оскорбление для писателя. Даже если он и не пишет ничего, а пьянствует за счет Литфонда. Куда это годится?»

Все согласились, что не годится никуда, но этим и ограничились.

Поговорили о Константине Гамсахурдии, с ним отец встречался еще в 1949 году, помянули песенки Булата Окуджавы и стихи Евтушенко. Зашел разговор, не следует ли создать некий общественно-идеологический совет под председательством Суслова. Но тут вмешался Ильичев, напомнивший, что Идеологическая комиссия в ЦК давно существует. Обсуждение постепенно сошло на нет.

После апрельского заседания отец, неожиданно для Суслова, отказался от док лада на уже объявленном в газетах Пленуме ЦК по вопросам идеологии и предложил выступить Суслову как секретарю ЦК, ответственному за это направление. Михаил Андреевич от доклада неожиданно уклонился, хотя по меркам того времени доложить Пленуму — большая честь, даже для члена Президиума ЦК. Он перепихнул доклад на всё того же Ильичева. Открытие Пленума тоже передвинули с 28 мая на 18 июня. Дело в том, что в конце апреля в Москву прилетел Фидель Кастро, и отцу не хотелось отвлекаться от кубинского гостя на уже ощущавшиеся обузой разбирательства с писателями и художниками. Жизнь постепенно выруливала на «доманежную» колею. Нужно сказать, что бурные, с руганью, выяснения отношений с Хрущевым не столько навредили, сколько прославили «отступников» и в стране, и особенно за рубежом. Конечно, Евтушенко и Вознесенский и без того не страдали от безвестности, но и им дополнительная «реклама» не повредила. А вот Неизвестный, Жутовский или Голицын в один день стали не просто известными, а всемирно знаменитыми. Самые солидные

зарубежные газеты и журналы печатали о них статьи, западные дипломаты и журналисты, не торгуясь, скупали их работы. Чем больше их прижимали здесь, тем популярнее они становились там. Воистину, как по закону сохранения материи: что в одном месте убавится, то в другом месте прибудет.

Открывшийся 18 июня 1963 года идеологический Пленум ЦК прошел буднично. Ильичев доложил формально. Формально упомянул прошедшие совещания, сухо оценил их вклад, к разгрому «отбившихся от стаи» отступников не призывал.

Суслов тоже докладывал на Пленуме, но не об идеологии. Он говорил о нарастающей ссоре с китайцами, критиковал Мао Цзэдуна, обвинявшего Хрущева в «обуржуазивании, ревизионизме и примирении с Америкой». Как-то сама собой направленность Пленума поменялась, нацеленная изначально вовнутрь, она развернулась вовне. Объектом критики вместо поэтов и абстракционистов-скульпторов стали китайские «ультрареволюционеры». В результате доклад Суслова превратился в заглавный, оттеснив на задний план не только Ильичева, но и Андропова. Согласно распределению ролей в ЦК, доклад о Китае полагалось произнести Юрию Владимировичу, но Суслов убедил отца, что столь серьезный вопрос должен осветить член Президиума, а не просто секретарь ЦК. Выступавшие в прениях тоже сосредоточились на Китае, «модернистов» или вообще не поминали, или касались их вскользь.

На Пленум, помимо членов ЦК, отец, как обычно, пригласил множество народа, в том числе и Михаила Ромма. Естественно, его в первую очередь интересовало, что скажут о его коллегах и лично о нем, а не о китайцах. В результате акценты оказываются смещенными, но тем не менее, как и прежде, я предпочту живые впечатления Рома сухим строчкам стенограммы.

«Наконец состоялся Пленум. На Пленум пригласили больше двух тысяч гостей. Сделал Суслов доклад по китайскому вопросу, Ильичев — по вопросам культуры. Пошли обыкновенные речи. Я (М. Ромм. — *С. Х.*), признаться, все это забыл и сейчас не могу вспомнить, что же там говорилось. Так или иначе, прошли эти речи, а я все жду, до меня все не доходят. Наконец, уж на третий день, выступил секретарь ЦК комсомола Сергей Павлов. Начинает Павлов с целины, идет по целине, шагает, ну и дошагал наконец до меня: “Некоторые вот тут предъявляют претензии к нашей молодежи. А чего мы можем требовать от нашей молодежи, если среди наставников этой молодежи числятся такие, с позволения сказать, профессора, как Михаил Ромм, который пропагандирует общечеловеческую мораль и лирическое… ” Что “лирическое”, он не договорил, потому что вдруг его прервал Хрущев: “О шатаниях

товарища Ромма нам известно, — сказал Хрущев. — Мы сами разберемся в этом вопросе, — помолчал и добавил: — Но мы надеемся, что этот крупный мастер еще встанет на ноги".

Ну, я, правда, тоже надеялся, что "встану на ноги", но во всяком случае понял, что продолжать речь Павлов не будет. Действительно, он нежно улыбнулся, перелистал страничку и пошел дальше шагать по целине. Я сижу в некотором недоумении, так и не понимаю — что это, угроза? Или, наоборот, индульгенция? Хорошо уж, по крайней мере, что речь Павлова прервана».

Не знаю, можно ли происшедшее назвать «индульгенцией», но отец таким, очень понятным для функционеров жестом, дал понять, что довольно болтовни, настоящим делом следует заниматься.

«Дело мое после этого замерло, — пишет Ромм, — из Президиума ЦК его спустили куда-то в МК, из МК в райком, а из райкома партии в партком. Там оно и затухло».

В чем состояло «дело Ромма», я не знаю, а копаться в архивах поленился, никакого это сейчас значения не имеет.

Если «дело Ромма» затухло, то идеологические баталии только затухали. Сусловские идеологи при каждом удобном случае пытались их реанимировать, снова вовлечь в них Хрущева. Следующий «удобный случай» представился во время Международного кинофестиваля, проходившего в Москве с 7 по 21 июля 1963 года. Традиции отдавать главные призы только нашим фильмам тогда уже отошли в прошлое. Жюри присудило первое место ленте «8 $^{1}/_{2}$» очень знаменитого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Решение, для киношников естественное и справедливое, у идеологов вызвало бурную реакцию. Аргументация сводилась к ставшей уже привычной формуле: фильм далек от реалистических традиций, заражает буржуазной идеологией здоровое социалистическое общество. Предлагалось: главного приза не давать, фильм к широкому показу не допускать. Легко представить масштаб скандала, что там Манеж…

Суслов уехал в отпуск, и Ильичев остался ответственным на идеологическом «хозяйстве». Оказавшись между молотом Международного жюри и сусловской наковальней, Леонид Федорович бросился к Хрущеву. Отец собрал на заседание Президиума ЦК находившихся в Москве, тех, кто не разъехались по отпускам, «заинтересованных» лиц: Брежнева, Кириченко, Полякова, Рудакова, Пономарева, Ильичева и Андропова из ЦК, плюс председателя Кинокомитета Алексея Владимировича Романова. Ни Брежнева, ни Кириченко, а уж тем более

«селькохозяйственника» Полякова с «промышленником» Рудаковым какой-то Феллини и не интересовал, и о его фильме они не слышали. Тем не менее, собравшиеся дружно обругали Романова. Кто-то, в протокольных записях не обозначено кто, назвал его «обывателем», прозвучало предложение «дезавуировать приз», но потом, поразмыслив, решили не рубить сплеча, поручили с Феллини, его фильмом и присужденной ему премией «разобраться» и высказать свое отношение Секретариату ЦК, то есть Хрущеву.

Фильм тем же вечером прислали к нам на дачу. Обычно о показе фильмов на даче широко оповещалась вся семья, на этот раз отец не позвал никого.

Я заехал на дачу случайно. В доме пусто. На вопрос, где отец, мне ответили, что он смотрит фильм, присланный из ЦК, а не из кинопроката, как обычно. Я заглянул в зал. Бросил взгляд на экран и ужаснулся, «Восемь с половиной» я уже успел посмотреть во время конкурсного показа. Нужно сказать, что я, как и сусловцы, полагал, что реакция отца будет крайне негативной. В произведениях такого рода рядовому зрителю достаточно сложно разобраться, залы в кинотеатрах при их демонстрации пустуют. Не скрою, и мне фильм казался вычурным и скучным.

Я проскользнул в зал, тихо сел на диван рядом с отцом, выждал несколько минут и стал нашептывать: какой Феллини гениальный режиссер, какой фурор произвел его фильм в мире, что он символизирует… тут я запнулся. По правде говоря, я понятия не имел, что он символизирует.

— Иди отсюда и не мешай, — прошипел он.

Расстроенный, я ушел. Вскоре сеанс закончился. Отец вышел в парк, и мы отправились на прогулку.

— Как тебе показался фильм? Это знаменитый режиссер… — начал я.

— Я тебе сказал, не приставай, — оборвал меня, теперь уже беззлобно, отец. — Фильму дали главный приз на фестивале. Суслов с Ильичевым против и просили меня посмотреть.

— И что? — заикнулся я.

— Я мало что понял, но международное жюри присудило приз. Я здесь при чем? Они лучше понимают, для этого там и сидят. Обязательно надо мне подсовывать… Я уже позвонил Ильичеву, сказал, чтобы он не вмешивался.

Я вздохнул с облегчением. Разговор перешел на другую тему, и больше к Феллини не возвращался.

Скандала не получилось, ведь в случае вмешательства «сверху» в решение жюри его иностранные члены грозили покинуть Москву. Теперь все вздохнули с облегчением, в том

числе и Ильичев. Сам он против Феллини ничего не имел, а теперь еще, с помощью отца, утер нос Суслову, но не более того. Как и предполагал Михаил Андреевич, за Ильичевым на всю оставшуюся жизнь накрепко закрепилась репутация ретрограда.

Через две недели после закрытия кинофестиваля в Москве, 5 августа 1963 года, в Ленинграде открывалась Сессия Европейского сообщества писателей (КОМЕС). Наши писатели — и «те», и «не те», единодушно придавали ей наиважнейшее значение. Туда отправились все знаменитости, от Твардовского до Шолохова. Все, кроме Эренбурга. Искушенный политик, Эренбург понимал, что без него, популярного на Западе советского писателя, к тому же раскритикованного отцом на совещании в Кремле, к тому же еврея, в Ленинграде не обойдутся. Лучше иных он ощущал и начавшуюся в ЦК подвижку на «доманежную» колею.

После встречи в Доме приемов 17 декабря 1962 года, когда только началось завинчивание гаек, первые главы очередной, пятой книги воспоминаний Эренбурга еще кое-как проскочили в январский 1963 года номер «Нового мира», а потом все застопорилось. Цензура встала насмерть.

Продолжение мемуаров появилось лишь в третьем, мартовском, номере «Нового мира», и только как следствие письма, которое Илья Григорьевич направил Хрущеву. На совещании в Кремле 7–8 марта 1963 года вновь склоняли Эренбурга, и снова все встало. Издательство «Советский писатель», включившее в план публикацию воспоминаний, из плана их не исключало, но и не печатало, ожидало прояснения обстановки, а пока одолевало автора замечаниями и откровенными придирками.

Илья Григорьевич решил снова апеллировать к Никите Сергеевичу. Обращаться непосредственно к Хрущеву Эренбург на сей раз воздержался, опытный царедворец сталинской школы, он предпринял обходной маневр, направил письмо одному из секретарей Союза писателей поэту Алексею Суркову с формальным отказом от поездки в Ленинград: он-де стар, стоит на пороге могилы, к тому же не знает теперь, кто он в своей стране: его не печатают, издание собрания сочинений приостановлено и далее в том же роде на нескольких листах. Эренбург не сомневался, что игра его беспроигрышна. И не ошибся. Сурков тут же передал письмо Твардовскому, тот побежал с ним к Лебедеву, Лебедев положил письмо в почту отцу.

Отец ощущал неудобство за все резкости, высказанные им в адрес Эренбурга в последние месяцы, и тоже искал случая, чтобы сгладить возникшие шероховатости. Он не просто принял

Эренбурга, а принял его немедленно. Говорили они полтора часа, с 12.05 до 13.30, так записано в журнале посещений. В результате отец не просто извинился за допущенные им резкости, но пожаловался, что его снова ввели в заблуждение, снабдив цитатами, произвольно надерганными из книги мемуаров Эренбурга. Теперь он сам прочитал все от начала до конца и не обнаружил в ней ничего вредного. Что же касается проволочек в «Советском писателе», то он пообещал свое содействие, рассказал, как он прошлой осенью говорил Твардовскому, что «писателям такого масштаба цензура не требуется». Разговор состоялся 3 августа 1963 года, а в начале 1964 года том с воспоминаниями Эренбурга появился на полках книжных магазинов.

Покончив с книжным вопросом, Эренбург начал жаловаться, что из-за усталости и занятости в Ленинград он никак выбраться не может. Отец убеждал, что его присутствие на форуме европейских писателей необходимо из государственных соображений, которые Эренбург понимает лучше других и которым он всегда следовал. Собственно, такой поворот событий Илья Григорьевич и планировал. Однако Хрущев пошел дальше, осведомился, не стоит ли ему самому вместе с Эренбургом съездить в Ленинград, пообщаться с европейскими и нашими писателями и таким образом восстановить нарушенные недавними событиями отношения не с одним Эренбургом, а со стоявшей за ним значительной частью писательского сообщества.

Илья Григорьевич ехать в Ленинград отцу отсоветовал. Договорились, что после завершения собрания в Ленинграде он пригласит писателей к себе, на Пицунду. Отец днями собирался в отпуск.

Уже прощаясь, Эренбург заговорил о реабилитации Федора Федоровича Раскольникова, военачальника и дипломата — еще одной жертвы Сталина. Раскольникова вскоре восстановили в правах. Посмертно.

В Ленинград Эренбург прибыл с опозданием на день, 6 августа 1963 года, в замечательном настроении. Он всем рассказывал, что Хрущев принял его очень хорошо, «милостиво сказал, что он, Эренбург, имеет право печатать все, что захочет, что для него не существует цензоров». Дальше следовал подробный пересказ разговора. В частности, по словам Эренбурга, когда он упомянул о своем неудачном письме Хрущеву о «мирном сосуществовании в искусстве», тот «замахал на него руками: оставьте, это — пустое».

Затем Эренбург похвастался, как вступился за Евтушенко и Вознесенского, Хрущев с ним и тут согласился, попросил

Лебедева проследить, чтобы к ним не «придирались».

13 августа 1963 года европейские писатели, вместе с нашими, прилетели к отцу на Пицунду. Не все, конечно, но достаточно представительная делегация во главе с Твардовским. Он преследовал еще и собственный интерес, надеялся, что на Пицунде ему наконец-то удастся решить вопрос публикации своей многострадальной поэмы «Теркин на том свете». Как помним, еще прошлым октябрем он заручился обещанием отца прочитать ее и помочь «пробить» сквозь цензуру. Однако Манеж и последующие события спутали все карты. Теперь же все возвращалось на круги своя. В июне, сразу после Пленума ЦК, Твардовский передал Лебедеву окончательный текст поэмы. Ни сам Твардовский, ни Лебедев секрета из этого не делали, и слух, что «опальную» поэму «будут читать в отпуске», как в прошлом году читали «Ивана Денисовича», быстро распространился по цековским кабинетам.

В конце июля, накануне отъезда Твардовского в Ленинград, его после долгого перерыва пригласил к себе Ильичев, говорил о том о сем и наконец попросил дать и ему почитать «Теркина…» Собственно, ради этого он и зазвал к себе Твардовского, но тот, не желая рисковать, уклонился, сказал, что обещал первому дать ее прочитать Хрущеву.

«Все это событие укладывается в несколько решающих часов и похоже на цепь случайностей, счастливых совпадений, — записал Твардовский в дневнике 18 августа 1963 года. — В самолете (они летели вместе с Лебедевым. — *С. Х.*) я подбросил мыслишку Владимиру Семеновичу, что читать мог бы и в присутствии коллег — сопровождавших “европейцев” русских писателей».

Встречу в Пицунде подробно описали: сам Твардовский в дневнике и, с его слов, Владимир Лакшин.

Начну с Лакшина.

«Я попросил Александра Трифоновича рассказать, как дело было в Пицунде, и он с удовольствием повторил для меня этот рассказ.

Только прилетели 18 августа 1963 года и расположились в домиках для гостей, прибежал Снастин:[82] “Зовут!” Все отправились в парк, где их встречал Хрущев.

Потом в зале был некий официальный момент — произносились приветственные речи. Обращаясь к зарубежным писателям, Хрущев говорил не очень любезно. Подоплека этого та, что на другой даче, за его забором, отдыхал Морис Торез. К нему еще накануне приехал из Ленинграда Андре Стиль, бывший на Сессии европейских писателей наблюдателем, и высказался

тенденциозно, что-де КОМЕС коммунистов-писателей в Ленинграде не пригласил, а буржуазных литераторов тут принимают со всей сердечностью. Со слов Стиля, Торез выразил свое недовольство Хрущеву. И Никите Сергеевичу пришлось объясняться.

Так или иначе, но Хрущев простодушно обратился к собравшимся гостям: “Вот среди нас есть и писатели, защищающие интересы социализма, и писатели — защитники интересов буржуазии…” Это вызвало протест Сартра: “Буржуазных писателей здесь нет”.

Пошли к столам, и за обедом атмосфера потеплела. Вигорелли (итальянский писатель, президент КОМЕС. — *С. Х.*) сказал, наклонившись к Хрущеву, что он хочет процитировать ему один пункт устава КОМЕС, и произнес по памяти: “Сообщество принимает в свои ряды коммунистов, но не принимает антикоммунистов, которых приравнивает к фашистам”. Хрущев закивал, это помогло дальнейшему общению».

Твардовский держал себя строго, не пил спиртного, почти не ел, потому что знал, что ему, возможно, предстоит читать Хрущеву поэму после обеда. (По предварительному разговору с Лебедевым выходило так, что иностранцы разъедутся, а Александр Трифонович прочтет поэму в узком кругу, пригласят лишь Федина и Шолохова.) Предложение Хрущева читать за обедом, «поэксплуатировать» Твардовского в присутствии всех гостей, прозвучало неожиданно.

«Никита Сергеевич произнес с полной непринужденностью, как будто никакой договоренности не существовало: “Я слышал, у Александра Трифоновича есть что-то новенькое. Может быть, попросим его прочесть”», — уточняет детали Лакшин.

«Унгаретти и Вигорелли успели откланяться, но все прочие остались, — я снова обращаюсь к дневнику Твардовского. — Чтение длилось сорок минут. Никита Сергеевич почти все время улыбался, иногда даже смеялся тихо, по-стариковски. Этот смех у него я знаю: очень приятный, простодушный и даже чем-то трогательный. В середине чтения я попросил разрешения сделать две затяжки. Дочитывал в поту от волнения и от взятого темпа, моя дорожная, накануне еще ношенная весь день — светло-синяя рубашка на груди потемнела. Кончил, раздались аплодисменты. Никита Сергеевич встал, протянул мне руку: “Поздравляю, спасибо”. Тут пошли реплики, похвалы, но Сурков быстро сообразил, что “обсуждения” не должно быть, и предложил тост за необычный факт прослушивания главой великого государства в присутствие литераторов, в том числе иностранных, нового произведения отечественного поэта».

Напомню, что именно Алексей Сурков, поэт и секретарь Союза писателей, в 1954 году первым поднял вокруг «Теркина на том свете» бучу, приведшую к запрету поэмы на долгие восемь лет. Твардовский ему «обязан» и многими иными неприятностями. В марте 1963 года в Кремле Сурков Твардовского «не замечал», теперь ветер переменился, «переменился» и он.

«Потом я, решительно не принимавший ничего спиртного ни накануне, ни за столом, — продолжает Твардовский, — попросил у Никиты Сергеевича разрешения (это было довольно смело) “промочить горло”. Он пододвинул мне коньяк, я налил. “Налейте и мне, — сказал он, — пока врача вблизи нету”. Когда я наливал ему, рука так позорно дрожала, что это многие заметили, но, конечно, это могло быть отнесено только за счет волнения».

Об алкоголизме Твардовского знали все, в том числе и отец, поэт страдал неимоверно, но ничего с собой поделать не мог.

«За обедом у Сартра не было переводчика, — это уже цитата из Лакшина, — и Александр Трифонович спросил его потом, не скучал ли он во время чтения? Сартр ответил: “Нисколько. Я наблюдал выражение лица Хрущева и людей, его окружающих. Это был очень интересный спектакль”.

Когда чтение закончилось, Хрущев попросил оставить ему рукопись, хотел еще раз прочесть ее глазами. Подошел к Александру Трифоновичу и обнял его Шолохов. Было только два явственно недовольных лица — писатель Чаковский и поэт Прокофьев. Особенно последний, он надеялся, что и его, вслед за Твардовским попросят прочитать стихи. Не попросили.

Тут же подлетел Аджубей, сказал, что он просит поэму для “Известий”, отказать ему было нельзя», — пересказывает Лакшин впечатления Твардовского.

Алексей Иванович изображает эту сцену несколько иначе: якобы после чтения сам Хрущев спросил:

— Ну, кто смелый, кто напечатает?

Пауза затягивалась, и я не выдержал:

— «Известия» берут с охотой.

После одобрения отцом для публикации поэмы никакой смелости не требовалось, он заволновался, как бы отец снова не предпочел «Правду». Отец промолчал.

Твардовский отдавал стихи Алексею Ивановичу без охоты.

«Подошел Аджубей с конкретными предложениями, посулами соблюдения всех необходимых условий, — в дневнике Твардовского приводится его собственная интерпретация процесса передачи поэмы в печать. — Там же он сказал мне, что хочет написать “врез” (краткие редакционные комментарии. — *С.*

Х.). “Нужно ли?” — сказал я. “Нужно, говорит, вы потом посмотрите, — не захотите — не надо”.

Теперь я, несмотря на все, соображаю, что надо, хотя написано плохо — фразисто и извилисто. На дорогу он пытался мне дать бутылку коньяка со стола, но я не принял».

Еще одну любопытную деталь приводит в своей книге Лакшин: «В последний момент, уже в Москве, Твардовскому позвонил заместитель начальника Главлита Степан Петрович Аветисян, умолял, именно умолял снять строки о номенклатурных дураках:

От иных попросишь чуру,
И в отставку не хотят,
Тех, как водится, в цензуру
На повышенный оклад.
А уж с этой работенки
Дальше некуда спешить…

“Это же просто неверно, оклады в Главлите небольшие”, — взывал к Твардовскому Аветисян. Потом позвонил второй раз: “Подумайте, что о нас будут говорить”. — “А вы зачем на себя принимаете? ” — не без лукавства спрашивал Александр Трифонович. Положив трубку и обращаясь ко мне, сказал: “Может быть, это жестоко. Вот он придет домой и как жене и детям этот номер «Известий» покажет?… Да уж пусть. Они заслужили”.

Вспомнил по этому поводу пушкинское стихотворение “На выздоровление Лукулла”, в котором прототип узнал себя по строчке, где говорилось, что он крал казенные дрова.

Все эти переговоры с цензором были маленькой местью за мучения последних месяцев и позабавили нас немало».

«Известия» с «Теркиным на том свете» вышли в Москве вечером 17 августа 1963 года и разлетелись по всей стране утром 18-го.

Итак, эта «пренеприятнейшая» история вспухла, с подачи Суслова, в Манеже 1 декабря 1962 года, взорвалась в Свердловском зале Кремля 7–8 марта 1963 года, сошла на нет 18–22 июня 1963 года на Пленуме ЦК и окончательно рассосалась на Пицунде 13 августа 1963 года.

Теперь давайте проследим, хотя бы выборочную, дальнейшую судьбу «героев», описанных в этой главе разбирательств. Еще 8 июня 1963 года, то есть до Пленума ЦК, Идеологический отдел ЦК КПСС докладывал руководству «О настроениях в творческих союзах». Приведу некоторые цитаты: «Творческие работники отнеслись к критике ответственно и серьезно. Писатель Аксенов,

по своей инициативе, принес в “Правду” выступление, в котором он говорит, что встречи помогли ему “укрепить свой шаг в общем строю и свою зоркость, по-новому и гораздо шире понять свои задачи”. С подобными заявлениями выступили в “Правде” Р. Рождественский, А. Васнецов, Э. Неизвестный. А. Вознесенский заявил, что он своим трудом докажет правильное отношение к партийной критике его ошибок».

Несколько иначе повел себя Е. Евтушенко. На пленуме Союза писателей он выступил недостаточно самокритично, пытаясь доказать, что исходил из самых хороших побуждений…

На отчетно-перевыборной конференции МОСХ художник Никонов заявил, что административные меры, принятые по отношению к группе молодых художников, противоречат духу партийной критики». И так далее на четырех страницах убористым шрифтом.

13 октября 1963 года, в годовщину публикации «Наследников Сталина» Евтушенко, воскресная «Правда» поместила большой, в пол-листа, отрывок из поэмы «Лонжюмо» Андрея Вознесенского о Ленине в Париже. В отличие от Евтушенко, Вознесенский с «наследниками Сталина» не связывался, обратился к истории.

В 1963 году состоялся очередной съезд Союза художников России. «Герой» Манежа, председатель президиума Союза Владимир Серов оттягивал его, сколько мог, пока на него не надавил Ильичев, обвинил его в нарушении демократической процедуры, пригрозил, что нажалуется Хрущеву. Серову пришлось подчиниться. И Серов, и Ильичев не сомневались, что без нажима сверху Серова в председатели не переизберут. Сверху не давили. После Манежа Ильичев Серова на дух не переносил, а Суслов потерял к нему всякий интерес — мавр сделал свое дело. На выборах в президиум Серова «прокатили».

27 декабря 1963 года повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» выдвинули на соискание наивысшей советской Ленинской премии.

В Новогоднюю ночь 1964 года в Кремлевский дворец съездов пригласили Элия Белютина: «Этот зал, расположенный почти под самой крышей и невидимый со стороны Ивановской площади, был переполнен столами и людьми. Начинался последний год правления Хрущева, и он, сидя во главе огромного стола, то и дело наливал в большой фужер водку и говорил, вещал, пророчествовал».

Насчет водки, да еще наливаемой в фужеры, Белютин позволил себе пофантазировать. От отца он сидел далеко и не видел, что за бутылка перед отцом. А что еще можно пить в такую ночь? Отец же пил «Боржоми», как пил его последние годы

регулярно и помногу. Водку же, вернее коньяк, он к тому времени почти не употреблял. Я уже писал о его проблемах с почками.

«Наконец Хрущев встал и направился к маленькой двери, — продолжает Белютин. — Я заметил, как сидевший рядом со мной человек с кем-то переглянулся, быстро встал и сказал: “Пойдемте, нас ждут”. Мы подошли к другой двери. Она открылась, будто сама. Прошли двумя коридорами и очутились в небольшом холле без окон, где стоял пригласивший меня на прием человек с другим, знакомым мне по Манежу. Последний протянул мне руку и сказал: “Сейчас здесь будет Никита Сергеевич, пожелайте ему хорошего Нового года”. Не успел он закончить этих слов, как открылась дверь и показался Хрущев. Он быстро оглядел комнату, увидел сразу всех, задержался на мне, узнал и, протянув руку человеку, меня пригласившему (скорее всего это был все тот же Лебедев), сказал: “Мне кажется, мы еще не здоровались. Поздравляю, и чтобы все у тебя и у нас было хорошо”.

Его собеседник улыбнулся, отступил на шаг и, полуобняв меня, пододвинул к Хрущеву: “Вот, Никита Сергеевич, Белютин хотел поздравить вас с Новым годом”. Хрущев повернулся. Хотя он на моих глазах много выпил, его лицо было трезвым, глаза блестели, голос был твердым и оживленным. За его спиной я увидел Брежнева.

— Я хотел бы пожелать от своего лица и лица многих молодых художников, — сказал я, глядя в его маленькие глаза на плоском лице с удивительно белыми белками, — вам и Президиуму хорошего Нового года и здоровья.

— Спасибо, — сказал Хрущев и протянул руку. Я почувствовал ее тепло, она была сухая и вялая.

— Передайте от меня вашим товарищам, что я их поздравляю с Новым годом и надеюсь, они скоро залечат раны, — он улыбнулся, — и, как говорится, создадут что-нибудь более понятное.

Он рассмеялся и, толкнув меня в плечо, пошел к двери. Брежнев, шедший за ним, задержался на секунду.

— Поздравляю, — сказал он и тоже протянул руку.

В середине 1964 года меня пригласили в горком партии, в Отдел культуры, и полная ширококостная женщина, оказавшаяся заведующей отделом, спросила меня, не мешают ли мне работать, — я только пожал плечами.

— А то из ЦК просили узнать, нет ли с вашей стороны или со стороны ваших учеников каких-либо жалоб. Мы примем строгие меры, мы одернем, — продолжала она.

Я вспомнил, как в МОСХе моих учеников, членов союза, исключили на год (для острастки!) из союза (именно на эти

административные меры, как написано выше в справке Идеологического отдела ЦК, жаловался художник Никонов. — *С. Х.*), а многих, с ведома именно этой женщины, лишили творческой работы. Что можно было ответить?

— За заботу спасибо, но я пришел к вам с просьбой. Дело в том, что нам до сих пор не вернули выставлявшихся в Манеже полотен. Судя по всему, кампания уже кончается. Манеж как будто поставлен на ремонт. Зачем же продолжать держать под арестом нашу живопись?

Не знаю, подействовал ли мой разговор, но через три недели мои ученики получили право забрать свои холсты. Через месяц мы сделали выставку. Ворота впускали людей. Их было очень много. И не только из Москвы».

29 июля 1964 года от рака умерла Ванда Львовна Василевская, не знаю, какой уж она писатель, но женщина бескомпромиссная, неудобная как для властей, так и для творческих группировок, включая свою собственную.

В октябре 1964 года Хрущева отстранили от власти. В идеологии безраздельно воцарился Суслов. Вопреки логике, тогда многие связывали с ним свои надежды.

«Я в тот же день вылетел в Москву и поехал в Абрамцево. Подходя к воротам, я услышал голоса. Участок был полон людей. Многие из приехавших поздравляли меня со снятием Хрущева и всей его администрации, которая, как они говорили, “хотела вас утопить”, передавали, что говорил Суслов, осуждая Хрущева за Манеж, — вспоминает Белютин. — Стоя среди десятков возбужденных людей, видевших уже скорое признание возможности свободного развития нового советского искусства, я грустно думал об их хороших душах и о том, что в действительности все это было нашим концом, потерей всяких надежд на признание.

Человек, участвовавший в перевороте и формально не возглавлявший партии, тем не менее, занял первое место в ней и теперь начнет сводить счеты со всеми, кто хоть сколько-нибудь проявил себя в годы хрущевской оттепели. Суслов не мог перемениться в свои шестьдесят с лишним лет, и если у Хрущева были сталинские методы мышления, но душа русского человека, у Суслова, кроме идей Сталина, ничего не могло быть. Возврат гигантского государства к примитивным методам Сталина был концом не только культуры, но и угрозой для экономики.

За зиму и весну, казалось, ничего не произошло, хотя все чувствовали, что идет активная прополка кадров», — заканчивает свое повествование Белютин.

Михаил Андреевич пропалывал идеологическую грядку

тщательно и, я бы сказал, с наслаждением. В ноябре 1964 года Ильичева выгнали из ЦК и «сослали» в МИД, назначили заместителем министра, курирующим африканские дела. Когда выяснилось, что и после Хрущева с китайцами наладить отношения не удается, Леонида Федоровича сделали ответственным еще и за переговоры с Пекином. Он переговаривался до самой своей окончательной отставки в 1989 году и продолжал собирать картины. В конце 80-х годов по телевизору показывали, как академик Ильичев дарил Советскому фонду культуры свою коллекцию живописи. Она состояла далеко не из одних социалистических реалистов… Умер он в 1990 году, пенсионером.

С помощником отца Владимиром Семеновичем Лебедевым Суслов расправился с особым наслаждением, низверг его с пятого, самого престижного, этажа ЦК в подвал Госполитиздата. Там его назначили младшим редактором и постоянными придирками за полтора года свели в могилу. Лебедев умер в январе 1966 года.

Павла Алексеевича Сатюкова отставили от «Правды», так же, как Аджубея от «Известий» минута в минуту с отцом. Суслов опасался, как бы они чего не натворили. Назначили обоих на самые незначительные журналистские роли, без права писать, вернее, подписываться собственной фамилией. Сатюков умер в 1976 году, Аджубей — в 1993-м.

Боря Жутовский, один из белютинцев, стал постоянным и желанным гостем на даче отставленного отца в Петрово-Дальнем под Москвой. На один из дней рождений подарил ему картинку, не абстрактную и не реалистическую, а сказочную: симпатичный улыбающийся мишка и еще какие-то красные ягоды. Она теперь хранится у меня. Великим Борис не стал, выставляется в меру.

С Евтушенко опальный отец встретился лишь однажды, в конце августа 1971 года, за неделю-полторы до смерти. Евгений Александрович навестил отца в Петрово-Дальнем. На лавочке в лесу они проговорили несколько часов. Под впечатлением этой встречи отец продиктовал ставшую прощальной главу в свои мемуары: «Я не судья». В ней он, порассуждав на тему: «Без терпимости со стороны властей к творчеству художник жить не может», вспомнил, как помог Казакевичу и Солженицыну. Попытался заочно объясниться с Эренбургом насчет «оттепели», которая не должна перерасти в «половодье», сметающее на своем пути, извинился перед Неизвестным и Шостаковичем: «если бы мы встретились сейчас, то я попросил бы прощения. Я занимал высокий государственный пост, обязывающий к сдержанности. Нельзя административно-полицейскими методами бороться с

творческой интеллигенцией: ни в живописи, ни в скульптуре, ни в музыке, ни в чем!» Извинился и тут же пояснил: «Раскаиваясь сейчас относительно формы критики Неизвестного, я остаюсь противником абстрактного искусства».

«Шостакович написал много прекрасных сочинений, в том числе шедевр — Седьмую “Ленинградскую” симфонию, — продолжает отец. — Я не понял Шостаковича, когда он продвигал джазовую музыку, а он был прав. Нельзя ни с какой музыкой, включая джазовую, бороться административными путями. Пусть сам народ выразит к ней свое отношение».

Я не написал об инциденте с Шостаковичем, происшедшем в том же, 1963 году. Он, председатель Союза композиторов РСФСР, пригласил отца на свой концерт в Кремлевском театре, который предварил выступлением сразу пяти лучших московских джазов. Оглушенный отец в сердцах высказал тогда композитору все, что он думал…

«Я человек уже старый, воспитанный на иных формах музыкального искусства. Мне нравится народная и классическая музыка, — приносит свое “покаяние” (это его слово) отец. — Но не джазовая, она действует мне на нервы».

После отставки Хрущева жизнь поэта и редактора Александра Трифоновича Твардовского, как он выразился сам, «не задалась», ему не писалось, в «Новом мире» ничего путного не печаталось. В 1970 году Твардовского официально отлучили от «Нового мира». «Заканчивал жизненный путь Александр Трифонович без почета», — написал в том же отрывке об интеллигенции отец.

11 сентября 1971 года отец умер. Похоронили его в дальнем углу Новодевичьего кладбища, у самой стены.

В декабре 1971 года на том кладбище, у той же стены, в том же ряду, и более того, в могилу, ранее отрытую для отца, а потом отставленную, похоронили поэта и неугомонного человека Твардовского.

В том же кладбищенском ряду у стены покоится прах непримиримого оппонента Твардовского писателя Кочетова. Теперь, когда все баталии позади, они разнятся лишь деревьями над их могилами. У Твардовского растет дуб, у Кочетова — кедр, а отцу я посадил его любимые березки с рябинами.

В 1975 году Эрнст Неизвестный сделал Никите Сергеевичу черно-белое надгробие. Это его наиболее известная работа.

Евтушенко живет в городе нефтяников в штате Оклахома, США, преподает поэзию в местном университете, пишет, выступает, в 2005 году выпустил антологию российской поэзии и постепенно становится в ряд великих русских поэтов, по крайней мере, XX века.

Вознесенский продолжает писать, многие отдают предпочтение его поэзии перед другими современниками. К сожалению, в последнее время он стал прихварывать, годы берут свое.

Белютин тоже в порядке. В начале XXI века жил в Москве, пытался подарить городу собранную за всю жизнь коллекцию живописи, но московские власти хитрили, завещанием не удовлетворялись, требовали все и сейчас. Чем дело закончилось, не знаю. Не интересовался.

Михаил Ромм после того, как в июне 1963 года отец отвел от него нападки бюрократов-идеологов, с головой ушел в работу над новой публицистической лентой «Обыкновенный фашизм». Закончил фильм вскоре после отставки отца и с огромным трудом проталкивал его демонстрацию. В 1966 году этот фильм наконец показали в кинотеатрах, но не первым экраном. Тогда же он задумал еще более «непроходной», тоже публицистический фильм «Мир сегодня». Однако снимать ему не позволили. Ромм нервничал и донервничался: в 1968 году у него случился инфаркт. Классик советского кино умер в ноябре 1971 года, пережив отца на полтора месяца.

И последнее. Среди людей пишущих бытует мнение, что, поссорившись с «прогрессивной» группировкой из среды интеллигенции, отец, потеряв их поддержку, вскоре потерял и власть. К политическим реалиям подобное утверждение отношения не имеет, его авторы сильно преувеличивают свою роль и влияние.

«Поэт в России — больше, чем поэт», но не в такой степени, чтобы от него зависела судьба власти и властителей. Тут действуют игроки повесомее.

Обидно, что отец поддался на провокацию, пусть и тщательно подготовленную. Можно оправдываться, объяснять, но невозможно ни оправдаться, ни объяснить, остается только сожалеть. По существу же, отец ничего не терял, ибо нельзя утерять того, что нет, не было и не может быть никогда. «Прогрессивные», равно как и «реакционные» (тут все зависит от того, как посмотреть) писатели, поэты, художники, скульпторы, композиторы и иже с ними не сомневаются в собственной гениальности, на худой конец, исключительности, никогда и никого не поддерживают, они еще могут принять союзничество почитающих их творчество политиков, но сами до союза с политиками никогда не «унизятся». Ведь это они властители дум! И «прогрессисты», и «реакционеры» стремились использовать отца в собственных интересах и использовали. А использовав, потеряв в нем надобность, обратились к поискам очередного покровителя.

Таковы реалии отношений этих двух миров, мира искусства и мира политики.

Другое дело, что несмотря на столкновения, споры, скандалы, новая писательско-поэтическая и иная поросль выросла и окрепла при Хрущеве и благодаря ему. Он с ними ссорился, но в отличие от Сталина, никого с российской «творческой» грядки не «выпалывал», а когда его лишили власти, новым властителям полностью «прополоть» грядку оказалось не под силу.

Затеянная в 1960-е годы дискуссия, кто важнее «физики или лирики», исчерпала себя. Ответ оказался, как это часто случается, прост. Поэт не станет хуже писать без знания сопромата, а сопроматчик рассчитает конструкции и без любви к стихосложению. Каждый занимается своим делом.

Отрадно, что в XXI веке «поэт в России» постепенно превращается просто в поэта. Он уже не раб, пишущий для «просвещенного деспота», жаждущий быть им прочитанным и обласканным. Он уже не «инженер человеческих душ», а просто поэт и не страдает от того, что «безграмотный» политик, президент или премьер его не читает, не ценит и даже вообще не подозревает о существовании поэта. Каждый занимается своим делом, поэт — рифмами, парламентарий — законами, а инженер рассчитывает сопротивление материалов, а не душ. Поэт в России теперь только лишь поэт.

Начиная эту главу, я написал, что речь в ней пойдет о событиях не самых значительных, но наиболее всем запомнившихся, запомнившихся потому, что они затронули людей пишущих, описывающих нашу, а скорее, свою жизнь. Смотрят они на жизнь со своей колокольни, свои проблемы и интересы выдают за общие. Ничего тут нет необычного, каждый из нас живет своими страданиями и радостями. А то, что переживания людей, описывающих жизнь, подаются читателям так, что становятся важнее самой жизни и даже порой заменяют ее, только свидетельствует о таланте пишущего.

1963 год

1963 год отец начал, как обычно

1963 год отец начал с ответов на вопросы корреспондента английской газеты «Дейли Экспресс», выступления на Новогоднем приеме в Кремле, а далее — привычная рутина: совещания со своими, прием послов и иностранных делегаций.

2 января 1963 года в Ленинграде спустили на воду супертанкер-шестидесятитысячник «София». В мае прошлого года отец его осматривал на стапелях.

5 января 1963 года Рудаков, он в ЦК курировал промышленность, пригласил отца, Козлова и Косыгина, таков на начало года расклад в высшей власти, посетить выставку новой техники и технологий в Госкомитете по автоматизации и машиностроению. У некоторых экспонатов отец задерживается, внимательно слушает рассказ академика Бориса Патона, директора Киевского Института имени Е. Патона о перспективах создания специализированных сварочных заводов.

Затем группа переходит к стенду тракторов и строительных машин. Там продолжается обсуждение, во что их обувать, что предпочтительнее — гусеницы или колеса? Вопрос не праздный. Гусеницы при нашем бездорожье кажутся безальтернативными, но только на первый взгляд. Через каждые две-три сотни километров они нуждаются в серьезном и дорогостоящем ремонте. Отцу показывают новые арочные шины для тракторов. Разработчики уверяют, что они не уступят гусеницам в проходимости, а по долговечности превосходят их в десятки раз. Отец высказался за колеса, но, помня, насколько весомо его слово, предупредил, что и гусеницы еще послужат, болотный трактор, при всем желании, на колеса не посадишь.

Следующий стенд вычислительных машин, больших электронных для сложных научных расчетов и относительно скромных, электромеханических, заменяющих арифмометр. Выслушав пояснения разработчиков, отец заметил, так написано в отчете о посещении выставки, что хорошо бы заиметь нечто среднее, специализированный вычислитель, облегчающий учет в колхозах, рассчитывающий выработку, кормовые рационы, зарплату. Разработчики обещали подумать. Почему я вспомнил об этом, казалось бы, малозначительном факте? Отец тогда попал в точку. Через много лет, читая книгу о становлении вычислительной техники в США, я натолкнулся на раздел,

рассказывающий, как фирма «IBM» теперь ее название знают все, а тогда небольшая компания, производившая швейные машины, напольные часы и примитивные считалки, во время Второй мировой войны переключалась на производство несложных вычислителей-табуляторов, входивших в оснащение батальона американской армии. С помощью бумажных перфокарт они начисляли заработную плату, сводили расход материалов с наличными ресурсами и тем самым не просто облегчили жизнь, но и высвободили немало капралов и рядовых, способных к несению службы, но ранее просиживавших штаны в канцеляриях, позволили воевать эффективнее. Батальонов в США в военные годы насчитывалось не меньше, чем колхозов в Советском Союзе. За время войны IBM произвела множество табуляторов и переместилась с подножья пирамиды американского бизнеса на самую его вершину. Советских разработчиков табулятор для колхозов и совхозов не заинтересовал, о данном ими Хрущеву слове они попросту забыли.

Затем отцу показали первые образцы металлокерамики, продукта того, что сейчас называют порошковой металлургией, «спекающей» из порошка нужного состава детали любой конфигурации, не требующие дальнейшей обработки. Отец привез домой маленький беленький кубик резца для токарных станков, одного из самых массовых приспособлений в металлообработке. В год их стачивали не один миллион. Новый резец стоил в несколько раз дешевле, а служил много дольше. Экономились десятки и сотни миллионов рублей. Отец долго таскал этот резец в кармане, с гордостью демонстрировал его гостям.

9 января отец вместе с Подгорным, первым секретарем ЦК Компартии Украины, поездом направляется в Берлин на 6-й съезд СЕПГ. По дороге они останавливаются в Бресте, отец совещается с белорусами, потом на пару дней задерживаются в Варшаве. В ГДР отец пробудет восемь дней, с 14 по 22 января.

На заседаниях съезда он сидел не более положенного приличиями, остальное время разъезжал по химическим заводам. Я писал в начале книги, как после войны отца поразили немецкие «эрзацы», продукты химического синтеза. В СССР строились новые заводы, и у нас «эрзацы» вытесняли из жизни сталь, дерево, хлопок, лен и другие дорогостоящие натуральные продукты. Внедрение «химии» проходило со скрипом, и он решил посмотреть, чего же за послевоенные двадцать лет достигли восточные немцы? Оказалось, многого, но западные немцы добились еще большего. За лицензиями на производство лавсана и других последних чудес химии приходилось обращаться к ним,

а не к Вальтеру Ульбрихту.

25 января 1963 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР Постановлением «О мерах по дальнейшему развитию биологической науки и укреплению ее связи с практикой» открыто встали на сторону Лысенко, провозгласили его воззрения «единственно правильными». Это ответ лысенковцев на Постановление от 12 июня 1962 года, легализовавшее исследования школы формальных генетиков и, казалось бы, восстановившее баланс в биологической науке. Его тоже подписал отец. Но не тут-то было, ближайшие помощники, включая наиближайшего, стократ проверенного Андрея Степановича Шевченко, убедили отца, что только Лысенко поднимет урожайность пшеницы, увеличит жирность молока и совершит еще немало столь необходимых стране чудес.

Лысенко подтверждал слова «делом», в экспериментальном хозяйстве «Горки Ленинские», куда отец не раз наведывался, «демонстрировал» коров-рекордсменок, чудодейственные сорта пшеницы, обещал не сегодня-завтра передать свои наработки в колхозы и совхозы, только бы ему не мешали. Вот ЦК и вмешалось. Возражать Лысенко стало попросту опасно, в тюрьму, как при Сталине, за это бы не посадили, но с работы могли попросить. 17 марта 1963 года вышло еще одно Постановление ЦК КПСС о поддержке лысенковского метода повышения жирности молока.

Неприятно мне обо всем этом писать, но что было, то было.

Математика в экономике

В феврале 1963 года отец получил послание от крупного экономиста академика Василия Сергеевича Немчинова. Собственно, письмо было коллективным, кроме Немчинова его подписал математик Виктор Михайлович Глушков, «молодое дарование», только что назначенный директором организованного в Киеве Института кибернетики, и еще кто-то. Но отец из них знал хорошо одного Немчинова, регулярно читал его статьи и статистические отчеты, но лично они, по-моему, не встречались. Немчинов посвятил свою жизнь статистике, в основном сельскохозяйственной, и через статистику приобщился к математике. Расчеты таблиц — занятие трудоемкое и муторное, и Василий Сергеевич одним из первых сообразил, какие выгоды сулит экономике союз с математикой, оснащенной электронными вычислителями. Они не только позволяли за день выполнить работу, ранее растягивавшуюся на недели и месяцы, но вселяли надежду на переход от интуитивно-волевого планирования к

детально-конкретному, учитывающему все мыслимые нюансы, обеспечивающему множество вариантов и выбирающему из них наилучший.

Как это часто случается во всяком новом деле, энтузиаст Немчинов преувеличивал возможности вычислительных машин. Даже самая мощная из них всего лишь большая сложная «считалка», только уточняющая результат, но не способная изменить логику, заложенную в нее человеком.

Союз математики с экономикой начался, как только с кибернетики сняли клеймо «лженауки». Экономико-математические идеи обрели не просто популярность, они стали модой. В 1958 году в Академии наук Немчинов организовал первую независимую, подчинявшуюся только ее Президиуму лабораторию экономико-математических исследований. Экономисты пошли в математику, а математики со своей стороны заинтересовались экономикой. Они всерьез рассчитывали с помощью вычислительных приемов очистить ее от схоластической чепухи, сделать экономику «серьезной наукой» наподобие механики или физики.

Еще раньше Немчинова, в 1956 году, член-корреспондент Академии системный математик Исаак Семенович Брук создал экономическое подразделение в своем Институте электронных управляющих машин, усадил за один стол молодых, не обремененных «традициями» экономистов Виктора Белкина, Игоря Бирмана с не менее молодыми и амбициозными математиками-алгоритмистами Александром Брудно и Сашей Кронродом.

Лаврентьев тоже начал набирать экономистов-математиков и математиков-экономистов в Сибирское отделение Академии наук, в Институт математики. Руководил их работой сорокапятилетний Леонид Викторович Канторович, в будущем один из основателей теории линейного программирования, оптимального планирования, метода оптимизации использования сырьевых ресурсов, будущий академик, лауреат Нобелевской и Ленинской премий, а тогда просто подававший надежды доктор наук.

Экономико-математические лаборатории появились в Ленинграде и в других научных центрах страны. Для координации их работ президент Академии наук Несмеянов создал при себе Научный совет по применению математических методов в экономике, поддержал проект учреждения специального Института экономико-математических методов.

Новый институт предполагалось создать в Отделении экономики АН СССР. Экономисты-традиционалисты поначалу не придавали значения возне математиков вокруг экономики. Теперь

они спохватились и, пока не поздно, попытались «придушить младенца еще в колыбели».

У противников Немчинова имелось немало испытанных способов похоронить неугодное начинание, в «своем» отделении они властвовали безраздельно. Дело затянулось, никто не возражал, но ничего не происходило. В результате проволокитили целый год. Немчинов апеллировал к Келдышу, 19 мая 1961 года сменившему Несмеянова на посту президента Академии наук. Келдыш обещал разобраться, но ссориться с вхожими в ЦК, близкими к Суслову экономистами не желал. Сам математик, математическими приложениями к экономике он не заинтересовался.

Но Немчинов не сдавался. Вскоре после его обращения к Келдышу, 12 июня 1961 года, в Кремле собралось совещание научных работников. Обсуждали планирование и координацию научных исследований, взаимодействие высших учебных заведений и академических институтов и многое другое. Отец сидел на всех заседаниях, внимательно слушал, но сам не выступал. С трибуны совещания академик Немчинов пожаловался на волокиту с организацией столь нужного стране экономико-математического института, говорил о достижениях своей лаборатории. Отец его выступление запомнил и попросил Косыгина вместе с Келдышем разобраться. Косыгин перепоручил Немчинова Келдышу, дал указание ему совместно с руководством Отделения философии, экономики и права АН СССР (тогда еще специального Отделения экономики не существовало, его создадут только в 1962 году) представить необходимые материалы. Руководил отделением доктор философских наук академик Петр Николаевич Федосеев — правоверный марксист, специализировавшийся на историческом материализме и теории научного коммунизма. К математическим выкрутасам он относился с большим подозрением, опасался, не протаскивается ли таким образом в экономику нечто вроде раскритикованного в свое время Лениным махизма. Так он и сказал Келдышу при встрече. Пообещал посоветоваться в ЦК. Келдыш не настаивал. Дело вновь забуксовало. Наверное, самое простое было — снять Немчинову трубку кремлевской вертушки, набрать номер телефона Хрущева и попросить о встрече. Отец, естественно, ему бы не отказал, но академик предпочел обходной маневр. Не очень ориентировавшийся в правительственных коридорах, Немчинов обратился за содействием к Засядько, что сразу настроило негативно и так не очень расположенного к нему Косыгина. Засядько сочувствовал Немчинову, но ничего не сделал, вопрос поручен не ему, к тому же он просто заместитель главы

правительства, а первый заместитель Косыгин уже доложил Хрущеву, что в Академии наук вопрос создания еще одного института считают преждевременным. Есть лаборатория Немчинова, с поставленными перед ней задачами справляется, и нет смысла плодить дополнительные структуры. Отец положился на мнение своего первого заместителя.

Тогда-то Глушков, с ним Немчинов познакомился не так давно, и посоветовал напрямую обратиться к Хрущеву, написать ему письмо. Вот только передать его следует из рук в руки. Если отправить по общепринятым каналам, оно может, минуя Хрущева, попасть в соответствующий отдел или еще хуже — угодит к Косыгину. И пиши пропало…

Глушков значительно лучше Немчинова чувствовал себя в бюрократических дебрях и предложил использовать в качестве почтальона Сергея Павлова, первого секретаря ЦК комсомола. Глушков, вчерашний молодой ученый, доктор наук, недавний комсомолец, поддерживал с Павловым тесные отношения. Павлов охотно откликнулся на просьбу Глушкова. Виктор Михайлович умел убеждать и убедил Павлова, что от создания экономико-математического института чуть ли не зависит будущее страны. К тому же, по долгу службы Павлов курировал молодых ученых.

Письмо получилось аргументированным, прочитав его, отец рассердился, выговорил Косыгину за медлительность и бюрократизм и теперь уже приказал с созданием института не тянуть, об исполнении доложить.

В дополнение к письму и в развитие положений, в нем изложенных, Немчинов 3 апреля 1960 года опубликовал в воскресных «Известиях» статью «Союз экономики и математики», в которой расписал, как с помощью вычислительных машин можно составлять реальные, а не дутые планы, отдельно остановился на деталях своей работы с Главмосавтотрансом. За прошедшие с момента основания лаборатории несколько лет немчиновская команда получила конкретные результаты. Одна из ее первых работ «Оптимизация грузовых автоперевозок в Москве» позволила с помощью математических методов в 1959 году повысить доходность Главмосавтотранса на 15–20 процентов. Отец внимательно прочитал статью. Он питал «слабость» к Главмосавтотрансу, считал его своим детищем, а успехи транспортников своими успехами. Напомню, как на заре своей деятельности отец добился объединения мелких ведомственных автохозяйств в единую общемосковскую структуру. Он назначил руководить московскими автоперевозками И. М. Гобермана и с тех пор внимательно следил за его работой. Уже само создание централизованной общемосковской транспортной структуры

резко увеличило эффективность перевозок, сократило простои, а вот теперь Немчинов с Гоберманом рапортовали о новых достижениях.

После прочтения газет отец, отправившись на прогулку вместе со всеми нами, домочадцами, заново переживал, пересказывал историю пикировок с Молотовым по поводу транспортных проблем, с гордостью повторял, что вот теперь и ученые подтвердили его правоту. Так что Немчинов не мог выбрать лучшего приложения своим экономико-математическим методам и лучшего способа утвердиться в борьбе с оппонентами. На самом деле, это не он выбирал, а его самого выбрал Гоберман, имевший абсолютное чутье на сулившие выгоду начинания.

На следующий день, в понедельник, в Кремле отец продолжал восхищаться успехами Главмосавтотранса, настойчиво рекомендовал своим слушателям прочитать статью Немчинова.

В мае 1963 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии и использовании вычислительной техники в народном хозяйстве», предусматривавшее, наряду со многим другим, создание не только института экономико-математических методов в структуре АН СССР, но еще и отдела по внедрению математических методов в планирование в составе Госплана СССР.

Не думаю, чтобы отец возлагал особые надежды на экономистов-математиков в дальнейшем реформировании народного хозяйства, но предложения Немчинова ему представлялись хорошим инструментом, облегчающим составление реальных, а главное, выполнимых планов.

И еще одно событие, в какой-то степени связанное с моим рассказом. Во исполнение того же постановления с начала нового, 1963/64 учебного года при МГУ открылась специализированная физико-математическая школа-интернат, куда собирали со всей страны «кандидатов в гении».

Свежие овощи к зимнему столу

8 марта 1963 года Иван Платонович Воловченко, агроном, с 1951 года директор совхоза «Петровский» Добринского района Липецкой области, давний знакомый отца, перепрыгнув через множество бюрократических ступеней, стал министром сельского хозяйства СССР. Отец окончательно разочаровался в бюрократах от земли, даже самые способные из них, такие, как Мацкевич, отказывались его понимать. Они привыкли командовать всем и вся, а он хотел дать крестьянину-производителю свободу, предоставить ему самому решать, что, когда и как сеять. И тут

возникало противоречие, которое разрешить отцу в одиночку никак не получалось. С одной стороны, свобода, с другой — необходимость ежегодно наполнять государственные закрома, обеспечивать поставку всего необходимого и в нужных количествах. Отец надеялся на помощь Воловченко, специалиста-практика, человека от земли. Вместе им наконец-то удастся развернуть, разбюрократизировать Минсельхоз, преобразовать по американскому образцу чиновничий аппарат в научно-практический орган, вырабатывающий рекомендации колхозам и совхозам, как эффективнее работать на земле.

Вот отец и заменил министра со стажем Мацкевича на Воловченко, одновременно сняв с министерства ответственность и за сев, и за сбор урожая, и за выполнение планов. Правда, пока только теоретически, на бумаге. В переходный период требовалось обеспечивать заготовки, а обеспечивать их умели только окриком. Грешил этим и сам отец, особенно в критических ситуациях. А возникали эти ситуации на каждом шагу. Ведь Россия — не Америка, а председатель колхоза — не фермер. Что если ему в голову взбредет перестать сеять пшеницу с рожью, а, к примеру, начать выращивать на своих полях гвоздику с розами и продавать цветочки в городах по рублю за штуку. Дело более чем выгодное в условиях, когда цены на хлеб, а значит, и на зерно, фиксированные и увеличить их не смеет даже глава правительства. События в Новочеркасске послужили уроком всем — и старшим, и младшим начальникам. Конечно, председателю колхоза выращивать цветочки может и выгоднее, а Председателю Совета Министров, в условиях постоянного недобора зерна, совсем наоборот, это как ножом по сердцу. И спросит он за «цветочки» с председателей Госплана и Комитета по заготовкам. А те в свою очередь «намылят шею» секретарям сельских обкомов и председателям производственных управлений, да так «намылят», что последние схватят дубину поувесистей и побегут в колхозы-совхозы выколачивать рожь с пшеницей.

Это главное противоречие, с которым теперь пытался разобраться отец. Как перейти от принудительного труда из-под палки к труду добровольному, основанному на мотивации собственной выгоды и избежать катастрофы? Как пройти между Сциллой и Харибдой — с одной стороны, поощряя Худенко и его возможных последователей к полной самостоятельности, административной независимости от властей, а с другой — требуя от тех же властей блюсти государственные интересы на вверенных им территориях. Пока все это плохо сочеталось. На государственные интересы, как их понимал глава правительства, накладывались совсем не совпадающие с его видением интересы

региональные, а на региональные — и личные. Требовалось сформировать такие условия, при которых крестьянину станет выгодно снабжать страну хлебом, овощами, мясом и молоком, сделать его в этом материально заинтересованным. Ох уж эта «материальная заинтересованность», отец твердил о ней уже который год, а воз аграрной экономики продолжал буксовать. После десятилетий обираловки начальники всех рангов привыкли с крестьянина требовать, а крестьяне отвыкли работать в полную силу, вкалывали только на приусадебных участках. Отец понимал, что такое раздвоение бесконечно продолжаться не может. Следовало менять все: законы, цены и главное — настрой людей. Свой выбор он сделал, ставил на Худенко, но… Это кошмарное, «но» мучило его повседневно.

12 марта 1963 года Воловченко дебютировал, докладывая на Всероссийском совещании руководителей колхозно-совхозных производственных управлений. Выступил на совещании и отец, обозначил приоритеты в дальнейшем реформировании села. Они не ограничивались организационными преобразованиями. В 1963 году окончательно обозначался переход от экстенсивного к интенсивному ведению сельского хозяйства, от увеличения посевных площадей, пустых земель уже почти не осталось, к повышению производительности, урожайности, привесов мяса, надоев молока. В отправленных в Президиум ЦК 16 и 17 марта 1963 года записках отец говорит о специализации в промышленности и в сельском хозяйстве, особенно молочном и мясном животноводстве, в птицеводстве и свиноводстве, о создании откормочных комбинатов-ферм по образцу немецких и американских. Не менее насущная проблема обеспечения городского населения овощами, кругологодичном, а не сезонном снабжении свежим салатом, редиской, огурцами, зеленым луком. Ее решают и никак не могут решить уже которое десятилетие. Отец предлагает специализировать на производстве овощей и картошки целые регионы, сначала Белоруссию, а затем и весь Северо-Запад, создать вокруг больших городов, в первую очередь вокруг Москвы, пояс мощных овощных хозяйств, построить в них самые совершенные теплицы, где овощи выращиваются с применением с применением гидропоники, без почвы, на специализированных, строго дозированных питательных растворах. О гидропонике он вычитал в последних американских агрономических публикациях и загорелся новой идеей, захватившей тогда весь западный мир.

Однако, как и в случае с кукурузой, гидропоника у нас натолкнулась на непреодолимое сопротивление. В отличие от традиционно-привычных парников и теплиц, где в ящики

засыпался компост, высаживалась рассада, тут требовалось ежедневно и ежечасно следить за содержанием питательных веществ в растворах, а чуть недоглядишь, и все труды пойдут прахом. Отец заставил подмосковные совхозы начать гидропонный эксперимент. Именно заставил, как только его отрешили от должности, гидропонику тут же забросили и больше к ней не возвращались. Свежие овощи к зимнему столу россиян два десятилетия брежневского застоя так и оставались нереализованной мечтой.

Что удалось «нахимичить» за пять лет?

В 1963 году исполнилось пять лет после принятия программы предпочтительного развития химии. Отец решил объехать новостройки, он хотел убедиться, что все идет как намечено, ведь Госплан до сих пор чуть недоглядишь — норовил восстановить привычный и ему удобный приоритет металлургии, свернуть на привычную колею.

14 марта 1963 года отец в Туле, осматривает на Новомосковском химическом комбинате производство лавсана по западногерманской лицензии и химических удобрений по собственному рецепту. В Щекино ему демонстрируют процесс извлечения карбомида-аммиака из природного газа — исходного сырья для получения тех же удобрений.

На следующий день, 15 марта, отец уже в Курске, на заводе, где производят удобрения, а затем на комбинате искусственных волокон наблюдает за превращением лавсана в различные виды тканей, технические и бытовые.

16 марта он в Донбассе. На строящемся в Северодонецке Лисичанском химическом комбинате ему рассказывают о планах производства удобрений и капролактама, из него получают капрон и различные виды пластмасс.

17 марта 1963 года отец уже на Северном Кавказе, в Невиномысске на химическом комбинате, выпускающем удобрения.

Отец остался доволен. Производство химических удобрений растет, а вслед за этим, года через два-три, возрастут урожаи, зерновая проблема разрешится, наступит изобилие. По возвращении в Москву отец подробно делится своими впечатлениями на заседании Президиума ЦК, поручает министрам и Госплану еще раз «прошерстить» план оставшихся двух лет семилетки, все доступные ресурсы сконцентрировать на химическом направлении, в том числе за счет замедления ввода новых мощностей в черной металлургии. Увиденное им самим и

рассказы заводчан подтвердили правоту академика Семенова. Век металла заканчивается, наступает век химии, мы успели, в последний момент, вскочить в набирающий скорость «поезд» мирового технического обновления. Госплановцы медлят с ответом, и 6 мая 1963 года на очередном Президиуме ЦК он возвращается к химизации производства, предлагает изыскать возможность закупить на Западе еще один завод по производству дополнительных 50 тысяч тонн лавсана, завод полимерных полиэтиленовых пленок, оборудование и технологию транзисторного производства. Госплану поручается подумать об отказе от импорта естественного и переходе на искусственный каучук, о более широком внедрении синтезированных жиров.

8 мая 1963 года на внеочередном заседании Президиума ЦК обсуждают капиталовложения на следующий год. Из общей суммы в 18 миллиардов рублей химикам выделяют 3 миллиарда, больше, чем всем другим. Оставшиеся 15 миллиардов делят в соответствии с прикидками Госплана. Особо резервируют средства на приобретение импортного оборудования. 300 миллионов рублей добавляют сельскому хозяйству, а расходы на оборону сокращают на 600 миллионов рублей.

В тот год отец не оставлял госплановцев в покое. 4 июня 1963 года на заседании Совета Министров СССР их обязывают изыскать дополнительные капиталовложения в химическую промышленность «с целью увеличения в 1964–1965 годах производства товаров народного потребления и заменителей металлов».

3 июня 1963 года отец отправляется на Волгу. В Ярославле осматривает заводы шинный и синтетического каучука, Институт мономеров, производство льняного пищевого масла на заводе «Победа рабочих» и под конец дня посещает моторный завод. 4 июня он переезжает в Углич, заскакивает на часовой завод и оставшуюся часть дня посвящает Новоярославскому нефтеперабатывающему заводу.

По возвращении в Москву 5 июня 1963 года отец делится с коллегами по Президиуму ЦК своими впечатлениями. Заводы ему понравились, но кое-что вызывает нарекания. Я решил не пересказывать его выступление.

Закат эры «хрущевок»— пятиэтажек

8 январе 1963 года Игнатий Трофимович Новиков, ответственный за строительство заместитель главы Союзного Правительства через газету «Правда» заверил, что семилетку они выполнят и к 1965 году советские люди получат 15 миллионов

новых квартир. Если считать, что семья новоселов, включая детей и бабушек с дедушками, в среднем состоит из пяти человек, то получалось 75 миллионов, почти треть населения страны. И это только в городах, если учесть селян, то почти половине жителей СССР предстояло готовиться к переезду.

По мнению Госстроя, смена поколений в домостроении: планировки, этажности, технологии изготовления, внешнего вида должна происходить каждые пять-семь лет, то есть пришло время определиться, решать, что и как строить после 1965 года.

9 февраля 1963 года Хрущев, вместе с другими руководителями страны, на ВДНХ в павильоне «Строительство» заслушивает доклад главного архитектора города о ходе реконструкции Москвы. Посохин рассказывает о завершающихся работах на Новом Арбате, особо останавливается на подсмотренной в Швеции новой планировке жилья, в четырех 26-этажных высотных домах-книжках в качестве эксперимента квартиры сделают двухуровневыми: внизу — гостиная, а наверху — спальня или спальни. Отец соглашается, голод на жилье мы сбили, можно подумать о комфорте. Со шведским опытом он знаком, читал отчет делегации строителей и архитекторов, в конце 1962 года посетивших Скандинавию, Англию и Францию, смотрел снятый ими фильм. Там тоже в строительстве массового дешевого жилья используют сборный железобетон, не в таких масштабах, как у нас, но и потребности у них иные. Вот только качество шведского сборного дома не чета нашему. За месяц до посещения выставки, 9 января 1963 года на заседании Президиума ЦК при рассмотрении пункта первого повестки дня «Об улучшении организации планирования и развития народного хозяйства СССР» отец сетовал, что «у шведов и французов следует поучиться замоноличиванию арматуры, стыков и углов», аккуратности подгонки панелей друг к другу. Напомню: щели между панелями, вызванные несоблюдением на заводах по производству ЖБИ заданных в проекте размеров, мучили строителей, а особенно новоселов с первых дней перехода на сборный железобетон.

«В этом отношении мы им уступаем, — продолжал отец. — Качество заводского изготовления панелей у шведов и у французов очень высокое. Мы тоже кое-то делаем, но у них фирма не допускает никаких подгонок по месту, все делается на заводе».

Однако вернемся на Выставку достижений. Сразу после Посохина скульптор Евгений Викторович Вучетич рассказал о будущем мемориале на Поклонной горе в честь победы в Отечественной войне. Он предлагал соорудить там нечто похожее на уже строящийся по его проекту комплекс на Мамаевом кургане

в Волгограде — та же Родина-мать, те же барельефы героев-воинов. Отцу замысел скульптора приходится по душе, но высказать одобрение он не торопится. Отдать должное павшим и в битве на Волге (так тогда называли Сталинградскую битву) наш долг, но мемориал стоит немалых денег. И вот теперь еще одно дорогостоящее сооружение в Москве. Отец спрашивает, во сколько оно обойдется. Вучетич мнется, о затратах он не задумывался. На выручку приходит Посохин, называет какую-то цифру, явно взятую с потолка, но звучащую реально. Он человек многоопытный и знает, что чего стоит. Отец кивает головой и тут же вслух прикидывает, какое количество жилья, сколько квадратных метров придется принести в жертву новому мемориалу. В бюджете лишних денег нет и не предвидится. Отец долго молчит, за его спиной переговариваются члены Президиума, им проект нравится, и они готовы его утвердить. Наконец отец жмет руку Вучетичу, благодарит за доставленное удовольствие, просит продолжить проектирование, а вот решение о том, когда приступать к строительству, они примут позже. Вучетич явно расстроен, он рассчитывал не просто на одобрение, а на открытие финансирования, ожидал команды начать рыть котлованы под фундаменты. Теперь же все повисало в неопределенности. После этих слов Хрущева никто уже не возьмет на себя ответственности.

Отец чувствует себя неловко, но вида не подает, обращается к Посохину: «Ну что там у вас еще?» Он прекрасно знает, что ради этого «еще» они сюда и приехали. Речь пойдет о стратегии будущих массовых застроек городов и поселков: какие дома в них строить после 1965 года и как их строить. В январе на Президиуме ЦК они уже начали обсуждать с Посохиным эти вопросы. Говорили об отсутствии Генерального плана развития Москвы, об уменьшающейся рентабельности малоэтажного жилья из-за роста затрат на инфраструктуру, когда дороги и разного рода коммуникации доводят стоимость одного гектара земли до 150 тысяч рублей, о комплексности застройки новых микрорайонов. Отец снова сослался на опыт шведов, они размещают торговые предприятия не в жилых зданиях, а отдельно: «это прогрессивно, магазин в жилом доме невыгоден и для конструкции дома, и для торговли». Тогда Посохин поправил отца, в Москве они так и строят. Отец удовлетворенно хмыкнул и пообещал изыскать время, чтобы лично убедиться.

Тем временем Посохин начал докладывать о проектах застройки юго-запада Москвы, уже давно шагнувшего за границы Черемушек, но по старой памяти так и оставшегося Новыми Черемушками. Представленные Посохиным «высотные» серии

сборных жилых домов в 9, 12 и даже 16 этажей отличались от пятиэтажек начала пятидесятых, как современный «Боинг» от «Фарманов» и «Блерио» времен зарождения летательных аппаратов.

Эти дома, естественно, требовали установки лифтов, более совершенной системы подачи воды на верхние этажи и много другого. Но все это окупалось с лихвой сокращением затрат на коммуникации. Отец без возражений принял аргументы Посохина. «Такова диалектика строительства, — писал он в своих воспоминаниях, — важно уловить момент, когда следует изменить устаревшую стратегию. Теперь получалось: чем выше здание, тем оно дешевле, в определенных рамках, естественно».

Отец попросил «товарища Посохина пересмотреть в новых зданиях нормы на размеры прихожей, кухни, туалета и ванной комнаты. Обязательно раздельный туалет, и ванная комната, и встроенная мебель, — подчеркнул он. — Конечно, здесь должны быть лифты с бесшумными муфтами, чтобы при закрывании дверей здание не сотрясалось бы. Такие лифты умеют строить финны».

— Но тогда дом выйдет за установленные правительством лимиты, — напомнил Посохин.

— Новый дом — следующая ступень, на которую мы уже можем подняться, — возразил ему отец.

Тут же договорились, что после апробации новых проектов, а первая девятиэтажка уже строилась, Посохин войдет в правительство с предложением о пересмотре нормативов. Затем он пригласил отца на новоселье первой высотки.

— В этом мае, — уточнил Посохин.

— В мае так в мае, — согласился отец.

Отец посетовал на примитивность внешнего вида домов. Новые серии мало отличались от старых пятиэтажек. Повторил слова, сказанные на недавнем заседании Президиума ЦК, что коробчатость, отсутствие индивидуальности свидетельствуют о бесталанности архитектора, который «должен уметь играть, манипулировать окраской, отделкой и конфигурацией дома». После перехода к заводским технологиям массового жилого строительства как классическая, так и модерная школы элитной архитектуры не находили себе применения, а современная архитектура серийного жилья для всех, а не только избранных так и не родилась.

Посохин осторожно заметил, что спроектировать красивый и одновременно рациональный дом из крупных деталей труднее, чем сложить его из кирпичиков. Тут требуется сочетание архитектурного таланта с инженерной смекалкой, а пока

архитектор и инженер не только не сочетаются в одном лице, но и в институтах их учат на разных факультетах, и в одной мастерской они живут не лучше кошки с собакой. Посохин обещал подумать, как сделать новые дома привлекательнее, поэкспериментировать, позаимствовать что можно у шведов и французов. Получилось у него не очень, вывести гибрид архитектора и инженера он так и не сумел. А ведь именно от проектировщиков, а не от отца и даже не от Посохина зависело, какой станет новая серия домов. Только они своим талантом могли, меняя строй неизменных базовых деталей, вносить изменения в проекты домов. А если не могли, то винили во всем руководство, конкретно Хрущева — он за все в ответе, даже за их бесталанность.

Затем речь зашла о судьбе пятиэтажек. Через 20–25 лет срок их жизни подойдет к концу. Снос пятиэтажек обойдется в копеечку, но и оставлять их в первозданном виде невозможно, они к тому времени окажутся просто непригодными для жизни. «А что если не сносить пятиэтажки, а капитально отремонтировать, перепланировать, придать им новый облик, встроить лифты, — предложил отец. — В результате условия жизни в них улучшатся, сравняются с новыми домами, и не всякий человек согласится переехать из них в высотку».

В заключение отец напомнил: следующая встреча в мае, и уже не у макета, а на новостройке, на «дне рождения» девятиэтажки.

23 — 25 апреля 1963 года отец три дня на совещании строителей РСФСР внимательно слушает выступающих. Последние, зная пристрастие отца к конкретике, к цифрам, старались произвести благоприятное впечатление, но удавалось не всем. 24 апреля отец выступал сам.

13 мая, вместе с товарищами по Президиуму ЦК, он поехал на новоселье девятиэтажки в Черемушки. Я взял на работе отгул и увязался за ним. После Черемушек отец собирался проехать по городу, а затем осмотреть строительство Новоарбатской магистрали. О Новом Арбате тогда судачили на каждом углу, и мне очень хотелось взглянуть, как получается на самом деле.

Девятиэтажка отцу понравилась, он похвалил новые стеновые панели, спроектированные и изготовленные на вибропрокатных станах. Их конструктор Николай Яковлевич Козлов воспользовался случаем и пригласил отца к себе на завод «Прокатдеталь» посмотреть в работе новый 120-метровый прокатный стан, способный производить до 500 тысяч квадратных метров бетонных панелей в год. Он один обеспечивал возведение 80 тысяч квадратных метров жилья. Такого в мире никто, кроме Козлова, еще не добивался.

— Обязательно приеду, — живо откликнулся отец и, на минутку задумавшись, добавил. — Вот прямо завтра и приеду. Идет?

— Идет, — отозвался Козлов.

Прошлой весной отец уже осматривал у Козлова прототип этого стана. Тогда только отрабатывали технологию изготовления тонких ребристых панелей для стен и перекрытий. И вот теперь пошла серия.

Отец долго ходил по дому, заглядывал во все углы, журил строителей за качество отделки, особенно дверей, окон и встроенной мебели. Строители привычно обещали исправиться, но со своей стороны, жаловались, что древесину они получают недосушенной, вот двери с окнами и корежатся, рассыхаются, трескаются. Отец вопросительно посмотрел на председателя Госстроя, своего заместителя и старого приятеля Игнатия Трофимовича Новикова. Тот развел руками. Отец решил не углубляться в неприятную для них обоих тему. С проблемой сырой древесины он сталкивался и в 1930-е годы в Москве, и в 1940-е — на Украине. Не научились как следует сушить доски и по сей день, не только в России, но и в Америке.

С качества строительства разговор перешел на его финансирование. Отец обратился к старавшемуся держаться к нему поближе секретарю Московского партийного комитета Николаю Егорычеву и начал у него выпытывать, сколько в Москве строится жилья за счет бюджета и какова доля кооперативного строительства. Егорычев занервничал, цифр он не помнил, отвечал многословно и расплывчато.

— Москвичам следует подумать о переносе центра тяжести на строительство кооперативов, — перебил мямлившего Егорычева отец. — Здесь живут люди богаче, чем в среднем по стране, они способны и захотят заплатить за новую квартиру, тем более если получат ее пораньше и лучшего качества. Сэкономленные таким образом средства мы сможем перебросить на периферию и тем самым, не обидев Москву, поможем провинции, увеличим общее количество вводимого жилья. Поняли?

Егорычев заверил, что понял.

— Вот и хорошо, — отозвался отец. — Я в следующем году проверю.

Из Черемушек кавалькадой направились на почти готовый Новый Арбат. Открыть по нему движение собирались через полгода, к Ноябрьским праздникам. По дороге остановились на Бережковской набережной, обсудили наболевшую проблему вывода из Москвы Дорогомиловского химического комбината. Его

построили до войны, в годы первых пятилеток, и теперь дважды, а может быть, и чаще, в день, в момент выпуска продукции (что они там делали, я уже не помню, но нечто очень вонючее), окрестность заволакивали клубы грязно-желтого, пахнувшего тухлыми яйцами, сероводородного дыма. Жильцы завалили инстанции жалобами, жить тут стало невыносимо. Получал подобные письма и отец, но и без писем он очень хорошо знал, чем «пахнет» химкомбинат, и он жил относительно недалеко, на Воробьевском шоссе, дом 40, и ему бы в пору было писать жалобы, да только некому.

Договорились комбинат выводить из Москвы, и поскорее, о чем напечатали в газетах. Когда через несколько месяцев, под впечатлением очередного сероводородного выброса, я спросил отца, когда же всему этому наступит конец, он только беспомощно улыбнулся: в ответ на постановление о выводе химкомбината за пределы Москвы химики пригрозили срывом годового плана. А от них зависят многое и многие. Решили с выводом повременить, пока не введут производственные мощности в другом месте. Повременили… В первом десятилетии XXI века мэр столицы Юрий Лужков говорил в телевизионную камеру, что намерен в ближайшее время решить вопрос вывода Дорогомиловского химического комбината за пределы Москвы.

Следующую остановку отец сделал на площади Восстания, у высотки. Здесь в часы пик на перекрестке скапливались десятки машин. Предложение сделать развязку на двух уровнях, выкопать туннель или выстроить эстакаду сталкивались с «непреодолимыми» проблемами. Эстакада портила облик города, с туннелем неподалеку от Москвы-реки тоже не очень получалось. Требовалось волевое решение. Отец его принял, не сходя с места, помнится, договорились об эстакаде. Она обходилась дешевле. Оформили соответствующее официальное постановление, но оно так и осталось на бумаге. Через год, когда отца удалили от власти, споры вокруг транспортной развязки разгорелись с новой силой и приобрели идеологическую окраску. Решения, принятые отцом, окрестили «волюнтаризмом и субъективизмом», выполнять их никто не торопился. На рабочем уровне договориться не удалось, а Брежнева светофоры на площади Восстания не беспокоили, красный свет его лимузин не останавливал.

С площади Восстания перебрались на Новоарбатскую площадь. Ходом дела отец остался доволен. Ему нравился и сам проспект, и транспортные развязки на въезде и выезде, и возводимые по обе стороны проспекта жилые дома повышенной комфортности. Выслушав доклады, отец предложил Посохину

«прогуляться». От ресторана «Прага» они, лавируя между ямами, штабелями бетонных панелей и торчащими повсюду прутьями арматуры, двинулись на противоположную сторону улицы. За ними по узкой протоптанной в грязи тропинке потянулись остальные, вышагивали осторожно, стараясь не очень запачкаться. Процессия растянулась и поотстала от отца, который, не обращая внимания на преграды, уже успел перебраться через самую широкую в Москве, 28-метровую «проезжую» часть будущего проспекта. На какое-то время они оказались вдвоем с Посохиным и тот, воспользовавшись моментом, подвел отца к полуразрушенной невзрачной церквушке, притулившейся на самом краю строительного котлована. Вокруг этой церкви разгорелись споры. Московские партийные власти, секретарь МК Егорычев настаивали на ее сносе: нечего ей здесь торчать, только вид портит. Посохин же церквушку жалел, считал, что она стоит очень даже на месте, однако спорить с Егорычевым ему очень не хотелось. Вот он и решил вовлечь в это дело Хрущева. Как бы невзначай он указал отцу на церквушку и заметил, что она подлежит сносу, но Музей архитектуры не то чтобы возражает, но просит ее сохранить, они в ней развернут экспозицию, рассказывающую о реконструкции Арбата. Егорычев еще только перебирался через строительные завалы и ни возразить, ни согласиться не имел никакой физической возможности. Отцу же «предложение» Музея архитектуры понравилось. Тут подоспел запыхавшийся Егорычев, успел уловить самый конец разговора и, не очень поняв, о чем идет речь, Посохина поддержал. Когда он разобрался, что к чему, возражать было поздно. В результате, церковь не только не снесли, но отреставрировали, что в те годы случалось нечасто.

Следующая остановка в центре на Манежной площади. Здесь снова говорили об автомобильных пробках. Председатель Моссовета Промыслов докладывал об упорядочивании движения транспорта по Манежной площади, Манежной улице, площади Свердлова, Пушкинской улице. Отец предложил всем вместе пройтись по маршруту.

В результате осмотра решили установить по Пушкинской улице одностороннее движение снизу вверх, от Дома Советов к площади Пушкина, а в остальном не спешить. Поручили Промыслову с Посохиным составить генеральный план организации движения транспорта в центре Москвы. Проблема упиралась в Манеж и застроенный зданиями «остров», между ним и Каменным мостом. Машины и троллейбусы двигались в обе стороны по узким «протокам» — одна вдоль Александровского сада, другая мимо Дома Пашкова. Расширять проезжую часть

невозможно, придется сносить не только «остров», но и Манеж, причем без особого результата, далее транспортный поток упирался в гостиницу «Москва», обтекая ее с обеих сторон по узким «рукавам». Туннель тоже не годился — подземное пространство занято действующими и проектируемыми линиями метро.

Остается одно — эстакада, решение не самое изящное, но хоть какое-то. Договорились проработать и встретиться через месяц-полтора.

Эстакада в ландшафт не вписывалась, то есть имелась техническая возможность, расчистив «остров», протянуть ее на шестиметровых опорах от Большого Каменного моста, пройти над Манежем рядом со старыми корпусами МГУ, далее между Большим театром и гостиницей «Метрополь» и выйти на площадь Дзержинского. Когда всё положили на бумагу, весь центр Москвы утонул под гнетом бетонных столбов и опиравшихся на них дорожных развязок. Получалось нечто похожее на Лос-Анджелес или Токио, но никак не на Москву.

Архитекторы предложили паллиативное решение: эстакаду не строить, установить одностороннее движение от Большого театра к Каменному мосту между Манежем и университетом и в обратном направлении — вдоль Александровского сада, а «чтобы выйти напрямую к площади Дзержинского, подломить крыло гостиницы “Метрополь”, снести аптеку на улице 25 Октября и убрать стоящий рядом с ней жилой дом». Посохин сомневался, кардинального решения транспортной проблемы не получалось, но потом согласился. Промыслова с Егорычевым ему пришлось долго уговаривать, Хрущев говорил об эстакаде, а тут… В конце концов, где-то во второй половине июля, Посохину удалось склонить их на свою сторону. Оставалось доложить предложения Хрущеву.

Тем временем отец 14 мая, как и обещал, приехал к Козлову на завод «Прокат-деталь». С недавно пущенного в дело прокатного стана сходили не только ребристые стеновые панели, но и бетонные многослойные, заполненные внутри утеплителем и звукопоглотителем «сэндвичи» панелей перекрытий, особо прочные крышевые панели.

— Все московские крыши отныне выходят с нашего завода, — похвастал Козлов.

Отец долго ходил вокруг стана, расспрашивал и на прощание поздравил Козлова с успехом. Новый конвейер ему понравился, как нравилось ему все, что делал Козлов, как нравился и сам Козлов, нравился своей изобретательной хваткой, умением довести замысел до воплощения. Отец очень высоко ценил такой

тип человека.

Затем осмотрели производство новых железобетонных тюбингов для облицовки туннелей метро. Ими отец гордился не меньше, чем сборными железобетонными панелями для жилых домов. И здесь он приложил руку, поддержал изобретателей, предлагавших железобетонные тюбинги взамен чугунных. Им не хотели верить, опасались, что бетон не выдержит колоссального давления грунта, через него начнет сочиться вода. Боялись, что со временем он начнет крошиться и тогда… А чугун привычен, и «от добра добра не ищут» — обычная аргументация противников всякого нового дела.

Изобретатели доказывали свою правоту: технически все просчитано до деталей, проведены испытания, железобетонные тюбинги ни в чем не уступают чугунным, а их применение сулит немалую экономию. Ничего не помогало. Инженерам удалось достучаться до Хрущева. Отец их принял, долго разговаривал, рассматривал чертежи и расчеты и разрешил в одном из туннелей метрополитена поэкспериментировать на деле. Получилось удачно. С благословения Хрущева железобетонные тюбинги стали обыденной конструктивной деталью при подземном строительстве. Теперь железобетон при строительстве туннелей метро так же привычен, как асфальт на улицах. Их применяют не только в Москве, но, насколько я знаю, и в Лондоне.

Еще через три дня, 17 мая 1963 года, отец на Строительной выставке, он приехал в сопровождении все тех же лиц, ему демонстрируют проекты памятников Ленину, первопроходцам космоса, а также скульптуру прародителя космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Символическая взмывающая ввысь ракета отцу однозначно нравится, и место для памятника на подъезде к ВДНХ выбрано удачно. Циолковский оставил его равнодушным, но и возражений не вызвал. А вот над Лениным отец попросил еще поработать, что-то его в памятнике раздражало, а что, он и сам не мог выразить. Представлялись два конкурентных проекта, Николая Васильевича Томского и Александра Павловича Кибальникова, К тому же архитекторы и скульпторы никак не могли договориться, где же ставить монумент. Один из вариантов — Ленинские горы, там, где когда-то собирались строить храм Христа Спасителя, а совсем недавно новую телевизионную вышку. Место визуально выгодное, но с точки зрения строителей опасное. Если столь тяжелую конструкцию, а памятник предполагался грандиозный, подвинуть слишком близко к обрыву, он может не удержаться, сползти в Москву-реку. По этой же причине не удалось тут возвести ни храм, ни вышку. Если же монумент отодвинуть на безопасное

расстояние, то кромка кручи «разрежет» скульптуру надвое. Отцу импонировали Ленинские горы, но он согласился с оппонентами, надо как следует подумать.

30 июля отец снова на Строительной выставке, там ему демонстрируют новые, доработанные после февральской встречи, проекты жилых «высоток», затем едет в Моссовет, где в Белом зале обсуждают стратегию развития метрополитена. Отца подтверждает свою позицию: там, где строительство линий ведется на чистом месте, предпочтительно наземное метро, оно дешевле. В новых районах метро решают вести по поверхности, но в отдалении от домов, чтобы шум не беспокоил жителей. Подземные туннели останутся уделом плотно застроенных домами районов «старой» Москвы.

Покончив с метро, переключились на обещанный в мае план реорганизации движения транспорта на Манежной площади. Остановились на безэстакадном варианте.

На следующий день, 31 июля, в среду, отец едет на Клязьминское водохранилище, осматривает только что сданный строителями типовой пансионат на три тысячи мест. Клязьминский пансионат ему представляется прообразом зон отдыха будущего, которые заменят «съедающие» столько земли, дачи, дачки и садовые домики. Свободной земли на всех не хватит.

Подытоживая обсуждения последних месяцев, 21 августа 1963 года ЦК КПСС и СМ СССР выпускают Постановление «Об улучшении проектного дела в области гражданского строительства, планировки и застройки городов». Официально провозгласившее наступление нового этапа в жилищном строительстве, утвердившее переход к многоэтажкам и лифтам, раздельным санузлам, узаконившее большую площадь типовых квартир со встроенной бесплатной мебелью, — все то, что станет обыденным в ближайшем десятилетии, наступившем уже после отставки отца.

27 октября 1963 года выходит еще одно Постановление Правительства — о возведении на набережной у Крымского моста нового современного здания Третьяковской картинной галереи — это, наверное, единственное нежилое помещение, разрешенное к строительству за последние годы. Третьяковка задыхалась от нехватки площадей, ценнейшие картины пылились в запасниках, и Фурцева убедила отца сделать для галереи исключение. Открытие «новой Третьяковки» запланировали на 1967 год.

4 ноября 1963 года, под праздники, строители сдали Новый Арбат, по его асфальту проехали первые машины. Собственно, проезжей частью «сдача» и ограничилась, обрамляющие проспект

дома еще достраивали, на месте тротуаров зияли котлованы, в них заканчивали прокладку труб, кабелей и других коммуникаций.

И тем не менее, главное сделали, пробили чем-то напоминавшую парижскую широкую магистраль, соединившую западные районы столицы с центром. Собачья площадка и другие староарбатские достопримечательности перестали будоражить умы, сохранились только в памяти любителей старины. Они сожалеют о них по сей день, как почитатели французской истории сожалеют о закоулках «настоящего», дореволюционного (1789 года) Парижа.

16 декабря 1963 года открылась сессия Верховного Совета СССР. Глава Правительства, то есть Хрущев, по статусу все три дня должен присутствовать на ее заседаниях. Но в зале ему не сидится. На второй день, 17 декабря, он исчезает из президиума и едет в Моссовет. Там продолжается обсуждение доработанного плана реконструкции Москвы, предусматривающего увеличение количества подземных переходов, дополнительные линии метрополитена. На новом макете городской застройки продолговатые приземистые параллелепипеды пятиэтажек заменили башенками девяти— и двенадцатиэтажных жилых домов. На тех же площадях удается разместить в два раза больше строений, чем на предыдущем макете. В заключение отцу демонстрируют типовые летние домики для садовых участков и дачных кооперативов, новые типы машин для уборки улиц.

Под самый Новый год, 28 декабря, отец в третий раз едет к Козлову. Он обещал показать новую типовую девятиэтажку, на восемьдесят процентов собираемую из деталей, выпускаемых его станами. Этот стовосьмидесятиквартирный пилотный «высотный» дом собирали на проезде Ольминского.

Дом уже поднялся до шестого этажа, Козлов пояснил, что на монтаж одного этажа в среднем уходит шесть дней.

— Шестью девять получается пятьдесят четыре, — отозвался отец, — плюс выходные. Итого около двух месяцев.

— Трех, — поправил Козлов. — Требуется время на подготовку сборки, затем на отделку, оклейку обоями, сантехнику, уборку территории.

— Три месяца, вместо трех лет, — восторженно отозвался отец. — И все это за неполные тринадцать лет.

Столько времени прошло с тех пор, когда он впервые увидел плиту-перегородку, разработанную инженером Козловым. Отец начал вспоминать, как они познакомились, с каким трудом пробивались индустриальные технологии в строительстве. Затем они вместе с Козловым обходят уже готовые этажи дома. Отец

придирчиво изучает, но придраться не к чему, стеновые панели выходили с завода такими гладкими, что не требовали штукатурки, наклеил обои — и можно въезжать. Отец с наслаждением гладил руками стены, осуществилась давняя мечта строителей, удалось избавиться от трудозатратных штукатурных работ. Чувствовалось, что он по-настоящему счастлив.

С проезда Ольминского заехали на завод. Там недавно пустили второй вибропрокатный стан. Он почти не отличался от первого, уже виденного отцом, но, осматривая его, отец не уставал восторгаться. От Козлова он уехал в приподнятом настроении.

1963 год ознаменовался завершением поры пятиэтажек. В 1964 году 85 процентов всего возводимого в Москве жилья составили девяти— и двенадцатиэтажные дома.

День за днем

6 февраля 1963 года Маццолини, Генеральный секретарь Комитета фонда Э. Бальцана, возглавляемого президентами Швейцарии и Италии, обратился к Хрущеву с предложением принять, как тогда считалось, более чем респектабельную премию Бальцана «За мир и гуманизм».

Несколько слов о самом Бальцане и премии его имени. Бальцан, после Первой мировой войны редактор престижной итальянской газеты «Коррьере делла сера», не сошелся во взглядах с Бенито Муссолини, когда фашисты пришли к власти, эмигрировал в Швейцарию. Там он пережил Вторую мировую войну, там и умер. В память об отце дочь Бальцана учредила премию его имени, присуждаемую за выдающиеся достижения в физике, технике, астрономии, астрофизике, архитектуре, филологии, палеонтологии, литературе и общественной деятельности. Полагали, что по престижности со временем она превзойдет Нобелевскую премию. Этого не произошло, но в 1963 году премия Бальцана котировалась очень высоко.

Собравшийся 5 февраля 1962 года Комитет фонда высказался за присуждение премии «За мир и гуманизм» 1962 года двум мировым лидерам — Хрущеву и Кеннеди. Тем самым отдавалось должное их выдержке и государственной мудрости, проявленным при разрешении Карибского кризиса в октябре 1962 года.

Кроме Хрущева и Кеннеди рассматривались кандидатуры папы римского Иоанна XXIII, индийского ядерного физика, философа и филантропа Хоми Джехангира Бхабха и премьер-министра Малайзии Абдул Рахмана Тунку. До опубликования решения, назначенного на 25 февраля, Маццолини поручили выяснить у номинантов, согласны ли они принять премию и смогут ли они лично прибыть 10 мая в Милан на церемонию вручения.

В Москве о премии Бальцана почти ничего не знали, а потому отец попросил МИД пригласить Маццолини в Москву и решение принимать после полученных от него разъяснений. Маццолини прилетел буквально на следующий день, до момента объявления фамилии лауреатов оставалось менее трех недель, а если Хрущев с Кеннеди откажутся, то придется заново собирать комитет и выбирать из трех ранее отклоненных номинантов новую кандидатуру.

В подарок Маццолини привез памятную медаль с профилем Хрущева, из учрежденной фондом в 1962 году серии выдающихся мировых лидеров. У меня сохранилась золотая, диаметром сантиметра в три-четыре медаль с выгравированным на лицевой стороне профилем Хрущева. Медаль помещалась в синий кожаный чехольчик с тисненной золотом надписью Foundation International Balzan. 1962 («Международный фонд Бальцана. 1962»).

Отец с Маццолини не встречался, поручил переговорить с ним в Министерстве иностранных дел. Премия, со слов Маццолини, оказалась заслуживающей внимания, и Президиум ЦК разрешил отцу ее принять при условии, что и Кеннеди отреагирует положительно. Кеннеди от премии отказался. Он испугался оказаться в одном ряду с «главным мировым коммунистом». В свете предстоящих, пусть и отдаленных, перевыборов это ему представилось невыгодным.

Вопрос таким образом отпал. 25 февраля 1963 года Комитет фонда Бальцана объявил о присуждении премии папе римскому Иоанну XXIII, в миру итальянскому гражданину Анжело Джузеппе Ронкалли. Иоанн XXIII был реформатором, вступив на папский престол занялся модернизацией католической церкви, подстраивал ее к тональности меняющегося мира, для чего в 1962 году собрал Второй (после 1869 года) Ватиканский собор, заявил о поддержке призыва Хрущева к мирному

сосуществованию государств с различным общественным строем. Отец, как один из соискателей премии Бальцана, направил папе поздравления, и не формально по дипломатическим каналам, а через личных «гонцов», редактора газеты «Известия», своего зятя Аджубея и его жены и моей сестры Рады. Папа согласился встретиться с Алешей и Радой. Тем самым обе стороны показали, что готовы, наверное, впервые в истории установить между Москвой и Ватиканом доверительные отношения.

Иоанн XXIII принял гостей неформально-дружески, в своей личной библиотеке, в ответ на переданные поздравления, заметил: «Я ни с кем не боюсь говорить о мире. И если бы господин Хрущев сидел передо мной, я бы не испытал никакой неловкости. Мы оба выходцы из маленьких деревень, оба скромного происхождения. Мы бы поняли друг друга. Надеюсь, когда господин Хрущев посетит Рим (такой визит тогда намечался), мы оба найдем время, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Я уверен, что и Хрущев не испугается такой встречи».

Отец не испытал бы неловкости от встречи с римским папой. О мире он был готов говорить когда угодно и с кем угодно, в том числе и с папой, и они бы поняли друг друга.

Обещавшийся многое диалог так и не успел наладиться. В июне 1963 года папа Иоанн XXIII умер от рака.

Спустя десятилетие, в 1972 году очень влиятельный американский журналист и издатель Норман Казинс напишет книгу «Невероятный триумвират. Замечания к истории года надежд 1962–1963». Ее герои американский президент Джон Кеннеди, папа римский Иоанн XXIII и советский премьер-министр Никита Хрущев, три человека, которые, по мнению автора, хотели и могли повернуть мир к лучшему, но не успели, судьба распорядилась иначе.

14 февраля 1963 года газеты сообщают: из Бухары на Урал пришел среднеазиатский природный газ. Пишут о налаживании быта на целине, она постепенно обживается и перестает быть целиной.

25 марта 1963 года строители Красноярской ГЭС за шесть с половиной часов перекрыли Енисей. Отец позвонил начальнику стройки, поздравил, а вслед направил официальную телеграмму.

27 марта 1963 года значительно повысили

закупочные цены на хлопок. Это еще один шаг в экономическом стимулировании производства.

25 апреля 1963 года Президиум ЦК обсудил записку секретаря ЦК Леонида Федоровича Ильичева о нецелесообразности заглушения передач иностранных радиостанций на языках народов СССР, так называемых «вражьих голосов». Глушить их начали по приказу Сталина в 1949 году. С тех пор количество «голосов» постоянно увеличивалось, соответственно возрастало количество «глушилок», разбросанных по всей территории Советского Союза. В представленной Ильичевым справке констатировалось, что толку от глушения мало, а средства на него расходуются огромные. «На создание помех враждебным передачам используется почти половина мощностей всех радиостанций Советского Союза, более 14 тысяч киловатт, 1 400 передатчиков, из них 150 коротковолновых дальнего действия, остальные — местного значения. На их эксплуатацию ежегодно расходуется 15 миллионов рублей.

Для подавления передач радио «Свобода» используются передатчики общей мощности до 6 тысяч киловатт на 110 радиостанциях, а на трансляцию первой программы Центрального радиовещания — от 2 до 4 тысяч киловатт и всего 28 радиопередающих установок.

Как показала жизнь, глушение носит символический характер. На заглушение только одной передачи «Голоса Америки» на эстонском языке используется 37 радиостанций на территории от Москвы до Ташкента. Несмотря на это, за исключением Таллина, Тарту и Кохтла-Ярве, «Голос Америки» можно слушать на всей остальной территории республики», — взывает к здравому смыслу Ильичев.

Он предлагает глушение постепенно прекращать, а высвобождающиеся мощности передавать советскому радиовещанию. КГБ выступил против, и для его успокоения Ильичев предложил одновременно прекратить производство радиоприемников с коротковолновым диапазоном. Тогда слушать голоса окажется технически невозможным, правда, как и наши собственные передачи. Согласно логике, в таком случае нам следовало прекратить вещание в коротковолновых диапазонах и высвобождавшиеся передатчики и антенны коротковолновых глушилок, на которые положил глаз

Ильичев, оказывались бесполезными. Страна становилась глухой: длинные и средние волны распространяются на сравнительно небольшие расстояния, легко покрывают небольшие европейские страны, а для советских просторов в одиннадцать часовых поясов абсолютно непригодны. На Севере, в горах Дальнего Востока и Средней Азии улавливаются только короткие волны, на длинных и средневолновых диапазонах лишь помехи потрескивают. В случае принятия подобного решения огромные пространства нашей страны оказывались отрезанными не только от враждебной, но и от нашей собственной пропаганды, лишались какого-либо доступа к новостным передачам, не могли бы слушать даже музыку. В общем, больше вопросов, чем ответов. Ильичев все это понимал и на своей инициативе не очень настаивал, предлагал производство остановить, но не совсем, продолжить выпуск коротковолновых радиоприемников целевым предназначением «для продажи населению Севера страны и районов с отгонными пастбищами в Казахстане и республиках Средней Азии, а также для экспорта». В общем, отписался Леонид Федорович.

На Президиуме ЦК легко договорились прекратить глушение передач Би-би-си. Их уже переставали глушить в июне 1956 года, вслед за визитом отца и Булганина в Великобританию, но после венгерских событий глушилки вновь заработали. Кроме Би-би-си исключили из списка подлежащих заглушиванию: «Голос Америки», «Голос Ватикана», звучавший из Ирана «Голос Азербайджана», «Немецкую волну», передачи из Парижа, «Голос Сиона» из Израиля и «Голос Тираны» из Албании. Оставшиеся двадцать «голосов» договорились прекращать глушить поэтапно.

Что же касается радиоприемников, с ними поручили разбираться заместителю председателя правительства Устинову. Электроника входила в его сферу ответственности. Устинов, многоопытный бюрократ, тут же уловил все не прозвучавшие открыто нюансы и вопрос «замотал». Приемники продолжали выпускать, как и ранее, с коротковолновыми диапазонами. Глушение прекратили, правда, ненадолго, после отставки Хрущева его возобновили в полном объеме.

10 мая 1963 года Хрущев принимает в Кремле своего старого знакомого, американского фермера Росуэлла

Гарста. Он приехал со своим племянником и компаньоном Джоном Кристаллом. С Гарстом у отца сложились особые, можно сказать, дружеские отношения. Но дружба дружбой, а разговор они ведут деловой, сейчас отца интересуют уже не американские технологии выращивания кукурузы, а промышленные методы получения мяса. Гарст занялся свиноводством и готов поделиться с Хрущевым своими «секретами». Не бесплатно, конечно. Они говорят о будущем, не подозревая, что эта их встреча последняя, и расстаются они навсегда.

4 июня 1963 года Хрущев проводит заседание Президиума Совета Министров СССР. Обсуждают принципы формирования планов на будущее, отец расставляет приоритеты: на первом месте производство одежды, обуви и других товаров народного потребления, затем следует производство химических удобрений, на третьем месте снова химия, а дальше все по предложенному Госпланом порядку.

27 июня 1963 года газеты сообщают о пуске Полоцкого нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии, еще одного предприятия из запланированных в Постановлении 1958 года.

11 июля 1963 года Хрущев, в сопровождении других «товарищей», едет на ВДНХ, ходит по павильонам, задерживается у экспозиции машин для животноводства, подробно расспрашивает, как устроен «механический птичник», так тогда называли птицефабрики, высоко отзывается о новейших доильных установках «Омичка» и «Веер». Затем все наблюдают за соревнованием стригалей овец. Зрелище увлекательное, естественно, для тех, кто разбирается в этом непростом деле. Стричь требуется быстро, но так, чтобы и овцу не травмировать, и настриг получить ровный, без грязи и мусора. Побеждает, как и ожидалось, чемпион мира в этом профессиональном «спорте» новозеландец Годфри Боуэн.

«Вертикаль» против «горизонтали»

13 марта 1963 года происходит реорганизация правительства, создается Высший совет народного хозяйства СССР (ВСНХ) и одновременно резко укрупняются совнархозы. Их количество сокращается с первоначального (в 1957 году) почти полутораста до тридцати. Во главе ВСНХ становится Дмитрий Федорович

Устинов. Ему теперь подчиняются и Госплан, и совнархозы, и госкомитеты, а подотчетен он только Совету Министров, его председателю, Хрущеву. Номинально Устинов, естественно, зависит от отца, но по существу отец во многом становится зависимым от Устинова. Все нити управления народным хозяйством в его руках, вся информация стекается к нему, он решает, что продвинуть, а что и попридержать, что доложить Хрущеву, а о чем умолчать.

Эта очередная и, казалось бы, рутинная пересадка в московских кабинетах, столько раз уже там пересаживались, на самом деле — шаг назад к старой командно-централизованной системе. Поиск более эффективной структуры управления экономикой начался еще в 1957 году, и с тех пор не прекращалась борьба двух начал: централизованного по вертикали и распределения полномочий по горизонтали.

Хрущев с Засядько ратовали за передачу права принятия решений вниз — республикам, совнархозам, а в последнее время даже директорам предприятий. За центром, Москвой, оставляли только координирующие функции и составление общего плана развития экономики на пять, десять, пятнадцать и даже двадцать пять лет. В столь далекой перспективе план превращался в прогноз. Этот план-прогноз должен был намечать основные направления развития экономики страны, увязывать ее в единое целое, а конкретные директивы и цифры — надо определять на местах. Не управлять, а дирижировать экономикой в новых условиях, по мысли реформаторов, предстояло Госплану, постепенно трансформирующимуся из чисто директивного органа в научно рекомендательную структуру, обобщающую опыт предприятий. При этом за ним сохранялась и надзирающая, другими словами, командная функция. Как увязать эти противоречащие друг другу принципы, еще предстояло продумать. В новых условиях Комитет по координации научных исследований вместе с другими профильными госкомитетами должен был информировать Госплан о последних тенденциях и достижениях науки, с тем чтобы подстраивать план под них, а не втискивать новые идеи в прокрустово ложе плана. «Новые мысли рождаются не по плану. План — это мусорная яма для бюрократа. Ученые приходят к нему со своими предложениями, а он им в ответ: планом не предусмотрено», — возмущается отец на заседании Президиума ЦК 23 декабря 1963 года.

Подобные приведенному выше высказывания отца разбросаны тут и там по его выступлениям второй половины 1962-го и первых месяцев 1963 года. Но всё это разрозненные мысли, в четкую схему они пока не сложились. Отец видел

будущую советскую экономику как саморегулирующуюся децентрализованную систему, в которой взаимоотношения производителя-предприятия и государства сведутся к взаимовыгодному минимуму, как то: отчислению в бюджет заранее оговоренной части прибыли и определение генеральной стратегии капиталовложений. Именно этим ему нравились идеи Либермана и иже с ним — экономисты сформулировали то, что он сам интуитивно ощущал. В развитие не прекращавшейся в прессе полемики об основных принципах управления социалистическим народным хозяйством, он распорядился начать масштабный эксперимент. В 1963 году решили организовать работу «по Либерману» на 48 предприятиях в самых разных отраслях промышленности, в том числе самостоятельность получили: прославленная московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», никому не известный Энгельсский комбинат химического волокна, один из металлургических заводов, швейная фабрика «Большевичка». Продолжали работать по-новому и отданные на откуп Худенко целинные совхозы.

Камнем преткновения здесь становились проблемы переходного периода. Республики, совнархозы, управляемые, казалось бы, ответственными людьми, государственниками, чуть дашь слабину, стараются урвать себе больше, не считаясь ни с интересами соседей, ни государства в целом. А что произойдет, если реальная власть перейдет к директорам? Каждым из них руководит собственный расчет. Как преодолеть эту «болезнь», отец пока себе не представлял.

Противостоящие ему силы тем временем не дремали. Они тоже пеклись о благе страны, но только понимали его иначе. Выполнять и перевыполнять планы с каждым годом становилось все труднее. С переходом от «мобилизационной» к «нормальной» экономике разнообразие выпускаемых товаров лавинообразно увеличивалось. Вместо сотен и тысяч наименований приходилось оперировать десятками тысяч, от ядерных реакторов и космических кораблей до тапочек и бритвенных лезвий. В узком госплановском горлышке то и дело образовывался затор, никто ни с чем не успевал, то тут, то там вдруг возникал дефицит. Все бросались его «расшивать», а пока «расшивали» о одном месте, проблема возникала в другом. И так без конца.

Казалось бы, ответ напрашивался сам собой: пусть всей «мелочовкой» занимаются производители, а Госплан с правительством создают условия их материальной заинтересованности в удовлетворении запросов потребителей, делают их работу прибыльной и привлекательной. Отец им все уши прожужжал, надоел с этой «материальной

заинтересованностью». С ним не спорили, но и не соглашались. Бюрократы старой, сталинской школы во всем винили совнархозную вольницу, «либерманов» они и на дух не переносили. Выход им виделся один: закрутить гайки, навести порядок, восстановить хозяйственную дисциплину, что на их языке означало жесткую вертикаль управления, структуру подчинения сверху до низу, «от Москвы до самых до окраин», оставив за совнархозами, не говоря уже о предприятиях, единственную свободу — свободу исполнения спущенных сверху приказаний. Такой точки зрения придерживалось большинство министров, а идеологом бюрократического ренессанса стал первый заместитель отца в правительстве Алексей Николаевич Косыгин. По иронии судьбы именно ему отец в 1963 году поручил упорядочивание государственных структур. В ЦК его поддерживал проповедник жесткой власти Козлов, в Совмине — Устинов, Новиков, Ломако и все остальные заместители отца.

Соглашаясь с указаниями Хрущева, они на деле гнули свою линию. Для примера процитирую выступление Косыгина на заседании Президиума ЦК 9 января 1963 года: «Возьмем Госплан. По Госплану изложенные предложения четко и полностью отражают задачи, которые вы, Никита Сергеевич, высказали сегодня. Госплан должен отвечать за пропорции в каждом хозяйстве…

Что имеют республики? Имеют Госплан и совнархоз, в которых все вопросы окончательно решаются. Мы, Никита Сергеевич, данную постановку вопроса ни с кем не обсуждали. Можно дать какой-то срок, чтобы с госкомитетами Госплан еще раз тщательно рассмотрел этот вопрос, имея в виду, что можно найти такую форму, которая создаст четкость в управлении народным хозяйством и не создаст лишние сложные и дополнительные инстанции, что не является приемлемым». И так далее, и тому подобное на десяти страницах стенограммы. Непонятно? Но Косыгин и не стремился быть понятым другими, а вот сам он четко представлял, чего он добивается и что скрывает за паутиной своего суесловия.

В конце концов отца уговорили. Новая государственная структура с ВСНХ на вершине властной пирамиды не полностью, но в значительной степени восстанавливала централизованную схему управления экономикой, лишала республики и совнархозы многих из их привилегий.

Отец согласился со своими заместителями, но удовлетворения не испытал. Тем временем эксперимент продолжался.

Что если бы?…

5 апреля 1963 года американская «Нью-Йорк Таймс» сообщила: по Москве ползут слухи о скорой отставке Хрущева и наследовании власти Козловым. Сейчас уже никто не припомнит, на чем базировались умозаключения американского корреспондента, возможно, он что-то прослышал или просто все высосал из пальца. Подобные слухи возникали и раньше. Логически рассуждая, его выдумка совсем не так уж и невероятна.

Надеюсь, читатель не забыл, как «свергнув» Кириченко, Козлов начал свое стремительное возвышение. С июля 1960 года он официально ведет Секретариаты ЦК. Теперь Фрол Романович «завоевал» право замещать отца во время его отсутствия в председательском кресле Президиума ЦК.

9 января 1963 года, уезжая в Берлин, отец для проформы полуспросил: «На время моего отсутствия товарищу Козлову поручить вести вопросы. Так?» Никто не возразил и не удивился. К особому положению Козлова все уже привыкли.

— Хорошо. Никто другой не покусится? — пошутил отец.

— Нет, — отозвался Микоян. Еще четыре-пять лет назад отец оставлял за себя Микояна. Прошедшие с тех пор перемены, естественно, последнему не нравились. Он обижался, ревновал, но поделать ничего не мог. Именно поэтому Анастас Иванович и поспешил сейчас высказаться первым. Не только отец, но и остальные члены Президиума ЦК знали, что за чувства Микоян испытывает к Козлову.

— Почему ты все первым говоришь? — под общий смех присутствующих отшутился отец, стараясь сгладить создавшуюся неловкость.

Микоян промолчал. В 1960 году Микоян ставил на Кириченко и проиграл. Все знали, что Анастас Иванович ненавидит Козлова, знал это и Козлов. Теперь же Микоян всеми способами старался завоевать его благосклонность, но пока безрезультатно.

В начале 1963 года признаки возвышения Козлова над «рядовыми» членами Президиума ЦК стали видны невооруженным взглядом. В отличие от сталинского времени, в официальных сообщениях фамилии членов Президиума ЦК располагались в алфавитном порядке, а не по ранжиру значимости, но кто есть кто вычислялось без особого труда.

22 февраля «Правда» информировала о пленуме Целинного крайкома партии, подготовке к посевной и замене старого, провалившего прошлогоднюю уборку урожая партийного секретаря на нового. В заключение следовала фраза о том, что на пленуме присутствовал товарищ Козлов и выступил с

пространной речью. Казалось бы, ничего необычного, кроме месторасположения и размера сообщения рядовой информации о пленуме крайкома: вместо стандартных пяти строчек в разделе «Партийная жизнь», «Правда» отвела ему престижный левый верхний угол на второй странице почти в четверть листа. Осведомленные в «кремлевском церемониале» читатели не оставили это без внимания.

3 марта газеты сообщили, что товарищи Хрущев и Козлов накануне слушали в Большом театре «Травиату» Джузеппе Верди. Ничего особенного, отец часто ходил в театры с семьей, о чем газеты не сообщали, и всем Президиумом ЦК с оповещением в прессе. А вот так вдвоем с Козловым…

Вскоре я заметил, что Фрол Романович стал держаться по отношению к отцу чуть независимее. В Москве тех лет такие нюансы значили очень много. Козлов все чаще брал на себя решение конкретных вопросов, контролировал исполнение, был собран и четок, не нуждался в мелочной опеке. То, что он порой возражал, спорил, скорее вызывало у отца уважение, чем раздражало. Без спора, без борьбы мнений работать становится не только скучнее, но и труднее. Бесконечное согласное кивание, смиренно опущенные долу или наоборот, восторженно пожирающие глаза и надоедают, и настораживают.

В прошедшие годы в Президиуме ЦК один Микоян не во всем соглашался с отцом. Теперь к нему прибавился Козлов. Возникновение «оппозиции» отцу в глубине души даже нравилось. Тем более что «оппозиционеры» придерживались несовпадающих точек зрения. Микоян слыл опытным, осторожным политиком. Козлов — администратор, практик. Пусть грубоватый, но хорошо знающий жизнь, умеющий, где надо, нажать, прикрикнуть. В политике Козлов отражал взгляды правых, но до поры до времени открыто не высказывался. Предпочитал аппаратные штампы: «есть мнение», «не надо забегать вперед» или поосторожнее — «не искривлять линию».

Формировалась ли в 1962–1963 годах реальная группировка, угрожавшая власти отца? Мне трудно ответить определенно. Какое-то недовольство теми или другими конкретными решениями существовало всегда. Но одно дело недовольство и сопровождавшие его анекдоты, а совсем другое, когда в аморфной среде начинает выкристаллизовываться ядро, готовое действовать. Лично я в существовании такого ядра сомневаюсь. Но мое мнение немногого стоит, политической кухней я не то чтобы не интересовался, конечно интересовался, но туда меня просто не допускали. Знал я немногим более московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс», оба мы вынуждены были

довольствоваться нюансами, разве что он извне, а я — изнутри.

А вот люди, участвовавшие во власти и оставившие воспоминания, считают иначе. На засилье «козловщины» в те годы жалуется недавний член Президиума ЦК Нуритдин Мухитдинов. Он считает, что Фрол Романович за спиной отца прибирал к своим рукам все больше властных полномочий.

«На XXII съезде партии Хрущев, по совету Козлова, не включил группу Игнатова, Аристова и Фурцеву в Президиум ЦК, — вторит ему Микоян. — Я поддержал его предложение, хотя и жалел Фурцеву. Но она была целиком с ними. Аристов же — неподходящий человек с большими претензиями».

Звучит не очень убедительно, я уже описал, как «игнатовцев» отставляли от власти, и не в октябре 1961 года, а до Козлова, в мае 1960-го. На XXII съезде их отставку всего лишь документально оформили. И Козлов тут ни при чем. Приведенная выше фраза — еще одно подтверждение противостояния Микояна — Козлова.

Далее Микоян добавляет, что «цель Козлова была свести Хрущева на чисто показную роль, все решать без него, за его спиной».

Но и эти слова совсем не свидетельствуют о наличии заговора, говорят лишь об амбициях Козлова в преломлении его недоброжелателя Микояна, отодвинутого Козловым на второй план.

Мухитдинов идет чуть дальше, он рассказывает, как после XXII съезда партии (непонятно, когда конкретно) Козлов прощупывал его — тогда заместителя главы «Центросоюза», уже отставленного от высшей власти, на предмет смещения Хрущева. Мухитдинов пишет, как однажды Козлов пригласил его прогуляться по улице Горького и, «начав издалека о том о сем, перешел к конкретной теме: “Хозяин в последнее время себя неважно чувствует. Жалуется на здоровье. Не исключено, может подать в отставку”. Он ждал моей реакции».

Мухитдинов промолчал.

«Ну а если выдвинуть меня?» — задал Козлов прямой вопрос.

Мухитдинов ответил, что он будет думать, но, по его мнению, Козлову не следует рассчитывать на всеобщую поддержку, ему доверили в ЦК кадры и он, воспользовавшись властью, сменил более половины номенклатуры… «занялся избиением кадров».

Действительно, многие из обкомовских начальников лишились своих кабинетов, но смещал их не Козлов, а отец. Я уже писал об этом. Конечно, не исключено, что зло они таили и на Козлова — исполнителя воли Хрущева. Мне вся эта история не представляется убедительной. С какой стати Козлову

разговаривать на такую щекотливую тему с заместителем председателя «Центросоюза», фигурой в советском табеле о рангах даже не третьестепенной? Скорее всего, Мухитдинов решил таким образом задним числом свести счеты с нелюбимым им Козловым. Но дыма без огня не бывает, возможно, они где-то о чем-то и говорили. Кто знает?

Может быть, Козлов и присматривался к «шапке Мономаха» и даже примеривал ее втихую, но означает ли это нечто большее? Или он просто ожидал, что отец, как он не раз говорил в открытую, сам передаст ему власть?

А вот мои собственные воспоминания о поведении Козлова.

11 мая 1963 года вынесли смертный приговор английскому шпиону, перевербованному разведчику полковнику Олегу Пеньковскому. В скандал оказались втянутыми два крупных военачальника, оба так или иначе связанные с отцом: главнокомандующий ракетными войсками и артиллерией, главный маршал артиллерии Сергей Сергеевич Варенцов и начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба генерал армии Иван Александрович Серов, в недавнем прошлом Председатель КГБ. Варенцов рекомендовал Пеньковского на службу в ГРУ. Он же периодически делился с ним некоторыми служебными новостями. Естественно, секретными. В иной ситуации ничего особо предосудительного в этом не было, оба они служили в армии на высоких должностях. Серову вменяли в вину не только то, что он не разглядел в Пеньковском потенциального предателя, но и проявил к нему особое расположение. Но хуже всего то, что жена и дочь Серова вместе с Пеньковским незадолго до его ареста оказались в Великобритании. Женщины поехали как туристы, а Пеньковский в служебную командировку. Посещение капиталистической страны вызывало тогда определенную робость, и Серов, вспомнив, что его подчиненный собирается в Лондон, попросил Пеньковского приглядеть за женой и дочерью, помочь им в случае надобности. Пеньковский с радостью исполнил поручение, показал достопримечательности, сводил своих подопечных в магазин. Теперь все рисовалось в ином свете, Серова и Пеньковского кто-то пытался выставить чуть не соучастниками.

Отец не был склонен применять к провинившимся военным серьезные меры. Он считал, что они и так наказаны произошедшим, а у Пеньковского на лбу не написано, что он завербовался к англичанам и американцам. Отец склонялся применить административные взыскания.

Козлов считал иначе и настроился чрезвычайно решительно. Истинная подоплека его поведения остается загадкой. Не мог

смириться с тем, что Серов и Варенцов не разглядели предателя? Сомнительно… Он порой смотрел сквозь пальцы и на куда более явные грешки. Тогда что? Стремился одним ударом выбить из игры преданных отцу военачальников? Зачем? Можно, конечно, дать волю фантазии. Но никакими фактами я не располагаю.

В конце февраля — начале марта 1963 года, незадолго до суда над Пеньковским, Козлов по своей инициативе в выходной позвонил отцу на дачу и попросил о встрече. Отец с охотой согласился. Через четверть часа Фрол Романович приехал к нам, его дача располагалась неподалеку. Отец встретил Козлова приветливо, предложил пройтись. До появления гостя мы гуляли вдвоем, и я остался в компании.

Козлов, то и дело искоса поглядывая на меня, стал убеждать отца в том, что Пеньковский скомпрометировал и Варенцова, и Серова. Он не просто служил в их ведомствах, но втерся в их дома. Ходил в гости к Варенцову, оказывал услуги семье Серова. Тогда-то я и услышал о злосчастных лондонских магазинах. Козлов возводил все это чуть ли не в ранг государственного преступления. Отец угрюмо молчал, затем не очень уверенно попытался возразить, но Козлов проявил настойчивость.

При окончании разговора я не присутствовал, отец попросил оставить их наедине. Примерно через час Козлов уехал. Обедать его отец не пригласил. Мы продолжили прерванную неожиданным визитом прогулку. Отец хмурился, даже по сторонам не глядел, шел, уставившись себе под ноги. Молчали мы минут десять. Наконец отец заговорил. Он сказал, что, по словам Козлова, все, он не назвал фамилий, настаивают на строгой ответственности Варенцова и Серова.

— Возможно, они и правы, — проговорил отец с сомнением, — жаль, особенно Варенцова.

— И что же? — спросил я.

— Разжалуем и отправим в отставку, — с досадой закончил отец. Все свидетельствовало, что отец против воли поддался Козлову.

12 марта Президиум Верховного Совета СССР «за потерю бдительности и недостойное поведение» лишил Варенцова звания Героя Советского Союза и разжаловал из маршалов в генерал-майоры. Не лучше обошлись и с Серовым, его тоже перевели из генералов армии в генерал-майоры, тоже отобрали звезду Героя и сослали дослуживать до пенсии в Туркестанский военный округ помощником командующего по военно-учебным заведениям. 22 июня 1963 года Пленум ЦК единогласно вывел их обоих из своего состава.

Можно ли и это происшествие квалифицировать как

формирование оппозиции отцу? Сейчас уже не определить. Следов не осталось. Отец же продолжал относиться к Козлову с полным доверием. Более того, он все отчетливее видел в нем своего преемника и не скрывал этого. Хотя и не обходилось без размолвок, порой весьма острых.

В тот год в Москве снова много спорили о Югославии. Наступившее в 1955 году краткое потепление, осенью 1956-го, как ушат холодной воды, остудили танки на улицах Будапешта. Время постепенно залечивало раны. К 1963 году отношения вновь становились все более дружественными. Московским ортодоксам это не нравилось.

Приближалось 1 Мая. В 1963 году, как и в предшествующие годы, за пару недель до праздника публиковались призывы ЦК КПСС. Первые страницы центральных газет заполнялись набранными крупным шрифтом обращениями к рабочим и работницам, военнослужащим и интеллигенции, странам, народам и континентам. В них тщательно выверялось каждое слово. Отвечали за содержание призывов соответствующие отделы ЦК. Они их и составляли, вернее, переписывали из прошлогодних газет, переносили из прошлого в будущее, слегка подновляя на потребу дня. Отца эти пустопорожние начетнические игры не увлекали, и он с облегчением поручил контроль за публикацией призывов Суслову. Суслов же в оперативных делах «замыкался» на Козлова, особенно в периоды отсутствия отца в Москве. Но это не означало, что отец не следил за тем, что напечатано. Сам он газетную страницу, забитую приевшимися лозунгами, не осиливал, но помощники докладывали ему обо всем достойном внимания.

В апреле отец отдыхал в Пицунде. Я поехал с ним. Дополнительный двухнедельный отдых зимой или весной стал для отца регулярным. Годы брали свое. На этом настаивали врачи. Их рекомендации закрепили в специальном решении Президиуме ЦК. Там говорилось еще и об укороченном рабочем дне, но этой привилегией отец так и не воспользовался, а к дополнительному отпуску привык. Вдали от московской суеты лучше думалось. Последнее время его мысли все больше занимала Конституция. В тот апрель отец работал над материалами Редакционной комиссии, я же наслаждался недельным отдыхом, солнцем и морем, сидел рядом с ним на пляже и не очень вслушивался в разговоры.

Призывы опубликовали 8 апреля. Вслед за разделом внутренней политики следовал международный. Скрупулезно приветствовались одна за другой все союзные нам страны: «Братский привет народам… строящим социализм!» Страны

третьего мира призывались к дружбе, а их народы к борьбе за социализм. Тут имелась принципиальная разница: раз народ борется за социализм, значит, есть с кем бороться, с властями предержащими.

Югославия не попадала ни в одну из категорий. Газета «Правда» призывала: «Братский привет трудящимся Федеративной Народной Республики Югославии! Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество советских и югославских народов в интересах борьбы за мир и социализм!»

Вот тогда-то я и стал невольным свидетелем стычки отца с Козловым. Газеты только что принесли. В Пицунду их доставляли к исходу дня. Отец, мельком скользнув взглядом по первой странице, собрался было знакомиться с публикациями на следующих страницах, но помощник привлек его внимание к злосчастному лозунгу. Отец вчитался в указанную строчку и взъярился: опять вытаскивали из небытия «молотовские» измышления: строит Югославия социализм или нет. Еще в 1955 году, на основании заключения ученых-экономистов, решили, что строит, и вот те на, снова-здорово.

Менее недели тому назад, 3 апреля 1963 года, здесь в Пицунде, он целый день проговорил с главой югославских профсоюзов Светозаром Вукмановичем-Темпо, человеком очень близким к Тито. На прощание отец сказал Темпо, что хотел бы посмотреть на югославские достижения своими глазами, не торопясь, без фанфар и протокола, сопровождающих официальные визиты. К примеру, если товарищ Тито согласился, он, в счет своего летнего отпуска, мог бы приехать, и не один, а с семьей, остановился бы где-либо в гостинице и, пока дети и внуки наслаждались бы Адриатическим морем, он сам бы поездил по предприятиям, поговорил с людьми. Разобрался бы в роли рабочих советов на предприятиях. Для него это тоже отдых, но активный и с пользой для дела. До некоторой степени это обращение носило формально-протокольный характер, по существу они, как помнит читатель, обо всем договорились с Тито еще в прошлом декабре в Киеве. Вукманович в свою очередь заверил, что югославские народы, Тито с удовольствием предоставят свое гостеприимство товарищу Хрущеву и всем тем, кого он решит взять с собой. Жить им в гостинице не придется, их встретят по высшему разряду. По возвращении в Белград он немедленно доложит о разговоре товарищу Тито. А там останется только назначить дату.

Я уже говорил, что Козлов не принадлежал к сторонникам Либермана. Совнархозы ему виделись под строгим контролем центра, таким, который теперь наконец начал реализовываться с

появлением ВСНХ во главе с Устиновым. А тут поедет отец в Югославию, насмотрится там всякого и по возвращении, не дай бог, снова затеет перемены. Так что, возможно, за формулировкой первомайского призыва скрывался не чистый догматизм идеологов.

Отец прекрасно понимал, какой нежелательный резонанс вызовет в Белграде злосчастный «призыв». Там внимательно следят за всеми нюансами московской политики, а отказ признать Югославию социалистической — это уже не нюанс. Да еще после его встреч один на один с Тито и разговора с Вукмановичем-Темпо! Отец их уверил, что хочет разобраться с достижениями югославской социалистической экономики, а теперь оказывается, что никакого социализма в Югославии вообще не существует. Отец потребовал немедленно соединить его с Козловым. Аппарат правительственной междугородной связи (ВЧ) стоял тут же на тумбочке под тентом.

Едва поздоровавшись, отец начал упрекать Козлова за недогляд. Но тот, видимо, не принял упрека. С его точки зрения, написанное объективно отвечало югославским реалиям. Отец накричал на Козлова, обвинил его в самоуправстве: ведь есть официальное решение ЦК, подтверждающее факт социалистических основ в народном хозяйстве Югославии. Никто не имеет права его единолично пересматривать. Он потребовал дать поправку, и чем скорее, тем лучше, пока неверная оценка не разошлась по миру.

Изменение формулировки уже опубликованного призыва ЦК — по тем временам беспрецедентный случай. В ЦК быстро распространился слух об объяснении Козлова с отцом. Скорее всего, он сам поделился обидой с единомышленниками. В кулуарах судачили о том, как несправедливо резко отец обошелся с Козловым, сочувственно перешептывались.

Козлов разволновался не на шутку, но ослушаться отца он не посмел, передал идеологам приказ переписать первомайские призывы. На сочинение нового лозунга ушло три дня, 11 апреля в «Правде» появилась поправка, разъяснявшая, что призыв нужно читать в новой редакции: «Братский привет трудящимся Социалистической Федеративной Республики Югославии, строящим социализм! Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между советским и югославским народами!»

Так уж получилось, что за «югославский социализм» Козлов заплатил жизнью. Развязка оказалась трагической: 11 апреля или в ночь на 11 апреля, Козлова разбил тяжелейший инсульт. Еще 10 апреля Козлов присутствовал как почетный гость на 2-м Всесоюзном съезде художников, а 12 апреля он, член Президиума

ЦК, вместе с отцом отвечавший за оборонку и космос, не появился на заседании в честь Дня космонавтики. И больше никогда на людях не появится.

Отец искренне переживал, он лишился своей «правой руки». К тому же, он ощущал себя виноватым за происшедшее: не расшумись он на Козлова из-за Югославии, может быть, все бы и обошлось.

В мае — начале июня, когда Козлов немного пришел в себя и вернулся из больницы в свою загородную резиденцию, отец поехал его навестить. Был выходной день, наша семья, как обычно, проводила его на даче, и он захватил с собой меня. Козлов часто бывал у нас дома, и наши семьи хорошо знали друг друга. Миновав стандартные зеленые ворота, машина остановилась у подъезда. Встретила нас жена Фрола Романовича и еще какие-то люди. Прошли в дом. Кровать установили посередине комнаты так, чтобы сестрам было удобнее ухаживать за больным. У стены стоял столик с лекарствами, стерилизатором, шприцами. Козлов полулежал на подушках, бледное лицо отсвечивало желтизной, от былого уверенного в себе здоровяка осталась одна тень. Когда мы вошли, он узнал отца, начал размахивать руками, попытался сдвинуться с места, заговорить, но речь была бессвязной. Впечатление он производил удручающее. Отец постоял возле него некоторое время, пытался ободрить, шутил в своей манере, что Козлов, мол, отдыхает, симулирует, пора выздоравливать — и на работу.

Попрощавшись, мы прошли в соседнюю комнату. Там собрались врачи. Нам объяснили, что непосредственной опасности для жизни Фрола Романовича нет, но до выздоровления пройдет еще много месяцев. Пока же он вообще неадекватен к окружающему миру. И когда станет адекватен и станет ли, один Бог ведает. Особо удручало врачей, что у больного развился, как они сказали, «сексуальный синдром», он крайне возбуждался при виде женщин, если ему удавалось, пытался хватать их за интимные места. Когда медсестры делали ему уколы, приходилось прибегать к силе, держать его за руки и за ноги. Подобное поведение у перенесших инсульт не редкость, оно свидетельствует о глубине поражения головного мозга. Я вспомнил, что пока мы с отцом стояли у кровати больного, медсестры обходили его по стеночке и глядели на Козлова с неприязнью.

Однако отец не терял надежды.

— Работать сможет? — спросил тогда отец.

Приговор медиков был единодушным: безусловно, нет. Он останется полным инвалидом. К тому же, сильное волнение

может привести к новому приступу и к смерти. Рассчитывать на Козлова не приходилось…

Отец запомнил предостережение медиков о том, что нервный стресс может оказаться пагубным для больного. И поэтому на ближайшем заседании Президиума ЦК, когда речь зашла о судьбе Козлова, он предложил оставить Фрола Романовича, несмотря на неизлечимую болезнь, на прежней должности. Никто не противился. Правда, решили секретную почту, «до полного выздоровления», Козлову не посылать. Сам он ее читать не в состоянии, и, кому она там может в руки попасть, неизвестно.

Так все тянулось до отставки отца. После него, на ближайшем Пленуме ЦК 16 ноября 1964 года Козлова из Президиума выкинули без всякого сожаления. Уж очень он им когда-то всем досадил своей требовательностью и жесткостью. Козлов потрясения не перенес. Как и предвещали врачи, произошел новый инсульт. Козлов умер 30 января 1965 года.

В 1990-е годы Рудольф Пихоя, тогда главный архивист страны, пустил слух о выступлении Фрола Романовича Козлова, якобы имевшем место на заседании Президиума ЦК 13 октября 1964 года, снимавшем отца. По мнению Пихои, Козлов первым предложил отрешить Хрущева от всех должностей. У меня его сообщение вызвало недоверие. Я своими глазами видел Козлова. Какой тут Президиум? Какое заседание? Но Пихоя тогда имел единоличный доступ к самым закрытым кремлевским документам, и я смирился. Но прав все-таки оказался я. Теперь, когда опубликованы записи Малина, сделанные на заседании Президиума ЦК 13 и 14 октября 1963 года, выяснилось, что Пихоя их читал невнимательно и напутал.

Козлова, естественно, там не было, это Геннадий Иванович Воронов пересказывает слова Фрола Романовича: «т. Козлов говорил: “В такие вопросы не лезь, их товарищ Хрущев ведет”. Больше на том заседании о Козлове не вспоминали».

Итак, после 11 апреля 1963 года пост второго секретаря и в значительной степени преемника отца неожиданно оказался вакантным. Козлова не любили, его боялись, ему завидовали, но на его власть никто не покушался и никто не готовился заменить его. В свое время уход со сцены Игнатова или Кириченко подпирали претенденты, готовые немедленно занять освободившееся место. Сейчас на «скамейке запасных» возник вакуум. Согласно формальной логике, право стать «вторым» принадлежало Микояну, и он всеми силами стремился к этому. Все прошлые годы он, старейший и опытнейший в окружении отца, интриговал против соратников-соперников, один за другим возвышавшихся во власти и затем исчезавших без следа. Он

считал их выскочками, ненавидел их, а Козлова более всех остальных вместе взятых. И вот теперь дорога к власти расчистилась, оставалось только шагнуть и… Но шагнуть Микоян не решился. Формальная логика и логика власти подчиняются различным законам. Постоянно находившийся при власти, Микоян на самом деле самостоятельности во власти боялся, не любил принимать ответственные решения. А какая без этого власть?

Со своей стороны, отец ценил, но не переоценивал Микояна, использовал его в переговорах, где требовалось терпение и изворотливость, но не принятие решения, привык с ним первым делиться пришедшими на ум идеями, опробывал их на Анастасе Ивановиче, внимательно выслушивал его замечания и особенно возражения, а вот учесть их или проигнорировать, решал сам.

По своему складу Микоян — типичный «ученый армянин при губернаторе». Хитрый, изворотливый, умный, возможно, хитрее, изворотливее, умнее самого «губернатора». Такой наперсник для настоящего «губернатора» просто клад. С другой стороны, подобный человек не представляет угрозы, он органически неспособен стать «губернатором» и никогда им не станет. Если же станет, то значит — это совсем другой человек и другая история, к нам отношения не имеющая. Без «армянина», даже самого умного, губернатор останется губернатором, а вот без своего «губернатора» «ученый армянин» становится просто армянином. Микоян все это понимал лучше кого-либо (на то он и «ученый армянин») и безропотно исполнял свою роль при Сталине. Исполнял бы при Берии, с блеском развернулся при доверявшем ему Хрущеве, мог бы исполнить ее и при Козлове.

Звездный час Микояна настал при Хрущеве. Их тандем оказался чрезвычайно эффективным во внешней политике, в дипломатическом и силовом взаимодействии с основным соперником Советского Союза на мировой арене — Соединенными Штатами Америки. США, следуя собственной доктрине, стремились упрочить свое господство в мире. Хрущев, в соответствии со своей доктриной, у них это право оспаривал, теснил их, где мог и как мог. Естественно, постоянно возникали трения. Хрущев действовал жестко, порой доводил «температуру до кипения», а потом посылал Микояна «остужать» страсти. В результате вместе они добивались желаемого, не на все сто процентов, такого в реальной политике не случается, но получали много больше, чем могли дать рутинно-спокойные дипломатические переговоры.

Политика «управляемых кризисов» принесла свои плоды в начале 1960-х годов.

По разрешении Карибского кризиса США вынужденно, сквозь зубы признали СССР равной себе сверхдержавой. И принудил их к этому жесткий «губернатор» Хрущев и его «мягкостелющий» переговорщик Микоян.

Теперь, после того как Козлов выбыл из игры, отцу, всерьез подумывавшему об отставке сразу по завершении последнего раунда реформ, приходилось начинать все сначала, вновь присматривать себе преемника, и желательно моложе. О Микояне он и не думал, знал ему цену, к тому же возраст… Анастас Иванович сам пенсионер, только на год моложе отца.

Выбрать оказалось очень непросто. В демократических государствах амбициозные политики сами предлагают себя, имеют возможность испробовать силы на всех ступенях выборных должностей. Пройдя в борьбе с конкурентами через сито естественного политического отбора, наиболее энергичные и ушлые (не обязательно наиболее достойные) достигают наивысшей власти, президентской или премьерской должности на какой-то ограниченный Конституцией срок. И затем все начинается сначала.

Российские монархические традиции отрицали демократию как таковую. Послереволюционная система власти причудливо соединила в себе монархическую пирамиду с зачатками народовластия. Власть более не наследовалась по крови и родству. Даже появление на общественном поприще жены первого лица в государстве, как в случае с Раисой Горбачевой, общественное мнение встретило в штыки. Члены высшего государственного синклита, Президиума или Политбюро ЦК КПСС, пробивались наверх за счет собственных талантов и изворотливости. Но решение о назначении их на высшие губернаторские (первых секретарей обкомов) или министерские посты, я уже не говорю о самых высоких ступенях иерархии, определялось не выборами, а целиком зависело от воли государя (в СССР от Первого или Генерального секретаря ЦК КПСС). Формальные выборы проводились неукоснительно, лишь формально проштамповывали его решение. Если назначение министров с губернаторами происходило по представлению соответствующего кадрового отдела ЦК, то кандидатуры членов Президиума (Политбюро) «Первый» отбирал лично сам и из кандидатов ему лично известных. А сколько их может удержать в памяти человек? Несколько десятков или несколько сотен? Даже отец, с его феноменальной памятью, вряд ли знал по именам более пятисот-шестисот человек — огромная цифра для индивидуума, но ничтожная для многомиллионной страны. А уж знание характера и способностей соратников ограничивались

несколькими десятками, если не единицами. Вот и весь резерв власти. Он еще более сужался из-за свойственной человеку возможности ошибаться. В результате выбор в преемники «достойнейшего» становился более чем проблематичным.

Так уж сложилось в России, что к исходу политической карьеры и цари, от Петра I до Павла I, пока последний не узаконил процедуру наследования, озабочивались проблемой преемника. Правда, выбрать его им удавалось далеко не всегда. Петр скоропостижно умер, не успев произнести заветное имя, завещание Екатерины II сразу после ее кончины сгорело в камине. Павла — так и вовсе убили. В новой советской России проблемы с «престолонаследием» остались прежними. Завещание Ленина после его смерти по традиции предали забвению. Сталин, в силу особенностей своего характера, предпочел наследника не называть. Учитывая многовековой печальный опыт, отец намеревался передать бразды правления при жизни. И вот теперь он никак не мог определиться, кого сделать вторым секретарем ЦК КПСС. Посоветоваться было не с кем. Эти мучительные сомнения, внутренняя потребность выговориться, видимо, и послужили причиной того, что мне довелось проникнуть в святая святых политической кухни, стать свидетелем колебаний отца.

Он никогда раньше, как я уже подчеркивал неоднократно, в разговорах в семье не касался кадровых вопросов. Взаимоотношения в руководстве были абсолютно запретной темой. Поэтому, когда отец вдруг заговорил о мучивших его сомнениях, я очень удивился. Дело происходило на даче в Горках-9 глубокой осенью 1963 года. Вечером вышли пройтись. Мы шли в свете фонарей по парадной асфальтированной дороге, ведущей от ворот к дому, как вдруг отец заговорил о ситуации в Президиуме ЦК. Насколько я помню, он пожалел, что Козлов не может вернуться на работу. Замены отец не находил, а ему самому уже пора думать об уходе на пенсию. «Дотяну до XXIII съезда партии и подам в отставку», — сказал он тогда. Я промолчал, его слова плохо укладывались в моем сознании. Потом отец стал говорить, что постарел, да и остальные члены Президиума ЦК — деды пенсионного возраста. Молодых почти нет. Отец стал членом Политбюро в сорок пять лет. Подходящий возраст для больших дел — есть силы, есть время впереди. А в шестьдесят уже о будущем не думаешь. Самое время внуков нянчить.

Он ломал голову над кандидатурой на место Козлова. Ведь в нашей стране одной политикой не обойдешься, надо знать и народное хозяйство, и оборону, и идеологию, а главное — в людях разбираться. Раньше отец очень рассчитывал на Шелепина.

«Железный Шурик» казался самым подходящим кандидатом: молодой, прошел школу комсомола, поработал в ЦК. Правда, пока плохо ориентировался в хозяйственных делах. Все время просидел на бюрократических должностях. Отец рассчитывал, что он подучится, наберется опыта живой работы. Для этого предлагал ему пойти секретарем обкома в Ленинград: крупнейшая организация, современная промышленность, огромные революционные традиции. После такой школы можно занимать любой пост. Шелепин же неожиданно и резко отказался. Обиделся, посчитал за понижение смену кресла секретаря ЦК на пост секретаря Ленинградского обкома партии.

— Жаль, видно, переоценил я его, — посетовал отец. — Может, оно и к лучшему, ошибиться тут нельзя. А посидел бы несколько лет в Ленинграде, набил бы руку, и можно было бы его рекомендовать на место Козлова. А он так и остался бюрократом. Жизни не знает. Нет, Шелепин не подходит, хотя и жалко. Он самый молодой в Президиуме.

Отец, помню, тогда замолчал, задумался, а потом продолжал рассуждать о возможных преемниках Козлова. В частности, о Подгорном. Николай Викторович Подгорный — человек толковый, и в хозяйственных делах разбирается, и с людьми работать может. На Украине проявил себя. Опыт у него богатый, но кругозора не хватает. После перехода в ЦК никак не справляется с порученными вопросами, даже в пищевой промышленности. Словом, по мнению отца, на этот пост и он не годился.

И тут он заговорил о Брежневе, сказав, что у него огромный опыт, хозяйство и людей знает. Но, как считал отец, он слабо держит линию и чересчур поддается чужим влияниям и своим настроениям. Человеку с сильной волей ничего не стоит подчинить его себе. До войны, когда его назначили секретарем обкома в Днепропетровск, местные острословы окрестили его «балериной»: кто как хочет, тот так им и вертит. А на этом месте нужен крепкий человек, которого с пути не свернешь. Таков был Козлов. Нет, выходило, и Брежнев не годится.

Отец замолчал. Больше этот разговор не возобновлялся. Мы долго еще бродили по дорожке к дому и обратно, думая о своем. Отец, видимо, снова и снова перебирал в уме возможных кандидатов на пост второго секретаря ЦК.

Я же был подавлен его неожиданной откровенностью. Насколько тяжко и одиноко отцу, подумалось мне, если ему приходится откровенничать на эти темы со мной. Раньше такого не случалось. О разговоре я, естественно, никому не рассказал. Хотя отец меня не предупреждал, но я и не нуждался в подобных

предупреждениях.

Отец размышлял о преемнике неотступно, постоянно перебирал в уме фамилии кандидатов, перебирал, но выбрать, остановиться на ком-то никак не мог.

Бывший французский премьер-министр Ги Молле рассказал журналистам,[83] что Хрущев при их встрече 29 октября 1963 года (тогда Ги Молле, вице-председатель Социалистического Интернационала, приезжал в Москву во главе делегации французских социалистов — *С. Х.*) своими гипотетическими преемниками вскользь назвал Брежнева, Подгорного, а также Полянского и Полякова. Не берусь судить, насколько слова Ги Молле соответствуют действительности, особенно в отношении Полякова. И вообще сомнительно, чтобы отец заговорил на столь щепетильную тему с иностранцами, зная, что завтра его слова появятся в прессе. Очень сомнительно.

Легко представить мое удивление, когда я узнал, что на место второго секретаря ЦК все-таки планируется Брежнев. Видимо, так и не нашлось у отца более подходящей кандидатуры. Впрочем, задавать ему какие-либо вопросы я не стал…

Лично мне Леонид Ильич был симпатичен. На лице его всегда играла благожелательная улыбка. На языке всегда занятная история. Всегда готов выслушать и помочь. Несколько удивляло меня его пристрастие к домино — уж очень не соответствовало такое хобби сложившемуся у меня образу государственного деятеля.

Однако сам Брежнев, как-то вовсе не обрадовался лестному предложению. Новый пост давал огромную власть, но он был… незаметен. Он уже побывал в шкуре секретаря ЦК, пусть и не второго, — там напряженная и изнурительная работа внутри разветвленного партийного организма, груз ответственности и необходимость принимать многочисленные решения. Требовалось взаимодействовать с обкомами, следить за работой в армии и… отвечать за провалы. Я уже писал, что с ЦК Леонид Ильич расстался в июле 1960 года без сожаления, ему больше подходила предложенная тогда представительская должность Председателя Верховного Совета СССР. Теперь всему этому наступал конец. Не то что отказаться, а даже выразить неудовлетворенность он не мог. Поблагодарил за оказанное доверие и обещал его оправдать.

21 июня 1963 года Пленум ЦК избрал Леонида Ильича своим секретарем, с сохранением, пока, поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Брежнев упросил отца оставить его в Верховном Совете, клялся, что потянет оба «воза». Леонид Ильич так уговаривал, что отец сдался, не захотел обижать своего будущего преемника. Правда, оговорил, что такое решение

временное, Леонид Ильич скоро и сам поймет, что новая должность в ЦК требует полной его отдачи, и запросит «пощады».

2 декабря 1963 года тот же «всезнающий» корреспондент «Нью-Йорк Таймс» написал о Брежневе уже как о преемнике отца.

Пыльная буря

Напомню, заканчивая 1962 год, отец очень надеялся на урожай 1963 года. Все последние годы где-то что-то случалось то с природой, то с людьми, раз от раза приходилось, чтобы не снизить потребление, не вернуться к очередям у дверей булочных, запускать руку в госрезервы, припасенные на случай всевозможных бедствий, и их становилось все меньше. Вот только что считать бедствием. Голод — это ужасное бедствие, но и очередь в булочной тоже не подарок.

Несмотря на то что урожаи и заготовки товарного зерна все эти годы возрастали: в 1953 году выращено 82,5 миллиона тонн зерна всех видов, государству сдано — 31,1 миллиона тонн, в 1962 году соответственно: до 140,2 и 56,6 миллиона тонн, — потребление росло еще быстрее и увеличилось с 42,5 миллионов тонн в 1954 году, до 56,6 миллионов тонн в 1962-м. Причина тому и рост народонаселения, и скармливание хлеба скоту, а главное — стремление наполнить полки магазинов, чтобы ни кирпичи-черняшки, ни батоны с булками больше не числились среди дефицита. В результате государственные резервы неуклонно сокращались: с 13,1 миллиона тонн в 1954 году до 6,3 миллионов тонн в 1962-м. Я уже приводил эти цифры ранее, но еще раз хочу напомнить, так как без этих показателей дальнейший рассказ теряет смысл.

В 1962 году баланс прихода и расхода зерна свели по нулям. Хороший, даже просто выше среднего урожай в 1963 году мог бы переломить тенденцию, увеличатся заготовки, и весь прирост можно пустить на восполнение резервов.

Зима 1963 года выдалась морозной, но снежной. Выступая 12 марта 1963 года на совещании руководителей колхозно-совхозных управлений РСФСР, Хрущев даже позволил себе помечтать, шутливо «пострашал» слушателей: «Нынешняя зима богата снегом, будет много влаги. Если посевы хорошо перезимуют и весна окажется благоприятной, то вы получите такой большой урожай, что, пожалуй, попросите прибавить план закупок хлеба. Мы же посоветуем вам прибавку от высокого урожая использовать на развитие животноводства». Появятся дешевые корма, и сразу спадет нагрузка на хлебные полки магазинов, а значит, и госрезервы зерна начнут расти. В общем,

будущее вырисовывалось отцу в весьма благоприятном свете. И не только в сельскохозяйственной сфере. При хорошем урожае на сытый желудок и реформа, о которой он задумался прошлой осенью, пойдет легче. Однако пока отец делил шкуру неубитого медведя.

Надежды на хороший урожай 1963 года начали рушиться уже ранней весной. Как оказалось, снег, обещавший дать влагу озимым, на Казахстанской целине выпал слишком поздно на уже вымороженные, мертвые посевы. Теперь, по весне, приходилось пересевать. Дело неприятное, но привычное, такое в России, в Казахстане, на Украине да и в Америке с Австралией случается каждые пять-шесть лет. Но беда не приходит одна. Как только на целинных полях появились первые всходы пересеянных по весне яровых, ударила сушь. Корни неокрепших растений не успели развиться, схватить почву, а в мае задули ветры и, по некоторым сведениям, 7-го числа, в Казахстане разразилась пыльная буря. Особенно пострадала Павлодарская область. Не видевшим этого природного феномена трудно себе представить, что происходит. Палящее солнце, сушь, безветрие, и вдруг подул пока еще слабый ветерок, то тут, то там на поле начинают завихряться маленькие смерчики, поднимают в воздух остатки прошлогодней соломы и умирают, не родившись, бросают ее назад на землю. Это еще не буря и даже не увертюра к ней, такое случается в степи регулярно и чаще всего ничем не заканчивается. Только изредка вслед за увертюрой начинается настоящее действо. Смерчики сменяются низовым ветром, поднимающим в воздух измельченную в пыль плугом и бороной и еще не схваченную корнями растений почву. Ветер гонит пылевую поземку, несет солому, перекати-поле. Буря набирает силу, и вот уже черная туча-стена вырастает во все небо от горизонта до горизонта, наваливается на поля. Это и есть черная буря, черная метель, метель без снега, вместо снежинок ветер гонит пылинки. Суховей в минуты высушивает растения, превращает, еще некрепкие стебельки и корешки в труху. Иссушенной почве больше не за что держаться. В воздух поднимаются миллионы тонн того, что еще вчера называли черноземом. Становится трудно дышать, пыль забивает легкие, слезятся глаза. И так продолжается несколько часов, а то и дней. Наконец ветер куда-то улетает и уносит с собой не только превратившуюся в пыль почву, но и надежду хоть на какой-либо урожай.

На самом деле пылевые бури не так уж и необычны, и не обязательно они черные, цвет их зависит от региона, от почвы. На целинных и украинских черноземах они черные, на американском Среднем Западе — ржаво-коричневые, в Китае — желто-лессовые.

Сдувая, унося с собой верхний плодородный слой почвы с одного поля, ветер возвращает его, высыпает нежданно-негаданно дар на чьи-то далекие поля, возможно, до того и вовсе безжизненные. В Среднюю Азию ветер-афганец ежегодно заносит тысячи тонн плодородной пыли, сдутой где-то с афганских полей. Но «обобранному» хлеборобу от этого не легче, пусть кому-то и повезло, но его труд пошел прахом.

Вот только несколько фактов из истории черных бурь. В мае 1934 года суховей сдул верхний слой почвы с полей американских штатов Вайоминг и Монтана, унес пыль далеко на восток и буквально обрушил пылевой «дождь» на Чикаго. На несколько дней, жизнь в городе стала невыносимой. 15 апреля 1935 года, в воскресенье, на американском Среднем Западе, в штате Оклахома пылевая красная буря сдула почву вместе с семенами пшеницы и кукурузы с трех миллионов гектаров. Через два года, в 1937 году очередная пыльная буря разразилась в Калифорнии. А всего в 1930-е годы пылевые бури прошли по двадцати семи американским штатам. В 1983 году пылевая буря бушевала в Австралии в районе Сиднея. В 1991 году, в ноябре, когда урожай уже успели собрать, сильнейший ветер поднятой им пылью закрыл солнце, и движение на дорогах в районе Лос-Анджелеса остановилось на несколько дней. В 2002 году засуха охватила запад Соединенных Штатов, от штатов Монтана и Дакота на севере до Техаса и Нью-Мексико на самом юге, но ветер поднялся только в Калифорнии, принеся туда пылевую бурю «среднего калибра». В других местах погода «благоприятствовала», урожай погиб, но почва осталась на полях. 22 апреля 2004 года, снова в Нью-Мексико, «красная» пылевая буря привела к столкновению на скоростном шоссе десятков машин.

Нередки пыльные бури и на юге Советского Союза. Отец вспоминал о бурях 1948 и 1949 года на Украине. Черную бурю 1960 года, прошедшую по полям Кировоградской области, даже обсуждали на заседании Президиума ЦК. О пыльной буре апреля 1969 года с ветром в 35–40 метров в секунду, прошедшейся по полям Краснодарского края и Ставрополья, пишет Петр Шелест.

Другое дело, буря буре — рознь, масштабы катастрофы определяют солнце и ветер. И того и другого в мае 1963 года в Казахстане оказалось в избытке.

Наиболее надежное лекарство от черных бурь — непаханая целина. Не потревоженные плугом, переплетенные в ковер корни травы цепко держат почву, и никакой ветер не страшен. Черные бури — порождение хозяйственной деятельности человека, на землю они пришли вместе с зарождением земледелия, и их

разрушительная мощь множилась по мере его развития. Неслучайно, что древнейшие и сильнейшие пылевые бури регистрировались в колыбели человеческой цивилизации, в Китае и на территории Персии.

Человек породил черные бури, и ему придется усмирять их. Нельзя сказать, что с черной бурей нет сладу, но как известно: «гром не грянет — мужик не перекрестится». В США после черной бури 1935 года начали перемежать кукурузные и пшеничные поля полосками земли, засеянными травой и кустарником. Они гнали ветер поверху, не позволяли ему разгуляться внизу, у самой пахоты. На российском и украинском юге испокон века поля разделялись лесозащитными полосами. В Казахстане до лесозащиты руки еще не дошли, а где дошли, деревья вырасти не успели.

Нужно сказать, что на целине не сидели сложа руки. И не только на целине. «9 октября 1959 года по указанию Хрущева, — пишет И. Е. Зеленин, — Президиум Академии Наук СССР обсуждал вопрос “О мероприятиях по борьбе с водной и ветровой эрозией почвы”. В 1960 году состоялся I Всероссийский съезд почвоведов, проводились и другие мероприятия. В своих выступлениях конца 1950-х — начале 1960-х годов Хрущев, оставаясь горячим сторонником пропашной системы земледелия, постоянно отмечал, что для Казахстана и других целинных районов чистые пары, до 15–20 процентов в общей структуре пашен, необходимо сохранить».

Уменьшает разрушительный эффект ветра черных бурь и так называемая безотвальная пахота, когда вместо плуга, выворачивающего наружу пласт земли, используют «плоскорезы, которые не переворачивают пахотный слой земли, а подрезают его с последующей обработкой дисковыми боронами». Так борются с эрозией почвы в Канаде. Летом 1963 года отец послал туда специальную сельскохозяйственную делегацию поднабраться опыта у фермеров.

За безотвальную пахоту с разделительными травяными полосами на полях ратовал и целинный академик Александр Иванович Бараев. Я уже писал и еще напишу о столкновениях целиноградского ученого-агронома Бараева с алтайским селекционером Наливайко. Отец тогда принял сторону Наливайко. В неблагоприятном 1963 году на своей Опытной станции Бараев получил привычно-устойчивый урожай. Отец спохватился и сразу начал принимать решительные меры. «Хрущев, в отличие от большинства его коллег, был способен на признание (правда, не всегда публично) и исправление допущенных в аграрной политике ошибок, в том числе и своих

собственных, действуя в этой связи с присущей ему энергией и напористостью, — пишет Зеленин. — В 1963–1964 годах лидер партии пересмотрел свое крайне негативное отношение к рекомендациям Бараева, выдающегося ученого и практика. Система засушливого земледелия, в разработку которой огромный вклад внес академик А. И. Бараев и возглавляемый им институт, была полностью реабилитирована и в широких масштабах стала распространяться по целине».

Я не полностью соглашаюсь с Зелениным в части «крайне негативного отношения к рекомендациям Бараева». Отец действительно взял сторону Наливайко, но это не значило, что Бараеву «перекрыли кислород». Он продолжал работать, экспериментировать, публиковаться в специальных изданиях и центральных газетах. Кто-то следовал его советам, кто-то — нет. Другое дело, что повсеместно внедрять его рекомендации начали только после катастрофы 1963 года. В мае налетела черная буря, а уже 1 июня 1963 года Бараев публикует в «Известиях» большую, я бы сказал, инструктивную статью о своем методе.

Однако разворот в сторону Бараева не означал возврата к травополью и не свидетельствовал о том, что на Наливайко поставили крест. К тому же казахстанская целина — одно, а алтайская находится в иных климатических условиях. Борьба, научная, естественно, Бараева — Наливайко началась не в 1963 году и в 1963-м не закончилась и не могла закончиться, как не заканчиваются научные споры, если они действительно научные. Каждая из сторон находит новые аргументы в подтверждение своей позиции и одновременно корректирует эту позицию, а затем опровергает или учитывает мнение оппонентов. У тех и других находятся свои сторонники, порой весьма горячие. И так продолжается без конца, ибо только в таком противостоянии отыскивается рациональное зерно. Правда, отыскать его нередко удается кому-то третьему, не замешанному в споре, но заинтересованному в получении результата. Сами спорщики-ученые и их болельщики к компромиссу обычно не склонны.

Вернемся к реалиям весны 1963 года. Одна только пыльная буря не могла привести к катастрофе. Навалилась новая беда. В начале лета, тогда, когда наливается зерно, выпавший или не выпавший вовремя дождь определяет судьбу будущего урожая. И тут, как назло, установилась изнуряющая, все иссушающая жара, и не в одной какой-то местности, а практически по всей стране: в Казахстане, в Сибири, на Украине. Засуха предвещала настоящую беду. Такого неблагоприятного сочетание погодных условий не случалось не только в годы хрущевского десятилетия, но и вообще в XX веке. По многолетним наблюдениям, в России из

каждых десяти лет три года — привычно неурожайные из-за погоды: заморозков, засухи, пролившихся не вовремя дождей, но катастрофические природные аномалии, подобные тем, что случились в 1963 году, наблюдаются раз-два в столетие. Последний раз такое отмечалось в 1890 году, что повлекло за собой всенародные бедствия, повсеместный голод, мор, целые губернии обезлюдили.

Я запомнил, как в предыдущие годы в ответ на жалобы министра сельского хозяйства, секретарей обкомов на засуху, мороз, град, отец отвечал: «Страна наша огромна, в одном месте высушит или зальет, но в другом выручит. Надо не на погоду ссылаться, а работать». В «нормальные» годы его аргументы звучали справедливо, но только не в 1963 году, когда от Украины до Байкала на полях страны почти не оставалось «здоровых мест». В тот год Москва буквально выколачивала из украинцев 700 миллионов пудов (11,2 миллиона тонн). Шелест сопротивлялся, убеждал: животноводство тогда останется ни с чем. В ответ Подгорный приводил свои аргументы: в Сибири настоящая катастрофа, Казахстан при плане 960 миллиона пудов (15,3 миллиона тонн) даст не более 250 миллионов пудов (3 миллиона тонн), а Алтайский край вместо запланированных 250 миллионов пудов (3 миллиона тонн) не вытягивает и на 10–15 миллионов пудов (то есть 160–210 тысяч тонн).

Цифры у меня вызывают сомнения, Подгорный использовал их как аргумент в давлении на украинцев. На самом деле Казахстан сдал 400 миллионов пудов зерна, несколько меньше половины запланированного.

После долгих препирательств Москва и Киев договорились «сделать подробные просчеты истинного положения дел с хлебом в республике». Расчеты оказались неутешительными: по сравнению с не ахти каким удачным 1962 годом в 1963 году в среднем урожайность по Украине упала на 3,5 центнера с гектара, и вместо ожидаемых 900 миллионов пудов зерна (14,4 миллиона тонн) украинцы не дотянули до 600 миллионов пудов (9,6 миллионов тонн).

Не спас положения хороший урожай в Поволжье и на Северном Кавказе. Саратовская область сдала зерна 165 миллионов пудов (2,6 миллиона тонн), Краснодарский край — 202 миллиона пудов (3,2 миллиона тонн), на 52 миллиона пудов больше плана, Ставрополье поставило 175 миллионов пудов (2,8 миллиона тонн) при плане в 127 миллионов пудов. Хорошо потрудились, считал отец, и молдаване, их вклад составил 40 миллионов пудов (740 тысяч тонн) зерна.

Но все это капля в море. Успехи ни в коей мере не

компенсировали потери. Валовой сбор зерна в 1963 году составил всего 107,5 миллиона тонн и по сравнению с 1962 годом (тогда собрали 140,2 миллиона) упал почти на 30 процентов, урожайность тоже снизилась с 10,9 центнеров с гектара до 8,3. В результате в 1963 году заготовили всего 44,8 миллиона тонн зерна, на 10,7 миллионов тонн больше, чем в 1953 году, но на 11,8 миллионов тонн меньше, чем в 1962 году.

Это цифры конца года, а в середине лета ситуация казалась еще ужаснее, о чем свидетельствует приведенный выше разговор Подгорного с Шелестом. Страна очутилась на грани. О голоде, сравнимом с голодом 1890 года речи не шло, но отцу стало не до реформ. В 1963 году все усилия свелись к тому, как продержаться до нового урожая, как сохранить достигнутый с таким трудом за эти годы относительный достаток, не скатиться к очередям 1953 года или того хуже, к карточкам 1947-го. Они тогда рассматривались как один из вероятных сценариев разрешения продовольственного кризиса. Другой сценарий — закупка зерна за границей.

Государственные резервы, 6,3 миллиона тонн зерна, отец распорядился не трогать, дефицита они не покрывали, а страна не могла остаться вообще без ничего — вдруг случится еще какое-нибудь несчастье. Мнения разделились. Минфин, ВСНХ, Госплан и их куратор Косыгин выступали за карточки. Они считали покупку зерна у иностранцев нерациональной, платить придется золотом, а золото — это тоже госрезерв, не менее неприкосновенный, чем зерно. Отец с ними не соглашался: карточки на хлеб отбросят нас в ранние послевоенные годы, да и закупить зерна требуется не сверхъестественно много, ситуация с зерном не столь трагична, ведь при всех невзгодах собрали зерна на 15,3 миллиона тонн, почти на миллиард пудов больше, чем в 1952 году, самом урожайном из сталинских лет (сравним 92,2 в 1952 году и 107,5 миллионов тонн в 1963-м). За прошедшее десятилетие люди забыли о хлебных перебоях, очередях у дверей булочных с ночи, привыкли, что хлеба на полках вдоволь. «И в конце концов, — возражал отец Косыгину и иже с ним, — население вправе требовать от правительства, чтобы оно о нем заботилось, мы не можем действовать ни методами Сталина, который вывозил хлеб за границу, тогда как на Украине в 1947 году люди пухли с голода, доходило дело до людоедства, ни идти по стопам правительства Николая II, когда в 1890-м и в последующие годы, годы страшного голода, Российская Империя экспортировала “голодный хлеб”, чтобы не просрочить выплаты по немецким и французским займам», — приводит слова Хрущева Федорова В. Г. в своей публикации в «Независимой газете» от 2

февраля 1999 года.

— Золота, конечно, жалко, — соглашался отец со своими оппонентами. — Но на то и резервы, чтобы в случае беды ими воспользоваться. Сталин готовился к новой войне, копил его, как скупой рыцарь. Теперь же война не грозит, от американского нападения нас надежно защищают ракеты.

Победил отец, решили, в порядке исключения, закупить зерно у капиталистов, расплатившись золотом. 6,8 миллионов тонн продала Канада, 1,8 миллиона тонн — Австралия. 400 тысяч тонн заимообразно предоставили румыны. США долго сомневались, но 8 октября 1963 года, за полтора месяца до своей гибели, президент Кеннеди подписал разрешение на экспорт пшеницы в СССР. Всё вместе составило около 12 миллионов тонн. Избавление от голода стоило 372,2 тонны золота из наличного на тот год запаса в 1082,3 тонны.

Хрущеву по сей день пеняют за разбазаривание золотого запаса, и я осуждал его в тот год, но сейчас стало ясно — поступил отец совершенно правильно, по-мужски.

С закупкой около 12 миллионов тонн зерна ситуация стабилизировалась, ни карточки, ни тем более голод стране больше не угрожали. Вместе с заготовленными к осени 44,8 миллионами тонн общая цифра составила 56,8 миллионов тонн, чуть больше прошлого года. Правда, на внутреннее потребление пустили всего 51,2 миллиона тонн, в отличие от 56,6 миллионов тонн в 1962 году, на 4,4 миллиона тонн меньше, разницу в 700 тысяч тонн заложили в госрезерв. Он увеличился с 6,3 миллиона тонн до 7 миллионов. Если сложить 51,2 и 0,7 миллиона тонн, получится 51,9. На 4,9 миллиона тонн меньше по сравнению с общим поступлением зерна 56,8 миллионов тонн. Его, видимо, несмотря на неурожай, пустили на прокорм наших восточноевропейских союзников: немцев, чехов, венгров. Возникшую во внутреннем потреблении зерна дыру примерно того же размера, 4,4 миллиона тонн, сбалансировали за счет временного отступления от стандартов на выпечку хлеба: в том году разрешили добавлять в него кукурузную, гороховую муку, а уж если совсем прижмет, то еще и картофель с отрубями.

— Как же так? — запричитал я, но отец никакой большой беды в добавках не усматривал.

— Едят же молдаване и хлеб из кукурузы, и мамалыгу. Только нахваливают, — успокаивал он меня. — Я сам ел кукурузный хлеб в молодости. Очень даже хороший хлеб, только черствеет быстро.

Я промолчал. Слова отца не убеждали, но что толку возражать, если сказать ему больше нечего.

«Появившиеся на прилавках ленинградских булочных в середине сентября 1963 года батоны с примесью гороховой муки, имевшие характерный зеленоватый цвет, стали завершающей точкой во всеобщем недовольстве продовольственной политикой Хрущева», — пишут историки Лебина и Чистиков.

Литературовед и литературный критик, заместитель Твардовского в «Новом мире» Владимир Яковлевич Лакшин записал 17 октября 1963 года в дневник: «В Москве — паника у булочных. Исчез белый хлеб, нет манки, вермишели. Очереди, народ злится, и никто не стесняется говорить, что думает».

С хлебом действительно стало хуже. Люди запасались на «черный день». Ажиотаж, вызванный слухами о неурожае, грядущем голоде, сметал с прилавков все. Потребление осенью 1963 года резко возросло, снабжение не успевало восполнять возникавший то тут, то там дефицит, полки в магазинах пустели. А к тому же еще «зеленый» хлеб! Худшего никакие враги не могли бы придумать. И дело не в его качестве, а в непривычности. К слову сказать, в США хлеб с гороховыми и кукурузными добавками относится к деликатесным сортам. Зеленый батон стоит раза в два-три дороже обычного пшеничного.

Неурожай 1963 года больно ударил по авторитету отца. Еще бы, два года назад он наобещал построить коммунизм, а теперь и приличного хлеба в магазине не найдешь. И в столовых исчез бесплатный хлеб, как объяснили — временно, всего на год. Объяснения никого не интересовали, главное — хлеб исчез. Нечего и говорить, 1963 год, самый неудачный из всего «хрущевского» периода, перечеркнул достижения всех предыдущих лет. Людям, вопреки фактам, вдруг стало казаться, что при Сталине они жили лучше.

От химии к агрохимии

Нет худа без добра. Неурожай 1963 года подтолкнул отца к новым, я бы сказал, кардинальным переменам в сельскохозяйственной политике. 1963 год — рубеж окончательного перехода от экстенсивного земледелия к интенсивному.

Пыльная буря — явление разовое, она пришла и ушла, но обозначила главную нашу беду — низкую урожайность. Собирая уже не 8, как в 1953 году, а по 10–11 центнеров с гектара зерновую проблему не решить. Наличные пахотные пространства физически не обеспечивали достаточно зерна, чтобы и людей накормить, и резервы заложить, и скотину взрастить. Свободной плодородной целины не осталось. Более того, на некоторых

распаханных землях началось где засоление, где эрозия почв. Их приходилось возвращать в первозданное состояние пастбищ. Ни на что иное они не годились.

Без резкого увеличения производства химических удобрений о повышении урожайности и мечтать нечего. И не то чтобы отец ранее недооценивал удобрения, просто денег на все недоставало, и казалось, пока обойдемся — жили же без них столько лет. И обходилось до поры до времени. Засуха 1963 года указала яснее ясного, ждать больше нельзя, ресурсы необходимо перераспределить.

В записке, отправленной в Президиум ЦК 12 июля 1963 года, третьей за этот год, отец отмечает, что последние годы «рост производства зерна шел, в основном, за счет расширения посевных площадей и пересмотра структуры посевов, сокращения площадей под травами и чистыми парами. За эти годы посевы зерновых расширены с 107 миллионов до 136 миллионов гектаров. Но за счет одного этого мы не можем увеличить производство зерна до уровня, который нам необходим. По расчетам Госплана, нам нужно собирать в ближайшие годы не менее 220 миллионов тонн зерна, а к 1980 году потребности страны в зерне составят 290–300 миллионов тонн. Только так мы покроем и собственные нужды, и резервы создадим, и союзников обеспечим. Соответственно возрастет и производство мяса, молока, масла. Страна, наконец, выйдет на научно обоснованные рационы питания. Без удобрений и ядохимикатов об этом и мечтать нечего, — делает он промежуточный вывод и продолжает: — Если сейчас США идут впереди нас в производстве сельскохозяйственных продуктов, то в этом нет никакой особой американской мудрости. Мы просто не могли выделять нужные капиталовложения на производство минеральных удобрений и техники. Теперь мы имеем такую возможность и должны ее использовать».

Откуда же возьмутся необходимые на обустройство агрохимического производства миллиарды рублей? «Сейчас мы будем сокращать расходы на оборону и эти средства направим на производство минеральных удобрений», — делится Хрущев своими планами с секретарем (что у нас соответствует посту министра. — *С. Х.*) сельского хозяйства США Орвиллом Фрименом.

В упомянутой выше записке отец скрупулезно подсчитывает, сколько потребуется удобрений, соизмеряет каждый свой шаг с тем, что уже сделали в США. Там 118 миллионов гектаров, занятых всеми видами сельскохозяйственных культур, удобряют 35 миллионами тонн минеральных удобрений, а у нас на почти

вдвое большую площадь, 218 миллионов гектаров, приходится всего 14 миллионов тонн. По сравнению с 6 миллионами тонн удобрений, произведенными в 1953 году, цифра внушительно выросла, но она мизерная с учетом реальных потребностей сельского хозяйства.

Справедливости ради отмечу, что и американцы начали отказываться от навоза и переходить на минеральные удобрения только в 1930-е годы, после того, как над Средним Западом пронеслись пыльные бури. Скорее всего, это просто совпадение с ситуацией у нас.

Однако возвращусь к нашим делам. Отец подсчитал, для того чтобы поднять урожайность зерновых на 5 центнеров с гектара сельскому хозяйству потребуется 86 миллионов тонн удобрений, а с учетом нужд свекловодов, хлопководов и других стране необходимо производить около 100 миллионов тонн удобрений в год. На строительство заводов в ближайшие четыре-пять лет придется выделять около одного миллиарда рублей в год, то есть примерно 5 процентов из общего объема строительно-монтажных работ в 20 миллиардов. Но удобрения это еще не все, надо наладить производство гербицидов, поднять его с сегодняшних 92 тысяч до миллиона тонн в год. Иначе на удобренных полях мы вырастим не пшеницу с хлопком, а сплошные сорняки. «Мы безусловно можем и должны это сделать», — пишет Хрущев и далее сравнивает расходы на производство удобрений с предполагаемыми доходами от увеличения урожая. Получается, что все окупится в два-три года.

Далее в записке отец углубляется в агрономические и технические детали, понятные только профессионалам.

Орвилл Фримен и американская курятина

30 июля 1963 года отец встретился с министром сельского хозяйства США Орвиллом Фрименом. В разговоре он с удовольствием отмечает, что связи с американскими фермерами у нас теперь хорошо наладились и тут же заводит речь минеральных удобрениях. Сейчас именно удобрения занимают все его внимание. Американский министр соглашается, в США они пришли к такому же заключению еще тридцать лет назад. Затем гость дипломатично переводит стрелки, переходит к главной цели своего визита: он хочет продать нам курятину, практически неограниченное количество птичьего мяса, столько, сколько потребуется. Американцы уже несколько лет как перешли от выращивания цыплят на фермах к крупным механизированным хозяйствам, встали на путь специализации, и теперь курятины у них в избытке.

— Когда я был ребенком, — рассказывал Фримен, — курицу мы ели только по воскресеньям и по праздникам, а сегодня в Америке куриное мясо самое дешевое. Сейчас два фунта корма дают возможность получить фунт (453,6 грамма) мяса. Мы выращиваем трех-четырех фунтовых птиц за восемь недель.

— Я по-хорошему завидую вам и желаю дальнейших успехов, — вежливо ответил отец, — но цыплят мы у вас покупать не станем, сами начинаем выращивать, а вот заводы по производству минеральных удобрений купим с охотой.

Давний принцип отца — приобретение оборудования и технологий, позволяющих наладить собственное производство, и он старается развернуть разговор в нужную ему сторону.

— Вы хотите купить только машины для производства удобрений или и удобрения тоже? — интересуется Фримен.

Его цель продать готовый продукт и тем самым поддержать своего производителя, будь то химический концерн или фермер со Среднего Запада.

— Только машины, — отец твердо знает, что ему нужно.

Сделка не состоялась, но они еще довольно долго говорили о последних достижениях сельскохозяйственной науки, достоинствах и недостатках различных типов сельскохозяйственных машин. Оба отлично разбираются в деталях, однако отец порой ставит Фримена в тупик, он знает об американских тракторах и комбайнах больше, чем сам министр.

Разговор подходит к концу, и Фримен делает последнюю попытку, предлагает продать лучшие модели машин, но в нагрузку к ним — курятину.

— Нет, — смеется отец, — птицу ешьте сами на здоровье, а вот оборудование для производства минеральных удобрений и комбикормов купим, если цена нас устроит. Деньги надо тратить с умом.

«Совхозы так и не стали снабжать своих рабочих мясом и молоком»

На следующий день после разговора с Фрименом, 31 июля 1963 года, отец посылает в Президиум ЦК еще одну записку, теперь об экономике села в целом. За прошедшие десять лет сделано много, но еще больше не сделано, «многие отстающие колхозы и совхозы как были отстающими, так и остались». Колхозы, преобразованные в совхозы, множат свои убытки, висят на шее государства, а производственные управления смотрят на это сквозь пальцы. Выход отец видит в подборе людей, в укреплении дисциплины и… в борьбе с личным подворьем.

«Многие рабочие и руководители совхозов увлеклись разведением личного скота. К примеру, на ферме совхоза “Добровский” Липецкой области содержится всего 1 384 коровы, а служащие совхоза содержат в личном хозяйстве 2 280, в совхозе имени Кирова, под Ташкентом, 1 570 голов крупного рогатого скота, у служащих же — 1 952 голов, и так повсеместно. Содержится этот скот за счет совхозных кормов, пасется на совхозных посевах, уничтожает совхозные хлеба. В результате совхозный скот голодает, — делает вывод отец, — его держат на половине, а то и на четверти кормовой нормы, лишь бы в отчетно-статистических отчетах выглядеть получше».

И что же он предлагает?

«Необходимо иметь реальные планы выращивания поголовья скота, с учетом возможностей каждой республики, каждой области, каждого производственного управления, каждого колхоза и совхоза в отдельности, — (что вполне разумно), но тут же добавляет: — Возьмите то количество кормов, которое растаскивают нечестные люди для содержания своего личного скота. Если их вернуть в совхоз, то можно удвоить норму кормления, резко поднять удои молока. Мы уже принимали решения по этому вопросу. Где торговля не обеспечивает людей продуктами животноводства, совхозы должны продавать мясо своим работникам.

Что же касается нетрудовых элементов в совхозах, использующих личный скот в спекулятивных целях, то здесь надо принять безотлагательные и жесткие меры, запретив спекулятивным элементам содержать скот. Необходимо

пересмотреть нормы приусадебных участков — или уменьшить их, или совсем ликвидировать, и создать на их месте общественные огороды».

Дальше отец много и подробно пишет о мерах по повышению продуктивности животноводства, ссылается на опыт Германии, предлагает какие-то меры, но на эти его слова читатели в ЦК не обратили особого внимания, он все это уже говорил и раньше, а вот «безотлагательные и жесткие меры» начали предпринимать незамедлительно.

Совхозы так и не начали снабжать своих рабочих мясом и молоком, но там, как рассказывали очевидцы, повсеместно, с милицией, отбирали скот у работников, сгоняли людей с земли. Она зарастала бурьяном, до общественных огородов руки не доходили. Благие намерения отца обернулись злом людям, которых он хотел облагодетельствовать. Село не простило ему этой «инициативы» и по сей день. Не простило, несмотря на то, что угроза отца, по существу, как и в 1959 году, так и осталась угрозой. Статистика утверждает, что количество скота в подворьях колхозников и совхозников в 1963–1964 годах по сравнению с 1962 годом практически не изменилось. Так, в 1963 году в личном хозяйстве колхозников содержалось 14 миллионов 890 тысяч голов крупной и средней живности, по сравнению с 14 миллионами 667 тысячами голов, зарегистрированными в 1962 году. Такая же картина наблюдается и в совхозах: 9 миллионов 634 тысячи голов в 1963 году и 9 миллионов 209 тысяч в 1962-м. Не изменилось соотношение и в следующем, 1964 году, у колхозников поголовье личного скота чуть сократилось, до 14 миллионов 666 тысяч голов, то есть до уровня 1962 года, а у совхозников, по сравнению с 1962 годом чуть возросло, до 9 миллионов 416 тысяч голов.

Статистика статистикой, ею никто не интересуется, а в памяти народной после этой злосчастной инициативы отец запечатлелся крестьянским гонителем.

Ирригация и рисоводство

14 августа 1963 года отец пишет очередную записку, теперь об ирригации. Чтобы сделать снабжение населения продуктами питания устойчивым, не зависимым от перемен погоды, кроме удобрений необходима еще и вода. «Оросительные каналы, которые уже строятся, недостаточны, — считает отец, — надо увеличить площадь орошаемых земель в три раза. С 9 миллионов до примерно 28 миллионов гектар, в Херсонской и Одесской областях, в низовьях Дуная, в Крыму и Донбассе, Волго-

Ахтубинской пойме, в пойме Кубани и Дона, не говоря уже о Средней Азии». Поливать следует не только хлопок, но и «рядовые» культуры, пшеницу или сахарную свеклу. «Во многих местах можно будет снимать по два урожая в год, сначала посеять, к примеру, горох, а после него кукурузу, южнее — на зерно, а севернее — на силосную массу. Такие опыты успешно проведены в Украинском научно-исследовательском институте орошения земледелия в городе Херсоне. Орошение позволит довести выход с гектара пшеницы до 50 центнеров, в пять раз больше, чем мы имеем сегодня. Затраты на полив в среднем составят от тысячи до полутора тысяч рублей на гектар, что вполне разумно и окупится в год-полтора, — подсчитывает отец. — Но и это еще не все. Изобилие воды позволит начать выращивать рис там, где до того о нем и не слыхивали, на Северном Кавказе и Украине. Рис — это не просто еще одна, дополнительная к привычным — пшенице и ржи, сельскохозяйственная культура, а наиболее урожайное растение на земле». В записке отец ссылается на авторитетных в своей области рисоводов-академиков Александра Николаевича Аскочинского и К. Шубладзе, заверивших его, что при правильном уходе урожай рисового зерна в 50 центнеров с гектара далеко не предел. «В Российской Федерации и на Украине к 1970 году орошаемая площадь может быть доведена до 2 миллионов 960 тысяч гектаров, из них под рис 435 тысяч гектаров, что позволит получить дополнительно 630 миллионов пудов (10,1 миллиона тонн) зерна, в том числе 100 миллионов пудов (1,6 миллионов тонн) риса. Краснодарцы и ростовчане говорят, что у них хорошие поймы рек, занятые плавнями. Давайте посчитаем экономичность освоения под рисовые поймы Кубани и Дона».

На Северном Кавказе рис культура не совсем новая, его пытались выращивать с 1920-х годов, но только там, где воды имелось в избытке, то есть точечно. Теперь с развитием ирригации выращивание экзотического для россиян риса обещало превратиться в доходную отрасль сельскохозпроизводства, быстро окупающую затраты на орошение. Отец убедился, рис — перспективная культура и со свойственной ему энергией, начал продвигать его на поля.

Осенью 1963 года, объезжая южнороссийские регионы, отец то и дело заводил разговор о выращивании риса, выслушивал мнение рисоводов — ученых-селекционеров и пока еще немногочисленных практиков. Вскоре он уже знал о рисе многое, помнил сорта, особенности агрокультуры.

Вот несколько цитат. «Что касается производства риса, то

наиболее дешевым оно, видимо, окажется на Кубани и в Донской пойме Ростовской области. Это освоенные районы, там имеются исследовательские институты, опытные станции, квалифицированные кадры», — отец делится своими прогнозами 16 сентября 1963 года в городе Волгограде на встрече со специалистами в области орошаемого земледелия.

Утром 26 сентября в Красноармейском совхозе Краснодарского края он, выслушав доклад директора совхоза Майстренко, замечает:

— Хозяйство у вас хорошее, а вот урожаи риса низки. Если с ваших 40 центнеров с гектара сбросить 30 процентов на шелуху, то чистого зерна получится 28 центнеров. В соревновании с пшеницей ваш рис себя экономически не оправдывает, а вот при урожае в 70 центнеров, что эквивалентно 49 центнеров крупы, получается совсем иная картина. Может ли рис дать такой урожай? Может! Что для этого нужно? Гербициды против сорняков. Иначе бороться с ними придется повышением уровня воды на заливных делянках — рисовых чеках, подтоплять их.

А это бич для урожая: убьем не только сорняк-просянку, но и рис пораним, урожай упадет. — Какой сорт риса у вас наиболее урожайный? — продолжает он расспрашивать Майстренко.

— Вот хорошие сорта риса: «Донской», «Кубань-3». Их можно рано сеять, и они дают дружные всходы. Сорт «424» требует больше тепла. В этом году мы посылали агронома в Узбекистан посмотреть сорта риса «269» и «275», — начинает отвечать Майстренко.

— Какой сорт наиболее урожайный? — перебивает его Хрущев.

— Хороший сорт «275», но у него длительный период вегетации, — мнется директор.

— Кто из ученых занимается селекцией риса на Кубани? — продолжает допытываться отец.

— В этом районе, на территории этого совхоза работает наша Кубанская рисовая опытная станция, — вступает в разговор ее директор Сметанин.

— Какие сорта возделываете? — теперь отец обращается к Сметанину.

— В основном собственные — «424», «213» и другие. В прошлом году продали 10 тонн семян риса «424» украинцам, и они остались довольны, — защищает репутацию своего риса Сметанин.

В тот же день, 26 сентября, на совещании работников сельского хозяйства Северного Кавказа, в Краснодаре, Хрущев подробно расспрашивает профессора Новочеркасского

инженерно-мелиоративного института Б. А. Шумакова о перспективах внедрения риса в регионе.

— В некоторых районах рис сажали после озимой пшеницы и собирали неплохой урожай, — не очень уверенно, запинаясь, отвечает Шумаков.

— Где это? — уточняет Хрущев.

— В Кизляре, в низовьях Терека, — Шумаков преодолевает сковывавшую его робость и начинает рассказывать: — В 1920-х годах впервые провели посевы риса от Волгограда до Сухуми и убедились, что его можно возделывать на всей этой территории. Была бы вода. В ближайшие годы можно довести посевы риса в Краснодарском крае до 140–150 тысяч гектаров, в Ростовской области — до 50 тысяч, в низовьях рек Терека и Сулака освоить еще 150 тысяч гектаров. Там не требуется сооружать водохранилища, и затраты на орошение окажутся меньшими, чем в других местах. В целом на Северном Кавказе площади под рисом могут достигнуть 300 тысяч гектаров.

— На плов риса хватит? — шутит отец.

— Хватит, — откликается уже вполне освоившийся Шумаков. — И баранина у нас найдется.

Отец доволен, перспективы намечаются хорошие, но пока «урожаи риса низки: в среднем по Российской Федерации — 28,6 центнера с гектара, в Узбекистане — 19,2 центнера, в Казахстане и того меньше — 15,7 центнера.

— Это, товарищи, факты и, к сожалению, печальные факты. Надо навести порядок в орошаемом земледелии, завести паспорт на каждый поливной участок, знать качество полей, определить какие и когда вносить удобрения.

В оставшийся ему год отец приложит все усилия, чтобы превратить рисоводство из китайского и вьетнамского в южнороссийское. Результатов он уже не увидит, но основу заложили при нем. С годами рисоводство превратится в доходную отрасль сельскохозяйственного производства, не только окупит затраты на ирригацию, но и позволит ограничить импорт из южных стран. Как все начиналось, сейчас уже никто не помнит. В отличие от кукурузы, рис не стал героем анекдотов и настолько прижился на российских чеках-делянках, что считается исконно своим.

Помидоры и суперфосфат вместо гранатометов и фосгена

Отец не успокаивается, 5 сентября пишет сразу две записки в Президиум ЦК. Одна записка о снабжении больших городов, в

первую очередь Москвы и Ленинграда, картофелем, луком и другими овощами, об организации с этой целью тепличного хозяйства.

Незадолго до того отец встретился со знаменитым во всем мире профессором-картофелеводом Александром Георгиевичем Лорхом, и скорее всего, именно этот разговор и побудил его написать в Президиум ЦК.

«Выделив почти миллиард рублей на финансирование специализированных пригородных совхозов, мы не находим незначительных средств на создание парникового хозяйства», — сетует отец на собственную бесхозяйственность.

Записка длинная, написана очень конкретно, профессионально, со множеством деталей.

Другая записка, снова о минеральных удобрениях — отец предлагает, пока мы как следует не развернули производство, сократить их экспорт: «неразумно продавать минеральные удобрения, а самим покупать зерно и продукты животноводства. Умные хозяева не жалеют денег на минеральные удобрения. Прибавка урожая с лихвой окупает все затраты на них».

По его прикидкам, в 1963 году производство минеральных удобрений увеличится до 20 миллионов тонн, а в 1964-м достигнет 24 миллионов тонн, и так далее, пока мы не догоним Америку по нормам внесения удобрений на единицу площади и по урожайности.

Отец не ограничивается записками, дело настолько важное, что он ставит вопрос о развитии химической промышленности как важнейшего условия подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа на обсуждение Пленума ЦК, собравшегося в Кремле 9 декабря 1963 года. Лейтмотив его доклада: удобрения, ирригация, специализация — залог будущего процветания.

В августе 1963 года он провозгласил конец эры пятиэтажек, в декабре 1963 года закончилась эпоха целинных земель. Отец закладывал фундамент будущего сельского хозяйства, в котором урожайность зерновых возрастет более чем в пять раз, с 11 до 60 центнеров с гектара, чему суждено состояться уже после него и без него.

Докладывая Пленуму ЦК 9 декабря 1963 года, отец своего будущего не знал, говорил об очередных проблемах и задачах, которые частично вызрели сами, а частично высветились сокрушительным неурожаем 1963 года.

«Химическая промышленность, — убеждал отец слушателей, — не только развернет сельское хозяйство в новом направлении, но и послужит источником прибыли, обеспечит

будущие капиталовложения в будущие стройки. По американским данным, прибыли химических компаний США значительно (нередко на 80 процентов) превышают среднюю прибыль в обрабатывающей промышленности. За 1957–1962 годы США вложили в химическую промышленность 2,2 миллиарда долларов, около 13 процентов от всех капиталовложений в промышленность. Англия и Германия тоже вкладывают по 10–12 процентов».

Мы спохватились только в 1958 году, но с тех пор уже кое-чего добились, «за истекшие с 1958 года пять лет вложили в химию 5,3 миллиарда рублей. Годовой прирост капиталовложений составил 27 процентов при среднем по народному хозяйству — 9,6 процента. В строй вступило 35 новых заводов и 250 крупных химических производств, выпуск химической продукции увеличился на 89 процентов», но этого мало, «сейчас ставится задача всемерно форсировать развитие химической промышленности и на этой основе ускорить химизацию ведущих отраслей народного хозяйства».

На Пленуме отец предложил сосредоточить усилия в точке прорыва, как они это делали в Сталинграде и на Курской дуге, для этого «заморозить на три года металлургию, отдать средства на химию и тем самым ускорить оборот капитала.

Химический завод в Курске (там он побывал весной) окупается за год». Без химии обречена на прозябание и легкая промышленность. Капрон, нейлон, синтетические ткани — это и модные платья, и колготки, и туфли. «А мы, вопреки решениям XXI съезда, продолжаем перевыполнять план в тяжелой промышленности и недовыполнять ее в легкой, — возмущается отец. — Мы не вкладываем средства в отрасли, которые нас обогащают!»

Но для того, чтобы легкая промышленность дала прибыль, надо построить и оснастить заводы химического волокна и другие производства, запустить в работу новые швейные и обувные фабрики. Отдачу они дадут года через четыре-пять, а для их строительства средства необходимы сейчас, немедленно.

Еще в июле отец сказал американскому министру сельского хозяйства Фримену, что финансирование программы развития агрохимической и легкой промышленности он предполагает «возложить на плечи военных». За истекшие месяцы он еще более уверился в правильности своего выбора и теперь официально потребовал вернуться к сокращению Вооруженных сил, предусмотренному решением сессии Верховного Совета в январе 1960 года. Его выполнение задержал сначала Берлинский кризис 1961 года, а затем Карибский кризис 1962-го. С того времени на

позиции стали десятки межконтинентальных ракет и теперь уже никто не решится на нас напасть. А раз так, то грех этим обстоятельством не воспользоваться, перераспределить ресурсы в пользу химии и производства товаров народного потребления, — таково краткое изложение сути высказываний Хрущева на заседании Президиума ЦК 10 ноября 1963 года, обсуждавшего «Сообщение председателя Госплана т. П. Ф. Ломако о проекте плана развития народного хозяйства СССР на 1964–1965 годы».

«Следует вернуться и к пребыванию наших войск в союзных странах, — продолжает рассуждать отец. — Зачем наши войска стоят в Польше? У них своя армия большая. А содержание их в Польше нам обходится в 18 миллионов рублей в год, в два раза дороже, чем в собственной стране. За эти средства можно построить три новых химических завода». Дополнительный источник накоплений отец видел и во всемерном расширении кооперативного строительства жилья всех видов, в том числе пансионатов.

В результате, вырисовывалась солидная сумма, по подсчетам Госплана свыше 42 миллиардов рублей. Из них на химизацию сельского хозяйства предназначалось 10,2 миллиарда. «Всего же в течение семи последующих лет на эти 42 миллиарда рублей мы построим 200 новых и реконструируем свыше 500 действующих предприятий, увеличим объем химической продукции в 3–3,3 раза», — докладывал Хрущев Пленуму 9 декабря 1963 года. — От снижения себестоимости продукции, от внедрения химических материалов только с 1964 по 1970 год при капиталовложениях в 42 миллиарда страна получит чистый доход в 57 миллиардов рублей, то есть прибыль составит 15 миллиардов рублей».

Отец по-бухгалтерски скрупулезно подсчитывает, куда сколько денег следует вложить и что в результате из этого мы получим. Ему казалось, что советские люди внимательно вчитываются в приводимые им, их всесоюзным «директором», цифры прихода и расхода, одобряют удачные вложения их общего капитала, предвкушают будущие дивиденды. Одним словом, сопереживают вместе с ним. На самом деле у читателей газет вся эта цифирь ничего, кроме раздражения, не вызывала.

«Времена переменились»

Последнюю в 1963 году, восьмую, записку «О работе производственных управлений» Хрущев отсылает в Президиум ЦК 2 ноября. Он никак и не определится с их местом в структуре сельскохозяйственного производства. Более всего отца раздражает некомпетентность людей, там работающих,

производственные управления так и не стали, как он надеялся, центрами внедрения достижений сельскохозяйственной науки в практику, и, не способные ни на что иное, они продолжают командовать всем и вся. Такое руководство не только не полезно, оно вредно, ибо «достаточно образованные руководители хозяйств не нуждаются в декларативных указаниях, а слабо подготовленным председателям колхозов и директорам совхозов общие директивы тем более не помогут».

«Времена переменились, — пишет отец, — когда-то мы посылали в колхозы рабочих, не имевших специального образования. Сейчас же тысячи людей получили высшее и среднее образование, а мы продолжаем продвигать неквалифицированных, “незапатентованных людей”, тогда как любая отрасль сельского хозяйства требует глубоких знаний.

Производственные управления, их инспекторы-организаторы должны заниматься анализом эффективности работы хозяйств. Стать рассадниками знаний, распространителями нового, — развивает свою мысль отец. — Им следует придать зональные исследовательские институты и агрохимические лаборатории, снабдить необходимым оборудованием, пока же, вкладывая миллиарды рублей в промышленность минеральных удобрений, мы не имеем даже приборов, оценивающих эффективность внесения удобрений в данное, конкретное поле. Тут нам может помочь немецкий опыт. Немцы занимаются агрохимией уже многие десятилетия.

Внедрение в производство достижений науки — это обязанность производственных управлений, а также Министерства сельского хозяйства, — подводит итог своим рассуждениям отец, — они должны отвечать за современный уровень ведения сельского хозяйства».

Суть записки сводится к необходимости предоставления большей свободы руководителям хозяйств. Следует снять с них оковы, и они сами отлично разберутся в своих делах, начнут работать «по Худенко» и не хуже Худенко. Все свидетельствовало о том, что внутренне отец почти созрел, но его сдерживает обрушившийся на страну неурожай. В кризисных условиях не до кардинальных реформ, и он решает подождать.

Ветер с востока… [84]

В 1963 году ссора с Мао Цзэдуном выплеснулась на страницы газет, отношения с Китаем пошли вразнос. Я уже писал, что дружба с Мао разладилась из-за Сталина.

Публичное разоблачение преступлений тирана, низвержение

его с пьедестала и, наконец, вынос тела из Мавзолея Мао Цзэдун справедливо посчитал опасным для собственной власти. Свою власть он решил удержать отмежеванием от политики Советского Союза.

Хрущева в Пекине обвиняли в ревизионизме, в пресмыкательстве перед Соединенными Штатами, а Мао Цзэдуна, в противовес ему, провозгласили единственным настоящим мировым революционным лидером. Естественно, Москве это не нравилось, но идти на открытую конфронтацию с Мао отец не хотел, считал, что разум возьмет верх, они уладят разногласия миром. Однако разногласия не улаживались, трения становились все жестче, но до поры до времени обе стороны воздерживались от публичной полемики. Я не собираюсь писать о перипетиях советско-китайских отношений, они бы увели нас далеко в сторону, не моя это тема. Однако и полностью проигнорировать их невозможно.

В 1958 году, отец попытался откровенно объясниться с Мао, специально для этого в разгар удушающего китайского лета полетел в Пекин. Откровенного разговора не получилось. Мао вел себя барственно-покровительственно, поучал собеседника не бояться американского «бумажного тигра», смело идти на конфронтацию, даже ядерную, ведь победа, в конечном счете, все равно достанется нам. Кому нам, Мао не уточнял. Одновременно Мао не мог удержаться от школярства, то назначал переговоры у бассейна, где демонстрировал плохо державшемуся на воде отцу свои плавательные способности, то вдруг приказал в отведенной отцу спальне убрать с окон сетку, пусть того ночью закусают комары. Отец на уговоры не поддавался, на комариные укусы не реагировал, войну с США объявил непростительным для государственного деятеля легкомыслием. Разъехались они ни с чем.

Тогда же, в 1958 году, Мао Цзэдун объявил о «Большом скачке», в результате которого в одну пятилетку КНР догонит Англию, обойдет Советский Союз, «утрет нос» Хрущеву. По всему Китаю развернулась изнурительная кампания строительства «домашних» доменных печей. В них расплавляли сковородки, утюги, ножи с вилками и другую домашнюю металлическую утварь, получая на выходе ни на что не пригодные комки металла. Одновременно на селе началась организация «народных коммун». Отец относился к начинаниям Мао скептически, но последний неожиданно обрел в Советском Союзе не только критиков в лице отца и иже с ним. Нашлись у нас, в том числе и в ЦК, «революционеры», сочувствовавшие «реформации» по-китайски. Даже когда в 1960 году начинания Мао закончились

оглушительным фиаско, а «Большой скачок» отозвался голодом, унесшим жизни более чем 20 миллионов китайцев, кое-кто в советском руководстве продолжал считать, что если бы мы не дистанцировались, отнеслись к Мао по-братски, то все пошло бы иначе. Ответственность за разлад в дружбе с Китаем они не вслух, про себя, возлагали на Хрущева. В самых высших эшелонах власти такие взгляды разделяли Шелепин и, как ни странно для меня, Косыгин.

В начале лета 1963 года стороны договорились встретиться и прояснить отношения, сам Мао ехать в Москву не захотел, пообещал прислать представительную делегацию. Пообещал и тут же опубликовал в Пекине письмо советскому руководству с обвинением его в капитуляции перед империализмом, чрезмерной увлеченности борьбой за мир в ущерб революции и еще многих других «смертных» грехах.

Прикрытая до того «фиговым листом» полемика стала публичной, переговоры потеряли смысл, но отец проявил выдержку, промолчал, ограничился сообщением членам Пленума ЦК, открывшегося в Москве 18 июня 1963 года. Более того, не желая обострений отношений с Пекином, он сам на Пленуме о Китае не выступал, перепоручил это дело Суслову.

Но сдержанность не устраивала жаждавшего скандала Мао, китайские дипломаты получили распоряжение разбрасывать листовки с текстом письма по улицам Москвы. Китайские проводники поезда Пекин — Москва не только в обязательном порядке раздавали такие листовки пассажирам, но и пускали их по ветру из окон мчащегося по сибирским перегонам состава. В ответ советское руководство выслало из Москвы целую группу наиболее активных китайских дипломатов-пропагандистов.

В свою очередь китайцы 1 июля опубликовали протест, но не против высылки дипломатов, они требовали публикации их письма в Москве.

Что и говорить, обстановка для переговоров складывалась малообещающая, но подготовка к ним продолжалась, наметили дату встречи. 5 июля 1963 года из Пекина в Москву прибывала делегация во главе с Генеральным секретарем компартии Китая Дэн Сяопином. Формально по своему рангу он соответствовал положению Хрущева.

Но отец уже не ожидал от встречи ничего хорошего, перепоручил переговоры Суслову и вообще решил игнорировать китайцев. Чтобы не встречать Дэн Сяопина на вокзале, как это тогда полагалось по протоколу, он 4 июля уехал в Киев. Там он принял министра иностранных дел Бельгии Поля Анри Спаака, а уже 10 июля на московском вокзале пожимал руки членам

венгерской делегации во главе с Яношем Кадаром.

На переговорах с Сусловым Дэн Сяопин вел себя неприступно-вызывающе. Не знаю, что он, будущий великий китайский реформатор, в те дни думал о Мао, но линию его проводил неукоснительно. Надежда на взаимное понимание окончательно угасла, и Хрущев решил больше не тянуть с ответом.

14 июля 1963 года московские газеты опубликовали «Открытое письмо ЦК КПСС к ЦК КПК и обращение к трудящимся СССР» с «открытой» же критикой политики еще вчера братской КНР, «Большого скачка», сельскохозяйственных коммун и других новаций Мао. Далее следовал полный текст китайского письма от 14 июня.

После обмена «любезностями» в печати «секретность» утратила всякий смысл, но стороны решили соблюсти приличия, переговоры завершились 20 июля официальным приемом в честь китайской делегации, на который пришел и отец. В тот же день Суслов провожал Дэн Сяопина и его товарищей на Казанском вокзале.

24 июля отец проинформировал о произошедшем собравшихся в Кремле руководителей стран — членов СЭВ.

Оптимист по натуре, отец считал, что раньше или позже отношения с китайцами наладятся. Наши страны «обречены» на добрососедство, но произойдет это уже «после» Мао Цзэдуна, а возможно, и после него самого. С ним соглашались далеко не все, а Косыгин и Шелепин вообще не сомневались, что без Хрущева все с Китаем само собой утрясется.

В октябре 1964 года Хрущева убрали. Косыгин возглавил советское правительство, но отношения с Мао лучше не стали. Когда, уже в новом качестве, в феврале 1965 года Алексей Николаевич поехал с визитом во Вьетнам, он попытался договориться о краткой остановке в Пекине для дозаправки и о как бы случайной встрече с Мао. Есть такая практика в дипломатии. Пекин на его просьбу не отреагировал. Наконец китайцы уведомили, что они согласны на дозаправку его самолета, но Мао Цзэдун с Косыгиным не встретился, вместо него в пекинский аэропорт приехал Чжоу Эньлай.

Косыгин «проглотил» это унижение, но оно оказалось не последним. В процессе разговора, в котором, как показалось Алексею Николаевичу, наметились некоторые положительные сдвиги, Чжоу намекнул ему на встречу с Мао во время остановки по пути домой из Ханоя. Косыгин обрадовался, но, как выяснилось, слишком рано. Китайцы вдруг замолчали, и из Ханоя в Москву ему пришлось лететь с остановкой не в Пекине, а в

Ташкенте. И только там, уже на советской территории «вдруг» пришло согласие на пролет через Китай. Несмотря на повторное унижение, Косыгин полетел из Ташкента на «дозаправку» в Пекин. Там наконец состоялась долгожданная встреча с Мао Цзэдуном. Но какая встреча! Мао выговорил гостю, как проштрафившемуся школяру, и отправил домой несолоно хлебавши.[85] Отношения между двумя странами наладились только после Мао Цзэдуна.

Джон Гэлбрейт[86]

В результате Карибского кризиса отношения между двумя лидерами, отцом и президентом Кеннеди, не только не ухудшились, они стали доверительными, естественно до определенной степени, настолько, насколько можно доверять сопернику. Оба лидера отчетливо осознали свою взаимную и неразрывную ответственность за наше общее «земное» будущее. Отец тогда не раз повторял, что они с Кеннеди защищают национальные интересы своих стран, но они осознают общую ответственность за судьбы мира и полны решимости не допустить взаимоуничтожительной войны. Шаг за шагом Белый дом и Кремль нащупывали пути совместного решения проблемы мирного сосуществования, старались лучше понять друг друга и даже в чем-то помочь другой стороне, естественно, не в ущерб себе.

В 1963 году многое происходило в мире: Кремль и Белый дом договорились установить прямую линию связи, не зависящую от международной телеграфной компании «Вестерн Юнион», вернее, арендовали в ее трансокеанском кабеле пару проводов. Советский Союз, без скандала и протестов со стороны США, подписал давно обещанный мирный договор с ГДР, и наконец 5 августа 1963 года главы дипломатических ведомств трех стран СССР, США и Великобритании: Андрей Громыко, Дин Раск и Лорд Дуглас Хьюм заключили в Москве соглашение о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, под водой и в космосе. После подписания отец пригласил всех участников переговоров в Пицунду, чтобы там без помех обсудить проблемы, требующие взаимного решения.

Примерно в то же время, в середине 1963 года, естественно, не забывая о собственной выгоде, Джон Кеннеди решил дипломатично, исподволь преподать отцу пару советов в реформировании советских хозяйственных отношений. То, что Хрущев готовится к новому этапу экономической реформы, еще более глубокой децентрализации советской экономики,

упрощению отношений производителей и государства в Белом доме догадались еще в прошлом, 1962 году. Аналитики разведок обеих стран внимательно читают газеты, в Вашингтоне — советские, а в Москве — американские. Умные люди в Вашингтоне понимали, что ни Либерман с Лисичкиным, ни Белкин с Бирманом не могут начать дискуссию в «Правде» без поддержки и одобрения самого Хрущева. Но тут грянул Карибский кризис, и американскому президенту стало не до хрущевских экономических новаций. Теперь, когда все более-менее утряслось, Кеннеди пришло в голову отправить в Москву послом человека умного, выдержанного и знающего — такого, который сможет присоветовать отцу что-то, с точки зрения Белого дома, полезное. Не один Кеннеди, но и лидеры других стран знали: отец благоволит к разумным и просто умным послам. Охотно идет на сближение, подолгу беседует на всевозможные темы. Приглашает их к себе на дачу, на настоящую дачу Горки-9, а не в ничье Ново-Огарево, предназначенное для официальных приемов иностранцев. Особо теплые отношения, у отца установились с Велько Мичуновичем, послом Югославии и американским — Лоулином Томпсоном.

Кеннеди остановил свой выбор на Гарвардском профессоре-экономисте Джоне Гэлбрейте, авторе теории современного индустриального общества, в котором происходило, по его мнению, сближение двух противоборствующих социальных систем, на фоне экономического прогресса и социализации общества сглаживались политические и идеологические противоречия. В результате капитализм и социализм найдут общий язык, совместно синтезируют новое общество всеобщего процветания. Эту теорию назвали конвергенцией, от латинского слова «convergo» — схождение. Термин, ранее использовавшийся в биологии для обозначения «возникающего в процессе эволюции, вследствие единства обитания в близких внешних условиях и одинаковости направления естественного отбора, сходства в строении и функциях у относительно далеких по происхождению групп организмов». Кеннеди, друживший с Гэлбрейтами, знал об умозаключениях ученого из первоисточника и наверное поэтому летом 1963 года пригласил Гэлбрейта в Белый дом и предложил ему поехать в Москву представлять Соединенные Штаты. И не просто представлять их, а попытаться донести до Хрущева последние веяния мировой экономической мысли. На что рассчитывал американский президент? Естественно, он не предполагал склонить отца к капитализму, но и господствовавшие в те годы на Западе экономические теории отводили государству существенную роль, если не в прямом

управлении, то в воздействии на пути развития народного хозяйства, а тут еще и конвергенция. Так что почва для взаимопонимания имелась, а взаимопонимание в мировых делах — вещь редкая, и оттого — особо ценная.

Предложение Кеннеди повергло Гэлбрейта в ужас: вот так, за здорово живешь, бросить успешную академическую карьеру, променять ее на Госдепартамент, да еще отправиться в Москву учить Хрущева рыночной экономике. Хрущева, который само слово это почитает за бранное. С другой стороны, президенту страны не откажешь, и не просто президенту, а старому доброму знакомому. Гэлбрейт все же произнес: «Нет». Кеннеди его долго уговаривал, объяснял, что Советский Союз на распутье и оттого, куда сдвинется экономика российского гиганта, в сторону большей децентрализации и свободы принятия управленческих решений или развернется назад к жесткой командной вертикали, зависит не только судьба СССР, но и будущее его соседей-союзников и соседей-соперников. Естественно, президента, в первую очередь, интересовало благосостояние его собственной страны, США, но в современном мире все так взаимосвязано.

«Рассказ из первых уст о том, как устроена современная мировая экономика, о ее достижениях и потенции наверняка заставит Хрущева задуматься, — убеждал Гэлбрейта Кеннеди. — Не зря он в своих выступлениях ссылается на опыт капиталистической Америки даже чаще, чем на труды Ленина. Кроме вас, Гэлбрейт, такая миссия в США никому не под силу».

Кеннеди попал в точку, отец не только ссылался на опыт капиталистов, но и, где считал полезным, заимствовал их достижения. Другими словами, интуитивно-эмпирически реализовал в своей социалистической практике идеи конвергенции, проповедывавшиеся гарвардским профессором. Не имеет смысла гадать, но Хрущев и Гэлбрейт имели все возможности найти точки взаимопонимания. Если бы, конечно, встретились, но…

О том давнем разговоре с Кеннеди мне рассказал в середине 1990-х годов сам Гэлбрейт. Несмотря на свои девяносто лет, он продолжал преподавать в Гарвардском университете в Бостоне.

— На меня слова президента произвели впечатление, — признавался Гэлбрейт. — Я заколебался.

Гэлбрейт дрогнул, но не сдался. Они договорились встретиться еще раз, но не встретились. 22 ноября 1963 года Кеннеди убили, через год отрешили от власти Хрущева. Новый президент США Линдон Джонсон о существовании гарвардского профессора экономики, скорее всего, и не подозревал, а уж советовать советским руководителям, как им лучше обустроить

свои дела и вовсе не собирался. В свою очередь преемники отца — Брежнев и даже Косыгин в советах западных профессоров-экономистов, тем более американских, не нуждались, иностранных послов к себе на дачи не приглашали и задушевных бесед с ними не вели.

Перекроить Советский Союз на американский лад Хрущев, конечно бы, Гэлбрейту не позволил, он до последнего отстаивал государственные интересы своей страны, порой перебарщивал, но никогда не отступал ни на йоту ни перед Западом, ни перед Востоком. А вот заронить в голову отца свежие идеи Гэлбрейт мог бы. Идеи, которые в интерпретации и переложении отца послужили бы на благо экономики Советского Союза, на благо всех нас. Но не случилось, не суждено. Сохранились только полные сожалений воспоминания несостоявшегося посла США в СССР Джона Кеннета Гэлбрейта.

«То же самое, только в другой цвет выкрашено»

20 августа 1963 года отец отправляется в двухнедельный отпуск в Югославию. В отпуск он едет, как обычно, со всей семьей. Тито предложил отцу расположиться на острове Бриони, по соседству с его собственной резиденцией. Так можно комфортно отдохнуть и о многом поговорить.

Но отпуск отца только назывался отпуском. Главная его цель — самому пощупать югославский социализм, понять, чем их экономика отличается от нашей, и если отличается в лучшую сторону, то все хорошее перенять. Возможно, в Югославии знают ответ на вопросы, которые он задает себе все последние годы.

Поблагодарив хозяев за приглашение на остров Бриони, отец попросил Тито устроить ему поездку по стране, с заездом на промышленные предприятия и в сельские кооперативы. Тито с готовностью согласился, он гордился своей страной, не упускал случая похвастаться относительно зажиточной жизнью югославов. Ему льстило, что Хрущев после многолетних споров и взаимных претензий наконец-то решил у них поучиться.

Расписание и маршрут поездок согласовали быстро. Отпуск получался насыщенным — посещение шахт, заводов, кооперативов. От себя Тито добавил еще визиты в столицы всех союзных республик, иначе там кто-то может на него обидеться. В результате на пляжи времени почти не осталось.

Набираться югославского опыта отец решил не один, пригласил к себе в компанию секретарей наиболее авторитетных обкомов, Московского и Ленинградского Николая Егорычева и Василия Толстикова и секретаря ЦК, ответственного за

социалистические страны, Юрия Андропова. Позвал он их с дальним прицелом. В Москве к югославам многие продолжали относиться с подозрением. Если по возвращении домой речь зайдет о применении югославского опыта, отец предпочитал сражаться с оппонентами не в одиночестве. И вообще, в таком «скользком» деле хорошо иметь при себе свидетелей.

В Белграде отца встречал почетный караул, в ответ он произнес несколько приветственных слов, затем прошла церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата. В выступлениях Хрущева иностранные агентства особо отметили его слова о том, что «Советский Союз готов сделать шаг к дальнейшей демократизации своего общества». Отец имел в виду проект новой Конституции, работа над которой вступила в завершающую фазу.

Вкратце опишу, как «отдыхал» отец.

21 августа, на следующий день по прилете, отец, и мы все вместе с ним, едем на тракторостроительный завод в пригороде Белграда Раковице. Там он долго разговаривает с директором, председателем Рабочего совета и заводчанами.

22 августа отец в столице Македонии Скопье, ее недавно разрушило сильное землетрясение, город лежит в развалинах. Разбирать их помогают советские саперы. Они прибыли в Скопье из Венгрии.

23 августа отец перелетает в Цетинье — столицу Черногории, это, как и в Македонии — дань вежливости.

24 августа он весь день проводит у кораблестроителей в Сплите (Далмация), а вечером переправляется катером из соседнего Дубровника на остров Бриони. Здесь мы проводим четыре дня, отец — в разговорах с Тито, а все остальные блаженствуют на пляже, плещутся в непривычно соленом Средиземном море. Купание прерывается экскурсией на президентской яхте вдоль Истрийского побережья с посещением древнеримского амфитеатра и курорта «Золотые скалы».

29 августа мы перемещаемся с Бриони в Словению, в горную резиденцию Тито. Там прогулки и разговоры сопровождаются «рыбалкой» на озере, кишащем не кормленной последние четыре дня форелью. Мы с восторгом вытягиваем из воды одну за другой рыбины — только успевай забрасывать. Даже отец, поддавшись общему азарту, в первый и, наверное, последний раз в жизни берет в руки спиннинг. Отец рыбалку не жаловал, человек по своей природе активный, он чувствовал себя неуютно в неподконтрольном ему ожидании: клюнет рыба, не клюнет рыба. Другое дело охота, или поход за грибами, или просто прогулка, где ты, а не рыба решаешь, что делать.

30 августа отец в Словенском городе Велене посещает агрокомбинат «Любляна», затем свиноводческую ферму, а оттуда переезжает на лигниновую шахту.[87]

После осмотра комбината гости и хозяева собираются за столом в шахтоуправлении, начинается разговор, расспросы, порой перерастающие в споры.

31 августа отец переезжает на угольные копи, при встрече ему вручают шахтерскую шапку и фонарик. Затем он осматривает шахту и снова разговоры, разговоры, разговоры.

1 сентября мы уже в Загребе, в Хорватии, сначала в Рабочем университете, а потом на комбинате органической химии.

2 сентября отец возвращается в Белград, посещает там промышленную выставку на берегу реки Саввы, вечером — прощальный прием и на следующий день мы уже дома, в Москве.

Вся эта сверхнасыщенная программа дополнялась почти не прекращавшимися разговорами. Не переговорами, а именно разговорами с Тито, его заместителями Александром Ранковичем и Эдвардом Карделем, главой профсоюзов Светозаром Вукмановичем-Темпо, министром иностранных дел Коча Поповичем и другими. Отец их всех по отдельности расспрашивал о принципах и особенностях управления экономикой, они же в один голос нахваливали свою модель. Я, желая помочь отцу, при любом удобном случае, в основном на прогулках, когда мы с помощником югославского президента генералом Цернобрней оказывались рядом, следуя в отдалении за ставшей почти неразлучной парой — отцом и Тито, беседующими без переводчиков и свидетелей, выведывал у него югославские «секреты», которыми он охотно делился, а потом вечером пересказывал свои «открытия» отцу.

«Отдыхом» отец остался доволен, одной загадкой стало меньше. Правда, желаемого ответа на вопрос, что же нам делать в собственной стране, он в Югославии не отыскал.

— Рабочие советы на предприятиях — инстанция совещательная, — делится он своими впечатлениями о поездке на заседании Президиума ЦК. — Практика похожа на нашу, но много бутафории. Отношение народа к нам хорошее.

— То же самое, что и у нас, только в другой цвет выкрашено, — отвечает он на мой вопрос во время вечерней прогулки.

Да, Рабочие советы, которые так распропагандировал в своих статьях молодой экономист Геннадий Лисичкин и ради которых отец и поехал в Югославию, его разочаровали. Больше он к ним не вернется, как и не станет прислушиваться к предложениям Лисичкина. Свои проблемы ему придется решать самому.

Туристы и ключ от границы

Рабочие советы на югославских предприятиях не оправдали ожиданий отца, а вот обилие западных туристов на пляжах Истрии, особенно немцев, отца просто потрясло. Тито объяснял просто: с границы они «замок» сняли, въезд-выезд упростили до простой формальности — вот и все хитрости.

— А шпионов вы не боитесь? — поинтересовался отец. Сталинская шпиономания твердо обосновалась в нашем сознании.

— Боимся, конечно, но шпионов мало, мы их ловим, а валюты туристы везут много, — улыбнулся Тито. — В результате страна остается в выигрыше.

Отец начал выспрашивать у Тито подробности. То, что Тито рассказал отцу, в наши «советские ворота» не лезло ни с какой стороны. Своих граждан они взаперти не держали: кто хотел, ехал на заработки в Германию, поработает там несколько лет, купит машину, накопит на дом и возвращается. Стране снова выгода, на немецкие марки они строят себе дома в Югославии, вкладывают деньги в югославскую экономику.

— И не бегут? — удивился отец.

— Кое-кто остается за границей навсегда, но мало, — ответил Тито. — Никто их там с распростертыми объятьями не ждет. Большинство возвращается, а о тех, кто не вернулся, мы не жалеем. К тому же, и они шлют деньги своим родным в Югославию, продолжают работать на нас.

Невиданная свобода передвижения произвела на отца огромное впечатление. Вот как случается: ехал за одним, а обрел совсем другое. Отец всерьез вознамерился внедрить югославский опыт в нашей стране, открыть границы, пусть кто хочет приезжает, кто хочет уезжает. Если такой режим приносит Югославии миллионы, то он окажется во сто крат более выгоден для нас. В Советском Союзе туристских красот побольше, чем в Югославии. И советские люди заслуживают доверия не меньше, чем югославы. Почему же мы держим их взаперти?

Собственно, подобные вопросы возникали у отца и раньше, но все притерпелись к существующей закрытости страны, казалось, так и надо. Поездка в Югославию вдруг высветила, что надо-то совсем не так. Отец решил действовать.

Много туристов — 700 тысяч иностранцев в год. Изучить опыт туризма (слово «туризм» подчеркнуто) в Югославии. Послать туда наших пограничников изучить пограничный режим. Через несколько лет, возможно, и нам можно будет открыть границу для свободного выезда из страны, — намечает программу

действий на ближайшее будущее отец. Члены Президиума его поддерживают.

Но времени у отца уже не оставалось. До конца своего срока он открыть границу не успел, но хотя бы приоткрыл ее. В 1964 году по СССР путешествовало 1 миллион 33 тысячи иностранцев, кто организованно, а кто и сам по себе. Не так много по сравнению с Италией, Францией, Германией и даже Югославией, но, если вспомнить, что в 1955 году нашу страну посетило 92,5 тысячи человек, главным образом из социалистических стран, то прогресс весьма заметный. Правда, если считать только западных визитеров, то цифры окажутся иными: в 1953 году СССР принял всего 43 иностранца, в 1956-м — около двух тысяч, в 1964-м — несколько больше — 20 тысяч. Но и тут тенденция роста налицо.

Преемники отца, в сентябре 1963 года дружно проголосовавшие «за», в октябре 1964-го так же единодушно сочтут его намерения облегчить пограничный режим «волюнтаризмом». Границы откроются только в 1990-х годах.

Осудить или наградить?

21 августа 1963 годы в Ленинграде на Неву приземлился, вернее приводнился, пассажирский Ту-124, совершавший рейс из Таллина в Москву. На взлете, уже почти оторвавшись от полосы, самолет, видимо, задел передней стойкой шасси неизвестно откуда взявшийся камень. Самолет взлетел, но сесть нормально не мог. В таких случаях начинают летать, по кругу вырабатывать лишний керосин, опасный в случае аварийной посадки. И надо же такому случиться, что в аварийном самолете оказался неисправный топливомер. Он показывал 2,5 тонны горючего, когда в баках его уже почти не оставалось. Двигатели заглохли, самолет начал снижаться на оказавшийся под ним Ленинград.

С топливомерами такое случается. Через десятилетие, в середине 1970-х годов, по той же причине остался без горючего на своем вертолете американский пилот Гарри Пауэрс. 1 мая 1960 года он без царапин выбрался из своего У-2, сбитого советской ракетой над Челябинском, а тут погиб из-за ошибки топливомера во время рутинного полета над Лос-Анджелесом.

Пилотам Ту-124 повезло больше, вернее, они оказались лучше подготовленными, сделали нужный маневр, выбрали свободное пространство, в Ленинграде — это, естественно, Нева, и стали снижаться, а по сути, падать в скольжении. В Неву самолет плюхнулся сразу за Литейным мостом, чуть не наткнулся на буксир, волочивший за собой плот. Первый пилот, Виктор Мостовой, потянул ручку управления на себя, и не потерявший

еще скорости самолет перепрыгнул через плот и опустился на воду. Он остановился, не доскользив пары десятков метров до бетонной опоры следующего моста. Капитан буксира, через который прыгнул Мостовой, отцепил плот, бросил трос в разбитое при маневрировании штурманское окно Ту-124 и причалил самолет к краю плота. Пассажиры вылезли на плот. Люди спаслись, а самолет затонул у самой кромки набережной.

Эффектное приземление самолета на Неву заснял оказавшийся там по совсем другому делу оператор Ленинградской киностудии Николай Виноградарский. Он снимал сюжет о строительстве железнодорожного моста, когда ему в видеоискатель попал глиссирующий и прыгающий по Неве Ту-124. Так эта фантастическая история получила визуальное подтверждение.

Происшествие закончилось счастливо для всех, кроме Мостового. Аэрофлот занялся «разбором полета», вину свалили на пилота. Но история получила резонанс. Узнав о такой вопиющей несправедливости, спасенные пассажиры в конце лета следующего, 1964 года, — дело тянулось достаточно долго, — написали письмо Хрущеву. Тот вызвал «на ковер» начальника Гражданского воздушного флота[88] маршала Евгения Логинова, и они «хорошо» поговорили. В результате экипаж самолета решили не наказывать, а наградить, Мостового представили к ордену Боевого Красного Знамени.

Но Мостовому не повезло, в октябре отца отправили на пенсию, и в Министерстве гражданской авиации «волюнтаристское» решение о награждении экипажа самолета Ту-124 «за проявленное геройство и находчивость» положили под сукно. Слава богу, что разбирательства их «дела» не возобновляли. Экипаж продолжал летать.

Происшествие с Ту-124 не единично. Не только в авиации, но и в армии, и на флоте за всякое упущение, не говоря уже об аварии, строго спрашивают с командира, не очень разбираясь, мог он повлиять на ход событий или нет. В этом есть своя суровая логика: на то он и поставлен, чтобы не допускать нештатных ситуаций.

4 июля 1961 года на первой советской атомной ракетной подводной лодке К-19 проекта 658 через девятнадцать месяцев после вступления в строй из-за постоянной вибрации растрескалась сварка труб контура охлаждения реактора, потекла радиоактивная вода. Реактору грозил перегрев, а в худшем случае он мог вообще развалиться на куски. Командир послал в зону смертельной радиации сварщиков. Аварию ликвидировали, но четырнадцать человек погибло. Командира решили судить за

аварию и за гибель членов экипажа. Как рассказывали мне моряки, дело и тут дошло до Хрущева.

Говорят, что, узнав о судебном разбирательстве, он возмутился, строго выговорил адмиралу Горшкову. В результате дело об аварии на К-19 переквалифицировали из преступления в подвиг, командира секретным указом наградили орденом Боевого Красного Знамени, ордена меньшего достоинства дали другим офицерам, матросы получили медали. Но все это исключения из правил — следствие вмешательства штатских, в данном случае отца, в дела военные.

Аварии на флоте происходили и после его отставки. Их ликвидировали, как могли, часто при этом гибли люди. Но подвигом это не объявляли и никого больше не награждали. Командиров предупреждали о неполном служебном соответствии, а то и просто изгоняли из флота. Так проще и понятнее: меры приняты, вопрос закрыт… До следующей аварии.

День за днем

24 июля 1963 года отец проводит в Москве совещание первых секретарей правящих партий стран Совета экономической взаимопомощи и Варшавского договора. Речь идет не столько об отношениях с Китаем, но главным образом о кооперации и специализации, экономическом взаимодействии. По мысли отца, экономика наших стран должна интегрироваться, со временем превратиться в единую наднациональную экономику, в которой каждая из стран найдет свое место. Еще раз договорились подумать, подготовить необходимые документы и затем принять решение. Примут его уже без отца.

20 августа 1963 года «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что жизнь в Москве этим летом, несмотря на неурожай, стала лучше. В магазинах больше товаров, да и дышится легче, «особенно интеллигенции», — подчеркивает ее корреспондент.

22 августа 1963 года на Спасской башне после реставрации снова зазвучали Кремлевские куранты.

По возвращении из Югославии, 5 сентября 1963 года, отец едет в Сокольники открывать Болгарскую выставку.

11 сентября отец посещает НИИ сельскохозяйственного машиностроения Нечерноземья.

14 сентября 1963 года газеты сообщили о строительстве в Белоруссии, в Гродно, азотно-тукового завода химических удобрений.

16 сентября отец улетает в Волгоград. В прошлом году он сократил поездки в регионы до минимума, но в Москве ему не сидится, не хватает информации — лучше один раз увидеть, чем перечитывать горы порой весьма сомнительных бумаг. Он объезжает поля, на организованных и импровизированных встречах говорит об удобрениях, об ирригации, о дешевом (в будущем) кубанском и донском рисе, о дождевальных машинах, которые на его памяти испытывают уже тридцать лет и никак не испытают.

На следующее утро отец осматривает Волжскую ГЭС. Оттуда едет на строительство завода синтетического каучука.

18 сентября отец в Астрахани. Там обсуждают возможность строительства целлюлозно-бумажного комбината, использующего в качестве сырья не древесину с тряпками, а местный камыш. Обсуждают с 1961 года, одни специалисты за, другие — категорически против. А комбинат уже начали строить. Отец предлагает, пока спорят о целлюлозе из камыша, начать производить на нем бумагу из древесины быстрорастущих тополей, так поступают в безлесной Италии… «Тополю требуется много воды и тепла, а всего этого в дельте Волги в избытке, а там и о камыше наконец-то договорятся», — подводит он итог обсуждению.

Затем переходят к перспективам запланированного уже строительства Нижневолжской ГЭС мощностью 2,5 миллиона киловатт. Энергетики настаивают, но и возражающих немало. Чтобы сохранить от затопления земли Волго-Ахтубинской поймы, придется насыпать вдоль берега 400-километровую дамбу, работа стоимостью почти в миллиард рублей.

— А не лучше ли этот миллиард вложить в освоение 600 тысяч гектаров поливных земель Нижнего Поволжья, пустить на орошение 2 миллионов гектаров в другом месте, не требующем столь грандиозных земляных работ, — сомневается отец. — Нам надо найти разумное решение, и не только по этому вопросу. Мы собираемся развернуть на базе волжских электростанций энергоемкое алюминиевое производство. А не выгоднее

ли экономически перенести в восточные районы, на Ангару и Енисей?

Договорились горячку не пороть, еще раз вернуться ко всему кругу проблем. В результате Нижневолжскую ГЭС строить так и не начали. Алюминиевые заводы соорудили уже после отца, но в Братске и под Красноярском.

После совещания отец исчезает из поля зрения. Сентябрь — разгар охотничьего сезона на водоплавающую птицу, и отец, страстный охотник, не может отказать себе в таком удовольствии.

25 сентября 1963 года он, в сопровождении главы правительства РСФСР Геннадия Ивановича Воронова, появляется в Краснодаре. На слуху те же темы: удобрения и ирригация.

«Под одно только зерно нужно 40 миллионов тонн удобрений, на их производство уйдет 1,7 миллиарда рублей, — говорит отец в одном из выступлений. — У плановиков руки дрожат при мысли, что на сельскохозяйственную химию придется выделить такие огромные средства». Плановиков отец обещал уломать.

Из Краснодара отец перебирается на Кубань и затем на юг Украины, в Новую Каховку. В этом году она, как и вся округа, пострадала от засухи, с весны не выпало ни капли дождя. Тема разговоров все та же: удобрения, ирригация, хозрасчет. Перед принятием дорогостоящего решения отец собирает людей сведущих и в ирригации, и в растениеводстве. Отец сам не выступает, зато задает множество вопросов.

Рекогносцировку, объезд территорий, где вскоре предстоит проложить каналы, начать обводнение полей, отец завершает 30 сентября 1963 года в Херсоне. В тот день на юге Украины выпадает первый за все лето и осень дождь. Присутствующие говорят — к добру.

Отец удовлетворен. Из Херсона он уезжает в Крым, в Ливадию, немного отдохнуть, туда 14 октября приглашает украинское руководство, снова ученых-мелиораторов, они подробно обсуждают планы орошения Крыма и Причерноморья.

17 октября 1963 года отец едет на открытие первой очереди Северокрымского канала, Каховка — Перекоп. Поездка в Перекоп — не столько работа, сколько праздник, в 1963 году ему ох как не хватает положительных эмоций. И он их получает сполна. И

погода наконец-то радует. Весь Крым и юг Украины обложили затяжные дожди, озимые напились — вволю. Но до урожая 1964 года еще далеко…

Намеченному на декабрь Пленуму ЦК еще только предстоит принять программу производства удобрений, но газетчики уже наперебой сообщают о строительстве самого большого в Европе фосфоритного завода в Кингисеппе, в Эстонии, азотно-тукового завода в Кемерове, о «большой химии» Грузии, о гигантском Березниковском химическом комбинате.

3 ноября 1963 года в Доме приемов на Ленинских горах — свадьба космонавтов Валентины Терешковой и Андриана Николаева. По случаю бракосочетания главный конструктор Сергей Павлович Королев пригласил на торжество Никиту Сергеевича. В результате решили свадьбу устроить на государственном уровне, а расходы отнести на счет казны. Я тоже затесался в число приглашенных.

Молодые в окружении практически им незнакомых «протокольных» гостей чувствовали себя скованными. Гости же веселились от души. Климент Ворошилов соревновался с отцом в провозглашении тостов. Валентина и Андриан смущенно улыбались в ответ. Наконец именитые гости угомонились и отпустили виновников торжества догуливать, точнее по-настоящему праздновать свадьбу, в Звездный городок. На следующий день «Правда» на первой странице поместила фотографию новобрачных. По истечении года у «космической» пары родился «космический» младенец. Через несколько лет они разошлись.

6 ноября 1963 года отец принимает в Кремле американских бизнесменов, руководителей двадцати компаний, очень крупных, просто крупных и некрупных. Как сказали бы сейчас, эта встреча — свидетельство роста инвестиционной привлекательности Советского Союза.

12 ноября 1963 года отец в Киеве, но не в самом городе, а на даче над Днепром в Валках готовится к докладу на декабрьском Пленуме ЦК. Он не знает, что этим докладом в предпоследний год своего пребывания у власти он не только намечает планы на будущее, но и подводит итоги своей политической карьеры. И хорошо, что не знает. Напомню, что Пленум откроется 9 декабря 1963 года, но все, что хотел, я о нем уже написал.

Конечно, полностью изолироваться от Москвы, от внешнего мира не удается, почта из Москвы поступает регулярно, но посетителей он почти не принимает. Делает исключение только для Абдуллы Насутиона, министра обороны Индонезии, второго по значимости человека в своей стране, и министра иностранных дел Дании Пера Хеккерупа. Данию он собирался вскоре посетить с официальным визитом.

20 ноября вечером отец отбывает поездом в Москву.

Вечером 22 ноября ему позвонил министр иностранных дел Громыко и сообщил о трагедии в США: убит президент Джон Кеннеди. На следующий день отец едет в Американское посольство выразить соболезнование.

18 декабря отец посещает на ВДНХ экспозицию нетканых материалов, наших и зарубежных. Он читал о новой многообещающей технологии, а теперь получил возможность увидеть своими глазами. Посмотрел, одобрил.

18 декабря 1963 года африканские студенты подрались на Красной площади со своими российскими «друзьями». Один ганец — убит.

А вот приятная новость. В тот же день, 18 декабря нефтепровод «Дружба» дотянули до немецкого города Шведт, а в Таджикистане проложили 120-километровый газопровод из Кзыл-Кумшук в столицу республики Душанбе.

Днем 28 декабря 1963 года отец снова едет на ВДНХ, осматривает экспозицию «Пластмассы в судостроении», образцы шин на базе современного «вечного» корда из синтетических нитей, пластмассовые трубы для водопровода и канализации, идущие на смену стальным и чугунным, объемную синтетическую пряжу. Все это — воплощение новых, с таким трудом пробитых через госплановскую бюрократию, технологий.

Вечером того же дня отец в Кремлевском дворце съездов слушает оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в постановке Литовского театра оперы и балета. В Москве ее никогда не ставили, отец ее раньше не слышал и теперь не хотел пропустить редкий спектакль.

«Время решать»

Итоги 1963 года вызывали у отца смешанные чувства. Я не говорю о сельском хозяйстве — несчастье оно всегда несчастье, но и промышленность настораживала хроническим недовыполнением даже, казалось бы, реальных планов. С другой стороны, рост за десятилетие, с 1953 по 1963 год, впечатлял: выплавка чугуна увеличилась с 39,6 до 58,7 миллионов тонн, стали с 54,9 до 80,2 миллионов тонн, добыча нефти с 113 до 206 миллионов тонн, газа с 29,9 до 91,5 миллиардов кубометров; выработка электричества возросла с 235 до 412 миллиардов киловатт-часов. Правда, как и раньше, хромала группа «Б» — товары народного потребления. Выпуск тканей увеличился всего на 14 процентов, а обуви — на 30 процентов. Позорно мало!

За прошедшие годы были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию: с 97 копеек за центнер пшеницы в 1952 году до 7 рублей 56 копеек в 1963 году, картофеля с 47 копеек до 7 рублей 10 копеек, овощей с 1 рубля 92 копеек до 7 рублей 52 копеек, говядины с 2 рублей 03 копеек до 79 рублей 90 копеек, молока с 2 рублей 32 копеек до 12 рублей 18 копеек, яиц (за тысячу штук) с 19 рублей 90 копеек до 70 рублей. Перечисление можно продолжить. Колхозы и совхозы стали работать несколько лучше, чем десять лет тому назад: мяса в 1963 году заготовили 4,99 тысяч тонн (1953 г. — 1,76), молока — 10,11 (1,98), масла — 622 тысяч тонн (330), сахара — 5,33 тысяч тонн (2,41), яиц 7,34 миллионов штук (2,05). Но коренного поворота не произошло. Даже вызвавшее столь драматическую реакцию повышение 1 июня 1962 года закупочных и розничных цен общую ситуацию не переломило. «Подняли цены на мясо, а мяса в магазинах не прибавилось», — посетовал отец на заседании Президиума ЦК 10 сентября 1963 года.

Настораживали и предварительные итоги семилетки 1956–1965 годов. Она еще не закончилась, но стало очевидным, что на сто процентов выполнить ее не удастся, разрыв в темпах прироста производства предметов потребления по сравнению с развитием средств производства не сократился на 23 процента, как предписывал план, а увеличился до 43 процентов. Госплан исподволь саботировал перенос тяжести с группы «А» на группу «В», продолжал ведомственную политику предпочтения тяжелой промышленности по сравнению с производством предметов потребления. С отцом, требовавшим обратного, не спорили, но его больше и не слушались.

10 ноября 1963 года на Президиуме ЦК подводили предварительные итоги выполнения годового плана и наметки развития экономики на два оставшихся года семилетки. За год национальный доход прирастал на 3,5 процента, на 1,4 процент

меньше ожидаемого, реальный доход на одного рабочего поднимался всего на 2 процента против запланированных 4,9. В 1963 году рост промышленного производства составлял 6 процентов (при этом по средствам производства 7,7 процента, а предметам потребления — 4 процента), тоже меньше запланированного, а в сельском хозяйстве и вовсе снизилось на 3 процента. В 1963 году объем незавершенного строительства увеличился на 53 процента, 40 процентов запланированных мощностей не ввели в строй вовремя, и, как следствие, на 42 процента возросли остающиеся без какой-либо отдачи капиталовложения. По производству химических волокон план выполнили всего на 57 процентов, по искусственному каучуку на 68 процентов, по строительству электростанций на 79 процентов. Жилья за семилетку реально построят 401 миллион квадратных метров. Это много, но всего 86 процентов от контрольного задания. При этом стоимость одного квадратного метра снизится с 145 рублей до 138 рублей, а не до предписанных 120 рублей.

К самому концу года то ли дела несколько поправятся, я уж не знаю, каким образом, то ли цифры подправят, но официально объявят о росте промышленного производства на 8,5 процентов.

В 1964 году, при освобождении отца от должности, Суслов бросит ему в лицо обвинение: «В 1950–1956 годах годовой прирост экономики колебался между 10,6 и 11,1 процентами, а в “хрущевской” семилетке 1959–1964 годов он упал до 6,9–5 процентов». Как будто отец этого не знал, и сам Суслов не участвовал в постоянных обсуждениях проблем экономики, в том числе 10 ноября 1963 года.

В 1990-е годы начнут приводить еще более удручающие цифры, якобы в 1963 году национальный продукт вообще не увеличился, а по сравнению с 1962 годом уменьшился на 1,7 процента, в том числе промышленное производство сократилось на 1,6 процента, сельскохозяйственное — на целых 7,5 процентов. Откуда взялись эти данные, авторы умолчали.

Трудно сказать, кому можно верить. Скорее всего — все врут, подстраиваются под сиюминутный «политический заказ», но несомненно одно — к середине 1960-х в экономике наметился разлад, нарастающий с каждым последующим годом все сильнее.

Я уже писал, что планы недовыполнялись, начиная с первых пятилеток. Сталин считал, что заведомо невыполнимое задание стимулирует, заставляет работать лучше. Отец попытался сделать план планом, но без особого успеха. И причина здесь не в отце и даже не бюрократии Госплана. Госплан, даже при наличии компьютеров, уже не справлялся с «увязкой» все возрастающей номенклатуры планируемых к производству товаров,

захлебывался в переизбытке информации, все чаще давал сбои, которые срывали выполнение им же, казалось бы, тщательно просчитанных планов, болезненно отражались на жизни людей.

Сейчас, из будущего, видно, что это процесс объективный. Централизованная вертикальная структура управления экономикой достигла предела своих возможностей, и справиться с увеличением изо дня в день разнообразия номенклатуры, качества и других параметров производства была не в состоянии даже теоретически. Человеческий фактор, бюрократизм и личные пристрастия госплановцев, конечно, сказывались, но «корень зла» заключался не в них.

Отец первым интуитивно ощутил, что «перестановкой мебели» ограничиться больше не удастся, надо менять сами принципы взаимоотношений производителя с государством, производителя с потребителем. К концу 1963 года он окончательно убедился, что «совнархозной свободы» недостаточно. В 1964 год Хрущев вступал с твердым намерением дать свободу директорам предприятий, свести их общение с «верхами» к абсолютно прозрачному минимуму.

Предстояло решить: к какому? Экономические дискуссанты 1962 года предлагали обложить предприятия заранее оговоренным на пятилетку «оброком», в современной терминологии «налогом», и более не вмешиваться в принимаемые их директорами конкретные решения. Тогда это рассматривалось как антибюрократическая мера. Сейчас очевидно, что логика предлагавшейся реформы неизбежно вслед за свободой принятия решений директорами предприятий требовала повышения их реальной ответственности за последствия собственных решений. Расплачиваться за ошибки должны они сами, а не государство. Другими словами, путь, на который становился Хрущев, неизбежно вел к приватизации предприятий, к переходу от плановых основ управления народным хозяйством к рыночным. Но так далеко никто не заглядывал — ни отец, ни самые прозорливые экономисты-реформаторы. Их заботили сиюминутные проблемы, и выход виделся в свободе директоров, но под патронажем государства. Как и какую свободу даровать руководителям производства, предстояло ответить набиравшему силы эксперименту. Первые его результаты ожидались уже в наступающем году. А там, считал отец, можно и решение принимать.

К сожалению, складывающаяся в стране обстановка намерениям отца не благоприятствовала. Если в 1953 году его реформы поддерживало большинство, то сейчас это же большинство глухо роптало. От истекшего десятилетия люди

ожидали большего: большего достатка, большей свободы, всем всего недоставало, и все оказались недовольными. Так уж устроены люди: уже происшедшие изменения быстро становятся привычными, их перестают замечать, о них забывают. Людей раздражал недостаточный ассортимент продуктов в магазинах, не говоря уже о нередких перебоях с поставками, плохое качество жилья, бесконечные очереди за всем и везде. Никто не хотел вспоминать, что совсем недавно на отдельные квартиры могли претендовать только генералы да писатели-лауреаты, а в продуктовых магазинах ассортимент сводился к паре наименований, и он доставался только тем, кто не поленился занять очередь с раннего утра. Все претензии предъявлялись лично Хрущеву, он все время на виду, он за все в ответе. В вину ему ставили даже последний неурожай, повлекший за собой не голод, как случалось ранее, но ощутимые неудобства.

Первыми «разлюбили» отца московские чиновники, сразу после того, как у них отняли сталинские «конверты» и урезали другие привилегии. А тут еще и совнархозная пертурбация, ликвидация министерств, а с ними и давно обжитых столичных кабинетов.

Партийных начальников раздражали пришедшие на смену райкомам партии межрайонные производственные управления, разделение «по интересам» обкомов партии и все настойчивее звучащее требование их личной «профессионализации» или…

Генералов и офицеров не устраивало сокращение Вооруженных сил, необходимость приспосабливаться к мирной жизни.

Писатели с поэтами после долгих лет молчания получили послабление, но не, как им хотелось бы, полную свободу.

Кто во всем этом виновен? Естественно, Хрущев. Он в ответе за все. Вот такой получался букет. Проводить реформы в отсутствие союзников — настоящее безумие, но несмотря ни на что отец не терял оптимизма. Наступающий год виделся ему поворотным, особенно если повезет с урожаем.

1964 год

Последний новый год

На встрече нового, високосного 1964, года в Кремлевском дворце съездов, в ресторане на верхнем этаже корреспондент «Нью-Йорк Таймс» насчитал сто столов на две тысячи приглашенных; отметил, что Хрущев выглядел веселее, чем в прошлый Новый год, провозглашал бесконечные тосты, а потом даже попытался танцевать. Я такого не помню, как не помню, чтобы отец вообще танцевал. Зато мы с корреспондентом американской газеты оба заметили присутствие в зале Булганина, а после того как отец подошел к нему чокнуться, о встрече двух бывших друзей заговорили и у нас, и за рубежом, выискивали скрытый политический резон. На самом деле приглашение Булганина на Новогодний прием не имело политической подоплеки. Отец попросту начал забывать былые обиды. Участие Булганина в «антипартийной группе», попытавшейся отстранить его от власти в 1957 году, стало достоянием истории. Человек от природы незлобивый, он испытывал сострадание к своим былым врагам, не главным, а тем, кто, по мнению отца, просто заблуждался.

Годом раньше, в январе 1963 года, в ответ на покаянное письмо исключенного после XXII съезда из партии Дмитрия Шепилова, еще одного «примкнувшего» в 1957 году к низвергателям отца, он на заседании Президиума ЦК распорядился: «В партии восстановить, но в протокол не записывать сейчас ничего».

В протокол не записали, в соответствующем отделе ЦК и пальцем не шевельнули, там Шепилова не любили. В партии его восстановят только в 1978 году после многократных писем и обращений.

Летом 1964 года отец позвонит опальному Жукову, предложит маршалу встретиться осенью, после отпуска. Я уже писал об этом.

Что означала эта реанимация былых соратников? О чем думал отец? Предчувствовал собственное будущее? Кто знает…

Еще не сговор…

Отпраздновав Новый год, отец вечером 1 января отправляется на пару дней в Польшу отдохнуть и поохотиться вместе с

«другом» Веславом Гомулкой и «другом» Юзефом Циранкевичем, а заодно еще раз прощупать, как они посмотрят, если мы выведем свои войска из Польши. К этой мысли отец возвращался неоднократно, содержание одной дивизии за границей обходилось дороже, чем целой армии на собственной территории. Гомулка в Варшаве сидел крепко, в его преданности отец за прошедшие годы имел возможность убедиться не раз. К тому же отец искренне считал, что наши союзники должны держаться у власти не за счет советских штыков, а опираться на поддержку собственного народа. После 1957 года разговор на эту тему отец заводил неоднократно, но с выводом войск согласились и даже обрадовались одни румыны. Кадар же с Гомулкой убедили отца не торопиться, советские войска им никаких хлопот не доставляют. Отец про себя усмехался, расчетливые поляки и не менее умевшие считать собственные деньги венгры не хотели лишаться дохода от присутствия на их территории советских войск.

Наши военные и слышать не хотели ни о каком выводе войск, доказывали, что такой шаг сильно подорвет обороноспособность стран Варшавского договора.

Отец не настаивал, с 1957 года присутствие советских военных формирований в Германии, Венгрии и Польше и так постоянно сокращалось. К 1964 году их количество уменьшилось более чем наполовину.

Поохотились они с Гомулкой на славу, а вот разговора не получилось. Друг Веслав мило улыбался, шутил, но согласия на вывод советских войск не давал, собственный бюджет его беспокоил больше соседского. Отец решил не настаивать, те 18 миллионов рублей, которые мы сэкономим с выводом оставшихся дивизий, для поляков значат больше, чем для нас. Хорошие отношения с союзниками стоят денег.

Вечером 5 января они все вместе переехали из Польши в Беловежскую пущу, поохотились и там, а уже утром 7 января отец поездом возвратился в Москву.

Вместе с отцом в Польшу съездил Кирилл Трофимович Мазуров, первый секретарь Белорусской компартии. Отец любил «поохотиться» вместе с перспективным человеком с периферии, поговорить в неформальной обстановке, за столом, на прогулке, понять, чем он дышит, чего от него можно ожидать. К Мазурову он приглядывался давно — относительно молодой, в апреле 1964 года ему исполнится всего пятьдесят, в войну командовал батальоном, потом в партизанах, с 1942 года секретарь подпольного ЦК комсомола Белоруссии. В 1956 году отец предложил Мазурову, тогда сорокадвухлетнему председателю

правительства республики, возглавить Белорусское ЦК.

Мазуров отцу нравился и тем, что он, в отличие Брежнева, Подгорного или Полянского, всегда имел свое мнение, свободно его высказывал, держался независимо, спорил на равных.

В коллективном руководстве, так называли Президиум ЦК, с «Первым» можно спорить, критиковать его, даже вышучивать, но не соперничать. Коллективное руководство остается коллективным, но до тех пор, пока члены коллектива не покушаются на власть вожака. В любом иерархическом сообществе, от львиной стаи до Президиума ЦК, соперника, как он только становится опасным, нещадно изгоняют, или он сам изгоняет ослабевшего, более не способного защитить себя состарившегося лидера.

В обществе, где время пребывания у власти ограничено строгими рамками закона, подобной конкуренции не возникает, соперник знает: через столько-то лет произойдут перевыборы и, если повезет, придет и его черед. Именно такие правила наследования власти, без заговоров и переворотов, отец прописывал в новой Конституции.

Пока же спор с «Первым», вне зависимости от темы, таил в себе опасность. Он уверен в своей правоте, вы в своей, но он «Первый», а вы — нет. Если дело заходит слишком далеко, одному приходится уходить. Тут и при централизованном единоначалии, и при демократии правила одинаковы, старший увольняет младшего. И уж если до этого дошло, то последнее дело останавливаться на полдороги.

Я однажды оказался поблизости при одной из размолвок отца с Мазуровым, тоже на охоте, в Беловежской пуще. Там тогда отдыхали отец с Подгорным, к ним наезжали в гости то Янош Кадар, то Гомулка с Циранкевичем и, естественно, Мазуров. Охотились, гуляли, разговаривали. Помню, в последний день отдыха, проводив всех гостей, отец с Мазуровым отправились на прогулку вдвоем, если не считать меня. О чем они конкретно говорили, я уже забыл, помню только, что сказанное Мазуровым отцу не понравилось, и он стал поправлять его. Мазуров, в свою очередь, возразил отцу, они заспорили, перешли на повышенные тона. Отец с гостем расстались недовольные друг другом.

Каково же было мое удивление, когда по возвращении в Москву, прямо на Белорусском вокзале отец вдруг стал говорить встречавшим его членам Президиума ЦК, что Мазуров не на своем месте, они накануне долго говорили и предложения его не выдерживают критики. Надо думать о его замене. Возражений не последовало. Прошла неделя, отец остыл, еще раз обдумал разговор, и все обошлось без последствий.

Как я выяснил позже, основным источником разногласий отца с Мазуровым тогда стала стратегия инвестиций в сельское хозяйство Белоруссии. Мазуров настаивал на широкомасштабном осушении болот, превращении их в сельскохозяйственные угодья. Весной 1963 года он даже направил в Президиум ЦК соответствующую записку. Отец посчитал прокладку ирригационных каналов для отвода воды делом не приоритетным. Ирригация требовала больших затрат, по его мнению, рациональнее удобрить уже существующие поля, прирост урожая получится больше и обойдется дешевле. Записку Мазурова раскритиковали, отец назвал его предложения «неразумными, рваческими» и распорядился вернуть автору «на доработку». Но Мазуров продолжал настаивать, попросился к отцу на прием. В результате злосчастную записку возвращать не стали, но и мелиорацию болот разрешили вести в очень ограниченных масштабах.

Несмотря на эту историю, отец в Мазурове не разочаровался и теперь, когда он все чаще возвращался к мысли о грядущем уходе с поста главы партии и государства, не сейчас, но в обозримом будущем, омоложение состава Президиума ЦК заботило его все больше. На сей раз разговор с Мазуровым опять прошел не гладко, отец, как и в 1963 году, посчитал, что Мазуров старается урвать у Москвы для Белоруссии побольше, а отдать поменьше. Настроения для республиканского секретаря естественные, но он переходит все границы.

Таким образом, разговора о переводе Мазурова в центр не получилось, более того, сразу по возвращении в Москву, 10 января 1964 года, отец вновь заговорил о необходимости подыскать Мазурову замену. Как и раньше, все разговором и ограничилось, снимать Мазурова с должности отец так и не собрался, не за что, но его слова оставили у Мазурова неприятный осадок. После этого он больше не числился в сторонниках Первого секретаря.

Еще один аналогичный случай. 21 июня 1963 года Пленум ЦК КПСС избрал Подгорного одним из своих секретарей, ему предстоял переезд в Москву, и освобождалось кресло руководителя компартии Украины, согласно тогдашней табели о рангах, потенциального члена Президиума ЦК. Все считали, что это место займет Владимир Васильевич Щербицкий. Он с 1961 года руководил Правительством Украины, его уже избрали кандидатом в члены Президиума ЦК. Претендовал на кресло Первого и Иван Павлович Казанец, он уже давно ходил во вторых секретарях Украинского ЦК.

И вдруг происходит невероятное. В июне 1963 года

Щербицкого отправляют секретарем обкома в Днепропетровск, на освободившееся место главы республиканского правительства сажают Казанца, а Первым на Украине становится Петр Ефимович Шелест, до того просто секретарь ЦК по промышленности, фигура по всем параметрам явно «непроходная». 13 декабря 1963 года Пленум ЦК выводит Щербицкого из кандидатов в члены Президиума и на его место избирает Шелеста. Всю эту интригу блестяще разыграл Подгорный.

Отец Шелеста близко не знал, а вот с Подгорным они вместе работали в Киеве с начала 50-х годов. Подгорный — второй, а затем первый секретарь Украинского ЦК продвигал Шелеста со ступеньки на ступеньку иерархической лестницы: первый секретарь Киевского горкома, потом обкома, затем секретарь местного ЦК по промышленности. После переезда в Москву Подгорный стал быстро входить в силу, на очередных Октябрьских торжествах, 6 ноября 1963 года, именно он делал традиционный доклад. А это свидетельствовало о многом. Теперь он сколачивал свою команду.

Истинной причины снятия Щербицкого мы не знали. Судачили, что Хрущев остался недоволен докладом о состоянии дел в народном хозяйстве Украины. Чиновная Москва решением отца осталась недовольна. Щербицкий слыл хорошим хозяйственником, умелым руководителем и вообще человеком разумным. В его отставке винили отца: стоило человеку один раз оступиться — и сразу такая немилость. Но это всё круги на воде.

Подоплека закулисной игры прояснилась только после отстранения отца. За спиной Щербицкого стоял Брежнев, оба они днепропетровцы, вместе с 1946 года. Брежнев и протолкнул Щербицкого на пост главы Украинского правительства. Брежнев, в порядке исключения, принимая во внимание важность Украины, уговорил отца избрать Щербицкого кандидатом в члены Президиума ЦК и тем самым не просто вывел его из-под республиканского ЦК, но поставил почти вровень с Подгорным.

Подгорный и Шелест дружно ненавидели Щербицкого, который постоянно проявлял строптивость, принимал решения в обход местного ЦК, игнорируя самого Подгорного, замыкался впрямую на Москву, на Брежнева. Своего «куратора» Шелеста, секретаря ЦК по промышленности, Щербицкий вообще ни во что не ставил.

В результате Подгорный переиграл Брежнева, «подставил» Щербицкого с его «несчастным» докладом, а потом исподволь убедил отца «задвинуть» его обратно в Днепропетровск. Однако победа оказалась пирровой. В октябре 1965 года Брежнев вернет Щербицкому пост главы правительства Украины и сделает

кандидатом в Президиум ЦК. В сентябре 1971 года он — полноправный, наравне с Шелестом, член Президиума, а в мае 1972 года Брежнев уберет Шелеста с Украины. Первым секретарем Украинского ЦК станет Щербицкий, теперь уже «навечно», почти до самого конца советской власти. Шелеста же вместе с Подгорным отправят на пенсию. Вот такая интрига.

Мазуров, Щербицкий, секретари обкомов, которым отец бросал в лицо упреки в неспособности руководить своими областями, один, другой, третий, десятый, двадцатый — все они оказывались «обиженными» Хрущевым и одновременно оставались членами ЦК, от голосов которых зависела его собственная судьба. Организованной оппозиции они пока не представляли, судачили по углам, осторожно поругивали отца, и не более того. Но это пока…

Тем временем, в январе 1964 года «Нью-Йорк Таймс» печатает очередное сообщение о скорой отставке Хрущева. На следующий день отец читает перевод корреспонденции, но внимания на эту заметку не обращает. Американцы прочили ему отставку с 1953 года.

День за днем

16 января 1964 года последний агрегат Братской ГЭС дал ток. Одновременно в Братске заканчивается строительство крупнейшего в стране комплекса по производству алюминия.

В тот же день газеты сообщают об окончании строительства первой очереди газопровода Бухара — Урал.

В январе 1964 года Советский Союз совместно с Финляндией строит пограничную Верхне-Туломскую ГЭС. Рядом сооружают пограничный канал общего использования.

13 января 1964 года в Москву прилетает Фидель Кастро. В отличие от прошлогоднего майского визита, на сей раз не столько по делам, сколько отдохнуть. Прошлой весной отец заинтриговал его рассказами о прелестях русской зимы. 17 января, закончив переговоры, отец везет Кастро на зимнюю охоту в Завидово. По просьбе гостя его снимают кинооператоры на память. Сейчас кадры той «царской охоты» часто демонстрируются и у нас. 22 января они вместе уезжают в Киев, откуда на следующий день гость улетает домой,

а отец садится за подготовку к назначенному на 10 февраля 1964 года Пленуму ЦК, посвященному интенсификации сельского хозяйства. По замыслу отца, на этом Пленуме они завершат оформление нового курса в аграрной политике страны.

Перед возвращением в Москву, 30 января 1964 года, отец едет на строительство Киевской ГЭС. Чтобы уменьшить затраты на сооружение ГЭС, «гидрики» решили перейти на блочное строительство. Так плотины еще никто не строил. В качестве экспериментальной выбрали Киевскую ГЭС, не самую большую и с малым напором воды. Плотину разделили на секции, в каждой по четыре гидроагрегата. Работу вели на потоке, собирая с помощью передвижных монтажных кранов сборные железобетонные конструкции от секции к секции.

Рядом с традиционной ГЭС строили еще одну, тоже экспериментальную, гидроаккумулирующую электростанцию. Ночью, когда спрос на электроэнергию падал, ее насосы перекачивали воду в водохранилище, а днем эта же вода начинала крутить электроагрегаты, вырабатывала электричество. И так изо дня в день, из ночи в ночь. Нечего и говорить, что отец не мог упустить возможности осмотреть обе Киевские ГЭС.

Оттуда он едет на Киевскую овощную фабрику, самое старое в городе тепличное хозяйство, его закладывали еще при нем, в конце 1940-х годов. Отец осматривает теплицы и агитирует киевлян переходить на гидропонику: работа чище и урожаи больше. Тем же вечером он поездом уезжает в Москву.

27 января 1964 года Ильичев проводит в ЦК совещание о новом гимне. Текст пишут поэты: москвичи Александр Твардовский, Николай Грибачев и Сергей Васильевич Смирнов, белорус Петрусь Бровка. Ни один из представленных вариантов собравшихся не устраивает, они решают продолжить работу.

29 января Председатель КГБ Семичастный отправляет отцу любопытную записку «Об обстановке в среде творческой интеллигенции».

Что же привлекло внимание «органов»?

«Геннадий Шпаликов, признавая справедливым замечания к фильму “Застава Ильича”, заявляет: “Я считаю свой новый сценарий фильма «Я шагаю по Москве» первым ответом на критику…”

…Прозаик Анатолий Гладилин: “Современная

советская проза деградирует, поэтому образцом для подражания молодежь должна избрать не нашу, а зарубежную классику”.

…Определенную тревогу вызывает поведение поэта Евгений Евтушенко… Основной его заботой, как это вытекает из имеющихся материалов, является стремление всеми силами восстановить свою былую популярность. С этой целью он выступает с неопубликованными, политически двусмысленными стихами, такими, как “Русская игрушка”, “Баллада о штрафном батальоне”, “Подранок” (прилагаются). На приеме в посольстве США по случаю пребывания в СССР американского писателя Джона Стейнбека Евтушенко вел себя развязно…

…Кинорежиссер Андрей Тарковский: “Искусство делать сейчас трудно, как никогда, по-старому, как при культе личности, уже делать нельзя, а по-новому не дают, боятся”.

…С другой стороны, поэт Андрей Вознесенский говорит: “После совещания с руководителями партии я длительное время был вообще растерян. Хотелось сделать лучше, но получалось наоборот. Многое пришлось передумать… Год был для меня трудным, но плодотворным. Я имею в виду не только опубликованное, но и то, что пишу… Теперь я задумал написать киносценарий о Ленине”».

В записке еще много цитат, я отобрал самые любопытные.

У отца сообщение Семичастного интереса не вызвало. Его помощник Шуйский, почти через месяц после получения записки, написал на документе: «Тов. Хрущеву доложено. Ознакомить секретарей ЦК. 25 февраля 1964 года». После ознакомления его отправили в архив.

Январские газеты сообщают о запуске «шелковой технологии» на Красноярском заводе химического волокна.

1 февраля 1964 года отец вместе с другими членами Президиума ЦК в Кремлевском дворце съездов слушает оперу Джузеппе Верди «Отелло» в исполнении белорусских артистов.

«Ракеты строят у нас специалисты, а картошку растят…»

10 февраля 1964 года в Кремлевском дворце съездов открывается Пленум ЦК.

Отец, как и прежде, приглашает несколько тысяч гостей: ученых, председателей колхозов, передовиков, — всех тех, кого, по его мнению, может заинтересовать обсуждаемый вопрос и кому небезразлично будущее сельского хозяйства.

От доклада на Пленуме отец отказался, пусть докладывают: новый министр сельского хозяйства Воловченко, председатель Госкомитета по ирригации и водным ресурсам Е. Е. Алексеевский, председатель не так давно созданной «Сельхозтехники» А. А. Ежевский, а содокладчиками выступят представители от союзных республик. Он же послушает, оценит и подведет итог.

Лейтмотивом выступлений стали три кита интенсивного ведения сельского хозяйства: специализация, химизация и ирригация. О них в последний день Пленума, 14 февраля, говорил и отец. Но начал он с производственных управлений, в который раз призвал сдерживать административный зуд, пусть колхозы и совхозы сами решают, что и когда им сеять-убирать, а вы, если сможете, советуйте, снабжайте их информацией о последних достижениях науки. Дальше отец сравнивает производительность труда в колхозах-совхозах и на фермах, расходы на производство одного килограмма куриного мяса у нас и у американцев: «Мы купили в США у фирмы “Ла Торра” оборудование и технологию, — напомнил он собравшимся, — привезли его в Крым в совхоз “Красный”, и что получается? Американцы расходуют на килограмм курятины 2,02 килограмма кормов, мы — 3,6, у них один рабочий приходится на 100 тысяч цыплят, у нас — на 20 тысяч, у них срок откорма 67, у нас — 80 дней! Не лучше обстоят дела и на утиной ферме в Яготине, под Киевом. Ее купили у немецкой фирмы “Бельц”, вместе со всей технологией, но “Бельц” расходует на килограмм мяса 3,5 килограмма кормов, а мы — 5,7».

Напомню, эта тема не новая, о расходе кормов на килограмм привеса у нас и у них отец говорил еще в 1958 году, потом в 1959-м, в том числе и об утиной ферме в Яготине, призывал учиться у немцев и американцев в 1960, 1962 и 1963 годах. И всё как об стенку горох!

— И как же вы собираетесь строить коммунизм? — взывает отец к слушателям.

Ответа он так и не услышит. В своем выступлении отец соглашается с Бараевым, что на целине без чистых паров не обойтись. Я уже не раз обращался к столкновению двух научных школ — бараевской и Наливайко. Вся загвоздка в доле черных паров, в размерах чистой, не засеянной площади, что

рациональнее: 20 или 12 процентов? Отец считает, что тут следует еще и еще подумать. Примечательно, что якобы нелюбимого Хрущевым казахстанца-целинника Бараева на Пленум пригласили, а его оппонента, алтайца Наливайко — нет. Но к концу лета Наливайко удастся восстановить утерянные было позиции.

«Однако у нас не все так плохо, есть чему и порадоваться», — после этих слов отец с гордостью цитирует американского сельскохозяйственного бизнесмена Гарста, он недавно, уже, наверное, восьмой раз посетил нашу страну: «В 1953 году СССР отставал от США в сельском хозяйстве на тридцать лет, теперь только на восемь лет».

— Еще немного, и мы сравняемся, — обнадеживает слушателей отец.

В заключение отец впервые официально оповещает присутствовавших о грядущем, уже котором по счету, сокращении военных расходов. Зал одобрительно аплодирует, все, кроме генералов.

Российский ученый-аграрий И. Е. Зеленин считает, что «этот, последний, Пленум Хрущева по принципиальной важности обсуждавшегося вопроса и принятому постановлению является как бы завещанием реформатора. Напутствием своим преемникам в аграрной политике».

Вслед за Пленумом, 28 февраля 1964 года, Хрущев собирает совещание руководящих работников партийных, советских и сельскохозяйственных органов, где уже докладывает сам, наставляет, инструктирует подчиненных ему командиров о главных направлениях предстоящего «наступления», о стратегии и тактике грядущей реформы.

Отец напирает на специализацию и интенсификацию аграрного производства, но главное в его выступлении — разделение функций межрайонных сельскохозяйственных производственных управлений и обкомов. Он начинает с минорной ноты, отмечает, что с производственными управлениями «дело никуда не сдвинулось, в отсутствие научных аргументов, они прибегают к приказу, к администрированию, что нетерпимо. Когда осуществляли перестройку управления сельским хозяйством, то позаимствовали практику обслуживания фермерских хозяйств США, где доминирует научная составляющая. Труд американского “инспектора” оплачивается частично правительством, частично из местного бюджета, то есть из отчислений фермеров. Эта последняя доля оплаты зависит от эффективности работы хозяйств, успешности внедрения достижений науки. У нас же оплата специалистов

производственных управлений, как и раньше, никак не связана с конечными результатами производства. Это наша ошибка. Нам следует сделать их материально зависимыми от колхозов и совхозов, от результатов их работы».

Раз не получается по-старому, то отец предлагает перевернуть властную пирамиду, поставить крестьянина над управлениями, сделать управленцев зависимыми от крестьянина. Он снова приводит в пример США, там в случае отсутствия обещанного «управленцами» результата «поставщик (у нас государство в лице производственного управления) возмещает фермеру понесенные по вине «управленцев» убытки. Вот и нам пора от расхлябанности и инертности перейти к столь прозрачной схеме взаимоотношений.

Зал слушал отца напряженно и почти не аплодировал.

Дальше Хрущев предлагает вспомнить о невыполняющемся Постановлении 1958 года, предусматривающем установление на годы вперед плана сдачи государству зерна и другой продукции. А уж что и как сеять, пусть решают сами совхозники и колхозники. «Нельзя из Москвы, Киева, Ташкента или Баку указывать, что сеять и как сеять! — старается убедить слушателей отец. — Планы сдачи продукции колхозам и совхозам по-прежнему выставляются не заранее, а задним числом, кто лучше поработал, снял больший урожай, тому всучивают больший план. Что же получается? Руководители отстающего хозяйства, выполнив заниженный план сдачи продукции, ходят в героях, получают премии, а передовые хозяйства страдают. Система материальной заинтересованности обязана заработать уже в этом году».

Дальше он приводит примеры дурацких, взаимоисключающих распоряжений инспектора одного из производственных управлений Кукурина. Присутствующие дружно смеются, над собой смеются.

«Ракеты строят специалисты, тут нет возражений, — завершает свое выступление отец, — так у нас скоро станет и с картошкой. В производственных управлениях должны сидеть советчики-специалисты, а не чиновники-приказчики. Минсельхоз, вопреки всем стонам бюрократов, надо превратить, как в США, в научный центр обобщающий опыт ученых, заставить их писать не распоряжения, а учебники и рекомендации».

Отец не снимает ответственность и с себя — и он за прошедшие годы накомандовался всласть. Теперь с этим пора кончать, не исправив накопившиеся ошибки, в том числе и собственные, мы вперед не продвинемся. Он решительно намерился их исправлять, применяя к тому всю силу

государственной власти. О чем думали его слушатели, отец узнает уже в октябре текущего, 1964 года.

Отец не ограничивается словами, 20 марта 1964 года выходит Постановление ЦК и Совмина с грозным названием «О фактах грубых нарушений и извращений в практике планирования колхозного и совхозного производства». Оно, уже в приказной форме, повторяет мысли отца, изложенные на совещании 28 февраля: дать возможность крестьянину выращивать то, что ему выгодно, перестать навязывать планы сверху. Однако без конкретного механизма все это пока лишь благие намерения. Неслучайно, что именно в начале 1964 года возобновилось обсуждение, как преобразовать советскую экономику, сделать ее эффективной и саморегулирующейся, и не только сельское хозяйство, а всю экономику.

13 апреля 1964 года отец пишет записку в Президиум ЦК «О некоторых вопросах интенсификации сельского хозяйства». В отличие от предыдущих записок, ее публикуют в газетах — признак того, что отец придает ей серьезное значение. Записка почти целиком посвящена специализации. Отец предлагает расширять строительство птицефабрик, пока не научились делать свое — закупать для них технологии и оборудование за границей. Все окупится сторицей. На уже построенных специализированных птицефабриках яйца обходятся в два раза дешевле, чем в совхозах.

Джордж Финли, президент крупной американской фирмы, производящей свинину, «Финли Моодик Корпорейшн», рассказал отцу о последних достижениях в мясопереработке. «Откорм свиней в современных условиях — инженерное дело, ставится на поток. Господин Гарст производит кукурузу на корм, а мы, инженеры-животноводы, — отец передает слова Джорджа Финли, — решаем задачу механизации всех процессов получения свинины, от выращивания поросенка до отправки потребителю готового продукта».

«В результате резко повышается производительность труда — в современном откормочном комплексе в Америке всего восемь человек выращивают в год 250 тысяч свиней. И мы должны, не теряя времени, создавать свои “фабрики” мяса, — убеждает своих читателей отец. — Пора кончать по старинке кормить свиней помоями, пускать на корм животным отходы, надо привыкнуть к тому, что комбикорма для них такой же продукт, как хлеб и крупа для людей. Иначе успеха не добиться. И снова сравнение с США: у них на одну свиноматку производится мяса пятнадцать центнеров, у нас — четыре, у них курица несет 200 яиц в год, у нас — только 90». Да, до американцев нам еще далеко.

17 февраля 1964 года отец встречается в Кремле со своим старым знакомцем, американо-канадским сталепромышленником, миллиардером Сайрусом Итоном. Они дружат уже много лет, и я не раз упоминал об Итоне на страницах этой книги. Напомню: Итон Сайрус, американский промышленник, один из руководителей Кливлендской финансовой группы. Инициатор Международных пагоушеских конференций. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», 1960. Итон пришел с женой, втроем они больше часа оживленно беседуют, не подозревая, что больше им повстречаться не доведется никогда. В 1971 году чета Итонов пришлет маме и Советскому правительству соболезнования по случаю смерти отца.

18 февраля 1964 года Дзержинский районный суд Ленинграда постановил выселить из города тунеядца и поэта Иосифа Бродского, бросившего в пятнадцать лет школу и проработавшего за истекшие с того времени четыре года всего девять месяцев. Сослали его на пять лет в деревню Норинское Архангельской области, но уже через полтора года Бродский вернулся в Ленинград. Я о Бродском тогда ничего не слышал. Думаю, что и отец о существовании будущего Нобелевского лауреата не подозревал.

19 февраля 1964 года отец вместе с Микояном и Подгорным в зале скульптурного комбината Министерства культуры СССР осматривают представленные украинцами макет памятника поэту Тарасу Шевченко и проект мемориала в Одессе, посвященного восстанию в 1905 году на броненосце «Потемкин».

Затем они переезжают в здание Моссовета, где выслушивают доклады о развитии городского транспорта в Москве. Наравне с дешевым наземным метрополитеном решили опробовать монорельсовые поезда — последнюю техническую новинку, завезенную к нам из Франции.

После отставки отца работы по монорельсу захирели. Новые руководители предавали анафеме всё, что поддерживал отец.

20 февраля 1964 года начал производить удобрения азотно-туковый завод в Ставрополье.

В стране дефицит рабочих рук. 26 февраля 1964 года ЦК КПСС и СМ СССР принимают Постановление «О повышении материальной заинтересованности пенсионеров в работе на производстве».

16 марта 1964 года сообщается о начале выпуска продукции на Черкасском заводе азотных удобрений, Черниговском и Киевском заводах искусственного волокна.

20 марта 1964 года отдыхавший в Пицунде отец устраивает совещание с энергетиками, вызывает к себе министра Петра Степановича Непорожнего вместе с другими заинтересованными лицами.

Вопросов у отца накопилось много, в основном по перспективе. Разговоры, перемежавшиеся прогулками и купанием в бассейне, продолжались четыре дня. Говорили о сверхсовременных блочных тепловых электростанциях с агрегатами в полмиллиона и даже 800 тысяч киловатт, о сверхвысоковольтных, сверхдлинных линиях электропередач, в том числе уникальной «ЛЭП-1500» на постоянном токе. Ее собирались протянуть от электростанций, запланированных в богатом углем казахстанском Экибастузе, через Сибирь и Урал в европейский центр страны.

Потом перешли к проблеме поворота на юг северных рек, к Каспию и Аральскому морю. Отец предложил пока ограничиться изысканиями, а когда по завершении программы химизации государство станет богаче… В общем, решили повременить.

Почти целый день ушел на альтернативные способы получения электричества. Их «пробивал» академик Лаврентьев. Он, в новом качестве председателя Совета по науке при главе правительства, специально слетал на Камчатку и по возвращении убеждал отца в перспективности использования горячих подземных вод. «Геотермальные тепловые станции в тех районах, по мнению Лаврентьева, путь к процветанию региона. Без нефти и угля вулкан снабжает турбины паром, надо только пробурить в подходящем месте скважины».

В проливах между Курильскими островами и на побережье Кольского полуострова Лаврентьев предлагал строить электростанции, работающие на энергии приливов. Притяжение Луны гонит океанские воды через узкие участки береговой линии сначала в одном направлении, потом в обратном. Цикл повторяется

регулярно два раза в сутки: вперед-назад, вперед-назад, бесконечно, пока Луна вращается вокруг Земли. Если сконструировать подходящую турбину, то получается почти вечный и почти бесплатный источник энергии.

Отец поручил энергетикам просчитать, насколько эти предложения экономически реализуемы. Договорились поэкспериментировать, построить небольшую геотермальную электростанцию на Камчатке и приливную — на Кольском полуострове.

Обсудили также возможности солнечных и ветровых электростанций. Решать ничего не стали — ученые признавали, что до их практического использования еще далеко.

В марте-апреле отец постоянно на людях. В первых числах апреля отправляется с десятидневным визитом в Венгрию. Встречают его тепло, с Яношем Кадаром отца связывала искренняя дружба. Кадар, единственный из лидеров социалистических стран, останется ей верен и после отставки Хрущева. На дни рождения он по-прежнему будет дарить корзину с полюбившимися отцу краснобокими яблоками Джонатан, не убоявшись гнева Брежнева, он пришлет маме соболезнование после смерти отца.

По возвращении из Венгрии, 13 апреля, отец встречается с делегацией Польши, затем, 14 апреля — с военными из королевства Камбоджи и исчезает из поля зрения на «целых» два дня. И тут поползли слухи, что он скоропостижно скончался. Слухи настолько упорные и «правдоподобные», что о них написали в «Нью-Йорк Таймс». На Западе прокатилась легкая паника. Кто и зачем распустил слух, осталось неизвестным, но то, как его восприняли, свидетельствует о нараставшей в обществе нервозности.

17 апреля 1964 года приемом в Кремле и салютом в Москве отмечается 70-летие отца. Его награждают Золотой Звездой и орденом Ленина, знаками Героя Советского Союза. В восхвалении отца особенно усердствуют Брежнев, Подгорный и Шелепин. Он смущен обрушившимися на него потоками славословия и одновременно польщен признанием его заслуг. Тем временем та же компания Шелепина — Брежнева начинает сколачивать заговор против отца, сговариваются, как в ближайшее время отстранить его от власти. Отец ни о чем не догадывается, но все чаще в

«дружеском кругу» сетует на возраст и объявляет о своем намерении уйти в отставку после очередного, XXIII съезда партии. Брежнев и Подгорный шумно возражают: «Никита Сергеевич, вы полны сил, вы еще поработаете». Отец не спорит, но и своего решения не меняет. Вскоре он подтвердит свои намерения публично в одном из выступлений, но в газетный отчет их не включат.

История отставки отца — тема моей книги «Пенсионер Союзного значения», и здесь я ее, по возможности, постараюсь не затрагивать.

22 апреля 1964 года в газетах публикуют списки новых лауреатов Ленинской премии. В них нет имени Солженицына, его выдвигали на премию за повесть «Один день Ивана Денисовича». Отец поддержал Солженицына, но оказался в меньшинстве, Союз писателей вместе с идеологами из ЦК встал стеной. В Комитете по Ленинским премиям сторонников у Солженицына практически не оказалось, даже те немногие, кто ему сочувствовал, промолчали. Отец тоже не вмешивался, пусть решает «демократическое большинство». Большинство высказалось за роман «Тронка» украинского писателя Олеся Гончара. Его «Тронку» запомнили только потому, что она перебежала дорогу Ивану Денисовичу.

В тот же день отец принимает в Кремле Джорджа Финли, одного из мясных «королей» Америки. Отец встречался с ним ранее и упоминал его имя в записке о реорганизации сельского хозяйства. Сейчас они договариваются, как мистер Финли сможет конкретно нам помочь. Финли готов поставить оборудование для свиноводческих ферм, рецептуру кормов и все остальное.

Вечером 23 апреля отец в Большом театре в президиуме торжественного собрания по случаю 400-летия Вильяма Шекспира, и в тот же вечер, 23 апреля 1964 года, театральный режиссер Юрий Любимов спектаклем Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана» возвестил о рождении, наверное, самого знаменитого и скандального театра второй половины XX века в Москве, Театра на Таганке.

26 апреля 1964 года Белоярская атомная электростанция на Урале дала первый ток.

Кому светят московские фонари?

Утром 30 апреля 1964 года, отец по дороге в Кремль останавливается на Арбатской площади. Там накануне Первомая заканчивают последние работы в транспортном туннеле, обрамленном целой сетью подземных пешеходных переходов. Получилось хорошо, и отец не преминул вспомнить, как он впервые заговорил с москвичами о подземных транспортных развязках и как москвичи тогда сопротивлялись. Присутствовавшие московские начальники дружно согласились с отцом. Движение по туннелю открылось тем же вечером.

С Арбатской переехали на площадь Свердлова (Театральную), где тоже подготовили к сдаче паутину подземных переходов с выходом не только на поверхность, но и впервые в московской практике к станциям метро. Затем пешком прошлись по улице Горького к новой гостинице Минск. Осмотром отец остался доволен.

Как и полагалось тогда, за отцом неотрывно следовал московский партийный секретарь Николай Егорычев со своей неизменной записной книжечкой, в которую он прилежно записывал все, что говорил отец. Для проверки исполнения.

В ЦК они возвращались вместе. Здание Московского комитета партии размещалось бок о бок с цековским, и отец предложил подвезти Егорычева. В 10.30 утра они вошли в кабинет отца и расположились за длинным столом для заседаний, отец — в торце, Егорычев — сбоку, рядом.

Отец поинтересовался, сколько москвичи введут в строй жилья в 1964 году. Что ответил тогда Егорычев, я не знаю, а вот много лет спустя — историку Леониду Млечину он назвал миллион квадратных метров. Дальше цитирую это интервью.

«— Сколько? Сто тысяч? — недоверчиво переспросил Хрущев.

— Миллион, — Никита Сергеевич.

— Мы когда-то мечтали сто тысяч вводить. Слишком хорошо Москва живет!» В этот момент, по словам Егорычева, Хрущев соединился с председателем Госплана и приказал срезать Москве центральное финансирование, а деньги передали другим регионам. Москвичам, которые всегда жили богаче прочих россиян, Хрущев предложил компенсировать «недостачу» за счет строительства кооперативов. В результате по стране в целом увеличивалось общее количество квадратных метров вводимого жилья.

Напомню, еще год назад отец настойчиво «рекомендовал» Егорычеву сосредоточиться на кооперативном строительстве и пообещал через год проверить.

Егорычев тогда заверил, что «перестроится», но ничего не сделал. Обижаться Егорычеву следовало только на самого себя.

Николай Григорьевич рассказал Млечину, как он ловко выкрутился из положения: кооперативным способом «освоил» всего полмиллиона квадратных метров, а на оставшуюся сумму обложил данью «богатых московских министров».

Егорычев оговорился, упомянув не предприятия, а «министров», но министерств тогда не существовало. Они вновь появятся только в 1965 году.

«— Хрущев, когда в последний раз отдыхал в Пицунде (в октябре 1964 года), позвонил мне оттуда, — продолжает Егорычев, — спросил, как москвичи строят? Ему кто-то доложил, что, несмотря на запрет, строительство продолжается. Если бы его не скинули, он бы меня с работы снял».

Вполне вероятно, но только не за строительство, а за несанкционированное использование бюджетных денег, незаконное изъятие их из фондов развития предприятий и перекачки в городской бюджет, за неисполнительность и нераспорядительность, неспособность в полном объеме привлечь деньги населения. Так что и тут Николай Григорьевич напрасно обижается.

Обижается напрасно, а напраслину возводит на отца с умом. Таким образом, он задним числом пытается оправдать свое участие в заговоре против отца: он-де и волюнтарист, да и с реалиями жизни уже справиться не мог. Я уже писал, что эту стратегию избрали и Шелепин, и Семичастный, а Егорычев из их группировки.

Вот только в цифрах Николай Григорьевич несколько напутал. В надиктованных воспоминаниях отец по памяти приводит объем запланированного Москве на 1964 год жилья — около 3,8 миллионов квадратных метров из 45 миллионов квадратных метров по всей стране, примерно 130 тысяч малогабаритных квартир. «Это по прежним временам головокружительная цифра, — восхищается отец. — Дореволюционная Москва за всю свою историю построила 11 миллионов квадратных метров, а до войны мы ежегодно строили не больше 100 тысяч квадратных метров жилья, за 1949 год, ко времени моего возвращения с Украины в Москву, там сдавали около 400 тысяч квадратных метров». На миллион квадратных метров москвичи вышли еще в 1956 году, задолго до Егорычева. Так что о ста тысячах квадратных метров отец мечтал в году 1936-м и в 1964-м Егорычеву тоже не завидовал, а гордился общими достижениями.

Конечно, Егорычев мог и забыть, сколько жилья построили в 1964 году, миллион или почти четыре миллиона. В отличие от отца, он к этим цифрам не «прикипел». К сожалению,

современные историки рассказанные им «истории» не проверяют.

После смерти Егорычева москвичи выпустили книгу воспоминаний о своем бывшем руководителе «Н. Г. Егорычев — политик и дипломат». В ней воспроизводится приведенное выше интервью, но с редакторской правкой, согласно которой миллион квадратных метров — это жилая площадь, сданная москвичами за первые четыре месяца 1964 года, а общее годовое задание указывается правильно: 3,6 миллиона квадратных метров.

Интересно, что в этой же книге воспроизводится аналогичное интервью Егорычева об этажности жилищного строительства. «Почему вы строите пятиэтажки? — недовольно спросил Хрущев и начал выговаривать мне (Егорычеву. — *С. Х.*) за расточительство». Последовало объяснение, в ходе которого автор объяснил Хрущеву, что на самом деле они строят не пятиэтажки, а «жилье в девять-двенадцать этажей, улучшенного качества, и все это за счет внутренних ресурсов». — «Почему я этого не знаю?» — якобы возмутился Хрущев.

То ли Егорычев забыл о совещании в Моссовете 13 мая 1963 года, где принималось решение об увеличении этажности жилищного строительства, то ли надеется, что другие забудут. Глава книги, содержащая воспоминания самого Егорычева, пестрит подобными перлами.

А вот еще одна история. Егорычев жалуется Млечину, как после одного из заседаний сессии Верховного Совета СССР (15 июля 1964 года) они с Хрущевым присели на скамейке в Кремлевском садике и…

— Зачем Москва тратит там много электричества на освещение? — спросил Хрущев.

«Первый секретарь жил в резиденции на Ленинских горах, откуда видел весь город. В его представлении Москва купалась в электричестве», — это комментарий Егорычева.

— Никита Сергеевич, это только кажется, — оправдывается Егорычев. — В реальности некоторые районы мы освещаем очень плохо… На освещение города тратятся десятые доли процента от общей энергии потребляемой городом, основное съедает промышленность. Мы сумели поднять коэффициент…

«Не дослушав, Хрущев с недовольным видом ушел обедать… Видимо, обиделся на то, что он, Егорычев, молодой партийный руководитель, разбирается в том, что ему неизвестно».

Такая вот коллизия. Я, естественно, при разговоре в Кремлевском саду не присутствовал, а вот историю с фонарями помню хорошо. Разговор, о котором упоминает Егорычев, происходил в июле 1964 года, сразу после возвращения отца из поездки в скандинавские страны, славящиеся рациональным

расходованием ресурсов, в том числе и электроэнергии на освещение городов. Отца впечатлили фонари на улицах Стокгольма. Шведы снабдили их системой отражателей так, что почти весь свет падал на мостовую с тротуарами. Дома отец приводил шведскую изобретательность в назидание не одному Егорычеву. Сверху, из резиденции на Ленинских горах он действительно видел, как московские фонари, «голые» светильники освещают небо, а не улицы.

— Конечно, они, капиталисты, приучены деньги считать, а у нас… — сокрушается отец.

Для Егорычева расходы на освещение не стоившая его внимания мелочь, «десятые доли процента от общего московского потребления». Тут нечего добавить.

В заключение прокомментирую еще одно характерное воспоминание Егорычева, звучащее как самооправдание его участия в заговоре против Хрущева.

«Полагаясь на свой авторитет, Хрущев поучал всех направо и налево, — пишет Егорычев. — Однажды у своего товарища за ужином я встретился с академиком Валентином Алексеевичем Каргиным. В этот день он с коллегами побывал у Хрущева, который вызвал их для обсуждения проблем развития химии. Все они готовились к встрече, обсуждали вопросы, чтобы поставить их перед Хрущевым.

Валентин Алексеевич с возмущением рассказывал, — продолжает Егорычев — как он (Хрущев. — *С. Х.*) едва пригласил их сесть и сразу начал: “Вот что, дорогие товарищи ученые, я недоволен тем, как у нас развивается химия, и вы несете за это прямую ответственность”. И стал их поучать. Они сидели и ничего не могли понять, для чего он их пригласил?»

По Егорычеву, действительно получилось нехорошо. Правда, он не рассказывает, о чем и как говорили дальше, но ему это и не нужно. А если взглянуть на начало упомянутого совещания по-иному?

Академик Каргин — физико-химик, полимерщик, лауреат Ленинской и четырех Государственных премий, член Совета по науке при главе правительства (то есть при Хрущеве), отвечал в этом совете за развитие полимерного производства, выпуск лавсана, винола и многих других, только входящих в оборот материалов. Как член Совета к Хрущеву он был вхож в любое время.

С полимерами в Советском Союзе дела обстояли не лучшим образом, на исследования тратились огромные средства, а результат… Результат получали, к сожалению, от закупки лицензии у западных фирм. Ученые, в том числе и Каргин,

покупке лицензий противились, обещая со дня на день внедрить собственные разработки, затягивали дело до бесконечности. Естественно, что Хрущев считал себя вправе предъявить химикам, в первую очередь своему советнику Каргину, претензии. И предъявил. Такое мало кому нравится. Каргин, естественно, понимал, что к чему, хотя в сердцах, особенно после рюмки в хорошей компании, мог и не сдержать эмоций.

Ну а выводы? Они целиком на совести Егорычева.

День за днем

5 мая 1964 года отец отправился из Ялты морем на теплоходе «Армения» с государственным визитом в Египет. Эта поездка планировалась очень давно. Президент Египта Гамаль Абдель Насер настойчиво приглашал отца, а тот никак не соглашался, препятствовала внутренняя политика самого Насера. В Египте коммунисты по-прежнему, как и при короле Фаруке, сидели в тюрьмах. В ответ на уговоры отца освободить их Насер отмалчивался, и визит раз за разом откладывали. Наконец в чем-то пошел на попятный Насер, на что-то закрыл глаза отец, но главным образом возобладали геополитические соображения.

Май 1964 года в истории Египта выдался особым. Советский Союз завершал постройку Асуанской высотной плотины на Ниле. О ней египтяне мечтали последние полтора века. Плотина обещала не только избавить страну от разрушительных наводнений, но и позволяла оросить тысячи и тысячи гектаров земли, превращала нищих феллахов в зажиточных фермеров-хлопководов.

Когда-то плотину собирались построить англичане, но молодые офицеры во главе с Насером свергли короля Фарука, британским оккупационным войскам пришлось уйти с территории Египта. Вопрос о плотине, естественно, больше не поднимался. Президент Насер начал договариваться о кредите с американцами и зависящим от них Всемирным банком. Но вскоре и тут все пошло прахом. Политика Насера Вашингтон не устраивала.

Тогда-то предложил свои услуги Советский Союз. К тому времени мы научились строить плотины не хуже американцев. Подписали договор, и работы начались. За

оказываемые им услуги египтяне расплачивались своими товарами, в том числе тонковолокнистым хлопком, он в мире ценился на вес золота, а у нас в Средней Азии рос плохо.

На май 1964 года назначили перекрытие Нила — самое знаменательное событие в строительстве любой плотины. Отцу на торжествах отводилась роль почетного гостя. К тому же ожидали приезда представителей всех арабских государств. Отец решил совместить приятное с политикой, воспользовавшись случаем, пообщаться с уже знакомыми и установить контакты с новыми лидерами арабских стран.

Поездка прошла более чем удачно. Насер с отцом вместе нажали кнопку взрыва земляной перемычки. Вода Нила пошла по новому руслу в обход плотины. По такому случаю египтяне наградили высоких гостей орденами. Отцу вручили орден «Ожерелье Нила». В Советском Союзе такой наградой удостоен еще только Юрий Гагарин. Даже Брежневу «Ожерелья Нила» не досталось.

Впоследствии, тогда охраной общественного порядка ведал брежневский друг Николай Щелоков, этот орден таинственно исчез из квартиры отца в Староконюшенном переулке. Мама обнаружит его пропажу только в 1971 году, когда после смерти отца пришла пора сдавать награды в архив Президиума Верховного Совета СССР. Но это совсем другая история.

Тогда же, согласно международным обычаям, нам следовало отдариться, наградить президента Египта чем-то эквивалентным «Ожерелью Нила». Маршал Гречко, он сопровождал отца в поездке, предложил присвоить Насеру звание Героя Советского Союза, наградить его Золотой Звездой. Протокольно — решение безупречное, а вот политически?… Оно вызвало в Москве массу толков и в чем-то скомпрометировало отца. Общественное мнение посчитало, что президент Египта, дружественного нам государства, подобной чести недостоин. Почему? Ведь это не первое такое награждение. 1 Мая 1964 года Золотую Звезду Героя Советского Союза получил находившийся в СССР с официальным визитом, президент Алжира Ахмед Бен Белла. Месяцем ранее такую же награду вручили Яношу Кадару, венгерскому руководителю. Никто и внимания не обратил, а с Насером разразился настоящий скандал.

То ли КГБ постаралось, тогда уже начал оформляться заговор против отца и председатель КГБ Семичастный в нем активно участвовал, то ли отец чего-то недоучел? Я и до сих пор не понимаю.

По завершении торжеств главы всех арабских государств собрались вдали от посторонних ушей и глаз на борту президентской яхты в Красном море, где они два дня совещались с Хрущевым.

25 мая 1964 года отец самолетом возвратился в Москву.

8 мая 1964 года газеты сообщили о спуске на Балтийском заводе в Ленинграде еще одного советского супертанкера «Братислава» водоизмещением в 62 тысячи тонн.

28 мая 1964 года отец едет на ВДНХ, там открылась Британская сельскохозяйственная экспозиция. Его интересуют механизированные и автоматизированные фермы-заводы по производству куриного мяса и свинины. Собственно, ради того чтобы познакомить наших специалистов с современными технологиями, он и задумал эту выставку. Задумал еще в 1962 году, когда встречался с лейбористом лордом Руди Стернбергом, британским промышленником, хозяином четвертой в Европе по объему продаж химической компании «Стерлинг Групп». Они говорили, естественно, не о мясе, а о технологиях производства искусственных волокон, о возможности закупки лицензий и организации производства у нас. Гостя впечатлил деловой подход хозяина кабинета, и он подумал, что не только его компания может извлечь выгоду из торговли с Россией. Приятель лорда Стернберга, лорд Давид Гибсон-Уатт, в отличие от него самого, сторонник консерваторов, возглавлял Королевское общество аграриев Уэльса и занимал пост председателя Британской экспортной ассоциации мясопроизводителей. Стернберг рассказал отцу, что английские фермеры добились больших успехов в разведении мясных пород птицы и производстве свинины, и если господин премьер-министр сочтет возможным, он переговорит со своим другом Гибсоном об организации выставки в Москве. Отец обещал подумать и в ноябре 1962 года сообщил Стернбергу о согласии. В Лондоне и Москве организовали соответствующие оргкомитеты, дело закрутилось. Крутилось оно два года, наконец

договорились. Открытие выставки назначили на 18 мая 1964 года. Отец еще не вернулся из Египта и представлять себя поручил Косыгину. Алексей Николаевич произнес соответствующую речь, бегло пробежал по стендам и уехал в Кремль, там его ожидали более важные дела, чем британские цыплята-бройлеры. А вот отца бройлерное производство куриного мяса очень интересовало. У нас тогда старались извлечь из курицы, как казалось аграриям, двойную выгоду: сначала пусть она несет яйца, а потом ее пустят на мясо. В результате яиц получали не так уж много, а курятина выходила жилистой, кожа да кости. Британцы вывели различные породы: кур-несушек и мясных кур-бройлеров.

Бройлеров последней селекции и показывали отцу у стенда фирмы «Кобб». Ее основатель доктор Джон Ноулес вытащил из клетки упитанную птицу и протянул ее гостю.

— Хороша курочка, килограмма на два потянет, — одобрительно произнес отец.

— Это петух, господин премьер-министр, — поправил его доктор Ноулес.

— Неправда, — возразил отец, — какой это петух без гребешка?

У птицы действительно отсутствовало главное петушиное украшение. Доктор Ноулес пояснил, что в процессе селекции уникальной быстрорастущей мясной породы бройлеров петушиный гребешок как бы усох.

Отец его внимательно выслушал, потом перевернул птицу вверх лапами, раздвинул в соответствующем месте перья и убедился, что англичанин говорит правду. Тем временем доктор Ноулес рассказывал, что их бройлер за два месяца, при расходе двух килограммов кормов, набирает полтора килограмма веса, а на семидесятый день весит 2 килограмма 150 граммов. Дальнейший откорм становится невыгодным, птицу реализуют. Отец владел этой информацией, но цифры его все равно впечатлили.

Ему очень захотелось заполучить пару британских бройлеров на развод, и он предложил доктору Ноулесу обмен: тот подарит ему петушка с курочкой, он-де сам будет их пасти на даче, а отец ему — их общую фотографию с автографом. Толпившиеся вокруг них журналисты защелкали камерами. Джон Ноулес поколебался секунду и согласился, они ударили по

рукам.

Следующая остановка у стенда фирмы, выращивающей индеек. Пояснения давал профессор Эдинбургского университета Джорж Клейтон, генетик, он консультировал многие компании, в том числе «Кобб» и «Британских производителей индюшатины».

У меня хранится фотография с автографом отца, он держит в руках петушка-бройлера. Другая, уже без автографа, его, стоящего под муляжом туши индейки размером в человеческий рост и слушающего объяснения Кейта Геббса, директора фирмы «Британская объединенная индейка». Слева, чуть поодаль, — доктор Клейтон. В 2008 году эти фото мне прислали из немецкого отделения фирмы «Кобб», они процветают, чтут свою историю, помнят о выставке и визите Хрущева на их стенд в июне 1964 года. С того времени у фирмы установились прочные и выгодные торговые отношения с Советским Союзом. Историю посещения отцом Британской выставки я тоже пересказываю с их слов, вернее, по их архивным записям.

Индейками отец не заинтересовался, дослушав пояснения мистера Геббса, он буквально впился в Клейтона, подробно расспрашивал, как он, университетский профессор, взаимодействует с частными фирмами, кто дает заказы, кто оплачивает, как внедряют результаты. И вообще, как строится взаимодействие фирмы с университетом?

По возвращении с выставки в Кремль отец в течение часа беседует с издателем «Британской энциклопедии» У. Бентоном.

На следующий день, 29 мая 1964 года, так записано в истории фирмы «Кобб», на их стенде появился невысокий человек (я думаю подполковник Коротков из охраны отца). Он вручил доктору Ноулесу обещанную фотографию с автографом и, показав на пару картонных коробок, которые принес с собой, осведомился, каких цыплят он может получить взамен. Ноулес расчувствовался и вручил ему не пару, а трех бройлеров: петушка и двух курочек. Посланец не спешил, начал дотошно выспрашивать, чем и как часто кормить птиц, попросил дать ему образцы рациона. Получив то, что хотел, он заверил, что отвезет бройлеров прямиком на дачу Хрущева. Но они попали не в Горки-9, а на племенную птицефабрику в Подмосковном Загорске

(Сергиевом Посаде). В фирме «Кобб» считают, что с этой троицы, обозначенной в их каталоге как порода «Кобб-100», в Советском Союзе началось промышленное выращивание бройлеров педегринской породы. Так ли это, я не знаю, в те годы отец общался не только с доктором Ноулесом, но и с производителями мяса из США, Германии и даже Австралии и у всех старался позаимствовать самое лучшее. Но и сомневаться в правдивости архивных записей фирмы «Кобб» тоже нет ни малейших оснований. Кому-то довелось стать прародителями советской бройлерной индустрии. Так почему не троице породы «Кобб-100»?

Свой разговор с английскими селекционерами отец запомнил, он упоминает о нем в записке Президиуму ЦК о путях развития сельского хозяйства, возвращается к нему при обсуждении стратегии развития науки в нашей стране. Об этом речь пойдет ниже.

Вечером 3 июня 1964 года отец в Концертном зале Чайковского слушает «Поющие голоса Японии».

7 и 8 июня 1964 года отец в Ленинграде, где встречается с путешествовавшим по Европе президентом Югославии Тито. Они обсуждают какие-то дела, любуются фонтанами Петергофа.

9 июня 1964 года переходом из Ленинграда в Москву, безымянный грузовой теплоход открывает судоходство по реконструированной, вернее заново отстроенной, Волго-Балтийской системе каналов и шлюзов.

10 июня 1964 года отец выступает на открытии памятника Тарасу Шевченко, установленному в сквере на набережной Москвы-реки у входа в гостиницу «Украина».

«15 июня 1964 года по указанию министра культуры СССР т. Фурцевой Е. А. в Центральном выставочном зале московского Манежа открылась выставка художника Ильи Глазунова. Открытие выставки не согласовывалось с МК КПСС и состоялось в противовес мнению творческих организаций художников», — докладывает секретарю ЦК КПСС Ильичеву заведующий Отделом культуры Поликарпов.

34-летний Глазунов, участник печальной памяти манежной истории, стремительно набирал известность. Рисовал портреты своих и, что вызывало особую, зависть коллег по творчеству, иностранцев, от французского академика-физика Фредерика Жолио-Кюри до нашего

писателя Федора Панферова. Картины его шли нарасхват. А тут еще эта выставка! Она привела в бешенство руководство не только Московского, но и Общероссийского союза художников, всех его маститых и заслуженных членов. Они и побежали в ЦК жаловаться на Глазунова и его «заступников».

«Организация персональной выставки работ Глазунова в Манеже явление беспрецедентное, — возмущается в записке Поликарпов. — До сих пор в этом зале не устраивались персональные выставки даже крупнейших советских художников…

При организации выставки в Манеже не учли нездоровый сенсационный интерес, возбуждаемый вокруг Глазунова отдельными меценатствующими литераторами, Сергеем Михалковым, Сергеем Смирновым, Василием Захарченко, Антониной Коптяевой, а также некоторыми органами печати», — и так далее. Возмущение «крупнейших советских художников» не имело границ, они «жаждали крови».

Под их давлением Поликарпов просил свое начальство потребовать от Фурцевой объяснений, «строго указать газетам, в том числе “Правде” и “Известиям”, на необходимость более строгого отношения к оценкам и поддержке тех или иных явлений искусства» и вообще принять строгие меры.

Одновременно с запиской Поликарпова в ЦК пришло донесение из КГБ. «Используя недозволенные приемы саморекламы, Глазунов способствовал созданию обстановки нервозности и ажиотажа на выставке, — пишет Семичастный. — Среди части посетителей распространен слух, что Глазунов — “мученик”, “борец за свободу”, которого не признают в Московском отделении Союза художников».

«Выставка эта — удар по нашим художникам иезуитами», — цитируется одна из записей в книге отзывов.

«19 июня намечалось обсуждение творчества т. Глазунова. Обсуждение отменили. Однако собравшиеся посетители, в основном молодежь, поклонники творчества Глазунова, отказались покинуть зал и, усевшись на полу, криками в течение нескольких часов требовали открытого обсуждения. Ряд иностранных корреспондентов отправили за границу тенденциозное сообщение о выставке».

И все, никаких выводов, никаких предложений, только подпись: «Председатель Комитета госбезопасности В. Семичастный».

Кроме Ильичева, оба документа прочитали Суслов и другие секретари ЦК, но решать ничего не стали, посоветовали Леониду Федоровичу дождаться Хрущева. Заговор против него к тому времени уже набирал видимые очертания, и скандал с художником (Суслов в число заговорщиков не входил) оказался бы очень к месту.

Однако скандала не получилось. Отец, не перебивая, выслушал доклад Ильичева, оставил жалобу «художников» без последствий. Ильичев его охотно поддержал, он и сам принадлежал к числу тех, кого в записке назвали «меценатами художника».

18 июня 1964 годы вошла в строй первая очередь Криворожского Северного железорудного горно-обогатительного комбината.

В июне выходят в свет воспоминания генерал-полковника Горбатова. Его посадили без объяснений причин, а потом так же, без объяснений, выпустили, назначили командиром корпуса и отправили прямиком на фронт воевать с немцами. Он пишет не только о войне, но и о своем аресте перед войной, о «прелестях» сталинских лагерей. После «Ивана Денисовича» Солженицына — это, по тому времени, самая сильная по воздействию на читателя «лагерная проза».

1 июля 1964 года в Советском Союзе впервые разыгрывается лотерея «Спортлото».

8 июля 1964 года отец традиционно выступает на приеме в Кремле по случаю очередного выпуска военных академий. Он вновь говорит о необходимости сокращения Вооруженных сил и военных расходов, перераспределении высвобождающихся ресурсов на производство товаров народного потребления и строительство заводов химических удобрений. Присутствующие ему вежливо аплодируют.

10 июля 1964 году к отцу в гости приходит скульптор Сергей Тимофеевич Коненков. Он стар, ему девяносто лет, он знаменит, и от отца ему ничего не надо.

«Он, — как рассказал вечером отец, — просто хотел пожать мне руку».

Отцу от Коненкова тоже ничего не надо, ему, в свою

очередь, любопытно и лестно повстречаться с «живой легендой», и он с удовольствием пожимает протянутую руку.

Скандинавское «чудо»

14 июня 1964 года отец вновь в отъезде, теперь уже в Скандинавские страны. Путешествует он теплоходом «Башкирия». Так удобнее. На борту можно вести любые разговоры, не опасаясь подслушивания, разместить независимо от хозяев сопровождающих лиц. Начал отец с Дании, оттуда переехал в Швецию, и завершился визит в Норвегии.

Поездка носила протокольный характер, скандинавы приглашали отца с 1956 года, но визит из года в год откладывался, то события в мире складывались неблагоприятно, то еще что-то мешало. Тянуть дальше стало невозможно, скандинавы обидятся. Отец их обижать не хотел.

То, что он увидел на полях Дании, а потом в Швеции, сразило отца. Местные фермеры на далеко не плодородных, каменистых наделах, под скупым северным солнцем добились того, о чем он только мечтал.

«У меня просто нет слов, чтобы выразить свое удовольствие от знакомства с сельским хозяйством Дании, — диктует отец в 1970 году. — До поездки я читал о сельском хозяйстве Дании, но увиденное меня поразило. Нам показали владения скромного фермера, по-нашему кулака. Все у него организовано так, чтобы выстоять в конкуренции с соседями, максимально выгадать. Особенно меня поразил молочный скот. Дания — это огромная молочная ферма. О продуктивности коров у них судят по процентам жирности молока, а не в литрах удоев, как у нас. Мы шли мимо табличек, и у меня перед глазами мелькали цифры: 4,5; 4,7; 5,0; 5,2; 5,2; 5,5 и вдруг 7,0 процентов жирности! Просто мечта. Маленькая страна и делает буквально чудеса. Чудеса для нас, а для других стран — это давно завоеванные позиции и никакие не чудеса. Мой глаз любителя отменной работы отдыхал на датских посевах. С радостью, однако, соседствовало разочарование. Радость порождалась гордостью за людей с таким успехом возделавших свои поля, а горечь проистекала от воспоминаний о нашем сельском хозяйстве».

А вот что он пишет о Швеции: «Премьер-министр Эрландер сам вел машину, мы ехали на ферму. Ее посещение программой не предусматривалось, и мы нагрянули неожиданно. Фермер, сидя за рулем косилки, убирал люцерну. Я такого способа ранее не видел и никогда не читал о нем. Скошенные растения

пропускали через валки. Стебли раздавливались и навивались на растягивающийся следом за машиной бумажный шпагат, безопасный для желудка коровы.

Обычно листья люцерны, самый ценный корм, к моменту высыхания стеблей пересыхают и опадают на землю, теряются, а тут все сохло равномерно, без потерь. У нас таких машин не производили.

Потом фермер показал нам плавающую машину для косьбы камыша, у нас о ней тоже не слыхали. Мы купили образец.

Коровы фермера, их высокая продуктивность вызвали у меня зависть. У нас ученых пруд пруди, а животноводческая наука никуда не годится. Даже толковой направленности нет».

Скандинавская поездка повергла отца буквально в шок. У них было чему поучиться, а отец всегда учился прилежно. Как скандинавский опыт преломился бы в грядущих реформах, мы может только гадать, ибо учиться у скандинавов или кого-либо еще у отца времени не оставалось.

Он еще успеет помянуть скандинавское животноводство в своем коротком — его стенограмма уложилась в 22 странички, — выступлении на июльском (11 июля 1964 г.) Пленуме ЦК, вставит несколько абзацев о нем в свою последнюю записку в Президиум ЦК, посвященную специализации. Преемники отца объявят его предложения докучливой болтовней, а саму записку изымут и засекретят.

И еще поразила отца простота, человеческая доступность правителей скандинавских стран. Датского короля он поначалу принял за садовника. Только когда тот уселся в кресло хозяина, отец понял, что этот человек, одетый во френч цвета хаки и есть король. Премьер-министр Швеции Эрландер вез отца на соседнюю ферму, устроившись за рулем малолитражки, а председатель норвежского правительства Герхардсен и вообще приехал на посольский прием на велосипеде.

«Этот транспорт полезнее и экономичнее автомобиля, поскольку лимит на бензин очень строго ограничивает поездки премьер-министра», — объяснял он отцу, вышедшему его проводить.

Под впечатлением от скандинавской поездки отец вновь, теперь уже в последний раз, поднимет вопрос о персональных ЗИЛах и «Волгах».

Отсутствие отца в Москве было на руку заговорщикам. К лету основные учреждения, в которых сосредотачивалась власть, — ЦК (Брежнев с Подгорным) и Совмин (Полянский с Шелепиным), КГБ (Семичастный) по существу перешли под их контроль. Они вызывали к себе секретарей обкомов, рассылали по стране своих

гонцов и одновременно дозировали информацию, поступавшую к Хрущеву. Отец же оставался в неведении.

«Мы разгоним к чертовой матери Академию наук», или «У кого наука, у того — будущее» [89]

По возвращении в Москву отец окунулся в гущу дел. Предстоял Пленум ЦК, а вслед за ним — Сессия Верховного Совета.

Пленум ЦК, открывшийся и закрывшийся, в субботу, 11 июля 1964 года, — это пленум-однодневка, собираемый, чтобы формально утвердить, без заслушивания, доклад главы правительства на сессии Верховного Совета обычно о планах народного хозяйства на следующий год или, как в данном случае, с предложениями о пенсионной реформе.

Июльский Пленум заслужил упоминания лишь потому, что это последний Пленум отца. Если верить членам постхрущевского руководства, отец выступал без подготовки, без текста, говорил длинно и чрезвычайно сумбурно и, согласно им же, обидевшись, что академики не поддерживают Лысенко, якобы заявил: «Мы разгоним к чертовой матери Академию наук!» Фраза пришлась заговорщикам очень кстати.

Я приложил немало усилий, чтобы заполучить из архива неправленую стенограмму (правленой просто не существует) выступления отца. Выступление, не такое уж длинное, стенограмма укладывается в двадцать одну страницу, отец заканчивает извинением: «Я промучил вас с час, кажется?» — и тут же закрывает заседание.

Итак, произнес отец сакраментальную фразу или не произнес? Произнес, но в контексте. Говорил он, как обычно в последние месяцы, о сельском хозяйстве, и о назревающей реформе. Академию наук упомянул походя, в связи с недавними выборами ее новых членов, а затем чуть коснулся ее роли как одного из министерств, ответственного за организацию исследований в стране.

Сначала о выборах академиков и членов-корреспондентов, прошедших 24 июня 1964 года, за пару недель до Пленума.

Большинство «толкователей» выступления отца всё сводят к тому, что на выборах Лысенко попытался провести в полные академики «теоретика своего учения», члена-корреспондента АН СССР Нуждина, а сговорившиеся заранее физики, в том числе Андрей Сахаров, его провалили. При этом Сахаров на общем собрании Академии резко и нелицеприятно высказал все, что он думает о самом Лысенко и его биологической науке. Лысенко нажаловался отцу, и тот, в угоду Лысенко, пригрозил Академию прикрыть. История эта полна натяжек, «толкователям» то и дело

приходится подправлять отца.

Что же произошло на Общем собрании Академии и на Пленуме ЦК? Начну с Пленума. Отец действительно весьма критически и резко высказывается о Сахарове, однако Нуждина не упоминает, говорит не о Нуждине, а о селекционере Василии Николаевиче Ремесло из Мироновской опытной станции, авторе множества сортов пшеницы, в том числе всемирно известной «Мироновской-804». Она да еще «Безостая-1» — сорт Павла Пантелеймоновича Лукьяненко — основа в те годы всего зернового хозяйства страны. Эти сорта обеспечивали прибавку урожая в 15–20 центнеров зерна на гектар при средней урожайности в 11 центнеров.

В Ставрополье вообще побили все мыслимые рекорды, добились урожая в 70 центнеров с гектара, правда, на хорошо удобренных и обильно политых землях.

Судя по тексту, отец кипит возмущением. Ремесло, чьи труды обещают переворот в сельскохозяйственном производстве, академики не только не сочли себе ровней, он не прошел даже в члены-корреспонденты, его с треском провалили при предварительном голосовании в Отделении биологии АН СССР. Если читать стенограмму, то не возникает сомнений: отец имел в виду именно Ремесло. Он четко произнес: «Стоял вопрос об избрании членом-корреспондентом (не академиком) В. Н. Ремесло. Он прекрасный селекционер». Отец возмущен несправедливостью и делится своими чувствами со слушателями. Нуждин тут абсолютно ни при чем, отец о нем и не вспоминает.

Проблема выборов в Академию «чистых» и «нечистых», критерии отбора ученых, достойных стать ее членами, своими корнями уходит в вековечное противостояние «истинной» науки и науки прикладной, теоретиков-ученых и практиков-изобретателей.

До середины XX века в советской Академии доминировали «теоретики», на селекционеров, конструкторов и всяких прочих агрономов-инженеров они смотрели сверху вниз. Правительство, в свою очередь, не хотело обижать занятых в прикладной науке главных конструкторов и главных селекционеров, не менее значимых для реальной жизни, чем академические ученые. В результате на Академию постоянно давили сверху. Академиков беспокоило, что таким образом ареопаг «бессмертных» размывался, в их среде появляется все больше «смертных», а стоило таким «пробраться» в Академию, как они тащили за собой целую гирлянду новых «смертных», и от классической Академии скоро мало что останется. Опасения не без оснований. Так уж жизнь устроена. Лицо Академии постепенно менялось, но не

скажу, чтобы в ущерб науке.

Для тех, кто не посвящен в академическую кухню, поясню: академиков или членов-корреспондентов выбирают на вакансии, высвободившиеся после смерти одного из «бессмертных», или новые, выделенные правительством соответствующему отделению. В действительные члены Академии выбирают на общем собрании, там голосуют все вместе, биологи за математиков, физики за биологов и так далее. Кто достоин стать членом-корреспондентом, академики решают на заседании «профильного» отделения, а общее собрание только подтверждает их выбор. Государство, давая дополнительную вакансию, обычно обозначает, что оно заинтересовано в избрании определенного кандидата, может оно и пригрозить, что в случае неизбрания вакансию вообще ликвидируют. Но окончательное решение всегда за академиками, и голосуют они тайно. Нередко академики старались протащить на объявленную новую вакансию «своего» кандидата. Отдел ЦК, курировавший Академию, настаивал, торговался, но старался не скандалить. Если их кандидат не набирал нужного количества голосов, а им уж очень хотелось, то после голосования выделяли еще одно «целевое» место, объявлялось новое голосование. Если и тут случалась накладка, то правительство смирялось до следующих выборов. Но это исключение из правил. Чаще все разрешалось к взаимному удовлетворению: академики на одну «правительственную» вакансию проводили своего кандидата плюс получали, притом навечно, еще одну вакансию, правда, ценой разбавления своих «чистых» рядов.

Таких примеров множество. Первым приходит на память физик-ядерщик Игорь Васильевич Курчатов. В 1943 году на выборах в академики его прокатили, избрали на его «персональную» вакансию специалиста в области атомного ядра и космических лучей, разработчика реакторов на тяжелой воде Абрама Исааковича Алиханова. Тогда правительство выделило под Курчатова еще одно место. Назначили новый тур выборов. Курчатов в Академию прошел. В 1953 году не менее драматично в Академию выбирали корифея-авиатора Андрея Николаевича Туполева. Туполев рассказывал отцу, как перед голосованием академики в открытую заявляли: «Жестянщики нам не нужны».

На том же общем собрании академии в 1953 году «продвигали» в академики и «бомбистов» — атомщиков, обеспечивших испытание нашего первого водородного заряда, среди них и Сахарова. Их тоже выбирали на специально выделенные вакансии, причем в отношении Сахарова особо оговорили: если его не выберут с первого раза, то вакансию

отберут. Выбрали.

После запуска спутника в академики выдвинули Сергея Королева, а его сподвижников, других главных конструкторов, в члены-корреспонденты, естественно на выделенные под них места. Выбрали, но под огромным нажимом. А вот моего шефа, ученого-механика, специалиста в теории колебаний, главного конструктора ракет Владимира Николаевича Челомея, несмотря на давление сверху и поддержку со стороны гениального механика и физика-теоретика Николая Николаевича Боголюбова, математиков Мстислава Келдыша, Леонида Седова тем не менее дважды забаллотировали. В академики он «прорвался» только через несколько лет, и не без проблем. А будь же он чистым механиком-теоретиком, без приставки «конструктор», думаю, с голосованием проблем не возникло бы.

Отец в академические выборные дрязги не вмешивался, правда, помощники ему докладывали об основных результатах. Возможно, так же обстояло бы дело и на этот раз. В 1964 году Отделение биологии получило три дополнительных вакансии «полных» академиков с пожеланием избрать на них наиболее достойных селекционеров. Первым в списке стоял упомянутый выше Лукьяненко, заведующий отделом Краснодарского НИИ сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, действительный член Академии сельскохозяйственных наук.

На вторую вакансию претендовал Василий Степанович Пустовойт, завотделом Всесоюзного НИИ масличных и эфиромасличных культур, тоже доктор сельскохозяйственных наук и тоже действительный член Академии сельскохозяйственных наук, столь же знаменитый селекционер, как и Лукьяненко, но только в своей области. Его сорта подсолнечника гремели на всю страну, масло из этих семечек стояло на полках всех советских магазинов.

Замыкал список вызвавший весь этот скандал Ремесло — директор Мироновской селекционно-опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института кукурузы, но всего лишь кандидат биологических наук. О его сортах и других заслугах я уже написал.

С Пустовойтом и Лукьяненко особых затруднений не возникло. Отделение их рекомендовало к избранию в академики, и общее собрание проголосовало «за». А вот с Ремесло вышла заминка, академиков возмутило вопиющее нарушение субординации, из кандидатов и сразу в академики. К тому же и Ремесло, понимая слабость собственной позиции, поспособствовал своему поражению. Он подал заявку на выборы одновременно в полные академики и в члены-корреспонденты,

авось хоть где-то повезет. Не повезло, недовольные академики решили действовать по инструкции, согласно которой рекомендовалось сначала избирать на отделениях членов-корреспондентов. Такой вакансии под Ремесло никто не выделил, его прочили в академики. В результате Ремесло на отделении прокатили, на две свободные вакансии в членкоры из двадцати претендентов прошли Константин Минаевич Рыжиков, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Гельминтологической лаборатории Академии наук, и Александр Александрович Федоров, доктор биологических наук, профессор, директор Ботанического института Академии наук, — оба достойные ученые и, что для нас немаловажно, не конкурировавшие с Ремесло.

Однако после провала выборов Ремесло в члены-корреспонденты выдвигать его в полные академики стало невозможным. С голосования на общем собрании его сняли, и за его неожиданно освободившуюся вакансию завязалась драка. Лысенко, со свойственной ему напористостью, проталкивал своего кандидата Николая Ивановича Нуждина, заведующего лабораторией Института генетики АН СССР наук, члена-корреспондента. По всем формальным критериям он в академики «проходил».

Нуждину противостояли два чудом сохранившиеся после сталинской чистки формальных генетика: доктор биологических наук, член-корреспондент Николай Николаевич Дубинин, заведующий лабораторией Института биофизики Академии наук, куда он только недавно перебрался от Лаврентьева из Сибирского отделения, и Антон Романович Жебрак, завкафедрой 1-го Московского медицинского института имени Сеченова, доктор биологических наук, профессор, к тому же академик Академии наук Белоруссии. Они, как и Нуждин, формальным требованиям соответствовали полностью. В их поддержку выступал не только Сахаров, но и другие физики, а вот биологи старались держаться в тени.

Отмечу, что Нуждина сверху не проталкивали, иначе под него бы дали вакансию и скорее всего никакой драки не возникло бы. Сейчас же обе стороны чувствовали себя свободными от обязательств перед правительством и в выражениях не стеснялись.

Осторожные академики их выслушали на общем собрании и предпочли золотую середину, на вакансию, не занятую Ремесло, избрали единственного не вовлеченного в борьбу претендента — Бориса Евсеевича Быховского, паразитолога, доктора биологических наук, директора Зоологического института,

естественно, члена-корреспондента, ученого достойного во всех отношениях.

Для справки: Ремесло изберут действительным членом АН СССР в 1974 году, ранее он защитит докторскую диссертацию и станет академиком Академии сельскохозяйственных наук. Нуждин так и умрет членом-корреспондентом. Такая вот история с академическими выборами.

Помощник отца Шевченко проинформировал его о выборах Лукьяненко с Пустовойтом и о провале Ремесло, естественно, без деталей, а затем, скорее всего, по просьбе своего друга Трофима Денисовича, рассказал с соответствующими комментариями о столкновении Сахарова с Лысенко. Упомянул ли он при этом Нуждина или нет, не знаю. Нуждин в глазах отца авторитетом не пользовался, он его знал и считал болтуном, человеком никчемным.

«Невыборы» Ремесло отца возмутили до глубины души. Где и против кого выступал Сахаров, он не запомнил и выплеснул свои эмоции на Пленуме, произнес сакраментальную фразу, но тут же и остыл, заключил академический пассаж словами, что «не хочет ворошить это навозное дело».

«Навозная» история с «выборами-невыборами» Нуждина в современной историографии подается в сугубо негативных антихрущевских тонах, как пример засилья власти (читай Хрущева) над Академией. На самом деле сама возможность провала Нуждина и вспыхнувшая вокруг него, без каких-либо последствий, баталия свидетельствовала о происшедших в обществе изменениях. Схлестнулись не столько «хрущевский» протеже Лысенко с диссидентом Сахаровым, сколько академик Лысенко с академиком Сахаровым. В 1939 году такие же физики, математики и другие «чистые» ученые по «просьбе» Сталина безропотно и единогласно избрали Лысенко в академики. Сталину они перечить не смели, а в 1964 году с Хрущевым открыто спорили. Отец морщился с непривычки, порой срывался, но в «навозные» дела не вмешивался, мер не принимал, и вполне осмысленно. Отец отдавал себе отчет: выборы-невыборы — один из элементов демократии, а он твердо нацелился на демократизацию советского общества и отступаться не собирался, даже в академических мелочах. Приходилось терпеть.

Критиков отца ни сам Ремесло, ни истинная история выборов в Академии не интересуют. Их логика: Сахаров протестовал против избрания Нуждина, а отец обрушился на Сахарова, следовательно, он защищал Нуждина, а то, что фамилию он произносит совсем иную, можно и во внимание не принимать. Ведь выступление-то «сумбурное»!

Слова о разгоне Академии наук тоже всерьез, естественно, принимать нельзя, а вот к ее глубокому реформированию отец почти созрел. Долгую историю созревания я затронул в предыдущих главах, посвященных созданию Сибирского научного центра и преобразований Академии в 1959–1961 годах. Вопрос стоял тот же, как сделать академическую науку эффективнее.

Советская Академия наук — явление в мире уникальное. Она не сообщество единомышленников-ученых, а бюрократическое учреждение, поглощавшее все больше и больше ресурсов, и государство считало себя вправе требовать отдачи от вложенных инвестиций. Отдача же от академических институтов оказывалась меньше, чем от аналогичных исследовательских организаций в промышленности. Эти проблемы поднимали академики-диссиденты, химик Семенов, физик Тамм и другие еще в 1959 году. Тогда часть «прикладных» академических институтов передали в промышленность, заменили президента Академии, на место Несмеянова пришел Келдыш. На этом реформа остановилась, а нерешенных проблем оставался еще целый ворох.

Однажды в моем присутствии отец заговорил с Лаврентьевым об академических институтах.

«Как правило, они создаются под определенного, большого ученого, для реализации его идей. В обиходе их так и называют: Институт Семенова, или Институт Капицы, или Институт Келдыша, или Институт Несмеянова, Зелинского, Лебедева и так без конца. Но ученые стареют, теряют продуктивность, а затем умирают. Институты же остаются, — объяснял Лаврентьев. — В нашей структуре разогнать их трудно, скорее невозможно. Гарантий, что на место Капицы или Зелинского придет ученый равного калибра, нет, и надежды на это питать не стоит. Директором становится его заместитель, по своему складу не большой ученый, а помощник, “правая рука” большого ученого, все достоинства которого сводятся к умению ограждать шефа от докучливых рутинных забот и выбивать из государства ресурсы. Пока он ходит в помощниках, он — на своем месте, их симбиоз весьма продуктивен, шеф творит, а все остальное ложится на плечи доверенного заместителя. Независимый творец шефу не нужен, у него самого идей достаточно, двоим творцам в одних стенах не ужиться. Поэтому доверенный заместитель никогда не покушается на творческие прерогативы шефа, зато подгребает под себя все остальное. Настоящим шефом он стать не способен по определению, после смерти “творца” становится крепким директором. В результате рассчитанные на гения, созданные под гения, академические привилегии, обеспечивающие свободный полет мысли, наследники гения превращают в синекуру. Одно

дело Институт физических проблем с директором Петром Капицей и научным сотрудником Львом Ландау, институт, где академика Евгения Лифшица можно держать за “Женьку” потому, что он ничего “такого” не открыл, лишь написал, да еще в соавторстве, пятитомный, почти гениальный учебник теоретической физики. “Эка невидаль!” И совсем другое дело — тот же институт, но без Капицы, без Ландау и даже без Лифшица — добротный серый академический институт с добротными серыми научными сотрудниками, далеко не дотягивающими даже до “Женькиного” уровня. Мало того что институт Капицы без Капицы не институт, но если и появится новый Капица, то ему в нем уже в люди не выбиться, место занято. Институт существует, и директор-академик в кабинете сидит. На президиуме академии он легко докажет, что нет смысла в дублировании. Он обосновался в кабинете Капицы, он его наследник, и ему поверят, а не “самозванцу” со стороны».

Отец внимательно слушал Лаврентьева.

«Но и это еще не все, — продолжал Лаврентьев, — директор академического института по положению обязан стать членом академии, академиком. Раньше под академика создавали институт, где он по праву становился директором, а теперь директора, в силу одной лишь должности, выбирают в академики. Так академия из “клуба бессмертных” шаг за шагом превращается в рядовую бюрократическую контору, в застойное болото, наука подменяется наукообразием, ученые — чиновниками с академическими регалиями».

По мнению Лаврентьева, не конструкторы и селекционеры из прикладной науки грозят будущему академии, а ее естественное вырождение. Так выродились египетские фараоны, женившиеся исключительно на собственных сестрах.

Если сравнить научные заслуги академиков начала и середины XX века с началом XXI, то становится очевидным, что Лаврентьев, а вслед за ним отец, беспокоились не напрасно.

Лаврентьев считал, что прикладные исследования целесообразно отдать под патронаж промышленности, они сами решат, что им полезно, а что нет. «В Екатерининские времена, когда Академия наук была единственным центром научной мысли, естественно, только вокруг нее концентрировались научные учреждения, — соглашается с ним отец. — Теперь совершенно иное положение. Наука не может развиваться, не опираясь на производство. Производство останется недвижимым без опоры на науку». Тем самым доводилась до логического завершения реформа, начатая с подачи Капицы — Семенова — Тамма в 1959–1961 годах.

Но это только часть проблемы, оставалась фундаментальная наука. Ведомствам она не ко двору, там она просто зачахнет. Как увеличить эффективность фундаментальных исследований и одновременно не пускать деньги на ветер?

«Без науки нет движения вперед, у кого наука, у того — будущее, — говорил отец в одном из своих выступлений, — но нельзя злоупотреблять добрым отношением народа к науке! Давайте, товарищи, будем сдержаннее и разумнее в создании все новых, новых и новых институтов в составе Академии наук. Конечно, надо развивать теоретические исследования, но не надо бояться ликвидировать, оторванные от жизни институты. Институты Академии наук сидят на государственном бюджете. Если в этом году Академия получила столько-то средств, то на будущий год она непременно просит больше, независимо, есть ли рост в науке, что она дала государству. И получается, что отдельные академические институты растут только по расходу средств.

Надо разобраться повнимательнее, приостановить неоправданный рост академических институтов, наладить координацию их работы. Оценивать ее следует не по числу штатных единиц, а по поднимаемым и решаемым научным проблемам».

Так где же выход? Как поступить с фундаментальной наукой?

Отец считал, что ее место в университетах. Лаврентьев подтвердил, так устроен западный мир. Если передать соответствующие академические институты высшим учебным заведениям, то страна окажется в выигрыше, а для выдающихся ученых, таких, как Семенов, Несмеянов, мало что изменится, все они и сейчас не только занимаются исследованиями, но преподают, кто в МГУ, кто в Физтехе, кто в Химико-технологическом институте имени Менделеева. А в случае если их место, теперь уже в университете, займет преемник, пусть не гениальный, а просто добротный ученый, то тоже невелика беда, пусть открытий он и не сделает, но студентов выучит и какие-то исследования по заказам сможет вести. Отец тут припомнил свой разговор в мае 1964 года на Британской выставке с профессором Эдинбургского университета Клэйтоном — он и преподает, и одновременно занимается исследованиями по заказам фирмы «Коббс», причем за ее счет, из госбюджета денег не требует, и платят ему за результат. Так же поступают и американцы, их ученые работают в университетах, независимых научных центрах, кое-кто в компаниях, и весьма успешно работают — большинство открытий и изобретений в XX веке сделано США.

«Появится же новый гений, — продолжал отец, — в “своем”

университете он “под себя” создаст сначала из студентов, а потом из лучших выпускников собственный научный коллектив. Возникнет самовоспроизводящийся научный процесс, и в Академию его выберут не по должности, а за ум. Существующая сейчас бюрократическая структура Академии наук развеется сама собой, она вернется в статус привилегированного клуба ученых, куда принимают исключительно за талант и научные заслуги, то есть станет такой, какой ее задумывали при Петре I».

Вот, собственно, и весь разговор. С отцом соглашался не один Лаврентьев. Его поддержали, с некоторыми оговорками, и академик Борис Патон, и президент Академии наук Келдыш, и директор Института математических методов в экономике Федоренко, и не только они.

11 апреля 1963 года выходит Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению деятельности Академии наук СССР и академий наук союзных республик», констатирующее, что Академия «еще не стала в полной мере центром по координации и руководству исследованиями в области естественных и общественных наук в стране». Постановление немного сократило численность некоторых «неимоверно разбухших» академических институтов, но кардинального решения не предложило, только поставило вопрос. Ответ на него предстояло искать сообща.

В апреле 1963 года в аппарате Демичева, секретаря ЦК, ведавшего наукой, собирают воедино высказывания Хрущева по этой проблеме и составляют проект записки в Президиум ЦК. Это уже вторая попытка, первую редакцию от 9 января 1963 года отец забраковал, а эту, доработанную, решил разослать на апробирование в Президиум Академии наук, Совет по науке и Госкомитет по координации научно-исследовательских работ. В записке говорится, что «за истекшие десять лет в стране организовано много новых исследовательских организаций, количество научных сотрудников возросло почти в два с половиной раза, расходы на научные исследования с 1950 года увеличились примерно в пять раз, до 4,7 миллиардов рублей в год, достигнуты впечатляющие результаты, но, как правильно писал в газете “Известия” академик Б. Е. Патон, среди огромного количества тем, разрабатываемых в институтах, много надуманных, бесперспективных, не представляющих никакой ценности».

Далее авторы сетуют на недостаточную координацию научных исследований, как со стороны Госкомитета, так и Президиума Академии, предлагают усилить специализацию, а научные степени докторов и кандидатов наук присваивать не за

диссертации, а в зависимости от личного вклада «в коллективные разработки важных народнохозяйственных проблем и написание капитальных научных трудов», считают, что «надо изменить систему оплаты труда научных работников». Глупо платить за степень, оплате подлежит результат. Сталин в свое время предложил платить научным работникам за звания и степени. К чему это привело? В науку хлынул поток людей, у многих из которых нет ни призвания, ни способностей. Кандидатскую диссертацию, при хорошем научном руководителе, защитить нетрудно, а дальше кандидат наук обеспечен приличной зарплатой на всю жизнь. «Распространился афоризм: “Ученым можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан”».

«Заслуживают внимания предложения математика и механика академика Ивана Векуа о приобщении студентов к научной работе еще в период обучения, что поможет активно отбирать способную молодежь.

…Следует подумать о более эффективном использовании ученых вузов, об организации проблемных и научно-исследовательских лабораторий…» — и так далее на четырнадцати страницах.

В заключение предлагалось ввести «предельный возраст для занятия административных должностей в науке, но не уточнялось какой, достигших его ученых переводить в консультанты», а также высказывалось сомнение в правильности слияния в ЦК отделов науки и идеологического, там теперь «главенствует идеология, а подотдел науки находится на положении бедного родственника, целесообразно воссоздать в ЦК самостоятельный Отдел науки и учебных заведений».

«Надо сделать все, чтобы расчистить дорогу плодотворному развитию советской науки, — призывают авторы записки и повторяют слова Хрущева: — Мы не можем забывать: у кого наука, у того будущее!»

Первым, уже 6 мая 1963 года, на записку откликнулся президент Академии наук Келдыш, он одобрительно отозвался о предлагаемых нововведениях, отметил необходимость более оперативной информации советских ученых о достижениях в мире, что потребует увеличения выпуска различных, в первую очередь реферативных журналов, а вот перевод академиков в «отставники-консультанты», по его мнению, старшее поколение ученых воспримет «очень болезненно». Оно и понятно, кадровые вопросы самые тяжелые, и ложились они целиком на его, Келдыша, плечи. Но отец и не настаивал, с одной стороны, он выступал за омоложение науки, с другой — приводил в пример «пожилых академиков, вроде Константина Скрябина, который в

свои 80 лет не уступает многим молодым».

Президенту Академии наук Украины академику Патону записка тоже понравилась, он получил ее наряду с Келдышем. В частности, при присуждении научных степеней Борис Евгеньевич считал необходимым «разделить кандидатские и докторские диссертации, докторские степени присваивать без защиты, за оригинальную монографию, описание открытий и изобретений, цикл работ».

Академик Лаврентьев в своем ответе написал: «Научную работу в вузах действительно можно активизировать. Но это можно осуществить только при условии привлечения к преподаванию всех ученых, работающих в Академии наук и отраслевых институтах. Это мероприятие резко поднимет науку в вузах, расширит фронт научных исследований и повысит научный уровень молодых специалистов, приблизит их к современному состоянию науки и техники. Необходимо более активно привлекать студентов к научно-исследовательской работе».

И Лаврентьев, и отец пока не произносят слова «передать академические исследовательские институты в вузы». До того как принимать решение, необходимо продумать все детали.

Одна из серьезнейших проблем — организационная, и в будущем не обойтись без координации научных исследований, выбивания ресурсов, просто бюрократической рутины. Сведение воедино всех научных исследований в стране, а не только в Академии наук, предполагается поручить межведомственному комитету, наделив его соответствующими полномочиями. Собственно, такая структура уже существует — Госкомитет по координации научно-исследовательских работ СССР, вот только со своими обязанностями нынешний комитет не справляется, места своего не находит, подменяется во многом Президиумом Академии. Главе комитета, своему заместителю Константину Николаевичу Рудневу, отец последнее время все чаще выражал неудовольствие. Вот и сейчас, в отличие от академиков, Руднев отреагировал на проект записки бюрократической отпиской с подробным перечислением принятых Постановлений ЦК и Совмина, своеобразным отчетом о работе Госкомитета, но без каких-либо предложений по существу.

«В науке идет невероятная драка между учеными, — взывал отец к Рудневу на заседании Президиума ЦК 10 ноября 1963 года. — Рождается новое, и оно, как ребенок, пробивается к свету, кричит. Вы должны этот крик услышать, помочь им и деньгами, и оборудованием. Не получается — приходите ко мне. Вы же ни разу не обратились к своему председателю, не сказали: “Товарищ Хрущев, помогите справиться с этими «варварами» — с

Косыгиным и Микояном, не дающими средства на продвижение нового в свет". Вы не поддерживаете ростки нового, а их глушите.

Новые мысли рождаются не по плану. Ученые на вас жалуются: "Мы к нему приходим, а он отвечает: планом не предусмотрено". Возможно, вы не на своем месте. Министром вы были хорошим… Так иногда случается, но дальше продолжаться не может».

Бывший министр оборонной промышленности, один из лучших министров в кабинете отца, Руднев новое дело проваливал. Одно дело — разработка и производство ракет или пушек, и совсем другое — объединение под своим крылом всей науки. Рудневу не хватало ни кругозора, ни авторитета среди академиков, ни чутья, ни способности из сонмища предложений, обрушивающихся ежедневно на его голову, выделить то единственное, за которым будущее. Как ни прискорбно, но Рудневу приходилось искать замену.

Кого отец прочил на место главного координатора науки в стране? Президента Академии наук Келдыша? Или академика Бориса Патона? Они оба и ученые с большой буквы, и незаурядные администраторы. В этом отец за многолетнее общение успел убедиться не раз. Или он намечал еще кого-то, кого я просто не знаю? Сейчас на этот вопрос уже не ответить.

Замыкаться будущему «координатору всех наук» предстояло на отца опосредованно, через уже созданный при главе правительства Совет по науке, его председателя академика Лаврентьева и дюжину членов — самых продуктивных советских ученых. Я уже называл их имена. Если они не справятся с задачей, то и никто не справится.

Дело постепенно начало раскручиваться, 7 февраля 1963 года образовали совет, а уже 14 марта 1963 года с его подачи ЦК и правительство выпустило Постановление «О дальнейшем развитии научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях» — первый шаг к грядущему перемещению центра тяжести теоретических исследований в университеты и институты.

Присланные замечания обобщали секретари ЦК Демичев и Ильичев. 10 июня 1963 года они представили Хрущеву заново отредактированный текст. Собственно, только он сейчас доступен для исследований, и его я цитировал выше.

«Тов. Хрущеву доложено. 29 августа 1963 года. Отложить», — написал на документе помощник отца Шуйский. Через год, 15 августа 1964 года, он сделал новую запись: «…Эти материалы по науке можно положить в архив. Будет представлен новый проект». Видимо, чем-то отец остался неудовлетворен, возможно, хотел

еще поговорить с академиками, посоветоваться с Лаврентьевым, а затем передиктовать записку по-своему.

Как? Нам остается только гадать. Дальше дело не пошло, Хрущева сняли, обвинили «в попытке развалить советскую науку». Вот, собственно, и вся история.

Я вынес в заголовок две фразы из высказываний отца, пусть читатель сам выберет себе по вкусу.

Школа-восьмилетка

В конце 1963 года вновь возник вопрос о качестве обучения в школе. Реформа среднего образования преобразовала десятилетку в одиннадцатилетку, ввела в расписание уроки труда, практику на производстве. Одним нововведение нравилось, другие роптали, что ученикам приходится тратить драгоценное время на «изучение» рубанков с напильниками. Третьи считали одиннадцатилетнее образование роскошью, уделом избранных высокоталантливых юношей и девушек. Мнение последних разделял и академик Лаврентьев. Он всем своим весом продавливал переход на восьмилетнее обучение, считал, что оно даст среднему человеку достаточно знаний для дальнейшей жизни, работы, карьеры. По мнению академика, подавляющее большинство юношей и девушек последующие два-три года в десятилетке или одиннадцатилетке проводят без пользы для будущего. Жизненные пристрастия, если таковые имеются, к тому времени уже в значительной степени определились, а их еще три года «стригут под одну гребенку», забивают головы знаниями, которые сразу после получения аттестата забываются или оказываются бесполезными для одних и недостаточными для других. Аттестат им требуется только как пропуск, дающий возможность еще через пять лет получить диплом о высшем образовании, в большинстве случаев все равно каком, лишь бы это были «корочки» попрестижней. С другой стороны, истинные таланты из деревень, поселков, городков в высшие учебные заведения не попадают, они забиты «блатными», там учатся дети столичной интеллигенции, научных работников, администраторов. В направленной отцу 10 июня 1963 года записке Лаврентьев предлагал провести «широкую специализацию старших классов средних школ, создавать специализированные физико-математические школы-интернаты, стирающие различие между молодежью города, деревни и рабочих поселков, вызванное не наличием одаренности, а разным уровнем преподавания в средней школе».

Эта записка инициировала обсуждение вопроса о средней

школе на Президиуме ЦК 23 декабря 1963 года. Лаврентьев там присутствовал и выступал в своем новом качестве председателя Совета по науке.

«Сейчас положение с подготовкой молодых специалистов неблагополучно, — говорит он. — Это общее мнение педагогов. При существующей системе 8/11-летнего образования оценки большинству учеников натягиваются, здоровые парни не только сами ничего не делают, но и разлагают других. Если не хочет учиться, пусть идет работать. После восьмиклассного образования следует принимать в одиннадцатилетку по конкурсу. Все, что дается бесплатно, — не ценится. Нужен труд».

Дальше академик углубляется в детали того, что надо преподавать в школе, а что следует отнести к «шелухе» и выбросить из учебного расписания. Отец солидарен с Лаврентьевым, всеобщим обязательным надо сделать восьмилетнее образование, а в одиннадцатилетку принимать людей талантливых, с отбором. Остальные пусть идут на производство. Кто хочет, поступит в вечернюю одиннадцатилетку и сможет учиться дальше. Кто нет — тоже не беда.

«Доступ к высшему образованию нельзя закрывать никому, — продолжает он. — Надо разнообразить способы получения образования». Тут отец приводит в пример меня, поступившего в институт сразу из школы и ставшего инженером в 23 года. Он мною доволен, но не переоценивает мои способности, считает мои инженерные достоинства среднестастическими, «а вот, если бы он (то есть я. — *С. Х.*) окончил восемь классов и года четыре поболтался в рабочих и только потом пошел в вуз, то инженер из него получился бы сильнее», — заключает отец.

Отца поддерживают Ворошилов и Полянский. Микоян, как обычно, сомневается, с одной стороны — соглашается, с другой — не то чтобы возражает, но полагает, что люди со связями все равно найдут лазейку, пропихнут своих чад в университеты.

«Должно быть два типа школ: восьмилетка и одиннадцатилетка, — рассуждает Анастас Иванович, — надо сделать так, чтобы учеба была связана с трудом, но, если в этом возрасте детей оторвать от образования, то это неправильно». Микоян говорит долго, к концу его выступления все уже устали.

Отец предлагает «сейчас обсуждение прекратить, подумать, вопрос доработать в Совете по науке, прикинуть, а потом вернуться к нему снова».

«Доработать» вопрос поручили Совету по науке вместе с Министерством среднего и специального образования и Академией педагогических наук. На это ушло три месяца. Все считали, что восьми лет в школе для среднестатистического

ученика достаточно.

9 апреля 1964 года Совет Министров принимает Постановление «О дальнейшем улучшении высшего и среднего специального заочного и вечернего образования», а 10 августа 1964 года Президиум Верховного Совета своим указом вносит изменения в закон от 1958 года «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы образования в СССР».

Восьмилетка просуществовала недолго. После октября 1964 года Брежнев, к всеобщему удовольствию, вернул все к прежнему состоянию.

Кто прав: Лаврентьев с отцом или их оппоненты? Я принадлежу к тем, кто не мыслит себя без диплома. Да и общая тенденция в мире, похоже, склоняется к тому же.

С другой стороны, нельзя не согласиться и с Лаврентьевым — большинство людей знаниям, полученным в последних классах школы, применения не находит. Математические, химические формулы тут же улетучиваются из одних голов, а гуманитарная «шелуха» — из других. Селекция на более ранней стадии, а именно ее предлагал Лаврентьев, в этом свете представляется рациональной, позволяет сэкономить и ресурсы, и время.

А как же общий уровень развития? Интеллигентность? Право, не берусь судить.

«Заец» вместо зайца

28 июля 1964 года газеты сообщили о предложениях ученых-филологов упростить правописание. Вместо привычного «заяц» теперь следовало писать «заец», разрешалось ставить мягкий знак после шипящих «ж», «ч», «щ», вносились еще какие-то столь же «актуальные» изменения. Бурные дебаты вокруг «зайца» продолжались более года. Газета «Известия» от 24 и 25 сентября 1964 года для всеобщего обсуждения в полный разворот напечатала варианты будущего написания «трудных» слов. Филологи и не филологи спорили до хрипоты, страна «разделилась» на два непримиримых лагеря. После отстранения отца кое-кто в запале обвинил его в злокозненном подкопе под русскую орфографию. Он-де пишет с ошибками, вот и приказал подстроить правописание под себя. Это чистейшей воды выдумка, отец действительно не отличался особой грамотностью, это все знали и к этому все давно привыкли, в том числе и он сам. Записки, выступления, проекты постановлений он диктовал, стенографистка записывала, а члены редакционной группы правили падежи и расставляли запятые. Никакой потребности и желания менять что-либо в правописании отец не испытывал. Эта

реформа целиком на совести словесников, так же, как предыдущая модернизация орфографии начала XX века. С одним только отличием: тогда ее реализовали, а сейчас все закончилось ничем — заяц так остался зайцем. До поры до времени.

«В общем занимаются все, а конкретно никто…»

На Пленуме 11 июля 1964 года отец говорил об Академии наук три минуты, остальные 57 минут он посвятил реорганизации сельскохозяйственного производства. Отец, все примериваясь к реформе, на этом Пленуме повторил то, что уже говорил в феврале, но теперь в более конкретной и категоричной форме.

Для серьезных реформ требовалась стабильность, когда голова свободна, а не занята латанием сиюминутных дыр. Стабильность в первую очередь обеспечивалась хорошим урожаем, а он зависел от Бога, то есть от погоды. Во время выступления на февральском Пленуме о будущем урожае отец мог только гадать. Сейчас, в июле, когда во многих районах начиналась уборка, становилось все более очевидным: хлеба от Украины до Казахстана вызревают обильные. И тем не менее, на Пленуме отец осторожничает, поминает «запоздалую и довольно сложную весну, затруднившую сев, жестокую, хуже, чем в прошлом, 1963 году, засуху в Белоруссии и Подмосковье». Но Белоруссия с Подмосковьем погоды не делают, а «в большинстве районов страны довольно отрадная картина». Отец боится сглазить, не дай бог, уже созревшее зерно зальет на корню дождем или побьет заморозком, а так — урожай «вырисовывается не просто отрадный, а рекордный».

Еще перед отъездом в Скандинавию, 13 июня 1964 года, отец начал сочинять очередную, как оказалось последнюю, записку в Президиум ЦК «О руководстве сельским хозяйством в связи с переходом на путь интенсификации». В сопроводительном письме он считает нужным отметить: «В записку мною внесены некоторые дополнения по вопросам, которые я обдумывал в последнее время». Он действительно многое передумал за пять месяцев, прошедших после февральского Пленума, и теперь готов к решительным действиям. Почти готов.

Во главе угла по-прежнему стоит специализация и профессионализация, в первую очередь на уровне районных производственных управлений и обкомов. Позволю себе привести несколько цитат.

«Мы создаем сейчас фабрики по производству яиц, мяса птицы, свинины, говядины, молока, совершенно новый вид социалистических сельскохозяйственных предприятий,

организуем в специализированных хозяйствах производство овощей и картофеля, хлопка, сахарной свеклы и других важнейших культур по новой технологии при минимальных затратах труда и средств на единицу продукции… Развитие сельского хозяйства по пути интенсификации, естественно, требует и принципиально нового, более квалифицированного руководства. Одно дело руководить хозяйством, имеющим всего понемногу, и совершенно другое дело — крупное специализированное производство с высоким уровнем механизации. Оно требует от специалистов и организаторов больших инженерных, агрономических, зоотехнических и ветеринарных знаний. Вести такое производство без активного участия науки немыслимо.

Специализированное сельскохозяйственное производство, с точки зрения его организации, все более и более становится разновидностью промышленного производства. Некоторые могут подумать: что же это — опять проводить реорганизацию сельскохозяйственных органов? Нет, речь идет не о *реорганизации,* а о *создании* системы управления специализированным производством, — ставит задачу отец. — Сейчас нельзя говорить о руководстве сельским хозяйством вообще. Кто отвечает у нас за производство зерна? *В общем, у нас занимаются все, а конкретно никто.* А между тем в этой отрасли производства есть вопросы, которыми должны систематически, повседневно заниматься люди высокой квалификации. На Западе промышленные методы производства сельскохозяйственной продукции проявляются буквально во всем».

В пример москвичам и белорусам отец ставит картофелеводов из американского штата Мэйн. Там фермеры пользуются не доморощенными семенами, а закупают их у специализированной фирмы. Потому и урожаи у них не в пример нашим. Овцеводам Казахстана есть чему поучиться у англичан. В маленькой индустриальной Британии на крошечных полях пасется 29 миллионов овец, больше, чем в бескрайних казахстанских степях.

В конце записки отец в который раз возвращается к производственным управлениям: инспектор должен нести крестьянам знания, а не писать директивы. И снова пример из английской жизни, там «трудно найти грань, где кончается наука и начинается практика, фермеру вручают что-то вроде логарифмической линейки, и он по ней легко определяет, в зависимости от веса птицы, окружающей температуры и калорийности корма, сколько его надо сегодня засыпать в кормушку».

Внедрением в практику таких облегчающих крестьянину жизнь приемов ведения хозяйства и должны заниматься производственные управления.

«Почему мы обращаемся к опыту капиталистов? — спрашивает в записке отец и отвечает: — Там давно сложилось крупное производство сельскохозяйственной товарной продукции. Оно ведется на промышленной основе, с привлечением к участию в нем ученых и специалистов. Наши колхозы и совхозы обширнее американских ферм, но, унаследовав психологию крестьянина-единоличника, развиваются без всякой специализации. Без специализации, технологии, использования опыта, накопленного в капиталистических странах, нам задачу перевода сельского хозяйства на промышленную основу не решить. Надо закупить лицензии, послать людей за границу, чтобы по возвращении они добились на наших полях результатов не худших, чем капиталисты».

Для организации работ по специализации отец предлагает учредить специальные государственные структуры в области птицеводства, свиноводства, овощеводства, но без командных функций, вменить им в обязанность надзирать за соблюдением технических и научных норм, обучать кадры, писать учебники и руководства. Отец особо подчеркивает: залог успеха в обучении кадров, только профессионалам под силу сделать сельское хозяйство эффективным.

Отец уловил основные тенденции развития мирового сельскохозяйственного производства на ближайшие полвека. Здесь, как и в начале XX века в промышленности, начинается эра крупных производителей. Выживут гиганты, способные минимизировать свои затраты. Согласно справочнику, в 2002 году в США курятину производили всего пятьдесят крупных компаний, из них две-три очень крупные. Так же обстояли дела в свиноводстве, и так далее.

Отец-то мировую тенденцию уловил, а читатели записки понять его отказывались. Им казалось, что Хрущев предлагает всего лишь очередную бюрократическую «пересадку», а специализацию сводит к учреждению новых главков: «Главгуся» и «Главсвиньи». Только в 1989 году наступит частичное прозрение, журналист-аграрий Анатолий Стреляный напишет: «Специалисты, знатоки мирового хозяйства говорят: честь и слава Хрущеву уже за то, что он поставил на повестку дня вопрос создания современного животноводства».

Ну что тут скажешь? Нет пророка в своем отечестве? Русский мужик задним умом крепок?

Не преминул отец сослаться в записке и на Лысенко, он

верил, что его метода поможет стране добиться благосостояния. Верил. Мы-то знаем, что ошибался, но он — верил.

Особо отец останавливается на роли партийных комитетов производственных управлений, пишет, что после ликвидации райкомов, парткомы управлений не отошли от сложившегося райкомовского стиля работы, стараются подмять под себя руководство управлений, вызывают на свои заседания их начальников, продолжают командовать колхозами и совхозами, неквалифицированно вмешиваются в производственные дела, не считаются со специалистами, а сами при этом «недостаточно компетентны, не имеют специального образования и иной раз располагают весьма слабым понятием о производстве. Надо установить материальную и даже уголовную ответственность за навязывание приказаний, приведших к подрыву производства, нанесших ущерб интересам колхоза или совхоза. Секретарь парткома не должен брать на себя функции производственного управления. Его дело вести политическую работу в массах».

«Ленинградская область не держит овец, — возмущался отец на Пленуме ЦК. — Объясняют, что у них увлажненная зона, мокрец разводится, овцы его не едят, а соседняя Финляндия, более северная, с бо́льшими осадками, баранину экспортирует. Ничего у нас не получится, пока мы, как и они, не обопремся на специалистов. У нас каждый проезжающий по дороге профан может остановиться и учить председателя колхоза, как дело вести. Кто у нас главный в сельском хозяйстве? Начальник производственного управления или секретарь парткома? Конечно, секретарь, а это безответственный за производство человек. Нельзя так, товарищи!

Производственное управление не может работать, пока в нем главенствует секретарь партийного комитета! Это, товарищи, бедствие для сельского хозяйства! Я уже записку подготовил, мы ее скоро разошлем. А в конце ноября, после праздников, и Пленум соберем», — сообщил он присутствующим.

Записку отец дописал после сессии Верховного Совета. 18 июля 1964 года направил ее коллегам по Президиуму ЦК, а 20 июля уже решением самого Президиума ее разослали в обкомы и производственные управления, в газеты, ученым и другим заинтересованным лицам, чтобы к очередному Пленуму, к ноябрю, они успели прислать замечания и предложения. Дело слишком серьезное, считал отец, чтобы решать сплеча.

За оставшиеся отцу три месяца он еще несколько раз обращается к беспокоящей его теме. Сохранилось несколько записей его бесед с коллегами по Президиуму ЦК, с региональными руководителями. Все на одну тему, и вопросы

обсуждаются одни и те же. Я выбрал наугад встречу «с некоторыми членами Президиума ЦК и работниками аппарата ЦК КПСС о подготовке к Пленуму и структуре органов управления сельским хозяйством» от 18 сентября 1964 года, за 26 дней до отставки.

Докладывал Леонид Николаевич Ефремов заместитель Хрущева в Бюро ЦК по РСФСР. Стенограмма беседы длинная, разговор переполнен неинтересными нам сейчас подробностями. Я выделю лишь самое главное.

Отец продолжает обсуждать управленческую структуру, Он задает себе и другим вопрос: «Что такое производственное управление сейчас, и какова его роль в будущем, после реформы?»

Вот несколько цитат из его рассуждений: «…По существу это административная единица… Что же мы будем бегать за каждым председателем колхоза и директором совхоза и указывать ему, когда сеять? Дайте свободу человеку, и вы посмотрите, на что он способен…

…Мы иной раз преувеличиваем свою роль во всех вопросах… Эти люди (руководители совхозов и колхозов. — *С. Х.*) решают всё… Они поступают по-своему, и это их спасает, но если там засядут дураки, то никакие умные начальники из республик не помогут… Это один из коренных вопросов».

Отцу представляется, что межрайонные производственные управления за прошедшие два года измельчали, у каждого на балансе четыре-шесть, от силы — десять хозяйств, что создает почти необоримый соблазн покомандовать, «сесть на шею председателю колхоза и пиликать». Какой тут выход? Отец сам не знает, предлагает подумать о слиянии мелких управлений в одно, и оно займется настоящим делом — вырабатывать и рассылать потребителям агротехнические советы.

Но и в науке дела обстоят неудовлетворительно. «Почему за рецептами, как выращивать свиней, нам приходится обращаться к западным немцам? — задается риторическим вопросом отец. — В Венгрии мне показали птичью фабрику. Где они ее купили? В Советском Союзе? Нет, они ее купили в Западной Германии, и только потому, что нам нечего им продать! Меня просто зло берет. Как нашим ученым только совесть позволяет называть себя докторами наук и ничего не давать стране. Пусть на местах организуют науку, при свиносовхозе или птицефабрике, а не в Москве или в Киеве».

Эти слова отцу вскоре припомнят. В октябре Воронов бросит ему в лицо: «Производственные сельскохозяйственные управления ликвидировать предлагал». Расхожим обвинением в

его адрес станет то, что «он договорился до того, что хотел лишить партийные комитеты на селе права контроля над хозяйственной деятельностью, сведя роль парткомов к культурному просветительству. О переводе Сельхозакадемии на пленэр и говорить нечего, это объявили самодурством и поминают отцу по сей день.

Вот, собственно, и все. На совещании собравшиеся еще поговорят о специализации, о штатах, о мясном и молочном скоте, поспорят и договорятся собраться в ближайшее время.

Кое-какие конкретные и очевидные шаги начали предпринимать, не дожидаясь Пленума. 3 сентября 1964 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР выпустили Постановление «Об организации производства яиц и мяса птицы на промышленной основе». Им начиналась реализация программы специализации и индустриализации сельского хозяйства. Согласно Постановлению, в 1965–1970 годах предполагалось построить 508 современных птицефабрик для производства яиц и 258 фабрик-производителей куриного мяса. Необходимые лицензии и технологии закупались за границей.

Напомню, постановления, направленные на индустриализацию производства куриного мяса уже принимали. Пять лет назад, в сентябре 1959 года, казалось, все расписали до деталей, но дело двигалось еле-еле, а кое-где и вообще топталось на месте. Теперь отец надеялся, что все пойдет по-другому, у птицефабрик появится единый хозяин, все они объединятся под единой крышей «Птицепрома» СССР — аналога американских фирм «Пердю» (Perdue) и «Тайсон» (Tyson), вобравших в свою орбиту значительную часть птицеводства США. В последующие годы советское птицеводство развивалось, опираясь на это постановления.

В преддверии кардинальной реформы готовилось всеобъемлющее решение «О руководстве сельским хозяйством в связи с интенсификацией и специализацией производства», преобразующее всю сельскохозяйственную структуру на промышленный манер. Но подписать его отец не успел, а после него готовый проект постановления сдали в архив, «за ненадобностью».

К сентябрю отцу удалось завершить еще одно, по его мнению очень важное, дело. С колхозов списали накопившиеся за многие годы долги. Не сбросив с плеч груз прошлых проблем и ошибок, новую реформу не стоило и начинать. Какой смысл давать свободу колхозам распоряжаться своими доходами-расходами, если они в долгах у государства, все, что ни заработаешь, уйдет на их оплату.

На весну 1964 года таких колхозов-банкротов насчитывалось не один, не два, а тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят два, или 22 процента от их общего количества, с 40 миллионами гектаров угодий, в том числе 20 миллионами гектаров пашни, что составляло 17,6 процентов от всех сельскохозяйственных площадей страны. Для сравнения, земельные угодья «безнадежных» должников равнялись двум третям от освоенных за последнее десятилетие целинных земель. Работали в этих колхозах 3,4 миллиона человек. Оплата трудодня у них не превышала 1 рубль 30 копеек, в два раза меньше, чем у их соседей, не имеющих долгов.

Ответственность за образовавшиеся долги несли не только сами колхозы, но и государство, и первое лицо государства. И дело тут не только в неоправданно низких закупочных ценах. Недоглядели, когда в 1957 году колхозы получили в собственность технику, ранее принадлежавшую государственным МТС, а затем государственные финансисты, стремясь наполнить бюджет, занялись выколачиванием из новых собственников оплату за полученные машины. Чтобы расплатиться с государством, колхозы брали у государства взаймы. Образовался порочный круг. Вернуть долги, по крайней мере в обозримые сроки, они не могли, и, как все безнадежные должники, чтобы выжить, залезали во всё новые долги. К 1963 году расходы колхозов-должников превысили их суммарные доходы на 110,9 миллиона рублей. Так они и жили — в долг и впроголодь. Какие реформы можно затевать с подобными партнерами? Предварительно следовало расчистить поле, разобрать завалы.

12 марта 1964 года правительство приняло Постановление «О мерах подъема экономики отстающих колхозов», разрешавшее списать долги за приобретенную у МТС технику при одновременном снижении подоходного налога на эти хозяйства на три четверти.

1 сентября 1964 года Госбанк и Минфин доложили правительству о выполнении мартовского задания — снижение или отсрочка долгов произведены, колхозам предоставлены льготные кредиты на капитальное строительство и покупку удобрений под урожай 1965 года. И тут же появились первые результаты, в еще вчера безнадежных колхозах «зашевелилось» животноводство, на 21 процент, с 218 миллионов рублей в первой половине 1963 года до 264 миллионов рублей на 1 июля 1964 года, увеличились выплаты колхозникам. Оно и понятно, когда долг карман не тянет, можно и раскошелиться.

Отец поблагодарил финансистов, еще немного — и в ноябре можно запускать реформу. Однако на ноябрьском Пленуме ЦК

обсуждали не предстоящую реформу, а избавлялись от «субъективизма и волюнтаризма Хрущева», так теперь назывались его предложения о преобразовании экономики.

Пенсии, зарплата, два выходных

Утром в понедельник 13 июля 1964 года, на следующий день после Пленума ЦК, открылась сессия Верховного Совета СССР. «О мерах по выполнению Программы КПСС в области повышения благосостояния народа» докладывал Хрущев.

Отец предложил законодательно установить государственные пенсии колхозникам, после предоставления паспортов — еще один шаг в уравнивании крестьян в правах с остальными жителями страны. Это решение имело и серьезную идеологическую подоплеку: отец считал, что пора перестать делить народ на классы, пусть уже не враждующие, но и неравные, страна наша теперь едина, и народ наш един. Идеологи не возражали, но и не одобряли, в душе считали отца отступником и даже «ревизионистом». Предоставление пенсий колхозникам ставило весомую материальную точку в их споре.

С 1 января 1965 года селянам, мужчинам с 65 лет, женщинам с 60 лет начинали платить пенсии: 50 процентов от заработка в 50 рублей в месяц, а с доходов сверх 50 рублей — 25 процентов. Это немного меньше, чем платили рабочим и служащим. Считалось, что крестьяне имеют постоянный приработок с приусадебного участка, овощи, куры, свиньи у них свои, в магазин им ходить нет особой надобности. Но и такие мизерные суммы ложились тяжелым бременем на бюджет.

Кроме пенсий крестьянам, отец предложил повысить, тоже с 1 января 1965 года, заработную плату учителям, до 80 — 135 рублей в месяц (до того они получали 52 — 131 рубль), врачам — до 90 — 125 (по сравнению с 72,5 — 108 рублями) и примерно в тех же пределах работникам жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и всем остальным, занятым в сфере обслуживания.

Прибавку к заработной плате пообещали еще в 1961 году на XXII съезде партии, и не отдельным категориям работников, а всем. Однако неурожай 1963 года спутал все планы, всеобщее повышение пришлось отложить до лучших времен, денег едва наскребли для самых низкооплачиваемых. Зарплату повышали тем, кто уже не мог терпеть.

Когда я прочитал в газете доклад отца, меня неприятно поразило крохоборство, заработок увеличивался даже не на десятку, а на 3–6 рублей в месяц. Столь мизерная прибавка не

обрадует людей, а вызовет раздражение и досаду. Столько лет ждали — и вот, получили. Я едва дождался отца, чтобы выложить ему свои сомнения.

Летом отец ночевал на даче в Горках-9. Ему нравилась обширная территория с длинной прогулочной дорожкой вдоль забора, без заметных подъемов и спусков, которые становились для него все более чувствительными. По этой дорожке отец обходил территорию каждый вечер. Завершалась прогулка на лугу, отделявшем территорию дачи от Москвы-реки. Если в Усово, где до последнего времени жил отец, пространство между забором и рекой не было огорожено и заполнялось в солнечные дни приехавшими позагорать и искупаться, то на доставшейся в наследство от Молотова резиденции проходы на луг с двух сторон перегораживались колючей проволокой (правда, ограждение оставляло желать лучшего — то тут, то там зияли огромные дыры).

Вечером мы, как обычно, отправились на луг посмотреть на разбитый там отцом огород. В тот год он выращивал там кроме уже привычных кукурузы и помидоров еще и горох. Потом пошли вокруг луга, сначала по кромке леса, затем по берегу Москвы-реки. Остановились в самом дальнем углу послушать, как в заболоченной низинке кричит перед заходом солнца коростель. Отец любил его скрипучий голос, напоминающий ему детство, Калиновку, ночное… Когда, наслушавшись коростеля, мы направлялись назад к дому, я выложил отцу свои сомнения.

Отец не рассердился и, даже не возразил, задумался, а потом начал объяснять, каким трудом дались эти копейки и рубли. Их наскребали с самой зимы.

— Дело не в самой заработной плате, — пояснял отец, — рубли напечатать дело нехитрое, тут особого ума не требуется, но их надо обеспечить товарами, которые на этот рубль можно купить. Другими словами, требуется увеличить производство одежды, обуви, мебели, не говоря уже о продуктах питания, для этого построить новые заводы и фабрики, расширить цеха на существующих предприятиях. Если баланс нарушится, приплачиваемые рубли сметут с прилавков всё, и люди останутся с бесполезными бумажками в карманах, а магазины с пустыми полками.

Отец замолчал, мы медленно шагали по пригорку над Москвой-рекой, охранник держался поодаль.

— У капиталистов устроено иначе, — отец возобновил разговор уже без моей подачи, — у них, если у людей появляются деньги, кто-то сразу начинает производить пользующиеся спросом товары и все само собой балансируется. У нас же все

завязано на план, на Госплан, от записанного там не отступишь ни на шаг, ни дополнительных станков не достанешь, ни комплектующих, ничего. Хорошо, если в Госплане сидят умные люди, а если в каком-то отделе появится дурак, всей страной хлопот не оберешься.

Отец говорил эти слова уже не столько мне, сколько рассуждал сам с собой.

— К сожалению, сколько ни утрясали план с бюджетом, сколько ни спорили, большего не наскребли, — отец теперь обращался ко мне. — Вот разбогатеем, тогда и зарплаты повысим на десятки, а не на рубли.

Я согласно кивнул, действительно, кому нужны деньги, если на них ничего не купишь? Когда-то, после Гражданской войны, буханка хлеба стоила миллиард. Я читал о тех временах в книгах. Ответ отца меня удовлетворил, но одновременно не со слов, а по интонации я ощутил, как тяжело ему там, в Совмине, балансировать копейки с морковками, выбрасываемыми на полки овощных магазинов, да еще при этом не ошибаться.

— Если дать директору предприятия больше свободы, определить ему примерную номенклатуру, — неожиданно для меня продолжил отец, — да он и сам ее знает, пирожник не станет сапоги тачать, а портной — чайники делать, а дальше пусть сам директор решает, что производить, сам продает свой товар в пределах какого-то коридора цен, заранее оговоренного, чтобы не обдирал людей, как капиталисты.

Я от удивления рот раскрыл, подобной крамолы я ни от отца, ни от кого-либо еще не слышал.

— Государству, естественно, следует получить свою долю, — отец не обратил внимания на мои эмоции, он весь ушел в себя, — но оговорить ее, даже закрепить законом, следует заранее, лет на пять или даже восемь. Директору, чтобы строить планы на будущее, необходимо знать, что у него заберут, а чем он сможет распорядиться сам.

Вот пусть и распоряжается, строит новые цеха, базы отдыха и даже заработную плату повышает. Тогда лишние деньги не из воздуха материализуются, не из-под печатного станка, а от того, что наработают, выпустят больше продукции, на покупку которой деньги и потратятся. Почуяв спрос, сосед-директор сообразит, что, увеличив выпуск своего товара, он тоже сможет заработать, но не в карман положит деньги, как капиталист, а улучшит жизнь своих рабочих. Будет у нас, почти как у капиталистов, они не дураки, свою выгоду блюдут, но лучше: вся прибыль, выгода пойдет на пользу людям.

Естественно, сейчас я не могу воспроизвести слова отца

буквально, но за смысл сказанного им ручаюсь. В отличие от меня тогдашнего, рассуждения отца вряд ли покажутся современному читателю ошеломляюще новыми. Всякое новшество со временем становится обыденным, даже такое открытие, как колесо, перевернувшее жизнь человека, давно уже никого не впечатляет.

В начале того года газеты возобновили, заглохшую из-за неурожая 1963 года дискуссию, как сделать нашу экономику эффективной. Отец внимательнейшим образом штудировал публиковавшиеся одну за другой статьи. В отличие от отца, я за дискуссией не следил, просматривал газеты по диагонали, не вдумываясь. Меня волновали куда более важные, по моим понятиям, проблемы: ракеты, космос, полет на Луну, а затем и на Марс. А тут какая-то прибыль. Это теперь я с годами поумнел. Тогда же разговор исчерпался сам собой.

Миновав калитку, мы подошли к дому. Каждый намеревался заняться своими делами. Отца ожидала ежедневная порция документов, я же… Чем занялся я, сейчас уже не помню.

Повышение заработной платы, пенсии колхозникам и грядущая реформа экономики интересовали меня, но саму мою жизнь не затрагивали, в отличие от еще одного, выносимого на заседание сессии Верховного Совета вопроса — перехода к рабочей неделе с двумя выходными, в субботу и воскресенье. В то время мы работали семь часов в будни и пять часов в субботу. Планировалось вернуться к восьмичасовому рабочему дню, за счет чего высвободить для отдыха еще один день.

На первых порах два выходных дня никаких возражений не вызывали, но в июне вдруг возникли «неразрешимые» трудности. Хрущеву наперебой доказывали, что переход на пятидневную неделю внесет дезорганизацию в работу многих отраслей народного хозяйства, особые затруднения возникнут на предприятиях с непрерывным производством: в металлургии, химии, нефтехимии. Высказывались опасения, что, несмотря на сохранение продолжительности рабочей недели в часах, общий объем выпуска продукции при переходе на пятидневку упадет.

До сессии оставалась неделя. Отец засел за окончательную подготовку доклада.

Тем летом отца всецело занимала предстоящая реформа, а его ближайших сподвижников — как без особых проблем отстранить Хрущева от власти. Для этого его следовало как можно больше скомпрометировать, но так, чтобы он сам ничего не заподозрил. Летом 1964 года заговор против отца вступил в решающую фазу. В июле осторожный Брежнев даже перестал делать записи в своем рабочем блокноте. В регионах, с руководителями которых у Брежнева установилось

«взаимопонимание», из магазинов исчезали продукты, предметы первой необходимости. Выстраивались многочасовые очереди за любыми товарами, в том числе и за хлебом. Полкам предстояло снова заполниться только после устранения от власти «источника всех бед». Буквально на следующий день. Они и заполнились, правда, лишь на время.

Пенсии колхозникам, повышение окладов, пусть не всем, планам заговорщиков не способствовали, но поделать они ничего не могли. А вот с двумя выходными решили рискнуть, не хотели оставлять на руках у отца такой козырь.

Давление шло планомерно, со всех сторон. Особенно рьяными противниками перехода на новую, укороченную неделю стали председатель Всесоюзного совета народного хозяйства Устинов и секретарь ЦК Рудаков, отвечавший за работу промышленности. Заводилой я бы назвал Устинова, но сам он, будучи активным участником заговора, ввязываться в спор с отцом не захотел, оставаясь в тени, действовал через ничего не подозревавшего Рудакова. Он не раз заводил с отцом соответствующие разговоры в ЦК, представлял справки. Отец выдвигал контрдоводы, поколебать его пока не удавалось. Решающий, по моим представлениям, разговор произошел на даче, на том же лугу и в моем присутствии. Сам Рудаков в состав близкого окружения отца не входил, на даче появлялся редко и только по делам. Он привлек на свою сторону Аджубея, объяснил ему, что в «государственных интересах» лучше с пятидневкой повременить. Аджубей взялся убедить в этом тестя.

В один из вечеров недели, оставшейся до сессии Верховного Совета, мы — отец, Аджубей, я и, возможно, еще кто-то, как обычно, гуляли на лугу. Алексей Иванович со свойственными ему красноречием всю прогулку доказывал, что переход на пятидневную неделю несвоевременен, не подготовлен и может повлечь за собой серьезные отрицательные последствия. Сначала отец слушал молча, но постепенно начал колебаться. Алексей Иванович находил нужные доводы. Тут я решил вмешаться, терять два выходных дня мне очень не хотелось, и я робко возразил. Получилось неуклюже, и отец только отмахнулся: «Не мешай».

В конце концов он сдался, позволил себя убедить. Алексей Иванович просиял. Третий подпункт 1-го пункта повестки дня сессии Верховного Совета СССР с обсуждения сняли. 11 июля на Пленуме ЦК отец объяснял это решение, повторяя аргументы Устинова и Рудакова: «Мы хотели поставить еще и вопрос о переходе на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными, но, подумав в Президиуме ЦК, перерешили. Страна пока к этому

не готова, хотя пятидневка и очень заманчива, — отец, как бы оправдывался перед членами ЦК. — Возникают трудности в горной промышленности, за два выходных в штреках может ослабнуть крыша. Неясно, что делать со школьниками, нельзя их оставить на шестидневке, если мать с отцом получат два выходных дня. Перевод школ на укороченную неделю потребует увеличения периода обучения на целый год. Это невозможно. Не будем, товарищи, торопиться с пятидневкой, давайте подумаем, изучим, посоветуемся, никто нас не торопит».

После отставки отца «неразрешимые» проблемы, рассосались сами собой, и в горных штреках крыша больше не проседала, и в школах обошлись без продления на год срока обучения. Два выходных Брежнев осенью 1967 года преподнесет в качестве собственного подарка советскому народу к 50-летию советской власти.

«Сейчас нам надо не гайки закручивать…»

«Сейчас нам надо не гайки закручивать, как делают китайцы, а показать силу нашей социалистической демократии. Создаются новые условия. При демократии и руководство можно критике подвергнуть. И это придется принимать. Без критики нет демократии. Сейчас не все придерживаются единого мнения, и процесс этот развивается по нарастающей», — эти слова отец произнес на том же Пленуме 11 июля 1964 года.

Относились они к проекту новой Конституции, над которой работали уже более двух лет. Работал он сам, председатель Конституционной комиссии, работали ее члены, но дело продвигалось с трудом, уж очень непривычно звучали предложения отца — и об ограничении сроков пребывания у власти должностных лиц, и о выборах из нескольких кандидатов, и о наделении Советов не декоративными, а реальными властными полномочиями. На свои сессии Советы должны собираться не раз в году, а гораздо чаще, и не штамповать законы, а сами будут их подготавливать, комиссии при советах предполагалось сделать постоянно действующими, наделить их членов правами контролировать всех и вся. Отец считал необходимым предоставить возможность людям на общесоюзных и республиканских референдумах самим решать вопросы, от которых зависит их жизнь. Учреждались суды присяжных, а карательные органы лишались права самостоятельно арестовывать кого бы то ни было. Теперь это становилось прерогативой судов, только с их санкции разрешалось лишать свободы граждан, а сами граждане получали возможность

судебного обжалования незаконных, с их точки зрения, действий властей.

Проект Конституции предоставлял предприятиям и их директорам неслыханную раньше самостоятельность, от их решения зависело, что и в каких количествах производить, как распоряжаться после отчисления заранее оговоренной доли в государственный бюджет заработанными средствами.

Обсуждались и другие, еще более радикальные предложения, вплоть до отмены паспортной системы. Но чем заменить паспорта, так и не придумали и решили этот пункт в Конституцию не включать.

16 июля 1964 года отец собрался в Кремль на очередное, а, как оказалось на деле, последнее заседание комиссии. В своем выступлении он подвел итоги их общей работы и окончательно расставил точки над «и».

Вот пара цитат из выступлений отца:

«…Необходимо специально подчеркнуть большую роль Верховного Совета и других Советов в руководстве социалистической экономики».

«В новой Конституции определить Верховный Совет как орган, осуществляющий не только законодательные функции, но и верховное управление страной».

Дальше отец детально объясняет, какими ему видятся новые функции нового советского Парламента. Его власть становилась реальной, властью конституционного контроля, — создавался постоянный Комитет конституционного надзора, не назначаемый, а избираемый непосредственно Верховным Советом. Депутатам Верховного Совета предоставлялась реальная возможность принимать непосредственное участие в управлении страной между сессиями, для чего их освобождали (частично или полностью еще не решено) от работы, они учреждали свои комиссии по всем аспектам жизни страны, все без исключения органы власти обязывались отвечать на их запросы и так далее.

Совет Министров при этом не на бумаге, а на деле подчиняли Верховному Совету. Его даже предполагалось из «высшего органа государственного управления» преобразовать «в исполнительный и распорядительный орган» и переименовать из «Правительства СССР в Правительственный Совет СССР».

Принять новую Конституцию отец намеревался уже в следующем, 1965 году, выставив предварительно ее проект на всенародное обсуждение, такая практика стала привычной за последние годы. Затем доработанный по результатам обсуждения текст Основного закона страны предполагалось обсудить на заседании Верховного Совета и окончательно утвердить на

конституционном референдуме.

Уезжая в последних числах сентября в свой последний отпуск в Пицунду, отец затребует все материалы Конституционной комиссии, заберет их с собой, чтобы на досуге все как следует додумать, дошлифовать и представить окончательный или почти окончательный текст Конституции намеченному на ноябрь 1964 года Пленуму ЦК. Отец работал над Конституцией, диктовал и передиктовывал стенографисткам новые пункты основного закона вплоть до 12 октября, но до конца доработать текст не успел. 12 октября отца вызвали в Москву, а 14-го его самого и его Конституцию «сдали в архив».

Почему одна партия?

Я уже писал, как в самом начале обсуждения, еще не проекта, а пока основных принципов новой Конституции, возник вопрос о выдвижении на выборах в Верховный Совет нескольких кандидатов. Тогда все уперлось в неразрешимую проблему: одного кандидата, естественно, выдвигает партия, а кто остальных? Отец считал, такое право можно предоставить общественным организациям. Но тут же возникал новый вопрос: что это за общественные организации, каков их статус и чем они отличаются от партии, если наделяются правом выдвижения кандидатов в высший законодательный орган страны? Поиск ответа оставили на потом. В 1964 году это «потом» наступило, окончательный текст Конституции требовал законодательно четко описать процедуру будущих выборов. Решение ожидали от отца.

В начале XXI века Михаил Горбачев, а вслед за ним и еще кое-кто стали говорить, что, разделяя обкомы на сельские и промышленные, Хрущев, как бы инициировал появления двух партий: промышленной и аграрной, зарождение многопартийной системы.

Откровенно говоря, слова Горбачева я относил к столь модным в наши дни политическим спекуляциям. В 1962 году, учреждая производственные управления и разделяя обкомы, отец говорил о профессионализме управления, о менеджменте, а не о партийности. Во всех следующих записках и выступлениях отец настойчиво требовал запретить партийным чиновникам из вновь организованных структур вмешиваться в производственные дела, делал все, чтобы отстранить партию от управления экономикой, — ее дело воспитание масс, агитация и пропаганда.

С другой стороны, объективно Горбачев прав — разделение обкомов на городские и сельские создавали предпосылки

возникновения двух конкурирующих центров власти, ведь интересы аграриев и промышленников не совпадают и партийное размежевание по такому принципу обычно во многих странах.

Я все-таки не думаю, что отец столь далеко заходил в своих планах в 1962 году, но в 1964 году, размышляя не только о статье в новой Конституции, но и вообще о природе власти, о таящейся в однопартийности опасности, он не мог не задуматься. «Неизбежно возникает проблема того, кому и чему служит Коммунистическая партия, централизованная, дисциплинированная, спаянная единым порывом, — пишет он, уже находясь в отставке. — …Ее организационная система позволяет кому-то одному использовать ее ради злоупотребления властью. Мне кажется, если бы Ленин пожил подольше, он что-то предложил бы, чтобы исключить такую возможность. Но это лишь догадки».

Когда отец ссылался на Ленина, это означало, что он сам пытается разрешить «не разрешенную Лениным» проблему. И, как мы видим, дело тут не только в выборах, сколько в самой природе власти, в угрозе сползания однопартийной «демократии» к откровенной личной тирании. Цель отца — сделать так, чтобы исключить в будущем такую возможность.

Логически единственное и самое естественное решение — многопартийность. Центрами ее кристаллизации вполне могли стать и разделенные обкомы. Так что Михаилу Сергеевичу не откажешь в прозорливости.

Я таких разговоров с отцом не вел, а вот советский посол в Норвегии Николай Луньков в своей книге «Русский дипломат в Европе» воспроизводит якобы подслушанный им диалог отца с помощниками.

Дело происходило летом 1964 года во время визита в Норвегию.

«Хрущев прогуливался вместе с Аджубеем и Сатюковым вокруг королевской резиденции на Бюгдой, где он размещался вместе с семьей. Мы с министром иностранных дел держались чуть поодаль. Громыко подтолкнул меня вперед, сказав, что посол должен находиться рядом с главой правительства, вдруг возникнут вопросы, касающиеся страны. Когда я приблизился, Хрущев, продолжая разговор, обратился к своим собеседникам: “Слушайте, как вы думаете, что, если у нас создать две партии: рабочую и крестьянскую?”» При этом он оглянулся на Лунькова. Тот правильно истолковал этот взгляд и отстал. Пораженный услышанным, Луньков тут же на ухо пересказал Громыко слова отца. «“Да, это интересно. Но вы об этом никому не говорите”, — осторожно порекомендовал Громыко».

Придумать такого Луньков не мог. А если вспомнить, что отец в июле на Пленуме ЦК, сразу по возвращении из Скандинавии, под впечатлением достижений и опыта скандинавских стран говорил «о различии мнений в стране и необходимости создать все условия для развития демократии», то подслушанные Луньковым слова не кажутся столь фантастическими. Возможно, отец начинал примериваться к следующему шагу, да и реакция его доверенных слушателей Сатюкова и Аджубея нам неизвестна. Не исключено, что они начали активно возражать и он отступил на время. Но если отец задумался о разделении партии, то, зная его характер, я могу предположить, что раньше или позже он бы додумал все до конца.

Возможно, отец «проверял себя» не только на Сатюкове и Аджубее, но делился своими соображениями и с соратниками по Президиуму ЦК. Такие разговоры могли только усилить желание «соратников» поскорее разделаться со своим Первым секретарем. К сожалению, мы теперь уже не узнаем, как далеко собирался отец зайти в реформировании государственного устройства СССР.

Последняя «крамола» Хрущева

О перспективах установления в СССР многопартийности мы не знаем почти ничего, а вот то, что отец задумал разобраться с обстоятельствами коллективизации, известно достоверно. Правда о сопровождавшей коллективизацию депортации миллионов людей, казнях, чудовищном голоде 1932–1933 годов и, как следствие, разорении крестьянства — правда не менее страшная и взрывная, чем правда о преступлениях сталинской тирании. Отец это понимал и, тем не менее, не только переговорил с коллегами по Президиуму ЦК, но и в сентябре 1964 года поручил Академии наук, ее вице-президенту и члену ЦК КПСС академику Петру Николаевичу Федосееву поднять архивы и подготовить к октябрю обстоятельную записку.

Отец собирался рассказать о коллективизации и ее последствиях в докладе на Ноябрьском Пленуме ЦК. Он предупредил Федосеева, что ему тоже придется выступить и развить тему.

Федосеев поручил готовить материал И. Е. Зеленину, тогда молодому сотруднику Сектора истории социалистического преобразования сельского хозяйства Института истории АН СССР, работавшему над двухтомником по истории коллективизации.

«Мне дали задание предоставить материал критического характера о сплошной коллективизации, — пишет Зеленин. — Указания я получил такие: приводить только выдержки из

документов, писем крестьян, сводок о положении в деревне, высказываний представителей тогдашней оппозиции без каких-либо комментариев и оценок.

Я составил пространную выписку, более двадцати машинописных страниц, рисующую картину массового голода в деревне в 1932–1933 годах, своеволия заготовителей, жесточайших репрессий, обрушившихся на крестьян, и за своей подписью отправил ее “наверх”».

Отец записку, скорее всего, не получил. В октябре время его заканчивалось. Главный «контролер страны» Шелепин на заседании Президиума ЦК, где снимали отца, обвинил его в «сборе материалов по периоду коллективизации». Я уже приводил его слова в самом начале книги.

Отдел науки ЦК КПСС, где труд Зеленина прочитали, обвинил автора в очернительстве, но, к счастью, «все обошлось», записку засекретили и отправили в архив. «Очерки по истории коллективизации» И. Е. Зеленина (первый том уже набрали, а второй подготовили к печати) с плана издательства сняли навсегда.

Фатальная рокировка

15 июля 1964 года, завершив основные дела, сессия Верховного Совета СССР приступила к оргвопросам. Так и не найдя в ЦК никого взамен Брежневу, отец предложил ему полностью сконцентрироваться на работе в ЦК. На его плечи ложилась вся организационная работа, в том числе повседневная связь с секретарями обкомов, назначение на высшие должности в стране и армии. По существу. реальная власть переходила в руки Брежнева. В освободившее кресло Председателя Президиума Верховного Совета отец решил пересадить Микояна.

«Товарищи депутаты! — начал отец свое выступление на сессии Верховного Совета СССР. — Вы знаете, что товарища Брежнева Леонида Ильича на Пленуме ЦК в июне 1963 года избрали секретарем Центрального Комитета партии. Центральный Комитет считает целесообразным, чтобы товарищ Брежнев сосредоточил свою деятельность в Центральном Комитете партии как секретарь ЦК КПСС. В связи с этим Центральный Комитет вносит предложение освободить товарища Брежнева от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР. На пост Председателя Президиума Верховного Совета Центральный Комитет партии рекомендует товарища Микояна Анастаса Ивановича. При этом имеется в виду освободить его от обязанностей первого заместителя

Председателя Совета Министров СССР.

Думаю, что нет надобности давать характеристику товарищу Микояну. Вы все знаете, какую большую политическую и государственную работу проводил и проводит Анастас Иванович в нашей партии и Советском государстве. Он зарекомендовал себя как верный ленинец, активный борец за дело коммунизма. Его деятельность на протяжении десятилетий известна не только у нас в стране, но и за ее пределами.

Центральный Комитет партии считает, что товарищ Микоян достоин того, чтобы доверить ему большой и ответственный пост Председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза.

Товарищи! Мы надеемся, что депутаты поддержат и примут предложение Центрального Комитета партии. Я позволю себе до голосования — хотя это может показаться несколько преждевременным — выразить сердечную благодарность Леониду Ильичу Брежневу за его плодотворную работу на посту Председателя Президиума Верховного Совета, а Анастасу Ивановичу Микояну от всей души пожелать больших успехов в его деятельности на посту Председателя Президиума Верховного Совета. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)»

Депутаты дружно проголосовали «за».

Переменой Председателя Президиума Верховного Совета, «президента» страны, отец не только высвобождал Брежнева для работы в ЦК, в лице Микояна он рассчитывал обрести союзника в «либерализации» власти, предусматривавшейся новой Конституцией.

В драку он не полезет, не тот Анастас Иванович человек, но отец не рассчитывал, что дело дойдет до драки, а в преодолении возможного и ожидаемого бюрократического саботажа при выработке новых законов Микоян мог оказаться полезным союзником.

Позднее, уже после отстранения отца от власти и собственной отставки, Анастас Иванович рассказал своему сыну, генералу Степану Микояну, что перед его назначением на Верховный Совет они долго разговаривали с Хрущевым о будущем, о новой роли Советов, в первую очередь, Верховного Совета.

«Это можем сделать только ты или я. Я не могу отрываться от руководства правительством, так что тебе придется стать во главе Верховного Совета и заняться этим делом», — так звучат слова Хрущева в пересказе Микоянов, отца и сына.

Ни отец, ни Микоян и не догадывались, что их конституционным планам сбыться не суждено. Оставшиеся до октября месяцы, Брежнев и его сообщники по заговору

использовали с максимальной продуктивностью.

17 июля 1964 года вышла книга стихов Андрея Вознесенского «Антимиры», одна из самых памятных публикаций поэта.

С 20 июля по 1 августа 1964 года Аджубей с женой Радой по приглашению немецких журналистов гостит в Западной Германии. Весь мир теряется в догадках, неужто Хрущев и западногерманский канцлер зондируют пути сближения двух стран в обход Америки? Аналитики приходят к заключению, что это начало подготовки его визита в ФРГ, визита, который может изменить весь европейский политический расклад, привести к подписанию мирного договора и взаимному признанию Западной Германии и Германской Демократической Республики. Не исключают и разрушения Берлинской стены.

Отцу съездить в ФРГ не пришлось. Договор о признании послевоенных границ в Европе подпишут его преемники.

Вечером 20 июля отец — в Кремлевском дворце съездов на концерте польского ансамбля «Шленск», а на следующий день он отправляется с трехдневным официальным визитом в Варшаву на празднование 20-летия Народной Польши.

По возвращении, 28 июля 1964 года, Хрущев принимает секретаря по иностранным делам Великобритании Ричарда О. Батлера.

29 июля 1964 года отец более двух часов разговаривал в кремлевском кабинете с Генеральным секретарем ООН У Таном, а 30–31 июля он там же дважды встречался с американским миллиардером Дэвидом Рокфеллером. Суммарно они проговорят почти в два раза дольше, чем с У Таном, так с гордостью отметила «Нью-Йорк Таймс». Отцу приятно, что американцы с непосредственностью футбольных болельщиков подсчитывают очки, сколько кому он уделил времени. Это свидетельство завоевания нашей страной мирового лидерства, пока наравне с США, а там посмотрим.

31 июля 1964 года Хрущев и другие члены Президиума ЦК осматривают в Кремле выставку новых

блочно-секционных технологий строительства промышленных зданий, что объединяло под одной крышей весь технологический цикл и избавляло заводчан от необходимости перевозить заготовки и детали из цеха в цех. Эксперимент, я о нем писал, на двух московских фабриках, построенных по западным образцам — электронной и трикотажной, полностью себя оправдал. Пришла пора распространить его на всю страну.

Отец доволен, новые принципы промышленного строительства сулят немалую экономию не только при сооружении зданий, но и за счет сокращения внутризаводских коммуникаций.

Вечером того же дня отец отдыхает в Театре оперетты на концерте артистов Камбоджи.

1 августа 1964 года впервые вышла в эфир развлекательно-повседневная, так тогда говорили, молодежная радиостанция «Маяк». Начиналась она какими-то, специально для нее написанными, музыкальными позывными.

Аджубей только что вернулся из Западной Германии и взахлеб рассказывал коллегам-журналистам о своих впечатлениях. На одну из таких посиделок затесался и я. Почему-то зашла речь о «Маяке». О новой радиостанции тогда в Москве говорили все. Я слушал, не вмешиваясь, говорили они о своем, и не моего ума это дело. Вдруг Алексей Иванович обернулся ко мне и начал выспрашивать, что я, простой слушатель, думаю о передаче. Я засмущался, тогда я вообще смущался по любому поводу, промямлил, что передача интересная, вот только позывные не запоминаются.

— А какие запоминаются? — наседал на меня Аджубей.

Я не знал, что ответить, и, чтобы он отвязался, назвал первую, пришедшую мне на ум, мелодию «Подмосковных вечеров». Тогда она звучала повсюду.

— Молодец, — одобрил мой выбор Аджубей, и разговор вновь пошел о Германии.

На следующее утро, настроившись на волну «Маяка», я, к своему удивлению, услышал мелодичный перезвон «Подмосковных вечеров», предваряющих начало передачи. «Подмосковные вечера» на «Маяке» прижились, даже с уходом отца их не заменили.

Всю власть директору!

Во второй половине 1964 года всегда плотная программа отца насыщена как никогда. Порой кажется, что он предчувствует безрадостность грядущей отставки и старается вкусить напоследок все прелести активной общественной жизни. Но это только кажется, отец ни о чем не подозревает, просто на этот и на следующий годы им намечено столько… И очередной этап децентрализации экономики, и специализация, и химизация, и Конституция, только успевай поворачиваться. Заграничные визитеры записываются на прием «пачками» месяцами стоят в очереди. Побывать у Хрущева — удостоиться приема стало престижным, как бы свидетельством мировой значимости того или иного политика.

Отец здоров, он в хорошей форме и спуску себе не дает. Темп, который он сам себе задал, не каждому молодому под силу, но он пока выдерживает.

Затихшая было в 1963 году дискуссия о реформе экономики уже с первых дней нового года начала набирать силу. 25 января 1964 года в «Известиях» публикуют статью Геннадия Лисичкина «Кредит на веру? Как стимулировать экономический рост?» В ней автор, не затрагивая основополагающих принципов управления народным хозяйством, предлагает не распылять средства, а инвестировать их целевым образом, точечно. По большому счету — благие пожелания. За Лисичкиным следует более конкретная статья И. Малышева из ЦСУ СССР «Каким должен быть главный показатель плана?» Малышев пытается ответить на вопрос: что ставить во главу угла? Рентабельность? Производительность труда? Прибыль? По его мнению, только прибыль позволит выстроить понятные и эффективные отношения производителя и государства.

Дальше как плотину прорвало: на вторых страницах «Правды», «Известий», «Экономической газеты» и других периодических изданий регулярно появляются статья за статей. Их редакторы знают, кто их заинтересованный читатель, и соревнуются в поиске наиболее интересных и неординарных авторов. Отец все внимательно даже не прочитывает — прорабатывает, на особо его заинтересовавших материалах — тут же, на газетном листе, пишет резолюции Косыгину или Устинову, просит высказать свое мнение. Мнения у них чаще всего различные и не совпадают с позицией Хрущева. Косыгин — на сегодняшний день первый и наиболее доверенный заместитель отца в правительстве, опора и скрытый оппонент, изо всех сил сопротивляющийся децентрализации экономики. Устинов еще

более ортодоксален, он вырос в командной экономике, умеет приказывать и считает министерскую вертикаль вершиной экономической мысли. Для него даже Косыгин — неисправимый либерал. Сходятся они в одном, в противодействии реформаторским затеям Хрущева. Отец настроен на перемены, а они всё делают, чтобы сохранить статус кво. Вернее, они бы предпочли вернуться к привычной министерской иерархии, но об этом пока и не заикаются. В последний год влияние Косыгина на отца заметно возросло, и именно ему удается удержать Хрущева от немедленной «передачи власти» директорам. Отец со своими заместителями пока открыто не конфликтует.

21 февраля Косыгину исполнилось 60 лет. Все газеты поместили на первых страницах портрет неулыбчивого Алексея Николаевича и текст Указа Президиума Верховного Совета о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда, награждении его Золотой медалью «Серп и Молот» и орденом Ленина.

8 марта 1964 года статьей в «Известиях» включается в дискуссию начальник Сводного отдела Госплана И. Лебединский. Он, не без поддержки Косыгина, возражает «прибыльщикам», предлагает принять «нормативную стоимость обработки» основным критерием оценки работы предприятия.

14 марта 1964 года «Известия» публикуют «ответную» статью «По труду и зарплата» П. Зайцева, председателя колхоза «Трудовик» из Казахстана. Зайцев — за Худенко, чей эксперимент, дававший директорам совхозов свободу решать: что сеять, когда сеять, как сеять, сколько людей им для этого нанимать и отчитываться перед государством только заранее оговоренным продналогом, он считает более чем удачным. «Пришла пора распространить “эксперимент” и на колхозы», — требует Зайцев. Напомню, в распоряжении Худенко три целинных совхоза.

Отец с Зайцевым согласен, на февральском Пленуме ЦК он проповедовал сходные идеи. А вот Суслов с Зайцевым, а следовательно и с отцом не согласен: пусть «худенковские» совхозы и работают много лучше соседей, но платят они своим работникам неправильно. Как только возросла оплата, сразу наметилось и расслоение, а «худенковские» менеджеры-директора вообще получают больше рабочих в разы.

«Развращающие оклады получаются, колхозник получает мало, а председатель в 24–40 раз больше будет получать», — недовольно проскрипел Суслов при обсуждении вопроса на Президиуме ЦК 9 января 1964 года. В отсутствие отца заседание вел Брежнев, рассматривали подготовленное Полянским Постановление «О мерах по укреплению отстающих колхозов

квалифицированными кадрами».

Развращающие оклады из Постановления убрали.

18 — 19 мая 1964 года в Москве собирается Всероссийское совещание по вопросам экономики в промышленности и строительстве. Отец задумал его еще в начале года, но в плотном графике международных встреч одно мероприятие налезало на другое и совещание откладывалось из недели в неделю, из месяца в месяц. Отец понимал, что не может объять необъятное, и поручил своему заместителю в Бюро ЦК по РСФСР Кириленко подирижировать его работой.

Однако в его отсутствие разговора по существу не получилось. Основной доклад сделал председатель Госплана России Константин Михайлович Герасимов. Говорил он гладко, о многом и вообще ни о чем, о техническом прогрессе, совершенствовании форм управления, создании отраслевых производственных управлений, снижении издержек, призывал опираться на общественность.

Выступавший вслед за ним министр строительства РСФСР Н. Н. Качалов сначала рассказал о достигнутом: за 1959–1963 годы в Российской Федерации построено 2 400 крупных предприятий, сдано 134 миллиона квадратных метров жилой площади, затем он заговорил о снижении себестоимости и других всем известных вещах.

Более двух десятков выступавших отчитывались о проделанной работе и брали обязательства на будущее, и только председатель Московского городского совнархоза Василий Николаевич Доенин сказал несколько слов по существу, робко посетовал, что планирование по валу не совмещается с внедрением новых технологий, они всегда оказываются убыточны, и привел пример: лавсан, для производства которого оборудование закупали за Западе за золото, оказывается никому не нужным, так как снижает вал, в результате падает выработка на одного рабочего, и премии летят в тартарары.

В заключение на совещании с большой, так написала газета «Правда», и, добавлю от себя, бессодержательной речью выступил Кириленко. В общем, поставили галочку. Майское совещание пользы не принесло, но и вреда не причинило. Обсуждение принципов проведения экономической реформы продолжалось.

30 мая 1964 года «Экономическая газета» публикует пространное интервью с профессором Либерманом. Вопросы ему задавали не только советские, но и западные журналисты, что очень необычно по тем временам. Разговор вращался вокруг прибыли, ее роли в капиталистической и социалистической экономике. Либерман объяснял, что у нас, в отличие от

капиталистов, прибыль — не цель, а инструмент. Американцы улыбались, потом написали в свои газеты, что ответы советского реформатора показались им наивными. И напрасно. Они не поняли Либермана. С точки зрения воздействия на производство — прибыль действительно инструмент, и очень эффективный, ну а все остальное… Это уже зависит от того, как получатель прибыли пожелает ею распорядиться.

В середине лета отец сам включился в экономическую дискуссию. В докладе на сессии Верховного Совета 13 июля 1964 года он предложил подумать: не следует ли изменить сам принцип планирования? По мнению отца, планирование «от достигнутого», когда Госплан спускает заводам задание на следующий год, опираясь на прошлогодний результат, никуда не годится. Оно не отражает запросов покупателей, навязывает им товары, спросом не пользующиеся. Возникает затоваривание, склады магазинов ломятся от вещей, которые никто не покупает, а неходовой товар везут и везут. Отец предложил формировать заводской план в соответствии с заказами потребителей и затем отправлять в Совнархоз и Госплан для обобщения, то есть не сверху вниз, а снизу вверх. Он предлагал развернуть всю систему централизованного планирования, превратить Госплан из директивного органа в регистрирующий, план бы больше не считался руководством к действию, а всего лишь отражал баланс интересов потребителей с возможностями производителей.

Интересно, что именно такими виделись функции Государственной плановой комиссии при Совете народных комиссаров СССР в момент ее создания 13 июля 1923 года, в разгар нэпа. Только через семь лет, 23 января 1930 года «Госплану предоставят право решающего голоса в СНК СССР», и с того времени власть его станет всеобъемлющей. И вот теперь Хрущев замахнулся на Госплан!

Заглядывал ли отец в архивные документы? Думаю, что нет. Им руководила логика, логика высвобождения экономики из-под бюрократического диктата. Отец понимал, что по мановению волшебной палочки ничего не изменится. Чтобы схема заработала, необходимо создать условия, заводы — как коллектив, так и директора, заинтересовать работать на потребителя. Сегодняшние премии и другие блага зависели от выполнения плана. Надо же, чтобы они определялись степенью удовлетворения покупателя, другими словами, тем, сколько удастся продать, а не отчетом об отправке продукции на склады неведомо кому и неведомо зачем. И тут снова выплывала на поверхность прибыль как наиболее очевидный критерий успеха и неуспеха хозяйствующего субъекта: магазин-продавец

зарабатывает прибыль от продажи и делится ею с производителем-заводом, включает его долю в договорную цену. Завод, в свою очередь, отчисляет заранее оговоренный процент Минфину. Все остальное они — магазин-продавец и завод-производитель, расходуют по-своему усмотрению. Таким, в общих чертах, вырисовывалось направление будущей экономической политики.

После выступления отца робкий ручеек «реформаторских» публикаций разлился по страницам газет и журналов настоящим половодьем. Отец внимательно прочитывал практически все статьи, отжимая суть. В том, что пришла пора передавать власть директорам, он уже не сомневался. Вопрос — как на практике выстроить новые отношения директора завода, совхоза или председателя колхоза с государством, с существующими Совнархозом, Госпланом, Минфином? Как не утратить контроль и одновременно развязать руки директорам? Только после ответа на этот вопрос можно начинать реформу.

Чтобы воспроизвести атмосферу того времени, назову некоторые из статей, опубликованных летом 1964 года. 29 июля в «Известиях» в статье «Есть такая наука экономика» Геннадий Лисичкин пишет о критериях, о выгоде, то есть снова о прибыли, которая поможет добиться результатов. 1 августа «Правда» отвечает «Известиям» подвалом «Поступь семилетки. Экономическое обозрение». Автор статьи Иван Малышев, в числе всего прочего, доказывает, что прибыль — главный показатель экономической эффективности производства и рост прибыли наиболее точно отражает состояние производства и производительности труда. 17 августа та же «Правда» предоставляет свои страницы Вадиму Александровичу Трапезникову — академику, директору Института проблем управления, заместителю Руднева в Госкомитете по координации научно-исследовательских работ и члену Совета на науке при главе правительства, то есть человеку более чем влиятельному. Он только что вернулся из поездки в Японию и выплеснул свои эмоции в статье на целый разворот «За гибкое управление промышленным предприятием». Выводы Трапезникова прозвучали в унисон выступлению отца на сессии Верховного Совета: экономическое регулирование должно опираться на простые, но исчерпывающие формы оценки деятельности предприятия и их не должно быть много. «В настоящее время предприятие не заинтересовано ни во внедрении новой техники, ни в качестве продукции, его стимул — выполнение плана любой ценой, — пишет Трапезников. — Предприятия надо стимулировать. Экономические интересы должны совпадать с

экономическими интересами государства и всего народного хозяйства. Существующие, спускаемые сверху нормативы, как то: численность, фонд заработной платы и тому подобное необходимо резко сократить. Отношения с государством следует свести к уплате единого налога плюс дополнительные штрафы за использование устаревших технологий и за срыв поставок. Результат можно достичь, опираясь на универсальный показатель эффективности работы — прибыль». В заключение Трапезников призывал передать всю власть в руки директоров.

17 августа отец гостил в Киргизии, выступал в Пржевальске, почту из Москвы туда доставили к исходу дня. Статью Трапезникова отец бегло просмотрел только вечером. Мысли автора ему понравились, академик Трапезников, казалось бы, подслушал его самого, давал четкие, не в пример другим, ответы, если не на все, то на многие из мучивших отца вопросов. Отец сложил газету вчетверо, статьей Трапезникова вверх, и засунул ее в свой портфель для более внимательного изучения. Из Пржевальска отец переехал в столицу республики Фрунзе (ныне — Бишкек). Там утром выступил перед местными овцеводами, а затем, даже не пообедав, вылетел в Москву. К статье он вернулся уже в самолете, еще раз перечитал и написал прямо на газете: «Т. Рудневу. Прошу рассмотреть и дать предложения». С этого момента статья Трапезникова из дискуссионной превращалась в руководящую.

На этом отец не успокоился, по возвращении в Москву он позвал Руднева к себе, объяснил, что он ожидает не просто предложений, но план конкретных действий, а затем — проект постановления. Руднев, хорошо запомнивший недавно полученную от отца взбучку и не посвященный в планы антихрущевских заговорщиков, взялся за исполнение поручения со всей свойственной ему энергией.

Не мешкая, Руднев собрал имевшихся в наличии «прогрессивных» эко но мис-тов-прибыльщиков и ценовиков. Без логично-прозрачной системы цен о прибыли и мечтать не приходилось. Я уже писал о «ценах единого уровня» Виктора Белкина. Он тоже участвовал в этом совещании. Как запомнилось Белкину, Руднев поручил им в месячный срок составить необходимые обоснования экономической реформы и проект Постановления ЦК и Совета Министров. Возглавил комиссию экономист-реформатор Леонид Александрович Вааг, бывший член коллегии «засядьковского» Госэкономсовета, упраздненного по настоянию Косыгина, а ныне главный специалист в Рудневском Госкомитете по координации научно-исследовательских работ. Он подобрал себе команду из бывших засядьковцев. Естественно,

в комиссию вошел сам академик Трапезников плюс экономисты общего профиля Евсей Либерман, Игорь Бирман, С. Н. Захаров, ценовики Виктор Белкин и Лев Леонтьев, финансисты С. Л. Механик и З. В. Атлас, С. Е. Каменицер, заместитель начальника ЦСУ СССР И. Малышев и будущий академик Н. Петраков, уже тогда увлекавшийся проблемами оптимизации экономики.

Сформировали две подкомиссии: первая, под руководством Ваага с Захаровым, занялась разделом Постановления, обосновывавшим необходимость проведения экономической реформы. Тем временем Белкин, Бирман и другие расписывали пункт за пунктом этапы ее реализации.

Упомянутая статья академика Трапезникова в «Правде» не подвела черту под дискуссией, а еще больше раззадорила экономистов-реформаторов и их противников. 19 августа в «Известиях» появилась статья «Деньги счет любят. Размышления об экономике», а 20 августа Е. Рубинчик из Волго-Вятского совнархоза рассуждает в «Правде» о «Плане, ритме и снабжении». 22 августа «Известия» в статье экономистов Я. Кронрода и И. Можайсковой «Что же главное?» призывают поощрять за реальные результаты, а не за формальные отчеты о выполнении плана по валу. Они разбивают в пух и прах популярную в то время среди хозяйственников систему НСО (нормативов стоимости обработки), доказывают, что она неэффективна, «создает заинтересованность в наиболее трудоемких технологиях, из-за увеличения в конечном продукте доли собственного труда делает их выгодными для конкретного производителя, но не для экономики в целом». При такой системе выгоднее кустарно производить гвозди и болты, пусть они и обойдутся рубль штука, а не покупать их на стороне по копейке за десяток. Коллектив и директора премируют за то, сколько труда затратило предприятие на производство изделия, а не за то, насколько оно прибыльно.

23 августа «Известия» обсуждают, как работает прибыль в условиях планового хозяйства и в отсутствие «ненужной» конкуренции между социалистическими предприятиями. В тот же день, 23 августа, в «Правде» появляется статья О. Волкова, начальника Бюро технико-экономических расчетов Московского автозавода им. Лихачева под броским заголовком: «Назревшие вопросы. Поддерживаю предложения академика Трапезникова».

6 сентября академики, математики и экономисты Дородницын, Глушков и Федоренко в статье «Экономическая кибернетика» («Известия») предлагают создать в промышленности научно-производственные объединения, их балансы и планы рассчитывать на вычислительных машинах. 10 сентября

председатель Ленинградского совнархоза Алексей Константинович Антонов, при Брежневе он станет министром электротехнической промышленности, в «Известиях» призывает перевести «управление промышленности на научную основу». 13 сентября академик Немчинов в «Правде» поддерживает своих коллег-ученых статьей «Экономика, математика, кибернетика». 17 сентября в «Известиях» Анатолий Васильевич Николаев, член-корреспондент Академии наук, директор Института неорганической химии Сибирского отделения, высказался на тему «Государство, экономика, наука» и присоединился к призыву дать директорам больше прав. 19 сентября в «Правде» И. Манвелов, директор завода «Каучук», одного из сорока восьми предприятий, участвовавших в эксперименте, заявляет, что «не администрирование, а экономический расчет» обеспечат экономике продвижение вперед.

20 сентября 1964 года Е. Либерман в статье «Еще раз о плане и прибыли» обобщает мысли реформаторов: существующие цены оторвались от естественной базы, не отражают издержек производства, их надо пересмотреть, а также расширить права предприятий, в рамках единого фонда заработной платы и стабильных законодательных нормативов дать возможность директорам на основе заказов потребителей самим формировать план производства. Об этом же недавно говорил и отец. Только прибыль, считает Либерман, может служить общей, конечной мерой эффективности работы предприятия. Ее не надо спускать сверху, как делают сейчас. Директора, если им дать волю, сами ее максимизируют. Для этого надо создать законодательную базу, которая сочетала бы выгоды государства с выгодами предприятия, сделала бы их неразрывными. То, что выгодно одному, должно стать выгодным и другому. Поощрения сотрудников за хорошую работу пусть производит само предприятие и только из собственной прибыли. Либерман не сомневается, что на основе новых форм взаимоотношений отдельного предприятия и народного хозяйства в целом советская экономика резко увеличит темпы роста. В подтверждение своих слов он приводит результаты эксперимента на швейных фабриках, московской «Большевичке» и «Маяке» из Волго-Вятского совнархоза. В заключение Либерман делает реверанс в сторону идеологов, объясняет: «У нас прибыль не превращается в капитал, а освобождает предприятия от мелочной опеки, усиливает инициативу рабочих, инженеров и руководителей, и как следствие, высокие достижения общественного производства обеспечивают более высокую оплату труда отдельного работника». Через двадцать лет Дэн Сяопин повторит его тезис с

китайской афористичностью: «Не важно, какого цвета кошка бродит по темной комнате, лишь бы она ловила мышей!»

27 сентября в «Известиях» Председатель Среднеазиатского совнархоза Виктор Васильевич Кротов, будущий постхрущевский министр энергетического машиностроения, присоединяется к хору реформаторов, пишет о благотворности «Экономического управления предприятиями».

4 октября М. Кузнецова, директор фабрики «Большевичка», в правдинской статье «Спрос, качество, план» рассказывает о том, как в условиях свободы, предоставленной им экспериментом, они сами составляют планы, сами определяют объемы производства и реализации, устанавливают фонд заработной платы, по своему вкусу закупают ткани. Отчитываются же они только по факту реализации продукции и проценту рентабельности, то есть по той же прибыли. В результате начали шить много дешевых костюмов, тогда как раньше предпочитали мало, но дорогих, которые обеспечивали выполнение плана по пресловутому валу. Удешевление продукции привело к росту продаж, костюмы на складе больше не залеживаются, снабженцы из торговли выхватывают их буквально из-под машинки, едва положат последний шов. Затем Кузнецова переходит к проблемам: план по рентабельности завод выполняет, но… «Но» оказалось очень неприятным и болезненным. Они применили новую технологию раскроя, чуть увеличили расход ткани, себестоимость костюма поднялась на 1 рубль 40 копеек и тут же, как следствие, упал рассчитанный где-то наверху процент рентабельности, возник конфликт с Минфином. Директора наказали. «На самом деле, — объясняет Кузнецова, — у нас рентабельность считают неправильно, она снизилась только на бумаге, а на деле превысила плановую». Однако Минфину «бумажная» рентабельность важнее истинной, а получаемая предприятием выгода оборачивается выговором его директору. Фабрика завалена заказами, хочет их выполнить, но не может, не хватает нужных тканей, их поставщики работают по-старому, выпускают не то, что им заказывают швейники, а то, что заранее запланировано Госпланом. «Нужно поскорее всех поставить в одни условия, распространить эксперимент на всю отрасль», — завершает статью директор фабрики Кузнецова.

7 октября «Известия» публикуют статью заместителя правления Госбанка В. Ушакова «Кредит, хозяйство, прибыль». Перечисление статей можно продолжить еще долго. Я взял для примера только две газеты — «Правду» и «Известия». Остальные центральные издания от «Экономической газеты» до «Комсомолки» тоже пестрят статьями на экономические темы.

Редакторы соревнуются, стараясь заполучить наиболее интересных авторов. Поменялся и тон статей. Если в 1962 году об экономической реформе, о прибыли писали смельчаки-одиночки вроде Либермана или Белкина, то в 1964 году к их голосам присоединились не только директора предприятий, участвовавших в эксперименте, но и бюрократы всех мастей и рангов. Последние больше по привычке, они спешили присягнуть новым веяниям, неважно каким, сегодня — это децентрализация экономики и прибыль, а завтра — восстановление властной вертикали и реанимация министерств.

В газетах спорили о реформе, а сформированная Рудневым комиссия работала. К середине октября 1964 года она успела обсудить и утвердить документы, составленные группами Ваага и Захарова, свела их воедино и направила результаты своих трудов наверх. Правда, отец их так и не увидел.

Из воспоминаний Игоря Бирмана и Виктора Белкина можно получить кое-какое представление о том, что же такое «крамольное» они написали в так и не полученной Хрущевым пояснительной записке и самом тексте проекта Постановления. Вкратце, со слов Белкина, там предлагалось: «Оценивать деятельность предприятий и вознаграждать их работников не по степени выполнения плана выпуска валовой продукции, а в зависимости от *прибыли*, при условии выполнения плана по номенклатуре.

Переход на новую систему оценки работы предприятий и оплаты труда предусматривал предварительный пересмотр действующих оптовых цен, замену их ценами производства с предоставлением предприятиям права снижения цен. Проект реформы предполагал введение оплаты за основные фонды (здания, оборудование). Эта плата становилась главной составляющей отчислений в госбюджет, взамен налога с оборота и других налогов».

«Плановые лимиты по численности персонала и средней зарплаты отменялись, — дополняет Белкина Бирман, — лимитировался лишь общий фонд заработной платы, дабы не нарушить баланс платежеспособного спроса и наличия товаров в магазинах. После отчислений процента за использование основных фондов, значительную часть прибыли оставляли предприятиям. Сделали запись и о банковском кредите».

Как бы отреагировал отец на подготовленный по его заданию документ? Тут мы вступаем на зыбкую почву альтернативных сценариев альтернативного будущего. Однако логика предыдущих событий позволяет сделать кое-какие предположения. Не вызывает сомнений, что отец в том или ином,

я думаю, более радикальном виде воспринял бы концепцию «дарования» свободы директорам предприятий и упрощения их отношений с государством и бюджетом. Он заявлял об этом не раз, да и эксперимент, а он уже длился не первый год, говорил сам за себя. «Экспериментальные» промышленные предприятия работали значительно эффективнее соседей, перешедшие на «продналог» совхозы Худенко демонстрировали, как я уже писал, чудеса. Хотя на самом деле никаких чудес тут не было, все происходило естественно, в полном соответствии с наукой об энтропии.

Я уже не раз упоминал об энтропии, втором начале термодинамики, в приложении к экономике. Давайте посмотрим, как этот закон природы преломлялся в условиях реформы. В старой, замкнутой «наверх», на центральные управленческие органы и даже на одного человека системе, отцу приходилось «разгонять» энтропию, если не в одиночку, то вместе с небольшой группой сторонников, энтузиастов-донкихотов. Что-то у них получалось, что-то — нет, но стоило отвлечься, как ряска на поверхности «энтропийного» болота смыкалась, сводя их усилия на нет. Восстанавливался «первозданный» бюрократический хаос.

Стремление природы к разупорядочиванию, росту энтропии — закон природы, и противостоять ему можно только постоянным вмешательством-упорядочиванием, подкачкой энергии извне, где только возможно и на всех уровнях. При перемещении центра борьбы с энтропией с верхнего, правительственного этажа, этажа одиночек, на директорский появлялась реальная возможность добиться большего. И тут все очень просто — директоров много, и когда каждый наводит порядок на своем предприятии, им всем вместе, как муравьям в муравейнике, становится по плечу совладать даже со «вселенским хаосом». Сейчас все это очевидно и подтверждено результатами научных исследований, а в 1964 году отец двигался в правильном направлении, но на ощупь, эмпирически-интуитивно. За истекшее десятилетие в борьбе с энтропией он набил немало шишек, убедился, что справиться с ней в одиночку не под силу.

Но действовать совместно с директорами еще тоже предстояло научиться, требовалось найти способ совмещать заводские «местнические» директорские интересы с общегосударственными, правительственными. Ведь директорам вручалось право распоряжаться государственными ресурсами. Как показал горбачевский закон 1989 года «О социалистическом предприятии», дарованная директорам свобода немедленно порождает новые проблемы. К примеру, директор считает необходимым поощрить своих работников за хороший труд

премией или прибавить им оклады, а государство озабочено балансом денежной массы в карманах людей и товаров на магазинных полках. Директору, грубо говоря, плевать на баланс, а вот если уволятся специалисты, он останется на бобах.

На июльской, 1964 года, сессии Верховного Совета СССР зарплаты повысили крайне скупо, еле-еле свели концы с концами, и все потому, что промышленность не обеспечивала выпуска необходимого количества товаров, на покупку которых и уходила денежная прибавка. Теперь же этот тонкий экономический механизм фактически передавался под контроль директоров предприятий, людей четких и энергичных, но занятых своими заботами и никак друг с другом не связанных.

Недодуманный до конца горбачевский закон привел к лавинообразному и повсеместному росту разнообразных выплат. Люди в одночасье почувствовали себя «богатыми» и смели с магазинных полок все товары, даже самые залежалые. Через несколько месяцев они остались с карманами, набитыми денежными купюрами, а магазины зияли пустотой полок. Вот что означает нарушение баланса товаров и денежной массы.

Восстановить равновесие можно только резким повышением цен или увеличением выпуска продукции. Первый способ решения проблемы загоняет болезнь внутрь, а второй… Собственно, вся реформа затевалась ради этого «второго» — наращивания производства группы «Б» или, говоря нормальным языком, товаров народного потребления. Но требовалось сделать так, чтобы избежать «первого».

И это не единственная подводная скала, на которую могла натолкнуться реформа при передаче власти директорам. Я не стану их все перечислять.

Поддержание баланса товаров на полках и денег в карманах покупателей можно обеспечивать по старинке, с помощью всевластия управленческой вертикали, и это возврат к старому и, по общему мнению отца и экономистов-реформаторов, неэффективному методу управлению экономикой страны. А можно поступить по-другому — предоставить директорам «право» рисковать не государственными, а собственными средствами, другими словами — передать им предприятия в собственность. Так устроена экономика большинства стран, и процветающих, и прочих. В этом случае отношения предприятия с государством сведутся к отчислению ему части прибыли, к плате ренты за землю и другие основные фонды или еще каким-то процедурам. Всё вместе это называется уплатой налогов. Другими словами, логика глубокой децентрализации экономики, вплоть до директорского уровня неотвратимо подводила к необходимости

введения в стране рыночных отношений через аренду, приватизацию или еще как.

Это мои умозаключения из XXI века, а мог ли отец, боец революции и Гражданской войны, пойти на такой шаг? Мгновенный ответ прост: «Нет! Никогда!» А если подумать? Отец, до мозга костей прагматик, повторял к месту и не к месту, что из идеи и идеологии супа не сваришь. Он все время ссылался, с оговорками конечно, то на опыт то США, то Англии, то Германии, — они работают лучше нас, эффективнее нас, он им завидует и надеется, набравшись у них ума-разума, их же и обогнать. И теперь, после всех «проб и ошибок», после «совнархозизации» лучшие экономические умы страны убеждают его, что только управление через «прибыль» способно придать ускорение экономике. В прибыли — квинтэссенция его, *хрущевской,* новой экономической политики. Но нэп — это и ленинская идея. Ленин в 1921 году вопреки сопротивлению Троцкого и других революционеров-максималистов провозгласил ее «всерьез и надолго». Это потом Сталин все поломал. Смею предположить, что, убедившись в реальных преимуществах «прибыльной» экономической концепции, отец мог бы, повторяю, мог бы пойти на «восстановление попранных Сталиным ленинских норм». Не исключено, что, предвосхитив Дэн Сяопина, опередив на двадцать лет его «китайское чудо», Хрущев, вернее, его наследники повели бы страну к процветанию, а к 1970 году, возможно, и коммунизм построили. Не тот, о котором мы привыкли говорить, а рыночный — вроде скандинавского социализма. Но это уже область фантазии, да и наследники отца смотрели совсем в другую сторону. Так что рыночный коммунизм россиянам не светил. Но это он потом не светил, а тогда… Предполагалось, что после доклада Руднева, Хрущев рассмотрит материалы комиссии Вааги — Трапезникова, даст свои замечания или, в лучшем случае, соберет всех у себя. Однако дело повернулось иначе, проекта Постановления отец не увидел, и Руднев к нему на прием не попросился. Нам остается только фантазировать, гадать, как поступил бы отец, получи и прочитай он представленные экономистами документы. Допустим, он согласился с ними и решил, что пора действовать. Когда отец мог выступить с реформой? К ноябрьскому Пленуму он явно не успевал. Времени на подготовку не оставалось, и говорить на нем отец намеревался на более конкретную тему специализации. Он уже объявил об этом.

Зная отца, я предположил бы такую последовательность действий: скорее всего он сначала «обкатал» бы предложении комиссии Вааги — Трапезникова в Совете по науке, затем

обговорил их на Президиуме и Пленуме ЦК и, скажем, весной 1965 года выставил бы проект закона на всенародное обсуждение, с тем чтобы окончательное решение осенью принял XXIII съезд партии, так же, как при Ленине, весной 1921 года X съезд принимал решение о переходе к нэпу. Мне кажется, я не ошибаюсь. Вот только ни 1965-го, ни 1966 года у отца в распоряжении не оставалось. 15 октября 1964 года его принудительно переместили из кремлевского кабинета в Петрово-Дальнее, на дачу, запретив покидать ее без предварительного уведомления властей. И все сразу переменилось. В «Правде» и «Известиях» сменили главных редакторов, тональность статей резко поменялась, а дискуссия о проблемах экономики сама собой затухла.

24 июля 1964 года. Прикидка на завтра

24 июля 1964 года в Кремле собрался Президиум Совета Министров СССР, обсудить, каким быть плану на очередной отрезок времени. Отец предложил отказаться от привычной схемы, когда бюджетный пирог делили пропорционально по отраслям, в соответствии с установленными еще в 1930-е годы приоритетами: тяжелой промышленности — по потребности, а остальным — что кому достанется. По его мнению, пришло время во главу угла поставить «блага для народа, затем обеспечить финансирование сельского хозяйства и никому не позволять покушаться на эти инвестиции, а уже остальное пустить на воспроизводство средств производства», тоже в первую очередь в интересах расширения производства товаров народного потребления.

Дальше отец рассуждает: как лучше обеспечить «рост благосостояния народа за счет коллективной или индивидуальной» составляющей того, что сейчас называют потребительской корзиной?

Бесплатное питание как работающих на предприятиях, так и детей в школах и дошкольных учреждениях он считает наиболее эффективным и демократичным. К тому же всеобщий охват обслуживанием в общепите, от ресторанов до столовых, освободит женщин от утомительных забот на кухне. Вот только как обеспечить качество и ассортимент? Об этом на совещании не говорят.

Тут отец вспоминает китайцев, их упреки в свой адрес в перерождении, ревизионизме и других смертных грехах, и предлагает смело «идти навстречу опасности буржуазного перерождения, — а после некоторого раздумья добавляет: — Я бы

хотел ускорить этот момент, был бы рад, чтобы это новое наступило еще при моей жизни».

«Новое» — это изобилие, всеобщий достаток, то, что тогда называли «коммунизмом».

«Некоторые буржуазные страны это уже имеют, а мы только начинаем двигаться в этом направлении, — тут отец вспоминает свою недавнюю поездку в Скандинавию и добавляет: — Шведы, как мы считаем, самые богатые в Европе, а по их собственному мнению — в мире…» Отец на полуслове замолкает, но и так понятно, что он думает.

Другой возможный путь улучшения народного благосостояния — снижение розничных цен. С ценами, несмотря на все усилия, до сих пор разобраться так и не удалось. «Когда к нам приезжают иностранцы или наши едут за границу, то они, прежде всего, идут в магазин. Сравнение цен не в нашу пользу. Я бы пошел на снижение цен на белье, верхнее платье, обувь. Надо посчитать, хорошо бы их снизить, хотя бы процентов на пятьдесят. Внедрение синтетики предоставит нам такую возможность. Но… — тут отец делает паузу, — снижение цен довольно простой, эффектный и привлекательный, но недемократичный способ поднятия жизненного уровня. Высокооплачиваемые категории получают большую прибавку, а они и так живут лучше, а низкооплачиваемые за счет снижения цен выигрывают меньше».

Отец прав по существу, но абсолютно не прав психологически. Беднейшие накрепко запоминают снижение цен, пусть даже копеечные, ибо для них и пятак имеет значение. Это очень хорошо понимал Сталин.

Потом разговор перекинулся на качество продукции машиностроения, специализацию, долгострой. Отец в который раз напомнил, что ресурс наших авиационных реактивных двигателей 500 часов, а английских — 5 000 часов, то есть для Туполевых, Ильюшиных и Антоновых их требуется производить в десять раз больше, чем для британских Комет и Бристолей, а наши транспортерные ленты работают один срок, тогда как за границей — три срока. Наши автомобили, грузовые и легковые, тяжелее и прожорливее американских, в подтверждение своих слов отец ссылается на записку члена-корреспондента Академии наук, специалиста в области автомобилестроения и транспортных перевозок Дмитрия Петровича Великанова, приславшего ему 13 июля 1964 года предложения о коренной перестройке машиностроения. Их 20 июля уже рассматривали на заседании Президиума ЦК и приняли специальное постановление.

«В этой пятилетке мы должны заложить все прогрессивное.

Если не можем делать такие машины, давайте купим лицензии. Товарищи, давайте не будем такими упорными идиотами! — восклицает он. — Купите лицензию на производство транспортерного корда, заплатите в два раза дороже, но мы на этом заработаем в три раза больше…

…Или мы продаем и покупаем металл, продаем в слитках, а покупаем товарную продукцию и переплачиваем в три-четыре раза…

…Или специализация. Сколько говорили об организации литейного производства унифицированных деталей! Нам нужны специализированные предприятия, как у Круппа в Германии, который еще во время войны производил коленчатые валы и рассылал их потребителям аккуратно завернутыми в промасленную бумагу…

…Когда я был за границей, там химические предприятия вводят в строй за два года, у нас же строительство занимает пять лет. Капиталисты на основе прибыли выполняют задание в срок, а мы на основе планового хозяйства не можем обеспечить…»

Присутствовавшие прилежно, как будто в первый раз слышат, записывают призывы отца в блокноты. Отец не расставляет окончательные приоритеты, но высказывает пожелания: «Сейчас дела с квартирами мы немного наладили. В Москве, когда получают ордер на жилье, спрашивают: на какой улице? Если улица не устраивает, говорят, я еще подожду. Это очень хорошо, что спрашивают, значит, у людей появилась возможность выбирать, а потому на ближайшее будущее можно перераспределить приоритеты, я бы отдал предпочтение химии для сельского хозяйства, а также производству одежды и обуви. В тесной квартире с хорошим обедом жить веселее, чем на большой площади впроголодь. А на все сразу наших ресурсов не хватит».

Дальше разговор переходит на химию, с химии на нетканые материалы, снова на жилье и сельское хозяйство. Совещание продолжается несколько часов. В заключение поручают Косыгину с Устиновым оконтурить примерный проект плана, а следующее обсуждение планируют провести, скорее всего, в сентябре.

Прощание…

С 4 августа 1964 года отец в движении, объезжает регион за регионом. Теперь, когда мы знаем будущее, кажется, что ему хотелось напутешествоваться на всю оставшуюся жизнь.

Начинает отец с Саратова. 4 августа на местном аэродроме его встречает секретарь обкома Алексей Иванович Шибаев, другое начальство. Первым делом отца везут на поля. Урожай в этом

году отменный. Затем отец выступает перед аграриями. Оттуда едут в обком, где на совещании в узком кругу обсуждают специализацию и грядущую реформу экономики. Шибаев горячо поддерживает все начинания. Отец доволен. Одна беда, пока отец 21–23 июля ездил в Польшу, Шибаева в Москве принимал Подгорный. Они нашли общий язык, Шибаев согласился, что «старика» пора убирать.

Накануне отъезда в Саратов, 3 августа 1964 года, Макс Френкель написал в газете «Нью-Йорк Таймс», что на Хрущева давят со всех сторон, румыны его не слушаются, а тут еще ссора с Китаем. «Внутри страны тоже неспокойно, там не затихают дебаты о предпочтениях в инвестировании. Хрущев на первое место ставит производство предметов потребления, во время визита в Венгрию в апреле этого года он повторял: “Главное — люди, их проблемы (здесь я цитирую Френкеля, который цитирует отца), вкусный гуляш, жилье, школы — вот наши приоритеты”. Но с ним согласны далеко не все, Госплан лоббирует тяжелую промышленность, военные недовольны сокращением производства вооружений. Хрущев в сложном положении, его слушаются все меньше, он еще царствует, но власть постепенно ускользает из его рук».

Прочитав перевод статьи, отец никак не отреагировал. За прошедшие годы столько раз пророчили, что ему пришел конец.

5 августа отец в Волгограде. Снова объезжает поля, и тут урожай хоть куда, заезжает на Волжскую ГЭС, затем выступает на общегородском митинге, долго и подробно говорит об интенсификации сельского хозяйства, об ирригации, о предоставлении большей самостоятельности колхозам и совхозам, о преобразовании межрайонных производственных управлений из директивных органов в консультативные, внедряющие в хозяйствах последние научные достижения, и в подтверждение своих планов приводит пример Дании.

6 августа отец уже в Ростове-на-Дону, снова на полях, и здесь урожай отменный.

На совещании в обкоме говорит, что современным руководителям требуются знания, а не зычный голос, они должны глубоко вникать в экономику, стать профессионалами-менеджерами.

8 августа отец — в столице Северной Осетии Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Осетины праздновали 40-летие автономии, и секретарь обкома просто умолял отца приехать, вручить республике орден Ленина. Отец согласился — незачем обижать осетин. По приезде он и тут объехал поля, радующие глаз налившимися колосьями, а вернувшись в город, принял участие в

торжествах. Уже поздно вечером у него в резиденции собрались руководители соседних с Северной Осетией областей и краев, снова говорили о предстоящем Пленуме, о производственных управлениях в частности, и о структуре управления экономикой вообще. Этот разговор застенографирован, и желающие могут с ним ознакомиться (см. Никита Хрущев: 1964. М., МФД, «Материк», 2007).

Отца, как обычно, сопровождал помощник. На сей раз старшего их группы, Григория Шуйского, «хранителя портфеля», отец с собой не взял, отправил отдохнуть перед началом подготовки к Пленуму. С отцом поехал Андрей Степанович Шевченко, ведавший вопросами сельского хозяйства.

В 1989 году Шевченко поделился воспоминаниями с журналистом Анатолием Стреляным. В памяти Шевченко их поездка летом 1964 года слилась в бесконечную череду перелетов и переездов, пыльных дорог и колосившихся полей, обширных залов, заполненных сотнями людей и строгих, без излишеств, обкомовских кабинетов, комфортабельных гостевых резиденций и скромных сельских домиков, порой даже без электричества и с удобствами во дворе. Андрею Степановичу запомнилось преследовавшее их обоих, его и Хрущева, чувство непреходящей, неимоверной усталости.

Вот как он описывает, например, ночь с 8 на 9 августа. Накануне днем турецкие войска высадились на остров Кипр. Президент киприотов, архиепископ Макариос воззвал к мировому сообществу о помощи. Оставшийся на хозяйстве в Москве Брежнев уже поздно вечером, прочитав подготовленный Громыко проект заявления советской делегации в Совете Безопасности ООН, ответственности на себя не взял, посоветовал министру иностранных дел звонить Хрущеву в Орджоникидзе.

«…Звонят из Москвы, — рассказывал Шевченко, — хотят с ним говорить.

— Он уже отдыхает, — объясняю я.

— Разбуди, — настаивают.

— Не могу, очень поздно, разница у нас с Москвой три часа, — отбиваюсь я (на самом деле сдвиг во времени между Москвой и Орджоникидзе всего в час. — *С. Х.*).

— Нет, разбуди… — настояли они. Вхожу в комнату, где он спит.

— Никита Сергеевич, — окликаю. Спит. Я за плечо подергал.

— Что такое? — встрепенулся он. — Война?

— Война, — отвечаю.

— Кто на кого напал? — Хрущев окончательно проснулся.

— На Кипре что-то загорелось. МИД хочет согласовать с вами

заявление по этому поводу.

Согласовали. Он снова уснул».

Вечером 9 августа отец с Шевченко вылетели из Орджоникидзе в Казань. В Татарии отец после обязательной поездки по полям основное время проводит на строящихся и уже построенных, начавших выпускать продукцию, предприятиях нефтехимии. 10 августа, с утра, он уехал на целый день в Бугульму.

«Весь следующий день проездили, — я снова возвращаюсь к воспоминаниям Шевченко в переложении Стреляного. — Наконец вечером остались одни.

— Устал, — предупредил меня Никита Сергеевич. — Чертовски устал. Пойду, отдохну. Если даже война, не будите».

В таком постоянном напряжении отец прожил последнее десятилетие, ему уже пошел восьмой десяток.

Из Татарии отец машиной переезжает в Башкирию, в Уфу. С утра 11 августа посещает химические и нефтехимические промышленные предприятия. Увиденным он остался доволен. Постановление по приоритетному развитию химической промышленности, предусматривающее резкое увеличение производства синтетических волокон, пленок, пластмасс, удобрений, выполнялось. Если и дальше так дело пойдет, то скоро качественная одежда и обувь появятся в изобилии, следом поднимутся урожаи, и мы забудем о зерновой проблеме.

Из Башкирии в приподнятом настроении отец улетел на целину, в Кустанай. 12 августа началась инспекция целинных просторов, передвигался отец где поездом, где машиной, но вечером всегда возвращался в свой вагон. В поезде он и ночевал.

13 августа отец вместе с Шевченко в Целиноградской области (в декабре 1997 г. Целиноград переименован в Астану). Там к ним присоединился британский газетный магнат лорд Рой Томсон. Он давно просил Хрущева об интервью, и отец решил попутно с интервью продемонстрировать англичанину наши целинные достижения.

Дальше я передаю слово отцу. «Я полетел в Казахстан. Приземлившись, я сразу поехал по полям на машине. Не знаю большего удовольствия, чем объезд сельскохозяйственных угодий. Я любил выезжать на целину во время уборки урожая. Едешь на автомашине, и, насколько хватает глаз, вокруг бесконечные поля пшеницы. Когда она выбросит колос, засеянные просторы схожи с морской поверхностью, особенно если гуляют ветровые волны и возникает рябь. То там, то тут островками торчат машины с людьми.

1964 год оказался из всех десяти лет освоения целинных

земель самым благоприятным, самым урожайным. После “голодного” 1963 года я просто рвался на целину. Беру “голодный” в кавычки, никакого голода у нас не было, мы собрали достаточное количество зерна, чтобы прокормиться, а чего недоставало, купили за границей. У нас даже осталось зерно (около 3 миллионов тонн) на следующий год. Его заложили в государственный запас.

…Я никогда не получал столько эмоций, как в тот, мой прощальный год. Последний в моей многолетней деятельности в качестве партийного работника и государственного деятеля. Пшеница стояла стеной, густой щетиной. Замечательный урожай!

…Я ехал в открытой машине и глядел поверху стоящей пшеницы. Когда ветерок дунет, волны переливаются, колышутся стебли. Так волнуется пшеничное море. Мне рассказывали, что если на пшенице при таком ветерке разостлать простыню, то она поплывет по верхушкам колосьев, как по волнам. И сейчас, когда я возвращаюсь к прошлому, меня радуют и волнуют приятные воспоминания того времени.

…Затем я пересел в поезд, с тем чтобы передвигаться на короткие дистанции по железной дороге. Мне хотелось осмотреть разные районы, самому убедиться, побеседовать с людьми, с работниками совхозов. Колхозы в это время там стали очень редким явлением, созданные в начале освоения земель, они были преобразованы в совхозы. Повсюду хлеб, хлеб, хлеб. Куда ни приедешь, работают комбайны, люди в поту, с приятной усталостью, с улыбкой.

…К 1964 году на целине мы приобрели опыт выращивания разных культур. Казахи с давних времен умели сеять просо и получали высокие урожаи. При мне на целине просо тоже производили, но на небольших площадях. Научились сеять горох, гречиху, сахарную свеклу и получали неплохие урожаи. Я уж не говорю о ячмене и овсе. Вообще же на целине предпочитали сеять пшеницу и горох как самые ценные в тех условиях культуры. К тому же горох имеет короткий период созревания и, как все бобовые, удобряет почву: в своей корневой системе — клубеньках, накапливает азотистые вещества. Затем научились закладывать на целине сады и лесозащитные полосы, набрались опыта посева льна-кудряша, его стебель идет не на волокно, а из семян получают масло. Провели опыт посева кукурузы на силос, что открывало возможность широкого развития молочного и мясного животноводства. Наступило время вести земледелие на целине широким фронтом, не ограничиваясь монокультурой, повышая доходность сельского хозяйства. Перспектива представлялась мне хорошей, она подтверждала надежды, которые мы питали,

приступая к освоению целины. Ее районы обещали стать со временем обжитыми и экономически выгодными.

…На первых порах на целине строили самые примитивные дома, глинобитные, саманные. Потом пошли в ход сборно-щитовые домики, так называемые финские. В 1964 году я заезжал в поселки, которые выглядели уже нарядно и приветливо. Спланировали их неплохо, в палисадниках росли деревца, создавалось хорошее впечатление и вызывалось чувство уюта. Я даже видел плодоносящие сады.

…Туда приехало много украинцев. А украинцы, куда бы их ни забросила судьба, обязательно посадят яблоню, грушу, а перед окном — мальвы. Без этого они не могут. Кое у кого уже появились детишки. Одним словом, земля оживилась. Распахивалась степь, складывались семьи, уже появилось потомство, люди начали врастать в эту землю. Мне было очень приятно.

…Сейчас (в конце 1960-х годов, когда диктовались эти строки. — *С. Х.*) целина стала другой — более совершенная техника, другие кадры, другие условия жизни. Выросла культура людей и культура обслуживания, появились больницы и детские учреждения. Построили колхозные и совхозные клубы. А тогда мы экономили, даже не экономили, а просто зажимали средства. Некоторые могут сказать, что Хрущев недооценивал быт. Нет. Я думал об этом, но прежде требовалось накормить людей, а потом уже изыскивать средства на строительство учреждений, необходимых для культурной жизни человека.

…На целине в мой прощальный приезд я пережил вершину личного счастья. Я проехал большие расстояния на автомобиле, передвигался поездом, опять пересаживался на машину и все ездил и ездил по полям. Везде прекрасный урожай. Как я радовался успеху, радовался труду, вложенному нашими людьми. Вспоминалось замечательное стихотворение Некрасова:

Чудо я, Саша, видал:
Горсточку русских сослали
в страшную глушь, за раскол;
Землю да волю им дали,
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь, — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит,
Мельницу выстроят скоро…
Так постепенно в полвека

(я подчеркиваю, «в полвека», а не за десять лет, как у нас. — *Н. Х.)*

Вырос огромный посад,
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!..»

«В течение многих часов мы колесили по дорогам поднятой целины. Зрелище — впечатляющее, — дополняет отца Виктор Суходрев, переводчик, прилетевший в Целиноград вместе с лордом Томсоном. — Вокруг будто океан, не видно ни деревень, ни лесов, только сплошные поля пшеницы. До самого края. До горизонта. В любую сторону, куда ни посмотри. В нашу машину подсаживался директор совхоза, на территории которого мы оказывались. Этого директора сменял другой, затем следующий. Так и следовали — от совхоза к совхозу, от директора к директору.

Хрущев частенько просил остановиться. Выходил, лущил на ладони пару колосков, расспрашивал директора и попадавшихся на пути бригадиров, давал какие-то указания.

Лорду Томсону было тогда под семьдесят. Типичный британский интеллигент, в чисто английском деловом темном костюме-тройке в полоску, в роговых очках с неимоверно толстыми стеклами, он казался инопланетянином в этой абсолютно чуждой ему ситуации. Особенно когда Хрущев приглашал его выйти из машины и помять в руках колоски.

На одной из границ совхозов к машине Хрущева подошла высокого роста женщина лет пятидесяти по фамилии Гуревич. Как выяснилось — выпускница Ленинградского сельскохозяйственного института. Она уже десять лет работала на целине, возглавляла один из крупнейших совхозов. Под ее началом трудились чуть ли не десять тысяч мужиков. Хрущев очень обрадовался, когда услышал все это. Тут же обратился ко мне: “Ты перевел лорду, какие у нас есть женщины?” Вот, дескать, какая — десять тысяч мужиков в кулаке держит! И притом одна из лучших директоров по всем показателям.

Гуревич села в машину, и мы продолжили наш путь. Она рассказывала о достижениях совхоза, без запинки сыпала цифрами. Хрущев улыбался. С гордостью поглядывал на гостя. И урожай хороший, и с животноводством в порядке, и люди живут все лучше и лучше.

Подъехали к полевому стану. Там раскинули огромный

шатер, в котором уже были накрыты столы. Хрущев недолго побыл за столом, спешил к поезду. В вагоне Томсон взял у него интервью. Это была последняя беседа Хрущева с западным журналистом. Хрущев выглядел крепким, бодрым и очень энергичным.

И кто бы мог подумать, что через каких-нибудь два месяца его верные соратники напишут в официальном сообщении о Пленуме ЦК, что этот человек освобожден от всех занимаемых должностей в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья».

Такое вот лирическое отступление. Оно позволяет понять чувства отца в предшествовавшие отставке месяцы.

Бараев с Наливайко продолжают спорить

Поездка по целине завершилась посещением Института зернового хозяйства и многолюдным совещанием в Целинограде. В институте возобновился давний спор Бабаева с Наливайко: нужны ли на целине чистые пары, а если нужны, то сколько. Напомню, в начале года чаша весов склонилась в сторону Бараева. На февральском Пленуме ЦК Бараеву предоставили слово, а его противника, алтайского агронома Наливайко туда вообще не пригласили. Он на время затих, но потом оправился и начал бомбардировать отца письмами, пересыпанными цифрами-фактами, подтверждающими его правоту. Бараев, в свою очередь тоже времени даром не терял, из его писем, тоже весьма обстоятельных, следовало, что правда на его стороне. Сражались два ученых, две научные школы, и не в одиночку, у каждого за спиной стояли научные учреждения, они ссылались на десятки проведенных экспериментов, вот только выводы Бараев и Наливайко делали взаимоисключающие.

«В то время большинство ученых и специалистов не только сомневались в преимуществах безотвальной обработки, но и были уверены в ее несостоятельности, вели решительную борьбу против новой идеи, — пишет аграрий Федор Тимофеевич Моргун, в 1964 году работавший в Кокчетавской области, а затем в Целинном крае. — Бараев настаивал на необходимости массового перехода на безотвальную обработку почвы, введения в структуру посевных площадей 25–30 процентов чистых паров, многолетних трав. Многие известные в стране ученые и академики резко критиковали Бараева».[90]

Федор Тимофеевич запамятовал, вернее, в памяти у него совместились два разновременных периода.

Спор о преимуществах традиционной для России пахоты, при

которой выворачивается наружу нижний слой почвы, и безотвальной пахоты, когда вместо плуга применяют лущильники-культиваторы, разрезающие верхний пласт чернозема и не нарушающие структуру почвы, происходил ранее и не совсем так. За безотвальную обработку сражался не столько Бараев, сколько Мальцев и не с Наливайко, а с Лысенко, и не в 1964, а в 1954 году. Ко времени, о котором идет речь, «безотвальщики» победили, засуха 1963 года поставила в этом споре точку. Там, где землю лущили, пыльные бури не столь разрушительны, засушливому ветру труднее поднимать почву в воздух. К слову, американцы теперь тоже не пашут, а культивируют почву. К этому заключению они, как и мы, пришли после своих пыльных бурь, прокатившихся по Среднему Западу США в 1930-е годы.

Так что к 1964 году спор пахать или лущить уже отходил в прошлое, а вот борьба двух научных школ вокруг черных паров к лету 1964 года разгорелась с новой силой. Бараев стоял на своем: «Для предотвращения эрозии почвы одних лущильщиков недостаточно, необходимо травополье, в отсутствие гербицидов против сорняков имеется только одно эффективное средство — чистые пары».

Наливайко доказывал обратное, и не менее аргументированно, ссылался на многолетние эксперименты, проводившиеся не только на его опытной станции, но и во многих целинных хозяйствах.

Спор выплеснулся за научные рамки. В него, вслед за аграриями, включились люди от сельского хозяйства весьма далекие.

Процитирую еще раз воспоминания Суходрева: «Едем дальше, — я воспроизвожу его рассказ о поездке вместе с лордом Томпсоном по полям целинного совхоза, — вдруг Хрущев становится мрачнее тучи. Кончилось одно поле, началось другое, и на нем ни колоска пшеницы. Тут даже у меня сердце екнуло. Уж совсем я не специалист, а чувствую — пары…

Хрущев дал команду остановить машину.

— А это что такое? — обратился он к Гуревич.

— Пары, Никита Сергеевич, — отвечает.

— Какие пары? — Хрущев помрачнел еще больше.

— Никита Сергеевич, я из года в год первое место держу по всему району, — все так же спокойно отвечает Гуревич.

Но разве его возьмешь таким аргументом?

— Так если ты у вас не было этих паров, то урожай бы еще возрос, — напирал Хрущев.

— А мы считаем, что нам пары нужны, — ничуть не тушуясь

перед первым лицом государства, отвечает Гуревич.

Наконец злополучное поле под парами проехали. Снова океан пшеницы, снова бескрайние золотые поля. Хрущев опять повеселел.

По возвращении в свой вагон, — пишет Суходрев, — Хрущев выговорил за пары местным начальникам».

Очевидно, что Суходрев, дипломат, советник-посланник, блестящий переводчик с английского явно на стороне Гуревич, недоумевает, почему он понял все, а до Хрущева столь очевидные истины не доходят.

В том-то и дело, что все так и одновременно совсем не так. Отец и Суходрев смотрят на одно и то же поле, но видится оно им по-разному. Гуревич действительно снимает каждый третий год с «отдыхавшего» пару поля приличный урожай, получает за него заслуженные премии. Однако если разделить урожай на всю площадь, засеянную и стоящую под парами, то от урожайности едва останется одна треть.

Совхоз, которым руководит Гуревич, работал не «по Худенко», ему сверху спускали план, что где сеять, сколько гектаров земли оставить вовсе незасеянными. В соответствии с этими, полученными от вышестоящих органов, указаниями Гуревич и работает, по ним и отчитывается. Отца же интересовал не отчет, а конечный результат, засыпанное в элеваторы зерно. Что выгоднее, рекордный урожай с одного гектара или средний с трех? Ответ для него, в отличие от дипломата Суходрева, не очевиден.

Конечно, если дать свободу директору, он бы решал сам и по-своему в каждом отдельном хозяйстве. Когда отчет заменит собственная выгода, то та же Гуревич призадумается, стоит ли держать земли в простое, если от них один убыток? А если пары эффективны, то кто же от них откажется? Вот только в 1964 году ответ на этот «проклятый» вопрос приходилось искать отцу, и не для одного совхоза, а в масштабах всей страны. И Наливайко, и Бараев апеллировали к отцу. От него требовали решения — оставлять миллионы гектаров целинных паров отдыхать на два года под травами или, по примеру американцев, засевать их и собирать ежегодный урожай. Ответ стоил дорого, согласишься с Бараевым и недосчитаешься столь необходимых стране миллионов тонн зерна. Ставить на Наливайко тоже опасно, пока еще удобрений недостаточно, можно землю так истощить, что она вообще перестанет родить. Правда, в 1964 году проблема удобрений уже решалась, пройдет год-два, и их станет вдоволь. В перспективе позиция Наливайко представлялась более обещающей, и все же отец колебался.

«Чистые и занятые пары — вопрос экономической целесообразности. Возьмите карандаш и подсчитайте прибыль. — (Заметим, Хрущев снова говорит о прибыли.) — Нужно руководствоваться экономическими соображениями», — говорится в отчете о поездке по полям Кустанайской области, опубликованном 14 августа в «Правде». А вот как в газетном отчете трансформировался разговор с Гуревич, столь эмоционально описанный Суходревом: «Чистый пар или не пар? Ответ даст экономика, — говорит отец. — Я ставлю на ту лошадь, которая победит».

В том же ключе отец делится с коллегами впечатлениями от поездки на целину и своими сомнениями на заседании Президиума ЦК 19 августа 1964 года (я, по возможности, сокращаю нередактированную запись): «Интересный спор продолжается вокруг черных паров. Я попытался встать в тень, занять нейтральную позицию. Но нейтралитет мой потерпел фиаско, нам, политическим деятелям, нельзя устраняться от активных действий. Тогда я предложил формулу: пусть победит система землепользования, дающая наибольший товарный выход. Если чистые пары, когда поле целый сезон «отдыхает», дадут, по сравнению с «зябью», двойной урожай, то их применение оправдано. Урожай по чистым парам почти всегда выше, чем по зяби. Лукьяненко, а он честолюбивый селекционер в Ставрополье, рассказал мне, что его сорт обеспечивает урожай в 70 центнеров с гектара по парам, огромная цифра, а по зяби он снимает 40 центнеров, чуть больше половины. Но больше половины. За два года с гектара по зяби получится 80 центнеров, а с постоявшего под парами поля — только 70. Вот такая арифметика. Я сравнил урожай опытной станции Савостина,[91] у него чистых паров всего 9 процентов от общей пашни. В условиях прошлогодней, 1963 года, засухи они получили в среднем 8,7 центнера с гектара. Я Савостину верю.

Бараев предлагает под пары отдать до 35 процентов пашни, это более 10 миллионов гектаров. Рядом с опытной станцией Бараева расположен колхоз,[92] где председателем кореец Кан Де Хан, не ученый, а простой крестьянин. У него нет чистых паров, а урожай выше, чем на станции у Бараева.

Наука пока слаба. Раньше 40 процентов полей держали под травами, теперь их хотят отдать под пары. Во всех совхозах я видел чистые пары, у Савостина 9 процентов, у Бараева в этом году 18 процентов, а в прошлом было 35 процентов.

Казахи хотят Бараева заменить, считают его человеком неумным. Не будем вмешиваться, пусть колхозы и совхозы решают сами, что им выгоднее».

Отец сомневался, а вот «казахи» не сомневались, той осенью они всерьез взялись за Бараева, но «принять меры» не успели, от должности освободят не Бараева в Целинограде, а Хрущева в Москве, и все мгновенно развернется на 180 градусов. Теперь все осуждали «волюнтаризм» отца и требовали возврата к черным парам.

Как же разрешилась проблема черного пара? Признаюсь, не знаю, не интересовался. Если сейчас смотреть на поля из окна машины, то «отдыхающей» земли не встретишь. Все засеяно. Появились в изобилии удобрения, и проблема, столь острая в 1964 году, отпала сама собой.

Налюбовавшись на целинный урожай, наслушавшись споров противоборствующих сторон, отец 15 августа 1964 года прибывает в столицу Киргизии Фрунзе (Бишкек). Там все готово к торжествам по случаю 100-летия вхождения Киргизии в состав России. 16 августа отец выступает на праздничном митинге, прикалывает на флаг республики очередной орден Ленина и на следующее утро уезжает к чабанам в Иссык-Кульскую долину. Там зимой 1963–1964 года из-за неурожая, из-за гололеда на пастбищах, а главным образом из-за неорганизованности и безответственности произошел падеж овец в особо крупных масштабах. Падеж поразил не только Киргизию, страна в целом недосчиталась более 3,5 миллионов голов.

Отец решил посмотреть своими глазами, что там происходит.

18 августа 1964 года он возвращается во Фрунзе, произносит на республиканском активе отнюдь не парадную речь и тем же вечером возвращается в Москву.

Разница во времени между Фрунзе и Москвой три часа, и отец приземляется во Внуково всего «спустя двадцать минут» после вылета из аэропорта Манас.

— Сэкономил три часа рабочего времени, — пошутил отец в ответ на приветствия встречавших его на аэродроме членов Президиума ЦК.

19 августа 1964 года. Заседание Президиума ЦК КПСС

19 августа на Президиуме ЦК отец выступает с отчетом о поездке. Урожай радовал. Правда, отец тогда еще не знал окончательных цифр. Всё подсчитают и о рекордном урожае объявят 25 октября, через десять дней после смены власти.

В 1964 году собрали 152,1 миллиона тонн зерна, больше чем в какой-либо предыдущий год XX столетия. (До этого максимум составлял 140,2 миллиона тонн в 1962 году.) Урожайность с гектара тоже оказалась самой высокой — 11,4 центнера с гектара.

Государство закупило 68,3 миллиона тонн. Напомню, что в катастрофическом 1963 году закупки составили 44,8 миллиона тонн, а в относительно благополучном 1962-м — 56,6 миллиона тонн. Зерна хватило и на продовольственные нужды, и на увеличение госрезервов, и на прокорм скоту. С улучшением обеспечения кормами к исходу 1965 года животноводство постепенно восстановило позиции, утраченные в бескормицу неурожайного 1963 года.

Отец отдавал себе отчет, что рекордный урожай 1964 года — не столько их собственное достижение, сколько дар природы, точно так же, как и природная катастрофа предыдущего, 1963 года. Бог — дал, Бог — взял. Все изменится, когда разовьются мощности по производству удобрений, а поля прорежут ирригационные каналы. Только тогда исчезнет фатальная зависимость от природы. На это уйдет около десятилетия, а пока отец предупреждал своих коллег: «Не зазнавайтесь. Не забывайте прошлого, 1963 года. Вам надо готовиться к худшему. Если готов, то и худшее не страшно. Не можем мы позориться, покупая хлеб за границей».

В его выступлении меня поразило обращение «вам», а не «нам». Оговорка, а возможно, и не оговорка, XXIII съезд не за горами, соберется через год-полтора, и после него отец отправится на пенсию, «вам» станет реальностью.

Что же касается предостережения, то отец как в воду смотрел. В следующем, 1965 году, урожай собрали никудышный, всего 121,1 миллиона тонн, государственные закупки составили 36,3 миллиона тонн, на 8,5 миллиона тонн меньше, чем даже в катастрофическом 1963 году. Почему так произошло, не знаю. То ли погода подвела, а скорее всего, избавившись от отца, Брежнев расслабился и энтропия не замедлила показать себя. Недостачу зерна компенсировали импортом. Кормиться за чужой счет понравилось. А вскоре пошла нефть Сибири и появились нефтедоллары. Закупки зерна за рубежом вошли в привычку.

Однако вернусь к заседанию Президиума ЦК 19 октября. Оно продолжалось около трех часов. Его стенограмма едва уложилась в двадцать девять книжных страниц. Отец говорил подробно и обо всем. Упомянул он и о посещении Волгограда. Там ему представили пастуха-гуртоправа, зарабатывающего до 200 рублей в месяц. По тем временам очень высокая зарплата. Для сравнения: в нашем престижном ракетном КБ инженеру платили 110 рублей в месяц, а ведущий инженер получал 180 рублей. На «обычных» заводах инженер начинал с оклада в 80 рублей.

— 200 рублей и не каждый инженер получает, — говорил отец. — Я против того, чтобы сельские рабочие зарабатывали

больше промышленных.

— Нормирование труда в колхозах отвратительное, — кто-то из присутствовавших поддержал отца, кто Малин не разобрался и обозначил его, как «голос». — В былые времена в пастухи шли люди неквалифицированные. Я сам так начинал трудовую деятельность, — продолжал отец, — это тяжелая профессия, но такие зарплаты у чабанов экономически не оправданы. Я знаю, что такое пересмотр норм, это самая тяжелая работа, но мы должны исправить допущенные извращения.

Отец не предлагал немедленно решать, просто делился своими впечатлениями. Обычно присутствовавшие в спор с отцом не вступали, иногда комментировали, что-то принимали к сведению, что-то пропускали мимо ушей. На сей раз Полянский, отвечавший за сельское хозяйство, заместитель отца в правительстве, непривычно резко возразил: «Нельзя по одному совхозу и колхозу определять политику».

— Я объехал множество колхозов и совхозов, — парировал отец.

Слово за слово — разгорелась перепалка, в пылу спора отец даже заявил: «Садитесь на мое место, я сяду на ваше. Пусть Президиум решит».

С зарплаты чабанов спор перекинулся на производительность труда вообще, отец упомянул, что у нас «выработка на одного работающего в промышленности в три раза меньше, чем в США, а в сельском хозяйстве — в шесть раз», затем вспомнил о каких-то разногласиях, возникавших при установлении пенсий колхозникам (какие, из текста не ясно), но, по словам отца, у них с Полянским тогда «произошел острый разговор».

— Вы оказались правы или я? — вопрошал отец.

— По-вашему мы и права на ошибку не имеем, — оправдывался Полянский. — Под тем предложением, кроме секретарей ЦК, подписалось и пять членов его Президиума. Нельзя судить по одному факту.

— Но вы же его готовили, — не унимался отец.

— Я человек! — выкрикнул Полянский, он уже не мог себя сдержать.

— Я тоже человек! — отец не остался в долгу.

— Как с вами разговаривать? — не унимался Полянский.

— Это большой интересный вопрос, его надо изучить, — попытался разрядить обстановку Брежнев.

Сейчас, когда уже почти завершили подготовку к ниспровержению отца, спор между Полянским и отцом для заговорщиков оказывался совсем не ко времени.

— Может быть, это возраст, я расстраиваюсь, волнуюсь,

реагирую, — успокаивается отец и меняет тональность разговора. Ссориться с Полянским он не намеревался, сорвался из-за накопившейся за последние месяцы усталости. — Видимо, пока не умру, буду реагировать. Ничего с собой не могу сделать. Казалось бы, какое мне дело? Вы работайте! Мне уже семьдесят лет. Черт с вами, делайте, что хотите! — примирительно, как бы извиняясь, обращается отец к Полянскому и через некоторое время, уже при обсуждении других вопросов, с горечью добавляет: — Я выбит из колеи, не могу систематизировать…

— Не надо волноваться, — берет себя в руки Полянский.

Специализация, Конституция, реформа экономики, — все это требовало полной отдачи сил, плюс бесконечные, выматывающие поездки, постоянные перелеты, смена часовых поясов, разговоры на полевых станах, в кабинетах, выступления на многолюдных собраниях. Такое не всякий молодой выдержит, а отцу уже семьдесят лет. В октябре 1964 года сорокалетний Полянский попрекнет уже безвластного отца за бесконечные разъезды и отдельно за недавний вояж на целину: «Когда плохо было в прошлом, 1963 году, вы туда не поехали». С одной стороны, много ездит, с другой, получается — мало. Сам Полянский разъездов не любил, предпочитал руководить из кремлевского кабинета.

Дальше разговор переходит на подготовку к предстоящему в ноябре Пленуму ЦК. Отец предлагает разрешить колхозам и совхозам, а не только крестьянам, как это делается сейчас, продавать свою продукцию на рынках в городах и по рыночным ценам, правда, с установлением государством какого-то потолка цен. По тем временам — это огромное послабление. Отец считает такое решение рациональным.

Затем обсуждение на Президиуме ЦК перекидывается на будущее сельскохозяйственных управлений. Отец повторяет уже знакомые нам, изложенные в его записке предложения укрупнить их так, чтобы под юрисдикцией каждого находилось не восемь совхозов или колхозов, а не менее двадцати. Я подчеркиваю: укрупнить, а не разогнать. В октябре отца обвинят в намерении упразднить межрайонные сельскохозяйственные управления, однако это не помешает после его отставки эти управления немедленно ликвидировать.

Еще одно замечание. В стенограмме, а она не правилась, нет и намека на «крепкие» выражения, постоянно приписываемые отцу. Я уже не раз повторял, что отец не ругался дома, не ругался он и на работе. Самое грубое из того, что произнес отец на заседании 19 августа, — просьба к Шелепину запросить справку в ЦСУ и «сунуть ее в нос члену Президиума ЦК», то есть

Полянскому. Не очень вежливо, но совсем не то, что обычно подразумевается под «крепким» словом.

День за днем

14 августа 1964 года газета «Правда» сообщила о начале сооружения в Москве монумента «Покорителям космоса».

22 августа 1964 года газеты известили о приближении пуска Даугавпилсского комбината синтетических волокон в Латвии и Волжского химического комбината неопренового каучука.

9 августа 1964 года в Москву прилетел Пальмиро Тольятти, руководитель итальянских коммунистов. На следующий день он отправился отдыхать в Крым, купался в море, ездил на экскурсии. В один из дней Тольятти поехал пообщаться с пионерами в «Артек». Выйдя из машины, Тольятти успел только вскинуть в приветствии руку, как начал медленно оседать. Его подхватили, уложили на стоявшую поблизости скамейку. Врачи констатировали инсульт, запретили какие-либо передвижения, тут же, в «Артеке», оборудовали палату, попытались вскрыть пораженный участок мозга, пустить кровь. Ничего не помогло. 21 августа Тольятти скончался.

Отец решил немедленно лететь в Крым, не только чтобы попрощаться с лидером крупнейшей в Европе коммунистической партии, но и поговорить с Лунджи Лонго, преемником Тольятти. Итальянские коммунисты смотрели на мир несколько иначе, чем он виделся из Москвы, и отец счел необходимым лично обговорить позиции обеих партий.

На прощание с лидером итальянских коммунистов и проводы тела в аэропорт Симферополя ушло два весьма напряженных и нервозных дня.[93]

23 августа отец на даче «Ливадия-1» еще успеет поговорить с главой Монголии Юмжагийном Цеденбалом и на следующее утро улетит в Москву.

Отца поджимал протокол, предстоял визит в Чехословакию на празднование двадцатилетия Словацкого восстания 1944 года.

24 августа 1964 года начал подниматься из земли небоскреб здания СЭВ на берегу Москвы-реки, напротив

гостиницы «Украина».

Большая нефть Сибири

27 августа 1964 года «Правда» на двухстраничном развороте опубликовала статью секретаря Тюменского Промышленного обкома Александра Константиновича Протозанова «Большая нефть Сибири». Он писал о Березовском газовом месторождении, о Сургутском, Нижневартовском, Демьянском, Александровском, Салымском нефтеносных районах. Там начиналась добыча нефти и газа. На газетной странице помещалась карта СССР, перечеркнутая сплошными и пунктирными линиями уже строящихся и еще только проектируемых газо— и нефтепроводов. Первые из них — 436-километровый нефтепровод Шаим — Тюмень и газопровод Игрим — Серов планировалось завершить уже в этой семилетке, то есть не позже 1965 года. За прошедшие четырнадцать лет протяженность нефтегазопроводов увеличилась в пять раз: в 1950 году она составляла 5 400 километров, в 1957-м — 11 500 км, а в 1964-м около 28 000 километров. И это только начало. Запланированные на следующее десятилетие газопроводы расползались из Тюмени, как паутина: из Тазовского месторождения в Норильск; из Охте-Урьевского в Кузбасс; из Игрима в Пермь — Киров — Горький — Москву — Череповец — Ленинград. Рядом прокладывали линию нефтепровода из Усть-Балыка в Омск и Курган. Дальше Протозанов писал о сооружении дорог, поселков и о многом, многом другом.

Газету отец развернул в самолете, в тот день в девять утра он вылетел с официальным визитом в Прагу. Статья Протозанова его порадовала, хотя обо всем написанном он, естественно, знал. Но так приятно читать о достигнутом и том, чего мы достигнем в ближайшем будущем.

Впервые наличие нефти и газа в Сибири предсказал в интервью, опубликованном в 1932 году в «Правде», основатель советской нефтяной геологии академик Иван Михайлович Губкин. Ему тогда мало кто поверил. Однако уже в июле 1934 года геологи обнаружили в районе Юганска под Сургутом следы нефти. Она самоходом просачивалась на поверхность, разливалась по низинам лужицами. И тем не менее, скептики победили, район признали неперспективным.

Геологи вернулись в Сибирь только после войны, в конце 1947 года. 21 сентября 1953 года в районе поселка Березово, в месте последней ссылки любимца Петра I Александра Меншикова, вскрыли газоносный пласт, забил первый газовый фонтан. Еще через семь лет, весной 1960 года, в Сибири,

поблизости от таежной речки Конда, у деревушки Ушья, поднялся фонтан самой ценной, легкой нефти.

К марту 1961 года оконтурили и разбурили уже целое нефтяное озеро, Мегионское, на то время одно из крупнейших в Советском Союзе месторождение, а в середине года для разработки еще одного, Усть-Балыкского, нефтяного района создали специальное подразделение — Юганскнефтегаз. Устьбалыкскую нефть качают уже половину века.

К концу 1961 года на картах геологов в Тюменской области значилось пять нефтяных и двенадцать газовых месторождений. Все сомнения отпали, большая нефть в Сибири есть! В мае 1962 года вышло Постановление ЦК и СМ «О мерах по усилению геологоразведочных работ на нефть и газ в районах Западной Сибири». Если до него оконтуривались одиночные, наиболее обещающие, очаги, то теперь наступление развернулось по всему фронту. С этого постановления начинается история сибирских нефти и газа.

Сибирская нефть не только навсегда избавляла страну от нехватки топлива, бесконечных лимитов и талонов на бензин, но вскоре позволила выйти на мировой рынок. За прошедшее с 1953 года десятилетие экономическая блокада Советского Союза постепенно разрушалась, а нефть — это тот товар, от которого не принято отказываться. С большой нефтью Сибири страна ощутила и вкус нефтедолларов.

Антонин Новотный и Александр Дубчек

27 августа отец прибыл в Прагу, затем вместе с президентом Чехословакии Антонином Новотным посетил в столицу Словакии Братиславу. Там 29 августа, вслед за первым секретарем Коммунистической партии Словакии Александром Дубчеком он выступает на общегородском митинге. Это их первая и последняя встреча. Дубчек свободно говорил по-русски, после митинга они долго беседовали, отец расспрашивал о делах в республике. Отца беспокоили слухи о нараставших трениях в руководстве между чехами и словаками. Дубчек его заверил, что с чехами они живут душа в душу, и переменил тему, заговорил об экономике. Отец дипломатично промолчал, хотя сомнения остались. В отчете Президиуму ЦК о поездке он отмечает, что «этот вопрос у них существует». Затронул ли отец вопрос о предстоящих реформах, говорил ли он о планах дальнейшей децентрализации советской экономики, мы не знаем. В отчете о поездке в ЧССР о Дубчеке не упоминается.

Но это ничего не значит, Дубчек тогда не представлял

особого интереса, в отличие, скажем, от Густава Гусака, недавно реабилитированного диссидента, который, по словам отца, при вручении орденов героям словацкого восстания «собрал довольно значительные аплодисменты». На эту тему отец раздумывал постоянно и, найдя благодарного и созвучного ему слушателя, начинал делиться с ним своим видением будущего социалистического общества. Так или иначе, но в основу экономического реформирования «Пражской весны» 1968 года легла идея глубокой децентрализации управления экономикой, предоставления свободы предприятиям, сведения их взаимоотношений с государством к выплате налогов, то есть именно к тому, что отец собирался, но не успел сделать в Советском Союзе. Неудивительно, что постхрущевская Москва отреагировала на «Пражскую весну» откровенно враждебно.

История называет «отцом» экономической либерализации чехословацкой экономики Ота Шика, директора Пражского института экономики, рискнувшего сочетать рыночные механизмы с социализмом. Что ж, это только свидетельствует, что «идея носилась в воздухе». Шик попытался реализовать в 1968 году в своей стране то, что Хрущев намеревался сделать в 1965-м. Но это всё предположения.

Скорее всего, Дубчек отцу понравился, особенно на фоне Новотного. В разговорах с последним отец не раз поднимал тему очищения от сталинизма. Новотный не то чтобы занимал просталинскую позицию, но и приговоры «врагам чехословацкого народа», вынесенные в сталинские годы, пересматривать не хотел. В 1956 году, сразу после XX съезда, он доказывал Хрущеву, что у них в Чехословакии, в отличие от Советского Союза, все делалось по закону. Отец не согласился, посоветовал Новотному, пока не поздно, «поднять документы и честно сказать все партии и народу. Вам придется пережить реакцию людей, но если этого не сделать, то когда от вас потребуют ответа, и вы окажитесь совсем в ином положении».

Новотный, как до него в Советском Союзе Молотов с Кагановичем, в «ином положении» оказаться не захотел и принял меры. В 1962 году даже арестовал Рудольфа Барака, главу госбезопасности. Он занял этот пост сразу после смерти Сталина и к репрессиям отношения не имел. Отец считал Барака человеком преданным и честным. Если бы Бараку предъявили политические претензии, он бы за него заступился, но его обвинили в воровстве, присвоении крупных валютных средств. Отец не счел возможным вмешиваться. Барак сидел в тюрьме, а по Праге ползли слухи, что арестовали его не за валюту, а за то, что он раскопал свидетельства участия в репрессиях самого

Новотного. За что и поплатился. Барака выпустят из тюрьмы сразу после прихода к власти Дубчека.

Так или иначе, но и в 1964 году «Новотный не понял ответственности, не понял значения и необходимости восстановления человеческой справедливости и политической чистоты, не принял необходимых решений», — написал отец в своих воспоминаниях.

В августе 1964 года, по свидетельству членов советской делегации, Новотный, заметив расположенность отца к Дубчеку, рассердился не на шутку. Когда на следующий день после митинга советскую делегацию повезли из Братиславы в Банскую Быстрицу (там 29 августа 1944 года началось Словацкое восстание, и там же проходили основные торжества), Дубчеку, первому секретарю ЦК Словацкой компартии, места в головной машине не нашлось. Едва тронулись, отец забеспокоился и поинтересовался у Новотного, а где же герой дня. Пришлось остановить кортеж и произвести пересадку: Дубчека в машину к отцу с Новотным, а на его место — посла СССР Замятина.

Празднование в Банской Быстрице прошло успешно, сначала говорили речи, потом в горах жарили мясо на костре, пели словацкие партизанские и другие песни. Отец вернулся в Москву 6 сентября.

Рихард Зорге, Василий Порик, Фриц Шмеркель

4 и 5 сентября 1964 года большинство центральных газет опубликовали статьи о подвиге немца Рихарда Зорге, предупредившего Сталина о нападении Германии и даже указавшего дату начала наступления — 22 июня 1941 года.

Сталин Зорге не поверил, более того, зачислил его в потенциальные «враги народа», приказал вызвать в Москву и разобраться. Зорге в Москву не поехал, а «разобрались» с ним японцы. В октябре 1941 года Зорге арестовали, обвинили в шпионаже и, как это водится в отношении разоблаченных агентов чужих разведок, предложили Сталину размен на арестованного в СССР японского шпиона. Сталин не ответил. Японцы ждали до 1944 года и, поняв, что ответа не последует, 7 ноября 1944 года в качестве подарка Иосифу Виссарионовичу к празднику Октябрьской революции Зорге повесили. В Советском Союзе о нем забыли, точнее, о Зорге просто никто не знал, имя его похоронили в архивах разведки.

Так бы и оставался Рихард Зорге в забвении еще долгие годы, если бы не стечение обстоятельств. Немцы и японцы о Зорге помнили, все прошедшие после войны годы спорили: шпионил он

или не шпионил, а если шпионил, то на кого? На русских? А может, на американцев? В начале 1960-х годов кинорежиссер Ив Чампи сделал франко-итальянский фильм с интригующим названием «Кто вы, доктор Зорге?»

И надо же такому случиться, что этот фильм неведомыми путями попал в Советский Союз. Тогда мы кинофильмы смотрели свои или покупали в странах-членах СЭВ, валюту, которой всегда не хватало, на кино не тратили. Нам покупать западные фильмы и не предлагали, но иногда кое-что присылали посмотреть. Возможно, фильм о Зорге прислали не просто так, а с умыслом, вдруг наконец раскроется тайна доктора Зорге?

По выходным, после обеда, отец обычно смотрел на даче кино, сначала хронику, потом киножурнал «Наука и техника», затем новые научно-популярные фильмы, а напоследок художественный фильм, какой пришлют из Комитета по кинематографии. Прислали «Доктора Зорге». В тот день на дачу мы почему-то не поехали и просмотр устроили в Доме приемов на Ленинских горах. Фильм понравился, а когда зажегся свет, мы всей семьей, включая отца, вслед за автором задавались вопросом: «Кто же все-таки этот доктор Зорге?»

Отец эту фамилию услышал впервые, но, в отличие от авторов фильма, он легко удовлетворил свое любопытство: по возвращении в резиденцию снял трубку, набрал номер председателя КГБ и спросил его: «Кто же на самом деле доктор Зорге?» Семичастный ответить не смог, пообещал посмотреть в архивах. На следующий день на стол отцу легла справка: Зорге — советский разведчик, в фильме рассказана его подлинная история.

— За все, что этот немец сделал для Советского Союза, он получил петлю, накинуть которую ему на шею помог японцам Сталин! — возмутился отец.

— Получается так, — подтвердил Семичастный.

— Это не просто несправедливость, это — преступление, — продолжал возмущаться отец. — Мы должны восстановить истину. Пусть поздно, но исправить несправедливость.

Семичастный получил приказ рассекретить самого Зорге и все, что известно о его жизни. 4 сентября 1964 года «Правда» опубликовала большую статью под заголовком «Товарищ Рихард Зорге». 5 сентября, в субботу о «Подвиге Рихарда Зорге» написали «Известия».

Отец поручил Микояну подготовить Указ о присвоении Зорге звания Героя Советского Союза. Завертелись колеса бюрократической машины. Тем временем наступил октябрь, отца отправили в отставку. 27 октября 1964 года Микоян выполнил

поручение, представил проект Указа на утверждение Президиума ЦК. Присутствовавшие знали, что инициировал его Хрущев, и отреагировали кисло.

— Надо ли присваивать Героя? — ворчал Подгорный.

— Еще изучить, — поддакнул ему Шелепин.

Однако разум возобладал, 5 ноября 1964 года Микоян подписал Указ Президиума Верховного Совета СССР, и Зорге стал Героем, к сожалению, уже после отца. И улицу в Москве назовут именем Зорге после отца, но без него этого или не произошло бы вовсе, или случилось бы много позже, возможно, через десятилетия.

В последний год пребывания отца у власти из небытия возвратились имена и других героев войны, тех, кто при Сталине числился в предателях.

21 июля 1964 года Героем Советского Союза стал лейтенант Порик Василий Васильевич. В 1942 году он попал в плен к немцам. В соответствии с волей Сталина, у нас его вместе с миллионами других военнопленных зачислили в изменники Родины, семью репрессировали. То, что Порик в том же году бежал из расположенного на территории Франции лагеря, разыскал французских партизан и вскоре стал одним из руководителей подпольного центра Сопротивления во Франции, никого в Москве не интересовало, как и то, что Порик геройски погиб 22 июля 1944 года. Все эти годы он продолжал числиться в списках изменников Родины. «Ошибку» исправили только в 1964 году.

6 октября 1964 года «исправили ошибку» и в отношении ефрейтора вермахта Фрица Шмеркеля. В самом начале войны, осенью 1941 года, он, военнослужащий 1-го артиллерийского полка, 186-й пехотной дивизии, 4-й немецкой армии, наступавшей на Москву, добровольно присоединился к смоленским партизанам, сообщал, где и когда пройдут военные эшелоны, где и когда готовят облаву. Сотрудничество продолжалось три года, но Шмеркеля все-таки выследили, арестовали и 21 февраля 1944 года казнили. По тем же, сталинским законам, немец на геройство права не имел, о Шмеркеле, как и о Зорге, забыли. Теперь вспомнили.

3 сентября 1964 года принимает первые самолеты международный терминал Шереметьево-2.

7 сентября 1964 года отец едет в Лужники, там на территории стадиона развернута Международная выставка дорожных машин. Дороги, особенно сельские, полевые — его постоянная головная боль. Без них целина — не целина, а только половина целины. Урожай надо не только собирать, но в сохранности доставить потребителю, а не рассыпать на ухабах раскисавших под дождем грейдеров. Но что толку в словах, если денег на все не хватало и не хватает. Однако в 1964 году дороги решают строить и сразу начинают их строить. Отец хотел высмотреть на выставке, что нам подойдет для этого из того, что в стране пока не производят. Высмотрел, сделал заметки на память, однако они ему уже не пригодятся.

8 сентября 1964 года отец встречается в Кремле с приехавшими из Средней Азии передовиками-хлопкоробами из Голодной степи и строителями Каракумского канала. Распрощавшись с хлеборобами, он в течение часа беседует с В. Ф. Марчуком, директором Крымского совхоза «Красный», там недавно смонтировали закупленную в Америке птицефабрику. В заключение он говорит Марчуку, что в ближайшее время заедет к нему посмотреть, как идут дела, познакомиться с заокеанскими птичьими премудростями.

Вечером они с мамой спешат в Большой, где миланский Ла Скала дает оперу «Турандот» Джакомо Пуччини. Гастроли знаменитого итальянского театра начались еще 5-го, но в тот день отец возвратился из Чехословакии и на спектакль не успевал. Опера родителям понравилась, отец откровенно восторгался, однако мама патриотично заметила, что наши певцы не хуже.

Еще одно новшество: в газетах сообщили, что «в театре присутствовали Н.С.Хрущев с супругой». Они всегда или почти всегда ходили в театр вместе, но в тех случаях, когда в прессе появлялось официальное сообщение, в нем значился один отец, а мама оставалась в тени. Теперь на западный манер ее решили из тени

вывести. Не знаю, насколько это правильно. Упоминание «супруги» для многих прозвучало диссонансом. Так уж Россия устроена.

9 сентября 1964 года отец принял в Кремле министра обороны Индии Я. Б. Чавана. О чем они договорились, не знаю, а для Чавана их договоренности вскоре потеряли свое значение. После октября ему предстояло все начинать сначала и с другими людьми.

Вслед за Чаваном в отцовский кабинет заходит его старый знакомый, французский каноник и одновременно мэр города Дижона Ф. Кир. С отцом они знакомы давно. Во время визита во Францию в марте 1960 года отец специально попросил включить в программу посещение Дижона, где каноник обещал ему устроить теплый прием. Видимо, слишком теплый. Дружба каноника с Хрущевым не понравилась Ватикану, и на время посещения Дижона отцом папа римский специальным вердиктом отправил Кира в отдаленный монастырь. Но и в отсутствие мэра дижонцы встречали Хрущева тепло, перед зданием мэрии, где остановился отец, они простояли до поздней ночи. Кир не прервет связи с отцом и после его отставки, будет поздравлять его со всеми праздниками, а в сентябре 1971 года пришлет маме соболезнование по случаю его смерти.

10 сентября московские газеты опубликовали «Меморандум» Тольятти, письмо Хрущеву, которое он передал Пономареву в августе. Накануне своей кончины Тольятти писал о будущем коммунистического движения, о различиях в подходах, о том, что вскоре, в отличие от коммунизма советского, назовут еврокоммунизмом. Детали его письма не актуальны. Отец во многом согласен с Тольятти, однако после смерти итальянского коммуниста его письмо приобрело ореол диссидентствующего завещания, да еще скрываемого от публики советским руководством. Чтобы рассеять ненужные слухи, отец распорядился «завещание Тольятти» опубликовать без каких-либо изъятий.

Этим вечером отец с мамой снова в Большом театре. Отец так весь день нахваливал итальянских певцов, что с ними пошел и Микоян, остальные члены Президиума отговорились занятостью. Родители позвали с собой и нас, детей. Давали оперу Джузеппе Верди «Трубадур», пели отлично, все получили огромное удовольствие.

Ла Скала выступала в Большом театре до конца

сентября, они привезли с собой пять опер, но после 10-го отцу больше в театр выбраться не удалось, остававшиеся дни сентября были расписаны буквально по минутам. Тогда мы и не подозревали, что 10 сентября «рядовой» поход отца в Большой театр станет для него последним, и что это вообще последний наш семейный выход в театр.

С 11 по 18 сентября в Москве гостит президент Индии Сарвапалли Радхакришнан. Отец встречает его во Внуковском аэропорту. 12 сентября они беседуют в Кремле, вместе выступают на митинге в честь высокого гостя во Дворце съездов.

Какая армия нам нужна?

14 сентября 1964 года отец едет в подмосковную Кубинку. Там на танковом полигоне ему демонстрируют модели танков, пушек, систем залпового огня и другого вооружения сухопутных войск. Посещение подробно описано в книге «Рождение сверхдержавы», и я остановлюсь только на имеющих отношение к теме этой книги военных расходах.

Обменяться впечатлениями по свежим следам собрались в штабном домике. Я тоже там присутствовал, наше Особое конструкторское бюро № 52 представляло крылатую ракету С-5 для вооружения сухопутных войск. Отец начал разговор с танков. Первым делом выразил свое восхищение достижениями.

— Разве можно сравнить эти танки с теми, которые мы имели в войну, даже самыми лучшими? Вот бы нам их тогда… — вырвалось у отца.

Собравшиеся одобрительно загудели, но Хрущев резко сменил тональность: мы следуем опыту Второй мировой войны, критически не анализируя его. Он отдал должное конструкторам, сказав, что их труды безусловно заслуживают похвалы, но они делают то, что им заказывают.

— А заказывают вот они, — отец ткнул пальцем в маршалов. — Они определяют, что нам нужно, а что нет. Создается впечатление, что им нужно всё.

Отец сделал паузу, оглядел присутствующих. В зале повисло напряженное молчание. Он продолжил, заговорил о том, что мы по-другому должны взглянуть на армию, на ее задачи, на цели, которые ставим перед собой.

— Мы кого-нибудь собираемся завоевывать? — отец просто пробуравил взглядом сидевшего рядом с ним министра обороны маршала Малиновского и сам себе ответил: — Нет! Тогда для

чего нам нужно все это оружие, которое мы сегодня увидели?

Отец перешел к характеристике современной войны. Он давно раздумывал на эту тему, еще в 1959 году написал записку в Президиум ЦК, выступал в прошлом году на Совете обороны в Филях. (Об этом тоже можно прочитать в «Рождении сверхдержавы»). То, что раньше выглядело наметками, переросло в убежденность: война между двумя гигантами, СССР и США, невозможна. Ядерное оружие делает ее бессмысленной, победителя не будет. А без применения атомных боеприпасов, отец считал, в войне не обойтись. Даже если в начале схватки против этого настроятся обе стороны, все равно у терпящего поражение возникнет непреодолимое желание изменить течение событий в свою пользу, в конце концов просто отомстить, и он схватится за водородную бомбу.

— Если мы исключаем возможность обычной войны между СССР и США, Варшавским договором и НАТО, то зачем нам вся эта прорва вооружений? — продолжил отец. — Все очень хорошо, очень современно, но стоит огромных денег. Лишних денег в стране нет. Поэтому нужно очень серьезно подумать, какая нам требуется армия, решить, чем ее вооружать. Причем вооружать экономно, только действительно необходимым, а высвободившиеся средства перебросить на мирные нужды, на жилье, на товары народного потребления.

— А то дай вам волю, вы страну без штанов оставите, — шуткой попробовал разрядить обстановку отец и дружески толкнул Малиновского кулаком в бок.

Шутка не имела успеха. Малиновский кисло, вымученно улыбнулся. Собравшиеся молчали. Многие помнили выступление отца на Совете обороны. Его возвращение к этой теме сулило новую реорганизацию, сокращение армии. Генералы такого не одобряли — сильное государство славно своей армией, а расходы — это не их забота.

Они не ошиблись. Отец стал говорить о компактной высокопрофессиональной армии, территориальной милиции, высвобождении рабочих рук, столь необходимых в народном хозяйстве. Он подчеркнул: речь идет не только о том, какое оружие покупать, но и сколько. Ведь вооружение быстро устаревает. Зачем нам тысячи танков, тысячи самолетов, если война не топчется под дверью. Это деньги, отнятые у народа и выброшенные на ветер.

Нет, отец не считал, что надо разоружаться, — это заманчивая, но пока неосуществимая мечта. Армия должна обладать самым современным вооружением, но в разумных пределах. Не более того. Так же рачительно необходимо

подходить и к типажу. Разные конструкции танков, пушек, близкие по своим боевым качествам, при серийном производстве на заводах обернутся многомиллионными затратами, которых можно избежать, выбрав один лучший танк, одну лучшую пушку.

— А вы за народный счет хотите прослыть добренькими, не желаете портить отношения с разработчиками, заказываете всё, что они дают, — бросил отец упрек в зал.

В ответ раздался глухой ропот. Отец еще немного поговорил о бережливости, о том, что армия существует для защиты народа, а не народ для армии. Наконец он замолк. Других выступавших не предполагалось.

Отец поблагодарил присутствующих за проделанную работу.

Гремя стульями, все стали подниматься с мест, но к дверям не двинулись. Сначала пропустили отца, за ним вышли маршалы. Я поспешил следом. Когда я подошел к отцу, они с Малиновским о чем-то тихо разговаривали. Маршал как-то обреченно выслушивал то, что говорил отец.

С точки зрения военных, показ не удался, вернее, имел обратный эффект. Малиновский хотел, похвастaвшись достижениями, получить добро на закупку новых вооружений. Вышло все наоборот. Предстояли новые обсуждения с совершенно неизвестным исходом. Точнее, о результате нетрудно догадаться: Верховный главнокомандующий настроился «развалить» армию. Только так маршал воспринимал переход к какой-то мифической территориальной милиции.

В тот момент ни отец, ни Малиновский не знали, что от Главнокомандующего уже ничего не зависит, его предложения никого не интересуют, его команды никто не собирается исполнять. До «конца» оставался ровно месяц.

Домой ехали молча. Отец сел впереди. Сзади, кроме меня и неизменного начальника охраны, разместились Брежнев и Кириленко.

День за днем

15 сентября 1964 года в Москву прилетел премьер-министром Египта Али Сабри. Он прогостит в Советском Союзе до 23 сентября. Снова встреча в аэропорту, разговоры в Кремле, и не протокольные, как с ничего не решавшим в Индии Радхакришной, а деловые. Али Сабри — правая рука Насера.

В тот же день, 15 сентября, вслед за встречей Али Сабри, отец принимает в Кремле делегацию Парламента

Японии. Ее возглавляет Кэйдзи Фукунага, председатель Комитета палаты представителей по парламентским делам. Тема разговора: мирный договор и судьба островов Кунашир и Хабомаи. Отец еще в 1956 году пообещал передать их Японии в обмен на мирный договор, но тут вмешались американцы и дело застопорилось. В 1964 году контакты с Токио возобновились, обе стороны нащупывали пути выхода из тупика, куда их загнали Соединенные Штаты. Теперь приходилось начинать договариваться сначала. К осени, казалось, «забрезжил свет в конце туннеля», японские делегации зачастили в Москву.

16 сентября 1964 года отец присутствует на открытии Всемирного форума молодежи, а 19 сентября выступает на приеме в честь делегатов форума.

На заседании Президиума ЦК 17 сентября 1964 года отец предлагает «созвать XXIII съезд, как он считал, его последний съезд, в конце 1965 — начале 1966 года».

Тогда же записали строгое указание Устинову: «Ни одного завода с отсталой технологией не строить, распространить этот “запрет” на всю “химию”. Технологию производства винола, полимера из поливинилового спирта, служащего для получения нитей особой прочности, купить в Японии».

Речь шла все о том же, как строить новые химические заводы: под свои, доморощенные, только еще разрабатываемые технологии, или за золото купить за границей лицензии и технологии, более передовые и уже апробированные? Минфин золото зажимал, отец ворчал на их скупердяйство, убеждал, что купленные за рубежом технологии окупятся сторицей.

Затем отец в последний раз попытался вытолкнуть Тимирязевскую академию на землю, перевести ее в совхоз «Вороново» на Курщине. Министр сельского хозяйства Воловченко возражал. Отец уступил, поручил комиссии, занимавшейся этой проблемой уже не первый год, еще раз все как следует обдумать.

Наболтали, а сами сделать не можем (22 и 26 сентября 1964 года)

С утра во вторник, 22 сентября, отец пригласил к себе Секретаря ЦК по промышленности Рудакова, председателя Всесоюзного совнархоза Устинова, первого заместителя Госплана

СССР Горегляда (его председатель Ломако в сентябре отдыхал в Крыму) и начальника ЦСУ Старовского обсудить наметки на следующую пятилетку 1966–1970 годов. Совещались более двух часов и так ни до чего не договорились, пятилетка пока не утрясалась.

Чтобы передать атмосферу обсуждения, я ниже приведу отрывки из замечаний, высказанных отцом и, насколько получится, воздержусь от комментариев.

Отец соглашается со Старовским: «Цикл проектирования и строительства предприятий, оснащенных современными сложными технологиями, в пятилетие никак не втискивается. Возможно, следует разделить оставшиеся до 1980 года пятнадцать лет реперного срока, заявленного в Программе партии, на две части «восьмилетку и семилетку или семилетку и восьмилетку, пусть Госплан подумает, что лучше».

«…Надо смелее развивать производство средств потребления, — отец обозначает задачу на будущее. — Главная наша задача — удовлетворение потребностей людей, на первый план надо ставить человека, и средства производства должны служить этой цели. Это раньше мы ставили задачу наоборот…»

Об этом, как и восьмилетке-семилетке, они уже говорили 24 июля на Президиуме Совета Министров. Отец все еще раз обдумал и утвердился в правильности выбираемого направления. Остальной разговор сводится к тому, как реализовать поставленные задачи. Прежде всего, необходимо достичь мирового уровня.

«Потребуйте от ученых анализ уровня продукции зарубежных фирм в сравнении с нашим, — обращается отец к Устинову. — Пригласите людей, разбирающихся и в технике, и в экономике, таких, как Федоренко Николай Прокофьевич, директор Экономико-математического института, я читал его статьи, а вот книгу, которую он мне прислал, еще прочесть не успел. Ученые должны служить нашим барометром, следить за колебаниями в мире, за развитием экономики и техники, докладывать нам вовремя. По их рекомендациям давайте закупим за рубежом лицензии и начнем планировать, отталкиваясь от этого уровня. Я повторяю, надо покупать за границей производства вместе с лицензиями. Покупать лицензии — единственный выход. Нельзя в науке игнорировать зарубежные достижения, жить в условиях автаркии. А то мне объясняют, что не купили завод по производству винола, так как в Ленинграде мы вот-вот получим свой винол. И уже сколько лет нас за нос водят.

…Сейчас иностранцы стучатся к нам во все двери, предлагают кредиты для закупки химического оборудования.

Такого еще не бывало, и давайте воспользуемся, купим все передовое…Наши же ученые еще семь лет будут догонять сегодняшний уровень Запада, а Запад за это время уйдет еще дальше!

…Руднев, к сожалению, этого не видит. Он человек честный, порядочный, но отбивается от докучливых проблем, законопачивает все щели в дверях своего комитета, чтобы не влезла какая-нибудь докучливая бацилла.

Берите пример с японцев, они поднялись из пепла, из первобытного состояния, покупали лицензии, копировали, затем начали вкладывать свое и теперь Америку бьют, а мы сами всё знаем, всё понимаем, болтаем, но сделать не можем, и от себя свое неумение скрываем. Это у нас от зазнайства. Что мы делаем — это ужасно, мы находимся на рубеже славы или позора. Нельзя строить новые заводы, закладывать в производство технологический уровень, который за границей — уже пройденный этап.

…Что мы делаем для химии? Ни одна страна не имеет такого низкого технологического уровня, как мы. По некоторым видам продукции у нас выход полезных веществ 10 процентов, а у японцев — 40–50 процентов. Это позор для нашей партии.

…Наши внешнеторговые органы ведут переговоры совершенно без политики. Мы купили у голландцев два-три завода, производящие винол, но, боюсь, мы купили не то, что сегодня нужно. Вот передо мной лежит справка: мощность голландского оборудования 180, а японского 360 тонн винола, при том, что и там и тут работает одинаковое количество агрегатов!»

Тут Рудаков подает реплику, что японцы больше винол не производят, перешли на полипропилен.

«Давайте купим полипропилен, — соглашается отец. — Но я бы хотел получить грамотное техническое заключение. Мне говорили, что винол самое дешевое сырье для производства канатов, рыболовецких сетей, брезента, бельтинга».[94]

Дальше речь заходит о жилье. Устинов жалуется, что запланированные темпы строительства не обеспечат достижения в 1970 году предусмотренных 12 квадратных метров на человека, получается только восемь. Отец соглашается, что средств на все не хватает, хотя и так никто в мире больше нас не строит. Он предлагает сейчас «расширять сеть детских садов, обеспечить там бесплатное питание, а с бесплатным жильем можно лет на пять и задержаться, во всяком случае в Москве, Ленинграде, Киеве. Мы уже построили три Москвы, и все мало. «Для больших городов, — по мнению отца, — выход в жилищных кооперативах».

Обо всем этом тоже говорили 24 июля. Оно и понятно, основные направления развития экономики на ближайший период практически вырисовались. Сейчас отец пытается совместно найти наиболее эффективные пути их реализации. В современной науке такой подход называют мозговой атакой.

Время подошло к полудню, секретарь напоминает, что пора обедать, а там отца ждут новые посетители. Договариваются продолжить разговор через два-три дня.

После обеда отец беседует с председателем Госкомитета по химии Виктором Степановичем Федоровым, а ближе к четырем принимает посла Кубы Оливареса Санчеса и Рискета Вальдеси, партийного секретаря провинции Ориенте.

23 сентября отец провожает во Внуково Али Сабри и следом сам улетает в Тюратам. Там на полигоне для показа высшему государственному и военному руководству подготовлена выставка стратегической ракетной и космической техники. О поездке отца в Тюратам можно прочитать в «Рождении сверхдержавы».

В Москву отец возвращается во второй половине дня 25 сентября, а уже ближе к вечеру собирает Президиум ЦК, делится впечатлениями с коллегами. Наряду с достижениями, а они очевидны, отец отмечает, что «хозяйства на полигоне разбросанные, у каждой ракеты своя площадка, а это миллионные затраты и, возможно, излишние».

На следующий день, в субботу, с утра отец совещается с помощниками, а в половине одиннадцатого, как и договаривались, к нему в кабинет заходят Устинов с Гореглядом и присоединившийся к ним по пути Косыгин. На 11 часов назначено совместное заседание Президиума ЦК с Президиумом Совета Министров. В повестке дня продолжение обсуждения пятилетки 1966–1970 годов. Отец просматривает подготовленные материалы, Горегляд докладывает об изменениях, внесенных в документ по результатам предыдущего рассмотрения, и они все вместе переходят в зал заседаний Президиума ЦК.

Сначала в узком кругу решают текущие дела: удовлетворяют просьбу Кубы о поставке оружия, а Чехословакии — зерна. Затем обсуждают предложения Горегляда. Сам он не выступает, в этом нет необходимости, его доклад разослали членам Президиума ЦК заранее, и кто хотел, имел возможность с ним ознакомиться. В обсуждении доклада приняли участие Микоян, Рудаков, Полянский, Пономарев и еще кто-то. До большого заседания остается еще некоторое время, и слово берет Хрущев. Он говорит о приоритетах, они те же, что и в его выступлениях 24 июля и 22 сентября. Это свидетельствует о том, что в главном он уже

определился. В начале отец повторяет свою, по сути, невинную мысль о целесообразности подумать о семи-восьмилетке вместо пятилетки. Я уже приводил его аргументы. Косыгину жалко расставаться с пятилеткой, и он перебивает отца, по его мнению, «надо взять за основу десятилетний период, — две пятилетки, первая — оперативный план, вторая — прогноз. Все очень замечательно получается, громадный план, перспективы для развития тяжелой промышленности, энергетики, химии, металлургии, рудного дела — все это вместе взятое дает возможность составить очень интересный план». По существу наполнения плана Алексей Николаевич придерживается привычной стратегии первоочередного развития средств производства, тогда как у отца иные приоритеты. «На это восьмилетие, — Хрущев продолжает оперировать "своим" временным периодом, — главная задача: производство предметов потребления, с тем чтобы удовлетворить растущие запросы народа. Мы должны держать во главе угла и по объему, и по техническому уровню средства производства для обеспечения выпуска предметов потребления. Наша цель — не развитие индустрии самой по себе, это не цель, а самоцель, необходимо приложить все усилия для производства предметов потребления. Это надо отчеканить!»

Что же касается сроков, то отец не настаивает: «Для меня это не имеет большого значения», — примирительно заявляет он, но тут же повторяет свои аргументы, почему семь и восемь лучше, чем пять и пять. Никто ему не возражает. Через три недели эта «не имевшая большого значения» фраза «выйдет отцу боком», на заседании Президиума ЦК 14 октября Полянский припомнит отцу «не санкционированную заранее Президиумом ЦК, восьмилетку-семилетку».

Далее отец провозглашает, уже в который раз, требование ориентироваться на мировой уровень. Здесь я снова прибегну к цитированию, только живая речь отца способна, хоть частично, донести до читателя владевшие им эмоции. Он повторяется, и я повторяюсь вслед за ним, но ничего не поделаешь, в реальной жизни все именно так и происходило. Мысли любого человека вращаются вокруг волнующей его главной темы.

«Мы настолько привыкли вариться в собственном соку, все делать сами, что игнорируем во вред своей экономике (кооперацию с зарубежными фирмами. — *С. Х.*). Это результат верхоглядства и зазнайства, стремления все делать своими силами, тогда как заграница предлагает нам на выгодных условиях… покупку передового оборудования, агрегатов, приборов, лицензий… Глупо этим не воспользоваться.

…Если мы теперь заложим в план то, что уже имелось в мире десять-двадцать лет тому назад, то наши заводы, чей срок жизни составляет двадцать лет, будут отставать по уровню производства уже не на десять-двадцать, а на тридцать-сорок лет.

…Капиталисты вводят завод в строй за два года, мы — за пять лет, и все потому, что мы не обеспечиваем комплексной поставки оборудования.

…Капиталисты предлагают продать заводы под ключ, а наши конструкторские бюро, имея только лабораторные образцы, доказывают, что мы сами можем это сделать. Переход же от эксперимента к полной заводской технологии занимает годы. Из престижных соображений, из экономии валюты мы отказываемся от закупки лицензий и комплексного оборудования и в результате теряем в несколько раз больше».

Покупка лицензий и немедленно, настаивает отец, — «иначе нам грозит автаркия, самоизоляция».

«…Вот, собственно говоря, основное, что я хотел сказать. Я поднял гвоздевые вопросы обсуждаемого плана, есть много других проблем, но о них скажет докладчик (Горегляд. — *С. Х.*)».

Этими словами отец заканчивает свое эмоциональное выступление.

Устинов просит его еще «сказать относительно капитального строительства с точки зрения выполнения планов этого года и будущего. Для нас это будет отправной базой».

Отец не возражает по существу, но они уже опаздывают на заседание, времени для продолжения разговора не осталось.

— Никита Сергеевич, скажите о правильных пропорциях в плане, — не дает ему подняться с места Косыгин.

— А что же тогда докладчику говорить? — отшучивается отец. Он уже выговорил все самое главное, остальное, в том числе и пропорции в плане, дело самих Косыгина с Гореглядом.

В этот момент Малин напоминает, что в Свердловском зале уже собрались секретари республиканских и областных партийных комитетов, главы совнархозов и областных советов, члены Совета по науке и Президиума Академии наук, приглашенные на расширенное заседание двух Президиумов, ЦК и Совмина.

На «большом» заседании председательствует Хрущев. Он предоставляет слово Горегляду. Алексей Адамович говорит более часа, сыплет цифрами и процентами роста. Затем приступают к прениям. Они не стенографировались.

После окончания заседания члены Президиума и секретари ЦК обменивались мнениями в комнате отдыха.

— Ну как, товарищи, ваше мнение? — поинтересовался отец.

— Хорошо, отлично, — дружно прозвучало в ответ.

«Больше всех старался Брежнев, — записал в дневник Шелест, один из активнейших заговорщиков. — Больно и обидно было слушать, становилось попросту страшно. Какая гнусная вещь — лицемерие, ни у кого не хватало мужества сказать правду».

Какую правду? Судя по стенограмме, отец высказал здравые и, на мой взгляд, очевидные вещи.

13 октября все тот же секретарь ЦК Компартии Украины Шелест заявит, что «на последнем заседании о плане они не поняли ничего», но, что он конкретно не понял, не уточнит.

Мне позвонил Галюков…

Пока отец инспектировал на полигоне ракеты, мне позвонил Василий Иванович Галюков, помощник Николая Игнатова, в недавнем прошлом секретаря и члена Президиума ЦК, а ныне Председателя Президиума Верховного Совета России, и попросил о встрече. Встретились мы вечером 24-го, больше часа гуляли в подмосковном лесу, он мне рассказывал о заговоре Брежнева с Шелепиным или Шелепина с Брежневым против отца. Кого ставить в этой паре на первое место, историки спорят и по сей день.

В воскресенье, 27 сентября, на даче Горки-9, во время прогулки по лугу я все пересказал отцу. Отец просил меня никому об этом не говорить. Посчитав сыновний долг выполненным, я постарался выбросить заговорщиков из головы.

Утром 28 сентября 1964 года отец принимал кубинского министра связи, затем, прихватив с собой Косыгина и Подгорного, едет в Научный автомоторный институт (НАМИ). Им показывают новые 27, 40 и 60-тонные карьерные самосвалы, их скоро начнут производить в Белоруссии и на Кременчугском автозаводе. Отец вспоминает, как в дни его молодости руду возили на тачках, в лучшем случае в вагонетках, а тут такая сила. Он искренне радуется нашим достижениям, я бы сказал, он счастлив. Потом гостей подводят к легковушкам: «Волгам», «Москвичам», «Запорожцам». Отец вновь заводит разговор о том, что хорошо бы всех бюрократов пересадить на «Москвичи», он сам в нем проехал, и ему понравилось. И Косыгин, и даже Подгорный обычно, «подхватывающий на лету» любое высказывание отца, на сей раз угрюмо молчат.

Вечером того же дня он на торжественном заседании в Большом театре произносит вступительную речь, а затем выслушивает длинный и нудный доклад Бориса Пономарева, посвященный столетию I Интернационала.

С половины десятого утра 29 сентября Хрущев беседует с заместителем министра иностранных дел Василием Васильевичем Кузнецовым, готовившим визит в Москву президента Индонезии Сукарно. В десять отец отправляется во Внуковский аэропорт встречать «друга Карно», сопровождает его в резиденцию и возвращается в Кремль. Там его ожидают Горегляд и Рудаков. По итогам заседания 26 сентября они подготовили новые поправки в план. С ними пришли и члены редакционной группы при отце, главные редакторы «Правды» и «Известий». Совещание прерывается ненадолго протокольным визитом Сукарно и затем продолжается почти до самого окончания рабочего дня.

Ближе к вечеру следует прием министра торговли и снабжения Цейлона (с 1972 г. Шри Ланка) Т. Б. Илангаратне. Последним к отцу на десять минут заскакивает его заместитель, председатель Совета Народного Хозяйства СССР Вениамин Дымшиц. Позже вечером — официальный обед в Кремле в честь Президента Сукарно.

Леонид Замятин, тогда заведующий отделом печати МИДа, впоследствии повторял якобы произнесенную отцом накануне на обеде фразу: «Я завтра уезжаю на две недели отдохнуть на Пицунду, а по возвращении вышибу эту центропробку». Мысль свою отец развивать не стал. Замятин считает, что отец имел в виду заговорщиков, группу Брежнева — Шелепина, и погрозил им пальчиком. Предположение наивное, с заговорщиками так не поступают, пальчиком им не грозят, а принимают меры, желательно превентивные, как в свое время отец поступил с Жуковым. Тем более при таких обстоятельствах не покидают столицу, не уходят в отпуск «на две недели».

Сейчас стенограмма выступления отца на обеде в Кремле 29 сентября опубликована. В ней нет ни слова о «центропробке», что ни о чем не свидетельствует.

Отец в тот вечер мог помянуть ее не в выступлении, а походя, в процессе разговора.

А вот некоторые места в стенограмме представляются интересными: «Меня хотели мои друзья выпроводить из Москвы, — отец шутливо жалуется Сукарно, — но я сказал, что вам это не удастся, пока я не встречусь со своим другом и братом (Сукарно. — *С. Х.*), с ним не поговорю. Тогда они сказали: “Хорошо, но завтра (то есть 30 сентября. — *С. Х.*) ты должен убраться из Москвы”».

Кто они, отец не расшифровывает, но в его трехстраничном выступлении, в этом контексте, постоянно звучит фамилия Микоян: Микоян тут, Микоян там. Что это случайность?

Дружеский «подкол»? Или Анастас Иванович энергичнее других настаивал на отъезде отца в отпуск именно сейчас, не позднее чем завтра? Для меня это неразрешимая загадка.

Не исключено, что отец в реальность заговора не очень поверил, переоценил и себя, и свои силы. Более того, в понедельник 28 сентября, он рассказал о моем сообщении потенциальному заговорщику Подгорному, а уезжая в отпуск, оставил его «на хозяйстве», поручил ему вести заседания Президиума ЦК. Полянского с Шелепиным, тоже фигурировавших в информации Галюкова, отец просит к его приезду подготовить материалы, какие сейчас я сказать не могу, к предстоящему ноябрьскому Пленуму ЦК. (Всю эту историю я подробно описываю в книге «Пенсионер союзного значения».)

Под «центропробкой» отец, независимо от того, произнес он это слово или нет, скорее всего понимал московскую бюрократию, и он действительно в преддверии новой реформы намеревался загодя расчистить пространство перед собой. В предстоящих реформах отец предполагал опереться на «молодежь», в противовес «старикам», вросшим в существующую систему, сжившимся с ней. К тому же он не раз повторял, что во власть следует приходить молодым, полным энергии, когда тебе едва минуло сорок. Вот только загодя говорить о подобных намерениях не следует, тем более что начинать расчистку отец собрался с Президиума ЦК. Тут залог успеха во внезапности. Когда после XIX съезда партии Сталин объявил о новом составе Президиума ЦК, он удивил всех своих соратников. И отец, и Микоян, и Молотов, и, наверное, все остальные не оставившие воспоминаний члены старого Политбюро до конца своей жизни недоумевали, кто Сталину подсказал эти фамилии. Скорее всего, Сталина никто не надоумливал и никто ему ничего не подсказывал. Таких дел Сталин не доверял никому. Он давно задумал поменять «караул», загодя, и сам подбирал «смену». Неожиданно огласив свой список на Пленуме, Сталин застраховался от любых мыслимых, а скорее всего, немыслимых случайностей. Пленум привычно и дружно проголосовал «за».

А отец не остерегся. 17 сентября он заговорил о желательности омоложения Президиума ЦК на… заседании самого Президиума ЦК. Малин на своем листочке лаконично отметил: «Довольно много людей с двухмесячным отпуском», то есть «стариков», нуждавшихся в дополнительном отдыхе. И дальше: «Три этажа в руководстве: молодые, средние и старшие». Речь явно шла об обновлении руководства. Косвенным подтверждением тому служит обсуждавшийся на том же заседании вопрос, затронувший министра культуры Фурцеву.

Последняя строчка в заметках: «Наметить для выдвижения женщин помоложе».

Более подробно отец делился своими планами с Микояном, «наболтал» ему, простим это слово обычно корректному Анастасу Ивановичу, да еще при всех, что желательно «расширить Президиум за счет молодых — Шелепина, Семичастного и других, называл в их числе даже Сатюкова, Горюнова (генерального директора ТАСС. — *С. Х.*), своего зятя Аджубея. Но долго ничего не предпринимал. Конечно, некоторые из этих молодых — способные люди. Но не все созрели для Президиума ЦК. (И это говорит Микоян, вошедший в высшее руководство страны в 25-летнем возрасте. Он тогда уже «созрел». — *С. Х.*) Принять большую группу новых означало, как и для Сталина в 1952 году, возможность легко и незаметно убрать любого. И они испугались».

Отец действительно не остерегался, даже мне в сентябре говорил о планах омоложения Президиума ЦК уже на ближайшем, ноябрьском, Пленуме ЦК. Как и в разговоре с Микояном, он назвал Шелепина, Андропова, Ильичева, Полякова, Сатюкова, Харламова и Аджубея.

— Они — живее «стариков», легко улавливают новое, развивают, брошенную им мысль, вываливают в ответ ворох дельных предложений, — развивал свою мысль отец. — С ними не только интереснее работать, но, по существу, они и сейчас при решении большинства партийных и государственных дел играют не меньшую, если не большую, роль, чем официальные, голосующие, члены Президиума ЦК.

Так что оставалось формально затвердить статус-кво. О намерениях отца знали все — и кандидаты на выдвижение, и потенциальные пенсионеры. К тому же, как мы теперь знаем, в 1964 году наш дом прослушивали. В свете неосторожных разговоров отца, его «болтовни», как выразился Микоян, поспешность «стариков» понять нетрудно, из элементарного чувства самосохранения Хрущева следовало убирать не мешкая.

А вот что двигало Шелепиным, Семичастным? В ноябре сам Шелепин и целая когорта его сторонников стали бы членами Президиума ЦК, а через год-полтора на XXIII съезде партии… На съезде у них появлялась реальная возможность и законное право на восприятие высшей власти в стране. Но они торопились даже больше иных «стариков», подталкивали сомневающегося Брежнева к решительным действиям, буквально тащили его на веревке. Некоторые историки вообще полагают, что не Брежнев с Подгорным стояли во главе заговора, а Шелепин с Семичастным. Я с этим не могу согласиться. Ни Шелепин, ни тем более

Семичастный не имели авторитета в обкомах, там с ними и разговаривать бы не стали, а потому в главари заговора не годились, а вот в Москве они проявляли изрядную активность. Бывший главный архивист России Рудольф Пихоя убедительно доказывает, что даже так называемый доклад Полянского (упомянутый в начале книги), обвинявший Хрущева во всех мыслимых и немыслимых грехах, на самом деле написан не Полянским, а сочинен профессиональными «разоблачителями» из КГБ. В этом ему признался сам Семичастный и даже сообщил подробности: текст печатали две его особо доверенные, тогда уже отставные, кагэбэшные машинистки на дому.

Брежнев не позволил Полянскому на Пленуме огласить свой доклад, уж очень он звучал беспардонно, поручил это деликатное дело Суслову. Полянский сдал второй экземпляр своего текста в Общий отдел ЦК, первый, видимо, оставался у Семичастного. В начале 1990-х годов Пихоя его обнаружил в архиве ЦК. Когда он рассказал Семичастному о своей находке, тот забеспокоился, он полагал, что все экземпляры уничтожены, не сохранилось и следов.

Куда торопились Шелепин, Семичастный и иже с ними? Боялись опоздать? Но без КГБ, без Семичастного, ни Брежнев с Полянским, ни Подгорный с Шелестом и пальцем бы не шевельнули. Более того, «разоблачив» заговорщиков, группа Шелепина вообще становилась вне серьезной конкуренции. Их действия не поддаются логическому объяснению. По крайней мере, я этого понять не могу. Не мог этого себе представить и отец. Даже после моего предупреждения он сохранял уверенность в обоих, и в Шелепине, и в Семичастном.

Их поведение можно объяснить только самоуверенной недальновидностью, попросту глупостью. Такой диагноз подтверждают и события, последовавшие за отстранением отца от власти.

В постхрущевские времена Шелепин показал себя негибким сталинистом, человеком к реформам не склонным, к экономике вкуса не имеющим. Семичастный — и того хуже, пошел за Брежневым, поддавшись на посулы получить генеральскую фуражку. Отец преобразовал КГБ в гражданскую, беспогонную организацию и новым председателям, ранее воинских званий не имевшим, их не присваивал. Шелепин на генеральские погоны не претендовал, а Семичастному очень хотелось надеть брюки с лампасами. Он и так и эдак подъезжал к отцу, но все безрезультатно. Брежнев же ему пообещал немедленное производство в генерал-полковники. Генерал-полковника Семичастный получил. Даже на обложку своих воспоминаний

поместил фотографию в парадной форменной фуражке, но на этом Брежнев посчитал свои обязательства перед ним исполненными. Маршалом Семичастный не стал, им стал сам Брежнев.

Какая чушь иногда руководит человеческими поступками, и от каких мелочей зависят судьбы страны…

Из сказанного следует печальный вывод: не случись случившегося 14 октября 1964 года, приведи отец к власти «молодежь», скорее всего, лучше бы не получилось. И неслучайно, что Шелепина с Семичастным и иже с ними так легко убрали.

Отпуск в октябре

Утро 30 сентября у отца начинается с встречи с Сукарно. Сначала в течение часа они беседуют один на один, потом беседа продолжается в присутствии официальных лиц обеих стран. В полдень отец распрощался с Сукарно и уже через час улетел в Крым. Вести за себя заседание Президиума ЦК он поручил Подгорному. Накануне отлета он попросил Микояна встретиться с Галюковым, обо всем его расспросить, а потом пересказать ему. Анастас Иванович тоже собирался в отпуск.

«Думаю, Брежнева и Подгорного к этому делу пристегнули. А в отношении Шелепина и Семичастного не могу судить, я их не знаю», — вяло заметил в своих мемуарах Микоян.

Отец эту тему развивать не захотел, как я уже отмечал, он Шелепину и Семичастному верил.

Самолет отца приземлился в Симферополе 30 сентября 1964 года ближе к вечеру. Вместе с отцом в Крым прилетел Поляков, секретарь ЦК, отвечавший за сельские дела. На аэродроме их встречал Петр Ефимович Шелест и другие руководители Украины. Шелест все знал, первый разговор с ним Брежнев провел еще в марте. Именно потому он вел себя подобострастно, демонстрировал, я бы сказал, особую услужливость. Пока доехали до дачи в Ливадии, стемнело, от общего обеда отец отказался, попросил его извинить, он очень устал.

На следующее утро все вместе поехали в птицеводческий совхоз «Южный», затем на бройлерную фабрику соседнего совхоза «Красный». Судя по дневниковым записям Шелеста, отец вел себя как обычно, вникал в суть, интересовался, как содержат птиц, чем кормят. Кормили кур как придется, в американские инструкции и не заглядывали, а потому в весе они прибавляли плохо. Отец расстроился. «Мы потерпели там поражение, — признается он. — Купили в США технологию производства куриного мяса. Построили фабрику в Крыму. Не умеем мы, к сожалению, даже

перенести к себе то, что имеется в капиталистических хозяйствах».

Шелест ожидал разноса, но разноса не последовало. Впервые за много лет доклад крымских птицеводов оставил отца если не равнодушным, то почти равнодушным. Он выговорил им за нарушение американской технологии, но формально. Шелест отметил, что отец казался ему подавленным, менее уверенным, чем обычно, пожаловался на Брежнева, назвал его «пустым человеком». О Подгорном сказал, что пока большой отдачи от него не видит, ожидал большего.

«Крепко ругал идеологов, называл их “начетчиками”, оторванными от реальной жизни, Суслова назвал “человеком в футляре”», — пишет Шелест.

«Президиум наш, — Шелест цитирует отца, — сообщество стариков. Надо думать. В его составе много любящих поговорить, а работать — нет. Вот соберем Пленум и там поставим каждого на свое место, укажем, кому и где надо работать. Мне перевалило за семьдесят лет, бодрость и энергия уже далеко не та, надо думать о достойной замене. Мы не вечны, пройдет пара лет, и многие из нас уйдут на покой. Я стою за то, чтобы на руководящую работу выдвигать молодых, лет эдак в сорок — сорок пять».

В тот же день Шелест о разговоре с отцом доложил Брежневу и Подгорному.

«Брежнев предчувствовал, что если допустить вопрос до ноябрьского Пленума, — отмечает Шелест, — то ему первому “укажут место”. Он смертельно боялся предстоящего Пленума, и ему оставалось — либо форсировать “дело” с Хрущевым, или сдаться. Последнего мы опасались больше всего и настаивали на скорейшей развязке “дела”».

Тем временем в Москве в приготовления к «делу» вовлекались все новые и новые люди. Особую роль в сколачивании антихрущевского большинства на предстоящем внеочередном Пленуме ЦК сыграл Николай Романович Миронов, с 1959 года заведующий Отделом административных органов ЦК. Отец его хорошо знал, при нем он работал секретарем Кировоградского обкома, оттуда, после ареста Сталиным очередной команды чекистов-абакумовцев, его перевели в госбезопасность начальником Управления военной контрразведки. Позднее он возглавил управление КГБ по Ленинградской области. В ЦК его привел Козлов, но в душе Миронов оставался человеком Брежнева, до войны они вместе работали в Днепродзержинске на Украине, где и сдружились. Миронов, убежденный сталинист, не любил Хрущева и с готовностью принял предложение Брежнева о сотрудничестве. По

долгу службы он общался с секретарями обкомов, министрами, высшими генералами, теми, кто входил в номенклатуру ЦК и, не вызывая подозрений, мог прощупать любого из них и при положительной реакции вовлечь в заговор.

Обработкой «промышленников» занимался Устинов. «В сентябре 1964 года, как-то вечером меня пригласил к себе Устинов, — вспоминал Владимир Николаевич Новиков. — Я отвечал тогда за СЭВ… и мой кабинет, как и кабинет Устинова, располагался в Кремле в одном коридоре. Я зашел к нему. У него сидел Александр Михайлович Тарасов, его заместитель по ВСНХ (в правительстве Косыгина он станет министром автомобильной промышленности). С места в карьер пошел разговор о предстоящем, причем не в ноябре, как намечалось, а на днях, Пленуме ЦК. Меня попросили подготовить два выступления, разоблачающие безобразия, “вытворяемые Хрущевым”, одно — Устинову, другое для себя.

— Хрущева снимают? — спросил я. Устинов подтвердил.

— Какая позиция военных и КГБ? — уточнил я расклад сил.

— Все в порядке, они с нами, — получил я ответ. Я согласился. Читатели могут по-разному меня судить, но так было. В течение трех дней мы с Тарасовым все подготовили. Устинов внес поправки, теперь оставалось ждать приезда Хрущева.

Каково мое мнение о Хрущеве? Ему был присущ природный ум. Считаю эксперимент с совнархозами не ошибкой, а порождением требованиями жизни. Хрущев очень быстро решал оперативные вопросы».

Среди «комсомольцев»-шелепинцев особой активностью отличился Егорычев. По его собственным словам, он склонил на сторону заговорщиков «президента Академии наук Келдыша, министров Вячеслава Петровича Елютина, Анатолия Ивановича Костоусова, Евгения Федоровича Кожевникова, председателя исполкома Ленсовета Василия Яковлевича Исаева, первого секретаря Ленинградского горкома партии Георгия Ивановича Попова, вице-президента Академии наук Владимира Алексеевича Кириллина».

А вот Суслов — с ним Егорычев заговорил в июне 1964 года в Париже, где они оказались вместе в составе советской делегации, — от разговора уклонился. Так же, как и первый секретарь ЦК партии Литвы Антас Юозович Снечкус, — с ним Егорычев безрезультатно пытался установить контакт в августе 1964 года в Паланге, куда специально приехал для «наведения мостов».

Не повезло Егорычеву и с секретарем Ленинградского обкома Василием Сергеевичем Толстиковым, тот, по словам Николая

Григорьевича, так и не понял, о чем идет речь, и убеждал его, что «Хрущев — молоток!». «К моим доводам Толстиков остался глух», — заключает Егорычев.

«Откровенно негативно к планам смещения Хрущева отнесся Михаил Авксентьевич Лесечко, заместитель Председателя Совета Министров СССР, — продолжает Егорычев, — я его хорошо знал еще по работе в райкоме партии, он у нас в районе директорствовал на Заводе счетно-аналитических машин. В беседе со мной он сказал: “Имей в виду — лучше после Хрущева не будет”».

В Крыму отец задерживаться не стал. Посетовал Шелесту на погоду, она действительно не радовала, постоянно дул холодный ветер, а когда стихал, начинал моросить дождик. И на душе отца было под стать погоде — угрюмо, и на месте ему не сиделось.

2 октября Шелест провожал отца в Симферопольском аэропорту, тот решил перелететь в Пицунду. Там 3 октября отец принимает очередную группу японских парламентариев во главе с господином Айитиро Фудзиямой. На следующий день он встретился с парламентариями из Пакистана.

Микоян пригласил к себе Галюкова 2 октября после работы в резиденцию на Воробьевых горах. Вечер запомнился мне своим холодом, а на следующее утро в Москве выпал снег. Я сидел в уголке кабинета и по просьбе Анастаса Ивановича записывал их беседу. Разговор оставил у меня неприятный осадок, поведение Микояна показалось мне неискренним. Он явно страховался… то ли на будущее, то ли просто по давней, усвоенной со сталинских времен привычке. Галюков тоже почувствовал его незаинтересованность и, уезжая, выглядел расстроенным и, казалось, жалел, что ввязался в такое опасное дело. И не напрасно, мы оба крепко сидели на крючке у Семичастного, каждый наш шаг фиксировался.

Микоян улетел в Пицунду на следующее утро. Я оформил на работе отпуск и через неделю последовал за ним.

Приехав в Пицунду, я застал там почти идиллическую обстановку, отец гулял с Микояном по парку, плавал в бассейне, а вечером смотрел кинофильмы.

Тогда с отцом поехал единственный помощник Владимир Семенович Лебедев. Редакционная группа, стенографистки оставались в Москве, ждали вызова со дня на день, но вызов не последовал. Отсутствовал в Пицунде и начальник охраны отца полковник Литовченко, Семичастный его «отпустил отдохнуть». Вместо него временно назначили майора Василия Бунаева.

Из Москвы я захватил с собой первый номер нового журнала «Химия и жизнь». Он получился красочным, привлекательным,

именно таким, как хотел отец, когда предлагал запустить популярное издание, доносящее до рядового читателя информацию о привносимых в нашу жизнь достижениях химии. Я думал, отец обрадуется, но он перелистал журнал и оставил его лежать на обеденном столе.

Утром 12 октября 1964 года в трехместной королёвской капсуле «Восход» вывели на орбиту космонавтов Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова. Днем отец с Микояном говорили с ними по радио, а вечером последовал звонок из Москвы: отца настойчиво «приглашали» приехать, так как при подготовке к ноябрьскому Пленуму возникли не разрешимые без него вопросы. Что это за вопросы, сомнений не возникло ни у отца, ни у меня, ни у Микояна.

Что к чему и почему?

Все три недели, прошедшие с нашей первой встречи с Галюковым, меня грызли сомнения, правильно ли я поступил, откликнувшись на его звонок, а затем пересказав сообщение отцу? Ведь это был чистой воды донос на старых товарищей отца. Отец мне не очень поверил. Если бы поверил, то и действовал бы иначе, не уехал бы из Москвы, собрал вокруг себя верных людей, а их нашлось бы немало. Теперь, после звонка из Москвы, сомнения отпали, донос обернулся правдой, а товарищи отца оказались не такими уж и товарищами. Сомнения отпали, но недоумение, почему отец поступил столь нелогично, осталось. Только значительно позже я понял истоки его поведения.

Итак, поверил ли отец сообщению Галюкова? Теперь мне кажется, скорее да, чем нет. Возможно, не до конца. Сомневался. Хотелось ошибиться. Ведь все они не только соратники, но и друзья. С отцом связаны их приход во власть, первые назначения, они вместе работали до войны, вместе прошли войну, вместе вернулись к мирному труду. Он их перетащил с Украины в Москву, видел в них твердую опору, людей, которым можно доверять. И тут такое… Но они же политики!.. Так почему же отец даже не попытался всесторонне проверить информацию, полученную от Галюкова? Беседу с Микояном нельзя принимать всерьез. Такое поведение совсем не в характере отца, человека энергичного и решительного.

В 1957 году в аналогичной ситуации он оперативно привлек на свою сторону армию и госбезопасность, правда Галюков сообщил, что Семичастный в стане противника. Ну а Малиновский? Отец имел все основания на него рассчитывать. Позволю себе напомнить читателям, что в 1943 году после

самоубийства члена Военного совета армии Ларина, когда Сталин уже занес топор над головой ее командующего Малиновского, отцу с большим трудом удалось отвести удар. Малиновский об этом знал и, надо отдать ему должное, в ответ на предварительный зондаж Шелеста, ответил однозначно, что «вмешиваться в решения внутриполитических проблем он не станет».

Однако отец даже не позвонил ему… Он уехал из Москвы, предоставляя своим противникам свободу действий. Такому поведению можно дать единственное объяснение: он просто не хотел сопротивляться.

Но почему?

Видимо, дело в том, что после своего семидесятилетия отец всерьез собрался уходить. Тогда все сходится. В такой ситуации отцу приходилось выбирать между никому неизвестным бывшим охранником и своими много раз проверенными товарищами. О его психологическом состоянии можно судить по такому, на первый взгляд, незначительному эпизоду. Дмитрий Степанович Полянский, заместитель председателя правительства, замещавший отца на время отпуска, в одном из своих интервью вспоминал о разговоре с Хрущевым по телефону. Отец из Пицунды позвонил исполняющему обязанности Председателя Совета Министров по какому-то сиюминутному делу. В заключение разговора, прощаясь, он задал, казалось бы, нейтральный вопрос:

— Ну как вы там без меня?

— Все нормально, — ответил Полянский, — ждем вас.

— Так уж и ждете? — с грустной иронией переспросил отец.

Интуиция политика взывала к борьбе, но отцу очень не хотелось полагаться на интуицию.

А теперь допустим, он отбросил бы сомнения и ввязался в драку. Обстановка в 1964 году коренным образом отличалась от 1957 года. Тогда он сражался с открытыми сталинистами, речь шла о том, по какому пути двигаться дальше: сталинскому или общечеловеческому. От исхода битвы зависела судьба страны. Отец принял бой и победил.

Сейчас же в Президиуме ЦК сидят его соратники, люди, которых он сам отбирал все эти семь лет. Нет, он не считал их идеальными, на ближайшем Пленуме собирался кое-кого заменить, но тем не менее… Они вместе делали одно дело, хуже или лучше, но одно и вместе. Теперь их обвинили в том, что они решили поторопить естественный ход событий, получить сегодня то, что и так предназначалось им завтра. И сразиться с ними?! Со своими?! За что?!

Я не принимаю во внимание, что в 1964 году отец победить не мог. Его не поддерживал ни аппарат, ни армия, ни КГБ — реальные участники спектакля, ни народ, которому отводилось место в зрительном зале, отгороженном от сцены глубокой «оркестровой ямой». Время отца прошло. Но он-то об этом не знал.

А что же ожидало отца и страну в случае победы?

Логика борьбы бескомпромиссна. Победитель обязан устранить с политической арены побежденных. Сталин решал вопрос «кардинально», в цивилизованном мире поражение означает отставку, переход в оппозицию. Итак, победителю-отцу предстояло бы отстранить от дел своих ближайших соратников, тех, кого он подбирал последние годы, тех, кому собирался передать власть.

А дальше? Дальше пришлось бы искать новых все там же, вблизи от вершины властной пирамиды. Снова искать там, где он уже отобрал, по его мнению, лучших. Взбудоражить страну и после всего этого уйти в отставку, оставив страну на этих, на новых. Неизбежно возникала мысль: «А будут ли они лучше старых? Стоит ли игра свеч?» Видимо, отец посчитал, что лучше положиться на судьбу и не вмешиваться в естественное течение событий.

При таком предположении отъезд в Пицунду — логически объяснимый шаг. Как и оставленный без последствий разговор Галюкова со мной… И Подгорный, наделенный на эти дни всей полнотой власти… И телефонный разговор с Полянским, которому он издали погрозил пальчиком… Отец не хотел действовать. Если Галюков ошибся — тем лучше, не придется возводить напраслину на друзей. Если нет, то пусть будет что будет. Он готов уйти…

Я никогда не говорил на эту тему с отцом. Слишком болезненными для него оставались воспоминания об октябрьских днях 1964-го. Но сам я много думал о событиях тех недель. Иного объяснения я не нахожу. Возможно, кто-то думает иначе. Его право. Нам остаются только домыслы, догадки, логические построения. Правда ушла вместе с отцом.

Развязка

Закончив говорить с Москвой, отец попросил Бунаева подготовить самолет на после полудня следующего дня, утром он обещал принять Гастона Палевски, французского государственного министра по делам научных исследований. Газеты об этой встрече уже не напишут. В половине третьего 13

октября Ил-18 с отцом и Микояном на борту приземлится во Внуковском аэропорту, откуда отец прямиком отправится в Кремль на последнее в своей жизни заседание Президиума ЦК. Заседали два дня. Все завершилось 14 октября. Заявление об отставке по причине «преклонного возраста и слабого здоровья» от имени отца составили Гришин и Ильичев. Последний — уже сам приговоренный к тому же. То ли это иезуитская месть Суслова, то ли сам Ильичев таким образом попытался выслужиться перед новой властью. Отец подписал подсунутый ему листок и нашел в себе силы напутствовать бывших соратников: «Если дела у вас пойдут хорошо, я буду только радоваться, следить за ними в сообщениях газет».

В тот день я поджидал отца в резиденции на Ленинских горах. Нервно гулял во дворе, благо пришло тепло, светило солнце, наступило бабье лето. Наконец тяжело раскрылись массивные железные ворота, в них вполз черный ЗИЛ. Отец вернулся. Я вздохнул с облегчением, ведь мог и не вернуться. Сталинские методы и приемы тогда еще не растворились в дымке истории.

Я поспешил навстречу отцу. Он же тяжело вылез из машины и, держа в руке свой черный портфель, подарок каких-то аргентинских визитеров, направился не в дом, а в противоположном направлении, пошел по асфальтированной дорожке, обрамленной молодыми березками, поблескивающими в лучах солнца своими золотистыми листочками. Когда я догнал отца, он сунул мне в руки портфель. Какое-то время мы шли молча.

— Всё, в отставке, — нарушил молчание отец, а затем произнес: — Если бы в своей жизни я сделал только одно, изменил нашу жизнь так, что стало возможным отстранить первое лицо от власти без крови, простым голосованием, я бы мог считать, что прожил свою жизнь не напрасно…

«Когда в редакцию газеты, где я (журналист Анатолий Стреляный. — *С. Х.*) работал, пришло сообщение о переменах в Кремле, был праздник, Тамара Г. плясала на столе, мы дружно и уверенно ждали лучшего…»

После Хрущева

Избранный Первым секретарем Брежнев вместе с Подгорным, Полянским и новым главой правительства Косыгиным отпраздновали освобождение Хрущева от должности или, скорее, свое освобождение от Хрущева грандиозной охотой в Завидово с последующим застольем. К ним в компанию напросился и

Шелепин, до того на охоту никогда не ездивший. Он подобное времяпрепровождение не уважал, но и боялся оставлять «союзников» без присмотра.

В ноябре собрали Пленум ЦК, но не реформационный, как намечал отец, а «реставрационный». Пленум восстановил единые обкомы, упразднил межрайонные производственные управления и вернул всевластие сельским райкомам. Бюрократия возвращалась к привычно-спокойному существованию.

В благодарность за поддержку Брежнев перевел в члены Президиума Шелеста и Шелепина, кандидатом стал секретарь ЦК Петр Нилович Демичев. Последний — человек Шелепина. В заключение Пленум вывел из ЦК Аджубея, а Полякова лишил звания секретаря ЦК. Ильичева пока не тронули. Отец остался в рядовых членах ЦК, правда, посещать Пленумы ему «не рекомендовали». Он возмущался, но поделать ничего не мог.

Семичастный наконец-то получил вожделенные лампасы, его единым росчерком пера произвели из лейтенантов запаса в действующие генерал-полковники.

Перераспределив портфели, «новая власть», как это заведено, взялась за «исправление ошибок» предыдущей администрации, как истинных, так и мнимых. Благо, никакое правительство не обходится без просчетов. Тон задавали, как и прежде, украинцы. 6 ноября 1964 года Шелест в «правдинском» подвале, озаглавленном «В борьбе за подъем сельского хозяйства», объявил, что на днях ЦК КПУ и СМ УССР приняли решение, отменявшее ими же установленные несколько лет назад необоснованные ограничения, накладываемые на личное подсобное хозяйство колхозников, и рекомендовали восстановить размеры приусадебных участков, разрешить содержать в личном пользовании колхозников скот и птицу. Местные органы обязывались содействовать хорошо работавшим в артели труженикам в приобретении кормов.

В общесоюзном масштабе никаких ограничивающих приусадебные участки постановлений не принималось, поэтому ничего и отменять не требовалось. Как я уже писал, отец говорил о целесообразности объединения в единый массив разбросанных по деревне огородов. Тогда и технику можно применить, и агротехнику улучшить, но только с согласия и по воле самих колхозников. Дальше разговоров дело не пошло и, соответственно, на местах, за исключением Украины, тоже ничего не предпринимали. Там не в меру ретивый Шелест приказал приступить к обмеру индивидуальных наделов, чем не на шутку переполошил селян. К счастью, обмерами все и ограничилось. Теперь Шелест исправлял собственные «необоснованные»

перегибы.

11 декабря 1964 года отца освободили от председательства в Конституционной комиссии и одновременно поставили крест на самой Конституции с ее альтернативными выборами, ограничением пребывания на высших государственных постах, профессиональным парламентом… В марте 1966 года XXIII съезд КПСС отменит записанные в Устав партии два срока для членов партийных комитетов, переименует «Президиум» ЦК в «Политбюро», а «Первого» секретаря ЦК — в «Генерального» и, естественно, не выберет Хрущева в новый состав Центрального Комитета.

Брежнева, человека слабохарактерного и во всем обязанного отцу, по всей видимости, мучила совесть, постоянно напоминая ему о совершенном предательстве. В силу той же слабохарактерности, он нуждался в допинге, постоянном подтверждении собственной «правоты», что вело к демонизации образа Хрущева. Однако начать открытую антихрущевскую кампанию, к чему призывали Шелепин и Семичастный, он так и не решился. Фамилию Хрущева просто перестали упоминать ни по-плохому, ни по-хорошему. В Крыму село Никита, в котором расположен одноименный ботанический сад и мимо которого Брежнев проезжал по дороге на государственную дачу в Ливадии, чтобы не раздражать Леонида Ильича, переименовали в Ботаническое. Дошло до того, что даже в изданной архивным управлением МИДа переписке отца с американским президентом Эйзенхауэром отправляемые с нашей стороны письма «подписывались» бесфамильным титулом Председателя Совета Министров СССР. Абстрактно судачили о волюнтаризме и субъективизме. Что само по себе, как я уже писал, лишено какого-либо содержания. Волюнтаризм — по существу, способность руководителя принимать решения и брать на себя ответственность, а субъективизм означает, что этот субъект имеет собственное мнение. Другое дело, применяются эти качества во благо или во вред, но к самому «волюнтаризу-субъективизму» последнее отношения не имеет. Однако эти бессмысленные по своему содержанию ярлыки привились и вошли в повседневный обиход.

Пошли под нож многотысячные тиражи написанных, вернее надиктованных, отцом сборников выступлений, в том числе и восемь томов о сельском хозяйстве. Выступления отца мне тогда, как и большинству россиян, казались скучными. Я их оценил, только занявшись написанием этой книги.

Да что книги? Их в России, как только автор впадал в опалу, уничтожали всегда. Пропало большинство подарков,

преподнесенных отцу, в основном иностранными визитерами. Все, что, по мнению мамы, представляло ценность, она отправляла в ЦК на сохранение. Там под них даже выделили специальное помещение. Когда же отец стал отставником, что-то «прилипло» неизвестно к чьим к рукам, остальное отправили в музеи. Вскоре музейщикам приказали подарки списать «как не представлявшие художественной и исторической ценности».

Но «вычеркнуть» Хрущева из собственной памяти Брежнев так и не смог, до самой смерти продолжал искать оправдание себе и своему поступку, не находил и внутренне все сильнее ненавидел отца.

Серьезно за «доставшееся от Хрущева наследство» взялись весной 1965 года. На открывшемся 24 марта 1965 года Пленуме ЦК Брежнев докладывал о сельском хозяйстве. Выступление получилось бесцветным, без диалога с сидевшими в зале, без привычных для Хрущева примеров и цифр, которые он то и дело, отвлекаясь от текста, извлекал из своей памяти. Читал Леонид Ильич по написанному, не отрываясь, но с выражением, слова произносил четко, не шепелявил. Докладчик напирал на «негатив». В сельскохозяйственном производстве, за семилетку намечали рост на 70 процентов, а получилось только 10. Темп годового прироста валовой продукции в семилетке упал с 7,6 процента (в 1955–1959 годах) до 1,9 процента (в 1959–1964 годах). В 1964 году поголовье крупного рогатого скота по сравнению с прошлым пятилетием сократилось в два раза, уменьшилось поголовье свиней, овец и птицы, удои сократились на 370 килограммов на среднестатистическую корову. Если в 1955–1959 годах урожайность увеличивалась на 1,7 процента с гектара, то в 1960–1964 годах — только на 0,8 центнера.

— После 1959 года рост прекратился! — патетически восклицает Брежнев.

Собственно, ничего нового он не сказал, о том же перед отставкой постоянно твердил и отец. Однако с цифрами Брежнев кое-где напутал, а скорее, чуть подтасовал.

Согласно статистическому сборнику «Сельское хозяйство СССР» (М.,1971), поголовье рогатого скота за 1959–1964 годы не уменьшилось, а возросло с 70,8 миллионов голов до 85,4 миллиона, то же самое и с овцами (129 миллионов в 1959 году и 133,9 миллионов в 1964-м). Количество же свиней действительно уменьшилось с 48,7 миллионов в 1959 году до 40,9 миллионов в 1964 году. Именно в 1964-м! Из-за неурожая в 1963 году их в тот год пустили на мясо. В предыдущем, 1962 году свиное поголовье достигало 70,0 миллионов, потом резко упало и снова начало расти, в 1965-м — поднялось уже до 52,8 миллиона. Свиньи

размножаются быстро.

Что касается урожайности зерновых с гектара, то без достаточного количества удобрений она зависит от Бога да от погоды — прольется во время дождик, урожайность подрастет, посушит суховей — упадет… В большинстве примеров Брежнев отталкивался от 1959 года, первого года семилетки, а по урожайности за исходный взял 1960 год. Все просто: в 1959 году собрали 10,4 центнера с гектара, а в 1960-м — 10,9. Если сравнить 1964 год с 1959-м, прирост получится больше, а с 1960-м — меньше. На самом деле обе приведенные Брежневым цифры от лукавого: за 1955–1959 годы урожайность возросла с 8,4 центнера до 10,4, то есть на 2 центнера, а с 1959 по 1964-й — на один центнер. Но если сравнить данные 1956 и 1959 годов, то прирост получится всего в полцентнера, а за 1959 и 1965 — она упадет почти на центнер. Так что по делу они не говорят ни о чем.

А вот замедление темпов роста валовой продукции действительно сигнал очень тревожный. Они сократились не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, правда, не столь заметно. Для того чтобы переломить негативную тенденцию, отец и затевал новую реформу.

Однако Брежнев не заикнулся ни о передаче власти на местах директорам-менеджерам, ни о сокращении вмешательства государства в их дела, не упомянул он и о ведущемся уже третий год эксперименте. Во всех бедах докладчик винил «волюнтаризм и субъективизм», обещал, что теперь, когда с этим покончено, дела выправятся.

Зерновую проблему Брежнев решал по-простому: начиная с 1965 года и на следующие пять лет до 1970 года предложил снизить лимит закупок зерна государством с 64 миллионов тонн до 54,4 миллиона тонн. И это при том, что по расчетам Госплана для обеспечения нужд населения страны, возрастающего с 229 миллионов в 1964 году до 250 миллионов человек в 1970-м, требовалось собирать 224–256 миллионов тонн зерна и, соответственно, отдавать государству 40 процентов от общего сбора — приблизительно 90 — 100 миллионов тонн. Недостачу в 35–45 миллионов тонн к 1970 году Брежнев предполагал покрывать за счет закупок зерна за границей. В этом — принципиальная разница между отцом, нацеленным на развитие собственных сельскохозяйственных ресурсов, считавшим импорт зерна в 1963 году позором для себя и для страны, и Брежневым, не видевшем ничего зазорного в закупках зерна по миру.

Далее Брежнев предложил увеличить централизованные капиталовложения в сельское хозяйство. Тут он следовал в

кильватере за отцом. Это при Хрущеве государство увеличило прямые инвестиции в сельское хозяйство с 985 миллионов рублей в 1953 году до 5 миллиардов 100 миллионов в 1963-м, денежные доходы колхозников за тот же период, соответственно, возросли с 3,8 миллиарда рублей в год до 16 миллиардов, а неделимые фонды колхозов — с 5 миллиардов 444 миллионов до 29 миллиардов 900 миллионов рублей. Все эти цифры в пореформенных, 1961 года, рублях.

Правда, по словам Брежнева, основной рост пришелся на 1954–1958 годы, когда сельскому хозяйству доставалось 11,3 процента централизованных капиталовложений, а в семилетке 1959–1965 годов ему выделялось всего 7,5 процента. Отсюда и все беды.

Отец считал сокращение дотации принципиальным, хватит уповать на государство, пришла пора крестьянам научиться зарабатывать самим. Ведь и в бюджете деньги не дармовые, чтобы кому-то приплатить, приходится у кого-то отбирать. Свое мнение отец основывал на результатах эксперимента Худенко, его совхозы процветали и без дотаций.

Брежнев также посчитал необходимым простимулировать производителей дополнительным повышением закупочных цен на пшеницу и рожь, примерно на рубль за центнер, а в случае продажи зерна сверх плана — еще плюс на 50 процентов. При плане заготовок в 50 с лишним миллионов тонн этот рубль или рубль с полтиной оборачивались в расходной статье бюджета более чем полумиллиардом. Закупочные цены на мясо тоже возрастали на 55–70 процентов. Мера, что и говорить, действенная.

И отец повышал цены — с 97 копеек за центнер пшеницы в 1952 году до 7 рублей 56 копеек в 1963-м, с 2 рублей 3 копеек за центнер говядины до 79 рублей 90 копеек, а за свинину с 6 рублей 72 копеек до 98 рублей. Затем он остановился. (И здесь все цены исчислены в новых рублях.)

Дополнительные деньги брались, естественно, из бюджета, за счет увеличения цен на другие товары. В результате такой чересполосицы производители уже давно не понимали, что на самом деле им выгодно, а что убыточно. Именно поэтому еще в 1959 году договорились переходить на прозрачные цены единого уровня. К 1962 году стало окончательно ясно, что бездумное субсидирование не столько помогает сельскому хозяйству, сколько развращает, запутывает и без того непростые отношения в социалистической экономике. Однако вернуться к естественной схеме взаимоотношений продавца и потребителя оказалось непросто. Всем хорошо запомнилось, что произошло в 1962 году в

Новочеркасске, когда Хрущев попытался майское повышение закупочных цен на мясо и молоко сбалансировать июньским повышением розничных цен на те же товары. С событий в Новочеркасске и начался поиск иных форм повышения эффективности ведения хозяйства на селе. Собственно, после них и развернулась дискуссия вокруг прибыли, приступили к подготовке к новой реформе.

К сожалению, Брежнев не очень задумывался, откуда возьмутся дополнительные средства. Он считал — это забота специалистов в Госплане и Минфине с Госбанком. Для того их туда и посадили. Специалисты же тоже не волшебники, они могли лишь по примеру тришкина кафтана, перебросить ресурсы из одних статей бюджета в другие, простимулировать рост в одном месте, замедлив его в обескровленных отраслях, или попросту напечатать деньги, разбалансировав тем самым наличие товаров на полках магазинов с денежной массой, осознанно пойти на дефицит в торговле. Какой тогда избрали путь, я не знаю, наверное, оба.

Еще Брежнев говорил о необходимости увеличения производства сельскохозяйственных машин, об ирригации, по сути, повторял слова Хрущева, произнесенные на двух предыдущих «сельскохозяйственных» Пленумах, предложил, и весьма разумно, взимать с колхозов подоходный налог не со всего произведенного валового продукта, а с чистого дохода.

Если абстрагироваться от риторики, то доклад на Пленуме прошел в русле «дальнейшего продолжения хрущевских аграрных реформ, как они замышлялись еще в 1953 году».

Но, как правильно объяснил в докладе сам Брежнев, принципы, заложенные в реформу 1953 года, исчерпали себя уже к 1959 году. Для дальнейшего продвижения вперед требовалось что-то новое, поиском чего и занимался отец последние три года. Как далеко и куда мог зайти Хрущев в своих реформах, остается только гадать, а вот избранный Брежневым путь бюджетных вливаний в сельское хозяйство дал очень кратковременный эффект. Реформа Брежнева напоминала отживший свой срок аккумулятор, зарядку он еще принимает, но уже через час-другой работы перестает давать ток, и теперь уже навсегда.

В заключение 26 марта Пленум решил кадровые вопросы. В члены Президиума ЦК избрали Мазурова и назначили его первым заместителем главы правительства. Тем самым Брежнев сбалансировал Косыгина, ничем ему не обязанного и мало от него зависимого. Устинова, старинного приятеля Леонида Ильича, сделали кандидатом в члены Президиума и перевели в секретари ЦК. Брежнев побаивался ставшего «вторым»

напористого Подгорного и на всякий случай решил «разбавить» Секретариат преданным себе человеком. Одновременно из секретарей ЦК, в угоду Суслову, все-таки уволили Ильичева.

Кадровая чистка не затронула «непотопляемого» Микояна. Несмотря на близость к Хрущеву, он сохранил все свои посты, остался членом Президиума ЦК и Председателем Президиума Верховного Совета СССР, что породило массу домыслов о роли Анастаса Ивановича во всей этой истории. Судачили, что он в заговоре не просто участвовал, но и сыграл одну из ключевых ролей — «как надо» провел беседу с Галюковым, развеял подозрения отца, до последнего момента неотступно следил за ним.

Не знаю, что и сказать. Эта теория весьма логична и «подтверждается» фактами, но, на мой взгляд, никак не соответствует сущности Микояна. Скорее всего, Анастас Иванович с первого же момента тщательно рассчитывал каждый свой шаг, чтобы, как это случалось не раз в прошлом, выиграть при любом повороте событий. Так он вел себя в июне 1953-го и в июне 1957-го, такую же стратегию он избрал и в октябре 1964 года. Микоян не сомневался: «умный армянин» пригодится всем. И просчитался. Брежнев в «умном армянине» не только не нуждался, тот его попросту раздражал, а вот в его месте Председателя Президиума Верховного Совета Леонид Ильич нуждался, и очень. При первой же возможности в конце 1965 года он выпроводил на пенсию, достигшего семидесяти лет Микояна и перевел внушавшего ему постоянные подозрения Подгорного из секретарей ЦК в Председатели Президиума Верховного Совета.

Микоян до конца своих дней убеждал всех, что он ушел сам, не мог и не хотел работать с «этой компанией». Но мы-то знаем цену таким заявлениям вынужденных пенсионеров.

С отставкой отца менялся на глазах общий настрой в стране. Уже 24 ноября Ф. Табеев, секретарь Татарского обкома, в недавно еще реформаторских «Известиях», призвал придать «экономическому поиску научную основу». Он утверждал, что общепринятая оценка эффективности предприятий по нормативной стоимости обработки давно доказала свое право на жизнь, менять ее нет смысла, а разговоры о прибыли просто вредны. Таких статей за подписью секретарей обкомов становилось все больше, звучали они все решительнее. Руководители совнархозов молчали, выжидали, как определится начальство в Москве.

Реформаторы, не понимая, что эпоха реформ заканчивается, тем не менее, продолжали проталкивать свои предложения. Газеты по инерции их публиковали, еще не до конца осознавая,

что они идут из хрущевского прошлого. 4 декабря 1964 года Белкин с Бирманом тиснули в «Известиях» новую-старую статью о прибыли как универсальной мере успеха, о «свободных», согласованных с покупателем ценах, об отмене контроля за численностью работников и фонда заработной платы, обо всем том, что еще не стало крамолой, но в отсутствие отца потеряло какую-либо актуальность.

Открывшийся 27 сентября 1965 года Пленум ЦК обсудил вопрос «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании и усилении экономического стимулирования промышленного производства» и подвел итог реформаторству. Докладывал Председатель Правительства Алексей Николаевич Косыгин. Две трети доклада и принятого по итогам Пленума постановления посвящены восстановлению центральных министерств и упразднению совнархозов. Совнархозы с самого начала их образования Косыгину как кость в горле, и даже на исходе своей карьеры, на заседании Политбюро 30 марта 1972 года, он отзовется о них как о «проявлении национализма».

В 1965 году по Москве ходили слухи, что за совнархозы вступился Подгорный, его поддержали региональные руководители. Подгорный с Косыгиным крепко поцапались. Брежнев держал нейтралитет. Победил Косыгин.

В последней трети доклада он говорил о даруемых директорам свободах, по существу — уступке свергнутому Хрущеву. Но именно эта уступка и прославила Косыгина. Такая расстановка приоритетов в докладе: две трети восстановлению властной вертикали, треть — свободе предприятиям как нельзя лучше отражает сущность реформаторства Косыгина: страсть к порядку, стремление все разложить по полочкам и убежденность, что все заработает само собой, если только не перепутать полочки. Он требовал, чтобы все в государстве делалось согласно иерархии, команды спускались сверху вниз, а доклады об их исполнении шли снизу вверх.

«Косыгин слыл опытным хозяйственником, хотя в нем слишком сильна была жилка администрирования», — свидетельствует, как всегда осторожный, Микоян.

Мне тоже припоминаются некоторые эпизоды из наступавшей эры нового порядка. Так мой шеф, конструктор ракет Владимир Николаевич Челомей, в 1965 году по прямой связи попытался доложить главе правительства об успешном испытании своей межконтинентальной баллистической ракеты. Ракетные конструкторы Королев, Янгель, Челомей, Макеев привыкли звонить отцу сразу после пуска, радовали его очередным успехом или докладывали о неудаче.

Косыгин поднял трубку телефона, безо всяких эмоций выслушал восторженный доклад Челомея и задал единственный вопрос: «Зачем вы все это мне говорите? У вас, что, своего министра нет?» Надо было видеть лицо Челомея.

Позволю себе еще один характерный пример. В 1965–1966 году Челомей задумал первую в мире орбитальную обитаемую станцию «Алмаз». Работа предстояла огромная, с участием сотен предприятий и десятков министерств. Начали готовить постановление правительства. Главный ведущий разработки Володя Поляченко с проектом постановления день за днем объезжал заинтересованные министерства и ведомства, собирал визы. Сбор подписей занял более года. Когда на проекте постановления расписался последний чиновник, первый — свою подпись снял, время ушло. Все предстояло начинать сначала.

Много позже, уже в 1990-е годы, в США, во время ежегодного форума американских славистов, а они объединяют всех от литературоведов до историков техники, я попал на заседание ракетной секции. Подтянутый моложавый подполковник Смит из Военно-воздушной академии докладывал о структуре руководства космическими исследованиями в Советском Союзе. На плакатах квадратиками, соединенными цветными стрелками, обозначилась вся государственная иерархия: председатель правительства наверху, главный конструктор в самом низу, а между ними — лабиринт госкомитетовских и министерских главков. Докладчик безошибочно ориентировался во всех хитросплетениях схемы, но вывод его прозвучал обескураживающе: такая структура неработоспособна. Но структура работала, успехи Советского Союза в космосе тому свидетельство.

Пришлось мне вмешаться, пояснить, что, к примеру, Королев общался не со «своим» клерком в Госкомитете, как того требует схема, а звонил напрямую Хрущеву. В случае одобрения предложений конструктора они вместе продавливали бюрократию и не снизу вверх, а сверху вниз, да еще всем весом первого лица в государстве. Энтропия отступала, и все начинало крутиться.

К чему я это рассказал? Подполковник Смит сообразил, что столь сложная централизованная бюрократическая структура в принципе неработоспособна, а вот Косыгин, к сожалению, этого не понимал в 1965 году и не понял до конца дней своих. Все силы он тратил на усовершенствование бюрократии, встраивание новых вертикалей и параллелей.

У меня к Косыгину-бюрократу и Косыгину-человеку двойственное отношение. О бюрократизме его я уже высказался, в нем корни его личной драмы государственного деятеля. Если же

говорить о человеческой порядочности, то я среди знакомых мне политиков высокого ранга, кроме, естественно, отца, назвал бы Куусинена и Косыгина, да в какой-то степени Микояна. Из незнакомых — Николая Ивановича Рыжкова. Больше никто на ум не приходит.

Теперь несколько слов о последней трети реформы Косыгина.

Для начала процитирую Белкина, свидетеля и участника подготовки этого раздела доклада нового председателя правительства. «Сместили Хрущева, и новые руководители страны занялись прежде всего ликвидацией хрущевского наследия — упразднением совнархозов и воссозданием отраслевых министерств, — пишет Виктор Данилович. — Тем не менее, Косыгину, до последнего времени всячески тормозившему реформу, на новом посту пришлось заняться ею. Он создал комиссию во главе с заместителем председателя Госплана Анатолием Васильевичем Коробовым. Заместителями к Коробову назначили бывшего члена комиссии Ваага, заместителя начальника ЦСУ СССР Ивана Степановича Малышева и академика Трапезникова, нашего с Бирманом коллегу и единомышленника. Что было в его силах, Малышев из проекта ГКНТ (о нем я писал в предыдущих главах) сохранил, и в урезанном виде Косыгин его озвучил на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС».

Как это порой случается в жизни, Косыгин, против воли, унаследовал от Хрущева вместе с постом главы правительства и его «ересь». Алексей Николаевич понимал, что от него ждут стимулирующего экономику решения и одним восстановлением министерской бюрократии не обойтись. Он, естественно, знал об эксперименте и понимал, что полностью его результаты проигнорировать не удастся. Дело зашло уже слишком далеко. Так обстоятельства заставили его приобщиться к «хрущевской реформе». Благодаря этому Косыгин прославился, и совершенно справедливо прославился своей «косыгинской» экономической реформой, давшей, пусть на время, пусть ограниченную, свободу директорам предприятий.

Перечислю кратко уцелевшие после всех утрусок и редактирований осколки от «хрущевской реформы». Сократились спускавшиеся предприятию сверху плановые показатели. Его работу теперь оценивали не только по реализации продукции, но и по прибыли. Предприятию позволили самому распоряжаться сверхплановой прибылью, расходовать ее на премии, развитие производства, улучшение быта работников. По результатам года, если его закончили успешно, всем выплачивали дополнительный месячный оклад, «тринадцатую зарплату», плюс предусматривались еще кое-какие менее значительные свободы и

льготы.

Дарованная директорам предприятий «воля» ограничивалась утвержденным наверху, в министерствах и Госплане, объемом реализации продукции, ее номенклатуры, фондом заработной платы, суммой еще только предполагаемой прибыли и будущей рентабельности, суммой обязательных платежей в бюджет и получаемых из бюджета ассигнований, а также объемом централизованных капиталовложений, планом по освоению новой техники, основными показателями материально-технического снабжения. В результате от намерений отца свести отношения предприятия с государством к отчислению последнему заранее оговоренной части прибыли, в косыгинской реформе остались рожки да ножки.

Прочитав доклад Косыгина, академик Трапезников горько пошутил: «Если из лучших швейцарских часов вынуть пару колесиков, они перестанут показывать время». Так произошло и с реформой, к сентябрю 1965 года из нее выковыряли не одно «колесико».

Одной из самых чувствительных потерь стал окончательный отказ от «цен единого уровня», предусматривающих прозрачные отношения производителя и потребителя, возврат к «сталинской» схеме «перекрестного опыления» отраслей, волюнтаристского, не побоюсь этого слова, перераспределения центром ресурсов от эффективно работающих предприятий к убыточным. Уже одно это ставило крест на стратегических перспективах реформы.

Когда изобретатель «цен единого уровня» профессор Белкин сунулся к вновь назначенному в октябре 1965 года председателю Госплана Байбакову со своими предложениями по реформе цен, тот, не дослушав, буквально выгнал его из кабинета. Больше Белкин ни в Госплан, ни в Совмин не совался. Ему оставалось только делиться своими обидами с нами, его коллегами по Институту электронных управляющих машин.

В промышленности Косыгин еще попытался что-то предпринять. В сельском хозяйстве — об экспериментаторе Худенко старались не вспоминать. Из трех совхозов ему оставили один, «Акчи», куда его и перевели на постоянную работу экономистом. В 1987 году «Литературная газета» в статье «Драма Акчи» проследила трагическую судьбу Акчи, самого Худенко, затухания, столь многообещающих в 1962–1964 годах начинаний. Худенко, вместе с директором совхоза корейцем Михаилом Васильевичем Ли, еще как-то держались до конца 1960-х годов. Потом все пошло под откос. В июне 1970 года совхоз ликвидировали, по официальной версии за убыточность. Что на самом деле происходило в июне 1970 года, запомнил один только

Белкин, и не только запомнил, но и записал.

— Эксперимент в Акчи следует срочно прекратить. Сейчас июнь, в августе-сентябре Худенко реализует продукцию, получит прибыль, тогда с ним не совладать, — «беспокоился» на заседании коллегии Минсельхоза Казахстана начальник планово-экономического отдела Е. Закшевский.

— Немедленно арестовать счет хозяйства в банке, — дал команду министр М. Г. Рогинец.

Счет арестовали, на нем, еще до реализации урожая, оказалось 2,1 миллиона рублей, при том, что до Худенко вся «стоимость» совхоза не превышала 1,6 миллиона. Но это уже никого не интересовало. Худенко обвинили в экономических прегрешениях, исключили из партии «за хищения». В 1973 году его посадили в тюрьму. В 1974 году, через три года после смерти отца, Худенко умер в колонии.

Такая вот печальная история.

Тем не менее, несмотря ни на вынутые колесики, косыгинская реформа как-то работала, по крайней мере в первые три года. В результате 8-я пятилетка 1966–1970 годов по темпам роста оказалась самой «успешной за послевоенные годы», общий прирост национального дохода составил 41 процент. Для сравнения: 32 процента в 7-й и 28 процентов в 9-й пятилетках. «Реальные доходы населения в 8-й пятилетке увеличились почти на треть, а в предыдущей семилетке только на двадцать процентов», — констатирует Белкин.

В мире циркулируют и иные цифры, советские историки говорили о 78-процентном росте советской экономики в 8-й пятилетке, американское ЦРУ оценивало увеличение национального советского продукта в 5 процентов.

«Уже через год, то есть к концу 1966 года стала очевидной необходимость развития реформы экономики, что в условиях возрожденной административно-командной системы оказалось невыполнимым. В 1968 году реформу спустили на тормозах, наиболее последовательных реформаторов, «адептов рыночного социализма», подвергли остракизму, но на сей раз обошлось без репрессий», — подводит итог реформаторству 1960-х годов профессор Виктор Данилович Белкин.

«Отход от политики децентрализации, возвращение к старой, министерской схеме обрекло экономику Советского Союза на медленное угасание: 5,7 процента роста в 1971–1975 гг. (3,1 по данным ЦРУ), 4,3 процента (2,2) в 1976–1980, 3,6 процента (1,8) в 1981–1985 и 3,2 процента (2,2) в 1986–1987 гг.», — подтверждает выводы Белкина американский профессор Евангелиста.

После 1987 года началась агония.

Оно и не могло получиться иначе. Косыгинская реформа попыталась сочетать несочетаемое: восстановление всевластия министерств с предоставлением свободы полностью от них зависящим предприятиям. Косыгин, сам того не желая и не понимая, сделал экономическую систему нестабильной. Чтобы выжить, она неизбежно должна была скатиться или к централизованному министерскому, или децентрализованному директорскому, нэповско-рыночному, устойчивому состоянию.

Последствия сделанного выбора не ограничивались одной экономикой. Освобождение директоров от всевластия министерств неизбежно привело бы к демократизации всего общества. Так появление «третьего сословия» в западноевропейский государствах преобразовало их, насильственно или мирно, из абсолютных монархий в парламентские государства. Наше «третье сословие» — директора, обретя экономическую свободу, не могли бы не потребовать четко зафиксировать в законах, в Конституции, свои права, четко обозначить взаимоотношения с политической властью. А это и есть фундамент демократии.

Выбрав «порядок», предпочтя министерскую вертикаль, Косыгин своими руками обрек реформу на поражение и вместе с ней похоронил надежды на демократизацию советского сообщества.

Своеобразным памятником косыгинской реформе стали глыбы-книги административных зданий на Новом Арбате. То есть они только после косыгинского Пленума стали административными, а до того проектировались как жилые многоэтажки с двухэтажными квартирами улучшенной планировки.

После реформы возник «дефицит» в десятки и даже сотни тысяч квадратных метров нежилой площади для размещения множества новых министерств, тысяч и тысяч новых чиновников. Естественно, в центре Москвы. Косыгин приказал срочно перепланировать новостройки на Новом Арбате под министерства. Переделка влетела в копеечку, но перед затратами не остановились, новорожденные министерства требовали жизненного пространства, настал час торжества бюрократии.

Примерно через год чиновники оккупировали «свои» многоэтажки, по вечерам дома-книги смотрели на проспект угрюмой слепотой нежилых окон. Только по праздникам, 1 Мая и 7 Ноября, министерства «оживлялись», выборочно в кабинетах зажигали свет, и получалось слово из четырех букв: КПСС или СССР.

«Косыгинская реформа» по своей сути лишь «афтершок»

уходивших в историю «хрущевских» реформаторских замыслов. Этим она и знаменательна. После нее наступил «застой». Он сопровождался бездумным и безумным расточительством.

Вслед за сельским хозяйством Брежнев принялся «исправлять» и другие допущенные Хрущевым «перекосы». Приступили к «восстановлению» надводного военного флота, стратегической авиации, сухопутных войск. В отличие от отца, Леонид Ильич денег не жалел и о глубине государственного кармана не задумывался. Ему хотелось ублажить всех, особенно военных, а последние настаивали на сбалансировании каждый «своего» рода войск с американскими.

Общая численность Вооруженных сил постепенно выросла с двух с половиной до пяти с половиной миллионов человек, то есть вернулась к «сталинской» цифре 1953 года. На верфях закладывались все новые и новые подводные лодки, эсминцы, крейсеры и даже авианосцы. Военные самолеты всех классов считали на тысячи. К концу 1980-х годов, их число, как и танков, перевалило за сорокатысячную отметку. Атомных пушек произвели более семи тысяч, тогда как отец считал возможным ограничиться всего двумя, не тысячами, а просто двумя, — одной пушкой и одним минометом. Провозя их по Красной площади во время праздников, он демонстрировал противникам наши возможности и одновременно не позволял транжирить ресурсы.

Неоправданно раздувались и ракетные войска. Известно, что отец благоволил к ракетчикам, но мало кто знает, что потолок роста ракетных войск стратегического назначения он ограничил примерно пятьюстами межконтинентальными ракетами с пятьюстами ядерными боеголовками, способными, по расчетам Генштаба, полностью разрушить инфраструктуру США. По его мнению, это исключало возможность нападения на нас, а значит, и необходимость производства перечисленных выше обычных вооружений.

После Хрущева возобладала теория первого удара по пусковым позициям. Чтобы вывести из строя наши пятьсот ракет, американцы, по мнению этих теоретиков, запускали тысячу своих, для нейтрализации их тысячи наши ракетчики заказывали уже две тысячи, а они в свою очередь — четыре, и так без конца. Наши вместе с ненашими, «помогая» друг другу, обкусывали каждый свой бюджет, как обкусывают пирог дорвавшиеся до него крысы. Естественно, чем пирог меньше, тем скорее ему приходит конец.

В 1961 году, покидая Белый дом, президент Эйзенхауэр предостерег своих сограждан, что если военно-промышленный комплекс дорвется до реальной власти, то стране, неважно какой, США или СССР, грозит катастрофа. Первой погибнет та, у

которой экономика окажется слабее. Стремясь сбалансировать всё и вся, флот с флотом, военно-воздушные силы с военно-воздушными силами и так далее, обе стороны тратили на «оборону» примерно одинаковые суммы, а вот в процентном отношении к размерам экономики страны военные затраты Советского Союза значительно превышали американские. В результате деньги, которые отец рассчитывал потратить с пользой, на которые собирался «строить коммунизм», вылетали в трубу, год от года магазинные полки пустели, пока не опустели окончательно. В 1980-е годы двадцать процентов семей продолжали стоять в очереди на улучшение жилищных условий. Расходы на здравоохранение сократились с шести процентов от общего национального продукта в 1960-е годы, до трех в начале 1980-х годов, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Положение усугублял «праздничный» характер Брежнева, не утруждавшего себя ни беседами с заумными академиками, ни диктовкой бесконечных записок. Помощники зачитывали ему проекты написанных речеписцами выступлений или представленных чиновниками законов, он их иногда выслушивал, а бывало, капризно просил не портить настроение. Карен Брутенец, заместитель заведующего Международным отделом ЦК и один из многочисленных брежневских спичрайтеров, так вспоминает о своей «работе» с Брежневым в Завидово: «Брежнев все больше времени уделял охоте, занимаясь государственными делами в перерывах между загонами на зверя. Однажды понадобилось решить неотложный вопрос. Брежнев ужинал после удачной “засады” на кабана. И тут, на свою голову, его помощник Александр Михайлович Александров-Агентов, его тоже пригласили к столу, заговорил об огромном влиянии Японии в современном мире. Естественная тема разговора в обществе государственных мужей. Однако Брежнев впал в сильнейшее раздражение, резко отчитал Александра Михайловича за то, что тот не дает спокойно поужинать».

В другой раз, тоже в Завидово, тоже во время трапезы, Леонид Ильич отчитал другого помощника, посмевшего беспокоить его «бумажками». «Нет от вас никакого покоя!», — возмутился он, не читая бросил их на пол и вернулся к обсуждению удачного выстрела.

Если проводить параллели с предреволюционной Россией, Брежнев — это советский Николай II — безвольный самодержец всея Руси. Они оба больше интересовались охотничьими трофеями и прочими развлечениями, чем лежавшей у их ног страной. Как Николай II в своем дневнике перечислял убитых на утренней прогулке ворон и подсчитывал кубические сажени

распиленных им дров, так и Леонид Ильич лично составлял списки, кому из друзей отправить фельдсвязью куски ляжки застреленного им кабана. Из таких эпизодов и состояла жизнь обоих российских «самодержцев», добрых к своим близким, но равнодушных к стране… И Брежнев, и Николай II, сами того не желая, сделали все возможное и даже невозможное для уничтожения собственной страны. Оба они, такие мягкие и податливые в умелых женских руках, вдруг упирались, не желая слушаться ничьих разумных советов, ни Сергея Витте, ни Петра Столыпина, ни Геннадия Воронова, при первой возможности избавлялись от непрошенных и «надоедливых» советчиков. А страна тем временем, все ускоряясь, катилась под откос, все глубже погружалась в энтропийный хаос, всегда заканчивающийся взрывом, революцией. Ни Владимир Ленин без Николая II, ни Борис Ельцин без Леонида Брежнева никогда бы не оказались там, куда их вознесло разрушительное правление их предшественников.

Брежнев с Косыгиным за два десятилетия непомерными и бессмысленными тратами обескровили экономику, и все мы получили то, что получили. В октябре 1964 года россиянам в самом кошмарном сне не могло привидеться, что, отказавшись от реформы, Советский Союз проиграет все: экономическое соревнование с Западом, холодную войну и, самое главное, профукает собственную страну, пустит по ветру становившееся все более ощутимым благосостояние людей.

Осознание причин происшедшего наступит еще нескоро, возможно, вообще не настанет, а на кого взвалить собственную вину и ответственность всегда найдется. Было бы желание.

Эпилог

Итого

«…Пройдет совсем немного времени, и забудется Манеж… А люди будут долго жить в его домах. Освобожденные им люди… И зла к нему никто не будет иметь — ни завтра, ни послезавтра. И истинное значение его для всех нас мы осознаем только спустя много лет… В нашей истории достаточно злодеев — ярких и сильных. Хрущев — та редкая, хотя и противоречивая фигура, которая олицетворяет собой не только добро, но отчаянное личное мужество, которому не грех поучиться и всем нам…» Так отозвался о Хрущеве кинорежиссер Михаил Ромм, я его цитировал в главе о скандале в Манеже и последовавших за ним событиях.

«Вот умру я, после моей смерти положат на одну чащу весов мои добрые дела, а на другую — худые. И перевесит добро, сделанное мною людям», — подводит итог жизни сам отец.

Давайте и мы подведем итоги хрущевского одиннадцатилетия. Времена отца, 1953–1964 годы, брежневская пропаганда без ссылок на какие-либо цифры и без всяких вразумительных объяснений объявила чередой неудач. После Брежнева советскую систему признали вообще не реформируемой, подлежащей сносу, но к хрущевским временам почему-то продолжают относиться особенно отрицательно.

Я не могу согласиться ни с теми, ни с другими. На самом деле все реформируемо, и Хрущев в своих реформах преуспел более своих предшественников и гораздо более своих «наследников». Только неудачники, разломавшие все напрочь, оправдываясь, в первую очередь перед собой, бормочут: «Не реформируемо, не реформируемо». Но на то они и неудачники.

Я не верю в реформаторство по заранее придуманному и продуманному сценарию от А до Я. Так мыслят догматики, с реальной жизнью очень мало знакомые. На самом деле реформа, как и война, состоит из череды боев, побед и поражений. Общий успех или неуспех кампании определяется приобретениями или потерями, не теми, о которых мечтали, а теми, которые получились. Приобрели больше, чем потеряли, — вы победитель, успешный реформатор. Нет — так нет. К сожалению, приобретения и победы тоже не вечны. Пришедшие на смену новые властители нередко сводят на нет все достижения как былых полководцев, так и реформаторов. Достаточно вспомнить Петра III, выведшего русские войска с германской территории, завоеванной кровью русских солдат, мастерством ее командиров во времена его предшественницы императрицы Елизаветы

Петровны, отдавшего без каких-либо компенсаций Берлин. Обидно, но обида — не основание, чтобы валить в одну кучу алкоголика Петра III и Елизавету Петровну, даже если ее труды пошли прахом.

Еще печальнее судьба реформ, начатых в XIX веке императором Александром II. Наследники престола Александр III и Николай II свели все его усилия на нет, чем подвели страну к революционному взрыву и последующим пертурбациям Гражданской войны, сопровождавшимися голодом и большим террором.

После разрушительной Второй мировой войны российское общество на конец-то вступило в нормальную, присущую всем цивилизованным сообществам стадию реформирования, выстраивания жизни в соответствии с изменившимися внешними условиями. Я имею в виду хрущевское одиннадцатилетие. Что-то начало получаться, появилась вера в будущее, и… все повторилось — реформы Хрущева, так же, как реформы Александра II, свелись на нет в период правления «наследовавшего» ему Брежнева. Затем, в 1991 году, последовала контрреволюция или, как ее сейчас модно называть — «реставрация». И все закрутилось по новой. Создается ощущение, что Россия пытается, но никак не может вырваться из заколдованного круга. И это кружение усугубляется российским максимализмом, при каждом новом повороте истории новые властители все построенное ранее сносят «до основанья, а затем…» начинают возводить с нуля собственное здание по собственному проекту.

Так поступал Петр I, не только переодевавший своих бояр и остригавший им бороды, но вместе с боярским облачением он отбросил весь потенциал начавшихся до него преобразований. Ленин, объявляя всю предшествующую историю России одной большой ошибкой, на свой лад вторил Петру. Последнее поколение большевиков-антикоммунистов XXI века шло по стопам Петра и Ленина, убаюкивало себя сказками, что они продолжатели дела давно сгинувших в истории Столыпина, Александра III, Иоанна Кронштадтского, и на этом основании отбрасывало прочь накопленное их непосредственными предшественниками. Дело тут не в самом Столыпине и его реформах, просто его проекты уже давно и до основания разрушила последующая власть и для будущего они больше не пригодны. Вот и получается, едва новое здание удается довести до второго этажа, как новое поколение «строителей» пускает его на слом, закладывает свой фундамент, возводит свои стены, и так повторяется из десятилетия в десятилетие, из века в век. Тогда

как более прагматичные соседи России при всех самых страшных катаклизмах ухитряются сохранить достижения предыдущих поколений, вот и растет здание их государственности этаж за этажом. Просто обида берет и руки опускаются.

Сейчас, когда я пишу эти строки, постельцинские руководители пытаются восстановить разрушенное, и у них кое-что получается. У страны снова появилась надежда, и не дай бог, чтобы их реформы постигла та же участь.

Меня часто просят назвать основное достижение и главную ошибку Хрущева. Я терялся, размышлял, что сказать, какое достижение выбрать из множества, какую из ошибок посчитать главной? Потом меня осенило! Главная личная ошибка отца в том, что он вообще все это затеял: строительство пятиэтажек, целину, кукурузу, ракеты, космос, десталинизацию-демократизацию. Ему бы жить в свое удовольствие, ремонтировать старые царские дворцы и палаты да строить новые архитектурные шедевры. И дожил бы он до глубокой старости, и память о себе оставил бы не многоквартирными «хрущобами», а «произведениями зодчества», не кукурузной эпопеей, а красивыми парковыми ансамблями с диковинными деревьями и фонтанами. Что же до россиян и их жизни, то о них в России всегда вспоминали в последнюю очередь, если вообще вспоминали. Вот только такая жизнь отца не устраивала, и он прожил свою по-своему и без сожаления.

В этой книге я попробовал разобраться, что на самом деле происходило во времена отца. Смею надеяться, что кое в чем я разобрался.

Итак, главный вопрос: осуществил ли отец задуманное? И да, и нет.

Если взглянуть на эпоху Хрущева непредвзято, то несомненно, многое ему реализовать удалось. Не все и не до конца, но в 1964 году россияне жили лучше, чем в 1953-м. Не настолько лучше, как отец предполагал, не настолько лучше, как им самим хотелось, но много лучше, в большем достатке, в новых квартирах, с уверенностью в завтрашнем дне. «Не скажу, что все жили хорошо, но лучше не жили ни до, ни после». Это слова постсоветского историка Николая Барсукова.

Статистика, как советская, так и западная, антисоветская, свидетельствует, что пик уровня жизни в России в XX веке приходится на середину 1960-х годов. Существуют обобщенные показатели, характеризующие «здоровье» нации. Первый из них — продолжительность жизни. В начале XX века, перед Октябрьской революцией 1917 года, американцы жили на пятнадцать лет дольше россиян. Сталинские репрессии, затем

война спутали все статистические «карты», в те годы продолжительность жизни исчислялась совсем по иным канонам.

После войны условия существования постепенно нормализовались. С 1955 года продолжительность жизни советских людей неуклонно росла, в 1955–1956 годах составляла 67 лет, по сравнению с 47 годами в предвоенные 1938–1939 годы. С 1958 года по 1962-й продолжительность жизнь увеличивается с 68,5 лет до 69,5, в 1964 году она достигает 70,5 лет. Для сравнения: американцы в 1958, и в 1960, и в 1962 году держатся на 70 годах и только в 1964-м этот показатель чуть подрастает — до 70,25. Затем кривые расходятся, уже в 1968 году продолжительность жизни россиян падает, сначала совсем немного, до 69,8 лет, а у американцев растет до 70,5. В 1980 году разрыв увеличивается: 74 с небольшим года в США, а в Советском Союзе до 1985 года она чуть колеблется между 67,7 и 69 годами. К концу XX века разрыв в продолжительности жизни в Америке и теперь в уже постсоветской России возвращается к исходным цифрам начала столетия — пятнадцати годам.

В 1962–1964 годах в СССР зарегистрирован и пик рождаемости, что свидетельствовало об уверенности людей в будущем. Одновременно вдвое уменьшилась детская смертность. В 1926 году из тысячи не доживало до одного года 78,9 родившихся, в 1953 — 68, а в 1964 — 29. К 1976 году этот показатель вырос до 31,1 на 1 000 родившихся. В результате в 1953–1964 годах население страны неуклонно увеличивалось и выросло с 178,5 миллионов человек в начале 1950-х годов до 229,2 миллионов к концу 1964 года.

Аналогичная картина и с мужской смертностью, к 1965 году она падает до самого низкого в XX веке уровня: 274 умерших на тысячу, а в 1973 года увеличивается до 312 тысяч, в 1981 году смертность достигает уже 357.

Приведу еще один экономический параметр: начиная с 1957 года эффективность хозяйственной деятельности оценивается как пропорция, составленная из капиталовложений к объему выпуска готовой продукции. Чем она ниже, то есть чем больше выработка на затраченный рубль, тем лучше.

Согласно статистике, приведенной в отчетах Мирового Банка за 1995 год, для СССР эти цифры минимальны в хрущевское десятилетие: 1,6 в 1950-е годы и около 2 в первую половину 1960-х, а потом начинают неуклонно расти и в 1970-е годы достигают 2,9. Сравнение хрущевской экономики 1953–1964 годов с азиатскими экономическими тиграми в период их бурного роста (японские — 2,3–3,2, южнокорейские — 2,8–3,7 и тайваньские 2,6–3,1) тоже оказывается в нашу пользу.

Эти обобщенные выводы подкрепляются и другими показателями, как то выработка на одного рабочего. В 1928–1939 годах она составляла в среднем 2,9, в 1940–1949 — 1,9, в 1950–1959 подскочила до 5,8 и далее покатилась вниз: в 1960–1969 — она уже 3,0, в 1970–1979 — 2,4, в 1980–1987 — 1,4. Та же картина и с капиталовложениями на одного рабочего: в 1928–1939 — 2,9, в 1940–1949 — 1,9, в 1950–1959 достигнут пик в 7,4, в 1960–1969 — 5,4, в 1970–1979 — 5,0, в 1980–1987 — 4,0.

А вот любопытные цифры об обновлении инфраструктуры, я взял их из сборников «Народное хозяйство СССР» за разные годы. Отсчет начинается с 1970 года. Оборудование моложе 5 лет в этом году — 41,1 %, 6 — 10 лет — 29,9 %, 11–20 лет — 20,9 % и старше 20 лет — всего 7,8 %. С годами соотношение меняется, инфраструктура стареет, я решил не нагромождать цифру на цифру и в подтверждение приведу только усредненные данные: в 1970 году средний возраст оборудования — 8,30 года, в 1980 — 9,31 года, в 1985 — 9,91 года, в 1989 — 10,32 года.

Теперь квартирный вопрос. Панельное жилье в народе прозвали «хрущобами», иногда несколько вежливее «хрущевками». Звучит пренебрежительно, и для моего уха обидно. Несомненно, панельные пятиэтажки обветшали, но согласно всем расчетам, они подлежали сносу еще в 1980-е годы. Состоявшаяся по инициативе Хрущева «панельная революция» в домостроении — знамение времени. Тут отец шел ноздря в ноздрю с европейцами, в первую очередь с англичанами. После немецких бомбардировок во время войны они тоже испытывали голод на жилье и тоже утоляли его с помощью сборного железобетона.

С 1950 по 1964 год жилой фонд в Советском Союзе вырос более чем вдвое, а если в конкретных цифрах, то в 1952–1958 годах сдали в эксплуатацию около 380 миллионов квадратных метров жилья, в 1959–1965 годах еще 767 миллионов, то есть в среднем в год сдавали по 107 миллионов квадратных метров.

В новые квартиры переехали: в 1950 году — 5,3 миллиона человек, в 1951 — 5,4 миллиона, в 1954 — 6,5 миллионов, в 1956 — 7,8 миллионов, в 1957 — 10,1 миллиона, в 1958 — 11,5 миллионов, в 1959 — 12,6 миллионов, в 1960 — 12 миллионов, в 1961 м — 11,3 миллиона, в 1962 — 11,2 миллиона, в 1963 — 11 миллионов, в 1964 — 10,3 миллиона. В 1961–1964 годах число людей, получавших жилье, сократилось, но не из-за уменьшения вводимых квадратных метров, в те годы начали проектировать квартиры большей площади с улучшенной планировкой. В сумме получилось, что за 1953–1964 годы почти две трети населения страны улучшили свои жилищные условия, получили новые квартиры в городах, выстроили новые дома в деревнях,

оставшиеся в старых квартирах заняли комнаты отселившихся соседей.

Одновременно с жильем возводилась и сопутствующая инфраструктура. В одном 1964 году выстроили: школ на 1,6 миллиона учеников, детских садов на 546 тысяч мест, больниц на 55 тысяч коек и так далее. Я не могу не вспомнить, что в те же годы начали тянуть по всей стране газопроводы, устанавливать в квартирах газовые плиты. С 1958 года по 1965 год число газифицированных квартир возросло в пять раз — с 2 до 10 миллионов 400 тысяч.

Несколько слов о доходах населения. Только в 1958–1964 годах заработная плата увеличилась в среднем с 67,9 в 1958 году до 98,7 рублей в месяц в 1964 году, то есть почти на пятьдесят процентов.

Принятым в 1956 году законом о пенсиях установили пенсионный возраст для мужчин 60 лет и женщин — 55 лет, а потолок «обычной», не персональной пенсии подняли до 120 рублей в месяц.

С 1958 года прекратилась ежегодная добровольно-принудительная подписка граждан на государственные займы, что одномоментно увеличило годовые доходы работающих на один, а то и на два месячных оклада. Это решение остановило строительство государственной финансовой пирамиды, в отличие от всех иных пирамид, к тому же еще и принудительной. Правда, отложили на двадцать лет и выплаты по старым долгам. Конечно, лучше бы займы упразднить, а платить продолжать. Вот только за счет чего: сокращения строительства жилья или сельского хозяйства? То есть за счет тех же простых людей. Мнения тут разнятся. Как и у всякой финансовой пирамиды, у этой находятся свои защитники.

Вслед за ростом доходов изменялась и структура расходов. Объем розничного товарооборота в 1958–1964 годах вырос с 68 миллиардов рублей до 105 миллиардов. Особенно быстро увеличивались продажи товаров длительного пользования, что всегда и везде свидетельствует о росте благосостояния нации. К примеру, в 1960 году население приобрело 4 миллиона радиоприемников, полтора миллиона телевизоров, миллион стиральных машин и пятьсот тысяч холодильников, а в 1965 году, соответственно, 5 миллионов, 3,3 миллиона, 3 миллиона и 1,5 миллиона. Я взял именно те годы, которые Брежнев объявил периодом упадка.

Параллельно с ростом благосостояния людей сокращалась рабочая неделя. Указом от 8 марта 1956 года на один час сократили рабочий день в предвыходные и предпраздничные дни,

к концу 1960 года перешли с 8-часового на 7-часовой рабочий день, затем (в 1967 году) ввели 40-часовую рабочую неделю с двумя выходными.

Улучшилась и жизнь крестьян. Сталинские колхозы расплачивались со своими членами за наработанные ими трудодни из оставшегося после выполнения обязательств по сдаче продукции государству и расчета за услуги МТС, что на деле сводило выплаты к символической сумме, а то и вовсе к нулю. Постановление от 6 марта 1956 года ввело ежемесячное авансирование труда колхозников в размере четверти от всех получаемых колхозом доходов плюс половины от авансов, выплачиваемых им государством за обязательные и необязательные поставки. В 1957 и 1958 году приусадебные хозяйства колхозников, рабочих и служащих освободили от принудительных поставок государству доли вырабатываемой на них продукции. В 1958 году колхозники получили паспорта, впервые в истории обрели право покидать свои селения, не спрашиваясь у властей. В 1964 году на них распространили пенсионное обеспечение.

Повышать зарплату и пенсию, сокращать рабочий день позволяет только растущая экономика. И она росла, доходная часть пополнялась не только за счет традиционных отраслей, химические новостройки окупались за два-три года. Отец назвал их «фабрикой денег». Через четыре года после начала освоения стала прибыльной и целина. Чтобы не казаться голословным, приведу некоторые цифры. Начну с промышленности, сравню 1950 год, последний год последней «сталинской» пятилетки, с 1964 годом:

	1950 г.	1965 г.
Ткани (млн м)	3,9	9,1
Обувь (млн пар)	226	486
Электроэнергия (млрд квт ч)	91	459
Нефть (млн т)	54,9	229
Газ (млрд куб. м)	29,9	110
Цемент (млн т)	10,0	64
Удобрения (млн т)	9,6	25,4
Сталь (млн т)	45,0	62,4
Уголь (млн т)	391	554

Рост, как видим, весьма значительный, но промышленность росла и раньше. А вот то, что удалось вытащить из трясины и сдвинуть с места казалось бы неподъемный воз сельскохозяйственного производства — заслуга Хрущева. За

одиннадцать лет, с 1953 по 1964 год, валовая товарная продукция сельского хозяйства выросла на 75 процентов. Хотя одновременно народонаселение страны увеличилось на 41,2 миллиона человек, или примерно на 20 процентов, то и неспециалисту ясно, что на столе у каждого появилась немалая прибавка.

Из чего она складывалась?

Сбор зерновых вырос с 82,5 миллионов тонн в 1953 году до 152,1 миллиона тонн в 1964 году, причем львиная доля прибавки пришлась на целину. Если в 1953 году Сибирь и Казахстан давали в среднем 35 процентов от общесоюзного урожая, то в 1964 году — уже 55 процентов. В 1953 году государство закупило 31,1 миллиона тонн зерна всех видов, а в 1964 году — 68,3 миллиона тонн.

С 1953 по 1964 год потребление мяса увеличилось с 5,8 миллиона тонн до 10 миллионов тонн, молока — с 36,5 миллиона тонн до 72,6 миллиона тонн и яиц — с 16,1 миллиарда штук до 29,1 миллиарда. Таких впечатляющих результатов в животноводстве удалось добиться не только из-за уменьшение энтропии, но главным образом за счет насильственного внедрения кукурузы, принуждения к ней. Она стала основным и наиболее питательным кормом коров, свиней, птицы.

Обобщенное здоровье экономики любой страны оценивается по национальному доходу. Применительно к советскому периоду цифры разнятся, оно и понятно: статистика — наука «классовая», и отражает пристрастия заказчика. По советским данным, рост национального дохода в 1951–1958 годах составил в среднем 11,4 процента, в 1958–1961 9,1 процента и 1961–1965 6,5 процента. В ЦРУ насчитали соответственно: 6,0; 5,8 и 4,8 процента.

По нынешним меркам (и те и другие), цифры весьма приличные, но и тут и там настораживает падение темпов. Беспокоило оно и отца, именно поэтому он и занялся новой реформой.

История подтвердила правильность нащупываемого отцом курса. Даже реформа Косыгина, «очищенная» от хрущевского радикализма, обеспечила существенный прирост экономики. У меня нет сомнений, что лекарство, избранное отцом для лечения первых симптомов болезни советской экономики, привело бы ее к полному выздоровлению. Естественно, речь не идет об отце как таковом. Отпущенное ему историей время истекало, почти истекло. Если бы преемники продолжали двигаться в избранном им направлении децентрализации, переложили на директорские плечи бремя борьбы с энтропией, то к 1980 году страна вышла бы на цифры экономического роста, предусмотренные прикидками Госплана на двадцать лет и записанные в 1961 году в Программу

партии. Звалось ли бы общество коммунистическим или как-то иначе, уже совсем другой вопрос. Не в названии дело.

В подтверждение своих слов процитирую профессора Зеленина: «Концепция Хрущева сближается с современной китайской моделью рыночного хозяйства и коренным образом отличается от сталинского товарного производства особого рода». А мы убедились, что китайская модель оказалась более чем успешной. Могло такое произойти и у нас пятнадцатью годами раньше Китая.

Не произошло.

Человек по своей природе рациональный, отец не терпел расточительства или того, что он считал таковым, от «украшательства» в архитектуре, представительских расходов до «непроизводительных» оборонных затрат. Тратиться на вооружение, на содержание армии отец считал возможным исключительно в пределах необходимой для безопасности страны достаточности, и ни копейки сверх того.

В достижении своих целей он отдавал предпочтение дипломатии. Умело сочетая переговоры с давлением, вплоть до обострения ситуации, отец принудил США, против их собственной воли, признать за Советским Союзом равенство. Безопасность страны надежно обеспечивал ракетно-ядерный щит, что позволяло отцу начать радикальное сокращение обычных Вооруженных сил — с 5,5 миллионов человек в 1953 году до 2,5 миллионов в 1964-м, с тем чтобы к концу 1960-х годов низвести их численность до полумиллиона. Таким образом, не только экономились ресурсы, но растущая экономика получала столь необходимые ей светлые головы и крепкие руки.

Отец прекратил строительство океанского надводного флота. Он не видел ему применения. Наша континентальная держава не зависела от морских коммуникаций, как США или Европа. Все необходимое для жизни: зерно, нефть, газ, металлы — мы производим у себя и доставляем потребителям по суше. Для визитов и показательных учений крейсера с авианосцами — слишком дорогое удовольствие. В подтверждение тому — вся история России. Корабли, с таким трудом построенные Петром I, сгнили за ненадобностью при его преемниках. За пределы Черного и Балтийского морей российские эскадры почти не ходили, за исключением разовых походов в Адриатику в XVIII веке и, к сожалению, Цусимы в начале XX века. Во время Крымской войны в XIX веке Черноморский флот, не найдя ему лучшего применения, использовали как заграждение, попросту затопили у входа в Севастопольскую бухту.

Отца до сих пор корят за уничтожение морской славы России.

Но ему приходилось выбирать между морской славой и жильем, в том числе для офицеров и матросов. Или — или. Или крейсеры, если кому-то удастся объяснить, что они дают безопасности страны, или квартиры, вместо одного крейсера тысячи квартир. Отец предпочел квартиры и не ошибся. «Восстановленный» в 1970 — 1980-е годы надводный флот не принес стране ни славы, ни пользы, одни хлопоты и расходы на «разделку», так и не нашедших себе применения, ржавевших на свалках боевых кораблей.

«Сурово» отец обошелся и со стратегической авиацией. По заключению специалистов, до целей на территории США бомбардировщики сквозь противовоздушную оборону пробиться шансов не имели. В ракетный век они становились несоразмерной обузой для бюджета.

Отец сократил и собирался сократить еще больше производство танков, пушек и другого вооружения. Сократить до уровня разумной достаточности. В результате высвобождались немалые средства, они перебрасывались на жилье, сельское хозяйство и другие нужды. В те годы в Советском Союзе, да и в США тоже, в газетах для сравнения часто помещали рядом изображение авианосца или бомбардировщика, а рядом ряд стилизованных жилых домов, больниц и школ, столько, сколько можно построить взамен. Потому так много и строили тогда, что средствами распоряжались рационально.

Завоевание статуса мировой сверхдержавы с одновременным сокращением Вооруженных сил и военных расходов… — такое в истории мало кому удавалось.

Что еще вспомнить?

После смерти Сталина постепенно стал разрушаться «железный занавес», если в 1953 году СССР посетило всего сорок три визитера из западных стран, то в 1956 году их число возросло до двух тысяч, а в 1964 году уже — двадцать тысяч. Все они в основном бизнесмены, наиболее смелые из них, которым хотелось прояснить для себя возможности нового рынка. Вслед за бизнесменами потянулись и туристы.

Годы правления отца отмечены падением сталинского ГУЛАГа, политические заключенные вернулись из тюрем и лагерей в нормальную жизнь. Карательные органы утратили свой надгосударственный статус, превратились всего лишь в комитет при правительстве, что, согласно табели о рангах, ниже министерства, а возглавил комитет гражданский чиновник.

Вновь открывались закрытые в 1940-е годы литературные журналы, и возникали новые, возвращались из небытия старые авторы, и появлялись новые. Поэты читали свои стихи перед

многотысячными толпами на городских площадях, в Политехническом музее, во Дворце спорта в Лужниках.

Из общества постепенно уходил страх. Отец писал в своих воспоминаниях: «Обязательно надо смелее предоставлять творческой интеллигенции возможность высказываться, действовать, творить. Творить!» Весьма громогласные конфликты поэтов и художников, пусть и с «самим» Хрущевым, в отличие от предыдущего периода советской истории, оканчивались сотрясением воздуха. Появились первые диссиденты. Власть не знала, как поступать, совершала ошибки, приноравливалась. Ее оппоненты тоже приноравливались.

«На период десятилетия правления Хрущева пришелся пик развития советской науки», — считает главный архивист Российской Академии наук Виталий Юрьевич Афиани.

В отношениях с религией дела обстояли иначе. Марксизм постепенно перерождался из научной теории в «единственно верное учение всемирно-исторического значения», во что-то наподобие Библии, Торы или Корана, в новую религию. Религиозные атрибуты становились все более отчетливыми: портреты Ленина в красном углу заменяли иконы, без цитат из новых «апостолов» не обходилось ни одно выступление, ни одна книга.

Любая нарождающаяся религия безжалостно уничтожает свою предшественницу. Христиане истово боролись с эллинизмом и с пантеоном римских богов, разрушали всё, что могли разрушить, остальное приспосабливали под свои нужды, в храмах Зевса и Афины устраивали христианские церкви. В Советском Союзе шли тем же давно проторенным путем: церкви разрушали, сносили, использовали под научные лаборатории, клубы, кинотеатры, музеи или даже овощехранилища. Казалось, старая религия обречена. Отец даже пошутил однажды, что он еще при своей жизни успеет пожать руку последнему, уходящему в небытие священнику.

С церковью так, как с ней воевали в послереволюционные годы, Хрущев не боролся. Храмы не взрывали, церковную утварь не конфисковывали, священников не ссылали. Храмы, в первую очередь сельские, закрывались, как считалось, «за отсутствием прихожан», так же, как в самом начале XXI века, «за отсутствием учеников» закрывали сельские школы. Из имевшихся в 1953 году 13 508 храмов к 1964 году сохранилось 7 873, чуть больше половины. Церковь, однако, не умерла, но история ее постсоветского воскрешения к моей теме не относится.

Мог ли отец сделать что-то еще? Наверное, мог. Он мог бы окончательно восстановить справедливость и вернуть в Поволжье

немецкую автономию и наконец-то решить проблему крымских татар. Мог бы закончить реформирование Вооруженных сил. Мог бы завершить реформу экономики и к 1980 году привести страну к записанному в Программу партии «изобилию», к достойной людей жизни, по недоразумению названной «коммунизмом». Он мог бы утвердить новую Конституцию и продолжить демократизировать советскую страну, вырвать общество из оков рабского самосознания, преклонения перед тираном, ибо в его понимании сталинизм — это удел рабов. Мог бы омолодить Президиум ЦК и передать власть, например, Шелепину с Семичастным. А Шелепин, почти наверняка, повернул бы все вспять. Остается гадать кто хуже: Шелепин — Брежнева или Брежнев — Шелепина?

Он мог сделать еще многое. Мог и одновременно не мог. Ему оказалось не под силу завершить начатое. Отец все больше уповал на своих преемников, неважно, придут они к власти в 1964 году или, как он рассчитывал, в 1966-м, после XXIII съезда. Но уповал он напрасно.

Закончу я тем, с чего начал эту, последнюю, главу. В 1964 году реформы Хрущева прервались так же, как прервались реформы Александра II. Царь-освободитель Александр II так и не успел подписать уже почти готовую Конституцию. 1 марта 1881 года он погиб от рук либералов, открыв дорогу «стабильности». Хрущева 14 октября 1964 года, к счастью, не убили, но изгнали из власти, тоже во имя «стабильности».

Не знаю, почему так испокон века происходит на Руси? Почему схожая судьба постигает реформаторов, не важно императора всея Руси Александра II или Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Хрущева? В первом случае восстановление «стабильности» закончилось революцией, во втором — контрреволюцией. Хрен редьки не слаще.

Почему? За что?

Нет у меня ответа.

2008–2010

Список литературы

Принятые сокращения

МФД — Международный фонд «Демократия».

РГАНИ — Российский государственный архив новейшей истории.

РГАСПИ — Российский государственный архив современной политической истории.

РГВА — Российский государственный военный архив.

ЦАОДМ — Центральный архив общественных движений Москвы

Труды и выступления Н. С. Хрущева

Хрущев Н. С. Беседа с индийским писателем Х. А. Аббасом 6 января 1960 г. // Источник. 2003, № 6.

Хрущев Н. С. Беседа с руководителями Международного союза архитекторов — участниками 5-го Конгресса МСА 25 июля 1958 года: Стенограмма // Источник. 2003, № 6.

Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть: Воспоминания: В 4 т. М.: Московские новости, 1999. Т. 1–4.

Хрущев Н. С. Высказывания при посещении выставки произведений московских художников 1 декабря 1962 г. в стенографической записи Надежды Гавриловой. Цит по кн.: Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени: Документы из личного фонда Н. С. Хрущева: В 2 т. М.: МФД: Материк, 2009. Т. 2.

Хрущев Н. С. Выступление на Пленуме ЦК КПСС 2 июля 1953 года. Цит. по кн.: Лаврентий Берия. 1953: Документы. М.: МФД: Материк, 1999.

Хрущев Н. С. Выступление на сессии Верховного Совета СССР 13 июля 1964 г. // Правда. 1964, 14 июля.

Хрущев Н. С. Выступление на совещании писателей в ЦК КПСС, 13 мая 1957 г. // Источник. 2003, № 6.

Хрущев Н. С. Выступление на совещании писателей в ЦК КПСС 13 мая 1957 г. // Источник. 2003, № 6.

Хрущев Н. С. За дальнейший подъем производительных сил страны, за технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства. М.: Госполитиздат, 1959.

Хрущев Н. С. Замечания к записке о проекте основных

направлений развития народного хозяйства СССР на 1966–1970 гг. от 22 сентября 1964 года // Архив Президента РФ. Ф 52, оп. 1, д. 342.

Хрущев Н. С. Записка о военной реформе 1959 г. // Исторический архив. 1998, № 3.

Хрущев Н. С. Записка «О руководстве сельским хозяйством в связи с переходом на путь интенсификации» от 8 июля 1964 г. // Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 30, д. 260.

Хрущев. Н. С. Записка в Президиум ЦК КПСС «О руководстве сельским хозяйством в сязи с переходом на путь интенсификации» от 18 июля 1964 г. // Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 30, д. 260.

Хрущев Н. С. О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 годы. М.: Госполитиздат, 1959.

Хрущев Н. С. Речь на Всесоюзном совещании по энергетическому строительству 28 ноября 1959 г. М.: Госполитиздат, 1959.

Хрущев Н. С. Речь на Пленуме ЦК КПСС 29 июня 1959 г. М.: Госполитиздат, 1959.

Хрущев Н. С. Речь на ужине в Евсинограде (Варна) 16 мая 1962 г. // Источник. 2003, № 6.

Хрущев Н. С. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В 8 т. М. Госполитиздат, 1960–1964. Т. 1–8.

Архивные материалы

Архив Президента РФ: Особая папка, пакет № 734. Цит. по кн.: *Волкогонов Д. Е.* Семь вождей: В 2 книгах. М.: Новости, 1995.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 3, д. 87.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 10, д. 218.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 12, д. 201, 312.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 14, д. 157, 172, 336.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 24, д. 446, 475.

Архив Президента РФ. Ф. 3. оп. 30. д. 200, 260.

Архив Президента РФ: Ф. 3, оп. 24, д. 467, 470, 474.

Архив Президента РФ: Ф. 3, оп. 50, д. 195, 337.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 52, д. 283.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 58, д. 423.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 61, д. 846 (копия).

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 53, д. 9.

Архив Президента РФ. Ф. 3. оп. 62. д. 53.

Архив Президента РФ. Ф. 3, оп. 76, д. 24.

Архив Президента РФ. Ф. 3, д. 435, ч. 3–1.

Архив Президента РФ. Цит по кн.: Георгий Жуков:

Документы. М.: МФД: Материк, 2001.
Госархив РФ. Ф.5, оп. 30, д.346.
Госархив РФ, Ф. Р-8131, оп. 31, д. 86920.
Госархив РФ. Ф. Р-9401, оп. 1, д. 4442.
Госархив РФ. Ф. 428, оп. 3, д. 363.
Госархив РФ. Ф. 9474, оп. 10, д. 238.
РГАНИ. Ф. 2, оп. 1, д. 10, 259, 278.
РГАНИ. Ф. 5, оп. 30, д. 443. Цит по кн.: Никита Хрущев. 1964: Документы. МФД: Материк, 2007.
РГАНИ. Ф. 5, оп. 5, д.441.
РГАНИ. Ф. 5, оп. 17, д. 437.
РГАНИ. Ф. 5, оп. 17, ед. хр. 457.
РГАНИ. Ф. 5, оп. 30, д. 454.
РГАНИ. Ф. 5, оп. 45, д. 357.
РГАНИ. Ф. 5, оп. 45, д. 310, 357.
РГАНИ. Ф. 5, оп. 30, д. 280, 444. Цит по кн.: Никита Хрущев. 1964: Документы. М.: МФД: Материк, 2007.
РГАНИ. Ф.5, оп. 30, д. 441. Цит по кн.: Никита Хрущев. 1964: Документы. М.: МФД: Материк, 2007.
РГАСПИ. Ф. 17, оп. 3, д. 978, 2198.
РГАСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 637.
РГАСПИ. Ф. 556, оп. 2, д. 1049.
РГАСПИ. Ф. 556, оп. 12, д. 507.
РГАСПИ. Ф. 586, оп. 1, д. 54, 298, 300, 305.
РГАСПИ, Ф.586, оп.1, ед. хр.68.
РГАСПИ. Ф. 629, оп. 1, д. 54.
РГВА. Ф. 41107, оп. 2, д. 3.
Стенограмма заседания Президиума АН СССР от 20 января 1959 г. // Архив РАН. Ф. 2, оп. 3а, д. 229.
Центральный архив Министерства обороны. Ф. 249, оп. 1554, д. 1.
ЦАОДМ. Ф. 4 (МГК КПСС), оп. 88 («Особый сектор»), д. 1, 26.
Центральный архив ФСБ. Ф. 3, оп. 58, д. 10.
Центральный архив ФСБ. Ф. 4-ОС, оп. 10, д. 68.
Центральный Архив ФСБ. Ф. 4-ОС, оп. 11, д. 1,16.
Центральный Архив ФСБ. Ф. 5-ОС, оп. 3, д. 37.
Центральный архив ФСБ. Ф. 5-ОС, оп. 2, д. 31.
Центральный архив ФСБ. Ф. 40-ОС, оп. 10, д. 5: Письмо Сталина № 2216/и.

Другие источники

«А за мною шум погони…» Борис Пастернак и власть. 1956–

1972: Документы. М.: РОССПЭН, 2001.

Агарев А. Ф. Трагическая авантюра. Рязань: Русское слово, 2005.

Агент «Володя»: Неизвестные факты из биографии Имре Надя // Источник. 1993, № 1.

Аджубей А. И. Крушение иллюзий. М.: Интербук, 1991.

Аджубей А. И. Те десять лет // Знамя. 1988, № 7.

Аджубей А. И. Те десять лет. М.: Советская Россия, 1989.

Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. М.: РОССПЭН, 2004.

Александров-Агентов А. М. Брежнев и Хрущев // Новое время. 1993, № 22.

Александров-Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачева. М.: Международные отношения, 1994.

Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу. М.: Захаров, 2000.

Алма-Атинская правда, 1960, 22 января.

Аппазов Р. Ф. Следы в сердце и в памяти. Симферополь: Доля, 2001.

Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957: Документы (Сер. «Культура и власть от Сталина до Горбачева»). М.: РОССПЭН, 2001.

Аппарат ЦК КПСС и культура. 1958–1964: Документы (Сер. «Культура и власть от Сталина до Горбачева»). М.: РОССПЭН, 2005.

Арбатов Г. А. Человек системы. М.: Вагриус, 2002.

Афиани В. Ю., Илизаров С. С. Мы разгоним к чертовой матери Академию наук // Вопросы истории естествознания и техники. 1999, № 1.

Афиани В. Ю., Фурсенко А. А. У кого наука, у того будущее // Исторические записки. Вып. 8 (126). М.: Наука, 2005.

Баазова Ф. С. Танки против детей // Родина. 1992, № 10.

Багреев Ю. А., Павлюткин В. Н. Новочеркасск 1962. Трагедия на площади: Материалы расследований Главной военной прокуратуры 1991 г. // Красная звезда. 1995, 7 октября.

Барсуков Н. А. Коммунистические иллюзии Хрущева // Диалог. 1991, № 5.

Барсуков Н. А. Н. С. Хрущев о проекте Третьей программы КПСС // Вопросы истории. 1991, № 8.

Байбаков Н. К. От Сталина до Ельцина. М.: ГазОил Пресс, 1998.

Бейли Дж., Кондрашев С., Мерфи Д. Поле битвы Берлин: М.: Терра, 2000 *(Пер. с англ.)*.

Белкин В. Д. Задались ли реформы Гайдара? // Новый мир. 2002, № 1.

Белкин В. Д. Тернистый путь экономиста. Воспоминания о прожитом и размышления о будущем. М.: Дело, 2003.

Белкин В. Д. Цены единого уровня и экономические измерения на их основе. М.: Экономиз-дат, 1963.

Белкин В. Д., Бирман И. Я. Цена и прибыль // Известия. 1962, 29 октября.

Белкин В. Д., Переверзев В. А. Драма Акчи // Литературная газета. 1987, 1 апреля.

Белютин Э. М. Хрущев и Манеж // Дружба народов. 1990, № 1.

Берг Р. Л. Суховей: Воспоминания генетика. М.: Памятники исторической мысли, 2003.

Берия Л. П. Записка в Президиум ЦК КПСС «Об ограничении прав Особого Совещания при МВД СССР» от 15 июня 1953 года // Исторический архив. 1996, № 4.

Лаврентий Берия. 1953: Документы. М.: МФД: Материк, 1999.

Бестужев-Лада И. В. Свожу счеты с жизнью. М.: Алгоритм, 2004.

Бирман И. Я. Я — экономист. М.: Время, 2001.

Брутенец К. Н. Тридцать лет на Старой площади. М.: Международные отношения, 1998.

Бурлацкий Ф. М. Глоток свободы: в 2 книгах. М.: РИК «Культура», 1997. Кн. 1.

Бурлацкий Ф. М. Никита Хрущев и его советники. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002.

Быков Д. Л. Борис Пастернак (Сер. «Жизнь замечательных людей»). М.: Мол. гвардия, 2007.

Ваксберг А. И. Кому это нужно? // Литературная газета. 1987, 21 января.

Ваншенкин К. Я. Писательский клуб. М.: Вагриус, 1998.

Век Лаврентьева. Новосибирск, СО РАН, 2000.

Вечерняя Москва. 1994, 28 июля.

Военные архивы России. 1993, № 1. (Единственный вышедший в свет номер этого журнала.)

Вознесенский А. А. Голубой зал Кремля. Цит. по кн.: *Хрущев Н. С.* Люди. Время. Власть: В 4 т. М.: Московские Новости, 1999. Т. 4.: Приложение.

Волкогонов Д. А. Семь вождей: В 2 книгах. М.: Новости, 1995. Кн. 1.

Воронов Г. И. Немного воспоминаний // Дружба народов. 1989, № 11.

Воронов Г. И. От оттепели к застою. Цит. по кн.: *Хрущев Н. С.* Материалы к биографии. М.: Политиздат, 1989.

Воронель Н. А. Без прикрас. М.: Захаров, 2003.

Ворошилова Е. Д. Дневник. Цит по кн.: *Млечин Л. М.* Иосиф Сталин, его маршалы и генералы. М.: Центрполиграф, 2004.

Встреча руководителей партии и правительства с представителями интеллигенции 7–8 марта 1963 года: Стенограмма // РГАСПИ. Ф. 17, оп. 165, д. 163.

Геллер М. Я., Некрич А. М. Утопия у власти. London: OPI, 1989.

Герасимова С. А. Ржев 42. Позиционная бойня. М.: Яуза; ЭКСМО, 2007.

Гланц Д. Крупнейшее поражение Жукова: Катастрофа Красной Армии в операции «Марс». 1942 год. М.: Астрель, АСТ, 2006.

Гриневский О. А. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М.: Вагриус, 1998.

Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: В 4 книгах. Жизнь 1-я: Эпоха Хрущева. М.: Прогресс-Традиция, 2001.

Гусев Б. В., Васильев А. М., Полунин В. Т. Развитие инженерного дела в Москве. // Исторические очерки. М.: Российская инженерная академия, 1998.

Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы: 1945–1953 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

Дашичев В. И. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе: 1933–1945. В 4 т. М.: Наука, 2005.

XX съезд КПСС и его исторические реалии. М.: Политиздат. 1991.

XXII съезд КПСС: Стенографический отчет: В 3 т. М.: Политиздат, 1962. Т. 1.

Доклад ЦСУ от 20 декабря 1962 г. «Об итогах обследования бюджетов населения за 9 месяцев 1962 года и о влиянии на бюджет семьи повышения розничных цен на мясо, мясные продукты и масло животное» // РГАНИ. Ф. 5, оп. 45, д. 310.

Евтушенко Е. А. Волчий паспорт, М.: Вагриус, 1998.

Егорычев Н. Г. Выступление на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева. Браунский университет, г. Провиденс, штат Род-Айленд, США, 3 декабря 1994.

Н. Г. Егорычев — политик и дипломат. М.: Книга и бизнес, 2006.

Емельянова И. И. Пастернак и Ивинская. Москва, Вагриус, 2006.

Ерофеев В. И. Дипломат: Книга воспоминаний. М.: Зебра Е, 2005.

Есенин-Вольпин А. С. Весенний лист. Нью-Йорк, Прегер, 1961.

Георгий Жуков. Документы. М.: МФД: Материк, 2001.

Жуков Г. К. Записи воспоминаний. 1963–1964 // РГВА. Ф. 41107, оп. 2, д. 1.

Жутовский Б. И. Я болен временем // Огонек. 1989, № 15.

Запись беседы с делегацией Итальянской компартии. 10 июля 1956 года. // Источник. 1994, № 2.

Заседание сессии Верховного Совета СССР 5-го созыва; 4-я сессия 14–15 января 1960 г.: Стенографический отчет. М.: 1960.

Захаров. Н. С. Сквозь годы. Тула: Гриф и К, 2003.

Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство. М.: РАН, Институт российской истории, 2001.

Зенькович. Н. А. Маршалы и генсеки. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1998.

Зенькович Н. А. Самые закрытые люди. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

Зимонин В. П. и др. История флота государства Российского: В 2 т. М.: Терра, 1996.

Зорин В. С. Неизвестное об известном. М.: Вагриус, 2000.

Иваченко А. В. Столыпин против Столыпина // Литературная газета. 2000, 6 декабря.

Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964: Документы. М.: РОССПЭН, 1998 (Сер. «Культура и власть от Сталина до Горбачева»).

Известия. 1954, 13 марта.

Известия. 1954, 24 апреля.

Известия. 1955, 24 декабря.

Известия. 1956, 14 апреля.

Известия. 1956, 23 апреля.

Известия. 1956, 28 августа.

Известия. 1956, 18 ноября.

Известия. 1956, 20 ноября.

Известия. 1957, 8 мая.

Известия. 1958, 13 февраля.

Известия. 1959, 2 июля.

Известия ЦК КПСС. 1989, № 3.

Индикаторы мирового развития: Доклад. Публикация Всемирного банка, 2002.

История советской политической цензуры: Документы и комментарии. М.: РОССПЭН, 1997.

Источник. 1993, № 4, 10.

Источник. 1994, № 1.

Источник. 1995. № 2, 4.

Источник. 1998, № 2.

Источник. 2003, № 4, 6.

Каверин В. А. Эпилог. Москва, АГРАФ, 1997.

Каганович Л. М. Памятные записки. М.: Вагриус, 1996.

Капица, Тамм, Семенов в очерках и письмах: Биографии. М.: Вагриус; Природа, 1998.

Карпов В. В. Маршал Жуков: Его соратники и противники в дни войны и мира: Документальная трилогия. М.: Вече, 2003.

Карпов В. В. Тайная расправа над маршалом Жуковым // Правда. 1991, 17 августа; 19 августа.

Катанян В. В. Прикосновение к идолам. М.: Вагриус, 1997.

Квок. Д. Г. Год рождения двадцать четвертый. М.: Универсум, 1993.

Кларк А. План «Барбаросса». Крушение Третьего рейха: 1941–1945. М.: Центрполиграф, 2002 *(Пер. с англ.)*.

Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, Сибирский хронограф, 1999.

Кокашинский В. Д. Эксперимент в Акчи // Литературная газета. 1969, 21 мая.

Коловангин П. М., Рыбаков Ф. Ф. Экономическое реформирование России в XX веке. СПб.: Петрополис, 1996.

Коммунист, 1956, № 10.

Кончаловский А. С. Возвышающий обман. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1999.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК: в 15 т. 8 изд-е. М.: Политиздат, 1970. Т. 6, 10.

Крелин Ю. З. Извивы памяти. М.: Захаров, 2003.

Кузнецов Н. Г. Письмо в Президиум ЦК КПСС от 8 ноября 1957 года // Источник. 1995, № 4.

Кунаев Д. А. От Сталина до Горбачева. Алматы, 1994.

Лазарев Л. И. Записки пожилого человека: Книга воспоминаний. М.: Время, 2005.

Лакшин В. Я. Александр Николаевич Островский. М.: Гелиос, 2004.

Лакшин В. Я. «Новый мир» во времена Хрущева. М.: Книжная палата, 1991.

Лебина Н. Б.: Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.

Ленин В. И. Сочинения: В 30 т. М. Л.: Госиздат, 1926–1932. Т. 30.

Ли Чжисуй. Мао Цзэдун: Записки личного врача. В 2 т. Минск: Интердайджест, Смоленск: Эхо, 1996. Т. 1.

Луньков Н. М. Русский дипломат в Европе. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999.

Маленков Г. М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе ЦК ВКП (б), 5 октября 1952 года, М.: Политиздат, 1952.

Маленков Г. М. Речь на 5-й сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953 г. М.: Госполитиздат, 1953.

Малышев В. А. Дневник наркома // Источник. 1997, № 5.

Микоян А. И. Так было. М.: Вагриус, 1999.

Микоян С. А. Воспоминания военного летчика-испытателя. М.: Техника — молодежи, 2003.

Микоян С. А. Анатомия Карибского кризиса. М.: Academia, 2006.

Млечин Л. М. Адольф Гитлер и его русские друзья. М.: Центрполиграф, 2006.

Млечин Л. М. Андропов. М.: Проспект, 2006.

Млечин Л. М. Брежнев. М.: Проспект, 2006.

Млечин Л. М. Железный Шурик. М.: ЭКСМО, Яуза, 2004.

Млечин Л. М. Министры иностранных дел. М.: Центрполиграф, 2001.

Млечин Л. М. После Сталина. М.: Центрполитиздат, 2003.

Млечин Л. М. Смерть Сталина. М.: Центрполиграф, 2003.

Молотов. Маленков. Каганович. 1957 год: Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие документы. М.: МФД: Материк, 1998.

Мороз А. А. Дым без огня // Красная звезда. 2005, 23 июня.

Мухитдинов. Н. А. Река времени. М.: Русти-Рости, 1995.

Народное хозяйство СССР в 1958 году. Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1959.

Народное хозяйство СССР в 1964 году: Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1965.

Народное хозяйство СССР в 1967 году: Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1968.

Народное хозяйство СССР в 1970 году: Статистический ежегодник. М.: Статистика, 1971.

Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный статистический сборник. М.: Финансы и статистика, 1987.

Население СССР 1987: Статистический сборник. М.: Статистика, 1988.

Невежин. В. А. Застольные речи Сталина. М.; СПб.: АИРО-XX; Дмитрий Буланин, 2003.

Независимая газета, 2 февраля 1999. (Статья Федоровой В. Г.)

Неизвестная Россия: XX век: Сборник // Историческое наследие. 1992. Вып. 1.

Некрасов В. П. По обе стороны океана // Новый мир. 1962, № 12.

Непорожний П. С. Энергетика глазами министра. Дневники. 1935–1985. М.: Энергоатомиздат, 2000.

А. Н. Несмеянов: Ученый и человек / Под ред. М. И. Кабачника. М.: Наука, 1988.

Несмеянов А. Н. Выступление на Президиуме АН СССР 9

сентября 1959 г. Цит. по кн.: Александр Николаевич Несмеянов — организатор науки. М.: Наука, 1996.

Несмеянов А. Н. Выступление на расширенном заседании Президиума АН СССР 16 апреля 1961 г. Цит. по кн.: Александр Николаевич Несмеянов — организатор науки. М.: Наука, 1996.

Несмеянов А. Н. На качелях XX века. М.: Наука, 1999 (Сер. «Наука. Мировоззрение. Жизнь»).

Никита Хрущев. 1964: Документы. М.: МФД: Материк, 2007.

Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени: Документы: В 2 т. М.: МФД: Материк, 2009.

Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. М.: Политиздат, 1989.

Никонов В. А. Молотов: Молодость. М.: Вагриус, 2005.

Никонов А. А. Спираль многовековой драмы: Аграрная наука и политика России (XVIII–XX века). М.: Энциклопедия российских деревень, 1995.

Новиков В. Н. В годы руководства Хрущева // Вопросы истории. 1989, № 1, 2.

Новый мир, 1988, № 6.

Островский В. Б. Колхозное крестьянство СССР. Политика партии в деревне и ее социально-экономические результаты. Саратов, 1967.

Отечественная история, 1996, № 2.

Отечественные архивы, 1992, № 6.

Отечественные архивы, 1994, № 1.

Отчет о поездке Хрущева по Целиноградской области // Правда. 1964, 14 августа.

Отчет ЦСУ СССР «О выполнении плана 1964 года» // Правда. 1965, 30 января.

Отчетный доклад Центрального Комитета XX съезду КПСС // Правда. 1956, 15 февраля.

Палий П. Н. От серпа и молота к Андреевскому флагу // Архив РОА: Материалы по истории РОД. Вып. 3. М., 1998.

Петров Н. В. Первый председатель КГБ Иван Серов. М.: Материк, 2005.

Письмо академика П. Л. Капицы Н. С. Хрущеву от 16 октября 1960 г. Цит. по кн.: *Хрущев Н. С.* Время. Люди. Власть: В 4 т. М.: Московские Новости, 1999. Т. 4: Приложение.

Письмо В. А. Фомина сыну Леонида заслуженному летчику-испытателю Юрию Хрущеву от 5 февраля 1998 г. (Из личного архива автора).

Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть: 40 лет после войны. М.: АСТ, Русь-Олимп, Астрель, 2007.

Пихоя. Р. Г. Советский Союз. История власти: 1945–1991. М.:

РАГС, 1998.

Пленум ЦК КПСС, 13–14 февраля 1957. М.: Госполитиздат, 1957.

Пленум ЦК КПСС. 15–19 декабря 1958 г.: Стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1959.

Пленум ЦК КПСС, 24–26 марта 1965: Стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1965.

Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет Министров СССР. 1945–1953: Документы Советской истории. М.: РОССПЭН, 2002.

Помогайло А. А. Оружие победы и НКВД: Советские конструкторы в тисках репрессий. М.: Вече, 2004.

Попов А. Ю., Цветков А. И. Российский диверсант Илья Старинов. СПб.: Нева, 2003.

Попов В. П. Российская деревня после войны: июнь 1945 — март 1953: Сборник документов. М.: 1993.

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 299 от 3 апреля 1961 г.

Постановление Пленума ЦК КПСС «О тов. Маленкове Г. М.»: Стенографический отчет Пленума ЦК КПСС, 25–31 января 1955 года // Исторический архив. 1993, № 3–6.

Правда. 1956, 9 мая.

Правда. 1956, 3 июня.

Правда. 1956, 6 июня.

Правда. 1957, 14 мая.

Правда. 1957, 4 июня.

Правда. 1957, 19 июня.

Правда. 1958, 27 августа.

Правда. 1958, 30 октября.

Правда. 1961, 25 ноября.

Правда. 1964, 13 апреля.

Правда. 1964, 16 июля.

Правда. 1964, 6 ноября.

Президиум ЦК КПСС. 1954–1964: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления: В 3 т. М.: РОССПЭН, 2003–2008. Т. 1–3.

Приказ командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова № 0992.

Протокол заседания Пленума ЦК КПСС, 13 февраля 1956 года (Строго секретно).

Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель»: 1953–1964 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.

Рассадин С. Б. Самоубийцы. М.: Текст, 2002.

Ревизия советской экономики в свете гласности и прогнозы ЦРУ // Доклад ЦРУ «SOV-88-10068». 1988, сентябрь.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: 1917–1967: В 5 т. М.: Политиздат, 1967. Т. 5.

Родионов П. А. Как начинался застой // Знамя. 1989, № 8.

Ромм М. И. Устные рассказы. М.: Кинорежиссер, 1991.

Россия (СССР) в локальных войнах / Под ред. Золотарева А. В. М.: Кучково поле; Полиграф-ресурсы, 2000.

Свод законов СССР: 1930. Отд. 1, № 8.

Сельское хозяйство СССР: Статистический сборник. М.: Статистика, 1960.

Сельское хозяйство СССР: Статистический сборник. М.: Статистика, 1971.

Селюнин В. И., Ханин. Г. И. Лукавая цифра. // Новый мир. 1987, № 2.

Семичастный В. Е. Беспокойное сердце. М.: Вагриус, 2002.

Семичастный В. Е. Интервью главному редактору газеты «Аргументы и факты» Старкову В. А., сентябрь 1988 г. (Машинописный экземпляр из архива автора.)

Советская военная мощь / Под ред. Минаева А. В. М.: Военный парад, 1999.

Советы народного хозяйства и плановые органы в центре и на местах. 1917–1932: Сборник документов. М.: Госполитиздат, 1957.

Соколов Б. М. Кто вы, Доктор Живаго? М.: Яуза; ЭКСМО, 2006.

Соловкин Э. Л. Рукопись воспоминаний, предоставленная автору.

Стенограмма общемосковского собрания писателей 31 октября 1958 г. // Горизонт. 1988, № 9.

Страна Советов за 50 лет: Сборник статистических материалов. М., Статистика, 1972.

Стреляный А. И. Последний романтик // Дружба народов. 1988, № 11.

Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль: 1930–1950 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.

Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. М.: Гея, 1996.

Судьбы реформ и реформаторов в России / Под ред. Пихои Р. Г. и Тимофеева П. Т… М.: РАГС, 1999.

Суходрев В. М. Язык мой — друг мой: От Хрущева до Горбачева. М.: АСТ, 1999.

Твардовский А. Т. Из рабочих тетрадей: 1953–1960 // Знамя. 1989, № 7, 8, 9.

Твардовский А. Т. Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2000, № 7, 9.

XIII съезд ВЛКСМ. 15–18 апреля 1958 г.: Стенографический отчет. М.: Мол. гвардия, 1959.

Утреннее заседание Пленума ЦК КПСС, 11 июля 1964 г. Неправленая стенограмма. Цит по кн.: Никита Хрущев. 1964: Документы. М.: МФД: Материк, 2007.

Федоренко Н. П. Вспоминая прошлое, заглядывая в будущее. М.: Наука, 1999.

Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991.

Херлихи Патриция. Одесса: История: 1794–1914. Одесса: Optimum, 2007.

Хозиков В. И. Ракетные боги Кремля. М.: Яуза; ЭКСМО, 2004.

Хроника России. XX век. М.: Слово, 2002.

Хрущев и Горбачев. М.: ЛДПР, 2005.

Хрущев С. Н. Рождение сверхдержавы. Книга об отце. М.: Время, 2002.

Чижевский М. Г. Выступление на Пленуме ЦК КПСС 23 февраля — 2 марта 1954 г. // РГАНИ. Ф. 2, оп. 1, д. 89.

Чуев Ф. И. Сто сорок бесед с Молотовым. М.: Терра, 1991.

Чуковский К. И. Дневник 1901–1969: В 2 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. Т. 2: 1930–1969.

Широкорад А. Б. Флот, который уничтожил Хрущев. М.: АСТ; ВЗОИ, 2004.

Шелепин А. Н. История учитель серьезный // Труд. 1991, 14 марта.

Шелест П. Е. …Да не судимы будете: Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. М.: Ed. Q: Квинтэссенция Б.г., 1995.

Шепилов Д. Т. Записка Н. С. Хрущеву от 4 января 1954 г. // РГАНИ. Ф. 5, оп. 17, д.437.

Шепилов Д. Т. Непримкнувший. М.: Вагриус, 2001.

Шубин А. В. 10 мифов Советской страны. М.: Яуза; ЭКСМО, 2007.

Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. М.: Текст, 2005. Т. 3, кн. 7.

Яковлев А. Н. Омут памяти. М.: Вагриус, 2001.

Зарубежные издания

Causins Norman. The Improbable Triumvirate. NY: W. W. Nortons and Company Inc., 1972.

Byrnes James. Academic Exchange. New Haven, Yale Universiny Press, 2005.

English Robert. Russia and the Idea of the West. NY: Columbia University Press, 2002.

Evangelista Matthew. Unarmed Forces. Ithaca amp; London:

Cornell University, 1999.

Micunovic Veljko. Moscow Diary. NY: Doubleday amp; Company, Garden City, 1980.

Lee Harold. Roswell Garst: A Biography. Ames: Iowa State University Press, 1984.

New York Times, 1963, October 8.

New York Times, 1964, August 3.

Newman Kitty. Macmillan, Khrushchev and the Berlin Crisis: 1958–1960. London amp; NY: Routledge Taylor amp; Fransis Group, 2007.

Roosevelt Eleanor. This I Remember. NY: Harper amp; Brothers, 1949.

Schorr Daniel. Staying Tuned: A Life in Journalism. NY: Pocket books, 2001.

Times, 1956, April 23.

Thomas J. Watson, Peter Petre. Father, Son amp; Co.: My Life at IBM and Beyond. NY — Toronto — London — Sydney — Anckland: Bantam Books, 1990.

Zubkova Elena. The Rivalry with Malenkov. Цит. по кн.: Nikita Krushchev / Ed. by William Taubman, Sergei Khrushchev and Abbott Gleason. New Haven amp; London: Yale University Press, 2000.

notes

Примечания

1

Некоторые авторы, не разобравшись в записях заведующего Общим отделом ЦК В. Н. Малина, слова Воронова: «т. Козлов говорил: в такие вопросы не лезь, их т. Хрущев ведет» и далее по тексту истолковали, как слова самого Козлова, якобы присутствовавшего на совещании, чем внесли в этот вопрос определенную сумятицу. В частности см. *Р. Г. Пихоя*. Советский Союз: история власти. 1945–1991. М.: РАГС, 1998.

2

Сергей Никанорович умер от туберкулеза в Москве в 1938 году, я его совершенно не помню. Бабушка Ксения Ивановна пережила войну, ее похоронили в 1946 году в Киеве на Лукьяновском кладбище.

3

30 апреля 1869 года Император Александр II утвердил договор между правительством России и английским предпринимателем Джоном Хьюзом, (его фамилию в Донбассе произносили «Юз»), согласно которому Хьюз обязывался образовать акционерное общество для разработки месторождений угля и производства железнодорожных ресурсов. Вокруг его предприятий возник поселок, прозванный людьми Юзовкой. После революции его переименовали в Троцк, в 1924 году он стал городом Сталино, а с 1961 года — Донецком.

4

Петр Дорошенко, гетман Малороссии 1665–1676 гг. Более десяти лет воевал за независимость Украины с Польшей, Турцией и Россией. В 1676 г. сдался русской армии.

5

Петр Сагайдачный (настоящее имя Петр Конашевич, польско-украинский шляхтич) с 1605 года возглавлял Запорожскую Сечь, с 1620 года гетман Украины.

6

Подол — приднепровский низменный, порой затоплявшийся в половодье, район Киева.

7

Легковой автомобиль М-1, выпускавшийся на автозаводе в городе Горьком (Нижнем Новгороде), лицензионная копия американского «Форда» начала 1930-х годов.

8

Страментов Андрей Евгеньевич 1924 по 1941 год строил набережные и мосты в Москве, во время войны в армии, подрывник. С 1943 года в Киеве руководил восстановлением Крещатика, строил дороги. С 1948 года и до конца жизни — профессор Московского инженерно-строительного института.

9

UNRRA (United Nation Rehabilitation Relief Administration) — Администрация Объединенных Наций *(англ.)*. Первая крупная международная гуманитарная организация в освобожденном от фашизма мире. Ассигнования на помощь Украине и Белоруссии составили 180 миллионов долларов.

10

Кроме Украины от засухи пострадали Крым, Молдавия, Северный Дон, Ставрополье, Сталинградская, Курская, Воронежкая, Тамбовская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Куйбышевская, Пензенская, Тульская и Брянская области, Забайкалье и Дальний Восток. В Казахстане и Сибири обильные дожди во время уборки сгноили урожай на корню. (Письмо министра заготовок СССР Б. Двинского И. В. Сталину от 23 сентября 1946 г. Опубликовано в «Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР, 1945–1953». М.: РОССПЭН, 2002.)

11

16 октября 1952 года, сразу после окончания XIX съезда партии, Пленум ЦК по предложению Сталина избрал Президиум из двадцати пяти членов и одиннадцати кандидатов, в три раза больший, чем в предыдущие годы. В него вошли в основном ранее со Сталиным тесно не общавшиеся, пока еще только кандидаты в лидеры. Сталин задумал смену «караула», решил убрать свидетелей его личного позора, поражений первых дней войны, устроить новый набор. Однако изрядно одряхлевший Сталин почему-то не захотел расширять круг доверенных лиц и учредил не предусмотренное уставом Бюро Президиума ЦК в составе самого себя, Берии, Молотова, Булганина, Кагановича, Сабурова, Хрущева, Ворошилова и Первухина, обладавшее в стране верховной властью.

12

Полковник Хрусталев — начальник охраны Сталина.

13

Санкцию на арест Мерецкова Сталин подписал в июне 1941 года, арестовали его уже после нападения Германии на Советский Союз.

14

Однолетнее травянистое растение семейства злаков, кормовая культура, выращивается в Африке, Северной Америке и Австралии; такого ухода, как пшеница, не требует, но и хозяйству мало пользы приносит.

15

Газеты сообщили о встрече задним числом. Маршалл Макдаффи в своей книге «Красный ковер» пишет, что Хрущев принял его 14 ноября 1954 года. После 56-дневного путешествия по Советскому Союзу он покинул территорию СССР в середине декабря 1954 года.

16

Marshall MacDuffie. The Red Car pet: 10.000 miles through Russia on a visa from Khrushchev. NY, W. W. Norton & Company, 1955.

Всего за период 1938–1942 годов промышленность выпустила 93 таких самолета разных модификаций.

18

Черчилль пишет в мемуарах, что Молотов прилетел в Лондон 20 мая 1942 года. Я решил оставить обе даты, советскую и британскую.

19

Подробнее об этой и других связанных с оборонными делами историях можно прочитать в моей книге «Рождение сверхдержавы. Вторая книга об отце».

20

Из-за различий советской и американской экономики такие сравнения очень приблизительны, и их результаты порой расходятся. К примеру, по оценкам ЦРУ, в 1987 году ВНП СССР составлял 55 процентов от американского, экономист Игорь Бирман называет цифру 20–25 процентов, другой экономист Виктор Белкин в книге «Тернистый путь экономиста. Воспоминания о прожитом и размышления о грядущем» приводит сразу две цифры: 14 и 28 процентов.

21

Московский комитет партии осуществлял руководство в Московской области и Москве, Москвой управлял МГК, формально подчиненный МК. Михайлов совмещал обе должности. После его отставки было произведено фактическое разделение руководства МК и МГК. Однако секретарь МГК Фурцева, в силу своих личных качеств и значимости Москвы, в этой связке заняла доминирующее положение. Вскоре она стала членом Президиума ЦК КПСС.

22

Байбаков рассказывал, что Сталин намеренно неправильно ставил ударение в его фамилии, подчеркивая, что «байбак», сурок — не очень привлекательный и толстый. Тем самым Сталин, вольно или невольно, унижал Байбакова.

23

Это, скорее всего, Ян Борисович Гамарник, в 1937 году заместитель наркома обороны. Чтобы избежать ареста, он застрелился.

24

Уком — уездный комитет, губком — губернский комитет партии.

25

В 1963–1964 годах я часто встречался со Снеговым. Подробнее о нем я написал в книге «Пенсионер союзного значения».

К примеру, такая «битьевая» резолюция Молотова стоит напротив фамилии арестованного Михаила Баранова, начальника Санитарного управления Красной Армии.

27

Микоян не мог простить Хрущеву, что тот не упомянул и его фамилию. Не знаю, вышло это случайно или…

28

По чиновничьей иерархии инструктор отдела ЦК примерно соответствует заместителю министра или секретарю обкома.

29

Вместе с отцом летели члены Президиума ЦК Молотов, Микоян, Каганович и другие. Командующий войсками Варшавского договора маршал Конев прибыл туда днем раньше.

30

Скоростной бомбардировочный полк.

31

АВР — авиационные рантовые часы; АЧХО — авиационные часы-хронометр с электрообогревом.

32

Телефильм «Тайна летчика Л. Хрущева», студия «Крылья России», был показан на канале «Россия» в январе 2005 года.

33

На самом деле Гитлер предлагал обменять старшего лейтенанта Якова Джугашвили не на фельдмаршала Паулюса, а на попавшего в советский плен в Сталинграде своего племянника, лейтенанта Лео Раубля. Сталин отказался. Эффектная фраза об отказе обмена лейтенанта на фельдмаршала пошла гулять по свету тоже во второй половине 1960-х годов, и родилась она тоже в недрах подразделения «А» КГБ СССР.

Подробно о перипетиях личного архива отца см.: *Пирог Р. Я.* «Архив Первого секретаря ЦК КП(б) Никиты Хрущева: проблемы реституции» в кн. «Хрущев и Украина», Киев, 1995.

Остальные две подписи: самого Сталина и Ягоды, Ежова или Берии, в зависимости от того, кто возглавлял «расстрельное» ведомство.

36

До 1952 г. в ЦК имелось две высшие инстанции: Политбюро и Оргбюро, занимавшееся рутинной текучкой. На XIX съезде Оргбюро упразднили, а Политбюро переименовали в Президиум ЦК.

37

Гора в окрестностях Софии, столицы Болгарии.

38

В своих воспоминаниях отец называет ее министром культуры Швеции.

39

Совет Труда и Обороны (СТО) — образованный в 1920 году орган по руководству хозяйственным строительством. Упразднен в 1937 году.

Стенограммы свидетельствуют, что вопрос о масле Шагинян задала отцу не в Семеновском, а на совещании в Кремле 13 мая.

41

На сентябрьском Пленуме 1953 года отец почему-то привел другие цифры по 1952 году: 24 килограмма в СССР и 81,4 — в США. См. главу «Сентябрьский Пленум».

42

Интервью Н. С. Хрущева главному редактору газеты «Асахи Симбун» Томоо Хироока было опубликовано в «Правде» от 19 июня 1957 г.

43

ПУР — Политическое управление армии и флота, подразделение Министерства обороны.

44

В книге «Рождение сверхдержавы» (М., Время, 2003) я, базируясь на слухах, написал, что «Брежнев вскоре вернулся в зал заседаний, но слова больше не просил». В настоящем издании последовательность событий изложена в соответствии с опубликованными воспоминаниями Н. А. Мухитдинова.

Другим свидетелям запомнился не Серов, а маршал Конев.

46

Известно множество версий этого, ставшего знаменитым, эпизода. Я привожу, на мой взгляд, самую достоверную из них, рассказанную самим Жуковым.

47

По архивным источникам можно уточнить дату разговора: 27 октября.

48

Пленум ЦК работал 28–29 октября 1958 года.

49

В армии Конев с 1916 года, в Гражданскую воевал на Дальнем Востоке. В 1934 году окончил Военную академию имени Фрунзе и дальше всю свою жизнь *командовал*. Назвав Конева «политработником», Жуков, по-видимому, хотел подчеркнуть тем самым, что он видел в нем политработника, а не военачальника.

Собственных мемуаров Шевченко не оставил. Его воспоминания, человека, близкого к отцу, вошли в статью А. Стреляного «Последний романтик», опубликованную в Приложении к четырехтомному сборнику воспоминаний Н. С. Хрущева «Время. Люди. Власть».

Свое видение событий тех лет я изложил в книге «Рождение сверхдержавы. Книга об отце».

Аристов имел в виду позицию Серова во время ареста Берии в июне 1953 года, разбирательство с «антипартийной группой» июня 1957 года и освобождение маршала Жукова от обязанностей министра обороны в октябре 1957 года.

Согласно данным проверки, только во второй половине 1959 года на поруки передали 116 убийц, 222 насильника и 577 разбойников-грабителей.

Аналогичные суждения приводятся в письмах академика П. Л. Капицы Н. С. Хрущеву (см. *Хрущев Н. С.* Время. Люди. Власть. Т. 4. Приложение).

55

Несмеянов немного перепутал, надбавки в 500 и 250 пореформенных рублей они получали за «звание» в 1974 году, когда он писал воспоминания. В конце 1950-х выплаты были вдвое больше, а к ним прилагались и иные привилегии.

Подробнее см.: *Иванов К. В.* Наука после Сталина: Реформа Академии 1954–1961 годов // Науковедение. 2000, № 1; Александр Николаевич Несмеянов — организатор науки. М.: Наука, 1996.

57

Подробно события в Темиртау 2–3 августа 1959 года описаны в книге В. А. Козлова «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе» (Новосибирск, Сибирский хронограф, 1999).

Эту историю я рассказал в книге «Рождение сверхдержавы».

59

Abbas Khwaja Ahmad. Face to Face with Khrushchev. Delhi, India, Rajpal and Sona. 1960.

60

Недавно я вычитал в биографическом справочнике, что настоящее имя посла Кумар Падма Шивасанкар Менон. Кришна Венчалил Кришнан Менон в те годы министр обороны Индии. Где истоки путаницы в именах, не знаю.

61

МИД называл его «дядей короля», в справочниках он значится как генерал-лейтенант Сардар (принц) Мухаммед Даур-Хан.

62

После начала войны секретарей обкомов оккупированных немцами областей призвали в армию, поручили им руководить политической работой, Брежневу в звании полковника, а Кириченко — генерал-майора.

63

Государственный научно-экономический совет Совета Министров СССР.

64

Шроша — железнодорожная станция в Грузии, где добывали мрамор красного цвета. Верхний Уфалей — городок в Челябинской области.

После этих слов Хрущева Матюшкина «на Калугу» не назначили.

66

Н. А. Барсуков, сотрудник Института марксизма-ленинизма, работал с архивом записей бесед Хрущева. С приходом к власти Ельцина институт распался и его архивы оказались бесхозными. Барсуков забрал их домой — похитил или, скорее, спас. Спустя некоторое время он занялся публикациями на хрущевскую тему.

Подробнее см. *Белкин В. Д.* Тернистый путь экономиста. М.: Дело, 2003

Этот Пленум, в отличие от предыдущих, собрался не в декабре 1961 года, а в начале марта 1962 года.

69

В начале абзаца приводятся цифры продаж, а в конце — производства. Они не совпадают. И это естественно, не всё произведённое поступает в магазин, значительная часть потребляется на месте производителями, идёт на снабжение Вооружённых Сил, закладывается в резервы и так далее.

Судьба Альфреда Саранта (Филиппа Староса) и его друга Джоеля Барра (Жозефа Берга) подробно описана в книге Steven T. Usdin «Engineering Communism How two americans spied for Stalin and founded the Soviet Silicon Valley». New Haven and London, Yale University Press, 2005. На русском языке об их судьбе упоминается в книге Александра Феклисова «Признание разведчика. Миссия». М., Олма-Пресс, 1999.

Широко гулявшая в прессе версия, что солдаты, стреляя в воздух, поубивали множество забравшихся на деревья мальчишек, следствием не подтвердилась. Она оказалась чистой воды вымыслом.

В 1960-е и даже в 1980-е годы о Хрущеве упоминать запрещалось, и многие авторы, ничтоже сумняшеся, в своих публикациях изменили дату начала худенковского эксперимента с 1961 на 1967 год.

73

Подробнее о Белютине см. «Москве не нужен Эль Греко», Московские новости», № 35, 10–16 сентября 2002.

Станкостроительный завод в Москве.

75

21 июня 1962 года Президиум ЦК признал необходимым учредить специальную Всесоюзную художественную лотерею, а также включить произведения изобразительного искусства в число выигрышей республиканских денежно-вещевых лотерей.

76

Согласно стенограмме, второе заседание состоялось 26 декабря, а не 25-го, и в два часа дня, а не в четыре.

77

Согласно стенограмме, после Белютина выступило еще девять человек и только потом — Ильичев.

78

О каком Васильеве говорит Ромм, не знаю, в БСЭ три Васильевых-писателя, скорее всего, он имеет в виду Сергея Александровича Васильева, поэта, автора сатирических стихов, пародий, поэтической трилогии «Портрет партизана».

Согласно стенограмме, Малышко и Прокофьев выступали в первый день совещания.

«Треугольная груша» — очень раздражавшее в те годы собратьев-писателей и поэтов название вышедшего в 1962 году стихотворного сборника Вознесенского и ставшее как бы его символом, наподобие «Желтой кофты» Маяковского.

Ромм перепутал, Налбандян Д. А. не скульптор, а живописец.

81

В. П. Аксенов. Таинственная страсть: Роман о шестидесятниках. М.: Семь дней, 2009. С. 130.

Ответственный работник аппарата ЦК.

83

Опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс» от 11 апреля 1964 года.

84

Известный в то время лозунг Мао Цзэдуна: «Ветер с Востока побеждает ветер с Запада».

Детально эта встреча описана Олегом Трояновским в книге «Через годы, через расстояния» (М.: Вагриус, 1997).

86

Гэлбрейт Джон Кеннет, американский экономист. С 1988 года иностранный член АН СССР, представитель институционализма в современной политэкономии. Автор теории «нового индустриального общества».

87

Лигнин — ценное сырье для химической промышленности, органическое полимерное соединение, содержащееся в растениях и вызывающее одеревенение. В хвойной древесине, в том числе окаменевшей, содержится до 50 процентов лигнина.

88

В августе 1964 года Главное управление гражданского воздушного флота преобразовали в Министерство гражданской авиации. Логинов стал в нем министром.

89

Первое — вырвавшаяся в сердцах фраза во время спонтанного выступления Хрущева на июльском Пленуме ЦК 1964 года, второе — цитата, или лейтмотив его записки, направленной примерно в тот же период в Президиум ЦК.

Моргун Ф. Т. Как спасали Бараева. Цитирую по присланным мне автором, отрывкам из корректуры книги без указания ее выходных данных.

91

В. Г. Савостин — директор Карабалыкской опытной сельскохозяйственной станции в Кустанайской области Казахстана.

92

Колхоз имени 18-летия Казахской ССР Целинного края Казахстана.

Вместе с отцом присутствовали, отдыхавшие в Крыму Косыгин и Подгорный. Из Москвы прилетел секретарь ЦК по связи с зарубежными компартиями Пономарев.

94

Бельтинг — прочная техническая ткань для изготовления конвейерных лент и приводных ремней.